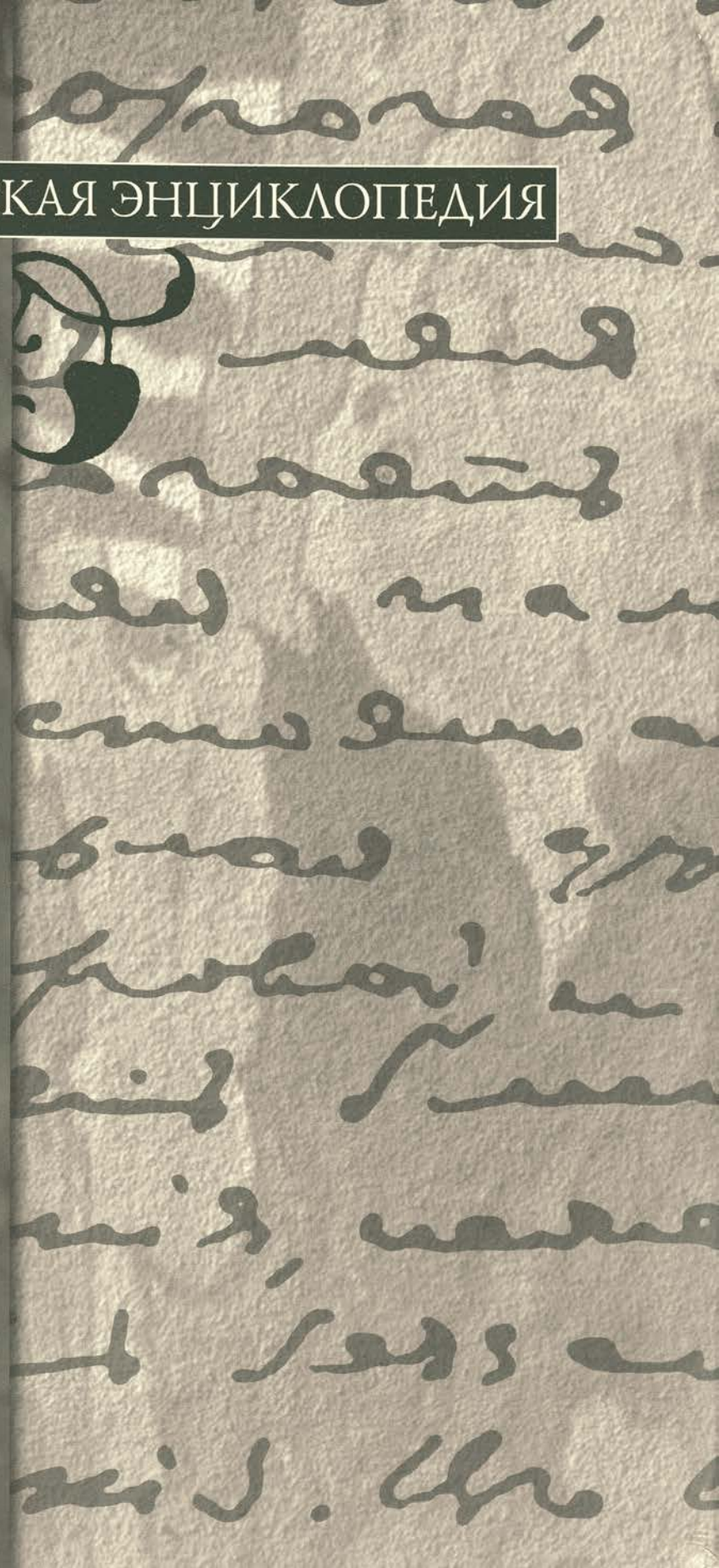


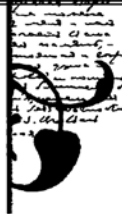
РОЗАНОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

РОЗАНОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ





РОЗАНОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ



Российская академия наук
Институт научной информации по общественным наукам

РОЗАНОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ



Редакционная коллегия:

*С. Б. Джимбинов, И. А. Едошина, П. В. Палиевский,
А. В. Скворцов, В. А. Фатеев, С. Р. Федякин*



Москва
РОССПЭН
2008

19

Р-

Российская академия наук
Институт научной информации по общественным наукам

РОЗАНОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ



Составитель и главный редактор
А. Н. Николюкин

*Библиотеке
Труженников Дома
от семьи
А. Николюкин
20 марта 2009.*



Москва
РОСПЭН
2008

УДК 1(470)(091):031
ББК 87.3(2)6:я2
Р64

*Центр гуманитарных
научно-информационных исследований*

Отдел литературоведения

Исследование выполнено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
научно-исследовательский проект № 04-04-00230а,
издательский проект № 07-04-16001д

Научный редактор *В.А. Фатеев*

Контрольные редакторы:
Н.Н. Ерёмкина, М.Е. Крылова, Т.М. Миллионщикова

Секретарь *К.А. Жулькова*
Рецензент *В.Г. Сукач*
Подбор иллюстраций – *И.П. Оловянникова*

Р64 Розановская энциклопедия / сост. и гл. ред. А.Н. Николюкин. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. – 1216 с.

ISBN 978-5-8243-1101-3

Энциклопедия посвящена жизни и творчеству писателя и философа В.В. Розанова (1856–1919), долгие годы не издававшегося и не изучавшегося в нашей стране. Как путеводитель по обширному розановскому наследию Энциклопедия подытоживает достижения розановедения к началу XXI века.

Издание состоит из двух разделов: 1) персоналии, т.е. статьи о лицах, связанных с Розановым и об исторических персонажах, о которых он писал; 2) темы творчества Розанова, его книги, а также газеты и журналы, в которых он печатался. Нетрадиционность названий некоторых статей связана с розановскими понятиями о человеке, семье, поле и вере.

Текстологическая основа Энциклопедии – Собрание сочинений Розанова в 30 томах (вышло 26 томов) и архивы Розанова в Москве, Петербурге.

Издание предназначено для историков русской литературы, философии и культуры.

УДК 1(470)(091):031
ББК 87.3(2)6:я2

ISBN 978-5-8243-1101-3

© ИНИОН РАН, 2008

© А.Н. Николюкин, составление и редакция, 2008

© Коллектив авторов, 2008

© Российская политическая энциклопедия, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя.....	31	Аристотель	88
Список сокращений	33	Архиппов Е.Я.	90
I. Персоналии			
Абрамович Н.Я.	39	Арцыбашев М.П.	90
Аввакум	40	Аскольдов С.А.	91
Аггеев К.М.	41	Аскоченский В.И.	93
Адамович А.Ф.	42	Ауновский В.А.	95
Азеф Е.Ф.	43	Афанасьев Н.И.	95
Айхенвальд Ю.И.	44	Ахматова А.А.	96
Аквилонов Е.П.	45	Ашешов Н.Т.	97
Аксаков И.С.	46	Ашкинази М.А.	98
Аксаков К.С.	47	Базаров В.А.	99
Аксаков Н.П.	48	Байрон Дж. Н.Г.	99
Аксаков С.Т.	49	Бакст Л.С.	100
Аксенов П.С.	50	Бакунин М.А.	103
Аладьин А.Ф.	50	Бакунин П.А.	104
Александр (Григорьев А.В.).....	52	Балобанова Е.В.	105
Александр I	53	Бальзак О. де.....	106
Александр II	53	Бальмонт К.Д.	107
Александр III	54	Баранов В.О. фон	107
Александр Македонский	56	Барановский Н.	107
Александров А.А.	57	Баратынский Е.А.	108
Александрова В.А. – см. Мордвинова В.А.	58	Барсуков А.П.	109
Алексеев С.А. – см. Аскольдов С.А.	58	Барсуков Н.П.	109
Алексеевский В.	58	Барсукова З.И.	110
Алексинский Г.А.	59	Барятинский В.В.	111
Алёшинцева Д.В.	59	Басаргин А. – см. Введенский А.И.	112
Альбов И.Ф.	60	Батюшков К.Н.	112
Амвросий Оптинский	61	Баудер В.Ф.	112
Амфитеатров А.В.	62	Бахметев Н.Н.	114
Анатолий (Потапов В.А.)	64	Бежецкий А.Н.	114
Андерсон В.М.	65	Безобразова М.В.	115
Андреев В.В.	66	Бейлис М.М.	116
Андреев И.Д.	68	Белинский В.Г.	117
Андреев Л.Н.	68	Белкин А.С.	120
Андреев Ф.К.	70	Белый А.	121
Андреевский С.А.	72	Бельгард А.В.	123
Аничков Е.В.	74	Беляев А.А.	124
Анненский И.Ф.	75	Беляев Ю.Д.	124
Анненский Н.Ф.	76	Бентам И.	125
Антоний (Вадковский А.В.)	76	Бенуа А.Н.	125
Антоний (Храповицкий А.П.)	80	Берг Ф.Н.	127
Антонин (Грановский А.А.)	84	Бердяев Н.А.	129
Антонов Н.Р.	85	Берлин П.А.	134
Апостолопуло Е.И.	87	Бертенсон М.Н.	135
Арабажин К.И.	88	Бисмарк О.	135
		Благов Ф.И.	136
		Благосветлов Г.Е.	137
		Блок А.А.	137

Боборыкин П.Д.	144	Виндинг Е.П.	195
Бобринский В.А.	145	Виницкая А.А.	195
Богданов-Бельский Н.П.	145	Виноградов П.Г.	195
Богданович А.И.	146	Витте С.Ю.	196
Боголепов Н.П.	146	Вишневский И.В.	197
Богучарский В.	147	Вишневский Ф.В.	197
Боккаччо Дж.	148	Вишняков Н.П.	198
Бокль Г.Т.	149	Властов Г.К.	199
Болотов В.В.	149	Вознесенский К.В.	199
Бонч-Бруевич В.Д.	150	Войтинский В.С.	199
Борисов А.А.	151	Волжский – см. Глинка-Волжский А.С.	200
Борк Э.	151	Волконский С.М.	200
Боровиковский А.Л.	152	Волошин М.А.	201
Бородаевский В.В.	152	Вольнский А.Л.	201
Бородкин М.М.	154	Вольтер	204
Боткин С.С.	154	Воротников А.П.	205
Боцяновский В.Ф.	155	Воскресенский И.	205
Брешко-Брешковская Е.К.	155	Врубель М.А.	206
Бриллиантов А.И.	156	Всехсвятский Н.Д.	206
Бронзов А.А.	156	Вундт В.	207
Бругш Г.К.	158	Высотский Н.Г.	207
Брюсов В.Я.	159	Гааз Ф.П.	209
Булгаков С.Н.	161	Гайдебуров В.П.	209
Булгарин Ф.В.	165	Гапон Г.А.	211
Бунин И.А.	166	Гарнак А.	212
Буренин В.П.	167	Гаршин В.М.	213
Бурнакин А.А.	170	Гауптман Г.	213
Буслаев Ф.И.	171	Ге Н.П.	213
Бутягин И.П.	172	Гегель Г.В.Ф.	214
Бутягин М.П.	173	Гедройц С.	215
Бутягин П.Н.	173	Гей Б.В.	218
Бутягина А.М.	173	Гейне Г.	219
Бутягина В.Д. – см. «Друг»	174	Георгиевский А.И.	220
Бухарев А.М.	174	Георгиевский Г.П.	221
Бюхнер Л.	177	Герд В.А.	222
Вальман Н.А.	179	Гермоген (Долганов Г.Е.)	222
Василий (Лузин В.)	179	Геродот	223
Васильев А.В.	180	Герцен А.И.	223
Васнецов В.М.	182	Гершензон М.О.	226
Введенский Александр И.	183	Герье В.И.	229
Введенский Алексей И.	183	Гессен И.В.	233
Введенский Д.И.	185	Гёте И.В.	234
Вейнберг П.И.	186	Гиацинтов А.М.	235
Вейнберг Я.И.	186	Гиль Х.Х.	235
Вейнингер О.	186	Гиляров-Платонов Н.П.	236
Величко В.Л.	187	Гинцбург И.Я.	239
Венгеров С.А.	188	Гиппиус В.В.	239
Вениамин (Федченко И.А.)	189	Гиппиус З.Н.	241
Вербицкая А.А.	190	Гиппиус Н.Т.	247
Вергежский А. – см. Тыркова А.В.	190	Гиппиус Т.Н.	248
Вергун Д.Н.	190	Глаголева М.П.	250
Верещагин В.А.	191	Глаголин Б.С.	250
Верещагина Н.В. – см. Розанова Н.В.	191	Глинка-Волжский А.С.	250
Веселовская Л.И. – см. Микулич В.	191	Глинский Б.Б.	254
Веселовский Александр Н.	191	Глубоковский Н.Н.	256
Веселовский Алексей Н.	192	Говоруха-Отрок Ю.Н.	258
Виленкин Н.М. – см. Минский Н.М.	192	Гоголь Н.В.	261
Вилькина Л.Н.	192	Голиков В.М.	275
Винавер М.М.	194	Голлербах Э.Ф.	276

Голубинский Е.Е.	278	Дрэпер Дж. У.	358
Голубкина А.С.	278	Дункан А.	359
Голубцова М.А.	279	Дурново О.Д.	361
Гольдовский С.Б.	279	Дурылин С.Н.	362
Гомер	280	Дьяконова Е.А.	365
Гончаров И.А.	281	Дягилев С.П.	367
Горнфельд А.Г.	282	Евлогий (Георгиевский В.С.)	371
Горький М.	283	Егоров Е.А.	372
Гофштеттер И.А.	293	Екатерина II Великая	373
Грабарь И.Э.	295	Елизавета Федоровна Романова	374
Градовский Г.К.	296	Елизаровы – Розановы (Поколенная роспись ГАКО)	375
Грановский Т.Н.	296	Елов М.С.	386
Гредескул Н.А.	298	Ельчанинов А.В.	387
Грибоедов А.С.	298	Есенин С.А.	389
Григорович Д.В.	300	Жаботинский В.Е.	391
Григорьев Ап. А.	301	Жаков К.Ф.	392
Грингмут В.А.	302	Жанна д'Арк	393
Гриневич В.С.	304	Жаринцева Н.А.	393
Грифцов Б.А.	305	Жданов Д.А.	394
Громогласов И.М.	306	Жданов Л.Г.	394
Грот К.Я.	306	Желябов А.И.	394
Грот Н.Я.	307	Жиркевич А.В.	395
Грузинский А.Е.	311	Жуковский В.А.	395
Губастов К.А.	312	Жуковский В.Г.	397
Губер П.К.	313	Зайончковский Н.Ч.	399
Гуревич Л.Я.	313	Зайцев Б.К.	399
Гус Я.	315	Закржевский А.К.	400
Гутенберг И.	315	Закс Н.А.	402
Гучков А.И.	316	Заозерский Н.А.	402
Гюго В.	318	Зарин С.М.	404
Даль В.И.	319	Засодимский П.В.	406
Дандевиль В.Д.	319	Засулич В.И.	407
Данилевский Н.Я.	320	Зембрих М.	407
Данте Алигьери	323	Зиновьева-Аннибал Л.Д.	408
Дарвин Ч.	324	Золя Э.	409
Дарский Д.С.	326	Ибсен Г.	411
Дедлов В.	327	Иван IV Васильевич (Грозный)	411
Деянов И.Д.	330	Иванов А.А.	413
Державин Г.Р.	331	Иванов Вяч. И.	413
Дёрнов А.А.	331	Иванов Е.П.	416
Джаншиев Г.А.	333	Иванов М.М.	417
Джером Дж.К.	333	Иванов-Разумник	418
Дидро Д.	334	Иванчин-Писарев А.И.	419
Диккенс Ч.	334	Изгоев А.С.	419
Дмитриева В.И.	335	Измайлов А.А.	420
Добролюбов А.М.	336	Иларион (Троицкий В.А.)	426
Добролюбов Н.А.	337	Иловайский Д.И.	427
Доливо-Добровольский А.И.	338	Иоанн Кронштадтский	427
Долина М.И.	339	Ионафан (Руднев И.Н.)	429
Дорошевич В.М.	340	Исаченко-Соколова К.Л.	431
Достоевская А.Г.	341	Каблиц И.И.	433
Достоевская Л.Ф.	343	Каблуков С.П.	435
Достоевский Ф.М.	344	Казанский П.Е.	437
Драгоев А.К.	348	Кайгородов Д.Н.	438
Дрейфус А.	348	Калабина П.М.	439
Дризен (Остен-Дризен) Н.В.	349	Каллаш М.А. — см. Курдюмов М.	439
Дроздов Н.Г.	351	Кальвин Ж.	439
«Друг» (В.Д.Розанова)	354	Каменев Г.П.	440
Друммонд Г.	358		

Каменская Ю.А.	441	Лавров П.Л.	505
Каменский А.П.	442	Лаппо-Данилевская Н.А.	506
Кандинский В.В.	442	Лассаль Ф.	507
Кант И.	443	Лафарг П.	508
Капнист П.А.	444	Лахотский П.Н.	508
Каптерев П.Н.	445	Лев XIII	508
Каптерева В.С.	446	Левин Д.А.	509
Карамзин Н.М.	446	Левитан И.И.	511
Кареев Н.И.	449	Левицкая Е.С.	513
Карпов П.И.	450	Лёвшин Д.М.	514
Карташёв А.В.	451	Леман Г.А.	514
Катков М.Н.	452	Лемке М.К.	515
Кедринский А.А.	454	Ленин В.И.	517
Керенский А.Ф.	455	Ленц Н.А.	518
Киреев А.А.	456	Леонтьев К.Н.	518
Киреевский И.В.	458	Леонтьев-Щеглов И.Л. – см. Щеглов	
Киреевский П.В.	460	(Леонтьев) И.Л.	525
Клюев Н.А.	461	Лепсиус К.Р.	525
Ключевский В.О.	462	Лермонтов М.Ю.	526
Ковалевская С.В.	465	Лернер Н.О.	532
Ковалевский М.М.	466	Лесков Н.С.	533
Ковнер А.Г.	467	Лизогуб А.А.	534
Кожевников В.А.	470	Литвин С.К. – см. Эфрон Ш.Х.	535
Колубовский Я.Н.	472	Лихачев В.С.	535
Кольшко И.И.	472	Лихачев Н.П.	535
Кольцов А.В.	475	Лобри О.П. – см. Прохаско А.П.	536
Комиссаржевская В.Ф.	476	Локоть Т.В.	536
Кондурушкин С.С.	477	Ломоносов М.В.	536
Кони А.Ф.	477	Лосская Л.В.	538
Коноплянцев А.М.	478	Лосский Н.О.	538
Конт О.	479	Лохвицкая М.А.	540
Корецкий Н.В.	480	Лугаковский В.А.	540
Короленко В.Г.	480	Лукомский Г.К.	541
Корш Ф.Е.	482	Луначарский А. В.	541
Косоротов А.И.	483	Лутохин Д.А.	542
Котляревский Н.А.	484	Лухманова Н.А.	544
Кравчинский Д.М.	485	Лыжин П.П.	545
Кранихфельд В.П.	485	Львов-Рогачевский В.Л.	545
Красножён М.Е.	486	Льдов К.Н.	546
Крафт-Эбинг Р.	486	Любавский М.К.	546
Кривенко В.С.	487	Любошиц С. (Любош)	546
Кривошеина Е.Г.	487	Лютер М.	548
Кропоткин П.А.	487	Ляпунов И. (Ветлуга)	549
Крылов И.А.	488	Ляцкий Е.А.	550
Крымов В.П.	488	Майков А.Н.	551
Крючков Д.А.	489	Макаренко Н.Е.	552
Ксюнин А.И.	490	Мақлаков В.А.	553
Кугель А.Р.	490	Мальтус Т.Р.	553
Кудрявцев К.И.	491	Малявин Ф.А.	554
Кузмин М.А.	494	Мамин-Сибиряк Д.Н.	556
Кузнецов Н.Д.	494	Мансуров С.П.	556
Кузьмин-Караваев В.Д.	494	Мансурова М.Ф.	557
Кукулярский Ф.Ф.	495	Мария (Арсеньева М.К.)	557
Куприн А.И.	497	Марков Е.Л.	557
Курдюмов М.	498	Маркс А.Ф.	558
Кусков П.А.	499	Маркс К.	559
Кускова Е.Д.	501	Маслов А.Н. – см. Бежецкий А.Н.	560
Кутлер Н.Н.	502	Масперо Г.К.Ш.	560
Лабуле де Лефевр Э.Р.	505	Матэ В.В.	561

Маяковский В.В.	561	Нилус С.А.	651
Медведь Я.И.	565	Нина (Боянус В.К.)	652
Мельник И.С.	566	Ницше Ф.	653
Мельников Н.К.	566	Новосёлов М.А.	657
Мельников-Печерский П.И.	566	Нольде Л.А.	660
Мельшин – см. Якубович П.Ф.	568	Нордман Н.Б.	661
Менделеев Д.И.	568	Нувель В.Ф.	662
Меньшиков М.О.	569	Облеухов Н.Д.	663
Мережковская З.Н. – см. Гиппиус З.Н.	576	Оболянинов В.В.	663
Мережковский Д.С.	576	Овсянников Н.Н.	664
Метерлинк М.	581	Одоевский В.Ф.	665
Мещерский В.П.	584	Олег Константинович Романов.	666
Микеланджело Буонарроти	588	Олсуфьев Ю.А.	667
Микулич В.	589	Олсуфьева С.В.	668
Милицына Е.М.	591	Оль д'Ор (Оршер О.Л.)	669
Милль Дж.С.	591	Оман Э.	670
Милославин П.И.	592	Орлов М.И.	670
Мильтон (Милтон) Дж.	592	Орнатский Ф.Н.	671
Милюков П.Н.	593	Оссендовский А.М.	672
Минин К.И.	596	Остафьев В.А.	672
Минский Н.М.	598	Остафьева Е.А.	672
Минцлов С.Р.	602	Островский А.Н.	673
Михаил (Семёнов П.В.)	603	Отт Д.О.	676
Михайловский Н.К.	604	Павел I.	677
Мишкевич А.	608	Павленков Ф.Ф.	677
Мокиевский П.В.	609	Палеолог К.	678
Мошотт Я. – см. Бюхнер Л.	609	Палибин А.В.	679
Молоховец Е.И.	609	Паренсов П.Д.	679
Мольер	610	Пархоменко И.К.	680
Моммзен Т.	610	Паскаль Б.	682
Монтескьё Ш.Л.	612	Пенкин П.И.	683
Мопассан Г. де.	612	Первов П.Д.	683
Мордвинова В.А.	616	Пергамент М.Я.	685
Морозов Д.И.	618	Перовская С.Л.	686
Морозов Н.А.	618	Перцов П.П.	686
Морозов П.О.	619	Петерсен В.К.	690
Муратов П.П.	619	Петерсон О.М.	690
Мурахина Л.А.	621	Петр I Великий.	691
Муретов Д.Д.	622	Петражицкий Л.И.	692
Муромцев С.А.	624	Петрарка Ф.	694
Мусина-Озаровская Д.М.	625	Петрищев А.Б.	694
Мушкетова Е.П.	626	Петров А.В.	696
Мышцын В.Н.	626	Петров Г.С.	696
Мякотин В.А.	626	Петров Н.П.	700
Набоков В.Д.	629	Петровский С.А.	701
Надсон С.Я.	630	Петропавловский И.Ф.	701
Наживин И.Ф.	631	Пешехонов А.В.	702
Накрохин П.Е.	632	Пешкова-Толиверова А.Н.	704
Наполеон I.	633	Пий X.	704
Некрасов Н.А.	635	Пильский П.М.	704
Немирович-Данченко Вас.И.	638	Пирогов В.И.	705
Немирович-Данченко Вл.И.	639	Пирожков М.В.	705
Нестеров М.В.	639	Писарев Д.И.	706
Никитский С.	644	Писарев Л.Н.	708
Николаев Н.А.	644	Писарева Е.Ф.	708
Николай I.	645	Писемский А.Ф.	708
Николай II.	646	Платон.	709
Никольский Б.В.	647	Плевако Ф.Н.	713
Никон (Рождественский Н.И.)	648	Плеве В.К.	713

Плеханов Г.В.	714	Розанов Сергей Васильевич	810
Победоносцев К.П.	714	Розанов Федор Васильевич	811
Поварнин С.И.	725	Розанова Александра Степановна	812
Погодин М.П.	725	Розанова Варвара Васильевна	812
Поздняков Н.Г.	729	Розанова Варвара Дмитриевна – см. «Друг»	814
Поливанов П.С.	729	Розанова Вера Васильевна (сестра)	814
Полонский В.П.	730	Розанова Вера Васильевна (дочь)	815
Полонский Я.П.	731	Розанова Любовь Васильевна	818
Полотебнева А.А.	732	Розанова Надежда Васильевна (первая дочь)	818
Попов И.В.	732	Розанова Надежда Васильевна (дочь)	819
Попов М.С.	732	Розанова Надежда Ивановна	820
Попов Н.А.	732	Розанова Павлина Васильевна	822
Порфирий (Успенский К.А.)	733	Розанова Татьяна Васильевна	823
Поселянин Е. (Погожев Е.Н.)	733	Романов (Рцы) И.Ф.	825
Прахов А.В.	735	Романовский В.Е.	829
Прахова Э.Л.	736	Ромер М.Ф.	829
Преображенский Н.М.	736	Ромер Ф.Э.	830
Пришвин М.М.	737	Россов Н.П.	831
Прокошев П.А.	742	Россоловский В.С.	832
Проплер С.М.	742	Рочко Г.В.	832
Протейкинский В.П.	743	Роше К.К.	834
Протопопов В.В.	744	Рубакин Н.А.	834
Протопопов М.А.	745	Рудич В.И.	835
Прохаско О.П.	745	Руднева А.А.	836
Пугачёв Е.И.	746	Руднева В.Д. – см. «Друг»	837
Пузино О.В.	747	Руднева Н.Т.	837
Пуришкевич В.М.	747	Руманов А.В.	838
Пушкин А.С.	748	Русов Н.Н.	841
Пшибышевский С.	759	Руссо Ж.Ж.	844
Пыпин А.Н.	759	Рцы – см. Романов И.Ф.	847
Пяст В.	760	Рыбаков С.Г.	847
Рабинович П.О.	761	Саблер В.К.	849
Радлов Э.Л.	762	Савва (Тихомиров И.М.)	850
Радованович С.С.	763	Савинков Б.В.	851
Радонежский А.А.	764	Садовской Б.А.	852
Разин С.Т.	765	Садокоев К.И.	854
Разиньков В.Л.	765	Салтыков-Щедрин М.Е.	856
Распутин Г.Е.	766	Самарин Ю.Ф.	857
Рафаэль Санти	768	Самко А.К.	858
Рачинская В.А.	770	Санжарь Н.Д.	859
Рачинский С.А.	771	Сапожников М.И.	859
Рашевская В.И.	779	Саркисов С.И.	859
Рембрандт Х. ван Рейн	779	Свенцицкий В.П.	860
Ремизов А.М.	781	Серапион (Воинов С.И.)	862
Ренников А.М.	788	Серафим (Мещеряков Я.М.)	863
Репин И.Е.	789	Серафим Саровский	864
Рёрих Н.К.	793	Сервантес Сааведра М.	867
Рильке Р.М.	793	Сергей Александрович (Романов)	867
Робеспьер М.	795	Сергий Радонежский	868
Рогачёва П.П.	796	Сергий (Страгородский И.Н.)	870
Родичев Ф.И.	796	Сергий (Тихомиров С.)	871
Рождествин А.С.	799	Серов В.А.	872
Розанов Алексей Николаевич	800	Сикорский И.А.	874
Розанов Василий Васильевич (сын)	801	Сильченков К.Н.	875
Розанов Василий Федорович	803	Симаков В.И.	877
Розанов Владимир Николаевич	804	Скабичевский А.М.	877
Розанов Димитрий Васильевич	806	Скалдин А.Д.	878
Розанов Николай Васильевич	807	Скальковский К.А.	880
Розанов Николай Николаевич	810	Скворцов В.М.	880

Скотт В.	882	Тернавцев В.А.	989
Скрябин А.Н.	883	Тигранов Ф.Я.	991
Слатина Е.В.	884	Тимирязев К.А.	993
Слонимский Л.З.	884	Титов Г.И.	994
Случевский К.К.	887	Тихомиров Л.А.	995
Смирнов А.А.	887	Тихонравов Н.С.	998
Смирнов Н.М.	887	Тишков В.П.	1000
Смирнова С.И.	888	Толстая С.А.	1000
Снессарев Н.В.	889	Толстой А.К.	1001
Соколов П.А.	889	Толстой Д.А.	1002
Соколов С.А.	890	Толстой Л.Н.	1003
Сократ	890	Трегубов М.	1011
Соллертинский С.А.	893	Троицкий Д.С.	1012
Соловьёв Вл.С.	894	Троицкий М.М.	1013
Соловьёв Всеv.С.	905	Троцкий Л.Д.	1014
Соловьёв Л.З. (Эль-Эс)	905	Трубецкой Е.Н.	1015
Соловьёв М.П.	906	Трубецкой П.П.	1016
Соловьёв Н.В.	911	Трубецкой С.Н.	1018
Соловьёв С.М.	913	Тураев Б.А.	1018
Соловьёв С.М. (младший)	915	Тургенев И.С.	1019
Соловьёв Т.П.	917	Тыркова (Вергежская) А.В.	1022
Сологуб Ф.К.	918	Тэн И.А.	1023
Сомов К.А.	922	Тэффи Н.А.	1025
Сопоцько-Сырокомля М.А.	922	Тютчев Ф.И.	1025
Сосницкий Ю.О.	923	Уайльд О.	1029
Спасовский М.М.	924	Уитмен	1030
Спенсер Г.	926	Умнов-Каплуновский В.В.	1030
Сперанский М.М.	926	Успенский В.В.	1031
Спиноза Б.	927	Успенский Г.И.	1031
Спиридонов М.	929	Устьинский А.П.	1033
Станиславский К.С.	929	Фалес	1041
Стародум (Стечкин) Н.Я.	930	Фальковский Ф.Н.	1041
Стасов В.В.	932	Федина (Ильятенко) В.С.	1042
Стасюлевич М.М.	932	Федоров Н.Ф.	1043
Стахович А.А.	933	Феофан (Быстров В.Ф.)	1046
Стахович М.А.	934	Фет А.А.	1048
Степанов Н.М.	935	Фигнер В.Н.	1050
Стечкин Н.Я. – см. Стародум Н.Я.	936	Филарет (Дроздов В.М.)	1051
Стоппнер Б.Г.	936	Филевич И.П.	1053
Столыпин А.А.	938	Филевский И.И.	1053
Столыпин П.А.	939	Филиппов А.Ф.	1055
Стороженко Н.И.	945	Филиппов Т.И.	1057
Стоюнина М.Н.	945	Философов Д.В.	1062
Страхов Н.Н.	946	Философова А.П.	1074
Струве П.Б.	958	Фихте И.Г.	1078
Стукачёва В.И.	962	Флоренский П.А.	1079
Суворин А.А.	965	Фонвизин Д.И.	1099
Суворин А.С.	965	Форель О.А.	1101
Суворин Б.А.	973	Форш О.Д.	1102
Суворин М.А.	973	Фофанов К.М.	1103
Суворов А.В.	974	Фофанова Л.К.	1104
Сургучёв И.Д.	977	Фохт К.	1104
Суриков В.И.	977	Франк С.Л.	1104
Сусанин И.О.	978	Фрибес О.А.	1108
Суслов В.В.	979	Фридберг Д.Н.	1109
Суслова А.П.	980	Фриде А.В.	1109
Суханов (Гиммер) Н.Н.	983	Фруг С.Г.	1110
Сьтин И.Д.	984	Фудель И.И.	1110
Тареев М.М.	985	Фудель С.И.	1111

Хайковский И.М.	1113	Юм Д.	1205
Херсонский И.К.	1113	Юргенсон Э.П.	1205
Ховин В.Р.	1114	Юшкевич С.С.	1206
Хомяков А.С.	1116	Ющинский А.	1207
Хохлова Л.Д.	1123	Яблоновский (Снадзский) А.А.	1209
Хрущёв И.П.	1124	Яковлев А.И.	1210
Цветаев Д.В.	1125	Якубович (Мельшин Л.) П.Ф.	1210
Цветаев И.В.	1126	Ясинский И.И.	1211
Цветаева А.И.	1128		
Цветаева М.И.	1134		
Цветков С.А.	1136		
Цейхенштейн С.	1138		
Церетели И.Г.	1139		
Чаадаев П.Я.	1141		
Чаленко И.Я.	1141		
Чеботаревская А.Н.	1142		
Чернышевский Н.Г.	1146		
Чертков В.Г.	1148		
Чехов А.П.	1148		
Чешихин-Ветринский В.Е.	1157		
Чуковский К.И.	1157		
Чулков Г.И.	1159		
Шавельский Г.И.	1161		
Шагинян М.С.	1161		
Шаляпин Ф.И.	1163		
Шамонин В.А.	1164		
Шапошников Г.Г.	1165		
Шарапов С.Ф.	1165		
Шаховской Н.В.	1170		
Шварц А.Н.	1171		
Шевырёв И.Я.	1173		
Шекспир У.	1173		
Шелгунов Н.В.	1174		
Шеллинг Ф.В.	1175		
Шервуд Л.В.	1176		
Шестаков Д.П.	1177		
Шестов Л.	1179		
Шилейко В.К.	1182		
Шиллер Ф.	1183		
Шишкина Н.И. — см. Розанова Н.И.	1186		
Шмидт Анна Н.	1186		
Шопенгауэр А.	1187		
Шперк Ф.Э.	1188		
Шталь А.В.	1191		
Штейнберг А.З.	1191		
Штейнгауэр Я.М.	1193		
Шубинский С.Н.	1193		
Щеглов (Леонтьев) И.Л.	1195		
Щедрин Н. — см. Салтыков-Щедрин М.Е.	1196		
Щербов И.П.	1196		
Щербова Н.Р.	1196		
Эль-Эс — см. Соловьёв Л.З.	1197		
Энгельгард Н.А.	1197		
Эрн В.Ф.	1199		
Эрнст О.	1201		
Эртель А.И.	1202		
Эфрон (Литвин) Ш.Х.	1203		
Эфрос А.М.	1204		
Эфрос Р.Ю.	1204		
		II. Темы, книги, периодика	
		Автобиографизм.....	1217
		Ад — рай.....	1219
		Адреса в Петербурге — см. Квартиры.....	1219
		Америка.....	1219
		Анархия.....	1220
		«Ангел Иеговы» у евреев (Истоки Израиля).....	1221
		Антиномии.....	1222
		«Апокалипсис нашего времени».....	1229
		«Апокалипсическая секта (Хлысты и скопцы)».....	1233
		Аполитизм.....	1234
		Аппетит.....	1239
		Армия.....	1239
		Архивы (РГБ, ГЛМ, РГАЛИ, РНБ, ГАБО, ГАКО, ИРЛИ, ГАЛО).....	1241
		Аскетизм.....	1260
		Атеизм.....	1262
		Афористичность.....	1263
		Баба.....	1265
		Бабочка.....	1266
		Баня.....	1269
		Белый.....	1271
		Беременность.....	1272
		Берлин.....	1273
		Бессарабия.....	1274
		«Библейская поэзия».....	1274
		Библиография.....	1276
		Библиотека.....	1277
		Библия.....	1277
		«Биржевые Ведомости».....	1280
		Благополучие.....	1280
		Благородство.....	1280
		Бог.....	1281
		«Богословский Вестник».....	1283
		Боль.....	1287
		Брак.....	1289
		Бранделяс.....	1294
		Брянск.....	1294
		Брянский формуляр.....	1296
		Будущее.....	1297
		Бульварная литература.....	1297
		Буржуазия.....	1298
		Быт.....	1299
		Бюрократия — см. Чиновничество.....	1300
		«В мире неясного и нерешённого».....	1301
		«В своем углу».....	1304
		«В соседстве Содома (Истоки Израиля)».....	1305
		«В тёмных религиозных лучах».....	1306
		«В чадую войны».....	1308

Ватикан.....	1309	Декадентство.....	1406
Вдохновение.....	1310	«Декаденты».....	1408
Вера.....	1312	Демократия.....	1409
Верность.....	1313	Демоническое.....	1413
«Вестник Европы».....	1314	День-ночь.....	1414
«Весы».....	1315	Деревня.....	1415
Ветлуга.....	1316	Детство, дети.....	1417
Ветхозаветные темы.....	1316	Диалогичность.....	1420
«Вехи».....	1317	Дневниковость.....	1421
«Вечно-бабье».....	1319	Добро.....	1422
Вечность.....	1320	Добродетель.....	1423
«Вешние Воды».....	1321	Догмат.....	1425
Вещь.....	1326	Документальность.....	1430
Взятка.....	1328	Дом.....	1434
Вифания.....	1328	Древний Египет — см. Египет Древний.....	1435
Вифлеем и Голгофа.....	1328	«Древо жизни».....	1435
Влага.....	1329	Дружба.....	1437
Власть.....	1332	Дума — см. Государственная Дума.....	1437
Влияние.....	1334	Духовенство.....	1437
«Во дворе язычников».....	1334	Душа.....	1442
Возраст любви.....	1336	Дуэль.....	1447
«Возрождающийся Египет».....	1336	Евангелие.....	1449
Война.....	1339	Евреи.....	1451
«Война 1914 года и русское возрождение».....	1341	Европа.....	1459
Волга.....	1343	«Европа и евреи».....	1460
«Вопросы Жизни».....	1343	Европейская цивилизация — см. «Кабак».....	1460
«Вопросы Философии и Психологии».....	1344	Египет Древний.....	1460
«Воскресенья».....	1348	Египетская живопись.....	1462
Воспитание — см. Университет.....	1356	Единство духа и плоти.....	1464
Воспоминания о Розанове.....	1356	Елец.....	1465
Восток.....	1356	Елецкая мужская гимназия.....	1466
Врачи.....	1357	Елецкий формуляр.....	1468
Время.....	1358	Жалость.....	1469
Вырица.....	1359	Жанр.....	1469
Газета.....	1361	Железный занавес.....	1473
Гений.....	1364	Женское образование в России.....	1474
Германия.....	1365	Женщина.....	1475
Гефсимания.....	1367	Живопись.....	1477
Гимназисты.....	1367	Живот — см. Беременность.....	1483
Голод.....	1367	Жизнь (Живая жизнь).....	1483
Голос.....	1368	«Журнал Театра Литературно-Художественного Общества».....	1486
«Голос Руси».....	1372	Замужество.....	1487
Гомосексуализм.....	1373	Западничество.....	1487
Гонорары.....	1374	Запах — см. Обоняние.....	1492
Горе.....	1375	Зачатие.....	1492
Городовой (полицейский).....	1375	Заяц.....	1493
Государственная дума.....	1376	«Земщина».....	1493
Государственный контроль.....	1379	Зеркало.....	1494
Государство.....	1383	Зерно.....	1495
Гравюра.....	1386	Знание.....	1495
«Гражданин».....	1386	«Золотое Руно».....	1498
Графика.....	1388	Игра.....	1499
Грех.....	1393	Идиоматика.....	1499
Греция.....	1396	«Из восточных мотивов» — см. «Возрождающийся Египет».....	1501
Грудь женские.....	1399	Изгнание из Религиозно-философского общества.....	1501
Грусть.....	1400	Издания.....	1505
Губы.....	1401		
Девушка, девство.....	1403		
Декабристы.....	1405		

Израиль — см. Евреи	1505	Любовь.....	1626
Икона.....	1505	«Люди лунного света» — см. «В темных религиозных лучах»	1632
Имморализм.....	1508	Мавзолей.....	1633
Интеллигенция.....	1510	Маска.....	1633
Интимность.....	1511	Масонство.....	1635
Интонация (тон).....	1513	Массовая литература — см. Бульварная литература	1636
Иррационализм.....	1516	Матвеево.....	1636
Искусство.....	1519	Мгновение.....	1637
Истина.....	1522	Медведь.....	1637
История.....	1523	Мелочи.....	1638
Италия.....	1525	«Место христианства в истории»	1641
«Итальянские впечатления».....	1525	Метафизика.....	1642
Иудаизм — см. Юдаизм.....	1530	Метафора.....	1644
Кабак.....	1531	Мечта.....	1646
Кавказ.....	1532	Миква.....	1649
Карикутуры.....	1535	«Мимолетное. 1914 год».....	1650
Карнавализация.....	1535	«Мимолетное. 1915 год».....	1650
Католицизм (католичество).....	1538	Мир.....	1651
Квартиры в Петербурге и летний отдых	1543	«Мир Искусства».....	1656
Киев.....	1543	Мистерии (таинства).....	1657
Киновия.....	1545	Мистицизм.....	1661
Классическое образование — см. Педагогика	1545	Мифология.....	1664
Книга.....	1545	Михаила Архангела церковь.....	1665
«Книжный угол».....	1548	Многополярность.....	1666
«Когда начальство ушло... 1905—1906 гг.»	1549	Могила.....	1666
Кожа.....	1552	Молитва.....	1667
«Колокол».....	1553	Молодежь.....	1669
Конка.....	1555	Молчание (тишина).....	1670
Консерватизм.....	1557	Монархизм.....	1672
Корневое начало (корень).....	1561	Монашество, монастырь.....	1675
Корова.....	1563	Мораль — см. Нравственность.....	1676
Кострома.....	1566	Москва.....	1676
Костромская губернская гимназия	1571	«Московские Ведомости».....	1678
Костромская духовная семинария	1572	«Московский Еженедельник».....	1679
Кошка.....	1572	Московский императорский университет.....	1682
Красота.....	1574	Мужчина.....	1683
«Красота в природе и ее смысл».....	1577	Музыка (музыкальность).....	1686
Красюковка.....	1578	Мусульманство.....	1687
Кровь.....	1579	Мысль.....	1689
Кротость.....	1580	Мюнхен.....	1692
«Кукха. Розановы письма».....	1581	Надписи на книгах (инскрипты)	1695
Культура (цивилизация).....	1585	Наивность.....	1696
Курсистки — см. Женское образование.....	1594	Наказание.....	1698
Лань.....	1595	Народничество.....	1699
Ласка.....	1596	Наука.....	1700
«Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского»	1597	Национализм.....	1701
Лексика — см. Фразеология.....	1599	Нежность.....	1703
Лень.....	1599	Некрологи.....	1707
Лесбийская любовь.....	1604	Ненависть.....	1707
Либерализм.....	1606	Неологизмы.....	1708
Литература.....	1606	Несостоявшееся церковное отлучение (анафема)	1713
«Литературные изгнанники».....	1608	«Неузнанный феномен».....	1714
«Литературные очерки».....	1612	Нигилизм.....	1715
Литературный фонд.....	1616	Нижегородская губернская мужская гимназия	1718
Лицо.....	1616	Нижний Новгород.....	1720
Ложь.....	1620	«Новое Время».....	1721
Лошадь.....	1621	«Новое религиозное сознание»	1727
Луна.....	1624		

«Новое Слово»	1733	Полиандрия.....	1861
Новозаветные темы	1733	Политика.....	1862
«Новый Путь»	1736	Полиция, полицейский — см. Городовой.....	1864
Нос.....	1738	Польша.....	1864
Ноуменальность, ноумен	1739	Пометы (характеристики).....	1869
Нравственность (мораль).....	1740	Понимание — см. «О понимании».....	1871
Нумизматика.....	1751	Поправки.....	1871
«О писательстве и писателях»	1757	Порнография.....	1872
«О подразумеваемом смысле нашей монархии».....	1757	Пороки.....	1874
«О понимании»	1758	Портрет.....	1876
Обезвельволпал.....	1762	Портреты Розанова.....	1881
Обоняние.....	1763	«Последние листья. 1916 год»	1883
«Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови».....	1765	«Последние листья. 1917 год»	1883
Обрезание.....	1767	Потенциальность	1884
Общество.....	1771	Похороны	1886
Обыск	1773	Поцелуй.....	1887
Овца	1774	Пошлость.....	1888
Огонь	1775	Правда — см. Истина.....	1890
Одежда.....	1778	Правительство.....	1890
«Одесский Листок».....	1779	Право.....	1891
Одиночество.....	1780	Православие.....	1896
Озирис	1781	Преступление	1898
«Около церковных стен».....	1782	Природа.....	1899
Оксюморон.....	1783	«Природа и история»	1901
Онанизм	1784	Провокация.....	1903
«Опавшие листья».....	1785	Прогресс.....	1905
Оптина Пустынь.....	1788	Просвещение.....	1906
Ораторство	1790	Проституция	1907
Осёл	1790	Протестантизм	1910
«Ослабнувший фетиш...».....	1791	Псевдонимы.....	1911
Памятник	1793	Психология	1912
Пантеизм.....	1797	Птицы.....	1914
Парламент — см. Государственная Дума	1801	Публицистика	1917
Партийность.....	1801	Пьянство.....	1920
Пасха.....	1808	Радикализм	1923
Педагогика	1810	Радость	1926
Первая мировая война	1814	Развод	1928
Первая русская революция.....	1818	Разврат	1932
Переводы	1822	Разночинцы	1934
Периодические издания.....	1824	Разум — см. Ум	1935
Песнь Песней	1828	Растение	1935
Петербург	1829	Рационализм	1937
Печаль.....	1833	Революция	1941
Печать.....	1834	Религиозно-философские собрания	1947
Писательство.....	1835	Религиозно-философское общество	1951
Письма.....	1837	Религия	1955
«Письма А.С. Суворина к В.В. Розанову».....	1839	«Религия и культура»	1959
Пища.....	1840	Республика	1962
Плач — см. Влага	1844	«Речь»	1963
Плодородие	1844	Рим	1964
Повседневность	1845	Родство	1964
Позитивизм	1846	Рождение	1965
Покой	1848	Рождество Христово	1965
Поколенная роспись — см. Елизаровы- Розановы	1850	Розанов в художественной прозе	1967
Пол.....	1850	Розановедение	1970
Пол и Бог.....	1857	Розановский кружок	2002
Полемические материалы.....	1860	Рок.....	2003
		Россия	2006
		Рот	2012

«Рукописность души»	2013	Стиль	2164
Рукопись	2015	Страдание	2171
Русская идея	2016	Страсть	2174
Русская литература	2019	Страх	2175
«Русская Мысль»	2023	Студент	2177
«Русская церковь и другие статьи»	2023	Стыд	2179
«Русский Вестник»	2024	Суббота (у евреев)	2180
«Русский Труд»	2027	Суд	2182
Русский человек	2031	Судебный процесс 1912 года	2183
«Русское Богатство»	2035	Судьба	2184
«Русское Обозрение»	2036	«Сумерки просвещения»	2186
«Русское Слово»	2038	Супруги	2190
Русско-японская война	2040	Счастье	2191
«Русь»	2042	Тайна	2197
Самодовольство	2043	Талант	2199
Самоубийство	2044	Талмуд	2201
Саров	2046	Танцы	2202
Сатира	2048	Творчество	2204
«Сахарна»	2049	Театр	2206
«Свет»	2049	Текстология	2209
Свинья	2051	«Темный Лик» – см. «В тёмных религиозных лучах»	2211
Свобода	2051	Тема	2211
Священник	2055	Террор	2213
Сексуальность	2058	Тишина – см. Молчание	2217
Сектанство, секта	2059	«Л.Н. Толстой и Русская Церковь»	2217
«Семейный вопрос в России»	2068	Тон – см. Интонация	2218
Семья	2072	«Торгово-Промышленная газета»	2218
Семя	2076	Троице-Сергиева лавра	2218
Сергиев Посад	2077	Труд	2220
Серебряный век	2078	Тщеславие	2221
Сила	2079	«Уединённое»	2223
Симбирск	2080	Ум	2227
Симбирская губернская гимназия	2081	Университет	2231
Символ, символизм	2084	Урнинг – см. Гомосексуализм	2233
Синод	2086	Усталость	2233
Синтаксис	2087	Утилитаризм	2233
Скульптура	2092	Утопия	2237
Слава	2102	Учитель	2239
Славянофильство	2102	Фаллос, фаллизм	2243
Славянство	2113	Февральская революция	2245
«Слово»	2114	Философия	2248
Смертная казнь	2115	Фольклор	2251
«Смертное»	2117	Фразеология	2255
Смерть	2117	Франция	2258
Смех	2124	Французская революция	2261
Собака	2126	Фреска	2262
Соборность	2129	Хаос	2265
Совесть	2131	Характеристики – см. Пометы	2265
Совокупление	2133	Хитрость	2266
Современная литература	2136	Холод	2267
Сознание	2138	Христианство	2267
Солнце	2139	Царь	2273
Сон	2146	Цветок	2277
Сострадание	2147	Целомудрие	2281
Социализм	2148	Целостность творчества	2283
Справедливость	2157	Цензура	2284
«Среди художников»	2158	Церковь	2285
Старообрядчество	2159	Цивилизация – см. Культура	2290
Старость	2162		

Циклы	2290	Элевзинские таинства	2324
Цинизм	2290	«Эмбрионы»	2327
Цитата	2291	Эмиграция	2328
Частная жизнь	2293	Энтелехия	2331
Человек	2293	«Энтелехия»	2332
Черниговский скит	2294	Эпиграф	2333
«Чёрный огонь»	2295	Эрмитаж	2335
Честь	2295	Эрос	2337
Чиновничество, чиновник	2297	Эссеистичность	2337
Читатель	2300	Эстетика	2339
Чтение	2302	Юбилей	2341
Чувственность	2306	«Юдаизм»	2342
Чувство	2307	Юродство	2343
Чужой текст	2308	Язык	2349
Шаблон	2311	Язычество	2351
«Шахразада»	2313	Японская война — см. Русско-японская война	2352
Шестидесятники XIX века	2314		
Школа	2318	Летопись жизни и творчества В.В. Розанова	2353
Эгоизм	2323	Указатель имен	2361
Экология — см. Природа	2324	Авторы статей	2419

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Творчество русского писателя и мыслителя Василия Васильевича Розанова (1856–1919) представляет собой своеобразную энциклопедию духовной жизни России конца XIX — начала XX столетия. Понимание В.В. Розановым общественной ситуации в России, ощущение грядущей катастрофы было настолько глубинным и точным, что его творчество стало ценностной системой, через которую можно рассматривать периоды цивилизационных надломов, прогнозировать их перспективы. Книги Розанова читаются как выражение российских тем и проблем, сохраняющих свою значимость и в наше время.

Настоящая «Розановская энциклопедия» («РЭ») имеет целью подытожить достижения розановедения к началу XXI века и стать в известной мере путеводителем по обширному розановскому наследию. В отечественной энциклопедистике образцом для настоящего издания является «Лермонтовская энциклопедия» (М., 1981), подготовленная Институтом русской литературы (Пушкинский Дом). Первый заговорил о необходимости энциклопедии розановских понятий П.А. Флоренский в письме к Розанову 27 января 1912 г.

Энциклопедия состоит из двух разделов. В первый входят персоналии (по алфавиту): статьи о современниках и исторических персонажах. Второй раздел составляют темы творчества Розанова, статьи общего характера, сведения о книгах Розанова, а также о газетах и журналах, в которых он печатался (расположение материалов тоже алфавитное). Нетрадиционные названия некоторых статей связаны с розановскими понятиями о человеке и его душе, семье и поле, о Боге и обществе. Перечень тематических статей такого рода в значительной степени определен самим Розановым в Указателе понятий ко второму коробу (тому) его книги «Опавшие листья». Наряду с аналитическими статьями в тематической части преобладают антологические статьи, представляющие собой подбор наиболее важных и ярких высказываний Розанова или его современников по данной проблеме. Еще Зинаида Гиппиус говорила, что пересказывать Розанова бесполезно: «Равных по точности слов не найдешь». Поэтому предоставляется возможность самому писателю высказать свою мысль и чувства.

В статьях «РЭ» не приводятся сведения общего характера, которые можно найти в энциклопедических

справочниках. Отбор материала всецело ориентирован на освещение жизни и творчества Розанова. Например, в статье «Америка» представлено отношение к ней Розанова, в статье «Гоголь Н.В.» — восприятие и оценки Розановым творчества этого писателя. В «РЭ» включены статьи о географических пунктах, связанных с биографией писателя: Ветлуге, Костроме, Симбирске, Нижнем Новгороде, Москве, Петербурге, Сергиевом Посаде, Берлине, Мюнхене, Риме и др.

При подготовке «РЭ» использованы архивы Розанова в России (Москве, Петербурге, Костроме, Брянске, Липецке, Смоленске), США, Чехии и др. Фамилия Розанова в статьях обозначается буквой Р. (в цитатах без сокращения). Другие фамилии или термины, начинающиеся на эту букву, даются в «РЭ» без сокращений. Цитаты текстов Розанова, как правило, приводятся по Собранию сочинений В.В. Розанова, выпускаемому московским издательством «Республика» в 30 томах (вышло 26 томов), а также другим изданиям (см. Список сокращений). В цитатах разделение на абзацы и шрифтовые выделения не сохраняются, но остается розановское написание некоторых слов и имен (Крапоткин, Коммиссаржевская, Карташов и др.). Некоторые цитаты уточнены по архиву рукописей Розанова. *Курсив* используется для обозначения отсылки к другим статьям, в связи с чем авторский курсив в цитатах не сохраняется. Выделенные курсивом слова позволяют видеть широту охвата понятий и имен, включенных в Энциклопедию. Библиография указывается в тексте статьи. Новейшие работы о Розанове представлены в статье «Розановедение» и в текстах других статей не отмечаются. Если при цитате автор книги или статьи указан в тексте, то в источнике в скобках название книги или статьи дается в кавычках без повторения фамилии автора. Ударения в «черных словах» (заглавиях статей), принятые в энциклопедиях, проставляются везде, кроме односложных слов. «РЭ» содержит 840 персональных и 525 тематических статей.

Научно-исследовательская работа по созданию «Розановской энциклопедии» осуществлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 04-04-00230а; издательский проект 07-04-16001д).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

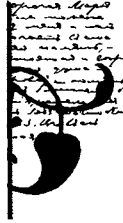
(в библиографических данных)

- АНВ** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Апокалипсис нашего времени. М.: Республика, 2000 (т. 12).
- АФ** — Архив священника Павла Флоренского (Москва).
- БВ** — Богословский Вестник. Сергиев Посад, 1892–1918.
- Б.д.** — без даты.
- Б.и.** — без издательства.
- Б.н.** — без номера.
- Б.п.** — без подписи.
- Б.ш.** — без шифра.
- ВВ** — Вешние Воды. СПб., 1913–1918.
- ВДЯ** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Во дворе язычников. М.: Республика, 1999 (т. 10).
- ВЕ** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Возрождающийся Египет. Апокалипсическая секта (Хлысты и скопцы). Малые произведения 1909–1914 годов. М.: Республика, 2002 (т. 14).
- ВМНН** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. В мире неясного и нерешенного. Из восточных мотивов. М.: Республика, 1995 (т. 6).
- ВНС** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. В нашей смуте. Статьи 1908 г. Письма к Э.Ф. Голлербаху. М.: Республика, 2004 (т. 17).
- ВРХД (ВРСХД)** — Вестник Русского Студенческого Христианского Движения. Париж, 1925–1990. Далее Париж, Нью-Йорк, Москва.
- ВТРЛ** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. В темных религиозных лучах. Русская церковь и другие статьи. М.: Республика, 1995 (т. 3).
- ВФП** — Вопросы Философии и Психологии. М., 1889–1918.
- ВЧВ** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. В чаду войны. Статьи и очерки 1916–1918 гг. М.: Республика; СПб.: Росток, 2008 (т. 24).
- Г** — Гражданин. СПб., 1872–1914.
- ГАБО** — Государственный архив Брянской области.
- ГАКО** — Государственный архив Костромской области.
- ГАЛО** — Государственный архив Липецкой области.
- ГАРФ** — Государственный архив Российской Федерации (Москва).
- ГАУО** — Государственный архив Ульяновской области.
- ГЛМ** — Государственный литературный музей (Москва).
- Голлербах** — *Голлербах Э. В.В. Розанов.* Жизнь и творчество. Пг.: Полярная звезда, 1922.
- ЖМНП** — Журнал Министерства Народного Просвещения. СПб., 1834–1917.
- ЖТЛХО** — Журнал Театра Литературно-Художественного Общества. СПб., 1907–1910.
- ЗПРФО** — Записки С.-Петербургского Религиозно-философского общества. СПб., 1914. Вып. 4.
- ЗПРФС** — Записки петербургских Религиозно-философских собраний. 1901–1903. М.: Республика, 2005.
- ЗР** — Золотое Руно. М., 1906–1909.
- ЗРП** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Загадки русской провокации. Статьи и очерки 1910 г. М.: Республика, 2005 (т. 20).
- ИЗИН** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Иная земля, иное небо...: Полное собрание путевых очерков 1899–1913 гг. М: Танаис, 1994.
- ИМЛИ** — Институт мировой литературы РАН.
- ИРЛИ** — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
- К** — Колокол. СПб., 1905–1917.
- КНУ** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Когда начальство ушло... 1905–1906 гг. Мимолетное. 1914 год. М.: Республика. 1997 (т. 8).
- КУ** — Книжный угол. Пб., 1918–1922.
- ЛВИ** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. М.: Республика, 1996 (т. 7).
- ЛЖ** — см. РЛЖ.
- ЛИ** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов. К.Н. Леонтьев. М.: Республика. 2001 (т. 13). ЛИ, 1913 — то же. СПб., 1913.
- ЛН** — Литературное наследство.
- М** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Мимолетное. 1915 год. Чёрный огонь. 1917 год. Апокалипсис нашего времени. М.: Республика, 1994 (т. 8).
- МВ** — Московские Ведомости. М., 1756–1917.
- МДА** — Московская духовная академия.
- МИ** — Мир Искусства. СПб., 1899–1904.
- МЛ** — *Розанов В.В.* Мысли о литературе. М.: Современник, 1989.
- НВ** — Новое Время. СПб., 1868–1917.
- НВип** — Новое Время. Иллюстрированное приложение. СПб., 1891–1917.
- НП** — Новый Путь. СПб., 1903–1904.
- НР** — Воспоминания Надежды Васильевны Розановой // ЛЖ. 2000. № 13/14. С. 3–185.

- НФП** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. На фундаменте прошлого. Статьи и очерки 1913–1915 гг. М.: Республика; СПб.: Росток, 2007 (т. 23).
- ОНД** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Около народной души. Статьи 1906–1908 гг. М.: Республика, 2003 (т. 16).
- ОП** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. О понимании. М.: Танаис, 1995.
- ОПП** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. О писательстве и писателях. М.: Республика, 1994 (т. 4).
- ОР ИРЛИ** — Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
- ОР РГБ** — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки.
- ОР РНБ** — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (СПб.).
- ОСЖС** — *Розанов В.В.* О себе и жизни своей. М.: Московский рабочий, 1990.
- ОЦС** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Около церковных стен. М.: Республика, 1995 (т. 3).
- ПИ** — *Розанов В.В.* Природа и история. 2-е изд. СПб.: тип. М. Меркушева, 1903. ПИ, 1900 — то же. СПб., 1900.
- ПИРЛ** — Проблемы источниковедческого изучения истории русской и советской литературы. Сборник научных трудов РО ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1989.
- ПЛ** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Последние листья. 1916 год. 1917 год. Война 1914 года и русское возрождение. М.: Республика, 2000.
- ПВ** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Признаки времени. Статьи и очерки 1912 г. Письма А.С. Суворина к В.В. Розанову. Письма В.В. Розанова к А.С. Суворину. М.: Республика, 2006 (т. 22).
- ПР** — ОР РНБ. Ф. 631. С.А. Рачинский. Письма к нему.
- ПСС** — Полное собрание сочинений.
- ПССП** — Полное собрание сочинений и писем. Р. — В.В. Розанов.
- РВ** — Русский Вестник. М.; СПб., 1856–1906.
- РГАЛИ** — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).
- РГБ** — Российская государственная библиотека.
- РГВИА** — Российский государственный военно-исторический архив.
- РГИА** — Российский государственный исторический архив (СПб.).
- РГО** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Русская государственность и общество. Статьи 1906–1907 гг. М.: Республика, 2003 (т. 15).
- РЛЖ** — Российский литературоведческий журнал (с 2000 г. «Литературоведческий журнал»).
- РМ** — Русская Мысль. М., 1880–1918.
- РО** — Русское Обозрение. М., 1890–1898, 1901, 1903.
- РС** — Русское Слово. М., 1894–1917.
- РТ** — Русский Труд. СПб., 1897–1898.
- РФК** — *Розанов В.В.* Религия. Философия. Культура. М.: Республика, 1992.
- РФО** — Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (1907–1917).
- РФС** — Религиозно-философские собрания в Санкт-Петербурге (1901–1903).
- СВР** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Семейный вопрос в России. М.: Республика, 2004 (т. 18).
- СМР** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Старая и молодая Россия. Статьи и очерки 1909 г. М.: Республика, 2004 (т. 19).
- СОЧ** — *Розанов В.В.* Сочинения. М.: Советская Россия, 1990.
- СП** — *Розанов В.В.* Сумерки просвещения. М.: Педагогика, 1990.
- Спасовский** — *Спасовский М.М.* В.В. Розанов в последние годы жизни. Среди неопубликованных писем и рукописей. 2-е изд. Нью-Йорк: Всеславянское издательство, 1968.
- СПБДА** — Санкт-Петербургская духовная академия.
- СХ** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Среди художников. М.: Республика, 1994 (т. 1).
- СХР** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Сахарна. Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови. М.: Республика, 1998 (т. 9).
- ТПГ** — Торгово-Промышленная Газета. Литературное приложение. СПб., 1893–1917.
- ТПРН** — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Террор против русского национализма. Статьи и очерки 1911 г. М.: Республика, 2006 (т. 21).
- ТР** — *Розанов Т.* «Будьте светлы духом» (Воспоминания о В.В. Розанове). М.: Blue Apple, 1999.
- У** — *Розанов В.В.* Уединенное. М.: Политиздат, 1990.
- ЦГИАМ** — Центральный государственный исторический архив Москвы.
- ЦОЖ** — Церковно-Общественная Жизнь. Казань, 1905–1907.
- ПРО** — В.В. Розанов: Pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб.: РХГИ, 1995. Кн. 1–2.

I

ПЕРСОНАЛИИ



А

АБРАМОВИЧ Николай Яковлевич [29.10(10.11).1881, Таганрог — март 1922, Москва] — критик, прозаик, публицист. В статье «Г-н Н.Я. Абрамович об “Улице современной печати”» (К. 1916. 12 февр.) Р. писал о его книге «Улица современного движения» (Пг., 1916), посвященной современной массовой литературе: «В XVIII веке развилась “литература салонов”, с Дидро, д’Аламбером, Гельвецием, Мопертюи, Гольбахом и другими во главе. Понятие “литературы улицы” лежит на противоположном конце этого. В строе, в духе, в теле — все другое, противоположное. “Улица” — поверхностна, не глубока, впечатлительна короткими впечатлениями, реагирует исключительно на резкое и яркое. Ей некогда вдумываться, и она не вдумывается ни во что сложное и углубленное; она не замечает ничего тихого и скромного» (ОПП, 631). Р. приводит слова А. о так называемой «левой прессе», способствовавшей появлению «уличной литературы»: «У нас издавна установилось такое положение вещей, что малейшее указание на грехи радикальной прессы и радикальных общественных групп влечет за собой обвинение в ретроградстве и черносотенстве. Аргументация оппонентов заменяется выпадом и обвинением в защите черных дел черносотенства» (ОПП, 633). О двух памфлетах А. говорится в статье Р. «Что разумелось само собою...» (МВ. 1916. 17 февр.; ВЧВ). В книге А. «В осенних садах: Литература наших дней» (М., 1909) речь идет о своеобразном слиянии в «учении Розанова» эллинизма, христианства и иудаизма: «Сделав Библию основой, проникнувшись грубой, чисто человеческой мощью идеи иудаизма, подышав воздухом первобытных полей, где паслись стада Авраама, Розанов оригинально и дерзко слил с этим миром видоизмененное им, сенсуализированное христианство и жизнерадостный пантеизм древнего грека <...> Розанов восстает против христианского понятия брака, только лишь терпимого Евангелием, утверждая самодовлеющую его святость, не во имя освящения его церковью, а во имя связи его с первоначальной мистической основой самой жизни. Жизнь выше и больше церкви — вот выводы из положений Розанова» (с. 165, 169). В книге «“Новое Время” и “соблазненные младенцы”» (Пг., 1916) А. писал об особом положении Р. в суворинской газете: «Он не нововременец, несмотря на то, что работал в “Новом Времени” Но закал его личности, его писательского и человеческого “я” не таков, чтобы на него могла иметь хоть малейшее влияние та атмосфера чиновиничьего шумного убожества, которая царилла в редакции этой газеты. Со

своей стороны и он со своими темами всегда был там “чужим”, взаимно отталкиваясь с сотрудниками этой газеты, которых он тайно, конечно, презирал. В “Новом Времени” лишь небольшая часть Розанова, и к тому же он даже и сюда ухитряется приносить свои монеты, свою нумизматику, свои увлечения тайнами, интимными и сложнейшими темами религии, философии и жизни» (PRO, 2, 220). Особенно подчеркивал А. целостность внутреннего мира Р. при кажущейся пестроте его мыслей: «Афористическая форма его “Уединенного” и “Опавших листьев” знаменует только тайную цельность внутреннего “я”, оказывающуюся внезапно и мгновенно и фиксируемую в этих случаях и интимных проявлениях. Из-под спуда вырываются эти отдельные идеи, за каждую он отвечает, как за органическую идею своего мирозерцания» (PRO, 2, 221–222). В начале 1918 А. пригласил Р. сотрудничать в новой московской газете «Свобода», но уже 22 февраля сообщил Р., что из-за большевистской цензуры газета «замерла» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 338. Л. 2). Тем не менее А. надеялся «организовать в Москве журнал, в котором центральное место займет Ваш материал» (там же). 9 (22) мая А. писал Р.: «Обстоятельства резко изменились. Газета наша закрылась, и вместо ожидаемого перехода в журнал возникла пустота, отсутствие всего: и живого дела, и заработка» (Там же. Л. 3). В последнем письме из Москвы 30 июля А. касается взглядов Р. на еврейство и заключает: «По существу Вы — весь в Боге и правде и можете сколько угодно растекаться желчью и грязью по земле. Все равно: Вы оправданы и искуплены Вашим сущностным <...> В современной литературе, после смерти Чехова, я верю только в Ваше такое знание» (Там же. Л. 5).

А.Н.

АВВАКУМ Петрович (1620/1621, село Григорово, Закудемский стан, Нижегородский уезд — 14.4.1682, Пустозерск, Архангельский край) — глава старообрядцев, протопоп, писатель. Р. вспоминает о настроениях студенчества Московского университета: «Потом университет. “У них была реформация, а у нас нечесанный поп Аввакум” Там — римляне, у русских же — Чичиковы. Как не взять бомбу; как не примкнуть к партии “ниспровержения существующего строя”» (У, 266). А.М. Ремизов высоко ценит «живой», «изустный», «мимический» стиль и синтаксис А. и Р. В статье памяти Р. «Воистину» (Версты. Париж. 1926. № 1) Ремизов писал, что «вяканье» А., его «русский природный язык» и «ро-

зановский стиль» — одного *корня*. «Во дни протопопа этот простой “русский природный язык” (со своими оборотами, со своим синтаксисом “сказа”) в противоположность высокой книжно-письменной речи “книжников и фарисеев” в насмешку, конечно, и презрительно называли “вяканьем” (так про *собак*: лаёт, вякает), как ваше “розановское” зовется и поныне в академических кругах “*юродством*»» (PRO, 2, 354).

А.Н.

АГГЕЕВ Константин Маркович [28.5(9.6).1868, Тульская губ. — 1921, Крым, расстрелян] — протоиерей, магистр богословия и духовный писатель, участник *Религиозно-философских собраний* и один из организаторов петербургского *Религиозно-философского общества* (РФО). Расстрелян как «контрреволюционер» после занятия Крыма Красной армией. На доклад *С.А. Аскольдова* «О старом и новом религиозном сознании», прочитанный 3 октября 1907 в РФО, Р. написал реферат с возражениями на тему «О нужде и неизбежности нового религиозного сознания». С вопросами к автору реферата обратился священник А., который пытался выяснить, «почему Розанов считает *христианство* неудавшимся и <что> он понимает под *Церковью* — один только клир или и верующих мирян. Но ответы Розанова только запутали дело. Оказалось, что он нападает только на клир, но смешивает его с Церковью нарочно. “Нужно начать жестко судить, иначе мы не получим правды”» (*Живая Жизнь*. 1907. № 1. С. 60). В статье «На чтении гг. *Бердяева* и *Тернавцева*» (НВ. 1909. 12 марта; СМР) Р. похвалил возражение А., высказанное В.А. Тернавцеву, выступавшему 10 марта 1909 в РФО с докладом «Империя и христианство». А. «возразил докладчику, что он напрасно выдвигает универсальность как что-то ценное и важное в христианстве: христианство есть главным образом *жизнь личной души*, есть *судьба* и трагедия индивидуальной совести. Христианство все индивидуально» (НВ. 1909. 12 марта). *Письмо* А. к Р. от 14 октября 1909 с просьбой о рецензии сопровождало его книгу «Христианство в его отношении к благоустроению земной жизни. Опыт критического изучения и богословской оценки раскрытого *К.Н. Леонтьевым* понимания христианства» (Киев, 1909). Книга была представлена в качестве магистерской диссертации по богословию (защита 15 марта 1909), и А. просил поддержки для одобрения ее членами *Св. Синода*, среди которых бытовало сомнение, «представляет ли собою Леонтьев достаточно важное явление, чтобы можно было писать о нем богословскую книгу, да еще с претензией на ученую степень» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821, Ед. хр. 1. Л. 2). В своем исследовании А. утверждал, что эстетизм Леонтьева и полное отрицание им прогресса не согласуется с христианским миропониманием, и писал: «Антихристианство В.В. Розанова прошло через *К.Н. Леонтьева*, и первый не может быть понят без второго в своей литературной деятельности последнего десятилетия... И конечно, если прав *К.Н. Леонтьев* в своем понимании христианства, то понятен и *В.В. Розанов* в своих упреках той *религии*, от которой, по его выражению, “мир прогоркл”» (с. 326–327). А. продолжал поучать Р. со страниц своей книги: «К удивлению, в последние дни и такой серьезный по своему душевному складу противник христианства, как *В.В. Розанов* в одной из своих

статей, посвященной СПб. законоуч. съезду (*Новое Время*. 1909. Июль), в мимолетных строках присоединяется к общему легкомысленному отношению к догматическим спорам прошлого» (Там же, 249). Подчеркивая серьезный характер магистерского исследования, Р. отмечал в 1911: «Это уже не кое-что беглое, а фундаментальный *труд*, который не пропадет из библиотеки» («К 20-летию кончины *К.Н. Леонтьева*» // НВ. 1911. 12 нояб.; ОПП, 553). Р. пытался перевести споры о Леонтьеве в иную плоскость: «Спорят (свящ. Аггеев), был ли он христианин или язычник. Из двух “взаимно зачеркивающих половин” его истинным и главным остается, конечно, его “натура”, его “врожденное”» (У, 192). Во время суда над Р. в РФО из-за позиции писателя, занятой им в деле *Бейлиса*, А. признал, что «суд над В.В. Розановым <...> религиозно допустим», поскольку «судится откровенно от личности его деятельность, получившая значение объективного факта (литературная деятельность)» (ЗПРФО, 26). Он обвинял Р. в «практическом аморализме и совершенно презрительном отношении к обществу» (Там же, 28). В своем выступлении А. сделал заявление: «Розанов — открытый враг христианства — мой сотоварищ в работе Общества. Розанов — ортодоксал последних лет — нестерпим для меня, потому что исповедует «*национализм*, который заключает в себе ненавистничество к другим нациям, к другим народам» (Там же, 29). 26 января 1914 А. настаивал на резкой форме «осуждения» религиозного мировоззрения Р. и признании его участниками заседания «глубоко противоречащим христианству» (Там же, 65). Опасность скатиться к суду инквизиции смутила даже организатора заседания РФО *Д.С. Мережковского*, который выступил против предложения А. Прочитав 8 февраля 1914 «Речь Аггеева» в РФО, Р. дал отрицательный отзыв о деятельности оратора, представив его нарушителем *тайны* исповеди, «либеральным и даже жидовствующим» пастырем (КНУ, 214).

А.В. Ломоносов

АДАМОВИЧ Антон Флорианович — публицист, коллежский секретарь эксплуатационного отдела Министерства путей сообщения, вместе с Р. сотрудничал в середине 90-х в «*Русском Обозрении*». Р., составив 15 марта 1899 завещание, назначил А. своим душеприказчиком. Автор *писем* к Р. 1899–1914. Р. высоко ценил цикл его статей «О бюрократизме», печатавшийся в том же журнале (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 41), и воспроизвел основные вехи необычной биографии А. в статье «Вечная память. (24 января — 27 июля 1896)». «[Адамович] рассказал мне жизнь свою, полную приключений и случайностей: об оставлении *университета* за участие в беспорядках, бегстве за границу, черной работе в *Берлине*, участии в Парижской коммуне 70-го года, где был ранен; наконец о лечении где-то около Нишцы, издании в Праге славянофильского журнала (кажется, “Славянский Мир”), и, наконец, — новом бегстве на родину “от тоски”, где был немедленно схвачен, но благодаря 2–3 номерам “Славянского Мира”, найденным при нем, был скоро выпущен» (ЛИ. 1913. С. 469). В 1914 Р. дал А. *характеристику*: «Адамович. Очень симпатичен; всегда расстегнуты штаны. Благороден. Был радикал. Любит свою Олимпиаду Григорьевну, швейку, его нередко содержавшую своим *трудом* (жена)» (ЛЖ. 2000. № 13/14).

Ч. 1. С. 95). На следующий год Р. сделал запись к его письму: «Адамович Антон Флорианович. Чудесный человек. Святой. О „бюрократии“» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 340). Письмо А. сопровождало брошюру с публикацией первых рассказов его сына Анатолия, которому Р. дарил детские книги в гимназическую пору.

А.В. Ломоносов

АЗЕФ (Азев) (Евно Фишелевич) Евгений Филиппович (1869, местечко Лысково, Гродненская губ. — 24.4.1918, Берлин) — провокатор, агент осведомительной службы. Р. считал, что А. и азефовщину подготовила вся деятельность нигилистов и демократической прессы. В статье «Между Азефом и „Вехами“» он писал: «Как это могло случиться? А как бы этого не случилось, когда к этому все вело? Над великой ролью „Азефа в революции“, „введения Азефа в социал-демократию“ работали все время „Современник“, „Русское Слово“, „Отечественные Записки“, „Дело“, „Русское Богатство“ Ему стлали коврик под ноги Чернышевский, Писарев, критик Зайцев, публицист Лавров; с булавой, как швейцар, распахивал перед ним двери, стоя „на славном посту“, сорок лет, Михайловский... Столько стараний! Могло ли не кончиться все дело громадным, оглушительным результатом? <...> Азеф совершенно вплотную слился с нигилистами, и они никак не могли различить его от себя, потому что и сами имели это грубое, механическое, антиспиритуалистическое, антирелигиозное, антимистическое, антиэстетическое, антиделикатное сложение, как и он. Разница в калибре, в задушевности, в честности, в прямоте. Но впрочем, во всем остальном составе души, „убеждений“, „мировоззрения“, какая же разница между ним и ими? Никакой. Тон души один» (НВ. 1909. 20 авг.; СМР, 267–268). В статье «Почему Азеф-провокатор не был признан революционером?» Р. рассказал, как он у П.Б. Струве, только взглянув на групповую фотографию сотрудников журнала «Начало» 1890-х, сразу узнал по лицу провокатора А. На вопрос Струве: «Как вы угадали?» — Р. отвечал: «Да, как же не угадать, когда они ни на одного из вас не похож и, главное, смотрите, точно сторожит» (РС. 1909. 27 янв.; СМР, 43). Р. замечает, что А. — это «вечный жид», «которого не чуломским же революционерам было разглядеть» (КНУ, 290). Директор департамента полиции А.А. Лопухин выдал А. журналисту В.Л. Бурцеву, из чего Р. делает вывод, что директор департамента полиции «оказывал тайные услуги революции <...> Некоторые революционеры стали поступать в полицию; а некоторые полицейские стали смешиваться с революционной толпой. „И не различишь, который теперь Нечаев и который Азеф“ Обоим — друг Бакунин» (КНУ, 554–555). На примере А. ставится общий вопрос о судьбах и сущности русской революции, которая шла «азефовским порядком» (СХР, 172). «Радикализм прекрасен в наивном. Но чуть „поумнее“ — он начинает переходить в Азефа» (СХР, 194). А. для Р. гораздо больше, чем просто провокатор, работавший на две стороны, «на две руки»: «Да они все, оно всё, „еврейство в революции“, было коллективным Азефом, безличным Азефом: ибо по существу их цель — „передумать русских русскими же руками“ — есть просто задача исторического еврейства, которому что до „Ярослава Мудрого и Александра Невского и Сергея Радонежско-

го“?» (М, 151). «Революция уселась в кресло азефовщины», — пишет Р. Лишь немногие, очень немногие («славянофилы, — ну и раньше лица чекана Карамзина») отказались войти в нее. «Масса же грянулась в азефовщину. Как? Почему? „Что случилось“? Да очень просто. „Азефовщиной“ можно назвать всякое приглашение воевать в битве, о проигрыше которой никто не сомневается. Вот и сели. И Плеханов, и Крапоткин. „Вы также Азефы с большим самолюбием“ В то время как маленький Азеф чистосердечно сознал себе во всем и начал откровенно предавать, вы все не говорите вслух, что думаете, и продолжаете прикровенно предавать революционеров „на съеденье“ За ту „высокую роль“, какую играете в революции» (ПД, 204–205). Если революция — это предательство, то азефовщина — «куб предательства» (СХР, 222). Р. делает вывод: «Есть „изменники“ в бюрократии, в генералитете, но от Дегаева до Азефа все же одна революция дала такую уйму предательства, такую продажу за золото. Старые русские люди больше любят свою старую Русь, нежели новые русские люди любят свою революцию» (ОПП, 567).

А.Н.

АЙХЕНВАЛЬД Юлий Исаевич [12(24).1.1872, Балта, Подольская губ. — 17.12.1928, Берлин] — критик. Главный труд — трехтомные «Силуэты русских писателей» (М., 1906–1910), где нет литературного портрета Р. О нем критик написал три статьи — рецензию на сборники «Литературные очерки», «Религия и культура», «Природа и история» в журнале «Вопросы Философии и Психологии» (1900. № 52), рецензию на «Песнь Песней» в переводе А. Эфроса и с двумя статьями Р. — в журнале «Русская Мысль» (1909, № 8). Последней по времени была рецензия на второй короб «Онавших листьев» в газете «Утро России» от 22 августа 1915. Рецензия называется «Неопрятность» и полна упреков в нескромности Р., даже его лживости. Более сложным было отношение Р. к А. Когда в 1914 появилась брошюра А. «Спор о Белинском», являющаяся ответом на критику «силуэта» Белинского в вышеназванном трехтомнике А., Р. тоже включился в полемику своей статьей «Споры около имени Белинского». Не отрицая частичной правоты уничижительной критики А., который писал о Белинском: «Он никогда не был умственно-взрослым, по его натуре, переменичивой и восприимчивой, ему следовало бы только учиться, а он учил, — и в этом состояло тяжкое недоразумение литературной судьбы» («Силуэты русских писателей». М., 1994. С. 504), Р. подчеркивал и заслуги Белинского. Р. вспоминает, как когда-то еще гимназистом переписывал от руки обширную статью Белинского «Литературные мечтания»: «От Белинского пошел <...> русский „идейный человек“, горячий, волнующийся, спешащий, ошибающийся, отрекающийся от себя и вновь ищущий истины...» (ОПП, 590). Наибольшее количество высказываний Р. об А. находится в «Мимолетном». Они все негативные: «И наконец этот Айхенвальд. Красота. Дон-Жуан. Курсистки с ума сходят <...> Пишет как сам Пушкин. Правда — холодно, но кто разберет <...> Что же он пишет? „Силуэты“ Уже критика прошла. Не нужно! Пусть над „критикой“ трудятся эти ослы Скабичевские... Мы будем писать теперь „силуэты“, т.е. „так вообще“, — „портреты писателей“, „характеристи-

ки”, — причем *читатель*, — наш глуповатый русский читатель, — будет все время восхищаться характеризующим, а, конечно, не тем, кого он характеризует. И через это самый предмет, т.е. *русская литература*, почти исчезнет, испарится, а перед нею будет только Айхенвальд и его “силуэты”. И далее: «Ну, и ловок же жид. Как это он устроил. Нет больше русской литературы, а только везде Айхенвальд» (М, 326–327). Последнее по времени высказывание Р. об А. содержится в письме к Э.Г. Голлербаху от 26 октября 1918: «И наконец Айхенвальд, который — хоть и тяжело в этом сознаться русскому — написал все-таки прекрасные “Силуэты русской литературы” и положил прямо в лоск, — благодаря изяществу article'я — “первого мерзавца русской критики” — Белинского» (ВНС, 382). После 1917 отношение Р. к «еврейскому вопросу» резко изменилось. Может быть, в связи с этим изменилось и отношение Р. к А. Последним словом Р. было благословение А. и его «Силуэтов». В 1922 А. выслан из России.

С.Б. Джимбинов

АКВИЛО́НОВ Евгений Петрович [1861, Тамбовская губ. — 30.3 (12.4).1911, Петербург] — профессор кафедр введения в круг богословских наук Петербургской духовной академии, профессор богословия в Петербургском историко-филологическом институте в 1903–1910. В статье «Был ли И. Христос *евреем* по племени?» (НВ. 1906. 4 авг.; ОНД) Р. приветствовал обсуждение А. этого вопроса на страницах «Церковного Вестника» (1906. № 28–29). Вслед за А. он дал положительную оценку работе библиста Г.С. Чемберлена «Явление Христа» (СПб., 1906), которая утверждала положение о нееврейском происхождении И. Христа на основании евангельских текстов. Р. особо отметил, что «проф. Аквилонов более осторожно и вместе очень основательно предпосылает этому утверждению другое, библейское: что чистым евреем не был и пророк и царь Давид, “в роде которого должен был появиться Мессия”», переходя же «к евангельской части темы, к рождению И. Христа, проф. Аквилонов вполне следует Чемберлену» (ОНД, 62–63). Основываясь на *трудах* богословов, Р. заключил, что *Евангелия* «вовсе не семитические книги», поскольку они насквозь пронизаны арийским духом и арийской кровью (ОНД, 67). В чтениях В.А. Тернавцева на заседаниях *Религиозно-философских собраний*, посвященных учению о завершенности и непознаваемости *догмата*, А. был назван в одном ряду с Р. (НП. 1903. № 12. С. 490). В письме от апреля 1905 к Н.Н. Глубоковскому Р. дал нелестную *характеристику* А.: «В дух<овной> сфере, около этой *красоты*, есть прямо чудища (Аквилонов, Заозерский), и как они в “профессора” могли попасть — меня изумляет» (ПИРЛ, 35). В характеристике А. к его *письмам* Р. записал: «Претензии и ограниченность» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 80). В письме к Р. от 30 августа 1906 А. просил отрецензировать его брошюру «Иудейский вопрос: О невозможности предоставления полномочия русским гражданам из иудейского народа» (СПб., 1907) (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 2. Л. 2). Просьба была исполнена, но своеобразно. Рецензирование сочинений А. переросло в полемику: «Я не полемизирую, а как-то только плачу над кучкой книжек, любезно мне присланных профессором и протоиереем Петербургской

духовной академии г. Аквилоновым». Иронизируя над слабой академической образованностью профессора, рецензент осудил оправдание А. *смертной казни* и понимание национального вопроса. Р. затронул также полемику с А. проф. В.А. Соколова в «*Богословском Вестнике*» и снабдил свой обзор обширными цитатами из сочинений А. («В своем углу (О прочитанном)» // ЦОЖ. 1906. 22, 29 сент. № 40–41). Р. писал о шести книгах А. 1905–1907: «Христианство и современные события», «Об истинной *свободе* и нравственном долге (По поводу Высочайшего манифеста от 17 окт. 1905)», «Следует ли православному *духовенству* служить панихиды над иноверцами», «Ответ на статью г-на В.И.: Библия и смертная казнь», «О недозволительности служения православным *духовенством* панихид в храмах по усопшим иноверцам-христианам», «О Спасителе и спасении. Иудейский вопрос. О невозможности предоставления полномочия русским гражданам из иудейского народа».

А.В. Ломоносов

АКСА́КОВ Иван Сергеевич [26.9(8.10).1823, Куроедово (Надежино), Белебеевский уезд, Оренбургская губ. — 27.1(8.2).1886, Москва] — поэт, публицист, брат К.С. Аксакова, издатель славянофильского направления. В студенческие годы Р. одним из факторов, повлиявших на становление его православно-славянофильских взглядов, было чтение выходившей тогда аксаковской газеты «Русь» (1880–1886). Р. ценил религиозную направленность *газеты* А.: «Была “Русь” Аксакова, в каждом еженедельном номере говорившая о *Боге*» (ОПП, 330). Р. преимущественно положительно отзывался о *славянофильстве*. Однако он не включает А. в число ведущих представителей этого течения, ставя его в ряд «меньших и позднейших». Р. пишет: «Роль всех их в славянофильстве была гораздо меньшая: они не разветвили, не усложнили, не углубили этого учения, они его оподорожили, применили ко множеству частных» (ЛВИ, 251). В статье «О борьбе с Западом в связи с литературной деятельностью одного из славянофилов» (ВФП. 1890. № 4) Р. останавливается на «участливом внимании» Н.Н. Страхова «к судьбам славянофильской партии» и называет его статью «Поминки по И.С. Аксакове» одной из лучших в сборнике «Борьба с Западом в нашей *литературе*» (ЛВИ, 227). Сетую на недостаточное распространение славянофильских идей, Р. часто объяснял это гонениями на славянофильские издания. Он недоумевает в «*Опавших листьях*»: «Почему *Благосветлов* с “Делом” не был гоним, а Аксаков с “Парусом” и “Днем” — гоним был?» (У, 243). Р. отмечает, что «в Московском учебном округе канцелярией попечителя учебного округа было циркулярно сделано распоряжение о невыписке гимназистами “Руси” Аксакова, при полной, конечно, свободе выписывать “*Вестник Европы*” и “*Дела Стасюлевича* и *Благосветлова*» (СОЧ., 490). Р. признавал важное значение публицистической деятельности А. в период после кончины первых славянофилов и после убийства *Александра II* в 1881 (ЛВИ, 162). В то же время, отмечая благородство личности А., Р. нередко негативно оценивал содержание его сочинений с их либерально-патриотической риторикой, «напыщенным *народничеством*» («Письмо в редакцию» // Северный Вестник. 1897. № 4. С. 89). В статье «Один из “стаи славной”», посвя-

щенной К.С. Аксакову, Р. отзывается о его брате как о «знаменитом московском витии» (ОПП, 606). Р. не находил у либерального А., в отличие от своего кумира — консерватора *К.Н. Леонтьева*, — отклика на наиболее близкие ему идеи. Уже в ранней статье «Европейская культура и наше отношение к ней» (МВ. 1891. 16 авг.) Р. писал, что Леонтьев исходя из идеи, что всякий прогресс есть зло, выступал противником идеи освобождения славянства, над политической стороной которой так много работал А. (ЛВИ, 181). Упомянув об интересе Леонтьева к теократическим мечтам *Вл. Соловьёва*, Р. отметил, что «вкуса к ним никогда не чувствовали ни *Катков*, ни *Ив. Аксаков*» (ЛВИ, 467). Указывая на малое практическое влияние славянофилов, Р., в частности, отмечает, что «*Данилевский* и *И.С. Аксаков* ничем не обмолвились против педагогического прессы, надавившего на всю *Россию*. А витии были великие» (ЛВИ, 448). В 1897 Р., поссорившись с петербургским кружком эпигонов славянофильства и желая отмежеваться от них, писал *Л.П. Перцову*: «Вам, батюшка, надо выплюнуть все славянофильство, особенно в его заключительной фазе, с безголовым болтуном *Ив. Аксаковым* во главе» (СОЧ, 489). Вскоре он несколько смягчил свою точку зрения, оставаясь, однако, при прежнем мнении об А.: «Конечно, о славянофилах я увлекся: в них только закваску либеральную я ненавижу, но и консерватизм русский без них — какую же бы мысль хранил в себе? что охранял бы? Славянофилы для нашего исторического сознания положили драгоценное зерно; в навоз действительности положили жемчужину. Но *Ив. Акс.* в этом не принимал почти участия» (Там же, 491–492). В 1898 Р. отмечал, что произведения публицистов, в частности А., не пользуются спросом читателей: «Сочинения *И.С. Аксакова* изданы — и лежат неподвижно в магазинах, в то время как “Семейная хроника” его отца спрашивается сегодня, как спрашивалась и на другой год ее появления», и делает вывод: «Общество не любит и не хочет публицистики» (ЛВИ, 345).

В.А. Фатеев

АКСАКОВ Константин Сергеевич [29.3(10.4).1817, Ново-Аксаково, Бугурусланский уезд, Оренбургская губ. — 7(19).12.1860, о. Занте, Греция] — писатель, поэт, критик, брат *И.С. Аксакова*, один из теоретиков славянофильства. Р. высоко ценил творческое наследие А. как одного из ведущих славянофилов — предшественника направления, которое считал наиболее отвечающим духовным нуждам русского народа. А., вместе с *И.В. Киреевским* и *А.С. Хомяковым*, по мнению Р., выраженному в статье «*Н.Я. Данилевский*» (НВ. 1895. 14 февр.), «заложили это драгоценное, неразрушенное и, мы убеждены, неразрушимое ядро славянофильской доктрины» (ЛВИ, 246). В этой же статье Р. дает развернутую характеристику взглядов и трудов А. Особенно выделяет Р. его критический разбор «*Истории России*» *С.М. Соловьёва*; он, как и А., считает, что общинное начало проникает всю русскую историю, как родовое — западную, и раскрывает на основе сочинений А. идею вечевоего строя Древней Руси и понятие «земли» в отношении народа и государства, соглашаясь с А., что в этих отношениях отражается «высшее начало *соборности*, согласия, любви» (Там же, 250). Р. нередко противопоставлял общим местам «за-

падников» силу и глубину сочинений славянофилов, их преданность возвышенной идее, благородство их поступков: «Где у них эта страстность и чистота убежденности, какие есть у Константина Аксакова?» (ЛВИ, 179). Основная часть высказываний Р. об А., как и о других славянофилах, — сетования по поводу его недостаточной известности, отсутствия изданий его книг, неумелое выражение им, как и другими славянофилами, своих благородных и глубоких идей. В статье «Один из “стаи славной”» (НВ. 1915. 27 февр.), написанной в связи с выходом в свет первого тома «Полного собрания сочинений» А. под редакцией *Е.А. Ляцкого*, Р. подчеркивает, что большинство даже образованных читателей знает лишь об отце, *С.Т. Аксакове*, как авторе «Семейной хроники», однако из сочинений А. обычно ничего назвать не может, т.к. книги этого «русского патриота и мыслителя, который вложил огромный вклад в объяснение хода русской истории» (ОПП, 605), имеются лишь в крупных библиотеках. Р. положительно отзывается о вступительной статье к изданию: «Прекрасную, одушевленную характеристику, звучащую как “надгробное слово” о великом витязе Русской земли — дал г-н *Ляцкий*» (ОПП, 606). Размышляя о причинах литературной неудачи славянофилов, Р. приходит к выводу, что они писали «вообще не так великолепно, как их противники-западники» и что они «были не писателями по призванию»: «Сочинения *Конст. Аксакова* — это как бы “домовая книга” русского “болярина” с бородой и в фезе, с русскими поправками, с поправкою на углубленность, идеализм и проч.» (ОПП, 607). Р. принимает оценку Ляцким важного влияния на характер Константина отца, автора «Семейной хроники», и матери, так непохожей на отца: «Мать дала ему пыл и стремительность, героическое соучастие реальной текущей жизни, отец передал доброту, благость и органическую связанность со стариной». Вывод: «Личность *Конст. Аксакова* проста и величава, но не сложна, — как и всех Аксаковых. Сложнее и труднее личности *Хомякова*, *Самариных* и *Киреевских*» (ОПП, 608).

В.А. Фатеев

АКСАКОВ Николай Петрович [17(29).6.1848, Юдинки, Алексинский уезд, Тульская губ. — 5(18).4.1909, Петербург] — публицист славянофильского направления, богослов, член кружка *Т.И. Филиппова*, поэт, прозаик, с 1893 сотрудник *Государственного контроля*, где познакомился с Р. Принадлежность А. к знаменитому славянофильскому роду уже заранее предполагала уважительное отношение к нему Р. Через три месяца после приезда в Петербург он сообщил *С.А. Рачинскому*, что в Государственный контроль поступил А. — «богослов, философ и историк первой степени, кончивший курс в Гейдельберге» (ПР. 1893. Май–июнь. № 64). Р. явно сочувственно отнесся к трудностям А. с изданием сочинений, связывая их с его взглядами: «Представьте, человек такого образования и крепких церковных убеждений — не имеет приюта ни в одном крупном журнале; что же это такое? разве не “сумерки просвещения”?» (там же). Р. был на стороне А. и в его споре с редакцией «*Русского Обозрения*», не желавшей печатать статью А. «Духа не угашайте» (полемика с *Л.А. Тихомировым*): «А между тем статья ведь истинно православная, и вся основанная на отцах

церкви или истории церковной» (ПР. 1894. Март—апр. № 87). Однако затем наступило разочарование. Критическое отношение Р. к кружку петербургских славянофилов, взгляды которых он находил лишенными самостоятельности и литературных достоинств, вскоре распространилось и на А., органично вписавшегося, в отличие от Р., в кружок «квадратных славянофилов» (РВ. 1902. № 10. С. 625). Р. не могло не раздражать, что для А., который понравился и Т.И. Филиппову, с самого начала были созданы несравненно более благоприятные материальные условия. Более того, в 1894 А. был «назначен, прослужив 8—9 месяцев в Контроле, старшим ревизором, с содержанием 3000 в год» (ПР. 1894. Июль—авг. № 56). П.П. Перцову, собиравшему материал для сборника «Литературные очерки», Р. писал в 1899: «В статье о Белчинском» выбросьте раны славянофилам: тут я лягал лично мне известны и переутюженные меня уже совсем “ослов” Кольку Аксакова, Афоньку Васильева: если бы Вы знали, какое это бескровье, именно папье-маше: все — конституционалисты + ходят в поддевках + лижут ж-пу у Тертия. Это архилакеи, они же (будто бы) архиправославные, и напр. карточки и бюсты Хомякова — у них на столах и в углу вместо образов» (СОЧ, 506). После того как статья Р. «Свобода и вера» подверглась критике со стороны Вл. Соловьёва, А. также выступил с критикой взглядов Р. («Свобода, любовь и вера» // Русская Беседа. 1895. № 1—3). Р., продолжавший спорить со Соловьёвым и Тихомировым, откликнулся на полемику А. короткой репликой («Критическая заметка» // РО. 1895. № 6), в которой насмешливо отнесся к длинным и не слишком относящимся к делу рассуждениям критика. Позже Р. также не раз критиковал А. за общий ход мысли, чисто внешнее подражание славянофилам, либерализм, плохо согласующийся, по его мнению, с остальной частью программы кружка. В 1898, после нового спора Р. с Вл. Соловьёвым, А. снова вступил в полемику с Р. («Христианство “пассивное” и “активное” (По поводу фельетонов В.В. Розанова)» // РТ. 1898. № 1). Когда Р. начал выходить в печать с темой пола, в развернувшейся вокруг его работы «Брак и христианство» (РТ. 1898. № 47—52) полемике в «Русском Труде» принял участие и А. Позже Р. включил статью А. «О браке и девстве» в книгу «В мире неясного и нерешенного», сопроводив ее подстрочными комментариями. «Свято девство, чистен брак и ложе нескверно — такова сущность воззрений Церкви на брак и девство», — писал А., отрицая, собственно, саму постановку Р. вопроса о неприятии брака церковным аскетизмом (ВМНН, 237). Р., опровергая «пространное красноречие “зарапортовавшегося” Н.П. Аксакова» (ВМНН, 239) на примерах, в том числе опираясь и на мнения других оппонентов (прот. А.А. Дёрнова и С.Ф. Шаранова), обвиняет его в «совершенном неведении церковного учения» и заключает: «Н.П. Аксаков только ораторствует, не зная дела» (ВМНН, 236, 237).

В.А. Фатеев

АКСАКОВ Сергей Тимофеевич [20.9.(2.10).1791, Уфа — 30.4.(12.5).1859, Москва] — писатель, отец славянофилов К.С. и И.С. Аксаковых. Р. относил А. к наиболее значительным писателям отечественной литературы, раскрывшим обаяние русского семейного быта. «Да

вся Россия есть только, en grand, “семейная хроника” С.Т. Аксакова», — писал он (ОПП, 168). «Не найдется грамотного человека на Руси, который не отозвался бы: “Знаю, — Аксаковы, как же... Любили Русь, царей, веру русскую”»; «Написали “Семейную хронику”» (ОПП, 605). Р. рассматривал А. как связующее звено между Пушкиным, от которого ведет свое начало «трезвое простое отношение к действительности» и Л. Толстым: «Сергей Аксаков в “Семейной хронике” непосредственно примыкает к “Капитанской дочке”; к ним обоим примыкает Л.Н. Толстой с семейною хроникой Ростовых и Болконских — “Войной и миром”» (ЛВИ, 243). В письме к К.Н. Леонтьеву Р. сообщал, что всегда любил А., но после высказывания о нем в статье «Анализ, стиль и веяние» (1890) «вдруг выписал» его сочинения (ЛИ, 395). В то же время, сравнивая А. с Толстым, Р. отдавал предпочтение автору «Войны и мира» за «необыкновенное соединение эпика и лирика, связь талантов повествовательного и патетического»: «И С.Т. Аксаков писал “Семейную хронику” дедов и родителей, но слишком уж все это спокойно, лишено рассуждений и суждения автора, “роман” и не брезжится нигде, нет прибавлений, вымысла, — и от этого труд Аксакова, впрочем, достопамятный и украшающий нашу литературу, однако, не есть в строгом смысле литературное произведение. “Мертвый повествует о мертвых” — сказать это было бы слишком, сказать так — больно; и, однако, крошечка этого есть» (ОПП, 233—234). Р. часто вспоминает об А. в связи с его дружбой с Гоголем и цитирует его воспоминания об авторе «Мертвых душ» и «Ревизора». Особенно интересует его мистическая таинственность Гоголя, при рассмотрении которой он нередко ссылается на мнение А., не признавшего Гоголя как религиозного мистика.

В.А. Фатеев

АКСЁНОВ Петр Серапионович (р. 1872) — церковный публицист, протоиерей петербургской церкви Св. кн. Александра Невского, затем священник-единоверец, участник петербургского Религиозно-философского общества, выступавший на его заседаниях с докладами в 1915—1916. В письме к Р. от 10 апреля 1906 просил о протекции своим материалам в «Новом Времени» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4212. Ед. хр. 1). К письму приложен отзыв Р. о корреспонденте: «Аксёнов — ех-поп, хлыст? или дурак?» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 107). С просьбой оказания содействия бывшему священнику А. обращался к Р. и секретарь Российского теософского общества К.Д. Кудрявцев с письмом от 12 июня 1911 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 20).

А.В. Ломоносов

АЛАДЬИН Алексей Федорович [15(27).3.1873, село Новиково, Ставропольский уезд, Самарская губ. — 30.7.1927, Лондон] — депутат 1-й Государственной думы от крестьянской курии (трудовик). В статье «Несколько воспоминаний из недавнего прошлого» (РС. 1906. 16 июля) Р. пишет: «Около Муромцева, как около слона, о чем-то его выпрашивая, коротко ходил Аладьин. “Точно барс”, подумал я <...> Быстрая, твердая походка, гибкие манеры, громадный голос, наполняющий всю залу (без малейшего напряжения, усилия), речь сжатая, силь-

ная, — даже менее “речь”, читаемая или произносимая, чем разговор какой-то разрисованный, — вот особенности Аладина. Тембр голоса его чуть-чуть металлический, и это сообщает страшную силу и ясность его речам. Нельзя в них ничего пропустить, недослушать. Совершенное отсутствие болтовни <...> Аладин не выделяется из “простого и домашнего”, но от других трудовиков он явно отличается невольной склонностью к шегольству, — не пышно, но скорее ловкому и быстрому. Так, я видел его (последние разы) с *цветком* желто-белой ромашки в петличке. Это — не *символ*, и вообще — ничего, но другой трудовик прошел бы мимо цветника, не заметив его, а Аладин нагнулся и сорвал цветок. Это вкус и изящество» (РГО, 108–109). Р. рисует живописный *портрет* А.: «При небольшом росте, он кажется на ораторской кафедре большого роста: столько силы и чего-то большого, громкого, грозящего разбивается всякий раз, когда он говорит, хочется сказать: течет из него. Его нельзя представить себе просящим, выпрашивающим. Я не умел бы представить его делающим поклон ни из вежливости, ни по нужде. Коротко остриженные волосы, немного торчащие в стороны уши — придают вид чего-то насторожившегося, прислушивающегося и готового моментально реагировать на услышанное. Густые брови, к носу приподнятые, так же приподнято сложен рот, и вся эта нижняя, говорящая часть лица точно сложена для приказа, для распоряжения. Это — врожденный господин распорядитель, — сказал бы я, — нападающий, хищник» (РГО, 109–110). Р. вспоминает *тон* выступлений А. в Государственной думе. «Он орал на министров. А носил потихоньку статьи в одну “мне симпатичную” газету <“Новое Время”>, где, должно быть, ему платили по 30 к. за строку. Мне редактор (бла-а-душнейший) сказал, прибавив: — “Это секрет”» (М, 235). Р. уверен, что “кадеты и Аладин, Аникин, — даже наконец гр. Гейден, — классический образец русско-немецкого барина <...> “Революцию” в Думе представляют Аникин, Жилкин, Аладин и вообще “трудовая группа”; и именно в данные дни они выбирают на верх положения, заливая речами своими, формулами, предложениями, поправками “соловьев” первых дней Думы, Родичева, Набокова, Ковалевского и проч., дворян и профессоров. Точно 60-е годы, с “Современником” и Добролюбовым, которые “приколотили” Тургенева, заставив его издавать жалобные, грустящие песни...» (КНУ, 108). Р. отмечает большой ораторский талант А., который выбирал любой мелочный случай поводом, чтобы наговорить министрам резкостей и угроз. Он сразу оценивал случай в его возможной государственной значительности. «Вообще, этот вождь трудовой группы выказывает большие государственные способности: ведь последние в чем же и выражаются, как не в умение оценить явление, увидеть в нем значительность положения, влияния и силы» (КНУ, 118). Выступления А. в Думе впечатляли слушателей: «Угрозы Аладина, которые казались до такой степени несоразмерными с мелочностью случая, что их можно было приписать несдержавшимся нервам, капризу, “горячке”, — на самом деле были прозорливым холодным ударом врагу, удачным шагом вперед, притом бесповоротно закрепившим за Думою новую хорошую позицию» (КНУ, 119). Р. дает общую характеристику “трудо-

кам” и А. как одному из их лидеров: «Молодые, крепкие, прямого сложения, точно никогда не хворали. Этой христианской “хвори” — они о ней и понятия не имеют. Не зачитаются “Сельским кладбищем” Жуковского — Грея. В жены им нужна не Татьяна и Лиза, а “ядренная баба”, без вздохов и сантиментальности. Без романа и воспоминаний. Без всяких грез. Вообще греза, мечта, духовное кружево, всякий аромат, всякая певучесть и сладость им непонятна, враждебна, смешна. “Заработная плата — и никаких” (т.е. ничего другого), — как формулируют между рабочих, между простонародьем. Люди эти — *крови* простонародья, но внешность и вся выправка их и речи уже ничего не имеют общего с тем “бандуристом”, который запел о Самсоне и явил серую деревню. Аладин чуть ли не всю свою зрелую жизнь провел в Англии, по крайней мере много лет, и отсюда (как объясняли в кулуарах) его аффектированная, не русская речь, с искусственно придуманною дикцией, не натуральная à la Репин... Мне она не понравилась, и не понравилась (13 мая) другим, так что ему шикали, или кричали “довольно”» (КНУ, 108). В 1913 Р. вспоминает о А. более критически: «Аладин с криками в 1-й Думе неужели очень старался о народе. Я видел его заложившим руки назад под (коротенький) пиджак. Конечно, “я” и “Человек”, и “походил бы мне Горемыкин в лавочку” Больше ничего, и вся “государственная идея”» (СХР, 158). В 1914 Р. писал об А. еще более иронично: «Вообще талантом на Руси быть хорошо. Аладин, например, по 20 за строку присылал статьи в нашу газету, анонимно и тайно, — будучи членом Думы и отнюдь произнося там речи не в “духе нашей газеты”» (КНУ, 383).

М.В. Толмачёва

АЛЕКСАНДР (Григорьев Андрей Васильевич) — архимандрит (с 1906) Спасо-Преображенского монастыря (г. Новгород-Северский Черниговской губ.), до 1915 член Петербургского духовно-цензурного комитета в Александро-Невской лавре; цензор, работавший с книгой Р. «Около церковных стен». Письма А. содержат восторженные пометы Р.: «Благе́йший. Нельзя не любить. Благодать»; «Отец! Пропустил как цензор “Около церк<овных> стен”» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 111). Р. описал историю рецензирования книги в статье «Се человек...» (НВ. 1909. 28 нояб.). 29 сентября 1905 Р. в смущении от критических выпадов против церковных установлений на страницах собственной книги пришел в Александро-Невскую лавру к отцу А., тогда еще иеромонаху. Согласно утверждению Р., книга была цензурирована отцом А. без ее прочтения: «— Вот мы ее и пропустим <...> — Не читавши?! — А для чего же читать. Ведь вы хорошо пишете? — И чуть-чуть смеется. Я взглянул на него. Не старый, почти молодой. Волосы белоклосые. “Брада” и все такое, как следует. Полон. Бел. Но не очень, в меру» (там же). Единственное, о чем попросил цензор Р. — написать рецензию на исследование своего друга, семинарского однокашника свящ. М.С. Попова о митрополите Ростовском и Ярославском, Арсении Мациевиче. В книге Попова «Арсений Мациевич, митрополит Ростовский и Ярославский» (СПб., 1905) А. оставил специальные карандашные пометы для рецензента, сводившиеся к двум темам: «1) Таланты Арс. Мациевича

(ему надо бы быть Патриархом России, а не жалким митрополитом). 2) Жестокая участь и мучения, какие претерпел Мациевич». М.С. Попов писал «на основании секретных и еще неизданных документов, а я, либеральный цензор, подбодрял литературный полет автора, — в результате чудная книга!» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4214. Ед. хр. 1). Сохранился черновой автограф рецензии Р. (РГАЛИ. Ф. 419. Ед. хр. 116. Л. 163–164). Вскоре иеромонах А. был переведен настоятелем Новгород-Северского монастыря в Черниговской губернии. Изменение положения бывший цензор объяснял так: «Этот перевод произошел от намеренной или ненамеренной невнимательности духовного начальства к моим литературным работам, к моим “широким цензурным взглядам”, благодаря которым явились в свет книги и про Суздальскую тюрьму (Пругавина) и про Арсения Мациевича (М.С. Попова) и т.д.» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 344).
А.В. Ломоносов

АЛЕКСАНДР I [12(23).12.1777, Петербург — 19.11 (1.12).1825, Таганрог] — российский император с 1801. Р. воспринимал царствование А. в пушкинской формуле: «Дней Александровых прекрасное начало» («Послание цензору», 1822). «С царствования Александра I, — писал Р., — с Карамзина, Жуковского и затем Пушкина и других начинается эпоха “общерусская” и до некоторой степени “бесконечно-русская” До такой степени вошли сюда универсы сердечности, вымысла, воспоминания всех мировых эпох» (ОПП, 609–610). В статье «К кончине Пушкина» (НВ. 1916. 13 сент.) Р. приводит слова С.П. Дягилева об эпохе А.: «Это было время, когда никто не мог назвать с уверенностью своего отца и мать, изменны были до такой степени всеобщие, обыкновенны, что “не изменять” казалось чудом и тем, чего “нет и не должно быть” Опустив неволью глаза, я вздохнул: “Но ведь это, однако, и произвело всю роскошь эпохи” <...> Мы, “верные мужья своих жен”, не умеем так строить» (ОПП, 646). О романе Д.С. Мережковского «Александр I», печатавшемся в «Русском Слове» в 1911–1912, Р. замечает: «Смотрите, он уже сюсюкает и инсинуирует, что Александр I имел “вторую семью” Такой ужас для декадента, нищезанца и певца “белой дьяволицы” Да, — “нам позволено” иметь любовниц, актрис; но, по Мережковскому, народу “с высот власти” должен быть подаваем пример семейных добродетелей. Мережковский, я думаю, и сам не понимает, выражает ли он в своих инсинуациях злость парижских эмигрантов, или он только жалуется, что вообще Александр I допускал в своей жизни отступления от “Устава духовных консисторий” И это “пошлое” его — “пошло” Теперь он видный либеральный писатель щедринской Руси, “обличающий” даже недобродетель императоров» (У, 190). В статье о значении войны 1812 Р. писал: «Уже к концу царствования Александра I русское общество было совсем не то, что было оно в начале этого царствования; и чем далее, тем изменение духовной физиономии общества шло все быстрее» («1812–14 годы и их возможное идейное значение» // НВ. 1912. 4 сент.; ПВ, 188).

А.Н.

АЛЕКСАНДР II [17(29).4.1818, Москва — 1(13).3.1881, Петербург] — российский император с 1855. Реформы

царствования А. «были вынуждены жизнью и навеяны литературой, и ни в каком случае, ни в малейшей степени не зародились в “государственном уме” наших сановников; да что сановников — учреждений!!!» (КНУ, 75). Р. изобразил А. тружеником: «С труженицы Екатерины (она была труженица, разумеется не без “утешений”, бывающих и в рабочем сословии), — с нее и через весь ряд, до государя Александра II, который тоже был великим тружеником — “трудовое начало”, и притом оно одно, одно solo, проходит через наше правительство, которое “раненько встает” и “поздно ложится”, не в пример нашим князьям, графам, между коими были и князья Волконские, и Трубецкие (декабристы)» (КНУ, 412). Смысл деятельности царя: «Странно сказать: но государь Александр II, которого он <Герцен> осыпал упреками (в “Колоколе”) за недостаточно быстрые и недостаточно радикальные реформы, на самом деле стоял гораздо впереди Герцена, стоял наравне (в одной новой психологии) с Чичериным, с Кавелиным, даже наконец с кружком “Современника”; и просто — тем одним, что вышел из-под обаяния слова, как какого-то фетиша, какого-то “божка”, и предпочитал ему хоть маленькое, но дело! хоть серенькое, но дело!!!» (ОПП, 524). Говоря о “мягкости Александра II» и его «идеально-романтическом воспитании, какое ему если не дал, то “надбавил” Жуковский» (М, 52), Р. отмечает также внешнеполитическую деятельность царя: «Государь Александр II в вознаграждение за то, что финны оставались спокойны в то время, как поляки в 1863 году возмутились и усиливались отложиться от России — отнял у Польши всякую тень самостоятельности, в то же время даровал финнам всяческую свободу, в таких размерах и пределах, как этого не только не имеет никакая часть России, но и не имеет никакая часть, например, Пруссии или Англии» (КНУ, 140). Р. был убежден, что «реформ Александра II, в их самоуверенности и энергии, нельзя себе представить без предварительного Гоголя. После Гоголя стало страшно ломать, стало не жалко ломать. Таким образом, творец “Мертвых душ” и “Ревизора” был величайшим у нас, вне сравнения с ним кого-нибудь, политическим писателем. Царь-реформатор пришел тем вторым и подлинным “реvisorом”, о котором только упомянул, не выведя его, Гоголь» (ОПП, 121–122). Убийство террористами А. навсегда отвернуло Р. от социальных “преобразователей” и их идей: «...да разве все общество не чихало, не хихикало, когда эти негодяи с пистолетами, ножами и бомбами гонялись за престарелым Государем?» (М, 130). «Когда они убили Александра II, то во всей печати никто пикнуть не смел против них. И тайно содержимый евреями (честь редакции — банкир Утин) “Вестник Европы” зашипел на полицию, каким образом она допустила “нарушить благоговейную тишину” какую-то бабу, заголосившую на площади Зимнего дворца о “злодеях”...» (М, 53). Поэтому катастрофу на Ходынке Р. назвал наказанием народу за грех убийства А. («1 марта 1881 г. — 18 мая 1896 г.» // РО. 1897. № 5 С. 328).

А.Н.

АЛЕКСАНДР III [26.2(10.3).1845, Петербург — 20.10(1.11).1894, Ливадия, Крым] — российский император с 1881. Р. написал две «разного тона статьи» (СХР, 126) о памятнике А. работы скульптора П. Трубецкого,

открытом 23 мая 1909 на Знаменской площади *Петербурга* перед Николаевским вокзалом (снят в октябре 1937). В статье «К открытию памятника государю Александру III» (НВ. 1909. 23 мая под названием «К открытию памятника императору Александру III») дается общая оценка *царя* и его деятельности: «Александр III создал в сердцах некоторых *лиц* настоящий культ себя, почитание, — благоговение, пронизанное личной и трогательной привязанностью. Основано это на двух чертах этого Государя: одной общечеловеческого характера и другой местного характера. Первая заключается в том, что он принес с собою на трон, поднял на трон самую уважаемую, трудную и редкую черту общечеловеческой *души*, которая выше всего оценивается у обыкновенных людей, вдали от трона и ниже трона, именно — прямодушие, откровенность и доброту <...> Второе качество — местного, не общечеловеческого характера. Со времени *Петра I* русские не видели на троне лица до такой степени “от плоти и кости своей”, как отец нынешнего Государя. От физических особенностей, начиная с роста и всего характерного облика фигуры и лица, и до мелких привычек, навыков, обыкновений, до способа мыслить и чувствовать, до способа решать дела и оценивать людей и окружающую обстановку — это был русский из русских» (СХ, 308–309). Имя русское, авторитет русский, говорит Р., чрезвычайно выросли за годы царствования А. «*Россия* для русских”, — произнес он лозунг для внутренней жизни России; но с переменами этот лозунг читался и во внешних отношениях: “Россия никого не теснит: не требую, — говорил он как Русский Царь, — чтобы и Россию никто не теснил” Он встал стражем и властелином на ее границе, как на известной картине *Васнецова* — “Русские богатыри на заставе” Всем, даже и ростом, он походит на среднего из богатырей *Васнецова*: и поднесенная ко лбу рука этого среднего богатыря как-то передает даже физические приемы безвременно скончавшегося нашего северного тронного богатыря» (Там же, 310). Во второй статье «Paolo Tрубеzkoj и его памятник Александру III» (РС. 1909. 6 июня под названием «Памятник императору Александру III») Р. описывает свое впечатление от проекта памятника, увиденного им еще в 1901 или 1902 в квартире *С.П. Дягилева*. Р. дал современное толкование памятника — «*Матушка Русь с Царем ее*»: «Конь уперся... Голова упрямая и глупая. Чуть что волосы не торчат ежом. Конь не понимает, куда его понукают. Да и не хочет никуда идти. Конь — ужасный либерал: головой ни взад, ни вперед, ни в бок. “Дайте реформу, без этого не шевельнусь” — “Будет тебе реформа!” Больно коню: мунштук страшно распылил рот, нижняя челюсть почти под прямым углом к линии головы. Неслышанная, невиданная *вещь* ни на одном, ни на едином памятнике во всемирном памятоводвижении. Попробуйте-ка объяснить это! Но ведь это — *Родичев* и *Петрункевич* в Твери, не Бог знает какой премудрый *Родичев*, но который вечно бурчит про себя: “Всех закатаю!” Я сказал, что голова у коня упрямая и негениальная, “как мы все”, “как Русь”, как “наша *интеллигенция*”, — “Пустите к свету!”» (СХ, 324). В статье «*Судьбы русского консерватизма*» (НВ. 1907. 2 мая) Р. писал: «Вот уже полвека русский консерватизм не имеет общественного успеха. В 13-летнее царствование императора Александра III он имел пере-

вес, но только правительственный, деловой, а не идейный и общественный» (РГО, 402–403). В книге «*Около церковных стен*» Р. дает характеристику *времени А.*: «Судя по некоторым особенностям, можно было думать, что время этого царствования окончательно погрузится в разграничение “своего” и “не своего”, “нашего” и “иного” у России и *Европы*; между тем государь этот, и именно лично он сам, двинул Россию к совершенно неожиданной задаче: к техническому усовершенствованию, к техническому развитию, к техническим делам и предприятиям. Великий Сибирский путь только самое крупное, но не единственное дело в сфере этих забот. Классическое образование пошатнулось в своем авторитете в это же время: и теперь мы на всех путях стоим накануне преобразования тихой обломовщины существования в бодрый, укрепляющий силы *труд*, — в бодрое, дающее хлеб насущный, практическое просвещение. Вот прекрасное движение, личная инициатива которого принадлежит императору Александру III, который для Европы был “Миротворцем”, а для России, если возможен подбор новых титулов, “реалистом” в высоком, историческом смысле. “Довольно летать под небом, пора пообчистить грязь под ногами” Вот лозунг, вот время, вот дух *истории*, о перемене которого ничего ранее не было слышно» (ОЦС, 208). В «*Сахарне*» Р. продолжал: «Горячо нужны были и остаются нужными низшие ремесленные училища и низшие торговые училища. Замечательно, что об этом первый догадался Александр III и приказал *Делянову* и *Витте* их заводить» (СХР, 222). «Только при императоре Александре III было разрешено супругам, вступающим в брак, усыновлять *детей*, ими до брака рожденных» (ВТРЛ, 45). Вместе с тем А. был весьма строг в нравственном отношении. Р. рассказывает, что, посетив в мае 1891 французскую выставку в Москве с ее «живописью женской наготы “со всеми подробностями”», государь А., едва взглянув в зал, «повернул назад и не захотел смотреть это “французское *искусство*”» (ЛВИ, 413). Как пример тех нравственных черт, которыми обладал А., Р. приводит случай из *истории*: «Когда наш добрый царь Александр III был приглашен к обеду Германским Императором, то по этикету ему был подан список приглашенных гостей. Он посмотрел и вычеркнул “*Бисмарка*” Спокойно и не волнуясь, не запрашивая ни дипломатов, ни церемониймейстеров. Как Самодержец Российской Державы. Этикета нельзя было нарушить, нельзя было отказать Гостю и Императору. И создатель Германии отсутствовал <...> Александр III, как известно, совершенно не выносил *лжи* и лживости в людях. А Бисмарк был весь ложь и лжив. Ему бы только “свой интерес” (германский). Он был циник. *Цинизма* и жестокости тоже не выносил Государь. Ведь он — Русский...» (ПЛ, 293). В статье «Смысл недавнего прошлого» (РВ. 1894. № 12) Р. откликнулся на *смерть А.* и конец эпохи.

А.Н.

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ (Aléxandros ho Mégas; июль 355 до н.э., Пелла — 13.6.323 до н.э., Вавилон) — царь Македонии, полководец. Р. обычно использовал имя А. для сравнений: «Александр Македонский с 30-ти тысячным войском решил покорить монархии персов. Это что нам, русским: Пестель и Волконский

решили с двумя тысячами гвардейцев покорить *Россию*... И пишут, пишут *историю* этой буффонады. И мемуары, и всякие павлиньи перья. И Некрасов с “русскими женщинами”» (У, 214). А., считал Р., как пример мудрости: «Александр Македонский, когда войско томилось от жажды в пустыне и ему воин принес немного мутной воды, где-то найденной, хотел пить, но через секунду выплеснул ее на песок! И когда алкают “пять тысяч” как быть сыту одному! И когда жаждут 10 000, можно ли одному пить!» (ВТРЛ, 125). Вспоминая гоголевского «Ревизора», Р. говорит о преподавателе истории, «который, доходя до Александра Македонского, начинал ломать мебель в классе» (ВДЯ, 276). Р. пользовался именем А. как нарицательным для обозначения великого человека. Иронически он сравнивает с ним *М. Горького*, который «потерял землю под ногами и ясность в голове; его “тащили”, а он воображал, что “тащит эпоху за собой”; его взяли с чужой поклажей и на чужих лошадях, а ему представлялось, что он совершает какой-то “поход” Александра Македонского, всех покоряя, всех разгоняя. Отсюда *тон* его принял совершенно нелепый характер: он то расправлялся с *Францией*, то с Соединенными Штатами <...> пока об Александре Македонском не заговорили полупешотом и частным образом: “да это просто расхвалившийся мастерской”, которого опоили дурманом» (ОПП, 620).

А.Н.

АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Александрович [28.3(9.4). 1861, село Савенково, Белевский уезд, Тульская губ. — 14.3.1930, г. Сергиев, Московская губ.] — журналист, поэт, коллекционер. Р. познакомился с ним в 1892 по переписке, на почве взаимного увлечения идеями и личностью *К.Н. Леонтьева*. В том же году Р. становится одним из авторов журнала «*Русское Обозрение*», а с 1895 — газеты «*Русское Слово*», редактировавшейся А. в 1895—1897. Отношения «автор — издатель» между ними были непростыми. А. ценил талант Р., считая его продолжателем славянофильской традиции русской мысли, но весьма часто задерживал ему (как, впрочем, и другим авторам) выплату *гонораров*, что вызывало естественное раздражение Р. Сложности в их взаимоотношения добавила неудачная попытка *Т.И. Филиппова* и его окружения сделать Р. соредактором А. по «*Русскому Обозрению*» осенью 1893. В недатированном письме к А., оправдываясь, Р. утверждает, что это была инициатива *А.В. Васильева*, *С.Ф. Шаранова*, *Н.П. Аксакова* и *Д.И. Морозова*, но «не было нужно мне» (РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 15. Л. 24). Когда А., обвиненному в растрате государственной субсидии, было отказано в ее возобновлении, Р., ранее поддерживавший слухи о том, что жена А. на казенные деньги строит себе дома, попытался заступиться за него перед главноуправляющим по делам печати *М.П. Соловьёвым*. Последний в письме Р. от 6 апреля 1898 отвел его защиту: «Этот нечесаный и грязный господин воспользовался не 15-ю, 35 [тысячами] царских денег <...> Жалею, если по недобросовестности и неспособности А[лександро]ва прекратится Р.О., но помогать царскими деньгами такому субъекту нельзя» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4208. Ед. хр. 3. Л. 3—3 об.). А. стал одним из главных героев (без указания фамилии) фельетона Р. «*Судьбы нашего журнального консерватиз-*

ма» (НВ. 1900. 30 июня). С 1910 А. жил в *Сергиевом Посаде*, он вместе с женой присутствовал на похоронах Р. (*Дурьлин С.Н.* В своем углу. М., 1991. С. 230). Письма Р. к А. (1892—1917, РГАЛИ. Ф. 2. Сп. 2. Ед. хр. 15) — источник для характеристики эволюции взглядов Р. в отношении Леонтьева, особенно в 1890-х. Одно из них (январь 1898), содержащее развернутое обоснование «*религии пола*», опубликовано (ОЖС, 677—679). Дочь Р. Татьяна вспоминала, что летом 1913, когда она жила на даче в Сергиевом Посаде, к ним «приехал извозчик и привез дородную пару: *мужчину* и *женщину* — это была чета Александровых. Они были так толсты, что еле-еле помешались в пролетке, которая все *время* накренилась. Александров подарил нам свои глупые стихи, и мы долго забавлялись ими, сидя на кроватях по вечерам. Когда-то Александров был редактором “Русского Обозрения”, где у него сотрудничал мой отец, а после закрытия журнала переехал, по благословию отца *Амеросия*, в Троице-Сергиев Посад и решил теперь возобновить с нами знакомство <...> Отец недолюбливал Анатолия Александровича, так как тот не выплатил гонораров сотрудникам журнала» (ТР, 66—67). Летом 1913 Р. писал дочери Татьяне из *Сахарны*: «С Александровыми будьте похолоднее и держитесь подалше. Они очень навязчивы, везде и ко всем лезут, но это страшно фальшивые люди. И маме и папе вашим они в старые годы причинили много горя, — не уплачивая денег за статьи» (НР, 107).

С.М. Сергеев

АЛЕКСАНДРОВА В.А. — см. *Мордвинова В.А.*

АЛЕКСЕЕВ С.А. — см. *Аскольдов С.А.*

АЛЕКСЕЕВСКИЙ Владимир — одноклассник Р. по *Нижегородской гимназии*. В письме к приятелю по этой же гимназии *Косте Кудрявцеву*, включенному в «*Опавшие листья*», Р. писал: «Алексеевский шатается по концертам, по Покровке и, кажется, преуспевает в сердце м-сс Кетти» (У, 247). Р. поясняет, что Покровка — «главная улица в Нижнем, куда к вечеру “высыпали все” и искали “встреч”, — или, скромнее, — обменивались взглядами. Гулять по Покровке считалось презренным для демократической части *гимназистов*. Алексеевский — лучший в классе математик, и о нем на “Покровке” — с удивлением и возмущением пишет Кудрявцев. Он был наш дорогой товарищ» (У, 247). Здесь же Р. делает примечание: «Презируя грубое русское “Катя”, мы именовали по-английски “мисс Кетти” горничную Катерину, служившую у покойного моего брата. Она была как бы субтильная немочка по виду, т.е. бледна и тонка; по манерам — утонченна; и это было причиною, что она нравилась мне и всем моим товарищам. Я с ней вел переговоры, что сперва ее обучу, а потом — мы женимся. И учил ее читать и писать. О ней см. смешной договор в конце переписки» (там же). Ради «смехотворности» Р. приводит этот «немного неприличный договор»: «Я, Василий Розанов, должен получить от Владимира Алексеевского аммонит 1 января 1874 г. Чтобы получить его, я отдаю ему право на мою горничную, мисс Кетти. Если он и не будет иметь успеха, то и в таком случае аммонит переходит в мою коллекцию. К этому заявлению руку приложили В. Розанов. Владимир Алексеевский. Свиде-

тель К. Кудрявцев» (У, 260–261). См.: фото друзей-гимназистов Р., А. и Стаса Неловицкого, «нашей маленькой академии» (Фатеев В. С русской бездной в душе. СПб.; Кострома, 2002. Фото IV).

А.Н.

АЛЕКСИНСКИЙ Григорий Алексеевич [16(28).9.1879, Дагестанская обл. — 4.10.1967, Париж] — публицист, депутат 2-й Государственной думы по рабочей курии от Петербурга (большевистское крыло социал-демократической фракции). В статье «Представитель рабочих от Петербурга» (РС. 1907. 27 февр.) Р. писал: «Оказывается, я его видел, этого таинственного “Алексинского икса”, который так наскандалил в Петербурге при окончательном выборе депутатов в Думу <...> Сам он — филолог Московского университета, лет 28-ми. По деятельности — один из корректоров одной из бесчисленных петербургских типографий, т.е. — ничто, рабочий. Для всех и всячески икс» (РГО, 309). Р. считал, что А. принадлежит к людям, у которых, «кроме горла, ничего нет» (РГО, 461). Вместе с тем Р. отмечает: «Я думаю, с г. Алексинским действительно вошел в Думу талант, коего в ней раньше не было. Он долго полз в подполье: так сказать, из лермонтовских “лесах”, угрюмых и печальных. Теперь выполз из подполья, и очень интересно, что и как скажет и вообще как сложится его “историческая фигура”» (РГО, 314). Однако уже через месяц оценка Р. становится более критической: «Речи депутата от петербургских рабочих Алексинского, который воображает, что парламент не имеет лучшей задачи, как слушать его аффекированное, напряженное и деланное остроумничанье, не имеющее ничего общего с нашим народным спокойным юмором, как и с силой острого и меткого русского слова. Как Аладьина упрекали в заимствовании приемов английского ораторского искусства, так об Алексинском можно сказать, что его остроумие перенесено в русскую Думу из бульварных французских листков. Если этого искали петербургские рабочие, они могут быть удовлетворены; но нельзя сказать, чтобы Россия была удовлетворена их выбором» (РГО, 357).

А.Н.

АЛЕШИНЦЕВА Домна Васильевна — воспитательница младших детей Р., с 1907 по 1917 ухаживала за его больной женой. Она дважды упоминается во втором коробе «Опавших листьев»: слова жены Р. о ней и детях: «Вчера и Домны Васильевны не было дома, а они вели себя так тихо. И ничем меня не расстроили» (У, 333). Затем слова А. к Р., собирающемуся в церковь: «В церковь, Василий Васильевич, опоздали. Двенадцатый час (Домна Васильевна)» (У, 353). 27 июля 1914 Р. узнал от А. о том, что его племянник Володя (сын старшего брата Николая), «приговоренный к повешению (сейчас услышал от Домны Васильевны), где-то околачивается за границей» (КНУ, 475). Образ А. связывается у Р. с народным началом и бытом. Она рассказывала: «Как возьмешь много корзин — никогда не найдешь много грибов. Ходишь, ходишь — ничего нет. А когда только придешь в отчаяние и повернешь назад, — на обратном пути наткнешься на “грибное место” и хоть немного найдешь (Домна Васильевна)» (КНУ, 502). Р. приводит ее разъяснения по поводу роста потребления икры: «По-

минки — похороны — блины и при них икра» (КНУ, 536). Наиболее полную характеристику А. в связи со своей теорией пола Р. дает в записи 26 февраля 1915: «Сегодня, как однажды как-то давно, Домна Васильевна сказала: “Я его люблю как брата” Это — о муже своей сестры, Катерины Васильевны. Катерина Васильевна много шла на нас, а Домна Васильевна живет у нас 8 лет, около детей, починки белья, вечная “штопка” бесчисленных чулок, и теперь смотрит (мама больна) за хозяйством. Около 30 лет, девушка. У Катерины Васильевны двое детей, ей 31 год, и вот девушка говорит о ее муже: — “Он мне все равно как брат” Почему? Оставим формы и приказание закона, ибо равным образом чувствуют и китайцы и чувствовали греки: “Потому что его половой орган деятелен с моею сестрою, и сестру я чувствую как какую-то параллель себе, ибо она и я — мы вышли из половой деятельности папы и мамы”» (М, 21). Р. рассказывает о жизни у них А. в письме к П.А. Флоренскому 23 сентября 1915 г. (АФ). До А. во время поездки в Ригу летом 1903 была бонна Эммочка, «которую мои родители, — вспоминает Т.В. Розанова, — очень почитали и которая вскоре по приезде в Петербург заболела сыпным тифом, была увезена в Обуховскую больницу и там скончалась» (ТР, 24), затем в семью Р. пришла «толстая няня Паша», которая вышла замуж и ушла, а к детям приставили «немок-бонн, но мы с ними не ладили» (ТР, 28).

А.Н.

АЛЬБОВ Иоанн Федорович — священник, знакомый Р. Его жену Александру Александровну Р. называл среди лучших людей, которых он нашел в жизни (У, 79). Семьи Р. и Альбовы дружили домами. Переписка Р. и А. за 1908–1912 хранится в РГАЛИ. Р. и А. принимали участие в религиозных беседах «неустановленных, беспрограммных, чистосердечных, проникнутых самым глубоким взаимным уважением и <...> глубоко содержательных и волнующе интересных» (ОЦС, 99). В статье «Из разговоров и литературы на религиозные темы» (НВ. 1901. 30 окт.) Р. описал такую беседу на даче в Териоках летом 1901 у «почтенного священника» Павла Дмитриевича Городцова, в которой принимали участие Р., А., свящ. А.П. Устьинский, М.А. Новосёлов, В.М. Скворцов, В.А. Тернавцев. Р. передает настроения участников этих бесед: «Только кат (палач) может говорить против нужды в реформе Церкви; но в реформе, — к улучшению, направленной, а не к разрушению» (ОЦС, 102). В «Уединенном» Р. писал: «Одна умная матушка (А. А. Абова) сказала раз: “Перелом теперь в духовенстве всего больше сказывается в том, какое множество молодых матушек страдает бесплодием” Она не договорила ту мысль, которую через год я услышал от нее: именно, что “не жены священников не зачинают; а что их мужья не имеют силы зачать в них” Поразительно» (У, 59). Возмущенный А. писал Р.: «Стыдно Вам — старому человеку — свои бесстыдные и нескромные бредни говорить от имени скромной женщины, которая к Вам так хорошо относилась. И не только Вы не постеснялись напечатать ее полное имя, но еще назвали ее “матушкой” и этим подчеркнули еще более нескромность Ваших слов и мыслей. Что Вам далась наша бездетность?! Ведь по-Вашему — это несчастье! А над несчастьем не

глумится, особенно в печати, ни один мало-мальски порядочный человек. Это все равно, что в печати назвать Вашу незаконную жену по-народному и по-народному же Ваше сожитительство с нею. Кажется уж моя жена хорошо относилась к обоим Вам. Но Вы ее все-таки запачкали. Стыдно, стыдно и грешно!!! Свящ. И. Альбов» (Розанов В. Уединенное / Комментарий В.Г. Сукача. М., 2002. С. 394). На этом отношения Р. и А. прекратились. После этого Р. записал: «Поп А-бов плыл в благоразумной лодочке за большим кораблем Григория Петрова. И в Петербурге было 2 просветительных, истинно христианских и освободительных священника: Петров и поп А-бов» (М, 50). Были определения и похлеще: «сухой и черствый» (КНУ, 274), «злой» (СХР, 19), «нет души и совести» (М, 67). 6 апреля 1914 Р. отметил эволюцию А.: «Интеллигент-священник, теперь почти черносотенный, а ранее — розовый и либеральный» (КНУ, 273). Протест Р. вызвали слова А. о браке: «Единая для единого и единый для единой: иначе Бог сотворил бы двух Ев на одного Адама» (там же).

С.М. Половинкин

АМВРОСИЙ Оптинский, преподобный [Гренков Александр Михайлович; 23.11(5.12). 1812, село Б. Липовица, Тамбовский уезд, Тамбовская губ. — 10(22).10.1891, Шамординская Казанская Пустынь, Перемышльский



Амвросий Оптинский

уезд, Калужская губ.] — иеросхимонах, старец, духовный писатель. Р. не был лично знаком с А., но с ним была тесно связана семья второй жены философа — В.Д. Бутягиной. Будущая его теща А.А. Руднева часто посещала Оптину Пустынь ради общения с А., к чьим советам по всевозможным практическим вопросам она неоднократно прибегала. Прежде чем дать согласие на тайное венчание дочери с Р., она обратилась к А.: «Она знает от Амвр., несколько раз бывала у него и в трудных (смыслительных) случаях жизни обращается к нему письменно за советами», — сообщил Р. в письме к К.Н. Леонтьеву (ЛИ, 399). К нему, в частности, она возила своего пьющего сына И.Д. Руднева, которому старец предсказал, что он излечится и станет священником, что и сбылось (этот случай, не называя имен, Р. передает в статье «Оптина Пустынь». — ОЦС, 289–290). Уже вступив с Церковью в конфликт, резко критикуя монашество, Р. в статье «Из житейских и литературных мелочей» (НВ. 1903. 21, 23 янв.) (в книжном варианте переименованную в «Оптину Пустынь») дает высокую оценку деятельности обители вообще и А. в частности. В характеристике старца акцентировано внимание на том, как он помог девушке, родившей внебрачного ребенка. Христианская святость сближается с языческим «волхованием»: «Значение старчества и состоит, что, воскресив в себе как бы “волхва древнего”, который “с волею небесною дружен”, старец входит в жизнь людей добрым волшебством, с магической заклинательною силою: заклинательною против дурного и как бы открывающего рог изобилия для хорошего» (ОЦС, 290). Несмотря на полемику с христианством, Р. продолжал восхищаться типом русского святого, воплощенного в фигурах преподобных Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского и А. (см: «Л.Н. Толстой и Русская Церковь». СПб., 1912. С. 16–17). В статье «Церковь эстетическая и церковь совестливая» (РС. 1906. 20 авг.) Р. объявляет А. одним из основателей особой «русской веры» и духовных предтеч «освободительного движения»: «Эти праведники церкви, нашей русской церкви, уже не греческой, как дивный Серафим Саровский или Амвросий Оптинский, — они только не сумели выразить, но уже были безмолвными начинателями совсем другой, нашей, “русской веры”, подлинной “русской церкви” как сокровища совести, а не как художества обрядов <...> Вот что подспудно лежит и шевелится под “освободительным движением”...» (РГО, 138). Уже незадолго до смерти Р. снова обращается к оптинскому старцу как к союзнику, доказывая, что нимб над его головой — это «солнечный венчик» (АНВ, 331).

С.М. Сергеев

АМФИТЕАТРОВ Александр Валентинович [14(26).12. 1862, Калуга — 26.2.1938, Леванто, Италия] — писатель. В эмиграции с 1923. Р. называет сатирический фельетон А. «Господа Обмановы» (1902, о царской семье), за который автор был выслан в Сибирь, «обыкновенной злобой лакея на барина» (М, 94). «Амфитеатров сделал себе судьбу. Ведь он просто был болтун “на все темы”, а теперь вырос в “политическое лицо” “Лицо” сейчас стало целовать руки у всех эмигрантов. Евреи, революционеры, левая оппозиция — все понесли его на руках... Амфитеатров! Амфитеатров! Амфитеатров сказал. Амфите-

атров думает. Между тем Амфитеатров меньше Ноздрев. Который все-таки колоритен. Тогда как Амф. без всякого цвета. Только рост и вес» (М, 95). В 1904 А. эмигрировал и жил во Франции и Италии, вернулся в Россию в 1916 и вновь эмигрировал в 1921. Р. написал три статьи об А. В первой («Амфитеатров» // НВ. 1910. 13 мая) он дает общую характеристику писателя: «Человек огромный, шумный, производительный, с большим животом, с большою головою, сын или внук протоиерея или архиерея — и революционер, когда-то сосланный, теперь убежавший в Париж — все черт знает для чего — обширно начитанный и образованный, но который пишет, точно бревна катает, вечно предпринимающий, вечно разрушающий, ничего не создающий, кроме заработка бумажным фабрикам...» (ОПП, 434). В статье «Амфитеатров и Ропшин-Савенков» (НВ. 1912. 23 мая) Р. пишет о том, как А. «затесался в революцию» совершенно неожиданно и непредвиденно». Но А. не понимает психологии революции, «которая есть кровь и прежде всего кровь, есть животное хищное и прежде всего хищное <...> Ах, Амфитеатров, Амфитеатров, — легкомысленный вы человек, похожий в литературе на Боборыкина. Революция есть специальность, революция есть призвание, революция — на роду написана, а не то чтобы «обстоятельство жизни» <...> И когда революция пройдет, мы будем, т.е. вся русская литература будет любить и помнить «нашего Александра Валентиновича»; и напишутся целые мемуары о том, как он то возился с проститутками (воспоминания его о Берлине), то его ссылали, то он входил в связи с революционерами. «Море житейское», — и по нему плыл Амфитеатров, едва ли зная, куда» (ОПП, 567–568). Р. рассматривал А. как сторонника тех, кто стремился разрушить Россию. «Я считаю самую низкою чертою человека не любить своего отечества. Если мы называем “подлецом” взяточника: то как назову я Плеханова или Амфитеатрова, которым хочется “украсть всю Россию” и продать ее из-под полы жидам. Взятчик украл нечто у некоторых русских и сфальшивил в своей частной службе как чиновник: но как же назвать тех, которые говорят, что не надо этой самой “службы России”, и уже тех, что ей не служат и не живут в ней, украли “всего себя”, т.е. всю свою должную службу у России, и отдали кому-то или чему-то, что они именуют революцией или социализмом. Жизнь их и отношение их к России ниже, низменнее, чем хапунов-железнодорожников, обиравших когда-то казну» (КНУ, 518). Уничжительную характеристику дает Р. в третьей статье об А. «Саша Амфитеатров и его эпилог» (НВ. 1915. 11 нояб.): «Амфитеатров просто есть словесный, общественный и политический “бум”? Что такое “бум”? Не понижаю. Не знаю. Звук. В нем — ни подлежащего, ни сказуемого и нет вообще “предложения”, т.е. “мысли, выраженной словами” “Бум” есть “бум”, а дальше этого в разумении и истолковании не пойдешь. И нет решительно никакой возможности растолковать себе или растолковать другому, “что такое вообще литературная деятельность Амфитеатрова?” Шум, разнообразие, “легкость мыслей необыкновенная” (“у меня легкость мыслей необыкновенная”, — Хлестаков о себе), легкое перо, — но все это “ни к чему” и “ни для чего” и решительно не тынет ни к какому центру» (ЛВИ, 604). После многих лет работы в «Новом Времени» (1891–1899)

А. отказался прийти на юбилей 50-летней деятельности А.С. Суворина, отмечавшийся в 1909. «“Не пришли” все те, которые были чем-нибудь обязаны Суворину». «Естественно, “не пришел” Амфитеатров, забравший шесть тысяч аванса, вышедший из газеты и даже не сказавший “уплачу”, и не уплативший» (СХР, 229), — вспоминал позднее Р. Когда в 1906–1916 А. жил в Италии, Р. писал в «Опавших листьях»: «Амфитеатров из-под Везувия фыркает» (У, 264). Сам А. весьма резко отзывался о Р. «Лет пять-шесть тому назад напечатал я в “Руси” по адресу г. Варварина <псевдоним Р. в “Русском Слове”> юмористические вирши, пародию на одно стихотворение г-жи Гиппиус (“Вы ночному часу не верьте”), бывшее тогда в большой моде: “Вы Василью Васильевичу не верьте, / Он исполнен злой чепухи: / Справа — ангелы, но слева стоят черты / И шепчут ему в уши грехи...” Уже не помню дальше. Годы меняют Василья Васильевича. Все по-прежнему. Справа — ангел и теология. Слева — черт и блудословие. К ангелу-то следовало бы, а к черту не хочется, Ну, глядь, Анчутка Беспятый и перетянул» (Амфитеатров А. Заметки сердца. М., <1909>. С. 119).

А.Н.

АНАТОЛИЙ (Потапов Александр Алексеевич; 1855, Москва — 30.7.1922 Оптина Пустынь) — иеросхимонах, старец Введенской Оптиной Пустыни, духовник многих известных лиц, в том числе Олсуфьевых и Мансуровых, которые ездили из Сергиева Посада к старцу А. Увидев в



Анатолий (Потапов)

1918 фотографию старца А., Р. был поражен его лицом: «—Какое лицо!.. — Он <Р.> остановился перед *портретом* в убогой рамочке. *Портрет* словно тянул его к себе. Он сделал шаг, взял портрет со стола (мы молчали), поднес к глазам, опять отдалил, не выпуская из рук, опять приблизил. — Какое лицо! — Рука поставила на стол, глаза держали перед собою. И вдруг обернулся к нам и требовательно, смешно до капризности, потребовал: — Кто это? Кто это? Кто это? <...> — Оптинский старец иеромонах Анатолий <...> Может быть, кто-нибудь из нас и сказал бы еще что-нибудь, но В.В. круто и быстро отвернулся к столу, опять взял в руки портрет и опять — в глубокой задумчивости — повторил: — Какое лицо!» (*Дурьлин С.Н.* В своем углу. М., 2006. С. 766). Старец А. канонизирован в 2000.

Т.В. Смирнова

АНДЕРСОН Владимир Максимилианович (1880–1923) — библиограф, чиновник Императорской Публичной библиотеки, сотрудник «*Нового Времени*». Летом 1915 Р. с семьей снимал, по совету А., дачу в *Вырице*. Писатель оставил *характеристику*, приложенную к *письмам* А.: «Андерсон (“*История русских сект*”). Публ. библиотеки. Прелестный. Всегда в какой-то бархатистой тужурке, светлый, румяный, производит впечатление никогда мною не виданной юности. Был у него — и не мог оторваться от *культуры* квартиры. Чистота. Многоученые *книги*, много книг, “Словарь” Дю-Канжа: и портреты от *Герцена* и *Гарибальди* до *С.М. Соловьёва* и проч. на стенах. Сын — симпатичный и мертвенно-бледная жена, на которую нельзя смотреть без испуга. “Контраст. Понравилась” Так я нечестивец с мамочкой сошелся по контрасту. Семья дала впечатление полной культуры), полного *счастья*. И уверен — это так и есть. Дай *Бог*» (ЛЖ. 2000. № 13–14. Ч. 1. С. 110). На книгу А. «*Старобрядчество и сектантство: Исторический очерк русского религиозного разномыслия*» (СПб., 1908) Р. отозвался статьей «Новая книга о русском расколе» (НВ. 1908. 3 нояб.). Подготовить рецензию автор просил Р. в *письме* от 31 августа 1908. Книга А. была, по словам Р., написана «свежо, тепло и ясно. Автор работал по материалам Публичной библиотеки, к сожалению, не пополненным личными наблюдениями, личными странствованиями по Русской земле» (ОНД, 401). С точки зрения Р., книга являла собой «хороший компендиум для первоначального, но зато полного ознакомления с нашим расколом». Она начиналась «с первого летописного упоминания о некоем “иноке Андрияне скопце”, коего митрополит Леонтий “посадил в темницу” за укоризны церковным законам и епископам и пресвитерам. Это внесено в летопись под 1004 годом! Отсюда начинается 900-летняя история русского религиозного расщепления. Г. Андерсон хорошо делает, что изложению истории и сущности каждого нового движения предпосылает летописное уведомление о нем, т.е. дает то первое движение церковного *сознания*, в котором оно формулировано, освещено и мотивировано <...> Книга вообще проникнута здравомыслием, качество <...> удерживающее автора от повторения темных и диких слухов касательно сектантства <...> Он отвергает причащение человеческим телом и *кровью* у хлыстов <...> То же здравомыслие заставило автора удержаться, при изложе-

нии учения и обрядов хлыстов, от выпуклого выставления пресловутого “свального *греха*”, с которым и миссионеры и публика чуть не отождествляют суть хлыстовства <...> Совершенно правильно автор отвергает значение “секты” за иоаннитами. Для образования секты необходимы известная догма, известное связанное внутри учение, на что-либо опирающееся; нужны обособленная этика и свой культ» (ОНД, 400–401). Письмо А. от 5 сентября 1908 содержит биографические сведения о происхождении своей фамилии. Он дал сведения о родителях: мать — псковская купчиха-староверка, отец — англичанин (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4213. Ед. хр. 2). В 1913 А. рецензировал книгу Р. «*Литературные изгнанники*»: «Суть же книги, — подчеркивал А., — в ее “подстрочном петите” <...> Центр тяжести слишком пятисот страниц перемещается на комментарии <...> Письма *Н.Н. Страхова* <...> отражение постоянных забот о симпатичном ему начинающем писателе, запутавшемся в каком-то роковом круге случайностей и непредвиденностей, длинная и сложная цепь которых в значительной степени обусловила всю практическую сторону деятельности В.В. Розанова. Комментарий В.В. Розанова когда-нибудь, уже не в наши дни, сам потребует вдумчивого, тонко чувствующего особенность его *таланта* толкователя, способного не выпускать из рук судорожно вьющейся нити его *мысли* <...> *Стиль* Розанова совершенно не поддается “стилизации”, ибо легко подделывать форму, внешность, но абсолютно невозможно, как он, сплошь “источать мысль”, продукт нервической работы мозга, не дающего себе отдыха ни на миг <...> Если библиографически “анатомировать” книгу Р., «“расшить” ее по “рубрикам”, по “именам”, по “категориям *мысли*”, то получится глубоко оригинальный, неистошимо свежий и самобытный компендиум историко-философского мировоззрения Розанова <...> под влиянием каких умственных и душевных импульсов вылился тот или другой *труд* и каким путем шло его фиксирование на бумаге» (Русский Библиофил. 1913. № 8. С. 86–87). Знакомство Р. с этой рецензией вызвало к жизни заметку в «*Мимолетном. 1914 год*» о любви к библиографии, тщеславии и творческом импульсе литературного процесса (КНУ, 240–241).

А.В. Ломоносов

АНДРЕЕВ Василий Васильевич [3(15).1.1861, Бежецк, Тверская губ. — 26.12.1918, Петроград] — музыкант, основатель первого оркестра русских народных инструментов, виртуоз *игры* на балалайке, друг Р. Один из основателей и попечитель студенческого научно-литературно-художественного журнала «*Вешние Воды*», в котором Р. вел рубрику «*Из жизни, исканий и наблюдений студенчества*». Культурно-просветительская деятельность А. представлялась Р. образцом организаторского *искусства*. В статье «Великорусский оркестр В.В. Андреева» Р. дает свое видение успеха его организаторской деятельности: «Не человек, а “фрак” Все в нем — форма, срок и обязанность. Встает рано, ложится поздно, и все сутки в заботе, *труде* и неутомимости. Он остановился над канавой, услышав “трынь-брынь”, и произнес твердо: — Дело не в балалайке, а во фраке. Дело в том, что этот играющий на нем господин — босиком, не трезв и не умеет работать <...> Иностранцы, очевидно,

полюбили “Великорусский оркестр балалаечников В.В. Андреева”, как одну из удивительных виртуозностей, какие достигаются над русским материалом его европейской обработкой» (НВ. 1913. 25 янв.; СХ, 391, 393). В заметке «Еще о В.В. Андрееве и его “народном оркестре”» (НВ. 1913. 19 апр.; СХ, 393–395) Р. полемизировал с *М.М. Ивановым*, возражавшим против выделения средств оркестру А. В начале апреля 1913 Р. составил поздравительное послание ко дню 25-летия творческой деятельности А. от имени сотрудников «*Нового Времени*». Идеи письма перекликались с *темами* его статей об А.: «Русский народ всегда был соловьем между народами; но недоставало соловью этому выучки, *школы* <...> Своею русскою *душой* влюбившись в русского натурального соловья, Вы помогли ему великим изучением народных инструментов и организацией того, что вы назвали “великорусским оркестром”» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 254). В заметке «На концерте В.В. Андреева» Р. передал общий настрой от выступления оркестра А.: «Входя “в концерт Андреева”, точно идут в какой-то вихрь, чтобы унести, закружиться и забыться. Вот отчего, я думаю, концерты Андреева имеют в себе необъяснимую *психологию бала*» (НВ. 1914. 9 янв.; НФП, 214). К 6 письмам А. к Р. (1913–1914) приложена *характеристика* 1916: «Вас. Вас. Андреев. (балалайки) — всегда мне казался примером и типом великого человека; и слова эти тем более заслуживают внимания “*благосклонного читателя*”, что говорю их без всякой *любви* личной к нему. Да в нем и нечего любить, не к чему приковаться. Я представляю, что когда он спит в постельке (роскошная кровать, — и все в квартире у него роскошно), то и постелька холодна и он холоден. И продолжаю: “В.В. во *сне*”: тогда *лицо* у него угрюмое (в разговоре всегда улыбается), печальное и истощенное. “Как я устал. Отдохнуть бы. Но *огонь* сжигает внутри, и я сейчас опять побегу” Что он взял: брошенную *вещь*, заплеванную вещь. Никому не нужную, никому не полезную. И всю *жизнь* положил в одну эту вещь. Он во всю свою жизнь ни на кого и ни на что не оглядывался. Не женился. Не ухаживал, не флиртовал. Не читал даже ничего. Не знакомился — иначе как “в интересах балалайки” Никто еще из известных мне людей “*гений специализации*” не довел до такого абсолютного уединения и такой абсолютной специализации как В.В. Андреев <...> Умен он? Не знаю, не думаю. *Ум* так весь “приспособлен к балалайке и ее утехам” и из-за балалайки не видно ума. По существу дела, он не только умен, но — чрезвычайно умен, хищно наблюдателен, понимает людей и *быт*, “узор жизни”, и ничтожный и интересен, оценивает людей <...> К великому сожалению и для меня страданию — он *еврей*. И именно — через мать еврейку» (ЛЖ. 2000. № 13–14. Ч. 1. С. 114–115). Итоговая оценка А. дается в статье Р. «Бенефис великорусского оркестра» (НВ. 1917. 7 февр.). В ней Р. выделял профессиональные и организаторские способности А.: «Великий дар Андреева дал ему силу связать, соединить людей, устремив всех их к заветной ему одному цели <...> И вот это — урок для русских, которые вечно о всяком деле спорят и около всякого дела ссорятся. Зная хорошо В.В. Андреева, я о нем никогда не слышал дурного слова, а заочного уважения слышал слишком много. И это чувствуется; чувствуется гипнотически, через смысл, через пространство.

Необыкновенный *ум* артиста (его я решительно требую для В.В. Андреева) выразился в том, что он понял, где центр единения, слитности. В уважении нужно уважать тех людей, которыми я руковожу, но которые мне и помогают создать “мое дело”» (ВЧВ, 495–496). Старшая дочь писателя *Т.В. Розанова* вспоминала: «В 1911–1912 гг. стал бывать у нас Василий Васильевич Андреев, он привозил билеты на свои концерты, был очень мил и любезен. Раз мы ездили — отец, я и старшая сестра Аля к нему в гости на Васильевский остров. Он жил со своей старушкой матерью, показывал нам большую коллекцию балалаек и мандолин, которые он собрал» (ТР, 64). Младшая дочь *Н.В. Розанова* рассказывала о гостях на розановских *воскресеньях*: «Василий Васильевич Андреев, создатель Великорусского оркестра (балалайка), чаще всего приезжавший после концерта, во фраке, в лакированных туфлях, с безупречным пробором на голове и с бородкой-эспаньолкой, весь сжатый, сухой. Под конец вечера он часто рассказывает еврейские анекдоты» (НР, 168).

А.В. Ломоносов

АНДРЕЕВ Иван Дмитриевич [21.6(3.7).1867, село Малиново, Ливенский уезд, Орловская губ. — 28.6.1927, Ленинград] — профессор Петербургского университета и Московской духовной академии, редактор академического журнала «*Богословский Вестник*». Сохранилось *письмо* А. к Р. от 1 января 1912, выражающее благодарность за теплый отзыв Р. о его статье «*Аскетизм*» в «Новом энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона» (СПб. Т. 4), а также о своем уходе из духовной академии из-за преследования со стороны церковных властей. А. высказывал Р. свою солидарность с его позицией критики монашествующих иерархов: «Я рукоплещу Вам за Ваши попытки вскрыть ложь духовного ведомства, особенно *монашества*. Недаром *Гермоген* Саратовский не переваривает Вас и читает о Вас огромные рефераты <...> Вы недоумевайте, зачем я ушел из Академии. Да ведь если бы написал “Аскетизм” в Академии, меня выгнали бы на улицу в 24 часа. Я писал диссертацию по хронологии и за нее удостоился получить выговор от *Св. Синода*: крамолу усмотрел в цифрах» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 3).

А.В. Ломоносов

АНДРЕЕВ Леонид Николаевич [9(21).8.1871, Орел — 12.9.1919, д. Нейвала, близ Мустамяки, Финляндия] — писатель. Р. принадлежит несколько статей об А. Одна из первых посвящена повести А. «*Жизнь Василия Фивейского*» (НВ. 1904. 2 июня): «Л. Андреев дал именно *историю*, без нажимов, тягучую, органическую. “Иово страдание” он в сущности выразил через краски почти естественно-исторические, нарисовав эту самую всемирную *боль* в обстановке захудалого, сославного, местного, бытового, экономического, а главное — в картине нервного, физиологического истощения природы, “вырождения”» (ЛВИ, 460). В статье «Русский “реалист” об евангельских событиях и *лицах*» (НВ. 1907. 19 июля) Р. подверг резкой критике рассказ А. «Иуда Искариот и другие» и высмеял даже само его заглавие: «“И другие”?! Об апостолах?! Которые почему-то полторы тысячи лет живут в памяти сотен миллионов людей, а знаменитый

автор никогда себя не спросил: “Почему же это?” Великий Леонид Петрович (или Иваныч?) Андреев этим “и другие” выразил уничижительное свое презрение к апостолам; такое презрение, такое презрение, что от апостолов приблизительно ничего не должно остаться» (ОНД, 208). Неприятие А. в этой статье основано и на *стиле* писателя: «Андреев, воображающий, что он всегда “умен”, мазнул мочалкою, поднятой со “Дна” М. Горького, по евангельским лицам, не смутившись даже перед азбучным требованием от всякого художественного произведения, чтобы лица, положим, семитской крови не выражались языком монголов или индийцев, и в I веке до Р.Х. не говорили так, как говорят в парижских кабаках XIX–XX века» (Там же, 209). Объясняя мотивы этой статьи, Р. писал позднее: «О Л. Андрееве я написал статью в прямом смысле и, конечно, совершенно искренно: и был вправе назвать своим именем произведение характерно пошлое, пошлым языком и тоном написанное — о великой теме. Я почувствовал себя глубоко оскорбленным как *читатель*, как старый писатель на религиозные темы и пр. Без дальнейшего, скажу еще намек: тема Иуды и его 30 сребреников бесконечно глубока, ибо это есть лишь завершение проведенного через все *Евангелие* отрицания имущества, богатства, денег. “За деньги предан И. Христос!”, “предан по корысти” На громадный мотив жизни — имущественный, экономический — положен черный крест!» (НВ. 1907. 5 сент.; ОНД, 220). Еще во время посещения Л.Н. Толстого в Ясной Поляне в 1903 шел разговор о «Письме в редакцию» газеты «Новое Время» С.А. Толстой, в котором она соглашалась с журналистом В.П. Бурениным, назвавшим рассказ А. «В тумане» порнографическим произведением. Р. откликнулся на это «Письмо в редакцию», опубликованное 7 февраля 1903, статьей «О письме гр. С.А. Толстой» (НВ. 1903. 11 февр.), утверждая, что А. ориентируется на «бессемейных людей». Однако сам рассказ А. был прочитан Р. только в начале 1908, результатом чего стала его статья «Андреев и его “Тьма”» (НВ. 1908. 25 янв.). Р. считает, что «“*вещь*» написана гораздо лучше, чем “Иуда Искариот и другие”. Автор стоял здесь гораздо ближе к *быту*, к нашим дням, и фантазия его не имела перед собою того простора “далекого и неведомого”, в котором она нагородила в “Иуде” ряд несбыточных и смешных уродливостей. Затем, все письмо здесь гораздо менее самоуверенно, оно очень осторожно: и, напр., почти не встречается прежних его “пужаний” читателя — самой забавной и жалкой черты в его писательской манере» (ОПП, 255). Р. имел в виду известную фразу Л. Толстого о “пугании” А. (см.: Русь. 1907. 24 февр.; Столичное Утро. 1907. 24 июня). Вместе с тем Р. отмечает аффектированность А., отсутствие простоты: «Краски яркие, кричащие, “взывающие и поющие” — не от существа предмета и темы, а от души автора, хотящей не рассуждать и говорить, а удивлять, кричать и поражать» (ОПП, 255). А. ничего за душой не имеет, «кроме общего демократического направления» (ОПП, 260), — утверждал Р. в 1908, а в 1914 записал: «Разве мы не пережили комического в своем роде зрелища, когда “могучая русская волна мыслящего пролетариата” несла на миллионных плечах творца “Анатемы” и когда от “Жизни человека” не было прохода ни в журналах, ни в обществе. И с лицом таксы, с этим задумчивым и вни-

мательным лицом, не улыбающимся и не сказавшим за всю жизнь никакой шутки, никакого *смеха*, никакой улыбки, Л. Андреев взирал сверху вниз и на Толстого, и на Достоевского, а таких “мелочей”, как К. Леонтьев и Страхов, он и по имени, конечно, не знал» (КНУ, 443). Р. относил А. к современной *массовой литературе*. В книге «Мимолетное. 1914 год» он пишет: «Как в свое время могли читать пошлости Андреева — этого я совершенно себе не представляю. Одно объяснение — всеобщее обязательное обучение. Когда “сквозь строй училищ” начали прогонять кнутом и обязательством все человеческое стадо, всех копытных и многокопытных, то, естественно, вырос массовый копытный *читатель* и к этому именно времени начала возникать копытная литература: *Вербицкая*, Нат-Пинкертон и “вещи” Л. Андреева. Сам-то он делал вид, что его читают “не те”, что Вербицкую: но читали именно “те самые” Их миллион» (КНУ, 499–500). «Читатель из папье-маше, естественно, и чувствует писателя из папье-маше. Вот судьба Леонида Андреева» (КНУ, 584). Когда же произошел большевистский переворот, Р. с горькой иронией сетовал: «Если бы вместо того, чтобы называть в *литературе* Леонида Андреева “лоботрясом и невеждой” и, в сущности, — бесталанным болтуном “на высокие темы”, я сдержался и смиренно сказал ему, попросил указания: — Как быть богатым? — Не голодали бы мои бедные дочери. И сам я не канючил бы сейчас» (АНВ, 242). М. Горький в одном из писем к А. упомянул о своей переписке с Р. 18 апреля 1912 А. ответил Горькому: «Относительно Розанова — да, я удивился, когда прочел его хвастовство твоими письмами, хотя думаю, что хвастался этот мерзавец пощечинами. Но все-таки не понимаю, что за охота тратить тебе *время* и *труд* даже на пощечины для этого ничтожного, грязного и отвратительного человека» (М. Горький. Материалы и исследования. Л., 1934. Т. 1. С. 169–170).

А.Н.

АНДРЕЕВ Федор Константинович [1(13).4.1887, Петербург — 23.5.1929, Ленинград] — богослов, преподаватель кафедры систематической философии и логики Московской духовной академии (1913–1918), друг о. Павла Флоренского. Р. познакомился с А., тогда еще студентом МДА, через Флоренского, по всей видимости, в начале 1912. *Семья А. жила в Петербурге*, и когда он приехал домой из *Сергиева Посада*, то был связующим звеном между Флоренским и Р. 30 декабря 1911 А. жаловался Флоренскому: «К В.В. Розанову я не мог попасть, т.к. приходилось сидеть в Царском с гостями: думаю сделать это очень скоро» (здесь и далее — *письма А. из Архива Музея свящ. П. Флоренского*). 23 марта 1912 А. писал Флоренскому: «В Москве виделся с Серг. Ник. <Булгаковым> <...> Ему кто-то сообщил, что Вас. Вас. сейчас страшно одинок, а потому я отправляюсь его утешать, т.е. предавать поклоны от Вас, М.А. <Новосёлова>, Серг. Ник. и Вл. Ал. <Кожевникова>, пусть знает, что взамен старых друзей найдутся новые». Далее А. сообщал о Р.: «Он очень много пишет в “Нов. Вр.” за последнее время. В понедельник он уверял, что Кони “единосушен” с Гаазом и весьма его за то хвалил, а вчера, пытаясь установить “ипостасное различие”, установил, что Гааз — святой, а Кони — просто прохвост.

Его «Уединенное» действительно изъято при продаже». 1 июня 1912 А. сообщал Флоренскому: «Недавно у букиниста добыл случайно две брошюры *Шперка* (вашего товарища по «корневедству» — см. «Уединенное»), одну — «*Метафизика мировых процессов*» — «прочел с удовольствием», т.е. ничего не понял, а другую — сборник афоризмов — действительно прочел с удовольствием, но того, что говорит Розанов, не заметил, вероятно, по недомыслию, а м.б., потому, что она не типична для Шперка (он «ни в чем не высказался», по Розанову)». 28 июня 1913 А. сообщал: «Скоро пришлю карточки с Розановыми». Однако фотографии, на которых А. изображен вместе с Р., нам неизвестны. В письме А. от 21 января 1914 — отзвуки известного «суда» над Р. в *Религиозно-философском обществе*. А. упоминает первую, сорвавшуюся попытку исключения Р. из общества 19 января 1914: «У В.В. был последний раз в прошлом *воскресенье* (в этот вечер его исключали из «Фил. Об-ва»), если вы слышали, но, конечно, дело провалилось усилиями В. Иванова, о. Антонова, Аскольдова, Коноплянцева и др., не говоря уже о том, что из 140 членов явилось лишь 38; обо всем этом с большим юмором рассказал Коноплянцев, прямо из собрания прибежавший к В.В. и превративший унылый семейный ужин в новогодний полуночный пир». 2 августа 1915 А. выразил свое мнение о ранних полемических сочинениях Р.: «Сейчас как раз прочел Розанова «*Свобода и вера*» и всю полемику вокруг нее («Иудушка Головлёв», статьи *Тихомирова* и ответы им Розанова). Все розановское произвело на меня очень сильное впечатление». Сохранилось письмо А. к Р. от 14 декабря 1915 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4215. Ед. хр. 1), в котором он благодарит писателя за 2-й короб «*Онавших листьев*» и сообщает о намерении взять одно из высказываний Р. («*Революции исходят из молодого «я» Царства — из покорности судьбе*») эпиграфом к своей магистерской диссертации о *Ю.Ф. Самарине*. 9 января 1916 А. сообщал Флоренскому: «У Розанова был. Настроение дома ихнего — подавленное. Ждут тебя чуть ли не как мессию, но в общем, кажется, все преувеличено <...> В.Д. убита фразой из какого-то московского письма: «Васенька, приезжай, зацелую до смерти» (или что-то в этом роде). <...> Но главная беда, конечно, в том, что, вообразив измену, она собрала вокруг себя *детей*, не разбирая *пола* и возраста, и объявила им: «Полюбуйтесь, какой у вас папа!» <...> Одна В.Д. смотрит трагично и молит тебя приехать, а мы, повторяю, не верим, что это нужно! Вид у В.В., впрочем, пришибленный донельзя. Пять часов, до глубокой ночи, мы с ним проговорили о святости *брака* (по литературным примерам), причем я был ригористичен, как католик, а он не только не рассердился, но на прощание еще подарил мне книгу Шаффира (1722 года!) с надписью: «Сердитому, но и т.д.» Завтра иду к нему опять». Р. писал в одной из статей: «Порадуем приверженных к *славянофильству* людей и другим известием: вскоре же, в этом году или в следующем, выйдет огромная книга-диссертация о *Ю.Ф. Самарине* вышеупомянутого Ф.К. Андреева, также профессора Московской духовной академии <...> Таким образом, не быстро, но зато массово, — в достойных предмета своего труда — дело славянофильства, область славянофильства крепнет и ширится в русском самосознании» (П.А. Флоренский о *Хомякове* // К. 1916. 22 окт.; ВЧВ,

411). Однако после *смерти* А. в 1929 и ареста жены в 1930 его архив (включая все его сочинения и переписку, в т.ч. письма о. Павла Флоренского) был конфискован ГПУ и до нас не дошел. В 1916–1917 А. часто болел. Во время болезни 11 января 1917 он писал Флоренскому: «Посещает меня *Ив. Павл. <Шербов>*, недавно неожиданно посетил и В.В. Розанов... Он <...> сильно и явственно стареет» (АФ). В следующем письме (16 янв. 1917) он сообщал: «В.В. Роз. после своего визита прислал свое новое «*Уединенное*», еще не сброшюрованное». Там же А. писал о Павлу: «Недавно дядюшка... подарил мне песни *Киреевского*, но т.к. они у меня есть, то не хочешь ли их на свою славянофильскую полочку (тебя с нее, впрочем, наследники оных славянофилов гонят за «Около Хомякова», а мне статья твоя, Розанову и И. П-чу ужасно понравилась)» (АФ). После революции из-за болезни, сложной политической обстановки и семейных проблем А. почти все *время* вынужденно проводил в Петрограде, Р. же переехал с *семьей* в Сергиев Посад. А., который в эти труднейшие времена принял решение целиком посвятить себя *Церкви*, писал Флоренскому 12 декабря 1917, рассчитывая, что приезд Р. в Сергиев Посад означает его окончательный возврат к *православию*: «А что Розанов! У нас с ним у обоих «начинается *религия*» Слава Богу! Давно пора!» (АФ) После выхода в свет бунтарского «*Апокалипсиса нашего времени*», однако, хула Р. на христианство вызвала протест его друзей в Сергиевом Посаде. *Н.О. Лосский* уже в эмиграции писал, вспоминая рассказ А., с которым встречался в Петрограде: «Отец Павел, лектор Московской духовной академии Андреев и еще одно лицо, фамилию которого я забыл <М.А. Новосёлов> пришли к Розанову <...> Они заявили Розанову, что если он будет продолжать выступать с нападками на христианство, то они больше не будут его друзьями. Розанов ответил им, сознавая, очевидно, в себе или около себя, какую-то демоническую силу: «Не трогайте Розанова; для вас будет хуже» И действительно, в следующем году всех их постигло серьезное несчастье» (Лосский Н.О. История русской философии. М., 1990. С. 437). Р. дал следующую характеристику богослова: «Андреев Фед. Конст. Проф. философии Московской дух. академии. Пишет книгу о Самарине. Умен, болезнен. Утончен. Друг Флоренского» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 113).

В.А. Фатеев

АНДРЕЕВСКИЙ Сергей Аркадьевич [29.12.1847 (10.1.1848), село Александровка, Славяносербский уезд, Екатеринославская губ. — 9.11.1918, Петроград] — писатель, поэт, критик, сотрудник «*Нового Времени*», адвокат Р. Во время заседаний *Религиозно-философских собраний в Петербурге* А. обычно зачитывал тексты рефератов Р. (*Перцов П.П.* Литературные воспоминания. 1890–1902. М., 2002. С. 267). Р. посвятил ему статью «С.А. Андреевский как критик» (НВ. 1903. 27 сент.), в которой, сравнивая А. с юристами-литераторами *А.Ф. Кони* и В.Д. Спасовичем, подчеркивал, что А. «более интимно и более глубоко вошел в *литературу*», хотя и не являлся «наиболее литературно-талантливым» из них. Статья была посвящена разбору литературно-критических очерков А., созданных на основе его выступлений в Литературно-драматическом обществе, у *Я.П. Полонского* и

К.К. Случевского, составивших впоследствии сборник «Литературные чтения» (СПб., 1891; с 4-го изд. под названием «Литературные очерки». СПб., 1913). Высоко оценивая литературный труд критика, Р. указывал и на опасность обезличивания его исследований: «Андреевский навсегда останется “другом” других, а не самим



С.А. Андреевский

собою; не писателем, а “другом”-критиком, который говорит чрезвычайно занимательно, наконец — поучительно о других писателях: но не возбуждает вас собою, не приковывает к самому себе». Из книги А. писатель особо выделял один очерк: «Характеристику Лермонтова можно считать одною из лучших во всей нашей литературе <...> Он именно — чистокровнейший поэт, “человек не от мира сего”, забросивший к нам откуда-то с недостижимой высоты свои чарующие песни <...> Никто не сказал, что “связь с сверхчувственным у Лермонтова есть самая главная черта и что ясностью этой связи он превосходит всех поэтов всемирной литературы”». Баратынский определялся как «предшественник европейского пессимизма», а в исследовании о творчестве Ф.М. Достоевского высокую оценку Р. получило выявление в его героях (старце Зосиме и Алеше Карамазове) черт «чистейшего “толстизма”». Р. упрекал А. в пессимистическом взгляде на будущее поэзии и литературной критики: «Появление великих поэтических талантов есть тайна истории, которой не постигая мы не можем ничего предсказать». Он отстаивал в Петербургской судебной палате права Р. на выпуск книги «Русская церковь. Дух. Судьба. Ничтожество и очарование. Главный вопрос», на которую был наложен цензурный арест

Главным управлением по делам печати за «богоуление и поношение предметов веры, с целью произвести соблазн» (ст. 73 Уголовного уложения). А. доказывал в «Апелляционной жалобе», направленной в Петербургскую судебную палату, необоснованность приговора Петербургского окружного суда от 8 января 1909: «Ничего подобного в брошюре Розанова нет. Есть резкие нападки на исполнителей и толкователей Св. Писания, на искизителей Библии, на обер-прокуратуру при Св. Синоде, на всех людей, ходящих под Богом, но отнюдь не на Бога и на религию, которую автор отстаивает всюю силою своего сердца, быть может глубже и любовнее всех современных писателей. Странно даже подозревать требуемое законом намерение “произвести соблазн” у автора, говорящего (на стр. 11), что “при всем понимании недостатков официальной Церкви, — ее больно критиковать, хочется все ей простить, со всем примириться и умереть все-таки православным даже при отрицании почти всего Православия <...> Страстно ищущий религиозного света, Розанов сознает, что, быть может, кое-где, в двух-трех фразах он допустил невоздержанность слога, обронил некоторые слова, режущие ухо, в пылу негодования на практику христианства, — и он просил Суд ограничиться вычеркиванием всех вырвавшихся у него неудобных выражений <...> И вот, в эту пору пессимизма и безверия, является настоящая брошюра. Если в ней и заключается критика некоторых догматов христианства, то она не имеет ничего общего с тем отрицанием христианства, какое мы находим в произведениях Ренана и Фейербаха, разрешаемых судебной практикой и цензурой к свободному обращению в публике. У Розанова, напротив, всюду сквозит отчаянная попытка спасти христианство, очистив его от софистических толкований, и приблизить Церковь к жизни» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 1. Л. 11). А. поддержал Р. в дни гонений печати на книгу «Уединенное»: «Удивился, как странно отнеслась печать, — сочувствовал критик. — Где же похабщина? Цинизм? <...> Страдание, страдание, страдание! Вот что преобладает в книге. До чего надо быть измученным, чтобы так обнажить себя!! И первое человеческое движение, которое внушает книга: сказать что-нибудь ласковое этому бунтующему, гордому мученику <...> Знаете? Бог есть Время. Крепитесь. Вы — Протей. Сложный человек» (ОСЖС, 719). Спустя год, после судебных разбирательств арест был снят. В сентябре 1902 и 8 мая 1912 А. присылал Р. свои книги: «Вырождение рифмы: Заметки о современной поэзии» (СПб., 1901; оттиск из МИ. 1901. № 5); «Литературные чтения» (СПб., 1891). Р. в «Мимолетном. 1914 год» оставил набросок литературного портрета своего приятеля: «Вошел Андреевский (критик и присяжный поверенный) и рассыпался. Остроты, mots <словечки> и всякое изящество. Старый русский барин, образованный человек, адвокат, “больше не занимающийся практикой”, писатель и человек с состоянием <...> Когда Андреевский играет и острит, все должны молчать. До того он изящен. Между тем он не очень даже умен. Не очень умен, п.ч. очень счастлив. Зачем счастливым ум? это — дар горемык» (КНУ, 592).

А.В. Ломоносов

АНИЧКОВ Евгений Васильевич [2(14).1.1866, Боровичи, Новгородская губ. — 27.10.1937, Белград] — исто-

рик литературы, критик. С 1918 жил в Югославии. В статье «Новые события в литературе» (НВ. 1911. 5 марта) Р. высмеял вошедшую в обиход практику устраивать «вечера» в честь здравствующих писателей. В полученной им повестке литературно-музыкального вечера, посвященного Федору Сологубу, значилось: «Вступительное слово Е.В. Аничкова: “Стыд и бесстыдство 80-х годов перед судом Чехова и Сологуба”». Р. саркастически замечает: «Можно ли же представить себе *Белинского*, *Добролюбова*, *Грановского*, представить *Лермонтова* или *Гоголя*, представить *Островского*, *Толстого*, *Гончарова*, говорящими: “Господа, устроимте вечер обо мне”» (ОПП, 496). 19 января 1914 под председательством А. состоялось первое заседание *Религиозно-философского общества* по поводу исключения Р., отложенное до 26 января, когда А. в своем выступлении заявил о Р.: «Он для меня, как писатель, незначителен и не важен, т.е. я не говорю, что он незначительный писатель, но для меня лично, для моей души, он никогда значителен не был <...> Я искренно и прямо говорю, и это мое мнение, а не суд: — то, что пишет Розанов в последнее время, очень низко, безгранично низко» (ЗПРФО, 46). А. был одним из авторов формулировки, по которой Р. был изгнан из Общества: «Выражая осуждение приема общественной борьбы, к которым прибегает Розанов, общее собрание действительных членов общества присоединяется к заявлению Совета о невозможности совместной работы с В.В. Розановым в одном и том же общественном деле» (ЗПРФО, 66).

А.Н.

АННЕНСКИЙ Иннокентий Федорович [20.8(1.9).1855, Омск — 30.11(13.12).1909, Петербург] — поэт, критик, переводчик, педагог. В 1916 вышел первый том трагедий Еврипида в переводах А. под редакцией Ф.Ф. Зелинского. О.П. Хмара-Барщевская, племянница покойного А., обратилась к Р. с письмом по поводу редакторского приговора Зелинскому при издании переводов А. Он дал перечень изменяемых строк перевода, но не дал сами строки А. Племянница, многие годы работавшая переписчиком произведений А., после его смерти подготовила к печати 12 переведенных им трагедий без каких-либо изменений. Свое письмо она завершила обращением к Зелинскому: «Неужели ему мало собственных лавров, что он захотел вплетать в свой веночек те лавры, которые должны увенчать тень усопшего?». Р. опубликовал это письмо в своей статье «Переводчик и редактор (К изданию переводов И.Ф. Анненского)» (НВ. 1917. 14 янв.) и попытался разобраться в «идейной тяжбе» между «равно дорогими русскому образованному человеку лицами — Фаддея Францевича Зелинского, нашего знаменитого эллиниста, и покойного Иннокентия Федоровича Анненского, тоже эллиниста и поэта. Прекрасная и еще мало у нас оцененная поэзия Анненского дорога многим. Его преждевременная, неожиданная смерть на пороге Царскосельского вокзала поразила, ушибла многих. Это был петроградский педагог, “чиновник министерства просвещения”, дивным образом сохранивший в себе “чары вымыслов” и влечение к ним, и очарование эллинистическим гением. Проф. Зелинский есть глава и наставник целой школы русских эллинистов, автор многочисленных трудов самого высокого культурного значения»

(ВЧВ, 474–475). В ответ Зелинский прислал обстоятельное письмо Р.: «Поправки вызывались недостаточно тонким знанием греческого языка И.Ф. Анненским и пизетом редактора более к Еврипиду, нежели к русскому его переводчику, хотя и прекрасному поэту и вообще человеку, достойному тоже всякой памяти и всякого к себе почтения и благоговения» (ВЧВ, 484). Р. опубликовал это письмо Зелинского (НВ. 1917. 24 янв.), не принимая прямо ничью сторону.

А.Н.

АННЕНСКИЙ Николай Федорович [28.3(9.4).1843, Петербург — 26.7(8.8).1912, Куоккала под Петербургом] — публицист, общественный деятель, старший брат поэта И.Ф. Анненского. Р. называет А. среди «последних могиан» радикализма в России (*Мельшин, Богучарский*) (СХР, 194). Выступления А. против преобладающей власти вызвали иронические отклики Р. «“На хорах был пристав: и вот Анненский, сказав после какого-то предостережения, что пусть нас слушают и там — показал на хоры”, — пишет *Любовь Гуревич*, — т.е. показал на самого пристава!!! Какая отчаянная храбрость. *Страхов* провалился бы сквозь землю от неуважения к себе, если бы в речи, имеющей культурное значение, он допустил себе, хоть минуту, подумать о приставе. Он счел бы унижением думать даже о министре внутренних дел, — имея в думах лишь века и историю» (У, 279). Говоря, что вся революция замешена на “самолюбии и злобе”, Р. добавляет: «Если попадают исключения, то это такая редкость (*Мельшин, Анненский*)» (У, 244).

А.Н.

АНТОНИЙ [Вадковский Александр Васильевич; 3.(15)8.1846, село Царевка (Гремячка), Кирсановский уезд, Тамбовская губ. — 2(15).11.1912, Петербург] — митрополит Петербургский и Ладожский, член *Св. Синода* (с 9 июня 1900 — первенствующий), член Государственного совета. В конце 90-х Р. составил прошение на имя А. с подробным изложением всех причин своих душевных волнений и антицерковных настроений, не оставлявших его после второй женитьбы, не признанной церковью. «Давно уже в церкви я не бываю. Только когда за недосугом или болезнью жены свожу в большой праздник или к причастию детей — по равнодушию, конечно. Боюсь я церкви, боюсь я христиан <...> Главное, и с женой-то я своей разделился, и с детьми — все они верующие, жена — горячо. Но стану я веровать <...> отделяюсь от них; отделяюсь от церкви — с ними соединяюсь» (ОСЖС, 701). В 1899 Р. упомянул А. в статье «Важная забота церкви» (НВ. 14 сент.) в качестве инициатора «особой комиссии под председательством талантливой проповедника и писателя священника Орнатского для рассмотрения трудного и сложного вопроса о так называемых “незаконных сожителствах и незаконнорожденных детях”». Факт назначения комиссии оспаривался протоиереем А. Дёрновым в «Письме в редакцию “Нового Времени”» от 18 сентября 1899. Митрополит А. в 1901 благословил открытие *Религиозно-философских собраний* (РФС) в Петербурге, активное участие в которых принимал Р. Иерарх даже направил на них своего друга епископа *Антонина (Грановского)*. После визита к А. супругов Мережковских, Р., *Д.В. Философова*, *В.А. Тернав-*

цева, Н.М. Минского, А.Н. Бенуа и Л.С. Бакста «митрополит обещал свою поддержку» (PRO, 1, 133). Полторачасовая встреча с митрополитом, прошедшая в неторопливой беседе за чаепитием, оставила благоприятное впечатление у обеих сторон. Р. так вспоминал о визите в книге «Семейный вопрос в России»: «Когда в составе целой группы писателей <...> вступил в покои Вы-



Антоний (А.В. Вадковский)

сокопресвященного Митрополита С.-Петербургского Антония для испрошения благословения на открытие Философско-религиозных собраний, то во время беседы, затем последовавшей, Владыка, касаясь разных вопросов, между прочим сказал, обращаясь ко мне: “Ну, вот вопрос о *разводе* почти кончен. Мы скоро вовсе устранимся от производства его и передадим ведение дела светским судам; сохраняя за собою только скрепление окончательного результата” Но было бы напрасно думать, что этим вопрос кончается <...> В этом отношении слова митрополита Антония, сказав мне новое, сказав даже утешительное, не сказали окончательного и открыли только перспективу новых будущих забот <...> Владыка хорошо и с добротой говорил о “незаконнорожденных”, и когда я упомянул о детоубийстве, выразился, что термин этот вовсе не церковный, а государственный, от *государства* идет, и что священники, лишь повинаясь гражданскому закону, вписывают его в метрики» (СВР, 12, 394). Сохранилось три письма А. к Р. 1903: от 3 июля из Сарова, с сочувственным обсуждением но-

вого закона о внебрачных детях; другое послание — с объяснением своей отрицательной оценки розановского реферата, зачитанного в резких *тонах* на РФС, а также за «вышучивание слова “благодать”». Более раннее письмо, от 21 января, с отказом в просьбе Р. разрешить проф. А.В. Карташёву быть чтецом его рефератов на РФС, т.к. профессор Духовной академии «не может быть органом для передачи воззрений, отрицающих <...> знамя, которое составляет святыню корпорации» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4214. Ед. хр. 3). За чтение вслух Карташёвым, по просьбе Р., возражений на выступление докладчика в РФС профессор был «призван к митрополиту Антонию и получил от этого, сравнительно мягкого и “либерального” иерарха самый грубый выговор. Хотел было оправдаться, — я, мол, только “одолжил Розанову свой голос”, но его не дослушали: — Чтобы — впредь — этого — не было» (PRO, 1, 152). Несколько раз Р. бывал на приемах у митрополита вместе с другими организаторами РФС. «У Антония Мережковский читал “Гоголя и о. Матфея”, читал там даже Минский <...> Розанов, конечно, не читал, как нигде не читал ничего, и, конечно, всегда присутствовал» (PRO, 1, 157). Один из экстренных визитов Р. с Минским к А. состоялся после запрета 5 апреля 1903 К.П. Победоносцевым РФС. Трехчасовые переговоры привели только к разрешению последнего заседания РФС, на большее А. пойти не мог. В некрологе, после кончины митрополита (НВ. 1912. 3 нояб.; ПВ), Р. утверждал, что, по своей воле, А. никогда бы не пошел на закрытие собраний. В 1905 Р. получил упреки от редакторов «Нового Времени» за усмотренный в его статье «Будьте справедливы» призыв руководству активно вмешаться церкви в процесс умиротворения рабочих манифестаций. Р. в этой статье полемизировал с кн. Мещерским, вопрошавшим в «Гражданине»: «Отчего митрополит с.-петербургский Антоний не появился 9 января среди рабочих на площади Зимнего дворца, чтобы успокоить их, сказать им вразумительное слово?» (КНУ, 33). 25 января 1905 Р. получил отповедь в письме А.С. Суворина: «Что это Вы нецензурные статьи пишете? <...> Неужели взаправду митрополит обязан в облачении идти навстречу рабочим, когда Святополк-Мирский ничего не знал до субботы вечером и, узнав, устроил войска для приведения рабочих якобы “в порядок” И где это видели митрополитов, усмиряющих народ, вместо полиции, в какой *истории*? Я этого не знаю. Думаю, что это было бы очень глупо. Против *декабристов* послали было митрополита в растерянности. В здравомыслии этого никто не делает <...> С митрополитом я познакомился и говорил с ним целый час. Зачем он текстами говорит с народом? Проповедник должен быть публицистом и поэтом, чтоб речь лилась, а не складывалась по текстам» (ПВ, 323). Статья Р. была снята с набора и смогла впервые увидеть свет лишь пять лет спустя в сборнике «Когда начальство ушло...». Между тем скандальная статья Р. была направлена не столько против митрополита А., сколько против обер-прокурора К.П. Победоносцева, его заместителя В.К. Саблера и всей сложившейся бюрократической структуры синодальной организации церкви. В возражение кн. Мещерскому Р. передает как сам митрополит через секретаря своего ответил на упреки: «В сферу политических и социальных движений духовную власть никто не считает нужным посвящать. По-

этому пастырского слова владыки к рабочим не могло и быть. Во всяком общественном движении надо быть вполне осведомленным, чтобы вовремя явиться, где нужно, и сказать то, что следует» (КНУ, 33). Р. недоумевал: «При чем тут митрополит? Он призван “литургисать”, т.е. стоять на подобающем месте в подобающий час в Исаакиевском соборе <...> “где же пастырское слово?”» — ответ на все злободневные вопросы общества предлагалось искать в пяти переизданиях «Московского сборника» Победоносцева. «А митрополиты <...> не имеют решительно никакой инициативы в речи или в деле» (КНУ, 33–34). А. снискал в среде крайне правых партий репутацию либерала, за что подвергался резкой критике. Р. отстаивал в печати правильность позиции, избранной митрополитом в годы революционных потрясений. В статье «Митрополит Антоний в современной смуте» он отмечал, «что с самого начала образования Союза русского народа <...> обвиняющие и грязящие статьи появились первоначально в газете г. Дубровина <Русское Знамя. 1906. 5 дек.>, а затем, менее дерзко, но более “кусательно”, начали действовать, прячась за спины других, лица в монашеской рясе» (РС. 1908. 10 февр.; ВНС, 43). Публицист вновь вступился за порядок управления митрополий в годы народной смуты, доказывая, что невмешательство иерарха есть сознательно избранная позиция «бездейтельного положения», «и это есть не только факт, но и программа, т.е. входит в личные и сознательные усилия митрополита» (там же). Особым образом выделялся высочайший уровень образованности и культуры А., даже его первенство в этом «среди заседающих в Синоде лиц». Помимо указанного, Р. вновь отмечал, что митрополит в современной церкви «есть служебная фигура, выдвинутая на свой пост рукою того же Победоносцева <...> он много лет сотрудничал с Победоносцевым, т.е. шел за ним <...> эта привычка “следовать вслед” вырабатывает уже волей-неволей известную психику, постоянную робость <...> он страшно привык к этой скромности, к ней предрасположились все его душевные способности» (Там же, 44–45). В итоге «митрополит Антоний остался в своей скромности по причине большой своей образованности, совмещенной с обыкновенными, скромными силами», а «занятое им положение <...> в высшей степени соответствует теперешнему положению церкви» (Там же, 46). В качестве примера нарастающих внутри церкви настроений в духе протестантской реформации, сознательно сдерживаемых митрополитом, Р. разбирает статью Н. Гринякина «По общим вопросам веры и церковной жизни. О действительности церковного канона» (Миссионерское Обозрение. 1906. Дек.). Обращаясь к оппонентам А., Восторгову и Иллиодору, Р. призывает их «низко-низко поклониться митрополиту Антонию, который своей нерешительностью, уклончивостью и, наконец, тем, что он просто обыкновенный человек <...> сдерживает наступление реформации», настроения которой уже глубоко проникли в среду православного богословия (РС. 1908. 13 февр.; ВНС, 51). 4 мая 1912 А.С. Суворин заказал Р. статью «Митрополит Антоний в исторических заслугах» (НВ. 1912. 5 мая; ПВ) и писал: «У нас совсем почти игнорировали юбилей митрополита Антония, посвятив ему несколько строк на другой день. Это обидно. Не скажете ли Вы о нем, об этой 25-летней его службе, т.е. я хочу

сказать — о службе в чине митрополита» (ПВ, 331). В *некрологе* «К концу Высокопросвещенного митрополита Антония» Р. выделял такие качества А., как отсутствие раздражительности, мстительности, подчеркивая, что при великой его терпимости «ничего не было бы ошибочнее, как представить себе митрополита Антония безвольным человеком. Его доброта была именно добротою полного воли человека, но — воли, а не своеволия» (НВ. 1912. 3 нояб.; ПВ, 233). Р. особо выделял стремление А. к обновлению церковной жизни: «Ничего застарелого, косного, ничего черствого никогда не находило в нем никакой защиты. До глубокой старости митрополит Антоний был полон свежести — готовности к благопотребной новизне; но именно “благопотребной, а не всякой <...> У него было постоянное сочувствие со зыву Церковного Собора <...> единственная вещь, которой он ожидал нетерпеливо <...> Соборный разум церкви, соборное сердце церкви вот чему православно он отдавал надежду на обновление духа и строя церкви». По наставлению А., епископ *Сергий (Страгородский И.Н.)* навещал в Евангелической (лютеранской) больнице «*друга*» — жену писателя — Варвару Дмитриевну (У, 79). Этот эпизод Р. привел в «*Уединенном*», вспоминая о добром и любящем отношении к себе служителей церкви, несмотря на свои постоянные выпады против церковных установлений. На книгу воспоминаний духовной дочери покойного митрополита М.Н. Бертенсон и писем к ней А. («Антоний, митрополит С.-Петербургский и Ладожский. Издание Общества распространения религиозно-нравственного просвещения. Пг., 1915) — подписанную инициалами «М.Б.», Р. откликнулся библиографической заметкой «Антоний, митрополит С.-Петербургский и Ладожский. М.Б.<ертенсон>». «Это и не научный труд, и не история, а некий “вдох” на могилу того, кто был дорог и поучителен» (НВ. 1915. 1 нояб.; НФП, 547).

А.В. Ломоносов

АНТОНИЙ [Храповицкий Алексей Павлович; 17(29).3.1863, село Ватагино, Крестецкий уезд, Новгородская губ. — 10.8.1936, Сремски-Карловци, Югославия] — епископ Чебоксарский, викарий Казанской епархии (1897–1899), епископ Чистопольский (1899–1900), в 1902–1914 епископ Вольнский и Житомирский, архиепископ Харьковский и Ахтырский (1914–1918), с 1918 митрополит Киевский и Галицкий, духовный писатель. 3 апреля 1892 *И.Ф. Романов-Рцы*, отвечая в письме на запрос Р. о *К.Н. Леонтьеве*, обратил его внимание на статью А. «Как относится служение общественному благу к заботе о спасении собственной души» (ВФП. 1892. № 12), в которой с иронией сообщалось о предпринятой Леонтьевым на Афонской горе попытке принять монашеский постриг и о его странной религиозности (Романов И.Ф. (Рцы). Письма к В.В. Розанову // Литературная учеба. 2000. № 4. С. 125). Одно время Р. пытался установить с А. добрые отношения, о чем свидетельствуют строки из его письма к *Л.П. Перцову*: «Напрасно Вы в Казани не познакомились с Антонием Храповицким <...> Просто — принесли бы ему Ваши сочинения и издания: просто даже передали бы, что вот “славянофил Розанов” рекомендовал мне “славянофилу Перцову” познакомиться с “Ваши славянофилом” Он настоящий

славянофил, один из стаи славной» (сент. 1898. — ОР РГБ. Ф. 872. К. 3. Ед. хр. 14. Л. 77—78). В статье «*Тема нашего времени*» (НВ. 1901. 6 марта) Р. отмечал, что А. «в издающихся его *трудах* долго, пристально и любовно останавливается на образе старца Зосимы». Р. видел в этом начало новой «школы религиозной мысли, идущей от *Достоевского*» (ВДЯ, 167). В цикле статей 1905 «Перед созывом Церковного Собора» Р. дал историю изменения своего отношения к А. Епископ Волынский был представлен Р. как «человек с богатым про-

го еще удивлялся «крупным словам», употребленным синодалом в отзыве о епископе А. Весной 1905 А. выступил публично со «Словом о Страшном суде», в котором говорил, имея в виду прежде всего Р.: «Такова одна часть мирян, желающих проникнуть на Собор, а другая — это наши доморощенные богословы “Нового Времени”, уже открытые нигилисты, отрицатели *догматов*, будущей жизни, св. таинств евангельских чудес, всего Ветхого Завета, принципиальные эротоманы, современные николиты, интеллигентные хлысты, требовавшие на страницах “Нового Времени” таких невероятных вещей, чтобы после таинства брака супружеское совокупление совершалось в самом храме Божиим — вероятно, при огромном количестве любопытных зрителей. Я думаю, что если бы для участия на Соборе пригласить в полном составе любую каторжную тюрьму, то она не могла бы в такой степени опозорить нашу св. веру и прогневать Бога, как подобные кандидаты в члены Поместного Собора» (БВ. 1905. № 12. С. 709—710). В той же серии статей 25 и 27 ноября 1905 Р. дал анализ призывов епископа А., изложенных в «Первой ответной записке Святейшему Правительствующему Синоду епископа Волынского и Житомирского» и разосланных им всем архиереям. По убеждению Р., рапорт епископа был призван консолидировать руководство «черного», монашествующего духовенства против активизации «белого», священства: «Храповицкий (еп. Антоний Волынский) приглашает всех епископов объединиться, чтобы не допустить белое духовенство на предстоящий Собор русской церкви, т.к. оно будет стремиться к ограничению архиерейской власти. Взывает к устройству Собора только из архиереев» (НВ. 1905. 20 нояб.). В той же докладной записке А. высказал резкое неприятие деятельности Р., когда речь зашла о присутствии на Церковном Соборе представителей мирян. Р. упрекал А. в искажении своей мысли, высказанной на заседании *Религиозно-философского собрания* (о том, «чтобы новобрачным первое время после венчания предоставлено было оставаться там, где они и повенчались» (У, 100). Он вступился за участие мирян в Соборе, «мирян, из которых выдвинулись церковною мыслью *И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин, Конст. и Ив. Аксаковы, Н.П. Гиляров-Платонов, Погодин, Вл. Соловьев, С.А. Рачинский, Кон. Леонтьев* и *Ф.М. Достоевский* и профессура духовных академий» (там же). Письмо А. от 2 декабря 1905 в редакцию «Нового Времени» содержало возмущение от публикации на страницах газеты розановского разбора его рапорта, представленного в Синод, без разрешения автора документа. А. счел себя оклеветанным, «как приравнивший духовенство к каторжникам» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4214. Ед. хр. 4. Л. 2). Послание содержало предложение опубликовать весь текст его рапорта. Проблематика Р. вызвала резкое неприятие А. 15 сентября 1905 он писал Б.Н. Никольскому: «Боюсь <...> узаконения *проституции* <...> если *Мережковский* и Розанов откроют свое хайло, не найдя на чем более зарабатывать авторский *гонорар* кроме богословия» (ГАРФ. Ф. 588. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 14 об. — 15). Общественная деятельность А. встречала резкое осуждение в печатных работах Р. В статье «Воздыханцы» (НВ. 1905. 9 марта) он выступил с критикой в адрес «Слова о Страшном Суде и о современных событиях» А. (МВ. 1905. 2 марта), считая, что автор «Слова» совершенно



Антоний (Храповицкий)

шлым и когда-то огромными возлагавшимися на него надеждами. Он основал лучший до сих пор богословский наш журнал, — «*Богословский Вестник*» <...> Начало любви было им выдвинуто вперед; начало закона, в его сухой юридической форме, отодвинуто назад. Еще молодой, первый по блеску писатель в духовной литературе, вечно подвижный, деятельный, замышляющий все новое, всегда впереди других <...> по таланту, — он, помню, вызывал во мне, тогда еще совсем молоденьком учителе провинциальной гимназии, настоящий энтузиазм» (НВ. 1905. 22 нояб.). Р. расспрашивал об А. своих друзей и знакомых в письмах. От них он узнал, что А. «по проискам архимандрита *Никона (Рождественского)* был переведен из Московской духовной академии в провинцию, а потом, опальный епископ, якобы был «несчастен «по службе». Полюбопытствовав как-то у одного из *чиновников Синода*, «отчего такое светило, как Антоний Храповицкий, не вызовется для присутствия в Синод», Р. получил столь выразительный ответ, что дол-

неоправданно принял на себя функции Страшного Суда («судит живых и мертвых»). А. видел *корень* зла событий *Первой русской революции* в «мрачном самооправдании» образованного общества» России. Р. приписывал А. черты папистского самовластия. Осуждал его Р. и за резкое выступление на Государственном Совете за сохранение *смертной казни* (КНУ, 129, 156). Активизацию выпадов Р. в свой адрес А. приписывал митрополиту *Антонию (Вадковскому)* и Остроумову с кн. Оболенским, о чем оповестил 30 ноября 1905 в письме управляющему канцелярией Св. Синода митр. Флавиану (ОР РГБ. Ф. 710. К. 1. Ед. хр. б. Л. 3). К письмам А. в архиве Р. приложена краткая характеристика корреспондента, передающая отношение Р. одним словом: «Антоний Вольтский, “пресловутый”» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 112). На призывы А. к восстановлению Патриаршего престола в Русской православной церкви Р. ответил рядом язвительных выпадов по поводу самой идеи. По его убеждению, высказанному в 1906, «патриарх в условиях нового образования и новых движений политических ничем не может быть, кроме папы» (РГО, 91). Позднее Р. признал необходимость восстановления патриаршества в России. Второе письмо А., содержащееся в архиве Р., от 4 октября 1908, было адресовано в редакцию «Русского Слова». Оно оспаривало ссылки на постановления Вселенских соборов в розановской статье «Поклонники Аурамазды» (РС. 1908. 17 сент.), в которой Р. причислил А. к поклонникам зороастризма. Особое возмущение Р. вызвало сообщение, что «Антоний Вольтский и Сергей Финляндский заявляют даже громко, что, в случае разрешения брака вторым священником, они выйдут из русской церкви, а Антоний Вольтский будто бы переслал некоторый капитал на Афон, — на случай переселения туда, если бы такое разрешение второго брака произошло» (ВНС, 271). В пылу полемики Р. бросил обвинение, что наряду с А. все «монахи ненавидят детей» и «так же жестоко смотрят на священнических детей, считая их не людьми» (Там же, 270). Епископу прислали вырезку со статьей Р. с отмеченными в тексте словами: «На одном из соборов было поставлено правило, что если монах восхощет быть епископом, то он должен предварительно снять с себя монашеские обеты и выйти из монашества». А. возражал в своем письме, утверждая, что «ни на одном соборе не принято подобного не было», и обвинил редакцию «в значительной поддержке лжи», искажающей Библию (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4214. Ед. хр. 4. Л. 4–7). А. требовал публикации своего ответного письма на статью Р. в 10-дневный срок. Он и позднее неоднократно выступал с резкими нападками на Р. в печати. В августе 1909 А. опубликовал возражение *Н.А. Бердяеву* о «Вехах» («О Церкви и духовенстве» // *Московский Еженедельник*. 1909. Авг. № 32), в котором выразил недовольство по поводу богоискательских тенденций у Р. и Мережковских. В начале сентября 1913, после «афонской смуты», Р. возмущался происшедшим событием в статье «Подспудная сторона Афонской истории» (редакция «Нового Времени» отказалась ее печатать) и обвинял А. в поддержке «расправы» над афонскими монахами и в оскорблении памяти покойного митрополита *Антония* Петербургского и Ладожского в анонимной статье в «Русском Знамени» (РГАЛИ. Ф. 419. Ед. хр. 116. Л. 100–107. Гранки). В 1916 Р. опубликовал в журнале «Вешние Во-

ды» письмо студента из Москвы, за подписью И.И. Аеева, с его литературными сочинениями, в котором тот выступил в поддержку Р. в его полемике с А. «В конце февраля этого года, в одной газете я прочел, что Архиепископ Антоний Вольтский называет вас, наряду с некоторыми другими писателями, “сущим язычником по духу и направлению, преступно растлевающим религиозную мысль и нравы нашего молодого поколения и усугубляющего нетерпимую атмосферу безбожия, кощунства, хулы и проклятия” И вот мне как одному из молодежи, студенту, которого поразили ваши мысли, рассеянные в ваших сочинениях, хочется громко и ясно сказать, насколько нелеп и прямо чудовищен этот приговор Архиепископа <...> я хочу вам сказать глубокую благодарность за ваши чистые мысли о религии, любви, женщине...» (ВВ. 1916. Т. 16–17. Кн. 7–8. С. 47).

А.В. Ломоносов

АНТОНИН [Грановский Александр Андреевич; 21.11(3.12). 1865, село Хоришки, Кобелякский уезд, Полтавская губ. — 14.1.1927, Москва] — епископ, приятель Р. по совместному участию в петербургских *Религиозно-философских собраниях* (РФС), старший цензор Петербургского духовного цензурного комитета в 1899–1903, 1903 — епископ Нарвский. Р. высоко ценил А.: «Из духовн<ых> я считаю даровитым (очень) только Антонина (я его близко знаю), но он отравлен властью» (ПИРЛ, 35). Епископ А., как отмечал *П.П. Перцов*, платил Р. симпатией со своей стороны: «Рьяный архимандрит Антонин, глава духовной цензуры, который сжег бы, кажется (по его речам судя), на костре всякого инакомыслящего, спокойно пропускал все “жупелы” того же Розанова в органе собраний [РФС] “Новом Пути” (к ужасу цензора светского)» («Литературные воспоминания. 1890–1902». М., 2002. С. 267). На 16-м заседании РФС при обсуждении вопроса о христианском браке, изложенном в записке Р., епископ А. выступал в защиту церковной традиции. Он отмечал, что «В.В. Розанова смущает не необходимость венчания, а расхождение плотского сожития и церковного освящения, доходящее до полного их несовмещения <...> Конечно, венчание не изменяет физиологической процессуальности деторождения, но внебрачные дети не чисты, а в браке святы (1 Кор. 7, 14). Дети супругов как бы входят в жизнь с открытым лицом, как гости в распахнутую дверь ожидающей их гостиной, а дети внебрачного, авторитетом общества не одобренного сожития, должны пробираться к общественному пирогу под вечер и темными переулками» (НП. 1903. № 10. С. 413, 415). По словам епископа, Р. хотелось, «чтоб ему показали благодать таинства брака, как нитку шивающую полотенца». В архиве Р. (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4214. Ед. хр. 2) сохранилось семь писем А. к Р. (1902–1909). Судя по посланиям епископа, он неоднократно бывал в гостях у Р., обменивался с ним богословской литературой, встречался на собраниях у А.С. Суворина (1905). К письмам епископа приложена розановская характеристика: «Епископ Антонин. “Репродукция Книги пророка Варуха” Любимый викарий митрополита *Антония*, — вполне гениальный по характеру, уму, а главное — по росту совершенно исключительно (испугал секретаря *Афанасьева*, “забредя” в редакцию) и силе. “Вам бы, Преосвященный, быть уш-

куйником” (новгородцы на *Волге*), говаривал я; он посмеивался. Он не понимал дисциплины, правил и порядка. О нем, раз его виде, сказал А.С. Суворин (мне): “Он может выдвинуться и что-нибудь сделать, если не сломит себе шею” Он “сломил” На него Государь вознегодовал и сказал обер-прокурору в заключение доклада: “А теперь я желаю, чтобы еп. Антонин подал в отставку” Митрополит просил за своего любимца, но ничего не мог сделать. *Мысли* его были удивительной остроты, а служба церковная — исключительной *красоты*» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 111–112). 8 февраля 1908 А. был уволен. 6 января 1908 он приглашал Р. на службу своей «последней обедни» перед опалой в Сергиевой Пустыни (по Балтийской ж.д.). Официальная версия отставки А., согласно прошению — «по болезни». Р. выступал в защиту опального пастыря, обращая внимание на его предстоящую судьбу («Упокоенные» и предположенные к «упокоению» петербургские иерархи // РС. 1908. 20 февр.; ВНС; «Между скорбью и радостью» // РС. 1909. 29 марта; СМР; («Один из упокоенных архиереев» // Слово. 1908. 13 апр. ВНС). Подлинными причинами опалы было недовольство Императорского двора. После манифеста 17 октября 1905 А. во время богослужения при поминании Государя опускал чин «самодержавнейший». В своих статьях в «*Новом Времени*» А. одобрял сочетание законодательной, исполнительной и судебной властей Святой Троице, что также было расценено как ересь. Р. принадлежит рецензия на научное исследование А., стоявшее в свое время в одном ряду с трудами немецких гебраистов, «*Книга пророка Варуха*» (НВип. 1902. 19 июня). С начала 1920-х А. — деятель обновленческого раскола.

А.В. Ломоносов

АНТОНОВ Николай Родионович — священник, писатель, участник *Религиозно-философских собраний* (РФС), приятель Р. Автор *писем* к Р. 1912, 1914 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4212. Ед. хр. 3). Р. отмечал «деятельность тихого, скромного и умного священ. Антонова (“Религиозные философы на Руси”» (У, 183). В 1908 и 1909 семья Р. снимала на лето дачу в Лепенене по соседству с семьей А. В письме к своему другу А.А. Измайлову Р. делился впечатлениями от этого знакомства и вспоминал рассказы супруги священника «о духовенстве и аборигенах Смол<енского> кладбища», которые ставил выше «Соборян» Н.С. Лескова. В 1912 увидела свет книга А. «Русские светские богословы и их религиозно-общественное миросозерцание». К числу «крупных представителей религиозной философии» автор причислил и Р. Хронологически Р. был отнесен в порубежье между *славянофильством* 40–80-х XIX в. и религиозным возрождением конца XIX — начала XX в. Ключевой фигурой периодизации между указанными этапами был назван Л.Н. Толстой. «Менее заметным оказалось в то время влияние В.В. Розанова, который после блистательного выступления на литературное поприще этюдом “*Место христианства в истории*” продолжал бороздить общественное сознание каждой статьей, представляя образцы могучего философского анализа и своеобразной концепции. Но все статьи Розанова, требовавшие и требующие большой вдумчивости и синтетического понимания, своевременны и до сего времени не сделались достоянием масс и

кружков, а потому и взгляды Розанова не стали такими широкими. Но те немногие, которые в состоянии были разгадать узел философских идей Розанова и согласовать его статьи, кто имел мужество отделить “десницу” и “шуйцу” в его мировоззрении, не могли не отличить его идей от идей Л. Толстого и Вл. Соловьёва; усматривая в мировоззрении Розанова незатронутый еще источник для живой, а не отвлеченной философии, — не философии безжизненности и космополитизма, которыми разрешилось миросозерцание и Л. Толстого и Вл. Соловьёва (в этом сходство между ними), а равно не философии эстетизма, представителем которого был К.Н. Леонтьев, ранний вдохновитель В.В. Розанова. Тем не менее среди критиков толстовства роль и голос В.В. Розанова всегда звучали (начиная от статей в “*Русском Вестнике*” и кончая статьями в “*Новом Времени*” по поводу смерти Л. Толстого) независимо, метко и притом определенно — в тоне признания превосходства Церковно-православного учения перед учением Л. Толстого <...> Вот это-то преклонение пред *православием* по частному пункту, которое не могло не быть замечено читающей публикой, равно как та загадочная антитеза, что В.В. Розанов из несравненного аналитика и поклонника пред “эстетическим идеалом” К.Н. Леонтьева постепенно превращается в изобразителя и певца скромного идеала “семьи”, затушевывавшего “эстетический идеал”; все это должно обусловить интерес к этому писателю и оправдать появление специального очерка религиозно-философских воззрений и В.В. Розанова, как был путь прохождения под перекрестным огнем писателей строго богословствующих и строго политиканствующих» (Антонов Н.Р. Русские светские богословы и их религиозно-общественное миросозерцание. СПб., 1912. С. XLVIII–LI). А. высоко оценивал роль РФС, организованных при участии Р. В них А. видел залог «примирительного отношения между Церковью и интеллигенцией» (Там же, LI). В октябре 1912 Р. рецензировал книгу А.: «“Вот и опять поп сделал больше профессора”, — говоришь невольно, взглянув на компактный том священника Н.Р. Антонова <...> и, сравнивая этот труд с теми тощими брошюрками в несколько страничек, какие мы имеем по этому же предмету “от руки и от разума” гг. профессоров <...> Отдельные характеристики на самом деле суть целые исследования, например, нашему прекрасному богослову Н.П. Аксакову автор посвятил 22 главы и 110 страниц; Бердяеву — 15 глав, С.Н. Булгакову — 19 глав. “Куда же больше?” — скажет невольно читатель, не привыкший к оценке “пророков в отечестве своем” <...> Лучшее в труде, что он самостоятелен в оценках и не гонится за шумом улицы и мнением толпы и текущей минуты. Так, он, поистине, открыл Стефана Димитриевича Бабушкина» (ПВ, 230–231), который Р. так понаравил, что, читая о нем, писатель «мысленно зачислил себя в полк (секту) Бабушкина — и не дальше». Р. высоко оценил освещение трудов Н. Аксакова о вселенских соборах и преувеличенной претенциозности самого термина “вселенских”, доказанной Аксаковым. Р. признает, что книга вносит существенные коррективы в закоснелые представления о православии. «Собственно важны и вечны не каноны, т.е. юридического характера постановления, а дух церкви <...> Дух этот мы скорее зрительно видим, мы его обоняем и осязаем,

а сложить определенных слов о нем не умеем <...> Сказки, мифы, поэзия, безграничность действительного, чуждого и ожидаемого; и — “верю! верю” Тут — не одно *Евангелие*, а вся Византия, и — вся Русь. Вот — православию» (ПВ, 232). А. защищал Р. в ходе *изгнания из Религиозно-философского общества* 26 января 1914: «Помои вылиты на личность писателя», а совет общества совершенно бездоказательно «уже заранее бросает ему обвинение в общественной непорядочности», — заявил он на собрании РФО. А. предложил обществу «не устранять Розанова», а, напротив, «отдать дань его мирозерцанию» (ЗПРФО, 34–35). Р. печатно выразил свою признательность А. за его выступление. «Я безгранично благодарен свящ. Н.Р. Антонову (автор большой книги “Русские светские богословы”) <...> благодарен товарищеским чувством к старым товарищам былых собраний 1903–4 годов» («К религиозно-философскому собранию 19 января» // НВ. 1914. 26 янв.; НФП, 231). О частых визитах семейства А. на воскресные чаепития к Р. вспоминала дочь писателя *Н.В. Розанова*: «Всегда в определенное время матушка Антонова (священник Антонов одно время — в 1910, 1911, 1912 (?) году бывал у нас очень часто) садилась за рояль и пела романсы, и непременно: “Мухи, как черные мысли” Мухи нас не интересовали, но это был сигнал, что скоро пойдут к чаю» (НР, 61). Драматизм семейной жизни А. отражен Р. в *характеристике* 1916: «Антонов Ник. Род. священ. (“Русские мыслители”). Сам по себе он “не прыток”; но вот качество: от него ушла жена, Алекс. Ник., красивая, видная баба, вообразившая, что она может “петь”: и он с 5-ю детьми, имея службу и законоучительство, управился. Обратился в няньку и “домашнего учителя”» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 107–108).

А.В. Ломоносов

АПОСТОЛÓПУЛО *Евгения Ивановна* [урожд. Богдан; 1857, Кишинев — 6(19).11.1915, Одесса] — бессарабская помещица-дворянка из молдаван, знакомая Р. со времен *Религиозно-философских собраний*. 20 апреля 1913 А. письменно пригласила Р. с женой погостить у нее в Бессарабии (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 353. Л. 1). В ее имении Сахарна (вблизи станции Рыбница Юго-Западной железной дороги) на правом берегу Днестра Р. с семьей жил в мае–июле 1913, после чего возникла рукопись *книги «Сахарна»*. Р. написал некролог «Памяти Е.И. Апостолопуло» (Русский Библиофил.



Е.И. Апостолопуло

1915. № 8), в котором дал характеристику А.: «Это была одна из тех синтетических личностей, которые поистине живут *общество* своим умом, талантом, рвением, вечным возбуждением и готовностью ко всему лучшему и благородному. Ее знали в литературных и художественных кругах в *Петербурге*, когда из своей родной *Бессарабии* она приезжала в 90-х годах минувшего и в первое десятилетие нынешнего века. Все знали ее как “русскую”, и она была русскою по воспитанию и образованию, по всем своим воззрениям, по деятельности, работе, по интересам и большим сочувствиям; но не закрывался никогда маленький уголок ее сердца для маленькой родной ее народности — молдаван Бессарабской губернии» (ВЧВ, 462). Мечтой ее *жизни*, как рассказывает Р., было открыть краеведческий музей в Кишиневе, собрание живописи и местной старины, костюмов, домашней утвари, ремесленно-художественных изделий. Нижний этаж ее дома, как свидетельствует Р., уже представлял собой такой музей — собрание мебели, ковров, *икон*, внутреннего расположения молдавских изб. План музея был составлен другом ее детства архитектором А.В. Шусевым (1873–1949), академиком Академии художеств с 1910. В «Сахарне» Р. приводит свои беседы с А. и ее гражданским мужем *А.К. Драговым*, ее рассказы о жизни народа. Упоминания о ней встречаются также в «*Мимолетном. 1914 год*» и «*Мимолетном. 1915 год*».

А.Н.

АРАБАЖИН *Константин Иванович* [2(14).1.1866, Канев, Киевская губ. — 13.7.1929, Рига] — историк *русской литературы* и критик, с 1913 профессор Гельсингфорского университета, двоюродный брат *А. Белого*. В письме от 24 марта 1904 просил Р. о содействии в приобретении его *книги «В мире неясного и нерешенного»* (СПб., 1901), поскольку обещал дать о ней отзыв в *печати* (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 4).

А.В. Ломоносов

АРИСТОТÉЛЬ (Ἀριστοτέλης; 384–322 до н.э.). О значении А. для современной философии Р. писал Н.Н. Страхову 15 февраля 1888: «*Корень* дела, ключ к разрешению множества вопросов, которые для меня — или разрешить, или не жить, лежит у Аристотеля» (ЛИ, 153). В 1913 Р. утверждал историческое значение древнегреческого философа: «И до сих пор я думаю, что Аристотель — никем не заменим. Его определения *вещей*, понятий, всякого рода именно категорий, физических и духовных, без коих невозможно никакое философствование, превосходны и (скажу, как институтка) — восхитительны» (ЛИ, 9). Еще в *Брянске*, после выхода в августе 1886 *книги «О понимании»*, Р. по совету московского профессора *В.И. Герье* начал переводить «*Метафизику*» А. («перевел кое-как первые 6 глав 1-й кн. “Мет.”, на седьмой остановился; это было в Брянске, там никто не интересовался *философией*, были только карты». — ЛИ, 154). В *Ельце* Р. продолжил эту работу вместе с *учителем* классических языков *елецкой гимназии П.Д. Первовым*: «Сперва мы переводили вместе, а потом по совершенному бессилию моему разделили труд — он переводит, я пишу объяснения по существу. О, простите мне за несерьезность (здесь уже ненужную), но я пишу эти объясне-

ния с тем же удовлетворением и легкостью, как если бы писал объяснения и дополнения по второму изданию своей книги; даже начинается “Мет.” с того же, с чего я начал — с различия между *знанием* и *пониманием*» (ЛИ, 155). Первые пять книг «Метафизики» были напечатаны при помощи Н.И. Страхова в «Журнале Министерства Народного Просвещения» (1890. № 2, 3; 1891. № 1; 1893. № 7–9; 1895. № 1, 2; отд. изд. СПб., 1895; переизд. М., 2007). О печальной судьбе этого перевода Р. вспоминал в книге «Литературные изгнанники»: «Вдруг два учителя в Ельце переводят первые пять книг “Метафизики” По-естественному следовало бы ожидать, что министр просвещения пишет собственноручное и ободряющее *письмо* переводчикам, говоря — “продолжайте! не уставайте!” Профессора философии из Казани, из *Москвы*, из Одессы и *Киева* запрашивают: “Как? что? далеко ли перевели?” Глазунов и Карбасников присылают агентов в Елец, которые стараются перекупить друг у друга право 1-го издания, но их предупреждает редактор “Журнала Министерства Народного Просвещения”, говоря, что министерству постыдно было бы уступить частным торговцам права первого выпуска книги великого Аристотелева творения, и он предлагает заготовить 2000 оттисков, так как 2-го издания трудно ожидать. Вот как было бы в Испании при Аверроэсе. Но не то в *России* при *Троицком*, *Георгиевском* и *Делянове*. “Это вообще никому не нужно”, — и журнал лишь с стеснением и, очевидно, из любезности к Страхову как к члену Ученого Комитета министерства берет “неудобный и скучный рукописный материал, и, все оттягивая и затягивая печать, изготавливает “для удовольствия чудачко-переводчиков” официально штампуемые 25 экземпляров! Что такое “25”? — для России?! Ведь тут 4 духовных академий и 8 университетов» (ЛИ, 54). Написанное Р. предисловие к переводу «Метафизики» было опубликовано Страховым отдельно в журнале «Вопросы Философии и Психологии» (1890. № 3) под названием «Заметки о важнейших течениях русской философской мысли, в связи с нашей переводной литературой по философии». «Холодный анализ» (СП, 607) А., его «силлогическая логика» (ЛВИ, 202) всегда привлекали внимание Р., который ссылаясь на А., утверждая, что «знание», «наука» возникают из «любопытства» (М, 116), а искусство — это результат «подражания» (РФК, 15). Р. усматривает близость кантовских «*ноуменов*» (“*вещей* в себе”) с аристотелевским положением, что все вещи существуют лишь когда для них даны «причина образующая» и «причина материальная», «причина формальная» и «цель» (АНВ, 170). Однажды уже в старости Р. записал, что «впервые понял истину определения Аристотеля, что *мужчина* прекраснее *женщины*. Он не “вообще” прекраснее. “Вообще” даже женщина прекраснее его. Но “в частности”, и притом в главной частности, мужчина заливает женщину. И мне открылось, почему женщина вздыхает» (ПЛ, 179). Особое внимание уделял Р. аристотелевскому понятию «*энтелехия*, сформулированному в «Метафизике»: ““Энтелехия” есть термин Аристотеля, и один из знаменитейших терминов, им самим придуманный и филологически составленный. Один средневековый схоласт прозакладывал черту душу, только чтобы хотя в сновидении он объяснил ему, что в точности Аристотель разумел под “энтелехию” Но, между прочим и другим,

у Аристотеля есть выражение, что “*душа* есть энтелехия тела” Тогда сразу определилось для меня — из ответа *Флоренского* (да и что иначе мог ответить Флоренский, как не — это именно?), что “*бабочка*” есть на самом деле, тайно и метафизически, душа гусеницы и куколки. Так произошло это, космогонически — потрясающее открытие. Мы, можно сказать, втроем открыли душу насекомых, раньше, чем открыли и доказали ее — у *человека*» (АНВ, 52).

А.Н.

АРХИПОВ Евгений Яковлевич [22.12.1882(3.1.1883), Москва — 15.8.1950, Орджоникидзе] — поэт, критик, литературовед и библиограф. В *письмах* А. 1916 идет речь об хлопотах Р. перед попечителем Московского учебного округа А.А. Тихомировым по переводу А. в Москву (ОР РГБ. Ф. 249. К. 7. Ед. хр. 9). Надежда Сергеевна Архипова, его супруга, близкий друг Р., также состояла в активной переписке с Р. в 1915–1917, доверяя ему самые сокровенные тайны своей семейной *жизни* (Там же. Ед. хр. 10; РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 259 и 354).

А.В. Ломоносов

АРЦЫБАШЕВ Михаил Петрович [24.10(5.11).1878, хутор Доброславка, Ахтырский уезд, Харьковская губ. — 3.3.1927, Варшава] — писатель. В 1923 эмигрировал в Варшаву. После выхода в 1900 отдельным изданием романа А. «Санин» Р. написал статью о нем, в которой приводит услышанный в книжном магазине разговор: «— Дайте мне “Санина” Арцыбашева. — Запрещен. — Запрещен?! — Запрещен и весь продан. — Я так удивился, что вмешался в диалог приказчика и покупателя: — В самом деле такое совпадение? — Да. Весь распродали. И когда распродали, то пришло запрещение: не продавать более. — Ну, чисто “по-русски”! Мы — не *Германия*. Печаталось, что “Санин” разошелся в эту зиму в сотнях тысяч экземпляров, о нем долго и много говорила вся *печать*, начав целый поход против него; им обзавелись все библиотеки, все книжные шкафы и студенческие “полочки” для *книг*, и в то же *время* печаталось, что “не разрешены к представлению на сцене” семь, — целых семь! — театральных переделок романа. И когда все это произошло и шумело всю зиму, приходит в *литературу* генерал-исправник, важно садится в кресло и произносит: — Я запрещаю “Санина”» (ОПП, 280). Весной 1908 Р. беседовал с юной *курсисткой*: «Я познакомился с нею в целях расспросить о каких-то опытах совместного *чтения* “Санина” *студентами* и *курсистками*, о чем слышал раньше». Юная первокурсница рассказала: «Студенты объяснили, что это новое явление, что тут можно разобраться. Что здесь *голос*, к ним обращенный, к *молодежи*. И что молодежь должна реагировать на это». Курсистка продолжала: «Они говорят: “Мы все — Санины”. И — “хотим быть, как Санин, поступать по нему”. Я не знаю... Они говорят, что это — натура *вещей*, без обмана. Они хотят “без обмана”, и требовали, чтобы мы, курсистки, жили с ними» (ОПП, 281). Р. назвал роман «Санин» «*лошадью* на пружинах» (ОПП, 295), считая, что «механическое *творчество*» А. копирует факты действительности без их эстетического преобразования. Отрицательно восприимая А., Р. ставил его в один ряд с писателями, изображающими публич-

ные дома — А. Каменским, А. Куприным, Л. Андреевым (СХР, 137; КНУ, 235). Р. противопоставляет этому движение за женское образование, преимущественно литературное. «В особенности сейчас, когда целый ряд недооцененных литературных поросенков издают такое хрюканье около женщины и так невыносимо запачкали ее образ, опоганили его, — можно сказать “произвели гнусное покушение на женщину”, — теперь именно этим огромным движением можно было бы положить предел этой гадости» (ОПП, 295). Как и Л. Толстой, Р. признавал талантливость А., но возражал против изображения половой любви у него. «Свободная любовь» всегда была, писал Р., и не могла не быть «при тесноте условий брачных» в современном обществе. Но «свободной любви» у А. и помина нет, все происходит без любви и потому «гадко от этого холодного сала». Однако Р. не впадает в обличение «порнографии» в литературе, столь свойственной левой критике тех лет. В той же статье об А. он иронически живописует церковных иезуитов, возложивших пухленькие ручки на толстые животики и утверждающих свое понимание «свободной любви»: «Мы терпели и выжидали, чтобы какой-нибудь реалист оправдал нас; и дождался: вот пришли реалисты: Горький, Андреев и Арцыбашев, и сказали, что это — “тьма”, “бездна”, “в тумане” похоти, творимая и что это наконец конюшня, — как изволят описывать господин Арцыбашев. Не можем же мы, чистые и праведные люди, или правильные и регулярные, снисходить до конюшни и санкционировать бездну и тьму законом. Аминь» (ОПП, 285). Р. познакомился с А. на литературных вечерах у Вяч. И. Иванова. Это был «совершенно еще юноша, с маленьким пушком на подбородке, тогда бедно одетый, неуклюжий и угрюмый. Где он видал “размах чувственности”? <...> Его “Санин” — то же, что сновидение араба, умирающего в песке пустыни, которому брезжатся оазисы с пальмами и ключевой водой. На вечерах у Вяч. И. Иванова тогда философски разбирался вопрос о поле, об “эросе”, о значении и происхождении чувственных страстей... И едва ли “Санин” не был навеян этими разговорами» (РС. 1908. 30 апр.; ВНС, 111). Называя ранние рассказы А. прелестными, Р. не понимает, «каким образом после “Смерти Ланде” можно было написать “Санина”, — уму не постижимо. Это все равно, как ел человек суп, щи, кашу и вдруг захотел овса. Овса, какой дают лошадям. Его Санин — просто лошаадь, притом без милой грации, какая была у “Фру-Фру” Помните скаковую лошадь Вронского в “Анне Карениной”? Санин — это битюг, везущий тяжелую кладь. Весь он тяжеловесен, грузен, без нервов и только с мясом» (Там же, 110). 13 апреля 1916 А. прислал Р. брошюру «Наш бракоразводный процесс» с просьбой защитить его общественную позицию (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 355. Л. 1).

А.Н.

АСКОЛЬДОВ Сергей Алексеевич (наст. фам. Алексеев; 1870/1871, Москва — 23.5.1945, Потсдам, Германия) — религиозный философ-персоналист. Участвовал в Религиозно-философских собраниях (РФС) и Религиозно-философском обществе (в секционных заседаниях РФО на «башне» Вяч. Иванова). Р. оставил краткую помету о нем, приложенную к письмам А.: «Алексеев (= “Аскольдов”), Рел. фил. собр., “Проблемы идеализма” и пр. —

“Аскольдов” (псевдоним — фамилия Алексеев, побочный сын философа Козлова (“Свое слово”), брат Натальи Алексеевны Колубовской)» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 83). На философско-публицистический сборник «Проблемы идеализма» (М., 1902) со статьей А. «Философия и жизнь». Р. откликнулся статьями «Московские идеалисты» (НВ. 1903. 11 дек.) и «Натурализм и идеализм» (НВ. 1904. 21 янв.). Писатель отметил положительное значение сборника «в восстановлении у поколения ныне человека этой способности горячо, по-древнему взглянуть на небо, и тогда что-нибудь Небо, обласканное нашим взглядом, скажет нам» (ВДЯ, 308). Наиболее ярко взаимодействие А. и Р. отразилось в ходе работы РФО. Р. осуждал использование А. предсудательских полномочий в РФО для попытки «передвинуть» собрания Общества «к академическому обсуждению философских тем, лежащих на границе с религиею» (ОНД, 253). На доклад А. в РФО, прочитанный 3 октября 1907 «О старом и новом религиозном сознании», Р. написал возражения на тему «О нужде и неизбежности нового религиозного сознания». В обзоре доклада Р. «О нужде и неизбежности нового религиозного сознания» (15 окт. 1907, РФО), составленном В. Свенцицким, отмечалось: «В этом докладе, как и надо было ожидать, возражений Аскольдову не оказалось. Розанов не умел слушать (и читать) чуждые ему мысли <...> Публика выслушала реферат, подзаголовком которого могло бы стоять: “возражения на реферат, которого я не слушал” Но это не помешало реферату быть крайне интересным. По форме — фельетон, этот доклад по смыслу своему и по глубиной искренности взволновал собрание <...> Оппонентами было сделано несколько попыток свести В.В. на почву логики. С.А. Аскольдов правильно указал на смешение <Р.> исторической Церкви с христианством и с Церковью мистической» (Живая Жизнь. 1907. № 1. С. 59). Вслед за ним с вопросами к автору реферата выступил свящ. К.М. Аггеев, который коснулся в диалоге с Р. также вопросов об искуплении и об отношении Нового Завета к Ветхому. В статье «На чтении гг. Бердяева и Тернавцева» (НВ. 1909. 12 марта) Р. осудил А., возражавшего Тернавцеву, который утверждал, что именно Римская империя и сообщила христианской церкви территориальную и духовную кафоличность. А., по замечанию Р., «совершенно вопреки общеизвестным фактам истории стал отвергать универсальность идеи и духа римской империи» (СМР, 94–95). Сохранился ряд писем А. к Р. 1907 и 1911, в которых обсуждалась текущая работа РФО. В письме от 12 октября 1907 А. просил поставить в РФО доклад Р. «Об Иисусе Сладчайшем» на более ранний срок (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3823. Ед. хр. 1). Письмо от 17 мая 1911 критически оценивало книгу Р. «Темный Лик», его взгляды на христианство: «Вы решительно отвергаете загнившее существование и понимаете торжество жизни чисто биологически и даже зоологически, как продолжение в воспроизводстве потомства. Драгоценно же это потому, что тут Вы открываете для других и для себя Ахиллесову пяту Вашего религиозного мировоззрения, показывая, что оно в конце концов сводится к чисто позитивистскому пониманию жизни. Здесь Вы говорите в унисон с Гюйо и такими биологами, как Мечников и tutti quanti, имя же им легион. А почему же и не так? — спросите Вы. Да потому не так <...> что Вы

по существу совершенно не они и они не Вы. Выражаясь Вашими терминами, в Вашей *душе* и мыслях совсем другой сок, другая религиозная *кровь*; впрочем у них-то, пожалуй, и нет никакой религиозной крови, а так, какая-то киселеобразная дрянь; так им и подобает сидеть в глиняной макитре позитивного биологизма, т.е. религиозного *нигилизма* <...> Уж как Вам воевать с христианством, то поглубже и порешительнее, — не с ними, а с самим Дьяволом в союз, ибо у Дьявола есть все-таки религиозный сок, и они его лишь тупые наемники. Итак, Ваша *метафизика* христианства есть чистейший *позитивизм*, а самочувствие христианства, будь то враждебное, будь то любящее (и такое у Вас есть), по существу религиозное, — не ладно что-то! Не надо ли пересмотреть заново метафизику?» (ВРСХД. 1958. № 152. С. 256–257). На заседании РФО в январе 1914 по вопросу «Об отношении Общества к деятельности В.В. Розанова» А. первый выступил с протестом против устройства *суда* над Р., считая судилище не совместимым с самим принципом деятельности и основной идеей Общества, целью которого является теоретическое обсуждение религиозно-философских вопросов. А. выступал также против заявления РФО «О невозможности совместной работы» с Р., так как «после всего происшедшего Розанов не только не пойдет сюда говорить <...> но не придет сюда и слушать». «Преступление», вменявшееся Р. в вину, — «его злоязычие», — по А., «стародавнее» (ЗПРФО, 19–20). Поэтому, учитывая задачи РФО и неизбежность накала партийных страстей в ходе бурных дебатов на заседаниях Общества, А. спрашивал: «Неужели только один Розанов говорил нам жестокие *вещи*? Что же мы стали бы изгонять из нашего общества и *Константина Леонтьева*, который тоже говорил жестокие вещи» (Там же, 20). Не разделяя принятого Обществом решения, А. демонстративно вышел из состава членов РФО, в знак протеста против его политизации. Р. печатно выразил свою признательность А. за его выступление. «Я безгранично благодарен <...> С.А. Алексееву (писатель “Аскольдов”), заговоривших в смысле “неладно” <в РФО>; благодарен товарищеским чувством к старым товарищам бывших собраний 1903–4 годов» («К религиозно-философскому собранию 19 января» // НВ. 1914. 26 янв.; НФП, 231).

А.В. Ломоносов

АСКОЧЕНСКИЙ Виктор Ипатьевич [наст. фам. Оскошный; 1(13). 10.1813, Воронеж — 18(30).5.1879, Петербург] — редактор-издатель православного журнала «Домашняя Беседа» (1858–1877). Р. нарисовал портрет А. как религиозного изувера и ханжи в статье «Интересный этюд нашей умственной *жизни*» (НВ. 1902. 12 и 17 дек.; то же под названием «Аскоченский и архим. Феодор Бухарев». — ОЦС). Характеристика личности фанатика-лицемера дана в статье по контрасту с благородным образом глубоко верующего архим. Феодора (Бухарева), которого А. «затравил как потрясателя *православия* и *Церкви*». А., утверждает Р., «был человек *мира* сего, человек “плотной” (= “плотский”, специальный духовный термин), до известной степени даже пропитанный *Бюхнером* и *Фейербахом* и разошедшийся с ними не в методе и мирозерцании, а лишь в заключительном выводе» (ОЦС, 247). Р. обнаруживает в характеристике А. сатирический *талант*: «Из самого подлого слога

Аскоченского так и чувствуется, что девочки замучили его во *сне* и что “канканьерши” для него не один миф. Думается, порыться бы в егд схоластической библиотеке, можно бы отыскать в ней соблазнительные неожиданности. Аскоченский — весь “современность”! Это Бюхнер из Бюхнеров, только окончивший случайно учение не в *Германии*, и не на естественном факультете, а в *Киеве* и в Духовной академии, но к духовным предметам совершенно применивший ухватки, нечистоплотность и “изгарь” (его термин) самого грубого материализма и совершенного безбожия» (ОЦС, 247–248). Р. не удерживается от резких слов в адрес А.: «Такой, можно сказать, дикий осел топтался не год, а долгие годы в ограде Православия». А., считает Р., был «религиозным эстетом»: «Человек может и в Бога слабо верить, или вовсе не верить, а какая-нибудь черточка религиозного культа его невообразимо волнует эстетически со всем фанатизмом художественной особливой *школы*: “В будущую жизнь я не верю, а как услышу: Со святыми упокой — плачу” <...> Для Аскоченского и для множества ему подобных людей суть *христианства* смешалась, так сказать, “с домашним *бытом* русского *духовенства*”; их отношение к христианству и чувство христианства выразилось и ограничилось строжайшим соблюдением множества частных, подробностей, которые выткнуло около креста и *Евангелия* из недр своих наше духовное сословие» (ОЦС, 250). Р. считал, что Бухарев мог победить в спорах отрицающего «современность» и *цивилизацию* А., легкомысленного «культуртрегера религиозных подробностей», только перейдя от своей новозаветной категории «второй Ипостаси», выразившейся в его идее «жертвы Агнчей» (Христовой жертвы за мир) в «верхний этаж» — к идее Пресвятой Троицы, к Ипостаси *Бога Отца*: «Да, “Христу не нужны пароходы, ни барометры”, но Духу Святому и Богу Отцу не нужен ли и океан, и надежды мореплавания, и вся жизнь, играющая и многоцветная?» Р. отмечает там же, что «в трактатах об *искусстве* и *науке* стал повторять Аскоченского... и *Толстой!!!*» (ОЦС, 252). Имя А. было на рубеже веков нарицательным, оно нередко использовалось, в том числе и самим Р., для характеристики идейных оппонентов. В 1910 он сравнил с А. известного политика *В.М. Пуришкевича* за его поведение в *Государственной думе*: «Что же касается до выходов Пуришкевича, то до них все-таки не доходил даже Аскоченский. Аскоченский был остроумен. Убийственную сторону бессарабского депутата в Таврическом дворце составляет то, что он груб и зол, но нимало не остроумен» (Два «представительства» // Московский еженедельник. 1910. № 16. 17 апр. С. 33; ЗРП, 132). Самого Р. за его наиболее «савонароловские» статьи также сравнивали с А. В 1896 он писал *С.А. Рачинскому*: «НВ — кстати, в консервативной газете даже прошел слух, что я не только “Аскоченский”, но и специально пишу так-то и “защищаю церковь”, поддельваясь к *Поб<едоносце>ву*. *Вишняков* наивнейший сказал мне, что так гов<орят> сотрудники «*Русск. Вестн.*» — прости им Бог!» (ПР. 1896. Янв.–февр. № 37. Л. 94). Тогда же *В.П. Буренин* писал о статье Р. «По поводу одной тревоги гр. Л.Н. Толстого»: «Давно не появлялось ничего подобного в наших литературных изданиях, очень давно. Я думаю, с тех пор, как исчезла пресловутая “Домашняя Беседа” пресловутого Аскоченского, считавшаяся позором и посме-

шишем русской журналистики в шестидесятых годах» (PRO, 1, 303).

В.А. Фатеев

АУНОВСКИЙ Владимир Александрович [1835, Вытегра, Олонецкая губ. — 26.2(10.3)1875, Псков] — учитель математики и физики, инспектор *Симбирской губернской гимназии* в 1866–1872. Р. в воспоминаниях о гимназии говорит об А. как о ярком представителе «нового» в гимназии. «“Управляя” гимназией Вишневы <...> Он действительно “управлял” гимназией, т.е., по русскому, нехитрому обыкновению, он “кричал” в ней и на нее и, вообще, делал, что все “боялись” в ней, и боялись именно его <...> Боялись долго; боялись все, пока некоторые (сперва учителя и наш милый образованный инспектор Ауновский) не стали чуть-чуть, незаметно, про себя улыбаться» (ОНД, 167–168). А. с большой симпатией относился к гимназисту Р., особенно после перевода в другую гимназию *Н.В. Розанова*. «Доктор Ауновский (инспектор) шепнул мне на другой или третий день: — Вы должны держать себя в самом деле осторожнее, как можно осторожнее, так как к вам могут придаться, преувеличить вашу вину или не так представить проступок и в самом деле исключить» (ОНД, 178).

И.Ф. Макеева

АФАНАСЬЕВ Николай Иванович (1864–1926) — секретарь редакции газеты *«Новое Время»*, директор Петербургского литературного художественного общества. Р. подчеркивал свое взаимное дружеское расположение с А. «Долгое время с Афанасьевым и еще не менее 10-ти сотрудников в нашей газете я был на “ты”, не зная даже их по имени и отчеству. И действительно, их уважал и любил. “А как зовут — мне все равно” Хорошая морда. Этих “хороших морд” на свете я всегда любил. Что-то милое во взгляде. Милое лицо. Смешное лицо. *Голос*. Такого всегда полюбишь» (ПЛ, 59). В книге *«Уединенное»* Р. вспоминал, что именно озабоченное бормотание секретаря редакции обратило его внимание на значимость «Манифеста 17 октября». «Какие события! Какие события! Ты бы, Василий Васильевич, что-нибудь написал о них», — говорил секретарь “нашей газеты”, милейший Н.И. Афанасьев, проходя по комнате. У него жена французка и не говорит вовсе по-русски. Не понимаю, как они объясняются “в патетические минуты”: нельзя же в полном безмолвии... “Какие, чёрт возьми, события?” А я ишу “тем для статей” <...> — Какие, Николай Иванович, “события”? — “Да как же, — отвечает совсем от двери, — о “свободе вероисповеданий, отмене подушной подати”, и чуть не пересмотр всех законов. — В самом деле, “события”: и если понапрячься — то можно сколько угодно написать передовых статей” Это было чуть ли не во время, когда шумели *Гапон* и *Витте*. Мне казалось — ничего особенного не происходит. Но это его задумчивое бормотание под нос: “Какие события” — как ударило мне в голову» (У, 52–53). В составе первого тома книги критических очерков А. о различных лицах своей эпохи содержится и биография Р. Автор рассматривает основные идеи первых литературных опытов писателя: книги *«О понимании»*, в которой Р. вывел будущий план наук «из схематического устройства человеческого ума» и книги *«Сумерки просвещения»*

с призывом к индивидуальному подходу в процессе воспитания. Особо отмечает А. пристальное внимание Р. к русской классической литературе, получившее свое отражение в сборнике *«Литературные очерки»*. А. подчеркнул, что с 1897–1899 Р. сосредоточил свое внимание на теме об отношении христианства к полу и к семье и «вступил в резкую полемику с теоретическими взглядами и практическими действиями церкви. В книге *“В мире неясного и нерешенного”* (тема исследования пола) Розанов усиливается вскрыть трансцендентное значение рождающих глубин человека, да и вообще всего живого мира, через это возводя их к религиозной и абсолютной ценности», а «где бы он ни отыскал хотя малейший след аскетизма, — он отвергает там присутствие религии». Критическая оценка идей Р. приведена А. в следующем сравнении: «Всех манит теитизация семьи — священный смысл в нее вложенный, священный покров, над нею простертый. Но пугает и отталкивает многих то, что автор, как бы поставив на рельсы христианство и семью, пустил их навстречу друг другу, как два поезда с противоположных конечных станций» (Афанасьев Н.И. Современники: Альбом биографий. СПб., 1909. Т. 1. С. 244).

А.В. Ломоносов

АХМАТОВА Анна Андреевна [урожд. Горенко; 11(23).6.1889, Большой Фонтан, Одесса — 5.3.1966, Домодедово, Московская обл.] — поэт, критик, мемуарист. А. считала Р. знаковой фигурой *Серебряного века*. Среди фрагментов прозы к «Поэме без героя» сохранилась записка от 6–7 января 1962: «Маскарад. Новогодняя чертовня. Ужас в том, что на этом маскараде были “все” Отказа никто не прислал. И не написавший еще ни одного любовного стихотворения, но уже знаменитый Осип Мандельштам (“Пепел на левом плече”), и приехавшая из Москвы на свой “Нездешний вечер” и все на свете перепутавшая *Марина Цветаева*, и будущий историк и гениальный истолкователь десятых годов *Бердяев*. Тень *Врубеля*. От него все демоны XX в., первый он сам. Таинственный деревенский *Клюев* и заставивший звучать по-новому весь XX век великий Стравинский, и демонический доктор Даперттуто, и погруженный уже пять лет в безнадежную скуку *Блок* (трагический тенор эпохи), и пришедший, как в “Собаку” — Велимир I <...> и Фауст — *Вячеслав Иванов*, и прибежавший своей танцующей походкой и с рукописью своего “Петербург” под мышкой — *Андрей Белый*, и сказочная Тамара Карсавина, и я не поручусь, что там, в углу, не поблескивают очки Розанова и не клубится борода *Распутина*...» (Ахматова А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1998. Т. 3. С. 266–267). Л.К. Чуковская записала в своей интерпретации несколько разновременных разговоров с А. о Р. «Я спросила, знала ли она Розанова. — Нет, к сожалению, нет. Это был человек гениальный. Мне давно Надя, дочь его говорила, что они все любили мои стихи и спрашивали у отца, знал ли он меня. Он не знал меня и, кажется, стихов моих не любил, зато очень любил *Маритту Шагинян*: “Девы нет меня благоуханней” А я у него все люблю, кроме антисемитизма и половой теории. — Я опять подвиглась совпадению наших нелюбвей. И пересказала один розановский рассказ в “*Опавших листьях*”, который всегда возмущал меня: как пожилая дама, мать, посоветовала студенту, влюблен-

ному в ее младшую дочь, жениться лучше на старшей, ибо была озабочена “зрелостью” старшей дочери. Студент послушался <...> женился на старшей, и теперь дама нянчит внука-здоровяка. Анна Андреевна махнула рукой. — Ничего этого не было. Ни дамы, ни дочерей, ни внука. Все это он сам, конечно, выдумал, от слова и до слова... Гениальный был человек и слабый. Мне жаль было его, когда он потом голодал в Сергиеве. Мне рассказывали: ходил по платформе и собирал окурки. Я ничем не могла ему помочь, потому что сама голодала клинически» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. М., 1997. Т. 1. С. 69–70). В июне 1964, собираясь в Италию, где ей была вручена премия Европейского сообщества писателей «Этна Таормина», А. говорила: «Что такое Италия для меня? Названия итальянских городов в правом углу писем *Герцена*, *Тургенева*, *Толстого*. “Итальянские стихи” Блока. “Итальянские впечатления” Розанова» (Там же. Т. 3. С. 135). Дочь Р. Татьяна вспоминает, как она была в доме вдовы писателя *Г.И. Чулкова* на Смоленском бульваре: «Там видела я и Ахматову, еще до войны, в то время она болела, чувствовала себя очень плохо; рассказывала, что однажды в жизни видела моего отца молодым, когда он еще был чиновником в Государственном контроле <отец А. в 1890-х был чиновником особых поручений в Государственном контроле>. Говорила, что хорошо его помнит. Я же сказала, что мои сестры Варя и Надя очень любят ее стихи и попросила подарить Вале фотографию. Она написала ее. Варя была в восторге. Портрет всегда стоял у нее на столе, а после смерти Вари я отдала его Наде. После Надиной смерти он перешел в руки Елены Дмитриевны Танненберг, ее близкой подруги» (ТР, 149). Фотография с дарственной надписью *Варваре Розановой* «Привет от А. Ахматовой» воспроизведена в кн.: Темы и вариации. Сборник статей и материалов к 50-летию Лазаря Флейшмана. Стэнфорд, 1994. С. 460.

С.А. Коваленко

АШЕШОВ Николай Петрович [11(23).12.1866, Одесса — 9.3.1923, Петроград] — журналист, писал под псевдонимом Ал. Ожегов. Рассматривая журнал «*Новый Путь*», в котором сотрудничал Р., А. отмечал: «Самой яркой и содержательной фигурой является В.В. Розанов. Это весьма оригинальный, блестящий прихотливыми неожиданностями и азартной игрой идей — ум. Станный, порой непонятный, часто производящий комическое впечатление, г. Розанов в то же время поражает своей глубокой наблюдательностью, своими головными и сердечными порывами, своим то тонким, то топорным анализом, из которого веет упорством средневекового талмудиста, привлекает смелостью комбинаций и смелостью разрыва с традициями, страстными нападками и... расчетливой робостью. В нем какой-то неустойчивый конгломерат идей-настроений, систематизировать которые невозможно. Мысль его, как маятник, широко качается направо и налево, и никогда нельзя предсказать, насколько будет широк в ту или другую сторону этот размах» (Образование. 1904. № 4. С. 61–62). А. выступил с резкой критикой «*Уединенного*» и «*Опавших листьев*». Преклоняясь перед писателями-шестидесятниками, служившими, по его мнению, практическим идеалам

революции, он обрушил всю желчь своего пера на Р., в котором видел «зверя из бездны русской реакции, выскочившего нагишом, неся в руках своих грязное исподнее платье и подымая его, как знамя» («Вместо демона — лакей (В.В. Розанов)» // Современник. 1913. № 6. С. 320). Какое-либо художественное значение этих книг Р. он нацело отрицал: «Это, собственно говоря, не книги. Это бесконечные страницы самых разнообразных мыслей, дум, чувствований, переживаний, мнений, взглядов, случаев жизни личной, семейной, общественной, литературной, политической. Длинной вереницей тянутся эти мысли и мыслишки из страницы в страницу, переходя без всякой связи, единства, последовательности и связанности. Просто человек писал все, что ему приходило в голову, где бы он ни находился» (Там же, 313). А. видит в этом «откровенный цинизм»: «Путешествие г. Розанова нагишом пред публикой, конечно, имеет свои причины. Неспроста же человек вдруг сбросит с себя и фиговые листки, и *стыд*, и приличие, и начнет в образе первобытного человека шеголять публично, да еще при нашем климате» (Там же, 314). По выходе второго короба «Опавших листьев» А. выступил со статьей «Позорная глубина». Он считал, что книги Р. производят впечатление «больного обнажения большой души», и называл его мысли «падшими». «Нельзя не признать, что в этом великом словоблуднике сидит прочно оригинальный ум, которому не подыскать трафаретной полочки среди обычных людских умов <...> Более распутного мозга встретить невозможно» (Речь. 1915. 16 авг.).

А.Н.

АШКИНАЗИ Михаил Александрович [17(29).8.1863, Керчь, Таврическая губ. — 1936] — писатель и журналист. Автор писем к Р. 1893, в которых он благодарил его за положительную оценку в письме его книги «Скамья и кафедра. Рассказы из гимназической жизни семидесятих годов» (псевд. А. Желанский. М., 1893), рисовавшей мир провинциальной гимназии. Публицист делился с Р. биографическими сведениями о себе. «Ваш благоприятный отзыв о моей книжке трогает меня и льстит моему самолюбию вдвойне. Во-первых, это отзыв сведущего человека; во-вторых, это первый такой отзыв, — писал А. 8 марта 1893, поделившись и мотивом создания книги гимназических рассказов, — желание (или даже решение) описать гимназическую жизнь, родившееся у меня в шестом классе гимназии, несомненно “восходит к чисто ученическому раздражению против преподавателей” (цитата из вашей статьи)» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 18. Л. 2–3). Благоприятный отзыв Р. был для А. неожиданным: «У меня шевелилась такая мысль: “Неужели же В.В. Розанов, столь благоприятно отзывающийся о моей книжке — тот самый В.В. Розанов, известный далеко не за снисходительного критика”» (Там же. Л. 4 об.). В письме от 7 апреля 1893 А. высоко оценивал розановское отношение к себе: «В апрельской книжке “*Вестн. Европы*” напечатана рецензия о моей книжке, но ей не заменить мне Вашего письма» (Там же. Л. 7 об. — 8). К письмам А. приложена розановская характеристика: «Желанский. Автор прелестной книги о гимназистах» (Там же. Л. 1).

А.В. Ломоносов

Б

БАЗАРОВ [наст. фам. и имя Руднев Владимир Александрович; 27.7(8.8).1874, Тула — 16.9.1939] — философ и экономист, социал-демократ с 1896. В 1937 арестован, погиб в заключении. Р. отозвался на статью Б. «Усложнение жизни — упрощение мысли», напечатанную в горьковском журнале «Летопись» (1916. № 2): «Базаров — исключение среди русских идеологов *революции*. В пленках и в детском возрасте он прошел все фазисы этой идеологии, много потрудился даже, чтобы пособить этой идеологии пером. Но теперь он в сороковых годах своего возраста, а не то чтобы отстранился от революции, но, отойдя в сторону, размышляет о ней. Всегда наивный *Мережковский* как-то сказал мне, указывая на его красивую фигуру, стоявшую у стенки. — Смотрите, как он задумался. Это он думает о Христе. — Это было в *Религиозно-философском собрании*. Не представляю, чтобы он «задумался о Христе» Но что Базаров — вообще задумывающийся человек, это — так. И вот он обращается к счастливым сопартийникам, социалистам и марксистам, и предлагает им пересмотреть «карту плавания», лежащую перед семи отважными моряками, — пересмотреть именно в эти дни текущей *войны*» (ВЧВ, 276). Р. продолжает: «Базаров все копается в передрыгах марксизма и интернационала, — цитирует и старые, и новые статейки «еще знаменитого» (у них все свои — «знаменитые») русского социолога г. Потресова, не замечая, что дело давно пошло о всей «целине» *социализма*, о всем этом движении, которое во всяком его виде продолжается даже менее ста лет: ибо он возник во *Франции* между июльской и февральской революциями, когда впервые «рабочий» почувствовал себя новой социальной единицей, из «ничего» пожелавшего сделаться «все»» (ВЧВ, 278). В своей статье Р., касаясь полемики Б. с марксистами и писателями «пролетарского типа», отмечает мысль Б., что «*Германия*, благодаря превосходной организации своей бюрократии и превосходной организации своих материальных средств, показала за два года войны, что может без всякой помощи социал-демократии, без помощи «новой веры» и «нового *Евангелия*», словом — без всех «страшных лозунгов» революции, достигнуть тех конечных целей, к каким она рвется. Таким образом и с этой стороны революция оказалась «обойденной»» (МВ. 1916. 2 июля; ВЧВ, 280–281).

А.Н.

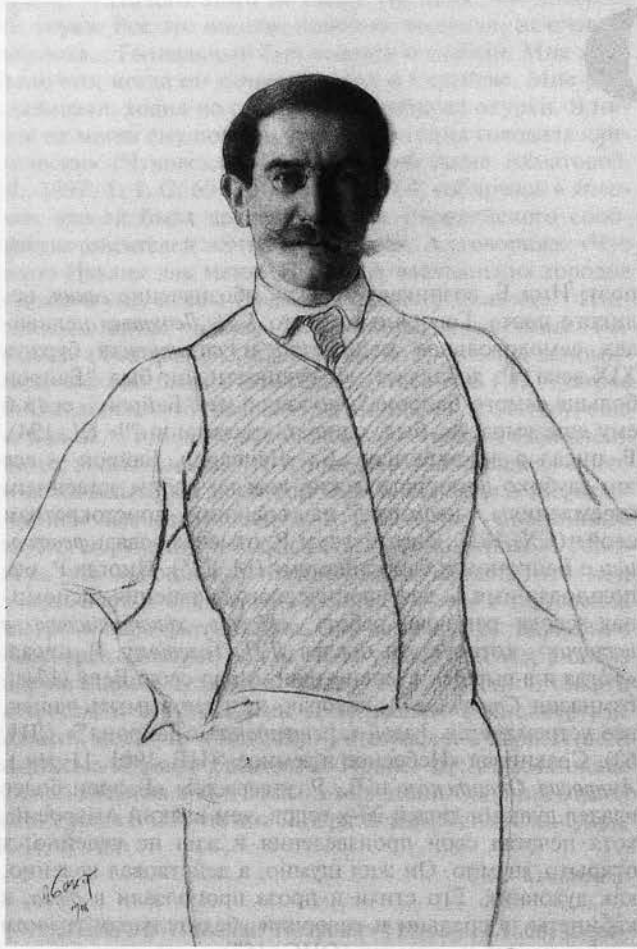
БАЙРОН (Byron) Джордж Ноэл Гордон (22.1.1788, Лондон — 19.4.1824, Миссолунги, Греция) — английский

поэт. Имя Б. возникает у Р. как обозначение *гения*, великого поэта. Говоря о том, что *К.Н. Леонтьев* ненавидел самодовольное мещанство и *позитивизм* буржуа XIX века, Р. добавляет: «В сущности, он был “Байрон больше самого Байрона”: но какой же “Байрон”, если б ему еще вырасти, был, однако, христианин?!» (У, 194). Р. писал о демократизме Б.: «Леопарди, Байрон — все это глубоко демократические *умы* по своим затаенным стремлениям, несмотря на внешний аристократизм свой» (СХ, 161). Вместе с тем Р. отмечал «связь *революции* с Байроном и байронизмом» (М, 215). Иногда Р. использовал имя Б. для иронического сравнения. Вспоминая свою раннюю работу «*Место христианства в истории*», которую он послал *Л.Н. Толстому*, Р. писал: «Тогда я в высшей степени напоминал свою Веру (17 л., гимназия *Стоюниной*), которая, не умея вымыть чашек, все устремляется *душой* к “страданиям Байрона”» (ЛИ, 63). Сравнивая «Небесное и земное» (НВ. 1901. 11 дек.), *Амвросия Оптинского* и Б., Р. утверждал: «Байрон более владел душами людей 20-х годов, чем всякий Амвросий, хотя печатал свои произведения и жил не келейно, а открыто, шумно. Он жил шумно, а действовал келейно, как духовник. Его стихи и проза проползали в *дома*, в кабинеты, в спальни и говорили убедительным *голосом* воображению и *совести*» (ОЦС, 157).

А.Н.

БАКСТ Лев Самойлович [наст. фам. и имя Розенберг Лейб-Хаим; 9.5(27.4).1866, Гродно — 27.12.1924, Париж] — живописец, график, художник *театра*, один из основателей художественного объединения «*Мир Искусства*» и главный оформитель одноименного журнала. Участвовал в оформлении журналов «*Весы*» (1904–1909) и «*Золотое Руно*» (1906), в которых сотрудничал Р., а также ряда его книг. *П.П. Перцов* вспоминал о влиянии идей Р. на художника в ходе общих собраний «*Мира Искусства*»: «Л.С. Бакст, как мне кажется, интимно ближе других усваивал его идеи» («Литературные воспоминания. 1890–1902». М., 2002. С. 266). Дочь Р., Татьяна, вспоминая о воскресных приемах мирискусников в *семье* отца в 1901, называла Б. в числе наиболее близких Р. людей (PRO, 1, 84). В 1901 Б. написал *портрет* Р. (пастель, гуашь, ныне в Третьяковской галерее); см. письмо Р. к П. Перцову 19 февраля 1901. — СОЧ, 515). Р. написал позднее, что хотел «сняться», когда Б. писал с него портрет с *требником*, подаренным ему священником *И.П. Бутягиным*, совершавшим по этой книге обряд

тайного венчания Р. с *В.Д. Бутягиной* (У, 388). В переписке с Р. художник обсуждал судьбу портрета писателя. *А. Бенуа* и *С. Дягилев* настаивали на приобретении портрета Третьяковской галереей (против чего выступала



Л.С. Бакст. Автопортрет. 1906

дочь П.М. Третьякова) или Музеем *Александра III*. Б. писал Р.: «Я очень счастлив, что все художники, самые строгие судьи, признают его незаурядным портретом и это меня очень подбадривает» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3871. Ед. хр. 14. Л. 12). Граф *Ю.А. Олсуфьев*, хорошо знавший Р., считал, что в портрете Б. «самое удивительное — это глаза! Какие живые, умные они!» (ТР, 135). Б. писал после нападок на писателя критика *В.П. Буренина*, высмеивавшего особенности творческого метода Р.: «Малейшая деталь, мимо которой он, Буренин, гордо пройдет или плюнет с небрежением, в Вас будит трогательное любопытство ума, умеющего вывести “деталь” из общего, из “закона”, из цепи последовательных деталей» (ОР РГБ. Л. 7). Высокую оценку Р. получил спектакль «Ипполит» Эврипида на Александринской сцене (МИ. 1902. № 9–10), одна из первых сценографических работ Б. После постановки трагедии Софокла «Эдип в Колоне» (перевод *Д.С. Мережковского*, художник-оформитель Б.) Р. отмечал: «Бакст — истинная Рашель декоративного искусства, — в душе я отдавал ему первенство и перед

Софоклом, и перед Мережковским» (МИ. 1904. № 2. С. 33). В ноябре 1903 Р. был приглашен на венчание Б. и Л.П. Гриценко (урожд. Третьяковой). Перед вступлением в брак Б. принял лютеранство. Ссора во Франции осенью 1905 привела к расставанию супругов. После развода Б. вернулся в иудейское вероисповедание. Влияние идей Р. на Б. отмечал А.Н. Бенуа: «Левушка, будучи убежденным евреем, особенно ценил в Розанове его культ еврейства. Бакст был человеком далеко не безгрешным, а в некоторых смыслах даже порочным, но он все же носил в себе реальное “ощущение бога”» («Мои воспоминания». М., 1980. Т. 2. С. 296). В 1907 Б. благодарил Р. за присланную книгу «Русская церковь и другие статьи» (Париж, 1906) и поделился с автором впечатлением от прочитанного: «Я читаю Вашу книгу подряд и с редким наслаждением. Мне даже совестно быть до того согласным с Вами <...> Я понял великий закон природы — “непрекращаемость жизненной энергии на земле”» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3871. Ед. хр. 14. Л. 2). Б. обращался вслед за Р. к Древнему Востоку: «У меня сердце дрожит от восторга при виде величественной борьбы со смертью и забвением, которую тысячи лет вели египтяне и иудеи <...> бесконечное воскресение в потомках, вечная “перемена” на земле» (Там же. Л. 3). Свои впечатления от оформления Б. книги «Итальянские впечатления» Р. передал в предисловии к ней: «Без моего ведома художник Л.С. Бакст, знакомясь в рукописи или корректуре с некоторыми отделами этих “Впечатлений”, печатавшимися в “Мире Искусства”, сделал прелестные рисунки к статьям о Флоренции и Пестуме. Находя статьи в журнале, я долго, бывало, любовался этими рисунками, которые он делал, вероятно, под навеванием текста: но на меня обратно навевали толпы античных грез эти прелестные рисунки. В Баксте вообще живет много древнего человека: наивный, как мальчик, он не хочет проснуться к деловой прозе Европы XIX–XX века. Все ему грезятся старые камни и юные нимфы, зеленый плющ около пожелтевших колонн, и, может быть, он видит и себя в этих грезах, заснувшим в высокой траве, какою заросла древняя Посейдония» (СХ, 19–20). Идеи Р. нашли материальное воплощение в некоторых работах художника. Б. в 1907 совершил вместе с *В.А. Серовым* поездку по Греции, результатом которой явились цикл пейзажей и декоративное панно «*Terror Antiquus*» (Древний ужас). В 1909 Б. выставил его в «Салоне» С.К. Маковского (СПб.) и заклинал Р. в письме: «Умоляю — посмотрите. Жалко будет, если пропустите ее — я в наших будущих с Вами встречах всегда буду на нее ссылаться. Ваши слова об таинстве, о “присутствии” в космосе Божества — мучили и меня в этой картине» (ОР РГБ. Л. 4). С 1910 Б. поселился в Париже. В 1914 Р. приложил *характеристику* Б. к его письмам: «Лев Самойлович Бакст (“Левушка” Мира Искусств). Его нельзя было не любить. Вечный мальчик. Розовый и рыжий, со щурящимися от солнца глазами, вообще “рассматривающий”, и с трудом, впереди себя что-то, насчет чего ошибается. “Это, Левушка, не баба, а мужик” или “это, Левушка, не мужик, а баба” Он был глубоко рассеянный и в себе сосредоточенный; смеющийся или улыбающийся. Скромный, всегда и глубоко скромный. Становящийся в тень с большею любовью, чем выставляющийся вперед. Он женился, по-моему, на Мамонтовой, а не на Гриценко. Я был у них раз.

У них сделался ребенок — как и почему, непонятно. Она его любила, и не понимала, отчего и чем он болен. А сам он был болен от жены и женою. Прощаясь, он держался то за косяк двери, то за платье жены. Она была скорей тетёха, довольно милая. Он имел вид сумасшедшего или чем-то глубоко разбитого. Ни улыбки, ни *сме-ха*, ни *жизни*. — “Что с Вами?” — И он, пожавшись, сказал мне, что французский доктор сказал ему: “Выби-райте между *искусством* или женою. Если Вы будете продолжать усиливаться быть мужем — Вы погибли и все равно и для жены ничего не останется. Если Вы бу-дете опять один и свободны — вы воскреснете для ис-кусства” Но он был весь деликатный и нежный, и ос-корбить кого-нибудь, тем более *женщину*, было несовместимо для его *души*. Мы вышли от него с Димой <*Философовым*> и, улыбаясь, он мне сказал: “Ему надо не лучше устроиться со своей женой, а послать ее к чер-ту” “Лучше устроиться” — на мои слова. Бакст это чувствовал в коварных глазах жестокого Димы и оттого, весь деликатный, держался за юбку жены. Жена ничего не знала об этом ужасном положении. Потом он убедил ее жить “в разных домах”, он — у себя в мастерской. Так он устроился. “Отдельно” и “один” и опять расцвел харитами, смехом, ухаживаньем, пожалуй и за *девушками*, но если они полунаги и у них тело жестко, как у *муж-чин*» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 88–89).

А.В. Ломоносов

БАКУНИН Михаил Александрович [18(30).5.1814, се-ло Премухино, Новоторжский уезд, Тверская губ. — 19.6(1.7).1876, Берн, Швейцария] — идеолог *анархизма* и народничества, брат *П.А. Бакунина*. Р. писал, что в *Евро-пе* явились *Герцен* и Б. «и “внесли *социализм*”, которого “вот именно не хватало Европе»» (АНВ, 36). Б. жил «мечтой» (КНУ, 116), но, продолжает Р., «позвольте по-мечтать о будущем не одному Бакунину, но и *царю*» (КНУ, 291). Со *времен* Герцена и Б. русское *общество* заняло позицию «гораздо левее парламентаризма»: «Кто порицал и особенно очень порицал Бакунина? А уже он был анархист с бомбами, с вооруженным восстанием, с истреблением всякого социального строя, правильнее — гражданственности, гораздо левее мирных социал-де-мократов. И Бакунин, и даже Герцен о “буржуазном парламентаризме” Европы высказывали буквально то, что грубо высказали “*трудовики*” И оба, даже утончен-ный Герцен, хлестали его в словах еще более резких, пренебрежительных» (КНУ, 113–114). В 1914 в записи «*Мимолетного*» Р. писал: “«Все не доработано” (общие жалобы) — Господи: если бы было все “доработано” — было бы кладбище. И со своими “жалобами” вы только торопитесь куда-то “на *похороны*” <...> Иди, Бакунин: и рви контракты на собственность. Твоя *революция* — че-пуха: но если мы в самом деле имеем в груди “нарисо-вать вторично всю Дрезденскую галерею” — валяя ста-рую под пушки. Ах, Бакунин: и я бы с тобою, если б не чувствовал, что мы старикашки и никак из нас “Дрез-денской галерей” не выйдет, а только слюнявая размаз-ня» (КНУ, 333–334). Для Р. была неприемлема пропо-ведь Б. *террора*. «Мишель (Бакун.) дружил с Нечаевым, лгуном, убийцей и прочее. Друзья говорили: “Отвер-нись” Но он возражал: “Знаете, в революции нельзя без Нечаевых. Мы идеалисты, а он — реалист. Он делает, а у нас одни разговоры, споры и теории. Он предугадал:

“Иван Николаевич” <так Р. именует С.Г. Нечаева> был первым деловым лицом социал-революционной партии. Он убивал. Только убивал. Все убивал. Партия — в вос-хищении» (КНУ, 554). Р. приводит мысль Б. о безнрав-ственности существующего строя общества, «“дозволяю-щего тунеядствовать мне и множеству наших людей, как я, живя на счет труда крестьян и вообще рабочих” Но вместо: — Долой Бакунина! — Он воскликнул: — Долой *Россию*» (КНУ, 422). Именно эта особенность теории Б. была чужда Р. В статье «Черная Россия» (РС. 1907. 11 мая) Р. приводит воспоминания *С.М. Соловьёва* о встрече с Б. в Париже на лекции историка Ж. Мишле: «Сзади меня встает господин огромного роста, трясет шапкой и кричит: “Vive la Pologne!” Это был знамени-тый Бакунин, которого прежде встречал я мельком в Дрездене, говорил с ним минут десять и отошел с тем, чтобы после никогда не сходитьсь: неприятное впечат-ление произвел он на меня своими отзывами о *России*» (ОНД, 116).

А.Н.

БАКУНИН Павел Александрович [1820–22.5(3.6).1900, Крым] — философ, общественный деятель, один из за-чинателей земского движения, брат *М.А. Бакунина*. *Кни-га* Б. «*Основы веры и знания*» (СПб., 1886) вызвала боль-шой интерес *Н.Н. Страхова*, который в первом же *письме* к Р. посоветовал ему прочесть это сочинение: «Знаете ли Вы книгу Бакунина “*Основы веры и зна-ния*”, вышедшую в 1886 году? Очень дурно написана, но в хорошем и истинно философском духе» (ЛИ, 8). В *письме*, полученном Страховым 15 февраля 1888, Р. писал: «Читаю с чрезвычайнейшим любопытством книгу Бакунина “*Осн. в. и знания*”; она месяцев 5–6 лежала у меня. Но его гераклитовские изречения, какое-то выскакивание всех *мыслей* из душевной глубины, а не спокойное развитие их меня оттолкнуло до того, что я просто не стал читать: у меня столько наболело на *душе* высокомерное и насмешливое отношение “*ученых*” к *философии*, что всякая книга, чуждая спокойствия и со-вершенной доказательности, во мне поднимает почти злобу: ну, думаю, вот еще на потеху профессор<ам> на-писано. Но его книга всего более возбуждает во мне ин-терес необыкновенного любопытства именно способом изложения: он ничего не доказывает, только высказыва-ет положения, утверждает, но если читать очень внима-тельно, то видишь, что все это истинно, или гораздо правильнее; чувствуешь, что это как будто не извне вос-принимаешь, а из тебя выходит: до того все ясно и оче-видно правильно само собою, лишь только уразумеешь смысл написанного (хотя вместе с тем чрезвычайно ори-гинально). Такой книги я еще никогда не читал. Чрез-вычайно интересно знать, кто автор» (ЛИ, 157). В конце марта Р. опять сообщает о своем интересе к Б.: «Удиви-тельная книга Бакунина: я думаю, он самостоятельный философ вроде Гейлинкса или, быть может, Мальбран-ша. Или это нелепо? Статья о внимании и все, что на этом основывает он, т.е. о *Боге* как Предвечном смысле, “саморазумении” *мира* и пр., наконец, о *смерти* и *жиз-ни* — все удивительно для меня совершенно ново — “са-мо собой разумеется” (я даже полюбил его чудные выра-жения)» (ЛИ, 167). Затем Р. сообщил Страхову о намерении написать летом статью о книге Б.: «Я думаю

летом написать разбор (т.е. почти только излагающий) книги Бакунина, которую я нахожу удивительной и интересной. Как он своеобразен, ни на кого не походит! Можно ли его разобрать только как самостоятельного философа (мне думается — да), т.е. без ссылок: “Вот как он развивает такую-то (общеизвестную) философскую идею? Если б вы мне написали письмо всего в 3 строки — “можете разобрать как самостоятельного” Это для дела будет нужно; летом у меня абсолютно свободное время, ибо переводит “Мет.” не будем. Я просто ему хочу оказать услугу (т.е. Бакунину): беденький — писал, писал, а тут абсолютное *молчание*. Но это, впрочем, в том случае, если придет очень сильное желание писать, а то иначе у меня ничего не выходит, особенно если преднамеренно» (ЛИ, 170–171). Страхов приветствовал замысел Р.: «Главное из-за чего пишу вам — хочу похвалить Вас за Бакунина. Вы отлично сделаете, если растолкуете эту книгу Вашим легким и ясным языком. У меня была мысль самому заняться таким толкованием, но вижу, что никак не удастся это сделать. Философ он вполне, но он прямо питомец *Шеллинга* и *Гегеля* — тут нет существенной разницы, да и нет того школьного подчинения, которое обыкновенно соединяется с понятием приверженца известной системы <...> Но вы можете написать Ваше толкование, вовсе не указывая на положение Бакунина по отношению к известным школам. Сам я навел кой-какие справки об этом и постараюсь уяснить себе это отношение вполне, потому, что Бакунин есть свидетельство *силы* и жизни этих школ, есть доказательство в их пользу» (ЛИ, 14). Страхов описывает и свои впечатления от личной встречи с Б.: «Недавно он захотел познакомиться со мною, но мы виделись только один раз. Крепкий старик, еще с чернеющими волосами, лет 70-ти. Он мне сказал, что его книга дурно написана (что совершенно справедливо), что он сам иногда не может добраться, какая мысль внушила ему слова и фразы, напечатанные в его книге. “Я себя испортил, — говорит он, — я писал для себя и позволял себе самые странные выражения своих мыслей”» (там же). Однако летом 1888 у Р. начался роман с *В.Д. Рудневой*, и «жажда примкнуть сухими губами к радостям обычной, маленькой жизни» (ЛИ, 179) заставляет его отказаться от замысла: «Теоретическую работу вместе с писанием придется пока отложить. Это я говорю насчет разбора Бакунина, коего, впрочем, пока перечитываю в 2-й раз; ужасно много у него противоречий насчет того, суть ли единичные материальные вещи — тоже одаренные смыслом саморазумения, или нет — и тогда они вовсе не существуют» (там же). В 1913 Р. так комментировал свои давние размышления о Б.: «Книгу Бакунина (это, кажется, брат сумбурного Бакунина) я не разобрал: но она — действительно удивительна с первых же страниц. Помню, я особенно восхищался его указанием на живоверие (живая вера) в *человеке*... Вообще, что же делают наши-то профессора *университетов*? Ведь это образовательная обязанность их — давать отчет читающему *обществу* о новых явлениях русской философской мысли?!» (ЛИ, 15).

В.А. Фатеев

БАЛОБАНОВА Екатерина Вячеславовна [12(24).9.1847, Нижний Новгород — 7.2.1927, Ленинград] — исто-

рик *литературы*, писательница, переводчик, библиотекарь Высших женских курсов, подруга *О.М. Петерсон* и знакомая семейства Розановых. Автор *писем* к Р. 1899–1913 (ОР РГБ. Ф. 249 М. 3877. Ед. хр. 28). *Александр Н. Веселовский* рекомендовал ее Р. в 1899 для привлечения к сотрудничеству в литературном приложении к «*Торгово-Промышленной Газете*». По договоренности с Р., она с О.М. Петерсон вела в газете рубрику «Путевые заметки». В начале марта 1899 завязалась переписка Р. и Б., Б. и О.М. Петерсон часто бывали в гостях у Р. на *воскресеньях*. В письмах 1906 Б. дала краткую историю женских курсов и описала различные типы петербургских *курсисток*. В конце октября 1912 Р. содействовал публикации в «*Новом Времени*» письма Б., выражавшего благодарность за поздравления ее по случаю 30-летия научной деятельности. Б., шутя, просила Р. в письме откликнуться на ее кончину *некрологом*: «Когда умру, напишите мой некролог: была, мол, кисейная барышня, все ходила по свету, искала поэзию народной *души*, не навидела фабричное колесо, которое всю поэзию вытравляло. С годами кисейная барышня обратилась в ученую и библиотечную крысу, а теперь померла такого-то числа, месяца и года» (Там же. Л. 15), а в письме от 4 сентября 1913 выслала ему свои произведения для отзыва, вновь напомнив: «Для моего некролога это будет материал» (Там же. Л. 16). Р. оставил в приложении к ее письмам характеристику Б.: «Балобанова Екатер. Вячеслав. “Друг” Ольги Петерсон. “Легенды о средневековых замках” Прелестна по *талантам* и по всему. Кельтические языки знает» (Там же. Л. 1). Б. критически относилась к содержанию *детей* Р. в частном пансионе *Е.С. Левицкой*: «Конечно, нам русским, да еще в наше время, необходимо спартанское *воспитание*, но согретое *любовью* и *лаской*, а в описанном Вами “идеальном заведении”, мне, кажется, все спартанство — на стороне *Левицкой*, теплое же *чувство* всецело на стороне несправимого идеалиста *Василия Васильевича Розанова*» (Там же. Л. 24 об.).

А.В. Ломоносов

БАЛЬЗАК (Balzac) Онопере де (20.5.1799, Тур — 18.8.1850, Париж) — французский писатель. Р. относил Б. к представителям «ультрареализма», «школы, звенья которой были очень длинны и корни уходят за начальную грань нашего века» (ЛВИ, 416). В статье «*Толстой и Достоевский об искусстве*» (НВ. 1906. 21, 28 нояб., 6 дек.) Р. обращается к оценке Б. молодым Достоевским в *письме* к брату Михаилу от 9 августа 1838, где он сообщает, что им прочитан «почти весь Бальзак» (в 1844 был опубликован *перевод* Ф.М. Достоевским романа Б. «Евгения Гранде»). «Бальзак — велик! — восклицает Достоевский. — Его характеры — произведения *ума* вселенной! Не дух *времени*, но целые тысячелетия приготавлили бореньем своим такую развязку в *душе человека*». Р. замечает по этому поводу: «Слова о Бальзаке и самая форма, в какой они сказались, замечательны. Не забудем что это сказано в ту пору литературного романтизма и идеализма, когда все, и старики и *молодежь*, зачитывались *Гёте* и *Гегелем*, и когда *чувство* натурального, так сказать, физиологического в искусстве, было очень слабо, если не совсем отсутствовало. Сам *Гоголь* был натуралистом-художником, а не натуралистом-физиологом: он

был натуралист в приемах изображения, а не в чутье действительности, не по вкусу к ней. Бальзак богат именно этим вкусом к реальному, к грязной улице, к пузатому человеку: слова Д-кого “о тысячелетиях, которые подготовили появление Бальзака”, и имеют в виду не “тысячелетия” собственно, но всю эту толпу романтических и идеалистических *чувств*, давно сложившихся и застывших, казавшихся в ту пору “вечными» (ОПП, 213). А.Н.

БАЛЬМОНТ Константин Дмитриевич [3(15).6.1867, дер. Гумнищи, Шуйский уезд, Владимирская губ. — 23.12.1942, Нуази-ле-Гран близ Парижа] — поэт, переводчик стихов. В эмиграции с 1920. Р. сравнивал его с нелюбимым прозаиком П.Д. Боборыкиным: «Это какой-то впечатлительный Боборыкин стихотворчества. Да, — знает все языки, владеет всеми ритмами и, так сказать, не имеет в матерьяле сопротивления для пера, мысли и воображения: по сим качествам он кажется бесконечным. Но душа? Ее нет у него: это — вешалка, на которую повешены платья индийские, мексиканские, египетские, русские, испанские. Лучше бы всего — цыганские: но их нет. Весь этот торжественный парад мундиров проходит перед *читателем*, и он думает: “Какое богатство” А на самом деле под всем этим — просто гвоздь железный, выделки кузнеца Иванова, простой, грубый и элементарный» (У, 123). Прочитав в книге Ю. Айхенвальда «Силуэты русских писателей» (Вып. 3. 1910) возвышенную характеристику Б.: «Музыка нашей поэзии в ноты свои любовно занесет его звучное имя», Р. записал: «Совсем рахат-лукум. И Бальмонт, и Айхенвальд» (КНУ, 431). Об известных строках Б. «Хочу быть дерзким, Хочу быть смелым» (из стихотворения «Хочу», 1902) Р. выразился еще более определенно: «Господи: да он постоянно пьян, так отчего же не исполниться его “хочу” Всеконечно и исполнятся» (КНУ, 432). Вместе с тем в статье «В литературных перспективах» (НВ. 1915. 10 нояб.) Р. с сочувствием отозвался о Б., выступившем против «хама Сергея Яблоновского» (НФП, 550), разнесшего «в пух и прах» пьесу Л. Андреева.

А.Н.

БАРАНОВ Владимир Оттомарович фон — философ, автор *писем* к Р. 1910, 1911 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3877. Ед. хр. 4). Первое Б. содержало приглашение на его философскую лекцию «О ценности жизни» (12 декабря 1910), разбору которой Р. затем посвятил статью «Жизнь и счастье» (НВ. 1910. 14 дек.; ЗРП). Другое письмо содержало разбор психологических черт *творчества Ф.М. Достоевского* и высокую оценку статьи Р. «Чем нам дорог Достоевский (К 30-летию со дня его кончины)» (НВ. 1911. 6 авг.; ОПП), а также воспоминание о встрече с Достоевским и его семьей в Дрездене. Письма Р. сопроводил своей *характеристикой* корреспондента: «Баранов — лектор на философские темы, будто бы переписывавшийся с Дарвином и Д.С. Миллем, но больше кажется “делец” и, м.б., совсем прохвост. Умен, талантлив, учен» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 98).

А.В. Ломоносов

БАРАНОВСКИЙ Николай — товарищ Р. по *Нижегородской гимназии*, вместе с которым он поступил на ис-

торико-филологический факультет *Московского университета*. Они поселились на Никитской улице в меблированных комнатах Литвинова. Р. описал эту *жизнь* в статье «Из житейских воспоминаний» (НВ. 1900. 19 сент.): «Номер нам там стоил пятнадцать рублей и был перегороден на две комнаты, мою и Б-ского. Окна начинались почему-то почти от пола, и были огромные, широчайшие, сам номер — низенький, теплый и, кажется, без сырости. Заниматься можно бы, если бы не какая-то... скучища ли, уныние ли. Мы, впрочем, набрали *книг* — конечно, не по своему факультету; я взял Роберта Моля — “Энциклопедию права”, и Макиавелли у меня были свои в коленкоровом шестидесятикопеечном переплете; лекции (литографированные) еще не начали выходить. Кстати, мы не попали на первую свою лекцию. Приходим — профессора еще нет. Было первое или второе сентября, — Отчего нет профессора? — Не изволили приехать». Р. описывает развлечения тех лет — *музыку* под окнами. «Это шарманщики. После 81-го года их куда-то убрали из *Москвы*, но они в то время были истинным украшением *Москвы*. После лекций мы отправлялись на Арбат в кухмистерскую. Ели тупо, много и безразлично, заглушая все перцем и больше налегая на хлеб. Также тупо отяжелели шли на Никитскую в свой третий этаж и закладывались спать <...> И вот в чудный миг полусна, полупробуждения — райская, решительно райская *музыка!* Всакиваешь. Где это? Откуда? Бросаться к окну. Черный человек, итальянец или далматинец, — нажимает пузырь левой рукой, дергает веревочку правой рукой, трясет головой, а на голове у него что-то поставлено, кружок с бубенчиками или колокольчиками, и в то же *время* надавливает ногой мехи: и точно из всех пор волшебного человека лезут звуки, льется разнообразнейшая мелодия, чудная, не кончающаяся. Мы лежим на животах, каждый на своем окне, и впитываем звуки. Черный человек кончил. Все окна, откуда тоже торчали головы, торопливо закрываются. Он озирается и печально и укоризненно смотрит на нас. — Неужели и вы ничего не дадите? — безмолвно говорит его взгляд». Вскоре Р. расстался с Б. Он переехал на другую квартиру, а Б. перешел на юридический факультет. Р. встретился с ним на третьем курсе, а затем после окончания университета: «В цилиндре, шикарном пальто, с расчесанной бородой, он был похож на картинку с модного журнала: — Ну где ты и что ты? — Судебный следователь. — И он назвал один из глухих наших городов. — Ну а во внутреннем отношении? Все так же мечтаешь и зачитываешься *Гейне*. — Ты читал *Мопассана*? — Нет, не слышал. — Тогда я тебе не могу объяснить. Может быть культ писателя и культ его мировоззрения, его *тем*. Я перешел... в petite religion <маленькая религия> Мопассана. — И он засмеялся длинным и тонким смехом. — Нет, довольно серьезно. Я более твердо теперь, чем прежде, знаю, что живу в царствование *Александра III* и в *России*. Но в сущности занимает меня... один Мопассан». В 1886 из *Брянска* Р. писал Б., что посылает ему свою книгу «*О понимании*» и хотел бы, приехав в Москву, остановиться у него: «Мы бы обо многом поговорили и помечтали» (ОСЖС, 676).

А.Н.

БАРАТЫНСКИЙ (Боратынский) Евгений Абрамович [19.2(2.3).1800, село Мара, Кирсановский уезд, Тамбов-

ская губ. — 29.6(11.7).1844, Неаполь) — поэт. Называя Б. «поэтом-философом» (ОПП, 49), Р. в статье «Кое-что новое о Пушкине» (НВ. 1900. 21 июля) рассматривает только что опубликованное С.А. Рачинским в «Татевском сборнике» (СПб., 1899) письмо Б. 1832 к И.В. Киреевскому о Пушкине, где «отзывы о пушкинском творчестве более чем странны» (ОПП, 62). Р. цитирует это письмо: «Если бы все, что есть в “Онегине” было собственно-стью Пушкина, то, без сомнения, он ручался бы за *гений* писателя. Но форма принадлежит Байрону, тон — тоже. Множество поэтических подробностей заимствовано у того и у другого. Пушкину принадлежат в “Онегине” характеры его героев и местные описания *России*. Характеры его бледны. Онегин развит не глубоко. Татьяна не имеет особенностей. Ленский — ничтожен. Местные описания прекрасны, но только там, где чистая пластика, нет ничего такого, что бы решительно характеризовало наш русский *быт*. Вообще это произведение носит на себе печать первого опыта, хотя опыта *человека* с большим дарованием. Оно блестяще, но почти все ученическое, потому что почти все подражательное. Так пишут обыкновенно в первой молодости, из *любви* к поэтическим формам более, нежели из настоящей потребности выражаться. Вот тебе теперешнее мое мнение об “Онегине” Поверяю его тебе за *тайну* и надеюсь, что она останется между нами, ибо мне весьма некстати строго критиковать Пушкина» (там же). Далее Р. поясняет: «Баратынский принадлежит к прекрасным нашим поэтам, но его характер и литературная *судьба* действительно очерчиваются этим признанием о себе Сальери» (ОПП, 62–63). А.Н.

БАРСУКОВ Александр Платонович (1839 — апрель 1914) — историк, гербовед, брат Н.П. Барсукова. Р. написал его *некролог* (НВ. 1914. 19 апр.), назвав трех братьев Барсуковых «подвижниками русской историографии»: «Все три брата, Николай, Иван и Александр Платоновичи, представляли собой редкий уже в наши торопливые времена пример тихого и долгого горения историческим энтузиазмом к старине земли своей — литературной, церковной и исторической. Для них *история* не была “ученым занятием”, служебной должностью, профессиональным ремеслом: нет, для них история и старые хартии, старые журналы, записки, мемуары были тем же, чем для *Минина* нижегородского — независимость родной земли» (НФП, 301). Особо отметил Р. «монументальный труд» Б. «Род Шереметевых» (1881–1904. Т. 1–8). А.Н.

БАРСУКОВ Николай Платонович [8(20).11.1838, Липецк — 23.11(6.12). 1906, Петербург] — историк литературы и общественной мысли, брат А.П. Барсукова. Р. познакомился с Б. в 1894 в дружеском кружке Н.Н. Страхова. Первоначальный анализ главной работы Б. «Жизнь и труды М.П. Погодина» (1888–1910. Т. 1–22), вышедших к тому времени первых девяти книг, Р. дал в статье «Культурная хроника русского общества и литературы за XIX век» (РВ. 1895. № 10). Он высоко ценит у Б. «чуткость к слову как *памятнику* момента, пережитого *душою*» (РФК, 75): «Он предполагал написать *жизнь* одного человека, но незаметно для самого автора около фигуры этого человека выросло целое общество, истори-

чески развивающееся по мере того, как центральное *лицо* рассказа переходило из возраста в возраст, училось, преподавало, странствовало, покупало и продавало редкости своего Древлехранилища, в мужестве произносило одни речи и в *старости* — другие. Таким образом, вместо надуманной и скучной “Истории русской словесности” мы имеем в его книге зрелище самой жизни, от которой, как ее естественный цвет и плод отделяется *литература* <...> Раскрываются семейные хлопоты *Киреевских* или *Тютчевых*, частности характера и приключений вечно странствовавшего *Гоголя*. И благодаря этой смешанности литературы с жизнью мы получаем бесподобную, на фактах основанную, критическую *историю* первой» (РФК, 72–73). О вышедшем в 1896 десятом томе труда Б. появилась статья Р. «Еще доброе дело на Руси» (РО. 1896. № 4), после чего мешенат Д.И. Морозов стал финансировать это издание. Затем Р. откликнулся на выход 14-го тома статьей «Интересные книги, интересное время и интересные вопросы» (НВ. 1900. 11 июля), где он утверждал: «Барсуков, как нам кажется, является в настоящее время самым важным бытописателем, как в смысле трудолюбия, так и *искусства*, и, наконец, *темы*: нравов общества в связи с литературным развитием страны. *Искусство* его заключается в подробностях: он выкидывает на стол перед *читателем* ворох записочек, листков, пожелтевших дневников, откуда-то выкраденных разговоров, чрезвычайно умело подобранных; вы ловите эти листки, и их дух, их слог, их минутный интерес совершенно переносит вас из 1900 года, положим, в 1865» (ОЦС, 29–30). Изданный после *смерти* Б. 22-й том оставшегося неоконченным труда Б. вызвал статью Р. «Посмертный том “Жизни и трудов Погодина” Н.П. Барсукова» (НВ. 1910. 25 июня), в которой Р. подвел итоги работы историка: «Труд Барсукова, конечно, не “ученый” в смысле тех мертвых украшений, какие на себе несет наша мертвая наука, сплошь переводная, подражательная и копирующая. Это так называемый “*criticus apparatus*”, “критический аппарат” или еще “ученый аппарат”, коим в виде многоязычных “примечаний” снабжаются наши магистерские и докторские диссертации <...> Он написал живую русскую книгу, вполне новую и оригинальную, вот именно по духу, вот именно по освещению. Он “продолжил” и “сделал вклад” в словесность русскую, как Плутарх “сделал вклад” в историографию древнюю своими безыскусственными и тоже “ненаучными” жизнеописаниями» (ЗРП, 227–228). Р. рецензировал книгу Б. «Воспоминания о Н.И. Костомарове и А.Н. Майкове» (*Биржевые Ведомости*. 1898. 24 янв.; ЛВИ). Посылая эту статью Б. в начале февраля 1898 и описывая свое бедственное положение в *Государственном контроле*, Р. обратился к Б. с просьбой: «Я всегда встречаю такой Ваш светлый взгляд при встрече, что в глубокой *тайне* (даже от братьев Ваших) пишу Вам “Моление Даниила Заточника”: при огромной Вашей связанности чуть не со всем учено-литературным *Петербургом*, нельзя ли мне устроиться “по ученой части”, отойдя от “счетно-контрольной”» (Начала. 1992. № 3. С. 39).

А.Н.

БАРСУКОВА Зинаида Ивановна. В августе 1918 Р. писал Э. Голлербаху: «Есть у меня, у нас друзья: Вла-

димир Федорович Высотский, мой ученик по *Елецкой гимназии*, и жена его Зинаида Ивановна Барсукова, из рода славного Барсуковых. Она мне корректировала «Оп. л.» Друзья — вернейшие, преданнейшие. Лучше родных. Благороднейшие. Один недостаток — бездетны» (ВНС, 362). Б., следившая за печатанием второго короба «*Опавших листьев*» не поняла искажения отчества *Чернышевского* в записи, начинающейся словами «Я сам прошел (в гимназии) путь ненависти к правительству...» (У, 336), и писала автору: «Глубокоуважаемый Василий Васильевич! Чернышевского звали Николай Гаврилович, а не Григорьевич. Я так и исправила в гранках, но вы перечеркнули и поставили Григорьевич. Сегодня я нарочно сделала справку, которая подтвердила, что его звали Гаврилович. Если еще не напечатали, необходимо исправить» (РГАЛИ. Ф. 419. Ед. хр. 724; см.: Николюкин А. Розанов. М., 2001. С. 405). Однако Р. оставил написание отчества так, как оно ему «виделось». Дочь писателя Татьяна вспоминала: «Барсукова З.И. со своим другом Высоцким, чиновником при каком-то министерстве, довольно часто бывали у нас, и мы также бывали у них» (ТР, 78). А.Н.

БАРЯТИНСКИЙ Владимир Владимирович [8(20).12.1874, Петербург — 7.9.1941, Париж] — князь, прозаик, журналист, драматург. В эмиграции с 1919. В 1896 Б. женился на актрисе театра Литературно-артистического кружка, основанного А.С. Сувориным, Лидии Борисовне Яворской (1869–1921), развелся с ней в 1916. Известна встреча Р. с Б. и Яворской за чаем в 1905 у Н.М. Минского. Р. вспоминает: «Это было до первой Думы, чуть ли даже не до 17 октября. Все шумело, все умы были подняты и как-то счастливо подняты. Вдруг раздался звонок, и в маленькую столовую вошли муж и жена, “он” — писатель, “она” — его жена и господин, в шелковом платье с “треном” (шлейф) аршина в два. “Представились”, и я услышал лучшую из русских фамилий, до того историческую и громкую, что... “ничего лучшего представить нельзя” Сели. Чай дымился. И “она” передала живо, как сейчас слушала речь уличного оратора перед огромной толпой, “на известную тему” — Ну, хорошо, хорошо, — сказал я, видя ее одушевление. — Но нельзя же все вдруг. Хорошо, если будет и конституция. — Лица ее и всех присутствующих выразили отвращение. Я сконфузился и поправился: — Ну, республика, но... — Что “но” — Не рабочая же республика, не социальная республика, с полным уравнением имуществ. — “Муж” мешал сахар в стакане и тянул сладкую влагу с чайной ложечки. — Ну, конечно, социальная республика! — воскликнула она и чуть-чуть открыла локти. — Руки были красивые, худые и некрасивые. “Черт знает что”, — подумал я и замолчал. Но чувствовал, что спорить прямо не имею права: какой же спор, когда “народ хочет” Была ли она искренна? — Да. — Хотела этого? — Хотела. Но, может быть, она была и неискренна? — Да, тоже. Дело в том, что мы “с чаем” и в уютной маленькой столовой были так далеки от “рабочего строя”, что бытие “буржуазной цивилизации”, к каковой они, конечно, принадлежали с мужем, представлялось ей “2 × 2 = 4”, т.е. вечной и совершенно неразрушимой аксиомой» (ЛВИ, 584–585). Этот эпизод Р. упомянул в письме к М. Горькому (1911, июнь): «Уверен, будь с.-д.-тия “уни-

жена, оплевана и отвергнута” — она говорила бы могучие слова могучим языком: но когда (слыхал я) “княгиня Бяратинская (она же Яворская) с аршинным шелковым хвостом, придя к Минским, заявила, садясь на стул к кофее, что иначе как на экспроприации всех имуществ



В.В. Бяратинский

и на соц.-дем. республике — она не помирится”, то я вдруг почувствовал желание обратиться в мышь и убежать под пол... Ну, да все это известное» (МЛ, 518–519).

Л.Л. Черниченко

БАСАРГИН А. — см. *Введенский А.И.*

БАТЮШКОВ Константин Николаевич [18(29).5.1787, Вологда — 7(19).7.1855, там же] — поэт. Р. называл имя Б. в числе «чистых и благородных лиц» (ОПП, 631). В размышлении о ходе *русской литературы* Р. отмечает, что «что-то крепкое и славное держится в Батюшкове, Жуковском, Языкове, Пушкине» (ОПП, 671). Р. утверждает, что «светлая и спокойная древность дышит в стихах Батюшкова» (ЛВИ, 241). О влиянии Б. на русских поэтов Р. говорит: «Пушкин впадает в тоны Жуковского, Батюшкова, Языкова и др.; все они родственны, взаимно симпатизируют друг другу, переливаются один в другого» (ЛВИ, 244). А.Н.

БАУДЕР Василий Федорович — товарищ Р. по *Симбирской гимназии* в 1870–1872. Переписка длилась 5 лет

(1871—1876). Р. считал Б. своим другом: в записке 18 сентября 1871 Р. писал: «Вася! Пришли, пожалуйста, с Сережей мне тетрадь в 6 листов, которую уже ты мне обещал, мне необходимо, нужна бумага. Я тебе после ее возвращу. Пришли хотя немножко чуть. Мне она нужна. Жду не дождусь завтрашнего дня и порою нетерпелив увидеться с тобою. Мне нужно поговорить с тобою о многом. Пришли древнюю историю Иловайского, за ней я не могу ни к кому идти, чтобы выдать себя. Пришли эту записку назад. Твой друг — В. Розанов» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 261. Л. 1). В письме к Б. 20 июля 1876 Р. вспоминал о своей жизни в Симбирске: «Дорогой Вася! Прости меня за то, что я немного поздно отвечаю тебе на твое письмо. Много прошло времени с тех пор, как я получил его. Была минута, когда я хотел немедленно отвечать на него и завязать с тобой дружескую переписку, но, к сожалению, эта решимость продолжалась недолго. Скоро совершенно другие мысли, совершенно другие чувства овладели мною. Ты далеко не знаешь всей тяжести моей жизни в Симбирске. Те два года, которые я прожил там, я никогда не забуду; они наложили свой отпечаток на мой характер, совершенно исковеркав его. Эта проклятая жизнь у Николаевых тяжко отозвалась на моей вообще очень впечатлительной натуре» (ОСЖС, 672—673). В письме Р. дает характеристику Ольги Ивановны, матери своего наставника Николая Алексеевича Николаева, которая создавала в доме невыносимую атмосферу презрения к Р. и к тому же «утаивала некоторые деньги», которые брат присылал ей на содержание Р. и Сережи: «И я, тогда еще (особенно в первый год своей жизни в Симбирске) неспорченный, впечатлительный мальчик, нередко плакал (конечно, украдкой, из ложного стыда) от своей несносной жизни <...> В то же время она всегда относилась к нам как-то презрительно, а я всегда был самолюбив. К этому присоединилось еще странное обращение Николая Алексеевича; я убежден, что он знал о моей впечатлительности, прямо вытекавшей из живости моего характера (которым я обладал в первое время моей жизни в Симбирске), и, однако, часто сам подливал масла в огонь. Что он думал этим сделать? Хотел ли он меня закалить, сделать нечувствительным? Это, я знаю, в духе наших реалистов, к числу которых принадлежит, кажется, Николай Алексеевич и которые этим глупым стремлением приносят часто страшный вред, как это случилось, напр., со мной. Ты помнишь, когда я был в 3-м классе, я уже далеко не был тем веселым, беззаботным мальчиком, каким ты знал меня во 2-м. Что касается до тебя, то я тебя сперва действительно очень любил как хорошего товарища, но потом ты сам как-то отшатнулся от меня, да притом же я решительно не мог видеть, что тебя всегда у Николаевых превозносили (впрочем, только в твоём присутствии), тогда как со мной обращались гораздо хуже. Поставь себя на мое место, и ты увидишь, что ты стал бы питать ко мне же те чувства, какие питал и я к тебе. Теперь, конечно, это все прошло, и я понимаю, что ты в этом нисколько не виноват. Да, мой друг, с такими-то чувствами оставил я Симбирск, ненавидя и все, и всех. Приехав в Нижний, я решил написать туда, к Николаевым, письмо, ты теперь, вероятно, поймешь причину, которая заставила и меня так резко и насмешливо отозваться о всех. Я заранее рассчитывал, что пись-

мо прочтут все, и, как сам знаешь, не ошибся в своем расчете. Живу я в Нижнем довольно хорошо, пишу тебе из деревни, но на днях (числа 15) мы переедем в город, и ты адресуй свое письмо в гимназию. Единственно, в чем я обязан своей жизни в Симбирске, это страсть к чтению, которая первоначально развилась у меня вследствие любознательности и крайнего отчуждения от всех меня окружающих лиц. Теперь она укоренилась во мне настолько сильно, что я не могу провести ни одного дня без того, чтобы не прочитав хоть сколько-нибудь. Романов я читаю очень мало (в последнее время совсем почти перестал) и то только самые лучшие: русские, немецкие и английские. Читаю довольно много по истории, истории литературы, естественным наукам (у меня одно время были отличные коллекции, из которых осталась теперь только великолепная коллекция минералов и окаменелостей, состоящая из 450 экземпляров). Но любимыми моими науками сделались политическая экономия, философия и логика. Я давал всю эту зиму уроки и потому успел составить себе довольно порядочную библиотеку, рублей в 50, из моих любимых авторов, как-то Джона Стюарта Милля, Бентама, Дрэнера, Бокля и проч <...> Оставаясь по-прежнему атеистом, я теперь имею больший, нежели прежде, запас доказательств против всякой идеи о Боге, но отношусь в то же время с большим уважением ко всякой религии, и в особенности к христианской. Было время, когда я увлекался года полтора тому назад различными учениями коммунистов и социалистов, но теперь после более серьезного размышления я нашел недостатки в тех и других и составил о государстве свое собственное понятие» (ОСЖС, 673—675).

Л.Л. Черниченко

БАХМЕТЕВ Николай Николаевич [1848, Харьковская губ. — 24.3(5.4).1909, Петербург] — журналист, знаток нефтяного дела, писавший в «Новом Времени» под псевдонимом «Статистик». В некрологе (НВ. 1909. 26 марта) Р. дает очерк его жизни: «В 1880 году мы видим его в Москве, где он принял видное участие в основании журнала «Русская Мысль» и был деятельным сотрудником В.М. Лаврова, исполняя обязанности секретаря редакции и разделяя с редактором тяжелую журнальную работу <...> Последние годы он работал в «Нов. Времени». Б. видел, что иностранцы «отбирают у русских из-под носа одно дело за другим, вытесняют русских с собственного их места <...> Никому это не может быть так видно, как изучающему русскую промышленность и особенно такое дело, как нефть, от которого совсем оттерты русские люди. Вот простая почва, на которой вырос крепкий национализм Н.Н. Бахметева» (СМР, 108—109).

А.Н.

БЕЖЕЦКИЙ Алексей Николаевич [наст. фам. Маслов; 7(19).9.1852, Варшава — 1922, Петроград] — прозаик, драматург. По службе — военный инженер-фортификатор, с 1901 — генерал-майор, с 1908 — генерал-лейтенант. С 1877 — военный корреспондент «Нового Времени». На сборник Б. «Медвежий углы. Повести и очерки» (3-е изд. СПб., 1899) Р. откликнулся рецензией (НВип. 1900. 5 янв.). «Действие развертывается в Туркестане, и сосредотачивается около взятия штурмом городов Кара-Тугая

и Ахчабулака <...> Прелестны фигурки молоденьких офицеров, почти мальчиков, с их воспоминаниями о *Петербурге* и мечтами о Георгии. Техника *войны* переда-на превосходно». Именно умение автора описать тактиче-ские и технические элементы боевых действий войск отмечены Р. как сильная сторона прозы Б. «*Читатель* всегда с особенным интересом следит за расположением войска в битве, и вообще отчетливость военно-технической и особенно стратегической стороны составляет большое преимущество этих легких и изящных эскизов; быт и разные бытовые сцены не затеяют у г. Бежецкого войны <...> Внимание автора везде сосредоточено или на ходе боя, или на уединенных думах дремлющего под шинелью офицера». Р. также отмечает, что Б. — автор ряда фантастических очерков и «вариации вечной испанской темы» — «Севильский оболститель».

В.Н. Дядичев

БЕЗОБРАЗОВА Мария Владимировна [29.5(10.6).1857, Петербург — 2(15).9.1914, Москва] — историограф русской философии; первая русская женщина, ставшая профессиональным философом, инициатор создания Философского общества при Петербургском университете в 1897. Р. бывал в этом Обществе и переписывался с Б. Сохранилось 19 писем Б. к Р. б.д., ок. 1910–1912 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3823. Ед. хр. 2). К письмам приложены ее статьи «Два скептика» и «Исследования, лекции, мелочи» (Б.д. Автограф) и розановская характеристика Б., касающаяся также деятельности Философского общества: «Мария Владимировна Безобразова. *Девушка-философ*. Из всех вообще здесь философов мне был мил *Тимофей Соловьёв* — с прочими — случайные и «бессердечные» встречи... Да: было жалко Безобразову (1 раз виделись). Какая она жалкая, глухая, и в ее речи ничего не поймешь. Неужели я в старости буду такой?» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 83). Позднее Р. вспоминал в статье «Между тьмою и светом (К инциденту в *Религиозно-философском обществе*)» (НВ. 1908. 10 нояб.; ОНД), как с большим трудом ему удалось провести Б. на заседание РФО 13 ноября 1908, но по злой воле градоначальника прения на собрании были запрещены. В статье «К открытию Этического общества» (НВ. 1911. 29 окт.; ТПРН) Р. отмечал участие Б. в организации этого общества. Деятельности Б. посвящена статья Р. «Из истории «неудавшихся портретов»». Р. дает портрет женщины-философа: «Зрительно она, однако, не была стара или — очень стара. Лицо и вся фигура являла еще много свежести и остатки былой незаурядной красоты... Но... как все разбито, — и именно от этой ужасной глухоты <...> С внутренними слезами я смотрел на замечательную и даровитую девушку, которая фатальным недугом разобщена со всем миром» (НВ. 1914. 8 авг.; НФП, 357). Р. сопоставил известность *Софьи Ковалевской* и забвение имени Б. Болельз философа, по мнению Р., стала серьезным препятствием на пути ее общественного признания. «Задумала и основала «Этическое общество» <...> «Философское общество» <...> Может быть, она не догадывается, не умеет догадаться, до какой степени потеря слуха, — именно при энергии, пыле и деятельности ее души, — затрудняет всех окружающих ее «членов», затрудняет в общении с нею, в возражениях ей». (НФП, 358). Р. высоко ценил ее вклад в философскую науку:

«М.В. Безобразова имела определенное, сильное при-звание к философии <...> Никакой претенциозности, никакой нескромности» (НФП, 359). Он особенно подчеркивал ее заботу о развитии национальной школы философской мысли. Писатель цитирует отрывок из «Философских этюдов» Б., в котором она обращала внимание на коренные недостатки русской философии. «От души желаем мы, — писала Б., — освобождения еще от одного «идола» — специально-русского, т.е. от пренебрежения ко всему своему. Мы ему слишком долго уже поклонялись и поклоняемся» (НФП, 360). Р. отмечал, что признание ее самобытной философии лежит в будущем. «Г-жа Безобразова было слишком серьезна, проста и даровита, чтобы иметь успех в обществе, которое и в философии бежит за «идолом *театра*» <...> Она не хотела «еще раз пережевывать *Конта* и *Канта*», — и, естественно, ее не звали к себе <...> «пережевывающие»» (НФП, 361). Р. опубликовал со своими комментариями «Рассказ о себе доктора философии, Марии Владимировны Безобразовой, — дочери автора и редактора «Сборника государственных знаний»» в книге «*В темных религиозных лучах*». Сочинение Б. было приведено Р. в подтверждение его теории о существовании урнингов с нулевым притяжением *пола* и сублимацией природных инстинктов в духовной сфере.

А.В. Ломоносов

БЕЙЛИС Менахем Мендель (1874, Киев — 7.7.1934, Нью-Йорк) — приказчик кирпичного завода Зайцева в Киеве, обвиненный в ритуальном убийстве 12 марта 1911 13-летнего *Андрея Ющинского*. На суде в Киеве (25 сент. — 28 окт. 1913) был признан невиновным, но подтверждалось совершение ритуального убийства. Р. принял активное участие в обсуждении дела Б., а затем собрал свои статьи в книгу «*Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови*». В статье «Недоконченность суда около дела Ющинского» (НВ. 1913. 10 нояб.) Р. ставит главный вопрос: «Ну, Бейлис «не виновен», но ведь кто совершил все-таки это беспримерное злодеяние? Суд оставил обывателя и *Россию* в бесконечном недоумении и в смущении, — в довольно основательном, наконец, раздражении и жалобе «про себя», «в сердце»: как подобное злодеяние, свидетельство коего выставлено было в пещере чуть не «напоказ» и найдено через несколько дней по совершении преступления, осталось не разысканным в виновнике своем? Если «не Бейлис», то «ищите другого!» — естественное требование обывателя и России <...> Что же это за «суд», который ничего не умеет «найти» и все пропускает «сквозь пальцы»?! Это не «суд», а, извините, — ротозей» (СХР, 334–335). Левая печать, выступая против Р. во время процесса над Б., стремилась оказать влияние на суд. После окончания суда Р. подвел итог: «Дело Бейлиса имело громадные последствия, — и именно тем, что русские были здесь поражены. Это «торжество евреев» открыло всем глаза. Множество людей — пусть безмолвно — испугались за Россию. Увидели угрозу будущности России. Во время Бейлиса «черта оседлости» была как бы снята: они точно хлынули всею массою в Россию; все увидели, что они всем владеют, деньгами, силою, властью; прессою, словом; почти судом и *государством*. Пережили ужас. И этот ужас чувствовался в каждом доме (домашние из-за евре-

ев ссоры, споры). До Бейлиса не было “вопроса об евреях”: вопрос был решен в их пользу, и бесповоротно. “Только одно правительство задерживало, но оно косно и зло” После “дела Бейлиса”, когда увидели, что оно сильнее самого правительства и что правительство не может с ним справиться, несмотря на явность правды (Андрюша, очевидно, ими убит), — когда они вывели с триумфом своего “Бейлиса” и наградили его покупкой имени в *Америке*, а г. Виленский <адвокат Б.> тоже выехал за границу: все увидели, что “сплоченное еврейство” куда могучее правительства “в разброде”, спорящего и вздорящего. И поняли, что правительство одно “кое-что еще защищает” и кое в чем “сдерживает” евреев, “общество” же — положительная труха» (СХР, 228). Р. отмечает корпоративность евреев в деле Б.: «Они чувствовали Бейлиса, как мы Юшинского. Вот взрыв вызволил, освободил его <...> Все — ему! Весь Израиль — ему служит сейчас, как он послужил всему Израилю вчера» (СХР, 303). Два года просидевший в тюрьме Б. оказывается «неприкосновеннее для пера русских писателей», чем «невинно убитый русский государь <...> Вдруг евреи не только сами закричали, но вымучили у русских крик: — Бейлис выше *Александра II*» (КНУ, 247–248). «Была радость о Бейлисе по всей России, а на Андрюшу никто и не оглянулся» (КНУ, 286). Р. вспоминал, что во время дела Б. *П.А. Флоренский* сказал ему, что «от глав еврейства дан был лозунг евреикам стараться всеми правдами и неправдами соединиться с русскими, выходить замуж, становиться любовницами» (КНУ, 277). О своих оппонентах в либеральной прессе Р. писал в ряде статей, вошедших в книгу «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови». Продажа книг Р. в связи с его позицией в «деле Бейлиса» «совсем остановилась» (СХР, 239). Падчерица *А.М. Бутягина* в знак протеста ушла из дома. По домашнему телефону раздавались угрозы и оскорбления. 26 января 1914 Р. был изгнан из *Религиозно-философского общества* и, кроме немногих друзей, оказался в изоляции. Тем не менее в 1918 он пересмотрел свое отношение к евреям и писал в последнем номере «*Апокалипсиса нашего времени*»: «Живите, евреи. Я благословляю вас во всем, как было время отступничества (пора Бейлиса несчастная), когда проклинал во всем <...> Я нисколько не верю во вражду евреев ко всем народам. В темноте, в ночи, не знаем — я часто наблюдал удивительную, рачительную *любовь* евреев к *русскому человеку* и к русской земле. Да будет благословен еврей. Да будет благословен и русский» (АНВ, 58).

А.Н.

БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич [30.5(11.6). 1811, Свеаборг, Финляндия — 26.5(7.6).1848, Петербург] — критик. Р. говорит о коренном переломе в *сознании* русского общества, происшедшем под воздействием Б. «До Белинского русское образованное общество имело мнения анти-“белинские”, после Белинского оно имело мнения “как у Белинского” Для произведения этой перемены сгорел Белинский. Так и надо. Каждая душа есть феникс и каждая душа должна сгорать; а великий костер этих сгоревших душ образует пламя *истории*» (ОЦС, 109). К 50-летию смерти Б. 26 мая 1898 в «*Новом Времени*» появилась статья Р. «50 лет влияния (Памяти

В.Г. Белинского)», перепечатанная в «*Русском Обзрении*» (1898. № 5) и вошедшая в сборник Р. «*Литературные очерки*» с подзаголовком «Юбилей В.Г. Белинского — 26 мая 1898 г.». Б. определен здесь как «основатель практического, жизненного, житейского идеализма» (ЛВИ, 300), который «вел за собою огромную толпу — ибо *Грановский*, *Герцен*, *В. Боткин*, собственно, все лишь дополняют и разнообразно продолжают образ Белинского, без специфического и нового, оригинального в себе значения» (Там же, 301). Тогда же, 3 июня 1898 Р. напечатал в приложении к «*Новому Времени*» рецензию на книгу *Л.З. Слонимского «Мысли Белинского о воспитании»* (СПб., 1898). Следующие выступления Р. в печати по поводу Б. приурочены к 100-летию со дня его рождения. В статье «В.Г. Белинский» (НВ. 1911. 28 мая) Р. вспоминает, что Б. был другом гимназических детей, для многих — студенческих лет: «Нет ни одного теперь из образованных русских людей, в *крови* и мозгу которого не было бы частицы “Белинского”, как чего-то пережитого горячо и страстно, благоговейно и восторженно <...> Мне сейчас 55 лет, но хранится у меня, и по временам я взглядываю на нее, тетрадочка *гимназиста* 3 класса, где я <...> переписал его “Литературные мечтания”: слог его, мысли, пафос, этот летучий *язык* <...> С Белинского началось наше серьезное *чтение*: это безусловно всех!!! Нельзя, почти без слез благодарности, не вспомнить, что, лишь прочитав Белинского или вообще “вступив в сферу Белинского”, мы произносили торжественно и сладко: “я *человек*”; то есть уже не мальчик, странствующий по степям *Америки* с Майн-Ридом, а Русский сознательный человек, волнующийся всеми волнениями *России*, ее будущего, ее прошлого, ее *литературы*, ее гражданского и политического бытия» (ОПП, 501). «Все от Белинского, — продолжает Р. — Вот это гораздо важнее того, что он был собственно “критиком”: и, как таковой, критически осветил всю *русскую литературу* до него и ему современную, и верно, чутко, гениально отгадал только что начавших при нем выступать новых писателей... Все это и помимо его могло бы сделаться; а “новых писателей” оценили бы со временем, потом. Да и оценили *Тургенева*, *Гончарова*, *Достоевского*, конечно, независимо от “предсказаний” Белинского. Но волнующего и возбуждательного его значения никто не мог заменить: и не будь его, все развитие общества совершалось бы потом гораздо медленнее, более “сквозь сон” (без сновидений, тупой), более апатично и вяло. Он внес живость: вот это — то, за что теперь вся Россия должна положить ему земный поклон» (ОПП, 503–504). В статье «Вековая годовщина» (РС. 1911. 29 мая) Р. называет Б. «князем мысленного царства» (ОПП, 512), всего идейного мира России. Вместе с тем Р. применяет характерный стилистический прием «принижения ради возвыления». Он пишет: «У него не было в сочинении ни капли поэзии: Грановский писал изящнее его; Герцен писал красивее, разнообразнее, сильнее; по *тону*, по стилю — *Добролюбов* был сильнее его; *Чернышевский* был подвижнее, еще живее, разнообразнее; кроме Добролюбова, все названные писатели были его учение, тоньше и культурнее развиты, в собственном смысле — образованнее. Но никто из них не получил такого значения, как Белинский, “отец всего”, — “отец”, собственно, и их всех, перечисленных писателей, в том числе и совре-

менных ему почти ученых людей, как Герцен. Белинский прямо “из рук” учился у Герцена гегельянству и политике, и, между прочим, Герцен был всего его “сыном”, его “приемышем”, — например, в расхождении со славянофилами, став “на сторону Белинского”, тогда как Белинскому и на ум никогда не приходило “становиться на чью-нибудь сторону” Он был “первоначальный”; именно — “отец всего”» (ОПП, 512). Все это не мешало Р. говорить и об «археологической ветхости» (ЛВИ, 305). О возможном в 2011 г. праздновании 200-летия рождения критика Р. говорил «с таким ощущением археологичности, старины, чего-то “быльем поросшего” и всеми забытого, что жутко и представить себе» (ОПП, 501). В статье «Споры около имени Белинского» (НВ. 1914. 27 июня) и ее продолжении «Белинский и Достоевский» (НВ. 1914. 8 июля) Р. полемизировал с Ю.И. Айхенвальдом, упрекавшим Б. (в книге «Спор о Белинском». М., 1914) в непоследовательности суждений, и утверждал, что великий критик основал и завещал устойчивую традицию моральных ценностей, «какой-то “моральный канон” русскому человеку, русскому уму, русскому сердцу, русскому характеру» (ОПП, 589). Канон «полного чистосердечия и искренности», подчеркнул Р., «есть весьма особливая русская традиция, и пошла она от колеблющегося Белинского, — именно от колебаний его <...> Закон российский говорить, как думаешь. Худо ли это? Это гордость русской литературы» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 173. Л. 14). Отвергая нападки Айхенвальда, Р., однако, не становится на идейную позицию Б., для которого «не было русского народа». «Отсюда — полное непонимание Белинским народной, простонародной жизни, деревенской жизни, сельской жизни. Для него были только “комнаты” и “разговоры” Отсюда — неприязнь к нему Толстого <...> Его знаменитое “Письмо к Гоголю” есть бесприммерно глупое письмо. Человек из квартиры никуда не выходил, из редакции никогда не выходил — и судит о России. Мужика с бородой “лопатой” не видел и твердит, что у “русских нет никакой религии”, что “деревня наша — атеистическая, а вовсе не православная и даже не христианская” Что России нужно не *правительство*, а — кооперация и не история, а — история русской кооперации. Что *Отечественной войне* никогда не нужно было быть, ибо это только помешало торжеству идеи Жорж Занда и Сен-Симона» (ОПП, 597). Приводя известные слова Ф.М. Достоевского о Б.: «Самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни» (письмо к Н.Н. Страхову от 18 мая 1871) и отрицательные суждения Л.Н. Толстого о Б., Р. соглашается с тем, что суждения эти интересны не для понимания Б., а для понимания Достоевского и Толстого (ОПП, 592). В «Мимолетном» 8 октября 1914 Р. добавляет: «В противоположность благородному и глубокомысленному Достоевскому, который от “Бедных людей” пошел к *религии*, Белинский в плоском уме своем сообразил только, что от “Бедных людей” можно пройти к *революции*» (КНУ, 558). В неопубликованной при жизни статье Р. «Иначе я поступить не мог» (слова на *памятнике М. Лютеру* в Вормсе), написанной в связи с выходом в 1913 очерка о Б. во втором издании «Силуэтов русских писателей» Ю. Айхенвальда, дается «окончательная» оценка критика: «Белинский велик именно работой своей — дьявольской

работой многочитанья, многоисканья, многохлопотанья. Велик и благороден своей заботой о русской литературе, в ее целостном огромном течении, с библиографией и “мелочами”» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 173. Л. 17; гранки). Но Р. не был бы Р., если бы в этой же статье не заявил: «Да, Белинский нам (т.е. многим на Руси) — враг, мне — враг, я его не люблю, потому что во множестве сторон он навредил дорогой мне России: но... А сам-то я не “наврежу кое в чем”? Кому известны *судьбы*? Всякий человек в полной неизвестности будущего, и его обязанность — только не лукавить перед собой, т.е. по великому им (Белинским) основанному канону — *disco ut puto*, говорю, ибо думаю» (НФП, 410).

А.Н.

БЕЛКИН Алексей Сергеевич [ок. 1855 — 17(29).7.1909] — однокурсник Р. по историко-филологическому факультету *Московского университета*, приват-доцент *философии*, член Московского психологического общества (1890-е). Б., получивший от сверстников прозвище «Аполлон», входил, как и Р., в небольшой кружок *студентов*, любивших философию: «Между лекциями, собирая вокруг себя слушателей, неизменно рассказывал полунеприличные, полукваверзные анекдоты о профессорах один студент. Он был хорош, как Аполлон Бельведерский, и кроме остроумия, действительно замечательного, в нем была чудная приветливая *ласка* ко всем окружающим. Он примкнул к кружку студентов, к которому и я принадлежал: так, *человек* пять-шесть, ближе сошедшихся характерами, — шалопаев, но которые любили философию» (СП, 211–212). Б. присутствовал при венчании Р. с А.П. Суловой. Дочь писателя Т.В. Розанова вспоминала: «Университетский товарищ рассказывал нашей маме, что “когда папа венчался на первой своей жене — Суловой, то она (Сулова) шаферами пригласила его и *Любавского*. Был среди них Белкин, красивый, Аполлон Бельведерский; он и говорит: “Давайте увезем Васюку” (от венца), но они не решились, так как были приглашены и должны были свою должность исполнять» (ТВ, 17). Б. «был чудесный малый», «товарищ без измены и предательства» (СП, 212). При этом он имел большую библиотеку, интересовался иероглифами, говорил и читал на трех *языках*, но, как пишет Р., «был убийственно и, очевидно, непоправимо ограничен» (СП, 212). Неудивительно, что отношения Р. с Б. после окончания *университета* постепенно сошли на нет: «Мне как-то, будучи на летних уроках, случилось заскучать, и я написал ему скучающе-сентиментальное *письмо*; через неделю получаю ответное письмо, которое он, очевидно, сочинял всю неделю и из которого яснее, чем из разговоров, я усмотрел удивительную его бессодержательность, ничем не поправимую и никак не заполнимую. Скучность хорошо отполированной доски, но такой твердости или такого состава, что ли, где не вырезывается ни одна буква. Так после этого наши отношения, без размолвки и всё сохраняя вид дружелюбия, и отклеились. Просто — не цеплялось ничего за его *душу*, и он не в силах был ничего забросить в вашу *душу*» (там же). Р. привел жизненную *историю* Б. как пример неумейной тяги к *знанию* при отсутствии надлежащих способностей: «Кто же он был? Он достиг университета ценою ссоры с отцом, т.е. не говоря о другом, ценою возможного лишения очень большого наследства; его

отец вел обширную торговлю пушным товаром и имел непосредственно дела с Сибирью. Сына он отдал в коммерческое училище, но вот сына потянуло из него в университет, и путем невероятных усилий он действительно усвоил древние языки, весь их 8-летний курс, и вступил-таки в университет. Очень характерно для определения его дарований, что несколько раз, держа экзамен на испытание зрелости, он проваливался на экзамене по словесности, т.е. не мог связать и последовательно написать трех страниц сочинения. Судя по письму, это, вероятно, был чрезвычайно путанный и претенциозный вздор, в котором решительно невозможно понять, что именно он говорит, не подымая вопроса о мотивах, почему то или иное говорит. У него был какой-то мертвый ум, и хаос вычитанных знаний вовсе никак не организовывался в нем <...> Он был очень благороден, очень порядочен, он, очевидно, «горел» сердцем к науке в ее неопределенно-далеком смысле и был только ко всему этому глуп» (СП, 211–213). Возможно, Р. имел в виду именно эту характеристику Б., когда писал после его кончины в 1909 *М.О. Гершензону*: «Я виноват перед покойным Белкиным и непременно хочу сказать о нем по † несколько слов» (Переписка В.В. Розанова и М.О. Гершензона. 1909–1918 // Новый мир. 1991. № 3. С. 26). Р. просил Гершензона поместить некролог в «Критическом Обзрении» — «Новое Время» отказалось его напечатать, так как это «никому не интересно». Однако некролог не появился и в журнале (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 169). После окончания университета Б. стал преподавателем кафедры философии в университете. Он написал положительную статью об университетском профессоре философии времен их студенчества *М.М. Троицком*, о котором не раз резко критически отзывался Р. («М.М. Троицкий» // ВФП. 1900. Кн. 52). В 1912 Р. дал характеристику Б., «достойного» преемника Троицкого, в статье «Новые работы по философии»: «Мой товарищ Белкин, потом заместивший на кафедре философии нашего профессора Матв. М. Троицкого, раз сказал мне: “Знаешь, брат Розанов: рассуждал я раз с одним врачом о душе, он мне и говорит: “Сколько тел вскрыл, сколько черепов на своем веку распилит, — а души ни разу не нашел” Это ему, бедному, казалось убедительным... В том же духе он читал философию и сам» (НВ. 1912. 21 июня; ПВ, 128). Р. называет позитивистские воззрения Б. «гиперборейским варварством» (там же). Письма Б. к Р. за 1879–1887 хранятся в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 363).

В.А. Фатеев

БЕЛЫЙ Андрей [наст. фам. и имя Бугаев Борис Николаевич; 14(26).10.1880, Москва — 8.1.1934, там же] — прозаик, поэт, критик, мемуарист. Б., называвший себя «противником Розанова» («Начало века». М., 1990. С. 37), писал о Р. часто и много весьма иронично. Во «2-й симфонии» (1902) он говорит о Р.: «На всю Россию кричал тогда циничный мистик из города Санкт-Петербурга, а товарищи озаряли крикуна бенгальскими огнями» («Сочинения. Серебряный голубь». М., 2001. С. 97). Свое знакомство с Р. в январе 1905 в гостиню 3.Н. Гиппиус и дальнейшие встречи Б. описал дважды: в «Воспоминаниях о Блоке» (Эпопея. 1922. № 1–4) и с некоторыми изменениями текста в книге «Начало века» (1933).

«Однажды, когда мы сидели с З.Н. и, предаваясь перед камином высокой “проблеме”, в гостиню из передней дробно-быстро, скорее просеменил, чем вошел, невысокого роста блондин, скорей плотный, с едва начинающейся проседью желтой бородки торчком; он был в черном, как кажется, сюртуке, обрамлявшем меня поразивший белейший жилет; на лоснящемся полноватом краснеющем (бледно-морковного цвета) дряблевшем лице глянцевели большие очки с золотой оправой; а голову все-то клонил он набок; скороговоркою приговаривал что-то, сюсюкая, он; и З.Н. нас представила; это был — Розанов. Уже лет десять с вниманием я уходил в мир идеи его; он казался едва ли не самым талантливым, гениальным почти; но и самым враждебным казался он мне; потому-то с огромным вниманием стал я рассматривать Розанова; он же, севши на низкую табуретку перед Гиппиус, тихо выбрызгивал вместе с летевающей слюною короткие тряские фразочки, быстро выскакивающие изо рта у него беспорядочной, всюсюкивающей припрыжкой; в вытрясаемых фразочках, в той характерной манере вытрясывать их мне почуялась безразличная доброта и огромное невнимание к присутствующим; казалось, что Розанов разговор свой завел не в гостиню — в передней еще, не в передней — на улице: разговор сам с собою о всем, что ни есть: Мерзковских, себе, Петербурге <...> Руки — дергались, а колени — приплясывали; карие глазки, хитрейше поплясывающие под очковыми глянцами, мне казалось, мечтали о чем-то; они не видали того, что все видят: казались слепыми кусочками, плотяними и карими; в облике Розанова улыбалась настойчиво самодовольная мешанская тривиальность; “мешанство” кидалось нарочно, со смаком, с причмоками чувственных губ; эти губы слагались в улыбку не то сладковатую, приторно-пряную, а не то рисовали насмешливую издевку над всем, что ни есть; да “в открытом мешанстве — хитер, в своих хитростях — нараспашку” — хотелось сказать, созерцая варившего мысли В.В.» («О Блоке». М., 1997. С. 143–144). Б. вспоминает о первом заседании на «башне» Вяч. Иванова в 1905. После речи Б. о трех фазах любви: любви к Богу, к Ней, к людям, Р. подошел к нему и спросил: «А скажите, — наверняка не переживали того, о чем только что говорили <...> Если бы вы пережили хоть часть из того, что сказали, вы были бы — гений...» И приговаривал он, поплеывая словами: — «Не переживали, конечно...» (Там же, 200). Б. оставил живописную картину проходивших у Р. «воскресений», когда хозяин, «взявши под руку то того, то другого, поплескивал фразами в уши и рот строил ижицей» (Там же, 145). Вспоминает Б. встречу с Р. в Москве осенью 1908: «Однажды в гнилом и вонючем ноябрьском тумане, когда электрический свет проступает, как сыпь, брел уныло я и одиноко, пересекая Тверскую; около памятника Пушкина вдруг кто-то — дерг-дерг за рукав; оборачиваюсь, смотрю — мокренькое пальто и высоко приподнятый воротник; и высоко приподнятая рыженькая борода и мятая шапочка какая-то, рука без перчаток, вся мокрая; поплевание словами в лицо; словом — Розанов! — “Как вы здесь, В. В.?” — “Проездом: спешу в Петроград... Дожидаюсь вот заведующего газетой... Не покидайте меня, Христа ради, — мне делать нечего...” Взяв меня за руку, В.В. стал поаживать, стал поаживать

вать — и туда, и сюда — по переулочкам, по грязненьким улицам, занавешенным ноябрьским туманом; на нас брызгали шины — противною грязью <...> Кинематографы, проститутки и полупьяные шатуны: и циничные выкрики, и циничные предложения; среди всего того Розанов, под руку влекущий меня через грязь, с губами, изображавшими ижицу, поплеывающий словами страшные кощунства на тему: “пол и Христос” Не забуду того туманного вечера; и — гениальных “ужасиков” В.В. об аскетах, святых; прохожие — останавливались, оглядывались на нас. Розанов влек меня в кофейню Филиппова — на Тверской; там за столиком продолжался нелепо поднявшийся разговор. В.В. вдруг выразил поразительную заинтересованность Блоком» (Там же, 340). Издавая книгу «Начало века», Б. добавил в воспоминания о Р. эпизод о последней их встрече в гоголевские юбилейные дни 1909. Оба сидят рядом на эстраде; «В.В. в уши плюется, мешая мне слушать; а я добиваюсь узнать, от кого он приехал сюда, что собой представляет он: общество, орган, газету? Мы все — “представители” здесь (на эстраде); он делает ижицу, делает глазки; и явно конфузится: — “Я?.. От себя...” Значит, — “Новое Время”, мелькает мне; и мне, признаться, не очень приятно с ним рядом» (М., 1990. С. 482). Б. написал рецензию на книгу Р. «Когда начальство ушло...» («странная, неожиданная книга, как странен, неожиданен сам Розанов». — КНУ, 605). В статье «Отцы и дети русского символизма» (На перевале. 1906. № 1) Б. утверждал: «Когда Розанов пишет о поле, он сверкает. Горящие символы его безвременны. *Времена*, национальности группируются вокруг этих образов, как вокруг своего ядра <...> Розанов, это — зоркая рысь, пронизывающая мрак ночных лабиринтов. Еще издали узнаешь о его приближении, когда в лесном одиночестве засверкают огоньки зорких глаз. Розанов-фельетонист, это — рысь, посаженная в клетку. Лихорадочно мечется она взад и вперед, возбуждая жалость, и вдруг оскалится. Тогда станет жутко» (PRO, 2, 75).

А.Н.

БЕЛЬГАРД Алексей Валерианович (1861 — 28.2.1942, Германия) — юрист, сенатор, начальник Главного управления по делам печати (1903–1912), гофмейстер Императорского двора. Ознакомившись с книгой Р. «В темных религиозных лучах», Б. решил, что ее автор «просто сумасшедший», и сообщил Р., «что книга совершенно не цензурна, кроме первых 150 стр., и что немедленно по выходе в свет обязательно была бы арестована». В целом Б. отнесся к писателю доброжелательно, передав книгу для чтения рядовому цензору, «указав, что к ней с формальной точки зрения можно отнести “терпимо”» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 134). Однако книга была запрещена. Сохранилось письмо Р., которое так и не было послано Б. В нем Р. «оплакивал» свою книгу, понимая, что «никакой нет возможности ей выйти»: «Ужасно печально, ужасно печально, ужасно печально <...> Как Гамлету в Датском королевстве, как Галилею в Италии. Верю, что всем плохо: но мне — хуже всех». Р. уговаривал Б. сохранить персонально для себя 100 экземпляров книги, запрещенной цензурой, «на правах рукописи». Он просил также о свидании для разъяснения помет цензора на книге (ОР РГБ. Ф. 249. К. 6. Ед. хр. 26).

А.В. Ломоносов

БЕЛЯЕВ Андрей Андреевич (ум. 15.12.1918) — протоиерей. С 1875 — преподаватель, потом ректор *Вифанской* духовной семинарии в *Сергиевом Посаде*. В сентябре 1917 по предварительной договоренности с А.А. Александровым Р. с семьей переехал в его дом на *Красюковке* в Сергиевом Посаде (см. АНВ, 184). Больной Р. продиктовал сыну Б. некролог его отца (ГЛМ. Ф. 362. Оп. 1. Ед. хр. 70).

Т.В. Смирнова

БЕЛЯЕВ Юрий Дмитриевич [28.11(10.12).1870, Симбирск — 5(18).1.1917, Петроград] — драматург, прозаик, публицист, театральный критик, служил с начала 1900-х в «*Новом Времени*», участник розановских «воскресений» в первые годы XX в. Весной 1901 Б. встретил Р. с женой в *Риме* и описал, как Р. пытался объясниться с итальянским извозчиком по-латыни. В рецензии на книгу Р. «*Итальянские впечатления*» (НВ. 1909. 24 июня) рассказывал в связи с этой встречей: «Он тогда жил в Риме и посылал в “Новое Время” яркие, оригинальные корреспонденции. Их специальная тема и мастерское изложение привлекали внимание католического духовенства. В иезуитском “*Voce della Verita*” <“Голос правды”> усердно цитировали Розанова и с чисто итальянским



Ю.Д. Беляев

простодушием заявляли, что он имеет от своего редактора специальную миссию в духе соединения церквей <...> Словом, в Риме статьи Розанова обратили общее внимание, пожалуй, больше, чем у нас, где вопросами религии и искусства интересуются “по маленькой”, а в летнее время и вовсе ничего “такого” не читают» (PRO, 1, 253–254).

А.Н.

БЕНТАМ (Bentham) Иеремия (15.2.1748, Лондон — 6.6.1832, там же) — английский социолог, родоначальник философии утилитаризма. Гимназистом Р. называет Б., наряду с Дж. С. Миллем, Дж. У. Дрэйпером и Г. Т. Боклем, среди «любимых авторов» (ОСЖС, 674). В 18 лет в VII классе гимназии он читал вместе с Ю. Каменской «Введение в основание нравственности и законодательства» в «Избранных сочинениях» Б. (СПб., 1867. Т. 1). Позднее Р. вспоминал: «Не забудем теорию Бентама и Милля, по коему “всякий, даже мученик за веру, исполняет именно то, что ему более всего нужно и приятно”, и добавим это тем психологическим наблюдением, что “духовные ощущения бывают еще ярче физических, не имея в себе той ограниченности и жестокости, какие составляют удел всего физического и физиологического» (ЛВИ, 515). В статье «Одна из замечательных идей Достоевского» (РС. 1911. 1 марта) Р. уже иначе оценивает «теории счастья от Бентама, от Руссо, от Милля»: «Вы поставяете искусственное счастье для сочиненного человека, для искусственного человека, для вами выдуманного человека. Просто, и вы притворяетесь, когда сочиняете теории, и притворяются ваши читатели, когда делают вид, что им верят» (ОПП, 490). Наиболее полное определение роли «бентамизма» в России Р. дает в статье «Чаадаев и кн. Одоевский» (НВ. 1913. 10 апр.): «Иеремия Бентам, английский мыслитель, отверг бытие нравственности, как самостоятельного начала человеческой души и жизни, сказав, что вся нравственность есть “хорошо растолкованная польза” <...> И на почве же теорий Бентама была построена вся «передовая» журналистика 60-х годов, с “Современником” и “Русским Словом” во главе. Чернышевский все рекомендовал “умные иностранные книжки”, не прочитав сам одной замечательной умной русской книжки, ознакомившись с которою, он сложил бы крылья и положил перо». Речь идет о книге В.Ф. Одоевского «Русские ночи», где в главе «Город без имени» дана критика Б.

А.Н.

БЕНУА Александр Николаевич [21.4(3.5).1870, Петербург — 9.2.1960, Париж] — художник, критик и историк искусства, мемуарист. В эмиграции с 1926. В «Письме к друзьям» от 1 января 1919 Р. упомянул «благородного Сашу Бенуа» в качестве одного из подразумеваемых адресатов, а в письме к Мережковским, написанном в декабре 1918, назвал среди тех, кто поддержал его, присовокупив: «Господи, какие воспоминания связаны с “Миром Искусства”» (Литературная учеба. 1990. № 1. С. 73, 75). Знакомство произошло в редакции журнала «Мир Искусства», и как вспоминал позднее Б., в письме к Н.В. Розановой от 25 июля 1919, «в начале 900-х годов я был среди тех, кто особенно часто виделся и беседовал с Вашим отцом, бывал у него ежедневно, и мы с ним

вместе многое передумали, многое искали» (ОР РГБ. Ф. 149. К. 7. Ед. хр. 20). О своей любви к Р. и интересе к его идеям Б. писал в письмах к Р.М. Рильке, которому рекомендовал работы Р. для переводов. 28 июня 1901 Б. пояснял причины своего интереса к Р.: «Я убежденный сторонник брака и всегда душевно радуюсь, когда прибывает нашего полку. Кстати сказать, я очень увлекаюсь в данный момент чтением другого убежденного сторонника брака — нашего гениального В.В. Розанова. Знаете ли Вы его? Вы, помните, меня как-то раз спросили, что Вам переводить с русского, и я Вам, кажется, рядом с Мережковским <...> назвал Розанова. Однако Розанов еще интереснее для иностранцев (хотя он особенно интересен для русских), так как является истинно русским философом, корни которого уходят глубоко в народную стихию. Особенно значительно его отношение к древнему еврейству, а за последнее время и к католицизму. Он вышел из Достоевского, но во многом ушел от него и для уразумения нашего народного духа — безусловно необходимо знать как того, так и этого. Форма Розанова — сбита, часто бестолковая и крайне



А.Н. Бенуа

небрежная. Русский — весь почти всегда циник. Содержание местами глубоко мудрое, местами детски наивное, но всегда очаровательное. Труд его переводить, я думаю, огромный, но он стоит этого труда. Если бы Вы пожелали, то я постарался бы Вам выслать несколько его сочинений» (Райнер Мария Рильке и Александр Бенуа. СПб., 2001. С. 117–118). Книги Р. «Литературные очерки» (СПб., 1899) и «Природа и история» (СПб., 1900) через Б. были получены Рильке и находились в его библиотеке со следами чтения. В воспоминаниях Б. дан портрет Р.: «Всего милее Василий Васильевич бывал у себя дома. Он был большим домоседом и вечера любил проводить за чайным столом» (Бенуа А. Мои воспоминания. М., 1990. Т. 2. С. 293). О религиозных идеях Р. периода общения с ним Б. писал: «К Христу и к христианству питал какое-то “недоверие”, почти что неприязнь, все подлинное, все важное для жизни, все ответы на запросы духа, крови и плоти он находил в Библии, в Ветхом Завете, а когда ему указывали на “моральные преимущества” христианства или на реальную бла-

годать, дарованную Отцом в Небесах через жертву, принесенную Его Сыном, Василий Васильевич сердился и со страстным убеждением цитировал из Ветхого Завета то, что он считал за “эквивалент” христианских принципов» (Там же, 294). О статьях Р., посвященных искусству, Б. не упоминал, и вряд ли они были ему известны: «Он притягивал к себе многообразием и глубиной своих прозрений, а также своим непрерывным любопытством, обращенным на всевозможные предметы. Только к чистому искусству, к истории искусства и, в частности, к живописи (и, пожалуй еще — к музыке) он обнаруживал равнодушие и до странности малую осведомленность <...> Имена первейших художников: Рафаэля, Микеланджело, Леонардо, Рембрандта и т.д. были ему, разумеется, знакомы, и он имел некоторое представление об их творчестве. Но он до странности никогда не выражал живого интереса к искусству вообще и, в частности, к искусству позднейших эпох, разделяя, впрочем, эту черту со всеми литераторами, с которыми сводила жизнь» (Там же, 293). Единственной областью искусства, доступной Р., Б. назвал коллекционирование монет, «перебирая эти серебряные кружочки, хранившиеся у него в образцовом порядке, давая на них играть отблеску лампы, он получал и чисто эстетические радости, причем ему случалось говорить прелестные слова как про технику, так и про красоту лепки» (Там же, 296). П.П. Перцов считал сближение Р. с кругом авторов и редакцией «Мира Искусства», где одна из главных ролей принадлежала Б., поворотным моментом всей биографии Р., который «впервые дал ему соответствующую среду». Перцов назвал Б. в числе тех, кто составлял «естественную аудиторию и самых близких попутчиков», среди которых Р. «привык развивать вполне откровенно весь ход своих идей; здесь он получал уверенность в себе» (Перцов П.П. Литературные воспоминания. 1890–1902. М., 2002. С. 265–266). Дружба Р. с Б. была прервана длительными периодами жизни Б. за границей в середине 1900-х и позднее не возобновлялась. Получив от Н.В. Розановой сообщение о смерти Р., Б. писал в ответном письме: «Память Василия Васильевича я чту более, чем кто-либо, и я почел бы своим душевным долгом участвовать в издании того сборника его памяти, о котором Вы пишете <...> Ваш сборник был бы своего рода памятником, который ему создали бы близкие люди, в ожидании того, который поставит ему родина, когда поймет весь смысл всего им сказанного» (ОР РГБ. Ф. 249. К. 7. Ед. хр. 20).

Е.В. Иванова

БЕРГ Фёдор Николаевич [12(24).9.1839, село Титово, Нижнеомовский уезд, Пензенская губ. — 4(17).4.1909, Москва] — писатель, журналист, редактировал после смерти М.Н. Каткова с 1887 до 1896 журнал «Русский Вестник», в котором при посредстве и помощи Н.Н. Страхова печатался Р. После появления в журнале работы Р. «Место христианства в истории» (1890. № 1) Страхов писал ему: «Ф.Н. Берг каждый раз, когда встретит меня, хвалит вашу статью, — говорит, что получает от ней много хвалебных писем, что ее все читают, — что она дала серьезный тон всему журналу и пр.» (ЛИ, 54). Р. вспоминал, что печатался в журналах и газетах и радикальной, и консервативной направленности: «Только

консерваторы не платили гонорара или задерживали его на долгие месяцы (Берг, Александров)» (ОСЖС, 710–711). Продолжая эту мысль в «Опавших листьях», Р. пояснял: «С прессой надо справиться именно так: “возите на своих спинах” Тогда “для всех направлений не обидно”, и меру увидели бы не политической, а культурной.



Ф.Н. Берг

Мысль эта занимает меня с 1893 г., когда Берг вычеркнул большое примечание (в страницу) об этом, и я никак от нее не отказывался. Это — спасение души. Когда-нибудь раздается это как крик истории» (У, 229). Р. печатал в 1893 в журнале Б. главы своей книги «Сумерки просвещения», и вычеркнутое Б. примечание было о «запрещении вообще всех газет в целях подъема культуры» (ЛИ, 12). Печатание в журнале «Сумерек просвещения» стало раздражать министра народного просвещения И.Д. Делянова, и он направил к Б. члена Совета министра просвещения Н.А. Любимова. При встрече в Петербурге Б. рассказал Р. о визите Любимова: «Он был здесь, требовал прекращения печатания статьи, говоря, что это разрушает все катковские традиции, и даже позволил себе кричать и топтать ногой. Но статья мне нравится, и я отказал ему» (ЛИ, 93). За понимание и сочувствие статьям, которые Р. присылал в «Русский Вестник», он очень тепло отзывался о Б. в письме Страхову 5 февраля 1892 («Эдакий милый Берг, так и расцеловал бы его». — ЛИ, 281). Это, однако, не мешало Р. резко писать о нем, пос-

кольку Б. не платил вовремя гонорара («с Бергом невозможно вести дела — с голоду подохнешь». — ЛИ, 303). Публикация статьи Р. «По поводу одной тревоги гр. Л.Н. Толстого» (РВ. 1895. № 8), где он обращался к Толстому на «ты», вызвала ссору Р. с Б. как редактором журнала. Письмо Р. к Б. хранится в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 264).

А.Н.

БЕРДЯЕВ Николай Александрович [6(18).3.1874, Киев — 24.3.1948, Кламар, Франция] — философ, писатель. Б. считал Р. одним из «самых необыкновенных, самых оригинальных людей», каких ему приходилось встречать в жизни. «Это настоящий уникам. В нем были типические русские черты, и вместе с тем он был ни на кого не похож. Мне всегда казалось, что он зародился в воображении Достоевского и что в нем было что-то похожее на Федора Павловича Карамазова, ставшего гениальным писателем. По внешности, удивительной внешности, он походил на хитрого рыжего костромского мужичка. Говорил прищепывая и приплывывая» (Бердяев Н.А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). М., 1991. С. 148). Б. высоко оценивал литературные способности Р.: «Читал я Розанова с наслаждением. Литературный дар его был изумителен, самый большой дар в русской прозе. Это настоящая магия слова. Мысли его очень теряли, когда вы их излагали своими словами» (Там же, 148), но вместе с тем считал, что «в его писаниях было что-то расслабляющее и разлагающее» (Там же, 149). Сравнивая свое мирозерцание с мирозерцанием Р., Б. относил их к полярно противоположным типам. «Я очень ценил розановскую критику исторического христианства, обличение лицемерия христианства в проблеме пола. Но в остром столкновении Розанова с христианством я был на стороне христианства, потому что это значило для меня быть на стороне личности против рода, свободы духа против объективированной магии плоти, в которой тонет образ человека» (там же). Одним из наиболее известных выступлений Б. о Р. является его доклад «Христос и мир», сделанный 12 декабря 1907 по поводу доклада Р. «О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира», прочитанного на заседании *Религиозно-философского общества в Петербурге* 27 ноября 1907. В этом выступлении Б. характеризует мироощущение Р. как имманентный пантеизм, в котором «заложено могущественное первоощущение божественности мировой жизни, непосредственной радости жизни, и очень слабо в нем чувство трансцендентного, чужда ему трансцендентная тоска и ожидание трансцендентного исхода <...> Розановский натуралистический пантеизм есть впавшая в детство старость человечества» («Христос и мир. Ответ В.В. Розанову» // РМ. 1908. № 1. Отд. 2. С. 45–46). Б. пишет статью, («О “вечно-бабьем” в русской душе» // *Биржевые Ведомости*. 1915. Утр. вып. 14–15 янв.), посвященную книге Р. «*Война 1914 года и русское возрождение*». «В Розанове, — утверждает он, — так много характерно-русского, истинно-русского. Он — гениальный выразитель какой-то стороны русской природы, русской стихии. Он возможен только в России. Он зародился в воображении Достоевского и даже превзошел своим неправдоподобием все, что представлялось этому гениальному воображению <...> В самых недрах

русского характера обнаруживается вечно-бабье, не вечно-женственное, а вечно-бабье. Розанов — гениальная русская баба, мистическая баба. И это “бабье” чувствуется и в самой России» (Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С. 32). Б. противопоставил женственности Р., которая есть в то же время отражение женственности души русского народа, начало активности и мужественности. Позиция Б. подвергалась критике В.Ф. Эрном. Признавая мужественность души Б. («Без соку, без влаги, без красок его рассуждения. Чувствуются стоны психеи в его писаниях». — Эрн В.Ф. Налет валькирий. Ответ Н.А. Бердяеву // *Биржевые Ведомости*. 1915. 30 янв.), он отказывает в мужественности его духу. «Бердяев упрекает Розанова за то, что тот революционерствует в годы революции, реакционерствует в годы реакции. А дух Бердяева? Разве он не колеблется и не сотрясается при каждом порыве ветра <...> Женственный дух Бердяева резонирует на все воздушные зовы» (там же). Таким образом, по Эрну, спор между Р. и Б. — это спор между термометром и барометром. «Воздушная барометричность гордо с высот налетает на земную термометричность. И что всего любопытнее: один аспект женскости восстает на другой» (там же). Р. принадлежит серия статей о Б., посвященная выходу в свет его книги «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» (М., 1916) и тесно связанного с этой книгой цикла статей «Типы религиозной мысли в России» (РМ. 1916. № 6, 7, 11). В первой рецензии на «Смысл творчества» Р. отмечал, что «книга читается с непрерывным философским восхищением всяким, кто способен к философскому мышлению, кто любит этот прекрасный волнующийся мир не полной достоверности, — это скольжение ума по краю правдоподобия, вероятности, “приблизительного”, внутри коего заключены величайшие ценности бытия, истории и самого человека» («Николай Бердяев. “Смысл творчества. Опыт оправдания человека”» // К. 1916. 1 мая; ВЧВ, 188–189). Достоинство книги он усматривал в том, что «на каждой ее странице вы видите человека, лезущего на трудную и высокую гору, — видите все его усилия. Перед вами непрерывно творческая философская личность и творческая религиозная личность и этот “портрет” на протяжении 350 страниц большого квадратного формата дает достаточно умственной и, наконец даже художественной эстетики <...> Книга Бердяева — именно такая личная книга, с личным устремлением к истине, для личного успокоения ли, возбуждения ли, но, во всяком случае, с личным героизмом» (ВЧВ, 190). По мнению Р., книга Б. свидетельствует о глубоком изменении тона философских суждений в русском обществе и в русской литературе. И хотя внешнее литературное и книжное положение Б. такое же, как Чернышевского и Михайловского, тон философских суждений — совсем иной («“Новый воздух”! — “Новый материк перед нами”, — не можем мы не воскликнуть, подобно спутникам Колумба») (там же). В следующей статье Р. возражает проводимому Б. противопоставлению гениальности Пушкина и святости Серафима Саровского перед лицом церковного идеала. Называя рассуждение Б. слабым, — «он натягивает слова и аргументы на предрешенную в уме самую тему, на предрешенный тезис» («“Святость” и “гений” в историческом творчестве» // К. 1916. 6 мая; ОПП, 636), — Р. в то же время считает, что сама тема,

поднятая Б., необыкновенно важна. Только ее было необходимо выразить иначе: «В рамках церковного идеала святости выразимо ли всякое историческое творчество?» (Там же, 639). Со временем тон рассуждений Р. становится заметно критичнее. Он высказывает упрек философской книге за то, что «автор высказывает, а не доказывает». «Слышим проповедника, но не видим философа. Но и самое “высказываемое” — тускло, бледно» («Новая религиозно-философская концепция: Николай Бердяев. Смысл творчества. Опыт оправдания человека» // МВ. 1916. 27 мая; ВЧВ, 230). Р. не согласен с тем, что Б. противопоставляет «мир» и «мирское» «космосу». «Это противоположение в “бытии” “мира” и “мирского” “космосу” противоречит тому самому первоначальному и великому уму, который впервые произнес благородное слово “космос”; и, кроме того, оно содержит в себе грех некоторой тщеславной гордыни, презрительно смотря на мелочи жизни с высоты какого-то “духа” или каких-то “великих вещей”» (ВЧВ, 232). Также видимый «разлад» мира, о котором говорит Б., это не «распря», но сочетание «контрофорсов», наиболее крепко держащих мировую форму, — залог движения мира. Поэтому Р. считает неудачным попытку Б. противопоставить «разладу» какой-то покой, где находится «сон и сытость философствующего буржуа» (там же). Вызывает возражение Р. и сама концепция религиозного творчества Б. «Не хочет ли Бердяев сказать, что “человек начинается только с Наполеона, а до него были — людишки, т.е. не только не Наполеон, но полная противоположность человеку-Наполеону» (ВЧВ, 234). «Сообразно героическому характеру всей книги Бердяева, призывающей к творчеству, и согласно некоторым его обмолвкам, он как будто в мир без кавычек включает одни крупные калибры человеческой природы, — он хочет разделить бытие на “космос”, в котором живут и создают гиганты от Наполеона до Якова Бёме, и на “неукрашенный мир”, где живет чиновная мелочь, религиозные “буржуа” со своим стереотипом *молитвы*, церковного кругооборота и обрядности, со своим “смирненным подвигом терпенья”, к которому повсюду Бердяев высказывает величайшее отвращение. Если это — так, то это вызывает в нас глубочайший протест, и книга его действительно “манифейская и нисколько не “христианская”» (ВЧВ, 235). По мнению Р., цель Б. состоит в реставрации байронических идеалов «величайшего», «демонического», «байронического», глубоко пережитых и отвергнутых русской культурой. «Бердяев этого не говорит ясно, но, по-видимому, он крадетя бесшумно к реставрации именно этих “байронических” и “демонических идеалов”, — только перенося их из сферы *общества* и “литературных побасенок” в область страшно ответственную и серьезную — *церкви, религии* и религиозного подвига» (ВЧВ, 236). Другими словами, на место глубоко бессловесного и «не украшенного» подвига Серафима Саровского он хочет воздвижения в Русской Церкви другого идеала и других лиц, вроде Блаженного Августина и Боссюэта с его начертанием первой «Всемирной истории». Он хочет «видности» и «громкого слова». Р. противопоставляет идеал русской святости («Святые» — вот и весь «подвиг Русской Церкви») типу святости, предлагаемому Б. Общая оценка Р. книги «Смысл творчества» такова: «Бердяев <...> говорит собственно о католическом типе христи-

анства, призывая к нему и вознося его на необыкновенную высоту сравнительно с “изукрашенным”, — без мадонн и без красноречия, — *православием*. Вот где корень и сущность его “пелагианства” После попыток Чаадаева и Влад. Соловьёва, мы имеем третью попытку» (ВЧВ, 237). В статье «Идея “мессианизма” (По поводу новой книги Н.А. Бердяева “Смысл творчества”)» (НВ. 1916. 10 июня) Р. противопоставляет бердяевскому «мессианизму» и «героизму» «лень» как метафизический принцип Руси: «Мне приходит на ум, что в “лени” содержится метафизический принцип Руси, и “лень”-то именно нас и охраняет от самых ядовитых зол <...> Не величавое и мирообъемлющее “смирение”, а простая частная скромность, личная скромность — вот что хорошо. Дай Бог и этого добиться, но “этому” очень способствует, если с “лендой” Зачем нам и куда нам торопиться? Больше жизни все равно не проживешь, а “свою жизнь” всякий, наверное, проживет» (ВЧВ, 247–248). Отвечая на возражение Б. о «русском мессианизме», Р. пишет: «Тот тип истории и жизни, который рисуется русскому народу, есть, конечно, тихий, умиротворяющий и “надеющийся на Бога” Но надеющийся не человеческим гордым надеянием, все опирающим на свое “я”, — или на Круппа, как *Бисмарк* или Вильгельм, — а надеющийся на ту вот мысль, что Бог и сам призывает нас к величию, если мы того заслужим, — во-первых, и в срок, когда Он Сам это найдет соответствующим Своему плану» («Из философии народной души. На возражение Н.А. Бердяева о “русском мессианизме”» // НВ. 1916. 30 июля; ВЧВ, 313). Р. поясняет свою позицию тем, что он не отрицает «мессианизма» в корне и в реальной истории, но настаивает на том, что он настает «неожиданно» и обыкновенно для народов, им не занимающихся. Это дело «рук Божиих», а не человеческих. «Преднамеренные же “мессианизмы” не удаются, “не выходят”, и, я уверен, никогда никому не удадутся» (там же). В другой статье, посвященной теме «мессианизма», Р. признается: «У меня все болит сердце, что я ответил таким решительным “нет” на те призывы к религиозному творчеству, к религиозному героизму, по крайней мере, к религиозной активности, какие высказаны Н.А. Бердяевым и в его громадной, только что появившейся книге “Философия творчества”, и в том мелком щепе большой постройки, какой у него под руками сейчас по окончании большой работы, и который он разрабатывает или доделывает теперь в журнальных и в газетных статьях. Мое указание (фактически-то ведь оно верно, с этим не будет и Бердяев спорить), что у нас, русских, все происходит “с лендой”, что “на лени Русь выросла”, и “от лени” всегда у русских получалось кой-что хорошее, — это указание, конечно, опасно, если его возвести в принцип; если не смотреть на “лень” как на несчастье, а воспользоваться ленивым блаженством. Тогда, я думаю, лень и не станет “удаваться” (как до сих пор удавалась). Нет, явно, мы должны “стараться”, “усиливаться”: а чтобы лень была только внутреннею душою, ну и “тайным учением”, около этих энергичных усилий. Тогда, я думаю, будет хорошо» («Около трудных религиозных тем» // НВ. 1916. 12 авг.; ВЧВ, 318–319). По мнению Р., правильно ставить вопрос не о религиозном героизме, как это делает Б., а о религиозном герое. В связи с этим начинается полемика Р. с Б. по поводу

круга (или «братства») молодых московских славянофилов (П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Вл.Ф. Эрн, В.А. Кожевников, М.А. Новосёлов, С.А. Цветков, С.Н. Дурьлин, Д.Д. Муретов и др.). Р. считает, что этот кружок в своей «тихости» и «незаметности» являет собой как раз пример всего подлинно религиозного и исторического на Руси. Молодые славянофилы «гениально поняли силу и красоту молчания, «невывяления»; и хотя все «пишут», но явно не стараются, воздерживаются от всякой полемики, никогда не защищают и не оправдывают себя, — и вместе с тем ежедневно продолжают свое стойкое дело, свое настойчивое, полное внутренней энергии, дело» (ВЧВ, 319). Но именно это и раздражает Б. «Скромно, тихо и безмолвно москвичи протянули руку к могилам старого славянофильства, — хотя они явно ведут доктрину славянофильства дальше, вперед — и ведут ее энергичнее вперед <...> Но все это явно неторопливо, «с прохладцей», с полной уверенностью, что они делают дело и что этого дела никто не остановит. Чего же не радоваться? Лучшее русское явление сейчас. И вдруг Бердяев накидывается на него и выбирает самые едкие слова, чтобы наговорить ему «любезностей», при полном бесилии сказать что-нибудь против них серьезное» (ВЧВ, 320). «Не правда ли, — спрашивает Р., — явление простое и ясное, которому бы только радоваться? Среди печатни и общества, до такой степени затянутого философскими и политическими пошлостями, до такой степени болтливых и праздных, вдруг являются люди, которые самую жизнь становятся серьезны, которые взяли другой тон личных отношений, связей и совсем другой тон литературного выражения. Главное здесь именно то, что это не литературная школа, а жизненная школа; что главная их добродетель — скромность и молчание» («Бердяев о молодом московском славянофильстве» // МВ. 1916. 17 авг.; ВЧВ, 333). «Но есть какое-то чрезвычайно тяжелое для души и созерцания параллельное завидование или параллельное соперничество... Н.А. Бердяев, для которого тоже интересы религии суть высшие в жизни, опрокидывается на московских славянофилов, как будто ничего хуже их нет на свете, как будто нет других болот на Руси, требующих осушки или дренажа» (там же). Называя печатающиеся в «Русской Мысли» статьи Б. «Типы религиозной мысли в России» «выдающимся явлением религиозной и философской мысли в России» («О типах религиозной мысли в России» // К. 1916. 19 авг.; ВЧВ, 338), Р. считает, что Б. как носитель духа *Религиозно-философских собраний* (РФС) в *Петербурге* 1901–1903 пристрастен к кружку молодых московских славянофилов и в этой пристрастности несправедлив. Для него Б. — это «человек, ревнующий о неудавшихся РФС ввиду полной удачи московского славянофильства» («Молодые московские славянофилы перед судом Н.А. Бердяева» // К. 1916. 26 авг.; ВЧВ, 353). По мнению Р., Б. не хватает того качества, которое он сам выделяет в Булгакове — подкупающей серьезности и искренности. «Как писатель, как мастер характеристик, наконец — как подвижный ум, он блестящее Булгакова, хотя и не так учен, как он. Но он слишком «новый человек» и уже слишком порвал с «монументальной историчностью» Везде он работает «один» и «сам», везде он работает «не с Россией» У него та же «авиация», как у *Мережковского*: мысли, везде летающие и ни к чему не

прикрепляющиеся <...> Как он не оглянется на себя, что в нем уже есть только религиозная заинтересованность «разными типами религиозной веры», но нет веры; на самом деле и совершенно — нет религии, иначе как воспоминания о чем-то былом, о чем-то когда-то испытывавшемся» (ВЧВ, 354). Р. делает вывод: «Москвичи правы, путь их мудрый. Собственная бердяевская «философия творчества» под углом этого зрения предстает оправданием личного произвола, «развязыванием» со всякою религиею, а не «связыванием» с какою-либо религиею. И как он не поймет, что это «развязывание» приводит на последнем исходе к той же убивающей углекислоте позитивизма, «реальных знаний», «матерьяльных интересов», из которой только что начала выбиваться горькая русская душенька, тоскующая русская душенька. Это — индивидуализм, со всем его отчаянием и пагубой» (там же). Р. отмечает такие черты позиции Б., как абстрактность мышления, религиозный космополитизм: «Недостаток и громадный недостаток Бердяева заключается в том, что он говорит о религии без достаточной тяжеловесности, без достаточной солидности, отчего и происходит, что он толкает нас менять религиозные формы, как политические платья...» («Религия и национализм» // К. 1916. 25 сент.; ВЧВ, 373), незнание православия: «Бердяев вне всякого сомнения почти вовсе не знаком с православною Церковью, — иначе как через книги; незнаком по опыту жизни, по практике жизни. Это отнимает почти все качества у его писаний на данную тему. И славянофильство он знает поверхностно и формально. В православии есть великие черты, почти неуловимые, не формулируемые. Суть православия — в святых его; в самых образах их и в самой жизни их» («Еще о московских славянофилах» // МВ. 1916. 22 сент.; ВЧВ, 371). По Р., для Б. есть один выход для более глубокого понимания русской жизни и русской религиозности: «Ему нужно ко многому еще «принюхаться», — поглядеть глазком, «постранствовать по Руси», расширить вообще свой человеческий опыт, свою человеческую зрительность, свою человеческую осязательность» (ВЧВ, 372). Р. писал П. Флоренскому 27 августа 1916, что Б. «иностранец по существу», «не дорожит русской, именно нашей церковью» (АФ). В 1922 Б. был выслан из России.

Ю.Ю. Черный

БЕРЛИН Павел Абрамович (1877, Ростов-на-Дону — 12.4.1962, Париж) — публицист, эмигрировал в 1922. К.И. Чуковский в дневнике 10 октября 1917 записал: «Розанов как-то в поезде распекал П. Берлина за то, что у того фамилия совпадает с названием города. — А то есть еще Дж. Лондон! Что за мода! Ведь я не называю себя — *Петербург*. Чуковский не зовется *Москва*. Мы скромные люди. А то вот еще Анатоль Франс. Ведь Франс это Франция. Хорошо бы я был Василий *Россия*. Да я стыдился бы *нос* показать» («Дневник. 1901–1929». М., 1991. С. 89). Б. написал рецензию на книгу Р. «Когда начальство ушло...» (Новый Журнал Для Всех. 1910. № 19) и статью о Р. «Опаснее врага» (Новая Жизнь. 1913. № 2). В статье Б. «Русские мыслители и евреи» раздел о Р. начинается словами: «Я перехожу теперь к русскому писателю, высказавшему по еврейскому вопросу чрезвычайно глубокие и оригинальные суждения. Этот

талантливейший и самобытный писатель, создавший свой совершенно особый, неповторимый “розановский” литературный жанр, свой особенный “розановский” язык, внес и в трактовку еврейского вопроса свою оригинальную точку зрения» (Новый Журнал. Нью-Йорк. 1962. № 70. С. 223). Б. дает свою трактовку т.н. «антисемитизма» Р., далекую от безоговорочного обличения, обычного у противников писателя.

А.Н.

БЕРТЕНСОН Мария Николаевна (урожд. Зыбина) — автор письма к Р. от 25 октября 1915 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4212. Ед. хр. 4), сопровождавшего книгу корреспондентки о покойном митрополите Антонии (А.В. Вадковском) и просьбу о рецензии в «Новом Времени». Р. откликнулся библиографической заметкой «Антоний, митрополит С.-Петербургский и Ладожский» (НВ. 1915. 1 нояб.). Он высоко оценил сборник воспоминаний и писем духовной дочери покойного митрополита Антония. «Книга воспоминаний о митрополите Антонии написана с чувствами, выраженными в предисловии: “Зная святителя двадцать четыре года, мне хотелось благодарно почтить память моего духовного отца и руководителя и собрать любящей рукой все устные предания о нем близких, родных, учеников и друзей, а также поделиться выдержками из его глубоко назидательных писем. Книга эта, написанная с чувством глубокого благоговения к памяти почившего архипастыря, имеет целью начертать ясный образ в назидание и утешение всем, знавшим его светлую личность” Вся книга написана в этом тоне и с этими намерениями о каких говорит предисловие. Это и не научный труд, и не история, а некий “вздых” на могилу того, кто был дорог и поучителен. Впрочем, история именно церкви и церковных событий и церковных лиц уместается и сокращается в большинстве случаев до этих рамок и даже до этой сущности, не без значительной основательности. Что делать! Церковь вообще есть область, где человек бессилен, а “Бог помогает” Тут много рассуждать не придется. Вздохнешь, помолишься. Помолитесь с тобой или о твоём деле священник... Ну а остальное “приложится”, и либо “выйдет”, либо “не выйдет”...» (НФП, 547).

А.В. Ломоносов

БИСМАРК (Bismarck) Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен (1.4.1815, замок Шёнхаузен на Эльбе, Бранденбург, Старая Марка — 30.7.1898, имение Фридрихсру) — первый рейхсканцлер Германской империи (1871–1890), в 1859–1862 прусский посланник в России. Говоря о немцах и объединении Германии, осуществленном Б., Р. писал: «Все их успехи при Мольтке и Бисмарке суть просто удача успешных над неуспешными, трудолюбивых над ленивыми, добропорядочных над безнравственными; и словом, “школьный учитель победил”, — тот “школьный учитель”, который бежал бы без оглядки перед такой “фатальной” личностью, как Наполеон, да и вообще перед истинно всемирною и таинственною личностью» (СХ, 151). Р. пересказывает из «Мемуаров» Б. случай с ним на медвежьей охоте в России. В санях с ямщиком он заблудился. «Лес, болото, снег, никуда дороги. Он считал себя погибшим: — Ничего! — обернулся мужичок с облучка. Он был один, с

этим мужиком. Без русской речи, кроме каких-нибудь слов. Мужичок все обертывался и утешал железного барина: — Ничего, выберемся! — “Выберемся” он уже не понимал. А только запомнил это “ничего”, много раз повторявшееся. И когда стал канцлером, то в затруднительных случаях любил повторять на непонятном языке: — Ничего. Nitschevo» (СХ, 349). В статье «Возле “русской идеи”...» Р. неоднократно обращается к мыслям Б.: «Бисмарк, вращавшийся в пору петербургского посольства в нашем обществе и присматривавшийся к русским характерам, говорил, что они “необыкновенно женственны”; и прибавил, что “в сочетании с мужественным германским элементом они могли бы дать чудный материал для истории” Эту же мысль, у Бисмарка не звучавшую уничижительно, император Вильгельм выразил так: “Славяне — не нация: это — только материал и почва, на которой вырастет другая нация, с историческим призванием». Он разумел будущую Германию. Оба тезиса поднимают вопрос о «мужественном» и «женственном» в истории» (СХ, 351). Во время Первой мировой войны Р. писал о немцах, что «устаи теперешнего императора своего и великого Бисмарка, они высказывали мысль, что славяне слишком мягки и женственны и не умеют и не могут быть самостоятельны; но что в слиянии с мужественным тевтонским племенем они могут дать превосходную помесь, способную к культуре и политике. Это значит, что славяне могут быть отличными рабами немцев» (ПЛ, 265). Говоря, что немцы безбожники, Р. приводит слова своей знакомой: «Их церковь — не в кирке, а возле памятника Бисмарку, против рейхстага. Вот куда они ежедневно сходятся, с детьми, с женщинами, и преклоняются перед этим памятником. И, смотря на их отупелые лица, на их жесты и позы, — видишь, что это религия, что это молитва... Государственная религия, — и другой немцы не имеют. Они молятся молитвами королевской Пруссии и императорской Германии, и эти молитвы — к захвату еще и еще, к господству над другими» (ПЛ, 308). Признавая, что Б. «великий политик и дипломат», Р. задает в 1914 вопрос, что представляет он собой как «культурный человек», и отвечает: «Специалист, и притом гениальный, в дипломатике и политике, т.е. великий мастер практических приемов в житейских государственных делах, может быть совершенно слаб в созерцании и в комбинировании высших культурных идей. Будучи в корне-то вещей всего только “по Бюхнеру и Молеютту”, великие государственные люди Германии, начиная уже с Бисмарка, и заваривали ту механическую и плоскую кашу, ту позитивную и физиологическую кашу, которую расхлебывают теперь немцы, поражая мир криками: “Мы перебьем русских и съедем всю их икру” Такого дикого крика, такого идиотического крика не раздавалось с начала всемирной истории» (ПЛ, 313). См. также Александр III.

А.Н.

БЛАГОВ Федор Иванович (1866, Ярославская губ. — 29.4.1934, Париж) — редактор московской газеты «Русское Слово». Эмигрировал в 1919. В 1914 Р. вспоминал: «Сотрудничество в “Русск. Слово”, — о чем меня просил И.Д. Сытин, зять его Ф.И. Благов (редактор) и потом Дорошевич, — все относившиеся ко мне безукориз-

ненно. В сотрудничестве не было и тени упрасиванья с моей стороны, навязывания с моей стороны, и до сих пор ко всем, так сказать, “воротилам” газеты я в *душе* отношусь очень хорошо, и мне неприятно только, отчего Фед. Ив., всегда, бывало, заезжавший ко мне, когда бывал в СПб., перестал у меня бывать. Думаю, что — от чувства неловкости, что они “обменяли меня за *Мережковского* и *Философова*” <...> Но я их несколько не виню, ибо им (рассказ *Арк. Вен. Руманова* “Петербургский Телефон”) поставлен был ultimatum, и они выбрали (на их взгляд) выгоднейшее. Дело торговое. Нужды газеты» (КНУ, 242). Объясняя различие позиции консервативного «*Нового Времени*» и либерального «Русского Слова», Р. продолжает: «Я видел, что Благову, Дорошевичу и Сытину нужно было иметь, и годы иметь, совсем иное зрелище перед собою, вот какое я имел, и, вероятно, мне нужно было тоже взглянуть в то, что они видели, словом, надо было — уже если дело решать словами — не недели, а месяцы спорить, “живя в одной квартире” (т.е. непрерывно), чтобы прийти “к одной платформе” (убеждения)» (КНУ, 243). В следующем, 1915, Р. уточняет: «В “Нов. Вр.” я ни для кого не притворялся, в “Рус. Сл.” иногда притворялся, — именно когда распускал свой противный либерализм. “Благову понравится” Черт бы его драл» (М, 302). В архиве Р. (*библиография С. Цветкова*) сохранились пометы Р., что многие его статьи для «Русского Слова» были сняты с набора Б.

А.Н.

БЛАГОСВЕТЛОВ Григорий Евлампиевич [1(13).8.1824, Ставрополь — 7(19).11.1880, Петербург] — публицист, редактор-издатель журналов «Русское Слово» и «Дело». Р. называл Б. нигилистом из «нашего кабака» (ОПП, 601). Он «в *жизни* был невыразимый халуй, имел негров возле дверей кабинета, утопал в роскоши, и его близкие (рассказывают) утопали в “амурах” и деньгах, когда в его журнале писались “залихватские” семинарские статьи в духе: “все расшибем”, “*Пушкин* — г...о” Но халуй ли, не халуй ли, а раз “сделал под козырек” и стоит “во фронте” перед оппозицией, — то ему все “прощено”, забыто, получает “награды” рентами и чинами. Но что же это? Да это “придворный штат”, уже готовый и сформированный, для будущей и ожидаемой власти» (У, 113–114). Отсюда Р. делает вывод: «Какая-то “невидимая могущественная рука” охраняла целый ряд антиправительственных социал-демократических журналов. Почему Благосветлов с “Делом” не был гоним, а *Аксаков* с “Парусом” и “Днем” — гоним был» (У, 243). Связывая имена Б. и *Чернышевского* как отрицателей национального уклада жизни *России*, Р. писал: «Отвратительная гнойная муха — не на рогах, а на спине быка, везущего тяжелый; воз — вот наша публицистика, и Чернышевский, и Благосветлов: кусающие спину быка» (У, 287). В статье «Кто истинный виновник этого?» (РО. 1896. № 8. С. 652) Р. отмечал, что Б. и его «Дело» долгие годы распространяло «ненависть и презрение к России, но преимущественно среди молодежи».

А.Н.

БЛОК Александр Александрович [16(28).11.1880, Петербург — 7.8.1921, Петроград] — поэт. Имя Р. начинает интересоваться Б. в период «Стихов о Прекрасной Даме».

30 октября 1901 он заносит в записную книжку конспект доклада *Иванова-Разумника*, где Р. рассматривается как декадент. В списке статей, с которыми Б. хотел бы ознакомиться в 1902, есть запись: «Розанов (последний фелетон!)» («Записные книжки». М., 1965. С. 28). Речь идет о статье «О символистах и декадентах», вошедшей в сборник Р. «*Религия и культура*» (1901). Одна из первых публикаций стихотворений Б. состоялась в журнале «*Новый Путь*» (1903. № 3), ведущим сотрудником которого был Р. Встречает он Р. и в кружке Мережковских. Первые впечатления Б. от *творчества* Р., как и от самой его фигуры, — это смесь признания его *таланта* с ощущением его чуждости. 6 апреля 1903 Б. пишет *С.М. Соловьёву* о *Мережковском* и Р. В первом Б. настораживает «явное нецеломудрие в его *стиле* (пожалуй, даже, в *стиле души*)» (ЛН. М., 1980. Т. 92. I, 334). К Р. отношение во многом противоположное: «Вот Розанов, м.б., проще, но в будущем осложнится. Признаюсь тебе, что редкий талант отвратительнее его» (там же). Отношение Б. к творчеству и личности Р. во многом определялось кругом близких людей и знакомых. С.М. Соловьёв, бывший шафером на свадьбе Б. со стороны жениха, вспоминает о 16 и 17 августа 1903, проведенных в Шахматове и Боблове: «Рядом со мною сел шафер невесты, молодой польский граф Развадовский, которого Блок называл “петербургским мистиком” Мы сразу с ним сошлись. Оба мы были настроены крайне ортодоксально и враждебно к новому религиозному движению, которое возглавлялось тогда Розановым и Мережковским» (А. Блок в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 1. С. 115). Вместе с тем, среди близких друзей Б. находились и приверженцы Р. 8 марта 1904 Б. писал С.М. Соловьёву о *Е.П. Иванове*: «Он вполне и безраздельно пылает Розановым и Мережковскими» (ЛН, I, 370). О неприязни Б. к Р. в 1900-х говорит его реплика в *письме* к А.В. Гиппиусу от 23 февраля 1904: «В.В. Розанова перевариваю с трудом» (Собр. соч. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 92), а также замечание в письме к А. Белому от 7 апреля 1904: «Письмами, подобными Твоему последнему, Ты схватываешь меня за локоть и кричишь: “Не попади под извозчика!” А извозчик — В.В. Розанов — едет, едет — день и ночь — с трясущейся рыженькой бородачкой, с ямой на лбу (как у Розанова)» (Там же, 99). Это внутреннее отталкивание не было преодолено ни встречами поэта и мыслителя на «башне» *Влч. Иванова*, ни даже посещениями Б. «*воскресений*» самого Р. Подобное отношение во многом вызвано умонастроениями Б., близкими в кругу идей и предчувствий *Вл. Соловьёва*. В письме к *Г.И. Чулкову* от 23 июня 1905 Б. говорит о знаменитом *смехе* Соловьёва, о его *жизни* последних лет, вспоминает и Р.: «Этот смех делает Соловьёва совершенно неуязвимым от тех нападков Розанова, которые звучат похоронно, — “хорошо бы-де Соловьёву иметь ребенка”, “Соловьёв-де вялый, пасмурный, нежизненный”, словом — Соловьёв “во *сне* мочалку жуёт” (конечно, это я формулирую Розанова)» (Там же, 127). Совпадение в мироощущении, в особенностях мистических переживаний Соловьёва и Б. заставляло последнего с особенной горячностью защищать драгоценного для сердца мыслителя от Р.: «Я знаю угол, под которым стихи Соловьёва (даже без *исключений*) представляются обмокнутыми в чернила (*смерть*, и *смерть*...). Но сквозь все это проросла лилей-

ная по сладости, дубовая по упорству жизненная сила, сочность Соловьёва, которой Розанов при жизни его не сломил, а после смерти — подпачкал. Эту силу принесло Соловьёву то Начало, которым я дерзнул восхититься, — Вечно Женственное» (Там же, 128). Р. видит Б. как фигура, противоположная Соловьёву и всем «софийным» началам: «Еще в Соловьёве, и именно в нем, может открыться и Земля, и Орфей, и пляски, и песни... а не в Розанове, который тогда был именно противовесом Соловьёва, не ведая лика Орфеева. Он Орфея не знает и поныне, и в этом пункте огромный, пышный Розанов весь в тени одного соловьёвского сюртука» (Там же, 129). При всем несовпадении мироощущений Б. и Р. со стороны их часто воспринимали как писателей близкого направления. Приглашая Б. к сотрудничеству в «*Весакх*», В.Я. Брюсов в письме от 21 ноября 1904 называет круг предполагаемых авторов журнала и среди них Р. По воспоминаниям П. Перцова, имена Р. и Б. легко сближались в консервативном лагере: «В не лишенных остроумия пародийных фельетонах *Буренина* того времени появлялся, во всяком случае, в нашей “новопутейской” компании поэт Блок вместе с философом Мистицизмом Мистицизмом Миквой (Вас.Вас. Розанов)» (А. Блок в воспоминаниях современников. 1, 203). Объяснение этому противостоянию авторов, часто публиковавшихся в одних и тех же изданиях, можно найти в воспоминаниях Г. Чулкова: ...Тогда все “символисты” и “декаденты” изнемогали в любви-вражде» (Там же, 351). Недоверие Б. к спорам интеллигентов выразилось в его выступлении «Литературные итоги 1907 года» на страницах «*Золотого Руна*» (1907. № 11/12), ставшем причиной резких статей Р. в адрес поэта. О самом Р. поэт сказал немного: «И не нововременством своим и не “религиозно-философской” деятельностью дорог нам Розанов, а тайной своей, однодумьем своим, темными и страстными песнями о любви» (Собр. соч. Т. 5. С. 211). Главное разделение мыслителя вызвали нападки Б. на *Религиозно-философские собрания*, возобновленные в 1907 после четырехлетнего перерыва. Статья Р. «Автор “Балаганчика” о петербургских *Религиозно-философских собраниях*» (РС. 1908. 25 янв.; ОПП) была до крайности резка. Цитируя отрывки из статьи Б., он противопоставил его выступлению свои воззрения на деятельность РФС. Р. говорил о положении семьи, о незаконнорожденных, о том, что во многом благодаря РФС и участию в них духовных лиц современное российское законодательство пошло навстречу этой проблеме. Вместе с тем Р. задевал не только Б., но и участников постановки пьесы «Балаганчик», при этом статья временами превращалась в памфлет. Когда Б. перешел на сторону большевиков, М.М. Пришвин, вспоминая высказывания Р., опубликовал статью о Б. «Большевик из балаганчика» (Воля страны. 1918. 16 февр.), отвечая на которую Б. вспомнил обвинение Р. (Пришвин М.М. Цвет и крест. СПб., 2004. С. 171). За этим выступлением последовали другие статьи Р., где он резко критиковал позицию Б.: «Литературные симулянты» (НВ. 1909. 11 янв.) и «Попы, жандармы и Блок» (НВ. 1909. 16 февр.). В выступлении Б. на РФС, легшем в основу статьи «Стихия и культура» (Наша Газета. 1909. 9 янв.), Р. увидел декадентскую безответственность, которая позволяет использовать страшное событие, землетрясение в Мессине как некую поэтичес-

кую метафору. За подобным отношением к трагедии Р. видел «глубокую безжалостность поэтического сердца» (ОПП, 331). В статье «Литературные симулянты» Р. обращается: «Друзья, и Блок и Мережковский, что вам Цусима? Что Мессина, — как не лишнее литературное впечатление, вроде того, как северное сияние или гром для *Ломоносова* <...> Друзья мои, что вам до *России*? Не Мережковский ли, завоевывая или коммерчески приобретаемая левую славу, писал, что он “предпочел бы, чтобы Россия не существовала вовсе, если бы он знал, что Россия и свобода — несовместимы» (ОПП, 325–326). Тон, взятый Р., особенно в его статье «Автор “Балаганчика” о петербургских Религиозно-философских собраниях», задел Б. По свидетельству В.П. Веригиной, поэт был «взволнованным и рассерженным» (А. Блок в воспоминаниях современников. 1, 445). Но огорчил его не столько выпад по собственному адресу, сколько замечания Р. о театре В.Ф. Комиссаржевской. Веригина вспоминает об этом противостоянии писателей: «Александр Александрович, сердясь, говорил: “Это свинство, я не подам ему руки”, и действительно, так и сделал, высказав при этом свое негодование Розанову. Однако тот, как ни в чем не бывало, держал свою руку протянутой и говорил: “Ну вот еще, стоит сердиться, Александр Александрович» (Там же, 446). О том, что более всего Б. раздражала манера Р. присочинять для убедительности воображаемые ситуации, свидетельствует его письмо к Е.П. Иванову от 31 января 1908: «Вчера Чулков принес фельетон Розанова. Я машу рукой, и без того дела много. Это — литературно неприлично. Всю ругань я, конечно, принимаю к сердцу и думаю, что ругаться можно и должно. Хочется выворачивать наизнанку свою душу, чтобы разругались все до конца, наконец. Но когда при этом сочиняются легенды, очень стыдно за авторов и не хочется быть с ними знакомыми. Потому за Розанова я действительно покраснел: ничего он не понимает здесь, полагая, что мне “так” весело. Не теряя к нему уважения вообще, не хотел бы подавать ему руки» (Собр. соч. Т. 8. С. 228). Вместе с тем фактическая сторона воспоминаний Веригиной о встрече Б. и Р. вызывает серьезные сомнения. «Имея недоброжелателей, — свидетельствовал В.А. Зоргенфрей, — сам он, поскольку наблюдал я его, вовсе не знал чувства недоброжелательства (характерен в этом отношении отзыв В. Розанова — как отнесся Блок к его резким выпадам)» (Блок в воспоминаниях современников. 2, 35). Об этом эпизоде сохранилось и другое свидетельство — Э.Ф. Голлербаха («Образ Блока» // Звезда. 1990. № 11. С. 159). О том же, не без изумления, сказал в «*Опавших листьях*» и сам Р.: «После оскорбительной статьи о нем, — он издали поклонился, потом подошел и протянул руку. Что это такое — совершенно для меня непостижимо» (У, 147). О великодушии Б. говорит и его готовность содействовать появлению имени Р. — после всех его выпадов — на страницах «*Золотого Руна*» (ЛН. Т. 92. III, 322–323). 29 октября 1908 Б. возвращается все к тем же идеям отрыва *интеллигенции* от народа и заносит в записную книжку: «Я наблюдаю совершившийся факт. Интеллигенция (о церкви я опять-таки не говорю) перестала друг другу верить, перестала слушать друг друга, понимать друг друга, и нечего радоваться тому, что два-три человека, как В.В. Розанов и В.А. Тернавцев, интересуются друг другом

и слушают друг друга. Их спор — замечательный спор, но его можно слушать только в более благополучное время. Теперь все слишком неблагоприятно». О смягчении своего отношения к Р. говорит письмо Б. к матери от 5–6 ноября 1908: «Мне было очень долго страшно тяжело и скучно, как, вероятно, тебе бывает. Последние дни полегчало. Одна из причин этого — Розанов, который страшно просто и интимно рассказал мне свою жизнь и как-то показался мне близким (хотя и непонятным) человеком» (Собр. соч. Т. 8. С. 259). О том же потеплении говорит и то, что на резкую статью Р. «Попы, жандармы и Блок» поэт отвечает письмом 17 февраля 1909. В записных книжках Б. появляются конспективные записи идей Р., высказанных на РФС или в печатном виде: «Розанов: Вся история религий — ряд душевных переживаний» («Записные книжки». М., 1965. С. 100) и «На днях В. Розанов писал, что в современной русской литературе нет “задумчивости”» (Там же, 109). В статье «О реалистах», отзываясь положительно о творчестве М. Горького, Б. подтверждает свое мнение ссылкой на Р. О подобном же совпадении позиций писателей свидетельствует и письмо С.С. Кондурушкина М. Горькому от 17 июля 1908, в котором он говорит о повести последнего «Исповедь»: «Между прочим, и Блоку, и Розанову, как и мне, глубоко трогательной показалась сцена с монахиней» (ЛН. Т. 92. IV, 252–253). В статье «О современной критике» (1907) Б. противопоставляет случайное, на его взгляд, суждение Р. о Л. Андрееве критике К. Чуковского, которое «не имеет под собой почвы» (Собр. соч. Т. 5. С. 204). Даже в период наиболее натянутых отношений, можно заметить и очевидные «точки соприкосновения» Р. и Б. В статье «Мережковский» Б. с сочувствием ссылается на суждение Р. Сам Р., выступая в это же время против Мережковского в статье «Трагическое остроумие» (НВ. 1909. 9 февр.), готов согласиться с блоковскими характеристиками Мережковского, заканчивая статью мнимой цитатой. Когда нынешний Мережковский, пишет Р., «о всем “преждем Мережковском” выразился, что это были “одни слова”, мне осталось подумать или повторить за Блоком: — Э, и Бог, и вывесочные крики, и Второе Пришествие, и все Заветы для него — есть только огромный забор среди пустыни, где сажеными буквами для всемирного прочтения начертано одно: Д.С. Мережковский» (ОПП, 329–330). О пробудившемся интересе Р. к Б. в период этой литературной войны говорит и А. Белый, не избежавший в изображении Р. карикатурности: «Вдруг он выразил немотивированный интерес к А.А. Блоку, к жене его, к матери, к отчиму; я же был с Блоком — в разрезе; и мне было трудно на эти интимные темы беседовать с В.В., он сделался зорким; трясушейся, грязной рукою хватал за пальто, рысено глаза запыркали вместе с очковыми блесками; голову набок склонив, залезая лицом своим, лоснясь в лицо, стал выведывать, как обстоит дело с полом у Блока» (Белый А. Начало века. М., 1990. С. 481). 17 февраля Б. пишет Р., что возражает не «глубокому мистику и замечательному писателю Розанову, больше всего — “нововременцу” В.В. Розанову» (Собр. соч. Т. 8. С. 274), и не от своего лица, но будучи «представителем разряда людей, Вам непонятных и даже враждебных, представителем именно интеллигенции» (Там же, 274). Тон этого письма не мог не отозваться в чутком именно

к «оттенкам» Р. На листке он сделал пометку: «Александр Блок. Прелестный, “истинно русский”» (Блок А.А. Переписка: Аннотированный каталог. М., 1975. Вып. 1. С. 357). Ответ Р., полученный Б. 19 февраля 1909, — столь же откровенный, — может быть прочитан, как это уже написанных и еще только рождающихся статей. Отношение Б. к «Новому Времени» всегда было отрицательным. Вместе с тем В. Пяст в своих воспоминаниях подчеркивал: «За исключением Розанова да Буренина, в чьих выходах по адресу себя Блок видел объективное мерило литературной собственной ценности; не злили они его, а забавляли и даже радовали» (Блок в воспоминаниях современников. 2, 381). Отталкивание от личности Р. и его творчества часто сменяется у поэта чувством противоположным. «Итальянские впечатления» Р. стали одной из побудительных причин его «Итальянских стихов». 9 декабря 1909 из Варшавы, где поэт был на похоронах отца, он пишет Л.Д. Блок: «Зайди к Розанову, если захочешь, с ним может быть уютно» (Собр. соч. Т. 8. С. 300). 12 октября 1911, набрасывая исторический фон в материалах для поэмы «Возмездие», Б. вспоминает о ненависти либералов к высококоценимому им Достоевскому: «Отношение — похожее на то, какое теперь к Розанову» (Собр. соч. Т. 3. С. 445). Последняя запись предвосхищает скорое изгнание Р. из «Русского Слова», на которое Б. не без сочувствия к гонимому писателю отозвался в дневнике 24 декабря 1911: «У меня при таких событиях все-таки сжимается сердце: пропасть между личным и общественным. Человека, которого Бог наградил талантом, маленьким или большим, непременно, без исключений, на известном этапе его жизни начинают поносить и преследовать — все или некоторые. Сначала вытащат, потом преследуют — сами же. Для таланта это драма, для гения — трагедия. Так должно, ничего не поделаешь, талант — обязанность, а не право. И “нововременство” даром не проходит» (Собр. соч. Т. 7. С. 107–108). В 1912 Б. обратил внимание на публикацию Р. писем А.С. Суворина к Р. Тогда же он начинает работать над очерком «Дневник женщины, которую никто не любил» (1918). Героиня очерка вручает Б. свои записки со словами: «Меня направил к вам один студент. Он сказал, что такой дневник, как мой, можно показать Розанову и Блоку. Но Розанов пишет в “Новом Времени”, потому я пришла к вам» (Собр. соч. Т. 6. С. 32). За этой фразой, воспроизведенной Б., скрывается важное свидетельство: при различных политических установках писателей, современники видели близость Б. и Р. в том, что только им можно было доверить самое личное, самое интимное. В том же очерке имя и умонастроения Р. возникают и в еще более «апологетическом» контексте: «Читаешь несколько слов об отношении молодой женщины к собственному ребенку — и вдруг овец как бы “древний ужас”, воспоминание не нашей эры. На первый взгляд — это чистая патология, какое-то отвратительное извращение половой сферы. Но вчитываясь, начинаешь понимать, что за этим стоит и другое, что когда-то знали “мудрецы”, а теперь знают — В.В. Розанов и безвестная молодая мать, не слыхавшая ни о каких мудрецах» (Там же, 35). Выход «Опавших листьев» стал событием в жизни Б.: «Читаю и на ночь и утром», — записывает он в дневник 20 апреля 1913. В письмах знакомым — та же высокая оценка книги: «Прочтите замеча-

тельную книгу Розанова «Опавшие листья» Сколько там глубокого о печати, о литературе, о писательстве, а главное — о жизни» (Собр. соч. Т. 8. С. 417); «Прочитайте “Опавшие листья” Розанова. Удивительная книга» (Там же, 421). 26 апреля 1913 в дневнике появляется запись: «Встретил В.В. Розанова и сказал ему, как мне нравятся “Опавшие листья” Он бормочет, стесняется, отнекивается, кажется, ему немного все-таки приятно. С ним — похудевшая и бледная Варвара Дмитриевна. — Первый вопрос Розанова был: “Отчего вы один, без жены?”». Это впечатление от книги было стойким. Не повлиял на него и скандал вокруг Р., связанный с делом *Бейлиса*. Б. присутствовал на обоих заседаниях РФС 19 и 26 января 1914, где поднимался вопрос об исключении Р. Многие знакомые поэта, в том числе и ближайший друг Е.П. Иванов, выступали против исключения. По свидетельству Е.М. Тагер, она «успела заглянуть» в листок Б., выданный для тайного голосования, и увидела, что поэт был за осуждение Р. (А. Блок в воспоминаниях современников. 2, 102–103). Реплики в записных книжках вроде: «Полная раздавленность после религиозно-философского собрания», говорят о сложном отношении Б. к этому вопросу. В дневнике 1921 среди конспективных записей мемуарного характера есть и такая: «Бейлис и поход на Розанова в Религиозно-философском обществе». Б. пишет здесь, как человек, знающий судьбы «одинок», подобных Р. Поэтому в вопросе об отношении Б. к исключению Р. вряд ли можно полагаться на «воспоминания» Тагер. О внимании к непростой судьбе Р., как судьбе одинокой и трагической, говорит и запись Б. от 7 марта 1914: «Ушла дочь Розанова — Вера (вернулась; но это уже во второй раз)» («Записные книжки», 215). В статье 1915 «Судьба *Аполлона Григорьева*», где с сочувствием говорится о любви поэта к «почве», Б. неоднократно обращается к Р., его статье «К 50-летию Ап.А. Григорьева» (НВ. 1914. 26 сент.), к «*Уединенному*» и «Опавшим листьям». Письма Григорьева к *Н.Н. Страхову* (1861), поражающие «глубиной мысли», Б. сравнивает с «Опавшими листьями» и переходит к апологии Р.: «Вот уже пятьдесят лет, как Григорьев не сотрудничает ни в каких журналах, ни в “прогрессивных”, ни в “ретроградных”, — по той простой причине, что он умер. Розанов не умер, и ему не могут простить того, что он сотрудничает в каком-то “Новом времени” Надо, чтобы человек умер, чтобы прошло после этого пятьдесят лет. Тогда только “Опавшие листья” увидят свет Божий. Так всегда. А пока — читайте хоть эти листья, полвека тому назад опавшие, пусть хоть в них прочтете о том же, о чем вам и сейчас говорят живые. Живых не слышите, может быть, хоть мертвого слушаете. — Во всем этом есть, должно быть, своя мудрость, своя необходимость» (Собр. соч. Т. 5. С. 511). Очевидное сближение во взглядах на современность обнаружилось и в позиции Б. и Р. после 1917. Не случайно *С.П. Каблуков* в письме *Вяч. Иванову* от 22 апреля 1918 сближал «Двенадцать» Б. с «*Апокалипсисом нашего времени*» Р. (ЛН. Т. 92. III, 478). Слух о расстреле Р., о гибели его сына, об уходе в монастырь дочери Веры запечатлен 11 ноября 1918 в записных книжках Б. Там же — запись 21 января 1919, опровергающая слух: «Розанов жив, Горький послали ему 2000 руб.». Еще через месяц, 21 февраля «Известие о смерти Розанова». После смерти

мыслителя Б. переписывался с его дочерью *Н.В. Розановой*. По ее просьбе он снял копию с единственного к нему письма Р. и отослал ей, заметив: «Письмо очень драгоценно; я очень хотел бы написать вокруг него несколько воспоминаний, но сейчас не могу сделать это. Если удастся, я проведу через журнал и пришлю Вам отгиск, или корректурный лист» (МЛ, 576–577). Об особом интересе Б. к «Апокалипсису нашего времени» говорит его приписка: «У меня к Вам тоже есть просьба: мне не удалось достать здесь ни одного выпуска, кроме 5-го, — “Апокалипсиса нашего времени” Нельзя ли получить его у Вас, если еще осталось? Конечно, я, при первой возможности, пришлю деньги и за брошюры и за пересылку их. Очень бы надо мне было эту книгу» (Там же, 577). В сентябре 1920 к Б. обращается *Э.Ф. Голлербах* с предложением опубликовать письма Р. в журнале «Записки мечтателей». В ответе от 17 сентября 1920 Б. описывает положение журнала: «2-й номер “Записок мечтателей” уже набирается, а 3-й будет неизвестно когда. Если Вас это не смущает, пришлите мне посмотреть копии писем Розанова» (Собр. соч. Т. 8. С. 530). О просьбе прислать копии розановских писем вспоминает и Голлербах (Звезда. 1990. № 11. С. 157). Б. не удалось опубликовать писем Р. Незадолго до смерти он сжег материалы воспоминаний о Р. Их тема — дело Бейлиса и «поход на Розанова в Религиозно-философском обществе» — могла показаться несвоевременной.

С.Р. Федякин

БОБОРЫКИН Петр Дмитриевич [15(27).8.1836, Нижний Новгород — 12.8.1921, Лугано, Швейцария] — писатель и драматург, поволжский земляк Р., сотрудничал в газете «Русское Слово». Р. вспоминал, как учеником гимназии в *Нижнем Новгороде*, которую ранее окончил Б., читал его роман «В путь-дорогу» (ОНД, 164). Анализируя позитивистскую науку XIX в., Р. использовал образ Б. как символ бездушного подхода к творчеству: «Они жили долго, как Боборыкин, писали много, как Боборыкин, их читали все, как Боборыкина, и они водрузились везде, как Боборыкин» (КНУ, 571). Помета Р. на открытке, посланной ему Б. из Рима 27 февраля 1911, содержала отзыв не менее уничижительный: «Именно “Пьер Бобо” ни на вершок — далее» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 93). Р. по-своему отметил 75-летний юбилей Б. 27 августа 1911, дав оценку литератора в «*Уединенном*»: «По фону жизни проходили всякие лоботрясы: зеленые, желтые, коричневые, в черной краске... И Б. всех их описывал: и как шел каждый, и как они кушали свой обед, и говорили ли с присюсюкиванием или без присюсюкивания. Незаметно в то же время по углам “фона” сидели молчаливые фигуры... С взглядом задумавшихся глаз... Но Б. никого из них не заметил» (У, 58). Характеристики Б. содержатся и в «*Опавших листьях*»: «Русские, как известно, во все умеют воплощаться. Однажды они воплотились в Дюма-fils. И поехал с чувством настоящего француза изучать *Россию* и странные русские нравы. Когда на границе спросили его фамилию, он ответил скромно: “Боборыкин” Самое важное в Боборыкине, что он ни в чем не встречает препятствия... Боборыкина (в затруднении) я не могу себе представить. Всем людям трудно, одному Боборыкину постоянно легко, удачно; и, я думаю, самые труд-

ноперевариваемые вещества у него легко перевариваются» (У, 120).

А.В. Ломоносов

БОБРИНСКИЙ Владимир Алексеевич [28.12.1867 (9.1.1868), Петербург — 11.11.1927, Париж] — земский деятель, депутат 2–4-й Государственных Дум от Тульской губернии. Р. высоко оценил его думское выступление, которое он считал образцом для правых фракций, о чем публицист прямо заявил со страниц «Русского Слова». «Мне понравилась только одна из “правых” речей <...> г. Бобринского из Тулы. Выйдя, он извинился, что сегодня “не в голосе”, и, действительно, раз у него смешно свистнуло горло, что вызвало смех палаты и публики. Но смешное — смешным и делу не мешает. “Дело” же состояло в том, что он говорил, как добрый и хороший русский человек, как мягкий русский человек, приведенный в негодование “возмутительностями” социал-демократического оратора. Нужно заметить, что “правое” направление имеет или могло бы иметь свою силу, красоту и пафос; это не было бы пафосом жизни и будущего, по всему вероятно, — жизненно провалилось бы. Но есть свои цветы у осени, свои песни у старости. Возможная бы красота “правого” направления вся лежит в элегии, в элегических чувствах человека, в элегических струнах истории. Но наши “правые”, это “истинно русские люди”, и понятия не имеют об элегии, не имеют никакого к ней вкуса и едва ли знают ее название <...> У графа Бобринского <...> был хороший тон русского человека, и он слушался мягко, беззлобно» (РГО, 333–334). Позднее имя Б. приобрело для Р. уже негативный оттенок незначительного политика правого лагеря: «Трезвая действительность заключается в том, что ни Синадино, ни Пуришкевич, ни двое или хотя бы десять Бобринских ничем не помогли России во время японской войны» (РГО, 474).

А.В. Ломоносов

БОГДАНОВ-БЕЛЬСКИЙ Николай Петрович [8(20).12.1868, дер. Шитики, Бельский уезд, Смоленская губ. — 19.2.1945, Берлин] — художник, академик живописи (1905), сын крестьянина, воспитанник церковной школы С.А. Рачинского в селе Татево Бельского уезда Смоленской губ. Перед отъездом в Петербург Р. заехал в имение Рачинского, расположенное неподалеку от г. Белый, где он работал в прогимназии. 23 марта 1893 Б.-Б., ставший к тому времени профессиональным художником, нарисовал в Татево карандашный портрет писателя (современное местонахождение оригинала неизвестно). Р. по приезде в Петербург, в апреле 1893, писал Рачинскому: «Попросите Николая Петровича прислать мне (заложив в картон, чтобы не перегнули) копию с моей физиогномии, кою он изобразил в Татево, и еще раз поблагодарите его за труды» (ПР. 1893. Апрель–май. № 61). В мае 1893 Р. снова просит о портрете: «Ждал и не дождался портрета своего, рисованного Ник. Петровичем; попеняйте ему и напомните; я никогда не имел своего портрета с выражением, а он выражение-то и схватил; подумайте, как это дорого и как мне хочется это иметь» (Там же, № 64). В присланном в октябре 1893 письме Р. просил уже копию с портрета самого Рачинского, выполненного Б.-Б., передавая при этом худож-

нику благодарность за полученный им свой портрет. Портрет Р. воспроизведен по фотографии в кн.: Фатеев В. С русской бездной в душе: Жизнеописание Василия Розанова. СПб.; Кострома, 2002. Фото IX. В 1894 в письме к Рачинскому Р. упоминает о картине Б.-Б. «Последняя воля», представленной на 22-й передвижной выставке в Обществе поощрения художеств на Б. Морской улице: «Вы, верно, опять думали — вот — вот забыл; но я столько раз ходил по Морской мимо выставки “передвижников” и, думая о Вашем любимом ученике, — не вырвал часа, чтоб пойти и посмотреть его “Последнее завещание”, план которого он мне рассказывал» (ПР. 1894. Март–апрель. № 87. Л. 202).

В.А. Фатеев

БОГДАНОВИЧ Ангел Иванович [2(14).10.1860, г. Городок, Витебская губ. — 24.3(6.4).1907, Петербург] — критик, публицист, деятель революционного движения. Один из наиболее резких критиков Р. на рубеже веков. Сравнивая статью В.С. Соловьёва «Судьба Пушкина» со статьей Р. о Ходынской катастрофе («1 марта 1881 г. — 18 мая 1896 г.» // РО. 1896. № 5), в которой Ходынка рассматривается как искупление царубийства, Б. заключает: «Изуверство г. Розанова и мрачное “оправдание добра”, хотя бы оно и проявлялось в смерти и гибели г. Соловьёва, равно чужды простому человеческому чувству, которое не мирится с несправедливостью, возмущается ею и в этом находит вечный стимул в борьбе за жизнь и правду» (Мир Божий. 1897. № 10. С. 10). Б. причисляет Р. к «юродствующей литературе» (Мир Божий. 1899. № 4. С. 1) и сравнивает с М.О. Меншиковым: «В отличие от г. Меншикова, который не пишет, а баюкает, не говорит, а сладко глаголет, не рассуждает, а тклет тончайшую сеть афоризмов, в которой в конце концов запутывается и он сам, и читатели до полного одурения, — Розанов с величайшими усилиями громоздит фразу на фразу, бьется над словом, подыскивая возможно мудренее, вычурнее, тяжеловеснее, для вящего удурения читателя, который прямо-таки раздавливается этой неуклюжей постройкой. Чтение произведений г. Розанова есть тяжкий и удручающий труд» (Там же, 2) Б. предрекает ему: «Юродствуя и кувыркаясь через голову, г. Розанов кончит плохо» (Мир Божий. 1899. № 8. С. 80). Обращаясь к книге Р. «В мире неясного и нерешенного», Б. видит в ней «сумбур самых пошлых откровенностей, юродивых восклицаний и якобы необычно тонких и глубоких открытий, делаемых автором в области брачных отношений. Язык автора не знает местами никаких фиговых листочков, и в пылу полемики г. Розанов пускается в такие физиологические откровения, что один из противников его с полным правом мог заподозрить его не столько в искании истины, сколько в “любодеянии” Вопрос, трактуемый с таким жаром и нисколько не прикрытым смакованием подробностей и тонкостей, заключается в том, что лучше — брак или девство?» (Мир Божий. 1901. № 9. С. 91).

А.Н.

БОГОЛЁПОВ Николай Павлович [27.11(9.12).1846, Серпухов, Московская губ. — 2(15).3.1901, Петербург] — министр народного просвещения (1898–1901), убит террористом П.В. Карповичем. Р. приводит слова терро-

ристки *В.Н. Фигнер*, что в Шлиссельбургскую крепость Карпович «явился такой радостный и нас всех оживил» (У, 359). Р. в *некрологе* на гибель Б. писал о национальной угрозе зарождения терроризма в *России*: «Грубая и дикая расправа с человеком долга и службы при помощи револьвера носит все черты разбойнического нападения, ухудшенного в нравственном отношении тем, что оно сделано было исподтишка человеком, пришедшим с прошением в руках. *Общество* наше было бы нравственно-большим, если бы оно сколько-нибудь разделилось во взглядах на такой поступок» (НВ. 1901. 3 марта). Р. обращается к нигилистам-террористам: «И когда вы прострелили шею Боголепову, то в обществе говорили: “Говорят, хорошо попал”, а негодяя не решились все-таки повесить, а послали только в Шлиссельбург» (КНУ, 400). Вспоминая в «*Сахарне*» историю с Б., Р. записал: «1) одному нравится убить Боголепова, п.ч. “сам”, 2) а другому “нравится” изнасиловать ну хоть Веру Фигнер, п.ч. тоже “сам”, 3) и третьему нравится “пороть в тюрьме арестантов”, потому что тоже “сам” <...> Карпович, Вера Фигнер, начальник тюрьмы, генерал-губернатор тогда пусть убивают, порют, дают зуботычины. Почему “Карповичу” можно, а генерал-губернатору “нельзя” Под этим и лежит: “мы — *цари*”, “нам все можно”, “мы святые” Но тогда я, не желающий иметь над собою царем Карповича и царицею Веру Фигнер, даю обоим: — Оплеуху. Вот и разговор» (СХР, 92).

А.Н.

БОГУЧАРСКИЙ В. [наст. фам. и имя Яковлев Василий Яковлевич; 20.2(4.3).1860, по др. данным 19.2(3.3).1861, Богучар, Воронежская губ. — 8(21).5.1915, Петроград] — публицист, историк революционного движения в *России*. Об изображении революционеров у Б. и *Б. Глинского* Р. замечает: «Уж хвалили их, хвалили... Уж ласкали их, ласкали...» (У, 293). Вместе с тем Р. называет Б. «чистым» писателем (СХР, 192), через которого во *время* процесса над *Бейлисом* «очищаются» *Д.С. Мережковский* и *Д.В. Философов*, приглашая его во временные председатели *Религиозно-философского общества* (СХР, 201–202). С немногими другими Р. выделяет Б. на «левом горизонте» как наиболее достойную фигуру: «...Что-то мне отдаленно кажется симпатичным в *Елиз. Кусковой*. Что-то говорит, что она не *Войтинский*, не *Петрищев*, а вроде *Богучарского* (замечательно симпатичный человек, — похож на *Каблицу*). После *Якубовича*, об отсутствии знакомства с которым я оч. сожалею, она и *Богучарский* последние симпатичные точки на левом горизонте» (СХР, 176–177). Однако пользы от подобных писателей Р. не видит, говоря, что «“литературное слово”, даже сказанное самым добродетельным и самым милосердным писателем, примерно “*Анненским*”, “*Богучарским*” или “*Семевским*”, все-таки есть и навсегда останется просто “голым словом” и ржаной муки в себе ни крошки не содержит» (ЛВИ, 628). По поводу статьи Б. в «*Русской Мысли*» (1910. № 9) и с рассказом о событиях 1 марта 1881 Р. в статье «В русских потемках» (НВ. 1910. 2 окт.) излагает свое представление о борьбе с *революцией*: «Чтобы погасить революцию как обман (кричит “один”, — а кричит, что это “все кричат”) <...> нужно всем нам сознательно и внутренне вернуться к именам и лицам, к духу и заветам русских людей еще до

наступления “болота”: это линия — от *Новикова* до *Пушкина*, люди сороковых годов обоих лагерей (западники, как и славянофилы), это люди как *Кавелин* и *С.М. Соловьёв*. Мы имеем целую затоптанную, заплыванную фалангу людей, относительно которых постоянный лозунг “левых” был: “Не читайте их, а читайте *Каутского*. Дешево и сердито»» (ЗРП, 355).

А.Н.

БОККАЧЧО (Boccaccio) Джованни (1313, Чертальдо близ Флоренции — 21.12.1375, там же) — Р. использовал имя итальянского писателя Б. для обозначения эротической тематики в *литературе*. В 1912 он даже внес его в название статьи о том, как *цензура* не пропускала «*Уединенное*» из-за якобы содержащейся в *книге порнографии*. Статья называется «*Тема* и *Боккаччо*, и *Сократа* (О цензуре)» (ОПП, 560–564). *Полемизируя* в 1902 с *М.О. Меньшиковым* о полигамии древних, Р. в статье «В чем разница древнего и нового *мира*» ссылается на Б. как отражение античных мифов и нравов: «*Боккаччо* не выдумал своего *Декамерона*. Это — коготь погашенной свечи, ничего не освещающей. И вот при этой-то погашенной свече невозможно рассмотреть древние мифы, в которых мы знаем один геометрический очерк, но не видим ни духа, ни *метафизики* этих аллегорий» (ВДЯ, 234). В «*Последних листьях. 1916 год*» Р. продолжает свои *мысли* о многоженстве и записывает: «Когда будет дана действительная *радость* через многоженство, не надо будет этих “литературных утешений” через *Боккаччо*, *Вольтера*, через повестушки и романишки, через дома терпимости, неприличные картинки» (ПЛ, 218). Продажу дешевых изданий Б. с иллюстрациями, где «все монахи и все *бабы*», Р. считает частью *бульварной литературы*, наводнившей книжный рынок. 28 апреля 1915, вспоминая «*Декамерона*», он записывает в «*Мимолетном*»: «— Что такое *монастырь* и монахи? — Место блуда и блудливые люди. Он сказал. *Боккаччо*. Знаменитый *Боккаччо*. Зна-ме-ни-тей-ший. О нем исследования на немецком языке, на французском языке, на итальянском языке. А на русский язык его перевел зна-ме-ни-тей-ший *Александр Веселовский*, академик из академиков <...> *Декамерона* сюда присылают. За 10 франков... Уморительно. Все *бабы* и монахи. Все монахи и *бабы*. И остроумие о том, как могучего “беса” монах ввергает в “ад” *бабы*... ха! ха!.. ха!» (М, 87). И все же Б. наряду с *Петраркой* остался для Р. неким мерилом (пусть несовершенным) *чувства красоты*. Он отмечал, что в «*Сне Версилова*» («*Подросток*» *Достоевского*) «чувство красоты и достоинства, сердечности и красоты древней *Греции*, языческой *Греции*, сказалося “в таких слезах безмолвия”, как этого не было в век *Петрарки* и *Бокаччо*» (АНВ, 310–311). *Посетив* летом 1913 монастырь на берегу *Днестра* в *Бессарабии*, Р. отметил, что церковный устав, «канцелярия» мешает тихой и простой *жизни* монахов. И отсюда он делает своеобразный вывод: «И я мысленно проклял *Боккаччо* с его анекдотами (“*Декамерон*”). “*Боккаччо* ничего не понимал” “*Боккаччо* — просто канцелярия и в помощь канцелярии” “*Боккаччо* поэтическим пером помогал и усиливал то, что писали канцелярские перья” Целая полоса *литературы*, самая остроумная, померкла для меня в своем смысле» (НФП, 86). В *письме* к *Э. Голлербаху* 9 мая 1918 Р. пишет о Б. и

его «штучках»: «Вы помните эту невыносимую грязь Декамерона, это “сальце”, эту “скверну”, этот подленький смешок, хуже Фед. Павловича Карамазова» (ВНС, 348).

А.Н.

БОКЛЬ (Buckle) Генри Томас (24.11.1821, Ли, графство Кент, Великобритания — 29.5.1862, Дамаск, Сирия) — английский историк. Б. как автор одной книги — «Истории цивилизации в Англии» (1857–1861. Т. 1–2; рус. пер. 1861–1864) имел успех во всей Европе, но особенно большой — в России, где книга сделалась почти обязательным чтением для гимназистов и студентов, особенно либеральной и радикальной их части. Р. прошел период увлечения Б. в гимназии: ссора со старшим братом Николаем, по воспоминаниям самого Р., была вызвана тем, что Николай усомнился в авторитете Б. и заметил, что и у него могут быть ошибки. В «Мимолетном» читаем: «В III–IV–V кл. — Бокль». Затем его сменили Дж.С. Милль, И. Бенгам и У. Лекки. В статье «Чем нам дорог Достоевский» (НВ. 1911. 6 авг.) Р. вспоминал: «И что поразительно: разные “Бокли” не изгонялись из души и, чередуясь, проходили по этой душе, потом “материализмы”, “атеизмы”, “социализмы”» (ОПП, 531–532). Р. почувствовал потребность обратиться в Б. и его книге основательно и всесторонне в статье с характерным названием «Книга особенно замечательной судьбы» (РО. 1898. № 3–5): «В истории европейской науки Конт первый смешал, перестал различать специфические начала каждой науки, и, приняв ему единственно знакомые науки (он был инженер) — механические, за тип всех наук и прототип вообще науки, подчинил в своем “курсе” требованиям этого типа задачи всех остальных наук, не имеющих в структуре своей ничего с механикой общего. “План” Бокля и был местным, и временным повторением <...> этой ошибки: в применении к истории он захотел исполнить требования Конта» (ПИ, 192). Р. приводит слова одного из путешественников по России в 1860-х, сказавшего: «Мне редко приходилось раскрывать в России номер журнала и даже газеты без того, чтобы не встретить имени Бокля; образованная русская молодежь зачитывается “Историей цивилизации” и на многие мысли, в этой книге сказанные, смотрит как на некоторое новое Откровение» (ПИ, 168). Р. писал в «Мимолетном»: «Попробуйте вы опровергнуть чванливого Бокля? высокомерного Спенсера? И наше “14 декабря”, сказав и показав, что все это был пуф. Гораздо раньше, чем вы дотронетесь до этих настоящих предрассудков, до этих живых еще фетишей, — вам шею сломают и ни одного ребра не оставят целым» (КНУ, 297). В статье «Из прошлого нашей литературы» (НВ. 1912. 18 сент.) Р. заметил: «25-летнее увлечение русских Боклем и 40-летнее ими же пренебрежение к Хомякову. У одного — никакой мысли, у другого — целый мир мыслей; у одного — никакого образования, у другого — универсальная образованность; у одного — полное отсутствие творчества, у другого — вся жизнь была творчеством <...> Бедное русское общество “кружилось” десятилетия с Боклем, Дарвином, Спенсером, Контом» (ПВ, 196).

С.Б. Джимбинов

БОЛОТОВ Василий Васильевич [1854, село Кравотынь, Тверская губ. — 5(17).4.1900, Петербург] — про-

фессор Петербургской духовной академии, доктор церковной истории, член-корреспондент Императорской академии наук. В статье «Великий наставник юношества» (НВ. 1913. 11 окт.) Р. дал портрет русского ученого-богослова, взяв за основу воспоминания его ученика проф. А.И. Бриллиантова. Он был поражен скромностью облику. «Его внешность, — до того духовно-семинарская, что кажется символической и вечной для сословия и образования! Что-то упрямое, упорное, смелое, полное бесконечной внутренней инициативы и непрестанной работы мысли, лицо вместе с тем говорит: “Ни на вершок вправо или влево, а только — по железным рельсам, на которые вместо мягкой подушки родила меня родная матушка; и я стал с тех пор только и умею ходить по железным рельсам, никуда не сворачивая и ими ограничиваясь, по воле матушки, по воле Святых Отцов и нашего епархиального начальства”» (НФП, 149). В образе бытия Б. писатель увидел модель православного благополучия: «Явил собою самый незамутненный образ тихого православия, которое — хорошо это или нет — уже неотделимо от представления села, сельской церкви, народной гурьбы и умеряющего все вечернего колокола, зовущего к вечерней службе. Все уставно, тихо, коротко и счастливо» (НФП, 152). В статье «Величайшая минута истории» (Новый Журнал Иностранной Литературы. 1900. № 10) Р. писал: «У В.В. Болотова, недавно умершего высокоталантливого профессора С.-Петербургской духовной академии, есть исследование “День и год мученической кончины св. евангелиста Марка” Попутно он входит в величайшие детали календарного расположения праздников, и вот здесь, опять попутно же, в сообщении фактов совершенной неодолимости раннего христианства митрианского культа, — о том, что спор “pro” и “contra” решительно колебался, и притом не в сторону христианства; и когда, наконец, победа была вырвана у язычества, то чтобы что-то затушевать, скрыть, — чтобы принять в себя и приписать себе главный митрианский праздник возрождающегося Солнца, совершившийся у язычников-римлян 25 декабря — это число декабря месяца было принято христианскими епископами, вождями борьбы, за “день Рождества Христова” Признаюсь, прочитав это, я затрепетал» (ВЕ, 9).

А.В. Ломоносов

БОНЧ-БРУЕВИЧ Владимир Дмитриевич [28.6(10.7). 1873, Москва — 14.7.1955, там же] — литератор, организатор ряда большевистских газет и издательств, первый директор (1933–1939) Государственного литературного музея в Москве, где стал собирать рукописный фонд Р. Организовал за границей издание «Материалов к истории и изучению русского сектантства», которое с 1908 продолжил в России. На 7-й том этого издания Р. написал рецензию «Труд г. Вл. Бонч-Бруевича о современных хлыстах» (НВ. 1916. 4 авг.). Отметив большой материал, собранный в томе, описания надругательств над женщинами и девушками у хлыстов, Р. обращает внимание на язык хлыстов: «Душа у жертв раскола — удивительна. Какие говоры, какие словечки. Прямо записывай в “Словарь великорусского языка” Спасибо Бонч-Бруевичу за сохранение всех этих словечек, разговоров, бе-

сед, — этих “подлинных документов”» (ВЧВ, 318). Вместе с тем Р. отмечает «несчастье издания»: «Автор и не скрывает, и не может, и не хочет скрыть, что он лишь всякой религиозно-церковной дисциплины, в смысле ли предварительной учебной или ученой подготовки, в смысле ли вообще владения своими способностями и своими словами <...> Г-н Бонч-Бруевич как бы говорит: “Да, я не ученый. О религии понятия не имею. Евангелие если и читал, то забыл, — да и внимания никогда не обращал. Я — просто журналист”» (ВЧВ, 315–316).

А.Н.

БОРИСОВ Александр Алексеевич [2(14).11.1866, село Глубокий Ручей, Вологодская губ. — 17.8.1934, Красноборск, Архангельская обл.] — живописец. Б. получил известность благодаря видам суровой северной природы, которую он писал во время путешествий в тундру, на Новую Землю и в другие северные районы. В 1914 во дворце князей Юсуповых на Литейном проспекте в Петербурге состоялась большая выставка работ Б., по впечатлениям которой и на основе личной встречи с «молчаливым художником» Р. написал заметку о его творчестве («На выставке картин А.А. Борисова» // НВ. 1914. 9 марта). Приводя биографические сведения о художнике, Р. концентрирует внимание на зарождении у Б. с юных лет, проведенных в Соловецком монастыре, при занятиях рыболовным промыслом, чувства «поэзии рыбной ловли; поэзии, льдов, снегов, “синя-моря” вокруг» (НФП, 279). Он отмечает при этом, что «Господь вложил ему художественный глаз, чуткость к краскам, цветам и их оттенкам» (там же). Пройдя, после учебы в Петербурге, через «подвиг» приобщения к красоте сурового северного края, пишет Р., художник «принес на полотно нам, да и во всю Европу, целому миру, страны этого вечного льда, этой мертвой холодной пустыни» (там же). Р. подмечает специфику художественного воссоздания этого «замороженного мира Божия», прежде всего — полуабстрактный характер северных мотивов: «Где вообще ничего, кроме света и красок, нет. Обширнейшая в сущности тема для утонченного художника. Льды, море, снег... Воздух и воздух, больше всего воздуха... Предметов — нет. Леса — нет. Травы — нет. наших речек — нет. Буквально, переливы красок и только» (там же). Раскрывая странную, «незаконную любовь» художника к «ледяной красавице», Р. ставит в заслугу Б., что до него «никто нам не дал в живописи “холодной России”, коренной нашей матушки», а он увековечил снежную зиму — «“трудовое”, “центральное время года” в России» (НФП, 280).

В.А. Фатеев

БОРК (Бёрк) (Burke) Эдмунд (12.1.1729, Дублин — 9.7.1797, Биконсфилд, графство Бакингемшир) — английский политический деятель и публицист. В студенческие годы Р. читал французский перевод его главного сочинения «Размышления о Французской революции» (1790). В письме к В.И. Герье 11 июля 1915 Р. вспоминал: «Со времен студенчества на меня необыкновенное впечатление произвели “Réflexions sur la Revolution” (перевод) Эдмунда Борка. Мы его готовили Вам к семинарию. Его пыл и страсть и благородство, его “героическое” в мыслях и в суждениях заразили меня, и до сих пор есть

исходная точка всего, что я думаю о Революции, и в особенности, что чувствую про Революцию. Ваша бы задача и, м.б., профессиональный (забытый) долг — дать перевод на русский язык этой поразительной книги, — и с тем учено-библиографическим комментарием, какой Вы давали на семинарии» (Россия XXI. 2003. № 5. С. 177). В статье «Книга особенно замечательной судьбы» (РО. 1898. № 3–5) Р. приводит рассказ Г.Т. Бокля в его книге «История цивилизации в Англии» о происшедшем в Б. в связи с Французской революцией «нравственном кризисе» (ПИ, 212). Имя Б. возникает в статье Р. «К.Н. Леонтьев» (ТПГ. 1899. 4 апр.), а в «Мимолетном» 16 ноября 1914 Р. отмечает, что нигилисты-разрушители «оценили громадный дар Руссо и пошли не за Эдмундом Борком, имевшим такой же дар патетичности, но строившим Европу, а за Руссо, разрушавшим Европу фантазмом» (КНУ, 581–582).

А.Н.

БОВОРИКОВСКИЙ Александр Львович [14(26).11.1844, Полтава — 20.11.(3.12).1905, Петербург] — юрист, судья, поэт и публицист. Автор писем к Р. 1899, 1900 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 5). Он прислал Р. свою книгу по вопросам семейного права. Б. составил юридический сборник «Законы гражданские» (СПб., 1882), выдержавший 12 переизданий, а также популярные книги о семейных отношениях: «Брак и развод по проекту гражданского уложения» (СПб., 1902) и «Конституция семьи по проекту Гражданского уложения» (СПб., 1902). Р. посвятил ему цикл статей: «А.Л. Боровиковский о браке и разводе» (НВ. 1902. 24 окт.; 1, 4, 10, 28 нояб.; отклик на статью Б. «Брак и развод по проекту гражданского уложения». — Журнал Министерства Юстиции. 1902. № 10). Его книга о гражданском законодательстве Р. рассмотрел в статье «Закон и брак: По поводу проекта нового Гражданского уложения» в журнале «Новый Путь», где исследовал биологическую и бытовую стороны брачного союза. В рецензии Р. уделил особое внимание возрасту вступающих в брак, на что юристы обычно редко обращали внимание. Он иронично отнесся к борьбе Б. с полигамией и пафосу европейской «гражданственности». Р. акцентировал внимание на биологической стороне брака, считая ее «сердцевиною» супружеских отношений. Он солидаризировался с Б. в критике юридической практики: «Всматриваясь в проект “Уложения”, мы видим, что 1) муж 2) жена и 3) ребенок просто забыты законодателями; речь идет о какой-то алгебраической величине <...> Работа юристов о семье также произвольна и груба и также мало согласуется с внутренними и субъективными принципами семьи» (НП. 1903. № 1. С. 187–188).

А.В. Ломоносов

БОРОДАЕВСКИЙ Валериан Валерьевич [12(24).12.1874, село Кшень, Тимский уезд, Курская губ. — 16.5.1923, Курск] — поэт-символист. Выступал в 1903 на страницах журнала «Новый Путь» в поддержку Р. на Религиозно-философских собраниях (РФС). В статье «О трагизме в христианстве» полемизировал с Р. по вопросу о сущности христианского духа. Выступая с критикой Р. на страницах «Русского Вестника», в котором и сам Р. активно сотрудничал, Б. принципиально оговорил

область полемики — «метафизический фасад розановского творчества», ибо «Розанов-публицист испукает грехи Розанова-метафизика», так как общественно-политическая деятельность писателя, по мнению критика, «упрочит за г. Розановым видное место в истории русской мысли» (РВ. 1903. № 2. С. 617). «В последнее время, — писал Б., — в нашей периодической печати было высказано несколько перекрещивающихся мнений по вопросу о христианской культуре; христианство сравнилось с язычеством; в лице гг. Розанова и *Меньшикова* спор достиг своей кульминационной точки и оборвался, далеко не уяснив сердцевины вопроса» (Там же, 615). Б. считал заслугой Р. серьезность выдвинутых им тем и прямоту их изложения: «Особенно ценным является принципиальный отказ г. Розанова от неблагородной задачи отделить подвижничество от христианства» (Там же, 617). Б. дискутировал с «новой концепцией христианства», представленной Р. в книге «*В мире неясного и нерешенного*», разделявшей христианство на «*религию Голгофы*» (гроба Господня и второго жития человека) и «*религию Вифлеема*» (*Рождества Христова* и первого жития). Р., по убеждению Б., «стремится к яслям Христовым, к образу воплощенного Божества <...> останавливается на этом и дальше не идет. *Страдания, смерть, воскресение, борьба с мировым злом* в себе и вне себя, — вся трагическая и возрождающая сторона христианства остается ему чуждой и непонятной. Божество, как творческая сила, “Божье в животном”, — к этому сводится для г. Розанова все содержание религии <...> перейдя через “свободное христианство”, отрешенное от догм, пришел к догмам, отрешенным от христианства» (Там же, 616–617). В итоге Б. выступил против субъективистского толкования Р. христианской религии, а в качестве основного вывода отстаивал неделимость ее на аскетичную и лишенную аскезы. Пережив очарование Вифлеемской ночи и почувствовав тайну воплощенного Бога, Р., по мнению Б., соскользнул в мыслиа своих и мимо Вифлеема, и мимо самой христианской религии. Поэтому и *аскетизм* для него стал психологически неприемлем. «Христианство утверждает аскетизм; как бы мы ни строили нашу жизнь, — мышление наше, чтобы быть христианским, должно принять этот положительный знак воли Христовой, если мы не хотим оставаться на зыбкой почве личных и случайных толкований» (Там же, 617–618). На 16-м заседании РФС в ходе обсуждения вопроса о таинстве брака в христианстве, Б. зачитал фрагмент своей статьи, касающийся только Р. (НП. 1903. № 10). В открытом письме на страницах «Нового Пути» Б. вновь полемизировал с Р. по вопросам пола и аскетизма (НП. 1904. № 1). Р. рецензировал сборник его ранних стихов «Стихотворения» (с предисл. Вяч. Иванова): «Автор уходит от переживаемого времени, с его смутными, волнующими событиями в страны древнего Востока <...> Строки прямые и упрямые, как палки, без всякой в себе гибкости и бегучести, без всякой пахучести и испаряемости <...> чудесно “стилизуют” горячий, сухой Восток <...> Пусть это все — “стилизация”... Наше время, очевидно, имеет какой-то вкус к ней. Тут и богатство и бедность. Очевидная бедность личных творческих сил, личных порывов, личных надежд; и богатство образованности, не личной, а общей, пробуждающей вкус и влечение к *могилам*, к изжитым эпохам <...>

Г-н Бородаевский не обещает большой литературной деятельности. Ум его слишком пассивен для этого, недвижим... Но он прекрасно образован, обладает изощренным вкусом и страстным вниканием в чужое творчество. Вниканием вдумчивым, многолетним, тихим... *Русская литература* может ожидать от него со временем получить такой сборник изящных стихов... Но, разумеется, это неизмеримо ценнее, нежели “Полные собрания сочинений *Анатолия Каменского*”, от которых прохода нет в магазинах: до того их много...» («Молодые поэты» [В. Бородаевский, С. Гедройц] // РС. 1910. 4 июня; ЗРП, 200–203). Б. посвятил Р. стихотворение «Да и нет» («Художник, женщина и солнце! Вам дано...») в альманахе «Зилант: Сборник искусства» (Казань, 1913).

А.В. Ломоносов

БОРОДКИН Михаил Михайлович [р. 1(13).9.1852, о. Алэнд, Финляндия] — генерал-лейтенант, публицист, историк финляндской окраины России. Сохранилось письмо Б. к Р. от 18 сентября 1912, состоящее из единственной строки: «Целую Вас, дорогой Василий Васильевич, за сегодняшний фельетон», т.е. отзыв на книгу М.О. Гершензона «Образы прошлого» (НВ. 18 сент.) (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 44). В январском письме 1898 к П.П. Перцову Р. отмечал вспыльчивый характер Б.: «Мой один знакомый петербургский офицер генерального штаба, писавший о финляндских делах, на мою попытку защищать *Александрова* — разразился бурей негодования (за пропажу статей) и говорит: “Я на него в суд подаю, это — деньги, а не бумага, уже оставшая в стороне литературы”» (ОР РГБ. Ф. 872. К. 3. Ед. хр. 14. Л. 42).

А.В. Ломоносов

БОТКИН Сергей Сергеевич [13.12.1859, Париж — 23.1(5.2).1910, Петербург] — профессор-терапевт, сын клинициста С.П. Боткина. Р. посвятил ему статью в книге «*Среди художников*», опубликованную первоначально под названием «Памяти Сергея Сергеевича Боткина» в газете «*Новое Время*» (1910. 13 янв.), в которой писал, что Б. «был душою художественных кружков в Петербурге, в частности — молодого кружка “*Мира Искусства*”, где он был “своим человеком”; как, вероятно, и везде его чувствовали все “своим человеком”» (СХ, 326–327). Р. описывает внешний облик Б.: «С упрямым хохлом на лбу, — но именно не упрямый, уступчивый, мягкий, весь рассыпчатый, всегда решительно жизнерадостный, предприниматель, надеющийся <...> В военном докторском мундире и профессор, он “как все порядочные русские люди”, конечно, “служил”, но весь был таков, что ни о каком “мундире” и “урочных часах службы” не приходило на ум тому, с кем он разговаривал или кто на него смотрел. Ощущение “частного”, глубоко “частного”, исключительно “домашнего” — веяло вокруг него, в близости с ним. Не было фигуры менее официальной и “должностной”, чем он. Не змейка — по отсутствию злобы, — но шаловливая ящерица смеха, шутки, остроумия вилась у него в речи, тихим баском, и в больших и (думаю) чувственных губах; а лицо, с обилием нежно-розовой краски, пущенной под кожу, являло всего более ласковости именно в отношении того, над кем или над чем он шутил, острил, в чем

замечал невинно-забавную сторону» (там же). Б. был известным коллекционером: «От древних веков, еще от *Египта*, до наших дней, до последних выставок, он любил все красивое, характерное, национальное. Любил во всякой вещице ее физиономию, метко уловляя ее своим глазом, явно художественным» (Там же, 327). Р. характеризует Б. как человека и ученого: «Широка ты, Русская земля, что рождаешь широкое и разнообразное и благодатное» *Мысль* о шири приходила при взгляде на этого *русского человека*. По стану и фигуре, по домовитости, по «рассыпчатости», по «старожительству» в мире *искусств*, его хотелось назвать Фамусовым художественных кружков, который везде «как у себя дома» и у него все «как у себя дома», без формы и принуждения. Но уже прожили десятилетия, прошел век: и в широкий халат Фамусова вошел просвещенный европейский человек и весь зажегся инициативой и *творчеством*. Только старая русская повадка, хочется сказать — московская повадка, сохранилась у него. «Вот и те же часы, и та же гостиная, и старая мебель» Но все позолотилось новым вкусом, просвещением, необозримыми учеными сведениями» (СХ, 328).

М.В. Толмачёва

БОЦЯНОВСКИЙ Владимир Феофилович [15(27).6.1869, село Скоморохи, Житомирский уезд, Волынская губ. — 16.7.1943, Москва] — критик, литературовед. В «*Биржевых ведомостях*» вел литературный и театральный отделы, пользуясь *псевдонимом* Тиун, под которым 16 августа 1915 напечатал статью об «*Опавших листьях*» — «Голый Розанов», назвав эту розановскую книгу вариантом «Дневника Передонова» (из «Мелкого беса» Ф. Сологуба): «Передоновщина так и прет с каждой страницы...» Б. принадлежит также рецензия на книгу Р. «*Декаденты*» (Русь. 1904. 19 февр.). В статье «Элементы брака» (НВ. 1899. 21 нояб.; СВР, 1) Р. вел полемику с Б. по поводу его статьи «О мотивах развода» (НВ. 1899. 12 нояб.). Вместе с тем в книге «Богоискатели» (СПб., 1911) Б. вспоминал «полные искренней, мучительной, подлинной муки доклады Розанова о браке» в *Религиозно-философских собраниях* (с. 147). К письмам Б. приложена розановская характеристика: «Боцяновский, критик, очень милый, добрый. Красавица жена †, пойдя на свежую *могилу* своей сестры, и простудясь» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4212. Ед. хр. 5. Л. 1). В письмах Б. выражал благодарность Р. за высказанное желание написать статью «Свободный художник» и приглашал его на свой доклад о Ф. Сологубе в кружке Я.П. Полонского.

А.Н.

БРЁШКО-БРЁШКОВСКАЯ Екатерина Константиновна [урожд. Вериги; 25.1(6.2).1844, село Иваново, Невельский уезд, Витебская губ. — 15.9.1934, местечко Хвалы-Почерница близ Праги] — одна из организаторов и лидеров партии эсеров, прозванная «бабушкой русской революции». Р. именует ее «революционной «богородицей»» (У, 114). 22 июня 1915 он записывает в «*Мимолетном*»: «В «*Русск. Богатстве*» за месяц или за два до войны я читал захлебывающееся сообщение о «бабушке», как она поживает, в чем ходит и что кушает. Эта чудовищная старуха, родившая для Руси знаменитого Брешко-Брешковского (сотрудник и романист «*Биржев.*

Ведом.»), на самом деле существует в революции «для последнего закала» убийц политических. Живет она за границей. И вот кого революция приспособляет к убийству, — то их, после предварительного воспитания, на месяц, на два переправляют за границу к этой «бабушке», уже древней старухе теперь, которая напиговывает несчастного юношу или *девушку* такую специфическою ненавистью «к *правительству*», что он (она) готов на рожон лезть. Когда все кончено, она «благословляет на подвиг», юноша переезжает границу, ему дают бомбу или отравленный кинжал, и он «погибает смертью храбрых» (жаргон революции). Эта Ведьма хорошо знает свою роль, но так закурена жидовскими фимиами, что ей и в голову не приходит, что ее роль лежит неподалеку от роли *Азефа*: приготавливать к виселице. И вот она охорашивает и охорашивает барашков. *Цензура*, или совершенно провокаторская, или совершенно очумелая, пропустила сей печатный акафист царевубийце (Ек. Брешковская). Как не быть революции? *Молодежь* наша вся затянута дымом ее, который не пропускает ни одного луча света. Она читает такой сплошной фимиами революции, что у нее нет никакого средства, никакой нити добраться до реального положения *вещей*» (М, 194–195). Узнав, что большевистский переворот делался на немецкие деньги, Р. записывает в «*Апокалипсисе нашего времени*»: «Собственно в момент как было узнано, что все эти социалисты продавали *Россию Германии*, — все эти *Веры Фигнер*, Екатерины Брешковские, *Пешехоновы* и *Струве* (ввоз «марксизма») должны были из *чести* повеситься. А если они не честны, как оказалось, то их должно было удавить рукою палача» (АНВ, 356).

А.Н.

БРИЛЛИАНТОВ Александр Иванович [10(22).8.1867, село Цыпино, Кирилловский уезд, Новгородская губ. — 1.6.1933, Тамбов] — богослов, доктор церковной истории (1914), профессор Петербургской духовной академии по кафедре истории древней церкви, участвовал в работе *Религиозно-философских собраний* и *Религиозно-философском обществе*. В конце 20-х был приговорен к заключению, скончался во время этапа на пути в Свирлаг. В ОР РГБ сохранилось четыре письма Б. к Р. (Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 5). В письме к Р. от 17 апреля 1911 Б. уведомил о пересылке ему опубликованных лекций своего учителя В.В. Болотова (предшественника по кафедре истории древней церкви в Петербургской духовной академии), а также исследований об этом профессоре-богослове. В следующих двух письмах содержится положительный отзыв о рецензии Р. «Великий наставник юношества» (НВ. 1913. 11 окт.; НФП) на книгу: Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви. (1907–1913. Т. 1–3), а также на книги Б.: «Профессор Василий Васильевич Болотов. Биографический очерк». (СПб., 1910), «К характеристике ученой деятельности проф. В.В. Болотова, как церковного историка († 5 апреля 1900)» (СПб., 1901).

А.В. Ломоносов

БРОНЗОВ Александр Александрович [7(19).8.1858, Бельский уезд, Новгородская губ. — 1935/1936, Ленинград] — филолог и переводчик с древнегреческого языка, профессор Петербургской духовной академии по кафедре нравственного богословия. Р. вел с ним поле-

мику на страницах «*Нового Времени*» о подлинности и авторитетности «Апостольских Постановлений». Отвечая на статью Р. «Палская непогрешимость, как орудие реформации без *революции*» (НВ. 1902. 19 февр.), Б. опубликовал «Открытое письмо об “Апостольских Постановлениях”» (НВ. 1902. 28 февр.), в котором выступил против утверждений, будто бы «в апостольский век... сборник Апостольских Постановлений ставился наряду с Священными книгами Нового Завета» (ОЦС, 273). Б. доказывал, ссылаясь на современные ему *труды* немецкого богослова-патролога О. Барденхевера, что «в апостольский век, т.е. в первый христианский» не существовало названного «Сборника». Профессор датировал письменный памятник серединой IV в., опровергая при этом утверждения Р. об опоре арианства на «Апостольские Постановления». Р. возражал богослову в ответной заметке «Где же границы апокрифичности?» (НВ. 1902. 4 марта), ссылаясь на авторитеты Фотия, патриарха Константинопольского, современника разделения *церквей* на Восточную и Западную, архиепископа черниговского Филарета, авторов «Православно-богословской энциклопедии» (1901) проф. А.П. Лопухина и др., признававших древность и «авторитетность» обсуждаемого «Сборника». Р. привел утверждение о невозможности для церкви прибегать к аргументации современной *науки* (Тюбингенская школа). Б. ответил в заметке «Еще об “Апостольских Постановлениях”» (НВ. 1902. 6 марта). В подтверждение своей позиции он привел новые исследования патролога Функа, доказывающие компилятивный характер «Сборника», содержащего тексты «постановлений Антиохийского собора 341 года», попутно уличив Р. в искажении своих слов о датировке памятника. В ответе профессору «Спор не на *тему* (Письмо проф. А.А. Бронзову)» (НВ. 1902. 9 марта) Р. вновь попытался обратить внимание на свое понимание главной для себя проблемы полемики: «Важно не подлинное *время* составления этого “Сборника” <...> как думает проф. А.А. Бронзов, но исключительно то, что высокое (хотя и ложное по новым открытиям) представление о его древности и авторитетности не помешало сделать от него отступления <...> Я и указывал в своей статье, основывая на ней право наших дней сохранять то же отношение к памятникам полной достоверности» (ОЦС, 276). Заодно Р. высказал обвинение в симпатиях к арианству. В ответе «Разъяснение недоразумений (Письмо В.В. Розанову)» (НВ. 1902. 11 марта) профессор вновь полемизировал только о конкретном *памятнике* христианской *литературы* и разъяснял, что Фотий и отцы церкви отвергли авторитетность Сборника, которая была ниспровергнута на соборе 692, и, оставив без внимания вопрос об основной проблеме полемики, заявил в заключение, что «рассмотрение всей статьи В.В. Р-ва, по существу <...> отложено до будущего времени» (ОЦС, 277). В завершающей дискуссию заметке «Кому же верить, *Петербургу* или *Москве*? (Последний ответ проф. А.А. Бронзову)» (НВ. 1902. 11 марта) Р. указал на несогласованность богословского аппарата между Петербургской и Московской духовными академиями, так как в февральском номере «*Богословского Вестника*» московский проф. *Н.А. Заозерский* обильно цитировал «Апостольские Постановления», ни разу не оговорив апокрифического характера памятника. Это стечение

обстоятельств позволило Р. сделать оптимистичный общий вывод о результатах дискуссии: «Хорошо в этом 1902 году, что случайная полемика проф. Бронзова раскрывает *читателям* глаза на памятник, — и статья проф. Заозерского о невозможности передать государству церковную юрисдикцию не убедит *чиновников-практиков*, ведущих меру, проектирующих закон» о передаче дел о *разводах* в светские суды (ОЦС, 278). Р. использовал результаты дискуссии в своей книге «*Семейный вопрос в России*» в дальнейшей полемике с *А.А. Дёрновым* по вопросу брачных отношений, ссылаясь на незначительность авторитетности данного памятника христианской *культуры*. В 1904 в предисловии ко второму изданию книги «*В мире неясного и нерешенного*» Р. рекомендовал читателям статью Б. «О вопросах, связанных с христианским браком» в качестве подтверждения своей мысли, что «нет прекрасного “без Бога”», пытаюсь попутно реабилитировать языческие брачные обычаи (ВМНН, 16). В библиографической заметке «Богословие в 1915 г.» (НВ. 1916. 7 янв.; ВЧВ), написанной вместе с *Н.Н. Глубоковским*, Р. отметил выход в свет книги Х.Э. Лютарта «Апология христианства» (Пг., 1915) под редакцией Б. В ОР РГБ сохранились три письма Б. к Р. от 14 октября 1907, 5 ноября 1911 и 1914, в которых содержались благодарности за присланные ему книги Р.

А.В. Ломоносов

БРУГШ (Brugsch) Генрих Карл (18.2.1827, Берлин — 9.9.1894, там же) — немецкий египтолог. Р. читал его книгу «*Египет*. История фараонов» (СПб., 1880), в которой его поразило замечание: «Египтяне вообще избегали в постройках симметричного, их “художественный вкус избирал — асимметричное”» (ПЛ, 77). Это *чтение* особенно сказалось в книге Р. «*Возрождающийся Египет*», где он приводит «замечание Бругша, сделанное в истинно египетском духе, в истинно египетском *стиле*: “Египтяне были народ весьма молчаливый <...> однако, тот ошибся бы, кто подумал, что как они были мало разговорчивы — то значит, что они были и угрюмы; напротив, под молчаливою корою — они были внутренне очень жизнерадостны и оживленны” (цитирую по памяти и приблизительно). Замечание — глубочайшего смысла, вводящее нас в самую *душу* египтянина. Действительно, разговоривая — мы выдыхаемся и слабеем. Сил меньше, энергии с каждым словом, с каждою речью — меньше. Египтяне (4000 лет опыта!) подметили это соотношение и — “взяли себя в *молчание*”, чтобы сберечь силу и *радость души*» (ВЕ, 118). Ссылаясь на Б., Р. утверждает, что серьезность *тем*, которыми жили египтяне, и дала им возможность прожить столько *времени*, сколько протекло от Троянской войны до *Французской революции* (Бругш)» (ВЕ, 240). Вместе с тем Р. отмечает: «Поразительная история, что из корифеев египтологии, — Бругш, *Масперо* и другие, — никто не догадался в своих “радующихся об открытии новой страны” популярных *трудах*, трудах “для моего дорогого народа”, французов, немцев, — воспроизвести “мать, над которою подняты ручки”, с этим до нашего времени сохранившимся жестом и приемом *молитвы* (“воздеяние руку мою, — жертва вечерняя”) — все решает» (ВЕ, 130). Египтологи, полагает Р., не поняли главного в Египте — “*жизни и пола*”: «Египтяне же, как и весь *Восток*, “заду-

мались о *плодородии*” А что “задумались” — свидетель-ство именно и единственно статуя *Озириса* — “именно такая” Но “задуматься о плодородии” не было обяза-тельно и *Шамполиону*, и Бругшу, и *Ленциусу*. “Они чита-ли иероглифы” И натолкнувшись на сообщение египет-ского жреца: “Это — спинная кость Озириса”, так как сами ничего не соединяли со “спинной костью”, ибо ведь и анатомия, и физиология для них не была обяза-тельно, отбросила его, — отбросила уже вопреки требо-ванию науки — дать Египту египетское объяснение, — натворили с ней то же, что “необрезанные” натворили с объяснениями “*обрезания*” (ВЕ, 136–137).

А.Н.

БРЮСОВ Валерий Яковлевич [1(13).12.1873, Моск-ва — 9.10.1924, там же] — писатель. Книгу *«Декаденты»* Р. начал с образцов символической поэзии: двух стихотво-ренных Б. и одного стихотворения *М. Метерлинка* в *перевод* Б., после чего сделал вывод: «То, что есть в со-держании *символизма* бесспорного и понятного, — это общее тяготение его к эротизму. Старый, как мать-при-рода, бог, казалось изгнанный из деловой поэзии 50–70-х годов, вторгся в сферу, ему всегда принадлежав-шую, им издревле любимую, но — в форме изуродованной и странной, в форме бесстыдно-обнаженной <...> Эрос не одет здесь более поэзией, не затуманен, не скрыт; весь смысл, вся красота, все бесконечные муки и радос-ти, из которых исходит акт любви и которые позднее, с иным характером поэзии и другими заботами, из него следуют, — все это здесь отброшено; отброшено самое лицо любимого существа: на него, как на лицо опериру-емое, набрасывается в этой новой “поэзии” покрывало, чтобы своим выражением страдания, ужаса, мольбы оно не мешало чему-то “существенному”, что должно быть совершено тут, около этого лица, но без какого-либо к нему внимания. Женщина не только без образа, но всегда без имени фигурирует обычно в этой “поэзии”, где голова в объекте изображаемом играет почти столь же ничтожную роль, как и у субъекта изображающего; как это, например, видно в следующем классическом по своей краткости стихотворении, исчерпываемом одной строкой: О, закрой свои бледные ноги! (Брюсов)» (ЛВИ, 411–412). Вместе с тем уже в 1897 в письме к П.П. Пер-цову Р. признавался, что брюсовские «фиолетовые руки» (стихотворение *«Творчество»*) восторжествовали: «Я стал любить декадентов; они своими “фиолетовыми руками” сделали то, чего не мог сделать Катков своими громами, Страхов своей рассудительностью, образованностью и тихой борьбой» (СОЧ, 497). Прочитав длинное и слож-ное стихотворение Б., посвященное Эросу, Р. «готов был заплакать от его неудачи. Так давно следовало бы начать говорить полными словами о всех радостях, которые да-ет нам и целому миру Старейшее божество» (ЛВИ, 510). Р. в эротике молодого Б. чувствует близкое себе начало, однако риторика и напыщенность поэта не удовлетворя-ют его, он хочет видеть все так, как происходит в приро-де. «Об “Эросе” может петь только “эротический чело-век”, как, впрочем, и о Боге может рассуждать только “верующий человек” При чем — в часы молитвы: а “Эрос” открывается в полном и настоящем виде только в эротические минуты. Невинная природа не говорит ни на французском, ни на русском языке: она совершается,

вот и “Эрос” — он весь совершается, в совершениях, безгласен... А мы, следя за “совершениями” и должны заключать о его природе. К чему тут стихи (у Вал. Брю-сова), проза? Пришел, увидел, промолчал <...> “Как по календарю” Вал. Брюсов исчисляет, как и чем мы на-слаждаемся в “этот час”: строки его бегут, я помню, он усиливается, стыдится, нажимает и, наконец выжимает ту строку, где говорится об ощущении Эроса особенно тонком, где наслаждение доходит до “души”, этой “пси-хи” нашего существа, как бы наполняя пламенем всю полноту физического и духовного “я» (ЛВИ, 511–512). Р. считает, что никакие стихи и никакая проза не зашли «так далеко», как просто «есть, совершается» в природе, больше чего не может сотворить и человек. Древние «любили и ласкались среди стад и как в стадах. А “как” — это они видели в храмах и не писали об этом брюсовс-ких стихов. Не нужно было. “Природа” на всех языках говорит одинаково, и на всех говорит невинно. Брюсов в пошлом выжатом стихе говорит о том, что розы благо-ухают. Вот открыл Америку, которую мы видим в лугах, в лесах, в стадах: кто этого не знает и что за роза без запаха? Такуя бросают» (ЛВИ, 512). В 1904–1909 Р. час-то печатался в журнале Б. *«Весы»*, в связи с чем между ними велась деловая переписка. В апреле 1909 они встретились и беседовали в Москве в дни открытия па-мятника Н.В. Гоголю. В статье «Гоголевские дни в Мос-кве» Р. вспоминает «дерзкую речь Брюсова» (СХ, 298) 27 апреля на торжественном заседании Общества люби-телей русской словесности (опубликованную под на-званием «Испепеленный» отдельным изданием), в кото-рой он сказал: «После критических работ В. Розанова и Д. Мережковского невозможно более смотреть на Гоголя как на последовательного реалиста, в произведениях ко-торого необыкновенно верно и точно отражена русская действительность его времени. Напротив того, Гоголь, хотя и порывался быть добросовестным бытописателем окружавшей его жизни, всегда, в своем творчестве, оста-вался мечтателем, фантастом и, в сущности, воплощал в своих произведениях только идеальный мир своих виде-ний» (Весы. 1909. № 4. С. 100). Речь шла о двух этюдах Р. о Гоголе, приложенных к его книге *«Легенда о Вели-ком инквизиторе Ф.М. Достоевского»*, и о книге Д.С. Ме-режковского «Гоголь и черт» (М., 1906). Критик А. Горн-фельд опубликовал «Заметку о реализме» (Русское Богатство. 1910. № 12), в которой, полемизируя с Б., на-стаивал на «реализме» Гоголя. В *«Сахарне»* Р. показал, что левая критика не могла отказаться от «реализма» Го-голя, ибо он в их представлении оправдывал необходи-мость грядущего «слома России» в революционных пре-образованиях: «Горнфельдишке никак не хочется, чтобы утвердилось, что Гоголь не был реалистом (полемика против “Испепеленного” Брюсова). Как жиденок, он боится от себя сказать, что русская жизнь есть паскудс-тво, и он прячется в лесу гоголевского творчества, с кри-ком: “Не ищите лес! Он утверждает нас в идеях, что рус-ские — паскудники и все русское есть паскудство” Мерси. Но это есть вообще трафарет “еврейского восхи-щения перед великой русской литературой” Они не вспомят Карамзина, им не нужен Жуковский и Батюш-ков. Но “русские реалисты”, но “русские нигилисты” для них священнее Торы» (СХР, 83). Б. высоко ценил творчество Р. По воспоминаниям В. Шершеневича, «он

цитировал прозу Розанова страницами» (Встречи с прошлым. М., 1975. Вып. 2. С. 162). В 1923 Б. предложил издать литературно-критические статьи Р., что не встретило поддержки у властей (см.: Гроссман Л.П. Собр. соч. М., 1928. Т. 4. С. 273). Наконец, Б. предлагал создать научный институт по изучению языка Р.

А.Н.

БУЛГАКОВ Сергей Николаевич [16(28).6.1871, Ливны, Орловская губ. — 13.7.1944, Париж] — экономист, философ, богослов. В декабре 1922 выслан из России. Оставив в возрасте 16 лет духовную семинарию, он перешел в 1888 в седьмой класс *Елецкой гимназии*, где Р. преподавал историю и географию, и обучался там до 1890. Р. запомнил черты своего ученика: «Он был из города Ливен, сын тамошнего видного протоиерея. Сильный крепыш, суровый, угрюмый. Он никогда не улыбался, не шалил. Всякая шутка и «озорство» были ему чужды» (АНВ, 254). Еще в гимназии Р. пытался «вразумить» своего ученика: «Вы забыли споры наши за уроками в Елецкой гимназии» (Неопубликованные письма С.Н. Булгакова к В.В. Розанову // Вопросы философии. 1992. № 10. С.152). Когда в 1906 на заседании *Религиозно-философского общества в Москве* Р. выступил с докладом «Отчего левые побеждают центр и правых», то Б. в прениях заметил, что они с Р. «поменялись ролями: когда-то Булгаков, будучи гимназистом, благоговел перед писаревщиной <...> а Розанов стоял на почве идеализма; теперь же Булгакову, ставшему идеалистом, приходится возражать Розанову» (*Струве П. Patriotica*. СПб., 1911. С. 497). Обращение Б. к идеализму в начале XX в. было встречено Р. с некоторой долей иронии. Характеризуя сборник «Проблемы идеализма» (1902), в котором принял участие Б., он говорит, что авторы сборника «выступили с таким бессовестным видом, как будто в России до них и идеализма не существовало, как будто они облагодетельствовали Россию, начав в ней говорить об «идеализме»» (ОПП, 330). Встреча Р. с Б. произошла в редакции журнала «Новый Путь». Однако когда в конце 1904 издание журнала перешло *Н.А. Бердяеву* и Б. и журнал был переименован в «Вопросы Жизни», Р. был отстранен от участия в нем. Там появилась только первая часть его статьи «Из старых писем» с публикацией писем к нему *Вл. Соловьёва* (см. письмо Б. с извинениями о том, что окончание статьи не попало в последний, 12-й номер журнала и приглашением Р. участвовать в киевской религиозно-общественной газете «Народ», которую собирался издавать Б. — Вопросы философии. 1992. № 10. С. 149–150). Вспоминая Б. в пору *Первой русской революции*, Р. пишет о нем: «Он весь грубоватый рабочий-экономист, революционер» (АНВ, 255). Объединяет их интерес к фигуре *Вл. Соловьёва*, к которому Р. в этот период относится более критически, нежели Б., пытавшийся использовать соловьёвский идеализм как альтернативную марксизму программу для социальной революции: «И вот — марксист и революционер, литератор и журналист, он весь вместе с тем и гармонировал задумчивому миру Владимира Соловьёва» (там же). Р. подмечает личностную черту Б. — его увлеченность, способность до самозабвения отдаваться предмету своего увлечения. Используя евангельскую метафору, Р. характеризует его: «Душу свою он «не сберегает», а — по на-

шему *Некрасову*: Всяким вольным впечатленьям / Душу вольную — отдай...» (там же). В 1907, в пору членства Б. во 2-й *Государственной думе*, Р. откликается на выступление Б. в «*Московском Еженедельнике*», в котором тот считает несвоевременным проведение церковного Собора ввиду плачевного состояния русской Церкви («Чрезвычайный Собор Русской церкви и ее будущность» // РГО, 454). Р. одобрительно относится к булгаковской статье «Героизм и подвижничество», вышедшей в сборнике «*Вехи*» (1909): «Из авторов «Вех» только двое — *Гершензон* и Булгаков — не разочаровали меня» (У, 58). Революционный период в жизни Б. теперь в прошлом: «Когда-то деятели и ораторы» — так Р. именует Б. в пору «Вех» («*Мережковский* против «Вех»» // ОПП, 356). Прошлое для Р. представляется весьма расплывчато: надписывая Б. «*Уединенное*», Р. именует его «эс-ером», против чего Б. протестует, говоря, что он был «эс-деком», «а это разница» (Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках. М., 1997. С. 421). В некотором смысле Б. олицетворяет теперь для Р. всю веховскую «партию»: «Вовсе Булгаков и другие не зарезали русскую интеллигенцию. Они сами зарезались. И воскресли. Погреблись и ожили» (ОПП, 357). Позднее Р. признает, что в «Вехах» «первая и главная статья принадлежит <...> Булгакову» («О С.Н. Булгакове» // К. 1916. 2 сент.; ВЧВ, 363). После разрыва с Д.С. Мережковским Р. тяготеет к московскому кружку славянофилов, группирующемуся вокруг *М.А. Новосёлова*. В письме от 4 декабря 1911 Б. сообщает *А.С. Глинке-Волжскому*, что по известиям, полученным от *П.А. Флоренского*, «Розанов ему каялся, собирается ехать говеть к Троице и пишет статьи в «*Новом Времени*» за церковь» («Взыскующие града», 420). Р. посылает Б. свои книги — «*Уединенное*», «*Люди лунного света*», «*Темный Лик*». Б. принимает интимный тон «*Уединенного*», находит эту книжку «интересной, поучительной, жизненной», однако резко расходится с Р. по вопросам пола, признаваясь ему, что он не находит «аромата в обостренном сексуализме», который несет на себе «природное проклятие». Б. исходит из того, что сексуальность не исчерпывает пола, но является его выражением, «болезненной маской», отсюда христианство «не внешне, а лишь сверхсексуально в своих высших устремлениях» (Взыскующие града, 423). Подобная оценка розановской философии пола прозвучит и в одном из подстрочных примечаний «*Света Невечернего*» (1917); здесь Б. увидит даже некоторую правду в позиции Р.: «В его беззастенчивости и наивном бесстыдстве, с которым он совершает свои самообнажения и направляет пылкий глаз в места, нормально закрытые стыдливостью, не только сказывается своеобразный аморализм, но и просвечивает иное, важное и, можно сказать, драгоценное в мистической непосредственности своей сознание ноуменальной праведности пола» («Свет Невечерний». М., 1994. С. 259). Исповедует он и отличное от Р. понимание христианства, признаваясь ему, что «*религия* Ваша — не моя религия, и мое сердце, больное не только личною болью, но, думается, и мировую, неотразимо влечется к Распятому и Распинающему, коего Вы в своей книге гоните — за то, что от Него будто бы Тень упала на мир и на жизнь» (Взыскующие града, 525). «Сексуализм» Р. является препятствием к публикации

его книг в книгоиздательстве «Путь», фактическим редактором которого становится Б. Р. направляет членом редакции обиженное письмо, а Б. объясняет причины неприглашения Р. отсутствием подходящего случая и длинной издательской очередью, приглашая его к участию в одном из путевских сборников (из переписки Б. с Флоренским видно, что основным противником приглашения Р. в «Путь» был кн. *Е.Н. Трубецкой*). При растущей симпатии к Б. для Р. он прежде всего профессор. 3 января 1913 Р. делает запись, включенную в книгу «Сахарна»: «Булгаков честен, умен, начитан и рвется к истине. Теперь — к христианству. Но он не имеет беды в душе, ни бедствия в жизни. Он не восклицал никогда — “тону!” — среди ужаса. Он профессор, а не обыватель; ученый, а не человек. А христианство (думается) открывает именно “немудрым земли” в особых точках и в особые минуты. И, кажется, проникнуть особенно глубоко в не свои темы ему не удается» (СХР, 17). Р., видимо, не знал тогда о том, что летом 1909 Б. потерял своего трехлетнего сына Ивашечку, и это событие стало решающим в его религиозном обращении. В 1914 Р. и Б. сближает патриотическая позиция, занятая ими в связи со вступлением России в мировую войну. Р., цитируя статью Б. «Родине» (газета «Утро России» 5 августа 1914), в которой говорится о духовной миссии русского народа, единстве народа и правительства как «светлом празднике государственности», замечает: «Давно пора... Давно пора говорить такие речи!» («Забутые и ныне оправданные. (Поминки по славянофилам)» // ПЛ, 275). Сборник *Война 1914 года и русское возрождение*, в который включена эта статья, Р. посылает Б., и тот благодарит его в письме от 27 ноября 1914 за сборник, как «за самую прекрасную книжку Вашу, которую я местами читал с волнением и восхищением» (ВРХД. 1979. № 130. С. 170). Б. посвящены две статьи Р. в газете «Колокол», написанные как отклик на серию статей Н.А. Бердяева «Типы религиозной мысли». В статье «О С.Н. Булгакове» Р. рассматривает его духовную эволюцию. «Наивность» юного Б., позволившего себе увлечься марксизмом, становится поводом для критики Р. идеи пролетарской революции. Р. полемизирует с Бердяевым, упрекаящим Б. и Флоренского в том, что их христианство не свободно, ибо обусловлено паническим страхом гибели и идеей спасения собственной души. Для Р. именно в спасении своей личной души заключается суть христианства, и в этом спасении существенна роль православного Царя и государства. Б. в это время будет мечтать о Белом Царе, упоминая в диалогах «На пиру богов» об идее православной монархии, «удерживающей» от прихода антихриста. Поэтому розановские размышления в статье, хоть и не отсылают напрямую ко взглядам Б., оказываются на нем весьма созвучными. В статье «Религия и национализм» (К. 1916. 25 сент.) Р. снова отводит от Б. адресованные ему упреки Бердяева. Софиология Б., его «жажда растворения в матери-земле», которая, по мнению Бердяева, противоречит персоналистическому началу христианства, весьма симпатичны Р. Он усматривает в булгаковской идее «софийного хозяйства» «одну из драгоценных черт мышления Булгакова» (ВЧВ, 375). Р. видит замысел «Философии хозяйства» Б. в том, чтобы «подвести трудовую и хлебную жизнь народа православного под крыло Церкви же» (там

же), и находит его «очень правильным и очень мудрым». Он рассматривает Б. на фоне московского новосёловского кружка, справедливо подмечая значение «дружбы» как объединяющего этот кружок жизненного христианского начала, о котором писали Флоренский, Б., Вяч. Иванов, В.Ф. Эрн и др. Из членов новосёловского кружка Р. близко сходится с литератором С.А. Цветковым, которого рекомендует ему Б. В 1917 Б. встречает Р. в Сергиевом Посаде: «В С<ергиевом> Посаде теперь живет Розанов. Он стар, нуждается, слаб, но переживает снова рецидив жидовствующей ереси и вражды к Христу. Об этом можете прочесть в выпускаемых им “Апокал. наших дней” <...> Мы встретились ласково, хотя, по существу, он продолжает меня недолюбливать, по-своему и справедливо» (С.Н. Булгаков — А.С. Глинке; 24.12.1917 // Взыскующие града, 680). В декабре 1917 Р. пишет Б. «совершенно гениальное по силе и выразительности письмо», в котором содержалась оценка о. Павла Флоренского (до нас письмо не дошло). Б. вспоминает о нем в парижском докладе «Священник о. Павел Флоренский» (1943): «Я помню из него только одно слово. В качестве самого существенного его определения В.В. Розанов сказал: он есть *ιερευς* (именно по-гречески), священник. И это было именно так» (Переписка священника П.А. Флоренского со священником С.Н. Булгаковым. Томск, 2001. С. 207). Вероятно, вместе с этим письмом Р. присылает Б. первые два выпуска «Апокалипсиса нашего времени». В ответном письме от 22 декабря 1917 Б. называет Р. «мистическим социалистом, подпавшим первому искушению Христову, “искушению социализмом”»: «Это именно означает и Ваш новый поворот к еврейству “и” германству, — это не к Каббале, даже не к Талмуду и не к Ветхому Завету, но к Лассалю и Марксу, от коих отрекаетесь <...> Это Вам с моей стороны в виде реванша за “позитивиста и профессора”» (Взыскующие града, 678). Б. согласен с Р., что христианство не удается в истории, однако в качестве причины этого он видит аристократизм христианства. Думы о близящемся апокалипсисе единятся в нем с верой в мессианское призвание русского народа. В начале 1918 Б. беспокоится о тяжелом материальном положении Р., пытается устроить его публикации в разных изданиях: «М.В. Нестеров, по письму П.П. Перцова, очень встревожен острою нуждою Розанова; заразил и меня этой тревогой» (Булгаков — Флоренскому; 21.2/6.3.1918 // Переписка священника П.А. Флоренского со священником С.Н. Булгаковым. С. 150–151). В вышедшем в 1918 сборнике статей «Тихие думы» Б. дважды обращается к розановским суждениям — о Вл. Соловьёве и К.Н. Леонтьеве, — ценя их за меткость. В мае 1918 происходит последняя встреча Б. и Р. в Москве, куда Р. приехал, рассчитывая уговориться с книгоиздателем Г.А. Леманом о выпуске своего собрания сочинений: «Здесь был... В.В. Розанов. Он тоже виделся с Леманом, “поладил” и “нечто” получил. Ходил по всем московским домам» (Булгаков — Глинке; 25.5.1918 // Взыскующие града, 684). Р. откликнулся на рукоположение Б. в сан священника, которое произошло в Духов день, 10 июня 1918 в храме Святого Духа подле Данилова монастыря в Москве. В неизданной при жизни Р. части «Апокалипсиса нашего времени» Б. посвящен фрагмент «Из жизни, мечтаний и действительности»: «...Этот толстый, “мор-

дастый” (такова лепка *лица*), грубый и суровый Булгаков... Господи, как хорошо; господа, как хорошо» (АНВ, 255). Р. отмечает изменение тона последних книг Б.: «...последние издания его “Тихие думы”, “Свет невечерний”, полные кровных, полные автобиографических дум, говорили тоном своим о какой-то далекой глубинной боли» (Там же, 255–256). Вскоре после своего рукоположения Б. навсегда покидает Москву, уехав через Киев в Крым, к *семье*. Там его застает известие о кончине Р., он поминает его, как ушедшего, в письме к А.С. Глинке от 17 сентября 1921 (Взыскующие града, 691). Однако и после *смерти* Р. он продолжает вести полемику с ним по вопросам пола. В написанной в Крыму в ноябре 1921 статье «Мужское и женское» (при жизни Б. опубликована не была) Б., возвращаясь к выступлениям Р. на *Религиозно-философских собраниях* 1902–1903 в *Петербурге*, утверждает: «Мысль Розанова внести ложе в храм на самом деле ложна, ибо даже в *браке* честно и ложе нескверно остается отравляющая гниль греха» (С.Н. Булгаков: Религиозно-философский путь. Международная научная конференция, посвященная 130-летию со дня рождения. М., 2003. С. 385). В написанных в Крыму диалогах «У стен Херсониса» (1922) он обращается к фигуре Р., задавая риторический вопрос: «Что может дать духовно этот одаренный и пронзительный писатель, который сам представлял собой какой-то безликий, аморфный студень» («Труды по социологии и теологии»: В 2 т. М., 1997. Т. 2. С. 487).

А.П. Козырев

БУЛГАРИН Фаддей (Тадеуш) Венедиктович [24.6 (5.7). 1789, имение Перышево, Минское воеводство, Великое княжество Литовское — 1(13).9.1859, имение Карлово близ Дерпта] — журналист, прозаик, критик. Р. отмечает историческую несправедливость оценок Б.: «Что такое сделал Булгарин? Сжег ли он новый храм Дианы Ефесской, как древний Герострат? Нет, но он сделал хуже, или, точнее, с ним сделалось худшее: *Белинский*, постоянно называя его, никогда не называл иначе как “сам Фаддей Венедиктович Булгарин”, и *Пушкин* в одной эпиграмме поместил стих: иль на Булгарина наступишь, — т.е. наступишь на сочинения Булгарина, которые, среди прочего сора, валяются на полу книжных лавок, если зайдешь, напр., к Смирдину. И ничего больше, ничего еще, т.е. определенного, доказанного, ставшего общеизвестным. И вот, таково значение этих кратких, но как-то удавшихся в *истории* слов, что хотя вы ничего фактического о Булгарине не знаете, хотя вы знаете даже из *писем Грибоедова*, автора “Горя от ума”, что Булгарин был ему почему-то интимным другом и он, посылая ему рукопись знаменитой своей комедии, писал: “Сохрани мое Горе”, — тем не менее всякий раз, как вы слышите имя “Булгарин”, вы неудержимо поправляете: “Греч и Булгарин”, согласно транскрипции Белинского, и отплеиваетесь с тем самым неистовством, с каким решительно все наше *общество* плевало на два эти имени три четверти века» (ЛВИ, 339). И здесь же Р. добавляет: «В конце концов, мне иногда думается, не бывает “дыма” без всякого под ним “огня”; и Булгарин не потому только погребен, ответ и, так сказать, имеет фатальный “осиновый кол” в своей *могиле*, что он был “Фаддей Венедиктович Булгарин” и что на

него “наступил” Пушкин, но и, кроме того, еще почему-нибудь, чего мы подлинно не знаем теперь. *Печать*, как бы при помощи увеличительных *зеркал*, только донельзя, до невероятия, до неправдоподобия увеличивает реальный, существующий “дым” или “дымок”; она раскрашивает его во все цвета спектра; но, по простым законам физики и также *психологии*, какой бы величины и какого бы цвета этот дым ни был, но он в самом деле есть и под ним в самом деле есть “огонь” или “огонек” Да простят мне все осужденные, все, над кем сплетен печатью этот терновый венец, если в частичном признании их вины мною выказана все-таки некоторая жестокость» (ЛВИ, 340). В статье к 100-летию рождения Белинского Р. замечает: «В Белинском была исключительность: “Или я, или другое; или Виссарион, или Фаддей Венедиктович Булгарин” “Булгарин” же он обзывал, или готов был обозвать все, что было “не мы”, не “я, *Герцен*, *Бакунин* и *Грановский*” Так произошло его “Письмо к *Гоголю*”, так произошел его разрыв с славянофилами» (ОПП, 513). Чтобы «опровергнуть» Пушкина, пишет Р. в 1915, никакого *ума* не хватит. Но его можно встретить «тупым рылом», «захрюкать». И *Писарев*, *Добролюбов* и *Чернышевский* “поднялись к нему и захрюкали». И Пушкин угас. «Никто более не читает». Р. продолжает: «Скажите: Греч, Булгарин и Клейнмихель сделали ли для образованности русской столько вреда, как Добролюбов, Чернышевский и Писарев. Но имена сии и по сию пору “сияют”: тут и *Бонч-Бруевич*, и *Рог-Рогачевский* <*В.Л. Львов-Рогачевский*>, и *Иванов-Разумник* стараются. “Хрю” все старается и везде ползет» (М, 141).

А.Н.

БУНИН Иван Алексеевич [10(22).10.1870, Воронеж — 8.11.1953, Париж] — писатель. В 1881–1886 учился в гимназии в Ельце, в которой с 1887 учительствовал Р. Когда в 1910 появилась повесть Б. «*Деревня*», Р. в статье «Не верьте беллетристам...» (НВ. 1911. 5 янв.) обратился к обзору *русской литературы* за предыдущий год, сделанному *К.И. Чуковским*, и стал его сочувственно пересказывать: «Бунин в романе “*Деревня*” каждой строкой твердит: “Крестьянство — это ужас, позор и *страдание*” То же говорит *Горький* о мешанах, то же гр. Ал.Н. Толстой — о дворянах. Ив. Рукавишников начал роман из купеческой *жизни*, о характере содержания которого уже можно составить себе представление по заглавию: “Проклятый род” — “*Лютая ненависть* к этой проклятой стране!” — говорится у Бунина в “*Деревне*” “Выродки-дикари”, — называются там крестьяне. И черта за чертой, по крупнице, по зернышку, как драгоценную какую коллекцию, собирает, упиваясь, Бунин к себе на страницы всю грубость и грязь современной русской деревни, умело и старательно повеяв нам в душу отчаяние» (ОПП, 484). Не приемля обличительного направления в *литературе*, Р. писал в первом коробе «*Опавших листьев*»: «Нужна вовсе не “великая литература”, а великая, прекрасная и полезная *жизнь*. А литература мож. быть и “кой-какая”, — “на задворках” Поэтому нет ли providенциальности, что здесь “все проваливается”? что — не *Грибоедов*, а *Л. Андреев*, не *Гоголь* — а Бунин и *Арцыбашев*. Может быть. М.б., мы живем в великом окончании литературы» (У, 92). В «*Окаянных днях*» Б. описал *Мос-*

каву в 1918, которую видел и Р., приезжая из *Сергиева Посада* к своим московским друзьям. Розановская запись «Мое предвидение» в «*Апокалипсисе нашего времени*» («Ленин и социалисты оттого и мужественны, что знают, что их некому будет судить, что судьи будут отсутствовать, так как они будут съедены»). (Октябрь. — АНВ, 12) близка по духу бунинской прозе в «Окаянных днях»: «Когда совсем падаешь духом от полной безнадежности, ловишь себя на сокровенной мечте, что все-таки настанет же когда-нибудь день отмщения и общего, всечеловеческого проклятия теперешним дням. Нельзя быть без этой надежды. Да, но во что можно верить теперь, когда раскрылась такая несказанно страшная правда о человеке?» (Бунин И.А. Собр. соч. М., 2000. Т. 8. С. 120). С 1920 Б. в эмиграции.

А.Н.

БУРЕНИН Виктор Петрович [22.2(6.3).1841, Москва — 15.8.1926, Ленинград] — критик, поэт и драматург, сотрудник «*Нового Времени*». Рецензировал первую книгу Р. «*О понимании*», назвав произведение начинающего автора «выдающимся явлением среди нашей философской литературы» и указав, что Р. удалось сжато и полно «установить и выразить <...> смелые оригинальные взгляды» («Критические очерки» // НВ. 1888. 20 мая). Не касаясь философской проблематики работы молодого философа, Б. обратил внимание на страницы научного трактата, которые повествовали об *искусстве* и литературе, отметив вклад Р. в разработку теории *русской литературы*. «Заслуги нашей литературы, говорит автор, давно уже переступили тесные пределы национального значения» (там же). Спустя шесть лет Б. вспоминал, что Р. нанес ему тогда визит с целью выразить благодарность за положительный отзыв: «г. Розанов <...> сделал мне честь посетить меня и принести мне благодарность за то, что я первый сказал в журналистике доброе слово о его первом труде <...> Но потом, заметив в произведении нового философа и критика чересчур изобильное разлитие “лампадного масла” и нетерпимого ханжества, я перестал интересоваться его журнальными работами, особенно с тех пор, как встретил в одной из них нелепый взгляд на *Гоголя*» («Ноги в перчатках, желудки, цепляющиеся за маски и проч.» // НВ. 1894. 29 июля). Труды Р. встречали затем неизменную критику Б. Даже взгляд Б. на книгу «О понимании» претерпел со *временем* перемены. «Многое в книге было взято со слов и со слов немецких любомудров, — иронизировал Б. над философским трактатом Р., — многое дойдено “собственным умом” на манер Луки Лукича Тяпкина-Ляпкина, много философских *Америк* открывалось в ней с “другой стороны”» (там же). Резкую форму полемики Р. с *Вл. Соловьёвым* критик отказывался признавать в качестве литературы: «Это уж не полемика, это просто какой-то “бред куриной души” и собрание “растерянно-диких полемических выкриков”» (там же). После этого Р. писал *С.А. Рачинскому* в августе 1894: «Буренин, за исключением его религиозных понятий, бесспорной порядочности, и не верьте никому, кто иначе о нем скажет...» (PRO, 1, 498). В том же критическом ключе была расценена Б. статья Р. «По поводу одной тревоги гр. *Л.Н. Толстого*» (РВ. 1895. № 10; ЛВИ). Б. восстал против обращения к классику на «ты», опять объявив

работу Р. не логической критикой, а «бредом куриной души», *юродством* и «истерической чепухой» («Литературное юродство и кликушество» // НВ. 1895. 1 сент.). Признавая за Р. специалиста в области *педагогике* и литературной критики, Б. всегда резко выступал против богословских опытов со стороны Р. В работах Р. по педагогике и литературе Б. отмечал «оригинальные взгля-



В.П. Буренин

ды и неожиданное яркое освещение <...> и глубины суждений, и своеобразный меткий <...> даже порою поэтический язык», мыслителю ставилось в заслугу, что «он не боится думать “по-своему” и не стесняется *тем*, к какому партийному толку могут причислить это “свое” — к либеральному или нелиберальному» («Критические очерки» // НВ. 1903. 25 апр.). При этом Б. искренне вопрошал, зачем Р. публиковать целые страницы о предметах непонятных и неведомых, как полагал критик, самому Р., например, о «чувстве *солнца* и *растений* у древних *евреев*». Упреки Б. были обращены не к одному Р., но ко всему коллективу редакции «*Нового Пути*». После положительной рецензии Р. на роман *Д.С. Мережковского* «*Петр* и *Алексей*» («*Царевич Алексей*» // НВ. 1904. 5 янв.), Б. на страницах того же «Нового Времени» откликнулся негативным разбором книги, отрицавшим внутреннее единство трилогии Мережковского: «Розанов и сам Мережковский в сущности только бесплодно фантазируют, когда полагают, что романы “*Юлиан Отступник*”, “*Леонардо да Винчи*” и “*Петр* и

Алексей” составляют какую-то “эпическую трилогию”, имеющую общую идею по внутреннему содержанию и основной мысли <...> Фантазии г. Розанова доходят даже до таких пределов, где уже кончаются резонные соображения и начинаются неуяснимые уяснения апокалиптических блудниц, седмглавых змиев и т.п. предметов <...> доступных разве провидцам и духовидцам» («Критические очерки» // НВ. 1905. 6 мая). На доклад Р. в петербургском *Религиозно-философском обществе* «О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира» и пропаганду публицистики либерального священника *Г.С. Петрова* Б. откликнулся статьей «Разговор» (НВ. 1908. 29 февр.). Б. полемизировал при этом с *Н.А. Бердяевым*, объявившим Р. врагом «самого Христа». Критик считал, что «удары “делу Христа”, наносимые натиском “собственного ума”, без должного изучения, не могут быть опасными никому, кроме разве того, кто их наносит» (PRO, 1, 320). В очередной раз Б. пояснил свое отношение к творчеству Р.: «Я очень почитаю и уважаю писания В.В. и в «Новом Времени», и в других органах, когда он пишет о том, что он хорошо изучил и хорошо понял, а не о том, чего он не изучил и чего не уразумел. Мало ли он на своем литературном веку делал весьма курьезных “прыжков” <...> сделал “прыжок” совсем в противоположную сторону и превратился из мнимого формального христианина в мнимого религиозного новатора с замашками комического отрицания перевираемого им учения Христа» (там же). В 1911 Р. от лица сотрудников «Нового Времени» составил поздравительный адрес Б., который был опубликован под названием «Пятьдесят лет служения русской литературе». В нем отмечалось: «Суждения его в запутанных иногда литературных делах и вопросах — всегда были разумны, просты и ясны. В.П. Буренин вообще являет прекрасную форму великорусского здравого смысла <...> крепко отстаивал русский *голос*, русскую *душу*, русский нрав в нашей литературе» (НВ. 1911. 24 нояб.; ТПРН, 311–312). Литературный портрет Б. составлен Р. в статье 1911 «Старый драбант», не помещенной в «Новом Времени» по этическим соображениям. Р. пояснил: «Не пошло п. ч. “не ловко”» (ОР РГБ. Ф. 249. Ед. хр. 12. Л. 381). «Это был европеец с головы до ног, корректный, старый, бодрый <...> И раз я спросил его: “Почему вы пишете так зло, когда “на осыяние” такой мягкий человек? Мне неловко признаться, но это правда — что единственный раз, когда я “задел был за живое” словами о себе в печати — это было от вас. Я ворочался в постели, и в уме клокотало бешеное: “Как он смел взять этот тон?” и высказать обо мне, о душе моей, такие житейски-низкие, т.е. унижающие не то предположения, не то факты, сплетение из действительности и придумывания, но, во всяком случае, — слова, в газете, в печати!! — Не знаю, батюшка <...> Мысли, как мысли, конечно текут и текут. Я очень забочусь, чтобы они были ясны и точны. Но ведь эти мысли я знаю в том тоне, в каком я читаю и перечитываю <...> и я совершенно не чувствую, чтобы это было обидно. От этого несовпадения моего слуха, когда я перечитываю, и того слуха с которым “виновный” — виноват, литератор — читает о себе у меня и происходит вся беда... или неприязнь <...> Мне показалось, однако, что глаза у него разные, или разны “выглядят” от каких-то морщинок на веках, и от разли-

цы в том, как над ними опущены брови: ближе к вам — добрый и ясный взгляд, глубоко спокойный и умиротворенный. Вы только его и видите, и сердце у вас спокойно и в высшей степени расположено к говорящему. Но вдруг вы замечаете, что вас сторожит другой его глаз, колкий и темный, даже угрюмый — и какое-то смущение и опасение овладевает вами. “Не дай Бог вон с тем глазом иметь дело” <...> Вы угрюмый человек, и, ей-ей, я вас тоже не люблю. Не люблю того вашего глаза. Что вы все лезете с “правдой” и “правдой”: кому нужна ваша “правда”? Вашу “правду 60-х годов” я за десять копеек на базаре куплю: вы дайте, напротив, забвения от “правды”, — поэзии, вымысла и немного чепухи» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 16–18. Гранки). В эпистолярном архиве Р. содержатся *письма* Б. по поводу проблем редактирования статей для *газеты* (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3877. Ед. хр. 3 а, б). Приложено письмо Б. к *А.С. Суворину* с возражением на помещение в газете публикации Р. о поэзии *М.А. Лохвицкой* («Каменная баба». — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211). Б. выступал на страницах «Нового Времени» с резкой критикой поэзии Лохвицкой, обвиняя ее в безнравственности (НВ. 1898. 20 февр.) и зло пародировал манеру стихотворного творчества поэтессы (НВ. 1904. 9 янв.).

А.В. Ломоносов

БУРНАКИН Анатолий Андреевич (ум. 15.10.1932, Белград) — критик, журналист, поэт. С осени 1910 сотрудник «Нового Времени» («там совершенного идиота Бурнакина втер Буренин», — писал Р. 9 января 1912 *Б.А. Грифцову*. — Наше наследие. 1989. № 6. С. 60), «Лукоморья», издатель *газеты* «Полдень» (август–декабрь 1914); в 1916 председатель литературно-художественного объединения «*Вешние Воды*», завсегдагатай домашних приемов у Р. в 1914–1916. После 1919 в эмиграции. В статье «На лекции о “славянском классицизме”» (НВ. 1916. 20 марта) Р. откликнулся на его публичные выступления о славянских древностях, признав, что «основные линии умственных построений г. Бурнакина, конечно, правильны» и «извод будущей русской культуры — в *Киеве*» (ВЧВ, 140). Р. одобрил подчеркиваемую Б. значимость «вещего бриллианта» отечественной культуры «*Слова о полку Игореве*», этого «двигателя жизни и духа», «возбудителя их». Но разрыв связи *времен* добавил ноту скепсиса в оценки программной речи Б.: «Вопрос лишь в сложности, лукавости, “грехе” и “падении”, нас и нашего <...> Идея и мечта “славянского классицизма” через это не падает, не опровергается, а лишь затрудняется в осуществлении, в реализации» (ВЧВ, 141). Б. высоко оценивал историческую значимость *книги* Р. «*Когда начальство ушло... 1905–1906 гг.*». В статье «Субботний слуга», направленной против *М. Горького*, Б. пишет: «И если и было что в *революции* доброго, вдохновенного, творческого, то дал это почувствовать вовсе не писатель “радикального лагеря”, а не кто иной, как “нововременец” В.В. Розанов. Его книга “Когда начальство ушло” — единственная, искренно и вдохновенно углубившаяся в *психологию* революции, в ее очарование и преобразовательный смысл» (Россия, 1912. 20 окт.). Б. отмечал отказ от сотрудничества с Р. либеральных изданий: «Странное какое-то положение занимает в *современной литературе* В.В. Розанов. Его почти не признают

так называемые либералы. Он у них под подозрением <...> Розанов обычно отрицается либеральной публикой. Позорная (в ее глазах) кличка “консерватор”, данная Розанову *Вл. Соловьёвым*, не отстает от него в *сознании* наших “левых”...» («Литературные портреты: В.В. Розанов» // Голос Москвы. 1912. 29 апр.). В письме к *А.А. Измайлову* Р. сообщил о своем желании просить Б. дать положительный отклик на поэтическое *творчество* Шульговского, которое сам Розанов резко критиковал ранее («сделал “каку” неумной рецензией» на книгу: Шульговский Н. Лучи и грезы. Стихи, поэмы и миниатюры (НВ. 1912. 11 апр.; ПВ). Р. сожалел впоследствии о своих поспешных выводах о поэте, которые нанесли ощутимый ущерб репутации Шульговского в книжном мире (РО ИРЛИ. Ф. 115. Ед. хр. 280. Л. 39). Судя по сохранившимся коротким *письмам* Б. к Р. 1912–1913, коллеги тесно общались *семьями*. 9 мая 1913 Б. извещал семью Р. о счастливом отдыхе в Батуме, рассеивая циркулировавшие в столице слухи: «На Кавказе совсем не страшно» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 381. Л. 2). Сохранились воспоминания *А.З. Штейнберга*, пришедшего в присутствии Б. на один из вечеров у Р. во время дела *Бейлиса* для выяснения позиции Р. по еврейскому вопросу: «Почему-то Бурнакин не нашел худшего порока в *евреях*, чем то, что еврейский адвокат Грузенберг брал большие *гонорары*. На это Василий Васильевич, несколько не стесняясь, заметил, что он и сам за гонорары. Это произвело на меня впечатление некоего откровения и как-то, совершенно произвольно и неожиданно, восстановило в моих глазах престиж Розанова». Позднее Штейнберг встретил на лекции юриста Л.И. Петражицкого приемную дочь Р., которая сказала: «Смотрите, вот Бурнакин, который вас страшно ненавидит. Он до сих пор считает, что евреи употребляют *кровь* христианских детей на *Пасху*; что, конечно, Бейлис убил *Андрюшу Ющинского*. Он не прекращает говорить, что вы нанесли обиду всему честному *Петербургу* тем, что пришли без всякого предупреждения так нахально обвинять нас во *лжи*. Ну как же не обидеться? Вот он вас и ненавидит. Он всегда приводит вас как пример еврейского нахальства» (Штейнберг А. Друзья моих ранних лет (1911–1928). Париж. 1991. С. 170–173). В начале марта 1916 Р. делает запись о разговоре с Б.: «Вчера Бурнакин и сегодня *Скворцов* рассказывали чудовищные *истории* о деньгах у “правых”» (ПЛ, 51). Б. был не чужд интерес Р. к теме *пола*, семьи и брачных отношений, что подчеркивают записи Р. (М, 310; ПЛ, 9)

А.В. Ломоносов

БУСЛАЕВ Федор Иванович [13(25).4.1818, Керенск, Пензенская губ. — 31.7.(12.8).1897, Люблино близ Москвы] — языковед, историк *литературы*. На склоне лет Р. вспоминал о своем учителе: «В мою пору лекции по истории *русской литературы* в *Московском университете* читали *Ф.И. Буслаев* и *Н.С. Тихонравов*, — два *ума* европейского чекана, европейского закала. Едва ли нужно говорить, что эти два ума если не вполне, то в значительной степени создали *науку* истории русской литературы. Т.е. не какое-то “мнение” и не кое-какие “компляции” в этой области, всегда наполнявшие и всегда волновавшие нашу журналистику, — а они бросили из ума своего, знакомого с историческим освещением всех

литератур Запада, огромный свет на происхождение и на историю русской словесности, устной, письменной, древней и новой» (ОПП, 585–586). Сравнивая Б. с новыми профессорами, Р. писал: «В дали моей юности какие это три столпа: Буслаев, *Ключевский*, Тихонравов. Самый рост их и вся фигура как-то достопримечательны и высокодостойны. Теперь я таких людей (фигурою) не вижу. Обыкновенные» (СХР, 261). В своей программной работе «Почему мы отказываемся от “наследства 60–70-х годов”?» Р. отметил роль *университетов* и таких профессоров, как Б.: «Только немногие старые профессора и спасли в нас идеализм к науке. Это были последние эпигоны людей 40-х годов, каких мы видели, которых мы никогда не забудем. “По-моему, где профессор — там и университет”, — сказал один из них, вышедший тогда почему-то в отставку (Буслаев)» (ЛВИ, 164). В «*Опавших листьях*» Р. утверждал: «Святые имена Буслаева и Тихонравова я чту. Но это не *шаблон* профессора, а “свое я”» (У, 185). К своему идеалу он относит Б.: «Буслаев в спокойной разумности и высокой человечности» (У, 173). Спокойный и благородный Б. отличался «от умов более едких, подвижных и мелочных. *Толстой*, Розанов, *Мережковский*, *Герцен* — уже не Буслаев, с его вечерним тихим закатом. Это — сумятица и буря, это — злость и нервы. Может быть, кое-что и замечательное. Но не спокойное, не ясное, не гармоничное» (У, 67). Прочитав воспоминания Б., печатавшиеся в «*Вестнике Европы*», Р. в «Открытом письме к г. *Алексею Веселовскому*» (РО. 1895. № 12) приводит рассказанную Б. историю с запрещением «*Философического письма*» *П.Я. Чаадаева*, которая особенно впечатлила Р.

А.Н.

БУТЯГИН Иван Павлович (о. Иоанн, 1854–1894) — брат первого мужа жены Р., настоятель *церкви* Калабинского детского приюта в *Ельце*. 5 июня 1891 он совершил в этой церкви тайное (без свидетелей и записи в церковной книге) венчание Р. с *В.Д. Бутягиной* при условии их отъезда из Ельца. Р. описал это венчание в «*Смертном*» и в сокращенном виде во втором коробе «*Опавших листьев*»: «— Пора, — сказала мамаша. И мы вышли в городской сад. На мне был черный сюртук и летнее пальто. Она в белом платье и сверху что-то. В начале июня. Экзамены кончились, и на *душе* никакой заботы. Будущее светло. *Солнце* было жаркое. Мы прогуливались по главной аллее, и уже сделали два тура, когда в “боковушке” Ивана Павловича отворилось окно, и, почти закрывая “зычной фигурой” все окно, он показался в нем. Он смеялся и кивнул. Через минуту он был с нами. Весь огромный, веселый. — И венцы, Иван Павлович? — Конечно! <...> Все было хорошо. Тихо. Он все громко произносил, за священника, за диакона и за певчих (читал) <...> И он сказал: — Помните, Василий Васильевич, что она не имеет, моя дорогая невестка (вдова его покойного брата), никакой другой опоры в *жизни*, кроме как в вас, в вашей *чести*, *любви* к ней и сбережении. И ваш долг перед *Богом* всегда беречь ее. Других защищает закон, люди. Она — одна, и у нее в *мире* только один вы. Поцелуйтесь. — Никогда этих слов ему, милому, не забуду. С этих пор он стал мне дорог и как бы родным. Он уже умер (поел редиски после тифа). Царство ему Небесное» (У, 387–388).

А.Н.

БУТЯГИН Михаил Павлович (1852–1885) — сын священника *П.Н. Бутягина*, первый муж *Варвары Дмитриевны Рудневой (Розановой)* (см. их свадебное фото в кн.: Николоюкин А. Розанов. М., 2001. С. 192–193). Р. всегда восхищался ее замечательной верностью Б. Она полюбила его, когда ей было 14 с половиной лет, и ее не могли поколебать ни родители, ни дядя архиепископ ярославский *Ионафан* (Иван Наумович Руднев). Они поженились, а когда Б. умер, оставив ее с двухлетней дочкой Александрой, она хранила верность его памяти, и, пишет Р., «я влюбился в эту любовь ее и в память к *человеку*, очень несчастному (болезнь, слепота), и с которым (бедность и болезнь) очень страдала. Ее рассказ “о их прошлом”, когда мы гуляли вечером около Введенской церкви, в *Ельце*, — тоже решил мою “судьбу”» (У, 372).

А.Н.

БУТЯГИН Павел Николаевич [ум. 9(22).10.1908, Елец] — отец *М.П. Бутягина*, первого мужа *В.Д. Рудневой*, во втором замуж. жены Р. Сын протоиерея, Б. окончил Орловскую духовную семинарию и с сентября 1843 преподавал в 1-м Орловском духовном училище. Переехав в *Елец*, был в 1846 рукоположен в священники Владимирской церкви, где прослужил 58 лет. Он жил с *семьей* в двухэтажном каменном доме напротив Владимирской церкви (ул. Старомосковская, ныне Маяковского, д. 43). С 1874 стал законоучителем в открывшейся женской гимназии. Как один из «отцов города» принимал участие в открытии мощей Тихона Задонского в 1861. Имел наперсный крест за Крымскую кампанию (пожалованный тогда священнослужителям). Горожане чтят память Б., и в 1907 в Ельце была открыта библиотека в его честь. У Б. была семья в восемь человек. Сын Тихон стал врачом в Москве, Константин выпускал в качестве главного редактора в 1914–1915 газету «Елецкий Вестник», Александр — елецкий адвокат, Иван — елецкий священник, тайно венчавший Р. с *В.Д. Бутягиной*.

А.Н.

БУТЯГИНА Александра Михайловна (июнь 1883, Елец — 20.12.1920, Сергиев, Московская губ.) — падчерица Р., дочь *В.Д. Бутягиной-Розановой* от первого брака с *М.П. Бутягиным*. В семье Р. ее называли Аля, Шура, Санюша. Когда Р. венчался с ее матерью, 7-летнюю Алю отослали в недалекий поселок Казаки к дяде. В *Петербурге* как старшая она занималась воспитанием детей Р. 2 мая 1905 она вместе с Р. приняла участие в обряде «приобщения кровью» в квартире *Н. Минского*, что дома вызвало скандал со стороны ее матери. Сблизившись со временем с левыми кругами, она в знак протеста и под влиянием священника *Ярослава Медведа*, имевшего тесное общение с *Григорием Распутиным*, в 1907, а потом 23 октября 1912 демонстративно ушла из дома и поселилась в квартире на Песочной улице с подругой *Натальей Вальман*, преподавательницей немецкого языка. В «*Смертном*» Р. писал о ней: «Она грустна и весела. Больна и все цветет. Домой она только захаживает: — Что, мамочка, лучше? О, да, конечно, лучше: ты сегодня можешь сидеть (т.е. не лежишь). Гораздо лучше... И, отвернувшись, ловила улыбку подруги где-нибудь наискось. — Ничего, мамочка, я приду! приду! Сегодня я спешу в Публичную (библ.). Прощай. Завтракать не буду. —

И уже дверь хлопнула. Она всегда была уходящей, или — мелькающей» (У, 386). Р. рассказывал, как у него был *обыск*, поскольку Аля позволила своей подруге-революционерке присылать нелегальные письма на ее адрес, а затем эта «подруга» сообщила полиции, чтобы



А.М. Бутягина (слева) и Надя Розанова

путем ареста Али вовлечь в «дело революции» и Р. (М, 8–11). В 1917 Аля осталась в революционном Петрограде и не поехала с семьей в *Сергиев Посад*. *К.И. Чуковский* упоминает о ней («Дневник. 1930–1969». М., 1994. С. 404). Похоронена она в *Черниговском скиту* (Сергиев Посад) рядом с *могилой Р.*

А.Н.

БУТЯГИНА В.Д. — см. «Друг».

БУХАРЕВ Александр Матвеевич [в монашестве архимандрит Феодор; 22.7(2.8).1822, Федоровское, Корчевский уезд, Тверская губ. — 2(14).4.1871, Переславль-Залесский] — богослов. Р. с личностью и драматической судьбой Б., вынужденного из-за нежелания отказаться от своих взглядов и богословских трудов сложить с себя монашеский сан, познакомил протоиерей *А.П. Устьинский* в своих письмах к нему в 1898 (опубликованных Р. в работе «Брак и христианство. Моя переписка с православным священником». — РГ. 1899. № 47–52). О. Александр Устьинский несколько раз рекомендовал Р. ознакомиться с трудами незаслуженно забытого в то время богослова, «светлая личность» и «чудные, неподражае-

мые идеи» которого давно увлекли о. Александра. Устьинский считал, что главная мысль Б., «о необходимости благодать и истину Христову распространять на все стороны, во все слои человеческой жизни» переключается как с исканиями самого Р. в области семейного христианства, так и общей тенденцией рубежа веков к росту религиозных настроений среди *интеллигенции*. Р. из-за занятости не обратился немедленно к сочинениям Б., но опубликованная им переписка с о. Александром положила начало возобновлению интереса к оригинальному мыслителю. В 1902 Р. написал о Б. статью «Интересный эпизод нашей умственной жизни» (НВ. 1902. 12 и 17 дек.; перепечатана под названием «Аскоченский и архим. Феодор Бухарев» в ОЦС). Р. остановился в этой работе на полемике молодого, горячо верующего и младенчески чистого монаха-архимандрита, «каким-то чудом занесенного в наш век аскета-созерцателя века VI или IX века христианства» (ОЦС, 247), с циничным и злобным издателем журнала «Духовная Беседа» В.И. Аскоченским, воссоздав на этом контрасте образ «одного из светозарнейших явлений нашей богословской мысли за XIX век» (ОЦС, 245). Вдова богослова, А.С. Бухарева благодарила Р. за то, что он окружил его образ «таким сиянием, как образ человека с чистой и пламенной верой, — но за такую веру и пострадавшего» (ОЦС, 254). А.П. Устьинский, благодаря Р. за статью, прямо связывал идеи Б. с деятельностью «Нового Пути»: «О, как горячо я благодарю вас за статью о Бухареве <...> Пора перед всей *Россией* помянуть первого пионера у нас прививки христианских начал жизни к обычной мирской среде. Бухарев поистине послужил *корнем* этого направления религиозного сознания, которое на наших глазах разрешилось в «Новый Путь» И если много есть и будет людей, сочувствующих «Новому Пути», то все они тем самым будут уже друзьями и поклонниками и Бухарева». Однако хотя Б. действительно оказал влияние на идеи «новохристиан», многое в сочинениях «богоискателей»-декадентов «Нового Пути» было бы о. Феодору — аскету и подвижнику — совершенно чуждо: причину всех трагических духовных противоречий современности он видел в отступлении от истины *православия*, в недостатке сердечной веры, а не в будто бы неразрешимых противоречиях Ветхого и Нового Завета или в равнодушии *Церкви* к проблемам *пола* из-за засилия в ней *аскетизма*, как утверждал, например, Р. Более того, обновленческий или даже еретический (по мнению о. *Иоанна Кронштадтского*) пафос РФС и «Нового пути», объявлявших себя идейными наследниками Б., усиливал недоверие к мыслителю в церковных кругах. Р. впоследствии не раз возвращался к личности Б. В статье «К возрождению *духовенства*» (НВ. 1905. 17 марта) Р. отметил наличие среди «имеющих суждения» в *Церкви* различных тенденций и олицетворяющих их фигур, «благословляющих народ и народы в совершенно разные пути» — таких, как Б. и митрополит *Филарет, Н.П. Гиляров-Платонов* и В.И. Аскоченский. В другой статье Р. подчеркнул сходство благородного, возвышенного образа богослова, как и самого глубоко религиозного духа его сочинений, с известнейшими носителями православной святости: «Когда приходилось читать мне выдержки из трудов или очерк жизни покойного о. Федора Бухарева, я все думал: «На кого это похоже? На кого-то ведь похоже!» Да по-

хоже, я думаю, и на странного жителя лесов *Серафима Саровского*, и на *Амвросия Оптинского!* а еще, пожалуй, больше похоже на Алексея Божия человека» («Русское сектанство, как три колорита русской церковности» // НВ. 1905. 30 авг.). Р. считал Б. одним из главных вдох-



А.М. Бухарев

новителей религиозного подъема среди интеллигенции на рубеже веков, вылившегося в «русское религиозное Возрождение». В статье «*Религиозно-философские собрания в Петербурге*» (РС. 1907. 17 нояб.) он утверждал, что Б., выдвинувший «священнический идеал в противоположность монашескому идеалу», «является родоначальником всего последующего обновительного движения». По мнению Р., к его идеям восходят даже *темы* РФС — «например, темы о христианской общественности, о религиозном освящении плоти, вращаются в рамках, естественно уже наметившихся у Бухарева. Бухарев спросил: «А мир? Может ли быть также и мир церковным?» <...> Из вопроса этого вытекают и все рассуждения, например, *Мережковского* и *Розанова*» (ОНД, 254). В 1911 по случаю сорокалетия со дня кончины полузабытого мыслителя Р. снова напомнил о значении Б. для русской религиозно-философской мысли. В статье «Об одном забытом человеке (Пропущенный юбилей)» (НВ. 1911. 22 апр.) он писал: «Это была выдающаяся личность в Русской Церкви, в русском обществе, в истории русской мысли» (Архим. Феодор (А.М. Бухарев): Pro et contra. СПб., 1997. С. 549). Р. подчеркивал, что «мысль о необходимости благодать и истину Христову распространять на все стороны, во все слои человеческой жизни, семейной, общественной, политической», известную

теперь из сочинений *Вл. С. Соловьёва* или *Н.Н. Неплюева*, первым провозгласил Б. «Архим. Феодор поистине послужил тем “упавшим на землю” и потому, конечно, ото всех забытым зерном, из которого на самом деле выросло все современное нам пророческое направление русской мысли...» (Там же, 550). *О. Павел Флоренский* в неоконченном труде о Б. писал, что «проблема оправдания Мира перед Богом, а для этого — освящения и преобразования плоти Мира, всегда занимала русскую мысль» и что центральной фигурой религиозно-философских движений, «отчетливо поставивших своею основою вопрос об освящении Мира и систематически разрабатывающих это основное задание русского духа, конечно, должно признать архимандрита Феодора Бухарева, признанного вождя и наставника нескольких поколений <...> Все то, о чем волновались и *Соловьёв* с *Достоевским*, и *Федоров*, и отчасти *Толстой*, и *Мережковский*, и *Розанов* <...> заострены у Бухарева и “сведены в перво-вопрос”» (Там же, 587).

В.А. Фатеев

БЮХНЕР (Vьchner) Людвиг (29.9.1824, Дармштадт — 1.5.1899, там же) — немецкий естествоиспытатель и философ. О годах, проведенных в *Симбирской гимназии*,

Р. вспоминал: «Готовили из нас полицеймейстеров, а приготовили конспираторов; делали попов, выделяли Бюхнеров; надеялись увидеть смиреннейших Акакиев Акакиевичей, “исполнительных и аккуратных”, а увидели бурю и молнии...» (ОНД, 180). Р. пишет, что «христианство было оплевано *Молешотом*, *Фейербахом* и Бюхнером» (М, 187). «Пошли Бюхнеры, *Спенсеры*, с их мыслью: “В природе нет Бога”» (СХ, 37). И отсюда вывод в «*Опавших листьях*»: «Неужели *Пушкин* виноват, что *Писарев* “его не читал” И *Церковь* виновата, что Бюхнер и Молешотт “ее не понимали”, и *христианство* виновато, что болтаем “мы”» (У, 313). Б., считает Р., мог «философствовать без души» (КНУ, 571). Поэтому «быстрое утверждение в *Европе* дарвинизма и легкую победу идей Бюхнера и Молешотта» Р. относит к «господству всякого рода ограниченности и пошлости» (ЛИ, 265). Общий итог Р. подводит в 1914: «*Германия Бисмарка*, верящая не в Бога, а “в свой кулак”, только повторяет и осуществляет умственную Германию времен Молешотта и Бюхнера, *Фейербаха* и *Макса Штирнера*, поверившего в свой замечательный “мозг”, в тот мозг, который, по образному выражению толстобрюхого *Карла Фохта*, “выделяет мысль не иначе, как почки выделяют урину”» (ПЛ, 316).

А.Н.

В

ВАЛЬМАН Наталья Аркадьевна — подруга *А.М. Бу-тягиной* (Али), преподавательница немецкого языка у детей Р. Летом 1913 дети Р. с А.М. Бутягиной, няней *Д.В. Алёшинцевой* и В. отдыхали в *Сергиевом Посаде*, где *П.А. Флоренский* подыскал им дачу в *Вифании*, в трех верстах от города. *Н.В. Розанова* вспоминает: «Наташа Вальман своим нигилистическим видом наводила страх на сергиевских жителей. Она была стриженная и походила на переодетого мужчину. Когда по дороге встречали мы богомольцев, они крестились и ахали. Ее принимали за антихриста» (НТ, 102). Отношение к В. было в семье Р. настороженное, особенно после того как 23 октября 1912 она увела Алю жить к себе и сблизилась с левыми крутами, осуждавшими консервативную позицию Р. Когда Аля умерла, В., забрав все ее рукописи, уехала из Сергиева. *Т.В. Розанова* вспоминает, что у Али «было написано несколько рассказов, которые были некогда напечатаны в «Русской Мысли» — «Вечернее», «Безликое» (из жизни в *Ельце*) и «Сиреневое платье» (последний рассказ в духе *Мопассана*). У Али еще был написан большой роман о жизни художника, в нем было описано самоубийство девушки, как бы в предчувствии смерти сестры Веры. Я этот роман не читала — он еще не был напечатан. Теперь я так раскаиваюсь, что отдала эти рукописи Наталье Аркадьевне. Они, наверное, пропали. Наталья Аркадьевна снова вернулась к нам уже в 1938 году, но ее не удалось прописать, и она уехала. Она была какая-то странная, в ней было что-то очень неприятное, и я уже была рада, что она уехала. Про рукописи сестры она молчала, мы не спрашивали... боялись, что она будет нам что-нибудь лгать и задержится у нас. Больше я ее не видела, а сестре Наде она писала дикие письма, сестра ей не ответила <...> Я с печалью вспоминаю о ее жизни у нас. Папа с мамой ее очень не любили и еле терпели; с нами она была хороша, но старалась нас отдалить от родителей и скептически к ним относилась. Она вносила раздвоение в нашу семью, и было много в этом горечи, но в ученье она нам помогала, и сестра Аля ее любила» (ТР, 120–121). Р. характеризовал В. в письме к *П. Флоренскому* 30 апреля 1916 (АФ).

А.Н.

ВАСИЛИЙ (Всеволод Лузин; 1847 — после 1913) — архимандрит, член Петербургского духовно-цензурного комитета в Александро-Невской лавре, слушатель *Религиозно-философских собраний* (РФС). В. проявлял интерес к идеям Р. с момента первых заседаний Петербургских

РФС (1901–1903), «где Вас неоднократно слушал и проникся уважением к Вам» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4214. Ед. хр. 5. Л. 2). В. следил за статьями писателя в «*Новом Времени*», приобретал издания его сочинений и утверждал: «Во многом мой разум и мое сердце согласен и сочувствует Вам, но не во всем» (там же). В первом письме 1913 содержался отзыв на статью Р. «Об одном приеме защиты еврейства» (НВ. 1913. 16 окт.; СХР). Соглашаясь с Р., что в православной традиции «евреи (или) жиды отвергнуты», В. недоумевал по поводу современной литературической практики *православия*: «По теории они как бы не существуют, но форма и практика чуть не сплошь проникнуты образами и обрядами и формами ветхозаветными. Церковь наша развилась, окрепла и закаменела на этих формах, до них нельзя дотронуться, на них наложено табу, иначе основы поколеблются». В. предпринимал попытки заявить о своих взглядах на страницах журнала «*Новый Путь*», но статьи не были напечатаны.

А.В. Ломоносов

ВАСИЛЬЕВ Афанасий Васильевич [9(21).1.1851, Белгород — 30/31.5.1929, Белград] — публицист, издатель и общественный деятель, один из ведущих представителей кружка петербургских «поздних» славянофилов во главе с *Т.И. Филипповым*, генерал-контролер Департамента железнодорожной отчетности *Государственного контроля* в 1893–1897, непосредственный начальник Р. по службе. После переезда в *Петербург* Р. по рекомендации *И.Ф. Романова-Рцы* поселился в «гнезде славянофилов», т.е. в том же доме (Павловская, 2), где жили и сам Романов, и В. Члены кружка часто собирались для беседы. Однако уже вскоре Р. стал тяготиться этими малосодержательными встречами. 15 мая 1893, вскоре после приезда Р. в Петербург, *Н.Н. Страхов* упрекает его в письме: «Или вы меня знать не хотите, или уж очень погрузились в писание <...> Мы совсем не видимся» (ЛИ, 124). Р. в комментарии при издании переписки рассказывает о, казалось бы, нелепой и почти комической причине своей «занятости»: «“Не виделись”, потому что один славянофил с длинной бородой все звал к себе: а у меня (сейчас после переезда) шла уборка книг, т.е. расстановка их по полкам в “классификации” И вот книги лежат на полу, все — в рядах, я запыхался и дорога каждая минута: как опять зов от славянофила. А он был начальник и “не иди” — неловко. И вот иду. И сидим друг с другом, нос к носу, сопим. Слова не лезут, мысль не лезет никакая. “Ну, что же, братушки, — и, конечно,

великолепно” “Православие и русские песни” — и опять прекрасно. Но что же далее? Так сопим часов до десяти вечера. Встаю, пытаюсь начать прощаться. “Посидите еще” Опять сажусь. Опять ни слова. Не о чем говорить. Он был единственный пример совершенно неразвитого славянофила, какого я за *жизнь* встретил; а очень высокопоставлен <...> Завтра утром — на службу. Обед. Сон. Но как коварный вечерний час — опять зов от славянофила: “посидеть” (там же). С генерал-контролером, «ходившем в армяке и мурмолке, сочинявшим стихи и прозу в память *Хомякова*», как и с другими членами филипповского кружка (кроме Романова-Рцы), у Р не получается интересной беседы — «речь не плетется». И, по его словам, они «прямо ненавидят одного только Розанова» за то, что «он скучает с ними» (Литературная учеба. 1990. № 1. С. 78). В свое оправдание Р. заявляет: «Но я бы пожелал видеть *человека*, у которого “плелась бы речь” с Афанасьем» (там же). Низкого мнения был Р. и о внешне весьма представительных, в духе ранних славянофилов, *трудах* В. Нередко в письмах и даже в печати Р называл В. пренебрежительно — «Афонька». В 1897 Р. перессорился со славянофилами и прекратил активное общение с кружком: «До чего я рад, что развязался — воспользовавшись предлогом — со знакомством здешних неославянофилов, Васильева, *Шаранова*, *Н. Аксакова*, Романова (Рцы). До чего чище стала атмосфера; как легче дышится; как успокоился мой ум только от того, что я “не беседую” с этими “собеседователями” “Благовеста”, “Русской Беседы” и “Русского Труда” Они давили меня кошмаром своего либерального православия, своего конституционного “народничества”, этого удивительного “богословия” (у Н. Аксакова), которое мирилось и даже почти требовало в Пасху проспаться заутреню, а в день Ангела — немножко напиться, а главное, “ради службы”, “для пользы службы”, как говорится в формулярах, оставить дома одну жену есть пирог и побегать к начальству есть более вкусный “по долгу службы” пирог. Мало кто знает, что всё мое консервативное бешенство в Петербурге вытекло из этих гнусных “беседований” с “собеседователями” (на кои меня Васильев уже как подчиненного не столько звал, сколько требовал), где каждое слово их, самый *голос*, самая повадка говорить, важно барская, точно впрыскивала мне сулему или мышьяк в мозг» (ПР. 1897. Сент.—окт. № 18). В крайне негативных оценках Р., видимо, немалую роль играл и элемент раздражения от вынужденности общения. Он писал *С.А. Рачинскому* чуть позже: «Я Вам напрасно раньше много худого писал о Васильеве; и жалко об этом: тут захворали соседские *дети* (Романовы), и *семья* Васильева обнаружила много доброты, вообще человеческого, т.ч. меня тронуло. Меня поразила раньше невообразимая хаотичность этой *семьи*, т.ч. я просто бывать там не мог, а они вечно звали, и к “начальству” нельзя было “совсем” не ходить, хотя я избегал всеми способами и под всякими предложениями бывать. Полон дом народу (масса сыновей и дочерей взрослых) — и никто палец о палец не ударит; ни чулка (вязанье), ни *книги*; пляс, балалайка (любитель “народного творчества”), наряды; бесперывное и глупое вранье; недоброжелательность бездарных людей ко всему, что не унижено и не хочет быть унижено, чудовишные манеры. Но вот Романовым они послали incognito 25 р., справляются

каждый день о болезни (скарлатина), и вообще хоть грубые, но люди. Стыжусь, что раньше Вам писал — прости меня *Бог*» (ПР. 1896. Сент.—окт. № 18). Тем не менее Р. высказывал отрицательное мнение о В. и позже. *С.П. Каблуков* приводит в «Дневнике» за 1909 со слов Р. еще один подобный пример неподобающего поведения В.: «У подчиненного своего Ник. Петр. Аксакова <...> придя на именины <...> “Афонька” разлегся на диване и положил ноги на стол (буквально!). А когда пришло *время* обедать, увел Н.П. Аксакова к себе, не пригласив жены его, хотя и были именины мужа. Последний пошел. Вот пример хамства и лакейства!» (PRO, 1, 220). В «*Опавших листьях*» Р. писал: «Удивительна все-таки непроницательность нашей критики... Я добр или, по крайней мере, совершенно не злобен. Даже *лица*, причинившие мне неисчерпаемое страдание и унижение, — Афонька и Тертый, — не возбуждают во мне собственно злобы, а только смешное и “не желаю смотреть” Но никогда не “играла мысль” о их *страдании*» (У, 237).

В.А. Фатеев

ВАСНЕЦОВ Виктор Михайлович [3(15).5.1848, село Лопьял, Вятская губ. — 23.7.1926, Москва] — художник. Р. писал: «Не должно забывать, что к числу коренных москвичей принадлежит и В. Васнецов, давший такое богатое и неожиданное движение русской живописи» (СХ, 164). Он отмечал, что «есть единство *крови*» «в “Богатырях” и в Васнецове, их изобразившем» (СХ, 52). Р. обратил внимание на рисунки В.: «Если в *душе* художника есть мистическая глубина, пусть он не боится выносить ее в народ. Рисунки г. Васнецова, так часто мистически-сложные, могли бы приковать величайшее внимание народа, стать источником сложных размышлений. Все это — благо к благу» (СХ, 165). В рецензии на *книгу В. Дедлова* «Киевский Владимирский собор и его художественные творцы» (НВ. 1901. 19 сент.), говоря об участниках росписи собора, в том числе и В., Р. сетует, что из сцен святой библейской *семьи* «ни одна!!!» не попала на стены Владимирского собора!!! Разве же это не односторонность? Я благоговею перед работами Котарбинского, Васнецова, *Нестерова*, Сведомского, но оспорят ли они, что я имею причину для упрека как жаждущий религиозного научения *человек*?» (СХ, 186). В статье о «*Бабах*» *Ф.А. Малявина* Р. сравнивает картину Малявина с васнецовскими «Богатырями»: «И от этих трех баб пойдет потом вся Русь, — родятся “Богатыри” Васнецова, как нечто позднейшее и благообразное. “Богатыри” перед “Бабами” — это уже *чиновники*, в мундире лат, шлема, все “по богатырской форме”, — “как принято у богатырей”. Да, *талант* истинный или истинно удачное произведение поражает и захватывает вас» (СХ, 213). В статье о М.В. Нестерове Р. сопоставляет двух художников: «О Нестерове и о Васнецове можно сказать, что они оба изменили характер “православной русской живописи”, внося в ее эпические тихие воды струю *музыки*, лирики и личного начала. “Суть”-то *Православия* они бесконечно возлюбили: но “суть”-то эту они и бесконечно изменили» (СХ, 257). В сентябре 1911 в связи с убийством *П.А. Столыпина* Р. побывал в *Киеве* и посетил описанный им десятилетием ранее Владимирский собор, расписанный главным образом «пламенным Васнецовым», о котором, по воспоминаниям

Р., Нестеров говорил, что он «весь горяч, страстен, полон внутреннего спора, гнева... против “новшеств” (политических, культурных)» (ТПРН, 244).

А.Н.

ВВЕДЕНСКИЙ Александр Иванович [19(31).3.1856, Тамбов — 7.3.1925, Ленинград] — профессор философии (с 1890) и заведующий кафедрой Петербургского университета, преподаватель Высших женских курсов (1889–1918), председатель Петербургского философского общества (с 1899). Автор писем к Р. 1908, 1910, 1912. В письме к Р. от 11 декабря 1908 выражается благодарность за разрешение использовать его перевод «Метафизики» Аристотеля для последующей работы переводчиков указанного сочинения. В письме от 30 сентября 1910 содержится просьба В. дать точное указание, в какой статье Р. заявлял, что в Евангелии нет ни слова против многоженства (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3823. Ед. хр. 3). В работах Р. образ В. использовался как символ официальной академической философской школы.

А.В. Ломоносов

ВВЕДЕНСКИЙ Алексей Иванович [псевдоним Басаргин; 14(26).5.1861, Серпухов, Московская губ. — 23.2(8.3).1913, Москва] — профессор и заведующий кафедрами истории, философии, затем систематической философии и логики Московской духовной академии, редактор «Душеполезного Чтения». В. принадлежит введение в оборот термина «новое религиозное сознание, или неохристианство», что отмечал Р. в статье «Бердяев о религиозных исканиях Мережковского» (К. 1916. 30 сент.; ЛВИ, 626). В полемическом ответе А. Басаргину Р. отстаивал позицию журнала «Новый Путь» от его нападок в «Московских Ведомостях», оценив выступление критика, как «единственное, что заслуживало бы ответа из бездны шумных отзывов печати, какими был встречен “Нов. Путь”» («Серьезный критик» // НП. 1903. № 4. С. 109). Суть спора заключалась в обсуждении проблемы «о начале индивидуальной органической (а вместе и духовной, конечно) жизни на земле» (Там же, 110). В 1904 Р. использовал статьи В., где тот доказывал, «что русский народ куда выше стоит западных народов» (ОЦС, 209–210). В феврале–марте 1904 В. продолжил в «Московских Ведомостях» цикл аналитических обзоров основных идей Религиозно-философских собраний (РФС) на страницах «Нового Пути». В статье «Ахиллесова пята» в числе основных обвинений в адрес Р. и других богоискателей выдвигались методологические приемы построения их концепций: «Отрывочные мысли, метафоры и образы всплывают и тонут на зыбкой поверхности “настроений” и не дают себя уловить. Никак не доберешься, чего собственно хотят наши богословствующие декаденты и чего они не хотят, во что веруют и что отрицают» (МВ. 1904. 21 февр.). В статье «Поло-пантеизм г. Розанова» В. отказывается от сравнения Р. с Ф. Ницше, правда, не выдвигая прямой аргументации: «В известном смысле его скорее можно, пожалуй, назвать антиницшеанцем» (МВ. 1904. 8 марта). На основе «важнейших литературных трудов г. Розанова» — «В мире неясного и нерешенного» и «Семейный вопрос в России» — В. анализирует розановскую теорию пола. По его убеждению, «герой этой своеобразной “трагедии веры” духовно со-

вершенно одинок, так как стоит в сознательной, а иногда и весьма резко выраженной оппозиции к “историческому” христианству и Церкви <...> Он близко, порою уже слишком близко, подходит к безднам язычества, вот-вот готовым поглотить его». Но, несмотря на это, по убеждению В., «он все еще страстно ищет веры и цепко держится <...> за “Лик Христов”» (там же). В. предлагает свой метод критического исследования богоискательства Р. «Указать на эти опасные возможности, поставив случайное и детальное на фон основного и общего <...> В этой систематизации воззрений г. Розанова, с философских точек зрения, и будет состоять наша критика их» (там же). Сопоставляя апелляции Р. к языческим культам с проповедью о язычниках апостола Павла, В. заключает, что «богословский радикализм основной точки зрения г. Розанова» прямо противоположен точке зрения апостола Павла. Что апостол считает «мерзостью, достойною Божеской кары, то у г. Розанова оказывается чуть ли не царским путем к истине» (там же). Саму систему Р. богослов определяет как «поло-пантеизм». Итоги диспута на РФС между Р. и Н.М. Минским по вопросу о девстве и браке В. оценивает в статье «О “двуединстве добра”». Выдвигаемой на РФС жесткой дилемме или брак, или девство В. противопоставляет позицию епископа Сергия (Страгородского): «Основной принцип христианской жизни осуществляется отнюдь не в браке и в девстве, как таковых, но является прямым непосредственным осуществлением заповеди: “возлюби Господа всем сердцем твоим” <...> В христианстве важна не отрицательная свобода от плоти, а сила духовной победы человека над грехом» (там же). В. призвал не к противоборству и взаимоисключению идеалов девства и брака, а к миру и гармонии и «многостепенности восхождения» к общему для всех верховному идеалу. В заключительной статье цикла «Религиозное “обновление” наших дней» (МВ. 1904. 27 марта) В. перечислил и систематизировал основные черты богоискательства: хаотичность, притязания на учительство и «свободолюбие; у одних переходящее в проповедь онанизма, у других — в проповедь адогматизма», поверхностный оптимизм, спутанность представлений о конце мира и эротический пантеизм. Р. полемизировал с В. в статье «Поминки по славянофильстве и славянофилах» (НВ. 1904. 21 мая) в вопросе о приоритетах формы и совести. В. утверждал: «Старые народы, народы рассудка, стоят за форму <...> она включает по их взгляду, произвол <...> Народы молодые, народы чувства стоят за совесть: она отступает от правила, но зато прислушивается к голосу человеческой души (А если не прислушивается? — В.Р.). Формула коренится в компромиссе, т.е. в силе; совесть отражает в себе безусловное, божественное веление. Формула есть стена и ограда фарисеев; совесть — истинная арена человеческой души, христианского верования, христианской любви» (ЛВИ, 452). Р. возражал, ссылаясь на трагические эпизоды отечественной истории, в которых формальная сторона предавалась забвению: «Во-первых, в русской истории было не только “неразумие форм”, но между прочим и “неразумие” хорошего пороха в Крымскую войну, и дальнобойных ружей в минувшую турецкую <...> Хорошо было Хомякову в своей деревне, Басаргину — в “Моск. Вед.”, а вот обывателю нашему нужна и конка, и лекарь, и окружной суд и пр.». Идеи В. о забве-

нии форм «навевают мечты какого-то золотого века <...> проповедуют какой-то пастушеский быт среди фабричного производства и удушливой канцелярии. Они возвращают к моральной анархии, когда мы живем в имморальности <...> есть доля ханжества и хитрости: но есть и доля искреннего, мечта, слезы (увы, это смешивается иногда)» (ЛВИ, 452–453, 454). В письме В. к Р. (б.д.) выражена благодарность за присланную книгу Р. «Около церковных стен» и высокая оценка его публицистической деятельности: «Я ценю в Вашей деятельности сократовское, то есть того “овода”, который в продолжение десятка лет неутомимо будил — и разбудил! — нашу, в частности “около церковных стен” и в самих стенах, спавшую мысль» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3823. Ед. хр. 4. Л. 1). Там же содержится отказ В. прислать свои труды: «Их пока нету, то есть нет в собрании <...> Маленькие брошюры я не считаю достойными Вашего внимания» (Там же. Л. 2). Нередко авторитет имени В. использовался Р. для подкрепления своих тезисов в печати. Так, Р. указывал на правильность точки зрения «в пункте указания на недовершенство, недоделанность всей нашей богословской системы, <что также> признавал на великом диспуте известный по многочисленным своим ученым трудам проф. Московский духовной академии Алексей Введенский <...> т.е. человек охранительного образа мыслей» («Перед созывом Церковного Собора» // НВ. 1905. 4 дек.). Отмечалось также наблюдение В. о возрождающей роли самого прикосновения к теме пола: «У всех работающих над этою темою <пола> возвращается детскость настроения <...> Г-н Басаргин <...> не мог не заметить: “У них царствует веселье, оптимизм и надежды”» (ВДЯ, 253).

А.В. Ломоносов

ВВЕДЕНСКИЙ Дмитрий Иванович [8(20).2.1873, село Новое, Клинский уезд, Московская губ. — 7.7.1954, Горький] — профессор библейской истории Московской духовной академии. В. написал 6 января 1915 Р. письмо, сопровождавшее собственную книгу «Патриарх Иосиф и Египет: Опыт соглашения данных Библии и египтологии» (Сергиев Посад, 1914) (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4215. Ед. хр. 4). Р. откликнулся на нее рецензией, в которой с восхищением отозвался о передаче в иллюстрациях книги неизвестных ранее изображений древне-египетского искусства, «где египтяне выразили весь свой таинственный трепет перед животными, перед растениями и перед Солнцем, побудивший их назвать все это своими “богами” <...> “утроба мира” и “кровь мира” нигде так не раскрыта, не разъяснена, не обмыта “богомольно” и “целуючись”, как у этих младенцев всемирной истории и в то же время древнейших людей нашей планеты». Не обошлось и без критического замечания в адрес В.: «Нельзя не сказать упрек проф. Д.И. Введенскому за то, что он допустил себя подробнейшим образом излагать и подробнейшим образом критиковать гипотезу германских ученых о том, что рассказ Библии о попытке жены Пентефрия соблазнить юношу-раба Иосифа есть перенесение в Библию египетского “Рассказа о двух братьях”, где жена старшего брата соблазняется красотой и юношью младшего брата своего мужа, пасшего у него стада <...> Эту германскую гипотезу можно назвать только “ученою истерикою”, — жаром во что бы то ни

стало изобрести, отличиться и удивить...» («Введенский Д.И. “Патриарх Иосиф и Египет”» // НВ. 1915. 26 мая; НФП, 466).

А.В. Ломоносов

ВЕЙНБЕРГ Петр Исаевич [16(28).6.1831, Николаев — 3(16).7.1908, Петербург] — поэт, переводчик, историк литературы, профессор истории всеобщей литературы Петербургского университета и Высших женских курсов. В. служил в Литературном фонде, в который Р. направлял запрос о возможности оплаты билетов для жены на совместный их проезд для ее лечения на Кавказских водах (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3877. Ед. хр. 2). В 1913 Р. использовал имя В. как пример изменения национальных ориентиров в литературном процессе России: «Еще 20 лет назад, когда я начинал литературную деятельность, “еврей в литературе” был что-то незнательное. Незначительное до того, что его никто не видел, никто о нем не знал. Казалось — его нет. Был только один, одинокий Петр Исаевич Вейнберг, переводчик и автор стихотворений, подписанных “Гейне из Тамбова” Только 20 лет прошло: и “еврей в литературе” есть сила, с которою никто не умеет справиться» (СХР, 65).

А.В. Ломоносов

ВЕЙНБЕРГ Яков Игнатьевич (1824–1896) — педагог, географ и метеоролог, автор книги «Лес. Значение его в природе и меры к его сохранению» (М., 1884), упомянутой Р. в помете к письмам В.: «Вейнберг Як. Игн. окружной инспектор Моск. уч. окр., прелестный» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 98). Автор письма к Р. от 22 декабря 1892, присланного в ответ на приветствие В. по случаю 40-летнего юбилея служебной деятельности В. (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3877. Ед. хр. 1). Несмотря на сложные отношения по службе, Р. очень тепло отзывался о нем: «Милый Яков Игнатьевич Вейнберг, добряк-крикун, — окружной инспектор Московского округа, управлявший (за выездом главного начальства, — которого всего он был образованнее) округом» (ЛИ, 97) и инспектировавший Брянскую прогимназию во время преподавательской работы в ней Р. В. в письме с благодарностью отметил доброту воспоминаний Р., невзирая на жесткую критику его в пору своего начальствования: «Скорее я мог ожидать неприязненного о себе воспоминания: сами же говорите, как я тогда в Брянске ворчал и, как говорится, я тогда распушил всех» (там же).

А.В. Ломоносов

ВЕЙНИНГЕР (Weininger) Отто [3.4.1880, Вена — 4.10.1903, там же] — австрийский философ и писатель. В 1909 вышел русский перевод его книги «Пол и характер» (1903), где мужское начало противопоставлялось «низшему женскому». Р. с этим согласиться не мог и писал в «Сахарне», что «шум» В. сделал «еврейские всесветные журналисты» (СХР, 248). Развернутую оценку взглядов В. он дал в «Опавших листьях»: «На каждой странице Вейнингера слышится крик: “Я люблю мужчин!” — “Ну что же: ты — содомит” И на этом можно закрыть книгу <...> Женским глазом он уловил тысячи доতোле незаметных подробностей; даже заметил, что «кормление ребенка возбуждает женщину». (Отсюда, собственно, и происходит вечное “перекармливание”

кормилицами и матерями и последующее заболевание у младенцев желудка, с которым “нет sprawy”). — Фу, какая баба! — Точно ты сам кормил ребенка или хотел его выкормить! “Женщина бесконечно благодарна мужчине за совокупление, и когда в нее втекает мужское семя, то это — кульминационная точка ее существования” Это он не повторяет, а твердит в своей книге. Можно погрозить пальчиком: “Не выдавай тайны, баба! Скрой тщательнее свои грезы!!” Он говорит о всех женщинах, как бы они были все его соперницами, — с этим же раздражением. Но женщины великодушнее. Имея каждая своего верного мужа, они нимало не претендуют на уличных самцов и оставляют на долю Вейнингера совершенно достаточно брюк» (У, 98). Взглядов В. касается Р. и в книге «В темных религиозных лучах». Он приводит мнение «Анонима» (П.А. Флоренского), который пишет о сходстве теории «колеблющихся напряжений в поле» у Р. и В.: «Ваша схема, выраженная рядом положительных убывающих величин, переходящих в “0” и затем в ряд возрастающих отрицательных величин (самочность и содомия), — недостаточна, как недостаточна и родственная ей схема Вейнингера (М + Ж = 1). Мбжет быть текучее, промежуточное состояние пола — то, которое вы описываете и которым занимается Вейнингер, а мбжет быть и состояние высшей мощи и “+” и “-” Это для рассудка, быть может, вздор, но “невозможно... несомненно...”» (ВТРЛ, 395–396).

А.Н.

ВЕЛИЧКО Василий Львович [2(14).7.1860, г. Прилуки, Полтавская губ. — 31.12.1903(13.1.1904), Петербург] — поэт, публицист и издатель, секретарь редакции «Московских Ведомостей», редактор «Русского Вестника», частый гость Р. в конце 90-х XIX в. К письмам В. в 1914 Р. приложил его *характеристику*: «Василий Львович Величко — друг Влад. Соловьёва, армяно-ед» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 83). Р. передал в 1914 три письма В. к нему 1900–1903 в архив Румянцевского музея (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3823. Ед. хр. 8). В ноябре 1900 В. прислал Р. оттиск 1-й главы своей статьи о покойном Вл. Соловьёве и письмо самого Р. к философу с просьбой прокомментировать некоторые его сюжеты и разрешить публикацию письма. В письме от 14 мая 1902 констатировалось, что «Русский Вестник» «многим обязан» Р. и предлагалось дальнейшее сотрудничество с изданием, более выигрышным, по заверениям В., перед газетными жанрами письма: «Ведь мало-мальски длинные серьезные статьи теряют в газете 75% своего значения, т.к. одни подписчики (громадное большинство) их не читают, а другие, прочитав, забывают. Газетный номер поступает в число отбросов и... finita la comedia! Журнал — другое дело! И в журнале, и в сердцах его руководителей, поверьте, крепка искреннейшая симпатия к Вам» (Там же. Л. 6). В. заверял, что Р. не перестанет получать журнал, пока В. состоит в нем редактором. 8 января 1903 В. отказал Р. в публикации его статьи в «Русском Вестнике» по сообщениям политическим (ситуация в Вильне) и церковно-нравственным. В. предложил Р. направить его статью с критикой епископа Врублевского в Синод, «или всем епископам России, на правах рукописи; в журнале же она менее полезна, чем вредна». Оправдываясь, В. пишет, что «против серьезных сторон “Нового Пути” я се-

рьезно не выступал <...> Жалко, что у меня нет “Нового Пути”; когда достану, — напишу, вероятно, о нем сам». В. советовал Р. «избавиться от того, в чем Вы несогласны с покойным Рачинским и чем Вы нарушаете даже цельность впечатления от Вашего огромного литературного творчества» (Там же. Л. 7). Тема взаимоотношений с С.А. Рачинским возникла у В. после публикации писем педагога к Р. В статье «Автопортрет Вл.С. Соловьёва» (РС. 1908. 28 окт.) Р. упоминает письмо Вл. Соловьёва к В., «человеку прямого ума и сердца, но чуть-чуть наивному (мое личное впечатление)» (ОНД, 393).

А.В. Ломоносов

ВЕНГЕРОВ Семен Афанасьевич [15(17).4.1855, Лубны, Полтавская губ. — 14.9.1920, Петроград] — историк русской литературы и библиограф. Из высказываний Р. о В. наиболее известна запись в «Онавших листьях»: «Труды его почтенны. А что он всю жизнь работает над Пушкиным, то это даже трогательно. В личном обращении (раз) почти приятное впечатление. Но как взгляну на живот — уже пишу (мысленно) огненную статью <...> Почему я не люблю Венгерова? Странно сказать: оттого, что толст и черен (как брюхатый таракан)» (У, 213–214). Очень неслестно отозвался Р. и о венгерском издании полного собрания сочинений Пушкина: «На Пушкина точно высыпали сор из ящика: и он весь пыльный, сорный, загроможденный» (У, 109). Э. Голлербах вспоминал, как Р. пристрастно расспрашивал его о В.: «В Венгерове его озадачивало сочетание “шестидесятничества” с увлечением Пушкиным» (Голлербах, 79). В цикле статей «Русский Нил» (1907) Р. дает в целом положительную оценку трудам В.: «Г-на Венгерова я не могу назвать талантливым критиком или историком литературы, но воображать, что он не для русской литературы, а “на пользу евреев” трудится, собрав биографические сведения о множестве русских писателей (в своем “Критико-биографическом словаре”) и издав Белинского, — это до того глупо, что нельзя на это возражать» (ОНД, 130). Оценку «трудолюбивому» (АНВ, 357) В. встречаем в книге Р. «Сахарна»: «Из жидов “настоящий русский” только ограниченный и нелепый Венгеров. Вот этот — вологодские “лапти” Ненавижу (брюхо), но за это люблю его» (СХР, 75). Эта запись, видимо, вызвана тем, что из тогдашних критиков-евреев (Ю. Айхенвальда, А. Волынского, М. Гершензона) только В. был настоящим народником с корнями в 70-х (время массового «хождения в народ»), за что и попал у Р. в «настоящие русские» и «вологодские” лапти». В письме к Э. Голлербаху 26 октября 1918 Р. отмечает, что В. «чистый и благородный труженик по “библиографии”» (ПРГ, 125). К письму В. от 3 октября 1915 Р. сделал пояснение: «Единственно придурковатый из жидов в русской литературе и по сему качеству м.б. сочтен “за истинного русского человека”, “совсем милого” Только живот и чернота его ужасны. Еп face — он совершенно “Ассирийский бык” из раскопок Ниневи» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 113). 15 марта 1899 Р. написал «Духовное завещание» (ОСЖС, 703–707). К этому документу приложены подписи П.П. Перцова и В. в качестве свидетелей, т.е. между Р. и В. были и неформальные личные отношения. В книге «Русская литература XX века (1890–1910)» под ред. В. (М., 1914–1918) В. упомянул Р. как «певца полового на-

чала и ожесточенного врага аскетизма» (М., 2000. Т. 1. С. 335). 13 февраля 1912 В. писал А.М. Ремизову о Р.: «Неужели и теперь его любите? Ведь это же гадина, форменная гадина отвратительно-продажная, подло-предательская, фарисейски-лицемерная. Всегда он такой был, но прежде, в моменты подсознательного творчества, писал почти — гениально» (Русская литература. 1992. № 2. С. 137).

С.Б. Джимбинов

ВЕНИАМИН [Федченков Иван Афанасьевич; 2(15).9.1880, село Вяжля, Кирсановский уезд, Тамбовская губ. — 4.10.1961, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь] — архимандрит, впоследствии митрополит, с 1911 ректор Таврической, затем Тверской (1913–1917) духовных семинарий, член Поместного собора Русской православной церкви в 1917–1918. Еще будучи студентом, В. вел внутреннюю полемику с розановской критикой монашеского аскетизма. «Горячей всех возмутился им известный В.В. Розанов, взывая как-то в “Новом Времени”: почему это у христиан Пасха продолжается всего лишь одну неделю, а пост тянется 40 дней? Почему все наше христианство черное, а не белое? Почему христианство Страстная Пятница, а не Светлое Воскресение? Милый, — если только не фальшиво наивный, — Василий Васильевич! Я спрошу вас: почему это большинству христиан нравятся дни Страстной седмицы более, чем Пасхальная неделя? Почему это горько-покаянное “Помилуй мя, Боже, помилуй мя!” влечет сердца верующих? Да, уж очень просто: совесть у нас не чиста! Если же у вас, жизнерадостный Василий Васильевич, совесть покойна, если, как “чистый сердцем, вы уже зрите Бога”, то “радуйтесь и веселитесь”, — но нам, грешным, оставьте уж плач и сетование» (Митрополит Вениамин (Федченков). На Северный Афон (Записки студента-паломника на Валаам). М., 2003. С. 53). Сохранилось письмо В. от 5 февраля 1914 с выражением моральной поддержки после исключения Р. из состава петербургского Религиозно-философского общества: «Вас исключили из Религиозно-Философского Общества. Правда, мотивы к тому, кажется, были не собственно религиозные; но и в капле отражается все солнце. Поэтому, — думается мне, — данный факт, вероятно, еще более раскрыл Вам глаза на то: с кем Вы имели дело? И в результате, — такие впечатления чувствовались много, — вы, вероятно (или: должны бы) не только не скорбите, а рады случившемуся. По крайней мере, мне, напр., отраднo за Вас, во-1-х, потому, что Вы как-никак сподобились пострадать за истину (я лично говорю сейчас о всем Вашем направлении, для меня — и вообще для верующих — действительно ценном, дорогом, а не о мнении лишь Вашем по поводу некоего *Бейлиса* или и *евреев*, всех вместе взятых, — это все — пятостепенное); во-2-х, это Вас еще больше сольет с Церковью Христовой, к которой Вы так искренно возвращали себя, и, как кажется, возвратились вполне. Господь воздаст Вам за это! А в-3-х, наконец и потому, что, вероятно, это исключение Вам показалось грустно-смешным: думали-де напугать детским шумом человека, перестрадавшего действительные муки! — Грустные люди! Дай Бог, чтобы такое настроение было у Вас! Теперь Вы еще более убедились, вероятно, что действительно в

“мире” — мало любви; и если еще сохраняется где теплота, то именно в Христовой Церкви, или точнее — во Христе, а чрез него и в живущих Им. — Чрез “отлучение” Вы стали нам ближе (не по “отрицательному” чувству солидарности в протесте против нецерковных течений, — это не чисто и не прочно, это — не любовь; а по “положительному” единству духа). Чтобы поделиться этим чувством близости, я и захотел написать Вам данное письмо. Думаю, что так же чувствуют себя по отношению к Вам и другие верующие. Не скорбите: Вы не один, а именно “душевно”, действительно, истинно — не один, а с Церковью Христовою! Спаси Вас Господь. — Простите за “вольность” Ваш собрат в Христе, Архимандрит Вениамин. 1914. 5 февраля. Тверь» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4214. Ед. хр. 6. Л. 2–3). В своих последующих богословских работах В. неоднократно обращался к образам сочинений Р. Рассматривая в 1921 роль монастырей в религиозной жизни, В. отмечал, что «во всякой религии монастырь — это “цветок на груди христианства”, по выражению В.В. Розанова» (Митрополит Вениамин (Федченков). Католики и католичество. Духовный лик Польши. М., 2003. С. 17).

А.В. Ломоносов

ВЕРБИЦКАЯ Анастасия Алексеевна [урожд. Зяблова; 11(23).2.1861, Воронеж — 16.1.1928, Москва] — прозаик, драматург. Р. негативно воспринимал «чтиво» В. «Грошовые наши губернские больше “читальни”, чем собственно библиотеки, задыхаются в Вербицкой и в “пролетариях, со всех сторон объединяйтесь” Они поддерживают и распространяют невежество, а не способствуют образованию» (СХ, 402). Отмечая, что «Ключи счастья» (1909–1913. Кн. 1–6) — «самая требуемая книга в читальнях, — самая любимая писательница студентов и курсисток» (КНУ, 443), Р. предостерегает читателя: «Если ты не будешь знать и любить своих лучших писателей, если будешь давать ловкой Вербицкой строить второй (как мне передавали) каменный дом, шекоча нервы студентов и курсисток, если “читатель-студент” и “читательница-курсистка” (естественно, самый обильный читатель) на самом деле суть только “бульварные читатели”, — то, конечно, могила стране, могила культуре и образованию, и тогда на кой же черт вас зачем-то учили и строили для вас университет и курсы?! Неужто же это все “для Вербицкой”?» (ОПП, 516). В «Сахарне» Р. повторяет, что «Вербицкая строит 2-й каменный дом, *Леон Андреев* живет в замке, и *Алексей Толстой* с кормежкой проституток во время акта устрицами» (СХР, 252) — все это «знаменитые русские писатели». В «Мимолетном» в 1914 Р. уточняет, что «Вербицкая стала строить 3-й каменный дом» (КНУ, 488). А в 1915 пишет: «Довольно уравнивать в читальнях спрос на *Толстого* и Вербицкую (точная статистика). Ведь читатель с равным спросом на Толстого и Вербицкую или страна с равным числом читателей Толстого и Вербицкой ни к черту не годится» (НВ. 1915. 23 апр.; НФП, 454–455).

А.Н.

ВЕРГЕЖСКИЙ А. — см. *Тыркова А.В.*

ВЕРГУН (Вергунин) Дмитрий Николаевич [18.10.1871, Городок, Галиция, Австро-Венгрия — 3.9.1951, Хьюс-

тон, Техас, США] — доктор философии, писатель и поэт из Закарпатской Руси, панславист. Автор *письма* к Р от 12 сентября 1902 на бланке венского журнала «Славянский Век» с выражением благодарности за поздравление, полученное ко дню свадьбы. В. сообщал также, что, согласно предварительной договоренности, он указал Р. в числе сотрудников журнала «Славянский Век» и просил «прислать теперь чего-либо по вопросу о славянофилах и об оживлении к ним интереса в русском обществе» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3826. Ед. хр. 1. Л. 3). К письму Р. приложил *характеристику* корреспондента: «Вергун славист. Вена — СПб.» (Там же. Л. 1). В. преследовался австрийскими властями за пропаганду панславизма и русского языка. С 1907 жил в России, сотрудничал в газете «Новое Время».

А.В. Ломоносов

ВЕРЕЩАГИН Василий Андреевич [27.4.1861 — 10.1.1931, Аньер (Париж)] — искусствовед, библиофил, сенатор, помощник статс-секретаря Государственного Совета в должности гофмейстера, председатель Кружка любителей русских изящных изданий и редактор журнала «Русский Библиофил» (СПб.). Автор *писем* к Р. от 13 и 15 апреля 1914, выражавших благодарность за положительный отзыв о его *книге* «Памяти прошлого. Статьи и заметки» (СПб., 1914). Р. откликнулся на книгу В. статьей «Вдохновляющая старина» (НВ. 1914. 12 апр.) и подчеркнул, что «любовь к отечеству начинается с библиографии» (НФП, 297). «Почему целая “школа” у нас, славянофильство, началось со странствия по монастырским библиотекам? — задавался Р. вопросом, на который тут же отвечал: — Потому, что это открывает дверь в подробности. И в гимназиях, вместо призывов к патриотизму и национальному воспитанию, — было бы проще и реальнее ввести в предмет “занятий” (дав для того *время* и досуг) библиографию, книгопечатание, знакомство в натуре с древними монетами, рассказы о прежних людях, постройках, костюмах, утвари, архитектуре, словом о “мелочах” и “обстановке”» (НФП, 297–298). В первом письме В. подчеркнул, что считает «этот отзыв, благодаря личности его автора, самым блестящим за долгую *жизнь*» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 54. Л. 3). Со вторым письмом В. послал публицисту свою книгу «Русская карикатура» (СПб., 1911–1914. Т. 1–3) в ответ на просьбу Р. (там же).

А.В. Ломоносов

ВЕРЕЩАГИНА Н.В. — см. *Розанова Н.В.*

ВЕСЕЛИТСКАЯ Л.И. — см. *Микулич В.*

ВЕСЕЛОВСКИЙ Александр Николаевич [4(16).2.1838, Москва — 10(23).10.1906, Петербург] — историк литературы, брат *Алексея Н. Веселовского*, профессор Петербургского университета, академик Петербургской академии наук. Автор *писем* к Р. 1899, времени совместного сотрудничества в литературном приложении к «Торгово-Промышленной Газете», в которых В. соглашается предоставить материалы для публикации, а также рекомендует фольклористов и переводчиц *Е.В. Балабанову* и *О.М. Петерсон* для участия в названной газете (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 9). Дальнейшие отношения бы-

ли прерваны из-за перехода Р. в «Новое Время». Р. вспоминал в 1913: «Когда по настояниям <редактора> М.М. Федорова я ездил раза 3–4 к Александру Ник. Веселовскому попросить статью к Пушкинскому юбилею в “Литер. прибавл. к “Торгово-Пром. газете”, он, все обещая и все не исполняя (оттого и был 4 раза), все почему-то говорил о “Нов. Вр.”, в чем-то когда-то его обидевшем» (СХР, 232).

А.В. Ломоносов

ВЕСЕЛОВСКИЙ Алексей Николаевич [27.6(9.7).1843, Москва — 25.11.1918, там же] — историк литературы, брат *Александра Н. Веселовского*, профессор Московского университета (1881), Высших женских курсов в Москве, Лазаревского института восточных языков. Вел борьбу с *Н.Н. Страховым*, *К.Н. Леонтьевым* и *Н.Я. Данилевским*. В 1895 Р. опубликовал «Открытое письмо г. Алексею Веселовскому» (РО. 1895. № 12), выступив против его нападок на современников *П.Я. Чаадаева* (Веселовский А. *Гоголь* и Чаадаев // *Вестник Европы*. 1895. № 9). Осуждая Чаадаева, Р. утверждал, что «общество, так принявшее письмо Чаадаева, отнеслось к нему как живое нравственное лицо» (РО. 1895. № 12. С. 908) и отказалось признавать «ложь чаадаевских фантазматических» (там же) о «нашей исторической ничтожности», как писал *Пушкин* в письме к Чаадаеву. Наибольшую симпатию Р. в спорах вокруг «Философического письма» (1836) Чаадаева вызвала позиция *Ф.И. Буслаева*, обширная цитата из воспоминаний которого о появлении на свет письма Чаадаева была приведена в «Открытом письме к г. Алексею Веселовскому». Историю появления своего «Письма» Р. поведал *Н.Н. Страхову* в сентябре 1895: «Алексей Веселовский написал симпатичную, но недалекую статью “Гоголь и Чаадаев” в сент. “Вестн. Евр.”, и я в Контроле же, даже не дочитав статьи, написал ему “Открытое письмо” по поводу “многострадального Чаадаева”» (ЛИ, 311). *Ю. Говоруха-Отрок* поддержал Р. («По поводу статьи В.В. Розанова» // *Московские Ведомости*. 1896. 6 янв.).

А.В. Ломоносов

ВИЛЕНКИН Н.М. — см. *Минский Н.М.*

ВИЛЬКИНА Людмила Николаевна [Изабелла до принятия православия в 1891; в замуж. Виленкина-Минская; 5(17).12.1873, Петербург — похоронена 30.7.1920, Париж] — поэтесса, переводчица. В 1900-х квартира В. и ее мужа *Н.М. Минского* на Английской набережной (д. 62) была литературным салоном, посещавшимся Р., который в 1904–1906 был близок с В. Его интимные *письма* к ней хранятся в ОР ИРЛИ (Ф. 39. Оп. 3. Ед. хр. 193) и опубликованы в «Литературном обозрении» (1991. № 11). В 1906 вышел сборник сонетов и рассказов В. «Мой сад», в предисловии к которому Р. отзывался об авторе: «Она — немного сомнамбула в стихах. Читатель редко сумеет связать их с действительностью. В дни войны или мира, сытости или голода, болезни или здоровья — она не отрываясь творит в этой зале своего воображения, как бы ничего не было кроме нее. Это недостаток в наш реальный век. Поэтесса не претендует на современность. Она принадлежит к тем “душам-потемкам”, которых окрестили именем символистов <...>

Внутри такие души освещены слишком ярко; это значит только “душа без окон в мир” И нельзя в нее заглянуть никому, кого автор, взяв за руку, не проведет в нее большей частью узкими, низкими и не совсем безопасными коридорами. Что делать, у всякой души свои законы; символисты претендуют на свои в этой области» (ОНД, 84). В декабре 1906 Р. писал в Париж *З.Н. Гиппиус*, что



Л.Н. Вилькина

В., находившаяся в Париже, «позволяет читать мои к ней письма, — совершенно “непозволительные”, и хотя, конечно, “мужчине все позволено” — но “не до такой же степени” <...> Нужно письма вернуть мне, как и было у нас вначале условлено. Конечно, никакой любви ни раньше, ни теперь у меня не было, а это все проклятая “философская любознательность” <...> Теперь эта дура “полегоньку” и “помаленьку” читает это разным друзьям своим — кажется, *Сомову*, *Нувелю* и проч.; главное — хвастает: “У меня есть полный матерьял для 3-го тома соч. В.В. Розанова, который я издам после его смерти”» (Литературное обозрение. 1991. № 11. С. 69). В «Живых лицах» Гиппиус рассказала историю с письмами Р. к В.: «Коварная дама будто бы не делала ни для кого секрета из этих писем, компрометантных лишь для Розанова (уж, конечно, компрометантных, и, конечно, блестящих — ведь, это были по-розановски интимные письма к женщине, да еще кокетливой, да еще еврейке!). В мольбах Розанова слышалось отчаяние. Понять, зачем ему так понадобились эти письма — было нетрудно. А так как мы знали, что жена Розанова тяжело больна (говорили, что у нее нервный удар), то объяснялось и отчаяние. Он боялся, нестерпимо мучаясь, что о письмах мо-

жет узнать Варвара Дмитриевна» (Гиппиус З. Живые лица. М., 2002. С. 128). «Нервный удар» случился с женой Р. четыре года спустя в 1910. Аналогичный случай с «интимными письмами» произошел с *В. Брюсовым*, который был близок с В. в 1903–1904. Получив письмо Р. о В., Гиппиус сообщила Брюсову 8 (21) января 1907, что В. «занимается последнее время экспозицией» более или менее пламенных брюсовских писем, «утоляя свое славолюбие (счет знаменитых “разожженных плотей”) — неутоленное напечатанием книжки. Обнародование ваших писем, каких бы то ни было, конечно вам лишь честь, но не так давно некий неосторожный (“знаменитый” тоже) обладатель такой “разожженной плоти”, обладатель, по несчастью, и ревнивой жены, прибег даже к моей протекции, и я должна была, при посредстве ее мужа, усмирить коварную прельстительницу» (ЛЖ. 2001. № 15. С. 158). Книга В. с предисловием Р. вызвала отрицательную рецензию ревнивого Брюсова (*Весы*. 1907. № 1), который писал В. 11 ноября 1906 о ее переводах из *М. Метерлинка*: «На милого, доброго, всеми нами любимого Вас. Вас. Розанова в вопросах критики, право, лучше не ссылаться. Может быть, он и говорил, что “подобный перевод читает в первый раз”, но ведь он вообще ничего не читает, не читал, конечно, переводов *Бальмонта*, да не читал, вероятно, и самого Метерлинка в подлиннике» (Брюсов В.Я. Письма к Л.Н. Вилькиной // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1973 год. Л., 1976. С. 134). 28 декабря 1906 Р. сам пишет В. с просьбой вернуть его письма, хотя здесь же говорит о своем желании вновь ласкать ее (Литературное обозрение. 1991. № 11. С. 69). А.Н.

ВИНАВЕР Максим Моисеевич [1863, Варшава — 10.10.1926, Ментонсен-Бернар, Франция] — адвокат, помощник присяжного поверенного, лидер партии кадетов, депутат 1-й Государственной думы и ряда еврейских организаций: Бюро защиты, Союза полноправия, Еврейской народной группы, глава Еврейского историко-этнографического общества. Символизировал для Р. еврейское начало в российском либерализме и европейском просвещении. Анализируя выборы в 1-ю Думу в статье «Кого они выбирали???» (НВ. 1907. 7 февр.), Р. доказывал, что избрание в представительный орган «никому не известного адвоката Винавера» только подрывало несомненный политический успех кадетской партии (РГО, 282). Согласно взглядам Р., *евреи*, подобные В., «искренно ничего не понимают» не только в русской культуре, но и в традиционных ценностях *иудаизма*. «“Просвещенные” они все суть “Винаверы”» (СХР, 265). «В сущности — “всё Винавер” <...> Безликое, бездуховное, шаблонное, казенное, официальное, мертвое *просвещение*» (КНУ, 394). Реформирование внутренней политики по европейскому образцу Р. сравнивал со штундизмом. «Штунда — это “грозит Винавер в будущем”. Ибо Винавер “производит все нужные реформы”» (М, 66). Р. возмущало политиканство либеральной оппозиции, спекулировавшей на крови русской армии в тяжелые дни Первой мировой войны подстрекательскими речами и слухами, уничижающими правительство России. Честолюбие оппозиции сложилось для него в конкретный образ В. «Господи: хоть бы этим ненасытным дали наконец вице-губернатора, ну даже губернатора —

и они бы успокоились и замолчали. Молитва моя будет: “Господи, устрой, чтобы Винавера устроили в губерна-торы”» (М, 160).

А.В. Ломоносов

ВИНДИНГ **Елизавета Павловна** (1860-е — после 1915) — драматург, новеллист. Под *псевдонимом* Е. Владимирова она опубликовала в 1901 пьесу «Мими», поставленную 1 октября 1901 в Театре Литературно-художественного общества под названием «Хризантемы». Посмотрев спектакль, Р. написал рецензию на него под названием «Жизнь на подмостках» (НВ. 1901. 13 окт.), поставив вопросы о современной семье: «Общество, попросив семьи и брака, определило их не через детей: ну, дети и выпали из семьи; определило их не через любовь: и любовь тоже выпала из семьи. Вообще выпало из семьи и брака все то, что не входит в них безусловным определением <...> В состав брака входит только его “форма”; ну и получилась “формальная семья”, и развился мало-помалу в веках взгляд на семью только как на “формальность”, но уже зато непременно формальность <...> Вся поэзия и мистика брака, реальное его существо <...> ушло в так называемую “любовь” Брак стал прозрачен, любовь стала поэтична. Она стала содержательна, разнообразна, душиста, тогда как семья и брак наполнились формальными “хризантемами» (так Р. называет пресыщенных состоятельных дам).

А.Н.

ВИНИЦКАЯ **Александра Александровна** [наст. фам. Бузианик; 28.7(9.8).1847, Москва — 5(18).4.1914, Петербург] — прозаик, автор мемуаров. Р. называл ее «залетной птичкой нашего дома». В *некрологе* он вспоминает: «Она входила в комнаты, и сейчас же все ее окружали и влеклись окружить ее, потому что неистощимое остроумие, шутки и веселость лились из нее. Она была очень даровита. И в 67 лет приводила в движение и 50-летних, и тридцатилетних и даже подростков 16-ти, 14-ти лет» (НВ. 1914. 10 апр.; НФП, 295). Далее Р. замечает: «Она, человек еще 50-х и 60-х годов, — несла что-то крепкое и хорошее от тех лет, — и вносила их свежее оживление в нашу более сонную, более сорную и более безнадежную эпоху» (там же). Р. приводит свидетельство В. об отношении евреев к убийству П.А. Столыпина (НФП, 221).

А.Н.

ВИНОГРАДОВ **Павел Гаврилович** [18(30).11.1854, Кострома — 19.12.1925, Париж] — профессор всеобщей истории в Московском университете. Его лекции слушал Р., для которого он вместе с рядом других профессоров воплощал собой «пошлый XIX век». «И когда был изобретен еще автомобиль, они все поехали на автомобиле. Полная культура» (М, 15). В «Опавших листьях» Р. вспоминал свои студенческие годы: «Забавен был “П.Г. Виноградов”, ходивший в черном фраке и в цилиндре, точно на бал, где центральной люстрой был он сам. “Потому что его уже приглашали в Оксфорд” Бедная московская барышня, ангажированная иностранцем» (У, 185). Действительно, в 1903 В. был приглашен в Оксфордский университет на кафедру сравнительного правоведения. В 1921 принял английское подданство.

А.Н.

ВИТТЕ **Сергей Юльевич** [17(29).6.1849, Тифлис — 28.2(13.3).1915, Петроград] — государственный деятель, председатель Совета министров (окт. 1905 — апр. 1906), составитель Манифеста 17 октября 1905. В., считал Р., — «это золотая валюта и винная монополия, сейчас вспомнишь» (КНУ, 75). В «Мимолетном» Р. записывает: «Потом пришел этот Витте из “международной” Одессы и женатый на еврейке. Без сомнения, были анонимные негласные пути, которыми евреи двигали Витте вперед, проводили его, показывали его, рекомендовали и защищали его. Вообще “закулисная история Витте” еще не раскрыта. Витте справедливо не знал, что такое “консерватизм и либерализм”, ибо это слишком почтенно. Он б. вообще циник, — далекое будущее России ему б. вовсе не интересно. Ему подавай “сейчас” и “горяченькое”, как всякому колонисту, чужеродцу и еврею» (М, 61–62). Наиболее обстоятельную характеристику В. находим в статье Р. «Витте и Победоносцев (К недавнему юбилею гр. С.Ю. Витте)» (РС. 1910. 16 июня). С 1893 В. стал министром финансов, и переехавший в Петербург Р. захотел увидеть «всю министерию», для чего отправился в Исаакиевский собор в один из «высокоторжественных дней», став на спуске, откуда «будут выходить особы». «С кем-то разговаривая, Витте, не торопясь, выходил и стал спускаться по ступеням, весь расшитый в золото. Молодой, огромный, сильный, с какою-то хорошею гибкостью в спине и неустанностью в ногах. — Этот конь не устанет... — Эта спина приноровится ко всяким обстоятельствам... — Он если прямо не поборет, грудью, то поборет каким-нибудь “американским приемом” Потому что, очевидно, все другие министры суть только “тайные советники” и такие “русски”, точно ни о какой “загранице” никогда и не слыхали. Этот, наоборот, точно приехал в Россию искать “судьбы своей” В ней для него ничего нет родного, и этот не в идеях “западник”, а по натуре “западный человек” вступит в союз или “mesalliance” с кем и с кем угодно, глядя по моменту, выгоде и ходу “звезды своей” И только. Способный человек, и совершенно новый!» (ЗРП, 209). Р. восхищается В.: «Витте весь стихийен, слеп, силен; “прет”, “ломает” В нем был осколочек Петра Великого, тоже над “философскими мыслями” не останавливавшегося. Во всяком случае, ни один человек в России за XVIII и XIX и вот за десять лет XX века так не напоминает Петра, так не родственен ему по всему составу даже костей своих, нервов своих, мускулов своих, как Витте... Все — новое... Каждое утро всякого дня что-нибудь новое. И это с успехом. Доводя до конца. Это — небывалое зрелище в нашей русской истории. Со времен Петра еще небывалое» (ЗРП, 211). Еще в раннем отрывке «Из Петербургских видений» Р. высоко оценил В.: «Господин Витте не только искусный, но и бесспорно удивительный министр; он — удивительный министр в сфере самой трудной, запутанной, специальной — в сфере финансов, и в то же время, это — сфера, где всякая боль чувствуется особенно больно, и, главное, сейчас, немедленно» (РО. 1897. № 4. С. 776). Р. сопоставляет В. с Григорием Распутиным: «Витте совсем тупой человек, но гениально и бурно делает. Не может не делать. Нельзя остановить. Спит и видит во сне дела. Гриша гениален и живописен. Но воловодится с девицами и чужими женами, ничего “совершать” не хочет и не может, полон “памятью о

божественном”, понимает — зорьки, понимает — пляс, понимает красоту *мира* — сам красив. Но *гений* Витте не достает ему и до колена. “Гриша — вся Русь” Да: но Витте 1) устроил казенные кабаки; 2) ввел золотые деньги; 3) завел торговые *школы*. Этого совершенно не может сделать Гриша!!!! Гриша вообще ничего не может делать, кроме как любить, молиться и раз семь на день сходить в “кабинет уединения” *Вся Русь*» (М, 66).

А.Н.

ВИШНЕВСКИЙ Иван Васильевич [1812, Казанская губ. — 25.12.1904(7.1.1905), Симбирск] — педагог, директор *Симбирской губернской гимназии*. По воспоминаниям Р., директор В. — представитель «старого» в гимназии: «управлял» гимназией Вишневецкий — высокий, несколько припухлый, “с брюшком” и с выпуклым, мясистым, голым *лицом* генерал. За седые волосы и седой пух около подбородка ученики звали его “Сивым” (без всяких прибавлений), а “генералом” я его называю потому, что со *времени* получения им чина “действительного статского советника” никто не смел называть его иначе, как “ваше превосходительство” и в третьем лице, заочно, “генерал” Но он был, конечно, статский. Он действительно “управлял гимназией”, т.е. по русскому, нехитрому обыкновению он “кричал” в ней и на нее, и вообще делал, что все “боялись” в ней, и боялись именно его. Все *мысли* и всей гимназии сходились к “нему”, генералу, и все этого черного угла, где видимо или невидимо (*дома*, в канцелярии), стоит его фигура, боялись. Боялись долго; боялись все, пока некоторые (сперва *учителя* и наш милый образованный инспектор *Ауновский*) не стали чуть-чуть, незаметно, про себя улыбаться. Так чуть-чуть, неуловимо, субъективно, но как-то без слов, без разговоров, гипнотически и телепатически улыбка передалась и другим. От учительского персонала она передалась в старшие ряды учеников и стала по ярусам спускаться ниже и ко 2-му году моего пребывания здесь захватила вот даже нас, третьеклассников (т.е. *человек* пять в третьем классе). Улыбка разнообразилась по темпераментам и склонностям *ума*, переходя в сарказм, хохот или угрюмое, желчное отрицание. Всего было, всякие были» (ОНД, 167–168). «“Нечитающая” часть учителей симбирской гимназии была, естественно, и, “непросвещенною” Они были тоже “реалистами текущего момента” Служба министерству, порядок, благочиние, тишина, исправность. Чтобы ревизии (из Казани, от учебного округа) сходили хорошо да чтобы не было “историй” — Мне твои успехи не нужны. Мне нужно твое поведение. Так. “Сивый”, директор кричал на ученика, распекая его» (ОНД, 174–178). «Я помню на себя окрик во II классе “Сивого”: — Я тебя, паршивая овца, вон выгоню! — Но это было до “*чтения*” Случай этот, крик директора, мне памятен по причине первой испытанной мною несправедливости» (ОНД, 177).

И.Ф. Макеева

ВИШНЕВСКИЙ Федор Владимирович [4(16).6.1838, село Князево, Курская губ. — 1916] — поэт, писатель, философ и переводчик, сотрудничал с Р. в «*Новом Времени*». Автор *письма* к Р. с приложенной к нему *характеристикой*: «Черниговец-Вишневецкий, военный, поэт, алкоголик, переводч. *Шопенгауэра*» (ЛЖ. 2000. № 13/14.

Ч. 1. С. 99). Его послание Р. содержит стихотворение с отрицательным откликом на выступление Р. в адрес митрополита Московского *Филарета*.

А.В. Ломоносов

ВИШНЯКОВ Николай Петрович (1844 — не ранее 1916) — товарищ министра торговли и промышленности в 1881–1892, директор-распорядитель Товарищества «Общественная польза», которому с 1894 принадлежал журнал «*Русский Вестник*». Р. встретился с В. в редакции этого журнала. Статья Р. «По поводу одной тревоги гр. *Л.Н. Толстого*» (РВ. 1895. № 8), в которой Р. обратился к писателю на “ты” и в грубой форме критиковал его религиозные взгляды, вызвала возмущение в литературных кругах. После резких статей *Вл.С. Соловьёва* в «*Вестнике Европы*» и *В.П. Буренина* в «*Новом Времени*» редакция «Русского Вестника», опасаясь падения авторитета журнала, решила устроить Р. нагоняй. 16 декабря 1895 *С.А. Рачинский* получил от Р. *письмо*, в котором сообщалось о скандале, разразившемся из-за статьи о Толстом: «После статьи Буренина в “Нов. Вр.” В.Н. Вишняков — добрейший человек, простец-директор «Тов. “Об. п.”» — пришел в положительное уныние» (слова *Берга*). Я поехал с ним поговорить, и он мне одно: “Нельзя, В.В., нельзя: это не литературно говорить ты писателю. Вы с ним брудершафт не пили”; видя, что все до такой степени в моей статье неясно для *читателей* — я предложил Вишнякову, или, собственно, высказал *мысль*, а он подхватил: “Если бы, говорю, я твердо стоял в “Русском Вестнике” и больше имел доверия от Вас и свободы для себя — я написал бы объявление, в коем пристыдил бы все эти инсинуации Буренина и других как пустые и ничтожные” (а Буренин для них всех — *сила*, Вишняков добродушнейший называет его прямо прокурором *литературы*). Но трусишка Берг взял и обкорнал мою статью в последней, своей корректуре: я ему написал очень резкое *письмо*, говоря, что это он может извиняться печатно перед “Нов. Вр.”, а я не могу, и послал к *Александрову*» (ПР. 1895. Ноябрь–дек. № 58). После того как *письмо* было повторно, без купюр, напечатано в «*Русском Обзрении*», возник новый скандал, теперь уже с редактором Бергом. Р. должен был уехать в *Кострому* на похороны брата и попросил уладить дело Варвару Дмитриевну через писателя И.И. Стахеева, имевшего влияние на В. Разгневанный Берг приехал домой к Розановым, вернул рукопись статьи «Гордиев узел» <РВ. 1895. № 12> и объявил, что «больше ни одной статьи В.В. в “Русском Вестнике” не будет напечатано» (там же). Дело, однако, благополучно разрешилось: «Она же ему, высказав, сколько мучились мы с получением от него денег, пока журнал был в его руках — сказала на последние слова, “Посмотрим”, и поехала в Тов. “Общ. пользы” Вишняков принял ее, как отец, успокоил и обещал, что статья будет напечатана; говорил: “Мы все очень жалеем В.В., что он делает со своим *талантом*, прежде его статьи были украшением журнала, а теперь он сам губит свое имя и репутацию, говорит писателю “ты” и пр.; и высказал, что они все смотрят на меня как на больного; она же объяснила, что я болен от службы, которая не дает *времени* писать и *жизни* не обеспечивает <...> Приезжаю я, побывал у Вишнякова, поблагодарил его за внимание к жене и

доброе к себе отношение» (там же). 4 января 1916 Р. отправил приветственное письмо В. (ОСЖС, 679).

В.А. Фатеев

ВЛАСТОВ **Георгий Константинович** (1827–1899) — богослов. В *письмах* В. к Р. от 7 и 12 ноября 1898 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 8) идет речь о рецензии Р. (НВип. 1898. 11 нояб.) на его *книгу* «Священная летопись первых *времен мира* и человечества, как путеводная нить при научных изысканиях» (СПб., 1875–1898. Т. 1–5). Р. подчеркнул, что В. «представляет собою редкий и исключительный пример светского *человека*, человека тоги и культурных кресел, который почти целую *жизнь* отдает на служение *науке* в области религиозной и археологической <...> Изучение работ г. Властова не только полезно, оно доставляет наслаждение. Это *труд* свободный и свободного человека: за ним не видно профессии, т.е. ремесла, торопливости и т.п. *Любовь* автора к предмету заражает *читателей*, а спокойное, озирающееся во все стороны течение комментария истинно научает и просвещает. В настоящее *время*, когда мы переживаем возврат *общества* к серьезному и религиозному, монументальный труд г. Властова для многих станет постоянным и дорогим спутником при размышлениях и в исканиях; и для каждого русского утешительно видеть, что еще находятся у нас люди, которые без всякой внешней принужденности отдают целую жизнь служению интересам теоретическим и научным». Рецензента поразил объем собранных В. археологических материалов и научных комментариев. К письмам В. приложена его характеристика, данная Р. в 1914: «Прелестен; ех-више-губернатор, почти старик» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 93).

А.В. Ломоносов

ВОЗНЕСЕНСКИЙ **Константин Васильевич** — университетский товарищ Р. в 1878–1882, вместе с которым он снимал в то время комнату. В «*Уединенном*» Р. вспоминает обед с ним в студенческой столовой, когда «кухмистер радовался, что давал нам нечто элегантно» (У, 30) (мозги). В 1891 В. согласился занять место Р. в *Елецкой мужской гимназии*, а Р. переехал на его место в гимназии г. *Белый* Смоленской губернии. Р. рассказал об этом в примечаниях к своей *книге* «Литературные изгнанники» (ЛИ, 92–93). В 1918 жил в *Сергиевом Посаде* и после *смерти* Р. привез деньги на его похороны. Дочь Р. Татьяна записала о встрече и разговоре с В. в Сергиевом Посаде (ТР, 20).

А.Н.

ВОЙТИНСКИЙ **Владимир Савельевич** [12(24).11.1885, Петербург — 11.6.1960, Вашингтон] — прозаик, экономист, с 1919 в эмиграции. Его повесть «Призраки» (*Русское Богатство*. 1913. № 7) Р. посвятил статью «Литературные олеографии» (НВ. 1913. 13 и 21 авг.), в которой сравнивает деление всех людей автором на «черных и белых», «дьяволов и ангелов» с прочитанной в *детстве* волшебной поэмой *Г.П. Каменева* «Громвал». Р. выступает против прославления в повести В. революционного *террора* и страданий его организаторов в тюрьмах. «Войтинский хочет уверить нас, что не было вовсе ничего того, о чем читала вся *Россия*, читала и читает непрерыв-

но уже сорок лет <...> что все трепещет перед взрывами, выстрелами и пр. этих людей, которые в числе немногих десятков или сотен *лиц* навели ужас («террор») на все *правительство* и *государство*. Г. Войтинский представляет все дело вовсе не так: паук похватал «нежных и хрупких» юношей и *девушек*, «с ребенком и котенком», которые решительно ничего не совершали, «а оправдываться презирали», — и мучит их» (НФП, 125). Вся *Россия* представляется В. и герою его повести Павлу «мрачным замком», как в поэме Каменева, «в котором бьются ангелы и дьяволы, но во главе ангелов и в пример умирающих идут более всего умирающие, храбрее всех сражающиеся и, наконец, ставящие честь выше *свободы*, а свободу выше *жизни* — бердичевские рыцари и герои... *Читателю* даже кажется, сквозь туман и недоговоренность «Призраков», наконец вследствие того, что автор так субъективно раскрывает сердце «Павла» и излагает все его сокровенные *мысли*, т.е. очевидно свои мысли, что это сам Войтинский умирает...» (НФП, 122).

А.Н.

ВОЛЖСКИЙ **А.С.** — см. *Глинка-Волжский А.С.*

ВОЛКОНСКИЙ **Сергей Михайлович**, [4(16).5.1860, имение Фаль под Ревелем — 25.10.1937, Ричмонд, США], князь — писатель, историк *культуры*, директор Императорских *театров* в 1899–1901. Выступил с докладом в *Религиозно-философских собраниях* (7-е заседание), в котором с сочувствием отозвался о публицистике Р. Он привел полемику Р. с Никанором, епископом Орловским, как образец «неслыханного явления»: «В одном из основных вопросов религиозной *жизни* <свобода совести> светские люди принимались поучать духовных пастырей» (Волконский С.М. К характеристике общественных мнений по вопросу о *свободе* и *совести* // НП. 1903. № 3. С. 122). В. отметил также общественную поддержку, полученную Р. со стороны свящ. *А.П. Устьинского* в газете «*Новое Время*» и свящ. Черкасского в «С.-Петербургских Вестниках» (Там же, 124–125). Р. дал высокую оценку докладу В. в *книге* «Русская церковь»: «Князь Волконский в одном из заседаний «Религиозно-философских собраний» в С.-Петербурге прочел доклад о непозволительности утеснений за *веру*, прямых и косвенных; о несовместимости понятия *Церкви* и понятия преследования. Не только все собрание с энтузиазмом отнеслось к его докладу, но видные ораторы их и между ними сердечно близкий мне *человек*, *Д.С. Мережковский*, как равно В.С. Миролюбов, *М.О. Меньшиков* и др.; заговорили энергично в том смысле, что, конечно, «Христос и наказание его святым именем — несовместимы» <...> Придя домой после собрания, я быстро напечатал эти строки, развив их впоследствии несколько обширнее в докладе, прочитанном в собраниях под заглавием же «Христос как Судия *мира*» Но когда я отыскал этот первичный набросок того доклада, он мне показался достойным не «кануть в Лету», хотя бы в качестве мимолетного впечатления, быстрого и бурного порыва, как мне думается — в добрую сторону. Ибо скорби брата своего (уже умершие за свободу в *христианстве*) не надо никогда забывать, нельзя изгладить из сердца своего» (ВТРЛ, 74). В. был не чужд интереса к розановским *темам* — *пола*, *семьи* и *брака*. О разговорах

с ним на эти темы Р. вспоминал в 1916 (ПЛ, 9). В письме к Р. князь дал высокую оценку статье Р. с обсуждением темы католического ультрамонтанства, отметив при этом, что Р. коснулся «самого больного места нашей богословской литературы» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 10). В архиве Р. хранилась статья Влад. Белинского «Православие и русская народность (Ответ князю Волконскому)» (МВ. 1903. 25 марта), полемизировавшего с В., который в «Новом Пути» (1903. № 3) возражал против смешения понятий *национальности* и вероисповедания в России (РГАЛИ. Ф. 419. Ед. хр. 146. Л. 83).

А.В. Ломоносов

ВОЛОШИН Максимилиан Александрович [наст. фам. Кириенко-Волошин; 16(28).5.1877, Киев — 11.8.1932, Коктебель, Крым] — поэт, критик, художник. Р. познакомился с В. на заседании *Религиозно-философского собрания* 23 января 1903. В. вспоминал: «Вся обстановка Религиозно-философского собрания: и речи и лица, обсуждаемые темы и страстность, вносимая в их обсуждение, нервное лицо и женский голос *Мережковского*, трагический лоб В.В. Розанова и его пальцы, которыми он закрывал глаза, слушая, как другой читал его доклад, бледные лица петербургских литераторов, перемешанные с черными клобуками монахов, огромные седые бороды, лиловые и коричневые рясы, живописные головы священников, острый трепет веры и ненависти, пронесившийся над собранием, — все это рождало смутное представление о раскольничьем соборе XVII века» (Волошин М. Лики творчества. Л., 1989. С. 407). В. читал Р. и в разговоре с В. *Брюсовым* вспомнил розановский интелес к *Египту*: «Я указывал на то новое понимание мистической Греции в лице Вячеслава Иванова, понимание, к которому мы пришли через открытие Греции архаической и варварской. Теперь же, говорил я, этот путь ведет нас к новому пониманию мистической сущности Египта, которое уже брезжит кое-где, например, у Розанова» (Там же, 414). 26 января 1918 В. писал А.М. Петровой об исторических судьбах Европы: «Тема должна быть обработана библейским и розановским реализмом» (Волошин Максимилиан. Из литературного наследия. СПб., 1999. Вып. 2. С. 197).

А.Н.

ВОЛЫНСКИЙ Аким Львович [наст. фам. и имя Флексер Хаим Лейбович; 21.4(3.5).1861, Житомир — 6.7.1926, Ленинград] — литературный и театральный критик, искусствовед. Его знакомство с Р. состоялось в середине 1890-х. Известность получил относящийся к 1897 эпизод, когда Р., возмущенный печатным выпадом Ф.Э. Шперка против В.С. Соловьёва, устроил встречу Шперка и В., который прочитал Шперку «беспощадную, уничтожающую отповедь»; В. вспоминал, «с каким живейшим сочувствием поддакивал В.В. каждому его доводу» (Голлербах Э.Ф. Встречи и впечатления. СПб., 1998. С. 58). Ко второй половине 1890-х относятся надежды Р. на сотрудничество в журнале «Северный Вестник», фактическим руководителем которого являлся В. 6 ноября 1897 Д.С. Мережковский писал П.П. Перцову о Р.: «Перед Флексером он на задних лапках ходит, все надеется и даже прямо эту надежду мне высказывал — печататься в Северном Вестнике» (Письма Д.С. Мережковского к

П.П. Перцову // Русская литература. 1991. № 2. С. 172). Ранее, в февральском 1893 письме Н.Н. Страхову, Р. называл В. «подлым» и «жуликом» (ЛИ, 123). В примечании 1913 к ответному письму Страхова Р. дезавуировал эти оценки, объясняя их «моментальной... вспльчивостью на какой-нибудь оттенок тона и пр. у Волынского», и охарактеризовал В. как «не удачного, но уж во всяком случае добросовестного писателя русской литературы», чья «критика на 60-е годы была героична и в истории русской литературы никогда не может быть забыта» (там же). О высокой оценке Р. «Русских критиков» В. (СПб., 1896) свидетельствует и то, что однажды в Малом театре, во время выступления *Айседоры Дункан*, Р. подбежал к сидевшему в партере В. и поцеловал его, сказав: «Вспомнил ваш подвиг с русскими критиками и побегал вас поцеловать» (Голлербах Э.Ф. Указ. соч. С. 89). В статье «Университет в образовании писателей» (НВ. 1900. 28 мая) Р. рассматривал В. как критика «очень влиятельного, в сущности, но как-то неудавшегося в литературной судьбе»: «Критик, которого съели другие критики, так сказать, “критически” им пообедали, это г. А. Волынский. О нем так бесконечно много и все отрицательно писали, все “завтракали” кусками Волынского, что хочется наконец воздать ему и правду. Ведь он необыкновенно трудолюбив; он чрезвычайно много знает». Однако отзыв получился не слишком комплиментарным. В. в отличие от *Лескова* не представляет собой ничего ярко индивидуального и всем обязан университету: «Несмотря на то, что он оставил томы трудов, что он долгое время обильно писал в журнале и мог писать в нем все, что хотел, не осталось и не запомнилось ни одной мысли, ни одного даже слова-оборота, так сказать, специально — Волынского, лично — Волынского. Волынский не есть живой, конкретный образ. Волынский — кафедра, журнал, “общее место” <...> Отнимите у Волынского университет — и ничего не останется». В работах Р. нередко встречаются и негативные характеристики цикла статей В. о русских критиках. В статье «Не в новых ли днях критики?» (НВ. 1916. 3 февр.) Р. писал: «Какой же “критик поэтов” Волынский, с его умом сухим, колючим, полемическим, с его ссорливостью, придирками и душевными кляузами? Всего меньше поэт. Он мог “подать жалобу в консисторию” на Добролюбова и Щедрина (“Критика 60-х годов”), но сия жалоба есть свидетельство юридического ума, а не критического дара» (ОПП, 627). В «Сахарне» Р. указывал на «равнодушие», с каким В. критиковал «шестидесятников», и связывал это с его еврейским происхождением (СХР, 228). В статье «К 25-летию кончины Ив.Алекс. Гончарова» (НВ. 1916. 15 сент.) Р. противопоставил статью Гончарова «Милльон терзаний» «неосторожностям» «критиков-инородцев» Ю.И. Айхенвальда и Флексера (ОПП, 650). В записи, помеченной 13 ноября 1915, Р., создав беллетризованный портрет «бритого, сухого, деятельного, производительного» Флексера, явно принял сторону Н.К. Михайловского в его полемике с В. по поводу «Русских критиков» (М, 325–326; ср. также М, 115, 187). Двойственностью оценок отличается и рецензия Р. на 2-е издание книги В. «Ф.М. Достоевский» (Критическое обозрение. 1909. Вып. 5). Отдав должное «чрезвычайному трудолюбию», «прилежанию», «огромной начитанности», «логическому и философски настроенному уму» В., Р. вместе с тем

констатировал, что «по языку, по силе экспрессии, Волинский в критике Достоевского не стоит в уровень с предметом», что «ему недостает “конгениальности” с критикуемым автором». По сообщению С.П. Каблукова, Р. книгу В. не прочел (PRO, 1, 484). В статье «Некрасов в годы нашего ученичества» (РС. 1908. 10 янв.) Р. заключал, что В. «при всех способностях “логического суждения” имеет тот изъян в себе, что уже родился старичком



А.Л. Волинский

и потом, по недосмотру, вместо материнной груди все со- сал пузырек с чернилами» (ОПП, 245). Последний по времени известный нам отзыв Р. о В. содержится в письме Р. к Голлербаху от 26 октября 1918: «Флексер первый предпринял колоссальную работу переработки русской критики <...> Ну, и вот эту гадость устранить, или (то же самое) эту совершить правду решил сухой, черствый Флексер для совершенно ему чуждой русской литературы. Он, который и назвал себя “Волинским” <...> Флексер-Волинский, принимая на себя, на имя свое, на судьбу свою в литературе, весь ад насмешек, проклятий, злобствования, совершил <...> “библейскую” <...> правду — для русской литературы» (ВНС, 380, 382). Еще до личного знакомства с Р., в начале 1891, В. в журнальном обзоре упоминал «несколько туманные, хотя и не лишённые интереса размышления г. Розонова <так!> о “Великом инквизиторе”, останавливался на второй главе этого труда, посвященной Н.В. Гоголю, и заключал: “На эдаком, с позволения сказать, критическом глубокомыслии, не далеко уедешь”» (Северный Вестник. 1891. № 2. Отд. II. С. 160–161). Резко негативная харак-

теристика писательской манеры Р содержится в статье В. «“Фетишизм мелочей” (В.В. Розанов)» (*Биржевые Ведомости*. Утр. вып. 1916. 26, 27 янв.), посвященной «Уединенному» и «Опавшим листьям». Называя Р «маниаком» и «сексуалистом с карамазовской отравой в крови», а его сочинения, написанные с «ноздревской разнузданностью», «бредом пигмея, не видавшего истинного уровня своих умственных сил и писательского таланта», В. считает, что Р. не понимает сути *иудаизма*, находит в его рассуждениях «тучи ошибок <...> лишающих иногда смысла даже то, что подается в них разумного и толкового», и противопоставляет ему Рембрандта с его «детальным знанием еврейства». В подтверждение своих выводов В. остановился на розановском описании *миквы* и сравнил его с двумя картинами Рембрандта на ту же тему. В октябре 1921 В. выступил одним из учредителей кружка по изучению наследия Р. при петроградском Доме литераторов (см.: *Белый А., Волинский А., Голлербах Э., Лернер Н., Ховин В.* Розановский кружок // *Вестник литературы*. 1921. № 9). Однако о самом Р. он писал: «Всю жизнь он курил самый заразительный фимиам церкви, самовару и быту, а на самом деле был профессиональнейший из литераторов. Я не так восторженно думаю о нем, как Голлербах, и не так патетически, как думал в свое время Мережковский, но и я не в состоянии отрицать в этом человеке оригинального склада мысли и совершенно несомненной даровитости» (Волинский А. Лица и лики // *Жизнь искусства*. 1923. 9 окт. № 40. С. 17–18). Э.Ф. Голлербах свидетельствует, что Р. называл В. «евреем-православником», очень ценил его интерес к *православию*, к личности Христа, к судьбе церкви и прочему такому» (Голлербах Э.Ф. Указ. соч. С. 89), но заключает, что «связанные до некоторой степени общностью своих устремлений и даже самих тем, эти писатели были, однако, совершенно чужды друг другу по манере мышления» (Голлербах Э.Ф. Танцующий философ. Жизнь и мировоззрение А.Л. Волинского // Голлербах Э.Ф. Встречи и впечатления. С. 139). М. Фроман вспоминал вскоре после кончины В.: «В один из приемных дней у его постели сидели А.М. Добровольский и я. Воспользовавшись каким-то замечанием Аким Львовича, Добровольский заговорил о В.В. Розанове. При имени Розанова Аким Львович откинулся на подушки, самодовольно взглянул на нас и сказал: “Розанов. Что такое Розанов? Он называл себя фабрикой мыслей. Но какая же это фабрика мыслей? О чем он писал? О бабах, об юбках. И только об юбках. Это я могу считать себя фабрикантом мыслей, посмотрите, какие разнообразные мысли. О чем я только ни писал?”» (Фроман М. Последние дни А.А. Волинского. Л., 1928. С. 71–72).

М.Ю. Эдельштейн

ВОЛЬТЕР (Voltaire) (21.11.1694, Париж — 30.5.1778, там же). В. для Р. наряду с *Руссо* — «родитель *Революции*» (У, 355). Летом 1905 Р. с семьей был в Швейцарии, в Женеве, о которой писал: «Женева, мирный из мирных теперешних городков, был когда-то местом великих, даже величайших штурмов, произведенных на нашу цивилизацию. В 3–4 верстах от нее лежит Ферней, откуда Вольтер пускал ядовитые стрелы во Францию Людовиков и “ancien régime” <“старый режим”> целой Европы. Там, в урне, сохраняется и сердце, в сущности, не доброго ли

старика? Прими мы его *сатиру* в прямом смысле и припиши злое в ней злomu сердцу, — пришлось бы причислить к злым и *Крылова* и *Грибоедова*. К сожалению, Ферней открыт для посетителей только по средам, и мне не удалось побывать там» (СХ, 143). У Р. не вызывал сочувствия «циничный смех Вольтера, когда он смеялся вслух всей *Европы* над разрушением от землетрясения Лиссабона, и писал *пошлости* о докторе Панглосе, высмеивающем всякое вмешательство Провидения в нашу судьбу, в человеческую судьбу» (АНВ, 317). Р. вспоминает строку из стихотворения *Пушкина* «К вельможе», обращенного к князю Н.Б. Юсупову, посетившему Ферней, — «*Умов* и моды вождь пронырливый и смелый» — и замечает: «Кто это сказал о Вольтере, уже перерос Вольтера. Так Пушкин вырастал из каждого поочередно владевшего им гения, — как *бабочка* вылетает из прежде живой и нужной и затем умирающей и более не нужной куколки. Пушкин оживил для нас Вольтера и *Дидеро*; заставил вспомнить их, даже их полюбить, когда мы и не помнили уже, и уже не любили их; в его абрисах их нет и тени желчи, как и никакого следа борьбы в побежденном *гением*. Это — любовное, любящее оставление, именно, вылет бабочки из недавно соединившейся с нею в одно тело оболочки, “ветхой чешуи”» (ОПП, 41). Р. считает, что «со времен Вольтера и Руссо королевская *власть* в Европе перешла к “духовным вождям” Европы, к “идейным вождям” массы» (М, 208). В. и *Гёте* «решительно отказывались понять “Троичность Единого”, прямо смеялись над этим, как над арифметическою невозможностью» (ВЕ, 13). Р. отмечал широту *К.Н. Леонтьева*, сочетавшего «монашество с чтением вольтерианцев», и назвал его «беспощадный эстет»: «Ничто так не волнует, как поразительные контрасты: и я нигде с таким удовольствием не перечитываю острые шутки Вольтера над *христианством*, как именно в те месяцы, когда приводится мне жить в святых обителях» (ОЦС, 297). И Р. делает вывод, что монашество не отбило вкуса у Леонтьева от житейского, от земного, даже от французского.

А.Н.

ВОРОТНИКОВ Анатолий Павлович [25.6(7.7).1857 — 21.12.1937, Ницца] — драматург, беллетрист, переводчик, журналист, режиссер Нового драматического театра в *Петербурге*. Р. дал положительный отзыв о режиссерской работе В. в статье «“Ипполит” Эврипида на Александринской сцене» (МИ. 1902. Т. 8. № 9–10; СХ). В. приглашал Р. *письмом* на премьеру постановки драмы Ю.А. Стриндберга «*Пляска Смерти*», которая состоялась 20 сентября 1908 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 50). К письму В. была приложена запись Р. о поразившем его предложении В.: «Воротников (“ездите на дачу на о. Капри ради дешевизны, как я делаю”»)» (Там же. Л. 1).

А.В. Ломоносов

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иван — семинарист, квартировавший в доме матери Р. в *Костроме* с 1864, сошелся с ней и на правах отчима заставлял *детей* работать, порол Р. за курение. В *письме* старшему брату *Н.В. Розанову* в апреле 1870 из Костромы Р. рассказывал: «У нас много переменилось; во-первых, съехал Воскресенский, причем по своему воровскому обычаю ободрал с шести об-

разов ризы серебряные, рамку из орехового дерева после *зеркала* тоже взял себе, словом, оставил одни пустые голые стены, да не знаю, кажется, еще худые почтаники, шитые из мамашиного же полотна, да сапоги без подошв. Во-вторых, во всем веру нет постояльцев, это частью оттого, что он, то есть Воскресенский, распустил худой слух о нашем *доме*» (ОСЖС, 670). Еще 30 марта 1870 родная сестра матери Р. — Александра Ивановна Шишкина писала Н.В. Розанову, что В. больше «нет в доме и комнаты приведены в прежнее положение» (ОСЖС, 802). Верхние комнаты дома *Н.И. Розанова* обычно сдавала квартирантам для материального поддержания детей.

А.Н.

ВРУБЕЛЬ Михаил Александрович [5(17).3.1856, Омск — 1(14).4.1910, Петербург] — живописец. Писавшие в «*Новом Времени*» критики *В. Буренин*, *М. Меньшиков*, *В. Кравченко* порицали В. как «иконописца сатаны» (см. розановский «Ответ г. Меньшикову» // НВ. 1903. 28 марта). Р. занимал иную позицию. В статье «На выставке “*Мира Искусства*”» (МИ. 1903. № 6) он дал высокую оценку мастерства художника, считая, что В. отошел от графаретной трактовки Демона как «черного человека с крыльями большой летучей мыши»: «Г. Врубель дает “демона” и “демоническое” как проступающую в *природе* человечность, человекообразность. “Демон” у него не “пролетает над *миром*”, а “выходит из мира”. Невозможно отрицать, что в этом его усилие есть смысл. “Демоническое”, в противоположность “ангельскому”, простее человека, ниже человека» (СХ, 217). Отмечая, что Демон у В. как бы «вытекает из сирени», являясь каким-то «одушевленным минералом», Р. заключает: «Врубель отлично владеет красками, и — глубокий, страстный ценитель перелива *тонов*. В его “Натурщице” и “Гареме” даны тончайшие соединения и размещения цветов. Вообще, в художнике этом много азиатского, — не в порицательном, а в хорошем смысле. Все его *темы* — другие, нежели прочих художников» (там же). После *смерти* художника Р. откликнулся на его биографию, принадлежащую «даровитому перу» А.П. Иванова и печатавшуюся в киевском журнале «*Искусство и Печатное Дело*». В статье «К памяти М.А. Врубеля» (НВ. 1910. 4 мая) он писал: «Автор имеет в своем распоряжении обширный неизданный материал в виде *писем* художника к друзьям и родным и воспоминаний о нем людей, с которыми была так или иначе связана его *жизнь*. О жизни Врубеля, как и о его взглядах на *искусство*, до сих пор ничего не было известно. Но в *Киеве* прошла молодость его, а близ Киева, в смежных губерниях, его лучшая, цветущая пора жизни. В работах для тамошней Кирилловской *церкви* впервые выразились и его великое *чувство* красок, и мастерство в них» (ЗРП, 165).

А.Н.

ВСЕХСВЯТСКИЙ Николай Дмитриевич [22.2(6.3).1865, село Некоуза, Мологский уезд, Ярославская губ. — 6.11.1922, г. Сергиев, Московская губ.] — секретарь совета и правления Московской духовной академии (1896–1919). Женат на дочери *священника* Музе Николаевне Соболевой. В предсмертном «*Письме к друзьям*» Р. писал: «Музе Николаевне Всехсвятской целую ручку за

ее доброту, самого Всехсвятского целую за его доброту и за папироски» (ТР, 92). *Т.В. Розанова* в примечаниях к этому письму поясняет о В.: «В голодное время они много делали для отца, давали ему папироски, кормили вкусным варением, до которого отец был большой охотник. У них отец отдыхал и душевно, и телесно. В семье было два взрослых сына. После смерти уже моего отца их постигло большое несчастье. После закрытия Духовной Академии, Всехсвятский служил бухгалтером в Электротехнической академии, которая помещалась в тех же стенах Академии и Лавры, и очень тосковал; будучи уже глубоким стариком, покончил жизнь самоубийством <...> Всехсвятский был несомненно под большим влиянием сочинений В.В. Розанова» (Там же, 93–94).

Т.В. Смирнова

ВУНДТ (Wundt) Вильгельм (16.8.1832, Неккарау, Баден — 31.8.1920, Гросботен близ Лейпцига) — немецкий психолог и философ. Р. в статье о новой книге В. «Нации и их философия: Глава к мировой войне» (Лейпциг, 1915) пишет: «В ней он накидывает очерк европейской философии с эпохи Возрождения и усиливается доказать, что все плодотворное и великое было сотворено в новой философии исключительно одними только немцами, а роль Италии, Франции и Англии была в философии ничтожна, мала, раздражательна немцам или бесплодна. Здесь говорится не только о чисто умозрительных, отвлеченных построениях мысли, но и о космологических ее взглядах и научного характера, — и нужно припомнить Галилея и Ньютона, которых “ради прусской победы” маленький Вундт сбрасывает с пьедестала, на котором они стоят четыре века и, конечно, простоят еще ровно столько времени, сколько протянется всемирная история» («Германская наука и русские ученые кафедры» // К. 1916. 10 дек.; ВЧВ, 435). Р., отмечая критический отзыв на эту книгу В., опубликованный в «Вопросах Философии и Психологии» Б.В. Яковенко, добавляет: «Вундт, конечно, умаляя заслуги перед философией итальянцев, французов и англичан, ни единым словом не упоминает о России и русских, т.е. нисколько не “умаляет заслуг русских перед философией” И читатель, конечно, со смехом понимает, о чем я говорю. Русских “умалять” нечего, потому что “русских в философии совсем нет”». Р. отмечает, что русская философия передалась в литературу, — «в беллетристику, в повествования, в стихотворения. Достаточно назвать три имени, Тютчева, Достоевского и Толстого, чтобы объяснить дело <...> Мы можем сказать, что более философической литературы, нежели русская, не имеет ни один европейский народ. Тут прямо — трепет мысли и философии» (ВЧВ, 435–436). В статье «Из загадок человеческой природы» (НВ. 1898. 15 мая) Р. весьма резко отзывался о В. и его школе: «Вундт и вообще его школа “мозговиков” не имеет никакого ключа к душе человеческой» (ВМНН, 27).

А.Н.

ВЫСОТСКИЙ Николай Григорьевич (1846 — после 1917) — в 1890-х правитель канцелярии Московского

учебного округа. Р. дважды встречался с ним в 1891. Первый раз при ходатайстве об обмене местами с *К.В. Вознесенским* на г. Белый. Затем, получив письмо от *Н.Н. Страхова*, содержавшее сообщение о протекции, взятой у самого попечителя округа графа *П.А. Капниста*, он ходатайствовал о переводе на должность инспектора в Рязань. В., по общему мнению, был главным лицом в учебном округе, так как его управляющий, Капнист, только «представлял»». В письме к Страхову, написанном в июне 1891, Р. передает наставление старшего брата: «Завтра утром отправляйся в Округ и покажи оба письма Н.Н. Страхова Высотскому — Высотский все равно, что Капнист (он племянник графу и правитель канцелярии)» (ЛИ, 268–269). В., однако, просьбу не удовлетворил: «“Вовсе дело не в том состояло, что Вас не хотят перевести, и никакие обращения Ваши к лицам, вне Округа стоящим, вовсе не нужны были, излишни” и пр. все то же, варьируя лишь слова; говорил он очень быстро с видимым раздражением и неудовольствием» (ЛИ, 269). В следующем письме Р. сообщал Страхову, что он «злится и все бранил Высотского (он и заслуживает): скажи он мне просто и ясно, не будь этих подлых торопливых убоганий за дверь, грубости со мной (слова — очень возвышенным, без малого кричащим голосом — о Вашем незнании положения дела) и проч. — и я был бы спокоен, не было бы той озлобленности, которая буквально душила меня целый день» (ЛИ, 271). В следующем письме он снова упоминал В.: «И вот какой-то Высотский только потому, что он делец (моих лет, если не моложе), кричит на меня, и я по своей застенчивости и робости молчу и краснею» (ЛИ, 272). Таким образом, Р. оказался в Бельской прогимназии. Однако через полтора месяца, уже после начала учебного года, брат приказом по учебному округу был переведен из г. Белого на должность директора Вязьминской гимназии, хотя до этого много лет прозябал без повышения в Бельской прогимназии. Р. писал после этого Страхову: «Округ, без сомнения, обозлен ужасно, как я помимо его и против его воли через ходатайство в Петербурге решил просить о переводе меня из Ельца <...> Сам наш Капнист, как мне передавали, и не только учителя гимназии, алкоголик, все передавший Высотскому, кот. в качестве правителя канцелярии, конечно, ни разу не посетил гимназии. Высотский, не будучи дурак, из никому не нужного пирога — я разумею просвещение — устроил себе вкусную закуску, а главное, сытную: он просто продает места за определенную сумму» (ЛИ, 291). Р. видел в спешном переводе брата намерение администрации округа, т.е. В., затруднить его жизнь как писателя. Эти интриги побудили Р. начать работу над статьей, содержащей критику педагогической системы («Сумерки просвещения») «не без задней и гордой мысли показать и округу с его “Высотскими” <...> что провинциальный учитель может быть гораздо умнее их всех» (ЛИ, 93). В 1907 В., как и Р., выступил в защиту либерального свещ. *Г.С. Петрова* (Высотский Н.Г. Дело священника о Григория Петрова. М., 1907).

В.А. Фатеев

Г

ГААЗ (Haas) Федор Петрович [Фридрих Йосиф; 24.8.1780, село Мюнстерайфель близ Кёльна — 16(28).8.1853, Москва] — врач-филантроп, с 1813 поселился в *России (Москва)*. В статье «*А.Ф. Кони как писатель и юрист*» (НВ. 1912. 19 марта) Р. пишет «о докторе Гаазе, бедном московском враче тюремного ведомства николаевских *времен*, благородную и исключительную личность которого Кони впервые выставил на свет, обратил на нее всеобщее внимание, написал о нем несколько статей, всегда прекрасных, и прочел несколько лекций, тоже прекрасных. Через это “Кони и Гааз” или “Гааз и Кони” сплелись в один такой веночек благородства и великодушия, что их нельзя отделить, и, произнеся “Гааз”, непременно произнесешь и “Кони”, а произнеся “Кони”, непременно произнесешь и “Гааз” <...> Вся позолота его праведной и святой *жизни* пала на Кони: он так сплелся с Гаазом, что теперь не разберешь, кто собственно был добр, Гааз или Кони? *Портретов* Гааза мы не видим, портрет Кони везде видим; Гааз не читает лекций, Кони их читает. Удивляются — Кони, аплодируют — Кони, хвалят — Кони; “потому что Кони любит Гааза” Он так крепко обнял Гааза, что маленького и бедного доктора почти не видно, а виден только знаменитый, славный, состоящий, кажется, в чине “тайного советника” А.Ф. Кони, юрист-законодатель-писатель-лектор» (ПВ, 65).

А.Н.

ГАЙДЕБУРОВ Василий Павлович [15(27).8.1866, Петербург — после 1940, Мурманск] — издатель, поэт, участник *Религиозно-философских собраний*. После *смерти* отца П.А. Гайдебурова (1841–1893), издававшего газету «Неделя» и ее приложение журнал «Книжки “Неделя”», возглавил эти издания. С 1897 издавал газету «Русь», в которой в марте 1897 печатался Р. После появления его статьи «Литературные волнения» по поводу потасовки марксистов и антимарксистов (Русь. 1897. 31 марта) он был удален из газеты за то, что будто бы в его статье содержался донос на революционеров. Р. изложил историю в *письме* к *С.А. Рачинскому*, полученном 7 сентября 1897: «И напиши я статейку “Литературные волнения”, где, пересмеяв выход в отставку журналистов, и кстати посмеявшись над *Михайловским (втайне это устроившим, чтобы “Новое Слово” = “Русскому Богатству”* не подрывало подписки у последнего журнала), разыгрывающего роль какого-то главы полумарксистов в *русской литературе*, говорю, что обе эти партии

равно стараются “за упокой” русского народа, и утешением может быть то только, что их *голоса* шума русский народ не знает, и в то *время* как о нем заботятся, он преспокойно справляет крестины и свадьбы и поет “Волузиях” Словом — шутка, но черт дернул употребить меня сравнение марксистов и антимарксистов с чудаками, которые возьятся где-то в незнакомом для народа углу, “что-то в избушке на курьих ножках, где-то очень далеко, что-то на Лахте, и шум их возни, долетая друг до друга, ни до кого в *России* не долетает” Теперь слушайте, что вышло из этого. Газет я никаких не читаю, и слово “Лахта” было употреблено мною потому, что я вообще искал отдаленного от центра пункта, и вот когда я писал статью и мне нужен был отдаленный пункт — то я и взял Лахту не зная других в *Петербурге*. Оказывается, ½ года назад на Лахте арестовали тайную типографию: о чем много писали в заграничных *газетах* (я и “*Нов. Вр.*” не читаю за утомлением). Вхожу к Гайдебурову уже не первый, в приемный понедельник. Он ужасно смущен, весь как-то от *страха* припал к земле: я что-то спрашиваю, а он мне: “Ай, ай, ай, — что же у нас с вами вышло. — Что вышло? — Донос! — Какой донос? — Лахта. — Ну, что Лахта? Я-то, я-то просмотрел: и забыл совсем действительно, я за границей был тогда и очень много печатали об этом аресте: на Лахте прошлым летом была найдена типография. — Я догадался, и *чувство* ужасного смущения овладело и мной: главное, как оправдаться? — Да было в русских газетах? — Ни слова, запрещено было писать, но в заграничных много было. — Да я же не читаю заграничных, и никто не обязан знать, что там печатается, и рассказываю случай с *Мережковской*, подавшей повод, а он не слушает меня: “*Меньшиков, Н.А. Энгельгардт*, Абрамов — все объявили, что они выходят из сотрудничества у меня, если я отдал свои издания для сочинительства в них доносов”» (ПР. 1897. Сент.–окт. № 9). В статье «Из старых писем. Письма *Влад. Серг. Соловьёва*» (ЗР. 1907. № 2–3) Р. вспоминал: «Гайдебуров (В.П.), редактор-издатель или, кажется, полуредатор, полуиздатель (в этом все дело: тут вмешались права других сонаследников отца-Гайдебурова, основателя “Недели”), решил обзавестись собственным, личным, другим органом и для этого у кого-то купил или сам основал еженедельную “Русь” и, как здесь, в правах основателя, или открытия, или ведения, он зависел от главного управления по делам печати, то Мих. Петр. Соловьёв и решил “понажать его”, чтобы он в еженедельных “Книжках Недели” расстался с г. Мень-



В.П. Гайдебуров

шиковым и еще (не в столь настойчивой форме) Ник. Энгельгардтом. “Или слушайся, или не живи” Гайдебуров был поверхностно дружен (на “ты”) с Вл. Соловьёвым, которого за монашеский склад души, “девственно-дантовский”, глубоко, — с урюмым лбом, чтл Мих.Петр. Соловьёв, хотя последние годы и недолюбливал его публицистики. Но как личность, как ученого, как философа, вне сотрудничества в “Вестн. Евр.” — Мих.Петр. стоял к Вл. Соловьёву в положении ученика, удивляющегося на учителя, считая его феноменом нашей литературы и жизни, человеком “старого”, “исторического зеркала”, и, словом, — Суровый Дант не презирал сонета — звучало в отношениях, точнее, во взглядах строгого государственника “школы Каткова” к пылкому мистик. Соловьёв, прежде чем просить Мих. Петр. (за Гайдебурова), решил захватить и меня, вероятно предполагая по моим любящим о нем отзывам, что и обратно я могу на него повлиять <...> Из всех хлопот наших, как и следовало ожидать, ничего не вышло» (ЛВИ, 482–483).

А.Н.

ГАПОН Георгий Аполлонович [5(17).2.1870, село Беляки, Полтавская губ. — 28.3(10.4).1906, Озерки под Петербургом] — организатор массового шествия рабочих к царю 9 января 1905. Р. посвятил ему статью «Пегий человек» (НВ. 1906. 19 апр.; КНУ), написанную вскоре после убийства Г., организованного эсером П.М. Рутенбергом. Р. дал психологический портрет провокатора, который, подобно Азефу, всех «повел на убой» (СХР, 195). «Есть люди об одном цвете — черные, белые. Но есть еще несчастно рожденные люди, пегие, которые совершенно искренно не могут одному чему-нибудь служить, и совершенно искренно служат двум господам; т.е. измена то одному, то другому, и в конце концов всему и всем составляет самый стержень и “истину” их души. Да, есть истина и в неистине, пафос лжи, талант обмана. Конечно, это несчастье, и такому-то несчастью, по-видимому, был обречен Гапон» (КНУ, 87). Как особый «талант» отмечает Р. умение Г. овладеть массами. «Самая удивительная черта его деятельности, конечно, заключалась в массовом, многотысячном привлечении к себе рабочих, в абсолютном авторитете, который он

приобрел в их душах, в их глазах, для их убеждения. Такие вещи легко не даются <...> Тут (по-видимому) не нужно иметь тихих, индивидуальных, прелестных створон души, а что-то басовое и гремящее. Нужна не скрипка, а грохочущая по мостовой телега с пустыми бочками» (КНУ, 89). Р. описывает гапоновщину как одно из характерных явлений эпохи: «Все одинаково признают, что имя и движение Гапона, “гапониада”, сложилось в наиболее крупные черты, сложилось в зрелище, в картину, которую после 9 января фотографировали все иностранные иллюстрированные издания. Все-таки этого ни у кого не вышло, не вышло у тех “настоящих и вполне сознательных революционеров”, которые “очень умны”, но остались за ширмами. Вышло у Гапона, пегого коня, без совести, без Бога, но с октавой. Особый дар» (там же). В статье «Надгробное слово Гапону» Р. описал «удушение Гапона» на даче в Озерках как еще одно проявление азефовщины в революционном движении, когда «террор во что бы то ни стало захотел слить с собою рабочих, преобразуя их из экономической силы в политическую» (Новое Слово. 1909. № 12. С. 8). В начале войны 1914 Р. приводит слова матери рабочего, провожавшей сына на войну: «Сыночек, об одном прошу тебя: Царю-то будь верен». И заключает: «Это слово одинокой старухи, сказанное сыну при отправлении на войну, — не стóбит ли фальшивой многоголосицы, какая неслась по Петербургу в знаменательный день 9-го января (Гапон)...» (ПЛ, 328).

А.Н.

ГАРНАК (Harnack) Адольф фон (7.5.1851, Дерпт, Эстляндская губ. — 10.6.1930, Гейдельберг) — немецкий протестантский теолог, автор книги «Сущность христианства» (1899; рус. пер. 1907). Не приемля рационалистическую «разумность» (СХР, 163) Г., Р. отмечал, что берлинский теолог полагал, будто в теле религии, кроме обрядов, «нет ничего (Гарнак, дерптец-берлинец)» (У, 70). Р. рассмотрел идеи Г. в статье «Литературные новинки» (НВ. 1903. 23 июня). «“Пхе” — говорят Гарнак, Петров: “Религия — это просто человечность... В сущности — это мы есьмы религия... Религия — именно без Бога. Религия — это просто богословие... И некоторое пустое место, на котором когда-то были боги, играли нимфы, по крайней мере светились мифы... Но мы всю эту мифологию разобрали и обратили в воду. Тайна, вся, какая есть, заключается в том, что самого электричества, именно электричества самого, и — нет, а — есть обыкновенная вода, со своею химическою формулою <...> Тогда, очевидно, Петров и Гарнак восторжествуют. И скажут: “Религия — это просто мы” “и наши лекции о религии”» (АНВ, 155–156). Во время Первой мировой войны Р. писал о немецких ученых: «Они и тупы все. Самые ученые. И — самый их Гарнак (личный друг императора Вильгельма), написавший “Сущность христианства”, где подразумевается все это же его нищенское резонерство. Он написал, сам об этом не догадываясь, не “Сущность христианства”, а “Христианство без сущности” В зверствах их и есть эта тупость. Это — не жестокие зверства, т.е. они сотворены вне игры сладострастной жестокости (зверства Французской революции), а грубые, тупые жестокости, какие-то деревянные и какие-то болванные. Именно — “нет икон”, и из матерья-

ла дерева у них выходит только “крепкая мебель” Так из матерьяла “человек” германская якобы *культура* соделала только тупоголового “немца” Он и проявил в телешных зверствах именно это тупое свое отношение к *лицу* человеческому» (ПЛ, 285).

А.Н.

ГАРШИН Всеволод Михайлович [2(14).2.1855, имение Приятная Долина, Бахмутский уезд, Екатеринославская губ. — 24.3(5.4). 1888, Петербург] — прозаик, критик. Р считал, что «армию проклял *Грибоедов, Л. Толстой* (времени “опрошения”) и *Гаршин*» (М, 239). О таких писателях Р говорил: «Войско они называют “убийцами” “Их” Гаршин и прочие говорили, что “солдат” тогда только “человек”, когда он бросил ружье...» (КНУ, 486). Однако Р не воспринимал Г. односторонне: «Гаршин в болезненной мечте о “красном цветке”, в котором сосредоточено всё страдание *мира* и который безумный больной человек силится и протягивается сорвать, выразил *душу* и идею *революции* с такою глубиной и всеобщностью, которую можно принять за предел точности и полноты. Но и он сказал: “Это — больной, это — маньяк” В сущности — и Гаршин говорит, как многие теперь догадываются: “Это — сумасшедший”» (НВ. 1913. 28 авг.; НФП, 131).

А.Н.

ГАУПТМАН (Hauptmann) Герхарт (15.11.1862, Оберзальцбрунн, Силезия — 6.6.1946, Агнетендорф, Силезия) — немецкий драматург. 12 сентября 1901 Р. присутствовал на спектакле «Ганнеле» Г. Пьеса была создана в 1894 и в 1897 поставлена Театром Литературно-художественного общества (Суворинский театр, ныне Большой драматический театр в *Петербурге*), где Р. видел ее по бесплатной контрамарке. 14 сентября 1901 он опубликовал в «*Новом Времени*» рецензию на спектакль: «В первый раз я увидел знаменитую пьесу Гауптмана, весьма старательно поставленную на театре Литературно-Художественного общества. Задачи представления, однако, превышают силы исполнителей <...> Пьеса сразу погружает вас в *мир* иллюзии, и, в сущности, она очень хороша, хотя немного трудна для зрителя <...> Сам Гауптман едва ли заметил, что ведь дикие слова вотчина в последнем явлении, где он куражится, что благодетельствовал этой ленивой падчерице, тогда как мог бы выгнать ее на мороз <...> исторически и традиционно относится к тому же *лицу*, которое под видом “странника” говорит разные сахарные слова. Наконец ведь слишком понятно, где нравственный “гвоздь” пьесы: “Призрак матери”, который зовет к себе (на небо) дочь, с синяками, с опухолями на теле, с истерическим испугом при одной *мысли* о появлении вотчина, и, наконец, зверский и пьяный образ последнего — не оставляют сомнения, что мы имеем перед собою 1001 страницу мартиролога женщин и детей, “сега *семени* дьявольского”, искусительного для добродетельных потомков Адама» (СХ, 200–201).

А.Н.

ГЕ Николай Петрович (1884–1920) — внук художника Н.Н. Ге, публицист, искусствовед, один из молодых почитателей Р., оставшийся верен ему (как и *Е.П. Ива-*

нов) после исключения Р. из *Религиозно-философского общества*. В «*Опавших листьях*» Р вспоминает встречи в своем *доме* «с Ге и Ивановым за чашкой чаю» (У, 289), когда бывшие знакомые покинули его и начался бойкот его *книг*. *Т.В. Розанова* вспоминает: «В эти годы бывал у нас и сын <внук> художника Н.Н. Ге. Помню, приходил всегда часа в четыре дня, очень молчаливый, небольшого роста, сидел за чайным столом, посидит и уйдет. Почему он к нам приходил, — не знаю, что его связывало с отцом, так как папа никогда не любил художника Ге» (ТР, 47).

А.Н.

ГЕГЕЛЬ (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих (27.8.1770, Штутгарт — 14.11.1831, Берлин) — немецкий философ. Р. обходился в своих рассуждениях без строгих логических построений, предпочитая им свои собственные наблюдения. «Есть “логика Бэконовская”, и “логика Гегелевская”, и “логика Розановская”; совсем новая “логика *Флоренского*” А нет “вообще логики”, нет схемы, отвлечения и учебника. Родается “умный *человек*”, рождается “нравственный человек”, но нет “ума” и “нравственности”» (СХР, 124). В статье «Три момента в развитии русской критики» (РО. 1892. № 8) Р. отмечает: «*Тайны* Гегелевской диалектики, казалось, влекли нас еще больше, чем пафос *Шиллера* или очарование *Байрона*» (ЛВИ, 242). О гегелевской диалектике, которая представляет собой не *истину*, а только «метод» (ОПП, 589), Р. высказывался довольно образно: «Говорят, диалектику создали *Платон* и Гегель; но гораздо раньше их — хамелеон, неуловимо для *глаза* переменяющий цвета свои и не имеющий никакого определенного, постоянного цвета, — дал собою пример, так сказать, органической диалектики. Что такое диалектика? Это “да” и “нет”, переходящие друг в друга, помогающие друг другу, дружелюбные друг с другом, хотя они и ожесточенно спорят. Почтенна ли диалектика? Она есть во всяком случае изумительная *вещь*, а что касается почтенности, то об этом могут быть споры. Флюгер ведь тоже диалектичен, тогда как бревно, лежащее на земле, есть образец “честного уклонения от виляния” Бревно, как и Адам до грехопадения, — невинны, честны, позитивны. С этим можно было бы примириться, если бы это не было очень скучно. Ева заскучала в “честном раю” очень скоро, и диалектик-змея без всякого труда вывел ее оттуда в прискорбное, но и интересное земное существование, — где и началась всяческая “диалектика” (ЛВИ, 539). Определяя место *философии* Г., Р. утверждал: «Ядро оригинальных философских систем всегда вырастало из отрицания предшествующего владычествующего учения и лишь побочные их опоры, незначимые и нехарактерные части брались из прежних систем <...> Идеализм *Фихте, Шеллинга* и Гегеля есть переступание разума за границы, определенные для него *Кантом*, в вечно непознаваемый, по мнению этого философа, *мир* “вещей в себе”» (ЛВИ, 201–202). *Н.Н. Страхов* рассматривал *книгу* Р. «*О понимании*» с точки зрения категорий Г.: «Он во мне искал Гегеля или части Гегеля, тогда как во мне не было ничего этого и вообще никакой части немца...» (ЛИ, 16), — заметил позднее Р. В *письме* Страхову в июне 1889 Р. поясняет отличие своей задачи от гегелевской: «У Гегеля цель — изъяснение действитель-

ности, природы физической и духовной из развития *идеи*, которая в этом развитии создает категории; кажется так; но во всяком случае несомненно, что его философия есть изъяснение. Я же задался целью построить конечную форму умственной деятельности человека, исходя из *мысли*, что *ум* есть потенция, в которой строго предустановлена эта конечная форма; так. обр., моя *книга* по характеру своему есть построение; объяснения, которые включены в нее, несущественны, лежат вне ее цели, и имеют значение ряда исследований, которые вовсе не зависимы от целого книги. Деление, классификации *знания* всегда, конечно, существовали, но лишь того, которое есть, а не возможного, так как они не исходили строго из принципа *потенциальности ума*" (ЛИ, 208).

А. Н.

ГЕДРОЙЦ Сергей [аллоним, которым подписывала свои литературные сочинения Вера Игнатьевна Гедройц, — имя ее любимого брата, умершего пятнадцатилетним в 1886; 7.4(29.4).1870, село Слободище, Брянский уезд, Орловская губ. — март 1932, Киев] — первая в *России женщина*, ставшая профессиональным хирургом, доктор медицины, профессор хирургии, поэт и прозаик (Послужной список Г. в РГВИА. Ф. 546. Оп. 2. Д. 7968). Жизненные пути Г. и Р. пересеклись дважды: лето 1882 — лето 1887 в Брянске и в последние (начиная с осени 1909) семь лет *жизни* Р. в *Петербурге*. Из автобиографической *книги* Г. «Лях» (Л., 1931): «Брянская женская прогимназия — белое двухэтажное здание с железной крышей — находится на Московской улице. Прогимназия трехклассная, учительского персонала немного. У меня на *душе* тяжело. Нужно сдать вступительный экзамен во второй класс; боюсь провалиться. Экзаменуют в зале. Мое внимание привлекает вошедший *учитель*, худой, с такими тонкими ножками, что вицмундир кажется висающим на нем, как на вешалке, — это учитель географии и *истории* Василий Васильевич Розанов <...> Вспоминаю слова Насти <двоюродная сестра Г.> о том, что, несмотря на его молодость, никто из учениц в него не влюблен. С любопытством рассматриваю его красное *лицо*, обрамленное рыжими волосами и заканчивающееся такою же жидкою бородкою. В профиль он был похож на козла, так и окрестили его прогимназистки. Засмотревшись на него, пропускаю смысл вопроса. Он краснеет и начинает быстро-быстро трясти ногой. Привычка, — особенно сильно проявлялась в минуты волнения. Спрашивает меня про Княгиню Ольгу. Отвечаю. Он покачивает головою и чертит на экзаменационном листе виньетки. Наблюдающая за нами начальница подходит, прислушивается и перебивает меня. «Василий Васильевич, — восклицает она, — вы ведь ее по географии экзаменовать должны, а не по *истории*» Розанов густо краснеет. «Ничего, я это ей зачту...» — начинает он, и лицо у него такое смешное, что я не выдерживаю и прыскаю от смеха. Смеется и начальница. Нога Розанова отбивает мелкую дробь, от которой дрожат стол, стул и покачиваются фалды его вицмундира. Он нелепо повторяет: «Ну, это пустяки! Главное, что она выдержала» <...> Из уроков самый интересный — урок географии. Свообразно изложения уносило далеко, распахивало ворота окружавшей обыденщины. И «двули-



С. Гедройц

кий», как прозвали мы Розанова, был другим на таких уроках: он, казалось, жил иною жизнью, жизнью *мечты*, и лицо его светлело, улыбалось... Забывал он *время*, забывал, что перед ним второклассницы, говорил о том, чего нет в книгах, — о жизни, о *человеке*. Но стоило ему услышать шутку, подметить умешку — глаза прятались за очками, *губы* сжимались, и перед нами был Розанов, повернувшийся другою стороною лица. Большинство его не любили. Говорили, что он тяготится своей домашней жизнью, что Юлия (так все звали его жену) увлекается офицерами... Держался он вдали от других учителей, не принимал участия в попойках, не бывал в клубе и писал книгу. За это я его любила и хорошо приготавливала уроки <...> Меня дразнят: «Ха, ха, ха, она любит Розанова, — хохочет класс, — задаст тебе Юлия. Она тоже рыжая. Васеньку в таком страхе держит, что он у себя принять никого не смеет и в отместку лепит нам колы» <...> В третьем классе из предметов прибавилась история, причем Розанов особенно вымучивал по хронологии. Странная *вещь*: насколько интересны у него уроки по географии, настолько нелепа история, где нужно знать назубок. В общем, колов ставит меньше, и стал ровнее, что приписываем отъезду Юлии, совсем или на время, неизвестно <...> Рассматриваю корешки книг в библиотечном шкапу... «Что, книги хотите взять?» — окликает меня Розанов. Приближается прыгающей неслышной походкой, улыбается, причем смеется каждая складочка лица его. Глаза поблескивают из-за очков. Прошу «Обрыв» *Гончарова* или «Обыкновенную историю» Розанов сердится: «Разве можно начинать с такой тяжелой вещи? Нет, вот вам «Фрегат Паллада», читайте и помните, что, когда принесете книгу обратно, я спрошу, что вы вынесли <...> Мальчики, усевшись на подворотне в сумерках, учат меня курить. Мелькнуло пальто с барашковым воротником, — профиль Розанова. Повернув голову, взглядом ехидным проткнул. Пропали! — Скажет... «Вы были вчера с мальчишками под воротами? Курили?

С кем?» — спрашивает на другой день Розанов, меняя книгу. Пропала, пропала! Видятся начальница, инспектор, педагогический совет. Исключение... Неделя тревожная. Суббота — выдача отметок. Все благополучно: не сказал <...> Зима... Каток... Музыка... Хожу слушать музыку возле катка... Розанов тоже ходит за кругом. Увидев меня, отворачивается. Следит за Юлией, она катается в кругу...» (с. 191, 192, 189, 181, 194, 193). В книге «Лях» приводится сочиненная прогимназистками сатира на Р. из ученической газеты «Хайло», издателем которой была сама Г.: «Вот идёт сюда Васютка, / Посмотреть на рожу жутко». Забавлялись ученицы и распеванием сочиненных ими куплетов о сварливой жене Р. Учитель нервничал, но никогда не мстил. В годы учебы Г. жила в Брянске у своей старшей сестры Марии (в замужестве Красницкой) на Комаревской улице, где часто оказывался Р. после семейных скандалов. Р. вспоминает в «Опавших листьях»: «Проходя по Комаревской улице (Брянск), я видел маленький домик “К-ких”, и видел в окно, “как они все пьют чай” Тогда она <Мария> была худенькая, деликатная, если не красивая, то почти красивая, она была такая скромная, что я, пожалуй, был “почти влюблен”» (У, 305). Спустя 25 лет после учебы в Брянской прогимназии, Г. в своих стихах признается, как много значил Р. для нее: «Если я падал душою, / Сердцем, борясь, уставал, / Ты своей песнью святою / К долгу меня призывал. / Тьмы беспощадный гонитель, / К свету, лишь к свету все вел, / И за тобою, учитель, / Гордо и смело я шел» («Стихи и сказки». СПб., 1910. С. 127). С 4 августа 1909 княжна Г. высочайшим указом назначается на должность старшего ординатора Царскосельского Придворного госпиталя. Сразу по переезде в Царское Г. пишет Р. письмо: «Встречаясь с Вашими статьями, захватывающими меня, мне захотелось возобновить знакомство с Вами, если только Вы тот самый учитель Брянской женской прогимназии, о которой у меня, Вашей ученицы, осталось самое светлое воспоминание. Теперь я доктор <...> и была бы очень рада увидеть моего незабвенного учителя» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 404). В ответном письме Р. пригласил Г. к себе. Собрав свои поэтические сочинения за прошедшие двадцать лет, Г. решила издать их. Но сначала она выслала их Р., признаваясь, что «счастлива послать их именно» своему учителю, человеку «пробудившему в ней “живую душу”». Оценка ее поэтических опусов не принесла Г. оптимизма: «Ваш приговор относительно моих стихотворений мне очень горек» (В. Гедройц — В. Розанову. 15 авг. 1909 // ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 10). По выходе в свет сборника «Стихи и сказки» Р. хлопотал перед редактором «Русского Слова» Ф.И. Благовым о помещении рецензии: «Княжна Вера Игнатьевна Гедройц, наша орловская уроженка и моя любимая ученица в Брянской прогимназии, кончившая потом курс в Лозаннском университете. Не знаю, сыграет ли это роль “+” или “-” в Ваших глазах, но эта милая княжна, такая деятельная и образованная, через деятельность в Манджурии стала известна и, как есть основания думать, — дружна с Вел. Кн. Елизаветою Федоровною, и этой, тоже очень милой княгине, будет приятно прочесть в “Русском Слове” о стихах своего (почти) друга» (В. Розанов — Ф. Благову. ОР РГБ. Ф. 20. Ед. хр. 58). «Русское Слово» опубликовало статью Розанова «Моло-

дые поэты», содержащую теплый отзыв на сборник «Стихи и сказки»: «Читая книгу Гедройца, вспоминаешь стих Державина: Алмазна сыплется гора / С высот четырех скалами... На вас сыплется стихи, из которых в каждом — трепет минуты, горячей, знойной, иногда очень хлопотливой, всегда необыкновенно оживленной <...> С. Гедройц, как видно из книги, прожил завидную жизнь, полную мысли и движения, порывов и небесплодных, какой-то острой муки и головокружительных восторгов. Все это придает полноту и осязательность его стихотворениям — качество, уже ставшее редким в наш век символики и отвлеченностей. Стихотворения посвящены природе, любви и труду <...> любовь “связана” с рождением; но, по-видимому, стоит около него самостоятельным феноменом, с каким-то особым сосредоточением в себе <...> Во всемирную лирику любви С. Гедройц вложил несколько стихотворений, которые не забудутся по глубокой деликатности чувства» (РС. 1910. 4 июня; ЗРП, 203–204). Г. начала часто бывать у Р., став, по его словам, «приятельницей» его дома. Познакомилась с его домочадцами, особенно близко подружилась с его падчерицей Александрой Бутягиной. Об этом вспоминает в мемуарах Т.В. Розанова (Русская литература. 1989. № 4. С. 161). Очень понравилась жена Р., «удивительного спокойствия и ясности души» женщина. Осенью 1909 Р. попросил Г. посмотреть его жену, у которой стала сохнуть левая рука. После осмотра у Г. сжалось сердце: возникло подозрение на рассеянный склероз нервных тканей, — впереди паралич. Предложила собрать консилиум, пригласив не только М.К. Наука, но и А.И. Карпинского. В дальнейшем Г. постоянно опекала жену Розанова, помогала в организации лечебных процедур, устройстве в клиники.

А.В. Ломоносов, М.Н. Ватель-Гедройц

ГЕЙ Богдан Вениаминович [1848 — 16(29).7.1916, Царское Село, Петроградская губ.] — заведующий иностранным отделом газеты «Новое Время», журналист. В некрологе «На трудовом посту» (НВ. 1916. 19 июля) Р. вспоминал, что просидел 17 лет вместе с Г. «в одной редакторской комнате». «Он был “соредактором” Алексея Сергеевича <Суворина>, — одним из соредакторов. А в летние месяцы обыкновенно “торчал тут” Все разьедутся, а он “торчит” Кричит, распоряжается, “планирует номер” Но не только летом. “Вот и эту зиму провел Гей” Он как-то не уставал, — терпеливый, зоркий, благородный. Всегда благородный. Он не знал (да и никто, кажется, в редакции) мелкого интриганства, мелкого завистничества, чем так часто пользуются в центре больших газет и вообще крупных дел. Не знал и не интересовался. Для него, как и для старика-Суворина, было важно: “Россия и наша газета” Ну, и впереди всего: “Что же нужно России?” <...> Старый народник и друг Максимова (“Куль хлеба”) — он обучил меня России. Обучил в том смысле, что Россия есть важное, и — первое важное» (ВЧВ, 310). Писатель В.П. Крымов, недолго работавший в «Новом Времени», вспоминал: «Когда умер Гей, старейший сотрудник “Нового Времени” (читатели его совсем не знали), друг старика Суворина, работавший с ним, когда еще сами набирали номер, Розанов написал вместо некролога как бы сказку. Уже в день своей смерти Гей встретился на том свете с А.С. Суво-

риным: “Здравствуйте, Алексей Сергеевич! Ну вот и я наконец приехал” “Здравствуйте, здравствуйте... Очень рад, давно жду” Старики обнимаются, и Суворин спрашивает Гея, что делается там, в *Петербурге*, в редакции. Далее идет простой, как бы наивный разговор двух стариков, но он произвел такое впечатление, что некоторым, знавшим обоих, хотелось заплакать, и все находили, что замечательно написано» (Москва. 1998. № 4. С. 199–200). Вольно пересказав конец некролога, Крымов уловил главное: для Р. всегда было характерно «плотское» восприятие *жизни бессмертной души* на том свете. Как бы продолжением этой потусторонней *истории* стал рассказ Р. в «*Последних листьях*» о том, как он хотел «соединить» панихиду по Г. в редакции с походом в *баню*. «На панихиду, — писал он, — увы, опоздал, был очень опечален, и как был в синем красивом пиджаке — отправился в общи по 90 к. Узел с бельем я благоразумно захватил из *дому*» (ПЛ, 177).

А.Н.

ГЕЙНЕ (Heine) Генрих (13.12.1797, Дюссельдорф — 17.2.1856, Париж) — немецкий поэт, который, по словам Р., «пытался потянуть немцев в сторону шутки и остроумия» (СХ, 152). «Гейне, с его мучительной гримасой, был одним из родителей, рождалей *цивилизации Европы* <...> Она гораздо более ему обязана, нежели он ее “общим условиям” или ее “духу”, вообще ее “течению”...» (ОПП, 228). Имя Г. нередко использовалось Р. в политических, внелитературных целях: «*Писарев* доказывал, что *Пушкин* “не поэт”, как, напр., был для него поэтом Гейне» (ОПП, 20). В книге «*Мимолетное. 1915 год*» Р. записал: «*Евреи* не могут отрицать, что Гейне был довольно патриотичен и националистичен. Однако он, описав с пафосом “субботу”, сказал, что “когда она кончилась”, — еврей “Грязной выбежал *собакой*”» (М, 29) (имеется в виду стихотворение Г. «*Принцесса Шабаш*»). Об ожидании «русского Гейне» Р. сказал: «Не появился еще Гейне, — Гейне-*Гоголь*, — за которым, несомненно, все русские побежали бы и побегут (если случится). В живописи уже есть их *Левитан* и в скульптуре Антокольский и Гинсбург <Гинцбург>. Это уже близко к Гейне, — но эти области далеки от значительности и влияния *литературы*. Евреи поджидают именно Гейне, который не одною властью, но и *талантом*, даст им наступить на горло *русской литературе*. Это-то им и надо: ибо тогда только они скажут: “*Россия* совсем наша”» (КНУ, 435). В своей последней книге «*Возрождающийся Египет*» Р. касается всеотрицающего *смеха* Г.: «Саркастическим смехом над всем европейским и над всем христианским прокатились стихи и проза Гейне, этого остроумного и вместе интимного пересмешивателя, отрицателя и циника. Смех *Вольтера* был глубоко здоровым смехом сравнительно со смехом Гейне, значительно отравившего европейский дух. Но этот смех и сарказм Гейне, без всякого утверждения, без всего положительного, — он в мелких и грязных формах сочится из всякой еврейской строки, из всякой еврейской *газеты*, от всякой еврейской книгоиздательской фирмы. Возвращаясь к тому, что это такое, этот непрерывный смех над всем европейским и христианским, мы найдем полное его объяснение в том, что это есть литературное преобразование знаменитого их учения о “трефа” Секрет и

разгадка в том, что все “европейское и христианское” есть что-то обреченное *Богом*, их “израилевим богом”, на вымирание, гибель, вырождение и гниль» (ВЕ, 483–484). Более общая *характеристика* наследия Г дана в статье Р. «*Пестрые темы*» (РС. 1908. 13 мая): «Имя Гейне одно горит яркою звездой на европейском литературном небе, и звезда эта не боится близости никакого *солнца*, она не меркнет в лучах *Шекспира*, *Шиллера*, *Байрона*, *Данте*. В Гейне есть своя и незаменимая прелесть, и вот это-то свое в нем и обеспечивает ему незаглушенность и вечность. Это какой-то Соломон в молодости или Соломон, который отказался бы от *старости* и мудрости, сказав, что он не хочет идти дальше “*Песни песней*” и не хочет соперничать. Он есть вечно юный паж, грациозный, шаловливый, насмешливый и вместе серьезно богомольный около двух вечных идеалов, которым всегда поклонялось человечество — женской *красоты* и поэзии “an und für sich”, “в самой себе” По этому своему поклонению, такому изящному и такому внутреннему, он не перестанет никогда быть родным всему человечеству. Десять томиков Гейне — последний отдел великого “Священного Писания” евреев. Гейне оттого и для русских есть как бы русский, что он есть полный еврей, без усилия слиться с кем-нибудь. Но Гейне — один. И около него в *литературе* не горит ни одно имя, сколько-нибудь с ним равное. Его друг и недруг Бёрне представляет собою уже обыкновенную публицистическую величину» (ВНС, 114–115).

А.Н.

ГЕОРГИЕВСКИЙ Александр Иванович (1830–1911) — государственный деятель и писатель, покровитель Р. в 1880–1890-х, с которым он познакомился во время посещения *Н.Н. Страхова* в *Петербурге* в январе 1889. В статье «Кто был организатором нашей классической системы» Р. опроверг расхожее в *обществе* мнение, что идеологами образовательной реформы Российской империи являлись гр. *Д.А. Толстой* и *М.Н. Катков*. Он воздает должное тому, кто «был истинным Кутузовым нашей классической гимназии». По его словам, Г. «был, так сказать, дельным указчиком около вдохновенного, всегда готового к словам, Каткова <...> Таким образом, он был король реформы, реформатор по титулу и креслу <...> Он и есть, до некоторой степени, родитель классической гимназии и ее тридцатилетнего существования. Если всегда и все говорили о властительности Толстого, то о Георгиевском всегда говорили со стороны непоколебимости каких бы то ни было его мнений: его бесконечной и совершенно неодолимой “стойкости” Конечно, к этому позволительно мысленно прибавить ум, трудолюбие: но о чем никогда и никто не говорил — это о гениальности Ал.Ив. Георгиевского, о том *таланте*, полете мысли, которые были у Каткова и Толстого: и под защиту-то этих талантов и была поставлена классическая система» (Свет. 1903. 6 февр.). В 1913 Р. вспоминал о своем знакомстве с Г.: «В бытность в *Петербурге* познакомился с Леонидом Николаевичем Майковым, издателем *Пушкина* и братом поэта Аполлона Николаевича М-ва. Все это были “свои люди”, “свой кружок” у Страхова. Именно Леонид Николаевич, полный и добродушный человек, и сказал “им всем” обо мне, что мне надо увидеться с А.И. Георгиевским (“вице-министр”).

“Зачем” увидятся, ни они не сказали, ни я ничего об этом не подумал. Свидание было ужасно странное. Войдя в кабинет, я был поражен беспримерно в *истории* некрасивостью “владыки кабинета” Сел. Он немного расспрашивал, много сам говорил. *Лицо*, я думаю, выражало ум “деловой формы”, злость к “сопротивлениям в службе”, бесконечное упорство и даже прямо неспособность сказать “нет” после того, как однажды сказано “да”; и, наконец, даже неспособность понять или допустить, что “где-то там” существуют философия, поэзия, звезды и нумизматика <...> Я сидел. Он говорил. Видя, что я ничего не прошу, он в заключение и предложил мне 1) перевестись в Петербург и 2) одобрить *книгу: “О понимании”*. Р. был благодарен Г., разглядевшему в молодом *учителе* истинные его предначертания, «в гениальности которых он *Бог* весть как уверился». Р. признавался, что мечтал в то время стать «настоящим устройтелем ведомств школ» при «бла-а-душнейшем мудреце» министре народного просвещения *И.Д. Делянове*. Р. вполне отдавал себе отчет, что не имел элементарного опыта в практических делах министерской *политики*. В связи с этим он видел широкую стезю для деятельности таких людей, как Г., предполагая взять его к себе «в исполнители», но дав им «*иное вдохновение*, чем какое они получили в Каткове и *Леонтьеве*» (ЛИ, 26). На страницах «*Нового Времени*» Р. выступал против детища Г. — классической школы. В 1915 Р. изменил свое отношение к личности чиновника, обратившегося к духовной *литературе*: «Георгиевский (А.И.) вдруг стал переводить псалмы Давида, и я ему (в *душе*) “простил классическую школу”» (М, 50).

А.В. Ломоносов

ГЕОРГИЕВСКИЙ Григорий Петрович (1866–1948) — археограф, книговед, филолог-пушкинист, хранитель Отделения рукописей Румянцевского музея, принимал эпистолярный *архив Р.* на хранение в Румянцевский музей. Г. прислал Р. свою *книгу “Письма И.С. Тургенева к графине Е.Е. Ламберт”* (с предисловием и примечаниями Г.П. Георгиевского. М., 1915) с просьбой об отзыве в «*Новом Времени*». Р. откликнулся статьей «Отцы-воспитатели русского общества: Письма И.С. Тургенева к графине Е.Е. Ламберт» (НВ. 1915. 4 и 31 июля; НФП). С письмом от 12 декабря 1915 Р. передал Г. через *П.П. Перцова* очередную подборку писем своих корреспондентов на хранение в Румянцевский музей. В письме 1916 Р. благодарил Г. за присланный том «Отчета Императорского Московского и Румянцевского музея за 1914 г.» (М., 1916) с описанием писем писателя, переданных в дар музею. Р. восхищался при этом местом службы Г.: «А ведь Ваша должность — хранение рукописей Рум. Муз. — из лучших служб в *России*. Какие “подвалы, наполненные сырами, яблоками и всякой сладкой снедью”» (ОР РГБ. Ф. 217. К. 14. Ед. хр. 13). В 1917 Р. передал Г. первый выпуск «*Апокалипсиса нашего времени*» с дарственной надписью: «Глубокоуважаемому Григорию Петровичу Георгиевскому. В. Розанов. см. стр. 10», отсылая его к тексту, насыщенному литературными аллюзиями на тему «лишнего человека» в *русской литературе*. В 1918 произошла последняя передача Р. части своего эпистолярного архива Г. через посредничество приват-доцента *Московского университета*

П.Н. Кантерева и *С.Н. Дурылина*. Р. сопроводил передачу письмом с высокой оценкой научной деятельности Г. в Румянцевском музее и просьбой о присылке «Отчетов» рукописного отделения музея: «Получив один единственный № “Из архива В.В. Розанова”, я сейчас же начал читать об изумительном богатстве приобретенный <Румянцевским музеем> за этот один год, и прежде всего о Румынских Четь-ях>-Минях XVI-го века, которые конечно “за сходную цену” приобретены Георг.Пет. Г-ским, и, значит, “свеча поставлена на подсвечнике”». В том же письме Р. поделился с Г. своей *мечтой* об издании книг «Прелести нумизматики» и «Прелести библиографии» (описание своих коллекций) (ОР РГБ. Ф. 249. К. 6. Ед. хр. 30).

А.В. Ломоносов

ГЕРД Владимир Александрович (ум. 1926) — учитель младшей дочери Р., председатель педагогического совета и инспектор гимназии *М.Н. Стоюниной*, преподаватель Высших женских курсов П.Ф. Лесгафта. В «*Сахарне*» Р. описал эпизод переживания дела *Бейлиса* в частной гимназии М.Н. Стоюниной: «Ученицы Стоюниной, проезжая через местечко, кинулись на русских подруг своих. Герт — инспектор — стоял испуганный и побледневший и ничего не сказал» (СХР, 171). Младшая дочь писателя *Н.В. Розанова* признавалась, что скучала на его уроках: «Естествознание я не любила. Урок зоологии. На кафедре стоит прут с почками, в банке разрезанные пополам лягушки с растопыренными лапами и несколько живых тараканов. “Натюрморт” из живой природы!» (НР, 87).

А.В. Ломоносов

ГЕРМОГЕН [Долганов Георгий Ефремович; 25.4(7.5). 1858, Херсонская губ. — 16.6.1918, утоплен в реке Тура, Тобольская губ.] — епископ Саратовский (1903–1912), требовавший отлучения от церкви Р., *Д.С. Мережковско-го*, *Л.Н. Андреева* и других писателей. 27 февраля 1911 в рапорте *Синоду* он писал: «У нас в Саратове в книжных магазинах “*Нового Времени*” стали теперь продавать брошюру В. Розанова “Русская церковь. Дух. Свобода. Ничтожество и очарование” Брошюра анонсируется заманчивым объявлением — “Освобождена от ареста по решению С.-Петербургской Судебной палаты” Такого рода анонс привлекает к брошюре внимание со стороны общества» (РГИА. Ф. 796. Оп. 193. Ед. хр. 1226. Л. 5). Летом того же года Г. направил в Синод доклад о другой *книге Р.* — «*Люди лунного света*» с предложением отлучить Р. от церкви (см. «*В темных религиозных лучах*»). В «*Сахарне*» Р. высмеял правила «расторжения брака», которые «писал и обдумывал» Г. из Саратова (СХР, 98). Г. был уволен из Синода, и Р. написал статью «Может быть тревожный час *истории*...» (НВ. 1912. 19 янв.; ПВ) об этом увольнении. Р. посетил Г. в Ярославском подворье и описал эту встречу в статье «Посещение преосвященного Гермогена» (НВ. 1912. 22 янв.). «Я сидел у владыки довольно долго. Конечно, никакого еще мотива кроме ревности о церкви нет и не может быть у этого инок. Один в составе приблизительно восьми членов Синода, он был естественно без власти в коллегиальном учреждении; что он подавал “свои отдельные мнения”, то ведь они, “по принятому порядку делопроизводства”, принимались только ко “вниманию”, но не к “исполне-

нию” Следовательно, никакому ходу дел в Синоде он не мешал и не мог помешать. Но обер-прокурору мешали его речи, голос, мнения. Было страшно слушать, когда епископ Гермоген, с его славою на всю *Россию*, человек исторический, проговорил мне наивно, именно по-детски: “Бывало, прежде чем решишься заговорить в засе-



Гермоген (Долганов)

дании Синода, — если что нужно, по чувству, говорить свое и особое, то трясутся, трясутся ноги (под столом), прежде, чем начнешь” Эти слова о “трясущихся ногах” буквальные, я их слышал, свидетельствую, и “колесо истории” не повернет их назад, не истреплет и не задвигает. Что же это такое, — спрошу я у Руси: в то *время* как глотка *Аладьина* орет на весь свет ругательства *России*, русскому правительству, — что такое эти “трясущиеся ноги” у православного архиерея в заседании представителей церкви, т.е. “своего места” и “своего дела”; своего собственного, и душевного, и вещественного владения (“владыки” — именуются архиереи)» (ПВ, 28–29). Г. пытался прекратить влияние *Г.Е. Распутина* на царскую семью и был сослан в монастырь в Гродненской губернии. *А.В. Амфитеатров* в статье «Богословы» в своей книге «Ау! Сатиры, рифмы, шутки» (СПб., 1912) писал по поводу статьи Р. о посещении Г.: «Любопытно и несколько неуместно: при чем, собственно, тут рассуетил-ся и разахался г. Розанов, один из кандидатов в анафемы, намеченных Гермогеном, за которого он так распинается и которым столько умиляется? <...> И, конечно, сам еп. Гермоген чувствует, что г. Розанов далеко ему не товарищ, ибо иначе не предлагал бы его анафематствовать... Или г. Розанов распинается за Гермогена в красивом жесте великодушия к врагу в несчастье? Но, полно: такого ли врага теряет г. Розанов в Гермогене, чтобы жест был кстати?» (Амфитеатров А.В. Собр. соч.: В 10 т. М., 2003. Т. 10. Кн. 2. С. 445).

А.Н.

ГЕРОДОТ (Ἡρόδοτος, 490/480 — ок. 425 до н. э.) — древнегреческий историк. Р. обращался к свидетельствам Г. по *Древнему Египту* и Вавилону. Г. приводит описания брачных обрядов: «“Между странными обычаями Вавилона более всего мне нравится следующий. В каждой деревне раз в год созывают всех *девушек*, достигших половой зрелости, и выводят толпою в одно место; кругом их располагается толпа мужчин. Глашатай вызывает каждую поодиночке и продает одну за другую — прежде всего самую красивую; когда первая бывает продана за большую сумму, глашатай вызывает другую, следующую по красоте за первую; девушки продавались под условием супружеской *жизни* с ними <...> Покончивши с продажей красивейших девушек, глашатай вызывает потом самую безобразную или калекку и спрашивает: “Кто желает жениться на ней с наименьшим вознаграждением?” Девушка вручалась тому, кто соглашался жениться на ней с наименьшею доплатой денег; употреблявшиеся на это деньги собирались за красивых девушек, т.е. красивые выдавали замуж безобразных и калек” (книга I, глава 196). Это — “всеобщая принудительная грамотность”, но — переведенная на закон “святого чрева»» (ВЕ, 45–46). Р. приводит описание Г. вавилонского храма, в котором «стоит большое, прекрасно убранное ложе и перед ним золотой стол. Никакого кумира в храме, однако, нет. Провести *ночь* в храме никому не дозволяется, за исключением одной только туземки... Так рассказывали мне халдеи, и они же прибавляли, чему я не верю, что божество само посещает храм и почивает на ложе (книга I, глава 181–182)» (ВЕ, 41). «“Кто не обрезан, тому нельзя показать наших таинств”, — ответили Геродоту египетские жрецы. *Обрезание* же именно и содержало всю *тайну пола*» (ВЕ, 215). Г. говорит о почитании египтянами священных животных, и Р. замечает: «Самое наименование *коровы* “богиней *любви*” при замечательной красоте египетских девушек так выразительно, что тут достаточно подчеркнуть и не надо никаких комментариев. “Богиню любви” любят; к “богине любви” и нельзя плотски не стремиться; если “богиня любви” — понятен фараон, сосущий корову, и даже рядом с тельцом: ибо очевидно и неоспоримо, что она была ему двоюродною матерью» (ВЕ, 132–133).

А.Н.

ГЕРЦЕН Александр Иванович [25.3(6.4).1812, Москва — 9(21).1.1870, Париж] — писатель, публицист, философ. «Вечно топырящийся Герцен» (У, 368) вызывал особую неприязнь Р. Даже не разделяя убеждений *Белинского*, *Добролюбова*, *Чернышевского*, Р. ценил их как «вечных работников» на ниве отечества. Г.-эмигрант не мог вызвать у него таких чувств. По словам Р., Г. продолжал Белинского «без специфического и нового, оригинального в себе значения» (ЛВИ, 301). Главный упрек Р. — Г. занимался не «делом», в то *время* как в 60-х вся *Россия* кипела работой, деятельностью. Он «напустил целую реку фраз в Россию, воображая, что это “*политика*” и “*история*” Именно он есть основатель политического пустозвонства в России» (У, 276). В «*Сахарне*» Р. писал: «Шум, звон, колокол и хвастовство пошло в *русской литературе* от Герцена» (СХР, 89). «Чего я совершенно не умею представить себе — это чтобы он запел песню или сочинил хоть в две строчки стихотворе-

ние. В нем совершенно не было певческого, музыкального начала. *Душа* его была совершенно без музыки. И в то же время он был весь шум, гам. Но без нот, без темпов и мелодии» (У, 211). Р. с его культом семьи не мог принять Г.-человека. «Никакой трагедии в душе... Утонули мать и сын. Можно бы с ума сойти и забыть, где чернильница. Он только написал “трагическое письмо” к Прудону» (У, 120). Личное в писателе, в человеке всегда было определяющим для Р. «Чему я, собственно, враждебен в литературе? Тому же, чему враждебен в человеке: самодовольству. Самодовольный Герцен мне в той же мере противен, как полковник Скалозуб» (У, 144). Г. был кумир, говорил Р., перед которым все меркло для молодежи. «Все учение Герцена, вся его обаятельная публицистика — была игрою юности, без серебряных старческих волос. Он восстал против великой исторической России, не низкой, а благородной, не расслабленной, а могущественной, — восстал легкомысленно, как новорожденный Аполлон, у которого кудри до плеча, и все на него молятся, но нельзя забыть, что ему 17 лет. “Великолепие — да, мудрости — ни на грош”» (НВ. 1912. 18 сент.; ПВ, 200). Как всегда у Р., здесь проявляется один критерий оценки исторических заслуг писателя — его роль в утверждении России и ее духовной мощи. Р. называл Г «изумительным литератором». Но «человеком жизни» он не был. В статье «Герцен» (НВ. 1911. 8 июля) Р. пишет, что Г. был «последним могоканом слова», самодостаточного слова. Но в пору освобождения крестьян, земства и нового суда был уже «мастодонт» (ОПП, 524). *Талант* Г. казался великолепным, писал Р., лишь на пустынном небе николаевских времен, «когда стихов было много, жандармов тоже много, и никакой прозы, никакой идеи». Тут-то Г. и «взвился каскадом идей» и «великолепной умной прозы». Но это — «базар идей» и ни одной «грызущей мысли». «Все великие люди, умы, поэты были “монолитны”: но Герцен весь явно “составлен” из множества талантов, из разных влдохновений, из многообразной начитанности» (Там же, 529). В «*Опавших листьях*» Р. продолжает ту же мысль: «Базар. Целый базар в одном человеке. Вот — Герцен. Оттого так много написал: но ни над одной страницей не впадет в задумчивость читатель, не заплачет девушка. Не заплачет, не замечается и даже не вздохнет. Как это бедно. Герцен и богач, и бедняк» (У, 211). В марте 1912 отмечалось 100-летие рождения Г. Написанная Р. работа «Герцен и 60-е годы» была, однако, снята с набора в «*Новом Времени*», ибо Р. обладал удивительной способностью писать «сразу в двух направлениях»: с одной стороны, говорил, что Г. подготовил подъем 1860-х, а с другой — утверждал, что «в Герцене, собственно, не зародилась, а погибла русская революция» (У, 334). В «Сахарне» он рисует сатирическую картину такой революции: «*Маркс* и *Лассаль* производили Прудону *обрезание* и благополучно окончили <...> Когда они ушли, то на земле осталось что-то мокрое, белое и красное и вонючее. Это мокрое называется социализмом. На востоке жили свиньи. Увидя грязное и мокрое, они немедленно поспешили на это место и стали тут купаться и лизаться. Впереди всех бежал Герцен, затем “их множество”, а поладила всех “она”. Так произошла русская революция» (СХР, 250). В «*Мимолетном. 1914 год*» Р. дает резкую оценку деятельности Г. на ниве

российской общественности. Г. «выступил социалистом в России и, можно сказать, сделал Россию социалистической и революционной. Без его таланта и блеска Россия, может быть, и не так скоро и быстро “объевреилась бы” и “революционизировалась”» (КНУ, 582). К этому месту Р. делает пояснение, ссылаясь на профессора *В.И. Герве*, знавшего родственников Г.: «Да мать Герцена была еврейка — и этим объясняется все. У него чисто еврейский ум, психология и логика. Тот же пафос и крикливость, та же ажитация, живость; дилетантизм и ко всему неглубокая талантливость» (там же). Сопоставляя славянофилов и западников, Р. говорил, что от *И.В. Киреевского* пошли русские одиночки, а от Г. — русская «общественность» («И.В. Киреевский и Герцен» // ЛВИ, 565).

А.Н.

ГЕРШЕНЗОН Михаил Осипович [Мейлих Иосифович; 1(13).7.1869, Кишинев — 19.2.1925, Москва] — историк русской литературы. Р. познакомился с ним в конце апреля 1909, когда приехал на открытие памятника *Н.В. Гоголю* в Москве. Г. описал эту встречу в письме к брату 1 мая 1909: «В гоголевские дни пришел ко мне В.В. Розанов знакомиться. “Вех” он еще не читал, но полюбил меня, говорит, за Киреевского и, главное, за мой язык, “помещичий” “Когда я уезжал, мне все жена наказывала: пойди познакомься с Г-м” Просидел часа три; тонкость ума и художественность рассказов изумительные. Чудесно рассказывал про *Победоносцева*, которого хорошо знал. А уходя, расцеловался со мною» (Новый мир. 1991. № 3. С. 215). Речь шла о статье Г. «И.В. Киреевский» (Вестник Европы. 1908. № 8), что же касается «Вех», то как раз в эти дни, 27 апреля 1909 в «*Новом Времени*» появилась статья Р. «*Мережковский* против “Вех”», что, однако, отнюдь не свидетельствует, что Р. читал книгу. Р. отмечал в «*Уединенном*»: «Из авторов “Вех” только двое — Гершензон, *Булгаков* — не разочаровали меня» (У, 58), позднее он называл Г. «родоначальником “Вех”» (АНВ, 357). Сравнивая *Ю.И. Айхенвальда* и Г., Р. отмечает: «Несчастье их обоих — ум и хороший слог. Причем Гершензон несравненно умнее и талантливее Айхенвальда. Гершензона нельзя не любить, не читать, не уважать его книги и не иметь постоянного желания покупать все его издания. Это удивительно и редко. Где бы вы ни развернули Гершензона — читать интересно, приятно и хочется читать “еще дальше”» (М, 173). Р. замечает в 1916, что Г. «“стилизует” свои книги и прелестно стилизует, описывает, излагает, сообщает мелочи из архивов и пытается явить “старорусского дворянина, который, сидя в душистом парке, перелистывает старые альбомы”»: но это все великолепная подделка дивно-умного человека под критика и под русского историка» (ОПП, 627). В рецензии на книгу «благородного Гершензона» (ВНС, 382) «Образы прошлого. *Пушкин, И.С. Тургенев, И.В. Киреевский, Герцен, Огарев*» (М., 1912) Р. замечает: «Гершензон весь погружен в эти желтые листочки прошлого» (НВ. 1912. 18 сент.; ПВ, 198). Основываясь на этой книге, Р. писал в «*Опавших листьях*» о том, как *Некрасов* с А.Я. Панаевой «обобрали» первую жену Н.П. Огарева (У, 311). Однако прочитав книгу И.И. Иванова «И.С. Тургенев» (М., 1913), Р. заносит в «Мимолетное» 14 июля 1914: «Радость. Оказывается, не Некрасов присвоил 95 000 рубл.,

данные (вексель) Огаревым своей жене <...> Как же мог Гершензон (“Образы прошлого”) так прямо приписать это Некрасову. В моих глазах это — главная тяжесть “всего Некрасова”, и слава Богу, что этот могильный камень отваливается. Нет, он был “Соловей-Разбойник”, но не Петербургский шулер» (КНУ, 467). Подробнее этот «ужасный поступок Гершензона с Некрасовым» (М, 175) Р. описал в «Мимолетном» 11 июня 1915. Опубликованная В. Проскуриной переписка Р. и Г. дает картину взаимоотношений двух литераторов. Письмам Г. предпослана характеристика, составленная Р.: «Мих. Осипов. Гершензон. К печали русской и стыду русских, — лучший историк русской литературы за 1903—1916 гг. Хотя... он слишком великолепен, чтобы чуть не было чего-то подозрительного. “Что-то не так” “Он такой русский” Но у русского непременно бы вышло что-нибудь глуповато, что-нибудь аляповато, грубо и непристойно. У него “все на месте” И это подозрительно. Я думаю, он “хорошо застегнутый человек”, но нехороший человек. В конце концов я боюсь его. Боюсь для России. Как и “русских патриотов”, Столпнера и Гарта» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 101). Еще в 1908 (Вестник Европы. № 12) Г. писал о Р. «как о первом, кто у нас во всей глубине раскрыл вопрос пола» (Новый мир. 1991. № 3 С. 222). Как заведующий критическим отделом журнала «Критическое Обозрение», Г. 8 мая 1909 заказывает Р. статью о книге А.Л. Волынского «Ф.М. Достоевский» (2-е изд. СПб., 1909) и публикует ее в сентябрьском номере, сократив некоторые «личные черточки» Волынского и издательницы журнала Л.Я. Гуревич. В письме к Р. он сообщает: «Вы написали гениальный портрет Волынского» (Новый мир, 225). Уже в сентябре 1909 начались расхождения между Р. и Г. по еврейскому вопросу. 7 сентября 1909 Г. писал: «Тяжело мне видеть в Вас, что Вы чувствуете национальность, что я считаю звериным чувством» (Там же, 224). В ответном письме Р. сообщал: «Антисемитизм я, батюшка, не страдаю: но мне часто становится жаль русских, — как жалуют и детей маленьких, — безвольных, бесхарактерных, мило хвастливых, впечатлительных, великодушных, ленивых и “горбчатых по отце” <...> Я как-то и почему-то “жида в пейзах” и физиологически (почти половым образом) и художественно люблю и, втайне, в обществе всегда за ними подглядываю и люблюсь. Это вытекает из большой моей fall’ичности, т.е. интереса к полу и отчасти восторга к полу: — в отношении сильного самочного племени. Мне все евреи и еврейки инстинктивно милы» (Там же, 225). Свое отношение к русскому народу Г. выразил в письме к Р.: «Я не скрываю от себя, что мой еврейский дух вносит чрез мое писательство инородный элемент в русское сознание, напротив, я это ясно сознаю: иначе не может быть. Но я думаю, что жизнь всякого большого и сильного народа, каков и русский народ, совершается так глубоко-самобытно и неотвратимо, что сдвинуть ее с ее рокового пути даже на пядь не способны не только экономическое или литературное вмешательство евреев, засилие немцев и пр., но даже крупные исторические события — 1612, 1812, 1905 гг., исключая разве величайших, вроде древних завоеваний» (Там же, 228). После убийства П.А. Столыпина Р. пишет Г.: «Я настроен против евреев (убили — все равно Столыпин или нет, — но почувствовали себя вправе убивать “здорово живешь”

русских)» (Там же, 227). И через некоторое время снова: «Я о Вас часто думаю, и когда пишу дурно об евреях: всегда я больно думаю — “это будет больно Гершензону” Что делать, после † Столыпина у меня как-то все оборвалось к ним (посмел ли бы русский убить Ротшильда и вообще “великого из ихних”). Это — простите — нахальство натиска, это “по щеке” всем русским — убило во мне все к ним, всякое сочувствие, жалость»



М.О. Гершензон

(Там же, 232). Г. продолжал высоко ценить талант Р. 8 марта 1912 он писал ему об «Уединенном»: «Три часа назад я получил Вашу книгу, и вот уже прочел ее. Такой другой нет на свете — чтобы так без оболочки трепетало сердце пред глазами, и слог такой же, не облекающий, а как бы не существующий, так что в нем, как в чистой воде, все видно. Это самая нужная Ваша книга» (Там же, 230). Столь же высоко оценил Г «Опавшие листья»: «Когда будут перечислять те 8 или 10 русских книг, в которых выразилась самая сущность русского духа, не миновать будет назвать “Опавшие листья” вместе с “Уединенным”» (Там же, 240). После процесса Бейлиса переписка Г. и Р. прекратилась. Тем не менее в статье «Левитан и Гершензон» Р. дает высокую оценку книгам Г. и их полиграфическому исполнению: «Страницы книг его, изящные и спокойные, точно продурены запахом тех липовых садов и парков, где когда-то спорили герои и героини Тургенева. Но этого мало: Гершензон — великий мастер именно книги, ее компоновки, ее состава и, наконец, ее мелочей, где торопливо хочется отметить характер печати и бумагу» (Русский библиофил, 1916. № 1. С. 78; ВЧВ, 33). В лихолетье 1918 Г. содействовал получению финансовой помощи Р. от М. Горького, за что писатель благодарил Г. в последнем письме в конце 1918. А.Н.

ГЕРЬЕ Владимир Иванович [17(29).5.1837, Москва — 30.6.1919, там же] — историк, профессор *истории* по кафедре всеобщей истории в *Московском университете* (1868–1904), организатор Высших женских курсов в *Москве* (1872), *учитель* Р. Писатель слушал курс его лекций на историко-филологическом факультете университета. В 1886 Р. вспоминал: «Я привязывал себя во время экзаменов за ногу к стулу, чтобы зубрить Герье, и точно в опьянении силился встать, чтобы опять и опять думать о своих любимых мечтах, и, чувствуя только на ноге ремень, снова принимался неистово зубрить постылые лекции» (ОСЖС, 676). Р. неоднократно называл Г. в числе своих любимых педагогов (Там же, 306, 696). Г. высоко оценил итоговую работу *студента* Р. за 3-й курс по *теме* «Карл V, его личность и отношение к главным вопросам его времени». На титульном листе его студенческого реферата Г. написал: «Весьма удовлетворительно» (ЦИИАМ. Ф. 418. Оп. 5143. Ед. хр. 7207). Р. вспоминал, что Г. предлагал ему остаться в Московском университете и держать экзамен на магистра. Предложение было встречено отказом под предлогом незнания иностранных языков, затем, «когда он настаивал, говоря, что это необходимо», Р. «просто отказался, потому что это на 3 пришлось бы заниматься посторонними предметами, напр. *психологией*» (ЛИ, 155). В 1886 Р. презентовал Г. свою первую книгу «*О понимании*», переслав ее в Москву по почте с *письмом*, положившим начало многолетней (1886–1916) переписке с профессором. «Во мне так живо впечатление Ваших лекций и всей Вашей нравственной личности, — писал Р., — Вы все еще дорогой учитель для меня» (Россия XXI. 2003. № 5. С. 156). В ответ последовали слова благодарности: «Не может быть ничего отраднее для профессора, как получить заявление, что между ним и слушателем установилась духовная связь и что она не порвалась, несмотря на многие прошедшие годы» (Там же, 158–159). *Мысли* Р. о трагичности нарастающего безбожия в *России*, высказанные в *письме* от 2 апреля 1887, а также идеализация *религий* Древнего мира, не нашли понимания у Г. Он считал их обычным проявлением меланхолии в результате тяготения нелюбимым делом. В марте 1890 Р. переслал Г. свой новый печатный *труд* «*Место христианства в истории*», предложив к обсуждению, столь волновавшую его *тему* целесообразности в *истории*. Теплый прием книги воодушевил Р. поделиться радостью с *Н.Н. Страховым*: «Он пишет по смыслу то же, что Вы в заметке, признает содержание глубоким и изящно выраженным» (ЛИ, 232). Письмо Р. к Г. содержало также просьбу о поиске для него нового места службы с чисто «механическим» трудом, например при университетской библиотеке, чтобы иметь возможность для свободной интеллектуальной деятельности. Г. горячо благодарил ученика за память о себе. Он хлопотал о возможности ухода Р. со службы в гимназии, для чего интересовался жалованьем у служащих *библиотеки*, которое оказалось крайне низким для семейного Р. Несколько раз в начале 1890-х Р. поздравлял в начале года своего учителя с университетским праздником св. Татьяны. Уже став жителем *Петербурга*, Р. случайно узнал о тяжелой болезни жены и кончине сына профессора и написал письмо, полное участия к горю своего учителя: «Нет, однако, думаю — *греха* в *любви* <...> Вы всегда казались мне еще

студенту — стойком: так трудно Вам было бороться с апатичной тупостью *Бог* знает зачем приходящей в университет *молодежи* (т.е. 90%), с наступающим фразерством; помню диспут *Кареева* у Вас, где Вы его поймали на цитате из Тацита, а он, плачевно обращаясь к публике, заговорил, что Вам не нравится его *либерализм*, и *коровы*-студенты заревели от восторга, а Вы кусали *губы*. Все помню и ничего никогда не забуду. И Ваш стоический характер, Ваша постоянная почти безрадостность и до семейных потерь, Ваша изумительная преданность *науке* и в личных горестях поможет Вам остаться твердым» (Россия XXI, 171). После этого переписка приостановилась до 1914. Г. выступал в *печати* против разгула «революционного движения» в *России*. Р. в статье «Русская карамазовщина» (НВ. 1906. 6 сент.) писал: «Профессор Герье очень верно указывает, что эксцессы революционеров напоминают собою самые темные и изуверные секты, с человеческими жертвоприношениями и с сладострастием собственного самокалывания» (РГО, 154–155). Писатель косвенным образом повлиял на интерес Г., последователя западных взглядов *Т.И. Грановского*, к течению *славянофильства*. В этом Г. признавался в письме Ф.Д. Самарину (ОР РГБ. Ф. 265. К. 185. Ед. хр. 30) после прочтения рецензии Р. на кн.: *Самарин Ю.Ф.* Сочинения: В 12 т. М., 1911. Т. 4 (НВ. 1911. 30 сент.; ТПРН). В письме от 20 октября 1914 Г. благодарил Р. за соболезнование, выраженное ему по поводу кончины жены, с которой Р. был знаком. 11 июля 1915 Р. в письме пытался развеять мрачные мысли учителя о скорой кончине: «А знаете ли Вы, дорогой наш (русский) и мой (по сердечному отношению) историк, как страшно думать о Вашей *смерти* <...> Еще серьезное Око закрывается <...> При смерти “Серьезных” меня всегда поражает этот удар: “они более не видят *жизнь* нашу”, такую печальную, такую сорную, такую (в сущности) ужасную» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 266. Л. 2). Р. благодарил Г. за присланную книгу историка *И. Тэна*, которую сам передал на прочтение старшей дочери Татьяне («у них (“культ *Революции*”) был специальный курс о *французской революции*»). Сохранились данные о личных встречах Р. и Г. на московской квартире Г. 17 марта 1916 беседа коснулась и темы места жены в российском законодательстве. В последующих письмах Г. благодарил Р. за рецензии на свои печатные *труды*, высказал несогласие с тем, что Р. приписал *С.М. Соловьёву* «культ революции», якобы на основании слов самого Г. Сохранилось несколько розановских характеристик Г.: «Сам он — протестант; в сфере своей *науки* — чрезвычайно строгий *ум*, и тоже равнодушный к самым страстным увлечениям минуты. Наконец по убеждениям — это прогрессист и либерал» (ОЦС, 65). Еще в июне 1891 Р. упрекал *К.Н. Леонтьева* в письме: «Для чего он взял к книге своей “*Восток, Россия и славянство*” эпиграфом слова из какой-то статьи Вл.И. Герье <...> слова совершенно обыкновенные, где воздается некая (небольшая дань) *консерватизму*». Леонтьев действительно отказался от первоначального эпиграфа (ЛИ, 355). В 1915 Р. оставил *характеристику* Г. в своем эпистолярном архиве: «Влад.Ив. Герье — он был суховат: но сколько же он пользы принес! Но, увы, *мир* судит о людях не по пользе, а по улыбкам. И даже, о поганость! — он судит по лести в отношении его, мира. Ну, на это благо-

родный Герье б. неспособен» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 114). Р. рецензировал сочинения учителя, объединенные общей темой «Зодчие и подвижники “Божьего царства”». В статье «Признаки времени» Р. привел книгу Г. «Блаженный Августин» (М., 1910) в качестве примера переломного момента в жизни русского общества. «Решительно мы живем при какой-то перемене климата в России: разумею умственный климат, моральный климат. Светские книги «со страстной горячностью впитывают, вбирают в себя религиозный дух, церковный тон, ищут церковных слов, церковных формул. Все



В.И. Герье

стремится облечься в церковную поэзию и церковный смысл» (НВ. 1912. 4 декабря; ПВ, 240). 30 ноября 1915 Г. выслал Р. свою книгу «Расцвет папской теократии» с просьбой о ее рецензировании, отметив в письме актуальность исследования сложностью международной обстановки: «Снова Западная Европа пытается овладеть Царьградом» (Россия XXI, 183). Р. признавался профессору в письме 22 декабря 1915: «Знаете: со времен студенчества и вот до 59 лет мечта о теократии и меня манит. Монастырь или базар? Церковь или трактир? — и душа тянется к монастырю и церкви, т.е. к теократии» (Там же, 184). В статье «Книга о старом и вечно новом» Р. рассматривает историю европейской теократии, описанную в книгах Г.: «Блаженный Августин» (М., 1910), «Западное монашество и папство» (М., 1913), «Франциск — апостол нищеты и любви» и «Расцвет папской теократии. (Папа Иннокентий III)» (М., 1915). Последняя книга вызвала размышления Р. о сущности теократии. В частности, он отмечал, что *Петр Великий* был величайшим борцом против теократии. «Ах! Ах! Ах!» — стонет поздний мечтатель, — пока и его по спине не «вытянет» государственный бич. «Неча романы писать — рой канал» И копаем. Копаем и все-таки почищаем проф. Герье» («Книга о старом и вечно новом» //

НВ. 1915. 22 дек.; НФП, 562). Статья Р. «Проф. Вл.Ив. Герье и его “Философия истории от Августина до Гегеля”», задуманная как рецензия, вылилась в литературный портрет Г. — историка, просветителя, благотворителя и профессора, завершившего формирование целой отрасли исторической науки в России — всеобщей истории: «Весь “продушен” историей, историческим, философско-историческим, критико-историческим. “Методы”, “точки зрения”, — сколько всего этого несет он на себе, в себе!». В Г. он видит фигуру «перегруженную содержательностью», которой «наш век решительно не сумел воспринять <...> Он основал первые в России женские курсы, — и несколько десятилетий мудро и твердо направлял их жизнь и работу <...> Затем он предложил и осуществил в Москве “попечительства о бедных”, разделив город на районы, и таким образом дав каждому бедному и несчастному Москвы возможность “куда обратиться”». Р. отмечает, что Г. «в своей личности объединяет и подводит итог золотой странице русской истории XIX века, — именно кафедре всеобщей истории в Московском университете. После Грановского, Кудрявцева и Ешевского» (НВип. 1915. 13 июня; НФП, 467–468). В письме от 25 декабря 1915 Г. похвалил работу Р., одобрил меткость противопоставления «церкви и рынка», благодарил за присланный ему 2-й Короб «*Онавших листьев*» и дал своему бывшему ученику лестную оценку: «Вы стали знаменосцем целого отдела нашей литературы». Либерализм Г. подвергся Р. осуждению. В конце 1915 Р. признается, что вступительная фраза Г. при открытии им курса лекций по всеобщей истории поставила перед ним глобальную проблему, над которой он размышлял все последующее время: «XIX век есть классический век историографии. Именно в этом веке все стали изучать генетически <...> Пошлая и омерзительная идея прогресса <...> вытекла естественно из генетических представлений, из методов, и, наконец, привычек ума все воображать себе в “ходе” <...> совершенно отведя в сторону взор и внимание от всего, что стояло, что было выражением мирового есть» (КНУ, 330–331). В то же время он особо подчеркивал актуальность научных работ Г. для современной России периода *Первой мировой войны*. В неопубликованной при жизни статье «Проф. В.И. Герье и его труд о французской революции 1789–95 г. в освещении И. Тэна». СПб., 1911) Р. интересовали общеполитические проблемы российских университетов и положения в них профессуры. О самом Г. и о заявленной в заглавии статьи теме Р. вспомнил лишь в последнем предложении: «Но я собственно собрался говорить и не об автономии, и не об университете, а о проф. Герье и его новом труде или, вернее, заново переработанном <...> и только мысль об авторе этого труда, занимавшем кафедру истории в Москве после Грановского, Кудрявцева и Ешевского, — вовлекла меня в невольные воспоминания и мысли о профессуре вообще, об университете вообще...» (ТПРН, 352). В переписке 1915–1916 часто встречается имя курсистки Г. и поклонницы розановского таланта В.И. Стукачёвой. Адресованные ему письма Г. за 1886–1887, [1892] и 1914–1915 Р. собирал и лично передал в 1916 в архив Румянцевского музея. В 1918 в *Сергиевом Посаде С.Н. Дурьлин* однажды спросил у Р., зачем он ездил в Москву, «когда ездить

туда трудно, недешево, толкотно и неприятно. — Я ездил поцеловать руку у Владимира Ивановича Герье. Ведь он мой профессор» (Дурылин С.Н. В своем углу. М., 1991. С. 214–215).

А.В. Ломоносов

ГЕССЕН Иосиф Владимирович [3(15).4.1865, Одесса — 22.3.1943, Нью-Йорк] — адвокат, публицист, лидер и член ЦК партии кадетов, депутат 2-й Государственной думы, в 1906–1917 редактор газеты «Речь», после Февральской революции возглавил Совет редакторов ежедневных газет, в 1919 эмигрировал; издатель «Архива русской революции» в 22 т. Г символизировал для Р. еврейское начало в российском либерализме, антирусское начало парламентаризма и газетной печати. Образ Г. служил у Р. примером провала первых опытов парламентаризма в России. В статье «Речи из «Речи»» (НВ. 1907. 7 марта) Р. писал: «Нет у нас пока ни героев конституционализма, ни настоящих политических бойцов <...> Роковым случаем для кадетской партии было то, что ей навязались в «предводители» такие господа, как *Винавер*, Гессены и *Миллюков*, которые отстаивают одни только интересы еврейства и нисколько не заботятся о нуждах русского народа» (РГО, 328–329). В статье «Об «источнике сил и идеализма» кадетов» (НВ. 1907. 9 июля) Р. противопоставляет кадетской политической практике Г. «море русской жизни», которое «неизмеримо глубже, серьезнее, трагичнее и, наконец, умнее этой хвастливой, шумливой и недалекой партии Гессенов, Винаверов, *Набоковых* и *Миллюковых*» (РГО, 436). В 1913, касаясь статей *Д.В. Философова*, *Д.С. Мережковского* и *С.С. Кондурушкина* в газете «Речь», призывавших к ликвидации черты еврейской оседлости, Р. писал в книге «Сахарна» о материальной зависимости русских сотрудников кадетской газеты. «Гессен, не вынимая другой руки из кармана, берет «ихнее», — и выдает ордер на кассу своей газеты, уплачивая Кондурушкину по 7 коп. со строки и Мережковскому с Философовым по 15 коп. со строки. И несет домой Кондурушкин свои 7 коп. Мережковский с Философовым садятся в автомобиль и увозят домой свои «по 15 копеек» На другой день в «Речи» выходит «ихняя дрянь» Но ничего особенного от этого не происходит, и «проклятое отечество» все стоит по-прежнему» (СХР, 238). «И Мережковский так старается у Гессена и Винавера. Бедные, бедные... «Кто ты был и что стал...» И еще ужаснее, что это постыдное рабство, — рабство унижительное, которого никогда не было, несет над собою флаг свободы и позу независимости» (СХР, 153). В книге «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» читаем: «Но как будешь «жить», когда крови нет. А так и будешь «жить» как *Пешехонов* из «Русского Богатства» и Философов из «Речи» Около Пешехонова стоит *Горнфельд*, а около Философова стоит Гессен. Все понятно, как у Юшинского около *Бейлиса* и Шнейерсона» (СХР, 328). Будущее России ассоциировалось у Р. в 1914 с господством евреев, воплощением чего служил образ Г. «Газеты будут издавать не *Суворин*, и *Сытин*, и Гессен, а три Гессена: старший «брат Гессена» будет умеренный либерал, второй брат Гессен будет социалист, и третий брат Гессен будет консерватор <...> евреи дадут нам и национальную русско-еврейскую партию <...> Эти «совсем русские евреи» будут громить между

прочим и евреев, и Моисеев закон, будут разговляться куличом и яйцами <...> Хорошо. Но где же русские и Россия» (КНУ, 270–271). Р. обращается к теме формирования общественного мнения в России: «Что «столица решила — то и Россия» А в «столице» уже теперь 4/5 «мнения» еврейские» (М, 23), «громко запрещают русским в России любить свое отечество. Любош, Гессен, *Минский* — пишут «потреоты» о русских патриотах, а «истинно русские люди» не употребляют без насмешливых кавычек» (М, 108), «не понимают, что такое Россия. Почему же они о ней судят? (Как смеют). И подсказывают русским, как судить о ней <...> Почему же *Кугель* пишет, *Столлнер* ораторствует, Гессен юриспруденствует» (М, 201). «Евреи представят русским заниматься «народничеством» И сами напишут статейку, и примут от русского «в свой журнал» «Моя Хая любит этнографическую литературу. Не только о зулусах, но и о русских» Бедный *Глебушко Успенский*. Тебя Гессен и Хесен поставят на полку в шагреневом переплете и скажут: «Это же наш лучший беллетрист. Из народного быта»» (М, 276).

А.В. Ломоносов

ГЁТЕ (Goethe) Иоганн Вольфганг (28.8.1749, Франкфурт-на-Майне — 22.3.1832, Веймар). Р. посвятил немецкому писателю статью «В домике Гёте» (РС. 1910. 15 июля), написанную в результате поездки в июне 1910 в Германию и посещения во Франкфурте-на-Майне дома, где родился Г. В ней дана общая характеристика наследия Г. «Гёте — гармония. Гёте — разум. Гёте — мудрость. Но выше всего в нем, — что он весь гармоничен, развит равностороннее в разные стороны... Что он есть *цветок*, у которого не недостает ни одного лепестка. Вот эта живая органическая его цельность, полнота способностей и направлений в нем и есть самая главная, ему исключительно присущая... Ибо ни на какой другой человеческой личности народы, страны и века не могли бы остановиться, сказав: — Я удовлетворен, — с тем покоем, твердостью и уверенностью, как на Гёте <...> Гёте как бы вышел из всех цивилизаций в их разрозненности и соединил на себе их всех сияние и тонкий аромат» (ОПП, 449–450). Р. восхищен *миром* Г., который «везде чист. Он везде ясен, спокоен и разумен. На стенах его не лежит, даже как возможности, ни одной человеческой кровинки. Он так же наукообразен, в смысле точных наук, — как и философичен. *Мысли* и рассуждения Гёте о теории света, о развитии костей человека, о морфологии растений — предварили на несколько десятилетий великие европейские открытия...» (ОПП, 451). Отклики читателей на эту статью подсказали Р. мысль написать статью «Домик *Пушкина* в *Москве*» (НВ. 1911. 12 марта; см. СХ). Сюжет баллады Г. «Коринфская свадьба» в переводе *А.К. Толстого* стал поводом для статьи Р. «Тут есть некая *тайна*» (Весы. 1904. № 4; см. ВДЯ). Строки из стихотворения Г. «Божественное» («По вечным, великим / Железным законам / Круг нашей жизни / Мы все свершаем») Р. цитировал неоднократно (ОПП, 192; ВЕ, 31). Р. называет Г. «мудрецом» (ОПП, 229), «олимпийцем» (ВДЯ, 63), сравнивает «покой Гёте», «олимпийское величие классика» с творчеством *Л. Толстого* (ЛВИ, 582). Между вершинами цивилизации Г. и Толстым «всемирно читаемые *Диккенс*, *Теккерей*, *Гюго*, *Вальтер*

Скотт имели за собой уже публику, а не цивилизацию» (ОПП, 227). *Книгами* Г зачитывались и старики, и *молодежь* в «пору литературного романтизма и идеализма» (ОПП, 213). Отношение «великого язычника», как называли Г современники, к *христианству* вызывает особый интерес Р.: «Я вспомнил из одного его *письма*, написанного из *Италии*: “Тут был христианский древний храм; мне предложили войти, но я не пошел” И он написал это с отвращением. К христианству он чувствовал прямо отвращение, и он этого не скрывал, хотя этим и не хвастался. “Курьез о Троице я никогда не мог понять”, — записал его выражение Эккерман в своих “Разговорах” <1824. 4 янв.> <...> Тайна его “Фауста” есть скрытое отречение от христианства — вот чего никто не хочет понять; от этого 2-я его часть, “загробная”, начинается с Элены-троянки, появляется Олимп, “великие матери” — это иносказания древних Астарт, которые все закланы крестом Иисуса. Гёте пошатнул в своем сердце крест — и под ним, в *могиле*, увидел древний мир, его прельстивший, его восхитивший. Вот где последовательность, вот где логика» (ВДЯ, 171–172). И Р. высмеивает ученых, придумавших понятие «классицизм Гёте». «Отвернувшись от христианства, Гёте из тоски своего сердца извлек Фауста, но он же показал в Вагнере, этом сухом ничтожестве, что будет с каждым, кто без *сил* Гёте вздумает повторить его сердечные и умственные эксперименты» (ВДЯ, 174). «Германия есть страна Гёте и *Шиллера*» (СХ, 270), — говорил Р., пока не разразилась *Первая мировая война* и взгляды Р. изменились. В книге «Война 1914 года и русское возрождение» он писал: «У немцев есть собственно одно великое и благородное явление — Гёте, и “помимо Гёте”, их всех можно бы вытолкнуть из человеческого общежития. Но “Гёте” в теперешней Германии угас; в прусской Германии — он и не зарождался» (ПЛ, 307). Имя Г. возникало также в полемике Инфолио (псевдоним не раскрыт) и Р. о замешиваниях, когда Инфолио утверждал, что идея Легенды о Великом инквизиторе восходит у *Достоевского* к «Путешествию в Италию» Г., а Р. опровергал этот вымысел («Мнимое заимствование» // НВ. 1901. 27 нояб.).

А.Н.

ГИАЦИНТОВ Александр Михайлович [29.9(11.10). 1882 — 1938(?)] — священник церкви Рождества Христова в *Сергиевом Посаде*, брат жены *П.А. Флоренского*. По свидетельству *Т.В. Розановой*, отец Александр несколько раз исповедовал Р., а перед *смертью* дал ему глухую исповедь (ТР, 91, 100). В предсмертном «*Письме друзьям*» 7 января 1919 Р. писал: «Ангела отца Александра за истинную доброту его благодарю» (ОСЖС, 683).

Т.В. Смирнова

ГИЛЬ Христофор Христофорович (1837, Германия — октябрь 1908, Петербург) — нумизмат. В *некрологе* (НВип. 1908. 25 окт.) Р. писал, что Г. — «патриарх петербургских нумизматов и, как его характеризовал профессор этой науки в Археологическом институте А.К. Марков, — “отец русской нумизматики” <...> Благородная жизнь его есть истинный пример германской универсальности: молодым человеком, почти юношей, он был приглашен для практики немецкого языка в одно русское аристократическое семейство, странствовавшее

за границу. С ним он приехал в *Россию*, пристрастился к ней, полюбил ее. Между прочим, он особенно любил *Петербург*, — и, удивительно, петербургское лето, петербургский климат! Привязавшись к стране, стал всматриваться в ее прошлое, в ее подробности и быстро “специализировался”, — так как все немцы “специализируются” — на великокняжеских и удельно-вечевых грошах, копейках и денежках, затем на императорских рублях!». Р. завершил некролог словами, что Г. — «сын двух родин, — трудившийся в более скромной области, чем *В.И. Даль*, но с его же неутомимостью и пылом, всю жизнь для *России*. В *истории* русской археологии его имя не забудется» (ОНД, 382–385). В своем сочинении «Об античных монетах», опубликованном *М.М. Спасовским*, Р. приводит «слова незабвенного Х.Х. Гиля, как-то мне сказанные: “Всякая вещь становится интересна из своих подробностей. Так и нумизматика: пока вы не начали ее изучать, то есть с лупой в руках не начали знакомиться с подробностями каждой монеты, все они и вся нумизматика кажутся неинтересными” Истинно, — добавляет Р. — Как и то, что “взяв лупу” и раскрыв *книжи* — уже не расстанешься с нумизматикой» (Спасовский, 104).

А.Н.

ГИЛЯРОВ-ПЛАТОНОВ Никита Петрович [23.5(4.6). 1824, Коломна — 13(25).10.1887, Петербург] — религиозный мыслитель, публицист. Р. высоко оценивал творческую деятельность Г.-П., считая его одной из наиболее значительных фигур среди «литературных изгнанников», несправедливо отвергнутых общественным мнением отечественных мыслителей консервативно-славянофильской направленности. Имя Г.-П. часто встречается у него в одном ряду с именами ранних славянофилов, а также *К.Н. Леонтьева*, *Н.Н. Страхова*, *Ю.Н. Говорухи-Отрока* и др. противников *нигилизма*. В 1899, после выхода в свет первого тома двухтомного «Сборника сочинений» Г.-П., Р. писал *С.А. Рачинскому* о его издателе, *К.П. Победоносцеве*: «Как хорошо, что он издает Гилярова: это — он себе делает красивейший венок на *могилу*. Кто усопшего охорашивает, сам усопшим будет охорошен» (ПР. 1899. Май–июнь. № 39). В этом же *письме*, сообщая о публикации своей рецензии на первый том сочинений Г.-П. («Гиляров-Платонов Н.П. Сборник сочинений. Т. I. М., 1899» // НВип. 1899. 9 июня), Р. отмечает существенную редакционную правку, искажившую, по его мнению, содержание статьи: «Мою рецензию на Гилярова ненавистный Тычинкин опять окорнал и обессмыслил» (ПР. 1899. Май–июнь. № 39). В рецензии на первый том сочинений Р. высоко оценивал Г.-П.: «чрезвычайный ум», «редкий философский дар». Р. ставит его между *М.Н. Катковым* и *И.С. Аксаковым*, отдавая предпочтение Г.-П.: хотя он был «наименее речист» из них, но «он был вдумчивее их обоих во всякий предмет... Это был философ и вместе поэт; аналитик и одновременно синтетик русского духа, русской стихии, в отличие от Каткова — публициста русских дел и Аксакова — публициста международных русских связей» (с. 8). В *книге* «*Мимолетное*. 1914 год» Р. в очередной раз сравнивает Г.-П. с Катковым — и снова не в пользу родоначальника классицизма в педагогике: «А позвольте: что “из живого Каткова” связывается с “живым Розановым”? Ничего. У Гилярова-Платонова —

есть, у *Рцы* — есть, “хотя они и умерли” Гиляров-Платонов объяснил философское и мировое значение слова и понятия “так” (“так” происходит, без причины). Геннально. Ново. Осветило ум Розанову. И Розанов помнит» (КНУ, 468–469). В статье «Университетский вопрос в освещении Н.П. Гилярова-Платонова» (НВ. 1903. 9 сент.), посвященной сборнику статей Г.-П. о высшем образовании в *России*, Р. касается его биографии. Г.-П. занимал кафедру *истории* раскола в Московской духовной академии и «оставил неизгладимое впечатление на своих слушателей», но вынужден был оставить ее «по неудовольствию митрополита *Филарета*, который желал, чтобы он свою *науку* читал сатирически, то есть открывал бы и порицал заблуждения русских сектантов, когда он хотел читать ее научно, то есть определять *корни* и логику возникновения, развития и стойкости русских сект». Г.-П., претерпевший «из-за преданности науке и научному методу», стал одним из «принципиальных защитников самостоятельности *свободы* университетского преподавания», а его «обширный ум и положение публициста» позволили ему дать объективную оценку положения учебных дел в стране. Р. отметил, что Победоносцев второй раз «выдвигает вперед» Г.-П. и что такую «усердную, настойчивую и авторитетную рекомендацию» получал редкий писатель, «и особенно с такою неудачной прижизненной *судьбой*». «Не будь этих рекомендаций, — писал Р., — о Гилярове едва ли бы кто-либо вспомнил в наши дни...». Р. характеризует особенности творческой личности Г.-П.: «Анализ и анализ — вот сила Гилярова; ум вечно копающийся, ум страшного критический <...> С этим неразрывно соединена его завидная и никогда не покидавшая его уравновешенность». «При простом и прекрасном *языке*, — отмечает Р., — у Гилярова нет никакой особенной стилистики, зато много *мысли*, много дела, много помощи и *человеку* наших дней, если он трудится над теми же *темами*». При этом, подчеркивает Р., «анализ и критика Гилярова не сухи, не реалистичны, не педантичны». Благодаря основательной подготовке и превратностям «многогрудной житейской судьбы», разнообразным занятиям — «профессор, цензор, публицист и газетчик», «получилось превосходное соединение сильной логики, первоклассной эрудиции и житейского человека, доброго, отзывчивого, не фанатичного, не исключительного. Получился вообще самый высокий калибр даровитой русской натуры». Из-за собственных неудач на жизненном поприще Г.-П. «всегда на стороне скорее слабого, непризнанного, отвергаемого». В газетных статьях Г.-П. он находит «больше образовательного содержания, чем в университетском курсе». В «*Опавших листьях*» и других своих книгах Р. стремится поднять интерес *читателя* к талантливому мыслителю, полузабытому из-за господства в *обществе* либерально-нигилистических идей. Р. показывает, что мнение о жестоких преследованиях *правительством* оппозиции и преуспевании консервативных писателей есть не что иное, как миф, создаваемый либеральной *печатью*: «Стоит сравнить жалкую полужизнь, — *жизнь* как несчастье и *горе*, — Кон. Леонтьева и Гилярова-Платонова, с жизнью литературного магната *Благосветлова* (“Дело”» (У, 289). Ту же мысль Р. высказал в письме к *Горькому*, обличая либеральную колесницу, «которая давила и давит все бедное,

все гордое, все честное, все не сдававшееся <...> Я говорю о Гилярове-Платонове, Страхове, Кон. Леонтьеве» (МЛ, 521). Р. признает, что судьбы «литературных изгнанников» сложились неудачно не только из-за либерального *террора*, но и из-за собственной слабой творческой активности. Он с сожалением отмечает, что деятели близкого ему консервативного направления мало и не слишком ярко творили: «Все, Гиляров-Платонов, *Киреевские*, *Хомяков*, *Аксаковы*, были при замечательной *красоте души* и глубине мысли как-то бездеятельны, не живы. Все — “милые рассуждающие



Н.П. Гиляров-Платонов

Обломовы» (СХР, 168). Ту же мысль Р. развивает в «*Мимолетном*»: «Конечно, умнее меня было много людей на Руси (Гиляров-Платонов, *Рцы*, *Фл<оренский>*) (хотя, пожалуй, им менее “удалось”, чем мне, и в сфере изобретения мысли)» (КНУ, 462). Слова *Вл. Соловьёва* о том, что Г.-П. «был атеист» и «ни в какого *Бога* не верил», Р. отвергает, относя их к его «ненасытному завидованию» философа (М, 224). Развивая тезис о своем «ненавидении *литературы*», Р. приводит список писателей, для которых он «делает исключения», и один из них — Г.-П. (М, 294). Опровергая утверждения *П.Н. Милокова* и др. о *смерти славянофильства* в 1880–1890-х, Р. писал: «В 90-х годах были современниками друг другу С.А. Рачинский, *Н.Н. Страхов*, К.Н. Леонтьев; всего за пять лет до того, в середине 80-х годов скончался Н.П. Гиляров-Платонов, которого справедливо называли москвичи и друзья его “сам” “Сам Никита Петрович” сказал, написал, хочет или не хочет...» (КНУ, 494). После *революции*, при обсуждении замысла создания «Словаря русских философов», Р. высмеял «Фило-

софский словарь» Э.Л. Радлова (3-е изд. 1913): «Пропустить Гилярова-Платонова отца и поместить только сына, приват-доцентика, написавшего “Платонизм в любви”» (ВНС, 376). Об игнорировании имени Г.-П. писал Р. и позднее: «Я вообще не припомню, чтобы за 27 лет в журнале “Вопросы Философии и Психологии” было хотя бы однажды упомянуто имя Н.П. Гилярова-Платонова» («Германская наука и русские ученые кафедры» // К. 1916. 10 дек.; ВЧВ, 437). Имя Г.-П. часто встречается в письмах Рцы (И.Ф. Романова) к Р.: «Никита Петр. Гиляров <...> Это почти двойник Хомякова, и во всяком случае второй по нем, его родной брат — колоссальное явление...» (29–30 сент., 1891 // Литературная учеба. 2000. № 4. С. 115).

В.А. Фатеев

ГИНЦБУРГ Илья Яковлевич [15(27).5.1859, Гродно — 3.1.1939, Ленинград] — скульптор. В 1898 Р. написал статью «Бюст Гинцбурга: гр. Л.Н. Толстой», вдохновившись скульптурным портретом писателя работы Г., опубликованным в «Ниве» (1898. № 35). Однако А.С. Суворин заставил Р. переделать статью, и она вышла в свет под другим названием («Гр. Л.Н. Толстой» // НВ. 1898. 22 сент.). Р. объяснил эту ситуацию в письме к С.А. Рачинскому в октябре 1898: «Вы мне ничего не написали о моей статье о Толстом: пришлось сильно ее переделать; меня привел в восторг портрет со статуи Гинцбурга в “Ниве”, и я написал статью. “Как можно писать по поводу № «Нивы”», — сказал Суворин — и пришлось перефасонить (нелепо) начало. А была цельна и сразу, за присест, написалась» (ПР. 1898. Сент.—окт. № 26). В опубликованном варианте статьи скульптурный портрет работы Г. лишь упоминается мимоходом как одно из удачных произведений, созданных к 70-летию великого писателя (ОПП, 27). Р. считал, что «бюст замечательно хорош» (ЛВИ, 334). С.П. Каблуков в «Дневнике» упоминает о встрече Р. 19 августа 1909 с Г. в гостях у И.Е. Репина в Куоккале. Среди гостей был поэт В.В. Уманов-Каплуновский, который, как отметил Каблуков, «опять явился со своим альбомом автографов, куда заставил вписать изречения и В.В. Розанова, и приехавшего после всех Ильи Яковл. Гинцбурга» (ПРО, 1, 215). Р. записал афоризм: «Сильная личность — вот моя независимость» (Раскатов Н. Альбом автографов В. Уманова-Каплуновского // Известия книжных магазинов по литературе, науке и библиографии. Т-во М.О. Вольф. 1910. № 7. С. 187). В заметке об альбоме Уманова-Каплуновского упоминается также «рисунок Ильи Гинцбурга, представляющий В.В. Розанова, позирующего И.Е. Репину в “Пенатах”» (там же). В статье «Галерея портретов русских писателей г. Пархоменко» Р. упоминает среди произведений художника И.К. Пархоменко портрет «доброго и милого Гинцбурга» (Новое Слово. 1910. № 5. С. 23).

В.А. Фатеев

ГИППИУС Владимир Васильевич [15(27).7.1876, Химки, близ Москвы — 11.1941, Ленинград] — поэт, критик, преподаватель в гимназии Стоюниной и в Тенишевском училище, где учились дети Р.; троюродный брат З.Н. Гиппиус. Н.В. Розанова записала о встрече в 1920 и беседе с Г., который в студенческие годы «был

близок к А. Добролюбову и одно время жил с ним вместе в одной комнате на Пантелеймоновской улице, которую они устроили наподобие гроба, оклеив ее черными обоями. Они были провозвестниками декадентства. Гиппиус встретил меня словами (выписка из моего дневника 1920 года): “Когда я узнал о вашем приезде, я очень захотел вас увидеть, чтобы сказать об одном. Это грех моей жизни, это подлость, которую я сделал в жизни. Я, может быть, недолго проживу, и я хотел бы, чтобы вы это знали. Может быть, вы даже запишите это. Когда решили Мережковские исключить вашего отца из Религиозно-философского общества, то в их квартире происходили бурные заседания. Я выступал на них. Я говорил, что нельзя из-за политических выходов исключать таких членов, как Розанов. Пусть все, что он говорит, отвратительно, скверно, но его литературное значение от этого не меньше. Он остается как писатель. Я им прямо сказал: “Если бы это сделал Толстой, Соловьёв, Достоевский, — исключили бы вы их?” На это Философов сказал, что им необходимо исключить его как вредного члена, что он мешает им для проведения их идей. Мережковские требовали, чтобы я подписался, но я не соглашался. Когда настал день — я не пошел на собрание и послал записку: “Примыкаю к мнению большинства” В этом была моя подлость. Как мог я это сделать? Но, понимаете, я был страшно связан с Мережковскими. Я ходил к ним не как родственник, а как человек, близкий их идеям. Они играли роковую роль в моей жизни. Я не мог порвать с ними, связь была такая, что, порвав ее, я как бы убил часть своей души. И я выбрал Мережковских. Но, уходя, я сказал: “Я вам этого никогда не прощу” С этого времени я перестал ходить в Религиозно-философское общество, и в корне подорвалось мое отношение к Мережковским. — Знаете ли вы о существовании в Религиозно-философском обществе ордена масонства? Он был основан Мережковскими. И вот из-за этого они не могли оставить Розанова. Они звали меня вступить в него, ко мне приходил один человек, но я наотрез отказался” В этот вечер он много говорил о моем отце и своем отношении к нему и о Мережковских. Я тогда все записала в дневник. — Знаете ли вы, — спросил меня Гиппиус, — что Мережковский творил под влиянием вашего отца? Я расскажу вам следующий факт: я пришел к Мережковским. Дмитрий Сергеевич сидел на диване и читал только что вышедшую “Легенду о Великом инквизиторе”. Он был в восторге. И после этого начался целый ряд его статей о Достоевском. Только Аполлон Григорьев мог говорить о Пушкине так, как говорил ваш отец о Гоголе. Как для Аполлона Григорьева Пушкин был вопросом жизни, так и для вашего отца выяснение Гоголя, суд над ним был его личным вопросом, и оттого это единственная по силе и глубине критика. И потому так хороша и книга Мережковского “Толстой и Достоевский”, что она проникнута духом книги вашего отца <...> — Мережковские, — сказал Гиппиус, — всегда играли двойную роль в отношении декадентов. Помните вы его статью в книге “Не мир, но меч”, страницы о Добролюбове? Ведь это все неправда. Они даже его не принимали вначале (я ведь очень близок был с Добролюбовым), а после в книге своей он называет его “Францисском Ассизским”» (НР, 180–182).

А.Н.

ГИППИУС Зинаида Николаевна [8(20).11.1869, Белёв, Тульская губ. — 9.9.1945, Париж] — писательница, критик, мемуарист (псевдоним Антон Крайний). Г. и ее муж *Д.С. Мережковский* познакомились с Р. в 1897 благодаря философу *Ф.Э. Шперку*. Сама Г., говоря о «*Мире Искусства*», относит «появление Розанова в нашем кругу» к 1898–1899 (Гиппиус З. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951. С. 76). Долгие годы зная Мережковских, работая с ними в редакции журнала «*Новый Путь*» (1903–1904), Р. воспринимал их по-разному, писал больше о самом Мережковском. После 1908 произошла его размолвка с ними, и он заметил в статье «И шутя, и серьезно...» (1911): «Д.С. Мережковский совершенно не то, что З.Н. Гиппиус с ее “ядовитостями”»: Мережковский вовсе без яда и без заразы. Он действительно демоничен, но по натуре (“Мережковский”): а “по работе в жизни” — он в высшей степени утилитарный человек, старающийся быть всем нужным, для всех полезным, сработать какую-нибудь “работу” в истории России» (ОПП, 500). После выхода книги Р. «*Уединенное*» Г. под псевдонимом Антон Крайний напечатала рецензию, в которой заявила: «Нельзя! нельзя! не должно этой книге быть» (РМ. 1912. № 5. С. 29). Р. немедленно откликнулся в «*Опавших листьях*»: «С одной стороны, это — так, и это я чувствовал, отдавая в набор. “Точно усиливаюсь проглотить и не могу” (ощущение отдачи в набор). Но, с другой стороны, столь же истинно, что этой книге непременно надо быть, и у меня даже мелькнула мысль, что, собственно, все книги — и должны быть такие, т.е. “не причисляясь” и “не надевая кальсон” В сущности, “в кальсонах” (аллегорически) все люди не интересны» (У, 230). После исключения Р. из *Религиозно-философского общества* (РФО) отношения Р. и Мережковских обострились. 3 июня 1914 Р. писал в «*Мимолетном*»: «Они вообще немножко неумны. “Умна” только злая З., бесовским и дьявольским умом, неподвижным, окаменелым, несколько гоголевским, без изобретения и движения. З. вообще “неподвижна”, и, что такое ее революция, — я совершенно не понимаю. Курит папиросы, надушенные духами (сильнейше надушенные, до тошноты). Но она вне “дьявольского узелка” тоже неумна. Гораздо умнее ее 2 сестры. Татьяна и Наталья, прелестные, талантливые и трудолюбивые девушки (живописица и скульпторша). Но по “колдовской неподвижности” З. лишена, в сущности, идей, которые для “их всех” (целый бедлам) поставляет один Дмитрий Сергеевич» (КНУ, 388). Рассматривая статью *Н.А. Бердяева* «Новое христианство (Д.С. Мережковский)», появившуюся в «*Русской Мысли*» в июле 1916, Р. отмечает, что, по словам Бердяева, Мережковский всегда говорит не от своего «я», а от имени каких-то «мы», «о доме Мережковских»: «Это “мы” осязательно сводится к З.Н. Гиппиус и *Д.В. Filosoфову*, затем — к *А.В. Карташёву* и более отдаленно — к сестрам *Т.Н. Гиппиус* и *Н.Н. Гиппиус*. Я тут тоже “как свидетель” могу подтвердить слова Бердяева, слова тоже “свидетеля”, — говорит Р. — “Что-то тут есть”, но “что” — рассмотреть невозможно. Мне кажется, я не выдаю никакого особенного секрета, передав попросту и не понимая слова, какие лет 17 назад выслушал от Д.С. Мережковского совместно с З.Н. Гиппиус: “Придите к нам, слейтесь с нами. Вот на этих днях умерла мать Зин. Н. (Гиппиус), вечно любив-

мая З. Н-ою и любившая ее. И мы, так горячо ее любя, не испытываем никакой печали. Если вы соединитесь с нами, вы приобретете такое, обладая чем на самую смерть будете смотреть без страха и печали” Я отказался твердо, предполагая (не знаю, основательно ли), что такое тесное слияние “с ними” потребует обусловить или будет иметь результатом мое личное отделение от кровных своих, т.е. от жены и от детей. Нельзя не обратить внимания, что все связанные “кольцом Мережковских”, суть люди бездетные и, кажется, в сущности безженные» (ЛВИ, 634–635). Разговор этот происходил, очевидно, в октябре 1903 (мать Г умерла 10 октября 1903). Однако в дневнике «*Бывшее*» Г записала 14 сентября 1900: «Розанов, занятый своими мыслями, усмотрел опасное в тайне, о которой мы просили, и, тайны не признавая, открыл кое-что, по-своему объяснив, жене. И она ему не советовала говорить с нами» («Дневники». М., 1999. Т. 1. С. 90). С 1920 Г в эмиграции. Ей принадлежат воспоминания о Р. «Задумчивый странник», опубликованные сначала в парижском журнале «*Окно*» (1923. № 3), а в 1925 вошедшие в книгу Г. «*Живые лица*» (Прага, 1925. Вып. 2). Г. сумела создать образ человека и великого писателя в контексте его исторического окружения, выразила сущность своеобразной личности мыслителя и художника. Вспоминая о первом посещении (вместе с Мережковским и Философовым) квартиры Розанова на Павловской улице в *Петербурге* весной 1897, Г. рисует портрет Р.: «У себя, вечером, на Павловской улице, он показался нам действительно любопытным. Невзрачный, но роста среднего, широковатый, в очках, художавый, светливый, не то застенчивый, не то смелый. Говорил быстро, скользяще, не громко, с особенной манерой, которая всему, чего бы он ни касался, придавала интимность. Делала каким-то... шепотным. С “вопросами” он фамильяричал, рассказывал о них “своими словами” (уж подлинно “своими”, самыми близкими, точными, и потому не особенно привычными. Так же как писал)» («Живые лица», 13). Г. полагает, что Р. «скорее можно назвать “явлением”, нежели “человеком” <...> Писанье, или, по его слову, “выговариванье”, было у него просто функцией. Организм дышит и делает это дело необыкновенно хорошо, точно и постоянно. Так Розанов писал, — “выговаривал” — все, что ощущал, и все, что в себе видел, а глядел он в себя постоянно, пристально» (Там же, 9). Его упрекали в безнравственности, в цинизме, но, говорит Г., «прилагать к Розанову общечеловеческие мерки и обычные требования по меньшей мере неразумно. Он есть редкая ценность, но, чтобы увидеть это, надо переменить точку зрения. Иначе ценность явления пропадает» (Там же, 10). Если Р. не почувствовать, всматриваясь в его «рукописную душу», то тогда никакие объяснения не помогут, ибо «равных по точности слов не найдешь» (Там же, 11). Либеральная и социал-демократическая критика вменяла Р. в вину его сотрудничество в «*Новом Времени*». Г. поясняет характер отношений Р. с газетой: «Мы все держались в стороне от “Нового Времени”; но Розанову его “суворинство” инстинктивно прощалось: очень уж было ясно, что он не “ихний” (ничей): просто “детишкам на молочишко”, чего он сам, с удовольствием, не скрывал» (Там же, 20). Особое внимание Г. уделяет участию Р. в *Религиозно-философских собраниях* (РФС), кото-

рые по существу начинались в 1900 на новой квартире Р. на Шпалерной, д. 39: «У Розанова закипели его “воскресения”, превратились в маленькие религиозно-философские собрания. На неделе собирались и у нас» (Там же, 24). Когда же в ноябре 1901 начались заседания РФС у Чернышева моста, то «Розанов на Собраниях не только не произносил речей, но и рот редко раскрывал. Какие “речи”, когда ни одного доклада своего, написанного, он не мог сам прочесть вслух. Другие читали. Ответы на возражения тоже писал заранее к следующему разу, а



З.Н. Гиппиус

читал опять кто-нибудь за него» (Там же, 24–25). О том же свидетельствовал он сам в «Опавших листьях» (У, 145). В воспоминаниях Г. объясняется, почему *духовенство*, церковники сближались с Р. легче, проще, чем с кем бы то ни было из *интеллигенции*. «Православие видело “еретичество” Розанова <...> Самое “еретичество” Розанова исходило из его религиозной любви к Божьему миру, из религиозности его вкуса к миру, ко всей плоти. Но кто это понимал из православных, как мог понять, да и на что ему было нужно? Лишь редкие чувствовали; например, исключительной глубины и прелести человек — священник *Устынский* <...> Да, может быть, *Тернавцев* <...> Ну, а другие “церковники” — прятывались с Розановым, прощая резкие выпады по их адресу, вот почему: он, любя всякую плоть, обожал и плоть *церкви*, православие, самый его *быт*, все обряды и обычаи. Со вкусом он исполняет их, зовет в дом чудотворную икону и после молебна как-то пролезает под ней (по старому обычаю). Все делает с усердием и с умилением. За это-то усердие и “душевность” Розанова к нему и благоволили отцы» («Живые лица», 26–28). Ту же мысль Г. развивает в книге «Дмитрий Мережковский» (Париж, 1951). «Но к Розанову льнуло и православное духовенство, несмотря на его жестокие статьи по поводу христианства и Христа (см. “Темный Лик”). С первого взгляда

это кажется странным. Розанов ведь был “светский” писатель, при этом, — т.е. “интеллигент”, слово, в духовном мире тогда “страшное” Но, во-первых, был не интеллигент как прочие, “пугала из тьмы”, которые, мол, никакого *Бога* не признают, как и “благонамеренных” журналов: он писал в “Новом Времени” Во-вторых (и это особенно для белого духовенства), чувствовалась в нем какая-то семейная теплота. А что он “еретик” — не беда: еретик всегда может вернуться на правильный путь. И он, Розанов, считался в духовном мире немножко *enfant terrible* <ужасный ребенок>, которому многое прошалось. Так было и дальше, несмотря на его жестокие выпады на Собраниях против церкви, духовенства, в особенности против *монашества*» («Дмитрий Мережковский», 86). *Евреи* и Р. — тема, которая привлекала внимание многих, в том числе и Г., вспоминавшей: «Евреи, в религии которых для Розанова так ошутительна была связь Бога с *полом*, не могли не влечь его к себе. Это притяжение — да поймут меня те, кто могут — еще усугублялось острым и таинственным ощущением их чуждости. Розанов был не только архиерей, но архирусский, весь, сплошь, до “русопятства”, до “свиньи-матушки” (его любовнейшая статья о *России*) <“Памятник императору *Александр III*” в газете “Русское Слово” 6 июня 1909>. В нем жилки не было нерусской; без выбора понес он все, хорошее и худое — русское. И в отношении его к евреям входил элемент “полярности”, т.е. опять элемент “пола”, притяжение к “инакости» («Живые лица», 40). То же пишет Г. о Р. и в своей последней неоконченной книге: «Он был *русский человек* прежде всего и русский писатель прежде всего — это я могу и буду утверждать всегда; могу — потому что знаю, как любил он Россию, — настоящую Россию, — до последнего вздоха своего, и как страдал за нее... Но он любил и мир, часть которого была его Россия...» («Дмитрий Мережковский», 62). Обращаясь к философии пола у Р., Г. отмечает: «Розанов, современный “пророк” в области пола, гениальный защитник и ходогай *брака*, — начиная “мыслить” о вопросах пола — не может удержаться на границах брака. Хочет или не хочет — он последователен, он утверждает весь пол, все формы его проявления, и пытается увенчать его таким пламенным венцом, лучи которого спалили бы человечество <...> Розанов, этот великий “плотовидец” (как бывают духовидцы) — пишет полуслловами-полузнаками, из звуков творя небывалые слова и небывалые их сочетания. И он показал нам плоть мира, раскрыл все ее сокровища, ее соблазны» («Дневники». Т. I. С. 256, 258). Г. видит в Р. женское начало: «Ко всем *женщинам* он, почти без различия, относился возбужденно-нежно, с любовным любопытством к их интимной жизни. У него — его жена, и она единственная, но эти другие — тоже чьи-то жены? И Розанов умилялся, восхищался тем, что и оне жены. Имеющие детей, беременные особенно радовали. Интересовали и девушки — будущие жены, любовницы, матери. Его влекли женщины и семейственные, — и кокетливые, все наиболее полно живущие своей женской жизнью. В розановской интимности именно с женщиной был еще оттенок особой близости: мы, мол, оба, я и ты, знаем с тобой одну какую-то тайну. Розанов, ведь, чувствовал в себе сам много женского. “Бабьего”, как он говорил. (Раз выдумал, чтобы ему позволили подписы-

ваться в журнале “Елизавета Сладкая” И огорчился, что мы не позволили.)» («Живые лица», 54–55). Г живописует интересы и увлечения Р. в различные периоды его жизни. Перед *революцией* 1905 «он уже льнет больше к литературно-эстетическим кружкам, которые, словно пузыри, стали вскакивать то здесь, то там. Заглядывает “в башню” *Вяч. Иванова*, когда там водят “хороводы” и поют вакхические песни, в хламидах и венках. Юркнул и на “радения” у *Минского*, где для чего-то кололи булавкой палец у скромной неизвестной женщины, и каплю ее *крови* опускали в бокал с вином» (Там же, 62). По поводу исключения Р. из РФО в 1914 Г. в очерке «Задумчивый странник» выразила сожаление («Сколько несправедливых слов было сказано...» — Там же, 78), а о статьях Р. по делу *Бейлиса* заявила, что многие не поняли тогда розановского взгляда на евреев, не поняли, что Р. «по существу, пишет за евреев, а вовсе не против них, защищает Бейлиса — с еврейской точки зрения. Положим, такая защита, такое “за” было тогда в реальности, хуже всяких “против”; недаром даже “Новое Время” этих статей не хотело печатать» («Дмитрий Мережковский», 207). В письме к Э. *Голлербаху* Г. пыталась объяснить причину ссоры с Р. после дела Бейлиса: «Мы разошлись с ним не шутя, не по внешним причинам, а тогда, когда он свой *талант*, Божий дар, бросил в грязь, когда он стал исчезать как человек, личность. Не может уцелеть талант, когда разрушается человек. И не уцелел. Посмотрите, можно ли теперь читать Розанова? Он не возмущает никого (давно), но просто скучен и стыден. Его — нет. Но мне не важен Розанов. Я говорю о вас. Вы встретили Розанова уже полусуществовавшего. Вы пишете призраку, но вам все равно» (Голлербах Э. В.В. Розанов: Личность и творчество. Пг., 1918. С. 30). Когда в 1918 появился слух, что Р. расстрелян (как и *М.О. Меньшиков*, другой сотрудник «Нового Времени»), то Г. написала 18 ноября 1918 письмо *М. Горькому*: «Совершенно также уверена, что слух о расстреле В.В. Розанова должен был произвести на вас тягостное впечатление: никакой революции никакой страны не может принести *чести* отнятие жизни у самых талантливых писателей, да еще стариков, отошедших от всякого рода деятельности. Как бы мы ни относились к человеку Розанову и его “убеждениям” (а я думаю, мы тут приблизительно совпадаем) — вы не будете отрицать, что это был замечательный, своеобразный русский талант» (*Архив М. Горького*. КГ-П, 20-6-1; см.: У, 7). Чувствуя приближение *смерти*, Р. в конце 1918 продиктовал прощальное *письмо*, обращенное к Мережковскому, Г. и Философову, в котором говорил: «Лихоимка *судьба* свалила Розанова у порога. Спасибо, дорогим, милым, за *любовь*, за привязанность, состраданье. Были бы вечными друзьями — но уже, кажется, поздно. Обнимаю вас всех и крепко целую вместе с Россией дорогой, милой. Мы все стоим у порога и вот бы лететь, и крылья есть, но воздуха под крыльями не оказывается» (МЛ, 526–527). Слова эти переключаются с записью в «*Апокалипсисе нашего времени*» («С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес». — АНВ, 45), определяющей трагической судьбы России в XX веке. В эмиграции Г. опубликовала несколько статей о Р. в газетах и журналах. Особенно ее привлекали две темы: отношение Р. к евреям и судьба первой женитьбы Р. на *А. Сусловой*.

В связи с диспутом в Париже об антисемитизме Г писала в статье с характерным названием «Не нравится — нравится» (Новый Корабль. Париж, 1928. № 4): «Где бы и когда бы вопрос о еврействе ни поднимался — Розанова не вспомнить нельзя. Три четверти писаний его посвящены вот этому “что нравится” и что “не нравится” в евреях. Отличности их от неевреев и даже некоторой “полярности” Я приведу всего две-три краткие цитаты. На внешний взгляд — это просто грубые противоречия. Но кто может, пусть будет внимателен. Кое-что ему откроется. Ведь Розанов, помимо личной своей гениальности, ему одному свойственной махровости, очень характерен, показателен в смысле своего нееврейства: кровно, наследственно, по всему складу он архиариец (кстати, и архирусский: жилки в нем не было нерусской). Все знают, как он — не то что влекся к евреям, а прямо влипал, любовно прикипал к ним, входил в самую суть бытия еврейского <...> Откуда же вдруг, задолго до *войны*, без малейшего повода, вырываются у него такие странные слова: “Услуги еврейские, как гвозди в руки мои, ласковость еврейская, как пламя, обжигает меня” <У, 180> <...> Вечно, по-русски, все преувеличивающий Розанов, — и тут, может быть, преувеличивал. Но ведь он *корни* рассматривает, из глубин ниточку тянет. Что-то от правды подсмотрел. Не принял, не “понравилось”, отметил как черту разделяющую <...> Евреи “не высказываются”, молчат. Неевреи, вот хотя бы устами Розанова, подглядывают и высказываются. Несомненная гениальность Розанова в этих подглядываниях и высказываниях заставляет нас только еще серьезнее к ним отнестись. И ведь не черты, разделяющие одни, он подглядывает, он, так близко, так почти на груди еврейства лежащий. Как не верить? Вот что говорит он еще, незадолго до смерти: “Евреи — самый утонченный народ в *Европе*” <АНВ, 34> (Гиппиус З.Н. Чего не было и что было. Неизвестная проза 1926–1930 годов. СПб., 2002. С. 427–430). Истории с А. Сусловой Г. касается в статьях «*О женах*» (Последние Новости. Париж, 1925. 30 июля) и «*Развод?*» (Сегодня. Рига, 1932. 14 февр.). В последней она пишет: «Многосторонняя сложность вопроса о “браке-разводе” такова, что немногие доходили до его сердцевины. Гениальному В.В. Розанову целой жизни не хватило, чтобы достаточно углубить его, а он им горел и страдал, пережил его и опытно, в жизненной своей трагедии. Все-таки кое до чего он тут добрался <...> Если борьба его против русского законодательства может казаться теперь анахронизмом, то дальнейшая, против *церкви*, и затем против *христианства*, остается полной глубокого смысла. Розанов был величайшим утвердителем *брака*. Но брака истинного, который только и признавал нерасторжимым. В ранней молодости Розанов женился на бывшей возлюбленной *Достоевского*, Сусловой, женщине вдвое его старше, достаточно известной, чтобы в “неистинности” брака с ней можно было сомневаться. Бедный Розанов, однако, терпел эти узы, пока она сама его не бросила. Но, когда он нашел свою настоящую подругу жизни, настоящую жену, мать его детей, — истинный брак его оказался перед *Богом* и людьми просто сожитием. И, конечно, Розанов, утверждающий брак не только феноменально, а, по его выражению, и “ноуменально”, не был бы удовлетворен, если б имелось в его время другое законодательство, если бы

в гражданском порядке второй его брак был признан. (Он считал его не вторым, а первым и единственным). Именно потому что Розанов расширил понятие брака до порядка ноуменального, — религиозного, — он не мог бы примириться с тем, что для церкви “истинный” брак его — прелюбодеяние, а брак с Суловой остается действительным» (Гиппиус З.Н. Арифметика любви. Незвестная проза 1931–1939 годов. СПб., 2003. С. 396). В речи в обществе «Зеленая Лампа» 10 апреля 1928 г. дала общую характеристику писателя: «Русский писатель В.В. Розанов менее известен, чем того достоин. А в смысле знаемости — знают его совсем немногие. Впрочем, и трудно это в наше время. Розанов умер в России, книг его нет нигде. Но из истории русской мысли Розанова не выкинешь, как не выкинешь *Вл. Соловьёва* или *Толстого* <...> Существо гениальное, с *умом* и *душой* прозрачными до крылатости и — человек из *слабых* слабый, тоже почти гениально. Какой-то сноп противоречий. Его почти и нельзя и судить человеческим *судом*. Осудишь — и чувствуешь: нет не прав. Восхвалишь — опять не то. Пусть уж его судят не здесь, не на земле» (Возрождение. Париж, 1928. 11 апр.; Гиппиус З.Н. Чего не было и что было. Незвестная проза 1926–1930 годов. СПб., 2002. С. 391).

А.Н. Николюкин

ГИППИУС Наталья Николаевна (1880–1963, Новгород) — сестра *З.Н. Гиппиус* и *Т.Н. Гиппиус*, скульптор; входила в состав петербургского *Религиозно-философского общества*, в котором служила казначеем. В 1914 Р. дает характеристику сестер: “Тата” и “Ната” своей *семьи*, и пожалуй отделение “*Мира Искусств*” и “*Н. Пути*” <...> Ната — лепила и резала (по дереву). Обе с большим призванием к *искусству*. У Наты был Кузнецов — скульптор <...> Нату я раз видел на концерте варшавских си-нагогальных певчих в консерватории. Они меня не видели. С Кузнецовым они сидели как дружки-попугайчики, не сказав друг другу и даже не взглянув друг на друга за все часы: точно у нее глаза, осязание, все *чувства* были в боку. Обе — безмолвницы, глубокие. Но Тата еще могла разговаривать, а Ната никогда. Ната с меня и Васи лепила бюст. Тут мы с ней возвращались на извозчике (у нее была 1 мастерская с Кузнецовым, — и там они кой-что ели, пили жидкий чай, ложились отдыхать друг при друге и, конечно, ни слова не говорили). Когда я с нею ездил, и тогда вырвал у нее кое-какие слова, я б. поражен ее *умом*, наблюдательностью и какой-то старой опытной *душой*. Когда Кузнецов женился, она очень тосковала, и от меня ж зависело, чтобы мы стали попугайчиками-друзьями. С нею можно было проводить *время* и, пожалуй, прожить всю *жизнь* интересно и не разговаривая: так она много давала своими угрюмыми “да” и “нет” и афоризмами <...> Ната — лилейна, худа, бледна и прекрасна. Сердитое *лицо* редко-редко прорезывалось прекрасною, чисто ангельскою улыбкою: такую, какой еще я ни у кого не видал <...> Ната была окончательно безбрачна. Но она сказала мне на вопрос, “что бы она сделала за изнасилование” — “Упекла бы в Сибирь” *Тема скульптуры* и *живописи* их была одна, кою можно назвать “*порок*”, “*искушение*”, “*соблазн*”, “*разврат*”; или конкретно: “*Девочка* и ее чудовище” Почему “это “два”», ответила которая-то из них мне на воп-

рос: это — одна и та же душа. Сюжет: девочка между 9 и 11 годами в лесу, в болоте, ночью, в утре, при заре, и к ней тянется гнусная старуха; иногда чудовище, жаба, зверь, но вообще химерического вида существо, с дьявольской улыбкой, с гнусным лицом, с отвратительными желаниями. “Дьявольская сцена” — иначе не назовешь. Со временем их мазки, рисунки, “повела карандашом”: все на эту одну *тему* — будут оцениваться... (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 91–92; ср. У, 235). В архиве сохранилось *письмо* Г к Р. от 7 мая 1911 с подтверждением получения монет из его нумизматической коллекции, присланных *Т.Н. Гиппиус* для их срисовки (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3872. Ед. хр. 11. Л. 1).

А.В. Ломоносов

ГИППИУС Татьяна Николаевна (1877 — 23.3.1957, Новгород) — сестра *З.Н. Гиппиус* и *Н.Н. Гиппиус*, художница, занимавшаяся станковой *живописью*, рисунком и графикой в Высшем художественном училище при Академии художеств у *И.Е. Репина* и *Ф.А. Рубо*, выполняла рисунки монет для нумизматической коллекции Р. «Тата — рисовала <...> была очень полна, грузна, и — красива <...> была тоже очень умна. Образ их, *дружба* их, было что-то классическое» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 91–92), — писал Р. в 1914. Р. рассказал *П.П. Перцову* в майском *письме* 1906 об одной стычке с Г., вызванной ее отношениями с *А.В. Карташёвым*: «Таня Гиппиус съезла Карташова. Вчера видел у *Бердяевых*: нет человека, не говоря о Карташове; ничего нет. Тень. Худ, сморщен, глуп, запуган. Я всю ночь думал: “Да что она из него, *Элевзинские* причащения, что ли, совершает?” Мне до того стало жаль его, что я наговорил ей (пышная, расцвела, оживленна против обыкновения, сытая и довольная) почти дерзостей. Ненавижу зло, в том числе и магическое <...> Я говорю Танюше: “Что на нем *лица* нет?” Она не поняла. Я поясняю: “К. потерял образ свой” Она ответила: “Это было бы ужасно” Я сказал: “Конечно ужасно” и почти назвал ее *ведьмой*» (ОР РГБ. Ф. 872. К. 3. Ед. хр. 17. Л. 20). Развитие *темы* нашло свое место на страницах «*Опавших листьев*»: «Карташов сказал, когда — в их же присутствии — я сказал о двух барышнях типа вечных девственниц (*virgo aeterna*) <т.е. о “Тате” и “Нате”>: “Ведь они никогда не выйдут замуж: непонятно, почему они или почему вообще такие не бросят свое *девство*, кому попало, и, вообще все равно, кто возьмет?” У меня было философское об этом недоумение. Он ответил: “Они (он как бы запнулся, придумывая формулу) — питаются от своего девства. Да, оно не нарушено и, кажется, не нарушится. Но сказать, чтобы оно было им не нужно, — нельзя: оно им не только нужно, но и необходимо. Они живут им, и именно — его целостью. Это — богатство, которое не тратится, но которое их обеспечивает. Обеспечивает что? Их *душу*, их *талант* (они были талантливы), их покой и свежесть. — Есть девство — и они трудятся, выставляют работы (художницы), дружатся, знакомятся, читают, размышляют. — Не будет девства — и все разрушится. Так что хотя они и призваны к девству и никакой *мужчина* им не воспользуется, но это не обозначает, что их девственность есть ничто, — есть не существующая для *мира вещь*. Для “мира”-то оно не существует, хотя как их талант — и для мира существует; но как телесная нетро-

нутость и целостность — оно существует и для них самих» Замечательно глубоко» (У, 235). В мае 1907 писатель договорился с художницей о снятии графической копии с монеты из своей коллекции. С этого же времени между Р. и Г. завязалась переписка, продлившаяся до 1914 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3872. Ед. хр. 5—10). Она носила деловой характер и касалась копирования монет за денежную оплату для каталога нумизматической коллекции Р. Г. заверяла в письмах, что работа доставляет ей удовольствие, предлагала различные варианты технических решений описания монет. В письмах встречались и сюжеты, касавшиеся взаимоотношений Р. с Мережковскими. В письме от 11 октября 1908 Г. сообщала: «А в споре с Дм. Серг. выходит, будто Вы и есть виновник, насколько я могу судить объективно, не будучи свидетельницей происшедшего» (Там же. Ед. хр. 5. Л. 10). В письме от 24 октября 1909 Г. дает пояснения на слова З.Н. Гиппиус о своем отрицательном отзыве на статьи Р.: «Зина намекала, вероятно, когда говорила о том, что я плохо о Вас отзывалась — на мое возмущение по поводу Вашей статьи в “Новом Времени” о революционерах и революции. Действительно, статья была возмутительна — и я очень ругалась. Но в отношении к вам, что хорошее и доброе было, то и есть — насколько при этом Вам не прощается многое в Вас нехорошее (Так ведь это и не сюрприз, что оно есть в Вас)» (Там же. Ед. хр. 6. Л. 10). Р. посылал художнице, по выходе из печати, свои новые книги «Итальянские впечатления», «Когда начальство ушло...», «Темный Лик». О последней Г. писала 12 февраля 1911: «“Темный Лик” — хорошая книга. Как ведь Вы верно понимаете разделение! Ослепительно! Но — зато — тут и ослепли, дальше ничего не видите. Выхода — нет. Или какой? Ши? Монастырь?» (Там же. Ед. хр. 8. Л. 3 об.). Высокая оценка была дана другой книге Р.: «Ваша книга “Уединенное” производит удивительное впечатление. Многие места чрезвычайно глубоко и близки внутренне, душевно. Точно писал кто-то очень близкий, родной по духу человек» (Там же. Ед. хр. 9. Л. 2). Выступления Р. в печати во время дела Бейлиса были восприняты Г. отрицательно. Она направила писателю письмо с выражением своего отношения к занятой им позиции: «Вы обязаны понимать, какие последствия вызывают исповедания Ваших убеждений. Вы должны видеть, в каких реальных делах Вы участвуете — словом, делом или помышлением. Вы знаете хорошо, что Вам дано понимание духа еврейской (между прочим) религии, Вы чувствуете в ней что-то подлинно-темное, плотное и орудуете этим знанием под видом знания фактов. Вы знаете “тайну”, а здесь дело идет о “фактах”, будто бы в секрете хранимых. Тайна не есть секрет, Вы знаете Тайну плоти — это верно. В этом Ваша глубина, Ваш талант, Ваша мудрость — и здесь мы с Вами, Вас любим, Вами учимся — но, когда начинается область фактов, где Вы ничего не знаете и фантазируете, когда начинается подмена, под “тайну” Вы подставляете “секреты” и стараетесь их обнаружить — здесь Вы мельчаете <...> Мы же, отрицая все Ваше злое, отсеивая его от Вас, как гангренозную часть тела, — утверждаем в Вас вечную мудрость и правду Вашу» (Там же. Ед. хр. 10. Л. 1—2). Р. оставил помету на письме Г.: «Вот я всегда и говорил, что “Тата и Натта”, — тихие, молчаливые художницы, гораздо умнее

Димы <Философова>, Мити <Мережковского> и самоупоенной Зины <Гиппиус>» (там же).

А.В. Ломоносов

ГЛАГОЛЕВА Мария Павловна (урожд. Бутягина) — сестра первого мужа В.Д. Бутягиной («Друга»). В «Онаших листьях» Р. называет ее и рано умершую ее сестру Лизу Бутягину («подругу ее детства») среди родственниц, которых его жена «очень любила» (У, 295).

А.Н.

ГЛАГОЛИН Борис Сергеевич [наст. фам. Гусев; 11(23).1.1879, Саратов — 13.12.1948, США] — редактор «Журнала театра Литературно-Художественного Общества» (в котором в 1908—1909 печатался Р.), драматический актер, критик и режиссер петербургского Малого театра (с 1906), пользовавшийся покровительством А.С. Суворина и его сына Михаила. Отдельные эпизоды творческой биографии Г. освещались Р. в статьях «“Ганнеле” Гауптмана» (1901) и «Актер» (1909). Побывав на представлении «Ганнеле» Гауптмана в петербургском театре Литературно-художественного общества 12 сентября 1901, Р. признал, что Г. в роли Готтвальда «окончательно неудачен», подчеркнув, правда, «необыкновенную трудность» роли для актерского воплощения (СХ, 200). Философские размышления Р. о театре и судьбе артиста отражены в статье «Актер». Имя Г. в ней отсутствует. Но зрелище переодевания этого артиста в костюм Гамлета вызвало глубокие переживания Р. «Больше всего я был испуган, — признавался писатель, — какой-то метафизической тайной, мне вдруг замгавшей из-под обыкновенного зрелища “переодевающегося актера” <...> “Делать человека” смеет только Бог <...> Он контур. “Бог обвел мелом фигуру: а вдунуть душу забыл” И вышел “актер” Без “божественной души” в себе, чего не лишены птицы: млекопитающие, все существа “индивидуализированные”» (СХ, 313, 316). В письмах Г. упрашивал показать ему статью Р. «Актер» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 134).

А.В. Ломоносов

ГЛИНКА-ВОЛЖСКИЙ Александр Сергеевич [наст. фам. Глинка, псевд. Волжский; 6(18).7.1878, Симбирск — 7.8.1940, Москва] — философ, публицист и критик. Личные взаимоотношения между Р. и Г.-В. характеризовались взаимной симпатией при существенном различии взглядов и ориентаций. Характерно обращение Р. к Г.-В.: «Мой дорогой, всегда милый и всегда памятный “наш Волжский идеалист”» (письмо от 14 января 1914. РГАЛИ. Ф. 142. Оп. 1. Ед. хр. 274. Л. 4). В 1916 Р. писал, что В. пользовался «небольшой», но очень чистой известностью в литературном мире» (ОПП, 619). История взаимодействий Р. и Г.-В. подразделяется на два больших сюжета: 1) период личного общения с весны 1904 (переезд Г.-В. в Петербург) по 1909. К этому периоду относится публикация эссе Г.-В. «Мистический пантеизм Розанова»; 2) отношения между Г.-В. и Р. после прекращения личных контактов в 1909. Эти отношения выразились в попытке Р. найти средства для публикации книги Г.-В. о Достоевском (попытка успеха не имела), в проекте публикации Г.-В. письма Р. к Аполлинару Суловой (проект не был осуществлен), в активной

помощи Г.-В. вместе с П.А. Флоренским и С.Н. Булгаковым, в сохранении «листьев» Р. (1915–1916), а также в рецензии Р. на брошюру Г.-В. «Святая Русь и русское призвание» («Призвание Руси» // НВ. 1916. 15 янв.; ВЧВ). В статье «Мистический пантеизм Розанова» (НП. 1904. № 12; Вопросы жизни. 1905. № 1–3; в 1906 статья вошла в сборник Г.-В. «Из мира литературных исканий») Г.-В. выходит за рамки традиционных для печати тех лет интерпретаций Р. как «сотрудника реакционных изданий, Иудушки Головлева» (взгляд Вл. Соловьёва), и как «русского Ницше» (трактровка Д.С. Мережковского и его группы). Розановская проблема, с точки зрения автора статьи, глубже и шире и связана со спецификой русского типа философствования вообще. Подлинной русской философией является, скорее, не философия как система или совокупность систем, а «асистемная система» философии русской литературы и публицистики. Корни розановского философствования, считает он, — в этой «асистемной системности», в живом чутье «органического целого», в нераздельности разума и чувства, что и делает «его писания такими действенными, полнокровными, его вопрошания такими пронзительно-острыми, его критику такой опрокидывающей, обличения такими ядовитыми, саднящими, шепот — таким страшным» (НП. 1904. № 12. С. 31). Р. в истолковании Г.-В. — реалист, для которого «касания мирам иным» соединяется с интуитивным движением «в глубь действительности», в «непроницаемую тьму», и это одновременное соединение разнонаправленных, казалось бы, стремлений, придает розановскому творчеству цельность — и объясняет дробность, «дискретность» его повествования. Основная тема Р. — тема пола — есть «разбалтывание Божией тайны», которая и заключается в указании на соединение и сочетание несочетаемого: «миров иных», «мира Божия» — и «непроницаемой теми» бытия. В очерке «Станислав Пишбышевский» (Вопросы Жизни. 1905. № 9) Г.-В. сравнивает философию пола популярного в те годы писателя с философией половой любви А. Шопенгауэра и с Р., вычленив моменты сходства и различия в каждой из версий. Интерпретация розановской же версии в этом контексте строится на подчеркивании пантеистического, надындивидуального мистически-религиозного момента у Р. (в отличие от индивидуалистического у Пишбышевского): «Обожествление абсолюта полов Ст. Пишбышевского встречается в некоторых точках пересечения с сексуализацией божественного начала в мистическом пантеизме Розанова <...> Но розановский пантеизм, потопляющий все индивидуальное в глубинах жизни, в недрах рождающей земли, в бесконечности воспроизводящей плоти, встречается у Пишбышевского с враждебной ему стихией — бунтующего индивидуализма, до последней степени изнуренного, мучительно болящего, кричащего» (Там же, 142). И здесь, и в тексте, посвященном непосредственно Р., Г.-В. характеризует философию Р. как «мистический пантеизм», а не, скажем, «философия пола», и это не случайно. Р. для Г.-В. — не просто философ, но носитель особой философской веры. Основная интуиция этой веры — интуиция жизни, мистической тайны пола, зачатия и рождения. Это не отрицание христианства, как это было у Ницше, а лишь небольшая его корректировка, которая ведет, однако, к антихристианству — не в

нищевском, но в соловьёвском или, точнее, специфически-розановском смысле. «Мистический пантеизм Р., — пишет Г.-В., — неслышно, нешумно, неоткрыто, хотя и нескрыто, — вытесняет из его религиозного сознания элементы христианства, вытравляя их и обесцвечивая».



А.С. Глинка-Волжский

чивая <...> Розанов с изумительной тонкостью, с невозмутимостью, не то детски наивной, не то старчески-лукавой, нейтрализует сущность христианства, растворяя его в иудействе и затем в мистическом пантеизме Востока. Выметая исторический сор, он выметает с ним все содержимое» (Там же. № 1. С. 209). Главная проблема Р., с точки зрения Г., — проблема «нечувствия» Христа в мире после распятия и воскресения. Прочие «провокативные» темы Р.: критика исторического христианства, проблема растворения понятия личности и индивидуальности в стихии пола; проблема «свободы» и «веры». Интерпретационная модель розановского творчества, заданная Г.-В., отличалась от существующих на тот момент представителей «реалистического» (прежде всего позитивистского и марксистского) направлений. А.В. Луначарский на страницах журнала «Правда» (1905. № 37) продолжает дискуссию между ним и Г.-В. о карамазовском вопросе и «любви к ближнему и любви к дальнему», развернувшуюся в 1903–1904 на страницах журналов «Вопросы Философии и Психологии» и «Образование»: позиция Г.-В. сближается

с позицией самого Р. — и противопоставляется марксистской позиции. Другой критик, *Вл. Кранихфельд*, также сближает позиции Р. и Г.-В., но уже с позицией самого печатного органа, с «идеалистической» позицией второй редакции «*Нового Пути*» и «Вопросов Жизни». «Есть такой богословский писатель Розанов. Он был, между прочим, очень деятельным сотрудником “Нового Пути” старой редакции <...> а в “Новом Пути” новой редакции <...> и в “Вопросах Жизни” <...> его религиозным воззрением посвящена большая работа Волжского “Мистический пантеизм Розанова” Г. Волжский очень высоко оценивает г. Розанова, философа и богослова <...> Мы далеко не разделяем этих восторгов. Конечно, и мы не можем не признать в г. Розанове оригинального ума и известного литературного дарования. Но таланты этого писателя слишком много теряют в наших глазах вследствие отсутствия в его мышлении каких бы то ни было признаков дисциплины» («Вопросы Жизни в “Вопросах Жизни”» // Мир Божий. 1905. № 6. Отд. II. С. 12–13). По свидетельству самого Г.-В., последние его личные контакты с Р. относятся к 1909 (письмо Г. к *Флоренскому* от 14 января 1916. — АФ). Прекращение контактов было связано с переездом Г.-В. в Казань, где тот получил место чиновника Казенной палаты. Особое место в переписке Г.-В. и Р. занимает тема розановского языка и судьбы продолжения «*Опавших листьев*» и «*Уединенного*». Г.-В. писал 14 января 1914: «Представлял Вас у св. *Серафима* <речь идет о брошюре Г.-В. “В обители преподобного Серафима”, посланной Р.> Да, батюшка, все чуда ищем. И — тихо. И — правда. И — с народом. “Толстые монахи” — Бог с ними. Это — не то. Нельзя же из-за жесткой скорлупы бросать зерно» (РГАЛИ. Ф. 142. Оп. 1. Ед. хр. 274. Л. 4). Р. характеризовал Г.-В.: «Волжский всегда берет темой рассуждений и описаний как бы дрожащие в воздухе предметы и явления, — в бытии которых есть неуверенность, нетвердость, зыблемость, — надвигающееся “прощай” или зарождающееся “здравствуй” Полного здоровья он никогда не опешит; а болезни — его тема. Полдень ему не нужен; а вот закат солнца и первые звезды на небе — и он весь трепещет. И сии свойства письма — от писателя: в нем самом есть нетвердость, вечное трепетание; испуг, смешанный с надеждою» (НВ. 1916. 15 янв.; ВЧВ, 44). Г.-В. предлагал Р. отказаться от продолжения «*Опавших листьев*». Реакция Р. на предложение Г.-В. (и о. П. Флоренского, к которому Г.-В. обратился за поддержкой) была неоднозначной. В ответном письме Р. пишет: «Об “Оп<авших> Л<истьях>” Вы мне сказали открытие. Это бесценная услуга друга. Действительно, уединенное души моей испорчено, отравлено, повреждено и наконец загажено “Уедин<енным>”» (письмо от 23 ноября 1915. — РГАЛИ. Ф. 142. Оп. 1. Ед. хр. 274. Л. 7 об.). Письмо дочери Р., Варвары, к Г.-В., написанное полтора месяца спустя (12 января 1916. — АФ), подтверждает это: «Он целый день ходил в глубоком раздумье и всё время повторял Ваши слова о том, что не надо было издавать “Опавшие листья” Насколько оно на него подействовало видно из того, что он сказал, что сам больше не будет издавать». И в то же время в этом письме содержится свидетельство того, что Р. не в силах отказаться от изобретенной им формы философствования как фиксации *повседневности*, критически воспринимаемого даже самыми бли-

жайшими единомышленниками. «Но несмотря на то, что он решил не издавать сам больше, всё же эти бесконечные “Опавшие листья” он пишет всё время, причем отдает их в разные частные руки, по-видимому, все же с намерением, чтобы они были изданы после его смерти. Сейчас я взяла, — пишет *Варвара Розанова*, — одну из таких его тетрадей “Опавших листьев”, которые столь слабы и по своему содержанию и по своей форме — что мне сделалось больно. Ведь если они будут изданы, то это будет просто литературный крах и скандал» (там же). Судя по «листьям» тех лет, стремление «запечатлеть в вечном все “жизненные будни”», было для Р. не вопросом *стилистики*, но вопросом жизненного выбора. Запись от 22 июля 1916: «*Всякий человек* “есмь то”, что он “есмь” Я допускаю, что я худ: но “есмь то”, что я “есмь”, — моя защита. Ограда. Ограничение. Вот отчеты, друзья мои, я не могу не издавать далее “Оп. Л.” (в ват., защищаясь от Фл<оренского> и Волж<ского> и *Кож<евникова>*)» (ПЛ, 181).

А.И. Резниченко

ГЛИНСКИЙ Борис Борисович [12(24).10.1860, Петербург — 1(14).12.1917, Петроград] — историк, публицист, редактор-издатель журнала «Северный Вестник», помощник редактора журнала «Исторический Вестник». Автор рецензий на книги Р. Признавая Р. «одним из самых интересных современных русских писателей, с оригинальным самобытным умом, с обширной и разнообразной эрудицией, с затейливым полетом мысли ввысь и вширь» (Исторический Вестник. 1910. № 3. С. 1116), сравнивая его «учительство» с «учительством», «пророчеством» *Достоевского*, *Л. Толстого* и *Вл. Соловьёва* (Исторический Вестник. 1904. № 6. С. 1053), Г. считал, что книги Р. «по темам, в них разрабатываемым, — не для избранной публики, а для массы» (Там же, 1055), и оценивал их прежде всего именно по критерию «полезности» для массового читателя. «Итальянские впечатления» и «Уединенное» получили благожелательные отзывы Г. «В мире неясного и нерешенного» и «Когда начальство ушло...» (Исторический Вестник. 1911. № 1) — осуждающие. Рассматривая книгу «В мире неясного и нерешенного», тема которой — «оцеломудрение человечества», стремление дать читателям «почувствовать семью как ступень поднятия к Богу», Г. называет «великим литературным грехом» Р. то, что «он чистый предмет с божественно печатью на нем небрежно бросает на поругание и вводит тем самым ближних своих в великое искушение» (Там же, 1054). «Он <Розанов> делает все от него зависящее, чтобы спутать понимание своей аудитории и предстать перед нею в таком виде, что решительно не понимаешь, смеется ли он над своими слушателями, спешит ли высказать свое пренебрежение или просто юродствует из потребности юродствовать и оригинальничать. Сущность предмета, его тема и форма изложения у него всегда в самом непримиримом противоречии, так что, по большей части, из чтения его произведений всегда выносишь чувство крайней неудовлетворенности, раздражения и досады. Перед читателем разворачивается тема самая животрепещущая, излагаются мысли самые глубокие, из-за которых выглядывает доброжелательное чувство и стремление автора, — такова одна сторона дела, и рядом с этим беспорядочно нагроможденная куча

слов, вводных предложений, сравнений и уклонений в сторону, то полемическую, то риторическую, то просто набора слов, концепция которых является положительно загадкой. Иные фразы и даже страницы положительно непонятны, и нужно громадное напряжение памяти, фантазии и простой догадки, чтобы разгадать те ребусы словесности, которые автор с легким сердцем или лукаво мыслью живописует» (Там же, 1053–1054). «Итальянские впечатления» Р. вызвали восторженный отклик Г прежде всего потому, что эта книга — «всякому читателю на пользу, поучение и удовольствие» (Там же. 1910. № 3. С. 1117). «“Итальянские впечатления”, нарисованные в легкой форме, удивительно умное, душевное, серьезное произведение и обширное по своему идейному содержанию» (там же). Заметки неподготовленного туриста-провинциала, впервые очутившегося за рубежом своей родины, «чудака и талантливого русского оригинала» (Там же, 1116), ценны для Г своей духовностью и воспитательностью: «Милый костромич! Как он умилительно хорош, когда вдруг, среди своих философских рассуждений, вспоминает дорогую родину и, не стесняясь величием Западной *Европы*, античной и настоящей, трогательно простирает вдале к северу свою благословляющую руку и с *любовью* шепчет: родина, *Россия*» (Там же, 1117). В книге, по мнению Г., «такая масса духовного материала, освежающего, бодрящего, что она в наш достаточно бесталанный век является как бы лучом света, согревающим и оживляющим иссохшее чувство читателя». «Совсем оригинальная книга, такая, подобных которой в нашей *литературе* не бывало», — отозвался Г об «Уединенном» (Там же. 1912. № 5. С. 661). «Это нечто совершенно особенное, которое я наименовал бы исповедью, громкой исповедью на людях, где *человек* обнажает свою *душу*, обнаруживает все ее движения, как они на протяжении известного *времени* развертывались в тот или иной момент <...> Мелькнула мысль, заныла душа, разгорячилась фантазия, охватило отчаяние или *радость*, и все это автор на пропускной бумаге, на транспаранте, на подошве сапога набросал, засим собрал воедино и без всякой сортировки предал печатному тиснению» (там же). Основная идея книги Р. — «искание *правды*, искание Бога, мучительное переживание прошлого и настоящего и безуспешная попытка найти равновесие и в самом себе, и в окружающей *жизни*» (Там же, 661–662), а серьезность этого поиска, очевидность этой серьезности для читателя и свежесть формы демонстрируют: Р. — «*человек*, про которого можно вполне определенно сказать, что он не человек трафарета, что на нем не лежит отпечаток обывательской *пошлости* и что он в полной мере обладает дерзновением мысли и слова» (Там же, 662). В письме Р. от 9 сентября 1916 Г., мотивируя отказ принять его статью в *печать*, дает свое понимание розановского *творчества*: «Вы, по-видимому, не желаете вникнуть в запросы со стороны читателей по отношению “Ист. Вестн.” и по малому знакомству с ним не ориентируетесь, какой материал нам нужен. Материал этот фактический, но никоим образом не тот, какой представлен в доставленной рукописи. Ей место в каком-нибудь церковном популярном журнале (таковые имеются), но никоим образом не в нашем, где фонтаном бьет реализм и столбами вертится пыль жизни. Кроме того, наши темы должны быть

ясные, а в творении Вашем знакомый элемент догадки, гадания, *веры*, всего того, что по ту сторону нашей земной жизни <...> Вас лично я очень люблю, хотя как писателя-публициста часто ругаю. Розанов-философ мне мил, а в роли поставщика на рынок ненужных книжек он меня часто злит. Обнимаю милого философа» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 415. Л. 3–3 об.).

Т. В. Воронцова

ГЛУБОКОВСКИЙ Николай Никанорович [6(18).12. 1863, Кичменгский Городок, Никольский уезд, Вологодская губ. — 18.3.1937, София] — доктор богословия, профессор по кафедре Св. Писания Нового Завета Петербургской духовной академии, редактор Православной богословской энциклопедии, с 1909 член-корреспондент Императорской академии наук, друг Р. Эмигрировал в 1921. Сохранилось около 130 писем из переписки Р. и Г (март 1905 — январь 1917), инициатором которой стал Г. После прочтения статьи Р. «К возрождению духовенства» (НВ. 1905. 17 марта) он осудил в письме к Р. от 17 марта *газету* «*Новое Время*» за позицию, занятую в вопросе о восстановлении патриаршества в *России*. Г делится с Р. своими взглядами «касательно духовной *цензуры*», которые Р. привел в статье «*К характеристике нашей духовной цензуры*» (НВ. 1905. 26 марта). Г пишет второе письмо, в котором резко критикует «неверную» позицию «*Нового Времени*» в отношении готовящейся церковной реформы, обвиняя редакцию и частично Р. в защите «вожделений верных “воздыханцев”». Такowymi Г. называл часть епископата во главе с еп. *Антонием* (Храповицким), главным, по мнению Г., вдохновителем идеи «черного собора» и восстановления патриаршества. Он доказывал несостоятельность идеи патриаршества с исторической и богословской точек зрения, разъясняя, чем грозит *церкви* и *обществу* монашеская автономия при отсутствии контроля за ней со стороны *государства*. По выражению Г., «засилие *монашества*» является одним из главных источников кризисного положения церкви, духовной *школы* и цензуры. Он призывал Р. «писать энергично и искренне» обо всем этом, приводя конкретные примеры и пересылая (в подтверждение своих слов) письма профессоров Московской и Киевской духовных академий и семинарий с разнообразной критикой церковной реформы. Р. сделал копии с части материалов, но не успел использовать их ввиду последовавшей 30 марта 1905 резолюции *Николая II* о переносе созыва Собора на более спокойные *времена*. Г. во многом определил отношение Р. к предстоящей церковной реформе, в статьях которого по этому вопросу можно встретить аргументы и даже некоторые речевые обороты из писем Г. Взгляды Р. на монашество совпали с антипатией Г. к «воздыханцам». Этот термин заимствовал у него Р. для использования в своих работах. Р. восхищался манерой письма Г.: «Но каков Вы мастер *языка*, что у Вас звенит каждая строка, отточена, вовремя кончена, как и вовремя начата <...> блеск, точность, шегольство, краснота — *мысли*, слова и проч. Из них самое прелестное качество — точность: *печать* ваша — копия Вашего *ума*, как интеллект Ваш — копия фамилии. Вы не “хватаете за душу” (*Буслаев*), но восхищаете *ум читателя*» (ОР РНБ. Ф. 194. Ед. хр. 767. Л. 62). Борясь с тенденцией монашеской автономии,

Г стремился вывести духовную школу из-под жесткого контроля церковной иерархии, превратить духовные академии в богословские факультеты при *университетах*. Он предлагал Р. провести на страницах «Нового Времени» опрос общественного мнения по этому поводу. В сентябре 1907 Р. поддержал в печати книгу Г «По вопросам духовной школы, средней и высшей, и об учебном комитете при *Св. Синоде*» (СПб., 1907), встретившую резкую критику со стороны церковных иерархов. Р. вслед за Г. отмечал, что у духовного ведомства нет подготовленных педагогов, что забвение воспитательного процесса в духовных школах ведет к «бунтам» («К оздоровлению церковной школы» // НВ. 1907. 9 сент.; РГО, 444). Р. писал: «Определение *К.П. Победоносцевым* (незадолго перед смертью), что “духовная школа стала кабаком”, совпадает с тем определением Глубоковского, что духовная школа — разломана и запакана» («За пастырем — и овцы» // НВ. 1907. 19 сент.; ОНД, 225). Р. критиковал синодальные постановления об усилении административного вмешательства в дела духовных школ, не принявшие к сведению предложения Г («Воспитываются ли семинаристы?» // НВ. 1907. 11 сент.; РГО), сравнивал новые правила для семинарий с правилами военных дисциплинарных батальонов («В духовных семинариях» // РС. 1907. 14 сент.; РГО). Г. — принципиальный защитник церковной иерархии, что проявилось в его выступлениях на заседаниях Первого отдела Предсоборного присутствия. Он выступил одним из активных защитников восстановления патриаршества. И в дальнейшем Г. продолжал информировать Р., стремясь скорректировать позицию «Нового Времени» в отношении к церковным вопросам. В статье Р. «Наши церковные дела» (НВ. 1906. 26 мая; РГО) анонимно приводится отрывок из письма Г. о работе Предсоборного присутствия. Публикация повлияла на пересмотр отношения «Нового Времени» к работе Предсоборного присутствия, о чем Г. поделился с Р. в ответном письме: «Письмо мое <...> не предназначалось для печати. Верно также, что, несмотря на предусмотрительную анонимность, меня узнали <...> Вышло-то все хорошо, так как засвидетельствована была истина и потом стали даваться в “Нов. Вр.” более объективные отчеты о наших занятиях. Значит, спасибо Вам» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4198. Ед. хр. 3. Л. 4). В 1913–1916 Г., по предложению Р., публиковал на страницах январских номеров «Нового Времени» библиографические обзоры по русскому богословию за прошедший год. Сам же Г. протестировал *трусам* Р. в церковных изданиях, с которыми был тесно связан. Важную роль в отношениях Р. с отдельными церковными иерархами (*Антоний (Храповицкий)*, *Сергий (Страгородский)* и др.) и профессурой духовных академий сыграли письма Г. Комментарии Г. к закулисной жизни духовных академий повлияли на возвращение Р. Для Р. прояснилось *тщеславие* профессора *М.М. Тареева*: «О Тарееве, кажется, — это так, что Вы пишете. Это то же, что *Г.С. Петров*, я слишком поздно рассмотрел: задыхается без славы, без молвы о себе» (ОР РНБ. Ф. 194. Ед. хр. 757. Л. 39). Был отложен полемический выпад Р. против проф. *И.М. Громогласова*, так как Г. объяснил, что «именно теперь <в декабре 1910> затеяли против него злостный поход, и в *Синоде* официально поставлен вопрос об увольнении его из Академии» (Там же. Л. 40).

Уважение Р. вызвала стойкость духа проф. *А.А. Бронзова*, о «крепкое стояние» которого разбился «пустомельство, и ругань, и все» нападки *В.В. Успенского*. Немалую роль сыграли письма Г. и в изменении отношения Р. к *Церкви*. «Для чего, начиная брань, уклоняться от благословения Церкви?» — писал он Р. Если в июне 1905 Р. признавался ему в письме, что «потерял все концы суждения о *христианстве*», то в поздних письмах признавал, что «все утешение от Церкви». Р. даже признавался Г. в своем страхе Божьего гнева, в момент запальчивых полемических выпадов против Христа (ПИРЛ, 38). Сближало Г. и Р. не только мировоззренческое единство и откровенный, доверчивый характер переписки, но и схожая жизненная ситуация — брак, не признанный Церковью. На обороте фотографии Г. 1914 Р. написал о Г. и его *учителе*, профессоре церковной истории Московской духовной академии *А.П. Лебедеве* (1845–1908): «Никто не знает нравственного чуда, а оно таково: когда я пришел и мы оглядывали квартиру, из спальни донеслась веселая шансонетка или “Во лузях” Он сказал: “Жена не одета, сейчас оденется выйдет” И она вышла, едва поздоровалась, и продолжала напевать шансонетку. Она сумасшедшая: но он ее (привычка и постепенность) принимает за “нервно-расстроенную”, и живет одиноко и глухо много лет с сумасшедшей, лет 45 *женщиной*, которая, разочаровавшись в муже, кажется, его профессор — кажется Лебедев — перешла к нему жить. И он чтит и Лебедева, и ее, почтил его память (†) и бережет, и сторожит ее. Она была вся раздетая, когда вышла. И вот “любovníк любовницы”, скольких мужей он чище и выше!!! Господь И. Христос его встретит и обнимет» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 102). В статье «Здоровье потомства как народно-государственная задача» (НВ. 1907. 30 марта) Р. ссылаясь на мнение Г., который «высказался хоть и осторожно, но нисколько не двусмысленно, что брак образуется во всех своих существенных частях простым и нравственным сожитием *мужчины* и женщины и что, следовательно, так долго ведшийся в печати спор об этих сожитиях и приживаемых в них *детях* решается в пользу полного уравнения первых с обыкновенным (церковным) браком и с законными детьми, без какого-либо различия и правоограничения» (РГО, 360). Р. принадлежит также рецензия на книгу Г. «Высокопреосвященный *Смарагд* (Крыжановский), архиепископ Орловский и потом Рязанский» (СПб., 1914) (НВ. 1914. 23 июня; НФП).

А.В. Ломоносов

ГОВОРУХА (Говорухо)-ОТРОК Юрий Николаевич [29.1(10.2).1850, Курск — 27.7(8.8).1896, Москва] — публицист, критик газеты «Московские Ведомости», где печатался под псевдонимом Ю. Николаев (как осужденный по народническому «процессу 193-х» печататься мог только под псевдонимом). Р. в его *некрологе* заметил, что «едва ли есть нужда сохранять его некрасивый и бесцветный псевдоним-отчество» (РО. 1896. № 9; ЛВИ, 352). Р. вступил в переписку с Г.-О. в связи с завязавшейся между ними полемикой вокруг творчества *Гоголя* при публикации первых глав «*Легенды о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского*» в «*Русском Обозрении*». Пять писем Г.-О. к себе Р. опубликовал в книге «*Литературные изгнанники*». В последнем из них Г.-О. предостерегал

Р.: «Что касается до Вашего желания променять учительство на журналистику, то закликаю Вас всеми святыми не предпринимайте в этом направлении никакого решительного шага <...> Нужна чрезмерная нравственная и умственная выносливость, кошачья живучесть, чтобы, сделавшись журналистом, не обратиться в журнального смерда» (Розанов В. Литературные изгнанники. СПб., 1913. С. 453). Ответные письма Р. не сохранились, как и архив Г.-О., находившийся после его смерти у брата по матери в Харькове. В книгу «Литературные изгнанники» Р. включил некролог Г.-О. из «Литературных очерков» (иной вариант некролога в газете «Свет». 1897. 24 янв.); здесь упоминается о 3–4 личных встречах между ними «при случайном проезде через Москву». К книге «Литературные изгнанники» Р. намеревался приложить подаренную Г.-О. его фотографию, «но когда при издании хватился, то при всех усилиях нигде не мог отыскать» (Там же, 452). Эта фотография Г.-О. была обнаружена П.В. Палиевским в книге Н.Н. Страхова из библиотеки В.В. Розанова (Литературная учеба. 1989. № 3). В литературных статьях Р. имя Г.-О. присутствует, как правило, в одном ряду с высоко ценимыми им мыслителями К. Леонтьевым и Н. Страховым. *Характеристику* его критической деятельности Р. дал в некрологе: «Он был реалист в том благородном смысле, что словесное искусство освещалось для него некоторым высшим светом, идущим от реального; и он был мистик, потому что это реальное, хотя и могло бы быть названо “жизнью”, однако не имело ничего общего с “делами и днями”, бегущими в ней, с частностями, хлопотами, — что это была скорее мысль жизни, нежели ее фактическое содержание. Все освещалось в поле его зрения глубоким, неясным, несколько матовым светом; в этом свете он созерцал и любил жизнь, любил ее, как носительницу этого света, — т.е. не самостоятельно; литературу любил он только как третья. И вот отчего самый взгляд его на литературу был глубок и чист, никогда не был тревожен, вот отчего он никогда не стал публицистом в критике, имея все внешние и технические средства к этому» (ЛВИ, 352). В письмах к Р. и в полемических откликах на его статьи, Г.-О. выражал неизменное одобрение его деятельности. «Из моих статей Вы, вероятно, уже заметили, что Ваши работы возбуждают во мне живейший интерес. У нас с Вами много точек соприкосновения, и даже, в сущности, одна общая идея, из которой мы оба исходим; но о Гоголе, конечно, мы стоим на разных концах, хотя, возможно, кончим тем, что и здесь сойдемся» («Литературные изгнанники». СПб., 1913. С. 440). В отклике на статью Р. «О борьбе с Западом в связи с литературной деятельностью одного из славянофилов» (Вопросы Философии и Психологии. 1890. № 4) Г.-О. писал: «В. Розанов писатель умный и остроумный, а судя по иным его работам, как, например, по прекрасной его статье “Место христианства в истории” <...> он писатель совершенно установившийся. Симпатии его, очевидно, более склоняются к славянофильству, понимая этот термин в широком смысле, чем к западничеству» (МВ. 1890. 15 сент.). Положительный отклик вызвала книга Р. «Сумерки просвещения» («Нечто о русской культуре» // МВ. 1893. 18 февр.), высоко оценил Г.-О. статьи Р. о Достоевском, и прежде всего — новый подход к литературным произведениям Р., заявленный в

«Легенде о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского»: «Прилагаю воззрение религиозное к анализу произведений художественных, Розанов достиг неожиданных и прекрасных результатов» и дал глубокое истолкование творчества писателя. О критическом методе Р. и в дальнейшем высказывался сочувственно, хотя этот метод не



Ю.Н. Говоруха-Отрок

во всем совпадал с его собственным: «г. Розанов иногда вовсе не хочет рассуждать, в чем и состоит задача критики и публицистики, а предпочитает изрекать. Положим, и самые изречения его часто очень любопытны и всегда интересны, но этот, так сказать, “апокалиптический” прием изложения не всегда удобен», — писал Г.-О. по поводу статьи Р. «Открытое письмо к г. Алексею Веселовскому» (МВ. 1896. 4 янв.). Г.-О. солидаризировался и с тем, что писал здесь Р. о Чаадаеве, Чернышевском и Писареве. Единственный пункт расхождений между ними стало творчество Гоголя; полемика с розановской точкой зрения Г.-О. посвятил несколько статей: «Еще о Гоголе. По поводу статьи г. Розанова “Несколько слов о Гоголе”» (МВ. 1891. 16 февр.); «Блудные сыны. По поводу статьи г. Розанова “Легенда о Великом Инквизиторе”» (МВ. 1891. 2 марта); «Во что веровал Достоевский? По поводу критического комментария г. Розанова “Легенда о Великом Инквизиторе Достоевского”» (МВ. 1894. 8 и 15 сент.). Суть возражений сводилась к тому, что Г.-О. видел в творчестве Гоголя высокий христианский смысл, считал, что он «как художник судил жизнь

с такой высоты, с которой уже видно было, что нет разницы по существу между “премудрыми и разумными”, между великими и славными мира сего — и презрительными для них Чичиковыми, Хлестаковыми, Ноздревыми и Собакевичами» (МВ. 1891. 26 янв.). Г.-О. не терял надежды переубедить Р.: «На Ваше отрицание Гоголя я смотрю как на последний фазис той борьбы, которая приведет к пониманию Гоголя» («Литературные изгнанники». С. 442). Ответом стали слова Р. в комментариях к этому письму: «Ну это, — писал Р., — как вероятно думал Говоруха, — “должно привести к пониманию христианского духа Гоголя <...> О “христианском духе” Гоголя можно только улыбаться» (Там же, 443).

Е. В. Иванова

ГОГОЛЬ Николай Васильевич [20.3(1.4).1809, Великие Сорочинцы, Миргородский уезд, Полтавская губ. — 21.2(4.3).1852, Москва] — писатель. Впервые о Г. как об основателе нового направления в русской литературе Р. упомянул в книге «О понимании»: «Литература до Гоголя была у нас исключительно поэзией <...> После Гоголя же у нас не появлялось ни одного великого поэта, и вся литература стала исключительно художественною» (ОП, 465). В «Заметках о важнейших течениях русской филозофской мысли в связи с нашей переводной литературой по философии» (ВФП. 1890. № 3) Р. определил Г. как «гениального, но извращенного» писателя отрицательного направления в противоположность Пушкину. Вторую главу «Легенды о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского» Р. открыл заявлением, ставящим под сомнение одно из самых устоявшихся в русской критике положений, согласно которому «вся наша новейшая литература исходит из Гоголя» (ЛВИ, 18). Подход Р. прямо противоположен: «Было бы правильнее сказать, что она вся в своем целом явилась отрицанием Гоголя, борьбою против него» (там же). «Не составляет ли тонкое понимание внутренних движений человека, — спрашивал Р., — самой резкой, постоянной и отличительной черты всех новых наших писателей?» (там же). И, ответив утвердительно на этот вопрос, он обращался к творчеству Г., обнаруживая в нем «страшный недостаток <...> этой самой черты — только ее одной и только у него одного» (там же). По мнению Р., Г. был «гениальный живописец внешних форм и изображению их, к чему одному был способен, придал каким-то волшебством такую жизненность, почти скульптурность, что никто не заметил, как за этими формами ничего, в сущности, не скрывается, нет никакой души, нет того, кто бы носил их» (там же). Отсюда следовал категорический вывод: «Мертвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь, и мертвые души только увидал он в ней. Совсе не отразил действительность он в своих произведениях, но только с изумительным мастерством нарисовал ряд *карикатур* на нее: от этого-то и запоминаются они так, как не могут запомниться никакие живые образы» (Там же, 20). Именно в этом Р. видит объяснение «всей личности и судьбы» Г.: «Не идеала не мог он найти и выразить; он великий художник форм, сторел от бессильного желания вложить хоть в одну из них какую-нибудь живую душу» (Там же, 21). В статье «Несколько слов о Гоголе» (МВ. 1891. 15 февр.; в третьем издании книги «Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского» в 1906 получила на-

звание «Пушкин и Гоголь») Р. расширяет круг своих наблюдений: «Разнообразный, всесторонний Пушкин составляет антитезу к Гоголю, который движется только в двух направлениях: напряженной и беспредметной лирики, уходящей ввысь, и иронии, обращенной ко всему, что лежит ниже» (ЛВИ, 137). Поэтому именно Пушкин, полагает Р., «есть истинный основатель натуральной школы, всегда верный природе человека, верный и судьбе его» (там же). Г. «погасил Пушкина в сознании людей, и с ним — все то, что несла его поэзия»: «Один равнозначущий гений» был «вытеснен» другим, что «исказило совершенно иначе духовный лик нашего общества, нежели как начал уже его выводить Пушкин» (Там же, 138). Отсюда следовали катастрофические последствия для русской жизни. «С Гоголя именно начинается в нашем обществе потеря чувств действительности, равно как от него же идет начало и отвращения к ней» (Там же, 141). Р. апеллирует к высшему духовно-нравственному авторитету, поверяя гоголевское изображение детей (Фемистоклюса и Алкида) в «Мертвых душах» отношением к детям, да и в целом к людям, Спасителя, который «укорял и учил, но никогда не осмеивал» (Там же, 142). Свои мысли Р. подкрепляет текстологическим анализом гоголевской «Шинели» в статье «Как произошел тип Акакия Акакиевича» (РВ. 1894. № 3). Проследив основные этапы (от первоначального замысла через черновые редакции к окончательной) работы Г. над этим образом, он пришел к выводу о том, что «сущность художественной рисовки у Гоголя заключалась в подборе к одной избранной, как бы тематической, черте создаваемого образа других все подобных же, ее только продолжающих и усиливающих черт <...> (в лице и фигуре Акакия Акакиевича нет ничего не безобразного, в характере — ничего не забитого)» (ЛВИ, 146). С этой чертой «сужения и принижения человека» неразрывно связана, по Р., другая, «следующая» за первой, черта гоголевского творчества, «его бесконечный лиризм»: «Великая жалость к человеку, так изображенному, скорбь художника о законе своего творчества, плач его над изумительною картиною, которую он не умеет нарисовать иначе <...> и, нарисовав так, хоть ею и любит, но ее презирает, ненавидит» (Там же, 149). Эта борьба с собой, но никак не борьба с «печальной действительностью», и составила трагедию «великого человека, в котором гениальный ум разошелся с простым сердцем» (Там же, 150). Р. относил Г. к «религиозным» (но не «церковным») натурам с «непременно личным и непременно жизненным чувством, почти ощущением Бога» (рец. на кн.: А. Куреев. По поводу старокатолического вопроса. *Сергиев Посад*, 1898 // НВип. 1898. 13 мая). Однако к религиозной гоголевской проповеди Р. относился резко отрицательно. «Гоголь в “Письмах” <“Выбранные места из переписки с друзьями”> — да, он гений, — признает Р. в статье “Учитель и ученики, гений и простые смертные” (НВ. 1904. 13 окт.). — Но мне хочется, — продолжает он, — ударить в центр этих моральных проповедей и указать, что в них сокрыта безумная имморальность». Эта имморальность заключена прежде всего в том, что авторы-проповедники теряют «всякий интерес к морю человеческих индивидуальностей», «самый вкус к лицу человека», к которому они обращаются со своей проповедью и которые писатель-художник «с таким совершенством чека-

нил дотоле; и очевидно ранее, чем чеканить, наблюдал их и, вероятно, изучал — любил» (там же). Р. готов даже усомниться в искренности такой религиозности, особенно если сравнить русских писателей с другими религиозными мыслителями. «Религиозные идеи Гоголя и Толстого, волновавшие и волнующие Россию, — писал Р. в статье “Мастерство слова у русских и французов” (НВ. 1909. 6 авг.), — около “Мыслей” Паскаля представляются совершенно жалкими, уродливыми, слабыми. Гоголь и Толстой, личности вполне великие, не уступающие Паскалю или Декарту, значительны в другом, а не в религии. Паскаль — чистое золото в религии; говорил от сердца, а ум его был неизмерим. Гоголь и Толстой иногда кажутся просто притворяющимися религиозными людьми, или — натаскивающими на себя шубу нравоучительного старца, но без всякого успеха» (ОПП, 368). В 1-м коробе «*Опавших листьев*» Р. отмечал: «Толстой не был вовсе религиозным лицом, религиозною душою, — как и Гоголь. И у обоих *страх* перед *религией* — страх перед темным, неведомым, чужим» (У, 169). Р. подчеркивал пророческий характер творчества Г. Причем, по его мнению, «наш вешун» плакал «не об одной России»: «Особенность его странной и никем никогда не разгаданной (в источниках) *печали*, быть может, лежала в том, что рок указал ему быть Иеремиею не руин своего времени, своего отечества, но *культуры* европейской, но *цивилизации*... христианской» («Истинный “fin de siècle”» // *Биржевые Ведомости*. 1898. 8 нояб.; ВМНН, 56). И даже в незначительных, казалось бы, деталях (например, в «вечной и печальной на Руси» «ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем») «бессмертный» Г. «выразил всю суть России». «А ведь почти и не жил в ней, нехристь, — добавляет Р., — только “проехался”» («Федосеевцы в Риге» // НВ. 1899. 27 авг.; ОЦС, 23). Этот факт вызывает у Р. постоянное удивление, ведь Г. «в *Москве* был остановками, в *Петербурге* жил недолго, по “губерниям” только проехался». Но, несмотря на это, «сколько он *мелочей* в ней заметил, духовных подробностей, но ценных, но важных и на которые до него никому не приходило в голову обратить внимание» («Гоголь» // МИ. 1902. № 12; ОПП, 121). «Гоголь только “проехался” по России, а все в ней высмотрел, чего дотоле не видели и сами русские» («Переживание и перерождение» // РС. 1906. 7 янв.; КНУ, 77). Но и на этом уровне проявляется противоположность пушкинского и гоголевского направлений в русской литературе, причем их сравнительная оценка у Р. порой колеблется. «Можно Пушкиным питаться и можно им одним пропитаться всю жизнь. Попробуйте жить Гоголем, попробуйте жить *Лермонтовым*: вы будете задушены их (сердечным и умственным) монотеизмом...» (СХ, 167). По мнению Р., «чувство трансцендентного» Пушкину «совершенно чуждо, в противоположность Гоголю, Лермонтову, из новых — *Достоевскому* и Толстому» (Там же, 170). Г. остается самым трагичным и загадочным русским писателем, *тайны* которого не могут «и, по всему вероятно, никогда не разгадают» (ОПП, 122) биографы. «Гоголь был, конечно, болен нравственными заболеваниями от чрезмерности душевных глубин своих, — писал Р. в статье “Гоголь” — Его трясло, как *деревню* на вулкане. Но в чем секрет его вулкана, из которого сверкали по ночному небу зигзаги молний, текла

лава, сыпался песок и лилась грязь: этого, не заглянув туда, нельзя сказать. А заглянуть — тоже нельзя. Только и можно сказать, что вулкан был огромный, могучий, планетный; что это “дух земли” заговорил в нем» (ОПП, 123). Отсюда «шла его таинственная и рациональная сила, его ведение настоящего и в значительной степени будущего» (ОПП, 124). «Но больше этих поверхностных слов что же мы можем сказать о нем» (ОПП, 123). Развернутую *характеристику* личности и творчества писателя Р. дал в статье «50-летие кончины Гоголя» (НВ. 1902. 21 февр.). Он попытался определить место Г. в *истории* мировой сатиры: «Аристофан был сатирик; Свифт имел бич более беспощадный, чем гоголевский; Теккерей *Европа* признала сатириком». Однако «Гоголь не умещается в ряд их не только как им равный, но и как на них похожий» (там же). Через три года Р. попытался обозначить и роль Г. по отношению к немецкому романтизму, придя к близкому выводу: «Гений Гоголя и все его творчество было бы что-то совершенно чудовищное и неуместное, неприличное, невероятное среди их Новалисов, Тиков, Уландов, *Шиллеров*, Шлейермахеров и *Гегелей*» («Возможный “гегемон” Европы» // НВ. 1905. 29 июня; СХ, 152). Еще через четыре года под впечатлением «беспроектного ужаса» от прочтения «Истории одной жизни» *Мопассана* Р. восклицает: «Сравнительно с этим, о, как светла и история Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, и даже “Мертвые души”, со всей их мелочью. Ибо Гоголь описал только мелочь жизни; Мопассан описывает *цинизм* ее» («Один из певцов вечной “весны”» // НВ. 1909. 31 июля; ОПП, 359). Но если Г. так явно непохож ни на одного европейского писателя — «в чем же его секрет и особенность, при столь бесспорном характере сатиричности его творений?» («50-летие кончины Гоголя» // НВ. 1902. 21 февр.). «В его безмерной положительности, плоде безмерной *любви* к родной стране и *вере* в родную страну!» (там же). Причем идеал Г. в *корне* отличался от идеала всех его предшественников, считает Р.: «Вообще могущественнейшие сатирики были косвенно певцами минувшего, безвозвратного и чаще всего проблематичного “золотого века” Даже пророки Ветхого Завета, как Иеремия, плакали только о прошлом. Но не таков христианский сатирик Гоголь» (там же). Его оригинальность как сатирического писателя определилась, по Р., историческим своеобразием духовной жизни русского народа: «Сравнительно со всеми народами евангелизм, чувство *Евангелия*, и только его одного, проникает русского человека больше, чем всякого другого» (там же). Евангелие стало для Г. личным и общественным идеалом, причем «из всех картин, видений или иносказаний евангельских его как бы особенно поразило Преображение» (там же). Это обусловило особое отношение Г. к собственному творчеству, своей писательской миссии: «Он был пророком и вождем русского “преображения”, и сатира была для него только бичом, которым он понукал ленивого исторического вола. *Сознание* ведущего своего значения, “преображающего”, местами восходит у Гоголя до яркости, которой нет аналогии во всемирной литературе» (там же). Г. объединил народный идеал с литературным, утверждает Р. «Народное движение русской литературы необъяснимо без Гоголя, оно выводится из него. До Гоголя русская литература порхала по поверхности все-

мирных сюжетов <...> Гоголь спустился на землю и указал русской литературе ее единственную тему — Россию» (там же). Отсюда значение Г. для всего ее последующего развития и смысл его творческой и личной трагедии. «Сам он умер в великой попытке выделить, выработать в себе христианина; но попытка не умерла, перейдя в биографии Достоевского и Толстого. Найти в себе христианина, явить в жизни своей христианскую идею — такова стала задача русского писателя <...> Но еще безмерный предстоит путь от личного образа дойти до образа жизни народной и от пожелания к осуществлению. На путь этот вывел литературу нашу Гоголь; на нем она трудится» (там же). Некоторое время спустя Р. напоминает и о другой стороне «историко-государственных созерцаний» русских писателей и Г. в том числе. «Эти три русские души, — отмечал он в статье “Два слова в защиту Достоевского как человека” (РС. 1906. 22 февр.), — Гоголя, Достоевского и Толстого — впервые сообщали и вообще русскому духу интерес всемирности, какой до этих людей наша история и наша естественность не имели» (ОНД, 28). В юбилейном 1902 Р. попытался подойти к творчеству русского классика и с несколько иной стороны — стилистической. При этом понятие *стиля* для него никогда не сводилось к «стилю языка». Еще в статье «К литературной деятельности Н.Н. Страхова» (НВ. 1902. 22 авг.) Р. определил стиль как «энергизм души, тот таран, которым писатель режет воду; а при столкновении топит неприятельский корабль». Г. покорил Россию не только содержанием своих мыслей, темами своих произведений, но и тем, как он это все выразил, своим «стилем», могучим языком, образом, словооборотами». Г. создал свой стиль. В его фантастических произведениях, «единственных в русской литературе» («Вий», «Страшная месть») «чуешь какую-то истину, хотя их фабула переступает границы всякой возможности» (ОПП, 121). Но «рядом с этим могуществом и с этим призыванием к фантастическому Гоголь имел равное могущество и равное призывание и к натуральному, натуралистическому. Иногда кажется, что он носил в субъекте своем мир, совершенно подобный внешнему, и уже последний знал раньше, чем на него начинал глядеть!» (там же). При этом Г. сумел уловить «стиль» по преимуществу «немошей» России (там же). Через несколько лет Р. уточнит: «Сам Гоголь был натуралистом-художником, а не натуралистом-физиологом: он был натуралист в приемах изображения, а не в чутье действительности, не по вкусу к ней» (ОПП, 213). «При Карамзине мы мечтали. Пушкин дал нам утешение. Но Гоголь дал нам неутешное зрелище себя, и заплакал, и зарыдал о нем» (Там же, 121). Значение Г., по Р., не ограничилось только литературой. После его произведений Россия, «может быть, не стала лучше. Но тот конкретный образ, какой он ненавидел в ней, она сбросила, и очень быстро. Реформ Александра II, в их самоуверенности и энергии, нельзя себе представить без предварительного Гоголя» (ОПП, 121–122). Вывод, который отсюда следовал, стал для Р. принципиальным и при последующих оценках роли Г. в истории России: «После Гоголя стало не страшно ломать, стало не жалко ломать. Таким образом, творец “Мертвых душ” и “Ревизора” был величайшим у нас, вне сравнения с ним кого-нибудь, политическим писателем» (ОПП, 122). Но пока

этот вывод касался только определенного периода русской истории: «Царь-реформатор пришел тем вторым и подлинным “ревизором”, о котором только упомянул, не выведя его, Гоголь» (там же); Г. «сжег николаевскую Русь» (там же). Хотя в оценке этого процесса Р. вскоре стал колебаться. В статье «Перед рассветом» он вернулся к мысли о политической роли литературы в деле реформирования русской общественной жизни, о значении слова в истории, но здесь акценты опять оказались смещены в пользу пушкинского начала: «Слово должно рождать событие: а если события, потенциально в слове предустановленного, не родилось, то начинается какое-то бессмысленное клокотание звуков в горле, является какое-то заикание исторического народа, на которое больно смотреть. Что фактического, что практического таила в себе муза Гоголя и Лермонтова, — мы не знаем; но муза русская до них, включительно с Пушкиным, таила в себе нечто примитивно-доброе, первоначально-нужное, что начало было осуществляться между 1856 и 1863 годами: и вдруг остановилось все и пошло вспять» (Слово. 1904. 6 дек.). Но это никак не умаляет значения русского классика, считал Р. В статье «Гоголь» Р. писал: «Гоголь — пример великого человека. Выложите вы его из русской действительности, жизни, духовного развития: право, потерять всю Белоруссию не страшнее станет. Огромная зияющая пропасть останется на месте, где стоит краткое “Гоголь”» (ОПП, 122). Р. сравнивал значение Г. с ролью *Петра Великого* в русской истории, а во 2-м коробе «Опавших листьев» пошел еще дальше, впрочем, не без доли иронии: «Да Гоголь и есть *Александр Андреевич Мак-едонский*». Так же велики и обширны завоевания. И “вновь открытые страны” Даже “Индия” есть» (У, 220). В статье «Поминки по славянофильству и славянофилам» (НВ. 1904. 21 мая) Р. восклицал: «Дело Гоголя — именно практическое — необъятно! <...> А кажется, только “писал” и “писал”» (ЛВИ, 449). Сравнивая Г., а также и все критическое направление в русской литературе («обличителей с перцем и уксусом») и славянофилов («обличителей с сахаром»), Р. отдает явное предпочтение первым. «И уж если к “призванию” Россия сколько-нибудь придвинулась, то от того, что всякому почтмейстеру во всяком Царево-кокшайске сделалось за себя совестно; вздохнул он, сам пообчистился, а главное, хоть сынишку в гимназию отдал: “Пусть учится другому, чем я” <...> Так и пошла генерация добра на Руси: от желчи, кислоты, горечи» (Там же, 450). Но тут же Р. определяет причину «глубокой лирики» Г. и других русских писателей: «скука, ничегонеделание и тоска», а также «правописание, сатира, раздражение <...> но все это есть гнев на вялый цвет *кожи*, когда вопрос не в ней, а в нервах. А “нервы” русские... Ну, им и конца не предвидится. Кажется, никогда и ни от чего не лопнут...» («Литературные новинки» // НВ. 1904. 16 июня; ОПП, 169). И все равно «писатель-художник» важнее любой политической «партии», ибо отражает и выражает в своем творчестве всего человека: «Снимите даже с Акакия Акакиевича, с Плюшкина те конкретные и уже вовсе не необходимые для чиновнического трудолюбия одного, для скупости другого — черты, какие им придал Гоголь <...> и поэзия Гоголя рассыплется, ей не на чем будет держаться; останется голое имя порока или добродетели, и бич сатиры или лирики, который бьется о сухую палку

с именем» (НВ. 1904. 21 июля; ОПП, 180). «С Гоголем, Лермонтовым, Толстым, Достоевским вошло неправильное, но и гениальное, не педагогическое, но манящее начало в русское образование <...> Динамическое начало Руси — в них...» («Ив. С. Тургенев» // НВ. 1903. 22 авг.; ОПП, 139). Это начало проявляется и в «особых вершинах языка», которые «уже есть у Гоголя в знаменитых его то “отступлениях”, то “лирических местах”, где ткань книг вдруг прорывается и из разрыва несется высь слово такого восторженного напряжения, а наконец и могучей *силы*, каких мы напрасно искали бы у наших “тихих” писателей» (ОПП, 139–140). Язык Г. (а также Пушкина и Лермонтова) «да будет прощено ради точности грубое сравнение — самые густые сливки, данные русской литературной *коровой*, гуще которых она, кажется, вообще не может дать. Употребляя это сравнение, чувствуя, что в литературе есть, в самом деле, что-то живое, живым органическим способом вырабатываемое в недрах наций, в недрах французского, итальянского, германского, русского народов...» (Там же, 224). «Сколько строк посвящено Гоголем Петрушке, лакею Чичикова?.. Если сложить все отдельные строки, разбросанные на протяжении длинного произведения, то едва ли наберется больше одной страницы <...> А между тем Петрушка всей Россией помнится и живо представляется» (Там же, 224–225). «Гоголь был волшебником, но волшебник, так сказать, не макрокосма, преувеличенного мира, а волшебник микрокосма, преуменьшенного мира, какого-то пришибленного, раздавленного, плоского и даже только линейного, совершенно невозможного и фантастического, ужасного и никогда не бывшего!» (Там же, 226). «У Гоголя нет благодушия и простодушия, он нигде не стоит к изображаемым предметам плечом к плечу, в уровень, любя и уважая. Всюду его взгляд устремлен сверху вниз, везде-то это ястреб, выклевывающий глаз действительности» (Там же, 229). «Среди человечества Гоголь стоял как в пустыне, со своим одиноким *смахом* и одинокими слезами, в сущности, никому не нужными и ничему не нужными» (Там же, 226). Р. пытается разрешить загадку Г., ее «неразгаданные источники», обращаясь к самым ранним этапам истории человечества. Еще в статье «Писатель семидесятых годов» он заявил по поводу Г.: «И биографически, как и в психике творчества — до чего он стар, ветх, какие первобытные морщины бороздят его странное чело!» (НВ. 1900. 16 июня). Примеры из Г. первыми приходили Р. на ум, когда он рассматривал типы античной культуры, выстраивая свою оппозицию Афродиты — Дианы, как противопоставления «пустого», безбрачного чувства супружеской *любви*: «Разве не “Диану” любил, и влюблен был в нее, знаменитый Афанасий Иванович в гениальном эскизе Гоголя?» («Афродита — Диана» // МИ. 1899. № 23/24; ВДЯ, 75). Гоголевский образ вспомнился Р. и тогда, когда его поразила в *Риме* «старая (античная) бронза»: «фигура коня, закусанного львом», особенно часть этой скульптурной композиции — «приподнятая и ослабленная, смеющаяся голова *лошади*». «У Гоголя в “Страшной мести” описано — и это есть самый страшный мистический момент, — что лошадь, на которой скакал колдун от своих *грехов* и всего ужаса своего прошлого, обернулась и засмеялась» (СХ, 71). Рассказ о предложении о. Матфея

Константиновского, обращенном к Г., отречься от Пушкина, ибо тот был «язычник и грешник», «осветил» для Р. «громадные перспективы истории, вплоть до нашего мелкого теперешнего спора о классическом образовании; а эти перспективы истории вдруг как-то сделали понятною и почти интимною загадочную, стенающую кончину Гоголя. В самом деле, ну, представим себе, что он, любитель Рима, — да какой любитель, певец Анунциаты! — буквально вместил в себя всю эллино-христианскую распрю и так конкретно, лично, поименно; и вдруг: — “Отрекись от Пушкина” Конечно, *грудь* его разорвалась от отчаяния» («Небесное и земное» // НВ. 1901. 11 дек.; ОЦС, 168). Вообще, отношение Р. к о. Матфею и к его роли в *судьбе* Г. колебалось от нейтрального к резко отрицательному. В «Небесном и земном» он писал: «В том-то все и дело, что этот от. Матфей был для своего времени, может быть, столь же замечательное и сильное и яркое явление, как умиравший писатель, и только жизнь его проходила в безвестности». Предложение же отречься от Пушкина напомнило Р. «точно такой же» вопрос, предложенный апостолом Павлом и эллино-римскому миру: «Отрекись от *Гомера*, отречься от *Виргилия* <...> И вы — не умрете, исторически и всячески, но воскреснете в новую жизнь — духовных восторгов и возбуждения» (там же). В «Русском Ниле» (РС. 1907. 6 дек.) Р. уже называет ржевского протоиерея «Мефистофелем Гоголя», «самонадеянным семинаристом», «инквизитором» и заключает: «“*Вера* двигает горы”, и о. Матфей своей упорной “верую”, стоявшею на фундаменте неведения и равнодушия, житейского индифферентизма и умственной узости, не только сдвинул гору-Гоголя, но и заставил ее шататься и, наконец, пасть к ногам своим с громом, который раздался на всю литературу и был слышен несколько десятилетий» (ОНД, 198–199). В статье «Загадки Гоголя...» (РС. 1909. 12 и 14 марта) Р. говорит о полном подчинении гениального «я» Г. «узкому и жесткому уму и железной воле фанатика отца Матфея в Ржеве» (ОПП, 344). В статье «Магическая страница у Гоголя» (*Весы*. 1909. № 8, 9) суть повести «Страшная месть» Р. определил лаконично: «Катерина и ее отец, или, точнее и строже, — только один отец, “колдун” Гоголь потянулся к страшному сюжету, на европейской почве удвоенно, удесятеренно страшному — передать, как отец тянется стать супругом собственной дочери» (ОПП, 401). Р. сопоставляет этот сюжет с библейским рассказом о Лоте и его дочерях, заметив, впрочем, что Г., «без сомнения, не вспомнил во время писания ни разу об этом библейском рассказе, иначе не был бы так испуган» (Там же, 402). В своем анализе Р. обращает особое внимание на тайну *пола* и *крови*, на мистический смысл кровосмешения, который, по его мнению, выявлялся в магической практике древних *цивилизаций Востока*, включая иудейскую, с их культом «сверхъестественного *рождения*» и мессианства. «Во всем, что передает Гоголь о “колдовстве”, нас поражает... — комментирует Р. текст гоголевской повести, — не то чтобы “реализм” его, а верность делу, точное знание *вещей*, уверенное и спокойное. В сказку, — полудетского и фантастического характера, — написанную Гоголем в обычных *тонах* его притворной шутовщины и чрезмерного преувеличения, как бы врезан, инкрустирован рассказ о некотором деле,

события, “бывальщине” (“что бывает”), который он не мог в подробностях передачи заимствовать ни из легенд, ни из деревенских рассказов, ни из *тени*, а только из какого-то странного и чудовищного своего внутреннего ведения» (Там же, 412). Р. полагал, что Г. изложил «страшный сюжет» без всякой «научной подготовки», «вдохновенно и малороссийски-народно, но без ведома своего, дивным гением или атавизмом своим перенесся в центральные таинства *Египта*, *Ассирии* и *Ирана*, и даже... просто разгадал эти таинства!» (Там же, 417). Р. к столетию со дня рождения Г. подвел определенный итог своим размышлениям о нем. Статью «Русь и Гоголь» (НВ. 1909. 26 апр.) он открыл рассуждением о соотношении малороссийского и русского у писателя: «Гоголь был и всегда хотел быть, — заявил здесь Р., — только русским поэтом, взирая на малороссийство свое, как зрелый человек взирает на свое детство» (ОПП, 352). И добавил уже о значении Г. для украинской культуры: «Великий Гоголь вывел малорусский народ на общерусский путь жизни, сознания и говора: и вопроса, им решенного, им повороженного к северу, не перерешить и не перевернуть в другую сторону малорослым, а не малорусским полуписателям и полуполитикам. Его великому русскому сердцу они причиняют несносные обиды» (Там же, 353). А спустя пять лет в статье «Центробежные силы в России» (НВ. 1914. 14 янв.) Р. заключил: «Но не воображайте, что в Запорожской Сечи Гоголь написал бы “Мертвые души” Ничего вовсе он не написал бы там; а был бы войсковым писарем; сказочником-бандуристом; и вообще чем-нибудь этнографическим, а не литературным. Дух Гоголя родила Россия, она ему дала темы, она ему дала одушевление; она дала ему все горькое и сладкое; все муки, и всю заботу» (НФП, 217). Но о главном, о «вечном» Р. говорит в связи с торжественным открытием *памятника* Г. в Москве (не случайно большинство «юбилейных» статей Р. о Г. так или иначе связаны с этим событием): «Памятник, открываемый Гоголю в Москве, овещает, бронзирует мысль о Гоголе, утвердившуюся в душе русского народа. Памятник выражает собою, что Гоголь признан как великий *учитель*, как великий наставник русского народа: ибо только таким людям, с таким значением, Русь ставит памятники. Значение Гоголя необъемлемо, *сила* духа его сказалась в необозримых *влияниях*. Нет русского человека, частица души которого не была бы обработана и прямо сделана Гоголем. Вот его значение» (ОПП, 353). «Сила Гоголя», в отличие от Пушкина, в том, что «необъяснимыми тревогами души своей, неразгаданными в источнике и сейчас, он разлил тревогу, горечь и самокритику по всей Руси. Он — отец русской тоски в литературе: той тоски, того тоскливого, граней которого сейчас и предугадать невозможно, как не видно и выхода из нее, конца ее. Не видно результата ее. Он глубоко изменил настроение русской души. В светлую или темную сторону — об этом не станем спорить, не время сейчас спорить. Но бесспорно остается его сила в этой перемене. И эту-то силу Русь увенчивает памятником» (там же). В статье «Гений формы (К 100-летию со дня рождения Гоголя)» (НВ. 1909. 20 марта) Р. обобщил свои прежние наблюдения: «Гоголь представляет, может быть, единственный по исключительности в истории пример формального *гения*, т.е. устремленного

единственно на форму, способного единственно к форме, в ней одной, до известной степени, всеведущего и всемогущего. И — без всякой чуткости, без всякой мощи, без всякого ведения о содержании, о мысли, о “начинке”» (ОПП, 348–349). «Чем выше гений Гоголя и даже чем сильнее его пафос в данную творческую минуту, тем он отыскивает для воплощения самое что ни есть малейшее, *пошлость*, уродство, искривление, болезнь, сумасшествие или *сон*, похожий на сумасшествие» (Там же, 348). «Все, все — “Мертвые души”: как это удачно сказало, как гениально определилось! И — выразилось <...> Какой-то всплеск или выплеск из вод Мертвого моря, которое поместил же Господь *Бог* в самом святом месте. И у Гоголя мы ни малейше не отрицаем святых, высоких порывов, высочайшего идеализма. Но... везде ползают черви. Позволительно это в Палестине. Отчего не случиться было такому в Гоголе?» (Там же, 348). «Так как Гоголь кроме поучительного: “совершенствуйтесь в *добродетели*” и “любите свое отечество” ничего не имел по части идей, то вообще под давлением его авторитета общество страшно идейно понизилось, измельчало, в то же время вечно возясь с книгами и занимаясь книжными темами, чтобы не походить на Чичикова. Если бы Гоголь завещал великую идею <...> обществу, читатели невольно поднялись бы, восприняв и начав развивать дальше эту мысль. Но что же извлечешь из “*Носа*”, из неудачной ревизии “*Ревизора*”, из скупки мертвых душ? Нечего извлечь. И Русь захотела голым пустынным смехом...» (Там же, 352). В статье «Загадки Гоголя...» Р. устанавливает ряд параллелей между гоголевскими произведениями и фактами его биографии (Г. — «схимник» из «*Страшной мести*» и Г. — «пан колдун» из той же повести, Г. в гробу — панночка в гробу из «*Вия*»), мотивируя этот прием наблюдением: «У всех писателей есть, так сказать, нажимы пера; в писаниях великих авторов наблюдательный взор откроет местами какое-то волшебство, что-то странное, загадочное, и хотя бы объективно не очень значительное, но что останавливает на себе внимание явной и вместе темной связью с душой автора» (Там же, 336). Отвечая на вопрос, как мог Г. писать в Риме — «настоящем “чертовом гнезде” Европы, говоря понятиями Бульбы и самого Гоголя как автора “*Бульбы*”» (Там же, 337), — «русскую поэму» «*Мертвые души*», Р. предлагает сопоставить с «*Мертвыми душами*» «удивительную песню» — гоголевский этюд «*Жизнь*», открывавший вторую часть «*Арабесок*», «ибо только в этом сближении “*Мертвые души*” получают некоторое объяснение» (Там же, 342). В результате такого сопоставления он приходит к выводу, что в Г. «жил такой напряженный идеализм, такая тоска по идеалу, непременно по всемирному, который облил бы смыслом своим все человечество и объединил бы его, связал его этим смыслом, одною целью, — что он годился <...> к роли анархиста-мечтателя, осуществляющего на русском севере *мечту* халдейского Эдема...» (Там же, 343–344). Впрочем, под впечатлением от событий 1905 Р. уже называл Г. «чудовищным анархистом», так же как и других русских классиков и даже «кроткого Пушкина» («Среди анархии» // НВ. 1905. 15 нояб.; КНУ, 65). Итог розановских размышлений над «загадками Гоголя» неутрачен: «И все же, за всеми этими возможными объяснениями, — пишет он в конце статьи, — Гоголь остается

темен и темен. Все объяснения и, так сказать, метод объяснительности грешат тем именно, что они рациональны...» (ОПП, 344). В статье «Гоголевские дни в Москве» (НВ. 1909. 3 и 8 мая) Р. обратился к вопросу об истолковании творчества писателя *Белинским*, «*шестидесятниками*», *Чернышевским* и «Современником». «Может быть, — отмечает Р., — это истолкование и узко, может быть, и даже наверно — оно ложно. Не в этом дело. Наши иллюзии творят жизнь не менее, чем самые заправские факты. Пусть в субъекте своем Гоголь не был ни реалистом, ни натуралистом: творило “дело” не то, чем он был в “субъекте”, но творило дело то, чем он казался в “объекте”, — казался зрителям, современникам, читателям. Жизнь и историю сотворило, и — огромную жизнь сотворило, именно принятие его за натуралиста и реалиста, именно то, что и “Ревизора”, и “Мертвые души” все сочли (пусть ложно) за копию с действительности, подписав под творениями — “с подлинным верно” <...> Он показал всю Россию бездобростной, — небытием. Показал с такой невероятной силой и яркостью, что зрители ослепли и на минуту перестали видеть действительность, перестали что-нибудь знать, перестали понимать, что ничего подобного “Мертвым душам”, конечно, нет в живой жизни и в полноте живой жизни... Один вой, жалобный, убитый, пронесся по стране: “Ничего нет!..” “Пусто!” “Пуст Божий мир!” И явился взрыв такой деятельности, такого подъема, какого за десятилетие нельзя было ожидать в довольно спокойной и эпической России...» (СХ, 297–298). Отвечая на вопрос, вынесенный в заголовок статьи «Отчего не удался памятник Гоголю?» (ЖТЛХО. 1909. № 2), Р. пришел к выводу, что творчество Г. и его образ глубоко противоречат самой идее монументальности. «Самая суть дела и суть “пришествия в Россию Гоголя” заключалась именно в том, что Россия была или, по крайней мере, представлялась сама по себе “монументальной”, величественною, значительно; Гоголь же прошелся по всем этим “монументам”, воображаемым или действительным, и смял их все, могущественно смял своими тощими, бессильными ногами, так что и следа от них не осталось, а осталась одна безобразная каша <...> Ну, что же тут ставить памятник? Кому? Чему? Пыли, которая одна легла следом по той дорожке, по которой прошелся Гоголь? Воздвигают созидателю, воздвигают строителю, воздвигают тому, кто несет в руках яблоки, — мировые яблоки на мирское вкушение. Но самая суть пафоса и *вдохновения* у Гоголя шла по обратному, антимонументальному направлению: пустыня, ничего» (СХ, 307–308). В этой же статье Р. высказал очень важную мысль (особенно в свете последующего учения о «двух Гоголях», ставшего общим местом советского гоголеведения) о единстве и цельности творческого наследия писателя: «Гоголь никогда не менялся, не перестраивался. Он был всегда таким, каким родился, — и только рос» (Там же, 306). В статье Р. «Гоголь и его значение для *театра*» (НВ. 1909. 21 марта) утверждается, что «Ревизор» и другие пьесы Г. не что иное, как «пробные эскизы» «Мертвых душ», и являются «плодом отдыха или, вернее, — вторичным помещением в другое место своего богатства» (СХ, 299). «Но в литературе, — отмечает Р., — как и вообще в *искусстве*, гений сказывается не в теме, а в выполнении, не в “вообще”, а в частности; не в том, что

изображает автор, а в том, как он это изображает» (Там же, 300). «Хлестаков, почтмейстер, вводное *лицо* Осипа и все *чиновничество* маленького городка того времени — вычеканены для русской сцены, для русского зрителя, для всего потомства с <...> изумительным мастерством, с <...> вечностью и типичностью» (там же). «Мало того — Гоголь дал *школу*, создал движение на сцене <...> Все последующее движение русского театра продолжало и продолжает собой Гоголя». Но «действия, хода» в гоголевских пьесах, по мнению Р., нет; «того, что технически зовется “интригой” или “фабулой”, — почти нет, или они совершенно не значущи сами по себе. Все дело в фигурах, в изваяниях. Гоголь дал нашему театру изваянную комедию, — но где материалом валяния было слово, а не мрамор <...> Таким образом он толкнул русский театр на дорогу *жанра*, бытового изображения. Здесь он дал нечто несравненное, и здесь лежит его величие» (Там же, 300–301). Г. — один из главных героев книги Р. «Опавшие листья», где он нередко возвращается к своим прежним оценкам, усиливая и заостряя их, дополняя новыми наблюдениями. Отталкиваясь от суждения Толстого о «Женитьбе» («Это просто пошлость!» — У, 117), Р. продолжает: «И весь Гоголь, весь — кроме “Тараса” и вообще малороссийских вещей, — есть пошлость в смысле постижения, в смысле содержания. И — гений по форме, по тому, “как” сказано и рассказано. Он хотел выставить “пошлость пошлого человека” Положим. Хотя очень странна тема. Как не заняться чем-нибудь интересным. Неужели интересного ничего нет в мире? Но его заняла, и на долго лет заняла, на всю зрелую жизнь, одна пошлость. Удивительное призвание» (там же). Размышляя о путях развития русской культуры, Р. вдруг останавливается: «Дьявол вдруг помешал палочкой дно: и со дна пошли токи мути, болотных пузырьков... Это пришел Гоголь. За Гоголем все. Тоска. Недоумение. Злорада, много злорады. “Лишние люди” Тоскующие люди. Дурные люди. Все врозь. “Тащи монархию в разные стороны”» (У, 152). «...откуда эта беспредельная злорада?» — в недоумении спрашивает Р. и тут же заключает, что Г. «перед *смертью*» — «...демон, хватающийся за крест» (У, 161). Р. поражает мысль о том, что «перестаешь верить действительности, читая Гоголя. Свет искусства, льющийся из него, заливают все. Теряешь осязание, зрение и веришь только ему» (Там же, 220). В книге «*Последние листья*» Р. рассказывает о разговоре с *Ф.Я. Тирановым*, когда тот вспомнил и об *обонянии*: «У Гоголя *вещи* ничем не пахнут. Он не описал ни одного запаха *цветка*. Даже нет имени запаха. Не считая Петрушки, от которого “воняет” Но это уже специально гоголевский жаргон и его манерка. Т.ч. тоже не запах, а литературный запах» (ПЛ, 33). Р. не мог пропустить и «половой загадки Гоголя». «Поразительная яркость кисти везде, где он говорит о покойниках, — изумляется Р. — “Красавица (колдунья) в гробу” — как сейчас видишь <...> Везде покойник у него живет удвоенною жизнью, покойник — нигде не “мертв”, тогда как живые люди удивительно мертвы. Это — куклы, схемы, аллегории *пороков*. Напротив, покойники <...> прекрасны и индивидуально интересны <...> Я и думаю, что половая тайна Гоголя находилась где-то тут, в “прекрасном, упокоенном мире” <...> Поразительно, что ведь ни одного мужского покойника он не описал, точно *мужчины* не уми-

рают. Но они, конечно, умирают, а только Гоголь ими несколько не интересовался. Он вывел целый пансион покойниц, — и не старух (ни одной), а все молоденьких и хорошеньких» (У, 262). И в том же духе об одной из героинь «Мертвых душ»: «Замечательно, что нравственный идеал — Уленька — похожа на покойницу» (там же). Р. «как-то не умел представить себе, чтобы Гоголь “перекрестился” Путешествовал в Палестину — да, был ханжой — да. Но перекреститься не мог. И просто смешно бы вышло. “Гоголь крестится” — точно медведь в менюэте» (там же). Все произведения Г. «просто <...> анекдоты, которые могли быть и которых могло не быть. Они ничего собою не характеризуют и ничего в себе не содержат» (Там же, 317). В «Мимолетном» Р. расширит этот ряд и уточнит в нем определения: «И “Горе от ума” анекдот, и “Мертвые души” анекдот. “Ревизор”, “Женитьба” и “Игроки” — случаи» (КНУ, 281). В той же книге Р. обобщает: «Гоголь обратил отечество свое в анекдот» (Там же, 346). Но «поразительна эта простота, элементарность замысла, — продолжает он в “Опавших листьях” — Гоголь не имел сил — усложнить плана; романа или повести в смысле развития или хода *страсти* — чувствуется, что он и не мог бы представить, и самых попыток к этому — в черновиках его нет. Что же это такое? Странная элементарность души. Поразительно, что Гоголь и сам не развивался; в нем не перестраивалась душа, не менялись убеждения. Перейдя от мало-российских повестей к петербургским анекдотам, он только перенес глаз с юга на север, но глаз этот был тот же» (У, 317). Розановский «обличительный» пафос еще больше возрастает в «Сахарне». Соответственно возрастает и масштаб самого Г., степень его значения: «Гоголь есть самая центральная фигура XIX века, — всего... Все к нему подготовляло, — нерешительно; но особенно все от него пошло. И XIX век до того был поработан ему, до того одного его выразил, что его можно просто назвать “веком Гоголя”, забывая царей, полководцев, *войны*, мйры...» (СХР, 136). В «Мимолетном» Г. превращается в фигуру всемирно-исторического масштаба: «Может быть, место Гоголя не в русской литературе, а во всемирной литературе, — и не в русской *культуре*, а во всемирной культуре. Если бы было всемирно желательно и всемирно благотворно вытолкнуть Россию <...> из круга истории и “судеб”, — то вот и гениально, и великое положение Гоголя... П.ч. он не только начал, но и “кончил” такое выталкивание. “После Гоголя не воскресают»» (КНУ, 346). В «Сахарне» же Р. продолжает подводить итоги «деятельности» Г. в России: «После Гоголя, Некрасова и Шедрина совершенно невозможен никакой энтузиазм в России. Мог быть только энтузиазм к разрушению России» (СХР, 21); «Гоголь — первый, который воспитал в русских *ненависть* к России... До этого были шуточки, хотя к этому двигавшиеся (*Грибоедов*)» (СХР, 135); «Гоголь — всё. От него пошло то отвратительное и страшное в душе русского человека, с чем нет справки. И еще вопрос, исцелится ли вообще когда-нибудь Россия, если не явится ум...» (СХР, 136). Та же тема подхватывается и в «Мимолетном»: «Появление Гоголя было большим несчастьем для Руси, чем все монгольское иго. Богомолец, он разорил русскую *церковь*, “патриот”, он погнал русских солдат» (КНУ, 196); «*Нигилизм* — немислим без Гоголя и до Гоголя» (М, 319).

Разрушительная роль Г ассоциируется у Р. в том числе и с военными поражениями России в XIX — начале XX в., и с наступающей *революцией*. «Гоголь отвинтил какой-то винт внутри русского корабля, после чего корабль стал весь разваливаться. Он “открыл кингстоны”, после чего началось неудержимое, медленное, год от году потопление России» (там же). Отрицание Г доходит у Р. почти до крика: «Умереть лучше, легче, чем жить с Гоголем, вторить Гоголю, думать по Гоголю <...> Если бы Гоголь был “частность”, то, конечно, была бы великолепная страница литературы и великолепная минутка в жизни, но ведь он не частность и не минутка, он — все и один» (М, 40). Розановские «автобиографизм и рефлексия» замыкаются и на Г «Что же я бешусь? А бешусь! Только Гоголя и ненавижу. “Из него тьма” Мы все “из Гоголя” И гоголевской сути от нас не отмоешь» (КНУ, 462); «Я раб, взбунтовавшийся против своего господина» (КНУ, 471); «...однако через всю мою литературную деятельность проходит борьба с Гоголем, и ни о ком столько моя душа не страдала, и ни над кем из писателей столько душа не трудилась. Да ведь и он — единственный. Ни в одной литературе нет Гоголя. Он — страшный. И вот около этого “Страха” я все хожу и обдумываю. 24 года. Нельзя не сказать, что это даже добродетельно. Мой *труд* о Гоголе есть добродетельный. Именно — труд. Работа. Забота» (КНУ, 466). В «Мимолетном» возникает и тема «правоты» Г.: «Он и не прав. Но он и прав» (КНУ, 462). В «*Последних листьях*» она получает свое развитие, заставляющее вспомнить розановские рассуждения об «истолкователях» Г. из статьи «Гоголевские дни в Москве»: «Так. обр., Гоголь вовсе и не был неправ? <...> Если бы Гоголя благородно восприняло благородное общество: и начало трудиться, “восходить”, цивилизовываться, то все было бы спасено. Но ведь произошло совсем не это, и нужно заметить, что в Гоголе было такое, чтобы именно “произошло не это»» (ПЛ, 25). В ноябре 1918 Р. писал *Н.А. Котляревскому* о том, что революцию с ее ужасами «только мертвые в силах вынести. Да ведь мы и не живые. “Мертвые души” И впервые за всю жизнь, когда всю жизнь волновался и ненавидел так Гоголя — вдруг открыл его неисчетные глубины, его бездны, его зияния пустоты. Гоголь. Гоголь — вот пришла революция и ты весь оправдан, со своим заострившимся как у покойника носом (“Гоголь в гробу”). Прав — не Пушкин, не звездносец Лермонтов, ни фиалки *Кольцова*, не величайший *Карамзин*, прав ты один...» (Литературная учеба, 1990. № 1. С. 83). В 1914 Р. писал: «Мне кажется, что после меня можно думать “о Гоголе” только в той сети противопоставлений, какую я дал. С ее “да” и “нет»» (КНУ, 466). Влияние розановских наблюдений и оценок испытывали на себе многие его современники (*В. Брюсов*, *А. Белый*, *А. Ремизов* и др.). Одним из первых в полемике с Р. вступил *Ю.Н. Говоруха-Отрок* в статье «Нечто о Гоголе и Достоевском: По поводу статьи г. В. Розанова “Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского»» (МВ. 1891. 26 янв.), отстаивавший взгляд на Г. как на христианского писателя. Р. ответил ему статьей «Несколько слов о Гоголе: По поводу статьи г. Ю. Николаева “Нечто о Гоголе и Достоевском»» (МВ. 1891. 15 февр.). Говоруха-Отрок продолжил спор с Р. в статье «Еще о Гоголе: По поводу статьи г. Розанова “Несколько

ко слов о Гоголе» (МВ. 1891. 16 февр.). Тогда же с критикой розановской интерпретации значения Г в истории русской литературы с либеральных позиций выступили Н. Черняев в статье «Гоголь перед судом критики г. Розанова» (Южный Край. Харьков. 1891. 6 февр.) и А.Л. Вольтский (Флексер) в статье «Плохой парадокс о Гоголе» (Северный Вестник. 1891. № 2). Г. Миловидов в статье «Странный взгляд на Гоголя» (Филологические Записки. Воронеж. 1891. Вып. 3.) даже сравнил розановский подход к Г с критикой Пушкина Д. Писаревым. «Резкую характеристику» Г., данную Р. в «Легенде о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского», счел «преувеличением» и Н.Н. Страхов в рецензии на отдельное издание книги (СПб., 1894) (PRO, 1, 265). В отклике «О характере (к вопросу о творческой психике) гоголевского творчества» (Школьное Обозрение. 1894. № 14–16) на то же издание Ф.Э. Шперк подчеркнул «религиозный характер» розановских суждений о Г а М.Г. Зельманов в статье «К характеристике Гоголя» (Гражданин. 1894. 28 марта) оценил оригинальность анализа Р. Розановское отношение к Г вызвало у критика С.Б. Любошица («Меньшиков, Пушкин и Гоголь» // Слово. 1909. 23 марта) нескрываемое раздражение и, напротив, у В.Я. Брюсова («Гоголь» // Весы. 1909. № 4) большой интерес. В книге «Три мыслителя» Б.А. Грифцов (М., 1911) назвал «замечательной и необычной» статью Р. «Магическая страница у Гоголя» и подчеркнул: «Вопреки безнадежному, унылому школьному мнению о реализме Гоголя, Розанов, кажется, первый указал, что ничего общего у Гоголя с реализмом не было» (PRO, 2, 117). В отличие от него Андрей Белый в своем «Мастерстве Гоголя» (М.; Л. 1934. С. 56) счел подход Р. к гоголевской «Страшной мести» «наивным» и заключил: «попытка Розанова упрощает сюжет, который не только психологичен, но социален».

В.М. Гуминский

ГОЛИКОВ Владимир Митрофанович [8(20).12.1875, Шуя, Владимирская губ. — ок. 1918] — фельетонист, поэт, драматург. Автор рецензии «Люди лунного света и солнечный Розанов» (Неделя. 1912. 8 июля), в которой пишет о книге Р. «Люди лунного света»: «Мрачная книга, и написана она как бы в экстазе. Временами автор увлекателен. Я не говорю о бесшабашном кое-где тоне (“Вот, дурак!” — по адресу одного из противников; “пошлые медали — болваны” и т.п.), не говорю о наивном и несколько смешном цинизме советов касательно техники полового сближения. Это — терпимо, даже, пожалуй, идет к стилю книги. А этот стиль — настоящий бред полумистический, полупедантический, экстатический и схоластический. Но масса тонких психофизиологических замечаний, — и даже цитатами из Библии, Евангелия, Апокалипсиса и комментариями к ним Розанов злоупотребляет здесь менее, чем в других своих подобных творениях. И все-таки хочется видеть его в рясе, — до того он мистичен и теологичен, несмотря на все его язвительные выпады против монахов и пастырей духовных! Впрочем, если отбросить мистическую шелуху его идей, останутся в них зерна истины. Основательная его критика современного брака как канонического института. Можно почерпнуть у него веские аргументы в пользу свободы развода».

В.А. Бондарев

ГОЛЛЕРБАХ Эрих Федорович [11(23).3.1895, Царское Село, Петербургская губ. — 1942, Ленинград] — писатель, литературовед и искусствовед. Г. написал первое письмо Р. в начале июля 1915, а уже 23 июля того же года состоялась их первая встреча на даче в Вырице, где жил летом Р. Спустя три года, в августе 1918, Р. писал Г. «Знаете, ведь случится, что целый век писатель получает совершенно глупые оценки себя, пока не найдет того, что немцы определили гениально словом конгениальность. Нужно заметить, что как только Вы пришли ко мне в Вырицу и “долго мотались у забора” и вообще я увидел в вас такую бессмысленную ослицу-мямлю, — Вы что-то промышав, замолчали. Я сейчас же подумал: “Это — конгениально со мною” Я был точь-в-точь такой же, как вы и еще более Вас трусливый, робкий и застенчивый. Главное в Вас качество, которое я люблю».



Э.Ф. Голлербах

бил и привязался к нему, это — что Вы ужасно смешной и нелепый, “невообразимый”, “каких людей не бывает” <...> “на которых плюют и которых выгоняют” Ну, вот это мне и нужно» (ВНС, 362). А в следующем письме Р. сообщает, что нашел в Г. «2-го Шперка» (ВНС, 366), вспомнив своего первого друга Ф.Э. Шперка. Г. — автор первого монографического очерка о жизни и творчестве Р. Первый вариант очерка начал публиковаться на страницах журнала «Вешние Воды» (1918. Янв.—апр.), но когда журнал был запрещен, очерк вышел осенью 1918 (не более 300 экз.) отдельным изданием: «В.В. Розанов. Личность и творчество» (Пг., б.г. 50 с.). Р. успел прочитать начало в журнале, пришел в восторг и писал к редактору «Вешних Вод» М.М. Спасовскому: «Не могу выразить, до чего я счастлив, что Голлербах начал писать обо мне. Нет человека, нет ума и души, которым бы я так доверил себя и все свое понимание мира, восприятие».

мира и жизни. Только Ш<перк> еще лучше бы его понял меня, но Голлербах сродни Ш. <...> Голлербах имеет музыку чести, музыку благородства в душе, а Ш. просто только «без памяти любит меня» (Спасовский, 76). Р. послал Г. 32 письма. Когда после 10-го выпуска был запрещен «Апокалипсис нашего времени», Р. несколько фрагментов, написанных для последующих выпусков, включил в состав писем к Г. («До какого предела мы должны любить Россию», «Как все произошло» — см. письмо ХХХII). После смерти Р. появился ряд статей Г. о нем: «Памяти Розанова» (Жизнь искусства. 1919. 27 марта); «Завет Розанова» (Жизнь искусства. 1919. 21 мая); «О двуликом» (Вестник литературы. 1919. № 8); «Апокалипсис Розанова» (Новая Русская Книга. Берлин. 1922. № 4); «Владимир Соловьёв и Розанов» (Стрелец. Пг., 1922. № 3); «Последние дни Розанова» (Накануне. Литературное приложение. Берлин. № 39. 1923. 1 февр.); «В.В. Розанов как историк искусства и коллекционер» (Среди коллекционеров. 1922. № 2) и др. Свообразным итогом этих работ стала новая книга Г. — «В.В. Розанов. Жизнь и творчество» (Пг., 1922). Она во многом отличается от брошюры 1918 и не повторяет ее. Но если книга 1922 за последние 10 лет переиздана не менее четырех раз, то издание 1918, которое одно только и знал Р., не переиздавалась ни разу. Драматично сложилась судьба писем Р. к Г. Они вышли отдельной книжкой в 1922 в Берлине в издательстве Е. Гутнова. Издатель послал 15 авторских экземпляров в Петроград Г., однако тот не получил ни одного: цензура изъяла «себе на память» 3 экз., а остальное вернула Гутнову. Продажа книги на территории советской России была запрещена, в крупнейших библиотеках она была только в спецхране. В издании Гутнова опущены письма IV, V, VIII, XIII, XVIII, XIX, XX и самое большое по объему письмо XXIII от 8 августа 1918, т.е. отсутствуют 8 писем из 32. Первая научная публикация писем Р. к Г. появилась в журнале «Звезда» (1993. № 8). Здесь впервые опубликованы письма VIII, XIII, XIX, XX и важнейшее по значению письмо XXIII. Текст других писем уточнен и исправлен публикатором Е.А. Голлербахом. Однако и в этой публикации нет писем IV, V и XVIII, которых пока не удалось разыскать. По цитатам в комментариях видно, что письма Г. тоже представляют интерес (собрание М. С. Лесмана). Письма Г. к Р. с июля по декабрь 1915 опубликованы Р. в журнале «Вешние Воды» (1916. Т. 16–17. С. 71–88). Предисловие Г. к берлинскому изданию заканчивается словами: «Дружеская нежность, поцелуи и объятия, встречающиеся в письмах В.В. Розанова, не должно вызывать предположения о гомосексуальной симпатии между корреспондентами. Ее не было, и по натуре их обоих быть не могло. Замечание не лишнее ввиду склонности публики к досужим вымыслам» (с. 11). В 1920 Г. выпустил сборник афоризмов «В зареве Логоса» (Пг.) с посвящением: «Бессмертной памяти моего гениального учителя и безгранично любимого друга Василия Васильевича Розанова посвящая эти мысли и заметки». Г. сохранил верность памяти Р. до конца своих дней. Последняя его работа о Р. появилась в 1927 — «Горький и Розанов» (Красная газета. Л., 1927. 14 окт.). В 1928 Г. писал М. Горькому в Италию: «Над Розановым продолжаю работать, но работа эта — “для письменного стола”, а не для печати, хотя несколько лет

назад Л.Б. Каменев уверял меня, что Розанова можно и нужно печатать, всего целиком... Сейчас, к сожалению, об этом нечего и думать. Как было бы ценно, если бы Вы когда-нибудь написали хотя бы несколько слов об этом отверженном писателе <...> А как были бы для нас, “розовианцев”, интересны Ваши “слуховые” и “зрительные” впечатления о нем, портретная характеристика, искусством которой Вы владеете так изумительно. Уверен, что Ваше слово могло бы в известной мере “снять опалу” с этого писателя. Но вот вопрос: нужен ли он сегодняшней России? Может быть, с Розановым следует подождать еще лет 30? Впрочем, о сроках говорить трудно» (МЛ, 582). Письмо хранится в архиве Горького. В ноябре 1932 К.И. Чуковский пытался образумить Г.: «Забудьте вы о Роз<анове>, погубит Вас этот несчастный реакционер» (Голлербах Э. Встречи и впечатления. СПб., 1998. С. 222). И действительно, одним из поводов для ареста Г. в начале 1933 послужило то, что запись из Р. приписали самому Г. (Голлербах Э. Записная книжка // Источниковедческое изучение памятников письменной культуры в собраниях и архивах ГПБ. Исторический роман XIX–XX вв. Л., 1991. С. 204, 207).

С.Б. Джимбинов

ГОЛУБИНСКИЙ Евгений Евсигнеевич [20.2(4.3). 1834, село Матвеево, Кологривский уезд, Костромская губ. — 7(20).1.1912] — историк Русской церкви, профессор Московской духовной академии, академик Петербургской академии наук, автор «Истории русской церкви» (1880, 1917. Т. 1–2). В «Воспоминаниях» Г. пишет: «И духовенство всех приходов <...> предано было безмерному пьянству <...> Только начальный иерей Федор Никитич Елизаров (родной дед по отцу известному писателю Василию Васильевичу Розанову) был крайне крепок: сколько ни пил, нельзя было заметить, что пьяный» (Голубинский Е.Е. Воспоминания. Кострома, 1923. С. 5, 6). Р. писал о непоследовательности действий духовной цензуры в статье «Об учебном комитете Духовного ведомства» (НВ. 1907. 20 окт.): «Классический труд проф. Е.Е. Голубинского — “История канонизации святых в русской церкви” появилась “с тяжким трудом и систематически преследовалась суровыми вердиктами”, но потом что-то понадобилось в ней при постановке вопроса о канонизации преподобного Серафима Саровского, и тогда “она же принялась в основу для апологии (защиты от нареканий и вообще критического отношения) этого важного церковного акта”» (ОНД, 249).

И.А. Едошина

ГОЛУБКИНА Анна Семёновна [16(28).1.1864, Зарайск, Рязанская губ. — 7.9.1927, там же] — скульптор. Скульптура Г., ученицы О. Родена, поразила Р. своей истинностью («Успехи нашей скульптуры» // МИ. 1901. № 2/3). В феврале 1910 Р. посетил 7-ю выставку «Союза русских художников» (Петербург, Невский, 42) и напечатал статью «Работы Голубкиной» (НВ. 1910. 2 марта). Р. пишет о скульптуре Г. «Голова мужчины»: «Материалом взято полено, расколотое, узкое: часть его, более широкая, оставлена вовсе не обработанною, и на ней еще виднеется кой-где кора. Вообще — полено не “преднамеренное”, а “как есть” Но что сделала из него художница, хочется сказать — великая художница! Когда,

лет пять назад, я увидел работы Голубкиной на какой-то выставке (из мрамора, женские портреты), я был поражен живостью, экспрессией. Тогда же я спросил С.П. Дягилева, редактора “*Мира Искусства*”, — кто она?.. — Крестьянка... огородница!.. Теперь уехала в Париж и учится (кажется) у Родена. — Вообще, у знаменитого мастера <...> Что же сделала Голубкина из этого полена?! Темные цвета усталого дерева, старого дерева, передали молодое еще, но усталое, опытное, много перенесшее, “много видов видавшее” лицо... Борода — чуть-чуть (нужно-де это наметить в полене!), лицо все сжатое, сухое, нервное; лицо узкое — как у фанатиков или людей “с особенной идеей” Образован он или не образован? — Не видно, потому что опыт личной жизни, испытания личной жизни залили значением своим школу, впечатления ученических годов. Толстые губы, подбородок клином, большие значительные глаза, формовка лба, — все говорит об энергии, убежденности, о сильной воле... Взглянул — и знаешь человека...» (СХ, 338–339). Добродушно-иронична концовка заметки о Г.: «В каталоге записано (как адрес): “гор. Зарайск, Рязанской губернии” Счастливым же этот Зарайск, когда в нем рождаются такие огородницы. Какого же разума должен быть зарайский городской голова!» (СХ, 340). Г. привлекла внимание Р. как представительница «людей, суть творчества которых состоит в некотором тайном сорадовании природе и волнующейся окрест жизни» (СХ, 163).

А.Н.

ГОЛУБЦОВА Мария Александровна (1888, Сергиев Посад — 14.1.1925, г. Сергиев, Московская губ.) — историк, дочь профессора Московской духовной академии А.П. Голубцова, знакомая Р. по *Сергиеву Посаду*. Дом Голубцовых был на *Красюковке* в Березовом переулке, вблизи дома, где жили Розановы. С.Н. Дурьлин свидетельствует, что Г. была на панихиде по Р. (Дурьлин С.Н. В своем углу. М., 1991. С. 230).

Т.В. Смирнова

ГОЛЬДОВСКИЙ Станислав Борисович (1865–1920-е) — студент, пасынок А.И. Гаркави, подруги А.П. Сусловой, которая летом 1885 пригласила его в Брянск; затем он читал корректуру книги Р. «О понимании», а после издания распространял ее по московским магазинам. Сулова влюбилась в Г., но не встретила у него взаимности (в Брянске у Г. завязался роман с дочерью священника Александрой Петровной Поповой) и решила отомстить ему. Как писал Р. к С.А. Рачинскому, «она кончила тем, что уекла его в тюрьму (перехватывала его письма ко мне, без моего подозрения, и одно, где он, по поводу университетских беспорядков, дурно выразился о начале царствования Александра III, переслала жандармскому полковнику в Москве» (PRO, 1, 477). З.Н. Гиппиус дает свой вариант этого эпизода с Сусловой: «Старая, она делалась все похотливее, и в Москве все чаще засматривалась на студентов, товарищей молодого, но надоевшего мужа. Кое с кем дело удавалось, а с одним, наиболее Розанову близким, — сорвалось. Авансы были отвергнуты. Совершенно неожиданно студента этого арестовали. Розанов очень любил его. Хлопотать? Поди-ка сунься в те времена, да и кто бы послушал Розанова. Однако добился свидания. Шел, ра-

довался — и что же? Друг не подал руки. Не стал и разговаривать. Дома загадка объяснилась: жена, не стесняясь, рассказала, что это она, от имени самого Розанова, написала в полицейское управление донос на его друга» (PRO, 1, 156). В РГАЛИ хранится письмо Р. к Г. (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 268; Энтелехия. Кострома, 2004. № 9. С. 30).

А.Н.

ГОМЕР (Ομηρος) Р. вспоминал о своем знакомстве с «Илиадой» и «Одиссеей»: «С дней, как я принимал “Омира” и “Гомера” за двух великих греческих поэтов и плакал, что у России нет таких, — я не то чтобы “хотел” или “желал”: а — рос в литературу, в одну только литературу и исключительно литературу» (КНУ, 528). О факте записи гомеровских эпических поэм Р. отзывался с осторожностью: «Конечно, Пизистрат первый приказал собрать и записать текст рапсодий, певшихся с именем Гомера, и через то уничтожил, конечно, бездну их вариантов» (ВДЯ, 277). Историческая основа поэм Г. воспринималась Р. с долей сомнения: «“Историк” — это всегда и неодолимо за далью веков, за сокрытием частностей и подробностей, за сокрытием настоящих мотивов — есть старец Гомер, у которого глаза слезятся, который видит плохо и который видит воображением и умом, а вовсе не вещественными глазами, древнюю действительность» (АНВ, 148). В *Мимолетном* Р. заявил: «Я люблю писателей с героями. Это добрые, милые люди. Они близки к Гомеру, у которого не “героев” не было. Отличное время. Счастливое время» (М, 143). Вместе с тем «у Гомера нет упоминания о таинствах. Они, как и номады, имели случки. Около случек — небольшая проституция. Семьи у них не было, а кое-что» (ПЛ, 229; то же ВЕ, 129). Р. определяет место и значение Г. в древней литературе: «Отношение в древнем мире Гомера к позднейшим трагикам может дать аналогию отношения у нас Пушкина к последующим главным творцам. Гомер богаче и роскошнее порознь Эсхила, Софокла, Эврипида. Но пришел нужный день — и из лона земли вышли Эсхил, Софокл, Эврипид, чтобы сменить и оставить лишь в качестве школьного научения, а не живого руководителя толпы, священного рапсода» (ЛВИ, 425). Конечно, «греки, не остановившись на Гомере, перешли к Пиндару, Софоклу; перешли к Аристофану. Но тут не недостаточность поэта, а потребность движения <...> Пушкин может быть таким же духовным родителем для России, как для Греции был — до самого ее конца — Гомер» (СХ, 167–168). Г. создал нравственный образец *мира*: «Мера, умеренность и даже строгость, читаемая нами еще у Гомера (верная Пенелопа), есть непременно последствие убеждения, что мир — брат нам, родной нам, что он “гость” у Бога в его тайных уготовляемых “обителях”, где нам принадлежит соседски и родственно созерцать его, приветствовать его, многодумно с ним беседовать, пожалуй, “волхвовать” с ним (философия и поэзия): но не принадлежит разбойничать или что-либо “прожирать”» (ОЦС, 15). Р. приводит письмо Ф.М. Достоевского к брату от 1 января 1840, где говорится о «непоколебимой уверенности в призвании, с младенческим верованием в Бога поэзии» у Г. «Гомер (баснословный человек может быть, как Христос — воплощенный Богом и к нам посланный) может быть па-

раллелью только Христу <...> Ведь в Илиаде Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной, и земной жизни, совершено в той же силе, как Христос новому» (ОПП, 218). Вспоминаая, как протоиерей Матвей Ржевский требовал от *Гоголя*: «Отрекись от Пушкина и любви к нему: Пушкин был язычник и грешник» (ОЦС, 167), Р. считает, что «точно такой же был в сущности предложен вопрос ап. Павлом и эллиноримскому миру: “Отрекись от Гомера, отрেকись от Вергилия”» (Там же, 168). В главе «Афродизианская красота» Р. отмечал: «Великие песни Гомера пропеты о женщине, о которой мы не знаем, “где же у нее душа”» (ВЕ, 80). О теории немецкого филолога Ф.А. Вольфа (1759–1824), выдвинувшего мысль, что «Илиада» и «Одиссея» являются произведением многих рапсодов, Р. писал в статье «Задачи истории» (НВ. 1915. 1 июля): «Кто из двух “культурнее”, — старец Гомер, слепой и нигде не учившийся, который по памяти воспел Трои и изрек “Илиаду”? Или — германец Вольф, который, вооружась всей филологией и рассмотрев “Илиаду” в микроскоп, доказал в 1795 году в своей книге “Prolegomena ad Homerum”, что Гомера никогда не было, а были сказки и песни, “собранные потом в одно и приписанные Гомеру” У одного — вся ученость и никакого таланта. У другого — душа певчая, светлая, благодарная Богу и людям. И люди его возлюбили, а Бог наградил его чудным даром песен» (НФП, 470).

А.Н.

ГОНЧАРОВ Иван Александрович [6(18).6.1812, Симбирск — 15(27).9.1891, Петербург] — писатель. Р. называл Г. живописцем «вечного быта» (ВМНН, 69; У, 444). В статье «К 25-летию кончины Ив.Алекс. Гончарова» (НВ. 1916. 15 сент.) Р. считает Г. одним из величайших мастеров русского слова, «и вместе русской наблюдательности, русского ума, русского художественного воображения и словесной лепки фигур. Творец Обломова, “бабушки” и Веры не забудется и будет вечно читаться, конечно, пока вообще будут читаться русские книги, — пока на самой Руси будут читатели книг» (ОПП, 647). Р. сопоставляет художественную значимость Г. с *Гоголем*. «После “Мертвых душ” Гоголя — “Обломов” есть второй гигантский политический трактат в России, выраженный в неизъяснимо оригинальной форме, несравненно убедительный, несравненно доказательный и который пронесся по стране печальным и страшным звоном» (Там же, 649). Исходя из Г., Р. выводит типологию русского человека в литературе. «Нельзя о “русском человеке” упомянуть, не припомнив Обломова, не приняв Обломова во внимание, не поставив около него вопроса, восклицания или длинного размышления. Таким образом, та “русская суть”, которая называется русской душою, русскою стихиею, — и которая во всяком случае есть крупный кусок нашей планеты и большое место всемирной культуры, — эта душа или стихия получила под пером Гончарова одно из величайших осознаний себя, обрисований себя, истолкований себя, размышлений о себе» (Там же, 649–650). Это «наш ум», «наш характер», считал Р. Главное в Г. — это то, что он выразил национальную сущность человека, как бы ее ни пытались исказить последующие критики писателя. «Гончаров и русские, как *Крылов* и русские, — это что-то не-

разъединимое, неразделимое», — писал он в той же статье. Р. первый в русской критике дал непредвзятое определение «обломовщине», этой драгоценной черте русского характера, столь долго трактовавшейся у нас однолинейно отрицательно. «Обломовщина», говорит Р., — «это состояние человека в его первоначальной непосредственной ясности; это он — детски чистый, эпически спокойный, — в момент, когда выходит из лоно бессознательной истории, чтобы перейти в ее бури, в хаос ее мучительных и уродливых усилий ко всякому новому рождению» (ЛВИ, 285). «Обломовщине» Р. противопоставляет «карамазовщину» — «уродливость и муки, когда законы повседневной жизни сняты с человека, новых он еще не нашел, но, в жажде найти их, испытывает движения во все стороны, чтобы из самого страдания своего в момент нарушения известных и священных заветов — найти, наконец, эти последние и подчиниться им» (там же). Писатель «докарамазовского» периода «задумчивый сквозь сон Гончаров, с его артистической любовью к человеку, при ярком освещении солнца, среди безграничного мира Божия следит, не замечая ни этого солнца, ни этого мира, один уголок его и медленно рисует свой узор» (ЛВИ, 26). «Резюме русской истории XIX в. Р. видит в поисках новых заветов жизни от благодущия «обломовщины» к жестокой «карамазовщине».

А.Н.

ГОРНФЕЛЬД Аркадий Георгиевич [18(30).8.1867, Севастополь — 25.3.1941, Ленинград] — критик, сотрудник журнала «Русское Богатство» с 1895. Во втором номере «*Онавиших листьев*» Р. писал о левой прессе: «Так, один около одного болтается: Горнфельд трется о спину *Короленки*, *Петрищев* где-то между ногами бегаёт, выходит — куча; эта куча трется о такую же кучу “Современного Мира” Выходит шум, большею частью, “взаимных симпатий” и обоюдного удивления таланту. Но почему этот “шум литературы” Россия должна принимать за “свой прогресс”? Не понимаю. Не поймет ни пахарь, ни ремесленник, и разве что согласится чиновник. “Я тоже бумажное царство”, — подумает он» (У, 287). То же читаем в «*Сахарне*»: «*Яблоновский* подражает *Амфитеатрову*, *Амфитеатров* поддерживает *Яблоновского*, за обоими бежит *Оль д’Ор*, и все три поют хвалу Горнфельду, потому что Горнфельд (в “Русск. Богатстве”) отмечает “их произведения”: но почему это “литература”? Это “что-то”, а не литература» (СХР, 120). Р. развивает эту тему: «*Евреи* знают, что “с маслом” вкуснее, и намамливают, намамливают русского гражданина и русского писателя, прежде чем его скушать <...> Русский совершенно счастлив. Масло с него так и течет. *Короленко* совершенно счастлив, смазываемый Горнфельдом, и дал этому еврею положить “народническо-социалистический русский журнал” в карман сперва просто социализма, потом просто оппозиции и, наконец, совсем просто в карман Горнфельда и его 33 еврейских безгласных переводчиков и переводчиц» (СХР, 67–68). Р. создал сцену-пародию о «покупке» журнала «*Вестник Европы*» «пятью жидками»: «“Благородная русская литература, где ты?” Тут бегают жидки *Айзман* и *Оль д’Ор*. Впрочем, их теперь пять: еще *Шелом Аш*, *Юшкевич*. Потом три Горнфельда: собственно Горнфельд, *Крянфельд* и *Кранифельд*. Ба: а *Любош* и *Минский*? Все жиды, везде жиды. И горланят: — Мы ку-

пили глупого русского профессора <М.М. Стасюлевич с 1866 до 1909 редактировал “Вестник Европы”>. Дорого заплатили. И он 43 года “исподволь подготавливал все”: плевал за нас на Россию, отрекался вместо нас от Христа, высмеивал вместе с нами темные христианские суеверия» (М, 115). Взаимосвязанность «левого лагеря» Р. описывает в виде «хороших завтраков». «Пешехонов завтракает у Короленки, Короленко — у Горнфельда, Горнфельд — вместе с уездным врачом Шингаревым — ездят оба и обедают у просвещенного и православного Утина, который, однако, есть уже и банкир и обедает уже у совершенно некрещеных Ротштейна и прочее. “Репка за репку” “бабка за бабку” — “потянем и вытянем”» (КНУ, 421). Вспоминая полемику Г с В.Я. Брюсовым по поводу «реализма» Гоголя, Р. пишет в «Сахарне»: «Интересное, что мы могли бы услышать от Горнфельда, — это о том, что яичная торговля (скупка, экспорт) вся перешла в руки евреев <...> Но Горнфельд скрывает глаза в сторону и все нам рассказывает о Гоголе и “письмах Чехова”, да кстати о новом произведении Айзмана, которое не лишено недостатков, но отчего-то его следует прочитать подписчикам “Русского Богатства” Но о Гоголе мы сами понимаем, а вот о яичках нам интересно. Так русское дело проводится мимо носа русских, и Короленко, *Мякотин* и Пешехонов “несут зонтик” за Горнфельдом. Отчего у нас всегда такое остроумие? Да: еще Горнфельд объясняет, что русский крестьянин потому страдает, что не осуществлены гражданские свободы, т.е. что евреи не припущены уже окончательно во все дела русских» (СХР, 270). Р. выступил против нападок Г. на Ф.М. Достоевского по поводу романа «Бесы». В статье «Ропшин и его новый роман» (НВ. 1912. 3 мая) он писал: ...рассуждали два сионских критика, Горнфельд и Венгеров, о “Бесах” Достоевского. Достоевский, как известно, не отдал “полной чести” Нечаеву (Петруша Верховенский) и нечаевцам и считал революцию пухом, а не делом. И два критика <...> в обмене горячих комплиментов друг другу, выговорили: “Конечно, можно было бы пхнуть сапогом Достоевского с его “Бесами” и на этом кончить дело” <...> Венгеров и Горнфельд “пхают сапогом Достоевского” за революцию, и чувствуют свое право его пхнуть за нее, никем не остановленные, потому что революционность есть что-то вроде дворянства в ежедневной и ежемесячной прессе и скропать статейку в похвалу ей для журналиста все равно, что для чиновника получить “Владимира 4-й степени”, дарующего дворянство» (ОПП, 564). Р. продолжил эту тему в статье «Евреи в русской литературе» (НВ. 1912. 6 мая; ПВ). Г. слыл «умнее всех» в «Русском Богатстве» и называл других сотрудников «темными невеждами». В связи с этим Р. вспоминает разговор с женою К.И. Чуковского («еврейка, симпатичная»), которую он встретил у И.Е. Репина в Куоккале. На вопрос: «В чем суть еврея?» она «долго молчала, и на повторение — опять молчала, и еще на повторение, опустив голову, проговорила: — Ум <...> Но печаль евреев состоит в том, что Розанов еще умнее евреев <...> И их роль около меня — грустное молчание» (СХР, 62–63).

А.Н.

ГОРЬКИЙ Максим [наст. фам. и имя Пешков Алексей Максимович; 16(28).3.1868, Нижний Новгород —

18.6.1936, Горки под Москвой] — писатель. Об интересе Г к Р. еще в 1890-х известно из письма А.П. Чехова к Р. от 30 марта 1899: «У меня здесь бывает беллетрист М. Горький, и мы говорим о Вас часто <...> В последний раз мы говорили о Вашем фельетоне в “Нов. Времени” насчет плотской любви и брака (по поводу статей *Меньшикова*). Эта статья превосходна, и ссылки на Ветхий Завет чрезвычайно поэтичны и выразительны — кстати сказать» (Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем. Письма. М., 1980. Т. 8. С. 140–141). Речь шла о статье Р. «Кроткий демонизм» (НВ. 1897. 19 нояб.; *Религия и культура*. М., 1899), в которой опровергались идеи М.О. Меньшикова, антагониста Р. в трактовке пола. Впоследствии Г. назовет Р. «одним из крупнейших мыслителей русских, человеком крайне оригинальных взглядов, особенно в области сексуальной» (письмо Э. Рониеру 4 февр. 1923. — *Архив Г.*). Р., продолжая полемику с Меньшиковым, в статье «Об отрицании эллинизма» (НВ. 1902. 26 авг.) ссылается на рассказ Г. «Супруги Орловы» как на аргумент современного бытового реализма: «“Психопаты” и “сумасшедшие”, каковыми называет древних М.О. Меньшиков, дали семью, где были Пенелопа, Андромаха, Гектор, семейство Брута; как и у нас в языческом (по характеру, по колориту) “Слове о полку Игореве” записан нежный и трогательный “Плач Ярославны” Вот факты. Люди, создавшие и питавшиеся мифом Леды, самый идеальный тип семьи, и мы ни из летописей, ни из мемуаров не знаем, были ли там побои жен и телесные наказания детей. Пусть же параллельно этому прочтет М.О. Меньшиков первые страницы рассказа М. Горького “Супруги Орловы”, где вся улица сбегается смотреть и хохотать, как супруг от скуки учит супругу, и он увидит, как далеко зашел в самообольщении новую Европой, затоптавшею Леду. И у М. Горького в изображении — не случай <...> Это — “учение” по всей Руси от тех самых строгих времен, когда греческие монахи растоптали у нас своих маленьких и неудачных Лед и спрятали недостаточно монотонное “Слово о полку Игореве” так далеко, что до *Екатерины Второй* не нашлось ни одного экземпляра» (ВДЯ, 226–227). В последующие годы Р. нередко писал о Г. По поводу повести С. Юшкевича «Евреи» он заметил: «Максим Горький тоже расширил этнографию русской литературы, введя сюда быт, лирику, голоса южных портовых городов и рыболовных промыслов. Все это нужно, все это “пожалуйста” “Пожалуйста” и евреи г. С. Юшкевича» (НВ. 1904. 16 июня; ОПП, 170). В статье «Перед рассветом» Р. делит современную русскую литературу на «стариков» (Л. Толстой и др. классики) и «молодых»: «Молодые резко сгруппированы около яркой фигуры Максима Горького и в кружок “декадентов и символистов”»; у последних в сравнении с «классиками», нет фигуры национального масштаба, «нет в их игре короля», Г. же «из “новых” — фигура самая яркая. Один он составляет целое явление, целый лагерь <...> С самого своего выступления он читался чуть не всем цивилизованным миром <...> Максим Горький весь — современность, и притом — только современность. Это придало необыкновенную выпуклость ему, яркость, дало силу удара <...> Своему поколению Максим Горький представляется страшно огромным» (Слово. 1904. 6 дек.). Но в этом же и его ограниченность как писателя: «Сейчас же после

“своего поколения” он представится стар, давно известен, и нисколько не интересен <...> От “великости” Максима мы не собираемся ничего отнимать, не только для виду, но по существу, в *душе*. Нам хотелось бы видеть в нем больше загадки, больше таинственного. Слишком он ясен: вот что опасно» (там же). Этот взгляд на Г. как писателя, ограниченного современным значением, «недолговечного», сохранится у Р. и в дальнейшем, сочетаясь с живым интересом к нему как личности. В 1910 в статье для юбилейного чеховского сборника он оттеняет значение Чехова сравнением с Г.: Чехов «стал любимым писателем нашего безволия, нашего безгероизма, нашей обыденщины, нашего “средненького” Какая разница между ним и Горьким! Да, но зато Горький груб, короток, резок, неприятен. Все это воистину в нем есть, и за это воистину он недолговечный писатель. Все прочитали. Разом, залпом прочитали. И забыли. Чехова не забудут... В нем есть бесконечность, — бесконечность нашей *России*» (ОПП, 482). В 1905, в дни нарастания революционных событий, Р. вступает с Г. в переписку — осенью пишет ему из *Петербурга* в *Нижний Новгород*. Г. в это время в *Москве* и получает письмо с опозданием. О несохранившемся письме можно судить по ответному письму Г. от 4 ноября 1905 и по второму письму Р. Настроение его писем соотносится со статьями этого времени, позднее собранными Р. в книгу «*Когда начальство ушло...*». На волне захваченности событиями Р. ищет контакта с Г. как носителем «*мечты*» и «*песни*»; самого же себя он чувствует в разладе с событиями и просит Г. «рассудить» его: «Меня мучит, что лучшим людям я не нужен <...> ничего им в кошель не положил, хотя явно мог бы» (МЛ, 514). «Драму Вашу, мне кажется, я чувствую», — ответил Г. одновременно сочувствующим и строго-поучающим письмом, причислив Р. (с просьбой: «Не обижайтесь на меня») к «*талантливым, но далеким и чужим народу людям*» и пожелав им «*красиво погибнуть*» на глазах народа: «*Тут — ничего обидного: не лучше ли сгореть на костре, чем утонуть в полойной яме?*» — а лично Р. советуя уйти из «*Нового Времени*» (Горький М. Полн. собр. соч. Письма. М., 1999. Т. 5. С. 102–104). Р. принял поучение без возражений; в ответном письме он говорит о «давнем порыве — написать Вам»; розановский «порыв» и порождает душевный контакт сквозь ощутимую биографическую и психологическую несовместимость корреспондентов. «Письмо Ваше ужасно многое в Вас мне объяснило, именно объяснило тот героический момент, который Вы, очевидно, играете, создаете, делаете в *истории*; его возбуждаете в других, ибо его имеете в себе» (МЛ, 511). Розановских писем Г. не забыл и вспомнил их при возобновлении переписки в 1911. Но годы между двумя переписками отмечены их резкими расхождениями в оценках *революции*. Уже через год после душевных писем в статье «*Русская карамазовщина*» (НВ. 1906. 6 сент.) Р. предьявляет Г.-писателю счет за поэтизацию сказавшихся в революции разрушительных сил; он пишет о «голодной и разрушительной саранче, поднявшейся со “дна” Максима Горького, которая под именем “хулиганов” и “босяков” получила почти классовое и едва ли не словесное существование и устойчивости <...> Горький явился Марлинским этого нового сословия, пропел ему “Песнь о Соколе” и подкрасив, подмазав его, облекши в

плащ Ринальдо Ринальдини, пустил как некую политическую и ново-культурную силу на русское *общество*. Может быть, до Максима Горького и без Максима Горького, без его *маски* и подкраски, русские революционеры даже самых крайних оттенков все-таки не соединились бы с котами, альфонсами и ворами: но после рекомендации Горького они протянули им руку. В этом отношении Горький, страшно усилив русскую революцию через массовое увеличение ее, и вообще через уличную популяризацию, вместе с тем страшно нравственно ее подорвал через нравственную деморализацию» (РГО, 152–153). На «нововременскую» оценку русского революционного движения, в том числе в выступлениях Р., Г. реагировал позднее (по поводу работы *В. Богучарского* «Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг.») как на «гнусный шепот могильщиков, которые поносят мертвых, но — боятся их <...> Вы посмотрите-ка, что пишет Вася Богучарский и как истолковывает его Вася Розанов!» (письмо *А.В. Амфитеатрову* 11 сент. 1910. — Горький М. Письма. М., 2001. Т. 8. С. 135). О Г. как реалисте натуралистично-низменного толка Р. высказывается по поводу обсуждавшегося в обществе романа «*Санин*» *М.П. Арцыбашева*, в статье «*На литературном и книжном рынке*» (НВ. 1908. 11 июля), называя Г. вместе с *Л. Андреевым*, автором «*Тьмы*», в одном ряду с автором скандального романа на *тему* «*свободной любви*»: «*Напрасно* господин *Гёте* описывал Гретхен; все это выдумки фантазии, весьма далекие от действительности. Господин Арцыбашев и господа Леонид Андреев и Максим Горький сорвали покров фантазии с действительности и показали ее, как она есть. Любовь... мы ее не знаем, не видим, не осязаем. Ее нет <...> Вот пришли реалисты: Горький, Андреев и Арцыбашев, и сказали, что это — “тьма”, “бездна”, “в тумане” похоти творимая» (ОПП, 285). В декабре того же 1908 Р. откликнулся на эволюцию Г. в сторону «*богостроительства*» выступлением в *Религиозно-философском обществе* — «*О “народобожии” как новой идее Максима Горького*» (РС. 1908. 13 дек.), где определил горьковскую идею как «*совершенно атеистическую*»: «*Максим Горький в своей “Исповеди” страстно и горячо провел мысль о том, что масса народная — это и есть “Бог, творящий чудеса” Как все горячее, — это сказалось у него красиво. Но одно — красота, и совсем другое — истина*». «*Обожение*» русского народа, выразившееся в горьковской «*Исповеди*» и восходящее к «известному исповеданию Достоевского» о «*народе-богососце*», есть для Р. ложная *вера* русского интеллигента и «довольно естественное заключение его *атеизма*; есть подставка чего-то кажущегося лучшим, кажущегося более утешительным на месте пустого и безотрадного безбожия, внебожия». Но эта «*вера в народобожие*» есть наша логическая интеллигентная *мечта*, совершенно не народная — во-первых, совершенно противоположная общечеловеческим инстинктам — во-вторых, совершенно атеистическая — в-третьих» (ЛВИ, 530, 531–532). Резкие выступления Р. в эти годы не мешают сохраняющемуся интересу Г. к Р. «*А вот Розанов — это умница. Философии* его не принимаю, но *ум, талант* — цену высоко» (письмо *С.С. Кондурушкину* 27 июля 1908; Горький М. Письма. М., 2000. Т. 6. С. 275). На Капри, где Г. живет с 1906, он выписывает книги Р. — «*Легенду о Великом инквизиторе*», «*Ослабнув-*

ший фетиш (*Психологические основы русской революции*), «*Песнь Песней Соломона*», пер. А. Эфроса с предисл. Р. СПб., 1909 (письмо С.П. Боголюбову: Горький М. Письма. Т. 7. С. 147; Т. 8. С. 18). В личной библиотеке Г. хранится 25 книг Р., многие с пометами Г. (см.: *Личная библиотека А.М. Горького в Москве: Описание*. М., 1981. Кн. 1–2.; пометы Г. на книгах Р. лишь частично опубликованы: *Контекст-1978*. М., 1978. С. 307–318). Этот взаимный интерес на острие разногласий приводит к возобновлению переписки, теперь уже по инициативе Г. Лет шесть тому назад Вы написали мне пару хороших писем, в памяти сердца моего они оставили добрый, четкий знак», — с этими словами Г. с Капри в июне 1911 обращается к Р., воспользовавшись предложением (просьбой о присылке книги — «Сочинение Ирины Линоского против ересей») (Горький М. Письма. Т. 9. С. 55). «Нет, наш славный Massimo Gorki, — мне “не лень” похлопотать для Вас, и все сделаю, с особым удовольствием <...> И у меня прекрасное письмо хранится», — немедленно откликается Р. (МЛ, 518). Обмен письмами продолжается почти год (5 писем Р. и 6 писем Г.) с выяснением мировоззренческих отношений: острота разногласий буквально по всем вопросам не только не отталивает их друг от друга, но она-то именно и притягивает, и связывает. Р. посылает Г. книги, в том числе свои — «*Темный Лик*», «*Люди лунного света*», цензурированный экземпляр «*Уединенного*». Дарственная надпись на экземпляре «Темного Лика»: «На память о безвидной дружбе Алексею Максимовичу Пешкову. В. Розанов. 29 июля 1911 г. СПб.». Отношения так и остались «безвидными» — они никогда не виделись. «*Дружбы* между ними не было и не могло быть, но взаимное внимание было: оба были слишком “заметны” для того, чтобы игнорировать друг друга», — писал Э.Ф. Голлербах (Красная газета. 1927. 14 окт.). В переписке нет обычных эпистолярных черт — обмена новостями, общих знакомых, никаких третьих лиц, — только идейный спор и взаимная обращенность друг к другу. «Не подумайте, что учу, — нет, конечно; просто — разговариваю один на один с Вами, с глазу на глаз» (а в письме 1905 он «учил»). В этом письме (16 или 17 авг. 1911) Г. определяет отношение к Р. как «целую радугу чувств, с яркой зеленой полосой злости» (Горький М. Письма. Т. 9. С. 82). В ответ Р. просит только «не отпадать в душе» (МЛ, 520). В самом факте переписки Г. прихотилось оправдываться перед своим близким кругом. После упоминания Р. о переписке в «Уединенном» Г. вынужден был признать ее в письме Л. Андрееву своей «непоследовательностью». Ответ Андреева: «Относительно Розанова — да, я удивился, когда прочел его хвастовство твоими письмами, хотя думаю, что хвастался этот мерзавец пощечинами» (ЛН. М., 1965. Т. 72. С. 338, 341). Е.П. Пешковой о переписке Г. сообщил с вопросом: «...поражена?» — и лукавил, приписывая инициативу Р.: «С той поры молчал, а ныне снова написал» (Письма. Т. 9. С. 125), — утаивая, что сам возобновил переписку. В первом же ответном письме Р. позволил себе высказаться о судьбе Г.: «Осторожно скажу так: Ваша натура — боевая; положение (с детства) — в протест; и пока Вы были “протестующий” — “натура” и говорила золотые слова. Что же случилось потом, далее <...> Вас подняла “с.-д.” — и понесла на плечах. Она создала Вам

триумф: и, когда вместо “клоповника” Вы очутились “в меду”, естественно иссякла сила Вашего голоса» (МЛ, 518). В ответ Г. отвечал с недоумением, что никогда не чувствовал себя «несомым», напротив, «сам нес всех, кому по пути со мною было» (Т. 9. С. 64). Эти мысли Р. внес в «Уединенное», над которым работал в 1911: «Рок Горького в том, что он попал в славу, в верхнее положение. Между тем по натуре это — боец <...> И руки повисли. Боец умер вне боя. Я ему писал об этом, но он до странности не понял ничего в этой мысли» (У, 70–71). И еще запись: «Несколько писем от Горького этот год. Он прекрасный человек. Но если все другие “левые” так же видят, так же смотрят: то прежде всего против “нашего горизонта” — какой это суженный горизонт! Неужели это правда, что разница между радикализмом и консерватизмом есть разница между узким и широким полем зрения, между “близорукостью” и “дальнозоркостью”?» (У, 70). Русский народ, социал-демократия, церковь — проблемный узел обсуждения в письмах. “церковь” (с которой я воюю всю жизнь), будучи с одной стороны ненавидима и ненавистна — с другой — единственно, почти теперь интересное на земле. Куда интереснее социал-демократии и даже — кто знает — может, всего русского народа» (МЛ, 519). Ответ Г. «“Интереснее всего русского народа” — и всякого народа — ничего нет <...> Все — из народа: и церковь, и социал-демократия, отсюда же и еретик всякий — Вы, в том числе <...> Мне тут даже слово самое нравится и опьяняет меня — народ — род на род — вавилонской башни строение» (Т. 9. С. 81). Эту горьковскую этимологию Р. запомнил и применил в статье «Белинский и Достоевский» (НВ. 1914. 8 июля; ОПП, 596) в связи с характеристикой «неполноприродности» Белинского: «Горький гениально разъяснил происхождение слова “народ”: “род ложится на род, опять — на род, еще — на род: и бесчисленные пласты образуют народ. Отлично. Превосходно. Истинно. И без “столбика поколений” нет народа, т.е. без сильного родового в себе чувства — нельзя почувствовать и понять народа». Критика Р. догматического христианства и официального православия более всего привлекали Г. в его творчестве. Посылая «Темный Лик», Р. просит Г. прочитать «хоть 1 статью со вниманием “Русские могилы” Из этого Вы увидите, как я умею отрицать и ненавидеть» (МЛ, 519). Г. читает книгу сразу — в августе–сентябре 1911 и оставляет 80 помет на полях; в главе «Русские могилы» на с. 131 отчеркивается ключевое место о массовых самоубийствах русских сектантов: «Голгофа» Христа — это одно; и это всего миг; но за нею пошла Голгофа человечества, “во имя Христа” — и она уже тянется тысячелетия». На с. 140: «Церковь открыла Бога народу как скупое, сокращающего и не дающего. Совершенно обратное “богу щедрот”, сотворившему мир». На с. 147: «Духовенство не станет отрицать или скрывать, что действительно во всех книгах, какие оно дало народу, не содержится ни одного слова, где было бы сказано, что “жизнь хороша сама по себе” и что ее нужно удерживать, ею дорожить просто потому, что она есть и как есть, что “радость человеческая хороша и достойна”, счастье достойно же и к нему надо стремиться... Ни одного такого слова в целой библиотеке». «Теперь, прочитав Ваши книги, — писал Г., — я, естественно, — и, конечно, без натуги, не от ума —

еще более уважаю Вас. Хорошие книги, и несомненно, что скоро все духовно-здоровые русские люди будут внимательно читать их» (Т. 9. С. 126). Стремясь найти союзника своей проповеди активного отношения к жизни в розановской критике официального христианства, Г упрощает Р., когда пишет О.П. Руновой 4 октября 1911: «В. Розанов в последних своих книгах “Темный Лик”, “Люди лунного света”, “Русская церковь” — убедительнейше доказывает, что наше христианство — не хорошо и душевно, а наше “православие” — подло» (Т. 9. С. 128–129). В сюжет переписки была вплетена статья Р. «Максим Горький о самоубийствах» (НВ. 1912. 6 марта), представившая возражение на статью Г. «О современности» (РС. 1912. 2 и 3 марта), где, говоря об эпидемии самоубийств молодых как остром современном факте, Г. объяснял его идейным отступничеством «отцов» и русского общества после событий 1905. Выпад Г метил в Р., и А.В. Амфитеатров тут же написал Г о «желании поглядеть: с какими глазами слушают Вашу проповедь в своей храмине Розанов, *Колышко*, Спиро и прочая компания?» (ЛН. М., 1988. Т. 95. С. 389). В ответе на статью Г., откликаясь на ту же тему, Р. словно бы обращается по другому адресу и изменяет постановку большого вопроса. Он обращается к самой страдающей молодости с напоминанием о «конкретном человеке» рядом с каждым из нас и о служении ему как «смыслу жизни». Горьковскому отвлеченному — для Р. — социально-политическому пафосу противопоставляется живая конкретность человеческих отношений как «смысл» и спасение для каждого человека. В газетной публицистике Г. и Р. оказывались гораздо дальше и отчужденнее друг от друга, чем в прямой переписке. В письмах они «вне “хода мысли”», как формулировал Р. в последнем письме от апреля 1912, могли понять друг друга, — в публичной полемике «ход мысли» разъединял и препятствовал пониманию. Одновременно с печатным откликом Р. пишет Г. в те же дни (после 6 марта 1912) письмо на тему: «Почему я стал консерватором?», называя Г. мечтателем, не знающим «истории русской литературы» и «судьбы русских писателей» (Н.Н. Страхова и К.Н. Леонтьева), замученных либеральным террором (называя его представителями *Щедрина* и *Н.К. Михайловского*) и ссылаясь на современные примеры (*Д.В. Философов* и *Д.С. Мережковский*), как перекидываются в социалисты, «зная, что только тут успех»: «Вы просто фактов не знаете» (МЛ, 521–522). Г. отвечал на самоопределение Р. себя консерватором: «Вовсе Вы не консерватор, а — революционер и в лучшем смысле слова, в настоящем русском, как Вася Буслаев». Это последнее письмо Г. около 10 (23) апр. 1912 написано по прочтении полученного от Р. нецензурированного «Уединенного», которое Г. «схватил, прочитал раз и два, насытила меня Ваша книга <...> глубочайшей тоскою и болью за русского человека, и расплакался я — не стыжусь признаться, горчайше расплакался. Господи помилуй, как мучительно трудно быть русским! <...> Читая Вашу книгу, Вам кричал это, не зло кричал, а с великой болью за Вас и, право, с любовью к Вам. Какой у Вас огромнейший талант, какая жадная, живая, цепкая мысль. Рано Вы родились или поздно, но Вы удивительно несвоевременный человек» (Письма. Т. 10. С. 9). Этими определениями Р. как революционера духа и несвоевременного писателя Г. завер-

шил свою переписку с ним. «Спасибо, милый, за письмо — такое любящее. Так и будем: вне “хода мысли” помнить друг о друге», — со своей стороны завершил переписку Р. (17 апр. 1912. — МЛ, 522). В предвоенные и военные годы идейное противостояние писателей продолжалось. В статье «Еще о карамазовщине» (РС. 1913. 27 окт.) Г. пишет о Р. в связи с его выступлениями по поводу дела *Бейлиса*, что он «подвизается на поприще цинизма» (Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 24. С. 154). Начавшаяся война разводит их на противоположные стороны. Р. издает сборник своих статей «*Война 1914 года и русское возрождение*», книгу патриотическую и антизападническую, цитируя в ней слова *С.Н. Булгакова* из его статьи «Родине» (в газете «Утро России». 1914. 5 авг.): «Под ударами вражеского меча, празднуем мы светлый праздник государственности» (ПЛ, 275). Г. организует новый журнал интернационального и пораженческого направления — «Летопись» (дек. 1915–1916) и в своих статьях усиливает критику русского национального характера, подчеркивая черты жестокости, отличающие русских не в меньшей мере, чем немцев, о зверствах которых писала пресса. 27 октября 1915 газета «День» печатает заметку «Максим Горький о войне и культурном единении. Ответ на анкету шведской газеты “Svenska Dagbladet”», в которой Г. призывает к культурному объединению народов Европы вопреки политике их правительств. Это выступление становится поводом для статьи Р. «М. Горький и о чем у него “есть сомнения”, а в чем он “глубоко убежден”...» (К. 1916. 2 янв.). Р. вновь говорит здесь о Г. как о жертве «исторического положения» и политической борьбы (развивая здесь то, что в 1911 писал на Капри ему самому: социал-демократия «подняла» и «понесла» его): «Он не родился таким; он родился скромным, с душою и с некоторым талантом. Но вот подите же: с момента, как он принес в журнал Михайловского и *Короленки* свой первый свежий рассказ про “бывших людей”, линия этих лысых радикалов и полупаралитичных революционеров <...> выдвинула его впереди всех, поставила над собой, — и человек был погублен, писатель был погублен, в сущности, ради того, чтобы в “Истории российской социал-демократии” был выдвинут некоторый своеобразный эпизод. “Пером” Горького воспользовались. Горького стали “употреблять” <...> Горький, естественно, потерял землю под ногами и ясность в голове; его “тащили”, а он воображал, что “тащит эпоху за собой”» (ОПП, 619–620). Упомянув выступления Г. последних лет (как статьи против «Бесов» Достоевского в МХТ, так и «теперешнее разъяснение мировой войны»), Р. находит в них его «личину» и «маску», ставя перед «историком русской литературы» задачу — отделить от нее «лицо» писателя. «Лицо» же он находит в авторе «Мальвы», «Челкаша» и «На дне», где была дана «целая картина пьяного, воровского и протитуционного сброда. Но это все — падение и разрушение какой-либо цивилизации, все — “взлом” культуры» (Там же, 621). Противоречие между этим органическим лицом писателя и его новой личиной поэту состоит для Р. в том, что Г., «совершенно забывшись, выступает каким-то арбитром Востока и Запада, целых веков, целой мировой культуры» (там же). Проведавший антикультурную разрушительную работу в литературе — «вдруг он же, он и он заговорил о приобретениях

культуры», в которых он «не сомневается» (а «красота (!) и польза того, что люди получили от мысли с востока, вызывает во мне серьезные сомнения (!)» (там же), — цитирует Р., сопровождая *цитату* своими восклицательными знаками, — заговорил «о творчестве “англосаксов, германцев и романских народов”, даже не упомянув, среди борющихся сейчас *сил*, своей “презренной” Родины, России, и всего славянского мира» (Там же, 621–622). «Бедный Максим Горький. Где ты, бесхарактерный русский человек? Вылетел буревестником, собираешься лечь в *могилу* Обломовым <...> Куда тебе геройствовать?» (Там же, 623), — этими словами заключается розановская статья. В то же время мысли Г. о борьбе Востока и Запада в русском национальном характере не вполне чужды Р., на которого как на «одного из чрезвычайно русских мыслителей» Г. ссылается, полемически и в поддержку этих мыслей одновременно, в программной статье «Две души» (Летопись. 1915. № 1): «С Востока — лучшие дворянские традиции, с их бытом, приветом и милыми “закоулочками”, с “затишьем” и “лишними людьми” захолустных уездов», — цитирует Г. из Р. и продолжает: «Да, то, что Розанов называет “лучшими традициями дворянства”, — это с Востока. Но либеральные идеи дворянства, его культурность, любовь к искусствам, заботы о просвещении народа, — это от Запада, от *Вольтера*, от XVIII века» («Максим Горький: Pro et contra». СПб., 1997. С. 104–105). Различный выбор в традициях русской культуры двумя полемистами здесь очевиден, тем не менее в дарственной надписи 1917 при посылке первого выпуска «*Апокалипсиса нашего времени*» Р. несколько неожиданно упоминает статью Г. как «идейно» ему солидарную: «Дорогому Максиму Горькому, дорогому со времени di Carpi, но и особенно (идейно) со времени “Двух душ” В. Розанов» (Личная библиотека А.М. Горького в *Москве*. Описание. М., 1981. Кн. 1. С. 329). Резким характеристикам Г. как общественного деятеля и писателя Р. верен в своих последних публичных высказываниях о нем. В статье «*В.О. Ключевский* о М. Горьком» (К. 1916. 15 янв.) Р. называет «замечательным» суждение Ключевского («Горький — это пропаганда, а пропаганда — не литература <...> У Горького вовсе не талант, а одно пылкое воображение» (ВЧВ, 46); если бы Академия наук в свое время приняла бы его, «Академия сама спустилась бы на “Дно” Горького») (ВЧВ, 47) вопреки цитируемому *П.Б. Струве*, объясняющему суждение Ключевского, «кости от кости и плоти от плоти русского *духовенства*», его «органическим консерватизмом, которому была чужда, непонятна и прямо претила новизна “босячества”, воплотившегося в Горьком» (там же). «Консерватизму» как характеристике духовенства у Струве Р. противопоставляет «народность» этого слоя русской жизни, говоря о нем как о начале «созидающем», «строительном». Даже говоря о *К. Леонтьеве* в февральские дни 1917 («О Конст. Леонтьеве» // НВ. 1917. 22 февр.), Р. не забывает о Г. и в контексте революционных событий уличает его «буревестничество» в буржуазной ограниченности в сравнении с Леонтьевым как истинным революционером духа. Р. ссылается на С.Н. Булгакова, в речи на 25-летие смерти Леонтьева назвавшего его «буревестником», и это не бедный, не скудный “буревестник” Максима Горького, который вешал грозу всего на 24 часа завтрашнего дня,

с полным и ясным днем, с миром и благовоением на все следующие дни, на целый год, на целую *вечность*... Возле Леонтьева все эти “буревестники” революции оказываются какими-то куцыми, какими-то “публицистами плохой *газеты* с большим успехом на сегодня”, в сущности, людьми совершенно мирными и добродетельными. М. Горький — буржуй, да так и ведь и оказалось на деле. Человек богатый, знатный, и если не ездит “в своем автомобиле”, то лишь ради старого гепоттэ вождя пролетариата... На самом деле все они, и Горький, и Короленко, и Андреев, и Амфитеатров или *М.М. Ковалевский* — суть люди буржуазной *крови*, буржуазного духа» (ОПП, 653). Идейная борьба в *печати*, однако, не отменила «безвидной дружбы». Ее заключительным эпизодом стали два предсмертные письма Р. конца 1918 и 20 января 1919 из *Сергиева Посада*. «Максимушка, спаси меня от последнего отчаяния <...> Это уже многие письма я пишу тебе, но сейчас пошлю, кажется, а то все рвал <...> Максимушка, я хватаюсь за твои руки <...> Я не понимаю, ни как жить, ни как быть <...> Вспомни, мы переписывались с тобой из Капри, и ты был счастлив, и я был счастлив, и я тебе писал как равный к равному <...> Максимушка, ну — милый, ну дорогой: воспользуйся, сделай что-то. Ну, что — я не знаю. Ведь я же талантлив. И с думой» (МЛ, 523–524). В тех письмах «из Капри», которых Р. не забыл, Г. предвидел его «последний день»: «И не убедить Вам меня, что книга В. Розанова — *мелочь*, малая часть его души и его опыта — была интересней всего В. Розанова — сказки, не досказанной до конца, и конец которой — последний день жизни Розанова» (Письма. Т. 9. С. 81). В тех же письмах: «Если же переживу Вас — пошлю на могилу Вам прекрасных *цветов*, — прекрасных, как некоторые искры Вашей столь красиво тлеющей, сгорающей души» (Письма. Т. 10. С. 10). Время «прекрасных *цветов*» подошло, но Р. просит всего лишь о помощи литературной (устроить его в печать) и денежной. Письмо, вероятно, отправлено не было (среди прочих писем Р. в Архиве Г. оно отсутствует), но денежная помощь от Г. пришла; сумму (4000 руб.) в своем последнем письме 20 января назвал сам Р. В хлопотах перед Г. участвовали *М.О. Гершензон* и *В.Ф. Ходасевич* (см.: Ходасевич В. Собр. соч. М., 1996. Т. 2. С. 131–133). Неотправленным, вероятно, осталось и прощальное письмо от 20 января: «Много думаю о Вас и Вашей судьбе. Какая она, действительно, горькая, но и действительно, славная и знаменитая. И дай Вам Бог еще успеха и успеха большого. Вы вполне его заслуживаете. Ваша Мальва и барон составляют и уже составили эпоху. Так это и знайте. Ну еще, Максимушка дорогой, прощай и не огорчайся, если в чем и обидел <...> Прощай, не забывай, помни меня!» (МЛ, 527–528). Г. упоминается и в других прощальных письмах этих дней: «Спасибо Максимушке» (Литературная учеба. 1990. № 1. С. 84); «Благородного *Сашу Бенуа*, скромного и прекрасного Пешкова, любимого *Ремизова* и его *Серафиму Павловну*» (Письмо к друзьям), наконец — в завещательном письме «Литераторам», продиктованном 17 января 1919 дочери *Н.В. Розановой*: «Прошу Пешкова позаботиться о моей семье» (ОСЖС, 682, 684). 14 июня 1919 Н.В. Розанова обратилась к Г с просьбой написать об отце. Г. ответил из Петрограда в Сергиев Посад 29 июня: «Уважаемая Надежда Васильевна! Вы пишете: “Вы знали

отца моего, встречались с ним, видели его в самой разнообразной обстановке...” К сожалению моему, — это не верно: я никогда не встречался с Василием Васильевичем и лично не знал его. Лицо его знаю только по портретам <...> Написать очерк о нем — не решаюсь, ибо уверен, что это мне не по силам. Я считаю В.В. гениальным человеком, замечательнейшим мыслителем, в мыслях его много совершенно чуждого, а — порою — даже враждебного моей душе и — с этим вместе — он любимейший писатель мой. Столь сложное мое отношение к нему требует суждений очень точно разработанных, очень продуманных — на это я сейчас никак не способен. Когда-то я, несомненно, напишу о нем, а сейчас — решительно отказываюсь» (Вопросы литературы. 1989. № 10. С. 150). Г. о Р. не написал, но все его письма напечатал в издававшемся им в Берлине журнале «Беседа» (1923. № 2) вместе с одним из своих писем (тем самым, где он назвал Р. «сказкой, не досказанной до конца»); эта публикация стала своеобразным ответом дочери. В частных письмах Г. продолжал называть имя Р. среди самых ярких в культуре его эпохи, усиленно подчеркивая при этом его «антихристианство»; в письме М.М. Пришвину 15 мая 1927: «Верно, Михаил Михайлович, сказали вы о Розанове, что он, как «шило в мешке — не утаишь», верно! Интереснейший и почти гениальный человек был он. Я с ним не встречался, но переписывался одно время и очень любил читать его противопожарную литературу. Удивляло меня: как это неохристиане Р<елигиозно>-ф<илософского> общества могли некоторое время считать своим человеком его — яростного врага Христа и христианского гуманизма. Он, у нас, был первым предвозвестником кризиса гуманизма, и Блок, в этом вопросе, шел от него, так же как от него шел и Гершензон в своем отрицании культуры, особенно резко выразившемся в “Переписке из двух углов” В этом смысле и в этой области — борьба против Христа — Розанов был одним из наших “духовных” революционеров, — на мой взгляд, и хотя он был — из робости — косноязычен, но по прямолинейности мысли не хуже Константина Леонтьева и Михаила Бакунина» (ЛН. М., 1963. Т. 70. С. 346). Э.Ф. Голлербах в письме 6 апреля 1928 обратился к Г. с вопросом: «Знают ли Розанова хотя бы понаслышке в Италии и можно ли заинтересовать им итальянскую публику? Над Розановым продолжаю работать, но работа эта — “для письменного стола”, а не для печати <...> Сейчас, к сожалению, об этом нечего и думать. Как было бы ценно, если бы Вы когда-нибудь написали хотя бы несколько слов об этом отверженном писателе <...> Ваши “несколько слов” были бы, вероятно, достаточны для того, чтобы можно было — если не переиздать Розанова, то хотя бы писать о нем. А как были бы для нас, “розововианцев”, интересны Ваши “слуховые” и “зрительные” впечатления о нем, портретная характеристика, искусством которой Вы владеете так изумительно. Уверен, что Ваше слово могло бы в известной мере “снять опалу” с этого писателя» (МЛ, 582).

И.А. Бочарова

ГОФШТЕТТЕР **Ипполит Андреевич** (1860–1951) — публицист, сотрудник «Нового Времени», «Русского Труда», после 1917 в эмиграции. Р. близко общался с се-

мейством Г на рубеже веков. Во время поездки с семьей в Германию и Швейцарию в 1905 Р. оставял своих младших детей (Надю и Васю) в семье Г. Пребывание в чужом доме оставило тягостные воспоминания у Надежды Розановой: «Любил всем, даже чужим детям давать грубые прозвища. Сам Гофштеттер ходил в ночных туфлях и в старой фуфайке, и все в доме было нарочито упрощено и грубовато» (НТ, 12). В 1910-х Р. дает уже отрицательные характеристики Г. в своих книгах «Смертное», «Опавшие листья» и «Сахарна», подчеркивая тщеславие его натуры, воинствующий дилетантизм и политическую беспринципность. Первоначально Г. «именовал себя “социалистом-народником” (с такой-то фамилией!), он говорил в духе социалистов, что “хотя ничему не учился, однако все знает и обо всем может судить” <...> Теперь, когда он стал “народником и государственным”, он считает несогласным со своими “русскими убеждениями” знать географию Европы» (У, 288). «Человек, на которого никогда не взглянул Бог. Какой-то специфически безблагодатный. Бессветный. Читает лекции. Начнет. Все расходится (на вечере Полонского). В печати подает государственные мнения. Никто не слушает. Удивительно “не выходит” ничего. Не выходит судьба. Человек без судьбы. Странное явление. Был демократ: демократы его не хотели. Теперь государственный и националист, но и эти не обрадованы его пришествием. Куда он пойдет дальше? “Вперед” и “назад” испытано, и я думаю, под старость он будет хищным клювом долбить себе злую могилу» (СХР, 267–268). «Ипполитушка Гофштеттер — отвратительный и страшный гипнотизер. Жена его Лидия тоже печатала рассказы. Но самый замечательный (автобиографический) “Зеркала” в рукописи. Она загнипнотизирована Ипполитушкой. Лидия — сомнамбула, а он тайный преступник. Один раз запускал лижущий язык к Григ. Распутину» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 99). Сходное отношение высказывалось и в адрес его журналистики «На месте души у него кривая палка: и так получает “семя и овамо” о правде, справедливости, морали и народе» (СХР, 250). Г. выступил со статьей «Месть религиозно-философствующих бейлистов» (НВ. 1914. 22 янв.) в защиту Р. во время суда, развернутого против него в Религиозно-философском обществе (РФО). «Бейлистами» Г. назвал А.В. Карташёва, Д.В. Филофова и Д.С. Мережковского, которые, задавшись целью изгнать Р. из РФО, совершенно «не рассчитывали, что в рядах Религиозно-философского общества есть люди, действительно интересующиеся религиею и философиею, а не только целями саморекламирования и бескорыстного юдофильского политиканства. Для них имя Розанова не пустой звук <...> С самого своего возникновения религиозно-философское общество жило, главным образом, творческими, даже в своей разрушительной работе, исканиями Розанова» (там же). «Бейлисты, ставшие, — по словам Г., — заправилами Религиозно-философского общества, решились принести его <Р.> в жертву узкопартийной мести, ничего не имеющей общего ни с религией (по крайней мере христианской), ни с философией» (там же); Г. призвал всех, кому дорога свобода русской литературы, встать на защиту свободы религии и философии. Жена Р. поддерживала дружеские отношения с семейством Гофштеттеров. Сохранились сведения о ее визите к Лидии Эрастовне Гофштеттер 21 апре-

ля 1912; это был ее первый выезд в город после тяжелой болезни (У, 126). В 1925–1940 Г. сотрудничал в парижском журнале «Путь». В статье «В плену философско-теологической путаницы (О Розанове, *Гегеле* и *Шестове*)», считая Р. одним «из глубочайших мыслителей русских», произрастающих из единого философского корня — *Ф.М. Достоевского*, Г. по-своему определял его место в церковно-реформистском движении. Для него Р. — это «интуитивный мыслитель и сексуально неуравновешенный человек <...> он чрезвычайно остро чувствовал и резко протестовал против отношений *Церкви* к проблемам половой и семейной жизни человека» (Путь. 1931. № 28. С. 87). Радикализм религиозного мышления Р. выводился Г. из пассивности церковной практики Русской православной церкви. «Все мышление Розанова, — пишет он, — было индивидуально-лирическим, почти совершенно чуждым увлеченно-логическим формулам. Как в его душе, так и в его личной жизни лирика самой наивной и нерассуждающей бытовой веры катастрофически столкнулась с лирикой семейных отношений. Последняя взяла и «углубила» в глубоко-православном розановском сердце традиционного, бытового, церковно-православного Бога. Для Розанова Бог умер <...> во всем жизнеощущении современного человека, в практическом руководительстве его поступками и отношениями, в стимуляции и одухотворении его жизни. Он умирает в процессе моральной и духовной атрофии церковности нашей: церковь, утратившая святой дар наставничества и учительства жизни <...> превращается в глазах Розанова в пышную гробницу умершего Бога <...> Розанов служил Богу живому. Он умел верить по-бытовому» и своими исследованиями освободил церковь «от греха детоубийства». Оппонируя изложенной мировоззренческой позиции, Г. заключает: «Пора понять, что вместе с отжившими традициями, вместе с противоречащими научным фактам и законам верованиями умирает не Бог, а только то, что было ложного и тленного в нашем понимании Бога» (Там же, 88–89).

А.В. Ломоносов

ГРАБАРЬ Игорь Эммануилович (25.3.1871, Будапешт — 16.5.1960, Москва) — живописец и искусствовед. В 1913–1923 возглавлял Третьяковскую галерею и перестроил экспозицию картин. В статье «На выставке «Мира Искусства»» (МИ. 1903. № 6) Р. писал о картине Г. «Городок на Северной Двине», показанной на пятой художественной выставке журнала «Мир Искусства»: «Схвачена психология тихого, маленького, уединенного городка; не улицы его, не двора на нем — а его всего. Видишь «статую» города, — рассматриваемую и открытую как статуя человеческого тела. Домики, в самом деле, точно члены городского «целого» Маленькие окна даже не в маленьких домах дают превосходное впечатление холода. Тут <...> с широким венецианским окном не раскинешься» (СХ, 215). В 1916 Р. выступил, по просьбе *М.В. Нестерова*, против перестановки картин в коллекции П.М. Третьякова, произведенной Г. «по своему пониманию, которое неумовимо смешивается с произволом, что вызвало «величайшее волнение среди художников». Р. приводит письмо, полученное им «от одного пользующегося всероссийским признанием живописца» <М.В. Нестерова>: «Завещая *Москве* и *России*

свой великолепный дар, П.М. Третьяков был до чрезвычайности скромен в своих желаниях. Он просил, ставил в условие сохранен лишь полную неприкосновенность галереи, завещая не смешивать его детище со всем тем, что поступит в галерею после его смерти. Город такое обещание дал и... не исполнил, а санкционировал произвольное действие Грабаря <...> Г-н Грабарь, может быть, с большими ученохудожественными заслугами, но он их выразил в книгах, и потому не позволит он вставлять в свои книги поправки, примечания, перетасовки текста. Но тогда зачем же это моральное «варварство», т.е. «вторжение инородного», он позволяет себе в отношении П.М. Третьякова? Нам кажется, он просто должен отказаться от своей мысли, отказаться сам, как от чего-то явно неуместного и недозволительного» («Г-н Игорь Грабарь и Третьяковская галерея» // НВ. 1916. 31 янв.; ВЧВ, 69–70). В автобиографии Г. вспоминает, как *С.П. Дягилев* познакомил его в редакции «Мира Искусств» с Р., «обладателем огненно-красных волос, небольшой бороды, розово-красного лица и очков, скрывавших бледно-голубые глаза. Он был постоянным посетителем редакции, редкий день я его не встречал там между четырьмя и пятью часами. Был он застенчив, но словоохотлив и, когда разговорится, мог без конца продолжать беседу, всегда неожиданную, интересную и не банальную» (Грабарь И.Э. Моя жизнь. М., 2001. С. 147).

А.Н.

ГРАДОВСКИЙ Григорий Константинович [31.10 (12.11).1842, село Макариха, Александрийский уезд, Херсонская губ. — 13(26).4.1915, Петроград] — писатель, публицист, журналист «Нового Времени». Автор писем к Р. 1904, 1906, 1907 и 1910. Выражал в письмах солидарность со взглядами Р. на славянофилов и славянофильство. 20 июня 1904 Г. обсуждал с Р. положение печати в России и отрицательную роль в этом *К.П. Победоносцева*. В декабре 1905 Р. поместил в «Новом Времени» несколько выдержек из письма Г. и вызвал его восхищение статьей о Победоносцеве «Гамлет в роли администратора» (НВ. 1906. 17 февр.). 19 февраля 1906 Г., «после годового молчания», направил *А.С. Суворину* рукопись заметки о созыве Государственной думы. В письме от 20 февраля Г. просил Р. «прочсть и решить с *А.С. Сувориным судьбу*» своей заметки (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4212. Л. 12 об.). Р. сообщил Г. о невозможности опубликовать его материал. 8 ноября 1906 Г. выразил благодарность Р. за брошюру «Ослабнувший фетиш»: «Искренно, смело, образно!» (Там же. Л. 16). В начале 1907 Р. хлопотал о возможности сотрудничества Г. у издателя *М.В. Пирожкова*. 3 апреля 1910 Г. приглашал Р. принять участие в работе 2-го съезда писателей. К письму приложена характеристика: «Градовский Григорий («Гамма»). Кажется хороший малый. Лично не видал» (Там же. Л. 1).

А.В. Ломоносов

ГРАНОВСКИЙ Тимофей Николаевич [9(21).3.1813, Орел — 4(16).10.1855, Москва] — историк, литератор. В статье «Т.Н. Грановский. (К 50-летию его кончины)» (НВ. 1905. 7 окт.) Р. называет ученого «тихим профессором Московского университета», «удивительно гармоничной и удивительно богатой тенями личностью нашей

истории». Отмечая мудрую дальновидность Г., Р. пишет: «Он стоял на <...> втором месте, откуда все видно <...> Неувлеченность есть великое преимущество, которым Грановский превосходил и был богаче, наконец был сильнее таких друзей своих, как *Герцен* и *Белинский*». Р. отмечает важные особенности характера Г.: «Натура существенно равнинная, натура в этом отношении глубоко русская, Грановский тихо тек, негодуя на берега свои и русло, ломаемый в течения — но неизменно с склонностью двигаться прямо и ровно в одну сторону — к вечному и невидимому за далью, но существующему и притягивающему Океану». Делая акцент на значении ученого для духовного потенциала *России*, Р. пишет: «Грановский представляет собою именно зрелейшую, совершенно “поспевшую”, сахаристую и сладкую форму духовной культуры». Интерес к переходным эпохам — характерная черта Г.-ученого. «У Грановского было удивительное и собственно единственное нужное качество настоящего, первоклассного ученого: любопытство к факту, любопытствующий ум». Р. отмечает особенности преподавательского таланта и лекторский дар ученого: «Лекции Грановского вовсе лишены были театрального, выставочного осложнения <...> Сила их и удивительная в истории притягательная сила заключалась именно в том, что Грановский был глубоко сосредоточенным, созерцательным, бесшумным лицом <...> Не он подошел к людям, а только позволил им подойти к себе, не снимая фартука лаборанта и оставляя засученными рукава ученого шлафрока». Называя Г. «настоящим мастером науки», засветившим ее «внутренним философским и внутренним поэтическим огнем», Р. отмечает самостоятельность ученого, избежавшего влияния гегельянства и романтизма: «Мы увидим в Грановском огромную, трезвую, самостоятельную умственную силу, которая более роднила с поколениями последующими, с эпохой торжествующего естествознания, нежели с поколениями предыдущими 30-х годов, *Шеллинга*, *Шиллера*, *Лермонтова* и *Пушкина*, с которыми решительно ничего не было у него общего». Р. ставит Г. выше *Белинского* и *Герцена*, с которым ученый разошелся «умственно и поэтически». По мнению Р., Г. превосходит последних «гармонией и образованием <...> многосторонностью. Он меньше совершил для дела, но больше для идеала». Р. определяет самобытность Г. нежеланием ученого полностью примыкать к каким-либо течениям и значительным фигурам в русской истории, подчеркивает неприятие ученым излишеств западничества, отрицание славянофильства и романтизма, отстраненность от *Герцена* и *Бакунина*. Р. отмечает вклад Г. («самого замечательного из русских наставников юношества <...> который зажег было светоч науки всеобщей истории у нас, зажег его с душою, со смыслом») в работу кафедры всеобщей истории Московского университета. Определяя значение личности ученого в истории России, Р. пишет: «Грановский был человек, так сказать, “окончательных, завершительных фаз” в развитии общества, которые дают человеку и зовут человека на обильное и непрерывное плодотворение <...> Грановский же пришел страшно рано: с душою Плиния, Фукидида или Гизо, — он жил в эпоху каких-то Мервингов, пеласгов или первых патрициев». В статье: «Героическая личность» (НВ. 1909. 3 дек.) Р. писал: «Грановский ничуть не гениальных спо-

собностей человек. Но он до сих пор стоит одиноко — обаятельной фигурой во всей, если можно выразиться, “цивилизации русской”, во всей образованности русской, во всей истории русского духа и русских дел, — потому что почти один он представляет типично героическую личность» (ОПП, 429). Серьезность для Р. — главная черта героической личности: «Везде у него этот единственный в русской литературе тон человека, который не умеет шутить, в душе которого стоит вечно какая-то торжественность, без предмета и без имени, в сущности торжественность самой души, как той ночи, о которой написал Лермонтов в стихотворении: “Выхожу один я на дорогу”» (там же). Особый акцент Р. делает на величественном достоинстве героической личности Г.: «И в какие бы <...> тяжелые условия его ни поставили бы, он никогда бы не сбросил с себя тоги гражданина, хламиды философа и не надел бы расстрепанных лохмотьев облезлого на начальство обывателя, каким, в сущности, говорили решительно все, не только *Чернышевский*, но и *Герцен*» (там же).

О.В. Кулешова

ГРЕДЕСКУЛ Николай Андреевич (1864 — конец 1930-х, Ленинград) — юрист, депутат 1-й Государственной думы, член ЦК партии кадетов. Выступая на собрании *Религиозно-философского общества* 26 января 1914 по вопросу об отношении Общества к деятельности Р., высказал возмущение по поводу обвинения в продажности членов президиума РФО *Д.С. Мережковского* и *Д.В. Филофова*, высказанное Р., и продолжал: «Я когда-то, хотя мало, был знаком с Розановым, беседовал с ним, даже с большим удовольствием. Нельзя не признать — некоторые даже очень подчеркивали, — что Розанов в своем роде выдающийся человек, но перед каждым из нас не может не возникнуть вопроса прежде всего личного: как мне к нему относиться? <...> Мне кажется, что мы имеем полное основание не исключать В.В. Розанова, потому что это мера внешняя. Поэтому я предложил бы этой мере не принимать, а прямо и открыто сказать, что, во-первых, мы действиям В.В. Розанова, о которых доложено в докладе, произносим общественное осуждение, мы, каждый в отдельности, и, во-вторых, адресовать к В.В. Розанову ту самую просьбу, которая была адресована ему нашим Советом: чтобы он дал нам возможность не встречаться с ним в стенах этого Общества» (ЗПРФО, 39).

А.Н.

ГРИБОЁДОВ Александр Сергеевич [4(15).1.1795, Москва — 30.1(11.2).1829, Тегеран] — драматург, поэт, дипломат. Р. считал, что Г. сыграл отрицательную роль в развитии русской мысли XIX в. В статье «Трагедия механического творчества» (НВ. 1912. 3 февр.) Р. отмечает, что Г. «имел гениальный по наблюдательности глаз, великий дар смеха и пересмеивания, язык “острый как бритва”, с которого “словечки” так и сыпались. “Словечки” в “Горе от ума” еще гениальнее всей комедии, ее “целости”; “словечки” перешли в пословицы. Как отдельные фигурки “Мертвых душ” тоже выше компоновки всей “русской поэмы” Но “смех”, “словечки” и “острый глаз” не образуют собственно вдохновения» (ОПП, 559). В «Сахарне» Р. писал: «Конечно, Грибоедов был

гениальный словесник; как словесник он был, может быть, даже гениальнее *Пушкина*. Но было бы просто странно говорить об его *уме* или *сердце*... Он был только мелкий *чиновник* своего министерства, и размеров *души* он вообще никаких не имел» (СХР, 136). Когда началась *Первая мировая война*, восприятие *Р. творчества* Г. стало еще более резким. В «*Мимолетном. 1915 год*» Р. писал: «Комедия “Горе от ума” есть страшная комедия. Это именно комедия, шутовство, фарс. Но как она гениально написана, то она в *истории* сыграла страшную роль фарса — победившего трагедию роль комического начала — и севшего верхом на трагическое начало *мира*, которое точно есть, и заглушившего его стон, его скорбь, его *благородство* и величие. “Горе от ума” есть самое неблагоприятное произведение во всей всемирной истории» (М, 206). Р. был возмущен насмешками Г. над полковником Скалозубом и всей русской *армией*. «— Замолчи, мразь, — мог бы сказать Чацкому полковник Скалозуб. Да и не одному Чацкому, а Самому. — Ты придрался, что я не умею говорить, что я не имею вида, и повалил на меня целые мешки своих фраз, смешков, остроумия, словечек: на которые я не умею ничего воистину ответить. Но ведь и тебя, если поставить на мое место — то ты тоже не сумеешь выучить солдат стрелять, офицеров — командовать, и не сумеешь в критическую минуту воскликнуть: “Ребята, за мной” и повести полк на штурм и умереть впереди полка. Почему же я “пас” — раз не умею по-твоему говорить, а ты “не пас”, хотя тоже не умеешь сделать, как я? А послушать тебя, то выходит, что я нахожусь в вечном “пасае” перед тобою, как дурак перед умным, как недостойный перед достоинством, почти как животное перед *человеком*. Какую же ты гадость написал? И какая вообще пакость есть уже самая твоя *мысль*, намерение и (якобы) идеал. Это есть намерение поставить “слово” выше “дела”, превознестись с “умею слово” над “умею дело”» (М, 205). Еще в 1898, посмотрев в Кисловодском *театре* комедию Г., Р. писал в статье «Горе от ума» об авторе: «Он так был беззастенчиво счастлив, т.е. ему даже не приходила на ум возможность или необходимость скрыть это, что он просто и спокойно, несколько наивно выразил это в самом заглавии пьесы. Как счастлив был бы кто-нибудь, если б ему выпало на каком-нибудь — пусть очень “умном” — своем произведении прямо написать: “произведение умного человека”, как это почти надписал Грибоедов, слив, очевидно, *лицо* свое — с Чацким и объяснив, что этот последний несет “горе” <...> не по иной какой причине, как от чрезвычайного излишества у него “ума” Этим объясняется осторожное замечание *Пушкина*, выраженное сейчас после чтения комедии: “Грибоедов, конечно, умен, но не умен — Чацкий”» (ЛВИ, 320; неточная *цитата* из *письма* Пушкина П.А. Вяземскому 28 января 1825). С позиций семейного вопроса Р. критикует комедию Г. в *книге* «*В мире неясного и нерешенного*»: «Он нам дает сухонькие, чистенькие, выметенные комнатки, где ради смеха только шепчутся про *любовь* Молчалин и Софья. Ни земли, ни сора, ни мокроты, ни *Бога!* Истинно “не обрезанный” <...> Нет *чувства* пола — нет чувства *Бога!*» (ВМНН, 37). Это отсутствие «чувства пола» вызвало в свое время к *жизни* анонимную эротическую пародию на комедию Г. (Озорные стихи. М., 1997). Хотя русские, начиная с *декабристов* и Г., по словам Р.,

«только и делали, что отказывались от земли своей» — «Это страна бесталанная» (АНВ, 67), «в Грибоедова все смотрелись и говорили: “Как я хорош” И еще: — Благодарю тебя, Боже, что я не таков, как этот Скалозуб; как этот семинарист-Молчалин; как этот старожил Фамусов. — И, во-вторых, еще: — Но этот — совершенный Скалозуб... — С Грибоедова больше, чем с кого, пошла *интеллигенция* и “кающийся дворянин”, и вообще русские кающиеся сословия и классы» (КНУ, 219). Герои Г. вызывали у Р. и иные оценки, хотя в основе лежали те же нравственно-эстетические категории: «Чему я, собственно, враждебен в *литературе*? Тому же, чему враждебен в *человеке*: *самодовольству*. Самодовольный *Герцен* мне в той же мере противен, как полковник Скалозуб. Счастливый успехами — в литературе, в женитьбе, в службе — Грибоедов, в моем вкусе, опять тот же полковник Скалозуб. Скалозуб нам неприятен не тем, что он был военный (им был Рылеев), а тем, что “счастлив в себе” Но этим главным в себе он сливается с Грибоедовым и Герценом» (У, 144).

А.Н.

ГРИГОРÓВИЧ Дмитрий Васильевич [19(31).3.1822, село Черемшан (Никольское), Ставропольский уезд, Симбирская губ. — 22.12.1899 (3.1.1900), Петербург] — писатель. О внезапной *смерти* его Р. написал *некролог* «Памяти Дм.Вас. Григоровича» (ТПГ. 1899. 24 дек.; не литературное приложение, где обычно печатался Р., а сама *газета*), в котором вспоминал, что «еще на этих днях можно было встретить <...> писателя в петербургских гостиных». «Покойный не был гениальным *умом*, ни гениальным характером, — продолжает Р., — но, до известной степени, он сыграл гениальную незабываемую, неизмеримо важную роль в развитии *общества* и *литературы*, попав в исторически важный момент в центральную точку духовных и материальных интересов своей страны. Он не был “народником” в установившемся впоследствии смысле; он был русский барин по воспитанию, по положению, по всей манере литературного *письма*, по всей совокупности духовных своих интересов (художественных) и даже по особенностям *рождения* (мать француженка): но он есть родоначальник всего “народнического” движения в литературе и в *жизни*, а так как это движение без малого обнимает всю русскую жизнь за последние полвека, то его вполне можно назвать делом русского общества за эти полвека <...> Мягкий его характер, кое-какие неудачи, — не потрясающие, однако — в жизни, общение с писателями как *Некрасов*, *Достоевский*, *Тургенев*; сумма всех этих условий определила колорит *письма*, нежный, сочувствующий, сострадающий. На вершине горы стоял огромный ком снега: он осторожно его тронул, без преднамерения, без усилия. И ком покатился по нужному, наилучшему, конечно, уже подготовленному в психике общества направлению и докатился до 19 февраля 1861 года. День этот — освобождение крестьян. И пока оно помнится, — а оно никогда не забудется — будет помниться и имя автора “Антоня Горемыки”. В статье о Н.А. Некрасове Р. отмечал, что «он резко отделился от “художников” Григоровича и Тургенева, о которых всегда можно было думать, что они относились к крестьянству как к свежему полю наблюдений и живописи, ко-

нечно, любя его, однако смешанною любовью живописца и филантропа, а не “кровно”, вот как себя или своего» (ОПП, 249). В последнем письме к Э. Голлербаху 26 октября 1918 Р. вспоминал описание в «Дневнике писателя» (январь 1877) Ф.М. Достоевского, как его «приняли Белинский и Григорович» (ВНС, 381), высказав ему свой восторг от прочитанной рукописи «Бедных людей», принятых к печати в «Петербургском сборнике» (1846).

А.Н.

ГРИГОРЬЕВ Аполлон Александрович [16(28).7.1822, Москва — 25.9(7.10).1864, Петербург] — поэт, критик. В статье о Н.Н. Страхове (1890), вошедшей затем в «Литературные очерки» и «Литературные изгнанники», Р. назвал Г «критиком, который ни при жизни, ни после смерти не был оценен по достоинству. Он открыл новую точку зрения на нашу литературу, и так как она есть истинная, то трудно допустить мысль, чтобы она не стала когда-нибудь общепринятою» (ЛВИ, 230). Страхов в одной из бесед с молодым Р. назвал Г. гениальным и сумасшедшим человеком. Р. растолковал эти слова своего наставника следующим образом: «Он был под вечным впечатлением, всегда под впечатлением — изящнейшего, и это впечатление несло его с силою, как ураган несет листок. Впечатление в Григорьеве всегда было больше Григорьева, и он ему подчинялся, как лодочка аэронавта движению огромного над нею шара» («35-летие смерти Ап.Ал. Григорьева» // ТПП. 1899. 3 окт.). В статье «К 50-летию кончины Ап.А. Григорьева» (НВ. 1914. 26 сент.) Р. пишет, что Г. «страстно чувствовал человеческое слово, страстно чувствовал поэтические и художественные образы. Это главное — безмерная любовь к великому словесному искусству, — было в нем фундаментом критики <...> Критике эстетической и публицистической он противоположил свою органическую критику, как рассмотрение словесного искусства единичных писателей в свете народных идеалов» (ОПП, 601). Органическая теория Г. сложилась в полемике с социальной критикой, с влиятельными в 1860-х «литературными партиями» Чернышевского, Добролюбова, Писарева: «Для Чернышевского “вне Чернышевского” не было России, и для Добролюбова “человеческий разум” оканчивался там, где не читался “Современник” Григорьев был совершенно не таков» (там же). «Великую заслугу критической деятельности Ап. Григорьева» Р. видел в том, что он «привнес всю свою деятельность, ее характером и судьбой, новое слово в нашу историю, подобного которому по значительности ни разу не произносилось» (ЛВИ, 243). В статье «К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве» (1915) Р. пишет об опубликованной в «Русской Мысли» неизвестной статье Леонтьева «Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Аполлоне Григорьеве» — «статье вдвойне драгоценной — и по автору написавшему, и по другому автору, о котором он пишет» (ЛВИ, 608). Когда в 1915–1916 стало издаваться Собрание сочинений Г., Р. выступил со статьей, в которой усматривал в страданиях и судьбе Г. сходство с мучками и судьбой Глеба Успенского и Мусоргского. Но при всем ужасе их житейского существования они были счастливы «тайными звуками души». Г., Мусоргский, Успенский — это уже не «мертвые души». «Ошибся Го-

голь: не все мертво на Руси; ошибся великий Кашей нашей литературы. Хороша ты, Русь; ну — и пьяна ты, Русь. К счастью — была» (К. 1916. 26 февр.; ВЧВ, 110). Р. говорит о необходимости воскресить наследие Г.: «Григорьев весь “наш”, учебный, училищный, частью — студенческий. Он жил “попытками”, учителем <...> Я еду слово “наш” к тому, что теперь забота именно учителей гимназий и семинарий, старых педагогов-словесников, поставить Григорьева “на свое место”: в сердца учеников, гимназистов и семинаристов, в сердца учениц своих, и — на ученические полочки ученических библиотек. За вами очередь, господа русские педагоги» (там же). Сравнивая Г.-критика с Белинским, Р. пишет: «На самом деле критика русская была основана Аполлоном Григорьевым; его преемником был Страхов. Превосходными критиками были Тургенев (“Гамлет и Дон-Кихот”) и Толстой (в его заметках, даже в таких, которые записались только его друзьями), Достоевский (в молодых письмах к брату Михаилу и в отдельных главах “Дневника писателя”), а также ученые типа и достоинства Ф.И. Буслаева, Н.С. Тихонова, В.О. Ключевского (статьи его о пушкинских героинях и о Лермонтове). Цитировать теперь Белинского как-то неловко. “Хорошо писал человек”, но дело не в “хорошо написано”, а в том, написано ли дельно, образованно, с всеосвещающим пониманием предмета, с достаточно высоким и широким созерцанием истории...» («Дорогая книжная новинка» // НВ. 1915. 23 апр.; НФП, 455).

А.Н.

ГРИНМУТ Владимир Андреевич [3(15).3.1851, Москва — 28.9(11.10).1907, Москва] — публицист, политический деятель. После смерти М.Н. Каткова в 1887 участвовал в редактировании газеты «Московские Ведомости», в 1896 стал ее главным редактором. Статьи Р. в «Московских Ведомостях» печатались при поддержке Г. первая статья «Отречение дарвиниста» (МВ. 1889. 21 окт.) по поводу статьи К.А. Тимирязева «Отвергнут ли дарвинизм?» (РМ. 1887. № 5, 6). 7 июля 1891 появилась программная статья Р. «Почему мы отказываемся от наследства?», вошедшая затем в «Литературные очерки» под названием «Почему мы отказываемся от “наследства 60–70-х годов”». Эта статья и следующая «В чем главный недостаток “наследства 60–70-х годов”» (МВ. 1891. 14 июля) вызвали полемику в печати. Направленные против шестидесятников, эти статьи так впечатлили современников, что и шесть лет спустя Н.К. Михайловский, а за ним В.И. Ленин (в работе «От какого наследства мы отказываемся», 1897) вновь и вновь пытались опровергнуть мысли Р. Еще четыре статьи Р., вошедшие затем в «Литературные очерки», напечатал Г.: «Два исхода» (МВ. 1891. 29 июля), «Европейская культура и наше отношение к ней» (МВ. 1891. 16 авг.), «Может ли быть мозаична историческая культура?» (МВ. 1892. 20 июля), «Еще о мозаичности и эклектизме в истории» (МВ. 1892. 17 окт.). В 1897 Р. откликнулся на статью Г. «Катков как государственный человек», написав свою статью под тем же названием, тоже вошедшую в «Литературные очерки». Р. приводит слова Г. о великой государственной заслуге Каткова: «Он уверовал и заставил своих последователей уверовать в настоящую, реальную Россию, тогда как славнофилы и либералы соглашались верить только в не-

существующую в действительности, а лишь предносившуюся их воображению совершенно утопическую Россию» (ЛВИ, 263). Вспоминая в «Литературных изгнанниках» о Г. и своих фельетонах (статьях) в «Москов-



В.А. Грингмут

ских Ведомостях», Р. писал: «Грингмут (Вл.А.), очень охотно их начавший печатать, однако жаловался, что они едва переносимы (“по отвлеченности, по вечному рассуждению”) для газеты. “Вы должны знать, что газета читается в конке, и всякая статья должна быть интересна читателю до конца, раньше конца, — на том месте, где он бросит лист, выходя из конки” “Газета обязана давать интересное чтение, а не интересные идеи, для чего есть журналы и книги” <...> Перед Грингмутом у меня много вин (время поворота влево), и да простит он хоть некоторые из них из могилы. Он был честный, хороший консерватор, и ошибочно его охалили только “прислуживающимся правительству” Но недостаток его был, что он был весь “не наш”, — не “субъективист” и не “фантаст” Его трезвость толкнула многих и в том числе толкнула и меня подумать, что он не был честный писатель и человек; но “левые годы”, когда он ни от чего не отрекся и никуда не перебежал, показали его правду. Память его не велика, но честна» (ЛИ, 104). Сравнение публицистики Г. (писавшего под псевдонимом Spectator) и Р. провел С.Н. Трубецкой в статье «Чувствительный и хладнокровный» (РМ. 1896. № 9): «При всем разнообразии своих дарований и своих темпераментов оба имеют ревность и дерзновение; оба — смелые и оригинальные мыслители, побивающие все рекорды благонамереннос-

ти; оба на всех парах и под благоприятным ветром плывут против давно господствовавшего течения. И оба восполняют друг друга. Г-н Розанов более чувствителен; г. Spectator более хладнокровен <...> Г-н Розанов — поэт, идеалист, лирик, г. Spectator — прозаик и реалист в своем классицизме. Один исполнен елеса и горчицы, другой — оцта и соли. Оба вместе составляют прекрасный соус для несколько пресного, канцелярского салата “Русского Обозрения” — странного журнала, водянистого и безвкусного, как бутылочный огурец» (PRO, 1, 293). При этом, добавляет Трубецкой, Р. «ввел символизм в публицистику. В публицистике он сделал то же, что символисты в поэзии, заменяя мысль и рассуждения гаммами чувств, которые выражаются в странных, новоизобретенных звуках, в бессвязных, иногда совершенно нелепых сочетаниях слов и образов» (Там же, 297). В статье «О высших интересах знания и речи» (НВ. 1903. 16 апр.) Р. выступил в защиту идей Религиозно-философского собрания и журнала «Новый Путь» от нападок Г. Когда в Киеве в 1906 съехались люди так называемого «чисто русского направления», Р. писал о Г. «Чествовали, превозносили и сажали на большое кресло большого Грингмута... Пыхтя и отдуваясь, сей господин с “чисто русской фамилией” разливался в своих чисто русских чувствах и говорил “чисто русским языком”, даже, вероятно, без акцента своего первоначального отечества и первоначального племени...» («Еще об “истинно-русских” людях» // РС. 1906. 14 дек.; РГО, 217).

А.Н.

ГРИНЕВИЧ Вера Степановна — педагог и журналистка. Заочное знакомство Р. с ней состоялось после получения ее писем из Красного Рога Екатеринославской губернии. Сохранились письма Г. к Р. 1903, 1911 с просьбами о помощи в публикации ее сочинений в газете (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3877. Ед. хр. 10). Ее «Письмо о миссионерах» Р. назвал «одним из лучших литературных памятников общественного и духовно-религиозного содержания» (ОЦС, 119). Письмо рисовало запущенность православной жизни в русском селе. Г. убедительно показывала, что дикie виды сектантства процветают лишь «там, где царит тьма народная и где уровень духовенства оставляет много желать». Р. пытался опубликовать текст письма в «Миссионерском Обозрении», рассчитывая на содействие В.М. Скворцова, но безуспешно. «Все я маялся, надеясь провести его в печать: и когда открылись “Религиозно-философские собрания” в С.-Петербурге, показал его Председателю их, ректору С.-Петербургской духовной академии, епископу Сергию <Страгородскому>, как равно и многим членам этих собраний. Все смотрели на него одобрително: но напечатать как в духовных, так и в светских журналах или газетах, — мне его не удалось». (ОВС, 119). Р. опубликовал письмо Г. (Гриневиц В. Иродовы жертвы // НП. 1903. № 6), которое затем перепечатал в книге «Около церковных стен». Иродовыми жертвами Г. называла внебрачных детей, брошенных на произвол судьбы. Особое внимание у нее вызвало нежелание местного духовенства заниматься благотворительной работой в этой сфере. Определенные надежды возлагались ею на Религиозно-философское общество. В письме 1906 к А.М. Ремизову Р. дал Г. следующую характеристику: «Сама же она —

баба умная и летучая — не в смысле мази, а в смысле птицы» (Ремизов А. *Кукха: Розановы письма*. Нью-Йорк. 1978. С. 50). В том же 1906 Р. познакомил Г. с семьей Ремизовых, которая в ту пору испытывала материальные затруднения из-за отсутствия постоянного заработка. Г. предложила Ремизовым через посредничество Р. работу по составлению «образцового и руководственного каталога, с объяснениями и наставлениями, по детскому чтению».

А.В. Ломоносов

ГРИФЦОВ Борис Александрович [29.4(11.5).1885, дер. Васильки, Звенигородский уезд, Московская губ. — 21.12.1950, Москва] — критик, литературовед, искусствовед. Перу Г. принадлежит очерк «В. Розанов», вошедший в его книгу «Три мыслителя» (М., 1911) — одна из первых попыток систематического описания мировоззрения писателя. Г. выделяет в духовном пути Р. два этапа: 1) борьба с позитивизмом во имя христианства, создание логически и понятийно выстроенной метафизической системы, стремление к учительству и морализированию, 2) борьба с христианством, отказ от «метафизики в понятиях» и нормативной этики, признание единственной достоверности за ощущением. Главную идею второго этапа Г. формулирует следующим образом: «Религия должна стать радостью, ощущением — и только из благословения всякой радости и всякого ощущения может подняться она <...> Вот что смог он <Р.> противопоставить христианству — культуре похорон, современной цивилизации, которая сочится такой ужасной скущицей» (с. 77). Г. оценивает творчество Р. исключительно высоко: «Розанов может подняться до ка-

ких-то тончайших постижений, до неуловимых милых оттенков и, почти как никто, до огненного пафоса»; «каким-то верхним чутьем он схватил чрезвычайно острые проблемы, ничего почти не читая, он ставил те же вопросы, что выносила на гребень своих волн европейская ученая философия. Сам весь в быту и практике, Розанов оказался значительным теоретиком» (с. 65, 16). Основное достоинство мысли Р., по Г., «не законченные ответы, но постановка острых проблем» (с. 82). Г. проводит сопоставление Р. с немецким философом Г. Риккертом. В то же время в очерке неоднократно говорится о «цинизме» Р., о неслучайности его сотрудничества в «гнусной газете» «Новое Время». Р. в письмах Г. благодарил его «за труд, прилежание», но отметил отсутствие у него собственных оригинальных мыслей (Наше наследие. 1989. № 6. С. 55). Книга Г. вызвала ироничную рецензию П.П. Перцова («Между старым и новым» // НВ. 1911. 23 июля), в которой автору ставилось в вину «бессознательно-догматическое западничество» (PRO. 2, 177). В РГАЛИ хранятся письма Р. к Г. за 1905–1912 (Ф. 2171. Оп. 3. Ед. хр. 1).

С.М. Сергеев

ГРОМОГЛАСОВ Илья Михайлович (1869–1937, расстрелян) — протоиерей, профессор по истории церковного раскола Московской духовной академии, уволенный весной 1911 из академии за либеральные суждения, высказанные им официально в газетах 1906. В письме к Р. 1908 просил о рецензии на посланную вместе с ним книгу по теме диссертации «Определения брака в Кормчей и значении их при исследовании вопроса о форме христианского бракозаключения». Сергеев Посад, 1908. Вып. 1 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4215. Ед. хр. 9. Л. 1). Р. полемизировал с Г. в статье «О ненужных и вредных обременениях» (НВ. 1902. 8 окт.; отклик на статью Г. «О вторых и третьих браках». — БВ. 1902. № 10). В статье «В духовно-училищном мире» (РС. 1911. 15 марта) Р. поднял вопрос защиты Г. и всей духовной профессуры от административных гонений и отметил, что в силу невозможности касаться богословами вопросов текущей политики, «все духовное наше сословие и весь мнимо “духовный мир” погружен в сплетню» (ТПРН, 50). Профессора Г., по его убеждению, уволили оттого, конечно, что вышла сплетня.

А.В. Ломоносов

ГРОТ Константин Яковлевич [22.6(4.7).1853, Царское Село, Петербургская губ. — 29.9.1934, Ленинград] — филолог, славист, архивист, автор публикаций в «Новом Времени» по проблемам славистики, издатель сборника памяти покойного брата: «Н.Я. Грот в очерках, воспоминаниях и письмах» (СПб., 1911) со статьей Р. о нем (впервые под названием «Судьба русского ученого» // НВ. 1904. 14 апр.) Р. дал оценку сборнику в статье «Л.Н. Толстой и Н.Я. Грот (Предсмертные мысли Л.Н. Толстого)» (РС. 1910. 14 нояб.; ЗРП). В 1911 Р. откликнулся на архивную публикацию Г. «Пушкинский лицей (1811–1817): Бумаги первого курса, собранные акад. Я.К. Гротом» (СПб., 1911) рецензией «К 100-летию Пушкинского лицея», которая была отвергнута «Новым Временем». Скромная деятельность Г. противопоставлялась в рецензии скоротечной славе писателей демокра-



Б.А. Грифцов

тического лагеря: «Грот именно шел “в застенчивости сзади”: но благодарность к любящему (т.е. к Гроту) перенесла его через головы торжественной вереницы нигилистов (*Чернышевский, Писарев*), которые все шествовали “впереди всех” и теперь совершенно забыты, как самые последние, самые ненужные» (ТПРН, 285). Автор писем к Р. 1903–1906, 1910–1912. В 1914 в «*Мимолетном*» Р. оставил ряд нелестных характеристик Г «Почтенный человек, и нельзя ничего о нем сказать не только художю, но и “так себе” Но эти его бесконечные статьи, брошюры, книги “о Якове Карловиче Гроде” сделали или, я опасуюсь, сделают несносным имя “Якова Карлыча Грота”, чего величавый старец решительно не заслужил. “Пошади, — должен он сказать из гроба. — Ты завалил мою могилу столькими “воспоминаниями”, “письмами”, моими “из лицейских дней моих”, “Пушкиным и Гротом”, “Гротом и Пушкиным” и опять “Гротом”, что мне стыдно, а читателям твоим мучительно” В самом деле, у читателей и почитателей Константина Яковлевича вырастает такое впечатление, что *русской литературы*, собственно, не существовало до “Як.Карл. Грота”, и лицей имел только тень существования, а не полное существование до вступления и окончания в нем курса Якова Карловича Грота, и *Россия* потому есть сколько-нибудь достойная страна, что в ней жил, трудился и даже любил ее Яков Карлович Грот. Достойный человек Яков Карлович Грот. Но ради *Бога*, пощадите! Так два человека, отец и сын, оба прекрасные, — “вместе” непереносимы. И *Бог* знает для чего портят друг другу существование. “О если бы у меня никогда не родилось сына”, — может вздохнуть в могиле Яков Карлович. А сын когда-нибудь опомнится и скажет: “Как хорошо, если бы у меня был отцом простой и обыкновенный немец, а не знаменитый Яков Карлович Грот”» (КНУ, 237); «Грот Констант. Я. — ужасно скучен» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 13. Л. 1). Между Р. и Г. намечался даже конфликт. В «Письме в редакцию» Р. пытался сгладить негативное впечатление, сложившееся у Г. от изображения одной из встреч с его братом Н.Я. Гротом в конце 1890-х, описанной им в статье «Новые вкусы в философии» (НВ. 1905. 17 сент.; ВДЯ, 336–337). «Я понял, — писал Р. в своем публичном извинении, — какую ошибку допустил в излишней уверенности, что все знают Ник.Як. Грота как человека скорее наивного в денежном отношении, неопытного вообще житейски, и что сцена, мною переданная, отнюдь не подает повода к дурным заподозриваниям характерного покойного философа. Конст.Як. Грот основательно мне указал, что не все же знали лично его покойного брата, и если в моей памяти образ его стоит чистым, то я должен это сказать гораздо яснее, чем в своей статье, давшей повод к колебаниям на сей счет» (НВ. 1906. 26 янв.). Р. пообещал Г. вновь вернуться к портрету его покойного брата при публикации писем к себе *Вл.С. Соловьёва* в журнале «*Вопросы Жизни*», обязательно сделав акцент на его «бескорыстном характере и бескорыстной, самоотверженной жизни».

А.В. Ломоносов

ГРОТ Николай Яковлевич [18(30).4.1852, Гельсингфорс — 23.5(4.6).1899, Москва] — философ, брат *К.Я. Грота*, первый редактор журнала «*Вопросы Филосо-*

фии и Психологии», в котором сотрудничал Р. в 1890–1892. О первых, еще студенческих, впечатлениях от встречи с Г. он делился в своих статьях, уже после кончины философа. «За сына-философа, бывшего в то время преподавателем в нежинском лицее, просил министра народного просвещения *И.Д. Делянова* маститый академик <...> Я.К. Грот, составитель “Русского православия” и, вообще, человек бесчисленных заслуг. И.Д. Делянов ничего не имел против замещения философской кафедры в *Москве* молодым Гротом, но не счит удобным этого сделать, не снесясь с авторитетным лицом в церковной иерархии. Таковым был еп. Никанор. Тому пришлось проштудировать молодые *труды* еще позитивиста и вольнодумца Грота <...> Никанор с полным простосердечием изложил все это в отзыве министру, тот — старому Я.К. Гроту, и он — сыну. “Есть препятствие: ты — неверующий” Нужно сказать, что *семья* Гротовых, состоявшая из старца-ученого и из жены его, Натальи Петровны, урожденной Семеновой, была прелестною по патриотизму, религиозности протестантско-православной и по великому образованию, и не было никакой решительно причины юному философу становиться грубым позитивистом или отрицателем. Это и было налетом студенческих еще кружков и первоначального, неуглубленного *чтения* и изучения. Все, как говорится, “скоро устроилось...”» («*Л.Н. Толстой* и Н.Я. Грот» // РС. 1910. 14 нояб.; ЗРП, 399–400). «Когда председателем Общества стал Грот, *М.М. Троицкий* “сделал ему сцену” (и кажется вышел из состава членов общества) за то, что тот предложил избрать в почетные члены “Психологического общества” гр. Л.Н. Толстого. Я лично помню, как с удивленными глазами молодой, приезжий ученый жаловался, что Троицкий упрекал его громко и открыто в “искании популярности” (себе и “обществу”) выбором Толстого, который “какие же сочинения по психологии написал”» («*Московские идеалисты*» // НВ. 1903. 11 дек). У Г. сложились очень теплые отношения с Л.Н. Толстым. Р. развил эту *тему* после кончины профессора, в статье «Л.Н. Толстой и Н.Я. Грот», приводя воспоминание Толстого о Г.: «“Сверлящий” взор Толстого, без сомнения, сразу схватил в покойном профессоре *Московского университета* главное: безобманную *душу*, чистое сердце, прямую речь и вечную юность, деликатную, милую, неспособную кого-либо оскорбить» (ЗРП, 401). «В Н.Я. Гроде явился *человек*, точно нарочно созданный для настоящей постановки “Психологического общества” <...> Хотя сам он написал очень много *книг*, и вообще непрерывно писал, но совершенно невозможно было понять, чего он держится и какую исповедует *философию*; первый его труд “К вопросу о реформе логики”, изданный в Лейпциге (сам он в ту пору был профессором в Нежине) самым заглавием своим, как и странным местом издания, вызывает неудержимую улыбку <...> Группа московских старых идеалистов сейчас соединилась вокруг него и поставила его председателем “Психологического общества” Отсюда началась, мне кажется, имеющая историческое значение, деятельность Н.Я. Грота. Он стал в буквальном смысле “душою”, “душевностью” не только московских идеалистов, но без всякой вражды и соперничества потянулись сюда и петербуржцы, а наконец и все, преданные философии по всей *России* <...> Сам Грот был и позитивист

и “идеалист в душе” Будь он одно или другое, будь им определенно и фанатично — он все бы задавил прежде всего как редактор» («Московские идеалисты» // НВ. 1903. 11 дек.). Р. познакомился с Г при посредничестве *Н.Н. Страхова*: в письме от 20 ноября 1889 он предлагал передать Г *рукопись* статьи Р. «Об органическом характере науки». Р. высказал сомнение относительно серьезности молодого философского журнала: «Читали ли Вы его объявление об издании журнала философского, помещенное в “Русских Вед.”: какая невозможная вещь, какое детство, поражающая наивность!» (ЛИ, 224). К теме *наивности* Г возвращался Р неоднократно: «“Вопросы” с их бесподобно-наивным Гротом — журнал студентов и вообще не слишком искусившихся в чтении людей» (ЛИ, 275), — писал он Страхову 20 сентября 1891. Страхов постоянно пытался обратить внимание Г. на первые публикации Р. в «Русском Вестнике» и даже передал Г рукопись статьи Р «Заметка о важнейших течениях философской мысли в связи с нашей переводной литературой по философии», тщательно ее отредактировав, для прочтения и публикации в журнале. Г отвечал ему о полученной статье: «Я еще не прочитал статью Роз....., но для меня довольно вашей рекомендации... чтобы сказать, что статья будет непременно напечатана» (ЛИ, 49–50). Статья действительно была напечатана в журнале Г., в рубрике «Критика и библиография» (ВФП. 1890. № 3). В письме к Р., по поводу *гонорара* за статью, Г. назвал ее «прекрасной» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 14). Страхов отзывался о редакторе-философе с наилучшей стороны: «Н.Я. Грот очень добрый человек и поражает своей искренней скромностью и удивительной деятельностью. Вот — пишите для него; сношения с ним так легки и приятны, что лучше желать нельзя» (ЛИ, 50). В декабре 1889 Р. поделился со Страховым своими соображениями по поводу полемики Г., защищавшего Лесевича, Оболенского и *Михайловского*, с *Ю.Н. Говорухой-Отроком*, горячо отстаивавшим «славянофильско-религиозно-метафизическое направление», на страницах «*Московских Ведомостей*»: «Грот, если будет с ним еще полемизировать, верно вступит в самое неловкое положение, т.е. Николаев <псевдоним Ю.Н. Говорухи-Отрока> обнаружит такие стороны литературной карьеры и ума, которых он (Ник.), очевидно, не хочет обнаруживать, щадя человека, теперь нужного, очень полезного, хоть и наивно полезного». В конце сентября 1891 Г. интересовался у Страхова адресом Р. и просил его новые статьи для своего журнала. Первые проблемы в отношениях с редакцией проявились спустя три года. В письме от 16 октября 1894 Г. отказал Р. в дальнейшем сотрудничестве на страницах журнала. Причиной послужила «неприлично» резкая полемика Р. с *Вл.С. Соловьёвым*. Признаваясь в антипатии к «леонтьевщине» розановских статей, Г. назвал Р. «писателем превосходным, мыслителем тонким и вообще человеком очень талантливым», оставив ему шанс к дальнейшему сотрудничеству, но после публичного покаяния «в грехе своем» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 14. Л. 27–28). В начале 1898 редакция журнала Г. отвергла статью Р. «Поздние фазы славянофильства. *К.Н. Леонтьев*». Причина — умозаключения Р. по поводу Ходынской катастрофы, которую Р. определял как испугательную жертву *кровью* после мученической кон-

чины *Александра II* («1 марта 1881 г. — 18 мая 1896 г.» // РО. 1897. № 5). В ответ на это решение и письмо Г в начале 1898 Р. пишет (оставшуюся только в гранках) заметку «О свободе философствования (Открытое письмо к председателю Московского психологического общества проф. Гроту)». Р., твердо отстаивая свои взгляды, вызвавшие несогласие философского журнала, недоумевает: «К чему замешивать *публицистику* в философию; последняя — “бесстрастна”». Он отвечает Г на обвинение в «жестокости» строения своей мысли, что его объяснение Ходынки именно гуманно, так как «ходынская катастрофа — единственное по ужасу подробностей во всемирной *истории* событие», и он подходит к нему с «огромными историческими мерками; оно подымает смысл “крови” до неба» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 13). Встречались Р. и Г неоднократно. Во время посещения Москвы в январе 1889 Р. зашел к Г и поинтересовался его мнением о своем философском трактате «*О понимании*», который он ранее вручил университетскому профессору. Г был сильно смущен, так как не собрался прочесть объемное исследование Р. «— Рецензия? — сказал мне задумчиво один ученый профессор философии на вопрос, чем могу я объяснить, что по выходе из печати моего первого труда “О понимании”, на него не появилось в литературе даже рецензии: — “Видите, для того, чтобы дать рецензию за своей подписью, критикующий должен прочесть книгу. В ней, однако, сорок печатных листов. Это по крайней мере три месяца чтения. А за рецензию он получит тринадцать, много двадцать рублей. Таким образом, выгоднее труд подешка»» (Розанов В. Злая татарщина (гранки). РГАЛИ. Ед. хр. 206. Л. 6). Последнюю встречу с Г. в конце 1890-х Р. описал в статье «Новые вкусы в философии» (НВ. 1905. 17 сент.). Свидание повлекло за собой грустные размышления об академической философии и ее служителях: «Ей-ей, философы и философия только ходят бледным призраком около реальной жизни; они не только сами сухощавы: около них похудела и действительность» (ВДЯ, 337). Реконструкция диалога двух философов, в котором Г. упомянул о возможности скорого получения наследства от престарелого московского дяди, вызвала протест его брата К.Я. Грота. «Навсегда осталось у меня в памяти одно смешливое и до известной степени философское воспоминание <...> Приехал сюда в *Петербург* покойный московский философ Ник.Як. Грот <...> и как в портфеле редакции лежало несколько моих статей, напечатать которые он затруднялся по таким-то и таким-то соображениям, то для переговоров он пригласил меня к себе, где-то на Большой Конюшенной <...> и в первый раз я увидел славное, здоровое (увы, это было обманчиво!) русское лицо председателя Московского психологического общества <...> — Так, вы говорите, дядя ваш (известный статсекретарь) умирает? — спросил я вслух. — При *смерти*. — И никаких надежд?.. — Ну... ему почти восемьдесят лет. Я и приехал сюда поэтому... Знаете, семья растет, ежегодно новый ребенок, жалования три тысячи в год... я уже стал брать частные занятия по разбору дворянского *архива*, sprawy нет, замучился. Может быть, вот теперь...» (ВДЯ, 336–337). В статье «Л.Н. Толстой и Н.Я. Грот» Р. привел отрывок из письма к Г. епископа Никанора Одесского: «“Кланяюсь вашей супруге. Целую

ваших *детей*. Этакая вы одаренная натура! Известно, что усилена мозговая деятельность ослабляет успешность работы противоположного полюса. И та и другая потребляют много нервной материи. У вас же оба полюса замечательно плодотворны. Значит, вы не из рода Октавия Августа, от которого родились только бесплодные кретины... вроде Кая Калигулы и других” Ах, бурса, бурса...» (ЗРП, 400–401). После кончины философа Р. откликнулся статьей «Судьба русского ученого» (НВ. 1904. 14 апр.). Дав оценку составлению первого тома избранных сочинений покойного, подготовленного Московским психологическим обществом, Р. остановился на «житейской биографии» философа. Особо подчеркивалась необычная трудоспособность и искрометная энергия Г «Грот и дремливость были несовместимы. Где бы он ни появлялся, начиналось движение <...> Начиналось легкое брожение веселящего шампанского. Скептицизм рассеивался около столь уверенного человека, *лень* спадала около человека вечно подвижного». Р. размышляет о причинах преждевременного ухода из жизни Г. и ставит неутешительный диагноз: «И вот такой чистый и умный “Ребенок” <...> упал, когда на воз ему москвичи наложили тяжелых московских булыжников <...> Умер заработавшись, не пропитавшись, свалась от усталости, как кляча под непосильным возом». Статья «Судьба русского ученого», имевшая первоначальное заглавие «Злая татарщина», претерпела значительное сокращение перед выходом в *печать*: был снят обширный материал национальной самокритики, осуждения пассивного элемента в русском начале: «“Злая татарщина!” <...> Какая-то неповоротливость; что-то лежачее; и в то же *время* самодовольное. И вот этих трех наших “богов”: “сыт”, “лежу”, “счастлив” — не прошибешь пушкой» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 7). Позднее опубликованный в «Новом Времени» вариант был перепечатан в сборнике «Н.Я. Грот в очерках, воспоминаниях и письмах товарищей, учеников, друзей и почитателей» (СПб., 1911) под названием «Статья В.В. Розанова». Сохранились письма Г к Р. 1889–1894, 1897–1898 и отзыв Р. 1914, приложенный к ним: «Грот Ник.Як. Никогда такого странного философа не бывало» (ЛЖ. 2000. № 13/14. С. 80).

А.В. Ломоносов

ГРУЗИНСКИЙ Алексей Евгеньевич [21.4(3.5).1858, Москва — 22.1.1930, там же] — филолог, председатель Общества любителей российской словесности (1909–1922). Р. учился одновременно с ним на историко-филологическом факультете *Московского университета*. В статье «Гоголевские дни в Москве» Р. пишет об открытии *памятника Н.В. Гоголю* в Москве 26 апреля 1909: «Председатель Общества любителей российской словесности, А.Е. Грузинский, произнес речь перед памятником, — довольно длинную, но которой никто не слышал (обыкновенный *голос* на площади)... Затем вереницей пошли “чествования” и “торжества” Зачем они? Кому они?.. “Нам”, в сущности, — а “к Гоголю” их отношение слабо или ничтожно» (СХ, 296). Под редакцией Г. выходила «Библиотека всемирной *литературы*», в рецензии на которую Р. писал: «А.Е. Грузинский невыразителен и неярк в самостоятельных этюдах о русских, западноевропейских писателях (“Литературные очерки”,

Данте, Шиллер, Гейне, Императрица Екатерина, Жуковский, Глинка, Тургенев, Толстой), но он превосходный организатор *книг*, превосходный обработователь накопленного материала около великих или интересных писателей, — в учебных целях, приблизительно университетского уровня, университетского *тона*, университетских понятий. Здесь у него есть *любовь* к делу, превосходное знание предмета, тонкий изящный вкус <...> Он сам автор небольших рассказов, т.е. знает сладости и горести *творчества*, а потому может к этим сладостям и горестям отнестись теплее, нежели только ученый. От этого ученые его *труду*, — не излагающие, не “лекторские”, а вот обрабатывающие, “составительные”, — превосходны» (НВ. 1912. 29 авг.; ПВ, 182–183).

А.Н.

ГУБАСТОВ Константин Аркадьевич (1845/1846–1913) — историк, дипломат и министр-президент при администрации римского папы, посланник в Белграде, друг *К.Н. Леонтьева*. Журнал «Русское Обозрение» публиковал подборку *писем* К.Н. Леонтьева к Г 1874–1891 (1894. № 9, 11; 1895. № 11, 12; 1896. № 1, 3, 11, 12; 1897. № 1, 3, 5–7). Свою оценку публикации этих писем Р. дал в статье «Памяти дорогого друга» (РС. 1896. 14 февр.). Для Р. письма Леонтьева к Г. были ценны особым ракурсом освещения личности философа, поскольку они «рисуют его *душу* трогательными и нежными чертами» и свидетельствуют «о необыкновенной теплоте, отзывчивости его души как частного *человека*, как семьянина, хозяина и члена *общества*. В добром и кротком он почти доходил (вопреки своим жестокосердным теориям) до смешного» (ЛВИ, 259). Выйдя в отставку со службы, Г. занялся просветительской деятельностью, которая нашла выражение в его попечительской заботе о публикации наследия Леонтьева. Организаторские усилия Г. на просветительском поприще нашли отражение в статье Р. «Кружок К.А. Губастова в память К.Н. Леонтьева» (НВ. 1908. 6 дек.; ОНД). В письмах к Р. от 14 апреля 1910 и 12 января 1911 Г. приглашал писателя к себе на обсуждение сборника в память о К.Н. Леонтьеве (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 58). О составе кружка друзей Леонтьева Р. отозвался в июле 1910 едкой критикой. Разбору персон, входящих в кружок, Р. посвятил статью «Константин Леонтьев и его “попечители”» (*Новое Слово*. 1910. № 7). На экземпляр статьи, сохранившемся в *архиве* Р., его рукой слово «попечители» было исправлено на «почитатели» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. № 185. Л. 6 об): «Ах, “друзья” Да вы одни и стоите препятствием на пути признания Леонтьева или возрождения его имени <...> Попал в “объятия” друзей своих, *Тертия Филиппова, Анатолия Александрова, Иосифа Фуделя, Вл. Ан. Грингмута, К.А. Губастова, Б.В. Никольского*. Столько “советников” — “тайных” и “статских” В “объятиях” их и заключается его темная “*судьба*”, тот странный “*fatum*” около его имени и *книг*, о которых он говорил перед *смертью* <...> К.А. Губастов прекрасно и величественно “председательствовал” среди “почитателей имени Леонтьева”; и мне показалось в прошлом году, что это — просто берлинский конгресс или уж по крайней мере заграничная конференция...» (ЛВИ, 555–557). Осмеивая чиновное бездушие собравшихся «друзей», Р. задается вопросом о будущем созданного обще-

ства: «Вы не воскресители, а погребатели» (ЛВИ, 557). Рецензируя книгу «Памяти Константина Николаевича Леонтьева † 1891 г. Литературный сборник» (СПб., 1911), Р. дал высокую оценку публикации в нем Г. «Очень интересны воспоминания о К.Н. Л-ве, написанные для „Сборника“ К.А. Губастовым, наиболее долголетним и близким другом покойного» (ОПП, 554). В 1917 Р. писал о Леонтьеве: «Когда я читал много лет назад его письма к К.А. Губастову, я шептал неодолимо: „Какой же это ангел, какой же это ангел“ Его старания уплатить какой-то долгишко в 100–200 рублей греку, владельцу лавочки в Керчи или Феодосии, прямо вызвали слезы. Да, „по натуре“ это была изумительно благородная и чистая душа, без единого пятнышка притворства, лжи, лицемерия, фальши, гордости, тщеславия» (ОПП, 655). Речь об ангельской натуре Леонтьева зашла в Р. в связи с его убеждением о несвоевременности появления этого философа и политика — надо было ему участвовать в управлении *Россией* в конце XVIII в.

А.В. Ломоносов

ГУБЕР Петр Константинович [14(26).9.1886, Полтава — 13.4.1941] — писатель и литературовед. Репрессирован. Под псевдонимом П. Арзубьев опубликовал «Беседа с В.В. Розановым» (Русская Молва. 1913. 16 апр.), в которую включил цитаты из «Уединенного» и «Опавших листьев», как якобы ответы Р. на вопросы интервьюера. В статье «Силуэт Розанова» (Летопись Дома литераторов. 1922. № 8–9. С. 3), написанной после смерти Р., Г. отметил: «Прежде всего это был замечательный стилист, утонченный мастер слова, едва ли не единственный писатель наших дней, у коего была своя собственная, ему одному присущая литературная манера, притом манера не вымученная, не надуманная, а необходимо связанная с существом его мысли. То, что он писал, можно и должно было писать так, как он писал: не иначе <...> *Религия* имеет какую-то не вполне понятную для нас связь с жизнью пола. Розанов с особенной ясностью ощущал эту связь. Говорят, он выдумал „религию пола“ Неправда. Подобные религии были „выдуманы“ или, вернее, пережиты в мистическом опыте за много веков до рождения Розанова. Неисповедимыми путями русский журналист, сотрудник „Нового Времени“ оказался сопричастником этого опыта. Отсюда его вражда к христианству» (PRO, 2, 343, 346). Г. отмечает, что Р. остался непонятым современниками: «Автор „Уединенного“ и после смерти одинок. Теперь его книги — только утеха литературных гурманов. Соблазн, в них заключенный, слишком изыскан и тонок, чтобы действовать на толпу» (Там же, 347).

А.Н.

ГУРЕВИЧ Любовь Яковлевна [20.10(1.11).1866, Петербург — 17.10.1940, Москва] — критик, писательница. Говоря о журнале «Северный Вестник», который с 1891 по 1898 издавала Г., Р. пишет: «Первый „пришел“ Флексер <Вольнский>, и его ввела симпатичная еврейская девушка, Любовь Гуревич, „совсем русская“ (на вид), мягкая, добрая, не умная. „Совсем мы“ Но Бог (как и русских девушек) наградила ее любящим сердцем, — и она, основав „Северн. Вестн.“, вела за руку Флексера. Флексер — уже совсем не то, что Любовь Гуревич. Та —

„вся русская“ (на вид), этот — „только еврей“, по существу и форме» (М, 325). В 1912–1914 Г. возглавляла беллетристический и критический отделы журнала «Русская Мысль», который в 1911–1918 издавал П.Б. Струве. По этому поводу Р. писал: «Около Струве, редактирующего



Л.Я. Гуревич

журнал, стоит „советником“ и „соглядатаем“ еврей Франк. А „беллетристическим отделом“ заведует еврейка Любовь Гуревич. Вот... И теперь в каждой редакции сидит свой Франк, есть своя Любовь Гуревич. Они не пишут или мало пишут. Но они управляют и направляют. О, халдейские звездочеты» (М, 82). Р. ставит общую проблему «еврей в литературе», которая возникла в начале XX в.: «Через издательство, через редактуру, через книгоиздательство, — нельзя торкнуться ни в какую дверь, чтобы через приотворенную половинку ее показались черная клинообразная бородака, как на рисунках пирамид в Египте, с вопросом: „Что угодно? Я секретарь редакции Захаров. Рукопись? От русского? Перевод!?! Извините, у нас свои сотрудники, и от посторонних мы не принимаем“ Так русские (кроме „имен“) мало-помалу очутились „несвоими“ в своей литературе. В „Литературном Фонде“ у кассы стали Венгеров и Гуревич» (СХР, 65). При письме Г. к Р. 30 сентября 1898 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4212. Ед. хр. 19) имеется характеристика, сделанная Р.: «Гуревич Любовь — хорошая девка, но, по-видимому, безумно не умна» (ЛЖ. 2000. № 13/14.

Ч. 1. С. 108). В *письме Э.Ф. Голлербаху* от 26 октября 1918 Р. пишет, что Г. «Дамаянти Флексера, несчастно и вне-надежно его любившая; сама она — прелестна и хороша» (ВНС, 380).

А.Н.

ГУС (Hus) Ян (1371, село Гусинец на западе Чехии — 6.7.1415, Констанца) — идеолог чешской Реформации. В статье «Панихида по Иоанне Гусе в *Москве*» (НВ. 1916. 14 июля) Р. писал, что по ходатайству московских и петроградских славянофилов глава Московской митрополии митрополит Макарий после многолетних административных запретов разрешил «отслужить по Иоанне Гусе панихиду» в православном храме. Приветствуя это решение, Р. говорит о Г.: «Он не был, конечно, «православным», т.е. по вероисповеданию, по формуле, по крещению. Но он не остался и католиком, а та борьба, которую он поднял против папства и католического клира, показывает если не точным и буквальным образом, то общим ходом восстания и общим направлением его протеста сближение с *православием* <...> И вот он был задавлен, задушен властолюбивым папством. И, по обычаю того жестокого XV века, был «сожжен как еретик на костре» «Еретичество» его, однако, не было какою-нибудь лично выдуманною, какою-нибудь личною фантазиею, а было протестом против того «папского духа», против которого восставали и боролись и русские иерархи, богословы и витии как московского, так и петербургского времени. Однако самая его мука и характер муки, всегда возмущавшие русское и православное *чувство*, должны были вызвать и действительно вызывали глубокое сочувствие к национальному чешскому герою» (ВЧВ, 308). Р. сравнивает Г. с *Л. Толстым*, тоже «еретиком»: «Последний хотя церковно и заблуждался, конечно, однако, эту вину можно было ему оставить, потому что в эпоху, совершенно безбожную и внецерковную, он среди немногих и громче всех остальных призывал помнить *Бога*, призывал думать о *Боге*» (ВЧВ, 309). Многим ранее Р. напечатал заметку «Иоанн Гус» по поводу предполагавшейся канонизации Г. (НВ. 1900. 24 нояб.).

А.Н.

ГУТЕНБЕРГ (Gutenberg) Иоганн (1394/99 — 3.2.1468, Майнц) — немецкий изобретатель книгопечатания. Имя Г. стало для Р. нарицательным обозначением бездушности книгопечатания. Как будто этот Г. «облизал своим медным языком всех писателей, и они все обездушались «в печати», потеряли *лицо*, характер. Мое «я» только в рукописях, да «я» и всякого писателя. Должно быть, по этой причине я питаю суеверный страх рвать *письма*, тетради (даже детские), *рукописи* — и ничего не рву; сохранил, до единого, все *письма* товарищей-гимназистов; с жалостью, за величиной вороха, рву только свое, — с болью и лишь иногда» (У, 24). Печать пришла после *рождения литературы*. «Техника, присоединившись к *душе*, дала ей всемогущество. Но она же ее и раздавила. Получилась «техническая душа», лишь с механизмом *творчества*, а без *вдохновения* творчества (печатать и Гутенберг» (У, 123). Р. видел в изобретении Г. «стеснение *свободы мысли*» (У, 136). Обращаясь к *истории*, Р. пишет: «В средних веках не писали для публики, потому что

прежде всего не издавали. И средневековая литература, во многих отношениях, была прекрасна, сильна, трогательна и глубоко плодотворна в своей невидности. Новая литература до известной степени погибла в своей излишней видности; и после изобретения книгопечатания вообще никто не умел и не был в силах преодолеть Гуттенберга» (У, 144). «Наваждение Гуттенберга» Р. усматривал в том, что все писатели стали рабами своих *читателей*. «Это все Мефистофель-Гуттенберг устроил. Черная память» (У, 271). В «*Сахарне*» Р. обвиняет книгопечатание в уничтожении личных связей людей: «Люди должны дотрагиваться друг до друга — вот моя мысль. Гуттенберг уничтожил всеобщую потребность дотрагиваться. Стали дотрагиваться «в трубу», «через телефон» (*книга*): вот злая черная точка в Гуттенберге. Гуттенберг один принес более *смерти* на Землю, чем все люди до него. С него-то и началось замораживание (планеты). Исчезли малые дотрагивания» (СХР, 156). В *корне* новой *цивилизации* заложен «дух трактира»: «Гуттенберг ввел «трактир», т.е. общие проходы, общие дороги, tables d'hôte гостиницы, в душу людей, в мысли людей, в сердцебиение людей» (СХР, 269). Отсюда вывод Р.: «Со времен Гуттенберга литература (нечаянно?) попала в яму и говорила все *время* какие-то формальные, ненужные слова» (СХР, 257). Однако Р. смотрел на Г. и с другой стороны: «Гуттенберг, м.б., и «не хорошо» изобрел. Но для меня он очень «хорошо» изобрел» (КНУ, 384). Р. соотносит Г. со своим жанром «опавших листьев — мимолетного»: «Канальственное изобретение Гуттенберга сообщило мимолетному вечность. Мимолетное до Гуттенберга всегда и всеобщу умирало. Из «мимолетного» ничего не осталось от человечества. Кроме, однако, стихов, — как «мимолетных настроений»» (СХР, 271). Поэтому раз «есть Гуттенберг», заключает Р., то он и должен печататься.

А.Н.

ГУЧКОВ Александр Иванович [4(26).10.1862, Москва — 14.2.1936, Париж] — московский предприниматель, лидер партии «Союз 17 октября», депутат 3-й *Государственной думы*. Г. нередко указывал на агитационные сокровища, которые накопились на страницах «*Нового Времени*» и которыми октябристы пользовались с большой благодарностью. В 1909 Г. заявил, что провозглашенные А.С. Сувориным со страниц его *газеты* основные идеи «соответствуют коренным верованиям Союза 17-го октября» (Телохранитель. Воронеж, 2001. С. 220). Лидер «Союза 17 октября» избрал именно газету «Новое Время» для своего интервью 27 августа 1906, в котором выступил с полным одобрением Столыпинских реформ и поддержкой военно-полевых *судов*. Это *письмо* Г. во многом предопределило будущую политическую эволюцию «Союза 17 октября». Вслед за интервью лидера октябристов Р. выступил в редакционной статье суворинской газеты «*Остроумие среди крови*» (НВ.1906. 7 сент.) в защиту Г. от нападок *Е.Н. Трубецкого*, обвинившего «Союз 17 октября» в поддержке репрессивных мер *правительства*. Лидер партии мирного обновления Е.Н. Трубецкий язвительно вопрошал: «К партии мирного или военного обновления» принадлежит Г.? (РГО, 155). Р. обозначил в своем ответе разницу между профессором Трубецким, «мирно пописывающим статейки в сво-

ем кабинете, и ответственной государственной властью, которая обязана обеспечить населению покой, — хотя бы вооруженною силою» (там же). Позиция Г. определялась как ответственная политика. Это была поддержка Р. офицерского курса «Союза 17 октября» и ее лидера. 10 сентября Г. уже сам выступил с разъяснением своей позиции в открытом письме Е.Н. Трубецкому, опубликованном во всех либеральных газетах. Шквал газетных осуждений выступления Г. заставил Р. вновь взяться за перо с целью разъяснения высказанной ранее позиции: «Какой азарт в нападении на г. Гучкова, в сущности, за один тезис, что он высказался о горькой необходимости военно-полевых судов. Это, однако, высказывание и есть то самое выражение негодования к убийцам и убийствам слева <...> ибо требование военно-полевого суда для господ, захваченных на месте преступления, и есть выражение негодования к злодеяниям» (Там же, 166). Политическая аморфность октябристов и страх использования партией Г. национальных лозунгов отталкивали от них А.С. Суворина, а вслед за ним и Р. Впервые высокий балл за работу 3-й Государственной Думы Р. поставил на заседании 23 и 24 мая 1908, особо отметив «серьезность и одушевление высоким чувством к отечеству» в речи Г. (ВНС, 142). На этом заседании П.А. Столыпин поддержал критику парламентариев в адрес морского ведомства. Р. призывает взять за образец продемонстрированный в Думе стиль работы: политику взаимных уступок как гарант слаженной работы правительства и общественности. Р. защищал Г. от нападков со стороны главных соперников октябристов — партии кадетов. В статье «Партии дурного тона» (НВ. 1908. 4 июня) Р. отвечал на резкие выпады в адрес Г. со страниц кадетской газеты «Современное Слово»: «“Классовая газетка” только визжит от удовольствия, что оратор [Г.] “уязвил”, не замечая невыразимого своего убожества, невыразимой смрадности всего этого тона, от которого за версту разит лакейской. Ну, господа, разъясните же “закулисную сторону” смелости г. Гучкова, если вы что-нибудь о ней знаете или слышали? — призывает Р., нападавшего на Г. автора. — Ему никак не могут дать ордена или дать высокого назначения, так как критика его коснулась того, откуда дается все это? Так, может быть, за будущую смелость ему обещал авансом пэрство английский король?» (ВНС, 183). Близость общения Р. с главой октябристов проходила серьезное испытание начавшим-

ся в 1910 оппозиционным курсом партии «Союза 17 октября», а также напряженными отношениями между ее лидером и Николаем II. В эти годы Г. вступил в масонскую ложу — тоже достаточный повод для охлаждения отношений с «Новым Временем». Оценки Р. деятельности Г. в 1917 были связаны с ролью политика в деле отречения Николая II от престола и с отношением к работе Временного правительства, в которое Г. входил в качестве военного и морского министра. Р. обвинял Г. наряду с другими политическими лидерами в западной политической ориентации и предательстве интересов России: «Пока Миллюков и Гучков, и Родзянко ездили к царю и предлагали “отречься” ввиду таких-то обстоятельств” и что “Петербург взволнован”, то это было еще подражание Луи-Блану и вообще “иностранное”» (АНВ, 276). Р. возлагал надежды на политику Временного правительства. В начале апреля 1917 он упрекал Г. наряду с другими членами Временного правительства в потакании радикальным настроениям, исходящим от революционных партий. Р. писал, что все они, «испуганные донельзя, бессильные до прострации, только “счастливы исполнить”, что им подсказывают могучие анонимы, приблизительно такие же анонимы, как Стеклов» (М, 349). В конце апреля 1917 Р. считал, что перед Г. и другими министрами стоит единственная задача: «Как спасти Россию и сохранить для нее то положение, какое она завоевала совершившимся переворотом» (М, 357). В эмиграции с 1919.

А.В. Ломоносов

ГЮГО́ (Hugo) Виктор Мари (26.2.1808, Безансон — 22.5.1885, Париж) — французский писатель. Когда в 1906 во Франции был проведен опрос, кого считать величайшими людьми во Франции XIX в., то, как отмечает Р. (ВТРЛ, 174), Г. оказался на втором месте (после Л. Пастера). «Героичность и эстетизм у Гюго» (ОПП, 218) — наиболее привлекательные для Р. черты. Он относит Г. к «прекрасным человеческим явлениям» (ОПП, 333) наряду с Гёте и Л. Толстым. Вместе с тем Г., как полагает Р., — явление ушедшего XIX в., и Р. вспоминает: «Гюго видел в себе такое значение, что как-то выразился, что Париж, в котором он родился, будет некогда переименован в “город Гюго” Ну, и все это прошло <...> Гюго еще читается с эстрады, в гостиных и театре» (ОПП, 228). А.Н.

Д

ДАЛЬ Владимир Иванович [10(22).11.1801, м. Лугань, Малороссия — 22.9(4.10).1872, Москва] — прозаик, автор «Толкового словаря живого великорусского языка» (1861–1867) и сборника «Пословицы русского народа» (1862). О таких собирателях русского языка, как Д., Р. писал: «От Кириши Данилова до недавно умершего собирателя народных песен Шейна, целый ряд людей, как Вл. Даль, Сахаров, Снегирев, *Киреевский*, Рыбников, *Афанасьев*, Погодин и еще множество других, — начали собирать по шепочке деревенскую и сельскую Русь» (ВДЯ, 204). О «великих трудах» Д. и трудах А.А. Потебни Р. пишет: «Оба “разворочали” русский язык; “разнюхали” словесное, звуковое, фонетическое народное творчество. Без объяснения всякий поймет, что оба были “не школы *Белинского*”; трудились, жили, думали и даже волновались прекрасными и великими волнениями, вне “метода *Белинского*”» (ОПП, 506). «Русь жила прежде и теперь живет весело: с румянцем, со смехом, с присловьями и прибаутками, которые собирали Даль, Сахаров и Снегирев» (СХ, 213). В «*Сахарне*» Р. замечает: «Ну, представим, в составе “Пословиц русского народа”, собранных Далем, появилась, т.е. к ним найдена новая поговорка: вот 4 строчки. То ведь это есть приобретение *русской литературы*; нет — русского духа. Есть “еще дальнейшая страница *Карамзина*”» (СХР, 253). О современном фольклоре Р. записывает: «Я думаю, в воровском и полицейском языке есть нечто художественное. Сюда Далю не мешало бы заглянуть» (У, 211). Имя Д. стало для Р. нарицательным, и своего друга библиографа *Сергея Цветкова* он называет «Далем добродетели» (ПЛ, 150). Значение Д. виделось Р. как образец жизни инородца в России: «Путь Даля и Востокова, — двух немцев и лютеран, которые настолько были преданы России, что переменяли даже фамилию — на русскую (Востоков) и под конец жизни перешли из лютеранства в православие: вот путь и канон духовной жизни инородца в России» (НВ. 1914. 19 янв.; НФП, 227).

А.Н.

ДАНДЕВИЛЬ Виктор Дезидерович (псевдоним Друг семьи; 1826–1907), генерал от инфантерии, член Военного совета в Военном министерстве, участник русско-турецкой войны 1877–1878, автор работ по военной теории и истории, корреспондент Р. в 1900 (ОР РГБ. М. 3877. Ед. хр. 1). К его письмам приложена розановская характеристика корреспондента: «Дандевиль. Красавец генерал 20 лет “на разных половинах с женой” и автор

книги “Мать воспитательница”» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 98). 21 марта 1900 Д. прислал Р. на рецензию свою книгу «Мать воспитательница», с просьбой об отзыве в «*Новом Времени*». Р. смог поместить рецензию в «*Гражданине*»: «Друг семьи. Мать воспитательница (Г. 1900. № 36. 18 мая). Номер газеты со своей рецензией Р. послал Д. 24 мая 1900.

А.В. Ломоносов

ДАНИЛЕВСКИЙ Николай Яковлевич [28.11(10.12). 1822, село Оберец, Ливенский уезд, Орловская губ. — 7(19).11.1885, Тифлис] — ученый-биолог, философ, публицист. Имя Д. было знакомо Р. с юности, ибо поклонником Д. был его старший брат Николай. В ответах на анкету нижегородской губернской архивной комиссии Р. сообщал, что старший брат «был умеренный, ценил Н.Я. Данилевского и *Каткова*» (ОСЖС, 708). Тесное общение с *Н.Н. Страховым*, пропагандистом идей Д., оказало значительное влияние на восприятие Р. всего комплекса идей Д. Первой статьёй Р. в споре об идейном наследии Д. стала работа «Вопрос о происхождении организмов» (РВ. 1889. № 5), направленная в защиту книги Д. «Дарвинизм» (СПб., 1885–1889. Т. 1–2). Полемика Страхова против *В.С. Соловьёва* и *К.А. Тимирязева* из-за наследия Д. свидетельствует, что именно книги Д. обладают «истинно достойным содержанием». В статье «Европейская культура и наше отношение к ней» (МВ. 1891. 16 авг.) Р., полемизируя с авторами «*Вестника Европы*» Е.И. Утиным и К.К. Арсеньевым, а косвенно и с *В.С. Соловьёвым*, писал, что *славянофильство* — живое развивающееся учение, «введенное в систему Н.Я. Данилевским» (ЛВИ, 179). Вслед за *Страховым* Р. признает Д. систематиком славянофильства. Поддержкой Страхова стала рецензия Р. «Рассеянное недоразумение» (НВ. 1894. 9 нояб.) на его статью «Исторические взгляды Г. Рюккерта и Н.Я. Данилевского» (РВ. 1894. № 10). Страхов оспаривал утверждение *В.С. Соловьёва* о заимствовании Д. теории культурно-исторических типов из немецкого историка Рюккерта. Р. присоединился к мнению Страхова. Статью «Поздние фазы славянофильства» (НВ. 1895. 14 февр.) Р. посвятил Д. и *К.Н. Леонтьеву*. По мнению Р., Д. «не указал, не объяснил ни одной особенности нашего исторического сложения, собственно и славянофильству он ничего не прибавил: его роль была другая, менее значительная, более грубая» (ЛВИ, 251). Эта роль, считает Р., состоит в том, что «теория культурно-исторических типов, предложенная Н.Я. Данилев-

ским, вовсе не есть завершение славянофильской теории, не есть ее высшая фаза, как утверждают почти все ее критики и последователи. Гораздо правильнее ее можно определить как скорлупу, которая замкнула в себя нежное и хрупкое содержание, выработанное первыми славянофилами и после никем не поправленное, никем не разрешенное» (Там же, 246). Тому, «что Киреевский, Хомяков, К. Аксаков наблюдали как факт <...> Данилевский дал имя, указал аналогии в природе, нашел место во всемирной истории». Поэтому «читатели „России и Европы“ легко поймут из этой книги, поче-



Н.Я. Данилевский

му, на основании каких общих законов истории они не схожи с германцем, французом, римлянином, греком, но в чем именно не схожи, чем их родина отличается от тех стран в историческом, бытовом, культурном отношении — этого они не узнают отсюда» (там же). По прочтении книги Д. «Россия и Европа» Р. писал Страхову 31 марта 1888: «Удивительно трезвый и ясный ум. Над прочими нашими славянофилами он имеет то громадное преимущество, что совершенно чужд всякого мистицизма. Быть может, это делает его менее глубоким, нежели они, но для массы читающего общества неизмеримо более убедительным, по моему мнению, — убедительным неотразимо» (ЛИИ, 161). Поясняя обвинения Вл. Соловьёва, будто «Россия и Европа» есть плагиат с немецкого, Р. утверждал в примечаниях к «Литературным изгнанникам»: «Самый ум Данилевского был не компилятивный, — и если он не пошел за Дарвином, странно было вообразить, что он начинает “компиллировать с (известного) Рюккерта”. Данилевский вообще этого не мог, не умел. — Дар компиляции и

плагиата, — им же переполнены все русские профессора, — есть именно дар, и очень тонкий, ажурный; к которому несколько “медвежья” натура русского антидарвиниста, виноградаря и рыбовода (охранение рыбных промыслов в России) была совершенно непригодна» (ЛИИ, 127). Значение Д. для славянофильства, по мнению Р., более формально, чем содержательно, но зато благодаря Д. славянофильство впервые выходит за пределы «национальной значительности и получает смысл универсальный» (ЛВИ, 255). Ощутив себя в консервативно-православном лагере «чужим среди своих», в равной степени далеким от благодушного народопоклонства хомяковского кружка и последователей Д., Р. отмечал в философско-ностальгическом этюде «Из старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьёва (1905): «И с Данилевским, и со Страховым нужно было разойтись (это Соловьёв чувствовал, это я теперь чувствую)» (ЛВИ, 476). Однако полного расхождения Р. с названными мыслителями все же не произошло. Уже в 1907 в полемической статье «Привисленские публицисты у московского князя в гостях» (НВ. 1907. 9 окт.), направленной против польских публицистов, печатавшихся в «Московском Еженедельнике», Р. смягчает тон: «Владимир Соловьёв, который в пылу полемики назвал здоровый и прекрасный патриотизм Данилевского, Страхова и Аксаковых “явлением народной дикости”; но это было только припадком полемики, в которой под конец жизни он раскаялся, как раскаялся и вообще в своих католических европейских пристрастиях и начал писать с почтением в «Вестн. Европы» уже по русско-византийской государственности» (ОНД, 236). В 1910 стало меняться отношение Р. к официальному православию. «По учению всей древности, — пишет он, — не явному, но и не тайному, источник мужской половой силы, “напора” и “дара” (факультативные свойства) и таинственных способностей женской “утробы” из семени мужского созидать дитя, теленка, козленка и пр., пр., — есть небесный, божественный <...> В этом отношении поразительно, что все “истинно-православные”, Страхов, Данилевский “не говоря уж о Розанове”, поддерживают тезис древнего мира» (М, 261). Упоминания Д., по большей части, находятся среди имен тех национальных мыслителей, которых «забыло», «загушило», «задавило» образованное общество. «Как задавили эти негодяи Страхова, Данилевского, Рачинского... задавили все скромное и тихое на Руси, все вдумчивое на Руси» (ЛВИ, 636). Р. приводит слова одного из профессоров Московской духовной академии о книге Д. «Знаете, какая странность: “Россия и Европа” выходила издание за изданием в царствовании Александра III, когда на верхах было течение мысли, соответствующее духу этой славянофильской книги <...> Но вот странность: видя много частных библиотек, я ни разу не встречал этой книги. И мне говорили, что книга эта действительно быстро расхищалась по выходе: но она собственно скупалась и истреблялась. Оттого “изданий вышло много”, а ее “нигде не видно” («Новый духовный журнал и статья проф. Н.М. Боголюбова» // К. 1916. 4 нояб.; ВЧВ, 427). Р. поясняет, что эта книга, «вредящая германским интересам в России» и предупреждавшая Россию о германской опасности, уничтожалась заинтересованными лицами. В статье 1906 «На суде рабочих депутатов» Р., называя имена Каткова,

Рачинского, Страхова и Д., заметил: «Вообще для “оборона” у нас нашлись бы силы, которые могли бы померяться с революцией» (КНУ, 181). Но в 1918, под впечатлением революционной катастрофы он отказывается русским мыслителям консервативного лагеря в каком-либо серьезном значении для общественной жизни страны. «Они, — писал Р., — звонили в колокольчики, когда в стране шумел набат. Никто их не услышал, никто на них не обратил внимания. Когда уже все крушилось, пирамида падала, царство падало, когда поднялась Цусима одного дня, о всех этих предупреждавших Катковых, Леонтьевых, Гиляровых-Платоновых, Данилевских, Страховых, Аксаковых, Хомяковых, Киреевских даже не вспоминали, даже не называли ни разу их имен. Они были вполне — могилы, вполне могильны» (ОПП, 670–671).

А.В. Ефремов

ДАНТЕ (Dante) Алигьери (1265–1321) — итальянский поэт, образность которого Р. использовал в своих книгах и статьях. В письме к К.Н. Леонтьеву он сравнивает «людей теперешних» с «Франческа да Римини у Данте — что-то вечно несущееся, ни за что не могущее удержаться, да и не знающее, что это нужно» (ЛИ, 398). Говоря об израильском браке как «кладке яиц» без любви, Р. продолжает: «Позвольте, были ли дети у Франчески да Римини? А мы ее не можем забыть. Вся Европа не может забыть, с тех пор как Дант написал о ней несколько строф. Ее никто не может забыть, и она незабвенная для целого человечества» (КНУ, 546). Определяя место Д. в мировой культуре, Р. утверждает: «Первый великий поэт Европы Данте следует за Беатриче и казнил пап, т.е. первым шагом поэзии и был выход из цикла средневековой мысли или, что то же — “канона суровой жены”» (ВДЯ, 62). И вместе с тем «Данте со своими “кругами ада” полно выразил мрачную теологию великого и беспощадного средневековья» (ОПП, 312). «Великий странник и благороднейшая душа, благороднейшая в мире, Данте, начертал именно “Ад” центром всей поэмы. В ней тусклы около него “Чистилище” и “Рай”, в сущности фальшивое и чистилище, и рай» (АНВ, 196). Во время поездки в Италию в 1901 Р. слушал лекцию о Д. депутата парламента Дж. Соннино, ставшего вскоре главой правительства: «Соннино между политикой и экономикой занимается также Данте. Это, собственно, обычная итальянская слабость, в особенности флорентийская. И я тогда не мог еще вполне оценить и понять значение Данте вообще, а в особенности для Италии, и посмеивался над экзальтированными “дантистами”, мне трудно было дослушать до конца лекцию хотя бы самого знаменитого “дантиста” проф. Пио Райны о Данте. Но лекция “ярого реакционера” Соннино о Данте — это было уже слишком заманчиво! И я пошел слушать. “Magnanula” флорентийского университета была переполнена. Студенты смотрели исподлобья и сердито на знаменитого лектора. Среди слушателей были также верхи общества, власти, масса иностранцев. На кафедру взошел высокий, худой господин лет пятидесяти, с ярко выраженным еврейским носом и с задумчивыми еврейскими глазами. Он читал одну из песней “Paradiso” из “Божественной комедии” и комментировал ее. Читал плавно, без пафоса, без жестикюляции, без “каденций” И его речь — комментарий к песни Данте — была про-

ста, изящна, умна и глубока» (М, 260). Р. рассказывает о работе П.П. Трубецкого над памятником Д.: «Памятник его Данте — великолепен. “Как вы так сделали? — спросил его И.Е. Репин. — Вы изучали “Божественную комедию”?» — “Ну, — ответил он с отвращением, — стану я читать такую скучищу”. Так мне передавал, смеясь, Репин <...> Он умел так Данте выразить, точно всю жизнь его одного изучал, им одним проникся до мозга костей» (СХ, 323).

А.Н.

ДАРВИН (Darwin) Чарлз Роберт (12.2.1809, Шрусбери — 19.4.1882, Даун, близ Лондона) — английский естествоиспытатель, автор эволюционного учения о происхождении животных и растений. Р. ознакомился с учением Д. рано. Пережив в стенах университета умственный и духовный переворот, Р. к Д. стал относиться так же, как ко многим кумирам своих гимназических увлечений позитивистского и радикального толка. О восприятии дарвинизма в эти годы Р. вспоминал в книге «Литературные изгнанники»: «Уже со времен моего студенчества, хотя я был только филолог, но с философскими в себе способностями, не только “неверность”, но умственная пошлость дарвинизма не возбуждала во мне никаких сомнений, оставляя “все факты (открытые или замеченные Дарвином) верными” Факты — одно: и их никто не смеет поколебать. Но ведь факты надо объяснить, объяснять...» (ЛИ, 35). К собственному объяснению фактов, легших в основание дарвинизма, как и объяснению популярности теории Д., Р. подтолкнула полемика Н.Я. Данилевского, автора критических работ о дарвинизме, и защитника этой теории К.А. Тимирязева. «Я был в высшей степени увлечен всем этим, — пишет Р. в “Литературных изгнанниках”, — и наконец тезисы дарвинизма и анти-тезисы Данилевского у меня свернулись, в мысли и языке так сказать “В минуты и секунды учебного часа” Рукопись никогда не была напечатана» (ЛИ, 29). Из сохранившегося письма Р. к Н.Н. Страхову от 10 января 1889 можно узнать и название рукописи: «Признание проф. К.А. Тимирязевым теории Дарвина опровергнутой» (ЛИ, 190). Дарвинизм для Р. в это время «есть просто ерунда слов, перемешанная с великолепными фактами» (ЛИ, 36). В его представлении, Данилевского побудило засесть за объемный труд против дарвинизма возмущение его «целомудренного сердца» (ВМНН, 269). Но при общем сочувствии Данилевскому Р. тем не менее отдавал должное и его оппоненту: «Тимирязев — в высшей степени талантливый ботаник, может быть, с черточками гения; но — не методолог» (ЛИ, 42). С работой Р. над критикой дарвинизма ознакомился Н.Н. Страхов, одобрявший этот труд и постаравшийся хотя бы фрагментами его опубликовать. Первоначальная рукопись легла в основание нескольких статей Р.: «Вопрос о происхождении организмов» (РВ. 1889. № 5), «Органический процесс и механическая причинность» (ЖМНП. 1889. № 5) и «Отречение дарвиниста» (МВ. 1889. 21 окт.). Соединив первые две работы в статью «Вопрос о происхождении организмов» (в первоначальном варианте это и была одна статья), Р. включил ее в книгу «Природа и история» (1900), куда вошла и «Теория Чарльза Дарвина, объясняемая из личности ее автора». Работа «Вопрос о происхождении организмов» лишь ус-

ловно может быть воспринята как своеобразный отклик на критическое исследование Н.Я. Данилевского «Дарвинизм» (1889). Статья представляет собой исследование вопроса о причинности и целесообразности, которое выходит за рамки критики дарвинизма. Но разобрав причинность и целесообразность как «два различных способа соединения звеньев, которые слагают из себя процесс» (ПИ, 6), Р. вернулся к теории происхождения видов, чтобы показать его несостоятельность. Главная несообразность, обнаруженная Р. в выводах английского ученого, заключается уже в самом ее названии. «Будучи (по задаче своей) теорией происхождения органических форм, она в действительности говорит только об их сохранении; или точнее и строже: о не сохранении форм, за исчезновением которых остались те, которые наблюдаются» (ПИ, 3). Природные процессы, описанные Д., лишены какой бы то ни было созидающей, производящей силы» (там же). Отдавая должное редкой способности Д. наблюдать и регистрировать факты, Р. подчеркивает его неспособность сосредоточить внимание на внутреннем строении, а тем более — на внутренней жизни существ и явлений. Учение Д., для Р. «слишком ясное и простое», «умственно грубое» (ЛВИ, 210), — это порождение своего времени. «Дарвин возмущил не только естествоведов Данилевского, но и все богословие целой Европы ополчилось на него <...> Все в Европе почувствовали, что он религиозно оскорбил их», поскольку «все богословы были полны безмолвного чувства, что есть что-то святое в том животном и растущем, виды чего, “species”, Дарвин вздумал толковать как глупую и бездушную мозаику» (ВМНН, 276). Это учение виделось Р. как следствие умственных движений в Европе. После изобретения Гутенбергом книги «потеряли в себе ноумены. И образовалась феноменальная ученость и образованность без ноуменальной образованности и учености» (АНВ, 170). Образ Д. окрасил умственную и культурную жизни России. «Дарвин в высшей степени подошел к пошлости XIX века. Ведь он весь пошлый, этот век. О, как чувствовал я это с университетской скамьи» (М, 15). В своей элементарности и общедоступности дарвинизм подобен социализму, оба учения не требуют для своего усвоения больших знаний. «Как “теория Дарвина” покончила с религиею и цивилизациями, упразднила гвельфов и гибеллинов, ассирийцев и рыцарей, Фридрихов, Людовиков, Ричардов и “иных прочих”, так же точно “социализм”, т.е. два разговора со студентом, упразднил хартию вольностей, английский парламент и вообще всю скучищу Иловайского. Отсюда необузданная ярость устремления к Дарвину и социализму» (КНУ, 345). Видит Р. и общие черты дарвинизма с ницшеанством: «Вспомнишь Ницше и его: “все рвется к сверх-человеку!” Эти порывы именно не могут не быть страдальчески, иногда уродливы, “болезненны как будто бы”: но — до времени, когда ясная форма, “не слышанная и не виданная”, вдруг вернется к покою, сияя новым сиянием “происхождение” — то “видов”: тут Дарвин совпадает с Ницше и Ницше с Дарвином» (ВДЯ, 355). Умственные устремления шестидесятников изначально были основаны на тех же элементарных и общедоступных суждениях, что и дарвинизм. Поэтому они и нашли в Д. столь понятную и столь удобную для их умо-заключений фигуру. Так, они «из русских лишь читали

только “себя” и “своих”, т.е. Михайловский читал Кривенку, а Кривенко читал Михайловского” и т.д., и “тем усредне они читали иностранцев”, причем “больше всего — Дарвина» (КНУ, 559). Это чтение — один из главных признаков этого поколения: «все Шелгуновы и Скабичевские не могли съехать с “гвоздя” — Дарвин, Спенсер и Бокль» (там же). Они «все сделались быстро “дарвинистами”, контристами, “позитивистами”, “социалистами”, “марксистами» (КНУ, 559). И в книгах своих говорили не о России, но «о Дарвине, обезьянах и классовой борьбе» (КНУ, 592). Вместе с тем при «необузданной ярости устремления к Дарвину и социализму», а в чем-то и благодаря этому устремлению, «кое в чем 60-е годы были безумно счастливы» (КНУ, 345). Кроме этих имен Д. вызывал в памяти Р. особенно трепетные воспоминания — «комнаты воспитанниц-пансионеров» Медицинского института, которые были «упорядочены, и чисты, благоустроены, умны», где на стенах висели портреты «Дарвина, Гельмгольца, Писарева» (ВТРЛ, 114). Образ Д., окрасивший целую эпоху жизни России, уйдет, как и другие ее приметы: «Так вот “не увидим” завтра всего “нашего времени”, с парламентами, Дарвином и забастовками, быть может потому, что этому веку «не нужно было “бессмертия души»» (У, 140).

С.Р. Федякин

ДАРСКИЙ Дмитрий Сергеевич [29.9(11.10).1883, Тула — 19.12.1957, Клин, Московская обл.] — литературовед и критик. Сын священника. Жизненные пути Д. и Р. скрещивались несколько раз. В журнале «Русская Мысль» (1915. № 8) появились две первые главы монографии Д. о А. Фете — «Радость земли. Исследование лирики Фета» (М., 1916), на которые Р. откликнулся положительной рецензией «Новое исследование о Фете» (НВ. 1916, 24 сент.): «Г-н Д. Дарский очень тонко улавливает, что этот музыкальный и несколько безумный гений находил в себе в высшей степени уравновешение в его ежедневной практической, в деловых, суровых заботах о земле, о нужде, службе» (ОПП, 617). Еще через четыре месяца, в феврале 1916, Р. отозвался на вышедшую в 1913 книгу Д. о поэзии Тютчева — «Чудесные вымыслы. О космическом сознании в лирике Тютчева» (М., 1913). Этой книге посвящена основная часть статьи Р. «Не в новых ли днях критики» (НВ. 1916. 3 февр.), в которой он называет книгу Д. «удивительной по музыкальности и одушевленности» и с сочувствием цитирует даже явно теософские места из нее о реинкарнации («перерождение»). Р. отмечает, что радикальная русская критика в прошлом ничего не смогла сказать о Тютчеве: «Ну что о Тютчеве скажет Добролюбов? О Фете, о Майкове, о Полонском? Он и о Пушкине-то проямлял какую-то “переводчицу»» (ОПП, 627). Между Р. и Д. завязалась переписка (хранится в РГАЛИ). Р. выразил желание, чтобы Д. написал о нем статью или книгу: «Никто так не сумеет написать. У Вас удивительный язык», — уверял Р. 5 мая 1916 (РГАЛИ. Ф. 2113. Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 5). Эту просьбу Д. выполнил только после смерти мыслителя, закончив в 1922–1923 книгу «Розанов». Из этой книги два фрагмента опубликованы в журнале «Вестник РСХД» (Париж, 1969. № 94; 1977. № 122), в которых Д. писал о Р.: «Маленький и тщедушный, с жиденкой бороденкой

и в поношенном пиджаке, с шаркающей походкой и будто бы все куда-то пробирающийся сторонкой, он казался какою-то обывательской мелюзгой, не то плюгавым писцом, не то захолустным мешаниншкой. Но вдруг целые снопы брызнувших из глаз искр и лучей, на мгновение озарив его *лицо*, неотразимо внушали представление о *человеке* исключительных даров духа, о существе редкой породы, ошибкою *судьбы* заброшенном в нашу мутную среду» («Розанов-человек» // ВРСХД. 1977. № 122. С. 139). Отрывки из книги Д. о Р. и 4 письма Р. к Д. напечатаны также в издании «Литературоведение и литературоведы. Сборник научных трудов к семидесятилетию Г.В. Краснова». Коломна, 1996.

С.Б. Джимбинов

ДЕДЛОВ Владимир [наст. фам. и имя Кигн Владимир Людвигович; 15(27).1.1856, Тамбов — 3(16).6.1908, Рогачев, Могилевская губ.] — писатель, публицист, критик, Р. высоко ценил *труды* Д., который был представлен Р. *читателям* как «один из серьезнейших наших писателей по наблюдательности, по вдумчивости; и ценность им написанных страниц уравнивает их скудное количество» (СХ, 185). Под влиянием идей своего друга А.В. Прахова (он же приятель Р.) Д. выработал ключевую идею своих произведений: национальное самоопределение как источник собирания *сил* для возрождения *России*. Д. интересовался вопросом национальных мотивов в русской *живописи*. Р. осенью 1896 обращался к нему в *письме* с просьбой о его посредничестве при пересылке репродукций с полотен В.М. Васнецова. У художника «не оказалось никаких воспроизведений», но он высказал желание познакомиться с Р., и Д. также дал согласие на личную встречу с ним. Наиболее тесное сотрудничество пришлось на период редакторства Р. в литературном приложении к «Торгово-Промышленной Газете» в 1899 — начале 1900, зимой и весной 1899 Р. и Д. неоднократно бывали в гостях друг у друга, в конце года Р. представил его редактору газеты М.М. Федорову. Д. передавал Р. на прочтение свои *книжки* («Приключения и впечатления в *Италии* и *Египте*. Заметки о *Турции*». СПб., 1887), очерки и рассказы о художнике В.И. Сурикове и Кавказском Черноморье, просил его откровенно делиться своими мнениями о прочитанном. Р. помогал Д. пристраивать его очерки, а в письмах довольно критично высказывался о его *творчестве*. Д. отвечал ему 22 января 1899: «Спасибо за умный и прямой “эюд” обо мне <...> я о себе такого же, но худшего мнения» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3827. Ед. хр. 1. Л. 3). В том же письме Д. настоятельно рекомендовал Р. использовать в публикациях «Торгово-Промышленной Газеты» произведения своего друга, беллетриста П.Е. Накрохина: «Он говорит в *искусстве* новые словечки; это чистый *человек*, хотя слишком тихий и пугливый». В марте 1900 Д. обещал презентовать Р. свою будущую книгу путевых очерков о Сибири, присоединив к этому просьбу об отзыве: «Вы и пожурите и поощрите не зря, а за дело, да и в суть литературных способностей проникли» (Там же. Ед. хр. 2. Л. 3). 4 апреля Д. уже «от *души*» благодарил Р. «за лестную и прелестную рецензию» на свою книгу «Панорама Сибири (Путевые очерки)» (СПб., 1900), которую Р. перед публикацией направил для правки Д. (Там же. Л. 5). В мае Д. просил Р. устроить отзыв на эту

книгу И.И. Кольшко из «Гражданина», так как самого редактора — кн. В.П. Мещерского он немного «побаивался». Р. в рецензии на книгу Д. подчеркнул, что все путевые очерки Д., в том числе и опубликованные ранее, «очень чем-то раздражавшие наши либеральные органы *печати*» лишены какого-либо верхоглядства и торпливости впечатлений, главного недостатка путевых очерков. «Мы не знаем более привлекательного, более характерно-русского рассказчика о всех иноземных дикуинках, чем г. Дедлов, которого, несмотря на его угрюмость и постоянную жестокость, слушаешь с неустоляющимся любопытством», — подчеркивал Р. выдающийся *талант* очеркиста (НВип. 1900. 12 апр.). Критик отмечал психологически меткое противопоставление на примере Сибири России и *Запада*, верность передачи типических особенностей сибиряков («русский тип, но с огромными “прибылями”») и яркие черты разнообразия различных районов Сибири. «В исторических городах, как Тобольск, он собирает сведения и дает ряд необыкновенно характерных, почти фантастических *портретов* старых администраторов края, чрезвычайно точно отражавших колорит эпохи: люди петровского, елизаветинского, екатерининского, александровского *времени* проходят перед читателем как живые» (там же). 1 мая 1901 Д. обращался к Р. с просьбой поместить в «Торгово-Промышленной Газете» свой отзыв о художественных выставках «этого сезона», а в начале сентября просил совета у него в составлении отдельных книг из своих журнальных публикаций: «Я знаю только одного умного, отзывчивого и живого человека, суждениями которого я поверил бы без сомнений. Это — Вы. Не позволите ли Вы присылать на Ваш *суд* мое литературное *добро* по мере подготовки для отдельных изданий?» (ОР РГБ. Л. 10). Д. ознакомил Р. со своими школьными воспоминаниями, опубликованными в «Неделе» (1896). После критического письма Р. с упреками в излишней деликатности статей на страницах «*Нового Времени*» Д. пытался оправдаться: «Я робок, хоть Вы и называете меня седым белорусским волком». Соответственно этому складывалось и отношение к автору в *газете*: «Что лучше, посмелей, порешительней, не нравится, либо урезывается» (Там же. Л. 12). В том же письме от 18 сентября 1901 Д. поделился с Р. планом будущего сочинения: «А там все, как у нас (да, это теократическое *государство* называется Феодория Великая): — поучительно» (Там же. Л. 12–13). Рецензия на книгу Д. «Киевский Владимирский собор и его художественные творцы» (М., 1901) переросла у Р. в полемическую статью с решением принципиальнейшего для обоих вопроса — о соотношении национального и христианской *веры*. «Под живописью лежит *религия*, и автор судит, так сказать, о наземном, не решив дела о подземном. Что такое *христианство*? <...> Автор восторгается национализмом Владимирского собора; но *русский человек* умер бы от горя и тоски, если бы его стали успокаивать, что в вере своей он — национален, выражает свой национальный тип, а не то что в этой именно вере он — близок к *Богу*. Разница огромная, вопросы огромные! Как будто в Перуне, Даж-боге и Велесе русский народ не был национален?! <...> Мы этим опровергаем теоретическую *мысль* В.Л. Дедлова, не заподозривая чистоты и высоты национально-христианской живописи Васнецова <...> трепетание во мне моего

русского сердца, моей русской гордости, не закрывает от меня вопроса об абсолютном; молиться я хочу не как русский, а как смертная тварь — Бессмертному, как конечный и ограниченный дух — Бесконечному и Совершенному Существо» (СХ, 185). Статья стала поворотным пунктом в отношениях литераторов — они охладели друг к другу. Письмо с благодарностью за рецензию Д. пришло спустя почти месяц после ее выхода в свет (14 октября 1901) и лишь после запроса Р. «написать по существу»: «Первое впечатление по сути отзыва было таково, что я пронзительно пискнул, как это делает мой старый Фауст, пес-крысолов, когда ему, не предупредив, наступят на хвост. Теперь, когда все наши инородцы-националисты всеми силами нас денационализируют, быть недовольным национальным храмом, национальной религиозной живописью, национальной религией — значит причинить *боль*. Это вообще. В частности, Собор и Васнецова наши либералы, хоть и несмело, но пощипывают; но точка их зрения более глупая. А тут — умная точка зрения. Они за нее ухватятся. И Вы правы, но штука в том, что правда не одна. Есть *правда* мысли и правда жизни, идеала и действительности, плана и практики <...> В наше время необходимо укрепление *национализма*, ибо кругом наступают на нас национальности <...> Ту же мысль я имею в виду, когда статью отвечал на Вашу заметку о хананеях. Называется она “Усадебная точка зрения”, или “Наша точка зрения” “Нов. Время” ее не напечатало» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3827. Ед. хр. 2. Л. 14–15). В июле 1902 Д. благодарил Р. за приглашение к сотрудничеству в журнале «*Новый Путь*». Р. отводил место Д. в отечественной *литературе* в одном ряду с *Н.С. Лесковым* (Там же. Л. 15). В последнее десятилетие *жизни* писателя Р. был одним из немногих эпистолярных его собеседников. В *архиве* Р. сохранился черновой автограф *некролога*, в котором воссоздан образ дорогого Р. прозаика: «Приземистого, молчаливого, немного угрюмого человека, с сильной проседью, который так мало говорил, но слово которого никогда не было случайным, скользким или бесцельным <...> Он был белорусом, а судя по отчеству “Людвигович” имел нечто в себе от немцев: но я мало видал людей, которые были бы так беззаветно преданы России и всему русскому, русскому народу и русской стране, как этот “Людвигович” <...> Я привык уважать и, наконец, любить Кигна-Дедлова за этот хороший его русский глаз, русскую сметку, русскую наблюдательность, русскую насмешливость, русский критицизм. Идиллических, мягких и нежных *чувств*, какие тоже попадают в сложном образе России и русских людей, — не было в Кигне; меланхолического, задумчивого, грустящего — не было. В нем, не в приемах и делах его, а в духе его, в мышлении и воображении, было что-то практическое, и, наконец, я сказал бы — хозяйственное и жесткое, хотя это странно применить к книгам и писателю, странно вообще сказать это о духе нравственной физиономии человека <...> Мне кажется, Кигн не сказал в жизни ни одного глупого слова и не написал ни одной глупой строчки; это очень много для человека, вся жизнь которого была уложена в письмо. Когда вышли его “Школьные воспоминания”, и мне захотелось написать о них статью, что я не исполнил этого по редкой для рецензента причине: мне показалось в ней все до того цен-

ным, исторически многозначительным, нужным, непременно нужным для читающего русского человека, то я растерялся: что же цитировать?» (ОР РГБ. Ф. 249. К. 5. Ед. хр. 21. Л. 1–2). Исполняя долг памяти друга, Р. опубликовал статью по материалам «драгоценной педагогической книги» гимназических воспоминаний Д. «Школьный мир в России (По поводу преобразования гимназических штатов)» (РС. 1909. 22 янв.; СМР).

А.В. Ломоносов

ДЕЛЯНОВ Иван Давыдович [25.11(7.12).1817, Москва — 29.12.1897(10.1.1898), Петербург] — государственный деятель, с 1882 министр народного *просвещения*. Р. видел его раз в *жизни*, на отпевании академика Я.К. Грота в мае 1893: «В каком-то черном пальто внакидку он поражал скромностью и особенно живостью. Фигура и *лицо* были мизерабельные и смешные. Но видно было, что, смешной сам, он внутренне немного подсмеивался над всеми другими» (ЛВИ, 524). В «*Мимолетном*» Р. снова описал этот эпизод: «В каждом движении его глубоко комической фигуры виделся *талант*. Он, казалось, у всех заискивал, и было очевидно, что он над всеми смеялся. Несмотря на совершенно лишенный волос череп и другие признаки “многих лет”, он не сиделся, а непрерывно двигался между высоких и статных фигур генералов, статских, ученых... Я никак не мог ошибиться во впечатлении, так как был удивлен этим: он был одет в шинели или в чем-то “верхнем” — что было накинута у него на плечи. И это “что-то” было некрасиво, и весь он был некрасив и смешон. В движении и *жизни* я не узнал *человека*, *портрет* которого знала вся *Россия*: это был Делянов. Минута же: похороны старого Грота в немецкой *церкви* на Васильевском о-ве. Я смотрел на него с глубоким изумлением» (КНУ, 355). В статье «*К.П. Победоносцев*» (РС. 1907. 18 марта) Р. рисует портрет Д.: «Делянов, тогдашний министр просвещения, армянин-старец, был “*никалаевская косточка*” Начав службу при императоре *Николае I*, он был робок, скромн, ленив, необразован и страшно умен практической, житейской формой *ума*. До конца жизни он ничего не читал, кроме “S.-Peterb. Zeitung”, и не знал вовсе *русской литературы*, ни текущей, ни прошлой, ни журнальной, ни классической. Это, впрочем, не значило, чтобы он не знал, кто был *Пушкин*. Но люди, чрезвычайно начитанные и образованные не только в русской, но и в западных литературах, говорили мне: “Это антипод Победоносцева: насколько Победоносцев умен теоретической формой *ума*, настолько же практической формой *ума* умен Делянов” От других людей, профессуры, мне приходилось слышать: “Делянов не от *старости* ничего не делает для гимназий и *университетов*. Этот умница мог бы бездушно сделать уравновешенного, доброго, умного. Но он циник: будучи сам умен и без образования, он глубочайше презирает существо образования, и ему решительно все равно, что есть и чего нет, чему учат и чему не учат в гимназиях. Он хотел бы только, чтобы не происходило волнений и безобразий, не самих по себе, но потому, что это есть служебная неприятность, и неприятность в его ведомстве” Дверь его квартиры на Невском была всегда раскрыта “для званых и незваных” Он был совершенно доступен даже для *учителей* гимназий. И всякую просьбу запомнит и

исполнит. Личная его доброта и готовность все сделать для ближнего, сделать и по закону, и сверх закона была безгранична. Когда к нему приходил *студент* с жалобой или за помощью, и, конечно, с этим известным “студенческим духом”, то он, беря его за пуговицу, вел через комнаты в свой кабинет. Здесь, подходя к какому-то столу, он брал раму портрета и поворачивал перед студентом. Тот с изумлением видел общеизвестный портрет императора Николая I. На недоумевающий взгляд студента министр говорил: — Вы, молодые люди, теперь ничего не боитесь и никого не уважаете. Весьма худо-с. Я вот при ком (указывая на портрет) начал службу и до сих пор его боюсь!! В наши времена, о-го-го!!! Вашу просьбу я исполню, но все обязаны почитать авторитет старших» (ЛВИ, 523). Вместе с тем Д., когда у него спросили, отчего *Вл. Соловьёв* не профессор, ответил: «У него мысли» (У, 225; ЛИ, 18), и к тому же «уволит из профессоров университета *Менделеева* за либерализм» (КНУ, 306). Добродушный и хитрый Д. был «осыпан милостями», потому что служил «с тем умом и тактом и пониманием, как бы он служил в Персеполе или Ниневии царям Ниневийским и Персидским» (КНУ, 427).

А.Н.

ДЕРЖАВИН Гаврила Романович [3(14).7.1743, Казань — 8(20).7.1816, село Званка, Новгородская губ.]. В *портрете* Д. (с орденской звездой) Р. видел «несравненно величавое» (КНУ, 434). Сам Р. нередко цитировал державинские строки. Он ценил, что героическое у Д. подано «искренно, натурально, задушевно, правдиво» (ОПП, 218). *Порицая тон* высокомерия у *А.С. Грибоедова*, Р. продолжает: «Только милый *Пушкин* и вообще милые старики, начиная с Державина, не были высокомерны» (КНУ, 478). Д. «обращен назад, к “дням славнейшим”» (КНУ, 518). Именно в *литературе* XVIII в. Р. усматривал основы национального духа: «В комедиях *Фонвизина*, в одах *Державина*, в сатирах Новикова, в *Феофане Прокоповиче* или в Кантемире, несмотря на их чуждое, внешнее убранство, мы слышим *тон* и звук, которые совершенно национальны, вытекают прямо из духа и жизни своего времени и народа» (ЛВИ, 240). Р. говорил о значении для Пушкина литературы XVIII в. и, в частности, Д.: «В Пушкине есть одна, мало замеченная черта: по структуре своего духа он обращен к прошлому, а не к будущему. Великая гармония его сердца и какая-то опытность ума, ясная уже в очень ранних созданиях, вытекает из того, что он существенно заканчивает в себе огромное умственное и вообще духовное движение от *Петра* и до себя. *Белинский* не без причины отметил в колорите его и содержании элементы *Батюшкова*, *Карамзина* и даже Державина (“Клеветникам России”» (ЛВИ, 290).

А.Н.

ДЁРНОВ Александр Александрович (1857–1922) — протоиерей Петропавловского Придворного, что в Крепости, собора, публицист и сотрудник церковных изданий, оппонент Р. Полемика началась с обращения Д. в газету «*Новое Время*» 18 сентября 1899 по поводу искажения смысла его доклада папскому собранию на тему «Что надобно иметь в виду при изыскании мер к устранению незаконных сожителств?», прочитанного

1 декабря 1898 и упомянутого в статье Р. «Важная забота Церкви» (НВ. 1899. 14 сент.) Позднее Р. резюмировал смысл доклада Д. в одном из комментариев к публикации его полного текста в своей книге «*Семейный вопрос в России*»: «Весь доклад Дёрнова и его последующие труды (см. ниже), направленные против “органического”, т.е. детей и сожителства, есть в то же время разрушение таинства брака в зерне его» (СВР, 204). В письме редактору газеты Д. обвинил Р., что тот «дважды приписал» ему такие мысли, каких он «не высказывал и не мог высказать». В частности, что «упомянутой в означенной статье <...> “особой комиссии”, будто бы назначенной Высокопреосвященным митрополитом Петербургским *Антонием* для рассмотрения вопроса “о незаконных сожителствах и незаконнорожденных детях”, также нет и не было назначаемо» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4213. Ед. хр. 6). Полемическая брошюра Д. «Брак или разврат? По поводу статей г. Розанова о незаконных детях. Открытые призывы к бесформенному сожитию или, вернее, к половой разнузданности и сохранение святости брачного союза» (СПб., 1901; перепечатана в книге Р. «Семейный вопрос в России» с комментариями Р.) вызвала полемику с Р. Как утверждал Р., эта книга была заказана Д. высоким начальством против розановских статей, опубликованных в 1900 в «Новом Времени» о «незаконнорожденных детях»: «Евины внучки» (13 сент.), «Спор об убитом» (СВР под названием «Святое чудо бытия»), «Имущество, титулы и дети» (8 нояб.), «Открытое письмо г. А-ту» (11 нояб.). Д. обвинил Р. в смущении умов своими «нападками на аскетизм и греко-брачные установления», отвергая его обвинения в искажении церковью истинного Христова учения в вопросах о браке и деторождении. В ответном «Письме в редакцию “Нового Времени”» от 23 ноября 1900 (СВР, 453–454) Р. объявил заглавие брошюры «оскорбительным для себя» и сослался на многочисленные полученные им письма в поддержку решения вопроса о «незаконнорожденных», часть которых приводит им в книге «Семейный вопрос в России». Во многом именно благодаря усилиям Р. в 1902 был принят закон о внебрачных детях, по которому снималось в документах определение об их «незаконнорожденности» и рожденные вне брака дети получали равные права с остальными. Полемика с Д. продолжалась в письме Р. «О некоторых подробностях церковного воззрения на брак» (НП. 1903. № 8). В 1913 Р., возвращаясь в памяти к годам былой полемики с Д. в своих записях в жанре «опавших листьев», предложил новый финал к минувшему спору: «Если индейку назвать курицей, — какого она будет вкуса? — Индейки. — А если курицу назвать индейкой, какого она будет вкуса? — Курицы. — Вот, батюшка Дёрнов, и конец нашего с вами спора о браке и незаконных сожитиях. Одни кушают курицу и называют это индейкой, а другие кушают индейку, которую называют курицей. Но Кто на Небесах — о всех печется и говорит: — Индейку я создал индейкою и курицу создал курицей. Однако люди перепутали имена и теперь сами не знают, кто что ест. Я же благословляю всех. Так и будем любить Бога благословляющего... А Дёрнова... не будем обращать на него внимания. И если он нас не любит, пройдем безмолвно, но не возненавидим его» (СХР, 109). Письма Д., адресованные непосредственно Р., полны сетований на «удаление» его от

церкви (15 марта 1899), но одновременно содержат и просьбу о рецензировании книги Д. «Об истинном христианском воспитании» (в письме от 29 декабря 1912). К письмам приложена розановская характеристика корреспондента: «Дёрнов А. Какой-то пошлый поп; говорит как коростель кричит вечером в поле. (Такой голос никогда мною не слыханный)» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 110).

А.В. Ломоносов

ДЖАНШИЕВ Григорий Аветович [17(29).5.1851, Тифлис — 17(30).7.1900, Москва] — публицист, историк. Автор писем к Р. 1898. К посланиям приложена характеристика корреспондента: «Джаншиев (“Из эпохи великих реформ”), очень симпатичен и сурово умен» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 102). В помете упомянута книга Д. «Из эпохи великих реформ» (М., 1892), выдержавшая девять переизданий. На память о встрече Р. подарил Д. 28 февраля 1899 свою книгу «Сумерки просвещения» с дарственной надписью. В статье «В настроениях дня» (РС. 1906. 23 сент.) Р. передал разговор с Д. о перспективах решения национального вопроса: «Я припоминаю слова, сказанные мне лет восемь назад знаменитым армянским патриотом Джаншиевым, и передаю вам их так, как их услышал: “Это возмутительно, если нас, армян, обвиняют в тенденциях к отделению от России. Армяне слишком умны и трезвы для подобной фантазии” — Слушайте теперь внимательно его слова, которые и меня поразили новизною и основательностью. — “Время, — сказал он далее, — для образования небольших самостоятельных государств прошло» (КНУ, 138). В последние годы жизни Д. был поглощен организацией помощи своим соплеменникам, пострадавшим от геноцида со стороны Турции, издавал сборник «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам» (1897–1898), к сотрудничеству в котором стремился привлечь и Р.

А.В. Ломоносов

ДЖЕРОМ (Jerome) Джером Клапка (2.5.1859. Уолсолл, графство Стаффордшир, — 14.6.1927, Нортгемптон) — английский писатель. В 1899 посетил Россию, был в Петербурге, свои впечатления изложил в очерке «Русские, какими я их знаю» — русский перевод под названием: «Люди будущего. Мнение популярного английского писателя о России» (СПб., 1906). В России Дж. переписывался с А.С. Сувориным (письмо Дж. — РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 2. Ед. хр. 479), писательницей, переводчицей его произведений Н.А. Жаринцевой (письма Дж. — РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 42, 47), литератором И.Л. Щеговым (Леонтьевым) (письма Дж. — РГАЛИ, ИРЛИ). Опубликованы: Ежегодник РО ИРЛИ за 1974 г. Л., 1976). В статье «Всемирные дни России» (РС. 1907. 22 февр.) Р., сообщив, что «один из друзей моих показал мне письмо, полученное им из Америки от Джером-Джерома в июле прошлого лета», приводит выдержки из этого письма. В них Дж. оценивает ситуацию в России после первой русской революции: «При всей трагичности совершающихся у вас событий и глубокой жалости, какую вызывают некоторые из них, — должно быть что-то прекрасное в сознании себя русским в настоящая время. У всех вас напряжен каждый нерв и мускул, вы куете будущность мира, тогда как мы бездейственно и бесполез-

но сидим вне течения <...> Вокруг вас мир еще молод — вы его строите, сражаетесь! Знаете ли, я вам почти завидую <...> Я уверен, вы увидите и встающее над Россией солнце!» (РГО, 302). «Даже американцам, — отмечает Р. (Дж. в те дни был в Америке, а не в Англии), — наша теперешняя жизнь кажется уж слишком живою, это всего через пятьдесят лет после того, как Гоголь написал свои “Мертвые души”; написал, и заплакал, и умер от горечи! <...> Без литературы русской, без ее горечи и тоски, без ее психологичности мы имели бы что-то маленкое, скучное и мешанское в теперешнем движении <...> Дума бы говорила, репортеры записывали; читатели газет читали бы газеты, и чиновники заготовляли бы законопроекты. Но, я думаю, по поводу всего этого не о чем было бы Джером-Джерому вздохнуть в Америке» (РГО, 302–303). Речь идет о письме Дж. к И.Л. Щеголову (Леонтьеву) от 21 июня 1906.

В.Н. Дядичев

ДИДРО (Diderot) Дени (5.10.1713, Лангр — 31.7.1784, Париж) — французский писатель и философ. П.Д. Первов вспоминал, что в комнате Р. в Ельце были «огромные пергаментные фолианты Энциклопедии Дидро» (РО, 1, 96). Р. сравнивал В.Г. Белинского с Д.: «Для молодой России, для всей Восточной Европы он сыграл в XIX веке ту же роль, какую в XVIII веке для Франции и всей Западной Европы сыграла знаменитая “Энциклопедия” Дидро и д’Аламбера, но только в других тонах, “в нашем русском духе» (ОПП, 502). По поводу строки «Садился Дидерот за шаткий свой треножник» в стихотворении Пушкина «К вельможе» (1830) Р. замечает: «Замену “Дидеро” — “Дидеротом”, как писалось это имя в екатерининскую эпоху, новой пушкинской странице вдруг сообщается колорит времен Богдановича, Княжнина, Сумарокова. У Пушкина повсюду в исторических припоминаниях есть это удивительное искусство воскрешать прошлое с помощью самых незаметных средств» (ОПП, 39). Однажды Р. сказал, что «Екатерина II распространяла идеи Дидеро» (РГО, 57), другой раз усмотрел аналогию «Запискам из подполья» Достоевского в «Племяннике Рамо» Д. (ЛВИ, 26).

А.Н.

ДИККЕНС (Dickens) Чарлз (7.2.1812, Лендпорт близ Портсмута — 9.6.1870, Гейдсхилл близ Рочестера, графство Кент) — английский писатель. Летом 1908 Р. написал статью о нем («На книжном и литературном рынке» // НВ. 1908. 23 июля), в которой дал сравнительную характеристику английской и русской литературы: «Это лето, как и минувшее, я провожу за чтением Диккенса. Теперь читаю впервые “Лавку древностей”, а минувшее лето вторично перечитывал “Крошку Доррит” И не могу передать всего... не очарования, а счастливого состояния души, которое чтение дает и дало мне в летние месяцы. Роман имеет большие недостатки: он растянут <...> В Диккенсе недоразвился огромный художественный талант в том особенном смысле, как это понятие выработала наша русская литература... Он мог бы стать великим портретистом-натуралистом своего общества и времени, как были портретистами-натуралистами русского общества Гончаров, Тургенев и Толстой. Но этого не вышло» (ОПП, 287). Лишь «знаменитый его “Пик-

квик” <...> это молодое и почти первое его произведение, собственно, и остается единственным гениальным, безукорным произведением” (там же). Обращаясь к сопоставлению литературы Англии и России, Р. продолжает: «Английские писатели, очевидно, работают не так, как русские, и нельзя не сказать, что у русских есть преимущество. Роман Гончарова “Обрыв” зрел десять лет. Русским овладевает какая-нибудь мысль, его заняла серия явлений; но он еще не пишет и может быть ничего не напишет. Все зависит от дальнейшего: только если мысль овладевает им до фанатизма, до восторга, до внутреннего собственного удивления к ней (“Эврика!”) и ряд наблюдений завершился, закрутился в совершенную полноту — он садится за произведение и получается “Обломов” или “Отцы и дети»» (там же). Р. уделяет особое внимание общественному воздействию литературы и в этом плане соизмеряет Д. с русскими писателями. “Ни Диккенсу, никому из читателей на ум не приходило, чтобы от “Пиквика” могло произойти еще что-нибудь другое. Например, от “Отцов и детей” сейчас же, как они появились, не только начало происходить множество “другого” и “нового”, чего до них не было: но Тургенев и писал с полным знанием того, что все это “прозойдет”; и, даже не решив твердо, что этому нужно “начать происходить”, он едва ли и написал бы самый роман» (Там же, 288). Романы Д. привлекали Р. своей нравственной атмосферой. «Диккенс до того очаровал меня собой, своим воззрением на людей, своим отношением ко всему тому, о чем он пишет, что я еле задавал себе вопрос во время чтения: “Почему это, вот что я читаю, почему такая точка зрения и этот способ смотреть на жизнь и относиться к людям — не может послужить краеугольным камнем религии и даже не есть само по себе уже религия?” Вот как велико было впечатление» (Там же, 289). Р. отмечает воздействие Д. на русских писателей. Говоря о романе «Крошка Доррит», он утверждает: «Помните “Подворье Кровоточивого сердца”? Мне кажется, Достоевский списал отсюда всех своих “униженных и оскорбленных” и “бедных людей”...» (там же). А три года спустя в статье «Возле “русской идеи” Р. продолжает ту же тему: «Герои Диккенса увлекательны, но это все есть “бедные люди” Достоевского и даже скромный герой гоголевской “Шинели” Нужно заметить, что Диккенс “пел” и любил не типичные английские идеалы, не людей “бифштекса” и гигантской работы. Сам Диккенс был изменник родины и “почти русский писатель” <...> Оттого его на Руси и любили» (СХ, 356). Наряду с этим Д., отмечает Р., один из классиков XIX в., который «долее всех и горячее всех живет <...> Но как-то живет одним тоненьким лучом, греет одною и ужасно одностороннею теплотою. Диккенс — цветок в цивилизации; цветок, затканый в ковер ее или выросший на лугу ее. Но все отлично понимают, что ничем эта цивилизация ему не обязана, что это она родила его, а не он рождал ее» (ОПП, 228).

А.Н.

ДМИТРИЕВА Валентина Ивовна [в замуж. Ершова; 28.4.(10.5).1859, Воронино, Балашовский уезд, Саратовская губ. — 18.2.1947, Сочи] — прозаик. В четырех номерах «Московских Ведомостей» под псевдонимом Петроградский старожил Р. напечатал статью «Все “те же”»,

вечно “те же»» (1915. 28 июля, 13 авг., 3 и 10 окт.) о повести Д. “Разбитые скрижали”, напечатанной в “Русских Записках” за июнь-июль того же года. Поясняя заглавие повести, Р. отмечает, что под «скрижалями» разумеются «заветы старой России», разрушаемые революционерами: «— Мы эту нашу Россию треснем об пол, — так что дребезги разлетятся в стороны. — Это в пору-то мировой войны, когда вся Россия молится об одолении врага и когда часть нашей русской земли затоплена полчищами германскими... Своевременно!! — Кто же это “мы”? — Не из тучи гром: — Я, Валентина Димитриева, и одобряющие и печатающие мою повесть шефы “Русского Богатства” или, что то же, “Русских Записок”: Короленко, Мякотин, Пешехонов, Русанов и семитические соглядатаи журнала — Горнфельд и Дионео (лондонский многолетний корреспондент)» (НФП, 491). Писательница «ничего не прибавляет своего и личного, а берет шаблон и покорно, по-женски исполняет “урок”, однако, стоявший 50 лет» (НФП, 496). Я занимаюсь так долго разбором сущей литературной пошлости... Но, друг мой читатель, не в пору ли пошлости мы живем и не пошлаки ли суть главные герои нашего времени?» (НФП, 507). В такую пору, заключает Р., «первенствующее литературные произведения, конечно, заключаются не в Пушкине, Тютчеве, Полонском, Фете, а в “Что делать” Чернышевского, в “Шаг за шагом (Светлов)” Омурлевского и в совсем плохонькой повести Дмитриевой “Разбитые скрижали” <...> Пошлость повести г-жи Дмитриевой такова, что ею положительно давишься. И без этого “подавился” я не стал бы писать разбора. Но уж очень выразился и в этом смысле “классично»» (НФП, 508).

А.Н.

ДОБРОЛЮБОВ Александр Михайлович [27.8(8.9).1876, Варшава — 1945?] — поэт. В статье «Декаденты» Р. критикует эротические стихи и прозу Д., отмечая «общие тенденции к эротизму» (ЛВИ, 411) и символизма, когда «акт любви» происходит без какого-либо внимания к лицу женщины. В «Мимолетном» он записывает: «Как у Добролюбова: лица не видно, а слышны одни вздохи» (М, 198). Р. вводит оценку Д. в общую характеристику декадентства: «Почти знаменитейший из декадентов, Добролюбов, слышно, ходит где-то странником, с посохом и крестом, по Уральским заводам и острогам, проповедуя что-то среднее или что-то “вместе” из Апокалипсиса и “братстве во Христе всех рабочих” А был, лет 10 назад, баричем и белоручкой. Это очень похоже на Власа <стихотворение Некрасова> в любовном истолковании Достоевского» (ОПП, 204). В статье «Бердяев о религиозных исканиях Д.С. Мережковского» (К. 1916. 30 сент.) Р. ставит в пример Мережковскому внезапно замолчавшего Д. Если бы Мережковский «меньше писал — лучше было бы <...> Вот есть и почти “был” какой-то поэт Добролюбов. Что он написал — никто не знает; что он за человек — этого особенно хорошо никто не знает. Но “Александр Добролюбов” как-то запоминается, знается; все знают о странном поэте, писавшем несколько времени декадентские стихи, затем внезапно замолчавшем, передедавшемся “в мужика” и пошедшем куда-то странствовать на Урал, — и там, кажется, поучающем сектантов или поучающемся у них. Что такое?

Как? Станным образом, от Мережковского теперь уже не ждут “еще больше” а от Александра Добролюбова — “ждут” “Вдруг покажется странным с Урала и нечто скажет” Русь чудаковата, и на все обыкновенной *литературой* никак не угодить» (ЛВИ, 627).

А.Н.

ДОБРОЛЮБОВ Николай Александрович [24.1(5.2). 1836, Н.Новгород — 17(29).11.1861, Петербург] — критик. В программной статье «Три момента в развитии русской критики» (1892) Р. дает периодизацию *истории* русской критики. Ранний период, связанный с деятельностью *Белинского*, Р. называет эстетическим (отделить прекрасное от посредственного в *литературе*). Высшим выражением второго периода, смысл которого состоит в связи литературы с *жизнью*, в этическом воспитании, Р. считает Д. Прекрасное было отодвинуто на второй план. Литература как *учитель жизни* приобрела колоссальное значение. Писатель стал главным, центральным *лицом* в русском *обществе*, к которому все прислушивались. Р. вспоминает свою юность, когда за томом сочинений Д. забывались и университетские лекции, и вся мудрость старых и новых *книг*. «К нему примыкали все наши надежды, вся *любовь* и всякая *ненависть* <...> С этим же характером неотделимо связана и отрицательная сторона его деятельности: именно ложность почти всех литературных оценок, которые он сделал» (ЛВИ, 236). Третье направление русской критики, которое Р. называет «научным», он связывает с работами *Ан. Григорьева* и *Н. Страхова*. Д. возвел литературу «на степень самого глубокого и важного жизненного дела» (ЛВИ, 243). *Чернышевский* и Д. «сообщили всему движению закал и твердость стали, тогда как *Герцен* был только мягкое железо <...> Вся Русь поняла и сразу оценила стих Добролюбова, — чуть ли не единственный стих, какой он написал, — не из шуточных: “Милый друг, я умираю / Оттого, что был я честен, / Но зато родному краю, / Верно, буду я известен” <...> Вот таких восьми строк во “всем” Герцене нет. На “родное” — по-родному и отозвались. Вся Русь откликнулась на стих Добролюбову; больше: она вся встала перед ним» (ЛВИ, 565–566). Р. вспоминает, что когда на людном собрании «Общества в память Герцена» после двух-трех чтений о нем «корифеев петербургского *либерализма*», он заговорил «и о Добролюбове», то был остановлен пренебрежительным замечанием: «Ну, можно ли сравнивать Добролюбова с Герценом... Добролюбов же был совсем не образован. А Герцен — европейский *ум*. Да и какой *талант*, — разнообразие талантов!..» (ЛВИ, 566). Произнесено это было так уверенно, что Р. замолчал. Да, замечает Р., Д. и *Киреевский* были беднее Герцена, но в каком-то одном и чрезвычайно важном отношении они были и неизмеримо дарвитее его. «Ключ и Киреевского, и Добролюбова бил из глубины земли... Бил и не истощался, и поил многих и многих <...> Это — *любовь* к родной земле, к дальней околице, к деревенской песне <...> “Капля *крови*, общая с народом... У них у обоих была”» (Там же, 566–567). В статье «Юбилейное издание Добролюбова» (НВип, 1911. 26 нояб.) Р. говорит, что Д. «на все *времена* останется наиболее чистою фигурую 60-х годов, может быть — совершенно чистою: а ведь в литературе это так трудно сказать вообще о ком-нибудь.

И недолгая жизнь, недолгое “испытание” — этому способствовали: иногда *смерть* берегает людей, а не разрушает их... Добролюбов захватил именно самую раннюю, самую идеальную полосу 60-х годов, когда все было “в надежде” и еще ничего не началось “в осуществлении” А осуществленное редко бывает похоже на надежды...» (ОПП, 556). В эпоху освобождения крестьян и великих реформ критика Д. была «реальная и публицистическая». Он был прав, говорит Р., в полемике с *Достоевским* и *Страховым*. «Прекрасно и разумно *то время*, которое, “как один *человек*”, подымается для осуществления великой задачи *истории*, не зная ни разделений, ни покоя по уголкам» (там же). Д. сыграл счастливую роль в эту эпоху: «Никто не смеет жалеть его молодости, жалеть о его ранней смерти. Как будто есть удовольствие умереть в 65 лет от какого-нибудь нефрита или склероза. Прелестнее краткая яркая жизнь» (Там же, 556–557). В Д. видит Р. что-то крепкое, утверждающее, что присуще больше *старости*, а критик по летам был так молод. «Белинский и в средних годах, уже “пожилым”, все был юношью, как бы 18–23 лет; а Добролюбов в свои 24 года — “точно прожил долгую жизнь” Странные *вещи*, господа, встречаются на земле: люди, по крайней мере выдающиеся, в сущности имеют один возраст всю жизнь, — один духовный возраст: *Некрасов* — средний возраст всю жизнь, Белинский — всю жизнь юноша; Чернышевский — всю жизнь точно 29 лет, Добролюбов — всю жизнь как бы 43-х лет, даже когда он учился в семинарии <...> Вот это сочетание юноши (по метрике) и пожилого человека (по какому-то таинственному опыту духа) составляет индивидуальную особенность Добролюбова. Необъяснимо почему, но из 60-х годов это самое дорогое имя. В суровости его была какая-то нежность, в сдержанности — энтузиазм, в “поучительности” — безумие 24 лет. Все это и приводит душу *читателя* до сих пор в смущение и волнение. Да: забыл *Писарева*. Ему всегда было 12 лет» (Там же, 557). Эта последняя оговорка Р., презиравшего «детский *нигилизм*» Писарева, столь же характерна, как и его преклонение перед Д. Р. считал, что когда литература стала инструментом в общественной борьбе, Д. «при сильном политическом стиле» хорошо писал о прозаиках, но был лишен понимания поэзии: «Ну что о *Тютчеве* скажет Добролюбов? О *Фете*, о *Майкове*, о *Полонском*? Он и о *Пушкине* промямлил всего какую-то “передовицу” обьемом и смыслом, т.е. не сказал, и не мог сказать, бессилён был сказать что-нибудь, заслуживающее напечатания. Вот о чем горе...» (ОПП, 627).

А.Н.

ДОЛИБО-ДОВОБОЛЬСКИЙ Александр Иосифович (1866–1932) — с 1883 по 1898 служил на флоте; с 1898 начал службу в МИД; автор нескольких *книг*. Знакомый Р. по *Религиозно-философским собраниям*, где в выступлении дал следующую его характеристику: «Розанов опасный соперник. Он чародей, влюбляющий в себя врагов. Над его книгами были пролиты *слезы*. Когда он умрет, русские *женщины* поставят ему *памятник*. Он поэт; он читал звездное небо и слушал морскую волну. Незыблемая прелесть его недомолвок будет еще долго трогать сердца. *Гейне* сказал бы про его слог, что он обвивает вас, как руки любимой *женщины*; слово вас лас-

кает, а тем временем мысль прижимает губы к вашей душе <...> Всем, кто разделяет мои мысли, я предложил бы сказать Василию Васильевичу приблизительно нижеследующее: “Мы не во всем с вами согласны, но тките, милый учитель, вашу золотую паутинку нам, грешным, на радость, имени своему на бессмертие. Над вами прожужжала Платонова пчелка... кто знает, не проснется ли у вас под вечер жизни вторая половинка души, и не потребует ли она той доли, которую каждый волен выбрать и никто не отнимет ни ныне, ни веки веков?” (ЗП-РФС, 332). 7 июля 1917 Р. писал Д.-Д., что благодаря встрече с ним он стал издавать «свой Египет» <«Из восточных мотивов»> — «последний и лучший труд мой» (ГЛМ. Изобразительный фонд). В РГАЛИ хранится переписка Р. с Д.-Д. в 1916 (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 271, 435).

С.М. Половинкин

ДОЛИНА Мария Ивановна [урожд. Саюшкина, в замуж. Горленко; 17.2(1.3).1869, Нижегородская губ. — 2.12.1919, Париж] — певица, контральто. В 1918 эмигрировала во Францию. 19 февраля 1912 в Большом зале Петербургской консерватории состоялся ее юбилейный концерт. Р. восхищается ею: «Все мы кладем поклон в ее лице прекрасной и самостоятельной русской женщине» (СХ, 370). Р. вспоминает о встрече с ней: «Среди визита, шедшего ни скучно, ни весело, вошла женщина, ни молодая, ни старая, ни красивая, ни некрасивая, которая, сев, среди житейской и визитной суеты упомянула, что “в эти смятенные дни, когда все отступили от Руси и в воздухе повис стон и вой ругающихся над прошлым России голосов, — где же найти и утешение и успокоение, как не зайти в церковь”...» (там же). «Да, есть что-то не беспричинное, чему залогом были положены, вероятно, еще в детстве, в детских впечатлениях, что она выступила с “Русскою песнею”, не как с частью и подробностью своих артистических исполнений, а как с объединяющею главною программю. Это впервые случилось... Никто до Долиной этого не делал. “Тут моя душа поет, тут поет все мое прошлое” Вот этому-то и хотелось бы, чтобы поклонились некоторые в сегодняшний вечер» (СХ, 371). Во время Первой мировой войны Р. пишет о «победных концертах» Д. (М, 417). «Так же могуче и нежно, и глубоко звучал сегодня контральто М.И. Долиной-Горленко, как уже много лет он звучит по городам России и по городам Европы. И это не преувеличение “для юбилея”: действительно — молодо, действительно — свежо. Много дала она в 50 концертах для русского солдата, следовательно, и для русского крестьянина, много вынула ему из души своей, прекрасной, доброй и благородной; но, поистине, много и взаимно дала ей Русь, дала любви и уважения <...> Ее целовали (руки), ей пели (из публики — целый хор каких-то, кажется, учениц приюта), ей играли, кричали. Ну, и конечно, истрепали ладоши...» (НВ. 1915. 13 марта; НФП, 438). «Все звучно, картинно, красочно... Труд Долиной громаден. И результат: уже 49 концертов, т.е. не включая вчерашний, дали сбора в пользу всевозможных учреждений для раненых 164 214 руб.!!! М.И. Долина и по рождению, и по замужеству — военная. И в ее “патриотических” концертах в пользу раненых” сердце сердцу весть подало» (там же). При письме Д. к Р. 1915 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4216. Ед. хр. 3) имеется характеристика, сделанная Р.:

«М.И. Долина-Горленко — прелестна (раз у Ан.Ив. Суворониной видел). — Скромно и тихо одетая, она вошла как ее друг. И сказала: — “Знаете, теперь все отреклись от России (1905 г.). Где же увидишь русское? Только в церкви. И я зашла и помолилась. Тк. хорошо было” — Это слова вполне исторические. С тех пор я стал внутренне ее другом» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 116). После большевистского переворота Р. с горечью вспоминал ее «победные концерты, в цирке Чинизелли и потом в Царском. Да почему “должны победить”? Победа создается не на войне, а в мирное время. А мы в мирное время ничего не делали» (АНВ, 9).

М.В. Толмачёва

ДОРОШЕВИЧ Влас Михайлович [5(17).1.1865, Москва — 22.2.1922, Петроград] — журналист, критик, прозаик, с 1893 — сотрудник «Одесского Листка», в котором в 1899 печатался Р., с 1902 — фактический редактор газеты «Русское Слово», где печатался Р. Издатель-редактор «Одесского Листка» В.В. Навроцкий рассказал Р., как начальник Главного управления по делам печати М.П. Соловьёв решил «выбросить из литературы» Д.: «Г-н Дорошевич поднялся и сразу стал быстро выде-



В.М. Дорошевич

ляться в каком-то “запойном” московском листке <с 1881 Д. сотрудничал в газете “Московский Листок”>. Навроцкий, издатель удивительно чуткий, энергичный и предприимчивый, “чисто русский человек”, едва ли не греческого происхождения (чрезвычайно темный брю-

нет), поставивший дозволенный ему “листок объявлений” (отсюда заглавие — “Одесский Листок”) на степень первого южнорусского органа *печати*, пригласил к себе и г. Дорошевича. Известно, что такое провинциальная печать, и много ли надо было администрации “напряжений”, чтобы задушить, и без применения запрещения (что хлопотливо), *газету* <...> В.В. Навроцкий беспokoйно приехал в *Петербург* вследствие желания главноуправляющего по делам печати с ним “поговорить” А “разговор” состоял в том, что если Навроцкий уберет из газеты г. Дорошевича, то газета будет жить, а если не уберет, то, “пожалуй, умрет” В.В. Навроцкий просил меня (я у него недолго сотрудничал) съездить к местному (одесскому) цензору, тоже вызванному в Петербург “для инструкций” или “по делам” С изумлением я увидел чиновника до того молодого, что он мне показался мальчиком. “Боже, и он нас всех цензурирует! Но ведь он ничего, кроме Дюма-филс, не читал” <...> — “Да за что, собственно Мих.Петр. (Соловьёв) ненавидит Дорошевича? — спросил я. — Почему он его гонит из печати?” Цензор пожал плечами: “Он его не гонит; но он спрашивает: какой Дорошевич писатель? Все его остроумие состоит из грубейшего шаржа *Гоголя*, и что у него через четыре строки в пятой непременно торчит гоголевское словцо, которое и придает смысл, сок и румянец этим пяти строкам. Выньте это гоголевское словцо — и пять этих строк умрут. Умрет вся страница без 5–10 гоголевских словечек. Умер, или даже, точнее, — и не родился, весь и Дорошевич, если из него вытащить Гоголя. Мих. Петр. и спрашивает: что же это за писатель? Это *пошлость*, а не писатель. Это вымазанный дегтем Гоголь, который все пачкает, к чему ни прикоснется” Опять я не буквально помню слова, но смысл их был именно этот: главноуправляющий по делам печати, приводя в движение все силы российского *государства*, решился “выбросить из *литературы*” г. Дорошевича не по определенной *вине* его, не потому, чтобы считал его вредным, а просто потому, что он... ему не нравился, художественно не нравился, как *читателю*, как домоседу, отцу своего семейства и мужу своей жены!!» (ЛВИ, 480). Подводя итоги в «*Мимолетном*», Р. заключил: «Дорошевич, бесспорно, во многих отношениях есть *гений* пера, лично очень интересен и в высшей степени разнообразно и интересно начитан» (КНУ, 380). Д. в фельетоне «*Богоискатели*» (РС. 1909. 11 нояб.) писал о популярности Р. словами некой дамы: «Я наизусть знаю из Розанова. Не согласна, но знаю. Каждую его строку, каждую строку!»

А.Н.

ДОСТОЕВСКАЯ Анна Григорьевна [урожд. Сниткина; 30.8(11.9).1846, Петербург — 9.6.1918, Ялта] — жена *Ф.М. Достоевского*, автор мемуаров. Р. познакомился с Д. в 1893 после переезда в *Петербург*. Тогда же началась их многолетняя переписка, продолжавшаяся до 1913. При первой же встрече Р. спросил ее о фантастическом у Достоевского. «О нет! — сказала она. — Федор Михайлович ужасно любил вставлять в свои романы кусочки действительности, какие нам с ним встречались на жизненном пути... Любил это и весело, по-домашнему, смеялся со мною таким своим вставкам. Это простиралось на *мелочи*. Вы помните в “Братьях Карамазовых” Чере-

машню и село Мокрое. — Еще бы я не “помнил” Анна Григорьевна весело рассмеялась и точно ушла в воспоминания. — Так это же станции по дороге из Петербурга в Старую Руссу, куда мы, бывало, ездили каждое лето на дачу, в свой *дом*» (ЛВИ, 573–574). Переписка Д. и Р., опубликованная Э. Гарэтто в альманахе «Минувшее»



А.Г. Достоевская

(М., 1992. № 9), свидетельствует не только об обоюдной *любви* к личности и *творчеству* Достоевского, но и о постоянной заботе корреспондентов друг о друге. В *письмах* Р. проявился его интерес к неизданной главе из «Бесов» с исповедью Ставрогина, которой он придавал исключительное значение. В 1898 Д. обращалась к *К.П. Победоносцеву* и безуспешно пыталась помочь в официальном признании *детей* Р. от *В.Д. Рудневой*, чему препятствовало отсутствие *развода* с *А.П. Суловой* (письмо Д. от 16 марта 1898). В «*Новом Времени*» (1906. 22 нояб.) Р. напечатал положительную рецензию на составленный Д. «Библиографический указатель сочинений и произведений *искусства*, относящихся к *жизни* и деятельности *Ф.М. Достоевского*, собранных в музее памяти *Ф.М. Достоевского* в Московском историческом музее имени Императора *Александра III*. 1846–1906 гг.» (СПб., 1906), в которой, однако, отметил, что, в указанных там статьях его «ни слова не говорится о Достоевском» (ОНД, 81). В письме 26 ноября 1906 Д. привела две выписки из розановских статей о *Риме*, печатавшихся в «Новом Времени» и вошедших позднее в книгу «*Итальянские впечатления*», где речь идет о Достоевском. 28 ноября Р. опубликовал в той же *газете* свое «Письмо в редакцию», в котором приносит извинения за свою ошибку (ОНД, 82). Д. посетила розановские «воскресенья» и обсуждала с Р. свои издательские планы. В октябре 1907 Р. обратился к Д. с предложением издать биографию Достоевского, написанную *А.С. Глинкой*-

Волжским, но получил отказ из-за невозможности финансировать это издание. Р. возвращался к воспоминаниям о Д. в статье «О происхождении некоторых типов Достоевского» (1911; ЛВИ). К папке *писем* Д. за 1893–1913 Р. сделал пояснение: «Конечно, лучшего он не мог сделать, как женись на ней» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 103).

А.Н.

ДОСТОЕВСКАЯ Любовь Федоровна [14(26).9.1869, Дрезден — 10.11.1926, Грис, Тироль] — дочь *Ф.М. Достоевского*, беллетристка, автор мемуаров. Р. написал рецензию на ее книгу «Больные девушки. Современные типы» (СПб., 1911), где обращает внимание на предисловие Д. к ее книге: «В наше время, вследствие ненормального положения женщин в обществе, число больных девушек увеличивается с каждым годом. К сожалению, люди мало обращают на них внимания. Между тем, большинство таких девушек выходит замуж и заражает своею нервностью и ненормальностью последующие поколения» (НВ. 1911. 3 апр.; ТПРН, 66). В книге три рассказа: «Чары», «Жалость» и «Вампир». Р. считает, что «натура отца сказалась в первом и самом значительном



Л.Ф. Достоевская

рассказе»: девушка, чистая и нравственная, с горячею любовью к *детям*, в каком-то болезненном кошмаре души ребенка, ей вверенного. «Сцена эта передана страшно и натурально: девушка оказывается с врожденною маниєю, этому ужасному *преступлению!*» (там же). Р. считает, что в этом фантастическом рассказе выразилось «продолжение замечательной наклонности великого романиста сводить вместе, связывать “в один узел” величайшую человеческую чистоту, вот именно детскую,

с величайшим *страданием*, именно мукою, замучиванием ее» (ТПРН, 66–67). Такие кошмары у женщин и матерей не бывают, доктор советует девушке «поскорее выйти замуж». Однако у «большой девушки» никогда не проявлялось влечение к замужеству, она любила одних *детей*, которых тайно душила. «Страшно. И, повторяю, очень интересно по родовой, генетической связи с одним уклоном в *творчестве* великого своего отца» (ТПРН, 67). Р. приводит аналогичные случаи из «Дневника писателя» и «Братьев Карамазовых».

М.В. Толмачёва

ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович [30.10(11.11).1821, Москва — 28.1(9.2).1881, Петербург] — писатель. Р. вспоминал, что первую книгу Д. он прочитал *гимназистом* в *Нижем Новгороде* на *Рождество* 1875. Это было «*Преступление и наказание*»: «Читал всю ночь до 8-ми часов утра, когда кухарка Александра внесла в мою комнату дрова топить печь (Рождество, морозы) — я чувствовал, как бы пишу это я сам, до такой степени “Достоевский писал мою душу” Но *тайна* заключается в том, что он писал вообще русскую душу, и русский, оставаясь “собою”, не может остаться “вне Достоевского”» (М, 303). Р. уверен, что таких «фантастических» лиц, как герои Д. от Раскольникова и Разумихина до Свидригайлова и пьяненького Мармеладова «никогда не было, нет и не будет у немцев, англичан, французов, итальянцев, голландцев, испанцев. “Это наш табор. Это русские перед Светопреставлением” Дрожат. Корежатся. Ругаются. Молятся. Сквернословят. “Это — наши” (там же). Главное в Д., считал Р., — все мы, русский человек, русская душа. “Ведь, в сущности, все, и *Тургенев*, и *Гончаров*, даже *Пушкин* — писали “немецкого человека” или “вообще человека”, а русского (“с походочкой” и мерзавца, но и ангела) — написал впервые Достоевский» (там же). Свою первую литературную книгу Р. написал о Д. — «*Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского*». Еще в трактате «*О понимании*» он обратился к *творчеству* Д. Размышления о Д. продолжались в пору жизни в *Ельце*. «Я потому так и люблю Достоевского, — признавался он в одном из первых *писем* *Н.Н. Страхову*, — потому *смерть* его так страшно поразила меня, что он понял не только светлое, но и все темное в подростках наших, и это темное обвил такую *любовью*, таким *состраданием*» (ЛИ, 147). Р. постоянно вчитывался в книги Д. и записал, что это — «гибкий, диалектический *гений*, у которого едва ли не все тезисы переходят в отрицание» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 219. Л. 5). Это свойство оказалось близко антиномичному складу мышления самого Р. «Легенду о Великом инквизиторе», сочиненную Иваном Карамазовым, Р. считал душой романа, все действие которого «только группируется около нее, как вариации около своей *темы*» (ЛВИ, 13). Р. проанализировал «Братьев Карамазовых» и центральную в философском плане главу романа в контексте христианского мирозерцания Д. Вместе с тем, заметил позднее Р., «светлый образ Алеши Карамазова, кажется, прошел далекий манящим видением перед множеством русских молодых людей, и нередко об удивительном, об исключительном религиозном юноше теперь говорят друзья его или родители: “Это как Алеша Карамазов”» («*Тема нашего времени*» // НВ. 1901. 6 марта; ВДЯ, 167). Одна

из главных идей «Легенды...» Р. заключается в том, что он отказывался видеть в последовавших за *Гоголем* писателях (Тургеневе, Достоевском, *Островском*, Гончарове, *Л. Толстом*) его продолжателей. «Правда, взор его и их был одинаково устремлен на *жизнь*: но то, что они увидели в ней и изобразили, не имеет ничего общего с тем, что видел и изображал он» (ЛВИ, 18), ибо Толстой и Д. противодействовали «отрицательному» гению Гоголя. Целостность художественной идеи сближала для Р. столь различные романы Д. и Толстого: «Роман Достоевского глубоко однороден с «Анной Карениной» по духу, по заключенному в нем смыслу. Он также есть синтез душевного анализа, философских идей и борьбы религиозных стремлений с сомнением» (ЛВИ, 41). Но в отличие от «Анны Карениной», где показано, как гибнет женщина, сошедшая с путей *нравственности*, в «Братьях Карамазовых» «раскрыто таинственное зарождение новой жизни среди умирающей» (там же). В этом смысл *эпиграфа* к «Братьям Карамазовым» — смерть, разложение — как залог новой жизни. Так следует смотреть на историю и на разложение в окружающей нас жизни, считал Р. Этот взгляд один может спасти нас от отчаяния, полагал Р., когда уже настает, кажется, конец для всякой *веры*. Прочитав первые главы «Легенды...» Р. в «Русском Вестнике», *К.Н. Леонтьев* писал автору 13 апреля 1891: «Чрезвычайно ценю ваши смелые и оригинальные укоры Гоголю; это великое начинание. Он был очень вреден, хотя и непреднамеренно. Но усердно молю Бога, чтобы вы поскорее переросли Достоевского с его «гармониями», которых никогда не будет, да и не нужно» (ЛИ, 329). Как бы ни менялись в дальнейшем взгляды Р. на Д., неизменным оставалось *чувство*: «Достоевский живет в нас. Его музыка никогда не умрет» (У, 286). Статьи о нем Р. писал на протяжении всей жизни (более 30 статей и заметок). Он как бы жил «по часам» Д., был весь в движении его идей. «Ничто в нем не постарело, ничто не умерло. Он так же раздражает одних, умиляет других» (ОЦС, 132), — отметил Р. к 20-й годовщине со дня смерти писателя. В первый год XX столетия, предвидя значение Д. для *будущего*, Р. сказал о его наследии, что это — «едва тронутый с поверхности рудник мыслей, образов, догадок, чаяний, которыми долго-долго еще придется жить русскому обществу, или по крайней мере — к которому постоянно будет возвращаться всякая оригинальная русская душа» (ОЦС, 130). В те годы мало кто понимал в *России*, а за границей и вообще никто не понимал, что Д. «есть в полном смысле европейский писатель» (там же), как с некоторой долей неловкости за свою смелость сообщал Р. в той же статье. Западная *Европа* и *Америка* поймут и оценят Д. лишь после *Первой мировой войны*. Р. первый стал писать о грядущем мировом признании Д.: «Достоевский — это для *Европы* революция, но еще не начавшаяся, хотя и совершенно приготовленная. В час, когда его идеи станут окончательно ясными и даже только общеизвестными (ибо, несмотря на бесчисленные издания, мы утверждаем, что он даже и на родине большою публикою еще не прочитан), начнется великая идейная революция в Европе. Самые столбы ее, подводные сваи ее великолепных надводных построений, окажутся нетвердыми или фальшивыми» (НВ. 1901. 28 янв.; перепечатывая статью в книге «Около церковных стен», Р. отредактировал

текст). 25-летняя годовщина смерти Д. пришлось на разгар *Первой русской революции*. Под *псевдонимом* В. Елецкий Р. печатает в московской газете «Русское Слово» отклик на события самые горячие, кровавые (только что отшумело Декабрьское вооруженное восстание), хотя статья названа академически сухо: «Экономический и социальный вопрос у Достоевского». Р. рассматривает разбор в «Дневнике писателя» Д. за февраль 1877 разговор Левина и Стивы Облонского в «Анне Карениной» о справедливости существующего строя. Обращаясь к свидетелям недавнего Московского вооруженного восста-



Ф.М. Достоевский. Портрет из издания Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 12 т. / Предисл. В. Розанова. СПб., 1894. Т. 1

ния, Р. пишет: «Не правда ли, слова эти с биением сердца прочтутся всеми москвичами, ибо в журналистике 1905 года не было ничего сказано столь глубокого и вместе столь отвечающего на тему истекшего года, как эти, 29 лет назад сказанные, слова! О, если бы в эти 29 лет русское общество, русская администрация, русское законодательство и, словом, «русский смысл» и «русская душа» поработали над этими словами: не застали бы нас врасплох и растерянности события этого года, да и самых событий, наверное, не было бы в их черных и скорбных и кровавых чертах» (ЛВИ, 492). Сходную мысль, хотя и не так открыто, высказал Р. в статье «Памяти Ф.М. Достоевского», появившейся в тот же день 25-й годовщины смерти Д. в «Новом Времени». Говоря, что некоторые мысли в «Дневнике писателя» стали частью убеждений русского общества, Р. мечтал о том, как «зашумели бы сейчас нумера «Дневника писателя», живи Достоевский в наши смутные, тревожные, чреватые будущим дни. Вот кто сказал бы нужное слово, какого сейчас мы в литературе не имеем. Момент исто-

рии до такой степени исключительный по значительности, можно сказать перелом всей русской истории» (ОПП, 199). В статье «Чем нам дорог Достоевский?» (НВ. 1911. 6 авг.) Р. объясняет свою любовь к *творчеству* писателя: «Суть Достоевского, ни разу в критике не указанная (сколько я знаю ее историю), заключается в его бесконечной *интимности* <...> Достоевский есть самый интимный, самый внутренний писатель, так что его читаешь — как будто не другого кого-то читаешь, а слушаешь свою же душу, только глубже, чем обычно, чем всегда... Ведь и “своя душа” раскрывается вот до такой-то глубины, вот до другой глубины, а бывает и совершенно поверхностна, и, наконец, легкомысленна. Чудо творений Достоевского заключается в устранении расстояния между субъектом (читающим) и объектом (автор), в силу чего он делается самым родным из вообще сухих, а, может быть, даже и будущих писателей, возможных писателей. Это несравненно выше, благороднее, загадочнее, значительнее его идей. Идеи могут быть “всякие”, как и “построения” Но этот тон Достоевского есть психологическое чудо» (ОПП, 533). Центральной идеей творчества Д., считал Р., стал «подпольный человек». Без такого «столпа в его творчестве», как «Записки из подполья», пишет Р., нельзя понять ни «Преступление и наказание», ни «Бесов», ни «Братьев Карамазовых», хотя при появлении своем «Записки» не обратили на себя внимания. «Теперь уже нельзя говорить “о Достоевском”, не думая постоянно и невольно, вслух или про себя, о “Записках из подполья” Кто их не читал или на них не обратил внимания — с тем нечего говорить о Достоевском, ибо нельзя установить самых “азов” понимания. Целый ряд писателей выдающегося успеха — Л. Шестов, Мережковский, Философов — начали постоянно ссылаться на “подпольного человека”, “подпольную философию”, “подпольную критику” И термин “подполье”, понятие “подполье”, наконец, сделались таким же “беглым огнем” в литературе, журналистике и прессе, как когда-то “лишний человек” Тургенева, его “отцы и дети” или как “нравственное совершенствование” после Толстого» («Одна из замечательных идей Достоевского» // РС. 1911. 1 марта; ОПП, 491). Отношение Р. к революционерам как к разрушителям России перекликается с изображением «бесов» революции у Д. В «Опавших листьях» читаем: «Достоевский, который терся плечом о плечо с революционерами (Петрашевский), — имел мужество сказать о них: “мошеничество” — “Русская революция сделана мошениками” (Нечаев, “Бесы”). Около этого приходится поставить великое SIC» (У, 350; перефразировка слов Петра Верховенского (Нечаев в черновиках): «Я ведь мошеник, а не социалист». — «Бесы». Ч. II. Гл. 8). В «Мимолетном» Р. отмечает: «Повалить Достоевского — это замысел революции» (М, 215). И это не потому, что он написал «Бесов», а потому, что все существо Д., доброе, сострадательное, «наше бытовое», совершенно несовместимо с «плоскодушной, скверномордной, коротенькой и пошленькой революцией». Не в “Бесах”, — о, нет! — а в “я” “Я” Д-го революция встретила упор и отпор» (там же). О нравственной природе революционеров в понимании Д. в том же «Мимолетном» Р. писал: «...фокус всех “Бесов” (Дост.) — как Петруша Верховенский, террорист-клеветник-циник, — кушает холодную курицу,

“которая вам теперь уже не нужна”, говорит он идеалисту Шатову <Кириллову>, к которому пришел потребовать от партии застрелиться. Тот мечется. Мучится. Страдает. Говорит, что “все люди станут богами”, а этот кушает и кушает. — Я с утра не ел. Был в хлопотах по партии. И вот только теперь. — Гениально. И собственно, где ни читаю историю социал-революционной партии и “истории нашей культурной борьбы”, — эта курочка все мелькает и мелькает...” (М, 107–108). Заслугу Д. в философии и теории познания Р. видит в том, что «позитивное бревно» одномерного мышления, лежащее «поперек нашей русской, да и европейской улицы, он так потрянул, что оно никогда не придет в прежнее спокойное и счастливое положение уравниновесности. Гениальный Достоевский покончил с прямолинейностью мысли и сердца; русское познание он невероятно углубил, но и расшатал...» («На лекции о Достоевском» // НВ. 1909. 4 июля; ЛВИ, 540). В годы Первой мировой войны Р. вновь обратился к «Дневнику писателя» Д., своей любимой книге, открывшей новый жанр современной литературы — исповедальный диалог писателя с читателем. В статьях «Из предвидений Достоевского о германизме и борьбе с ним» (НВ. 1916. 30 июня; ВЧВ) и «Еще из оценок и предвидений Достоевского» (НВ. 1916. 24 авг.; ВЧВ) Р. показал современное звучание «Дневника писателя».

А.Н.

ДРАГОЕВ Андрей Константинович — управляющий именем *Е.И. Апостолопуло* в «Сахарне», ее гражданский муж, позже жил в Одессе. Р. встретился с Д. во время поездки в Сахарну в 1913. *Т.В. Розанова* писала о Е.И. Апостолопуло в воспоминаниях: «У нее был управляющий именем, некий Драгоев, человек неумный, но добрый и очень ее любивший. По-видимому, они были близки, но негласно, поэтому у них никто не бывал, и это была очень невеселая жизнь. Драгоев всегда старался приумножить его богатства, а когда не мог продать рожь по той цене, которую назначил, то выходил из себя и во всем винил евреев. Он очень настроил отца против евреев» (ТР, 65). Р. состоял с Д. в переписке. В книге «Мимолетное» упоминается «письмо от Драгоева, на открытке: “Марфо-Маринская обитель милосердия. Москва”» (М, 192). Как указывает Р. в неопубликованном при его жизни предисловии к 11–12 выпуску «Апокалипсиса нашего времени», «уже немедленно по приезде в *Сергиев Посад*» он сообщил *П.А. Флоренскому*, что его взгляд на евреев «совершенно меняется». Далее Р. сообщает: «Такое мнение я выразил и в одном письме своем, к другу же, живущему в Одессе, Мельничная ул., д. 51 — глубокоуважаемому мною *Андрею Константиновичу Драгоеву*» (АНВ, 185). В «Апокалипсисе нашего времени» Р. упоминает и о материальной помощи, которую ему в 1918 оказывал Д. в голодное время: «О, други мои, спасибо. И Андрей Константинович с “вечной памятью” *Евгении Ивановны*» (АНВ, 192). Письма Д. к Р. за 1913–1917 хранятся в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 440).

В.А. Фатеев

ДРЕЙФУС (Dreyfus) Альфред (9.10.1859, Мюльхаузен — 12.7.1935, Париж) — офицер французского Генерального штаба, еврей, несправедливо обвиненный в

шпионаже в пользу *Германии* и приговоренный в 1894 к пожизненной каторге. В сентябре 1899 президент Франции помиловал Д., а в 1906 он был полностью реабилитирован. В многолетней полемике дрейфусаров и анти-дрейфусаров Р. интересовала лишь одна сторона проблемы. Не берясь судить, виновен или не виновен Д., Р. замечает: «Как иудеи вступились за одного французского офицера — еврея (Дрейфус). А мы?» (СХР, 55). «Евреи так защищают друг друга (*Бейлис*, Дрейфус), так дружны все. У них воистину достигнуто: “Все — в плоть едину”» (ПЛ, 94). Когда окончился процесс Д., Р. написал статью «*Европа и евреи*» (НВ. 1899. 11 сент.; перепечатана в брошюре Р. того же названия), в которой говорил о «цепкости и солидарности» евреев: «Нам передавали в эту зиму, что когда одна из одесских газет пробовала временно стать “против Дрейфуса”, то поутру множество евреев выбежали из дому на улицу и, манифестируя свое негодование, рвали в клочки только что полученные номера этой газеты <...> Секрет еврейства состоит в том, что они по связности подобны конденсатору, заряженному электричеством. Троньте тонкою иглою его — и вся сила, и все количество электричества, собранное в хранителе-конденсаторе, разряжается под точкою булавочного укола. В Париже 3 млн француз, но ведь евреев там сколько на земном шаре — 7 млн; в Вильне русских около 40 тысяч человек, а евреев в Вильне те же семь миллионов <...> Дело — в социальном построении; у нас “каждый за себя”, “Бог за всех”; у евреев — все за каждого”, — и потому-то, может быть, у них “Бог” в точности “за всех” Мы — разобщены; они не только соединены, но слиты. У нас соединение — фразерство; у них — факт» (ВЕ, 478).

А.Н.

ДРИЗЕН (ОСТЕН-ДРИЗЕН) Николай Васильевич, фон, барон [9(21)5.1868, Москва — 31.3.1935, Париж] — театральный деятель, литератор, редактор «Ежегодника Императорских Театров», цензор драматических сочинений при Главном управлении по делам печати, завсегда «воскресений» у Р. с 1909. Д. просил о личной встрече у Р. через посредничество *А.Г. Достоевской* в январе 1907. «Вы пишете о желании Бор.Як. Полонского и бар. Дризену бывать у нас на воскресеньях: но знаете ли Вы, что эти “воскресенья” почти прекратились и ничего интересного теперь на них нет <...> Вот отчего и Полонский и Дризен не найдут во мне и у меня ничего из того, что их интересует или привлекает: увидят скуку, *молчание* и уйдут с раздражением. А Вы понимаете, как неприятно раздражать и вообще “разочаровывать” <...> Я думаю, что взвесив все эти обстоятельства Полонский и Дризен сами не пойдут ко мне, хотя, конечно, я буду очень рад, дорогая Анна Григорьевна, увидеть у себя Вас и их» (Минувшее. Париж, 1990. № 9. С. 286). Тогда Р. уклонился от знакомства с Д., но спустя два года знакомство все же состоялось благодаря посредничеству хлопотам друга Р. *И.Л. Щеглова*, Р. признался в письме Щеглову, что «очень рад познакомиться» с Д., но его очень настораживало предложение Д. о сотрудничестве в театральной журнале: «Прихожу в ужас от просьбы написать что-нибудь для “Театр. Ежемесячника” Ведь я “ни ухо ни рыла в этом” и бываю в театре раза 3—4 в год на утренних детских представлениях — для своих ребя-

тишек» (ОР РНБ. Ф. 263. Ед. хр. 403. Л.1). Вскоре Р. усвоился с Д. о визите барона к себе на квартиру, и состоялось их личное знакомство, переросшее вскоре в творческое сотрудничество. Р. неоднократно принимал участие в заседаниях Театральной академии, образованной при театральной журнале из деятелей театра и *литературы*. Академические мероприятия проходили на квартире у барона. Р. приглашался Д. в 1909 на заседания Театральной академии, посвященные докладом С. Городецкого «Начало трагедии» и сообщению Е.М. Безпятова «Гамлет в точках современной драмы». Здесь весной 1910 Р. встретил *К.С. Станиславского* и *В.И. Немировича-Данченко*, оставив воспоминания об этой встрече в статье «В театральной мире (К гастролям, Московского Художественного театра в *Петербурге*)» (РС. 1910. 8 мая; ЗРП). В конце 1909 Р. просил Д. доставить контрамарки для себя и своей жены на спектакль «Тристан и Изольда», а также на репетиции балетных спектаклей Мариинского театра «Раймонда» А.К. Глазунова и «Щелкунчик» П.И. Чайковского. В № 1 за 1910 «Ежегодника Императорских Театров» появилась статья Р. «Театр и юность», встреченная восторженным отзывом в *письме* Д.: «Вы волшебник и чародей! Иначе я никак не могу определить способность *человека* заставить другого, себе подобного по возрасту, сразу стать ребенком и пережить <нрзб.> детства <...> Спасибо за многие наслаждения, дорогой *учитель*» (Руднев П.А. Театральные взгляды Василия Розанова. М., 2003. С. 45). Д. просил у Р. в том же письме дозволения использовать материалы статьи в своем докладе о влиянии театра на юность при подготовке Брюссельского конгресса в августе 1910 и «указать на другие [материалы] к этому вопросу относящиеся» (там же). Р. уклонился от целого ряда творческих предложений Д., ссылаясь на недосуг и свою возможность написать «лишь случайное и не в уровень с ответственностью здесь “Еж<егодника> И<мператорских> Т<еатров>”» (ОР РНБ. Ф. 263. Ед. хр. 257. Л. 2). Р. отказался писать «серьезную статью о Гамлете» (там же) и специальную статью о театральных взглядах *В.Г. Белинского* (к 100-летию критика), предложив поручить работу над ними своему другу и сотруднику «Ежегодника Императорских Театров» *А.А. Измайлову*. 20 апреля 1911 Р. присутствовал у Д. на чтении пьесы *Л.Н. Толстого* «Живой труп», впечатлениями от которого он поделился в статье «Неизданная пьеса Толстого в чтении Влад.Ив. Немировича-Данченко» (РС. 1911. 28 апр.; СХ). Р. в одном из последних писем к Д. просил барона включить в состав своего объединения по налаживанию работы российских курортов знаменитого врача Л.Р. Шернвалля. В начале весны 1914 Р. встретил Д. на благотворительном выступлении *Ф.И. Шаляпина*, позднее он отразил это в статье «“Дон-Кихот” в Народном доме» (НВ. 1914. 4 марта; НФП). Упомянув Д. в числе крупнейших политиков *России*, оказавшихся на концерте знаменитости, Р. сетовал на «любимцев лени и изящного», заполонивших благотворительные вечера. Известен рисунок «В.В. Розанов у бар. Дризен» (23.XII.1914) работы М.В. Добужинского (см. фотокопию в заметке: Палиевский П.В. Неизвестный рисунок М. Добужинского // Энтелехия. 2000. № 1. С. 110). Сохранилась розановская *характеристика* Д., приложенная к его письмам: «бар. Н.В. Остен-Дризен

(очень красивая жена)» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 441. Л. 5). Д. В. *Философов* осуждал общение Р. с Д.: «Вокруг Вас нет любящих. Есть кровная, семейная теплота (телятки, коровки) и куча ненужных неинтересных людей вроде Дризена и Мельникова, которые пьют у Вас по субботам чай и портят воздух» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3871. Ед. хр. 6. Л. 10).

А. В. *Ломоносов*

ДРОЗДОВ Николай Георгиевич — протоиерей, священник церкви Св. Пантелеймона в Петербурге, публицист, сотрудник церковной газеты «Колокол», оппонент Р. по церковным вопросам. Споры Д. с Р. начались в 1900: с отклика Д. на статью Р. «Открытое письмо г. А-ту» (НВ. 1900. 11 нояб.; СВР под названием «Ответное письмо г. А-ту»). В статье «Тяжелые упреки духовенству (Из письма в редакцию “Петерб. Листка”»)». Д. возражал Р. на его утверждение в указанной статье, «будто духовенство не признает венчание таинством, так как всегда и везде точно определяет и предварительно берет плату за венчание». Д. подчеркнул, что плата «предлагается добровольно за труд, а не за благодать» (СВР, 366, 367). Возражения на замечания Д. приведены Р. в статье «Несколько разъяснительных слов» (СВР). В 1903 Д. послал Р. письмо с приложением своей заметки в «Миссионерском Обозрении» об анонимах, на которую он ответил резким письмом («Клевещете, а клевет не выносите». — ОР РГБ. Ф. 249. М. 4213. Ед. хр. 7. Л. 3). В 1904 Д. полемизировал с Р. по поводу елки, как языческо-христианского праздника. Р. выступал тогда, по собственному признанию, с «требованиями от Церкви и духовенства — радостных, светлых, белых, наконец, веселых мотивов и образов» (ОЦС, 400). Письмо Д. (ОЦС, 396–400) и личный визит к нему Р. в начале 1905 изменили их отношения. Р. писал: «Священник мне показался угрюм и печален: да и есть отчего — постоянный больной в дому, сын-гимназист V класса <...> Страдает неясным туберкулезом <...> Так были неуместны мои запросы ему, грубы упреки ему». Письмо Д. к себе Р. опубликовал в книге «Около церковных стен», назвав его «лучшим, что было сказано и написано пастырем о пастырстве» (ОЦС, 400). После 1905 взаимные визиты повторялись неоднократно. В письмах Д. к Р. обсуждались вопросы о предстоящем Поместном соборе. В письме от 11 октября 1905 Д. настаивал на гласной работе подготовительных комиссий и широком освещении их деятельности (письмо Р. от 11 октября 1905. — ОР РГБ. Ф. 249. М. 4213. Ед. хр. 7. Л. 11–14). Д. неоднократно посылал Р. професоры (письма 1905–1907), обсуждал с Р. болезнь своего сына, причащал больную жену Р. (февраль 1906). В ноябре 1907 он просил Р. внести правку в рукопись своей статьи «Сибирский пророк» (о Г. Распутине) для «Колокола». В декабре 1910 Р. повторил высокую нравственную характеристику Д. в письме к Н. Н. Глубоковскому, указав на очередное свидание с Д.: «Вчера <7 декабря 1910> прервал письмо, спеша к 8-ми вечера к протоиерею Николаю Дроздову... Удивительной чистоты батюшка, хоть и подвизается в “Колоколе”, и там меня упрекал “рождественским гусем” И семья вся у него чистая» (ОР РНБ. Ф. 194. Ед. хр. 757. Л. 38). В феврале 1911 Д. сетовал в письме на цензурные изъятия из книг Р. «Русская церковь» и «Темный Лик»: «Жаль, что уродуют

труд чужой из боязни соблазна, лестно же прочитать между строками даже больше того, что в них значилось» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4213. Ед. хр. 7. Л. 30). В 1911 Р. полемизировал с Д., который пытался оправдать Указ духовных консисторий от 23 ноября 1911 о лишении петербургских священников права иметь домовые церкви. В том же году Р. с удивлением отмечал в одной из статей солидарность Д. и «Колокола» с позицией А. В. *Пешехонова* и П. Б. *Струве* в нападках на себя за сотрудничество в газетах разной политической ориентации. Р. считал, что Д. «в статье “Чему верить?” говорит мне то же, что один социал-гимназист и другой печального образа бывший марксист» (ОР РГБ. Ф. 249. К. 6. Ед. хр. 14). Книги Р., касавшиеся церкви, Д. никогда не оставлял без внимания. «В. В. Розанов в <...> книжице “Л. Н. Толстой и Русская Церковь” похваливает графа за то, что он имел смелость “отнестись к церкви с полным пренебрежением” <...> Розанов указал и великую неправду Толстого в том, что Толстой не знал, или просмотрел “великую задачу”, удачно решенную многовековыми трудами церкви и духовенства и состоящую — “в выработке святого человека, в выработке святого типа и стиля святости и благочестивой жизни”» («О Толстом и толстовцах» // К. 1911. 11 нояб.). В статье «Чему верить?» Д. одобрил поддержку со стороны Р. нового журнала «Приходской Священник», прозвучавшую в статье «Доброе начинание» (НВ. 1910. 16 дек.; ЗРП) и указывал на большую запутанность взглядов Р. на церковь и Христа в книгах «Темный Лик» и «Русская Церковь»: «Начали о духовенстве “здравицей”, кончили — “панихидой” То вопиали миру: “вонмем” — пастырской речи, то кричим: “оставьте их!” — заткнем уши для гнилых слов... Где же говорится правда, где кривда? <...> Затруднились мы примирить и неодинаковые взгляды автора “Русской Церкви” и “Темного Лица” на христианство и Христа Спасителя. На одних страницах читаешь, что христианство породило высокую цивилизацию, — на других <...> христианство, оказывается, не имеет никаких способов подчинить себе цивилизацию» (К. 1911. 21 апр.). В статье «Мало ясности», развивающей тему предыдущей, Д. ставил перед Р. вопросы, остающиеся после знакомства с его книгами: «Если цивилизация выросла из христианства, то позволительно ли говорить о небожественности зерна в почве <...> Да и логично ли по язвам цивилизации судить о небожественности ее корня? <...> Наш метафизик похихикивает над заповедью, обновленную в христианстве, над заповедью о “любви к ближнему” Но разве нельзя усмотреть закваску этой заповеди в христианской цивилизации? Разве не правду говорят нам — не церковники только, что христианство все-таки смягчило людские нравы?» (К. 1911. 14 мая). В заключительной статье на эту тему Д. пытался ответить на сомнения, высказанные Р. в адрес христианства: «Смеем думать, что не бессилие христианства, а лишь трудный, тяжелый, медленный рост добра <...> Большая это неправда, что христианство как будто забыло печальную юдоль земную, что оно любит только сновидения <...> что христианство не дает будто бы никаких ответов на врожденные, метафизические вопросы — о рождении, смерти, грехе, искуплении, о цели страданий» («Мало ясности» // К. 1911. 15 мая). Ответ Д. носил самый общий характер: «Все эти и подобные им “метафизичес-

кие” вопросы, недоумения и сомнения — не один раз ставились пытливым умом человека, — не раз и решались, в меру нужды, и в откровенном учении, и в богословско-апологетических трактатах <...> Мы не боги всеведущие. Без *тайн* нам не прожить. Да без тайн и жизнь неинтересна» (там же). Рецензируя книгу *Б. Грифцова* «Три мыслителя», Д. отмечал, что она обращает на себя внимание в первую очередь потому, что в ней исследовались взгляды Р., «который отдал много сил и внимания церковным вопросам, и вопросам из области богословия и религии» («Разорванные сердца» // К. 1911. 25 мая). В 1912 в журнале «Странник» Д. посвятил статью «Около полового вопроса» разбору книги Р. «Люди лунного света». Отметив, «что в книге г. Розанова есть чистое зерно, но немало и плевел» (PRO, 2, 139), Д. выделил сложность языка книги и пытался очистить мысль автора от указанных «плевел»: «каленных стрел», пущенных в сторону монашества, аскетизма, девственности и безбрачия. Д. опровергает утверждение Р. о двойственном отношении христианства к браку: «Христианство признает брак великой священной тайной, но выше этой святости оно полагает иную святость — любовь ко Христу, жениху возлюбленному каждой человеческой души...» (Там же, 144). Утверждениям Р. о женоненавистничестве преп. Моисея Угрина Д. противопоставил «повесть» из Библии, в которой говорится о гибели мужей из-за жен: «Многие сошли с ума из-за женщин и сделались рабами через них, многие погибли и сбились с пути, и согрешили через женщин (II Ездр. IV)» (Там же, 145). Защищая православную церковь от упреков в излишней стыдливости при обсуждении вопроса о целях брака, Д. упрекал Р. в незнании чина венчания, в котором «обильно говорится о “чадотворении”, “доброчадии”, “единомыслии душ и телес”, о погашении браком “плотского разжжения”» (Там же, 146). Называя Р. «недругом девства», Д. писал: «В погоне за доказательствами “святости” всякого соития г. Розанов договорился до того, что самую душу человеческую поместил в том месте, которое обычно прикрывается фиговым листком. Половая деятельность есть, по нему, самая спиритуалистическая, прекрасная, духовная, этическая, метафизическая, чудная, святая» (Там же, 145, 146). В книге Р. «В темных религиозных лучах» Д. назван в числе друзей, в одном ряду с П.А. Флоренским и И.И. Филевским (ВТРЛ, 390). Рецензия Д. на книгу Р. «Опавшие листья» выражала недоумения критика от разбираемого произведения. Д. сосредоточил внимание на негативных оценках автором литературных авторитетов: Гоголя, Толстого, Мережковского, Бердяева, Спенсера и других («Всего понемногу» // К. 1913. 26 апр.). Общее впечатление от прочитанного у Д. было отрицательное в силу принципиальной асистемной композиции розановских «листьев»: «Подвести все содержание книги под определенные рубрики трудно, ибо она есть своего рода кунсткамера, где великое множество всяких бабочек, букашек, мушек и таракашек, разложенных по страничкам без всякой <...> системы», и все они в отдельности «далеко не кажутся шедевром» («Опавшие листья» // К. 1913. 27 апр.). Р. оставил запись с впечатлением от рецензии Д. на «Опавшие листья»: «Не понимаю книги, не понимает прямых русских слов в ней, а пишет на нее критику... Вот вы с ними и поспорьте “о браке” Чело-

век не знает самого предмета, самой темы: и в сотый раз переписывает или “пишет” семинарскую путаницу, застрявшую у него в голове. И никогда не скажет: “Бедная моя голова” Куда: все они “глаголют”, как Спаситель при Тивериадском озере, так же уверенные в себе» (СХР, 42). К письмам Д. приложена характеристика 1914, данная ему Р.: «Дроздов свещ. Николай Георгиевич. Прелестные батюшка и матушка (институтка, но совсем опоповилась) и дети прелестные (сын и 2 дочери красавицы). Но как писатель ужасно нелепый» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4213. Ед. хр. 7. Л. 23).

А.В. Ломоносов

«ДРУГ» (Бутыгина Варвара Дмитриевна; урожд. Руднева; 1864, Елец — 15.7.1923, Сергиев, Московская губ.) — вторая жена Р., которую он называл в своих произведениях «Д.»: «Только такая любовь к человеку есть настоящая, не преуменьшенная против существа любви и ее задачи, — где любящий совершенно не отделяет себя в мысли и не разделяется как бы в самой крови и нервах любимого. Вот эту-то любовь к человеку я и встретил в своем “друге”» (У, 372). В.Д. Бутыгина официально



«Друг» (В.Д. Розанова)

фамилии никогда не носила (ТР, 19). Для Р., по его признанию в письме к П.А. Флоренскому 20 сентября 1910, вторая жена была: «Религия... Все “лучшее и чистое”, что нашел в жизни, встретил на земле, кто мне б<ыл> послан Богом, чтобы “научить и вразумить”...» («Смертное». М., 2004. С. 117). «Д.» была ребенком особенным, намоленным, о чем Р. сообщает в письме к П.А. Флоренскому

10 октября 1910: «От зачатия (мать ее “вымолила”, дав обет, У Варвары Великомученицы — в *Киеве* — и зачала по обету, и беременная ею — ездила (на лошадах тогда) благодарить ее за исполнение. Она б<ыла> больна много лет “непрерывным выкидышем”, — и вот “если зачну и доношу — назову для Тебя “Варварой” — рассказ мне. Она и есть, и я верю, “богоданная”» (Там же, 180). *Фамилию* Бутягина «Д.» получила по своему первому мужу *Михаилу Павловичу Бутягину*, от которого имела дочь *Александрю Бутягину*. «Д.» познакомилась с Р. в доме ее матери *А.А. Рудневой* в *Ельце*, где она жила после смерти мужа и где квартировал приятель Р. *учитель И.Ф. Петропавловский*: «Они жили против церкви Введения Пр. Богородицы — храм навсегда для меня милый, моя нравственная родина. Где околы его стены хотел бы я быть похороненным <...> *Семья* состояла из старушки, моей почтенной теперь матушки, вдовы 27–25 лет и внучки 3-х лет. Вдова потеряла на 21 годе горячо любимого мужа, у которого развилось центральное воспаление мозга, и он медленно день за днем слеп, перед смертью лишился рассудка и умер <...> Все родство их духовное, прелестное, теплое внутри, взаимно помогающее, утонченно деликатное. Раньше я был тоже религиозен, но как-то бесцерковно; тут я прямо бросился к церкви как “Стене нерушимой” <...> Только потому что нельзя было ни в старушку, ни в ребенка влюбиться, я — просто привязался, как к родной, к вдове. Тут — грация; *ласка души*; тончайшая деликатность; *нежность* физическая, неумовимо милые манеры, а, главное, это чудное отношение к старику свекру, золовкам (сестры мужа), братьям, ко всему — все меня прельстило, глубоко одинокого человека. Я думаю, чувство родства и суммы этого родства было главное» (ОСЖС, 697–698). *Петропавловский* умер в марте 1888. Похороны и горе сблизили Р. и «Д.» Но жениться Р. не мог, поскольку состоял в *браке с А.П. Сусловой*, хотя к этому *времени* она уже навсегда оставила его. В семье будущей жены Р. нашел внимание и тепло: «Все знали мое положение (т.е. что есть жена), но, странно — все меня любили <...> Видно, видели мою серьезность (т.е. чувства ко всем им)» (Там же, 698). Он дарит «Д.» свою фотографию, на обороте которой пишет: «Варваре Дмитриевне Бутягиной от глубоко уважающего В. Розанова. Одной из тех праведниц, чистой и благородной В.Д. Бутягиной. Елец, 5 июня 1889 г.» (ТР, 19). Отношения из дружеских перешли в интимные: «Забеременела. Ужасы. Мать ее давно мне сказала: “Мне — на всякий случай говорю вам <...> — легче живой лечь в землю, чем увидеть свою дочь павшей” “Известно — провинция” Ужас... Произошел выкидыш. На “ходу” и все течение его провела “на ногах”» («Смертное», 117). В начале 1891 мать «Д.» ездила в *Оптину Пустынь* к старцу *Амвросию*, после чего дала согласие на тайный брак Р. со своей дочерью. 5 июня 1891 их без записи, без свидетелей тайно обвенчал в Калабинской церкви священник *И.П. Бутягин*, брат первого мужа «Д.» Возможные последствия этого венчания для Р. описывает *С.Н. Дурьлин*: «Если б это открылось (*Победоносцев* знал это, но, по благородству своему, молчал, Вас<илий> Вас<ильевич>, как двоюроднец, подлежал бы не только церковным, но и гражданским карам — разлучению с женой, с *детьми* и ссылке на поселение» (PRO, 1, 241). После тайного венчания молодые

сразу уехали из Ельца и летом того же года Р. перевелся в прогимназию г. *Белый* Смоленской губернии. С 1893 по 1917 они жили в *Петербурге*, затем переехали в *Сергиев Посад*. «Д.» родила от Р. шестерых детей: Надю, Татьяну, Веру, Варвару, Василия, Надежду. В письме *Н.Н. Глубоковскому* в конце 1910 Р. писал: «3 раза ей делали — в разные годы — операцию. Чего это стоило!! 6 детей живых, — было 3 выкидыша, 1 девочка умерла» (ПИРЛ, 46). Она была хорошей матерью. Тем не менее Р. признается: «У меня “*таланта к детям*” определенно теперь нет: был — и сильнейший, — к детям брата Коли (все вышли революционерами) в тридцать — 35–40 лет, т.е. в сущности “своих бы детей” У мамы великий талант “к мужу”, но таланта к детям тоже нет: она не находит с ними, о чем говорить. Она о них заботится, но это — другое: нужно входить в душу, связываться с душою» (ПЛ, 189). *А. Белый*, посещавший розановские «*воскресенья*», пишет о «Д.» (которую он именует Варварой Федоровной): «Выделяется грузная, розовощекая и строгая какая-то — Варвара Федоровна, супруга писателя: розовощекая, строгая — вот мое впечатление; впрочем, может быть, и не строгая вовсе, а — строгая к нам, к Мережковским; она уже знает, что я задружил с *З.Н. Гунтуис*. В.Ф. вечно внушающей не приятель, а какой-то мистический ужас; и на меня переносит она “строгим” видом своим — недоверие к... Мережковским; здесь я, конечно же — “друг” Мережковских, и это я чувствую постоянно в вопросах В.В., обращенных ко мне, в строгом профиле краснощекой жены его» (Белый А. О *Блоке*. М., 1997. С. 145). 26 августа 1910 «Д.» разбил частичный паралич на почве инсульта, и Р. записывал в «*Уединенном*»: «Я сразу состарелся. 20 лет стоял “в полне” И сразу 9 часов вечера. Теперь ничего не нужно, ничего не хочется. Только *могила* на уме» (У, 80). *Н.Н. Глубоковскому* Р. признается: «Я не хочу жить, не хочу, хоть дети и маленькие: от 9 до 15 лет. Просто не интересно: когда Варина жизнь погаснет — моей совершенно не для чего гореть. Я видал лучше, что Бог дал мне увидеть — ее — и больше ни на что я не хочу смотреть. Детям оставлю “кое-что”, и пусть растут как знают: от нужды суровой — избавлены, а до избытка — пусть прирабывают» (ПИРЛ, 46). В *письме* к П.А. Флоренскому Р. сообщает причину заболевания: «Я Вам не говорил, чем она больна: ее муж, — любимейший, — умер (Карпинский по признакам) от прогрессивного паралича на почве сифилиса, и она через плаценту (“детское место”, коим ребенок соединен в утробе) получила заражение, павшее на мозг же, и у нее произошла сухотка спинного и головного мозга!! Отсюда получилось раннее, в 45 лет “перерождение” всех кровеносных сосудов и миокардит, а на почве перерожденных сосудов произошел в 47 лет удар: когда закрылась проходимость некоторых кровеносных сосудов в мозгу. И это открыт через 30 лет после заражения!! Теперь уже все запоздало и она, несчастная, изуродована: вся левая сторона ее тела полувисит, ослаблена, с потерей чувствительности и ослабленной способностью движения. Вся жизнь испорчена медицинским недосмотром. И тут, конечно, виноват муж, который должен за всем смотреть, должен бы ее охранить» («Смертное», 157–158). Умерла «Д.» через пять лет после смерти мужа. Похоронена на Вознесенском кладбище близ Сергиева Посада

(уничтожено после 1917). По воспоминаниям дочери Татьяны, «смерть ее была замечательная по мужеству и религиозной осознанности. Впервые я видела такую величавую картину. Это была кончина праведницы. Она до последней минуты все крестилась. Взор был любящий, глубокий. Умерла в полном сознании. Первая панихида по ней была отслужена о. Павлом Флоренским» (ТР, 127). Как «Д.» (варианты: «мама», «мамочка») Варвара Дмитриевна постоянно встречается на страницах произведений Р.: «В “друге” Бог дал мне встретить человека, в котором я никогда не усумнился, никогда не разочаровался. Забавно, однако, что не проходило дня, чтобы мы не покричали друг на друга. Но за вечерний час никогда не переходила наши размолвки. Обычно я или она через ½ часа уже подходили с извинениями за грубость (выкрик). Никогда, никогда между нами не было гнева или неуважения. Никогда!!! И ни на один полный день. Ни разу за 20 лет день наш не закатился в “разделении”» (У, 75); «Но каждое утро мы, просыпаясь, протягиваем руки друг другу и, пожимая, — смеемся: — Мамочка, мы здоровы!!!» (СХР, 161). В «Д.», говорит Р., ему была дана «путеводная звезда»: «И я 20 (с 1889 г.) шел за нею: и все, что хорошего я сделал или было во мне хорошего за это время, — от нее; а что дурное во мне — от меня самого. Но я был упрям. Только сердце мое всегда плакало, когда я уклонялся от нее...» (У, 46–47). Один из псевдонимов Р. — В. Варварин — прямо отсылает к Варваре Дмитриевне: «“Бог не дал мне твоего имени, а прежде я не хочу носить, потому что...” И она “никак” себя называла, т.е. называла под письмами одним крестильным именем. Я смеюсь: “Да ведь так себя царицы подписывают, великие князья” Она не понимала, не возражала, но продолжала писать одно имя: “В.....” Я взял от него один из псевдонимов» (У, 51). Ей первой Р. читал написанные им тексты: «Моя тихая, молчаливая Муза, 20 лет меня со спины крестившая» (СХР, 148). «На своей карточке, где его узнать нельзя, столько скорбных складок на лице, он написал на обороте следующие слова: “Много, много, свет мой, путь мой, расправила ты морщин на этом лице. Не таково оно было в 1890 году. Ты христианка в любви. Никто не умел так сочетать любовь женщины, чувство женщины с самопожертвованием христианским, как друг мой, подруга моя. Спасибо тебе, дорогая <...> куда бы я не поспешал и где бы ни был, около тебя ведь душа моя, около твоих худеньких ручек худенького личика <...> Да хранит тебя Бог, как ты меня в жизни хранила с 1891 по сей 1899 год. Твой вечно, любящий муж Вася Розанов. Варваре Дмитриевне Розановой»» (ТР, 19); «Вечное благословение. Она всегда меня благословляет, и вот 20 лет из уст ее — нет, из ее улыбки, п.ч. она ничего не говорит, — идет одно благословение. И под этим благословением я прожил бы счастливо без религии, без Бога, без отечества, без народа. Она — мое отечество. Улыбка, отношение человека. И я был бы вполне счастлив, если бы был достоин этого благословения. Но в тайне души я знаю, что его недостоин» (СХР, 51). Р. особо отмечает нелюбовь «Д.» к творчеству *Н.В. Гоголя*, что он даже внес, согласившись с нею, в свою оценку Гоголя в «*Легенде о Великом инквизиторе*». «Мамочка не выносила Гоголя и говорила своим твердым и коротким: — Ненавижу <...> Отчего же она не любит Гоголя? и когда читаешь (ей) —

явно “пропускает мимо ушей” “Почему? Почему?” — я спрашивал. — Потому что это мне “не нравится” — Да что же “не нравится”: ведь — это верно. Чичиков, например? — Ну, и что же “Чичиков”?.. — Скверный такой. Подлец. — Ну и что же, что... — Слова “подлец” она не выговаривала. — Ну, вот Гоголь его и осмеял! — Да зачем? — Как “зачем”, когда такие бывают?! — Так если “бывают” — вы их не знайте. Если я увижу, тогда и... скажу “подлец” Но зачем же я буду говорить о человеке “подлец”, когда я говорю с вами, когда мы здесь <...> Вокруг себя я не вижу “подлеца”, а вижу или обыкновенных людей, или даже приятных. Я не знаю, к чему это “подлец” относится <...> Чуть ли даже она один раз выговорила: — Я ненавижу Гоголя потому, что он смеется. — Т.е. что у него есть существо *смеха* <...> Я понял тогда (в 1889 и 1890 гг.), что существо смеха Гоголя было несовместимо с тембром души ее, — по серебристому и чистому звуку этого тембра, в коем (тембре) было совершенно исключена грязь и выкрик» (У, 295). *Т.В. Розанова* вспоминает, что после обращения Р. на высочайшее имя Государя с просьбой узаконить его пятерых детей «мы были узаконены и получили и отчество и фамилию отца. Положение же матери оставалось неизменным, поэтому отец, когда писал “*Опавшие листья*” и “*Уединенное*”, называл мать мою — “Другом” — он не мог назвать ее официально женой» (ТР, 106).

И.А. Едошина

ДРУММОНД (Drummond) Генри (17.8.1851, Стерлинг, Шотландия — 11.3.1897, Танбридж, Уэллс) — шотландский богослов. Р. написал статью «Посмертный труд Генри Друммонда» (НВ. 1910. 4 июня), в которой рассказал о сборнике бесед Д., сохранившихся в *рукописях* и изданных в Англии по *смерти* автора. Этот сборник под названием «*Идеальная жизнь*» был переведен на русский язык и издан Киевским религиозно-философским обществом в 1910. «Природный и нравственный идеализм англичан, — пишет Р., — глубоко отличается от умозрительного и кабинетного идеализма немцев <...> Страна Карлэя и Диккенса всегда была серьезною, несколько угрюмою, набожною и в высшей степени трудоспособною. Цинизм никогда не смел в Англии произносить своих дерзких слов о *Боге*, о *религии*, о *душе* человеческой, о *совести*, об *обществе*, родной стране и долге» (ЗРП, 199). Р. отмечает, что *темы* сборника «исключительно нравственные, но изложение отнюдь не состоит в сухом и голом поучении: поучение, правда, получается, но как венец и результат разбора Друммондом разных сторон человеческой души, разных «переживаний» ее, разных падений *совести* и озарений *совести*, какие случается каждому испытывать в жизни в более или менее тяжелой форме» (ЗРП, 200). В заключение Р. замечает, что «до сих пор не собраны “воедино” разбросанные рассуждения нашего русского Друммонда — *Платона Ал. Кускова*, скончавшегося в прошло году, и прошедшего в *русской литературе* так незаслуженно незамеченным» (там же).

А.Н.

ДРЭПЕР (Дрепер, Draper) Джон Уильям (5.5.1811, Ливерпул — 20.10.1882, Нью-Йорк) — американский естествоиспытатель, историк. В гимназии Р. читал «*Исто-*

рию умственного развития *Европы* Д. (пер. под ред. А.Н. Пыпина. СПб., 1862). Д., говорит Р., был один из тех, кто «пленил душу русского человека» (ОПП, 456), поскольку его мысль была «слишком легка, усвоима, сразу же входила во множество голов, без всякой работы этих голов над собою» (там же). Позже имя Д. ассоциируется у Р с наступлением «века позитивизма» (КНУ, 539). Д. казался Р. «таким недалеким» (КНУ, 423), особенно его теория о «переходе из века *Чувств* в век *Разума*» (У, 264). По этому поводу Р. замечает: «Нужно бы взглядеться, что такое “доисторическое существование народов”: по Дрэперу и таким же, это — “троглодиты”, так как не имели “всеобщего обязательного обучения” и их не обжигали янки: но по Библии — это был “рай” Стоит же Библия Дрэпера» (У, 91). Еще негативнее отзывается Р. во время *Первой мировой войны* о разрушении позитивистами *религии*: «Разве мы не несли в триумфах и не носили несколько десятков лет поганенков Дрэпера и *Бокля*, своих поганцев, начиная от *Чернышевского*, которые орала, кричали, визжали: “à bas <долгой> храмы, церкви и всю эту темную смрадную ветошь» (ПЛ, 315).

А.Н.

ДУНКАН (Duncan) Айседора (27.5.1878, Сан-Франциско — 14.9.1927, Ницца) — американская танцовщица. В 1905, 1907–1913 и в 1921–1924 гастролировала в *России*. Р. видел в *искусстве* Д. реальное воплощение, живую иллюстрацию некоторых собственных идей *философии пола*, «естественного человека», демонстрацию природной женской *красоты*. Р. посвятил Д. статьи: «Танцы невинности (Айседора Дункан)» (РС. 1909. 21 апр.), «Дункан и ее танцы (14 января 1913 г. в Малом театре)» (НВ. 1913. 16 янв.), «У Айседоры Дункан» (НВ. 1913. 19 февр.). В начале 1913 Р. встретился с Д. Об этом знакомстве, трех подаренных танцовщицей фотографиях и о проводах Д. при ее отъезде из *России* вспоминала и дочь писателя (ТР, 63). Три названные статьи, а также несколько откликов *читателей* на первую из этих статей Р. включил в *книгу «Среди художников»*. В книге воспроизведена также одна из фотографий, подаренных Д. В 1914 Р. вновь обратился к искусству Д. в связи с организацией ею балетной *школы* и опубликовал очерки «На печальном остатке *жизни*» (НВ. 1914. 15 апр.), «Ученицы Дункан» (НВ. 1914. 17 мая). В первом из них он привел выдержки из размышлений Д. «Что я думаю о танце». Классическому балету Д. противопоставила непринужденность, естественность танцевальных движений древних греков, она говорила о своих танцах как раз то, что увидел, почувствовал в них Р. «Оказывается, самое теплое воспоминание Айс. Дункан сохранила из всех ею посещенных стран — о России <...> Сказав, однако, о Дункан, нельзя забыть о танцах <...> “Человек танцует потому, что ликует его душа, ликует с ним и вокруг него вся природа <...> Звук, свет, энергия передаются волнообразным движением; ритм танца лежит в основе *мира*; *танец* лишь передача мировой энергии при помощи тела человека <...> Хор античных трагедий — вот где драма сливалась с пляской” <...> Так пишет она в безыскусственном наброске <...> Дункан пришла вовремя, и дело ее не умрет. Едва ли когда-нибудь человек перестанет танцевать, как он никогда не перестанет

петь. Больше движения в душе — больше танца. Скучнее в душе, томительнее — танец гаснет» (НВ. 1914. 15 апр.; НФП, 299–301). «В балете — везде в нашем танце главное и почти все принадлежит ногам. Что “танец” <...> есть поэзия движения ног и “ножек”, то — аксиома; но, оказывается, только — нашего *времени*, и это показала Дункан воскрешением древнего танца» (СХ, 288). «Скромная, с некрасивыми ногами, без косметики, —



Айседора Дункан

она была хороша! Горсть пудры, брошенная на себя, — и, кажется, все закричали бы на нее: “Вы говорите, что человек прекрасен сам в себе, а между тем обсыпались мукой” Все отвернулись бы. А теперь все жадно смотрели “просто на человека”» (СХ, 291). Отмечая естественность движений и *одежды* Д., Р. говорит, что у танцовщицы можно было видеть «не только всю полную *грудь* ее, в полном очерке, но и темнеющий сквозь ткань хитона сосок. И когда она <...> двигалась, — слегка двигались под хитоном и эти темные пятнышки сосков. “Ну, полная натура!” — подивился я из ложи <...> Дункан, не выставляясь и не прячась, не скрывает ни некрасивости своих ног, ни своих девственных сосков <...> В танце Дункан <...> танцует дух человека, древняя “психея” Элллады <...> Танцует природа, — не павшая, первозданная природа <...> Ничего мутного — все так прозрачно!

Ничего грешного — все так невинно!» (СХ, 291–294). «Танцы ее, все ее позы — в точности античны, об этом мне говорят мои изучения подлинников и свежая память их. А в этих позах, жестах, движениях — и лежит все. Личная ее красота или некрасивость не имеют никакого значения при этом. Она действительно открыла до сих пор не открытую область древнего искусства; мы знали его в неподвижном, как неподвижны все храмы и статуи, неподвижен и рисунок на каждой порознь вазе и камее. Она, соединив секунды в час, воспризвела, воссоздала движение античного мира в прекраснейшем виде его — в движущемся древнем человеке» (СХ, 390). В одной из своих записей начала 1913, с пометой «придя с Айседоры Дункан домой», Р. отметил: «Как хорошо, что эта Дункан своими бедрами послала все к черту, всех этих Чернышевских и Добролюбовых. Раньше, впрочем, послала их туда же Брюсов и Белый (Андрей Белый). “О, закрой свои бледные ноги” Это было великолепно» (СХР, 18–19). Тогда же, в 1913, говоря о своем разочаровании в славянофилах кружка Т.И. Филиппова и повороте к «язычеству», Р. отмечает: «Лучше танцующая Дункан, чем ваши мякинные и со вшами бороды лопатой» Больше в Дункан правды, больше ясности, стократно больше доброты: потому что с ней — природа (язычество). А вы — всего только мертвецы с нашитыми по позументу крестиками (орнаментами одежды)» (ЛИ, 89). С критикой высокой оценки Р. танцев Д. выступил М.М. Иванов в статье «Совсем не особое мнение» (НВ. 1913. 21 янв.).

В.Н. Дядичев

ДУРНОВО́ Орест Дмитриевич (ум. 24.3.1934, Калгари, провинция Альберта, Канада) — критик православной церкви, полковник, корреспондент Р. в 1911–1912. Р. отозвался рецензией на его книгу «Так говорил Христос». Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1912 (НВ. 1912. 25 сент.). Первое издание книги было бесцензурным и вышло в Берлине. Д. предложил свой перевод Евангелия. Следуя традиции рационализма, Д. пытался поверить алгеброй гармонию. «Автор (в предисловии) отвергает распространенный взгляд, будто зерном учения Спасителя служила “любовь к ближнему” <...> Автор развивает свое понимание Евангелий и всего учения И. Христа, а затем дает перевод Евангелия “по его смыслу”, вставляя на место некоторых выражений И. Христа, оставляющих в читающем колебание или недоумение — уже прямо тот основной смысл, какой он, Дурново, находит в Его учении. Через это все Евангелие читается, так сказать, рациональнее и прозрачнее, чем есть <...> Дурново встретит группу людей, — и к ним принадлежит пишущий эти строки, — которые вовсе не хотят разъяснять, прояснять темные места в речениях Христа, ни хорошо, ни худо, а хотят видеть их в Евангелии именно темными, загадочными, непостижимыми и непостижимыми; хотят получать от этих слов впечатление, и не хотят, чтобы это впечатление переходило в мысль <...> это арифметика, а не молитва; а я хочу молитвы, и ради нее обращаюсь к вере, к церкви, к Богу, к религии <...> Религия — тайна. Вот этого г. Дурново не понимает, и не понимают множество людей рационального склада натуры» (ПВ, 202–203). К письмам Р. приложил характеристику своего корреспондента: «Дурново Орест (“Еван-

гелие своими словами”: “Так говорил Христос”). Сумасшедший. По Суворину и по Шуре и по мне: “Никогда не видели такой прелестной женщины”, как его 37-летняя жена, мать 8-х детей. Преданная мужу и не понимающая, что он сумасшедший (= Иоанн Кронштадтский = хлысты = m-me Лахтина)» (ЛЖ. 2000. № 13/14. С. 110).

А.В. Ломоносов

ДУРЫЛИН Сергей Николаевич [14(26).9.1886, Москва? — 14.12.1954, пос. Болшево, Московская обл.] — писатель, публицист, критик. Личные отношения с Р. были кратковременными и связаны с последним периодом



С.Н. Дурьлин

жизни Р., когда Д. становится человеком, чрезвычайно близким Р., его доверенным лицом. В своих предсмертных письмах («Друзьям» от 7 января 1919 и «Литераторам» от 17 января 1919) Р. упоминает Д. — в обоих случаях как близкого человека: «Дурьлина милого люблю, уважаю и почитаю» (ОСЖС, 683), «Флоренского, Мокринского и Фуделя и потом графов Олсуфьевых прошу позаботиться о моей семье и также Дурьлина и всех, кто меня хорошо помнит» (Там же, 684). Вместе с членами семьи Р., Софьей Владимировной Олсуфьевой и о. П. Флоренским Д. присутствовал при кончине Р. Последние дни Р. описаны Д. в дневнике 1917–1918 «Троицкие записки». Сближение Д. и Р. прослеживается с начала 1914; первое из сохранившихся писем Д. к Р. датируется

16 января 1914, последнее — 31 декабря 1917 (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 757). Сам Д. фиксирует момент появления Р. в своей жизни: «Вспомнил, когда я впервые узнал о Вас. Вас-че. Живо помню: я мальчик, самое большее — мне 13–14 лет. Я читаю объявление о книге *Михайловского* “Литературные воспоминания и современная смута”, и особенно меня поражает в перечне содержания этой *книги*, одна строчка: “О г. Розанове и его отказе от наследства” Я был большой фантазер и большой литературщик, и сейчас было сосроил себе объяснение: Розанов, некий Розанов отказался от наследства, которое кто-то ему оставил, а он этих денег, этого имущества не принял, считая, что нехорошо принимать наследства, и о том где-то печатно объявил, а вот г. Михайловский и обсуждает теперь, хорошо или нет сделал Розанов и нужно или нет отказываться от денег по наследству <...> Таково было мое первое детское, совершенно фантастическое знакомство с Вас. В-чем. И только десятки лет спустя я узнал, что отказался-то он не от “наследств” (никогда ни от кого не получал, не от чего было и отказываться), а от толстых книг *Добролюбова* и *Чернышевского*, — и за то получал должное возмездие от их “идееприказчика” (Дурылин С.Н. В своем углу. М., 1991. С. 234–235). В эссе «Начальник тишины» (БВ. 1916. № 6–7), в этом же году выпущенного отдельной брошюрой, Д., говоря о «ласке Церкви», делает ссылку на Р.: «О ласке церкви есть примечательные заметки в последних книгах В.В. Розанова “*Уединенное*” и “*Опавшие листья*”» (Дурылин С.Н. Русь прикровенная. М., 2000. С. 318), фактически разрывая с тенденцией стилистического и идейного неприятия «листьев» Р. другими членами кружка *М.А. Новосёлова*, близкими к Р. (о П. Флоренского и *А.С. Глинки-Волжского*). Однако уже здесь намечается линия интонационного размежевания или «дистраивания» Д. розановских интуиций до «*метафизики христианства*». В рецензиях на книгу Д. «Начальник тишины» Р. писал: «Юно и горячо написанная книжка С.Н. Дурылина, едва ли не юнейшего из московских славянофилов, передает впечатления, им пережитые в *Оптиной Пустыни* около могил Киреевских, там похороненных» (НВ. 1917. 11 янв.; ВЧВ, 473). Если для Р. в «общечеловеческом больно» и смысл христианства, — и одновременно экзистенциальная проблема, то для Д. экзистенциальная сущность Церкви — в снятии всегда индивидуальном и личном и одновременно универсальном этого «больно»: «Церковь ласкова <...> Пожалел Бог человека, что больно человеку, и пожалел человечески просто: душевно, тихо, но так, как не может пожалеть человек: до конца, до полного устранения метафизического корня этого общечеловеческого “больно”: воскресил» (Русь прикровенная. 318, 320). В «Начальнике тишины» просматривается сходство и различие подхода к апокалиптической проблематике у Р. и Д. к концу 1917 (ср. «Апокалипсис в *русской литературе*» (лето 1917) и «Апокалипсис и *Россия*» (готовился к печати в 1918) Д. и «*Апокалипсис нашего времени*» Р.). Творческое влияние Р. на Д. оказалось глубже, нежели просто близость *тем* и *интонаций* и положение душеприказчика (см. письмо Р. к А.А. Сидорову от 29 сентября 1918: «Неумение назвать Вас с именем и отчеством <...> было причиною <...> что я до сих пор не поблагодарил Вас за сохранение моей “Души” <...> Мы с

С.Н. Дурылиным думали “Что?”, “Как?” Придут большевики совершать обыск <...> Ну, и говорю почти *с слезами*: “Ради Бога, скройте или в шели *дома*, или завалите в мусор под старые ящики. Это все мои еще не напечатанные “опавшие листья” и “последние листья”, томов с 10, с 1913 по 1918. “Отсюда — “*Душа*”» (ОСЖС, 759–760). По словам Д., «я застал его “на самом кончике”, и вот этого “кончика” хватит, должно быть, на всю жизнь» (Дурылин С.Н. В своем углу. С. 224–225, при портрете Р.). С 1924, в челябинской ссылке Д. вел мемуарные записи «В своем углу» (*рукопись*, завершенная в 1939, состоящая из 14 машинописных тетрадей хранится в Архиве Мемориального дома-музея Дурылина в Большеве). Если для Р. «листья» — это способ фиксации в *вечности мгновений* настоящего, то для Д. — это фиксация моментов прошлого в настоящем «углу» повседневному, скрытого от посторонних глаз бытия. Отсюда нехарактерное для Р. и характерное для Д. стремление к формальной отточенности, завершенности, лаконичности каждого сюжета. На страницах книги «В своем углу» Д. выступает и как присутствующий персонаж былички. Наиболее известны следующие фрагменты. «Однажды в холодную осень 1918 г. вижу, он, в плаще, худой, старый, ташится по грязи по базарной площади Посада. В обеих руках у него банки. — Что это вы несете, В.В.? — Я спасен, — был ответ. — Купил “Магги” на зиму для всего семейства. Будем сыты. — Обе банки были с кубиками сушеного бульона “Магги” Я с ужасом глядел на него. Он истратил на бульон все деньги, а “Магги” был никуда не годен — и вдобавок подделкой» (Там же, 215). «Василий Васильевич влезал в топящийся камин с ногами, с руками, с головой, с трясущейся сивой бородачкой. Делалось страшно: вот-вот загорится бородачка, и весь он, сухонькой, пахнувший махоркой, сторит... А он, ежась от нестерпимого *холода*, заливаемый летейскими волнами, лез дальше и дальше в *огонь*» (Там же, 221). Однако наряду с неформальным присутствием Р. в тексте дурылинских заметок многообразны «скрытые» *цитаты*, ссылки, заимствования розановских тем: тема «вечно женственного/вечно-бабьего». «А есть и вечно женственное. А есть и вечно-бабье (говорят). А есть и... неужели только: вечно — фельдшеричье или акушерочье. Есть в *России*. Это не женственное, не женское и не бабье. Оно, это “вечно-фельдшеричье”, ненавидит “вечно-женственное” — Пушкинская Татьяна была и будет ненавистна “семинаристам в желтой шали”: еще бы, — мистика, поэзия, *религия*; оно, “вечно-акушерочье”, презирает и “вечно-женское”: мешанство! *пошлость!* — презрительно улыбается, видя “вечно-бабье” — *живот* беременной *женщины* и вокруг кучу *детей*: это — не “идейно”!» («В своем углу». Тетрадь вторая, 2). Тема книги, *литературы* и «литературщины»: «Какой ужас — публичная книга! — книга из общественной *библиотеки*: у всех была в руках, как публичная женщина: один загрязнил, другой измял, третий наложил свой отвратительный след (пошлые надписи, замечания, подчеркивания), четвертый улил пивом или чаем, пятый сорвал нужную страницу — и все опоганили. Никогда не мог читать книг, взятых из библиотеки. Разевич на просьбу дать книгу из его собственной библиотеки, всегда отвечал: — Книга — моя жена. Как вы хотите, чтоб я ее вам дал?» (Архив. Тетрадь вторая. Фрагмент 15). (Ср. У,

304). «В.В. Розанов говорил *Садовскому*: — Когда я пишу, у меня член стоит (слышал от Садовского) <...> А В-ий В-ч? Ну, какой же он писатель? То, что он сказал Садовскому, верно: у него не писательство (чернила! — сажа, разведенная в воде!), а *совокупление* с человеком, с природой, с миром, с Б<огом> (он и сам говорил, что его чернила разведены на человеческом семени). Оттого... оттого он и не писатель, и история литературы всякая изблюет его из себя: оттого он был, есть и будет такой чужой писателем: он пишет, когда у него “стоит” Они все — когда у них не “стоит”» (Архив. Тетрадь 5. Фрагмент 8–9). Сквозь весь текст «углов» проходит устойчивый образный ряд «теплого», «огня», «дыма», «угла» как метафорических характеристик подлинного бытия и «холодного», «плоского», «прямого», «прозрачного», «грязи», «смерти» как характеристик «бывания», — и этот образный ряд непосредственно связан с Р. «В В.В. “живчик” ходил ходуном по телу, по душе, по сердцу, по уму — остренький, горячий, острый, как шпулька в швейной машине. “Живчик” бегал и в “глазке” розановском, и в руке, вооруженной пером, и в члене, и в дымке неугасимой папироски... А все равно, умер Василий Васильевич, несмотря на “живчик”, — и вывалилась изо рта папироска... И лежал он холодный, неподвижный, — “как кристалл”, — сказал Флоренский» («В своем углу». С. 244). «Все думаю, думаю о В.В. Читаю его письма к *Перцову*. Безумно отдавать их в чужие руки. Два часа читал А.А-иц [Сидоров] свой доклад сегодня — о худож. образе. Все другое заседание будут возражать ему философы. Философов много. На докладе А. А-иц показывал альбомы с изображениями перуанских и микенских чудищ и богов. Я думал о В.В. Его “глазок” проник в сердцевину жизни, в бездонный колодезь бытия, — и черпал, черпал оттуда тайну — простой бадьей на веревке, руками, старыми, с синими жилками, руками с табачной желтью на пальцах. Философы и профессора, разные — “ологи”, смотрят в колодезь в увеличительное стекло, освещают внутренность сруба электрическими фонарями, что-то измеряют, с чем-то сравнивают — и ничего не видят. Сердцевина бытия. Стержень вселенского вращения. Когда-то *Писемский* говорил с матерым цинизмом, с грубою точностью: — Думаешь, земной шар вокруг оси вращается? Нет, врешь: вокруг женской дыры. И это же В.В. сказал с такой нежностью, с такою глубокою радостью и святостью бытия, так сумел расположить вокруг этой ямины бытия и Элладу, и Иудею, и *Египет*, и Сикстинскую Мадонну, и *Лермонтова*, и «Коринфскую невесту», все, все великое, прекрасное, все «стержневое», первопричинное земли, — что до звезд возвысилась его хвала, до звезд синих и сочувственных, которые он так любил и в которые так верил» (Архив. Тетрадь 7. Фрагмент 13).

А.И. Резниченко

ДЬЯКОНОВА *Елизавета Александровна* [15(27).8.1874, г. Нерехта, Костромская губ. — 29.7(11.8).1902, погибла в горах Тироля, Австрия] — участница женского движения в России, публицистка, автор «Дневника...». Дневник издан посмертно ее братом, редактором дневника: Т. 1. «Дневник Е. Дьяконовой (1886–1895). Литературные этюды. Статьи». СПб., 1905; Т. 2. «На Высших женских курсах (1895–1899)». СПб., 1904; Т. 3. «Дневник

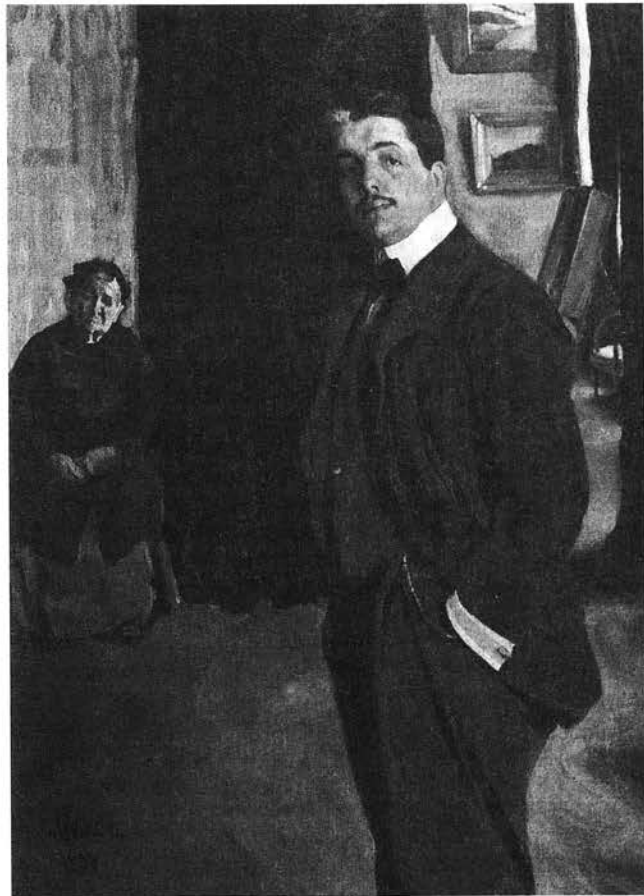
русской женщины (Париж, 1900–1902)». СПб., 1905. Р. обратил внимание на Д. сразу же по выходе первых двух книг «Дневника». В статье «Женский университет в Москве» (НВ. 1906. 16 апр.), приветствуя развитие женского образования в России, Р. писал: «Женщины — вечные популяризаторы, талантливейшие <...> Прочитайте два тома интереснейшего “Дневника” г-жи Дьяконовой, бывшей слушательницы Высших женских курсов (Бескужевских) в *Петербурге*. Во-первых, до чего все это русское, “Русью пахнет”, если сравнить этот неприятельный “Дневник” с гениально-порочным “Дневником” полуфранцуженки Башкирцевой. Сколько здесь разлито души, дела, задумчивости; какие прекрасные страницы посвящены религии, размышлениям о смерти. Сколько заботы о народе, о детях, о семье, — заботы не фактической (по бессилию), но по крайней мере в душе. Все это ей дали или, точнее, в ней пробудили “курсы”, куда ее не хотели пустить из такого “медвежьего угла”, как Нерехта (Костромской губернии), где эти “курсы” по всеобщему говору тех лет представлялись “все равно что домом терпимости” Через ряд хитростей и благодаря покровительству, найденному у доброго попечителя петербургского учебного округа, покойного Капустина, девушка вырвалась на волю и, занявшись высшим образованием, превратилась из наивного ребенка в ту задумчивую, размышляющую и серьезную душу, которая отражается в “Дневнике” ее. Десятки и, наконец, сотни и, наконец, тысячи таких блуждающих по России, по ее уездам и губерниям и, наконец, по загранице душ» (РГО, 57–58). Р. обращается неоднократно к «Дневнику» Д. «Ее “Дневник”, ее изумительная смерть от безнадёжной любви к человеку, которого она даже хорошенько и не знала, — ее душа такая прелестно-девичья, и до того русская-русская, — разве все это не настоящее, без прогаров, без фальши, без притворства? <...> И чем была бы наша русская жизнь, если бы не эти настоящие...» (НВ. 1910. 1 мая; ЗРП, 165). В статье «Друг великого человека» (НВ. 1911. 5 июня; ТПРН) о деятельности *В.Г. Черткова* (оцениваемой Р. скептически) как редактора сочинений *Л.Н. Толстого* Р. приводит выдержки из «Дневника» Д., относящиеся к августу — сентябрю 1900. Находясь в тот период в Лондоне, Д. несколько раз встречалась там с Чертковым. Само заглавие статьи Р. закавычено и является иронической цитатой из «Дневника» Д. Обширная запись о Д. — на одном из «листьев» 1914: «Да это чистейшая за XIX в. русская девушка. Между тем она нисколько не осуждает, в душе своей не осуждает француженку, рассказывающую ей, что живет потихоньку с одним, с другим по очереди... Тоже описывает “бал художников”, где под конец все были голые и, кажется, совершались невозможные действия открыто. Она как знающий ребенок прошла по бане с голыми стариками и старухами, едва давая заметить в глазах и зоре: “Это мне не надо”, “это не мое” Дневник Дьяконовой есть высоковоспитательная книга. Я его перечитывал несколько раз и всегда (где открывалась) читал с неустанным наслаждением. И главный мотив, и точка наслаждения было созерцать столь чистую девушку (автор). Этот “Дневник” есть одна из самых лучших русских книг за весь XIX век. Превосходство его перед такими пошлостями, как “Горе от ума”, — неизмеримо. Скажу более: “Дневник Дьяконовой”, написанный почти в на-

ше время, — почти или минутами примиряет меня с “нашим временем”, которое вообще и постоянно я так глубоко ненавижу. Оно мне представляется хамством, лакейством. Но этот чистый “Дневник”, и столь поразительно умный, — показывает, что и в гадкое “наше время” русская душа не умерла, — не умерла иногда, не умерла во всех, — а горит, как бриллиант в навозе <...> Хочется ненасытно говорить, вспомнив о Дьяконовой. Вот когда читаешь ее “Дн.” <...> всего надеешься от этой души и веришь в нее неиссякаемо <...> Какое превосходство над *Фон-Визином*... Какая ширь ума около *Фон-Визина*... (КНУ, 360). В том же году, рецензируя — поддерживая и напутствуя — новый «научно-литературно-художественный студенческий журнал» *«Вешние Воды»*, Р. отмечал: «Сотрудники — студенты и курсистки. “Чего это стоит?” — может спросить скептический читатель. На это можно ответить: “А чего стоят записки Дьяконовой (“Дневник” ее, за время прохождения петербургских Бестужевских курсов), вышедшие уже 4-м изданием и составляющие одну из самых свежих русских книг конца XIX века?” Указание на Дьяконову — все разрешает. “Студенческая литература” <...> может быть глубоко интересной, наконец даже — значительной» (НВ. 1914. 18 нояб.; НФП, 383). В одном из писем *Э.Ф. Голлербаху* (февраль 1916) Р. вновь упоминает, что «одна из прелестнейших книг русской литературы за весь XIX век — Дневник Дьяконовой (вышел, кажется, уже 4-м изданием) написан не студентом, а курсисткою из глухой провинции, из городка Нерехты Костромской губернии. И, когда я читал впервые ее дневник, я помню неотвязчивое свое впечатление: “ни один русский студент этого не смог бы написать” Написать и так просто, и так сложно, и так невинно и чисто. Девушка развивается быстрее и преждевременнее юноши, — и, я думаю, в общем курсистки зреее студентов; хотя годам к 30–40 женщины, может быть, отстают от мужчин» (ВНС, 342).

В. Н. Дядичев

ДЯГИЛЕВ Сергей Павлович [19(31).3.1872, село Грузино, Новгородская губ. — 19.8.1929, Венеция] — театральный и художественный деятель, основатель художественного объединения *«Мир Искусства»*, соредатор одноименного журнала, двоюродный брат *Д.В. Философова*. *Характеристика Д.*, приложенная Р. к его письмам: «Сергей Павлович Дягилев. Любимый “Сережа” *Мира Искусства*, талантливый, говорливый, всего юноша, подвижный, неуловимый, осторожный, хитрый, ласковый... Чудные глаза, готовые прыснуть смехом. Темные волосы — и в них чудный и украшающий клок совершенно белых седых волос... Всегда в цилиндре... Всегда в карете... *Человек XVIII и XX века*, и несколько — не XIX-го. *Анна Павловна Философова* была его тетей или чуть ли даже не кузиной; а *Дима Философов* был ему или кузеном или племянником. “Серж” и “Дима” были неразлучны. Серж говорил *Анне Павловне*: “Тетя, Вы ни на кого так не похожи, как на меня” У Сержа был великолепный дар строить общественное, затевать общественное. Закадычным им другом был *Сергей Сергеевич Боткин*, *душа человек*, медик, коллекционер и артист» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 85–86). В 1909, передавая в одной из статей свой диалог 1902 с Д. об

эскизе памятника *Александру III*, работы *П. Трубецкого*, Р. дал еще несколько штрихов к портрету Д.: «Вечно смеющийся Дягилев, умный, тонкий и наблюдательный молодой человек»; «Дягилев улыбался своей улыбкой, где у него всегда мешаются ласка, насмешливость и “про себя” ум...» (СХ, 320, 321). Это было, как пишет Р «в квартире-редакции “Мира Искусств” С.П. Дягилева, сколько помнится, в 1901 или 1902 году» (СХ, 320) (в 1900–1906 Д. проживал по адресу: Набережная Фон-



Картина Л.С. Бакста «Дягилев и его няня». 1906

танки, 11). Первая встреча Р. с редакцией журнала «Мир Искусства» состоялась в прежней квартире Д. (Литейный пр., д. 45). Р. тогда «был решительно сконфужен». По воспоминаниям *П.П. Перцова*, весь вечер он ожидал «появления чего-нибудь неподобающего», так как «попал на вечер к “декадентам”, которые неизвестно еще, как ведут себя». «Вы видели, какая у них люстра? — боязливо спрашивал он меня (у Дягилева висела резная люстра в форме дракона). — Разве *Страхов* пошел бы к ним больше одного раза?». Но *Розанов* ходил и раз, и два, и десять, и пятнадцать — наконец убедился, что Дягилев, *Философов*, *Александр Бенуа*, *Бакст*, *Нувель*, *Мережковские* — самая естественная его аудитория и самые близкие попутчики» (Перцов П.П. Литературные воспоминания. 1890–1902. М., 2002. С. 223, 265–266). На последующих редсоветах Р. убедился, что «ничего особенного не происходит», и «именно в “Мире Искус-

ства” встретил Розанов первое серьезное внимание к своим, тогда еще новым идеям» (Там же, 223). А.Н. Бону вспоминал о сотрудничестве издания с Р.: «Розанов, привлеченный в сотрудники “Мира Искусства” Философовым, пользовался ограниченным расположением последнего, а между ним и Дягилевым даже существовала определенная неприязнь. Ведь Сергей вообще ненавидел всякое “мудрение”, он питал “органическое отвращение” к философии; в *Религиозно-философские собрания* он никогда не заглядывал. Со своей стороны, и у Розанова было какое-то “настороженное” отношение к Дягилеву. Дягилев должен был действовать ему на нервы всем своим великолепием, элегантною, “победительским видом монденного льва” Области светскости Розанов был абсолютно чужд, и, в свою очередь, Дягилев если и допускал в свое окружение лиц, ничего общего с “мондом” не имеющих, а то и самых подлинных плебеев, то все же с чисто аристократической брезгливостью он относился к тем, на которых *быт* наложил несмыслаемую печать “мещанства”. А надо сознаться, что именно эту печать Василий Васильевич на себе носил» (PRO, 1, 140–141). В марте–апреле 1899 между Д. и Р. велась переписка по вопросам редактирования статей Р. для «Мира Искусства». Д. вносил существенную правку в композицию статей, предлагавшихся Р. Особенно это касалось цикла статей Р. под общим названием «О древнеегипетской красоте» (МИ. 1899. Т. 1. № 10–12, Т. 2. № 15–17), рукописи которых Д. сокращал простым вычеркиванием части статей и разделял для публикации в различных номерах журнала. Из окончания 2-й главы статьи было вычеркнуто большое рассуждение Р. о садизме (самое крупное сокращение). 23 апреля 1899 Д. заказал Р. статью к 100-летнему юбилею А.С. Пушкина, не ограничивая писателя какими-либо предвзятными условиями, кроме размера статьи: «Вроде вашей первой главы “Египетской красоты” (кстати сказать, такой глубоко интересной и вдумчивой)» (Сергей Дягилев и русское искусство: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 40). 4 мая он уже благодарил Р. «за удивительно интересную и необыденную» «Заметку о Пушкине» (МИ. 1899. Т. 2. № 13/14) (Там же, 363). При обсуждении статьи Р. «К лекции г. Вл. Соловьёва» (МИ. 1900. № 9–10) Д. высказал в письме к Р. от 22 апреля 1900 свое принципиальное несогласие с отношением Р. к средневековому искусству (отсутствие поэзии): «Средние века как бы пропитаны духом истинной поэзии, это, может быть, самый чудный *цветок* человеческого *гения*» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3871. Ед. хр. 1. Л. 6). Д. упрекал Р.: «Говоря о “религиозном” (церковном) искусстве, Вы опять забыли те же средние века». В том же письме Д. убеждал Р. «подписать статью, ее по слогу все равно всякий узнает» (Там же. Л. 7). Споры также возникали и позднее, по разным поводам, от изменения заглавия статьи Р. «Из восточных мотивов» на «Звезды» (МИ. 1901. № 8–9) до эстетической оценки эпохи *Александра I* (у Д. — негативная). Из общего корпуса писем Д. выделяется одно от 29 ноября 1901, написанное, под впечатлением обиды на отсутствие внимания к себе со стороны Р. и Мережковских, по всей видимости, за то, что он не получил приглашения на первое *Религиозно-философское собрание*: «Я привык или,

лучше сказать, избаловал себя привычкой считать себя в числе если не Ваших друзей, то все же в числе людей, думающих не совсем иначе, чем Вы. С легкой руки *З.Н. Мережковской* я попал в разряд людей “действия”, в то время, как Вы все — “люди созерцания”» (Сергей Дягилев и русское искусство. Т. 2. С. 68). Имея в виду Религиозно-философские собрания, Д. пишет: «Вы настолько пренебрегли мною, что я не имел даже возможности быть в толпе *Протейкинских* и *Меньшиковых*. В вашем новом общении одними из главных сил являются все литературные участники “Мира Искусства” Положим, Философов заметил мне, что из того, что Вы пишете в “*Новом Времени*”, еще не следует, что Вы привлекали *Суворина* в Ваше общество, но я думаю и уверен, все Вы менее дороги и близки владыке русской прессы, чем мне, человеку того же “действия”, что и Вы» (там же). *А.П. Чехову* Д. писал 26 июля 1903: «Что касается вашей принципиальной розни с *Мережковским* и “*Новым Путем*”, то уверяю Вас, что я сам слишком большой приверженец эстетизма, чтобы принять взгляды поборников нового мистического движения. Надо сказать, что на Мережковского, Розанова и других я всегда смотрел лишь с эстетической точки зрения, и в этом отношении считаю их людьми ценными и талантливыми» (там же). Последнее из собранных Р. писем Д. относится к 16 октября 1902. В нем содержится просьба об отзыве для «Мира Искусства» на постановку пьесы «Ипполит». Р. откликнулся статьей «“Ипполит” Эврипида на Александрийской сцене» (МИ. 1902. № 9–10). *Т.В. Розанова*, вспоминая о воскресных приемах в семье отца в 1901, отметила, что «несколько раз» у них «бывал и Дягилев» (PRO, 1, 84). В 1909 Р. писал о Д.: «О качествах и направлении его деятельности можно спорить, и спорят многие; я в этом не компетентен. Но вот что несомненно: это — присутствие огромной *веры* в себя у этого молодого человека и, что для русских совсем удивительно, — наличность неистощимой инициативы, вечной изобретательности, предприимчивости, неотступности в исполнении планов. “В итоге” — все-таки отсутствие хотя бы малейшей усталости, жалобы, разочарования» («Анна Павловна Философова» // РС. 1909. 17 февр.; СМР, 65). В книге Р. «*Мимолетное. 1914 год*» рассказано об отношениях Д. с Д.В. Философовым и ссоре Д. из-за него с Мережковскими: «Мережковский, в памятном свидании с Дягилевым (Перцов, Дягилев, Философов, Мережковский с З. и я), где он назвал грубо Дягилева “тумбой, ничего не понимающей”, на что Дягилев отвечал умно и спокойно — потребовал, чтобы он шел на “религиозный и пророческий путь”... Дягилев не шарлатан и не глупец, отвечал, что не пойдет, потому что “не пророк” Философов заколебался. Он очень любил Дягилева, был “верен” ему. И отстал (рассорился) с Мер. Мережковские сделали величайшие усилия и неотступно делали их года три, чтобы привлечь Фил-ва на свою сторону. Тут и “Зинины чары”, мне всегда остававшиеся непонятными. И победили. Философов перешел на их квартиру, — прямо переселился в их квартиру, порвав с Дягилевым <...> Его настоящее место было именно около Дягилева, и до *могилы* — около Дягилева» (КНУ, 387–388).

Е

ЕВЛОГИЙ [Георгиевский Василий Семенович; 10(22).4.1868, Сомово, Одоевский уезд, Тульская губ. — 8.8.1946, Париж] — митрополит Русской православной церкви в Западной Европе, депутат 2 и 3-й Государственных Дум, входил во фракцию националистов. С 1920 в эмиграции. Впервые к личности Е. в своих работах Р. обратился в марте 1907, описав в «Русском Слове» место епископа в сложной мозаике депутатов правого крыла Думы: «Епископ Евлогий нежно мел пол мягкой счеточкой направо и налево. “Хотя я и сижу среди правых, но не подумайте, что это место моего стула показывает место моего сердца; и хотя я возражаю против левых, но левые не должны думать, что я возражаю против них” И т.д. “Ну, — думалось, — куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Куда это забрели епископы и что они тут станут делать? Вот разве что посидят в переднем ряду. Все-таки *честь*”» (РГО, 334). В статье «Силуэты третьей Думы» (РС. 1908. 26 апр.) Р. дал литературный портрет Е.-политика, указав на его неортодоксальность в современной Православной церкви: «Он занимает в первом ряду мест крайне правое. К нему многие подходят неизменно с прикладыванием к руке; многие целуют руку и у сидящих рядом с ним двух толстых священников. Личность епископа Евлогия теперь историческая. Он борется за Холмщину, и признаюсь, насколько там обижены русские или теснятся православие католичеством, — деятельность эта достойна всякой похвалы. Но не могу скрыть от себя, что борцом за то же дело я хотел бы видеть совсем другое лицо, — ну, епископа Митрофана, наконец, о. Восторгова и вообще кого угодно, но не епископа Евлогия. Дело в том, что всякий раз, когда я вижу его до того приятное, до того нежное, чисто девичье лицо, без единой мужской, мужественной, грубоватой черточки, я неизменно думаю: “Какая ошибка, что он православный. Это был бы идеальный католический паптер!” Такого сладкого лица я никогда не видал у русских, у православных <...> Если, к этому, он обладает — как очевидно — энергией, натиском и смелостью, то, конечно, он незаменимый боец православия. Я не люблю слащавости в мужчине, и это единственное (может быть, пустое), почему мне не нравится его лицо. Успех и торжество так и написаны на этом лице. Невозможно даже вообразить его смущенным, раздосадованным, озадаченным, как нельзя представить его себе обиженным, оскорбленным, негодующим. Он всегда и всех победил и принимает поздравления с победой: именно эта мина, но очень умная, без тени фатовства, даже без

оттенка мелочного самолюбия, виднеется на нем. Он “принимает поздравления” с действительной победой и за серьезные услуги. От этого внутреннего душевного состояния, так естественно счастливого, он не столько говорит с другими, подходит к депутатам, сколько, собственно, ласкается около них. И всё около него ласкается, и все с ним ласкаются. Вероятно, всем приятно с ним говорить, его видеть; и он чувствует, что это всем приятно, и от этого не может еще не вырастать в себе: “Пусть у других будут неудачи, но у меня всегда будет удача”, — говорит его улыбающееся лицо» (ВНС, 106).

А.В. Ломоносов

ЕГОРОВ Ефим Александрович [16(28).12.1861—12.5.1935, Париж] — литератор, переводчик, сотрудник «Нового Времени», секретарь редакции журнала «Новый Путь» и секретарь петербургских Религиозно-философских собраний (РФС). Р. дает характеристику Е. в записях «Последних листьев» за 22 июля 1916: «За год или за ½ года до основания “Нового Пути” к Вал.Ал. Тернавцеву, жившему рядом с нами в Тюрсева (Финл. ж.д.), иногда к нему наезжал и у него гасивал Еф.Ал. Егоров, впоследствии секретарь “Н. Пути” и теперь сотрудник по иностранным известиям “Нов. Вр.” Он б. бывший военный, кажется — кавалерист, теперь без места, страшно нуждавшийся. У него была жена и дочь лет 12. Он б. очень умен, но самый “вид умности” получался от чрезвычайно резкой манеры его спорить, возражать, осмеивать и т.п. Это был “базаровец” военной выправки, “гражданин” либерал и пересмешник правительств. Теперь “дул на водицу”» (ПЛ, 186). Е. с В.А. Тернавцевым уговорили чиновника Синода В.М. Скворцова попросить обер-прокурора К.П. Победоносцева дать разрешение на открытие РФС в 1901. Тернавцев рекомендовал своего друга Е. на пост секретаря РФС: «Лучше и не выдумать секретаря. Это, я вам скажу, у-ди-ви-тельный человек. Ни в Бога, ни в черта не верит. Либерал-шестидесятник. Пес и пес, конечно, но и ловкий!» (PRO, 1, 153). Характеристика возымела положительное действие. Как признавала З.Н. Гиппиус, из Е. получился очень «полезный» секретарь: он внимательно следил за посещением РФС, аккуратно вел отчетность и установил добрые отношения с духовенством, а с епископом Антонином, старшим цензором в Петербургской духовной академии, даже подружился. Приятельские отношения с духовной цензурой сыграли важную роль при организации журнала «Новый Путь», секретарем которого

стал Е. На 14-м заседании РФС он читал вслух извлечение из записки Р. «По поводу доклада о. Михаила о браке» (НП. 1903. № 9. С. 312–316; ЗПРФС, 260–266). В письме к Р. 1903 Е. уговаривал дать ответ на скандальную статью М.О. Меньшикова «Титан и пигмеи» (НВ. 1903. 23 марта), ставшую причиной цензурных осложнений в «Новом Пути» и ссылки в монастырь друга Р. протоиерея А.П. Устьянского (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 45). После закрытия журнала «Новый Путь» Е., по рекомендации Р., был принят в штат постоянных сотрудников «Нового Времени», в котором оставался вплоть до 1917 заведующим иностранным отделом, а затем эмигрировал.

А.В. Ломоносов

ЕКАТЕРИНА II Великая [21.4(2.5).1729, Штеттин — 6(17).11.1796, Царское Село] — российская императрица с 1762. Р. рассматривает век Е. как время расцвета России. «Время Екатерины (и Елизаветы) ведь было временем чудеснейшего русского Renaissance'a, самого искреннего, самого милого, самого наивного, когда Херасков написал целый толстый том "Россиады" в подражание Виргилию — писал, и верил, и любил... Разве мы это можем? И вот этот же "русский Ренессанс" создал, параллельно "Россиаде", и дивный Таврический дворец, не блещущий снаружи, но полный изумительного вкуса внутри» (КНУ, 97). Е. пошла по пути, проложенному Петром Великим, оставаясь самобытной: «Се творю все новое» Царь всегда "творят все новое" Если он "подражатель", "повторяет", он уже "каппа" и "шут", а не царь. Екатерина не повторяла, хотя и говорит, будто повторяет Петра. Это было неверно, и скромность, и лицемерие. Она была "сама"» (ПЛ, 244). Р. утверждает: «Дворцовая жизнь Екатерины была весьма похожа на оперу; жизнь ее века вся была какою-то оперною мифологиею. Для нас эта жизнь непонятна и непонятна; не те нервы, не те мускулы; не тот стиль зданий, зал, гостиных. Самая душа уже не та. Орлов поубавилось, куриц — прибавилось» (СХ, 338). Особые заслуги Е. видятся Р. в основании Воспитательного дома и Публичной библиотеки: «Как известно, — писал он летом 1917, — бывшая Императорская публичная библиотека возникла по приказу императрицы Екатерины II и возникла из собрания книг, взятых русскими войсками после первого раздела Польши» (М, 401). Об этом говорится в статье «К разгрому библиотек» (НВ. 1917. 27 июня), а еще ранее в «Сахарне» Р. отмечал роль нигилистов и их современных последователей в библиотечном деле: «Марк Волохов рвал на папироски издания XVIII века, т.е. косвенно и с вытжкой он и они рвали всю Публичную Библиотеку, собранную "деспоткой" Екатериной II, на зажигание своих демократических папирос, которые закурят такие господа, как Аладын и Аникин» (СХР, 90). В полемике с деятелями Государственной думы Р. писал: «В Думе клеветали и клеветают, что "царь был другом помещиков" Нет, именно — мужика. Помещики были "мелочь", как и все прочее. Екатерина II сболтнула: "Скорее я смотрю на помещиков как на полицейских (в смысле местной власти), чем на украшение отечества" Это было неосторожно, так сказать, но это правда, т.е. правда, что так смотрели» (ПЛ, 141). О личной жизни Е. и других великих людей Р. говорил: «Что нам за дело до "похождений" Пушкина (которые ведь

были) или до романов Екатерины II: мы их почитаем обоих, пишем их историю, изучаем творения, мы ими восхищаемся, потому что ими и такими вот — живем!!!» (СХ, 132). В любовной жизни Е. писателю видится неразрешенный семейный вопрос. Говоря, что дочери библейского Лота «отстояли универсальное право деторождения», Р. продолжает: «Так если бы громко и вслух поступила Екатерина с рождением Бобринского, она утвердила бы право всех русских вдов на деторождение. Но она, которая ничего не боялась, никого не смущалась, нисколько не стеснялась иметь открыто фаворитов, перед деторождением — смутилась. И — утаила его. А был случай спасти в живых миллионы будущих детей» (ПЛ, 211). Столетию смерти Е. посвящена анонимная статья Р. в газете «Свет» (1896. 6 нояб.).

А.Н.

ЕЛИЗАВÉТА ФÉДОРОВНА РОМÁНОВА [20.10 (1.11).1864, близ Дармштадта, Германия — 18.7.1918, близ Алапаевска, Верхотурский уезд, Пермская губ.] — великая княгиня, святая преподобномученица, канонизированная РПЦЗ (Русская православная церковь зарубежная) в 1981 и РПЦ в 1992; урожденная принцесса Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадская, дочь великого герцога Гессен-Дармштадского Людвига IV и принцессы Великобританской Алисы, дочери королевы Виктории. Е.Ф. в браке с 3 июня 1884 с великим князем Сергеем Александровичем, пятым сыном императора российского Александра II. Настоятельница основанной ею Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве на Большой Ордынке (на ее территории установлен памятник в 1990). Арестована по распоряжению большевистских властей 7 мая 1918. Живой сброшена в шахту Нижне-Селимскую близ Алапаевска, где погибла вместе с другими членами императорского семейства. Р. посвятил ей статью «Великое начинание в Москве» в четырех номерах «Нового Времени» (4, 5, 6, 7 марта 1909). Основание Е.Ф. обители нового типа («полумонастырской») Р. призвал начинанием, «которое удивительно по своей новизне, мысли и глубине», и увидел в нем «великую историческую будущность» (СМР, 76): возможность достижения столь любезной Р. гармонии плоти и духа, земного и небесного, мирских, хозяйственных забот и молитвы. Это событие московской церковной жизни дало Р. повод развернуть диалектику двух путей евангельской жизни — пути Марии (отречения от мира во имя сосредоточенности на любви ко Христу) и пути Марфы (обустройства бытовой повседневной жизни по заветам Христа). Причем Р. не только указывает, следуя традиции апостола Павла, на возможность обоих путей, но и обосновывает их взаимную необходимость друг другу: «"Путь Марии" только и получает свое "да", когда переплетается с "путями Марфы", т.е. при условии, если нечто другое его отрицает; как, разумеется, и "путь Марфы" выносим, целебен, спасителен лишь при условии, когда хорошо оберегается "путь Марии", т.е. совершенно другой, его отвергающий путь! — "Хорош ли путь Марии?" На это только и можно ответить: "Да, если ему не следует Марфа!" — "Хорош ли путь Марфы?" — "Да, если по нему не идет Мария" Здесь да и нет слиты в одно, и Христос победил Аристотеля» (СМР, 79). При этом народ русский, по Р.,

давно уже сердцем принял именно такое — диалектическое, не «односторонне монашеское» православие: «Народ наш всю земную заботу подвел “под Бога”, сложив даже поговорку: “Без Бога — ни до порога”» (там же). И именно «с этим народным движением совпадает мысль великой княгини Елизаветы Феодоровны» (СМР, 80). И именно поэтому она «войдет в нашу историю как дорогое светлое лицо, которое никогда не померкнет» (СМР, 87). «Подвиг христианского делания» (СМР, 76), который Р. увидел в поступке Е.Ф., отдавшей свои средства и всю свою жизнь обители милосердия, предоставил писателю еще один повод высказать обычные для него претензии к «черному» христианству, «ринувшемуся гипнотически по “пути Марии”» (СМР, 79). Гармоничный союз Марии и Марфы — в этом Р. видит будущее торжество Христова учения. «“Нужен и Шекспир” — это ранее или позже вынуждено будет сказать все монашество, и попы, и отшельники, старцы, и святые в гробах своих, все..» (там же).

Ю.И. Архипов

ЕЛИЗАРОВЫ-РОЗАНОВЫ (Поколенная роспись Государственного архива Костромской области — ГАКО) — старинный костромской род священнослужителей. На вопрос анкеты Нижегородской архивной комиссии о краткой истории рода Р. отвечал: «Не знаю дальше родителей; но дед был священником». Из документов, хранящихся в фондах ГАКО, известно, что не только дед, но и прадед писателя, Никита Иванов, был священником. В 1802 он служил начальным иереем Николаевской церкви села Николо-Ширь Кологривского уезда. Двоюродный дед писателя Климент Никитич Елизаров — священник Ильинской церкви села Ильинского того же уезда. Двоюродный дядя — Иван Климентьевич Елизаров — преподаватель Макарьевского духовного училища. Родной дядя (брат отца) — Николай Федорович Розанов — священник с даром проповедника. По свидетельству прихожан Успенской церкви села Холкино Ветлужского уезда, в которой он служил, поучения его были близки к жизни и трогательны. Двоюродные братья писателя и их дети, продолжив родовую традицию, также избрали для своей деятельности духовное поприще. Служили Е.-Р. в разных приходах Костромской епархии, но долее всего (с 1816 по 1930) — в церкви Рождества Богородицы села Матвеева Кологривского уезда. В Матвееве и по сей день хорошо помнят и чтут род священнослужителей Розановых. И если первый из них дед писателя Федор Никитич Елизаров завершил свой земной путь в 1857, отстроив новый летний главнопрестольный храм, то его правнук и двоюродный племянник писателя о. Павел Розанов в 1930 был отлучен от службы, судим тройкой ОГПУ и отправлен в ссылку на 3 года, к которым позднее прибавили еще 10. В этом селе в семье священника Федора Никитича Елизарова родился и вырос отец писателя — Василий Федорович Розанов.

Сегодня в селе Матвеево по-прежнему стоит, правда изрядно обветшавший, дом священников Петра Николаевича и Павла Петровича Розановых. Церковь, построенная в бытность деда писателя начальным иереем, разрушена. Представителей рода Елизаровых-Розановых в селе не осталось.

Поколенная роспись

(Первая цифра — порядковый номер, вторая — родители)

— I поколение —

1. Иван Елизаров

— II поколение —

2-1. Никита Иванов (не поздн. 1752/54 — ум. не ранее 1810). 1797 — священник Николаевской церкви села Николо-Ширь Кологривского уезда Усольского духовного правления («поп Николаевской церкви, что в Ширь»); 1802 — старший священник той же церкви. ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 4. Б/н; Ф. 26. Оп. 1. Д. 60. Б/н.

— III поколение —

3-2. Климент Никитич Елизаров (ок. 1773 — не ранее 1840) — священник. 1797 — закончил Костромскую духовную семинарию; 16.12.1797 — дьякон Соборовской церкви села Тушебино Галичского уезда Галичского духовного правления; 10.5.1799 — не ранее 1840 — священник Ильинской церкви села Ильинского Кологривского уезда Солигаличского духовного правления; 9.1799—16.11.1839 — благочинный 1-го Благочиннического округа Солигаличского духовного правления; 23.12.1823 — протоиерей; 1818 — награжден набедренником. Из характеристики Солигаличского духовного правления — «поведения хорошего», «к должности способен и достоин». ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 4; Ф. 27. Оп. 1. Д. 285, 642; Ф. 27. Оп. 1. Д. 226, 241, 285, 295, 343, 368.

4-2. Алексей Никитич Елизаров (ок. 1790—?), 1797 — поступил в Костромскую духовную семинарию. ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 4.

5-2. Федор Никитич Елизаров (ок. 1790 — 20.1.1857) — «Я дальше деда у себя никого не помню и деда-то знаю лишь из отчества отца: Василий Федорович, — значит — Федор. Больше ничего не знаю» (ВМНИ, 193). Ф.Н. Елизаров — дед писателя, священник. Жена: Павла Сергеевна (ок. 1797 — не ранее 1839) — «умеет читать»; 1797—1813 — Костромская духовная семинария. В одно время с Ф.Н. Елизаровым учились: священник, историк-краевед М.Я. Диев, философ, профессор Московской духовной академии Ф.А. Голубинский, Н.Ф. Островский, отец драматурга А.Н. Островского. Благодаря Федору Никитичу в роду появилась новая фамилия — «Розановы». В Костромской епархии было несколько, не связанных друг с другом, родов «Розановых». Фамилии были «произвольно взятые», но не исключено, что все они пошли от одного источника. В Костромской духовной семинарии в начале XIX в. служил учителем Василий Федорович Розанов — выпускник Костромской и Лаврской семинарий. В семинарии он преподавал философию и французский язык, а во внеклассное время занимался постановками пьес на дозволенные семинарским правлением сюжеты. За любовь к драме получил замечание епископа, а впоследствии театральные действия и вовсе были отменены — «от семинаристов не комедиантов, а добрых пастырей и духовных наставников ожидают». Позже В.Ф. Розанов принял монашество (в монашестве Гавриил), был ректором различных семинарий, епископом Орловской епархии, архиепископом Екатеринославской, затем Тверской и Кашинской епархий. Написал несколько сочинений религиозно-поучительного характера. У Василия Федоровича обучались многие отцы будущих «Розановых», в том числе

Ф.Н. Елизаров, старший сын которого был полным тезкой семинарского *учителя* и первым Розановым в роду. 1813–1816 — диакон Ильинской церкви села Ильинского Кологривского уезда Солигаличского духовного правления; 1816–10.1.1857 — священник церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Матвеево того же уезда и правления (ближайшие церкви: село Шири — 7 верст, село Ильинское — 9 верст); 1819–1852 — начальный иерей той же церкви; с 1824 — избран Костромской духовной консисторией депутатом от 11 церквей 1-го Благочиннического округа Солигаличского духовного правления; с 1838 — духовник. 5.9.1834 — «за честное поведение и долговременное прохождение депутатской должности» награжден набедренником в кафедральном Троицком соборе Ипатьевского монастыря. Из характеристики Солигаличского духовного правления: «К должности рачителен, поведения отличного, нравов кротких». Из «Воспоминаний...» церковного историка *Е.Е. Голубинского*: «Начальный наш иерей... был человек очень смелый, не робевший и самого архиерея... В 1827 — состоял под следствием в консистории за «причинение обиды словами» ярославскому купеческому сыну Чарышникову, обвинившему его в «удержании якобы колоколенной меди»; *судом* был оправдан «без штрафа и подозрений». При Ф.Н. Елизарове в 1845 начато строительство на месте ветхого деревянного нового кирпичного главнопрестольного храма. Построен в 1855 (в ряде клировых ведомостей церкви год окончания строительства — 1858). Среди награжденных за участие в строительстве храма был Евсигний Федорович Песков, отец *Е.Е. Голубинского*, служивший вместе с дедом писателя. Ф.Н. Елизаров умер за год до вручения наград; похоронен на кладбище возле церкви. Из отчета благочинного за 1864 — «Храм Рождества Пресвятыя Богородицы с приделами во имя Святого Пророка Илии и Преподобного Макария Унженского Чудотворца <...> как по обширности своей, так и по богатству отделки внутри заслуживает внимания. Иконостас и в нем колонны позолочены червонным золотом <...> стены украшены живописью лучшего письма, и вообще все в этом храме носит печать величия и торжественности». В 1937 храм был закрыт, ныне полуразрушен. В здании долгое время размещались мастерские МТС. ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 4; Ф. 130. Оп. 11. Д. 2404. Л. 7 об.-8; Ф. 130. Оп. 13. Д. 362. Л. 1–10; Ф. 130. Оп. 9. Д. 1792.

— IV поколение —

6-3. Иван Климентьевич Елизаров (1802 — не позднее 1873). 1810–1818 — приходское и духовное училища; 1818–1824 — Костромская духовная семинария (1 разряд); 2.9.1824–1849 — преподаватель Макарьевского духовного училища; 2.9.1824–26.7.1826 — учитель низших классов Макарьевского приходского духовного училища; 26.7.1826–1849 — учитель греческого языка низшего отделения Макарьевского духовного училища. «Елизаров — поведения честного, исправен, но в обращении с учениками иногда бывает не довольно скромн, впрочем, довольно надежен» — из характеристики И.К. Елизарова (1847). ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 1146. Л. 29 об.-30; Д. 1027. Л. 14 об.-15; Д. 560. Л. 6 об.-7; Д. 1355. Л. 5; Д. 1077. Л. 106 об.-107.

7-5. Василий Федорович Розанов (ок. 1820–28.2.1861) — отец писателя — чиновник Костромской па-

латы государственных имуществ; родился в селе Матвеево Кологривского уезда. Жена: Надежда Ивановна (27.7.1826–22.6.1870), дочь буйского дворянина подпоручика Ивана Федоровича Шишкина (ок. 1800 — 3.2.1856; его жена Авдотья Андреевна, дочь любимского дворянина Андрея Семеновича Ачкасова). Ок. 1828–1834 — Галичское духовное училище; 1834–1840 — Костромская духовная семинария; закончил курс по 2-му разряду; 4.6.1840–28.2.1861 — чиновник Костромской палаты госимуществ; 4.6.1840 — писец 2-го разряда; 1.9.1842 — помощник столоначальника I стола хозяйственного отделения; 29.1.1843 — делопроизводитель I-го стола хозяйственного отделения; 1.7.1844 — и.д. (исполн. должность) письмоводителя по хозяйственной части Ветлужского окружного управления (утвержден в должности 15.4.1847); 10.11.1848 — письмоводитель Галичского окружного управления; 13.4.1853 — столоначальник по лесному отделению Костромской палаты госимуществ; 11.4.1855 — и.д. помощника начальника Ветлужского окружного управления (утвержден в должности 31.1.1856); 17.9.–14.10.1856, 15.9.–19.12.1857 — и.д. начальника Ветлужского окружного управления; 19.8.1857 — директор Варнавинского попечительного о тюрмах отделения; 1.2.–18.3.1860 — и.д. начальника Ветлужского окружного управления; 5.7.1860–15.1.1861 — заведующий Варнавинским лесничеством. С 31.6.1843 — коллежский регистратор, 4.6.1847 — губернский секретарь; 4.6.1851 — коллежский секретарь; 4.7.1855 — титулярный советник; 4.6.1858 — коллежский асессор. С 1841 по 1843 заслужил 4 благодарности с внесением в формулярный список — «за неутомимое прилежание», «постоянное усердие к делам службы» и «отличное поведение». 10.4.1858 был награжден бронзовой медалью на Владимирской ленте, в память войны 1853–1856. Постоянно аттестовался палатой «к службе способным», повышения в чинах — «достойным». ГАКО. Ф. 130. Оп. 13. Д. 362. Л. 1–10; Ф. 203. Оп. 2. Д. 637. В гимназическом дневнике Р. записал: «Отец мой был добр, честен, простодушен, — но вместе с тем не был слабого характера. Я лишился его на третьем году жизни. Он умер, получив простуду, когда гонялся в лесу за мошенниками, рубившими лес (он был лесничий)». Николокин А.Н. Голгофа Василия Розанова. М., 1998. С. 18 (ГЛМ. Ф. 362. Ед. хр. 90).

8-5. Николай Федорович Розанов (ок. 1834 — не ранее 1888) — священник. Родился в селе Матвеево Кологривского уезда. Жена: Серафима Савина (ок. 1834 — не ранее 1888). 1842–1848 — Галичское духовное училище: закончил с первым аттестатом на курсе; 1848–1854 — Костромская духовная семинария: «Первым <по успеваемости> был Николай Федорович Розанов (дядя известного публициста В.В. Розанова), но по какой причине Н.Ф. не был послан в Академию сказать не могу» (из «Воспоминаний» (*Кострома*, 1923) *Е.Е. Голубинского*, сокурсника Н.Ф. Розанова) — в Московскую духовную академию был направлен Н.К. Соколов, племянник ректора Костромского духовного училища В. Горского. 26.6.1855 — священник Николаевской церкви с Тоншаева Ветлужского уезда; наставник Тоншаевского крестянского училища Министерства государственных имуществ (2.2.1860–14.6.1866). 14.6.1861–1863 — священник Воскресенской церкви г. Ветлуги; законоучитель Вет-

лужского приходского училища (с 13.7.1861); помощник депутата духовенства по ветлужским присутственным местам (с 13.7.1861); награжден бронзовым наперсным крестом в память войны 1853–1856. 27.8.1863–6.2.1864 — отстранен от всех мест, переведен в причетники и послан «для раскаяния и исправления» в Костромской Ипатьевский монастырь — «за превышение данной власти и упущения по должности»; 6.2.1864 — священник Троицкой церкви села Аминова Нерехтского уезда; 9.3.1866–1887 — священник Успенской церкви с. Холкино Ветлужского уезда; постепенно начинает злоупотреблять алкоголем; 1879 — дает подписку в консистории «об исправлении своего поведения»; 1886–1888 — под следствием консистории «по делу о нетрезвой жизни и упущения по должности»; 1888 — выслан «для раскаяния и исправления» в Макариево-Унженский монастырь, а затем в Николо-Надеинскую пустынь. Дальнейшая судьба по документам не прослеживается. ГАКО. Ф. 130. Оп. 13. Д. 362. Л. 1–10; Ф. 432. Оп. 1. Д. 1736; Ф. 130. Оп. 5. Д. 525; Ф. 130. Оп. 9. Д. 1101, 1108. Л. 5 об.–7; Д. 1120.

9-5. Анна Федоровна (ок. 1817 — не ранее 1897) — родилась в селе Матвеево Кологривского уезда. Муж: Федор Петрович Елизаров (взял фамилию тестя) (?–11.7.1866). Причетник церкви Рождества Богородицы села Матвеево. ГАКО. Ф. 130. Оп. 13. Д. 362. Л. 1–10; Ф. 130. Оп. 9. Д. 1818. Л. 8 об.–9.

10-5. Надежда Федоровна (ок. 1822–?) — родилась в селе Матвеево Кологривского уезда. ГАКО. Ф. 130. Оп. 13. Д. 362. Л. 1–10.

11-5. Екатерина Федоровна (ок. 1827 — не ранее 1910) — родилась в селе Матвеево Кологривского уезда; девица. ГАКО. Ф. 130. Оп. 13. Д. 362. Л. 1–10; Ф. 130. Оп. 9. Д. 1818. Л. 8 об.–9.

12-5. Александра Федоровна (ок. 1829 — не ранее 1897) — родилась в селе Матвеево Кологривского уезда. Муж: Василий Петрович Арсеньев (?–9.2.1887) — священник церкви Рождества Богородицы села Матвеева. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1818. Л. 8 об.–9.

— V поколение —

13-7. Николай Васильевич Розанов (1.12.1847–1894). 1859–1866 — Костромская губернская гимназия. «Отца потерял 3-х лет (в Ветлуге или Варнавине), — и одновременно мать с 7-ю детьми переехала в Кострому ради воспитания детей. Здесь купила маленький деревянный домик у Боровкова пруда. Только старшая сестра Вера и старший брат Николай († директором Вяземской гимназии) учились отлично; прочие — плохо или скверно. Не было ни учебников и никаких условий для учения. Мать 2 последних года жизни не вставала с постели, братья и другая сестра были “не работоспособны”, и дом наш и вся семья разваливалась... Мать умерла, когда я был (оставшись на 2-й год) учеником 2-го класса. Нет сомнения, что я совершенно погиб бы, не “подбери” меня старший брат Николай, к этому времени как раз окончивший Казанский университет. Он дал мне все средства образования и, словом, был отцом...» (Из Ответов В.В. Розанова на анкету Нижегородской Губернской ученой архивной комиссии // ОСЖС, 707–708). Из аттестата выпускника Николая Розанова (отточиями отмечен текст, утраченный во время пожара в архиве в 1982, в угловые скобки помещены предполагаемые слова):

«...ученика... вероисповедания православного. <Для получения обра>зования поступил <в Гимназию>... 1859 года. На оконча<тельных> испытаниях, про<изводившихся> ученикам VII класса за 1865–66 год, оказал успехи: В Законе Божиим — 5, отличные. Русском и славянск. языках и словесности — 5, отличные. Латинском языке — 4, хорошие. Французском языке — 5, отличные. Математике — 4, хорошие. *Истории* — 5, отличные. Географии — 5, отличные. Физике и космографии — 4, хорошие. Поведения был — 5, отличного. Независимо от вышеизл<ожженного> он, Николай Розанов, по его развитию и прилежанию признан способным слуш<ать> уни<верситетские> лекции, а потому Совет Костромской гимназии... определил выдать ему, Николаю Розанову, об успешном окончании гимназического курса Аттестат с правом поступить <слушателем Педагогического> *университета*, г. *Кострома* 2 августа 1866 года. Аттестат получил окончивший курс Н. Розанов». От директора Костромской губернской гимназии в Санкт-Петербургский монетный двор. 1866: «Имею честь покорнейше просить Монетный двор выслать в Костромскую гимназию две медали — одну золотую и одну серебряную для выдачи окончившим курс в Костромской гимназии ученикам Алексею Разумову и Николаю Розанову за отличное поведение и успехи». ГАКО. Ф. 429. Оп. 1. Д. 179; там же. Б/ш. Д. 31. Л. 37 об.

14-7. Вера Васильевна Розанова (1848–1868) — окончила курс обучения в Григоровской гимназии (1860–1867): «Верочка (умирала в чахотке 19-ти лет) всегда вынимала мякиш из булки и отдавала мне. Я не знал, почему она не ест (не было аппетита). Но эти массы мякиша (из 5-копеечной булки) я съедал моментально, и это было наслаждение. ...У нее были темные волосы (но не каштановые), и она носила их “коком”, сейчас высоко надо *лбом*; а затем — гребешок, узкий, полукругом. Была бледна, худа и стройна (в семье один я был некрасив) <...> Как она умерла и ее хоронили, я ничего не помню». ...И когда умерла, то все окончательно заledenело, захолодало, а главное, замусорилось» (У, 271, 319). Из *письма* В.В. Розанова — брату Н.В. Розанову (апрель 1870. Кострома): «Милой Коля, ты не можешь вообразить себе, в каком положении, или лучше сказать состоянии она <мама В.В. Розанова, которая умерла два месяца спустя, 22.6.1870> находится. Ее болезнь и *страдания* нельзя ни словом сказать, ни пером описать; но уже когда нельзя всего сказать или вообразить не только на *письме*, но даже и лично, то мы хоть что-нибудь скажем про нее бедную, тем более, что это в моем законе, ибо я не люблю ни от чего отступаться до тех пор, пока не кончу. Хотя бы это было и так трудно, что и сказать не можно. Мамаша теперь не встает с постели, и лежит она, бедная, на соломе, да и то хоть бы недавно, а то уж скоро будет год, как бы ты взглянул на нее, то я думаю, так бы и отступился назад <...> потому-то я и говорю тебе, чтобы ты постарался быть хладнокровным» (продолжение письма ниже в № 15–19) (ОСЖС, 670–671).

15-7. Федор Васильевич Розанов (22.1.1850–20.11.1901) — «Федя, брат, — человек погибший, но не кипятись, ведь ты знаешь, что я тебе советовал еще тогда, когда ты лежал еще в утробе своей матери, быть как можно хладнокровнее, да ведь, впрочем, что? Я знаю,

что ты непременно вспыхнешь, а потому и лишаю тебя удовольствия знать его беспримерную, оригинальную и вместе с тем и скандальную жизнь. А все люблю тебя, Коля!.. (Из письма В.В. Розанова — Н.В. Розанову. 1870 г., апрель // ОСЖС, 671–672). Ф.В. Розанов с 1860 по 1863 обучался в Костромской губернской гимназии. Ф. 56. Оп. 3. Д. 142. Л. 207 об.—208; Ф. 429. Оп. 1. Д. 179. Л. 154; Ф. 429. Б/ш. Д. 31. Л. 37 об.

16-7. Павла Васильевна Розанова (1851–1912) — «...Про Павлинку, брат, тоже писать много не стану, потому что я люблю короткую, спартанско-лаконичную речь <...> Павлинька живет дома, берет, когда случается, работу, но это случается редко, полуходит за мамашей, учит Сережу и Нет, не скажу» (Письмо В.В. Розанова — Н.В. Розанову. 1870 г., апрель // ОСЖС, 671–672).

17-7. Дмитрий Васильевич Розанов (14.4.1852–8.11.1895) — «Митино положение самое ужасное, но это положение я тебе опишу сполна, как философ, хотя мне эта личность очень не нравится; быть может, я сказал какую-нибудь глупость, извини меня, я человек грешной. Митя сидит в *доме* умалишенных, заметь, тогда, когда находится в полном рассудке и разуме; часто по тебе поминает и все думает или, лучше всего мечтает, что ты когда приедешь, то освободишь его из этих трущоб, но все-таки он, этга, заметно повеселел, несмотря на то, что с ним, как и со всем с ума сошедшим, обращаются грубо, даже жестоко, например, бьют, привязывают на ночь веревками к койке; что мы, или кто-нибудь другой принесет, то все отнимают сторожа, даже чай, сахар, деньги и все, что можно принести» (Письмо В.В. Розанова — Н.В. Розанову. 1870 г., апрель // ОСЖС, 671–672). Д.В. Розанов в 1863 числился в списках учеников Костромской губернской гимназии. ГАКО. Ф. 429. Б/ш. Д. 31. Л. 37 об.; Ф. 429. Б/ш. Д. 31. Л. 38; Ф. 56. Оп. 3. Д. 123. Л. 219 об.—220.

18-7. Василий Васильевич Розанов — писатель. Родился 20.4.1856 в *Ветлуге* Костромской губернии; умер — 5.2.1919 в городе *Сергиев Посад*, где похоронен в *Черниговском скиту*. «Ну, теперь очередь дошла и до меня. Я, брат, учусь плохо, но на это есть свои причины: во-первых, у меня нет трех немецких *книг* <...> Свящ<енную> ис<торию> Н<ового> З<авета> тоже мне дал недавно товарищ <...> нет “Детского *мира*” <...> “Географию” мне мамаша тоже купила тогда, когда уже у нас учили Африку <...> Атласа тоже нет, да еще и “Зоологии” нет <...> Так вот, Коля, и учись, как знаешь! Да вот еще я совсем не понимаю лат<инского> яз<ыка> и мат<ематики>, но ты в этом меня не вини, Коля, это потому, что я пропустил бездну уроков, даже и теперь не хожу в гимназию, а сижу дома, к товарищам тоже ходить нельзя; потому что я не хожу в гимназию, так и к товарищам оттого, что у меня нет пиджака да и брюки совсем развалились, а не хожу я с четвертой недели Великого Поста, да, я думаю, раньше Фоминой недели мне и не сошьют пинжака, потому что не из чего. Так вот, Коля, я пропустил много уроков, прихожу в гимназию, смотрю, уж у нас учат не то, что следует, дело плохо, стараюсь догонять; учу то, что проходили без меня, да нет, уж дело-то неладно. Без учительского объяснения и в голову не лезет» (Письмо В.В. Розанова — Н.В. Розанову. 1870 г., апрель // ОСЖС, 671–672). «Директору гимна-

зий и училищ Костромской губернии С.Н. Мацейовскому от вдовы коллежского асессора Надежды Ивановны Розановой. Прощение. Сына моего Василия Розанова, обученного предметам, нужным для поступления в 1 класс гимназии, желаю для дальнейшего образования поместить в Костромскую губернскую гимназию: вследствие чего, прилагая при сем документы: метрическое свидетельство за № 11826 и копию с формулярного списка, имею честь покорнейше просить означенного сына моего Василия Розанова допустить к установленному испытанию и принять в класс, соответствующий сведениям, какие окажет при испытании. Жительство же он будет иметь в Костроме, в 1 части близ Павловской площади около Боровкова пруда в моем доме. Домашний надзор и наблюдение за означенным сыном моим я буду иметь сама. Августа ... дня 1866 года. К сему прошению Коллежская Ассессорша Надежда Ивановна Розанова руку приложила... Отметки В. Розанова, полученные на вступительных испытаниях: Закон Божий — 4. Русский язык — 4. Математика — 3. Отметки В.В. Розанова, полученные по окончании 2 класса (1869/70 уч. год): Поведение — 3. Закон Божий — 3. Русский язык — 1. Латинский язык — 1. Немецкий язык — 1. Французский язык — 2. Математика — 2. География — 2. Естественная история — 1. «Инспектору Костромской гимназии от Николая Васильевича Розанова. Прощение. Имею честь покорнейше просить Ваше Высокородие брата моего, Василия Розанова, находящегося во втором классе вверенной Вам гимназии, уволить для поступления в другую гимназию и выдать находящиеся в Костромской гимназии документы его. 1870 года Июля дня. Кандидат Императорского Казанского Университета Николай Розанов. (Книг за Розановым нет. Никольский). Удостоверение получил. Николай Розанов». Ф. 429. Б/ш. Д. 150. Л. 179, 163 об.—164; Ф. 429. Оп. 1. Д. 99. Л. 429 об.—430; Ф. 429. Оп. 1. Д. 217. Б/ш; Ф. 429. Б/ш. Д. 31. Л. 39.

19-7. Сергей Васильевич Розанов (1858? — ?) — «Серезжа учится, но только плохо, хотя мы всеми силами стараемся приготовить его к твоему приезду и хотя чтобы он один тебя порадовал. Мы думаем, что ты к нам приедешь, как Король <...> Мы все, и особенно тетенька Александра Ивановна, ждем тебя так, что и сказать нельзя, постоянно тебя поминаем, а если тебе <нрзб.>, то и знай, что мы тебя поминаем. Но только вот что нас пугает, мы думаем, что ты вырастил бороду, сделался солидным и величественным *мужчиною* и ни капли прежнего *детства*. Пришли нам свою карточку и вместе с ней напиши, в каком месяце и которого числа приедешь. Прощай, Милой Коля. Остаюсь Василий Розанов» (Письмо В.В. Розанова — Н.В. Розанову. 1870 г., апрель // ОСЖС, 671–672).

20-7. Любовь Васильевна Розанова (1861) — умерла младенцем.

21-8. Александр Николаевич Розанов (ок. 1857–5.9.1895) — священник. Родился в селе Тоншаево Ветлужского уезда. Жена: Анна Алексеевна Рубинская (ок. 1859 — не ранее 1916), дочь священника Преображенской церкви села Красногорского Алексея Рубинского (ум. 1879); 1874–1880 — Костромская духовная семинария (2 разряд); 5.10.1880–5.9.1895 — священник Преображенской церкви села Красногорского Макарь-

евского уезда; 20.9.1885 — награжден набедренником. «Одноклассная церковно-приходская школа открыта в октябре месяце 1886 года священником села Александром Розановым. Помещается в собственном доме св-ка Розанова» (Отчет клира церкви в Костромской епархиальный училищный совет, 1887. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1108. Л. 5 об.-7; Д. 2432. Л. 53 об.-55; 2435. Л. 54 об.-57; Ф. 438. Оп. 1. Д. 1. Л. 35—35 об.).

22-8. Петр Николаевич Розанов (1.3.1834 — не ранее 1931) — священник. Родился в селе Тоншаево Ветлужского уезда. Жена Александра Васильевна (1.1.1859—?), дочь священника Успенской церкви села Холкина Василия Ивановича Либерова (ок. 1833—?). Обучалась в женском училище Костромы при Крестовоздвиженском женском монастыре. 1873—1879 — Костромская духовная семинария (2 разряд). 11.2.1880 — псаломщик Троицкой церкви села Горелец Кологривского уезда; 14.3.1881 — священник Троицкой церкви села Выголово Нерехтского уезда; 18.6.1884 — священник церкви Рождества Богородицы села Матвеева Кологривского уезда; с 1909 — член Благочиннического совета по 1-му Кологривскому округу; 1900—1913 — законоучитель Лепешкинского народного училища; с 1910 — законоучитель Тихоновского и Городецкого народных училищ. Безмездно исполнял должность библиотекаря Матвеевской волостной библиотеки. Член правления «Матвеевского общества потребителей». 1893 — под следствием консистории за оскорбление жены священника П.Я. Пониловского: «на сельском балу подражал ее походке; нарушил украшение на голове» — из показаний оскорбленной; «дотронулся двумя перстами до цветка в ее волосах» — из показаний священника Розанова. 24.5.—24.6.1893 — находился в Чухломском Авраамиевом монастыре — «для раскаяния и исправления». 13.11.1898 награжден набедренником; 28.5.1903 — бархатной фиолетовой сукфью; Серебряной медалью в память императора *Александра III*; 1913 — крестом и светло-бронзовой медалью в память 300-летия Царствования Дома Романовых; 1914 — бархатной фиолетовой камилавкою — «за отлично усердную службу и доброе поведение». В 1930, будучи давно за штатом, исполнял за сына, отправленного на лесоповал в Парфеньевские леса за неуплату продналога, обязанности священника церкви Рождества Богородицы. Похоронен на кладбище возле церковных стен. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1108. Л. 5 об.-7; Д. 1762. Б/н; Д. 1792. Л. 28 об.-29; Д. 1899. Л. 6 об.-8. Ф. 130. Оп. 5. Д. 1356.

23-8. Николай Николаевич Розанов (ок. 1862—?) — священник. Родился в г. Ветлуга. Жена: Евлампия Петровна (ок. 1865—?). 1877—1883 — Костромская духовная семинария: закончил по 2-му разряду. 6.8.1884 — священник села Мамонтова Макарьевского уезда; с 14.12.1884 — законоучитель Мамонтовского сельского училища; 8.7.1887 — священник Успенской церкви села Холкина Ветлужского уезда; 1890 — переведен в Вятскую епархию. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1108. Л. 5 об.-7; Д. 1120. Л. 5 об.-6; Д. 1134. Л. 6 об.-7.

24-8. Елизавета Николаевна (ок. 1868—?). Ф. 130. Оп. 9. Д. 1108. Л. 5 об.-7.

25-9. Петр Федорович Елизаров (ок. 1841—1897) — пономарь. Родился в селе Матвеево. Жена: 1-й брак — Анна Васильева (ок. 1842—?) — все дети от этого брака;

2-й брак — Лариса Ивановна, дочь причетника. 1852—? — причетнический класс при Галичском духовном училище. 28.11.1861 — причетник Троицкой церкви села Емсны Нерехтского уезда; 30.7.1862 — пономарь церкви Рождества Богородицы села Матвеево; 1863 — посвящен в стихарь. 1887 — находился на исправлении в Чухломском Авраамиевом монастыре «за произнесение скверных слов и нарушение общественной тишины». ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 1618. Б/н; Ф. 132. Оп. 1. Д. 1397. Б/н; Ф. 130. Оп. 5. Д. 638. Б/н; Ф. 130. Оп. 9. Д. 1762. Б/н; Д. 1792. Б/н; Л. 84—93.

26-12. Федор Васильевич Арсеньев (ок. 1858—?) — родился в селе Матвеево Кологривского уезда; с 1885 в г. Костроме на гражданской службе; в 1897 — писец в Костромской духовной консистории. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1764. Л. 27 об.-33; Д. 1792. Л. 31 об.-32; Д. 1818. Л. 6 об.-7.

27-12. Тихон Васильевич Арсеньев (1871—?) — родился в селе Матвеево Кологривского уезда; 1885 — учащийся Галичского духовного училища; 1891 — в г. Костроме на гражданской службе. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1764. Л. 27 об.-33; Д. 792. Л. 31 об.-32.

28-12. Александра Васильевна Арсеньева (ок. 1862—?) — родилась в селе Матвеево Кологривского уезда; муж: Василий Иванович Смирнов (?—30.5.1884), священник церкви Рождества Богородицы села Матвеево. Работала при храме просфорней. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 764. Л. 27 об.-33; Д. 1818. Л. 8 об.-9; Д. 1864. Л. 36 об.-37.

— VI поколение —

29-21. Павел Александрович Розанов (ок. 1894—?) — родился в селе Красногорское Макарьевского уезда; в 1915 — ученик Костромской духовной семинарии. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 2681. Л. 69 об.-70.

30-21. Мария Александровна Розанова (ок. 1883—?) — родилась в селе Красногорское Макарьевского уезда; в 1895 — ученица Макарьевского начального училища; в 1915 — в замужестве за дьяконом. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 2681. Л. 69 об.-70.

31-21. Ольга Александровна Розанова (ок. 1885—?) — родилась в селе Красногорское Макарьевского уезда; в 1895 — ученица Макарьевского начального училища; в 1915 — учитель земской школы. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 2681. Л. 69 об.-70.

32-22. Павел Петрович Розанов (25.6.1884 — не ранее 1960-х) — учитель, священник. Родился в селе Выголово Нерехтского уезда. Жена Мария Васильевна Матвеева (ок. 1897—?); акушерка. Их дети — дочь Надежда (ок. 1918—?). До 1906 — окончил Галичское духовное училище и Костромскую духовную семинарию (до 1906). 1914—1919 — учитель церковноприходской школы деревни Стайнова Галичского уезда; 1919—1922 — учитель в селе Городище Парфеньевского района; 1923—1930 — священник церкви Рождества Богородицы села Матвеева. Раскулачен; лишен прав гражданства; 27.11.1930 — осужден тройкой ОГПУ на 3 года лишения свободы с заключением в ИТЛ (исправительно-трудовые лагеря). Из постановления Межевского РО НКВД: «Срок наказания не отбыл, из ссылки бежал и уклоняется от явки в органы НКВД». 1934 — церковной общиной села Селино Межевского района без ведома гражданских властей и разрешения архиерея был принят

священником церкви этого села; разжалован епархиальным начальством в псаломщики (находился на полулегальном положении). В 1935 — вновь арестован и 21.7. осужден на 10 лет лишения свободы. 29.7. 1935 — из секретной переписки ОГПУ: «Розанов Павел Петрович во время этапирования сбежал и находится в бегах»; особые приметы: «Выше среднего роста, сутулый, ходит в очках, лысый». 1936 — «бежавший из под конвоя Розанов в настоящее время проживает в г. Архангельске». Освободившись из заключения в 1946, Павел Петрович заезжал в Матвеево проститься с родными местами. Дом его родителя (священника Петра Николаевича Розанова), в котором проживал и сам он с женой и дочерью, был давно конфискован и отдан под сельсовет. Церковь с 1937 закрыта — в ней располагались мастерские по ремонту сельхозтехники. С семьей он расстался еще в начале ссылки, не желая подвергать опасности жену и дочь как родственников «врага народа». По воспоминаниям односельчан, «побыв три дня на родине», Павел Петрович уехал из Матвеева — «куда-то на юг», «в Краснодарский край», где и служил священником в одной из церквей уже до конца жизни. Реабилитирован посмертно — 11.6.1989. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1818. Л. 4 об.—5; Д. 1864. Л. 34 об.—35; Д. 1899. Л. 6 об.—7; Д. 1916. Л. 20; Р. 675. Оп. 1. Д. 49. ГАНИКО. Р. 3556. Оп. 2. Д. 2532с; 2955с.

33-22. Николай Петрович Розанов (27.2.1886—?) — родился в селе Матвеево Кологривского уезда. В 1897 — ученик Галичского духовного училища; 1906 — псаломщик Николаевской церкви села Никольского Нерехтского уезда; 1910 — псаломщик Георгиевской церкви села Егорье на Меже (Верхнемежское); 1916 — диакон той же церкви; 1935 — священник той же церкви. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1818. Л. 4 об.—5; Д. 1864. Л. 34 об.—35; Д. 1899. Л. 6 об.—7; Д. 1916. Л. 20.

34-22. Михаил Петрович Розанов (1891 — до 1906) — родился в селе Матвеево Кологривского уезда. В 1897 — ученик Матвеевского начального училища. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1792. Л. 28 об.; Д. 1818. Л. 4 об.—5.

35-22. Алексей Петрович Розанов (9.8.1895—?) — родился в селе Матвеево Кологривского уезда. Выпускник Галичского духовного училища, в 1915 — учащийся Костромской духовной семинарии; 1916 — на военной службе. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1818. Л. 4 об.—5; Д. 1864. Л. 34 об.—35; Д. 1899. Л. 6 об.—7; Д. 1916. Л. 20.

36-22. Елена Петровна Розанова (12.12.1881—?), 1891 — ученица Матвеевского народного училища; 1897 — ученица Царскосельского женского училища в Петербурге, получала стипендию императрицы Марии Федоровны; 1906—1916 — фельдшерница при глазной лечебнице в Петербурге. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1864. Л. 34 об.—35; Д. 1899. Л. 6 об.—7; Д. 1916. Л. 19 об.—20.

37-22. Мария Петровна Розанова (6.7.1890—?). 1891 — ученица Матвеевского народного училища; в 1915—1916 — на Педагогических курсах в Петербурге. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1864. Л. 34 об.—35; Д. 1899. Л. 6 об.—7; Д. 1916. Л. 19 об.—20.

38-25. Александр Петрович Елизаров (ок. 1867—?) — выпускник Галичского духовного училища; 1885 — служил в Костроме по гражданскому ведомству. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1764. Л. 28 об.—29; Д. 1792. Л. 30—31 об.

39-25. Федор Петрович Елизаров (ок. 1876—?) — священник. Родился в селе Матвеево Кологривского уезда. Жена Марья Павлинова (ок. 1873—?). Ок. 1900 — окончил Галичское духовное училище и Костромскую духовную семинарию (2 разряд). 6.9.1900 — священник Николаевской церкви села Каликина Чухломского уезда. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1764. Л. 28 об.—29; Д. 1792. Л. 30—31 об.

40-25. Владимир Петрович Елизаров (10.17.1880—?) — родился в селе Матвеево Кологривского уезда. 1896 — окончил Галичское духовное училище; 1896—1903 — Костромская духовная семинария (1 разряд). В 1906 — учитель церковноприходской школы в селе Верхнемежевском Кологривского уезда; 1916 — учитель села Унорож Галичского уезда. ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 4036. Л. 172—172 об.; Ф. 130. Оп. 9. Д. 1764. Л. 28 об.—29; Д. 1792. Л. 30—31 об.; Д. 1818. Л. 8 об.—9; Д. 1864. Л. 37 об.—38; Д. 1916. Л. 22 об.—23.

41-25. Мария Петровна Елизарова (18.1.1870—?) — родилась в селе Матвеево Кологривского уезда; муж Владимир Семенович Соболев, псаломщик Спасо-Преображенской церкви села Потрусова Кологривского уезда; 1916 — вдова. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1792. Л. 30—31 об.; Д. 1864. Л. 37 об.—38; Д. 1916. Л. 22 об.—23.

42-25. Римма Петровна Елизарова (не ранее 1869—?) — родилась в селе Матвеево Кологривского уезда; 1885 — ученица Матвеевского приходского училища. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1764. Л. 28 об.—29.

43-28. Александр Васильевич Смирнов (ок. 1877—?) — родился в селе Матвеево Кологривского уезда; 1893 — окончил Матвеевское народное и Галичское духовное училище; 1893—? — учащийся Костромской духовной семинарии; умер семинаристом. ГАКО. Ф. 13. Оп. 9. Д. 1764. Л. 27 об.—33; Д. 1792. Л. 30 об.—31; Д. 1818. Л. 7 об.—8; Д. 1864. Л. 36 об.—37.

44-28. Михаил Васильевич Смирнов (27.10.1878—?) — родился в селе Матвеево Кологривского уезда. Жена — Мария Николаевна (ок. 1979—?); родилась в селе Ильинском Кологривского уезда; окончил Матвеевское народное и Галичское духовное училища; выпускник Костромской духовной семинарии; в 1906 — священник села Салтанова Кологривского уезда; 1916 — священник Георгиевской церкви; село Вехнемежевское Кологривского уезда; 1937 — протоиерей церкви Покрова Божией Матери села Смольницы Буйского района Ярославской области. В 1937 — репрессирован: осужден тройкой УНКВД к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Реабилитирован посмертно 16.1.1989. ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1764. Л. 27 об.—33; Д. 1792. Л. 30 об.—31; Д. 1818. Л. 7 об.—8; Д. 1864. Л. 36 об.—37; Д. 1916. Л. 22 об.—23.

И.Х. Тлиф

ЕЛОВ Михаил Савельевич (1862—?) — книготорговец в *Сергиевом Посаде*. Его магазин находился на Красноторской площади (на южном ее склоне), и в нем продавались выпуски «*Апокалипсиса нашего времени*» Р., издание которого финансировал Е. Когда *властями* был задержан шестой—седьмой выпуск «*Апокалипсиса...*», Е. сказал Р., вырезая текст: «Я не хочу иметь дело с г. *Троцким*» (ОР РГБ. Ф. 249. Оп. 2. К. 6. Ед. хр. 22. Л. 2). Р. рецензировал вышедшую в издании Е. книгу проф. Н.Ф. Каптерева «*Характер отношений России к*

православному Востоку в XVI и XVII столетиях». Сергиев Посад, 1914 (НВ. 1913. 15 нояб.; НФП). Жил Е. на Валовой улице вблизи дома Ю.А. Олсуфьева, там же находился его склад. Книжная лавка Е. была разрешена Московским губернатором великим князем Сергеем Александровичем 14 января 1905 (СГИАМ. Ф. 17. Оп. 77. Ед. хр. 1929. Л. 168). В 1926 Е. был лишен избирательных прав как торговец с патентом третьего разряда. В 1928 арестован в числе 80 жителей Сергиева по делу «Антисоветской группы черносотенных элементов в г. Сергиево Московской области» (с характеристикой «торговец, церковный староста»).

Т.В. Смирнова

ЕЛЬЧАНИНОВ Александр Викторович [1(13).3.1881, Николаев — 24.8.1934, Париж] — священник, духовный писатель, одноклассник по 2-й тифлисской гимназии и друг П.А. Флоренского и В.Ф. Эрн. Будучи студентом историко-филологического факультета Петербургского университета, в 1902 сблизился с четой Мережковских, стал завсегдатаем журнала «Новый Путь», бывал на «воскресеньях» у Р. на Шпалерной улице, 39, о чем рассказывал в письмах своим друзьям Флоренскому и Эрну, которые в это время были студентами Московского университета. В письме Флоренскому 31 октября 1902 Е. писал: «Обращаюсь к тебе, Павлуша, с неким предложением. В первых числах декабря выйдет первая книжка нового журнала, издания Мережковского — “Новый Путь”. Чтобы ты имел представление о духе журнала, скажу о содержании его. Статья Розанова “Около религиозных тем” <не издана>, где под невинным заглавием читается целая филиппика против современной церкви (пока еще вопрос, пропустит ли эту статью цензура)» (АФ). В письме Флоренскому 30 января 1903 Е. сообщает: «Узнал я крайне любопытные вещи о Достоевском. Дело в том, что Розанов пришел недавно к Гиппиус и стал ей исповедываться (он удивительно просторечный, искренний и трогательный даже; Дм.С. <Мережковский> его называет голубем). Он рассказал ей след. (я слышал это от самой З.Н.): У Достоевского была une amante (sic!), после смерти его первой жены, особа демонического характера — “голое зло”, она мучила его очень долго, т.ч. он бежал от нее за границу и там уже женился на Анне Григ. Розанов встретился с ней в Нижнем Новгороде гимназистом 17 л., ей было 36. Р. сильно увлекся ею и даже женился через год кажется, но она его измучила совершенно, так что он тоже сбежал от нее, хотя очень любил ее. (Она его поносила самыми скверными словами, чуть не била). Затем он женился на теперешней своей жене, но развода от прежней не получил до сих пор. Она жива, живет и процветает в Крыму» (АФ). Рассказывая Флоренскому о заседаниях Религиозно-философского собрания, в том же письме Е. пишет: «Представь себе на реферат Розанова, который собств. в корне старался подорвать хри-ство и произвел огромное впечатление своей силой и красноречием, на него из духовенства возразил всего один откормленный попик <протоиерей П.И. Лепорский>, да и то полшутя, в нескольких словах. Я прилагаю “при сем” реферат Розанова, как я его запомнил. Но ты его сохрани, т.к. у меня другого списка нет». В письме Е. посылает Флоренскому следующий конспект реферата Р., легший в основу его

статьи «Об адогматизме христианства» (ОЦС): «Об адогматизме христианства. Хр. нарисовал идеал своего последователя в словах и лилиях полевых, не заботящихся об одежде, наивно смотревших на Божий мир с радостью внимающих слову Божию. Но прошло несколько веков, и обст-а изменились, вместо простых рыбаков появились учителя церкви, им непременно захотелось одежд, и вот они начали шить их из полотнищ догматов. Лилии оказались непригодными: их размочалили и свили из них нитку, на которой только и можно что удивиться. Прежнее Евангелие — умиление сердечного и слез, дававшее так много верующему сердцу, заполнили деревянным катехизисом. Вместо Пушкина дали Скабичевского. Если бы надо было реформу — то прежде всего я упразднил бы кафедру догмат. Богословия и канонич. права, а книги об этих предметах объявил бы заперщенными для чтения. Неужели можно представить себе Хр-а, говорящего: «Идите за мной, люди, я научу вас... догматическому богословию» (АФ). Знакомство Е. с Р. произошло в 1904, о чем он сообщает Флоренскому в письме 18 февраля 1904: «Вообще Дм.С. рассчитывает на тебя. Он очень просил, чтобы ты непременно написал к марту рецензию на 2-е издание Розанова — “В мире неясного и т.д.” Оно совсем переработано. Познакомился с Розановым и говорил с ним, но больше слушал. Он довольно много говорил, и, насколько я понял, настаивал на том, что не видит реальности христианства (“одни колонки, колонки — а продувает”). Пределами рецензии не стесняйся — хоть целую статью» (АФ). В письме 1 марта 1904 Е. напоминает Флоренскому: «Рецензию о Розанове присылай к определенной книжке. Кстати, в № III будет коллективная статья о Розанове, которая будет тебе полезна» (АФ). Однако рецензия Флоренского на книгу Р. «В мире неясного и нерешенного» неизвестна и, по-видимому, так и не была написана. Письма этого времени Флоренского к Е. не сохранились. На рассказы Е. о своей жизни в Петербурге Флоренский реагировал в шутовом послании 26 марта 1904: «Ведь Василий Эр <Розанова> я читаю теперь / И уж много его изучал. / Вдохновлялся я им / Жаждой тела томим... / Не ходи в Новый Путь / Не являйся и к Эр есть лапшу» (Павел Флоренский и символисты. М., 2004. С. 165). Е. сообщает Флоренскому о планах Мережковских выпустить в Париже сборник, в котором предполагалось участие Р. В письме 21 июля 1906 он пишет: «Дорогой Павлуша! Дм. Мережковский очень просил передать тебе просьбу его прислать что-нб. в его трехязычный сборник “Меч” Он не обратился лично, т.к. не знает твоего адреса. Чтобы ты знал, что и кто, то вот что я знаю о сборнике. Участвуют: Мер-кие, Философов, Успенский, Карташев, Белый, Булгаков, Волжский, Розанов, Бердяев. Статья прилб. следующие: Отделение церкви от госуд. Теософия (Философов), Христианство и анархизм (Мер.), Любовь по Розанову и Соловьёву (Герцык), Теократия и анархизм, Хр. и Антихр. В социализме (Булгаков) и прочее» (АФ). Сборник под таким названием и с таким авторским составом не вышел. Вместо него был опубликован: Merejkovsky D., Hippus Z., Philosphoff Dm. Le Tsar et la Revolution. Paris, 1907. 31 марта 1918 Е. пишет Р.: «Дорогой Василий Васильевич, эту зиму я часто Вас вспоминаю и потому что все время перечитываю Ваши книги и еще потому, что часто вижу с Цвет-

ковым. Он живет здесь, служит в З.С. <Закавказский совет> и если не бранит, “то варенье” То говорит о Вас. У него же я достал 3 выпуска “Из вост. мотивов” и с упоением читал их. Простите не писал раньше и не пишу большое письмо сейчас — я совсем разучился писать письма, но мне все же хотелось, чтобы вы знали, что в Тифлисе у Вас есть заядлый *читатель* и почитатель, искренний и давно любящий Вас А. Ельчанинов. Привет тем из Вашей *семьи*, кто меня помнит» (АФ). В 1921 Е. поселился во Франции, где стал одним из организаторов Русского студенческого христианского движения, в 1926 по благословению о. Сергия Булгакова принял священство.

Т.А. Шутова

ЕСЕНИН Сергей Александрович [21.9(3.10).1895, село Константиново, Рязанский уезд, Рязанская губ. — 28.12.1925, Ленинград] — поэт. Е. в беседе с поэтом

И.В. Грузиновым говорил, что был знаком с Р. и встречался с ним в 1915 в Петрограде: «В *Петербурге*, когда я юношей приехал туда, я познакомился с Розановым. Розанову нравились мои стихи. Однажды Розанов, встретив меня, приласкал; как мальчика, погладил по голове и сказал: пиши, пиши! Хорошие стихи пишешь» (Сергей Есенин глазами современников. СПб., 2006. С. 295). Е. интересовался *творчеством* Р. В списках принадлежавших Е. *книг* (Гос. музей-заповедник С.А. Есенина) значатся две книги Р.: «*Опавшие листья*. Короб второй и последний» и «*Война 1914 годы и русское возрождение*». Грузинов вспоминал о разговорах с Е. о *литературе* в 1919: «Есенин читает В. Розанова. Читает запоем. Отзывается о Розанове восторженно. Хвалит его как стилиста. Удивляется приемам его работы. Розанов в это время для него как поветрие, как корь. Особенно нравились ему “Опавшие листья”» (там же).

Н.И. Шубникова-Гусева

Ж

ЖАБОТИНСКИЙ Владимир (Зеев) Евгеньевич [5(17).10.1880, Одесса — 4.8.1940, Хантер близ Нью-Йорка] — публицист, драматург, прозаик, лидер ревизионистского направления в политическом сионизме. Познакомился с Р., по сообщению последнего, в 1901 в Риме. В статье 1908 «Пестрые темы» Р. писал: «Лет семь тому назад я встретил его за границей. Худенький молодой еврей, почти мальчик, он был тогда типичным русским интеллигентным евреем, подсмеивавшимся над некоторыми древнееврейскими заветами, составлявшими неудобство в быту, в жизни» (ВНС, 116–117). Статья Р. касалась спора «о евреях и русской литературе», начавшегося со статьи К. Чуковского «Евреи и русская литература» (Свободные Мысли. 1908. 14 янв.; Чуковский К. Собр. соч.: В 15 т. М., 2003. Т. 7. С. 315–322). «Спор между гг. Чуковским, Жаботинским и <В.Г.> Таном о евреях и отношении их к русской культуре, в частности о роли их в русской литературе, вызвал внимание во всей печати. И, несомненно, это одна из вспышек того спора, который не замрет с этими спорщиками» (ВНС, 114). В архиве Р. сохранилась рукопись неопубликованной статьи «Убогонькие в истории», написанной в ответ на статью П.Б. Струве «Жестокая поговорка и извращенная психология» (Русская Мысль. 1911. № 1), где Ж. упомянут в связи со Струве. «Струве в той же книжке, где дал мне “плевок в лицо”», говорит в споре с Жаботинским, что допустить в белорусских и малорусских губерниях школьное преподавание на местном народном языке — значит готовить себе то, что Австрия имеет в Галиции, “раскалывать единство культуры и хода истории в России”». Итак, он принял уже самые крайние мысли «Нов. Вр.». С этим вовсе не согласны все сотрудники «Нов. Вр.». (Я лично стою за этнографические языки в начальных школах)» (ТПРН, 356). Ж. упомянул Р. в статье VI из серии «О ритуальном убийстве», писавшейся в ответ на обвинения евреев в применении христианской крови в иудейских ритуалах, что явилось предметом специального обсуждения на процессе по делу Бейлиса в Киеве в 1913. Обсуждая фальсификации переводов еврейских книг Роллингом, который подменил понятие «дам бетуллим», т.е. sanguis virginitalis, «пролитием нечистой крови нееврейских девушек», называя их к тому же «Клиппот», т.е. каббалистическим термином «скорлупы нечистоты», важным и для розановской философии «юдаизма», Ж. писал: «Признаю с откровенностью профана, которому чужд всякий интерес к мистике, что я считаю <...> всю этого рода эквилибристику

абсолютной и никчемной чепухой. Но есть люди, которые этими вещами увлекаются. Чтобы говорить только об отечественных знаменитостях, назову Розанова. Он печатал в “Нов. Вр.” еще более обстоятельные исследования о мистическом значении той крови, которая с разрешения церкви и начальства, проливается (в последнее время, говорят, все реже и реже) в первую брачную ночь» (Жаботинский В. О ритуальном убийстве. VI // Одесские Новости. 1913. 21 сент.). Ироничный выпад против Р. был, однако, лишь временным выходом на поверхность того скрытого интереса, который испытывали друг к другу Ж. и Р. Многие взгляды двух правых мыслителей — русского и еврейского — часто совпадали, хотя и осмыслялись прямо противоположно. В ряде случаев можно говорить о том, что два публициста вели между собой негласную и невидную для непосвященных полемику, особенно обострившуюся, естественно, во время дела Бейлиса. Следы ее можно обнаружить и в «Фельетонах» Ж., и в «Обонятельном и осязательном отношении евреев к крови», и «Апокалипсисе нашего времени» Р. В автобиографическом романе «Пятеро» (1936) о жизни в Одессе примерно в 1908 Ж. упоминает некоего героя, который принимает решение соблюдать еврейские законы ритуальной чистоты пищи (кашрут) и отказывается есть мясные котлеты, поджаренные на сливочном масле. Именно насмешки над этим обрядом Р. и приписывает Ж. в статье «Пестрые темы», вспоминая молодого человека, полного любви к русской литературе, который обратился к идеям сионизма. Отказа от этого иудейского обычая требует Р. от евреев для доказательства отсутствия в иудаизме человеческих жертвоприношений. Ж., намекнувший в романе «Пятеро» на свое пребывание в Риме в 1901, использует этот образ в этом романе.

Л.Ф. Кацис

ЖАКОВ Каллистрат Фалалеевич (30.9.1866, дер. Давпон, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губ. — 20.1.1926, Рига) — языковед, коми-зырянский этнограф, философ и писатель, член петербургского Религиозно-философского общества. Автор письма к Р. (б.д.) с откликом на статью «Как святой Стефан порубил “прокудливую березу” и как началось на Руси пьянство» (НВ. 1908. 2, 18, 24, 31 марта, 7 апр.; ВДЯ) о своем «любимом крае». Ж. признавал, что породнился с Р. «грустным чувством по умирающей поэзии простых, некультурных народов» и предлагал в связи с этим обратить внимание на свои

рассказы о родном крае, «стране “прокудливой березы”» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3823. Ед. хр. 9). Р. приложил к письму фелестную *характеристику* корреспондента: «Жаков — философ (бездарный) — бурят» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 83).

А.В. Ломоносов

ЖАННА Д'АРК (Jeanne d'Arc) (ок. 1412, Домреми — 30.5.1431, Руан) — народная героиня Франции. Канонизирована католической церковью в 1920. Р. по-своему объясняет чудесное явление Ж. д'А. в *истории* путем сравнения: «Почему около *Иоанна Кронштадтского* образовалось такое же народное движение, то же восхищение и изумление, хотя и в другом совершенно роде, в другом русле, — какое некогда возникало около таких удивительных и народных личностей, как великая Иоанна д'Арк. Здесь были преувеличения, как и там; молва поднимала выше факт, чем сам он стоял в действительности; около слез умиления здесь и там поднялась клевета мелких и мещанских душ, умов здавомысленных и в здравомыслии немощных: но и здесь и там стояла личность, чрезвычайно подымавшаяся над обыкновенным уровнем и в которой действительно было нечто чудесное и сверхъестественное» (ЛВИ, 533). Рецензируя очерк военного теоретика М.И. Драгомирова «Жанна д'Арк», «написанный необыкновенно изящно, с чрезвычайным одушевлением, с полною верою самого автора, — ума трезвого, холодного, математического, — к чуду всего явления Жанны д'Арк», Р. приводит четыре группы фактов ясновидения Ж. д'А.: «1) Жанна предвидела будущее неотвратимое, и притом — с чем она справиться не могла, чего боялась, о чем плакала. 2) Жанна видела и знала абсолютно от нее и ото всех скрытое, но существующее в данную минуту <...> 3) Жанна иногда творила завтрашний факт, создала. Это не предвидение, это могущество. Три эти способности принадлежали ее личному “я” и не зависели от “голосов”, которыми она была позвана к подвигу, или не всегда от них зависели. Но это — уже четвертое: 4) Жанна, сверхъестественная сама по себе, находилась в общении с еще более сверхъестественным миром (“голоса”), волю которого она выполнила и который дал ей, собственно, могущество на общий ее подвиг, общую ее миссию» (ВДЯ, 158). Говоря об исключительности и неповторимости подвига Ж. д'А., Р. отмечает: «И Жанна д'Арк не могла бы “каждый год освобождать по Франции” Как-то чувствуется, что ее должны были судить, проклясть и умертвить. Если бы ей дали “пенсию и ренту”, ореол исчез бы. Для величия неизбежна мука. В чем дело, никто не понимает» (ОПП, 558).

А.Н.

ЖАРИНЦЕВА Надежда Алексеевна (1870? — после 1930, США) — журналист, переводчица английского писателя *Дж.К. Джерома*, популяризатор русской культуры в Англии (в 1901 переехала в Англию), автор книг по вопросам педагогике, о двух из которых, изданных в Петербурге в 1905, Р. одобрительно отозвался в статье «Вопросы семьи и воспитания (По поводу двух новых брошюр г-жи Н. Жаринцевой)» (Церковная Газета. Харьков. 1906. 7, 14, 21 мая. № 14—16): «Известная переводчица Джерома К. Джерома, г-жа Н. Жаринцева, взя-

лась за разрешение трудного вопроса. С большой жадностью я пробежал две ее книжки, составляющие первую и вторую “части” одного труда: 1) “Объяснение полового вопроса детям. Письмо к некоторым русским родителям” и 2) “Как все на свете рождается. Письмо к детям” Написанные превосходным языком, с великой любовью к детям, с глубокой нежностью к семье не только у человека, но к семье у птиц, у животных, — книжки эти неодолимо поселят во всяком читающем и в том числе в детях чувство отвращения ко всякой шутке в этой серьезнейшей области» (ОНД, 57). Р. рассматривал эту свою статью как продолжение мыслей, изложенных им во втором томе «Семейного вопроса в России».

А.Н.

ЖДАНОВ Дмитрий Андриянович («Дяденька») — брат матери В.Д. Бутягиной («Друга») — А.А. Рудневой (урожд. Ждановой). Он был священником в Ельце, крестным отцом Бутягиной. Ею она «очень любила» (У, 295). Р. называет его среди «лучших людей, каких я встречал, — нет, каких я нашел в жизни» (У, 79). Его дочь Саша Жданова, как пишет Р., «безумно любила Гоголя» (У, 294) в отличие от жены Р., которая его ненавидела за его смех, сатиру.

А.Н.

ЖДАНОВ Лев Григорьевич [наст. фам. и имя Гельман Леон Германович; 8(20).5.1864, Киев — 20.11.1951, Сочи] — прозаик, драматург, поэт. Посмотрев в Театре Литературно-художественного общества пьесу Ж. «Под колесом», премьера которой состоялась 17 сентября 1901, Р. напечатал на нее рецензию (НВ. 1901 23 сент.), в которой отметил, что молодой автор «написал сложную и до известной степени тяжеловесную драму, которая, однако, смотрится до конца с все возрастающим интересом, благодаря содержательности, серьезности и нравственному в ней элементу» (СХ, 196—197). Р. говорит, что «пьеса вообще похожа на драму в суде. И зрители невольно входят в роль присяжных. Будь у автора мастерство, пьеса вышла бы великолепно. Теперь она только умна, серьезна, совестлива» (СХ, 199).

А.Н.

ЖЕЛЯБОВ Андрей Иванович [17(29).8.1851, село Николаевка, Феодосийский уезд, Таврическая губ. — 3(15).4.1881, Петербург] — террорист, один из организаторов покушений на императора Александра II. Говоря о смысле «пути террора» Ж. и его компании, Р. писал во втором коробе «Отавших листев»: «Россия иногда представляется огромным буйволом, съевшим на лугу траву-зелье, съевшим какую-то “гадину-козулю” с травой: и, отравленный ею, он завертелся в безумном верчении» (У, 287). Причину роста терроризма в России Р. видел в беспомощности властей. «Желябов “был привлечен по процессу 193 и оправдан” Ну, конечно. Кабак судил, кабак простил, кабак “производил следствие”, председательствовал на суде и произносил “речь прокурора” <...> Разве можно церемониться со “193” в интересах нормального, здорового, прямого хода истории? Разве думают о “пожертвовании ротою солдат”, чтобы окончить благополучно Отечественную войну или выиграть Бородинское поле? Да: солдатами “пожертвуют”: но Желябов

состоял в любовниках генеральши *Перовской*: разве же можно было им “пожертвовать”» (М, 98). Дочь петербургского губернатора Софья Перовская так же преступна для Р., как и Ж.: «Россия обязана “отступить”, п.ч. против нее “соединились” Желябов и эта гнусная Сонька, его любовница из генеральш. Позвольте: да почему же Россия должна отступить? Россия — 100 000 000 населения, пахотные поля в миллиард десятин, сады яблочные, вишневые, огороды с капустой, морковью, свеклой. С картофелем. Отчего все это должно “повернуть на другой румб” ради Соньки и Желябки (до чего гнусная фамилия, — и, по *портрету*, самодовольная харя мужичонки, который наконец “выучился”)» (Там же, 137). «Так же они пялились на суде 1 марта, — продолжает Р. — Желябов выскочил с речью, которую начал: — “Я был главный” И т.д.» (Там же, 217). Тогдашнее «демократическое» общество России молча одобрило убийство Александра II: «Если бы хоть одно создание в России нашлось, которое бы отомстило за унижение Государя пощечиной, выстрелом и плевком в лицо <...> Желябову, кому-нибудь... Не нашлось честного человека в России. Или, как говорит автор Пинкертон: “Не нашлось ни одного порядочного человека” Это слово — настоящее. Именно — просто “порядочного” Объективно порядочного человека» (ПЛ, 131).

А.Н.

ЖИРКЕВИЧ Александр Владимирович [17(29).11.1857, г. Люцин, Витебская губ. — 13.7.1927, Вильно] — отставной генерал-майор, писатель, военный юрист и коллекционер, друг *И.Е. Репина* и *К.М. Фофанова*. В письмах к Р. 1902, 1913 просил о рецензировании своих книг, изданных под *псевдонимом* А. Нивин: поэмы «Картинки детства» (СПб., 1890, 2-е изд. 1900, 3-е — 1902) и «Пасынки военной службы: Материалы к истории мест заключения военного ведомства» (Вильна, 1912) — истории своей многолетней борьбы с администрацией судебного ведомства за улучшение *быта* военных арестантов (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3877. Ед. хр. 21). Последняя книга вызвала полемику: *А.В. Пешехонов* и Д. Левин обличали автора, иронизируя над прокурорской «больной совестью». Р., напротив, защищал Ж. в статье «Левин из “Речи” о жестокостях русского суда» (о кн. А.В. Жиркевича “Пасынки военной службы”; НВ. 1913. 28 авг.), утверждая, что писатель «бесконечно верит в доблесть и благородство своего отечества» (НФП, 132). Р. высоко оценил защиту со стороны Ж. архимандрита Зосимы (в мире Дмитрий Рашин). Он отозвался на нее рецензией «Почему об этом “замученном” промолчали? А.В. Жиркевич. Архимандрит Зосима (в мире Дмитрий Рашин) был невиновен... (История еще одной судебной ошибки). Вильна. 1913; А.В. Жиркевича. Жизнь во Христе старца Зосимы... в мире Дм. Рашина (Его биография). Вильна. 1913» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 116. Л. 172–173. Автограф). В названной рецензии Р. еще раз обратил внимание на вопрос о снятии клеветы с архимандрита, обвиненного в прелюбодеянии следствием 1903–1905.

А.В. Ломоносов

ЖУКОВСКИЙ Василий Андреевич [29.1(9.2).1783, село Мишенское, Белёвский уезд, Тульская губ. —

12(24).4.1852, Баден-Баден, Германия] — поэт, переводчик, критик. В статье «*Театр и юность*» (1910) Р. объясняет, почему *молодежь* полюбила фантастику Ж. и считает, что «надо *детям* дать “грезу Жуковского”» (СХ, 337). Когда девочка пришла в восторг от оперы Л. Делиба «Лакме», то Р. записал: «Ах, Господь мой, — подумал я, — да ведь тут, однако, весь Жуковский. Девочка полюбила в “Лакмэ” (или чем-то) Жуковского, его *тон*, его грезы, его сюжеты... Именно — привидения, загробный мир, вечные обещания, — и *чувства* до того возвышенные, что земля не вынесет. Для нас, похолодевших в жизни, уже износившихся и безверных, — все это есть несносный хлам, чепуха и *ложь*; но ведь, кто знает, может быть, жизнь и заключается именно в ниспадении души от истины ко лжи, от великого к мелочному» (СХ, 335–336). Р. отмечает, что в поэзии Ж. живет «дух германских народов», в его балладах «слышатся средние века» (ЛВИ, 241). С горечью Р. пишет, что «вся русская поэзия, начиная с “Сельского кладбища” Жуковского (перевод из Грея, но давший новый *тон* целому направлению), была литературой грустящей, не героической, не сопротивляющейся, несколько элегической, несколько даже меланхолической. Увы, кроткое увядание и наконец надмогильная скорбь всегда были *темою* русских стихов, повестей, романов» (КНУ, 107). Поэзия Ж. сказала на складывавшемся в начале XIX в. русском характере. «Жуковскому нельзя было не быть нежным» (ОПП, 497). «Наблюдения слишком точные, чтобы их можно было оспаривать. Известен мягкий, задумчивый, сочувствующий страданию людскому характер русских людей за первые пятнадцать лет XIX века. Музы Жуковского и *Карамзина*, с их сюжетами, на наш взгляд наивными, но именно мешавшими печальное и веселое в надлежащих пропорциях, были не без влияния на образование этого общественного характера» (ОЦС, 394). Вместе с тем Р. полагает, что «от Жуковского до *Шеллинга* именно “идеализм”-то и “утонченность” стали какою-то неприступною и красивою внешностью, за которую пряталось и где мариновалось все в жизни ложное, риторическое, фальшивое, с тем вместе бездушное и иногда безжалостное, жестокое» (ОНД, 171). О нелегкой жизни самого Ж. приводятся слова протоиерея *А. Устьинского*: «Но прислушайтесь к сердечным воплям, к душевной тревоге этого до мозга костей святого мирянина, по поводу центральных фактов его собственной семейной жизни» (ВМНН, 223). Рецензируя опубликованную в «Русском Библиофиле» (1915. № 1) «Историю одной жизни. А.А. Воейкова — Светлана» Н.В. Соловьёва, Р. обращается к Ж. как «певцу Светланы», баллады, посвященной Александре Протасовой (в замуж. Воейковой). В ее *архиве* находятся «многие не изданные доселе стихотворения В.А. Жуковского, Языкова, Козлова» и домашние альбомы. Как нередко бывает у Р., по частному вопросу он высказывает общие суждения о задачах науки литературоведения, отвергая позитивистские попытки дать прежде всего философские, формальные определения писателя и его *творчества*. О публикации Н.В. Соловьёва он пишет: «Да это и есть настоящее начало настоящей истории *литературы*, — которая, наконец, освободится от кургузых “характеристик”, критического “философствования” и всяческого пошлого о ней “размазывания”, встав вся сверкающая перед зерка-

лом и говоря: “Вот — я” “Зеркало” — именно эти “бумаги”, “бумажонки”, записочки, *письма*, дневники, — самих же писателей или ближайше родственников и ближайше дружественных к ним *лиц* и семейств» (НВ. 1915. 10 февр.; НФП, 424).

А.Н.

ЖУКОВСКИЙ Владимир Григорьевич [19(31).3.1871, Самара — июль 1922, Новониколаевск, Томская губ.] — поэт и переводчик, сотрудничавший в 1899 в литературном приложении к «*Торгово-Промышленной Газете*», где работал Р., а затем, в 1900–1915, и в «*Новом Времени*».

Р. познакомился с поэзией Ж. через посредничество своего друга *П.П. Перцова*, высоко ценившего названного автора и включавшего его произведения в издаваемые поэтические антологии. Автор *писем* к Р. 1899, с обсуждением проблем публикации его произведений в «ТПГ» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 59). В 1919 входил в состав правительства адмирала А.В. Колчака в качестве министра иностранных дел. По приговору Сибирского чрезвычайного ревтрибунала осужден к «лишению *свободы* с применением принудительных работ пожизненно» (Правда. 1920. 2 июня).

А.В. Ломоносов

З

ЗАЙОНЧКОВСКИЙ Николай Чеславич (р. 1863) — педагог, однокашник Р. по *Московскому университету*. Автор *писем* к Р. 1912 и 1915 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4213. Ед. хр. 11). Р. гордился своим знакомством с З. на студенческой скамье: «Какая *радость*, что наш выпуск в Московском университете дал трех сынов *России*: *Любавский* (М. Куз.), Н. Зайончковский, *Вознесенский* и я. Патриоты и несущие факел *религии*. Это хорошо и счастливое воспоминание, счастливая *мысль*» (М, 67). 12 октября 1912 З. с похвалой отзывался о педагогических сочинениях Р.: «Ваши *“Сумерки просвещения”* моя настольная *книга*; ее следовало бы выучить наизусть каждому русскому» (ОР РГБ... Л. 2). Р. посвятил его книге *«Молитвы и песнопения православного молитвослова (для мирян), с переводом на русский язык, объяснениями и примечаниями Николая Нахимова»* (СПб., 1912. Вып. 1–5) статью *«Признаки времени»* (НВ. 1912. 4 дек.; ПВ). О педагогических взглядах З. он писал также в статье: *«Взгляд одного попечителя округа на министерство просвещения»* (НВ. 1913. 12 февр.). З. был представлен в статье Р. как *«стильный русский человек, крепкого, исторического и бытового закала»*, который узнал службу министерства просвещения всю без пропусков, начиная с самых ее азов (гимназической скамьи) и до уровня попечителя учебного округа, «притом признанному талантливым человеком здесь со стороны самого министерства просвещения» (НФП, 27). Р. вспомнил, как поделился со своим университетским товарищем в письме тревогой по поводу выхолащивания в гимназиях воспитания «исторического и русского, как в смысле программы, так и принятых министерством учебников, так, наконец, и внеклассного *чтения»* (там же), встретив понимание со стороны З.

А.В. Ломоносов

ЗАЙЦЕВ Борис Константинович [29.1(10.2).1881, Орел — 28.1.1972, Париж] — прозаик, мемуарист, переводчик. С 1922 — в эмиграции. Р. познакомился с ним в *Москве* на открытии *памятника Н.В. Гоголю* 26 апреля 1909 и вспоминает о встрече на вечернем приеме в Думе: «Слуги стали гасить огни, — но мы упростили не гасить одной залы. Это было где-то, где — не помню, но только зал было множество, и все были убраны “бюстиками Гоголя”, повторяющими фигуру его на памятнике... Они наскучили, как “орел” на пятаке... Сидели, пили, кто платил — не знаю, были беллетрист Б.З. и его жена, еще кто-то, и еще кто-то» (СХ, 296). О гоголевских торжест-

вах при открытии памятника З. написал в статье *«Гоголь на Пречистенке»* (Возрождение. Париж, 1931. 29 марта): «Единственно весело оказалось на ночном рауте в Думе <...> Москва показала тут гостеприимство. Фрукты, угощения, *цветы*, шампанское. Какие-то опять речи — кажется, приветственные иностранцам, — но все это быстро потонуло в общем и веселом гомоне. Разбились по компаниям, расселись по столам, и началось московское объедение и хохот. Мало походило это на *Европу*. И благонамеренный gogolian realistic в пуританских воротничках не без удивления озирался, как и старый Вогуэ в зеленом мундире с пальмами. Мы засели с Василием Розановым. Кто-то подсаживался, кто-то отсаживался, лакеи таскали бутылку за бутылкой шампанское — могу сказать, хорошо я тогда узнал Розанова... — всю повадку его, манеру, словечки, трепетный блеск небольших глазок, весь *талант*, зажигающийся *чувственностью, женщиной*. Очень был он блестящ и мил в ту дальнюю ночь гоголевских торжеств. Все шутки его, и блестяшки отблестали, как и ночь прошла» (Зайцев Б. Собр. соч. Мои современники. М., 1999. С. 69). 19 января 1969 в Союзе русских писателей и журналистов в Париже под председательством З. состоялся вечер памяти Р. (по случаю 50-летия со дня *смерти*), на котором он выступил с воспоминаниями о Р. Отвечая на анкету Э. Голлербаха в декабре 1921 о его отношении к Р., З. сказал, что видел Р. один раз и тот произвел на него «впечатление сильнейшее. Главная его *сила* — *пол* (оттуда и *огонь*, и искры)». Считая, что Р. обладал «чертами гениальности», З. тогда заявил, что ему наиболее близок «неповторимый Розанов», «весь русский, исступленный, жаркий, темный облик» его (Наше наследие. 1989. № 6. С. 63).

А.Н.

ЗАКРЖЕВСКИЙ Александр Карлович [9(21).5.1886, Киев — 30.5(12.6). 1916, там же] — критик, прозаик. В 1909–1915 Р. состоял с ним в переписке и в июле 1913 посетил его в *Киеве*. После этого 9 ноября 1913 Р. записывает: «Да, верно пишет Закржевский (из Киева), что теперь писателей пугает *мысль* иметь свое *лицо* <...> Но что же это за ужасы, что писатели боятся иметь свое лицо. Ибо ведь “зачем же я пишу”, как не чтобы “сказать лицо свое”, сказать “от лица своего”. Погасить лицо — значит погасить *литературу* <...> Как я и писал (“Оп. л.”): все обращается в *шаблон*. В *письме* Закржевского объяснение происхождения шаблона. “Шаблонно

потому, что безлично” Тогда понятно. Из 100 газет кричит толпа. Это “рев моря” Но как он беден сравнительно с песнью юноши» (СХР, 209–210). Р. рецензировал книгу З. «Подполье. Психологические параллели» (Киев, 1911), посвященную Ф. Достоевскому, Л. Андрееву, Ф. Сологубу, Л. Шестову, А. Ремизову и М. Пантюхову. «Книга эта — молодого, кажется, начинающего автора, написанная с большим жаром и вся преданная идеям “подполья”, тону “подполья” В “подполье” надо различать идеи и тон... Оба важны. Г. Закржевский берет “подполье” Достоевского как бы свечкою в руки, чтобы при ее свете рассмотреть всех перечисленных писателей, т.е. целую полосу, целое течение в литературе» (ОПП, 491). В статье «Закржевский о Конст. Леонтьеве» (НВ. 1912. 11 авг.) Р. откликнулся на статью З. в киевском журнале «Огни» по поводу вышедших трех томов «Собрания сочинений» К. Леонтьева: «Закржевский правильно судит, что личность Леонтьева замечательнее и любопытнее, чем “Сочинения Леонтьева”, которые воистину есть лишь приложения к его портрету. В каждом штрихе, в каждой черточке эти сочинения только рисуют и дорисовывают его личный портрет. Это очень редко бывает; это бывает только тогда, когда под сочинениями лежит по-настоящему могущественная и прекрасная личность. Леонтьев вообще был весь настоящий, без подделок, без фальши, без притворств, без заимствований» (ПВ, 176). В некрологе Р. подводит итоги личностного начала в творчестве З.: «Книги его, по правде сказать, читать неприятно и трудно. Этот “величественный слог” и “важные темы” отшибают вкус. Но нужно это преодолеть, нужно это расшифровать. Тогда на каждой странице вы увидите правильную мысль, — важную постановку вопроса, верное определение вещей, лиц, писателей, философов, и иногда — изумительно верное. К этому надо добавить, что он всегда был абсолютно свободен от журнальных течений, от партийных программ и лозунгов, и, словом, под каждой строкой вы читаете подпись: “Я — Закржевский”» (НВ. 1916. 30 авг.; ВЧВ, 358–359). З. откликнулся на розановское «Уединенное» (Огни. Киев, 1912. № 29. 21 июля). В книге «Карамазовщина: Психологические параллели» (Киев, 1912) он писал: «Только в одной России возможно такое явление, как Розанов! <...> В этом человеке бездна русского, глубоко русского, здесь и отчаянная жажда жизни, и бешеный карамазовский размах, и ехидненное юродство, и наряду с самыми бунтовскими, самыми анархическими идеями — Меньшиковский консерватизм из “Нового Времени”...» (Там же, 74). З. выводит образ Р. из героев Достоевского: «Вот философ, который весь вышел из Карамазовщины, из одного желания жизни, из неотравленного колодца таких глубин, о которых нам, современникам, может быть и не снилось еще!.. Несомненно, он от Федора Павловича, плоть от плоти, кость от костей его, это может быть возмужавший и созревший монашек Алеша, может быть перешедший границу тридцатилетнего возраста Иван, может быть углубившийся и побывавший около очагов культуры — Дмитрий!..» (Там же, 73). Наиболее развернутая характеристика творчества писателя представлена в книге З. «Религия. Психологические параллели» (Киев, 1913): «Розанов самый яркий, самый крайний индивидуалист в настоящее время в России. И индивидуалист не повисший над бездной, но

удержавшийся над ней. Розанов тем и силен в своем дерзании, что это дерзание, как равно и весь его бунт — всецело религиозны. Это, может быть, единственный бунтовщик не атеист и не “отрицатель” (в пошлом смысле этого слова), а настоящий религиозный человек, и именно благодаря этому — особенно опасный для христианства и особенно даровитый...» (PRO, 2, 147). З. выделяет главное в Р.: «Розанов уловил “брачный ритм” жизни, у него все зарождается из брака. У него даже религия есть брак человека с Богом. И от самой церкви он отшатнулся именно потому, что в ней таинство брака неразвито и не получило такого расцвета, как другие таинства. Розанов хотел бы проникнуть через пол к самой главной святыне мира, которая еще не открыта. Для него не существует чуда вне пола. Для него пол — единственное чудо... Поистине, весь Розанов — это реакция против двухтысячелетней бесполости мира в христианстве, против скопчества и аскетизма в христианстве, он — бешеный взрыв замученной природы в целях христианства, он, может быть, — единственный вестник жизни в наше мертвое время...» (PRO, 2, 149). Письма З. к Р. 1909–1915 хранятся в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 456).

А.Н.

ЗАКС Николай Александрович (1842–1892) — директор Елецкой мужской гимназии в годы службы в ней Р., и ученичества С. Булгакова, М. Пришвина. Его формулярный список, хранящийся в ГАЛО, составлен 2 февраля 1882 (Ф. 119. Оп. 1. Ед. хр. 664). «Статский советник Николай Александрович Закс, директор Елецкой гимназии, 40 лет, православного вероисповедания, кавалер орденов Св. Анны 2 ст., Св. Станислава 3 ст. и 2 ст. с императорскою короною. Жалованья получает 1200 руб. и столовых 800 руб., всего 2000 руб. при казенной квартире. Из мещан, имения нет. Женат на Софье Андреевне Симон. В 1913 Р. вспоминал: «Был очень хороший директор, покойный Николай Александрович Закс: строгий, добрый, заботливый об учениках, “гроза” снаружи и “мед” внутри. Он никого не оскорбил никогда, все сберег, что мог, — был учен и был превосходный преподаватель на уроках (древние языки в старших классах)» (ЛИ, 86).

В.П. Горлов

ЗАОЗЕРСКИЙ Николай Александрович (1851–1919) — профессор канонического права Московской духовной академии, критик сочинений Р. по вопросам семейного законодательства. Посвятил разбору книги Р. «В мире неясного и нерешенного» статью «Странный ревнитель святыни семейного очага» (БВ. 1901. № 11), которую Р. во 2-м издании книги упомянул в качестве примера первой реакции на свои сочинения на тему пола: «Пока моя тема была непонята — она вызывала ярость к себе; такова о ней обширная критическая статья проф. А. Заозерского» (ВМНН, 12). Основная мысль статьи направлена против розановской «религии семьи». В критикуемой книге З. усматривал лишь «подготовление для нее почвы возможно сильным нападением на церковное учение о браке и семье». Учение Р. он счел для себя даже «нестерпимо богоухольным». Богослов высказал пожелание Р., чтобы тот «не позабыл, что в Ветхом Завете, кроме заповедей “раститесь” и “обрезания”

есть еще заповеди “десятилетия” <десять заповедей> и с этим забвением не обронил. так сказать, ключа к разумению согласия обоих Заветов в учении о браке, одинаково враждебных теории “поклонения полу”» (БВ. 1901. № 11. С. 466). Задаваясь вопросом о психологическом портрете автора, З. пишет: «Что же он? — не гений ли, не пророк ли? — Ни то, ни другое: это — паяц, или тяжело недугующий человек» (Там же, 468). Указанную статью профессора богословия Р. полностью воспроизвел в тексте книги «Мимолетное. 1914 год». Он привел ее как первое указание богословской науки на его постановку проблемы жизнотворчества в Священном Писании: «До меня не понимали самой сути, в чем заключается переход от Ветхого к Новому Завету, — пишет Р. 29 апреля 1914. — Апостолы написали все свои послания, — кричали, горячились <...> в чем же дело? <...> суть, что у всех сражающихся уже нет животов, — с одной стороны, и почти только животы — с другой: никто не заметил. Да они об этом и не говорили. Чтобы понять всю величину и неожиданность разгадки, надо перечитать Заозерского (профессор), — немолодой тогда уже, Московской духовной академии (о “В мире неясного и нерешенного”)» (КНУ, 308–309). В статье З. «На чем основывается церковная юриспруденция в брачных делах (По поводу современных пессимистических воззрений на семейную жизнь и обуславливаемых ими толков печати о браке и разводе)» (БВ. 1902. № 5) содержался призыв смягчить наказание вечного безбрачия для впавших в грех прелюбодеяния, заменив его епитимьей и покаянием. К этой работе Р. привлек внимание на 16-м заседании Религиозно-философских собраний (РФС) в ходе обсуждения вопроса о таинстве брака в христианстве. Используя описание З. ранней гибели младенцев, рожденных в незаконных сожительстввах, Р. упрекает богослова в своей записке «О “Двух путях” Минского» в половинчатости и убожестве предлагаемых им мер по разрешению ситуации (НП. 1903. № 10. С. 269). Публикация этой статьи З. вызвала к жизни заметку Р. «Дети Солнца... как они были прекрасны!».» (СВР, 2, 484–516), в которой позиции З. противопоставлен рассказ Ф.М. Достоевского «Сон смешного человека» с главенствующей идеей «золотого века» до грехопадения и указанием, со стороны Р., на Древний Египет как реальный идеал гармонии семейных отношений. В ходе полемики на страницах «Нового Времени» с проф. А.А. Бронзовым Р. указал на несогласованность богословской аргументации Петербургской и Московской духовных академий: если А.А. Бронзов доказывал компилятивный и апокрифический характер «Апостольских постановлений», то профессор З. в это же время его использовал для укрепления своих доводов в статье «На чем основывается церковная юрисдикция в брачных делах» (БВ. 1902. № 2), в которой он протестовал против идеи передачи дел о разводах в светские суды, высказанной на страницах «Церковного Вестника». З. полемизировал с Р. по вопросам брачных отношений и о духовных консисториях (НВ. 1902. 6 июля). В статье «В чаяниях “движения воды”» (НП. 1904. № 6) Р. дискутировал со статьей З. «К тревожному вопросу о браке и девстве», в которой обсуждались прения на пяти заседаниях РФС. Обвинение в выступлениях З. было направлено в адрес духовенства и богословской науки, так как «они со всею яс-

ностью не опровергли мысли своего главного противника В. Розанова, будто между Ветхим и Новым Заветами существует отношение противоположности» и «о том, что Новый Завет и церковь будто бы презрели заповедь: раститесь и множитесь» (Заозерский Н. К тревожному вопросу о браке и девстве // Душеполезное Чтение. 1904. № 2–3. С. 364–365). Р. поставил в упрек З. грех уныния. Он разобрал статью З. о хлыстах в «Богословском Вестнике» за октябрь–ноябрь 1904 (НВ. 1905. 22 марта). В 1904 З. оказался в центре полемики вокруг новой редакции ст. 253 Устава Духовных консисторий по вопросу о бракоразводных процессах. Первоначальная редакция статьи объявляла живущих в гражданском браке прелюбодеянями, а детей от него незаконнорожденными. З. был включен в комиссию при Св. Синоде, образованную по инициативе митрополита Антония (Вадковского). Результатом стали измнения брачного законодательства, отменявшие осуждение на вечное безбрачие лиц, брак которых был расторгнут по вине греха прелюбодеяния. Расширились возможности для развода и вступления в новый брак. Однако Р. отзывался о З. как о противнике религиозной свободы. Критической статьей «О созыве поместного собора и о патриаршестве» (БВ. 1912. № 6) З. реагировал на заявления Р., направленные против учреждения патриаршества и отмены или даже ослабления власти обер-прокурора. Р. опасался, что следствием этого станут «немедленное не только подавление, но раздавление белого духовенства монашествующим» («Об управлении в русской церкви» // НВ. 1912. 11 апр.; ПВ). Р. использовал имя З. в «Опавших листьях» как символ оппонента от духовной профессуры канонического права. «Видали ли вы вождя команчей в пустыне? Я тоже не видал, но читал у Майн-Рида: на диком мустанге, нагой и бронзовый, мчится он, — в ноздрях у него вдеты перья, на голове павлиний хвост, татуировка осыпается с него, как штукатурка... Но не бойтесь, сограждане, и не пугайтесь даже гимназисты: это мчится вовсе не Тугой Лук, а только очень похожий на него профессор канонического права, напр. Заозерский: “правила” всевозможных греческих соборов осыпаются с него, как старая штукатурка, но он полон воинственного жара и, поводя головою, дает видеть торчащие у него из носа “добавочные постановления (novellae) императора Алексея Комнена” Вот он, весь полный запрещений и угроз, натиска и бури... не замечает вовсе Владимира Карловича, а тоже и Розанова, подсказывающего тому бросить под ноги мустанга решение Апостола» (У, 228). В 1916 Р. приложил к письму З. новую характеристику: «Заозерский, проф. церковного права в Московск. дух. академии. Сбежала жена и теперь он за развод (сказали мне)» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 80).

А.В. Ломоносов

ЗАРИН Сергей Михайлович (1875–1941) — богослов, библист, участник Религиозно-философских собраний, друг Р., профессор Петербургской духовной академии. В 1907 Р. дал портрет З. в статье «Где узел “возможного” или “невозможного” церковного обновления?» (РС. 1907. 7 апр.; Р. писал его фамилию Зорин). Р. довелось присутствовать 4 апреля 1907 на защите магистерской диссертации З. «Об аскетизме» в Петербургской духовной академии: «Худой, бескровный, нервный, с острым взглядом и прекрасной речью Зорин выступал в

1902 и 1903 годах на бывавших в то время в *Петербурге* Религиозно-философских собраниях неумолимым и насмешливым критиком “высокопоставленного” аскетизма. Богатая богословская ученость, спокойный, не раздражающийся и не волнующийся *тон*, полное внутреннее убеждение и эта прекрасная, чуть-чуть заметная ирония — все сразу обратило на него внимание. А на вопрос: “Кто? Кто?” — последовало разъяснение: — Наш, академический. Залетел было высоко, да сквырнулся. Видите, какой молодойкий да тощий. По занятиям обещал из себя Оригена или Болотова (*В.В. Болотов*, светило Петерб. дух. академии, лет шесть назад умерший), а по данным наружности и монаха. Начальство голубило его, все выдвигали вперед, он уже читал в академии лекции, получал и стипендии... Мысленно надевали на него монашеский клобук, когда он вдруг, встретив *девушку* по сердцу, женился. Конечно, никому это не запрещено. Но порицали... Но с этих пор как-то так пошли его служебно-учебные дела, что теперь он преподает в духовном училище, сидит на грошовом жалованье, рождаются *дети*, прихварывает жена, что при безденежье ой-ой как трудно. А вот он хоть здесь, в Религиозно-философских собраниях ответит душеньку над аскетизмом. Значит, схватила удочка ерша под жабры; а у него, кроме жабр-то, еще и колочие “ерши” Впрочем, его критика всегда была изящна и, может быть, именно поэтому сильна» (РГО, 367). Оппонентом З. на защите диссертации был назначен *Феофан (В.Д. Быстров)*. Р. был крайне заинтересован диспутом: «То, что я называю “сшибкой”, “скандалом”, обойдено было только благодаря чрезвычайной учтивости Феофана и осторожности Зорина... Но с тем вместе, если хотите, “скандал” случился, и невообразимый, но он был скрыт под прекрасным тоном речей. Вообще он не выразился в крике и шуме. Но в *мысли*, во всем ходе спора, в постановке вопросов и даче ответов, он уже был, и даже слишком был... <...> Все было спасено тем, что говорили тихо, арх. Феофан до того тихо, что с обычных мест публики (т.е. очень близко к официальным столам, за которыми сидели профессора и оппоненты) ничего не было слышно, и совершилось небывалое явление: вся публика, покинув места свои, окружила вплотную кресло Феофана, стала между ним и диспутантом (он на высокой кафедре) и выслушала, стоя в плотном кольце, подставляя ладони к ушам, весь очень долгий спор. Надо же было, чтобы этот спор, такой потрясающий по мысли, прошел почти шепотом. Что-то символическое, что-то вешее <...> Зорин чувствовал, что вопрос идет об его исповедании... Он ежил-ся, переступался, говорил полусловами, полужазами, останавливаясь, прерывая речь всякую минуту» (РС. 1907. 11 апр.; РГО, 368–370, 376). При переезде в *Сергиев Посад* Р. оставил З. на хранение в Александро-Невской лавре свою домашнюю *библиотеку* и часть *вещей* с квартиры. Когда разнеслись слухи о приближении к Петрограду германских войск, старшая дочь писателя, *Т.В. Розанова*, отправилась за оставленными вещами. В «Воспоминаниях об отце» она писала: «Были перевезены и полки с *книгами* и *рукописи* отца. Часть вещей, которые находились у Зорина, не были нам возвращены, в частности, китайская и турецкая вазы, большой гипсовый слепок с работы Шервуда — *Пушкин*, гипсовый слепок с головы *Страхова* и еще кое-какие вещи. Но все же

мы были очень рады, что вернулись самые дорогие нам вещи» (PRO, 1, 77). В 1908 З. писал о Р. в статье «Розанов о смерти и воскресении»: «Да, Розанов убежденнейший язычник, как правильно охарактеризовал его проф. *М.М. Тареев* в своей последней статье о нем в “*Богосл. Вестнике*”. С *христианством* у него соприкосновение только в нейтральной плоскости обрядов, церемоний, *быта*. Что же касается принципиальных воззрений на все — на *Бога*, на *мир*, на людей, на самого себя, то здесь у него все — до непримиримой противоположности — отлично от христианства» (Церковный Вестник. 1908. № 5. 31 янв. С. 136). В полемике с Тареевым З. писал о Р.: «Еще недавно сам проф. М.М. Тареев, анализируя мировоззрение В.В. Розанова, назвал его “убежденнейшим язычником” (Основы христианства. Т. 4, с. 405). В своей статье, напечатанной в “Церковном Вестнике”, “Розанов о смерти и воскресении”, я, между прочим, сослался на эту характеристику <...> Вскоре мне пришлось услышать от нескольких почтенных и весьма осведомленных *лиц*, что такой характеристики давать В.В. Розанову и — особенно оттенять ее не следовало, потому что как раз в то *время* у некоторых лиц соответствующего высокого учреждения была будто бы мысль отлучить Розанова от *церкви* за его языческое мировоззрение <...> Оказалось, что могут привлечь к делу и эту характеристику <...> Это было бы, конечно, неуютно <...> Ужели и в данном случае у проф. М.М. Тареева и у меня была мысль “донести” на Розанова, “кивнуть” на его *язычество* “сферам”? Между тем у проф. М.М. Тареева сказано уже очень решительно: “Розанов последовательно и от *души* ненавидит Евангельский дух” (Христ. пробл. С. 234). Все это показывает, что пользоваться подобными приемами с целью набросить тень на рецензируемое сочинение — неудобно и оскорбительно» (Зорин С. Ответ на критику профессора М.М. Тареева // Христианское Чтение. 1909. № 1. С. 100–101).

А.В. Ломоносов

ЗАСОДИМСКИЙ Павел Владимирович [(13).11. 1843, г. Великий Устюг, Вологодская губ. — 4(17).5.1912, Опеченский Посад, Боровичский уезд, Новгородская губ.] — прозаик, публицист. В *некрологе* «“Венок” на могилу Засодимского» (НВ. 1912. 20 мая) Р. вспоминает о своих статьях 1890-х («Почему мы отказываемся от “наследства 60–70-х годов”?» и др.) и пишет о народниках, к которым принадлежал З. «И вот теперь, когда умер Засодимский, такой сердитый, такой правдивый, такой “верный себе до гроба”, — такой, если хотите, прекраснейший Дон-Кихот и рыцарь: то мне мучительно захотелось прибрести к нему на *могилу* и сказать великое “прости” этому рыцарю, и всей их эпохе, во многом прекраснейшей и рыцарственнейшей, не от себя (это не очень имеет значение), о вот именно от всех “девятнадцатников”, как и тогда, в 92-м году, я тоже не от “себя”, а от “нас” — “отказывался от наследства” <...> Улеглась пыль; опять взошло *солнце*: и это благородное “кладбище 60-х годов” — как о нем хочется думать, как на нем хочется плакать, как всего там, всего и всех, жаль и жаль... А кончись все *Пушкиным*: <...> Что пройдет, то будет мило. Эх, “60-е годы”: любил бы Пушкина, и, может быть, не было бы вовсе “расхождение”, да и не заблуждались бы они сами...» (ПВ, 104–105). А.Н.

ЗАСУЛИЧ Вера Ивановна [27.7(8.8).1849, дер. Михайловка, Гжатский уезд, Смоленская губ. — 8.5.1919, Петроград] — террористка, участница революционного движения. 24 января 1878 совершила покушение на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова. Суд присяжных под председательством А.Ф. Кони оправдал ее. Вспоминая покушение А.К. Соловьёва на Александра II, Р. писал: «— Если в Государя, то, конечно, не больно. Больно только, если революционеру дадут по морде... т.е. ударят в его благородное, героическое лицо. *Общество* поросятилось. А свинья, когда она рождает, ничего не чувствует от блаженства. Какой-то генерал выпорол какого-то студентку в Шлиссельбурге. Сейчас Вера Засулич: — Героический выстрел Шарлотты Кордэ. — Общество даже “рды” на минуту приостановило, до того обрадовалось. Если бы эта дуриха выстрелила в Соловьёва?» (ПЛ, 131). *Россия* представлялась террористам «унылою, тяжелою, неприятною <...> Ни Вера Засулич, Ни Софья Перовская — они все не имели “любых мужей” и не растили деток на Руси. Что им была Россия? Чужая. И в чужой России они задумали Россию <...> задумали преобразовать ее “конституционно-демократически”» (КНУ, 472).

А.Н.

ЗЕМБРИХ (Sembrich) Марчелла (наст. фам. Марцеллина Коханская, 18.2.1858, Витнёвчик, Галиция — 11.1.1935, Нью-Йорк) — польская оперная певица (колоратурное сопрано). В архиве (РГБ. Ф. 249. Оп. 1. М. 4216. Ед. хр. 4) содержится письмо З. на французском языке и телеграмма 1909 с благодарностью за положительный отзыв Р. о ее гастролях в России в 1909. Писатель посвятил З. статью «Марчелла Зембрих» (НВ. 1909. 7 апр.). Пение оперной знаменитости вызвало у Р. ряд поэтических образов: «Смесь голубки и соловья, да майской ночи и тех благословенных стран юга, где небо темнее и звезды ярче, *любовь* расцветает пышнее». Оценивая ее вокальные данные, писатель сравнил их с пением итальянского тенора Анджело Мазини и отмечал, что З. в противоположность итальянцу — певцу природы и древней человеческой природы — «Зембрих, напротив, — вся в *цивилизации*, это глубоко цивилизованная певица: в ней не только несравненная натура, но и несравненная обработка природы. Это — бриллиант, который долго шлифовали, и он весь горит и весь на виду <...> Какой-то световой звук, что-то удивительно воздушное, благородное, чистое <...> Чистое и прекрасное — вот Зембрих; чарующее, за чем бежать бы, бежать в смятении, — вот Мазини» (СХ, 317–319). Заключительная ария Травиаты вызвала у писателя порыв возвышенных эмоций: «Когда Зембрих, смотря в зеркало и умирая, запела: “Og tutto fini” (итак, все кончено), — я, удерживая слезы, подумал: “Какие мы были все грешники” <...> Зрелище благородного — смиряет. Ах, если бы духовенство ходило слушать “Травиату”, как оно лучше бы чувствовало, мыслило, как меньше бы спорило, больше бы делало!..» (Там же, 320). В книге Р. «Среди художников» воспроизведен портрет певицы с дарственной надписью: «Многоуважаемому Пану Розанову, глубококому философу, который под впечатлением “bel canto italiano” выказал в высшей степени эстетические взгляды в области высокого искусства — музыки. Марчелла Земб-

рих. *Петербург*, 8/21 апреля 1909» (пер. с польского; СХ, 453). К письмам З. приложено воспоминание Р об их первой личной встрече: «Зембрих Марчелла. В *голосе* ее конечно содержалось некоторое чудо (как у Мазини), и можно было слушать... слушать, слушать... еще... еще... до конца жизни. И никогда не устанешь, никогда не надоест, п.ч. это чудо (небесное). Она рассказывала А.И. Сувориной (“хороши”) о тренировке голоса и о сбережении его: 1) Не “живу” с мужем, вообще не “живу” 2) Никогда вина, — иначе как 1/3 бокала, согрел до т... и прибавив, кажется, боржома или чего-то, 3) рано в постель, 4) “Никогда на холод” Никаких удовольствий, ничего. По одному глубоко личному впечатлению, я думаю — это так. Расскажу, впрочем, случай, п.ч. он, конечно, повторялся с тысячами и, след., есть обыкновенно и извостное. Штенгель (муж ее) провел меня из лого А.И. С-ой в уборную, всю заставленную *цветами* и где толпилась масса народа. Я не мог ей ничего сказать (только русск. язык), она лепетала что-то на чем-то. Я кланялся. Я б. стар и глуп. Но старый и глупый все-таки “он”, тогда как Марчелла — “она” У нее было открытое платье, и 1/4 груди были видны и так. Роз было много вокруг, и были вот сейчас под руками: но она не столько взяла, как как-то отстегнула от *груд.* Половинка отшатнулась, в платье что-то распустилось и перед изумленными глазами моими очутились обе — полные, очень красивые еще (сама близка к старости) груди. Я не умею, и, я думаю, этого нельзя объяснить кроме задыхания от воздержания. “Господи! Я принесла Тебе жертву: но пусть же увидят другие” Я бы сделал как *Divae* длинную процессию, чтобы все подошли к ней и за блаженство слушания целовали *груды* ее и колена (больше нельзя, *грех* и вообще дурно). Чем же можно вознаградить ее? Не деньгами же. А — *adoratio* (папу так приветствуют). Не понятно отношение к ней *Юргенсона*. *Adoratio?* <обожание>» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 116–117). В декабре 1911 З. прислала Р. и его супруге 2 билета для входа на ее концерт в московском зале Дворянского собрания (9 дек. 1911). На приглашение он ответил извинительным письмом, объявив, что вынужден отказаться из-за болезни жены. К тексту письма Р. прибавил позднее: «Увы, было времечко! Теперь сидим в нужде» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 273. Л. 1).

А.В. Ломоносов

ЗИНОВЬЕВА-АННИБАЛ Лидия Дмитриевна [6(18).10.1865 — 22.10(4.11).1907, дер. Загорье, Могилёвский уезд, Могилёвская губ.] — прозаик, драматург, жена Вяч. Иванова. Р. бывал в «башне», литературном салоне Ивановых, где З.-А. «надевала греческий хитон, попросту потому, что это ей, действительно, нравилось, и что это было ее домашнее платье, которое она носила и без гостей» (РС. 1908. 30 апр.; ВНС, 111). Р. вспоминает, что «она посвятила один рассказ *лесбийской любви* <...> “Тридцать три уroda” Поверьте, этого рассказа не написала бы *женщина*, у которой под “дымом” был бы и “огонек” Но Зиновьева-Аннибал безгрешно чадила, не чувствуя себя ни малейше заинтересованной в *теме*. Это была редко добрая, редко ясная, редко ласковая *женщина*. У меня до сих пор стоит в представлении эта страшная картина, как ее отпевали черные монахи в Александро-Невской лавре. Убитый стоял около гроба ее муж. Было много литерато-

ров, их литературных друзей. И она, Зиновьева-Аннибал, в гробу. Несчастливая и погибла случайно <...> Последний год перед *смертью* она прихварывала, переходя из простуды в простуду. И вот, не совсем еще оправившись, она сделала длинную прогулку верхом и заехала в деревеньку, о которой она и все знали, что там свирепствует сильнейшая скарлатина. Это был такой же детский поступок, как и летняя почти *одежда*, в какой она шеголяла в *Петербурге* в октябре и в ноябре месяцах. Она схватила скарлатину и умерла, как неосторожный ребенок. Смерть ее была похожа на ее *жизнь*, и что она умерла от типичной детской болезни, — это так символично... Не помню женщины, столь глубоко невинной, как этот автор “Тридцати трех уроков” — рассказа, который *цензура* арестовала при его выходе “за безнравственность” и арестовала в разгар освободительного движения! Значит, хорошо!» (ВНС, 112).

А.Н.

ЗОЛЯ́ (Zola) Эмиль (2.4.1840, Париж — 29.9.1902, там же) — французский писатель. В статье «Годовщина смерти Золя» (НВ. 1903. 15 авг.) Р. дает оценку личности и *творчеству* З.: «Труды его и *жизнь* его и велики и малы, и грустны и веселы». Как художник слова «Золя более шевелил впечатлительность человеческую, нежели занимал ум кого-нибудь». Р. видит в З. «решительного человека», беспощадно расправлявшегося со своей *судьбой*: «Из бедности, из ничтожности рождения и положения, он поднялся в фигуру, видимую всею *Европой*. Никогда и ничего он не сказал с чужого *голоса*; если что и усвоив, то усвоив буквально как собственность, которою он владел, как собственною сработанною *вещью*». Идею «экспериментального романа» З. пропагандировал как собственное изобретение: «Этот крепкомысл никому не подражал, никого не копировал, никого даже не боялся: осуждения на него сыпавшиеся <...> никогда не могли пошатнуть его крепких ног». Р. называет З. «сильной исторической фигурой», имеющей в себе от рождения «много от <...> уличного крикуна, от его резкости, грубости, но и *силы*». Р. отмечает «режущее, неприятное впечатление», производимое З. навек «далеко не с здоровыми нервами»: «Золя уже так сделан был, с таким громофоном во *рту*, что все, что бы он ни подумал, — он думал вслух, а что у него было “вслух” — гремело как американский оркестр в тысячу инструментов». З. был «глубоко культурным человеком <...> работником, силачом *культуры* <...> с ограниченностью обыкновенного работника, наделенного не только страшными мускулами, но и с его ролью, с принадлежащею ему особой *честью*». Книги З., с точки зрения Р., представляют собой

«новое, могущественное и нужное». «Золя начал первый рисовать человечество. Здесь его и малость и величие». Р. обозначает отрицательные черты писателя, выдающие в нем ограниченность ремесленника: «Умом, характером, пронизательностью, всею суммою качества *души*, которую мы обозначаем именем: “развитие”, Золя неизмеримо уступал великим светилам европейских *литератур* <...> Золя около них просто топорен: точно животное, а не человек». Р. отмечает портретный характер литературы, господствующий до прихода З. Движение литературы «было вертикальное, сверлящее и разрыхляющее». «Золя просто не был способен ни продолжать и выполнить эту *тему*, ни даже хорошенько понять ее». Р. подчеркивает иноприродность З. предшествующей литературной традиции: «Золя был животен, не в нарицательном, а в одностороннем смысле, — даже в смысле некоторого преимущества. Рефлексия Фауста или Гамлета, даже как дробь, никогда не посещала его. Все у него пошло в зоркий глаз, твердую *волю*, огромное туловище, неодолимые ноги, неустанные руки». Особо Р. выделяет в *творчестве* З. собирательный образ человечества, качественно иной по сравнению с предшествующей литературой, повествующей о человеке: «Он не только начал изображать, но и почувствовал с необыкновенною, даже, пожалуй, мистической глубиной человечество как громадное коллективное чудовище, около страданий, нужд, грязи и могущества которого, все выпренности Фаустов и Гамлетов — то же, что рвущая паутина в углу громадного, сырого и недостроенного здания. Невозможно в этой *мысли*, скорей — *чувстве*, Золя отрицать даже некоторой “божественности”, тоже в своем роде “фаустовщины”, но какого-то второго, последующего этажа, не того, в котором трудились *Гёте* и *Шиллер*». Основная тема З. — «приключения самого Парижа». З. изображал это «как живое и чудовищное *лицо*, или точнее, как именно мистическое безличное или слабо-личное чудовище. Машины, рынки, *разврат* — все выступало в качестве “подлежащего и сказуемого” литературного произведения». Человек у З. притуплен и принижен, «стал “примером” движущейся *цивилизации*». Р. называет З. глубоко добросовестным человеком: «В Золя была самоуверенность честного *ouvrier* <работник>, который знает, что он заработал свою плату... Он был занят своими темами больше, чем собою, и любил себя именно как *ouvrier*’а около многоцветной работы». Имя З. стало определенным мериллом для Р. О книге Н.М. Львова «Париж, его обычаи и порядки...» (СПб., 1912) он писал: «Это очень хорошая книга о стране Золя, написанная в вкусе Золя» (ПВ, 35).

О.В. Кулешова

И

ИБСЕН (Ibsen) Генрик (20.3.1828, Шиен, Норвегия — 23.5.1906, Христиания, ныне Осло) — норвежский драматург. Р. относит И. к «духовным вождям *Европы*» (М, 208). Из пьес И. он избрал драматическую поэму «Бранд», поставленную в 1906 Московским художественным театром, и написал статью «Ибсен и Пушкин — “Анджело” и “Бранд”» (РМ. 1907. № 8), в которой прилагает к ибсеновскому герою свои понятия семейного вопроса. Пастор Бранд — это молодой энтузиаст *веры* с суровыми реформаторскими *мыслями*. «Бог высот» требует «беспощадного самоограничения, отречения ради служения *Богу* от жены, *детей*, отца и матери, от имущества, богатства и суеты <...> Все это старо, как *мир*: строфы Ибсена-Бранда, только могущественнее и прекраснее, есть у бл. Августина» (СХ, 259). Бранд, считает Р., «обыкновеннейший ортодокс, но очень талантливый, пламенный, — энтузиаст дела наравне со словом. Однако и не больше: никакой, показанной Ибсеном, новой конструкции религиозных представлений он не имеет» (там же). Возражая тем, кто «устно и печатно выступали в нашем *обществе* с культом личности и дела Бранда», Р. называет пьесу И. «глубоко-ложной» в религиозном и нравственном отношении. Бранд повелительно зовет «поклониться Богу суровому и взыскательному, который более всего презирает человеческие слабости, осуждает самую человечность (“гуманизм” в пьесе) и требует исполнения долга, долга и долга. “Долга” не в отношении к людям, а только в отношении Себя, “Бога высот”, немолитимого и гремящего идеалами, которых, впрочем, нигде не формулирует и не определяет <...> По Бранду, Бог этот требует страдания, самоотречения, “Голгофы, которую каждый должен найти в *жизни* своей, на пути своем»» (СХ, 260). Посмотрев этот спектакль в *Петербурге*, Р. воспринял образ главного героя как патологически больного, с которого «не спрашивают». И., заключает Р., «не свел концы с концами» в пьесе и «едва ли сам знал определенно, что он хотел сказать своим Брандом и что за *лицо* он выставил в нем» (СХ, 264). Выступивший против Р. критик *В. Свенцицкий* в статье «В защиту “максимализма” Бранда» утверждал: «Защищать Бранда от всех нападков В. Розанова совершенно невозможно: он предъявляет к нему обвинения, взаимно друг друга исключющие» (Живая Жизнь. 1907. № 2. 20 дек. С. 14).

А.Н.

ИВАН IV Васильевич (Грозный) (25.8.1530, село Коломенское под Москвой — 18.3.1584, Москва) — первый

русский *царь* (с 1547). «Грозный резал, топил, давил и растлевал людей» (ОПП, 209), — писал Р. «Иван IV губил людей; вдруг юродивый подает ему кусок коровьего мяса. “Я не ем скоромного в пост”, — ответил грозный царь. Никита возразил: “А человеческое мясо ешь?” Это тип, и речь, и манера святого *человека*» (ВТРЛ, 136). И тем не менее, считает Р., «Грозного все еще любят, даже слагают заунывные песни в его память» (ВТРЛ, 409), вспоминают «необъяснимо любимого народного русского царя» (КНУ, 36). Ибо «самые любимые наши цари суть самые страшные. Иван Грозный, *Павел*. Народ все простит царю, но не простит одной обыкновенности, вульгарности, *повседневности*» (ПЛ, 247). И. был в вечном «споре»: «Безумная борьба Грозного с дворянством, борьба наконец со Святыми, с *церковью* (судьба митрополита Филиппа, судьба Адашева и Сильвестра; судьба князя Курбского), — все это похоронные этапы Руси; все это грозные предвестники разложения Руси. Все это было “скрепление Руси”, но с таким “наоборот”, при котором все целебное как-то пропадало, испарялось» (ОПП, 663–664). Со студенческих лет запомнилось Р. письмо князя А. Курбского к И. и в нем один упрек: «Ты слишком много думаешь об Афродитских делах» (ОПП, 54). Р. сравнивает первые годы царения И. с реформами 1860-х. «Но в покаянной речи мудрого царя пред народом, когда с лобного места он говорил о своих *винах*, и о чужих *преступлениях*, и о невыносимых долее страданиях “сирот своих”, простого народа, — как много было смысла и достоинства, если сравнить ее с нашей “обличительной *литературой*”, конечно правую, но так мелко злобною, так напоминающею те собачьи головы, с которыми позднее ездили опричники, “выметая сор из отечества” И далее, в земском, в стоглавом соборах, в вопросных пунктах и в речах на них, как много опять было *ума* и обдуманности, сравнительно с разными (кто помнит имя их?) комиссиями 60-х годов» (ЛВИ, 199). В написанной летом 1917 статье «Революционная Обломовка» Р., еще не ведая большевистского *террора*, как бы предвидел его приход: «Как это сказал когда-то митрополит Филипп, взглянув в Успенском соборе на Иоанна Грозного и на стоящих вокруг него опричников, в известном наряде: кафтан, бердыш, метла и собачья голова у пояса. Митрополит остановился перед царем и изрек: “В сем одеянии странном не узнаю Царя Православного и не узнаю русских людей” Нельзя не обратить внимания, что все мы, после начальных дней *революции*, как будто не узнаем лица ее, не узнаем ее

естественного продолжения, не узнаем каких-то странных и почти нетерпеливых собственных ожиданий, и именно мы думаем: “Отчего она не имеет грозного лица, вот как у бывшего Грозного Царя и у его опричников” Мы не видим “метлы” и “собачьей головы” и поражены удивлением, даже смущением. Даже — почти недовольством. Как будто мы думаем, со *страхом*, но и с затаенным восхищением: “Революция должна кусать и рвать” “Революция должна наказывать” И мы почти желаем увеличения беспорядков, чтобы, наконец, революция и революционное *правительство* кого-нибудь наказало и через то проявило *лицо* свое» (М, 390).

А.Н.

ИВАНОВ Александр Андреевич [16(28).7.1806, Петербург — 3(15).7.1858, там же] — живописец. К 100-летию со дня рождения художника Р. написал статью «Александр Андреевич Иванов. 16 июля 1806 г. — 16 июля 1906 г.» (ЗР. 1906. № 12), перепечатанную затем (с сокращенным названием) в книге Р. «*Среди художников*». «Иванов творил и жил в гоголевское время, в эти годы формирования общих религиозных концепций; и отдался теме чрезвычайно общего значения, полуисторической, полуфилософской. Реализм проснулся тогда тоже везде, но не смел пробудиться в *религии*. Только в одной *религии* мы обязаны были грезить, мечтать, но не видеть и не смотреть» (СХ, 242), — отмечал Р. Картина И. «Явление Христа народу» вызывает недоумение Р.: «На первом плане в картине и выступает “тот, кто представляет” — Иоанн Креститель. Картина вовсе не изображает того, что под нею подписано. Настоящее название картины — “Пустынный Иоанн среди народа” Иисус, — о Нем никто и не говорит среди критиков, оценщиков, зрителей! никто!! никто!!! Да и нечего говорить: Христос почти не нарисован! А написано под картиною и тема была: “Первое явление Христа народу” Но Его нет, почти нет! <...> Картина без сюжета или, во всяком случае, “не по подписи” Удивительно! И для Иисуса у него нет тех бесчисленных эскизов, какие остались “от мальчиков” и от “головы Иоанна” Эта “голова Иоанна” и есть самое замечательное “лицо” в картине, — есть самый сюжет, возбудивший толки, удивление. Так “голова Иоанна”: а при чем же тут “явление Христа народу”?..» (СХ, 241).

А.Н.

ИВАНОВ Вячеслав Иванович [16(28).2.1866, Москва — 16.6.1949, Рим] — поэт, критик, филолог, переводчик. С 1924 — в эмиграции. Свое сотрудничество в журнале «*Новый Путь*» И. начал с публикации работы «Эллинская *религия* страдающего Бога» (1904. № 1–3, 5, 8–9). С Р., который в журнале вел собственную рубрику «*В своем углу*» и в нескольких номерах печатал очерки «*Юдаизм*», его сближало стремление вникнуть в смысл древних религий и особенности древнего *сознания*. Но если Р. интересовал *мир* Ветхого Завета и *Древний Египет*, то И. отличала приверженность античности и культу Диониса. В начале 1900-х писатели встречались в редакции журнала «Новый Путь» и на заседаниях *Религиозно-философских собраний*. Оба печатались на страницах журнала «*Весы*», Р. посещал собрания на «башне» И., а тот, в свою очередь, бывал на «воскресень-

ях» у Р. В «*Мимолетном. 1915 год*» И. упоминается как автор устного сообщения, которое касалось тайн *пола* (М, 310). В статье «Погребатели *России*» (НВ. 1909. 19 нояб.) Р. с сочувствием отзовется об общественно-политической позиции писателя: «Вячеслав Иванов в наши дни говорит: “*Россия* еще воскреснет Духом Святым»» (ОПП, 422). И даже в статье «*Пестрые тьмы*» (РС. 1908. 30 апр.; ВНС), затронувшей литературную *жизнь*, мы находим не суждения Р. о *творчестве* поэта, но стремление защитить вечера у И. от праздных слухов. Э.Ф. Голлербах вспоминал: «Вяч. Иванова он считал “Семирадским в поэзии”, но охотно верил, что он “настоящий поэт”, потому что “Поликсена Соловьёва сказала, что у него есть два-три гениальных стихотворения, а этого достаточно, даже если остальное хлам и неразбериха”» (PRO, 1, 232). Судя по этому отзыву, Р. отталкивал чрезмерный академизм ивановской поэзии. И. к статьям Р. относился с интересом, но с неодобрением воспринимал места, где Р. в увлечении забывал про фактическую точность сообщаемых сведений. Так, на публикацию Р. о *Т. Моммзене*, где было сказано, будто он высказывался во *время* франко-прусской войны за бомбардировку Парижа («Момзен и Ренан» // МИ. Хроника. 1903. № 13. С 133), И., в прошлом ученик Моммзена, отозвался в *письме* к В.Я. Брюсову от 28 декабря 1903: «Статью Розанова читал и нашел в ней обычно талантливые аргументы <замечания> — только обижен за гениального старика, о котором он все-таки мало осведомлен» (ЛН. 1976. Т. 85. С. 442). То же отношение *человека*, чувствующего превосходство в образовании, заметно и в устном отзыве на *книгу* Р. «*В темных религиозных лучах*», запечатленное С.П. Кабуковым (PRO, 1, 218). Работы И. о *Достоевском*, как и работы многих его современников, несомненно, несут на себе *печать* знакомства с «*Легендой о Великом Инквизиторе*» Р. В то же время сохранился *черновик* позднего отзыва И., где он смотрит на книгу Р. довольно критично: «Одна из первых работ о Легенде В. Розанова отливает, как <и> ее автор, всеми цветами, как хамелеон. По отношению к религиозному вопросу, он снимает остроту полемики религиозной *католической* <ества и> *православия*, заменяя вопросом борьбы культур. Однако тут же он становится приверженцем Д<остоевского> в *ненависти* к католичеству. Нападки на *Соловьёва*. С др<угой> стороны, тут же он замечает характерно — все это положение дел (стремление *Рима* к земной власти), пожалуй, и справедливо» (Вячеслав Иванов. Архивные материалы и исследования. М., 1999. С. 75). Весьма выразительная характеристика творчества Р., данная И., связана с вопросом *изгнания* Р. из *Религиозно-философского общества* (РФО): «Розанов, несомненно, писатель крупный, громадного содержания, писатель, переживающий ту роковую для всякого писателя эпоху, которая проводит его через всевозможные чистилища и унижает иногда до последних унижений. “И меж *детей* ничтожных *мира*, быть может, всех ничтожней он”» (PRO, 2, 198–199). Р. и И. сближал интерес к *язычеству* и древним культам. Этот интерес проявился в истории с «радением» на квартире *Н.М. Минского*. *З.Н. Гиппиус* в воспоминаниях о Р. пишет: «Перед революционными волнениями он уже льнет все больше к литературно-эстетно-мистическим кружкам, которые, словно пузыри, стали вскакивать то здесь, то там. Загля-

дывает “в башню” Вяч. Иванова, когда там водят “хоро- воды” и поют вакхические песни, в хламидах и венках. Юркнул и на “радение” у Минского» (PRO, 1, 170). Подробно засвидетельствовал это «радение» *Е.П. Иванов* в письме к *А. Блоку* от 9–10 мая 1905, излагая случившееся со слов падчерицы Р. — *А.М. Бутягиной*: «У Минского по предложению Вячеслава Иванова и самого Минского было решено произвести собрание, где бы Богу послужили, порадели, каждый по пониманию своему, но “вкупе”; тут надежда получить то религиозное нелегкое в совокупном собрании, чего не могут получить в одиночном пребывании. Собраться решено в полуночи (11½ ч.) и производить ритмические движения, для расположения и возбуждения религиозного состояния. Ритмические движения, танцы, кружение, наконец, особого рода мистические символические телорасположения. Не знаю, в точности ли так я передала, но смысл собрания, предложенного Минским и Ивановым в воскресенье 1 мая у Розанова, был именно таков. Собрание для Богообручения с “ритмическими движениями”, и вот еще что было предложено В. Ивановым — самое центральное — это “жертва”, которая по собственной воле и по соглашению общему решает “сораспяться все-ленной жертве”, как говорил Иванов; вселенскую же распятую жертву каждый по-своему понимает. “Сораспятие” выражается в символическом пригвождении рук, ног. Причем должна быть нанесена ранка до крови» (PRO, 1, 250–251). О «радении» у Минского мимоходом вспоминал в статье «Напоминания по телефону» и сам Р. (СХР, 337). На собрании, где присутствовало от 30 до 40 человек и среди них Р. с падчерицей, главным руководителем действия стал И. Действо с двухчасовым сидением на полу, соединив руки, с «кружением», с выбором жертвы для «сораспятия» и приобщения к ней, где несколько капель крови «жертвы» смешали с вином, вызвало скандал в доме Р., после чего он обещал жене больше на подобных собраниях не присутствовать. Различным было отношение писателей к христианству: с привкусом «дионисийства» и некоторой теоретичности у И., и живым, подчас нигилистичным, у Р. К выпадам Р. в сторону христианства И. относился с серьезностью. 6 марта 1909 на «башне» И., после заседания Совета РФО, обсуждавшего идею создания в обществе христианской секции, «присутствующие, — согласно записи в дневнике *С.П. Каблукова*, — обменялись мнениями о В.В. Розанове как гениальном противнике христианства» (PRO, 1, 201). Заседания РФО, где обсуждался вопрос об исключении Р. в связи с делом *Бейлиса*, сыграли важную роль в общении писателей. *М.М. Пришвин* в дневниках запечатлел образ Вяч. Иванова, который «настроился на скандал» (PRO, 1, 105). И. принадлежит одна из наиболее объективных речей против исключения Р., в которой он настаивал, что «писатель вообще не судим и суду не подлежит» (PRO, 2, 198). Настроенные против Р., по мнению И., выступали «с робостью, даже с нравственной трусостью; говорили, что не человека судят, что не смеют судить человека» (там же). Но если обвинители судят не человека, то писателя судить просто нелепо: «Писатель и потомство посмеются над таким судом, если бы он мог состояться...» (там же). Когда бы речь шла об общественном деятеле, который призывал к погромам и кровопролитию, тогда вопрос о его «опозо-

рении» мог бы стоять, поскольку такие действия сами по себе выходят за пределы писательской деятельности. Но с Р. ситуация иная: «Я встречаю с его стороны заявления, может быть, мне непонятные по своей психологической и этической связи, заявления парадоксальные, больше того, отвратительные, внушающие глубокое омерзение, — но если это омерзительное стоит в связи с писательской деятельностью, то здесь мой суд умолкает; писатель, целиком взятый, столь нежный и целостный организм, что разбивать его на части и вырывать их из контекста нельзя. Тогда пришлось бы исключить и *Достоевского*, и *Сологуба*, и, конечно, *Мережковского* исключили бы 100 раз и т.д. Мы исключили бы и *Гоголя*, если бы жили в эпоху “Переписки с друзьями” и проч., и всякий раз поступали бы смешно и непродуктивно» (там же). В самом стремлении руководителей РФО принудить собравшихся к единодушию в подобных вопросах И. видит не стремление «выявить лицо» РФО, но стремление именно к обезличению общества (Там же, 200). Выступление И. против «отвратительных полицейских и судебных навыков» (Там же, 199) в деятельности общества во многом содействовало смене тактики руководителей РФО, которые слово «исключить» заменили словом «осудить», благодаря чему смогли добиться нужного им отстранения мыслителя от деятельности РФО. *Т.В. Розанова* оставила свидетельство: «После этой истории к нам приехал Вячеслав Иванов (поэт) и возмущался, как возможно исключение из Религиозно-философского общества человека, который инако думает, чем все» (PRO, 1, 71). «Дионисийство» И. и стремление вникнуть в суть иудаизма и верований *Древнего Египта* у Р. говорили не только о различии тем, но и о различном мироощущении писателей. За долгое литературное знакомство они так и не испытали особого притяжения к творчеству друг друга, ограничившись лишь внешним интересом.

С.Р. Федякин

ИВАНОВ Евгений Павлович [7(19).12.1879, Петербург — 5.1.1942, Ленинград] — писатель, ближайший друг *А.А. Блока*, участник *Религиозно-философского общества* (РФО) (его докладу 5 марта 1912 на тему «о народности в связи с кровью, полом и религиею» Р. посвятил статью «В Религиозно-философском обществе» // НВ. 1912. 7 марта; ПВ) и участник «*воскресений*» Р. («Рыженский Иванов», как ласково называл его Р. — см. М, 60), оставшийся близок ему и после исключения Р. из РФО. Р. дал высокую оценку сборнику рассказов И. «В лесу и дома»: «Первая книжка начинающего автора-сказочника. Она вся сделана чрезвычайно искусно, с тщательностью отделки в каждой строке, не только в каждой странице. Язык очень хорош, — лесной, “с травмами”, с сыростью. Это большое искусство и высокое искусство. Язык сказки совершенно не может быть такой же, как язык повествования для взрослых» (НВ. 1914. 28 дек.; НФП, 405). В «*Опавших листьях*» Р. приводит мнение *Н.П. Ге* об И.: «Вот кто естественный профессор *университета*, сколько новых мыслей, какие неожиданные, паразитарные замечания, наблюдения, размышления» (У, 224). И. принадлежит рецензия на «*Семейный вопрос в России*» Р. (НП. 1904. № 7). В письме к *А. Блоку* 9–10 мая 1905, со слов *А.М. Бутягиной*, описал обряд «приобщения к крови», проходивший в квар-



Е. П. Иванов

тире Н. Минского 2 мая, в котором участвовал и Р. (PRO, 1, 250–253). На обороте фотографии И. в младенческом возрасте Р. написал: «Евгений Павлович Иванов — уже по карточке философ-мистик» (ЛЖ. 2000. № 13/14. С. 119). И. стал участником кружка памяти Р., организованного после смерти Р. при Вольной философской ассоциации.

А. Н.

ИВАНОВ Михаил Михайлович [11(23).9.1849, Москва — 20.10.1927, Рим] — композитор, музыкальный критик. В 1876–1917 сотрудничал в газете «Новое Время» (псевдоним М. Борецкий), заведовал музыкальным отделом газеты, автор оперы «Забава Путятишна» (1899), образ которой Р. использовал в записи «Мимолетного» за 3 мая 1914 («Забава Путятишна замуривает глаза, когда танцует Дункан»). В статье «Еще о В. В. Андрееве и его народном оркестре» (НВ. 1913. 19 апр.). Р. возражал своему коллеге по газете, «доброму и благородному человеку и просвещенному музыканту»: «М. М. Иванов всегда логичен, всегда исторически-учен и потому речь его всегда убедительна. Но он имеет *esprit mal tourné* <ум, направленный на дурное>, — и оттого его речи могут иногда получать разрушительное, вредящее значение. Такова его последняя длинная речь о В. В. Андрееве, который не для себя отнюдь, а для дела, предпринятого им на музыкальное просвещение всей России, ходатайствует перед Г. о субсидии» (СХ, 393). И. возражал против этого, говоря, что «балалайка, домра и гусли — не скрипка, “с ее тягучим волшебным звуком” И как “при железных дорогах” глупо заботиться о старых и несовершенных мальпостах и дилижансах, так точно незачем бросать деньги на ветер ради балалайки» (СХ, 394). Р., напротив, считал, что «музыка Андреева, народная и элементарная,

если бы она везде привилась (а она уже в сотне глухих и далеких городков привилась), дала бы множество узелков благородного притяжения народному духу и народным нравам, требуя, однако, от каждого участника не пассивного слушания звуков, но некоторой выучки и постоянного упражнения, которое приятно. Это сбережет множество народных душ, народных жизней, биографий; сбережет для трезвого труда и семейной жизни, для здорового и ясного быта» (там же). И. принадлежит рецензия на «Итальянские впечатления» Р. и статья «Совершенно особое мнение» (НВ. 1913. 21 янв.) против увлечения Р. танцами А. Дункан.

А. Н.

ИВАНОВ-РАЗУМНИК [наст. фам. и имя Иванов Разумник Васильевич; 13(25).12.1878, Тифлис — 9.6.1946, Мюнхен] — критик, журналист. В иронической статье об И.-Р. «И шутя, и серьезно...» (НВ. 1911. 31 марта) Р. замечает: «Иванову-Разумнику на роду написано: 1) быть литератором, 2) очень рассудительным, почти умным и 3) не иметь ни капли поэтического чувства. Что делать: судьба, имя. С этими качествами он написал в “Русских Ведомостях” два невероятной величины фельетона о Д. С. Мережковском: “Пастырь без паствы” и “Мертвое мастерство”» (ОПП, 498). Статьи Р. посвящены как бы защите Мережковского от нападков И.-Р., хотя здесь же признается, что «весь “разбор-разнос” г. Иванова-Разумника в высшей степени основателен, “научен”, доказателен. Прямо наконец — он справедлив» (там же). В фельетоне «Бляха № 101» (НВ. 1911. 17 дек.) Р. высмеивает И.-Р., «издающего книгу за книгой, где он зачем-то пересказывает своими словами всех новейших писателей, — ну, конечно, несколько сокращая. Так, он томах в двух все копался с Михайловским. Конечно, выгоднее купить Михайловского у Разумника за 3 р., чем самого Михайловского за 15 руб. Но все-таки самого Михайловского читать занимательнее: много побочных интересных мыслей, отдельных ценных замечаний, которые в “Разумник” не вошли» (ТПРН, 321–322). И.-Р. писал о Р.: «Передонов”, “ходил в белье”, “все переврал”, “ничего не знает” <...> Но в результате: “Его будут всегда читать”, “через несколько веков читать”» (там же). В «Богословском вестнике» (1913. № 11; НФП) Р. напечатал статью с характерным названием: «Люди без лица в себе (Иванов-Разумник)». Тогда же, в 1911, И.-Р. написал резкую статью о Р., в которой вопрошает: «Кто же В. Розанов? “Во Христе юродивый”? “Во Хаме юродивый”? Ни тот, ни другой — или, если угодно, серединка на половинку. В. Розанов — сам по себе; юродство его (особенно за последнее время) часто бывает себе на уме, часто заливаются оно волной истинно русского хамства; но многое здесь является только тяжелым, хотя и мало сознаваемым крестом этого оригинальнейшего из современных русских писателей. Сперва видишь только отталкивающие черты “во Хаме юродствующего”, и лишь постепенно приучаешь себя обращать фокус внимания не на эту грязную внешнюю оболочку, а на главное, на внутреннее, на существенное. Но и мимо этого внешнего нельзя пройти, не охарактеризовав его несколькими резкими словами. Страшная распушенность — литературная, писательская — вот характернейшая черта В. Розанова, черта, одинаково

обрисовывающая и внешнюю, и внутреннюю сторону его писаний» (Иванов-Разумник. Творчество и критика. Статьи критические 1908–1922. Пб.: 1922. С. 146).

А.Н.

ИВАНЧИН-ПИСАРЕВ Александр Иванович [30.3 (11.4).1849, Москва — 17.6(10.7).1916, Петроград] — журналист, мемуарист, редактор журналов «Сибирские Вопросы» (1909–1912) и «Заветы» (1912–1914). О нем Р. упомянул в «Уединенном», размышляя о природе русской социал-демократии: «Замечательно симпатичен, однако, Иванчин-Писарев (видел раз), и при нем какая-то дама, тоже симпатичная, умная и деятельная. Я бы им устроил “черту оседлости”, отдав уезд на съедение (?) или расцвет. Кто знает, если бы “вышло”, отчего не воспользоваться. Государство должно быть справедливо и смотреть спокойно во все стороны» (У, 32–33).

П.П. Резепин

ИЗГОВЕВ Александр (Аарон) Соломонович [наст. фам. Ланде; 11(23).4.1872, Вильна — 11.7.1935, Хаапсалу, Эстония] — публицист, член ЦК партии кадетов (1906–1918), один из авторов сборника «Вехи». В 1922 выслан в Германию. Р. воспринимал И. как одного из представителей левой прессы и писал в «Уединенном»: «С какой печалью читал (август 1911 г.) статьи Изгоева об университете... Автор нигде не говорит: “Забастовки мерзость”, хотя и чувствует это, сознает это, говорит, но “эзоповым языком” Отчего же он явно не говорит? Студенты — еще мальчики, и оттого, что он отчетливо не выговорит “мерзость”, непременно скажут: “И он — за забастовки” Каким образом можно вводить юношество в такой обман и самообман?» (У, 58). Во втором коробе «Опавших листьев» Р. вспоминает о своих кратковременных контактах с «левыми» у А. Вергежской (псевд. А.В. Тырковой-Вильямс), где он и познакомился с И.: «Боже мой: и мог я несколько лет толкаться среди этих людей. Не задохся, и меня не вырвало. Но, слава Богу, кой-что я за эти годы повидал (у В-ской). Главное, как они “счастливы” и как им “жаль бедную Россию” И икра. И двухрублевый портвейн (читая Изгоева о Суворине, “Русская Мысль”: “сын невежественной попады и николаевского солдата, битого фухтелями”). (Уверен, что этот Изгоев, почему-то никогда не смотрящий прямо в глаза, знает дорожку к Цепному мосту)» (У, 269). Речь шла о некрологе, написанном И. о А.С. Суворине в «Русской Мысли» (1912. № 9) и об органе политического сыска — Третьем отделении Собственной его императорского величества канцелярии, находившемся в Петербурге около Цепного моста. Разъяснение этой записки находим в книге «Сахарна»: «А Изгоев, как черная собака, писал о нем <А.С. Суворине> сейчас после “†”: “сын безграмотной попады и битого фухтелями николаевского солдата” Об этом Изгоеве говорил Столпнер: “Он никогда при разговоре не смотрит в глаза вам” Это я заметил тоже, раз видел его у Вергежской. Всегда потупит глаза. Судя по словам в одной его статье (в “Р.М.”), “нет хуже окаянства, как давать сведения кой-куда”, я думаю: уж не дает ли он этих “сведений” Боль сказывания имела что-то личное. И тогда понятен вечно потупленный взор» (СХР, 229). Говоря о подготовке революционных потрясений в России, Р. писал в 1914: «Нет,

дорогие мои Владимировы Азовы, Гершензоны, Перельманы, Оль д’Оры, Изгоевы: не вас громят, а вы уже разгромили Россию. Россия уже лежит перед вами разгромленная, и вы шарите у мертвеца в карманах... Боже мой, Боже мой, Боже мой: неужели Россия не проснется, не очнется. Убита. Убивают Россию, и никто не слышит» (КНУ, 248). Социал-демократическая пресса, отмечает Р., пишет одним и тем же слогом, «каким-то канцелярско-тусклым, безличным, “общим”, — таким же у Пешехонова, как у Мякотина, таким же у Мякотина, как у Пешехонова, и у обоих сходно с Петрищевым, и у всех троих сходно с Керенским, и у всех четверых сходно с Изгоевым. Впрочем, Изгоев “правоверный марксист”» (М, 203). И при этом получают деньги из Берлина. «Ссорятся. Кусаются. И кажется по мотиву: “Отчего тот получает из Берлина 375 ежемесячно, когда я также пишу, — являю русское правительство не хуже его, — и остаюсь пятый год социал-демократической работы все на 280 р.»» (там же). С горечью Р. заявляет: «Молодежь — в руках Изгоевых. Ну и пусть они носят ее на руках, а она носит их на руках. Эти муравьи, таскающие пустые соломинки, нисколько не интересны» (СХР, 34). В статье «П.Б. Струве о М.М. Ковалевском и г. Изгоев о г-не Пешехонове» Р. замечает, что полемика И. с еще «более левым» А.В. Пешехоновым «для всякого человека со стороны является только зрелищем, как шуки разных возрастов и разных озерных “заводей” имеют обыкновенные расправляться друг с другом» (К. 1916. 10 июня; ВЧВ, 252).

А.Н.

ИЗМАЙЛОВ Александр Алексеевич [26.8(7.9).1873, Петербург — 16.3.1921, Петроград] — критик, прозаик и поэт, друг Р. В 1898–1916 заведовал рубрикой «Литературное обозрение» в «Биржевых Ведомостях», сотрудничал вместе с Р. в «Новом Слове» и «Русском Слове». Р. и И. в 1909–1912, в период расцвета их дружеских отношений, помещали в газетах рецензии на книги друг друга. И. опубликовал статью «Около чужих алтарей (О Розанове и его новой книге)» — рецензию на «Итальянские впечатления» Р. «Больше всего мне в Вас нравится, что у Вас порода глубоко русская, которую Вы не испортили легкомыслием, ни иностранщиной. “Ума не занимать” — признавался Р. в письме к И. — Я люблю Вашу молчаливость, даже люблю, что Вы не все говорите, что думаете, почему-то это в Вашем стиле, очень люблю, что Вы — попович» (ИРЛИ. Ф. 115. Ед. хр. 280). Книгу «Итальянские впечатления» И. оценивал в том же ключе раздумий о национальной психологии: «Это — сплошная, неусыпная, пламенная дума на самые серьезные философские темы, преследующие человека неотступно везде <...> Русский интеллигент поехал под чужое небо от русской обывательщины, от русских проклятых вопросов и захватил с собою целиком все эти вопросы, все беспокойство нашей совести, все сомнения, все волнения. Какая удивительно-характерная для России книга! <...> Именно эта повседневная “наука мысли”, взвинчивающая до экстаза или вдруг бросающая с горы в бездны неверия, к созерцанию серой обывательщины, характерна для каждой страницы Розанова» (РС. 1909. 3 июля). Р., в свою очередь, в 1909 опубликовал рецензию на сборник литературной критики И. «Помрачение божков

и новые кумиры» (М., 1909). Начав с высокой оценки И. как критика, он ужасался распылением его дара литературного критика на юмористику, пародии и сочинение повестей: «Ум спокойный, не раздраженный и не раздражительный, большое знание литературы в ее прошлом и настоящем, но самое главное и редкое качество — любовь к человеческому слову во всех его изгибах,



А.А. Измайлов

переживаниях, и формах, а, следовательно, любовь к книге и к писательскому лицу — вот отличительные черты критика Измайлова <...> Счастливый мечтатель: я в нем люблю этот осколок 60–50-х годов, эту крупницу души Белинского и Добролюбова» («Критик русского *décadence*'а» // РС. 1909. 29 сент.; СМР, 304, 306). Р. выражал несогласие с основной идеей книги И. о вытеснении модернистской литературой всей остальной русской словесности. «Как-то не верится впечатлению книги: *декадентство* — уголок русской литературы, бьющийся за существование и, наконец, действительно просочившийся на страницы мастодонтов печати. Но и только <...> Действительно, много новых людей пришло, но ни один не принес с собою *гения*» (СМР, 307–308). И. являл собой для Р. пример настоящего литературного критика, в чем писатель признавался в письме к И.: «Вы и сами не знаете своей главной ценности как критика, которая (ценность) делает Вас чуть ли не единственным в наше время литерат<урным> критиком. Качество Ваше заключается в том, что в Вас сохранилось допотопное, вымершее с литературными мамонтами, чувство интере-

са к литературе вне себя (т.е. вне Вас), интерес к книге, интерес к другому, не к своему лицу <...> Критика есть “разбор”, а мы читаем только “исповедания” Сам я потому же есть вовсе не критик; соглашаюсь — “умный” и “интересный” писатель, но — не критик <...> В Вашей критике Ваша личность почти спрятана, и не оттого, что нет ее, а оттого, что она — не хулиганская, и не высовывается вперед, когда дело идет о другом. Это — *целомудрие* в писателе, которое почти исчезло (с мамонтами). Теперь все “любят себя как Бога”» (ИРЛИ, там же). Статья И. «В.В. Розанов (К 30-летнему юбилею: 1882–1912)» (Биржевые Ведомости. Веч. вып. 1912. 21 нояб. Подп.: Аякс) была единственной попыткой отметить в печати юбилей Р. Статью написал сам Р., о чем свидетельствует сохранившийся черновой автограф публикации, оставленный юбиляром, и его просьба, завершающая текст статьи: «Нельзя ли целиком поместить в “Нов. Слове”, а выдержки по Вашему усмотрению в “Биржевых В<едомостях>”» (ОР РГБ. Ф. 249. К. 9. Ед. хр. 33). Треть *рукописи* Р. отвел своей книге «О понимании». Этот материал был исключен редакцией при публикации статьи. Он кратко остановился на истории появления «Места христианства в истории», «Сумерек просвещения», своего участия в журналах «славянофильского и консервативно-государственного направления». Перечислив свои книжные публикации, писатель подвел итог собственной деятельности: «Своеобразным и сильным дарованием Розанов пробороzdил обширное поле нашей культуры почти во всех ее направлениях: религии, церкви, философии, семьи, школы. Менее касался он политики и государственного управления, но и здесь не остался беззвучен» (там же). В сентябре 1910 Р. подарил И. свою книгу «В темных религиозных лучах». На книги «Темный Лик» и «Люди лунного света» Р. просил в письме критика дать рецензии: «Книжки мои никогда не имели успеха, а только “почтительное признание” Шуба красивая, но не теплая» (Новый Журнал. Нью-Йорк. 1979. № 136. С. 122). Статью «О В. Розанове и смертной тени христианства» И. посвятил разбору книги Р. «Темный Лик». Критик подчеркнул исповедальный характер творческого метода Р.: «К писателю идут как к “старцу”, перед ним изливаются, у него ищут исхода в душевной муке <...> Есть один писатель, к которому можно пойти и к которому люди <...> уже идут <...> Живет, кажется, с вечно стрелою в сердце, как Себастиан, и когда бы это ни было и где бы он ни был, — весь во власти одних вопросов. Как же надо верить, и как строить жизнь по вере, и как понять кругом разлитую тайну, — тайну пола, тайну отверженного народа, тайну Христова явления, тайну Библии, идею Изиды, идею Астарты, тайну таких глубоких душ, как Гоголь, Достоевский» (РС. 1911. 22 янв.). И. указывал на нити «наследственности от Достоевского» в творческой манере Р.: «искренность до полной интимности», способ передачи «интимной беседы», «в этой экстазности и как бы истеричности мысли». Критик подчеркивал стремление Р. привлечь для подтверждения своих мыслей о постижении подлинного Лица Христа в России всего, что только возможно, в русской жизни. «Только с русским народом, с русским пустынноиком Христос “уродился”», — утверждал И., оппонировав изображению Р. «мрачного, черного, скорбного, смертного христианства, без света и радости». «Темный

Лик», по убеждению И., «будит мысль», поскольку всю книгу пронизывают «холодные лучи правды». Книга не оставляет равнодушной православную душу И., пережившего даже порыв «захерить и вырвать» (там же) некоторые станицы и строки ее. За быстрый отклик Р. вскоре горячо благодарил друга: «Собрался поблагодарить вас за разбор “Т<емного> Л<лика>” Он произвел большое впечатление как реакция после Струве и проч., — и друзья (не из частых посетителей меня) (вообразите юные) приходили и принесли статью Вашу <...> Не скрою: 2 слова — о “стреле Себастиана” и “исповеданиях” всего дороже» (ИРЛИ, там же). В том же письме Р. извинялся перед другом, за то, что сам он помещал гораздо меньше статей о работах И.: «Но очень стар и слаб, да и “1000” мыслей (забот, планов etc.). Мой взгляд на Вас, однако, всегда один и тверд: Вы крепко держите в руках мерило здравого смысла, русского чувства действительности и кроме того, “честны, как шестидесятник”, т.е. без кумовства и сватовства в журналистике, в отношениях» (ИРЛИ, там же). Второй части розановского исследования *метафизики христианства* И. посвятил рецензию «Люди лунного света (В.В. Розанов о тайне полов)» (Биржевые Ведомости. 1911. 24 мая) и несколько строк в библиографическом обзоре «Русского Слова» — «Новые книги»: «“Люди лунного света” В.В. Розанова — как бы купол того здания, которое давно и взволнованно строил этот писатель на фундаменте философии пола. По определенности выводов, это — последнее слово, последний парадокс его. “Душа есть функция пола” Брачность выше девства. Если бы можно было переменить пол, переменялась бы в человеке душа <...> С ортодоксальной точки зрения, научной и религиозной, Розанов здесь типичный еретик, со всею психологией еретиков первых веков христианства» (РС. 1911. 31 мая). В статье «Вифлеем или Голгофа? (В.В. Розанов и “неудавшееся христианство”)» (Новое Слово. 1911. № 10) И. вновь обратился к взглядам писателя на христианство. Он отметил высокие оценки его творчества Д.С. Мережковским и П.Б. Струве, по сути признавшим, что Р. «вышел на большую улицу литературы и стал на том месте, которое теперь видно» отовсюду; несмотря на непрекращающуюся череду полемик, «ничто не воспрепятствовало восходу его звезды» (PRO, 2, 82). «Интересный, парадоксальный, своеобразный по всему, вплоть до своего *стиля*, лирического, точно торопливого, часто почти судорожного <...> фельетонист Розанов создал имя Розанову-философу», для которого «горят интересом такие огромные вопросы, как вопрос о христианстве» (Там же, 85). Сопоставляя мир и *монастырь*, Р. «точно заболел, забеременел» думой об огромном вопросе бытия — вопросе пола. «То, что веками замалчивалось в печати <...> Розанов первый с такой смелостью, как никто, вынес на всенародные очи. Жизнь пола он считает самым важным и самым священным в человеке. Это та область, где человек более всего касается Божией тайны и Бога» (Там же, 88). И. откликнулся положительной рецензией на книгу Р. «Когда начальство ушло...», в которой утверждал, что Р. «неожиданно для себя вытолкнулся на арену политической публицистики» в годы *Первой русской революции* (РС. 1910. 5 июня). По мнению И., основная идея книги: «“Всякое исчезновение начальства” всегда идет па-

раллельно “возрождению в человеке *благородства*, чистоты и невинности”» (там же). Он дал высокую оценку импрессионистическим наброскам Р. *портретов* думских ораторов в этом публицистическом сборнике, сравнив их с шедеврами русской живописи. И. пытался определить жанр самой оригинальной книги Р. «*Уединенное*» в рецензии на нее: «Именно симфония. Философско-лирически-поэтический дневник, совершенно интимный, откровенный, наивный» (Биржевые Ведомости. 1912. 12 мая). Книга «*Письма А.С. Суворина к В.В. Розанову*» вызвала к жизни рецензию И. «Нараспашку (А.С. Суворин в переписке с В.В. Розановым)» (Биржевые Ведомости. Веч. вып. 1912. 21 дек.). Критик выделяет эту книгу как новый поворот Р. к идеям традиционализма и *национализма* после краткосрочного увлечения писателя либеральными веяниями в годы Первой русской революции. «Как представитель определенного общественно-политического мировоззрения, пишущий о своем единомышленнике, Розанов делает из своей книжки почти полемический памфлет с вылазками против противников. Кажется, никогда ранее Розанов не был определеннее в своем повороте вправо и агрессивнее против радикалов и либералов». Р. в письме к И. дал себе определение писателя, «не привившегося к русскому обществу»: «Я — одиночка. И уже так пожилой, что очевидно, одиночкой и умру <...> Я какой-то писатель для писателей, а не для публики. Что это за явление, не постигаю. Литература — знает меня, общество — ни-ни!» (Новый Журнал. С. 122). Р. переписывался с И. на протяжении 9 лет (1909—1918). Писатели часто бывали в гостях друг у друга. Р. ходатайствовал перед И. в октябре 1909 за своего приятеля по «*Новому Времени*», впавшего в нужду престарелого журналиста *И.Л. Леонтьева (Шеглова)*. Р. просил И. о публикации в прессе рассказа своей падчерицы *А.М. Бутягиной*, давал на прочтение критику письма *М. Горького*; благодарил за посмертную память и *некрологи* писателям *Н.Г. Позднякову* и *К. Фофанову*. Летом 1910, во время второго путешествия с женой по *Германии*, Р. случайно встретил в *Мюнхене* И. с незнакомой дамой. Критик поспешно удалился, завидев соотечественников, возможно с целью избежать досужих сплетен. Р. с легкой насмешкой и большой сердечной теплотой обсуждал случившийся казус в письме к другу от 8 сентября 1910: «Оказывается, что “бегом-то по Европе” бегают не столько вообще русские туристы, сколько А.А. Изм-лов <...> В Мюнх<ене> оттого мне и хотелось провести с Вами вечерок, что я в Вас чувю “теплого семинариста” (у меня это не порицание), с которым можно отвести душу. Вы в литературе уже немногий оставшийся от “старых лет Св. Руси” Пошла теперь все какая-то сволочь» (там же). Свой взгляд на место И. в современной литературе Р. пояснил в письме: «Ваша нормальная литература, во-первых всегда полная осведомленности и интереса к делу, к жизни, к литературе <...> спокойная и ясная — так необходима в наше время, когда каждое “я” копаются ножками жука в мути навозной и поднимает вокруг себя “что-то туманное и вонючее”...» (ИРЛИ, там же). Р. ценил юмор И., хвалил его сборник литературных пародий «*Кривое зеркало*» (СПб., 1908). Тяжелое заболевание глаз у И. вызывало горячее сочувствие Р.: «Беда на Вас нашла, дорогой Александр Александрович, — великая <...> Вот что зна-

чит не жениться вовремя <...> в квартире Вашей должен быть друг, конечно, — наилучше *женщина*, которая бы Вам читала и которой бы Вы диктовали» (там же). Когда же такая женщина у И. появилась, Р. не упускал случая подчеркнуть свою симпатию подруге писателя: «Берегите ее. Это Вам *Бог* послал. Обычно холостые литераторы “паршивеют и закисают” к 40-ка годам, да и как иначе?!» (там же). Отношения с И. стали близкими настолько, что Р. обсуждал с ним в последних письмах свои пожелания о возможном собственном погребении: «Друг Саша <...> Чувствуя, что время скоро подыхать, завораживаю оглобли к попам. Они будут отпевать. И как Вы меня переживете, то вот просьба (на случай): чтобы ни венков, ни проводов (особенно литературные), а чтобы все тихо, безмолвно и уединенно и чтоб ни одной речи на *могиле*: выскоку из могилы и буду драться. А чтобы дроги и плохонкий гробик, и плетутся сзади две-три старушки да мои детишки, да хоть Вы, но при условии сокрытия, что Вы — литератор. Так “все по-русски” Ну ее к черту иноземщину! *Мечта* чтоб схоронили в *Ельце*, где, найдя вторую жену, нашел *счастье* и путь. Противен *Петербургу*: и ради Бога “не в углу литераторов” на Волковом: холера у мертвеца делается» (Новый Журнал. № 136. С. 123). В 1918 Р. посылал И. множество статей, не принятых в «*Новом Времени*», многократно предлагал свои услуги по сотрудничеству в изданиях бывшей либеральной направленности, против которых воевал в последние годы со страниц консервативной печати. И. был одним из доверенных для Р. в откровениях по поводу своего душевного переворота. «Одни жиды, одни жиды, одни жиды!! <...> их Б<ог> оправдался. О, как оправдался!!!» (там же) — восклицал отчаявшийся писатель в 1918. В статье о последних днях Р. «Что делается в литературе» И. привел скорбные строки из предсмертных писем друга, «истерические слова, вылетевшие с хрипом из горла человека голодного, холодного, аннулированного, “бывшего”, может быть в канун первого удара, которого всегда ждал: “Болею склерозом головного мозга, — писал страшные слова в одном из своих прошений в Академию наук, — содержащего в себе непрерывную угрозу нервного удара и *смерти*, по приговору *врачей* Карпинского, Шернвалья и Жихарева»» (Вестник литературы. 1919. № 3. С. 4). Еще при жизни писателя И. оказал материальную поддержку голодающей его семье, обратившись за поддержкой к Академической комиссии и *С.А. Венгерову*. 25 ноября 1918 критик предложил Р. провести переговоры с издательствами о продаже им прав на издания его сочинений и получил полное одобрение и полномочия на переговоры: «Конечно, конечно, милый и дорогой — ведите переговоры, смело, свободно, от себя и как бы имея мою полную (формальную) уверенность» (ИРЛИ, там же). Но этому проекту не суждено было сбыться, так как Р. спустя два месяца скончался. Кончину Р. критик отметил некрологом «Закат ересиарха († В.В. Розанов)» (Творчество. Харьков. 1919. № 5–6). По замечанию И., Р. «перестал быть человеком и стал явлением» (PRO, 2, 91). Политика признавалась как необходимая дань Р. за возможность работать в самой влиятельной газете *России* — в «*Новом Времени*». И. предположил провокативный характер *аполитизма* Р., преследовавшего цель максимально привлечь внимание к себе и своей теме.: «Где только начиналось

касание человека к политике и общественности, Розанов становился иногда истинным богом бестактности <...> с каждой новой хулой на чудотворные иконы *интеллигенции*, на *Герцена*, на *Некрасова*, — все глуше и глуше лез в трясины, словно бы ему нравился этот лай из всех подворотен, какой поднимался после каждой его вылазки» (Там же, 95). Переписка И. и Р. 1917–1919 хранится в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 276, 467).

А.В. Ломоносов

ИЛАРИОН [Владимир Алексеевич Троицкий; 13(25).9.1886, село Липицы, Каширский уезд, Московская губ. — 28.12.1929, Ленинград] — архимандрит, архиепископ Верейский, богослов, инспектор Московской духовной академии (МДА) в 1913–1917, арестован в 1923, один из «Соловецких епископов», умер в тюремной больнице; канонизирован как священномученик в 1998. И. был знаком с сочинениями Р. В книге «Письма о *Западе*» (1915), рассуждая о Сикстинской Мадонне, И вспоминает о Р.: «Мать... Не знаю другого слова в лексиконе, которое так потрясло бы *человека*, так трагивало бы самые глубокие слои нашего существа. У нас теперь лучше всех, кажется, умеет говорить о матери (иногда!) В.В. Розанов» (Священномученик Иларион, архиепископ Верейский. Без *Церкви* нет спасения. М.; СПб., 2000. С. 549–550). Во вступительном чтении в МДА «*Грех* против Церкви (Думы о русской *интеллигенции*)» (1916) И. снова ссылается на Р.: «Весьма близок к *истине* В.В. Розанов, когда говорит (“*Онавшие листья*”, короб второй), что вся интеллигентская *литература*, включая “Полное собрание сочинений *шестидесятников*”, в сущности есть “Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”» (Там же, 585). После переезда в *Сергиев Посад* Р. оказался в среде православных *священников* и богословов МДА. Одним из них был иеромонах И., инспектор Духовной академии. Как утверждает в воспоминаниях дочь Р., они не только были хорошо знакомы, но и их связывали дружеские отношения: «Отец при жизни часто бывал у него, они дружили» (ТР, 100–101). *Т.В. Розанова* отметила также, что во время своего пребывания в *Троице-Сергиевой лавре* в 1915–1916 она поселилась «в той самой комнате в доме Горохова, в которой некогда жил иеромонах Иларион» (Там же, 71). И. отрицательно относился к выпадам Р. против церковного *аскетизма*, но признавал его талантливым мыслителем. Рассказ со слов проф. С.С. Глаголева записал автор мемуаров С.А. Волков, учившийся в те годы в Академии: «Глаголев рассказывал мне, как однажды Иларион, при встрече с известным философом и публицистом В.В. Розановым, который после 1917 года проживал в Сергиевом Посаде, между прочим, бранил: “Да где уж нам, “людям лунного света”, понять какие-нибудь бодрые настроения!” Глаголева поразил контраст между слабым, шупленьким Розановым — носителем и выразителем земного ощущения *жизни*, поклонником плотского *юдаизма*, *плодородия* и чадородия, и Иларионом, русским богатырем, иронически говорящим о себе, пользуясь терминологией Розанова, как об одном из “людей лунного света”, то есть отшельнике и аскете» (Волков С. Возле монастырских стен. М., 2000. С. 121). Несмотря на обострение разногласий, вызванное антихристианскими мотивами «*Апокалипсиса нашего*

времени», И. участвовал после кончины Р. в его отпевании в приходской церкви *Михаила Архангела* в *Красюковке*, вместе с о. *Павлом Флоренским* и о. *Владимиром Соловьёвым*. Т.В. Розанова вспоминала: «Обедню проводил три иерея: архимандрит Иларион Троицкий, проректор Московской духовной академии, а впоследствии митрополит, у которого отец при жизни часто бывал; Павел Александрович Флоренский и отец Владимир Соловьёв, священник приходской церкви *Михаила Архангела*. Служба была торжественная и прекрасная, то, казалось, был гимн Иисусу Христу и благодарение за благостную христианскую кончину отца» (РГБ. Труды. Записки отдела рукописей. М., 2000. Вып. 51. С. 67).

В.А. Фатеев

ИЛОВАЙСКИЙ Дмитрий Иванович [30.I(11.2).1832, Раненбург, Рязанская губ. — 15.2.1920, Москва] — историк, автор учебников по всеобщей и русской истории для гимназий. Когда Р. напечатал статью «Сумерки просвещения» (РВ. 1893. № 1–3), И. опубликовал критическую рецензию «О некоторых явлениях в столичной печати» (МВ. 1893. 3 марта), на которую Р. ответил статьей «Три главных принципа образования (По поводу замечаний Д.И. Иловайского)» (РО. 1893. № 3), где изложил эти три принципа (индивидуальности, целостности, единства типа), а также полемизировал с И., который «сетует на чрезмерное, подавляющее развитие периодической печати и этим развитием объясняет упадок в обществе серьезного чтения». «Периодическая печать, — возражает он мне или думает, что возражает, — теперь убила книгу... В Европе уже немного осталось людей, которые, подобно Гладстону, еще борются с наплывом газетного чтения и продолжают читать книги», мой почтенный оппонент видит факт, но не ищет его причины. Ему не кажется, что для этого перехода общества от серьезного чтения к чтению поверхностному есть какая-нибудь общая почва и что она должна скрываться в условиях, этому чтению предшествующих и его подготавливающих для каждого» (СП, 98–99). Р. часто использовал фамилию И. иронически, как нарицательное обозначение рутинного историка, автора гимназического учебника истории. ««После эпохи Мерovingов настала эпоха *Бранделясов*», — скажет будущий Иловайский» (У, 39). И здесь же Р. поясняет, что термин «Бранделяс», всплывший на уголовном процессе В.Д. Бутурлина, «ничего собою не выражает, ничего собою не обозначает. И вот по этому качеству он особенно и приложим к литераторам» (там же). Р. отмечает, что историю *Франции* и французов *гимназисты* «усвоили не по *Иловайскому*, а по романам Александра Дюма» (ОПП, 370). В 1913 Р. писал: «Мы своей истории не знаем — вот в чем дело, и ни Иловайский, ни *Делянов*, *Толстой* и *Уваров* русских мальчиков и девочек русской истории не научили; а *Потебня*, *Буслаев*, *Тихомиров*, *Сахаров*, *Снегирев*, *Хомяков* и все *Аксаковы* — в учителя русского юношества никогда не были позваны и даже не были до учительства допущены» (ЛИ, 66).

А.Н.

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ [Сергиев Иоанн Ильич; 18(30) или 19(31).10.1829, село Сура, Пинежский уезд, Архангельская губ. — 22.12.1908 (4.1.1909), Петербург]

— протоиерей, проповедник, духовный писатель. Канонизирован в 1988. Р. посвятил кончине И. две статьи. В статье «Личность отца Иоанна Кронштадтского» (НВ. 1908. 21 дек.) он утверждал, что личность И. «является одною из самых достопамятных в русской истории XIX века», что вместе с митрополитом *Филаретом* Московским и преподобным *Серафимом Саровским*, «он является высшею точкою нашего церковно-исторического развития» (ЛВИ, 532). И. для Р. — «народный священник, народный старец», «личный свидетель истины религии», «вождь уверования», «воскреситель веры» (Там же, 532–533). Статья «Из воспоминаний и мыслей об Иоанне Кронштадтском» (РС. 1909. 9 янв.) основана на впечатлениях от встречи Р. с И.: «В одном богатом доме, где я был случайно, он был приглашен отслужить напутственный молебен, «благословить» и «помолиться о здорье» Я не знал об этом заранее, а когда узнал, быстро пошел на молебен <...> Небольшого, среднего роста,



Иоанн Кронштадтский

весь как-то пропорциональный, гармоничный, он давал впечатление необыкновенной свежести! <...> Молитвословия Иоанн Кронштадтский произносил несколько скороговоркою, и произносил лично, — не этим заупокойным и как-то «вообще-православным» голосом, к какому мы привыкли, какой сделался ритуальным в православном богослужении. Это не «церковь молилась через иерея своего», — это лично он, Иоанн Сергиев, молился о присутствующих и особенно одним из них, ради которого был позван. Ничего статуеобразного, мер-

твоего не было ни в нем самом, ни в богослужении его, и эта маленькая черточка, едва приметная, но выраженная во всех подробностях, была чрезвычайно значащею, если кто понимает дух всего *православия*» (ЛВИ, 536–537). Р. рассматривает «мифологию» вокруг И., «фетишизм» его неумеренных поклонников («иоаннитов»), принципиально отделяя И. от сектантов, прикрывающихся именем Кронштадтского пастыря (отрицательно об «иоаннитах» Р. также высказался в статье «Судьба “Черных воронов”» (*Слово*. 1908. 17 фев.; СХ, 269), но в то же время и от официальной церкви, видя в нем «священника новой церкви», выразителя «религиозного антропоморфизма», приближая его образ к образу языческого жреца. Все остальные эпизодические упоминания имени И. в публицистике Р. также носят исключительно позитивный характер. В статье «Алексей Степанович Хомяков» (РС. 1910. 23 сент.) Р. с одобрением говорил, что «вопреки повелению канонов “не врачеваться у жидовинов” под угрозой анафемы, Иоанн Кронштадтский, самый великий наш архипастырь за XIX век, преспокойно сам “врачевал” и жидовинов, и даже мусульман. И хотя “канон” об отлучении за таковое дело все знали, но любимому русскому “батюшке” никто не смел возразить, никто ему не осмелился воспрепятствовать. Вот “любовь”, ставшая выше “канона”» (ОПП, 462). В брошюре Р. «Л.Н. Толстой и Русская Церковь» И. отнесен наряду с Амвросием Оптинским к наиболее выразительным представителям типа «русского святого», который «есть собственно “исцелитель” болящей душою России и болящей в жизни России, — иногда на свою небольшую местность, иногда на несколько губерний, иногда на всю нашу землю» («Л.Н. Толстой и Русская Церковь». СПб., 1912. С. 17). В «Апокалипсисе нашего времени» И. вместе с Серафимом Саровским причислен к «малому остатку праведных» среди русского духовенства (АНВ, 71). И. к писаниям Р. относился резко отрицательно, в его дневнике за 15 августа 1908 встречаются такие записи: «Господи, повели *Суворину* поместить мой ответ ругателю святыни Розанову в газете “Новое Время”»; «Господи, запечатлей уста и иссуши пишушую руку у В. Розанова, глаголя неправильную хулу на Всероссийский Киевский съезд миссионеров»; «Господи, защити Церковь Твою, поносимую от писака Розанова. Высоко он поднял свою голову против Церкви Твоей! Смири его!» (Иоанн Кронштадтский. Предсмертный дневник. М., 2003. С. 48–49). В «Колоколе» (1908. 17 авг.) И. напечатал заметку «По поводу статьи В. Розанова» (в тот же день напечатана в газете «Вече» под названием «Против г. Розанова, сотрудника газеты “Новое Время”»).

С. М. Сергеев

ИОНАФАН [Руднев Иван Наумович; 1816 — 19.10(1.11).1906, Ярославль, Спасский монастырь] — архиепископ Ярославский, дядя второй жены Р. по отцовской линии: мать В.Д. Буягиной, второй жены Р., А.А. Руднева была двоюродной сестрой И. Посетив летом 1907 Ярославль, Р. оставил воспоминания об И. в очерке «Русский Нил»: «В Ярославле мне захотелось отслужить панихиду по недавно почившем архиепископе Ионафане — человеку добром, простом, чрезвычайно деятельном, но деятельном без торопливости и ажиотации. Потеряв рано жену и имея дочь, он постригся в мона-

шество, но сохранил под монашескою рясою сердце простого и трудолюбивого мирянина, отличный хозяйственный талант и благорасположенное, внимательное сердце к мириадам людей, с которыми приходил в связь и отношения. За это он получил название “отца”, несшее далеко за пределами его епархии. Ничего специфически монашеского в нем не было, но, не рассуждая, он принял с благоволением всю монашескую “оснащенность” и нес ее величественно и прекрасно, веря в нее традиционно, но полагая “кумир” свой не в клобуке и жезле, а в заботе о людях и в устройении надобностей епархии. И как-то он приветливо и хорошо это делал, что имя его благословлялось в далеких краях и рядами поколений. Богословом он не был, принимал целиком все традиционное. Все из принятого было для него “свято” Но, выразив свое отношение к традиции в этих пяти буквах, он затем уже, не растеряваясь и не разбрасываясь, всю энергию живого человека обратил на теперешнее, текущее, современное» (ОНД, 160–161). И. отговаривал свою племянницу В.Д. Буягину от вступления в первый брак, считая, что жених не сможет материально обеспечить будущую семью. Но Варвара Дмитриевна настояла на своем и «вышла за любимого человека» (ЛИ, 405). Летом 1904 семья Р. посетила Саров с целью припасть к мощам преп. Серафима Саровского и укрепить здоровье болезненной дочери Тани. По дороге в Саров посетили престарелого И. Дочь писателя Т.В. Розанова вспоминала позднее о посещении И.: «Отец очень почитал и уважал Ионафана. Помню, что он уже был больной, на покое в Спасском монастыре. Грустил, что не может совершать богослужения по немощи физической; боялся, что он уронит чашу со Св. Дарами. Папа огорчался, что церковное начальство не дало ему помощника и не разрешало служить обедню. Как мне было жаль “дедушку”! Он вынес мне шоколадную конфету, и с такой доброй улыбкой угостил меня, что я и сейчас помню этот случай. А прошло <...> Да, мне было очень жаль старенького “дедушку”, и я все спрашивала родителей о нем. Вскоре он умер и был захоронен под алтарем Спасского монастыря. Проездом в Саров мы заезжали вновь в Ярославль, ходили в Спасский монастырь, спускались с церковным служителем в склеп под алтарем церкви, чтобы поклониться праху этого достойного пастыря. Сохранилась ли его могила, — не знаю <...> При его содействии и на его средства была создана семинария в Ярославле, он жертвовал много личных средств на украшение храмов города и на его общее благоустройство <...> В нашей семье сохранилась фотография архиепископа Ионафана, а на обороте фотографии была надпись моего отца: «Ионафан Архиепископ Ярославский, очень добрый, купил Шуре рояль, прислал через товарища по семинарии чиновника Писарева денег маме, когда она лежала в больнице в тифу, и все время присылал плату за учение в гимназии Шуре. В. Розанов»» (ТР, 26–27). Фотография с упоминанием покупки фортепиано для падчерицы Р. была пожертвована впоследствии в Московскую духовную академию. На кончину родственника Р. откликнулся некрологом «Памяти высокопреосвященного Ионафана» (НВ. 1906. 21 окт.): «За 50 лет архиерейства, недолго в Петрозаводске и затем почти все время в Ярославле, его узнали так и иначе, прямо и косвенно сотни тысяч лю-

дей рассеянных теперь всюду. Мне привелось его видеть только два раза, — видеть, говорить, пить чай с чудесным вареньем и каким-то особым, келейным хлебцем <...> Он был в родстве с знаменитым Иннокентием (Ждановым), архиепископом Таврическим в пору Крымской войны» (ОНД, 72–74). При жизни И. в семье Р. не всегда находилось взаимопонимание с сановным родственником. В письме к И. около 1898 Р. дал обширный ответ на задевшие его строки из послания иерарха жене Р. о том, что «жизнь ее прошлая и настоящая была не хороша» (ОР РГБ. Ф. 249. К. 6. Ед. хр. 32. Л. 1). Поблагодарив И. за материальную поддержку своего семейства в тяжкие годы нужды, Р. вступился за правовое положение своей супруги, чей брак не был признан церковью. В статье 1909 «И не пойду!» Р. противопоставил И. своим противникам из числа церковной иерархии (*Никону (Рождественскому)*, *Антонию (Храповицкому)* и др.). В семье Р. не все дети были с ним знакомы. Младшая дочь писателя Надежда Васильевна вспоминала: «Мамино дядю <...> архиепископа Ярославского Ионафана, умершего в 1906 году, я совсем не знала, но *Флоренский* как-то, придя к нам возмутился, что у нас в доме не висит портрета этого “замечательного человека”» (НР, 77). Сохранилось письмо И. к В.Д. Бутягиной от 6 сентября 1897 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4214. Ед. хр. 9. Л. 1, 2), письма И. к Р. и Р. к И. (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 300, 470, 913).

А.В. Ломоносов

ИСАЧЕНКО-СОКОЛОВА Клавдия Лукьяновна — балерина, педагог-хореограф, основательница *Школы пластики* и сценической выразительности. Эмигрировала в 1920. В письме от 7 февраля 1913 она приглашала Р. на первый «вечер пластики» учениц своей школы. 10 января 1916 от нее последовало второе приглашение. 28 и 29 апреля 1916 Р. присутствовал на экзамене в школе пластики и признавался, что наконец-то «мог более внимательно, нежели когда-то на спектакле этой своеобразной школы, всмотреться в огромную и настойчивую работу ее основательницы, требующую, кроме мастерства и таланта учительницы, и огромного знакомства

ее с пластикой классического мира». Просмотр античных танцев совпал у Р с воспроизведением его прежнего увлечения *Древним Египтом*. «Удивительно, — пишет он. — Закон египетской телесной пластики совсем иной, нежели греческий. У греков — все округлено, у египтян — везде угол <...> Здесь между греками и египтянами — противоположность!» Восторг от увиденного навел Р. на мысль использовать этот опыт для повышения квалификации преподавателей классических дисциплин *университетов* и гимназий. «Час зрелища в таком театре больше объясняет, чем прочитывание целой книги <...> два вечера, смотря одно и то же без утомления, я пережил восхищение перед единственным по простоте и изяществу миром <...> понял, между прочим, до чего греческая архитектура, в сущности, связана была с пластикой греческого тела: ведь это — одно и то же, одна ясность и одна гармония <...> Танцы невинности» («На экзамене учениц школы г-жи Исаченко-Соколовой» // ВВ. 1916. № 16–17. С. 199, 200; ВЧВ, 422). Младшая дочь писателя *Н.В. Розанова* описала посещение вечера танцев в школе пластики со своей точки зрения: «Папе прислали приглашение на вечер танцев. Некая Исаченко-Соколова открыла школу пластических танцев на Ивановской улице. Папа взял с собою Варю и меня. “Может быть, их туда поместить, они все чего-то просят и отчего-то волнуются!” В небольшой квартире толпилось много народу, и сама Исаченко-Соколова стояла в дверях, задрапированная в голубой плащ из великолепной шерстяной материи, в высоких светлых сандалиях, с папирозой в зубах, и, шуря глаза, приветствовала гостей. Такие дамы могут быть владелицами какого-нибудь модного ателье, могут быть хозяйками литературного салона, но при чем тут Греция? Я негодуяюще глядела на нее, всячески донося до нее свое презрение. Удивительно, как она не обратилась в соляной столб и продолжала любезно беседовать с папой, который, тыча ей в грудь указательным пальцем, шептал, что “все его детишки страшно любят античные танцы и у всех есть положительно вкус...”» (НР, 152).

А.В. Ломоносов

К

КАБЛИЦ Иосиф Иванович [3.6(12.7).1848, село Требешово, Поневежский уезд, Ковенская губ. — 4(16).10.1893, Петербург] — писатель, публицист. Знаком с Р. с 1886 по службе в *Государственном контроле*. В 1893 Р. написал о нем *некролог* (РО. 1893. № 11), характеризуя его как *человека*, писателя и мыслителя: «Невозможно представить себе ничего более противоположного этому, как то, что представлял собою покойный: сухощавый, с порывистыми движениями, он казался вечно возбужденным, горел сочувствием или негодованием и, кажется, не было утверждения, которое бы он спокойно принял; не было отрицания, которое бы он равнодушно подтвердил. Личное начало, живой, индивидуальный ум, все различающий, из всего выбирающий, всегда неугомонный, — ярко светились в нем» (ЛВИ, 348). Давая оценку К. как писателю, Р. отмечает неразрывность его общественной и литературной позиции: занимая «в нашей *литературе* очень определенное и крупное положение: он явился основателем и главою целой партии общественного и литературного движения, отделившегося от радикального лагеря по своим стремлениям, еще слитого с ним по созерцанию и, как в том, так и в этом, частью слитого и частью разделенного со *славянофильством*» (там же). Благодаря К. осмыслял Р. понятие *народничества*: «Народничество — любимый термин покойного — было *символом* любовного и внимательного отношения к народу, прислушивания не к одной только нужде его (радикальное направление), но и к его думам, *чувствам*, всему нравственному и умственному строю, без какого-либо признания за собою права насильственно изменять его, но и без чувства обязанности быть с ним безусловно слитым — что часто не может быть сделано искренно» (там же). Осознавая, что К. видел «в народе какой-то монотеистический кумир» (ВДЯ, 204), Р. всегда с неизменным уважением относился к его хождению в народ; более того, он говорил, что это поколение людей стояло неизмеримо выше, чем люди 1840-х. Мнение Р. о К. всегда оставалось неизменным: «Лучшего человека я не знал, и, в сущности, это был идеал человека» (СХР, 94). Р. многих своих знакомых сравнивал с К. В статье «Первые шаги отечествоведения» (НВ. 1901. 17 окт.) он писал: «О *Буслаеве* народ просто сказал бы, что он ему не нужен; а маленькую фигурку Каблицы приставил бы к мельнице муку молоть, позвал бы на сход, *бабы* потянулись бы к нему с просьбой “написать грамотку сынку в полк”, девицы заглядывались бы на него и всем *миром* поставили бы от-

правлять его “ходоком” в Питер по такому или другому делу. И не спросили бы его о не совсем, кажется, русской фамилии и чуть ли не о лютеранском вероисповедании, ибо он и самую *веру*, и какую там ни есть родину забыл для единственного, для нового и окончательного “кумира” — народа русского» (ВДЯ, 204–205). В статье «*Церковь “прежде почивших” и церковь живых*» (НП. 1903. № 2) Р. размышляет над инцидентом, происшед-



И.И. Каблиц (псевд. Юзов)

шим при похоронах генерала армии Гурчина: покойный был католиком и местной епархиальной *властью* было сделано распоряжение, запретившее православному *духовенству* служить панихиду по умершему. Р. при этом вспоминает о лютеранине К.: «Я помню хорошо, что когда умер известный писатель О.И. Каблиц, вместе со мной служивший в одном из петербургских департаментов, то мы, *чиновники*, выслушали о нем три православные панихиды, а отпевание тела производил лютеран-

ский пастор, и похоронен усопший был на лютеранском кладбище» (ОЦС, 364–365). Р. писал о его гражданской жене, явившей, как и сам К., пример редкостного самоотвержения: «Прекрасная эта женщина, из благородного иностранного семейства согрела судьбу и жизнь брошенного чиновника. У них осталось трое детей; она — без средств и имени (т.е. фактического мужа) <...> Чтобы вернуть имя отца (он был и писатель) детям, она через год вышла (фиктивно, только обвенчавшись) за брата покойного мужа (любовника), совершенного старика. Сама она была лет 32 и прекрасна... Лет 8 она грела около себя всеми брошенного человека; умер он — и она умерла (как человек и женщина) для его детей» (ВМНН, 162).

О.В. Быстрова

КАБЛУКОВ Сергей Платонович [12(24).9.1881 — 25.12.1919] — математик, музыкальный критик, секретарь *Религиозно-философского общества* (РФО) в 1909–1913. Автор «Дневника» (1909–1919. — ОР РНБ. Ф. 322. Ед. хр. 3–50, 63), в котором видное место отводится Р. В конце 1908 К. сблизился с Р. и часто бывал у него. «Дневник» за 1909 содержит много записей, касающихся Р. (PRO, 1, 200–222). К. записывает в «Дневнике» беседы с Р., вклеивает в него письма и записки (в т.ч. самого Р., письмо З.Н. Гиппиус к Р. из Парижа от 6 марта 1908), а также наиболее интересные статьи из периодической печати. Он описывает совместные поездки с Р. в Пенаты к И.Е. Репину. К. выступил в роли помощника Р. при издании книг «Русская церковь» и «Библийская поэзия». На подаренной ему книге «О понимании» Р. написал: «Сергею Платоновичу Каблукову — математику-мистика — тоже, кажется, мистик — В. Розанов. Всего больше в вас мне понравилось, когда вы отказались ехать в интересное морское путешествие из страха, что в случае смерти над вами не были бы вычитаны и пропеты все церковные песнопения и чтения, положенные по Уставу Церкви. Это единственно в своем роде» (PRO, 1, 213). Другая, более негативная трактовка этого эпизода содержится в «Опавших листьях» (У, 212 — «наш Мадмазелькин»). К. отправил Мережковским в Париж «гнусный фельетон Васьки-Каина» — «Сантиментализм и притворство как двигатели революции» (НВ. 1909. 17 июля) и в беседе с Р. «укорял» его за эту статью. Р. в ответ на укору говорил, что «написал только то, что думает, и думать иначе не может» (PRO, 1, 214). Ввиду тяготения К. к либеральному кружку Д.С. Мережковского к концу 1909 произошло «охлаждение» к нему Р., у которого начался возврат к консерватизму, и их отношения ухудшились. 14 сентября 1910 К. писал в «Дневнике»: «З.Н. не хочет слышать даже имени Розанова после статьи о русской революции — называет его “явлением”, а не человеком, пакостью, разлагающейся грязью. Это, пожалуй, верно» (РНБ. Ед. хр. 11). 29 сентября 1910 К. записывает, что «к деятельности Розанова В.И. <Иванов> стал относиться вполне отрицательно, как я и М<ережков>ские» (Там же. Ед. хр. 16). 9 ноября 1911 на экстренном заседании Совета РФО у Мережковского рассматривалось предложение К. об исключении Р. из общества «после его недопустимых выражений о первом русском философе Влад. Серг. Соловьёве», однако его предложение «сочувствия не встретило» (ед. хр. 17). В конце заседания

РФО, состоявшегося 5 марта 1912 и посвященного докладу Евг.П. Иванова «Нация и Россия», К., как он пишет, «лягнул Розанова, сказав, что его “нововременскому буржуйскому национализму” нет места в РФО. 7 марта 1912 в «Новом Времени» появилась заметка без подписи, в которой говорилось о «выходке какого-то Каблучкова или Каблушкина, сидящего на эстраде». К. сопроводил эту заметку в своем дневнике словами: «Писано, очевидно, Розановым» (ед. хр. 18). Похожие высуживания фамилии К. появились и в книгах Р. В «Уединенном» он писал: «Хуже моей фамилии только “Каблуков”: это уже совсем позорно» (У, 33). Насмешки над К. продолжались и в «Мимолетном» (КНУ, 384). Недовольство либерально настроенного К. взглядами Р. сочеталось у него с критикой антицерковных выступлений мыслителя. Однако когда вышла книга «Уединенное», К. признал наличие в ней определенных достоинств: «Странное и двойственное впечатление произвела на меня новая книга... В начале грубая, крайне резкая, нелепая, она к концу становится и нежной, и правдивой, и искренне-благородной» (ед. хр. 19). В «Дневнике» К. подобраны и прокомментированы публикации периода «осуждения» Р. в РФО. К. поддержал предложение



С.П. Каблуков

Совета об исключении. Однако позже взгляды К. существенно изменились. 15 июля 1917 он записал: «И я виноват в безответственном радикальном “максимализме” и в революционной романтике, его породившей»

(Ед. хр. 45). К. пришел к выводу о враждебности либерального курса *А.Ф. Керенского* для России и о том, что «политика самодержавия была правильной». По его мнению, «революционная демократия» обанкротилась окончательно, у нее нет людей». Разочаровался К. и в деятельности либерального кружка Мережковского, считая, что его деятельность фактически имела революционную направленность. Соответственно меняется и отношение К. к Р 17 ноября 1917 он записывает: «Кажется, Розанов бедствует. Мне его от души жалко. И во многом, что высказано им в “Уединенном” и в “Опавших листьях”, сколько верно! Теперь-то это видно» (Ед. хр. 48). Осенью 1918 К. написал Р. письмо, в котором признал ошибочность своей прежней позиции. Р. был письму «милого Сережи» очень рад. Для Р., вступившего в период последнего примирения, К. был важен не только сам по себе, но и как представитель того петербургского кружка, с которым он был когда-то в очень тесных отношениях. Р. в ответном письме (сентябрь—октябрь 1918. Фонд Мережковских. Русский центр, Амхерст, США) извинился за те колкости, которые он позволял себе в адрес К. в период их вражды. В длинном письме Р. воспоминания о прекрасных *временах* начала века, восприятие революции как вселенской катастрофы и ставшее навязчивой идеей вождение к еде сливаются в космологическое видение: «И вдруг я не увижу... А я, можно сказать, обедал еще в *Египте*». К., христианские настроения которого в этот период усилились, отрицательно отнесся к «*Апокалипсису нашего времени*». Однако на их отношениях с Р. это не сказалось. К. послал в *Сергиев Посад* еще письмо и посылку с едой. Слабеющий Р. ответил ему письмом с благодарностью и рассказом о переживаемых трудностях (Слово. Нью-Йорк, 1995. № 17/18).

В.А. Фатеев

КАЗАНСКИЙ Петр Евгеньевич (1866—1947) — декан юридического факультета Новороссийского университета (Одесса), профессор международного права. К. был известен своими твердыми монархическими принципами и их пропагандой в периодической печати правого лагеря после *Первой революции в России*. Сотрудничал с Р. в «*Вешних Водах*». Статья Р. «На фундаменте прошлого» (БВ. 1914. № 1) выразила кратко «и “по-своему” ту мысль, которая на протяжении тысячи страниц — перебиваясь мириадами цитат из ученых книг и из некоторых отмеченных речей в Г. Думе и в некоторых законодательных памятниках — развивается в одушевленном, твердом и смелом труде одесского профессора, г. Казанского» (НФП, 203). Р. высоко оценил фундаментальное исследование проф. К., «не бескровный ученый трактат, а одушевленное и “с кровообращением в себе” политическое, историческое и религиозное исследование <...> труд не “между-народно-ученый”, а русский труд» (НФП, 203—204). Р. развивает тему психологических основ русского монархизма. Он видит смысл работы К. в исследовании основ русской политической мысли: несмотря на наличность в России всей конституционной обстановки, парламента и пр., «у нас, тем не менее, в глубине всех русских обстоятельств, конституции нет, конституция была бы бедствием», а насильственное введение ее способно лишь вызвать «страшный бунт», так

как народ почувствует, что у него отнимают «предмет тысячелетней веры» — самодержавие. «Мы — не русские, насколько мы не понимаем, что такое “Царь” <...> это есть “сложение (конституция) чисел нашей страны” <...> Есть у каждого русского в сердце “трон”, и на нем сидит “один Царь для всех” <...> Ограничение Царя есть умаление всех нас», так как единство народа держится верой, «что есть Некто среди нас Один, коему все возможно» (НФП, 203, 205). Самодержавие имеет глубоко народные корни: «“Царь есть защитник народного”, главное — защитник слабых и обиженных; сирот. “Безграничность” воли царской прямо вытекла из “volo” народного» (НФП, 204). Личного знакомства Р. с профессором не состоялось. В первом письме от 27 октября 1913 К. благодарил Р. за отзыв на свою книгу и высоко оценил его статью «Ученая пава» (НВ. 1913. 18 окт.; СХР) о речи профессора *Петражицкого*, пытавшегося опровергать «кровавые наветы» на *Бейлиса*, ссылавшегося на научные и религиозные авторитеты. Почти месяц спустя (23 ноября) К. сочувственно откликнулся письмом на сетования Р. по поводу отказа «*Нового Времени*» поместить статью о смысле монархии. 1 марта 1914 К. благодарил писателя за присланную ему новую книгу Р. «*Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови*» и выразил солидарность с взглядами автора в этой книге.

А.В. Ломоносов

КАЙГОРОДОВ Дмитрий Никифорович [31.8(12.9). 1846, г. Полоцк, Витебская губ. — 11.2.1924, Ленинград] — естествоиспытатель, профессор Лесного института, публицист, преподаватель естественной истории детям великих князей; вместе с Р. сотрудничал в «*Новом Времени*». С 1888 К. регулярно печатал в газете бюллетени о весеннем пробуждении и осеннем угасании городской природы *Петербурга*, выступал в защиту уничтожаемого русского леса. В 1902 Р. рецензировал хрестоматию для чтения К. «Из родной природы». (НВип. 1902. 14 авг.). Дружественные характеристики К. приводятся в статье Р. «Апрельская книжка» (рецензия на книгу К. «Наши весенние бабочки»), где он хвалит «нашего старшего и юного, ученого и простодушного профессора Д.Н. Кайгородова, друга отрочества, матерей семейств и, вероятно, тех старых дедов-пасечников, что вынимают соты из ульев голыми руками» (НВ. 1910. 30 марта; ЗРП, 117). В архиве Р. сохранилось 11 писем К. 1902, 1906, 1909—1912 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 18), к которым приложена характеристика К.: «Вертляв-таки и с дополнительными способностями. Вельми любит *Православие*» (Там же. Л. 156). 29 апреля 1902 К. недоумевал по поводу появления в «*Новом Времени*» статьи Р. «О классическом и нашем мире» (НВ. 1902. 29 апр.), защищавшей классическую систему образования и содержавшей критику в адрес русской национальной школы: «И что это за удивительная газета, которая сегодня разрушает то, что создала вчера?! Нет, видимо, *Россия* не доросла еще до “русской школы для русской жизни”, если ее лучшие сыны сопротивляются такой школе» (Там же. Л. 2). Письмо от 2 мая 1902 вновь выражало тревогу, что «перед бедной Россией снова встает проклятый черный призрак классицизма, сделавший из ее сынов интернационалов, юдофилов». К 1912 взгляд К. на статью Р. о школе изменился: «Сегодняшняя статья, да и

не только сегодняшняя, а и все последние статьи о нашей несчастной школе — драгоценность!» (Там же. Л. 17). Профессор восхищался статьями Р. о проблемах современного среднего образования: «Зависимость духа общества от духа школы» (НВ. 1912. 4 июля); «Уравнение программ» (НВ. 1912. 14 июля); «Перед задачами женского образования» (НВ. 1912. 18 июля; все в ПВ).

А.В. Ломоносов

КАЛАБИНА Пелагея Михайловна. Елецкие купцы Калабины имели титул почетных граждан *Ельца* и входили в число первых лиц города как по своему состоянию (звание почетного гражданина присуждалось купцам только первой гильдии, причем находившихся в ней не менее 20 лет), так и по своей авторитетности. Братья Калабины принимали участие в строительстве храма Владимирской Божией Матери (он же Сергиевская церковь) в Черной слободе, где начиная с его постепенного возведения и в последующие десятилетия в продолжение 58 лет служил *П.Н. Бутягин* (с 1846 по 1904). Почетная гражданка К., основавшая приют для мешанских девочек от 6 до 17 лет на Орловской улице (она же Великокняжеская), в 1875 пожертвовала свой жилой полукаменный дом (верх деревянный) рядом с приютом для приютской Троицкой церкви, в которой служил и тайно венчал 5 июня 1891 Р. с *В.Д. Бутягиной* один из сыновей П.Н. Бутягина — Иван Павлович (К. была на даче). До 1891 храм был однопрестольным, но в этом году, по желанию К., был устроен придел в честь иконы Богоматери «Скоропослушеницы» и св. священномученика Антипия. Икона «Скоропослушеница», приобретенная на Афоне, являлась особо чтимой святыней храма, и «храмоздательница» К. заказала для нее за 1400 рублей «сребропозлащенную» с украшениями ризу. Р. вспоминает в «Смертном» как И.П. Бутягин украшал к ней подход красным сукном и как народ повалил на поклонение этой святыне. Существует легенда о причинах преобразования жилого дома К. в храм: Калабины путешествовали по *Италии*, где один из братьев Калабиных тяжело заболел и находился на смертном одре. Сопровождавшая его Пелагея Михайловна, молясь *Богу*, дала обещание отдать свой дом рядом с приютом для преображения его в церковь. Брат, находившийся у края гроба, стал выздоравливать и живым вернулся в *Россию*. К. выполнила свой обет: добилась благословения орловского епископа Макария, на каменном основании выстроила церковь во имя Троицы. Звонница храма размещалась во дворе на столбах. В начале 1930-х церковь была снесена, приютский дом отдан детскому парку. Место, где стояла церковь, — на территории парка; еще и сегодня можно заметить некоторые следы ее существования.

С.В. Краснова

КАЛАШ М.А. — см. *Курдюмов М.*

КАЛЬВИН (Calvin) Жан (10.7.1509, Нуайон, Франция — 27.5.1564, Женева) — деятель Реформации, основатель кальвинизма. Летом 1905 Р. в Женеве посетил домик К. и церковь его. В статье «Реликвии Кальвина» (НВ. 1905. 2 авг.) Р. вспоминал: «С *времен* юности из всех реформаторов меня всего сильнее привлекал Кальвин — страшной сдержанностью и сосредоточенностью

характера, великим блеском *ума* <...> Как известно, он убедил женеццев, на которых имел неограниченное влияние, сжечь на костре Сервета, личного друга своего, и не за ересь какую-нибудь, не за определенное отклонение от учения Кальвина, которому этот Сервет чистосердечно и добровольно следовал, но за то, что Сервет, может быть, гораздо более его (Кальвина) разносторонний и во всяком случае более мягкий, был сторонником так называемых “libertains” женецких, этих в своем роде “либералов” XVII века, людей, попросту хотевших жить, а не только молиться, хотевших учиться, размышлять, торговать, немножко танцевать и немножко веселиться, а не только мрачно разгадывать, “не предназначен ли я самим *Богом* к вечной гибели и геенне огненной» (СХ, 145–146). Р. описывает сохранившийся домик К.: «С каким *чувством* подходил я к нему... Старый кумир мой, к которому теперь, правда, я не испытываю никакого чувства, — он не только ходил здесь “в свою церковь”, но и жил в котором-то из почерневших этих *домов*. Все они были черны, стары, неуклюжи, были “соседями Кальвина” или построились “вскоре после его *смерти*” в разгар религиозных *войн!*» (СХ, 148–149).

А.Н.

КАМЕНЕВ Гаврила Петрович [3(14).2.1772, Казань — 25/26.7(6/7.8).1803, там же] — писатель, автор богатырской поэмы «Громвал» (опубл. посмертно в 1804), которую Р. вспоминает в статье о *В.С. Войтинском*. Мальчиком, еще до гимназии, Р. списывал эту поэму в тетрадку своих любимых стихотворений. «В “списывании” было столько же интереса, сколько в поэме. Почему я ее списывал, трудясь в поте целую неделю? Я ее вовсе не понимал, эту поэму; не понимал, кто такой Громвал и что именно определенным образом он делает? Да, он, впрочем, и не “делал” и не мог “делать”: он — “совершал” В детском же воображении моем представлялось, что только ничтожные люди что-нибудь “делают”, вот мы все бедные в нашем неинтересном *доме*, моя мать и братья, и сестры, наши соседи, и я, ничтожный, учащий к экзамену “Помилуй мя Боже” Скучные люди и скучная *жизнь*, изо дня в день, из года в год. Но есть другая жизнь, — о, есть она!! Об этом-то и говорила поэма “Громвал”, а я оттого-то и списывал ее без устали, закрывая ладонью списанное, чтобы старшие не увидели и, сохрани Боже, в своей омерзительной угольной черноте, в своей пошлой ежедневности, не сказали о “Громвале”: “Глупости” <...> Сколько я ни усиливался разъяснить себе, что именно “совершал” Громвал, не мог этого <...> Борьба идет между добрыми и злыми, или, так как “добро” и “зло” мне не представлялось чем-то ясным, то между “благородным” и “низким” Суть “низости” заключалась в постоянном злоумышлении и особенно в хитрости, коварстве, любви к деньгам, немилосердию к людям, в притеснениях бедных людей, особенно, например, молодых *девушек* и юношей» (НВ. 1913. 13 авг.; НФП, 118–119). Продолжая, Р. проводит параллель между «Громвалом» и современной «ложноклассической» революционной *литературой*: «Это мое *чтение* и списывание “Громвала” в высшей степени напоминает как чтение, так и писание, т.е. сочинение большинства социал-демократической и вместе тюремной литературы в наших радикальных и даже

просто либеральных журналах. “Что такое?”, — ничего не понимаю. Только вижу, что действительно люди делятся на злых и добрых, на черных и голубых: что черные властвуют миром и усаживают всех голубых в тюрьмы. А почему усаживают — Бог их ведает» (там же). Еще раньше Р. вспоминал как «старался» в детстве над «Громвалом» (НВ. 1904. 21 апр.).

А.Н.

КАМЕНСКАЯ Юлия Алексеевна — учительница музыки в Нижнем Новгороде. Из трех женщин, которых любил Р. (К., А.П. Сулова и В.Д. Бутягина), «по времени первой» (У, 51) была Юлия. Первой кратковременной влюбленностью гимназиста Р. в 17 лет стала «Леля», сестра его товарища по нижегородской гимназии Володи Остафьева. Е.А. Остафьева была значительно старше Р. (24 года). Он видел ее всего дважды и описал свои чувства в «Уединенном» («Голубая любовь», 34–35). Об отно-

6–7 класс гимназии. Кажется, даже 5 или 6-й» (ОСЖС, 727). В ГЛМ хранятся 9 писем К. к Р. 16 февраля 1876 она писала: «Милый мой, кто узнал мою любовь к тебе, — все восстали против нее, т.е. все, кому успела разблаговестить Анна; если бы ты теперь знал, какая у меня накопилась против всех злоба — ужасно! Не знаю, на горе или на радость мы сошлись с тобой, только теперь то я знаю, что люблю тебя. Вся твоя Юлия» (ГЛМ. Ф. 362. Оп. 1. Ед. хр. 69. Л. 1). Последнее письмо К. помечено 23 августа 1878 из села Ключицы Княгининского уезда Нижегородской губернии, куда уехала больная туберкулезом Юлия (летом 1877 Юлия заболела, у нее пошла горлом кровь и родители увезли ее в деревню). Р. сохранил к ней самые теплые чувства. Посетив Нижний Новгород через 30 лет (в 1907), Р. увидел на месте «хибарочки, где она жила» и где они встречались, большой новый дом. А.Н.

КАМЕНСКИЙ Анатолий Павлович [17(29).11.1876, Новочеркасск — 23.12.1941, Ухтижемлаг, Коми АССР] — прозаик, драматург. В эмиграции в 1919–1924, 1930–1935. В 1937 репрессирован. Творчество К. не вызвало симпатий Р., он посвятил ему статью «На книжном и литературном рынке» (НВ. 1908. 24 июня). Р. считал, что К., «как и Арцыбашев, рисует не силу любви, а бессилие любви, бессилие к любви самого человека; поношенность, потрепанность его; изнеможенное старчество под молодыми чертами нафабранных господ» (ОПП, 295). В статье «Бедные провинциалы...» (НВ. 1910. 11 июня) Р. замечает: «Нисколько не провинция, но именно столица выдвинула Арцыбашева и издала “Полное собрание сочинений Анатолия Каменского” Текущая литература, по элементарности и грубости мысли, возвращается к до-Карамзинским временам, а по “вкусу” — сравнялась с Тредьяковским» (ОПП, 446). Вместе с тем в статье «Усердствующий Митрофан» (РС. 1910. 2 дек.) Р. высмеивает господина из Самары: «С “благочестивой бордой”, но совсем без головы, не влюбил почему-то современной русской литературы. И, скорбя об уничтожении цензуры и надеясь на ее восстановление, много лет посвятил на составление обширного уварача, куда занес выписки из “богомерзких” писаний Кузмина, Арцыбашева, Каменского, Розанова, Горького, Мережковского, Протопопова, Андреева и, кажется, еще многих других литераторов <...> Он и набрал в кучу совершенно разнородных писателей, заметив у них то общее, что все они разрабатывают проблему пола. Но он не заметил, что в то время как Каменский, Арцыбашев и некоторые другие услажденно описывают всякие “падения” и, в сущности, описывают их хлыстовский “свальный грех”, но только разбитый на отдельные, сцены, — другие писатели, как Мережковский и Розанов, стараются поднять к серьезному половую жизнь человека» (ЗРП, 424). В «Открытом письме В.В. Розанову» К.И. Чуковский писал: «Вас я считаю единственным, поставившим в России “проблему пола” Гг. Арцыбашев, Каменский и другие “половые писатели” — перед Вами просто тапёры. Вы в этом деле единственный виртуоз» (PRO, 2, 132).

А.Н.

КАНДИНСКИЙ Василий Васильевич [22.11(4.12). 1866, Москва — 13.12.1944, Нейи-Сен, близ Парижа] —



Каменская Ю.А. (фото исколото)

шениях Р. с К. рассказывается: «Это был прекрасный роман, ни от кого не скрытый. Я был в VII кл. гимназии. Мы чудно читали с нею Монтеस्कё, Бентама и немного шалили. Она была чистейшая девушка 19 л., мне было 18» (У, 256). В РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 477) хранятся письма К. к Р. за 1876 и ее фотография, исколотая булавкою А.П. Суловой (см.: Розанов В. Уединенное. М., 2002. С. 381), а также характеристика, данная Р. в 1915 своей возлюбленной: «Ну, что вам за дело, что она некрасива. Для меня она была красива, а ведь ни для кого, “чужих”, она и не старалась быть красивой. Моя милая Юлия; мы с ней читали Иеремию Бентама “Введение в основание нравственности и законодательства” <...> для практики по французск. яз. (университет). Разумеется — в постели, лежа на спине. Потом закрывали книжки, я повертывался к ней, и мы играли.

живописец, график, теоретик *искусства*, основоположник абстракционизма. К. читал Р. и находил в нем мыслителя, сумевшего схватить важные черты художественного мирозерцания нового времени. По этой причине он обратился к «Итальянским впечатлениям» Р., фрагмент которых поместил в первый (и единственный) выпуск альманаха «Der Blaue Reiter» («Синий всадник»), изданный К. вместе с художником Ф. Марком в 1912 в Мюнхене. К. перевел на немецкий язык заинтересовавший его фрагмент из главы «В музеях Ватикана», расположив его между собственными размышлениями — двумя статьями: «К вопросу о форме» и «О сценической композиции». В главе «В музеях Ватикана» Р. затронуты две основные темы, которые позднее привлекли К. и Марка на страницах альманаха: первая связана с религиозным сознанием, вторая — со скрытой сущностью произведений *искусства*, которая явлена в древнейших формах. Понимание Р. числа заинтересовало К., поскольку всякое число есть развернутая единица, т.е. разросшийся графический штрих, абстракция. Если К. в статье, расположенной перед фрагментом из Р., рассуждает о форме как о средстве воплощения духовного начала бытия и творчества, то Р. открывает тайну метафизики, которая заключена в предельно малом и простом: «Все древнее искусство — не психологично, в противоположность новому <...> Но при созерцании первоклассных созданий древнего резца приходит мысль, не было ли это древнее искусство более метафизично? Меры, измерения corpus'a человеческого, вечное искание (и, может быть, нахождение?) окончательной истины этих мер и их гармонии — вот что мы монотонно находим в этих мраморах. “Мерки портного” — так и хочется выговорить последнее определение. Кажется, это очень мало, скудно? Однако что именно говорил Моисей, вернувшись с Синая и рассказывая евреям, как они должны построить храм Богу (скинию?) Он также перечислял только меры и цвета, и даже почти — одни меры. И вот когда читаешь об этом в “Исходе”, то будто слышишь, как портной отсчитывает цифры — длины, ширины, объема и сгиба — заказанного ему платья. Скиния — одежда Божия: вот нерасказанная ее мысль. Иезекииль, при описании виденного им в видении Храма, где обитал Бог, не говорит ни слова о впечатлении от него, о картине его, а целые страницы, до утомительности, до истощения всякого терпения у читателя, наполняет цифрами и цифрами, мерами, мерами и мерами. А мудрый Пифагор “число” считал “сущностью вещей” “Всякая вещь имеет свое число, и кому открыто число вещи, тот знает и сокровенную сущность вещи” Итак, в числах и мерах есть своя тайна; Бог есть мера всех вещей — после создания, но нельзя ли предварительно создания назвать Его портным всех вещей, который “кроит” мир в небесном своем уме» (СХ, 56–57). От этих общих рассуждений К. переходит к конкретным наблюдениям в следующей за фрагментом из Р. статье.

И.А. Едошина

КАНТ (Kant) Иммануил (22.4.1724, Кёнигсберг — 12.2.1804, там же). Р. причислял немецкого философа к тем, кто «по могуществу и точности мышления никогда не имели себе равных» (ОПП, 385). «*Ноуменами*» Кант назвал вторую и главную, сокровенную от рационально-

го познания, сторону вещей; “есть миры иные, которые постичь нельзя, но тайным касанием к которым живет человек: если в тебе прервется это касание — возненавидишь и проклянешь жизнь”, — так формулировал Достоевский ту же мысль Канта, но дав ей яркое выражение, а главное — потянувшись в формуле своей к родникам именно жизни”, куда мы подходим» (ВМНН, 29). Великое правило К. видел Р. в том, чтобы «никогда не смотреть на человека как на средство, но только как на цель (удивительное правило, как подумаешь глубже и особенно применительно к частным случаям жизни, которые переживаешь)» (ЛИ, 173). Об исторической роли К. читаем в «Уединенном»: «Двигаться хорошо с запасом большой тишины в душе; например, путешествовать. Тогда все кажется ярко, осмысленно, все укладывается в хороший результат. Но и “сидеть на месте” хорошо только с запасом большого движения в душе. Кант всю жизнь сидел: но у него было в душе столько движения, что от “сиденья” его двинулись миры» (У, 55). Начав с обращения к авторитету К. в книге «О понимании», Р. перешел к созданию собственной философии жизни, развивающей категорический императив К.: «Моя “новая философия”, уже не “понимания”, а “жизни” — началась с великого удивления. “Как могут быть синтетические суждения a-priori”: с вопроса этого начиналась философия Канта. Моя же новая “философия” жизни началась не с вопроса, а скорее с зренья и удивления: как может быть жизнь благородна и в зависимости от одного этого — счастлива; как люди могут во всем нуждаться, “в судаче к обеду”, “в дровах к 1-му числу”: и жить благородно и счастливо, жить с тяжелыми, грустными, без конца грустными воспоминаниями: и быть счастливыми по одному тому, что они ни против кого не грешат (не завидуют) и ни против кого не виновны» (У, 140).

А.Н.

КАПНИСТ Павел Алексеевич (1840–1905) — граф, попечитель Московского учебного округа, в котором Р. прослужил 13 лет. К. занимал также посты управляющего канцелярией Министерства юстиции, прокурора Московской судебной палаты и сенатора с 1895. Откликаясь на хлопоты Н.Н. Страхова и других столичных друзей-покровителей Р., граф К. занимался вопросом его перевода на новое место службы. 14 июня 1891 Страхов передал в письме Р. слова директора департамента Н.А. Аничкова о продвижении дела с переводом: «Гр. Павел Алексеевич, хотя не имел случая познакомиться с литературным трудом г. Р., ставит его, как преподавателя, очень высоко, и потому жалеет о его возможном уходе из Моск. уч. округа. Граф Капнист весьма ясно намекнул мне, что если г. Р. предпочтет не оставлять Московского округа, то он может получить место инспектора прогимназии, напр. в Рязани. По словам гр. К., для Р. всего необходимее иметь мало уроков, т.е. не быть только учителем, а потому место инспектора значительно облегчило бы его, дав ему казенную квартиру и оклад жалованья по должности, причем уроки его могли бы ограничиться 6-ю в неделю» (ЛИ, 92–94). В 1913 Р. комментировал приведенный сюжет как образец лицемерия сановников: «Граф Капнист не мог не знать из ревизии Брянской прогимназии добрейшим и благороднейшим Яковом Игнатьевичем Вейнбергом (окружной

инспектор, распушивший всех преподавателей действительно ничему не учившей прогимназии), что преподаватель я — очень дурной; но “принимаю участие в *Петербургe*” — и он сказал, что “высоко ценит” (никогда в глаза не виденного) преподавателя». Напротив, о “литературной деятельности” он знал, так как по совету доброго профессора *Герье* я ему “поднес” (т.е. переслал) книгу “*О понимании*”, которую, конечно, он не читал, ибо людям дела вовсе некогда читать, а ему, графу, и “без дела” просто не хотелось. Все же, однако, “писать чиновнику — не полезно” Потом, именно по мере того как развивалась моя литературная деятельность, и она уже не могла быть не видна в округе <...> я чувствовал служебное кольцо отброса и заброса, куда-нибудь в “дыру” и в “одиночество”, стеснившееся и явно чьей-то рукой стесняемое над моей головой» (ЛИ, 92–93). Любопытны также указания Р. на сложившуюся при К. систему руководства в учебном округе. Все отношения просителей замыкались на правителе канцелярии. «Попечителя же никогда никто из учителей в *лицо* не видал (по крайней мере, я не слышал, чтобы его когда-нибудь кто-нибудь видел): и — черточка недавних *времен* — округом таким образом управлял *человек*, не имевший права ревизовать, и, следовательно, глазом не видавший ни одного учителя при деле» (ЛИ, 92). Побывав в Петербурге, К. отдал распоряжение перевести Р. инспектором «в какую-то гимназию или прогимназию, и затем уехал в *деревню*». В 1914 Р. вспоминал о мздоимстве К.: «Граф Павел Капнист брал *взятки* — 500 р. за директорское и 300 р. за учительское место. Раскрыл все Хайковский (*Москва*), директор-собственник частного коммерческого училища. Капнист попался на следующем: раньше, в молодости, он б^{ыл} судебным следователем, и когда умер какой-то его подсудимый клиент, то у него нашли записную книжку с записью взятки сему судебному следователю. Ее “приберегли”, и владетель всю жизнь тянул с Капниста деньги. Я спросил Хайковского: Как Вы ему давали? Он сказал: граф заезжал за мною в карете, и мы ехали к процентщице. Он (граф) говорил: “Вот он (Хайковский) поручится за меня”, — т.е., вероятно, “опять” “Я давал форменное ручательство, и тогда она выдавала графу деньги» (ОР. РГБ. Ф. 249. М. 4212. Ед. хр. 10. Л. 1).

А.В. Ломоносов

КАПТЕРЕВ Павел Николаевич [16(28).8.1889, Сергиевский Посад — 10.7.1955, Москва] — естествоиспытатель, сын профессора Московской духовной академии Н.Ф. Каптерева, один из создателей Комиссии по охране *памятников искусства* и старины *Троице-Сергиевой лавры* (1918). Арестовывался в 1920 и 1933. Р. вспоминает: «Также мне ничего не приходило в голову при виде гусеницы, куколки и *бабочки*, которых я видал, с одной стороны, — одним существом; но с другой стороны, — столь же выразительно, столь же ярко, и не одним. Тогда войдя к друзьям, бывшим у меня в гостях, Каптереву и *Флоренскому*, естественнику и священнику, я спросил их: Господа, в гусенице, куколке и бабочке — которое же я их? Т.е. “я” как бы одна буква, одно сияние, один луч. “Я” и “точка” и “ничего” Каптерев молчал. Флоренский же, подумав, сказал: “Конечно, бабочка есть *интелехия* гусеницы и куколки <...> Каптерев сейчас же сказал, как натуралист: “у них (он не сказал — у всех) —

нет кишечника (я читал где-то, что, кажется, — иногда, “не бывает кишечника”): значит это — что нет и желудка? Конечно! Что за странное... существо, бытие? “Не питающееся” Да долго ли они живут? Есть “мухиподенки” Но, во всяком случае — они, и уже бесспорно все, — совокупляются. Значит, “*мир будущего века*” по преимуществу, определяется как “*совокупление*”: и тогда проливается свет на его неодолимость, на его — ненасытимость и, “увы” или “не увy”, — на его “священство”, что оно — “*таинство*” (таинство — *брака*)» (АНВ, 52). В этой же статье, касаясь разговора с К. о метаморфозе насекомого, превращающегося из гусеницы в куколку, Р. приходит к выводу о сходстве древнеегипетской мумии с куколкой насекомого. Разговор с К. натолкнул Р. на рассуждения: «Каптерев задумался и сказал: “Открыто наблюдениями, что в гусенице, обвинившейся коконом, и которая кажется — умершею, начинается после этого действительно перестраивание тканей тела. Так что она не мнимо умирает, но — действительно умирает... Только на месте умершей гусеницы начинает становиться что-то другое; но — именно этой определенной гусеницы, как бы гусеницы-*лица*, как бы с фамилией и именем: ибо из всякой гусеницы, сюда положенной, выйдет — вон та бабочка. А если вы гусеницу эту проткнете, напр., булавкою, тогда и бабочки из нее не выйдет, ничего не выйдет, и гроб останется гробом, а тело — не воскреснет” Тогда-то, тогда мне стало понятно, почему феллахи (потомки древних египтян, явно сохранившие всю их *веру*) плакали и стреляли из ружей в европейцев, когда те перевозили мумии, извлеченные из пирамид и из царских *могил*. Они, эти негиллисты, заживо умершие и протухшие, не понимая ни *жизни*, ни *смерти*, “нарушили целостность тела их (феллахов) предков” и тем лишили их “*воскресения*” Они, о чем предупредил Каптерев, как бы “разломили мумии пополам”, или, все равно — пронзили иголкой “*куколку*”, после чего она приобщается смерти без бытия. Тогда *мысль*, что “бабочка есть *душа* гусеницы”, “*энтелехия* гусеницы” (Флоренский) — еще более утвердилась у меня: а главное — мне разъяснилось и доказалось, что египтяне в мышлении и открытиях “загробного существования” шли тем же путем, как я, т.е. “через бабочку” и ее “*фазы*” Что это и для них был путь открытый и “откровений”, да ведь и вообще это — истинно. Тогда для меня ясны стали саркофаги — мумии» (АНВ. 54–55). Речь идет о встрече К. и П.А. Флоренского у Р. 28 декабря 1917, о чем см. запись в кн.: Флоренский П. *Детям* моим: Воспоминания прошлых дней. М., 1992. С. 396.

А.Н. Стрижёв

КАПТЕРЕВА Вера Сергеевна (ум. 1942) — дочь ректора Московской духовной академии (МДА) С.К. Смирнова, жена профессора МДА, члена 4-й *Государственной думы*, председателя (с 1915) Сергиевпосадского комитета помощи беженцам Н.П. Каптерева (1847–1918), мать *П.Н. Каптерева*. В прощальном «*Письме друзьям*» 7 января 1919 Р. писал: «Каптереву благодарю и целую ручку за ее доброту и внимание» (ОСЖС, 683).

Т.В. Смирнова

КАРАМЗИН Николай Михайлович [1(12).12.1766, село Михайловка, Бузулукский уезд, Симбирская губ. —

25.5(3.6).1826, Петербург]. Р. считал, что *русская литература* «по правде-то начинается всего с Карамзина, потому что только с него и его друга *Жуковского* начинается биться в нашей словесности пульс какой-то идеи, “своего русского сердца” и “своего русского ума”, который не прерывается потом, не умолкает, а только преобразовывается и доходит до нашего времени» (ОПП, 368). «Уже с Карамзина и Жуковского живой аромат полевых цветов, или оранжерейных, но тоже живых — вносится в русскую литературу, и до сих пор в ней сохраняется, даже в незначительных произведениях» (Там же, 382). К. и *И.С. Тургенев*, по мнению Р., — «фигуры, необыкновенно красиво сложившиеся», «так сказать, стоящие неувядаемым перистилем в портиках истории» (ЛВИ, 300). Р. называет К. «уставщиком» русской литературы и историко-национального сознания. Такие учителя «чинили и наконец сочинили “устав” литературы в смысле образа мышления, манеры письма и даже образа литературного поведения» (НВ. 1900. 16 июня). К. был историк-государственник. «Начало государственное — это лишь формальная сторона в истории, ограничивающая, сдерживающая, охраняющая, — между тем и единственно эта сторона рисуется и у Карамзина, и у *Соловьева*» (ЛВИ, 250). Наиболее развернутую характеристику К.-историка Р. дал в статье «Памяти *В.О. Ключевского*» (РС. 1911. 15 мая): «Великолепный Карамзин, захотевший дать отечеству красноречивого Тита Ливия, явно не соответствовал “новгородским мужикам”, дела и мысли которых, удачи, приключения и несчастья сплели нашу раннюю историю; просто он был слишком великолепен, слишком литературное имя, слишком счастливый вотчинник своей симбирской вотчины, чтобы полазить и поразгребаться в новгородских и псковских кочках, на московских задних дворах, как известно, всегда не чистенных, и острым глазком все там выгладеть, а затем острым язычком, сплетая грешное и святое, обо всем пересказать <...> Народ, племя, задворки села просто были неизвестны ему, поэзия и грех кабака — неведомы, судьба солдата — не печальна, сказки мамушек, начетчиц, приживальщиц — или не услышаны, или закрылись литературными впечатлениями. И история его, в сущности, история одного правительства центрального, была великолепной словесной панорамой, где мы видим только передний фасад кремля, соборов, дворцов, правильно движущихся войск, успехов, — или оплакиваемых в молитве неудач, — перемены на троне. Самая кисть его была так устроена, что не могла бы написать никакого настоящего безобразия, никакого настоящего греха, в его крупное, большое, красивое слово не попадали “мелочи жизни”... А без мелочей, греха и безобразия какая же история? Где она?» (ЛВИ, 567–568). Литература наша, повторял Р., начиналась в смысле художественного развития «Историей государства Российского» К., эту «гордую и немножко фантастическую картину нашего прошлого» (НВ. 1900. 2 апр.). Особое внимание обращает Р. на заглавие труда К.: «История Российского государства» — безвкусно и напыщенно. Так назвал бы свой труд кн. Михайло Щербатов. Но «История государства Российского» — великолепно; и нужно было родиться Карамзину, чтобы дать России не только великолепный труд, но и так великолепно озаглавленный. В этом заглавии есть что-то римское, что-то

русское, — именно как в Карамзине тех дней, когда он, повидав все в Европе, вернулся на родину, перестал ублажаться, перестал писать шутки, стихи и повести и решил дать России родного Тита Ливия» (НВ. 1911. 22 марта; ТПРН, 53). «Всякий благородный русский должен любить Карамзина», — говорит Р. и подтверждает, что *Пушкин* не мог не любить его, ибо «при Карамзине мы мечтали». «Стиль Карамзина равно владеет формой и содержанием, отражаясь на ковке фразы и выборе предметов повествования, стихотворного пения и изучения. Гениальный создатель “Истории государства Российского” не был или пренебрегал быть творцом-фантастом, довольствуясь не сотворением идеалов, а идеальным освещением действительности. Мало кто так доверчиво и благородно любил действительность, как он. Это отразилось на его слого. То величественный, как в “Истории”, то оживленный, как в “Письмах русского путешественника”, он везде благоразумен, избегает излишнего, не бурлит чувствами, и его творения похожи на прекрасную римскую тогу, с легким греческим оттенком, которую добрый скиф накидывает на плечи варваров и варварства. Россия с любовью посмотрелась в зеркало, которое он ей подставил; и хотя немного обманулась, увидя красивое свое отражение в стекле, но обманулась самым благородным образом, даже самым полезным, все время оправляясь, улучшаясь по показаниям немного неправдивого зеркала, которое и льстило, и манило, и давало силы и бодрость к улучшениям» (ОПП, 119–121). Позднее Р. подтвердил ту же мысль: «Карамзин говаривал, что “без чародейства сладких вымыслов” невозможно прожить: а уж нам и тем паче позволительно жить, двигаться и мыслить в этом направлении» (ОПП, 503). Р. вспоминает слова К. из очерка «О любви к отечеству и народной гордости» (1802): «Как уже предвидел Карамзин, “величие народа познается в несчастьях”, и никогда мы так блистательны не были, как после Поляка и Наполеона в Москве» (ОПП, 273). Полемизируя с *Ю. Айхенвальдом*, утверждавшим, что «сопоставление Карамзина с Наполеоном внушает мысль о комичности» (КНУ, 433), Р. писал: «На памяти Карамзина ни одного темного пятна. Он весь созидателен, когда Наполеон есть только чудовищное разрушение, “Землетрясение Европы” “Трупов” осталось после Наполеона больше, чем после Тамерлана, и “монархия Наполеона” не была прочнее “монархии Тамерлана” Карамзин тихим благословением благословил “в путь” русскую историю, только что начинавшуюся» (там же). И хотя ныне «Карамзина вовсе никто не читает» (ПЛ, 43), на его «неговорящий памятник» «никогда не перестанет оглядываться всякий благородный русский человек, как бы далеко ни укатилась наша история и разнообразно она ни покатилась» (СХР, 262). Р. отмечает значение К. для последующих поколений: «Русские жили, после Карамзина, под действием мысли, что наша история величава и прекрасна. И тысячи, миллионы даже русских, эта мысль укрепила на героическое, лучшее. Нахимов, Корнилов, Истомина, Невельский не были бы, может быть, такими, если бы в юности и молодом возрасте они не мыслили о России “по Карамзину” Итак, созидание... Карамзин был созидатель, и ни капельки не было в нем разрушения (*нигилизма*), русские (все наши милые министры нар. просвещения) не воспользовались

и не разработали “память Карамзина” в то благотворное, действительное и воспитательное, во что бы можно и следовало разработать эту величавую память, — не сделали из нее “ангела-Хранителя” и руководителя русской школы, русских университетов, русской гимназии» (КНУ, 433). «Русский “патриот” пошел от Карамзина» (ОПП, 590), — утверждает Р., хотя «на вопрос “кто истинно счастливый человек” Карамзин отвечал довольно неопределенно: “патриот среднего возраста”» (ОПП, 262). Этот вопрос К. в его статье «О счастливейшем времени жизни» (1803) Р. вспоминает еще раз в «Последних листьях» 30 июня 1916. Отмечая «женственное сложение в душе» (ЛВИ, 303) К., Р. обращается к художественной стороне творчества писателя: «В “Письмах русского путешественника” впервые склонилась, плакала, любила и понимала русская душа чудный мир Западной Европы, тогда как раньше, в течение века, она смотрела на него тусклыми, лишь отражающими предмет, но не отвечающими ему глазами. С этого времени, и до нашего почти, знойным наслаждением для русской души стало переживать в себе настроения Европы, вбирать в себя капли духовной жизни, выделяемые цветком, который зрел полтора тысячелетия. Настроение, созданное в нашей литературе Карамзиным, было первую такую каплей, и мы не удивляемся, читая, как его современники ходили на Лизин пруд помечтать и, быть может, поплакать» (ЛВИ, 241). Еще в гимназические годы у Р. была мысль «быть бы Карамзиным» (КНУ, 325). Для этого он в университете собрал его Полное собрание сочинений в кожаных старых переплетах — «и до сих пор держу перед глазами» (там же).

А.Н.

КАРЕЕВ Николай Иванович [24.11(6.12).1850, Москва — 18.2.1931, Ленинград] — историк, член 1-й Государственной думы. В 1913 Р. иронически писал, что вся его «многолетняя и язвительная полемика против Венгерова и Кареева вытекла из того, что оба — толстые, а толстых писателей я терпеть не могу. Но “труды” их были мне нисколько не враждебны (или “все равно”» (ЛИ, 75). Тем не менее в статье «Погребатели России» (НВ. 1909. 19 нояб.) он пишет, что в словах К., брошенных с кафедры 1-й Гос. думы, слышится звон фразы пресловутого Смердякова, героя *Достоевского*. К. заявил: «Я предлагаю слово *Россия* исключить из думских дебатов, так как это имя оскорбляет чувства нерусских членов Думы» (ОПП, 422). В статье о выборах во 2-ю Думу Р. отмечал: «В прошлые выборы торжествовавшая кадетская партия провела в Г. Думу двух безгласных кандидатов Н. Кареева и Кедрина. Кедрин пребывал совсем безгласным, а Кареев раскрывал рот для глупостей» (РГО, 281). Сравнивая К. с гоголевской Коробочкой, Р. замечает: «“Коробочку” опровергали, и это не было трудно. Но “опровергнуть” вы Елизавету Кускову, историка литературы Семена Венгерова и “историософа” Николая Кареева: и эти три “коробочки” раздавят вас самих. Так что мы выметаем из избы только мертвых тараканов и “сонных” мух: но которые живы и кусаются еще — не трогаем и боимся тронуть» (КНУ, 297). И в заключение Р. делает оговорку: «Что я все нападаю на Венгерова и Кареева. Это даже мелочно... Не говоря о том, что тут никакой нет “добродетели”» (У, 213).

А.Н.

КАРПОВ Пимен Иванович [6(18).8.1884 (по др. данным, 1897), село Турки, Рыльский уезд, Курская губ. — 23.5.1963, Москва] — писатель. В 1910, после выхода в свет его книги «Говор зорь. Страницы о народе и интеллигенции», К. писал от лица «народа» письма А.А. Блоку, Д.С. Мережковскому, Л.Н. Толстому и другим писателям как представителям враждебной ему «интеллигенции». Р. также получил от К. письмо: «Вы мне враг. Вы этого, вероятно, и сами не станете отрицать: да и вообще все, кого я знаю из интеллигентов, — враги мне <...> Но в Вас я, мы, народ, видим два бытия: интеллигентское и народное. Интеллигентское в Вас то, что Вы пишете в “Новом Времени”, сознательно замалчиваете трагедию народа-землероба <...> Вот что, Василий Васильевич, бросьте вы эту дрянь “Новое Время” и “Русское Слово” Я случайно прочитал вашу маленькую статью “Тоголь” и узнал, что так может писать только гениальный человек. Поэтому прошу Вас бросить газетную работу и написать какую-нибудь капитальную книгу, могущую прославить *Россию* и русский народ. По рождению вы не барин, а мужик <...> Поступайте, как говорит Вам совесть, но вы не имеете права губить в себе народный гений, если будете писать по заказу для “Нового Времени” и “Русского Слова” — не избежите общей участи интеллигенции. Я предупредил Вас. Крестьянин Пимен Карпов» (цит. по: Куняев Сергей. Певец светлого града // Карпов П. Пламень. Русский ковчег. М., 1991. С. 8–9). К. встречался с Р. в редакции «Нового Времени» накануне выхода в свет своего романа «Пламень. Из жизни и веры хлеборобов» (1913) и просил его написать на роман рецензию, чтобы он избежал судьбы книги «Говор зорь», обойденной вниманием читателей. Р. обещал, но написал рецензию только в начале 1914, когда роман «Пламень» «из жизни изуверов-фантазеров» уже вышел и получил скандальное признание. При этом рецензия Р. была не на нашумевший и подвергшийся аресту роман, а на первую книгу К. Показательно, что рецензия Р. на книгу «Говор зорь», которую он называет «замечательной, смелой и благородной» («Пимен Карпов и его “Говор зорь”» // Прямой Путь. 1914. № 3. С. 150; НФП, 253), была единственной его публикацией в журнале Союза Михаила Архангела. По мнению Р., «Говор зорь», в котором автор высказывает только свою «крестьянскую душу», «лучше известных “Вех”», написанных «интеллигентными евреями и немцами»: «Хлебороб Пимен Карпов говорит то же, но ярче, резче, главное — яснее» (НФП, 254). Р. писал, что эта небольшая и страстная книжка «бурлит, кипит, рвется» (НФП, 256). Р. описал внешний вид К.: «В сущности очень интересный молодой человек: среднего роста, с чуть-чуть пробивающимися усиками и бородой, лет 19-ти, едва ли больше, плотный, сильный, угрюмый, молчаливый, внутренне приветливый» (НФП, 255). Р. считает, что крик автора: «“Интеллигенция — позитивным и безбожным своим учением отняла у народа веру в Бога, религию, — и это хуже, чем отнятие имущества у народа”, — многозначителен и попадает в самое сердце интеллигенции» (НФП, 259). Вместе с тем он отмечает, что книга К. «переполнена какого-то далекого и мучительного завидования» (НФП, 259–260).

В.А. Фатеев

КАРТАШЁВ Антон Владимирович [11(23).7.1875, Киштыма, Екатеринбургский уезд, Пермская губ. — 10.9.1960, Ментон, Франция] — богослов, историк церкви, председатель *Религиозно-философского общества* (РФО) с 1909. В эмиграции с января 1919. В статье «На чтении гг. Бердяева и Тернавцева» (НВ. 1909. 12 марта) Р. дал характеристику К.: «Тонкая, изящная, умная речь А.В. Карташова очаровывала, пока слушалась; и — не-

8 устава Общества: объявить Совету о своем выбытии. В письме на имя К., отклоняя «выбытие», Р. предпочитает ему формальное исключение, «так как это представляет свой интерес» (ЗПРФО, 5–6). Повторное письмо председатель Общества направил Р. 30 ноября 1913, предлагая ему прислать официальное письмо с требованием формального исключения из членов Общества. Ответа не последовало. На заседании Совета РФО от 11 декабря 1913 решено было поставить вопрос об исключении Р. на ближайшем общем собрании действительных членов. Согласно параграфу 26 устава Общества, на закрытом заседании должно присутствовать не менее двух третей действительных членов: 26 января 1914 в ходе обсуждения поставленного вопроса К. снова взял слово и к сказанному им ранее добавил письменное мнение *П.Б. Струве* о Р. как о человеке «невменяемом», а потому и не подлежащем суду; «отсутствует у Общества и основное субъективное условие разумного суда над человеком». К тому же и «объективного условия разумного суда» у него нет, поскольку Общество не наделено дисциплинарно-судебными функциями. С подачей этого мнения Струве заявляет о своем выходе из состава Совета. Зачитывает К. и особое мнение другого члена Совета, А.Н. Чеботаревской, которая в своей записке также призывает собрание «воздержаться от дальнейших шагов по исключению В.В. Розанова». Утверждение авторов записок о неподсудности литератора как личности К. квалифицирует как недоразумение, предлагая судить Р. «за его общественную деятельность», утверждая «в нем достоинство вменяемой и ответственной за свои поступки личности» (Там же, 23–25). В дальнейшем К. пришлось отвечать на реплику протоиерея М.А. Лисицына, усомнившегося в полноправности некоторых лиц, собравшихся на исключение Р. С именными повестками собралось 53 действительных члена Общества, остальные, члены-соперники, участвуют в общем собрании с совещательным голосом (Там же, 35). Речь К. переломила ситуацию: мнения об исключении Р. из Общества, звучавшие из уст выступавших на протяжении нескольких часов нерешительно и глухо, после его выступления получили большинство (41 голос против 10, при 2 воздержавшихся). В своей речи К. сказал: «Стараются не судить Розанова те, кому от него ни жарко, ни холодно, люди к нему равнодушные, ничем ни в настоящем, ни в прошедшем с ним не связанные» (Там же, 52). На результатах голосования сказалось явное и негласное давление К., оказанное им на членов петербургского РФО. В РГАЛИ хранятся письма К. к Р. за 1903–1910 (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 482).

А.Н. Стружёв

КАТКОВ Михаил Никифорович [1(13).2.1818, Москва — 20.7(1.8).1887, Знаменское, Подольский уезд, Московская губ.] — публицист, издатель. Р. ценил К. как «страстного консерватора» (КНУ, 181), каким он стал с 1863. Но вместе с тем считал, что *консерватизм* не приспособился к условиям российского общества. «Весь наш консерватизм есть какие-то ископаемые допотопные чудовища... «совершенно не приспособленные к условиям новейшего существования» И посему вымирающие... «Вымирающее» — Катков. «Вымирающее» — *Кон. Леонтьев*. «Вымирающее» — *Ап. Григорьев*



А.В. Карташёв

медленно забывалась <...> Зависит это от крайней неопределенности религиозной личности А.В. Карташова, одного из самых видных основателей общества и собраний. Все у него идет не из природы, не из души, а из начитанности, образования и тонкого ума, который может повернуть орудия образованности и так, и этак» (СМР, 95). К. был одним из инициаторов исключения Р. из числа членов Общества. На общем собрании РФО 26 января 1914 выступал с обличительной речью против Р., которая повлияла на результаты голосования. Открывая собрание, К. ознакомил действительных членов и членов-сотрудников с перепиской Совета общества, в частности с постановлением от 14 ноября 1913, извещавшим Р. о его недавнем выступлении в печати, «не совместимом с общественной порядочностью», что делает «невозможной совместную работу с ним в одном и том же общественном деле». От лица Совета общества было предложено Р. поступить в соответствии с параграфом

и Н. Страхов» (СХР, 214). К 10-летию смерти К. появилась статья Р. «Катков «как государственный человек»» (вошла позднее в «Литературные очерки»), в которой Р. не соглашался с хвалебной статьей редактора «Московских Ведомостей» В.А. Грингмута «Памяти М.Н. Каткова.



М.Н. Катков

1887 — 20 июля 1897» (РВ. 1897. № 8) и отмечал «мечтательность ума, неопытность сердца, незнание действительности» (ЛВИ, 264) у К., с которым был знаком. Еще в 1891 Р. в отвергнутой «Московскими Ведомостями» статье о К. предложил соорудить ему памятник. По поручению газеты Ю. Говоруха-Отрок сообщил Р. тогда, что из такой «агитации <...> кроме скандала ничего не выйдет. Слишком не готово к этому общество» (ЛИ. СПб., 1913. С. 448–449). 27 февраля 1914 Р. писал в «Мимолетном»: «...смертная часть Каткова в том, что Р. никому не был дорог... “Нужен” — да; “полезен” — да; “великие таланты ума и пера” — да! да! и да! “Великий стиль”: — о, конечно, да. И все эти вещи не образовали даже крупницы бессмертия потому, что как лицо и лицу он никому не был дорог <...> В сущности, у русских это был единственный оратор “в пере” Как известно, лично и конкретно он плохо говорил. Но он врожденно что бы ни делал, ни говорил, ни думал “про себя” — делал и говорил и думал ораторски. Он был внутренне весь оратор, — сидя у себя в редакторском кабинете один, за лампой с зеленым абажуром <...> Если газетам для чего-нибудь стоило родиться, то только для Каткова, т.е. чтобы мог осуществиться Катков <...> Катков — один у нас. И, м.б., он ни у кого не повторится. Место его, без всякого уменьшения, около плеча — возле Демосфена, и неизмеримо выше, нежели место Цицерона и, может

быть, Питта. В нем было настоящее величие ума, характера и всей фигуры; он был постоянно серьезен. Шутки, даже улыбки, — нельзя себе представить у Каткова» (КНУ, 231–232). 16 июля 1914 Р. продолжил характеристику К.: «В Каткове было нечто непереносимо сухое. Помилуйте, — о человеке нельзя рассказать никакого анекдота: что же это за человек? Ни одного приключения — ни любовного и никакого. Томительность — пустынная <...> Я даже не понимаю, как будет введена глава “О Каткове” в “Истории русской словесности” Нельзя вообразить, представить. Не в этом ли суть, что взор Каткова был фиксирован на правительстве, а не на душе человеческой. А ведь “правительства” — так переходящи <...> Ужасная участь. А все оттого, что без анекдота. Без веселости, без “физиогномии” Маска — ужасная маска, гипсовая маска. И она рассыпалась» (Там же, 467–469). Для Р. всегда оставались памятными университетские впечатления об имени К.: «Конечно, нет в России грамотного человека, который при имени “Катков” выразил бы на лице недоумение, незнание. Имя его есть гром и доселе. Но какой-то глухой, странный, особенный и безличный <...> Помню в университете впечатление: профессору, чуть ли не Троицкому, пришлось упомянуть имя “Катков” “Напр., тот-то, тот-то, Катков и еще другие” Мы, студенты, все вздрогнули. И я подумал: — Его никто не видал. — Он был мифом, “богом” и горою уже в свое время. Он был современником нам, и “его никто никогда не видел” Это-то и сообщило ему таинственность, что он наполнял собою улицы, говоры, газеты, журналы; и не было человека, который бы сказал: “Шел туда-то и встретил Каткова”, “был на вокзале — и увидел, как прошел к вагону Катков” “Прошел к вагону” слишком по-человечески: а Катков был “не человек” Гора. Огромная. Гремит. Все слышат. Лица никто не видел. Удивительно. Но никто не рыдает. Не плачет. Не вспоминает. Горько. Горько и страшно» (М, 292–293).

А.Н.

КЕДРИНСКИЙ Александр Антонович — учитель Елецкой мужской гимназии. К моменту переезда Р. в Елец в 1887 уже семь лет преподавал древние языки, был членом педсовета. С К., как с более опытным товарищем по службе Р. советовался после оскорбительной выходки гимназиста Михаила Пришвина. Решением педагогического совета Пришвин был исключен из Елецкой гимназии без права поступления в другое учебное заведение. Через 20 лет, уже как известные писатели Пришвин и Р. встретились вновь. «Я не мог иначе поступить: или вы, или я, — объяснил Розанов. — Я посоветовался с Кедринским, он сказал: “Напишите докладную записку” Я написал. Вас убрали в 24 часа. Это был единственный случай. Голубчик Пришвин, простите меня, только это пошло вам на пользу!» (PRO, 1, 104). Сохранился формулярный список о службе К.: «Состоящий в VIII классе Александр Антонович Кедринский, учитель древних языков Елецкой гимназии, 29 лет, православного вероисповедания, знаков отличия не имеет, жалованья получает в году 750 руб., имения нет, из духовного звания. Окончил курс наук в Императорском С.-Петербургском историко-филологическом институте с предоставлением звания учителя гимназии. Г. Управляющим Министер-

ством народного просвещения от 2 июня 1880 года № 6665 назначен учителем языков в Елецкую гимназию, с 1880 июня 4 дня с обязательством прослужить по ведомству Министерства народного просвещения не менее шести лет. Получил не в зачет жалования 250 рублей. Женат на вдове после первого брака Марии Павловне Арибт» (ГАЛО, Ф. 119. Оп. 1. Ед. хр. 677). По воспоминаниям П.Д. Первова, К. в последующем работал директором гимназии (PRO, 1, 89).

В.П. Горлов

КЕ́РЕНСКИЙ Александр Федорович [22.4(4.5).1881, Симбирск — 11.6.1970, Нью-Йорк] — юрист, депутат 4-й Государственной думы, министр Временного правительства, с 8 июля 1917 глава Временного правительства. Оценка «завывательных речей» (СХР, 338) К. весьма характерна для Р.: «Потом завыл этот Керенский, до того дурак, что я такого не слыхивал, и в литературном обществе было неприлично слушать...» (КНУ, 205). Наиболее яркую зарисовку деятельности К. как председателя фракции трудовиков в Гос. думе и во время заседаний *Религиозно-философского общества* Р. дает 3 июня 1914: «...и вот, серьезно согнувшись и как бы совершая “что-то государственное”, Керенский выносит ночную вазу в спальню близкого ему человека. И фанатично ищет, фиксируя глаз на пункте, куда должен вылить ее содержимое. Что в душе его, о чем он думает? У него нет более сложного содержания, чем “вот ваза” и “я должен из нее вылить” И он серьезен и трагичен. Он никогда не может догадаться, что это “только ваза” и что “вылить” ничего особенного не представляет собою: но относится к этому как губернатор к губернаторству или пастор к воскресной проповеди. Это впечатление легло на меня неизгладимо в рел. фил. обществе (дело *Бейлсса*). Он все наклонялся и рассекал воздух рукой. Говорил в “до” (одну ноту). И мысль: “человек” и “ночная ваза”, “супруг несет ночную вазу” — связалось у меня. И когда он говорил “в до”: “*Европа* нам не позволит” или “мы не захотим”, я шептал про себя: “Не пролей! не пролей!”» (КНУ, 386). Главная черта К., в представлении Р., — безликость и «аппетит к парламентаризму»: «Играет роль не *лицо*, а безличность, и Керенский — ее выразитель. Он “серая шинель” парламента и парламентаризма, — которая “сделала все походы” и привела дело к вожделенной победе <...> Керенский есть общая возможность парламента и парламентаризма, и это гораздо важнее, чем “был Кромвель” “Был” и “не стало”, “был” и “прошло”: а Керенский никогда не пройдет, а с ним вместе никогда не пройдет внутренний *аппетит* к парламенту, внутренняя жажда его, которую невозможно наполнить, как бочку Данаид» (М, 279). Р. называет К. «монахом парламентаризма», для которого не существует ничего, кроме «общественного интереса». Беспомощность К., приведшая к краху Временного правительства, была отмечена Р. еще в 1915: «Мне кажется, самое роковое для Керенского было бы предложить очинить перо. По подробностям этого дела и необходимости всмотреться — он разбил бы голову о перо и все-таки не сумел бы его очинить. Ведь он, бедный, ничего не умеет и ничего не видит. Он только кричит. Причем пальцем перед собою рассекает воздух и наклоняется вперед как маятник» (М, 281). После *Фев-*

ральской революции К. вызвал некоторые симпатии Р отменив *смертную казнь*: «О, как это было необыкновенно, странно, как было по-республикански, и уж не по-французски-республикански, а по-русски-республикански. Прямо — громовое слово русской республики, я думаю — даже единственное и последнее. Это было совершенно ново и единственно, потому что все республики и все *революции* залиты *кровью*, и для нашей так же точно ожидался этот “канон”» (М, 377). И тогда же, летом 1917 в статье «Революционная Обломовка», ошущая беспомощность К., Р. записывает приметы *времени*: «По телефону тоже звонят, что “ничего не делается и последняя уже надежда на Керенского” Керенского, как известно, уже подозревают в диктаторских намерениях, а брошюры на Невском зовут его “сыном русской революции” Он очень красив. Керенский много ездит и говорит, но не стреляет; и в положении “нестрелятеля” не напоминает ни *Наполеона*, ни диктатора» (М, 390).

А.Н.

КИРЕ́ЕВ Александр Алексеевич [23.10(4.11).1833, Москва — 13(26).7.1910, Павловск, Петербургская губ.] — генерал от кавалерии, публицист славянофильской ориентации. Участник *Религиозных философских собраний* (РФС). Р. познакомился с К. еще *студентом*, в 1880, во время визита к проф. *истории В.И. Герье*. В 1890–1900-х Р. и К. нередко печатались в одних и тех же консервативных изданиях («*Русский Вестник*», «*Русское Обозрение*», «*Новое Время*» и др.). Сочинения К., включая его полемику с Р., собраны в изд.: Киреев А.А. Сочинения. СПб., 1911. Т. 1–2. Р. опубликовал рецензию «По поводу старокатолического вопроса» (НВип. 1898. 13 мая. С. 7–8), в которой охарактеризовал взгляды К., находившего у старокатоликов ряд близких к *православию* черт (прежде всего отрицание *догмата* о папской непогрешимости). При этом Р. отметил: «Всё, что выходит из-под пера А. Киреева, производит светлое впечатление нравственной чистоты, лежащей под его строками». Тем не менее в дальнейшем он нередко полемизировали в *печати*. На статью «К старокатолическому движению» (НВ. 1900. 21 окт.) — очередное выступление К. в защиту старокатоликов — Р. ответил полемической заметкой «Из-за чего сыр-бор загорелся? (О ген. А. Кирееве и его хлопотах)», которая предназначалась в «Новое Время», но была снята с набора (впервые: ОЦС). Обсуждая в связи со взглядами К. на старокатолическое движение вопрос об авторитете и о католическом догмате папской непогрешимости, Р. допускает основательность католических притязаний на первенство: «Папа принял все Спасителево, он пастырь *мира*: и глаголов об этом самом не выжжешь из *Евангелия* <...> Ведь папа “непогрешим” не как Пий, не как Лев, не как *человек* и имя, но как сан и должность, как миссия и апостольство, “*ex cathedra*”» (ОЦС, 67). Выступив на рубеже веков со статьями о *браке* и *поле*, Р. вел обширную полемику. К. также включился в нее (Киреев А. Брак или сожительство (По поводу полемики о. прот. *Дёрнова* с г. Розановым // НВ. 1900. 12 дек.), оспаривая положения розановских статей: «Если бы, паче чаяния предлагаемые им меры были бы приняты к руководству, они несомненно привели бы не к улучшению брачных отношений, к упразднению брака, а стало быть, и к полному одичанию *обще-*

ства». При этом К. утверждал: «И тем не менее, читая статьи г. Розанова, чувствуешь, что в них есть некоторая доля правды, если не в положительной, то в отрицательной их стороне; в них чувствуется справедливый протест против несомненного зла, против современного положения дел, несомненно неудовлетворительного, требующего радикального лечения. Беда лишь в том, что г. Розанов, второлях, для излечения несомненной и тяжелой болезни, хватается за лекарство куда не годное, гораздо худшее самой болезни, он бежит, как говорится, “из огня да в полымя”». Завершилась дискуссия о браке статьей К. «Последний ответ г-ну Розанову по вопросу о браке» (НВ. 1900. 22 дек.), в которой он утверждал, что в соответствии со словами Спасителя («Что Бог сочетал, того человек да не разлучает») единственная причина для развода — прелюбодеяние. К. встречался с Р. и как участник РФС (выступал на 20-м заседании при обсуждении вопроса о догматическом учении Церкви. — НП. 1903. № 12). 16 февр. 1902 Р. опубликовал статью «Папская “непогрешимость” как орудие реформации без революции», в которой, споря с К. («Новая энциклика папы» // НВ. 1902. 7 янв.), охарактеризовал его как «осторожного охранительного писателя» (ОЦС, 263). В тот же период К. написал, что Р. «заразился католичеством»: «Как для исправления наших церковных неладов некоторые верующие люди (между прочим, покойный Владимир Соловьёв и благополучно здравствующий В.В. Розанов) указывают на Запад (на Рим), так и для исправления наших кричащих неладов политических нам зачастую указывают на Запад (на правовое государство)» (Киреев А.А. Письмо в редакцию // НВ. 1902. 12 марта). Р. в заметке «Практическое указание» выразил 16 марта несогласие с этим мнением: «Все эти подозрения более чем неосновательны. Италия, которую я хотел бы еще раз посмотреть, так сказать, “отворила двери” моего религиозного созерцания, но только отворила, а не повлекла куда-нибудь. Стало просторнее на душе <...> Но родную русскую березку в сердце носил, т.е. не забывал, что я русский и что каждый человек имеет только одну родину» (ОЦС, 310; СХ, 125). очередной виток полемики между К. и Р. по вопросу брака развернулся в 1904, в связи с принятым Синодом новым законом, разрешающим лицам, уличенным в прелюбодеянии, вступать в новый брак после раскаяния и наложения епитимий. По поводу статьи Р. «Парализованный закон» (НВ. 1904. 8 окт.), в которой выражалось неодобрение автора недостаточностью принятых мер, К. прислал в редакцию полемическую заметку «Гражданский брак. Письмо в редакцию» (НВ. 1904. 18 окт.), где критиковал новый закон, наоборот, как излишне либеральный и нарушающий «указания самого Спасителя», запретившего прелюбодеям вступать в новый брак. Р. откликнулся статьей «Волнующие вопросы» (НВ. 1904. 28 окт.), в которой, не соглашаясь с чрезмерно строгим мнением К., писал: «Г. Киреев вечно сражается за старокатоликов и против папства и пап, а об семье пишет, как папист» (ВДЯ, 322). В своем ответе «Еще о “волнующем” вопросе (о браке разведенных супругов)» (НВ. 1904. 13 нояб.) К. утверждал о Р., что «с евангельской истиной он несомненно в разладе». Обмен полемическими уколами между Р. и К. о старокатолическом движении и о браке продолжался и позже (Киреев А.

Младокатолицизм и старокатолицизм // НВ. 1906. 19 сент.; Розанов В. «Старо»-католики и просто-католики // НВ. 1906. 24 сент.; РГО). К. оспаривал мнение Р., что у старокатоликов отсутствует религиозное творчество, а Р. доказывал, что все живое у старокатоликов — «просто католическое» (РГО, 164) и назвал их «мещанами в рясах» (РГО, 166). Помимо старокатоличества, К. затрагивал в своих статьях и тему антихристианских мотивов у Р. (Киреев А. О рабстве в церкви (письмо в редакцию) // НВ. 1906. 1 окт.). Р. считал К. достойным полемистом, так как «сам он во многочисленных полемиках, им выдержанных, неизменно сохранял уверенность в отсутствие заподозривания у противника дурных, нечистых мотивов». По этой причине спор с К., «если и не приведет к окончательному успокоительному результату, может выяснить много интересных, привходящих подробностей» (ВДЯ, 321). В то же время в письме 1907 к Н.Н. Глубоковскому (ПИРЛ, 36) Р. упомянул К., наряду с Н.М. Гринякиным, М.И. Горчаковым и др., как представителей бездушного и жесткого направления в Церкви. В прошении к митрополиту Антонию Р., в связи с запретом разошедшимся супругам вторично вступать в брак, упомянул мнение К.: «Ген. Киреев это формулировал (в печатной полемике со мною): “Ах, что же делать? не нарушат же точные слова Спасителя (о разводе). Терпи”» (ОСЖС, 701). Полемизировали Р. и К. также и по вопросу созыва поместного собора. К. не соглашался с мнением Р., что собор не своевременен (Киреев А. К вопросу о соборах (письмо в редакцию) // НВ. 1908. 30 нояб.). В том же году К. опубликовал статью «О браке с иноверцами» (НВ. 1908. 5 авг.), в которой оспаривал мнение Р. («Смешанные браки» // НВ. 1908. 3 авг.; ВНС). Р. иронизировал, что статья К. «доставит большое удовольствие ксендзам и бискупам» <католическим епископам>. В письме от 26 июля 1895 к С.А. Рачинскому Р. приводит высказывание Н.Н. Страхова о К.: «Превосходнейшей души человек, но не больших способностей» (ПР. 1895. Июль—авг. № 56. Л. 128).

В.А. Фатеев

КИРЕЕВСКИЙ Иван Васильевич [22.3(3.4).1806, Москва — 11(23).6.1856, Петербург] — философ-славянофил, критик, публицист, брат П.В. Киреевского. Р. относит К. к основателям славянофильской доктрины, проводившим в своих главных трудах «самые общие разграничивающие черты между культурным сложением западноевропейского мира и мира восточно-славянского, в частности русского» (ЛВИ, 246). Отмечая первенство А.С. Хомякова среди славянофилов «в религиозно-церковных объяснениях», Р. считает возможным поставить рядом лишь К., однако мысль Хомякова «была гораздо сложнее и обширнее, чем как она вызревала у Киреевского, умершего рано и писавшего немного» (ОПП, 464). «Собранию сочинений» К., изданному М.О. Гершензоном в 1911, Р. посвятил статью «И.В. Киреевский и Герцен» (РС. 1911. 15 мая), в которой оценил издание как «превосходное» и воссоздающее «“лицо” человека, о котором приходилось столько думать и которого любил уже давно» (ЛВИ, 560). Р. описывает внешний вид К.: «В очках, должно быть с круглыми стеклами и неуклюжих, в высоком воротнике сорочки, в более чем

старомодном полукафтани, полусюртуке, с остриженными волосами, сидит “наш друг Иван Васильевич” в большом и удобном старинном кресле <...> Нет, это лицо и голова вовсе не “необыкновенно русские”. Детальный *портрет* этот дается для того, чтобы резче противопоставить его изображению А.И. Герцена — это не обычная рецензия, а эссе в любимом Р. жанре сравнения или, точнее, противопоставления. «Смирненного» и любимого К., которого Р. называет подлинно «священным писателем» в нашей *литературе*, «родоначальником» славянофилов (ЛВИ, 561–564), он сопоставляет с прытким, остроумным, сверкающим «золотом» талантов, шумным «западником». «Герцен был прирожденный сочинитель, сидевший против него и все молчавший Киреевский был явно не сочинитель» (ЛВИ, 561). Р. воспроизводит воображаемый монолог молчаливого славянофила, обличающий самодовольного Герцена: «Вы нескромны, наглы, и легкомысленны. Вам кажется, что вы ужасно даровиты, а на самом деле вы глубоко бездарны, и золота-то в вас нет, а одна позолота... (ЛВИ, 562). Р. излагает, как бы от лица К., характерные тезисы *славянофильства* о добродетели «молчания», о том, что «корень всего мира» лежит «в святом», о «народной совести, народной нужде, народной душе» — о «Святой Руси», о «вечных звездах в истории» — совести, Боге (ЛВИ, 263). Труды К., как и других славянофилов, признает Р., в отличие от «легкого пера» Герцена не слишком удачны в литературном отношении — «вязнут в зубах». Однако популярные сочинения Герцена, где столько блеска и роскоши, «попахивают бульваром» (ЛВИ, 566), а малочитаемые сочинения славянофилов являют собой своего рода «священное писание» в *русской литературе*: «Но все их “творения”, довольно “вязкие в зубах”, в самом деле исходят из необыкновенно высокого настроения души, из какого-то священного ее восторга, обращенного к русской земле» (ЛВИ, 565). Р. заключает: «От Киреевского пошли русские одиночки... От Герцена пошла русская “общественность” (там же). В статье «Историко-литературный род Киреевских» (НВ. 1912. 9 окт.) Р., сравнивая братьев Ивана и Петра, пишет: «Иван Васильевич был старшим братом и, естественно, во всем имел инициативу в семье: книги, знакомые, философские увлечения, выбор литературных кружков — все принадлежало брату Ивану» (ПВ, 209). Но если Петр Васильевич совершил свой путь «без всякой перемены и даже оттенков перемен», то напротив, теоретик славянофильства Иван в некоторые фазы своего умственного развития был зависим от Шеллинга, да и на его литературную деятельность «имел сильное влияние» В.А. Жуковский. В братьях Киреевских Р. видит «образец» юношества начала 1830-х, которое «подняло неодолимо Московский университет на ту высоту, на которой он окажется “через десять только лет» (ПВ, 216). Р. подчеркивает разносторонность дарований Ивана, подвижность мысли, отдавая Петру предпочтение в цельности и благородстве. Р. обращался к факту преследования славянофилов, затрагивая в том числе и неудачную судьбу К., на долгие годы отлученного после закрытия «Европейца» от литературного процесса. В 1888 он писал Н.Н. Страхову: «Вы близки к Суворину: отчего вы не дадите ему мысль, чтобы он издал в “Дешевой библи.” Киреевского: “О характере просвещения Европы и о его

отношении к просвещению России”, “XIX век” и пр., а также кой-что из других писателей той же школы. Хотят распространять мысли славянофилов, а их сочинения составляют библиографическую редкость» (ЛИ, 147). Но Р. признает, что они вообще были недостаточно деятельны и что «Киреевский писал только “письма к друзьям”» (КНУ, 393). Редко издаваемые произведения славянофилов не пользовались спросом у читателей: «Из писателей нашего направления (православных) мне первому удалось добиться читаемости (книги расходятся). Это первый раз за историю литературы, за XIX век. Киреевский, изданный Кошелевым, — “лежал”, и я купил его (студентом) на распродаже у букинистов» (СХР, 251). Но сам Р. сумел оценить достоинства писателей этого направления: «Церковь есть не только корень русской культуры — это-то очевидно даже для хрестоматии Галахова, — но она есть и вершина культуры. Об этом догадался Хомяков (и Киреевские), теперь говорят об этом Фл<оренский> и Цв<етков>. Рцы — тоже. Между тем что такое в хрестоматии Галахова Хомяков, Киреевские, князь Одоевский? Даже не названы» (У, 185). И поняв, что «Гиларов-Платонов, Киреевские, Хомяков, Аксаковы» — «первые по уму в России», Р. всячески стремился приложить «свое деятельное и хитрое плечо к их успеху» (СХР, 168).

В.А. Фатеев

КИРЕЕВСКИЙ Петр Васильевич [11(23).2.1808, село Долбино, Лихвинский уезд, Калужская губ. — 25.10(6.11).1856, Киреевская Слободка близ Орла] — фольклорист, археограф, представитель раннего славянофильства, критик, публицист, брат И.В. Киреевского. В связи с выходом книги М.О. Гершензона «Образы прошлого», где была помещена статья о К., Р. написал статью «Историко-литературный род Киреевских» (НВ. 1912. 27 сент., 9 окт., 18 окт.), посвященную преимущественно собирателю народных песен К. Остановившись на родовых корнях братьев-славянофилов, Р. сопоставляет их между собой. Он передает мнение коллеги по Государственному контролю Н.П. Аксакова, лично знавшего Киреевских, что Петр был даже «замечательнее своего брата Ивана как по редкости совершенно праведной жизни, так и по образованию, не менее обширному» (ПВ, 208). Идя по стопам брата и повторяя его увлечение, Петр «входил в то же самое русло гораздо спокойнее и самостоятельнее» (ПВ, 209). Если Иван поддавался различным философским увлечениям, то «Петр был защищен фигурой Ивана от слишком сильного приобая волн, — и вышел цельнее и чище» (там же). По мнению Р., «брат Иван был подвижнее Петра, живет мыслью и, так сказать, одареннее впечатлительностью; Петр же был замкнут и неуклюж. Иван был создан для многого, Петр для одного» (ПВ, 214–215). Р. показывает, как «отдаление от всего родного» во время учебы в Германии способствовало развитию «глубокого религиозного чувства» и патриотического настроения К.: «Только побывавши в Германии, вполне понимаешь важное значение русского народа, свежесть и гибкость его способностей, его одушевленность» (ПВ, 215). Мысль о важности собирания русского песенного фольклора родилась у К. именно в студенческие годы в Германии. Он поставил перед собой задачу «восстановить первоначальный, древний дух русс-

кого народа — восстановить его по непререкаемым *намятникам*, а не через воображение или догадку, наконец, дать документы, где было бы видно течение этого духа и отражение в нем всей *природы*» (ПВ, 216). Догадка о том, что «размеренное песенное слово» хранит в себе «первоначальный народный дух», окончательно определила задачу, выполнению которой он посвятил «всю последующую жизнь». К. «своим тихим одушевлением» сумел заразить и окружающих, собиравших для него произведения народного *творчества*. «Таким образом, — пишет Р., — эта тихая и скромная *душа*, сделалась источником огромного движения» (ПВ, 218). По мнению Р., К. «так же начал эпоху “Возрождения духовной Руси”, — основной Руси, — как гуманисты начали “Возрождение греко-римского гения”» (там же). Р. утверждает, что К. пробудил в отечественных историках типа *В.О. Ключевского* и «во всех других преемниках и продолжателях своих русское обоняние всех *вещей*, русское осязание всех вещей, русский вкус ко всему» (ПВ, 219). За огромный благородный *труд* по собиранию народного творчества К., однако, не только не был увенчан, подобно Петрарке, но даже показался *властям* подозрительным, совершающим хождение по *деревням* «в целях смуты». Кроме того, сетует Р., *цензура* не пропускала славянофильские сборники, содержавшие народные песни, в *печать* (при жизни К. было напечатано лишь 71 песня). «Трогательной» была кончина К.: он не мог перенести преждевременной *смерти* старшего брата. Р. заключает: «Так погасла эта прекраснейшая лампада *русской литературы*. Она горела не своим светом: в ней горело масло всей Руси, из нее светит русский свет» (ПВ, 221).

В.А. Фатеев

КЛЮЕВ Николай Алексеевич [10(22).10.1884, дер. Коштуги, Вытегорский уезд, Олонецкая губ. — между 23 и 25.10.1937, Томск, расстрелян] — поэт. А. Блок в статье «Литературные итоги 1907 года» (ЗР. 1907. № 11–12) привел письмо к нему К. (не называя его имени). По этому поводу Р. в статье «Автор “Балаганчика” о петербургских *Религиозно-философских собраниях*» (РС. 1908. 25 янв.) заметил: «Блок выбрал в корреспонденты неудачного “мужичка”... Перед ним он, как рассказывают, имел вид (в письмах) “кающегося дворянина”, и тот ему написал “такое” в ответ, что-де “завидуем и ненавидим”, а другого чувства не чувствуем» (ОПП, 272). На это К. в письме к Блоку писал: «Я недоумеваю, за что бранили меня публицисты, когда я высказал Вам впечатление, оставшееся от *чтения этой книги*» (Клюев Н.А. *Словесное древо*. СПб., 2003. С. 172; речь идет о книге Блока «Нечаянная Радость»; по просьбе К. ему была послана Блоком статья Р., где речь шла о нем). 18 февраля 1917 *А.М. Ремизов* встречался с К. и вскоре познакомил его с Р. Чтобы избежать призыва в армию, К. просил Ремизова о встрече с Р., близко знавшим врача-невропатолога А.И. Карпинского, который лечил жену Р. После освидетельствования К. у Карпинского Р. писал Ремизову: «Д-р А.И. Карпинский сказал мне по телефону, что неудобно посылать самому больному Клюеву подробный диагноз его тяжелой болезни, и попросил позволения послать мне. Я вам посылаю» (Ремизов А.М. *Собр. соч.* М., 2002. Т. 7. С. 127). В комментариях к книге «*Кухня. Розановы письма*» Ремизов

вспоминал, что К. в начале 1917 «отбояривался от воинской повинности. Самому мне добраться до Карпинского трудное дело, попробовал, а В.В. он знал хорошо — лечил Варвару Димитриевну. Я отрядил Клюева с письмом к В.В., а В.В. Клюева направил с письмом к Карпинскому. И до чего это странно — Клюев “дурил” ведь докторов, а все принимали за чистую монету. Розанову Клюев не понравился: не любил он в поддевках с крестом на груди — перед *революцией* в *Петербурге* не один Клюев шеголял так крестоносцем, впрочем в революцию кресты спрятались, куда им и полагается. Неловко ж в самом деле: “Революцию и мать света” в песнях возвеличимо! прорыкать на митинге, блестя серебряным крестом на цепи серебряной. Розанову эти наряды очень не нравились: попу это полагается, а так — одна комедия!» (Там же, 561–562).

А.Н.

КЛЮЧЕВСКИЙ Василий Осипович [16(28).1.1841, Воскресенское, Пензенский уезд, Пензенская губ. — 12(25).5.1911, Москва] — историк, профессор *Московского университета* (1879–1911), академик, профессор (1871–1906) русской *истории* Московской духовной академии (МДА). К. преподавал на историко-филологическом факультете Московского университета, когда там учился Р. В многочисленных статьях, посвященных ученому, Р. воссоздал *портрет* одного из наиболее ценных им наставников. Р. опубликовал первую статью о К. в 1892, посвятив ее публичной лекции К. «Добрые люди древней Руси» («В.О. Ключевский о древней Руси» // РВ. 1892. № 7; перепеч. в кн.: «*Религия и культура*» под названием «Черты характера древней Руси»). В этой статье Р. подчеркивает умение историка на конкретном «обрывке древней русской *жизни*» раскрыть «пережитое в его целом» (РФК, 61). В статье «Около *науки* и *университета* (до повода 30-летия ученой службы В.О. Ключевского)» (РС. 1909. 12 дек.), основанной на личных впечатлениях, Р. воссоздает живой портрет выдающегося историка, пришедшего на смену спокойному, уравновешенному *С.М. Соловьёву*, который «говорил докторальным повелительным *тоном* обыкновенные *истины*» (СМР, 405). К., приглашенный «от Троице-Сергия», был совершенно иной: «И, вот, неуклюжей, раскосой и торопливой походкой вошел новый профессор, и не столько сел, сколько уместился на кафедре, живя на ней, двигаясь, поворачиваясь и корпусом, и головой, и руками. Есть фигуры летучие, есть фигуры стоячие, есть фигуры сидячие. В.О. Ключевский был фигура ползучая, стелющаяся, цепляющаяся <...> И он полз руками, фигурой, больше всего *мыслью*, полз *голосом* <...> Ни *темы*, ни хода мыслей “пробной лекции” я не помню: меня заняло в ней другое: строение мысли, строение фразы <...> Ключевский нередко останавливался (на мгновение), чтобы перестроить уже произнесенную фразу <...> когда фраза завершалась, — это была художественная, литературная фраза, когда могла сейчас лечь под печатный станок. Медленно, с какой-то натугой, со странной внутренней работой вам сейчас на кафедре он “печатал” слова, строки, предложения, всю характеристику *лица*, или эпохи, давал ответ на вопрос или недоумение *науки* или ученых. Это было необыкновенно» (СМР, 407). Р. отметил, что «чтение его было полно оттенков, рету-

ши; нередко (в отношении исторических лиц) оно звучало тонкой и решительной иронией: общий привкус речи был шуточный, подсмеивающийся». По мнению Р., лучшие качества К. были обусловлены соединением в нем светского образования с церковным: «В университет с ним вошла духовная академия, в ее идеальном, лучшем выражении. Сущность и особенность “Ключевского в Москве” заключалась в высшем и, может быть, неповторимом слиянии в одном лице традиции и духа русского церковного просвещения, бытового, народного, религиозного, — с просвещением государственным, светским, общественным, вольным». К. «совершенно заслонил собою» память Соловьёва, и неудивительно, что «через



В.О. Ключевский

2–3 лекции его уже слушал весь факультет, всякий, кто мог». Р. подчеркивает, что К. привнес с собой в университет не только знания, но и любовь к отечественной истории: «Русская порода, кусок драгоценной русской породы — вот Ключевский. Я сравнил его с лианою, с повилюкою: цеплялся руками, фигурой, умною головой, внимательной, любящей душой, — он 30 лет растет и ползет по старой русской стене, залезая своими присосками во все щелочки, во все ее скважины... И никто так, как он, не знает, и никто так, как он, не любит эти старые священные стены». В статье «Гоголевские дни в Москве» (1909) Р. сравнивает открытие памятника Гоголю с памятным событием открытия памятника Пушкину, когда выступали Достоевский, Тургенев, Островский и другие видные писатели, и считает: «Кто мог бы скрасить празднество — это Ключевский... Выслушать взгляд Ключевского на Гоголя — это было бы целое событие. Бог его не дал нам...» (СХ, 298). По случаю кончины историка Р. опубликовал в 1911 два некролога: «Памятка о Ключевском» (НВ. 1911. 20 мая), «Памяти В.О. Ключевского» (РС. 1911. 15 мая; ТПРН). Р. считал, что К.

«соединил все качества, которые требуются для идеального наставника» (ЛВИ, 567). Голос его был «тонкий, резкий, несколько женский», ум «вовсе не гладкий, не летучий, а скорее цепляющийся за свой предмет, и цепляющийся с такою силою, изгибистостью и приноровленностью, что уже нельзя было отличить субъекта от объекта, разделить историка от истории». К. «был монах-профессор, живший в своей науке, как в келье, из которой никуда не уходил, никогда не имел ни явного, ни затаенного желания куда-нибудь переступить, был ею счастлив, был ею сыт и напоен и как келья светится своим обитателем, так и Ключевский осветил всю русскую историю своею любящею личностью» (там же). По мнению Р., другие видные отечественные историки — «слишком великолепный» Карамзин, изъяснявший «тело России», но не коснувшийся «души ее» Соловьёв, и Костомаров, в котором «историк разжигивался беллетристом» (Там же, 568), — не соответствовали полностью русской истории. Придя в университет, К. покорила их себе всех умом, мастерством, изумительным русским талантом и естественно «вырос в коренного русского историка, — по справедливости оттеснив в разряд чего-то искусственного всех историков до себя» (Там же, 570). Р. особенно ценит в К. это любящее внимание к русской истории, и «его нельзя было бы отнять от русской истории, как ребенка от мамы или мамку от ребенка» (Там же, 572). Теплота, живость — главные качества характера К. — «нельзя представить его сонным, вялым, недейственным». Р. особо отмечает «художественный глаз, художественный вкус» К., а также «отсутствие в нем жажды славы или известности» (Там же, 573). В 1912, через год после кончины историка, Р. написал статью «Годовщина В.О. Ключевского» (НВ. 1912. 16 мая), в которой отнес К. к «плеяде звезд» наряду с Ф.И. Буслаевым, Н.С. Тихонравовым и «лучшим церковным историком в XIX веке» Е.Е. Голубинским. К., считает Р., «не был историком государственным», а «великорусским историком-бытовиком» (ПВ, 101). Знание повседневной жизни народа, среди которого он провел детство, «согрело» его «Курс русской истории». В результате «русская история» и «Ключевский» слились, и понятие первой неотделимо от образа второго» (ПВ, 102). В 1916 Р. в трех статьях в «Колоколе» высказывается о К. Рассматривая рецензию П.Б. Струве на юбилейное издание МДА «У Троицы в Академии» (1914), Р. заявил, что К. создан и воспитан «духовной» или «клерикальной» стихией» и признал его преимущество перед С.М. Соловьёвым: «Ключевский как-то удался, тогда как Соловьёв не очень удался: т.е. на Ключевского легло и осталось гораздо больше специфически духовного, специфически даже семинарского отсвета» («Струве о духовном сословии и духовной школе» // К. 1916. 8 янв.). Во второй статье Р. воспроизводит и по-своему оценивает приведенное Струве суждение К. о М. Горьком: «Горький — это пропаганда, а пропаганда — не литература. Горький пришелся по плечу обществу. У Горького вовсе неталант, однопыльное воображение» («В.О. Ключевский о М. Горьком» // К. 1916. 15 янв.). Р. называет это «органически консервативное» суждение К., не приемлющее «босаячества» Г., «замечательным» и не соглашающегося со Струве, который посчитал высказывание К. «пристрастным и несправедливым мнением» (ВЧВ, 47). Свою

следующую публикацию в «Колоколе» Р. посвятил непосредственно К. Он пишет, что читал весь вечер К. и опять удивлялся, «что за ум, вкус и *благородство* в отношении к русской истории. “Оглядываясь кругом” (литература, *печать*) — думаю, что это — последний русский ум, т.е. последний из великих умов, создавших от *Ломоносова* до него, вот Ключевского, славу “русского ума”, славу — что “русские вообще не глупы”». «Со своей бодреночкой и дьячковскими волосами, ковыляющей походкой, — вспоминает Р., — выходил он на кафедру. И он творил как соловей. Как соловей “с мудростью человека в нем”, т.е. как вещая птица» (ВЧВ, 49). При этом Р. сетует: «Как мало мы от него воспользовались! О, какое бедствие (профессора мне казались недоступными), что я не “попил у него (*студентом*) чайку”!» (ВЧВ, 50). Р. считает: недостаточно сказать, что К. был «русский историк»: его место — «в рядах классической *русской литературы*, классических русских умов, поскольку проявлением ума своего он сделал не поступок, а слово». Более того, по мнению Р., место К. — среди «достопамятных людей земли русской»: «В дали моей юности какие это три столпа: Буслаев, Ключевский, Тихонравов <...> Теперь я таких людей (фигурою) не вижу. Обыкновенные» («Ключевский (К 75-летию со дня рождения В.О.Ключевского)» // К. 1916. 22 янв.; ВЧВ, 51).

В.А. Фатеев

КОВАЛЕВСКАЯ Софья Васильевна [урожд. Круковская; 3(15).1.1850, Москва — 29.1(10.2).1891, Стокгольм] — ученый-математик, прозаик. Чтобы иметь возможность заняться *наукой*, вступила в 1868 в фиктивный брак (впоследствии — фактический) с палеонтологом В.О. Ковалевским. В статье «Из старых *портретов*» (К. 1916. 5 февр.), написанной к 25-летию со дня кончины К. и 65-летию со дня ее рождения, Р. пишет о ней: «Это наиболее крупное имя, наиболее блестящая удача, наиболее поэтическая и привлекательная *судьба* во всем нашем “женском движении”, поднявшемся в 60-х годах прошлого века» (ВЧВ, 72). Обращаясь к «Воспоминаниям *детства*» К., написанным незадолго до ее смерти, Р. рассказывает о ее юных годах в имении отца-аристократа в Витебской губернии, о ее знакомстве с местным нигилистом, дававшем ей и ее сестре Анюте читать «Современник» и даже запрещенный «Колокол» *Герцена*. «Когда преображенная *девушка* решила ехать <в 17 лет> в *Петербург*, одна, чтобы учиться, отец сильно рассердился и прикрикнул, как на маленькую: “Если ты сама не понимаешь, что долг всякой порядочной девушки жить со своими родителями, пока не выйдет замуж, то спорить с глупой девчонкой я не стану” Мудрено ли, что при таких семейных условиях единственным выходом был фиктивный брак» (ВЧВ, 76). И Р. сетует, что *русская литература* не отразила реальные факты «женского движения» того времени: «Где же в “Обрыве”, “Отцах и детях”, “Нови” — Софья Ковалевская, А.П. *Философова*, Н.П. Сулова и многие, многие еще, целые толпы таких. Их было очень много таких и подобных: и никакого их ответа, отражения — у *Гончарова*, *Тургенева*, у *Писемского*, у *Лескова*» (ВЧВ, 77). Р. вспоминает старые альбомы с карточками-дагерротипами девиц и женщин 1860-х и начала 1870-х с гладко зачесанными назад волосами, платья скромные, черные или в

клетку. «Все так, как описано в милых воспоминаниях Софьи Ковалевской <...> Ах, старые альбомы не лгут. Верьте, *читатель*, больше старым альбوماм, чем старым романам» (ВЧВ, 76, 77). О многолетней работе К. в заграничных университетах Р. писал: «Софья Ковалевская, которая была вынуждена понести свой *талант* и *знания* на чужестранную почву, была бы, верно, лично счастливее, трудясь на родине, да и родина была бы несколько богаче, не растеривая она даровитых детей своих» (СВР, 625–626).

А.Н.

КОВАЛЕВСКИЙ Максим Максимович [27.8(8.9).1851, Харьков — 23.3(5.4).1916, Петроград] — историк, юрист, академик Петербургской академии наук (1914), депутат 1-й *Государственной думы*, издатель журнала «*Вестник Европы*» (1909–1916). В статье «Новые кандидаты от к.-д. в Госуд. Думу» (РС. 1907. 2 февр.) Р. дал положительную оценку деятельности К., назвав его «укращением всякой партии, к которой примкнет» (РГО, 277). «Куда бы он ни вошел, где народ, публика, — он сразу и всем виден; когда бы ни заговорил, — его все слушают. У него отсутствует “болтовня”: везде, в каждом слове — напор *мысли*, напор организации, — так хочется сказать. По всему вероятно, он сам не знает вполне своих качеств оратора, как вообще мы редко знаем “наперечет” свои качества» (РГО, 278). В *книге* Р. «*Когда начальство ушло...*» также нарисован *портрет* К., который «был гражданином “порядочного” отечества, — без всего революционного. Но так как у нас “порядочного” на верхах не было, то его и гнали, придирались к нему по кафедре, следили за лекциями и вообще мучили. На что он брыкался, — не больно, но свободно и насмешливо» (КНУ, 112). В *некрологе* «М.М. Ковалевский» (К. 1916. 17 апр.) Р. дал саркастическую *характеристику* заслуг К., который сиял «московского знаменитостью» (ВЧВ, 165). «Прекрасный собою, живой, речистый, — с прекрасными живыми глазами, в которых светился ум и была всегда *грусть*, — он особенно очаровывал *студентов* и публику на диспутах при защите ученых диссертаций. Здесь каждое его выступление оставляло впечатление <...> Собственно ученые заслуги Макс.Макс. Ковалевского незначительны, хотя он и является автором множества *трудов*. Поэтому-то он не был ни мыслителем, ни монахом-эрудитом. Он был *человеком* богатейшей восприимчивости и впечатлительности — это одно, и человеком огромной памяти, причем уже само собою им одолевались иностранные *языки* и прочитывались и запоминались длиннейшие вереницы фактов, длиннейшие полки книг, притом по разным смежным областям *знания*. Он был русским “энциклопедистом”, т.е. человеком, который “все знает”, о всем “может судить”, об очень и очень многом даже может писать, но без того, чтобы его труд осветил по-новому какую-нибудь область <...> Суть Ковалевского — что он *живал*, бодрил людей, а не то, чтобы их научал и руководил» (ВЧВ, 165–166). Вскоре Р. написал отклик на статью *П.Б. Струве* о К., опубликованную в журнале «*Русская Мысль*». Здесь Р. продолжил ту же критическую *характеристику* К.: «Он “писал” всю свою *жизнь*, но ни одна книга его — при такой “учености”, — не признана “настойною”, и даже особенно ценною, необходимою,

неизбежною, лучшею. Ни один юрист или экономист не скажет: “В этой области без Ковалевского не обойтись” Нет, “без Ковалевского” решительно можно было обойтись во всех областях. Он всю жизнь писал и много писал, — но в *обществе* не запомнилось ни одной “мысли Ковалевского”, где вдруг бы засветилось его *лицо*, загорелся бы его язык. Ни разу не случилось, чтобы его “слово” облетело *Россию*, и вот сказали бы: “Это сказал Ковалевский”» (К. 1916. 10 июня; ВЧВ, 250).

А.Н.

КОВНЕР Аркадий Григорьевич [наст. фам. и имя Ковнер Авраам-Урия; 1842, Вильна — между 21.4(4.5) и 16(29).5.1909, Ломжа, Польша] — писатель и публицист. В архиве Р. в РГБ хранится более сорока писем К. к Р. 1901–1908. В *некрологе* Р. писал: «Приготовленный родителями в равнины, этот энергичный человек не только не пошел по пути замкнутого еврейства, но на склоне лет принял *христианство*, поступил на государственную службу и обзавелся русской *семьей*, ничем не отделяя себя от русских, хотя в то же время много страдал и за положение *евреев*» (НВ. 1909. 17 мая). Лишенный журнальной трибуны, К. «высказывается на волнующие его темы в письмах к писателям и журналистам» и *голос*, его, таким образом, нередко доходил до широкой читательской аудитории (Гроссман Л. История одного еврея. М., 1999. С. 146). Отношения между литераторами начались по инициативе К., обратившегося к Р. с письмом от 20 февраля 1901, в котором обсуждалась его статья «Замечательная еврейская песнь» (Исторический Вестник. 1901. № 2). Рекомендовавшись «как бывший еврей, еврейский писатель, знающий хорошо еврейский *быт* и еврейскую *литературу*», К. указал Р. на ряд неточностей в тексте публикации. При этом он выразил автору свою и «многих и многих просвещенных и непросвещенных евреев душевную благодарность» за работу бесподобную «по *справедливости* и *беспристрастию*», вышедшую из уст «убежденных антисемитов, к которым нельзя не причислить и Вас» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3828. Ед. хр. 1. Л. 1). На удивление Р. по поводу зачисления его в разряд антисемитов К. отвечал «Вы пишете <...> что очень интересуетесь еврейством и что любите (?) самую их плоть и наряд <...> но это только “с культурной стороны”, как сами прибавляете. Евреев же в плоти и в *крови* вряд ли любите» (Гроссман, 147). К. принял в качестве комплимента определение себя Р. как человека «поразительно обрусевшего», а также теплую *характеристику* сложившихся отношений: «почти сдружились заочно» (7 окт. 1901. ОР РГБ. Ф. 249. М. 3828. Ед. хр. 1. Л. 9). Собственную русификацию К. никак не связывал со своей жеманностью на православной, и как только Р. заводил об этом речь, он не устал подчеркивать, что «жена тут ни при чем» и что крестился «по необходимости — всего 14 дней до венчания» (там же). Причины собственной национальной ассимиляции К. видел в «культурной среде» евреев и русских, в своем широком сотрудничестве в русской периодике, а также «в русской ссылке» за подлог финансовых документов. В то же время К. отмечал, что горячо принимает «к сердцу обиды евреев», защищая при этом вовсе не евреев и еврейство, а «людей-мучеников» с позиций гуманизма. С одним из первых писем он выслал Р. свою «Записку» о положении евреев,

представленную в 1897 на имя министра юстиции Н.В. Муравьева. Этот документ К. просил Р. передать и А.С. Суворину. К. особо обратил внимание Р. на два ключевых тезиса «Записки»: «О легкости слияния, ассимиляции евреев <...> и о праве русских евреев на полноправие в *России*» (там же). На возражения по поводу неточностей в публикациях о еврейском быте Р. сослался на авторитет своего друга С.К. Эфрона (*Литвина*). К. же представил Эфрона в ответном письме юдофобом, некомпетентным в еврейской *культуре*. В ответ на просьбу Р. дать оценку своей статье «*Юдаизм*» К. ответил, что на это у него «нет ничего серьезного», и выразил удивление по поводу углубленного искания Р. «“шифра” в юдаизме», а смелые и глубокомысленные выводы Р., по его мнению, были «ужасно далеки от *истины*» (Там же. Л. 10). К. стоял на твердых позициях нигилистического мировоззрения *шестидесятников*: «Нигде и ни в чем нет “секрета, тайны, шифра и чуда”». В ответ на повторную просьбу Р. высказаться о прочитанном, К. заявил, что «далеко не согласен с основными положениями <...> о сущности юдаизма», а также с тем смыслом, который Р. вкладывал в *обрезание, субботу и микву* (Там же. Л. 13–14). Р. проявил интерес к переписке К. с Ф.М. Достоевским, и неоднократно запрашивал мнение еврейского публициста о русском классике. К. отвечал в письме от 17 октября 1901, что «со многими его доводами <...> совершенно согласен — в особенности <...> что если б евреев в России было 80 милл., а христиан только 3 милл., то первые давно истребили бы последних» (Там же. Л. 15 об.). Но, по существу вопроса, К. выразил несогласие с Достоевским, высказав убеждение, что «евреи давно отбросили бы свои особенности, если б окружающие их народы приобщили их к своей культуре <...> а со временем — непременно слились бы с последними, что мы видим воочию во Франции, в *Германии* и *Италии*» (Там же. Л. 15 об.–16). К. заявил, что переписка с Р. заменила ему столь же дорогое для него общение, имевшее место с недавно скончавшимся другом, *учителем* из Омска, рекомендовавшим К. книгу Р. «*Сумерки просвещения*». Вскоре К. послал Р. *рукопись* своего атеистического трактата «Почему я не верю?» с просьбой указать, в чем «главная» его ошибка. Спустя три года Р. полностью опубликовал это произведение в своей книге «*Около церковных стен*» как антитезу «Слову о Страшном суде и о современных событиях» епископа *Антония (Храповицкого)*. Автор трактата был представлен Р. как «еврей, тот самый, который в феврале 1877 г. написал Ф.М. Достоевскому письмо в защиту евреев и которое вызвало у Достоевского, в мартовском номере “Дневника писателя”, знаменитое рассуждение о еврейском вопросе (“Еврейский вопрос”, “Pro и contra”, “Status in statu”, “Сорок веков бытия”, “Но да здравствует братство!”) <...> Еврея этого я потом видел один раз (он случайно приезжал в *Петербург*). Он во 2-й раз женат на русской, сравнительно молодой *женщине* типа “*курсистки*”, ради которой <...> принял христианство. Очень (до редкости) семейно счастлив, очень любит русский народ, страшно, как и всегда, болеет за еврейский народ <...> Но как еврейство, так и христианство, и всякую вообще *религию*, и самую религиозность он считает предрассудком, суеверием и темнотою <...> По воззрениям он — либерал с оттенком *радикализма*, — “*Писарев*” еврейства»

(ОЦС, 455–456). На запрос К. указать его «главную ошибку» в атеистическом трактате Р. отвечал, что нашел ее «в физическом представлении *вещи* не физической», а также в общей поверхностности суждений (ОЦС, 456). В 1902 Р. приглашал К. принять участие в формировании редакторского портфеля журнала «Новый Путь». В порыве интереса к сакральным таинствам иудейской религии и семейной жизни Р. высказал в одном из писем к К. идею «жениться на какой-нибудь “Хайке” <...> чтобы сродниться в крови с иудаизмом», на что последний скептически замечал, что «в таком случае надо жениться и на магометанке, и на буддистке и т.д. <...> Вы повторяете ту же неверную мысль, что я будто стал “вон каким русским” потому что женат на русской» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3828. Ед. хр. 2. Л. 5). В письме от 2 апреля 1902 К. попросил у Р. разрешения показать ему свой очерк «Единственная», в котором передавалась история личных взаимоотношений с супругой и ее нравственный облик. Касаясь взаимных представлений о психотипах, К. характеризовал Р. как «неврастеника», придерживающегося чистоты и святости в семейной жизни, о себе же заявил: «не признаю преступным так называемого *разврата* <...> то, что приятно и не вредно другому, нравственно», а свое оправдание супружеских измен он именовал не иначе как «карамазовщиной» (Там же. Л. 15). Р. попрекал корреспондента бездетностью последнего брака, на что К. отвечал ссылкой на А. Шопенгауэра «о преобладании страданий над наслаждениями» (Там же. Л. 17 об.). В письме от 10 июня 1902 К. причислил Р. к людям «высшего порядка, “четвертого измерения”», т.е. к «непогрешимым», но признался, что не разделяет взгляда Р. на половые отношения, а видит в них всего лишь «условие бытия», не находя в них «ни мистицизма, ни больших секретов» (Там же. Л. 19). В этом же письме К. упоминает о возможности для Р. прочесть свои «Записки» в *стиле* Казановы, которые он скрывал от жены у С.Н. Шубинского. Рукопись, конечно же, заинтересовала Р. Заручившись от К. доверенностью (от 22 дек. 1904) на ее получение от редактора «Исторического Вестника», Р. в 1905 взял рукопись на прочтение. О содержании «Записок» может свидетельствовать утверждение К., высказанное Р. в письме от 16 сентября 1905: «После прочтения моих “интимных” записок Вы — невольно — потеряли ко мне значительную долю расположения и уважения» (Там же. Ед. хр. 5. Л. 3). Ни очерк «Единственная», ни «Записки» так и не были опубликованы. Летом 1902 Р. просил вернуть ему свои книги с ремарками К., который резюмировал свое мнение после прочтения книги Р. «В мире неясного и нерешенного»: «Я, конечно, не заодно с попами, — но и не с Вами» (Там же. Л. 23). 6 ноября 1902 К. сообщил о возможном приезде в Петербург и посещения Р. 23 сентября 1903 К. выражал недоумение, почему Р. так и не принял во внимание его многочисленных уточнений в исследовании «Юдаизм», и они так и не были внесены в текст перед публикацией работы в журнале «Новый Путь» (Там же. Ед. хр. 3. Л. 15 об.). В числе грубых промахов К. отметил название миквы «святой», неосновательность идеи совместного причащения тел «мужских и женских в одной микве», парадоксальные рассуждения об обрезании и субботе (Там же. Л. 15 об.—16). В письме от 26 октября 1903 К. ссылался на авторитет раввина, с которым об-

суждал оригинальные идеи Р. из «Юдаизма», заключив наставлением: «Верить же сказкам Эфрона (Литвина) и *Цехенштейна* совсем не подобает глубокому мыслителю» (Там же. Л. 18). В письме от 9 мая 1907 К. критиковал Р. за позицию в еврейском вопросе, высказанную со страниц журнала «Церковно-Общественная Жизнь». К. истолковал взгляды Р. на еврейство как негативные: «Не признаю никаких типичических черт какого бы то ни было народа <...> отрицаю выдуманную Вами роль евреев во всемирной истории. Евреи — не фагоциты, не трусы, не рабы, и тем менее — “кровопийцы”, а исторически загнанные люди, борющиеся за свое жалкое существование» (Там же. Ед. хр. 7. Л. 1). В завершение темы К. сравнил отношение к евреям Р и В.С. Соловьёва: «Соловьёв винил в несчастных особенностях евреев христиан же и смотрел на еврейскую историю с очень широкой точки зрения <...> а Вы, любя, по-своему, евреев и признавая их историческую роль, все же думаете, что они в чем-то виноваты, что их тип и раса не могут дать талантов и гениев» (Там же. Л. 2–2 об.). Попытки Р. опубликовать письма К. в журналах «Мир Искусства» или «Новый Путь» потерпели неудачу. 18 июля 1903 Д.В. Философов вернул их Р. с негативной оценкой: «С одной стороны — отрицание мистицизма <...> жевание резинки Кантовского императива, а с другой — мука за людей, любовь, жажда справедливости <...> Вам он может быть полезен лишь как гебраист, имеющий сведения <...> Дальше же “ученых поправок” Ковнер едва ли пойдет. Он Вас абсолютно не понимает. Ваша связь чисто внешняя. С одной стороны — якобы общая тема — еврейство, с другой — эстетическое наслаждение Ковнером от Ваших писаний» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3871. Ед. хр. 7).

А.В. Ломоносов

КОЖЕВНИКОВ Владимир Александрович [15(27).5. 1852, г. Козлов, Тамбовская губ. — 3(16).7.1917, ст. Хлебниково под Москвой] — религиозный философ, историк культуры, ученик, идейный наследник и издатель Н.Ф. Федорова. Р. сблизился с К. в 1910-е, когда у него сложились дружеские отношения с о. Павлом Флоренским и близкими к нему мыслителями — «молодыми московским славянофилами», как называл их Р. С 1912 Р. состоял с К. в переписке. В 1912, благодаря Р. за подаренное им «Уединенное», К. отметил в книге «наивность искренности» и сходство со своим «старым любимцем Монтэнем» (Письма В.В. Кожевникова В.В. Розанову // ВРСХД. 1984. № 143. С. 88). В 1913, получив через П.А. Флоренского книгу «Литературные изгнанники», К. писал: «Шлю вам сердечное спасибо, именно “сердечное”, потому что помимо ума, сверкающего на этих страницах, они и сердечно писаны, а потому и идут от сердца к сердцу, как что-то родное, теплое. <...> Другую душу вы чутьем каким-то постигаете, и выходит душа всем уже не “чужая”, а “своя”, родная, да еще русская» (Там же, 89–90). К. также благодарил Р. за выступления в печати против «разложения России неисправимую, безнадежную интеллигентщиной определенного типа» (Там же, 91). В письме от 28 ноября 1914 К. пишет о книге «Война 1914 года и русское возрождение»: «Сердечное, горячее спасибо за Вашу чудесную книгу! <...> И тем особенно ценна она, что вся-то она, по мыслям и в особенности по чувствам, читающему (русскому, ко-

нечно, православному, конечно!) уже знакомая, своя, родная: ничего в ней выдуманного, “сочиненного” нету! ее не “писатель” “сочинил”, а душа великого народа творчески создала, в *жизнь* воплотила, почувствовала, выстрадала и вымолила. Оттого в ней все — родное, русское и общее (не индивидуальное), православное, соборное, то есть братское» (Там же, 92). В письме по поводу «*Опавших листьев*» К. в духе христианского смирения отвечает на упрек Р. (на с. 282), что он среди прочих не сказал ни слова на «мучающие *темы*», т.е. о *поле*: «Ну а об себе скажу, что мне сама тема не по силам (проблема пола) <...> ишу примирения, а не противоположения земного с небесным, ну, значит и оправдания, *raison d'être* <разумное основание> и *природы*, и *красоты*, и *любви*, и чувства, и даже *чувственности*, когда она — не самодовлеющая похоть, а естественный порыв любви... Как же тут высказаться? За что высказаться? За одно, отрицанием другого (в ту или иную сторону)? Нельзя! не могу, лживо будет! За то и другое зараз опять не могу, опять лживо будет, ибо не вижу, как соединить, как примирить несомненно враждующее одно против другого, телесное и духовное» (Там же, 94–95). 21 октября 1916 К. благодарил Р. за книгу «*Из восточных мотивов*», за сочувственное письмо «от сердца к сердцу», когда стало известно о его неизлечимой болезни, а также за доставленное *Т.В. Розановой* лекарство. Р. написал рецензию на двухтомный труд К. «*Буддизм в сравнении с христианством*» (1916), в котором с христианских позиций рассматривалась одна из важнейших мировых религий («*Философия* погаснувшей свечи» // НВ. 1916. 21 дек.). Р. писал: «Ни мороз, ни грязное петроградское лето, ни отчаянная дороговизна, ни, наконец, напор немцев, и отпор немцам не могут остановить нашествие “йогов” на Россию, которые идут на нее с какими-то мутными глазами и затхлыми душами и несут какие-то печальные *истины*, может быть и высокие, но определенно отчаянные, унылые, тоскливые <...> И вот, наконец, нашелся здоровыслящий и сильный *русский человек*, который дает отпор этому сильному движению <...> Автор, положивший много лет на размышление о буддизме, — на горячие, увлеченные и вместе ревнивые о нем размышления, знает все его различные *памятники* и всю ученую *литературу* касательно его и “ходит свободно в веках”, как до Рождества Христова, когда слагался буддизм <...> Но *труд* Кожевникова — полный *веры*, он весь — христианин, в христианстве и в *церкви* положены все его упования. Взгляд его выражен в двух строчках: буддизм, учение Готамы, странного мудреца и принца индийского, есть выражение величайшего пессимизма, *горя* и безнадёжности, тоски и отчаяния, до которого когда-либо достигал ум человеческий, и особенно сердце человеческое; христианство есть величайший оптимизм, привнесенный на землю действительно Спасителем рода человеческого, И. Христом» (ВЧВ, 440–441). В 1918 Р. вместе с *С.Н. Дурылиным* и *Н.Н. Прейсом* посетил *могилу* К. на кладбище Новодевичьего монастыря: «Через год после его *смерти* мы троим: покойные Вас.Вас. и Прейс пошли на его могилу в Новодевичий монастырь. В.В. сам захотел идти. Шли пешком. Далеко. В.В. поклонился его могиле и сказал: “Я счастлив, что сподобился поклониться в ноги этому человеку”» (Дурылин С.Н. В своем углу. М., 1991. С. 226). *В.А. Фатеев*

КОЛУБОВСКИЙ Яков Николаевич (1863–?) — историк и библиограф русской *философии*, редактор «*Вопросов Философии и Психологии*», автор *писем* к Р. 1890–1909 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 21), сотрудник «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона. В последнем К. опубликовал биографию Р. (полutom 53). К письмам К. приложена розановская характеристика своего библиографа: «Колубовский, — философ, педагог. Жена его Наталья Алексеевна, сестра *Аскольдова*, дочь философа Козлова» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 81). В *книге* Ибервега-Гейнце «История новой философии в сжатом изложении» (СПб., 1890) К. дал аннотированный библиографический указатель на философские *труды* Р. 1886–1890 в разделе «Философия у русских», специально написанном для нового издания. «Очень близко к *Гегелю*, хотя и независимо от него, подошел В. Розанов <...> — анализировал К. розановскую книгу «*О понимании*». — Между *наукой* и философией существует раздвоение. Примирить его можно только тем, что лежит вне пределов их, — пониманием. Понимание заканчивает собою деятельность разума, когда он от искания переходит к созерцанию <...> В понимании раскрывается *природа* человеческого разума; оно является первым назначением человека, как целесообразно устроенного существа; оно свободно извне, потому что необходимо внутри себя» (с. 547). К. отметил в своем библиографическом альманахе «Философский ежегодник. Обзор книг, статей, заметок. Год 1-й. 1893» (М., 1894) четыре публикации Р. в 1893 по философской проблематике, сопроводив их краткими аннотациями. В 1896 в следующем выпуске альманаха «Философский ежегодник. Год 2-й» — семь последующих публикаций Р. К. снабдил аннотации своими оценками как самих произведений Р., так и полемических откликов, вызванных ими в периодической *печати*. Р. отозвался на указанный библиографический обзор рецензией: Колубовский Я.Н. Философский ежегодник. Обзор книг, статей, заметок. Год 2-й. М., 1896 // РТ 1897. 19 января. № 1. Публикация К. «Автобиографии В.В. Розанова (Письмо В.В. Розанова к Я.Н. Колубовскому)» (РТ 1899. 16 окт.) повторила текст, воспроизведенный в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона.

А.В. Ломоносов

КОЛЫШКО Иосиф (Иосиф-Адам-Ярослав) Иосифович [27.6(9.7).1861 — 10.4.1938, Ницца] — писатель, публицист, критик. Журналист авантюристического склада, состоявший в интимных отношениях с кн. *В.П. Мещерским*. Имел репутацию талантливого, но беспринципного публициста. Псевдоним: Серенький («*Гражданин*»), Рославлев («С.-Петербургские Ведомости»), Баян («*Русское Слово*»), Рогдай («*Новое Время*») и др. Знакомый Р. как сотрудник *газеты-журнала* кн. В.П. Мещерского «Гражданин». Написал две положительные статьи о *браке* и *поле* у Р.: «Брак — как *религия* и *жизнь*» // Гражданин. 1898. № 94–96. Подп.: С-кий (перепечатано с примеч. Р. — ВМНН, 82–104; «Колыбель» // Гражданин. 1899. № 84. 31 окт.; № 85. 4 нояб. Подп.: Серенький (то же с примеч. Р. — СВР, 110–118). *П.П. Перцов* в статье «Эквивалистика В.В. Розанова» (РТ. 1899. № 45. 6 нояб.) резко выступил против компрометирующего Р., по его мнению, сотрудничества с «Гражданином» и,

в частности, с К.-«Сереньким»: «Поневоле приходится стать эквилибристом и “показывать” искусство особого рода, приличное, может быть, для гг. Сереньких, Черненьких, Пестренских e tutti frutti <и прочих> мешерского озера, — но совсем неприличное для В.В. Розанова». Р. опубликовал в «Новом Времени» рецензию на



И.И. Колышко

сборник К. «Маленькие мысли» (НВип. 1900. 23 февр. С. 10), в которой высоко оценил литературное мастерство К.: «Книга по безусловной ее литературности заслуживает успеха». К. принимал участие в организации *Религиозно-философских собраний* (РФС) (при содействии кн. В.П. Мещерского), а также в их деятельности на ранней стадии. О своем участии в собраниях он писал позже в статье «Опиум»: «Присутствия на первых собраниях этого общества, я не раз умилялся близкому и возможному тогда, казалось, счастью приобщения духовно-осиротелой интеллигенции к материнскому лону церкви <...> Пусть споры между Мережковским и Розановым, о том, следует ли сплотить дух или одухотворить плоть, были наивны; но самая тема их и живое участие в этих спорах представителей церкви указывало, что мы “накануне”...» (Колышко И.И. Пыль. Сборник политических статей. 1907–1912. СПб., 1913. С. 209. Подп.: Баян-Рославлев). В 1914, в связи с изгнанием Р. из *Религиозно-философского общества* (РФО), К. «не мог не вспомнить светлого прошлого этого общества — эпохи зарождения его», т.е. периода собраний: «В ту пору г. Мережковский шел в ногу не только с Розановым, но и с Тарновцевым <sic>. В ту пору г. Скворцов, в неизменном красном галстуке, действовал на Розанова, как красный плащ на быка, сидел бок о бок с гг. Карташёвым, Философовым, Минским и другими столпами общества. В ту пору Розанов читал свой доклад “О сладчайшем Иисусе”, а Тарновцев, бледнее от христианского пафоса, обзывал докладчика иудеем <...> В ту пору мы, неопитые религиозно-философского мышления, как стая пернатых перелетали из прохладной квартиры Мережковского в тепло нагретую квартиру Розанова и до зари спорили о

вещах, подымавших и очищавших душу. Как светло, как хорошо жилось! Как революционно было и косноязычье Розанова и пламенное красноречие Мережковского, и лукавое подсиживание Минского, и елейность Скворцова, и экстазы Тернавцева, и иерихонская труба *Антонина*. Все было на потребу, все будило, манило, вдохновляло. А когда Стахович прочел свой доклад о *свободе религиозной совести*, — тема эта, как клятва героев великой *французской революции* объединила всех нас, правых и левых, искренних и фарисеев, учителей и учеников, Розановых и Мережковских. Кому же тогда могло прийти в голову, чтобы клятва эта могла быть нарушена» (Колышко И.И. Разгром // Петербургская Газета. 1914. 30 янв. Подп.: Рославлев). К., как и Р., освещал в прессе деятельность *Государственной думы*. В статье «В Таврическом дворце» (НВ. 1906. 4 июня) Р. писал: «Я подошел к И.И. Колышко, которого знал по сотрудничеству в “Гражданине”, где помещал статьи о браке шесть лет назад <...> Его я не видел много лет и живо разговорился <...> А г. Колышко был много лет по журналу правою рукою кн. Мещерского, хотя всегда со своею физиономиею, не вторившею редакции. Во всяком случае — консерватор и государственник» (КНУ, 97–99). В статье «Тина» (РС. 1909. 3 нояб. Подп.: Баян) К. выражает несогласие с оптимистичным мнением В. Варварина-Р., что омоложение «высшей бюрократии» по решению Думы приведет и к улучшению работы министров. Когда после статьи Д.С. Мережковского «Свинья-матушка» (Речь. 1909. 1 нояб.) Р. вступил с ним в спор («Полемические заметки» // НВ. 1909. 4 нояб.; СМР), К. присоединился к полемике, написав статью «Свинство», в которой также выступил с критикой Р. Переключаясь с мнением Мережковского, К. заявил: «О свинстве в русской жизни на днях очень трогательно писал в “Нов. Вр.” г. Розанов. Писатель, несомненно, талантливый и вдумчивый, г. Розанов принадлежит к тем русским гражданам, которые раздеваются и разуваяются на людях, ищут уюта и предпочитают печку кровати. Заспорив с г. Мережковским, назвавшим *Россию* “свиньей-матушкой”, г. Розанов забыл, как и г. Гучков, место действия, публично сознался в своих симпатиях к русскому свинству, в своем обожании “русского навоза” “Россия не самовар, не вычистишь!” — восклицает г. Розанов. Когда кн. Мещерский лет 40 тому назад сказал то же, но рельефнее, красивее (“к реформам надо точку поставить”), его высмеяли на весь мир, высмеивают и поныне. А над Розановым не смеются, хотя пишет он не в мало распространенном “Гражданине”, а в широко распространенном “Нов. Вр.” Почему? Да потому, что не один он любит русское свинство, русский навоз» (Колышко И.И. Пыль. С. 112). В 1912 К. вызвал Р. на дуэль, признав оскорбительными слова в одной из его статей (см. *Дуэль*). В связи со скандалом из-за несостоявшейся дуэли А.В. Амфитеатров сравнивал «дуэлянтов», Баяна-Рославлева и Розанова-Варварина, как двух беспринципных журналистов, «двуликих и двуязычных Янусов», бесцеремонно морочащих читателей своими писаниями в разных газетах под масками (Амфитеатров А. Невеселый курьез // Утро России. 1912. 13 мая; он же. На полях газет // Утро России. 1912. 19 мая). Об исключении Р. из РФО в 1914 К. писал в статье «Разгром»: «Если б Розанов принадлежал к партии октябрис-

тов, — даже из этой всеобъемлющей организации его можно было бы исключить с известной долей справедливости. Но Религиозно-философское общество не партия и девизом его не служит гражданственность <...> Я давно уже не состою в обществе и давно меня не удивляют скачки русской совести и мысли. На моих глазах Розановы и Меньшиковы переворачивались из радикалов в черносотенцы <...> Душа болела, вспыхивала негодованием». И несмотря на то, что К. «понятна нервность судей, их гражданское одушевление», он делает вывод, что исключение Р. — фактический «разгром» общества: «Религиозно-философское общество было “родиной” русского духа. И эта родина разгромлена... Быть может, Религиозно-философскому обществу станет удобнее без г. Розанова, но, наверно, оно станет уже и мельче». На открытке 1912–1914 Р. по поводу одного грубого высказывания К. в разговоре с ним записал: «Такую гнусную форму мог сказать только Mademoiselle du Prince Mesch. <мадемуазель кн. Мещерского> (ЛЖ. № 13/14. Ч. 1. С. 117). В эмиграции в различных периодических изданиях К. публиковал очерки-воспоминания «Обложки», в том числе и о Р. (Диаспора. Париж; СПб., 2001. Вып. 1. С. 706). В РГАЛИ хранятся письма К. к Р. (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 495. Б.д.).

В.А. Фатеев

КОЛЬЦОВ Алексей Васильевич [3(15).10.1809, Воронеж — 29.10(10.11).1842, там же]. Р. высоко ценил «народное имя Кольцова» (ВЕ, 485). Называя К. «национальным поэтом» (ОПП, 37), Р. отмечает, что он, писавший так мало, принадлежит к тем немногим поэтам, которые остаются в потомках «без ссыхания» (ОПП, 115). Свои «милые песни» (ЛВИ, 560) К. «пел и пел и не мог остановиться» (ОПП, 559). На примере К. рассматривается Р. понятие «народное творчество»: «Личность и биография нашего Кольцова дала заглянуть в суть вообще так называемого “народного творчества” Конечно, “народ” никогда не творит ни песни, ни сказки, ибо для ума коллективного вообще невозможен вымысел. Невозможно “беседами” (собравшись в “беседу”) сочинить песни. Творец всегда лицо единичное, одаренное. При “народном” творчестве оно остается только безымянным, не подписанным, не запечатленным и забытым. Но последующие рассказчики или “певцы” немощно все-таки импровизаторы и критики. Они суть “редакторы” однажды возникшего творения и вносят в него критические и поэтические добавления или убавления, — однако их высшим критиком и окончательным редактором бывает слушатель-толпа, слушатель-народ» (ВДЯ, 277). Р. находил общее в философии природы у Ф.И. Тютчева («Не то, что мните вы, природа — не слепок, не бездушный лик») и у К.: «Я беру мужика-Кольцова, воронежского прасола <торговец скотом>, и нахожу у него то же, что у прожившего всю жизнь за книгою мудреца-Тютчева» (ВМНН, 268). Кольцовское изображение природы Р. определяет как «последний отзвук этого древнего одушевленного взгляда на природу. Он умер, этот взгляд, теперь — окончательно умер; и умерла, потеряв корни, поэзия около хлеба» (ВДЯ, 212). В статье «Академическое издание Кольцова» (НВ. 1909. 24 окт.) Р. писал: «Кольцов представил собою редкий и исключительный случай, когда

дошел до печатного станка урожденный народный поэт, из тех, кто безыменно творил целые века и сотворил ее русское песенное, былинное и сказочное творчество, наши поговорки, присловья и пословицы (философия народа)» (СМР, 338). А.Н.

КОМИССАРЖЕВСКАЯ Вера Федоровна [27.10(8.11).1864, Петербург — 10(23).2.1910, Ташкент] — актриса, создала свой театр. Р. посвятил ей статью «Памяти В.Ф. Коммиссаржевской» в книге «Среди художников», напечатанную ранее в газете «Русское Слово» (1910. 14 февр.). В те годы фамилия великой актрисы писалась в прессе обычно через два «м». Р. считал, что она — «урожденная актриса, от колыбели актриса. И — только актриса <...> Конечно... “трагическая актриса”! и даже — трагическая личность! Это и есть ее главное. “Гримеры” не затушевывали Коммиссаржевскую, а “роли” она играла только те хорошо, где играла “Коммиссаржевскую”, все — ее и ее, ее — одну, ее — всегда; играла свои оттенки, интонации, трансформации, перевоплощения. В душе ее и в голосе звенела одна струна, болезненная, надтреснутая, — которую ничто заглушить не могло... И по этой звенящей струне голоса, такой особенной и личной, всегда можно было найти ее, в толпе, в ночи, где угодно... По звуку открывалось лицо, в звуке узнавался человек. “Это опять она!” — сказал бы каждый, не знающий ее в лицо, или рассеянный, или случайно отвернувшийся от сцены» (СХ, 329–330). Р. передает личное впечатление от игры К.: «Каждый полюбил в ней частицу своей души, лучшую; трагическую и бессильную. Русские “струны” все звучат в тумане. Звуки слышим, лица не видим. Кто-то зовет, куда — не знаем. И тоскуем. И будем жить в тоске, пока не умрем... Все — как Коммиссаржевская. Вот в этот полет своего “турне” она и увлекла души множества людей, особенно молодежи, но не ее одной, далеко не одной ее. Всякий молча, про себя, в глубине души отнес что-то заветное свое к “ней”, соединил свое лучшее, может быть похороненное или замученное, — к “ней”; и следил с двойною мукою за ее движениями, голосом, словами на сцене... Но кое-что из “сценического” каждый смотрел, как на тропочку своей биографии, своего “возможно бы”, “нужно бы”, но что “не вышло”, “не удалось” или “чего я не сделал» (СХ, 331). После смерти К. во время гастролей в Ташкенте от черной оспы духовенству было запрещено служить панихиды по ней в соборе в Саратове и в фойе Художественного театра в Москве. Р. писал по этому поводу: «Общество наше склонно видеть в этом случай, произвол местной власти и все относит к личности запретившего, а отнюдь не к принципу, притом вековому. Но почему же “случай” все клонят в эту сторону?... <...> И мне хочется обратить внимание общества, что тут вовсе не “случай” и не “злоупотребление лица”, а нечто общее, отдаленное и более грозное <...> “Нельзя молиться об умершем грешнике” Не вообще, а вот об актере, — “служителе веселья и шуток”, “забав и развлечения” В этом вся и суть: не в том, что “грех”, а в том, что “весело” От этого служат панихиды и молебны в очень и очень грешных местах, в местах даже зазорных, но не в театре, месте изящного и счастливого веселья» (РС. 1910. 18 февр.; ЗРП, 58).

М.В. Толмачёва

КОНДУРУШКИН Степан Семёнович [24.12.1874 (5.1.1875), село Липовка, Самарская губ. — 9.1.1919, Омск] — прозаик, журналист. Негативное отношение к К. определилось у Р. в период процесса над *Бейлисом*: в сентябре—октябре 1913 К. как корреспондент «*Речи*» печатал отчеты в этой газете под общим названием «Дело Бейлиса», публикация которых была запрещена в административном порядке, а против К. возбуждено судебное дело. Р. считал, что К., как и *Оль д'Ор*, принадлежит к тем, кто «приспособлены к условиям существования» (СХР, 214). О зависимости К. от *А.Г. Горнфельда* и всей левой прессы Р. пишет: «И Кондурушкин, которого едва пускают где-нибудь писать, возлежит на груди несчастного, обездоленного Горнфельда, который его пустил “давать заметки” в “Русском Богатстве” и рекомендовал как “сносного” — “Русским Ведомостям»» (СХР, 236).

А.Н.

КОНИ Анатолий Федорович [28.1(9.2).1844, Петербург — 17.9.1927, Ленинград] — юрист и общественный деятель. Р. посвятил ему статью «А.Ф. Кони как писатель и юрист» (НВ. 1912. 19 и 22 марта), в которой сравнил К. с врачом-гуманистом *Ф.П. Гаазом*, имя которого К. в своих лекциях извлек из забвения. Р. писал о влиянии Гааза на К.: «Знаменитый юрист, столько дел пересудивший, столько преступников видевший, мог бы сойти в могилу с тою жестокою и несколько язвительной памятью, с какою приличествует умирать людям юриспруденции. Но Гааз обломал все шипы: остались одне розы» (ПВ, 65—66). Статья Р. была вызвана началом публикации книги К. «На жизненном пути» (1912—1929. Т. 1—5): «Настоящие мемуары настоящего судьи, если они когда-нибудь появятся, будут бесконечно занимательнее всяких литературных мемуаров, с описанием “литературных знакомств”, где, в сущности, все “одно и то же”, — старое и чуть-чуть надоевшее. Судебные же мемуары внесут в литературу колоссальный новый материал, поразительного психического и бытового значения. Кони, конечно, мог написать такие мемуары; но — не написал, слишком увлекшись “литературными знакомствами”, а также живописанием тех “общественных переломов”, какие давно известны и помимо его книги. Упустив это великолепие (уголовный элемент), бывшее у него под руками, он утвердил то, что всегда говорилось у него за спиной: именно, что Кони, конечно, всегда умен, но не до избытка... В его уме есть что-то осторожное, умеренное и предусмотрительное, но беспорывное и без воображения. Живописуя “переломы общественных настроений”, т.е. любимую тему *Стасюлевича*, *Пыпина*, *Джаншиева* и еще множества других, он увлекается добрыми чувствами, благородными стремлениями и, не удержавшись на черте, показывает нежданно когти, присущие юристу и даже старому сутяге, и которые так поразительно видеть около Гааза. Гааз был служака николаевских времен, который “пёр вперед” по благородной натуре своей, не соображаясь с царствованием и ни с чем. Этим-то он и горел как бриллиант. Напротив, Кони тоже “идет вперед”, но вместе со своим временем, ничем не рискуя; и выражая в словах и поступках именно время, а не себя» (ПВ, 66—67). *Ф.К. Андреев* писал об этой статье Р. 23 марта 1912 *П.А. Флоренскому*: «В понедельник он уверял, что Кони “единосушен”

с Гаазом и весьма его за это хвалил, а вчера пытался установить “ипостасное различие”, установил, что Гааз — святой, а Кони — просто прохвост» (АФ). К 50-летию общественной и государственной деятельности юриста Р. опубликовал статью «Анатолий Федорович Кони» (НВ. 1915. 1 окт.). Говоря о заслугах К., Р. отмечал: «Можно сказать, Кони “популяризировал” живой суд в России, вообще-то (по идее) — суровый суд, как когда-то Брем популяризировал сухую зоологию. И в этом главном его историческом значении, — которое с ним никто еще не разделяет, — очень помогли ему дары литературные, дары ораторские, дары прекрасной и благородной памяти о других лицах или прошлой нашей истории, или истории недавней и почти современной. Кто хорошо помнит, того самого запомнят; кто окружил любящим словом других, а притом столь многих лиц, тот естественно окружен и сам почтением и любовью. Словом, все это — связано; а талантом “связывать”, а не разъединять и не противопоставлять, Анатолий Федорович всегда обладал в высокой степени» (НФП, 527). Р. упоминает К. в статье «*А.П. Чехов*» (1910; ОПП).

А.Н.

КОНОПЛЯНЦЕВ Александр Михайлович (1875 — не ранее 1929) — юрист, друг *М.М. Пришвина*, ученик Р. в *Елецкой гимназии*. Посетитель розановских воскресений. Участник *Религиозно-философских собраний* (РФС). Р. в споре с *А. Блоком* приводит в пример впечатление К. от выступлений *Мережковского* как подтверждение живой атмосферы РФС (ОПП, 269). Р. высоко оценил биографию *К. Леонтьева*, составленную К. (сб. «Памяти К. Леонтьева». М.: Путь, 1911): «Наиболее ценною частью сборника является первая статья “Жизнь К.Н. Леонтьева, в связи с развитием его мирозерцания” *А. Коноплянцева*. Это первая биография писателя, собранная из живых источников <...> так что не посвятить теперь г. Коноплянцев несколько лет жизни собиранию материала о Леонтьеве, может быть, составление сколько-нибудь полной или даже просто связной биографии русского романиста, публициста и философа сделалось бы навсегда невозможным. За это — всегдашнее, историческое спасибо» (ОПП, 553). При том, что К. «с величайшей любовью» относится к личности Леонтьева, отмечает Р., «биография бесстрастно справедлива и нигде не переходит в “хвалебную песнь”» (Там же, 554). В статье «Как торжествует “русский национализм”» (НВ. 1911. 25 окт.) Р. упоминает о К. как о безработном присяжном поверенном, который «сидел-сидел в *Петербурге*, бился-бился, составил, несколько лет проработав (на невольном досуге), биографию К.Н. Леонтьева: ждал, просил, искал, — и никакого не только дела, но и делишка не нашел, с женой и ребенком, и вот сейчас собирается в провинцию что-нибудь искать, как-нибудь устроиться» (ТПРН, 290). В примечании к книге «*Литературные изгнанники*» Р. писал: «Александр Михайлович Коноплянцев, составивший (после чрезвычайных трудов) первый его биографию и ставший сам одним из самых преданных и понимающих “до ниточки” его идеи учеников, — есть важнейшее идейное приобретение Леонтьева за последний десяток лет» (ЛИ. СПб., 1913. С. 446). У Р. были с К. дружеские отношения. В «*Опавших листьях*»

он пишет о приезде К. к нему на дачу в Тюрсево за Териоками: «Года три назад (4? 5?) мы гуляли с Коноплянцевым по высокому берегу моря» (У, 155). В статье «Напоминания по телефону» (НВ. 1913. 18 нояб.) Р. назвал К. «другом»: «Телефоню своему другу А.М. Коноплянцеву, биографу славянофила К.Н. Леонтьева» (СХР, 336). Во время дела *Бейлиса* К. напомнил Р. о декадентской



А.М. Коноплянец

имитации древнего обряда причащения *кровью* у Н. Минского в 1905 (сам К. тоже получал тогда приглашение, но «испугался» и на «причащении» не присутствовал) (Там же, 337). Как член *Религиозно-философского общества* (РФО) К. присутствовал на его заседаниях 19 и 26 января 1914, когда рассматривался вопрос об исключении Р., и выступал в защиту писателя. В письме Ф.К. Андреева к о. Павлу Флоренскому от 21 января 1914 говорится о том, что К. после первого из этих собраний навестил Р. 11 марта 1914 газета «Речь» сообщила о выходе К. из РФО.

В.А. Фатеев

КОНТ (Comte) Огюст (19.1.1798, Монпелье — 5.9.1857, Париж) — французский философ, один из основоположников *позитивизма*. Р. испытывал к нему негативные чувства, говоря: «Оловянный глаз Конта» (ОПП, 582). О так называемой «*религии* человечества» К. (СХ, 261) Р. писал: «Уже Ог. Конт на место *христианства*, которое он считал отживающею религиею, пытался изобрести некоторое подобие нового религиозного культа, с празднествами и чувствованием памяти великих людей, — и культ служения человечеству все сильнее и сильнее распространяется в наше время, по мере того

как ослабевают служение *Богу*» (ЛВИ, 75). Опору континанства Р. видит в том, что «слабенькое держится за слабенькое. Больной за больного. Плосконький тянется к Конту, а Конт “говорит своей обширной аудитории”» (КНУ, 449). В итоге «*новая наука*», как Р. в 1918 именуется континанство, «даже за месяцы только не предвещала и теперешней войны. И, словом, “savoir pour prévoir” <знать, чтобы предвидеть> Конта — именно в контизме его, именно в позитивизме, как-то плоско расшиблось» (АНВ, 50). Об апокалиптичности мировой войны Р. записал 24 июля 1915: «Огюст Конт, который был “как все”, — встал на руки, вытянул ноги кверху, что-то неубедительное и непонятное забормотал, расстегнул “невыразимые” — и “пошел вперед” (“совершается процесс”). Вот бы хнул *Достоевский*» (М, 249). В статье «Исторический “гений” Франции» (НВ. 1910. 9 февр.) Р. замечает: «“Позитивная философия” Конта имела больше последователей в России, чем в самой Франции: классическая страна точных наук, она в лице лучших ученых не допускала этого нагромождения друг на друга таких несродных, явно разграниченных наук, как математика и *психология*, механика и социология. Конт был французский инженер, ставший “великим философом” только для *Петра Лаврова* и русских *студентов*, но без всякого значения или с небольшим значением для Франции» (ЗРП, 47).

А.Н.

КОРЕЦКИЙ Николай Владимирович [1(13).6.1869, Воронеж — 11.1.1938, Ленинград] — поэт, драматург, редактор-издатель журнала «Пробуждение» (1906–1917). Рецензия Р. на 2-е издание его сборника стихов «Песни ночи» (СПб., 1911) написана в саркастическом духе. О картинах *ночной природы* в сборнике Р. скажет: «Мне кажется, когда Корецкий выходит в сад, то соловьи уже как-то сами собою начинают петь от одного удовольствия видеть брата-певца; и такие, в своем роде, сотрудники *вдохновения* особенно приятны тем, что им не надо платить *гонорара*. Но не одни соловьи, а вся природа как-то расположена к Корецкому <...> Я думаю, при Корецком ни одна ворона не смеет закаркать, дождь не решается заморосить, небо немедленно прогоняет облака» (НВ. 1912. 7 февр.; ПВ, 39–40). Естественно, что после такой рецензии Р. в марте 1912 не пошел на юбилей К. и записал в «*Опавших листьях*»: «25-летний юбилей Корецкого. Приглашение. Не пошел. Справили. Отчет в “Нов. Вр.” <16 марта 1912>. Кто знает поэта Корецкого? Никто. Издателя-редактора? Кто у него сотрудничает? Очевидно, гг. писатели идут “поздравлять всюду”, где поставлена семга на стол. Бедные писатели. Я боюсь, *правительство* когда-нибудь догадается вместо “всех свобод” поставить густые ряды столов с “беломорскою семгою” “Большинство *голосов*” придет, придет “равное, тайное, всеобщее голосование” Откупают. Поблагодарят. И я не знаю, удобно ли будет после “благодарности” требовать чего-нибудь. Так *Иловайский* не предвидел, что великая ставка свободы в *России* зависит от многих причин и еще от одной маленькой: улова семги в Белом море» (У, 98).

А.Н.

КОРОЛЕНКО Владимир Галактионович [15(17).7.1853, Житомир — 25.12.1921, Полтава] — писатель. Р. высоко ставил художественное мастерство К. После *смерти*

А.П. Чехова он писал, что «около Чехова и в уровень с ним называлось только имя автора “Слепого музыканта” (Вл. Короленко)» (ОПП, 175). Однако «Короленко и Горький слишком партийны и частны, слишком политичны. Только Чехов, именно Чехов один, был “со всеми” и “как все”» («Письма А.П. Чехова» //К. 1916. 19 мая; ВЧВ, 208). Сравнивая рассказ К. «Убийвец» с «Тьмою» Л. Андреева, Р. отметил: «У Короленко это представлено гениально, ярко, незабываемо. Посмотри же, что намазал в этом стиле Л. Андреев» (ОПП, 258). В то же время К., Горький, Л. Андреев, по словам Р., «люди буржуазной крови, буржуазного духа, волновавшиеся и волнующиеся потому единственно, что не “они сегодня господ положения”» (ОПП, 653). Антипатия к К. возникла в 1906, когда Р. пытался установить отношения с журналом «Русское Богатство», главным редактором которого после смерти в 1904 Н.К. Михайловского стал К. В апреле 1906 Р. направил ему письмо (хранится в музее К. в Полтаве) с предложением опубликовать свою статью о монархии «Ослабнувший фетиш. Психологические основы русской революции»; Р. писал: «Ничего нет тяжелее, как устраивать свои статьи. То — непонимание, то — равнодушие. Ведь у меня музыка-то вышла: а как и где ее играть? <...> Конечно, у Вас 1000 дел. Но у кого их мало? И все же помогать мы друг другу должны? Если бы Вы согласились прочесть? Еще лучше — напечатать? Будьте добры ответить» (МЛ, 516). Но ответа не последовало, и статью К. не напечатал. Она вышла в 1906 отдельным изданием и вошла затем в книгу «Когда начальство ушло...». В «Уединенном» Р. скептически отзываясь о К.: «Я с ним раз и минутно разговаривал в Таврическом дворце. Несмотря на очарование произведениями, сам он не произвел хорошего впечатления (уклончив, непрямо)» (У, 33). Еще более язвительно он характеризует К. во втором коробе «Опавших листьев»: «Короленко, который не может прожить дня, если ему не удастся укутить исправника или земского начальника или показать кукиши из кармана “своему полтавскому губернатору” “А то — и повыше”, — думает он с трясущимися поджилками» (У, 279). Более резким стало отношение Р. к К. после выступления его в защиту Бейлиса на судебном процессе 1913. В «Сахарне» Р. делает запись о портрете К., написанном И.Е. Репиным в 1912 и опубликованном в «Новом Времени»: «То, что у живого Короленко не кидалось в глаза, изумительный гений художника вывел к свету. Он наклонен. Слушает. Вглядывается. Нет, не это; есть что-то неуловимое, почему, взглянув, мы говорим, что, конечно, из тысяч хохлов и миллиона русских мы не видали никогда “Короленко”, и из 10—100 евреев пожилого возраста, солидных и либеральных, конечно, 1 непременно “Короленко” Он говорит, что отец у него был русский чиновник, а мать “полька” Конечно, он не договорил или недоузнал, что она — польская еврейка. Сын же — в мать. И К. просто — еврей. “Честный еврей передового направления” Так вот откуда “кристально чистая душа” (пресса) и странная связь с Горнфельдом» (СХР, 71). О провокационной деятельности возглавлявшегося К. журнала «Русское Богатство» Р. писал во втором коробе «Опавших листьев»: «Две курсистки и четыре гимназиста, во имя “правды в душе своей”, решили совершить переворот в России <...> И печать их подбодряет: “Идите! Штурмуй-

те!” — Азефы, — милые человеки, Азефы, и — не больше. (Короленке и Пешехонке)» (У, 288). К. в «Русском Богатстве» (1911. № 11) в юбилейной статье «Литературный фонд (1859—1909)» выступил против Р., высказавшего «исторический укор» Фонду за то, что тот в свое время «ничем не помог Ф.М. Достоевскому» (НВ. 1909. 22 окт.; СМР, 336). В 1912 в «Новом Времени» Р. и К. обменялись резкими «Письмами в редакцию» по поводу «Русского Богатства» (16 и 22 декабря). К. в письме к А.Г. Горнфельду 3 января 1911 назвал Р. «сладеньким лицемером, либеральным ретроградом», а в другом письме ему (1908. 20 февр.) писал: «Доля холодного юродства есть и у Розанова, а уж у Сологуба — не приведи Господи» (Письма В.Г. Короленко к А.Г. Горнфельду. Л., 1924. С. 47, 21).

А.Н.

КОРШ Федор Евгеньевич [22.4(4.5).1843, Москва, — 16.2(1.3).1915, там же] — филолог. Сын журналиста Е.Ф. Корша. Академик (1900). В Московском университете преподавал греческую и римскую литературу. С 1880-х — профессор классической филологии в Московском университете, затем в Новороссийском университете; с 1892 преподавал персидскую филологию в Лазаревском институте восточных языков. В «Опавших листьях» Р. писал: «Уважаю Герье и Стороженко, Ф.Е. Корша. Больше и вспомнить некого» (У, 185). В некрологе Р. вспоминает о Корше: «Уже в 1882 г. о нем говорили, что он знает четырнадцать языков, древних и новых, а с тех пор он, вероятно, узнал и изучил еще и другие языки» (НВ. 1915. 26 февр.; НФП, 428). «Едва прикоснувшись к университету, он уже “пошел” или, вернее, “полетел” сам, — в сфере любимой, легкой, как бы внутренне понятной и известной ему от рождения <...> Корш был действительно гениальным лингвистом, который вбирал в себя древние и новые языки, питался ими, поэтизировал и иногда фантазировал в них, как в своей родной стихии, как рыба в воде и птица в воздухе. Посетив для приготовления к профессуре Берлин, — он изучает в тамошней библиотеке манускрипты и другие памятники вымерших теперь славянских племен, населявших когда-то Пруссию. Приехав по делам ученой службы в Одессу, он поражается многообразием этого южного русского города, — и для этого временно переходит профессором в Новороссийский университет. Словом, чужой говор, новый говор поднимал в нем крылья, как воздушный океан поднимает крылья птицы, или как военный призыв заставляет вздрагивать и нестись кавалерийскую лошадь. Тут что-то “родное” между природою ученого и стихиею человеческих языков. Корш — весь москвич. Он родился на Страстном бульваре, в доме университетской типографии, так как отец его был редактором «Московских Ведомостей», которые от него перешли к М.Н. Каткову. Грановский указал его родителям отдать мальчика в пансион Р.И. Циммермана. Семьи Станкевича, Кетчера, Герцена, Чичерина, Рачинских, С.М. Соловьёва, этих корифеев 40, 50 и 60-х годов, — были домами, где прошло отрочество и юность Фед.Евг. Корша. И сам он в годы 70, 80 и 90-е, в годы 900-е, был или соединительным звеном или вечерним и ночным “зодиакальным светом” той деятельной и сильной эпохи для поколений новых и, увы, не столь университетски ярких» (НФП, 428—429). «Он был точно

прирожденным вождем и наставником учащихся и наук, книг и библиотек, манускриптов и живых говорков. Ученый и ученик — странно сливались с ним: так и в старости он все учился и учился, хватал и хватал вовсе. Так он был не только учителем, но и учеником виртуоза лингвистики Ф.Ф. Фортунатова» (НФП, 429). «Старое красивое дерево свалилось на *Москве*. И не скоро вырастет другое такое же. И вздыхает по нем многоязычная Русь. И говорят хвалу ему на бесчисленных языках ученые разных стран *Европы*. И долго-долго не забудется Федор Евгеньевич Корш, седенький старичок с большими волосами, небольшой бородкой и острым глазком. Ученики его — по всей *России*» (там же).

М.В. Толмачёва

КОСОРОТОВ Александр Иванович [24.2(7.3).1868, станица Нижнечирская, область Войска Донского — 13(26).4.1912, пос. Лесной под Петербургом] — писатель, драматург и критик, автор повестей на педагогические темы, приятель Р., с которым познакомился в пору совместной работы в газете «Свет» и литературном приложении к «Торгово-Промышленной Газете» в 1899. П.П. Перцов предпологал, что появление К. в столичных литературных кругах имело прямое отношение к Р.: «Появился без определенных целей и, казалось, без всяких данных для особого успеха. Но тут, как это иногда случается, слепая от века Фортуна внезапно стала осыпать пришельца своими дарами. Попав как-то (чуть ли не через Розанова, у которого он часто бывал) в сотрудники «Нового Времени», Косоротов явился там, непредвиденно для самого себя, художественным критиком. Совершенно невинный в вопросах искусства, с провинциальной наивностью и апломбом невежды, он стал последовательно «разносить» и выставки «Мира Искусства», и журнал <...> Газете он так пришелся по вкусу, что скоро стал и ее воскресным фельетонистом <...> Судьба еще раз побаловала Косоротова, послава шумный успех его поверхностной, хотя не без ловкости сделанной пьесе «Весенний поток», написанной под сильным воздействием розановских сексуальных идей. Но и театральные успехи оборвались, а там подоспела болезнь (горловая чахотка) и с ней нужда — и былой счастливец кончил самоубийством, повесившись на оконном шнуре» (Перцов П.П. Литературные воспоминания: 1890–1902. М., 2002. С. 225–226). В письмах к Р. представлял рукопись своей книги «Вавилонское столпотворение (История одной гимназии)» (СПб., 1900; впервые: «Свет». 1899. Сент.–окт.). Р. отозвался короткой рецензией на рассказ К. «Забитая калитка», отметив, «сколько внимания у автора, вдумчивости, заботы и любви к очень бедному и очень трудному существованию брошенных матери и сына» (НВип. 1900. 8 марта). В той же заметке Р. подчеркнул обширную разработку автором педагогических тем в повести «Вавилонское столпотворение». К. приветствовал выход книги Р. «Сумерки просвещения», бывал в гостях у Р. на «воскресеньях». Р. опубликовал в «Слове» (1905. 5 янв.) критический очерк «Публицистика на сцене» о постановке пьесы К. «Весенний поток» в театре Комиссаржевской. Р. разбирал актуальную в литературе начала XX в. тему: «Девушки без замужества, и как и чем это кончается, и что мы об этом должны думать» (СХ, 217). Пьеса, по оценке Р., «смело и свежо

написана, наивна и мудра», в ней «слышатся идеи, которые мелькали на страницах «Мира Искусства» и «Нового Пути», тенденции, которые высказывались и прозаически, и в стихах Д.С. Мережковским, Ф. Сологубом, З. Гиппиус. Русская «весна» смешивается с греческою, едва ли к большой выгоде первой. Нам кажется, русская «весна» может протечь <...> своею собственною чередою» (СХ, 218–219). Р. ведет в статье полемику с критикой В. Артабана (Г.С. Петров) из «Русского Слова» в адрес пьесы. Артабан осуждал «весну», заговорившую в крови героини пьесы — скромной незамужней девушки. Р. встал на защиту позиции драматурга, и в то же время стремится «заступиться за некрасивых девушек, за несчастных девушек, просто с несчастно сложившеюся биографиею» (СХ, 222). По мнению Р., героиня пьесы совершает настоящий подвиг: «Она совершает его в новизне особых условий оговоренных автором: 1) она девушка невинная, 2) с стыдом, застенчивостью, без малейших в ней штрихов сальности и наглости, 3) ее гонит не голод, а 4) чистый и открыто высказанный инстинкт супружества и материнства <...> она удовлетворяет законный инстинкт материнства» (СХ, 221–222). Сцена учит: «Она взяла право материнства и супружества силою» (заметим, никого не погубив <...>) — и опять эта важная мысль сразу усвоилась огромному толпою <...> И этот спор нелегко победить бескровной, бескартинной публицистике» (СХ, 227). Р. писал в некрологе К.: «Я знал его — несколько — перед самым выступлением в литературу: именно он принес мне на прочтение огромный роман из гимназической жизни, под названием «Вавилонское столпотворение» Помню его таким молодым, всего «в цвету», всего в надеждах» (НВ. 1912. 17 апр.; ПВ, 85). Поясняя причину его самоубийства, Р. продолжал: «У А.И. Косоротова не было непрерывного горения, а вспышки таланта могли дать лишь то немногое, на что невозможно существовать. Он узнал нужду. Нужда родила раздражение и угнетенность: а какие же эти спутники таланта, попутчики писателей? Они грызут и умерщвляют <...> Деятельность угасала, крылья не поднимались, сочувствия и внимания — нигде, ожиданий или надежд — никаких. И этот редкостно мягкий и редкостно деликатный человек поднял на себя ужасную руку» (ПВ, 85–86).

А.В. Ломоносов

КОТЛЯРЕВСКИЙ Нестор Александрович [21.1(2.2). 1863, Москва — 12.5.1925, Ленинград] — литературовед, критик, академик (1909), первый директор Пушкинского Дома (с 1910). Статью «Герцен» (НВ. 1911. 6 июля) Р. начинает словами: «Н.А. Котляревский закончил в «Вестн. Европы» блестящий очерк — «Общественные настроения 60-х годов», посвященный собственно одному Герцену. Работа — исчерпывающая, подводящая итоги: спокойная, уравновешенная; и все выводы, как и частные замечания, проф. Котляревского можно принять <...> Центр воззрения Котляревского на Герцена — что это был «человек сороковых годов»; а вся плеяда писателей 40-х годов вылетела из «дней Александровых прекрасного начала», — и в 50-е и в 60-е годы они явно устарели; не умом, не темпераментом, в особенности — не знанием, а «чем-то» что назвать трудно, определить невозможно, но что чувствуется в каждом слове, в каж-

дом поступке, в *стиле*, во всем» (ОПП, 523–524). Высоко оценивая *труд* К. о Герцена, Р. продолжает: «Котляревский очень деликатно, но вместе точно и строго отрицает в нем совершенно способности политического агитатора, политического бойца, вообще политического человека. Он делает это очень органично, связывая отсутствие агитационных даров со всей суммой духовных особенностей Герцена, и даже с преимуществами его разнообразного ума, развития, душевной мягкости, многосторонности» (ОПП, 526). В голодный 1918 Р. получил финансовую помощь от К. как председателя Постоянной комиссии пособий нуждающимся литераторам при Российской академии наук. Летом и осенью 1918 Р. написал несколько благодарственных писем К. (Литературная учеба. 1990. № 1. С. 82–83). В списке Р. для рассылки выпусков «*Апокалипсиса нашего времени*» значится и имя К. А.Н.

КРАВЧИНСКИЙ Дмитрий Михайлович — лесовод, директор технической лесной школы для крестьянских детей вблизи Петербурга (Лисино, в 16 верстах от Тосно), брат революционера С.М. Степняка-Кравчинского. Р. упоминает К. в статье «*К.П. Победоносцев*» (1907) среди «скромных лиц», присутствовавших в каком-то зале при появлении там Победоносцева: «Образцовый учитель образцовой же школы, томимый сомнениями лесовод Кравчинский, брат Кравчинского-Степняка, автора “Подпольной России” и убийцы генерала жандармов Мезенцева, знаменитого эмигранта» (ЛВИ, 530). К. бывал в Татеве и переписывался с С.А. Рачинским. 5 мая 1896 К. писал Рачинскому: «С Василием Васильевичем Розановым познакомилась и, быть может, всерьез. Не раз вели разговоры о “материях, важных”, но еще ни до чего не договорились» (1896. Май–июнь. № 11. Л. 17).

В.А. Фатеев

КРАНИХФЕЛЬД Владимир Павлович [9(21).6.1865, г. Бельск, Гродненская губ. — 16.5.1918, Москва] — критик, публицист. В «*Сахарне*» Р. отмечает: «В “Русском Богатстве” принимает рукописи и переводы Горнфельд, и в “Современном Мире” — Кранихфельд (кажется, это не один и тот же)» (СХР, 65). В «*Мимолетном*» он иронизирует: «В каждом почти журнале труженичают два Горнфельда или два Кранихфельда, да еще подают везде “анкеты от себя” *Оль-д’Ор* и Влад. Азов» (М, 327). Р. принадлежит очерк «Кранихфельд с полотенцем», в котором читаем: «Кранихфельд — это еврейский критик, мало чем отличающийся от Горнфельда. Оба заменяют собою *Белинского*. Пишут один в “Русском Богатстве”, другой в “Современном Мире” Оба носят посудину за русскими писателями “благородного образа мыслей” или за “светлою душою русского писателя” Но еще они не приносили полотенца и, как говорится, не “держали свечи” Этот новый шаг в критике сделал Кранихфельд по поводу недавнего юбилея Щедрина. Он пишет в “Солнце России” о “светлой памяти великого художника-гражданина” <...> Кранихфельд разыскал отрывок из дневника *Салтыкова* и напечатал его в № 219-16 “Солнца России” Эта история, а в особенности ее опубликование, может покоробить всякого, чтущего светлую память великого художника-гражданина, — об этом, кажется, не может быть двух мнений. “Салтыков-Щедрин рассказывает о

себе вещи более чем некрасивые”» (КНУ, 332). И далее следует рассказ, как он совершил «гнуснейшее из всех гнуснейших преступлений» — шантажировал и изнасиловал замужнюю даму. Так К. отметил 25-ю годовщину со дня смерти М.Е. Салтыкова-Щедрина. К. издавна выступал в печати против Р.: «Блестки мысли чередуются в его статьях с таким непостижимым вздором, который делает близкое знакомство с его произведениями сплошь и рядом затруднительным, а нередко даже неинтересными», — писал он в статье «Вопросы жизни в “*Вопросах жизни*”» (Мир Божий. 1905. № 6. Отд. II. С. 13).

А.Н.

КРАСНОЖЁН Михаил Егорович [1860–?] — профессор церковного права юридического факультета Юрьевского университета Лифляндской губ. Автор писем Р. 1909. (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 25). Р. неоднократно полемизировал с К., в частности в статье «*Совесть — отношение к Богу — отношение к Церкви*» (НП. 1903. № 4. Записки РФС). Полемика по каноническим вопросам брачных отношений оставила у Р. мрачные воспоминания. В «*Сахарне*» он записал: ...Скука, холод и гранит. Что это, стихотворение Пушкина? — Нет, это каноническое право. “Кормчая”, Суворов, Красножён, Сильченков, еще кто-то, многие. Как говорится где-то в Библии: “Взойди в башню и посмотри, не идет ли это на помощь осажденным войско?” — Посланный вернулся и сказал: “О нет, — это идет стадо скота и подымает пыль”» (СХР, 24).

А.В. Ломоносов

КРАФТ-ЭБИНГ (Krafft-Ebing) Рихард фон (14.8.1840, Мангейм — 22.12.1902, Грац) — австрийский психиатр, сексопатолог. В книге «*Люди лунного света*» Р. пишет, что К.-Э. «собрал ставшие известными ему факты в книжку “о страданиях пола”, не имея для этого даже того основания, какое имел бы механик, занятый давленными, толчками и вообще действиями на вещественные массы, наименовать “патологической физикой” явления электричества, гальванизма или явления света, где эти массы отсутствуют» (ВТРЛ, 271). Говоря об описании политически-ссылных в романе Л. Толстого «Воскресение» (ч. 3, гл. III) и восхищавшей Катюшу Маслову красивой девушки из генеральской семьи Марьи Павловны, Р. замечает, что у Толстого «описана содомитянка, без всякого подозрения автора о том, что он именно рисует, но портрет так полон, что просится к Крафт-Эбингу. Вернее, Эбинг никогда не написал бы своей глупой книжонки, узнай он это описание Толстого и догадайся в неповоротливом уме своем, что дело тут идет о его (мнимых) “пациентах”» (ВТРЛ, 306). Определение содомии по К.-Э. сводится к тому, как пишет Р., что «им это (половое сношение) непонятно и отвратительно» и кажется чем-то “оскорбительным для человеческого достоинства” Ретроспективно бросая взгляд на споры, изложенные в моей книге “*В мире неясного и нерешенного*”, только теперь понимаешь их источник и пафос, и что спорившие о *девстве* и *браке* “никак не могли согласиться”: да спорили-то полусодомиты — сами этого о себе не звавшие — и обыкновенные люди» (ВТРЛ, 309). Р. приводит из книги К.-Э. «Половая психопатия» (1902, рус. пер. в 1906, 1907 и 1909) примеры урнингов, т.е.

людей, «которые вообще с молодости не совокупаются, “до брака — девственны” и, вступив в брак (случайно и нелепо), дивятся на *совокупление*, как на встреченного в лесу медведя» (ВТРЛ, 345).

А.Н.

КРИВЕНКО Василий Силович (1854–1931), писатель и публицист, театральный критик и председатель Совета Русского театрального общества, член Совета Министерства Императорского двора, постоянный сотрудник «*Нового Времени*», «Русского Инвалида» и «Исторического Вестника». Выступал противником косности классического образования, сторонником гармонического воспитания и женского просвещения. Письмо к Р. от 2 марта 1911 состояло всего из одного слова-оценки статьи Р. «О “русском гражданстве”» (НВ. 1911. 2 марта; ТПРН): «Брависсимо!». Р. опубликовал рецензию на книгу К. «Учебное дело» СПб. 1901. (НВип. 1901. 10 окт.). К письмам К. с замечаниями на статьи Р. приложена розановская помета, указывавшая на место журналиста в литературной среде «Нового времени»: «Кривенко В.С., отец “Ва-си-ло-вич” “Н. Вр.”» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 5. Л. 2).

А.В. Ломоносов

КРИВОШЕИНА Елена Геннадиевна (урожд. Карпова; 1870–1942) — дочь профессора истории Московского университета Г.Ф. Карпова, жена главного управляющего землеустройством и земледелием и ближайшего соратника П.А. Столыпина А.В. Кривошеина (1857–1921), с которым Р. был знаком через своего приятеля, белорусского литератора В.Л. Дедлова. В «*Последних листьях*» за 1916 Р., размышляя о специфике национальных эстетических канонов, дал ей характеристику: «Наша костромская баба вкуснее Афродит» Это канон Розанова для Костромской губернии. — Кривошеина Елена Геннад., сестра Лихачевой, прелестнейшая по благородству и уму женщина из рода Морозовых, жена министра» (ПЛ, 234). Сохранилось письмо К. к Р. с выражением благодарности за присланную книгу Р. К письму Р. приложил характеристику корреспондентки, поясняющую его размышления в «*Последних листьях*»: «Кривошеина (прелестная, оч. некрасива только)» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 96).

А.В. Ломоносов

КРОПОТКИН Петр Алексеевич (Крапоткин в написании Р.) [27.11(9.12).1842, Москва — 8.2.1921, Дмитров, Московская губ.] — теоретик анархизма, социолог. Р. воспринимал К. как человека, прошедшего 40 лет в эмиграции и не печатавшего ни одного доброго слова о России. Тщеславие К., подписывавшегося «князь Кропоткин», отмечает Р. в «*Опавших листьях*» (У, 108–109). В статье «Не нужно давать амнистию эмигрантам» (БВ. 1913. № 3) Р. пишет: «Они захотели, эти “деточки”, — “могилки на родной стороне” Нет у них “родной стороны” Родная сторона их — “заграница”, там, где в Ницце покоится величественный прах Герцена. И все они “величественные”, эти эмигранты: “великий” Лавров, “великий” Крапоткин, “замечательный философ” Плеханов и “пророчесственная” Екатерина Брежковская, не говоря уже о праведнице и сотруднице “Русских Ведо-

мостей” Вере Фигнер. Величия столько, что не оберешься» (ЛВИ, 597).

А.Н.

КРЫЛОВ Иван Андреевич [2(13).2.1769, Москва — 9(21). 11.1844, Петербург]. Р. часто обращался к образам и языку крыловских басен («Осел и Соловой», «Щука и Кот», «Стрекоза и Муравей» и др.). Р. считал, что «в его баснях столько житейской мудрости, народной, неопровержимой, одобренной гениальным умом самого баснописца, что, право, зависело бы от меня, я гимназиях, в курсе словесности, целый год отводил бы истолкованиям и изучению одного Крыла. Это энциклопедия нравственного научения и житейского опыта» (НВ. 1903. 5 нояб.). «Неслыханную сладость русского языка «чтобы “по душевье так вот и текло”» (ОПП, 224) Р. находил у Грибоедова, К., Пушкина, Лермонтова и Гоголя, хотя «у Грибоедова везде недостает теплоты», «Крылов недостаточно интеллигентен; у Гоголя нет благодушия и простодушия» (ОПП, 229). Рецензируя сборник «1812 год в баснях Крылова» (СПб., 1912), Р. утверждал: «Крылов — наш литературный Кутузов: даже и силуэты их, в черной краске выполненные, сходны» (СХ, 379). В 1916 Р. писал о К.: «“Крылов” и “русские” — это что-то неразделимое, неразделимое. “Вот наш ум”, “вот наш характер”, “вот резюме русской истории”» (ОПП, 650).

А.Н.

КРЫМОВ Владимир Пименович [7(1).7.1878, Динабург, Витебская губ. — 6.2.1968, Шату, пригород Парижа] — писатель, журналист. Воспоминания К. о встречах с Р. изложены в его книге «Из кладовой писателя» (Париж, 1951) и в ряде очерков. «Когда я в первый раз приехал к Розанову, дверь приотворила девочка лет десяти–двенадцати, закутанная в теплый платок; приотворила, спросила кто, захлопнула дверь и побежала спросить, выпускать ли. Через минуту пустила в темную переднюю. Вышел Розанов. — А, очень рад, пожалуйста, раздевайтесь, я вам сейчас всю семью представлю. — В следующей комнате была уже вся семья, видимо, было так принято у них — всем выходить сразу навстречу. Полная простоватая женщина, закутанная в большой шерстяной платок (такой, как носила когда-то моя нянька, рядом несколько девочек, побольше и поменьше — все в платках. В квартире было тепло, платки были просто частью наряда, своего рода стиль. — Это моя жена, а это мои деточки. — Каждую он чмокнул в голову и погладил, поцеловал и жену, все время с радостной улыбкой <...> Над столом вся полка была уставлена собственными произведениями Розанова, каждая книга в особом переплете, некоторые в ярко-цветных. — Для каждой книги нужен свой цвет, другой не подойдет, оскорбит ее... Я для каждой выбираю подходящий, у каждой книжки своя душа, своя особенная. Оскорбительно было бы всем им одинаковые переплеты... — Я заехал за Розановым, чтобы куда-то его везти. Он пробовал было отказать: — У меня вечером заседание Религиозно-философского общества, надо подготовиться. — Опять будете там спорить с Мережковским и Гиппиусом о канонах и догматах? Лучше бы вели с Гиппиусом споры по сексуальным вопросам, тут у нее больше авторитетности, — пошутил я. — А вы заметили, что мистическая религиоз-

ность всегда связана с повышенной сексуальностью? Блудники и развратники часто кончают *монастырем*. — Розанов оживился: — Да, это интересно... это очень интересная *тема*. Так и должно ведь быть — и там и тут *тайна*. Величайшее таинство *жизни*... Я, пожалуй, поеду с вами, только ненадолго. — Опять провожать высыпала вся семья. Опять каждого Розанов чмокнул, громко и влажно, и жена его перекрестила на дорогу: — Ну, поезжай с *Богом*, Христос с тобой...» (Москва. 1998. № 4. С. 197–198). К. рассказывает о работе Р. в «*Новом Времени*», где в 1910–1913 сотрудничал и сам, став коммерческим директором. «Розанов всегда сам приносил статью в редакцию и как будто неуверенно — подойдет ли она — протягивал редактору, что-то при этом шепелявил и потом молча уходил. Понятно, он был уверен, что статья будет напечатана, редакторы считали даже неудобным прочитывать статью Розанова до набора, просто наверху в уголке ставились буквы “п.к.” — плотный корпус. Некоторые из главных сотрудников посылали иногда статьи прямо в набор. Розанов никогда этого не делал. В редакцию присылалось много книг для отзыва, отзывы печаталось мало, но книги немедленно исчезали в карманы сотрудников и там навсегда оставались. Розанову книг не перепало (разве что-то по религиозным вопросам, которыми другие не интересовались), но читал он много. При большом построчном *гонораре* Розанов зарабатывал все-таки меньше некоторых других сотрудников (*Меньшиков* не в счет, тот получал пятьдесят копеек за строчку и писал иногда подвалы); каждая статья была кусочком его души — иногда сумбурная, но выношенная, пережитая, как будто продуманная или продуктом *чтения* многих книг (Там же, 198–199).

А.Н.

КРЮЧКОВ Дмитрий Александрович [14(26).4.1887, Петербург — 18.1.1938, Ярославль] — поэт, критик и журналист, член петербургского *Религиозно-философского общества* (РФО). В *письме* к Р. от 28 октября 1913 К. обратился с просьбой о воскресном свидании для обсуждения современной русской религиозно-философской поэзии. Во время *суда*, устроенного Мережковскими в РФО над Р. в январе 1914, К. выступал в защиту Р.: «Проф. *Гредескул*ом был поставлен вопрос так, что он не хочет встречаться с Розановым потому, что ему тяжело, то, может быть, некоторым членам Совета [РФО] неприятно было бы встретиться с автором “Бесов”, если бы он был жив и находился в периоде создания этого произведения, — и вот, некоторые люди, в увлечении, не захотели бы подать ему руки. Что же было бы это правильно? Вы сказали бы: мы боремся, тут два лагеря, и потому мы заграждаем вам уста. Розанов говорит резкие *вещи*. Я был на нескольких заседаниях Общества и слышал очень резкие вещи, направленные против *Православия*. Господа, если Вы оскорбляетесь нападками и резкими словами Розанова по отношению к Обществу, то ведь православных оскорбляют резкие слова по адресу Православия. Однако сам *Мережковский* сказал: “Когда я говорил, кто-то назвал меня антихристом, и я был рад, потому что видел, что тут действительно горячо борются” Борьба, мне кажется, возможна действительно словом, а не заграждением» (ЗПРФО, 45). 28 января 1914 К. обратился к оппонентам Р. (Крючков Д.А. *Ис-*

тина или словесность? Открытое письмо председателю СПб. Религиозно-Философского Об-ва проф. *А.В. Карташёву* // Очарованный странник. М., 1914. Вып. 3. Янв.). К. считал, что речь *Вяч. Иванова*, просившего у РФО «о даровании *свободы* мышления», не нашедшая поддержки у собравшихся, и «шумное одобрение выпадов проф. Гредескула» открыли истинное *лицо* Общества. На заявление Карташёва, что Р. «нигде нет места», К. обвинил Совет РФО в попытке реанимации *цензуры*: «Очевидно, в тот момент Вы забыли, что *мысль* нельзя ни сжечь, ни изгнать. После Вашего резюме мы должны опять, как в добрые старые годы, приветствовать “честные” бездарности и гнать “неудобные” *таланты*» (там же). К. резюмировал итоги суда над Р.: «В Обществе считаем, а не взвешиваем *голоса*, всегда будет царить *Князь мира* сего» (там же). В *письме* к Р. от 7 октября 1915 К. просил о встрече для обсуждения своей будущей статьи о Р., которую он готовил для энциклопедического словаря товарищества «Деятели» (К. служил в литературном отделе издания). Характерны *пометы* Р., приложенные в 1915 к письмам К.: «Крючков (неужели казак?!...); «Крючков (надеюсь не казак?)» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1). Записи Р. к письмам поэта переключаются с громкой славы казака Козьмы Фирсовича Крюčkова, героя *Первой мировой войны*, «где, — как писал Р., — самая замечательная была победа казака Крюčkова, по обыкновению отрубившего семь голов у немцев» (АНВ, 9). Записи Р. в *рукописи книги* «*Апокалипсис нашего времени*» свидетельствуют о знакомстве писателя с критической статьей К. о сборнике русских сказок А.М. Смирнова в журнале «*Книжный угол*» (АНВ, 346).

А.В. Ломоносов

КСЮНИН Алексей Иванович (1882 — 12.5.1938, Белград) — репортер «*Нового Времени*», печатавший отчеты из *Государственной думы*, военный корреспондент. Эмигрировал в 1918. В 1912, вспоминая *Русско-японскую войну*, Р. писал: «Разве не ликовало все общество и печать, когда нас били при Цусиме, Шахэ, Мукдене? Слова Ксюнина, года три назад: “Японский посланник, при каких-то враждебных Японии статьях (переговоры, что ли, были) левых русских *газет* и журналов, сказал вслух: “Тон их теперь меня удивляет: три года тому назад (во время *войны*) русская радикально-политическая *печать* говорила о моем отечестве с очень теплым *чувством*” — “Понимаете? — смеясь прибавил Ксюнин. — “Радикалы говорили об Японии хорошо, пока Япония, нуждавшаяся в них (т.е. в разодрании единства духа в воюющей с нею стране), платила им деньги” И в словах посла японского был *тон* хозяина этого дела. Да, русская печать и *общество*, не стой у них поперек горла “*правительство*”, разорвали бы на клоки *Россию*, и роздали бы эти клоки соседям даже и не за деньги, а просто за “рюмочку” похвалы. И вот отчего без нерешимости и колебания нужно прямо становиться на сторону “бездарного правительства”, которое все-таки одно только все охраняет и оберегает. Которое еще одно только не подло и не пропито в России» (У, 163).

А.Н.

КУТЁЛЬ Александр (Авраам) Рафаилович [13(25).8.1864, Мозырь, Минская губ. — 6.10.1928, Ленинград;

псевд. Ното повус] — театральным критик, журналист. Р. создал отталкивающий образ писателя К., сознательно не делая различия между ним и его младшим братом Ионой Рафаиловичем, редактором-издателем газеты «День» (1912—1917). Называя К. «грязным газетным писакой», Р. замечает в «Мимолетном»: «Он владелец собственной газеты и может всякого обругать. Он ведь Ното повус и Нотупинкус, два фельетониста, и еще редактор. Все “сам”, т.е. все эти три — Кугель, Нотупинкус и Ното повус — просто один Кугель» (КНУ, 592). Когда К. обозвал Л. Андреева «дураком», Р. «в первый раз пожалел Л. Андреева. Так ругают былую славу, — и главное, столь просто. “Дурак” И ни споров, ни возражений, ни сомнений. У него все-таки талантливая вещь “Жили-были” Но я смотрел на Кугеля. С каким лошадиным ржанием он произнес: “Дурак” Л. Андреев все-таки русский писатель. И над которым все-таки когда-то горела звезда. Пусть из сусальной золотой бумаги. Но он — судьба, имя, приключение русской литературы. А Кугель? Так же развалясь и грязный, он сидел в креслах — в баронских креслах. Я смотрел на него со страхом. Он страшный. Кугель. Это — будущее русской литературы» (Там же, 593). К. написал критический очерк о статье Р. «Актер» («Театральные заметки» // *Театр и Искусство*. 1909. № 37, 40), усматривая в ней нападки и донос на искусство актера. «“Всеми презираемый Розанов...” — пишет Кугель (*еврей*, “День”). Почему “всеми”, если борюсь с евреями. Почему за вас, евреев, должны “все презирать” человека, если он с вами борется. Но теперь я перекидываю умом и скажу: “Всеми презираемые убийцы Александра II” А, не нравится? Не хорошо? Далее “не смею” <...> Почему же я, русский, не могу выразить того состояния неуважения души своей к убийце своего Государя, давшего свободу крестьянам, обновившего реформами Россию, потрудившегося для России, — какое состояние презрения души своей вы выражаете ко всем, кто не склонил колен перед вашим проклятым Бейлисом, который все-таки тянул за ручонку мальчика за 15 минут перед тем, как его нашли зарезанным» (КНУ, 247). О нравственном облике брата К., Ионы, Р. высказывался вполне определенно: «Кугель, жид и радикал, получил 40 000 руб., — больше, чем Толстой за “Войну и мир”, — заключив контракт с Сытиним о редакторстве “Русского Слова”, а когда контракт был Сытиним нарушен ввиду того, что к нему “заправилой” вернулся Дорощевич, коего чуть было не переманил в “Биржевку” Пропер, — то Кугель и сорвал “неустойку” <...> Но что же такое Кугель? Негодай. Это все знают. Черный, грязный и отвратительный. Да, но он “радикал”, т.е. передовой. А какая же русская газета будет читаться, если ее редактирует не “свежий человек”, когда-нибудь издали повидавший даже *Верочку Фигнер*» (М, 100). 1 июля 1915 Р. делает вывод о К. «Потому что он издает газету”. “Мерзавец, издающий газету” — теперь всех победил» (Там же, 208).

А.Н.

КУДРЯВЦЕВ Константин Иванович — один из ближайших друзей Р. по гимназии. Р. хранил 12 писем К., которые опубликовал в книге «*Опавшие листья*». Историю исключения К. из гимназии директором К.И. Садовковым Р. рассказал в книге «*Смертное*». Имя Кудрявце-

ва он упоминает и в книге «*Мимолетное. 1915 год*». Весной 1874 К. на экзамене по латыни за 5 класс получил единицу и был исключен из гимназии. «В тот час у него умер и отец. Он поступил на службу (чтобы поддержать мать с детьми) <...> и писал мне отчаянные письма <...> он был ловок, силен, умен, тактичен “во всех делах мира” А как греб на лодке! а как — потихоньку — пил пиво и играл на биллиарде! И читал запоем» (У, 246—247). Десять писем К. к Р. охватывают период с 28 сентября 1874 по 6 июля 1877. Сначала К. пишет Р. из деревни Митинка, где живет у дяди по матери В.М. Потехина, потом из села Мурзицы Курмышского уезда Симбирской губернии, где с большими трудностями занял должность письмоводителя у станového пристава: «Условия — семь руб. в месяц жалованья, стол и освещение его и, вдобавок, маленькое отделение за ширмами для успокоения моего брэнного тела, — пишет К. 10 января 1875. — Не правда ли, превосходное место? Думал ли ты, Вася, что я когда-нибудь буду служить в полиции, так нами осмеиваемой и презираемой?» (У, 250). В письме К. от 15 апреля 1875 на вопрос Р., рад ли он, «по смерти отца, своей свободе», К. дает товарищу решительную отповедь, а за житейские советы называет «наивным мальчишкой»: «Ни о какой радости, ни о малейшей свободе — тут не может быть и речи. Напротив, — во сто раз больше зависимости от семейства, от ясного сознания долга поддерживать и помогать ему. Я теперь долго буду мучиться этими обязанностями. Если бы еще одна мать, а то сосущие титьку братья. Нет, Вася, я теперь человек не свободный» (У, 252). Далее К. оценивает интеллектуальный потенциал Р.: «Ты способен к обширной деятельности — нет сомнения; у тебя хорошие задатки к научной деятельности, которые еще достигнут полного развития в университете; ты легко можешь сделаться отличным писателем в области критики и вообще публицистики, а может быть и в беллетристике» (У, 252). Февраль 1875 К. прослужил помощником конторщика в г. Алатыре Симбирской губернии в Торгово-промышленном товариществе «К.Н. Попов и К°»: «Я было обрадовался этому плохонькому местечку, во-первых, потому, что обстановка и занятия гораздо лучше, чем у станového пристава; во-вторых — мать весной хочет туда переехать в свой дом <...> Но обстоятельства сделали иначе... и вот я опять сию здесь <в Митинке>, жду у моря погоды. Подыскиваю, расспрашиваю, узнаю места и людей, но места еще не нашел» (У, 253). Все остальные письма Кудрявцева к Р. отправлены из Алатыря, где семья поселилась в собственном доме на Стрелецкой улице. Еще живя в Митинке, К. следил по газетам за крахом начавшегося весной 1873 движения радикальной молодежи в деревню, которое охватило 37 губерний Европейской России. «Что это у вас делается в Нижнем? Аресты, обыски, открытия...» — спрашивает он Р. в письме от 28 сентября 1874. И далее: «Брожение умов распространяется и на нашу местность: два управляющие из окрестностей арестованы» (У, 249, 250). С началом Русско-турецкой войны 1877—1878 К. обсуждает в письмах к другу события на Балканах: «Я горячо желаю войны с Турцией, боюсь только <...> найдутся ли у нас новые Румянцевы и Суворовы, знатно колотившие турок» (У, 259). К. сокрушается, что никак не может прочесть последний роман И.С. Тургенева: «Читаю тол-

стые журналы последних лет и пожираю газеты; только не могу достать “Нови” никак и нигде... Навряд ли в Алатыре выписывается экземпляра с 2 “*Вест. Евр.*” (У, 259). Выписав из Москвы пособие Генриха Оллендорфа, К. усиленно изучает французский язык, упорно готовится к сдаче экзаменов на звание *учителя истории* и географии уездного училища, которые успешно выдержал: «Диплом-то я получил, да места мне еще пока нигде не вышло <...> сюда назначен другой, а я опять сижу у моря...», — сообщает он Р. 26 февраля 1877 (У, 258). 17 августа 1876 К. получил и фотографию Р.: «Сейчас, сию минуту, получил твое милое письмо и карточку! Немедленно сажусь отвечать... Ах, если бы ты видел меня в ту минуту, когда из конверта выпала твоя карточка!.. Я положительно был вне себя от радости, прыгал, бегал по комнате и даже <...> заплакал» (У, 255). Отчаявшись попасть в Нижний Новгород, чтобы повидаться с Р., К. в этом письме приглашает приятеля самого приехать в Алатырь. Переписка К. и Р. была настолько доверительной, что алатырский корреспондент нижегородского *гимназиста* был осведомлен о самых сокровенных обстоятельствах *жизни* Р., в частности о его параллельных романах с учительницей *музыки Юлией Каменской* и *Апполинарией Сусловой* — «женщиной Достоевского»: «Что с тобой, Вася, в самом деле? <...> Разве *quasi*-вдовушка уехала из Нижнего? или твоя симпатичная *amante* изменила тебе, что люди опять начинают казаться тебе “копошались” червяками и собственное твое я чуть-чуть не разлетается мыльным пузырем?» — спрашивает К. друга в письме от 17 августа 1876 (У, 256). Вероятно, «инфернальный» роман с «железной Апполинарией» и явился причиной прекращения эпистолярного общения друзей. Р. к этому *времени* уже полностью был во власти своей «мистической привязанности» к Сусловой: «Милый мой друг Вася! Что с тобой случилось, что ты не отвечаешь на мои письма? <...> Я тебе послал два или три письма, а ты все молчишь и молчишь... Какая этому причина?» — сокрушено вопрошает К. 6 июля 1877 в последнем своем письме к Р. (У, 260). Пейзажные зарисовки в письмах К. (У, 249, 260), описание рождественских и святочных гуляний (У, 259), меткие *характеристики* алатырских обывателей (У, 257) — свидетельство писательского *таланта* К. В сборнике «*Сумерки просвещения*» Р. вспоминал: «Я до сих пор сохраняю у себя пачку писем одного школьного товарища, исключительно из нашей средней школы по так называемому § 34 (за неспособность), написанных непосредственно вслед за исключением, когда он принял на себя содержание осиротелой семьи своей, свидетельствующих о такой высокой мере именно умственных способностей, о таком брызжущем искрами даровании, что ни в гимназии, ни позднее в *университете* я столь ярких способностей в своих товарищах не встречал» (СП, 103). Спустя 38 лет после прерванной переписки, Р. вспомнил друга юности и опубликовал эти письма. Высокое мнение Р. о К. подтверждается и реакцией Р. на ординарность плоско мыслившего председателя 1-й Думы профессора *С.А. Муромцева*, заявившего, что «*Государственная дума* не может ошибаться». «Неужели мой Костя мог бы так провалиться на государственном экзамене?!! <...> Где этот милый товарищ?!» (У, 247).

Е.П. Краснов

КУЗМИН Михаил Алексеевич [6(18).10.1872, Ярославль — 1.3.1936, Ленинград] — поэт, прозаик, критик. Р. негативно отозвался о романе К. «Крылья» в статье «То же, но другими словами» (ЗР. 1907. № 1). Впервые К. видел Р. в «башне» *Вяч. Иванов* в 1907, однако личное знакомство состоялось по инициативе К. 16 ноября 1914: «У Розанова хорошо. Серия дочерей и свояченица. Заставили петь “Богородицу”, причем В.В. нашел, что у меня колдовское пение. Был кое-кто. Не знаю, какое я произвел впечатление. Звали и провожали» (Кузмин М. Дневник 1908–1915. СПб., 2005. С. 495). *А. Ремизов* описал эту встречу в «*Кукхе*»: «Я подзадорил В.В.: и Кузмина повидать и пение его послушать — хождение Богородицы по мукам. А все что-то мешало, все откладывалось. Прошел год и другой <...> В первое же знакомство у Розановых Кузмин играл на рояли и пел. В.В., зорко присматриваясь к нему — “легенда!” — слушал единственную легенду, в которой все существо наше, *вера* русская и такая — другая, не Дантова — хождение Богородицы по мукам. — Хорошо, как птичка в лесу!» (Ремизов А. Собр. соч. М., 2002. Т. 7. С. 114–115). В период гонений на Р. в 1914–1915 К. неоднократно бывал у него. В рецензии на журнал *В.Р. Ховина* «*Книжный угол*» (*Жизнь искусства*. Пг., 1918. 25 нояб.) К. писал, что Ховин «приходит в объятия гениального автора “*Уединенного*” <...> Мне кажется, что редактор “Угла” несколько ошибся, если он рассчитывал на *уединенность* Розанова в политико-общественном отношении, потому что именно в этом смысле замечательный писатель проявляет свойство, наиболее отгалькивающее от него людей, очевидную и хлопотливую приспособленность к утвержденному в данную минуту политическому порядку *вещей*. Насколько Розанов смел и независим в философских, моральных, эстетических и богословских вопросах, настолько трудно себе его представить протестантом против утвердившегося (притом, я думаю, любого) политического момента. Причем удивительнейший Розанов, единственный, неповторимый, всегда похож на гениального ребенка, готового нагадить на ласково принявшие его колени. Конечно, можно и это свойство считать за признак известного интимного дружества» (Кузмин М. Дневник 1934 года. СПб., 1998. С. 272–273). *А.Н.*

КУЗНЕЦОВ Николай Дмитриевич (1868–1930) — профессор Московской духовной академии, специалист по старообрядчеству; арестован в 1918–1919, проходил по делу о сопротивлении *властям* при вскрытии мошей преп. Саввы Сторожевского, приговорен к расстрелу в 1920, который был заменен тюремным заключением, в 1929 осужден к ссылке в Алма-Ату, где и скончался. Автор *письма* к Р. от 7 июня 1912 с просьбой о рецензии на свою *книгу* «Забывтая сторона дела еп. *Гермогена* и вопроса о патриаршестве» (СПб., 1912. 2-е изд.). Р. полемизировал со статьей К. «Патриарх или обер-прокурор» о проблемах синодальной системы управления Русской православной *церковью*. Он откликнулся на нее статьей «Об управлении в Русской Церкви» (НВ. 1912. 11 и 13 апр.; ПВ). *А.В. Ломоносов*

КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ Владимир Дмитриевич [28.8(9.9).1859, Борисово, Тверская губ. — 17.2.1927,

Париж] — юрист, генерал-майор (1901). В декабре 1905 один из организаторов партии демократических реформ. Депутат 1-й и 2-й Государственной думы, сотрудничал с кадетами. Политический облик К.-К. вызывал у Р. скептические суждения: «В стране, свободной от всего, от церкви, от религии, от поэзии, от философии, — Кузьмины-Караваевы и Алексинские разгулялись бы... Тогда пойдут иные речи... Но мне, ну вот, именно, мне (каприз истории), до последней степени тошно от этих речей» (У, 214). В статье «Проф. Кузьмин-Караваев о суде над петербургскими адвокатами» (НВ. 1914. 15 июля) Р. рассматривает статью К.-К. в «Вестнике Европы» (1914. № 7) о закончившемся деле петербургских адвокатов, заявивших, что судебный процесс над Бейлисом явился «возведением в судебном порядке на еврейский народ клеветы». Позиция К.-К., защитника петербургских адвокатов, заставляет Р. напомнить о чувствах, вызванных «тем же самым процессом и приговором в тихой, спокойной, служилой России» (НФП, 340).

А. Н.

КУКЛЯРСКИЙ Федор Федорович (1870–1923) — литератор и философ. В своих произведениях К. анализировал творчество Р., отмечал преемственность взглядов Р. от К.Н. Леонтьева: «Розанов — типичный аналитик христианства, причем анализ его с годами все более углубляется, принимает все более и более интимный характер и вместе с тем все более и более сосредоточивается на ненормальных и темных чертах христианского откровения. В этом последнем отношении Розанов является прямым продолжателем Константина Леонтьева, с той, однако, разницей, что Леонтьев сатанизировал христианство во имя отрицания человека, тогда как Розанов сатанизирует его путем апелляции к натуральным родовым инстинктам человека» («Осужденный мир. Философия человеческой природы». СПб., 1912. С. 207). В то же время К. восхищался яркой характеристикой, данной писателем Леонтьеву, в которой тот определялся, как «дьявол в монашеском куколе» (Новое Слово. 1910. № 7; ЛВИ, 556). К. присоединился к распространенному в печати мнению о пережитой Р. метаморфозе: от ортодоксального подхода к христианству он перешел к полярно противоположному — к христорочеству. В 1912 К. видел в этом христорочестве «исключительную оригинальность Розанова». В качестве примера философ приводит книгу «Темный Лик», в которой «Розанов дерзнул посягнуть на самый святой лик христианского мира» («Осужденный мир», 208). Р., по мнению К., сложился как «натуралист-догматик, но догматик своеобразный, единственный в своем роде. Культивируя семейную, родовую жизнь, он ограничивает природу лишь этой благодетельной для человека стороной ее трагического бытия и страшится заглянуть дальше, глубже той гуманной природы, которую он чтит, как «природу-мать» <...> именно эти «страшные вопросы» и нужно было Розанову решить, прежде чем превозносить благодетельность природы и пытаться натурализовать человека» (там же). С точки зрения К., именно христианство является той «великой, гуманной, человеческой силой, разорвавшей связь между человеком и природой, и, тем самым, давшей человеку силы на борьбу с разрушительными инстинктами «натуры». Для К. «антихристианская „любовь“ к человечест-

ву» Р. «очень мало отличается от злобной и змеиной ненависти к человеческому роду» (Там же, 209). Р. откликнулся на книгу К. «Осужденный мир», высланную ему автором в апреле 1912, в статье «К изданию полного собрания сочинений К. Леонтьева» (НВ. 1912. 16 июня). Р. отмечал, что в книге К. «дана лучшая в русской литературе оценка Леонтьева (глава: «К. Леонтьев и Фр. Ницше как предатели человека»), причем автор настолько смел, что по железной твердости натуры ставит Леонтьева впереди Ницше, который был, в сущности, литератором-фантазером, а не человеком действия и требования. Леонтьев же был гораздо более «натурою», «характером», которому лишь побочно случилось стать в то же время «и писателем» <...> Куклярский верно отмечает в Леонтьеве больше, нежели в Ницше, цельности, упорства, фанатизма. Писания — второстепенное в нем; первое — могущественное хотение. Самый блеск писаний — невольное последствие этого хотения, с его «раскаленностью» (определение Куклярского). Ницше — факт литературы; Леонтьев — факт истории <...> «Два гения, — говорит в заключение г. Куклярский, — одного и того же уровня избрали разные пути, но надо надеяться, что в будущем эти пути сойдутся и имя Леонтьева будет всегда стоять рядом с именем Ницше. И тот, и другой влюблены в нечеловеческую, ужасную красоту; и тот, и другой присоединили свои творческие силы к усилиям человекоборческой природы; и тот, и другой с тоской и мучительной мечтой ушли в иной, свой, нечеловеческий мир» (ПВ, 120). Р. не принимал оценок К., искавшего и у него черты нищезанятия и демонизма: «Это ужасно странно и нелепо, и такое нелепое я выношу изо всего, что обо мне писали Мережковский, Волжский, Закржевский, Куклярский <...> С Ницше... никакого сходства! С Леонтьевым — никакого же личного (сход.)» (У, 382). Знакомство К. с Р. состоялось после письма первого из Сумского Посада (Архангельская губ.). Уже во втором письме К. рекомендовался как «ярый противник христианства и <...> Христа», находящийся под судом за кощунство (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 9. Л. 4 об.). К. просил о содействии в устройстве его литературной судьбы и присылке материалов о Леонтьеве. К. вызвал интерес Р. как исследователь наследия Леонтьева, и он действительно ходатайствовал за К. в «Новом Времени». Известна его статья «К. Леонтьев о „среднем европейце“» (НВ. 1912. 6 окт.), рукопись которой К. предварительно показал Р. С 1912 К. жил в Петербурге, куда он был переведен при содействии Р., который хлопотал перед А.В. Кривошеиным, и был устроен на должность мелкого чиновника в Управлении земледелия и землеустройства. Начинаящий философ часто бывал у Розановых, нередко просил у Р. об оказании материальной помощи. Сохранилась характеристика К., приложенная Р., к его письмам: «Куклярский (совершенно — казалось невозможный господин) лет 26–28–24? Очень красив, изящен: но — „Дай денег!“ (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 96). В черновых письмах (1911–1912) Р. отказывал К. выслать деньги его жене и рекомендовал просителя обратиться в Союз благовещения О.И. Корсакевич, «специально образованный для поддержки интеллигенции». Примечательны упреки Р. в пассивности К.: «Почему это русские только философствуют, ругают ничего не делающее правительство и са-

ми ровно ничего не делают» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 84. Л. 1).

А.В. Ломоносов

КУПРИН Александр Иванович [26.8(7.9).1870, Наровчат, Пензенская губ. — 25.8.1938, Гатчина, Ленинградская обл.] — писатель. В эмиграции в 1919–1937. Р. из произведений К. читал особенно внимательно «Яму». В статье «Куприн» (НВ. 1909. 26 нояб.) он пишет: «Мне не приходилось писать о его “Яме”, между тем сюжет этого рассказа боковым образом касается вопросов, с давних пор мне близких. Кто из *женщин* попадает в эту яму? Как они сюда попадают? Это — европейская тревога, европейская забота <...> В этой огромной области не могут быть забыты наблюдения, сделанные Куприным в его “Яме”» (ОПП, 424). Р. ценит в К. прежде всего мастерство: «Его простой, не умничающий, а умный рассказ, его наблюдательность, его внимание и уважение к обыденному — все это соединяет его перо с большими старыми мастерами русского слова» (там же). Метафизику *проституции* Р. рассматривает в «Мимолетном», где 1 сентября 1914 записывает: «О целом ряде писателей — о Куприне, особенно о *Юшкевиче*, — мы можем думать, что “это” им нравится. Что не *целомудрие* им нравится, а именно нравится нецеломудрие. Как? Почему? Не рассуждаем, а видим. Юшкевич не шадит своего самолюбия и самолюбия своего племени (*евреи*) и все настаивает, что “девы Саронские” этим занимаются в Бердичеве, Шклове и по всем местечкам Западного края. Описывает. И не знает утомления в картинах» (КНУ, 523). Р. обращает внимание на особый подход К. к проституции, столь близкий розановскому: «Нельзя не быть пораженным “при таком несчастье” общему, массовою жизнерадостностью проституток, веселостью, открытостью, смелостью и большим добродушием, беззлобностью. Гениальное словцо Куприна о них: — “Всмотритесь, они все суть *дети*”, — должно навеки запомниться. Это начало разгадки всего. Проститутки (выкидывая исключения) действительно суть дети, не взрослые. Они ведут свое ужасное дело смеючись и играя и без всякой мысли о “пороке”» (КНУ, 524). В связи с этим Р., сопоставляя себя с К.: «Куприн, описывая “вовсю” публ. д., — “прошел”, а Розанов, заплакавший от страха *могилы* (“Уед.”), — был обвинен в *порнографии*» (У, 243). Р. отмечает «наблюдающий взгляд у Куприна, *Арыцбашева*» (НВ. 1913. 20 марта; НФП, 48). Он отрицательно отнесся к повести К. «Суламифь», напечатанной в начале 1908 в альманахе «Земля». «Куприн вот переделал “*Песнь песней*” Соломона, но, во-первых, это безрассудная переделка, или, точнее, “пересказ своими словами” и своими добавлениями, только поставила около превосходной *вещи* вещь посредственную, не аттестующую автора; а главное — для чего это нужно? Второй, третьей и десятой “*Песни песней*” около первой не нужно по недостигаемому совершенству этой первой, по такому совершенству, что *песнь о чувственной любви*, о чувственной влюбленности, с описанием всей сладости ласк, введена в текст “Священного Писания” и положена на аналог в христианских даже храмах. Но, затем, и у самого Соломона сюжет ведь до того прост, несложен, что его нет никаких средств продвинуть дальше, никакой нет возможности около этого цельного хра-

ма с одним куполом устроить еще “приделы” *Чувственное* наслаждение просто и ясно, необыкновенно сильно. Но, знаете ли, оно сильно для того, кто его ощущает, и ни для кого другого! Чувственность должна переживаться и вправе переживаться, но она не должна пересказываться, ибо в пересказе ее просто нет, ничего нет, кроме иллюзорного и поверхностного шекотания нервов» (РС. 1908. 30 апр.; ВНС, 109).

А.Н.

КУРДИУМОВ М. [наст. фам. и имя Каллаш Мария Александровна, урожд. Новикова; 18(30).12.1885, Тверская губ. — 1954, Париж] — литературовед. До 1917 работала в *Москве* журналистом (псевд. Гаррис). В начале 1920-х эмигрировала во *Францию*. Опубликовала ряд *книг о литературе* и о Русской православной церкви. Одной из центральных фигур в *творчестве* К. становится Р. Еще в *России* К. публикует работы в периодических изданиях, посвященные писателю. Это рецензия за подписью Гаррис на «*Уединенное*» (Утро России. 1912. 15 марта), статья «*Карамазовщина*» (*Голос Москвы*. 1914. 11 февр.). За подписью М. Курдюмов в Париже выходит статья «*О Розанове*» (Вечернее Время. 1924. 13 июля). Увидевшая свет в 1929 в Париже книга «*О Розанове*» стала итоговой в розановедении К., анализом пути русского писателя к *христианству*. К. определяет особенность розановского творчества как умение воспроизвести «внутреннего человека»: «Из “внутреннего человека” выросли и церквись огромные его *темы*: *О Боге*. *О Христе* и *Церкви*. И *проблемы пола*» (с. 11). С точки зрения К., Р., явив собой в *литературе* исключительную неразделимость автора и действующего лица, оказался в эпоху диктатуры «прогрессивности» писателем вне общего направления «либерально мыслящей России». По К., он соответствовал своему *времени* только хронологически, став «вечным соло» в литературе и проявив одновременно удивительную устойчивость *гения*, нашедшего ответы на «вечные вопросы». Отсюда пророческие *мысли* о разрушительной *силе революции*, высказанные в «*Уединенном*» и идущие вразрез с общим настроением всей «честно-мыслящей прогрессивной» литературы. У Р., несмотря на всю противоречивость высказываний о христианстве, церкви и *религии*, «в основе всего лежала *идея Бога*, чувство Бога» (с. 32). Религиозное восприятие *мира* у Р. диктует и особое понимание «проблемы пола». К. анализирует причины пристального внимания Р. к этой проблеме, обращаясь к *детству* писателя, его *первому браку*. Святость пола Р. выводит из святости *рождения*, находя подтверждение своим идеям в Ветхом Завете. Жизнеутверждающей ветхозаветной идее продолжения рода Р. противопоставляет «темные лучи» христианства, образ Христа для него — «лицо бесконечной *красоты* и бесконечной *грусти*» (с. 37). Эту мысль Р. высказывает не только в «*Темном Лике*», но и в «*Онавших листьях*». С точки зрения К., мыслитель изначально «не постиг тайны Троичной слиянности, единства Отца и Сына» (с. 38). В то же время К. утверждает, что «вся боготорческая или христорборческая *жизнь* Розанова с ее страстными метаниями, порывами, протестами — есть изумительная и глубочайшая в своей сокровенности *история* человека, ищущего Бога и стяжающего Его через все преграды мира, через все, захватывающее мистичес-

кое прельщение миром» (с. 39). Христианство перенесло всю человеческую жизнь в иную плоскость, чего поначалу не признал Р., приписав «темноту» лику Христову и противопоставив ее жизнеутверждающему свету Ветхого Завета. В итоге проблема пола, «сросшаяся в Розанове с культом ветхозаветного примитива жизни, будучи поставлена все-таки вне христианства, несмотря на глубину и серьезность постановки, получила узкое и однобокое освещение» (с. 47), вне ее оказалась духовная сущность человека, арифметическое преумножение рода затмило идею личного бессмертия. Именно размышления о смерти, о временности человека заставляют Р. сделать решающий шаг на пути к Новому Завету. Свой религиозный путь сам Р. сравнивал с жизненным путем человека, обрастающего к язычеству, пока он молод и счастлив, и ищущего утешения у Христа в болезни, печали, в размышлениях о своей смертности. Уже в «Темном Лике» К. видит прорывы к христианству. Эти «перебои» в размышлениях Р., мучительный поиск самого себя К. объясняет по-своему: «В каком-то отношении он именно юродивый русский гений» (с. 80). Отсюда в «Темном Лике» наряду с христорборческими размышлениями оказываются удивительные строки о православных монастырях, о *Серафиме Саровском* и Саровской Пустыни. С точки зрения К., «вольно или невольно, но самым “спором” своим Розанов утверждал христианство, утверждал Церковь, утверждал основы религии» (с. 81). В этом пути к христианству К. противопоставляет его *Л. Толстому*, сравнивая не только философию, но и судьбы двух писателей: «Толстой умер вне Церкви. Розанов провел остаток своих дней... в *Сергиевом Посаде* вблизи одной из величайших святынь *Православия*, около своего друга *о. Павла Флоренского*» (с. 83–84). Книга К. «О Розанове» переиздана в сборнике: *Настоящая магия слова*. В.В. Розанов в литературе русского зарубежья. СПб., 2007.

М.А. Васильева

КУСКОВ Платон Александрович [18(30).11.1834, Петербург — 15(28).8.1909, Царское Село] — поэт, переводчик, критик, сотрудник почвеннических и славянофильских журналов «Время», «Эпоха», «Заря» и др. Р. познакомился с К. во время первой поездки в Петербург в 1889 у его друга, *Н.Н. Страхова*. К. отнес книгу Р. «О понимании» с рекомендацией Страхова в «Новое Время» *В.П. Буренину*, который отозвался о ней положительной рецензией (НВ. 1888. 20 мая). В некрологе *Н.Н. Страхова* (РО. 1896. № 10) Р. дал характеристику «старинного и неизменного друга покойного»: «Платон Александрович — автор простого и глубокомысленного рассуждения “Наши идеалы” (*Русское Обозрение*. 1893, февраль) и сборника стихов, между которыми есть прекрасные; переводчик сонетов *Шекспира* и его “Ромео и Юлии” К суждениям его всегда чутко прислушивался Страхов» (ЛВИ, 370). Р. включил в книгу «В мире неясного и нерешенного» три письма К., касающихся проблемы христианства и брака (ВМНН, 188–191). Р. считает «чрезвычайно ценной» мысль К. о том, что Царствие Божие начинается там, где кончается мир, хотя «высоко ценит и понимает семью». Однако К. принимает «мир» слишком светски, научно и рационально, исключая из него «Божью тварь», и его «решение», по мнению Р.,

«в сущности — само есть вопрос, и притом безмерно углубляющий тему» (Там же, 189). *Н.К. Михайловский* смеялся над особенностью творческого метода Р упоминающего в книге «В мире неясного и нерешенного» о «домашних радостях и горестях» К. вследствие своей «знойной привязанности не к одному делу, а и к поэзии вокруг дела» (PRO, 1, 338). В рецензии на сочинение К. «Наши идеалы. Разговоры на палубе» (СПб., 1904) Р. писал, что эта «интересная маленькая книжечка <...> имеет задачу свою показать или объяснить некоторые черты нравственного облика нашего народа» (НВ. 1904. 11 нояб.). Книга К., изложенная «в форме подслушанного разговора на черноморском пароходе одного русского и одного иностранца», как отмечает Р., опирается на «патриотическую триаду». Однако она лишена прямолинейности и формализма: «Все в ней дробно, взаимно переплетается, и не отличишь, где начинается “самодержавие”, где “народность”, где “православие”». Книга К. «служит всем трем идеалам, но служит так невольно и бессознательно, как дитя служит матери». Раскрывая содержание книги, Р. пишет, что по внешним признакам иностранец может принять русский народ и за раба, но «под своею корою он несет сокровище абсолютной душевной ценности, прямо царствие Божие; что он — с Богом. И вот за то, что он — с Богом, он готов положить свою жизнь, душу, судьбу». Идея самобытности исторического пути России утверждается К. в образной, по-розановски парадоксальной форме: «Вообще Россия немножко навозом попахивает <...> Хотя два века наши чиновники и просвещенные люди только и усиливаются, чтобы настлать в нашем хлебе паркет <...> христианам не следовало бы забывать, что их Избавитель и Спаситель родился в яслях». Чиновники, пишет Р., «в хлопотах о паркете, незаметно искореняют самую возможность Христа <...> И вот отчего мы в своем “навозе” упорны. — Азия! — Нет, но и не Европа». В некрологе К. (НВ. 1909. 22 авг.; в сокр. ИВ. 1909. № 10) Р. очертил своеобразие К. как мыслителя: «Зрели его мысли <...> не за письменным столом, не с пером в руках, а на прогулках, в беседах, в служебной работе. От этой постоянной переполненности его головы, или, вернее, его души мыслью — его разговор представлял необыкновенный интерес, занимательность, истинную поучительность. И так как все было продумано лично им, ничего им не взято было из книг, хотя он постоянно и много читал, то образ мысли его представлял необыкновенную свежесть и, позволим выразиться, житейскую душистость. Знал *Евангелие* из строки в строку, он иногда изумительно глубоко, ясно и великолепно объяснял некоторые изречения Спасителя <...> В философии Кускова ничего не было “нарочного”: мысли его так медленно зрели и ложжились такой спокойной сетью на предмет, ничего в нем не искажая, что казались в высшей степени правдоподобными, хотя и не сопровождалась “вычленением” или “опытом”, всею арматурою точной науки» (СМР, 273). Р. сравнивает К. с греческими философами, «которые профилософствовало “на ходу” века», не дошли до школьно-учебной философии и науки систематической и искусственной. Не будучи «доктринером» *славянофильства*, пишет Р., он был, «как любимый его писатель *Вл. Даль*, поклонником душевной глубины русского народа, и изящества, красоты русского народного обли-

чья». «Евангелие» и «народ» были вечными спутниками этого «прогуливающегося философа» ими только проверял он свою мысль» (СМР, 274). Р. привел в некрологе слова Страхова, что К. есть «настоящий „урожденный“ философ, с оригинальным и большим философским светом в себе, с полным и гармоничным мирозерцанием» (там же). В 1911, после издания сборника памяти *К.Н. Леонтьева*, Р. сетовал: «Вот и Кусков до сих пор не издан» (ОПП, 555). Р. надеялся, что *письма* к нему К. войдут в его сборники серии «Литературные изгнанники». В «Последних листьях» Р. вспоминает высказывание К.: «Когда у нас умерла первая Надя, он пришел утешить и сказал: „Умирает, В.В. не тот, кто „созрел“ (т.е. стар), а кто „доспел“, т.е. в ком судьба внутренне завершилась, кончилась. Он „скончался“, потому что с чем он родился — кончилось»» (ПЛ, 149). В итоговой статье «С вершины тысячетней пирамиды» Р. упоминает К. среди несправедливо преданных забвению славянофильских писателей, представляющих собой «растоптанный алтарь» (ОПП, 671). В РГАЛИ хранятся письма К. к Р. за 1888–1900 (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 507).

В.А. Фатеев

КУСКОВА Екатерина Дмитриевна [23.11(5.12).1869, Уфа — 22.12.1958, Женева] — публицист, политическая деятельница. Р. обычно именовал ее Елизаветой К. В 1922 вместе с мужем С.Н. Прокоповичем выслана за границу. В «Сахарне» Р. посвятил К. обширную запись: «Очень ошибаетесь, Елизавета Кускова, думая, что меня читают „Передонов со Смердяковым и больше никто“ Кто-то раскупает 2400 экз. книжечек, а „денежка счет любит“ — и это не даром. Смердяков хоть любит *литературу*, но представьте (ведь он либерал), он читает именно „Русск. Вед.“ — „последнюю ученость“; и Ваши там великолепные статьи, а в Розанова, „который прислуживает *Правительству*“, уж, конечно, не заглядывает. Может, Передонов еще заглянет: но, предпочитая, конечно, передового *Короленку*, — сбывает Розанова букинисту, а Короленку переплетает в золотой переплет» (СХР, 171). К. была известна своими интересами к *жизни молодежи*, поэтому Р. продолжает: «Что-то щемит у меня сердце, когда Вы пишете об оставляющих Вас *курсистках*. И поверьте (у меня 4 дочери, когда Вас все оставят, Передонов-Розанов скажет своей пылкой Верре: — Поди, Верочка (по такому-то адресу), назовись *псевдонимом* — там живет когда-то любившая вас всех, молодежь, — старая гаснущая *женщина*. Она не очень умна, или, вернее, она умна, но родилась в глупое *время* и всю жизнь повторяла глупые слова <...> И познакомься. И читай с ней *Некрасова*... Даже если о *Щедрине* будет говорить, не спорь. Отечество ругает — не спорь. Она стара. Но она славная и добрая, — она от *России*...» (СХР, 172). «Левый» путь К. чужд для Р. Но «она любит молодежь. А кто любит, „уже прав во всем“» (СХР, 192). Эту мысль Р. продолжает в «Мимолетном»: «Все мне говорят, что Кускова — при всей ее сумбуриности (когда же *баба* бывает умна) — женщина с добрым сердцем. А это — главное. Ее забота о молодых *девушках* — трогательна. Ее боль, что они отходят... Кто в наше время болит о ком-нибудь. Она явно болит не о том, что через „отхождение“ *малится революция*, а о них самих, отходя-

щих девушках, о „разлуке“ Это — замечательно и ново» (КНУ, 466). С годами отношение Р. к К. становилось более резким. «Как же Елизавета Кускова придет ко мне и скажет: „Я верую“ Никогда. Да она и в самом деле не верует. „Даже и представить себе не может“ Есть ли у нее *дету*? (вот если бы захворали). Наверное — нет. Муж? Правдоподобно — „да“ Но и муж ум-



Е.Д. Кускова

рет — она ничего не почувствует. Также не чувствуют ни *смерти*, ни жизни. Им бы „рабочий вопрос“ А, тогда они устроят „забастовку“ „От забастовки до забастовки“ — так и живут. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй и их — рабов Твоих невежественных и темных. Они еще несчастнее от того, что чувствуют себя счастливыми» (М, 186). Но в «*Опасных листьях*» Р. заметил: «Напрасно я обижал Кускову <...> Она старается о том, о чем ей вложено. Разве я не стараюсь о вложенном мне?» (У, 128). О том, как К. руководит учащейся молодежью, Р. написал статью «„Раненая“ молодежь» (НВ. 1912. 4, 7 янв.; ПВ).

А.Н.

КУТЛЕР Николай Николаевич [11(23).7.1859 — 10.5.1924, Москва] — один из руководителей кадетской партии, депутат 2-й и 3-й *Государственной думы* от *Петербурга*. В статье «Петербург и Кутлер» (НВ. 1909. 2 сент.) Р. дал характеристику К.: «*Винавер* или Кутлер „от Петербурга“ есть оскорбление для Петербурга: потому что вся *Россия* может подумать: „В Петербурге никого нет блестящее *Винавера* и благороднее *Кутлера*“ Вот в какое унижительное положение ставят кадеты петербургское население, — ставят через то, что они захватили в свои руки выборную машину, уменье агитировать и подставлять своих безличных личностей. „*Покладистый Винавер*“, „*покладистый Кутлер*“ Из Петербурга еще не выметен Грибоедовский сор, который он вымел из *Москвы* своим Молчалиным» (СМР, 280). В «Сахарне» Р. представляет К. как олицетворение парламентского *либерализма*: «Для безличного *человека* программа заменяет *лицо* <...> Можно ли представить себе *Кольцова*, держащегося „партии демократических реформ“? *Гоголь* или *Пушкин* „с программой“ — это что-то чудовищное. Напротив, Кутлера и нельзя себе вообразить без программы. Если он „без программы“ — он ничего. Без гал-

стуха, шляпы и вообще голый. Голый и жалкий. Без “программы” он только спит. Но, уже просыпаясь одним глазом, говорит лакею или жене: “Душечка — скорее программу!” Вот происхождение *Набоковых* и *Родичевых*. И вот из кого состоит парламент» (СХР, 31). Говоря, что в России идет парламентский «кутеж и обман», Р. считает, что в стране «встала левая “опричнина”, завладевшая всею Россией и плещущая купоросом в лицо каждому, кто не примкнет “к оппозиции с семгой”, к “оппозиции с шампанским”, к “оппозиции с Кутлером на 6-ти тысячной пенсии”...» (У, 290). К. выступил в Думе против взглядов *П.А. Столыпина* на земельный вопрос, и кадетская газета «*Речь*» дала место для публикации. В статье «Кадетская критика речи председателя Совета Министров» (НВ. 1907. 13 мая) Р. пи-

шет по этому поводу: «Но что же это за выцветший оратор, за полинялая бездарность. Этот ех-министр и ех-социалист есть вовсе не критик чужих *мыслей* и взглядов, как полагает о нем газета и партия, а жалчайший типографский корректор, путающийся в описках и недомолвках, поправляющий почти стиль чужой речи, ее отделку, — без всякой попытки спорить по существу и без всякой цельной *мысли* в собственной головке. Г-н-де Столыпин грешит тем, что считает социалистов недостаточно “государственниками”, тогда как они-де вполне государственники. Точно г-н Столыпин защищал в Думе ученую диссертацию, а Кутлеру предоставлено утвердить или не утвердить его в степени магистра по политической экономии!» (РГО, 409).

А.Н.

Л

ЛАБУЛЁ́ де Лефевр (Laboulaye de Lefebvre) Эдуард Рене (18.1.1811, Париж — 25.5.1883, там же) — французский ученый, публицист, сказочник. В 1900 в *Петербурге* вышел перевод его «Волшебных сказок», на который Р. откликнулся рецензией «Сказочное царство» (НВ. 1900. 26 мая; ВДЯ). Иной текст рецензии появился под названием «Первый полный перевод сказок Лабулэ» в «Новом журнале иностранной литературы» (1900. № 7), который был включен Р. в его книгу «Среди художников» под названием «Сказки и правдоподобия». Р. цитирует предисловие Л., который говорит о своей любви к жанру волшебных сказок. Р. отмечает, что «сказки Лабулэ представляют местами знаменитый политический памфлет; увы, в наше время, человеку нашего века, трудно быть сказочником на манер древних. У Лабулэ жгуч самый язык, который шиплет совесть, как горчичник шиплет кожу» (СХ, 174). Считая, что «в сказках есть часть вечной истины, бесспорно, заключенной в мифах», Р. приходит к выводу: «Сказки Лабулэ исполнены глубокомыслия и остроумия, а их острота и жгучесть уничтожают единственное неприятное качество, присущее или возможное в сказках: деланную наивность или излишнюю слащавость. Такими недостатками, между прочим, страдают многие сказки Андерсена» (СХ, 175, 177). А.Н.

ЛАВРОВ Петр Лаврович [2(14).6.1829, Мелехово, Псковский уезд, Псковская губ. — 25.1(6.2).1900, Париж] — теоретик революционного народничества, философ, публицист. Р. писал о революционных воззрениях Л.: «Если так веруешь в “революцию” и хотя бы когда-нибудь в “победу” ее — это прямой путь. Петр Лавров и вступил на него, простая и кроткая душа» (ОПП, 599). Вместе с тем Р. видел пагубность для России той пропаганды, которую вели Л. и подобные ему деятели. «Позитивисты” вроде Лаврова, Чернышевского, Писарева, были сплошью “Кифомокиевщиною”, их личным мнением и убеждением, которое они нагло с кафедры и из журналов навязывали читателям и слушателям как “тот последний результат европейского мышления”, достигнув которого — вообще все прежнее откинуто и забыто и выброшено за борт философского корабля, как гниль и отслужившая свою службу ветошь. Еще поразительнее, что эта мальчишеская дурь философски-неспособных господ преподавалась по крайней мере с кафедры в “приказующем” мундире чиновника Министерства народного просвещения» (ЛИ, 17). Во время войны с Герма-

нией 22 июля 1915 года Р. записывает: «Все эти “князя Крпоткины”, все эти Плехановы, Лавровы-Миртовы (“совершенный Добчинский”, по замечанию Никитенко в “Дневнике”), все эти теперешние Проперы, Кугели, Гессены — бьющие 43 года на гниль России, на разложение России — не соработали ли Германии в лице ее работы “всей страны, в лице ее духовной и научной деятельности»» (М, 246). Р. имеет в виду отзыв историка литературы А.В. Никитенко о Л., писавшем под псевдонимом Миртов: «Есть у нас особенный тип прогрессиста, который как нельзя осязательнее воплотился в Петре Лавровиче <Лаврове>. Он страстно любит человечество, готов служить ему везде и во всем <...> В награду за свою бескорыстную любовь Петр Лаврович хочет одного: быть признанным великим человеком между своими современниками <...> Петр Лаврович удивительно подвижный человек. Едва прочитает он в заграничном журнале какую-нибудь ученую и политическую новость, тотчас, как Бобчинский, бежит разглашать ее везде, куда только дозволен ему доступ» (Никитенко А.В. Дневник. М., 1955. Т. 2. С. 456).

А.Н.

ЛАППО-ДАНИЛЁВСКАЯ Надежда Александровна (урожд. Люткевич; 1874, Киев — 17.3.1951, Шароль, департамент Сонна и Луара, Франция) — гимназическая воспитательница дочери писателя Веры Розановой, писательница-романистка, автор популярной книги «Жена министра: Роман из жизни петербургского большого света» (Исторический Вестник. 1912. № 7–12; отд. изд. СПб., 1913). Р. упомянул ее фамилию в «Последних листах» в одном ряду с Е.А. Нагродской и А.А. Вербицкой в качестве примера авторитетной писательницы для либеральной общественности. В то же время Р. хлопотал об устройстве литературной судьбы Л.-Д. Он представил ее в письме своему другу, литературному критику А.А. Измайлову: «Примите даму-писательницу Кредо (Лаппо-Данилевскую) очень интересную, которая хочет поговорить с Вами. Назначьте ей день и час» (ОР РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 3684). Корреспондентка Р. в 1912 и 1913 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 11). 8 октября 1912 Л.-Д. просила Р. о личной встрече для обсуждения поведения дочери Р. в гимназии. 12 апреля 1913 писательница обещала прислать Р. отдельное издание своего романа «Жена министра», с карандашными пометами, на которые ей хотелось обратить внимание Р. В эмиграции с 1921.

А.В. Ломоносов

ЛАССАЛЬ (Lassalle) Фердинанд (11.4.1825, Бреслау, Пруссия — 31.8.1864, Женева) — немецкий социалист, публицист. В 4-м классе *Нижегородской гимназии* Р. прочитал статью Л. «Железный закон», о которой он вспомнил летом 1917: «Помню, с таким отчаянием ходил по нагорному берегу *Волги*, в *Нижнем*, под огненным действием этой статьи. Оно было огненное, это действие. К Лассалю присоединилось действие романа Шпильгагена «Один в поле не воин», с его героической и гибнущей личностью Лео Гутмана («Гутман» — «хороший человек» по-немецки). Все рабочие, все трудовое человечество представлялось затиснутым в тиски заработной платы, спроса и предложения и системы косвенных налогов, — так что, в изложении Лассалья, не оставалось никакой надежды на улучшение и облегчение путем нормального хода *истории*, и можно было чего-нибудь ждать просто от разлома истории, от бунта, от *революции* и насилия» (М, 392). В «Автобиографии», написанной в 1890, Р. вспоминает этот эпизод еще отчетливее: «Только одна статья Лассалья произвела на меня очень глубокое впечатление: в ней объяснялось, почему фабриканты, даже при желании поднять заработную плату, не могут этого сделать, что законом конкуренции они сдерживаются от всякой попытки в этом направлении и, когда упорствуют в ней — погибают. Я помню, как прочтя статью, я вышел гулять на откос, раскинутый над Волгой, и как сумрачно представлялась мне действительность, не значащим сравнительно с этим всё, чем люди интересуются» (ОСЖС, 688). Но подобные настроения Р. вскоре преодолел. И вдруг «на место социал-демократического, алгебраического представления пришло совсем иное, положительное восприятие: «Э! была бы оживлена местность! Были бы хорошие базары! Было бы много лавочек. Мастерских бы побольше, контор <...> И тогда — все будет хорошо, в нашем Нижнем, в Новгороде хорошо. А Шпильгагена и Лассалья — побочку» (М, 395). Р. высмеивал социал-демократов, читавших «Лассалья и Маркса»:

«— Сделал ли ты за всю *жизнь* хоть один гвоздь? — Я читал Лассалья. — И посадил ли ты хоть одно дерево? — Я читал Лассалья» (М, 280). «Как же вы меня убедите в правоте Лассалья и Маркса?» (У, 340), — вопрошал Р. и отвечал: «Победа была «над *Россией*» Во имя социал-демократии, сперва Фурье, Сен-Симона, идей Прудона; а затем — Лассалья, а теперь — Маркса. Но во всяком случае победы «над *Россией*», ибо — во имя «не *России*» Тут может быть что угодно, но «русского — ничего» Я говорю о победителях. «Русского ничего» — это победило «все русское»» (КНУ, 416). Начитавшись «Лассалья и Маркса», современный социалист говорит: «— Я не могу не плевать в русскую харю. Потому что этому с *детства* научили меня великие свропейские светила, Фердинанд Лассаль и Карл Маркс» (М, 218). Современный *социализм* Р. считает следствием «операции» Л. и К. Маркса: «Маркс и Лассаль производили Прудону обрезание и благополучно окончили <...> Когда они ушли, то на земле осталось что-то мокрое, белое и красное и вонючее. Это мокрое называется социализмом» (СХР, 250). Р. считал, что едва ли будет «будущая кооперативная и социал-демократическая Россия, по рецептам Маркса и Лассалья, лучше нам известной России» (ОПП, 600).

А.Н.

ЛАФАРГ (Lafargue) Поль (15.1.1842, Сантьяго, Куба — 25.11.1911, Париж) — деятель французского рабочего движения. В 1868 женился на дочери *К. Маркса* — Лауре (1845–1911), вместе в которой покончил *жизнь* самоубийством, чтобы избежать старости, не переступить порога 70-летия. Самоубийство Л. с женой вызвало возмущение Р., и он написал статью «Так ли хочет умирать человек!..» (НВ. 1911. 27 нояб.). «Ах, большие и малые социалисты: скучна ваша *вера*, пусты и барабанна <...> Черт знает что!! 50 лет верен «дочери Маркса»: да ведь Давид, святой — и тот изменил! Все лукавы: но это — какие-то «медные лбы» без лукавства, без измены... Хорошо писали, нажили хорошую виллу; и в ней умерли. Да это точно новенькая колода карт, не вскрытая, о которой говорят: «новенькие, чистенькие, не играные, без пятнышка, без фальши, куплены на казенной фабрике» <...> Чистенькие и без *греха*. «Живем в своей вилле, потому что хорошо писали. У нас *талант*» Нет, это с ума сойдешь от таких «Лафаргов» Только ниточка одна отделяет мужиков, чернорабочих, людей «последних и отчаявшихся», от *сознания*, что впереди их идут и ведут их какие-то уравнишечные быки, которые... идут, идут, а потом покончат с собою от старости. И — ничего больше, и — *молчанье* <...> Но никто не ожидал и *христианство* никак не предвидело, что придут некогда «супруги Лафарги», поиграют-поиграют в карты, все не крапленые, и потом скажут: — Душенька, нам пора спать... т.е. умереть... — Такого «раскладывания пасьянса» на конце «рабочего движения» и даже на конце самой всемирной *истории* (по обещаниям) человечество никак не ожидало» (ТПРН, 314–315).

А.Н.

ЛАХУТСКИЙ Павел Николаевич (ок.1865–1931) — священник, публицист с 1905 — протоиерей, редактор (вместе с *А.А. Дерновым*) периодических изданий «Православное Русское Слово» (1902–1905), «Церковный Голос» (1906–1907), «Всероссийский Церковно-Общественный Вестник» (1917–1918). Известна полемика 1901–1903 Р. с Л. и группой редакторов «Православного Русского Слова» о необходимости произнесения *молитвы* для рождающих, нашедшая отражение в *книге* «*Около церковных стен*». Редакторы недоумевали, для чего Р. ставит в один ряд с предметами священными и церковными вопрос о роженицах. Позиции Л. противопоставлялся авторитет архимандрита Никодима (Кононова). Сохранилось *письмо* Л. к Р. от 9 марта 1914 с приглашением встретить *Пасху* в Троицком храме (на углу Николаевской ул.), где Л. был настоятелем. Л. выразил в письме моральную поддержку писателю после исключения Р. из *Религиозно-философского общества* (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4212. Ед. хр. 35).

А.В. Ломоносов

ЛЕВ XIII [Винченцо Джоаккино Печчи (Рессі); 2.3.1810, Карпине-Романо — 20.7.1903, Рим] — Папа Римский с 1878. Р. на *смерть* Л. написал статью-некролог «Лев XIII и католичество» (НВ. 1903. 13 июля), где дал оценку не только ушедшему из *жизни* Папе, но и современному состоянию католичества, в том числе социальной доктрине в папской энциклике «Рерум новарум» (1891); этот «поворот папства» предсказал еще *Ф.М. До-*

стовский в «Дневнике писателя» (ОЦС, 131). В обращении Папы к рабочему движению Р. видит «могучую приспособляемость» католицизма. Он высоко оценивает шаг Л. навстречу рабочему движению, считая, что «папа несколько не перестал быть “Pontifex Maximus”, соединившись или начав подавать руку социализму и отвергнувшись значительно от королей или принцев <...> Он рекомендовал Фому Аквинского, как рекомендовал подумать и об обездоленном рабочем пролетариате: таким образом, он обнимал умом, как бы равно близко стоя к ним, века XIII и XIX» (ОЦС, 347). Р. упоминает также энциклику 1879, в которой учение Фомы Аквинского было санкционировано как официальное учение католической церкви. Р. видит в папстве могучую политическую силу, считая, что через энциклики, посвященные «современному положению вещей», «папа приобрел как бы ораторскую трибуну в современном парламентском строе Европы, но только чрезвычайно независимо поставленную, вне частностей страны и будничной политики» (ОЦС, 353). Р. ждет от папства подобного слова о семье и браке, решения проблем бракоразводных процессов и незаконнорожденных детей. Узнав во время поездки в Италию, что Л. увлечается домашней фотографией, Р. сетует на то, что он, вкусив все радости мира, «не вкусил одной и чистой радости — радости семьянина» (ОЦС, 169).

А.П. Козырев

ЛЭВИН Давид Абрамович (1863 — 30.10.1930, Либава, Латвия) — юрист, публицист. С 1906 — постоянный сотрудник газеты «Речь», где печатал серии статей: «Наброски». Рецензируя альманах «Смерть» (СПб., 1910; вышел в конце 1909), Л. выделил статью Р. «Смерть... и что за нею»: «В ней есть крупица личного, искреннего, пережитого, которая единственно только и придает интерес таким вечным и “космическим” темам, как смерть. Но статья Розанова, как белый голубь в стае черных ворон, каркающих со страниц альманаха» (Речь. 1909. 9 нояб.). Однако к 1912 оценка творчества Р. становится у Л. более сдержанной, переходя в негативную: «Наброски» (Речь. 1912. 19 мая) — о книге Р. «Уединенное»; «Илиодор» (Речь. 1912. 9 дек.) — о беседе Р. с опальным священником Илиодором. Статья Р. «Литературные олеографии» (НВ. 1913. 13 и 21 авг.; НФП) вызвала новые критические отклики Л.: «Поэзия вымысла, когда речь касается фактов, вот, собственно стихия г. Розанова; погруженный в эту стихию, он решительно не в состоянии понять, что есть разница между свидетельским показанием и “выдумкой” <...> И его, г. Розанова, еще называли “двурушником” Но будь у него, г. Розанова, не две руки, а столько рук, сколько ног у паука, — он бы мог писать во все газеты даже в “южные газеты”, не хуже “молодого еврея”, еще “чувствительнее”, “елейнее”, “маслянистее» («Наброски» // Речь. 1913. 22 авг.); эти нападки были продолжены Л. и в следующих «Набросках» (Речь. 1913. 24 авг.). Еще более резкую критику Л. вызвали размышления Р. по «еврейскому вопросу», о сущности завета евреев с Богом, о ритуальном отношении евреев к крови. Касаясь статьи Р. «Важный исторический вопрос» (НВ. 1913. 26 сент.; НФП), Л. иронизировал над замечками Р. о книгах Ветхого Завета, их соотносением с современностью: «Он открыл — шутка сказать! — вечную сущность, вечное “Я” “Бога Израиле-

ва”, ту вечную сущность, которая остается равной самой себе и неизменной во все времена, во веки веков <...> Розановская метафизика, розановская философия религии вылилась в форму безобразного идола, — и г. Розанов мажет этого идола кровью, поливает его потоками горячей крови животных и людей, думая, что от обильных возлияний каменный истукан оживет» («Наброски» // Речь. 1913. 30 сент.). Жесткой была реакция Л. на размышления Р. о ритуальных жертвоприношениях («Клятва Розанова» // Речь. 1913. 4 окт.); на публикации, связанные с делом *Бейлиса*: «Крокодилов плач прокурора есть только ораторский отголосок тех крокодиловых слез, которые лились и льются в “Новом Времени”, “Земшине”, “Русском Знамени”, — сам “Вечный Нил” не видел никогда такого слезного изобилия; нужно ли говорить, что особенно сладостно и чувствительно текут слезы у г. Розанова, чувствительнейшего из крокодилов, — у него особенный дар крокодиловых слез» («Наброски» // Речь. 1913. 26 окт.). Откликнулся Л. и на события, связанные с изгнанием Р. из Религиозно-философского общества. Имея в виду Р., Л. писал: «Признание свободы мысли и слова в самых широких пределах нимало не обязывает нас, как частных лиц, иметь принудительное общение с человеком, деятельность и характер которого внушают нам справедливое отвращение и презрение» («Наброски» // Речь. 1914. 26 янв.); «Утверждение Струве о моральной невменяемости Розанова — <...> самый беспощадный моральный приговор» («Наброски» // Речь. 1914. 29 янв.). Публикация Р. в газете письма Э.Л. Беренса о еврейских ритуалах («Интересное знакомство» // НВ. 1914. 4 мая; НФП) вызвала еще одну серию критических статей Л. («Нос г. Розанова и письмо г. Беренса» // Речь. 1914. 5 мая; «Сочинители» // Речь. 1914. 8 мая; «Они оправляются» // Речь. 1914. 10 мая). Р. видел в Л. представителя неприемлемой для него группы литераторов, журналистов, издателей, которая к началу XX в. завладела значительным объемом газетно-журнального мира России и навязывает русскому обществу свои взгляды, вкусы, мысли. Об этой группе Р. пишет в статье «Левину из “Речи”»: «Они задавили честную русскую мысль в печати <...> Они захватили салными пальцами чистую когда-то дворянскую литературу» (НВ. 1912. 13 дек.; ПВ, 248). О том же — в статье Р. «Наша “кошерная печать”»: «Они совершенно правы, Гессен, Любош, Винавер, Марголин, Левин <...> “В России для нас все возможно” <...> “Философов, Милюков и Мережковский у нас также поставлены прочно, как вообще у нас прочно поставлены и усердно работают Любош и Левин» (СХР, 324). В записи 5 марта 1915 Р. отмечает: «Гевалт” (“распни Его!”) залушил нагорную проповедь и речи на Генисаретском озере: разве же Кугель, Левин и Бикерман не заглушают Пушкина, Гончарова, Жуковского» (М, 23). В других случаях Р. использует имя Л. в качестве символа, олицетворения всей пошлости и неискренности современной ему критики и журналистики. «28 сент. 1913. Напишешь чу. Подбежал Левин. Полаял. Потом отбежал. Не понимаю, почему это “литература”» (СХР, 171). В заметке «В Религиозно-философском обществе...» (НВ. 1913. 24 окт.) Р. говорит о своем молчании в ответ на подобную критику: «Понятно, что “Европа шокирована” и “мы опозорены”, но это понятно “Левину” и не понятно “Розанову” Пусть он и пи-

шет <...> “Шум печати в Европе” “Тоже и *Петражицкий*” Вы думаете, это очень много?.. Но ведь здесь каждый равен каждому, и все измеряется мерою “одного” из 300 пишущих европейских или еврейских перьев, и этот “один” имеет приблизительно “величину Левина” И “голос Европы” есть просто “голос Левина”, помноженный на 300, на 400, на 1000. Что это? — Ничего» (СХР, 326–327). О действительности завета с Богом Р. писал: «Ведь “завет”-то и в самом деле был заключен и не разорван до сих пор. И не разорван единолично с каждым израильянином, пока он обрезан, т.е. с каждым обрезанным <...> и еврей м. быть вором, процентщиком, банкиром, газетным сотрудником, может ни разу не заглянуть в Библию, никогда не молиться, быть атеистом, Левиным, Винавером: все равно лежащая на Боге сторона обязанностей (у них это почти юридический “договор”, “вексель”) — остается, и Бог, между прочим, ему оказывает покровительство, защиту, поддержку» (СХР, 263). Отметив, что в *христианстве*, где все ветхозаветное отменено и заменено «Кровью и Телом Спасителя», — т.е. Бого-человека, естественно нет и быть не может человеческого жертвоприношения» (СХР, 316), Р. замечает, что «все это не понятно для Грузенбергов и Левиных, для гг. К. Арсеньева и корреспондентов газет» (СХР, 316). «Ах, всем им хочется крови ягненка ли, Ющинского ли... Левину хочется, Грузенбергу хочется, Марголину тоже хочется, и только они не ведают этого. А во сне грезится <...> Ведь это они кричали “в дни Бейлиса” о всем христианском обществе: “Распни его!! Гвоздей ему в ладони!! Зауши его в лицо!!” И заушали. Тут и грязный Любош старался, — вечно неумытый, засаленный Любош, и “Каиафа” — Левин...» (СХР, 340). «Левин верно упрекает меня в “эгоизме”. Конечно — это есть. И даже именно от этого я и писал (пишу) “Уед.”: писал (пишу) в глубокой тоске как-нибудь разорвать кольцо уединения... Это именно кольцо, надетое с рождения» (У, 97); «...вообще, когда меня порицают (Левин, другие) — то это справедливо (порицательная вещь, дурная вещь). Только не в цинизме: мне не было бы трудно в этом признаться, но этого зги нет во мне. Какой же цинизм в существенно кротком? В постоянно почти грустном?» (У, 131). Заметки Л. о книге военного судьи А.В. Жиркевича «Пасынки военной службы. Материалы к истории мест заключения военного ведомства» («Наброски» // Речь. 1913. 24 авг.), где Л. сетует на суровость условий содержания революционеров в заключении, дали повод Р. к размышлениям о жестокости самих революционеров, о жестокости революционных террористических актов, в которых гибнет немало ни в чем не повинных, случайных людей. («Левин из “Речи” о жестокостях русского суда» // НВ. 1913. 28 авг.; НФП).

В.Н. Дядичев

ЛЕВИТАН Исаак Ильич [18(30).8.1860, Кибарты Ковенская губ. — 22.7(4.8).1900, Москва] — художник-пейзажист. На розановское восприятие живописи Л. существенно влияла позиция писателя в еврейском вопросе. В 1908, размышляя об отношении евреев к русской культуре, наряду с В.И. Далем, П.В. Шейном Р. приводит в пример Л. как художника, отражающего в своей живописи русскую культуру: «Другой еврей, Левитан, создал русский пейзаж, т.е. он с такою глубиною, с такою поэ-

тичностью воспринял краски и тоны русской сельской и деревенской природы, русского поля, речки, перелесья как это не удавалось самим русским <...> Левитан уже оценен и признан теперь. Его заслуга перед русским художественным самосознанием никогда не будет вычеркнута из истории» (ВНС, 115–116). В 1913 Р считал, что на убийство П.А. Столыпина необходимо было «ответить распоряжением на другой же день выкинуть из русских музеев <...> все эти “chefs-d’oeuvre” разных Левитанов, Гинсбургов, Аронсонов, все эти павлиньи перья из иудейского хвоста» (СХР, 55). Концептуальной для розановского понимания художника является статья «Левитан и Гершензон», поводом для написания которой стали «бурные» слова Е.И. Апостолюпола («У Левитана все красиво... Но где же русское безобразие? И я поняла, что он не русский и живопись его не русская». — СХР, 75), с которыми Р. полностью согласен: «Да. И Левитан, и Гершензон оба суть евреи, и только евреи <...> И трактовали русских и русское, как восхищенные иностранцы, как я “Италию” и всякие “Пиренеи»» (СХР, 75). В рецензии на сборник материалов М.О. Гершензона по истории русской мысли и литературы («Русские Пропилеи». М., 1915) Р. рассматривает живопись Л. в историко-культурной параллели с научной деятельностью Гершензона. Р. воспринимает пейзажи Л. как мастерскую стилизацию русского ландшафта, а самого Л. как стилизацию русского человека: «Мастерство сказалось в том, что все точно и верно, но все несколько мертво, не оживлено» («Левитан и Гершензон» // Русский Библиофил. 1916. № 1. С. 80; ВЧВ, 35). Розановской мысли о левитановской стилизации близко наблюдение И. Грабаря о том, что при всем огромном даровании и самостоятельности Л. был «использователем» чужих идей». Р. критикует характерное для живописи Л. сведение конкретного человеческого присутствия к минимуму, «сокращение человека» с его натуралистичностью: «На пейзажах Левитана мы наблюдаем собственно “la nature morte”, потому что этот пейзаж всегда — без человека <...> удобнее, легче, — и “тогда воздух так прозрачен»» (ВЧВ, 34). Критика Р. «бесчеловечной» живописи Л. связана с розановской концепцией русской культуры, которая в отличие от космологичности западной литературы («озируют мир, страны, народы, судьбу народов») «исключительно антропологична»: «Вся сосредоточенность мысли, вся глубина, все проникание у нас относится исключительно к душе человеческой, к судьбе человеческой, — и здесь по красоте и возвышенности, по верности мысли Русские не имеют соперников» (ОПП, 369). Несмотря на то что под влиянием еврейского вопроса Р. выражает неприятие живописи Л., философ в то же время делает интуитивные наблюдения над его пейзажами. Р. отмечает преодоление Л. в своем «обыкновенном ландшафте» условностей классицистического и романтического пейзажей: «Все скромно, смиренно <...> Левитан нигде не берет “особенно красивого русского пейзажа” (а ведь такие есть) <...> Мы чувствуем, что Левитан не мог бы написать: “Парк в Павловске”, “Озеро с лебедями в Царском Селе” <...> Нет, он непременно возьмет бедное село, деревеньку; и лесок-то — всегда не богатый, не очень видный» (ВЧВ, 33–34). Р. отмечает в пейзажах Л. «хороший вечерний свет, спокойный вечерний свет» (ВЧВ, 35). Противопоставляя живопись

Л. натуралистической живописи *И.Е. Репина* («Репинских “невоздержанностей” он избежал»), Р. воспринимает ее как «безотчетную реакцию против 60-х годов с тогдашним безумным “реализмом”, состоявшим в “вали сюда всё» (там же). В этюде Л. (возможно, Р. имеет в виду «Последний снег. Саввинская слобода», 1884 или «Весна. Последний снег», 1895) Р. не хватает этой национальной бытовой натуралистичности: «Вот “Весенняя проталинка”, ну — завязло бы там колесо. Обыкновенное русское колесо обыкновенного русского мужика и в обыкновенной русской грязи. Почему нет? Самая обыкновенная русская история» (ВЧВ, 34). В живописи Л., выразившей лишь благочестие и благообразие русской жизни, Р. недостает мучительной, страшной русской сути: «До “Святой Руси” народ дотащился сквозь чернь этих океанных “труб” с таким “скрежетом зубовным” и стенаниями и вздохами <...> на эту “историю” оба накинули покров. Отчего как-то и заключаешь, что Русь не “кровная” им, не “больная сердцу” <...> Нет боли, крика, отчаяния и просветления; не понятно, откуда вышли “русские святые”, потому что спрятан, а в сущности не разгадан и “русский грешник” Греческие Пропилеи?.. Но у нас были только “проселочные дороги”, неудобные и мучительные» (ВЧВ, 35–36). Позже Р. сомневается в правильности своей оценки Л.: «Хотя я с ненавистью написал и о Левитане, и о Гершензоне, но, м.б., я ошибся. Не знаю, колеблюсь» (ПЛ, 97–98). Р. признается, что Л. любил *Россию* по-настоящему: «Думать, чтобы Левитан “фальшиво” рисовал все русские пейзажи, целую жизнь — одни русские пейзажи, не нарисовав ни одного еврейского домика и ни одной еврейской семьи, — невозможно» (ВЕ, 458). В период переоценки еврейского вопроса и примирения с евреями Л. для Р. — пример «интимности и сердечности» той «глубочайшей связи, какую иудеи обнаруживают к другим народам <...> они “отдаются вовсю” этим другим народам» (АНВ, 134).

А.А. Медведев

ЛЕВИЦКАЯ Елена Сергеевна [урожд. Полевая; ум. 20.8(2.9)1915] — внучка издателя журнала «Московский Телеграф» Н.А. Полевого, начальница гимназии в Царском Селе, где учились *дети* Р. Татьяна (см. ТВ, 35, 40) и Варвара; попутчица в путешествии Р. с женой в июне 1910 по *Германии*. Система образования в школе Л. описана Р. в статьях «Образцовая средняя школа» (НВ. 1905. 12 и 25 мая) и «Поспешная полемика» (НВ. 1905. 17 мая). В статье «В училищном мире» (НВ. 1908. 24 дек.) Р. отметил первый выпуск гимназии Л. «Сама основательница, заведшая школу первоначально ради своего сына, настолько убедилась в невозможности правильного воспитания детей “под крылом родителей”, что отправила его в подобный же тип школы, но за границу» (ВНС, 325). «Собственно, ей принадлежит только основная мысль школы: а разработка программ все время производилась в центральных органах министерства просвещения, и в настоящее время наблюдателем учебной части, или, как он официально именуется, “председателем организационного совета”, состоит проф. <И.Ф.> Анненский» (ВНС, 323–324). Статья Р. «Юбилей образцовой школы» (НВ. 1910. 16 сент.) посвящена празднованию десятилетия основания и открытия школы Л. в Царском Селе — «первой в *России* законченной классической

гимназии с интернатом, совместно для воспитанников обоего пола <...> Секрет школы Левицкой, — как иногда кажется, глядя на совершенно особый “покрой” ее учеников и учениц, лежит не в *уме* основательницы, а в ее вкусовых предрасположениях и тоже во вкусовых антипатиях: в ее нетерпимости, доходящей до фанатизма, ко всякой форме физического и морального разгильдяйства. Как известно, в школе не бывает температуры выше 11 градусов ни в спальнях, ни в классах (дети носят на теле фланель), и это до известной степени эмблема школы, не менее, чем и *цветок* подснежника (самый ранний весенний цветок), значок которого носят все ученики и ученицы на своей форме, — как и начальница и воспитательница: она с детского возраста “подмораживает” этот пылкий и хаотический возраст, в России проводимый так неуклюже, расстроенный, а не устроенный. Она не выносит неряшливости в *одежде*, неряшливости в походе, неряшливости в *труде*. В занятиях, и не допускает этого ни в себе, ни в *учителях* и воспитателях, ни в учениках» (ЗРП, 333–336). В 1906, когда в школах Царского Села бывали инциденты, в школе Л. занятия не были прерваны ни на один день и ни один ученик не позволил себе никакой выходки.

А.Н.

ЛЁВШИН Дмитрий Михайлович (1862–?) — попечитель учебных заведений Рижского учебного округа. Автор письма к Р. (б.д.) с автобиографическими сведениями и перечислением собственных заслуг на педагогическом поприще (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 12). К письму приложено отзыв Р. о корреспонденте: «Лёвшин. Попечитель Рижского округа. Серенький. Ни 2 ни 3» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 96). Записка Л., подготовленная на имя министра просвещения *А.Н. Шварца* о положении русского образования в Остзейском крае, была оставлена без внимания министра. Это побудило Р. высказаться в *печати*. Он подготовил на основе записки Л. ряд статей о системе национального образования на окраинах *России*: «Сила национальности» (НВ. 1908. 7 июля), «Инородческие языки в школе» (НВ. 1908. 14 июля) и «Привилегии немецкой школы» (НВ. 1908. 19 авг.). Р. считал, что Л. встал «на спокойную и правильную точку зрения в этом вопросе» (ВНС, 210). Записка Л. служила своеобразным отчетом о его деятельности в Остзейском крае, а также программой задач учебного ведомства в Прибалтике. Р. отмечал отступление немецкого элемента перед славянским на поприще образования в Прибалтике: «Г-н Лёвшин настойчиво проводил русское влияние в немецко-латышском крае, но без резкости и насилия», результатом которого стало предпочтение со стороны местного населения русского образования перед немецким (ВНС, 245).

А.В. Ломоносов

ЛЁМАН Георгий Адольфович (1887–1968) — московский издатель, переводчик, знакомый Р. В письме к Э. Голлербаху 8 октября 1918 Р. рассказывает о замысле издания «Словаря русских филологов»: «При встрече с Леманом (вторая ночевка в *Москве*, первая у *Русова*) — я передаю ему “исторически” упоминание Лемана о *Радлове* и рассуждение, поправляющее и дополняющее,

Русова. Леман — прямо ухватывается. И на слова Русова: “Если бы Леман сказал мне, что он непременно это издает, то я в эти же дни начал бы работу, взяв себе *Гилларова-Платонова*, взяв *Страхова*, стал бы искать помощников и сотрудников себе, и кое-какие талантливые студенты Духовной Академии и *Университета* — у меня уже намечены. Например, для Вас я, конечно, взял бы Голлербаха. Пожалуйста, уведомите меня, чтобы он выслал о Вас книгу”, — на эти слова, переданные мною Леману, сей благородный юноша сказал: “Конечно, я напечатаю эту книгу» (ВНС, 377). Книга не вышла, газета «Мир», в которой 6 октября 1918 благодаря Л. появилась последняя прижизненная статья Р. «Наше словесное величие и деловая малость», была закрыта. Р. отмечает в том же письме, что редактор газеты, «повидимому арестованный, не мог уплатить мне 400 р. *гонорара*». Далее Р. описывает домашнюю жизнь Л. (Полуэктовский пер., д. 6), его жену «флоренку», разговоры о «снах *Микель-Анджело*» и, вероятно, последний хороший обед в жизни писателя: «Подали: чудные рисовые котлеты. И я съел три. Кажется: суп. Не заметил. Или щи. И... главное, главное творог — и со сметаной, коей весь грустный год я даже не попробовал. И — с молоком. И — немного сахара толченого. “Как прекрасное было” С мыслью и жалостью, что “мой” этого не имеют в Посаде, я все это кушал, и для творога еще раз подставил “как будто рассеянню” тарелочку» (ВНС, 378). В заключение письма Р. дает общую характеристику Л.: «Да кто-то такой Леман? Это — *Белинский* же, с его впечатлительностью, с его отзывчивостью, но уже без чахотки, без злости, без революционного жара, отсюда вытекавшего: с благосостоянием (хотя теперь очень нуждается), обеспеченный, свободный, и гораздо более, чем *Белинский*, культурно-зрелый, стоящий вполне на своих ногах, друг целой серии молодых профессоров (Карсавин, <Е.Г.> Браун) <...> В кабинете Лемана — чудная картина (зимняя) монастырской стены *Сергиева Посада*, и вся она завешена потемневшими *иконами* старой московской живописи, “Москва! Москва!” — рвалось из его сердца. Хочется — Москвы, хочется — и Флоренции. Как мне — люблю Русь, *Волгу*, стерлядей в ухе, а грежу — фараонами, пирамидами, кастами, жрецами» (ВНС, 379). В прощальном письме друзьям, продиктованном 7 января 1919 дочери *Н.В. Розановой*, Р. сказал: «Лемана благодарю за помощь и великодушие, и жену его тоже, они оба изящны очень и очень сердечны, и глубоко надеюсь: от Лемана большое возрождение для *России*» (ОСЖС, 683). Письма Л. к Р., написанные в 1918, хранятся в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 278).

А.Н.

ЛЕМКЕ Михаил Константинович [30.10(11.11).1872, г. Демянск, Новгородская губ. — 18.8.1923, Петроград] — историк, публицист. Отзывы Р. о Л. скептически. Он называет его «малообразованным офицером», «немцем в русских» (КНУ, 413), упоминает в ряду имен чуждых ему по духу публицистов и общественных деятелей: «Я бы мог примириться с *интеллигентней* <...> если бы она не была так самодовольна <...> Посмотрите *тон* *Ив. Разумника*, Лемке, автора “Среди книг” (вспомнил — *Рубакин*). Просто какие-то генерал-лейтенанты “в демократических пиджаках” И у всех. Самовлюблен-

ность — сама суть *революции*» (М, 234–235). В рецензии на книгу Л. «Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия» (СПб., 1904) Р. отметил прекрасное знание Л. «печатной литературы» рассматриваемого периода и документов, связанных с историей цензуры в *России*. «Книга его очень интересна как чтение. Факты прошедшего, уже иным духом, нежели наш, производят на мозг освежающее впечатление — и от этого так любишь вообще историю» (НВ. 1904. 7 июля). Однако Р. возражает против преувеличения роли цензуры в истории *русской литературы*, против противопоставления исследования истории цензуры изучению «мелких подробностей биографии» писателей, которыми занимаются историки литературы. Р. пишет, что «в “мельчайших подробностях биографии” скрыт жидущий, сотворяющий момент в отношении к написанному поэтом или мыслителем: а в том институте, который изображен у г. Лемке, не содержится ни одного или почти ни одного мотива, темы, “направления” писателя», что «“мелкие подробности биографии” действительно несравненно важнее темы, избранной г. Лемке». Сравнивая цензуру с «квартирой, занимаемой, положим, *Фетом* или *Некрасовым*», с «Дарвиновыми “условиями внешнего существования”», Р. замечает: «При одних и тех же условиях *Пушкин* пишет одно, *Булгарин* — другое, *Огарёв* и *Брамбеус* — совсем третье». Читатель книги Л., с точки зрения Р., не может разграничить, где собственно убеждение цензора, а где он вынужден сделать «шаг по службе». Р. приводит подробности биографии С.Г. Строганова, «любимца, кумира и <...> благодетеля *Московского университета*, друга и покровителя *Грановского*, *Кудрявцева*, *Соловьёва*, *Буслаева* и мн. др.», с одной стороны, создавшего «золотую пору» университета в бытность его попечителем, с другой — серьезно навредившего русской литературе в эпоху «цензурного террора» 1848–1850-х. Р. трактует проявления «цензурного террора» иначе, чем Л.: «Вопрос тут не духа, как полагает г. Лемке, а — администрации». Р. напоминает об отрицании изящной словесности не только «генералами», которым по административному недоразумению был поручен надзор за литературой, философией и образованием, но и «практическими» публицистами шестидесятих годов»: «С точки зрения прикладного естествознания *Писарев* и Пушкину сказал: “вон!”». Р. признает за государственными людьми право на собственную точку зрения и считает, что «нужно войти в их право, чтобы по крайней мере понять, почему так самоуверенно и самоуверенно они действовали». Именно этого понимания не нашёл Р. в книге Л. и поставил ему в упрек «глубокую неосновательность того патетического тона, каким его книга написана». С точки зрения Р., «дело заключалось в неуклюжести и неопытности механизмов управления». На выход Полного собрания сочинений *Н.А. Добролюбова* под редакцией Л. и с его вступительными заметками к каждой статье Р. откликнулся рецензией «Юбилейное издание Добролюбова» (НВ. 1911. 26 нояб.), в которой писал: «Самые статейки его, библиографического характера, прилежны, кропотливы и не замечательны. Лемке — не критик и не историк, а библиограф с желчью. Это не тон Добролюбова или *Чернышевского*, хотя и их мысли, а тон *Зайцева* или *Шашкова*, или *Цебриковой*... Таков Лемке, который будет еще много и долго писать,

много и долго издавать, много и долго компилировать... (ОПП, 556).

Л.В. Суматохина

ЛЕНИН (Ульянов) Владимир Ильич [10(22).4.1870, Симбирск — 21.1.1924, Горки, Московская губ.] — государственный деятель, глава большевистской партии. Р. рассматривал его как главного преступника, разрушившего национальный уклад жизни России. 16 мая 1917 Р. писал о нависшей опасности со стороны «ленинцев» и об их «классовых вождениях», которые «угрожают всей России попасть в обладание какого-нибудь одного класса, тогда как она была и есть совокупность классов, есть единство и целостность страны со всеми ее окраинами и во всем множестве составляющих ее народностей» (М, 359). Сущность ленинизма как преступной теории Р. видел в том, что индивидуальный террор народовольцев Л. заменил массовым террором против всех сословий, против всех, несогласных с ним (так называемая «диктатура пролетариата» как суть ленинизма). Наиболее полную характеристику деятельности Л. дает Р. в статьях «Как начала гноиться наша революция» и «К положению момента», написанных для «Нового Времени», но тогда не опубликованных. «С приездом Ленина начался явный переворот в революции. Прошли ее ясные дни. Вдруг повеяло вонью, разложением. До тех пор было все ясно, твердо, прямо» (М, 403). Л. и ленинцы, говорит Р., производят «государственное и общественное расстройство», губят революцию, вводя смуту в саму революцию. «Этот пломбированный господин, выкинутый Германией на наш берег», как Р. называет Л., «был рассчитан на самые темные низы, на последнюю обывательскую безграмотность. И он ее смутил и поднял <...> Ленин отрицает Россию. Он не только отрицает русскую республику, но и самую Россию. И народа он не признает. А признает одни классы и сословия, и сманивает всех русских людей возвратиться просто к своим сословным интересам, выгодам. Народа он не видит и не хочет <...> России нет: вот подлое учение Ленина. Слушавшие его не разобрали, к чему этот хитрый провокатор ведет. Они не разобрали, что он всем своим слушателям плюет в глаза, называя их не «русскими», а только «крестьянами»» (М, 404–405). Как страстный защитник идеи России, Р. видел в Л. душителя русского народа и его культуры. «Ленин обращает Россию в дикое состояние. Он очень хитер и идет против народа, хотя кричит, что стоит за народ. В его хитрости и наглom вранье надо разобраться. Должны разобраться, что он отнимает всякую честь у России и всякое достоинство у русских людей, смешивая их с животными» (М, 405). После большевистского переворота работу Л. по уничтожению россиян всех сословий Р. характеризовал в статье «Мое предвидение»: «Ленин и социалисты оттого и мужественны, что знают, что их некому будет судить, что судьи будут отсутствовать, так как они будут съедены (Октябрь)» (АНВ, 12). Э. Голлербах вспоминал: «Осенью 1918 г., бродя по Москве с С.Н. Дурьиным, он громко говорил, обращаясь ко всем встречным: «Покажите мне какого-нибудь настоящего большевика, мне очень интересно» Придя в московский Совет, он заявил: «Покажите мне главу большевиков — Ленина или Троцкого. Ужасно интересуюсь. Я — монархист Розанов» Дурьин, смущен-

ный его неосторожной откровенностью, упрасивал его замолчать, но тщетно» (Голлербах, 88–89). В своих трудах Л. восемь раз упоминает Р. в негативном контексте. Вместе с тем Л. использовал розановскую *характеристику творчества Л. Толстого* как «абсолютного зеркала жизни» (НВ. 1908. 28 авг., статья «Л.Н. Толстой»), перевернув ее в понятие «зеркало русской революции» (первые статья Л. напечатана 11 сентября 1908).

А.Н.

ЛЕНЦ Николай Александрович — петербургский оперный актер, преподаватель Курсов ораторского и вокального искусств. Автор письма к Р. от 10 июля 1913 с одобрением статьи Р. «О важнейшей нужде церкви» (НВ. 1913. 28 июня; НФП), с присоединением своей книги «Как оратору и певцу владеть голосом. Заметки артиста оперы Николая Ленца» (СПб., 1913) (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4212. Ед. хр. 37). Р. оставил его краткую *характеристику*: «Ленц пишет историю какого-то полка. Оч. симпатичный» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 109).

А.В. Ломоносов

ЛЕОНТЬЕВ Константин Николаевич [13(25).1.1831, сельцо Кудиново, Мешовский уезд, Калужская губ. — 12(24).11.1891, Сергиев Посад, Московская губ.] — философ, публицист, духовный писатель, прозаик, критик, идеолог русского консерватизма. Р. заинтересовался идеями и личностью Л. после прочтения его работы «Анализ, стиль и веяние. О романах графа Л.Н. Толстого» (РВ. 1890. № 6–8). Р. был «поражен (и привлечен) новизною лица автора <...> смелость и гордость Л-ва больше всего меня поразили» (ЛИ, 62) и через Ю.Н. Говоруху-Отрока выписал его основное сочинение «Восток, Россия и Славянство» (1885–1886). Л., в свою оче-



К.Н. Леонтьев

редь, узнав от Говорухи о новом почитателе, прислал Р. свою книгу «Отец Климент Зедергольм, Иеромонах *Оптинской Пустыни*» (1880), после чего между ними завязалась недолгая (апрель — октябрь 1891), но чрезвычайно оживленная и принципиальная для обоих переписка, прерванная кончиной Л. По более позднему признанию Р., «строй тогдашних мыслей Л. до такой степени совпал с моим, что нам не надо было сговариваться, договаривать до конца своих мыслей: все было с полуслова и до конца, до глубины понятно друг в друге» (ЛИ, 319). В первом же письме Л. сообщил, что читает статьи Р. «постоянно» и особенно ценит в них «смелые и оригинальные укоры *Гоголю*», но в то же время журил его за увлечение *Достоевским*, призывая перерастить последнего и «поскорее вникнуть в дух реально существующего *монашества* и проникнуться им» (ЛИ, 329). В письме от 27 мая содержится отзыв Л. о книге Р. «*О понимании*»: «Очень хорошо и доступно!» (ЛИ, 349). Л. читал в рукописи большую работу Р. о нем «Эстетическое понимание истории» и возлагал на нее большие надежды: «По существу <...> я не только не могу почти ничего на вашу статью возразить, но не умею и даже... как-то... боюсь вам выразить... до чего я изумлен и обрадован вашими обо мне суждениями!.. С самого 73 года <...> я ничего подобного не испытывал! Нечто успокоительное и грустное в то же время! Если бы статья ваша была окончена и напечатана, то я мог бы сказать: “Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко!..”» (ЛИ, 352). Обрадовало Л. и появление в печати статьи Р. «Европейская культура и наше отношение к ней» (МВ. 1891. 16 авг.), где, в частности, речь шла о его идеях: «Опять приходится сказать еще раз: “Ныне отпускаеши”» (ЛИ, 382); в письме И.И. Фуделю от 5 сентября 1891: «Она <статья> меня до такой степени успокоила, что московские друзья <...> заключили во мне что-то особенно благодушное и приписали все этой статье» (Леонтьев К.Н. Избранные письма. 1854–1891. СПб., 1993. С. 592). Воспринимая Р. как первого «человека, который понимает мои сочинения именно так, как я хотел, чтобы их понимали» (ЛИ, 352), доверяя ему самые сокровенные свои размышления, Л. из письма в письмо повторял настойчивое пожелание о личной встрече: «Смотрите!.. Есть вещи, которые я только вам могу передать» (ЛИ, 389), которая, однако, так и не состоялась. Ответные письма Р. содержат впечатления от различных сочинений Л., наблюдения над его стилем («Ваш язык, сухой, точный, как бы сталью подрезывающий каждый предмет и подводящий под него пленку именно нужной толщины». — ЛИ, 396), общую оценку его историософской теории («Вы поняли самое важное в истории», «история текущая идет по путям, Вами предначертанным». — ЛИ, 402). Свои философские изыскания Р. воспринимает как развитие идей Л.: «Вы поняли прогресс и медленную революцию (разложение), дали теорию процесса; силу же, которая движет этот процесс, Вы лишь отвергаете, но не опровергаете: это утилитарная мечта, коя сложилась в теорию. Насколько будет моих сил достаточно, смысл моей жизни будет состоять в восполнении этого недостатка» (ЛИ, 403). Личность и творчество Л. были предметом оживленного обсуждения и в переписке Р. с Н.Н. Страховым 1889–1895: «Читал я все это время, с восхищением, какого давно не испытывал, 2 т. Леонтьева “Восток, Рос-

сия и славянство”: вот ум, вот убежденность, вот язык и тон! Ради Бога, не можете ли Вы мне достать его карточку, какими-нибудь судьбами — мне без конца хочется узнать, горбат он или что: без сомнения, физически уродлив, стар, зол, умен без конца, без конца же несчастлив. Никем я не заинтересован так, как им. Нет, по силе ума — славянофильская партия куда превосходит западную» (ЛИ, 222); «от К.Н. Леонтьева, первой умницы нашего века вдруг получаю письмо» (ЛИ, 253); «мои антипатии к многому в текущей жизни стали рациональны, научно обоснованы именно после чтения его книг» (ЛИ, 264); «я как-то привязался к нему за это время, он очень искренний и правдивый человек, хоть, может быть, его вкусы не совсем нормальны. Слишком децидивилизовавшийся, кажется. Но его сердце, по его письмам, мне в высшей степени нравилось именно чистотой своей, непридуманностью, открытой во всех капризных движениях» (ЛИ, 278); «я спрашивал одного очень умного старого доктора о пороке К.Ник. <бисексуальности>; он мне сказал, что это необъяснимый порок, большей частью врожденный и непреодолимый <...> Я обрадовался этому объяснению, потому что оно успокоило мое сердце: Леонтьев был редко чистосердечный человек, с редкой отзывчивостью на всякую нужду, с любовью к конкретному, индивидуальному, с привязанностью к человеку, а не только к мозговым абстракциям <...> А грехи его тяжкие, преступные грехи — да простит ему милосердный Бог наш» (ЛИ, 279–280). В первой печатной работе Р., посвященной творчеству Л. «Европейская культура и наше отношение к ней» (МВ. 1891. 16 авг.; в книге «Литературные очерки» — «Европейская культура и наше к ней отношение»), последний характеризовался как один «из самых глубоких исполнителей славянофильской идеи» (ЛВИ, 181) и как наиболее проникательный аналитик кризиса европейской культуры: «Только прочитав многочисленные статьи К. Леонтьева <...> впервые начинаешь понимать грозный смысл всех мелких, но тревожащих никого, микроскопических явлений действительности: там вскроется пузырек, там ослабеет ткань и, кажется, колосс всемирной культуры еще неподвижен, а между тем с ним совершается самое важное, что когда-либо совершалось» (ЛВИ, 183). Подробный анализ историософии Л. содержится в большой работе «Эстетическое понимание истории» (РВ. 1892. № 1–3), где Р., полемизируя с ним по частным вопросам (о влиянии «византизма» на Россию), в целом, принимает леонтьевское учение как наиболее верное и глубокое объяснение сути исторического процесса. В статье «О трех фазисах в развитии нашей критики» (РО. 1892. № 8; в книге «Литературные очерки» под названием «Три момента в развитии русской критики») работа Л. о Толстом характеризуется как «лучший критический этюд за много последних лет», «где эстетическая оценка вновь заняла первенствующее место перед всякими другими способами понимать поэзию и искусство», но, с другой стороны, ни у кого, как у Л., не чувствуется недостаточность чисто эстетической точки зрения «для удовлетворения цельного нашего существа, требований цельной жизни, чему в конце концов должна уметь удовлетворять литература» (ЛВИ, 235). В статье «Памяти дорогого друга» (РС. 1896. 14 февр.) Р. сравнивает Л. с Макиавелли, *Монтескье*, *Руссо*. В начале 1890-х Р. считал себя

безусловным учеником и последователем Л. В письмах А.А. Александрову 1892 он призывал: «Сплотиться нам нужно, бывшим друзьям его <Л.>, сообщникам по убеждению, раскиданным здесь и там»; журнал «Русское Обозрение» рассматривался как «прекрасное и широкое поприще, на котором можно будет многое сделать <...> и в память Леонтьева, для развития его идей» (РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 15. Л. 7, 10). Сохранился подписной лист на *памятник* Л., из которого явствует, что Р. пожертвовал на последний 5 руб. (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 1): Но с 1895 у Р. начинается отторжение от некоторых сторон мировоззрения Л., прежде всего от его эстетического «аморализма», что прослеживается в письмах Александрову: «Это страшно; это, я думаю, не угодно Богу; против этого надо бороться. Куда же девать смиренных и некрасивых? Я сам такой, и за тысячи таких же буду бороться. Ему <Л.> все подавай *Александров Македонских* или Алкивиадов; Бог с ними, мы им не мешаем, но мы также хотим жить и не в силу только животного права; мы даже и их иногда потянем к суду по той или иной главе *Евангелия* или иному стиху Второзакония. Бог над всеми, а не над великими только <...> Леонтьев велик, но он требует поправки <...> Эстетика его жестоковейна, и предпечение Алкивиада Акакию Акакиевичу (а почему мы все не Акакии Акакиевичи?) вызвало бы протест во всем христианском мире, и больше всего — в Апостолах <...> Но, это самое главное: мне пришли в голову такие соображения, которые — я в отчаянии, что не сказал, самому Леонтьеву при жизни — ибо они вдруг заставили бы его отказаться от “триединого процесса” истории, пункта исходного всех его теорий — и умереть радостно, а не скорбно, не с отчаянием за всю историю человечества» (РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 15. Л. 38 об., 53–53 об.). Печатно свой новый взгляд на Л. Р. изложил в статье «К.Н. Леонтьев» (ТПГ. 1899. 4 апр. № 2; написана в 1895), в которой не только осуждается эстетизм и натурализм его исторической теории, но и подчеркивается ее нехристианский характер: «*Церковь* и особые обетования, ей данные, — вот что совершенно забыто им, что в его *страхах*, сомнениях и ими обусловленном негодовании не занимает никакого положения. Он ее не вспоминал вовсе и вот отчего остался неутешен»; окончательный вывод — «он во всем ошибся» (ЛВИ, 258–259, 261). Идея о том, что Л., по сути своей, язычник и антихристианин, становится с этих пор основополагающей для его *характеристики* в творчестве Р., но, поскольку последний сам делается критиком *христианства*, она трактуется уже позитивно. В предисловии к публикации писем Л. к себе (РВ. 1903. № 4–6) Р. писал, что «такого воскрешения афинизма <...> шумных “агора” афинян, страстной борьбы партий и чудного эллинского “на ты” к богам и к людям, — этого я никогда еще не видел ни у кого, как у Леонтьева. Все Филельфо и *Петрарки* проваливаются, как поддельные куклы, в попытках подражать грекам, сравнительно с этим калужским помещиком, который и не хотел никому подражать, но был в точности как бы вернувшимся с азиатских берегов Алкивиадом, которого не догнали стрелы врагов, когда он выбежал из зажженного дома возлюбленной» (ЛИ, 321). Л. — «самое свободомыслящее явление, может быть, за все существование *русской литературы*», «безбрежность его скептицизма и

сердечной и идейной *свободы* (независимости, вытекания только из собственного «я») оставляет позади себя свободу *Вл. Соловьёва*, *Герцена*, *Радищева*, *Новикова* <...> Дух Леонтьева не знал, так сказать, внутренних задвижек: в *душе* его было окно, откуда открывалась бесконечность» (ЛИ, 324, 325). Мировоззрение Л. — «ревушая встреча эллинского эстетизма с монашескими словами о строгом загробном идеале», Л. — русский *Ницше*; они — «как бы комета, рассыпавшаяся на две», даже более того, Л. «был plus Nietzsche que Nietzsche même» <больше Ницше, чем сам Ницше>, он «имел неслыханную дерзость, как никто ранее его из христиан, выразиться принципиально против коренного, самого главного начала, Христом принесенного на землю, — против кротости», «дай-ка ему волю и *власть* (с которыми бы Ницше ничего не сделал), он залил бы *Европу* огнями и *кровью* в чудовищном повороте *политики*» (ЛИ, 327). В примечаниях Р. подчеркивал, что «эстетизм был натурою его <Л.>, а в христианство он все-таки был только крещен; это — первозаконие и второзаконие» (ЛИ, 375), отмечал родство его вкусов с «декадентскими» (ЛИ, 371), сравнивал его с Л.Н. Толстым и Ф.М. Достоевским, с которыми он «разошелся, как угрюмый и непризнанный брат их, брат чистого сердца и великого ума. Но он именно из их категории» (ЛИ, 388). В послесловии Р. еще раз отверг теорию «триединого процесса развития» и исторический пессимизм Л.: «Явно, что главные узлы истории даже и не завязывались, а не то, чтобы развязались в прямую и гладкую, рациональную, понятную нить» (ЛИ, 390). В статье «Из старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьёва» (Вопросы Жизни. 1905. № 10–11) Р. опять, но более развернуто, проводит сравнение Л. и «декадентов»: «В скорлупу своего жестокого консерватизма Леонтьев заперся только с отчаяния, прячась, как великий эстет, от потока мещанских идей и мещанских фактов своего *времени* и надвигающегося *будущего*. И, следовательно, если бы его (Л-ва) рыцарско-сердцу было вдали показано что-нибудь и неконсервативное, даже радикальное — и вместе с тем, однако, не мещанское, не плоское, не пошлое, — то он рванулся бы к нему со всей силою своего — позволю сказать — *гения*. Он (Л-в) не дождал немногих лет до нового поворота идей, вкусов и поэзии в нашем *обществе*, которое охватывается в одну скобку “*декадентства*” и, думается, своими религиозными влечениями и симпатиями к древнему Востоку, вероятно, охватило бы его *душу* как “последняя и смертельная *любовь*” Не знаю, обманывает ли меня вкус: но чувствуется мне, что он был “декадентом” раньше, чем появилось самое это имя; что он писал свою прозу раньше “символических” стихов, но уже — как их предварение; и создавал свою необычайную “политику” для каких-то сказочных, а не реальных царств, где будут носить египетские короны и ассирийские жезлы» (ЛВИ, 468). В статье «*Государство* и общество» (НВ. 1905. 3 марта) Р. подверг критике общественно-политический консерватизм Л., его программу «подморозить гниущее»: «Печальный совет самого пламенного из наших консерваторов, пожалуй, единственного консерватора-идеалиста. Печальный и бессильный совет: он забыл, что ведь не вечная же зима настанет, что на установку вечной зимы не хватит сил ни у какого

консерватизма и что как потеплеет, так сейчас же начнется ужасная вонь от разложения. Он, биолог, забыл другое явление, что вырастают чудные орхидеи на гниющих останках старых деревьев, но уже конечно, вырастают они вовсе не повторяя в себе тип и форму этого дерева, превратившегося, по закону всего смертного, в “персть земную» (КНУ, 43). В статье Р. «Константин Леонтьев и его “попечители”» <позднее исправлено автором на «почитатели»> (*Новое Слово*. 1910. № 7), посвященной проблемам издания наследия Л., характеристики последнего в основном те же, что и в предисловии к письмам Л., с некоторым разнообразием лишь в формулировках: Л. — «дьявол в монашеском куколе, — бросившийся в Оптину Пустынь только оттого, что ему нельзя было броситься в Сиракузы к какому-нибудь тирану Дионисию» (ЛВИ, 556). Здесь же дается высокая оценка прозы философа — «его художественные рассказы, не уступающие чеховским и *Короленко*» (там же). В юбилейном для Л. 1911 Р. участвует в литературном сборнике «Памяти К.Н. Леонтьева» (статья «*Неузнанный феномен*» — незначительно дополненный вариант предисловия к письмам Л.), который же и отрецензировал («К 20-летию кончины К.Н. Леонтьева» // НВ. 1911. 12 нояб.), по ходу дела отмечая, что «как автор писем — Леонтьев стоит еще выше, чем как автор статей: и мы не припомним еще ничьих писем в русской литературе, которые были бы так же увлекательны и умны, философичны и остроумны, как его письма; так живы и искренни до мельчайшего штриха, до “йоты” <...> читая его письма, соглашаешься или не соглашаешься с ним в мысли — внутренне с каким-то восторгом жмешь и жмешь его руку <...> Вот эта нравственная чистота Леонтьева — что-то единственное в нашей литературе <...> И если “*правда*” есть пафос литературы <...> то Леонтьев достигает полного совершенства в этой патетически-нравственной стороне ее... И поистине, вот бы кому писать “Оправдание добра...” <а не В.С. Соловьёву> (ОПП, 554). В статье «Неоценный ум» (НВ. 1911. 21 июня), опубликованной в качестве рецензии на книгу Л. «О романах гр. Л.Н. Толстого», пафос Л. определяется как «красота действительности», а его историософия неожиданно полностью реабилитируется: «Я не могу назвать более великолепной теории. Она истинна, как сама действительность. Скажу точнее: теория Леонтьева есть просто действительность, ее описание, ее название, Леонтьев был великий мыслитель; он был и страстный мечтатель; но этот мечтатель и философ был прежде всего реалист» (ОПП, 518). В «*Уединенном*» Л. перечислен среди немногих людей, которых Р. считал «сильнее», «оригинальнее» себя (У, 71). Постоянная тема — непризнанность Л. при жизни, замалчивание его имени «прогрессивной прессой». В письме *М. Горькому* от 3—6 мая 1912: «Знаете ли вы жизнь Кон. Леонтьева? <...> и его журналистика также “казнила и погребала”, просто от того, что он не отрекся от России и не побежал за немецко-еврейской социал-демократией» (МЛ, 521). В «*Литературных изгнанниках*» среди прочего обсуждается проблема бисексуальности Л., в этом плане его сравнение с Сократом и Платоном — все они «Люди Тайны, Люди Неисповедимости, — врожденные маги и иереи (не в церковном, конечно, значении) человечества, его вожди, законодатели, пророки, предсказыватели»

(ЛИ, 107—108). В «*Опавших листьях*» отношение к Л. скорее снисходительно-ироническое: «В 35-ть лет он кажется старцем и гением, потрясшим Европу. В 57 лет он кажется мальчиком, охватившим ручонками того “кита”, на котором земля держится. <...> В лице его добрый русский Бог дал доброй русской литературе доброго писателя. И — только. Но мысли его? Они зачеркиваются одни другими. И все орега omnia <полное собрание сочинений> его — ряд “перекрещенных” синим карандашом томов. Это прекрасное чтение. Но в них нечего вдумываться. В них нет совета и мудрости» (У, 191—192). Снова, но еще более резко, утверждается тезис о «язычестве» Л. (уже, однако, с некоторым осуждением): «Леонтьев интересен как редчайший в истории факт рождения человека, с которым христианство ничего не могло поделаться <...> Л-в родился вне всякого даже предчувствия христианства. Его боги совершенно ясны: “Ломай спину врагу, завоевывай Индию”; “И ты, Камбиз, — пронзай Аписа”. Л. вторично зовет «Антихриста», «с комическим результатом и комическим впечатлением от зова <...> Любить в христианстве ему было нечего <...> Но он увидел здесь неистощимый арсенал стрел “против подлого буржуа XIX века” <...> В сущности, он был “*Байрон* больше самого Байрона”: но какой же “Байрон”, если б ему еще вырасти, был, однако, христианин?!» (У, 192—194). В «*Мимолетном. 1915 год*» — покаяние за эти пассажи: «Грех, грех, грех в моих словах о Конст. Леонтьеве в «Оп. л.». Как мог решиться сказать <...> Леонтьев — величайший мыслитель за XIX в. в России. *Карамзин* или *Жуковский*, да кажется и из славянофилов меньше — *дети* против него. Герцен — дитя. *Катков* — извожик. Вл. Соловьёв — какой-то недостойный ёрник. Леонтьев стоит между ними как угрюмая вечная скала <...> Мальчишеские слова (мои о нем)» (М, 189). В статье «К. Леонтьев об *Аполлоне Григорьеве* (Вновь найденный материал)» (НВ. 1915. 9 дек.) содержится сравнение Л. с Н.Н. Страховым, *Гегелем*, *Гераклитом*: «Страхов был славянофилом с *добродетелью*, а Леонтьев был славянофилом без добродетели (хотя с прелестными личными качествами). Первый был смиренно-мудрый и спокойный, благопопечительствующий о роде людском, даже “и о врагах своих”; второй был горячий, страстный и хотел бы ввергнуть в борьбу и распрю, даже страдание, не токмо врагов, но и друзей <...> В нем было много *Гераклита* Темного, с его принципом вражды, с его требованием борьбы повсюду в *мире*. Много *Гераклита* и, следовательно, много *Гегеля*, любимца *Страхова* <...> При этом, можно сказать, в Леонтьеве *Гегеля* сидело больше, чем в самом *Гегеле*: у *Гегеля* <...> были всё только “идеи”, а сам он был мирным берлинским профессором. Леонтьев кидал “в схватку”, кидал в *огонь* вот эти самые явления на улице, у себя в *дому*, — где они ни попадались ему <...> Он был “поджигатель” по натуре, по существу, по личному вкусу» (ЛВИ, 610—611). Отмечается «женский» и «музыкальный» характер творчества Л.: «Леонтьев слишком, “как *женщина*”, смотрел на историю и культуру; у него был “женский глазок” на все, с его безумными привязанностями, с его безумными пристрастиями, с его безумным фанатизмом. Отсюда странное очарование, которое на нас летится из его неудержимых речей, как будто нас “заговаривает” женщина, чего-то у нас просящая, чего-то безумно тре-

бующая и которой мы не в силах противостоять. У Леонтьева — “чары” из самого слова, из строения фразы, в каждой строке “с мольбою” или “упреком” От этого его любят или, правильнее, “влюбляются” в него даже враги <...> В Леонтьеве есть что-то “от Чайковского” и его таинственной, гипнотизирующей *музыки* (там же). Л. отождествляется с юностью, *эстетикой*, язычеством, Страхов — со старостью, этикой, христианством, причем предпочтение отдается второму ряду: «Закон “в разнообразии”, тут Леонтьев угадал. Но *корень* жизни, этот однообразный, тусклый у всех деревьев, у всех цветов корень, — он просто кормит, поит, он просто хочет доброты деревцу и никакого вреда деревцу и никакого вреда ничему не творит. Тут прав и *Рачинский*, и Страхов, — что не захотели даже “всматриваться в философию Леонтьева» (ЛВИ, 614). В статье «О Конст. Леонтьеве» (НВ. 1917. 22 февр.) сравнение его с досократиками, сожаление, что он «ужасно неталантливо родился» — «вся его личность и роль в истории есть личность и роль “не туда попавшего человека»» (ОПП, 654). В то же время Л. — некий пророк будущего, «пифагореец нового века», «певец и философ “Древа Жизни”», суть мировоззрения которого в понимании того, что «жизнь — в самой жизни. И выше ее нет категорий, ни философских, ни политических, ни поэтических» (ОПП, 656). В последние годы жизни Р. воспринимает Л. вместе с Достоевским как союзника в новом бунте против христианства, в письме *Э.Ф. Голлербаху* от 9 мая 1918 он выстраивает свою идейную генеалогию: «И вот — смотрите: Достоевский с “карамазовщиной”, — К. Леонтьев с его эстетикой — какое все это уже антихристианство, какие опять Афины и Sin'ai <...> Достоевский — это опять теизм, К. Леонтьев — вновь порыв веры <...> И “Розанов” естественно продолжает или заключает К. Леонтьева и Достоевского <...> Но дело идет (и шло у Д-го и К. Л-ва) именно об антихристианстве, о победе самой сути его, этого ужасного a'fallism'a (ВНС, 349). Неоднократны в 1917–1918 упоминания Л. в ряду других консерваторов, пророчески предупреждавших о грядущей революционной катастрофе: «И оказались правы одни славянофилы. Один Катков. Один Кон. Леонтьев» (ВНС, 364).

С. М. Сергеев

ЛЕОНТЬЕВ-ЩЕГЛОВ И.Л. — см. *Щеглов (Леонтьев) И.Л.*

ЛЕПСИУС (Lepsius) Карл Рихард (23.12.1810, Наумбург — 10.7.1884, Берлин) — немецкий египтолог. В 1902 Р. вспоминал: «Года четыре назад я решил рассмотреть египетские рисунки в здешней Публичной библиотеке <...>. О! теперь я уже — знаю все уголки, где старый египетский аист свил себе гнездо, но тогда не знал. К счастью, помог мне случайно встреченный там знакомый. “Да вот длинные красные томы... “Denkmäler” Lepsius'a <“Памятники” Лепсиуса>, ну — и довольно, и насытитесь, и нечего больше искать. Смотрите — какие двенадцать томишек: каждый нужно на лошади везти” И я погрузился. В шесть дней недели я не терял минуты; потом — немножко Страстной недели, потом — субботы летом (день, свободный от занятий в *Петербурге*) и средн обычно служебной недели хоть денек скажешься больным — и все сюда, в знаменитые и прекраснейшие

“отделения”» (ОПП, 81–82). В книге «*Возрождающийся Египет*» Р. приводит египетские рисунки из 12-томного атласа Л. «Памятники Египта и Эфиопии» (1849–1858; материалы экспедиции прусского правительства в 1842–1845 под руководством Л.). Знакомство с этой *книгой* потрясло Р.: «Увидев рисунок в “Denkmäler” Лепсиуса, я (метафизически) свалился со стула, увидев, “в чем, собственно, дело” и что на самом деле значило “поклоняться солнцу”, — и значило, конечно (или вероятно?), и у мексиканцев, и у вавилонян, но только *гений Египта* нашел, изобрел, открыл, “как же это выразить?”» (ВЕ, 154). И далее в главе «Египетское солнце с руками»: «Первый раз, как в великом “Denkmäler” Lepsius'a, дойдя до соответствующего тома, я увидел это изображение Солнца — я едва мог удержаться на стуле, чтобы не упасть: до того это изображение было ни на что не похоже, что можно было бы вообще представить себе о нем: ну — “греет”, ну — “ласкает <...> Но... солнце с *душой человека*, с руками человеческими: это — невообразимо, это, можно сказать, люди “сами прекраснее солнца”» (ВЕ, 156). Р. поражается «бесчувствию» египтологов: «Они “видели” и “перелистнули дальше” атлас Лепсиуса, думая: “А дальше — будет дальше, и, может быть, мы увидим интереснее” Не тронуло. Не тронуло это изображение никого из ученых, потому что у них закаменело то место, которое вообще “трогается” И даже этого ленивенького: “Это все-таки оригинально и, кажется, нигде в древности нам не попадалось”, — они не сказали в себе...» (ВЕ, 179). Л. вспоминает и еще одну книгу Л., вышедшую в 1842 и «которая обычно в нашей египетской фразеологии именуется “Книгою мертвых” Но в собственном смысле “мертвых” не было в Египте, в нем никто “не умирал”, а лишь получал иную форму жизни, иное состояние бытия. Без этого убеждения они не строили бы пирамид своих и не укрепляли бы наподобие крепостей своих *могил...*» (ВЕ, 144).

А.Н.

ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич [3(15).10.1814, Москва — 15(27).7.1841, Пятигорск] — поэт. В заметке «*Домик Пушкина в Москве*» Р. вспоминает, что выучил «почти наизусть всего Лермонтова в *университете*» (СХ, 343). В книге «*О понимании*» Р. относит поэта вместе с *Гоголем* к типу «художника-психолога», утратившего «цельность психической жизни» (ОП, 462). В статье «Три момента в развитии русской критики» (РО. 1892. № 8) упомянуто, что Л. до конца дней своих «не мог высвободиться изпод очарования поэзией *Байрона*, жил настроением его музыки» (ЛВИ, 243). В статье «*О Достоевском*» (1893; ЛВИ) Р. опять сблизил Л. и Гоголя. Поэзия Л. становится актуальной для Р. только в конце 1890-х. В статье «Вечно печальная *дуэль*» (НВ. 1898. 24 марта) Р. утверждает, что настоящее значение Л. скрыто за внешними, очевидными для всех проявлениями его личности. По мнению Р., «в Лермонтове срезана была самая кронка нашей литературы, общее — духовной жизни, а не был сломлен хотя бы и огромный, но только побочный сук» (ЛВИ, 289). Р. сопоставляет стихи Л. и произведения Гоголя, Толстого и Достоевского и делает вывод, что все эти писатели «имеют родственное себе в Лермонтове, и, собственно, искаженно и частью грязно, “пойдя в сук”, они раскрыли собою лежавшие в нем *эмбрионы*» (ЛВИ, 291).

Общее для Л. и Достоевского Р. усматривает в «ощущении природы», в волнении, вызываемом какою-нибудь ее частью», а также находит сходство в настроении, «вырастающем до “я плачу” у одного, до “все хороши”, “зажег лампаду” — у другого, под сочетанием странных и нам непонятных почти, но, совершенно очевидно, одних и тех же представлений» (ЛВИ, 292–293). Герои Толстого и Достоевского, «все эти люди богатой рефлексии и сильных страстей все-таки кой-что имеют себе родственного в Печорине ли, в Арбенине, но более всего — лично в самом Лермонтове», но зато не имеют ничего родственного с «простой, нисколько не “стихийной” душой Пушкина» (ЛВИ, 294). По мнению Р., Л., Гоголь, а также Толстой и Достоевский «все суть типично-“стихийные” души, души “пробуждающейся” весны, мутной, местами грязной, но везде могущественной» (ЛВИ, 296). Р. сожалеет о том, что «вечно печальной дуэлью» от нас унесена собственно вся литературная деятельность Лермонтова, кроме первых и еще неверных шагов», но «даже и не раскрывшись, даже непредугадываемый — общим инстинктом читателей Лермонтов поставлен сейчас за Пушкиным и почти впереди Гоголя» (там же). Главное в Л. для Р. то, что «он знал тайну выхода из природы — в Бога, из “стихий” к небу; т.е. этот “27-летний” юноша имел ключ той “гармонии”, о которой вечно и смутно говорил Достоевский» (ЛВИ, 294). Л. воссоздает «какие-то вечные типы отношений, универсальные образы; печать случайного и минутного в высшей степени исключена из его поэзии» (ЛВИ, 297). В статье «50 лет влияния (Юбилей В.Г. Белинского)» (НВ. 1898. 26 мая) Р. причисляет Л. к писателям с «ярко выраженным женственным сложением в душе», которые «все оставили глубокий след после себя, что-то заражающее» (ЛВИ, 303). В работе «Из загадок человеческой природы» (НВ. 1898. 15 мая) Р. через свою теорию *пола* пытается объяснить противоречивую личность Л. По возрасту поэт «еще апрельский лист, в котором еще пытаются подняться “чудные светила”», но по опыту, по испытаниям, по пережитому — это лист увядший (ВМНН, 27). Л., а вместе с ним Толстой и Достоевский, внимание которых «постоянно приковано к началу, зиждущему в *мире* жизнь, — мистичны, трансцендентны, религиозны», именно потому, что для самого Р. «рождающие глубины человека действительно имеют трансцендентную, мистическую, религиозную природу» (ВМНН, 37). В «Заметке о Пушкине» (МИ. 1899. № 13/14) Р. называет Л., Гоголя и Достоевского «опьяненными», «оргиастами» в «том значении, и, кажется, с тем же родником, как и Пифия, когда она садилась на треножник» (ЛВИ, 424). Стихотворение Л. «Когда волнуется желтеющая нива...» интерпретируется Р. как «до сумасшествия» тот же *сон* Свидригайлова, но центр его назван — уже Богом» (ВМНН, 274). В статье «Величайшая минута истории» (Новый журнал иностранной литературы. 1900. № 10) Р. утверждает, что Бог, которого видит поэт, это ни в коем случае не Христос. Если бы цензор предложил Л. исправить последнюю строчку, то поэт «ужасно смутился бы, взял бы стихотворение домой, долго бы над ним думал и, наконец, решился бы лучше вовсе его не печатать, чем сделать поправку совершенно неверную относительно состояния его души и предмета стихотворения» (ВМНН, 342). В стихотворе-

нии «Выхожу один я на дорогу...» Р. намеренно пишет слово «бог» с маленькой буквы, так как, по его мнению, там «говорится не о “Христе, распятом при Понтийском Пилате”». Р. считает, что «поэт в каком-то странном смятении “ждет” еще “бога” и “жалеет” об оставляемом “Богe”» («К лекции г. Вл. Соловьёва об Антихристе» // МИ. 1900. № 9/10. Хроника; ВДЯ, 101). Он приходит к выводу, что «бессильный и самый ранний абрис» этого ожидаемого Бога Л. «назвал “демоном”, а позднее, любя то же самое, изображая все ту же самую *тему*, стал называть его “богом” и начал умиляться» (ВДЯ, 102). В статье «Из восточных мотивов» (МИ. 1901. № 8/9 под названием «Звезды») Л. назван «характерно звездным» и «характерно любовным» поэтом. Для Р. это сочетание является иллюстрацией к халдейским культам, так как «поэт любил звезды не как камни или песок, не механически и не геометрически, как ими интересуются астрономы, а как отчасти живые существа, т.е. характерно по-халдейски» (ВДЯ, 179). В статье «М.Ю. Лермонтов» (НВ. 1901. 15 июля) Р. снова сопоставляет Л. и Гоголя. Их биографии с виду кажутся обыкновенными, но тем не менее «все кружатся здесь и неутомимо кружатся вокруг явно чудесного, вокруг какою-то маленького волшебства, загадки» (ОПП, 70). Для решения этой загадки Р. обращается к их *творчеству* и находит в нем «глубокую непрозаичность, глубочайшее отвлечение от земли, как бы забывчивость земли; дыхание грез, волшебства — все противоположное данным их биографии» (ОПП, 70). Также, по мнению Р., близки темы творчества Л. и Гоголя. Оба писателя проникли «с изумительной правдой в материнские чувства»: Л. в «Казачьей колыбельной песне», а Гоголь в «причитаньях матери Андрея и Остапа Бульбы в ночь перед отправлением их в “Сечь”» (ОПП, 73). Р. считает, что и Л., и Гоголь имели «параллелизм в себе жизни здешней и какой-то не здешней», причём «родной их мир — именно не здешний» (ОПП, 72). В том и состоит «необыкновенное их личности и судьбы», что «они знали “господина” большего, чем человек» (ОПП, 75). По мнению Р., «Демон» — это «быль» биографии Л., потому что «решительно везде в его соданиях, мы находим как бы фрагменты, новые и новые переработки сюжета этой же ранней повести» (ОПП, 74). Для Р. соединение «звездного и царственного» в личности поэта свидетельствует, что ему присуще «подлинно стихийное, “лучшее начало”» в его творчестве. Л. «ничего не похищает, он не *Пугачев*, пробирающийся к царству, а подлинный порфирородный юноша, которому осталось немного лет до коронования» (ОПП, 77). Р. находит у Л. врожденную способность к восприятию трансцендентного, которое в силу неприятных переживаний было интерпретировано поэтом негативно. Именно эта способность приводит к тому, что в творчестве Л. начинают проявляться черты древнего мифа, так как поэт умеет соединять в единое целое «здесь» и «там», земное и небесное. Разрешение «биографической загадки» поэта Р. видит в том, что «чувство сверхъестественного, напряженное, яркое в нем, яркое до последних границ возможного и переносимого, наконец, перешло и в маленькую личную сверхъестественность» (ОПП, 77). В статье «“Демон” Лермонтова в окружении древних мифов» (НВ. 1901. 21 авг.) Р. называет героя поэмы литературной загадкой, так как поэт с «демоном» «слил

часть своей души, отдал ему некоторое поклонение» (ВДЯ, 187). В обширном и сложном изображении «демона» критик видит «не то был, не то сказку», для которой не находит параллелей в *Библии*. Р. считает сюжет поэмы Л. отражением древних мифов, как бы «зародышем отдаленного культа». Очень важным для Р. оказывается то, что этот сюжет стоит «в точке водораздела разных религиозных рек, причем как текущих, так истекших и еще могущих вновь потечь» (ВДЯ, 187). Р. первый сравнил Лермонтовского Демона с милтоновским Сатаной (МИ. 1900. № 9/10. С. 194). В статье «Концы и начала, “божественное” и “демоническое”, боги и демоны (По поводу главного сюжета Лермонтова)» (МИ. 1902. № 8.) Р. замечает, что «египетскими рисунками можно иллюстрировать, как миниатюрами по полям книги <...> много, много... страниц из Лермонтова», потому что у Лермонтова, как и в *Egипте*, «везде — Бог, все — боги» (ОПП, 82). Для современного человека, по мнению Р., грех и пол «тождественны, пол есть первый грех, источник греха» (ОПП, 84). Но древние считали рождение святым, а не грешным, божественным, а не демоническим. Именно поэтому Л. назвал «демоном» то, что в древности называли «богом». Р. указывает, что поэма «Демон» вовсе не фантазия, а самая реальная «быль», явление некой мистической сущности, однако в отличие от видений В. Соловьёва, явившейся «в платье другого покроя, не в тунике, а в тоге, не с нежною улыбкой, а с грозющим пальцем» (ОПП, 87). Р. считает Л. древним поэтом, который словно присутствовал при сотворении мира и «все это запомнил, и вот этою давнею любовью, дедовскою, родною, лешую, “ангельскую” ли, “демоническую” ли <...> полна его поэзия» (ОПП, 88). В статье «“Демон” Лермонтова и его древние родичи» (РВ. 1902. № 9) Р. продолжает размышлять о мифологическом мышлении поэта, который чувствует природу «человеко-духовно, человеко-образно», прозревает в ней «точно какое-то человекообразное существо» (ОПП, 95). Л. «роднит» читателя с природой тем, что «везде открывает в природе человека — другого, огромного; открывает макрокосмос человека, маленькая фотография которого дана во мне» (ОПП, 96). «Демон» оказывается для Р. мистическим *символом* полового влечения, которое он усматривает практически во всех произведениях поэта: «Каспий принимает волны Терека только с казачкой молодой: вот уже сюжет “Демона” в его подробностях» (ОПП, 96). Как и в статье «Концы и начала...», Р. осуждает изменение религиозного значения пола. «Демон телесной красоты и привлечения» побежден Христом, и в результате «любовь стала физиологической, звезды — булыжниками, животные и растения — бифштексом и дровами» (ОПП, 102). По мнению Р., теперь умиление вызывают не мать и ребенок, а «старость, дряхлость, а еще лучше — раны, а еще того хуже — гроб» (там же). Но на самом деле «ничего не умерло, переменялись только эпитеты “злой”, “добрый”» (там же). И творчество Л., в котором Р. находит «атавизм древности», подтверждает эту теорию. В статье «По поводу одного стихотворения Лермонтова» (Весы. 1904. № 5) Р. разбирает стихотворение «Морская царевна». Оно, по мнению Р., «напоминает чуть-чуть эллинский миф о Диане» (ВДЯ, 313). Этот образ объясняет попытку разгадать таинственную сущность полового влечения. То, что было яс-

но и понятно, теряет смысл при попытке изложения: «Когда я действительно показываю, я показываю что-то “мертвое” на место живого, что билось у меня в руках, что я имел в уме, чего ишу, чего желаю» (ВДЯ, 314). Р. приходит к выводу, что, подобно морской царевне, которая может быть красавицей только в своей стихии, невозможно «при свете дня увидеть живую тайну нашего бытия, нашего рождения» (ВДЯ, 317). В статье «Исторический перелом» (1905) Р. указывает на наличие у Л. и поэтического *гения*, и необыкновенного ума. Л. представляет собой «феномен нашей истории, что-то причудливое и загадочное, точно комета, сбившаяся со своих и забежавшая на чужие пути» (КНУ, 50). В путевой заметке «Домик Лермонтова в Пятигорске» (НВ. 1908. 16, 23, 30 июня) Р. признается, что Максим Максимыч, «этот отвергнутый друг Печорина», нравится ему гораздо больше самого Печорина (ОПП, 278). Р. приходит к выводу, что при всем превосходстве Пушкина и Гоголя «у Лермонтова есть 5–6 и даже более пьес такого построения, воображения и с такою красотой и силой сказанных, до того наконец универсальных в теме, как этого не написало у Гоголя и, может быть, даже у Пушкина» (ОПП, 275). Особенное восхищение у Р. вызывает стихотворение «Сон»: «По одному этому стихотворению называешь поэта “другом Небес”, угадываешь, что его посетило Небо» (ОПП, 275). Описанному в стихотворении сну Р. находит параллели в древней магической литературе, в которой «придавалось особенно важное значение “снам во сне”, т.е. тому, когда человек уснет и увидит себя спящим, и увидит, прозрит сон, который ему снится в этом втором сне» (ОПП, 276). В дальнейшем Р. упоминает Л. как «вечно героического, рвущегося в небеса» поэта (ЛВИ, 552), а также неоднократно возвращается к мысли об его врожденной мудрости. В статье «Одна из замечательных идей Достоевского» (РС. 1911. 1 марта) Р. замечает, что Л., так же как Гоголь и Достоевский, никогда не был юным. Для всех трех характерны «ранняя, страшно ранняя потеря вкуса к жизни, любви к действительности, к *реальному*», «страшное, как в паровике пара, напряжение мысли и воображения» и «разрыв с людьми, потеря с ними “родного”» (ОПП, 491). В статье «В.Г. Белинский» (НВ. 1911. 28 мая) Р. утверждает, что «Лермонтов, громадою ума своего и какою-то тайной души, был опычнее, старше, зрелее Белинского; хотя фактически и практически знал жизнь, вероятно, еще менее его» (ОПП, 504–505). Однако причину этого Р. видит вовсе не в идентичности души и пола, как раньше («Из загадок человеческой природы»), а в «какой-то способности посмотреть на жизнь, взглянуть на людей: и в момент понять в них то, что Белинский до гроба так и не понял» (ОПП, 505), т.е. в изначальном интуитивном знании. В «*Уединенном*», «*Опавших листьях*» и других книгах Р. обычно упоминает Л. вместе с Пушкиным, устанавливая некую норму, с которой сравниваются другие писатели. В «*Сахарне*» Р., развивая свои прежние идеи об «универсально-величественных» темах творчества, которые «были как-то схематичны, алгебраичны, не относясь к “я”, к “XIX веку”, к “русским”, — но к “человеку” всех времен и народов» (СХР, 239), противопоставляет Л. не только Пушкину, но и Гоголю. Р. утверждает, что если бы Л. не погиб на дуэли, то «Россия получила бы такое

величие благородных форм духа, около которых Гоголю со своим “Чичиковым” оставалось бы только спрятаться в крысиную нору, где было его надлежащее место» (СХР, 239). А в случае, если бы было побеждено «гоголевское» обличительное направление в литературе, то нигилисты не получили бы в русском обществе такого влияния: «Добролюбовых и Чернышевских после Лермонтова выволокли бы за волосы и выбросили за забор, как очевидную гадость и бессмыслицу» (СХР, 239). Если ранее в статье «Вечно печальная дуэль» Р. жалеет Мартынова, то теперь, когда в русской жизни налицо результаты воздействия «нигилистов», выстрел Мартынова назван «проклятым», а сам он «злодеем». В статье «Пушкин и Лермонтов» (НВ. 1914. 9 окт.) соотношение творчества этих поэтов Р. представляет как историю человеческого грехопадения. Пушкин олицетворяет для Р. «рай», т.е. состояние гармонического равновесия. Но на самом деле нет ни покоя, ни блаженства, потому что люди умирают: «Если “смерть”, то я хочу бежать, бежать и бежать, не останавливаясь до задыхания» (ОПП, 603). Стремление человечества к переменам выражено в Л., который «самим бытием лица своего, самой сущностью всех стихов своих, еще детских, объясняет нам, — почему мир “вскокил и убежал”» (там же). Л., «какую бы вы ему “гармонию” ни дали, какой бы вы ему “рай” ни насадили», там не останется, так как это поэт, который «никуда не приходит, а только уходит» (там же). *Русская литература* оказывается выражением сути мирового процесса: мир не находится в состоянии гармонии, он движется — это есть отрицание Пушкина, но гармония есть и в его движении — это уже отрицание Л. В этой статье Р. ассоциирует Л. не с утверждением жизни, как было раньше в рамках теории мистической роли пола, а с ее отрицанием. Поэтому оказывается, что влияние его творчества может быть преодолено: «Какое-то тайное великолепие превозмогает в мире все-таки отрицание, — и хотя есть “смерть” и “царит смерть”, но “побеждает, однако, жизнь и в конце концов остается последнею”» (ОПП, 604). В заметке «О Лермонтове» (НВ. 1916. 18 июля) Р. по-прежнему отдает Л. преимущество перед Пушкиным. Он называет произведения поэта «вещим томиком» и «золотым нашим Евангелием» и заявляет, что все это «впечатлительнее и значащее, нежели сказанное Пушкиным и в зримых годах» (ОПП, 642). По мнению Р., в отличие от Пушкина «Лермонтов был совершенно необыкновенен; он был вполне “не наш”, “не мы”», он был «совершенно нов, неожидан, “не предсказан”» (ОПП, 642). Л., как считает Р., был «деловая натура», и поэтому не удовлетворился бы исключительно литературной деятельностью. По его мнению, поэт «ушел бы в пустыню и пел из пустыни», стал бы «духовным вождем народа». В статье 1892 «Три момента в развитии русской критики» говорилось, что Л. до конца своих дней не мог освободиться от влияния Байрона, но в новой работе Р. отказывается от своего прежнего мнения, утверждая, что «Байрон с его выкрутасами не под стать серьезному и чистому Лермонтову» (ОПП, 643). В лице Л. Россия утратила духовного писателя, который «дал бы в “русских тонах” что-то вроде “Песни Песней”, и мудрого “Эклезиаста”, ну и тронул бы “Книгу царств”... И все кончил бы дивным псалмом» (ОПП, 643). В «Последних листьях» Р. единственный раз высказывается о Л. крити-

чески. Произведения поэта названы «стихотвореньищами». По мнению Р., Л. не удалось отобразить настоящий Кавказ, поэт смог изобразить лишь то, как «они пили воды в Пятигорске» (ПЛ, 166). В итоговой работе «С вершины тысячелетней пирамиды (Размышление о ходе русской литературы)» (1918) поэзия Л. снова объявляется «звездой», чем-то «сказочным», «невероятным для его возраста, для его опыта» (ОПП, 672). В «Апокалипсисе нашего времени» Р. упоминает Л. как «атависта», «со dna души которого поднялись чрезвычайно древние “сны” <...> чрезвычайно древняя истина» (АНВ, 355).

А.А. Голубкова

ЛЕРНЕР Николай Осипович [19. 2 (3.3). 1877, Одесса — 14.10.1934, Ленинград] — историк литературы. В 1910 Академией наук была издана книга Л. «Труды и дни Пушкина» — расширенное и дополненное переиздание его работы «А.С. Пушкин: труды и дни» (1903). Интерес Р. к получившему репутацию видного пушкиниста автору, работавшему «под крылом» В.Я. Брюсова и С.А. Венгерова, привел к личному знакомству, а позже, в 1917 — к постоянным контактам и дружеской переписке. Имя Л. встречается в розановских работах в связи, во-первых, с пушкинской темой, а во-вторых — с темой еврейства. «Еврей-пушкинианец» — так Розанов характеризует лернеровскую «суть» и в «Мимолетном» (КНУ, 259), и в «Последних листьях» (ПЛ, 242). В Л. его привлекали исследовательская добросовестность, интерес к биографическим подробностям и талант комментатора. Метафизик и мистик, которого интересовало по преимуществу «незаметное, бесцветное, безвидное, бездокументальное» (ВТРЛ, 100), Р., как и Л., сосредоточен на обыденном мире, на конкретном факте. В статье «Возврат к Пушкину (К 75-летию дня его кончины)» (НВ. 1912. 29 янв.) Р. говорит о достаточности изучения в гимназии всего лишь трех писателей: Пушкина, Лермонтова и Одоевского, — но «со всем <...> прилежанием Лернера» (СХ, 373). В обзоре «Литературно-художественные новинки» (НВ. 1912. 7 авг.), посвященном книге «1812 год в баснях Крылова», Р. цитирует вступительную статью Л. (разделяя оценку им И.А. Крылова) и отмечает «исторические и библиографические примечания» Л., сделанные «с его обычной компетентностью и искусством» (СХ, 379). 29 марта 1914 Р., «выслушав рассказ о Лернере от Семенова: до чего Лернер презирает и ненавидит русских (Лернер — пушкинианец)», делает следующую запись: «Евреи подходят к русским с этою содомическою улыбкою обоюдолого существа, тихую содомическою поступью, и говорят: “Какая вы талантливая нация”, “какое у вас широкое сердце”, и под этим звучит только — “отдай мне, пустой человек, все, что можно”, “уступи мне во всем, бездарный человек”» (КНУ, 259). А в «антихристианском» 1918 Р. ставит Л. («Труды и дни Пушкина») в один ряд с «первенствующими» «трудолюбием и добросовестностью» литературными критиками-евреями: А.Л. Флексером (Вольнским), М.О. Гершензоном, С.А. Венгеровым и Ю.И. Айхенвальдом, «совершившими» «правду» для русской литературы (ВНС, 382). В «Апокалипсисе нашего времени» Р. записывает 29 мая 1917 о «Всемирной истории евреев» в 10 томах под редакцией Н.М. Никольского, где библейские персонажи десакрализируются, рассматриваются как исто-

рические деятели, а подлинность существования Моисея и ряда пророков ставится под сомнение: «Такую ерунду читает “с поучением” Лернер (дал мне почитать)». Книга возмущает Р., поскольку в народе израильском ему дорога и близка именно «“противу-история”, отрицающая “всемирную историю” как некоторую мнимость» (АНВ, 69). Л. входил в круг почитателей Р., заинтересованно отозвался на выход книги Э.Ф. Голлербаха «В.В. Розанов. Личность и творчество» (Пг., 1918). Голлербаху ему представил сам Р. в письме от 7 мая 1917: «А Вы знаете, у меня есть прелестнейший начинающий поэт Голлербах, из Царского Села. Во всяком случае не хуже Дельвига. Задумчивый, прелестный, молчальник, привязчивый к людям <...> Его письма ко мне — одна поэзия, “самые прекрасные ее дыхания”. Вот бы Вам надо с ним познакомиться» (ОР РНБ. Ф. 430. Оп. 1. Ед. хр. 202). Отзыв Л. на «критико-биографическое исследование» Голлербаха о Р. вышел в журнале «Книга и революция» (1921. № 7). По мнению Л., несмотря на «беглость» и компилятивность исследования, это «единственная у нас попытка подвести итог такому удивительному и сложному явлению русской жизни и литературы, как Розанов. Забвенным Розанову не быть. Беспорядочная, неровная, но симпатичная по искренности тона, статья Голлербаха, который, если, конечно, не все, но кое-что о Розанове постигал и был в личном с ним общении <...> не может служить “введением в Розанова”, но настраивает читателя на известный лад сочувствия, от которого недалеко и до самостоятельного понимания» (с. 62). Вскоре в Петрограде был образован *Розановский кружок*, в инициативную группу которого наряду с А. Бельм, А. Волинским, Э. Голлербахом и В. Ховиным вошел и Л. Информационное письмо о начале работы кружка было опубликовано в «Вестнике литературы» (1921. № 9. С. 13).

Т.В. Воронцова

ЛЕСКОВ Николай Семёнович [4(16).2.1831, селцо Горохово, Орловский уезд, Орловская губерния — 21(25).3.1895, Петербург] — писатель. Р. назвал Л. «писателем твердым и глубокомысленным, хотя он не был ни “философом”, ни “богословом”» (РФК, 145). Здесь же дана высокая оценка рассказа Л. «На краю света». В очерке «Тут есть некая тайна» (Весы. 1904. № 2) отмечено: «наблюдательный Лесков» и содержится отзыв о ярком описании любви в рассказе «Воительница» (ВДЯ, 309). Р. включал Л. в круг особо ценимых им писателей, отнеся его ко «второклассным» в категории «великой литературы» (КНУ, 591; М, 294), сожалел о его «непризнании» (ОПП, 632). При этом к творчеству Л. в своих работах Р. обращался всего несколько раз. В «Мимолетном» он пишет о романе «На ножах»: «Это “Бесы” Лескова, как Достоевский мог бы своих “Бесов” назвать “На ножах”». Несмотря на некоторые, по мнению Р., недостатки («худое заглавие, худые имена людей», «немного растянут и неприятные лесковские “словечки”»), роман «интересен, волнуя, полон мысли и лесковской наблюдательности». «Мальчикам и девочкам в правильных русских семьях следовало бы давать читать “На ножах” Это превосходная “прививка оспы” Натуральная оспа не вскочит и лицо не обезобразится, если прочтет роман в 16–17 лет, фазу возраста “как раз перед социализмом”»

(М, 138–139). Через день Р. записывает: «“Словечки” Лескова все-таки противны. Противно все, что “нарочно” А у Лескова вообще есть много “нарочно”. Это уменьшает его гений. Гений-то у него есть» (М, 143). Далее Р. заявил: «Пафос Лескова — дрема народная. Все бесформенное, все “ранги” и “положения”, манит его, нравится ему, симпатично ему. Поп Евангел, майор в отставке Форов». Р. обращается к прозе Л. и приходит в выводу: «Лет через 25 Лесков будет поднят из ряда “второстепенностей” русской литературы и займет как совершенно равный место с Тургеневым, Гончаровым, Островским и вообще корифеями. Неприятно о нем говорить этим чуждым русскому понятию словом (корифей). Нет — он русский. Русский из русских. Его “Чертогон”, “Колыванский муж” — изумительны. Дени-Рош превосходно перевел его на французский язык и мне устно восхищался “Чертогоном” “Чертогон” удивителен. И сколько тут русской жизни и русской сути сравнительно с “орхидеями” Тургенева. Орхидеи поблекнут. А наша черемуха будет вечно пахуча» (М, 143–145). В статье «Университет в образовании писателей» (НВ. 1900. 28 мая) Л. назван как писатель, не нуждающийся в университетском образовании. «Он был умен внутренним умом, и образован внутренним образованием <...> Но читая его “На краю света”, “Запечатленный ангел”, читая проводы в Колыванский край одного обрусителя — учиться и учиться у него. Лесков — это училище, сокровище ума, образования, размышления, не говоря уже о наблюдательности; он возбуждает бездну теоретических, так сказать «университетских» вопросов, и очевидно, чрезвычайно много для себя университетски же, со строгостью профессора, но и еще с прибавкою таланта, разрешил» Переводу Дени-Роша (Denis Roche) Р. посвятил особую заметку (НВ. 1906. 22 нояб.), где отметил точность заглавия книги избранного Л. на французском языке («“Русские люди” — так можно озаглавить все или “избранные” сочинения Лескова»), состав сборника и высокий уровень переводов. Здесь также сказана мысль, что в «Чертогоне» и «Запечатленном ангеле» «целая уйма русского духа, русского языка, русской нескладицы, мук и поэзии, по которой очень и очень о многом может судить иностранец, может задуматься иностранец и; нам кажется, может полюбить иностранец» (ОНД, 82–83).

С.Ф. Дмитренко

ЛИЗОГУБ Дмитрий Андреевич [29.7(10.8).1849, Черниговская губ. — 10(22).8.1879, Одесса] — террорист, отдал все свое состояние богатого помещика на нужды революции. Повешен вместе с другими террористами по приговору суда. Р. писал: «У Лизогуба был миллион, и он “сплыл” в какие-нибудь три года. Революция пока действует и насколько может действовать — вообще требует миллионного содержания. Где же их взять? <...> Но где просящий — там и “дающий” И что же вы сделаете, если стали “давать” буржуи и в конце концов банкиры» (КНУ, 555). Р. обратился к рассказу Л.Н. Толстого «Божеское и человеческое», где под именем Светлотуба запечатлен характер Л., и к книге С. Степняка (Кравчинского) «Подпольная Россия», откуда Р. цитирует страницы о Л. (КНУ, 172–176). В «Сахарне» Р. дает конкретную характеристику русских террористов в различ-

ные исторические периоды: «Революция — это какой-то гашиш для русских... Среди действительно бессодержательной, томительной, пустой жизни. Вот объяснение, что сюда попадают и Лизогубы, да и вся компания “Подпольной России”, довольно хорошая (хотя и наивная), и Дебогорий Мокр<иевич>. В 77 г., в *Нижнем*, я видел и идеальные типы. В *Петербурге* уже исключительно проходимцы. Социал-проходимцы» (СХР, 270).

А.Н.

ЛИТВИН С.К. — см. *Эфрон Ш.Х.*

ЛИХАЧЁВ Владимир Сергеевич [6(18).2.1849, Полтава — 5(18).11.1910, Петербург] — переводчик иностранной поэзии, поэт и драматург. Автор *писем* к Р. 1907 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 21). Первое письмо содержало удивление по поводу сообщений *печати* (28 мая) об уходе Р. из «*Нового Времени*»: «Прочитал сегодня в *газетах*: “В. Розанов покидает “Новое Время” Неужели это правда? То-то была бы радость для всех твоих друзей! Не говоря уже обо всем прочем, “В. Розанову” не место в одной газете с “М. Меншиковым”» (Там же. Л. 4). В письме от 22 августа 1907 Л. «с любовью в сердце» извещал Р. о публикации газеты «*Русь*», касающейся Р. Корреспондент прислал Р. вырезку из газеты с сопереживающим комментарием: «Могу только сказать вместе с *Мольером*: “Ты этого хотел, Жорж Данден!”» (Там же. Л. 2). К письмам Л. приложена розановская характеристика: «Лихачев Владимир Сергеевич, переводчик, чиновник финансов, “товарищ”, евангелист (хороший малый). — Писатели-*solo*» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 94).

А.В. Ломоносов

ЛИХАЧЁВ Николай Петрович [12(24).4.1862, Чистополь, Казанская губ. — 14.4.1936, Ленинград] — историк, книговед, архивист, с 1901 член-корреспондент Петербургской академии наук. В 1930 арестован и исключен из АН СССР (восстановлен посмертно в 1968). В неоконченной заметке в книге «*Возрождающийся Египет*» Р. пишет о Л.: «Глубокоуважаемый ученый наш, Николай Петрович Лихачев, бывший помощник директора Императорской Публичной Библиотеки, автор монументальных трудов по русской — светской и церковной — истории (“Иконография Богоматери”) — оказывается не менее, нежели к русской, прилежит и к всемирной история, и прилежит именно в ее основах, поднимающихся от *Египта*, Халдеи и Сирии, — от Авраамовых и Сезострисовых чресл. И вот он-то дал мне ознакомиться “в картине” с обрезанием у египтян. Едва была напечатана в *газете* первая же моя статья о Египте: “Пробуждающийся интерес к Египту” <НВ. 1916. 3 нояб.>, — как он из немногих строк ее, — для всякого вообще читателя даже и непонятных, — о “родительстве мира”, об “отыскании египтянами Отца-Небесного” — сразу прозорливо схватил всю мысль моих толкований Египта, — толкований, которые у египтологов не только не приняты, но и всеми мерами у них отвергаются, презираются и скрываются. И в длинных разговорах и трении “плечом около плеча со мною”, стал совершенно на мою сторону» (ВЕ, 90). О своей несостоявшейся поездке к Л. рассказывает Т. Розанова: «В 1912 году припоминается мне один курьезный слу-

чай. Очень известный коллекционер древностей Лихачев пригласил моего отца посмотреть его рукописи и коллекции. Отец мне сказал, что и я могу с ним поехать, мне будет это очень интересно <...> Вдруг, не знаю почему, мне вздумалось в парикмахерскую идти, — завиться. Я потихоньку спустилась вниз и в ближайшую парикмахерскую зашла в зал. Меня отвратительно завили мелкими барашками, — я себя не узнала. Поднимаюсь по лестнице... навстречу — отец. Он сухо мне говорит: “Ждал тебя, ждал, теперь еду, ждаль тебя уже не буду” Пришла домой сконфуженная, расстроенная, стала развивать свои кудри, и до сих пор не могу простить себе своей глупости. Пропустить такой случай увидеть богатейшую, интереснейшую коллекцию!» (ТР, 63–64). *Письма* Л. к Р. за 1916–1918 хранятся в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 523). См. письмо Р. к П. Флоренскому 25 ноября 1916 (АФ).

А.Н.

ЛОБРИ О.Р. — см. *Прохаско А.П.*

ЛОКОТЬ Тимофей Васильевич [19(31).1.1869, Чернигов — 25.6.1942, Земун, Сербия] — ученый-агроном, публицист, адъюнкт-профессор Института сельского хозяйства и лесоводства в г. Новая Александрия Люблинской губ., член 1-й Государственной думы. Автор *писем* к Р. 1911. Р. приглашал к себе Л. в конце лета 1911, на что профессор откликнулся согласием 1 сентября 1911 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 27). Корреспонденцию профессора в своем архиве Р. предварил характеристикой: «Локоть, проф., “трудолик” или с.д.?» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 1). Имя Л. было приведено Р. в статье «Старые москвичи в Думе» (РС. 1906. 8 июля) как исключение из социальной базы фракции трудоликов в 1-й Думе: «Не окончившие студенты или не окончившие курса гимназисты, чаще — сельские учителя, сельские писаря, крестьяне, ремесленники. Между ними только один профессор — казачий сын Тим. Вас... Локоть, занимающий кафедру сельскохозяйственного института в Новой Александрии» (КНУ, 120). В ответном послании Р. приглашал корреспондента к себе в гости. В 1920 Л. эмигрировал в Сербию и перешел на монархические позиции, был известен своими выступлениями со страниц белградского «*Нового Времени*».

А.В. Ломоносов

ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич [8(19).11.1711, дер. Денисовка, Архангельская губ. — 4(15).4.1765, Петербург] — ученый и писатель. Жизненный путь Л. рассматривается Р. как патриотическое служение: «Любить, верить и служить России — вот программа. Пусть это будет ломоносовский путь» (М, 42). Уважительное отношение к личности великого русского ученого сложилось у Р. еще в годы обучения в *Нижегородской гимназии*, когда со своими товарищами С. Неловицким, В. Алексеевским и П. Поливановым он принял участие в самообразовательной программе. В 1915 Р. высоко оценивал работу «маленькой Академии» своего детства, считая ее «нисколько не хуже» Петербургской (М, 65). Р. со студенческих лет собирал домашнюю библиотеку прижизненных изданий Л., Сумарокова, Хераскова, Карамзина и других писателей XVIII в. Позднее Р. посвятил своему увлечению статью «Ломоносовские издания, современные его

жизни» (НВ. 1911. 8 нояб.). В 1895 Р. критически расценивал незавершенность ломоносовского опыта университетского образования в России: «О, я и всегда думал, уже давно, что в *университетах* наших, о чем никто не догадывается, вовсе нет самой идеи *науки*; что, до некоторой степени, это есть учреждение безотчетное, практически нужное, конечно, но в главном, теоретическом отношении, — не представляющее никакой цены. Это великий эмпирик Ломоносов — виновен тут; светлую мыслью, крепким умом вознесся он над всею Русью; и как достоинства, так и недостатки ума своего сообщил и поздним поколениям надолго, сообщил любимому детищу своему, — университету <...> “Ступай и изучай” как? что? — этих тревожных и замедляющих вопросов не доставало ни его непосредственной натуре, ни, тем менее, натуре *их*» (Розанов В.В. *О подразумеваемом смысле нашей монархии*. СПб., 1912. С. 35). Застойные процессы в отечественной науке Р. был склонен связывать с отсутствием четкого определения ее предмета: «Отсюда, от завещанного подвига в науке без завещанной идеи науки, последующее безмыслие...» (Там же, 40). Р. видел в Л. основателя русской научной школы и считал, что русский ученый пошел «от Ломоносова» (ОПП, 590). Р. высоко оценивал заслуги Л. на ниве религиозного просвещения русских людей, полагая, что «из писателей XVIII века Ломоносов есть не только самый серьезный, но самый религиозный: удивительны его труды, положенные на переложение частей Псалтири <...> и книги Иова (главы 39–41), и также нет ни одного из его ученых рассуждений-речей, где мы не имели бы или не чувствовали постоянного религиозного настроения, которое, очевидно, не покидало творца их во всех его изысканиях, при всякой работе» «О подразумеваемом смысле нашей монархии», 36. В статье «Ломоносов. Его личность и судьба (4 апреля 1765 г. — 4 апреля 1915 г.)» Р. утверждал, что «все “подвиги” и весь героизм необыкновенного человека, необыкновенной жизни и судьбы, редчайших дарований» имели под собой одну причину: «Ломоносов — главное, лучшее дитя Петра Великого за весь XVIII век, может быть даже за два века», поскольку оба стали выразителями «новых мыслей, новых планов и надежд, любви к своей земле, веры в победу лучшего и правого» (ОПП, 609). Р. считал, что Л. на сто лет опередил зарождение «господства “реальных наук и естествознания”», получившего в Европе во второй половине XIX в. имя «позитивизм» (ОПП, 610). «В самом деле, в духе Ломоносова и совокупности дел его содержался целый метод <...> У Ломоносова не было “итогов”, поучения и философствования, и его работа вся и до сих пор стоит перед нами свеженькая, цельная, нимало не разрушенная и без запаха гнили. Работа эта — огромна» (ОПП, 610–611). Р. виделся будущий памятник Л. — монумент его — крестьянина, разворачивающего могучим плечом и зычным голосом наносную на Русь «нечисть» иностранщины и аскетизма. Основную заслугу Л. писатель видел в сохранении русским ученым духа и сути петровских реформ, которые заключались, по мнению Р., «в вечной деятельности, неостанавливаемости» (ОПП, 612). В том же номере «Нового Времени» (1915. 4 апр.), где была напечатана розановская статья памяти Л., опубликован библиографический обзор «Труды М.В. Ломоносова». В ней писатель перечис-

лил важнейшие творения Л., определив их автора «родителем русской литературы и наук, — именно тела первой, т.е. ее форм, и души вторых, т.е. идеала, стремлений и метода» (НФП, 446). Р. отмечал Ломоносовскую реформу стихосложения и совершенствование грамматики русского языка. «Естественное, простое, удобное — вот дух Ломоносова и тропинка, на которой он находил свои открытия <...> едва Ломоносов сделал свое указание, как у всех российских стихотворцев, у которых уже давно “чесались руки” и чернила кипели в чернильницах, — “Восторг внезапный ум пленил”» (Там же, 448). Р. считал, что «Ломоносов в здании нашей грамматики сотворил камни, прочие лишь шлифовали их» (Там же, 450). Он отмечал небрежное обращение с ломоносовским наследием: «Почему Кугель и Гессен пишут таким лакейским языком через 150 лет по смерти Ломоносова? Куда мы ушли и где мы вообще сидим после его сполына мысли, слова и русского достоинства. Плакать хочется <...>. Только в одной области, в “пиитике” (поэзии), мы вышли с Пушкиным на законно-последомоносовский путь. Крепость и красота стиха всё приумножалась и возрастала. Но уже проза с Карамзина получила какую-то болезненную вдавленность, сентиментальную, слабую, лишенную зимней великолепной крепости. В некоторых сторонах своих язык русский стал хуже: принижен, лъстив, лукав, хитер. Никогда Ломоносов, великолепный гражданин отечества, не унился бы до “эзоповского языка” <...> Он был полон самоощущения гения. Вот этого самоощущения решительно всем (кроме Пушкина и Лермонтова) не доставало “потом” “Рабий язык” (словечко Щедрина) естественно пошел в ход у “рабов”: а суть рабства, глубокая и болезненная его суть, в бессилии, в неспособности» (Там же, 451–452). Л. для Р. воплощал в себе действительную «помощь правительству» в отличие от литературы XIX в. (У, 36). Критикуя в 1917 реформу языка, затеянную министром просвещения Временного правительства А.А. Мануйловым, Р. высказал убеждение, что «образованные русские люди будут писать и станут печатать книги отнюдь не по Мануйлову, а по Ломоносову» (М, 373). В последних записях Р. юмористически пишет о единстве мира поэзии: «Грозу изучали Ломоносов и Рихман, и когда Рихман стал наблюдать и Ломоносов посторонился, то Рихмана убило молнией», а Ломоносов написал стихотворение: Люблю грозу в начале мая, / Когда весенний первый гром, / Как бы резвяся и играя, и т.д. Это, кажется, кто-то другой написал. Все равно. Прекрасно. Поэты же все суть братья» (АНВ, 233).

А.В. Ломоносов

ЛОССКАЯ Людмила Владимировна (урожд. Тихменева; 1846–1940) — жена философа Н.О. Лосского, дочь М.Н. Стоюниной, класная наставница в ее частной гимназии, где обучались три дочери Р. Автор письма к Р. от 14 марта 1912 об отсутствии на занятиях дочери писателя Веры Розановой (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 16).

А.В. Ломоносов

ЛОССКИЙ Николай Онуфриевич [24.11(6.12). 1870, Креславка, Двинский уезд, Витебская губ. — 24.1.1965, Париж] — философ, критик, член *Религиозно-философ-*

ского общества. В 1922 выслан из России. Л. с семьей жил в Петербурге на пятом этаже того же здания (Кабинетская ул., д. 20, кв. 22), в котором на третьем и четвертом этажах располагалась Стоюнинская гимназия — директор гимназии М.Н. Стоюнина была тещей Л. Посещая Стоюнинскую гимназию, где учились его дочери, Р. бывал у Л. в его кабинете: «Когда Розанов приходил по делам на курсы, он всегда заходил ко мне. Стоило мне сказать “войдите” в ответ на его стук в дверь, как он быстро входил в кабинет, подбегал к столу, на котором лежали раскрытые книги, и пытался подсмотреть, что именно я читаю. Быть может, он пытался настигнуть каждого внезапно таким образом, чтобы изучить действительные интересы людей» (Лосский Н.О. *История русской философии*. М., 1991. С. 436). Приводя этот пример, Л. находит в нем подтверждение характеристики Р. (Л. признает ее «блестящей») у Э.Ф. Голлербаха, который писал, что Р. интересовался у других писателей их «домашними делами», их «бельем», «стремясь проникнуть в глубины человеческой души» (там же). По воспоминаниям сына философа, Бориса Николаевича Лосского, Р. «в свое время немало общался с отцом» (Минувшее. М.; СПб., 1993. № 12. С. 42). Сын Л. отмечал также, что М.Н. Стоюнина была чрезвычайно обижена на Р. за одну из его статей («Бедные наши дети» // НВ. 1912. 27 июня; ПВ) с «резкими нападками на ее гимназию (что, правда, не помешало ему просить несколько недель спустя принять в нее его младшую дочь)» (там же). По словам сына, Л. характеризовал натуру Р. как «сотканную из противоречий “с проблесками гениальности”», что находит объяснение в его юродстве, вызывшейся в высказывании Р., что он «у Бога чудачок» (там же). Л. высоко ценил как философский, так и литературный талант Р.: «Розанов обладал большим литературным дарованием и был в высшей степени оригинальным мыслителем и наблюдателем жизни» (Лосский Н.О. *История русской философии*. С. 435). Однако он крайне критически воспринимал его личность и не принимал его писаний на тему пола: «К сожалению, его личность во многих отношениях была патологической; наиболее ярко подтверждает это его нездоровый интерес к половым вопросам. Он мог бы стать персонажем одного из романов Достоевского» (Там же, 435–436). Л. отмечает, что в стремлении к «светлой» религии Р. уделяет большое внимание критике христианства: «Розанов хочет светлой религии, но ему совсем неизвестна духовная радость, потому что он вовсе не знает христианства как религии света; он хочет языческой, чувственной радости» (Там же, 437). Поэтому Р. больше привлекает Ветхий Завет «своей заботой о человеке и своей любовью к семейной жизни», однако, «несмотря на восхваление Ветхого завета, Розанов одно время выступал как антисемит». По мнению Л., такая двойственность его позиции объяснялась «беспринципностью» (там же). Л. приводит в книге, со слов Ф.К. Андреева, эпизод, свидетельствующий об антихристианских настроениях Р. в период жизни в Сергиевом Посаде (Там же, 437). В то же время Л. отмечает, что Р. умер «как добрый христианин» (там же). В работе «Личность Достоевского» (1953) Л. упоминает Р. в связи с «мучительным характером» А.П. Суловой и цитирует высказывание из его письма, в котором Сулова сопоставляется с Екате-

риной Медичи (Лосский Н.О. Бог и мировое зло. М., 1994. С. 25).

В.А. Фатеев

ЛОХВИЦКАЯ Мирра (Мария) Александровна [в замуж. Жибер; 19.11(1.12). 1869. Петербург — 27.8(9.9). 1905, там же] — поэтесса. Сохранилась неопубликованная рецензия Р. на подборку стихов Л. Из всех стихотворений внимание Р. привлекло только одно — «Лилит» (1901). Образ этой древней богини тесно связан с восточными штудиями Р.: «Лилит — имя халдейской богини чувственных наслаждений. <...> Евреи ужасно боятся Лилит, которую считают первою злою женою Адама, и комнату всякой роженицы увешивают амулетами, которые помещали бы влететь сюда Лилит и повредить ребенку или матери. Лилит — злая красавица, которая любит утеху любви, но ненавидит рождение и рождающих» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 127). Однако интересуется Р. не столько Лилит, сколько сама Л. Пытаясь определить суть ее поэзии, Р. обращается к образу каменной бабы, которая «есть грубая первообразная форма греческих Афродит, итальянских Венер и азиатских “Великих матерей”», и выражает то же самое, что они» (там же). По его мнению, Л. в изображении любви не хватало нежности и кротости: «В г-же Лохвицкой, выражаясь языком мифологии, больше телицы и меньше голубицы, больше греческой Ио; но финикийцы изображали эту же самую греческую мысль в виде женской фигуры с голубкою в руках (Астарты) — символом пышности и кротости <...> Это очень важная черта, пропущенная г-жею Лохвицкой в чувственной любви» (Там же. Л. 128). Р. отмечает, что в чувственности без «психологии», без идеи материнства и детства никакой религиозности найти нельзя: «Инстинкт всего человечества любит женщину в трудах, в заботах, в нежности и шалости; отсюда тема “Pieta”, гениально разработанная Микель-Анджело (статуя “Pieta” в одной из флорентийских церквей), отсюда классическая тема “Ниобеи” и наконец наше “Всех скорбящих радости” изображение и идея или просто “Скорбящая»» (там же). И вот этой самой «голубиной черты» в стихотворении Л. нет: «“Любовь” у г-жи Лохвицкой несколько перезрела; это — любовь опытной женщины, а для ее целей, которые в инстинкте своем очень верны и по крайней мере универсальны, нужно взять любовь самую юную, отроческую, лепечущую еще нестройным языком, ничего не знающую и только волнующуюся. “Лилит” — старая бабушка; недаром евреи от нее загораживаются; нужно взять почти ребенка в любви; нужно взять белые розы. А розы г-жи Лохвицкой слишком пунцовы» (Там же. Л. 129). Несмотря на критические замечания, Р. признает талант Л. «сильным» и «ярким».

А.А. Голубкова

ЛУТАКОВСКИЙ Виктор Алексеевич (?–1918) — петербургский библиограф, поэт, надворный советник. В письме от 26 июня 1895 Л. запрашивал у Р. литературную справку о его публикациях, касающихся творчества Н.В. Гоголя, для завершения собственной статьи о месте Гоголя в польской литературе (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3877. Ед. хр. 25. Л. 3). Р. указал Л. на свою публикацию «Легенды о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского» в «Русском Вестнике». Но Л. подчеркивал в следующем пись-

ме, что «не встретил» указанных Р. «замечаний “косвенного признания Гоголя родоначальником нигилистических стремлений”» (Там же. Л. 1). Л. выразил несогласие с розановским взглядом на Гоголя как «на гениального художника трупов». К письмам Л. приложена розановская характеристика: «Лугаковский. Почему-то с провалившимся носом, но в отличнейшем настроении духа» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 99).

А.В. Ломоносов

ЛУКУМСКИЙ Георгий Крескентьевич [2(14).3.1884, Калуга — 25.3.1952, Ницца] — художник, искусствовед, близок группе «*Мир Искусства*». С 1920 в эмиграции. О его книге «Старинные театры. Том I. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания» (СПб., 1914) Р. написал статью, отметив, что это «начало громадной работы под общим заглавием — “Старинные театры”» (НВ. 1914. 22 мая; НФП, 317). Цитируя предисловие к книге, Р. рассказывает, что автор жил в то время «в Таорминах — маленьком городке Сицилии, с великолепными остатками античных руин». Задачей книги было «заронить в сердца людей эту тоску по забытому, по не утерянному еще античному миру <...> Достав в Таормине первые, на редкость удачно снятые фотографии руин, оживленных фигурами юношей в белых тогах, я представил себе уже общую физиономию будущей книги <...> Далее, странствуя по благородной Галлии, разнообразной Германии, маленькой Голландии, я стал выискивать следы античных традиций и в позднейших театрах. Для этого пришлось еще раз вернуться в Италию, чтобы с нее еще раз начать снова обзор и театров эпохи ренессанса и барокко». Читая книгу Л., «обдумывая весь тот энтузиазм», которым она проникнута, Р. пишет: «Я думал о бедных друзьях моих, социалистах, и об их литературных усилиях привлечь внимание всех к своей теме. Как известно, они рассчитали свою тему “на века”, и — в полной уверенности, что некогда станет социальное царство, когда все люди будут думать только о заработной плате, о черных рабочих блузах, о русской косоворотке... “Все к нам придет”, и “царству нашему не будет конца” Ах, коротки ваши счета, друзья мои, и не знаете вы лукавой природы человеческой: а вдруг все придет к “хитонам”, начнут строить театры “на открытом воздухе” Замечаются о танцах Дункан. Но, конечно — “не на веки” Но дело-то в том, что ваши “веки” все-таки будут спутаны <...> И не удастся вам запереть человечество в контору и фабрику... Потанцовать хочется... Музыки хочется... Почитать Пушкина хочется, друзья». Рассмотрению одной из картин Л. на тему *лесбийской любви* посвящена запись в «Мимолетном» 15 апреля 1915. В письме к Э. Голлербаху 29 августа 1918 Р. передает привет Л. (ВНС, 370).

А.Н.

ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич [11(23)11.1875, Полтава — 26.12.1933, Ментона, Франция] — политический деятель, писатель, критик, член коммунистической партии с 1895. В статье «В мире неясного, где хаос шевелится» (Правда. 1905. № 7) выступил с резкой критикой А.С. Глинки-Волжского за его труд «Мистический пантеизм В. Розанова» (НП. 1904. № 12; *Вопросы Жизни*. 1905. № 1–3). «Но кто же такой этот Розанов? — вопро-

шает Л. — Это философствующий публицист реакционных газет и журналов, разрабатывающий на цветистом, манерном и архаически-семинарском языке разные религиозные вопросы, старающийся видоизменить христианство, лишив его аскетическим черт. При этом Розанов <...> “дерзает”, вылушывая из христианства чуть не все его содержание и в реабилитации “жизни” (конечно, мещанской), доходя до реабилитации ее *разврата*» (Правда. 1903. № 7. С. 249). «Мещанству» Р. противопоставлены у Л. марксисты, которые борются с общественным злом, «в борьбе находя утешение и уверенные в победе» (Там же, 259). Тем не менее Р. в последнем письме Э. Голлербаху 26 октября 1918 после своей максимы «До какого предела мы должны любить Россию» высказывает оценку вклада Л. в русскую культуру: «И если Вы встретите Луначарского, ищите в нем тени русской задумчивости, русского “странствия по лесам и горам”; и так, — любите русского человека до “социализма”, понимая всю глубину “социальной пошлости” и социальной “братство, равенство и свобода” И вот, несите “знамя свободы”, эту омерзительную красную тряпку, как любил же ведь Гоголь Русь с ее “ведьмами”, с “повытычик Кувшинное рыло”» (ВНС, 384). А.М. Ремизов в статье «“Воистину” Памяти В.В. Розанова» (Весты. Париж. 1926. № 1) вспоминал об антирелигиозном митинге на Пасху в советской Москве на металлургическом заводе Гужона, где докладчиком выступал «сам нарком А.В. Луначарский». «По окончании речи (часа два этак) выносятся единогласно через поднятие рук резолюция, что ни Бога, ни Светло-Христово Воскресения нет и быть не могло, предрассудок». И тут просит слово поп Иван. «И вылезает — ну, ей-Богу, Ваш! — обращается Ремизов к Р. — Ваш, бессловесный, самый русский природный, без которого круг жизни не скружится <...> “Христос воскрес!” — и поклонился, как полагается на Пасхе <...> “Воистину!” — загудело в подхват собрание, все тысячи, битком набитый завод» (PRO, 2, 356).

А.Н.

ЛУТОХИН Далмат Александрович [23.9(5.10).1885, Петербург — 1942, Ленинград] — экономист, журналист, выслан из России в 1923, вернулся в 1927 при содействии М. Горького. В 1921 Л. опубликовал «Воспоминания о Розанове» (Вестник литературы. 1921. № 4–5; PRO, 1), в которых рассказывал о своем знакомстве с писателем. В 1922 Л., будучи редактором альманаха «Утренники», опубликовал подготовленные В. Чешихиным-Ветринским «Ответы В.В. Розанова на анкету Нижегородской комиссии» под названием «“Свой Бог” Розанова (Страница из его автобиографии)» (Утренники. Пг., 1922. Кн. 1). Л. познакомился с Р. «зимой 1903/4 года, будучи на 1-м курсе Петроградского технологического института» (PRO, 1, 193). В 1935–1936 Л. написал неопубликованные мемуары «Школа жизни» (ОР РНБ. Ф. 445. Ед. хр. 6), в которых более подробно, чем в опубликованных в 1921 воспоминаниях, описал свои встречи с Р., уделив особое внимание атмосфере розановских «воскресений» и характеристике присутствовавших на них гостей. Хотя Л. был тогда только студентом, к тому же примыкавший к революционному движению, он не раз посещал «воскресенья» в квартире Р. на Шпалерной улице. Р. привлекал Л. прежде всего как смелый писатель по вопросам пола.

Л. писал, что Р. «знал много тайн о душевной жизни людей, которую изучал из одного угла исхода — из пола, — но этот подход давал ему возможность делать открытия и по-новому истолковывать людей и их отношения. Даже Фрейд не такой пансексуалист, каким Розанов был» («Школа жизни». Л. 70). Судя по упоминанию в книге «Последние листья» рассказа Л. о том, что вечером на Невском можно встретить занимающихся проституцией «учительниц, гувернанток, чиновниц» (ПЛ, 156), Р. и у него черпал материал для сексуальных изысканий. Тем не менее интерес Р. к полу казался Л. гипертрофированным: «Не мог понять, почему так завлекла его тема о поле. Ничем, казалось, болен он не был; отличался семейными добродетелями — и только неприятной была сладимость <sic>, с которой он воспринимал все женское. Гипертрофия интереса к Полу (для него именно к полу с большой буквы) и размягчила <привело к размягчению> его мозга, очень сильного, но особенного: как женщина был алогичен, мыслил озарениями, не приводя в систему острых своих афоризмов, был в них капризен как художник. Увлечение одной стороной бытия делало его равнодушным к другим, отсюда объяснения и того, что мы называем его аморализмом» («Итоги жизни». Л. 70). Л. находил влияние Р. на его молодых друзей вредным: «Но если сам Розанов был психически все же здоров, то длительное общение с ним вредно влияло на его учеников. Я хоть и почитал Василия Васильевича, но у меня слишком много было отвлекающих моментов, чтобы я мог сетовать на ущемление розановщины. Иванов же и Ге на моих глазах хилели. Конечно, вопрос — разлагала ли их розановщина, как некая кислота — или розановщина влекла к ней именно потому, что сердцевина их была с червоточинкой. Вернее последнее. Розановщина — разновидность мистики, мистика пола, а всякая мистика — противоположность здоровью, силе, непосредственному трезвому восприятию и пониманию мира» (там же). Во время Первой русской революции Р. «полевел» и стал зондировать через Л. почву, ища возможность сотрудничества в радикальной печати: «В начале 1905 года, перед моим отъездом за границу, он просил меня передать свой привет П.Б. Струве, теперь он хотел, чтобы я связал его с начавшей выходить при участии Ленина газетой “Новая Жизнь” Редактором ее был хорошо знакомый Василию Васильевичу поэт и философ Н. Минский, но к нему он почему-то не обращался. Розанову казалось, что мне как революционному студенту легко это устроить. Наивность его иногда изумляла. Тщетно пытался я объяснить Розанову, что я рядовой революции, что связей на партийных верхушках у меня нет никаких, но главного сказать не осилил, что и знай я хорошо Ленина лично, я бы никогда не позволил себе заговорить с ним о сотрудничестве Розанова. Талант В.В. признавал я громадным, но не для масс мог он писать — тем более в момент, когда с писателя спрашивалось так много... Через кого-то <из> журналистов я передал редакции о тяге Розанова в революционную газету — через пару дней со скрытой усмешечкой — мне передали, что Розанова привлечь в газету категорически отказываются» (Там же. Л. 115). По мнению Л., Р. был очень обидчив, и это послужило главной причиной их расхождения после расспросов Л. о его первой жене: «Вскоре после беседы о Сусловой, как-то у Розановых,

когда уже все гости разошлись, Василий Васильевич, разболтавшись со мной, не хотел отпускать — мы оставались в столовой одни. Он что-то очень интимное рассказывал о Мережковских — и я позволил себе то же о нем самом, деликатно повернув разговор на Сулову, поделившись сведениями о ней... Обычно сдержанный, В.В. взбесился — и стал говорить о ней гнусное... А тут неожиданно открылась дверь из их спальни, и оттуда возмущенная вышла А.М. Бутягина, почему-то сказав, что наша беседа неуместна, ибо здесь не отдельный кабинет ресторана... Такого “вмешательства” я не ожидал, тем более, что говорили мы тихо. Возможно, что дочь, случайно услышав имя первой супруги ее отчима, обиделась за мать. Розанов же злился пуше и пуше и уже с Сусловой перешел на меня, обозвав меня “подслушивающим, подсматривающим, сплетничающим и мелким...” Мы сухо простились — и я больше никогда не заходил к нему вечерами. Все же при случайных встречах он обнимал меня и был дружелюбен. Не вмешайся Бутягина, мы бы, конечно, тогда договорились» (Там же. Л. 176). Л. признавал, что посещения дома Р. расширили его кругозор: «Для меня через Розанова открывалось окно в большую литературу. Враг преходящего, газетного, — я старался смотреть больше в это окно — и многое увидел» (Там же. Л. 71).

В.А. Фатеев

ЛУХМА́НОВА Надежда Александровна [урожд. Байкова; 2(14).12.1844, Петербург — 25.3(7.4).1907, Ялта] — прозаик, публицист, переводчица. Когда вышла книга Л. «Черты общественной жизни» (СПб., 1898), Р. откликнулся на нее статьей «Женщина перед великою задачей» (*Биржевые Ведомости*. 1898. 1, 3 мая), в которой утверждал принцип: «Какова женщина, такова есть или очень скоро станет вся культура» (РФК, 179). Развивая эту мысль, Р. продолжает: «Книжка г-жи Лухмановой, исполненная глубокой и прекрасной тревоги о женщинах, о детях (см. некоторые главы о бесприютных детях, приютах), дала нам повод вспомнить, где узел этих тревог. С великими надеждами на будущее мы смотрим на женщину, мужчина так погрузился в свои “гражданские скорби”, что ему “некогда” и подумать, что такое его “я” и “где” оно <...> Культура наша, цивилизация, подчиняясь мужским инстинктам, пошла по уклону специфически мужских путей — высокого развития “гражданства”, воспитания “ума”, с забвением и пренебрежением, как незначашего или низкого “удовольствия”, всего полового, т.е. самых родников, источников семьи, нового и нового рождения. Все это умалилось, сморщилось, все это прежде всего не обдуманно. Мы можем представить себе, наоборот, целую культуру пола» (Там же, 188). В 1903 между Л. и Р. возникла полемика. В статье «Кто дал им право?» (Заря. 1903. 2 апр.) Л. выступила против Р. и других, пишущих на религиозные темы, на что Р. откликнулся статьей «Простая рыбачка» (НВ. 1903. 5 апр.), после которой последовал написанный Л. «Ответ г. Розанову» (Заря. 1903. 11 апр.). В конце того же года Р. опубликовал статью «Г-жа Лухманова о проституции», которая начиналась сообщением: «Чтение в Соляном Городке г-жи Лухмановой о проституции 11-го октября собрало такое множество слушателей, что было трудно сидеть, нечем дышать. Публика, главным

образом из слушателей и слушательниц высших учебных заведений едва ли, в мужской своей половине, не знала предмета практически гораздо лучше, нежели лекторша, по словам ее, “не знавшая ни одной проститутки, продолжающей свое ремесло” Почти невозможно усомниться, что *чтение* женщиной света о делах полусвета и даже кромешной тьмы и вызвало острою своего сочетания такое собрание слушающей публики» (НП. 1903. № 12. С. 123).

А.Н.

ЛЫЖИН Павел Петрович [21.2(4.3).1896, Петербург — 7.9.1969, Париж] — поэт, прозаик, переводчик, художник. Познакомился с Р. через своего отца, адвоката и главу Петербургской городской думы (в 1910-х) Петра Павловича Лыжина (1862–1927). До 1923 жил с родителями в Финляндии, после чего переехал в Прагу. В эмиграции написал стихотворение «*Нумизматика*» памяти Р., которое свидетельствует о близком знакомстве Л. с его нумизматической коллекцией: «Бесцветный, по-нурый и хилый / День еле плетется за днем. / Василий Васильевич, милый, / Давайте, старинкой тряхнем! / От жизни ухабов и кочек / Нам тяжело на старости лет; / Так где же заветный мешочек / С коллекцией древних монет? <...> Авовь от житейских аварий, / От старых и горьких обид, / Магический римский динарий / Таинственно нас исцелит. / О, если бы в узенькой клетке / Душа отдохнула от мук! / Давайте ж просмотрим монетки, Василий Васильевич, друг!» (Фонд Л. в Союзе театральных деятелей РФ; опубликовано в книге «Мы жили тогда на планете другой...». Антология поэзии русского зарубежья. М., 1994. Кн. 2. С. 277–278).

В.П. Нецаев

ЛЪВОВ-РОГАЧЕВСКИЙ Василий Львович [наст. фам. Рогачевский; 28.12.1873 (9.1.1874), Харьков — 30.9.1930, Москва] — критик, публицист. В 1912 входил в состав редакции журнала «Современный Мир», в связи с чем Р. писал, что критик «с захватской русской фамилией Рог-Рогачевский пишет в журнале *еврея* *Кранихфельда*, и “чей хлеб кушает, того и песенку поет”» (СХР, 21). Р. зачисляет Л.-Р. в число последователей *Чернышевского*, *Добролюбова* и *Писарева*, сделавших «для образования русского столько вреда» (М, 141). «И *Бонч-Бруевич*, и *Рог-Рогачевский*, и *Иванов-Разумник* стараются. “Хрю” все старается и везде ползет. “Хрю” Но ведь это принцип *истории*? Один из ее принципов» (там же). Словом «хрю» Р. обозначает здесь нападки радикальной критики на *Пушкина*, которого нельзя «опровергнуть», но можно «встретить его тупым рылом. Захрюкать» (там же). Розановские оценки Л.-Р. были вызваны резкими выступлениями критика против «*Нового Времени*» и главы *газеты* *А.С. Суворина*, особенно после смерти последнего. В статье «В своем доме (А.С. Суворин)» Л.-Р. видит в газете только «казенный патриотизм»: «Патриоты из “Нового Времени” <...> проводировали, клеветали, доносили и развращали. Они поддельвали общественное мнение» (Современный Мир. 1912. № 9. С. 323). Все это Л.-Р. относил и к Р. Будучи марксистом, Л.-Р. утверждал, что Суворин — «первый вехист» (Там же, 325). Особенное неприятие вызвали у Л.-Р. добрые слова Р. о Суворине: «Это был редкий случай полного

слияния частного человека и национального интереса» (Там же, 314). Рецензируя в том же номере «Современного Мира» розановское «*Уединенное*», Л.-Р. писал: «Такого откровенного направления, такой обнаженности, такого удивительного *цинизма* еще не знала *русская литература!*» (Там же, 337).

А.Н.

ЛЪДОВ Константин Николаевич [наст. фам. и имя Розенблюм Витольд-Константин Николаевич; 1(13).5.1862 — 3.2.1937, Брюссель] — поэт и карикатурист, сотрудничавший в сатирических и детских изданиях. В *письме* к Р. от 1 июня 1911 Л. прислал сборник собственных литературных миниатюр «Без размера и созвучий: Поэмы в прозе» (СПб., 1911), составленный в форме мозаики философских размышлений, литературных анекдотов и стихотворений в прозе (ОР РГБ. Ф. 49. М. 3876. Ед. хр. 17).

А.В. Ломоносов

ЛЮБАВСКИЙ Матвей Кузьмич [1(13).8.1860, село Б. Можары, Сапожковский уезд, Рязанская губ. — 22.11.1936, Уфа] — историк, однокурсник Р. по *Московскому университету*. Ректор Московского университета в 1911–1917, академик (1929), репрессирован в 1930. Р. вспоминал: «Какая радость, что наш выпуск в Московском университете дал трех сынов *России*: Любавский (М. Куз.), *Зайончковский*, *Вознесенский* и я. Патриоты и несущие факел *религии*. Это хорошо и счастливое воспоминание, счастливая *мысль*» (М, 67). Позднее он добавил: «Я помню *жизнь* свою в Университете, с Вознесенским и Любавским (“в Скворцах”, *доме*, кажется, на Волхонке) как самый счастливый фазис университетской жизни. Смехи. Шутки. Хоть подобие веселья» (ПЛ, 105). К последней записи комментарием может служить воспоминание елецкого *учителя* *П.Д. Первого*: «В последний год его пребывания в *Ельце* мы на Святки поехали, в *Москву*. Остановились в “Скворцах”, на углу Моховой и Воздвиженки. В номер пришли однокурсники Розанова, “оставленные при университете”, в числе их Любавский (бывший потом ректором университета). Розанов перессорился с ними, так как он недолюбливал патентованных ученых» (ПРО, 1, 100). Р. писал *А.П. Суловой* после расставания с ней: «О бездарном ученом и лакее-пролазе Любавском Вы любили говорить: знакомство с ним могло льстить Вашему тщеславию, так как он оставлен при Университете, хоть все еще не попал в него и через 7 лет, и все еще тужится над компилятивной диссертацией своей, подбирая *цитаты* из *книг*, жалкая карикатура, без какой-либо оригинальной *мысли*» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 311. Л. 3–4). Р. рецензировал книгу Л. «Московский университет в 1812 году» (НВ. 1913. 20, 22 дек; НФП). *Письма* Л. к Р. за 1885–1886 хранятся в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 527).

А.Н.

ЛЮБОШИЦ Семен Борисович (1859–1926) — журналист, критик. Газетные статьи Л. с негативной оценкой Р. подписаны *псевдонимами* Лукиан (*Биржевые Ведомости*) и С. Любош (*Речь*, Современное Слово). В заметке «Розанову» (*Речь*. 1913. 25 окт.) по поводу статьи Р. «Наша “кошерная печать”» (Земщина. 1913.

22 окт.; СХР) о деле *Бейлиса*, Л. говорил о «внутренней органической и идейной связи» «патриотов розановского типа» с посетителями квартиры В. Чеберяк, замешанной в уголовном деле убийства *А. Ющинского*. В статье «Бобок» (Современное Слово. 1913. 5 дек.), описывая представление трагедии *В.В. Маяковского* «Владимир Маяковский», Л. сближает футуристов с Р.: «Розанов давно воплотил мечту этих разлагающихся мертвецов <в рассказе *Достоевского* «Бобок»>, а футуристы воображают, что это что-то новое». В подобном же ключе Л. говорит о Р. в статьях 1915–1916 (Бобок // Биржевые Ведомости. Утр. вып. 1915. 16 авг.; Очереди // Там же. 1915. 12 окт.; Розановщина // Там же. 1916. 7 мая; Розанов или пакостник // Там же. 1916. 26 мая). Касаясь статьи Р. «Кн. *Трубецкой* и его “развенчание национализма”» (НВ. 1916. 6 мая; ВЧВ), Л. писал: «В *России* Розанову особенно дорого все затхло, вся неряшливость и некультурность быта <...> Трубецкие и вообще “литературные наследники *Белинского*, *Герцена* и *Михайловского*” ненавидят в русской жизни смердяковщину и розановщину, а Розановы ненавидят в ней наследство *Белинского*, *Герцена* и *Михайловского* и публично обмениваются рукопожатием с *Верой Чеберячкой* <...> Есть *Порфирий Головлев* у *Щедрина*, есть *Смердяков*, герой “Записок из подполья”, есть *Свидригайлов*, есть персонажи из рассказа “Бобок” *В.В. Розанов* с откровенностью этих персонажей заявляет, что “литература это мои штаны”» (Розановщина // Биржевые Ведомости. Утр. вып. 1916. 7 мая). Р. воспринимал Л. как одного из назойливых журналистов, чуждого русскому народу, своими выступлениями дестабилизирующего общественную жизнь России. Развернутую характеристику Р. дал этому журналисту в статье «Наша “кошмерная печать”»: «Я знаю, что “Любошу” никогда никто не отвечал, но я отвечаю. Однако сперва о “Любоше”, или Любеньке: *еврей*, не очень старый и какой-то наружносальный, как все евреи. Лицо похоже на смазанное ваксой голенище сапога. На похоронах *Пергамента*, должен быть, через посредство кого-то, подошел и представился. Я спросил — “Кто?” Сказали — “Редактор «*Речи*»” Тогда еще где-то встретясь, в суде, кажется, я спросил любезно: “Отчего ваших статей давно нет в «*Речи*»?” Он ответил: “Я больше люблю писать там-то” (и назвал какую-то маленькую газету). Когда я, недоумевая, спросил: “Почему редактор не пишет в своей газете?”, мне ответили: “Потому что он подставной, и его туда не пускают писать” (т.е. плохо пишет, мелкий литератор). Хоть, кажется, отчего же бы не писать в “*Речи*”? Там ничего крупного нет. Эти маленькие справки, взятые на улице и, может быть, не во всем точные (кто гоняется за “точностью”, говоря о Любоше? хуже действительности, ведь, не скажешь), — привожу для того, чтобы у читателей лишний раз мелькнуло сознание в голове, какие люди “делают культуру” в России <...> Публика кланяется. “Хорошо пишет Любош” — “Главное — смело” <...> Вообще “Любош” многое знает <...> “Любош” — настоящий человек, ибо имеет 2–3 прямых, простых и настоящих чувства: 1) Своих — чтить и любить. 2) Врагов — бей по морде. И — исполняет <...> Хотел было начать гневно против Любоша, но не могу. *Истина* берет верх. Они совершенно правы, *Гессен*, Любош, *Винавер*, *Марголин*, *Левин* <...> Конечно, Любош мог развернуться. “В *России* для нас все возможно”, — без сомнения, говорят теперь

езде по еврейским гостиним, по еврейским залам, по еврейским деловым кабинетам. “Мы несем *Пешехонова* за голенищем сапога”, “*Кондурушкин* держится за хвостик адвокатского фрака *Марголина*”, а “*Философов*, *Милоков* и *Мережковский* у нас также поставлены прочно, как вообще у нас прочно поставлены и усердно работают Любош и Левин” “Немного хлеба и немного сладцы, — и эти бедные русские сыты”...» (СХР, 322–324). В «*Мимолетном*», в записи от 8 июня 1914, Р. упоминает Л. в связи с размышлениями об убийстве *П.А. Столыпина*: «Чуть ли не Любош или *Слонимский* сказал: “При чем тут мы: его убил провокатор, свой человек”» (КНУ, 400). В записи от 17 апреля 1915, говоря о «классовой борьбе», Р. отмечает: «Вы все ожидаете и подлая печать выступает <...> “Мы <...> купцов (кроме еврейских банкиров) переведем и устроимся в трудовом царстве *Гершуни*, *Гоца*, *Набокова*, Любоша и корреспондента *Иоллоса*”» (М, 59). В записи от 28 апреля 1915 он обличает Л. и ему подобных: «Задача ваша гадить... гадить талантливо <...> кругом играет музыка: и *Биккерман*, и Любош, и *Виленкин*. Все присутствуют, поют, хвалят, удивляются» (М, 87). В записи от 10 мая 1915, вопрошая: «Благородная русская литература, где ты?», Р. выстраивает ряд фамилий — *Айзман*, *Оль д’Ор*, восклицает: «Ба: а Любош и *Минский*?» (М, 115). В записях 1 июля 1915, говоря, что власть в Европе фактически перешла к газетчикам, Р. иронизирует: «*Осанна Пронперу*...», «*Осанна Любошу*...», «*Осанна Оль д’Ору*»» (М, 208). И далее: «До сих пор царил фетиш гения. “Все поклонились гению” Поклонились *Бекону*. *Байрону*. *Грибоедову*. *Гейне*. *Гоголю*. Любошу. Пройдет которое довольно долгое время “поклонения все «Биржевым Ведомостям» и пишущему в них Любошу” Пока всем это не надоест и все сознают, наконец: “Но ведь это пошлость?”» (М, 209). О разрушительности подобной журналистики Р. говорит в записи от 23 декабря 1915: «Господи, ведь нужно-то стоять, быть. “Бытие” бесспорно поколебалось через это вечное <...> видение вещей в их текучести. Далее: “конец” Пошлая и омерзительная идея прогресса, так понравившаяся всем *Щебриковым*, Любошам и *Гессенам*, вытекла естественно из <...> привычек ума все воображать себе в “ходе” Если все “идет”, то “куда-нибудь придет”, если мы “стоим”, то “достойно до вершины” Так Любош “строит Россию до парламента”, *Маркс* “строит Европу до социального строя”» (М, 331). Л. уже после смерти Р. в рецензии на книгу *Э. Голлербаха* «В зареве Логоса. Споры и фрагменты» (Пб., 1920) критиковал автора за эксплуатацию имени Р. для продвижения своего творчества, отметив, что «среди грехов *Розанова* никогда не было греха пошлости» (Любош С. *В.В. Розанов* — наизнанку (По поводу посвященной его памяти книги) // Вестник литературы. Пг., 1919. № 12. С. 8).

В.Н. Дядичев

ЛЮТЕР (Luther) Мартин (10.11.1483, Эйсleben, Саксония — 16.2.1545, там же) — основатель немецкого протестантизма (лютеранства), глава Реформации в Германии. В «*Легенде о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского*» Р. дает общую характеристику Л.: «Когда Лютер, бедный августинский монах, забыв о своем ордене, об империи, о всемирной Церкви и только прислушиваясь к тревогам своей совести, твердо сказал, что он не признает себя

зablуждающимся, пока ему не докажут этого “словом Божиим”, — в нем, в этом упорном противопоставлении своего я всему *миру*, впервые высказалась германская сущность и стала твердым фактом в *истории*, отныне не покоряющимся, но покоряющим» (ЛВИ, 106). «Лютер “похерил” святых и самое понятие святости, и ожидание святости и требование ее. И “святые” Германию не охранили» (КНУ, 533). «Пламя, зажженное Лютером» (ЛВИ, 105), охватило всю Германию. «В Лютере родился действительно новый человек, ничего общего не имеющий с католиком Варфоломеевской ночи, и за Лютера держится (“предание”) лютеранин — но уже в облегчение себя, а не в отягощение себе: Лютер не давит, а освобождает. И, может быть, каждый своими слабыми силами не удержался бы против римского авторитета и предания, но, держась за Лютера, но слыша в истории его могучий голос, видя его правдивую фигуру — все удерживаются против вихря с *Ватикана*. Лютер уничтожил фетишизм предания — и только» (ОЦС, 424). Р. стремится определить причины Реформации: «Реформацию, конечно, вел не Лютер, а он шел за реформацией, был только самою яркою фигурою в громадном движении, уносившем его; и только от того, что она случайно получила имя от него (“Лютер”, “лютеранство”), — имя это так осталось, и фигура немилосердно преувеличена историками. Лютер без взволнованного народа за спиною его, взволнованного еще задолго до него, был бы просто ничтожным монахом, сожженным “без разговоров”» (КНУ, 153). «Он указал людям опираться, — на внутреннее самосознание каждого человека, противопоставленное внешнему авторитету» (ОНД, 366). «Меланхтон был неизмеримо учнее Лютера, и так же, как он, видел все погрешности папства; но реформации Меланхтон не сделал и не мог бы сделать, а малоученый, умственно вовсе не тонкий Лютер сделал» (ОПП, 512). Р. замечает о личности Л.: «Лютер, монах прямой, честный, стойкий, но несомненно грубый или грубоватый, не только в характере, но и умственно. В нем не было *гения* и *стиля Кальвина*, весь он был проще и обыкновеннее. Весь был — понятнее, усвоимее. И через это он покорил себе колоссальную Германию и есть настоящий основатель реформации» (ОПП, 593). Соизмеряя Л. с явлениями русской жизни, Р. писал: «Раскол, и именно раскол *старообрядчества*, есть не только не менее, но и гораздо более значительное явление, чем поднятая Лютером Реформация» (РФК, 34). Р. приводит сообщение одной датской газеты за 1894 о том, что «последним сочинением “Царство Божие внутри вас есть” гр. Л. Толстой как бы подложил динамитную бомбу под историческое здание церкви и, как церковный реформатор, целою головою становится выше “нашего Лютера”» (ЛВИ, 407). А.Н.

ЛЯПУНОВ Иван — купец из *Ветлуги*. Р. посвятил ему очерк «Иван Ляпунов» (НВ. 1905. 16 июля, подпись Ибис). В нем Р. рассказал о тайных любовных свиданиях со своей невестой *А.П. Сусловой* в октябре 1880 в нижегородских номерах Бубнова, для чего Р. взял недельный отпуск в университете и приехал инкогнито в *Нижний Новгород*. На этих встречах был решен вопрос о женитьбе, разрешение на что было получено 11 ноября того же года. В соседних номерах лежал пьяный купец Л. «Впрочем,

мне не было дела, — продолжает Р. — “Свинья-человек” Я пережил чудный ромеоовский роман, тем более сладкий, что вот шестой день, пятый день, четвертый, третий, второй... последний. Это как нажимаешь рукав воды или сочный стебелек *растения*; волна поднимается, стенки надавливаются, скоро конец — и трах, конец! Сердце зашемит-зашемит, но пока это не сейчас, и вот тут-то хорошо <...> Мои дни летели. Жемчуг сыпался и сыпался и вот последняя жемчужина, сладчайшая жемчужина. Обещания, надежды, все, и спешим, спешим, спешим вместе на пристань перевоза через Оку» (ОСЖС, 652–653). И здесь Р. впервые увидел своего соседа. Расставив ноги, «он кричал отчетливым и звонким голосом медленно-медленно спускавшимся по течению плотам: — “Чи плоты?” — “Ивана Ляпунова”, — донеслось глухо, чуть слышно», после чего еще четыре раза повторял свой вопрос, а затем ударил перстом в грудь и произнес: «Я — Иван Ляпунов» (Там же, 653–654). Это развеселило и запомнилось как «счастливая минута» жизни.

А.Н.

ЛЯЦКИЙ Евгений Александрович [3(15).3.1868, Минск — 7.7.1942, Прага] — критик, литературовед, биограф. Эмигрировал в конце 1917. Когда в 1915 вышел первый том «Сочинений» *К.С. Аксакова* под редакцией и с примечаниями Л., Р. посвятил этой книге статью «Один из “стаи славной”» (НВ. 1915. 27 февр.), в которой высоко оценил издание и привел *характеристику* *К. Аксакова* из вступительной статьи Л.: «Если духовный облик его впитает перед вами, если вы видите его горящие глаза, слышите его страстную, всегда правдивую речь, если обаяние его благородного сердца овладевает вами, — вы любовно примете каждую строчку его творений — они согреют вас *огнем* его души, умилят возвышенностью его стремлений; и когда ваша мечта угмонится жаждою подвига, они дадут ей новые силы надеяться и верить, что принесут сладостный отдых своей романтической дымкой. Но если на историческом портрете Константина Аксакова для вас потускнели краски, если вы захотите провести грань между его образом и его творениями, отвлекаясь от их исторической полновесности, — вы не подметите в его *творчестве* многих поэтических очарований; местами оно покажется вам отжившим, словно выветрившимся за истекшие годы» (ОПП, 606). Л. принадлежит рецензия на книгу Р. «*Около церковных стен*», в которой он писал: «Странная книга, неровная, расплывчатая, необобщенная — по форме фельетоны, легкие публицистические эскизы. Но в них *читатель* встречает то тут, то там, и часто неожиданно для себя, глубокие мысли, остроумные парадоксы, оригинальные примеры, изложение ведется хитроумно, эластичной спиралью, то замыкаясь в меткие и категорические определения, то растягиваясь прозрачным узором соображений, доводов, софизмов» (*Вестник Европы*. 1906. № 4. С. 788–789). Еще выше оценил Л. второй том этой книги: «Сила г. Розанова — в задушевности его обращения к читателю, в упрощении сложнейших вопросов богоощущения, в умении так осветить реальную жизнь, во всех ее мелочах, с религиозной точки зрения, чтобы она показалась без этого освещения ничтожной и темной» (Там же. № 5. С. 349).

А.Н.

М

МАЙКОВ Аполлон Николаевич [23.5(4.6).1821, Москва, — 8(20).3.1897, Петербург] — поэт, писатель. Р. познакомился с М. во время поездки в *Петербург* в 1890. Позже он неоднократно бывал у М., отзывался о нем и критически, но всегда с необыкновенной теплотой. В письме 1895 М. приглашал Р. к себе в гости (РГБ. Ф. 249. М. 3875. № 23). В письме к *Н.Н. Страхову* Р. писал: «“Два мира” Майкова я впервые прочел после Вашей критики. Мне показалось слабо, холодно и искусственно. Мельком прочтенная у *Ап. Григорьева* фраза о том, что у него *лица* — какие-то тени, с привешенными к ним ярлыками, мне думается, верно» (ЛИ, 188). Р. сравнивает произведение М. с прозой Тертуллиана в пользу последнего: «В 5 страницах прозы у Тертуллиана больше сказались оба мира, чем у него в стихотворной поэме. Я думаю, он сам не почувствовал этих 2-х миров, видел и поразились их коллизией, как внешним и грандиозным явлением, но этой коллизии никогда не носил в себе. Для этого нужно в себе поносить кое-что бесовское, а потом святое, что возможно, но очень редко бывает и к чему Майков, конечно, не способен» (там же). Неспособность М. к «прочувствованию» Р. объясняет так: «Слишком, должно быть, счастлив для этого. Все пописывал стишки да рассказы из русской истории, да думал о будущем бессмертии, что-де был один из многих, державших знамя поэзии в непоэтическое время» (ЛИ, 188–189). В другом письме к Страхову Р. рассказывает, какое впечатление на него произвело посещение М. в 1890: «Я Вам не передавал своего впечатления от визита у Ап. Майкова: с какой грустью смотрел я на этого старика, погруженного в бедные заботы о том, чтобы после *смерти* от него, в разошедшихся *рукописях*, не остались черновые нежелательные произведения и потом, верно, не испортили его “полного собрания стихов”» (ЛИ, 241). Р. сочувствует М., всячески его жалеет, сравнивает с Гамлетом: «Бедный, бедный человек: “как высок *умом*, как благороден сердцем и вместе как” — не помню дальше, что говорит Гамлет <...> И я не мог внимательно слушать Ап. Майкова, все мне казалось мертвым и деланным в его артистически убранном кабинете, и он сам — бедная мумия в великолепном саркофаге. И не думайте, чтобы я упрекал, мне бы хотелось быть только одному и все думать, и даже поплакать над его бедною *судьбою человека*» (там же). 11 марта 1897 в газете «Свет» был напечатан *некролог* Р. на *смерть* М., в котором он высоко оценил значение этого «прекрасного *цветка*, упавшего с исторического

нашего дерева, и так долго благоухавшего на нем». Р. писал о М., что он «замечателен не только как поэт, но и как патриарх нашего общества, в то же время он был одним из лучших светочей умственной нашей жизни. Ряд поколений поднялся перед ним; совершил свой труд; сошел с исторической сцены». Р. охарактеризовал М. как «маститого поэта, до последних дней не выпускавшего из рук лиры», который «встречал и провожал их <минуты истории>, оценивал и иногда судил с тех неизменных высот, с которых никогда не спускалась душа его. Высокую цену для общества имеет видеть среди себя таких хранителей предания, таких зрителей и судей, которые имеют возможность сравнивать поколения и указывать каждому его излишества». Называя М. «светочем нашей умственной жизни», Р. пояснял: «Действительно, в поэзии его мы видим, как широко русская душа может откликнуться на самые различные звуки. Древние и сумрачные гностики, светлая Эллада, крепкий Рим, и наши летописные предания — все это прошло через воображение замечательного поэта и оставило след в трех томиках его стихотворений». Через год в некрологе *Я.П. Полонскому* Р. писал: «В Майкове мы потеряли часть нашего образования, и каждый порознь терял в нем учителя более его образованного и умного, но которому он внимал несколько холодно. Параллель между Полонским и Майковым напрашивается на ум вследствие их чрезвычайной противоположности: Майков любил и умел писать стихотворения в “антологическом роде”; всю его поэзию можно сравнить с красивой древней колоннадой» (ЛВИ, 381). Р. написал рецензию на книгу Н. Барсукова «Воспоминания о Н.И. Костомарове и А.Н. Майкове» (СПб., 1898) («Палеограф» // *Биржевые Ведомости*. 1898. 24 янв.; ЛВИ, 342–343), а также анонимный некролог на М. (Газета «Свет». 1897. 11 марта).

М.Б. Раренко

МАКАРЕНКО Николай Емельянович (1888–1934) — сотрудник *Эрмитажа*. В «Письме к друзьям» 17 января 1919, продиктованном Р., есть фраза: «Макаренко сердечно кланяюсь» (Литературная учеба. 1990. № 1. С. 85), а 20 января 1919 Р. диктует предсмертное письмо к М.: «Милый, милый Николай Емельянович, спасибо Вам за доброе внимание Ваше, которое никогда не забуду, как не забуду и друзей своих всех дорогих, не забуду драгоценный Эрмитаж и работу по нем благородного *Бенуа*. Этот Эрмитаж незаслуженная драгоценность для всей России. Помните ли Вы драгоценный *Елизавет* и драго-

ценный эстамп с нее? Особенно, когда она была младенцем? Для меня это забываемо. Великую *Екатерину* и все это величие и *славу*, когда-то бывшее в России, но теперь погибшее. Боже, куда девалась наша Россия. Помните *Ломоносова*, которого *гравюры* я храню до сих пор, Тредьяковского, даже Сумарокова? Ну, прощай былая Русь, не забывай себя. Помни о себе. Если ты была когда-то величава, то помни о себе. Ты всегда была славна!» (МЛ, 528).
А.Н.

МАКЛАКОВ Василий Алексеевич [10(22).5.1869, Москва — 15.7.1957, Баден, кантон Цюрих, Швейцария] — адвокат, общественный и государственный деятель, один из лидеров *партии* кадетов, депутат 2–4-й *Государственных дум*. В эмиграции с 1917. Литературный *портрет* М. представлен в статье Р. «Виляй-оратор», посвященной анализу его речи в Думе об *университетах*. Писатель подчеркнул самомнение оратора, уверенного в том, что за его общественной деятельностью тянется «двадцать лет непрерывного восхищения» со стороны публики, поскольку у нас «любят послушать хорошего адвоката, даже если он и защищает воровское дело» («Виляй-оратор» // НВ. 1912. 3 марта; ПВ, 48). «Маклакову, — писал Р., — и не *студенты* нужны, и не государственность, а чтобы “все в городе говорили”, что он, Маклаков, самый умный *человек* на свете» (ПВ, 49). Р. указал на пустоту и бессодержательность политических выступлений М. с думской трибуны: «Речь не имела никакой *темы* и не имеет вовсе содержания. Просто в ней нет подлежащего и сказуемого. Нет ни того, “о чем говорится”, ни того, “что говорится” <...> Маклаков и *гением* считается оттого, что он может построить речь из того, из чего ее никто не построит <...> но зато так ее “выговорил”, вращая двумя глазами по всем румбам компаса, “налево”, “еще левее”, “назад” <...> что всем “в благородном собрании” показалось, что 1) министр глуп и нечестен, 2) студенты глупы, хотя и благородны, но 3) кто замечательно умен и притом один умен, и кто в высшей степени благороден, то это — Маклаков» (ПВ, 50). В итоге, Р. сравнил М. с Чичиковым и пришел к выводу о неистребимости подобного типажа в нашем *обществе*: «Чичиков, — я и до *революции* был, и после революции остался. И все “режимы” сменились: но режим Павла Ивановича никогда не сменится. Скупаю мертвые *души* по всей *России*: а Г. Дума — главная контора, где я заключаю сделки» (ПВ, 51). Одна из риторических *метафор* М. все же пришлась по душе Р. «Резкие сравнения Думы то с митингом, то даже с *кабаком* (московский депутат Маклаков) заключали в себе ту долю *истины*, что Дума действительно стояла ниже культурно, нежели вся вообще читающая и мыслящая *Россия*» (РГО, 430–431). Р. часто использовал маклаковский образ политического «кабака» в своих литературных работах, несколько расширив и переосмыслив первоначальное значение метафоры. Западническая политическая ориентация М. осуждалась Р.: в *книгу* «*Мимолетное*» Р. включил статью М. «Единственная задача» (Русские Ведомости. 1915. 2 июля), в которой парламентарий свысока судил о *правительстве* России.

А.В. Ломоносов

МАЛЬТУС (Malthus) Томас Роберт (17.2.1766, Рукери близ Гилфорда, графство Суррей — 23.12.1834, близ

Бата, графство Сомерсетшир) — английский экономист. По поводу главного *труда* М. «Опыт о законе народонаселения» (1798; рус. перевод 1868) Р. писал в «*Легенде о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского*»: «Идея Мальтуса (разделяемая даже таким мыслителем, как *Д.С. Милль*), что единственное средство для рабочих классов удержать на известной высоте заработную плату заключается в воздержании рабочих от *брака* и *семьи*, чтобы не размножать свое число, другими словами, — в низведении громадной массы *женщин* на степень только придатка к известной мужской функции, может служить примером жестокости и безнравственности, до которой может доходить теоретическая *мысль*, когда ей не закрывает уста незыблемый религиозный закон. И в самом деле, так как *наукою* же найдены безболезненные способы умирать (увеличенные дозы анестезирующих средств), то почему не явиться второму Мальтусу, так же одушевляемому “любовью к ближнему”, как и первый, который скажет, что “пусть браки будут, но *дети* от них пусть поедаются”, — что может делаться “не непременно родителями”, не будет стоить никакого *страдания* и станет “выгодным для всего человечества» (ЛВИ, 91). Свои мысли о законе М. писатель развивал затем в статье «*В мире* нашего сектантства» (НВ. 1905. 4 и 5 янв.) и «Закон Мальтуса и его естественные ограничители» (НВ. 1905. 2 февр.), вошедших в *книгу* Р. «*Апокалипсическая секта*». «Закон Мальтуса у многих, любящих человечество, надолго отнял *сон*. Легко произнести: “пауперизм” А разверните-ка картину его в каждой хижине» (ВЕ, 375). Р. приходит к выводу, что «хлыстовство представляет единственную переносимую, моральную и чистую форму борьбы с законом Мальтуса» (ВЕ, 377). Он приводит возражения своих *читателей*: «Право, прежде чем объявлять хлыстовство “единственно переносимой моральной и чистой формой борьбы с законом Мальтуса”, — вы бы лучше узнали хорошенько, в чем дело. (Неужели, в самом деле, ни один живой *человек* не видел, что у них происходит на радениях?)» (ВЕ, 386). Приводя описание хлыстовских радений, Р. подчеркивает, что «оно буквально совпадает с сообщением об *элевинских таинствах* древних греков», ссылаясь на 3-й том «*Истории религий* древнего мира» епископа Хрисанфа и заключает: «И этому соответствует глубокая затаенность как *мистерий* древности, так и “радений” у хлыстов» (ВЕ, 385).

А.Н.

МАЛЯВИН Филипп Андреевич [10 (22).10.1869, село Казанка, Бузулукский уезд, Самарская губ. — 23.12.1940, Ницца] — художник, член объединения «*Мир Искусства*» и «Союза русских художников», с 1922 жил за границей. В 1903 Р. посетил Пятую художественную выставку журнала «Мир Искусства», проходившую в залах Общества поощрения художеств, где была выставлена картина М. «*Три бабы*». После выставки Р. написал статью «*Бабы* Малявина» (МИ. 1903. Хроника. Т. 9. № 4), в которой отметил, что яркий «этюд» М. «безусловно, господствует и в той зале, где он выставлен и во всем ряде зал, где помещена выставка». Р. находит необычный образ для передачи впечатления от живописной манеры художника: «Мазки кисти, когда вы подходите близко, представляются просто брошенными друг на друга кир-

пичами. Да, но вот подите: эти кирпичи, более всего красные, уступающие часть поля — синему, дают впечатление необыкновенной первобытности и яркости» (СХ, 212). Исподволь подводя *читателя* к выраженной художником идее, Р. подмечает то, на что, по его мнению, «художник, вероятно, и сам не обратил внимания»: «его краски “трех баб” дают состав русского национального флага». Р. приходит к выводу, глядя на картину, что красно-синие-белый цвет «выбран нами во флаг неспроста, а тут — “кровь говорила”» (там же). Р. образно говорит, что примитивное цветовое решение М. выражает «первобытного» человека: «Три цвета нашего национального флага, без полутонов и оттенков, без ослабления, — есть столь же не начавшаяся живопись, как и одетые в них существа есть почти не начавшийся человек» (там же). Прелесть картины и высокий (высочайший) талант художника», считает Р., проявились в том, что, несмотря на «этнографизм» произведения, «на эту “географию” смотришь ненасытно, что она нравится и, наконец, несколько не противна» (там же). Р. полагает, что «“Бабы” нравятся от того, что в них с волшебной точностью схвачены действительно три господствующие русские “географические” лица» (СХ, 213). По его мнению, картина является символом «бабьего» начала *России*: «“Три бабы” Малявина выражают Русь не которого-нибудь века, а всех веков». «И от этих трех баб пойдет потом вся Русь» (СХ, 212, 213). Характеризуя три представленных художником женских типа, Р. не идеализирует их: «Средняя из баб — это та недалекость, однослонность души, которой предстоит назавтра окончательно исчезнуть, истаять, перейти просто в формы быта, в обычаи», «феномен без субстрата, который пройдет и ничего после себя не оставит» (СХ, 213). «Психологична из баб только левая (для зрителя): это — декадентка будущего, лицо нервное, мечтательное, с возможностью песен и бурь, хотя совершенное деревенское...» (там же). В ней выразилось «вещное, поэтическое и красивое начало». «Самая замечательная из фигур, однако, правая, которая и сообщает настоящую знаменательность картине. Это она придала красный, огненный колорит ей, величину, яркость, незабываемость» (СХ, 213–214). «Такого типа, такого точно сложенья лица, — отмечает Р., — я точно видал у нашего простонародья, и именно у баб, именно небольшого же роста», и художник «только хорошо подметил значительность этого типа», взятого из жизни. «Баба эта — Батый. От нее пошло, “уродилось”, все грубое и жестокое на Руси, наглое и высокомерное» (СХ, 214). Р. усиливает впечатление первобытности «трех граций», как он иронически называет героинь М., благодаря контрасту этого полотна с расположенной по соседству картиной «Ужин» Л.С. Бакста, на котором изображена «декадентка fin de siècle»: «Да много ли лет между этою и этими фигурами прошло? — Тысяча лет, тысяча лет! — кивали из рам все четыре» (там же). Публикуя журнальную статью в книге, Р. дополнил ее более поздними впечатлениями от работ М. Он отдает должное художнику за его «глубокое терпение» в стремлении «представить, выразить и понять русское женское существо», но отмечает и «глубокое терпение, до известной степени изнуренность, еще совершенно молоденького автора над действительно великою темою». Тематический выбор М. представляется Р.

правильным: «Нужно, конечно, было изучать и брать не “дам”, а баб». «“Бабы” — это вечная суть русского <...> Это — схема, и прообраз, первоначальное и вечное» (СХ, 214–215). Р. сопоставляет малявинских «Баб» с «Мертвыми душами»: «В теме и силе выполнения есть что-то Гоголевское, и его “Бабы” также никогда не выпадут из истории русской живописи, как “Мертвые души” никогда не исчезнут из истории русской литературы» (СХ, 215). Уже видя к этому времени в М. художника «одной темы», Р. пишет: «По естественному “ожиданию” г. Малявин после “Баб” должен был умолкнуть или умереть: ибо один сюжет, так страстно взявший душу, — и сюжет замечательный, большой и истинный, вообще не оставляет места для “вереницы прочего” и “будущего”» (СХ, 215). Р. высоко ценил талант М. и ставил его в один ряд с И.Е. Репиным, В.А. Серовым и В.М. Васнецовым (СХ, 142).

В.А. Фатеев

МАМИН-СИБИРЯК Дмитрий Наркисович [наст. фам. Мамин; 25.10(6.11).1852, Висимо-Шайтановский завод, Верхотурский уезд, Пермская губ. — 2(15).11.1912, Петербург] — писатель. В 1899 он писал Р. из Царского Села о своем сотрудничестве в литературном приложении к «Торгово-Промышленной Газете» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3825. Ед. хр. 4). В письме от 7 января 1899 М.-С. сделал запрос о возможности личного свидания для обсуждения деталей сотрудничества. 13 января М.-С. извинялся за невозможность скорейшего свидания, поскольку был «усиленно занят». В письме от 6 марта он обещал нанести Р. ответный визит на Петербургскую сторону и опять ссылаясь на занятость.

А.В. Ломоносов

МАНСУРОВ Сергей Павлович [14(26).6.1890, Бук-Дере, Турция (летняя резиденция российского посольства) — 2.3.1929, г. Верея, Московская обл.] — историк Церкви, священник (с 1926). В 1914 женился на Марии Федоровне Самариной. С 1916 их духовником стал старец Анатолий (А.А. Потапов). В 1915–1917 на Кавказе произошло сближение М. с Ю.А. Олсуфьевым. Дружба и общность духовных интересов М. и Олсуфьевых привела к тому, что летом 1917 они поселились в *Сергиевом Посаде*. С осени 1918 М. стал секретарем Комиссии по охране памятников искусства и старины *Троице-Сергиевой лавры*, вел разбор библиотеки Лавры. В 1920 М. был арестован и провел четыре месяца в тюрьме, в 1924 — новый арест. М. и его жена, несмотря на нужду и различия во взглядах с Р., помогли ему и его семье. Т.В. Розанова была принята на работу в канцелярию Комиссии по охране памятников искусства и старины, где ее начальником стал М. Она вспоминала: «Началось учение. Он терпеливо объяснял мне, как вести журналы входящих и исходящих бумаг. Я была не из понятливых учениц, и мое сердце было тронуту его добротой и снисходительностью чрезвычайно <...> Он всегда старался всем помочь, как-то всех обласкать» (Архив А.В. Комаровской в Свято-Тихоновском богословском институте, Москва; ср. ТР, 82). Позднее М. с женой навещал тяжело болевшую вдову Р.: «Сергей Павлович присутствовал при последних ее минутах. Помню, как снял с руки свое любимое синенькое колечко, на котором были вырезаны

слова молитвы преп. *Серафима*, надел маме на руку. Помню, как она обрадовалась и вся просияла» (ТР, 127). «По указанию Сергея Павловича и Зои Михайловны Цветковой место для могилы матери мы выбрали на Вознесенском кладбище; Черниговский скит был уже закрыт в то время, как монастырь, и там уже никого не хоронили <...> До войны 1941 года я летом ходила на могилу к матери. Там стоял деревянный крест, который Сергей Павлович Мансуров собственноручно, вместе с Нюрой Г-вой, поставили на могилу; у нас не было денег, чтобы нанять людей и привезти крест» (ТР, 128).

Т.В. Смирнова

МАНСУРОВА Мария Федоровна (урожд. Самарина, 1893 — 16.11.1976, Москва) — жена С.П. Мансурова (с 1914). Когда П.А. Флоренский устроил Т.В. Розанову в Комиссию по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры работать машинисткой, она должна была пойти на Валовую улицу в дом графа Ю.А. Олсуфьева, где в нижнем этаже жил ее будущий начальник С.П. Мансуров. «На мой стук мне открыла высокая, очень красивая, белокурая, стройная женщина и весьма приветливо позвала меня войти внутрь. Это была жена Сергея Павловича Мансурова, Мария Федоровна Мансурова, урожденная Самарина, из старинного дворянского рода славянофилов. Желая меня ободрить и как-то успокоить, она ласково предложила мне тарелку грибного супа. Я была этим очень тронута» (ТР, 82).

Т.В. Смирнова

МАРИЯ (Арсеньева М.К.) — настоятельница Воскресенско-Покровской Пустыни (ст. Плюсса Северо-Западной ж.д.). Автор двух писем к Р. 1915 о пребывании его дочери Веры во вверенной ей обители (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4214. Ед. хр. 11). 15 марта 1915 М. выражала удовлетворение, что «Вера своими письмами успокоила <...> родительское сердца» и «действительно радостна и покойна» (Там же. Л. 2). М. отмечала, что «сочувственное отношение» Р. к избранному дочерью монашескому образу жизни «служат ей, наверное, большою поддержкою» (там же). К письмам М. приложена розановская помета: «“Матушка Мария” как зовет ее в телефон и в письмах наша Верочка, вся “припадая” (очень любит). Дочь К.К. Арсеньева из “Вестн. Евр.”» (Записки отдела рукописей РГБ. М., 2004. Вып. 52. С. 489).

А.В. Ломоносов

МАРКОВ Евгений Львович [26.9(8.10).1835, родовое имение Александровка, Щигровский уезд, Курская губ. — 17(30).3.1903, Воронеж] — писатель, публицист, критик. В заметке «Случаи любви» (НВ. 1903. 9 февр.), откликаясь на полемику М. с М.О. Меньшиковым относительно взглядов на супружескую измену и внося поправки в категоричные суждения М., Р. пишет о нем с уважением: «Обширный фельетон г. Маркова, вероятно, произведет сильнейшее впечатление. Так интересна тема, так горяча аргументация» (ВДЯ, 242). Р. откликнулся на смерть М. статьей «Памяти Евг. Льв. Маркова» (НВ. 1903. 21 марта), где отметил, что не выдвинувшийся «в первый ряд литературы» М. «не провел в литературе никакой специальной, ему одному принадлежащей тропы», но занимал во «втором ряду место твердое, ни-

когда не менявшееся, положение всегда видное и очень уважительное. Марков был писателем русского здравомыслия и уравновешенности и редкой точности и верности нравственного чувства». Р. приводил как приметую такой уравновешенности и точности статью М. «Софисты XIX века» (Голос. 1875. 5 и 6 февр.). Она внесла ясность в общественное мнение относительно суда присяжных, «около которого очень скоро образовался <...> затор плохого судебного красноречия, всяческих софизмов, безразличья к преступлению <...> Всем был мил и дорог новый суд, всем были несносны “присяжные” говорюны». Именно М., пишет Р., «сказал тогда нужное слово <...> то осуждение, которое повторили, может быть и талантливее, но позднее Достоевский в «Братьях Карамазовых» (изображение суда над Дмитрием Карамазовым <...>) и Л.Н. Толстой (в «Воскресении», общее изображение суда над Екатериною Масловой)». М. — «скромный учитель естественной истории в Туле» — сумел избежать слепого поклонения педагогическим идеям Л.Н. Толстого, «отделить то, что принадлежит в этих порывах не методу Толстого, а гению Толстого, и объяснялось этим гением», а у обыкновенного учителя «дало бы скудные и наконец уродливые результаты». Будучи директором симферопольской гимназии и народных училищ, М. воспротивился педагогическим нововведениям министра Д.А. Толстого, насаждению «классицизма <...> слепому, не критическому пересаживанию к нам образцов прусской школы». Р. отдает должное не только педагогическому, но и художественному таланту М.: «Его книга детских и школьных воспоминаний “Барчуки. Картины прошлого”, — полна самого ценного педагогического материала, данного не в рассуждениях, а в картинах». В заключение некролога Р. назвал М. «хорошим выразителем времени 81–94 годов <...> духа царствования Александра III, спокойного и положительного отношения к родине, отношения уважительного, но без ослепления». В статье «Воздыханцы» (НВ. 1905. 8 марта) Р. добрым словом вспомнил М., давшего «классическое описание древностей, этнографии и быта Крыма» (ОЦС, 447).

Л.В. Суматохина

МАРКС Адольф Федорович [12.2.1838, Штеттин, Пруссия — 22.10(4.11).1904, Петербург] — книгоиздатель, купивший у А.Г. Достоевской в 1893 право на полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, которое вышло как литературное приложение к журналу «Нива» на 1894 (СПб., 1894–1895). В первом томе напечатано предисловие Р. «Ф.М. Достоевский (Критико-биографический очерк)», в измененном виде вошедшее в книгу Р. «Литературные очерки». 7 августа 1893 Р. писал А.Г. Достоевской: «Вскоре по Вашем отъезде ко мне явился А.Ф. Маркс и попросил меня ускорить статью для его издания, — ввиду того, что скоро нужно начинать печатание первого тома и, быть может, что-нибудь переделать и сократить в написанном. Я обещал ее окончить к первым числам августа. Оканчивая, я увидел, что статья выходит неплохо, и потому письмом предупредил его, что сокращать ее до требуемых 12 стр. значило бы не только ему портить свое издание, но и мне ронять свое имя в литературе, от чего я решительно отказываюсь. 1-го августа я ему отнес рукопись, копию которой

Вам при сем прилагаю, 4-го августа, согласно условию, я был у него вторично, и он сказал мне, что она будет напечатана вполне, и только некоторые слова будут смягчены: это там, где я, имея в виду множество таких *читателей*, которые, по малому образованию, не будут знать, с чего начать *чтение*, и случайно начнут его не с самых сильных, а с самых слабых произведений Фед. Михайловича — тщательно отмечаю эти сочинения, и так сказать предупреждаю читателя» (Минувшее. М., 1992. № 9. С. 258–259).

А.Н.

МАРКС (Марх) Карл (5.5.1818, Трир — 14.3.1883, Лондон) — основоположник учения коммунизма, названного его именем. В конце XIX в. Р. довольно нейтрально, хотя и иронически, оценивал теорию М.: «*Науки* Карла Маркса, изложенной в его классическом исследовании “Капитал”; науки, адепты которой со страниц своих журналов с чрезвычайной горячностью призывают на *Россию* “капиталистический строй” Но что делает их неуязвимыми, что их ставит вне всяких подозрений, что подрывает всякую почву у их противников — это то, что они призывают капиталистический строй, как необходимое предварение имеющей настать после него эры *труда* <...> через тысячу лет — это есть некоторый “рай”, которого, однако, можно и нужно достичь, проползая предварительно в муках капиталистического “ада” и “чистилища» (ЛВИ, 268). В годы *Первой русской революции* Р. пишет о «либеральных и радикальных квартирах», увешанных портретами «светил человеческой мысли» — «разных Марксов и других “страшилищ»» (ОПП, 192). Особенно часто обращался Р. к ненавистному для него имени М. в *книгах* «*Мимолетное*» за 1914 и 1915: «Жажда самоуничтожения — вот чем кипит Россия. Сладкое — “не быть” (*нигилизм*, триумф Маркса и *Лассалю*)» (КНУ, 439). Наиболее полно свое отношение к М. и марксизму Р. выразил в статье «Кто истинно счастливый человек» (МВ. 1916. 2 и 6 июля). В годы *Первой мировой войны* Р. определял историческую сущность марксизма, тем самым предсказывая будущее сотрудничество ленинцев с германским штабом: «Никакого “Интернационала”, как понимали его в России и *Франции*, с этими русскими и с этими французскими задачами и не существовало никогда. “Интернационал” был учреждением берлинской тайной полиции, по планам берлинского же генерального штаба, ради сманивания международного пролетариата, т.е. будущих солдат против *Германии*, в пучину и дребедень *революции*, дабы рука не крепко держала ружье и плохо нацеливалась. Это была одна из бесчисленных шпионских организаций Германии у “добрых соседей” в целях ослабления этих глуповатых соседей» (ВЧВ, 277). О М. и его заслугах Р. высказывался вполне определенно: «Маркс всех сделал счастливыми, не вынув даже талера из кармана и только написав хорошую книжку. Вот кому можно сказать, “удалась его жизнь” Удивительный Маркс. Что касается русской действительности, то за эпоху приблизительно тридцати лет — длина целого царствования — Маркс был самою значащею у нас политической фигурой. Можно ли с влиянием Маркса, — устойчивым, всеобъемлющим, о котором говорили все *газеты* и все журналы и авторитету коего никто не мог

противостать, — сравнить “падучие звездочки” всех этих Стишинских, *Дурново*, Коковцовых, Горемыкиных. Даже “большой *Витте*” только вытирал салфеткой *губы* этому еле-ядущему Чурбану из *Берлина* и усердно прислуживал ему и золотой валютой и винной монополией. Наши министерства так часто “делались из Берлина” или “гороскоп их составлялся” в банкирских лавочках» (ВЧВ, 285). Полная мысль Маркса, в ее высказанной и невысказанной части, совершенно ясна: пролетариат недостаточно много повесят, а политический строй *Европы* будет все-таки разрушен. Р. видит в учении М. величайший обман: «В марксизме вообще содержится обман и был всегда один обман. Ничего не предлагая *будущему* нового, кроме “*государства*” и “*чиновников*”, Маркс, путем перемены имен и путем иллюзии, что он открывает человечеству “новый мир”, посеял вражду между классами, сословиями, посеял *анархию* и бунт между “чиновниками завтра” (*социализм*) и между “чиновниками вчера” Надев различные маски на людей и дав им дубины в руки, он устремил одну толпу на другую <...> Обман Маркса и обман вообще социализма, — при перемене имени, — заключался в том, что, добиваясь, во что бы то ни стало вражды и социальной розни, социалисты захватили себе одним “*любовь* к народу”, распространяя черную клевету, будто “народ” они открыли, а “народа” не знали и не видели короли, “командующие классы” и чиновники. Это есть самая первоначальная клевета, с которой и началось все, без которой “не было бы пожара”. А “пожар” был нужен Марксу» (ВЧВ, 288). В июле 1918, видя бесперспективность построения «нового здания» с чертами ослиного в себе» (У, 46), Р. писал: «Маркс дал только формулу борьбы, а не формулу победы. Он дал “сегодня” революции, а не “завтра” уже победной революции, которая овладела городом, царствами, землею. Он дал формулу “приступа”, — “пролетарии всех стран — соединяйтесь”, — “штурмующие колонны буржуазии — единитесь всемирно” Но что же дальше? За штурмом? Победно знамена шумят... Но что же, что же делать завтра? Этого-то совершенно и не предвидел Маркс: право же, “усесться в кресла буржуазии”, заняв ее квартиру, ее дом, и... Никакого “и” нет в теориях Маркса. Он не только узок, он — бесконечно узок. Завтра должна начаться “жизнь” Но Маркс молчит, нем. Он вовсе не умен, этот Маркс, потому что он даже не задался вопросом о том, как же будут жить “победившие пролетарии”; из чего, какими душевными сторонами они начнут построять очевидно новую свою *цивилизацию*...» (АНВ, 159).

А.Н.

МАСЛОВ А.Н. — см. *Бежецкий А.Н.*

МАСПЕРО (Maspero) Гастон Камиль Шарль (23.6.1846, Париж — 30.6.1916, там же) — французский египтолог. В своих *книгах* о *Египте* («*Возрождающийся Египет*», «*Во двое язычников*») Р. использовал тексты и иллюстрации из книги М. «*Древняя история народов классического Востока*» (1895–1899; рус. перевод 1895). «В 1897 или 1898 году, — рассказывает Р., — я посетил и египетскую залу в Императорском *Эрмитаже*; в начале ее есть огромные плиты с ассирийскими изображениями. Мне они представляются, как и все ассирийские

изображения, мною виденные у Масперо, — безжизненными, только окультуренными» (ВЕ, 303). Р. вспоминает о первых впечатлениях от рисунков у М., где к ступням ног египтян приставлены головки «божественных шакалов»: «Я тоже чуть не свалился со стула. Потому что в это именно время у меня замелькала мысль, что наши ноги оканчиваются “головками”, в коих подошва — “лицо”, а “подъем”, где нога “горкой” — затылок. “А вот и кости черепа” — прямо под кожу “горки” кости; тогда как щеки и губы и все мягкое лицо выражены в мягкой подошве. Из этой особой головы и ее “ума” и “таланта” текут танцы, ходьба и у каждого (индивидуальность) “своя походка”, путешествия. Ноги имеют память и сами “донесут до дому”, если ходок задумается, замечается» (ВЕ, 92). Непризнание египтологами идей Р. заставило его записать в «*Последних листьях*» во время работы над «Возрождающимся Египтом»: «И до сих пор, до 1916 г., я не мог дать восю изображения *Озириса*. *Цивилизация* с горбом этого не допускает. И все эти Масперо и *Бругиши*, хвастунишки и мумии, которые за учеными занятиями верно забыли даже, что у девки титки растут и, м.б., не догадываются, что у *коров* есть “вымя” (а ведь это священство)... О, масперошки: написав томы, которые следовало бы изодрать, ибо вместо их Вы могли просто собрать книгу из пустых листов, лишь на первом листе нарисовав *Озириса* вовсю» (ПЛ, 138). Общее впечатление Р. от работ египтологов довольно скептическое: «Читающий “Историю Египта” в изложении Брестеда, Масперо и (усиливаю извинения) *Б.А. Тураева* — просто “разучивается” Египту, а не “научается Египту” <...> Ибо как же я пойму что-нибудь о Египте у Масперо, если он “стыдится” дотронуться умом и мыслью до той “коровы” и не допустил ее шерсти, рогов и вкуса, и запаха в свою “дивную историю Египта”, где этой “корове-Гатор и корове-Изиде” поклонялись? Явно: Масперо — одно, а Египет — совсем другое» (ВЕ, 321).

А.Н.

МАТЭ Василий Васильевич [23.2(6.3).1856, Вержбово, Волковышский уезд, Сувалкская губ. — 9(22).4.1917, Петроград] — гравер по дереву и офортист, преподаватель Академии художеств. Автор *письма* к Р. от 7 февраля 1912, посвященного копированию древних монет для Р. графиком Е.Д. Белухой-Нимичем (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4216. Ед. хр. 8). На посмертной выставке *В.А. Серова* Р. видел его картину «Похищение Европы», по поводу которой написал: «Этого мифа дано несколько вариантов у Серова. На выставке они не “выигрышны” Но раньше выставки я видел один из вариантов в квартире В.В. Матэ, нашего знаменитого гравера, и не мог оторваться» (НВ. 1914. 31 янв.; НФП, 241). *Н.Н. Страхов* подарил Р. свой *портрет* работы *И.Е. Репина*, гравированный М.

А.В. Ломоносов

МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович [7(19).7.1893, село Багдади, Кутаисский уезд, Кутаисская губ. — 14.4.1930, Москва] — поэт. М. был известен Р. как представитель футуризма. Хотя фамилия М. в работах Р. не упоминается, их имена не однажды сближались в прессе того времени. Критик С. Любош [*Любошиц*], оценивая

театральный дебют М. — представление трагедии «Владимир Маяковский» (где М. выступал и как автор пьесы и как актер — исполнитель главной роли — Поэта), писал: «Автор “Трагедии”, в начале струсивший, к концу расхрабрился, обозвал публику “жирными крысами” и заявил, что больше всего ему нравится его собственная фамилия, которую тут же громко произнес. Вообще, у футуристов обычна эта фамильярность, это противное амиокошество с публикой. Но что же в этом нового? Уж на что ветхий человек новременский Розанов. От него даже затхлостью несет. Он, кстати, признается, что платье любит сильно заношенное, а потребности в свежем воздухе не принимает органически. Так вот этот человек, от которого несет дурным запахом исконной нечистоплотности, давно уже проявляет такую же атрофию чувства *стыда*, какой отличаются самые юные футуристы. Розанов тоже говорит о своей фамилии, которая ему, впрочем, не нравится и даже противна, о своей жалкой мизерабельной внешности, о своей грязной *душе* и о своей... гениальности. Вот как это старо. Это розановское бесстыдство еще *Достоевским* изображено в удивительном рассказе “Бобок”» («Бобок» // Современное Слово. Пб. 1913. 5 дек.). В августе 1916 вышел альманах «Стрелец. Сб. 2» (Пг., 1916. Редактор-издатель — близкий к футуристам литератор А.Э. Беленсон). Характерным для альманахов «Стрелец» было то, что здесь рядом публиковались произведения футуристов и литераторов иных *школ*, «сбрасываемых» футуристами в их манифестах «с парохода современности». Во втором выпуске представлены М. (стихотворение «Анафема», позднее печатавшееся автором под названием «Ко всему»), В. Хлебников, А. Беленсон, а также *Ф. Сологуб*, *М. Кузмин* и Р. («Из книги, которая никогда не будет издана». — ЛВИ; «Из последних страниц *истории* русской критики». — ВЧВ). Рецензируя второй сборник «Стрельца» И. Василевский, охарактеризовав помещенные в нем материалы Р. как «черносотенные», писал: «Дело, впрочем, не в г. А. Беленсоне, маленьком и бездарном стихотворце. Дело в том дружественном альянсе между *литературой* и г. Бурлюками, какой строит этот комиссионер <...> Это не случайность! То унылое и бездарное, что под именем футуризма скопилось на крайнем левом (“левее здравого смысла”) фланге литературы — неминуемо и неизбежно должно было столкнуться и слиться со всем тупым и меднолобым, что только есть на крайнем правом, черносотенном фланге <...> Чем внимательнее вчитываешься в этот альянс В. Маяковского и Ф. Сологуба под редакцией А. Беленсона, — тем очевиднее кажется, что черносотенные выходки В. Розанова в этом альманахе не случайны <...> Как хорошо, что футуристы обрели, наконец, теоретика в лице В. Розанова. Сам В. Маяковский никогда не сумел бы повести этого идеологического фундамента под свои унылые и импотентные восклицания <...> Что еще есть, однако, в новом Маяковско-Розановском, Сологубо-Беленсоновском альманахе? Увы! Почти ничего больше» (Не-Буква [И.М. Василевский]. Распродажа остатков. Второй альманах «Стрелец» // Журнал Журналов. 1916. № 35. Авг. С. 3—4). 23 августа 1916 в газете «*Биржевые Ведомости*. Утренний выпуск» М. опубликовал датированное 21 августа «*Письмо* в редакцию», где говорилось: «В только вышедшем под редакцией А. Беленсона вто-

ром сборнике “Стрелец” мне пришлось выступить рядом с распоясавшимся В. Розановым. Правда, об участии в сборнике В. Розанова мне было заявлено А. Беленсоном раньше, но прошлое “Стрельца”, сборника с чисто литературными устремлениями, а также фамилия редактора казались мне достаточной гарантией отсутствия каких бы то ни было науськивающих строчек, к сожалению, именно такими строками полна статья Розанова “Из последних страниц истории русской критики” <...> Появление столь неприятного соседа заставляет меня считать себя впредь не имеющим к “Стрельцу” никакого отношения». Ответное «Письмо в редакцию» А. Беленсона появилось в газете «Новое Время» (1916. 24 авг.). Говоря о письме М. в «Биржевых Ведомостях», А. Беленсон отмечает: «Должен сказать, что мотивы появления этого письма в редакцию представляются мне несколько загадочными: “Стрелец” — не журнал, постоянных сотрудников в нем не было и быть не могло, и стоило ли г-ну Маяковскому заявлять на всю Россию о своем “выходе”, когда я вовсе не покушался связать его обязательством — непременно участвовать в каждом очередном сборнике, могущем появиться под моей редакцией? Впрочем, это не так важно, да может и загадочного мало: помнится, от кого-то, чуть ли не от самого г-на Маяковского, я слышал, будто Максим Горький обещал печатать его произведения в журнале “Летопись” Так удивительно ли, что г-н Маяковский почувствовал себя, правда преждевременно, правой рукой М. Горького! Но и это не важно. И в конце концов, конечно, я виноват. Мне надлежало догадаться, что “старому обществу” — Маяковскому — не по пути с Розановым, и, хотя всякий *Проптер* очень охотно, — только не при свидетелях, — признает гениальность В.В. Розанова; — все-таки я должен был одеть ему “намордник”, чтобы, сохрани Боже, не огорчить г-на Маяковского. Что ж, виноват и каюсь в том всенародно». Газета «День» в связи с письмом М., напомнив об исключении Р. из *Религиозно-философского общества* и о его конфликте с *Мережковским*, *Философовым*, *Карташёвым*, писала: «Казалось, что все счеты с этим писателем покончены в литературе, и путь в так называемое приличное общество ему навсегда закрыт. Меньше всего сокрушался об этом сам В.В. Розанов, которому и в “Колоколе” тепло и уютно... однако, прошло два года, и он снова тут как тут и снова от него бегут и отрекаются <...> Если от Розанова бежал футурист Маяковский, то, стало быть, Розанов нисколько не изменился и верен себе <...> И не Маяковский, а Бейленсон <так!> несет ответственность за “науськивание” в литературном сборнике. И если есть это науськивание, есть Розановщина, есть нетерпимая примесь в сборнике, то надо либо отвечать по существу, либо молчать, либо расписаться в полной своей солидарности с Розановым» (Заславский Д. Многообещающий // День, 1916. 25 авг.). «Голос Руси», напомнив, что М. — автор поэмы «Облако в штанах», и упомянув заметку Д. Заславского, саркастически предложил: «Вот вам и новый состав “Религиозно-философского общества” Богословер — Мережковский. Гомункул — Заславский. “Облако в штанах” и Дима Философов <...> Да, быть рядом с “Облаком в штанах”, Ганимедами и Гомункулами — почтенному В.В. Розанову и в самом деле неприлично»

(Ювенал [М.М. Спасовский]. «Облако в штанах» // Голос Руси. 1916. 26 авг.). «Журнал Журналов» в короткой реплике раздела «Сучки и задоринки», иронически отметил, что письмо М., «вероятно, по ошибке, — напечатано “в подбор”», предложил его печатать «как следует», — в виде «стихотворения», столбиком, по 1–2 слова в строке. Прочитав несколько строк М. — в том числе «Рядом / С распоясавшимся / Розановым!..» — журнал закончил: «При таком расположении слов и “маяковский” ритм и особенно “маяковские” рифмы были бы соблюдены в совершенстве...» (П. Михайлов [Г.Я. Розенблат]. Поэт В. Маяковский... // Журнал Журналов. 1916. № 41. Окт. С. 4). На полемику вокруг «Стрельца» Р. отреагировал только небольшим «Письмом в редакцию» (НВ. 1916. 28 авг.), где упомянул заметку Д. Заславского: «Прямо трогает меня забота “Дня” и его сотрудника г. Заславского о моих знакомых: “Около трех лет отреклись от знакомства и общения с В.В. Розановым последние его приличные друзья и знакомые”». И далее Р. выразил надежду, что молодое поколение России в печати, в адвокатуре будет меньше «походить на Грузенберга» (адвокат в «деле *Бейлиса*») или на *Кугеля*, превратившего свою газету «День» в «Кривое Зеркало» (НВ. 1916. 28 авг.). Футуризм и М. с его «желтой кофтой» были известны в семье Р. и, очевидно, известны самому Р. Дочь Р. Надежда вспоминала: «В те годы впервые на литературной эстраде появились люди “в желтых кофтах”, которых толпа освистывала и забрасывала апельсиновыми корками. Домашние посмеивались над футуристами, но Вера увидела в них “мучеников идей”, которых толпа не понимала, а Вера всегда страстно противостояла толпе. Она приходила в ярость, слыша дома насмешки в сторону футуристов» (НР, 126). В конце 1918 у Р. завязалась переписка с В. Ховиным, издававшим в Петрограде альманахи «Очарованный Странник» (1913–1916) и «Книжный Угол» (1918–1922). Имена Р. и М. «встретились» — в позитивном контексте — на страницах альманаха «Очарованный Странник. Альманах весенний». 1916. № 10 (весна). Здесь была опубликована статья В. Ховина «Ветрогоны, сумасброды, летатели» (С. 8–13, о М. и футуризме) и эссе Б. Гусмана «Опавшие листья» (С. 15, о творчестве Р.). В Ховин в своих работах, опубликованных уже после смерти Р. («В.В. Розанов и Владимир Маяковский», 1920; «О своем пути», 1925 и др.), неоднократно ставит рядом, сопоставляя имена Р. и М.: «Маяковский это — как бы неожиданное отображение одного из рядов розановских идей <...> это — как бы своеобразный слепок с одного из прозрений Розанова, неожиданное исполнение одного из его мечтаний <...> Розанов, быть может, первая страница истории подлинного человекоборчества. Впервые сказанная мысль подлинного гуманизма. Но только мысль. Этот самый нереализующийся человек изощел психологизмом открытого в себе подлинного человеческого мира и умер... И вот пришел Маяковский <...> Правда, он оказался таким громадным, таким жилистым, с вывороченным наружу мясом, с таким трубным, площадным голосом. Таким враждебным бесплотному психологизму Розанова, непохожим на него. Но зато человек! Несомненный и подлинно реализовавшийся в жизни человек. А не слова о нем, не мысль о нем <...> И если Розанов требовал внимания к интонациям своих

мыслей, если настаивал он на значимости и значительности акцента произносимых им слов, то Маяковский тоже не хочет примириться с мертвой законченностью, беззвучностью гуттенберговского способа запечатления своих стихов, вообще с запечатленностью их, и не мыслит своих слов, произнесенных не его зычным, площадным голосом». Говоря о религиозных исканиях Р. и М., их «тяжбе» с небом, с *Богом*, Ховин продолжает: «Дело другого рода, что если у Розанова все это было судилищем, словесной тяжбой, то Маяковский, отнюдь не склонный к словесному препирательству, просто выпустил пух из пуховиков небесных. Но было бы невероятной ошибкой предполагать, что тяжба эта происходит только в сфере религиозного сознания. Конечно же нет. Это борьба со всякими «выспренностями» и «якобы идеализмом», со всякой «праведностью» <...> Пусть Маяковский когда-то в разговоре со мной, когда я воспользовался «лирическими» цитатами из него о «боли и жизни», старался убедить меня в том, что это — самое слабое в его творчестве. Иначе и быть не могло для него, немислимого без ножа и кастета. С другой стороны, если Розанов в письме ко мне старался подойти к футуризму, который в сущности его ни в какой степени не интересовал, вероятно, из желания отдать дань моему увлечению, и ничего не преуспел в этом, так это потому, что действительная, динамичная сущность футуризма, его площадной голос и кастет в руках его, не могли быть не враждебны Розанову» (Ховин Виктор. В.В. Розанов и Владимир Маяковский // В.Р. Ховин. На одну тему. Пг., 1921. С. 45–62).

В.Н. Дядичев

МЕДВЕДЬ Ярослав Иванович — петербургский священнослужитель, участник петербургского *Религиозно-философского общества*, тесно общался с *Г.Е. Распутиным*. Осенью 1907 из дома Р. со скандалом ушла его падчерица *Аля (А.М. Бутягина)*. Священник-публицист *Н.Г. Дроздов* приписывал это «скверным влияниям» священника М. и советовал Р. для решения конфликтной ситуации обратиться «к Желобовскому, коему подчинен Медведь» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4213. Ед. хр. 7. Л. 20). Дроздов описал в статье «Сибирский пророк» предпосылки семейного конфликта у Р.: «Девушка после пятилетнего уклонения от причащения — ныне причастилась, стала любить службы и беседы в одной из столичных церквей <у священника М.>, а равно и беседы в домах, где бывает «пророк» <...> никакой пророк не уполномочен *Богом* разбивать скрижали Завета, где неизгладимо начертано: «чти отца и мать»» (Там же. Л. 33). Р. оставил на рукописи статьи Дроздова помету: «О Распутине (история с Яросл. Медведем и Распутиным)» (Записки отдела рукописей РГБ. М., 2004. Вып. 52. С. 486). В письме к *П.П. Перцову* от 18 сентября 1915 Р., оправдывая приближение Распутина к царской семье, ссылался на опыт личного знакомства с М.: «Я считаю гениальным и смелым шагом, что «Наш» приблизил к себе мужика-странника-богомольца — и «с Апокалипсисом» в панталонах. Ведь и я знал угрюмого и томительного попа Медведа (в СПб.), который отдавал свою жену Грише и любил его без памяти. Это вообще есть аномалия, в родстве с Содомом — мужей, влюбленных в любовников своих жен (*Мольер* — Тартюф). Тут — тайна, и

«в 1915 г. она не ясна»» (ОР РГБ. Ф. 872. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 40). В октябре 1918 Р. описал свои свидания с Распутиным, в письмах к *Э.Ф. Голлербаху*, первое из которых происходило именно в доме у М.: «Я и спрашиваю его: «Отчего вы тогда, Григорий Ефимович, ушли так скоро?» (от отца Ярослава, с женою коего он тоже «жил», и о. Ярослав тоже «одобрял» это. Тут вообще какая-то райская история, Эдем «общения жен и детей»). Он мне ответил: «Оттого, что я тебя испугался» Честное слово. Я опешил» (ВНС, 374).

А.В. Ломоносов

МЕЛЬНИК Иосиф Соломонович — литератор, кандидат философии Гейдельбергского университета, сотрудник «St. Petersburg Zeitung» и «Kant-Review», инициатор написания Р. статьи «Русская Церковь» для сборника русских авторов о России, издававшегося в Германии (на немецком языке). Автор писем к Р. 1902, 1905, 1913 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 20). М. признавался в близости ему розановской проблематики и просил о содействии во вступлении в *Религиозно-философское общество*. Получив в 1902 приглашение от венского издания «Kant-Gesellschaft» писать исследования о религиозном движении в России и русской литературе, М. обратился к Р. за оказанием содействия в этом вопросе. 23 марта 1903 М. извещал Р. о том, что выслал *П.П. Перцову* свою газетную заметку в «St. Petersburg Zeitung» с положительным отзывом о статьях Р. в журнале «Новый Путь»: «Шестидесятые годы и «утилитарная критика» (Маленькое возражение *Н.А. Энгельгардту* на его проект «переоценки ценностей» литературных)» (1903. № 2) и «Университет и наука» (там же). Рецензент просил также Р. выслать ему для отзыва книгу «Семейный вопрос в России». В письме от 18 октября 1905 М. извещал Р. о выходе в свет сборника «Русские о России», в котором помещена статья Р. о Церкви. Выражая опасение, что русская цензура не пропустит издание, М. запрашивал о возможности выслать книгу по адресу редакции «Нового Времени». Корреспондент просил Р. выслать ему книгу «Около церковных стен» и фотографию самого Р., а также предложил Р. послать экземпляр названной книги в редакцию «Frankfurter Zeitung» для отзыва, который обещал подготовить М. К письмам М. приложена розановская характеристика: «Мельник, еврей, — перевел на немецкий яз. «Русскую Церковь»» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 96).

А.В. Ломоносов

МЕЛЬНИКОВ Николай Константинович (псевдоним Сибиряк; ум. 1916) — берлинский корреспондент «Нового Времени». Письма М. к Р. 26 августа и 14 сентября 1903 содержали просьбу о содействии в публикации своей неоромантической поэмы в журнале «Новый Путь»; в письме от 30 марта 1907 М. просил отрецензировать его очерк «Два мира», о светской и церковной власти (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 21). К письмам М. приложены розановские характеристики: «Мельников Н.К. (корреспондент «Н. Вр.», каж. очень славный); «Сибиряк» Нов. Времени» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 96).

А.В. Ломоносов

МЕЛЬНИКОВ-ПЕЧЕРСКИЙ Павел Иванович (наст. фам. Мельников) [25.10(6.11).1818, Нижний Новго-

род — 1(13).11.1883, там же] — прозаик, историк (*псевдоним* Андрей Печерский), *чиновник* по делам раскола. Р. писал, что прочитанная им в *университете книга* М.-П. «В лесах» произвела на него «чрезвычайное впечатление» (КНУ, 503) и, несмотря на скромные литературные достоинства, сыграла важную роль в его приходе к *вере* и *консерватизму*: «В университете меня, “беспочвенного интеллигента”, захватила “сила быта” <...> И удивительно, какая, в сущности, ничтожная книга была толчком сюда. Это — “В лесах” Печерского. Я вечно рассуждал, а тут жили. Я вечно носился в туманах, в фикциях, в логике, а тут была “плоть и кровь” Потап Максимович, “матушка Манефа”, “сестрица Аленушка” и вплоть до плутоватого, скромного регента — все, все мне нравилось, меня тянуло к себе просто тем, что “вот люди живут”, тогда как я, в сущности, никогда не жил, а только мечтал и воображал двадцать лет. Где “быт”, там и “старинка”, а где привязанность к “старинке”, там и невольный, несознательный, лучший консерватизм, выражающийся, в сущности, в одном желании: “Оставьте меня жить так, как я живу” Я стал в университете любителем *истории*, археологии, всего прежнего, сделался консерватором. Уже *Хомяков* мне казался отвратительным по новизне и вечному недовольству тем, что есть. Потап Максимович из “Лесов” — вот это другое дело. С ним мне и моему воображению, моим новым “убеждениям”, жилось легко, приветно. Я весь был согрет и обласкан его эстетикой. Даже его недостатки: умственная недалекость, полное невежество, торговая плутоватость — меня нимало не отталкивало: все это было так стильно!» (ОПП, 252). Немаловажную роль во *влиянии* книги играло, видимо, то, что действие произведений М.-П. происходило в Заволжье, откуда родом был и сам Р. В посвященном путешествию по *Волге* очерке «Русский Нил», сетуя на отсутствие на пароходе *литературы* о великой русской реке, Р. писал: «Наконец, если уж брать “развлекающую” беллетристику, то отчего бы не взять “В лесах” и “На горах” Печерского, это великолепное и единственное в своем роде художественное воспроизведение быта раскольников по верхней (лесной) Волге и по нижней (гористой) Волге!» (ОНД, 153). М.-П. стал для Р. воплощением русского традиционного быта, неразрывно связанного с *христианством*, важным источником сведений о повседневной *жизни* раскольников. В своих религиозно-философских спорах Р. использовал примеры из произведений М.-П.: «Я предложил на *Религиозно-философских собраниях*, чтобы новобрачным первое *время* после венчания предоставлено было оставаться там, где они и повенчались; потому что я читал у Андрея Печерского, как в прекрасной церемонии постригаемая в *монашество девушка* проводит в моленной (*церковь старообрядческая*) трое суток, и ей приносят туда еду и питье. “Что монахам — то и семейным, равная *честь* и равный обряд” — моя *мысль*» (У, 100). Р. отмечал, что «никогда не имел отношения к раскольникам иначе как через рассказы Мельникова-Печерского» (ОЦС, 25). При этом Р. ставил под сомнение достоверность некоторых описаний. Так, он относит к числу «темных и диких слухов» восходящее к М.-П. утверждение *В. Андерсона* о причащении человеческим телом и *кровью* у хлыстов: «Сообщение это, сделанное известным Мельниковым, не имеет другого удостоверения,

кроме ответа последнего <...> что “ему говорил это один верный *человек*” (ОНД, 401). Р. был не слишком высокого мнения о литературных достоинствах сочинений М.-П. В статье «Университет в образовании писателей» (НВ. 1900. 28 мая) он сравнил М.-П. с самобытным *Н.С. Лесковым*. Р. писал о М.-П.: «Не знаю, был ли он в университете; но в суждениях его, “В горах” и “На лесах” <так> — отдает, что не был. Какая-то неверность в постановке тем, незрелость в бросаемых мыслях и, наконец, просто незнание, отсутствие исторического знания. “Необразован и необразован” — вот впечатление. Печерский был богатый художник-наблюдатель, но не был “развитой человек” в смысле “внутри устремленного ока” Он заметит, схватит факт; запомнит образ человека, положение, “ситуацию” предметов и *вещей*; он — землемер; с превосходной астролябией в руках он набрасывает горы, холмы, рощи; но никогда и нигде он не закапывается в землю, не углубляется в рошу и его *труды* не суть училище, как суть училище труды Лескова. Вся его *живопись*, местами ярко колоритная, похоже, как бы “печаталась от машины”, а не от руки рисована; ведь рисующий повернет так предмет, повернет этак, пытается, выслеживает сюжет свой; у Печерского все и всё снято *en face*, в одной позе, в одном совершенстве, в одной полноте. Очевидно, он совершенно не может вывести человека из положения *en face*; у него нет психологии и нет *метафизики* предметов, которые он рисует, т.е. нет ключа от них, нет обладания секретом изображаемой действительности». Отвергая в литературе все, что содержит «непонимание *России* и отрицание *России*», Р. «делает исключение» для небольшого количества авторов и книг, и среди них — для романа М.-П. «В лесах» (М, 294).

В.А. Фатеев

МЕЛЬШИН — см. *Якубович П.Ф.*

МЕНДЕЛЕЕВ Дмитрий Иванович [27.1(8.2).1834, Голубьск — 20.1(2.2).1907, Петербург] — химик. Р. приводит в пример русской *интеллигенции* М., который «не расходился с народом, он написал “К познанию *России*”, написал с подробностями» (ОПП, 332). Сравнивая *судьбу* М. с судьбой *М.В. Ломоносова*, Р. задается вопросом: «Почему Академия *наук* не была вверена Ломоносову, — что так естественно для нашего глаза, для нашей оценки, — а всевластно распорядился в ней какой-то Шумахер, без всякого имени и заслуг для *науки* и для *России*? И это в пору *Елизаветы*, столь благоприятную для Ломоносова, и когда покровителем его был И.И. Шувалов, всеильный вельможа этого царствования? Почему?.. Что такое?.. Почему то же, приблизительно то же, повторилось с Менделеевым, который был затерт куда-то в главного начальника палаты “мер и весов” “Хранить меры и хранить веса” — *человеку*, горевшему изобретениями и новыми исканиями?..» (ОПП, 611). В 1880 кандидатура М. в академики была отвергнута, в связи с чем Р. замечает, что Академия наук «напичкала себе в “члены” старых генералов и пронырливых немцев, обойдя Менделеева. Невозможно достойно оплакать той *вещи*, что наши министры *просвещения* всегда были одними из самых темных, непросвещенных людей в *России* и что наша Академия *Наук* есть какое-то место, через посредство которого люди и без того счастли-

вые положением, *славою*, отличиями — увенчиваются еще и лаврами» (ВНС, 194).

А.Н.

МЕНЬШИКОВ Михаил Осипович [25.9(7.10).1859, Новоржев, Псковская, губ. — 21.9.1918, г. Валдай, Новгородская губ., расстрелян] — публицист, штатный сотрудник «*Нового Времени*» с апреля 1901. Личные и литературные отношения Р. с М. складывались не лучшим образом уже в 1890-х. В сентябре 1897 Р. был удален из числа сотрудников газеты «*Русь*» за то, что будто бы в его статье содержался донос на революционеров. Редактор газеты *В.П. Гайдебуров* заявил Р.: «Меньшиков, *Н.А. Энгельгардт*, *Абрамов* — все объявили, что они выходят из сотрудничества у меня, если я отдал свои издания для сочинительства в них доносов» (ПР. 1897. Ед. хр. 95. № 9). В ноябре 1897 Р. написал язвительный фельетон «Кроткий демонизм» (НВ. 1897. 19 нояб.) по поводу серии статей М. («Элементы романа. О половой любви», «О суевериях и правде», «О любви святой»), опубликованных в журнальном обзоре «Книжки “Недели”» (1897. Сент.—нояб.). Р. в сатирическом ключе раскрывал ханжескую суть меньшевистского *аскетизма*, «словесную музыку» защиты М. «любви небесной» при отрицании плотской любви: «Поэзия поблекших цветов, померкшей весны, заслоненного солнца, слепое вырывание из цветов их благоуханных “пестиков” и “тычинок”, и, в последнем анализе, — слепое вырывание из мира его всеоживляющего, всераствечающего нерва. Конечно, это ария демона, хотя бы и прикрывшегося самими кроткими словами» (РФК, 155). Эта статья Р. привлекла к себе внимание: *А.П. Чехов* назвал ее «превосходной» (Чехов А.П. Полное собр. соч. и писем. Письма. М., 1980. Т. 8. С. 140–141). *С.А. Рачинский* тоже похвалил статью (РВ. 1902. № 11. С. 154). *П.П. Перцов* утверждал позже: «Между Роз. и Меньш. всегда были дурные отношения; Меньшиков, очень злопамятный, не мог простить В.В. статью его “Кроткий демонизм”» (ОР РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 34. Л. 2). Р. продолжал полемизировать с М. в статье «Смысл аскетизма» (НВ. 1897. 31 дек.), утверждая, что М., выступая против «Вальпургиевой ночи» чувственности, не понял и ее (РФК, 168). Утверждая наличие связи аскетизма с «богатством темперамента», Р. отмечает, что аскетизм исторически и «возник именно в тех странах и городах, на чувственные вакханалии которых жалуется г. Меньшиков» (РФК, 170). Даже в 1890-х, когда Р. с М. сотрудничали в разных изданиях и имели совершенно разные взгляды, критики находили между ними сходство, прежде всего склонность к «*городству*». *А.И. Богданович* писал: «Это две родственные души, единомыслящие и единостремляющиеся» (Богданович А.И. Юродствующая литература. «О любви» Меньшикова. «*Сумерки просвещения*» Розанова // Мир Божий. 1899. № 4. С. 8). При этом рецензент, подобно Р., критиковал М. за то, что тот «изгоняет из любви существенный ее элемент» (Там же, 14), т.е. чувственное начало. В 1900 Р. вновь вступил с М. в полемику, опубликовав в журнале «*Мир Искусства*» открытое письмо в защиту Перцова, которого М. обвинял в «эгоизме и служении своему “я”» («Письмо в редакцию» // МИ. 1900. № 9–10. С. 205). Р. рецензировал книгу М. «Начала жизни» (СПб., 1901) (НВип. 1901. 25 июля).

Придя в «Новое Время», М., отличавшийся, как и Р., большой плодовитостью, быстро занял в газете заметное место, печатая обзорные статьи на разнообразные актуальные темы в собственной рубрике «Письма к ближним». М. был вместе с Р. среди членов — учредителей *Религиозно-философских собраний* (возможно, по приглашению Р.), хотя особой активности при организации собраний не проявлял. Спустя годы, в 1915, М. описал историю создания РФС, отметив, что «корифей — Розанов, *Мережковский*, но не он» и что он «был в числе учредителей, но у *Победоносцева* не был» (Меньшиков М. Старатели и докладчики // НВ. 1915. 12 нояб.). М. выступал на 3-м и 12-м заседаниях РФС (НП. 1903. № 2 и № 6). Он писал о своих впечатлениях после одного из собраний: «Мы расходились с Религиозно-философского собрания. После четырех часов сидения в маленьком, со старинными сводами зале Географического общества, в густой толпе журналистов, поэтов, писателей, монахов, старых и молодых дам, архимандритов, журналистов, поэтов, миссионеров, богословов, священников, декадентов и философов, после неистовых криков и тихих речей в жаркой духоте и электричестве — не только ламп, но и stalkивающихся идей, — приятно было выйти на свежий воздух, в тишину уже самой петербургской улицы» (Меньшиков М. Речь философа // НВ. 1903. 19 янв.). В собирательном образе декларирующего в беседе с М. после собрания *свободу любви* «седого философа», описанном М. в этом очерке, узнаются некоторые черты Р. В 1902 Р. и М. на страницах «Нового Времени» вступили в новый спор по поводу *язычества*. В статье «*Das Ewigweibliche*» (НВ. 1902. 18 авг.), написанной после посещения Дрезденской галереи, М. противопоставил «вечноженственную» «Сикстинскую Мадонну» *Рафаэля* «позорнейшей мерзости» находящихся рядом произведений языческого искусства, назвав «древнее затхлое язычество» «обольстительным безумием» и «свинством». Р. в статье «Об отрицании эллинизма» (НВ. 1902. 26 авг.) упрекнул М., что тем самым он пренебрежительно отозвался «о роднике материнства» и заявил, что «идея “свиного” самым тесным образом связана с детоубийством у “кротких сердцем” истребителей эллинизма» (ВДЯ, 226). Во второй полемической статье, «Поганое в паганизме» (НВ. 1902. 1 сент.), М. развил тезис о неприемлемости язычества, приведя в пример картину *Микельанджело* «Леда и Лебедь» (вероятно, имелась в виду картина Корреджо «Леда с лебедем»): «Не свинство ли это смешение полов, смешение людей с животными?» В примечании М. упомянул свой прежний спор с Р.: «Я без всякого удовольствия вступаю в спор с Розановым, и потому, что уже знаком с его исключительной некорректностью как полемиста. Еще в 1897 г. по поводу моих статей “Элементы романа” г. Розанов писал в “Новом Времени” статьи, полные искажений и моих мыслей, и заодно — Платона и Гомера <...> именно эта манера г. Розанова и заставила меня тогда воздержаться от всякого ему ответа». Р. в статье «В чем разница древнего и нового миров» (НВ. 1902. 12 сент.) отрицал утверждение М., что «между христианством и язычеством лежит непроходимая пропасть» и отстаивал светлые стороны язычества, утверждая близость всех древних религий как «религий младенчества, детства» (ВДЯ, 232). После того как в дискуссии принял участие

Мережковский, также вставший на защиту язычества и эллинизма, М. заключил полемику статьей «О гробе и колыбели» (НВ. 1902. 20 окт.), в которой решительно отвергал защиту язычества Р. и Мережковским как «религии света и радости», отметив, что и сам Р. считает христианство и язычество «несогласимыми», утверждая, будто «языческая религия примыкала к колыбели», а «христианство примыкает к гробу» (PRO, 1, 327). *Е. Поселянин*, назвав полемику «на страницах “Нового Времени” двумя блестящими сотрудниками этой газеты» «весьма интересной», целиком встал на сторону М., называя «гимны, спетые г. Розановым язычеству», «беззастенчивой клеветой на историю» (Поселянин Е. Конеч интересного спора // Душеполезное Чтение. 1902. № 12. С. 697, 698). В 1903 М. повел решительную борьбу с *декадентством*, воплощением которого стала для него выставка «Мира Искусства», и «декадентским журналом» «Новый Путь», где Р. был одной из ключевых фигур. Если Р. положительно отзывался о выставке «Мира Искусства», трактуя тему Демона у *Врубеля* как «попытку выйти из трафаретного представления», как «проступающую в природе человечность, человекообразность» (СХ, 217), то М. в статье «Среди декадентов» (НВ. 1903. 16 марта) писал, что «г. Врубели ищут лицо дьявола». Но самой резкой была статья М. «Титан и пигмеи» (НВ. 1903. 23 марта), косвенно направленная против Р., так как М. не только прямо называл журнал «сатанинским», но и обвинил в защите язычества и приверженности нищенству священника, о. А. Ус-кого, письма которого публиковал Р. Защищая прот. А. Устьинского, Р. опубликовал «Ответ г. Меньшикову» (НВ. 1903. 28 марта), где уверял, что ни он, ни тем более чистый душой священник нищенством никогда не увлекались, но его оправдания не возымели никакого влияния. Статья М., положившая начало кампании в печати против «Нового Пути» и завершившаяся закрытием РФС, рассматривалась в религиозно-философских кругах как донос. Эта ссора надолго испортила и без того не идеальные отношения Р. и М. В «Новом Пути» появилось коллективное заявление сотрудников журнала, в котором говорилось: «В “Новом Времени” г. Меньшиков возводит на редакцию и главных сотрудников “Нового Пути” вообще тяжелое и, можно даже сказать, страшное обвинение в сатанизме <...> его обвинения представляются злонамеренным и сознательным искажением истины» (НП. 1903. № 4. С. 168). З. *Гиппиус* в статье «Кого жалко?» писала, что «Меньшиков, начавший свой поход против Розанова и прот. Ус-кого», должен страдать «и от бессилия, и от своей лютой ненависти, и от глухого сознания своих античеловечных поступков» (НП. 1903. № 4. С. 180). Апофеозом антменьшиковского «наступления» в «Новом Пути» стал Литературный «некролог» (за подписью *Ласциафер*), в котором сообщалось, что М. скончался 23 марта «после продолжительного нарушения всяких литературных приличий и простой человеческой порядочности» (Там же, 185). Главным виновником закрытия РФС их участники считали меньшиковскую статью. Перцов писал впоследствии: «Нападения на собрания были вызваны всегдашним доносительным зудом Меньшикова» (ОР РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 34. Л. 2). В предисловии ко второму изданию книги «В мире неясного и нерешенного» (1904) Р., процитировав слова прот.

П.Я. Светлова о том, что «язычники включаются в состав царства Божия, ибо ищущие царства Божия иногда даже предваряют самих сынов царствия», заключает: «Как должен устыдиться, прочтя эти слова, г. М. Меньшиков, который, на минуту прикинувшись *Аскоченским*, в распространеннейшей газете русской кричал, указывая на благороднейшего священника А.П. Ус-кого (кого



М.О. Меньшиков

письма в этой книге напечатаны), высказавшего на язычество этот же самый взгляд, что-де это «поп-декадент», «сумасшедший», «преступник», который не может стоять у алтаря той церкви, в которой он, Меньшиков, Богу молится. И пришлось употребить величайшие усилия целой группе людей, чтобы этого доброго и умного священника «не убрали» (по крикам либерального публициста и «гуманиста») (ВМНН, 16). Р. и М. часто высказывались на близкие темы, но их взгляды далеко не всегда совпадали. В статье «Величие и вульгарность» (НВ. 1909. 18 мая) М. назвал памятник *Александр III* неудачной работой «декадента», а отнюдь не *геня*, в то время как Р. утверждал в статье «*Paolo Trubezkoi* и его памятник *Александр III*», что «памятник изумительно выразил всё, что есть» (СХ, 322). *Т.В. Розанова* писала об отце, что «главного сотрудника газеты — Меньшикова, он недолюбливал и посмеивался над ним — за зонтик и

калоши в любое время года, а также за статьи его об аскетизме, считая их фальшивыми» (ТР, 30). Однако в 1910-х его отношения с М. перестали быть враждебными и их имена нередко, упоминаясь вместе, ассоциировались в критике с позицией «Нового Времени». Не случайно Д.В. Философов соединил имена «нововременских столпов» в своей статье «Мелкие душонки» (Речь. 1910. 7 нояб.), посвященной уходу Л. Толстого из Ясной Поляны. Публицист либеральной «Речи» выступил с критикой как М., утверждавшего, будто «бежал Толстой от жидовской интеллигенции и революционного ажиотажа», так и Р., который «во всем винит Черткова». В 1911 Философов снова упоминает вместе Р. и М., называя их «культурными скептиками», выступающими против приобщения священников к знанию («Стильная мебель» // Речь. 1911. 2 июля). В статье «Стойкое варварство» (НВ. 1913. 22 сент.) М. сочувственно отозвался о «глубоком варварстве России сверху донизу», на которое жаловался Р. в книге «Литературные изгнанники». Переказывая сетования Р. по поводу невостребованности книги «О понимании», историю перевода Р. и П.Д. Первовым в Ельце «Метафизики» Аристотеля и, наконец, историю избиения Р. отцом одного из гимназистов (ЛИ, 83–85), М. пишет: «Скажите, разве это не варварство? <...> Бедный переводчик Аристотеля! Вот чем отблагодарила тебя уездная глушь (т.е. самое сердце России) за подлинную искру Прометея, которую ты пытался раздуть на сырой трясине. Надо заметить, что избитый уездным хамом учитель был не какой-нибудь “человек в футляре”, не деревянный чиновник школы, а человек редкого таланта и высокого подъема духа». М., впрочем, не совсем согласен с утверждением Р. в книге, что мы «бездарный, слабый народ, невеликий духовно и нравственно»: «Вернее было бы сказать: сырой народ, первобытный, необработанный ни одной великой цивилизацией с достаточной глубиной». Статьи М. по еврейскому вопросу в связи с делом Бейлиса («Еврейский прицеп» // НВ. 1913. 4 окт.; «Что им позволяет совесть» // НВ. 1913. 26 окт.; «Еврейская победа» // НВ. 1913. 31 окт.; «Тень убитого» // НВ. 1913. 7 дек. и др. — см. в кн.: Меньшиков М.О. Письма к русской нации. М., 2002) во многом созвучны статьям Р., собранным в книге «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови». Все чаще перекликались выступления «столпов» Нового Времени и по другим вопросам. Однако если М. получил признание исключительно как публицист, пишущий на актуальные политические темы, то Р., особенно после появления «Уединенного», ценили за индивидуальный характер его мысли и стиля. А. Данилевская, критикуя Р. за чрезмерно публицистический, по ее мнению, характер второго короба «Опавших листьев», упрекала его за сходство с М.: «Со страниц исчезла интимность, общечеловечность, ударились Вы в политику, таким размахнулись Меньшиковым, что за Вас больно и стыдно» (СХР, 10). Сам М. признавал за Р. преимущество в умении запечатлеть спонтанные, «сырые» мысли: «Как сырые фрукты, сырые мысли имеют некоторое предпочтение перед тщательно подготовленными, очищенными, засахаренными, засушенными, законсервированными. Собственно, каждая мысль, схваченная в момент ее рождения, гениальна, если она мысль, а не безмыслица. В этом очарование многих писателей, пре-

лестных своей непосредственностью, например, В.В. Розанова. Он ухитряется схватывать мысли иногда до рождения ее и даже до зачатия, — в ее трансцендентном, так сказать, бытии <...> Увы, мне не дано это преимущество — у меня, кажется, нет мыслей, достаточно сырых» («Сырые мысли» // НВ. 1914. 9 марта). В 1916 Р. положительно отозвался о М. как о достойном продолжателе дела А.С. Суворина: «Призванный в “Новое Время”, он быстро, почти моментально развернулся в громадный государственный ум, зрелый, спокойный, неутомимый, стойкий, “не взирающий ни на что”, кроме Отечества, его реальных нужд». По мнению Р., М., собственно, заменил основателя «Нового Времени» после его кончины, став идейным стержнем редакции, «заменив самого Суворина» («Суворин и Катков» // К. 1916. 11 марта; ВЧВ, 131). В мае 1916 М. писал о Р.: «Радуясь появлению В.В. Розанова в “Голосе Руси”. Это один из тех писателей, которые заставляют читать себя и оплачивают потраченное время иногда по-царски. Что Розанов иногда бывает слишком сложен и несколько труден для неподготовленного понимания, что он оригинальность свою доводит иногда до причудливости, непривычным людям — раздражительной, всё это так, но есть у него одна удивительная черта, которой не хватает у подавляющего большинства писателей. У него есть творчество, у него есть собственная мысль, которая в прикосновении с вашей дает иногда своего рода “вольтову дугу”: ослепительное горение. Это дается только исключительным людям» («Из дневника» // Голос Руси. 1916. 5 мая). В тот же период он заявил, что собрания РФО давно не посещает, вообще «не философ» и отвергает «особый жаргон философии» как чуждую ему «китайщину» (Там же. 4 апр.). Тем не менее, он знакомится с сочинениями Р. на религиозно-философские темы: «Прочел в “Колоколе” фельетон Вас. Вас. о Николае Бердяеве» (Там же. 5 мая). Составив по длинной цитате из Бердяева мнение о нем как о «неинтересном» писателе, М. продолжает: «Так как В.В. Розанов уверяет, что “Смысл творчества” г. Бердяева читается с непрерывным философским восхищением», то придется выписать книгу. Но держу пари сто против одного, что сам Розанов если бы увлекся, написал бы на те же темы несравненно интереснее, чем Бердяев» (там же). Через две недели М. упоминает о беседе «с одним старым философом» (не называя имени собеседника), — по всей видимости, с Р.: «Вчера в обществе “Вешние Воды” <...> мы с одним старым философом вели разговор об египетской религии, о тайне ее удивительной раскованности» (Там же. 19 мая). 1 июля 1916 М. писал: «Читал “Литературные беседы” В.В. Розанова <в “Колоколе”> на такую интересную тему (о Спенсере, Дарвине и Конте-позитивистах. Легкомысленны? Нет» («Из Дневника» // Голос Руси. 1916. 1 июля). Однако М., выступающему против «метафизики, глубины, могил и пр.», ответ Р. «провинциалам метафизики» не понравился. В 1918 М. приводит в дневнике перечень параллельных биографических черт, указывающих на его поразительное сходство с Р., неожиданно обнаруженное при чтении в «Вешних Водах» статьи Э. Голлербаха о Р.: «Происходит из духовенства. Отец его был мелкий чиновник. Мать из дворян Шишкиных. Гордилась своим дворянством» и т.д., по всем пунктам помечая о себе: «Тоже» («Материалы к биогра-

фии» // Российский архив. М., 1993. Вып. 4. С. 91). «Литературно мы очень не схожи, но есть и поразительные совпадения без заимствования» (там же). М. характеризовал Р. как писателя: «Я думаю, он обострил свой *гений* и затемнил его умышленным натаскиванием себя на оригинальность. Сначала хотелось быть особенным, выдвинуться из толпы, быть замеченным. Это некрупный бес, но все же нечистый, и, поселившись в человеке, он овладевает душой прочно, до психоза. Голлербах говорит, что психиатры считали Розанова полусумасшедшим и что он психопат. Обо мне я не встречал таких мнений — наоборот, почти все меня считают умным, рассудительным человеком, и сам я считаю себя рассудительным тоже до своего рода психоза — до резонерства. Зато меня гораздо реже называют гениальным и великим (хотя называли! И даже писатели тамосе талантливые, как А.С. Суворин или одесский теософ Е.Е...). Несмотря на то, не завидую ему. Читаю — т.е. начинаю читать Розанова всегда с интересом, но редко оканчиваю с удовлетворением. У него диссоциация мысли, раскрытие ее с разложением <...> Неужели мы с Розановым совершенно будем забыты?» (Там же, 91–92). В декабре 1917 М. обращается к *О.А. Фрибес*: «Напишите, если знаете, что Розановы? Где они? Как себя чувствует Вас[илий] Вас[ильевич]? Сообщите ему мой адрес, не откликнется ли хоть открыткой» (Там же, 252). В январе 1918, получив от Р. бандероль с двумя выпусками «*Апокалипсиса нашего времени*», с дружеской надписью, М. отвечает ему: «Истинное удовольствие доставили Вы мне, дорогой Вас. Вас., Вашим журнальчиком, как доказательством того, что Вы еще живы <...> Прочел оба № с тем большей жадностью, что сам мечтал издавать подобный же “журнальчик с пальчик”, но, как бывший моряк, чувствую, что момент подходит надевать чистую рубаху» (Там же, 265). Судя по письму М. к *О.А. Фрибес*, он отнесся к «*Апокалипсису нашего времени*» критически и не без иронии: «Не знаю, как Вам, — мне “Апокалипсис” Василия Суеслова показался несколько ниже, чем книга того же названия Иоанна Богослова. Есть несколько красивых арабесок мысли, но в общем гибнущая родина могла бы иметь право услышать нечто более значительное от бывших своих писателей. Чувствую, впрочем, и себя не более как суесловом пред громадной задачей сказать что-нибудь в час смертный, что могло бы остановить околечение сердца слушателей, что могло бы заставить это сердце забиться жизнью <...> Но “журнальчик с пальчик” нашего друга расшевелил все-таки мою инертность. Ведь и я мечтаю об этом! Но я трезвее В.В. и на явную неудачу идти не хочу. Пока же пишу себе да пописываю для одного читателя — самого *Меньшикова*» (Там же, 257). Во время визита в *Москву* М. сообщает: «Мы с *Сытиным* уговорились было ехать сегодня в *Троице-Сергиеву лавру*, где хотели навестить Розанова, но его задержал бумажный комитет и мы отложили поездку до моего следующего приезда» (Там же, 260). Поездка, однако, так и не состоялась — в сентябре М. был расстрелян. В некрологе петроградского литературного журнала, уже после кончины Р., имена этих двух ведущих сотрудников «*Нового Времени*» привычно поставили рядом (*Кауфман А.Е. О Меньшикове и Розанове. Некролог* // *Вестник литературы*. 1919. № 6).

В.А. Фатеев

МЕРЕЖКОВСКАЯ З.Н. — см. *Гиппиус З.Н.*

МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич [2(14).8.1865, Петербург — 7.12.1941, Париж] — поэт, прозаик, философ, критик. Р. познакомился с М. и его женой *З.Н. Гиппиус* в апреле 1897, когда жил на Павловской улице *Петербурга*. *З. Гиппиус* вспоминала: «Зеленовато-темным апрельским вечером мы возвращаемся в первый раз от Розанова, по дощатым тротуарам глухой Петербургской стороны <...> Решительно не помню, кто нас с ним познакомил. Может быть, молодой философ *Шперк* (скоро умерший). Но слышали мы о нем давно <...> У себя, вечером, на Павловской улице, он показался нам действительно любопытным. Невзрачный, но роста среднего, широковатый, в очках, худощавый, суетливый, не то застенчивый, не то смелый. Говорил быстро, скользко, не громко, с особенной манерой, которая всему, чего бы он ни касался, придавала *интимность*. Делала каким-то... шепотным. С “вопросами” он фамильярничал, рассказывал о них “своими словами” (уж подлинно “своими”, самыми близкими, точными, потому не особенно привычными. Так же, как писал)» (*Гиппиус З. Живые лица*. М., 2002. С. 101). Большинство знакомств Р. в те годы завязывалось в редакции журнала «*Мир Искусства*», где он бывал почти каждый день, а позднее в *Религиозно-философских собраниях* и журнале «*Новый Путь*», издававшемся *П.П. Перцовым* и М. Первая статья Р. о М. появилась в 1899. Это была рецензия на книгу М. «*Вечные спутники*» (НВип. 1899. 31 марта). Также высоко оценил Р. труд М. о *Толстом* и *Достоевском*, на который нападал *Н.К. Михайловский*. Р. считал, что «это совершенно новое явление в нашей критике: критика объективная взамен субъективной, разбор писателя, а не исповедание себя» (ЛВИ, 447). Р. соглашался с М. в критике религиозного учения Толстого: «Мережковский бросился грудью на Толстого, как эллин на варвара, с чистосердечной искренностью и большой художественной силой. Его дело, его право. Он вцепился в “не-делание”, “не-женитьбу”, мнимое “воскресение” и всяческую скуку и суть Толстого последних лет» («Серия недоразумений» // НВ. 1901. 16 февр.; ВДЯ, 152–153). Не менее лестно отзывался Р. и о книге М. «*Гоголь и черт*» (1906), в основе которой лежит столь «ненаучная» мысль: «Гоголь всю жизнь свою ловил черта». В исследовании М. видит Р. начало попытки проникнуть в психологию творчества писателя, в «метафизическое существо душевной жизни Гоголя», ибо до этого в работах *П.А. Кулиша*, *Н.С. Тихонравова*, *В.И. Шенрока* «мы имели какое-то плюшкинство около Гоголя: собиравание тряпок, которые остались после великого человека» (ЛВИ, 155). Особенностью творческой природы М. было то, что он, как говорит Р., «всегда строит из чужого материала, но с чувством родного для себя». «*Семья*» и «род», на которых у Р. все построено, были совершенно чужды, даже враждебны для М. Но он всей душой воспринял розановскую идею, «уродил ее себе»: «Он “открыл семью” для себя, внутренне открыл, — под толчком, под указанием моим. И это есть в полном значении “открытие” его, новое для него, вполне и безусловно самостоятельное его открытие (почему Михайловский не открыл?). Я дал компас и, положим, сказал, что “на западе есть страна” А он открыл *Америку*. В этом его

уроднении с чужими идеями есть великодушные» (У, 56). Прочитав начало романа М. «Петр и Алексей», Р. обнадеживающе писал: «Роман г. Мережковского, обещающий новый пересмотр “дела Петра и Алексея”, захватывает *читателя* самым живым волнением. Уже давно мы не имели большого романа из русской жизни <...> Каждая глава (я прочел лишь первую и пишу под живым ее впечатлением) рождает тучи *мыслей*» («Цесаревич Алексей» // НВ. 1904. 5 янв.). Прочитав роман до конца, Р. высказался весьма саркастически: «Лично мы считаем г. Мережковского гораздо более замечательным человеком, нежели замечательным писателем. Темы его, часто важные и истинные, выше его сил, и даже выше его умения хорошо их поставить и пламенно осветить. Невозможно не заметить, до чего он согбен, утружден этими темами; так и хочется сказать ему: “Отдохни, если не хочешь умереть”» («Окончание трилогии г. Мережковского» // НВ. 1905. 28 апр.). А. Блок в статье «Мережковский» приводит слова Р. из этой его статьи: «Когда-то Розанов писал о Мережковском: “Вы не слушайте, что он говорит, а посмотрите, где он стоит” Это замечание очень глубокое; часто приходит оно на память, когда читаешь и перечитываешь Мережковского» (Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. М., 1962. Т. 5. С. 360). Отрицательную характеристику М. дал Р. в связи с его выступлением в *Религиозно-философском обществе* на тему *любви и смерти*. «Мережковский есть вещь, постоянно говорящая, или скорее совокупность сюртука и брюк, из которых выходит вечный шум. Что бы ему ни дали, что бы ни обещали, хоть царство небесное, — он не может замолчать. Для того чтобы можно было больше говорить, он через каждые три года вполне изменяется, точно переменяет все белье, и в следующее трехлетие опровергает то, что говорил в предыдущее» («В Религиозно-философском обществе» // НВ. 1909. 23 янв.; СМР, 40). В начале 1909, в период обострения отношений с М., Р. заявил о своем выходе из совета РФО, будучи не согласен с теми переменами в деятельности общества, которые внесли М., Гиппиус и Д.В. Философов. Окончательный разрыв произошел после появления статьи Р. «Трагическое остроумие» (НВ. 1909. 9 февр.), в которой приводятся слова А. Блока из той же статьи «Мережковский» (Речь. 1909: 31 янв.) о книгах М.: «Открыв или перелистав их, можно прийти в смятение, в ужас, даже — в негодование. “Бог, Бог, Бог, Христос, Христос”, — положительно нет страницы без этих Имен, именно Имен, не с большой, а с огромной буквы написанных — такой огромной, что она все заслоняет, на все бросает свою крестообразную тень». Разделяя мысль Блока, Р. замечает, что для М. весь мир есть только огромный забор среди пустыни, где саженными буквами для всемирного прочтения начертано одно: «Д.С. МЕРЕЖКОВСКИЙ». Заканчивается это отречение от М. по-розановски грустно: «Мне осталось проститься, задвинув урну с пеплом моего друга в самый далекий уголок сердца, хотя все еще капризно грустящего» (ОПП, 330). Теперь Р. прямо называет М. «злым человеком», который выискивает для своих сочинений «злых людей», как язычник призывает Злого духа. «Мережковский, расшевеливая литературной палочкой огоньки в сердцах людей, — творит это же дело Злого духа, без малейшего понимания *христианства*» («О радости прощения» //

Весы. 1909. № 12. С. 181; СМР, 380). Слушая М., «опрокинувшегося» в блестящей речи в РФО на авторов сборника «Вехи», Р. думал: «Боже мой, да ведь это все говорил Достоевский, а не Мережковский <...> около него лепился <...> Но Достоевский теперь мертв, а живой Мережковский подкрался, вынул из кармана его смертоносное оружие и пронзил им... не недвижимого мертвеца, а его духовных и пламенных *детей*, его пламеннейших учеников» («Мережковский против «Вех» // НВ. 1909. 27 апр.; ОПП, 355). М. есть, по определению Р., «изящно-трагическая фигура в *русской литературе*»



Д.С. Мережковский

(ОПП, 500), пришедшая в конце концов к отрицанию *России*. Еще *Вл. Соловьёв* начал это отречение от России. «Он отрекся нравственно от *Пушкина* (в “Судьбе Пушкина”) и гнулся дальше и дальше, до унылой смерти... Но если бы он посмотрел на тех летучих мышей, которые теперь цепляются когтями за его саван...» («Отюди, сатана» // НВ. 1911. 14 окт.; ТПРН, 283). К этим «летучим мышам» русской литературы Р. относил и М. В «*Опавших листьях*» Р. вспоминал: «Перипетии отношений моих к М. — целая “история”, притом совершенно мне непонятная. Почему-то (совершенно непонятно почему) он меня постоянно любил, и когда я делал “невозможные” свинства против него в печати, до последней степени оскорбляющие (были причины), — которые всякого бы измучили, озлобили, восстановили, которых я никому бы не простил от себя, он продолжал удивительным образом любить меня. Раз пришел в Р.-Ф. собр. и сел (спиной к публике) на стол (по должности члена). Все уже собрались. “Вчера” была статья против него, и, конечно, ее все прочли. Вдруг входит М. с своей “Зиной” Я низко наклонился над бумагами: крайне неловко. Думал: “Сделаем вид, что не замечаем друг друга” Вдруг он садится по левую от меня руку и спокойно,

скромно, но и громко здоровается со мной, протягивая руку. И тут же, в каких-то перипетиях словопрений, говорит не афишированные, а простые — и в высшей степени положительные — слова обо мне. Я ушам не верил» (У, 147). Однако в конце концов М. и Философов пришли в редакцию либеральной газеты «Русское Слово», где Р. печатался под псевдонимом В. Варварин, и потребовали исключения его из авторов, что и было выполнено при посредстве А.В. Руманова, представителя «Русского Слова» в Петербурге. М. всегда вызывал у Р. чувство некоторой жалости. Свой очерк «Среди иноязычных (Д.С. Мережковский)» (МИ. 1903. № 7/8) он начал сравнением: «Года три назад, на видном месте газет печаталось о трагическом происшествии, имевшем место в Петербурге. Англичанин со средствами и образованием, но не знавший русского языка, потерял адрес своей квартиры и в то же время не помнил направления улиц, по которым мог бы вернуться домой. Он заблудился в городе, проплутал до ночи; и как было чрезвычайно студеное время, то замерз, к жалости и удивлению газет, публики, родины и родных. Судьба этого англичанина на стогнах Петербурга чрезвычайно напоминает судьбу тоже замерзающего, и на стогнах того же города, Д.С. Мережковского» (ОПП, 145). Страшная для М. сторона, говорил Р., — его недействительность, ирреальность. «Я его не люблю, но почему-то не могу забыть. Точно я прошел мимо “вечного несчастья” И это “несчастье” болит во мне» (М, 48). Р. приводит слова из письма курсистки Веры Мордвиновой: «Я думаю, Достоевский сказал бы Мережковскому, если б знал его, то же, что сказал Ставрогин Шатову: “Извините, я вас не могу любить” Конечно! Конечно! Достоевский весь боль за Россию, к которой Мережковский так нескончаемо равнодушен» (М, 49; ср. ВВ. 1915. № 7. С. 107–108). Р. подчеркивает ирреальность М.: «...мне кажется иногда (часто), что Мережковского нет... Что это — тень около другого... Вернее — тень другого, отбрасываемая на читателя. И говорят: “Мережковский”, “Мережковский”: а его вовсе нет, а есть 1) Юлиан, 2) Леонардо, 3) Петр, 4) христианство, 5) Renaissance, 6) Тютчев и Некрасов, 7) Чехов и Суворин и т.д., и т.д., и проч., и проч. Множество. А среди его... в промежутке между вещами, кто-то, ничто, дыра: и в этой дыре тени всего... Но тени не суть вещи, и “универсальный Мережковский” вовсе не существует: а только говоря “о Renaissance’e” — упомянешь и “о Мережковском” Оттого в эту “пустоту” набиваются всякие мысли, всякие чувства, всякие восторги, всякие ненависти... потому именно, что все сие место — пусто. О, как страшно ничего не любить, ничего не ненавидеть, все знать, много читать, постоянно читать и, наконец, к последнему несчастью, — вечно писать, т.е. вечно записывать свою пустоту и увековечивать то, что для всякого есть достаточное горе, если даже и сознается только в себе. От этого Мережковский вечно грустен. “Мережковский” и “радость”, “Мережковский” и “веселость”, “Мережковский” и “удовольствие” — *contradictio in adjecto* <противоречие в определении>» (М, 133). Для Р. была неприемлема «иноязычная» позиция М., который из всей России «знал только Варшавскую железную дорогу», по которой ездил за границу. «Когда я его впервые узнал лет семь назад, он и был таким международным воляпюком, без единой-то русской темки,

без единой складочки русской души. У него был чисто отвлеченный, как у Меримэ, восторг к Пушкину, удивление перед Петром; но ничего другого, никакой более конкретной и осязаемой связи с Россией не было. Заглавие его книжки “Вечные спутники”, где он говорит о Плинии, Кальдероне, Пушкине, Флобере — хорошо выражает его психологию, как человека, дружившего в мире и истории только с несколькими ослепительными точками всемирного развития, но не дружившего ни с миром, ни с человечеством» (ОПП, 146). Публикация в январе 1914 в «Новом Времени» писем М. к А.С. Суворину обнаружила, как заискивал М. перед издателем. В статье «А.С. Суворин и Д.С. Мережковский» (НВ. 1914. 25 янв.) Р. писал, что после смерти Суворина М., получивший «всего мало», обрушился с руганью «в спину своего недостаточного благодетеля, когда тот не может ему ответить» (ЛВИ, 601; в следующем номере газеты появилось уточнение: «Вместо “недостаточного благодетеля” читай: “человека, у которого чего-то искал и не получил”»; об «измене Мережковских» Р. сообщил Блоку еще в феврале 1909. — МЛ, 517). А на другой день, 26 января 1914, Р. был изгнан из РФО усилиями М. и его друзей. Как бы подготовляя такое решение, М. писал в статье «Розанов» (РС. 1913. 1 июня): «Бываю, однако, писатели, у которых произведения так сплетены с личностью автора, что невозможно отделить одно от другого. О таких надо молчать, чтобы не судить о живых, как о мертвых. Но что же делать, когда и молчать нельзя, потому что молчать — значит потворствовать злу. Такой писатель — Розанов» (о Р. речь идет также в статье М. «Свинья Матушка». — Речь. 1909. 1 нояб.). Наиболее глубоко, считает Р., охарактеризовал М. того времени Н.А. Бердяев в своей статье «Новое христианство (Д.С. Мережковский)» (РМ. 1916. № 7), где утверждает, что М. из литературы вечно убегает к религиозным тайнам жизни, предрекает конец великой русской литературы «как наступающий конец мира, как апокалипсис всемирной истории» (Бердяев Н. Собрание сочинений. Париж, 1989. Т. 3. С. 488). Прочитав статью Бердяева, Р. признает ее правоту: «Все это так верно и полно очерчивает Мережковского, дает такой его “литературный портрет”, что, кто бы и что бы ни писал со временем о Мережковском, он будет возвращаться к этой характеристике Бердяева и исходить из нее. Мережковский бессильнее своих тем, вот в чем беда» («Бердяев о религиозных исканиях Д.С. Мережковского» // К. 1916. 30 сент.; ЛВИ, 626). В предсмертном примирительном письме к М. с грустью Р. замечает: «Были бы вечными друзьями — но уже, кажется, поздно. Обнимаю вас всех и крепко целую вместе с Россией дорогой, милой» (МЛ, 527). На это письмо, написанное под диктовку Р. дочерью Н.В. Розановой, М. откликнулся уже после получения известия о смерти: «Мне очень больно, что я не успел написать В.В. Вы, вероятно, знаете, что между нами были глубокие и сложные отношения. Он знал, что я его люблю и признаю одним из величайших религиозных мыслителей, не только русских, но и всемирных. И вместе с тем, между нами лежал тот меч, о котором сказано: “Не мир пришел я принести на землю, но меч.” Вся свою огромную гениальную силу В.В. употребил на борьбу с Христом, Чей Лик казался ему “темным” и Кого он считал “Сыном Денницы”, т.е. Злого

Духа. Я хорошо знаю и теперь знаю еще лучше, что это было страшное недоразумение. Я не сомневаюсь, что, подобно пророку Валааму, В.В. благословил то, что хотел проклясть, и проклял то, что хотел благословить; и если он умер, как Вы пишете, “весь в радости”, то радость эта была Христова, и он, умирая, понял все до конца». Письмо завершается выражением надежды, что «пора справедливой оценки великого русского писателя Розанова — наступит» (ОР РГБ. Ф. 249. Оп. 1. Карт. 8. Ед. хр. 22). В эмиграции вышла книга М. «Тайна трех. Египет и Вавилон» (Прага, 1925), где о Р. говорилось как о «великом религиозном мыслителе нашего времени» (Мережковский Д. Собрание сочинений. Тайна трех. М., 1999. С. 37). «Я надеюсь, что время его еще придет, — писал тогда М. другу покойного писателя С.А. Цветкову. — В личных беседах с иностранцами я всегда указывал на В.В. Розанова как на единственного наследника Достоевского» (ОР РГБ. Ед. хр. 23).

А.Н. Николюкин

МЕТЕРЛИНК (Maeterlinck) Морис (29.8.1862, Гент — 6.6.1949, Ницца) — бельгийский драматург и поэт. В статье «О символизме» (РО. 1896. № 9) Р. процитировал стихотворение М. «Моя душа больна весь день...» из сборника «Теплица» (1889) (в переводе В.Я. Брюсова) как пример европейского символизма, перекликающийся с творениями отечественных поэтов-декадентов. Общая тональность статьи была негативной по отношению к приводимым примерам нового направления, и Б.Ф. Грифцов позже критиковал Р. за тон «обычных глумлений» в этой статье и, в частности, за то, что «чуждая и нежная песнь Метерлинка» отнесена им «к крикливой бутафоршине» (PRO, 2, 107–108). В 1907 Р. написал предисловие к собранию сочинений М. («Метерлинка» // Метерлинка М. Сочинения. СПб. 1907. Т. 1) и отмечал у М. новое по сравнению с позитивистами мистическое мировосприятие, в котором находит выражение переходное состояние души: «Когда я начал (к стыду — недавно!) читать Метерлинка после Милля, Бэна, Конта <...> Тэна, — мне показалось, что я вступаю в новую часть мировых суток: иначе не умею выразить всю ту удивившую меня новизну тона, предметов, тем, какую я нашел в его “Сокровище смиренных” (случайно первой из его попавшихся мне книг, после “Жизни пчел”))» (ОПП, 240). Суть этой новизны, полагает Р., «заключается в неожиданном переходе от дня к сумеркам... “Там тени, видения, ожидания, предчувствия” — так смертные характеризуют час между ночью и днем. Все знают о себе, что они будут в этот час уже не такими, какими были днем и какими станут ночью. Вот это уже “не такое”, уже не дневное и еще не ночное — являет собою Метерлинка» (там же). По мнению Р., «сам он — новая душа в мире, и от этого открыл столько новых, неожиданных предметов своим братьям читателям» (там же). Р. находит у М. близкую ему идею *потенциальности*, затронутую еще в книге «О понимании»: «Он не философски доказал, но художественно начертил мир “потенций”, — того, чего нет еще — но будет, того, чего нет уже — но было <...> Есть тени около предметов: существуют потенции — около реальностей» (ОПП, 241–242). Помимо идеи потенциальности с М. роднит Р. и идея *молчания*: «Его рассуждение о молчании — изуми-

тельно, и дает новое и глубочайшее понятие о душе человеческой» (ОПП, 243). М. отразил «как сейчас сущее, полу-осозаемое, полу-видимое, несравненно могущественное — но чему нет имен и вида. Он постиг, что в “сейчас” мира замешано (без малого) все его прошлое и все его будущее: и замешано не неосозаемо, а именно осозаемо, но только не грубо осозаемо. Это именно сумеречные вещи, которыми опутано и дневное бытие, и бытие ночное, в их резкой и устойчивой определенности». Он показал «колдунов» и “фей”, “демонов” и “волшебников”, явления не реальные и, однако, не мнимые, сущие и никому не видимые <...> Он показал осозаемость мечты, он показал нам 1/2 души, 1/4 души, когда мы знали только полную дневную душу» (ОПП, 241–242). Р. подчеркивает антипозитивистскую силу творчества М.: «Конечно, Милль и Тэн, перед этим смехом Метерлинка, скорей перед его лунною улыбкой, — попятнулись как сапожники» (ОПП, 242). Критически отозвался об этой розановской статье В.П. Буренин, для которого «Метерлинка только раздут модой бессилия и кривлянья в области поэзии и мысли». Буренин показывал на ряде «глубокомысленных, но однако не очень логичных» высказываний Р. о художественном выражении М. «мира “потенций”», что из-за смутности изложения «понять те якобы философские суждения, какие приписывает г. Розанов Метерлинку», крайне трудно («Критические очерки» // НВ. 1906. 13 окт.). М. стал для Р. олицетворением углубления души современного человека. В то же время он проводит аналогию между «метерлинковским» взглядом на природу вещей, восприимчивым к их «душе», с мировосприятием древнего язычника, видевшего «лицо» и «душу» в окружающих предметах и явлениях (ВДЯ, 376). Одновременно он противопоставляет такую восприимчивость «взгляду писаревско-добролюбовскому», в котором отражается «душа современного человека, какая-то резиновая, мертвая и загрязненная» (там же). Противопоставление «метерлинковской души» «нигилистам, экономистам, историческим материалистам» становится у Р. олицетворением всего антипозитивистского направления: «Назовем, для краткости, всю эту сторону души “метерлинковскую” <...> нигилистам надо пройти весь путь от Фохта и Писарева до Метерлинка, чтобы не быть выброшенными дальнейшим ходом истории» (ОНД, 300). Р. видит в М., как и в других представителях «нового» общие идеи с «древнею религиозною культурой» (ОНД, 300). М. был для Р. олицетворением прослеживаемого им «огромного углубления человека»: «Все стали немножко “метерлинками”, и в этом — суть» (У, 43). Однако, по мнению Р., в этом в большей степени проявлялась общая тенденция времени, нежели непосредственное влияние М.: «Но стали “метерлинками” раньше, чем услышали о Метерлинке» (там же). В комментариях к письмам К.Н. Леонтьева Р. упоминает М. среди тех «эстетов», “символистов”, “декадентов” и проч., которые разделяли «сердцевинный” пафос Леонтьева «к эстетике житейских форм, к мистицизму и несповедимости житейской сути» (ЛИ, 371). В статье «О народной душе» (НВ. 1908. 28 апр.) Р. пишет даже о «метерлинковском свете» в душе народной» (ОНД, 305) и разъясняет это так: «Когда я упомянул о Метерлинке, то имел в виду одну его пьесу, где смерть родного человека происходит за стеной, и

его близкие и друзья ее не видят; а между тем что-то прокралось в их душу, и душа эта и знает и не знает о смерти. Вот эти состояния, где человек и “знает”, и “не знает”, где что-нибудь и “есть”, и “не есть” <...> я и назвал условным термином “метерлинковские состояния” А душу, способную к таким восприятиям, даже способную просто к *вере* в возможность у других таких состояний, я назвал “метерлинковскою душою» (ОНД, 305). Характерно, что А.С. Суворин, человек более практического склада, не понимал его трактовок М.: «Метерлинковский свет» — не понимаю. Мне его люди в драмах кажутся *детьми* с какими-то первоначальными импульсами. Это Петрушкин театр, с куклами, для маленькой аудитории. Исполнители должны не говорить, а шептать. Я читал Ваше предисловие к чему-то из Метерлинка, но, читая, думал, что Вы не читали того, к чему предисловие писали. Это с Вами бывает, и, может быть, это не худо, потому что свободнее говорить свое, чем о чужом. Я Метерлинка люблю, но в том порядке вещей, о котором Вы говорите в своей статье, — я не понимаю, что значит “Метерлинковский свет»» (ПСР, 169). Р. относил М. к числу авторов, которые вызывали у него наиболее глубокие переживания при чтении: «Я переживал Леонтьева (К.) и еще отчасти *Талмуд*. Начал “переживать” Метерлинка: страниц 8 я читал неделю, впадая почти после каждых 8 строк в часовую задумчивость (читал в *конке*). И бросил от *труда* переживания, — великолепного, но слишком утомляющего» (У, 213). По признанию Р., при чтении М. он пережил пору «глубоких очарований и изумлений, иногда до слез» (ОПП, 241). Р. дает рекомендацию читателю М.: «Метерлинка надо читать медленно; каждые 2–3, 5–6 его строк дают читателю новое развитие, — если он сумеет быть в чтении внимательным» (ОПП, 242). Но М., по мнению Р., воспринимается не каждым — «жемчуг и чудные создания» у него найдет только родственник читатель: «И Метерлинк будет мудр только с мудрым, а глупому — он ни в чем не поможет» (ОПП, 243). Замечания М., что в античном мире «душа еще не была пробуждена» или размышления о греческой трагедии, считает Р., это «программы исследований, наблюдений новой критики» в нескольких строках (там же). М., считает Р., — это «особый мир», «новое царство», «бесшумный, бессолнечный, с упавшей энергией, заснувшими *силами*, но прелестный, но волшебный, но говорящий нам о сокрытых днем *тайнах*, без бытия которых и дневной мир не сумел бы и может быть не захотел бы просуществовать...» (ОПП, 241), «сумеречный мир», который заключает в себе «новую *метафизику*». По Р., «самая душа Метерлинка относится к порядку высших душ», которые «не так редко рождаются, но без *языка*, немые», а «Метерлинку же *Бог* дал чудный, ясный язык. Он «породил нас с этим “высшим *стилем*” души человеческой и открыл все, что она может созерцать. Метерлинк (насколько он понят), перевел человечество в высший этап существования» (там же). В 1918, в голодное и холодное время, Р., по его признанию, «стал думать... о Метерлинке» и пьесе его “Как мертвые воскресают”, которую видел лет 6 назад в Суворинском театре», вспоминая о том, как тогда «генер. Маслов и Плющик-Плющевский так издевались над “бессмысленным *жанром*” всех этих “декадентских” тоскливых замираний» (АНВ, 123).

Р. находит связь современности с пьесой М.: «Это “как в той больнице”, — подумал я. “Замерзающие на Солянке”, — это — умирающие у Метерлинка. Очень похоже» (АНВ, 124). Неточность Р.: «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» (1899) — пьеса Г. Ибсена. Р. видел в 1913 в Суворинском театре пьесу М. «Монна Ванна» (1900).

В.А. Фатеев

МЕЩЕРСКИЙ Владимир Петрович [11(23).1. 1839, Петербург — 10(23).6.1914, Царское Село], князь — публицист, издатель и редактор *газеты-журнала «Гражданин»* (1872–1914), внук Н.М. Карамзина. В статье «Любопытные признания и нужды текущих дней» (Мировые Отголоски. 1897. 29 июня) Р. писал об особом положении М. в русской публицистике: «Имя кн. Мещерского и его орган “Гражданин” окружены в нашей *литературе* зоною непреодолимого предубеждения. Полемика, которая против него велась в течение четверти века всеми почти органами *печати*, не исключая и консервативных, к составу которых он принадлежит, всегда велась в презрительно-насмешливом *тоне* и никогда в *тоне* уважительном и страстном» (ЛВИ, 339). Р. сопоставляет *судьбу* М. как одиозной фигуры с Ф. Булгариным: «В подобное же положение не столько стал, сколько допустил себя поставить кн. Мещерский. Его имя есть одно из самых известных в *России*, но его журнал-газета не только мало распространен и, в точном содержании своем, мало известен, но даже и вовсе не известен, за исключением редких “любителей”» (там же). Несмотря на всеобщее презрение к М., Р. признает очевидные его достоинства как литератора: «Пачка номеров “Гражданина” случайно попала мне в руки, случайно я переступил зону окружающего его предубеждения. И до того сильное волнение овладело мною, и все изложенные *мысли* бурно хлынули в голову, когда я увидел — просто как писатель, — увидел и почувствовал, до чего ярко дарование никем и никогда не читаемого публициста, как значительна похороненная заживо в нем *сила*, сколько тонкости и остроты в его *языке* и мысли и, главное, какая удивительная и привлекательная конкретность в первом и второй. Впервые я испытал нечто вроде отвращения к *философии* и литературе, видя, как точное наблюдение и яркая изобразительность, в сущности, предваряют работу отвлеченного мышления и, до известной степени, делают ее вовсе не *нужною*» (ЛВИ, 340). Р. отрицает полную зависимость дурной репутации М. от его *консерватизма*, хотя и не называет прямо, в силу нравственных норм того *времени*, подлинных причин всеобщего неприятия М.: «Что кн. Мещерский есть самый консервативный из существующих и существовавших у нас писателей — это составляет ясную и меньшую часть его *сriminis* <*преступление*>. Он “требует розги”, но ведь он никого же не сечет <...> Он есть “аристократ”, и опять — он не есть организатор аристократии, и печально-комическая сторона его сословных тенденций заключается в том, что именно защищаемое им сословие стеною стоит против “Гражданина”, решительно не хочет ни читать его, ни выписывать, ни слышать об его тенденциях, — чем уже одним с величайшею наглядностью показывает, до чего, в самом деле, не прав князь-публицист, до чего в нашей аристократии отсутствует гордое и замкнутое, даже просто своекорыстное “я”

<...> страстная и гордая программа кн. Мещерского есть историко-политический “пуф”, без дыма и даже самого легкого “огонька” под ним. Он, говорят, влиял на практическую политику, на проводимые меры, но кто же из публицистов этого не хочет? И если меры были дурны, все-таки дурное лежит на ответственности практических лиц и нисколько не на ответственности публициста, который хотел и вправе был хотеть того, чего хотел». Р. сравнивает М. с *М.Н. Катковым* и находит, что ненависть к ним различна: «Повторяем, не здесь лежит тяжесть его литературно-общественного *sciminis*, и если бы она здесь лежала, полемика против него имела бы тот уважительный и страстный характер, ту мучительно долгую, мучительную до молчания ненависть, какую имела вражда, напр., к имени Каткова, с ним полемика, о нем молчание. Есть что-то еще, сверх его политической программы, совершенно неясное и между тем, очевидно, главное, о чем думая, мы заметили выше, что самое печальное в судьбе этих в своем роде, *morituri* <смертники> истории заключается в том, что их губят не указывая, не доказывая и даже явно ничего не называя, но по какому-то молчаливому и почему-то всех объединяющему согласию. Прислушайтесь к насмешкам, ничего почти в них не понимая, — по крайней мере не имея знания, чтобы их отвергнуть, ни чтобы принять их» (ЛВИ, 341). Между тем Р. узнал о главной причине остракизма М. еще в 1892, работая учителем Бельской прогимназии, от *И.Ф. Романова*, приславшего ему свою книгу «Листопад» с главой под названием «Князь Гоморрский»: «Вы спрашиваете: “почему кн. Мещер. — Гоморрск?” Да потому что это всероссийско известный любитель содомских наслаждений» (Письма И.Ф. Романова (Рцы) к В.В. Розанову // Литературная учеба. 2000. № 4. С. 126). Ту же тему в связи с *К.Н. Леонтьевым* Р. обсуждал в 1892 в переписке со *Н.Н. Страховым*, который отвечал ему: «Мне известно немало людей подобного направления; каковы процветающий до сих пор кн. Мещерский, поэт Апухтин и пр. <...> Меня очень возмущает это нравственное уродство, и я с ним никак не в силах примириться» (ЛИ, 108). В примечаниях Р. написал: «Теперь, после “Люди лунного света”, я смотрю на это совершенно спокойно, с мыслью — “не мое!”, и далее этого не простирая суждение» (ЛИ, 106). Именно на данное обстоятельство, которое в сочетании с крайним консерватизмом М. играло важнейшее значение в неприятии М. обществом, намекал Р. Эта статья Р. о М. была опубликована тогда, когда Р. уже увлекся темой пола и был озабочен поиском органа печати для таких своих сочинений, и для этих целей годился бы и одиозный «Гражданин». Не случайно *И.И. Колышко*, который «был много лет по журналу правою рукою кн. Мещерского» (КНУ, 99), написал в 1898 и 1899 две рецензии по поводу статей Р. о браке, перепечатанные позже в книгах Р. Это вызвало даже временное охлаждение отношений с *П.П. Перцовым*, который резко выступил по поводу «неприличного для В.В. Розанова» сотрудничества с обитателями «мещерского озера» («Эквилибристика В.В. Розанова» // РТ. 1899. № 45. 6 нояб.). Однако и это не остановило Р.: он не только выступил в 1900 с рецензией на сборник статей Колышко (НВ. 1900. 23 февр.), но и поместил в «Гражданине» ряд своих статей на темы брака и пола, а с 28 октября 1900 печатал в газете-журнале М. свою руб-

рику «Мысли о браке». Р. с его темой пола, да к тому же сотрудничавшему тогда с «Гражданином», приходилось терпеть двусмысленные шуточки типа той, которую позволил себе *Н.К. Михайловский* после выхода в свет книги «В мире неясного и нерешенного»: «Я предложил бы избрать комиссию из сведущих людей, в которую рекомендовал бы членами одного из редакторов изданий, в которых печатались произведения г. Розанова, например, кн. Мещерского, и г. Колышко, утверждающего, что ныне и вообще “часто не различишь, где начинается мужчина и где кончается женщина”» (PRO, 1, 354). Ре-



В.П. Мещерский

дактор-издатель «Русского Труд» *С.Ф. Шаранов*, нередко полемизировавший с М. и его «Гражданином», отмечал, что Р., как и М., выступал за использование розги в школе, но прощал ему это за энергичное выступление против «классической» системы преподавания (PRO, 1, 324). Взгляды *А.С. Суворина* и М. по большинству политических вопросов не совпадали, и «Новое Время» постоянно полемизировало с «Гражданином», выявляя в этих дискуссиях широкий спектр консервативных мнений. Р. нередко вел полемику с М. от имени редакции, не подписывая статьи, на разные темы — о монархии и бюрократии, по женскому вопросу, об образовании, о земстве и пр.: «Земство перед судьями» (НВ. 1899. 29 апр.); «Воспитательная и хозяйственная роль женщины» (НВ. 1899. 31 авг.); «Кн. В.П. Мещерский о женщине» (НВ. 1899. 4 сент.); «Доброе старое время» (НВ. 1899. 22 сент.); «Дисциплина в дворянстве» (НВ. 1900. 2 янв.); «О консерваторах особого пошиба» (НВ. 1901. 23 июня); «Деревенский провинциал из Биаррица» (НВ. 1901. 10 окт.) и др. Отношение Р. к этической стороне личности М. было и в этот период негативным. Он писал *А.С. Суворину* в 1901: «И пакостник же он: 30 лет пишет

о нравах курсисток и студентов, когда сам “превозмог все нравы”» (ПВ, 351). В 1903 М. присоединился к начатой М.О. Меньшиковым в статьях «Титаны и пигмеи» (НВ. 1903. 23 марта) кампании против журнала «Новый Путь» и Религиозно-философских собраний. М., говоря о разоблачительном фельетоне Меньшикова по поводу «сатанинского органа “Новый Путь”», «который ему кто-то прислал для прочтения», сокрушается, что День Благовещения «отравлен до глубины души». Далее М. заявил: «И всякое слово, приведенное из статьи какого-то протоиерея Ус-ого, — раз он не в сумасшедшем доме, а сотрудник журнала, — есть слово сатаны, одновременно мерзкое и соблазняющее» (Гражданин. 1903. 27 марта. № 25. С. 20–21). Р. в статье «Ответ Меньшикову» (НВ. 1903. 28 марта) напомнил, что тот же М. всего три года назад печатал подобные мысли в своем издании. Свое возмущение «по поводу гнусных обвинений священника А. У<стьин>ского в печати (князь Мещерский)», Р. открыто выразил в комментарии к одной из статей в майском номере «Нового Пути», заявив, что М., «едва ли умеющий лоб перекрестить, имел бесстыдство и кощунство выразиться о нем: “сатана в образе протоиерея”» (ВДЯ, 248). Позже, в 1904, Р. упомянул это циничное нападение влиятельного М.: «Помню и опасные походы против “Собраний” — “Московск. Ведомостей”; и тревожные “Дневники” кн. Мещерского. Итак, “лозу” нашего консерватизма я испытал на спине своей» (ОПП, 182). Р. писал о влиятельности М. и его журфиксов, особенно до создания Государственной думы: «Но публика 1-го класса всегда читала “Гражданин”, а депутатов своих посылала не в Таврический дворец, а на знаменитые “среды”, на эти “черные среды”, о которых в пору Сипягина и Плеве говорилось на ухо, что там за неделю, за месяц вперед обсуждались “имеющие наступить” события и мероприятия, и обыкновенно “события” всегда и наступали так, как там обсуждалось, а “мероприятия” непременно даже наступали. “Средам” этим наступил естественный конец, как только “события” русские стали идти в открытую, и идти не иначе, как по обсуждению в Таврическом дворце» (ВНС, 208–209). Публицистика М., «поседевшего за 40 лет в “борьбе с революционными течениями”» (ВНС, 45), как рупор консервативных кругов служила для Р.-публициста одним из ориентиров в определении собственной позиции. Он писал в 1908: «Мне приходилось перечитывать “Дневники” кн. Мещерского, этого консервативнейшего в России публициста, за пору поднятия в общественном внимании иеромон. Илиодора и прот. Восторгова: кроме шуток, пародий и анекдотов о них он ничего не писал. А уж он ловил всякую “воду” на свое консервативное колесо; он хвалил, отмечал и выдвигал всякое явление, каждое лицо, так или иначе борющееся со смутю» (ВНС, 45). При всей одиозности М., его консервативные сочинения были Р. ближе, чем либеральные писания более благородного кн. Е.Н. Трубецкого. В статье 1908 «Наши публицисты» Р., допуская справедливость общей оценки, что М. — «злодей, гангрена страны, чума и яд» (ОНД, 336), все же утверждает, что этот консервативный публицист «имеет решительно “молодость духа”», в то время как его сверстник, либеральный философ кн. Евг. Трубецкой поражает «какой-то безнадежной старостью», “глубоко старческим

тоном”, “тоном самодовольного провизора”, “глубоким нравственным самодовольством”» (ОНД, 337). Р. подчеркивал, что консерватизм «Гражданина» и его издателя имеет не наносной, но натуральный характер: «Любовь к старому порядку — это сама натура княжеской газеты, натура неподдельная, патетическая, очень часто талантливая» (ВНС, 208). Р. в полусушительной форме отмечал, что само наличие издания М. у кого-либо воспринималось властями как знак лояльности его владельца: «В доброе старое время, еще до конституции, я, бывало, куда ни отправлюсь, всегда кроме паспорта захватываю с собою номер “Гражданина” кн. Мещерского: в случае, будут обыскивать, — “найдут и отпустят”» (ВНС, 101). Обобщающий и наиболее откровенный портрет-характеристику М. дал Р. в книге «Мимолетное. 1914 год», подчеркнув сочетание в нем таланта и демонизма: «Пухленький, крупный, он имел вид пожилой тети или почти бабушки, — в пиджачке уличного парижского гамена, которого... “по-хорошенькому” приласкавший его барин. Я его видел 3 раза: при встрече Тертия Ивановича <Филиппова> на дебаркадере железной дороги; дома за завтраком; в Городской думе, — где он был в придворном мундире и белых брюках. Все три раза он мне показался смешным и отвратительным. Но это был один из самых замечательных людей России. Ум самый живой, острый и поразительный. “Внук Карамзина” — как безумно он был не похож на деда! В том все — величие и достоинство. Этот был каким-то вертящимся дьяволом, и, казалось, в нем нет ничего человеческого, а — рожки, когти, хвост, зубы, и вообще подорожности укуса и борьбы. Мещерский был вполне демон. В то время как глупцы литераторы рисовали “демоническое”, воображая, что “демоническое” таково именно, как их суконные головы, и публика наша “ужасалась” на этих намалеванных чертей, в “Гродненском пер., д. 6”, в этом странном особняке — доме, куда, кажется, не впускалась ни одна женщина — до того хозяин не выносил “женского духа”, — обитал настоящий демон, у которого, я думаю, ночью, когда голова его почивает на подушечке, — можно было видеть подлинные и рога, и хвост, и копыта. На письменном столе стоял портрет красавца друга и С.Ю. Вумме, который давал казенные объявления его газете-журналу» (КНУ, 502). В мятежном 1918 Р. еще раз очень высоко оценил издание М., выделяя его из общей массы былой консервативной печати: «Это были мелкие бездоходные издания, из которых талантливый был, кажется, один, “Гражданин”, с гениальными “Дневниками” князя Вл.П. Мещерского. Но он, как “рептилия”, никем не читался» (АНВ, 274).

В.А. Фатеев

МИКЕЛАНДЖЕЛО Буонарроти (Michelangelo Buonarroti) (6.3.1475, Капрезе, Тоскана — 18.2.1564, Рим) — итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт. «Бури Микель-Анджело» (ЛВИ, 284) привлекали внимание Р., когда он писал о нем в своих «Итальянских впечатлениях» (глава «Умирающий гладиатор» и «Моисей» Микель-Анджело). В письме Э. Голлербаху 8 октября 1918 Р. замечает: «Великая и прекрасная душа Микель-Анджело, какого-то дьявола и кентавра, как бы заворачивавшего хвостом своим все Возрождение <...> Боже, как это хорошо! В сущности, мы знаем слова о Возрождении

<...> а в бурях-то Возрождения, конечно, и лежит вся тайна его» (ВНС, 379). Говоря, что «Микель-Анджело в красках очень родствен Данту в слове» (СХ, 47), Р. продолжает: «Микель-Анджело не знал “Рая” и даже чуть-чуть только знал “Чистилище”; он хорошо знал только “Ад” Мы повторяем невольно навязывающуюся параллель его с Дантом, у которого также “Ад” несравненно силен и гораздо слабее обе другие части “Божественной комедии”» (СХ, 50). В главе «Выцветающая живопись» в «Итальянских впечатлениях» Р. с тревогой упоминает о гибели творений М. в Сикстинской капелле, расписанной великим художником. До поездки в Италию Р. писал: «Нет более обманывающей фигуры, чем “Моисей” Микель-Анджело: этого Моисея не было — фантазия художника, его априорная мысль ошиблись. Моисей был косноязычен; писатель книг, равных которых не знает мир, вовсе не мог говорить. Не поразительно ли? Вся мощь слова сосредоточилась в духе, и для телесного языка, для этого болтающегося куска мяса, — ничего не осталось <...> Микель-Анджело обманулся и обманул» (РФК, 231–232). Увидев статую в Риме, Р. изменил свое мнение: «Микель-Анджело изваял около гробницы Юлия II “океан”-эмблему. Да, это не лицо и не портрет, а эмблема. Творение Фидия в храме Зевса Олимпийского не было совершеннее; вот ум, “помавающий бровями”, как определил старца-бога Гомер, и эту строчку его взял за тему Фидий и как будто взял Микель-Анджело. Фигура — отвлеченна. Ни одного знакомого из Библии выражения нельзя представить, звучащего с языка статуи. Она молчалива. Это бог, на которого можно молиться <...> Если бы римлянам не пришлось на ум поставить эмблемой себя довольно безвкусное изображение волчицы, они могли бы взять Моисея Микель-Анджело: “Вот прообраз и эмблема моих Марцеллов, Сципионов, Фабиев; всего меня — Рима настоящего и будущего» (СХ, 75). В революции «“нового здания не выстроится”, — говорит Р. — Ибо строит тот один, кто способен к изнуряющей мечте; строил Микель-Анджело, Леонардо да-Винчи: но революция всем им “покажет прозаический кукиш” и задушит еще в младенчестве, лет 11–13, когда у них вдруг окажется “свое на душе”» (У, 45–46). Именно это изобразил М. в своем «Страшном суде». «Как только “спасли” человека, так и начали с него драть шкуру, и Микель-Анджело нарисовал это огромно, выпукло, так, что не прочитывать нельзя. Не знаю, что думают об этом папы, совершающие именно в Сикстинской капелле все свои торжественные церемонии. Когда я только взглянул на картину и по указателю прочел имена тех определенных святых, которые подошли к Христу почти с угрожающими жестами, — для меня не было сомнения о мысли Микель-Анджело» (ОНД, 341).

А.Н.

МИКУЛИЧ Вера [наст. фам. и имя Веселитская-Божидарович Лидия Ивановна; 5(17).5.1857, Егорьевск, Рязанская губ. — 23.2.1936, Детское Село, Ленинградская обл.] — писательница, переводчица, крестная мать дочери Р. — Вари и близкий друг семейства Р., сокурсница М.В. Безобразовой. Автор писем к Р. 1902, 1903 (ОР РГБ. Ф. 243. М. 3876. Ед. хр. 23). В письме 18 января 1902 М. делилась впечатлениями от воскресных обсуждений на вечере у Р. темы церковного отлучения Мар-

тина Лютера и Яна Гуса, а также просила не упоминать в печати ее имени и имени М.О. Меньшикова при описании заседаний Религиозно-философских собраний. М. выражала одобрение розановского доклада, осуждавшего отлучение Л.Н. Толстого от Церкви. 22 января 1903 М. ходатайствует перед Р. о протекции на участие в РФС для М.В. Безобразовой. Р. делился с писательницей в



Вера Микулич

одном из первых писем к ней впечатлениями от знакомства в середине 1890-х через Н.Н. Стрехова и воспоминаниями о разговорах с ней в редакции «Нового Времени»: «Ваш образ остался для меня всегда милый. Так люблю я Вашу чуть-чуть сутуловатую фигурку, богатые платья (к Вам идет одеваться богато: но многим вовсе не идет), рот, столь моментально изменчивый, милые руки, которые столько раз я с таким удовольствием целовал (глаз не помню): и всё, всё в Вас мне было — не великолепно, а мило, т.е., я думаю, лучше великолепно-го» (РО РНБ. Ф. 124. № 3682. Л. 3). К письмам М. приложена характеристика: «Микулич Лидия (псевдоним) Веселитская (очень благородная)» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 96). Р. отмечал в газетной статье, как с большим трудом ему удалось провести М. и ее подругу, философа М.В. Безобразову, на заседание Религиозно-философского общества 13 ноября 1908, но, по решению градоначальника, прения на собрании были запрещены («Между светом и тьмою (К инциденту в Религиозно-философском обществе)» // НВ. 1908. 17 нояб.; ОНД, 404–405). По свидетельству младшей дочери писателя,

Н.В. Розановой, детские мечтательные поиски *Варей Розановой* аристократического родства остановили ее выбор на своей крестной матери М., «и бедный папа, который терпеть не мог Микулич и находился с ней в ссоре, по словам Вари, оказался связанным с ней более чем тесными узами» (НТ, 42).

А.В. Ломоносов

МИЛИЦЫНА Елизавета Митрофановна [урожд. Разаева; 24.4(6.5).1896, г. Острогожск, Воронежская губ. — 11.1.1930, Воронеж] — прозаик. Р. написал о рассказе М. «Идеалист» (НВ. 1904. 23 июня) как о ярком проявлении русского религиозного сознания. Р. разгадал автобиографическую основу рассказа М., охарактеризовав его как «две-три картинки из жизни сельского священника <...> воспоминание русской женщины, вышедшей из духовенства в “образование”, о доме отца своего». Тон и содержание рассказа противопоставлены религиозной концепции *А. Гарнака*, автора книги «Сущность христианства» (1900), его представлению о «русской вере» — православии, полном, с точки зрения немецкого исследователя, «языческих вставок». «Автобиографическое воспоминание русской женщины, — пишет Р., — оттого и вызвало у меня параллельную мысль о Гарнаке, в смысле “поправки” к нему, что дочернее сердце в вере “отца”, и, кажется покинутой вере, но с любовью вспомнятой, подметило все то, что не дано увидеть хотя бы и величайшей учености». Особенности православного религиозного быта, воспринятые Гарнаком как элементы язычества, овеяны, с точки зрения Р., «поэзией, сказками и мягкостью».

Л.В. Суматохина

МИЛЛЬ (Mill) Джон Стюарт (20.5.1806, Лондон — 8.5.1873, Авиньон, Франция) — английский философ, экономист. В «Автобиографии» Р. писал о годах учебы в *Симбирской гимназии*: «В это же время я прочел “Утилитарианизм” Д.С. Милля — первую философскую книгу, которая произвела на меня большое впечатление в особенности потому, что сквозь частные и временные интересы, умственные и житейские, впервые показала мне область интересов общих и постоянных. Именно настроение, с которым эта книга написана, больше всего привлекло меня к себе, что же касается ее содержания, то я вынес из нее, но зато на много лет, знание, что есть взгляд на человека и на жизнь его как на управляемые и долженствующие быть управляемыми идеей счастья — высшей в истории» (ОСЖС, 686–687). Учась в *Нижегородской гимназии*, Р. прочитал книгу М. «Подчиненность женщины» с предисловием *Н.К. Михайловского* и с приложением писем *О. Конта* к М. по женскому вопросу (СПб., 1869), о чем он упоминает в «*Опавших листьях*» (У, 361). В *Нижем Новгороде* он «с величайшим интересом прочел 2 части “Исследования” <“Рассуждения и исследования политические, философские и исторические” СПб., 1864–1865> Д.С. Милля — вторую философскую книгу, которая мне попала» (ОСЖС, 687). Р. говорит, что в VI классе (1875–1876) для него Милль — любимец» (М, 65), хотя много позднее он написал: «Сравнивал портрет Д.С. Милля с *Погодиным*. Какое богатство лица у второго, и бедность лица у первого» (У, 143). В статье о женском образовании в книге

«*Культура и религия*» Р. приводит письмо М. от 18 декабря 1868, в котором английский философ обратился к петербургским женщинам: «С чувством удовольствия, смешанного с удивлением, узнал я, что в России нашлись просвещенные и мужественные женщины, возбудившие вопрос об участии своего пола в разнообразных отраслях высшего образования — исторического, филологического и научного, считая в том числе и занятие практической медициной, для того, чтобы расположить в пользу высшего женского образования выдающиеся силы ученого мира. То, чего с постоянно возрастающей настойчивостью безуспешно требовали для себя образованнейшие нации других стран Европы, благодаря вам, милостивые государыни, Россия может получить раньше других» (РФК, 102). Вместе с тем Р. считает позитивистскую философию М. примером того, как можно «философствовать без души» (КНУ, 571).

А.Н.

МИЛОСЛАВИН Павел Иванович (1860-е, Москва — 1937, Загорск, Московская обл.) — священник церкви Рождества Христова (построена в 1736) на Вифанской улице в *Сергиевом Посаде*. *Т.В. Розанова* вспоминала о смерти отца: «К отцу звали священника, отца Александра, настоятеля Рождественской церкви, он отца исповедал несколько раз. Затем приходил отец Павел Милославин — второй священник Рождественской церкви, которого отец очень полюбил за то, что он замечательно читал акафист Божией Матери “Утоли моя печали” Отец мой слушал, как он читает акафист, когда со мной и Надей ходил служить в 40-й день панихиду по брату Васе. Отец мой плакал в церкви и говорил: “С каким глубоким чувством читает этот священник акафист Божией Матери” <...> Мы позвали отца Павла Милославина из Рождественской церкви папу пособоровать» (ТР, 91–92).

Т.В. Смирнова

МИЛЬТОН (Milton) Джон (9.12.1608, Лондон — 8.11.1674, там же) — английский поэт. Р. не стеснялся говорить о косвенных источниках своих знаний о зарубежной литературе: «Я не читал “Потерянного рая” Мильтона, но мне запомнились где-то когда-то прочитанные слова, что, собственно, яркое и обаятельное там — сатана, а о Боге — мало и бледно. Значит, тоже вроде “Демона” *Лермонтова*» (ВДЯ, 104). Так, Р. один из первых указал источник «демонизма» М.Ю. Лермонтова в мировой литературе. В книге «О понимании» Р. отметил, что милтоновский «Потерянный Рай» «проникнут протестантской идеею» (ОП, 472). В «*Апокалипсисе нашего времени*» Р. подчеркивает, что как Данте сделал «Ад» центром всей «Божественной поэмы», так «и другой поэт, Милтон тоже начертил “Потерянный Рай”, великую поэму, около которой каким жалким лепетом является его так называемый “Возвращенный Рай” Так. образ., по чувству двух величайших религиозных поэтов христианства “Потерянный Рай” и “Ад” — суть всего. И — тяжкая, тоскливая жизнь на земле, сводящаяся к канцеляриям, революциям, расстройству и попыткам его устранить. И ничего лучше, ничего менее тоскливого, ни для загробия» (АНВ, 196).

А.Н.

МИЛЮКОВ Павел Николаевич [15(27).1.1859, Москва — 31.3.1943, Экс-ле-Бен, провинция Савоя, Франция] — историк, публицист, общественный деятель, один из организаторов и лидеров кадетской партии, депутат 3-й и 4-й Государственных дум. Одновременно с Р. в 1880—1881 учился на историко-филологическом факультете *Московского университета*. Позднее М. выражал сожаление, что в силу сложившейся привычки старших студентов «смотреть на студентов младших курсов как-то свысока и снисходительно», он упустил возможность общения с Р. в университетские годы. М. отмечал, что среди студентов «было немало интересных людей». «Я сразу могу назвать двоих, — вспоминал М. много лет спустя, — *Матвея Кузьмича Любавского*, которому суждено было впоследствии занять кафедру *Ключевского*, *Василия Васильевича Розанова*, прославившегося потом в роли писателя-философа определенного направления. Оба в университете были незаметны» («Воспоминания». М., 1991. С. 92). Р. также оставил записи о годах, проведенных в университете с М. Будущий политик запомнился писателю, как «молодой, безбородый, худощавый студент, недурной товарищ, хотя без специальных студенческих историй, как по части *политики*, так и кутежей. Он отлично занимался, знал хорошо *языки*, был очень начитан во всеобщей *истории*, — отмеченный проф. *Вл. И. Герье* и готовясь вступить на линию профессуры <...> Тут сказался в Милюкове тот “душок”, страстное свое “я”, умственная и всяческая неуступчивость, без которых не бывает политика, невозможен политик. *Труды* по русской истории Милюкова — высокого качества; но они не достигают и половины уровня той высоты, на которой стоят труды его наставника, любимейшего профессора Москвы *В. О. Ключевского*. Зато Милюков вырос в первоклассную величину, как двигатель общественного и политического *сознания*. Именно — качества практического двигателя в нем оказались первенствующими. Он сам, как фигура, вошел в историю: роль, конечно, совершенно другая, чем тихого кабинетного ученого, проводящего дни свои среди пыльных хартий <...> Но он негласный вождь, и многие говорят — самый влиятельный вождь главной думской партии, конституционно-демократической <...> Вначале он был крайним левым своей партии, почти на границе революционного. Тюрьма оттачивает зубы. Он был страстен, пылок, разрушителен <...> Теперь [в 1914], когда раскачка корабля не только налицо, но и грозит перейти в опасность, в крушение и его, и груза, и пассажиров, Милюков делает все напряжения воли и ума, чтобы удержать руль в курсе конституционно-демократической партии, не дав броситься судну влево... Тут сказалась в нем *наука*, *культура*, отвращение к вандализму» (КНУ, 110—111). Р. отказывал М. в исторической категории величия, обязательной для политика, сокрушающего царство. «Было бы опасно быть Милюковым, — но раз есть *Киреевские*, — можно быть и Милюковым», — считал писатель, поскольку, при наличии столь «тяжеловесного золотого фонда нашей культуры, нашей общественности и *цивилизации*» как *славянофильство*, можно допустить и «легоновые и ходкие “кредитки” нашей западной и космополитической болтовни и фразерства» М. (ОПП, 607). Тяжело переживая невнимание русского общества к работам славянофи-

лов, Р. указывал, что если бы статьи славянофилов читались с должным вниманием, то «Милюков не ездил бы на гастроли в *Америку* показывать свои усы, свою шевелюру и весьма посредственное красноречие. Всей этой галиматии не было бы, будь мы национально здоровы» (ВНС, 34). Р. подверг сомнению величие исторических трудов М., поскольку именно благодаря им «простые смертные, терпением и восторгом которых создана ил-



П. Н. Милюков

люзия или поэма Царства, — теряют мало-помалу ощущение именно “царства”, в котором они живут <...> Сон исчез. Великий и счастливый сон человечества. Приснул повар на кухне, который сейчас начинает готовить суп Милюкову. Но в основе-то — ту несчастье, что Милюков был профессором русской истории. И рассказал своему повару какую-то гадость, которую тот принял за “Русскую историю”» (КНУ, 349—350). По поводу отношения к позднему славянофильству и к личности *К. Н. Леонтьева* у Р. был давний спор с М. (Розанов В. Поздние фазы славянофильства: К. Н. Леонтьев // ТПГ. 1899. 4 апр.; написана в 1895 в ответ на статью: Милюков П. Разложение славянофильства // ВФП. 1893. Май). Р. выступал против выделения М. в истории славянофильства особого этапа «разложения» (1860—1890-е) и включения в число разлагающих элементов *Н. Я. Данилевского* и *К. Н. Леонтьева*. Политическую слабость М. и других оппозиционеров Р. видел в небрежении к традиционным ценностям отечественной культуры. Р. был убежден, что они «крайне грубы и даже невосприимчивы к религиозным веяниям <...> Через это они слабы даже в политическом отношении, ибо не могут произнести никакого слова, которое взбудоражило бы и подняло народ» (ВНС, 31). Авторы официального органа

партии кадетов *газеты «Речь»* Р. именовал «милюковцами» («Милюковцы и вероисповедный вопрос» // НВ. 1909. 14 мая; СМР). Не обошел Р. вниманием либеральные взгляды жены своего оппонента А.С. Милюковой, деятельницы феминистского движения и партийной соратницы М. («О необходимости вторичного съезда по борьбе с проституцией» // НВ. 1910. 11 мая; «Г-жа Милюкова о съезде по борьбе с проституцией» // НВ. 1910. 14 мая; ЗРП). С мая 1906 Р. выступал со страниц «*Нового Времени*» с критикой кадетской партии и М. как ее лидера. «Что такое Милюков лично», — спрашивал публицист в статье «Кого они выбрали???» (НВ. 1907. 7 февр.). И отвечал: «Совершенно обыкновенная форма ума. Конечно, не глуп <...> Милюков есть что-то серое, тусклое, именно не яркое, не гениальное. Ни черточки таланта, талантливости. Это сколок, но только вольный общественный сколок с тех господ в нашей *бюрократии*, которые передвигались от тайного советника к действительному тайному советнику и умирали членами Государственного Совета. Точь-в-точь, ни тени отличия» (РГО, 282). Не последнюю роль в провале конструктивной работы 1-й Думы Р. видел именно в роли М., поскольку «вся Дума вообще, в ее политике, тактике и направлении дирижировалась закулисно Милюковым» (ВНС, 228). Р. не упускал случая бросить упрек М. в использовании популистского приема любого оппозиционного политика — апелляции к своим тюремным заключениям. «Прежде заслуживались ордена, теперь заслуживается голосование <...> на митингах и еще вернее, безошибочнее — в “предварилке” или “Крестах” “Такой умный человек страдает” “Умный человек” помалкивает, и иной “умница”, может быть, оттого и сидит полжизни по тюрьмам, что у него талант весь скрыт, если позволительно так сказать, в “органе сидения” Вот это крепко и основательно. А во всей *России* кричат: “Какая основательная голова”» (РГО, 282). Р. осуждал не только М. как политика чуждых взглядов, он видел в нем символ «вершкового представителя вершковой русской науки» (РГО, 437), разрушающего оппозиционным политическим настроением традиционный склад России. Писатель бросал М. упрек в том, что он, автор «Очерков по истории русской культуры», «вождь кадетов — действительно точно не русский человек» (ВНС, 191). «В высшей степени могли повредить» отчизне, по мнению Р., именно те, «которых “нельзя достать” и вытащить из самого “сердца России”: ибо их оберегают “священные стены научного здания” как какие-то храмы-обсерватории Вавилона и древних Фив, — с *Тимирязевым* и Милюковым, один в смокинге и другой в сюртуке, но в париках седых “верховных жрецов” и “с жезлами”» (У, 358). Причины провала политики кадетов Р. видел в предательстве ее лидерами национальных интересов: «Едва ли не роковым случаем для кадетской партии было то, что ей навязались в “предводители” такие господа, как *Винавер*, *Гессены* и Милюков, которые отстаивают одни только интересы еврейства и нисколько не заботятся о нуждах русского народа» (РГО, 328–329). «Советы г. Милюкова составляют несчастье для той образованной группы русских людей, которые, может быть, против воли скрещены в узенькую кличку “к.-д.” и, вероятно, оказались бы гораздо умнее, чем теперь, если бы они просто и решительно захотели быть

только русскими образованными, культурными и свободными людьми» (РГО, 405). В ходе газетных баталий по делу *Бейлиса* Р. назвал М. в статье «Наша кошерная печать» (*Земщина*. 1913. 22 окт.; СХР) в числе продажных журналистов. Тревожная атмосфера *Февральской революции* настолько захватила Р., что он впервые решился позвонить М. по телефону. *Т.В. Розанова* вспоминала: «Как-то в конце февраля моему отцу вздумалось вдруг звонить на квартиру Милюкова. Лично он его хотя и знал, но общение между ними было очень отдаленное, деловое и литературное. Мы все были в столовой, где находился телефон. Отец берет трубку и вдруг говорит: “Что же ты, братец Милюков, задумал, с ума что ли сошел. Это дело куристок бунтовать, а не твое. Опомнись братец!” Мы, дети, хватаем его за тушурку и в испуге оттаскиваем его от телефона. “Папа, что же ты с собой и с нами делаешь, ведь мы все можем погибнуть!” Тем дело и кончилось» (ТР, 76). Весной 1917 Р. обвинял М. наряду с Родзянко, *Гучковым* и другими членами Временного правительства в западнической политической ориентации и предательстве интересов России: «Пока Милюков и Гучков, и Родзянко ездили к *царю* и предлагали “отречься” в “виду таких-то обстоятельств” и что “*Петербург* взволнован”, то это было еще подражание Луи-Блану и вообще “иностранное» (АНВ, 276). «Единственный в истории случай, — единственный вообще в истории всемирной образованности, где образованный класс населения передал свой народ и целую страну под иноземное иго. Хорошо же чувствуют себя, должно быть, Родзянко, Гучков и Милюков, “герои нашего времени”» (АНВ, 67).

А.В. Ломоносов

МИНИН Кузьма (Кузьма Минич Анкудинов) (? — 1615 или 1616), нижегородский посадский человек, народный герой борьбы русского народа против польских интервентов в начале XVII в. М. в понимании Р. — воплощение русской государственности, патриотизма, русского коллективного начала. В статье «25-летие кончины *Некрасова*» (НВ. 1902. 24 дек.), подчеркивая гражданственность лирики поэта, Р. отмечал: «Как много дал бы *И.С. Аксаков*, если бы у его постели случилось подобное же явление. “Хоровое начало! матушка Русь!! чую тебя!!! пробудил, возбудил”, — думал бы редактор “Руси” Но он всегда был частичным русским явлением, а не общерусским, был фактом кабинета и гостиной, а не улицы, не площади. Именно Минина-то и не выходило. А у Некрасова и вышло нечто вроде Минина, конечно, в сообразно изменившейся обстановке, совсем с другими *темами*, другими задачами, другими речами» (ОПП, 109). В очерке «Пестрые темы» (РС. 1908. 25 мая) Р. отмечая позитивные стороны *славянофильства*, привлекает образ М.: «*Хомяков*, все Аксаковы, Юрий Самарин — это были ее лучшие русские граждане, настоящие “Минины и Пожарские”, не хуже, не меньше. *Россия*, можно сказать, не рождала лучших сынов, чем эти просвещенные, патриотичные люди, которые в *душе* своей, в *уме* своем соединили верхушки европейского и русского *просвещения*» (ВНС, 127). О самом факте появления М. из народной массы Р. размышлял в заметке «Литературные новинки» (НВ. 1904. 16 июня): «Мы не пережили великих одушевлений, великих вдохновений. Посмотрим

те, долго ли тянулось так называемое “смутное время”, однако великая безнадежность, прошедшая всего лет на 10 по России, самым *страхом* и опасностью своею вызвала каких людей и какие события! Ибо если имя Минина мы запомнили, то не должны забывать и того, что были сотни Мининых, по городам, по пригородам, — и только одно из них случайно стало ярче и памятнее остальных. Это всего три года и опасность только с гражданской политической стороны» (ОПП, 167). О том же Р. пишет в статье «Поминки по славянофильству и славянофилах» (НВ. 1904. 21 мая): «Нет, именно в толпе-то (вспомним Минина на площади *Нижнего Новгорода*) и бывают нечаянные и святые движения народной души: личное — забывается, забывается — эгоистичное, и являются манифестации общечеловеческого, общенародного. “На ура пойдем за *правду!*” — почему это не так?» (ЛВИ, 452). Размышляя о понятии святости на Руси («Святость и *смерть*» // НП. 1903. № 7), Р. вспоминает пример М.: «Минин как много сделал на Руси. Но он сделал все в формах обыкновенного человека: сказал речь, собрал войско, повел в *Москву*. И Русь его “святым” не назвала. В святость входит некоторая странность поведения, “юродивость”; первое прижизненное имя для святого: “человек божий” А потом он канонизируется» (ВТРЛ, 136). В статье «Нечто о мысле, трагедии и “Заветах Минина и Пожарского”» (НВ. 1901. 24 авг.; ОЦС) Р. касается понятия «народная темнота» (первоначальное название очерка). Скептически оценивая деятельность современных ему государственных мужей, Р. писал («Люди нашего времени» // НВ. 1906. 22 июля): «Спасителей отечества у нас не выдать, разве на Красной площади в Москве бронзовый Минин. Но он молчит. Он как будто кому-то что-то напоминает, но тщетно: потомки Минина ничего общего с предками не имеют» (РГО, 112). О том же — в статье «Судьбы русского консерватизма» (НВ. 1907. 2 мая): «Мы глубоко нуждаемся не в политическом консерватизме, а в культурно-народном консерватизме. Не в том консерватизме, которому служил *Катков*, а в том консерватизме, которому, напр., служил *В.И. Даль* <...> “что же именно сделали монархисты для России?” Они указывали на монумент Минина и Пожарского, вспоминали *Сусанина*. Но и сами Минин и Пожарский были до всяких съездов. И вообще их великий подвиг был просто русский подвиг, честное и доблестное русское дело, без всякой *партийности*. Они служили русской земле, в ее всеобъемлющем значении» (РГО, 405). Упомянув в полемической статье «*Мережковский* против “*Вех*”» (НВ. 1909. 27 апр.) *Достоевского*, Р. вспоминает, что тот в «Дневнике писателя» выступил в защиту «мясников Охотного ряда, побивших в *Москве студентов*; он говорил, что и Кузьма Минин <...> был тоже мясной торговец» (ОПП, 355). А в статье «*Белинский* и *Достоевский*» (НВ. 1914. 8 июля), размышляя о необходимости увековечить память *Достоевского*, Р. заметил: «Если он заслужил *памятника* (пора подумать), и этот памятник будет — около Минина и Пожарского, ибо и он поистине жил в “пожарное” и “смутное” время и был великим воином Руси, защитником Руси» (ОПП, 598). Р. отмечает, что «в годы, когда все так напоминает эпоху *трудов* и *пота*, и *страданий*, и увенчания Смутного времени, — под водительством славных Минина, гражданина нижегородского, и князя Пожарского, — и

в народе бродят легенды о них, — слухи и томные *сны*, всякое “брезженье” ума и воображения, — говорящие о сохраняющейся подземной связи веков». И далее Р. излагает присланную ему запись новой легенды о М. и Пожарском, сделанную в 1905 воспитанницей Нижегородского института благородных девиц 1870-х Е.В. Б-вой на Нижегородском базаре: «“Ноне, кажennую ночь, Минин и Пожарский являются простому народу. Ходят они вместе, рука об руку, по Замковой тропе и тихо, тихо беседуют, — только речей их никто слышать не может, кроме самых старых стариков, своим землистым ухом. Старики говорят, что слышно, что придется нам опять нести наши медные деньги на площадь” Т.е. нам, нижегородцам и преимущественно старикам, придется снова “вызвolyть отечество из беды” <...> Спасибо автору за легенду, которую с удовольствием прочтет вся Россия» («Одна легенда о Минине и Пожарском» // НВ. 1916. 15 мая).

В.Н. Дядичев

МИНСКИЙ Николай Максимович [наст. фам. — Виленкин; 15(27).1.1855, село Глубокое, Дисненский уезд, Виленская губ., — 2.7.1937, Париж] — писатель, публицист, философ. Муж *Л.Н. Вилькиной*. Р. выступил с критикой М. в *Религиозно-философских собраниях* («О “Двух путях” Минского» // НП. 1903. № 10). В журнале «*Золотое Руно*» (1906. № 7/9) была опубликована статья Р. «Одна из русских поэтико-философских концепций», посвященная *книге* М. «*Религия* будущего. Философские разговоры» (СПб., 1905). Р. высоко оценил работу М.: «Г-н Минский, принадлежа к числу сильных у нас метафизических умов, вставляет систему свою в рамки не ученых диссертаций, мало кем или совсем никем не читаемых, но в художественную форму то признаний (“При свете *совести*”), то “разговоров” (настоящая *книга*)» (ЛВИ, 502). «Нужно заметить, — продолжает Р. — вся книга Минского написана в форме диалогов: двое больных в заграничной санатории для легочных больных разговаривают о “мировых вопросах” Оба окруженные *смертью* и болезнью, оба в ожидании смерти» (ЛВИ, 506). Повествование М., его манера изложения, по мнению Р., отличается сухостью и беспристрастностью: «От формы этой, однако, не веет теплотой: здесь то же царство *холода*, как и в его мышлении. Как поэт, как мыслитель, как художник, Минский холоден на всем протяжении: его пафос (где он попадает) несколько искусствен и внешен, и от этого он так мало привлекает русского простого *читателя*. Конечно, это несколько не роняет его, как философа» (ЛВИ, 502). В работе М. развивает идею «мэонизма»: «“Мэонизм” — термин, родственник неоплатоникам. Те учили об “эонах”, некоторых метафизических существах, лежащих в основе всего физического миропорядка, как у *Платона* его “идей” или у *Лейбница* его “монады” “Эоны” — положительное, сущее. Минский остановился на довольно верной *мысли*, чисто логического порядка, что ведь если есть *Бог*, то от того Он не смешивается с *миром*, от того никакую *вещь* мира мы не принимаем за “Бога”, что есть у нас врожденное и истинное убеждение, что Бог — нечто совершенно иное, чем все осязаемое, видимое, слышимое, даже, наконец, чем определенно мыслимое. Бог “премирен”, как говорили платоники; “сверх-мирен” как учат

христианские философы. Минский основательно и говорит, что если весь осязаемый, видимый и пр. и пр., наконец, весь представимый и мыслимый мир соединен и объединен тем качеством, что он — есть, существует, реален, то пропастью отделенный от этого мира “неизреченный” Бог есть “мэон”, “несущее”, “небытие”, т.е. что это есть некоторое метафизическое же отрицание всякого реализма, грубости, тяжеловесности» (там же).



Н.М. Минский

Теория «мэонизма» кажется Р. довольно забавной: «Довольно замысловато и, кто его знает, может быть правдоподобно» (там же). Р. полагает, что работа М. сложна для простого, неподготовленного читателя, хотя и признает, что данный тип *чтения* не рассчитан на простого обывателя: «Читатель не привык к этим шахматным ходам метафизической мысли? Между тем большинство знаменитых метафизических систем состоит именно из таких ходов, которые могут представиться и страшно серьезными и вовсе не серьезными, смотря по уму-устройству читателя и слушателя. На *метафизику* Минского я смотрю как на один из таких красивых “ходов”, который не увлекает меня оттого, что я смотрю со скептицизмом, может быть с неумением или бесталанностью, на самую шахматную доску и существо шахматной *игры*. Но философская эстетика в ней есть. От Бога и Творца нужно перейти к миру и Его творению: представьте себе бесконечный минус (первосущий и единосущий “мэон”), который перечеркивается “накрест” и переходит в такой же бесконечный плюс: вот мир вещей, подробностей, осязаемого и мыслимого, который мы измеряем и изучаем, о котором думаем и который любим, и который весь произошел через страдательный акт самоуничтоже-

ния Великого Минуса, через “смерть Бога”, самоотрицания Мэона. Между тем в плюс этот, даже материально и видимо, вошел минус: т.е. весь порядок вещей есть “божественный и святой” Минский, очень искусно и поэтически переводит это философское построение, этот тезис и требование размышляющего ума, — на язык то надежд, то ожиданий, то сердечной *веры*, то утешения. Получается — переход в *религию*, сразу и освещающий ее философским светом, а вместе и самой *философии* придающий какую-то теплоту, *интимность*, священность и вообще религиозную санкцию» (ЛВИ, 503). Значительную роль Р. отводит языку повествования, хотя и не скрывает своего скептицизма по отношению к детально продуманной концепции М.: «Здесь, нам думается, много принадлежит языку, мастерству языка, — и здесь, видя это филологическое основание, я особенно проникаюсь скептицизмом ко всей вообще “шахматной доске”, как несколько предательской и более обещающей, нежели подлинно дающей» (там же). Р. не отказывает теории М. ни в остроумии, ни в четкости построения: «Тут брезжатся лучи всех религий, об этом перешептываются все веры — и в этом смысле похоже на *правду*. Минский, впрочем, так и называет это “легендой”, как бы всемирным религиозным преданием. И, не будь этого религиозного предания перед ним, — без его канвы, не опираясь на этот посох, он не построил бы или едва ли бы построил и свою систему “мэонизма” Мне лично, когда я читал в индусских легендах об этом “Боге, созерцающем образы (будущих) вещей”, всегда было недоуменно: откуда это “детишки”-то взялись? мечты? образы? иное, чем Бог? “Единое и Совершенное” я не умею представить иначе как бесконечную прямую линию... и ничего еще; как *пустоту* и приблизительный ноль, как некую Бессодержательность... Признаюсь, “Единое и Совершенное” я просто не люблю; и не уважаю; и не захотел бы размышлять о нем. Иное — его “детишки”, *мечты*, образы» (ЛВИ, 503–504). Р. признает, что изложенная М. теория в какой-то степени его занимает: «Мир вещей, множество, краски, звуки, осязаемое, обняемое — весь “сад Божий”, как, впрочем, и именуется легенда, — вот одно, о чем я хочу и могу размышлять и с чем чувствую себя связанным и “единым” Поэтому “первая часть его легенды” (все — его термины) меня просто не занимает. Если он назовет меня за это “совершенным безбожником”, то я не отвергну этого, хотя и удержу в голове мысль, что и он сам — таков же. В сущности, он “единого” построил для мира и по миру; и даже — это осталось в его филологии, ибо “Единый”, что требовалось бы мэонизмом, у него постоянно чередуется с “Всеединым”, т.е. “детишки” — мечты, они же суть и реальные вещи, все одолевают своего Отца-Мэона, никак не допуская его до того отрицательного значения, какое единственно и вполне ему присуще» (ЛВИ, 504). В статье «“Свои люди” поссорились...» (НВ. 1908. 21 апр.) Р. пишет о ссоре Д.С. Мережковского и М. Больше всего Р. удивляет та резкая перемена, произошедшая в М.: «В *Религиозно-философских собраниях* 1902–1903 гг. они витийствовали за одно дело, нападали на то же, защищали то же! Почти. Разница была только в том, что Мережковский критиковал *церковь* или, как он называл — “историческое *христианство*”, особенно нападая на

аскетизм, а Минский был более ортодоксален, защищал церковь и особенно прекрасным находил монашеское отречение от мира. Только он подпирал его не ссылками на отцов церкви, а на Леопарди, *Шопенгауэра* и вообще мизантропических и неженатых поэтов и философов» (ОНД, 301–302). Р. еще тогда насторожило то, что речи М. и его поступки нередко противоречат друг другу: «Минский до того увлеклся в то время “прекрасностью монашества <...> Мы ожидали тогда, что он крестится, так как Минский — еврей» (ОНД, 302). Перемены, произошедшие в М., Р. находит еще тем удивительнее, что М. нарушает правила приличия, законы сосуществования, демонстрирует не только неприятие взглядов Мережковского, но и отрицает их право на существование, причем, с точки зрения Р., делает это вопреки всем доступным методам: «Вместо того чтобы, живя в одном Париже, просто прийти ночью к Мережковскому и зарезать его, Минский старается сделать то же самое, но мучительно, медленно, посылая статью за статьей в газеты, где доказывает все литературное ничтожество и идейную злобредность его, Мережковского, который только сеет “суеверия”» (там же). Перемены в М. Р. отказывается воспринимать как смену убеждений: «Ни о каком “переломе в убеждениях” Минского ничего не было слышно, литературно это ни в чем не выразилось, он не издавал никакой “Исповеди”, которой так естественно было бы ожидать от него, раз уже он так радикально переменялся. По-видимому, сам он не ощущает в себе перемен. Писал, писал об одном, и вдруг о другом» (ОНД, 303). Вступая в полемику с М., Р. проясняет свою точку зрения на сложившуюся ситуацию: «На слова Минского: “Религия — суеверие и несчастье”, можно ответить: “Религия есть самая постоянная истина и высшее счастье”». Р. предлагает рассматривать заявление М. как безнравственное, лишённое смысла: «Не в праве ли мы видеть в тезисе Минского то убогое мечтательство души, до которого доходит человек в условиях теперешней нашей образованности, мотаясь между стихами, адвокатурой, журналистикой и архиереями» (там же). М. в ответ на резкую критику Р. опубликовал две статьи — «О двух путях добра» и «Забвенная душа (Ответ В. Розанову)». М. опровергает сам факт написания им статьи об истине идеалов церкви: «Статьи “об истине идеалов церкви и т.д.” я никогда не писал, и мне, в то время печатавшему труд о мезонизме, самое заглавие кажется злою шуткой» («На общественные темы». СПб., 1909. С. 240). М. обвиняет Р. в этой статье в предвзятости суждений и недобросовестном отношении к фактам: «Вся его статья является злейшим пасквилом, направленным не против меня, а против тех иерархов церкви, которых он как будто в чем-то оправдывает» (Там же, 241–242). М. останавливается на теоретических возражениях, которые ему делает Р., и их опровергает. При этом М. напоминает, что не кто другой, как Р. высоко оценил его труд: «Написал о моих воззрениях <...> лестные слова» (Там же, 244). Забывчивость критика М. объясняет тем, что у Р. «душа <...> не запоминающая мыслей, непроницаемая для лучшей разума, неблагодарная за радость сознания, равнодушная к истине, забывающая и потому забвенная. В Розанове воплотилась сила не светлой славянской России, не России Пушкина, Толстого, Соловьёва, а России темной, татарской, ибо небезнаказанно в жилы рус-

ского народа веками вливались потоки азиатской крови» (Там же, 244). М. обличает Р., говоря, что «против Христа он вел темный и кружный подкоп, отрицая не божественность, а именно человечность Христа, доказывая, что Христос — жестокий судья, дурной сын, что после Христа мир прогорк» и, заключает М., «я в Розанове чувствую напряженность и силу. Но все его переживания запечатлены психологией низшей расы» (Там же, 245). Р., однако, тоже чувствует напряженность в М., про его дом Р. высказывается крайне негативно как о месте, где «можно только повеситься» (У, 38). Статья М. «О двух путях добра» имеет подзаголовок — «Два доклада, прочитанных в Петербургских религиозно-философских собраниях». Это полемика, с одной стороны, с Л.Н. Толстым, с другой — с Р. Отношение Р. к браку, семье, деторождению носит, считает М., болезненный характер. М. полагает, что поднимает вопрос об «идеале девства и идеале любовничества» (PRO, 1, 389). М. пишет, что Р., «полагающий, что сражается с Церковью, в то время как он поражает в самое сердце самую прекрасную мечту современности» (Там же, 390). «Ослепленный культом семьи и любовничества, Розанов не видит, в ослеплении не может видеть другого пути добра, — идеала девства и целомудрия. Ему кажется, что оба эти идеала исключают один другой <...> По мнению Розанова, Церковь только терпит брак и этим как бы невольно превращает весь мир в дом терпимости, — вот сущность его обвинения» (Там же, 391). В доме М. в ночь с 2 на 3 мая 1905 большая группа гостей, в которую входили Р. и его падчерица А.М. Бутягина, провела ритуальное «причащение человеческой кровью», совершенное под руководством Вяч. Иванова (см. PRO, 1, 250–253). В статье «Напоминания по телефону» (НВ. 1913. 18 нояб.) Р. вспоминает эту «декадентскую чепуху» в связи с процессом *Бейлиса*: «Во всем этом событии, — конечно, шутовском и бессодержательном, “литературном”, — замечательно, однако, то, что мысль о причащении человеческой кровью возникла не у кого-либо из русских, не в русской голове и мозгу <...> а именно в доме еврейском, в обществе по преимуществу еврейском и в мозгу еврейском...» (СХР, 337). Мережковский не был тогда в *Петербурге*, пишет Р., но прислал М. «резко упрекающее письмо»: «Минский показал мне письмо, и я смеялся в нем выражению Мережковского, что “вы все там жиды с лягушкой венчали” и проч.» (там же).

М.Б. Раренко

МИНЦЛОВ Сергей Рудольфович [1(13).1.1870, Рязань — 18.12.1933, Рига] — прозаик, библиограф, библиофил. Когда вышел его 5-томный библиографический труд «Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России и напечатанных на русском языке» (Новгород, 1911–1912), Р. опубликовал рецензию под названием «Официальный нигилизм» (НВ. 1912. 9 июля), в которой подверг критике чиновников Министерства народного просвещения. «Ну, вот, — думал, — министр просвещения, а уж наверно председатель ученого комитета Министерства народного просвещения, наверно тоже, купив книгу, приветствовали автора ее благодарными и “поощряющими к дальнейшему” письмами. Ведь еще Карл Великий окружил себя учеными, поэтами и историками» (ПВ, 148). Не-

ожиданно Р. получает сообщение ученого комитета Министерства народного просвещения, предписывающее данное издание «признать не подлежащим включению в список книг, заслуживающих внимания при пополнении ученических библиотек средних учебных заведений <...> Вот тебе и “медаль”, вот тебе и “Карл Великий”! <...> Конечно, это не то, что “дрова, которые на зиму закупают” для здания министерства: статья действительности, гораздо более волнующая “всех там” Дрова и, я думаю, ремонт здания, потолок, полов... Ах, эти ремонты казенных зданий: какая это важная вещь! <...> Ну, “дрова” или не “дрова”, — а только это — нигилизм, господа; нигилизм — открытый, на всю Россию <...> Что-то уж слишком странно: запрещать русскую историю гимназическим библиотекам?! <...> Боже мой, Боже мой: мыслимо ли это в *Германии*, в старой прекрасной Англии, во *Франции* с ее Дюканжем? Говорят, где-то теперь показывают приехавших в *Петербург* “совсем голых” дикарей из Африки: уж не “утка” ли это, не передеваются ли большие “члены” больших “комитетов” по праздникам в “африканское платье”, да, вымазав лицо сажей, не показываются ли потихоньку в садах, чтобы кое-что приработать?» (ПВ, 149).

А.Н.

МИХАЙЛ [Семёнов Павел Васильевич; июнь 1874, Симбирск — 27.10(9.11).1916, Москва] — публицист, участник *Религиозно-философских собраний* и член *Религиозно-философского общества*; с 1903 — профессор Петербургской духовной академии, архимандрит, в 1907 перешел в *старообрядчество*, с 1908 — старообрядческий епископ, с 1910 запрещен в священнослужении. В 1903 М. подверг критике (Миссионерское обозрение. 1903. № 2) основные положения статьи Р. «Тревожная ночь», помещенной в *Северных Цветах* на 1902 год, а впоследствии откликнулся заметкой «Тихий кормчий» (Утро России. 1912. 5 мая) на перепечатку этой работы в книге Р.: «Темный Лик». На 12-м Религиозно-философском собрании М. выступил с докладом «О браке (Психология таинства)» (НП. 1903. № 6; ЗПРФС), направленным в том числе против идей Р. «Он был слышан, конечно, что писатель Розанов, специально занимающийся “Брачным вопросом”, — самый строптивый из членов Собраний. Обвиняет “монашествующих” и самую церковь, что приверженность к аскетизму заставила их “косо смотреть” на брак и на семью... Иер. Михайлу, должно быть, и подумалось, что надо начинать прямо с розановской темы, показав, кстати, петербургским писателям свою литературную начитанность» (Гиппиус З.Н. Арифметика любви: Неизвестная проза 1931–1939 годов. СПб., 2003. С. 375). Несколько иное впечатление от полемики М. с Р. осталось у Н.М. Минского: «Необычайный <спор> ведется между о. Михаилом и Розановым. “Семья, — говорит Розанов, — единственное благо, деторождение — единственная святость, девство — извращение природы, смертельный яд, который церковь тайком опустила в напиток жизни” “Да, — отвечает о. Михаил, — я во всем согласен с Розановым”» (PRO, 1, 389). Р. возражал М. в статье «По поводу доклада о. Михаила о браке (Извлечение из записки В.В. Розанова)» (НП. 1903. № 9. Записки РФС в СПб.; перепечатано без подзаголовка в книге «Русская церковь и другие статьи»; ВТРЛ). В 1903 М. в

одной из своих публичных лекций дал резко негативную оценку работам *Мережковского*, отрицательно отзываясь в том числе о его попытках соединить *христианство* и дионисийство. В заметке «О милости к животным» (НП. 1903. № 6) Р. связал «умерщвление оргийного в человеке начала», которое о. Михаил, так мало его понимая, оспаривает у людей новой мысли» (ОЦС, 213), с живодерством. В статье «Среди иноязычных (Д.С. Мережковский)» (МИ. 1903. № 7–8; перепечатано: НП. 1903. № 10) Р. предпринял более развернутую попытку защитить Мережковского от критики со стороны «молодого и пылкого, но недостаточно осмотрительного монаха» (ОПП, 154), причем спор с М. перерос в полемику Р. с историческим христианством: «О. Михаил и все, “иже до него и с ним”, век за веком все суживали Бога, расхищали Его богатства, соделывали Его бедным, немилующим, ничего почти не имеющим. Шаг за шагом теснили они Бога и вытеснили из мира, суживая владения Его, власть Его, дыхание Его — до затхлых коридоров каких-то “духовных” департаментов, одной “духовной” канцелярии, и даже наконец одного “столоначальничества” в ней, как некоего специфического места богословского скряжничества. Вот уж “соделали богов литых, по образу и подобию своему”, можно сказать об этих “духовных” Плюшкиных» (ОПП, 155). В этой же статье Р. вернулся к критическому разбору доклада М. «О браке (Психология таинства)». М. ответил на замечания Р. полемическим письмом в редакцию «Нового Пути» (НП. 1903. № 11). Через несколько лет Р. выступил со статьей, посвященной деятельности М. («Архимандрит Михаил» // РС. 1907. 6 янв.; РГО). В «Людях лунного света» Р. вновь обратился к докладу М. «О браке (Психология таинства)», отозвавшись о нем на этот раз весьма сочувственно: «Нельзя не поблагодарить доброго, патетического и честного архим. Михаила (ныне старообрядческого епископа) — единственного монаха, который по переводе из Казани в *Петербург*, начав рассуждать в печати о браке, сказал громко: “Половое слияние всё и до дна чисто” За это дети, нынешние и будущие, должны воспеть ему хвалу. Он — не в детоубийцах, хотя и монах» (ВТРЛ, 327). Впоследствии, однако, Р. упоминал М. среди тех «наших пустых и пустоголовых “духовных писателей”, подвизающихся в журналах», которые «несут такую околесицу о браке, что нужно зажать уши и бежать вон» (М, 291).

М.Ю. Эдельштейн

МИХАЙЛОВСКИЙ Николай Константинович [15(27). 11.1842, Мещовск, Калужская губ. — 28.1(10.2).1904, Петербург] — публицист, критик, идеолог народничества, редактор журнала «Русское Богатство» (1894–1904), один из постоянных идейных противников Р., которого он называл «старым волком красного лагеря» (НВ. 1914. 2 марта). Р. разъясняет смысл деятельности М. через придуманное М. понятие «кающийся дворянин», восходящее к чувству «виновности» дворян, «вырвавшееся мельком у Толстого и гениально комментированное Достоевским». «Агитатор Михайловский гениально воспользовался этими обмолвками русских художников-христиан, романистов-христиан, чтобы толкнуть огромные массы русской молодежи на путь “кающегося дворянина”, этот “честный русский путь”, и захватить в

дальнейшем этих “кающихся” в социал-демократический невод» (ЛВИ, 591). М. «не знал колебаний» (СХР, 160) и «сорок лет стоял на посту» (СХР, 150). В «*Онаших листьях*» Р. вспоминает: «К “Николаю Константиновичу” на зимнего и весеннего Николу (праздновал именины два раза в год) съезжались не только из *Петербурга*, но и из *Москвы* литераторы; из *Москвы* специально поздравить приезжал *Максим Горький* (как-то писали), и *курсистки* — с букетами, и *студенты* — должно быть, пролететь свою “оппозицию” и “поздравление”, и он раздавал свои порицания и похвалы, как возводил в чин и низвергал из чинов» (У, 289). В 1902 Р. опубликовал два очерка о М. и его статье «О г. Розанове, его великих открытиях, его маханальности и философической *порнографии*» (Русское Богатство. 1902. № 8), посвященной книге Р. «*В мире неясного и нерешенного*». М. обвинял Р. в литературной неяркости: «Розанов не давал себе никакого отчета в том, что он пишет, а писал именно с разбегу и без оглядки, “маханально”, как говорит один купец у *Островского*» (PRO, 1, 347). Главное же обвинение состояло в «порнографии» Р.: «Неприличен он прежде всего своей нечистоплотной маханальностью: той развязностью, с которой он пускает в обращение небывалые факты собственного сочинения или делает достоверные, но ни для кого не интересные, сообщения о подробностях житья-бытья своих знакомых <...> Есть очень “знойные потребности”, которые, однако, всенародно не удовлетворяются. Г. Розанов не знает в литературном отношении никаких границ. Помните, например, как он однажды обратился к Толстому с нотацией, одинаково изумительной как по форме, так и по содержанию: он печатно говорил с “великим писателем русской земли” на “ты” и рылся в интимнейших подробностях его личной *жизни*» (PRO, 1, 349); речь идет о статье Р. «По поводу одной тревоги гр. Л.Н. Толстого» (РВ. 1895. № 8), которую М. раскритиковал в октябре 1895 в «Русском Богатстве». На книгу М. «Литературные воспоминания и современная смута» (СПб., 1900) Р. откликнулся статьей «Писатель семидесятих годов» (НВ. 1900. 16 июня). В очерке «Счастливый обладатель своих способностей» (МИ. 1902. Т. 8. № 9/10) Р. пишет, что М. взялся за *темы*, «вовсе ему непонятные», «ибо безмолвно около каждой его строки есть как бы подпись водяными знаками: “Как я умен; я совершенно обладаю своими способностями, как и метранпаж типографии “Русского Богатства”, с полным обладанием способностей говорящий мне по телефону: “Н.К., торопитесь дать статью: иначе не выйдет верстка книжки”» (ОПП, 106, 108). В очерке «Критика г. Михайловского» (НВ. 1902. 1 сент.) Р. дал общую характеристику публицистики М.: «Михайловский перестал интересно писать, потерял интересное содержание. Бессодержательность — вот *грех* его писаний, в котором я не повинен. А неинтересен он потому, что все *время* своей литературной деятельности занимался “второстепенными частями предложения”, т.е. вообще обстоятельствами жизни, *литературы*, да и каждого частного предмета своего суждения — побочными, не главными. Он сам не умел “возглавить” себя; и неудивительно, что очутился где-то, — говоря жестким словом, — под лавкою. “Куда пошел — там и сидишь” Плач тут и поздний, и бессильный» (ВДЯ, 231). Полемика М. и Р. началась еще в 1891, когда после ро-

зановских статей «Почему мы отказываемся от “наследства 60–70 годов”?» (МВ. 1891. 7 июля) и «В чем главный недостаток “наследства 60–70-х годов”?» (МВ. 1891. 14 июля; см. ЛВИ). М. критически откликнулся на них в «*Письме о разных разностях*» (Русские Ведомости. 1891. 25 июля; переиздано под названием «О г. Розанове и о том, почему он отказывается от наследства» // Михайловский Н.К. Литературные воспоминания и современная смута. СПб., 1905). На критику М. возражения Р. последовали в статьях «Может ли быть мозаична историческая *культура*?» (МВ. 1892. 20 июля) и «Еще о мозаичности и эклектизме в *истории*» (МВ. 1892. 17 окт.). Сохранились в ИРЛИ три письма Р. к М., относящихся к 1894, 1898 и 1901, в которых он пытался установить отношения с редактором «Русского Богатства» и спрашивал его: «Может ли быть “разговор” о моем участии в Рус. Бог.» (Туниманов В.А. Заметки на полях писем В.В. Розанова к Н.К. Михайловскому // Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 2000. Т. 15. С. 60). Еще раньше, в 1892 из г. *Белый*, Р. писал М.: «По убеждениям — мы с Вами враги, но я не понимаю, почему бы не могли быть далеко не врагами лично: и иногда могли бы дружески обсуждать кое-какие темы» (Вопросы философии. 1992. № 9. С. 122). М. ответил «высокомерно» только 11 марта 1898: «*Читатели* бы очень удивились, увидев меня вместе с Вами в журнале» (ОСЖС, 711; ПЛ, 75). М. продолжил свои выступления против Р. в статьях «Опять об отцах и *детях*» (РМ. 1892. № 8), «О мозаичности *культуры*» (Русское Богатство. 1892. № 9), «Обращение г. Розанова к Л. Толстому» (Русское Богатство. 1895. № 10), «О г. Розанове» (Русское Богатство. 1895. № 10). Вспоминая свою первую книгу «*О понимании*», Р. заметил в 1913: «Надо было полемизировать не с Парменидом, а с Михайловским» (ЛИ, 19). Потому что от *Белинского* и *Чернышевского* до М. и *Ф. Родичева* «у них не было *России*-Матери (“Мать-сыра-земля”, наша “Богородица”), а было — служанка-Россия, обязанная бегать у них на побегушках, а когда она не торопилась, — они выходили из себя и даже вредительствовали ей. Прямо “таскали за косу” горничную, эти наши Михайловские, эти наши *Желябовы*, эти наши Чернышевские и *Добролюбовы*» (ОПП, 598). Р. сравнивает М. с министром народного просвещения *Д.А. Толстым*: «Между Толстым и Михайловским никакой нет разницы. “Демократическая официальность” и “министерская официальность” равно гнили, мертвы, формальны, антивоспитательны. Т.е. криво-воспитательны» (КНУ, 394). В «*Мимолетном*» Р. говорит о М. и России: «А т.к. Михайловский всю жизнь писал о приятелях Глебе Ивановиче и *Скабичевском*, то вышло, что в 30 томах “Сочинений” Михайловского, Скабичевского и *Успенского* нигде не упомянуто имя Строганова. Между тем Строгановы были из тех, которые делали Россию, а Михайловский, Успенский и Скабичевский России не делали. Но они писали книги: и вышло, что “книги в России” перестали “говорить о России”. Они говорили о *Дарвине*, обезьянах и классовой борьбе» (КНУ, 592). Р. и М. разошлась в понимании Достоевского. Р. утверждал: «Н.К. Михайловский заметил, что “подпольного человека можно связать” Ответил с большой пронципальностью в натуру подпольного человека, но с полным бессилием против его диалектики. Дело в том, что До-

стоевский говорит, что если “всемирное и окончательное *счастье*, наконец, устроится, то никак нельзя поручиться, что не явится некий господин несносного вида и, уперев руки в боки, скажет: “А не послать ли нам все это счастье ударом ноги к черту, чтобы пожить опять в прежней волюшке, в свинской волюшке, в человеческой волюшке? И не то важно, — продолжает Достоевский, — что такой человек явится, но то существенно, что он непременно найдет себе и сочувствие” — Такого человека, вот так заговорившего, — возразил Михайловский, — можно связать» (ОПП, 490), т.е. заключить в тюрьму. Р. возражал М.: «“Подпольному человеку” можно противопоставить не тюрьму, как указал Михайловский, из которой при гениальных-то способностях он, конечно, убежит, но вот Алешу Карамазова, который перед “подпольным человеком” ни на шаг не посторонится... И который *молчанием* своим, тихостью своею заставит умолкнуть несколько болтливую “подпольного человека”» (ОПП, 492). От нападок М. защищал Р. близкого ему в те годы Д.С. Мережковского («Заметка о Мережковском» // МИ. 1903. Т. 9. № 2), а о Чехове писал: «Н. Михайловский, останавливаясь на молодых рассказах Чехова, признавал в них *талант* собственно письма, но всякий раз сострадательно указывал, что ничего извлечь из этих рассказов нельзя, так как в авторе не видно сколько-нибудь определенных “убеждений” Было слишком прозрачно, что это значило в устах такого “направленного” критика. Прозрачно было и в смысле предостережения начинающему беллетристу, и в смысле зова, и в смысле некоторой угрозы. Ибо дирижерская палочка Михайловского махала не только над толпою сотрудников своего журнала, но с нею сообразовались сотрудники еще целого ряда других однородных журналов» (ОПП, 178). Первые итоги литературной деятельности М. были подведены Р. еще в книге «*Религия и культура*»: «Он старается быть наивнее, чем есть; так сказать — приседает в уровень со своими *читателями*, и это вносит в его писания, в общем еще очень свежие, фальшь и отнимает у них то безупречно-воспитательное значение, какое именно искренностью своею имели сочинения Белинского, Чернышевского, Писарева» (РФК, 90). *Смерть* М. в 1904 Р. воспринял как кончину достойного противника и единственный раз отдал должное его литературному таланту: «О чем бы он ни писал, статьи его всегда читывались. Не всегда дочитывались до конца; но просмотр книжки журнала всегда начинался с его статьи. Можно было предвидеть приблизительно, о чем скажет он “по поводу того-то” (и от этого не всегда требовалось дочитать его статью): но в самой манере сказывания была известная привлекательность, стильность <...> После смерти Михайловского в литературе станет несколько скучнее: позволю сказать эту краткую похвалу всегдашнему своему литературному противнику» («Февральские потери» // НВ. 1904. 3 марта). Однако окончательный итог М. и всей *русской литературе* Р. подвел после октябрьского переворота в 1918: «Каким образом величайшая благожелательность, прямо “христианские чувства” — правда, без упоминания имени Христова, — и вечное служение родине, — только родине, — народу и только народу, — но не с забвением универсальных задач человечества, и вообще всего гуманного, просветительного, школьного, — каким образом

целый век служения “Литературе и жизни” (очень замечательное название на этот раз гениальных — именно в удаче названия гениальных статей Михайловского) привело именно к тому, что все “провалилось, погибло”, — и от России столько же осталось, сколько после закончившей дневную атаку броненосцев, — ночной атаки миноносцев осталось от знаменной эскадры адмирала Рожественского в Цусимском проливе...» (ОПП, 667; АНВ, 278).

А.Н.

МИЦКЕВИЧ (Mickiewicz) Адам [13(24).12.1798, Заосье, около Новогрудка, Гродненская губ. — 26.11.1855, Константинополь] — польский поэт. Упоминания о М. возникают у Р. в связи с *дружбой* М. с *Пушкиным* в публикации «Погребатели *России*» (НВ. 1909. 19 нояб.; ОПП, 424). О высокой оценке Р. польского поэта свидетельствует его высказывание в «*Пестрых темах*» (РС. 1908. 13 мая): «Поэзия <...> французов слаба <...> В поэзии они уступают даже полякам, ибо у них нет Мицкевича и даже близких к нему непосредственных, природных лириков и эпиков» (ВНС, 115). В той же публикации Р. сочувственно вспоминает поэму М. «Пан Тадеуш»: «И неужели когда-нибудь хватит у русских духа оттолкнуть от себя заунывные песни белорусов, такие печальные, такие нам родные? А с белорусами связана и Литва, а с Литвою — и *еврей* Западного края, совершенно неотделимая фигура на фоне западной русской *жизни*. Мицкевич был польский патриот, без всяких юдофильских тенденций, но правдою поэтического воссоздания он почувствовал невозможность, воспроизводя Литву, обойти фигуру еврея в Литве, и он создал приснопамятный образ еврея-цимбалиста (“Пан Тадеуш”») (ВНС, 116). В заметке «Из *мыслей* зрителя» (ЖТЛХО. 1908/9. № 7. С. 20–21) Р. обратился к стихотворению *Е. Баратынского*, восхищавшегося польским гением: «Я сказал, что *театр* мог бы быть таким же средоточием жизни, как и *литература*, — но отнюдь не вторя ей: Не подражай, — своеобразен *гений!* — сказал когда-то Баратынский. И стих этот, обращенный к Мицкевичу, который подражал *Байрону*, — приложим не только к поэтам, вообще не только к *лицам*, но и к областям *искусства*» (СХ, 284). Дружеские отношения Пушкина и М., как известно, осложнились полемикой, связанной с польским восстанием 1830. Пушкинская позиция в польском вопросе, отразившаяся в его стихах, вызвала резкую отповедь М. в его стихотворении «Русским друзьям» (из цикла «Отрывок» из III части поэмы «Дядя»). Ответом Пушкина явилось стихотворение «Он между нами жил...» (1834), которое Р. цитирует в своих размышлениях в связи с «окраинным» вопросом в публикации «В первый день новой парламентской сессии» (НВ. 1907. 20 февр.): «Окраины уже не скрывают мысли о вожденном отделении от России, которое может пройти под шум лязга ножей наших внутренних партий, ожесточенно кинувшихся друг на друга <...> *История*, впрочем, слишком старая на Руси: вспомним Пушкина и Мицкевича: “Он посещал беседы наши. С ним / Делились мы и чистыми мечтами, / И песнями...”. Но закончилось все с другой стороны “Валленродом” и заветами вечной мести» (РГО, 297). Р., как многие в России в конце XIX — начале XX в., осуждал идею поэмы, считал

вредным ее влияние на польское общество, что отразилось в его статье «Белоруссия, Литва и Польша в крайнем вопросе России» (НВ. 1909. 18, 22, 27 сент., 4 окт.): «Русское правительство, благоразумно разрешившее постановку памятника Мицкевичу, конечно, не имеет ничего против его “Пана Тадеуша” и “Дедов”, против почитания его имени поляками; но никак не может сладко улыбаться при воспоминании о “Конраде Валленроде” и остаться равнодушным, если поляки и Польша зачитываются им». Россия озабочена, пишет Р., тем, чтобы не возникало «“планетных возмущений” и <...> из этой основной цели вытекают все подробности действий русской власти в Польше» (СМР, 294–295). И далее: «Пусть <...> <поляки> побольше читают “Пана Тадеуша” и совсем забросят ничтожно-зловонного “Валленрода” — и тогда и с русской стороны они услышат <...> новые речи, новое отношение, сперва культурное, а затем очень скоро и политическое. Вот путь!» (СМР, 300–301). В статье «О благодущии Некрасова» (МИ. 1902. Т. 9. № 2) Р. писал: «У нас “демократизм” есть не юридический термин, не политический, не программный, это — бытовая психология и почти мировая метафизика. Польша и поляки, где все “нопог”, чужды нам не в частях своих, не в подробностях, а в целом и слитном своем составе. Мы и они по психологии как бы взаимно непроницаемы. Мицкевич не соединил нас с ними, несмотря на дружеские в России связи, — ибо ушел под конец в ту же национальную хвастливость, “мессианизм” Товянского и свой. Замечательно, как худо в России прививается национальный “мессианизм”, выраженный славянофилами и частью Достоевским: он подсекает главную добродетель России — скромность (“зрак раба”, не “заносись в мечтах”»)» (ОПП, 136–137).

О. В. Цыбенко

МОКИЕВСКИЙ Павел Васильевич (1856–1927) — философ. В статье «Обнаженный нововременец» — вслед за *Вл. Соловьёвым* именуется Р. «Иудушкой»: «Откровенность, с которой г. Розанов сообщает публике о своих интимных переживаниях, о своих мыслях и чувствах, позволяет нам между прочим заглянуть в душевную лабораторию одного из самых типичных “нововременцев”, одного из тех политических флюгеров, которые всегда могут писать в каком угодно духе, защищать или порицать какие угодно учения, быть и правыми и левыми, и центром и крайним флангом, лишь бы попасть в струю господствующего течения, лишь бы “иметь успех”» (Русские Записки. 1915. № 9. С. 306–307).

А. Н.

МОЛЕШОТТ Я. — см. в статье *Бюхнер Л.*

МОЛОХОВЕЦ Елена Ивановна (1831 — после 1911) — автор книги «Подарок молодым хозяйкам» (СПб., 1861; 27-е изд. 1912). Р. посвятил ей статью «Тайнственная посетительница» (НВ. 1911. 10 мая). М. принесла свои новые книги на рецензию Р. «Боже мой: передо мной стоит “баба-повариха” всей России: называю ее так стихами *Пушкина* из “Царя Салтана” Вот не ожидал: “баба-повариха” должна быть естественно грубая, толстая, в засаленном платье, с красными руками. Между тем передо мною стоит старосветская помещица из

Гоголя, из его ранней поэтической поры творчества. Особенно мне нравилось, что она так молчалива» (ТПРН, 96). В разговоре М. стала «с удивительным знанием и точностью приводить места из Священного Писания». «Я ушам не верил: “баба-повариха” была в то же время Кассандрой! Хотя она говорила почти шепотом, но нельзя пересказать ее одушевления. Но меня еще больше поразило то, что это был светский, отчетливый, почти научный шепот, нисколько не “заскорузлый” такой ветхой, милой старушки “из Гоголя” Что-то речь коснулась *Победоносцева*, по моей или по ее инициативе, не помню. Она быстро заговорила: — Разве вы не помните слов Иеремии: “Тьма обуюла нашими книжниками” Я путаю слова и, может быть, имя пророка: она сказала строки три такого словесного великолепия, такого чекана, что я, как немножко литератор, окаменел от восхищения. “Вот-вот, — продолжала она. — Победоносцев и был этим. Он был учен, талантлив, соглашаюсь — честен: но не другой кто, а он привел Россию чуть не к гибели, и оттого, что “не повиновался воле Божией” <...> Он вредный человек для России: для чего он не слушал пророчеств, так явных» (ТПРН, 96–97).

А. Н.

МОЛЬЕ́Р (Molière) (наст. имя — Жан Батист Поклен; 15.1.1622, Париж — 17.2.1673, там же) — французский комедиограф. Р. относил его к высшим образцам драматургии. «Такие люди, как *Шекспир*, Мольер или *Островский*, — исключение. Это всецело люди театра. И скорее к литературе они принадлежат боковым образом» (СХ, 299). Говоря об искусстве комедиографа, Р. отмечал: «Суть не в том, чтобы “написать комедию”, т.е. вот столько-то действий и с такими-то смешными персонажами, а написать как *Грибоедов*, как *Фонвизин*, как Мольер или Шекспир. Суть во вкусовой, в художественной стороне вещи, и это не только в литературе, но и преимущественно и главным образом в жизни, в реальной истории» (ЛВИ, 544–545). М. рассматривал Францию комически, и Р. замечает, что «в комедии есть свой смысл. Комедия, в сущности, добрее. Комедия снисходительнее» (ПЛ, 252). О так называемом «влиянии» М. или Шекспира на *Пушкина* Р. пишет: «Мольер и Шекспир прошли по нему, но не имели силы оставить его в своих оковах, которых, однако, он не разбивал, которых даже не усиливался снять. Все сошло само собою: остался русский человек, но уже богатый всемирным просвещением, уже узнавший сладость молитвы перед другими чужеродными богами» (ОПП, 38). Р. отмечает изумительную способность Пушкина видеть «в каждом из владевших им гениев <...> ограниченное, узкое односторонне-душевное (суждения о *Байроне* и Мольере)» (ОПП, 44–45). Встречаются у Р. и крылатые строки из комедий М.: «Ты этого хотел, Жорж Данден» (ОНД, 219).

А. Н.

МОММЗЕН (Mommson) Теодор (30.11.1817, Гардинг, Шлезвинг-Гольштейн — 1.11.1903, Шарлоттенбург, близ Берлина) — немецкий историк римской Античности, лауреат Нобелевской премии (1902). Р. отмечал: «Я жадно (безумно) читал в гимназии: но уже в университете дальше начала книг “не ходил” (Моммзен, Блюнчли)» (У, 81). *Характеристика* М. дана

в статье Р. «Моммзен и Ренан» (МИ. Хроника. 1903. № 13), посвященной памяти этого историка: «Он вносил в изучение *Рима* прусский дух, как он сложился во времена *Бисмарка*, *Мольтке* и *Вильгельма “Великого”*» (с. 133). Отметив, что деятелей Античности — «преемников *Александра Великого*» — М. называет «маршалами», Р. заключает: «Мы почти без ошибки можем предположить, что не *Рим* впечатлениями своими залил для него зрелище современности, а современность, могуче вившаяся в груди историка, из нее разлилась на равнины и предгорья архаической *Италии*, северного побережья Африки, переднюю Азию и осветила прусским светом весь античный *мир*» (с. 134). По мнению Р. «в Моммзене нужно различать две стороны: несравненного лингвиста, юриста и археолога и затем изобразителя синтетической *истории*, т.е. целостных *судеб* и характера *Рима*. Только третьей стороны *истории*, так называемой “*философии истории*”, — пожалуй, самой проблематичной, но и самой ее влекущей стороны, он никогда не касался и не имел самого инстинкта ее коснуться» (там же). Говоря об анализе историком «Записок о Галльской войне» Юлия Цезаря, Р. заключает, что «в знаменитой моммзеновской характеристике больше прусской действительности и меньше римской действительности; что это в своем роде историческая “шилловщина”, т.е. пафос мещанина девятнадцатого века, бюргера и члена парламентской партии, окруживший *лицо*, существенно не патетическое, бронзовое, великое и... совсем, совсем с другим устройением *души*, чем какое нарисовано историком <...> “Ты мне не брат”, сказал бы Цезарь, удивленно отстраняясь, Моммзену» (там же). «Бесспорным остается то, что Моммзен есть гениальный изобразитель “Судеб римского *правительства*”, изяснитель “Римской правительственной системы”, но в которой совершенно меркнут, отодвинутые на третий план, а то и вовсе зачеркнутые “Народная римская история”, “Религиозная (или хоть сказочная) римская история”, которая — пусть и в небольшом объеме — однако все-таки есть <...> Но это уже неуловимое и поэтическое *истории*; а Моммзен никогда к этому не имел сочувствия», — резюмирует Р. (с. 135–136). В «*Сумерках просвещения*», критикуя систему гимназического образования 1880–1890-х, нивелирующую учеников, Р. заметил: «Это — вместо ожидавших Моммзена, Курциуса, *Лепсиуса*, которых уже предвкушал для нашего общества гр. *Д. Толстой*» (СП, 176). В очерке «*Пестрые темы*» (РС. 1908. 30 апр.), говоря о декадентских вечерах в доме Вяч. Иванова, Р. напоминает, что Вяч. Иванов слушал в Берлине лекции М. и написал у него монографию о «римских податях». «Моммзен сразу же оценил *труд*, привлек к себе талантливого ученика и вообразил, что он будет заниматься римскою историей. Но русский есть русский, и Вячеслав Иванов предпочел заниматься декадентством» (ВНС, 112). В статье «Увеличение университетской наукоспособности» (НВ. 1908. 21 нояб.) Р., касаясь «неудобоваримости» университетского курса «всеобщей истории», отмечает: «Каким образом современники Моммзена, гр. *Д.А. Толстой*, гр. *И.Д. Делянов* и вся последующая серия министров *просвещения* не догадались войти куда следует, войти с докладом, что нельзя же при Моммзене и после Моммзена русским университетам существовать без специальной кафедры

римской истории <...> Поступи-ка Моммзен на службу в русский университет: как профессор “всеобщей истории” он <...> бы не выдержал: или проклял все и остался собою, но, выйдя в отставку (у нас — судьба *Менделеева* и *Мечникова*), или был бы “исполнителем на службе”, но уже умер бы как Моммзен, — умер бы как мировой ученый, как наставник учителей» (ВНС, 300). «Везде Рим и Грецию мы знаем через Винкельмана и Моммзена», — заключает Р. (ПЛ, 166).

В.Н. Дядичев

МОНТЕСКЬЁ (Montesquieu) Шарль Луи де Секонда, барон де Ла Бред (18.1.1689, Лабред, близ Бордо — 10.2.1755, Париж) — французский философ и писатель. Р. называет М. среди крупнейших мыслителей и писателей прошлого. О теории трех властей у М. речь идет в статье Р. «Монтескьё и земские начальники» (НВ. 1900. 6 июля). Еще в седьмом классе гимназии он читал М. (У, 256). В 1895 Р. писал *Н.Н. Страхову*: «Не сделать зла, не огорчить, не раздражить, не расстроить — это в *истории* и *жизни* ценнее, чем взять город приступом. Монтескьё сказал: “Счастлива страна, которая не имеет истории”; “а Вы все хотите событий”» (ЛИ, 313). В 1907 в статье о *М.В. Нестерове* (ЗР. 1907. № 2) Р. писал: «Вспомним изречение Монтескьё: “Счастливы народы, которые не имели истории” Шум *времен* есть “история” в смысле сцены, драки, свалки, шума и грязи. Наши тихие *дома* не имеют “истории”, и чем меньше в них “историй” — тем, конечно, лучше» (СХ, 257). В «Максимах» М. имеется запись: «Счастлив народ, у которого скудная история». Английский писатель Т. Карлейль (Карлайл) в *книге «Французская революция»* (1837. Т. 1. Кн. 2. Гл. 1) заметил: «Философ-парадоксалист, договаривая до конца афоризм Монтескьё, сказал: “Счастлив народ, у которого нет истории”». В *книге «В мире неясного и нерешенного»* Р. вспоминает «улыбку доброго мусульманина Рика» из романа М. «*Персидские письма*»: «В Испании жгут людей с таким легким сердцем, как бы это была солома» (ВМНН, 42).

А.Н.

МОПАССАН (Maupassant) Ги де (полное имя — Анри Рене Альбер Ги де Мопассан; 5.8.1850, замок Миромениль, деп. Нижняя Сена — 6.7.1893, Париж) — французский писатель. Впервые Р. высказался о М. в статье «О символистах» на страницах «*Русского Вестника*» (1896. № 4; РО. 1896. № 9; издана брошюрой под названием «*Декаденты*», 1904). *Символизм и декадентство*, по Р., — синонимы. «Родина символизма и декадентства, как известно, есть Франция» (ЛВИ, 413). М. воспринят Р. как предтеча «знаменитой “школы”» (ЛВИ, 414) — символизма. Р. предостерег *читателя* от расширительного истолкования своих суждений о М., которого он тогда еще не читал, а был знаком лишь с изложением рассказа «Бракоразводное дело» («Дело о *разводе*»): «Мне, (к сожалению) не случилось что-нибудь прочесть из Мопассана или *Золя*, но вот выдержка из Мопассана, как она передана была в одной критической о нем статье» (там же). Речь идет о статье Н. Л.-на «Гюи де Мопассан» (РВ. 1894. № 10). Определяя декадентство как «беспросветный эгоизм» (ЛВИ, 419), Р. сближает *Ницше* и М.: Ницше — «декадент человеческой мысли», а «Мо-

пассана можно считать декадентом человеческого *чувства*» (там же). Вслед за Ницше «и Мопассан тоже» отнесен к «сверх»-человекам (там же). *Религия* «сверхчеловека», символизм и декадентство, с точки зрения Р., «генетически» восходят ко всему «гениальному и высокому, что было создано “несвязанной личностью”, “свободной личностью” западной культуры <...> от Возрождения до Эдиссона» (ЛВИ, 420). Идеал Р. — человек, сознающий себя идейно «связанным», обретающий спасение в лоне «церкви сложившейся» (там же). Год спустя Р. обращается к М. в контексте полемики с М. *Меньшиковым* («Кроткий демонизм» // НВ. 1897. 19 нояб.), который считал, что «древние пророки и вероучители едва достаивали половую любовь своего презрения» (РФК, 156). В негодовании Р. «пропел» гимн в честь книги «Руфь» и всей Библии, которая «льется благословениями святой, но опять именно чувственной <...> любви» (там же). Без нее «человечество рассыпалось бы ненужным и холодным мусором, да и рассыпается по грозному обетованию Спасителя: “И в конце времен охладает любовь”» (РФК, 157). В обоснование последнего аргумента и привлекается Р. художественное свидетельство М. — роман «Милый друг» (1885) и его герои — Жорж Дюруа, его невеста Сюзанна Вальтер. Меньшиков «не заметил, что мутные и грязные явления любви, каких, например, множество мы читаем в “*Bel ami*” Мопассана, — все развиваются именно на почве “хладяющей” любви, не жгущей более и потому именно манящей к грязному и “холодному” <...> “разврату”» (там же). И Жорж Дюруа, который «не в силах любить более двух недель» (там же), и юная невеста, горячо любящая «этого отвратительного юношу-старика» (там же), дают пищу для «множества размышлений» (там же). Одно из них родилось у Р. на пересечении суждений о романе М. и об «условиях нашей жизни» (там же): «Таким образом, *целомудрие*, т.е. сосредоточенная, нерастерянная чувственность, есть условие великой прочности *семьи*, долгого горения в ней очага Весты, семейной верности, теплоты» (там же). В заметке «*Армия* и парламент» (НВ. 1907. 19 апр.) Р. иронизировал над думцами — «кадетами, эс-деками» (РГО, 391), которые равнодушны к строфам и прозе о русской армии *Лермонтова*, *Пушкина*, *Толстого*. «Им ближе *Надсон* и Мопассан» (там же). Роман М. «Жизнь» (1883) побудил Р. выступить с программной статьей «Один из певцов вечной “весны”» (НВ. 1909. 31 июля, 6 и 14 авг.): «Я прочел в новом издании “Истории одной жизни” Мопассана, — “*Une vie*”, — и мне нетерпеливо захотелось сказать несколько слов читателям об этом романе, вероятно, уже прочитанном всею *Россиею* в бесчисленных изданиях этого любимого и французского, и русского писателя» (ОПП, 359). Роман М. был прочитан Р. в новом переводе *А.Н. Чеботаревской*, опубликованном в составе Полного собрания сочинений М. (СПб., 1909. Т. 3) под заглавием «История одной жизни». В ходе публикации смысл статьи подчеркивался в изменении названия ее частей: «Мастерство слова у русских и французов» (НВ. 1909. 6 авг.), «Русское и французское мастерство слова» (НВ. 1909. 14 авг.). Заглавия определили сопоставительную направленность статьи. Общее название обосновано в размышлении Р. о *природе* дарования М. «Кроме “любви” есть именно семья, категории “мужа”, “отца”, “матери”, “деда”, которые все рожда-

ются из “любви”, но уже эту любовь отрицают и ограничивают <...> Вот что забывал Мопассан! Во всех решительно произведениях это забывал он! Он пел весну. А есть еще лето, осень и зима. И они не менее божественны, чем весна <...> Мопассан поет, везде пел — только весну. В этом ошибка всей его литературной деятельности» (ОПП, 361). Правда, — уточняет Р., — «*философия* “весны и природы”» (ОПП, 360) только в этом единственном произведении М. — романе «Жизнь» — не торжествует безраздельно. В романе есть «*нравственный суд*» (там же), его «держит Жанна, ее *страдания*, лестница этих страданий» (там же). И вынужденно — сам автор. «Конец-то весенних удовольствий и вышел так трагичен, так страшен, колесо “весны” так давит людей, что Мопассан раздвоился и вдруг выдвинул *нравственный суд* <...> и Жюльены, и Жильберты вдруг названы настоящим своим именем — эгоистов, негодяев и, по совершенной бесчувственности, даже болванов» (там же). «Двойственность» М. демонстрируется Р. в ответе на вопрос: «Какова точка зрения самого Мопассана на все рассказанное?» (ОПП, 359). С одной стороны, М. повествует «так спокойно, твердо, без потоков лирики, без особенной авторской скорби, как мог бы все это рассказать только Жюльен» (ОПП, 359–360). И еще определеннее: «Рассказчик — Жюльен. Отсюда вся прелесть и точность рассказа. Отсюда вся великая историческая его цена» (ОПП, 360). С другой стороны, восприятие «второго пласта» романа, подчеркивает Р., «зависит единственно от сочувствия автора и читателей Жанне» (там же). Распад семьи, гибель семейных устоев, участь Поля, разорившего мать, — все это подвигло Р. спросить: «Кто виноват?» И ответить: «Виноват строй, виновата *цивилизация*» (ОПП, 363). Под цивилизацией подразумевается система общественного *воспитания*, церковь, *католичество*, замолчавшее «неприятные ему строки Библии: “того ради оставит человек отца и мать и прилепится к *женщине*”» (там же). По мнению Р., роман М. «есть только развитие <...> коренных тезисов католического *брака*» (ОПП, 365), где «муж есть “существительное”, женщина — “прилагательное”» (там же), связь их навсегда, а имущество — у мужа. Из лукавства католичества и возникли «известные французские нравы» (ОПП, 366): «В таинстве (исповедь — таинство) оно разрешило любовные связи — то, что в другом таинстве (брак) — запретило» (там же). В «беспечности церкви» видит Р. «*корень* упадка христианского общества»; закономерно, что «из *Франции* первой полетели камни в *Ватикан*, а Мопассан <...> зарисовал свой иронический, правдивый и страшный рисунок» (ОПП, 367). Проблема еще не наступившего «настоящего русского *влияния*» (там же) на все человеческие отношения предшествует сопоставительному анализу *искусства* французского и русского, *творчества* М. и Толстого. Р. сравнивает М. — с Толстым и *Писемским*. «Цель у троих авторов одна: воспроизвести жизнь. Как же они ее воспроизводят? Мопассан — в обобщении, “с высоты птичьего полета” У него панорама. Русские — в подробностях, в частности <...> У Мопассана — это обычные черты так называемого “французского гения”» (ОПП, 370), «сплошное обобщение», «изящнейшие “объяснения”», наконец, *гений французского языка* — «точного, изящного в точности» (там же). Черты «французского гения» обрели в

«Жизни» такое совершенство, что Р. с легким сердцем признал роман «великим произведением Франции» (там же). В сопоставлении с романами Толстого этот роман М., по суждению Р., обладает рядом преимуществ. Жизнь Жанны «от пансиона до бабушки: это — полнее и протяженнее, чем *судьба* Наташи Ростовой в “Войне и мир” <...> не говоря уже о “Карениной”, где разработан только “адюльтер”» (ОПП, 371). В романе М. воссоздана история трех поколений одной семьи и поэтому жизнь Жанны «становится совершенно ясною <...> Русский романист не сумел бы рассказать этого иначе, чем в трех романах» (там же). М. добился цели, введя в сюжет романа два молниеносных эпизода, «до того ярких в схематичности своей, как подобного нет во всей *русской литературе*, — именно по чеканности, по сжатости работы» (там же). Первый эпизод — разгневанный изменой зятя барон, отец Жанны, вдруг слышит от *священника* «что все так поступают» (ОПП, 372). Р. обращает внимание *читателя* на схожий эпизод в «Обрыве» *И.А. Гончарова*, на «тон речи у романистов» (там же). Второй эпизод — Жанна узнает, что у «мамочки» был пылкий роман с другом *дома*. «Открытие Позднышева в “Крейцеровой сонате”, что его жена любовно музыканит с новым знакомым, — какие пустяки перед этим открытием Жанны!» (ОПП, 374). Р. упрекает русских авторов, которые «запутываются в описаниях» (там же), «русские обычно описывают только эпизод <...> сил нет описать “всю жизнь”» (там же). «Сжатостью» *стиля*, полнотой объяснений М. отличается от «русской беллетристики» (там же). Здесь, в этой части статьи, — кульминация в апологии *искусства* М., обладавшего «орлиным взглядом» (ОПП, 376) и «мастерства обобщающей Франции» (ОПП, 375). Антитеза между «русской школой» и «французской школой» достигает апогея в парадоксальной оценке сочиненного Мопассаном романа «Жизнь»: «Получились схемы и ни одного живого лица, никакого *портрета*. Жанна, Жюльен, барон, баронесса. Поль — манекены социальных положений» (ОПП, 381). У Толстого же — и Стива, и Анна — живые лица «и просто видя их — понимаешь все их поступки и “судьбу”» (там же). Венец антитезы — образ «совершенно живой жизни, которую “портретно” нарисовал Толстой» (ОПП, 382), а у М. — «куклы-люди», «кукольна вся жизнь их», да и «нет самого романа», «это — социология» (там же). В концовке статьи доминирует идея Р. о равноправии двух литератур — русской и французской, их суверенности и *дружбе* между ними — «без завидования и недоброжелательства» (ОПП, 383): «Они оба (метода) нужны. А *voilà d’oiseau* <с птичьего полета> видна судьба страны, — такая *вещь*, которой никакой рентгеновский луч не покажет, никакое “внутреннее освещение лица” не объяснит. Превосходная чеканка, как у Мопассана, есть, хотя искусственная работа, но превосходная работа <...> Мы, Русские, до того привыкли к “натуре”, что ничего не ценим вне ее, но цивилизация есть не натура, а работа человеческого духа над натурой <...> Русская и французская литературы должны быть дружны, но не должны одна другой повторять. У нас — свой алтарь, там — свой» (ОПП, 382–383). Последнее обращение Р. к М. — в записи из «*Мимолетное*» от 27 июля 1914: «*Шперк* мне как-то сказал: — Что вы думаете, — *Достоевский*, если и прочитан, то только ради

занимательности фабулы романов, как читаются Зола, Мопассан и *Боборыкин*» (КНУ, 475).

В.П. Балашов

МОРДВИНОВА Вера Александровна [25.8(6.9).1895, г. Ковно — 1.10.1966, Нью-Йорк] — московская *курсистка*, близкий друг Р., с которой он переписывался в 1914–1915 (118 *писем* М., письма Р. утрачены), знакома с *П.А. Флоренским*. 27 ноября 1914 Р. записывает в «*Мимолетном*»: «С 28 сентября (на штемпеле конверта) и в течение октября и ноября — дружба с Мордвиновой. Она не писала отчества, и я называл ее все “Верой” Она меня — никак; только в первом “Вас. Вас.” *Курсистка*. Москва. Все лежит. По карточке — прекрасна. Ее друг — Калиночка и все подробности. *Семья, быт*. Много расказов: 19 л. 2 мес. 10 дней (в 1 письме). Я ее прямо полюбил по письмам: такого глубокого совпадения по взглядам я никогда не встречал. О *Герцене* она написала с презрением: “Герцен еще в люльке пищал: не хочу самодержавия: — я республику хочу” Как это старо и опытно сравнительно с *Гершензоном* и *Айхенвальдом*, “ветеранами” *истории литературы*. О старой нашей письменности: “Я не знаю более глубокой литературы, чем эта” Это — о том фазисе, о котором *Белинский* изрек, что “там не было вовсе литературы” Горда. Страстна. Мечтает поехать в Индию, но плевет и было воспаление легких. Ее рассказ, как она часто видит Государя во сне — поразителен по *красоте*, изшестству. Вообще вся духовно изящна и сильна. Мы с ней в письмах страшно сдружились. Прямо полюбили друг друга» (КНУ, 584–585). Встречались они впервые в Москве, ежедневно «между 7-м и 10-м декабря 1914 года» (ВВ. 1916. Т. 13/14. С. 86), после чего М. стала подписывать свои письма: «Ваша, вас любящая В. Мордвинова». Р. прислушивался к ее литературным суждениям: «Мордвинова верно сказала (в письме ко мне): “Я думаю, *Достоевский* сказал бы *Мережковскому*, если б знал его, то же, что сказал Ставрогин Шатову: “Извините, я вас не могу любить” Конечно! Конечно! *Достоевский* весь *боль* за *Россию*, к которой *Мережковский* так нескончаемо равнодушен» (М, 49). Говоря о теплоте и *интимности* в *творчестве* *Достоевского*, Р. приводит слова М., которая «гениально воскликнула: “Он — мой” и ничего не прибавила. Я чувствовал это еще интимнее: “Он — я”» (Там же, 303). Р. предполагал поместить письма М. в один из томов «*Литературных изгнанников*». В 1919 она вышла замуж за меньшевика С.М. Шварца и в 1922 вместе с мужем была выслана из России. В эмиграции печаталась под *псевдонимом* В. Александрова в «Социалистическом Вестнике», «Русской Мысли», «Новом Русском Слове», «Новом Журнале», «Воздушных Путиях», «Мостах». В 1952–1956 М. — главный редактор Издательства им. *А.П. Чехова* в Нью-Йорке, где в 1956 под редакцией Ю. Иваска вышло «Избранное» Р. с большими купюрами идеологического характера. В статье «Розаново-равная Вера» Иваск пишет о М.: «Можно назвать ее Музой Розанова. И вся переписка: общение двух *душ* (у которых гётевское избранное сродство). Душ очень земных, с земными интересами, с *жалостью* к земле, иногда и с земной *радостью*, но это именно души. С таким душевным строем нечего делать на земле — пусть и любимой <...> Розанов писал, что все ученые курсистки (напр.,

читающие *Маркса*) лесбиянки! Вера это отрицала, а сама дружила только с какой-то “курсихой” Калиночкой и эпистолярно с Розановым. Это только чуть-чуть Лесбос... Вообще же так называемые половые признаки в переписке Веры с Розановым вторичны, как у любой души... Она писала о “духовном гнездышке”, которое она свила у Розанова, и в этом гнездышке она скорее мать птенца — 57-летнего Вас. Вас.» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 2. С. 187–188). В письме к Р. 4 февраля 1916 Э. Голлербах поделился своими впечатлениями от публикации писем М. к Р. в журнале «*Вешние Воды*»: «Я знаю, Вы со мной не согласитесь, если я скажу, что на каждой строчке ее писем есть налет наивной вульгарности или вульгарной *наивности*, если только эти качества совместимы. И дед у нее замечательный, и отец замечательный, и сама она замечательная (“мама у меня аристократка”, “дедушка у меня аристократ до мозга костей”). В. М-ва в некотором роде — второе, немного улучшенное и дополненное, издание Мани из “Ключей *Счастья*» (ВНС, 399). На это Р. возражал ему как любящий человек: «По моему глубокому убеждению, в *силе* суждений В. М-ва не уступит никому из “нашей пишущей братии” и не к водопою из “Ключей счастья” ее подводить. Тут просто “мой милый Эрих” ничего не понимает в человеке и в написанном, что он читал (письма В. М-вой). Он не слышит ее души; он глух к ней: и это даже научно любопытно: отчего из двух умных и прекрасных людей один может совершенно не слышать другого?! Есть, что ли, разные категории душ? Разные камертоны душ, разные напевы душ? Тогда как много разьяняется в *судьбах* и в ходе литературы!!!» (ВНС, 341–342). В одном из последних писем к Голлербаху в октябре 1918 Р. вспоминает и перечисляет свои любовные увлечения: «4 девушки, две курсистки, 1 учительница *музыки* и 1 “ни то, ни другое”, но симпатичнее всех на свете курсисток, и даже еще одна, уже пятая, и “почти одна”, на Кавказе (никогда меня и не выдавшая) хотели “отдаться” мне, отдавались мне, на почве лишь безграничного моего к *женщинам* уважения, на почве, в сущности, той, что я сам на женщину смотрю, ее почитаю и чту, как Аписиху. Причем 1 видела меня только один раз, была лесбийски связана с другою благороднейшею *девушкой*; и она, эта девушка, с которою она была связана, сама оставила меня “для *ласк*” с нею, и она меня стала “ласкать”, а потом и совокупилась со мною, когда “он встал” Не чудо ли это, не сущее ли чудо? Чудо близости какой-то ноуменальной. И клянусь Вам, — о, слишком клянусь: из 4-х или даже пяти — не было ни единой сколько-нибудь развратной, сколько-нибудь распушенной, сколько-нибудь “позволяющей себе”» (ВНС, 374–375). Речь, видимо, идет о курсистках *В.И. Стукачевой* и М., учительнице музыки *В.И. Рашевской*, *А.И. Цветаевой* и Н.С. Архипповой на Кавказе. Наибольшую привязанность, как видно из писем, Р. испытывал к М., с которой он виделся в декабре 1914. Очевидно, о письме М. из Москвы со словами: «Васенька, приезжай, зацелую до *смерти*», вызвавшим скандал в *доме* Р., идет речь в сообщении *Ф.К. Андреева* (см.) П.А. Флоренскому. Р. опубликовал письма М. в «*Вешних Водах*». В сокращениях эти письма М. напечатаны в *книге*: Розанов В.В. Из жизни, исканий и наблюдений студенчества / Изд. А.Ф. Мальшевского. Калуга, 2006. А.Н.

МОРОЗОВ Давид Иванович [18(30).12.1848, Москва — 15.5.1896, Киев] — предприниматель-старообрядец, общественный деятель, меценат. Субсидировал издания «*Русское Обозрение*», фактическим издателем которого он был. Р. познакомился с М. в *Петербурге*, куда М. часто ездил по делам своей компании. Встреча произошла в октябре 1893, когда *Т.И. Филиппов* пытался «надавить» на М. и сделать Р. соредктором «*Русского Обозрения*». М., однако, совершенно не вмешивался в редакционные дела. Слухи о денежных злоупотреблениях редактора *А.А. Александрова* (скорее всего преувеличенные) несколько охладили М., но он по-прежнему, до самой своей *смерти*, продолжал финансировать журнал, потратив на его издание 200 000 рублей. Из переписки Р. с *С.А. Рачинским* известно, что летом 1895 *Т.И. Филиппов* опять пытался использовать М. в своих личных целях и опять через Р. В РГАЛИ сохранилось письмо Р. (черновик) к М. (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 332). Имя М. упоминается Р. несколько раз. Говоря о его скромности, Р. отмечал: «Что можно представить себе добрее ясного Давыда Ивановича, который, имея большие миллионы в кармане, был прост и непритязателен, “как мы с вами”» (М, 151). Размышляя о роли купечества, русских промышленников, Р. пишет: «Я оценил эти практические дары, думаю — редчайшие и труднейшие дары *человека*, самую высокую меру, ни в чем не уступает их подвиг и дар поэтам и философам. Всегда мне представлялось, что люди, как Курбатов, *Сытин*, Морозов, суть как бы живители местностей, а в сумме золотых голов своих и энергий — живители всей *России*» (М, 395). Наиболее обширный текст о М. помещен в «*Сахарне*». Начав рассказ о М. с его троюродной сестры Е.Г. Кривошеиной («он за всю свою *жизнь* не сказал ни одного умного слова и не сделал ни одного глупого поступка»), Р. далее как бы подтверждает это словами: «Давид Иванович <...> действительно говорил односложными словами и даже почти вообще не говорил. Он был крупного роста, и *лицо* у него было очень некрасиво <...> Но вот черта удивительного его благородства и тонкости». Далее он рассказывает о посещении М. бедной квартиры *С.Ф. Шарапова* и случае там с его женой: «Из тех немногих встреч, какие я имел с Дав. Ив., всегда он, бывало, вспомнит эту Наталью Ивановну и эту ее горячую защиту мужа, и как она “как курица бросилась на меня”» (СХР, 177, 178), когда М. произнес «несколько односложных порицательных слов» в адрес Шарапова.

М.С. Дроздов

МОРОЗОВ Николай Александрович [25.6(7.7).1854, село Борок, Мологский уезд, Ярославская губ. — 30.7.1946, там же] — теоретик *терроризма* в революционной борьбе, ученый, писатель, автор «*Писем* из Шлиссельбургской крепости» (СПб., 1910), где он пробыл в заключении с 1884 по 1905. В «*Уединенном*» Р. отмечает: «Никто не осудит “письма Морозова из Шлиссельбурга” (в “*Вестн. Евр.*”), но его “Гроза в буре” нелепа и претенциозна» (У, 36). Речь идет о *книге* М. «Откровение в грозе и буре. *История* возникновения Апокалипсиса» (СПб., 1907). М. фигурирует также в иронической записи в «*Опавших листьях*»: «*Толстой* искал “мученичества” и просился в Шлиссельбург посидеть рядом с Морозовым. — Но какой же, ваше сиятельство, вы Морозов? —

ответило *правительство* и велело его, напротив, охранять» (У, 200). Р. посвятил М. статью «Новый Робинзон» (НВ. 1910. 13 апр.), которая начинается с общей *характеристики* революционера: «Г-н Н. Морозов замечателен четырьмя *вещами*: 1) тем, что он 20 лет просидел в Шлиссельбургской крепости, 2) тем, что, выйдя из нее, он немедленно женился, о чем говорил весь *Петербург*, 3) что он нелепо объяснил Апокалипсис, и 4) что *Ренин* написал с него изумительный *портрет*, но сбоку, так что глаз не видно, “глаза” портрета *нищего* не говорят <...> И вот однажды я увидел его на одном литературном *чтении* <...> Тут “сверх программы” он прочел “новое свое стихотворение” ...о том, что “птички умирают зимою, и если бы зимы не было, то и птички бы не умирали” Ничего в стихотворении не было, но публика хлопала ему до одурения как “шлиссельбуржцу” Вдруг приставстал со стула и “запретил дальнее”, так как прочитанное “не было обозначено в программе”, в сущности же потому, что уже тогда началась реакция и в публичных чтениях все “времена года” были объявлены “недопустимыми”: весна — “как обещание”, зима — “как застой”, лето — “потому что оно очень жарко и напоминает *революцию*”, а осень — “как ни то, ни се”, т.е. жалоба на *правительство*. Распорядители вечера, конечно, подчинились...» (ЗРП, 129).

А.Н.

МОРОЗОВ Петр Осипович [13(25).1.1854, Нижний Новгород — 8.2.1920, Петроград] — историк *русской литературы*, библиограф, искусствовед, историк *театра*. В *письмах* к Р. 1910—1911 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 28) просил его о встрече «по некоторому литературному делу»; осуждал розановские принципы толкования семитской фонетики и письменности, проведенные им в статье «Иудейская тайнопись» (НВ. 1911. 11, 12 дек.; перепечатано в книге «*Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови*»). «Вы, ведь, еврейского и вообще восточных языков не знаете, — писал М., — а потому Вам легко ошибаться в своих заключениях, — особенно если Вы пользуетесь указаниями не вполне добросовестного советника <...> Прежде всего — о тайнописи. По-Вашему выходит, будто жида нарочно ее выдумали для того, чтобы сделать свою письменность недоступною для непосвященных. В действительности же она составляет основное свойство всех семитских языков: и еврейского, и арабского, и египетского, и сирийского, да, кроме того, и турки пишут тоже без гласных <...> Что касается разных способов *чтения* в синагогах, то они усваиваются по традиции» (ОР РГБ. Л. 4—5). В *помете* к письмам М. отражено представление Р. о своем корреспонденте: «Морозов Петр Осипович, издатель-редактор Академического издан. “Сочинений *Пушкина*”» (Записки отдела рукописей РГБ. М., 2004. Вып. 52. С. 447).

А.В. Ломоносов

МУРАТОВ Павел Павлович [19.2(3.3).1881, Бобров, Воронежская губ. — 5.10.1950, Уайтчёрч-Хаус, графство Уотерфорд, Ирландия] — писатель, искусствовед, переводчик. Рецензию на *книгу* Р. «*Итальянские впечатления*» (РМ. 1909. № 6) М. начал с похвал: «Кто понимает превосходный *стиль* В.В. Розанова, кто ценит глубину его *тем*, кто любит живую яркость его *мысли*, тот будет

рад его новой книге». Лучшие очерки, по мнению М., — «Помпеи» и «Пестум», где Р. «еще раз и с огромной *силой* высказался на свои заветные *темы*» (Там же, 158). Однако в целом *тон* рецензии критичен. По мнению М., «на большинстве очерков лежит слишком явная *печать* газетной работы» (там же). Хотя Р. пишет о том, «какими “впечатлениями” отразилась на нем *Италия*», его очерки обнаруживают явный недостаток фактичности: «Но, как раз, слово “впечатления” весьма мало идет к делу. Мысли “по поводу” и впечатления не есть одно и то же, а “мысли по поводу”, в сущности, только и составляют содержание книги. Удивительно, как мало здесь прямых впечатлений глаза, того, что французы называют *vision directe*» (Там же, 159). Пейзаж, по мнению М., отсутствует в книге Р., «а вместе с ним вычеркнуто пол-Италии». Увлеченность автора далекой от Италии общей проблематикой рецензент считает характерной особенностью отечественных авторов: «Может быть, то, что на место “пейзажа” в книге стали большие и малые вопросы и даже просто размышления о порядках и непорядках *жизни*, составляет непремennую черту всякой русской книги» (там же). Другой русской чертой, по мнению рецензента, «является странная несвобода или спутанность суждений при всяком почти соприкосновении автора с *искусством*»: «Мысль В.В. Розанова, сильная, острая, оригинальная, становится робкой, вялой, обыкновенной перед произведениями искусства <...> Им написана превосходная страница об “Умирающем Гладиаторе”, но ведь это только потому, что “чудесный гладиатор этот дал мне пережить несколько истинно-христианских минут” В непонятном и враждебном лабиринте картин и статуй В.В. Розанов ищет прежде всего “знаменитое” или “всемирно-известное”, покорно слушаясь какого-то авторитета. Но авторитет его весьма сомнительный и не далеко уходит от первого попавшегося платного или устного “гида” Поэтому-то Лаокоон и Аполлон Бельведерский “суть главные украшения музея скульптурных древностей *Ватикана*” Поэтому ничтожные *портреты*, ошибочно называемые “Форнариной” *Рафаэля* и “Беатриче Ченчи” Гвидо Рени, оказываются для В.В. Розанова “чудесами” *вдохновения* и *гения* и принадлежат к числу “*miracula*” <чудо>, на которые “весь свет сбегался смотреть” Но что гораздо важнее, по этой самой причине В.В. Розанов не видел в *Риме* и Неаполе греческого искусства, приняв за него греко-римские произведения эпохи упадка. И не поэтому ли в книге об Италии не говорится ни слова о художестве лучшей поры Возрождения, о XV веке, который навсегда останется гордостью, *славой* и *счастьем* человечества? <...> В книге много мелких фактических ошибок, но не в них, конечно, дело. Дело в нашей вечной несвободе и незрелости, которая одна только повинна в том, что такой писатель, как Розанов прошел в Италию мимо сокровищ гения и не заметил их, что автор “розановской” темы даже не вспомнил о ней при имени святого Франциска Ассизского». Более благоприятный отзыв содержался в книге М. «*Образы Италии*», где он писал: «В этой странной и такой чисто русской книге не слишком много Италии. Ее автор, чувствующий с единственной в своем роде глубиной уклад русской жизни, даже и в Италии всегда как бы повернут *лицом* к *России*. Не только его мысли, но даже и взоры его обращены

домой. Он не был свободным странником, есть что-то похожее на “отпуск” в его досуге и на “отлучку” в его путешествии. Но слеп будет тот, кто не заметит и в этих страницах “Впечатлений”, особенно там, где Розанов соприкоснулся с античным, алмазов чистой воды и черт гениального воображения» (Муратов П.П. *Образы Италии*. СПб., 1911. Т. 1. С. 12). Р. написал рецензию на второй том книги М. «Образы Италии» (НВ. 1912. 3 янв.). Он отметил «большой успех у читателя» (ПВ, 10) вышедшего ранее первого тома книги М. и считал его вполне заслуженным «по влюбленному отношению автора к Италии» (ПВ, 11). Р. пишет о новом томе: «Главный интерес г. Муратова — в итальянском возрождении, он равнодушен к папству и *вере* папской, которая тоже имеет свои тайны и очарования; немного уделяет внимания и классической Италии; истинная его сфера — мастерская художников, живописцев и скульпторов. Но он смотрит не картины: его занимает личность художников и их сюжеты, т.е. естественно вся зримая и вся воспоминаемая Италия; и значит, в конце концов, занимает вся Италия, но под углом, как она открывается не верующему, не политику или философу, а — художнику» (там же). Главные достоинства книги, по мнению Р., связаны с любовью автора к Италии: «Он влюблен в ее пластику, в ее воздух, в сцены утренние и вечерние городов и полей...» (там же). Р. отмечает, что книга М., вводящая в атмосферу Италии, представляет несомненный интерес для туристов: «Он путешествует с путешественниками, или путешественники (благоразумно запасшиеся книгою) путешествуют с ним: а он им рассказывает и воспоминает о площадях, о зданиях, о целых областях, о картинах и статуях, о героях, страдальцах и убийцах Италии <...> Известно: закоулки всегда интереснее улиц. Прочтите у него в описании Неаполя или в “образе Неаполя” о *Via Toledo*» (там же).

В.А. Фатеев

МУРАХИНА Любовь Алексеевна [урожд. фон Цеппелин; 25.12.1859 (6.1.1860), герцогство Мекленбург-Шверин, Германия — середина октября 1919, Петроград] — писательница, переводчица. Э. Голлербах в книге «В.В. Розанов. Личность и творчество» (Пг., 1918) опубликовал ее личные впечатления о Р.: «25 июля (7 авг.) 1918 г. ...На мой взгляд, Василий Васильевич — удивительно женственное (в симпатичном отношении) существо, сложное, тонко сплетенное, нежное, хрупкое, нуждающееся в постоянной сердечной ласке, в нежнейших заботах и попечениях о себе; такое существо, которое так и хотелось бы взять на руки, сладко покормить и снести также в отдельный от “улицы” храм с открытым лишь потолком, открывающим вид на царство “ноумное”, к которому так тянется это редкое существо» (PRO, 2, 306). М.М. Спасовский, главный редактор журнала «Вешние Воды», где печаталась М., познакомил ее с Р. В письме Спасовскому 30 августа 1918 Р. писал, что без него М. не прислала бы Голлербаху «своих белоснежных слов. Ими, как снежком на могилу, посыпала старушка милая и юная старику, 62-летнему писателю. Как ей “спасибо” Какое чудное понимание — о женственности во мне, о том, что нужно “позаботиться” обо мне, — и особенно о прозрачности и о полной ясности моей души: а ведь видела она меня всего 3–4 раза, и мы пили

“чай без прикуски” и курили тощие папироски. Но ее громадное образование (знает 8 языков и Древнюю историю) и генеалогия из графов Цеппелин, как она говорит, — из чешских графов, ее бешеное “умру за Россию”, “Россия — спасет человечество!” — сделало дело. И она обвеяла мою старую и тоже юную душу, как я не видел ни от кого никогда» (Спасовский, 79). В письме Голлербаху 6 октября 1918 Р. продолжает делиться своими впечатлениями от письма М. о нем: «Не могу скрыть, что она написала гораздо лучше Вас, хотя явно и не “соп”гениальна”, а почти “на противоположном полюсе” Но она угадала все (старушке 55 лет). Я сам не решился, не позволял давать себе такого определения. “Слишком хорошо”, “куда мне”: куда мне одевать такое на себя одеяние. И вот старушка, но деятельная, бодрая, одела в ночи на меня такое одеяние, одела в пурпур, одела в звезды. А чувствовал-то и внутренне и уже не стыдящимся чувством, что именно так, именно — но-уменьальные миры, и что я их держу в руках. Я тих и скромн, к тому же так безобразен: но я чувствую в себе какое-то Державство к Миру» (ВНС, 373). Письмо Р. к Спасовскому от 18 октября 1918, вновь посвященное М., заканчивается припиской: «Мухихины трогательно-нежно любят друг друга, обращаются друг с другом, и я в одном журнальце живописал их в статейке: “Идиллия на краю вулкана” (то есть революции)» (Спасовский, 81). Очерк этот опубликован по рукописи в «Вестнике РХД» (1995. № 172). Письмо М. упоминается также в «Апокалипсисе нашего времени» (АНВ, 240). Узнав, что Р. живет в Сергиевом Посаде, М. 30 мая 1918 обратилась к нему с письмом, чтобы узнать о судьбе М.М. Спасовского и кружка его «Вешние Воды», в котором она принимала участие. Уже на следующий день 31 мая, ознакомившись с первыми пятью выпусками «Апокалипсиса нашего времени», М. пишет Р., что он зовет «к финикийскому культу Солнца. Как это грандиозно! Активные элементы Госуд. думы сделали то, что страницы русской истории откинулись назад на 200 лет» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 535. Л. 2). Последнее письмо М. к Р. от 20 октября 1918 с соболезнованием о смерти сына его свидетельствует о постоянных контактах М. и ее мужа с Р. (Там же. Л. 4).

А.Н.

МУРЕТОВ Дмитрий Дмитриевич — публицист, мыслитель, член Московского *Религиозно-философского общества*. Р. упоминает М., выступившего в 1915–1916 в журнале «Русская Мысль» с рядом статей по философии и национальному вопросу, среди представителей «братства московских славянофилов» наряду с П.А. Флоренским, С.Н. Булгаковым, В.Ф. Эрном и др. («Около трудных религиозных тем» // НВ. 1916. 12 авг.; ВЧВ). Статьи М. «Этюды о национализме» (PM. 1916. № 1) и «Борьба за Эрос» (PM. 1916. № 4), направленные на философское обоснование национализма как национального Эроса через приравнивание любви к своему народу и своей родине к личной любви, вызвали решительное возражение со стороны кн. Е.Н. Трубецкого («Развенчание национализма. Открытое письмо П.Б. Струве» // PM. 1916. № 4; «Новое язычество и его “огненные слова” Ответ Д.Д. Муретову» // PM. 1916. № 6) и привела к дискуссии, участие в которой приняли помимо М. и Трубецко-

го также Р., редактор журнала П.Б. Струве и Н.А. Бердяев. В своей первой статье, посвященной полемике кн. Трубецкого и М. («Князь Трубецкой и его “Развенчание национализма”» // НВ. 1916. 6 мая), Р., не упоминая М., критиковал представителя знатного рода за использование неприемлемого во время кровопролитной войны жупела «звериного национализма в России» и выступление «в защиту того европеизма, который <...> выкалывает глаза» (ВЧВ, 196). В статье «Князь Е.Н. Трубецкой и Д.Д. Муретов» (К. 1916. 12 авг.) Р. развил эту мысль: «Решительно можно подумать, что в эту тяжелую войну с Германией, в этом 1916 г., нет более опасных для России чувств, нежели русские патриотические чувства самих русских <...> Вот уже несколько книжек “Русской Мысли” перед нами, где вокруг одного и того же, кажется, молодого имени Д.Д. Муретова обмениваются ядовитыми словами кн. Е.Н. Трубецкой и сам редактор этого журнала, П.Б. Струве» (ВЧВ, 322). Отметив, что журнал Струве стал «определенно-славянофильским», а сам он «стоит за крепкую, могучую Русь», Р. пишет, что «в этой фазе стояния “Русской Мысли” и самого Струве возгорелась полемика около одного из молодых сотрудников журнала, Д.Д. Муретова, — коему Струве для одной его патриотической статьи дал “шаг вперед против себя” Т.е. Муретов написал огненное исповедание национализма, под коим сам и от себя Струве, может быть, и не подписался бы. Немедленно же на него ополчился кн. Е.Н. Трубецкой, и ополчился ядовито, и всё, стараясь из-за Муретова достать самого Струве» (ВЧВ, 323). Трубецкой отказался полемизировать с М. и обратился со своими аргументами против национализма к опубликованному статье редактору «Русской Мысли»: «“Опасными” я считаю мысли М.М. Муретова только для философии П.Б. Струве и ни для кого другого. Д.Д. Муретову не было надобности отвечать на вопросы, которые я ставил, но ставил совсем не ему» (там же). Р. увидел в аргументации Трубецкого сходство с манерой спорить «мастера философических софизмов» В.С. Соловьёва, который «в грубой полемике своей» против Н.Я. Данилевского и Н.Н. Страхова употребил понятие «зоологический национализм» (ВЧВ, 324). Р. заявил, что «национальное чувство есть доброе и мирное чувство мирных лет», а «национализм» — то же чувство, но военного времени, «активное, борющееся, защищающееся». Между тем «софист Соловьёв», признавая «национальность» — по мнению Р., «лишь фальшиво и для оправдания себя перед массовым читателем» (ВЧВ, 325), «“национализм” прямо считал сатанинским, злым, диким, противоположным всему культурному и образованному <...> Этим-то софизмом из соловьёвских обносков и орудует теперь кн. Е.Н. Трубецкой <...> Ах, князю Трубецкому ужасно хочется “повредить родине”, — но таким особенным образом, чтобы после этого можно было воскликнуть: “Я отрекся от земного отечества ради приобретения отечества небесного. Ибо, повреждая родине, я зато исполнил всеобщее и безусловное требование нравственности” В евангельские времена люди с такими рассуждениями назывались фарисеями <...> Между тем старый князь и не подозревает, что он побит и Ветхим Заветом, и Новым Заветом, и глумится над Д.Д. Муретовым, как опытный фехтовальщик слов над неопытным учеником риторической школы. Он пи-

шет: «Д.Д. Муретов пытается доказать, что и здесь нет аморализма» По его мнению, “принятие любви не отменяет нравственного суда. Признание в любви начала и оправдывающего и снимающего вину <...> есть великая мерзость. Принять любовь не значит оправдать грех, но принять ее можно только, как она есть, с ее подвигом и грехом” Иначе говоря, г. Муретов спасается от аморализма путем глубокого внутреннего противоречия: <...> нравственный закон, безусловно, обязателен и преступить его — значит совершить великую мерзость <...> если это нужно для родины» (ВЧВ, 325–327). Р. считает аргументацию Трубецкого решительно неприемлемой для военного времени: «Ах, “жив курилка” И выговорил сладкое самому себе словцо: “Совершить мерзость, если это полезно для родины” <...> А как дело обстоит с философствующим “мародерством” в тылу? Конечно, в армии никто не читает князя Евг. Трубецкого: но как войска пошли бы “в штыхы”, если бы перед ними лежали тетрадки рассуждений князя Евг. Трубецкого» (ВЧВ, 327). Продолжая спор в «Новом Времени», Р. приводит цитату из статьи Трубецкого: «Г. Муретов советует принять любовь к русскому народу, как она есть, с ее подвигом и с ее грехом. В этом весь пафос его рассуждений, ибо национализм для него — больше, чем просто факт, служащий предметом описания. Это — норма поведения, как он выражается в своей “Борьбе за Эрос” Г. Муретов прекрасно знает, что эта “норма поведения” приходит в столкновение с нормами морали» (ВЧВ, 343). Р. встает на защиту позиции М.: «И всё это ерунда, князь. И ерунда потому, что Д.Д. Муретов живой человек, вот именно с “искрой нравственной жизни в себе”, мучающийся в тяжелую годину за родину, размышляющий так и этак, бьющийся “лбом о стену”, — и уже за эти поиски оправданный <...> а вы человек мертвый, с “табличкой поведения в руках”, которому кроме своего спортивного тщеславия ни до чего дела нет. И это видно из той логической эквилибристики, какую вы устраиваете около родины, мучающейся в тяжких муках» («Есть ли “всеобщие и безусловные принципы нравственности”?» (К полемике князя Е.Н. Трубецкого с Д.Д. Муретовым) // НВ. 1916. 20 авг.; ВЧВ, 343–344).

В.А. Фатеев

МУРОМЦЕВ Сергей Андреевич [23.9(5.10).1850, Петербург — 5(18).10.1910, Москва] — юрист, публицист, один из основателей партии кадетов, председатель I-й Государственной думы. Студентом Московского университета Р. слушал в 1880–1881 лекции М. по римскому праву. В 1906 в статье «В Таврическом дворце» Р. дал портрет М.: «Я бывал на лекциях у него: он читал очень хорошо, хотя без выдающегося блеска, без “личного” в себе, без характерного. Умный, тогда еще совсем молодой, красавец брэнет, хорошего роста, сложения, манер, всегда серьезный. Нет человека менее гениального, чем он, и нет человека, к которому понятия “неумного” или “бестактного”, или “ошибочного” шли бы менее, чем к нему. Он был тою умеренною, солидною формою ума, характера и красоты, на которую невольно любяешься и за которую никогда не следуешь. Таким он, в сущности, остался и сейчас: удивительно, как за 25 лет люди, в сущности, нисколько не изменились. Величественная пассивность его соделывает из него идеального

председателя прений: без него *парламент* просто не смог бы, не сумел бы так начаться, как начался. Это — врожденный, ничего не делающий барин, но умный, но зоркий, но наблюдательный, бесстрастный, холодный, безгранично терпеливый. Самые черты его *лица*, имея в себе только общечеловеческое и европейское, не имея ни чуточки русского, чего-нибудь “этакого” в *носе*, в *губах*, чего-нибудь характерного в улыбке, во взгляде, — удивительно подходят к роли и смыслу председательства. “Родятся же этикие... без плюса и без минуса... без пороха и мороза”, — думаешь, глядя на него. Мне кажется, он так и родился уже — солидным мужем, солидным гражданином, солидным ученым — и именно по кафедре римского права, *науки* умной и беспристрастной. И нельзя, невозможно представить его ребенком, шалуном, школьником, *студентом*, клакером в *театре*, энтузиастом около рампы, женихом, политическим бойцом. Сидит... И как хорошо сидит!.. Единственный, так удачно вылившийся у *природы*, дар восседания... Если и не Зевс, то трон Зевса, или, точнее, что-то слившееся из трона и того места, которое сидит на нем... Теперь он поседел и, кажется, еще более посолондел... Речь его, работа его в Думе — прямо страшная. Восемь часов *молчания* при непрерывном, ни на секунду не обрывающемся внимании к каждому слову, какое говорится с кафедры, и ко всему думскому залу, ко всему, что делается депутатами и публикой. “Тяжела ты, шапка Мономаха”, — и в смысле красоты, и в смысле, особенно, тяжести. Попробуйте, испытайте, вооружась биноклем и нотами, пойти в оперу и прослушать четыре часа певцов, не спуская глаз с *игры* их и не пропуская ухом ни одной взятой ими ноты. Четыре часа, — а надо восемь; один день, — а надо месяц! <...> И еще раз напомним: Дума прямо не удалась бы так без него. И нельзя не отдать честь “кадетам”, что они так зорко выглядели его, поставили “человека на место» (КНУ, 111–112). В «*Онавших листьях*» Р. дает уже более саркастическую *характеристику* М.: «Аккуратный и хорошенький мальчик “Сережа Муромцев” учился отлично, директор его глядел по головке, кончил с медалью, в *университете* — тоже с медалью, наконец — профессор “с небольшой оппозицией” И, оправдывая некрасовское “...До хорошего местечка / Доползешь ужом”, — вышел в председатели 1-й Госдумы. И произнес знаменитое *mot <слово>* “Государственная дума не может ошибаться”» (У, 247).

А.Н.

МУСИНА-ОЗАРОВСКАЯ Дарья Михайловна — актриса Александринского *театра Петербурга*, педагог актерского мастерства. *Письмо* М.-О. от 18 ноября 1913 к Р. содержало выражение благодарности за присланную ей *книгу* писателя «*Среди художников*» с авторским автографом, упоминающем о близких отношениях М.-О. с *Айседорой Дункан*. Вместе с письмом М.-О. выслала Р., в знак своей признательности, две книги («пособия сценическим деятелям в постановке Фонвизинской и Грибоедовской пьесы на сцене и в обработке ролей»), в издании которых М.-О. принимала участие (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4216. Ед. хр. 10. Л. 3). К письму М.-О. приложена розановская характеристика корреспондентки: «Мусина-Озаровская. Прелестна; и дочь ее тоже; с нею интимна Айс. Дункан и я ее и видел у нее на вечерин-

ках, в *танцах*, и, словом, “вертелись и дурили”» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 118).

А.В. Ломоносов

МУШКЕТОВА Екатерина Павловна — вдова геолога и географа И.В. Мушкетова (1850–1902), преподавателя Высших женских курсов в 1892–1901. Участница «*Общества* содействия женскому сельскохозяйственному образованию», которому Р. посвятил статью «Женский сельскохозяйственный институт» (НВ. 1903. 26 февр.), в которой назвал сам факт основания женского сельскохозяйственного института в *Петербурге* делом «общерусским, государственным, национальным». В ее *письме* к Р. 1903 содержалась благодарность за статью о Женском сельскохозяйственном институте. Р., по предложению М., стал действительным членом Общества содействия женскому сельскохозяйственному образованию. 26 февраля 1903 М. писала Р.: «Можно выразить надежду на то, что Вы и в данном случае не измените Вашей обычной манере — раз возбудив какой-либо жизненный вопрос, не оставляя его до тех пор, пока Вам не удастся разбудить к нему и внимание нашего не в меру сонного общества?!» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 24. Л. 3).

А.В. Ломоносов

МЫШЦЫН Василий Никанорович (1866–1936) — профессор Московской духовной академии по кафедре Священного Писания. В *письме* к Р. (б.д.) выражал солидарность в его борьбе на страницах периодической *печати* за бракоразводное право (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 29). В процессе работы Предсоборного присутствия и дискуссии 1905–1906 о будущих взаимоотношениях священства и епископата, рассуждая о возможных улучшениях для чина епископства в русском *православии*, Р. писал в статье «Наши церковные дела» (НВ. 1906. 26 мая): «По расспросам профессора В.Н. Мышцына, который со *студентами* Московской духовной академии прошлый год посетил Константинополь и Палестину, — итак, по расспросам его, обращенным к его блаженству (счастливый титул) константинопольскому патриарху, на всем греческом *Востоке* ни одного епископа нет из монахов, ибо обет послушания, принимаемый монахом, и только послушания — в корне разрушается должностью епархиального начальника (епископа)... В этих благих обстоятельствах, “чин епископата” прекрасен с обыкновенной точки зрения, священен в документальной своей стороне; неопровержим, ибо зиждителен» (РГО, 79).

А.В. Ломоносов

МЯКОТИН Венедикт Александрович [12(24).3.1867, Гатчина, Царскосельский уезд, Петербургская губ. — 5.10.1937, Прага] — историк, публицист, один из редакторов журнала «*Русское Богатство*», председатель ЦК Трудовой народно-социалистической партии (1917). В 1922 выслан из *России*. Р. характеризовал его: «Вся наша *литература* есть литература празднующихся. Трудового начала в ней не то чтобы мало, но и совсем нет. И Мякотин и *Пешехонов*, всеконечно, только шатаются около трудовых *тем* и трудового люда. В их собственных строках, вот как я “обмакнул перо в чернильницу и написал строку”, — вовсе не надышено потом,



В.А. Мякотин

мозолю и усталостью от *труда*. Только один пиджачок. Да, он поношен и как будто “*трудовой*” Но это лицемерие и тайное щегольство» (КНУ, 478). «Муромский му-

жик, если б знал слово и умел выразить *мысль* свою, сказал бы Мякотину: “Я — культурный *человек*, а ты *смерд*” Смерд — ничего. И Мякотин, действительно, “ничего”, пот. что он только “сам” и “я”, без *любви*. Он с пиджаком, а не с *людьми*» (КНУ, 446). Тем не менее у М. огромное самомнение. Р. пишет, что на вопрос: что такое Россия? — он бы ответил вам: «О, в России живут совершенные ослы. Все. Кроме меня и моего друга Петрищева» (ЛВИ, 546). Во время *войны с Германией* Р. замечал: «Мякотин и Пешехонов кажутся храбрыми только в *Петербурге*: но этих русских храбрцов гонит хворостиной девочка Гретхен с берегов Шпрее. И вот этой хворостиной они уже совершенно напороты, не смеют ни обернуться на нас, ни залаять, а, зажав хвост между ног и понуря голову, бредут и все лают на русское министерство вн. дел, на русское министерство просвещения, на наши “так называемые реформированные суды”, ну — и на кой-что повыше — на “*Московские Ведомости*” “печальной памяти *Каткова*” и прочих русских “патриотов и националистов”, весьма неприятных Гретхен из *Берлина* и тайной полиции из Берлина, которая, имея “*Reptilien Fond*”, вероятно и даже без сомнения имеет и “иностраннный отдел этого фонда” Как же? Вы не подозревали, русский *читатель*? <...> Девочка из Берлина, пасущая русских журналистов, верно сказала ввиду того, что никто в Берлине Мякотина с Пешехоновым не знает, — лозунг: “Вы Германию и германские вооружения ругайте сколько хотите: но только одновременно и тут же ругайте русские вооружения, требуйте ограничения и понижения их, распространяйте презрение к русскому солдату, к русскому неразвитому офицеру и к генералу-взяточнику”» (М, 180–181).

А.Н.

Н

НАБОКОВ Владимир Дмитриевич [21.7(1.8).1869, Петербург — 28.3.1922, Берлин] — юрист, публицист, один из лидеров кадетской партии, депутат 1-й Государственной думы. Н. служил для Р. символом западнического либерализма. В дни работы 1-й Думы Р. высоко оценивал деловые качества Н., связывая с ним надежды на укрепление конституционного строя в России. В статье «Несколько воспоминаний из недавнего прошлого» (РС. 1906. 16 июля) Р. создал литературный портрет Н., передав свои первые впечатления от нового для России образа думского политика. «Набоков — одно из самых живых лиц “кадетской” партии. Он как-то весь лоснится, даже издали <...> точно сочится весь маслом; и нет возможности ни стереть, ни смыть с него этот лоск чего-то маслянистого. Таково физическое ощущение от чего-то громадно-самоуверенного и громадно-довольного в нем: он и молод, и силен, и умен — и образован; говорит отлично <...> Он очень умен — это господствующая в нем черта. И, кажется, ни в ком еще нет такой стойкой энергии, не нервной, не порывистой, а именно стойкой, тягучей, как в нем. Нельзя его представить лежащим под чем-нибудь и плачущим, — я говорю о политическом положении. “Ходу! Больше ходу! Шире, река!” — точно говорит это судно с поднятыми парусами. Я любил смотреть на его лицо без увлечения: это — вечная игра, движение льющейся и переливающейся улыбки. И улыбка масляная, и глаза масляные. На губах почти непрерывная перебегающая змейка: то пропадет, то появится. Особенно я любил его видеть, когда он с кем-нибудь ходит. Тогда он наклоняет свою шарообразную голову к собеседнику и что-то шепчет ему, к чему-то соблазняет, лукавит и смеется, — над ним смеется, потому что тот его не видит, и моментально лицо становится серьезным, когда собеседник обертывается к нему прямо. Он не идеалист, — это видно. Он — просто борец, делец хороший, сильный игрок в хорошей большой игре. Главное в нем — молодость и сила; потребность куда-нибудь давать свои эмоции. Речь его — самая ясная из ораторов, самая дельная, государственная, — и со страшною ясностью произносимая (редкое качество). Каждое слово — как подчеркнутое или точно написанное страшно большими буквами, так что видно за версту, и на великолепной глянцево-бумаге, “министерской” (есть такая в магазинах, для особо важных документов) <...> Сам Набоков, весь овалный, красноватый, без бороды, с подстриженными усами и коротко остриженной головой, как бы в предусмотрении, чтобы после какой-ни-

будь передраги соперник не смог ухватить его ни за один клок волос и вообще ни за что выдающееся, ни за какой угол в этом абсолютно круглом и скользком существе, точно налитом кровью и мускулатурой» (РГО, 107—108). Политика кадетов вскоре разочаровала Р., а имя Н. стало упоминаться в политических статьях писателя в общем ряду с кадетами М.Я. Герценштейном и М.М. Винавером, и служило лишь аналогом их «страстно-европейских» речей (РГО, 331). В 1915 Р. сравнивал Н. наряду с П.Н. Милюковым и Ф.И. Родичевым с литераторами еврейского происхождения, указывая на отсутствие в их сознании «скорбных путей покаяния». Р. считал, что ни один из них, «оставшись среди своих, не скажет: “Братия, не в самом ли дело?!.. Братия, да почему нас столько веков ненавидят, и ненавидят все люди, кроме тех, кого мы держим в руках, и не смеют они поднять голову? Нет ли правоты в этой ненависти, нет ли вины на нас?”» (М, 39). Поставив Н. и Милюкова в один ряд с Винавером и С.М. Проппером, Р. отмечал, что революционные «“идеи последнего фасона” удивительно цепко прививаются на древних, старых почвах» священнических семей Добролюбовых и Чернышевских, «в то же время нисколько не прививаясь в новофасонных семьях Милюкова или Набокова, Винавера или Пропера, очень хорошо знающих, “где раки зимуют”» (М, 213).

А.В. Ломоносов

НАДСОН Семен Яковлевич [14(26).1862, Петербург — 19(31).1.1887, Ялта] — поэт. Р. писал о Н., «кото-рого чуть ли не все барышни заучивали наизусть <...> У Надсона все искусственные камни и ни одного бриллианта. Его стихи для живой души — мертвое сено» (НВ, 1901. 14 февр.). В «наших последних поэтических силах» (ВМНН, 56—57) было «что-то надорванное, нервное и частью фальшивое». Под этими силами Р. разумел В.М. Гаршина и Н., которые «пропели свою краткую песню» (там же) на всю Россию; «надтреснувшая струна» в случае с Гаршиным, «смычок дрожащий» — сказано по отношению к Н. (там же). Но эти две «бледные звездочки» оказываются, по Р., среди лучших «светил», если брать последнюю четверть XIX в. Р. уподобляет поэзию Н. мрачному демонизму декадентов, в частности, сравнивая с Н. молодого Блока, который «мрачно, гневно и презрительно» (ОПП, 330), словно Н., читал доклад о Д.С. Мережковском. Позже, в 1915, оценивая русскую революцию как разрушительное начало в духовной жизни общества, Р. отмечает, что она, предвещая свою гибель и

вековечную неудачу, воспользовалась худшими элементами страны — ее поэтом Н., прозаиками — Гаршиным, Горьким и Л. Андреевым; по определению Р., — это все «необразованность, патология или переродившаяся старость» (М, 152). Р. говорит о Н.: «Он слащавый и деланный» (М, 189). Любители и любительницы чаще всего встречаются в среде молодежи, для которой подобное чтение «чувствительно, сладко, ходко» (ОЦС, 307). Таков, в частности, студент духовной семинарии, участвовавший в народных чтениях на Благовещение и декламировавший Н. Выше классиков ставят Н. общественные деятели, подбиравшие литературу для армии и посвященную армии. Раньше это были Пушкин, Лермонтов, Толстой, теперь «мы слушаем карканье, напоминающее только басню о глупой вороне» (РГО, 391). Наивные, мечтательные женщины, «честные курсистки», «благородные учительницы», «лохматые студенты, с молниями в глазах» (ЛВИ, 541), по убеждению Р., необразованны, «понятия даже не имеют о Достоевском и от этого захлебываются <...> Надсоном» (там же). Это результат читательского самообмана, заключающегося в постоянной «приподнятости чувств, возбужденности сердца» (ВДЯ, 255). В 1881—1914, по Р., в литературе преобладали отрицательные явления умственной жизни. Была «история литературы», «где самой певучей флейтой был Надсон» (КНУ, 522). Тем не менее, пишет Р., какова бы ни была эта история, изучать ее необходимо. Нельзя «подменять историю одою» (там же). История должна быть правдива и нелицеприятна, и вынуждена изучать в том числе и «музыку Надсона» (КНУ, 522).

О.В. Михайлова

НАЖИВИН Иван Федорович [25.8(6.9).1874, дер. Пантюки, Владимирская губ. — 5.4.1940, Брюссель] — писатель. В эмиграции с 1920. Состоял в переписке с Р. Сохранилось девять его писем Р. с 27 марта 1912 по 24 марта 1916 (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 538. Л. 1—13). Н. высоко отзывался о статьях Р. и просил его разрешить использовать отрывки из них «для альманаха и одной книги». Н. писал Р.: «Вы справедливо говорили, что девушкам нашим надо не бином Ньютона, а васьлики в поле» (2 янв. 1913. — Л. 3). В письме к Р. от 30 января 1913 Н. повторил свою просьбу о перепечатке выдержек из статьи Р. «Перед задачами женского образования» (НВ. 1912. 18 июля; ПВ), мотивируя тем, что «надо потихоньку долбить скалу той бессмыслицы, которая называется средним и высшим “образованием” вообще и женским в особенности». В Собрании сочинений (М., 1912. Т. 6. С. 380) Н. изложил свою точку зрения на статью Р. по вопросу женского образования: «В “Нов. Вр.” прекрасная статья Р. о женском образовании в России, но именно потому, что она прекрасна и умна, я и думаю, что она останется гласом вопиющего в пустыне. Сущность статьи в том, что довольно нам этой погони наших девушек за вельями, в сущности, печальными “лаврами” Софьи Ковалевской — стране, человечеству нужны не ненужные Софьи Ковалевские, а хорошие жены и матери. В статье масса прекрасных, глубоких и оригинальных мыслей <...> Да, не бином Ньютона нужен девушке, а собрание васьликов в поле. Это его слова, и я рад, что их говорят на страницах “Нов. Вр.”». Н. вспоминает случай с курсисткой, которая повесилась

из-за невозможности «внести плату за курсы». Выражая свое негодование по этому поводу, Н. пишет: «Да, господам ученым, этим истинным господам положения, нужны не только деньги бедных, “анормальных”, как выражается Розанов, девушек, но и кровь их нужна <...> Бедная девушка, бедная жертва этого повального, массового безумия, которое называется женским “вопросом”, и другими пышными, но дурацкими названиями». Н. упоминает «Уединенное» Р., утверждая, что Р. повлиял на его решение писать исповедь о себе, «чтобы высказаться вполне» («Моя исповедь». М., 1912. С. 7). Посылая свою «Исповедь», в письме 27 сентября 1912, Н. признавался Р. в том, что был его противником и даже «ненавистником», но затем превратился в человека «сочувствующего» Р. (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 538. Л. 2). В другом письме (Там же. Б.д. Л. 8) Н. называет Р. «мохнатым сатиром», оклеветанным и оболганным передовой печатью, и потому «озлобленный» Р. многое делает «на зло». Свое понимание характера Р. и его личности Н. объясняет так: «Часто его цинизм тяготит, часто даже просто противен, но когда вступишься ближе, видишь, что без него он не был бы так своеобразен и характерен и никогда без этого цинизма не выступили бы с такой яркостью его самые нежные, самые задушевные страницы, которые так сладко бередают сердце, как его предисловие к книге “Около церковных стен”, как его “Вечные огни”, <«Огни священные» в «ОЦС»>, как многие страницы из “Уединенного” и “Опавших листьев”». А эти богатейшие россыпи по всем его книгам мыслей ярких, глубоких, оригинальных и часто столь родных. И его не знают почти, его травят и потому всегда за страницей, которая вызвала у вас слезы на глаза, от которой заболело сердце, мохнатый сатир тотчас же с злой усмешкой высовывает вам язык, “дразнится”, нарочно, “назло”, а в сердце у него — боль». По поводу отношения Р. к евреям Н. писал ему 26 октября 1913: «Не могу понять у вас этих выпадов против евреев. Если вы имеете в виду адвокатишек с золотыми пенсне на наглую мордочке, которые хотят изуродовать Россию по Марксу, то я понимаю еще ваше негодование и разделяю его. Но кроме них, слава Богу, есть еще еврейская масса: тихая, религиозная, трудовая, которую мне посчастливилось узнать и о которой я без умиления думать не могу. И жаль, что вы все это валите в кучу. Несправедливо это» (Там же. Л. 5). Н. обращается к Р.: «Вот я и хочу спросить вас, как вы для себя-то решили этот вопрос? “В Церковь... В Церковь...” — это прекрасно, но как вы перешагиваете через те препятствия, о которых я вам говорю? <...> Церковь — она накануне полной смерти; вам это не так видно в Петербурге, как нам, живущим в самой гуще народной» (Там же. Л. 12). Н. упрекал Р. в чрезмерном внимании к «толпе в литературе», к тем, кто клеветает. Сочувствуя Р. и разделяя его беспокойство о судьбе своего творчества, Н. писал в ответ: «Вы человек, ум которого я привык уважать и любить за его подлинное свободолюбие — слишком часто соскальзываете в плоскость: ненавижу, плюю, презираю. Право, в мире слишком мало вещей, которые заслуживали бы труда плюнуть» (Там же. Л. 10).

Л.Л. Черниченко

НАКРОХИН Прокофий (Прокопий) Егорович [27.2 (11.3).1850, Великий Устюг, Вологодская губ. —

14(27).10.1903, Петербург] — журналист, секретарь редакции *газеты* «Неделя» и редактор литературного приложения «Книжеч «Недели»», писатель-прозаик. Автор *писем* к Р., посвященных сотрудничеству в «Литературном Приложении *Торгово-Промышленной Газеты*». В письме от 18 февраля 1899 к Р. дан положительный ответ на просьбу о сотрудничестве в указанной газете, сопровождавшийся высокой оценкой печатных работ Р. «Я всегда с живейшим интересом следил за Вашими статьями, — писал Н., — многomu в них горячо сочувствую, и не могу не приветствовать литературный орган, принимаемый под Вашу редакцию» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3825. Ед. хр. 5. Л. 3). С письмом от 5 апреля 1900 Р. было возвращено письмо к нему В. Дедлова, содержавшее положительный отзыв о Н. К нему был приложен сборник рассказов Н. «Идиллия в прозе» (СПб., 1899).

А.В. Ломоносов

НАПОЛЕОН I, Наполеон Бонапарт (Napoléon Bonaparte) (15.8.1769, Аяччо, Корсика — 5.5.1821, о. Св. Елены) — французский император (1804—1815). Образ «славолюбивого» (У, 29) Н. постоянно возникал в сочинениях Р. Однако Н. не был для Р. «великим человеком»: «В нем не было вовсе никакой новой мысли, нового движения, нового чувства. Бесплодие и “отрицательные только мотивы” революции превосходно выразились в этой могучей и замечательно бесплодной личности» (СХР, 167). Полагая, что «все бедствия от глупости и эгоизма Наполеона» (ЛВИ, 404), Р. писал в «*Опавших листьях*»: «Всем великим людям я бы откусил голову. И для меня выше Наполеона наша горничная Надя, такая кроткая, милая и изредка улыбающаяся. Наполеон совершенно никому не интересен. Наполеон интересен только дурным людям (базар, толпа)» (У, 305). Окончательный приговор «великим людям» Р. выносит в «*Мимолетном*»: «От великих людей становится потно, нудно, шумливо, тесно, во всех отношениях несносно. Бог уродил белые грибы в лесу. Пришел “великий человек”, повалил корзины, собранные нами, и закричал: — Собирайтесь все в поход. Думаю завоевать Азию. — Он “думает”, а нам какая радость. Суть “великого человека”, глубочайшая его суть — безбожие. На надо! Не надо! Не надо! — Друг мой Наполеон: ты не больше Солнца. Солнце вечно, а ты через 37 лет умрешь. И после тебя тоже “будут собирать грибы” Зачем же ты ронял корзины? Собираение грибов выше, и лучше, и чище Наполеона» (М, 80). Р. говорит об исторической преходящности «великих людей»: «За Наполеоном I не стояло накопленной истории, и дело его рассыпалось при всем личном гении. Таким образом, “сила накапливающей истории” гораздо могущественнее даже гения. А ведь мы-то лично, земные люди, выше гения ничего не знаем. “Что же еще может быть выше гения?” Я указываю — история» (ПЛ, 295). Вспоминая слова Н., сказанные при посещении могилы Ж.Ж. Руссо в Эрмонвиле: «Было бы лучше для спокойствия Франции, если бы этот человек не существовал. Это он подготовил революцию», Р. писал: «“Без Руссо не было бы революции”, — сказал Наполеон, а он был компетентен судить о настроениях эпохи, все фазисы которой он видел воочию и пережил сам» (СХ, 143; то же — ЛВИ, 266; ОПП, 569). Р. развивает эту мысль: «Революция, безличная, неясная, мас-

совая до Наполеона, — в нем получила себе сосредоточение и лицо, уста говорящие и руку действующую, которые высказали миру ее смысл, очень далеко разошедший с тем, какой предполагали в ней мечтатели от Руссо до Кондорсе» (РФК, 124). Отсюда вывод: «Наполеон есть другой фазис революции; революция же, но во второй ее фазе, — устроительной. Всякое извержение вулкана прекращается. Великая революция должна кончиться: это не ее слабость, но ее суть. Но после революции “все остается в другом виде” и все начинает жить “по новому закону”» (ОПП, 574). В студенческие годы в Москве Р. рассматривал в Кремле расставленные около арсенала пушки, отбитые в 12-м году у Н. (СХ, 144). Размышляя о «глубочайших родниках нашей победы над Наполеоном», он пересказывает сцену из «Войны и мира» Л.Н. Толстого (3, 3, 5): «Вот именно такая-то (имя и отчество), которая, забирая своих арапов, дур и шутих, выезжала из Москвы с смутным сознанием, что она — Бонапарту не слуга, — тысячи таких лиц и так чувствовавших и создали необходимость для Наполеона понять, что с занятием пустой столицы война не кончилась, что борьба и вообще не имеет ни определенного предмета, ни определенных границ; и понудили его, тоже в каком-то недоумении, выйти злобно и не понимая, что и для чего он делает, из Москвы — назад» (ЛВИ, 321). В баснях о войне 1812 И.А. Крылов «не только смотрел на Наполеона как на дерзкого авантюриста, волка в образе человеческого, но и в самом национальном характере французов, в направлении их исторических судеб видел великую опасность для остального человечества, и особенно для России. Консерватор по убеждениям, сама невозмутимость, сама степенность по темпераменту, Крылов ненавидел революционный дух, представителями которого являлись французы» (СХ, 379). В статье «Погребатели России» (НВ. 1909. 19 нояб.) Р. вспоминает «пресловутого Смердякова» в «Братьях Карамазовых» Достоевского, который говорил: «В двенадцатом году было на Россию военное нашествие императора Наполеона французского первого <...> и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма тупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с» (ОПП, 421). Как дополнение к этому рассуждению Смердякова звучит изречение Н., которое Достоевский приводит в «Подростке» (3, 13, 3), а Р. напоминает в статье «Берегите Западную Русь» (НВ. 1906. 3 дек.): «“Поскреби русско-го — увидишь татарина”, — сказал Наполеон» (РГО, 209—210); Р. называл «непоскребенными татарами» чиновников «в раззолоченных мундирах и с красивыми аксельбантами» (там же). Говоря о полководцах, как Н. и Тамерлан, ведущих «ненужные войны и идущих, дымясь в крови, всё вдаль и вдаль», Р. продолжает: «Недаром Раскольников вспоминает Наполеона: “Почему я не такой же”, “что нас разделяет”, и в чудесном монологе он разгадывает психологию гения. Да, он ступил на первую ступень — и сотрясся; Наполеон стоял на последней ступени и уже тянулся. Но от первой и до последней ступени таинственная лестница крови говорит о себе, что она — святое, что это — страшное место, таинственная область, которой во днях земного своего странствия не должен касаться никакой человек» (ВЕ, 300). Когда Ю. Айхенвальд в своих «Силуэтах русских писателей» на-

писал, что «составление *Карамзина* с Наполеоном внушает мысль о комическом», Р. иронически откликнулся на айхенвальдовские «эффекты»: «Ведь Наполеон мог бы возвести в графское достоинство Айхенвальда, между тем как Карамзин никогда не счел бы его даже порядочным писателем. Между тем с точки зрения *болей* человечества еще сомнительно, что выше, Карамзин или Наполеон» (КНУ, 433).

А.Н.

НЕКРАСОВ Николай Алексеевич [28.11(10.12).1821, село Синьки, Балтский уезд, Подольская губ. — 27.12.1877 (8.1.1878), Петербург] — поэт. Р. отмечал, что продолжается спор о том, был ли Некрасов «искренен и правдив в своем научении, а не о том, был ли он правилен в этих научениях» (РФК, 89). А в 1913 писал: «Нет, не верна моя точка зрения на Некрасова. Я его примериваю “к себе” (тихий житель города, универзитант) и взываю жестоким *судом*. Тогда как суть его “Не гулял с кистенем / Я в дремучем лесу” Он совсем почти даже не городской *человек*, а лесной, полевой. <...> Он был почти нецивилизованный человек» (СХР, 223). В «*Мимолетном*» Р. посвящает Н. большой этюд: «Поэзия Некрасова была прекрасна-искренна, ибо непостижимым образом он до *смерти* оставался в сущности вихрастым 17-летним юношей, с его “конечно”, хитростями и плутовством, которые суть отрицание *ordinis* и *ordinum* <порядка и порядков>. Н. стал, по Р., воплощением блудного сына из *Евангелия*: «Он до конца *жизни*, до свадьбы с “Зиной”, сам немножко воровал (не имущественно), сам “крал клок сена” с чужого воза, как никому не принадлежащий бык <...> Некрасов особенно возмущил всех литераторов петербургских тем, что был “вне общественных правил”, жил с чужими женами, “любил до смерти” крестьянских *баб*, не гнушался проституткой — и вообще замечал острым взглядом всякую проходящую девицу. “Нам этого-то и подавай”, — кричат *гимназисты* и всемирные блудные сыны <...> Он принял первый энтузиазм самого лучшего, цветущего возраста человечества. Открыл его — Христос. “Блудный сын” каждого *дома* в 16 лет» (КНУ, 254—255). «*Герцен* и Огарев оба забудутся. Некрасова всегда будут любить простецы и *дети*; будут любить лучшие, простейшие и праведнейшие, русские люди» (М, 174). Однако «*Апокалипсис нашего времени*» завершается у Р. пассажем: «Ни от кого нищеты духовной и карманно-русского юношества не пошло столько, сколько от Некрасова, Это — диссоциальные писатели, антисоциальные. “Все — себе, *читателю* — ничего” Но ты, читатель, будь крепок духом. Стой на ногах, а не “Что ему книжка последняя скажет, / То на *душе* его сверху и ляжет” (Некр.)» (АНВ, 60). При безусловном восхищении поэтом Р. мог в том же «*Мимолетном*» в связи с размышлениями о своем брате *Н.В. Розанове* написать: «Его добрую и чистую *семью* сгубили социалистишки. Семья была странно доверчивая и наивная. “Встречи” и “*любовь*” подвели *судьбу*. Они увели их “в стан погибающих” О, Некрасов! Некрасов!!! Ты ходишь по щиколотку в *крови* человеческой» (КНУ, 535). В «*Последних листьях*» дает свое «*résumé* о Некрасове»: «Темный и злой человек, но с ярким до непереносимости *лицом*, притом совершенно нового в *литературе* *стиля*» (ПЛ, 10). С другой стороны, радо-

вался, выяснив, что к *истории* присвоения денег М.Л. Огаревой Н., как он думал сначала и не раз упоминал об этом, непричастен: «В моих глазах это — главная тяжесть “всего Некрасова”, и слава *Богу*, что этот могильный камень отваливается. Нет, он был “Соловей-Разбойничек”, но не Петербургский шулер. Натура лесная, полевая и с интересом к “чужому товару” Но одно дело — обоз разграбить, и другое — объегорить “на векселях»» (КНУ, 467). Значение Н., по Р., заключается в том, что он «был настоящим основателем демократической *русской литературы*, — демократической и демагогической по естественному сочувствию к положению народа. Эту демократическую и демагогическую струю в себе он охватил не одно крестьянство, хотя его преимущественно, но и все другие сферы престолярного положения и *труда* <...> Без Некрасова весь вид русской литературы и дух русского *общества* был бы другой» (ОПП, 249). Но «“муза мести и *печали*” Некрасова не была бы услышана и понята, если бы для всей *России* из-за “ловкой фигуры” Некрасова не высывалась тощая фигура *Белинского*, которому действительно было за что “мстить” и на что “гневаться” Все 60-е годы необъяснимы без Белинского. Белинский основывает линию и традицию общественного негодования и общественного отшеница, которая к нашему *времени* сделалась омерзительной, но лет тридцать после Белинского была воистину прекрасной» (ОПП, 594). При этом Р. осознает, что изучение Н. чаще всего направлено к тому, чтобы «закрывать и скрывать настоящего Некрасова, нежели объяснить его», чтобы «стесать в нем острые и непререкаемые углы и приноровить его к общему ходу российской словесности, чтобы он не “выпячивался” из этого хода» (По поводу новой *книги* о Некрасове // НВ. 1916. 8 янв.; ЛВИ, 615). Н. «прилизывали» в «благоразумную прогрессивную фигуру», в то время как Н. «вообще в литературе “разорвал”, как совершенно инородный в ней человек, рвал ее традиции, рвал ее существо». Его *сила* в его краткости, в умении в «Забывтой деревне» сказать о проблемах крестьянства. «“Некрасовская литература”, — совершенно “дикая” в отношении всей предыдущей литературы, — страшна и истинна в том, что она есть подлинная литература подлинной, а не вымышленной Руси» (ЛВИ, 620). Н. «как-то удалось дать “стиль всей Руси” Стиль ее — народной, первобытной, почти дохристианской <...> И — бросить все это против *цивилизации*, злобно — против цивилизации... Он — будто зверь, бродящий по окраине города в темной ночи и шелкающий зубами на город. И к утру — причесался, прилизался и вошел в город, но с ночным чувством: сел за стол и начал играть в карты, взял перо и начал писать стихи. И, в сущности, в одном и другом делал одно и то же — *ремизил*» (ЛВИ, 621). При этих своих особенностях Н. легко вошел в *сознание русского человека* многими своими строчками. Говоря о красоте *Сергиева Посада* осенью, Р. вспоминает строки Н.: «Поздняя осень — грачи улети» и пишет об «отвратительной литературности русского человека, отвратительной литературности и училищ наших», выражающейся в том, что «лишь вспомнив эту учебную, “из хрестоматии”, строчку Некрасова, я догадываюсь и впервые осознаю о своем отечестве, что и грачи собственно “перелетная птица»» (АНВ, 224). В связи с годовщиной смерти поэта Р. выступил с боль-

шой статьёй «25-летие кончины Некрасова (27 декабря 1877 г. — 27 декабря 1902 г.)» (НВ. 1902. 24 дек.), сразу же получившей высокую оценку А.П. Чехова: «Давно, давно уже не читал ничего подобного, ничего такого талантливое, широкого и благодушного, и умного» (ОПП, 683). По мнению Р., из наследия Н. с течением времени в «живом обороте» остается лишь небольшая часть (ОПП, 115), дарование Н. «было самым нужным и вместе самым, так сказать, законнорожденным» в царствование *Александра II*, он был «первым поэтом этой эпохи; самым видным, значащим, влиятельным литератором», более того, «голосом страны в самую могучую, своеобразную эпоху ее истории, и голосом отнюдь не подпевавшим, а свободно шедшим впереди» (ОПП, 109). Н. «увеличил “лик в истории” русского человека, русской природы, русской национальности» (ОПП, 115). В художественном смысле это проявилось в том, что Н. «дал первый образ прозаического стиха и был первым публицистом-поэтом» (ОПП, 109). Н. «первоклассным поэтическим гением не был, но то, что он был страшно умен и хорошо знал свою землю, свой народ и свое общество — этого нельзя никак отвергнуть» (КНУ, 50—51). В его творчестве звучало еженедное, уличное, «боевая публицистика времени» (ОПП, 111) «и вместе каждое у него стихотворение светилось смыслом целостной своей эпохи», Н. «весь вошел в кровь и плоть времени» (ОПП, 110). В своем творчестве Н. соединил, «гальванопластически спаял» «деревню и русского “интеллигента”» (ОПП, 112). «“Холодно, странничек, холодно. / Голодно, странничек, голодно” Эти 2 строки Некрасова, пожалуй, стоят всего *Достоевского* и изрекли в 2-х строках то, что он изложил в 14 томах» (М, 304). В «*Опавших листьях*» Р. говорит об этом же двустии: «Создал же Некрасов такой дьявольский стих. Который стоит целой литературы. Это он написал, когда зябнул в Английском клубе. Там было ужасно холодно. Но никто не заметил, кроме как поэт Некрасов. О, он был воистину поэт» (ПЛ, 90). Сила народности Н., по Р., исключительна: в стихотворении «Дядюшка Яков» «больше чувства народности, непринужденного, само собой сказавшегося, чем во всех стихотворениях *Хомякова*», столпа *славянофильства* (ОЦС, 421). В «*Уединенном*» читаем: «У Некрасова есть страниц десять стихов до того народных, как этого не удавалось ни одному из наших поэтов и прозаиков <...> Вообще Некрасов создал новый тон стиха, новый тон чувства, новый тон и звук говора» (У, 28). Тон Н. не «подражал или увлекаем был эпохой», он исходил из его сердца, сердце его было не только «резонатором неслыханных кругом его звуков», и потому тон был искренен, и потому угас вместе с ним (ОПП, 118). В статье «Герцен» (НВ. 1911. 8 июля) «жмурающемуся» человеку и литератору Герцену Р. противопоставляет Н.: «Вот живая литература, теперешняя» (ОПП, 528). В статье «Некрасов в годы нашего ученичества» (РС. 1908. 10 и 15 янв.) Р. называет причиной «широкой и необыкновенно ранней усвоимости» Н. «то, что он называет *вещи* необыкновенно широкими именами, говорит схемами, категориями, именно так, как говорит толпа, улица, говорит простонародье и говорят дети» (ОПП, 246). Он «не старается подделывать народную речь до последней степени сходства, как не усиливается копировать народную психологию», а делает те «видоизменения, с какими народ-

ная психика и речь отразились и несколько преобразились в его душе, и городской, и интеллигентной» (ОПП, 248). Н. «завязывал связь с ущемленным у нас, с болючим, страдальческим и загнанным» (ОПП, 247). При этом, по Р., Н. «не оттого сравнительно забыт, что был плох, но оттого, что после него начали перепевать его *темы*, не находя более в круге их ни новой мысли, ни свежего чувства, ни оригинального слова. Всем стало ужасно скучно...» (ОПП, 57). Исследуя психологический облик Н. («О благодушии Некрасова» // МИ. 1903. № 2), Р. устанавливает и показывает на многих примерах, что его «музу мести и печали» отличает прежде всего «благодушие» (ОПП, 126) — именно оно «все-таки небо в нем, а гнев — только облака, проносящиеся по нему». Даже в гражданских стихах «бездна этого же благодушия», основанного на «просто добром чувстве, без всяких осложнений» (ОПП, 129), его «муза мести и печали» «не зайлива», «не тягуча», «это был поэт малого гнева» (ОПП, 132), «открытое, простое сердце, без лабиринтов в себе» (ОПП, 134). Вершиной творчества поэта Р. считает «Власа» (ОПП, 135—136). Он разбирает статью «Влас» в «Дневнике писателя» Достоевского, где опора на некрасовский первоисточник дает ему основания для полемики (см.: ЛВИ, 499—501). В «Мимолетном» Р. высказывает предположение, что знаменитые строки: «То сердце не научится любить, / Которое устало ненавидеть» — предостерегающе обращены Н. к «себе и своим» (М, 295). Перенос внимания с литературных целей на публицистические порождал у Р. иные оценки Н.: «После *Гоголя*, *Щедрина* и Некрасова совершенно невозможно никакой энтузиазм в России. Мог быть только энтузиазм к разрушению России» (СХР, 21). В той же «Сахарне» Н. причислен к «корню нигилизма» (СХР, 95). В «Мимолетном»: «...Да “русский прогресс” провалился уже в Щедрина и Некрасове... Когда все “за ними двумя побежали”, — он и провалился...» (М, 93). В «Уединенном» стихотворение «Рыцарь на час» за строчку «отведи так цитирует Р.» меня в стан погибавших» получает характеристику: оно «поистине все омочено в крови» (У, 64). Под псевдонимом В. Ветлугин Р. опубликовал в газете «Колокол» (1916. 19 марта) статью об архиве села Карабихи «Из подробностей о Некрасове». В статье «Что такое “буржуазия”?» (НВ. 1917. 20 июня) Р. пишет, что «несомненный буржуа» Н. и «бывший бюрократ Щедрина» «два собственно сотворили всю русскую революцию, которые весь свет заставили полюбить русского крестьянина и научили презирать русскую бюрократию» (М, 374). В «Опавших листьях» Р. утверждал, что «русский прогресс, рожденный выгнанным со службы полицейским и еще клубным шулером хорошо пойдет <...> Щедрина и Некрасову кланяются уж 50 лет» (У, 282).

С. Ф. Дмитренко

НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО Василий Иванович [24.12.1844 (5.1.1845), Тифлис — 18.9.1936, Прага] — прозаик, поэт, журналист, брат *Вл. И. Немировича-Данченко*. Р. считал Н.-Д. посредственным беллетристом и репортером. Выходцы из земских школ «читают плодотворного *Альфитеатрова* и Немировича-Данченко» (КНУ, 581). Н.-Д. не взял военным корреспондентом в *Русско-японскую войну*: «“И дорого, и будет врать” (мотивы отказа, мной слышанные)» (СХР, 234). Зато Р. всегда

любовался на шубу Н.-Д.: «Верно, встречу Немировича-Данченко и еще раз посмотрю на его красивую шубу» (PRO, 415).

А.Н.

НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО Владимир Иванович [11(23).12.1858, Озургеты, Озургетский уезд, Кутаисская губ. — 25.4.1943, Москва] — режиссер, писатель, драматург, педагог, брат писателя *Вас.И. Немировича-Данченко*. Р. характеризует его наравне с *К.С. Станиславским* как основателя Художественного театра. Оба «довели обдуманность *игры* до апогея и, до известной степени <...> закончили данную *школу*, поставили около нее точку» (СХ, 280). Обстановка пьесы, гримы, костюмы, но главным образом сама игра актеров «доведена под умным управлением и направлением глав *театра* до последнего совершенства» (там же). Н.-Д. также известен как тещ. Р. описывает свое впечатление от его чтения пьесы *Л. Толстого* «Живой труп» в 1911 на литературном собрании у *Н.В. Остен-Дризен* («Неизданная пьеса Толстого в чтении Влад.Ив. Немировича-Данченко» // РС. 1911. 26 апр.; СХ). В статье «Как падала и упала Россия» Р. писал: «Русские все зевали. Русские все клевали. Были у них Станиславский и Владимир Немирович-Данченко. И проснулись они. И основали Художественный театр. Да такой, что когда приехали на гастроли в *Берлин*, — то засыпали его венками. В фойе его я видел эти венки. Нет счета. Вся красота. И записали о Художественном театре. Писали столько, что в редкой газете не было. И такая, где “не было”, — она считалась уже невежественною» (АНВ, 59—60).

О.В. Михайлова

НЕСТЕРОВ Михаил Васильевич [19(31).5.1862, Уфа — 18.10.1942, Москва] — художник. Н. познакомился с Р. на своей выставке в январе 1907 в *Петербурге* (Нестеров М.В. *Воспоминания*. М., 1985. С. 268), но и ранее интересовался его творчеством. 27 июня 1901 Н. упоминает в письме к своему другу А.А. Турыгину о «презаванной» пародии *В. Дорошевича* в газете «Россия» «на Розанова (твоего друга)» (Нестеров М.В. Письма. Л., 1988. С. 194); видимо, именно Турыгин привлек внимание Н. к творчеству Р. В 1901, когда Н. работал над картиной «Святая Русь», Р. уже стал для него авторитетом: «Тема из тех, в которых хорошо разбирается Розанов, и ему больше, чем кому-либо, я желал бы картину показать, когда доведу до конца» (Там же, 198). 13 декабря 1901 Н. пишет Турыгину: «Только что прочел фельетон любимца твоего Розанова “Земное и небесное” Он, твой Розанов, весьма искусен становится в своих дерзновениях, затрагивая темы острые» (там же). 11 февраля 1903 Н. сообщает другу, что подписался на «Новый Путь» «в надежде “не отстать от века”» (Там же, 206). Позже Н. вспоминал, что выписывал «Новый Путь», «где тогда группа интересных писателей с Розановым во главе, казалось, найдет новый путь к познанию России, россиян, их скрытый дух, свободные чувства, мысли. Откроет “тайну”, давно утерянную, как любить божественное и человеческое» («Воспоминания». С. 245). 20 апреля 1903 Н. писал, имея в виду статью Р. «О высших интересах знания и речи» (НВ. 1903. 16 апр.): «Вот Розанов так мужчина, его стоит любить. Его отповедь дуре

Лухмановой и квартальному православию *Грингмуту* — превосходна. Тут и убеждения, и страсть, и искренность... Хорошо! Я доволен!» («Письма». С. 207). Р. откликнулся на персональную выставку Н. тремя статьями. В статье «Молящая Русь (На выставке картин М.В. Нестерова)» (НВ. 1907. 23 янв.) Р. подчеркивал, что Н. изображает «Русь до университета, пожалуй — до Петра Великого <...> Монах и крестьянин — этим исчерпывается священная религиозная Русь, которой г. Нестеров явился великим живописцем» (СХ, 243). Р. акцентирует внимание на скорби, грусти, душевной боли как характерно «русском религиозном мотиве»: «Везде он изобразил душевную боль, как источник религии и религиозности...» (там же). Р. отмечает «прекрасную меланхолию», разлитую в созерцательных картинах Н., «тихую задумчивую природу», «сладкие скорби» *монастыря, смерти*. «Сколько грустных лиц! Ни одного веселого» (СХ, 245). Картина «Два Лада» вызывает у писателя ощущение «умиротворенности природы, хорошо “слаженной” Творцом» (там же). Статья наполнена религиозно-философскими размышлениями о скорбях и радостях жизни: «Будем же молиться в скорбях, когда они пришли как fatum. Но пока спокойно все, вспомним “милых ладов”» (СХ, 246). В статье «Где же “религия молодости”? (По поводу выставки картин М.В. Нестерова)» (РС. 1907. 15 февр.) Р. сообщает, что встречался с художником: «От самого художника я слышал, что он получил приглашение выставить картины свои в Венеции» (СХ, 246). Внимание Р. особенно привлекло масштабное полотно «Святая Русь», которую, по его мнению, можно назвать «Молящеюся Русью». Нравственный центр картины, считает Р., составляет не Христос, а она сама, эта «святая Русь, как бы “самомолящая Русь”». Р. пишет: «Старики, старухи, больные, припадочные — вот “богомольцы” Руси. Где же, однако, норма и, особенно, где молодость, юность или просто возмужалый возраст?» (СХ, 247). Даже и заметив потом фигуры «в молодом возрасте», Р. утверждает в духе своих антиаскетических выступлений, что «нравственно картина есть именно монолог: старые, дряхлые лица — бес- смертно-выразительны, крупны, бросаются в глаза!» (там же). Статья изобилует религиозно-философскими размышлениями с преобладанием сетований о разрыве между религией и жизнью. В религии, считает Р., «ничего — о труде и для труда», «ничего — о любви и детях». Признавая красоту в православии — «дивное искусство греков в христианстве, этот словесный Парфенон, может быть, даже лучший мраморного!» (СХ, 250), Р. настаивает на том, что «религия должна все обнимать», а она лишена полноты. Вывод его таков: «Религия выше человеческого, — а посему все человеческое она не может клонить долу, а только поднимать к небу» (СХ, 252). В статье «М.В. Нестеров» (ЗР. 1907. № 2) Р. подчеркивает влюбленность художника в религиозные сюжеты: «Стихиями души своей, как внутренним соком, он “прилип” к религиозным сюжетам Руси, как они слагались и сложились до него, исторически, “прилип” и полюбил их как супруг супругу» (СХ, 252). Р. отмечает, что феномен православия «взят Нестеровым в молитве, молитвенности своей» (СХ, 253). «Нестеров не иконописен, — считает Р., — не его дело писать “Бога”, а только “как человек прибегает к Богу”» (СХ, 254). Р. останавливается

и на непритязательном пейзаже Русского Севера, с любовью изображенном художником. По его мнению, Н. прекрасно изобразил «молящуюся Русь», но «едва ли не было существенною ошибкою приглашать его “расписывать соборы”, где надо было уже писать “Того, к Кому молитва”, а не самую молитву, молящихся» (СХ, 255). Нестеров анти-«иконен»: «он — лирик, ну, а *икона* — это существо “эпическое”, — полагает Р. (СХ, 256). «О Нестерове и о *Васнецове* можно сказать, что они оба изменили характер «православной русской живописи», внеся в ее эпические тихие воды струю *музыки*, лирики и личного начала» (СХ, 257). Н. считал, что статьи Р. о выставке «были наиболее интересными» («Воспоминания». С. 268). В 1907, после знакомства на выставке, Н. подарил Р. акварель «Св. Зосима Соловецкий» («Письма». С. 221). *Н.В. Розанова* писала о Н., что «у папы в кабинете всегда висели две его картины, подаренные им. Это “Св. Зосима” в лодке и акварельный эскиз к картине “Два Лада” (в память о выставке Нестерова 1907 г.)» (НР, 116). Благодаря за работу, Р. выразил желание встретиться с Н. летом в Кисловодске, где у *М.П. Ярошенко*, вдовы художника, *семья* Р. сняла помещение. 6 сентября 1907 Н. писал: «В Кисловодске десять дней путался с Розановым. От “*поцелуев*” переходили чуть не к драке» («Письма». С. 228). Н. писал Р. в 1909: «Вы <...> умный, интересный собеседник и слушатель» (Там же, 234). Их беседа о сцене с Пименом из пушкинского «Бориса Годунова» нашла отражение в статье Р. о *славянофильстве*: «Живописец М.В. Нестеров, все рисующий “Пименов”, сказал мне раз, что “Борис” — любимейшее его произведение в *русской литературе*, а это место его он не может читать без слез» (ВНС, 131). Они так увлеклись разговорами, что забывали о *времени*. *С.Н. Дурьлин* вспоминал: «Вас. Вас. три раза возил Нестерова к *Суворину*, который желал познакомиться с художником. Нестеров три раза заходил к В.В., чтобы поехать вместе в Эртелев переулок <...> но В.В. всякий раз так его заговаривал, что к *дому* Суворина подвезжали всякий раз в 12 часу ночи, и Нестеров отказывался идти к Суворину, так как “голова вся был полна Розановым и разговором с ним, и я бы оказался дураком перед умнейшим стариком!” И так-таки и не видался никогда Нестеров с Сувориным» («В своем углу». М., 1989. С. 228). Р. написал посвященную Марфо-Мариинской обители статью «Великое начинание в *Москве*» (НВ. 1909. 4, 5 и 6 марта; СМР), в основу которой легли рассказы и пояснения Н., создавшего для монастыря ряд росписей. Н. писал Р. о его статье: «Ценя с давних пор Ваше дарование, относясь ко всему, что пишете Вы, с осторожностью, с вдумчивым вниманием, а потому, быть может, и с некоторой придиричивостью, на сей раз я как бы удвоил свою критику к написанному Вами <...> В первой статье мне показалось, что вы взяли *тон* несколько нервный, “тема” от Вас как бы ускользала <...> Но появление последующих статей все опасения рассеяло: Вы вышли на простор. Тема получила живую, яркую окраску, в нее вложили Вы много теплоты <...> лично от меня считаю обязанным сказать Вам глубокое спасибо» («Письма». С. 234—235). В 1910, после ухода *Л.Н. Толстого* из Ясной Поляны, взволнованный Н. пишет Р., чтобы «отвести душу»; «Теперь, в эти удивительные дни, так хочется услышать Ваш *голос* (только не в “*Русском*

Слове”, там место адвокатской речивости *Дорошевичей*), Вы более, чем кто-либо из русских писателей наших дней, можете проникнуть глубоко и пламенно осветить это чудное событие <...> В начале декабря надеюсь быть в Петербурге и быть у Вас» (Там же, 241). Постепенно Н. стал другом не только Р., но и всей его семьи. Р. писал в 1913: «Как я люблю его, всегда пылкого, всегда сурового. И — настоящего русского. Вот за Нестерова я бы всей Палестины не взял <...> когда он приходит к нам в дом (редкие приезды в Петербург) он входит и сидит “своим человеком” Он мне родной и да будет так» (СХР, 260). *Т.В. Розанова* вспоминала: «Наша семья не только уважала, ценила высокое *искусство* Михаила Васильевича, но как-то по-особенному любила его» (ТР, 47). *Н.В. Розанова* свидетельствует: «Нестеров был одним из тех, к кому папа в течение всей своей жизни относился с неизменной любовью и любовью: “Прекрасный Нестеров” всегда добавлял папа, когда речь заходила о нем <...> Нам, детям, полностью передалось отношение отца к Нестерову <...> Придя к нам, он держал себя с той обаятельной простотой и вниманием к окружающим, какое только свойственно людям настоящего *ума* и сердца» (НР, 117). В одном из писем к Р. — отзыв о книге «*Опавшие листья*»: «Дорогой в вагоне прочел Ваши “Опавшие листья”, прочел с большим захватывающим интересом. Какая это “розановская” книга! Как Ваше дарование? вся острота чувства и глубина размышлений ярки и полны там!» («Письма». С. 250). Н. разделял взгляды Р. на современников: «Вы не любите *Боборыкина*, да и как Вам любить эту пустую скорлупу. Как любить Вам бесталанного, либеральничющего англоязычного барчонка *Философова*. Понятна и нелюбовь Ваша к интеллигентскому прорицателю *Мережковскому*, этому кастрированному *Грише Распутину*» (там же). 4 декабря 1913 Н. пишет Р. о его статье «Вечное Преображение», предназначенной для готовившегося в издательстве Кнебель альбома репродукций Н. По его мнению, эта статья Р. — «одна из наиболее ярких, значительных Вами написанных о искусстве и художниках», хотя он и считает ее комплиментарно-преувеличенной: «Статья Ваша и фантастична, и в то же время убедительна, так талантлива, что, право, моментами, читая ее, забываешь, что объект ее ваш покорный слуга, готов воскликнуть: “Да покажите мне этого Нестерова, этого удивительного художника!”» (Там же, 255). Н. сообщает также, что ведущий издание альбома представитель издательства Кнебеля «от статьи в восхищении» (там же). Однако альбом со статьей Р. выпущен в свет не был. В 1924 Н., предлагая *Э.Ф. Голлербаху*, намечавшему выпуск сборника, посвященного художнику, напечатать «Вечное Преображение», писал: «Статья эта, может быть, самая яркая и наиболее “розановская” из всего им обо мне написанного» (Там же, 294). Попытка, однако, не увенчалась успехом и статья была опубликована только в 1989 (Советский музей. 1989. № 5). Р. пишет в статье «Вечное Преображение» о Н. как о художнике с ярко выраженной индивидуальностью, легко узнаваемым лицом. Суть Н., считает Р. — это «душевная боль», «тревога *совести*», но не смерть, а «вечная жизнь». Согласно Р., Н. работает «на переходе от биографии к житию» (НФП, 192). Н. чуждо все официальное — на его картинах отсутствует *духовенство*, он не изображает

церковные службы: его интересует не «убор веры» (Там же, 194), а сама вера. «Он поет о старом», отрицая европеизм — там «душу забыли». Р. видит в живописи Н. противостояние петровским преобразованиям, в результате которых «старые идеалы дрогнули» (Там же, 196). Н., утверждает Р., — единственный художник, к которому «не забежала “из мира” ни одна тема (Там же, 192). «Русский путь» к “русскому преображению” — вот суть Нестерова» (Там же, 193). Н., показавший «святую Русь в ее молитве», заявляет Р., — «вполне исторический и огромный человек», потому что изображает «главный религиозный мотив Руси». Его живопись «собирательно национальна». «Св. Русь» и “Нестеров” как-то неотделимы и всегда останутся неотделимы <...> Он зовет нас от действительности грубой, жестокой, оскорбляющей и часто лживой, — к Вечному Преображению» (Там же, 197—198). В 1913 Н. сообщил Р., — «некий “горячий почитатель» писателя «возымел желание иметь его *портрет*, исполненный масляными красками одним из наших лучших портретистов — С.В. Малютиным», и просил Р. не отказаться попозировать для портрета: «Крайне желательно иметь Ваш портрет масляными красками. Он нужен для *будущего*» («Письма». С. 256). Однако портрет, видимо, написан не был. Н. следил за полемикой в *Религиозно-философском обществе* — например, он прислал Р. статью «Карамазовщина», подписанную Гаррис (*псевдоним М.А. Каллаш*), из *газеты «Голос Москвы»* (1914. 11 февр.), в которой изображалось, «до чего обвалялся Мережковский с *Чеховым* и *Сувориным*» (КНУ, 222). 14 февраля 1914 Н. сообщил Р. о получении статьи после исправлений, а также о том, что иногда видится с *П.П. Перцовым* и что «он хорошо, добро к вам относится и любит Ваш талант» («Письма». С. 257), а также о заседании Московского РФО по поводу книги *П.А. Флоренского* (там же). В 1916 Н. попросил Р. написать статью против изменения *И.Э. Грабарем* принятой развески картин в Третьяковской галерее, нарушающей завет П.М. Третьякова не смешивать его собрание с более поздними приобретениями (Там же, 264), а в следующем письме поблагодарил Р. за статью («Игорь Грабарь и Третьяковская галерея» // *НВ*. 1916. 31 янв.; ВЧВ). Р. содействовал также появлению в «*Новом Времени*» статьи Н. в связи с кончиной их общего знакомого *А.В. Прахова* (*НВ*. 1916. 20 мая). Одной из причин переезда Р. в *Сергиев Посад* было желание быть ближе к друзьям — Флоренскому, Н. и др. В голодное время Н. старался помочь Р. *С.Н. Булгаков* писал Флоренскому 21 февраля 1918: «М.В. Нестеров, по письму П.П. Перцова, очень встревожен острой нуждой Розанова; заразил и меня этой тревогой. Стучусь в “Утро России”, но теперь пресса терроризирована большевиками, осуществляющими мир всего мира» (Переписка свещ. П.А. Флоренского со свещ. С.Н. Булгаковым. Томск. 1998. С. 150—151). В период жизни в Сергиевом Посаде Р. во время поездок в Москву не раз останавливался у Н.: «М.В. Нестеров, у которого я ночевал ночь, попросившись со мною рано вечером, поспешно лег спать, так как обязан был от 3-х часов ночи до 6-ти, выйдя на мороз, дежурить на дворе» (АНВ, 123). В 1923 Н. с похвалой оценил работу о нем *С.Н. Дурьлина*: «Форма, слова для Ваших размышлений найдены так счастливо, что и В.В.Р. не отказался бы от них» («Письма». С. 288). В 1928

Н. сообщал: «Недавно написал эту “В.В. Р.<озанов>” Весьма одобряют» («Письма». С. 338) (очерк не опубликован). В 1938—1942 Н. встречался с дочерьми Р. (ТР, 142—143). Р. приложил к письмам Н. *характеристику*: «Один из самых прекрасных, строго прекрасных русских людей, встреченных мною за всю жизнь. Вот его портрет как-то не попал на палитру ни Толстого, ни *Достоевского*. Между тем, не зная, особенно не видав и не слушав Нестерова, нельзя понять, откуда же вышла русская земля и кем она строилась. Я весьма несовершенно знал бы, чуял русскую историю, если бы не знал Нестерова. Он был очень скромн, не речист, почти застенчив, но все это прекрасно и гармонично, без преувеличения. Так, он очень любя и ценя старика Суворина, уже доехав со мной до редакции, отказался войти и познакомиться, сказав — не помню что. Он был <не>прерывно страстен, и спокойным, и, “развалившись”, я его не видал ни минуты. Говорят: “Русские люди не деятельны — пассивны” Но вот Нестеров: в нем *огня* и энергии побольше, чем в Штольце, и побольше даже, чем в *Герцене*. Но все было смело, все было в страшной внутренней узде. Я его любил как брата, как друга и родственника. Его нельзя было не любить и “не почитать” Я его почитал и горжусь этим. Я думаю, — он вполне исторический человек. Одухотворение, несущееся из его картин, никогда не забудется. Он создал “стиль Нестерова”, и этот стиль никогда не повторится» (ЛЖ. № 13/14. Ч. 1. С. 104—105).

В.А. Фатеев

НИКИТСКИЙ Сергей — московский преподаватель, автор трех писем к Р. конца 1890-х — начала 1900-х (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 30). Ознакомившись с изданием «*Метафизики*» *Аристотеля*, подготовленным Р. совместно с *П.Д. Первовым*, и его рецензией на «*Мысли*» *Паскаля*, Н. прислал Р. собственные книги по философии (среди них перевод Ш. Секретана «*Цивилизация и вера*». М., 1900), сопроводив их просьбой о поддержке изданий на страницах «*Нового Времени*». Корреспондент высоко отозвался в письме о заметке Р. «Э. Бутру. В защиту идеалов разума» (*НВип*. 1900. 1 марта). В последнем письме Н. просил о рецензии на свой перевод книги К. Гутбрета «*Свобода воли и ее противники*» (М., 1906). Р. так и не дал рецензий на упомянутые книги, а к письмам Н. приложил краткую *памету*: «Никитский, — переводчик философов на русский язык» (ЛЖ. 2000. №13/14. Ч. 1. С. 81).

А.В. Ломоносов

НИКОЛАЕВ Николай Алексеевич — в 1871—1872 ученик 7-го класса *Симбирской гимназии*, наставник Р. В 1871 старший брат Р., в семье которого он жил в *Симбирске*, перевелся в *Нижегородскую гимназию*, оставив Р. с младшим братом Сережей в *доме* матери Н. Ольги Ивановны. В письме к *Василию Баудеру*, товарищу по Симбирской гимназии, Р. в 1876 вспоминал «проклятую жизнь у Николаевых»: «Ты не можешь представить себе, что за гадина была эта Ольга Ивановна, о которой я и теперь не могу вспомнить без чувства сильнейшего негодования и глубочайшего презрения. Грубая и пошлая, как никто, она в то же время была необыкновенно зла <...> Как оказалось по приезде моем в Нижний, она ута-

ивала некоторые деньги, посылаемые братом мне и Се-реже» (ОСЖС, 673). В старости Р. не раз вспоминал Н. «В третьем классе гимназии, оставленный “на второй год”, я плохо учился. Латынь и прочее. И был у меня репетитор, приснопамятный Алексей Николаевич Николаев <Р. путает имя и отчество Н.>, светлую память коего я храню до сих пор, ибо он, кажется, всему доброму меня научил, — всему светлому и идейному. Жил я в доме его матери, и, следовательно, он не то что “давал мне уроки”, а жил и занимался со мною. Тогда имен я не знал, а теперь знаю, — и знаю, что он был “народник и теоретический социалист” <...> Как сейчас помню его золотистые, чуть-чуть вьющиеся волосы, — мягкое, влекущее к себе обращение, с “уклончивостью” от старших, от родителей, от начальства. И этот общий тон его духа: — “Эх, что делать, — надо терпеть. Всего говорить не приходится. Но — времена переменчивы” И как будто он брал тебя руками — и куда-то уносил в “переменчивые времена” Ни гимназия, ни университет, никакая наука и никакая серьезность не заменили и не могли заменить того вдохновения, какое он давал “собою” и “из себя” (ОПП, 586—587). Побывав летом 1907 в Симбирске, Р. в путевых очерках «Русский Нил» отмечал: «С благоговением пишу его имя теперь, на старости лет, хотя уже сам классу к пятому вспоминал о нем не иначе как насмешливо и мысленно с ним споря. Но это пусть. Фаза пройдена. А пройти ее, и так особенно и чудесно пройти, я мог только с Н.А. Николаевым. Небольшого роста, светлый-светлый блондин, с пробивающимся пушком, золотистыми, слегка вьющимися волосами, как я теперь понимаю, он для меня был “Аполлон и музы” Он сам весь светился любовью к знанию и непрестанно и много читал. Ну а я был “подмастерье” “Сапожник” и “мальчик при нем”: самое удобное положение и отношение для настоящей выучки. Клянусь, нет лучшей школы, как быть просто “мальчиком”, “подпаском” и “на посылках” у настоящего ученого, у Менделеева или Бутлерова. Но мне “настоящий ученый” был непонятен и, следовательно, не нужен или вреден: а вот Николай Алексеевич Николаев и был то самое, что нужно было и даже что “Бог послал” Конечно, он взялся за уроки и стал учить меня, как — не помню. Ни одного урочного занятия не помню. Но он сам, я сказал, непрерывно и много читал, и я просто стал читать то же, что он: сперва Белинского, затем Писарева, Бокля, Фохта и проч.» (ОНД, 168).

А.Н.

НИКОЛАЙ I (Николай Павлович Романов) [25.6(6.7). 1796, Царское Село, Петербургская губ. — 18.2(2.3).1855, Петербург] — российский император с 1825. Эпоха Н. характеризуется Р.: «Конечно, все управление России было застойное, пассивное. Полагая себя “на верку положения” после войны 12-го года и “спасения Европы”, державой первенствующей, Россия застыла в этом первенствующем положении, не задумываясь о том, что ведь “колесо катится” И незаметно, и неуловимо скатилось книзу. При “первенствующем положении” что же делать, как не сохранять его: и вот сам Николай I и “все вокруг” приноравливались к этому сохранению, и образовалась *правительство* застоя и *политика* застоя» (М, 285). Р. продолжает: «Нет команды (суть России). Ко-

манда какая-то рыхлая, дряхлая. Во времена Николая она была неумная, но твердая. Однако “неумная” — отразилась слабостью. Кто не умен, в конце концов делается слаб. С 1855—56 — кризис» (ПЛ, 81). «*Нигилизм* рожден знаменитыми сороковыми годами, классической порой Николая I» (КНУ, 509). И вот Гоголь «сжег николаевскую Русь» (ОПП, 122). В брошюре «*Ослабнувший фетиш*» Р. вспоминает: «Император Николай I (приходилось мне читать), проезжая по Моховой улице мимо *Московского университета*, делался угрюм и, указывая на здание, говорил: “Вот волчья нора” Великий и верный инстинкт. Что делать, не будем лгать и скажем ту простую и очевидную истину, что с поднятием уровня науки обесцвечиваются вообще все фетишистические чувства, пересыхает почва, питавшая монархизм, и он рационализируется, ищет мотивов себе, “доказывается” и вообще сходит к тому смертельно враждебному себе мотиву, что он “угоден и народу”, “желателен народу» (КНУ, 151). Р. любил мечтать и в 1918 в размышлении о ходе *русской литературы* записал: «Если бы Николай не был таким тупым остзейским императором и петербургским бароном, он призывал бы каждый день *Пушкина* поутру во дворец и, спросив: “Писал ли ты что сегодня ночью, друг мой, сын мой, — мой наставитель, — целовал бы, в случае “написал”, руку у него: потому что все его глупые и пошлые воины не стоили: “Прибежали в избу дети, Второпях зовут отца...”» (ОПП, 671).

А.Н.

НИКОЛАЙ II (Николай Александрович Романов) [6(18).5.1868, Царское Село, Петербургская губ. — расстрелян в ночь с 16 на 17.7.1918, Екатеринбург] — последний российский император с 1894 по 1917. Канонизирован, захоронен в Петропавловском соборе Петербурга 17 июля 1998. В статье «Государь и *Государственная дума*» (НВ. 1906. 27 апр.) Р. писал о роли Н. в реформах 1905: «Будущий историк России бесспорно скажет, что если одна половина русской “конституции” и “парламентаризма” объясняется ходом японской войны, наступившей “смуту” и, наконец, вообще всем освободительным русским движением, начиная от 14 декабря, то всему этому, однако, недоставало целой другой половины и эта половина дана была личным характером Императора Николая II» (РГО, 65). От восхищения Н. («Государь есть человек, несущий в груди своей все русские боли, страдающий так же, как мы; и в нем мы любим свое и себя, привычную, идеальной любовью». — КНУ, 37). Р., согласно записи в дневнике С.П. Каблукова 22 февраля 1909, переходит к совершенно иной оценке императора. Речь зашла о казнях, проводимых П.А. Столыпиным. «Вот ответ Розанова почти буквально, — записал Каблуков. — “Его брат, А.А. Столыпин говорил мне, что П.А. давно хотел отменить усиленные охраны, военнопольевые суды и казни, но Николай II не позволяет этого. Он мстит России за перенесенные унижения во время *Русско-японской войны* и за октябрьские дни 1905 года. А Николай II, продолжал Розанов, есть мелкая, мстительная и низкая душонка, человек очень жестокий, хотя производит самое чарующее впечатление на всех, кто с ним имеет дело. Подобного лицемерного и лживого государя не было в России со времен *Aлександр I*. Он совершенно не имеет ума государственного и в

делах государственных есть как бы пустое место. С.Ю. Витте он ненавидит, а Витте его очень боится (признание С.Ю. Витте *А.С. Суворину*)» (PRO, 1, 200—201). Сразу после большевистского переворота Р. писал в первом номере «*Апокалипсиса нашего времени*»: «Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска, и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом — буквально ничего. Остался подлый народ, из коих вот один, старик лет 60 “и такой серьезный”, Новгородской губернии, выразился: “Из бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тянуть” Т.е. не сразу сорвать кожу, как индейцы скальп, но надо по-русски вырезывать из его кожи ленточка за ленточкой. И что ему царь сделал, этому “серьезному мужичку”. Вот и Достоевский... Вот тебе и Толстой, и Алпатыч, и “Война и мир”» (АНВ, 7).

А.Н.

НИКОЛЬСКИЙ Борис Владимирович (1870—1919, Петроград, расстрелян) — публицист, критик, поэт, юрист, преподаватель Александровской военно-юридической академии (1899—1903) и политический деятель. П.Л. Перцову Р. писал в 1898 о Н.: «Странный он человек, по-видимому, очень гордый и самонадеянный. У него нет нежного и милого в душе, а такие люди мне высоко чужды» (ОР РГБ. Ф. 872. К. 3. Ед. хр. 14). В письме к Р. от 28 февраля 1899, познакомившись с книгой Р. «*Сумерки просвещения*», Н. предложил ему место преподавателя педагогики на Высших женских курсах (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 31). В сочинении Р. «*Ослабнувший фетиш*» (1906) имя Н. упоминалось в качестве примера политической неуклюжести крайне правых: «Члены “Русского Собрании” злобны, дики, капризны, ибо они не менее кого бы то ни было знают, что “все пропало” в этом отношении, что злобою и силою никого не удержишь, а очарования, волшебства и сказки ни в ком уже не живет, не живет ее и в груди Б. Никольского» (КНУ, 153). В том же 1906 Р. указывал на Н. в статье «В русском подполье», как на одного из пропагандистов идеи о еврейском характере *Первой русской революции*: «Я вовсе не против русской свободы: но когда я вижу смуглые физиономии с крючковатыми носами, которые с красными флагами в руках нахально выступают впереди русских борцов, — я чувствую потребность ударить палкой по этому кичливо поднятому носу» Так картинно объяснял мотивы своей вражды к “освободительному движению” один член “Русского Собрании” на Троицкой улице, в Петербурге, где подвизаются приват-доцент Борис Никольский» (КНУ, 163). Образ Н. ассоциировался для Р. с гоголевским Ноздрёвым: «Шум есть неперемнное сопутствие Никольского, как хвост есть неперемнное сопутствие кометы. Шум и неотвязчивое воспоминание о Ноздрёве... Даже о двух Ноздрёвых, сразу вошедших в комнату», «тем сочным басом, как говорил и Ноздрёв, Б.В. Никольский гремел в прошлом году, что ему ничего не стоит заставить Академию наук издать “Полное собрание сочинений” К. Леонтьева... Забыв, что не в издании дело, а в читателе» (ЛВИ, 557). Р. осмеивал экспрессивное начало публикаций Н. Касаясь его статьи в «Литературном сборнике» (СПб., 1911) памяти К.Н. Леонтьева, Р. подчеркивал, что характеристика, данная Леонтьеву Н., «страдает

всегдашним жаром и всегдашней торопливостью нашего неутомонного “черносотенника” Ему всегда хочется сказать перед статьей: “выпейте холодной воды”» (ОПП, 555). Р. включил некролог Н. о Н.Н. Страхове в свою книгу «Литературные изгнанники» (СПб., 1913. С. 417—422).

А.В. Ломоносов

НИКОН [Рождественский Николай Иванович; 4(16).4.1851, село Чашниково, Московский уезд, Московская губ. — 12.1.1919, Троице-Сергиева лавра] — епископ с 1904, архиепископ с 1913, с 1907 член Государственного совета, член Св. Синода, церковный публицист, редактор-издатель «Троицких листков» в Троице-Сергиевой лавре. Р. писал С.А. Рачинскому в июне 1895: «Получил письмо от издателя “Троицких Листков” Арх<имандрита> Никона — я писал открытое письмо с выражением благодарности к Православному, автору чудесной статьи “Правы ли мы?” в “Рус<ском> Об<озрении>”, которая меня тронула до слез. Как оказалось, — это Никон» (ПР. 1895. Май—июнь. № 69. Л. 156). Однако после отхода Р. от консерватизма и поворота к теме пола его отношение к Н. изменилось, и они нередко полемизировали. Р. перепечатал заметку Н. «Какими рожцами питается наша интеллигенция» (Душеполезное Чтение. 1900. № 1) в своей книге «В мире неясного и нерешенного», сопроводив ее критическими комментариями (ВМНН, 104—106). По мнению Н., взгляды на Ветхий Завет автора цитируемой статьи из «Гражданина» (без указания имени автора и названия — «Брак — как религия и жизнь» И. Кольшико; см. ВМНН, 88) «кажется прямо кощунством, богохульством» (ВМНН, 106). Обобщая материалы по вопросу о браке в духовных журналах, Р. пишет о заметке Н., что «автор совсем не понимает, о чем дело идет» (ВМНН, 124). В статье «Перед созывом Церковного Собора. II» (НВ. 1905. 22 нояб.), рассказывая о еп. Антонии (Храповицком), Р. отметил, что «он расстался с Духовной академией не по доброй воле: «На расспросы мои (в письмах) я узнал, что он <еп. Антоний> “был переведен на другое место службы”, в более глухую провинцию, по проискам знаменитого архимандрита Никона, кажется “ключаря” или “эконома” Троице-Сергиевой лавры, редактора народных “Троицких Листков”, расходившихся в сотнях тысяч экземпляров. Никону, “народному” оратору, был противен этот “высокоумный” ректор академии; писали мне в письмах, что Никону, страшно разбогатевшему (называли капитал в 90 000 р.) на ходках “Троицких Листках”, был как бельмо на глазу молодой монах-энтузиаст, прежде всего и впереди всего бессребреник, делившийся последним рублем с семинаристом (это определенно говорили). Никон этот, постоянно пишущий в “Москов. Вед.”, вообще старается по части “обличений” и всего еще весною этого года он зараз обвинил в неправославии, безбожии и декадентстве: 1) епископа Евдокима, теперешнего ректора Московской духовной академии; 2) весь вообще журнал “Богословский Вестник” и 3) проф. М.М. Тареева, одно из лучших украшений нашей фило-софско-богословской литературы. Пишет он языком грубым и народным, и до того всегда резким, что больно читать (или, пожалуй — «уши вянут») <...> Прошлою зимою городское московское управление ходатайствова-

ло о прекращении его “проповедования” (“лекций”) в Московском епархиальном *доме*; так оно возбuditельно и дурно возбuditельно действовало на народ, сводясь постоянно к “безбожию” и “противоправительственности” образованных классов, профессоров вообще, науки вообще, печати вообще. Сей Московский Савонаролла (о “капитальце” его я оттого и упомянул, что это характерно на Руси) и сломил лет 20 назад ректора Московской духовной академии, ныне епископа волынского Антония <...> И вот эту весною епископ Антоний произносит “Слово о Страшном суде”, пугающего и обличительного характера, совершенно в духе архимандрита Никона, когда-то его недруга, обличителя его самого за “либерализм”. В 1909 Р. выступил в «Новом Времени», обращаясь через газету к Н., с идеей необходимости уменьшения количества праздников, так как, по его мнению, они способствовали пагубному пристрастию к пьянству. В статье «Спор из-за хлебов (открытое письмо еп. Никону о множестве праздников)» (НВ. 1909. 15 марта) он писал: «Неужели красится тем церковь, что в “праздник”, на неделе, мужики и мастеровые сидят как ягодки по трактирам, с красными лицами и помутневшими глазами <...> Праздников как отдыха, Бог установил 52 в году. Остальные “праздники” суть рабочие дни и в то же время церковно воспоминательные, т.е. они вспоминаются церковно, отмечаются церковною службою, но без непременно присутствия на них рабочего люда» (СМР, 96—98). Говоря о праздниках Рождества и Пасхи, Р. заявил, что «подобных пышных и украшенных дней должно быть не более десяти в году» и что праздники «должны ограничиться именно памятью, а не прогулом и разгулом» (СМР, 98). «Оздоровление народное нужно пролить прежде всего в народный труд <...> Поправить же трудовой год только и можно, выдернув эти расшатывающие трудовую неделю “ничего неделанья” дни среди недели, которые вкрались в нее под разными предлогами <...> праздностью Богу не угодишь» (там же). Н. высказал сожаление, что Р. «так зло» накиннулся «на святые дни, желая отнять их у верующих людей и отдать суете земной», и заявил: «Мы отстаиваем свободу дней праздничных от обязательного принудительного труда <...> Помните: будни — для земли, праздники — для неба, будни — для тела, праздники — дни Божьи, а не наши, и закон должен оказывать Церкви всю силу своей помощи, чтобы научить народ проводить дни Божьи по-Божьи» («За Божьи дни (ответ на открытое письмо В.В. Розанову) еп. Вологодского и Тотемского Никона» // НВ. 1909. 22 марта). Н. добавил о тоне Р.: «Не скрою от вас: впечатление этой озлобленности тяжело ложится на читателя-христианина. Будто — простите — сатана, озлившись на противоречие ему в защите дней святых, заговорил вашим пером». Еще «более резкий ответ», как заявил сам Н., он поместил в тот же день в газете «Колокол». Р. ответил целой серией статей: «Вопросы русского труда (Опыт ответа Преосвященному Никону)» (НВ. 1909. 26 и 27 марта); «О расстройстве трудового года» (НВ. 1909. 5 апр.); «Клерикализм в вопросе о праздниках» (НВ. 1909. 9 и 22 апр.), в которых попытался «копнуть глубже», заявив, что в христианстве вообще «богатство грешно, бедность — идеал» и вместо «трудолюбия» духовенство проповедует «убогость», «воспевадается идилия бедности, болезни, нищенства» (СМР,

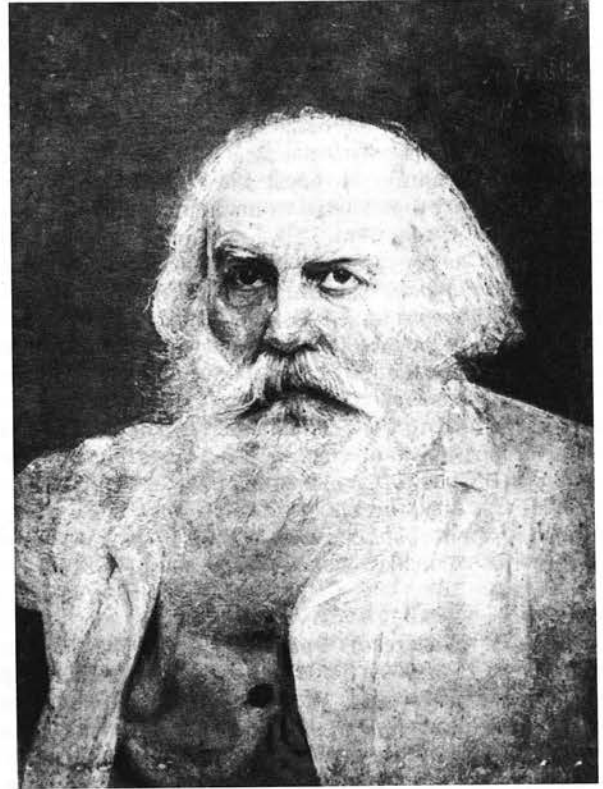
106). Стремление духовенства «всем авторитетом церкви» отстаивать «свою» точку зрения Р. назвал «клерикализмом». Н. во втором ответном письме, «Немного в ответ на многое (открытое письмо В.В. Розанову)» (НВ. 1909. 25 апр.), выступал в защиту учения Церкви о богоугодном труде, обличал Р. в незнании и неверном цитировании Евангелия и религиозном отступничестве: «Вы, обещаясь “копнуть глубже”, на самом деле совсем оторвались от почвы православно-христианских понятий. Обращаясь с открытым письмом к редактору-издателю «Московских Ведомостей» Л.Н. Тихомирову, Н. заявил, что на будущий Поместный Собор не следует приглашать не только мирян, но даже и священников, а только епископов: “Да только Собор святителей, а не тот собор, который предлагается правилами созыва, увы, уже утвержденными” Я со страхом помышляю: кто явится на собор в качестве избранных мирян, да и духовенства? Не явятся ли Розановы, Мережковские — от Питера, Миллюковы, Маклаковы — от Москвы и т.д.? Где, в чем гарантия, что сего не будет?» (Преосвященный Никон Вологодский. О созыве Поместного Собора (письмо к издателю) // МВ. 1909. 10 июня). Тихомиров в статье от редакции (без подписи) лишь частично согласился с Н.: «Действительно, почему думать только о Розановых или Маклаковых, почему не вспомнить Щечковых, Марковых 2-х, Сазоновых и даже тех октябристов, которые рассорились со своей фракцией по стремлению стать на защиту Православия» (МВ. 1909. 18 июня). Р. ответил Н. статьей «И не пойду...» (НВ. 1909. 18 июня). Он писал: «Если бы я был приглашен на предстоящий собор, — я бы не поехал. Во-первых, потому, что это был бы иерархический, властный собор, а не церковный собор в любви и мудрости советуемый, советуемый спокойно и бесстрастно о мире и радости церковной, о благоуспехии всех церковных дел. Ведь этой радости и покоя нет в церкви сейчас, нет счастья: а чего нет в церкви, не будет и на соборе. Будет смятение страстей, подкопы, происки, будет золочение себя и очернение других: до всего этого я не охотник» (СМР, 196). Р. отметил, что опасения Н. повторяют аналогичное заявление еп. Антония Волынского (Храповицкого), сделанное в 1905: «На будущем церковном соборе “было бы предпочтительнее видеть каторжников”, нежели людей такого образа мыслей, как я» (СМР, 195). Прочитывая далее «Строматы» Климента Александрийского «О том, что доказывание, будто брак и рождение детей суть зло, равнозначительно с поношением всего творения Божия и домостроительства евангельского», Р. заключает: «Для меня то, что говорит Климент Александрийский — дважды два четыре. А для епископов Никона, Антония, Феофана? О чем же нам рассуждать? Я для них “каторжник”, они же для меня люди короткого, но безумного заблуждения» (СМР, 198). В 1914 Р. написал статью «К вопросу о епископах-“бельцах” и монахах» (НВ. 1914. 13 июня), в которой утверждал, что «дозволение монахам становиться епископами было дано только на 6-м Вселенском Соборе и “превратилось в последующую практику: “никого, кроме монахов”». Епископами в Церкви теперь становятся исключительно монахи, а до этого собора «если монашествующий призывался на епископскую кафедру, то он предварительно должен был снять с себя обеты монашества и одеяние монаха»,

«сбросить монашество с плеч». Н. в статье «За идеалы белого духовенства» (НВ. 1914. 20 июня) опровергал утверждение Р., будто монахи, становясь епископами, должны были «сбрасывать» свое монашество, ссылаясь на примеры святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова, которые были монахами. Н. продолжал полемизировать с Р. и в «Дневниках» (О монашестве епископов // Никон. Мои дневники. 1915. Вып. 5. С. 107—118). Отзвуки споров по поводу «имяславия» и роли Н. в насильственном искоренении «имябожников» на Афоне зафиксированы Р. в «Сахарне»: «У вас не жезл, а палка. Вы с палкой пришли. “Палок” нигде в Священном Писании не указано. “Жезл” — кроткое, мудрое управление. Какой же у “никона” может быть жезл, когда он даже *догматов* церкви не знает, и когда заспорил на Афоне с монахами, то преподаватель Троицкий, стоявший у него за спиной, на каждом слове его вполголоса поправлял: “Что вы, владыка; это — ересь; не так, вот как” (вчера выслушал в редакции рассказ чиновника Синодской канцелярии)» (СХР, 159). С.Н. Дурьлин описывает, как после переезда в Сергиев Посад Р. в свои именины ходил на литургию в Лавру, где в этот день служил архиепископ Н. По возвращении Р., «приветливо-задумчивый, со следами какого-то сильного, только что пережитого, но еще не до конца освоенного впечатления», рассказал собравшимся: «Я его не любил, — говорил Вас. Вас. — Синод. Прямойнейший правовеер. Дуролом» И вдруг оказалось — в этот именинный день, — этот “дуролом” служил с такою строгою сосредоточенностью, с такою чистою и прямою погруженностью в таинство своей *веры*, что Вас. Вас. в толпе народа, не сводил с него глаза и не заметил, как простоял долгую архиерейскую службу с длинным новогодним молебном... — “Я шел и думал: вот он сделал свое дело. Он старик, и он всю жизнь твердо стоял на том, что считал *истиной*. Твердо, прямо, упорно. Ему не в чем упрекнуть себя перед своей родной и верой. А я?... И мне захотелось пойти к нему и поцеловать его старую жилистую руку. Молча. Что я скажу ему? Разве как Бобчинский: “Жил был Василий Васильевич Бобчинский в *Петербурге*”, — и прибавить: “Пописывал и все прозевал...”» («В своем углу». М., 2006. С. 688—689).

В.А. Фатеев

НИЛУС Сергей Александрович [25.8(6.9).1862, Москва — 14.1.1929, село Крутец, Александровский уезд, Владимирская губ.] — духовный писатель, агиограф. Его дневниковые записи «На берегу Божьей реки» (Сергиев Посад, 1916) направлены против публицистики Р., главным образом против его книги «Около церковных стен», содержащей критику официальной церковности. Отклик Р. на публикацию Н. «Сионских протоколов» (первое издание в составе книги «Великое в малом». СПб., 1905; последнее прижизненное — «Близ есть, при дверях». Сергиев Посад, 1917) весьма негативен и может быть понят в контексте его умонастроений того времени, отразившихся в «Апокалипсисе нашего времени»: «Господин Нилус в известной книге своей “Великое в малом” сыграл недостойную ученого и литературного человека игру: протоколами, достоверность которых ничем не проверена, и никому не известна, он выступил с обвинением

какой-то шайки мошенников, гнездящихся в современном Вавилоне, Париже, и решившихся погубить *христианство* и Христа. Книга его, лишенная какой бы то ни было учености, каких бы то ни было богословенных све-



С.А. Нилус

дений, рассчитана исключительно на темного *читателя* и представляет собой плод злостных выдумок, под которыми достаточно было господину Нилусу подписать несколько имен, указать неприятные публицисту нации, чтобы возбудить вражду темных масс и к этим *лицам*, и к этим *нациям*» (АНВ, 232). Неприятие Р. толкований Н. обусловлено также резкими выпадами Р. против евангельских поучений и свидетельствует об эволюции мировосприятия Р. в 1918.

А.Н. Стрижёв

НИНА (Боянус Вера Карловна; 1875/1876, Москва — 1953, село Кинель-Черкассы, Куйбышевская обл.) — начальница Полоцкого Спасо-Ефросиньевского женского духовного училища при монастыре. Автор писем к Р. 1914—1915 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4214. Ед. хр. 13). Р. подчеркивал в книге «Мимолетное» деликатность и чрезмерную скромность Н.: «Вновь поставленная (прелестная и образованная, читающая как по-русски, — по-английски) подписывается нерешительно и крадучись “Иг. Нина” вместо Игуменя Нина» (М, 111). Писатель хлопотал об устройстве духовных и литературных сочинений корреспондентки в издательствах М.К. Морозовой («Путь») и И.Д. Сытина. Рукопись своего переводного труда, посланную Р. в октябре 1914, Н. просила отдать в переписку, подлинник передать П.А. Флоренскому, а

копию Серафиму, архиепископу Иркутскому — в Александро-Невскую Лавру. Р. выражал в своих письмах скепсис относительно перспектив публикации *переводов* Н. «детских аллегорий» с примесью, как ему казалось, «сектантского духа» (РГБ. Л. 8 об.). Н. просила Р. оказать содействие в публикации перевода на английский язык фельетона М. Курдюмова «*Война и деревня*» (НВ. 1915. 26 марта). Р. пытался завести спор о необходимости признания *церковью развода*. Н. возражала: «Это отпадение от идеала, от святыни *брака*» (Там же. Л. 9) и в последующих письмах пыталась в мягкой форме обосновать свою позицию. Н. посылала Р. для передачи его дочери Вере, о которой знала лишь по письмам Р., «свои беседы» — биографический труд духовного содержания. Р. просил Н. устроить Веру служить в госпитале для раненых на германском фронте, на что Н. живо откликнулась, обещав даже принять Веру на жительство у себя в *доме*. Н. давала советы Р. относительно принятого ею дочерью Верой решения удалиться в монастырь. Н. предупреждала, что «эту натуру очень страшно ставить в условия, среди которых она не найдет себе нравственного удовлетворения» и предостерегала от поступления Веры в Спасо-Ефросиньевский монастырь, в котором дочь писателя, как она считала, «окажется в пустыни совершенного духовного одиночества», поскольку игуменья не смогла бы ее опекать должным образом (РГБ. Л. 4).

А.В. Ломоносов

НИЦШЕ (Nietzsche) Фридрих (15.10.1844, Реккен, Саксония — 25.8.1900, Веймар) — немецкий философ. Обращение к *философии* Н. было характерной чертой для отечественной *культуры* конца XIX — начала XX в. Сам Р. заметил: «А Ницше последних лет? Его “Зоратустру” цитировали как любимые стихотворения, как заветную, гонящую *сон* сказку; и *Пушкин* совершенно никогда не знал такой поры увлечения им, как была пора “Ницше” в его золотые дни» (СХ, 354). Сам Р. упоминает или цитирует Н. во многих своих работах. Однако Л. Шестов предполагал, что Р. знал Н. «вероятно, поверхностно, по плохим русским *переводам*» (PRO, 2, 384). Э.Ф. Голлербах подтверждает: «Розанов был мало знаком с учением Ницше и никогда им не интересовался» (Голлербах. С. 4). О *влиянии* Н. на Р. размышляли многие современники русского философа. Д.С. Мережковский, сам прошедший через увлечение Н., называет именно Р. «русским Ницше»: «Ницше со своими откровениями нового оргиазма, “святой плоти и *крови*”, воскресшего Диониса — на Западе; а у нас, в *России*, почти с теми же откровениями — В.В. Розанов, русский Ницше» («Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники». 1995. С. 150). Сравнение Р. с Н. возникает в результате особенностей религиозной, гражданской и нравственно-философской позиции мыслителя. «*Революция*, произведенная Розановым в области религиозно-нравственных проблем, дает основание приравнять его к Ницше, — пишет Голлербах. — Сравнение это вызывается не духовной близостью Розанова и Ницше, а только тем разительным переворотом в *истории* религиозно-философской *мысли*, который связан (в разное *время* и при разных условиях) с именами обоих писателей» (Голлербах, 4). Прежде всего это касается так называемых антихристианских мотивов *творчества* Р. Действительно, в

«Антихристианине» Н. можно было найти много мотивов, созвучных Р. Религиозный мыслитель и литературный критик А.С. Глинка (*Волжский*) считал, что «чем дальше будет раскрываться Розанов в глубинах своего антихристианства, внимательным изучением почувствовавшим его *силу*, тем более удивление перед смелостью сопоставления Мережковского будет сменяться удивлением перед Розановым» (PRO, 1, 422—423). Сравнение Р. с Н. часто имело самые противоположные точки отсчета. Критики по-разному оценивали и отношение Р. и Н. к Христу и *христианству*. Волжский в статье «Мистический пантеизм В.В. Розанова», в главе, посвященной Р. и Н., пишет: «Антихристианство Р. имеет много точек соприкосновения с антихристианством в учении Ницше, но в существенном они расходятся» (PRO, 1, 449). Он также заметил: «К христианству он подошел с *верою* и благоговением, с надеждой и ожиданием. В противоположность Ницше и другим критикам — отрицателям христианства, Розанов не занял здесь сразу дерзновенной позиции революционера, пришедшего разрушить старое до основания; он не казался даже смелым реформатором» (PRO, 1, 428). Д.В. Философов утверждал: «Ницше промлит христианство как учение, из которого жрецы сделали средство для унижения *человека*. <...> Совсем другое дело Розанов. Из всех антихристианских писателей он самый серьезный и самый глубокий. Он сражается с христианством одинаковым оружием и в одной плоскости» (PRO, 2, 13). Н.А. Бердяев обращает внимание, что Р. борется не столько с христианством, сколько с Христом: «Противление Розанова христианству может быть сопоставлено лишь с противлением Ницше, но с той разницей, что в глубине своего духа Ницше ближе ко Христу, чем Розанов, даже в том случае, когда он берет под свою защиту *православие*. Лучшие, самые яркие, самые гениальные страницы Розанова написаны против Христа и христианства» (PRO, 2, 49—50). Разнообразная и противоречивая критика Р. его оппонентами сходилась в том, что бунт Р. был прежде всего бунтом религиозного человека. Французский философ Ж.-Б. Северак в статье «Антихристианство г. Розанова» (Вестник знания. 1908. № 6) отметил различие во взглядах Р. и Н.: «Почва, на которой стоит г. Розанов, не та, на которой находится Ницше. Одно из оснований, по которым Ницше обрушивается на христианство, заключается в том, что эта *религия* со своими нелепостями наносит оскорбление разуму. Г. Розанов, напротив, упрекает христианство в том, что оно не достаточно является религией, пожалуй, можно сказать, — в том, что оно не достаточно абсурдно. Ницше был атеистом; г. Р. верует» (PRO, 2, 486—487). Однако существовала критика, считавшая сравнение Р. с Н. если не надуманным, то очень приблизительным. П.П. Перцов в связи с этим заметил, что наша литературная критика вообще не способна «различать горизонтов истории». «На Западе был “антихрист” Ницше; на Западе вообще была со старых времен демоническая, богоборческая вражда с христианством и отвержение его, как и всякой религиозности, во имя гипертрофированного индивидуализма — во имя моего “я”, которое пишется с большой буквы <...> Русский бунт не может походить на западный» (PRO, 2, 178). А.К. Закржевский писал: «Его <Р.> любят сравнивать с Ницше, но это сравнение крайне поверхностно:

Ницше не мог вынести своего бунта, потому что последний был насквозь рационалистичен и потому что сверхчеловек оказался фикцией, распавшейся в прах. Розанов же в своем собственном бунте находит источник жизни. Он тем и бесстрашен, что его идея чисто религиозна <...> Розанов пошел против Христа именно потому, что открыл в христианстве такие тайны, которые еще не открывались ни одному мыслителю в мире (ибо ницшевская критика христианства есть только арифметика), и именно благодаря этим тайнам он понял, что Христос — боль и страх, что Христос — очарование смерти, — и бунт учинил, и освятил человека за его животность, которая должна быть вечна и которая одна только и спасает от смерти» (PRO, 2, 149). Бердяев считает: «Пора разрушить как то, что Розанов является реформатором христианства, так и то, что он страшный и непобедимый враг веры Христовой, более страшный, чем Ницше» (PRO, 2, 25). В «Уединенном» Р. сам выразит удивление: «Отчего идеи мои произвели на <...> Мережковского впечатление трагического, и он сказал: “Это такое же бурление, как у Ницше, это — конец или во всяком случае страшная опасность для христианства” Почему?» (У, 56). Голлербах подтвердил: «Прозвище “русский Ницше” не казалось ему ни удачным, ни лестным» (Голлербах, 4). Сам Р. сопоставлял немецкого философа с К.Н. Леонтьевым. Именно его он считал «русским Ницше». В комментариях к письмам Леонтьева, опубликованным в «Русском Вестнике» в 1903, Р. излагает отношение к этой проблеме. «Когда я в первый раз узнал об имени Ницше из прекраснейшей о нем статьи Преображенского в “Вопросах Философии и Психологии”, которая едва ли не первая познакомила русское читающее общество с своеобразными идеями немецкого мыслителя, то я удивился: “Да это — Леонтьев, без всякой перемены” Действительно, слитность Леонтьева и Ницше до того поразительна, что это (как случается) — как бы комета, распавшаяся на две, и вот одна ее половина проходит по Германии, а другая — в России <...> Леонтьев имел неслыханную дерзость, как никто ранее его из христиан, выразиться принципиально против коренного, самого главного начала, Христом принесенного на землю, — против кротости <...> Леонтьев был plus Nietzsche que Nietzsche même <больше Ницше, чем сам Ницше>; у того его антиморализм, антихристианство все же были лишь краткой идейкой, некоторой литературной вещичкой, только помазавшей по губам европейского человечества. Напротив, кто знает и чувствует Леонтьева, не может не согласиться, что в нем это, в сущности, “ницшеанство” было непосредственным, чудовищным аппетитом и что дай-ка ему волю и власть (с которыми бы Ницше ничего не сделал), он залил бы Европу огнями и кровью в чудовищном повороте политики» (ЛИ, 327). И далее продолжал: «Я, впрочем, употребляю термин “ницшеанство” лишь для литературной аналогии, считая — ошибочно или нет — Леонтьева и сильнее, и оригинальнее Ницше. Он был “настоящий Ницше”, а тот, у немцев, — не настоящий, “со слабостями сердечными»» (ЛИ, 329). Был заразителен в обществе и бунт Н. против морали. Р. как бы берет на себя роль «нравственного прокуратора», он позволяет себе явно противоречивые публикации в различных оппозиционных друг другу газетах и журналах. Современников удивляли и настора-

живали его резкие высказывания в адрес признанных кумиров интеллигенции (Л. Толстого, Н. Гоголя, Вл. Соловьёва). А.А. Измайлов пишет: «Совершенно так же, как Ницше, он дает многочисленные поводы понять себя неверно» (PRO, 2, 86). П.Б. Струве называет Р. «морально невменяемым» (PRO, 1, 386). Р., подобно Н. в Европе, становится одним из представителей бунта имморализма в России. О Н. он говорит: «Замечательное отрицание универсальности морального мерил. Это то, что позднее у Ницше и ницшеанцев получило название: “поверх добра и зла” (=“морали”» (ЛИ, 373). Немецкий философ «боролся» с моралью без Бога. «Был Ницше: и “Антихрист” его заговорил тысячею лошадиных челюстей» (У, 124). Для Р. Бог всегда оставался охранной грамотой морали, поэтому Р. считает Н. декадентом морали, декадентом человеческой мысли. «У Ницше культ своего я теряет всякие сдерживающие границы. Мир, история, лицо человеческого, его труды, его законные требования <...> нравилось в какой-то пещере или с какой-то горы объявлять человечеству новую религию в качестве возродившегося Зоратустры. Религию “сверхчеловека”, объяснял он... Но они все <...> уже были “сверх”-человеками по совершенному отсутствию для них нужды в “человеческом” и по отсутствию какой-либо в них самих необходимости для человека» (ЛВИ, 419). В «Легенде о Великом инквизиторе» Р. в качестве ремарки замечает опасность заботы «о хлебе едином», ибо это уничтожит совесть в людях и вместе с ней сострадание. А «философия Ницше, на наших глазах получающая распространение в Европе, есть раннее, но очень уж смелое выражение первого лозунга» (ЛВИ, 78). Не без злой иронии Р. скажет: «Приятно стоять “выше морали” и на просьбы кредиторов — по-наполеоновски размахнуться и гордо ответить: “Не плачу” Но окаянно, когда мне не платят; а за “ближними” есть долгишки. Перебиваюсь, жду» (У, 134). И продолжает: «До “Ницшеанской свободы” можно дойти, только “пройдя через барина”. А как же я “пройду через барина”, когда мне долгов не платят, по лестнице говорят гадости, и даже на улице кто-то заехал в рыло, т.е. попал мне в лицо и, когда я хотел позвать городского, спяная закричал: “Презренный, ты не знаешь новой морали, по которой давать ближнему в ухо не только не порочно, но даже добродетельно” Я понимаю, что это так, если я даю. Но когда мне дают?» (У, 135). Р. не скрывает своего иронично-негативного тона по отношению к Н. Он пишет: «Да, мне многое пришло на ум, чего раньше никому не приходило, в том числе и Ницше» (У, 237). С этим заявлением согласился и М.М. Пришвин: «Сам же Розанов есть Ницше до Ницше. (Это значит, бросив все, начать это же лично, все взять на проверку с предпосылкой “да” вместо “нет”, как нигилисты)» (PRO, 1, 121). Р. дает жесткую оценку своего отношения к Н., даже дважды, почти одинаковым текстом в «Опавших листьях» и «Смертном»: «Это ужасно странно и нелепо, такое нелепое я выношу изо всего, что обо мне писали Мережковский, Волжский, Закржевский, Кукулярский (только у Чуковского строк 8 индивидуально-верных, — о давлении крови, о температуре, о множестве сердец). С Ницше... никакого сходства!» (У, 237). С присущей открытостью Р. также заметил: «Ницше почтили потому, что он был немец, и притом — страдающий (болезнь). Но если

бы русский и от себя заговорил в духе: “Падающего еще толкни”, — его бы назвали мерзавцем и вовсе не стали бы читать» (У, 49). Н.Н. Страхову Р. пишет: «Вот Ницше сошел с ума со своим “умом” и хорошо сделал, туда и дорога, и всех их туда провалит Господь, а мы одни, смиренномудрые останемся на земле и, поверьте, без тех скучать не будем» (ЛИ, 310). Голлербах заметил: «Оттого, упоминая имя Ницше рядом с Розановым, мы принимаем это сравнение только как трагический символ, но не как комментирующую параллель» (Голлербах, 4).

И.С. Шилкина

НОВОСЁЛОВ Михаил Александрович [1(13).7.1864, село Бабье, Тверская губ. — 17.1.1938, Вологда] — духовный писатель, публицист, издатель. Н. познакомился с Р. на заседаниях *Религиозно-философских собраний*, проходивших в 1901—1903. Н. выступал здесь с речью, в которой говорил о Р.: «Я не отрицаю глубин в его писаниях, которые, нужно сказать, усугубляются от неясности мысли и темноты слога (на что слышатся жалобы со всех сторон). Замечу лишь мимоходом, что глубины бывают и “сатанинские” Но не в этом дело, а вот в чем. Я не могу вполне серьезно относиться к человеку и не сомневаться в нравственном достоинстве его писаний, когда у него, как у писателя, на неделе семь пятниц, и слишком подчас развязное отношение к самым серьезным вопросам жизни» (Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901—1903 гг.). М., 2005. С. 237). Н. привел примеры переменчивости и «развязности» Р.: 1) Розанов восклицал: «Да и о чем скорбеть, когда искупление совершилось, и грех уничтожен. Ведь мы только потому и страдаем, что верим, что есть грех, но довольно легкого дуновения, и всякий налет греха исчезнет». «Применяя эту легкомысленную точку зрения к вопросу об отношении полов, Василий Васильевич заявляет: не считай нечистым прикосновения к женщине, и оно будет всегда чистым». 2) Едет Василий Васильевич в Рим и пишет оттуда, что католичество вовсе и не христианство — это какая-то другая религия, а не одно из христианских исповеданий; через две-три недели мы слышим от него, что это христианство и много лучше православия» <...> 3) Тот же Василий Васильевич в “Северных Цветах” помещает злую и лживую критику на церковь, упраздняя ее в настоящем и шельмуя в прошлом, а когда г. Меньшиков прижимает его к стене в “Новом Времени”, Василий Васильевич обижается, и, находя свое положение в этом споре для себя неудобным, с странной, чтобы не сказать больше, наивностью исповедуется, что ведь, что бы мы ни говорили, а в минуты горя мы побежим все-таки в нашу церковь. Это в осмеянную так недавно в “Северных Цветах”!..» (Там же, 237—238). Н. определяет «новое христианство» Р. и других как «христианство без креста, т.е. в сущности вовсе не христианство» и задает вопрос: «не антихристово ли это учение?!» (Там же, 238). В другом своем выступлении Н. упрекал Р. в «легкомыслии» суждений о браке: «Что касается Розанова, то он в решении вопроса о браке исходит (очевидно) из голого факта брачной жизни, изъятых от каких-либо связей с философией, религией и вообще с каким бы то ни было определяющим человеческую жизнь разумным началом. “Просто хорошая, добрая, милая семья”; — вот альфа и омега не только

данного, но, кажется, и всякого вопроса жизни. Не мешайте каждому жить так хорошо, просто, мило, в этом все благо ваше» (Там же, 301). Н. пытался указать и причину этого «легкомыслия»: «Итак, прежде всего, мистическая, существенная сторона христианства до такой степени слабо сказывается в нашей жизни, что вызывает во “внешних” не только сомнение в ее реальности, но и решительное отрицание. Ответить на это отрицание можно и должно развитием в себе этого начала духовной жизни. Царство Божие не в слове, а в силе, не в убедительных словах человеческой мудрости, а в явлении духа и силы. Не лучше чем в сфере чувства и настроения обстоит дело и в области мысли. Что-нибудь да значит, что наше школьное богословие вызывает почти одинаково отрицательное к себе отношение в людях, столь не сходных во всем остальном, как К.П. Победоносцев и Розанов, Мережковский, я, Гарнак, еписк. Антоний Храповицкий: “Мертво, безжизненно”» (Там же, 302). На Собораниях возник и прямой обмен репликами между Н. и Р. Последний возмущался невниманием Н. к мучительным для него темам брака: «Что же Новосёлов, — издав столько, сказал ли хоть одно слово, одну строку, одну страницу (обобщим так, без подчеркивания) — на мои мучительные темы, на меня мучающие темы» (У, 309). Это замыкание друзей Н. в «круге церковном», пренебрежение делом незамужних девушек Р. возводил в ранг космической катастрофы: «Уж если даже “в верных Твоих” (а Новосёлов верный) только “к своим интерес”, — значит, воистину потухло солнце и земля леденеет. Медленно и незаметно, но леденеет вся» (ПЛ, 193). Р. истолковал слова Н. о предпосылочности безбрачия перед браком как проклятие брака в сочетании с требованием венчания (ВТРЛ, 44). В.А. Кожевников успокаивал Р. в письме от 10 ноября 1915: Н. «прямолинеен и непоколебим, весь на пути святоотеческом, и смолистоароматных цветов любезной пустыни и фимиама “дыма кадильного” ни на какие пышные орхидеи, ни на какие пленительные благоговения царства грез не променяет; а вне “царского”, святоотеческого пути для него все остальные сферы — царство грез и их горизонты, глубина и прелести — только “прелесть” (в аскетическом смысле). Ну как такому радикалу высказаться насчет главной, “мучающей” Вас темы проблемы пола?» (Вопросы философии. 1991. № 6. С. 136). Положительный отзыв о «Религиозно-философской библиотеке», издававшейся Н., дал Р. («Московские крестоносцы» // НВ. 1912. 9 нояб.; ПВ). Вокруг Н. сложился Кружок ищущих христианского просвещения (иначе «Самаринский кружок» или «Новосёловский кружок»). Учредителями Кружка наряду с Н. являлись Ф.Д. Самарин, В.А. Кожевников, П.Б. Мансуров, Н.Н. Мамонов, к которым в дальнейшем присоединились еп. Феодор (Поздеевский), А.А. Корнилов, А.И. Новгородцев, кн. Е.Н. Трубецкой, свящ. П. Флоренский, свящ. И. Фудель, С.Н. Булгаков, В.Ф. Эрн, Л.А. Тихомиров, В.П. Свенцицкий, А.С. Глинка-Волжский, С.Н. Дурьлин, Н.С. Арсеньев и др. Центром Кружка всегда оставался Н. — «авва Михаил»: «И хотя, — как писал Р., — некоторые из них неизмеримо превосходят почтенного и милого Новосёлова ученостью и вообще “умными качествами”, но, тем не менее, чтут его “яко отца” за ясный, добрый характер, за чистоту и намерений и не только выслушивают его, но и почти

слушаются его» («Бердяев о молодом московском славянофильстве» // МВ. 1916. 17 авг.; ВЧВ). Кружок хотел воплотить в себе славянофильскую соборность сознания. Р. выступал в защиту «Новосёловского кружка» от нападок Н.А. Бердяева, хотя и понимал тщетность усилий Кружка: «Какой-то сухой дух обнял христианство. Как этого не заметить. Все черствеет, засыхает. Проповеди не помогают, Новосёлов не помогает» (ПЛ, 184).



М.А. Новосёлов

Н. резко выступил против Г.Е. Распутина — «эротомана и хлыста» — в своей книге «Григорий Распутин и мистическое распутство» (М., 1912), запрещенной *правительством*. По поводу этих выступлений Р. записал 3 октября 1913: «Новосёлов — не поднимай нос. Ты занял известное situation. Но всякое sit. “есть пыль в глазах Господних” И завтра будешь (можешь) сидеть не на стуле, а на навозе (т.е. м.б.)» (СХР, 179). В споре о почитании Имени Божия Н. безоговорочно занял позицию имяславцев. В имяславческом духе высказывался и Р. В статье «И шутя, и серьезно...» (НВ. 1911. 31 марта) он писал: «Имена наши немножко суть наши “боги” и наша “судьба” (ОПП, 497). Р. восхищался древнееврейским имяславием: «Я же замечу, что имена в древности заимствовались от существа того, что получало имя. И в “тайном Имени Божиим” выражалось Существо Божие» (СХР, 284). По поводу Афонского дела (осуждение имяславцев) Р. возмущался способом его ведения. Главных действующих лиц дела еп. Антония (Храповицкого), еп. Никона (Рождественского) и С.В. Троицкого он определил как «двух одинаково темных и злых господ» и «подчиненного им обоим». Р. возмущался, что дело решал «учитель семинарии» Троицкий, а не профессора Академии А.И. Бриллиантов и Н.Н. Глубоковский (СХР, 44). Еп. Никона он считал пешкой в руках еп. Антония, а

последнего «только пешкой в руках своего невежества и грубости» (СХР, 159). В этом деле действовала «палка», а не «жезл» — «краткое и мудрое управление» (там же). После осуждения имяславия указом Синода от 18 мая 1913 Р. писал 21 мая: «Что тут поделаешь, молчи и плачь» (Там же, 45). В этом указе Р. видел угрозу своим московским друзьям и советовал им смириться: «Верьте, друзья, Богу: и все спасется. А сейчас — наклонитесь. Делать нечего — и пусть метет ветер, куда метет. Он только ветер... (друзьям Н<овосело>ву, Цв<етков>у и Фл<оренском>у. 21 июня 1913 г., после “отречения”» (Там же, 244). Некоторые статьи Р. импонировали Н., он благодарил Р. за его статью «Не нужно давать амнистию эмигрантам» (БВ. 1913. № 3; ЛВИ): «Сейчас прочел Ваши статейки в “Б<огословском> В<естнике>” и не могу удержаться от выражения своей сердечной благодарности Вам, милый В.В. — Местами чтение 2-й статьи вызывало во мне дрожь» (Пасхальная открытка от 18 апреля 1913. — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 544). Н. высказал удовлетворение статьей Р. «Люди без лица в себе» (БВ. 1913. № 11; НФП). Возмущение Н. вызвало *изгнание* Р. из Петербургского *Религиозно-философского общества*: «Статьей Р<озано>ва в Б<огословском> В<естнике> довольны и Влад<имир> Ал<ександрович> Кожевников», и я, хотя *время* для нее весьма неподходящее. — Изгнала Р<озано>ва банда предателей» (Письмо Н. к свящ. П. Флоренскому 6 февраля 1914 // Переписка свящ. Павла Флоренского и М.А. Новосёлова. Томск, 1998. С. 129). 25 ноября 1914 Н. писал Р.: «Милый В.В.! Шлю Вам только что закончившуюся серию “вероисповедных” выпусков (31—37). Примите их от меня вместе с сердечной благодарностью за все, что Вы пишете теперь о Церкви, о русском народе, о русском самосознании» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 544). Н. высоко оценил книгу Р. «Война 1914 года и русское возрождение»: «Читаю принесенную мне С.А. Цветковым Вашу последнюю книгу — о войне. Не нахожу слов, чтобы выразить Вам свою радость по поводу ее. Скажу одно: Да воздаст Вам господь за *труд сей*» (Открытка от 27 ноября 1914 // РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 544). Печатание розановского «*Апокалипсиса нашего времени*» вызвало протест Н.: «Скажите о. Павлу <Флоренскому>, что, если будет продолжать общение с “антихристом” Розановым, мне придется отказаться от дружеского общения с ним (о. Павлом)» (Письмо Н. к М.И. Фудель 11 июля 1918 // Переписка свящ. Павла Флоренского и М.А. Новосёлова. Томск, 1998. С. 178). После *революции* Н. перешел на нелегальное положение и скрывался у друзей. В 1922—1927 он работал над книгой «Письма к друзьям», в которую он включил и отрывки из статьи Р. «К разрушению Реймского собора» (из его книги «Война 1914 года и русское возрождение»). Ставя вопрос о попушении Богом уничтожения святых, Н. приводит слова Р.: «Бог отнимает у нас то, от чего мы сами отказались и все больше отказываемся» («Письма к друзьям». М., 1994. С. 67). В 1928 Н. был арестован, 17 января 1938 — расстрелян. Н. прославлен в лике святых Юбилейным архиерейским Собором Русской православной церкви 2000.

С.М. Половинкин

НОЛЬДЕ Людмила Александровна, фон — писательница, оккультистка. В *письме* к Р. от 16 октября 1911

просила о рецензии на собственную книгу «История одной женской души. Дневник» (М., 1907) и пересылке данного издания для *Е.И. Молоховец* («тоскующей даме») (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 18). В качестве рекомендации Н. передала Р. высокий отзыв о своей книге архимандрита *Антония (Храповицкого)*: «Призываю Божие благословение на Ваши писательские труды и радуюсь Вашему таланту» (Там же. Л. 3), а также заверение, что в ее «книге есть одно: искренность. Я имею честное “дерзновение” считать себя чистой сердцем» (там же).

А.В. Ломоносов

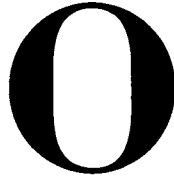
НОРДМАН Наталья Борисовна [псевдоним Северова; 2(14).12.1863, Гельсингфорс — 30.6.1914, Локарно, Швейцария] — писательница и общественный деятель, гражданская жена *И.Е. Репина*, автор писем к Р. (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4216. Ед. хр. 13). Письмо от 31 мая 1909 на репинском бланке «Пенаты» с благодарностью за письмо и присланную книгу и с согласием посетить Р. на их даче. Р. забрал свое первое письмо, которое Н., по собственному признанию, «так порадовало» (Там же. Л. 2). Второе письмо от 8 августа 1909 — приглашение Р. в Пенаты после 19 августа для окончания работы Репина над портретом философа. По отзыву *С.П. Каблукова*, Н. посвятила Р. свой роман «Крест материнства. Тайный дневник» (СПб. 1904, с илл. *И.Е. Репина*, из которого Р. «прочел лишь первые 50 страниц, и то после того, как автор спрашивал отзыв» (PRO, 1, 204). Р. дал ряд нелестных характеристик Н.: «Северова (=Нордман). Форнарина Репина, почему-то рисуемая им со спины “за литературными занятиями” Спина у нее действительно похожа на (ее) лицо, и одна — выразительна. — Дура набитая» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 118). «Пошлость Н. — это что-то историческое. С кулаками, с бубенцами, с колоколами — требует от всех, чтобы все здоровались с прислугой непременно за руку, не спросив, желает ли еще этого прислуга; и устроив у себя, чтобы эта же прислуга моментально пряталась за дверь, поставив кушанье заранее на особый стол сзади (т.е. сзади общего обеденного, для сидения гостей, стола). Через это достигается, что гости вовсе не видят прислуги, и “дом хозяйки” как бы “сам себе служит”, обходясь “без рабовладельчества” Гости — каждый — берут себе жаркое на тарелки и наливают суп из кастрюли. Таким образом, достигается “братство, равенство и свобода” После обеда гости коллективно ташат доску (тесину) с надписью черною краскою и огромными буквами: ко- операция... И я тащил, дабы хозяйке было хорошо. Теперь читает лекции, чтобы все ели только травы, — как бы до нее не было вегетарианского стола; требует ассоциаций и назначает великому живописцу в пошлой своей пьесе играть роль дворника, в фуражке, с метлою и в грязном “пинжаке” Обращает его дивную кисть — каждый день работы которой есть национальное приобретение России — в средство иллюстрировать свои знаменитые романы, пьесы и дневники, под крикливыми заглавиями — “Почему мы рабы”, “Эта” и еще что-то,

из ее жизни, не то русской, не то американской. Изгоняет из писем и из многочисленных аншлагов в своем имени “Церера” буквы h, э, ь, ы, и i... Это что-то такое, чему нет имени или чему имя найдется в каком-нибудь восклицании... Право, ее можно назвать “девица-О-если-бы!!!” При этом — полна, здорова, спокойна, уравновешенна. Никакого признака нервов. Все в высшей степени рассудительно и обдуманно. “Бейте в трам-трам громко!” — “Смело входите на крыльцо от 3-х до 5-ти в среду”, и Въезд на столбе ворот... Все это достойно кисти Р. или стихов Кузьмы Пруткова... И побежденный и влюбленный Голиаф кисти рисует и рисует победившую его амазонку... всегда почему-то со спины... Не может не кинуться в глаза, что лицо ее, выпуклое, большое, отличное, и через все это как бы “сутуловатое”, — имеет отдаленное сходство со спиною. И он ее изображает с этой исключительно содержательной стороны, или — интересной, значительной, осмысленной, “не зачеркнутой” Единственной — которую не зачеркнул Бог <...> 1½ года, что я знавал их, они были моим кошмаром. Я дома все думал: “Что такое? Почему? Откуда?” И разгадки не находил и не нахожу» (СХР, 31–32). Р. отметил общественную деятельность Н. в статье «Женщина-пылесос и ее лекции в зале Тенишевского училища» (НВ. 1913. 8 дек.), посвященной публичным лекциям по египтологии.

А.В. Ломоносов

НУВЭЛЬ Вальтер Федорович [26.1(7.2).1871, Петербург — 13.4.1949, Париж] — член объединения «Мир Искусства» и редакции одноименного журнала в 1898–1904, друг *С.П. Дягилева*, *Д.В. Философова*, *К.А. Сомова*, *А.Н. Бенуа*, *А.П. Нурока*, *Л.С. Бакста*, *З.Н. Гиппиус*, *Д.С. Мережковского*, *М.А. Кузмина*; посетитель *Религиозно-философских собраний*, встреч на «башне» у *Вяч. Иванова*, «воскресений» у Р.; после отъезда за границу в 1920 — администратор «Русского балета» *С.П. Дягилева*. Знакомство и первые встречи Н. с Р. связаны с журналом «Мир Искусства». О подобной встрече Р. упоминает в книге «Опавшие листья»: «Раз в редакции “Мир Искусства” — Мережковский, Философов, Дягилев, Протек. <Протейкинский>, Нувель... Мережковский сказал: “Вот прочтем Заметку о Пушкине В.В-ча” (в корректуре верстаемого номера)» (У, 145). Из переписки Н. с *З.Н. Гиппиус* и *Д.С. Мережковским* в 1901–1902 видно, что в это время Н. интересовался и бывал на воскресных собраниях у Р. Мережковский пишет Н. 14 января 1901: «Чувствую себя совсем больным от вчерашнего, но очень бодрым и надеюсь, что приду сегодня к Розанову». 2 февраля 1902 Гиппиус сообщает ему о том, что «Розановские воскресенья отменены» (Диаспора. СПб., 2001. Вып. 2. С. 309, 343). В записках Н. о Дягилеве упоминаются посещения Н. «воскресений» у Р. и приводится его отношение к писателю: «Мы посещали и воскресные встречи у Розанова, чей острый ум и оригинальный талант очень ценили» (Нувель В.Ф. Воспоминания о Дягилеве (Notes de Walter Nouvel. Diaghileff) // РГАЛИ. Ф. 2712. Лобанов-Ростовский. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 131).

Е.В. Виноградова



ОБЛЕУХОВ Николай Дмитриевич — петербургский журналист, редактор журнала «Знамя» (М., 1899—1901). Р. предлагал *П.П. Перцову* сотрудничать с этим новым журналом славянофильского направления. «Редактор его Николай Дмитрич Облеухов, — писал он Перцову в октябре 1898, — был сотрудником у *Грингмута* в «*Москов. Ведом.*» и ушел от него; молча разорвал с ним; год назад, потихоньку от *Грингмута*, он был в *Петербурге* и был у меня, звал к сотрудничеству. Теперь Вам следует взять у *Александрова* статью мою «Поздние фазы славянофильства», приложить к ней здесь вложенное Открытое письмо к *Гроту* <...> и обе статьи предложить к напечатанию Облеухову; я ему сегодня или завтра напишу, что Вы будете у него с моими статьями <...> Облеухов — яростный, почти до старовечерства, православный. Он — еще очень молодой человек» (ОР РГБ. Ф. 872. К. 3. Ед. хр. 14. Л. 82—83). Сохранились письма О. к Р. за 1897—1898 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4212. Ед. хр. 41).

А.В. Ломоносов

ОБОЛЬЯНИНОВ Всеволод Владимирович — ученик Р. в Бельской прогимназии. Спусти много лет, уже в 1963, О. опубликовал заметку «В.В. Розанов — преподаватель в Бельской прогимназии (письмо в редакцию)» (Новый Журнал. 1963. № 71; PRO, 1). Вспомнить о своем гимназическом периоде О. побудила популярность Р. (в 1956 вышел сборник сочинений Р. под редакцией Ю. Иваска). О. писал: «За последнее время в эмиграции часто стало упоминаться имя Василия Васильевича Розанова. В.В. Розанова я хорошо знал лично. Я не являюсь литератором с именем, а потому мое о нем мнение, быть может, не представляет интереса, но даваемые мною о нем сведения, мне кажется, безусловно должны быть учтены, так как я сообщаю факты, точность которых удостоверяю своей полной подписью, а также указываю свой адрес и точные даты и места описываемого» (PRO, 1, 246). О. был в 1891—1892 учеником первого класса Бельской прогимназии, где преподавателем географии служил Р. Мемуарист пишет: «Личность Вас<илия> Вас<ильевича> Розанова передо мной стоит до сих пор так ясно, как будто мы расстались только вчера. Среднего роста, рыжий, с всегда красным, как из бани, лицом, с припухшим носом картошкой, близорукими глазами, с воспаленными веками за стеклами очков, козлиной бородкой и чувственными красными и всегда влажными губами он отнюдь своею внешностью не располагал к себе. Мы же, его ученики, ненавидели его лю-

тою ненавистью, и все, как один» (там же). О. описывал процесс обучения у Р.: «Когда ученик отвечал, стоя перед картой, Вас<илий> Вас<ильевич> подходил к нему вплотную, обнимал его за шею и брал за мочку его ухо, и пока тот отвечал, все время крутил ее, а когда ученик ошибался, то больно дергал. Если ученик отвечал с места, то он садился на его место на парте, а отвечающего ставил у себя между ногами и все время сжимал ими ученика и больно шипал, если тот ошибался. Если ученик читал выбранный им урок, сидя на своем месте, Вас<илий> Вас<ильевич> подходил к нему сзади и пером больно колол его в шею, если он ошибался. Если ученик протестовал или хныкал, то Вас<илий> Вас<ильевич> колол его еще больней. <...> Вас<илий> Вас<ильевич> свирепел, хватал первого попавшегося за руку и тащил к карте. — «Где граница Азии и Европы? Не так! Давай дневник» И в дневнике — жирная единица. — «Укажи ты! Не так!» — И вторая единица, и тут уже нашими колами можно было городить целый забор» (Там же, 246—247). «Мы, малыши, конечно, совершенно не понимали, что творится с Вас<илием> Вас<ильевичем> на наших уроках, но боялись его и ненавидели. Но позже, много лет спустя, я невольно ставил себе вопрос, как можно было допускать в школу такого человека с явно садистическими наклонностями? Это был ценный объект для наблюдений доктора *Крафт-Эбинга*» (Там же, 248).

В.А. Фатеев

ОВСЯННИКОВ Николай Николаевич [29.3(10.4). 1834 — 2(15).1.1912] — публицист, историк, педагог, инспектор *Нижегородской гимназии*, когда в ней учился Р. «Мальчуганы-гимназисты заслушивались его превосходными рассказами на уроках, — рассказами и по истории, и по географии, — но допекали его на переменах. Сверху же уязвлял его по временам умный и малообразованный директор *С<адоков>*, впоследствии помощник попечителя Московского учебного округа», — писал в некрологе Р. (НВ. 1912. 13 янв.; ПВ, 17). К более зрелым годам, вспоминает Р., О. стал переходить к славянофильству и «остановился на положительных исторических и политических взглядах *Н.Я. Данилевского* («*Россия и Европа*»)» (там же). Он изучал историю нижегородской ярмарки, а также производительных сил Урала и Камского района. «Питомец *Казанского университета* и странствователь (в связи со служебными перемещениями) по Волжскому бассейну, он положил свой интерес и душу

на изучение этого уголка России, необозримого по величине и глубоко интересного по своеобразию и некоторой замкнутости в себе. В *Нижнем* он был близким другом покойного <А.С.> Гацисского, местного деятеля-статистика и писателя, мечтавшего очень дельно об освобождении провинциальной мысли и провинциальных интересов от “дирижерской палочки” из *Петербурга* и вообще столиц (ПВ, 16–17). Говоря о многочисленных книгах и брошюрах О., Р. отмечает, что он сотрудничал во многих журналах и газетах, «между ними в “Журн. мин. народного просвещения” и в “Нов. Вр.”» (ПВ, 17). Письма О. к Р. за 1891—1909 хранятся в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 551). О. написал некролог на смерть *Н.В. Розанова* (Педагогический еженедельник. Ревель, 1894. № 36).

А.Н.

ОДОЕВСКИЙ Владимир Федорович [30.7(11.8).1804, Москва — 27.2(11.3)1869, там же], князь — писатель, музыкальный критик. Р. следил за книгами о его творчестве: «В только что появившейся книжке г. <А.П.> Пятковского “Князь В.Ф. Одоевский и Д.В. Веневитинов” записано интересное личное воспоминание автора, бывшего в дружеских отношениях с Одоевским». (НВ. 1900. 29 дек.). Р. ценил О. как представителя «образованнейшего слоя» (СХР, 224) русского общества наряду с Пушкиным, Жуковским, Тютчевым. Он числит его в ряду славянофилов, понимая славянофильство расширительно, безотносительно к определенной эпохе. Говоря об О. в числе других славянофилов, Р. подчеркивает, что ум и даровитость человека проявляется прежде всего в скромности. Все истинно русские, попадавшие в другие страны, — от крестьянина-паломника до кн. О. и Тютчева, отдавали чужим народам и землям «удивление, любовь, уважение» (ПЛ, 309). Р. подчеркивает роль дворянской литературы в воспитании юношества. Если бы годам отроческого энтузиазма и особой восприимчивости даны были для изучения всего три писателя — Пушкин, Лермонтов и кн. О., то и семья, и русское общество «были бы предохранены от тысячи не только ложных шагов, но и шагов грязных, марающих» (СХ, 373). Их воздействие велико, в частности, в силу их истинного патриотизма. Россия не оставлена своими детьми, к ней питают «восторг и преданность» (ЛВИ, 599) лучшие ее сыны, из коих старшими были Хомяков, Киреевские и кн. О. Отказывая «радикалам» в образованности, Р. противопоставляет им в качестве высокой культуры среди других О. Неоднократно Р. замечал, что «высокомерие над Россией» (КНУ, 558) не допускало их читать О., Баратынского, Тютчева. Цвет русской литературы бессилён был побороть «лакейское оползание русского духа» (СХР, 224). Чернышевский и Добролюбов, М. Горький и П. Сакулин, по Р., лишены читаемости кн. О., изгнав его из русской литературы. Р. пристально следил за продажей книг, вышедших в московском издательстве «Путь», основанном в 1910 М.К. Морозовой для издания религиозно-философской литературы, и сетовал, что сочинения О. и И. Киреевского плохо раскупаются. Хвалебная оценка дана изданию «Русских ночей» О., вышедшему в 1913 под редакцией С.А. Цветкова. Напротив, Р. негативно оценил биографию О., представленную «позитивным профессором» (М, 278) Сакули-

ным (имеется в виду книга: Сакулин П.Н. Из истории русского идеализма. Князь В.Ф. Одоевский. Мыслитель-писатель. М, 1913). Общая характеристика О. дается в статье Р. «Чаадаев и кн. Одоевский» (НВ. 1913. 10 апр.): «Как он не сделался давно “беззаветным любимцем” русского читателя, русской девушки, русского студента русского учителя где-нибудь в провинции — вполне удивительно; он — предшественник всех “разговаривающих лиц” у Тургенева, его Лежнева и других, — предшественник философических диалогов у Достоевского, и, до известной степени, родоначальник вообще “интеллигентности” на Руси и интеллигентов, — но в благородном смысле, до “употребления их Боборькиным” <...> В лице Одоевского масса природы, и точно оно все заткано паутинкой лесов, солнца, лесных речек, ну и, конечно, “дриады лесных” Он знал явные и тайные “исторички сердца”, а в поместье его, верно, многие крестьянские девушки “помнили доброго барина” Но он ушел от них в Петербург, где стал заниматься “химией”, в то время только что вышедшей из алхимии; стал читать “Адама Смита”, которого почитывал и современник его, Евгений Онегин... И у Грибоедова, и у Пушкина рассыпано много строчек, которые без риска мы можем принять за относящиеся лично к князю Одоевскому» (НФП, 56). В письме М.О. Гершензону, под редакцией которого вышло собрание сочинений П.Я. Чаадаева в 1913, Р. писал, сравнивая портреты Чаадаева и О.: «А ведь великолепней кн. Одоевский. Что за благородное русское лицо. Я вообще русских недолюбиваю (за лень и вечное бытовое “сутенерство”), но посмотреть на это лицо — со всем мириться. Что за несносная судьба, что такие люди, как Одоевский, — забыты, никто их 40 лет не читает» (Новый мир. 1991. № 3. С. 239).

О.В. Михайлова

ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ РОМАНОВ [15(27).11.1892, Петербург — 29.9(11.10).1914, Вильно], князь — четвертый сын великого князя Константина Константиновича, поэт, погиб в начале Первой мировой войны. В книге «Война 1914 года и русское возрождение» Р. писал: «И вот так же “первым подскакал” к неприятелю Олег Константинович... Всё — “первым”, всё “вперед” Та Россия, которая столько десятилетий, а в сущности, целое столетие “плелась” и “отставала”...» (ПЛ, 327). В 1915 в Петрограде вышла книга «Князь Олег» — сборник его дневников, писем, стихотворных и прозаических произведений. Р. откликнулся на появление издания двумя статьями: «Книга памяти князя Олега» (НВ. 1915. 8 окт.) и «Из истории воспитания и умственных занятий князя Олега Константиновича» (МВ. 1916. 28 янв. под псевдонимом Петроградский старожил). В первой статье Р. писал: «Погибло прекрасное “обещание” для русской литературы, — это-то уже бесспорно, не преувеличено, и можно и должно это сказать, совершенно не считаясь с великокняжеским лицом. Литературная братия потеряла одного из “своих”, и ей совершенно следует помнить о нем, как о “своем” Кипучее воображение, бегущее вперед вещей и преобразовывающее их в другой мир, — или, если дело идет о событиях, о предприятиях, то зовущее их, — ускоряющее их, вот отличительная черта поэта и деятеля, которая была князю Олегу в высшей степени присуща» (НФП, 531). Еще в детстве зароди-

лась в князе *любовь к Пушкину* и его поэзии. «Это увлечение Пушкиным побудило князя поступить в Лицей. А к окончанию курса в нем, совпавшему со столетним юбилеем Лицея, князь изготовил в подарок Лицею воспроизведенное факсимиле *рукописей* Пушкина, хранящихся в лицейском музее имени Пушкина, — именно лицейских его стихотворений. Здесь все — инициатива, работа (совместно с рядом ученых), план — принадлежит князю Олегу. Он составил план издать так, в листах и тетрадях, всего Пушкина, распределив выпуски издания по музеям и книгохранилищам» (НФП, 536).

А.Н.

ОЛСУФЬЕВ Юрий Александрович [16(28).10.1878, Петербург — 13.3.1938, расстрелян на Бутовском полигоне под Москвой], граф — искусствовед, музейный работник. В *Сергиевом Посаде* с лета 1917. Заместитель председателя Комиссии по охране *памятников* старины и искусства *Троице-Сергиевой лавры*, позже ее председатель. Знакомство его с Р. относится к осени 1918. *Т.В. Розанова* вспоминала: «Отец очень подружился с Олсуфьевым, бывал у них. Он был потрясен *смертью* сына <...> Отец страшно изменился после его смерти,



Ю.А. Олсуфьев

и единственным его утешением было — *дружба с П.А. Флоренским* и Олсуфьевым» (ТР, 89—90). Когда председателем Комиссии по охране стал О., секретарем Комиссии был назначен *С.П. Мансуров*. Дочь Р. вспоминает: «Оба они очень много вложили *труда* и работы в это дело. Юрий Александрович и Павел Александрович производили инвентаризацию всех ценностей ризницы, фондов, с полным научным описанием музейных предметов, так что в настоящее *время* многие научные работники удивляются тому, как двое ученых смогли сделать такую огромную работу <...> В комнате у них было очень

холодно. Я удивлялась их терпению и выносливости, но они, погруженные в работу, ничего не замечали. Сделав на нескольких страницах опись, Юрий Александрович сдавал их мне перепечатать. Сколько через мои руки прошло его работ! Но я была еще молода и не понимала всей ценности его трудов <...> Таков был Юрий Александрович на работе — всегда подтянутый, аккуратный, исполнительный, молчаливый, погруженный всецело в свои занятия. На собраниях он редко бывал. Таким же молчаливым, серьезным он был дома. Так же много работал по вечерам над своими научными трудами. Я часто по вечерам у них бывала, заходила, главным образом, к Софье Владимировне» (ТР, 84—85). *Т.В. Розанова* дает портрет О.: «Он был гораздо ниже ростом своей жены, широкоплечий, с довольно большой головой, с небольшой лысиной. Волосы были каштановые, прямые, лоб большой, умный, глаза карие, несколько выпуклые, миндалевидной формы, густые брови, небольшие бакенбарды и борода. Руки у него были полные, выразительные, с крепкими выпуклыми ногтями. На левой руке он носил красивый, очень богатый перстень с крупным изумрудом. Вся же *одежда* была очень простая — толстовка из сурового материала, поверх нее синяя тужурка и шаровары из того же материала со штрипками. На ногах у него были мягкие, черные, высокие сапоги. Походка у него была твердая, он шагал широко и уверенно» (ТР, 83). В прощальном *письме* «К литераторам» Р. писал: «Флоренского, Мокринского, *Фуделя* и потом графа Олсуфьева прошу позаботиться о моей *семье*» (ТР, 94).

А.Н. Стрижёв

ОЛСУФЬЕВА Софья Владимировна [урожд. Глебова; 3(15).6.1884, Петербург — 15.3.1943, Свяжск, Верхнеуслонский район, Татарская АССР, тюрьма] — искусствовед, жена (с 1902) графа *Ю.А. Олсуфьева*. *Т.В. Розанова* вспоминала о жизни в *Сергиевом Посаде*: «В первый раз я увидела не самого графа Юрия Александровича, а его жену, Софью Владимировну. Это было в 1918 году. Она стояла в полуоборот на фоне белого казенного здания, выходявшего одной стороной на площадь, а другой на Вифанскую улицу (ныне Комсомольская) <...> На улице толпился приезжий народ. Это были беженцы из всех городов *России*, представители высшей *интеллигенции* и аристократии. Был вечер, они жалобно жались к стене, а среди них выделялась высокая худощавая фигура графини Олсуфьевой в небольшой шапочке из дорогих белых перьев с какими-то черными кончиками. Эта шляпа ей очень шла; глаза ее были очень похожи на глаза оленя или породистой лошади, но они смотрели печально. Я не знала, кто это, и спросила; мне ответили, что это графиня Олсуфьева. Такова была моя первая встреча с Софьей Владимировной» (ТР, 82—83). Когда *Т.В. Розанова* стала работать в Комиссии по охране *памятников Троице-Сергиевой лавры*, она часто по утрам ходила вместе с О. в *Черниговский скит*: «Там была прекрасная монастырская служба, храм был красивый, с чудесным иконостасом деревянной резьбы и старинными *иконами*» (ТР, 86). За *время* болезни Р. его часто навещали *О. и П.А. Флоренский*. *Т.В. Розанова* пишет: «Когда мы позвали *Павла Милославина* из Рождественской церкви папу соборовать, тут же была и *С.В. Олсуфьева*. Мо-

дились все усердно» (ТР, 91—92) О. к умирающему Р. «принесла от раки преп. *Сергия* плат и приложила ему на голову. Он тихо стал отходить, не метался, не стонал. Софья Владимировна стала на колени и начала читать отходную *молитву*, в это время отец как-то зажмурился и горько улыбнулся — точно видел *смерть* и испытал что-то горькое, а затем трижды спокойно вздохнул, по *лицу* разлилась удивительная улыбка, какое-то прямо сияние, и он испустил дух <...> Хлопоты по *похоронам* взяла на себя Софья Владимировна, она достала разрешение похоронить его на Черниговском кладбище, среди *могил* монахов *монастыря*, рядом с могилой *Константина Леонтьева*, близкого по духу друга моего отца» (ТР, 100-101). После смерти Р., вспоминает Т.В. Розанова, «Софья Владимировна навещала нас, звала и меня к себе, и я стала бывать у них. Удивительный случай был у меня с Софьей Владимировной. Как-то еще до смерти отца, она подарила мне небольшую иконку “Утоли моя печали”, и вот ее мы положили в гроб отцу, а когда хоронили отца, — то это был как раз праздник в честь этой иконы. Тогда Софья Владимировна мне об этом сказала: “Какое удивительное совпадение”» (ТР, 115).

А.Н. Стрижёв

ОЛЬ Д'ОР [наст. фам. и имя Оршер Иосиф Лейбович, Осип Львович; 10(22).7.1879, село Старое, Переяславский уезд, Полтавская губ. — 19.2.1942, Ленинград] — прозаик-сатирик, журналист. В произведениях Р. 1913—1915 фигура О. возникает в нескольких пересекающихся контекстах. Наряду с *А.В. Амфитеатровым*, *А.А. Яблоновским* и др. О. является для Р. представителем «фельетонной культуры», «победившей весь мир» (КНУ, 327) и вытеснившей культуру подлинную. «От *Гоголя* — до *Щедрина*. От Щедрина до Оль д'Ора. Sic transit gloria <так проходит слава>... После Оль д'Ора, я думаю, спустят же занавес» (СХР, 120). О. — воплощение царящего в прессе «самодержавного *кабака*» (КНУ, 419), «палач *литературы*» (ОПП, 632). Вместе с *М.П. Арцыбашевым*, *А.А. Вербицкой*, *И. Северянином* О., согласно Р., — представитель «улицы современной литературы» (ОПП, 631), поднявшийся «выше *Пушкина*» (КНУ, 328). О., с точки зрения Р., — *символ* либерального интеллигента вообще. «Вы с Невского проспекта, и из редакции, и из ресторана “Вена” с вашей “общественностью и Оль д'Ором” противны, переносимы, отвратительны» (СХР, 90). Его популярность — знак измелзания *жизни*: «Весь наш *консерватизм* есть какие-то ископаемые допотопные чудища... “совершенно не приспособленные к условиям новейшего существования” И потому вымирающие <...> Что же “не вымирающее”? *Владимир Набоков*, Оль д'Ор, *Кондурушкин*. Эти “приспособлены к условиям существования” Мелкая река и мелкая рыбка» (СХР, 214). Причину популярности О. и «фельетонной культуры» в целом Р. видит в том, что она является выражением массового, усредненного *сознания*: «На Амфитеатрова и Оль д'Ора похожи все, и они похожи на всех. В этом *сила*. Все сказали: “Назовем Амфитеатрова и Оль д'Ора первыми мыслящими головами века” Все согласились и назвали. “Теперь все пойдем за ними” Пошли» (М, 105). Вместе с тем Р. отмечает закономерность появления О. в *русской литературе*, его преемственность по отношению к *В.Г. Белинскому* и “шестидесятникам”.

«Оль д'Ор ведь тоже вышел из Белинского, хотя, кажется, и “не доставляет сведений” Но, во всяком случае, он презирает *Россию*, считает ее отсталой, кричит о недостатке ему *свободы*, — и вообще ни на одну пядь не выходит из схем Белинского» (КНУ, 557); «Есть нечто мучительно сходное между Оль д'Ором и *Чернышевским*, как между мошкой и, напр., испанской мухой: велика разница в величине, но “в порядке классификации животного мира” нет разницы» (КНУ, 239). «Жидок» О. в работах Р. — один из символов еврейского присутствия в русской культуре (М, 115, 327, где О. называется в ряду других литераторов еврейского происхождения).

М.Ю. Эдельштейн

ОМАН (Haumant) Эмиль (1859 — 1933) — профессор русской *литературы* Сорбонны, автор *письма* к Р. от 5 мая 1911, содержавшего просьбу сообщить об Обществе в память *Герцена*, упомянутом Р. в статье «*И.В. Киреевский* и Герцен (К выходу 2-го издания “Полного собрания сочинений” И.В. Киреевского в ред. *М. Гершензона*. 2 том)» (НВ. 1911. 12 февр.) (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4215. Ед. хр. 10).

А.В. Ломоносов

ОРЛОВ Михаил Иванович (1864 — 1920) — протоиерей, богослов, профессор греческого языка Петербургской духовной академии. Р. передал в фельетоне «Молодому поколению *России*» (НВ. 1912. 4 марта) *историю* своего знакомства с О. и причину появления своего отзыва на *книгу* молодого богослова. Протоиерей, пришедший к Р. с просьбой откликнуться рецензией на составленную им книгу, вызвал сочувствие писателя из-за явных материально-бытовых затруднений: «Что-то бесильное, неумелое: точно собирается открыть *банкирскую* контору *человек*, никогда не считавший дальше “ста”. Я стал соображать. Явно, кто-то должен прийти к нему на помощь, кто-то — пользоваться его *знаниями*, *умом* “1001-ю *добротелью*”, чтобы из двух человек составилось “одно существо”, умеющее не только “работать со словарем Бетлинга”, но и сделать все, “что откуда вытекает”. А “вытекает” очень многое, очень сложное, вытекает что-то более ценное и огромное, нежели “300 экземпляров”, отпечатанных в типографии, для расчета с которою нужно их все продать, иначе “восьми *человекам детей*” не дохватит на манную кашу с молоком» (ПВ, 53). Р. призвал *общество* востоковедения и Академию *наук* откликнуться на просьбу о содействии в реализации книги О.: «Следует русской Академии *Наук* протянуть руку помощи, руку *дружбы*, редким и, наконец, редчайшим людям с врожденным пафосом к науке» (там же), таким как профессор О., который долгие годы, «как тихая лампада, горел перед образом науки, в то время, как на шумной и “публикующей” улице современники его растлевали, грабили, насильничали, обманывали» (ПВ, 55). Р. поразило, что, испытывая материальные трудности, «при восьми *человеках детей*», О. издал сборник народных индийских преданий «Хитопадеша» с *верой* в великую просветительную *силу* «самоучающегося народа», являющего в «*учительной литературе*» замечательные иллюстрации из *живого быта*, «где дышит все, дышат даже *растения*, где звери — разумны как человек, это просто трудовая народная *жизнь*, одинаковая на

Ганге и Волхове» (ПВ, 54). В письме к Р. от 5 марта 1912 О. выражал благодарность за его статью и благожелательное письмо к себе. О. также обещал в письме принести в подарок книги «Liber Pontificos» и «Литургию» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 32. Л. 3). К письмам О. приложен розановский отзыв о корреспонденте: «Орлов М. Санскритолог. Проф. СПб. Духовной Академии. “Хитопадеша”, перевод с санскрита. Удивительный. Имеет вид сельского попа, 11 человек детей, и “учен как 40 000 братьев” Прелестный. Видел 1 раз. Он на меня рассердился и ушел не простясь» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 114).

А.В. Ломоносов

ОРНАТСКИЙ Философ Николаевич [21.5(2.6).1860, погост Новая Ерга, Череповецкий уезд, Новгородская губ. — 30.10.1918 расстрелян большевиками в Кронштадте] — протоиерей, настоятель Казанского собора в Петербурге, председатель совета «Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви», в 2000 канонизирован. В журнале «Православно-Русское Слово», выходившем в Петербурге в 1902—1905 под редакцией О. и являвшемся органом руководимого им «Общества», в № 1 за 1902 был опубликован отклик «светской женщины» на очерк Р. «Небесное и земное» (НВ. 1901. 11 дек.; ОЦС), в котором ставились под сомнение как выдвинутые им «идеи искупительной жертвы и зараженности мира грехом или идеи греха», так и необходимости возношения Церковью особой «молитвы о женах, рождающих в болезнях». Манера письма Р. квалифицировалась как «фельетонная, вышучивающая предметы священные и церковные». Этот отклик «светской женщины» О. прокомментировал ссылками на Библию и собственными рассуждениями. В конце публикации отозвался он и о характерной манере письма Р.: «Относиться к подобным газетным словизвержениям и вышучиваниям следует так, так они этого заслуживают по самому своему назначению, именно как к фельетонным фарсам. Очевидно, фельетонисту приходится измышлять разные курьезы, оригинальности и небылицы, чтобы развлечь читателя газеты и поддержать ее ложную популярность. Ведь рассматриваемый фельетон переполнен такими небылицами, кривотолками и извращениями по части Библии, истории, церковной практики и иерархии, духовной литературы и пр. Но приходится весьма глубоко сожалеть, что предметы священные и религиозные стали у нас ныне легким достоянием фельетонного краснобайства и пустомельства, доходящего до кощунства и низкопробной публицистики и что редакция и цензура допускают это, духовная же цензура, подчас излишне взыскательная в области духовной литературы, не имеет никакого касательства до светской печати, когда она вдается даже в явные ереси, а опровержения их эта печать не любит и преднамеренно от себя отклоняет» (Православно-Русское Слово. 1902. № 1. С. 84—85). Р. в своей публикации «Желчные мысли в желтом журнале» (НП. 1903. № 10. С. 212—218; ОЦС) расценил этот отзыв как «окрик», зовущий на него «кару за самое предложение вопроса». В редакцию «Нового Пути» последовало от О. письмо, в котором он, обходя суть поставленной Р. проблемы, просит поместить «несколько слов об Обществе». В № 12 за тот же

год в «Новом Пути» это письмо О. и ответ на него Р. были опубликованы рядом. «Что же оно <«Общество»> сделало “духовного”, — пишет Р., — милосердного, нужного, исключительного, что соответствовало бы исключительным его силам <...> Имея капиталы, “ворочая капиталами”, хоть приложило ли оно старание о придании благочестивого, тихого и скромного вида кладбищам нашим? Дабы это был не “дом торговли”, а обитель дорогих наших покойников под сенью Вечного Отца? <...> Не в словах наше оправдание, а в делах. В “слове ходит” (хлыстовский термин) о. Ф. Орнатский хорошо; а вот дела... переходят в многоточие» (ОЦС, 178—179). В статье «Духовенство в училищах» Р. приводит текст письма к нему Александра Русинова, в котором отвергалась учебная программа по Закону Божию, предложенная протоиереем О., что соответствовало и взглядам Р. на сложившуюся практику законоучительства (ОЦС, 338—339).

А.Н. Стрижёв

ОССЕНДОВСКИЙ Антон Мартынович [наст. имя Фердинанд Антоний; 27.5(8.6).1876 под Витебском, по другим сведениям, г. Опочка, Псковская губ. — 3.1.1945, Гродзинск, Мазовия, Польша] — писатель и журналист. К письму Р. от 24 мая 1911 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 25) О. приложил свою книгу «В людской пыли» (СПб., 1911; впервые: СПб., 1909 под названием «Людская пыль»). Повесть описывает быт и нравы тюремного заключения. Первый тираж книги 1909 был уничтожен после запрета цензуры.

А.В. Ломоносов

ОСТАФЬЕВ Владимир Алексеевич — товарищ Р. по Нижегородской гимназии, в сестру которого Лёлю Остафьеву был влюблен Р. в 17 лет. Р. рассказывает по этому поводу: «Однажды мой товарищ в чем-то проворовался; кажется подделал баллы в аттестате: и, нелепо — наивно передавая мне, упомянул: — Сестра сказала маме: “Я все отношу это к тому, что Володя дружен с этим Розановым... Это товарищество на него дурно влияет. Володя не всегда был таким...” Володя был глупенький, хорошенький мальчик — какой-то “безответственный” Я писал за него сочинения в классе, и затем мы “болтали” Но “дурного влияния” я на него не оказывал, потому что по его детству, наивности и чепухе на него нельзя было оказать никакого “влияния” Я выслушал молча... Но как мне хотелось тогда умереть» (У, 35). Письма Р. к О., написанные в 1874, хранятся в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 288), письма О. к Р. за 1874—1877 — там же, ед. хр. 555.

А.Н.

ОСТАФЬЕВА Елена Алексеевна (Лёля) — первая любовь Р., которой он посвятил в «Уединенном» запись «Голубая любовь». Сестра товарища Р. по Нижегородской гимназии Володи Остафьева, окончила Нижегородский институт благородных девиц, директрисой которого в 1870-х была ее мать Ираида Яковлевна Остафьева. О. было 24 года; Р., которому было 17 лет, позднее вспоминал: «Товарищ не знал, что я был влюблен в его сестру. Видел я ее раз — за чаем, и раз — в подъезде в Дворянское собрание (симфонический концерт). За чаем

она говорила с матерью по-французски, я сильно краснел и шушукался с товарищем. Потом уже чай высылали нам в его комнату. Но из-за стены, не глухой, изредка я слышал ее серебристый *голос*, — о чае или о чем-то... А в подъезде было так: я не попал на концерт или вообще что-то вышло... Все равно. Я стоял около подъезда, к которому все подъезжали и подъезжали, непрерывно много. И вот из одних санок выходит она с матерью — неприятной, важной старухой. Кроме бледного худенького *лица*, необыкновенно изящной фигуры, чудного очертания ушей, прямого небольшого носика, такого деликатного, мое сердце “взяло” еще то, что она всегда имела голову несколько опущенную — что вместе с фигурой *сруды* и спины образовывало какую-то чарующую для меня линию. “Газель, пьющая воду” Кажется, главное очарование заключалось в движениях, каких-то волшебнo-легких... И еще самое главное, окончательное — в *душе*. Да, хотя: какое же я о ней имел понятие? Но я представлял эту душу — и все движения ее подтверждали мою *мысль* — гордою. Но надменно: но она так была погружена в свою внутреннюю прелесть, что не замечала людей... Она только проходила мимо людей, *вещей*, брала из них нужное, но не имела с ними другой связи. Оставаясь одна, она садилась за *музыку*, должно быть... Я знал, что она брала уроки математики у местного *учителя* гимназии, — высшей математики, так как она уже окончила свой институт. “Есть же такие счастливыцы” (учитель)» (У, 35). В *архиве* Р. сохранилась фотография О. с записью Р. на обороте (для своих *детей*): «Первая любовь папина (“Голубая любовь” — Уединенное) — Елена Алексеевна Остафьева. Исцарапана булавкою *Аполл. Прок. Сусловой*, 3-й любовью» («Уединенное» / Коммент. В.Г. Сукача. М., 2002. С. 355).

А.Н.

ОСТРОВСКИЙ Александр Николаевич [31.3(12.4). 1823, Москва — 2(14).6.1886, село Щельково, Кинешинский уезд, Костромская губ.] — драматург. В *семье* Р. имелось двухтомное издание сочинений О. (СПб., 1859). «Я вспомнил из *детства*, как, тоже мальчиком лет восьми, я вытащил с этажерки у брата переплетенную *книгу* и, открыв и увидев заглавие пьесы: “Снявши голову, по волосам не плачут”, спрятал книгу под подолом рубашечки, ускользнул из комнаты “кое-куда”, где меня трудно было найти маме, и с бьющимся сердцем начал читать... “Тут, конечно, напали разбойники и кого-то зарезали (“снявши голову”); а когда зарезали, то оказалось, что зарезанный есть родственник зарезавшего разбойника, и он, держа отрезанную голову в руках, плакал над волосами ее... Это — чудесно, и то как разбойники напали, и то как хозяева боролись с ними!” Читаю: ужасная чепуха! Какие-то купцы, какая-то тетушка, люди, совсем ненужные. “Ну, это — пока, разбойники придут потом” И я терпеливо переползал со страницы на страницу (читал еще не “бегло”). — “Нет разбойников!” — Терплю, ползу. Господи, как трудно читать. Главное, совсем не понимаю, о чем читаю и что писатель вывел за неинтересных людей, разговаривающих о предметах, не имеющих никакого содержания и никакой занимательности. “Как ваше здоровье?” да “какживаете?..” Но разбойники, однако, придут, не могут не прийти, ибо ведь сказано — “снявши голову”, а “снять

голову” — значит “отрезать ее” Значит, есть “зарезанный” и есть, конечно, “разбойник”... Дочитав до четверти, я не мог дальше... Да, “разбойники придут”, но с которой страницы — я не знаю. А до этой странички... ужасно тяжело. Не помню, как и когда я вернулся “к нам в комнаты” и обратно всунул на этажерку — помню долговязую, большого формата — книгу. Без сомнения, это был один из томов «двухтомного» 1-го издания Островского. Шел или 68-й, или 69-й год XIX века» (СХ, 368—369). Такой пьесы О. никогда не писал, Р., которому в это *время* было лет 12—13, перепутал, видимо, ее из-за пословичной формы с пьесой В.П. Салькова. Между тем отсылка к первому изданию сочинений Островского соответствует действительности. Р. высоко оценивал *творчество* О., относя его наряду с *Тургеневым*, *Гончаровым* и *Лесковым* к корифеям русской *литературы* (М, 145). «Когда появлялись “Рудин”, “Отцы и дети”, “*Театр* Островского”, “*Война и мир*”, “*Преступление и наказание*” — то с этими произведениями вся *Россия* зрела» (ЛВИ, 303). О. в представлении Р. — писатель, всегда находящийся в ряду с другими: «Много есть прекрасных *лиц* в *русской литературе*, увитых и повитых задумчивостью. Лица *Тютчева*, *Тургенева*, *Островского* не только выразительны и полны *мыслью*, но они как бы договаривают вам недоговоренное в “полном собрании сочинений”» (ЛВИ, 334). О. — «обладатель гениального *вдохновения*» (ОЦС, 390), освещающий *жизнь* «отсюда, от себя, как бы с улицы» (ОПП, 298); он наряду с *Л. Толстым* рисует «то же самое, что изображал *Гоголь*, и под тем же самым углом *смеха* и *ужаса*, под каким он взглянул на сор и темь русской жизни» (СХ, 300). «Параллельно с душевностью “шепотком” ведутся у нас и темные дела, зарождается в “домашней обстановке” всякая чичиковщина, и, словом, растут рядом *Тургенев* и *Гоголь*, *Достоевский* и “типы Островского”, “надувательство” и “великие признания” другу и брату» (СХ, 135). О. для Р. прежде всего драматург, органично входящий в *историю* мирового театра: «Такие лица, как *Шекспир*, *Мольер* или Островский, — исключение. Это всецело люди театра. И скорее к *литературе* они принадлежат боковым образом» (СХ, 299). В истории русского театра была «эпоха Островского» (Там же, 302). Когда Р. писал статью, посвященную памяти *В.Ф. Комиссаржевской*, он в пьесе О. нашел образ, подчеркивающий драматизм *судьбы* актрисы: «Как Несчастливцев в “Лесе” Островского неожиданно находит “трагическую актрису” в имени своей тетушки, вдовы-помещицы Гурмыжской, в *лице* ее дальней и бедной родственницы, теснимой *любовью* и обстоятельствами, — так Россия, до некоторой степени, нашла себе “трагическую актрису” в лице безвременно погибшей Комиссаржевской (Там же, 328—329). В то же время самому понятию “лес» в том облике, в каком он предстает в пьесе, Р. отказывает в «одушевленности и зачарованности» в отличие, например, от образа леса в работах *Нестерова* или *Жуковского* (ВДЯ, 374—375). Причина заключается в том, что «Гоголь <...> Тургенев, Достоевский, Островский, Гончаров, Л. Толстой имеют дело только с действительною жизнью, а не с созданною в воображении <...> с положениями, в которых мы все бываем, с отношениями, в которые мы все входим» (ЛВИ, 18). Эту мысль в разных вариациях Р. высказывал неоднократно (ОП, 482; ЛВИ, 281; ЛИ, 363).

Р. не исключает О. из списка писателей, «виновных» в раскачивании государственного устройства России: «Проклятие России есть суть “Истории русской литературы” Какие ужасы... Уже начиная с “К уму своему” заезжего Кантемира и “Недоросля” также все-таки немца *Фон-Визина*... Потом “Горе от ума”, потом “Мертвые души” и “Ревизор” Невозможные “купцы” Островского, хохот отставного полицейского (*Щедр.*)... Все любящее побито камнями; нет, хуже — накормлено пощечинами. “Разве можно любить эту стерву”» (СХР, 53). Р. вспоминает, как его сыну было задано в гимназии сочинение: «Васе тема: “О драмах Островского” и указаны пьесы. Одна — “На бойком месте” Прочел. Что же там рассказано? “На бойком месте” — это постоянный двор, хозяин которого, старик 60 лет, заманивает или привлекает богатеев-проезжих женой (30 лет) и сестрой (20 лет), которые “играются” и целуются с приезжими купчиками, помещиками и военными. Жена, входя, хихикает и говорит мужу при золовке и прислуге: “Ой! измял всю меня” Муж отвечает: “Не сахарная! Не рассыплешься” На ночь он выезжает на большую дорогу грабить. И если случится — даже укокошить. И в такую мерзость ученики 5 класса (14–15–16 лет) обязаны вчитываться, вдуматься и письменно дать о сем произведении отчет. Т.е. написать несколько мертвых для их возраста фраз о “грубых и жестоких нравах русского народа, доколе он не осветится светом из уст преподавателей Тенишевского училища”» (КНУ, 516). В «*Апокалипсисе нашего времени*» О. уже привычно сосуществует в ряду классиков-«разрушителей» русской жизни, которые «били в одну точку, разрушали Россию. Но в то время как “Что делать” *Чернышевского* пролетело молнией над Россией, многих опалив и ничего, в сущности, не разрушив, “Отцы и дети” Тургенева перешли в какую-то

чахотку русской *семьи*, разрушив последнюю связь, последнее милое на Руси. После того, как были прокляты <...> купцы у Островского, *духовенство* у Лескова (“Мелочи архиерейской жизни”) и наконец вот самая семья у Тургенева, *русскому человеку* не осталось ничего любить, кроме прибауток, песенок и сказочек. Этот самозабавляющийся прошалыга и произвел *революцию*? “Что же мне делать, что же мне наконец делать” “Все — вдребезги!!!” Отсюда и произошла революция» (АНВ, 348).

И.А. Едошина

ОТТ Дмитрий Оскарович (1855—1929) — петербургский профессор медицины, оратор и практикующий врач, с 1893 лейб-акушер и директор Императорского повивально-клинического института для бедных. Р. описал в очерке «Святылище Ваала и Астарты» (НВ. 1908. 3 и 30 янв.) экскурсию, проведенную по этому учреждению О. — «сивым» (с сильной проседью) ученым в полувоенной тужурке» (ВНС, 11) — специально для него — почитателя семито-хамитских чревных культов. Р. был убежден, что наряду с немногими другими врачами, «народ русский скажет историческое свое спасибо <...> Д.О. Отту» поскольку именно, благодаря его хлопотам, «указаниям и разъяснениям обязано введение нового и важнейшего всех прежних повода к *разводу*: “Болезненное состояние, устраняющее возможность брачного сожития и вредно влияющее на потомство”» (РГО, 360). Воспоминание о единственном обеде у доктора О. воспроизведено Р. в «*Мимолетном. 1914 год*»: «Обедая у него единственный раз в *жизни*, я ел до такой степени превосходные огурцы, что даже лучше наших провинциальных» (КНУ, 228). Автор *письма* к Р. (б.д.) об обмене некоторыми документами (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3824. Ед. хр. 5).

А.В. Ломоносов

II

ПАВЕЛ I (Павел Петрович Романов) [20.9(1.10).1734, Петербург — 12(24).3.1801, там же] — российский император с 1796. Р. называет П. «рыцарем» (АНВ, 7), а *история* его убийства «осыпанными золотом приближенными» «была черна, подла, омерзительна для воспоминания, и ее антиблагой характер, “вредный последствиями”, был как бы мы проиграли 12-й год» (У, 332, 336). «*Цари помнят, что мужик спас Царя <Иван Сусанин>, а дворяне устроили ему гадость (мученическая кончина Павла I)*» (М, 76). Р. заключает: «Отвратительная история с Павлом I» <...> была эпизодом вне общего течения русской истории» (М, 153). Он приводит «знаменитую формулу Павла I» — «Русский дворянин есть тот, с кем я говорю и пока я с ним говорю». Эта формула выдала секрет, таймий государями из вежливости в груди своей. «Никакого нет дворянства. Есть челядь, которой нужна служба. Больше ничего не нужно» “Я Сам — труженик: о каком же дворянстве может быть речь»» (КНУ, 412). В статье «Русские исторические портреты на выставке в Таврическом дворце», написанной в 1905, но снятой с набора в «*Новом Времени*», Р. рассказывает о своем впечатлении, произведенном на него *портретом* П. во весь рост, в короне, в мантии мальтийского ордена. «Кажется, портрет этот, хотя и торжественный, не принадлежит к числу любимых портретов и даже его немного прячут. А зрителю и “подданному” хочется самому от него спрятаться. Хочется оставить пустую эту комнату. Корона на императоре покачнулась, а рука его протягивается к лежащему на столе кинжалу. Что за концепция! Кто рисовал?? нужны бы объяснения. Я смотрел на него с ужасом. Плачь, Минерва, богиня мудрости, и Аполлон, бог порядка» (КНУ, 45). Р. считал ошибкой П., «надевшего сверх русской императорской мантии мантию мальтийских рыцарей», и ошибкой *Екатерины II*, сохранившей иезуитский орден, когда он был уничтожен в католических странах: «У России есть более реальные нужды, чем покровительство *католицизму*» (РГО, 34).

А.Н.

ПАВЛЕНКОВ Флорентий Федорович [8(20).10.1839, Тамбовская губ. — 20.1(1.2).1900, Ницца, Франция] — книгоиздатель, издатель «Биографической библиотеки, или *Жизни замечательных людей*», о которой высоко отзывался Р. В статье «*Книга особенно замечательной судьбы*» (РО. 1898. № 3–5) он пишет о «неутомимом Павленкове»: «Это — деятельность, достойная Новикова;

это лучший пример того, насколько частная предпримчивость, движимая *любовью* к предмету, мощнее и зорче деятельности официально-государственной, которая повинуетя лишь обязанности. И в самом деле, если собрать все, что было издано нашим министерством народного *просвещения* для образования и направления “к добру и правде” русского юношества, и сравнить его усилия и плоды этих усилий с тем, что сделал один г. Павленков, при средствах самых скудных, для введения *мысли* и *чувств* нашего общества в русло ему желаемое — мы убедимся без *труда*, что он единолично стоит целого министерства; что наше маленькое, подрастающее общество учится, думает, занимается, уважает и ненавидит скорее “по-Павленкову” и уже никак не “министерству народного просвещения” Г-н Павленков заслуживает венка; и, повторяем без какой-либо иронии, мы этот венок ему, эту в своем роде монтионовскую премию за *добродетель* — воздаем» (ПИ, 165). Через много лет Р. вернулся к той же оценке П. В «*Мимолетном*» читаем: ...издания Павленкова *Перцов* очень тонко назвал “аскетическими” Иногда в 2 столбца, на плохой дешевой бумаге, крайне убористой *печати*, неряшливые, “но зато внутренне ценные”, они дали русские *переводы* и русские комментарии к *Дарвину*, *Спенсеру*, Джону Леббоку, Т. Эйлеру и проч., и пр., и пр., и мн., и мн., и мн. Павленков в 80–70-х годах буквально играл роль Новикова. Он издавал и учебники по физике и естествознанию. Целое “просвещение” И как оно было дороже и лучше теперешнего “Просвещения” (фирма книгоиздательская) берлинского еврея Цетлина <...> Павленков, как и “Товарищество обществ. пользы”, — это целая эпоха в *истории* русского *чтения*. Ах, “история русского чтения” так же интересна, как “Ист. *русск. литературы*” Тут-то и “зарыта *собака*”» (М, 267).

А.Н.

ПАЛЕОЛОГ К. — спирт и теософ. В *письме* к Р. от 1 марта 1911 отозвался на его статью «Одна из замечательных идей *Достоевского*» (РС. 1911. 1 марта), усмотрев в ней «возможность к интуитивному воздействию» на Р. “потусторонности” или *душ* умерших *гениев*, не сказавших на земле: как нужно понимать их произведения, написанные при *жизни* в человеческом теле» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 30. Л. 2). Формально посвященная разбору книги *А. Закржевского* «Подполье: Психологические параллели» (Киев, 1911), статья Р. рассматривала «Записки из подполья» Ф.М. Достоевского.

П. рекомендовал Р. ознакомиться с содержанием журналов «Спиритуалист» (1910, статья «Законы и тайны жизни» о тайнах «образования в мозгу идей, мыслей, слов») и «Смелые Мысли» (1910, в котором с № 36 разрабатывались вопросы «О прогрессе человечества»). П. предлагал Р. принять участие в изданиях этих журналов. Р. в спиритических журналах участия не принял.

А.В. Ломоносов

ПАЛИБИН Александр Владимирович — юрист, сотрудник «Журнала Министерства Юстиции». Вел в 1912 переговоры с болгарским издателем Д. Божковым о публикации перевода книги Р. в Болгарии. В письме к Р. от 2 мая 1912 он благодарил писателя за присланные ему письма Д. Божкова, корреспондента Р. и редактора болгарской «Духовны Пробуды» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4212. Ед. хр. 42. Л. 1). С письмом от 6 апреля 1912 направил Р. свою монографию по юриспруденции «Опека по расточительности. Опыт исследования» (СПб., 1912) для работы писателя над продолжением книги «Семейный вопрос в России».

А.В. Ломоносов

ПАРЕНСОВ Петр Дмитриевич [1843 — 25.8(7.9). 1914] — генерал от инфантерии, участник Русско-турецкой войны 1877—1878, военный министр освобожденной Болгарии, публицист, мемуарист. Р. написал рецензию на его книгу «Из прошлого. Воспоминания офицера Генерального штаба о войне 1877—1878 гг.». Статью хотели снять с набора в «Новом Времени», но все-таки она увидела свет с названием, актуализирующим представленное издание, — «Книга вовремя» (НВип. 1908. 1 окт.), — поскольку воспоминания пришлись на время нарастающей тревоги от возможной войны на Балканском полуострове. Р. восхищался искусством подачи П. драматичных событий Русско-турецкой войны, живописными литературными портретами князя-австрофила Александра Баттенбергского, графа Кевенгюллера и английского агента Пельгрэва; высоко оценивал публикацию в книге П. редчайшего фотопортрета Александра II, последнего прижизненного изображения императора, «которого сам он уже не увидел», работы фотографа Левичского. Р. восхищала авторская «теплота рассказа; та русская и, пожалуй, немного старческая теплота, которая очень идет к рассказу о том, что было» (ОНД, 362—363). Сохранились письма П. к Р. 1904, 1911—1914 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3871. Ед. хр. 13). Р. приложил к ним характеристику: «Петр Дмитриевич Паренсов, — вся грудь в орденах, звезды, лента; с небольшой бородкой; важный сквозь рассыпающийся смех, или смеющийся сквозь важность, — и не разберешь, и сам едва ли знал. Первый раз я его увидел, когда вышел покурить из давки народа на лекции Петрова; он тут прикорнул на табуретке, — и вдруг поднялся с оживленным восклицанием: “Да мы с Вами знакомы” Где? Когда? Но очевидно — так. Петрова он, очевидно, изучал, рассматривал, — да и так прямо сказал тут мне, — для всяких возможностей, для будущего. “Нельзя же, чтобы события застали врасплох”, и “правительство должно ко всему приготовиться” Очевидно, это было у него врожденное, талант и призвание, а не то, чтобы от него требовали. Замечательно, что он ненавидел сферы и дворец, хотя

если что “заготовлял” по части сведений, то именно для сферы. От него я услышал испугавшую меня фразу: вскочив с дивана (у меня), он воскликнул желчно: “Только лезть! Только обман” — “и — никакого другого средства получить значение там!!! Избави Боже, избави Боже всякого заговорить правду, проговориться о правде” Но я думаю — это желчь неудачника, это гнев человека, заслуги которого не были оценены и уважены. Петр Дм. явно имел талант “разузнавать”, — и вот этот талант, хотя, явно был нужен, но и явно же не уважался. И П.Дм. и чувствовал на себе или от себя это отчуждение. Быть не прямым, по-видимому, составляло его врожденное несчастье, и оно несчастным образом отразилось и на службе. Конечно, он б. умен, ловок; но не был привлекателен. Он б. женат на сестре или дочери Анны Павловны Философовой, — но никогда не только в Мире Искусства, но и у Анны Павловны я его не видал. Узнав, что он однако родственник им, я заговорил о нем с Димой <Д.В. Философовым> в Публичной Библиотеке: он выразился о нем крайне презрительно, заметив, что он, конечно, “строит куры” Он весь был талантливый, оживленный, и “куры” весьма правдоподобны. Его именем в Софии названа улица. Он рассказывал что-то очень интересное о графе Павле Шувалове; о том, как у Александра III потерял доверие, вздумав ему жаловаться на Батенберга; “а потом — оправдалось” Но все это спуталось в моей голове. У него я видел “Виктора” (Протейкинскогo) и с ним они были на “ты”» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 87—88). Р. объяснял опалу генерала его борьбой с австрофильством кн. Александра Баттенбергского (1857—1893), немецкого принца, в 1879—1886 князя Болгарии, вынужденного отречься от болгарского престола из-за недовольства со стороны офицерства его прогерманской политикой.

А.В. Ломоносов

ПАРХОМЕНКО Иван Кириллович [21.7(2.8).1870, село Семеновка, Черниговская губ. — 21.1.1940, Москва] — художник-портретист, автор портрета Р. (1910. Холст, масло). Истории написания своего портрета Р. посвятил очерк «Галерея портретов русских писателей г. Пархоменко» (Новое Слово. 1910. № 5; Московский журнал. 1991. № 1. С. 15; портрет). Этот портрет Р. был частью задуманной художником обширной живописной серии, посвященной писателям (всего П. написал около 90 портретов). Р. посчитал, что сам по себе замысел живописца — оставить потомкам портреты «властителей дум» — интересная и благородная задача: «Нельзя не видеть в его “галерее” нашего русского национального дела». Р. начал очерк с описания необычной внешности художника: «С длинными волосами и женообразным бледным лицом, с семинарскими манерами, Пархоменко так и ходит около своих “портретов” Ими занята уже целая стена». Р. выразил недовольство расположением мастерской «в далекой, дьявольски далекой части Петербурга» (на ул. Б. Зеленина Петербургской стороны), а также тем, что портреты выполняются художником быстро, «точно по телеграфу» — «в 4 приема большой поясной портрет». Год назад, вспоминает Р., он отказался позировать, «совершенно не доверяя возможности такой быстроты и хоть каких-нибудь качеств в портрете». Но теперь на настойчивую просьбу художника согласился: «Пушай будет портрет в галерее».

П. не стал изображать Р. в задумчивой «писательской» позе — «будет картина», а художник имел определенный замысел: «сделать все портреты при одном и том же освещении и по возможности в одной и той же позе, или лучше сказать — без позы»; чтобы они давали «материал для сравнения». «И рисовать то, что видит мой глаз в вашем лице, а не <...> что думает о вас мой ум, или воображение. Мне нужна натура писателей». П. имел план зарисовать «*всю русскую литературу*» и достичь полноты галереи. Обилие портретов в мастерской объяснялось не отсутствием спроса, а нежеланием П. разрознить свою «Галерею» (за портрет *Толстого* ему давали «несколько тысяч (много тысяч)», но он не согласился отдать. П. хотел бы продать галерею государственному учреждению — там «она сохранится и прочнее, и цельнее». Чем больше Р. глядел на портреты, тем больше они ему нравились, но «не отдельно, а массой»: «Без рам, этих несносных золотых рам, кричащих о рынке или выставке — они являли собой что-то тихое и умное». Р. пришел к мысли о невозможности «разрознивать» галерею: «Каждый отдельный портрет мало говорил бы собою; но собранные вместе, они являли зрелище и любопытное, и будящее много мыслей». Р., как он пишет, «стал входит во вкус Пархоменко, в *мысль* его, план». Р. признает, что портреты, которые были расположены в мастерской, хороши: «всего лучше» *Морозов* (шлиссельбуржец), «изумительно взят Флексер (*Волынский*), сухой, черный, в какой-то гимназической куртке, без воротничка и, словом, аскетом», а вот «например, у *Ремизова* не передана, или мало передана, замечательная бледность лица, безлизна кожи». Р., однако, находит в галерее П. «ужасный, режущий недостаток»: «Вы рисуете собственно журналистов, а не “писателей” <...> газетные сотрудники, люди в прессе необходимые, но в *литературе* не играющие никакой роли». Р. делает попытку исправить и идейный перекокс галереи, намечая программу более достойных, по его мнению, кандидатов: «Тут все у вас “либералы”; так разве же из них одних состоит литература и русская умственная жизнь? Где у вас Ламанский? А это — имя. Где основатели Высших женских курсов, или горячие их деятели — *В.И. Герье* — для *Москвы*, профессора *Александр Ив. Введенский* и *С.Ф. Платонов* — для *Петербурга*? Странна русская “умственная, духовная жизнь” без них. Где Бехтерев? Чечотт? Профессора *Отт* и *Феноменов*? <...> Возможно ли не зарисовать *Глубоковского*, *Бриллиантова*, *еп. Феофана* и *Каринского* в *Петербургской дух. академии*, *Алексея Введенского*, *М.М. Тареева*, *П.А. Флоренского*, проф. *Спасского* — в *Московской дух. академии*? Историков литературы — *Н.А. Котляревского*, *М.О. Гершензона*, проф. *Овсяннико-Куликовского*, вдумчивого *Леонида Галича*? Почему всё “*Арцыбашев*” и “*Каменский*”? Что за *Фаусты* русского духовного сознания?» В 1911 портрет Р. экспонировался на выставке работ П. в *Нижнем Новгороде*. Большинство сохранившихся портретов работы П., в том числе и портрет Р., ныне хранятся в Государственном литературном музее (Москва); значительная часть портретной галереи П. в годы революционной смуты бесследно исчезла. К письмам П. 1909 с просьбой написать портрет Р. приложена такая характеристика: «Нелепый художник, “все портреты” на 2-х» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 118) (далее текст оборван, видимо, «на 2-х сеансах»: Р. в статье недоумевает, как

можно достичь результата с такой «телеграфной» скоростью» исполнения работ).

В.А. Фатеев

ПАСКАЛЬ (Pascal) Блез (19.6.1623, Клермон-Ферран — 19.8.1662, Париж) — французский философ и писатель, математик и физик. В 1889 Р. познакомился с переводом «*Мыслей*» П., выполненным его коллегой по *Елецкой гимназии П.Д. Первовым*. Р. пишет статью «Паскаль», оставшуюся неоконченной (опубликована В.Г. Сукачем в журнале «*Человек*». 2001. № 4). 21 апреля 1889 Р. сообщает *Н.Н. Страхову* «Есть у меня еще 24 стр. “Паскаля” — но они недокончены, хотя написаны хорошо положительно, т.е. в смысле слога, и тона. Но летом я не буду даже его кончать, чтобы жить исключительно *Достоевским*» (ЛИ, 206). Р. работал над «*Легендой о Великом инквизиторе*» в это время. В июне 1889 он пишет *Страхову*, что работает над статьей о переводе «*Мыслей*» *Первовым*: «Тут мне захотелось сделать услугу ему, да и высказать вообще разные мысли. Вы скажете: что вы за сумасшедший, начинаете одно, а кончаете другим, но я всегда был с примесью сумасшествия» (ЛИ, 211). В августе 1889 Р. делает приписку к письму *Страхову*: «О Паскале будет большая статья — иначе не умею писать, с биографией» (ЛИ, 213). Во втором коробе «*Опавших листьев*» Р. все еще упоминает статью «Паскаль» среди неоконченных (У, 314). Рецензия Р. на перевод *Первова* появилась в печати при втором издании книги (НВип. 1899. 6 окт.). Р. писал: «Книга эта одна из самых знаменитых во всемирной литературе, как и творец ее — один из великих историч». В книге П. ему видится прообраз жанра «опавших листьев», к которому он сам обратился сначала в форме «эмбрионов». П. «на клоках бумаги записывал “Pensées”, т.е. разные ему приходившие в голову мысли. Это были черновики для задуманной им книги, от которой, однако, не сохранилось даже плана. И вот, когда он умер, умер всего только молодым человеком, друзья, вошедшие в его комнату-келью, нашли эти листки. Собранные, просто сшитые без всякого порядка, они и составили труд Паскаля, который может умереть только с христианством, потому что его “Pensées” суть самое глубокое и самое свободное, что было подумано о христианстве умом чисто светского сложения. Здесь нет и тени профессиональности мышления и нет “заказа”. В связи с юбилеем *Гоголя* в 1909 Р. проводит сравнение: «Паскаль, коего “Pensées” не то же самое, а, однако, родственны с “Перепискою” *Гоголя*» (СХ, 305). Еще в письме П.И. Бирюкову 5 октября 1887 *Л. Толстой*, перечитав «Выбранные места из переписки с друзьями», назвал *Гоголя* «наш Паскаль». Однако Р. подходил к подобному сравнению более строго: «Если бы *Гоголь* завещал великую идею, если бы в его “Переписке с друзьями” промелькнула хоть ниточка глубокомыслия Паскаля, психологичности Паскаля, метафизичности Паскаля, как это выразилось в его “Pensées”, — общество, читатели невольно поднялись бы, восприняв и начав развивать дальше эту мысль» (ОПП, 352). Р. высказывается и еще более резко: «Религиозные идеи *Гоголя* и *Толстого*, волновавшие и волнующие *Россию*, около “Мыслей” Паскаля представляются совершенно жалкими, уродливыми, слабыми. *Гоголь* и *Толстой*, личности вполне великие, не уступающие Паскалю

или Декарту, значительны в другом, а не в религии. Паскаль — чистое золото в религии; говорил от сердца, а ум его был неизмерим» (ОПП, 368). В письме М.М. Спасовскому от 11 апреля 1918 Р. говорит о П.А. Флоренском: «Это Паскаль нашего времени, Паскаль нашей России <...> Я думаю и уверен в тайне души, — он неизмеримо еще выше Паскаля, в сущности — в уровень греческого Платона с совершенными необыкновенностями в умственных открытиях, в умственных комбинациях или вернее прозрениях...» (Спасовский, 62–63). В письме Э. Голлербаху от 8 августа 1918 Р. замечает о Флоренском: «Он “ростом” не менее Паскаля и бл. Августина: а ему всего 35 лет» (ВНС, 360).

А.Н.

ПЕНКИН Иван Игнатьевич — инспектор Брянской прогимназии во время работы там Р., а затем (с 1887) инспектор Елецкой гимназии, снова коллега Р. П.Д. Первов в воспоминаниях о Р. «Философ в провинции» характеризует П.: «Пенкин, бывший потом директором Орловской гимназии, ярый черносотенец и карьерист, свято соблюдал старозаветные обычаи» (PRO, 1, 94). Именно от П. узнали елецкие учителя, что в Брянске Р. написал книгу «О понимании» и напечатал «на свое учительское жалованье». П. пригласил коллег по гимназии, в том числе и Р., к себе домой на торжества по случаю годовщины дочери. Там Р. рассказал им о своей книге. Судя по тому, что преподаватели именно от П. узнали подробности биографии Р., он состоял с П. в достаточно доверительных отношениях. Не случайно в своем «Духовном завещании», составленном в 1899, Р., упоминая о том, что его в Брянске бросила первая супруга, А.П. Суслова, одним из свидетелей полной его «в этом невинности, а равно усилий вернуть ее» в качестве «особливо осведомленных» своих товарищей по службе в Брянской прогимназии он назвал П. (ОСЖС, 706). Р. упоминает также П. в книге «Литературные изгнанники», где рассказывает, как после закрытия «за безлюдность» Брянской прогимназии П. явился «с орденом и в мундире» в канцелярию Московского учебного округа ко всемогущему Н.Г. Высокскому просить себе новое назначение (ЛИ, 96).

В.А. Фатеев

ПЕРВОВ Павел Дмитриевич [1860–1929] — учитель классических языков в Елецкой гимназии, служивший одновременно с Р. Позже преподаватель Лазаревского института восточных языков в Москве, составитель популярных книг и учебных пособий, переводчик сочинений Э. Реклю, Ж. Ж. Руссо, Э. Ренана, Ш.Л. Монтескье, Б. Паскаля и др. Вместе с Р. переводил в Ельце «Метафизику» Аристотеля. Во второй половине 1920-х П. написал воспоминания о Р. в Елецкой гимназии и их совместной работе над произведением Аристотеля («Философ в провинции (Из литературно-педагогических воспоминаний)» // Гонец. Саратов. 1992. № 3; PRO, 1). П. и Р. до отъезда Р. из Ельца успели перевести первые пять книг «Метафизики». Перевод при содействии Н.Н. Страхова печатался в «Журнале Министерства Народного Просвещения» (1890. Февр, март; 1891. Янв.; 1893. Июль, авг. сент.; 1895. Янв., февр.; отд. изд. М., 2007). Страхов писал о первой части перевода: «Конеч-

но, перевод хорош, т.е. верен и понятен. Но мне хотелось бы еще большей строгости, именно — меньше прибавления слов, которых нет в подлиннике, и точного соблюдения правила: одно и то же слово подлинника должно переводиться всегда одним и тем же словом» (ЛИ, 9–10). В 1889 Страхов намеревался составить более подробный отзыв о переводе и напечатать разбор в журнале, но обещал, что разбор «не будет особенно благоприятным» (ЛИ, 39). Р., по словам П., «знал греческий язык не лучше гимназиста старших классов со средними успехами» и потому «в сущности, и не смотрел в греческий текст», однако «был глубоким и проницательным толкователем подлинника», который «ему преподносил в дословном переводе» П. (PRO, 1, 97–98). Переводчики работали увлеченно: «Отдельные слова, термины, обороты, фразы обсуждались целыми вечерами. Работа требовала исключительного проникновения в тонкости наивысшей отвлеченной мысли и очень большой изобретательности для передачи всех оттенков мысли в точном соответствии с подлинником. Мы работали изо дня в день целый год, кроме каникул. Это было какое-то непрерывное философское вдохновение. Работа на высотах мышления настолько захватывала, что вся текущая проза жизни представлялась каким-то ненужным сном. И это было лучшее время жизни» (PRO, 1, 98). Хотя П. пишет, что перевод был «с охотой» принят и хорошо оплачивался, начало печатания задержалось на два года, а затем публикация переведенной части «Метафизики» растянулась еще на пять лет. В конце 1889 в ответ на сообщение Страхова о намерении журнала начать отложную было публикацию перевода Р. писал о П.: «Он, бедный и трудолюбивый человек, в совершенном восторге; страшно боюсь, чтобы Л. Майков снова не отложил: мне еще ничего, я не так уже близко лежу сердцем к литературным делам, но для Первова это будет глубоким огорчением» (ЛИ, 223–224). Р. с горечью комментировал эту ситуацию в 1913: «Вдруг два учителя в Ельце переводят первые пять книг “Метафизики” По-естественному следовало бы ожидать, что министр просвещения пишет собственноручное и ободряющее письмо переводчикам, говоря — “продолжайте! не уставайте!” <...> Вот как было бы в Испании при Аверроэсе. Но не то в России при Троицком, Георгиевском и Делянове. “Это вообще никому не нужно”, — и журнал лишь с стеснением и, очевидно, из любезности к Страхову как к члену Ученого Комитета министерства берет “неудобный и скучный материал”, и все оттягивая и затягивая печатание, заготавливает “для удовольствия чудаков-переводчиков” официально штампующие 25 экземпляров!» (ЛИ, 54). П., считая себя основным переводчиком, ревниво относился к порядку упоминания имен соавторов в публикации, и, видимо, предъявлял Р. претензии по этому поводу. Р. писал в 1889 Страхову: «Пусть <редакция> печатает “Метафизику” под тем заглавием, как она прислана, т.е. П. Первова и Вас. Розанова. Если она и их выбросит, пусть печатает просто: перевод П. Первова (это очень важно, чтобы она не ошиблась, иначе может для меня выйти бесконечно большая неприятность) <...> Лучше же всего, я думаю, будет оговорить (если некоторые приключения и останутся), что перевод принадлежит П. Первову, а объяснения В. Розанову» (ЛИ, 170). О претензиях П. на первенство свидетельствует приме-

чание в его воспоминаниях: «На страницах журнала переводчики везде названы в таком порядке: “П. Первов, В. Розанов”, но в одной из журнальных книжек имена переводчиков стоят в обратном порядке: “В. Розанов, П. Первов” Казус этот объясняется тем, что Розанов тайком от меня написал редактору какое-то письмо, в котором какими-то доводами убедил его в своем первенстве над другим переводчиком. Когда результат переписки обнаружился, Розанову стало стыдно, и он в письме просил редактора восстановить тот порядок имен, который был в *рукописи*» (PRO, 1, 99). Однако упомянутый П. порядок в расположении имен соперников отсутствует: фамилия Р. стоит впереди как в первом, так и в последнем номере публикации, где в оглавлении имена даны в обратном порядке (ЖМНП. 1890. Февр.), а также еще в одном номере журнала фамилия же П. поставлена спереди в пяти номерах публикации. Несмотря на соперничество, Р. положительно отзывался о моральных качествах соавтора и беспокоился о его добром имени. Отметив в письме к Страхову после своей поездки в *Петербург* в 1890, что Л.Н. Майков в разговоре о переводе «переврал фамилию Первова — вообще отнесся к нему пренебрежительно» (ЛИ, 206), Р. выступил в защиту П.: «Бедный Первов столько трудился, и вообще это такой благородный и самоотверженный человек, каким, дай *Бог*, быть самому Майкову, и не зная человека, нельзя относиться к нему свысока» (ЛИ, 207). Р. не раз положительно отзывался о П., хотя и не преминул подчеркнуть чуждые ему либеральные взгляды коллеги по Елецкой гимназии: «Он вообще очень хороший человек, честный, серьезный и деятельный, хотя и со вздорными новыми убеждениями» (ЛИ, 155). Р., видимо, также часто бывал у П. и был хорошо знаком и с *семьей* П.: сообщая о кончине единственного сына П., он добавляет: «Я всегда с ним играл, бывало» (ЛИ, 207). Р., вероятно, ценил мнение П. и советовался с ним. Взять «отличающееся гимназическою ясностью» (ЛИ, 48) название «*Место христианства в истории*» для журнального издания актов речи Р., произнесенной в 1888 в Елецкой гимназии, посоветовал ему именно П., да и сам замысел речи возник как «отповедь Ренану» (PRO, 1, 96) на основе сочинения французского писателя «Место семитских народов в истории *цивилизации*», переведенного П. (М., 1898). В воспоминаниях П. содержится ряд подробностей о жизни Р. в *Ельце* и его преподавательской деятельности в местной гимназии: *история* восприятия Р. как автора книги «*О понимании*» елецкими учителями (PRO, 1, 94–95), его богатая *библиотека* (PRO, 96), примеры того, что Р. «был неважным педагогом» (PRO, 1, 99–100). Вспоминает П. также и о совместной поездке в 1890 в Москву и о встрече Р. с его однокурсниками, а также о визите к *Н.Я. Гроту* (PRO, 1, 100).

В.А. Фатеев

ПЕРГАМЕНТ Осип (Иосиф) Яковлевич [1868 — 16(29).5. 1909, Петербург] — адвокат, депутат 2-й и 3-й Государственной думы от партии кадетов. В статье «Около гроба Пергамента» (РС. 1909. 22 мая) Р. описывает, как он случайно принял участие в *похоронах* П., за гробом которого шли *П.Н. Милюков, Ф.И. Родичев, А.И. Шингарев. Портрет* последнего Р. тут же набрасывает: «Один из милейших, простейших и прекрасных

людей: вековой старожил Воронежа, потомок 300 лет назад “сосланного” из Москвы в Воронеж Шин-Гирея, татарина, — сам медик по профессии, и вечный “классный наставник” Государственной Думы, жуящий и пережевывающий в ней общеизвестные истины» (СМР, 162). В 1913 Р. попытался объяснить это «случайно» как течение всей своей *жизни*: «Иду по улице. Кого-то хоронят, “Кого?” — “Пергамента” (член Государственной Думы). — “Посмотрю всех либералов”; и присоединился. Тут — Шингарев, бывший всегда мне очень симпатичным. Тары-бары, *студенты* за руки образовали цепь, и, увидев это в первый раз, — я подумал: “Хорошо” Так идя и болтая — проводил (безумно далеко) до Смоленского. Когда при входе вдруг подумал: “Да я с ума сошел? За кем я иду? Какое мне дело до Пергамента и всей идущей толпы, Милюковых, Родичевых, с которыми я ничего общего не имею” Вошли в ворота кладбища: и когда “вот сейчас опускать в землю” и “речи”, я повернулся и пошел равнодушно назад, не зная, для чего собственно прошел пешком весь город. Но так же, как это “за Пергаментом”, в котором мне “понравился, собственно, Шингарев”, проходило и другое все, — *любовь, дружба, религия*, две жемчужины, участие в прессе, в лагерях, в партиях (ЛИ, 74–75). В статье «Наша “кошерная *печат*”» (Земщина. 1913. 22 окт.) Р. еще раз вспомнил этот эпизод (СХР, 322).

А.Н.

ПЕРОВСКАЯ Софья Львовна [1(13).9.1853. Петербург — 3(15).4.1881, там же] — террористка, участница ряда покушений на *Александра II*, в том числе 1 марта 1881; дочь петербургского губернатора, отстраненного после покушения Д.В. Каракозова (1866), гражданская жена *А.И. Желябова*. «Ничего не поделаешь с этой *бабой*», — сказал (по воспоминаниям) Желябов о Софье Перовской, когда, после бурных сшибок с ним на товарищеских сходках, она отвергла и до конца отвергла террористический путь, предлагаемый Желябовым, с которыми были все другие согласны, и отстаивала старое “хождение в народ” Он не пожелтел, как Иуда, от ее упорства, не “затаил обиду” “Ничего не поделаешь с этой бабой”, — которая впоследствии, но самостоятельно и от себя, перешла потом на его путь» (КНУ, 174). Говоря о трагичности царствования *царя*, которому царедворцы докладывают: «Все обстоит благополучно», Р. продолжает: «Желябов, потевший со своей “генеральшей” под одеялом, сказал ей: — Ты видишь же, душечка, до чего все это глупо. Он только выслушивает стереотипную *пошлость*: “Все обстоит благополучно” — Сонечка ласково посмотрела на друга: “Герой мой! Ты и в постели обдумываешь бомбы. Но мировые задачи — днем. Я хочу немного роз. — Чело героя расправились, и после этого долго у них скрипела кровать» (ПЛ, 135). Вспоминая «мышиную *войну*» (М, 204) революционеров, когда П. платком дала знак к покушению на царя, Р. замечает: «“Сонька напрасно машет платком” Гадость она может сделать. Потрясти царство дура-девчонка никогда не сможет. Дуру повесили, и эпизод исчерпали» (М, 153).

А.Н.

ПЕРЦОВ Петр Петрович [4(16).6.1868, Казань — 19.5.1947, Москва] — критик, публицист. Его знаком-

ство с Р. относится к ноябрю 1896. Позднее П. вспоминал, что «с первых же шагов» между ними завязалась «тесная дружба» («Литературные воспоминания». М., 2002. С. 338). Личному знакомству предшествовало письмо П. к Р., также датированное ноябрем 1896. Всего сохранилось 231 письмо Р. к П. и 267 писем П. к Р. за период с 1896 по 1918 (РГАЛИ. Ф. 796. Оп. 1. Ед. хр. 77–78, 176–186). Издание писем Р. к П. планировалось в



П.П. Перцов

1920-е Г.А. Леманом, но этот замысел остался неосуществленным. 32 письма Р. за 1896–1901 опубликованы (СОЧ, 489–516). Два письма Р. за 1918 напечатаны в журнале «Литературная учеба». 1990. № 1. В письме к Д.Е. Максимова от 5 октября 1930 П. сообщал, что Р. считал свои послания к нему «самыми интересными» из написанных им и добавлял: «М.б., это преувеличение, но, кажется, их интерес первоклассный» (ОР РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 35). Во второй половине 1890-х П. был для Р. посредником, способствовавшим его вхождению в модернистский круг, знакомству с Д.С. Мережковским и З.Н. Гиппиус, которая впоследствии вспоминала: «И к нам захаживает Розанов постоянно. Между прочим, нас соединял и молодой соловьевец Перцов, большой поклонник Розанова» (ПРО, 1, 146). После публикации двух первых частей очерка Р. «С юга» (НВ. 1898. 14 июня, 24 июля) П. выступил со статьей «Защита Петербурга», где оспорил его понимание роли северной столицы в русской истории (НВ. 1898. 3 авг.). На статью Р. «Истинный fin de siècle» (Биржевые Ведомости. 1898. 8 нояб.)

П. откликнулся заметкой «Конец века или конец мира?» (Биржевые Ведомости. 1898. 15 нояб.). В статье «Эквивалистика В.В. Розанова» (РТ. 1899. 6 нояб.) — ответе на опубликованную Р. под названием «Брак и христианство» переписку с протоиереем А.П. Устьянским (РТ. 1898. 21, 28 нояб.; 5, 23 дек.) — П. говорил об «эротомании» Р. и писал: «Он все менее сохраняет беспристрастие и даже простую литературную добропорядочность, все более и более позволяет своей мысли и своему перу виллять вокруг темы с полной развязностью». В 1899–1900 П. издал четыре сборника розановских статей, по преимуществу публиковавшихся ранее в периодической печати: «Сумерки просвещения», «Религия и культура», «Литературные очерки» и «Природа и история». Позднее Р. называл эти издания «великодушными» (У, 290) и писал: «Приход Перцова (П.П.), и вскоре предложение им издать сборники моих статей, — было собственно началом “выхода к свету” У меня не было до этого самых знакомств, самого видения лица человека, который бы мне помог куда-нибудь выбраться» (ЛИ, 133). В ходе подготовки этих сборников П. подверг многие статьи Р. редакторской правке, сокращению и дал им новые названия. В дальнейшем Р. восстановил первоначальные «менее изящные, “долговязые” заглавия»: «Хотя заглавия, восстановленные мною “из прежнего” — хуже (некрасивее) тех, какие придал (в своих изданиях) П.П. Перцов некоторым моим статьям, но они натуральные в отношении того настроения духа, с каким писались в то время. Эти запутанные заглавия, — плетью, — выразили то “заплетенное”, смутное, колеблющееся и вместе порывистое и торопливое состояние ума и души, с каким я вторично выступил в литературу в 1889 году» (У, 231). В статье «О г. Розанове» Н.К. Михайловский написал, что Р. «излечился недавно в Пятигорске от какой-то неприятной болезни, о чем сам сообщает в “Литературных очерках”» (Русское Богатство. 1899. № 9(12). Отд. II. С. 155). В ответ на это замечание П. направил Михайловскому резкое письмо, обвинив его во лжи (ИРЛИ. Ф. 181. Оп. 1. Ед. хр. 524). Когда М.О. Меньшиков обвинил П. в том, что тот не вполне честно ведет свои издательские дела (Неделя. 1900. 23 апр.), Р. выступил с открытым письмом в его защиту, где охарактеризовал П. как «критика конструкциониста», которого «более всего занимаят конструкции всемирной истории» (МИ. 1900. № 9/10. С. 205). В статье «Еще о смерти Пушкина» (МИ. 1900. № 7/8) Р. дал высокую оценку работе П. «Смерть Пушкина» (МИ. 1899. № 21/22; название статьи Р. отсылает к перцовскому заголовку). Прочитав статью П., Р. говорил: «Тут все так просто разъяснено, так правильно (в фактическом отношении) и правдиво (в моральном), что и возвращаться к вопросу нечего. Человек взглянул не ангельским и не чертовым взглядом на событие, а как простой, добрый и нравственный человек. Он не искал быть гениально-умным в объяснениях, не говорил себе: “Ну, тут-то я и пофилософствую”, — и нашел истинную философию в объяснении все-таки загадочного и трагического события. Мистическое не отвергнуто им, но оставлено как тень добавления около действительных событий и отношений в жизни поэта, и самая жизнь эта в отношении к теме не передана как ряд эмпирических данных, но как цепь полунравственных, полуэстетических, полуфизио-

логических событий, словом, “дух и тело смешаны (в статье) в надлежащей пропорции” (ЛВИ, 427). В 1903—1904 Р. был ближайшим сотрудником редактируемого П. журнала *«Новый Путь»*. Не согласившись с характеристикой журнала, данной Р. в статье «О высших интересах знания и речи» (НВ. 1903. 16 апр.), П. выступил с «Необходимой поправкой» (НП. 1903. № 4). В статье «Религия Горького» (НВ. 1908. 3 дек.) П. оспаривал предложенное Р. определение горьковского мировоззрения как «народобожия». В статье «Между старым и новым» (НВ. 1911. 23 июля) П. противопоставлял действительную “новизну” Р. «словесному академизму и общему “прибранному” характеру его мысли» и полемизировал с попыткой *Б.А. Грифцова* «подвести» Р. «под Ницше». В 1910-х П. выступал с рецензиями на новые книги Р. («О подразумеваемом смысле нашей монархии» // НВип. 1913. 16 марта; «Среди художников» // НВ. 1913. 13 нояб.; «Война 1914 года и русское возрождение» // НВ. 1914. 27 нояб.). В свою очередь, Р. откликнулся на второе издание книги П. «Венеция и венецианская живопись» — П. «смотрит на искусство не как техник-живописец, с целью подсмотреть и научиться, а как историк культуры, который живопись объясняет через человека и, в свою очередь, постигает человека через живопись» (НВ. 1912. 17 мая; СХ, 376—377) — и на «Путешествие по Италии» *И. Тэна* в пер. П. Его перевод Р. охарактеризовал как «опытный и любящий» (НВип. 1913. 2 мая; СХ, 386). Во втором коробе «Опавших листьев» Р. дал характеристику П. и его творчества: «Недостаток Перцова заключается в недостаточной яркой и даже недостаточно определенной индивидуальности. Сотворяя его, Бог как бы впал в какую-то задумчивость, резец остановился, и все лицо стало матовым. Глаза “не торчат” из мрамора, и губы никогда не закричат. Ума и далекого зренья, как и меткого слова (в письмах), у него “как Бог дай всякому”, и особенно привлекательно его благородство и бескорыстие: но все эти качества заволакиваются туманом неопределенных поступков, тихо сказанных слов; какого-то “шуршания бытия”, а не скакания бытия. Но он “рыцарь честный”, честный и старый (по чекану) в нашей низменной журналистике» (У, 317—318). В рецензии на первый короб «Опавших листьев» П. писал: «Своеобразнейший из “российских” писателей должен был рано или поздно найти эту “свою” форму <...> Кому чужд Розанов — будет чужда и эта книга; но для “своего” она будет “своей”» (НВ. 1913. 24 апр.; ПРО, 2, 180). Положительно оценил П. и второй короб «Опавших листьев»: «Это все “интимная”, более нежели домашняя, более нежели откровенная, совсем и всецело “розановская” литература, — в своем типе, несомненно, единственная в нашей “словесности” (да и в какой литературе есть еще такая?)» (НВип. 1915. 31 окт.; ПРО, 2, 182). Тем не менее Р. упоминал, что П. советовал ему отказаться от дальнейшего использования найденной в «Уединенном» и «Опавших листьях» жанровой формы: «Флоренский и Перцов говорят: “Не нужно больше так писать. Не хорошо»» (СХР, 272). В «Воспоминаниях о В.В. Розанове» (март 1919) П. назвал его «гениальным человеком» («Литературные воспоминания», 263). Р. — единственный из современников П., кому посвящен раздел в итоговой критической работе П. «Литературные афоризмы», над которой он работал в 1920—1930-е (Рос-

сийский архив. М., 1991. Вып. 1. С. 235—236). Здесь П., оспаривая собственные более ранние оценки, отмечал: «Розанов отнюдь не еврей (как он сам о себе думал) <...> Это семитский восток вне еврейства — те “жрецы Ваала и Астарты”, которых проклинали пророки Израиля», и упрекал Р. в «пресноте пола». Главное в Р., с точки зрения П., — «религиозная критика аскетического христианства»: «Это будет поважнее гуманистического полуреформаторства европейского типа, — как у Достоевского и Толстого». 21 июля 1932 П. писал Д.Е. Максимову о Р.: «Я — его враг, и нападал на него еще в прошлом столетии в статье “Эквилибристика В.В. Розанова” <...> Но все же он провиденциальный человек» (ОР РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 35. Л. 16).

М.Ю. Эдельштейн

ПЕТЕРСОН Владимир Карлович [2(14).10.1842, Петербург — 18.2(3.3).1906, там же] — журналист, печатавшийся в *«Новом Времени»* под псевдонимом А — ть. Р. вел с ним длительную полемику, опубликованную в книге Р. *«Семейный вопрос в России»*. В статье «Стропила семейного уклада (ответ г. А — ту)» содержатся известные розановские слова: «Дайте мне только любящую семью, и я из этой ячейки построю вам вечное социальное здание» (СВР, 354). За подписью «Друг» Р. написал некролог «Памяти Вл.К. Петерсена» (НВ. 1906. 22 февр.), в котором вспоминал, что за «много лет раньше, чем увидел его грузную, огромную фигуру, в военном мундире и, подойдя, познакомился с ним, — уже много лет читал и уважал его в черноземной России. Достаточно было, чтобы фельетон подписан был этими тремя буквами, чтобы взять номер газеты и, отойдя в угол, углубиться в нижние столбцы <...> Он всегда был ироничен, насмешлив, склонен к остроумию и остроумию. Никогда это не имело предметом своим окружающих людей, но всегда — окружающую жизнь. Постоянно он говорил с желчью о “повальной бесчестности” не столько русских людей, сколько обстоятельность русской жизни, которые искусственно гнали вверх все низкое, пошлое, “пройдешествующее”, но чему “тетенька воровит”, и гнули книзу все оригинальное и особенно “все свое, русское” Память его была полна воспоминаниями, и пылкая его аргументация была только каймой около чередующихся рассказов о службе, о встречах <...> Для него патриотизм сливался с “возвращением к добросовестности”, как добросовестность совпадала с “возвращением к патриотизму”, к родным стихиям русского народного духа» (ОНД, 29—30).

А.Н.

ПЕТЕРСОН Ольга Михайловна [25.5(6.6).1856, Воронеж — 1919, Петроград] — писательница-переводчик, историк литературы, подруга семейства Розановых в Петербурге, часто бывала у них в гостях по воскресеньям. К письмам П. к Р. 1899—1900 и б.д. (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 32) приложены краткие пометы о ней: «Петерсон Ольга Михайловна “друг” *Ек. Вяч. Балабановой* — “Сказки моря”, “Бретонские сказки»; «Петерсон О.М. (“Нормандские замки”)» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 97). Главным своим произведением П. считала книгу «Западноевропейский эпос и средневековый роман в пересказах и сокращенных переводах с подлинных

текстов О. Петерсон и Е. Балабановой» Т. 1–3 (СПб., 1896–1900). *Трудам* П. была посвящена рецензия Р. «Петерсон и Балабанова. Западноевропейский эпос...» (НВип. 1900. 31 мая).

А.В. Ломоносов

ПЁТР I ВЕЛИКИЙ [30.5(9.6).1672, Москва — 28.1(8.2).1725, Петербург] — русский *царь* с 1682, российский император с 1721 из династии Романовых. Р. постоянно обращался к деятельности П., защищая и объясняя его преобразования. «Петр вылетел гоголем на взморье, думал: корабли, торговля. Шумел. Печатал. Бил. Больно бил. “Ажно испугались” Но до *времени* и в частности на минуту. На взморье Русь “уселась»» (М, 26), — так образно Р. характеризовал энергию П. Никто «не смог так “ухнуть”, как державный Петр: и все бежали за ним мелкими шажками, как на известной картине *Серова* сенаторы бегут за его великовозрастным шагом» (КНУ, 298). Отсюда и общее заключение Р.: «О, Петр, великий! Петр! Ты — один у нас! Такого, вот такого — даже и у германцев не было» Он “рвал” и “ломал”; но рванье и лом и нужны нашей ленивой, пассивной, засиженной мухами *цивилизации*. “Цивилизация” да ее и нет еще, она не начиналась» (ОПП, 509). Еще в начале творческого пути в статье «*Может ли быть мозаична историческая культура?*» (МВ. 1892. 17 окт.) Р. утверждал: «Надо брать хорошее отовсюду, откуда можно» — эта *мысль*, по-видимому, элементарно справедлива. На ней, именно, основывался весь ход нашей *истории* от Петра Великого, который “брал хорошее отовсюду”, без каких-либо сомнений» (ЛВИ, 195). В реформах Р. ощущал «твердость деятельности Петра, отсутствие каких-либо сомнений в ее благотворности, при величайшей *любви* к своему народу, при жертве будущности его — себя, себе близких и целого поколения этого народа. Не могло быть сомнения о том, нужно ли, оставив прежний строй войска, завести регулярное, — когда первое били, а второе било; нельзя было оставаться при прежнем судостроении и при неопытных матросах и не ввести перемены, сводившихся к тому, чтобы люди не тонули более в море и суда не разбивались. И во всем другом, также, вопрос сводился к ясной и простой дилемме: нужно ли данное дело совершать по-прежнему дурно или как-нибудь иначе и хорошо?» (ЛВИ, 221–222). «Из всего Петром Великим созданного, — считал Р., — живуча и прекрасна, деятельна и народна вышла, собственно, только *армия*: в нее им вдохнутый дух не умер в двух веках. Но главный мотив реформы *России* — мотив самосохранения — эта реформа и ответила твердым, умелым да» (РФК, 56–57). Р. утверждал, что «*Ломоносов* — главное, лучшее дитя Петра Великого за весь XVIII век, может быть — даже за два века, и он весь уродился и сформировался в исторического своего “батьюшку” Ни в ком еще не кипел такой горячий ключ подземных вод — все новых мыслей, новых планов и надежд, любви к своей земле, *веры* в победу лучшего и правого; и еще ни в ком так, как в великом Петре и в детище его Ломоносове, около этих горячих вод не лежало в соседстве холодного снега трезвого рассуждения, практической сметки, отсутствия всяких излишеств фантазии, воображения и сердечности. Вот уж сыны севера, и Петр, и Ломоносов...» (ОПП, 609). Считая, что весь XVIII в. «полон Петром» и может быть назван

«Петровскою эпохою», «Петербуржским периодом» (там же), Р. выступил апологетом реформ Петра и северной столицы (в противоположность *Москве*) в статье «Петр Великий и *Петербург*» (НВ. 1903. 16 мая), написанной по случаю 200-летия Петербурга. Суть реформы П. заключалась «в вечной деятельности, неостанавливаемости, и если бы она сохранила эту суть свою, она не заболела бы, не затрупила. Между тем при его неспособных преемниках она была истолкована, — и реальным образом, в реальных учреждениях истолкована, — как какое-то завоевание иностранщиною России, как какое-то непременно усвоение западных “форм”, когда дело было вовсе не в форме, а в действительности, в пробуждении духа» (ОПП, 612). «После Петра Русь опять размякла и раскисла» (ЗРП, 239). Для Р. неприемлема трактовка П. и его реформ западниками, начиная с *В.Г. Белинского* и его «восторга перед преобразованиями Петра, и то лишь в смысле “окна в *Европу*”, без интереса к тому, кто будет в него смотреть и что из этого смотрения выйдет. Отсюда какая-то бесплотность и риторичность самого его западничества; словом, отсюда “уже поглядывает в окошечко” *Родичев* и даже издали *Винавер* и *Гессен*. “Вся утробушка русская тут” *Достоевский* и сказал: “Смрад, глупость»» (ОПП, 597). В статье «Около народной души» (НВ. 1908. 28 апр.) Р. рассматривает перспективы дела П. в России: «Петр Великий не совсем успел в своей задаче, и даже до нашего времени “дело Петрово” застряло оттого, что он, как и теперешние нигилисты, подошел к народу только снаружи и материально, в работе и буднично, желая помочь народу и облегчить его вещественно. Но не заметил праздника его души, трагического или светлого — все равно. Не заметил, где она растет к небу. В борьбе его “со старым” он не победил народной души, а только ударил по ней с силою и оскорбил ее; но, получив “заушение”, она выстояла перед бронзовым гигантом: и по той простой причине, что она была глубже и Петровой души, как выше души теперешних нигилистов, вот этим “метерлинковским светом”, против которого что же поделаешь дубьем. Образованным классам надо доделать дело Петрово: им нужно войти в душу народную, оглядеться там, многому, очень многому научиться; ну, а кое в чем и вступить в борьбу, не педагогически, не учебно, а по-настоящему <...> Вот где было бы довершение Петрова дела; или, кто знает, поворот к чему-то совсем новому...» (ОНД, 300–301). В статье «Двухсотая годовщина Полтавского боя» (НВ. 1909. 27 июня) Р. пишет о триумфе дела П. в России: «Около имени великого Петра, основоположника всего в России, не забудем вспомнить в этот день лучшего певца Петра и именно Полтавского боя — нашего *Пушкина*. Как Петр всему положил начало, так и в духовной области Пушкин, как ангел, держит венок над ним и над всеми нами, поверх всех нас, и высоты этого венка никто не превзошел. Пушкин есть высшее явление нашей новой истории, самое светлое и прелестное. В этот день своими чудными стихами о Полтаве он держит камертон над Русскою землею: и никто не в праве выйти из-под *власти* этого регента. Ибо эта власть есть *власть истины и правды*» (СМР, 214).

А.Н.

ПЕТРАЖИЦКИЙ Лев Иосифович [13(25).4.1867, Коллонтаево, Витебская губ. — 15.5.1931, Варшава) —

юрист, социолог, член ЦК партии кадетов, депутат I-й Государственной думы. В эмиграции с 1918. Р. хочет понять, какими качествами обладает человек, ставший одним из ярких лидеров либерального движения в России. «У правых и центра — образование, ум, общественное положение, ораторские таланты, богатство и влияние. У левых?... Ну, ум есть, но еще, кроме этого, ничего! Сума за плечами или вроде этого. “Талантами” умственными они, во всяком случае, не превосходят “кадетов”». Сравнить только Петражицкого или Ковалевского с кем бы то ни было из левых: они все вместе, и с родителями, и с детьми, не прочитали столько, не знают только, сколько эти два» (КНУ, 155). Вот другая, развернутая, по большей части психологическая, характеристика П.: «Всегда я считал физиологией матерью психологии: и из депутатов заметил еще только одного, которого нельзя не отличить и не заметить в огромной толпе. Это проф. Петражицкий. Изумительно он схвачен фотографом и “вышедшим из экипажа и входящим на крыльцо Думы” Он, конечно, не знал, что его снимают: и вышло божественно натурально, между прочим, даже в выражении лица, сколько можно рассмотреть на таком малом рисунке. Но вообще никакого другого рисунка не нужно, всякий иной портрет будет хуже: Петражицкого надо брать именно в движении и торопливости. Зритель обратит внимание, что при большой уторопленности — лицо задумчиво, молчаливо, серьезно, мысль погружена в себя. Петражицкий страшно сосредоточен (я видел его в Думе и раньше на кадетском съезде по аграрному вопросу), но западною культурною сосредоточенностью, общечеловеческою, без индивидуальных оттенков, без меланхолии, без поэзии. Он весь проза, страшно умная проза. Ни капли вдохновения. Впрочем, сперва о физиологии, “материи души” В громадной, в несколько сот человек толпе вы заметите беленькую, маленькую, слабую фигуру, спешащую и серьезную, которой, к удивлению, дают место и позволяють говорить: до того он похож на несформировавшегося мальчика, гимназиста в штатском, и особенно эти белые, под гребенку стриженные волосы, такие белые, какие бывают только у мальчиков, которых через три месяца в четвертый стрижет мамаша!!! Фотограф не мог этого передать: а между тем это так отличительно, что нельзя не передать историку. Нет необыкновенного внутри, если нет чего-то необыкновенного снаружи. “Петражицкий! Петражицкий!...” — слышу я вот десять лет, от студентов, от людей, соприкосновенных с наукою и университетом, — авторитет в юриспруденции” И я представлял себе солидную фигуру, в кресле, с книгой, с большими волосами, в очках, — “согбенного”, как Фауст. Увидел — и плюнуть не на что. На улице я его не видел, а фотограф снял его в цилиндре; в собрании он всегда в сюртуке (почти все — в пиджаках). Цилиндр увеличивает рост, а сюртук придает солидность: и этому человеку до того нужно и больше росту, и чего-нибудь мужского, басистого, октавистого: ибо кажется, и говорить-то он может только дискантом. Бесспорно, он не чисто польского рода, а что-нибудь из белорусов или из Литвы (вернее!), или из какого-нибудь местного малоизвестного племени. В нем мало даже славянского, широкого, крупного, доброго: эта сухая беленькая фигурка, — я бы ее отнес к карелам или финнам: но у него совершенно правильное

европейское лицо. Вероятнее всего, он в детстве страдал недоразвитостью, долгим рахитизмом, “бледной немочью”: лицо его совершенно бескровное, белое, с приближением к бумаге, без тени и без возможности румянца, краски. Вся фигура — глубоко бескрасочная: ни одного такого поляка я не видал, ни одного в Варшаве, в России, нигде! Этот громадный ус, большой овал лица, широкий подбородок, тупость или наивность в лице, гордые с переходом в нахальством манеры — у Петражицкого все обратно! Между тем заметно по речам, что он — поляк, и юрист-поляк, крепко намеревающийся отстаивать “права отчизны». Впрочем — “права Западного края” — так как по бескровности, в нем не предполагаешь “отчизны”, “родной земли” и вообще романтизма. Для сравнения проведу параллель, и в превеличаниях: если бы Думе выпал “патетический момент”, и в сторону минуса, катаклизма, то я мог бы представить себе, что Родичев кого-то “заколол”, “пронзил” Вообще тут — удар, секунда, и непременно колющее оружие. Романтик революции! Петражицкий в тех же условиях и под теми же мотивами кого-то стал бы резать, даже тупым ножом, наконец, — косарем, но долго, фанатично и непременно до смерти, сам весь измучившись и почти умерев на мертвом (жертве). В случаях плюса, апофеоза — Родичев “увенчал” бы, а Петражицкий назначил бы пенсию и дал должность. В Петражицком полное отсутствие вдохновения, пафоса, страсти: и огромное, громадное напряжение воли, терпения, что-то копающееся, роющееся, инженерное, в области подземных нор, мин, проходов. Ничего летучего, птичьего и пророческого. Может быть, ему суждено играть роль в будущем? Может быть; хоть может быть — и никакой роли» (КНУ, 102–103).

В.Н. Жуков

ПЕТРАРКА (Petrarca) Франческо (20.7.1304, Ареццо — 19.7.1374, Аркуа близ Падуи) — итальянский поэт. Весной 1918 Р. написал статью «Гоголь и Петрарка» (КУ. 1918. № 3), в которой сравнивает двух писателей: «Петрарка — пел Лауру. И мне мелькает мысль о сходстве исторической роли Гоголя с исторической ролью Петрарки. Оба они тяжелым вздохом вздохнули по античном мире. Просто — еще не понимая ничего, а только сравнивая красоту лиц. “За лицом — душа: и неужели были хуже души греков и римлян за вот такими их лицами, неужели души Коробочек и Чичиковых за достаточно хорошо нам известными лицами этих наших современников” ?..?. Спросили и умерли. Или сошли с ума» (ОПП, 659). Эти мысли складывались у Р. на протяжении всей жизни. О преклонении П. перед Античностью Р. писал в 1896 в статье «Декаденты»: «Что переживал Петрарка, который, за незнанием греческого языка, только перекладывал с места на место драгоценные рукописи, по временам целовал их и с тоскою смотрел на непонятный текст» (ЛВИ, 417). В 1911 в «Людях дунного света» Р. вспоминал о П. в связи с его сонетами: «Благородно и нежно, как сонеты Петрарки к Лауре» (ВТРЛ, 320).

А.Н.

ПЕТРИЩЕВ Афанасий Борисович (1872 — после 1942, Париж?) — публицист, писатель. В 1922 выслан из

России. С 1906 постоянный сотрудник журнала «Русское Богатство», затем член его редакционного комитета. С 1908 вел общественно-политический отдел журнала — «Хронику внутренней жизни»; одновременно с ним в этом отделе сотрудничали А.В. Пешехонов и В.А. Мякотин, чем объясняется частое упоминание в записях Р этих имен вместе. Первое упоминание Р. о П. относится к 1906. Это связано с тем, что летом 1906 публицисты журнала «Русское Богатство» приняли решение организовать Трудовую народно-социалистическую партию (ТНСП), в числе которых были П., В.А. Мякотин, А.В. Пешехонов, Н.Ф. Анненский, В.И. Чернолуцкий, С.Я. Елпатьевский и др. В период с июня по сентябрь 1906 в журнале были опубликованы статьи, излагающие теоретические и организационные принципы партии. Оценивая публицистов «Русского Богатства», Р. пишет: «О Петрищеве не имею представления, кроме того, что подзуживает несчастных *курсисток* к забастовкам, в чем совпадает с Зубатовым. Вероятно, дурачок — из “честных”, но ум совершенно незначительный» (У, 32); сравнивая его попутно с Пешехоновым, отмечает, что к нему нет «никакого влечения и интереса» (там же). О журнале «Русское Богатство» Р. замечает: «Горнфельд трется о спину Короленки, Петрищев где-то между ногами бегает, выходит — куча; эта куча трется о такую же кучу “Современного Мира” Выходит шум, большею частью <...> Но почему этот “шум литературы” Россия должна принимать за “свой прогресс”? Не понимаю. Не поймет ни пахарь, ни ремесленник» (У, 287). И позже он вернется к мысли о непонимании народом новомодных теорий публицистов из «Русского Богатства». «Все это непонятно нам, но трудовому мужику очень понятно <...> с нами он вовсе не соединен... Ни с Пешехоновым, ни с Мякотиним, ни с Петрищевым <...> Мы для него просто “нет”, и нас он просто “не считает»» (КНУ, 415). В «Новом Времени» (1909. 25 июля) была опубликована статья Р. «О психологии терроризма», в которой он, размышляя о природе самого явления «терроризм», задает риторическим вопросом: что такое Россия? — и сам от имени П. (равно как и за других публицистов «Русского Богатства»), отвечает: «Конечно, страна непроходимых дураков» (ЛВИ, 546). П. для Р. становится своеобразным мерилом, по которому он оценивает людей: в сентябре 1913 он записывает: «Что-то мне отдаленно кажется симпатичным в Елиз. Кусковой. Чту-то говорит, что она <...> не Петрищев» (СХР, 176). Отдельные выдержки из рубрики «Хроника внутренней жизни», по мнению Р., говорят сами за себя: «Ковыряем в зубах и ожидаем смены министров» (КНУ 437). Отталкиваясь от этой цитаты, Р. конструирует мысленный диалог со своим противником: «— Да зачем вам смена и кого посадить? — Кого посадить — не знаем; и смена ни для чего. Но пока пищеварение, надо же, чтобы перед глазами что-нибудь мелькало. — Для мелькания? — Не для мелькания, а для пищеварения. Желудок действует правильнее. Лучше отделения желчи, приятно возбуждена нервная система <...> — Когда Столыпин и Коковцев садятся на место друг друга, а Стишинский и Горемыкин летят вовсе в отставку. Если же застой, все сидят на местах, то мы можем выйти из себя и тогда... — Тогда? — Тогда мы побросаем зубочистки на пол. И когда мы побросаем зубочистки на пол, то посмотрим, что выйдет» (КНУ,

437–438). И далее продолжает: «Одно утешение Петрищеву: вместо “Г Дума” писать везде конституционное, настойчивое, полнобуквенное: “Государственная Дума” Все-таки оппозиция и все-таки протест» (КНУ, 438); заканчивается запись весьма определенно: «Нет, Петрищев. — Нет, “Русс. Богатство”: не благосостояния России тебе нужно, не цвета народа, — не вздоха облегчения для народа: А чтобы “похрустели под нами княжеские косточки»» (КНУ, 439). Р. высмеивает П. в статье «Петрищев как 12-дюймовая пушка» (НВ. 1911. 31 авг.; ТПРН). Спустя чуть более двух недель после начала Первой мировой войны Р. делает запись, подтверждающую невозможность изменения мировоззрения когорты из «Русского Богатства»: «Чтобы стали “по-иному чувствовать” Петрищев, Мякотин и Пешехонов <...> и приняли в себя новое сердце, — было бы, конечно, наивно» (М, 238). Подтверждение не замедлило себя ждать: 18 мая 1915 Р. с горечью пишет: «Цензор Лебедев наглоталя премудрости Мякотина, Пешехонова, Петрищева и Короленки <...> и потребовал уничтожения более 20 мест из Короба 2-го “Оп.л.”, — самых христианских и самых монархических» (М, 128). Р. задает вопросом: «Хорошо ли пишут полицейские?» — и сам находит ответ: «На этот вопрос отвечает социал-демократическая литература, написанная замечательно-отвратительным слогом, каким-то канцелярски-тусклым, безличным, “общим”, — таким же у Пешехонова, как у Мякотина, таким же у Мякотина, как у Пешехонова, и у обоих сходно с Петрищевым, и у всех троих сходно с Керенским, и всех четверых сходно с Изгоевым» (М, 202–203). Последнее упоминание о П. относится к 1917, когда Р. написал статью «Социализм в теории и натуре» (НВ. 1917. 19 мая за подписью «Обыватель»; М), являющуюся рецензией на выпуск журнала «Русское Богатство» (1917. № 2/3). В перечне прочитанных текстов, помещенных в номере, указывается и «Как это произошло» П.: «Ах, жутка вся эта книга, весь номер. Я несколько раз перечитал и Петрищева, и Мякотина с бурными, прямыми, резкими упреками Совету Рабочих и Солдатских Депутатов, перед коим все “преклоняются сейчас” <...> Вообще, нельзя не заметить, что именно буржуа сейчас пуше всего лижут пятки у демократии. Бедные, очевидно, очень растерялись» (М, 367).

О.В. Быстрова

ПЕТРОВ Александр Васильевич (1867–?) библиограф. Одно из его писем к Р. 1913 (ОР. РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 35) сопровождало исследовательский труд П. «Собрание книг, изданных в царствование Петра Великого» (СПб, 1913), на который Р. дал рецензию (НВ. 1913. 20 апр.; в книге «Среди художников» под названием «Прелести старокнижия»).

А.В. Ломоносов

ПЕТРОВ Григорий Спиридонович [26.1(6.2).1868, Ямбург, Петербургская губ. — 18.6.1925, Париж] — священник, публицист, депутат 2-й Государственной думы, в 1908 лишен сана, с 1920 — в эмиграции. Р. рецензировал его сборник статей «К свету» (НВ. 1901. 17 окт.). Отмечая растущую литературную известность автора, Р. указывает и на истоки симпатии читателей к писаниям П.: «Он идет во всех своих сочинениях прямо к боль-

ному нашему народу, запущенному, заброшенному, чтобы лечить его душевные раны» (ОЦС, 153). Р. импонирует священник, идущий к страдающему народу: «Его миссия около народа — не столько настойчиво-учительская, сурово-повелительная, сколько мягко-просветительная. Священник есть самое образованное лицо в деревне. Он выполнит свое назначение только тогда, когда с любовью войдет во весь округ деревенской жизни, в быт, обычаи, привычки, предрассудки, суеверия, в бедноту народную, в настроения семейные; и во все это понесет любовь и совет, поддержку и просвещение. Г. Петров литературно и подходит к нашей жизни с этими задачами» (ОЦС, 154). Особенным успехом у читателей пользовалась книга П. «Евангелие как основа жизни». На ее 2-е издание (СПб., 1898) Р. откликнулся статьей «Религия как свет и радость»: «Кроткая и какая-то веселая любовь (любовь всегда должна быть веселая) <...> так и веет со страниц его» (ОЦС, 14–15). Побывав 25 марта 1902 на публичной лекции П., Р. записал свои впечатления. Р. вопрошает: «Что же соединило ученого и мужика около священника Петрова?». И отвечает: «Его евангелизм и полное изгнание из чтений схоластики, заученных и едва ли не притворных оборотов речи, заученных и надоевших тем, какие обычно и повсеместно встречаются в подобных чтениях и стали непереносимы для вкуса, как чеснок у жида, редька у русского и финики у араба; всего этого приторного, занюшенного, тысячелетнего он избег в своих беседах, как избег и заносающейся в облака “образованности” Основная в ораторе черта, скорее, инстинкт, — это как бы нравственная очарованность Ликом Христа, и зов, но не приторный, а бодрый, сильный великорусский к подвигу “во след” Христу; и подвигу опять же не словесному, а почти мужицкому, уличному, мускулистому, вещественному. В тонкости “душевной музыки” христианства, так разработанной аскетами, он не входит» (ОЦС, 304). В тот же день состоялось выступление П. в Мраморном дворце перед 5-тысячной толпой из «совершенных простодушинов». Р. также побывал и на этой встрече. «Свящ. Петров вошел. Он начал говорить, страшно повысив голос, и, видно, что голос этот достигал крайних углов огромного, в два света, зала, более похожего на небольшую площадь, одетую и крытую камнем, чем, собственно, на комнату. Говорил он, страшно резко произнося слова. Тут я, — пишет Р., — более слушал: время моего обычного сна проходило. Речь его была полна примерами из жизни то народной, то своей, то своих знакомых, — полна жизни текущей, жизни сегодняшней. Он, так сказать, проверял “стопами Христа” наши ошибочные кривые шаги в жизни. Мужикам он говорил, какую цельную и прекрасную душу приносят они в город, приходя из деревни в нагольном тулупе; здесь, в городе, тулуп на них тает, и душа уродуется, делается пошлою, нищею, без Бога и совести: ибо приходящие не знают, чего искать в городе, и бросаются на пададь цивилизации» (ОЦС, 306). В заключение своего репортажа «Народные чтения в Петербурге» (НВ. 1902. 27 марта) Р. замечает: «Г.С. Петров сознает, что он нужен народу, что он любим народом: и это одушевляет его, и он все идет и идет вперед, точно гребет могучими руками в волнах народной темноты» (ОЦС, 307). Социальная направленность проповедей священника П. вызвала в рус-

ском обществе неоднозначные толки. Постепенно эти толки переросли в полемику, за которой «с восхищением и с негодованием» следил Р., читая столичные светские и духовные газеты и журналы. «Змеиным кольцом сомкнулись его недруги. Речи их тихи, но в тишине этой — буря ненависти» (ОЦС, 442). Его обвиняли в своеобразной манере изложения, небывалой и неприня-



Г.С. Петров

той у лиц духовного сана; не рассуждая, он лишь рисует картины того или иного явления жизни, приковавшего его внимание. Обвиняли П. и в замалчивании православно-христианской догмы и культа, в чем видели сужение христианского жизненного идеала и превращение требований этого идеала в одну лишь моральную доктрину. В 1903 о «вредокосности» книжек П. много говорилось в московском журнале «Вера и Церковь». В статье «Прекрасный Иосиф и его братья» Р., касаясь полемики вокруг писаний П., заметил: «Вся Россия разом оглянулась на смелого священника. Неожиданно и также сразу у всех других священников вытянулись лица, потускли глаза, искривились губы. Не будь, к несчастью, наши духовные писатели так глубоко бесталанны, как это мы наблюдаем в текущую историческую минуту, — да они на руках подняли бы и понесли бы о Григория, который с такой необоримой силой и поразительным успехом подъял на плечи свои и несет священническое в мире служение, оздоровление мира словом Божиим, укрепление сил народных голосом бодрым, верующим. “Того, чего мы не умели, — ты сделал: слава тебе!” Вот братское отношение, какого мы

ждали бы» (ОЦС, 442). Выступлению П. 5 декабря 1904 в многолюдном зале офицерского собрания Р. посвятил статью «Чтение о. Григория Петрова» (*Слово*. 1904. 9 дек.). В статье «Один из упокоенных архиереев» (*Слово*. 1908. 13 апр.) Р., пересказывая отзыв епископа *Антонина (Грановского)* о П., замечает: «Оставляя, может, дурные мотивы этого отзыва, нельзя, однако, не заметить: насколько же в нем больше ума, чем во всех тех безмозглых попреках, какие в ту пору сыпались из духовной печати на свящ. Петрова; сыпались, как гнилые яйца из продырявленного лукошка <...> Суть дела, конечно, в том, что свящ. Петров — сознательно или бессознательно, вольно или невольно — менял стиль священника, священства и, значит, — всего. Ибо в центре церкви стоит, конечно, “священник”, только он, и просто он, от коего и зависит все, зависит весь дух церкви, весь смысл ее, весь аромат или, напротив, захудалая пахучесть ее» (ВНС, 88–89). Одно время П. был деятельным участником розановских воскресений, прилежно следил за публикациями Р. На выход в свет очерка Р. «Мечта в шелку» (Весы. 1905. № 7) П. откликнулся в «Русском Слове» (1906. 15 янв.) статьей «Благородная исповедь», где заметил: «По своей простоте и непринужденной правде «Мечта в шелку» смело сможет быть поставлена наряду с великими произведениями литературы, с “Исповедью” Руссо, с “Исповедью” Л. Толстого, с “Исповедью” Пирогова (“Вопросы жизни”)». В прошлом «замечательный человек», П. обрастает славой, добиваясь материального благополучия: «Ну вот, — и он дачку себе в Крыму купил (Г.С.П.)» (У, 84). По выражению Р., «захлебываясь в славе и деньгах <...> он теперь с именем на южн. берегу Крыма тоже “попал на свою полочку”» (там же), «Так идите же, идите, гуще идите, Григорий Петров, и Амфитеатров, и “Копейка”, и Боборыкин, и все вы, сонмы Бобчинских. Идите и затопляйте все. Ваш час пришел. Располагайтесь и празднуйте. В празднике вашем великие залого. Все скажут: “Как дымно. Откуда горечь воздуха. И тошнота. И позыв на низ”» (У, 330). В «Онавиших листьях» Р. написал: «“Чернь” — это Григорий Петров, Б. и Академия наук с почетным членом Анатолием Федоровичем <Кони>» (У, 349). В «Мимолетном» в записи от 18 августа 1914 Р. заметил: «Есть что-то особенное и страшное в смерти (литер.) Горького, Л. Андреева и Григория Петрова. Все три — писатели освободительной эпохи; она их подняла, вдохновила, дала широкий полет им, дала воздух под крылья. Они — ее выразили. Потом что-то случилось и с освободительным временем, и с ними. Их перестали читать. Правда, Григорий Петров мне говорил: “Ведь наши книжки у всякого есть и потому вновь не покупаются” Правда. Но горе в том, что никто из тех, у кого они есть, не вынет вновь “Правду Божью» с мыслью: “Знаю, но хочется еще перечитать” Все они <...> невыразимо скучны» (КНУ, 499–500). П. думского периода все больше отдалялся от Р., вызывая со стороны последнего едкие замечания: «Как священник “необъяснимо” перестает быть им, переодеваясь в сюртук (ужасное впечатление от Петрова, когда он, смеясь и лукавя и пытаясь скрыть неловкость, — появился в сюртуке на “чествующем его обеде”), — так “необъяснимо” что-то теряет “печатающий свои сочинения” иерей» (СХР, 52). Р. повторяет услышанную им от Е.И. Апостолуло уничтожающую характеристику

П.: «Он скорее художник, чем проповедник, и скорее балерина, чем священник» (СХР, 75). Дело Бейлиса окончательно разъединило Р. и П. Публикации противников Бейлиса П. называл «неистово-злобным выступлением против евреев» и хулой на «источник православия» Ветхий Завет. По этому поводу Р. заметил: «Уже по чрезвычайной каше этих мыслей можно угадать, что говорит Гр.Сп. Петров. Он пишет эти мысли двадцать лет, и читатели его — кто верит — невольно должны думать, что И. Христос основал не Свою Церковь, а основал русско-еврейскую либеральную печать, коей вестником или “ангелом” послал на землю Григория Спиридоновича. Можно было бы не отвечать на это, если бы строки эти не напоминали и не повторяли гг. профессоров наших духовных академий и даже некоторых духовных лиц, еще не лишенных, как Григорий Спиридонович, сана, — которые все пишут в этом же смысле, в этих же тонах... Господа, опомнитесь: И. Христос основал не либерализм, а Свою Церковь. И чтобы основать Свою Церковь — Он должен был покончить и действительно покончил с Ветхозаветною Церковью» (СХР, 317). Далее Р. продолжает: «Может быть, Григорий Спиридонович Петров и гг. Покровский (уволенный из Московской Духовной академии доцент) и Троицкий скажут, что кроме “русских националистов” судил о евреях неправильно и Иисус Христос? Послушаем, что они скажут. Им предстоит выбрать между евреями и И. Христом; как “выбирал” это и апостол Павел, — и никто, решительно никто, не может после Христа избежать этого выбора» (СХР, 318). Рассматривая безрелигиозность телологов-скептиков и протестантского историка христианства *Адольфа фон Гарнака*, Р. в записи от 1 июля 1918 упоминает П.: «Как же может быть религия без Бога? Без грозы? Без закона? Без очищения? Без жертв? — “Пхе”, — говорят Гарнак, Петров: “Религия — это просто человечность... В сущности — это мы есмь религия... Религия — именно без Бога. Религия — это просто богословие... И некоторое пустое место, на котором когда-то были боги, играли нимфы, по крайней мере светились мифы... Но мы всю эту мифологию разобрали и обратили в воду. Тайна, вся, какая есть, заключается в том, что самого электричества, именно электричества самого, и — нет, а — есть обыкновенная вода, со своею химическою формулою» (АНВ, 155). Разочарование Р. в П. было настолько полным, что он написал в своем собрании писем П. за 1899–1910: «Одна из самых отвратительных фигур, встреченных мною» (РГБ. Ф. 249. М. 3874).

А.Н. Стрижёв

ПЕТРОВ Николай Павлович [3(25).5.1836, Трубочевск, Орловская губ. — 15.1.1920, Туапсе] — генерал-лейтенант, с 1893 товарищ министра путей сообщения, ученый в сфере железнодорожного транспорта. Р. и П. объединяла дружба с Н.Н. Страховым, встречи у него. Письмо к Р. от 15 июня 1915 — ответ на розановское поздравление с вручением наградного рескрипта Императора (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4215. Ед. хр. 13). В книге «Мимолетное. 1915 год» Р. описал свою встречу с генералом: «Сегодня орден Андрея Первозванного генерал-инженеру Петрову. Я так рад. Подпись под рескриптом: “Искренно вас уважающий Николай” Нельзя лучше,

истиннее выразить свое уважение к человеку. Единственный раз я его видел у Н.Н. Страхова. Вошел военный генерал — кто, я не знал. Заговорил. Говорили о крушении царского поезда, и он сказал, что «покушения не было, а произошло оттого, что рельсы раздвинулись от большой тяжести поезда при очень быстром ходе, на закруглении, и боковой качки поезда». Раньше я этой боковой качки не замечал, и теперь не понимал, отчего же она происходит. Между тем именно боковая и именно качка должна происходить от неабсолютно одинаковой, в каждой точке пути, высоты правого и левого рельса. От этого каждую секунду правые колеса как бы подкачивают вверх, или, напротив, опускаются, сравнительно с левыми: а в следующую секунду — наоборот. Поезд — качается, и это с каждой секундой увеличивается. Собственно, очень быстрый поезд, “лета”, все время стремится сорваться с рельсов, “послав их к черту” и пойдя по шпалам. Быстрый поезд — азартный игрок в карты, у которого “вихрь в башке” Ну, и уж тут “17 октября вас поджидает” Он говорил спокойно, твердо и отчетливо, точно считал трехрублевки и пятирублевки в пачке. Никакого затруднения. Был тоже Майков (А.Н.) и заговорил о Суэцком канале. И так же “легко считая ассигнации”, Петров сказал, сколько кораблей прошло через него в минувшем году и сколько тонн товару перевезено, — и связал это с тем, чем интересовался Майков. “Ему все легко. Он все знает” А ведь я привык к мысли, что русские ничего не знают и им все трудно. Посидел. Ушел. И до сих пор у меня стоит впечатление достоинства. “Искренно уважающий вас” — как это точно» (М, 178–179).

А.В. Ломоносов

ПЕТРОВСКИЙ Сергей Александрович [1846, Москва — 23.6(6.7).1917, ст. Быково, Московско-Казанская ж.-д.] — журналист, историк и публицист, редактор «Московских Ведомостей» (1882–1896), призывавший Р. через Н.Н. Страхова к активному сотрудничеству с его газетой (Розанов В.В. Литературные изгнанники. СПб., 1913. С. 449). В письме к Р. от 22 января 1908 П. запрашивал мнение Р. о только что переведенной книге О. Вейнингера «Пол и характер» и ее первой публикации в «Журнале Новой Литературы» за 1907 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 34).

А.В. Ломоносов

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Иван Феокистович (ок. 1854 — 1888, Елец) — учитель в Елецкой гимназии. О смерти своего друга Р. сообщил в письме к Н.Н. Страхову, а позднее вспоминал о нем: «Прекрасный по равновесию ума и души, учитель приготовительного класса. Умер лет сорока пяти <...> У него было воспаление сердца; в городе были прекрасные местные врачи, Слободзинский и Ростовцев; но, не желая обидеть хорошего товарища по преферансу, военного врача Звягинцева, он обратился к нему. Тот, не сделав исследования или сделав неверное исследование, стал лечить его от желудка <...> Когда был позван, часа за три до смерти, Слободзинский, он выслушал и, поднявшись, сказал: “Что же вы зовете меня к трупу? У него болезнь сердца, а вы лечили его от желудка” Он умирал, когда я входил в комнату» (ЛИ, 32). Митрополиту петербургскому Ан-

тонию (А.В. Вадковскому) Р. писал, что после разрыва с первой женой А.П. Сусловой он имел длинный разговор с П., «человеком духовного образования и широкого развития, чрезвычайного ума и уравновешенности» (ОСЖС, 696), и спросил его совета! «мириться ли мне с нею». «Не миритесь, ничего не выйдет», — отвечал тот. — «Он был необыкновенно мудрый, а главное — благоразумный, зоркий человек, Слово его, такое ясное и твердое — так и кончилось (там же). О «сердечной истории, завязавшейся у гроба И.Ф. Петропавловского» (ЛИ, 43), т.е. о своей будущей жене В.Д. Бутягиной, Р. рассказал в «Опавших листьях»: «И любовь моя к В. началась, когда я увидел ее лицо полное слез (именно лицо плакало, не глаза) при “+” моего товарища, Ивана Феокистовича Петропавловского (Елец), их постояльца, платившего за 2 комнаты и стол 29 руб. (приготов. класс). Я увидел такое горе “по чужом человеке” (неожиданная, но не скоростипажная смерть), что остановился как вкопанный: и это решило мой выбор, судьбу и будущее. И я не ошибся. Так и потом она любила всякого человека, в котором была нравственно уверена» (У, 372).

А.Н.

ПЕШЕХОНОВ Алексей Васильевич [21.1(2.3).1867, село Чукаево, Старицкий уезд, Тверская губ. — 3.4.1933, Рига] — экономист, публицист, министр продовольствия Временного правительства, в 1922 выслан из России. Общая характеристика П. дана в «Уединенном»: «Пешехонка — последняя значущая фигура в с.-д. Однако значучесть эта заключается единственно в чистоте его. Это “рыцарь бедный”, о каком говорит Пушкин, когда-то пылкой и потом только длинной борьбы, где были гиганты, между прочим, и по уму: тогда как у П. какой ум? “Столоначальник”, а не министр. Конечно, это не отнимает у него всех качеств человека. Замечательно, что, раз его увидев (в Калашниковской бирже), неудержимо влечешься к нему, зная, что никакого интересного разговора не выйдет (к Мякотину, Петрищеву, Короленке — никакого влечения и интереса). В нем доброе — натура, удивительно рожденная. Без мути в себе. На месте Ц... я бы его поставил во главе интендантства... “Пиши, писарь, — тебе не водить полки, Но ты не украдешь и не дашь никому украсть” И ради “службы и должности” смежил бы глаза на всякую его с.-д. “Черт с ней” “Этот хороший министр у меня с дурью” Я бы



Слева направо: А.В. Пешехонов, В.А. Мякотин, Н.Ф. Анненский, П.Ф. Якубович, А.Г. Горнфельд, В.Г. Короленко

(испоротив плутов) и всем с.-д. дал “ход”, смотря на их “убеждения” как на временное умопомешательство, которое надо перенести, как в *семьях* переносит “детскую корь” “Черт с ней” *Судьба*. Карма всероссийской державы» (У, 32). С годами оценки Р. деятельности П. становятся более резкими. «Дайте нам право издавать журнал», — говорит П. как член редакции журнала “Русское Богатство” — Между тем у Пешехонова, Короленки и Струве есть только право сесть на скамью подсудимого, надеть на ноги кандалы, пойти пешком в Сибирь <...> Укажите мне строку у этих господ, где сказалось бы: “Россия — наше милое отечество” Между тем без такой строки, без такой мысли в душе нельзя быть “подданным” и “верноподданным» (КНУ, 218). 7 июля 1914 Р. делает специальную запись о П. «Ты бы лучше, демократишко, не ходил в аскетическом пиджаке. Ходить ты можешь даже в очень хорошем пиджаке. Но ты ешь русский хлеб. И обязан служить России. А ты ее ненавидишь. И царя и веру. И твой пиджак то же, что веревка вместо пояса и толстое брюхо у францисканца. У того христианство при брюхе, а у тебя пиджак при революции. И оба вы глупы и никуда не годитесь» (КНУ, 445). Если спросит П., «что такое Россия», то он ответит: “Страна пауков и вшей, которую раздавить бы» (ЛВИ, 546). В статье «Бесстыжее светило, или изболитенный двурушник» (Русские Ведомости. 1910. 2 дек.) П. выступил с обличением Р. за его сотрудничество в двух разных изданиях («Новое Время» и «Русское Слово»). Вспоминая недавнее прошлое, он писал: «В ноябре 1905 г. читатели, конечно, помнят, какие тогда были дни; я получил от г. Розанова (лично мне ни тогда, ни теперь незнакомаго) письмо, в котором он изливал свой восторг по поводу моей статьи, помещенной в октябрьской книге “Русского Богатства” того же года. Насколько могу судить, это была самая “революционная” статья из всех написанных мной. За восторгом очень пылким в письме г. Розанова следовали энергичные и нетерпеливые вопросы: “Где?”, “Когда?” Т.е. где, когда он может со мной встретиться и облобызаться... Этот восторг не помещал, конечно, г. Розанову потом, “когда начальство пришло”, не раз направить свое копыто в мою сторону, хотя задеть меня ни разу ему не посчастливилось” В “Открытом письме А. Пешехонову и вообще нашим “социал-сутенерам» (НВ. 1910. 15 дек.) Р. отмечает, что «революционеры» в России содержатся на иностранные деньги. «Вот, милые сутенеры, в чем дело: ведь вы все — сутенеры, “альфонсы” общества, частных людей, иностранных держав. Всегда и непременно — ибо все не работаете! Ну, куда деваться от этого вывода? Кушаете, а не делаете. Блаженная компания. И такая полная негодования на чужую “недобродетель...”» (ЗРП, 431). Полемика продолжалась, и 17 декабря 1910 П. опубликовал в «Русских Ведомостях» «Вместо ответа г. Розанову (Письмо в редакцию)». Отвергая обвинения Р., П. объявляет его больным и заключает: «Ни с больными, ни с юридивыми иметь какие-либо дела я не считаю возможным. Поэтому привлекать г. Розанова к ответственности за клевету или в какой-либо другой форме отвечать на его письма я не буду». В статье «Теория г. Маклакова и практика г. Мережковского» П. отмечал, что Д.С. Мережковский повел против Р., «невменяемости» которого до самого последнего времени не замечал», «формен-

ный поход, всячески стараясь этому походу придать общественное значение...» (Русское Богатство. 1914. № 3. С. 388). Политическую оценку социал-демократии П. дал Р. в статье «П.Б. Струве о М.М. Ковалевском и г. Изгоев о г. Пешехонове» (К. 1916. 10 июня): «Берлин по понятным чувствам вражды к России не хочет в России земельного укрепления и благоустройства; Пешехонов тоже этого не хочет по мотивам социально-демократического свойства, вообще предпочитающего “земельную анархию”, в мути которой ловится хорошая революционная рыбка» (ВЧВ, 252).

А.Н.

ПЕШКОВА-ТОЛИВЕРОВА Александра Николаевна — подруга философа М.В. Безобразовой. С письмом от 4 марта 1915 прислала Р. свои воспоминания о Безобразовой (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4212. Ед. хр. 45). Содействовала в получении Р. автобиографии Безобразовой «Розовое и черное в моей жизни», которую мыслитель использовал в тексте своей книги «В темных религиозных лучах».

А.В. Ломоносов

ПИЙ (Pius) X. (Джузеппе Мелькиоре Сарта; 2.6.1835, Риезе, провинция Тревизо, Италия — 20.8.1914, Рим) — Папа Римский с 1903. Р. в некрологе П. обращается к старому, но подновленному вопросу «соединении церквей»: «Захватные тенденции римского престола вызывали вражду в России и вражду у русских не потому вовсе, что они чем-нибудь угрожали России (они ей не угрожали и не угрожали), сколько искажением вообще церковности, вообще христианства. Есть собственно один путь так называемого “соединения церквей”, о котором столько думают на Западе: это чтобы католичество погрузилось в себя, творило свой внутренний идеал и жизнь и вовсе не помышляло о внешних. Католичество с протянутыми руками — невыносимо для религиозного мирозерцания России. Пусть оно опустит руки: и русские, которые любят странствовать и смотреть чужое, заглянут и углубятся и в западную веру, где есть во что углубляться и всматриваться» (НВ. 1914. 10 авг.; НФП, 364).

А.Н.

ПИЛЬСКИЙ Петр Моисеевич [16(28).1.1879, Орёл — 21.12.1941, Рига] — писатель, журналист, критик. В письме к Р. от 20 июля 1904 передавал свои впечатления от знакомства с его произведениями: «Я просто читаю все, что пишете Вы, над многим задумываюсь, многим люблю и восторгаюсь и мне приятно высказать это Вам в посильной возможности» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 36. Л. 2). К письму прилагалась рукопись рассказа П., предназначенного для августовского номера «Журнала для Всех». «Кажется, — представлял П. свое произведение Р., — он навеян издавека и втайне Вами, по крайней мере, как размышление о семье, хотя бы и уродливой» (там же). П. просил Р. в письме поделиться впечатлениями от прочитанного. В постскриптуме П. признавался в желании, так и не осуществленном, выслать Р. ранее другой свой рассказ «Самосубийство под влиянием Библии (Книга Иисуса Сына Сирахова)». С 1921 П. в эмиграции в Прибалтике. В своей книге «Затуманив-

шийся мир» (Рига, 1929) П. писал в статье «В.В. Розанов»: «Почти гениальный, человек редких прозрений, оригинальнейший мыслитель, бесстрашный в своих признаниях, заключающий в себе властные очарования и гибельную опасность многодушия, таящийся отшельник, абсолютно лишенный чувств общности, не считавшийся и не желавший считаться с ее мнением, судом и приговорами, погруженный в тихую, таинственную глубь интимной мудрости, автор “Семейного вопроса”, ребенок, напуганный шумом и силой мира, он лепился к неслышному, к отгороженному, к затененному, жил “в мире неясного и нерешенного”, мыслил “в своем углу” <...> В своей жизни, в своих книгах, чувствованиях, в своих тайных притяжениях, в своей необыкновенности перед нашим взором прошел интереснейший и замечательный человек любопытной и замечательной эпохи. Но и ей он принадлежал только частично, ибо своей гениальностью, своей редкой, исключительной оригинальностью он отдан не времени, а временам, не одному поколению, а будущему» («Настоящая магия слова»: В.В. Розанов в литературе русского зарубежья. СПб., 2006. С. 108, 111).

А.В. Ломоносов

ПИРОГОВ Владимир Николаевич (1846–?) — профессор всеобщей истории Новороссийского университета, в 1878–1884, читавший курс лекций по римской истории. Автор двух писем к Р. (от 11/24 ноября 1913 из Одессы и б.д. [после 1913] из Марселя) (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3824. Ед. хр. 6). Последнее из писем сопровождало его брошюру «Осколки научно-публицистические» (Тифлис, 1911), посланную для рецензирования. К письмам приложена характеристика: «Проф. Влад.Н. Пирогов. Сын хирурга и, в сущности, умный и ученый человек, но не знает, куда себя приткнуть» (ЛЖ. 2000. 13/14. Ч. 1. С. 84).

А.В. Ломоносов

ПИРОЖКОВ Михаил Васильевич [26.10(7.11).1867, Смоленск — 20.6.1927, Ленинград] — издатель и книгопродавец. Ряд книг Р., изданные П. («Около церковных стен», «Ослабнувший фетиш», «Легенда о Великом инквизиторе Достоевского», 3-е изд.), были отпечатаны с превышением тиража, определенного в договоре с автором. Подобная практика привела в июне 1909 к разорению издателя. В статье «К истории одного книгопродавецкого разорения» (НВ. 1909. 22 июля) Р. рассказывает: «Когда вышла моя книга “Около церковных стен”, то, показывая две горы ее, М.В. Пирожков говорил: — Вот видите. Не идет. Лежат. — Как автор, я не мог не конфузиться. “Значит, скучно написал. Неинтересно, не нужно читателю и России” Я опустил голову, а ласковый взгляд М.В. Пирожкова договаривал: — Как же я буду вам платить по договору, когда сам от продажи ничего, или очень мало получаю. “Подождите”... Это вытекло само собою из дела» (СМР, 248–249). Вместо обусловленных 3000 «Легенды...» П. отпечатал 10 000 экземпляров, из которых 7400 осталось непроданными. «Источник разорения Пирожкова, совершенно глупый, становился вполне ясен. Он жадничал на “через 10 лет” и подрывал себя на ближайшие годы, которых не вынес и впал в банкротство, не пожав “будущей” жатвы» (СМР,

250). Так поступал П. и с другими авторами. «Всех обманул — и всех возненавидел. Мы проезжали по Невскому, месяца за два до объявления банкротства, и В., толкнув меня слегка, сказала: — Это идет Пирожков. — Небольшого роста, весь скромненький, преувеличенно тихий и безмолвный, — он шел каким-то неверным пьяным шагом по правому тротуару, ни на что не смотря, никуда не устремившись взором. “Думал тихую думу”, доканчивая подготовку дела. Недели за три до этого, истощившись ходить к нему с просьбою уплатить что-нибудь из обязательства, я послал Варю. И она вся терпеливая — пришла: — Долго никто не выходил. Контора пустая. Книг нет, мебели почти нет. Наконец вышла какая-то дама, некрасивая и пожилая, и когда я на слова ее: “Что вам угодно?” — сказала, что “у нас 6 человек детей, муж болен от труда, пусть Мих. Вас. уплатит хоть часть обязательства”, — то она закричала на меня: “Какое же дело Мих. Вас. до ваших детей? Он не обязан их кормить. У него не сегодня-завтра приедут все описывать” И ушла. Потом вернулась и сказала от имени Пирожкова: “Денег нет. Сам не может принять” И вот он теперь шел... Точно у него было что-то за плечами, о чем он боялся, что “схватит”. Шаг был неверный, шатающимся (никогда не пил). И это испуганное, обманное и ненавидящее лицо» (КНУ, 417). Когда П. сидел уже в тюрьме, Р. попросил следователя получить согласие П. на выплату долга из конфискованного имущества П., которое «все равно ему бы не вернулось», на что П. не согласился: «Не хочется. Потому что тебе нужно» (КНУ, 418–419). Письма П. к Р. за 1906–1908 хранятся в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 572).

А.Н.

ПИСАРЕВ Дмитрий Иванович [2(14).10.1840), село Знаменское, Елецкий уезд, Орловская губ. — 4(16).7.1868, Дуббельн, близ Риги] — критик, публицист. В гимназические годы Р. увлекался П. В “Автобиографии” (1891) он писал: «Во времени моего гимназического учения отнесился увлечение сперва Писаревым, которого я всего прочел еще в Симбирске, и потом Добролюбовым — уже в старших классах гимназии, из-за первого у меня было несколько ссор со старшим братом в первый год приезда в Нижний, и было время, когда мне показалось, что все, что ни есть дурного и несовершенного в жизни, происходит оттого, что развлекаемые разными делами и дурными книгами люди не вдумываются довольно внимательно в этого писателя; но уже в VI классе гимназии, находя у какого-нибудь товарища томик Писарева и перечитывая когда-то знакомые места, я находил их в большинстве детскими, и всего его — более не интересным» (ОСЖС, 687–688). И тем не менее Р. объяснял значение П. для нашей истории: «Характерно и многозначительно, что ни Добролюбов или Чернышевский, ни даже Белинский не пользовались таким ореолом, не возбуждали такого горячего, страстного энтузиазма, как этот писатель. И что бы ни говорили, какие бы поправки и возражения к этому факту ни приносили, он останется историческим фактом, который предстоит не отвергнуть, а объяснить» (РФК, 87). Взгляды П., считал Р., носят парадоксальный характер. «Теория экономического материализма» <...> “Человек не имеет головы. Я у него ее не вижу. Я всегда смотрю на ноги и вижу только

ноги” Это рассуждение сапожника, казавшееся правдоподобным Писареву, теперь преподается “как наука” в *университете*. — Моя дочь вышла замуж за ноги, потому что снизу у ее жениха были сапоги» (ПЛ, 23). «Появление Писарева и Чернышевского невозможно было в эпоху *Пушкина*», когда *литература* трепетала интересом к *России*» (ПЛ, 168). «Вечный радикал слова, — говорит Р., — это Писарев» (СХР, 194), видя в этом проявление, как и у него самого, отрочества, юности. Писатели и критики, полагал Р., «имеют один возраст всю жизнь — один духовный возраст». Так «Белинский — всю жизнь юноша, Чернышевский — всю жизнь точно 29 лет, Добролюбов — всю жизнь как бы 43-х лет, даже когда он учился в семинарии <...> Да: забыл Писарева. Ему всегда было 12 лет» (ОПП, 557). Простота П. делала его «истинным кумиром *гимназистов*. «Это был Гомер, которого множество маленьких *Александров Македонских*, засыпая, клали под подушку, чтобы назавтра, проснувшись, еще и еще читать, и мысленно благодарить его, и позднее плакать над его *могилой*, а при достаточных средствах, даже и приносить ему гекатомбы» (РФК, 90). П. — это *нигилизм*. «Кто силен, тот и насилует. Но женщины ни к чему так не влекутся, как к *силе*. Вот почему именно женщины понесли на плечах своих Писарева, *Шелгунова*, Чернышевского, “Современник” Наша история за 50 лет — это “история изнасилования России *нигилистами*” И тут свою огромную роль сыграл именно “слабый пол”» (КНУ, 580; то же ЛВИ, 637). Поэтому будущая республика «будет все читать Писарева и Чернышевского, рубить топором *иконы*, истреблять “лишних паразитов” (“Пчелы” Писарева), т.е. всех богатых, знатных и старых, а мы, *молодежь*, будем работать на полях бархатную, кем-то удобренную землю, и растить из нее золотые яблоки, которые будут нам родиться “не как при старом строе”» (ЛИ, 64). Идеи П. несли разрушение России. «И “мыслящие реалисты” (Писарев) берут бомбы и что попало и идут на ближайшего полицейского и на “его превосходительство...» (КНУ, 270). Р. сравнивает П. с современной детективной литературой: «... да Писарев и “Современник” и есть Нат-Пинкергон. Так же просто, плоско, такая же “новая *цивилизация*” и приложение “последних данных науки” И все — так же решительно и смело» (У, 348). А в «*Мимолетном*» продолжает: «Никакой “Истории *русской литературы*” не составляют Чернышевский и Писарев, и есть перерыв русской литературы на два-три десятка лет, потому что “посетитель сжал кулаки и хотел одним ударом раздавить Боба” Но это “История каторги”, а не “История литературы” Разве не могут в Академию наук ворваться сюжеты Холмса и исполосовать ножами зоологов, филологов и астрономов. Очень могут. Но какая же это “История академии наук” и “История научного движения в России” Был перерыв в истории, история на этот час остановилась, не продолжалась» (М, 211). Отрицание Пушкина в статьях П. удивляло Р.: «Неужели Пушкин виноват, что Писарев его “не читал”» (У, 313). И он продолжал: «Был Писарев, и им зачитывались, и, конечно, появится почище Писарева, который вторично предложит закурить Пушкиным сигарки» (СХР, 91). Белинский «дал понять всей читающей России, что *славянофильство* есть некоторое “неприличное место” в духовной жизни нашего общества. Писарев, которому вся

Россия также кинулась навстречу, — называл славянофильских писателей и ученых “Ванькиной литературой” — Потому что они верят в *Бога* и признают *Россию*» (ПЛ, 271). В статье «*И.В. Киреевский и Герцен*» (НВ. 1911. 12 февр.) Р. писал о славянофилах: «Чего от них никогда не могло произойти, чего в линии их развития никогда не могло появиться — это Д.И. Писарева. Ни его “Отрицания *эстетики*”, ни его “мыслящих реалистов” А это характерно» (ЛВИ, 565). Историческую роль в преодолении «писаревщины» сыграл, по мнению Р., *Достоевский*. «Гений Достоевского покончил с прямолинейностью *мысли* и сердца; русское познание он невероятно углубил, но и расшатал... Можно сказать, он уничтожил совершенно не только таких писателей, как *Михайловский*, Писарев <...> но он сделал невозможным в будущем повторение или воскресение таких наивностей, таких обухов, таких бревен...» (ЛВИ, 540).

А.Н.

ПИСАРЕВ Леонид Иванович — профессор Казанской духовной академии по кафедре патрологии. Сохранилась его переписка с Р. по поводу помещения статьи Р. «Среди догадок и *страхов*», отвергнутой «*Новым Временем*» и позже предложенной журналу «Церковно-Общественная Жизнь» (1906. № 35. 18 авг.). Автор *писем* к Р. 1906 и б.д. (ОР РГБ Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 33). Сам журнал Р. представил в газетной статье «К заботам о народном здоровье» (РС. 1907. 28 сент.): «Прекрасный журнал “Церковно-Общественная Жизнь”» (ОНД, 230).

А.В. Ломоносов

ПИСАРЕВА Елена Федоровна (1853, Тула — после 1937, Италия) — переводчица, публицистка-теософ. Была знакома с Р., побывав у него в гостях в сентябре 1902. Писатель согласился помогать ей в литературном труде П. 26 февраля 1903 в *письме* к Р. она просила оказать содействие в публикации в журнале «*Новый Путь*» своего очерка «Блаватская в отзывах ее учеников». П. советовалась с Р., как ей издать и провести через *цензуру* свой *перевод книги* лекций «Эзотерическая философия Индии» «одного ученого брамана», прочитанных им в Бельгии. В ноябре 1903 П. встречалась с Р. на собрании у *А.П. Философовой*. В письме от 14 ноября 1903 П. просила о встрече, чтобы «побеседовать на интересующие обоих *темы* духовной жизни» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 37). К письмам П. приложены краткие розановские *характеристики* корреспондентки: «Писарева Е. (индийка, буддистка, теософка)»; «Писарева Е. (Калуга). Буддистка» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 97).

А.В. Ломоносов

ПИСЕМСКИЙ Алексей Феофилактович [11(23).3. 1821, село Раменье, Чухломский уезд, Костромская губ. — 21.1.(2.2).1881, Москва] — прозаик и драматург. Р. вспоминает его в связи с *литературой* 1860-х: «Как-то я заговорил о 60-х годах: “Конечно, много было чепухи, увлечения и, наконец, нравственных безобразий, отмеченных *Тургеневым, Гончаровым, Писемским*. Наблюдения их неоспоримы, но и односторонни: все, что у нас есть теперь здорового и ценного, сильного и энергичного в *обществе*, в стремлениях, в государственном сложении, в духе и поведении людей, родилось в 60-е годы, —

от людей, осмеянных во “Взбаламученном море”, “Обрыве” и в некоторых персонажах “Отцов и детей” Как о Петре говорили после него: “Все от него имеем”, так и в нашу пору, когда о коммунах и свободной любви тех дней нет и помину более, приходится сказать, что мы “все имеем от них, все у нас пошло от них” (КНУ, 135–136). Р. привлекают проявления в любви, которые всегда были интересны ему и обратили его внимание на имя П. «Читая “Мирру” (Мирра — дочь, подобная дочерям Лота, но своеохотная, страстно влюбленная; рассказ — в “Метаморфозах” Овидия), удивительно переведенную в “Северных Цветах” пушкинской эпохи, я был поражен: “Значит, бывает” “Неужели бывает???” Да, этот *корень*, очевидно, небольшой, редко случаемый, тем не менее, есть у *Древа Жизни*. Еще много лет спустя, читая воспоминания о Писемском А.Ф. *Кони*, я был поражен подобным сюжетом, где мать ревниво спрашивает свою дочь, ставшую в “такое положение: — “Говори, от него?” (история Лота). Дочь испуганно шепчет: — “Да” А.С. Суворин, когда у нас раз зашла (в “бесконечной болтовне об всем”) речь о подобном, передал мне, что однажды А.Ф. Кони сказал ему, что он знал такой случай, т.е. ему в судебной практике попался случай, когда две “дочери Лота” были в положении “дочерей Лота” и вот одна — умирает после родов: то она, при вошедшем в комнату отце, не могла отвести глаз от него, и умерла любя, и, очевидно, бесконечно любя. Библия и есть единственная книга, не пропустившая этот корешок, отчего мы и говорим, что она нечто утратила бы из себя, не будь там этого рассказа. Тогда случай, рассказанный Кони, и сюжет, занимавший Писемского, — мы как будто припиливаем булавкой к рассказу Библии, т.е. все-таки знаем, “куда это отнести” Без рассказа Библии мы бы растерялись; мы бы были глупы и бессловесны перед фактом» (КНУ, 481–482). О романе Мопассана «Жизнь», Р. пишет, что «роман его вполне сближается с творчеством Толстого или Писемского, — и сравнение здесь вполне естественно и может дать некоторые плоды. Цель у троих авторов одна: воспроизвести жизнь. Как же они ее воспроизводят? Мопассан — в обобщении, “с высоты птичьего полета” У него — панорама. Русские — в подробностях, в частности. У них — закоулочки, улицы, путаница, ежедневность, доведенная до апогея. Никакой панорамы. Никакого “птичьего полета”» (ОПП, 370).

И.А. Едошина

ПЛАТОН (Πλάτων) (427 до н.э., Афины — 347 до н.э., там же) — древнегреческий философ. Упоминания о П. встречаются во многих *трудах* Р. «Мы “совершенно не таковы теперь, как были сотворившие впервые эту форму люди” <...> Это мудрецы Платоновой Академии, в Афинах, восторжались и обожали друг друга. “И если бы я не боялся показаться безумцем, я зажег бы перед ним (человеком) лампы» (Платон)» (СХР, 103). Р. привлекал П. прежде всего эстетически, в силу стройности и гармоничности его системы, ибо Р. считал, что «наука, в которой, по-видимому, ничего бы не должно быть, кроме истинного или ложного, также проникается началом красоты или не проникается им» (ОП, 472). Только наша художественная литература «поднимается на высоту созерцаний, на которой удерживался только Платон и немногие другие» (ЛВИ, 46). В своей работе «О по-

нимании» Р. пишет: «Никто и никогда не пытался бороться против идеализма, не употребляя все усилия ума и опыта, чтобы не вступить в него; напротив, все, подтверждающее его справедливость, всегда принималось с готовностью. Далее, между самими системами идеализма одни предпочитались другим — не по истинности, но по стройности, по гармонии в построении, по красоте. Так, Платон и Спиноза всегда неудержимо влекли к себе человеческую душу, хотя на Аристотеля и Бэкона можно было надежнее положиться» (ОП, 472–473). В своем философском мироощущении Р. стоял на позициях философского идеализма, что сближало его с афинским мудрецом. Рассуждая о мозге, как причине психических явлений, в той же работе он заметил, что «перевес склоняется здесь на сторону идеалистов, так как по общему признанию всех людей они принадлежали к первым умам всего человечества. Платон и Аристотель в древнее время» (ОП, 384). Р. не может обойтись без ссылок на П., рассуждая о *государстве* и политической системе. «Так, свойства государства как политического организма изменяются смотря по тому, какую цель преследует оно — благосостояние ли, например, или справедливость, или осуществление свободы, или еще что-то другое. Поэтому-то и философы, полагая для государства различные цели, не соглашались между собою относительно свойств его; и действительные государства, стремясь к различному, не были одинаковы по своим свойствам. («Respublica» Платона не походит на Civitas Dei <Град Божий> блаженного Августина)» (ОП, 276). Идеями платоновского «Государства» проникнуты и рассуждения Р. о так называемых *учителях жизни* (имеется в виду К.Л. Победоносцев). «Некогда греческий философ Платон написал две книги: теоретическую “Республика” <“Государство”> и практическую “Законы”; незаметно и бессознательно этот замысел Платона все обдумать и для всего начертать план, “предначертать жизнь” — живет и в знаменитом современном нам государственном человеке и живет с этим же разделением точных практических указаний и более высоких духовных полетов. Но как в одних, так и в других есть одна господствующая *страсть*, уже почти в силе и яркости инстинкта — управлять, направлять» (ОПС, 139–140). Р. отмечает, что у нас народ жалуется на нестрогость начальства. И тут же вновь вспоминает «Государство» П.: «Мне представляются эти “политики в народе”, эти “общинники” превосходною древнею, почти эллинскою, “полицейскою республикой” Ведь Платон наименовал свою “Республику” — Политию, т.е. Полициею, и “полиция” у афинского философа в его мечте действительно какое-то “чудище обло, стоглазо и лапай” Строгости у Платона — умопомрачительные, и, напр., даже женскую любовь он сводит к необходимому его “полиции” детородению, без всяких разговоров. Вообще там грех чудовищен. Мы, русские, — слабее и добрее» (СХР, 185). Р. вспоминает о П. также в связи со своими богорборческими настроениями. Симпатии Р. остаются на стороне П. «Философы, да и то не все, говорили о Боге; о “бессмертии души” учил Платон. Еще некоторые. Церковь не “учила”, не “говорила”, а повелевала и верить в Бога, и питаться от бессмертия души. Она одна. Она всегда. Непременно. Без колебания <...> Всякий дьячок имеет уверенность в том, до чего едва додумался

и едва имел силы достигнуть Платон. “Сумма учений Церкви” неизмерима сравнительно с Платоновой системой. И так все хлебно, так все просто. Она подойдет к роженице. Она подходит к гробу. Это нужно. Вот “нужного”-то и не сумел добавить к своим идеям Платон» (У, 325–326). С горькой иронией Р. продолжает: «Чего, и дальше: “за руку с попом” не погнушает взяться и древний Платон, сказав: “Он — от моей мудрости” А я прибавлю: “Нет, отче Платоне, — он превзошел тебя много. Ты — догадывался, а он — знает, и о душе, и о небесах. И о грехе и правде. И что всякая душа скорбит, и что надо ей исцеление”» (СХР, 18). Р. вспоминает П., рассуждая о современном ему обществе. «А “утвердить ложь” ничего не стоит. Да нечего и утверждать: стоит столбом и никуда не валится. То же и добродетель: “ничего нет скучнее и монотоннее” Так что Платон, сказавший, что “истины суть идеи” и что “они вечны”, а ложь есть призрак, — не ошибся ли глубочайшим образом? Счастливый оптимизм, должно быть сказанный в счастливую эпоху “семи мудрецов” Эти “семь мудрецов” перекликались друг с другом своими “истинами”, не замечая, что никто на них не обращает внимание и что самих “мудрецов” замариновали в спирт и выставили в Кунсткамере “для обучения юношества” — “Вот какие бывают в истории чудачки”» (СХР, 230). Наиболее часто Р. упоминает П. в «Апокалипсисе нашего времени». Он ценил у П. прежде всего два диалога: «Федр» и в большей степени «Пир». В полемике с Рцы (Романов И. Ф.) Р. защищает П. от неправильного, по его мнению, сравнения диалогов с «потерянными посланиями» Апостола Павла. Рцы утверждал, что послания были всех отвращавшие и отталкивавшие. «Он давал и более конкретное указание, именно — сближение с двумя диалогами Платона, тоже “отталкивательными для всякого читателя”, хотя особенно музыкально и патетически изложенными. “Музыка сфер” Но здесь я расхожусь с Рцы, потому что для древнего мира эти мысли Платона не были особенной новостью и не были отталкивательными» (АНВ, 72). Однако далее Р. сравнивает Апостола Павла по мощи с П. «Звезда есть звезда, и ничему не затемнить ее блеска. Так есть он — выше его в сане человека ничего нет. “Он открывает нам новое, он открывает нам истины. Как бы не женат: осудим ли мы, что у него не было детей. Когда он дал нам творения свои, преимущественно перед всякими детьми, “целой гимназией гимназистов” Тоже Платон, тоже — Паскаль. Звезды» (АНВ, 74). Во фрагменте «Сокрытая Шир Гаширем» Р. вспоминает П. в связи с неполными комментариями Библии. «Ладони закрыли ревность Бога Израилева к своему народу. Половую ревность мужа к жене. И об этом — ничего. Совершенно ничего. Потому что самая тема — еще менее выразима, чем эссенция дела в диалоге Платона “Федр”, которую также скрывают все комментаторы греческого мудреца» (АНВ, 104). Вспоминая «Пир» П., Р. сравнивает пушкинскую няню с Небесной Афродитой. «Почему это не есть Небесная Афродита, христианская Афродита, которую предчувствовал Платон, сумрачно говоря “нет! нет! нет!” по отношению к своим, к афинским, смазливим и ограниченным богам. Земные боги умерли; сошли небесные боги» (СХ, 171). Полемизируя с Мережковским об «Ипполите» Эврипида, Р. вновь коснулся Афродиты из «Пира». Предлюбовная

пора «всего только минута возраста всех нас, есть дробь целого и огромного, о котором говорит Д.С. Мережковский, и о чем под именем “Афродиты Урании” говорит Платон в “Пире” “Артемиды”, никогда не замужняя, есть действительно факт психологии и истории. Это отталкивание от сближения полов <...> Борьба между Артемидой и Афродитой — она налицо не только в истории Федры и Ипполита, но — и в истории всемирной» (СХ, 205). Проблематика «Пира» для Р. неисчерпаема. Он обращается к этому диалогу, критикуя памятник Гоголю, созданный скульптором Андреевым. «Это — болезнь, этого конца не надо было изображать. Тут — психиатрия, до которой литературе нет дела... Но что же вы сделаете и как поступите, если в факте колоссальной литературной значительности развивался все время другой психиатрический факт, — но не медицинско-психиатрический, а метафизико-психиатрический. От души “Ивана Ивановича” до души Платона — неизмеримая разница; и если медик, с заботой прописать лекарство, изучает пульс Ивана Ивановича, прописывает ему бром и холодные компрессы на голову, то все это забавно в отношении Платона, который, однако, в лучшем своем трактате, “Пире”, высказывал тезис, что “только люди, способные к безумию, и именно в параксизмах безумия, приносят на землю глубокие откровения истины” Согласитесь, что бром очень мало помогает против такой философии. Гоголь кончил безумием, но гениальным и гениально, — как мог бы им кончить в другой обстановке и среди других людей Платон» (СХ, 304–305). Цитату из любимого диалога использует Р. и для характеристики И.В. Цветаева. «“Но, — говорит Платон конце “Пира” об особых греческих тайниках-шкафах в виде Фавна, — подойди к этому некрасивому и даже безобразному фавну и раскрой его: ты увидишь, что он наполнен драгоценными камнями, золотыми изящными предметами и всяким блеском и красотой» Таков был и безобидный неповоротливый профессор Московского университета» (СХ, 413). Идеи Платонова Эроса, навеянные все тем же «Пиром», привели Р. к рассуждениям о феномене содомии и фаллическом культе. «“Отдавая замуж”, родители хоть и делают вид, что они “пристраивают дочерей”, но это дело, и экономика не переходила бы в “эрос выдавая замуж”, если бы не пробуждалась “эротическая наука Платона”, заключающаяся в требовании: “подавай мальчиков”, “подавай мужчин” Как и в чистой содомии <...> Платон прямо говорит, что “хочется зажечь лампы и молиться”». И далее: «Тут ф-ческий культ полон и в полном сиянии. Как бы древность не умирала, как бы Египет никогда не превращался в мумию, как бы Платон еще на наших глазах вел беседы и разъяснял священную тайну мира. Эта священная тайна мира и есть платоническая любовь: или “видение Озириса-Изиды” Которое доступно в полном виде лишь обладаемым Платоновым Эросом» (ПЛ, 213). После «Пира» Р. чаще всего ссылается на известный «миф о пещере», изложенный П. в «Государстве». Р. упоминает П. в связи с о. Павлом Флоренским: «Флоренский видит дальше, чем кажется его друзьям. От приложения “к солнечному мифу Платона”; к “пещерным теням Платона”, потому что и он знал жизненное переживание Платона, испытанное в “опыте” Платона, как написал в поразительно некрологе Эрна» (АНВ, 177). Метафора «мифа о пещере»

П. появляется также у Р. в эссе «Электричество и “тени” Платона». Если потерять янтарь сукном, то он будет притягивать гуттаперчу. «И вот “электрон”, откуда электричество <...> На самом же деле эти дотрагивания открывают янтарь пола. И что “гуттаперча тогда притягивается”, и что есть “электричество” Не о нем ли говорил Платон, как о “пещерных тенях” И что мы “не видим прямо вещей”, в сущности — некоторых вещей, отнюдь — не всех... И что “узнаем солнце только в капле воды”, а — прямо взглянуть на солнце нам не дано... Как и мы “дотрагиваясь” только и следя за “электричеством”, — узнаем: отчего же люди рождаются. Рождаются со светлой душой. С Богом и “врожденными идеями»» (АНВ, 374). В 1913 Р. записал: ...да ну, смотрите проще на вещи: ведь бывает же, что сучка играет с сучкой, а кобелек с кобельком. Коровы — постоянно. Чего же захались моралисты всего света. И туда же “рак с клешиней”, премудрые ученые, Мечников, Бехтерев. Все. Такой содом подняли, т.е. наука в старом чепце и моралисты в “чем-то” от Плюшкина. А цветы цветут, и вещей старец из древности (Плат.) упорно стоит на своем» (СХР, 188).

И. С. Шилкина

ПЛЕВАКО Федор Никифорович [13(25).4.1842, Троицк, Оренбургская губ. — 23.12.1908 (5.1.1909), Москва] — юрист, адвокат, судебный оратор, депутат 3-й Государственной думы. В некрологе Р. назвал П. «московским Златоустом», «виртуозом слова» (НВ. 1908. 24 дек.). «Он любил все русское, этот самоцветный русский камень: любил государство русское, церковную службу нашу, русскую литературу; любил весь русский быт, купечество и духовенство наше, — эти коренные русские сословия. Знал монастырь русский, — этот оригинальнейший уголок русской жизни. Таким образом, всеми фибрами души своей он связался с русскою действительностью, — и эта интимная связанность чрезвычайно усилила, украсила его судебную речь <...> Он был москвич, и в то же время имя его и ораторский образ его горели много лет над всею Россиею» (ОНД, 410–411).

А. Н.

ПЛЁВЕ Вячеслав Константинович фон [8(20).4.1846, г. Мешовск, Калужская губ. — 15(28).7.1904, Петербург] — министр внутренних дел с апреля 1902. Убит близ Варшавского вокзала эсером Е. С. Созоновым, бросившим разрывной снаряд под карету П. Вспоминая место убийства, Р. писал: «Я перешел на мостик через Обводный канал, — сейчас перед вокзалом. Вот и этот бульжник, который я рассматривал немного лет назад, в день, когда убит был Плевел. Это самое место мостовой, и я не могу забыть этого вдавленного в землю, неразбитого и не разброшенного по сторонам, бульжника! Камни, на протяжении полутора аршина в ширину и в длину, ушли на вершок, на полтора в землю. Какая сила удара! Все стекла тогда у соседних домов были выбиты, а тротуары были засыпаны точно иссеченным мельчайшим стеклом. Виднелось очень немного крови, чуть-чуть. Я приехал часов шесть спустя после события. Как полиция, — очень реденькая <...> была угрюма, печальна и тиха! Я погрузился в думы...» (РГО, 420). Р. дает характеристику П. в связи с делом Г. Гапона: «Плевел не был из

тех недалеких или доверчивых людей, который зря подпустил бы к себе или вошел бы в сношения с человеком, для него лишним и ненужным. Плевел был человек дела, “службы”, и свое важное служебное время, оплачиваемое государством, не стал бы тратить на пустые отношения к третьему, безразличному или мало нужному человеку. Поэтому “священник пересыльной тюрьмы отец Георгий Гапон”, без сомнения, оказывал ему ценные услуги в своей должности» (КНУ, 87). В статье «Об амнистии» (НВ. 1906. 10 мая) Р. признавался: «Да я сам осуждаю ли убийцу Плевел? Нисколько. Помню, тогда радовался. Значит, и я червяк, и я только могу плакать о себе» (КНУ, 129).

А. Н.

ПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович [29.11(11.12).1856, дер. Гудаловка, Липецкий уезд, Тамбовская губ. — 30.5.1918, Питкяряви (Териоки), Финляндия] — пропагандист марксизма. Р. писал, что П. хочет «украсть всю Россию» (КНУ, 518), а в канун Первой мировой войны требовал не давать амнистии и права возвращения в Россию таким эмигрантам, как П. (ЛВИ, 597). Прочитав в журнале «Современный Мир» (1909. № 9, 10) статью П. «О религиозных исканиях в России», Р. в фельетоне «Плеханов о религии» (НВ. 1909. 14 окт.) высмеял попытку «идейного вождя русских социал-демократов» осветить «бродящие в обществе религиозные мысли, вопросы, тревоги, покаяния» (СМР, 328–329). О людях такого типа, которых он именует «умниками», Р. замечает: «Эти люди, довольно скучные и надоедливые, вечно рассуждающие, но каким-то неглубоким, безжизненным, формальным рассуждением, все взвешивая и взвешивая, все мотивируя и мотивируя, все доказывая и доказывая, так что руки опускаются. Особенно руки опускаются от того, что они рассуждают большею частью не о своих, а о чужих делах, и кажутся “ходатаями по всеобщим делам”, — отнюдь никем не призываемые» (СМР, 331). Летом 1917 в статье «К нашей неразберихе» Р. предлагает социал-демократам во главе с П. покаяться и сказать: «Всю-то мы жизнь ошибались. И завели мы тебя, темный и доверчивый народ, — завели слепо и тоже доверчивые русские люди, — в яму. Из которой как выбраться — не знаем. А только ты уж прости нас грешных. Все делали по доверию к этим западным звездочетам, вместо того чтобы смотреть под ноги и помогать нашей слабой Руси делом, словом и помышлением. Да и правительство — окаянное. Ох, оно было окаянно, это правительство. И вот мы обозлились, осерчали. Сидели по тюрьмам, по каторгам. Потеряли голову в гневе. И призвали тебя на правительство. И ты сверг правительство. И что сверг — хорошо сделал, основательно и по заслугам его <...> Не надейся, народ, что из чего-нибудь ты получишь богатство, кроме как из труда, терпения и бережливости» (М, 386).

А. Н.

ПОБЕДОНОСЦЕВ Константин Петрович [21.5(2.6).1827, Москва — 10(23).3.1907, Москва] — государственный деятель, обер-прокурор Св. Синода (1880–1905), публицист, переводчик. С. А. Рачинский писал П. 16 мая 1892: «Еще забота — у меня завелось новое дите. Это — В. В. Розанов, статьи коего в “Русском Вестнике” Вам,

конечно, известны, и толстую книгу коего («О понимании») вы, конечно, не читали. *Человек* он прекрасный, искренне благочестивый и церковный, и притом писатель положительно талантливый. Учителем он в Бельской прогимназии и учительством тяготеет <...> Пишу вам о нем потому, что вы не раз жаловались на отсутствие в Вашем штате людей, владеющих пером. Имейте его в виду. Он человек семейный, но desiderate <желание> его скромное (в провинции, 1500 в год, в Петербурге, не менее 2200, и свободные вечера для литературных работ)» (ОР РГБ. Ф. 230. К. 4414. Ед. хр. 4. № 17). П. проявил интерес к Р., но сослался на отсутствие вакансий в его ведомстве. После новых напоминаний Рачинского П. писал о Р. 29 июля 1892: «Пусть несколько потерпит. Я уже писал Вам, что у меня очень мало мест и все заняты. Притом, не зная лично Розанова, я не умею судить, к какой деятельности он расположен и способен. Может быть, он способен к одной лишь кабинетной, преимущ<ественно> литературной деятельности. Это указывало бы на круг очень тесный <...> А вообще должен бы я иметь curriculum vitae <автобиография> Розанова» (ПР. Ед. хр. 65. № 33). Выслав через Рачинского сведения о себе, Р. с нетерпением ожидал перевода в ведомство П.: «Чем более я думаю о возможности непосредственно служить при К.П. Победоносцеве, тем более радуюсь, если она осуществится» (ПР. Ед. хр. 65. № 38). Получив curriculum vitae, П. отвечал: «Благодарю за сведения о Розанове и его curriculum vitae, весьма характерный <...> Но его характер мне представляется симпатичным и мне хотелось бы пристроить его к себе» (ПР. Ед. хр. 66. № 16). 23 сентября 1892 Рачинский в очередной раз обнадежил Р., написав, что П. «имеет Вас в виду на место *чиновника* по особым поручениям, которое откроется в течение наступающей зимы» (РГБ. Ф. 249. М. 4205. Ед. хр. 1). Однако ничего не произошло у П. и в январе 1893: «До сих пор недоумевая, где бы найти ему у себя соответственное место» (ПР. Ед. хр. 68. № 13). При этом П. положительно отзывался о содержании статьи «*Сумерки просвещения*», хотя и критиковал *стиль* Р.: «Умно, глубоко, вкусно. Но — увь! Какая жалость: слог невозможный» (там же). Так и не дождавшись приглашения от П., в марте 1893 Р. переехал в *Государственный контроль* по протекции Т.И. Филиппова. Рачинскому Р. писал: «Служба же при Константине Петровиче при *сознании*, что я ему, в сущности, не нужен и он меня взял лишь из уважения к Вам как к своему личному другу, отравляла бы мне каждый *день* и каждую *ночь*» (ПР. Ед. хр. 69. № 27). П. откликнулся на переезд Р. в Петербург: «Итак, Розанов перешел Рубикон. Каково-то он устроится. Признаюсь Вам, что по строю *мысли* его и по манере писать, я недоумевал, пригоден ли он оказался бы для нашего дела. Кого-то он встретит здесь и с кем сойдется? При случае постараюсь пособить ему» (ПР. Ед. хр. 69. № 63). 17 октября 1893 П. сообщал Рачинскому о попытке Т.И. Филиппова навязать Р. в соредакторы «*Русского Обозрения*»: «Теперь Тертый навязывает *Александрову* в помощники Розанова, которого у себя устроил скудно на 1200 р. жалованья. Но Розанов совсем не годен для практич<еского> дела. Не знаю, куда он пристроится: ему всего лучше бы пристроиться где-нибудь в Публ<ичной> Библиотеке — и писать» (ПР. Ед. хр. 72.

№ 70). 23 ноября 1893 П. писал: «Что кас<ается> до Ал<ександро>ва, то его понуждают подать просьбу о назначении Роз<анова> соредактором — чего Ал<ександров> не хочет, но рассчитывает, что Розанова не утвердят. Я советовал ему не ставить себя в фальшивое положение и объяснить прямо, что Розанова не желает. Розанов же, по словам его, попал здесь в особливую компанию, и теперь уже говорит речи, совсем не похожие на то, что говорил прежде» (ПР. Ед. хр. 73. № 43). 2 июня 1895 состоялась встреча Р. и П. Пытаясь спасти от запрета свою статью «*О подразумеваемом смысле нашей монархии*», Р. попросил аудиенции у П. Статья Р. была изъята из уже отпечатанного журнала (РВ. 1895. № 7) и в дальнейшем, несмотря на ходатайство у П., в журнале так и не появилась. 2 июня 1895 П. сообщил Рачинскому свои впечатления от встречи с Р., приложив официальное «*Прошение*» и *письмо* Р., разъясняющее причину ходатайства. В письме Р. просил П. «сделать возможное, чтобы вывести меня и даже весь журнал «*Русский Вестник*» из тягостного положения, в какое мы поставлены г. Цензором. Я убежден — от простого же сопоставления моей статьи с тем, что уже раньше высказывалось по этому же предмету в нашей *литературе* как в форме образцов, так и определенных мыслей — славянофилами» (ПР. Ед. хр. 81. № 45а). 3 июня 1895 Р. изложил Рачинскому свои впечатления от визита к П.: «Целый час этот человек сидел и говорил мне, не говоря об *уме* — с великою простотою, откровенностью, и я слушал его не только с удивлением, но и с благодарностью такою, какую мог бы почувствовать только к старому профессору, раскрывающему наедине суть своей *науки* понятливому *ученику*. Конечно — это великий государственный ум, точнее — его слушание меня хоть несколько примирило с нашей *бюрократией*, кою, не уважая и либеральной земщины, я ненавижу глубоко, страстно, затаенно...» (ПР. Ед. хр. 81. № 50). П., однако, описал ту же встречу 2 июня 1895 совсем в ином *тоне*: «Сейчас был у меня Розанов, послав вперед себя прилагаемые писания и книжку «*Русского Вестника*» Я вышел к нему и беседовал с ним. Боже мой! Жалость подумать, что у нас происходит с людьми, способными мыслить, но развивающимися в углу и в отчуждении от людей!! Я ужаснулся, взглянув на него. Изможденный, *кожа* да кости, дикий, блуждающий взгляд! Но по мере беседы он успокаивался. Статья его — невозможная. Если б Вы знали, что в ней написано! Какой беспорядочный бред блуждающего анализа, прыгающего негодования! Какое извращение самой идеи, которую он стремится защитить и возвысить. Какое отсутствие всякого представления о людях, которые должны читать написанное им!» (ПР. Ед. хр. 81. № 45). 21 июля 1895 П. писал Рачинскому: «Жаль бедного Розанова — конечно, ему очень неприятно у Тертия, и голодно. Недавно я говорил об нем с Тertiем. Т. убежден, что облагодетельствовал его и что он должен быть совершенно доволен, получая из Контроля 1500 р., да столько же, вероятно, от литературных работ. Хорошо бы пристроить его к Публ. Библиотеке — поговорю, когда будет пора, с Бычковым. А ко мне на место чин. ос. пор. он совсем не годится, да и вакансий не предвидится» (ПР. Ед. хр. 82. № 46). В январе 1896, узнав о вакантной должности *цензора*, для занятия которой нужна реко-

мендация, Р. вновь умоляет Рачинского: «Напишите без промедления Победоносцеву, что простой факт христианского милосердия лежит перед ним; если он напишет Горемыкину письмо с самой легкой просьбою на открывающуюся вакансию цензора с окладом 2500 р. оп-ределить: Окончившего в 1882 году в *Московском университете*, — по историко-филологическому факультету, кандидата Вас. Вас. Розанова <...> человека трезвого,



К.П. Победоносцев

исполнительного, трудолюбивого — то Горемыкин <...> — маленькую записочку на розовой бумаге Феоктистову, — и для литературы будет спасен писатель, для жизни — человек, для малюток — отец» (ПР. Ед. хр. 85. № 20). Р. снова встретился с П., и его впечатление от встречи с обер-прокурором опять восторженное: «Только что от Победоносцева — велел в другой раз придти, и боюсь, что “в другой раз” разочарует — пишу пока. Еще раз я наблюдал его, когда он меня не видел — даже не знал, что я пришел, наблюдал в толпе разных просителей и деловых людей — и тоже свежее впечатление легло мне на душу. Мне даже нравится крик его, т.е., собственно, *голос* в разговоре, но какой-то протяжный, бабий; и как он бегаёт, или ходит, но никогда не “шестьует” <...> Не знаю, обманываюсь ли я, но взгляд у меня, кажется, изощрен всюю естественною подозрительностью, раздражительностью против людей, житейскими огорчениями; взгляд мизантропа и “инквизитора” (меня так в литературе называют) — и этот недоверчивый взгляд не открывает в нем темного пятна» (ПР. Ед. хр. 85. № 63). Р. с ходатайством «не успел», но Рачинскому П. раскрыл подлинную причину неудачи просителя: «Едва

ли Роз. годен к цензорству — в нынешнее *время*? Он сам измучится — и измучит других... Всего лучше ему пристроиться к Публ. Б-ке» (ПР. Ед. хр. 85. № 42). В 1896–1897 П. несколько раз хвалил статьи Р. о *школе*, рекомендуя «упражняться» в том же духе, не уходя «в дебри *философии*» (ПР. Ед. хр. 95. № 35). Осенью 1897, в ответ на просьбу Рачинского пристроить Р. в Русский музей *Александра III*, набравший накануне открытия штатных сотрудников, П. писал 2 октября 1897: «О Розанове. В Музее Ал. III распоряжается Вел. Князь, коего не знаю. И какой будет организация, тоже не знаю. Пожалуй, что всюду потребуется знание иностранных *языков*. Художественной частью заведывает М.М. Боткин. Когда я увижу его, поговорю с ним» (ПР. Ед. хр. 95. № 40). К концу 1897, когда Р. начал выходить в *печать* с *темой пола*, отношение к нему П., как и Рачинского, заметно меняется. О рецензии Р. на его брошюру «Новая школа» (НВип. 1898. 9 дек.) П. писал: «Только вчера, в прибавлении к “*Новому Времени*” появился отзыв записного рецензента В. Розанова — глупейшая статья и можно ли написать глупее? Либо он не читал, либо не понял. Эта статейка верно попадет на глаза Вам. Несчастный человек как будто совсем помутился. Теперь пускает статьи о *религии брака*, из коих одну я послал Вам. По поводу нашей книжки он даже не расчухал, что это не мое сочинение — и ему кажется, что я больше ничего как смеюсь над школой!» (ПР. Ед. хр. 103. № 68). Р., однако, продолжал сохранять уважение к П. и даже пытался распространять свое положительное о нем мнение: «Сколько мне приходится отстаивать К.П. П.<обедоносце>ва: удивительно. Воплощенный лжец Третий ухитрился сделать себе ореол “просвещенного и либерального сановника”, и “уж несказанной доброты” — а Поб<едоносцев> — угрюмого, желчного, сухого и формального чиновника. Когда я о нем рассказывал то небольшое, что видел — просто ушам не верят, и точно слушают галлюцинацию <...> По уму, собственно, он выше, я думаю, выраженного, но недоверие его к людям и вообще отсутствие молодой мощи и акции отняло у него ½ *добродетелей*. Он все “крепит” и есть “крепительное *России*”, когда по отношению ко многому ее нужно “прочистить” <...> Но мне он как-то мил — резкостью слова, быстротой *мысли*, всею страстностью сухой и высокой и гибкой фигуры <...> Вы знаете, по циклу проб, мне теперь родных, я совершенно вне цикла его забот и симпатий: но он мне дорог как *лицо*, как моральный характер. Читал на днях его “*Мессалину*” (“М<осковский> сб<орник>”): ну, что за восторг» (ПР. Ед. хр. 108. № 39). После появления хвалебной статьи *С.Ф. Шаранова* о Р. в «*Русском Труде*» (РТ. 1899. № 42) П. сообщал Рачинскому 17 октября 1899: «Бесшабашный Шаранов <...> теперь в своем журнале прославляет он Розанова как великого мыслителя и писателя — сегодня поместил *портрет* Розанова и целую автобиографию! А Розанов точно помешался на известном предмете» (ПР. Ед. хр. 110. № 67). 16 декабря 1899 П. писал: «Розанов, я думаю, близок к сумасшествию. Теперь он ходит в Публичную Библиотеку исследовать древние Сирийские и Египетские культы *любоэрастия*» (ПР. Ед. хр. 111. № 64). 31 декабря 1899, осуждая «безумие нынешних вкусов» в связи с *творчеством Ибсена*, П. добавляет: «Мудрено ли, в это безумное время, что Розанов находит место печатать свою дребе-

день, и людей, которые ею восхищаются» (ПР. Ед. хр. 111. № 93). Рецензию на книгу П. «Воспитание характера в школе» (НВ. 1900. 31 мая) Р. начал с характеристики автора: «Автор книжки — великий любитель теорий» (ОЦС, 138). Он подчеркнул также скептический склад ума П.: «Как у людей, почти обремененных умом, у автора и переводчика есть скептицизм к самому уму, недоверие к его творческим силам, сознание роли его, как только умного воспитателя около гениального ребенка <...> Все труды Победоносцева и суть принципы и принципы, ткань “умной сетки”, из которой гениальный ребенок не вывалился бы» (ОЦС, 139). Летом 1901 П. упоминал в письмах о «нейстовых словоизвержениях Розанова» (ПР. Ед. хр. 121. № 31), имея в виду его выступления в печати. В ноябре 1901 Р. встретился с П. в составе группы инициаторов создания *Религиозно-филологических собраний*. Вскоре после встречи появилась рецензия Р. на 5-е издание «Московского сборника» П. под названием «Скептический ум» (НВ. 1901. 23 нояб.). Р. признавал безусловными литературные достоинства сочинений П.: «За четверть века нашей литературы это одна из самых прелестных, до известной степени обворожительных по изложению, по стилю, по темам и построению книг» (ОЦС, 138), однако «ум часто чувствует крайнюю легкость опрокинуть этот симпатичный полет благородного скорбного мыслителя» (ОЦС, 135). Р. оспаривает доводы П. против демократии с помощью примеров из русской истории: «Он, напр., называет “великою ложью нашего времени” выборные, голосовательные и т.п. “говорильные” принципы западной цивилизованной жизни. Пусть. Мы не за них. Но достаточно указать автору на параллели эпохи Аракчеева и Клейнмихеля с временем Питта и Каннинга, чтобы заставить его или умолкнуть, или сознаться, что есть принципы гораздо худшие “говорильных”» (там же). Р. отмечает горький пессимизм автора: «Взор автора или “составителя” “Сборника” весь обращен к прошлому. Прошлое есть его поэзия, его утешение. В будущем он ничего не видит, для будущего он не имеет надежд <...> Автор как бы рассматривает все худое в увеличительное стекло, а все доброе в отражении вогнутого уменьшающегося зеркала» (ОЦС, 136). Р. находит у П. «грех уныния», не совместимый, по его мнению, с верой: «“Московский сборник” — грешная книга, вот наше résumé. Она полна скептицизма и проистекающей из него печали <...> Без психологического момента веры, без способности уповать, надеяться, без некоторой святой наивности — невозможна вообще религия» (ОЦС, 136–137). Чрезвычайно скептически, согласно Р., смотрит П. на человека: «Человек представляется ему несчастным червяком, который ползает в великом мавзолее истории» (там же). Р. отмечает, что «книга вообще не имеет в себе подробностей, собственных имен, “это ряд знойных схем, почти без всякого фактического материала”» (ОЦС, 138). Отрицательная рецензия на «Московский сборник» не помешала Р. после встречи по поводу РФС обратиться к П. с письмом, в котором он просил П. подарить все им «написанное (изданное) с неперменной подписью “В.В. Розанову — К.П. Победоносцев”». Р. сообщил и о рецензии: «Я написал на “Сборник” статью — порицательную. Я порицаю Вас за уныние. Сердцем Вы поймете, что чем дороже человек, тем больше его уныние.

Уныние — грех. А о чем Вы не унываете? Тон книги безнадежный. Но разве так возможно жить? Так жить — прямо грех. И книгу Вашу я называю грехом уныния». Унынию Р. противопоставил семейно-бытовой идеал: «Много есть хороших людей: но их “хорошее” открывается в простой будничной обстановке, в частной жизни, коею Вы, поглощенные большими делами, едва ли могли много жить. Тут — поэзия, тут — мудрость. Тут “бессознательное” и залого бессмертия души. Я беззавестно люблю частную жизнь, и государственную деятельность считал бы каторгой». Р. подписал письмо: «Остаюсь горячо Вас любящий, хотя в мыслях и крайне разногласящий В. Розанов» (ПР. Ед. хр. 123. № 33а). П. сообщил Рачинскому 22 ноября 1901: «На днях объявился ко мне *Скворцов* с целой группой писателей, философов и пр. <...> в том числе и Вам известный Вас. Розанов, ищущий просвещения, *Мережковский*, изв<естный> автор-философ, *Тернавцев*, *Новосёлов* и др. Я принял их на 1½ часа, а вечером провели они часа полтора у Митрополита, коим были очарованы, не ожидая найти в Архиепископе разумного человека. Я советовал им начинать свое дело самым тихим и скромным образом <...> чураясь всякой журналистики. Курьезный человек, возбужденный и не совсем нормальный этот Розанов. Через дес<олько> дней после того получаю от него письмо, которое при сем прилагаю. Я исполнил его желание и послал ему вчера набор своих изданий. Митрополит между пр. беседовал с ним по поводу брачных его теорий» (ПР. Ед. хр. 123. № 33). В период *Первой русской революции* «повелевший» Р. часто критически отзывался о П. Во время январских событий 1905 Р. не согласился с упреками кн. *Мещерского* митр. *Антонию (Вадковскому)* в том, что тот «не появился 9 января среди рабочих на площади Зимнего дворца, чтобы успокоить их, сказать им вразумительное слово». По мнению Р., нарекания эти несправедливы, так как «пастырское слово для России» «находится в пяти изданиях “Московского сборника”», а «бесчисленные духовные писатели в бесчисленных духовных журналах цитируют эту книжку паче Златоуста и уж понятно, в общественных и политических областях золотые слова этой книги для всего духовного сословия суть “яко писание” и даже “яко Писание”» (КНУ, 33–34). Свой скептицизм относительно перспективы скорого созыва Собора Р. связывал с деятельностью П.: «Кон. Пет. знал, как “тянуть дело” и “откладывать в долгий ящик”» (РГО, 16). Р. писал о скрывании инициативы при синодальном характере управления *Церковью*: «Совершенно непостижимым образом синодальные обер-прокуроры, по крайней мере часть которых, как, напр., К.П. Победоносцев, отличались высокой религиозностью и глубокой преданностью церкви, совершенно изъяли у церкви право самопополнения, изъяли у нее право выдвигать тех или иных сильных, ярких и даровитых лиц на служение себе и взяли в свои руки, в свое личное усмотрение назначение всех епископов, архиепископов и митрополитов <...> Каким образом человек такого ума, как К.П. Победоносцев не видел, что через это вся наша монашеская иерархия превращалась из служителей церкви в личных прислужников его, Победоносцева, почти в личный штат его маленького “духовного двора”, нельзя понять» (РГО, 202–203). Р. одобрял идею парламентаризма, отвергая консервативные тезисы

статьи П. «Великая *ложь* нашего времени» в «Московском сборнике». «Победоносцев предостерегал, что парламентаризм рождает только нравственное зло, растлевает нацию <...> Но взгляните пристальнее, наши друзья и недруги, на конституционную Англию, и вы увидите, что действуете и чувствуете вовсе не по-европейски, а скорее по-молдавски. Конституция есть *добро* и ведет к добру: в существовании нации это есть *культура* выращивания *чувств* взаимного уважения и доверия» (РГО, 326). «Недалекость политических горизонтов *Каткова*, гр. *Дм. Толстого* и Победоносцева ярко определилась в той слепой ненависти, с какой они отнеслись к мысли о конституции. Не будь тогда советов этих мудрецов, Россия не переживала бы теперешних ужасов, несчастий, настроений и безобразий. Победоносцев, умирая, «болел за Россию», по словам письма его вдовы, но Россия и не была бы так больна, если бы четверть века назад она не «переболела» Победоносцева» (РГО, 378). В фелетоне «Гамлет в роли администратора» (НВ. 1906. 17 февр.), приуроченном к отставке П., Р. подчеркнул в сатирической манере непригодность П. как рефлектирующего, меланхолического «философа» гамлетовского типа к активной деятельности: «Он со своими «быть или не быть» и монологами à la «бедный Йорик» вечно ложился «поперек» всякого движения, имевшего намерением убрать самый очевидный навоз из-под *носа*» (КНУ, 71). На кончину П. писатель откликнулся статьями «К.П. Победоносцев» (РС. 13, 18 и 27 марта) и «Из воспоминаний и мыслей о К.П. Победоносцеве» (НВ. 1907. 26 марта). «Умерло замечательное, может быть самое замечательное, лицо русской истории XIX века <...> за долгий период времени, за три последних царствования, никакая другая «идейная» фигура, или официально-«идейная», не была так ярко видна, так выпукло освещена» (ЛВИ, 516). Позднее Р. отмечал: «Победоносцев был образованный и утонченный человек» (НФП, 162). *Смерть* П. знаменовала конец целой эпохи: «Вместе с ним умерла целая система государственная, общественная, даже литературная», сошел в *могилу* «целый исторический *стиль* законченной и продолжительной эпохи» (ЛИ, 516). ««Не надо», «остановить», «затруднить» — в этом состояла вся его система» (ЛИ, 517). Однако «лицо» П. представляется Р. симпатичнее его «дел»: «Для меня и до сих пор составляет загадку, где была *истина* в Победоносцеве: в лице ли его или в делах» (ЛВИ, 519). Р. дает *портрет* П. по впечатлениям своей первой встречи с П., подчеркивая женственность его внешности: «Высокая, очень высокая фигура оканчивалась маленькой головой женского, красивого сложения, почти без растительности на подбородке и *губах* <...> Лицо вошедшего нового человека мне, впрочем, сразу понравилось как именно женское, женственное лицо, без бороды и усов <...> Приятна была еще его вера в свой ум, достоинство: он был глубоко спокоен, глубоко ничего ни у кого не искал, никто ему не был нужен для себя <...> «Какой прекрасный человек», — подумал я» (ЛВИ, 521). Яркая личность П. оттеняется сопоставлением с увиденным в тот же день *В.К. Саблером* — «луной, вечно сопровождающей *солнце*»: «Он был весь глубоко обыкновенен, как Победоносцев — глубоко необыкновенен <...> Насколько Победоносцев был ярко государственный человек, настолько же Саблер был ярко чиновником. Оба

как бы родились только для этого. Один родился для «соображений», для «плана», другой — для деловой суеты, хлопот, беганья, *мелочей*. Но по этой причине они в высшей степени дополняли друг друга» (ЛВИ, 522). Рассказывая о второй встрече с П., Р. пишет: «Вошел Победоносцев, светясь умом и спокойствием, какое я всегда любил в нем, как всё приятное и красивое» (ЛВИ, 525). Недоверие к людям, считает Р., заставляло П. полагаться только на самого себя: «Мне кажется, в одном отношении он был человек старой, даже застарелой и какой-то неумной школы. Он соображал, что «делать», это — значило именно самому делать <...> Все это была недалекая система. Будучи страшно умен индивидуально, он был неумен воспитательно» (ЛВИ, 527–528). На примерах многочисленных церковных изданий Р. показывает, как все изменилось в «любимой им области церкви, едва он сам отошел от нее, и с ним отошли те бесчисленные запоры, задвижки и заслоны, которыми он всю ее перегородил и заставил» (ЛВИ, 528). Р. отмечает, что не все зависело только от П., но и шло от самой его должности: «Должность обер-прокурора Синода насколько отрицательна в самой себе, что, чем меньше стоящий на этой должности человек, тем лучше» (там же). В заключение Р. подчеркивает внешнюю деталь как выражение сути личности П.: «При сухопарности всей фигуры, «всего Победоносцева», пальцы у него были толстые, мясистые, налитые *кровью*. Они были так непропорционально велики, как будто из кисти руки, из ладони, выделялись пять детских красных ручек» (ЛВИ, 529). Р. считает, что эту особенность П. подметил «гениальный *И.Е. Репин*», изобразив на картине «Государственный Совет» его фигуру тусклой и не бросающейся в глаза, но выделив «эти ужасные две кисти рук его, точно второе его лицо, столь же характерное, как и женственное белое, умное лицо! — Хватай! Хватайте все! Иначе все разбежится и, разбежавшись, уберется, разобьется!» (ЛВИ, 530). В нововременской статье Р. отметил сходство своих взглядов в консервативный период с идеями П.: «Многие годы, приблизительно с 1882 г. до 1898 г., взгляды мои (которые в основе всегда суть симпатия) на церковь, *государство*, *цивилизацию*, историю были приблизительно те, какие приведены в «Моск. сборн.», но только они выражались литературно и всячески менее закругленно, более резко, угловато, менее художественно» (ОНД, 91). Позже отношение Р. к П. как государственному человеку и личности раздвоилось: «Хотя в этот второй период я уже смотрел на дела его через черное стекло, но лично сам к нему как к личности сохранял все прежнее отношение, похожее на привязанность. Все мне в делах его казалось смешным, ненужным; когда разгорелась у нас *революция* или что-то похожее на революцию, я не мог удержаться, чтобы не написать ему краткого указания, что происхождением своим никому эта революция так не обязана, как ему и его *политике* в царствование Александра III. Но это — философия. Кроме философии, есть поэзия, и вот этой второй частью своего существа я до конца его жизни не мог не восхищаться черным Дон-Кихотом, таким грустным, таким беспомощным, таким благородным и бескорыстным, как и знаменитый идальго Ла-Манча» (ОНД, 92). Р. недоумевает: «Каким образом человек такого замечательного ума и образования, который поровну раз-

делил свое сердце и отдал его без остатка, без скупости высочайшим интересам религии, поэзии, философии и общественности <...> на деле был чем-то средним между герцогом Альбою и тем придворным, которого заколол Гамлет <...> Так сознавать нужду движения и так все остановить, так быть просвещенным, и так теснить, вообще не любить и не уважать просвещения; так сознавать все дурным в его сущем положении, и особенно дурным в положении, в состоянии церкви и государственности, и вместе неумоимо противиться всякой перемене здесь, охранять это дурное <...> Хочется бросить разгадку в виде броского афоризма: да, Победоносцев был вовсе не государственный человек, не имел ни капли нужного государственному человеку» (ОНД, 93). Окончательный вывод Р. суров: «Гамлет по устройению способностей и Дон-Кихот по историческим задачам, он на деле, фактически, был червом того *растения*, к которому любовно привязался; точил и точил, ел и ел сердцевину церкви и государства, все хваля сладость, полезность и живительность съедаемого» (ОНД, 94). В статье «Об учебном комитете духовного ведомства» (НВ. 1907. 14, 16, 20 окт.) Р. утверждал, что причиной бюрократизации учебного комитета, отвечавшего за надзор за работой духовных семинарий, стало властолюбие П.: «Именно с этого времени, когда стал обер-прокурором К.П. Победоносцев, такой, казалось бы, друг и радатель религии и *православия*, характер деятельности учебного комитета совершенно изменился и извратился. Вытекло это из необъятного властолюбия этого религиозного и православного человека, из властолюбия, которое заглушало в нем самую веру, которое не мирилось с чьею-нибудь властью, кроме своей, которое <...> даже не допускало, чтобы еще где-нибудь были умные люди, кроме единственного Победоносцева <...> Живое дело резко приостановилось» (ОНД, 244–245). «А что же К.П. Победоносцев? Писал изящные страницы “Московского сборника”, грустил, вздыхал; особенно вздыхал о том, что “людей нет”, что он все “один-единственный”, и под конец жизни, на смертном одре, обругал семинарию “*кабаком*”» (ОНД, 250). На основании опубликованных в 1907 нескольких «деловых» писем П., касающихся положения выехавших в Канаду духовоборов, Р. написал цикл статей «К.П. Победоносцев в его переписке». «Духоборческие скитания и К.П. Победоносцев» и «Автопортрет К.П. Победоносцева» (РС. 1907. 12, 13 и 19 дек.). На просьбу ходатая за предводителей духовоборов, сосланных в Сибирь, П. отвечал: «К несчастью, утвердилось всюду фантастическое представление о том, что я являюсь каким-то первым по фараоне лицом в нашем *правительстве* и сделали меня козлом отпущения за все, чем те или другие недовольны в России и на что те или другие негодуют. Так, взвалили на меня и жидов, и печать, и Финляндию, и вот еще духовоборов, — дела, в которых я не принимал никакой участия» (ОНД, 257). Р., однако, опровергает уверения П. про свое «смирное лежание *овцы*» и невмешательство в государственные дела, на примерах выдвижения именно П. на видные посты *М.П. Соловьёва*, *В.М. Скворцова*, *В.А. Грингмута*: «Он своим тусклым глазом высматривал поэтому человека, который был бы тех же мыслей, как он, того же одушевления, того же направления, но... не очень умен и, всего лучше, наивен <...> Этих людей с частным

одушевлением, как у Победоносцева, — он вдруг ставил на “ответственное” место, крайне ответственное, крайне властительное <...> Тут личный первоначальный порыв “восшедшей звезды” получал “воспомоществование” как в естественном чувстве личной благодарности к Победоносцеву, так и в частных, келейных инспирациях его...» (ОНД, 263). Р. заключает: «Так, набирая со всех сторон людей, “которых хотя бы и не приходилось уважать”, набирая их из явно глупых людей, Победоносцев и несколько подобных ему фанатиков-затворников влекли корабль России... к мелям, бурям и подводным скалам маньчжурской эпопеи и *японской войны*» (ОНД, 278). Р. объясняет, почему П. «в течение трех царствований сумел быть наверху положения и оказывать действительно беспрецедентное влияние на дела»: «Все (его товарищи по управлению Россиею) были хвастливы и преувеличивали свое значение; он был скромнее и преуменьшал свое значение» (ОНД, 263). В статье «Митрополит Антоний в современной смуте» (РС. 1908. 10 и 13 февр.) Р. еще раз утверждал, что хотя сам П. «был чрезвычайно талантлив, умен и внутренне свободен», «эпоха Победоносцева заключилась поразительным упадком у нас духовно-иерархических сил, духовно-иерархических талантов» (ВНС, 44). Р. объясняет это тем, что «при Константине Петровиче, вообще, никто не шел “вперед него”, кроме Государя, которому он служил», и «эта привычка “следовать вслед” вырабатывает уже волей-неволей известную психику, постоянную робость» (ВНС, 45). В статье «К открытию памятника государю Александру III» (НВ. 1909. 23 мая) Р., относя П. вместе с Катковым к самым influentialным сановникам царствования Александра III, упрекает их в том, что через 13 лет «обнаружилось, до чего слабы и неумелы, до чего в высшем значении слова даже не были патриотичны люди формы и мундира» (СХ, 310). В статье «М.П. Соловьёв и К.П. Победоносцев о бюрократии» Р., рассуждая о «самодержавии чиновника», вновь обращается к впечатлениям личной встрече с П. в 1895, заявляет, что «не могло быть и вопроса о полной искренности, правдивости и глубокой простоте и естественности этого человека», но затем пишет: «Потом только, через много лет, мне стало приходиться в ум: “Кто так хорошо говорит, не умеет хорошо делать. Это — не работник, не государственный человек, а был и остается профессором. Полная противоположность *Витте*”» (*Новое Слово*. 1910. № 1. С. 21; ЗРП, 14). Р. развивает это сопоставление в статье «Витте и Победоносцев» (РС. 1910. 16 июня). Если Витте делает «всё новое», то П. только охраняет, это кит, «лежащий на одном боку» (ЗРП, 207). В статье «*Толстой* в литературе» (НВ. 1910. 9 нояб.) Р. подчеркивал, что вовсе не П. был инициатором отлучения писателя от Церкви: в возбуждении отлучения «Победоносцев не играл никакой роли, не имел никакой инициативы» (ОПП, 469). В «*Уединенном*» Р. писал: «Как мне нравится Победоносцев, который на слова: “Это вызовет дурные толки в *обществе*” — остановился и — не плюнул, а как-то выпустил слюну на пол, растер, и, ничего не сказав, пошел дальше. (Рассказ, негодующий, — о нем свящ. *Петрова*)» (У, 29). Говоря «о доброте нашего *духовенства*», Р. упоминает П. среди тех, кто отвергал его идеи, «вражду с ними в печати и устно», но все же «не только добро», но и «любяще» отнеслись к нему (У, 79). В 1913, комментируя уп-

рек критика *А.А. Яблоновского*, написавшего, что «Р-в крестник Победоносцева», он пишет: «Да уж никак не “крестник Яблоновского”. А очень хотелось бы Яблоновскому иметь крестником Розанова. “Розанов либерал, как и я” Просто, как апельсин скушал бы» (СХР, 92). В 1914 в «*Мимолетном*», упомянув предупреждение П. в «Московском сборнике» об опасности проникновения кабака в прессу, Р., видя, как это воплощается в реальность, выражает свою солидарность с П.: «Не читать газеты, а идти в церковь. Мечта Победоносцева и мечта Розанова» (КНУ, 488). Опровергая утверждение о «закате» *славянофильства*, Р. приводит ряд имен и затем пишет: «Наконец, невозможно не отнести сюда чистого душою и прекрасного автора “Московского сборника”, знаменитого законооведа и государственного человека, Победоносцева» (КНУ, 494–495). Р. упоминает П. среди тех, кто опирается на славянофильские идеи в своей «идеальнейшей борьбе», и в статье 1910 о *Хомякове* (ОПП, 466). По мнению Р., в создании отрицательного образа П. сыграла пропаганда: «Рабочие массы стали натравливаться на Победоносцева, который жил и жалованья получал меньше Герценштейна и управлял семинарскими, полами и архиереями. Где же рабочий вопрос? Это обер-прокурор Синода, а не эксплуататор несчастных пролетариев <...> И вот, ближайшая задача момента состоит в том, чтобы Россия однажды и навсегда освободилась от всяких господ Победоносцевых» (КНУ, 531). В 1914 Р. писал о важнейшей роли П. в разрешении проводить РФС: «Победоносцев сказал *Плеве*, что он ручается, — и замечательное общество стало действовать, без устава, без официального разрешения, без всякой формы <...> Необыкновенное его разрешение совершенно свидетельствует о прекрасной доверчивой душе Победоносцева, — и о духе терпимости вообще нашей Церкви» (КНУ, 497). «Победоносцев был прекрасный человек; но ничем не выразил, что имел “прекрасный, самородный русский ум” Был настолько обыкновенен, что не растоптал своего профессорства. Перед ним у меня есть вина: я не смел о нем писать дурно после смерти» (У, 72).

В.А. Фатеев

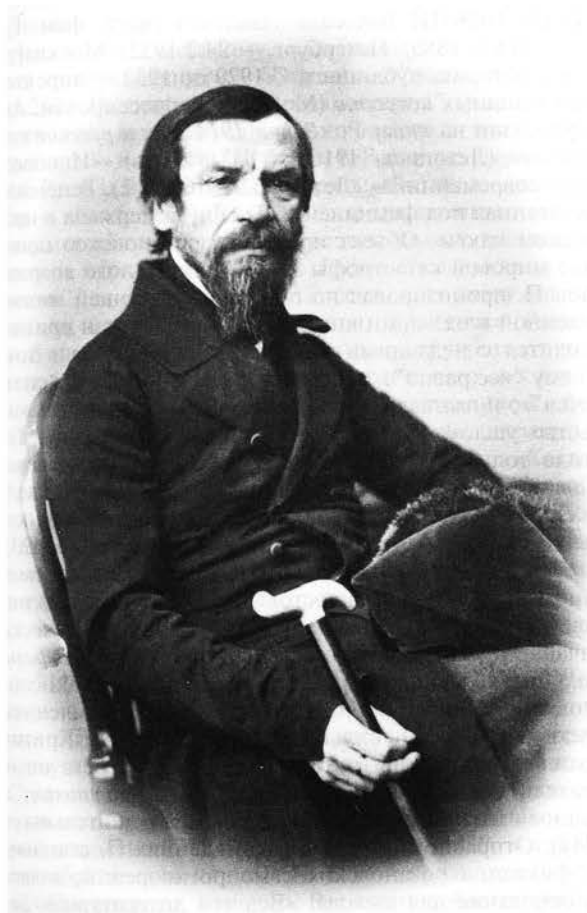
ПОВАРНИН Сергей Иннокентьевич (1870–1952) — ученик Р. в Брянской прогимназии, сотрудник журнала «*Жизнь*», профессор *философии* Высших женских курсов (1915–1916). К *письмам* П. (б.д.; ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 35) к Р. приложена розановская *характеристика*: «Поварнин Сергей, буддист, через Гималаи пешком перешел. Теперь — обыкновенный философ» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 81).

А.В. Ломоносов

ПОГОДИН Михаил Петрович [11(23).11.1800, Москва — 8(20).12.1875, там же] — историк, писатель. Р. высоко оценивал многотомный *труд Н.П. Барсукова* «*Жизнь и труды* М. Погодина», основанный на *архивах* историка. В статье «Культурная хроника русского общества и литературы за 19 век» (РВ. 1895. № 10) Р. подчеркивает обобщающий характер труда Барсукова, в центре которого личность П.: «Он предполагал написать жизнь одного человека, но незаметно для самого автора около фигуры этого человека выросло целое общество, исто-

рически развивающееся по мере того, как центральное *лицо* рассказа переходило из возраста в возраст, училось, преподавало, странствовало, покупало и продавало редкости своего Древлехранилища, в мужестве произносило одни речи и в *старости* — другие» (РФК, 72). Барсуков описывает своего героя «не только в заботах и учебных трудах», но и «в полубованных волнениях» (РФК, 73), в практических и возвышенных *мечтах*, в религиозно-патриотических размышлениях, «обнажающих *душу* Погодина» (РФК, 75). Р. не просто пересказывает содержание труда Барсукова, но воссоздает *характеристику* «нравственного облика» П. Отличительной особенностью историка Р. считает «совершенное отсутствие классичности» (там же). «Он весь был в факте, в жизни; обобщение не закрывало от него предметов, минут, людей, их действий; и так же точно его собственный характер, порывы, поступки, интересы, занятия не поддаются вовсе подобному обобщению. От этого — отсутствие постоянства и единства в трудах его. Как ребенок, готовый бы заняться годы приводящего его в восторг игрушкой, однако вырывает ее через минуту из рук, потому что видит уже другую, лучшую, — так Погодин, несмотря на специфическое призвание свое “к *Истории*” (историю он всегда писал с большого “И”), не мог не бросить ее всякий раз, когда шум событий, новое явление в литературе или затруднение в *политике* звало его внимание. Можно сказать, он слишком любил жизнь и слишком мало ценил себя, точнее — слишком мало был на себе сосредоточен, чтобы посвятить себя одному монументальному труду» (там же). Р. делает на основании барсуковского труда обобщение: «При этом замечательно — следя на протяжении девяти томов за этим человеком, видя его во всевозможные минуты, во всяких положениях и даже в невозможно распушенных, мы ни разу не замечаем, чтобы он был в отношении какого-нибудь предмета туп <...> он никогда не тщеславен и даже почти не видит себя, а только тысячи предметов, вопросов, на которые разбегается его глаза. От этого он — истинно благороден, несмотря на помыслы “о капитальстве”, ибо сущность неблагородства в человеке есть именно отравленность *мысли* его собой» (РФК, 76). Р. отмечает у П. «отсутствие зависти», которое, по его мнению, есть «истинный аристократизм»: «Около него, в разные поры жизни, стояли истинные *гении* — *Пушкин, Гоголь*; в ранние годы, как некоторых гениев, он издал созерцал *Карамзина* и *Дмитриева* — и никогда мучительное *чувство* Сальери не шевельнулось в душе его» (РФК, 76). Помимо «незатемненности души» завистью Р. выделяет и еще одно качество П. — «удивленность и неугомонную занятость» (РФК, 77), называя его «наивным любителем *мира*» (РФК, 79). Не затушевывает Р. и отрицательных черт характера П.: «Он был часто груб с людьми, даже почти всегда был груб, потому что, чрезвычайно ценя их внутренние дары, как бы не видел вовсе внешней оболочки этих даров и нисколько не регулировал свои отношения к ней (так он очень иногда раздражал *Гоголя*)» (РФК, 79). «Он любил пеструю толпу людей, любил этот шумный базар истории» (РФК, 80). Р. подводит итог: «Тип совершенного душевного здоровья представляет собой этот человек из народа, переводивший, однако, “*Рене Шатобриана* и плакавший над *смертью* Юлии в “*Новой Элоизе*” и нисколько этим всем не заразившийся» (там

же). Р. находит у П. сходство с *Ломоносовым*: «То же смешение научных занятий с художественными порывами; тот же реализм, та же неутомимость; то же желание всему “споспешествовать”; тот же неутомимый энтузиазм к земле Российской; та же совершенная простота, и не подозревавшая даже, что все прекрасное, что у него выходило само собой, можно также и “делать”» (РФК, 80). Среди накопленных Р. в студенчестве фотокарточек



М.П. Погодин

были изображения П. и позитивиста *Д.С. Милля*: «Сравнивал портреты Д.С. Милля с Погодиным. Какое богатство лица у второго и бедность лица у первого. Все-таки *русская литература* как-то несравненно колоритна» (У, 143). Описывая литературную борьбу середины XIX в., Р. неизменно встает на сторону П. и близких к нему писателей консервативно-славянофильской направленности. В характеристике *В.Г. Белинского* Р. ставит авторитетному критику в пример не имевшего столь блестящей репутации П. наряду с *Вяземским* и *Пушкиным* по качеству ума, направленного на созидание: «Ум Белинского? Пылкость — да. *Талант* — да. Но собственно ум, вот этого чекана *Вяземского*, вот этого чекана *Пушкина*, вот этого чекана *Погодина* — людей осматрительных и которые так много построили на Руси? Стран-

но об этом и спрашивать, — конечно, этого “ума” в нем не было» (ОПП, 599). О «восхищенном собою» Белинским Р. писал: «Он никогда не посмотрел на Кремль глазом Погодина, никогда не подумал о наших *Царях* умом Карамзина» (КНУ, 558). Комментируя эпизод из письма Белинского, который отказался читать статью *Т.И. Грановского*, напечатанного в «неприличном месте», т.е. в «Москвитяине», Р. саркастически реагирует на этот поступок Белинского, который, по его мнению, «псленул кислотой в лицо целому лагерю людей, где стояли *Аксаковы*, *Киреевские*, *Хомяков*, Погодин. “Славянофилы! Наши сла-вя-но-фи-лы! Ха-ха-ха...”» (ПЛ, 269–270). В критической статье, посвященной книге о *Ф.И. Тютчеве*, Р. приводит живую погодинскую характеристику появления поэта в светском обществе (ОПП, 630). В связи с забытым трудом *А.М. Бухарева* «Иисус Христос в Своем Слове» Р. вспоминает, что им «в свое время восхищался такой первоклассный русский ученый, как М.П. Погодин» (ВМНН, 233). Р. не раз ссылается на мнение П. как на авторитет и союзника в борьбе с *нигилизмом*: «Погодин верно сказал, что “Недоросль” надо целиком перепечатывать в курсы русской истории XVIII века. Без “Недоросля” она непонятна, некрасочна. *Безымянна*» (У, 359; ср. М, 7; СХР, 224). В статье «Интересное время, интересные книги» (НВ. 1900. 11 июня), опираясь на факты из очередного, 14-го тома сочинения Барсукова «Жизнь и труды М.П. Погодина», Р. сравнивает П., без колебаний направившего *Александру II* после восшествия на престол письмо с поздравлением и напутствием по поводу сбережения «царского времени», которое «дороже всего на свете» (ОЦС, 31), и митрополита *Филарета*, который, будучи «первым умом века», не решаясь послать воцарившемуся Государю даже *икону* ко дню рождения. Р. восхищается П. — тем, как смело «говорит гражданин Царю», и задается вопросом: «Кто он? “Историограф”, как всегда именовал себя, без риторических же украшений — отставной профессор *Московского университета*, журналист, составитель скучнейшей и бесталанной “Истории России до монгольского ига” и, наконец, сын крепостного крестьянина <...> Однако если убрать в сторону “ученую часть” Погодина, то гражданин в нем — прям, велик, и даже политически и административно чрезвычайно пронизителен» (ОЦС, 32). Р. продолжает: «Если мы сравним письма Погодина и Филарета, мы будем поражены необыкновенной душностью, затрудненностью дыхания во втором письме. Прежде всего, кто пишет? Первый ум века <...> О чем пишет? О сущих пустяках по сравнению с темой, какую взял Погодин <...> Погодин около него не только кажется, но и точно есть исполин <...> Смотрим и не видим Филарета. Перед нами протискивается, грубо работая локтями “историограф” Погодин, который весь личность, полная личность» (ОЦС, 33–35). Р. ставил своей целью показать здесь, насколько скован был Филарет церковными традициями, но при этом бросил свет и на особенности характера деятельного П. Разбирая творчество Гоголя, Р. упоминает первоначальную рукопись повести «Шинель», переписанную рукой П., и дает обширную цитату из погодинского текста (ЛВИ, 144–146). Об отношениях Гоголя с близкими ему людьми Р. пишет: «Какая-то вешалка с платьем, а не человек: вот кого или скорей бездушное что-то, что обнимали Пого-

дин, Аксаковы» (ЛВИ, 423). Среди своих обличений Голя Р. вспоминает и эпизод, связанный с П.: «Гоголь написал “другу” Погодину письмо, читая которое тот плакал от оскорбления как мальчик» (ЛВИ, 288). Р. видит в П. союзника в борьбе с радикальным направлением в критике: «“Мальчишество в литературе” — с этим определением согласны решительно все, начиная с Погодина, возражавшего *Писареву* по поводу нападения на Киреевского и славянофилов, до *Страхова*, боровшегося с *Чернышевским*, и *Достоевского*, спорившего с “-бывым” <...> Это впечатление ложится решительно на всех, писавших и размышлявших о 60-х годах» (КНУ, 549). П. олицетворяет для Р. русское начало в культуре, в отличие от литераторов, связанных с радикальным лагерем: «Родным краем” здесь называлась не земля Карамзина, *Жуковского*, *Державина*, Пушкина, не земля Аксаковых и Погодиных» (КНУ, 560). Во время *Первой мировой войны* Р. писал: «Бывают страшные часы истории, — и, увы, их-то мы переживаем, и *Германия*, начиная с нами войну, — конечно, рассчитывала на них. Она знала, что это не час Карамзина, а час *Керенского*, — и не час Погодина, а час *Стасюлевича*» (М, 239). Критик Ю. Беляев в рецензии на «*Итальянские впечатления*» отмечал, что у Р. «неметёный» слог, как говорил Герцен о П. (НВ. 1909. 24 июня). А.М. Ремизов считал П. «родоначальником» Р. по «халатной манере выражаться» (Ремизов А.М. Собрание сочинений. М., 2002. Т. 7. С. 315). Он писал, что «Розанов, по примеру Погодина, копил “короб”, записывая искры взблеснувшей мысли на подвернувшиеся под руку клочки и обрывышки» (Там же. Т. 10. С. 37). Дав в книге «*Мимолетное. 1914 год*» «величавый портрет» историка Карамзина, который «весь создателен», Р. упоминает среди близких по духу творцу «Истории государства Российского» «державных» писателей и П. как одного из последних представителей этого «прекрасного явления»: «Последними его отзвуками, замирающими, являются великолепный в своеобразии Погодин со своим “Древлехранилищем” и (цельной) “Историей России до монгольского ига” и Достоевский с его любовью к царям <...> Державные писатели» (КНУ, 434).

В.А. Фатеев

ПОЗДНЯКОВ Николай Григорьевич (1856–?) — литератор и книгоиздатель, секретарь Комиссии для пособия нуждающимся ученым, литераторам и публицистам при Министерстве народного просвещения, детский писатель и педагог. *Письма* П. (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 25) от 21 октября 1897 — ответ на просьбу Р. о пособии для вдовы Ф.Э. Шперка; от 8 декабря 1905 — с просьбой о рецензии на его книгу «*Любовь торжествует: Из недавнего прошлого*» (СПб., 1905).

А.В. Ломоносов

ПОЛИВАНОВ Петр Сергеевич (1859–1903) — одноклассник Р. по *Нижегородской гимназии*. Провел 20 лет в заключении в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. Его имя встречается во включенных Р. во второй короб «*Опавших листьев*» письмах Кости Кудрявцева, который обвинял его в шалопайстве и (со ссылкой на слова самого П.) венерических болезнях «от неумеренных наслаждений с горничною» (У, 247). Р. по этому

поводу замечает: «Петруша Поливанов — уже в гимназии бредивший *революцией*, — попал впоследствии в Петропавловскую крепость; а выпущенный из нее, почему-то покончил с собой (повесился). Ссылка на Поливанова, конечно, ложна: весь наш класс, очень демократический, и след. серьезный, был “без этих увлечений девицами”, кроме разговоров и шуток. Поливанов, без сомнения, хвастался и врал на себя» (там же).

А.Н.

ПОЛОНСКИЙ Вячеслав Павлович [наст. фам. Гусин; 23.6(5.7).1886, Петербург — 24.2.1932, Москва] — критик, историк, публицист. С 1929 по 1932 — директор Музея изящных искусств (Москва). Репрессирован. Автор рецензии на книгу Р. «*Война 1914 года и русское возрождение*» (Летопись. 1916. № 1) и статьи «Исповедь одного современника» (Летопись. 1916. № 2). Рецензия, напечатанная под фамилией В. Гусин, выдержана в ироническом ключе. Объект иронии — розановское понимание мировой катастрофы как национального возрождения. П. иронизировал по поводу «волнующей темь», заявленной в названии книги. Название, считал критик, расходится с недавними признаниями писателя в том, «что ему “все равно”, “на все наплевать”, что ему “спать хочется”», и заставляет вспомнить Р. эпохи, «когда начальство ушло». Однако «оживления», по мнению П., хватило только на первые несколько страничек; далее читателя «ожидало разочарование». «“Книга” — на деле оказалась сборником маленьких газетных статей», в которых «“Розанова” <...> не видно ни капельки» (с. 423). Долгожданное «возрождение» заключалось «в стремительном марше назад, на восток». *Война* понималась писателем как крах европейской культуры, автоматически означавший для него торжество русского славянофильства. Статья «Исповедь одного современника» написана в иной тональности: ирония соседствует со стремлением увидеть и слабые, и сильные стороны автора. Критик исходил из признания гениальности Р.; для него он — «писатель с выдающимся литературным талантом, с большим пытливым умом, смелым, решительным» (с. 244). Отправной точкой в рассуждениях П. становилась фиксация розановских самопротиворечий, дававших основание для вывода: «Вся его литературная деятельность последних лет есть история паразитической и беспримерной игры святыми понятиями и святыми увлечениями, и нет такой святости, которую, превознося на высоту недоступную, он с карамазовским каким-то сладострастием не повлек бы затем по земле, топча ногами» (с. 242). Воспользовавшись известным розановским образом «пегих» людей, П. относил к этим «несчастно-рожденным» его самого и утверждал, что Р. — «пегий писатель, для которого измена то одному, то другому составляет истину души». Критик подчеркивал, что заслуживает внимания «не самая пегость Розанова, а та его особенность, что он панегирист пегости, что он идеолог пегости и вдохновенный ее проповедник — и голос его не остается гласом вопиющего в пустыне» (с. 244). Опираясь на книги Р. как на «человеческий документ», как на «исповедь», П. пытался разобраться в том, чем является «пегость» Р., как следует относиться к его «этическим безобразиям». П. полемизировал с теми, кто видел в писателе заурядного беспринципного «флю-

гера», и настаивал на том, что «его игра убеждениями, его хождение по всем церквам — чуть ли не символ веры, который он несет миру» (с. 249); за ним — «обыкновенные смертные, средние, срединные, серые русские люди, обыватели, вся обывательская Русь» (с. 250). П. считал Р. выдающимся человеком, смелым, бесстрашным, не побоявшимся, не постеснявшимся из обывательской души «вынести на свет Божий всю постыдную ее скверну, ее боли и страхи, ее дряблость и бедность, ее пресмыкательство перед силой, ее привязанность к “малосольным огурцам”, ко всякой мелочи и мелюзге, ко всему преходящему, местному, маленькому, “своему” — взамен непреходящего, большого, “всечеловеческого»» (с. 250). П. считал, что «“розановщина” — явление хотя и личное, индивидуальное, но вместе с тем массовое, “всехное”» (с. 251). Он видел в Розанов «зеркало» святой Руси и не устал повторять: «Розанов — как и все. Он — все» (с. 255). Книги Р. тем драгоценны, «что в них открывается душа всех этих бесчисленных, миллионных, словно икрою, покрывших Россию “коллегских советников”, от которых стонет Россия, которыми она вечно тяжела, мертвенна, бездеятельна, терпелива». Революция разбудила писателя, заставила содрогнуться «от позорного существования», отказаться от своего «восточного» наследия. Славянофил сделался западником. Финал «революционного романа В.В. Розанова», согласно рассуждениям П., тоже вполне закономерен: «Когда же “непреодолимость препятствий” произвела “всеобщее успокоение нервов”, успокоился и Розанов; как этого следовало ожидать, он проклял свои вчерашние увлечения и вместе со всей “переутомившейся” Русью твердо заявил: “баста!”» (с. 255).

Т.Н. Фоминых

ПОЛОНСКИЙ Яков Петрович [6(18).12.1819, Рязань — 18(30).10.1898, Петербург] — поэт. Р. познакомился с П. Н.Н. Страхов. П. прислал Р. свою юмористическую поэму «Собаки». Р. благодарил его в письме, а Страхову в феврале 1893 писал, что П. — «мой любимый поэт из современных, гораздо более, чем Майков, который холоден» (ЛИ, 292). Еще в конце 1888, когда Страхов обратил внимание Р. на П., он признался Страхову: «За Полонского, конечно, Вас стоит поблагодарить; это самый прекрасный поэт нашего времени. “Кузнечик-музыкант” и “Ночью в колыбель младенца” — лучше этого нет ведь в нашей литературе, есть только равнее» (ЛИ, 188). Много лет спустя Р. снова вспомнил эти стихи П.: «Впервые русские поэты и прозаики, т.е. люди искусственного, ненародного образования, люди богатого личного, “своего” развития, — начали воспевать около человека и животного, стали, рисуя человека, помещать около него и животное. Лучшая в этом отношении вещь — “Кузнечик-музыкант” Полонского; его же (уже старческая) поэма “Собаки” — очень слаба» (ВДЯ, 369). В некрологе «Я.П. Полонский», опубликованном Р. в «Санкт-Петербургских Ведомостях» 22 октября 1898, дана общая характеристика П.: «В личности Полонского, как и в его поэзии, было совершенное отсутствие раздражения, саднящего гнева, длительного негодования — того негодования, которое убивало бы или даже причиняло боль, хотя негодование, гнев — все это, наряду с противоположными чувствами, волновало его как чело-

века и пробегает в его поэзии <...> Есть нечто более ценное и вечное в нем. Он не специальными поэтическим даром, но полною натурою своею и общим складом поэтических способностей есть поэт в древнем смысле, одновременно классическом и всемирном: пение было сущностью его души, и пение — в гармонии с действительностью. В природе есть вообще певческое начало — поет лес, поет майское утро, своеобразно поет хмурым осенний день: вот это-то стихийно-певческое было в высшей степени присуще Полонскому» (ЛВИ, 380–381). А.Н.

ПОЛОТЁБНОВА Анастасия Алексеевна — деятельница народного просвещения, в 1898 организовала «Майский союз» при Обществе покровительства животным. Целями организации служили сближение детей с природой, развитие доброты и сострадания в отношении к ближним. Р. посвятил этой организации заметку «Майские союзы» (НВип. 1905. 26 марта). Мотивы организации были созвучны мечтам самого Р. о «золотом веке» человечества, при котором «около простоты и ясности животных, входя в их милые нравы и своеобразную логику и нравственность, просто человек становится яснее, проще и добрее» (ВДЯ, 330). На этом основании Р. почитал обязательным включение короткой заметки об организации «Майских союзов» в план собственного концептуального сборника статей «Во дворе язычников». После письма П. от 29 апреля 1905, упрекавшей Р. в забвении ее педагогической деятельности (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 33), Р. предоставил место для материала П. о «Майских союзах» на страницах своей книги «Около церковных стен» в главе «О состраданиях к животным».

А.В. Ломоносов

ПОПОВ Иван Васильевич (1867–1938) — редактор журнала «Богословский Вестник» (1903–1906), профессор Московской духовной академии. П. подвергался аресту в 1919, в 1926–1927 отбывал заключение на Соловках, в 1938 был расстрелян в Енисейске. В письмах П. 1905 к Р. (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4215. Ед. хр. 15) обсуждался вопрос о публикации в журнале возражений П.В. Тихомирова, обращенные к Р. См. полемику: Тихомиров П.В. К истолкованию Исх. XX, 14 (Против В.В. Розанова) // БВ. 1904. № 12; Розанов В. Содержание и пространство заповеди: «Не прелюбодействуй»: (По поводу замечаний П.В. Тихомирова) // БВ. 1905. № 3; Тихомиров П.В. Несколько замечаний по поводу предыдущей статьи // БВ. 1905. № 3.

А.В. Ломоносов

ПОПОВ Михаил Степанович — священнослужитель и однокашник духовного цензора Р. архимандрита Александра. Письмо П. 1906 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4212. Ед. хр. 43) сопровождало его книгу «Арсений Мациевич, митрополит Ростовский и Ярославский» (СПб., 1905) с просьбой о ее рецензировании. В этой книге П. архимандрит Александр оставил специальные карандашные пометы для рецензента.

А.В. Ломоносов

ПОПОВ Нил Александрович [28.3(9.4).1883, г. Бежецк, Тверская губ. — 22.12.1891 (3.1.1892), Москва] —

историк, архивист, публицист, профессор *Московского университета*, декан историко-филологического факультета (1873—1880). Зять *С.М. Соловьёва*. Р. слушал лекции П. Сохранилось *письмо* Р.-студента к П. (ОР РГБ. Ф. 239. К. 17. Ед. хр. 37). «Профессора *Ф.И. Буслая*, *Н.С. Тихонравова*, *Н.И. Стороженко*, *В.О. Ключевский*, *В.И. Герье*, и даже *Н.А. Попов*, *Г.А. Иванов* at alii *mnogoe* <и прочие меньшие>, включая до теперешнего министра *просвещения* г. *Шварца*, — все вошли в память незабываемо и стоят в ней положительным или отрицательным знаком» (ВНС, 104), — вспоминал Р. В целом отношение к П. было у Р. насмешливо-снихождительным. «*Н.А. Попова* все называли “трубою” Отличный детина, пудов около 6 весом, чрезмерного роста, ширины в плечах и *голоса*, он читал громогласно “что придется” — то по *истории*, то о славянских отношениях политического и дипломатического характера, то о переписке *Погодина* с *Шафариком* и *Ганкою*» (СМР, 406). Тем не менее Р. пользовался изданиями, подготовленными П. (ВНС, 121), а в 1917 отметил П. среди своих *учителей*: «И вся *история* русская пронеслась перед моим воображением... И *Ключевский* и *С.М. Соловьёв*, и *Н.А. Попов*: все, кого я слушал в Москве» (М, 369).

А.В. Ефремов

ПОРФИРИЙ [Успенский Константин Александрович; 8(20).9.1804, Кострома — 19.4(1.5).1885, Москва] — епископ, археолог, палеограф. Р. был знаком с главным *трудом* П. «*Книга бытия моего. Дневники и автобиографические записки епископа Порфирия Успенского*» (СПб., 1894—1902. Т. 1—8). В очерке «По тихим обителям» (НВ. 1904. 15 сент.), касаясь вопросов церковной *живописи*, Р. ссылается на этот труд «знаменитого странствующего по *Востоку* епископа Порфирия Успенского», наблюдавшего афонских отшельников-иконописцев (ВТРЛ, 128). Рассматривая разные отношения к безбрачию монашествующих, Р. приводит в «*Сахарне*» свидетельство П. о монахах: «В Сирии и Палестине, как писал (и жаловался) (см. академическое издание его “Книги бытия моего”) Порфирий Успенский (епископ наш), они имеют “духовных сестер”, и никто этому особенно не враждебен, и никто к этому не придирается. Порфирий Успенский называет это грубым русским именем: но хотя он вообще мудрый *человек*, но в сем случае не был дальновиден <...> Когда у духовных сестер тамошних архиереев рождался дитя — архиерея поправляют с “новорожденным”, и это делается открыто, без *лжи*. Русские паломники не соблазняются этим, принимая, что “там такой закон” (обычай), и не считают тамошних архиереев более грешными, чем наши» (СХР, 113—114).

А.Н. Стрижёв

ПОСЕЛЯНИН Евгений Николаевич (наст. фам. Погожев; 1870, Москва — 13.2.1931, Ленинград, расстрелян) — духовный писатель, очеркист. В своем отзыве на литературный сборник «Памяти *Константина Леонтьева*» (СПб., 1911) Р. называет вошедшую в него статью П. «*К.Н. Леонтьев и Оптина Пустынь*» в числе «интересных», оценивая выход сборника как отрадное явление русской духовной *жизни* (НВ. 1911. 12 нояб.). В статье «*Оптина Пустынь*» он приводит фрагмент воспомина-

ний П. об оптинском старце *Амвросии*: «Меня поразила его святость, которую я чувствовал, не разбирая, в чем она, — и та непостижимая бездна *любви*, которая, как следствие его святости, была в нем <...> И я, смотря на него, стал понимать, что значение старцев — благословлять и одобрять жизнь и посылаемые *Богом радости*, учить людей жить счастливо и помогать им нести выпадающие на их долю тягости, в чем бы они ни состояли» (ОЦС, 300). Р. рецензировал *книгу* П. «*Русская церковь и русские подвижники 18-го века*» (НВ. 1905. 18 мая). В статье «*Религиозная эволюция г. Розанова* (по поводу книги “*Уединенное*”)» (НВ. 1912, 7 нояб.) П., касаясь религиозности Р., замечает: «*Г. Розанова* иные считают заклятым врагом церкви. А между тем это религиозная *душа*. И вникнуть в суть одного из крупнейших раздвое-



Е.Н. Поселянин

ний этой раздвоенной, расстроеной, расчлененной души очень любопытно <...> Убившись, так сказать, об один из выступов церкви, Розанову, по-видимому, показалось, что он ненавидит всю церковь. Но ведь то люди и законы, писанные людьми же. Ко всей же церкви у него, в сущности, было странное, сложное *чувство*: любовь, мучительная для самого и мучающая предмет любви. Да и в том, что он в церкви, по-видимому, ненавидел, он был непоследователен. Розанов с виду — враг *монашества*. Ну, хорошо. Из этого следует, что особо яркие воплощения монашества должны быть ему особенно ненавистны. Но это “следует” для всякого другого писателя, кроме Розанова. А вот Розанов из *Сарова*, от раки старца *Серафима*, пишет строки захватывающие, волнующие, напряженного религиозного чувства: вся душа его растекается там в нежном умилении. Он же чертит поэтический, одухотворенный образ оптинского старца Амвросия, которого он сам живым не видел, а лишь слышал о нем от близкого ему *лица*. Как объяснить?»

(PRO, 2, 169–170). Статья П. «Конец интересного спора» явилась откликом на полемику, которая велась на страницах *«Нового Времени»* между Р. и М. О. *Меньшиковым* относительно христианского искусства и «разнужданных сцен древней мифологии», выражающим, по словам Меньшикова, «свиное начало человечества». Р. защищал древнее язычество, видя в нем «много светлого». П. утверждает: «Редко нам приходилось выслушивать такую беззастенчивую клевету на историю, как эти строки. Как будто всё, что было ценно и крепко хоть бы в русской истории, — все дела юности, бодрости, труда, всё, что дышало любовью к жизни и было героическим предприятием — не выросло под воздействием Церкви, не окрепло от степени намерения до воплощения в жизни в храмах, при звуках молитв, вливающих бодрость, смелость, силу и добро в душу верующего человека?» (*Душеполезное Чтение*. 1902. № 12. С. 698). В рецензии на книгу Р. *«Около церковных стен»* («По поводу новой книги В. В. Розанова» // *Церковный Голос*. 1906. № 10) П. пишет об авторе: «Он является одним из тех искренних людей, которые по сложным историческим причинам и недоразумениям, о которых было бы долго сейчас распространяться, стоят “около церковных стен”, видят молящийся там, внутри стен, народ, молящийся его молитвою, моляться, быть может, пламеннее многих стоящих “в стенах”, но еще не входят внутрь, куда их влечет непреодолимая любовь. Трагическое положение! Есть сухие, узкие люди, считающие г. Розанова отъявленным врагом всякой церковности. Но те, которые и за грубыми подчас словами слышат голос сердца сочувствующего, давно поняли, как ширится душа этого писателя глубоко религиозным чувством <...> Что, например, можно сказать теплее, проникновеннее, глубже того, что сказано им о воздействии старцев в превосходной статье об оптинском старце Амвросии. Кто написал лучше строки о молитве и вере русского народа пред ракою Серафима Саровского, как не Розанов, рассказывая о своих впечатлениях, поездки в Саров? Вы не всегда с ним соглашались, но всегда им заинтересуетесь, и ощутите тонкое наслаждение в общении с его оригинально сверкающей мыслию. Вот где вы не найдете ни одной банальной фразы: она не годится здесь — при столь смелом устремлении призывающей все мысли» (с. 300–301).

А. Н. Стрижнёв

ПРАХОВ Адриан Викторович [4(16).3.1846, Мстиславль, Могилевская губ. — 1(14).5.1916, Ялта] — историк искусства, археолог и художественный критик. Poleмизируя с А. А. *Измайловым* о месте декадентов в истории отечественной культуры, Р. опирался на авторитетное мнение П.: «Мне как-то говорил <...> академик А. В. Прахов: “Великую заслугу декадентства составляет то, что оно дало Европе новую линию, новый характер линий, что после антиков и готики казалось невозможным, ибо эти две формы зодчества вообще искусства казались исчерпавшими все, что возможно, что может нравиться. Пришли декаденты и показали совершенно новое, что тоже может нравиться” Этого замечательного выражения я никогда не забуду» («Критик русского *décadence’a*» // РС. 1909. 22 сент.; СМР, 309). В дни погребения П. А. *Столыпина* в Киеве Р. сообщал в своей корреспонденции для *«Нового Времени»*: «У Адри-

ана Викторовича Прахова передали поразительный факт со слов хирурга Дитерихса, русского и православного, который почему-то полюбился Столыпину и был при нем непрерывно в больнице. П. А. говорил ему о стрельвшем: “Какой он бедный, он думал дать счастье России, — я видел по его бледному лицу и горящим глазам” И П. А. хотел непременно просить Курлова за него. Это такое откровение психики человеческой, что растериваешься» («К кончине П. А. Столыпина» // НВ. 1911. 11 сент.; ТПРН, 229). П. сопровождал Р. на экскурсии по осмотру Софийского собора в Киеве, о чем Р. вспоминал в книге *«Возрождающийся Египет»*. В письме к Р. от 7 апреля 1912 П. приглашал его на выставку своих работ, посвященных Кавказу (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 36). К письмам приложена характеристика: «Прахов Адриан Викторович, строитель Собора Св. Владимира в Киеве. Все знает, на всех языках говорит» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 81). В книгу *«Возрождающийся Египет»* Р. включил свой диалог с П., автором исследования о египетских храмах, бывавшим в Египте. Р. был смущен легкомысленным отношением искусствоведа к сакральным таинствам египетских культов: «Когда А. В. Прахов <...> рассказывал мне об этих статуях *Озириса*, попадавших при выходе их на берег Нила, в высокой траве, то он хохотал громко, показывая “руку от плеча до кисти” (величина фалла). Я содрогался от интереса и полного понимания, что “творческая сила природы”, что идея “Творца Природы” и не может быть никак иначе выражена — конечно! Он же смеялся, что в разговоре пришлось ему, старику, упомянуть о “неприличном” Тут только один “крючок бы спустить” — и дверь открылась: “Позвольте, Адриан Викторович: Вы семейный человек и у Вас есть дочь, притом — на выданы: а ведь без “этого” и Вам, и жене Вашей, и дочери Вашей — не обойтись. Так что без “этого” не обойтись» (ВЕ, 136).

А. В. Ломоносов

ПРАХОВА Эмилия Львовна — жена А. В. Прахова, о которой Р. всегда вспоминал с теплотой. Сохранилась помета Р. на ее поздравительной открытке от 2 октября 1911 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 37): «Прелестнейшая женщина, хохлушка “по пояс”, “по горло”, “с макушкой” Грубая, простая, бесконечно добрая» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 81). Р. отзывался с похвалой об удовольствии, памятном ему после трапезы «за хорошо сервированным столом <...> милой жены Адр. Викт. Прахова. “Где такие картины, и старинные образа, и риза на плащаницу”, шитая руками его дочери, увы, — уже не первой молодости, но все еще очень интересной (в *Киеве*)» (ПЛ, 151).

А. В. Ломоносов

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Иоанн Михайлович — священнослужитель из Дмитровской Горы Корчевского уезда Тверской губернии. С письмом к Р. от 27 сентября 1914 послал свою книгу *«Григорий Тучкин. Повесть о старых и новых людях деревни»* (СПб., [1907]), изданную под псевдонимом И. Горский. Письмо содержало просьбу прочитать повесть и содействовать ее переизданию в издательстве *«Новое Время»* у Сувориных (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4212. Ед. хр. 44). В письме от 3 марта 1915 П. вторич-

но напомнил о своей просьбе. К письмам П. приложен розановский отзыв «Преображенский свящ. (по изнеможению ничего не ответил)» (Записки отдела *рукописей*. М., 2004. Вып. 52. С. 486).

А.В. Ломоносов

ПРИШВИН Михаил Михайлович [23.1(4.2).1873, село Хрушево, Елецкий уезд, Орловская губ. — 16.1.1954, Москва] — писатель. Ученик Р. в *Елецкой гимназии* с 1887 по 1889. В 1919 П. вспоминал: «В судьбе моей как человека и как литератора большую роль сыграл учитель елецкой гимназии и гениальный писатель В.В. Розанов <...> Я встретился с ним в первом классе елецкой гимназии как с учителем географии. Это рыжий человек с красным лицом, с гнилыми черными зубами сидит на кафедре и, ровно дрожа ногой, колыхает подмостки и саму кафедру. Он явно больной видом своим, несправедливый, возбуждает в учениках младших классов отвращение, но от старших классов, от восьмиклассников, где учится, между прочим, будущий крупный писатель и общественный деятель С.Н. Булгаков доходят слухи о необыкновенной учености и даровитости Розанова, и эти слухи умиряют наше детское отвращение к физическому Розанову» (PRO, 1, 108–109). В автобиографическом романе «Кашеева цепь» (звено второе) П. сделал учителя географии Р. по кличке Козел косвенным вдохновителем побега юных *гимназистов* «в Азию». П. ошибочно повторял это и в «Дневниках», хотя в момент побега (в 1885) Р. в гимназии еще не работал, а в 1887, когда Р. переехал в Елец, П. учился в третьем классе. Побег ассоциировался в памяти П. с Р., видимо, потому, что по прибытии в гимназию Р. выступил в защиту юных беглецов-романтиков от все еще продолжавшихся насмешек: «Мое первое соприкосновение с ним было в 1886 г. Я, как многие гимназисты того времени, пытался убежать от латыни в “Азию” На лодке по р. Сосне я удирал и, конечно, имел судьбу всех убегающих: знаменитый в то время становой — удалой истребитель конокрадов Р. Крупкин ловит меня верст за 30 до Ельца. Насмешкам гимназистов нет конца: поехали в Азию, вернулись в гимназию. Всех этих балбесов, издевающихся над мечтой, помню, сразу унял Розанов: он заявил и учителям, и ученикам, что побег этот не простая глупость, напротив, показывает признаки особой высшей жизни в душе мальчика. Я сохранил навсегда благодарность к Розанову за его смелую, по тому времени необыкновенную защиту. Но тот же Розанов изгнал меня за мальчишескую дерзость из 4 класса» (PRO, 1, 109). Р. изложил суть приведшего к исключению проступка П. в служебной записке, поданной им директору гимназии Н.А. Заксу: «Честь имею доложить Вашему Превосходительству о следующем факте, случившемся на 5 уроке 18 марта в IV классе вверенной Вам гимназии: ученик сего класса Пришвин Михаил, ответив урок по географии и получив за него неудовлетворительный балл, занял свое место за ученическим столом и обратился ко мне с угрожающими словами, смысл которых был тот, что если из-за географии он не перейдет в следующий класс, то продолжать учиться он не станет, а выйдя из гимназии, расквитается и со мною. “Меня не будет и вас не будет”, — говорил он, между прочим. Затем сел, и так как тишина класса не нарушалась, то я продолжал урок,

до конца которого оставалось несколько минут. Через небольшой промежуток времени он встал и попросил извинения, ссылаясь на то, что вышеупомянутые слова сказаны были им в раздражении, при котором он вообще не может себя удерживать. Я предложил ему сесть, заметив, что о поступке его будет доложено Вашему Превосходительству. Он исполнил мое желание, еще раз сказав, что, принеся извинение перед всем классом, исполнил то, что от него требовалось, и по тону слов его было видно, что он считает это извинение почти заглаживающим вину. В субботу я остаюсь после 5-го урока дежурным с арестованными учениками, между которыми был и Пришвин Михаил (за 2 по географии, по желанию, ранее выраженному г. классным наставником). Передавая ему записку, в которой родители извещались об его аресте и причине оного, я спросил его, что побудило его к поступку такой важности, и, указав ему на тон извинения, спросил его, какие вообще представления он имеет о себе и других людях, с которыми ему приходится вступать в отношения. Он высказал, что вообще не считает кого бы то ни было выше себя; что же касается до самого поступка, то он сделан был для того, чтобы выдаться из учеников, показав им, что он способен сделать то, на что никто из них не решился бы. Считая самый поступок выходящим из ряда обычных явлений гимназической жизни, а объяснения, его сопровождающие, в высшей степени значительными с нравственно-воспитательной точки зрения, я почел своим долгом обо всем этом доложить Вашему Превосходительству, как высшему руководителю гимназической жизни и охранителю дисциплины в ней. Преподаватель В. Розанов» (Русская литература. 1986. № 2. С. 184). В письме к Н.Н. Страхову Р., изложив ту же историю, дополнил ее следующими сведениями: «У этого ученика более 150 000 капитала, и он любимец матери, коя ненавидит старшего брата (ученик VII класса, тихий малый) и хлопочет у адвокатов, не может ли она все имущество передать по смерти 2 сыновьям, обойдя старшего (говорят, она — удивительная по уму помещица, но к старшему сыну питает органическое отвращение); я все это знал и видел, где корень того, что в IV классе он уже никого не считает выше себя. Сегодня на 2-м уроке написал директору докладную записку о случившемся, в большую перемену собрался совет, и все учителя единогласно постановили уволить. Завтра ему объявят об этом, а я сегодня после уроков купил трость, ввиду вероятной необходимости защищаться от юного барича» (ЛИ, 200–201). П. по настоянию Р. был исключен из гимназии, притом с «волчьим билетом» — без права поступления в другую гимназию. После возвращения из поездки на легендарное озеро Светлояр в 1908 П. знакомится с Д.С. Мережковским, которому привозит привет от «китежских» паломников-староверов, и через него — с другими участниками *Религиозно-философского общества*: А.А. Блоком, В.И. Ивановым и др. В РФО происходит и новая встреча П. с изгнавшим его из гимназии Р., который восхищается книгой П. «За волшебным колобком», не узнав своего бывшего ученика. П. записал в «Дневниках»: «Состоялось свидание с Розановым. Пришвин был тихий мальчик, очень красивый... — А я бунтарь?.. — У меня с одним Пришвиным была история. — Это я самый... — Как?! Встретились два господина, одному

54 года, другому 36, два писателя, один в славе, сходящий, другой робко начинающий. 20 лет тому назад один сидел на кафедре учителя географии, другой стоял возле доски и не хотел отвечать урока <...> Так закончился мой петербургский роман с Розановым... В результате у меня книга его с надписью: "С большим уважением" на память о *Ельце* и *Петербурге*. А когда-то он же сказал, что из него все равно ничего не выйдет! И как и сколько времени болела эта фраза в *душе*...» (PRO, 1, 104). 24 нояб. 1909 П. был принят в действительные члены РФО (ОР РНБ. Ф. 322. Ед. хр. 7. Л. 528). В РГАЛИ имеются



М.М. Пришвин

три письма П. к Р. В первом, написанном около 1910 и подписанном «Ваш ученик», П. напоминает об обещании писателя дать свой автограф для Костромской библиотеки И.А. Рязановского (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 583. Л. 1). Во втором письме, присланном из *Новгорода* не ранее 1911, П. сообщал: «Посылаю Вам свою книгу. Был у меня пожар, уничтожил всю мою библиотеку, и в том числе книги, подаренные Вами. Хотелось бы очень иметь от Вас автографы, особенно если они будут на книге "*Люди лунного света*", о к-рой много слышал хорошего, но не читал» (Там же. Л. 3). В третьем письме, датированном 3 февраля 1912, П. писал: «Спасибо, дорогой Василий Васильевич, за надпись к книге. Благодарю Бога, что помог Он мне <...> связь с учителем, зло которого стало ныне добром. А другие ни зла, ни добра не творили и посему преданы забвению» (Там же. Л. 4). Р. сопроводил письма П. в архиве характеристикой их автора: «Хороший малый. Растет и ищет <2 нрзб.>. Очень честный. Мой ученик в Ельце» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 583). П. бывал у Р. дома (ТР, 38). Однако более близкими их отношения так и не стали. 14 января 1914 П. присутствовал на заседании РФО, на

котором была предпринята первая попытка исключения Р.: «Когда-то Розанов исключил меня из гимназии, а теперь я должен его исключать. Не хватило кворума для обсуждения вопроса, но бойцы рвались в бой; всеобщее негодование по поводу этой затеи Мережковского <...> Возмущение всеобщее, никто ничего не понимает, как такая дерзкая мысль могла прийти в голову: исключить основателя РФО, выгнать Розанова из единственного угла русской общественной жизни, в котором видно действительно человеческое лицо, ударить, так сказать, прямо по лицу» (PRO, 1, 105). После исключения Р. из РФО в «Дневниках» П. появляются новые размышления о писателе. 10 февраля 1914 он записывает: «Бывает, когда человек проклинает все гордое, идейное, и эту "жизнь" благословляет как святую. Вероятно, это состояние высшей гордости и приводит к Антихристу, как у Розанова. Библия для него просто маска. Поэзия Библии, поэзия семьи, а не самая Библия, не самая семья. Так оно и есть: семья Розанова — надрыв, семья — коллекция грехов» (PRO, 1, 107). П. ставит под сомнение рассуждения Р. о святости семьи, о собственном семейном счастье: «Розанов — слабость, превзойденная хитростью: всех обманул, себя, жену, детей» (PRO, 1, 108). Розановская «*религия пола*», по мнению П., есть подменяющее жизнь выражение его литературного таланта: «Искусство — продолжение жизни, а жизнь играет богами, как куклами. Почему и явился такой Розанов: ему в жизни во всем было отказано, и когда явился наконец и талант, он был ему всё: и богатство, и вечная юность — всё было ему в таланте. Тогда он проклял черного бога, мешающего жить, и объявил религию человеческих зародышей, религию святого семени» (PRO, 1, 116). П. и Р. связывали общие знакомые. Одним из них был ученик Р. по Елецкой гимназии А.М. Коноплянец, одноклассник П., также живший в те годы в Петербурге. С 1907 П. «натаскивал» в литературном мастерстве А.М. Ремизов. В очерке П. «В законе отчем» (Заветы. 1913. № 3) под именем О. Спиридон выведен друг Р., прот. А.П. Устьянский. О. Спиридон защищает в очерке идеи Р.: «А в последнее время явился еще интересный писатель В. Розанов, прозванный духовными сферами язычником, кощунственным проповедником *разврата*. Розанов до того, однако, со своим "язычеством" близок к существу общего движения среди белого *духовенства*, что как бы прямо говорит устами их самих, и может быть, слова его понимаются священниками лучше, чем им самим. Не язычник Розанов, а христианин, поскольку мы веруем в отца. Защищая отечество и материнство, он не выходит из пределов *христианства* — вот тут-то и есть весь секрет» (Пришвин М.М. Цвет и крест. СПб., 2004. С. 455). Этому же священнику посвящен и рассказ П. «Отец Спиридон» (Народоправство. 1917. № 8). 13 октября 1919 П. записывает в «Дневнике»: «Сегодня я назначен учителем географии в ту самую гимназию, из которой бежал я мальчиком в Америку и потом был исключен учителем географии (ныне покойным) В.В. Розановым» (PRO, 1, 110). В 1926, купив в г. Сергиев дом, П. поселился там, где прошли последние годы жизни Р. В этот период П. был близко знаком со старшей дочерью писателя Татьяной Васильевной Розановой. 26 мая 1927 он записывает: «Таня Розанова была у нас, гуляли с ней, и было нам всем от нее на душе мирно и тихо. Я через нее

начинаю узнавать ее отца как человека» («Дневники. 1926–1927». М., 2003. С. 304). Это знакомство вызывает у П. новый виток воспоминаний и размышлений о писателе и его религиозной проблематике: «По словам Т. В-ы, у Розанова в натуре вообще отсутствовала “категория *игры*” (загубленное *детство!* А ведь у нее тоже игра отсутствует, у нее почему?). Итак, формула: натуральный человек, homo sapiens — игра = человек (трагическая фигура). Христос тоже не играл (загубленное детство: был у Христа-младенца сад) и тоже обращался к детям: будьте как *дети*. Надо больше думать об этом: очень возможно, что в этом и заключается происхождение трагического» (Там же, 305). «Борьба с Христом Розанова имеет подпочву хорошей русской некультурности. По существу, Розанов именно и есть христианин, но только хочет подойти к Христу сам и не дается себя подвести» (PRO, 1, 123). «У Розанова замечательно, что он с *целомудрием*, детством, невинностью играет, как *кошка* с мышкой <...> Гениальность его существа в том и состоит, что он попал в какой-то люфт, свободно пристроился между *Богом* и Дьяволом и свободно, как ребенок, играет то с тем, то с другим» (PRO, 1, 127). Отношения П. с Т.В. Розановой были близки к роману: «Меня продолжает волновать Татьяна Васильевна, и всё происходит во мне совершенно так же, как бывает у влюбленных. А между тем Татьяна Васильевна столь непривлекательная как *женщина*, что даже Ефросинья Павловна не ревнует. Она объясняет мой интерес к ней пережитым с В.В. Розановым. Но мне кажется, не совсем это верно. Я думаю, что моя *страсть* влюбленности была от *одиночества*, от жажды встретиться с понимающим другом» (PRO, 1, 116). В то же время Т.В. Розанова резко отрицательно восприняла трактовку П. образа учителя географии в автобиографическом романе «Кашеева цепь», считая, что П. «высмеял» ее отца (ТВ, 38). Оценки П. отнюдь не несут комплиментарного характера, но при этом он прямо заявлял о гениальности Р.: «Есть еще, как я считаю, гениальный и остроумнейший писатель, за которого я хочу заступиться: он мог писать и о рукоблудии и подробно описывать свои отношения к женщине, к жене, не пропуская малейшего извива похоти, выходя на улицу вполне голым — он мог!» (PRO, 1, 111). П. признавал, что Р. вдохнул в него «священное благоговение к *тайнам* человеческого рода» (там же). Р. был для П. одним из органических выразителей русской литературной традиции: «Розанов вырос из русской культуры свободно и радостно, как *цветок*» (PRO, 1, 124). «В Петербурге среди писателей было три совершенно “русских”: Розанов, Ремизов, и Пришвин» (PRO, 1, 117). «Розанов, по-моему, не был тем хитрецом, о котором пишет *Горький*, он был “простой” *русский человек*, всегда искренний и потому всегда разный» (PRO, 1, 112). Признавая огромную разрушительную силу сочинений Р., П., однако, верил и в их созидательную перспективу: «Розанов, конечно, страшный разрушитель, но его разрушение *истории*, вернее, разложение, столь глубоко, что ближайший сосед его на том же пути неминуемо должен уже начать созидание» (PRO, 1, 118). П. видел основу своей идейной близости с Р. в неприятии механистической рассудочности и опоре на живую жизнь, органическое природное начало: «С Розановым сближает меня *страх* перед кошмаром идейной пустоты

(мозговое крушение) и благодарность *природе*, спасающей от нее» (PRO, 1, 107). П. писал о своей близости к Р. даже тогда, когда имя Р. было уже давно вычеркнуто из *литературы*. В 1937 он записывает: «И еще одно удивительно единство во мне — Розанов. Он своей личностью объединяет всю мою жизнь, начиная со школьной скамьи: тогда, в гимназии, был он мне козел, теперь, в старости, герой, излюбленнейший, самый близкий человек» (PRO, 1, 124). Свое место по отношению к «завершителю» П. определил так: «Розанов — послесловие *русс<ой> лит<ературы>*, я — бесплатное приложение. И всё...» (там же). П. как художник слова, подобно Р., ставил своей целью поймать *мгновение* текущей жизни: «Миниатюра как искреннее, пока писатель не успел еще излукаться в записи переходящего мгновения жизни. Эта капля, это проходящее мгновение действительности, всегда есть правда <...> Я пишу для тех, кто чувствует поэзию пролетающих мгновений» (Пришвин М. Круг жизни. М., 1981. С. 188). В 1943 П. писал, решительно не соглашаясь с устоявшимся мнением о «лживости» как преобладающей черте характера Р.: «Розанов, по признанию его современников, был самым лживым писателем (“с органическим пороком”, — писал о нем *Струве*). И как не подумать о *лжи*, если он об одних и тех же *вещах* в разных *газетах* писал противоположные мнения. А между тем это был поэт *правды*» (PRO, 1, 129). Точное расположение *могилы* Р. было восстановлено в 1989 по документальной записи и рисунку 1927 из «Дневников» П. («Дневники. 1926–1927». М., 2003. С. 296–297). Здесь же П. записал: «Розанов пленяет меня изначальной силой, это титан, который в настоящее время вызвал на бой богов» (там же, 304).

В.А. Фатеев

ПРОКОШЕВ Павел Александрович (1868–?) — профессор Томского университета, доктор церковного права Казанской духовной академии, специалист по временам Вселенских соборов. Автор *писем* к Р. 1913, содержащих просьбу об отзыве в «*Новом Времени*» на его книгу. Р. откликнулся на нее рецензией: «Прокошев П.А., Didascalia Apostolorum и первые шесть книг апостольских постановлений. Историко-критическое исследование из области источников церковного права. Приложение: Дидаскалия, т.е. кафолическое учение двенадцати апостолов и святых учеников нашего Спасителя» (Томск, 1913) (НВ. 1913. 20 сент.). Р. отмечал, что наконец и из «сибирских далей, где бывало только медведь боролся с каторжником в темной тайге, да промысловые люди рыскали по кручам гор и дольных речек, ищущи золота, — стали приходить в *Петербург, Москву* и всю *Россию* увесистые волумы ученых исследований <...> за которыми усматриваются тысячи ночей, проведенных над хартиями, над книгами, над всякою греческою, латинскою, немецкою, английскою и французскою ученостью» (НФП, 148). В то же время Р. признавался, что «ни малейшей нет возможности дать здесь понятие о громадном ученом *труде*», касающемся церковного права первых веков *христианства*.

А.В. Ломоносов

ПРОППЕР Станислав Максимилианович (1855 — 20.11.1931, Гамбург) — публицист, издатель ежедневной

газеты «Биржевые Ведомости» (Р. писал его фамилию Пропер). Р. печатался в его газете в 1897–1898, однако отношение к ее издателю было у него критическое. «Демократия, господа, демократия»; пусть везде сидит “честный ремесленник” И “честный ремесленник” *печати* Пропер тоже договаривает в “Биржевке”...» (КНУ, 583). О самой газете П. в 1914 Р. говорил, что это «дешевая вечерняя газета, единственная в то время в России». Она дала Проперу миллион» (КНУ, 488). «Пропер, еврей с золотником ума, говорил 100 000 голосов, и говорил ежедневно» (КНУ, 391). В 1915 Р. еще резче отзывается о П.: «Мерзавец, издающий газету» — теперь всех победил. “У меня пишут Любош и Оль д’Ор,” — говорит Пропер. — Осанна Проперу... — Осанна Любошу... — Осанна Оль д’Ору. “Русская женщина” не нарадуется. *Гимназисты* не нарадуются. Пропер говорит: — Их бедные переобременяют. Нужно распустить на летние вакации прямо после Пасхи... “Осанна Проперу. При <Д.А.> Толстом нас морили латынью, исключали, истязали. Но пришел Пропер и все это отменил” “Осанна Проперу, сыну Давидову. Он дал нам “Биржевые Ведомости”, в которых начался печатанием новый порнографический роман”» (М, 208–209). К записи 5 июня 1915 Р. делает примечание: «Пропер “своя своих познаша”: в “Биржевке” за 1914 (1913?) год он поместил к “исполнившимся 90 годам” г-жи Вышнеградской ее потомство; особым гелиографическим способом, в ширину всех 6 столбцов и в ½ листа газеты, мельчайшими и необыкновенно отчетливыми фигурками было представлено около сотни жидишев, жидов и жиденков, жидовок и жидовочек, — вплоть до пансионных платицев и до красивой формы “гимназии Гуревич”, имитирующей мундиры Пажеского корпуса... Карточка, очевидно, “семейная” к юбилею, вызывала впечатление испуга: в Хаанае их не плодилось так много, и туки русские для евреев еще жирнее филистимских и аморейских. Мне долго мерещилась эта карточка» (М, 155).

А.Н.

ПРОТЕЙКИНСКИЙ Виктор Петрович (?–1915) — учитель математики, участник объединения «Мир Искусства», участник *Религиозно-философских собраний в Петербурге и «воскресений» в доме Р.* В «Уединенном» Р. вспоминал: «Когда, бывало, меня посещали декаденты, — то к часу в первом ночи я выпускал их, бесплодных, вперед, — но задерживал последнего, доброго Виктора Петровича Протейкинского (учитель с фантазиями) и показывал между дверьми... У человека две ноги: и если снять калоши, положим, пятерым — то кажется ужасно много. Между дверями стояло такое множество крошечных калошек, что я сам дивился. Нельзя было сосчитать скоро. И мы оба с Протейкинским показывались со сме-ху: — Сколько!.. — Сколько!.. <...> Перед Протейкинским у меня есть глубокая и многолетняя вина. Он безукоризненно относился ко мне, я же о нем, хотя только от утомления, сказал однажды грубое и насмешливое слово. И оттого, что он “никогда не может кончить речь” (способ речи), а я был устал и не в силах был дослушивать его... И грубое слово я сказал заочно, когда он вышел за дверь» (У, 22–23). О выступлениях П. в РФС Р. писал в «Мимолетном»: «Кто бы и сколько бы хорошо ни говорил, — основательно и разумно ни рас-

суждал, — не было, однако же, ни одного случая, кроме как “председатель закрывает собрание” (12 ч. ночи), чтобы не поднялся “еще Протейкинский”, “еще *Карташев*”, “еще *Соллертинский*”: и мысль предыдущего говорившего, по-видимому столь законченную и убедительную, столь совершенно основательную, не нашелся чем-нибудь ограничить, “показать с другой стороны”, а то даже опрокинуть и “с этой стороны”» (М, 88). «Спорил же он с азартом, с упоением, обожая самый процесс спора, всю эквилибристику логических построений» — свидетельствовал А. Бенуа о П. («Мои воспоминания». М., 1990. Т. 2. С. 279). О «вездесущем Викторе Петровиче» Р. написал в статье «*Анна Павловна Философова*» (РС. 1909. 17 февр.): «В Петербурге немногие знают его фамилию, никто решительно не знает его адреса и жилища, и все решительно знают “Виктора Петровича”, иногда переименовываемого в дружеское “Виктор” и в любовное “Висенька” Как-то раз в разговоре со мною известный наш живописец, историк живописи и журналист А.Н. Бенуа назвал его “одной из самых достопримечательных личностей теперешнего Петербурга”, и мне кажется, что это так» (СМР, 55). Прочитав эту статью Р., С.П. Каблуков записал в дневнике 18 февраля 1909 г.: «Вчера в № 38 «Русского Слова» напечатана прекрасная статья В.В.Р. «Анн. Павл. Философова». Особенно хороша в ней характеристика моего доброго знакомого, Виктора Петровича Протейкинского, человека замечательных душевных качеств и весьма самобытного, оригинального в лучшем смысле этого слова» (PRO, 1, 200).

А.Н.

ПРОТОПОПОВ Виктор Васильевич — драматург, нумизмат и, как он сам себя характеризовал в письме к Р., «типичный представитель русского народа, возведшего халатность в культ» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 39). Р. откликнулся на его пьесу рецензией «Судьба “Черных воронов”» (Слово. 1908. 17 февр.). Цензурное запрещение ее постановки побудило Р. завести разговор о пьесе в печати. Писатель смотрел постановку «Черных воронов» в театре Николая Красова, расположенном на сцене театра Неметти на Петербургской стороне, и сразу заявил о своих эстетических расхождениях с рассматриваемым драматическим произведением: «Пьеса мне не понравилась. Она написана слишком для улицы, для грубых вкусов и элементарного восприятия» (СХ, 264). Пьеса П. ставила проблему отношения общества к сектантскому движению «иоаннитов», радикальных последователей о. Иоанна Кронштадтского, и Р. подчеркивал в статье «Судьба “Черных воронов”» актуальность пьесы, осуждавшей «темноту народную, страшную-страшную, которую можно увлечь куда угодно, бросить куда угодно — к преступлению, к подвигу, к убийству, к самоубийству даже (под религиозным мотивом), к растерзанию ближнего» (СХ, 267). Р. передал разговор с П. о сложных цензурных перипетиях пьесы, задевавшей основы народной веры и православия. Запрещение пьесы вызвало горячее желание Р. защитить гонимое произведение, и он советовал П. «тоньше и сильнее ударить» по изуверству сектантов (СХ, 268). На это замечание драматург возражал: «Пьеса моя оттого и оказалась вам не литературною, что она действительно — не литература, а только — протокол в лицах. Ничего

выдуманного, сочиненного мною — нет» (там же). П. общался с Р. на тему общего увлечения собиранием древних монет, о чем свидетельствует сохранившееся письмо.

А.В. Ломоносов

ПРОТОПОПОВ Михаил Алексеевич [1848, Чухлома, Костромская губ. — 3(16).12.1915, Петроград] — критик, автор статьи о Р. «Писатель-головотяп» (РМ. 1899. № 8). Как представитель народнической критики, П. считал роль литературы служебной в общественной борьбе, поэтому книги Р. не представлялись ему интересными. Ставший уже тогда популярным «эмбрион» Р.: «Что делать? — спросил нетерпеливый петербургский юноша. — Как что делать: если это лето — чистить ягоды и варить варенье: если зима — пить с этим вареньем чай» (Там же, 161). П., не желая замечать в нем ответа на известный «вопрос» Чернышевского, трактует весьма саркастически: «Каково остроумие и каково глубокомыслие! Остроумие заключается в нелепой неожиданности, ответа, а глубокомыслие — в традиционном смирении: во всяком случае, значит, сиди в своей “часовенке” и, не мудрствуя лукаво, набивай себе брюхо. Ну, а если нет ни ягод, ни варенья, ни чая? <...> Розанову да этого дела нет. Он “тыпнул” и отошел в сторону, а там разбирайся, юноша, как сам знаешь» (там же). П. считает, что суждение Р. о народе не отличается от мнения Достоевского, «которое, в свою очередь, было простым отголоском славянофильских учений тридцатых и сороковых годов <...> Что же мы видим у г. Розанова? Он с буквальной точностью повторяет мысли Достоевского, не подкрепляя их никакими доказательствами, хотя приискать их у него было времени более чем достаточно. Это значит, конечно, что мысль Достоевского и не может быть доказана, ни даже доказываема по самому существу своему» (Там же, 163–164). В подтверждение П. ссылается на свою полемику с Достоевским (*Русское Богатство*. 1880. № 8). А в рецензии на розановскую «Легенду о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского» П. писал: «Собственно из “легенды” г. Розанов ухитрился сделать такой вывод, который, конечно, не противоречит общему миросозерцанию Достоевского, но который из “легенды” вовсе не выходит и не может выходить, потому что слишком широк для нее» (*Русское Богатство*. 1895. № 3. Отд. II. С. 164). В рецензии на книгу Д.С. Мережковского «Вечные спутники» (НВип. 1899. 31 марта) Р. отмечал безликость П.: «Протопопова от Южакова не отличишь», на что П. заявил: «У г. Розанова литературная физиономия есть и даже преоригинальная. Дайте мне неизвестную рукопись для просмотра и, если она принадлежит г. Розанову, я на второй же странице с полною уверенностью воскликну: э, да это мой добрый Василий Васильевич из города Головотяпска!» (*Русское Богатство*. 1899. № 8. С. 171).

А.Н.

ПРОХАСКО Ольга Петровна (в первом замуж. Лобри) — журналист, издатель киевского журнала «Огни» (1911–1914), героиня очерка Р. о незаконнорожденных детях «Дары Цереры (Шехины)» (НП. 1903. № 6; ВДЯ). К письмам П. приложена розановская характеристика на обороте ее фотографии: «Ольга Петровна

Лобри/Прохаско. Ее *портрет* — неверен (не передает сущности лица); *дети* точь-в-точь, как я их <видел> в СПб., проведя вечер у них в комнатке. Сущность ее заключалась в величайшей чистоте душевной, в полном отсутствии придуманности, *хитрости*, “системы” Она — из лучших *женщин*, мною встреченных, хотя видел ее 2–3 часа. Письма совершенно передают ее *душу*. Письма эти вообще следует напечатать. В “*Семейном вопросе*”, или в “*Литературных изгнанниках*”. Т.к. она немного и писательница. Если сравнить их с мемуарами *Ковнера*: то какая разница между *мужчиною* и *женщиною*, и до чего проваливается взгляд *Вейнингера* на женщину (“аморальное существо”). Хотя она очень некрасива, но я верю, что в нее все влюблялись, и это с другой стороны показывает чистоту мужчин. В ней была та вечная “убежденность сейчас”, и присутствие нравственного элемента в каждой минуте ее движений, в который и нельзя было не влюбиться. Письма ее непременно надо напечатать. Это — оправдание женщины и женщин. Еще сравнить ее, милую, с этими мужскими *добродетелями* madame Meschersky, пишущей под десятью *псевдонимами* и лгущей на 10-ти языках. Или — с *Мережковским* <...> И скажу еще раз и скажу всегда: прекрасная Лобри, прекрасная Лобри, прекрасная Лобри. Об ней у меня в статье: “Дары Цереры-Шехины»» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4202. Ед. хр. 2. Л. 3, 4, 2).

А.В. Ломоносов

ПУГАЧЁВ Емельян Иванович [ок. 1742, станица Зимовейская-на-Дону — 10(21).1.1775, Москва] — предводитель крестьянской войны 1773–1775. Р. вспомнил о П. в годы *Первой русской революции*. В статье «Пробуждение Левиафана» (РС. 1906. 7 мая) он писал о современных революционных событиях: «Вообще тень *Разина* и *Пугачева*, — далекая тень, на горизонте, даже за горизонтом, — все время чувствуется, не теперь, а давно, за нашими “русскими событиями” этих месяцев; она то удаляется, то приближается. Но как предостережение она всегда присутствует, а даже невидимо и мощно она то и управляет видимыми событиями, одушевляя к натиску одних, диктуя уступки другим. Без этой “тени” события текли бы совсем иначе. Ее никто не называет, но на нее все оглядываются» (РГО, 76). Сравнивая *времена* нынешние и пугачевские, Р. замечает: «Наивные люди предполагают *Россию* 1906 года слабее *России* 1775 года, *России* времен Пугачева; слабее, дезорганизованнее и вообще менее самозащищенную. Конечно, если не знать *истории* или воображать, что вся история заключена в газетных телеграммах и, в частности, что она началась только с нас и нашего освободительного движения, то можно самому гадать и внушать другим, что ватаги крестьян навеселе, жгущие помещичьи имения, и совершенно ничтожные бунты солдат и матросов с двумя-тремя изменниками-офицерами чем-то угрожают *России*» (РГО, 110). Вспоминая о руководителе Севастопольского восстания 1905 П.П. Шмидте, Р. продолжает: «Пугачев и пугачевщина, конечно, были не чета лейтенанту Шмидту и его затее, хотя бы по знанию народа, по тогдашним обстоятельствам бесчеловечного крестьянского *бунта*. И главное, весь бунт опирался на иллюзии, что Пугачев не кто иной, как “батюшка император Петр III” И все-таки Пугачев не долго погулял по

тогдашней бездорожной, непроезжей Руси и скоро-скоро сложил свою буйную головушку» (там же). *Свобода* «без сердца и ума», говорит Р., «это — простор босячества, наши Пугачев и Разин, на принципах или, точнее, на аппетитах которых не начнешь строить культуры» (РГО, 436). *А.Н.*

ПУЗИНО Орест Владимирович — инженер-технолог, печатавший свои произведения под псевдонимом О. Козельский. В «*Голосе Руси*» (1914. 4 февр.) выступил со статьей «Мысли националиста. Горе вам, книжники и фарисеи» в защиту Р., после скандального изгнания писателя из Петербургского *Религиозно-философского общества*. Автор письма к Р. от 11 марта 1913, сопровождавшего его первую книгу — роман «Призраки» (СПб., 1913) о настроениях интеллигенции в пореволюционной России, после 1905 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 67).

А.В. Ломоносов

ПУРИШКЕВИЧ Владимир Митрофанович [12(24).8.1870, Кишинев — 11.1.1920, Новороссийск] — общественный и государственный деятель, один из лидеров крайне правых 2–4-й *Государственных дум*. П. вызывал у Р. отталкивающее впечатление. «Высокий, худой, бело-брысый, т.е. с остатками белобрысых волос на голом черепе, с адвокатскою жестикуляцией и по-адвокатски одетый, в белом галстуке и в белом жилете, — он кажется на кафедре явно патологическим субъектом: до того жестикулирует и точно все хочет обратить на себя чье-то внимание. Он имеет вид “отвергнутого жениха”, который “умирает на глазах экс-невесты” или на ее же глазах “спивается с круга” Точнее, находится в нерешительности, — спиться ему или умереть; крики его переходят в визги, а “решительные” слова, употребляемые им, кажется, употребляются от бессилия и для прикрытия его. Слова *Лермонтова* о витязе, “махавшем мечом картонным”, точно сказаны в предвидении Пуришкевича и написаны специально “для его роли”» (РГО, 334–335). Р. отмечал низкий культурный уровень П. и всех депутатов от крайне правых. Речь П. напоминала ему «визг и мелкий лай, как у собачки, которую водят на ленте» (ВНС, 219). А «представить себе, чтобы Пуришкевич, Крушеван, *Грингут*, Илюдор и весь “освященный собор” этих “истинно русских людей” спел хотя одну простодушную русскую песенку, было совершенно “невозможно» (ОНД, 113). Р. отказывал лидерам правых в наличии «русского остроумия, хитрословия» и, вообще, «художественного русского слова» (там же). «Такие, как Пуришкевич, — просто “неуравновешенные”: медицина знает этот термин, которым отмечаются первые стадии серьезных душевных заболеваний. Пуришкевич никакого добра не наживет, никаких капиталов не приумножит, но от него можно ожидать, что он предложит руку и сердце какой-нибудь дочери городского, павшего “за веру, Царя и отечество”; предложит и напечатает об этом в “*Русск. Знам.*”, а пригласительные билеты на свадьбу разошлет всем членам Думы, “изменникам-министрам” и, может быть, императору Вильгельму. Словом, тут смесь Бобчинского с Попризиным. И — ни малейшего *эгоизма*» (РГО, 343). Иронизируя над показным рвением крайне правых в Думе, Р. писал: «“Спор выяснит истину” <...> Спор Пуришкевича и *Милюкова* доводил даже

до оплеух: это уже небесная истина» (У, 178). Р. осуждал политическую эквилибристику П., не отделяя ее от остальных крайне правых. Он был убежден, что «ни Пуришкевич, ни двое или хотя бы десять *Бобринских* ничем не помогли России во время японской войны, ни разу и ни в каком случае не помогли ей вытащить телегу России из того засоса грязи, в котором она тонула, — словом, палец о палец не ударили для дела. Они патетичны не в делах, а в словах <...> России нужно встать с овра болезни, но какие же лекаря Пуришкевич и Синадино?» (РГО, 474). В 1914 Р. полемизировал с взглядами П. на отечественную педагогическую науку, изложенными последним в книге «Перед грозю. Правительство и русская народная школа» (СПб., 1914). Из расхожего убеждения в том, что «наша школа нигилистична”, “антигосударственна” и “антинациональна”, П. делал вывод о неизбежности тяжелейших социальных потрясений в России. Р. в рецензии на эту книгу считал, что из отвратительного положения дел в системе образования вовсе не вытекает напрямую вывод о неизбежности революционных катаклизмов, поскольку русская школа была нигилистична еще с 1860-х, а «“строй царства” держат на плечах своих, конечно, не школяры и их наставники, а взрослые люди», «бранные легионы» («Не извольте беспокоиться, ваше благородие» // НВ. 1914. 3 июля; НФП, 337).

А.В. Ломоносов

ПУШКИН Александр Сергеевич [26.5(6.6).1799, Москва — 29.1(10.2).1837, Петербург] — поэт. Свое отношение к поэту Р. выразил в «*Опавших листьях*»: «Пушкин... я его ел. Уже знаешь страницу, сцену: и перечтешь вновь; но это — еда. Вошло в меня, бежит в крови, освежает мозг, чистит душу от грехов» (У, 213). В книге «*О понимании*» Р. определяет П. как художника-наблюдателя. Это «всегда цельный человек, чуждый внутреннего разлада, быть может оттого и любящий жизнь и человека, что не чувствует мучительности быть человеком и жить» (ОП, 462). В статье «Пушкин и *Гоголь*» (1891) Р. сравнивает П. с Гоголем, находя, что «Пушкин есть как бы символ жизни: он — весь в движении, и от этого-то так разнообразно его творчество» (ЛВИ, 137). П. влечет все живое: «Слова его никогда не остаются без отношения к действительности, они покрывают ее и чрез нее становятся образами, очерченными»; в нем нет «никакого болезненного воображения или неправильного чувства» (ЛВИ, 137). Р. приходит к выводу, что именно П. «есть истинный основатель натуральной школы, всегда верный природе человека, верный и судьбе его» (ЛВИ, 137). Р. считает уникальной любую человеческую личность, поэтому для него «тип в литературе — это уже недостаток, это обобщение; то есть некоторая переделка действительности, хотя и очень тонкая» (ЛВИ, 137). П. не навязывает читателю своей точки зрения: «Любя его поэзию, каждый остается самим собою» (ЛВИ, 138). Творчество П. является для Р. примером того, каким должно быть искусство: «Поэзия лишь просветляет действительность и согревает ее, но не переиначивает, не искажает, не отклоняет от того направления, которое уже заложено в живой природе самого человека» (ЛВИ, 137). В статье «Три момента в развитии русской критики» (РО. 1892. № 8) Р. интерпретирует положения речи *Достоевского* о П. Не вступая в борьбу с усвоенными

формами поэтического творчества, П. «в пределах их пережил все душевные настроения, исторически сложившиеся в Западной Европе и только частью отраженные в нашей прежней поэзии» (ЛВИ, 242). Каждое «настроение» казалось П. «окончательным и совершенным», но «ни одно из них не насытило его окончательно, и, когда душа его утомилась всеми ими, он возвратился к народному» (ЛВИ, 242). Еще в статье «Литературная личность Н.Н. Стрехова» (ВФП. 1890. № 4) Р. называет творчеством П. началом движения *русской литературы* к возвращению самостоятельности и созданию типов и характеров, которые «совершенно гармонируют с душевным складом, до сих пор живущим в нашем простом народе» (ЛВИ, 230). Р. указывает на то, что у П. «типы иной красоты» «в конце концов были побеждены типом духовной красоты, сложившимся в нашей жизни, выросшим из нашей действительности», откуда и ведет свое начало «резвое простое отношение к действительности, которое с тех пор стало господствующим в нашей литературе» (ЛВИ, 243). Р. видит значительность и мощь пушкинского *гения* в том, что П. удалось выразить разнообразные «духовные настроения», что не смог больше сделать никто из русских поэтов и писателей. По мнению Р., П. не просто универсален и всемирно отзывчив, он, пережив увлечение различными *культурами*, возвращается к тому духовному началу, которое сохраняется в русском народе. В статье «О Достоевском» (1893) Р. отмечает, что Достоевский рассматривает П. «как хранителя своего, как лучшего оберегателя от смущающих идей, позывов» (ЛВИ, 284) и пытается при помощи творчества П. принести «успокоение» и в жизнь русского *общества*. Однако порыв Достоевского и его призывы к всемирному братству не имеют ничего общего с пушкинским «покоем» и гармоничностью. Причиной этого Р. считает изменение «психической атмосферы»: «то время умерло, и навсегда; худшее или лучшее, но навсегда же наступило другое время» (ЛВИ, 285). В статье «Два вида „правительства“» (НВ. 1897. 15 июля) Р. утверждает, что П. народен и историчен, и именно это раздражает «те части общества и литературы, о которых покойный Достоевский в „Бесах“ сказал, что они исполнены „животной злобой“ к России» (ОПП, 21). Р. выступает против мнения о легковесности и поверхностности поэзии П., у которого «каждая страница может быть развита в философский трактат и каждая строка может быть раздвинута в страницу» (там же). Р., возражая В.Д. Спасовичу, который утверждал, что П. небезвыгодно «подыгрывался» к правительству и изменил *дружбе*, когда его друзья оказались в беде, выдвигает оригинальную концепцию взаимоотношений П. и правительства. Он меняет содержание слова «правительство», утверждая, что для писателя единственным правительством являются читатели, от которых непосредственно зависит творческая судьба художника. По отношению «к этому-то истинному и истинно страшному для писателя „правительству“ Пушкин, не вступая с ним в прямую борьбу, сохранил полную достоинства независимость» (ОПП, 24). В этой статье Р. утверждает, что нельзя видеть П. «всегда и со всем примиренным», «напрасно думать, что он ни от чего окружающего не страдал» (ОПП, 24). Поэт, по мнению Р., испытывал «невыразимую *любовь*» к «обществу, людям, всей шумящей жизни», с чем «всегда хотел быть

слит», но тем не менее в силу своей «седой мудрости» и скептицизма смотрел на все это как «на пору нашего исторического детства, где также грубо ошибочно было бы что-нибудь презирать, как и чему-нибудь последовать» (ОПП, 25). Однако в статье «Вечно печальная дуга» (НВ. 1898. 24 марта) Р. называет П. завершителем предыдущих традиций, по структуре своего духа обращенным к прошлому, а не к *будущему*. П. «заканчивает в себе огромное умственное и вообще духовное движение от Петра и до себя» (ЛВИ, 290). Теперь Р. видит значение творчества П. в том, что все, «ранее его бывшее, — в нем поднялось до непревзойденной красоты выражения, до совершенной глубины и, вместе, прозрачности и тихости *сознания*» (ЛВИ, 290). Р. не соглашается с определением «заклинатель демонических стихий природы человеческой», которое П. дал *Аполлон Григорьев*. Душа П., по мнению Р., простая и «нисколько не стихийная», и поэтому П. не мог повлиять на таких писателей, как Гоголь, *Лермонтов* и Достоевский, т.е. «с версией происхождения нашей литературы „от Пушкина“ — надо покончить» (ЛВИ, 290). Роль П. сводится к передаче «отзвуков» всемирной красоты в их замирающих аккордах» (ЛВИ, 295), которые возвышают и образуют читателя, не требуя от них особого *труда*. Главный недостаток П., по мнению Р., заключается в том, что идея «*смерти*» как «небытия» у поэта отсутствует, поэтому и «природа у него существенно минеральна» (ЛВИ, 298). Р. считает, что в произведениях поэта материя — «персть», «красная глина» — преобладает над «дыханием Божиим» (там же). В статье «А.С. Пушкин» (НВ. 1899. 26 мая) Р. развивает идею пушкинских речей Достоевского. Он называет П. «главным светочем нашей литературы» и утверждает, что «в его единичном, личном духе Россия созрела, как бы прожив и проработав целое поколение» (ОПП, 47). Р. сравнивает жизнь П. с явлением природы, так естественно все текло в ней, так чудно было «преднамеренности». Даже поддаваясь различным *влияниям*, П. вырастал из каждого «поочередно владевшего им гения, — как бабочка вылетает из прежде живой и нужной и затем умирающей и более не нужной куколки» (ОПП, 41). Р. сопоставляет биографии П. и Достоевского и приходит к выводу, что у П. не было ни чрезвычайных переломов в развитии, ни «швов и сшивок в его духовном образе». Пушкинская цельность превращается в «слитность» и «монолитность». Вслед за Достоевским Р. называет П. «универсальным», понимая под универсальностью «резвое спокойное настроение души» и «тяготение воображения к совмещению на небольшом куске полотна разительных противоположностей» (ОПП, 44). При этом, отмечает Р., П. ни на чем не останавливается, любит все одинаково и одинаково всем очаровывается. И это свойство оказывается для Р. большим недостатком: «Есть великолепие широкой *мысли*, но нет той привязанности, что не умеет развязаться, нет той ограниченности сердца, в силу которой оно не умеет любить многого, и в особенности — любить противоположное, но зато же не угрожает любимому изменой» (ОПП, 42). Отсутствие постоянства приводит к тому, что П. становится «вечным гением — среди преходящих *вещей*» (ОПП, 44). П. все время находится в состоянии восхождения, завершения которому не предвидится. Вследствие этого поэт оказывается в полном *одиночест-*

ве — простые люди не могут дышать с ним одним воздухом. Несмотря на мысль о постоянном восхождении, Р. в этой же статье заявляет, что П. исчерпал свое поэтическое *вдохновение*, и, по всей вероятности, «остальная половина его жизни не была бы посвящена поэзии и особенно не была бы посвящена стихотворству» (ОПП, 46). В статье «О Пушкинской Академии» (ТПГ. 1899. 23 мая) высказывается мысль о невозможности прямого определения сущности поэта — П. можно определять лишь отрицательно. Понятие универсальности (всемирной отзывчивости) переходит здесь уже в политеизм. Р. называет П. «всебожником», а его жизнь — «прогулкой в Саду Божиим». В этом саду П. «не издал ни одного “аха”», но зато «вторично, в *уме* и поэтическом даре, он насаждал его, повторял дело Божиих рук» (СХ, 167). Однако выходят у него не вещи, а «идеи о вещах, — не *цветок*, но песня о цветке, однако покрывающая глубиной и красотой всю полноту его сложного строения» (СХ, 167). По мнению Р., П., предлагая «*цветок*-стихотворение» «на каждую вашу нужду», «способен пропитать Россию до *могилы* не в исключительных ее натурах» (СХ, 168). Но России необходимо «подышать и атмосферой исключительных настроений», свойственных Гоголю и Лермонтову. Р. воспринимает П. не как пророка, а как исключительно земного поэта. Стихотворение «Пророк» интерпретируется им как отражение страницы сирийской *истории*. П. открыта только земля, но зато это «вся земля». Поэту было суждено не обогатить землю чем-то новым, но полюбить то, что уже существует: «Вознести ее к небу, и уж если обогатить, то самое небо — земными предметами, земным содержанием, земными *тонами*» (СХ, 170). По мнению Р., П. обладает даром забвения, на котором основывается его обращение к новому и столь же сильное восхищение совершенно противоположным. В том же году Р. пишет «Заметку о Пушкине» (МИ. 1899. № 13/14), где П. определяется как «дружный человек», для которого «условие созидания служит внешне и почти пространственное ограничение» (ЛВИ, 423). Этим качеством он противоположен Гоголю, Достоевскому и Лермонтову, которые «суть оргиасты в том значении, и, кажется, с тем же родником, как и Пифия, когда она садилась на треножник» (ЛВИ, 424). В отличие от них П. — «больше ум, чем поэтический гений», «многому в этом *мире*, то есть в сфере его мысли и чувства, он придал чекан последнего совершенства» (ЛВИ, 424). Р. повторяет свою мысль о том, что ничего нового в мир поэт не принес. Роль П. сводится Р. к роли *учителя*: «по многогранности, по все-гранности своей» он — «вечный для нас и во всем наставник» (ЛВИ, 425). В этой заметке Р., следуя своему убеждению в глубине философского содержания творчества Пушкина, отдает предпочтение пушкинскому уму перед его поэтическим гением. В статье «*Ив. С. Тургенев*» (НВ. 1903. 22 авг.) Р. выдвигает идею о статическом и динамическом началах в русской литературе. Он причисляет П. вместе с *Гончаровым* и *Тургеневым* к статическому направлению, противопоставляя их динамическому началу, олицетворяемому Гоголем, Лермонтовым, *Толстым* и Достоевским. По мнению Р., «Пушкин был zenитом того движения русской литературы, которое прекрасно закатывалось, все понижаясь, в “*серебряном веке*” нашей литературы, 40–50–60–70-х годов, в *Тургеневе*, *Гончарове* и целой

плеяде рассказчиков русского *быта*, мечтателей и созерцателей тихого *штиля*» (ОПП, 139). Для всех этих писателей характерно отсутствие «бури и порыва», они показали Россию так, как она жила и есть, и этим «выковали почти всю русскую образованность, на которой спокойно, почти учебно воспитываются русские поколения, чуть-чуть скучая, как и всякий учащийся скучает над своим учебником» (ОПП, 139). В дальнейших высказываниях Р. о личности и творчестве П. поэт противопоставляется обличительному направлению литературы, которое привело к разрушению существующего строя. Когда же Р. начинает считать причиной падения России всю русскую литературу, то и П. оказывается виновным так же, как и все остальные писатели. В заметке «Среди *анархии*» (НВ. 1905. 15 нояб.) Р. называет П. «анархистом» наряду с *Грибоедовым* и Лермонтовым (КНУ, 65). В статье «В настроениях дня» (РС. 1905. 22 и 23 сент.) Р. жалеет о том, что П. так и не пришлось побывать за границей. Р. называет П. «соловьем с выколотыми глазами», а его поэзию «грезой безглазого гения», отчего «она так и закружилась, без шероховатостей, без запятых, которые, — увы! — во всякую *мечту* сумеет вставить действительность» (КНУ, 131). Универсальность поэта становится теперь результатом внешних ограничений, которые, по мнению Р., были почти намеренно спровоцированы *властью*: «Зачем господину глаза соловья? Он, владыка, богач, ведь не смотрит ими: от соловья он имеет только песню, ему нужна только песня. И когда она может быть лучше от вырванного глаза, — пусть будет он вырван! Вот судьба Пушкина» (КНУ, 132). А в заметке «Погребатели России» (НВ. 1909. 19 нояб.) Р. отмечает, что П. «умел быть свободен и независим, стоя непосредственно около *царя*» (ОПП, 424). Для Р. творчество П. становится доказательством того, что «кроме России печатной, есть Россия живущая», которая вовсе не состоит из «гадов» («О психологии терроризма» // НВ. 1909. 25 июля; ЛВИ, 546). А в статье «Наша русская анархия» (Московский Еженедельник. 1910. 3 апр.) Р. настаивает на том, что П. выразил «сущность российской или всероссийской “*музыки*”, как некоего сладкого ничегонеделания, но в высшей степени художественного» (ЛВИ, 558), тем самым умалив значение русской государственности: «Перед лирой Пушкина померк, побледнел... просто умер Бенкендорф» (ЛВИ, 560). В статье «Возврат к Пушкину (К 75-летию дня его кончины)» (НВ. 1912. 29 янв.) Р. жалеет, что П. не вошел «другом в каждую русскую *семью*» (СХ, 372). Хотя П. и занимает место первого русского поэта, Р. убежден, что читатели больше любят Лермонтова и Гоголя. Если бы П. пользовался такой же популярностью, «он предупредил бы и сделал невозможным разлив *пошлости* в литературе, *печати*, в журнале и газете, который продолжается вот лет десять уже» (СХ, 372), на что оказываются неспособны Лермонтов и Гоголь в силу их «монотеизма». Р. считает, что для *молодежи*, знакомой с П., невозможно увлечение марксизмом, так как «разносторонность его души и занимавших его интересов предохраняет от того, что можно было бы назвать “раннею специализацией души”» (СХ, 373). Самое важное в П. для Р. то, что поэт был «в высшей степени не специален ни в чем; и отсюда-то — его вечность и общевоспитательность», а также то, что «Пушкин всегда с приро-

дою и уклоняется от человека везде, где он уклоняется от природы» (СХ, 374). В этой статье Р. пишет, что П. «на все благородное» дал «благородный отзвук», что «каждому возрасту он сказал на ухо скрытые думки его и слово нежного участия, утешения, поддержки» (там же). Теперь Р. видит значение П. в том, что «он есть вся русская словесность, но не в начальном осуществлении, где было столько “ложных шагов”, а в благородной первоначальной задаче» (СХ, 374). Современникам Р. следует любить творчество П. так, как люди «потерянного рая» любят и мечтают о «возвращенном рае». По мнению Р., поэт относится с уважением к каждой человеческой личности: П. «не ставил себя ни на капельку выше “капитана Миронова” <...> и капитану было хорошо около Пушкина, а Пушкину было хорошо с капитаном» (У, 129). Р. предлагает особый подход к пушкинскому тексту: нужно «вслушиваться в *голос* говорящего Пушкина, угадывая интонацию, какая была у живого» (У, 109). По сравнению с «необыкновенной полнотой пушкинского духа» Р. чувствует свой дух «вовсе не полным» и называет себя «растрепанным», «судорожным» и «жалким» (У, 141). Также в «Опавших листьях» Р. повторяет свою мысль о том, что «Пушкин и Лермонтов кончили собою всю великолепную Россию, от Петра и до себя» (У, 152). В «Сахарне» Р. сопоставляет творчество П. с Библией, и оказывается, что произведения П. намного уступают «величайшим словам» церковных текстов (СХР, 247). В другом отрывке по отношению к существованию Бога, загробного мира и бессмертия души становится глупостью уже вся «наша литература (даже и с Пушкиным), цивилизация, культура, гимназии, школы, университеты» (СХР, 267). В «Мимолетном» Р. замечает, что и П., и Карамзин осознавали свою незначительность по сравнению с Россией и никогда не стали бы смеяться над ней. Оба были «ей послушны и чувствовали себя около нее чем-то маленьким и даже отнюдь не необходимым, не неизбежным, не “мужами рока и судьбы”, а — случаем и подробностью» (КНУ, 456). В это время Р. уже убежден, что русская литература заканчивается, так как «душа кончилась», и поэтому бессмысленно ждать, чтобы «когда-нибудь явились создания выше Толстого, Гоголя и Пушкина» (КНУ, 591). В «Последних листьях» Р. упрекает русскую литературу за частный и личный характер. Последний, по его мнению, кто «интересовался Россией и любил Россию», — это П. (ПЛ, 166). В статье «Гоголь и Петрарка» (КУ. 1918. № 3) Р. отзывается о П. как о художнике, занятом «перепевками Запада» (ОПП, 658). Начинаясь все в русской литературе радостно, и «утихающий восторг» от этого радостного начала, «что-то крепкое и славное держится в Батюшкове, Жуковском, Языкове, Пушкине» (ОПП, 671). Это и есть, по Р., «высший расцвет, зенит» русской литературы. Особые грани личности и творчества П. высвечиваются при сопоставлении его с другими поэтами и писателями. Образ П. меняется в зависимости от контекста, в который помещает его Р. Сравнивая П. с Гоголем, Р. приходит к выводу, что эти писатели различаются и по форме, и по внутренней сущности творчества («Пушкин и Гоголь» // МВ. 1891. 15 февр.). «Разнообразный и всесторонний» Пушкин составляет «антитезу к Гоголю, который движется только в двух направлениях: напряженной и беспредметной лирики, уходящей ввысь,

и иронии, обращенной ко всему, что лежит внизу» (ЛВИ, 137). В заметке «Кое-что новое о Пушкине» (НВ. 1900. 21 июля) Р. утверждает, что Гоголь, создав образ Янкеля, только прикоснулся к еврейской теме, а «Пушкин сразу угадал: всемирное в “жиде” — его старость» (ОПП, 58). В статье «Гоголь» (МИ. 1902. № 12) Р. подчеркивает, что П. показал красоту души русского человека, однако в то же время он указывает, что поэт не создал «таких чудовищных фантазий, как Гоголь» (ОПП, 121). По мнению Р., «русское» в П. естественно возвышается «до величайшей, до глубочайшей и высочайшей общечеловечности», и заслуга П. в том, что с него «начинается русский настоящий патриотизм, как уважение русского к душе своей, как сознание русского о душе своей» (там же). Р. утверждает, что невозможно объяснить феномен появления П.: он просто «удался» истории. В отличие от предыдущей статьи в работе «Загадки Гоголя» (РС. 1909. 12 и 14 марта) П. представлен Р. как нормальный и ясный художник, единственную загадку которого составляет уяснение того, «каким образом можно было без борьбы, без усилий, даже без видимых размышлений стать в самую точку, в самую середину, откуда во все стороны расходятся лучи этой нормативности, этого спокойного и прекрасного в человечестве» (ОПП, 333). Р. не находит для П. параллели ни в мировой литературе, ни в «мировой психологии» и ставит его наследие выше произведений и Лермонтова, и Гоголя. Он приходит к выводу, что «душа Пушкина осталась свободной и непреклонной даже перед такими могуществами, как христианство и как обаяние и сила античной цивилизации, перед которыми решительно никто не мог устоять» (ОПП, 334). Этим П. напоминает Рафаэля, вместившего в себя «частицу ангела». В нем, несмотря на «однообразие, простоту и покой», тоже был «сверхестественный луч». Но в отличие от Гоголя эти качества в П. трудно рассмотреть, так как «все в нем лишь “просвечивает”, а не кидается в глаза» (ОПП, 334). Однако вывод о преимуществе творчества П. не является окончательным. В статье «Русь и Гоголь» (НВ. 1909. 26 апр.) оказывается, что вовсе не П., а Гоголь достиг «высшего могущества слова». П. «возвел в идеал» такие черты русского народа, как простота, кротость, терпение и всемирная отзывчивость. Он увенчал своими поэтическими образами «бедный и несвободный русский народ», тогда еще неизвестный в Европе с духовной стороны. А Гоголь «необъяснимыми тревогами души своей <...> разлил тревогу, горечь и самокритику по всей Руси» (ОПП, 353). В статье «Гений формы» (НВ. 1909. 30 марта) Р. отмечает, что форма произведений у Гоголя более совершенна, чем у П. То, как рассказано, «по яркости, силе впечатления, удару в память и воображение» превосходит П. (ОПП, 347). Кроме того, Гоголь «страшным могуществом отрицательного изображения отбил память прошлого», которая была так характерна для творчества П. В статье «Отчего не удался памятник Гоголю?» (ЖТЛХО. 1909. № 2; СХ) Р. повторяет эту мысль, утверждая, что «форма» Гоголя и его «словечки» подчинили себе даже П., который сумел возразить на обвинения Чаадаева, но был вынужден согласиться с Гоголем. Эту же идею Р. развивает в работе «Гоголь и его значение для театра» (НВ. 1909. 21 марта), утверждая, что «все последующее движение русского театра продолжало и

продолжает собою Гоголя, а не Пушкина, продолжает “Ревизора”, а не продолжает “Бориса Годунова”» (СХ, 300). Совсем по-другому предстают личность и творчество П., когда Р. начинает сравнивать его с Лермонтовым. Уже в статьях «Вечно печальная дуэль» и «Заметка о Пушкине» Р. противопоставляет поэта стихийному Лермонтову. В статье «Концы и начала, “божественное” и “демоническое”, боги и демоны (По поводу главного сюжета Лермонтова)» (МИ. 1902. № 8) Р., сравнивая изображение младенца в творчестве обоих поэтов, утверждает, что П. «чувствует младенца» идилично, а Лермонтов физиологически. На основании этого сравнения Р. приходит к выводу о различии в природе поэтического восприятия действительности: взгляд П. скользит по предмету художественно успокоенным «горизонтальным лучом», а взгляд Лермонтова падает на предмет вертикально, пронзая его (ОПП, 88). В статье «Пушкин и Лермонтов» (НВ. 1914. 9 окт.) Р. уподобляет творчество П. библейскому раю. П. воспекает *счастье* и мировую гармонию, он «закономернейший из всех закономерных поэтов и мыслителей, и, можно сказать, глава мирового охранения» (ОПП, 602). Поэт, по мнению Р., отвечает на все мучающие человечество вопросы: «на вопрос, как мир держится и чем держится», и на другой — «стоит ли миру держаться» (ОПП, 602). Если прислушиваться только к П., то в мире не будет ни движения, ни перемен. При П. должна быть «одна колоссальная созерцающая голова, один колоссальный вселюбующий глаз» (ОПП, 602). Но мир находится в движении и этим отрицает и рай, и счастье, и блаженство. Покоя нет, считает Р., потому что люди умирают: «Если “смерть”, то я хочу бежать, бежать и бежать, не останавливаясь до задыхания» (ОПП, 603). Поэтому соотношение творчества П. и Лермонтова Р. уподобляет истории человеческого грехопадения: «Лермонтов, своим бытием *лица* своего, самой сущностью всех стихов своих, еще детских, объясняет нам, почему мир “вскочил и убежал”» (ОПП, 603). Однако ни один из поэтов не воплощает всей сути бытия, потому что мир движется, и это есть отрицание П., но в его движении есть и гармония, а это уже выглядит отрицанием Лермонтова. Если в статье «Загадки Гоголя» П. предстает «Рафаэлем слова», существом необыкновенным, то в статье «О Лермонтове» (НВ. 1916. 18 июля) П. уже обыкновенен, хотя и достиг «последних граней, последней широты в этом обыкновенном, “нашем”» (ОПП, 642). Несмотря на то что П. для Р. по-прежнему остается «всеобъемлющим», он вполне согласуется с духом «прежней русской литературы», вписывается в рамки литературного процесса того времени. В отличие от него Лермонтов «был совершенно нов, неожидан, “не предсказан”» (ОПП, 642). В статье «О благодушии Некрасова» (МИ. 1903. № 8) Р. объединяет обоих поэтов, противопоставляя их Некрасову по признаку спонтанности творчества: стих «в них рождался сам, и им трудно было не писать, невозможно не писать» (ОПП, 135). И теперь он говорит, что П. и Лермонтов «вовсе необыкновенные, “демонические”, что ли, или “божественные”» (там же). По сравнению с Некрасовым на первый план у Р. выступает фактор народности. В статье «Два вида правительства» Р. писал, что П. «народен и историчен» (ОПП, 21). В статье «25-летие кончины Некрасова» (НВ. 1902. 24

дек.) он утверждает, что «по “русизму” нет поэта еще такого, как он: тут отстают, как сравнительно иностранные, Пушкин, Лермонтов, да даже и Гоголь» (ОПП, 109). Некрасов оказывается более народным поэтом, чем П. Р. считает, что это «люди вовсе разных категорий, разных призваний, разной исторической роли» (ОПП, 118). П. можно сопоставлять с Гоголем и Лермонтовым, а Некрасова с ними сравнивать «так же странно, как спрашивать, что лучше, железная дорога или *Жанна д’Арк*» (там же). В заметке «В настроениях дня» Р. отмечает, рассматривая одно из стихотворений П. («Тьмы низких истин...»), что «стих этот, дворянский, не трудолюбивый стих, проговоренный с балкона того *дома*, который построили голодные мужики и которым за работу ничего не заплатили» (КНУ, 137). В статье «Некрасов в годы нашего ученичества» (РС. 1908. 10 и 15 янв.) «простонародность» П. кажется Р. «деланною, ненатуральною» в сравнении со стихотворениями Некрасова. Даже в «Сказке о царе Салтане» Р. видится некий «барин, погружавший себя в народность, в интерес и любовь к народному, хотя бы и гениально» (ОПП, 248). Однако в статье «Попы, жандармы и *Блок*» (НВ. 1909. 16 февр.) Р. опять возвращается к мысли о том, что «с народом не расходится и никогда не расходилось талантливое в образованном нашем классе, а разошлось с ним единственно бесталанное в нем» (ОПП, 332). Именно поэтому «не разошелся с Русью и Пушкин, он написал “Бориса Годунова” и сказки, не разошелся Лермонтов, он написал “Купца Калашникова”, не разошелся Гоголь» (там же). Одно и то же произведение («Сказка о царе Салтане») Р. интерпретирует то как произведение барина, «погружающего себя в народность», то как истинное выражение духа русского народа. По сравнению с Некрасовым П. кажется Р. «холодным», он несет на себе отпечаток чужой «барской» культуры, но по сравнению с декадентами — он «теплый», народный. В дальнейшем это противопоставление сохраняется. В «*Уединенном*» Р. рассказывает о том, что во время его обучения в гимназии о П. даже не вспоминали, зато Некрасовым «зачитывались до одурения, знали каждую его строчку, ловили каждый стих». В «*Сахарне*» Р. снова замечает, что «есть стороны, есть уголок какой-то мысли и жизни, где Некрасов действительно “стбит Пушкина” После Пушкина или всей его “народности” люди не пошли в *деревни*, а <...> “хождения в народ” 70-х годов было вызвано именно Некрасовым» (СХР, 189). Вместе с тем общее отношение Р. к «обличительному направлению» в литературе, к которому принадлежит Некрасов, скорее отрицательно. В одной из своих заметок он с удовлетворением замечает, что П. без потерь прошел через критику 60-х годов, которая «ни одной ниточки <...> не сожгла в нем» (ОПП, 287). Более того, это испытание доказало истинное значение поэта, так как эта «злая» и «дерзкая» критика только подтвердила ценность творчества Пушкина. В статье «Как святой Стефан порубил “Прокудливую березу” и как началось на Руси *пьянство*» (НВ. 1908. 2 марта — 7 апр.) Р. восклицает: «Мы проклинали бы эпоху, проклинали бы тех русских, которым Пушкин сделался окончательно и решительно ненужным!» (ВДЯ, 379) Р. заявляет, что «Пушкин есть мера русского ума и души: мы не Пушкина измеряем русским сердцем, а русское сердце измеряем Пушкиным: и Россия, отрях-

нущая от своих ног Пушкина, — просто для нас не Россия, не отечество, не “своя страна» (ВДЯ, 379). Свою концепцию *пола, семьи и брака* Р. впервые прилагает к П. в 1900. В заметке «Кое-что новое о Пушкине» Р. утверждает, что Пушкин угадал суть еврейства, состоящую в семейственности и религиозности. Однако Р. в отличие от творчества Гоголя и Лермонтова в П. больше привлекают не художественные произведения, а события его биографии. В статье «Христианство пассивно или активно?» (НВ. 1897. 28 окт.) Р. критикует концепцию *Вл. Соловьёва*. По мнению Р., Соловьёв «существенно неправильно понял христианство», приписал ему смирение и покорность и поэтому «осудил поэта за активность» (РФК, 151). Р. сравнивает П. с солдатом, в сражении честно защищавшим «ближайшее отечество свое — свой кров, свою семью, жену свою» (там же). На упрек Соловьёва в отношении Анны Керн, которую П. одновременно называл и «гением чистой красоты» и «вавилонской блудницей», Р. отвечает, что «красота телесная есть страшная и могущественная, и не только физическая, но и духовная вещь; и каково бы ни было содержимое “сосуда” — он значащ и в себе, в себе духовен и может пробудить духовное же» (Там же, 152). В путевом очерке 1898 Р. упоминает об общественном положении П., о «глубоких практических коллизиях», которые пришлось пережить поэту (ЛВИ, 320). В статье «Брак и христианство» (РТ. 1898. № 47–52), рассуждая о ревности, Р. называет П. и Отелло «чистейшими сердцем» и утверждает, что «только человек грязный, только на последней ступени полового загрязнения, становится индифферентен ко всякой верности ли, измене ли» (ВМНН, 116). Полностью ситуация, которая привела к смерти поэта, разъясняется Р. в статье «Еще о смерти Пушкина» (МИ. 1900. № 7/8). В ней Р. вновь обращается к статье В. Соловьёва, называя ее «ужасно смешной», так как философ «попытался доказать, что это не “нечистый” унес у нас Пушкина, а ангел» (ЛВИ, 426). Р. попрежнему не согласен с мнением Соловьёва о том, что после *дзэли* П. обязательно начал бы каяться. Для Р. «Пушкин вспыхнул *правдою* и погиб», «он был прав и свят в эти 3–5 предсмертных дней <...> но он <...> был не прав 3–5 предсмертных лет, и “все произошло так, как должно было произойти»» (ЛВИ, 428). По Р., суть пушкинской драмы заключалась в том, что «Пушкин не имел в собственных данных фундамента спокойствия и уверенности» (ЛВИ, 429). Р. сопоставляет П. с его персонажем — мужем из «Графа Нулина» и утверждает, что «вещим, гениальным и простым умом он почуял, что если “ничего еще нет”, то “психологически и метафизически уже возможно”, уже настало время ему самому испить черную чашу» (ЛВИ, 429). Причина произошедшего в том, что Наталья Гончарова «только фактически стала супругой и матерью, а поэтически и религиозно так и замурла, умерла *девушкой*» (ЛВИ, 432). Р. сравнивает отношения П. и его жены с увлечением Марии Мазепой. П., по мнению Р., безнадежно проигрывает своему герою: «Великий и страстный политик, молитвенник, художник, Мазепа и в 63 года был свежее и чище, был более похож на Иосифа Прекрасного, чем Пушкин, далеко отошедший от Иосифа в 16 лет» (ЛВИ, 435). П. для Натальи Гончаровой не более, чем «действительный статский советник», «хлопотавший у правительства раз-

решения издавать журнал», поэтому она его не любит и любить не может. Еще одну параллель семейной драме П. находит Р. в «Соборе Парижской Богоматери» *В. Гюго*. П. оказывается похожим на «угрюмого, ученого, гениального монаха», который «страстно-нежно и безнадежно» полюбил Эсмеральду-Гончарову. Р. утверждает, что Наталья Гончарова не виновата: «она не согрешает», но и не дает мужу «святого, как положительного», «небесной поволоки глаз», «воздушного смеха» вместо «мертвенной улыбки» (ЛВИ, 430). Все это, не будучи обращено к П., «могло бы обратиться к “Лидину”, а за неимением его — вообще отсутствует» (ЛВИ, 431). П. отнял у нее надежду стать настоящей женой, «приласкать любимого человека»; «он мог гениально ее ценить, но создать и выжать из себя форм обращения и *быта*, бытия, “жизня-бытия” <...> он не сумел» (ЛВИ, 431). Р. считает, что «Пушкин был виновен перед Гончаровой», так как не сумел создать настоящей семьи, «святого дома» (ЛВИ, 437). Нельзя «мистический узел семьи, мистическую душу семьи, ангела семьи образовать на почве искусственного согласия» (ЛВИ, 438). По Р., «гений и поэзия семьи вспыхивают тогда, когда есть единство субъективного лица в кажущихся двоих», и устроить это может только Бог. А в браке П. и Гончаровой «это “Бог и одно” у них не существовало и даже не начиналось, не было привнесено в их дом» (ЛВИ, 439). В заметке «Когда-то знаменитый роман» (НВ. 1905. 8 июня) Р. отмечает, что П. или «праотцы», «мало помышлявшие об умеренности и аккуратности» в сфере отношений между полами, «отличались изумительной, совершенно не имеющей себе конца добротой, благостью, готовностью все для другого сделать, правдивостью, прямоютою» (ОПП, 190–191). А в статье «Виардо и Тургенев» (РС. 1910. 20 мая) Р. пишет, что «тот, кто истинно и высочайше любит, всегда лучше слабейшей и менее любящей стороны: как Пушкин — Гончаровой» (ОПП, 440). В статье «К кончине Пушкина (По поводу новой книги *П.Е. Щеголева* “Смерть Пушкина”» (НВ. 1916. 13 сент.) Р. заявляет, что из уважения к поэту вообще не надо поднимать и пересматривать этой истории. Вопрос о смерти П. для него совершенно ясен — просто на самом деле встретились разнонаправленные судьбы. Каждый следовал своему характеру. П. родился «не для жены своей и не для этого общества», но «вошел в это общество» по своей воле (ОПП, 644). П. был «пантеистом любви», но выбрал себе одну жену и должен был любить ее одной любовью, хотя носил в себе «любовь всех типов и степеней, всех форм и температур» (ОПП, 645). Р. анализирует письмо П. к Наталье Николаевне, и оно кажется ему чудовищным по выбору лексики и общему *тону*. По мнению критика, так жене писать нельзя, адресат такого письма «получает полную волюшку» и может вести себя так, как будто он абсолютно свободен. Поэтому то, что произошло, закономерно. Р. в этой статье возлагает ответственность за гибель П. не на самого поэта, а на эпоху. Причиной травли П., которая и привела к *дзэли*, Р. называет его эпиграмму на графа С.С. Уварова, историю же с Геккернами считает всего лишь поводом. Р. снимает с П. обвинение в пренебрежении мистическим смыслом брака. Универсальный и всемирно отзывчивый П. не может остановиться на чем-то одном, поэтому он не может любить одну *женщину* и переносит на

жену свое отношение к женщинам вообще. В свою очередь, для его жены — обыкновенной женщины — эта универсальность оборачивается отсутствием точки опоры. «Где, наконец, муж?» (ОПП, 646) — как бы вопрошает она, а мужа нет, есть бесконечная череда *масок*. Р. объясняет семейную трагедию свойством личности П. — некой «всеядностью», одинаково проявлявшейся и в его творчестве, и в его жизни. Для Р. семья священна, и неспособность П. к семейной жизни представляется ему качеством отрицательным. Однако наряду с этим именно «пантеизм любви» Р. рассматривает как условие проявления гениальности. «Верные мужья своих жен», по его мнению, не умеют писать таких стихов (ОПП, 646). Р. первый в статье к 100-летию со дня рождения П. высказал мысль о необходимости создания Пушкинской академии (статья «О Пушкинской академии»), после которой через пять лет и был создан Пушкинский Дом в Петербурге. В советские времена эта история по известным причинам игнорировалась.

А.А. Голубкова

ПШИБЫШЕВСКИЙ (Przybyszewski) Станислав (7.5.1868, Лоево на Куявах — 23.11.1927, Яронты на Куявах) — польский писатель. В журнале «*Золотое Руно*» (1906. № 5) Р. рецензировал перевод книги П. «Заупокойная месса» (М., 1906), обратив внимание на проблему пола. Об авторе Р. пишет: «Мне кажется, в тоскливых, хаотических словах этой полу-поэмы, полу-философии кое-что сказано Пшибышевским о себе, без всякой аллегории и прямо: «Я веду свое происхождение от смешанного брака между протестантом-крестьянином и католичкой, — женщиной, принадлежавшей к старому, обедневшему аристократическому роду <...> Она никогда не любила моего отца; она вышла за него замуж для того только, чтобы не служить у людей одного с нею звания. Путем бесконечных мук научилась она отдаваться его страсти; в глубочайшем физическом отращении, в страшном возмущении ее обливавшейся кровью души, вызвавшей к мщению природы, был зачат я. С самого начала грязь — грязь — и грязь» (ВДЯ, 352–353). Утверждая, что «пол-то и есть в нас душа» (ВДЯ, 352), Р. замечает: «Достоевский в одном месте говорит, что чувственность начинается с молчания (за миг перед нею умолкают влюбленные). Заветы все мудрые: в Пшибышевском более всего меня отталкивает это нарушение особенно элевзинского правила. Он не только страшно много говорит, но в речах его чувствуется запах пива или алкоголя <...> Алкоголь — расхоложивает и обеспокоивает: вот маленькое медицинское сведение, которое не все знают, обычно соединяя «Бахуса и Венеру»» (ВДЯ, 351). Творчество П. не заинтересовало Р. в дальнейшем, и он лишь мимоходом упоминает его в статье «Наши публицисты» (НВ. 1908. 3 авг.; ОНД, 339).

А.Н.

ПЫПИН Александр Николаевич [25.3(6.4).1853, Саратов — 26.11(9.12).1904, Петербург] — литературовед, академик (1898), печатался в «*Вестнике Европы*», испытал влияние Н.Г. Чернышевского, своего двоюродного брата. В «*Мимолетном. 1915 год*» Р. отмечает, что «Пы-

пин все вспоминает Николая Гавриловича» (КНУ, 329). В «*Мимолетном. 1914 год*» Р. записывает: «Пушкинское “Стальной щетиною сверкая” “их” Пыпин назвал национальным хвастовством и презренным шовинизмом» (КНУ, 486). Такое отношение к стихотворению Пушкина «Клеветникам России» было характерно для журнала, издававшегося М.М. Стасюлевичем. Р. продолжал на ту же тему: «Белинский весь был забыт, не оценки же Пушкина и Лермонтова были кому-либо нужны, когда даже академик Пыпин считал Лермонтова юнкером, неучем и баричем. Всех, всю литературу заняло только то, что Белинский в последнем, “и следовательно в самом зрелом”, периоде деятельности заявил себя ярким социалистом» (КНУ, 554).

А.Н.

ПЯСТ Владимир Алексеевич [наст. фам. Пестовский; 18(30).6.1886, Петербург — 19.11.1940, Голицыно, Московская обл.] — поэт, переводчик, постоянный посетитель розановских «воскресений», хотя А.М. Ремизов вспоминал: «Пяст бывал у Розанова всякое воскресенье, и каждый раз Розанов с ним знакомился: “Розанов” Пясту это было очень неприятно, — но что поделаешь, если человек не хочет замечать, и ведь не нарочно» (Пяст В. Встречи. М., 1997. С. 296). В воспоминаниях П. приводит несколько эпизодов встреч с Р., о чем Э.Ф. Голлербах после выхода книги П. «Встречи» (1929) писал 14 апреля 1930 Г.И. Чулкову: «Пяст поступил с Розановым совсем плохо: показал только одну из его “гримас”, дал “извращенный портрет» (Там же, 269). П. встречался с Р. и в салоне Мережковских, в 1905: «В.В. Розанов принялся рассказывать о себе, о своем “доисторическом” И таким грубым, и вместе жалким показался он мне, когда, усевшись спиной к окну в высокое кресло, попыхивая неизменной самодельной папироской, заговорил: “Ведь вот я только что кончил университет, — почти что такой был вот, как он...” И он фамильярно тыкнул рукою <...> в Андрея Белого! “...И сразу уселся, да на целый год с лишком, если не на два, за настоящее философское исследование “О понимании”, — продолжал хвастаться Розанов. Какое грубое, дикое “непонимание”, на мой взгляд, высказал этот — талантливый, но Андрею Белому недостойный (уж во всяком случае в отношении эрудиции!) “подвязать сандалии”, — писатель, когда, в простоте душевной, хвастался он своим ранним умственным развитием!» (Там же, 34). Другой эпизод связан с тем, как П. на собрании у Вяч. Иванова по просьбе Ан. Каменского читал его скандальный рассказ «Четыре». П. «проваливался сквозь землю от стыда», читая это «бессовестное сочинение». «Однако приход В.В. Розанова был уже “каплей”, переполнившей чашу. Так как вход этого сравнительно редкого у Иванова гостя вызвал некоторое возмущение, а именно Вячеслав встал к нему навстречу (хотя Розанов, к моему ужасу, остановившись в дверях, делал знаки рукой, что он-де не желает ни на минуту мешать чтению) <...> я быстро соскочил с места, вручив рукопись автору. Реалисты начали было ахи и охи, — но Арцыбашев потушил сожаления своих товарищей тем, что сразу же вызвался заменить меня в чтении» (Там же, 52).

А.Н.

Р

РАБИНОВИЧ Петр Осипович — преподаватель математики и физики Николаевской гимназии в Ревеле, затем инспектор гимназии в Пернове (Пярну) и издатель газеты «Курорт Пернов». Автор писем к Р. 1908–1911, к которым Р. приложил свои отзывы о нем и его брате: «Рабинович Иван, Петр — очень симпатичные, наивные оба (учителя физики в Ревеле), (единственные кто мог бы заставить меня замолчать в деле *Бейлиса*...); «очень милые два брата еврея (см. «На Волге» мой фельетон, приведший к ужасной ссоре)» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 97). Первая встреча Р. с Рабиновичем и его женой состоялась на волжском пароходе летом 1907 и была описана затем писателем в путевых очерках «Русский Нил» (РС. 1907. 24 авг.; очерк вышел под заглавием «Израиль»). «Он — светлый блондин, хорошего роста, с открытым веселым лицом; она — темная брюнетка, молчаливая и несколько угрюмая» (ОНД, 184). Жажда утолить любопытство от новой встречи позволило Р. выяснить, что перед ним еврей евангельского вероисповедания, женатый на русской. Христианство принял еще отец Рабиновича, основав на юге России религиозную общину «Израиль Нового Завета», которой В.С. Соловьёв посвятил статью «Новозаветный Израиль». Р. дал в своем очерке высокую оценку деятельности основателя протестантской секты, подчеркнув положительное значение распространения на юге России терпимого отношения еврейства к христианам, а также возрастание общего количества браков между русскими и евреями. Молодую чету Рабиновичей задели переданные Р. в очерке размышления о чадородии бездетных молодых супругов и поучения писателя на тему народно-религиозных еврейских обычаев деторождения. Неловким для молодых педагогов показалось вторжение Р. и в психологию их личных отношений: «Этот еврей, до такой степени поработившийся своей жене — русской, — какая иллюстрация для опровержения вечной подозрительности всех христиан, что еврей день и ночь все только и думают о подчинении себе христиан» (ОНД, 189). В письме от 22 октября 1908 Рабинович уведомлял Р., что они с женой «давно простили» его за фельетон в «Русском Слове». Сообщалось, что прощение последовало сразу «после объяснения» с Р. в магазине издательства «Новое Время» в Петербурге. «Итак — мир, тот мир, о котором Вы просите в письме», — завершил тему ссоры ревельский педагог (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 44. Л. 2). Письмо содержало благодарность за приглашение в Петербург в гости к Р. В том же письме Рабинович критиковал Р. за

преждевременную радость, выраженную им в статье с похвалами в адрес министра просвещения А.Н. Шварца за его проект о вознаграждениях учителям. В письме от 27 сентября 1910 Рабинович просил Р. поместить в «Новом Времени» его статью по поводу реформы средней школы и о тяжелом материальном положении учителей и инспекторов гимназий. В письме от 19 мая 1911 Рабинович предлагал Р. поддержать своим участием молодую русскоязычную газету «Курорт Пернов».

А.В. Ломоносов

РАДЛОВ Эрнест (Густав Вильгельм) Леопольдович [20.11(2.12).1854, Петербург — 28.12.1928, Ленинград] — историк философии, переводчик. Р. высоко оценил «труд почтенного профессора Э.Л. Радлова» «Философский словарь» (1913) (НВ. 1916. 24 апр.), считал, что «лучшая и прекрасная часть — определения философских поня-



Э.Л. Радлов

тий, терминов, течений, учений; слабейшая — именной словарь, слишком сжатый, сжатый до готовности попасть в ошибку» (ВЧВ, 174). Он сопоставляет труд Радлова с работой А. Ященко «Русская библиография по истории философии» (Юрьев, 1915) и приходит к выводу: «Слава Богу, хоть в чем-нибудь, хотя бы в одном даже труде, русские стали на первое место в мировых *литературах*» (там же). В 1913 Р. писал о Радлове, что это «скромный, хороший, твердый русский гражданин среднего типа» (ЛИ, 99). В письме к Э. Голлербаху от 8 октября 1918 Р. замечает: «Составление порядочного философского Словаря вещь необыкновенно трудная и, может быть, неподсильная одному *человеку* — неподсильная: потому что тут много и кропотливой работы» (ВНС, 376). Но он не понимает, чем руководствовался Радлов, включив в именной список Гилярова-Платонова сына и не включив *Н.П. Гилярова-Платонова* отца: «Обратить “Словарь” только в перечень имен одних у русских и дать недурные при этом объяснения философских понятий — значит раздражить и не удовлетворить, заставить купить *книгу* и затем бросить ее в корзину» (там же). Р. высоко отозвался также об издании Радловым трех томов писем *Вл. Соловьёва* и писал: «Россия не может не быть благодарна Радлову. В трех томах живая и конкретная личность Соловьёва встает с такой ошутительностью, что мне, по крайней мере, показалось при чтении первого тома, будто Соловьёв разговаривает у меня в комнате с другими людьми, и что он вовсе не умирал...» (ТПРН, 92).

М.Б. Раренко

РАДОВАНОВИЧ Светозар Стефанович — кандидат богословия Петербургской духовной академии, участник *Религиозно-философских собраний*. Просил Р. о рецензии на *книгу* своего учителя проф. *С.А. Соллертинского* «Пастырство Христа Спасителя» (СПб., 1896), Р. положительно упомянул о ней в статье «Религия — как свет и радость» (НВ. 1899. 14 апр.; ОЦС, 20). В благодарности за теплый отзыв о Соллертинском Радванович подарил Р. книгу «Пастырство Христа Спасителя» на Пасху 1899. Радванович часто посещал Р. и был любим *детьми* писателя, что отмечается в *воспоминаниях Н.В. Розановой*: «“Рыженький” (*Е.П. Иванов*) и “серб” (Светозар Степанович Радаманич) занимали самое большое место в нашей детской *жизни*, и того и другого мы любили со всем детским пылом. Они играли с нами, и мы лазили на их плечи, трепали их бороды и мяли крахмаленные воротнички, которые тут же за негодностью приходилось класть в карман. И вот странное дело, — так и растались мы с ними, т.е. в детской *любви-обожании*, но чем дальше шло *время*, тем больше в *сознании* изменялись эти образы. Светозар Степанович, чем глубже уходил вдали, тем яснее выступало другое *лицо*, как будто первый очерк в детстве был нарисован симпатическими черчилами, и от дыхания времени контур его исказился и вышло иное лицо, скорее неприятное, отталкивающее» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 2. С. 60). Впервые молодой богослов посетил Р. в ноябре 1898, уже будучи знакомым с его *трудами* «О понимании» и «Место христианства в истории». При первой встрече Радванович приветствовал Р. следующими словами: «Задунайский славянин увидел на русском небосклоне звезду необы-

чайного блеска и пришел поклониться ей» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3826. Ед. хр. 4. Л. 1). Позднее, Р. в глазах Радвановича «из необычайной звезды» превратился в «славянское *солнце*, сосредоточившее в себе весь свет *ума* и всю теплоту сердца славянского». В дни работы РФС в *Петербурге* молодой богослов принимал участие в прениях по докладу иеромонаха *Михаила* «О браке». На 15-м заседании РФС Радванович выступил в поддержку точки зрения Р.: «На первом заседании я коснулся спорного вопроса об идеалах, но не имел возможности развить свою *мысль*, что брак в идеале выше *девства*. Мне говорят о том, что девство стоит выше брака. Никому не известный скиф рискнул быть осмеянным... Но теперь, после доклада Розанова, всякий риск исчез. Против гиганта выступил Давид. Мне, скифу, будет теперь легче. Итак, брак выше девства. *Человек* создан по образу и подобию *Бога*. Что такое Сын, что такое Отец в Святой Троице, не трудно было понять. Но что такое Дух Святой?...» (ЗПРФС, 290). Сохранились *письма* Радвановича к Р. 1899, 1906, 1907, 1910. 10 сентября 1900 Радванович подарил Р. свой фотопортрет с дарственной надписью: «Достославному и достолюбезному Василию Васильевичу Розанову дань признательности и уважения» (ОР РГБ. Л. 2). В письме от 15 июня 1906 богослов просил о присылке ему в *Берлин* книги Р. «*Ослабнувший фетиш*». Незадолго до указанного письма Радванович выслал Р. свою книгу о порабощении *мира* скопцами-пустынниками, после чего интересовался впечатлением писателя от прочитанного. В письме от 7 января 1907 серб критиковал Р. за иудеофильские симпатии. «Не одобряя политическую программу жидовских “товарищей”, — писал богослов, — Вы все же оказались их союзниками; Вам они нравятся “психологически»» (там же. Л. 6). В том же письме Радванович поддержал позицию Р. «против учреждения патриаршества», заявленную писателем на ранней стадии широкого обсуждения церковной реформы (там же. Л. 6 об.). В 1910 Радванович направил Р. две открытки, приветствуя писателя «со всей домашней *церковью*» (там же. Л. 8) и поздравляя его с *Рождеством* Христовым (там же. Л. 7). Свадьба Радвановича пробудила в писателе отеческие чувства в связи с увиденным *счастьем* молодоженов и вызвала к жизни размышления о *радости* их родителей от ожидаемого появления внуков: «Все-таки бытовая Русь мне более всего дорога, мила, интимно близка и сочувственна. Все бы любилось. Все бы женились. Все бы росли деточек. Немного бы их учили, не утомляя, и потом тоже женили. “Внуки должны быть готовы, когда родители еще цветут” — мой канон. Только “†” страшна» (У, 282). Два письма Радвановича к Р. хранятся в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 594).

А.В. Ломоносов

РАДОНЕЖСКИЙ Александр Анемподистович (1835–?) — педагог, автор-составитель хрестоматии «Родина. Сборник для классного *чтения* с упражнениями в разборе, устном и письменном изложении. В 3-х ч. Курс подготавливательного и 4-х низших классов» (СПб., 1876), по которой в гимназии учился Р. В *письме* А.А. Радонежского к Р. от 1 декабря 1911 выражалась благодарность за «*ласковый прием*» в *доме* писателя (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3877. Ед. хр. 27. Л. 2). Педагог высказал *убеждение*,

что не без «доброто влияния» хрестоматию «Родина» из Р. сложился «столь любящий Церкви и Отечество теперь уже известный и за рубежами России писатель» (там же). С письмом Радонежский прислал Р. «вяземские пряники» для детей Р. и свои книги: хрестоматию «Родина», «Очерки истории русской литературы» и «Грамматику». Узнав, что Р. будет рецензировать его последнюю книгу в «Новом Времени», Радонежский в том же письме выразил свои добрые чувства по этому поводу. На старый учебник нового учителя Р. откликнулся заметкой «Рождественский подарок сельской школе. А. Радонежский. Грамматика» (НВ. 1911. 29 дек.; ТПРН). К письму педагога Р. приложил краткую характеристику: «Радонежский. “Детский мир” Еще жив!!! И шегольски одет» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 99).

А.В. Ломоносов

РАЗИН Степан Тимофеевич [ок. 1630, станица Замовайская-на-Дону — 6(16).6.1671, Москва] — предводитель Крестьянской войны 1670—1671. Говоря о «подпольном человеке» у Достоевского, Р. пишет о двух путях проявления «силы» в России: «Был очень яркий человек, железный человек — Разин, но, представьте, Сергей Радонежский был точь-в-точь такой же железный человек, и у него “силушки” — что у Степана Парамоновича, ни чуточку не меньше. Один разрушит, другой создаст; один “сбросит сапогом к черту”, другой (молча) опять подымет и опять положит на место. Два “почесыванья” В том и дело, что есть два “почесыванья”, и вот на “двух”-то мир и построен» (ОПП, 493). Сравнивая Разина с Пугачевым, Р. замечает: «Не много сделал и Степан Разин, натура изумительная, натура гениальная, в Московской Руси, бессильной, неуклюжей, вовсе дикой, без регулярной армии и крепостей. Просто всё дезорганизованное бессильно против всего организованного» (РГО, 110). «Жестокого, кровавого, огнепаляющего» Разина Р. осуждает за то, что он хотел решить «разом всё, от маковки до пяток» (КНУ, 106). Кроважность неизмеримо возросла в наше время: «Замечали ли вы, — пишет Р., — что самые утонченные кровопроливцы почти сплошь были самые цивилизованные господа, которым все эти разные Атиллы да Стеньки Разины иной раз в подметки не годились, и если они не так ярко бросаются в глаза, как Атилла и Стенька Разин, так это именно потому, что они слишком часто встречаются, слишком обыкновенны, примелькались. По крайней мере, от цивилизации человек стал если не более кроваваден, то уж наверное хуже, гаже кроваваден, чем прежде» (ЛВИ, 115—116). Разин и Пугачев были «единственными и последними формами русской революции» (М, 153). Ибо формулу «всероссийского пролетариата» сформулировал еще Разин: «Сарынь-на-кичку» (РГО, 286), т.е. «грабь награбленное».

А.Н.

РАЗИНЬКОВ Василий Лазаревич — сотрудник газеты «Новое Время» в 1898—1910. Р. вспоминал в «Опавших листьях», что «о “Семейном вопросе в России” не было ни одной рецензии, кроме от Разинькова, Василия Лазаревича», да и та была написана лишь потому, что Р. сам “упросил” коллегу дать отзыв на книгу» (У, 228). Разиньков отозвался на сочинение Р. заметкой «Книга о семье» (НВ.

1903. 28 нояб.). В письме к Р. от 25 мая 1909 Разиньков благодарил писателя «за помощь деньгами и вещами, полученными <...> от Н.А. Колубовской» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 43). Разиньков просил Р. указать на возможное для него место работы, а также прояснить перспективы сотрудничества с газетами «Русское Слово», «Биржевые Ведомости» и каким-либо издательством на предмет переводческой деятельности.

А.В. Ломоносов

РАСПУТИН Григорий Ефимович [наст. фам. Новых; 1864/1865, по др. данным 1872, село Покровское Тобольская губ. — 17(30).12. 1916, Петроград] — крестьянин, объявленный «старцем», «друг» царской семьи. Знакомство Р. с Распутиным состоялось в 1904 или 1905, в доме петербургского священника Я. Медведя: «Однажды <...> зашедши к священнику <...> я встретил у него <...> не то мещанина, не то крестьянина <...> Это и был “Странник”, — мужичонко, серее которого я не встречал» (ВЕ, 434). Первое печатное упоминание Распутина у Р. — статья «Усердствующий Митрофан» (РС. 1910. 2 дек.), направленная против саратовского епископа Гермогена, о котором сообщается, что тот «близкий приятель знаменитого Григория Распутина, устраивавшего в банях радения с петербургскими барынями» (ЗРП, 424). Подробно о Распутине, не называя его имени, Р. писал в статье «О “Сибирском Страннике”» в книге «Апокалипсическая секта (Хлысты и скопцы)» (1914), придавая его феномену чрезвычайное значение: «Одно, что можно объективно заметить в Сибирском Страннике, заметить “научно” и не проникая в корни дела, — это что он поворачивает все “благочестие Руси”, искони, но безотчетно и недоказуемо державшееся на корне аскетизма, “воздержания”, “не касания к женщине” и вообще разобшения полов, — к типу или, вернее, к музыке азиатской религиозной лирики и азиатской мудрости (Авраам, Исаак, Давид и его “псалмы”, Соломон и “песнь песней”, Магомет), — не только не разобщающей полью, но в высшей степени их соединяющей. Все “анекдоты”, сыплющиеся на голову Странника, до тех пор основательны, пока мы принимаем за что-то окончательное и универсальное “свою русскую точку зрения”, — точку зрения “своего прежнего”; и становятся бессильны при воспоминании о “псалмах Давида”, сложенных среди сонма его окружавших жен» (ВЕ, 437). Увлечение Р. фигурой Распутина достигло своего пика в 1915, когда он, по крайней мере, дважды встречался с ним в компании почитателей «старца». Об этих встречах сохранились воспоминания Н.А. Тэффи, которую вместе с А.А. Измайловым и Е.П. Ивановым Р. уговорил поехать с ним. По словам Тэффи, Р. просил ее разговорить «странника» на «эротические темы», а во время второй встречи «добиться от него приглашения на (хлыстовские) радения» (Тэффи Н.А. Житие-бытие: Рассказы. Воспоминания. М., 1991. С. 426, 437). Впечатления от этих встреч отразились в «листве» 1915. Р. отмечает «поразительного ума и спокойствия слово старца Гриши» о Толстом (что тот, споря с Синодом, на самом деле борется с отцами Церкви), рассказывает, как Распутин «плясал русскую, — с художеством, как я не видал ни у кого, ни в одном театре»; конечный вывод: «Гриша — гениальный мужик. Он нисколько не хлыст. Евгений Павло-

вич <Иванов> сказал о нем: “Это — Илья Муромец” Разгадка всего» (М, 56—57, 60). Проводится противопоставление Распутина и С.Ю. Витте: «В сущности, Русь разделяется и заключает внутренне в себе борьбу между: — Витте. — И старцем Гришею, полным художества,



Г.Е. Распутин

интереса и мудрости, но безграмотным <...> Гриша гениален и живописен. Но воловодится с девицами и чужими женами, ничего “совершать” не хочет и не может, полон “памятью о божественном”, понимает — зорьки, понимает — пляс, понимает красоту мира и сам красив <...> “Гриша — вся Русь” (М, 66). Часто «распутинская» тема обсуждалась в письмах Р. к П.П. Перцову в 1915—1917. В письме от 18 сентября 1915: «Я совершенно верю, что Гриша чуть-чуть приоткрыл краешек Апокалипсиса и показал “Сон счастливого человека” <...> где все друг друга любят, “все всем жены”, без разделения и ревности <...> Гриша явно “4-го измерения” <...> Посему я считаю гениальным и смелым шагом, что “Наш” <Николай II> приблизил к себе мужика-странника-богомольца — и “с Апокалипсисом” в панталонах» (ОР РГБ. Ф. 872. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 39—40). В апрельском письме 1917: «История с Распут., о которой я оч. много думал, более и более представляется мне форменной мистерией, и “Гришка” вообще мистерияльная личность, вполне чувствующий себя, хотя, конечно, вполне о себе не сознававший ничего, исторически не сознававший. Это, я думаю, не “соблазненный святой” Православия, а форменно языческий: святой “точь-в-точь”; и я безумно жалею, что не свел с ним (для любопытства) дружбы, дабы увидеть воочию “древние таинства” <...> “Гришка” есть величайший феномен религиозной истории, куда важнее лютеранских мелочей: и

я просмотрел, пропустил, “как же люди некогда поклонялись Аписам” Он был вовсе не мнимый, вовсе не воображаемый, вовсе не “у одних ученых” — Апис: а — подлинный, с верою в него как в бога, и имевший “точь-в-точь успехи”, как в Египте <...> Я недавно прочитал письма к нему Царицы и всех дочерей <...> показал Варе <В.Д. Бутягиной>. И она сказала твердо: невозможно думать, чтобы была связь. И я думаю — не было. Его именно почитали как бога <...> Очевидно, он и был форменно “богом” в царской семье. Но тайна несекончаемая заключается в том, как он мог выучить, или, вернее, как мог передать или внушить музыку бесконечной нежности к себе, деликатности, молитвенности. Как он мог стать иконой. А он стал, это впечатление не только мое, но и Вари» (Там же. Л. 90—92). В письме к П.А. Флоренскому 29 апреля 1915 Р. писал о Распутине: «Никакого хлыста, полная — темнота, но вполне гениальный мужик, и конечно, при Дворе гораздо интереснее говорить с ним, чем с вылощенным камергером» (АФ).

С.М. Сергеев

РАФАЭЛЬ Санти (Raffaello Santi) (26 или 28.3.1483, Урбино — 6.4.1520, Рим) — итальянский живописец и архитектор. Р. считал, что Рафаэль — это «чудо природы, редкий феномен ее творческих сил» (ОНД, 410). «Он есть такое же в истории чудесное явление, как Жанна д'Арк, то есть он есть феномен, особенно выковавшийся в недрах мира, существо сверхъестественное, т.е. в большей степени, чем все мы, естественные люди» (СХ, 51). Основное в этом художнике, по мнению Р., — «свобода усюкоенного вымысла» и способность «схватить» душу, «Психею» (СХ, 50). Описывая свое впечатление от фресок Рафаэля в Ватикане, Р. отмечает: «Умиление, кротость, какой-то рай на лице — вот его особенность. Он просеял землю, земля упала вниз, а на его палитре остались одни небесные частицы» (там же). Легкость и нежность рафаэлевской «кисти волшебницы» (ПЛ, 236) и его пристальное всматривание в мир вызывает у Р. ассоциации со словами Иезекииля о небесных существах, «исполненных очей спереди и сзади, внутри и снаружи». «Что такое Рафаэль, как не какой-то всемирный Глаз, человек, ставший Глазом, оформившийся весь в это огромное и необозримое видение, в котором переливались и переплетались земные и небесные краски, земные и небесные тени, штрихи?...» — пишет Р. в статье «О Пушкинской академии» и сравнивает Рафаэля с Бетховеном («столь же всемирное и такое же вековечное Ухо») и Пушкиным («всемирное внимание, всемирная вдумчивость») (СХ, 169—170). Рафаэль — «высший художник христианского мира» (ЗРП, 440), сумевший отразить радость и свет Евангелия. Именно поэтому Р. предпочитает его Микеланджело и Рембрандту. Мир Рафаэля — рай, а «ветхозаветный пророк» Микеланджело «не знал “Рая” и даже чуть-чуть только знал “Чистилище”; он хорошо знал только “Ад”» (СХ, 50). «Известно, что Микель-Анджело был человек молчаливый, угрюмый и как-то вечно враждующий, даже неизвестно, с кем враждующий. Рафаэля он не любил, даже, кажется, не ценил. Тот был слишком “небесен”, а этот нес в себе бурю» (ОНД, 341). То же Р. говорит о «рафаэлевском христианстве», противопоставляя его «рембрандтовскому» («Рафаэлевское и рембрандтовское христианство» // РС. 1910. 25 дек.).

«Рафаэль почти ничего другого и не делал, как прославлял *Рождество* Христово... Оно занимает 9/10 его *творчества*. Везде — Мать с Предвечным Младенцем; или пещера, где родился Христос; или поклоняющиеся цари-маги; или пастыри овец, слушающие херувимскую песню над пещерою. Все это — в неисчислимом разнообразии положений, колоритов, оттенков. Центр, однако, везде — Рождество, *рождение* <...> Рафаэлевское христианство вообще есть семейное христианство» (ЗРП, 440–441). Это «евангельская весть, павшая в семью» (ЗРП, 441). Цитируя «Казачью колыбельную» М.Ю. Лермонтова, Р. восклицает: «Вот эмбрион всех кистей Рафаэля... всех его образов, понятий, чувств, волнений» (ПЛ, 236). А в «Madonna di Foligno» <«Мадонна в листе»> его «поражает влечение частного и незаметного события из личной жизни в небесную сферу» (СХ, 52). Семья объединяет мир, и именно поэтому «с таким чудом силы и красоты изобразив “Рождество Христово”, то есть приникнув к нему с такою силою внимания и размышления, с такою силою восторга и всяческого прилепления, Рафаэль не нашел никаких в душе своей препятствий, чтобы перейти к темам и всего Ветхого Завета, а наконец, и к темам античного, благородного язычества <...> Как и мир, конечно, не расколот был, не пронзен как бы кинжалом Тем, Кто Сам Себя нарек “Примирителем”, “Утешителем”, Кто пришел “соединить Землю и Небо”...» (ЗРП, 442). В этом Рафаэль противоположен Рембрандту, основные темы которого — «Снятие с креста» и «Положение во гроб»: «Все — могила, все сходит в могилу... Могила и крест все венчают». «Рембрантовское христианство, это — монастырь» (ЗРП, 441–442). Наивысшее достижение Рафаэля — «Сикстинская Мадонна», «создание, согретое высшею любовью творца своего и облитое немеркнущим светом для других» (ЛВИ, 12). Р. ставит ее в один ряд с «Фаустом» Гёте, Девятой симфонией Бетховена и «Легендой о Великом инквизиторе» Достоевского: эти произведения «любят человечество и знает, как то, к чему способно оно в лучшие свои минуты» (там же). По мнению Р., Рафаэль, Данте, Шекспир и Ньютон «по спиритуализму своему все суть дети Евангелия, — лучшие его дети, самые верные, самые глубокие», и после них «все ветхозаветное, биологическое, кровное, космологическое, родное, “родственное” между собою и с миром стало просто скучно и неинтересно» (ОНД, 77). Рафаэль — это воплощение женской души, андрогинности. Это Адам, не потерявший свою Еву (она еще не вышла из его ребра): «Известно, что Рафаэль имеет особенное от всех людей лицо: чистейшей девушки, нежное и удлиненное, без зачатка бороды или усов» (СХ, 51). Он — среди тех «преlestных душ», которые «как матери», согрели человечество: «Замечено, что величайшие гении были очень женственны. Рафаэль, Данте, Шиллер — вот примеры» (ВДЯ, 219). В ряде работ Р. ставит Рафаэля в один ряд с «людьми лунного света». Эту мысль он развивает в «Литературных изгнанниках», комментируя высказывание Н.Н. Страхова о К.Н. Леонтьеве: «Из utriusque sexus <обоих полов> — гений лиц, гений Сократа, Платона, гений и нашего Леонтьева. Это суть Люди Тайны, Люди Неисповедимости, — врожденные маги и иереи (не в церковном, конечно, значении) человечества, его вожди, законодатели, пророки, предсказыватели. Из них же

был Рафаэль — несмотря на (бездетную) возню с Форнариною; были отсюда и Микель-Анджело, и Леонардо да Винчи; был отсюда — Шекспир, отчасти отсюда — Гёте» (ЛИ, 107–108). В то же время союз Рафаэля и Форнарины дает Р. повод обсудить проблемы брака и семьи: «Исходя из единственного этого случая (а ведь сколько параллельных! подобных!), возможно ли порицать и отрицать любовничество, любовь, ну конечно, “свободную любовь” <...> над которою, как только упомянуть о ней, — начинают хихикать. Хоть бы подумали о Рафаэле: возможно ли его “свободную любовь” порицать, когда она умилила все человечество плодом своим, результатом своим!?» (СХ, 141).

Т.В. Воронцова

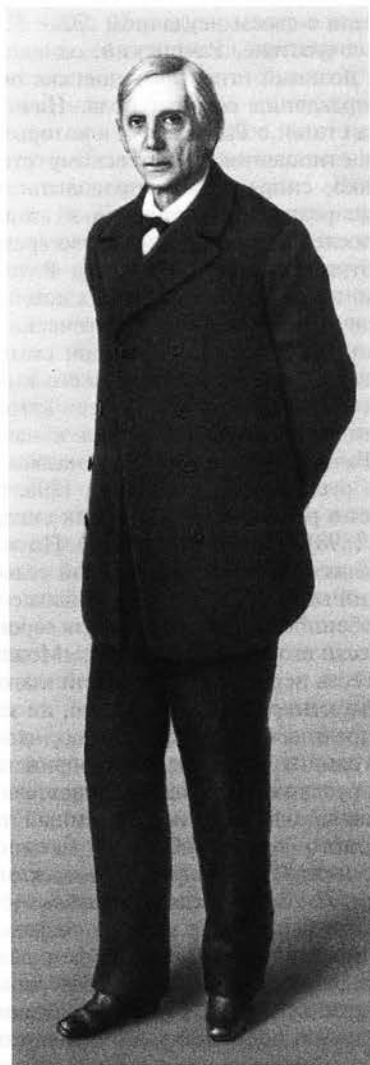
РАЧИНСКАЯ Варвара Александровна [1836 — 17(30).5.1910, Татево, Бельский уезд, Смоленская губ.] — помещица, сестра педагога С.А. Рачинского. Р. познакомилась с ней в 1892, приехав навестить ее брата, автора книги «Сельская школа» в их фамильное имение Татево из расположенного поблизости г. Бельй, где он тогда работал учителем. В некрологе (НВ. 1910. 23 мая) Р. отметил, что «Варвара Александровна вела всё обширное хозяйство старого барского дома, всю его экономию», в то время, как «Сергей Александрович занимался школою и, для лучших успехов воспитания и обучения, переселился в ее тесное помещение, имея там всего одну комнату» (ЗРП, 186). Р. характеризовал сестру педагога-подвижника: «Она обладала спокойным и твердым умом, совершенно отвечавшим положению хозяйки и владелицы больших угодий. Но это — летом, когда сеялся, рос и убирался хлеб. Зиму же посвящала чтению и, в часы отдыха, вязанью толстых шерстяных фуфаяк для чернорабочих (уходивших в город на промыслы крестьян). Она не скучала одиноким Татевым, лежавшим вдаль от городов и других имений, и проводила в нем лето и зиму. Понятно, как много оставалось у нее досуга для чтения. Зная в совершенстве новые литературы, она не удовлетворилась ими и, взявшись уже в зрелые годы за древние языки, усвоила их вполне и читала Гомера в подлиннике, как мы — Жуковского или Гнедича. В уровень с этим стояло и ее научное образование или, вернее, самообразование. Около брата она вообще стояла одинаково и вполне независимо умственной величиною, не увлекаясь его педагогическими взглядами и признав их только тогда, когда они дали плод и результат. Характер ее, в противоположность братному демократическому, был скорее аристократический, — суровый, повелительный и распорядительный. Это очень шло к ней, и, составляя с братом контраст, они образовывали красивую пару» (там же). Р. вспоминал, как Рачинская показывала ему свое хозяйство: «Среди хлебных полей, в ранний утренний час, она шла вперед крепко хозяйскою походкою, и зоркий глаз уже 60-летней женщины всё видел, замечал, угадывал погоду ближних недель и рассчитывал осень. Я хотел видеть скотный двор, так как не видал коров иначе, как в “розницу” Она провела меня куда-то наверх, на какие-то перильца, и я увидел буквально “арену”, как Circus maximus в Риме, — наполненную мирными животными (не выгнанными в поле за стельностью) и навозом в такой массе, как я никогда не видывал. На мое восклицание она объясни-

ла, что для навоза-то и держится ими более ста коров, ибо иначе невозможно удобрять землю <...> Вся она была проста, сера, умна... и красива умным, хорошим светом. — Если бы сорок лет долой — совсем бы Навзикая, вспомнил я Гомера» (ЗРП, 186—187). Судя по *письмам* Р., образованная, начитанная Рачинская участвовала в литературных беседах с гостем во время его визитов в Татево. В декабре 1896 Р. напомнил в письме к С.А. Рачинскому слова его сестры: «Варвара Александровна раз сказала: “У тебя же, Сережа, пушкинская проза” (т.е. категория та же: ровная, гармонич<ная>)» (ПР. Ед. хр. 90. № 81). Р. в своих письмах рекомендовал Рачинскому приступить к написанию мемуаров с помощью сестры: «Вот что очень, может быть, нужно не сегодня — завтра: нужно непременно, чтобы Вы хоть продиктовали очерк внешней своей жизни Варваре Александровне, а она записала» (ПР. Ед. хр. 71. № 64). Р. сравнил обитель высокообразованных и глубоко верующих татевских «отшельников» со знаменитым французским Пор-Роялем: «Ближняя татевская церковь и недалекий погост (кладбище), где были похоронены все предки Рачинских, всё “закругляло” во что-то целое и прекрасное жизнь и обитание этих тихих и ученых людей. Я всегда мысленно называл Татево с его парком, чудною библиотекою и богословием, русским “Порт-Роялем”» (НВ. 1910. 23 мая; ЗРП, 186). По мнению Р., Рачинский и его сестра служили «истинным украшением русского общества за последнюю треть XIX века» (ЗРП, 187).

В.А. Фатеев

РАЧИНСКИЙ Сергей Александрович [2(14).5.1833, Татево, Бельский уезд, Смоленская губ. — 2(15).5.1902, там же] — профессор физиологии растений *Московского университета* (1859—1868), учитель Татевской церковной школы для крестьянских детей (с 1873), автор книги «Сельская школа» (1891), переводчик, музыковед. Р. был знаком с Рачинским и состоял с ним в многолетней переписке (1892—1901). Адресованные ему *письма* Рачинского Р. опубликовал (с купюрами), снабдив их предисловием и комментариями, раскрывающими историю их взаимоотношений («Из переписки С.А. Рачинского» // РВ. 1902. № 10, 11; 1903. № 1). Оригиналы писем Рачинского хранятся в ОР РГБ (Ф. 249. М. 4205. Ед. хр. 1, 2). Письма Р. находятся в ОР РНБ (Ф. 631. Оп. 1362. Ед. хр. 1—133; всего 60). Некоторые из писем Р. к Рачинскому целиком или в выдержках печатались в нью-йоркском «Новом Журнале» (1979. № 134), как «письма из архива проф. А. Аронсона». Р. намеревался издать переписку с Рачинским в серии «Литературные изгнанники» (У, 315), но замысел остался неосуществленным. Первое письмо Р. прислал Рачинскому в январе 1892 из г. Белый, расположенного в том уезде, что и Татево. Он благодарил татевского педагога за присылку книги «Сельская школа» и отметил, что первую заметку Рачинского о народной школе прочел еще в аксаковской «Руси» в студенческие годы. О себе Р. сразу же откровенно заявил, что он — «дурной педагог» (ПР. Ед. хр. 62. № 46). Рачинский проявлял внимание к сочинениям Р., считая его талантливым писателем. Отзывы Рачинского о его статьях были для Р. одним из важнейших критических ориентиров. В Татеве Р. впервые побывал в 1892. Начиная с мая 1892 Рачинский делал попытки найти для

Р. новое место и с этой целью обратился к *К.П. Победоносцеву*, с которым состоял в дружеской переписке. Одновременно *Т.И. Филиппов*, проводивший лето неподалеку, во Ржеве, через Рачинского приглашал Р. на встречу с



С.А. Рачинский

ним в Татеве. Филиппов также обещал Р. место в *Петербурге*, позволяющее заниматься литературной работой. Но Р. от встречи с Филипповым уклонился, ожидая вакансии в ведомстве Победоносцева, который хвалил статьи Р. и просил Рачинского прислать автобиографию Р. Однако в дальнейшем, несмотря на настойчивые просьбы Рачинского, вакансии при Св. Синоде всё не находилось, и Р., не дождавшись приглашения от Победоносцева, самостоятельно, без участия Рачинского, договорился с Филипповым о переводе в *Государственный контроль*. Перед отъездом в Петербург Р. последний раз навестил Татево, где ученик Рачинского *Н.П. Богданов-Бельский* нарисовал его *портрет*. После переезда Р. в Петербург продолжилась его интенсивная переписка с Рачинским. Отношения Р. и Рачинского были дружественными до 1897, когда во взглядах Р. на-

метились изменения. Попытки Р. вовлечь Рачинского, профессора ботаники, в обсуждение крайне заинтересовавшей его *темы пола и Бога* привели к ухудшению их отношений. В 1897 Р., пытаясь объяснить причину изменения своих взглядов, написал Рачинскому длинное письмо-исповедь о своем неудачном *браке с А.П. Суловой*. Выразив сочувствие, Рачинский, однако, со строго православных позиций отверг розановские попытки религиозного оправдания *семьи* и *пола*. Начиная с 1898 Р. написал ряд статей о Рачинском, в которых, при всем уважительном отношении к «татевскому отшельнику», пытался, однако, споря с ним, проводить свои новые идеи. Идейные разногласия привели к взаимному охлаждению, а после спора с Рачинским во время его приезда в Петербург в январе 1900, когда Р. высказал по поводу «незаконнорожденности» своих детей претензии к *христианству*, их отношения практически прекратились. В первой, наиболее уважительной статье Р. о Рачинском, посвященной 3-му изданию его книги «Сельская школа», Р. отзывается об ее авторе как о «замечательном *человеке* нашей эпохи и нашего *общества*»: «С.А. Рачинский может быть назван одним из просветителей русской земли» (НВип. 1898. 6 янв.). То же Р. повторяет в рецензии на «Сборник статей» Рачинского (СПб., 1898) (НВ. 1899. 6 янв.). По мнению Р., Рачинский создал истинный тип русской сельской школы, отвечающий особому культурному сложению нашего народа, особенностям его психики и верований, что позволяет отнести его к славянофилам: «Можно сказать, что его школа есть первый практический глагол *славянофильства*, нечто конкретное, именуемое, на земле лежащее и доступное к освидетельствованию, что дали возвышенные, но слишком отвлеченные теории этой школы оригинальных русских мыслителей и писателей. Вот почему «Сельская школа» есть непрменный томик, довольно обширного теперь «Codex'a slavianofilorum». Р. ставит его «между *Хомяковым, Киреевским, Самариным, Тютчевым, Н. Данилевским, Страховым*»: «Деятельность Рачинского была более узкая и сосредоточенная, т.е. она была настойчивее и глубже, чем деятельность выше названных людей, слишком разбрасывавшихся <...> можно сказать, среди «Codex'a» славянофильства мы не найдем другой подобной — по цельности и единству *мысли*, по разнообразию культурных жемчужин, которые находятся здесь. От коренной мысли — о *душе* крестьянского мальчика, ищущей света, нуждающейся в свете, автор поднимается пусть и в кратких строках, афористически, к высочайшим запросам духа, к эфирнейшим чертам *истории* и *культуры*». Р. подчеркнул, что «Сельская школа» есть «глубокое и какое-то естественное слияние простой русской *природы* — с прекраснейшим, что произвело европейское *просвещение*, у себя и на русской почве». Р. обращает внимание и на то, что «Татевое стало рассадником школ, так сказать, материнскую школу, от которой все новые и новые пчелки отлетают в сторону, но и на новом месте творят дело и веру старого Татева». В посвященной той же книге статье «*Культура* и *деревня*» (ТПГ. 1899. 18 июля) Р. писал, что книга производит «оздоравливающее впечатление», так как «атмосфера книги необыкновенно чиста» (ВДЯ, 53). Р. очень высоко оценивает *труд* Рачинского: «Книга эта — одна из самых замечательных, и, может быть, не

только за наше *время*, но и за наш век; как и личность, за ней стоящая, есть бесспорно одна из самых светлых, безупречных личностей нашего времени и, быть может, нашего века» (там же). Рассказав о том, как профессор ботаники стал сельским учителем, Р. пишет, что Рачинский помимо ботаники был любителем *музыки* и *живописи*: «Быть может, мы приблизимся к пониманию его личности, если скажем, что он носит в себе *эмбрионы* самых разнообразных *талантов*; не таланты, но их эмбрионы; и, касаясь ими к детским душам, будит в них всех талантливые порывы, и зрелищем этих вспышек дара Божия в детях — питается, греется сам» (ВДЯ, 54). Р. сравнивает общежитие крестьянских детей во главе с Рачинским с «древнехристианской общиной»: «Впечатление этой «строгости», почти не допускающей шутки, *смеха* (т.е. не только в школе, но и вне ее, в обиходе *жизни*), — в высокой степени присуще руководителю замечательной школы» (ВДЯ, 55). Р. отмечает, что Рачинский, за исключением редких поездок в Петербург, не покидает Татевскую школу: «Это — улитка и раковина, сросшиеся до нерасчленимости; взрослый (старый), высокопросвещенный, высокоодухотворенный человек, который оброс детьми и уже не понимает ни как он обходился бы без них, ни как они обходились бы без него» (ВДЯ, 56). «Сочетание старой дедины с новым *искусством* и создало этот культурный оазис среди «Смоленских грязей», который зовется «Татевым»» (ВДЯ, 57). Р. обращает внимание на то, что тип созданной Рачинским школы и его книга (первые статьи, в нее вошедшие, печатались еще в «Руси» *Аксакова*) способствовали выработке типа церковно-приходских школ. По мнению Р., «для читателя-неспециалиста всего привлекательнее многочисленные страницы, где автор подымается к высокой *философии* истории, которая у него так гармонично сливается с поэзией и *религией*» (ВДЯ, 60). Отметим «чистосердечие автора и незыблемость его *веры*», Р. тем не менее не может удержаться, «чтобы не показать, где начинается слабость Рачинского, граница значения его труда и граница самого его идеала» (там же). Он критически оценивает не столько саму школу Рачинского, сколько ее христианскую основу: «В круге, в который искусственно и невозможно замкнута «Сельская школа», — она представляется в высокой степени целостною *истиною*; но этот круг весь — узок, а потому и истина эта — ошибочна; и она ошибочна не практически, даже не теоретически только: она ошибочна скорее религиозно» (ВДЯ, 65). Р. подверг Рачинского критике и в одном из афоризмов, опубликованных в редактируемом им приложении к «*Торгово-Промышленной Газете*»: «Отношение Рачинского (С.А., автор «Сельской школы») к христианству — существенно эстетическое. Всё Татевое (имение, где он трудится и пишет) укладывается в формулу: «Вечерний звон, вечерний звон, Как много дум наводит он» Он имеет почти ландшафтное представление о *церкви*, но не моральное и не философское» (ТПГ. 1899. 28 нояб. С. 2–3). В 1899 Р. опубликовал рецензию на изданный Рачинским «Татевский сборник», автор которого воспользовался преимущественно «теми драгоценностями ближайшей и более отдаленной старины, которые в виде писем, семейных записей, автографов, рисунков, портретов, легучих стихотворений и прозаических отрывков, не попавших доселе в *печат*, хранят-

ся как реликвия в старом доме села Татева» (НВип. 1900. 5 янв. С. 15). Р. выделяет родственника Рачинского поэта *Е.А. Баратынского* и называет «Татевский сборник» «одним из наиболее ценных изданий» Общества ревнителей русского исторического просвещения. Продолжая утверждать необходимость церковного обновления, Р. использует в критических целях даже сочинения самого Рачинского: «С.А. Рачинский — это ведь, кажется, само одушевление, сам полет в смысле вечного и неустанного лобзания подножий церкви: между тем его «Письма к духовному юношеству», т.е. к студентам духовных академий, завтрашним священникам, похожи на столь горестный памфлет против нравов нашего духовенства и общего бессилия, собственно, всех христианских церквей» (ОЦС, 37). В начале XX в. Р. едва не дошел и до грубых нападок на Рачинского, но их решительно пресек *А.С. Суворин*: «Я прошу Вас переписать то, что Вы написали о Рачинском, обзывая его Хлестаковым, Ноздревым, крепостником, лицемером и т.д. Конечно, он отвечать не станет, и на такие заушения обыкновенно не отвечают. Вы говорите, что он не знает народа, что он не был в избах, — единственно на том основании, что он не сказал о том в своей книжке. Вы читаете от его имени, влягая в его уста, презрительный монолог к народу. Вы несколько раз упрекаете его за то, что Богданов-Бельский писал его портрет <...> Неужели можно вылить ушат оскорблений на человека, который прожил двадцать лет в деревне, в школе, в постоянном общении с крестьянскими детьми? <...> Оплевать человека очень легко, но это совсем не по-христиански <...> Я прошу вас сократить фельетон, написанный с душою, и исключить разные резкости» (ПВ, 305–306). Р., издавая письма Суворина в 1913, покаянно комментировал это письмо: «Не постигаю, как мог такую грубость допустить. Это — просто пошлость допустить такие слова о Рачинском: но в те годы я, по специальным поводам, был очень раздражен «против всех их» (Рачинский, Победоносцев, *М.П. Соловьёв*)» (ПВ, 305). В статье, предвещающей письма *К.Н. Леонтьева*, Р. писал: «Рачинский всегда был рассудителен, до конца слов не договаривал, из принципа мыслей своих не выводил же; у него всё были середочки (!) суждений, благоразумные общие места, с которыми легко прожить; и сам он был предан такому благоразумному и добродетельному делу <...> Безрассудного-то и не было ничего у Рачинского — безрассудного и страстного. А мы роднимся только на страстях» (ЛИ, 320). Историк *Н.П. Барсуков* сообщал Рачинскому 27 марта 1900: «Недавно Розанов в «Новом Времени» заявил, будто Рачинский стоит на византийской почве и «практически повернул школу к Часослову и Псалтири»» (ПР. Ед. хр. 113. № 41). Статью «Желтый человек в перелдеке» (НВ. 1900. 28 июля) Р. посвятил истории небезыгодного ученика Рачинского — японского мальчика Сергея Сеодзи, попавшего в его школу. В статье «С.А. Рачинский о средней школе» (НВ. 1902. 22 янв.) Р., рассматривая вопрос о том, как улучшить школу, критикует брошюру Рачинского «Absit omen» «Да не послужит дурным знаком» (М., 1901) за скептическое отношение к предлагаемой педагогической реформе и, в частности, введению преподавания естественных наук. Тон Р. небывало резок: «В брошюре нет ни хода мысли, ни даже сколько-нибудь определенного содержания. Это

сухой гнев, стучащий язвительным сравнением, унизительным определением, но тщетно ищущий какой-нибудь мысли в помощь». Эта статья Р. оказалась последней при жизни Рачинского. Вскоре после кончины педагога Р. опубликовал статью «С.А. Рачинский и его Татево» (НВ. 1902. 22 мая), имевшую все признаки *некролога*: «Смерть его отозвалась личной потерей для огромного множества знавших его людей; Россия нечто утратила в нем, может быть, не крупное, во всяком случае, не шумное, но определенное, чего нельзя смешать ни с чем другим и что не заменяется ничем другим». Р. описывает впечатления от Татева: «В 90-х годах тут все было тихо. Вообще тление смерти, чего-то отжитого и пережитого, чего-то окончившегося веяло в этом большом, красивом историческом доме почти без живых обитателей. Здесь всегда была поразительная тишина, безмолвие. Долго стоишь, бывало, в зале, ожидая, кто выйдет. В доме не слышно было ни движения, ни голосов. И вот отворилась сперва дверь — и выходит маленькая, торопливая, сухонькая (в теле) фигурка всегда оживленного Рачинского. Я никогда его не видел утомленным, жалующимся на усталость; он никогда не смеялся, хотя часто улыбался — однако не общей улыбкой, как выражением настроения души, а в отношении предмета разговора или определенного лица». Р. характеризует Рачинского: «Ум его был сух и точен, без капризов и беспорядка; вообще он был замечательно деловой человек, отнюдь — как я заметил, — не поэт и не философ, но с большою примесью влечения к тихой, бесшумной созерцательности <...> он ни с чем не боролся, но от очень многого, почти от всей текущей, ему современной жизни отодвигался в сторону. И тихо и прекрасно, спокойно и недвижно, непоколебимый, уже много десятилетий жил в своем Татеве». Р. выделяет среди трудов Рачинского составленный им «Татевский сборник»: «Сборник этот драгоценен для историка литературы и никогда не утратит интереса первоисточника». О необычной биографии педагога Р. пишет: «В сущности, нельзя не поблагодарить судьбу, которая вывела его из московской профессуры и бросила в сельское уединение. Как только это совершилось, как только он отделился от подобных и равных, он стал определенным лицом, в котором независимо и прекрасно стали слагаться оригинальные черты, явилось оригинальное единственное призвание, явилось дело и подвиг на виду всей России, к пользе всей громады России». В статье Р. слышатся отзвуки их былых споров: «Сам Рачинский был безусловно неподатлив в душе своей <...> Он изменить не мог, и начиналось неодолимое расхождение с ним каждого, кто неосторожно или нетерпеливо пытался не то чтобы изменить его, но иметь и высказывать мысли, разнородные с его мыслями. Рачинский тогда уходил в себя, умолкал. Никакого спора не было, и это-то и бывало мучительно. Отношения становились внешними, обманчивыми, как бы они ни были теплы дотол». В том же году Р. написал статью «Особая группа писателей (Из переписки С.А. Рачинского)» (НВ. 1902. 28 июня), в которой сопоставил близких ему в разное время писателей — Страхова, Леонтьева и Рачинского с представителями типичного *консерватизма*, прежде всего с *М.Н. Катковым*, отмечая, что сходство между ними и Катковым было чисто внешним: «Их принято называть

“консерваторами”, только оттого, что они не разделяли многих иллюзий своего времени, которые и в самом деле потом оказались поспешными <...> В Каткове сила лежала в упоре ног и мощи шеи, у Рачинского, Леонтьева, Страхова все это было не крепко. Они похожи на прелестный и огромный *цветок*, качающийся на самом тоненьком и слабом стебле». Р. сопоставляет их литературные сочинения с точки зрения стилистики и делает вывод в пользу Рачинского: «Часто приходит на ум, что хотя Рачинский гораздо менее писал, чем Страхов и Леонтьев, и гораздо специальное, но что именно как писатель-стилист он их обоих выше <...> Язык его не имеет той тишины, переходящей в недвижность, как у Страхова. Выдержек из других писателей вовсе нет. Критики — нет. Рачинский говорит только свое и от себя, языком не страстным, даже не волнующимся. Ни кипения, ни брызг нет, но это в высшей степени свежая вода, зачерпнутая из кристального горного источника. Никакой мути, ничего стороннего и особенно никаких следов загрязнения». Р. рассказывает, как Рачинский готовил собрание своей переписки: «Он однажды подвел меня в библиотеке своей к шкафу с страшно толстыми книгами, на корешке которых были золотом оттиснуты годы: “1869, 1870” Что это?» — спросил я. Он сказал, что уже за много лет собирает этот «обоз к потомству» (его выражение): именно тщательно регистрирует и снабжает необходимыми своими примечаниями получаемые им из всех мест России письма от священников, учителей, частных лиц «алчущих и жаждущих *правды*», каких всегда в каждом десятилетии много, и частью от знаменитых лиц по государственному, научному или литературному положению. «Им место в Публичной библиотеке уже заготовлено, — сказал он мне, — все переговоры сделаны, условия заключены и после моей смерти их придется только перевезти в Петербург». О собственных письмах, адресованных Рачинскому, Р. писал: «Грешный я человек: многих ходов мысли, которых нельзя было изложить в *печати*, я изложил в письмах к нему, и как-то осторожно ему написал, что это не только для него я пишу, сколько предполагая, что он писем не теряет. Он с живостью мне отвечал, как бы располагая писать более, что ни единый листок, адресованный к нему, не минует этих переплетов и шкафов. В последние два года, когда мы с ним почти вовсе разошлись по разным вопросам, он написал мне колко: “Прекрасно вы делаете, складывая в татевский архив тот отдел ваших *орегана omnia* <полного собрания сочинений>, который вы предназначаете потомству. При получении каждого из ваших писем благодарю *Бога* за то, что оно будет храниться у меня, а не попадет в петербургскую печать” Взаимно слова наши уже только звенели друг для друга, а до сердца не доходили». Это была последняя статья Р. о Рачинском. В 1910 Р. написал еще некролог сестры педагога, *В.А. Рачинской* (НВ. 1910. 23 мая; ЗРП). В «*Уединенном*», давая градацию своих именитых знакомых по степени даровитости и самобытности, Р. упомянул Рачинского среди тех, кто «не были сильнее его» (У, 71): «Рачинский был сухой и аккуратный ум, без всего нового и оригинального» (У, 72). Упомянув о доброте к нему в годы отступничества духовных лиц, несмотря на неприятие его идей, Р. приводит единственное исключение: «Исключением был только С.А. Рачинский, один,

который “возненавидел брата своего” (после статей о браке в “*Рус. Труде*” и в “С.-Петерб. Ведом.”)» (У, 79). «Не понимаю, почему я особенно не люблю *Толстого*, *Соловьёва* и Рачинского. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю самой души. Пытая, кажется, найти главный источник по крайней мере холодности и какого-то безучастия к ним (странно сказать) — в “сословном разделении” <...> Но говоря с Рачинским об одних мыслях и будучи одних взглядов (на церковн. школу), — я помню, что всё им говоримое было мне чужое» (У, 93–94). Но затем в его книгах преобладают положительны́е отзывы о подвижнической деятельности Рачинского. В книге «*Мимолетное. 1914 год*» Р. писал: «“Сердечного соучастия” к Рачинскому (С.А.) я, правда, не имею: но это не причина не признавать объективно величия его дела. Он, в сущности, основал, и вековечно основал, — русское “Сельское училище”, натуральную “сельскую учбу”, вытекающую “из всего” До него это была какая-то эклектическая ерунда <...> *Правительство*, в испуге перед *либерализмом*, не решается принять его программу. Которая в то же время есть программа народная, программа церковная, программа историческая <...> раньше или позже — оно ее примет. Потому что помимо ее “деваться некуда” Если не пойдут в его Татеву (немного суховатое и мне лично неприятное) учиться — придется “сдавать позиции” царства, церкви... да и былинам, песен... Заменяв всё это фабричной частушкой, да *Григорием Спиридоновичем Петровым* и его “Божьей Правдой”» (КНУ, 303). Р. отмечал, что «Рачинский, старинный знатный дворянин и отставной профессор ботаники — много лет жил и спал в флигелек барского дома (где жила сестра его) с крестьянскими детьми» (КНУ, 407). Р. выражал возмущение писавшими в 1890-х об «умирающем славянофильстве»: «Замечательно, например, что на Рачинского никто из них даже не оглянулся; не назвал его по имени в полемике. Мимо него просто прошли молча, — мимо его и на все точки зрения его святого подвига около крестьянских детей с букварем в руках» (КНУ, 495). Ту же тему забвения Р. развил в книгу «*Война 1914 года и русское возрождение*»: «Какое имя в литературе С.А. Рачинского? Никакого. По имени — знают, книг его — никогда и никто не читал. Да что он? кту он? Дворянин, помещик — в родстве поэта Баратынского, — профессор ботаники в Московском университете, переводчик “Жизни растений” Шлейдена и “Происхождения видов” *Дарвина*. Доселе ничего позорного, отрицательного? — “Ничего”, — скажут. — Вышел, еще молодым, в отставку и поселился в родном имении Татеву Смоленской губернии, где построил школу и, не отходя от нее, как от долга и службы, начал учить крестьянских детей окрестных деревень... Ничего? — “Даже похвально”, — слышится ответ <...> Ну? — Нет ответа, *молчание*. Хуже: имя Рачинского и как общественного деятеля, и как педагога, и как писателя и ученого выброшено совершенно вон из литературы западников, т.е. из всей почти *русской литературы*; и на их оценку лицо Рачинского и труд его есть пустое место в русской истории. Так как совершенно невозможно было что-нибудь сказать против труда его, так как в нем совершенно не было ничего для критики, порицания, возращения, насмешки, — то имя его за все двадцать лет деятельности не было ни разу названо, произнесено в

“Отечественных Записках”, “Вестнике Европы”, “Русском Богатстве”, “Русской Мысли”... — Почему? Ведь педагог, просветитель? Для крестьян! — Да. Но он был христианин. Он любил церковь, он учил детей любить Россию. Других преступлений не было...» (ПЛ, 270–271). К письмам Рачинского Р. приложил такую обобщающую запись, характеризующую адресата и их отношения: «Сергей Александрович Рачинский — тяжелая и непоправимая на мне вина лежит перед ним, перед его годами, заслугами перед Россиею. Его “портрет en tout” <в полный рост> — один из самых красивых за весь XIX век. Да простит он меня с того света. Я истинно, истинно и глубоко перед ним виновен» (ЛЖ. № 13/14. Ч. 1. С. 105).

В.А. Фатеев

РАШЕВСКАЯ Вера Ивановна (Царское Село, ул. Оранжерейная, д. 57) — учительница музыки в гимназии М.Н. Стоюниной, в которой учились дочери Р. Сохранились ее письма к Р. 1911 и 1913 об учебе дочери (РО РГБ. Ф. 249. Оп. 1. М. 3876. Ед. хр. 45), при которых Р. записал ее характеристику: «Прелестная по доброте, мягкости и уступчивости, лет 33–6–7–8?» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 97). Биограф С.А. Цветков в хронике жизни Р. оставил запись за 1913: «Весна — болезнь В.Д. <Буягиной>. Март — сближение с В.И. Рашевской (“Веруна”» (там же, 133). О бывшей близости с «учительницей музыки» писатель упоминает в письме Э. Голлербаху 6 октября 1918 (ВНС, 374).

А.Н.

РЕМБРАНДТ (Rembrandt) Харменс ван Рейн (15.7.1606, Лейден — 4.10.1669, Амстердам) — голландский живописец. Имя этого художника возникает в работах Р. при обсуждении проблем брака, а также в связи с темой еврейства. Особый интерес Р. к Рембрандту возник под влиянием И.Ф. Романова-Рцы, знатока творчества художника. В коробе втором «Опавших листов» Р. приводит рассуждение Рцы: «Сколько есть “автопортретов” Рембрандта... сколько я видел карточек Мазини. И думал, перебирая, рассматривая: “Нет, нет... это — еще не Мазини” Или: “Это — уже не Мазини” <...> И наконец найдя одну (он назвал, какого года), говорил: “Вот!! — Настоящего Мазини существует только одна карточка, — хотя вообще-то их множество; и также настоящего Рембрандта — только один портрет”» (У, 219). Одна из картин Рембрандта, произведших на Р. сильнейшее впечатление, — полотно «Жертвоприношение Маноя и его жены» из Дрезденской галереи. «Удивительно некрасивое лицо жены Маноя и удивительно сделанные пальцы рук Маноя» (СХ, 127). О ней же до Р. в январе 1899 писал и Рцы в статье «Бессмертные вопросы (письмо к редактору “Русского труда” С.Ф. Шаранову)». Эту статью Р. включил в раздел «Пolemические материалы» книги «В мире неясного и нерешенного». Рцы описывает «Маноя» и говорит о Рембрандте как о своем союзнике в обсуждении проблем брака и семьи: «“Господи! Что такое Маной?” Только вернувшись из заграничного путешествия домой, я нашел ответ в “Книге Судей израильтяев”: “В то время был человек из Цары, от племени Данова, именем Маной; жена его была неплодна и не рожала...” <...> Таким образом, и Рембрандт об этом ду-

мал, и он посвятил этому вдохновение гениальной кисти <...> Не стыдно, мне кажется, очутиться в компании Рембрандта, думать, о чем и он думал, пытаться углубиться в предмет, который он не считал недостойным трактовать в величайших произведениях искусства...» (ВМНН, 141–142). В статье «Нечто из тумана “образов” и “подобий”», отклике на «Бессмертные вопросы», Р. пишет: «Картина Рембрандта поразила его <Рцы> целью: правдою и силою целостной красоты, в коей нами трактуемая тема не названа (с чем я глубоко согласен — “нет имени”, “нет образов” в порядке “сый” <суший>), но присутствует ничего не шокируя, не царапая, не противореча изумительной и религиозной красоте целого, как с ним сливающаяся гармоническая часть» (ВМНН, 304). Р. делает вывод: «Очевидно, Рембрандт, “с женою Саскией на коленях”, в истинном “союзе души и тел” сам был уже немножко “Маной”, и в одной, как и в другой картине, рисовал собственно себя и объективировал разные моменты и настроения ему известного “союза душ и тел” <...> Художество Рембрандта имеет очень серьезный религиозный смысл и может прибавить новую страницу к Апокалипсису, или истолковать которую-нибудь из них, пока остающуюся “за семью печатями”» (ВМНН, 305–306). «Тайна “древа жизни”, тайна и тенденция видений Рембрандта и лежит в постепенном раздвижении светлой “домашней” стороны и на ту темную и смертную, которая пока в каждом из нас есть 9/10. О, если бы все мы стали один для другого, как для Рембрандта — Саския, для Маноя — его жена?» (ВМНН, 312). Так голландец-христианин Рембрандт, по Р., оказывается близок ветхозаветному взгляду на мир. «Масляные краски старца Рембрандта» Р. сравнивает с «липкостью и густотой семитического глагола» Иезекииля («О древнеегипетской красоте» // ВДЯ, 17), а в картине «Жертвоприношение Исаака» видит воплощение тайны иудейства. Об этой картине Р. рассуждает в статье «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови»: «Страшное видение, не нарисованное Рембрандтом: человек, мальчик, сын, несший дрова для себя (какие подробности!), перед жертвой попросивший отца связать себе руки, чтобы не биться при заклании и хоть видимостью сопротивления не оскорбить Бога» (СХР, 287). Эту же картину он вспоминает в заметках «По Германии»: «У Рембрандта особенно хорошо “Жертвоприношение Исаака”, с удивительными глазами барана, которого “Бог указал Аврааму принести Себе в жертву вместо собственного сына” Что художник хотел сказать этими глазами, данными животному, и в которых отразилось все понимание священного события, и также ужас перед своей “овечьей” судьбой? Удивительно!» (СХ, 142). Пристальное вглядывание Рембрандта в образы старости и смерти вызывает у Р. двоякое чувство. Признавая мистическую правду такого взгляда, Р. протестует против его всевластия и противопоставляет «рембрандтовскому христианству» «рафаэлевское» («Рафаэлевское и рембрандтовское христианство» // РС. 1910. 25 дек.). «Рафаэль почти ничего другого и не делал, как прославлял Рождество Христово», и в этом он противоположен Рембрандту и художникам «рембрандтовского оттенка», основные темы которых — «Снятие с креста» и «Положение во гроб». «Рембрандт победил... Он пришел незаметно и стал тенью в уголку... Ни ликования, ни звуков. Весь в черной

тени, в темном фоне. Свет где-то на краю, “в обещании” Здесь и реально — одна скорбь, мука, слезы, безнадежность... Все — могила, все сходит в могилу... Могила и крест все венчает. Веселитесь, но с знанием, что вы веселитесь на краю собственной могилы» (ЗРП, 440–442).

Т.В. Воронцова

РЕМИЗОВ Алексей Михайлович [24.6(б.7).1877, Москва — 26.11.1957, Париж] — писатель. В автобиографии 1912 Ремизов с особым чувством вспоминал 1899, когда он «узнал Льва Шестова и Василия Васильевича Розанова и записался в их постоянные любительные читатели» (Лица. Биографический альманах. М.; СПб., 1993. Вып. 3. С. 440). С.А. Венгеров, по заказу которого этот текст был написан для издания «Русская литература XX века», отреагировал весьма резко: «Вы общаете, что записались в “постоянные любительные читатели” Розанова. Неужели и теперь его любите? Ведь это же гадина, форменная гадина, отвратительно-продажная, подло-предательская, фарисейски-лицемерная. Всегда он такой был, но прежде, в моменты подсознательного творчества, писал почти-гениально. А теперь ничего кроме вонючих испражнений из него не исходит. И рядом с Розановым Вы ставите благородного искателя истины Льва Шестова! Гореть Вам за это на том свете в огне неугасимом» (Там же, 445). К этому моменту Ремизов уже давно состоял в личных, дружеских отношениях с Р., которыми дорожил до конца своих дней. Р. в начальных строках предсмертного письма к друзьям 17 января 1919 назвал среди своих самых близких друзей «любимого Ремизова и его Серафиму Павловну» (ВРХД. 1974. № 112–113. С. 148). Личное знакомство начинающего писателя и Р. состоялось в 1905 в конторе журнала «Вопросы Жизни», где Ремизов работал делопроизводителем. Первые встречи запомнились Ремизову в связи с собственным хитроумным планом по распространению книги Р. «О понимании»: «Заходил и В.В. Розанов. Тут я о его любимой непокупаемой книге “О понимании”»: “И чего, думаю, проще: на полку поставлю книгу и всем разумным “непокупаемым” приятелям раздам! И автору будет приятно и книге — не в залеж” <...> За месяц много перебывало народу в конторе. Ходко шла книга» (Алексей Ремизов. Исследования и материалы. СПб., 1994. С. 224–230). Дружескому сближению Ремизова и Р. способствовал общий интерес к вопросам пола, к эротической теме в области мифологии и апокрифической литературы. Комментируя одно из писем философа, Ремизов сообщает о совместном намерении создать нечто вроде «русского Декамерона»: «о такой книге — “Книге любви”, о чем знали хорошо у нас “мамки” и “свахи”» (Альбом «Розановы письма. В.В. Розанов. 1856–1919». Harvard University. Houghton Library. Пояснение Ремизова к письму Р. от 27 июня 1906). Повышенный интерес к «запретной» теме далеко не всеми воспринимался адекватно. С.И. Дымшиц-Толстая, супруга А.Н. Толстого, вспоминала: «В этот период нашей петербургской жизни мы <...> бывали у А.М. Ремизова <...> К Ремизовым А.Н. проявлял интерес наблюдателя, идти к ним называлось “идти к насекомым” Действительно, и сам хозяин — маленький, бороденка клинышком, косенькие, вороватые взгляды из-под очков, дребезжащий

смех, слюнявая улыбочка, — и его любимый гость — реакционный “философ” и публицист В.В. Розанов — подергивающиеся плечи, нервное потирание рук, назойливые разговоры на сексуальные темы, — все это в самом деле оставляло такое впечатление, точно мы вдруг оказались среди насекомых, а не в человеческой среде. Завернувшись в клетчатый плед, придумывая неожиданные словесные каламбуры, Ремизов любил рассказы из Четы-Миней, пересылая их порнографическими отступлениями. В местах наиболее рискованных он просил дам удалиться в соседнюю комнату» (Воспоминания об А.Н. Толстом. М., 1973. С. 79). Одну из таких встреч запечатлел в своих записях и Р.: «Когда я читаю о “богочеловеческом процессе” (Вл. Сол.), то мне ужасно хочется играть в преферанс. И когда читаю о “философии конца” (Н.А. Бердяев о кн. Е. Труб.), то вспоминаю маленькую “Ли”, у нас на диване, — когда мы потушили электр. и я, 2 Ремизовых и она, залившись тихим ее смешком, решили рассказывать анекдоты о “монахах”! Тут-то нам Ремизов и рассказал о “мухах”» (СХР, 179). Речь идет об истории, которая была создана Ремизовым на основе апокрифических легенд о происхождении табачного зелья из “удиш” Дьявола и опубликована в 1906 под названием «Что есть Табак. Гонимая повесть». Созданию литературного произведения предшествовал эпизод, одним из главных действующих лиц которого был Р. В доме хранителя Эрмитажа А.И. Сомова (отца художника К.А. Сомова, иллюстратора сказки «Табак») исключительно для избранных демонстрировалась восковая копия фаллоса графа Г.А. Потемкина-Таврического. Ремизов описал ситуацию энигматически: «эти “вещи” я уже видел и разжигал любопытство В.В.: — Свернувшись лежат, как змей розовый» (Ремизов А.М. Собр. соч. М., 2002. Т. 7. С. 86). Примечательно, что словоупотребление «вещи» (впоследствии один из основополагающих концептов ремизовской философии Эроса) переключается с высказываниями Р., для которого «фаллический культ» «есть целокупное народное обожание, целокупное народное влечение “к этим... маленьким вещам”...» (У, 274). В 1907 Р. вновь оказался в центре всеобщего внимания петербургской богемы благодаря известной склонности Ремизова к мистификациям. В Москве на лекции М. Волошина произошел курьезный случай, послуживший распространению слухов о возникновении тайного эротического общества (См.: Ходасевич В. Колеблемый треножник. Избранное. М., 1991. С. 376), которые, в свою очередь, и стали поводом для розыгрыша, направленного на Р. М. Кузмин записал в дневнике 13 марта 1907: «Рассказывала <С.П. Ремизова-Довгелло>, как она с Лидией Юдифовой <Бердяевой> интриговали Розанова фиктивным эротическим обществом, а он за них хватался, говорил на “ты”, требовал, чтобы его сейчас же везли в женское отделение, доказывал, что он может быть активным членом, и, провозжая их, опять хватался, покуда они не сказали, что идет его жена» (Кузмин М. Дневник. 1905–1907. СПб., 2000. С. 333). В литературе этот сюжет нашел отражение в рассказе С. Ауслендера «Апропо» (Весна. 1908. № 4), а также в одном из ремизовских «снов», впервые опубликованных в цикле «Под кровом ночи. Сны» (там же). Ремизов несколько раз прибегал к воспроизведению особенностей характера своего друга в

форме литературного образа. Первый опыт набросков к портрету Р. восходит к рассказу «Пупочек» (1913), в котором присутствует добрая и вместе с тем ироничная интерпретация личности философа. Образ Р. подразумевает зеркальную связь между маленьким героем рассказа мальчиком Юрой и неким учителем Василием Васильевичем, одно лишь упоминание имени и профессии которого указывает на реального Р., посвятившего годы жизни преподавательской деятельности. Описание учителя через внешность и характер ребенка усиливает уз-



А.М. Ремизов

навание прототипа: «Юркий, быстрый, носик торчит, а главное, говорил скоро очень»; «Был <...> уверен, что они очень богатые и в подтверждение, должно быть, этой уверенности показывал мне как-то копейки новенькие — богатство свое» (Ремизов А.М. Собр. соч. М., 2002. Т. 3. С. 325). Помимо указания на увлеченность нумизматикой, особую двусмысленность характеристике придает намек на «торчащий носик». Соотнесенность образа ребенка и личности философа настолько намеренна, что далее по ходу рассказа мальчик так и нарекается — «Василием Васильевичем». Безобидная шутка взрослого: «Знаешь, Василий Васильевич, я у тебя твой пупочек съем!» — произвольно связывает детское восприятие омфалоса (подсознательно ассоциирующегося с центром личного бытия и тела) с онтологическими представлениями взрослого человека о фаллосе. Пафос перешиваний ребенка передается от лица рассказчика: «Ах, ты Господи, западет же такое в душу и уж все мыслишки, какие есть, все мысли у него к одному, к этому стя-

нулись, а это одно, это все — пупочек, и важное такое, все, главное самое, лишиться, чего просто он и представить себе не мог, представить не может, чтобы такое было, если бы вдруг да лишился: вот я взял бы да и съел его!» (Там же, 326). Многие герои ремизовских произведений часто представляли собой синкретическое соединение характерных черт и внешнего облика сразу нескольких его реальных друзей и знакомых, включая и Р. Явный эротизм мировосприятия некоторых персонажей побуждает отождествлять их с Р. и его «пансексуализмом». Таков Стратилатов из повести «Неуемный бубен» (1910). Переходом от художественного воплощения образа Р. к документальному стала повесть «Канавы» (1914–1924), в которой Ремизов воспроизвел реальный эпизод (1908), впоследствии появившийся и в книге «Кукха», как однажды вместе с Р. они затеяли рисовать фаллосы. В «Канаве» действующими лицами выступают Баланцев, воплотивший многие черты самого автора повести, и Будылин, прототипом которого послужил Р. Возникший между героями конфликт обнаружил два различных культурных кода: сакральный, яростно охраняемый Будылиным, и профанный, доступный Баланцеву. Ср. со словами Р. из письма к Ремизову (1910): «Нельзя откровенно, называть громко то, что должно быть в тайне и молчании» (Ремизов А.М. Собр. соч. Т. 7. С. 91), а также с позднейшими размышлениями Ремизова: «Великая тайна сказать слово, и чем тайнее слово, тем оно проще, и самые простые и самые тайные из слов — самоочевидности...» (Минувшее: Исторический альманах. М., 1991. Вып. 3. С. 214). Первое упоминание фамилии Р. в произведениях Ремизова встречается в рассказе «Азбука» (1917) при описании старинного Букваря с «ни на что не похожими надписями», которые, по словам рассказчика, ни он, «ни Василий Васильевич Розанов, которому как-то попался на глаза этот Букварь <...> как ни ломали голову, а разгадать не могли. Да так и оставили — есть что-то в несообразности завлекательное и, пожалуй, самое изумительное в том, что называется «ни к чему!»...» (Ремизов А. Россия в письменах. New York, 1982. Т. 1. С. 212). Ремизов откликнулся на смерть Р. очерком «Три могилы» (1919), положившим начало оригинальному жанру, который сам писатель определил как «память усопшим»: «...помер Василий Васильевич Розанов. Самый живой из старших современников, всеобъемлющий, единственный в русской литературе, и одинокий в нашей бродячей жизни <...> Напишут сотни книг, воспоминаний, станет Розанов — главой в «Истории русской литературы», я же поману Василия Васильевича, нашего соседа, сердечность его и отзывчивость...» (Ремизов А.М. Собр. соч. М., 2000. Т. 5. С. 227). Литературным памятником дружеских взаимоотношений стала книга Ремизова «Кукха. Розановы письма» (Берлин, 1923), построенная на реальных письмах Р. и дневнике Ремизова. Форма «посланий в царство мертвых» была возобновлена в очерке «Воистину. Памяти В.В. Розанова», написанном на 70-летие со дня рождения философа (Версты. 1926. № 1; позднее включен в книгу «Петербургский буюрак»). Эмоциональную основу своих эпистол Ремизов объяснял так: «Я, Василий Васильевич, памятью за каждое доброе слово держусь — и мне это как свечи горят по дороге (и это мое счастье!)...» (Ремизов А.М. Собр. соч. Т. 10. С. 312). Памяти Р. был

посвящен сборник, о котором упоминается в письме Ремизова к Д.А. Лухину от 10 июня 1923: «Розановский сборник понемножку собираю и вашу туда статью» (ИРЛИ. Ф. 592. № 222. Л. 2). Спустя восемь лет, в 1931, Ремизов написал очерк «Розанов», который стал фундаментом для оформления его собственных мировоззрительных построений на темы Эроса (Обатнина Е. *Царь Асыка и его подданные. Обезьянья Великая и Вольная Палата А.М. Ремизова в лицах и документах.* СПб., 2001; также: Ремизов А.М. Собр. соч. Т. 7. С. 473–475). *Рукопись*, хранящаяся в фонде Н.В. Зарецкого (Прага. Литературный архив Музея национальной литературы), представляет собой раннюю редакцию очерка, вошедшего в книгу «Встречи. Петербургский буерак» (Ремизов А.М. Собр. соч. Т. 10). Этот текст, в котором Р. изображен восприимчиво *Гоголя* и *Достоевского*, можно назвать гимном «Великому фаллофору» Обезьяньего ордена (См.: «*Обезвельволтал*»). Ремизовское постижение взглядов Р. уподобляется герменевтической интерпретации, когда интенция направлена на создание новых смыслов. Имя собственное — «Розанов» наравне с «Гоголем» и «Достоевским» предстает здесь самостоятельной мифологией, а сам очерк являет собой выражение концепции Эроса. Во второй части романа «В розовом блеске» — «Сквозь огонь скорбей» Ремизов возвращается к использованному уже однажды в «Кукхе» приему прямого обращения к Р. На этот раз Ремизов вступает в дискуссию на тему идилической *метафоры* «*Древо жизни*», использованной Р. в его статье «*О Конст. Леонтьеве*» (НВ. 1917. 22 февр.; ОПП): «Василий Васильевич! Ваша мечта, новая правда: жизнь, потому что вы прожили свою жизнь в тоске и неудаче. Но кого вы сунете под ваше Древо в беззаботное и зеленое человечество? <...> Уж очень под Вашим Древом Жизни благообразно. *Лермонтов* от скуки просто разложит костер и подожжет — туда и дорога со всеми райскими плодами. Я понимаю, откуда ваша мысль, да и вы и не таите: «Истосковался, неудачи» — вы мечтаете о рае Божьем. Древо Жизни! <...> Человек выбрал другое дерево и свою волю не уступит до смерти» (Ремизов А. В розовом блеске. М., 1990. С. 628–629). Ремизов ценил и сохранял любые, даже самые незначительные детали бытия своих близких знакомых, в том числе и все, что было связано с Р. «Ремизов, — вспоминал М.В. Добужинский, — собирал и берег <...> всякие пустячки, которые ему что-нибудь напоминали: пуговицу, которую потерял у него Василий Васильевич <Розанов>, коночный билет, по которому он ехал к Константину Андреевичу <Сомову> и т.д.» (Добужинский М.В. Воспоминания. М., 1987. С. 277). К особому разряду ценностей ремизовской коллекции относились рисунки, которые после его эмиграции были утрачены. Впоследствии писатель неоднократно воспроизводил их по памяти. Копия описанного в «Кукхе» рисунка Р. «Точное изображение барышни» была вклеена Ремизовым в экземпляр книги, принадлежавший С.П. Ремизовой-Довгелло (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. № 113). Другая копия «Точного изображения барышни» в 1928 нарисована Ремизовым для художника Н.В. Зарецкого, жившего тогда в Праге, — почитателя творчества философа. Отправляя почтой этот рисунок, Ремизов в сопроводительном письме восстановил и «фаллический» рисунок 1908: «Прилагаю точнейшую копию с рисунка

В.В. Розанова, см. Кукха, стр. 59–60. Сохранял в разговорах нарисованные египетские хоботы, но они в России и думаю, пропали: кто-то свистнул. Я наводил точнейшие справки: не знают. Ну, что делать... (Морковин В. Приспешники царя Асыки // *Československa rusistika.* 1969. № 4. S. 180). Н. Зарецкий в конце 1932 сообщал в письме Ремизову: «Глубокоуважаемый Алексей Михайлович, на организационном собрании кружка «*Опавшие листья*» имени В.В. Розанова, состоявшемся 12 декабря текущего года, присутствовавшие постановили избрать Вас почетным Председателем кружка, о чем почитаем для себя приятным долгом Вам сообщить» (USA, Amherst Center for Russian Culture. Архив А. Ремизова и С. Довгелло-Ремизовой). В следующем письме от 23 декабря 1932 художник отмечал: «Наш союз «Опавшие листья» начался скромно, т.к. из числа приглашенных (профессора) никто не явился. И только *Н.О. Лосский* и *Н.И. Астров* письменно сообщили с огорчением, что не могут присутствовать на собрании. Но мы этим мало огорчились (т.е. отсутствием приглашенных), распределили между собой работу по библиографии Василия Васильевича» (там же). В переписке с Зарецким Ремизов немало пополнил свои воспоминания о Р., а также поделился со своим корреспондентом впечатлениями о прочитанной книге *Аполлинарии Суловой* «Годы близости с Достоевским» (М., 1928): «Сулову прочитал, — писал он 7 августа 1928 из Парижа. — И почувствовал ее падение: суть женское падение, когда женщине кажется, что все мужчины говорят с ней неспроста, а толкуя, на себя обращая <...>. Как я вам писал, у Р. в доме не принято было говорить о Суловой. Ведь это горе для <арвары> <Дмитриевны>. <Сулова> не давала развода. Про В.В. говорили, что он женился для «опыта» на любовнице Достоевского. Конечно, с В.В. можно было поговорить на эту тему с глазу, да все как-то не выходило. Раз только он сам обмолвился: это в коридоре около сортира; кто-то из гостей, выйдя, снял очки и стал мыть руки. «Бывало так снимешь очки, а она тебе по мокрой морде. В глазах темно станет» Из этих слов я тогда подумал: если это был «опыт», то «опыт» крестный, и едва ли Р. мог бы повторять за Достоевским «друг вечный» (Прага. Литературный архив Музея национальной литературы. Фонд Н.В. Зарецкого). В одном из писем Зарецкий просил писателя подробнее рассказать уже известную по «Кукхе» историю происхождения рисунка «Полет ведьмы в ступе и черт» из книги Р. «Когда начальство ушло...», первоначальным автором которого был Ремизов. В ответном письме последовал обстоятельный рассказ: «Хорошо, что нет моей подписи под рисунком, приложенным к книге В.В. Розанова «*Когда начальство ушло*» Мой рисунок исправил художник, и какая получилась ерунда. В 1906 г. я занимался своим «Бесовским действием» Читал Киевский Патерик. Однажды Вас.Вас. зашел днем (а жили мы на Песках, на 5 Рождественской) и застал меня на этом чтении. Из всего «Патерика» больше всего его заняло «Житие Моисея Угриня» <ср. ВТРЛ, глава «Люди третьего пола»>, которому «это место» отрезали, отчего он и умер. А отрезали, потому что имел отвращение к женщинам и не захотел статью возлюбленным киевской княгини. Я обещал В.В. переписать для него житие. Через неделю житие было переписано, но случилось не-

счастье: толкнул чернила и разлилось на белую чистую обложку. Но и вдруг я увидел в разбрызганных пятнах целую картину и стал обрисовывать. И получилось: летит ведьма — именно летит, а за ней и над ней и впереди нечисть. 3.12.1906 в канун Варварина дня я передал В.В. у Мережковских мою *рукопись* с картинкой. В.В. был в восторге и обещал непременно напечатать. Картинка и появилась, но от моего рисунка осталось очень мало. Когда в 14 лет я надел очки и увидел совершенно другой мир, я понял, что нет никаких постоянных форм, как нет и одного сплошного цвета. А то, что принято называть “натурой” и что будто бы воспроизводят художники, есть не что иное, как *шаблоны*, выработанные каким-то средним глазом. Все это я вспомнил, когда взглянул на мой исправленный рисунок: у меня была ведьма: живот толкачиком, от полета она вся напряжена и нога слилась с другой, на картинке же живот круглый, как полагается, и две ноги. Потом я заметил, что независимо от диоптрий движущееся изменяет форму и в шаблон не вкладывается. Моя летящая нечисть и была именно летящей. Но В.В. в этом не разбирался: исправленное ему показалось и чище и “художественно”. Вот, Николай Васильевич, история с картинкой» (Прага. Литературный архив... Письмо от 20 января 1932). Вспоминания о Р., писатель делился в письме к Зарецкому своим предположением, будто в 1916 критик А.А. Измайлов, имевший у себя дома аппарат для записи пластинок с голоса, убедил Р. «наговорить пластинку»: «Где эти пластинки? Но все равно, если все погибли, интонацию Розанова сохранил Достоевский. Есть одно место в “Братьях Карамазовых” Живая речь Розанова. Когда сердился. Часть II, книга IV. Надрывы. II. У отца. Слова Федор<а> Павлов<ича> Карамазова: “Денег он не просит, правда, а все же от меня ни шиша не получит и т.д.”, кончая “вот на чем только и выезжает” Изд. И.П. Ладыжникова, Берлин. 1919 г. (С одной поправкой. Розанов трезвенник, никогда не пил)» (Прага. Литературный архив... Письмо от 1 февраля 1932). Ремизов описал свою случайную встречу в Париже с сыном редактора газеты «Биржевые Ведомости» М.М. Гаккебуша-Горелова. Поводом для короткой беседы послужила «Кукха», некоторые сюжеты которой воскресили в памяти Горелова-младшего детские впечатления от одной из встреч с Р.: «У его отца, — пересказывал Ремизов Зарецкому, — бывали обеды (18 блюд). Бывал в гостях Розанов. Ему запомнился один, когда ему 12 лет — обед, закончившийся скандалом. У них был в гостях учитель Левашов с молодой женой. Три дня, как повенчались. В.В. оказался их соседом и стал расспрашивать как они это делали, спрашивал больше ее, чем его, и наставлял ее, как надо, а потом, обратившись к мужу, сказал: “Такие, как вы, не умеют делать!” Левашов не знал, кто такое Розанов, и не понимал его тона — все ведь сказанное Розановым с величайшим вниманием было проникнуто доброжелательством и уважением к теме — Левашов вспылит, обозвал Розанова негодяем. Только хозяин успокоил, а то был бы и мордобой» (Прага. Литературный архив... Письмо от 10 ноября 1932). Работа над очерком совпадает по времени с созданием рисованного портрета Р. (См.: Обатнина Е. Царь Асыка и его подданные. С. 152), который в 1932 сначала экспонировался на парижской выставке «Рисунки писателей», а затем на одноименной

выставке в Праге. Ремизов еще однажды изобразил Р в эскизе собственного сна в одной из тетрадей с рисунками под названием «Именной графический полупряник Тырло. 550 снов». Из записи Ремизова следует, что с 22 на 23 декабря 1933 ему приснился сон: «Раскрылась стена и мне видно: сад — и кто-то говорит “скончался В.В. Розанов”». В одном из фрагментов рисунка, передающего сновидение этой ночи, изображен Р., лежащий на кровати (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. № 46. Л. 2, 7).

Е.Р. Обатнина

РЕННИКОВ Андрей Митрофанович (наст. фам. Селитренников; 1882, Кутаиси — 23.11.1957, Ницца) — прозаик, фельетонист, драматург. С 1912 в Петербурге сотрудничал в «Новом Времени», редактировал отдел «Внутренние известия». Эмигрировал в 1920. В «Последних листьях» Р. упоминает Ренникова в связи с изданием второго короба «Онавших листьев»: «“Лукоморье” не выставило своей фирмы на издание. Что не “выставило” — об этом Ренников сказал: “Какие они хамы” Гм. Гм... Не будем так прямо. Все-таки они сделали доброе дело: у меня в типографии было уже около 6000 долга; вдруг они предложили “издать за свой счет” Я с радостью. И что увековечился Кор. 2-й, столь мне интимно дорогой — бесконечная благодарность им» (ПЛ, 41). В воспоминаниях «Минувшие дни» (Нью-Йорк, 1954) Ренни-



А.М. Ренников

ков рассказал о Р. как о сотруднике «Нового Времени» и других газет. М.М. Спасовский приводит слова Ренникова из этой его книги, где Р. посвящено 16 страниц: «В сущности, определенного стройного мировоззрения у Розанова не было. Было только чуткое иррациональное мироощущение. Его книга “О понимании”, логически излагавшая план возможного познания мира путем изучения первоначального строения ума, не внесла ни-

чего значительного в историю классической гносеологии. Но отдельные его прорывы в суть бытия бывали иногда гениальны. Он не умел осаждать тайну мира систематически, упорно, хладнокровно, как это делали прославленные западные философы при помощи дальноточных орудий своего тяжеловесного мышления. Но ему замечательно удавались темпераментные набег на истину, в результате чего брал он в плен и глубокие мысли и блестящие парадоксы» (Спасовский, 11–12). Спасовский писал по этому поводу: «Пусть определенного стройного мировоззрения у Розанова не было, — но у него был исключительного порядка дар ощущать, какими-то путями чувствовать окружающий его мир во всех его великих и малых делах и людях и делать свои как бы мимолетные выводы: — прозрения “сути вещей”, излагая эти выводы неподражаемым, своим розановским языком, — наглядно, выразительно до очевидности и просто до осязания. Гениально, — хочется и нужно сказать вместе с другими» (Там же, 12).

А.Н.

РЕПИН Илья Ефимович [24.7(5.8).1844, Чугуев, Харьковская губ. — 29.9.1930, Куоккала, Финляндия; ныне Репино, Ленинградская обл.] — художник. Р. во многом разделял эстетические взгляды Репина. В статье «В Таврическом дворце» (НВ. 1906. 4 июня) он говорит о себе как о «натуралисте в сердце, “школы Репина”», утверждая общность их подхода к искусству: «Чем диче, чем натуральнее — тем вернее с подлинным» (КНУ, 98). Взгляд египтян на животных, поражающий «страсть художника к натуре», Р. сопоставляет с репинской живописью: «Кто наблюдал, напр., над живописью Репина, мог заметить, до чего он до некоторой степени влюблен в “ужасные носы” и “по-скверному сложенные ры” “Вглядыванье”, “впивчивость” родит в конце концов страсть» (ВЕ, 311). В 1909 Р., по свидетельству С.П. Каблукова, не раз посещал имение Репина, и их отношения были вполне дружественными. 20 июля 1909 Репин, как сообщает Каблуков, исполнил акварельный портрет Р., «идеализированный дружественною рукою» (PRO, 1, 211), а в следующее посещение «Пенат», 19 августа, снова писал с натуры портрет Р. Судя по дошедшей до нас фотографии (СОЧ, перед с. 417), Р. бывал в Куоккале и вместе с В.Д. Розановой и падчерицей А.М. Бутягиной. Т.В. Розанова пишет в воспоминаниях, что в 1916 Репин «дважды бывал у нас в гостях» и они с отцом «провожали Илью Ефимовича с дачи» (ТР, 73). Вспоминает она и о своем посещении «Пенат», однако упоминание Н.Б. Нордман-Северовой свидетельствует, что она бывала там и ранее: «Вспоминается жена Репина. Высокая, стройная женщина, с каким-то удивительно бесцветным лицом, вся какая-то белесая, она ни о чем не могла говорить, кроме как об овсе, но, к счастью, на стол овес никогда не подавался. Обедали на закрытой веранде, гостей бывало человек до тридцати, обед был вкусный, обильный, но без мяса. Сам Репин держался очень просто, демократично и сердечно. Нас он водил по аллеям своего сада, показывал и сапожную мастерскую, где он тоже тачал сапоги, наподобие графа Л.Н. Толстого <...> Сохранилась фотография, где снят Репин в своей мастерской среди гостей. В числе их сидят папа, мама и сестра Аля (мама однажды тоже была в гостях у Репи-

ных)» (ТР, 73–74). Разговоры с Репиным нашли отражение в сочинениях Р. Он использует рассказ Репина в статье о П. Трубецком: «Памятник его Данте <...> “Вы изучали “Божественную комедию”? — “Ну, ответил он с отвращением, — стану я читать такую скучищу” Так мне передавал, смеясь, Репин» (СХ, 323). Р. использовал также потрясший его рассказ Репина — «если не из вторых рук, то из третьих рук» — для характеристики Гоголя (У, 117–118). Картина Репина «17-е октября 1905 года» Р. посвятил отдельную статью (НВ. 1913. 12 марта), в которой назвал ее «лебединою и вместе завещательною песнью великого художника... Поистине “великого...”» (СХ, 398). Репину, по мнению Р., вполне удалось передать суть революции: «Сколько понимания, сколько верности! Конечно, все жившие 1905–1906 гг. в Петербурге скажут о картине: “Это — так! это — верно!”» (там же). Р. особенно восхищется психологическое раскрытие художником в образах движущих сил революции: «Впервые из картины Репина, столь разительно истинной по зарисованным лицам, я увидел, что “евреи в революции” в сущности не ведут, а именно идут за сумасшедшими мальчишками, но подбавляют к их энтузиазму хитрую технику, ловкую конспирацию и мномо научную печатную макулатуру» (СХ, 399). Р. заключает: «Какая картина!.. Где ее видел Репин? Он собирательно все откладывал в душе впечатления. И выразил через 6 лет накопленные (задолго и до 17 октября) “ощупывания” лиц человеческих, фигур человеческих, душ человеческих. Да, — это великий “щупальщик” существа человеческого, наш Репин. И уж кого он “пощупал”, — не спрячет души своей» (СХ, 401). М.М. Спасовский увидел в этой статье Р. прозрение грядущей революции 1917 (PRO, 2, 431). Картина Репина «Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года» (1903) первоначально вызвала у Р. «томительное недоумение»: «Ни в каком месте, ни на улице, ни в частном собрании, ни в театре, ни в церкви я не видал людей, собранных в таком множестве, между которыми нет ни одного лица замечательного, красивого или просто характерного! Мне показалось: точно торговцы Александровского рынка оделись в мундиры, которыми они торгуют, — и эту фантазмагорию нарисовал Репин» (КНУ, 44). Но потом Р. разгадывает замысел художника, отразившего, по его мнению, состояние безликой «серости» высшего чиновничества накануне революции: «И колдун этот Репин: сперва я сказал себе: “где же его талант? где эти спины и лица запорожцев?! Как всё серо тут: бессильна кисть” Но к концу разглядыванья я догадался: “хитрец! он именно дал только то, что видел: ничего больше” Это — картина великая, это — Карфаген, перед разрушением <...> Для чего же художник стал бы брать темою “Carthago in gloria” <“Карфаген в славе”>. Художник хотел на этот раз быть немощно “Сивиллою”» (КНУ, 45). Как олицетворение русского «спящего царства» Р. в шутку предлагает Репину — художнику «настоящей темы» — нарисовать спящего И.П. Щербова. «И всё сводится к: “Наш Иван Павлыч всё спит” Эмблема. И — очень мил. Именно. “Как он лежит на подушечке” — я бы дал с него рисовать Репину. Репин все-таки не нашел настоящей темы. Настоящая тема в России одна: сон» (КНУ, 260). Р. ценил Репина как портретиста, раскрывающего суть изображаемых им людей. Он пользовался репинскими портрета-

ми для придания своим словесным характеристикам большей «фактурности». Р. восхищался тем, что художник выявил в портрете сущность тщеславного священника *Г.С. Петрова*, который «схватился за крест, как за нож» (ЛЖ. № 13/14, 1, 92), что в нарочито «тусклой» фигуре *К.П. Победоносцева* на картине «Торжественное заседание Государственного Совета» выделил символизирующие его властность «ужасные две кисти рук его, точно второе лицо» (ЛВИ, 530), что подметил самодовольство преуспевающего критика *К.И. Чуковского* («Богатый и убогий» // НВ. 1911. 22 марта; ТПРН). Репину, как считал Р., было присуще исключительное психологическое чутье: «Портрет Репина — *Короленко* (в «Н. Вр.»). Это — еврей. То, что у живого Короленко не кидалось в глаза, изумительный гений художника вывел к свету» (СХР, 71). Случались, правда, по мнению Р., у живописца и неудачные работы, как, например, портрет *Н.Н. Страхова*, висевший в кабинете философа (ЛИ, 344). После периода дружеского общения, пик которого пришелся на лето 1909, встречи Р. и Репина прекратились, и в последующих сочинениях Р. высказывания о художнике носили преимущественно критический характер. Чуковский объяснял эти негативные оценки



Розановы в гостях у Е.С. Репина. «Пенаты». 1913

обидой Р. на то, что Репин будто бы отказался писать его портрет — мол, «лицо у него красное» (Чуковский К. 1930–1969. М., 1997. С. 404). Однако, судя по преобладанию в этих отзывах критики Нордман-Северовой, главной причиной временного прекращения их встреч послужило именно неприятие Р. ряда черт ее характера. В «Уединенном» Р. дал весьма резкий словесный портрет Репина, и отрицательное впечатление ассоциируется главным образом с женой художника: «Какая ложная, притворная, жизнь Р.; какая ложная, притворная, невыносимая вся его личность. А гений. Не говорю о боли: но как физически почти невыносимо видеть это сочетание гения и уродства. Тяжело ли ему? Я не замечал. Он кажется вечно счастливым. Но как тяжело должно быть у него на душе. Около него эта толстая красивая женщина, его поглотившая, — как кит Иону: властолюбивая, честолюбивая и в то же время восторженно-слабавая. Оба они погружены в демократию и — только и мечтают о том, как бы получить заказ от двора. Точнее, демокра-

тия их происходит от того, что они давно не получают заказов от двора (несколько строк в ее мемуарах). И между тем он гений вне сравнений с другими, до него бывшими и современными. Как это печально и страшно. Верно, я многого не понимаю, так как это мне кажется страшным. Какая-то «воронка в глубь ада»...» (У, 30). В «Сахарне» Р. посвятил «исторической» пошлости «форнарины» Репина тираду, в конце которой досталось и художнику: «И побежденный и влюбленный Голиаф кисти рисует и рисует победившую его амазонку... всегда почему-то со спины <...> Но здесь nota bene, уже о художнике: что, кажется, в центре его таланта и ума лежит именно «постижение спин человеческих», — спин, поясиц, ног, — а не лица человеческого. И не в этом ли разгадка его странного порабощения. 1½ года, что я знал их, они были моим кошмаром. Я дома всё думал: «Что такое? Почему? Откуда?» И разгадки не находил и не нахожу» (СХР, 31–32). Негативное отношение Р. к Н.Б. Нордман-Северовой отразилось в его выдержанной в сатирических тонах статье «Женщина-пылесос и ее лекция в зале Тенишевского училища» (НВ. 1913. 8 дек.; НФП). Р. снова и снова возвращался к специфическим бытовым традициям «Пенат», которые представляются ему воплощением пошлости. Рассматривая Репина как жертву сомнительных вкусов жены, Р. создает в «Сахарне» зарисовку воображаемого ночного «отмщения» художника после приема гостей: «В 12 часов он сдергивает со стола скатерть, на которой были расставлены лицемерные, приветливые чайные чашечки и бокалы, из которых пили вино «его дорогие гости в четверг», восхищенные «Ларами» с «вездь» (въезд) на воротах, — ударом ноги он разбивает флашток с надписью: «Входите, дорогие гости, никак не раньше 2-х часов дня и не засиживайтесь позднее 8-ми вечера», «Громко звоните в там-там» <...> Господи, какая чепуха! Господи, откуда в одно место стащили столько чепухи <...> В 12 часов по ночам он хватает свои толстые кисти, огромную палитру и рисует свою ночную истинную душу... Он вознаграждает себя за день... Он отдыхает от тех сахарных улыбок, которые одни были допущены и вообще допускаются в блаженных «Пенатах», где всё цветет счастьем, прогрессом, всемирным братством людей, — молодых людей в молодом счастье, — и рисует, рисует...» (СХР, 93). Воображение Р. создает безжалостные портреты Нордман-Северовой («Вот он рисует эту стерву, о таланте, душе и успехах которой говорил так много <...> Хвастливая голова откинута назад, хвастливая, плоская и самодовольная... Голова горничной, «попавшей в счастливое обладание» своим барином, голова международной авантюристки»; *Л.Н. Андреева* («толстого русского увальня <...> в красной рубаше и детском «пояске» монастырского или старорусского происхождения. — Стоит она, глядя вперед, «в прогресс», ничего особенного не думает и имеет вид, что в России он первый начал о чем-нибудь думать») (СХР, 93–94). Не шадит Р. и самого художника, трактуя его жизнь как творческую трагедию: «Ему даны были на палитру дивные краски, в его лоб были вставлены глаза чудного понимания красок, его пальцам было сообщено волшебство. «Так сделать», как вообще никто не умел и не мог... Но в грудь не положено было сердца... Ни в мозг — ума... Пустая душа. Пустой человек. О, как это ужасно. А гений. Гений без души. Со

стеклами вместо “натуры” <...> Великий художник плачет. Он оплакивает возможное свое счастье, великое возможное свое величие в *истории*, для которого “все технические средства даны” и позабыли дать “душу” или, вернее, в миг рождения черт выкрал душу... Великий художник плачет. Будем, отечество, плакать с ним и о нем» (СХР, 94–95). Увлечение Р. чисто сюжетной стороной живописи Репина Э.Ф. Голлербах считал свидетельством не вполне определившихся эстетических вкусов мыслителя: «Достаточно сказать, что он способен был одновременно восхищаться грубым, вульгарным анекдотизмом Репина и тонкой, нежной молитвенностью Нестерова» (PRO, 1, 233). Однако Р. и сам не проходит мимо недостатков искусства Репина. Так, в статье 1908 Р. замечает, что натуралистически исполненный «лес» Репина — только «ботаника», а не мистика, как у Нестерова (ВДЯ, 375). Признавая за художником безусловный талант схватывания внешнего, Р. очень скептически оценил в «апокалипсическую» революционную эпоху его возможности в трактовке сюжетов, требующих понимания существа *вещей*: «Это рыдающее на развалинах нашей революции *славянофильство*, этот рыдающий на тех же развалинах русский юноша, — какой бы сюжет для Репина... Но он глуп, этот Репин, и никогда не мог посмотреть внутренним глазом на свои настоящие сюжеты. Он всегда был только внешним глазом. Он не смотрел, а оглядывал, схватывал и рисовал. Гениально рисовал. О, да» (АНВ, 329). *Письма* Репина в своем архиве Р. сопроводил пометой: «Репин И.Еф. Производил на душу мою прямо какой-то ужас с Форнариной своей. Давит, давит, плоско, глупо, страшно. Задыхаюсь. “Пустите вон”. А — гений? Какое чудо. И — страх» (ЛЖ. № 13/14. Ч. 1. 118).

В.А. Фатеев

РЁРИХ Николай Константинович [27.9(9.10). 1874, Петербург — 13.12.1947, Нагар, долина Кулу, шт. Пенджаб, Индия] — художник, археолог, философ, член «*Мира Искусства*». Р. писал о Рёрихе в связи с посещением художественной выставки в заметке «На выставке “Мира Искусства”» (МИ. 1903. Т. 9. Хроника. № 6. С. 53–55). О картине Рёриха «Волхов» сказано: «Простота, монотонность, тишина, переходящая в могильность, — как хорошо выражены в этой небольшой картине!» (СХ, 215). Картину Рёриха «Город строят» Р. относит к «антропологической живописи (там же). Описывая это полотно, которое «дает картину человеческого труда», Р. размышляет о рериховской манере письма и ее соответствии особенностям зрительного восприятия: «Если неосторожно стать близко к картине, то увидишь вместо людей какие-то белые пятна. Но ведь мы видим геометрическую линию контура лишь у самых близких предметов <...> Лицу, двор, лес, небо — мы в самом деле видим в пятнах <...> На надлежащем расстоянии “Город строят” дает впечатление такой живости и натуральности, что хочется потянуть *носом* воздух, чтобы услышать чудный запах свежераспиленной сосновой доски» (там же).

Л.В. Суматохина

РЙЛЬКЕ (Rilke) Райнер Мария (4.12.1875, Прага — 29.12.1926, санаторий Валь-Мон, Швейцария) — авст-

рийский поэт и прозаик. А.Н. Бенуа в письме от 28 июня 1901 Рильке, поздравляя его с женитьбой и желая ему счастливой супружеской жизни, писал: «Я очень увлекаюсь в данную минуту чтением другого убежденного сторонника брака — нашего гениального В.В. Розанова. Знаете ли Вы его? Вы, помнится, меня как-то раз спросили, что Вам переводить с русского, и я Вам, кажется, рядом с *Мережковским* <...> назвал Розанова. Однако Розанов еще интереснее для иностранцев (хотя он особенно интересен для русских), так как является истинно русским философом, корни которого уходят глубоко в народную стихию. Особенно значительно его отношение к древнему еврейству, а за последнее время и к *католицизму*. Он вышел из *Достоевского*, но во многом ушел от него, и для уразумения нашего народного духа, безусловно, необходимо знать как того, так и этого. Форма Розанова — сбитая, часто бестолковая и крайне небрежная. Русский — ведь почти всегда циник. Содержание местами глубоко мудрое, местами детски наивное, но всегда очаровательное. Труд его переводить, я думаю, огромный, но он стоит этого труда. Если бы Вы пожелали, то я постарался бы вам выслать несколько его сочинений» (Рильке и Россия: Письма. Дневники. Воспоминания. Стихи. СПб., 2003. С. 434). В ответном письме от 28 июля 1901 Рильке пишет, что высоко ценит творчество Достоевского, что ему доводилось переводить на немецкий язык «Бедных людей». В связи с Достоевским он и вспоминает имя Р.: «Вы можете себе представить, как было бы для меня важно познакомиться с сочинениями В.В. Розанова, который мне, к сожалению, известен только по имени. Дорогой господин Бенуа, сделайте, пожалуйста, так, чтобы я смог прочитать что-нибудь, переслав мне хотя бы ненадолго те из его произведений, которые лучше всего дадут почувствовать дух его. Разумеется, я не могу заранее сказать, буду ли я переводить его: мне не хватает мужества и опыта для перевода чисто философских сочинений» (Там же, 438–439). Очевидно, Рильке узнал имя Р. из книги Н. Гофмана «Достоевский» (Берлин, 1899), с автором которой он был знаком. Упомянув Р., Рильке размышляет о значимости философских идей, особенно в том случае, когда философ обращается к имени Христа: «У меня еще ни разу не было повода изложить все эти соображения на бумаге <...> Тема была вызвана Вашим же упоминанием о философе, о котором Вы обещаете рассказать в последующих письмах <...> Но не понимайте мои слова буквально: несмотря ни на что, я все же (и теперь уже всерьез) собираюсь прочесть В.В. Розанова и даже, если только хватит сил, перевести его. Вы доставите мне большую радость, переслав мне его произведения, — что Вы так любезно предлагаете сделать» (там же, 440–441). В письме от 15 ноября 1901 Рильке вновь упоминает Бенуа о давнем обещании прислать книги Р. Он жалуется: «Совсем ничего не знаю о Розанове» (там же, 456). В ответном письме от 27 ноября Бенуа обещает: «Вместе с этой почтой я постараюсь Вам послать одно из замечательнейших сочинений г. Розанова, этого удивительного мыслителя и поэта. Не знаю только, поймете ли вы его сбивчивый и запутанный язык. Если задумаете сделать с одной из этих статей перевод, то пришлите мне его на всякий случай для просмотра» (Там же, 462). Какие книги Р. отправил Бенуа

Рильке, можно только предполагать. В библиотеке Рильке были обнаружены две книги Р.: «Литературные очерки» (1899), «Природа и история» (1900). Кроме того, Рильке получал от Бенуа и журнал «Мир Искусства», с которым Р. в эти годы активно сотрудничал. Итогом чтения Рильке работ Р. становится признание в письме к Бенуа от 5 августа 1902: «Я часто с большим удовольствием читаю Розанова, но перевод его — слишком трудная для меня задача; во многих отношениях чуждо мне и содержание...» (Там же, 503)

И.А. Едошина

РОБЕСПЬЕР (Robespierre) Максимильен Мари Изидор де (6.5.1758, Аррас, департамент Па-де-Кале, Франция — 28.7.1794, Париж) — деятель *Французской революции*, один из лидеров якобинцев. В книге «Когда начальство ушло...» Р. привел *характеристику* Робеспьера: «Среди жестоких и грубых монтаньяров Робеспьер был сентименталист и ритор с букетом цветов в руке (праздник “Высшего Существа”), не любивший пьяных компаний, а любивший проводить вечера в одной дружеской семье... Ведь и он читал “Новую Элоизу»» (КНУ, 106). «*Революция* была слишком шумна, слишком сорна, слишком естественна, — продолжил Р. литературный портрет Робеспьера в книге «Мимолетное». — И Робеспьер приступил ее успокоить... Тихо льется кровь... Тихо скрипит его голос, и тихо течет кровь... Робеспьер говорит свою речь: “Революция принесла человечеству гуманность и справедливость... Но задача не может быть осуществлена, если головы не все так причесаны... Как ни ясны идеи de la Nature, de la Justice et de l’Humanité <Природы, Справедливости и Человечности>, есть неупорядоченные головы, которым они капризно противны. Однако нельзя же счастье Человечества ставить в зависимость от произвола Каприза. И вот отчего эти непричесанные головы должны быть устранены” Дети Народа и женщины Народа богомольно смотрели на оратора. И кровь тихо лилась. Она лилась, лилась... Это был вожделенный Покой. Голова Франции медленно причесывалась... Впрочем, нет: Причесывалась. В Прическе и заключалось дело» (КНУ, 515). На примере истории конфликта Робеспьера с Жоржем Дантоном и казни последнего Р. раскрыл не только идейные истоки европейского революционного террора, но показал всю ущербность секулярной революционной морали. «История “террора”, в сущности, очень проста: это — санитарная часть. Робеспьер был совершенно серьезен: он сказал Дантону, что “вы все-таки должны оправдаться”, и тот почувствовал, что дело идет о его шее. Робеспьер решил, что “нельзя жить в чистом доме”, не передавив клопов. Что “переезжать в новую цивилизацию” нечего, если не оставив в старом доме клопов, крыс, пауков. Ведь Дантон-то все-таки разграбил бельгийские (ли какие другие) провинции, куда был послан “легатом” Робеспьер сказал, что “что же это будет за новая республика, основываемая ворами и разбойниками” (сентябрьские убийства Дантона). Так. обр., казнь Дантона, что представляется наиболее ужасным моментом в ходе революции, была “добродетельным шагом”. “Добродетель входит в свои права...” “Наконец-то” “Царство Небесное на земле основывается” И Робеспьер — его жрец. Он не захотел и “Разума” — слишком сухо, а — Высшего существ-

ва. Это — мягче, гуще и насыщеннее... Если “новое царство”, то, конечно, “новая религия»» (КНУ, 287–288).

А.В. Ломоносов

РОГАЧЁВА П.П. — мешанка в Ельце, в доме которой квартировал Р. и куда к нему приходила будущая жена В.Д. Бутягина. В «Смертном» Р. рассказывает: «Однажды мне кой-что грозило, и я между речей сказал ей, что куплю револьвер. Вдруг к вечеру с пылающим лицом она входит в мою квартиру, в доме Рогачёвой. И, едва поцеловав, заговорила: — Я сказала Тихону (брат, юрист)... Он сказал, что это Сибирем пахнет. — Сибирью... — Сибирем, — она поправила, — равнодушная к форме и выговаривая, как восприняло ухо. Она была занята мыслью о ссылке, а не грамматикой» (У, 245–246). В.Д. Бутягина вспоминала: «В.В. часто квартиру менял. Сначала в доме Рогачёвых во флигельке на Успенской улице (в Ельце), потом — перешел против Покровки, две комнаты имел, а потом уже к нам, против Введенской церкви» (ГЛМ. Ф. 362. Оп. 1. Ед. хр. 176; цит. по кн.: Розанов В. Смертное. М., 2004. С. 142).

А.Н.

РОДИЧЕВ Федор Измаилович [9(21).2.1854, Петербург — 29.2.1933, Лозанна, Швейцария] — один из лидеров кадетской партии, депутат 1–4-й Государственных дум, министр Временного правительства. Р. относил Родичева к числу «первых мудрецов, “старцев»» (М, 380) кадетской партии, к хору «“соловьёв” первых дней Думы» (КНУ, 108). Парламентская деятельность Родичева представлялась писателем как destructive начало, пустая демагогическая, самовлюбленная риторика: «“Подайте нам сперва русских министров на съедение, а потом все русские дела в управление” Но почему? <...> Родичев: — Потому что я говорю громко” Это не резон. Явно, что это не резон» (М, 277). Ораторское искусство Родичева, по мнению писателя, было вовсе не безупречно. Р. часто иронизировал по поводу «раскатистых громов Родичева, нервных, бьющих, оскорбляющих <...> Ну, Родичев говорит. Хорошо говорит. Можно и лучше, но и это хорошо. Дальше что же? Что из этого? Дальше ничего. Речь есть что-то законченное в себе и умершее в себе. Родичев имеет талант произносить отличные речи, но из этого ничего не следует ни для России, ни для меня. Пусть и произносит, а я буду жить или Россия будет жить “как Бог на душу положит” Это не связуемо с жизнью, как и вообще ораторский талант есть некоторая и большая ценность в самом себе, но лежащая о бок с действительностью, возле нее, ее, наконец, украшающая собою, как и всякое искусство, но на нее не действующая, как рычаг» (ВНС, 151–152). Р. высветил разлагающее начало кадетской оппозиционности Родичева и его соратников: «Они не дали своей капли в обращение соков России <...> Родичев, Петрункевич, Герцен? “Ни капельки” <...> И тем, что, “способные к работе, — они не работали”, они уже раньше своей революции из нее тащили ниточки — и съедали. Они съедали кусочки России» (КНУ, 421). «Милуков есть еще историк. Муромцев был ухаживатель своих дам. Родичев будет оратором везде» (М, 280). Писатель сравнил роль Родичева времен первой Думы с лидерами Французской революции: «Стахович, Петрункевич, Родичев, Шипов — это были

Мирабо, Дантон и Сен-Жюст русской революции, которая, казалось, вот пришла и стоит за занавесом» (РГО, 108). В дни *Первой мировой войны* Р., обеспокоенный судьбой своей родины, высказывал озабоченность по поводу безответственных заявлений Родичева, воплощавших общенациональный элемент «своеобразной “оппозиции” всех всему» (КНУ, 269): «Два мужа, Родичев и Петрункевич, стали историческими личностями, заявив, в сущности, просто польское “не позволяю!”» (там же). В книге «Мимолетное» Р. дал литературный портрет Родичева-парламентария: «Никто о нем не написал самого важного, что с первого же взгляда меня поразило забываемою чертою <...> Робко-робко, семена бессильными ножками, пробирается темная фигура вправо; что-то извиняющееся и как бы запуганное; голова опущена. “Нет скромнее человека” Ничего нахального, дерзкого, адвокатского: едва ли даже что дворянское. Воплощенная тишина и испуг чему-нибудь помешать, нашуметь. Кажется, он идет на цыпочках: не видно, но такое впечатление от боязливой походки. Только уже в кулуарах я рассмотрел, что он большого роста, фигура видная и внушительная. Но пока он пробирается между перилками, по проходу, в семи саженях от вас, и весь, весь виден, — вы ошибочно приписываете ему маленький рост от этой природной тишины и, кажется, слабости всего корпуса, тела. Он в черном (люстриновом, шелковом?) пиджаке. В платье — никакого покроя, точно дома или на работе. Ораторы продолжают говорить, все внимательно и серьезно; прошел час, полтора, до перерыва еще осталось полтора часа; но опять пробирается та же фигура — назад, вон, верно в буфет съесть котлетку или так, выкурить папироску. В кулуарах он также движется взад и вперед, тихо и беспокойно, никогда не “расхаживаясь”, не “разглагольствуя”, а точно торопясь куда-то в уголок, где у него есть дело, когда на самом деле никакого дела нет. Все обыкновенно, кроме лица и ног. Такой смешной, мелочной, неважной походочки нет (не ошибаюсь!) ни у одного человека в громадной людной зале кулуаров: отсюда я и назвал походку бесконечно слабой физиологически. Точно в ногах у него не кровь, а парное молоко. Далее все обыкновенно до головы: откуда начинается опять же единственное в кулуарах! Человек этот физиологически, анатомически не уравновешен. Весь организм как будто страшно обессилен, отдав всю свою энергию — голове, не лобным ее частям, а вот этим горловым-глоточным-челюстным: где и вдохновение, ум и гений! В палате, судя по этим частым входам и выходам, по вечным опаздываниям после звонка на ½ часа, он никого не слушает и ничего определенного об этой палате не думает. Ни в какую “тактику” и предварительные “уговоры” его, очевидно, нельзя вовлечь: он на все пассивно согласится и, все обещав (“условившись”), — ничего не исполнит, забыв, о чем была речь. Он никого не слушает, кроме себя, каких-то своих постоянных внутренних речей, голосов, возражений себе и мысленных своих возражений на возражения. Словом, как у другого постоянно “играют мысли”, у картежника — мелькают карты, во сне и наяву, в церкви, в театре, — так этот постоянно слышит речи и произносит речи, отрывки речей, восклицания, слова. Он постоянно живет в некоем внутреннем звоне, поэтическом, страстном, счастливым. Но говорят другие, или идут и обсуж-

даются “дела”: а, до этого ему нет дела! Из всего парламента Родичев, в сущности, есть единственный “урожденный” для этого человек; прочие присоединили парламентаризм к биографии, профессии, к занятиям, деятельности, науке, убеждениям своим. Родичев вне парламента просто отсутствует, он “родился в парламенте”, как у младенцев бывает, что вот иногда они рождаются “в сорочке” Ничего еще он не сделал, может быть, и не сделает ничего; для “дела” и вообще-то он как-то не идет. Но если судьба Думы пойдет очень зигзагами, если она будет необыкновенна, случатся в жизни Думы моменты исключительной патетичности, важности, героизма или ужаса, даже преступности: Родичев во все вот эти особенные моменты окажется на вершине волны, производящим какое-нибудь страшно-решающее, страшно-ответственное слово, и притом производящим почти бессознательно, безрассудно и увлекательно! Разумом он не обделен: но разумом более психологическим, нежели логическим <...> Он призывал к скромности, к обыкновенной человеческой скромности на службе, в государственной деятельности; конечно, это ново и нужно, страшно важно! Двадцать минут, пока длилась речь, я по крайней мере поучался у этого тверского депутата, богател от него умом, соображением: а я сам написал десять книг и уже редко чему учусь, т.е. что нахожу поучительным. Родичев же и не профессор, и не ученый, и не писатель. И у других ораторов в Думе я не поучался, а говорил только “верно”, “не верно”, но без всякого пафоса. У Родичева — патетически поучаешься, его — не одобряешь, а к нему — присоединяешься, примыкаешь, становясь “на его сторону”: это и есть секрет заражать. Хотя, я думаю, сам он тоже “заражается” моментами, обстоятельствами, никогда не предвидя, что именно по нему “чиркнет спичкою” — и он вспыхнет» (КНУ, 100–102). Писатель выставил парламентария Родичева в качестве образца политической трусости думцев-оппозиционеров. «Все они вообще чрезвычайно пугливы. Родичев сделал оскорбительный намек (“Столыпинский галстух”), — но не только потом извинился, а захворал от проявленной храбрости (“букеты” дам больному)» (У, 337). А.В. Тьrkова-Вильямс вспоминала о личном конфликте между Р. и Родичевым, произошедшем в ее присутствии: «Как-то раз собрались у нас гости. Был и Ф.И. Родичев. Не помню, по какому поводу он разразился речью о том, что у России вовсе не было истории. За тысячетнее свое существование Россия не выработала личностей, самодержавие не давало им возможности развиваться, а без личностей не может быть и истории <...> С бедным В.В. Розановым, который, пощипывая рыжую бородку, стоял тут же, чуть не сделался удар. Но он не мог ни перекричать, ни переспорить Родичева» («Воспоминания». М., 1998. С. 517). Эту тему Р. затронул в статье «Белинский и Достоевский» (НВ. 1914. 8 июля), отмечая отсутствие у Родичева, вслед за В.Г. Белинским «чувства России» и «чувства русской истории, кроме книжного (отнюдь не делового)» (ОПП, 597). «Я думаю, — писал Р., — есть глубокая радость быть “сыном”, а не “господином” Белинский и вся линия его “традиции”; весь тон “господ Родичевых” вышел из “господа” России, ради вот, видите ли, идейных скитальчества, и обид им, и начала чахотки <...> У них не было России-Матери (“Мать-сыра-земля”, наша “Богородица”), а было — слу-

жанка-Россия, обязанная бегать у них на побегушках, а когда она не торопилась, — они выходили из себя и даже вредительствовали ей» (ОПП, 598). В «Сахарне» Р. отметил: «Тогда как “умер бы Родичев” — и только одной трешоткой меньше бы трещало на Руси» (СХР, 46).

А.В. Ломоносов

РОЖДЕСТВИН Александр Сергеевич (1862 — после июня 1907) — писатель, преподаватель литературы казанской учительской семинарии и женской гимназии, друг Р. Письмом от 6 ноября 1897 Рождествин начал многолетнюю переписку с Р., которая продлилась до июня 1907. Педагог стремился выразить в своем письме «беспредельное чувство благодарности» за розановские статьи. «Вы — единственный почти писатель-публицист, вполне свободный от служения тому или другому идолу, и сменяемому направлению, — признавался он в причине своего интереса к творчеству Р. — Читая Ваши статьи, знаешь, что Вы пишете то, что сами чувствуете, а не то, что велят чувствовать другие <...> хочется открыть свою душу кому-нибудь из людей. Вы, мне кажется, принадлежите к числу таких писателей, которые хороши не на одних только словах» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4206. Ед. хр. 1. Л. 3). Педагог признавался, что мечтал в молодости посвятить себя литературе, но из-за многочисленного семейства (9 детей) ему пришлось полностью окунуться в преподавательскую работу. К первому письму Рождествин приложил свой отклик в газете на статью Р. «О гимназической реформе семидесятых годов» (НВ. 1897. 5 авг.). С последующими письмами он отправил Р. свои книги: о классической системе образования (4 октября 1897), об А.С. Пушкине (21 мая 1899), книгу «Ввиду реформы средней школы» (Казань, 1900; 9 января 1900), отгиски своей статьи о поэзии Н.А. Некрасова (3 мая 1903). Рождествин посылал Р. свои отклики на его произведения: на книгу «В мире неясного и нерешенного» (6 июля 1901), «Место христианства в истории» (Казанский Телеграф. 1904. 1 октября) и «Декаденты» (там же) в письме от 3 октября 1904, о «Легенде о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского» (31 мая 1907). Рождествин неоднократно просил Р. написать о творчестве Л.Н. Толстого: «В наше время Вы только можете сказать о Толстом то, что нужно. Я удивляюсь, что Вы хвалили статьи Мережковского. На днях я прочитал внимательно всю его книгу (и намереваюсь писать о ней) и нахожу, что Мережковский совсем не понимает Толстого» (ОР РГБ. Л. 16). В 1902 в Казани вышла брошюра Рождествина «Лев Толстой в критической оценке Мережковского». Творчество Р. педагог сопоставлял с классическими писателями: «Чтение Ваших статей является для меня настоящим праздником. Из современных писателей я только Л.Н. Толстого читаю с таким захватывающим интересом» (там же. Л. 19). «Сводит вашу литературную деятельность к творчеству ума только нельзя. Для того, чтобы открыть глаза на такие великие вопросы, как религиозный и семейный, нужно иметь любвеобильное сердце и вообще вдохновенную, высокую и прекрасную душу. Мне кажется, к Вам более подходит название пророка, и пророка не Лермонтовского, а Пушкинского, который “внял не только содержание неба и гад морских подводных ход”, но и “горний ангелов полет и дольней лозы прозябанье” Вообще Ваша великая душа род-

ственна душе Пушкина, душе кроткой, чуткой, любвеобильной, милосердной, благородной, проникновенной» (там же. Л. 23). «Вам назначено Провидением быть глашатаем той вечной истины, которую возвестил Христос. Я не могу оценить Вашу литературную деятельность иначе, как сравнивши с проповедью вечных пророчеств. Да Вы истинный пророк христианской жизни. Пусть современные фарисеи и книжники ненавидят Вас: их ненависть — лучшая похвала Вам» (там же. Л. 29). Р. посылал Рождествину свои книги с дарственными надписями. Педагог признавался, что розановский «Семейный вопрос в России» служит ему настольной книгой, поскольку она «составляет эпоху в русской жизни» (там же. Л. 21). «Я несколько раз принимался писать по поводу ее. Но большинство материала положительно подавляло меня: написанное мною выходило в сравнении с Вашей книгой так жалко и ничтожно, что делалось стыдно печатать, тем более многое, о чем следовало бы сказать, нельзя обсуждать в провинциальной печати» (там же). Для продолжения работы Р. над указанной темой, Рождествин послал ему материалы для будущих томов «Семейного вопроса». К письмам Рождествина приложена розановская характеристика педагога: «Алекс.Серг. Рождествин, педагог в Казани, женат на сестре Шестакова (см. его письма), дочери знаменитого попечителя Шестакова. И сии два, вместе с П.П. Перцовым из Казани же, суть мои Казанские друзья. Спасибо ему. Он был всю жизнь верным другом мне» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 105).

А.В. Ломоносов

РОЗАНОВ Алексей Николаевич [28.8(9.9).1882, Белый, Смоленская губ. — 1949, Ухта, Коми АССР] — племянник Р., сын старшего брата Р. Николая, геолог. В 1900—1906 учился в Московском университете на отделении естественных наук физико-математического факультета. В 1906 был оставлен на факультете для подготовки к профессорскому званию. Р. осуждал позитивистские взгляды племянника и вел с ним полемику. В письме к Р. от 18 апреля 1908 Алексей пишет: «Скажи мне, пожалуйста, почему это “человек науки” (твое выражение) должен считать брак “неприличным состоянием”? Должно быть, это одна из вечных тем, рожденных в твоём философском уме. Мне кажется, наоборот, всякий натуралист, напр., должен смотреть на скрещивание особей как на наиестественнейшее явление, и критерий “приличность” и “неприличность” сюда совершенно неприменимы (для меня между прочим это понятие вообще — пустой звук). Что касается папы и мамы и дяди, то и тебя они выдрали бы за уши за многое в твоей жизни, и, следовательно, аргумент этот вряд ли будет для нас с тобой убедителен <...> Я натуралист и материалист, сторонник эвдаимонизма, эпикуреца (и циник в вульг. смысле этого слова), руководствующийся в жизни принципом здорового эгоизма <...> Не помню, когда именно и где, но я как-то говорил своим знакомым, что “В.В. не салонный писатель”, что... “для гостиных” и “общества” он покажется “неприличным” ввиду оригинальности (кстати, иногда очень неудачной) и резкости своих выражений и т. подобное чего-нибудь в этом роде» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 597. Л. 1—2).

Т.В. Воронцова

РОЗАНОВ Василий Васильевич [27.1(8.2).1899, Петербург — 9.10.1918, Курск] — сын Р. «По имени крестного отца <А.В. Штала> и как “незаконнорожденного” полное имя, отчество и фамилия его Василий Александрович Александров» (ОСЖС, 704). С раннего возраста сын поражал Р. какой-то недетской серьезностью: «Грибок появляется в августе, а иногда уже к концу августа: и вот этот год только 2 раза сходил с Васей за грибами и почти ничего не нашел, так, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ сковородки, всяких — и подберезовиков, и сыроежек, и лисичек даже <...> У детей — всех — чудная лесная память <...> И Васька, такой крошечный, едва 7-ми лет, шагает уверенно, как король или старый лесовик. “Вон — береза, мы проходили мимо, вон — бугор, тогда остался влево” Так как уже темнело, то мы почти бежали, а не шли» (У, 277). Наблюдая за тем, как учится сын, Р. размышляет о содержании учебного процесса: «Растопылив ноги и смотря нахально на учительницу, Васька (3-й класс Тенишевского) повторяет: — Ну... ну... ну “блаженные нищие духом” Ну... ну... ну... (забыл, а глаза бессовестные). Что ему, тайно пикирующемуся с учительницей, эти “блаженны нищие духом” <...> Боже мой: да ведь это и сказано “нищим духом”, еще — никому, и никому — не понятно, для всех это “смех и глупость”, и сила слова этого только и открывается в 40 лет, когда жизнь прожита. Зачем же это Ваське с растопыренными ногами, это “метание бисера перед свиньями”» (У, 195); «На клеенчатом диванчике, поджав под длинную ночную рубаху голые ножонки, — сидит Вася и, закинув голову в утро (окно на восток), с книгой в руках твердит сквозь сон: <...> Адмиралтейская игла. Ад-ми-рал-тей-ска-я... Ад-ми-рал-тей-ска-я... Ад-ми-рал-тей-ска-я... Не дается слово... такая “Америка”, да и как “игла” на улице? И он перевирает <...> — Ты что, Вася? Перевел на меня умные, всегда у него серьезные глаза. Плоха память, старается, трудно, — потому и серьезен: — Повторяю урок. — Так нужно учить: Адмиралтейская игла. Это спиц такой. В несколько саженной длины, т.е. высоты. — Спиц? Что это?? — Э... крыша. Т.е. на крыше. Все равно. Только надо: игла. Учи, учи, маленькой. И повернулся. По дому — благополучно. В спину мне слышалось: Ад-ми-рал-тей-ска-я звезда, Ад-ми-рал-тей-ска-я игла...» (У, 91–92); «Васю моего бедного учат 1-му марта (IV класс Тенишевского) в “объективном изложении” Задают: “Характеристика Мцыри” <...> Все — отравы, все — зло. Постоянная учеба — восхищаться злему человеку. Злой человек — везде герой. И на заднем фоне, как что-то ненужное и смешное, — “молитвы Богородице” и противный, как скисшее молоко, катехизис. “Папа, я не понимаю: как мне приготовить характеристику Петра Великого” (Вася). — Я сказал: твой учитель дурак, и, пожалуйста, не готовь ему никакой “характеристики П. Вел.”» (СХР, 206). «Дети мои так и заливаются Толстым <...> напр., мой Василий (V кл. Тенишевского), что Пьер похож на него <...> Вася образует обо всем чудовищные представления» (КНУ, 501); «Вася: — Онегин, папа, фамилия? — Фамилия. — Так, Евгений, значит, имя? — Да. — А как же отчество? “Отчество”? Никогда в голову не приходило. Ни мне и никому. Но все русские с отчеством, и даже пренебрегая именем часто называют одним отчеством <...> Не показывает ли это, до чего создание Евг. Онегина было отчуждено от рус-

ской жизни. От земли и действительности» (КНУ, 534). Итоги подобного образования, как представляется Р., формируют «русскую цивилизацию»: «Вчера разговор в гостях. И выслушал удивительный взрыв отца: “Моему 13-летнему сыну, который никогда не знал онанизма, в гимназии сказали никогда не дотрагиваться до... потому что хотя это насланительно, но вредно для здоровья. Он дотронулся и сделался онанистом. 10 чиновников в мундире министерства просвещения, из которых каждый был шпион и ябедник, учили его “не послушествовать на друга своего свидетельства ложна” И он стал клеветником и злословцем. Те же десять чиновников, из которых каждый был предатель и втихомолку занимался социализмом, учили его быть патриотом. И он возненавидел свое отечество. Таким образом, когда он “окончательно получил образование” и делается никуда не годным человеком, — ему выдадут бумажку, по которой он может получить всякое место на государственной службе. Перед ним будут “открыты все двери” Он войдет в наиболее широкую, выберет девицу с кушем и женится. Те-



Василий Розанов (сын)

перь он делается не только “полезным гражданином”, но и в высшей степени “приятным членом общества” У него станут занимать деньги. Ему везде станут предлагать “председательство” Он станет заниматься “благотворением” Когда он умрет, поп скажет хорошую речь (русская цивилизация). Я подумал молча про себя. Нет.

Мой Вася жив. С ним никогда этого не будет. Берегись, Вася. Берегись “русской цивилизации” (СХР, 19). Берегись же, Вася, — берегись. И никогда не союзись с врагами земли своей. Крепко берегись. Люблю я тебя: но еще больше люблю свою землю, свою *историю*» (СХР, 209). Р. в сыне видит проявление общих особенностей всей *семьи*: «С Васей же было так. Теперь он несносен, бисит, собирается на *войну*. Так и хочется (мне) или стукнуть по голове, или его же ранцем запустить ему в спину. Но до 9 лет он был прекрасен. Любя очень девочек, таких грациозных и игривых, я не обращал на него внимания и никогда с ним не разговаривал. Да, ему лет 6 или 7. Только я всегда замечал, что его внимательный взгляд почему-то поднят на меня. И раз спрашиваю: — Вася, ты меня любишь? — Люблю. — Почему же ты меня любишь? И как давно решенное, он ответил спокойно и серьезно: — За то, что ты нас хлебом кормишь. Я был поражен. Никогда в голову не приходило, что дети могут об этом думать. Но это он теперь глуп, когда учит в Тенишевском физику и химию. А в шесть лет мой Вася был замечательно умен <...> Теперь я думаю: “Все Розановы — особенные. *Школа* у них отняла все. Но врожденно — они были прекрасны и умны» (М, 102–103). Всем детям Р. дал образование, в немалой степени благодаря своей журналистской деятельности: «Бедный и милый *Суворин*. Вечная ему память. Дети мои никогда не должны забывать, что, если бы не он, я при всех усилиях не мог бы им дать образования <...> И бедные дети мои, эта милая Таня и умный Вася, — жались бы в грязные платицах в углу, без книг, без школы» (СХР, 203). В книге «В чаду *войны*» Р. рассказывает, как его 15-летний сын собрался бежать на фронт (ВЧВ, 7–8). 3 июля 1916 Р. записывает: «Вчера, проводил Васю (война)» (ПЛ, 154). В 1917 он вернулся. Когда *семья* переехала в *Сергиев Посад*, жить было очень трудно. Вася отправился к дяде на Украину и привез оттуда муки. Из воспоминаний *Т.В. Розановой*: «Брат Вася уговаривал Варю ехать на Украину вторично. Они остановились в Курске у знакомого отца, некоего *Лутохина*. Вася заболел испанкой, его отправили в больницу и через три дня он там скончался. Это было 9 октября 1918 года, там же на городском кладбище его и похоронили» (ТР, 89). Р. тяжело переживал *смерть* единственного сына: «И вот, всего второй день, как узнал о смерти сына моего, погибшего жалкой смертью в Курске, куда он уехал на работу и пропитание: и сад земной для меня есть все-таки сад. Ибо это всемирно. И да умолкнет всякая частная скорбь. А звали его Васей. Помолитесь о нем» (АНВ, 190).

И.А. Едошина

РОЗАНОВ Василий Федорович [ок. 1820, Матвеево, Кологривский уезд, Костромская губ. — 28.2(12.3).1861, Ветлуга, Костромская губ.] — коллежский секретарь, отец Р. Настоящая фамилия Елизаров, фамилию Р. получил в 1838 при поступлении в *Костромскую духовную семинарию* (Горохова О.В. Василий Васильевич Розанов: к истории фамилии // *Энтелехия*. Кострома, 2003. № 7). Отец Р. был занят добыванием средств для содержания все разрастающейся *семьи*, отсюда эти вопрос и ответ: «Как я чувствовал родных? Никак. Отца не видел и поэтому совершенно никак его не чувствую и никогда о нем

не думаю (“вспоминать”, естественно, не могу о том, чего нет в “памяти”») (У, 138). В «Автобиографии» Р. уточняет: «отец мой, занимавший должность лесничего, умер от простуды 4 года после моего рождения» (ОСЖС, 685). См. статью «*Елизаровы-Розановы*», 7–5.

И.А. Едошина

РОЗАНОВ Владимир Николаевич [2(14).3.1876, Нижний Новгород — 15.8.1939, Москва] — племянник Р., сын старшего брата Р. Николая, революционер. В книге Н.В. Баранской, дочери Владимира, «Странствие бездомных» (М., 1999) опубликован «Розановский альбом» с его фотографией, а также фотография самого Р., на обороте которой надпись, сделанная рукой Р.: «Дорогим моим племянникам Коле и Володе на память о лете 1888 г. В. Розанов». *Письма* Владимира к Р. за 1894–1911 хранятся в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 598). Судя по письмам и открыткам от 1894–1895, Владимир помогал Р. с распространением книг «*О понимании*» и «*Место христианства в истории*» в московских книжных магази-



В.Н. Розанов

нах: «Дорогой Вася! Результаты моих хождений по магазинам следующие: в магазине Думнова все книги “О понимании” целы, ни одна не продана, в магазине Вольфа тоже. У Вольфа меня просят взять книги О понимании назад: говорят, что на них вовсе нет спроса. Ты говорил, что нужно взять и из “Общества философии и психологии” Но куда же девать столько?.. Их (О Понимании) никто: ни Думнов, ни Наумов, не хотят брать. Я еще у Вольфа и из Общества Философии и Психологии не брал, буду ждать твоего ответа. В ма-

газине Наумова Место христ<ианства > в истории все продано, просят еще. Можно взять из магазина Общ<ест>ва Ф<илософии> и Пс<ихологии> и поместить к Наумову. Деньги и квитанции пришлю вместе. Твой Вл. Розанов» (открытка от 13 декабря 1894 // РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 598. Л. 1). По поручению Р., Владимир продавал нераскупленные экземпляры «О понимании» букинистам: «Ходил к букинистам. Только один согласен купить “О понимании” 100 экз. (не больше) и дает только по 40 коп. за книгу. Больше не дает: “и то”, говорит, “рискую” Продавать или нет?» (открытка от 6 декабря 1895 // РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 598. Л. 8). Р. любил племянника и переживал за него, осуждая за участие в революционных событиях: «Володя сидел “в крестах”, и жена <Э.Г. Гамбургер> носила ему обеды. Она была очень некрасива, как-то мужеобразна. Он же был удивительный красавец, высокого роста и стройный, с нежным *лицом* и юношеским *головом*. Наконец, будучи сама без денег, она откуда-то раздобыла 1000 р. и совсем высвободила его под “залог” этой тысячи. Я видел их сейчас по освобождению. Она была так полна *любовью*, а вместе контраст его *красоты* и ее некрасивости был так велик, что она не могла более нескольких минут быть с ним в одной комнате. И я их не видел вместе, рядом, разговаривающими <...> Он был ласков и хорош, с нею и со всеми. Он был вообще очень добр, очень ласков, очень нежен и очень деликатен. Он был прекрасный *человек*. И прекрасный с *детства*. Любимое дитя любимых родителей. Это от него я услышал поразительное убеждение: — Конечно, *университет* принадлежит студенчеству, потому что их большинство. И порядок, и ход дела в университете вправе устанавливать они. — Это на мое негодование, что они бунтуют, устраивают беспорядки и проч. Сам, кончив отлично гимназию, он был исключен с медицинского факультета *Московского университета*, потому что вместе с другими стучал ногами при появлении в аудитории Захарьина. Захарьин был аристократ и лечил только богатых, а Володя был беден и демократ, и хотел, чтобы он лечил бедных. Поэтому (стуча ногами) он стал требовать у начальства, чтобы оно выгнало Захарьина, но оно предпочло выгнать несколько *студентов* и оставить Захарьина, который лечил всю *Россию*. Он перешел в “нелегальные”, потом эмигрировал. Потом “кресты” и, наконец, — на *свободе*. Вскоре он бежал. Но еще до бегства случилась драма. Посещая его жену, я всегда слышал ответ: “Володя ушел” Из соседней комнатки вылезла какая-то в ватных юбках и ватной кофте революционерка, до того омерзительная, что я не мог на нее смотреть <...> Володя оставил свою жену, сблизился с еврейкой, которую я мысленно определил лукошком; и которая, хоть жила с ним в одной комнатухе, но его третировала, и он ужасно страдал» (У, 300–301). О событиях в университете Владимир сообщал Р. в письмах: «Теперь я хочу сказать тебе кое-что о наших университетских делах. Захарьин вышел в отставку, студенты давно с ним не ладили и очень этим довольны, но на его место назначен его клевет Попов, который, наверно, хуже Захарьина, по крайней мере как профессор. Это неприятно. Ты наверно не слышал, что нынешним летом из нашего университета уволены 118 человек, некоторые из которых вновь приняты, но все-таки остается

порядочное число (около 90) уволенных <...> Если студенты уволены летом для того, чтобы не вызывать студенческих беспорядков, то, по-моему, этим сделали еще хуже. Эта таинственность еще более будет разжигать и подстрекать студентов к беспорядкам (дай Бог, чтобы их не было!). Вообще не знаю как тебе, а мне такое увольнение кажется возмутительным» (письмо от 18 августа 1896 // РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 598. Л. 14 об. — 16). В ответ на письмо Р., получившего известия, что его племянники замешаны в волнениях, Владимир писал: «Насколько Коля или я замешаны в “беспорядках”, долго да и не совсем удобно рассказывать в письмах. Могу только тебя успокоить: мы оба не арестованы и спокойно сидим дома. Точно так же о самих “беспорядках” я тут распространяться не буду: слишком много потребовалось бы места и вместо письма пришлось бы послать тебе посылку, притом же ты имеешь о них приблизительное понятие из “правительственного сообщения” и разных других *газет*» (письмо от 18 декабря 1896 // РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 598. Л. 17 об. — 18).

Т.В. Воронцова, И.А. Едошина

РОЗАНОВ Дмитрий (Дмитрий) Васильевич [14(26).4. 1852, Галич, Костромская губ. — 8.11.1895, Кострома] — брат Р., с конца 1860-х страдал приступами душевного расстройства. Р. сообщал брату Николаю в *письме* от апреля 1870: «Митино положение самое ужасное, но это положение я тебе опишу сполна, как философ, хотя мне эта личность очень не нравится; быть может, я сказал какую-нибудь глупость, извини меня, я *человек* грешной. Митя сидит в *доме* умалишенных, заметь, тогда, когда находится в полном рассудке и *разуме*; часто по тебе поминает и все думает или, лучше всего, мечтает, что ты когда приедешь, то освободишь его из этих трущоб, но все-таки он, это, заметно повеселел, несмотря на то, что с ним, как и совсем с *ума* сошедшим, обращаются грубо, даже жестоко, напр., бьют, привязывают на ночь веревками к койке; что мы или кто-нибудь другой принесет, то все отнимают сторожа, даже чай, сахар, деньги и все, что можно принести» (ОСЖС, 671). После *смерти* матери Дмитрий жил в *Костроме* под опекой сестры Павлы. Письма Дмитрия к Р. хранятся в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 600). В письме от 20 марта 1885 он сообщал, что работает помощником печатника в типографии П.И. Андроникова: «Пробовал было я наборной частью заниматься в той же типографии, но оказался совсем неспособным, потому глаза очень резало...» (л. 4–4 об.). 2 сентября 1886 Дмитрий писал Р. из больницы, где лежал в связи с обострением туберкулеза: «Я слышал, что ты *книгу* сочинил, дак пожалуйста, если она печаталась, дак пришли 1-н экземпляр. Я от скуки почитаю» (л. 8 об.). Получив от Р. по почте книгу «*О понимании*», Дмитрий 29 сентября 1886 обращался к брату: «Ты, милый Вася, не ошибся писал мне, что для меня твоя книга непонятна. Действительно, я читал твою книгу хотя и немного, но почти ничего понять не мог. Она очень высокоумна, так что для меня мало понятна — необразованного человека. Но все-таки я ее буду хранить как *труд* любящего моего брата» (л. 10 об.). Судя по письмам от 29 декабря 1886 и 5 апреля 1887, Дмитрий очень нуждался, и Р. высылал ему *одежду*. После *смерти* П.И. Андроникова из-за банкротства типогра-

фии Дмитрий перешел служить в гостиницу помощником приказчика, и его финансовое положение немного улучшилось: «У меня немного поскопилось деньжонок», — писал он Р. 26 декабря 1890 (л. 24 об.). В начале 1890-х из-за обострения туберкулеза Дмитрий был вынужден оставить службу и перебивался случайными заработками. После переезда сестры Павлы в Казань о нем заботился двоюродный брат Александр Иванович Ширский, работавший в Костромской контрольной палате. Р. предлагал брату переехать к нему, но Дмитрий не согласился. С 1893 Дмитрий проводил часть года в Казани у сестры Павлы и брата Сергея. Последнее письмо Дмитрия к Р. датируется 15 августа 1895. Р. присутствовал на его похоронах, о чем свидетельствует письмо *Н.Н. Страхова* от 11 ноября 1895 к жене Р.: «Из верных источников узнал я, что Василий Васильевич уехал по поводу смерти брата». Сам Р. добавляет: «Дмитрия, в Кострому. Примечание 1913 года» (ЛИ, 142).

Т.В. Воронцова, И.А. Едошина

РОЗАНОВ Николай Васильевич [1(13).12.1847, Ветлуга, Костромская губ. — 19.8(1.9).1894, Вязьма, Смоленская губ.] — старший брат Р., после смерти матери взял его на содержание и воспитание; с 1870 преподавал в *Симбирске*, с 1872 — в *Нижнем Новгороде*, с 1879 — инспектор, а затем директор прогимназии в *Белом* и с октября 1891, гимназии в Вязьме Смоленской губ. После смерти отца Николай не принял брака матери с *И. Воскресенским*, из дома уехал: «Коля был прав, оставшись только 3 дня, и уехал молча и никогда не отвечал ни на какие письма. Он оценил глазом, образованием и опытом взрослого человека, что тут все мертво, хотя и шевелится, и дышит. И воскресить ничего нельзя, а можно только утонуть возле этого, в связи с этим, распутывая это» (У, 320). Но это понимание пришло позже, а тогда подросток Р. в письме от апреля 1870 описывает ужасное положение матери, чтобы разжалобить брата и заставить приехать: «Мамаша теперь не встает, и лежит-то она, бедная, на соломе, да и то хоть бы недавно, а то уж скоро будет год, как бы ты взглянул на нее, то, я думаю, так бы и отступил назад, — одни те кости да кожа, и я уже не знаю, наберется ли золотника $\frac{1}{2}$ крови и мяса вместе, буквально, Коля, потому-то я и говорю тебе, чтобы ты постарался быть хладнокровным. Но все-таки, Коля, к ее чести надо сказать, что она сделалась тиха, любит нас более, чем прежде, миролюбива и ни капли почти прежнего <...> Пришли нам свою карточку и вместе с ней напиши, в каком месяце и которого числа приедешь» (ОСЖС, 671–672). Из писем матери к брату Николаю, по признанию Р., он узнал, что мать их любила: «О нас думала и заботилась, а только “не разговаривала с дураками”, потому что они “ничего не понимали”» (У, 139). Оказавшись в семье брата, Р. был все же мало счастлив, о чем свидетельствует письмо от 15 апреля 1875 его друга *К. Кудрявцева*: «Удивил ты меня также своим намеком на Никол.Васил. Неужели он, в самом деле, “попрекает” тебя хлебом? Не верится что-то, Вася: насколько я знаю твоего брата, он, мне кажется, не способен на это» (У, 253). Братья во многом отличались друг от друга литературными пристрастиями: «Я имел какой-то безотчетный вкус не читать *Шедрина*, и до сих пор не прочитал ни одной его “вещи” <...> Мой брат

Коля (*учитель истории* в гимназии, человек положительный идеалов), однако зачитывался им и любил читать вслух жене своей» (У, 26). Тем не менее брат оказывал сильное воздействие на юного Р.: «Все объясняется лучше всего через случай, о коем, где-то вычитав, передавал брат Коля (лет 17 назад). Однажды ввечеру Государь Николай Павлович проходил по дворцу и услышал, как великие княжны-подростки, собравшись в комнату, поют “Боже, Царя храни” Постояв у отворенной в коридор двери, — он, когда кончилось пение, вошел в комнату и сказал ласково и строго: — Вы хорошо пели, и я знаю, что это из доброго побуждения. Но удержитесь вперед: это священный гимн, который нельзя петь при всяком



Н.В. Розанов

случае и когда захочется, “к примеру” и почти в *игре*, почти пробуя *голоса*. Это можно только очень редко и по очень серьезному поводу. Разгадка всего. У нас в гимназиях, и особенно в тогдашней подлой *Симбирской гимназии*, при *Вишневском* и *Кильдюшевском*, с их оскверняющим и оскорбляющим чинопочитанием, от которого *душу* воротило, заставляли всей гимназией перед портретом Государя петь каждую субботу “Боже, Царя храни” <...> Как? Конечно, бездушно! Нельзя каждую субботу испытывать патриотические чувства <...> И, конечно, мы “пели”? но каждую субботу что-то улетало с зеленого дерева народного *чувства* в каждом *гимназисте*: “пели” — а в душонках, маленьких и детских, рос этот желтый, меланхолический и разъяренный *нигилизм*. Я помню, что именно Симбирск был родиной мо-

его нигилизма» (У, 291). В противовес нигилизму «сам брат (Коля) был почти славянофил. Но он еще больше любил Маколея, Д.С. Милля, Гизо, Ог. Тьери. Все это были “любимцы” в его небольшой, но изящной библиотеке. Наряду с классиками — Пушкиным, Лерм., Гог., Гончаровым, Л. Толстым, А. Толстым, Островским. Почему-то Достоевского у него не было, и оттого я так поздно познакомился с последним. Да будет благословенна его чистая и благородная память. Вместе с Верочкой — сестрой. Они два, — старшие, — были похожи друг на друга» (КНУ, 535). *Любовью к России*, во многом воспитанной Николаем, Р. наставлял сына: «И вспомни то слово, которое от брата Коли я выслушал, едва не получив плюху: — Дурак. Хоть бы ты подумал, что произносишь свои подлые слова о России на том языке, которому тебя выучили отец и мать. Пусть это будет “каноном брата Коли” Помни его. Я всю жизнь не мог забыть этого вырвавшегося у него слова» (СХР, 209). Изменив личную жизнь (тайное венчание на В.Д. Бутягиной), Р. с новой женой вынужден был уехать из Ельца. Из письма Р. Н.Н. Страхову в июне 1891: «С братом я свиделся лишь вчера, и хотя он ахнул от перемены моего положения, но жена моя, видимо, ему понравилась. Она, правда, — нескончаемая доброта и нежность, без всякой распушенности и даже слабохарактерности. Я потому так надеюсь на свое исправление в будущем, что, будучи сам несколько отступающим от нормы, окружен буду любовью и вниманием людей в высшей степени нормального уклада жизни и нормального состояния духа; и как очень впечатлительный и поддающийся влияниям человек сам выправлюсь в полное соответствие с нормою» (ЛИ, 267). Из письма К.Н. Леонтьеву: «Будьте добры и любезны: пошлите “Восток, Р. и славянство” <...> “Национальный вопрос” <...> моему старшему брату, очень умному, очень твердому человеку <...> Я Вам ручаюсь, что он будет Вашим учеником, ибо не только по воззрениям, но и по твердому складу характера, по отсутствию ложной сентиментальности, в высшей степени, в подробностях к Вам склонен и Вас поймет. По должности же директора и по умственной смелости сумеет Вас и распространить» (ЛИ, 399–400). В силу глубокой симпатии, испытываемой Р. к Николаю, известие о возможном переезде брата повергает его в отчаяние: «Я перевелся в гор. Белый <...> Здесь был директором мой брат, Николай Вас. Розанов, — прекрасный педагог и прекрасный администратор, — к тому же человек очень начитанный и *somme il faut* <порядочный> во всех отношениях. Продержав его здесь одиннадцать лет, округ на другой же год после моего перевода в Вязьме (где он через два года умер, от Брайтовой болезни). Когда брат мне сказал о предложении ему перевестись — я не мог не почувствовать эту враждебную руку именно в отношении себя; и так как “мне” не было причин быть враждебным, то отнес это именно к тому, что “вот за тебя просили в Петербурге”, да еще “ты и пишешь, — выскочка” Конечно, я брату об этом не сказал: но не мог скрыть от него ужаса — остаться с Кривой улицей, свиньями и коровами по проулкам, и волками вокруг, — и без родной, т.е. его, семьи. Перевод (его) совершился: и я погрузился в ту воистину “тьму”, о которой, как о чистилище или о чем-то у Данте, можно сказать: “Lasci-

ate ogni speranza voi qu'entrate” <“Оставьте всякую надежду вы, сюда входящие”>. Если брат, с его талантами педагогическими, просидел здесь одиннадцать лет, и на него никто не взглянул (из округа), сколько лет пришлось бы сидеть мне с (известною округу) педагогической неспособностью? До пенсии и мозилы, как “утопленнику” из Пушкина» (ЛИ, 93). Некрологи Н.В. Розанова написаны А.Н. Овсянниковым (Педагогический Еженедельник. Ревель. 1894. № 36) и Р. (Там же. № 46).

И.А. Едошина

РОЗАНОВ Николай Николаевич [25.12.1873(6.1.1874), Нижний Новгород — 1928] — племянник Р., сын старшего брата Р. Николая. В июле-августе 1890 Р. ездил к старшему брату Николаю в город Белый Смоленской губернии, где последний в то время был директором местной VI классной прогимназии. Одной из причин поездки была необходимость продолжить образование племянника Николая, окончившего в том году курс возглавляемой отцом прогимназии. Договорились забрать Николая-младшего на учебу в Елец. В «Исторической книге воспитанников Елецкой гимназии» имеется запись: «Розанов Николай, сын статского советника Николая Розанова, родился 25 декабря 1873 года в Нижнем Новгороде, из обер-офицерских семей, поступил в VII класс в августе 1890 года по свидетельству Бельской шестиклассной прогимназии. 6 декабря 1891 года выбыл из VII класса по прошению отца. Увольнительное свидетельство и прочие документы Розанова Николая отосланы г. директору Вяземской гимназии 27 февраля 1891 года за № 154» (ГАЛО. Ф. 119. Оп. 1. Д. 16. Л. 232 об. С. 923).

В.П. Горлов

РОЗАНОВ Сергей Васильевич [1858, Ветлуга, Костромская губ. — после 1911, Казань] — брат Р. После смерти матери был взят на содержание и воспитание старшим братом Николаем. С Сергеем связаны два детских воспоминания Р. Первое — когда Р. промолчал, не признавшись, что съел сахар, и наказан был Сергей: «Она <мать> бурно схватила Сережу за белые волосы, больно-больно выдрала его. Сережа заплакал. Ему было лет 6» (У, 217). Второе: «Зато добрый поступок с Сергеем. Мы бежали от грозы, а гроза как бы гналась за нами. Бывают такие внезапные, быстрые грозы. Сперва потемнело. Облако. Дом далеко, но мы думали, что успеём. Полянка с бугорками. Вдруг брызнул гром, и мы испуганно кинулись бежать. Бежали, не останавливая шагу. Еще бежали, бежали. Я ужасно боялся. “Ударит молния в спину” Сережа был сзади, шагах в четырех. Вдруг он стал замедлять бег. Я оглянулся. И не сказал — “ну” Остановился. И чуть-чуть, почти идя, но не “не выдавая друг друга молнии”, пошли рядом» (там же). Младший брат был товарищем Р. по курению: «Хороша малина, но лучше был окурочок. Он курил свернутые сосульки, и по кромке парника лежала где-нибудь коричневая сосулька — сухая (на солнышке), т.е. — сейчас закурит. Мы ее с Сергеем не сразу брали, а указав пальцем, как коршуны над курицей, — стояли несколько времени маякая: — Червонцы. — Цехины. Это было имя монет из “Тараса Бульбы” (“рубль”, конечно, не интересова-

ли, — не романтично): но, разыскав 1–2 таких сосули, саждали не видно, под смородину, и, свернув крючок (простонародная курка) — препарировали *добро*, пере-сыпали туда, и по очереди — с страшным запретом два раза сплошь не затынаться одному — выкуривали табак. Сладкое одурение текло по жилам. На глазах слезы (крепость и глубина затыжки). Он был слаще всего — ягод, сахара. *Женщины* мы еще не подозревали. А ведь, пожалуй, это все — наркотики, — и женщины. Ибо отчего же в 7–8 лет табак нам был нужнее хлеба?» (У, 302). Судя по сведениям из *писем* к Р. его брата Димитрия (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 600), Сергей не окончил гимназический курс из-за сложностей с учебой. Позже Сергей учился в Казани на телеграфиста, прослужил на казанском телеграфе до 1905 и вышел в отставку по болезни — у него парализовало правую руку и ногу (об этом его письмо к Р. от 30 июля, б.г. (1905 или 1906) // РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 604. Л. 2). 20 марта 1885 Димитрий писал Р. о Сергее: «Его *жизнь*, как видно было из твоих и его писем, очень неотрадная» (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 600. Л. 2). Р. любил брата, спрашивал его совета в отношении разрыва с женой, *А.П. Сусловой*. В письме от 6 июня б.г. (1886?) Сергей отвечал ему: «Мне кажется, жизнь женатого *человека* можно разделить на три периода: период увлечения, разочарования и период привязанности, привычки; ты находишься именно во второй стадии <...>. Во всяком случае прежде чем делать решительный шаг, надо разобрать хорошенько прошлое да подумать о *будущем*, а главное — посмотреть на людей, как живут они; пример тебе даст лучший совет. Право, я хотел бы от всей *души* помочь тебе советом, да *ума* не хватает, да и семейные дела представляют такую путаницу, в которой очень трудно разобраться» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 604. Л. 13 об. — 14). Сам Сергей считал себя «не оправдавшим надежды» своих старших братьев — Николая и Василия (об этом в его письме Р. от 29 ноября б.г. (1885?) // РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 604. Л. 7). Р. регулярно посылал Сергею деньги, помогал его сыновьям Владимиру и Геннадию. В письме к Р. от 30 июля (1905 или 1906) Сергей сообщал, что Владимир служит бухгалтером на заводе, а Геннадий — телеграфист, участвовавший в *Русско-японской войне* (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 604. Л. 2).

Т.В. Воронцова, И.А. Едошина

РОЗАНОВ Федор Васильевич [22.1(3.2).1850, Галич, Костромская губ. — 20.11(3.12).1901, Кострома] — брат Р. Вспоминая о своем несчастливом *детстве*, Р. видит в обыкновенном учебнике, по которому учился его старший брат, нечто необычное: «В 3-м классе (брат Федор) он (Самойло) учил ботанике. Это была толстая *книга* “Ботаника Григорьева”; но это уже были недоступности, на которые я не мог взглянуть» (У, 271). Отношение Р. к Федору было неоднозначным. С одной стороны, Р. признавал *силу*, даровитость, *ум* брата, с другой — говорил о его *эгоизме* и лицемерии: «19-летний брат, когда его посылали в аптеку Зейгница — то приносил пузырек чего-то мутного. По “не формальной” завертке (цветные бумажки) догадывались, что это он сам наливал. Деньги же (меньше рубля) брат себе. Как-то раз сказал при мне (был один, и я с ним, — но слова слышал, не понимая смысла): “Это мне для <девочек>” “И немножко вина”

И “для <девочек>” же уносил последнее белье из комоды (матернее, сестрино, наше детское). Говорили об этом. Как с ним драться, когда он всех сильнее (старший в доме). Мать лежала (болезнь)» (У, 340). В апреле 1870 Р. писал брату Николаю: «Федя, брат, — *человек* погибший, но не кипятись <...> Я знаю, что ты непременно всплишь, а потому и лишаю тебя удовольствия знать его беспримерную, оригинальную и вместе с тем скандальную *жизнь*» (ОСЖС, 671). В письме от 16 мая 1881 *Димитрий Розанов* сообщал Р.: «Брат Федя лет 5 как ушел из *Костромы* странствовать и теперь живет где-то далеко в *монастыре*. <...> Он где-нибудь в Малороссии живет, потому он ранее намеревался туда идти. Ему и в Костроме бы можно было жить: жалование получал порядочное, но очень пил» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 600. Л. 5). Судя по другим *письмам* Димитрия к Р. (от 2 октября 1895 // РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 600. Л. 49 об.), до отъезда из Костромы Федор работал наборщиком и печатником сначала в типографии П.И. Андроникова, а затем — в губернской типографии. В феврале 1889 Федор был арестован за бродяжничество в Белгороде и переправлен этапным порядком в Кострому (см. публикацию документов в журнале «*Энтелехия*». Кострома. 2004. № 9).

Т.В. Воронцова, И.А. Едошина

РОЗАНОВА Александра Степановна (урожд. Троицкая; 1849–1912, Москва) — жена Николая, старшего брата Р. На ее фотографии с *детьми*, сделанной в *Нижнем Новгороде*, надпись, возможно, рукой Р.: «Племяши как поросятки маленькие, беленькие хорошенькие». Фотографии находятся в Розановском альбоме в кн.: Баранская Н.В. Странствие бездомных. М., 1999. Р. писал о А.С. Розановой: «Эта замечательная по кротости и мягкости женщина была мне сущою матерью. От нее я не слышал не только грубого, но и жесткого слова» (ОСЖС, 708). В 1917 Р. записал: «Елизавета Алексеевна Овсянникова сказала жене покойного брата Коли Александр Степановне, несильно моложе ее: “Если мои дети будут голодны — я не поколеблюсь открыть у Вашего мужа письменный стол и взять из-под ключа 25 р.” Сказала утрово, упорно и сурово (я подумал, *гимназистом*, — “да”» (ВЕ, 289). Письма Александры Степановны к Р. хранятся в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 606).

И.А. Едошина

РОЗАНОВА Варвара Васильевна [в замуж. Гордина; 1(13).1.1898, Петербург — 15.6.1943, Рыбинск, Ярославская обл.] — дочь Р. «По имени крестного отца *А.В. Шталя*» и как “незаконнорожденной” полное имя, отчество и фамилия ее Варвара Александровна Александрова» (ОСЖС, 704). «Варю Таня (старшая, с нею в одной *школе*) зовут “белый коняшка” или “белый конек” Она в самом деле похожа на жеребеночка. Вся большая, веселая, энергичная, — и от белых волос и белого цвета *кожи* ее прозвали “белым конем”» (У, 95); «Купил слона, жирафу и зебру. И принес домой, вынул “секретно” из-под пальто и сказал: — Выбирайте себе по одному, но такого зверя, чтобы он был похож на взявшего <...> Зебру, — шея дугой и белесоватая щетинка на шее торчит кверху (как у нее стриженные волосы) — Варя» (У, 96). «Неукротимая Варя» (У, 245) полу-

(умирала в чахотке 19-ти лет) всегда вынимала мякиш из булки и отдавала мне. Я не знал, почему она не ест (не было аппетита). Но эти массы мякиша (из 5-копеечной булки) я съедал моментально, и это было наслаждение. Она меня же посылала за булкой, и когда я приносил, скажет: «Подожди, Вася» И начинала, разломив вдоль, вынимать бока и середочку. У нее были темные волосы (но не каштановые), и она носила их «коком», сейчас высоко надо лбом; и затем — гребешок, узкий полукругом. Была бледна, худая и стройная (в семье я только был некрасив). Когда наконец решили (не было денег) позвать Лаговского, она лежала в правой зелененькой (во 2-м этаже) комнате. Когда он вошел, она поднялась с кровати, на которой постоянно лежала. Он сказал потом при мне матери: — Это она похрабрилась и хотела показать, что еще «ничего» Перемените комнату, зеленые обои ей очень вредны. Дело ее плохо. Как она умерла и ее хоронили, я ничего не помню» (У, 376). С сестрой В. связана и заветная мечта Р.: «Отобрать из моей коллекции римских монет — экземпляров 100, или 200» и пожертвовать начальнику Григоровского училища в Костроме с пластинкою-надписью: «Григоровскому училищу от воспитанницы 1860—1867 годов Веры Розановой» (У, 377). «Ставлю «на канун» две свечки: «Надежды», «Веры» Верочка умерла 45 лет назад (сестра). Надежда (мать) — лет 40. «Давно бы забыл» Церковь напомнила своим обычаем. Сыну и брату она напомнила, что он должен вспомнить, может вспомнить» (СХР, 163).

И.А. Едошина

РОЗАНОВА Вера Васильевна [26.6.(8.7).1896, Петербург — 31.5.1919, Сергиев Посад] — дочь Р. «По имени крестного отца <А.В. Штала> и как «незаконнорожденной» полное имя, отчество и фамилия ее: Вера Александровна Александрова» (ОСЖС, 704). Училась в гимназии М.Н. Стоюниной, с 1915 — монахиня Воскресенско-Покровского монастыря на реке Плюсса близ Луги. «Толстенная и добрая Вера, с милой улыбкой — слона» (У, 96). Вера была сложным ребенком в семье: «Отдай пирог! Отдай пирог! Отдай пирог! Вера лежала животом на полу в Шуриной комнате. 10-ти лет. И повторяла: — Отдай мне пирог!! Шура выбежала ко мне и, смеясь «до пулика», спрашивала: — Как я отдам ей пирог? — Какой «пирог»? — Вчера, вернувшись из гостей, она вынимает из кармана завернутый в платок кусок торта и говорит: — «Это, Аллюсенька, тебе» — Конечно, я съела. Сегодня она на что-то рассердилась, кажется, — я сделала ей замечание, и требует, чтобы я ей отдала назад торт. Говорю: — Как же я «отдам», когда я съела? — Она кричит (юридическое чувство): — Все равно — отдай! Мне нет дела, что ты съела. Шура смеялась (курсистка). Вера плакала. В гневе с Верой никто не может справиться, хоть ей всего 10 лет. Она всегда безумеет, как безумеет и в увлечениях» (СХР, 17); «Сколько я могу объяснить психологию Веры, — у нее нет представления о существовании в мире обмана, лукавства, фальши. Я теперь припоминаю, что она и в детстве (младенчестве) все брала патетично и прямо, думая, что вещи говорят свою правду, что люди говорят свою правду; это в высшей степени серьезно; а кривоного нет в мире. Отсюда постоянно расширяется на мир глаза и страшно серьезное ко всему отношению, которое «третьему» (всем нам) кажется комическим. Но в сущности это хорошо ведь. От этого она

со всеми расходитя и неуживчива. Не слушает никого, и с ней «нет sprawy» Все боишься, как бы она не сломила себе шеи, и это очень может быть. Мир лукав и бездушен. Но если и сломит шею (кто это может предусмотреть?), она в всякой сломке не будет дурною. Это надо помнить» (СХР, 183). Собственную дочь Р. открывал, как неведомый материк: «Интересно, что думают ребятишки о своем «папе» Первое «Уедин.», когда лежала пачка корректур (уже «прошли»), я вдруг увидел их усеянными карандашными заметками, — и часто возражениями. Я не знал, кто. С Верой не разговаривал уже месяц (сердился): и был поражен, узнав, что это — она. Написано было с большой любовью. Вообще она бурная,



Вера Розанова с отцом

непослушная, но способна к любви. В доме с ней никто не может справиться и «отступились» (с 14-ти лет). Но она славная, и дай Бог ей «пути» (У, 173). Другой особенностью в характере Веры было: «17 л., гимназия Стоюниной <...> не умея вымыть чашек, все устремляется душой к «страданиям Байрона»» (ЛИ, 63). Достигнув совершеннолетия, Вера решает уйти в монастырь: «Эту зиму я стала колебаться; я нарочно ходила на публичные лекции, как и присматривалась к жизни и занятиям курсисток <...> Сама по себе обстановка курсов ужасно мешает сосредоточению души <...> Между тем как без тишины невозможна сосредоточение. И тишину дает только монастырь. Когда я была в Соловецком монасты-

ре (последняя экскурсия), то, отойдя в сторону от клас-са, почувствовала такую общность себя со всем, что вижу, что сказала: “Вот где мое место” Потому мне хотелось пойти непременно и здесь в монастырь (Черемнецкий — около Луги, — пешком) одной, чтобы проверить свое *чувство*» (КНУ, 506). Р. принимает решение дочери: «Я за твоё влечение, Верочка <...> Мне была нужда выйти на балкон. Небо облачное, но и звездочки. Я сказал внутри себя: — А внуки? И первый раз в жизни почувствовал, что будут духовные внуки, что на земле слишком достаточно, до перегруженности физических внуков. — Верочка совершит подвиг. Войдет добрым *лицом* в русскую жизнь, — доброю благородною фигурою» (КНУ, 507). Однако уход В. в монастырь на послушание не оборвал ее связи с домом: «Март 1915. Верочка, видя, что я записываю что-то в записную книжку, — спросила у меня и написала от себя: на память от “Маленькой” Веры (в гостиной у доктора). Хорошо любить, когда знаешь правду любви, — и трудно ненавидеть, когда знаешь правду *ненависти*. И только когда находишь Правду, которая тише (sic. — В.Р.) любви и глубже ненависти, — только тогда находишь *истину* “голубой” детской любви. Это мы сидим в приемной у д-ра Грекова. Вере будут вынимать иголку, которая попала — и глубоко — в ладонь руки, когда она мыла полы в монастыре» (М, 41); «Это Верочка (монахиня) (приехала подлечиться) сказала мне: — Знаешь, папа. Зачем заимствовать от *таланта*. Всякий человек должен жить из себя своею жизнью. Пусть это будет неинтересная жизнь, но она будет ему “по себе”, “по силам” Помолчав долго: — Я не люблю *гения*. Гений жесток. — Всякий? (Я) — Всякий (твердо). — Ну? — благородный гений, я думаю, добрый. Это грубые гении, вроде *Наполеона*... — Зачем “Наполеона” Оглядишься в жизни и увидишь, что всякий талант — он так труден людям... Я был поражен. Ведь еще 3 месяца назад, тоже приезжая подлечиться, она отказалась есть хлеб (за кофе) со сливочным маслом, “потому что оно скоромное” (устав монастырский) — и ела кушанное, коровье, что для котлет, принимая его “за постное” Но она теоретически развита, а в “житейском” не понимает» (М, 214). Через несколько дней Р. записывает: «Верочка сегодня: — Когда я вхожу к ним (“сестры”, монашки), они все начинают смеяться. Когда я спрашиваю — “Почему” они говорят: “Ты из нас самая маленькая, и когда входишь, то мы себя тоже чувствуем, что стали маленькими” Так и сказала. Смеется. У нее чудная детская улыбка. До монастыря она была почти непрерывно раздражительна. Теперь почти никогда не сходит со рта улыбка. Еще: “Кто его носит — тому монашеское платье самое красивое” В белом платочке, больших грубых башмаках и неуклюжем черном платье — как она вся мила и грациозна» (М, 219). Тяжелая монастырская жизнь, физический *труд* подорвали здоровье В. 8 июня 1916 Р. записывает: «3-го дня свез Верочку в Халилу. Печально. Страшно. Какая у нее неземная улыбка. А я-то и не подметил, что она неземная. Перед самым отъездом, за двои суток, ужасный скандал. Она пылка, я пылок. Наговорили друг другу ужасов. И вдруг: “задета нижняя часть правого легкого и верхушка левого” (д-р Габрилович, в Халиле) <...> И все — отскочило. И я опять дома. Только бедная Верочка на *уме*. Господи, неужели “случится” Она испугана. Я ис-

пуган. Все испуганы» (ПЛ, 148). Поставленный диагноз — туберкулез — навсегда лишил Веру возможности вернуться в монастырь (см.: НР, 141–170). О *смерти* Веры рассказала ее старшая сестра Татьяна: «В 1919 году, летом, в Троицын день, к нам пришел *Дурылин* и принес читать свой, только что им написанный, рассказ “Странница” Рассказ этот был посвящен одной жене *священника*, которая мучилась такой невыразимой тоской, что ушла навсегда из дома странствовать... Рассказ был печальный и странный, написан хорошо. Вера в Сергея Николаевича впиалась глазами. Все молча разошлись спать. На другой день, рано утром, сестру Веру нашли на чердаке повесившейся <...> *Церковь* ее разрешила хоронить, так как священник нашел ее душевнобольной и разрешил предать земле по церковному обряду» Похоронили ее уже без звона, в том же *Черниговском монастыре*, рядом с *могилой* отца» (ТР, 116–117).

И.А. Едошина

РОЗАНОВА Любовь Васильевна (26.7.1861, Кострома — апрель 1862, Кострома) — сестра Р., родившаяся уже после *смерти* отца и вскоре умершая.

РОЗАНОВА Надежда Васильевна [6(18).11.1892, Белый, Смоленская губ. — 25.9(7.10).1893, Петербург] — «Надя», первая дочь Р., была зарегистрирована по имени крестного отца — *Н.В. Розанова*, старшего брата Р., — Николаева. В *письме* от июля 1893 к *Н.Н. Страхову* Р. сообщает: «Надя наша хворала легким брюшным тифом, теперь оправилась» (ЛИ, 298). Вскоре девочка умерла от менингита: «Первой, грустной Надюши, которая любила смотреть ночью на пламя газового фонаря. Умерла 9 месяцев. Я служил в Контроле. И вот прошли месяцы. Я проходил через Мариинскую площадь; как вдруг, заворачивая с Морской, прошел полк с *царой* на этих флейточках (особая военная *музыка*, не трубы). Я всегда любил эту музыку... И остановился. В этой музыке особенность — присутствие какого-то детского *тона*. Точно не “полк играет”, а мальчишки забавляются, в свистульки, но необыкновенно ласковые и гармоничные. Моментально *мысль*: “а моя Надя лежит на Смоленском, в промерзлой земле...” “И никогда, никогда этой музыки не услышит” Вот, Господи, моя жалоба к Тебе: отчего моя Надя не услышит музыки. Но Ты научил сказать: “Но не как я хочу, а как Ты”» (КНУ, 293). «Когда у нас умерла первая Надя, он <*П.А. Кусков*> пришел утешить и сказал: “Умирает, В.В., не тот, кто созрел (т.е. стар), а кто доспел”, т.е. в ком *судьба* внутренне завершилась, кончилась <...> Первая Надя была удивительна. По *дням* она была дремлива и сияла *ночью*. Но и днем: у нее были огромные или, вернее, огромно раскрываемые темные глаза, в высокой степени осмысленные, разумные. И она смотрела ими перед собой. Раз мама пришла и сказала: “Вообрази: какой-то генерал встретился и сказал: Извините, что это за ребенок: у него такие глаза” А ночью я ее ставил на зеленый стол (письменный) перед лампою. И чуть цепляясь пальчиками ног за сукно (я ее держал в руках, ей было 7–8–9 месяцев), она вся сияла, горела нездешним разумом. И улыбалась нам с мамой. Или уходил (неся) в боковушку. С улицы горел фонарь, газ. Я ставил ее на подоконник. И вот она ¼ часа, ½ часа не отрывая глаз смот-

рела на волнующееся пламя. Как мотылек. И как мотылек сгорела в каком-то внутреннем пламени. Теперь все *дети* меня возненавидели (4 любимыми). Но та Надя меня любила» (ПЛ, 149).

И.А. Едошина

РОЗАНОВА Надежда Васильевна [по первому мужу Верещагина; 9(21).10.1900, Петербург — 15.7.1956, Абрамцево, Московская обл.] — дочь Р., художница. Р. пораждает, с одной стороны, стремление дочери скрыть от родителей свой внутренний мир, а с другой, — неумение отделить важное от второстепенного, серьезность отношения к неважному, с его точки зрения: «“Поспешно” — прочел я над адресом, неся Надюшкино письмо на кухню <...> И куда это Пучек (прозвище) пишет свои письма все “поспешно” <...> Важничанье письмами — необыкновенное. Избави *Бог* дотронуться до открытки. Глаза так и сверкают, губы трясутся, и, брызгая слюной, Пучек кричит, отцу ли, матери ли: — Это бессовестно читать чужие письма! — Милая, да открытки на то и пишутся, чтобы их все читали. — Совсем нет!!! Это — письмо!!!! Ведь не к тебе оно написано!!!! Трясется. — Милая, — да ведь и глупости там написаны. Что такое “Твоя Зоя”, или еще: “Я узнала важный секрет. Но скажу тебе осенью, когда соберемся в школу” Правда, в письме есть еще: “Бабушка захворала воспалением легких”, но это — в самом конце, сбоку по краю листа и с кляксой, так что, очевидно, “секрет” важнее. Раз нам не пришло ни одного письма, а Наде две открытки: то она, схватив их, — выскочила в сад, пробежала огромную аллею, и уже только тогда взглянула на адрес и от кого, и даже — что с картинками. Восторг и, главное, важность сорвали ее как вихрь и унесли как свеженький листок в бурю...» (У, 157). Р. подмечает в дочери черты, которые искренно удивляют его: «В Надюше столько *игры*, что удивительно. Она ест и играет (я запрещаю), пьет и играет, учит уроки и играет. Откуда это? Точно она взяла себе две *жизни*: свою — и той, первой, грустной Надюшки» (КНУ, 293); «— Папа. Ты бы лучше вместо своего Шарлока Холмса прочитал “Айвенго” — Интересно? — Ужасно интересно. Желая узнать, насколько же интересно и стоит ли читать (*книгу* вижу у Надюшки на столе), спрашиваю: — Интереснее “Крошки Доррит”? — Папа, ну о чем ты спрашиваешь. Разве можно сравнивать, — там рыцарские *времена*, а в “Крошке Доррит” теперешний английский *быт*. Так и сказала “быт”, а не “жизнь” Я до того был поражен, что воскликнул: — Ты, мой Пучек, всегда прелестна и благоразумна. Иди я поцелую тебя. Она с смеющимися губками и куда-то убежавшим взглядом протянула ко мне личико — и сзади схватила рукой ягоду с моей тарелки (чай). — Пучек! — совсем я рассмеялся: твоя “*литература* с ягодкой” еще лучше, чем с *Диккенсом*. Неужели ты думаешь, я не дал бы тебе ягоды: возьми даже 3, но не больше 5-ти» (КНУ, 394). Она училась в гимназии *М.Н. Стоюниной*, которую закончила уже после большевистского переворота, в 1918, вернувшись на это время в *Петербург*. «Неся корзину лука и картофеля, я выбросил одну грязную (вынута из грязи) и попросил Надю, работавшую на кухне (9 октября — день ее рождения, 18 лет), вымыть ее... А бредя, изнеможенный, по лестнице, подумал: однако ведь она вся “слоиками отделяется”, и если Надя

даже и не домоет до полной чистоты, то я, уже съедая, просто сняв “верхний слой”, открою под ним такую белоснежную чистоту, как было у той *бабочки*, которая только однажды из множества попыток “вышла точно из тюрьмы” Она была, как луковица, такая же белая, вся “чудо первое творения”, так испуганная “открытою (мною) гибелью” и вообще вся “innocente” <невинная>. Бабочка — ночная, “домашняя”, с наперсток» (АНВ, 178). После *смерти* отца Надежда вышла замуж за А.С. Верещагина, *студента* Электротехнической акаде-



Н.В. Розанова

мии, но в 1937 они расстались. Она жила у подруги — *Л.Д. Хохловой*. С 1943 — гражданская жена художника М.К. Соколова, у которого в свое время училась и который недавно освобожден из заключения (см.: Михаил Соколов в переписке и воспоминаниях современников. М., 2003). 29 сентября 1947 М.К. Соколов скончался. Н. Розанова написала книгу «Мои воспоминания» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 2), воссоздающую атмосферу *семьи* Р. В 1917 Р. подарил дочери первый выпуск «*Из восточных мотивов*» с надписью «Нашей Надюшке. Мы зовем тебя “Пучком”: оттого что когда ты ползала маленькой по полу, то это было так моментально, — будто на паркет бросили “пучек редиски” Это имя я люблю. И вот ты выросла. Стала почти большая. Любишь читать. Это хорошо. А помнишь, как ты семи лет, высунув головку под занавеску, принималась в 10-й раз читать “Дюймовочку” Андерсена. И вот спасибо тебе за утешение родителей *действием*. Действие твое было прекрасно. Подними глаза к Небу и помолись, чтобы была такая же прекрасная взрослая жизнь. Папа» (ГЛМ. Ф. 362).

И.А. Едошина

РОЗАНОВА Надежда Ивановна [урожд. Шишкина; 27.7(8.8).1826, Высоково, Буйский уезд, Костромская губ. — 22.6(4.7). 1870, Кострома] — мать Р., жена *В.Ф. Розанова*. «Когда <...> я стал приходить в возраст, а главное — когда сам почувствовал первые *боли* (биография), я “вызвал тень ее из гроба” и страшно с ней связался» (У, 139) Эти отношения он переживал на протяжении всей *жизни*. «Я “наименее рожденный человек”, как бы “еще лежу (комком) в утробе матери” (ее бесконечно люблю, т.е. покойную мамашу) и “слушаю райские напевы” (вечно как бы слышу *музыку* — моя особенность)» (У, 34). Но это *чувство любви* пришло много

позже: «Но и маму, я только “когда уже все кончилось” (†), почувствовал каким-то большим чувством, при жизни же ее не почувствовал и не любил» (У, 138). Именно детские впечатления во многом определили многие стороны творчества Р. После смерти отца семья жила трудно, и Р. понимал, что более всех доставалось «бедной матери»: «Вся истерзанная, — бессилием, вихрем замутненных чувств... Но она не знала, что когда потихоньку вставала с кровати, где я с нею спал (лет 6—7—8): то я не засыпал еще и слышал, как она молилась за всех нас, безмолвно, потом становился слышен шепот... громче, громче... пока возгласы не вырывались с каким-то свистом (легким). А днем опять суровая и всегда суровая. Во всем нашем доме я не помню никогда улыбки» (У, 78). Тем не менее общение с матерью не прошло для будущего писателя бесследно: «Кто же научил меня крестить подушку на ночь (и креститься самому)? Мамаша. А мамашу — церковь. Как же спорить с ней <...> Я и испытываю (перекрестя подушку) это простое, непонятое, ясное: что отгоняются дурные мысли, что ко всему миру становлюсь добрее. Только человек, помолившийся поутру и помолившийся к ночи, есть человек» (СХР, 30). Но и первые нравственные уроки Р. получал не без участия матери: «Она постоянно сердилась (сама была несчастна): а именно, как ветер сгибает лозину — гнев взрослого пригнул душонку 8-ми лет. У меня язык не шевелился» (У, 217). С воспоминаниями о матери связаны и радостные детские впечатления писателя: «Мамаша всегда брала меня “за пенсией” Это было два раза в год и было единственным разами, когда она садилась на извозчика. Нельзя передать моего восторга. Сев раньше ее на пролетку, едва она усядется, я, подсакивая на сиденье, говорил: “Едь, едь, извозчик! — “Поезжай”, — скажет мамаша. И только тогда извозчик тронется» (У, 146). Через мать он открывал для себя жертвенную природу продолжения жизни: «Моя мама, моя мамочка, моя дорога и милая, всегда брала меня в баню: и с безмерным уважением я смотрел на мелкие, мелкие <нарисовано> складочки на ее животе. Я еще не знал, что это остается “по одной после каждых родов”, а нас было 12 у нее» (ВНС, 354). Р. дает выразительный портрет матери: «Темненькая, маленькая, “из дворянского рода Шишкиных” (очень гордилась) — всегда раздраженная, всегда печальная, какая-то измученная, ужасно измученная (я потом только догадался), в сущности, ужасно много работавшая и последние два года больная» (У, 139). Через болезнь матери Р. впервые соприкоснулся с проблемой пола. В письме к Э.Ф. Голлербаху от 8 августа 1918 он пишет о матери: «Она захварывала очень медленно. У нее были какие-то страшные кровотечения, “по тазу” (т.е., вероятно, и мочою). “Верочка уже умерла”, когда мне было лет 5, а Павлутка не возвращалась из Кологрива, где училась. Федор — брат был разбойник, Митя добрый и кроткий (“святой”) был полусумасшедшим (сидел в психиатрич. больнице), а “здоровым” был слабоумным. Сереже — 3 года; а мне от 6 и до 9—10, 11 лет <...> И вот, за мамой с женской болезнью я должен был ухаживать. Раз я помню упрек такой: “Как это можно, что она Васю заставляет ухаживать. Неужели никого нет” Но — никого и не было. Бедность. Ужас. Нищета голая. Конечно, — никакой никогда прислуги. Лечение же заключалось в том, что, мешая “в пропорции”

молоко с шалфеем, — я должен был раза 3—4 в сутки спринцевать ее (она сидит, вся открытая) вручную спринцовкою <нарисована спринцовка>, какую пульверизируют пыль. Мистики половых органов мы совершенно не знаем. Я делал это со скукой (“хочется поиграть”): но кто знает и испытал просто зрительное впечатление, вполне полное, отчетливое, абсолютное» (ВНС, 354). Наверное, и будущие вопросы Р. к церкви подспудно рождались из детских воспоминаний о смерти матери: «Мамаша томилась. — Сбегай, Вася, к отцу Александру. Причаститься и исповедоваться хочу. Я побежал. Это было на Нижней Дебре (Кострома). Прихожу. Говорю. С неудовольствием: — Да ведь я ж ее две недели тому исповедовал и причащал. Стою. Перебираю ноги в дверях: — Очень просит. Сказала, что скоро умрет. — Так ведь две недели! — повторил он громче и с неудовольствием. — Чего ей еще? Я надел картуз и побежал назад. Сказал. Мама ничего не сказала и скоро умерла» (У, 174). Будничность смерти матери, которая, как ему показалось, утратила возраст, навсегда осталась в памяти Р.: «Протоиерей Ш. хоронил мать. И он был старый, а она совсем древняя. Столетняя. Провожал и староста соборный, он же и городской голова. Они шли и говорили вполголоса. Разговор был заботливый, деловой. И говорили до самого кладбища. Отворили ворота. Внесли. Пропели. Он проговорил зауспокойное. Опустили в землю и поехали домой» (там же). Разобщенность семейных отношений и одиночество матери Р. прочитывается в признании писателя: «Когда мама моя умерла, то я только то понял, что можно закурить папиросу открыто. И сейчас закурил. Мне было 13 лет» (У, 77).

И.А. Едошина

РОЗАНОВА Павлина (Павла) Васильевна [в замуж. Яснева; 1(13).2.1851, Галич, Костромская губ. — 25.2(9.3).1912, Казань] — сестра Р. Получила среднее образование: «Сестра вернулась (из Кологрива), кончив училище» (У, 340). Брату Николаю в апреле 1870 Р. писала: «Про Павлинку, брат, тоже писать много не стану, потому что я люблю короткую, спартанско-лаконичную речь, только одного у меня недостает, а именно остроты; правда, я умею хорошо острить, но только острить умею грубо, но это я хочу оставить, но только с тем, если ты меня научишь острить благородно, ибо уж в моем характере лучше что-нибудь вместо ничего. Итак, Павлинка живет дома, берет, когда случается, работу, но это случается редко, полуходит за мамашей, учит Сережу и ...Нет, не скажу» (ОСЖС, 671). Благодаря сохранившимся запискам Р. можно понять, что он осуждал поведение сестры в то время: «“Кончившая же курс” курила “сигарки” и из окна, перевесившись, болтала с кем придется. Редко-редко свяжет салфетку нитчатую на продажу. Мать лежала (болезнь)» (Розанов В.В. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 688). Вспоминая, как много ему приходилось в детстве выполнять тяжелой физической работы, Р. добавляет: «19-летний <брат Федор> и 17-летняя <сестра Павла> — ничего. (Нельзя было их заставить, и даже оскорблялись на “попросить”» (У, 340). После смерти матери Павла получила право распоряжаться родительским домом и стала опекающей брата Димитрия. После замужества она продала дом. В письме от 16 мая 1881 брат Димитрий сообщал Р.: «Сестра Павлушка живет слава

Богу. Хоть ее муж жалованье получает и маленькое 16 руб. в мес., но она живет степенно» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 600. Л. 5 об.). Замужество Павлы оказалось неудачным. В письме от 5 апреля 1892 Димитрий писал Р.: «Муж ее <Павлы> без должности и оставил без ничего. Как она необдуманно вышла замуж и прожила целый дом» (Там же. Л. 29). Судя по хранящимся в РГАЛИ письмам Павлы к Р. (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 610, 611), в 1890 она некоторое время жила у родственников в Юрьевце, а с 1893 — в Казани, куда перебрался брат Сергей. При этом Павла регулярно навещалась в *Кострому*. Телеграмма о ее смерти, отправленная из Казани (Нижегородская, дом Ловейко), была получена Р. от племянника Алексея 25 февраля 1912 (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 597).

Т.В. Воронцова, И.А. Едошина

РОЗАНОВА Татьяна Васильевна [22.2(6.9).1895, Петербург — 11.5.1975, Москва] — старшая дочь Р. «Как считающаяся незаконнорожденною, ее полное имя, отчество и фамилия, усвояемая по имени крестного отца <Н.Н. Страхова>, есть: Татиана Николаевна Николаева» (ОСЖС, 703). Из письма от 1895 к Н.Н. Страхову: «Крестница Ваша захворала вчера к ночи, так что сегодня чуть свет звали доктора. Без всяких почти предварительных приступов (был сильнейший только насморк) — мечется, плачет, впадает в забытие и несколько раз уже была рвота. Доктор еще не был, но предварительно велел обтирать голову мокрой губкой, поставить кругом живота согревающий компресс и клистир. И я бы все-таки не так беспокоился, если бы ее забытие и рвота не напоминали очень болезни умершей нашей девочки Нади» (ЛИ, 312). В *детстве* Татьяна внешне была похожа на «сжатую и стройную жирафу» (У, 96). «В рубашонке, запахивая серый (темно-серый) халат, Таня быстрым, торопящимся шагом подходит к письменному столу. Я еще не поднял головы от бумаг, как обе ее руки уже обвиты кругом шеи, и она целует в голову, прощаясь: — Прощай, папушок... Как я люблю слушать из-за стены, как ты тут копаешься, точно мышка, в бумагах... И смеется, и на глазах всегда блестит взволнованная слеза. Слеза всегда готова у ней показаться в ресницах, как у нашей мамы. И душа ее, и лицо, и фигура похожи на маму, только миньютюрнее. Я подниму голову и поцелую в смеющуюся щечку. Она всегда в улыбке. Или, точнее, между улыбкой и слезой. Вся чиста, как Ангел небесный, и у нее вовсе нет мутной воды. Как и вовсе нет озорства. Озорства нет оттого, что мы с мамой знаем, что она много потихоньку плакала, ибо много себя ограничивала, много сдерживала, много работала над собою и себя воспитывала. Никому не говоря» (У, 155). О семилетней Р. написал очерк «Невидимый мирок» (НВ. 1902. 16 марта). Особая внутренняя связь Р. с дочерью проявлялась в том, что ее присутствие, переживания за ее жизнь обостряли в нем самое восприятие мира: «Раз я стоял во Введенской церкви с Таней, которой было три года. Службы не было, а церковь никогда не запиралась. Это — в Петербурге, на Петербургской стороне. Особенно — тихо, особенно — один. В церковь я любил заходить все с этой Таней, которая была худенькая и необыкновенно грациозна, мы же боялись у нее менингита, как у первого ребенка, и почти не считали,

что «выживет» И вот, тихо-тихо... Все прекрасно... Когда вдруг в эту тишину и мир капнула какая-то капля, точно голос прошептал: «...вы здесь — чужие. Зачем вы сюда пришли? К кому? Вас никто не ждал. И не думайте, что вы сделали что-то «так» и «что следует», придя «вдвоем» как «отец и дочка» Вы — «смутьяны», от вас «смута» <...> я вышел из церкви, вдруг залившись сиянием и гордостью и как победитель <...> Пойдем, Таня, отсюда...» (У, 239–240). Точно так же дочь умела «слышать» своего отца: «А моя Таня доползла к 6 годам <...> Со Шпалерной мы ехали по Литейному покупать ей резиновые калоши. Мама утром сказала, я надел пальто, санки, сидим: и «промеж ног» полустоя, полусидя Таня. Вдруг она всем туловищем повернулась и, поднеся ладонь к щеке, провела тихо мне по щеке и сказала: — Папочка. Ты не брани мамочку, что мне калошки... «Бранить» С чего?!!! Никогда. Но у нее стоял в душе испуг, что 1 р. 80 коп. это дорого и что от этого я молчу «и,



Татьяна Розанова

должно быть, сержусь в душе» Но я думал о философии и нисколько не сердился» (М, 102). Однако дочери, видимо, была известна нескрываемая от домашних нелюбовь Р. к приобретению новой одежды. Дочь дарила ему минуты радости: «Тихий звук голоса, как муха жужжит <...> я подошел к двери: и в продольную щель между косяком и дверью увидел, как Таня (7 лет) сидит между окном и половинкою двери на табуретке-подножке и читает «Катакомбы» Тур <...> С глубоким замиранием души я слушал. Таня — маленькая и худенькая. Вся ровненькая и изящненькая. Очевидно, она читала сперва про себя, но как думала, что в комнатах никого нет, — то в «горячем месте» книги перешла в полугромкий шепот <...> И долго я слушал еще... Шепот переходил в

“громкое”, и голос опять съехал до шепота. И где горячее, она привскакивает... Пылинка, а не человек. Эта минута, когда я смотрел на нее, — из счастливейших в моей жизни» (КНУ, 260). Рассеянность Р. вносила свои сложности во взаимоотношения с дочерью: «В одной случившейся досаде мне было напомянуто, что я ничего не подарил Тане, когда она кончила “полный курс гимназии” Действительно: старалась. Такой труд. Томительный, долгий. Нервы. *Страх*, “хорошо ли знаю” (М, 253). Татьяна всегда была любимой дочерью Р., внимательно за нею наблюдавшим и, видимо, чувствовавшим их глубокую внутреннюю связь. Она и похожа была на Р., как никто другой из его *детей*: «Вылитый отец: глаза и вообще будто обликом психическим» (КНУ, 362). Отсюда признания: «Я чувствую, что метафизически не связан с детьми, а только с “другом”. Разве с Таней... (У, 245); «Страшно: мне не очень хочется, чтобы меня любили (кроме мамочки, пожалуй — Тани). Помнили — ничуть (кроме мамочки). Да еще вот завет: никто не идите за моим гробом (кроме мамы и Тани)» (М, 283). «Таня унаследовала все самые трудные стороны отцовской души — его трепетность, страх перед жизнью и ощущение собственной слабости» (НР, 141). Р. включал записки Татьяны в свои книги: «22.V.1914. Милый папочка, прости меня, я знаю, что во всем виновата, только мне не хотелось это сказать тебе давеча. Только поверь, не от моего нежелания быть вежливой вышло все это. Я знаю, что тебя заставила сегодня потерять вечер и оторвала от занятий. Прости, как ты часто прощал уже бесполовую Таню, знай, что я сама мучусь своей неумелостью и непригодностью к жизни» (КНУ, 356). Дочь была искренно привязана к отцу, всегда бережно хранила память о нем, хотя отношения Р. со взрослой дочерью были сложными. В письме от августа 1918 к Э.Ф. Голлербаху Р. замечает: «Мои обстоятельства гораздо лучше. “Все ссоримся, ругаемся” Дети говорят невероятные дерзости: и два раза я дал по морде — сыну даже раз 10 и раза 2 Тане. Ужасно. “Ужас русской семьи”» (ВНС, 363). Тем не менее Татьяна всегда была любимой дочерью отца и матери, оставшись одна, сохранила память о них и всей семье: ею написаны воспоминания. Опубликованы в двух вариантах: под названием «Воспоминания Татьяны Васильевны Розановой об отце — Василии Васильевиче Розанове и всей семье» (Русская литература. 1989. № 3–4) и «Будьте светлы духом» (М., 1999). В название книги вынесены слова Р. из его обращения к литераторам: «Никогда не плачьте, всегда будьте светлы духом. Всегда помните Христа и Бога нашего» (ТР, 94). Этим словам была верна его дочь. В 1927 М.М. Пришвин в *Сергиевом Посаде* часто беседовал с Татьяной и записывал ее слова о Р. в дневник: «Были у Тат. Вас. Розановой. Рассказывала о конце В. В-а. Он оставался, оказывается, до конца при своем, что христианство создало *революцию*» («Дневники». 1926–1927. М., 2003. С. 240).

И.А. Едошина

РОМАНОВ Иван Федорович [псевдонимы: Рцы, Гатчинский Отшельник и др.; 1857 или сентябрь 1858 — 16(29).5.1913] — публицист, прозаик, издатель. *Письма* Романова к Р. составляют одну из существенных сторон

его творческого наследия (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 616; часть писем с сентября 1891 по февраль 1893 впервые опубликована: Новый Журнал. Нью-Йорк. 1985. № 159; в полном виде: Литературная учеба. 2000. № 4). Поводом для начала переписки послужила «*Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского*» Р., откликом на которую и стало первое письмо Романова от 11 сентября 1891. По признанию последнего, статьи Р. вызывали в нем чувство восторга и «глубочайшего



И.Ф. Романов

уважения к такому светлому, независимому уму». Вместе с тем письмо пронизано духом полемики. Рцы задел в произведении Р. страницы, из которых можно было понять, что и «*Достоевский*, праведник сей, которого может быть когда-нибудь назовут равноапостольным за обращение стольких душ к Богу» — «с ним, с “могучим и умным духом”». Романов признает превосходство ума и таланта Р. перед своим, но полагает, что может указать заблуждения Р. исходя из своего хорошего знания произведений А.С. Хомякова и Н.П. Гилярова-Платонова, которых он считает подлинными открывателями истинного православия. Общий тон письма, как и намеченные в нем темы, найдут последующее развитие в переписке. Вместе с этим Романов рассказывает и некоторые эпизоды из своей служебной и творческой биографии. Свой послужной список он привел в письме к Розанову от 29–30 сентября 1891: «Окончив кандидатом прав в Катковском лицее в *Москве* университетский

курс, я перебрался на службу в Киев. Прослужил недолго. Зачислился в помощники присяжн. поверен. (в каком звании номинально числюсь по днесь)». В августе 1892 Романов перебрался в *Петербург* и поступил на службу в *Государственный контроль*, в департамент железнодорожной отчетности, где сошелся с кругом поздних славянофилов — *Т.И. Филипповым*, *С.Ф. Шараповым*, *Н.П. Аксаковым*, *А.В. Васильевым* и др. и стал печататься в славянофильских изданиях «Благовест» и «Русская Беседа» (изд. А.В. Васильев). Об особенностях своей служебной карьеры, обстановке в Госконтроле и печатных органах, с которыми он сотрудничал, Рцы неизменно делился с Р. Письма Рцы к Р., написанные с 1891 по февраль 1893 до их личной встречи и положившие начало их дружбе, раскрывают основные черты мировоззрения Рцы в те годы, когда он высоко ценит Хомякова, раскрывшего безбожность «папизма» и спасительную суть православия; при этом он высоко ставит воззрения Гилярова-Платонова («почти двойник Хомякова»). В «Современных Известиях», издаваемых Гиляровым, Романов сотрудничал до самой его смерти, который, согласно признанию Рцы в письме к Р., его писания «хвалил даже до очевидного пристрастия»; сам он только у Гилярова-Платонова и мог быть вполне свободен в своих высказываниях. Но при всех симпатиях к славянофильству и русскому консерватизму Рцы несколько пренебрежительно отзывался о *Страхове* и крайне резко о князе *Меццерском*, а также *К. Леонтьеве*, который, при всем своем эстетизме, настоящей красоты не понял и «не шел далее Красивости». По мнению Рцы, Леонтьев — это «огромный ум, но болезненно-извращенный», и позицию его можно свести к формуле «декоративный консерватизм». Имея некоторые разногласия с Р., он пытался внушить ему свои идеи, повторяя из письма в письмо тезисы об истинном православии, о том, что «низкие» стороны жизни человека (еда и половой инстинкт) лежат в основании его смирения перед Богом. Упрекая Р. в недостаточной начитанности, Романов нередко переходил на учительский тон. Вместе с тем он понимал превосходство Р. как писателя: «Ну, не нахальство ли? Какой-то полторо-вершковый Рцы учит, смеет поучать трехсаженного Розанова?» (РГАЛИ. Л. 143). Романов готов был надеяться на то, чтобы сделать Р. проводником своих идей: «Не могу постигнуть, какая мудрость могла бы воспрепятствовать Вас и теперь рискнуть, приняв на веру кое-какие мои замечания, попытаться именно в таком, а не ином направлении пошевелить мозгами?» (л. 141, об.). Заметную часть переписки содержат жалобы Романова на непризнанность, на то, что талант его остается недооцененным. Придя к выводу, что «область слова вся исчерпана» (л. 159), что от писателя нынче требуется «дело», Рцы составил «записку» (по свидетельству Р. — «приблизительно о спасении России») («Среди людей “чисто русского направления”»; РГО) для передачи Сипягину, главному управляющему комиссией, прошение на Высочайшее имя. Судьба этого документа неизвестна. Стиль писем Романова отличается обилием латинских цитат, церковно-славянизмов и тоном, сочетающим назидательность с вольностью в выражениях, которые доходят до развязности. Р. ценил письма Романова, намереваясь включить их со своими комментариями в один из томов «Литературных изгнан-

ников». Письма Рцы к Р. содержат пометы последнего, по которым можно предположить, что Р. собирался часть писем публиковать с примечаниями, которые так и не были им написаны. В 1893, когда Р. перебрался в Петербург и поступил в Государственный контроль, они с Р. стали коллегами по департаменту железнодорожной отчетности и соседями по дому. Около 1896 из-за недостатка средств, когда жизнь в столице была для Романова дорогой, он перебрался в Гатчину, по-прежнему оставаясь другом-корреспондентом Р. С конца 1890-х Р. и Розанов часто участвуют в одних и тех же изданиях: «Русский Труд», «Мир Искусства», «Новый Путь», сборник полемических материалов «Сущность брака. Обмен мыслей между Н.П. Аксаковым, “Мирянином”, В.В. Розановым, “Рцы” (И.Ф. Романовым), протоиереем Александром У-ским и С.Ф. Шараповым с приложением статьи свящ. М.И. Спасского» (М., 1901). Многие материалы этой книги Р. включил в свою книгу «В мире неясного и нерешенного». Заметка Рцы «Нагота на выставках» из журнала «Мир Искусства» стала одной из самых больших и темополагающих цитат в ней. На рубеже 1900–1910-х имена Р. и Романова встречаются на страницах «Нового Времени». Приступив в 1904 к изданию собственного журнала «Летописец», Рцы привлек к сотрудничеству и Р., опубликовав его статьи: «Печатание ситцев» (№ 1), «Поездка на Абро» (№ 8), «Кто друг семьи?» (№ 11). Письма Рцы к Р., в которых отразились его хлопоты по изданию журнала, говорят о высокой оценке статей последнего. Р. в некрологе сказал об этом детище Рцы, что нельзя забыть его «Летописца», «с картинками, пустяками и глупостями — главного “сокровища” его литературного сердца. Он издавал его, почти секретно от всех, и печатал что-то в семидесяти экземплярах, за недостатком подписчиков, читателей и денег. Скорбел, нуждался — и все-таки печатал» (НВ. 1913. 22 мая). Вместе с тем дружба писателей временами омрачалась. Охлаждение между приятелями наступает в 1900. 16 июля Романов пишет Р. злое письмо, где говорит, что «самая переписка наша является в высшей степени бесплодной» (л. 206) и что им не стоит более общаться. «Просто считайте, что я умер! Был человек — нет человека! Осталось гладкое место, ну, и танцуйте канкан, играйте в лаун-теннис» (л. 206). Из наиболее жестких выступлений Р. против Романова — статья «Среди людей “чисто русского направления”» (РС. 1906. 24 нояб.), где он дает почти карикатурный портрет Романова, не называя его имени. Отметив разнообразия талантов Романова и оригинальность их сочетания, Р. дает суммарную характеристику его жизни: «Все силы его, весь ум, знание света и человеческих отношений и были направлены к тому, чтобы сколько-нибудь еще протянуть еду, чтобы разрешить проблему, бесчестную в самом основании, как устроить и устроить так, чтобы можно было и ничего не делать — и сладко есть, не работать — и получать. Сюда были сведены все его хлопоты, знакомства, заботы, служба или видимость службы, литература или карикатура литературы и, наконец, молитвы, подлинные, настоящие, горячие!» (РГО, 202). Вместе с тем в книге «Уединенное» Р. признает Рцы наряду с о. П.А. Флоренским и Ф.Э. Шперком одним из тех людей, которые были «даровитее, оригинальнее, самобытнее» его самого. Столь высокая оценка была основана в пер-

вую очередь на воспоминаниях об их личном общении. Дочь Р. Надежда вспоминала: «В почти родственной близости к нам была семья Ивана Федоровича Романова (Рцы)» (НТ, 59). Не последнюю роль здесь должны были сыграть и некоторые сочинения Рцы, которые оказались созвучны не только идеям самого Р., но даже особенностям его письма. Несмотря на то что темы, волновавшие Рцы, во многом совпадали с темами Р., так что его даже называли в редакции «Нового Пути» «маленький Розанов» (*Перцов П.П.* Литературные воспоминания. М.; Л., 1933. С. 212), в их разработке Рцы был самостоятелен. *Характеристику* Романова дал Р. в *некрологе*: «Он отличался необыкновенно сильным и проницательным умом, обширной начитанностью в литературе, *истории* и богословии, но эти качества, которые могли бы выдвинуть его в первые ряды публицистической литературы, сопровождались слишком капризной и оригинальной формой выражения, формой письма, которая была очень хороша «на любителя», но сыграла роковую роль в признании его вообще». Ценимый немногочисленным кругом читателей Романова «был «на замечании» у читательского и у критического «начальства», как что-то неблагодарно мерное, своевольное, в высшей степени угрожающее скандалом (литературным)» (НВ. 1913. 22 мая; НФП, 104). Романов для Р. входил в число тех «литературных изгнанников», среди которых он называл имена Н. Страхова, Ю.Н. Говорухо-Отрока, К. Леонтьева, С. Рачинского и др.

С.Р. Федякин

РОМАНОВСКИЙ Василий Евграфович — преподаватель всеобщей истории 3-й мужской гимназии в Тифлисе, составитель ряда произведений на исторические темы, в том числе книги «Государственные учреждения древней и новой России: Пособие для учащихся старших классов» (Тифлис, 1897, переиздана в 1905 и 1911), на которую Р. откликнулся рецензией (НВип. 1897. 17 дек. Без подп.). В *письме* (б.д.) к Р. Романовский заявлял, что вполне «разделяет» взгляды писателя «на постановку у нас учебного дела» и с интересом следит «за появлением в периодической печати каждой <...> статьи» Р. (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 46. Л. 1). «Ваша рецензия <...> — отмечал Романовский, — явилась для меня, провинциального труженика, неожиданной <...> нравственной поддержкой опытного педагога, хорошо понимающего истинные потребности нашей школы». К письму Романовский приложил две свои новые публикации (статья «Наказ императрицы *Екатерины II*». Тифлис, 1896).

А.В. Ломоносов

РОМЕР Мария Федоровна — дочь писателя Ф.Э. Ромера, приславшая Р. пять книг своего отца. В *письме* от 26 декабря 1915 П.П. Перцову Р. рассказал о своей первой встрече с Ромер (по мужу Бакова): «О Баковой-Ромер превратите (зачеркнув что не нужно) в юридически невинное, но самый рассказ оставьте. Ах, это б. так поэтично. Он — седой, огромный, с легким помещицким остроумием. Делает мне визит. Я — vis-à-vis: т.е. «отдаю» Не застаю (минут 5–10) и ходя по комнатам вижу над диваном большой масляными красками *портрет* дамы. Solo. Уверен — жена. Он входит: — Спрашиваю:

— Жена? — Нет, дочь. — Замужем? — Да. Но несчастно. — Почему? — Она очень любила верховую езду. В Крыму. И вот раз выехала, с лошадей что-то сделалось и она выбросила ее из седла. Она упала на колени (одна, шоссе, ремонт) и так расшиблась (женская сфера), что дальнейшая *жизнь* с мужем и вообще супружество невозможно; муж остался в Крыму, а она живет со мной. — Прелестное, юное, худенькое, «мадоннистое» *лицо*. † Ромер, она хоронит. Она б. так прелестна, несчастна, убита и величественна, что я не решился познаться («не смел»). Прошло с ½ года, нужно было что-то сделать ей от редакции. Меня послали. Я пришел. Она — простенькая, вся — *грусть*, «мадонна Боттичелли» Сижу. Соплю. И спрашиваю о камнях и ушибе. «Выражаю сожаление»: Она (удивленное лицо): — Ничего подобного. Я как-то ей не упомянул: «папа сказал», и она подумала, что ошибку я слышал от других, и стала говорить о папе. Это было удивительно слушать. Что-то матовое, неясное, лунное, «луна прячется в облаках» Из Вия или «Ганна-Утопленница» Не зная о рассказе мне отца, да и видя мое напряженное внимание, она рассказывала подробно, часа два, вся «утопала в воспоминаниях» Из слов ее одно мне прямо сказало, в чем дело: «Проходя спать, папа, дотронувшись рукой до лица, моего, сказал: — Ты придешь, Маша?» Знаете, в рассказе не удержишься от такой подробности, которая мелькнет в уме и «телефонически» передастся в *языке*. Матери — не любила, не уважала, мать = «0» «Только неприятна была, только мучила меня!» — «Да чем?» — «Она все ревновала меня к отцу» Но я видел, что дочь ревновала свою мать к теперешнему своему мужу, что «между ними была когда-то половая связь» Странно. Все поле *души* было занято: «я и папа» «папа и я», и — никого в целом свете. Тут какие-то *сны*, «уже предвкушение его», а «я не догадалась» Зажжение лампы и старинные образы. Сына (соплявый кадетишка) и мужа (ничтожество) — ненавидит. «Все несносно, кроме папы», который б. в шлеме, статный воин, 1-й Дании боец (сумасшедшая Офелия). И вот Вы пишете «скандал» <...> Я уверен, что (не говоря о «скандале») в ней и единственно в ней это не было *преступлением* <...> Вот отчего мне хочется, чтобы это осталось «на веки вечные», ибо одно дело «прочитать по книжке у Апулея» и другое дело — самому увидеть, пощупать «собственный рассказ участницы» И вот она через 10 лет прибегает (Антигона и Эсмена): «вспомните и напишите еще об отце моем», и оставила при письме 10 т. сочинений отца-мужа» (ОР РГБ. Ф. 872. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 64–66). О ней Р. оставил запись в «*Последних листьях*»: «Ромер — его дочь Бакова. Подозрительный культ отца. Je soupçonne qu'elle était maitresse de lui <Я подозреваю, что она была его любовницей>» (ПЛ, 233). Сохранились ее письма к Р. 1901, 1911 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 32).

А.В. Ломоносов

РОМЕР Федор Эмильевич [20.8(1.9).1838, Калужская губ. — 8(21).8.1901, Петербург] — журналист, публицист, прозаик, отец М.Ф. Ромер. Р. принадлежит статья «Десятилетие кончины Ф.Э. Ромера (8 августа 1901 — 8 августа 1911 г.)» (НВ. 1911. 8 авг.), в которой говорится о Ромере как о сотруднике «*Нового Времени*», «*Русского Вестника*», редакторе «*Земледельческой Газеты*», журналов



Ф. Э. Ромер

«Сельское Хозяйство и Лесоводство», «Известия Министерства Земледелия и Государственных Имуществ». «Начало широкой его известности и популярности в сельскохозяйственном мире положили ежемесячные обозрения сельскохозяйственной жизни в России, печатавшиеся в «Русск. Вестнике» и фельетоны по тому же предмету в «Нов. Времени»; наконец, огромное количество статей, как в перечисленных выше специальных изданиях, так и в журнале «Деревня». Со всех сторон тянулись к нему в Богородское (имение Карачаевского уезда, Орловской губ.) крестьяне за советом, как и приезжали землевладельцы научиться у него приемам интенсивной работы: и эта работа «показом, а не наказом (словом)» составляет вторую половину его деятельности, тесно переплетенную с первой, литературною. Человек 60-х годов, он остался в стороне от литературных и идейных течений того времени, не разделяя их отрицательности, радикализма, пессимизма; но он имел в своей натуре бодрую струю их, крепкий состав. Идеино он весь примыкал к «самодержавным основам» царствования Александра III, которому по его кончине посвятил прекрасные страницы» (ТПРН, 181–182). Р. вспоминает о «Сочинениях» Ромера, изданных в 1905 в четырех томах, и упоминает его романы «Под разными флагами», «Нерешенные задачи», «Дилетанты» и повести «В среде образов звериных», «Сестры», «Деревенский Линч», «Губернская Магдалина» и др., а также его классический труд «Беседы о практическом плодоводстве».

А. Н.

РОССОВ Николай Петрович [наст. фам. Пашутин; 16(28).12.1864, село Семёновка, Землянский уезд, Воронежская губ. — 30.1.1945, Москва] — провинциальный актер, автор статей и воспоминаний о театре, выступал в трагических ролях шекспировских пьес в Малом театре А. С. Суворина в Петербурге. Откликнулся на литературную полемику А. Р. Кугеля с Р. письмами к участникам спора. Кугель опспаривал розановский взгляд на актерскую профессию, признававший присутствие в актере «дьявольского» элемента. В «Театральных заметках» (Те-

атр и искусство. 1909. № 37. С. 684) Кугель опубликовал письмо Россова к себе, в котором актер поддержал идею Р. о том, что чем больше в актере таланта, тем скромнее в нем личное начало. «То, что вы отметили как отрицательное в его статье, — писал Россов Кугелю, — мне показалось просто злой иронией со стороны Варварина. Мне показалось, что не он так «торквемадски» смотрит на актера, а — общество до сих пор. А некоторые мысли Варварина мне показались даже проникновенными <...> Настоящий актер любит «только свои роли» Чудовищно, но действительно. В реальной жизни актер должен быть ужасен: «никакой настоящей жизни» По-моему, все это страшная правда» (цит. по кн.: Руднев П. А. Театральные взгляды Василия Розанова. М., 2003. С. 348). В письме к Р. актер выражал признательность за статью «Актер» (РС. 1909. 6 сент.; СХ). Россов выступал в письме к Р. против современных актеров: «Вы забыли или не хотели добавить, что этих «настоящих»-то актеров, увы с каждым днем все меньше и меньше. — О, новые актеры, напротив, почти обаятельны в обыкновенной жизни, даже нередко систематически строго образованные, но... на сцене тусклы, прозаичны до скуки, несмотря на все <...> они гениально практичны. Захватили себе почти все лучшие театры» (Руднев, 354). Россов вспоминал в письме к Р. о своем успехе в столице: «В Петербурге, в театре Суворина, классики дали со мной целых семнадцать полных сборов, совершенно незнакомя мне молодежь, в количестве двухсот человек, просила тамошнюю дирекцию в петиции пригласить меня и на будущее время для классических ролей, и тем не менее... и тем не менее я до седых волос скитаюсь в отчаянной глуши провинции, играю с духом, а то с одной репетиции такие пьесы, как «Ричард III», «Макбет», «Отелло» и т.д.» (Там же, 355).

А. В. Ломоносов

РОССОЛÓВСКИЙ Вячеслав Сильвестрович [7(19).1.1849, Казань — 10(23).1.1908, Петербург] — журналист, сотрудник «Нового Времени», работавший вместе с Р., а в летние месяцы иногда и выпускавший газету. В некрологе в «Новом Времени» 11 января 1908 Р. отметил размах публицистики Россоловского: «Он писал на множество тем, начиная от музыкальной критики и кончая политическими обзорами, военными корреспонденциями и статьями о спиритизме, гипнотизме, загробном мире <...> Центр его деятельности падает на время турецкой кампании, когда он был два месяца корреспондентом на полях Болгарии, был под Плевной и на Шипке. Там сложился и его культ М. Д. Скобелева. Как это нередко случалось с людьми татарского происхождения, он был пылкий русский человек, горячий заступник за все русское и за всех русских перед напором иностранной или инородческой требовательности и притязательности» (ОНД, 287).

А. Н.

РОЧКО Григорий Викторович [22.9(4.10).1886, Двинск — 16.3.1959] — поэт, мемуарист, сотрудник «Русских Ведомостей», «Речи» и «Русской Мысли», банковский служащий. Рочко оставил воспоминания о Р. 1910-х. «В это время, — вспоминал он в автобиографической повести «Воспоминания попутчика» (Новый мир. 1996. № 3), — когда мы так ушли в себя, появилось

“Уединенное” В. Розанова, к которому очень многих потянуло уже по одному названию *книги* <...> если это не шествие в рай, то, может быть, покаянная в русском *стиле* исповедь больной и грешной *души*?» (там же, 191–192). Двойственное отношение Р. к *евреям* Рочко продемонстрировал на примере отношения писателя к нему самому, обратившись к «Уединенному»: «“*Вся литература* (теперь “захватана” евреями. Им мало кошелька: они пришли “по душе русскую” ” И через несколько страниц: “Р<очко> (талантливый еврей в *Москве*), написав мне 3-е письмо (незнакомы лично), приписал: “Моей сестре вот-вот родить” Да. Их нельзя ни порицать, ни отрицать...” Вот за эту приписку он амнистировал евреев <...> У Розанова не было костяка — скелета, не было и мяса, а одни лишь хаотически кричащие в разные стороны клеточки нервов, базар первичных ощущений, всяких и всяких» (там же, 193). Сразу же по прочтении книги «Уединенное» Рочко отправил Р. письмо: «Может быть, больше всего волнует, это ее бесконечная *наивность* и *невинность*» (там же, 196), и получил ответ Р., проникшегося «индивидуальным пониманием *человека*, писателя и книги» (там же, 197). Переписка продолжалась с 12 апреля по 10 ноября 1912. Уже в следующем письме Р. замечает: «Вы явно талантливы» (Там же, 199). Как и в переписке с другими евреями, Р. не обошел стороной столь волновавшей его *темы пола*: «Самец ли я? Умеренный. Более думаю об этом, взвешиваю, вымериваю мировую значительность. Хотя есть как непосредственное какая-то влюбленность в чужие беременные *животы*, и *груды*, и прочее. Всегда люблюю на улице (беременными>). Это целая *история*. Тут уж, скажу по секрету, ей-ей, какое-то (у меня) совпадение с Божьим существом, которое через “плодитесь (оплодотворяйтесь), множитесь” выразило тот самый *вкус*, как у меня. “Через это я так много и понял” или *Бог* мне открыл. — Читайте всю *Библию* и увидите, что верно предисл<овие> к “*Песни песней*”. — Вы, должно быть, монах, “как наша Шурочка” Ну, и благослови Вас *Бог*: но не осуждайте чужие лучи, как теперь я не осуждаю “отцов-пустынников и жен непорочных”» (там же). Р. дал высокую оценку письменному отклику Рочко на его «Уединенное»: «Естественнейшая и прекрасная для Вас форма — “кое-что и ни о чем”, “кое-что и обо всем”, штрих, *тон*, где Вы в немногих словах очерчиваете всю *вещь* и выражаете ее душу. Об “Уедин<енном> ” — всего строк 18: но потом меня брала охота взять эти 18 стр<ок>, переделать “вы” на “он” и поместить в “Вечерн<ем> Времени” Вы помните — там нет похвалы, лести (что всегда пошло); но как-то замечена неуловимо душа книги». Р. предложил поэту написать в той же манере о текущих явлениях литературы или об интересующей его книге для «*Нового Времени*». Поэт отказался от сотрудничества в газете Суворинных и затронул вопрос о положении евреев в *России*. На это Р. отвечал: «Мне печально, что столько умных евреев, столько гениальных евреев, столько, наконец, скептических евреев, усомнившихся и в Христе и в *Талмуде*, ни однажды не заподозрили: “да уж нет ли *огня* возле дыма? нет ли в самом деле чего-то мучительного от нас для народов, начиная еще от *Египта*? задолго до *христианства* и “Нов<ого> Вр<емени>”?» (там же, 201). В следующем письме Р. сообщал: «Мне так печально и страшно жить, так я испуган каждую ми-

нуту, что никакого еще впечатления не могу выносить и потому не пишу, и Вы мне не пишете <...> Я на Вас не гневаюсь» (там же, 202). В конце 1912 Рочко съездил в *Петербург* для примирения с Р., и они восстановили добрые отношения. Р. рекомендовал Рочко для литературного сотрудничества *М.О. Гершензону*: «Я узнал молодого поэта по фантазиям, по слогу, — по прекрасным воззрениям: — который хочет писать <...> мне самому захотелось, чтобы Вы познакомились с ним» (Новый мир. 1991. № 3. С. 233–234).

А.В. Ломоносов

РОШЕ Константин Константинович [29.12.1849 (10.1.1850), Петербург? — 26.2.1933, Житомир] — поэт из Житомира, опекун Саши Чёрного. Автор *писем* к Р. от февраля 1910 с просьбой о рецензии на его поэтический сборник «*Поэма души*» (СПб., 1906), который он приложил к первому письму. «В Ваших статьях и *книгах* просвечивает душа “*человека жива*”, — делился поэт причиной обращения именно к Р. за рецензией, — и это обстоятельство дает мне смелость убедительно просить Вас» об отзыве (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 48. Л. 2–3). Р. отвечал поэту, отметив, что стихи ему понравились, но отзыва он не в силах дать «по причине усталости» (Там же. Л. 4–5). К письмам Р. приложил отзывы, полагая, что Роше — женщина: «Роше (увы, я о ней ничего не мог написать, — усталость; а стихи ее замечательны)»; «Роше (прекрасный поэт)» (Записки отдела рукописей РГБ. М., 2004. Вып. 52. С. 468).

А.В. Ломоносов

РУБАКИН Николай Александрович [1(13).7.1862, Ораниенбаум, Петербургская губ. — 23.11.1946, Лозанна, Швейцария] — книговед, библиограф. Основной библиографический труд Рубакина «*Среди книг*» (1906; 2-е изд. 1911–1915. Т. 1–3). В статье «Социал-комики» (НВ. 1912. 11 февр.) Р. довольно иронично рецензировал этот труд, считая, что это не «*Среди книг*», а «*Против книг*» — «за брошюрки, листки, за *мелочь* и сор...» (ПВ, 44), в котором не нашлось даже места для разделов «*Богословие*», «*Церковь*». Впоследствии критика Р. становится более политически острой. В «*Сахарне*» он пишет: «Рубакин печатает под отвлеченным именем “*Среди книг*” социал-демократическое руководство по устройству *библиотек*, библиотечек, по преимуществу маленьких, фабричных, сельских и т.д. “Попадется в руки *учителю* народной *школы*, и он по мне устроит при школе маленькую и невинную социал-демократическую читальню для крестьянских *детей*” (СХР, 244). В “*Мимолетном. 1915 год*” Р. уточняет: «В “*Среди книг*” Рубакина” “первым номером” указываются книжки и брошюры анархического содержания, вторым номером — социал-революционные, третьим номером — социал-демократические и уже “последним” — презренные книжечки “националистического”, “звериного”, т.е. русского, “направления”. А “по Рубакину” составляются библиотечки и читальни по селам, по посадам, по фабрикам» (М, 239). В.И. Ленин положительно отзывался о труде Рубакина. Р. же отмечал удивительную скaredность Рубакина-издателя. Р. рассказывает историю о юноше-разносчике, который носил «корректурку к господину Рубакину», и тот ничего не платил ему. «Вот этот-то рассказ и поразил меня, и

с того времени я так возненавидел этого гнилого демократа. Что же это такое за ужас. “Как распределить книги по социал-демократии”, и посвятил книгу “своей мамочке” Приходит рабочий, для него (Рубакина) трудился: и хоть бы он гривенник ему вынес» (СХР, 245).

А.Н.

РУДИЧ Вера Ивановна [23.3(4.4).1872, Петербург — май 1943, Ленинград] — писательница. Р. рецензировал (НВ. 1914. 31 марта) второе издание ее повести «Ступени» (СПб., 1914) о судьбе девушки, которая «никому не нравится». «Попалась на прилавке магазина книга г-жи Веры Рудич: “Ступени” Читается — два часа, и, прочитав ее “на сон грядущий”, утром я захотел непременно сказать несколько слов об этом сыром материале даже не наблюдений, а сообщений автора... Книжка так поразительно обнажена, так поразительно невинна, она оставляет в душе столько смуты и тоски о наших милых девушках, что, написав когда-то “Семейный вопрос в России”, я чувствую и обязанность, и горячее движение вернуться к старой теме своих и рассуждений, и забот <...> Рассказ г-жи Веры Рудич очень легкий, осторожен, не вульгарен. Нежными ручками она рисует узор, но, по видимому, преднамеренно (и для дела) не захотела ничего скрыть, и самого грубого, и внимательный читатель шепчет: “Бедная Лида, бедная Лида! — как бы унес я тебе отсюда в лазуревые эфиры любви, о которых с 17 лет ты всегда мечтала и, в сущности, к ним одним влеклась и в 40 лет” <...> Она заблудилась в темных, грязных коридорах нашей цивилизации. Но вела-то ее правдивая звездочка, древняя звездочка. Ах, ничто в мире не понимается теперь так мало, как любовь! Та лю-

бовь, о которой написано столько книг и стихами, и прозой» (НФП, 287, 290).

А.Н.

РУДНЕВА Александра Андриановна [Адриановна; урожд. Жданова; ок. 1826 — 27.11(9.12).1911, Елец, Орловская губ.] — внучка архиепископа Иннокентия Херсонского и Таврического, двоюродная сестра архиепископа Ионафана, мать В.Д. Бутягиной, теща Р., «великая бабушка», как называл ее Р. Он относил ее к «лучшим людям», которых встретил, «нет, которых я нашел в жизни!» (У, 79). Ее смерть вызвала запись в «Уединенном»: «Ровно 70 лет она несла труд для других, — уже в 15 лет определив себе то замужество, которое было бы удобнее для оставшегося на руках ее малолетнего брата. Оба — круглые сироты. И с этого времени, всегда веселая, только “бегая в церковь”, уча окружающих ребят околицы — “грамоте, Богу, Царю и отечеству”, ибо в “ѣ” была сама не тверда, — она как нескончаемая свеча катакомб (свечка клубком) светила, грела, ласкала, трудилась, плакала — много плакала († †...) — и только “церковной службой” вытирала глаза себе (утешение). Пусть эта книга будет посвящена ей; и рядом с нею — моей, бедной матери, Надежде Васильевне Розановой» (У, 78). Р. вспоминает знакомство с «бабушкой» и ее дом в Ельце: «До встречи с домом “бабушки” (откуда взял вторую жену) я вообще не видел в жизни гармонии, благообразия, доброты. Мир для меня был не Космос (кодеж — украшаю), а Безобразие, и, в отчаянные минуты, просто Дыра. Мне совершенно было непонятно, зачем все живут, и зачем я живу <...> И вдруг я встретил



Вера Рудич



А.А. Руднева

этот домик в 4 окошечка, подле Введения (церковь, Елец), где было все благородно. В первый раз в жизни я увидел благородных людей и благородную жизнь. И жизнь очень бедна, и люди бедны. Но никакой тоски, черни, даже жалоб не было. Было что-то “благословенное” в самом доме, в деревянных его стенах, в окошечке в сенях на “За-Сосну” (часть города). В глупой толстой Марье (прислуге), которую терпели, хотя она глупа, — и никто не обижал. И никто вообще никого не обижал в этом благословенном доме. Тут не было совсем “сердитости”, без которой я не помню ни одного русского дома. Тут тоже не было никакого завидования, “почему другой живет лучше”, “почему он счастливее нас”, — как это опять-таки решительно во всяком русском доме» (У, 139). Р. особенно любил пословицы в устах «бабушки»: «Мать “друга” говаривала (в Ельце): “Правда светлее солнца”» (У, 74). В письме к А.С. Суворину в 1899 Р. вспоминал об этом: «Есть у нас пословица: “Правда светлее солнца” Когда ее услышал давно и от одной старушки-вдовы, подумал: “Жив русский народ”, т.е. он жив, имея в душе такие верстовые столбы нравственности, как эта поговорка» (ПВ, 344). Сравнивая «бабушку» с ее дочерью, ставшей женой Р., он писал: «Разница между мамочкой и ее матерью (“бабушка” А.А.Р.) была как между ионической и дорической колонной. Я замечал, что м. вся человечнее, мягче, теплее, страстнее. Разнообразнее и пронизательнее. Но баб. — тверже, спокойнее, объемистее, общественнее. Для б. была “улица”, “околица”, “наш приход”, где она всем интересовалась и мысленно всем “правила вожжи” Для м. “улицы” совершенно не существовало, был только “свой дом”: дети, муж. Даже почти не было “друзей” и “знакомых” Но этот “свой дом” вспыхнул ярко и горячо. Б. могла всю жизнь прожить без личной любви, только в заботе о других» (У, 154). Сравнивая себя с «бабушкой», Р. замечал: «Есть люди, которые рождаются “ладно” и которые рождаются “не ладно” Я рожден “не ладно”: и от этого такая странная, ключачья биография, но довольно любопытная <...> Противоположность — бабушка (А.А. Руднева). И ее благородная жизнь. Вот кто родился... “ладно” И в бедности, ничтожести положения — какой непрерывный свет от нее. И польза. От меня, я думаю, никакой “пользы” От меня — “смута”» (У, 373). Человеческую сущность «бабушки» Р. выразил в словах: «Есть люди, которые как мостик существуют только для того, чтобы по нему пробегали другие. И бегут, бегут: никто не оглянется, не взглянет под ноги. А мостик служит и этому, и другому, и третьему поколению. Так была наша “бабушка”, Александра Адрияновна — в Ельце» (У, 160).

А.Н.

РУДНЕВА В.Д. — см. «Друг».

РУДНЕВА Нина Тихоновна — племянница В.Д. Буत्याгиной, жены Р., дочь ее брата Тихона. В «Уединенном» и «Опавших листьях» Р. сделал две записи, посвященные ей: «Нина Руднева (родств.), девочка лет 17, сказала в ответ на мужское, мужественное, крепкое во мне: “В вас мужского только... брюки...” И оборвала речь... Т.е. кроме одежды — неужели все женское? Но я никогда не нравился женщинам (кроме “друга”) — и это дает объяснение антипатии ко мне женщин, которую я всегда

(с гимназических пор) столько мучился» (У, 27). «У Нины Р-вой (плем.) подруга: вся погружена в историю, космографию. Видна. Красива. Хороший рост. Я и спрашиваю: “Что самое прекрасное в мужчине?” Она вдохновенно подняла голову: — Сила!» (У, 99).

А.Н.

РУМАНОВ Аркадий Вениаминович [Абрам Исаак Бениаминович; 29.11(11.12). 1876, Царское Село, Царско-сельский уезд, Петербургская губ. — 19.10.1960, Париж] — журналист. С 1906 по 1917 — Петербургский представитель московской газеты «Русское Слово». С 1906 по 1911 был посредником при публикации статей Р. под псевдонимами В. Елецкий, В. Варварин. В своей книге «Священник Г.С. Петров» (М., 1907) Руманов описывает историю егосылки 14 февраля 1907, когда «масса представителей литературы, художественного и артистического мира, много видных писателей и журналистов, все члены петербургской редакции “Русского Слова” (В.И. Немирович-Данченко, С. Маковский, И.Д. Сытин и др.) выступили с протестом против бесправной расправы со священником». Из кипы писем о. Петрову и петиций в Синод Руманов выделает письмо Р., который говорил: «Негодование утишается только мыслью, что уже близко время, когда между священником и народом не будет стоять “занавескою” консистория, как и вообще между Богом и человеком не будет висеть никаких синодальных и консисторских занавесок» (с. 95). В 1910-е Руманов пишет статью «О Розанове» (РГАЛИ. Ф. 1694. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 9—11): «Если бы соединить воедино и издать все, что было написано В.В. Розановым, получился бы калейдоскоп, полный противоречий, различный по стилю, как бы сборник ряда различных авторов <...> Весь пафос своей души, всю религиозность, напряженность, всю гениальную пронизательность он направлял на человека в отдельности, на человека семьи, на отца ребенка, мужа жены, на нуждающегося, на скорбно униженного. Не массы, не человечество, а Иванов Номер 777 — вот цель его устремлений. В нем слышится голос, голос Киркегарда и в минуту подъема — голос Паскаля. Тогда он богоносен. В своей трансцендентности он весь корнями и все земное не только дорого ему, не только денно, но и есть сама необходимая правда. Это как бы дерево или камень, познавшие себя и отринувшие от себя всякое познание, которое вне их физического существа <...> В еврействе для него теснейшая связь между Богом и полом. На начале пола — божья “шехина” В самосознании евреев тенью проходит великая тайна, что не только им Бог нужен, но что они Богу нужны. Отсюда этнографическая и религиозная гордость и что они требуют у Бога, а не только просят его. “Может быть, я бездарен, но сама тема моя талантлива, — пишет он. — Я не думаю об идее Бога, но я люблю Бога всеми корнями и знаю, что Бог любит меня” Насколько он “прощал” многое, но считал, что Паскаль верит “не в Бога деистов и философов, а ценил, что Паскаль верит в Бога Авраама, Исаака и Якова». Говоря о «магии еврейской крови», Руманов приводит слова Р.: «Около евреев мне тепло, а греюсь только около них. Все тепло жизни я беру только у них» (Там же. Л. 9). В воспоминаниях: Руманов писал: «Кроме своего основного сотрудничества в “Новом Времени”

Розанов много работал в “Русском Слове”, где подписывался “Варварин”, взяв свой псевдоним от имени своей жены. Когда в “Русском Слове” начали сотрудничать *Мережковский, Гиппиус и Философов*, они сначала вполне терпимо относились к соседству с Розановым, но с обострением политической обстановки это соседство оказалось для них неудобным, и они поставили издате-

нает Р. о себе: «Помните ли еще меня? Читаю Ваши выпуски “Востока” и чую *любовь*, с которой Вы это пишете. Ваш А. Руманов» (РГАЛИ. Л. 1). 3 октября 1917 Р. посылает из *Сергиева Посада* свою фотографию с дарственной надписью «Печальник В.В. Розанов, дорогому Аркадию Вениаминовичу Руманову» и с предложением Руманову заняться изданием его *трудов*. Р. пишет: «Среди неумолчного шума Румановской деятельности, почему бы ему не начать быть немножко Сытиным <...> Почему бы ему не быть “издателем Розанова”? Р. предлагает переиздать свою книгу “*Семейный вопрос в России*” “в виде хроник и мемуаров, но их нужно соединить в совершенно новый труд: “К истории русской *семьи*” Эти четыре тома, я думаю, надолго, надолго, на ½ века, показали бы теорию и картину русской семьи. В своем роде это была бы “*История Государства Российского*» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 302. Л. 1). В конце 1917 Р. просил Руманова передать *М. Горькому* свое письмо (МЛ, 581). Письма Р. к Руманову из Сергиева Посада связаны с просьбой о материальной помощи: «Вы — молодец. Я привык думать: “Руманов все может” Пока Руманов хочет мне помогать — все можно» (РГАЛИ. Ф. 1694. Оп. 1. Ед. хр. 555. Л. 4). 30 октября 1917 Р. писал: «Дорогой и милый Аркадий Вениаминович! Отчего, когда я был у вас — был в такой тоске и муке и со *страхом* в душе — не сказали мне: “Отец мой (по годам), зачем ты трясешься, как Каин, а ты вовсе не Каин. Но вы, русские, наивны, а мы, евреи, промучившись историей между Мемфисом, Вавилоном и Иерусалимом, на все подобные случаи, как Ваши, финикийне изобрели вексель. Каждый человек при самых лучших даже средствах может быть поставлен временными обстоятельствами в состояние “хоть умри”». Р. в конце письма сообщает, что дает Долговое обязательство: «Я, подписавшийся Василий Васильевич Розанов, писатель, живущий ныне в Сергиевском Посаде Моск. губ., Красновка, Полевая улица, дом *Беляева*, обязуюсь сею распискою уплатить 500 руб. (пятьсот рублей) не позднее апреля месяца 1918-го года Аркадию Вениаминовичу Руманову, живущему в Петрограде, Морская, д. 35. Василий Васильевич Розанов» (РГАЛИ. Ф. 1694 Оп. 1. Ед. хр. 938. Л. 3). Отношения между Р. и Румановым всегда были теплыми, взаимоуважительными и семейными, что соответствовало духу Р., хотя порой Руманов не совсем понимал Р. в «еврейском вопросе». 20 ноября 1917 Руманов писал: «Дорогой Василий Васильевич, я не люблю писать и не умею, но на Ваше письмо надо ответить. Спасибо, во-первых, что Вы написали мне: “Ваши строки” я читаю и перечитываю и сквозь буквы люблю находить шелест мысли Вашей. Зачем напрасно Вы всегда, говоря со мной, видите во мне еврея. Это накладывает на меня нелегкую ответственность, будто я представляю еврейство <...> Я большей частью не помню, что я еврей, кроме случаев, когда меня обижают, а Вас я, вообще, люблю, мне неприятна мысль, что Вы, имея право на <...> многое, волнуетесь и преувеличенно слушаетесь *будущего*. Верьте мне, ничто Вам не грозит». Руманов обсуждает с Р. издательские дела, успокаивает, чтобы Р. не беспокоился о своем обязательстве из-за 500 руб. и обещает авансом устроить еще 500 р. «От души желаю Вам всего светлого и тепла, и уюта душе Вам. Преданный Вам А. Руманов» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 625.



А.В. Руманов

лю “Русского Слова” Сытину условие: они или Варварин. Сытин поручил своему представителю в *Петербурге* эту деликатную миссию: надо было сообщить Розанову, что его сотрудничество прекращается и одновременно предложить ему ряд материальных компенсаций. Произошла следующая сцена: — Василий Васильевич, ваши фельетоны такие длинные, а “Русское Слово” так дорожит местом, что нам придется отказаться от их печатания. — Розанов в ужасе: — Что же мне делать? — Но первого числа вы регулярно будете получать жалованье. — Как? я буду получать жалованье, если даже ничего не поместите? — Да, и притом в течение целого года» (Время и Мы. 1987. № 95. С. 215). «Мережковский как-то назвал Розанова “бесстыдник трансцендентный” Все явления *быта* отдельного человека Розанов объяснял только сексуально. Понятия не имея о Фрейде, он во многом превосходил его теорию. В подробности сексуальной жизни каждого близкого он входил с азартом, пытаясь давать подчас непрошенные “советы” Иногда Розанов нарывался на прямые скандалы со стороны людей, не допуская вторжения в этот запретный тайный мир» (Там же, 216). 4 января 1917 Руманов напоми-

Л. 2). В книге «Кухня» А.М. Ремизов рассказывает, как Р. просил его дать Руманову «хоть медаль какую» в «обезьянем обществе», на что Ремизов ответил, что Руманову ввиду его книжных заслуг можно и так дать» (Ремизов А.М. Собр. соч. М., 2002. Т. 7. С. 60–61). Руманов был заметной фигурой в литературных кругах Петербурга, Москвы и Парижа в годы эмиграции. Все ценили его доброту, беззлобность, скромность, отзывчивость (Г. Иванов, вел. кн. Александр Михайлович, А. Ахматова, И. Одоевцева и др.). Все, кроме З. Гиппиус, которая «дала ему злое и несправедливое прозвище». В ответ он привел слова Р.: «Ни один человек не достоин похвал. Каждый человек достоин жалости. Беззлобность и всепрощение не ахти какие добродетели» (РГАЛИ. Ф. 1694. Оп. 2. Ед. хр. 12. Л. 11). 20 декабря 1911 Р. подарил Руманову свою книгу «Люди лунного света» с надписью: «Аркадию Вениаминовичу Руманову, не изменявшему в дружбе и чистоте дружбы и тогда, когда ближайшие друзья изменяли. С глубокой благодарностью» (ГЛМ).

Л.Л. Черниченко

РУСОВ Николай Николаевич [21.1(2.2).1884, Серпухов, Московская губ. — после 1941] — писатель, критик, переводчик, почитатель таланта Р., которого он избрал в романе «Золотое счастье» (1915). Себя Русов вывел под именем Зет. «Зет собирался писать о нем в том смысле, что эта искренняя до бесстыдства, до оголения, вибрирующая от облачных высей до житейских пакостей, многообразная душа, носимая, разрываема добрыми и злыми духами, есть современная душа, страдательная, томимая, восприимчивая, как ртуть, но любящая и благословляющая жизнь, — чужую. Зет подробно знает его деятельность почти за тринадцать лет <...> Зет обжигает себе сердце и как бы все внутренности его статьями <...> в которых он вкрадчиво защищал мир от христианства <...> Едва его впустили в переднюю, как он увидел слева от себя в открытой двери писателя с оттопыренными рыжими волосами, который полоскался над умывальником, как утка, и сиял Зету красной физиономией <...> Василий Васильевич рассказывал о своих делах. Совсем он не умеет говорить! Ищет как-то слова, мнет их сквозь губы, — а тот же, тот же! Столь же удивительный разговор, что и письмо. Зет понял, почему он пристрастен к ударениям, кавычкам, курсивам, — он все это выражает глазами, улыбочкой, ужимками <...> Живыми чертами рисовал их, и Мережковского, и Рыц, и Суворина-старика, и Страхова, Льва Толстого, Победоносцева! А сам так смирененько покуривал, да покуривал, да набивал папиросы табаком. Шурился... Увлёкся Достоевским и прочитал две страницы. Повел Зета по книжным шкафам, показывал редкие книги или старинные <...> улыбался своим монетам, вынимал их и клал на место, как образки, и, наконец, увидавши одну особенную, просиял и с торжеством сунул ее Зету под нос. — Глядите, глядите! Это — Афина, окруженная фаллосами!! <...> Он своеобразен в высокой мере, привлекателен, но на чем все это вертится? Не видать никакого стержня. Что-то гибкое, разноставное, хаотическое, есть краски, но нету рисунка — и, вообще, есть ли он личность? Именно Василий Васильевич Розанов?.. Не расстилась ли передо мною стихия, или одна из стихий нашей души, русской души, современной души?

Недаром его писания не убеждают, а так соблазняют, точно дурман, разъедающий и расслабляющий» («Золотое счастье». М., 1915. С. 49, 51–54). Р. в рецензии на роман Русова «Любовь возвращается» (НВ. 1913. 10 февр.) писал: «Н. Русов, автор романа “Озеро” и полуфантастических очерков “Отчий дом”, напечатал новый роман <...> Уже в “Отчем доме”, маленькой фантазии на блуждающие темы, сказалось здоровое чувство автора: поворот юного духа от декадентских вывертов и от разбойно-



Н.Н. Русов

сутенерских ухваток и вкусов господ “в косоворотках” к провинции и к старине. В двух ослепительно ярких сценках он нарисовал здесь зал заседаний “Религиозно-философского общества в Петербурге” (НФП, 25). Роман «Любовь возвращается», отмечает Р., «посвящен жизни глухой провинции, с ее деревянными заборами, крепкими кладовыми, долгими чаепитиями, медлительными нравами, где эти “нравы” хорошо выстраиваются и чисто кристаллизуются». Русов подарил Р. свою первую книгу «О нищем, безумном и боговдохновенном искустве» (М., 1910) с напечатанным посвящением: «С чувством робости, удивления и благодарности посвящает эту книжку Василию Васильевичу Розанову автор. Москва. 1910 г.». В письме от 17 марта 1910 благодарил Р. за теплый отклик на его книгу в полученном от него письме (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4207. Ед. хр. 1. Л. 1). В письме от 18 мая 1912 Русов дал высокую оценку последним статьям Р. «Атеизм “с раздельною начальства”...» (НВ. 1912. 11 мая; ПВ) и «Годовщина В.О. Ключевского» (НВ. 1912. 16 мая; ПВ): «Хорошо написано о Ключевском!

А здорово хватили Маркова» (Там же. Л. 4). В письме от 20 августа 1912 Русов сообщил Р. о желании написать о нем книгу: «Что Вы скажете, Василий Васильевич, если придать брошюре — я рассчитываю написать листов 10, — если придать ей полемический характер и озаглавить “Кто же такое, наконец, В.В. Розанов?” Вообще в таком роде. Взять исходным пунктом “Уединенное” и отсюда идти вглубь, вплоть до “О понимании”, именно всё с точки зрения современности. И я думаю возвращаться только в сфере философии, религии, литературы» (Там же. Л. 15). В письме от 24 сентября 1912 Русов делился новостями о работе над новой книгой: «Написал к брошюре об Вас вводную главу (об «Уединенном») я говорю: кто же В.В. Розанов? Либерал или консерватор? Анархист или революционер? (Розанов и то и другое, и третье и четвертое (как и Достоевский)» (Там же. Л. 19). В середине мая 1913 Русов признавался Р., что из-за смены типографского оборудования в московском издательстве К.Ф. Некрасова выход его книги о Р. с предполагаемым названием «В.В. Розанов — мыслитель и художник» задерживается (Там же. Л. 22). Книга так и не была издана. Письма Русова весны-осени 1912 наполнены благодарными признаниями за полученные книги Р. и статьи о нем, которые должны были помочь в работе над исследованием о Р.: 11 апреля — за «Уединенное», 28 июля — за «О понимании», 10 сентября — за «Библийскую поэзию», «Л.Н. Толстого и Русскую Церковь» и газетные вырезки со статьями Н.Н. Страхова и В.П. Буренина о первой книге Р., 24 сентября — за «Итальянские впечатления», «Когда начальство ушло...», «Природу и историю», «В мире неясного и нерешенного», «Семейный вопрос в России» и «Около церковных стен», 4 ноября — за «Людей лунного света» и осенью 1913 — за «Литературных изгнанников». 4 ноября 1912 Русов послал Р. 2-е издание «Озера», с просьбой о рецензировании. Из следующего письма видно, что рецензия не появилась. «Меня не то, главным образом, огорчает, что Вы не хотите обо мне черкнуть (хотя Ваша заметка была бы величайшим праздником для моего писательского самолюбия), а то, что Вы, очевидно нисколько не цените меня, как писателя» (Там же. Л. 24). Только после этого увидела свет рецензия Р. на роман «Любовь возвращается». Т. Розанова вспоминала, что осенью 1917 Р. часто ездил из Сергиева Посада к друзьям в Москву, «бывал и у писателя Русова. Оставался иной раз ночевать у него» (ТР, 78). При письмах Русова к Р. имеется характеристика, написанная Р.: «Н.Н. Русов (странный какой-то; не понимаю, не знаю). Но Господь с ним. “Странными” иногда люди бывают от боли» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 105). В литературном приложении к берлинской газете «Накануне» (1922. № 9 (82). 16 июля) напечатан доклад Русова «Розанов и Достоевский», прочитанный 7 ноября 1921 в Москве во Всероссийском союзе писателей. Русов вспоминал, что впервые был у Р. в Петербурге в 1912 на Звенигородской улице. «Этот первый визит к Розанову, — пишет Русов, — описан мною в романе “Золотое счастье”, и это описание воспроизведено Э.Ф. Голлербахом в его книге о Розанове» (с. 8). В 1918 в московской газете «Мир», вспоминал Русов, он поместил две-три статьи и в одной из них напечатал отрывок из письма Р. о его книге «О понимании». 4 октября 1918 в газете «Мир» Русов писал: «Перед книгой Розанова <“О понимании”> вся

философия прославленного Соловьёва кажется ординарной». Утром 7 октября 1918, накануне преставления Сергия Радонежского, Русов приехал в Сергиев Посад к Р. и весь день беседовал с ним о Достоевском и русской литературе. «Розанов считал самого Достоевского атеистом. Достоевский не имел веры, он только ее исступленно жаждал, с великой тоской отчаянного атеиста. Вера Достоевского скорее жажда веры <...> В легенде о Великом Инквизиторе, этом глубочайшем слове, какое когда-либо было сказано о человеке и жизни так непостижимо сплелся ужасающий атеизм и глубочайшая, восторженная вера. Из людей никто так глубоко, по словам Розанова, не спускался в душу человеческую, как Достоевский, и никто не открыл в ней так много неожиданного-нового, странного, непостижимого. Никто не знал о человеке и не предугадал в будущем так много, как он» (с. 9). В письме к Голлербаху 8 октября 1918 Р. вернулся к характеристике Русова после ночного разговора с ним: «Оказывается, Русов, среди беллетристики, “сумасшествия” и прочее (у него первая книжка — сумасшедшая), — занят внимательно-превнимательно именно идеею Словаря русских философов, привнося к идее этой следующие целесообразные поправки: “Нужно писать не словарь философский, а словарь философов, п.ч. именно в философии, как и в поэзии или беллетристике, мастер выше мастерства, мастер кует статую, и самая техника статуи гораздо меньше стоит, чем душа творца”» (ВНС, 377). А.В. Ломоносов

РУССО (Rousseau) Жан Жак (23.6.1712, Женева — 2.7.1778, Эрменонвиль, близ Парижа) — французский писатель и философ. Размышляя о поворотных событиях в истории Франции, о ее судьбоносных личностях — Людовике Святом и Филиппе Красивом, Мольере и Руссо, Баярде и Робеспьере, Р. предполагал, что «все это должно найти родственный отзвук в душе» (ОП, 606) французского историка. В 1890-х Р. интересовали и характер творчества Руссо, и особенности его стиля, и внутренняя драма художника, которому он явно сочувствовал. В статье «50 лет влияния» (НВ. 1898. 26 мая) Р. высказался о писателях разных типов творчества — «мужской консистенции» и «женственной»: «Есть ряд писателей — напр., у нас Карамзин, Лермонтов, во Франции Руссо — с ярко выраженным женственным сложением в душе; такие писатели все оставили глубокий след после себя, что-то заражающее; и в их лице какие-то как будто “кормилицы” прошли в истории с напояющим “молоком”» (ЛВИ, 303). В статье «Катков “как государственный человек”» (Биржевые Ведомости. 1897, 17 окт.) Р. разъяснял, в чем источник «таинственного теистического дуновения» Руссо: «В XVIII веке у одного Руссо мы видим его, к удивлению, к негодованию “салон” и “философов” Никогда, ни однажды, ни ради каких успехов он не покинул идей “Савойского викария” <...> Да это вот еще юридивый; он вечно “пел” о чем-то; не видел и даже не знал (не предугадывал) революцию, но позвал ее: “Без Руссо не было бы революции”, — формулировал Наполеон <...> Странные песни, вполне мистическая песнь: как удивителен язык Руссо; кто научил его ему? До него, даже при нем и даже после него именно так никто не умел, не мог и — мы решаемся это сказать — не смел бы заговорить. Что-то маня-

щее, какой-то зов» (ЛВИ, 266). Первоисточник неизяснимой силы слова Руссо назван Р. еще определеннее в рецензии «Новая книга о Гоголе» (НВ. 1909. 24 апр.): «Все утопии, почти все, и социальные, и моральные, суть продукты христианства: и ни Руссо, ни 83–93 гг. во Франции без него немислимы» (СМР, 144). Р. чтит автора «Исповедания савойского священника», который «был глубоко религиозною натурою» («Рождество Христова ныне и вечно» // НВ. 1909. 25 дек.), «хотя католической церкви он и был враждебен» (СМР, 419). И искренно сострадал ему, как духовно близкому человеку: «Поэт есть роза и несет около себя неизбежные шипы; мы настаиваем, что острейшие из этих шипов вонзены в собственное его существо. Вспомним Руссо, который так мучил, так мучился» («Вечно печальная дуэль» // НВ. 1898. 24 марта; ЛВИ, 288–289). В осмыслении природы, «способа жить» «восторженный Руссо» (ЛВИ, 248) предвосхитил нравственные устремления русского мыслителя. Р. с признательностью отозвался о «великой, благородной» попытке Руссо «воскресить природу», дать Европе «почувствовать природу» (ОЦС, 385). Он невольный породил цепную реакцию интимнейших переживаний у Р.: «Главное у нас нет природы в празднике <...> у нас природа не внесена в храмы, за исключением прелестнейших душистых березок в Троицын день <...> какой он стал сверкающий, веселый, памятный нам от детства, из милых милый день» (ОЦС, 385). В этой же статье («О нарядности и нарядных днях календаря» // МИ. 1903. № 10) воссоздан поэтический образ, навеянный личностью друга природы — Руссо: «Луна — это уже огромный факт природы, больше воды, больше ветра и троичкой березки. Это — небесный огромный цветок, как бы лилия в синеве небесных вод. И ввести ее в религию, в религиозное празднование — это в самом деле значило осуществить мечту Руссо!» (ОЦС, 387). Почти до последнего предела Руссо сопутствует Р., порой «соучаствует» в его размышлениях, в парадоксальных суждениях о жизни. Р. сближает бытовое — ходить по грибы, собирать ягоды — и бытийственное — «ходить по миру», нищенствовать. Сближает по «способу жить» — «с человеческим сердцем» (М, 252). «Это есть странствование и его инстинкт, а с другой стороны, это есть остаток в нас древнейших инстинктов лесных, степных, гулячих, бродячих... «Опять дикий человек», «опять Жан-Жак Руссо»» (М, 252). Почти одновременно с приятием, подчас даже апологией «громального дара Руссо» (КНУ, 581) у Р. нарастало отчуждение от его социально-политических воззрений. В статье «Два исхода» (МВ. 1891. 29 июля) Р. полемизирует с «утилитарной доктриной», предоставляющей человеку в удел не «личное, свое, но счастье наибольшего числа людей» (ЛВИ, 187) и отмечает, что идея всеобщего избирательного права, «впервые установленная Руссо и теперь овладевающая сознанием всей Европы» (там же), входит в состав этой доктрины. А она способна лишь подавить «весь мир индивидуальных порывов, идей и чувств. Гений гасится, как только он не вдвигается в узкую трубу, по которой текут всеобщие желания» (там же). В Приложении к работе Р. «Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского» однажды мелькнуло имя Руссо — в речи Шигалева (ЛВИ, 124). В статье «О происхождении некоторых типов Достоевского» (РС. 1911. 28 сент.) дается сопос-

тавление позиций Руссо и Достоевского по неразрешимому социальному пункту: «Достоевский не политически рассек, но метафизически рассек узел “неравенства людей”, «*inégalité des hommes*», о чем мечтал Руссо и что он пытался устранить и, конечно, не устранил через “*Contrat social*” <“общественный договор”>» (ЛВИ, 590) В статье «Толстой и крапивинские аборигены» (НВ. 1910. 17 дек.) примечательна ироническая ремарка Р.: «Какое значение могло иметь для Крапивны воспроизведение Толстым рассуждений Руссо о вреде культуры, когда <...> учитель русского языка писал здесь “кулыбель”» (ЗРП, 433). Оба подхода русского мыслителя (и приятие, и отрицание) к наследию европейского властителя дум проявились в юбилейном портрете — «Ж.Ж. Руссо» (НВ. 1912. 10 мая). «Вся новая Европа <...> обязана своим рождением странному духу, странному влиянию, который произвел этот “литературный бродяга”, каким и по существу, и по форме, и по сочинениям, и по биографии был Руссо. “Бродяга” — без порицания» (ОПП, 569). В этюде фразы звучат словно начертанные на скрижалях: «Французская революция — первый день новой Европы» (там же); «...Не трон и “управление”, а ревущая толпа и ее судороги. Чудовищный горный поток, все разрушающий, — лавина, оборвавшаяся с вершины горы, — вот революция» (ОПП, 574); «Совсем космический переворот, и его произвел Руссо» (там же); «Бог благословил Руссо (его личностью, его сутью) человечество и наказал человечество» (ОПП, 575). Руссо, убежден Р., никому не подражал и никого не повторял. «Он сотворил из себя и сам, великую религиозную» (ОПП, 571) миссию — возродить «первоначальное невинное состояние человека» (ОПП, 570). По сути, это — библейская идея рая, Адама и Евы. Но она никого не увлекла. А в сочинениях Руссо — та же идея «всех заразила, взволновала и увлекла» (там же). У Руссо «эпическая страница Библии» билась «как лирика, как призыв, как плач и знамя, как земной насущный идеал» (там же). «“Революция” совершенно понятна после Руссо, как она непостижима и просто ее бы не было без Руссо <...> его личность и миссия есть не очень литературная, но глубоко историческая» (ОПП, 571). «Лица революции» — Сен-Жюст и Робеспьер, и «люди достаточно великие» — Кант, Гёте, Байрон, Толстой испытали феноменальное воздействие Руссо. «Толстой много лет тайно носил на груди портрет Руссо вместе с крестом» (ОПП, 570). В финале этюда в Р. пробуждается здравомыслящий консерватор. И с помощью Наполеона, героя «устроительной» (ОПП, 574) фазы революции, укрощается «темный воспламененный юноша» (ОПП, 570). А под занавес — неожиданная эпитафия: «С абсолютной точки зрения <...> Руссо был грех, болезнь и преступление <...> наконец его пора забыть» (ОПП, 575). В последние годы Р. часто вспоминал Руссо и предостерегал — не следуйте «за Руссо, разрушившим Европу фантазером» (КНУ, 582). Суждения Р. этих лет, где звучит имя Руссо, мозаичны, с непредсказуемым контекстом, Р. возмущенно иронизирует над одним из воплощений современной цивилизации — железными дорогами: «Через них все уторопилось, ускорилось <...> Вот кто победил <...> и пап, и Лойолу, и победил Руссо и его мечтательную и волшебную эпоху!» (ЛИ, 99–100). Всеохватный ум Р. осветил эту эпоху с неожиданных сторон.

«Со времен *Вольтера* и *Руссо* королевская *власть* в Европе перешла к “духовным вождям” Европы, к “идейным вождям” массы» (М, 208). И одновременно то была «универсально-любовническая пора», породившая «всю роскошь эпохи» (ОПП, 646). И далее следует признание неразлучности, слиянности *времен* и высших воплощений русской и французской *культуры*: «Катились сплошь два века Руссо и Вольтера, *Эрмитажа* и Академии Художеств: и всех этих работ Гваренги и Растрелли, глядя на которые замирает и до сих пор взгляд» (там же). В канун *Первой мировой войны* Р. замечает: «У нас, в сущности, была одна революция, эти “60-е годы”: и она была так огромна, что выдерживает совершенно параллель и сравнение с французской революцией от появления Вольтера и Руссо до смерти Робеспьера» (КНУ, 341). Размышляя о Достоевском в связи с революцией Р. писал: «В этом колоссе революция Вольтера и Руссо, “энциклопедистов”, Дидро, Гельвеция, Гольбаха — раздроблена и осыпается песком» (М, 215). В схватку с французским «культом Революции», требующим отречения «в сущности — от всего» (М, 264), вступает Р.: «Франция с Кондорсе, Тюрго, Вольтером, Руссо, энциклопедистами, с Дантоном, Сен-Жюстом и Робеспьером, с гильотиной и марсельезой... Это бесконечно узко и однообразно: тут нечем дышать... Совершенно естественно, что Франция выродилась в буржуазию, меркантилизм, в банкира...» (там же). Вскоре после *Февральской революции* 1917 Р., предоставив современную Францию ее судьбе, вновь подобрел к Руссо — одному из светочей этой «гениальной и благородной страны» (М, 376). Эта формула из программной статьи Р. «Монархия — старость, республика — юность» (лето 1917). В ней признание Р., словно сбросившего с себя тяжкие вериги: «*Республика* есть невинность и *детство*, монархия есть грех, опыт и старость <...> И вот когда русская республика в феврале и марте такую птичку взвилась в небо, я воскликнул невольно, неодолимо, скажу откровенно — даже против всех своих прежних убеждений: “Господи, неужели опять молодость?”» (М, 375). «Невинность и детство» — опорные понятия в лексике Руссо. Вместе с историей Р. последовал за Руссо.

В.П. Балашов

РЦЫ — см. *Романов И.Ф.*

РЫБАКОВ Сергей Гаврилович (1867 — 1922) — историк-востоковед, музыковед, петербургский чиновник Де-

партаменту духовных дел, сотрудник историко-филологического отделения Петербургской Академии наук и отделения этнографии Географического общества, входил в славянофильский кружок *Т.И. Филиппова*. В сентябрьском *письме* 1898 открыл Р свои интимные переживания о *страхе* признаться в *любви* к молодой институтке из-за разницы в возрасте. Ответом со стороны Р. были «едкие, презрительные слова»: «тряпка, папье-маше, “славянофил”» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 33. Л. 2–3). «Неужели Вы правы, мудрец *жизни*?.. — вопрошал Рыбаков в письме от 22 сентября 1898. — Философ жизни, я обратился к Вам потому, что мне казалось, что Вы ближе к жизни, а потому и к *истине*, чем “славянофилы”» (там же). В письме от 14 июня 1899 Рыбаков просил писателя посодействовать продвижению его статьи «Отпадение крещеных инородцев в ислам и их *просвещение*» на страницы приложения к *Новому Времени*, для чего — провести переговоры с К.С. Тычинкиным и *А.А. Сувориным*. Актуальность своей работы публицист объяснял сложившейся ситуацией, когда «на Востоке *России* разные невежественные люди, ярые обрусители (к ним причастен и Шемакин) и *священники* грозят испортить великое просветительное дело Ильминского, понимая его вкривь и вкось» (Там же. Л. 4). С письмом от 2 марта 1900 Рыбаков прислал 2 билета в петербургскую консерваторию на собственные «чтения» (Там же. Л. 6–11). В письме от 8 мая 1900 Рыбаков делился с Р. впечатлением от его статьи «О *Суворове*» (НВ. 1900. 8 мая): «Чем-то оживляющим, вдохновляющим веяла Ваша статья о Суворове (Нов. Вр. № 8690), когда я ее читал. Что-то прекрасное по своей *сжатой* всесторонности и законченности чувствуется в Вашей *характеристике* этой прекрасно-гениальной личности нашей *истории*; какая-то пленяющая гармоничность чувствуется в Вашей обрисовке чрезвычайной гармоничности, всесторонности человеческого развития нашего героя, не только гордости, но и *радости* русского сердца. При *чтении* Вашей художественно-прекрасной памятки об этом *гении*, навеки призванном пробуждать и питать в *душе человека* все великое и светлое, чувствовалось, что легче живется, легче верится. Спасибо Вам за *красоту* этой памяти, как за многие Ваши сочинения, также навеки призванные пробуждать и питать в душе русских людей и *мысль*, и *чувство*, углублять их до познания истины, — удел, больше которого писателю желать нечего» (Там же. Л. 8–9).

А.В. Ломоносов

С

САБЛЕР Владимир Карлович [наст. фам. Десятовский; 13(25).11.1845, Москва — сент. 1929, Тверь] — обер-прокурор Святейшего Синода в 1911–1915, с 1905 — член Государственного Совета. В статье «200 лет “делопроизводства...”» (В.К. Саблер прежде, теперь и в будущем) (РС. 1911. 9 июня) Р., откликаясь на назначение С. на должность обер-прокурора Синода, заметил: «Кому же не известно, что во все время управления Синодом *К.Н. Победоносцевым* им управлял, собственно, не Победоносцев, очень редко появлявшийся в Синоде, никуда ни на какие ревизии не выезжавший, с личным составом *духовенства* почти не взаимодействовавший, в “делопроизводство” духовного ведомства совершенно не вмешивавшийся, а управлял изо дня в день, из месяца в месяц и из года в год В.К. Саблер. И потому, если раз было решено вообще “вернуться паки на прежняя”, то какой смысл имело появление в должности обер-прокурора Синода кн. Оболенского, Извольского, Лукьянова? <...> Нельзя достаточно изумиться его терпению при слушании разных “дел”, огромной памяти, живой, точной и отчетливой, и той быстроте ясных резолюций, которые он кладет на “дела” Он никогда не устает, вечно свеж... И при массе людей, ожидающих “резолюций”, которых в былое время приходилось ожидать годы, это качество — благодеяние для людей и *честь* для всего Синода. Помилуйте, сколько людей от него зависит, сколько “дел” от него зависит» (ТПРН, 122, 125). Основное внимание в церковной деятельности С. уделял строгому соблюдению в храмах установленных обрядов и чина богослужения. «Псаломщик, по-старому дьячок, утомляется читать, но Владимир Карлович не утомляется слушать. Не помню, сказано им это было самим, и я случайно услышал, или мне это кто-то передавал, но это, во всяком случае, точно. Нет человека, более преданного всему “обиходу” служб, всей красоте и смыслу богослужения. Лично он двинул в нем только устную проповедь, к чему Победоносцев был равнодушен, почти неприязнен. Но вообще Саблер “любя все это дело”, в высшей степени усиливается внести в него распорядок, *просвещение* (не очень большое), добросовестность в несении каждым своих обязанностей. Все — “к лучшему” Но именно в “делопроизводстве” Желательно, чтобы завтра мы жили лучше, чем вчера, но по строгому методу этого “вчера” (ТПРН, 125). Касаясь возможного созыва церковного собора, Р. замечает: «Собор вообще возможен в *церкви* не обрядовой, а философствующей. Но русская церковь обрядовая; самые секты в ней всегда

возникали на почве нарушения обряда, искажения обряда, — вернейший признак, что это и есть ее центр, ее суть, ее *жизнь*» (ТПРН, 126). И Саблер — «вершитель, а не диалектик», он может править лишь обрядовой церковью. «Спор» в самом существе своем чужд всей стихии его *души*. Гораздо легче он устранил “боль” месяцам, годом, годами упорной работы, нежели введет церковный корабль в столь смутное и волнующее “море”, как церковный собор» (ТПРН, 125). В новых условиях жизни русской церкви С. не в состоянии устранить ее боль, «боль существования, на неудобство в существовании, униженность, бедность, несвободу, тяжелую зависимость от архиерея или консистории, застарелость порядков в семинарии или академии, деспотизм черного духовенства над белым и проч., и проч.» (там же). Фамилия «сорная, формальная и денежная. — Саблеры... Да и в ризах-то только Саблеры» (КНУ, 460). В РГАЛИ сохранилось *письмо* Р. к С. (Ф. 149. Оп. 1. Ед. хр. 303).

А.Н. Стрижнев

САВВА [Тихомиров Иван Михайлович; 15(27).3.1819, село Палех, Владимирская губ. — 13(25).10.1896, Тверь] — архиепископ Тверской и Кашинский, духовный писатель, автор мемуаров «Хроника моей жизни» (БВ. 1898–1911; отд. изд.: Сергиев-Посад, 1898–1911. Т. 1–9). Р. читал «Хронику...» в журнальном варианте, черпая из нее сведения о положении современных ему русских архиереев. «Как напечатано («Богосл. Вестн.», 1905 г., сентябрь) в «Записках Преосвященного Саввы, Архиепископа Тверского» — Московский митрополит получает до 68 000 руб. дохода в год; довольно много для «невозлюбившего мира и лепоты мирской» отшельника (ОЦС, 336). Чтение «Хроники...» усилило критическое отношение Р. в тот период к священноначалию Русской православной церкви. Ибо у С., как писал Р., «...не упоминается ни об единой книге, которую бы он прочитал и заинтересовался. Все есть описание “моей службы”, а “служба” состояла в архиерейском служении, в получении *писем* от важных или благочестивых особ и ответах на них, в поездках туда-сюда, с отметками, куда поехал, когда приехал, кто встретил, кто не выехал на встречу, и не выехал потому, что хворал, и где кушал чай, и, наконец, кто какую награду получил, и еще очень много о том, что “слышно” Но я совершенно не помню, упоминается ли где слово “христианство”, или приведено ли где какое слово из *Евангелия*, или стоит ли где имя “Ии-

сух Христос» (СМР, 231). Р. под впечатлением мемуаров С. сделал вывод, что русское *духовенство* «точно отделилось вовсе от *христианства*, куда-то уплыло от него, отплыло от него» (там же).

А.В. Ефремов

САВИНКОВ Борис Викторович [псевдоним В. Ропшин. 19(31).1.1879, Харьков — 7.5.1925, Москва] — политический деятель, один из руководителей «Боевой организации» партии эсеров, писатель. Литературная деятельность С. нашла отражение в двух статьях Р. В первой из них — «Ропшин и его новый роман» (НВ. 1912. 3 мая) Р. передал свои впечатления от романа «Конь бледный» (СПб., 1912), написанного в *жанре* дневника, автор которого «живет для смерти, упивается смертью, воспекает смерть» (ОПП, 565). Высоко оценив мастерство передачи подлинных эпизодов из жизни террориста, Р. задается риторическим вопросом: «С чего же террорист с “утреннею звездою” хочет “разить бомбой” за наряд в 200 руб., когда он сам не отказывается от удовольствия *любви*, причиняя этим другому *человеку страдание*, не меньше чем фабричная маята? <...> какая же тут “*революция*”?», если налицо выступает банальная «мировая слабость к *греху*, но виновных — нет» (там же). Р. констатировал, что «“Конь бледный”, недурно написанный, с энергией и живостью, в идейном отношении» ему «показался мизерным» (там же). По мнению писателя, роман С. является лишь иллюстрацией того, что «*революция* “прошла” идейно, и теперь только торгаши слова зарабатывают на ней, потому что нет *сил* быть искренно революционером», а действительность подтвердила, что «старые русские люди больше любят свою старую Русь, нежели новые русские люди любят свою революцию» (ОПП, 566–567). В статье «*Амфитеатров* и Ропшин-Савенков» (НВ. 1912. 23 мая) Р. вступился за автора «Коня бледного», ограждая его от нападок А.В. Амфитеатрова, который «защищает революцию и революционеров против Савенкова, совершенно не замечая, что он тут судит в чужом деле, и, естественно, — судит без всякой компетентности» (ОПП, 567); Р. писал фамилию С. через «е». Р. отмечал частичное совпадение своих взглядов с С. на творцов революции, «которая есть *кровь* и прежде всего *кровь*»: «Делают ее люди страдания и отместки за страдание; в “тоске по жертве” (кровавой), как я писал; или “люди красного цеха”, как ту же *мысль* выразил Ропшин-Савенков в “Коне бледном”» (там же). Выйдя на тему кровавой жертвы, Р. указал на ритуальную связь *метафизики* революции с еврейством: «Революция краешком касается их “кошерного мяса”, с выцеженной предварительно кровью. У Савенкова в “Коне бледном” это очень хорошо показано: “идеи” революции совершенно на десятом плане <...> Ему подай крови генерал-губернатора, как *еврею* “кошерного мяса” на стол на праздник» (ОПП, 568). В завершение статьи, Р. иронизирует над левыми интеллектуалами в резиновых калошах и перчатках, вроде *Д.В. Философова*, выступающего под лозунгом: «Я — как Савенков, столь же ужасен», и А.В. Амфитеатрова, заявляющего: «У меня натура широкая — хочу быть разом Рашелью, Савенковым и *Боборыкиным*» (Там же, 69).

А.В. Ломоносов

САДОВСКОЙ Борис Александрович [наст. фам. Садовский; 10(22).2.1881, Ардатов, Нижегородская губ. — 5.3.1952, Москва] — поэт, прозаик, литературный критик. В сентябре 1903 он послал Р. посвященное ему стихотворение, где были строки: «Ты бескорыстный страж родного рубежа, / Таинственной зари передрагоценный *гений*... / — Как жадно рвешься ты, волнуясь и дрожа, / Нам поверять тоску грядущих поколений!» (Садовской Б. Стихотворения. Рассказы в стихах. Пьесы. СПб., 2001. С. 25). 10 января 1904 С. писал Р. из *Москвы*: «Уж как мне приятно было узнать, что Вам понравилось мое стихотворение, посвященное Вам! <...> Вы спрашиваете “кто я? Откуда? Зачем?” <...> Внешние факты *моей жизни* таковы: я коренной нижегородец, чисто русский по происхождению, из дворян <...> Всег-



Б.А. Садовской

да был религиозен и консервативен в смысле государственных и патриотических взглядов. Благодаря этому терпел немало неприятностей, особенно в гимназии <...> как-то попалась мне Ваша книжка “*Литерат. очерки*”. Я был пленен ею, но сознавал еще смутно. Прочел в “*Рус. Вестн.*” статью о “*Лермонтове* и демонизме” Еще более пленился. Дальше — больше — стал чувствовать что-то, какая-то завязь показалась, зацветает что-то, повеяло будто. Наконец, узнал о выходе “*Нового Пути*”. Взяв и прочитав первую же книжку, понял, что теперь главное найдено, что есть почва под ногами <...> Я много еще расскажу Вам, дорогой Василий Васильевич, много — и расскажу без утайки. Многое меня мучит (особенно в сфере половой жизни) и о многом бы хотелось попросить Вашего совета. Вы — лично Вы — неизмеримо благодетельствовали меня. Вы мне второй духовный отец. Каждое Ваше слово для меня в откровение» (Там же, 349–350). В начале 1911 в *Петербурге* С. познакомился с Р. лично. 30 января он писал отцу в *Нижний Новгород* из Москвы: «Милый папа! Третьего дня я воз-

вратился из Петербурга. Там я побывал у многих писателей; был, между прочим, у Розанова, который, как оказалось, кончил нашу гимназию в 1872 <на самом деле в 1878> году. Товарищами его были, между прочим, Карпов и Безсонов. Гимназистом он был влюблен безнадежно и бессловесно в *Елену Остафьеву*, после начальницу гимназии, и показал мне в альбоме ее старую карточку <...> Я от Розанова в восторге. Это такой милый, такой чуткий человек! Я рассказал ему всю свою семейную историю, и он сказал, что, среди бесконечных исповедей, которые ему доводилось слышать, моя одна из самых трагических, что я во всем был прав. На прощанье он поцеловал меня и просил приходить еще, когда буду в Петербурге» (РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 2. Ед. хр. 277. Л. 46). В своих «Записках» С. вспоминал: «У В.В. Розанова бывал я по воскресеньям <...> В кабинете иконы с лампадкой, большой бюст *Пушкина*; на подставке из черного бархата гипсовая посмертная маска *Страхова*. Несколько книжных шкапов, и на отдельной полке все сочинения хозяина в красном сафьяне. За чайным столом у В.В. дышало провинцией, уездным уютом <...> При мне у Розанова бывали: балалаечник *В.В. Андреев*, всегда веселый, с наружностью доброго Мефистофеля, *Ремизов*, *Кузмин*, *Сологуб* с женой, художник *Лукомский*, поэты *Пимен Карпов* и *Тяняков*. Приходил беллетрист *Добронравов* и пел семинарским басом под рояль “Люби все возрасты покорны” В.В. очень любил меня. Однажды обнял и с нежностью сказал: “Какой тоненький, настоящий поэт”» (Российский архив. М., 1991. Т. 1. С. 175). Переписка С. с Р. не сохранилась. Письмо Р., датированное декабрем 1917, сохранилось лишь в копии. С. пытался опубликовать его в журнале «Россия» в 1925, послав копию вместе с другими документами редактору И.Г. Лежневу. «Очень интересно письмо Розанова. Боюсь, не пройдет цензуры. Попытаюсь провести», — отвечал 18 марта 1925 Лежнев (РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 1. Д. 83. Л. 2 об.). Письмо на страницах «России» не появилось. Р. писал: «Неужели ни один человек в России не захочет и не сможет меня спасти? Что делать: научите, спасите, осветите путь жизни. Воображение мое полно мыслей: но я — ничего не умею. Однако способен чистить сапоги, ставить самовары, даже носить воду, и вообще способен к “домашним услугам” Не говоря о “чудных вымыслах”, к которым храню дар как *Фет*. Крепостное право я всегда рассматривал как естественное и не унижительное положение для таких лиц или субъектов, как я: ну, что же, мы не находим модуса, формы труда. Мы не можем изобрести, придумать: как нам жить? И мы можем стать только за спину другого, сказав: “Веди, защити, сохрани. Мы будем тебе покорны во всем. Послушны, работящи (о лени нет и вопроса). Мы будем все делать тебе. А ты дай нам, и с семьей, которая тоже идет в крепость к тебе, — пропитание, хлеб, тепло, защиту”» (Литературная учеба. 1990. № 1. С. 76). В сопровождавшей копию письма заметке С. отмечал, что оно «является страшным, мучительно-болезненным воплем человека, выброшенного из жизни. Пресловутый цинизм покойного писателя сослужил ему плохую службу. Розанов гордился, что прожил всю жизнь за занавеской: этой занавеской являлся для него огромный номер “Нового Времени”, когда же его не стало, философ очутился на улице голодный и холодный. По моему мне-

нию, последнее письмо должно считаться крупным чело­веческим документом из числа многих, порожденных революцией» (там же). Отсутствие автографа может вызвать определенные сомнения в подлинности письма: именно в эти годы С. активно занимался литературными мистификациями, и Лежнев напечатал в «России» присланную одновременно с письмом Р. поддельную «Солдатскую сказку» якобы *А. Блока* (см.: Шумихин С.В. Мнимый Блок? // ЛН. 1987. Т. 92. Кн. 4. С. 745–746). Но стиль письма, воспроизвести который даже такому стилизатору, как С., было вряд ли под силу, и упоминание издателя «Апокалипсиса нашего времени» *М.С. Елова*, о существовании которого живший в Н.-Новгороде С. также вряд ли мог знать, убеждают в подлинности письма. Сохранился купон от денежного перевода для Р. на сумму 50 р., отправленного в 1918, несмотря на собственное отчаянное положение, С. из Нижнего в *Сергиев Посад* (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 628). В литературном музее (Москва) имеется автограф Р. на его книге «Темный Лик»: «Борису Александровичу Садовскому В. Розанов на память о первой встрече 25 января 1911 в С.Петербурге и о Черном пруде в Нижнем». «Любимый Борис Садовской» упомянут Р. в его прощальном «Письме к друзьям» (Литературная учеба. 1990. № 1. С. 85).

С.В. Шумихин

САДОВОК Константин Иванович (1823 — дек. 1898) — директор *Нижегородской губернии мужской гимназии* с 1864 по 1881, затем помощник попечителя Московского учебного округа. О последнем назначении Р. писал в очерках «Русский Нил»: «Отличие для директора гимназии неслыханное и небывалое никогда! Действительно, он был очень умен. Деятелен, дальнзорок, предусмотрителен, влиятелен, и даже очень влиятелен, в городе. *Голос* его, авторитет его везде имел вес. В трудах он был неутомим. Гуманен. Но я имею грех, что почему-то никогда не любил его. Не любил просто потому, что боялся и что он был “начальство” Нужно его было передвинуть не на пост помощника попечителя, а прямо попечителя; тогда этот крепкий русский человек, обаятельно спокойный и ласковый, с железной волей и неустанный с утра и до ночи, несмотря на 60 лет, сделал бы очень многое для образования в семи или восьми губерниях, подведомственных московскому попечителю. Но в качестве “помощника” он должен был стать только зрителем тех проделок и гешефтмахерств, какие его начальник, граф, утонувший в долговых обязательствах, проделывал на своем “ответственном посту” с помощью правителя своей канцелярии. Мир праху их всех... Темное время, не любимое мною» (ОНД, 164). В автобиографической записи 1909 Р. вспоминал: «Директор — знаменитый К.И. Садоков, умница и отличный, в сущности, директор: но я безотчетно или, вернее, “бездоказательно” чувствовал его двуличие, всячески избегал — почему-то ненавидел, хотя он ничего вредного мне не сделал, ниже неприятного» (ОСЖС, 708). Еще раз Р. встретился с С., когда после окончания университета ему не нашлось места для службы. Его уговорили пойти за протекцией к С. как помощнику попечителя Московского учебного округа, который и предложил Р. место учителя истории и географии в женской прогимназии в

Брянске. Однако от волнения Р. не смог найти на карте России маленький город Брянск, что попросил его сделать С., но все обошлось, о чем Р. рассказал впоследствии в статье «Накануне дела» (НВ. 1901. 13 июня). В другой статье — «Из дел нашей школы» (*Новое Слово*. 1910. № 8) Р. вспоминал о директорстве С.: «В годы зрелости он показал себя удивительным человеком в управлении. Что такое “директор гимназии” в составе губернских властей, наконец в губернском обществе? Тусклое имя, а для общества — антипатичное лицо. Ни власти, ни значения, — кроме как над гимназистами. Но Садоков сумел, удивительным умом и тактом, необыкновенно поднять авторитет гимназии, всего гимназического, всех забитых ее учителей — и делая добро этим учителям, додумываясь активно и сам, как и какое каждому сделать добро, — и управляя всем без крикливости, гнева, без мелкой злобы, без тени мести, властительно, гордо, с оттенком какой-то благородной и прекрасной гордости. Между прочим, у него в Нижнем Новгороде не было ни капли робости, заискивания перед наезжавшими из Москвы ревизорами и сановниками: и ученики, как и учителя, подозрительным глазом замечали все это, и не могли не уважать своего великолепного директора <...> Между тем, чему просто не верилось, Садоков даже не был в университете. Он был семинарист, из старой “бурсы” Помяловского. И раньше директорства он был чем-то вроде инспектора народных школ в уезде и потом в губернии; может быть, год-два даже был простым сельским учителем где-нибудь в Макарьеве или Мискове. Город Нижний, с его огромным, богатым и, естественно, самолюбивым купечеством, с его многочисленным дворянством, выбрал его городским головою. И городские дела он взял в свои руки, твердые и прекрасные. И везде, где бы ни появился, он “правил”, а не разваливался на кресле. Встает рано — и все работает. И все с песенкой. У него был прекрасный голос, сильный и приятный, и, бывало, приходя в гимназию часов с восьми утра, он, идя по нижнему коридору, около учительских квартир, запевал громко что-нибудь и будил учителей... Или уже со вставшими заочно здоровался этим собственным способом. И никогда никто его не видел не только злым, но и унылым. Происходило это просто от напора энергии, творческих сил <...> Между тем изумительный такт и ум, да и чувство достоинства своего, наконец, достойное и горделивое поведение никогда никому не позволили даже подозревать, что он человек без университетского образования, и это знали только сослуживцы гимназии по послужному его списку. Как сумел бы он поклониться таким старцам науки, как тогдашние Буслаев и Тихонравов, как теперешний Ключевский; сумел бы деликатно дать университету свободу, без безобразия, и “автономии” (на деле) без ссоры с Петербургом. И все бы организовал, и все бы одушевил. Конечно, он не дал бы студентам, “своим бывшим гимназистам”, умирать с голоду, доходить до отчаяния. Но печальна Русь. Замечательный человек был позван на Москву, чтобы умирать... Умирать в тени, собственно, совершенно глупой пешки, над ним поставленной, но с титулом, красивыми бакенбардами и университетским дипломом, ни о чем особенно не свидетельствовавшим...» (ЗРП, 281–282).

Э.М. Фильченкова

САЛТЫКОВ Михаил Евграфович [псевдоним Н. Щедрин; 15(27).1.1826, село Спас-Угол, Калезинский уезд, Тверская губ. — 28.4 (10.5).1889, Петербург] — писатель. В 1912 Р. уверял, что «не читал Щедрина» (обычно он называет писателя именно так), ибо «в круге людей нашего созерцания считалось бы невежливостью в отношении ума своего читать Щедрина» (У, 212). «Щедрина никогда не читал, кроме “где попадется” (в гостях) страничку две» (КНУ, 503; ср. ЛИ, 183). Ни разу, по его свидетельству, не слышал Р. имени С. из уст Н.Н. Стрехова, П.А. Флоренского. О себе Р. писал: «Сам я постоянно ругаю русских. Даже почти только и делаю, что ругаю их. “Пренесносный Щедрин” Но почему я ненавижу всякого, кто тоже их ругает?» (У, 48). При этом Р. возмущали публикации, связанные с частной жизнью С., получившиеся в связи с 25-летием со дня его кончины (КНУ, 332–333). Р. принадлежит суждение, что «у Щедрина смех вышел неуклюжим, тяжелым, не легким; очень нужным по политическим обстоятельствам эпохи, как бы вызванным, вынужденным, но внутренне для самого автора трудным и мучительным» (ВДЯ, 342). Среди основных читателей С. — «чиновники, учителя, вообще люди с бородой» (ОПП, 244). Описывая картину И.Е. Репина «17-е октября», Р. особо отмечает, что «чиновник в форме», «громко поющий песню “о ниспровержении правительства”», «начитался Щедрина» (СХ, 400). Книги С. «министры почитывали не с меньшими слезами умиления, чем и гимназисты» (КНУ, 428). Тем не менее, судя по частоте упоминаний С. в сочинениях Р., с творчеством и биографией «совершенной копии Собакевича — гениального в ругательствах Щедрина» (ПЛ, 26) он был знаком неплохо. Р. даже высказал предположение, что истоки сатиры С. в том, что он — вице-губернатор, никак не могший дослужиться до губернатора» (ОПП, 430). Давая характеристику деятельности Н.А. Добролюбова, Р., отнеся С. к «третьестепенным дарованиям», объявил его «впавшим в смысл» критики Добролюбова «почти всеми» своими произведениями (ЛВИ, 237). Р. заявил, что у С. — «очень слабое образование (читал одного Писарева)» (КНУ, 305). В «Апокалипсисе нашего времени» Р. отмечал, что Д.И. Писарев, написавший «Цветы невинного юмора» (1864), «воскорбел и уличил Щедрина, что “тот занимается глупостями, вместо того, чтобы популяризировать “жизнь животных” Брема. Что же произошло. Писарев скоро ушел: но Щедрин, уже задыхаясь в старости, никак не мог избыть боли и страдания, нанесенного ему Писаревым. В подагре, седой, старый, весь больной — он все припоминал гражданский укор Писарева, и все оправдывался, почему он гражданственно писал о губернаторах, а не зоологически писал о Бреме. Почему “гг. Ташкентцы” выходили у него злее, чем “о расщепленной губе зайцев и кроликов”» (АНВ, 169). С историко-литературной точки зрения имя С. вошло для Р. в ряд деградации литературы: «Попали в печать, имеют вид литераторов. Якубзоны и Азовы стали на месте Щедрина и Успенского, как те стали на место Тургенева и Гоголя. Со ступеньки на ступеньку идем мы в гнилой погреб...» («Левым рептилиям» // НВ. 1906. 19 авг.; РГО, 134). В наброске «До какого предела мы должны любить Россию», датированном 1918, Р. писал: «Целую жизнь я отрицал тебя в каком-то ужасе, но ты предстал мне те-

перь в своей полной истине. Щедрин, беру тебя и благословляю» (ВНС, 384).

С.Ф. Дмитренко

САМАРИН Юрий Федорович [21.4(3.5).1819, Петербург — 19(31).3.1876, Берлин] — публицист и мыслитель славянофильского направления. Р. обычно не выделяет С. среди славянофилов: «*Хомяков, Самарин, все Аксаковы* и “все иже с ними”» (ОЦС, 36). «Вспомните-ка славянофилов. *Константин и Иван Аксаковы, Хомяков, Самарин* — они ли не православные?! Конечно, это православнейшие из православных» (РГО, 17). При этом Р. относит С. не к «ранним», а к «позднейшим» славянофилам (ЛВИ, 251). Иногда С. предстает у Р. в более широком ряду: среди сочувственно упоминаемых на фоне критики официального богословия «неканоничных» духовных писателей — от славянофилов до *Толстого* и *Достоевского* (РГО, 99). Упоминает он С. и как критика русского бюрократизма в Прибалтийском крае: «И мемуары, и литература хорошо знакомы с этою чертою нашей бюрократии, которую в свое время так сильно бичевали Ю.Ф. Самарин и К.С. Аксаков» (РГО, 348). Р. отмечает, что сочинения С., как и всех славянофилов, не получили широкого распространения: «У многих ли, часто ли вы видите полное собрание сочинений Ю.Ф. Самарина, когда в каждой небольшой библиотеке вы находите стихотворения *Алексея Толстого?*», объясняя это прежде всего тем, что «общество не любит и не хочет публицистики» (ЛВИ, 345). Среди тех, кто «плакались над судьбами русского богословия, Р. упоминает и диссертацию С.: «Проклопович и Яворский выражали: один — протестантские тенденции, другой — католические без всякого подозрения, что может быть русское направление» (ОЦС, 433). О *Вл. Соловьёве* Р. пишет: «Он вошел спокойно и твердо в следующий этаж религиозного знания, вошел сюда вместе с Хомяковым и Самариным, хотя и споря до гнева с ними. Это — уже все равно» (ОЦС, 436). Р. отмечает «попытки славянофилов (как Хомякова, Ю. Самарина) и самого Достоевского выяснить особенность и идею *Православия в истории*» (ЛВИ, 70). Р. позволял себе и критические отзывы о С. и других славянофилах. В набранной в 1900 «*Новым Временем*», но снятой с набора статье, спорившей с *А.А. Киреевым* об авторитете в католичестве, Р. заметил: «Нет, Хомяков и Самарин, подняв в книге знамя “любви”, тоже почувствовали себя довольно авторитетно, и, например, в известном предисловии Ю.Ф. Самарин прямо провозгласил Хомякова “Отцом церкви”, “вселенским учителем церкви”. Довольно много для журналиста и обыкновенного помещика» (ОЦС, 66–67). В полемике с защитником славянофильства Н.М. Соколовым Р. сочувственно цитирует гневное письмо о С. и его друзьях западника *Т.Н. Грановского* (ОЦС, 430). В статье «Пестрые темы» (РС. 25 мая. 1908), рассуждая о славянофильстве, Р. критикует их как идеалистов, создавших «идеальное обоснование консерватизма» для охранителей типа *М.Н. Каткова* или *Д.А. Толстого*, оно «сработало духовный панцирь», от которого отскакивали язвительные стрелы прогрессистов и свобододолюбцев: «Мы будем жить самобытными порядками», — идеальничал Аксаков, идеальничали Хомяков и Самарин. «Да, да, никаких европейских порядков нам не надо», — говори-

ли государственные мужи толстовского пошиба, заноса над *Россию* немецко-русский “Кпер”, “кнут”» (ВНС, 127). При этом Р. подчеркивает, что «лично славянофилы все были свобододолюбивы»: «Хомяков, все Аксаковы, Юрий Самарин — это были ее лучшие русские граждане, настоящие “*Минины* и *Пожарские*”, не хуже, не меньше. Россия, можно сказать, не рождала лучших сынов, чем эти просвещенные, патриотические люди» (там же). Р. упоминает С. как автора, раскрывшего «безнравственное учение иезуитов» (ОЦС, 426; РГО, 373). В 1911 Р. опубликовал рецензию на том 4 «Сочинений» С., в котором были собраны *труды* по крестьянскому вопросу (НВ. 1911. 30 сент.). Р. писал: «Издание едва ли найдет толпу шумных читателей, но оно будет необходимою во всякой серьезной библиотеке, для всякого государственного человека, для тех многочисленных и государственных и общественных деятелей, которые отдают жизнь и силы крестьянскому делу» (ТПРН, 260). Р. отметил, что тому «предпослано обширное предисловие Д.Ф. Самарина, которому принадлежит и самое издание, и его редакция». По мнению Р., С. «принадлежит к высшему типу наших государственников, тех государственников, не прислушавшись к голосу которых и не послушав совета их, пришлось чрез полвека отступить перед кричащей толпой и перед людьми, враждебными уже самому государству, самому, наконец, порядку и всякой правильной государственности» (там же). В рецензии на том 12 «Сочинений» С. (НВ. 1912. 3 янв.) Р. выразил недоумение, почему труды С. «издаются великолепно и странно: после IV тома <...> вышел прямо 12-й том, содержащий начало переплеса Ю.Ф. Самарина» (ПВ, 11). Р. отметил, что П.Ф. Самарин собрал 2170 писем своего брата, которые составят не менее пяти томов. Выделив наиболее ценные письма «из всей груды», Р. отметил, что они «обращены издателем не к читательской толпе, естественно к немногим читателям, главным образом к историкам русской общественности и русской государственности» (ПВ, 12). Р. считал судьбу С. трагической: «Самарин был вполне подданным великодержавного царя и вместе верующий гражданин в обстоятельствах полицейского самоуправления. Вся жизнь его поэтому была страданием, тем более ужасным, что он был просто — патриот» (там же).

В.А. Фатеев

САМКÓ Алексей Козьмич (1859–?) — педагог, директор гимназии в Евпатории. В письме к Р. от 10 апреля 1910 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 66. Л. 2–3) С. делился с писателем впечатлениями от обсуждения в Государственной думе положения русского старообрядчества. Педагога интересовала проблема истоков и перспектив материалистического мировоззрения. Большое значение в раскрытии этой темы он придавал лидеру московской философско-математической школы Н.В. Бугаеву. В связи с этим С. выступал с публичными лекциями, популяризирующими идеи Бугаева, «развенчающими материалистические тенденции» (Там же. Л. 3). «Вы — философ и самобытный мыслитель, — обращался к Р. педагог. — Если бы мне удалось заинтересовать Вас идеями Бугаева, Вы откликнулись бы несколькими печатными словами и для популяризации их сделали бы больше, чем десятки публичных лекций». К письму С. приложил

свой печатный труд — брошюру «Великая философская гипотеза. Н.В. Бугаев † 29 мая 1903» (Одесса, 1903).

А.В. Ломоносов

САНЖАРЬ Надежда Дмитриевна (урожд. Бриллиант; 1875, Новочеркасск — 10.2.1933, Москва) — прозаик и драматург из *Москвы*, сотрудница журнала «Образование». С письмом от 15 января 1910 прислала Р. свою книгу «Записки Анны» (СПб., 1910) с просьбой о свидании для ее обсуждения, поскольку в книге «затрагивается кое-что» близкое *темам* Р. (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 26. Л. 2). Судя по письму С. от 28 января 1910, Р. дал критический отзыв о сочинении: «поэзии нет», «тишины нет», «разума мало» (Там же. Л. 3). С. заявила, что ее произведения все соотечественники только «критиковали» и чуть не довели ее «до петли», что ее «душит нужда» (там же). В следующем письме она извиняется за резкие выражения в адрес Р. в предыдущих письмах и сообщала о завершении работы над сочинением «Заколдованная принцесса» (СПб., 1911) (Там же. Л. 5–6). Судя по письму С., писатель в резкой форме высказал все, что думал о назойливой корреспондентке. «Чего бы я только ни дала за то, чтобы вы все не выслушали мне больше таких страшных человеческих документов — ведь они выдают вас с головой» (Там же. Л. 8), — возмущалась С.

А.В. Ломоносов

САПОЖНИКОВ Михаил Иванович [23.9(5.10).1871, Саратов — 1937, Днепропетровск] — художник-символист. В начале апреля 1917 Р. был на выставке его картин, устроенной в зале Шредера (Невский, 52), которая представлялась ему «выставкой текущей *революции*» («Символическая выставка Мих.Ив. Сапожникова» // НВ. 1917. 12 апр.). «"Революция в штыхах", — пишет Р., — не так бы много сделала, а во всяком случае она не была бы так прочна и главное устойчива, если бы ей параллельно и с нею одновременно не шли революция в идеях, в образах, в *мыслях*, я думаю — скоро придет в *музыке*. В чем же дело, и как разъяснить словом? <...> Г-н Сапожников нарисовал, задумал борьбу собственно, между *язычеством*, что ли, и *христианством*, но выразил тихо, скромно и не скандально <...> В 12-ти картинах, собранных в одну серию "Предрассветные видения", — он изобразил борьбу старого хаоса, предтворческой мглы, — с молодым творческим утром, ну с восстающим *солнцем*, что ли, — с сотворяемым *человеком*, может быть, — с рождающимся дитятею — это сказать, пожалуй, будет всего выразительнее, удобнее и понятнее. Тут именно — космология, тут именно — мифы» (ВЧВ, 506–507).

А.Н.

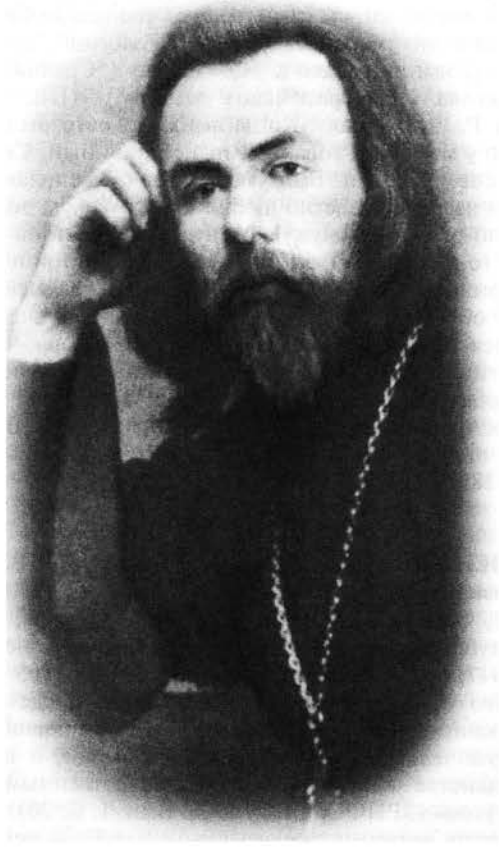
САРКИСОВ Сергей Иванович (ум. до 1911) — учитель греческого языка в прогимназии *Брянска*, сослуживец Р. В статье «Армяне-москвичи» (НВ. 1912. 24 февр.) Р. вспоминает его в связи с кончиной своего университетского товарища армянина Григория Абрамовича Халатьянца (1858–1912), профессора армянской словесности в Лазаревском институте восточных языков. Говоря об армянах, учившихся в *Московском университете*, Р. продолжает: «Халатьянец, умерший в Тифлисе и похороненный (вероятно, не без его распоряжения) в

Москве, Саркисов, Тандов <Тандьянц> (судя по его "воспоминаниям") суть прекраснейшие русские люди; в то же *время* вся их *жизнь* прошла в работе для Армении, с горячею и постоянною памятью о ней. Живую эту память, рассказы о *быте* армян, об армянских стариках, о народных песнях (где много говорится и о русских) я помню у Саркисова» (ПВ, 48). «Подробнее и дольше других я наблюдал Саркисова, но в армянах есть что-то общее родовое, и впечатление от других армян не расходится с впечатлением от него. *Буслаева* всегда Саркисов называл с энтузиазмом "богом филологии", применяя это же название только к <Ф.> Боппу ("Сравнительная грамматика индоевропейских языков")» (ПВ, 46–47). В 1911 Р. вспоминал: «Когда я в молодости был учителем, то у меня был товарищ, ныне покойный, Серг. Ив. Саркисов, армянин. Был умен, пылок, преподавал греческий язык. Беззаветно любил одну русскую *женщину*, увы (по-русски) — чужую жену. Был счастлив с нею. Был в то же время страстный армянский патриот; составил армянскую грамматику и сделал в ней некоторые новые объяснения <...> Он, почему-то, еще очень восхищался Верою в "Обрыве" *Гончарова*, говоря, что лучшего типа *девушки* во всемирной *литературе* не знает. Не скрою, что в свое время и я был "закружен" им. Да, думаю, что это и вообще — так» (СХ, 347–348). Возможно, речь шла о С. и *А.П. Суловой*, судя по письму Р. к ней в 1890 (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 311).

А.Н.

СВЕНЦИЦКИЙ (иногда Свентицкий) **Валентин Павлович** [30.11 (12.12).1881, Казань — 20.10.1931, Канск, Восточно-Сибирский край] — прозаик, драматург, публицист, священник Русской православной *церкви* с 1917; познакомился с Р. в конце января 1905. Р. считал, что С. — «яркий и выразительный представитель того религиозного движения», которое «ищет обновления *душ* человеческого путем *христианства*, и в самом христианстве — <...> церковным, царственным, средним путем» (ЗРПФО. СПб., 1908. Вып. 1. С. 30). Основной мотив печатных высказываний Р. о С. — неприятие его религиозного максимализма. В статье «Религиозные *голоса* в нашей смуте» (*Маленькая газета*. 1906. 18 апр.), являющейся откликом на «Открытое обращение верующего к Православной Церкви» С., он характеризует С. как «человека сильноно, искреннего и глубокого (каким я его видел)», но сугубо отрицательно оценивает призыв «облечься во Христа и облечь в Него *мир*», который не согласуется с пафосом «*любви* к человеку и *миру*», утверждаемым С.: «Все, что <...> с этой позиции он будет говорить, неизменно останется лишенным простоты, ясности и даже полного чистосердечия» (ОНД, 44). В статье «Непростительные пропуски» (НВ. 1907. 14 авг.) Р. упрекал С. и его сподвижников по Христианскому братству борьбы за стремление «ввести *Евангелие* в центр наличной политической борьбы». Но, подчеркивал Р., «все это — буйство личной филантропии», считая это «подменной своим личным "я" подлинной <...> воли Христовой» о необходимости повиновения *властям* (ОНД, 217–218). В статье «*Ибсен* и *Пушкин* — "Анжело" и "Бранд"» (РМ. 1907. № 8 — под названием «Наброски») Р. критиковал «культ личности и дела Бранда» (СХ, 259) в докладе С. «Религиозный смысл "Бранда"»

Ибсена» (СПб., 1907). Приняв «на себя роль вовсе неверующего» (СХ, 260), Р. доказывал, что «Бранд вовсе не “служитель Бога Вышнего”, а служитель грошového своего “я”» и даже «служитель Злого Духа» (СХ, 263). Отвечая Р., С. в статье «В защиту “максимализма” Бранда» (Живая Жизнь. 1907. № 2) определял полемическую манеру оппонента: «У Розанова всегда так: сначала при-



В.П. Свенцицкий

ласкает, потом укусит. Иногда наоборот: сначала укусит, потом приласкает» (Там же, 15). Выступая от имени Бранда, С. обличал розановского «неверующего»: «Вы боитесь не верить, вы лижете руки Господина, перед которым ползаете, и только тогда, когда вам начинает казаться, что Он отвернулся от вас, вы предательски исподтишка норовите укусить Его, как можно глубже и мучительней. Нет, вы верующий, — но с другого конца! <...> Вы не смеете сказать: Бога нет! Христа нет! Вы предпочитаете клеветать на Него <...> Как неблагодарный раб, шепотом ругаете своего Владыку, “злым бесом” за то, что он даровал Вам свободу» (Там же, 16). Р. продолжил полемику в статье «Еще о вечной теме» (НВ. 1908. 22 фев.), «с прискорбием» находя у С. проповедь «прикладной религии», т.е. связи идеи бессмертия души с уровнем общественной нравственности; Р. же эту связь отрицал: «Мы живем при повышенных ценах на говядину: ее набрали именно “верующие в загробную жизнь” мясники-торговцы» (ВДЯ, 364). В докладе «Ми-

ровое значение аскетического христианства» (РМ. 1908. № 5) С. обвинял Р. в клевете на аскетизм и «полном незнакомстве с предметом», а «вульгарное мнение», буд-то это «изуверское убийство плоти, враг всякой жизни, ненавистник тела», счел достойным проклятия. В ответном докладе «О христианском аскетизме» (там же) Р. утверждал: «Суть аскетизма — детоубийство, духовное или физическое»; церковных «святых» назвал «лжецами, лицемерами и злодеями», а цитируемые С. их слова: «Уничтожь искушения и помыслы — и не будет ни одного святого» свел к тезису: «Нет святости без греха» (ОНД, 312–313). С. и раньше отмечал: «Розанов не умеет слушать (и читать) чуждые ему мысли» (Живая Жизнь. 1907. № 1. С. 58), в ноябре же 1908 писал: «Вы мне, несмотря на резкое разногласие в религиозных чувствованиях, всегда были как-то безотчетно дороги <...> Прочтя Ваше письмо, я устыдился своей некоторой раздражительности против Вас <...> и я тоже буду как сумо любить Вас всегда и как сумею буду о Вас молиться» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 64). На письме Р. сделал помету: «Призывал к покаянию и аскетизму и завел гарем в Москве. Более обаятельного в речи — не слышал» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 98). В статье «В религиозно-философском обществе» (НВ. 1909. 23 янв.) Р. указывал на то, что С. обладал «тайной религиозного тона»: «Зал ему покорялся с первых минут речи, — и когда он был “в слове” или “был в духе” (что ему не постоянно было присуще), — он мог толпу вывести из собрания и повести за собою куда угодно. Публика слепнула, охватываемая каким-то духом. Не могу не верить, что этот за что-то исключенный недавно из Московского философского общества человек еще будет иметь свою судьбу» (СМР, 42). С. отрецензировал «Люди лунного света» в статье «Христианство и “половой вопрос”» (Новая Земля. 1912. № 3/4): «Никогда еще Розанов не высказывался о “метафизике христианства” с такой определенной ненавистью», «здесь однобокость и ложь доведены до последних пределов», хотя «одно из самых больных мест в официальной церкви (не в христианстве) вскрыто с поразительной глубиной», а именно «отсутствие в современном христианстве твердого и правильного отношения к физической любви, к половому акту» (PRO, 2, 135). Но, «правильно чувствуя святость половых отношений, Розанов доводит это чувство до лжи, своей чудовишной односторонностью, предлагая, чтобы вся половая сила уходила в деторождение, в многоженство, в “физику” И, благодаря этой лжи, мерзость нашего современного двойственного отношения к браку заменяется мерзостью еще большей, мерзостью розановской, кощунственной» (Там же, 136). Согласиться со взглядом Р. на пол равносильно «отказу от мировой истории» (Там же, 138).

С.М. Сергеев, С.В. Чертков

СЕРАПИОН (Воинов Сергей Иванович), иеромонах — преподаватель духовной семинарии в Уфе, затем пастырского училища в Житомире, представившийся Р., как «первый “ученый” монах после Машкина, не без общего с ним» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4214. Ед. хр. 16. Л. 2 об.; Машкин (1854–1905) — архимандрит из Оптиной Пустыни). Автор писем к Р. 1911, 1913, 1914 с приложением вырезки из журнала «Рассвет» со статьей епископа Андрея Уфимского. В июне 1911 С. выслал Р. свою

книгу «Христианство и культура» с просьбой о ее рецензировании. Он просил также о содействии в публикации собственной статьи в «Новом Времени» или в «Колоколе». 17 октября 1911 С. обратился в письме к Р., подчеркнув неоднозначное отношение к нему: «Неисправимый ругатель монахов, но все же задушевный философ, взрывающий корни бытия» (Там же. Л. 2). С. выразил желание написать ответ на книгу Р. «Люди лунного света», взяв за основу розановские тезисы: «Монашество — это “ненормальное” явление (ибо “нормально” вбирать в сем пищевые вещества и выделять из них семя — расти и плодиться), а потому нужно и всю жизнь построить на аномальных основах. Монашество — это надрыв, поэзия, переживание высшей сексуальности» (Там же. Л. 3). Судя по письмам 1913, Р. так и не уделил внимания рукописи статьи С., поскольку иеромонах вновь интересовал ее судьбой, подчеркнув также: «Интересуюсь, как Вы эволюционируете в направлении к Церкви. Как отнеслись к приписке Ваших слов к моим на послед. стр. моего сочинения (“Христианство и культура”))» (Там же. Л. 9). В письме от 4 марта 1914 С., не имея возможности ответить Р. в печати на его книгу «Апокалиптическая секта» со статьей о Г.Е. Распутине, передал основные свои претензии по поводу восторженных розановских оценок личности «сибирского странника». Иеромонах стремился «удержать» Р. «от дальнейших скороспелых заключений» о роли Распутина, рекомендуя получить информацию о нем у епископа Феофана (Полтавского), М.А. Новосёлова из статьи епископа Уфимского Андрея (кн. Ухтомского) «О ложных пророках современности» (Рассвет. 1914. № 7), приложенной к письму (Там же. Л. 6). Ссылаясь на Феофана, С. уверял Р., что тот «доподлинно знает», как «этот распутный странник целовался многократно с женщинами не только верхними губами, но и нижними. Через penis он разряжал свою “святую” энергию» (Там же. Л. 7). Иеромонах призвал Р. оберегать Церковь «от всякого рода хлыстов», и от «Распутинского царизма» (там же). К письмам С. приложены розановские заметы, отражавшие несогласие писателя с позицией корреспондента: «Иеромонах Серапион — о Распутине: но... “воззри сперва на себя” (“б.”). Во-вторых: не делал ли Давид и особенно Соломон с девицами того самого, что описывает о Распутине Серапион? Между тем один дал Псалмы, другой Экклез., Песнь Песней, “Премудрость” Распутин in facto ломает аскетизм. Не то (для Серапиона) важно, что он распутен, а то возмущает, как он при этом и молится. Как может молиться не “бия себя в перси”, а просто — молиться. Вот что всех взорвало»; «Серапион приложивший “чудные” фельетон и проповедь»; «Убогий» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 112).

А.В. Ломоносов

СЕРАФИМ [Мещеряков Яков Михайлович; 18(30).3.1860, Пензенская губ. — 7.5.1933, Ростов-на-Дону] — архиепископ Иркутский; в 1902–1911 епископ Полоцкий и Витебский. Р. откликнулся рецензией на магистерскую диссертацию С. «Еп. Серафим. Прорицатель Валаам. Кн. Чисел XXII–XXV. СПб., 1899» (НВип. 1899. 16 июня). Писатель отметил, что книга священнослужителя «наполнена богатым археологическим, филологическим и частью психологическим материалом. Лю-

битель Востока находит тут истинные «заливные луга» для чтения и для восхищения — то философского, то религиозного» (ВДЯ, 50). Особенно Р. поразила приведенная в книге С. покаянная молитва «Воздыхания кающегося сердца», найденная на аккадийской надписи и снабженная подстрочным переводом с ассирийского языка. Писателя восхитила психологическая свежесть текста, по которому «хоть бы и сейчас молиться» (ВДЯ, 51), поскольку он невероятно схож с «Покаянным каноном» Андрея Критского. Р. воспроизвел в заметке весь текст ассирийской молитвы. После газетной публикации рецензии Р. неоднократно указывал эту заметку в списках состава предполагаемого сборника «Во дворе язычников». В письмах к Р. 1914 С. протезировал литературным сочинениям игуменьи Нины, мать которой, О.С. Боянус, перевела на английский язык его магистерскую диссертацию (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4214. Ед. хр. 19. Л. 2). С письмом из Александро-Невской лавры от 30 сентября 1914 С. препроводил к Р. рукопись книги игуменьи «Дом молитвы». Письмо от 12 ноября 1914 содержало приглашение посетить иерарха в Лавре «16-го или 17 вечером в 7 час.», а также заверение, что «игуменья Нина представляет среди русских дев явление феноменальное во всесторонности образования и племенности альтруистических чувств» (Там же. Л. 4–4 об). Архиепископ покровительствовал ей с 1880-х, со времени преподавания в Самарской духовной семинарии. В 1933 С. был расстрелян в Ростовской тюрьме по обвинению в участии в церковно-монархической организации «Южно-Русский Синод». 31 мая 1990 митрополит С. реабилитирован.

А.В. Ломоносов

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ [Мошнин Прохор Сидорович; 19.7(1.8).1759, Курск — 2(14).1.1833, Саров, Тамбовская губ.] — преподобный старец-пустынник. 19 июля 1903 состоялось торжественное открытие его мощей в Сарове. «В пору, когда Пушкин писал “Руслана и Людмилу”, декабристы зачитывались Ламартином и Байрон пел “Чайльд Гарольда”, в эпоху конгрессов, Меттерниха, в эпоху начинающегося социального брожения, — в этих лесах жил человек, явивший изумительное воскресение тех тихих и созерцательных душ, какие во 2-м, 3-м, 4-м веках нашей эры жили в пустынях Ливии, Синая, Сирии. Ни один еще святой Русской земли так не повторил, но без преднамерения, неумышленно, великих фигур, на которых, собственно, как мост на своих сваях, утвердилось христианство» (ВТРЛ, 118–119). «Преподобному Серафиму дан был дар чудного прозрения в будущее, — ум вещей, а сам он был старец уединенных, безмолвных лесов» (ЛВИ, 532), — считал Р. Писатель был убежден, что именно С.С. и все православные святые — «суть — Руси» (М, 146). «Настоящий русский прогресс давали Сераф. Саров., Амвр. Оптин. Но мы не умели выслушать. И никто не мог понять. “Выпрямила”, — сказал впечатление от Венеры Милосской Гл. Успенский. Ну, мы северные жители. Серафим и Амвросий тоже “выпрямили” душу русского человека» (М, 93). «Святой “строит душу человека” как мужик складывает избу. “Не иначе!” Экстазов не надо, выкриков не надо: а подобен совет от разума и по молитве. “Тебя Бог устроил, а ты устрой меня”; или: “тебя Бог призвал, вра-

зумил, открылся тебе, в видениях и озарениях: а ты от всего этого богатства и милости Божией удели и мне, ибо я грешен, слаб, весь в поту, в пыли, в житейском, и мне Бог не открывается и открыться не может по черноте моей» (ТПРН, 241). По мнению писателя, С.С. святостью своего жития навечно остался в памяти народной. «Как были гениальны папы. Но это по-видимому. Русская церковь их умнее: и потому что никогда не посягала на ангельское место. “Все люди грешны”: это умнее



Серафим Саровский

“политики Ватикана” И “Ватикана” нам не нужно. Навечно не нужно. Проживем и в избах. И “шестидесятники” рассеялись, с переводом “Истории Шлоссера”. А старичок Саровский поставлен в икону. И теперь ему “не будет конца» (ПЛ, 174). Об «установленном и принятом везде <...> образе св. Серафима Саровского» (ТПРН, 238) Р. пишет: «Св. Серафим Саровский есть великое “служимое лицо” русской истории. На особом месте, в особом устройении, в совершенно особом виде, — но он несет ту “службу”, какую в другом виде и в другом месте несут солдат, мужик, всякого звания человек, от низин до последней высоты» (ТПРН, 241). «“Святые” Руси — великие “трудовики” русской истории: и так это принял народ, понял, утвердил. “Не иначе”, — говорит вихрастый плотник, кузнец, ямщик, пахарь» (там же). На иконе «лицо в высшей степени благостное <...> Нет ничего,

чего бы он в душе не благословил; нет ничего, с чем бы захотел бороться <...> Весь “лик” Серафима Саровского в высшей степени кроток, ясен и благ» (ТПРН, 239). По мнению писателя, образ выражает самые главные качества святого — «покорность, молитву и службу». Все «лишнее, случайное в биографии — отмечено. Изображался идеал, прототип; что “должно” и “ождается”; чему мы молимся. И вот это “несколько склонился” — взято в схему, в обобщение, в молитву. “Русская святость” есть несколько склоненная; “не спорливая святость»» (ТПРН, 239). Р. считал, цитируя Н.А. Бердяева, что «русская душа одинаково может гордиться и гением Пушкина и святостью Серафима. И одинаково обеднела бы она и от того, что у нее отняли бы Пушкина, и от того, что отняли бы Серафима <...> Св. Серафим ничего не творил, кроме себя, и этим лишь преображал мир» (ОПП, 635–637). «Жизнь вся полна спиритуалистических (“магнетических”, говорят) токов — город, улица, каждая семья. От них зависит “тяжелый дух” в городе, “тяжелый дух” у соседа, “легкий дух” <...> От Ницше, я думаю, на 3 версты кругом был “тяжелый дух”, от Серафима Саровского на 50 верст кругом лежал “легкий дух»» (М, 189). Р. был убежден, что надо бережно сохранять ту особенную благодатную местность, где жил С.С., где с «лучами из души» Преподобного «смешивались лучи солнца, свет луны, мерцание звезд» (М, 189). «Мне кажется, существо “отшельничества”, в первой и чистой фазе его, и заключалось в желании “уйти от греха” Ибо “грех” всегда является от замешательства обстоятельств, от столкновения их с лицом человеческим и лица человеческого с ними. Уединись — и станешь немного лучше. Уединись надолго — душа успокоится» (ВТРЛ, 119). Писатель сожалеет о том, что для торжеств открытия мощей С.С. с участием Государя «просекли и разработали инженерно большую дорогу туда: и, конечно, тропинка, которая раньше пролегла тут, бесследно исчезла — и исказился самый вид всей этой местности, на который Преподобный постоянно смотрел!! Между тем Государь именно не поехал, а пошел пешком!! На разрушение этой лесной и верно бесконечно милой тропинки я смотрю как на религиозное варварство, и — ненужное! <...> Между тем, вступая сюда, уже вступал прежний посетитель в созерцание Серафима Саровского, в его “житие”, столь исключительное, в его дух, в личность, в избравший эту местность вкус! Пятисотлетние, может быть восьмисотлетние сосны! Сосновые леса я всегда любил, за их душевность, за угрюмость и таинственный, о чем-то до-доисторическом говорящий, шум! <...> Здесь они были такие, что два человека не могли бы обхватить ствол» (ВТРЛ, 123). В серии статей «По тихим обителям» Р. поделился своими впечатлениями о поездке в Саров. В Арзамасе его поразило огромное количество «всевозможных больных, калек, слепых, парализованных, которых ведут или которые едут “к Угоднику” Собственное имя Серафима Саровского здесь уже не называют, заменив его нарицательным и обобщенным “Угодник”, в котором как будто больше силы и припадения» (ВТРЛ, 104). «Где же тайная их (святых) сила? Неуловимо, — размышляет Р. — Но Небо им что-то сказало. Лег знак Неба на чело их <...> Все с тех пор идут сюда. Это — особенное место, особенное лицо, не смешиваемое с мудрецами, с великими вздымателями волн

истории, как Гус, Иероним Пражский, Лютер. Здесь — все тихо» (ВТРЛ, 119). Пристально вглядывается Р. в лица паломников в обители — «всех тех, которые приходили к ним с горем, скорбью и умилением» (М, 146). По наблюдениям писателя, к мощам С.С. стремятся со своими надеждами и упованиями великое множество людей из всех классов русского общества. «— Не любят писатели России. — Ну, что же: зато любят святые. Щедрин не любил. Тоже и Гоголь с Мережковским. Но вот любил Дедушка Саровский. И пойдем с Дедушкой. А от Мережковского с Бонч-Бруевичем уйдем» (СХР, 85).

М.Е. Крылова

СЕРВАНТЕС Сааведра (Servantes Saavedra) Мигель де (крещен 9.10.1547, Алькала-де-Энарес близ Мадрида — 23.4.1616, Мадрид) — испанский писатель. Прислушав оперу Ж. Массне «Дон-Кихот», Р. писал в статье ««Дон-Кихот» в Народном доме» (НВ. 1914. 4 марта) о игре Ф.И. Шалапина, взявшего на себя роль Дон-Кихота и побудившего дирекцию театра двинуть на сцену эту оперу: «Сам Шалапин и несравненный Санчо-Панча дали великолепное зрелище благородного и героического. Как жалько, что дороговизна цен не допускает туда бедноты, — не допускает студентов, гимназистов, курсисток, гимназисток. Вот бы кому место здесь <...> «Сюда бы — юнцов, подростков глядеть на старого Дон-Кихота, на забытое рыцарство; выслушать в великолепном пении Шалапина святые слова, написанные Сервантесом» Это, действительно, святые слова — и Шалапин дал превосходный образ рыцаря, простого, чистого, немного безумного, ни на одну минуту не смешного, и в каждую минуту и во всяком движении только трогательного. Зрелище и слова особенно волнуют теперешнего зрителя, так как с утра до ночи и каждую неделю, и каждый месяц он чувствует, как прет в него спереди и сзади мешанинишка, холуй, плоскость и пошлость...». Сидя в опере, Р. думал о профессорах: «Ну, вот вы напишете о Доне-Кихоте длинную диссертацию, где деревянным языком соберете все комментарии, напишете сто ученых примечаний и заставите студента, курсистку и гимназиста учить на память ваши «примечания» <...> Никто не оглянется на тот разительный факт, что ведь теперь историю пишут или, вернее «составляют» и компилируют люди с тупым пониманием своего предмета, этих рыцарей, этих королей <...> Что понимает современный историк в святых крестовых походах, в рыцарских и духовных орденах, в тамплиерах, в иоаннитах?.. Ему бы добраться до «подушной подати перед французской революцией», до «пауперизма в последней четверти XVIII века» и до милых санкюлотов, которые пошли с кулаками, палками и кочергами рвать картины, разрушать замки и вообще основывать «блузу и пиджак» Бедный Дон-Кихот вовремя умер. Он стал «не нужен и непонятен» среди блузников и профессоров» (НФП, 277–278).

А.Н.

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РОМАНОВ [29.4 (11.5) 1857, Царское Село, Петербургская губ. — 4(17).3.1905, Москва] — великий князь — дядя императора Николая II, генерал-губернатор Москвы с 1891 до 1 января 1905. Р. пишет в статье «Убийство Великого князя Сергея Александровича» (НВ. 1905. 5 февр.) о череде «таких

преступлений, — увы, столь участвовавших за последние годы!» — о том, что они «превращаются в какую-то траурную хронику, становясь ежегодными и чуть не ежесекундными». «Несколько десятков лет революционная партия действует террором. Она организуется, она от-



Великий князь Сергей Александрович

крыто печатает прокламации, открыто публикует в своих листах «приговоры» и их «исполнение», она знает все, что делается в правительстве; на пространстве десятков лет мы не знаем случая, чтобы наша полиция предупредила какое-нибудь убийство, точно это не в силах человеческих». Р. дает этому объяснение: хотя «убийца есть разбойник при одних целях и палач при других — лицо, одинаково переносимое для мирных граждан», но тем не менее в этой ситуации «общество остается пассивным и ничего разобрать не может, что кругом его делается. Вот наша главная болезнь, главное зло». В заключение Р. пишет: «Погиб сын Царя-освободителя, погиб такую же насильственной смертью. Тень Александра Второго невольно встает перед нами с теми добрыми и великими делами, которые он совершил для России и которые закончить помешали ему убийцы».

Е.А. Семёнова

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ (Варфоломей Кириллович, около 1321, близ Ростова Великого — 25.9.1391, Троице-Сергиев монастырь) — церковный и политический деятель, православный подвижник, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря. Канонизирован в 1452. «Вся русская литература прошла мимо Сергия Радонежского. Сперва, по-видимому, нечаянно (прошла мимо), а потом уже и нарочно, в гордости своей, в самонадеянности своей. А он (Сергий Радонежский) — Есть!» (М, 146). По мнению Р., С.Р. — великий святой Руси, столь глубоко вошел в духовную жизнь русского народа, что без него, без знания его жития и его личности, невозможно понять душу России. Р. считал, что В.С. Соловьёв, который «лично и врожденно не имел множества

таких русских “жилок”, без которых просто невозможно усвоить всю полноту русской действительности <...> В ней нет тех “ветров буйных”, которые гуливали по Руси, и той “землицы”, в которую по пояс увяз Святогор-богатырь. Нужно ли говорить, что Соловьёву совсем непонятна была личность св. Сергия Радонежского <...> он построил и изъяснял тело России. Души ее он не коснулся» (ЛВИ, 569). Р. полагал, что «святые» на Руси — «есть самый главный факт русской церковной истории, стержень всего жития ее <...> Без “святых” русская церковь немислима. Как нет “святых” — всему крах. А есть “святые” — хотя бы один-два-три за век, — всё есть, цело, блистает, сияет» (ПЛ, 284). Р. полагал, что «русские же уже всегда, с тех пор как есть “Церковь” и в ней “святые”, — уже воочию зрят и зрили постоянно собственно действительно высочайший образец человечности» (там же). «Вот Сергий Радонежский. Вот Серафим из Сарова. Но это — не столько люди, сколько чудеса природы человеческой. Они “видели”, они “знают” Им “Бог был близок»» (КНУ, 480). «Что же такое святой? Да вот приблизительно такой “Лазарь болящий”, который “будет взят на небо” Образ святого показан в Евангелии, и Русь только “приняла” образ, ничего не выдумывая» (ПЛ, 284). Р. полагал, что отличительная черта русского святого — его молитва за весь мир, за ближних и за врагов. «А Церковь — Василий Великий и Иоанн Богослов. Тоже — Златоуст. Тоже Серафим Саровский и Сергий Радонежский <...> Дело-то в том, что святые не ссорились <...> “за разбойника” — и того молились <...> чтобы войны не было — тоже молились; и чтобы все люди помирились — тоже молились» (ЛВИ, 628). «“Что-то сказал” — “Что? — “Не важно, что, а — как сказал и кто сказал” “Даже промолчал, а только провел пальцами по щеке, — и я утешился»» (ПЛ, 285). «И прикосновение... и слова... и жесты: у святого все это — другое, чем у нас, потому что он сам — другой». «Русские люди и воспитались, видя “лицо святого” “В лице” уже все есть, все сказано? — сказано осуждение всякому греху, сказано поощрение всему добру. Отсюда русские люди, кроме “святого в живом”, так чтут “святые лики”, и “образа” и “иконы” “Лицо все скажет”, “все запретит”, “к праведному подвигнет»» (ПЛ, 285). Встреча со святым, по мнению писателя, как бы приподнимала человека над земной суетой, понимала ошутить небесную радость. «И вот идет русский мужик, русская старуха, “в грехах и болезнях”, “в страхе и недоумении”, к “святому в лес”: к преподобному Сергию — из Москвы, к преподобному Серафиму Саровскому — из Петербурга» (ПЛ, 284). Р. считал, что будущее благочестие ребенка, его судьбу определяет нравственное состояние и благочестие его родителей. «Как высоко Св. Церковь смотрит на брак, видно из того, что древними правилами церковными вменялось даже в обязанность всем желающим сочетаться браком готовить себя к принятию этого таинства постом, исповедью и причащением Св. Тайн (Кормч., часть II, гл. 50) <...> Плодом таковых-то браков и такового супружеского воздержания и являлись дети, рождение которых действительно можно назвать святым (напр., препод. Сергий)» (СВР, 439). Святость важнее грамотности, был убежден Р. «Нужно не просвещение, а посвящение. Не книга и грамота, а святой человек, святое ремесло,

честная торговля <...> А без книг можно вовсе обойтись. Строгонов без них нажил богатство, Петр, “по складам разбирая”, устроил Сенат и Синод, корабли; и учили в лесах Сергий Радонежский, Серафим Саровский и Амвросий Оптинский» (КНУ, 392). «Сергий Радонежский еще неизвестно, кончил ли бы классическую гимназию. Он только молча вышел из леса и благословил Великого Князя Дмитрия Донского идти в опасный и страшный бой с татарами. Могли быть и разбиты русские. Он благословил “в неведомое добро” Он стал на сторону “добра, которое в исходе и победе еще “неведомо”» (КНУ, 564).

М.Е. Крылова

СЕРГИЙ [Страгородский Иван Николаевич; 11(23).1.1867, Арзамас, Нижегородская губ. — 15.5.1944, Москва] — ректор Петербургской духовной академии, епископ Финляндский и Выборгский (1905–1917), местоблюститель патриаршего престола (с 1937), патриарх (с 1943). Под его председательством в 1902–1903 проводились петербургские *Религиозно-философские собрания*. На первом заседании РФС, в прениях по докладу В.А. Тернавцева «Русская церковь пред великой задачей»



Сергий (Страгородский)

епископ С. заметил: «Христианство не может отречься от неба, а не отрекаясь от неба, не может поставить во главу своего служения земное благополучие — “правду о земле”, но, изрекая свое исповедание небесного идеала, оно тем самым, конечно, произносит суд и о земном» (ЗПРФС, 26). На это Р. возразил: «Это очень, очень правдоподобно. Но если вникнуть в каждое положение преосвященного, то окажется, что они совершенно неверны. Монашество отрешилось от мира, устремилось к небу, в мир не является, а между тем миром управляет. Это, по-видимому, не противно самому принципу монашества, против этого не возражают и лучшие, святые из них. А разве это не есть прикрытие небесным земного?» (ЗПРФС, 27). На XXI заседании РФС 13 марта 1903 Р. представил доклад «Об основаниях церковной юрисдикции, или о Христе — Судии мира», в котором он коснулся «вопроса о насилии в деле совести, о насилии в христианстве» (ЗПРФС, 462). В конце заседания епископ С. подвел итог: «Прочитанный сегодня реферат Розанова не имел самостоятельного значения. По выраже-

нию В.В. Розанова, им были только развиты мысли, которые были высказаны на наших прошлыхгодних собраниях, — по вопросу о свободе совести» (ЗПРФС, 489). «Очень любили и уважали епископа Сергия (Страгородского, — скоро еп. Финляндского). Он был прост, мил, всем был друг. Я думаю, “с хитрецей” очень тихих людей. Но это — моя догадка. Так и на виду он был поистине прекрасен» (КНУ, 497). Р. неоднократно уважительно высказывался о С.: «У меня есть несколько друзей священников <...> Из епископов я могу назвать <...> Сергия финляндского <...> от которых, кроме приветливого и самого доброго отношения, личного или в письмах, я ничего не видел» (СМР, 195–196). Ровным и кротким отношением к воспитанникам известен был С., будучи ректором Петербургской духовной академии. Р. свидетельствует: «Среди коренных русских фамилий попадались немецкие и польские: но все они были православные, т.е. это были внуки и правнуки обрусевших немцев, поляков, литовцев. Они завязали связи с ректором и некоторыми профессорами Московской духовной академии; приезжали сюда, в Петербурге, искать “советов”, “разъяснений” и указаний у ректора здешней духовной академии, епископа Сергия (теперь епископ Финляндский), известного своим образованием, мягкостью и кротким христианским духом» (ОНД, 42). С. помогал и Р. в трудную для него минуту: «О доброте нашего духовенства: сколько я им корост засыпал за воротник... Епископ Сергей (Финляндский), знавший (из одного ему пересланного Федоровым письма моего) о “всем возмутительном моем образе мыслей”, — тем не менее, когда “друг” лежал в Евангелической (лютеранской) больнице после 3-ей операции, приехал посетить ее, и приехал по заботе митрополита Антония, вовсе ее ни разу не видевшего, и который и меня-то раза 2–3 видел, без всяких интимных бесед. И везде — деликатность, везде — тонкость: после такой моей страшной вражды к ним, и совершенно непереносимых обвинений» (У, 79).

А.Н. Стрижёв

СЕРГИЙ (Тихомиров Сергей; 1871, Новгородская епархия — 11.8.1945) — с 1896 инспектор, а с 1899 ректор Петербургской духовной семинарии, архимандрит, в 1901–1903 вице-председатель *Религиозно-философских собраний*, в 1905–1908 ректор Петербургской духовной академии, епископ Ямбургский (1905); с 1908 епископ Киотовский, с 1931 — митрополит Японский (PRO, 1, 150). По описанию З. Гиппиус, «злой, красивый монах с белыми руками в кольцах» (PRO, 1, 150). Р. дискутировал с С. в РФС на тему «Лев Толстой и Русская Церковь», отстаивая мысль, что «Толстой, при полной личности ужасных и преступных его заблуждений, ошибок и дерзких слов, есть огромное религиозное явление, может быть, — величайший феномен религиозной русской истории за 19 веков, хотя и искаженный» (ЗПРФС, 81). При этом Р. настаивал на необходимости развести при рассмотрении этого вопроса Синод и Толстого, как «явления разных порядков» (там же, 80). В письме от 7 марта 1902 С. благодарил Р. за «теплое слово» в свой адрес в рукописи газетной заметки «Интересное чтение» (НВ. 1902. 8 марта), которую писатель выслал духовному пастырю для предварительного ознакомления и возможной правки. «Ничего не смею изме-

нять», — был ответ С. (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4214. Ед. хр. 17. Л. 2). В одном из писем к Н.Н. Глубоковскому Р. назвал С. «проходимцем» (PRO, 1, 476).

А.В. Ломоносов

СЕРОВ Валентин Александрович [7(19).1.1865, Петербург — 22.11(5.12).1911, Москва] — художник. Р. познакомился с С. на собраниях редакции «Мира Искусства» у С.П. Дягилева. В статье о выставке «Мира Искусства» 1903 Р. отметил картину С. «Выезд Екатерины II на соколиную охоту» (1902): «Из картин Серова необыкновенно удачна “Екатерина II на охоте” Несмотря на миньютюрность рисунка, лицо Императрицы, уже в поздние года ее царствования, — дышит красотью и внутренней молодостью <...> И лоб, и глаза, и губы, то есть все лицо, все горящее в лице, — скрыто; но такое великое мастерство этого замечательного художника, что по одной линии скулы и бока подбородка не только угадываешь, но знаешь и лицо, и годы, и молодость, и счастье рыцаря <...> Страшная вершина, на которой и пробыть минуту — жутко и знойно, страшно и сладко, и всё это Серов сумел передать в позе человека, в связи лиц, мчащихся на охоту» (СХ, 216). Позже Р. писал об эскизе одной картины С. из того же цикла, увиденной им в редакции «Мира Искусства», как воплощении «универсально-любовнической» эпохи: «И вот в позе этих “верховых”, — особенно в приподнятых нервно коленях и в счастливых, юных, смеющихся лицах, — было столько “ухаживанья”, точно в глазах этих высоких особ не было “пяти частей света”, а лежала одна необозримая “часть света”, именуемая “Любовью”» (ОПП, 646). Не менее привлекательной среди работ С., однако, показалась Р. бесхитростная сценка крестьянской жизни под названием «Корова». По его мнению, «всё достигает высочайшего мастерства и есть истинно великолепный портрет народного быта» (СХ, 216). Не менее портрета девочки, доящей корову, восхищают Р. и «крестьянская коровенка, черная, с белыми пятнами с белой мордой, глупенькая и маленькая», и «портрет кошки: «Кошка также достигает высшей степени портретности. Между прочим, как она внутренняя сравнительна с коровой! “Я — вся наружу”, — говорит корова; “у меня снаружи ничего не рассмотришь: я вся внутри” — говорит собою кошка» (СХ, 216–217). Р. посвятил С. статью «Вал.Алекс. Серов на посмертной выставке» (НВ. 1914. 31 янв., 2 февр.), в которой назвал его «величайшим художником нынешнего царствования». «Я помню его постоянно бывавшим в редакции “Мира Искусства”» (НФП, 238), — пишет Р. Отметив, что искусство портрета в живописи С. занимает едва ли не центральное место, Р. утверждает также, что «только с чело века начинается в живописи истинно-трудное...» (НФП, 237). Р. описал известный портрет «Анна Павлова в балете “Сильфиды”» (1909): «И вдруг этот демон Серов, заготовив громадное синее полотно, темно-синее, такое некрасивое и грубое... не зарисовал его портретом, т.е. оставил синими только одни поля фона, а взял (для зрителя так кажется) мел, и этим хрупким, неверным, осыпающимся материалом повел в одну линию, одну элементарнейшую линию, откинутую назад ножку балерины Павловой, коротенькие юбочки, поднятые грациозно кверху обнаженные руки, — и “вполне сле-

лал” только головку... Голова, воздух, синева и ничего. “Ничего не сделано”: а идея танца выражена так совершенно, как нельзя более придумать <...> Серов в ответ повел осыпавшимся мелом и дал существенный и вечный ответ о балете и танцовщицах: — Их вообще нет, они только кажутся и влекут за собой мечту нашу» (там же). Этот символистский акцент на недосказанности наводит Р. на мысль, что С. «был страшно умный человек». Об автопортрете художника Р. пишет: «Видно, что Серов, как великий портретист, был прикован к своему лицу и задумывался об его особой тайне» (НФП, 238). Р. раскрывает эту «тайну» лица С., обыгрывая его фамилию, как «обыкновенность», отсутствие характерных признаков, «тусклость», «серость»: «Вы уже со всеми поздоровались, когда замечаете, что не поздоровались с “кем”-то или с “чем”-то одним, прямо против вас сидящим: это — Серов... Нет возможности заметить. Поистине, от “фамилии” его “суть” его: до того сер и тускл человек, что невозможно заметить. Ничего нет “обыкновеннее”». Борода — не большая и не маленькая, нос — не большой и не маленький. Господи, да что я описываю: нельзя описать. Невозможно. Как вы опишите, выразите “всё обыкновенное”?» (там же). Р. словно реставрирует психологию создателя автопортрета: «Серов “прикусил язык” перед такою темою. Она его кусала и мучила. “Как?! Стольких я нарисовал, а в себе — ничего нарисовать” Тогда, очевидно долго рассматривая себя в зеркало, он выразил себя через поистине великий автопортрет, с сигарою во рту. Тут же, около этого автопортрета, есть несколько других автопортретов, — и, очевидно, “передать себя” — мучило его. Но те все, сделанные и доконченные, надо выбросить, а оставить только этот, с виду и для первого взгляда как бы недоконченный, который до того схож с “живым Серовым”, что страшно смотреть. Он только кажется недоконченным, а на самом деле изумительно окончен. Суть лица и фигуры Серова заключается в тусклом оттиске природы: похоже, как травер, сделав портрет, — слабо его оттиснул, некрепко прижал прессом. “Лицо” вышло, с драгоценными чертами, но бледно, не ясно, без красок, без черни, без теней. Белый лист бумаги. В своем роде “ничего” Но, присматриваясь, видите, что тут “гиснуто” — Как жалко, что “не вышло” Из этого “не вышло” вдруг слышен голос: — Это я, Серов; к несчастью. Я “не вышел” А ум громадный. И полная вера в себя. Это — “сигара во рту”: “Я владею своим мастерством”. И взгляд тоскующий и умный: “Да, не вышел! не удалось!” Всё это он и выразил через страшно-матовый, тусклый тон портрета. Все усилия вы делаете всмотреться. Вам что-то точно мешает видеть. Вы злитесь на художника: “Зачем не кончил”? Но он окончил, слишком кончил через великий свой автопортрет... <...> И эту тайну себя, до того трудную, неизъяснимую — выразить! Великий мастер Серов, единственный...» (НФП, 238–239). П.П. Перцов считал, что эта статья Р. точно отражает положение С. в кружке «мирискусников»: «Очень близким к журналу человеком был Серов. Может быть, внутренне он значил даже немногим меньше, чем члены “пентархии”, но внешне он, как “лицо без речей”, как-то пропадал за другими. Это внешне от него впечатление очень верно передано в одной статье Розанова» («Литературные воспоминания. 1890–1902 гг.». М., 2002. С. 219). Прочити-

ровав посвященную С. статью Р., Перцов, замечает: «Сомнительно, чтобы это было от фамилии: отец Серова, автор “Юдифи” и “Вражьей силы”», при той же фамилии, был, видимо, очень яркой и даже боевой личностью. Но факт схвачен верно: Серов в комнате и был, и не был. Этот “матовый тон” не мешал ему, однако, принимать самое деятельное участие в жизни журнала и сильно влиять на его судьбу» (там же). Во второй части той же статьи Р. рассмотрел галерею серовских портретов и выделил из них портрет Государя Императора Николая II, поразивший его «необыкновенной простотой, естественностью и ясностью» (НФП, 239). Портрет М. Горького Р. рассматривает как изображение «буревестника» революции, обреченного, впрочем, на неудачу: «“Не справишься, — молодой орленок! Ведь ты уже с рождения был ранен. И полетишь невысоко и недалеко, скликай всех криком не столько могучим, сколько надорванным. И подыметесь за тобой надломленная Русь, — и тоже упадет” <...> Чахотка лежит в самой мысли» (НФП, 240). Позже, в статье «М. Горький и о чем у него “есть сомнения”, а в чем он “глубоко убежден”» (К. 1916. 2 янв.), Р. еще раз обратился к портрету писателя работы С. — «надлежащей подписью» к нему, по мнению Р., было бы сделанное А. Волжским определение Горького «наглым мастерским» (ОПП, 619). Внимание Р. привлек также популярный сюжет «Похищение Европы», которому С. «дал канон» для будущего. Р. относил С. к числу ведущих художников России: «У нас есть Репин, Серов, Васнецов, Малявин» (СХ, 142), но был, надо признать, способен отдать иногда предпочтение перед отечественными мастерами портрета даже модному некоторою время академику Францу фон Ленбаху: «Как я ни люблю “своих”, Репина и Серова, мне показалось, что Ленбах могущественнее их как портретист» (СХ, 143). Сравнивая писателей с великим преобразователем Руси, изображенным на картине С. «Петр I» (1907), Р. заметил: «Ни один писатель уже не смог так “ухнуть”, как державный Петр: и все бежали за ним мелким шажком, как на известной картине Серова сенаторы бегут за его великовозрастным шагом» (КНУ, 298).

В.А. Фатеев

СИКОРСКИЙ Иван Алексеевич (1845–1918) — профессор психиатрии Киевского университета, участвовал в качестве эксперта в деле М. Бейлиса, признав ритуальный характер убийства А. Ющинского. В письме к Р. от 24 февраля 1906 С. обозначил себя в ряду его «читателей и почитателей <...> оригинальной мысли и меткого слова» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3824. Ед. хр. 7. Л. 2). С указанным письмом С. отправил свою книгу «Психологические основы воспитания» (Киев, 1906, изд. 2-е). Р. посвятил одному из трудов С. рецензию «Медики в психологии (Проф. И.А. Сикорский. Всеобщая психология с физиологией, в иллюстрированном изложении)» (НВ. 1906. 31 мая). Р. подчеркнул, что «после первого “разбойнического” нападения на психологию медики в лице С. наконец-то “стали собирать факты”, чего не только не умели, но и горделиво не хотели делать метафизики» (ОНД, 36). Результатом этого процесса и явился исследовательский труд проф. С., «пример этого опыта в метафизике» (там же). Собрав факты о секте самозакрывающихся староверов, С., по мнению Р., так и не ра-

зобрался во всем этом духовном «вервии», «не вошел в эту богословскую путаницу, но он заботливо, умно, человеколюбиво поспешил в это несчастное и черное место» (ОНД, 37). Обращаясь к притягательной силе человеческого лица, Р. высоко оценил научные изыскания профессора в этой области. «Автор входит в мир поэзии, драмы, комедии и трагедии, чтобы следить за ходом ощущений и “логику” страстей; а фотография дала ему могущественное средство для сохранения выражений лица в известных, ярко выраженных стадиях психологической жизни <...> входит в мир физиогномики, “чтения души по лицу”, которое занимало уже древних, потом было оставлено “метафизикам-мыслителям” и теперь вновь привлекает внимание пытливых ученых» (ОНД, 38). Писатель особо отметил поразившее его утверждение С., что «оказывается, “душу” вырабатывает все в человеке, кости, мускулы, жир, рост, кровь, “грубость” и сухость, все, решительно все!!» (ОНД, 40). В книге «Темный Лик» Р. использовал материалы психопатологических исследований С. изуверских старообрядческих сект, применявших практику самоистребления. Раздел «Русские могилы» Р. снабдил своими примечаниями. Если С. квалифицировал аномальные явления как «болезнь страхи», то Р. выражал несогласие с самим методологическим подходом медика, предлагая отталкиваться не от психиатрии, а от психологии: «Сикорский ищет медицинских причин: были единственно религиозные причины, концепция “Земли и Неба” в Православии, но взятая не логически как форма и формальность, а динамическая — как вечный идеал!» (ВТРЛ, 223). В ходе дела Бейлиса Р. неоднократно ссылался в своих публикациях на экспертизу профессора, проведенную в ходе судебного разбирательства. «Мнение Сикорского <...> — подчеркивал Р. в статье “Важный исторический вопрос” (НВ. 1913. 26 сент.), — совсем не то, что рассказ простой деревенской бабы. Обвиняют не Бейлиса, а весь еврейский народ» (СХР, 294). Описывая поведение преступника в статье «Андрюша Ющинский» (Земщина. 1913. 5 окт.) Р. процитировал С.: «Кто-то прилежный, кто-то методичный, “без гнева и испуга” (слова проф. Сикорского в напечатанной экспертизе) наносил все эти язвы...» (СХР, 301).

А.В. Ломоносов

СИЛЬЧЕНКОВ Константин Николаевич (1869–?) — публицист церковных изданий, преподаватель Харьковской духовной семинарии, полемизировавший с Р. о принципах христианского брака. В статье «Из современных газетных толков о христианском браке (По поводу статьи В. Розанова в “Новом Времени”») (Вера и Разум. 1899. № 22. Ноябрь.) С. дал критический разбор богословских позиций, представленных Р. в оправдание облегчения развода в статье «О непорочной семье и ее главном условии» (НВ. 1899. 7 окт.). В указанной работе Р. критиковал забвение консисторским богословием людских страданий, умножающихся с ослаблением сложнейших мистических устоев семейных. С. подверг резкой критике два ключевых положения статьи Р., выступив против взгляда автора на нравственные и догматические основы христианского брака. «В основе брака, по мнению г. Розанова, лежат страсти», — отмечал С., возражая, что подобные «дифирамбы чувственной страсти» есть не что

иное, как попытки оправдать «грубейший эгоизм», с целью обоснования непостоянства семейных отношений (СВР, 140, 144–145). Богослов противопоставлял розановской апологии страсти другую скрепу семейного счастья — «разумное чувство», поскольку страсть «сравнительно быстро уходит, и если семейное счастье не разрушается, то ясно, что не страсть, вопреки видимости, лежала в основе его, а именно то разумное чувство, которое предшествовало ей и осталось неизменным» (СВР, 146). Возражения С. вызвали взгляды Р. на сущность церковного таинства брака, в котором писатель видел, в отличие от других таинств Церкви, не «пассивную», а «активную» роль человека. Р. полагал, что таинство церковного брака длится лишь до первого греха одного из супругов, поэтому и развод необходим с целью сохранения святости таинства брака. С. утверждал, что указание на мнимую «пассивность» человека в церковных таинствах исключает со стороны Р. верное понимание благодати Божией («сила Бога живого и всемогущего»). Статья С. получила поддержку на страницах церковного журнала «Странник», в котором он сам был постоянным автором (Странник. 1900. № 2). Анонимный автор статьи поддержал С., отметившего «крайнюю развязность г. Розанова в суждениях», и выразил пожелание, «чтобы почаше на страницах духовных журналов появлялась такая сильная отповедь превратным понятиям, посеваемым в обществе литературными лжебратиями о Христе» (СВР, 157). Признав богословскую критику не убедительной, Р. дал в 1900 «Ответ г. К. Сильченкову» в «Новом Времени», настаивая, что в вопросе о таинствах С. отстаивал «не учение церкви», а свое собственное. В статье Р. привел ряд новых ссылок на Св. Писание в подтверждение своей мысли об «активности» человека в таинстве брака. «Наиболее неправильным» мнением С. писатель считал «его учение только о формальном и почти словесно-формальном характере таинства» (СВР, 159–160). Всю полемику по данному вопросу Р. воспроизвел в своей книге «Семейный вопрос в России», дополнив ее «материалами к разрешению вопроса»: письмами А.П. Устынского, С. Б-ха, заметками из «Нового Времени», «Биржевых Ведомостей», «Церковного Вестника» и газеты «Юг». Сохранился ряд писем С. к Р. 1900 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 39). В ответном письме от 11 апреля С. извинялся за невозможность скорого подробного письменного ответа Р. из-за тяжелой болезни (Там же. Л. 2). В письме от 4 сентября богослов выражал «сожаление по поводу резкого тона», допущенного им в печатной полемике с Р. Причину резкости С. объяснял тем, что принял Р. «за представителя известного направления страшно» ему «несимпатичного, посильную борьбу с которым» он считал «своим долгом» (Там же. Л. 4). К письму С. приложил одну из своих полемических брошюр. Он также заверил Р., что принял к сведению его объяснения существовавшей для писателя личной проблемы с разводом. Письмо содержало также выражение сочувствия к правовому положению Р. и его семьи, в котором писатель оказался в результате второго брака на В.Д. Бутягиной. Но, в целом, С. отнесся к семейной проблеме Р. как к обычной ситуации постоянного «столкновения закона с личностью» и рекомендовал Р. «нести свой крест» (Там же. Л. 4 об.). Р. интересовали исследования С. о таинствах мистерий.

В книге «*Уединенное*» он упомянул о своем знакомстве с трудом С. «“Тайновидческое учение” и приготовление верующих к принятию в св. Церковь в первые века христианства» (*Вера* и Разум. 1901. № 4, 5, 7). «Ведь наши все “тайнства” суть открытые, совершаемые при дневном свете, при народе: и явно, что древние “тайнства”, которые хотели иногда связывать с нашими — хотели этого богословы (один труд, о *mysteria arcana* <тайная мистерия>, помнится г. Сильченкова, в «Вере и Разуме»), — на самом деле ничего общего с ними, кроме имени и псевдоимени не имеют» (У, 40). С годами у писателя прошло раздражение от полемики с харьковским богословом, что нашло свое отражение в *характеристике* С., приложенной Р. к его письмам: «Сильченков проф. семинарии. Редкая умница» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 81).

А.В. Ломоносов

СИМАКОВ Василий Иванович (1879–1955) — филолог-фольклорист, собиратель частушек, составитель популярных сборников «Деревенские песни-частушки Архангельской, Вологодской, Вятской, Ярославской, Новгородской, Псковской и Тверской губ.» (СПб., 1912–1914. 9 т., 12 вып.), а также патриотических брошюр с частушками про войну, немцев, казаков в годы *Первой мировой войны*. Автор писем к Р., в которых выражал поддержку позиции, занятой Р. в деле *Бейлиса*. В письме от 2 апреля 1914 С. выражал желание увидеться с Р., а также предлагал свою помощь в реализации тиражей его книг в *Москве* через магазин К.Ф. Некрасова (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 65. Л. 2). В письме от 14 мая 1914 благодарил Р. за возможность ознакомиться с книгой *П.А. Флоренского* «Собрание частушек Костромской губернии Нерехтского уезда» (Кострома, 1909) из *розановской библиотеки*, а также выразил желание приобрести книгу у автора (Там же. Л. 4).

А.В. Ломоносов

СКАБИЧЕВСКИЙ Александр Михайлович [15(27).9.1838, Петербург — 29.12.1910(11.1.1911), там же] — критик и историк литературы. Р. упоминает имя С. в негативном ключе. Литературные критики западнического толка (в том числе и С.), с точки зрения Р., «к идейному содержанию нашего общества, насколько оно уже сказано, и гораздо лучше, другими людьми <...> не прибавили ничего» (ЛВИ, 180). Собрание сочинений С., в представлении Р., одно из свидетельств «окончательного вырождения западничества и либерализма» (ЛИ, 265). Р. обвиняет С., в числе других западников, в гонениях на славянофилов (ПЛ, 270) и солидарен с цитируемым им *В.М. Дорошевичем*, считавшим, что литературная критика (в частности, С.) «затравила» *Чехова*, «связала крылья художнику», в «Острове Сахалине» «лишила *Россию* произведения, наверно бы равного “Мертвому Дому”» (ОПП, 177). По убеждению Р., русская литературная критика в 80–90-х XIX в. «превратилась в лице Скабичевского, *Шелгунова*, отчасти *Н. Михайловского*, положительно в хулиганство, “сад терзаний” (или “мир пыток”, в Китайском Дворце) *русской литературы*» (ВНС, 380). Р. отказывает С. в таланте и оригинальности, он убежден в том, что в этом литераторе «не было внутреннего материала для критики»: «Ну что бы о *Тют-*

чеве написал Скабичевский? <...> Ничего! Горестное ничего» (ОПП, 627). Сопоставляя догматическое богословие с текстом *Евангелия*, Р. пишет: «Ведь это все равно, что вместо *Пушкина* читать какое-то рассуждение Скабичевского о Пушкине: одно и то же, но только хуже, беднее, в нищенском безобразии» (ОЦС, 481). Глубокая антипатия Р. к С. проявляется в размышлениях о *Ф.И. Буславе*, головы которого «дождалась Россия два века <...> Конечно, Буслаев не прочитал ни одной строки из Скабичевского или Михайловского и почел бы величайшим унижением что-нибудь знать о нем, кроме носящегося в воздухе имени» (КНУ, 550). С., утверждает Р., никогда не стал бы писать о тех, кто «делал Россию» (о Стrogановых, например). Он в числе многих других писал «о *Дарвине*, обезьянах и классовый борьбе», в результате чего «“книги в России” перестали “говорить о России”» (КНУ, 592). В статье «Интересные размышления Скабичевского» (МИ. 1901. № 6) Р. подверг резкой критике его работу «Об аскетизме» (РМ. 1900. № 10, 11). Он был удивлен тем, что С. взялся рассуждать на эту тему, занялся делами, «совершенно ему несвойственными» (МИ, 319). Сопровождая обширные цитаты из статьи С. краткими остроумными комментариями, Р. демонстрирует некомпетентность С. в религиозных вопросах и опровергает его вульгарно-упрощенное представление об аскетизме как о «психической болезни», которая «напоминает перемежающуюся лихорадку, или еще того лучше — запойное *пьянство*» (там же). Р. противопоставляет «интересным размышлениям» С. свой взгляд на явление аскетизма, подчеркивая опасность «духовной прелести», *греха* гордыни для человека, удаляющегося от *мира*. По убеждению Р., «аскетизм — духовная гордость, “прелесть воображения”, обольщенная *совесть*» (МИ, 323).

Л.В. Суматохина

СКАЛДИН Алексей Дмитриевич [15(27).10.1889, дер. Корыхново Новгородской губ. — 18.7.1943, лагерь Карлаг] — поэт, прозаик. В 1941 репрессирован и погиб в лагере. В 1908–1914 участвовал в заседаниях *Религиозно-философского общества*. В 1913 опубликовал статью «Затемненный лик. (По поводу книги В.В. Розанова “*Метафизика христианства*”)» (Труды и дни. 1913. № 1/2), которая получила высокую оценку *Вяч. Иванова*, рекомендовавшего ее к печати. Статья написана в форме полемических примечаний к отдельным положениям книги Р. «*Темный Лик. Метафизика христианства*» и «*Люди лунного света*», отсюда ее фрагментарность. С. отмечал, что его статья не «специальная рецензия»: в ней он рассуждал по поводу розановской книги, вполне отдавая себе отчет «в весьма разнообразных степенях приближения к первоначальному поводу — теме книги — и удаления от него» (Труды и дни. 1913. № 1/2. С. 89). Рецензент считал розановскую книгу «глубоко интересной» и именно поэтому «пугающей», опасной. Предупреждая о том, что «умный Розанов может найти себе учеников не только глупых и бесталанных» (с. 89), автор статьи видел свою цель в опровержении его взглядов. С. не принял розановскую формулу «самодовлеющий пол». С его точки зрения, абсолютизировать пол, ставить проблему пола вне связи с краеугольной для данного верования идеей спасения *мира* Христом, как это делал Р.,

все равно, что дилетантски рассуждать о «самодовлеющих» ямбах и хорях, не видя их служебной роли, не понимая, что взятые сами по себе стихотворные размеры еще не есть поэзия. «Во Христе пол мучителен, но в Нем же и разрешение этого вопроса вопросов» (с. 91), — полагал С. До Христа мир был хаотичен, «только с Христом явилась уверенность в победе над миром», до Христа души праведников шли в *Ад*, «ибо прежнего, Адамова

женщину «рожать бесконечно», за нежелание признать в ней половину «единого», за «постоянное влечение к гарему (в книгах)» (там же). Автор статьи считал ошибочным «полное отделение одного пола от другого в том, что может быть общим» (там же). «Дьявольский цинизм» рецензент усматривал в адресованных Христу упреках, что Он не женился, в непонимании Розановым того, как «отвергающийся женщин не отвержен от Жены» (с. 105). С. не согласился с идеей розановской книги, заявленной в ее названии: не Христов Лик — темный, «затемненным» его увидел автор «Метафизики Христианства». Его книгу С. назвал «темным симптомом». Идеиные расхождения с Р. не помешали С. в 1914 выйти из РФО в знак протеста против изгнания из общества Р. В декабре 1922 С. был арестован. Во время судебных разбирательств, отвечая на вопрос обвинителя, как «получив образование в церковно-приходской школе», он стал «человеком, весьма компетентным в области искусства», С. назвал имена тех, кому был обязан своим развитием (Вяч. Иванов, Л. Шестов, А. Блок, Д. Мережковский и др.); среди них он особо выделил Р.: «своеобразный, весьма противный, циничный, но все же талантливый Василий Васильевич Розанов» (Стихи. Проза. Статьи. Материалы к биографии / Сост. Т.С. Царьковой. СПб., 2004. С. 415).

Т.Н. Фоминых



А.Д. Скалдин

Рая, уже не существовало, и нового, Христова, еще не было. Христос же по смерти своей извел души усопших из Ада» (с. 93). «А если Христова Рая нет, на что мне самодовлеющие ямбы и хорей, на что мне самодовлеющий пол?» (с. 93), — риторически вопрошал рецензент. С. недоумевал относительно розановского неверия в чудо; отсюда, считал он, недопустима — «медицинская» — постановка вопроса: «Была ли Богородица Деву?» «Если можно зачать от Духа Свята, то можно и родить, оставаясь физически девою» (с. 96), — писал автор статьи. Он оспаривал утверждение Р. о том, что «веселый христианин» так же невозможен, как и «круглый квадрат» (с. 97). С. удивлялся, как можно «подозревать Христа в том, что Он творил чудеса ради уловления в свои сети сердца человеческих». Критик замечал: «Христос не Чичиков, и мертвых душ ему не надобно» (с. 100). Для С. было неприемлемо розановское отношение к женщине. «Розанов — враг женщины» (с. 103), — утверждал С. и порицал его за стремление заставить

СКАЛЬКОВСКИЙ Константин Аполлонович [8(20).4.1843, Одесса — 6(19).5.1906, Петербург] — административный деятель, публицист, театровед, сотрудник «Нового Времени». В примечаниях к книге «Литературные изгнания» Р. вспоминал: «Однажды в редакции “Нового Времени” на мои слова, что “государство наше всегда было бездушно к наукам, к книгам”, Скальковский сказал, побрякивая часовой цепочкой, но страшно серьезно: “Полноте! Правительство наше столько сделало для училищ, оно представляет такую непрерывную заботу об ученике и книжке, что если бы общество и родители, города” и пр. ...Не помню окончания речи: смысл был тот, что школа основывается — бездна, а в них — не учатся (ученики, семья, общество, город). Я опешил: действительно, напр, в г. Белом, где волки разорвали свинью между собором и клубом, были: 1) VI-классная мужская прогимназия, 2) III-классная женская прогимназия, 3) духовное училище (прогимназия семинарии), 4) городское училище. Чего еще? Кому? Вообще, взгляд Скальковского (К.А.), который был не только остроумен, но и чрезвычайно умен <...> — взгляд этот, конечно, справедлив; конечно, в отношении “наук” и просвещения правительство наше всегда было честно, заботливо, и шло куда впереди “земства”, “общества” и “курсисток”, “Григория Петрова” и “А.Ф. Кони”, которые были всего только “стриюкские” (термин Достоевского) около просвещения, шумевшие, но которым бы никогда Эрмитажа не собрать, а собрали бы они всего-навсего “библиотечки по-Рубакину”» (ЛИ, 103).

А.Н.

СКВОРЦОВ Василий Михайлович [12(24).1.1859, село Спешнево, Данковский уезд, Рязанская губ. — 2.5.1932, Сараево, Сербия] — чиновник Синода, публицист, редактор-издатель журнала «Миссионерское

Обозрение» (1901–1917) и газеты «Колокол» (с 1906–1917). В некрологе К.П. Победоносцева (РС. 1907. 13, 18, 27 марта) Р. отметил: «Глаз миссионера везде подглядывал, обвинял и доносил, а нити всего этого, через посредство известного В.М. Скворцова, “чиновника особых поручений при обер-прокуроре Св. Синода” и редактора полуказенного, полуказанного “Миссионерского Обозрения”, собирались в крепкие, мясистые пальцы К.П. Победоносцева. Не в переносном, а в буквальном смысле, или, лучше, и в переносном, и в буквальном смысле, В.М. Скворцов был “истинно русский человек”, с коротеньким катехизисом в голове, где генералы в звездах перемешивались со святыми “угодниками” в золотых венчиках на голове и все образовало такую “поклоняемую” толпу и кучу из “святых”, сановников, мошей, окладов жалованья, небесного царства, казенных квартир, благодати, целебной святой воды, обязательной подписки на журнал <...> какой, вероятно, никогда не было видно на Западе, но которая довольно точно воспроизвела или воскресила Византию VII–IX века...» (ЛВИ, 518–519). «В.М. Скворцов был “немудреный человек”, где все это уживалось без всякого противоречия и с полной искренностью и горячностью каждого порознь элемента <...> Через миссионеров, которые находились в живых и личных связях с В.М. Скворцовым, а сам он находился в постоянных сношениях с К.П. Победоносцевым, этот последний взял в личное наблюдение все необозримое духовное сословие России, давая на него в каждой точке, где нужно...» (ЛВИ, 519). «Скворцов (Вас.Мих. Миссионер) на всякую характеристику себя, на всякие сплетни о себе, на всякую насмешку над собой может ответить: Чту же, таков русский человек. — А попробуйте-ка вы в корне отрицать “русского человека”: никуда не выкинетесь “на берег”» (М, 98). «Этот Василий Михайлович во всем красочен. Дома (я слышал) у него сделано распоряжение, что если дети, вернувшись из гимназии, спросят: — “Где папа”, — то прислуга не должна отвечать: “барина нет дома”, а “генерала нет дома” Это, я вам скажу, если на Страшном суде Христовом вспомнишь, то рассмеешься. Василия Михайловича я всегда почему-то любил. Защищал его перед Толстым. И чту поразительно: он прост, и со всеми прост, не чванлив, не горд, и вообще имеет “христианские заслуги” Неразрешим один вопрос, т.е. у него в голове: какой же земной чин носят ангелы? Ибо он не может себе представить ни одного существа без чина. Это как Пифагор говорил: “нет ничего без своего числа” А у В.М. — “без своего чина”, без положения в какой-нибудь иерархии» (У, 24). Свято ли церковное управление? На этот вопрос Р. отвечает так: «Обряд церковный весь свят. Но управление церковное давно уже не свято. И “постановления” высшей церковной власти несколько не равнозначны догматам и оспори мы как все человеческое и обыкновенное: ибо составляются и произносятся в обыкновенном человеческом порядке. Между тем все силится приравнять “постановления Синодального управления”, в основе коего часто лежит доклад Скворцова или личный пыл Антония Храповицкого, к чему-то непререкаемому, священному. Тут есть путаница и неясность» (СХР, 83–84). Примешивается тут и чувство наживы, она предусмотрительно распределяется «по чинам»: «Нет, что Василий Михайлович, выдав-

ший “из-под Колокола” двух дочерей хорошо замуж, — о чем сейчас же рассказали в газетах и рассмеялись в газетах. Василий Михайлович — цыпленок и пансионерка. Крупные дела делаются “с медом и акридами” на устах, в старой поношенной рясе, “незвирая на женщин” и “глаголом прожигая людей”» (КНУ, 404). С. стоял у истоков *Религиозно-философских собраний в Петербурге*. Он испрашивал у Победоносцева дозволения открыть их действие — «и замечательное общество стало действовать». В то же время: «Достаточно было бы Скворцову “во всю” шепнуть П-ву, что он там слышит и каков дух собраний, знаменитое “направление” их, и они были бы немедленно закрыты. Но у всех было какое-то доброе расположение немного “скрадывать” истину, — и всеми силами хранить собрания. Хотя грозных явлений и, главное, “сил про запас” было очень много, и нельзя сказать, чтобы это понималось духовенством. А еп. Антонин, и Сергей <Страгородский>, и Скворцов, — конечно, все видели и знали. Но Скворцов немного был влюблен в З., и хитрая З. этим пользовалась. “Ну, Василий Михайлович, вы скажите” “Ну, В.С., вы уговорите”, и Вас.Михайлович, которого манило быть “душой” такого просвещенного и передового кружка, — и спешил, и уговаривал, и просил. Он был вполне джентльменом и рыцарем их, и это нужно сказать к его чести и вполне серьезно. Я думаю, он тоже скучал своей “миссией” и ему нравилось быть в толпе шумящих и несговорчивых людей. В нем есть богатый дар дружбы и теплого соседства. А “сектантов” и всяких “богородиц” он видал много и ему никакой “черт” не был страшен. Его поведение было вполне прекрасно. Сговорчиво, скромно, хлопотливо в нашу пользу, в сущности — очень ответственно и даже раскованно. Он, несомненно, чуть-чуть предавал свое Ведомство (очень любя его, и хорошо любя) и свою “миссию”, — просто ради хорошей компании и по безотчетному доверию к будущему» (КНУ, 498). О попытке изгнания Р. из *Религиозно-философского общества* С. писал в статье «Прогрессивная нетерпимость» (К. 1914. 19 янв.). В статье «Правдолюбивый писатель» (К. 1916. 16 дек.) С. говорит о Р.: «Розанов — человек неподдельной искренности, высокого правдолюбия, без позы и фарисейства».

А.Н. Стрижнев

СКОТТ (Scott) Вальтер (15.8.1771, Эдинбург — 21.9.1832, Абботсфорд) — английский писатель. На исторических романах, считал Р., всегда лежит «пленка могилы» — «у В. Скотта, у Золя (“история Ругон-Маккаров”), даже у Пушкина в “Дубровском” и “Капитанской дочке” — у Толстого ее нет нигде, нигде удивительно» (ОПП, 234). Историческому роману Р. противопоставляет «роман живых людей» (там же). Во время поездки по Германии в старинных замках Р. видятся «рыцари в латах, шлемах, забралах, точь-в-точь каких описывает Вальтер Скотт» (ЗРП, 241). Р. высоко ценил исторические романы С.: «Я вспомнил “Айвенго” Вальтер-Скотта и длинное, чудесное описание там турнира. Не будь его, что бы мы знали по учебникам и даже по большим историям о турнирах? Пять сухих строчек, без крови и красок, что были “рыцари” (следует изображение процедуры посвящения в рыцари) и что они “сражались на турнирах” (приложена картина рыцарского коня в пол-

ном убранстве и доспехов рыцарских). Больше ничего. Т.е. в словаре нашем было бы больше двумя словами, — и никакого лишнего понятия» (КНУ, 52). О другом романе С. он пишет: «По роману Вальтер-Скотта “Эдинбургская темница”, да и по собственным комментариям Карлэйля к собранным и изданным письмам Оливера Кромвеля, мы можем судить, какие в самом деле люди сделали эту реформу и вместе преобразование политического строя Англии» (ВНС, 259).

А.Н.

СКРЯБИН Александр Николаевич [25.12.1871 (6.1.1872), Москва — 14.4.1915, там же] — композитор, стремившийся объединить *музыку* с религиозно-мистериальным действием, которое должно было служить преображению *мира*. С. и Р. не встречались. Существует отклик Р. об «одном знаменитом русском музыканте», которого он, наряду с *Сократом*, *Шопенгауэром* и *Шекспиром*, защищает от обвинений в умопомешательстве («Нечто из тумана “образов” и “подобий” Судебное недоразумение в Берлине» // Весы. 1909. № 3. С. 59; СМР, 73). Статья Р. писалась во время приезда С. из-за границы, его гастролей в *Петербурге* и *Москве*, где исполнялись новые произведения («Поэма экстаза»), разделявшие публику на восторженных поклонников и яростных отрицателей этой музыки. О композиторе-новаторе ходили слухи как о сумасшедшем, что и позволяет отнести реплику о «знаменитом русском музыканте» к С. В «Поэме экстаза» (1907), передающей через музыку творческий процесс, композитор стремился изобразить космическое «слияние мужского и женского начала, духа и материи» (Морозова М.К. Воспоминания об Александре Николаевиче Скрябине // Федякин С.Р. Скрябин. М., 2004. С. 527). Самый «Вселенский экстаз» рассматривался им как возвращение к Единому через космический Эрос. В этих идеях обнаруживается сходство с *мыслями Вяч. Иванова* об экстазе, как необходимейшей составной части дионисийского культа, а также с прозрениями Р. о космической и религиозной сущности *пола*, где соединение полов и момент *зачатия* сопоставляется с моментом Творения и рождения Божественного Слова. В рождении некоторых *тем* из своих звуковых прообразов, характерных для «Поэмы экстаза» и некоторых последующих произведений, С. выразил на *языке* музыки идею, сходную с идеями Р. об окружающем мире, как части мира потенциалов — незримых форм существующих около зримых. Вместе с тем метафизическое наполнение музыки С. привело к изменению его гармонического *языка*. В позднем *творчестве* композитора нет привычного для европейского слуха разрешения диссонансов и возвращения гармонического плана произведения в тонику, отчего рождалось впечатление, что его сочинения не заканчиваются, но «прекращаются». Подобное же впечатление производила на современников фрагментарность «*Уединенного*» и «*Опавших листьев*», состоявших из «незаконченных» отрывков. И в том, и в другом случае сказалось стремление к высшему единству, которое содержится не во внешней завершенности произведения, но во внутренней самодостаточности запечатленного мгновения. При этом Единое проглядывает и за всей суммой отрывков Р. (Главизна мира. У, 370), и за суммой произведений С. (задуманная им «Мистерия», —

религиозное, всечеловеческое действие, призванное изменить мир, для чего оно должно было вобрать в себя всевозможные виды *искусства*, как существующие, так и пока не существующие: музыку, светомузыку, хореографию, «симфонию запахов», «симфонию *вкусов*») Апокалиптические ощущения конца старого мира, воспринятые космогонически, выразились и в поздних произведениях С., начиная с поэмы «Прометей» (1911), и в поздних работах Р. особенно в *книге «Апокалипсис нашего времени»*.

С.Р. Федякин

СЛАТИНА Елена Викторовна (наст. фам. Плачковская) — актриса Мариинского *театра*. *Письмо* С. от 13 марта 1915 Р. выражало горячую благодарность за положительный отзыв о ее выступлении в статье «50-й (юбилейный) патриотический концерт *М.И. Долиной*» (НВ. 1915. 13 марта; НФП): «Читая эти дорогие строки (дорогие, потому что писали Вы) мне хотелось Вас крепко, крепко расцеловать, что я и сделаю в это воскресенье» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4216. Ед. хр. 14. Л. 2). К письму Р. приложил *характеристику* певицы: «Елена Викторовна Слатина (опера) прелестна, и с дочерью, в *уме*, простоте и скромности своей» (Там же. Л. 1).

А.В. Ломаносов

СЛОНИМСКИЙ Леонид-Людвиг Зиновьевич (1850 — 12.1.1918, Петроград) — публицист, экономист; сотрудник журнала «*Вестник Европы*». В заметке о *книге* Р. «*О понимании*» С. в резкой форме отверг позицию Р.: «Понимание, как нечто независимое от *науки* и *философии*, стоящее вне и выше их, более несомненное и обширное, чем оне, — это просто логический абсурд» (Вестник Европы. 1886. № 10. С. 851). Р. опубликовал статью «Литературно-экономический “кризис”» (НВ. 1897. 23 сент.), анализирующую позиции неомарксистов в *России* и ставшую откликом на статью С. «*Карл Маркс в русской литературе*», которую он назвал «любобитной и здравомысленною» (ЛВИ, 268). Исходя из нарисованной критиком картины и поставленного С. вопроса: «Сколько теоретического ослепления, сколько предвзятой *веры* в каждое слово Маркса нужно для того, чтобы не замечать всей окружающей нас действительности и упорно предаваться бесцельной софистике, представляя себе общеизвестные *вещи* наыворот» (Вестник Европы. 1897. № 9. С. 304), Р. сопоставляет: «Построения Карла Маркса овладели *мыслью* наших теоретиков; они их гипнотизировали, как глаза очковой змеи гипнотизируют маленькую птичку, и она, вместо того чтобы лететь от чудовища, бессильно падает ему в пасть <...> и мы думаем — муки капиталистического строя, которых, кстати, никто не отвергает, не только обходимы, но они и без всякого *труда* могут быть обойдены, как только мы выйдем из-под гипноза экономических идей и примем в расчет всю полноту бытия человеческого, оглянемся ясно на ясную лежащую окрест нас *природу* и вообще станем думать, прислушиваться и понимать не часть действительности, а полную действительность» (ЛВИ, 269). Соглашаясь с мнением С., утверждавшим, что «капиталистический строй» в *России* начался с «Русской Правды», Р. приходит к выводу, что капиталистический строй «у нас и в *будущем* останется одним из жизненных тече-

ний, то ширящимся, то суживающимся, но никогда — решительно никогда — единственным, все поглощающим (гипотеза наших марксистов)» (ЛВИ. 274). С. на страницах «Вестника Европы» неоднократно выступал против «субъективного метода» *Н.К. Михайловского*; в 1889 в трех номерах журнала «Русская Мысль» (№ 3, 5, 6) появилась статья Михайловского «Страшен сон, да милостив Бог: (Несколько слов Л. Слонимскому)». За этой полемикой Р. внимательно следил, о чем свидетельствует его запись: «Есть люди до того робкие, что не смеют сойти со стула, на котором сел. Таков Михайловский (размышляя об удивительном заглавии статьи его — полемика со Слонимским — “Страшен сон (!!!), да милостив Бог”» (У, 223). В период работы *Государственной думы* третьего созыва (в 1908) Р. написал цикл статей «Пестрые темы». В выпуске V, размышляя о своем впечатлении от «сопоставления речей, и того результата для всей страны, какой получился от этого сопоставления» (ВНС, 135), он сокрушался о недостатке русского парламента, который «заключается в его литературности» (ВНС, 136). Отвечая на статью С. «О свободе полемики» (Вестник Европы. 1910. № 6), полемизировал с ним по поводу своих отношений с *Вл. Соловьёвым* («В литературной прачешной...» // НВ. 1910. 1 июня; ЗРП). Сопоставляя работу нынешней и предыдущих Дум, Р. писал: «Дума должна государствовать, а не литераторствовать, а между тем собранные литераторы и читатели литераторов ничего еще решительно не могли и не сумели делать, как устно излагать то, что они написали бы, или излагать и перелагать то, что они вычитали <...> Парламентаризма никак не выходило, конституционализма никакого не было. Все было давно известно по темам, по тону из публицистики Михайловского, *Мякотина*, *Пешехонова*, Слонимского <...>. Ничего кроме этого, ничего переступающего за грань этого» (там же). Р. пришел к выводу: «Бедный свободный человек. Незаметно за ним присматривали “свои”: Слонимский, его зять, или тесть Венгеров, и вообще уже некрещеные. Но это было именно незаметно» (М, 18). Начиная с 1913 в записях Р. фамилия С. встречается только как вариативно перечисляемый тип: во-первых, литератор-графоман «новейшей еврейской литературы». Комментируя фразу из письма *Н.Н. Страхова* (от 20 января 1889): «из длинного можно сделать короткое, но не наоборот», Р. размышляет: «Возвращаясь к положению литературы, спросим: а что же *Пыпин* со своей “этнографией по русской словесности”, в которой вообще строк было океан, а мыслей в океане 2–3 “своих”, выслушивал ли “предложения”, весьма походившие на *sine qua pop*, т.е. на “приказ” — “писать покороче” Ни *Пыпин*, ни *Стасов*, ни теперь Слонимский, ни всегда *Добролюбов* или *Чернышевский* не выслушивали этого горького, этого страшного “покороче” бы, которое *Страхов*, конечно, говорил не от себя, а говорил предостерегающе другу то, что сам от редакторов слышал постоянно лет тридцать» (ЛИ, 25). 16 марта 1914 Р. Охарактеризовал, как человека: «Около Вас стоит незаметный еврей. Между тем он ничего не пишет и не способен написать ни одной “блестящей статьи” “Пишет как Слонимский”, т.е. 40 лет, и никто его не слышит» (КНУ, 250). Спустя еще год, в августе 1915, Р. вновь возвращается к этой теме: «Есть великая мудрость *целомудрия* — воздержание от новых слов. От пустых слов

“от себя” Когда я думаю, зачем современные евреи пишут, для чего существует “новейшая еврейская литература” — то всегда это думаю (т.е. о целомудрии еще говорить). В Библии уже все сказано. Особенно — евреи все сказали. И мудро поступают их старики, что только читают. А “которые пишут” — просто глупы. Глупы, пошлы и совершенно непереносимы. Что такое пишет Слонимский? Зачем? Кому это нужно?» (М, 281); вторых, «еврей в литературе»: «Еще 20 лет назад, когда я начинал литературную деятельность, “еврей в литературе” был что-то незначительное. Незначительное до того, что его никто не видел, никто о нем не знал. Казалось — его нет <...> Только 20 лет прошло: и “еврей в литературе” есть сила, с которою никто не умеет справиться <...> Так русские (кроме “имен”) мало-помалу очутились “несвоими” в своей литературе. В “Литературном Фонде” у кассы стали Венгеров и *Гуревич*, в “Кассе взаимопомощи русским литераторам и ученым” стал у денежного ящика “русский экономист и публицист” Слонимский» (СХР, 65). Позже, оценивая их деятельность, Р. скажет: «Уже Венгеровых (Семена и Зинаиду), Слонимского, *Айхенвальда*, *Гершензона* и берлинского еврея *Цетлина* <...> из “истории русской литературы” уже не выкинешь...» (КНУ, 435); в-третьих: человек без родины — «для Слонимского “нет внуков в России” Если и есть — переедут в Германию. Им все равно. И вот он (много лет назад) прислал редактированный им выпуск какой-то “Политической энциклопедии” со своей статьей: АБАЗА. Здесь он громит как подвох и плутовню всю “Войну за Корею”, клеветает, инсинуирует, инсинуирует, и на Хозяина, что война была “безумная и мошенническая” и в высшей степени вредная для его, Слонимского, Отечества. Но он не имеет Отечества (еврей)» (М, 190). И возникает вопрос: «Как же он смеет судить Хозяина и нас всех?». Р. с иронией отвечает: «Но он сотрудничает в “Вестн. Европы” и оплатил курс юридического факультета в русском университете» (там же). Р. пишет об основном механизме воздействия на русскую культуру: «Очень нужно утвердить “натурализм” *Гоголя*. — “Русские — прощальги, все русские суть вообще прощальги! Вот их великий писатель сказал” Без этого как же будет торжествовать Шклов над *Москвою*, шляпка над платком и французский каблучок над “кутами”: три элемента европейской культуры в истолковании Слонимского и *Горнфельда*» (СХР, 89). 7 июля 1915 Р. сделал запись, в которой оценил деятельность С. и других в журнале «Вестник Европы»: «*Стасюлевич* был скверен, *Арсеньев* был скверен, Слонимский был скверен, отравляя жизнь и душу русскую <...> Россия неизвестно что “скверного” сделала *Арсеньеву*, Слонимскому и *Стасюлевичу*, а они 43 года “поднимали на нее кулаки” и не “грозились” только, а на самом деле “били ее в морду” Я — конечно проглядывая только, а не читая вполне гнусный журнал — нигде и ни одного раза не прочел в уважительном духе и в уважительном тоне сказанные слова о России, о русских» (М, 221). 12 января 1918 в эссе «В вечном рассеянии» Р. писал: «Из той глубочайшей связи, какую иудеи обнаруживают к другим народам (*Гершензон*, *Левитан*, Венгеровы, Слонимские, *Руманов*), из интимности и сердечности этой связи — совершенно видно, что они “отдаются во всю” этим другим народам, — отдают “всего себя”, и с юбками, и с

панталонами. Но вот именно до “юбок” и “панталон” никогда не должно доходить: тут — запрет Божий, и просто покоримся ему» (АНВ, 134).

О.В. Быстрова

СЛУЧЕВСКИЙ Константин Константинович [26.7 (7.8).1837, Петербург — 25.9(8.10)1904, там же] — поэт, прозаик, главный редактор «Правительственного Вестника», в 1899–1902 председатель литературного общества («пятниц Случевского»). Предлагал в письме к Р. 1899 принять участие в организации литературно-философского общества, для чего приглашал писателя к себе на 18 января «читать и исправлять уже составленный проект устава» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 28. Л. 3). В 1902 С. послал Р. свой последний поэтический сборник, сопроводив его следующими строками в письме: «Многие из наших общих друзей говорили мне, что между Вашими взглядами и моими много общего и что “Песни из уголка” свидетельствуют об этом, и что их послать Вам. Не скрою, что делаю это с великим удовлетворением; понравится ли это Вам — другое дело, не знаю — но зато знаю что искренно и глубоко почитаю Вас» (там же. Л. 2). К письмам С. приложена розановская характеристика поэта: «К. Случевский (что-то не симпатичное, видел 2 раза)» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С.94).

А.В. Ломоносов

СМИРНОВ Александр Александрович [27.8(8.9).1883, Москва — 16.9.1962, Ленинград] — литературовед-медиевист, переводчик. В статье «О последней книге Розанова» (РМ. 1914. № 4) С. рассматривает книгу Р. «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» и вопрос о ритуальных убийствах у евреев. «Книга Розанова, — пишет он, — одна из самых интересных и, может быть, самых значительных из всего, что писалось по этому вопросу, — конечно, если выйти из плана позитивного рассматривания его. Я лично не верю в правильность ни одного из предположений и выводов <...> Пусть все толкования Розанова, касающиеся еврейской религии, ложны, — самый подход его к вопросу и ряд проникновенных наблюдений не должны быть пропущены никем, кому ценно рассмотрение подобных вопросов по существу <...> Никто до сих пор не реабилитировал еврейства в такой полной мере и так по существу от взведенного на него чудовищного нареkania, как Розанов. Все говорит за то, что ритуальных убийств евреи не совершают. Но если бы что-либо подобное существовало, это следовало бы признать не актом злой воли, испорченности, чего-то порочного, но актом чистейшего и величайшего, хотя бы изуверского, проявления религиозности. Разъяснение того, что о какой-либо “гнусности” здесь не может быть речи, — заслуга Розанова» (PRO, 2, 217–219).

А.Н.

СМИРНОВ Николай Матвеевич — студент четвертого курса Московской духовной академии (1902–1906). С письмом к Р. от 23 декабря 1905 прислал сборник статей слушателей Духовной академии «Духовная школа» (М., 1906), в котором принимал участие в качестве редактора и издателя (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 59.

Л. 2). «Интересы религии и юношества Вам, — писал С., — дороги так, как немногим еще в целой России <...> В церковных кругах Вас читают и к голосу Вашему чутко прислушиваются. Я вспоминаю, как после Вашего фельетона в *Нов. Времени* года 2 назад о книжке П.В. Знаменского <<Интересный эпизод нашей умственной жизни>> // НВ. 1902. 12 и 17 дек.; см. ОЦС>, в один день все пущенное в продажу было уже распродано», в связи с этим Р. предлагалось «своим опытным, увлекательным пером подействовать» обратиться на сборник общественное внимание (там же). Р. откликнулся на сборник библиографической заметкой «Духовная школа» (НВ. 1906. 22 марта), в которой дал общую характеристику сборнику: «Книга эта, составленная всецело из трудов-воспоминаний и из трудов-рассуждений бывших питомцев духовных семинарий и духовных академий <...> интересна и смысле описательном, и в смысле подготовительном» (ОНД, 31). Писатель обратил внимание читателей на то, что на страницах книги видишь много положительных качеств представителей нашего духовного сословия, «каких не видишь или мало видишь в других сословиях: трудоспособность, стойкость, бережливость, весьма упорядоченный быт, наконец, сохраненную веру в Бога и твердый исторический колорит» (Там же, 32).

А.В. Ломоносов

СМИРНОВА Софья Ивановна (в замуж. Сазонова; 1852, село Раменское, Бронницкий уезд, Московская губ. — 1921, Петроград) — писательница, сотрудница с Р. в «*Новом Времени*». Выступила в статье «Выброшенная за борт» (Русская Правда. 1909. 29 нояб.) с критическим выпадам против публикаций Р. в «*Русском Слове*». В письме к Р. от 30 ноября 1909 С. извинялась за свои нападки на Р. в печати. Она объясняла сам факт своего выступления против писателя незнанием, что псевдоним Варварин принадлежит именно ему. «Я в отчаянии, — оправдывалась С. в письме. — Когда мне сказали, что под псевдонимом Варварина пишете вы, я чувствую не лишая себя жизни. Я не получаю “Рус. Слова” и никогда не читала Ваших статей в этой газете. Из того отрывка, который привел г. Мережковский, я заключила, что это пишет кто-нибудь из его единомышленников, а зная немножко репутацию “Рус. Слова”, — я раньше эту газету читала, — ни минуты в этом не усомнилась. Сегодня мне сказали, что Варварин — это Вы. Я сначала не поверила, потом ужаснулась того, что я сделала. Могла ли я думать, что в своей заметке нападаю на Вас и Вас-то, самого русского из русских писателей, считаю врагом России. Помимо того, что это нелепо, мне, как Вашей горячей почитательнице, никогда в голову бы не пришло говорить о Вас иначе, как с чувством глубочайшего уважения. Ради Бога простите мне эту невольную вину, наложите на меня какую хотите епитимью, но только верьте, что я сама, как громом поражена, ничего не понимаю. Мне больно, если я своей несурзной заметкой могла причинить Вам хоть малейшую неприятность. Но я думаю, что Вам это не могло даже быть обидно. В глупейшем положении оказалась я, а не Вы. И не узнай я сегодня случайно, кто такой Варварин, я и сейчас оставалась бы в блаженном неведении. Я уже в душе этого Варварина ненавидела, причисляя его к тем, кто треплет

последнее время нашу бедную Русь. До чего мы дожили, что не знаешь, где враги, где друзья, точно на войне, когда начинают вдруг палить по своим, потому что они показались с той стороны, откуда ждали неприятеля. Но почему Вы в “Рус. Слове” не В. Розанов, а Варварин? Почему Вы свое всем известное и любимое *читателями* имя променяли на этот псевдоним? Вот загадка которой я решить не могу. Когда видишь Вашу подпись в Нов. Времени, то всегда радостно говоришь себе: “Нынче статья Розанова” Два раза я порывалась писать Вам, чтобы выразить свой восторг. Не могу забыть двух Ваших вещей — “*Психологию Анархизма*” <“К психологии терроризма” // НВ.1909.25 июля> и “*Плеханов о религии*” <СМР>. Это два шедевра. А теперь казните меня, презирайте меня, но верьте лишь моей искренности, что я в отчаянии от этого печального недоразумения» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 61. Л. 2–3). Обсуждая проблемы «Нового Времени», Р. писал П.П. Перцову 2 апреля 1910: «Фельетон оставлен только воскресный <...> Да, еще Софья Смирнова, но это “консервативно-бытовые” бомбы во враждебный лагерь, штуки живые “на тему дня”, о чем вся Россия кричит, и коею “зачитываются” слышал в Москве и провинции» (ОР РГБ. Ф. 872. К. 3. Ед. хр. 17. Л. 78–80).

А.В. Ломоносов

СНЕССАРЕВ Николай Васильевич (1864 — декабрь 1928, Берлин) — сотрудник «Нового Времени» (с 1888), в котором он более 10 лет вел думскую хронику и городской отдел. Был известен как мастер в жанре текущей хроники, секретарь газет и поверенный в газетно-издательских делах Сувориных. В архиве Р. к письмам С. приложена розановская характеристика коллеги по газетному цеху: «Снесарев Ник. Вас. Отличный малый (не понимаю, почему вытупили из Н. Вр. Служил в трамвае, я сам бы служил)» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 94). В письме к Р. от 28 сентября 1910 С. просил писателя подписать заявление о паевом участии в издательском предприятии «Товарищество “А.С. Суворин — Новое Время”». С. отмечал, что образование издательского Товарищества «есть наиболее верный способ обеспечения сотрудников газеты, помогавших А.С. Суворину в его пятидесятилетней работе. Кроме того, превращение имущества в паи значительно облегчает задачу распределения его между наследниками учредителя, сохраняя в неприкосновенности навсегда главный источник дохода — газету “Новое Время”» (Динерштейн Е.А. А.С. Суворин. *Человек*, сделавший карьеру. М., 1998. С. 293). В другом письме С. уведомлял Р., что тот может получить 200 рублей для журналиста И.Л. Щеглова (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 29. Л. 2–3). В книге С. «Миражи “Нового Времени” Почти роман» (СПб., 1914) упоминается Р. как «чудовищная смесь Четьи-Миней и Рабле» (с. 111).

А.В. Ломоносов

СОКОЛОВ Петр Андреевич — преподаватель философии Екатеринославской семинарии, специалист по педагогической психологии, автор работ на темы религии и нравственности. На его книгу «История педагогических систем» (СПб., 1913) Р. откликнулся рецензией «Соко-

лов. *История педагогических систем*» (НВ. 1913. 7 июля), отметил исследование в числе работ русской научной литературы, способных «дать, по возможности, полные изложения для родных читателей всевозможных отделов науки в разных направлениях» (НФП, 116). Р. высоко оценил стремление автора вернуть педагогику к ее философским основам, подчеркнув, что «теперешнее разьединение педагогики от философии, обращение педагогики в самодовлеющее ремесло «быстрой и универсальной выучки детей чему попало» отражается если не на «педагогических системах» и самих педагогах, то на детях, на учениках довольно печально» (НФП, 117). С. в письме к Р. от 11 июля 1913 благодарил писателя «за сочувственное оповещение» о своей книге (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Л. 1). В рецензии Р. высказал желание увидеть вскоре второй том исследования С. с изложением педагогических систем русских мыслителей. В ответ на пожелание Р., педагог отвечал: «К истории русской педагогической мысли я перейду только после попыток нащупать судьбы русских жизненно-философских интересов» (Там же. Л. 2). С. признавался в этом письме, что «не раз собирался писать <...> о задачах и смысле образования». «В своей «Истории педагогических систем» я часто оттягиваю идеи, — мне думается, сродные Вашим, — идеи о жизненности образования <...> Поэтому в статьях Ваших я находил некоторое ободрение себе» (Там же. Л. 2–3).

А.В. Ломоносов

СОКОЛОВ Сергей Алексеевич [25.9 (7.10).1878, Москва — 14(18).5.1936, Париж] — поэт и журналист, заведующий литературным отделом журнала «Золотое Руно». Эмигрировал в 1919. Автор писем Р. 1906, содержащих детали сотрудничества писателя в журнале. В письме от 22 апреля С. подтверждал получение рукописи статьи Р. «*Религия будущего*», а также принятие ее редакцией к печати. Р. послал указанную рукопись после письменного предложения Н.П. Рябушинского о сотрудничестве в журнале. В печати статья получила название «Одна из русских поэтико-философских концепций» (ЗР. 1906. № 7–9; ЛВИ). С. информировал Р. о решении редакции: «Мы вводим Ваше имя в список сотрудников “Руна” В смысле гонорара считаем справедливым предложить Вам максимальный размер (практикуемый у нас в отношении лишь 3–4–5 лиц) — 100 р. лист» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4213. Ед. хр. 13. Л. 2). В письме от 4 мая С. сообщал Р., что его статья «*Египет*» нуждается в доработке и возвращается ему на переделку. В случае скорейшего восполнения пробелов в машинописи статьи С. обещал поместить ее в майском номере 1906, что и было исполнено. В том же письме С. заявил, что «затруднился бы взять на себя обязательство печатать всякую» творческую работу Р. «с I выходящим №, т.к. 1) нужно время для перевода, а 2) целый ряд лиц высказывает аналогичные Вашему, пожелания и исполнить их все, оставаясь в пределах обычного размера №, нет никакой возможности» (Там же. Л. 3).

А.В. Ломоносов

СОКРАТ (Σωκράτης) (469 до н.э., Афины — 399 до н.э., там же) — древнегреческий философ. Р. относился к греческой философии с особым пиететом: «Греки ведь

остались до сих пор не превзойденными» (СП, 243). Свое отношение к С. и ко всей эпохе античности было отражено мыслителем уже в ранней философской работе «*О понимании*». «Вся греческая философия выросла и развилась в глубоко религиозное время: Ксенофан, Эмпедокл, Парменид, Анаксагор, Сократ и ученики его — все они жили в эпоху, чуждую распушенности религиозного чувства, и потому-то именно во всей жизни и в каждом слове их чувствуется такая удивительная любознательность, и любовь их к трудно доставшейся истине была так велика, что некоторые из них ради нее решались оставить отечество, а другие приняли смерть» (ОП, 621). «Можно ли подумать, что человек состоит из клеточки?» А между тем Сократ состоял из «клеточек» — таких бездумных, таких простых» (ПЛ, 224). Имя античного мудреца было для Р. великим и значимым. Он назвал его «гениальным самородком древности» (СП, 240). По частности упоминания известных философов С. занимает у Р. одно из первых мест. Он считает античного мудреца одним из величайших мыслителей древности. Однако С. упоминается Р. и просто к слову: «Греки того же искали в мраморе, высекая не людей, не этого курносого Сократа <...> а Того «по образу и подобию Кого» сотворены и Сократ, и Перикл, и мы все» (СХ, 57). Так, по поводу кабинета животных в Ватиканском скульптурном музее Р. заметил, что ему «случилось в то же время соединить в себе и Праксителя и Сократа» (СХ, 60). Имя С. появляется и в качестве сравнения с каким-либо историческим событием, как, *судьба* Иерусалима, которая «представляется до того чудовищной, что мысль леденеет и язык не умеет говорить. Это какая-то «отрава Сократа», но где Сократом является целый народ» (АНВ, 197). Р. использует имя С. для выражения своего отношения к депутату 1-й Государственной думы М.М. Ковалевскому: «Ну, ты, — Сократ: не всё тебе лежать с Алкивиадом после «Пира», вставай и делай под козырек Максиму Максимовичу Ковалевскому, который навалился брюхом на «не принявшее его во внимание» правительство» (КНУ, 226). Образ С. применяется Р. для ироничной оценки деятельности «гражданской палаты»: «Христово слово взято в «контору», передается гражданам через контору, а обязанности Сократа как народного учителя, как дарового профессора на площади исполняются теперь инспектором народных училищ и семью-восемью служащими, которых он ревизует <...> Обыватель, при средствах, может иметь теперь «своего Сократа»» (СМР, 352–353). Имя С. служит Р. и для разного сравнения, весьма ироничного, в связи с «мученичеством» Л. Толстого: «Но что делать. Добчинский залезает иногда даже в Сократа» (У, 200). Или напротив: «Ибо даже без всякого школьного учения, без знания географии и истории, — просто «передумать» только Толстого и Достоевского — значит стать как бы Сократом по уму» (У, 210). Образ С. является для Р. также и некоей доминантой, усиливающей мысль философа. При этом имя С. может появляться у Р. в совсем неожиданном ракурсе. Рассуждая о тюремном заключении члена «Народной воли» В. Фигнер и эсера Карповича, Р. записывает: «Секрет «долготерпения» их заключается не в героизме, а в замке. Потому что если меня заперут, то как же я уйду? Это стоит всего два рубля, и о «человеческом достоинстве» поднимать речь — не на тему.

Будут «сидеть» Сократ, кошка, мышь, Галилей, вор, фальшивомонетчик, «кого заперут» Два рубля. А прочие определители — недостоверны» (СХР, 91–92). Сократовское «Познай самого себя» используется Р. в качестве исторического напутствия *Польше*. «Положение Польши или, лучше сказать, поляков необыкновенно трудно, и трудность лежит в духовном и культурном расхождении их с славянским миром <...> Но то, к чему призывал Сократ, кажется «не в долбежку» ясновельможным. Ну, как они станут учиться, присматриваться, приглядываться, слушать и взвешивать свое положение, когда они уже всех умнее и всех учнее?» (ОНД, 235). Р. привлекает имя С. в рассуждении о религии. «А религия выше добродетели и Сократа» (АНВ, 264). Имя С. у Р. часто звучит рядом с именем голландского мыслителя Спинозы. Рассматривая пол как прогрессию нисходящих и восходящих величин, Р. объединил имена мыслителей с некоторым укором в адрес их умозрительности, полного «неволения» пола, отсутствия «хочу»: «Сократ, сказавший, что он легче перенесет обиду, чем нанесет ее, — тут в этих гранках; как и мировое: «Боже, прости им — не ведят-бо что творят» Вообще выступает начало прощения, кротости, мировое «непротivление злу» Платон Каратаев тут же, около Сократа; как и Спиноза, мирно писавший трактаты и наблюдавший жизнь пауков. Все — выразители мирового «не хочу»» (ВТРЛ, 278). Иронизируя над Р., профессор Московской духовной академии Н.А. Заозерский писал о гносеологической теории Р.: «Все люди смертны. Сократ — человек. Следовательно — Сократ смертен, но высшие функции интеллектуального творчества принадлежат не ему, а половым органам. Они — «седалище души»» (КНУ, 310–311). Р. возмутила оценка С. медиками как примера «мозгового вырождения» в связи с его «платоническими отношениями» с Алкивиадом, Платоном и др. Суть этих отношений заключается, по Р., «в покорной, глубокой, восторженной духовной любви, какая завязывается между особями одного пола <...> С невыразимым тупоумием медики назвали это «извращением», «патологическим дефектом», не видя той очевидности, ставящей их в смешное положение, что Сократ, Платон и даже «подмастерье» их Алкивиад, уже во всяком случае не уступали им, медикам и психиатрам, в остроумии, ясности и глубине мысли и что все трое отличались необыкновенно цветущим здоровьем и дожили до глубокой старости. В то же время Сократ, например, был героем гражданского и нравственного долга. Супруга последнего, знаменитая Ксантиппа, была в древности в том самом положении и так же обвинялась мужем в «сварливости», как разведенная жена фон Мольтке» (СМР, 71–72). В великом явлении пола, как утверждал Р., вкраплены эти «аномалии», которые нельзя считать ни извращением, ни болезнью, ни преступлением, ни даже пороком. «Запомним еще: «In corpore sano mens sana» <«Здравый дух в здоровом теле»>: так как в здоровье ума Сократа едва ли кто сможет или посмеет усомниться, то ясно, что и телесно он был совершенно здоров, т.е. в нем не было ничего для психиатрии и патологии» (СМР, 73). П.П. Перцов по поводу «Опавших листьев» заметил, что самому Р. совершенно чужда сократовская стихия. «Сократовская стихия — стихия «достоверности общего» — вот что совершенно чуждо Розанову» (PRO, 2, 182). Ро-

зановские книги — это осуществление «достоверности частных впечатлений», не в сократовском, а скорее в протагоровском смысле. Поэтом Р. записал: «Я еще не такой подлец, чтобы думать о *морали* <...> Ибо жизнь моя есть день мой, и он именно мой день, а не Сократа или Спинозы» (У, 55).

И. С. Шилкина

СОЛЛЕРТИНСКИЙ Сергей Александрович (1846 — 5.2.1920) — протоиерей, богослов, профессор Петербургской духовной академии, участник *Религиозно-философских собраний*, член *Религиозно-философского общества*. Р. дал положительный отзыв (ОЦС, 20) на книгу С. «Пастырство Христа Спасителя» (СПб., 1896). В ходе прений по вопросу о *браке* на 14-м заседании РФС протоиерей С. акцентировал внимание на позиции Р. по обсуждаемому вопросу, для более четкого ее прояснения: «А о чем говорит главным образом В.В. Розанов? Неужели он предлагает нечто беспардонное, возвращение к прежней коммунальной системе? Этого не может быть». — «Конечно, нет», — возражал на это Р. (ЗПРФС, 279). На 15-м заседании С., полемизируя с Р., выступил в поддержку авторитета церковного освящения таинства брака. «Едва ли *церковь* христианская может относиться к таинству брака, к брачному делу отрицательно, когда она признает прежде всего это брачное дело и считает необходимым освятить его <...> В одном из прежних заседаний я имел случай указать на содержание и особенности *молитв*, которые установлены при совершении таинства брака. Мой почтенный со товарищи по собраниям В.В. Розанов не участвовал на этом собрании и не слышал, что я говорил, поэтому повторяю, что, как это бывает обыкновенно <...> мы не вникаем в то, что читается при совершении таинства брака» (ЗПРФС, 296). На 16-м заседании С., присоединившись к «двум путям *добра*» *Н.М. Минского*, обозначил свою позицию, в обсуждении вопроса о браке: «Кроме представителей *православия* и церкви, этой *мысли* о несоместимости двух путей держится Розанов. Он высказывает это таким решительным образом, что даже является мысль: христианин ли он или нет. Я в данном случае думаю, что если мы будем судить по верхушкам, по наружности, по форме, то можем сказать, что Розанов старается ниспровергнуть все учения Священного Писания, переделать по-своему и сфабриковать такое представление христианское, по которому брачная *жизнь* есть закон, не имеющий никаких исключений и не дающий простора противоположной стороне — *девству*. Однако, если обратить внимание на другую сторону его речей <...> то во всех его рефератах мы увидим другое, которое представляет твердые данные, по праву присоединяющее и этого *человека* к настроению христианскому. Он поднял этот вопрос ввиду того, что ему хотелось обратить внимание на жизненную сторону. Никто не будет возражать, что у нас здесь — в брачном деле — действительно много неблагоустроенного, неупорядоченного, горестного и даже страшного. Розанов ставит вопрос ребром и говорит, что настоящее состояние является ненормальным. Какое состояние нужно? Розанов предлагает: нормальное положение такое, которое не представляет полного царства эротизма; об этом он не говорит. Он представляет дело так, что правильное положение этого дела и аномалии

встречаемые определяются им на почве, которую признает само *христианство*, только другими словами, только определенно. Он говорит, что человек должен заслуживать ту благодарность, которая дается в том случае, если он к ней внутренне подготовлен. Положительное, что я вывел из речей В. Розанова, заключается в следующем: поставить дело так, чтобы браком считать такое сочетание *мужчины* и *женщины*, которое представляется сочетанием, на наш *разум*, правильным, т.е. когда есть забота о *детях*, серьезное отношение одного *пола* к другому, одним словом, когда человек заслуживает благодать, подаваемую в таинстве брака. Раз же в отношениях мужчины и женщины друг к другу нет внутренней *правды*, они своим поведением не заслуживают благодати, тогда-то Розанову их сожитие следует считать незаконным. Это одно из возможных воззрений, в нем заключается положительное разрешение *истины* всех запутанных условий, которыми обрекают эту вашу сторону. И наши рассуждения, теперешнее и бывшее, могли бы привести к положительному концу, если бы мы поставили вопрос: возможно ли согласиться с тем критерием, который указывает для различия правильных и неправильных браков г. Розанов; или нельзя согласиться с этим» (ЗПРФС, 327). Сохранились *письма* С. к Р. (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 41). В письме от 29 января 1902 С. выступил с протекцией для Е.Ф. Мувки из Славянского общества по благотворительной комиссии в РФО, а также рекомендовал Р. ознакомиться с его статьей в «Церковном Вестнике» (1902. № 4—5) о гимназической реформе (ОР РГБ. Л. 2—3). В письме С. от 23 декабря 1908 выражалась «сердечная благодарность за» розановское «слово» о преставившемся великом священнослужителе, «истинное, крупное и выразительное до захватывания души», прозвучавшее в розановской статье «Личность отца *Иоанна Кронштадтского*» (НВ. 1908. 21 дек.; ЛВИ). Богослов еще раз подчеркнул свою солидарность с позицией Р., заявленной им на заседании РФО. Р. не воспринял ее во *время* устного обсуждения *темы* всерьез, что «для русского неинтеллигента сов<сем> невозможно, немислимо отделять Всевышнего целой бездной от людей и наоборот» (ОР РГБ. Л. 4 об.). К письмам С. приложена розановская *характеристика* корреспондента: «Соллертинский — протоиерей и профессор нравственного богословия. За неряшливость уволен. Умен, учен, хитер. Грязен до невозможности. Кухарка, схватывая его ряску, подтирала полы на глазах всей *семьи* “как обычно”» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 81). В письме 1906 к *Н.Н. Глубоковскому* Р. дал не менее отрицательный образ «бочки-Соллертинского, который ничего, кроме себя, в *жизни* не любит. Но ведь общехристианский вопрос: отчего “блудит Розанов и его жена” (великая христианка) будут “слушать *мораль*” из уст этого “бочки” “с посвящением”» (ОР РНБ. Ф. 194. Ед. хр. 756. Л. 23).

А. В. Ломоносов

СОЛОВЬЁВ Владимир Сергеевич [16(28).1.1853, Москва — 31.7(13.8).1900, Узкое, Московская губ., имение Трубецких] — философ и религиозный мыслитель, основоположник «*философии всеединства*», докторин «*богочеловечества*», «*вселенской теократии*» и софиологии, публицист, критик, поэт. Сын историка *С.М. Соловьёва*. С. принадлежит один из первых положительных откли-

ков на философские искания начинающего мыслителя Р. — рецензия на его брошюру «*Место христианства в истории*» (РО. 1890. № 9), где С. увидел родственные синтетическим построениям собственной «философии всеединства» идеи: «истина единства человеческого рода» (ЛВИ, 465), утверждаемая Р. и подспудно противостоящая «диким теориям», отрицающим «солидарность племен <...> в общей исторической работе» (ЛВИ, 466). Однако последующее идейное развитие Р., обусловленное нарастанием в его произведениях славянофильских тенденций, уже не вызывало энтузиазма С. и в конечном счете привело к резкой по тону полемике с Р. о веротерпимости. С. у Р. привлекали произведения на от-



Вл. С. Соловьёв

влеченные философские темы, где творческая индивидуальность Р. сказывалась в наименьшей степени; например, «*Красота в природе и ее смысл*», написанная без связи со статьей С. «*Красота в природе*» и содержащая ряд переключек в мысли; «по напечатании Влад. Соловьёв приехал <...> познакомиться (после ругани и полемики)» (ЛИ, 57). Розановские религиозно-философские идеи и построения вызывали у С., судя по его выступлениям, не только резкое отторжение, но и сам Р. как мыслитель не воспринимался С. всерьез. Являясь представителем религиозной тенденции в русской мысли, Р. и С. выражали совершенно разные грани этой тенденции, принципиально несводимые воедино, чем и бы-

ло обусловлено их публицистическое противостояние. Негативный контекст в восприятии С. преобладал у Р. особенно в 1890-х и 1910-х. Позиция, занятая Р. в отношении С. в конце 1880-х — начале 1890-х, зиждилась на убеждении, что С. «изменил знамени» (ЛИ, 157) *славянофильства*. Крайне негативно оценивались им переход С. из славянофильских изданий в либеральный «*Вестник Европы*», критика С. национально-религиозной доктрины «старших» славянофилов (А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, К.С. и И.С. Аксаковых, Ю.Ф. Самарина), его полемика против Н.Я. Данилевского (теории культурно-исторических типов) и Н.Н. Страхова, отстаивавшего в борьбе с С. идеалы «органической» *метафизики* и славянофильскую культурфилософскую программу. Резким неприятием отмечены у Р. и теократические идеи С., идущие вразрез с интересами *православия* и русской государственности. В 1888 Р. писал Страхову: «До «Росс. и Евр.» я и Влад. Соловьёва чрезвычайно ценил <...> я считал его поборником, двигателем того нового направления в нашей *литературе* и *жизни*, которое характеризуется религиозным настроением, и мне казалось — это настроение все будет разрастаться, и с ним и в нем *Россия* выступит на совершенно новый путь развития исторического, что кончит наше вековое легкомыслие» (ЛИ, 168). С. не оправдал надежд Р. на новое направление в «религиозном процессе», на глобальный благотворный переворот в умственной жизни России, на «новый путь развития исторического» всего ее национального бытия; «он переменялся, скверно, позорно переменялся, снизошел до плоской журнальной статейки» в «журнале всяческого индифферентизма и почти нескрываемой *ненависти* и презрения к России», «а выступал как проповедник, как пророк»; С. «никогда не любил своего народа» и «обозлился, как мальчишка», видя, что за ним никто не идет, что он «только литератор, а уж никак не пророк и не апостол чего-то нового и высокого»; С. «унизился» до либералов, он «летающий по верхам философ», его полемика против славянофилов, Данилевского и Страхова — «фанфарнство» и «мерзость», «он казуист и, треплясь с какими-то побочными мелочами, думает, что разрушает сердцевицу» (ЛИ, 168–169). Экзистенциальное неприятие идейного *мира*, религиозно-мистических «откровений» и всей духовной личности С., постоянное подозрение в С. «ложного пророка» сохранилось у Р. в течение 1890-х и с новой силой было заявлено в 1910-х; в полемике С. со Страховым Р. неизменно становился на сторону последнего и отмечал в своих *письмах* моральное и интеллектуальное преимущество Страхова перед С.; не изменил Р. этой позиции и впоследствии, в рамках *книги* «*Литературные изгнанники*», комментируя антисоловьёвские фрагменты писем Страхова (ЛИ, 13–15, 20–21, 69, 113, 119, 126–127 и др.). Сложившиеся консервативно-славянофильские убеждения Р. проявились в его полемике с С. по вопросу о религиозной *свободе* и веротерпимости, вызвавшей литературно-общественный резонанс и явившейся центральным пунктом идейных взаимоотношений между мыслителями. Спор по данному вопросу начал Л.А. Тихомиров, выступив (в ответ на критику С. в его адрес) против либерально-экуменических тенденций у С. в вопросе межконфессиональных отношений (статья Тихомирова «Искания свободы» и «К вопросу о терпимос-

ти». — РО. 1893. № 3, 7); Р. подключился к этой полемике со статьей «Свобода и вера. (По поводу религиозных толков нашего времени)» (РВ. 1894. № 1). Статья полемически ориентирована против С., «человека, о котором хотелось бы сказать все хорошее и приходится думать дурное», против занятой им позиции по «вопросу о соединении церквей» (Там же, 273, 279), нигилистического отношения к национально-православной традиции (косвенно оспариваются постулаты книги С. «Национальный вопрос в России»), либеральных тенденций в вероисповедном вопросе, а также против притязаний католической и протестантской религиозной пропаганды в России. В статье дано философское и прагматическое обоснование религиозной нетерпимости Церкви к инаковерию и инакомыслию. Эта статья вызвала отклик С. «Порфирий Головлев о свободе и вере. Заметка» (Вестник Европы. 1894. № 2). С сожалением оценив направление эволюции религиозных взглядов Р. от «Места христианства в истории» к «Свободе и вере», С. язвительно отождествил эти новые взгляды с «елейно-бесстыдным пустословием» Иудушки Головлева, а отвлеченный характер рассуждений Р. счел уклонением от конкретики насущного и большого вопроса веротерпимости: «Отвлеченным пустословием Иудушка прикрывает всегда какую-нибудь совершенно конкретную гадость», в данном случае оправдывает репрессивные меры к инаковерующим (Соловьёв В.С. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 498–500, 508). Доводы, выдвинутые в статье Р., С. признает не имеющими ничего общего с христианским вероучением, отмечает их индивидуалистический и натуралистический характер: «Итак, свобода только для себя и ограничения для всего прочего. Теперь, по крайней мере, ясно, какой веры держится сам Иудушка <...> Тот “закон жизни”, для которого Иудушка требует полной свободы и во имя которого он желал бы ограничить все остальное, есть просто закон жизни животной — и больше ничего» (Там же, 502). Соловьёвская отповедь вызвала не менее эмоциональный «Ответ г. Владимиру Соловьёву» Р. (РВ. 1894. № 4), который изобличал порочность критико-полемических приемов С.: «Не критика взгляда, теории в их центре или основании, но — какой-нибудь мелочной, побочной черты <...> и в этих узких границах критика остроумная, живая или по крайней мере язвительная» (Там же, 203), констатировал неизменность высказанных в «Свободе и вере» мыслей и убеждений; «слепотой своего негодования» С. «именно подтверждает» правильность занятой Р. позиции: «Все объясняется только тем, что он и я, мы живем различными утверждениями: он — утверждением хаоса, разрушения, смерти; я — утверждением планомерного движения в истории, созидания, жизни» (Там же, 192). Основная часть статьи посвящена разоблачению национального и религиозного «индифферентизма» религиозно-теократических идей С., его желания «соединения церквей через отречение от православия» (Там же, 209); основным материалом полемики служит «Национальный вопрос в России» и публицистические выступления С. в «Вестнике Европы»; однако контраргументация Р. по большей части выполнена в манере, шокировавшей *печать* того времени: С. как духовный «паралитик», религиозный отщепенец, предавший веру своего народа, идейный ренегат, переметнувшийся от славянофилов к

западникам, не может и не в состоянии претендовать на какую-либо роль в национально-культурном и религиозном строительстве, необходимость которого осознается Р. как противовес эпохе «индифферентизма»; подобную роль Р. отводит себе, позиционируясь как идейный предтеча грядущей «новой эпохи, новой эры» (Там же, 207–211). Спор с С. ведется Р. не только по частному вопросу свободы совести, а и вокруг того, какой именно идейно-философской и религиозной платформе, соловьёвской или розановской, чьему «пониманию» задач национальной культуры предстоит лечь в основу дальнейшего развития русской жизни. С. предпочел не дебатировать содержательную сторону статьи Р., ставившиеся здесь проблемы религии и культуры и не оспаривать выдвинутых в его адрес обвинений в национальном и религиозном нигилизме, но высмеял крайности и эмоционально-словесную несурезицу направленного против него полемического выступления («Конец спора» // Вестник Европы. 1894. № 7). В этом он был поддержан русской печатью, не только либеральной, но и частью консервативной (Буренин В. Критические очерки. Ноги в перчатках, желудки, цепляющиеся за маски и проч. // НВ. 1894. 29 июля): приемы ведения полемики со стороны Р. были признаны недопустимыми, а у него самого как публициста отмечены симптомы «общественного помешательства». Позиция, занятая Р. по вопросу о «свободе и вере», критически оценена и Л. Тихомировым («Существует ли свобода?» и «В чем ошибка г. В. Розанова?» // РО. 1894. № 4, 9); им осуждается «нетерпимость» Р. как логический вывод отдалившейся от церковной мудрости автономной мысли, оказавшейся не свободной от рационалистического и материалистического «наследства» европейской и новейшей русской культуры. Крайние позиции «прогрессивного» С. и «реакционного» Р., по мысли Тихомирова, парадоксально сближаются; Р. только более «откровенен» и последователен в своих выводах (РО. 1894. № 4. С. 899–900, 910). Это разногласие между Р. и Тихомировым дало С. основания («Спор о справедливости» // Вестник Европы. 1894. № 4) иронизировать над смысловой недостаточностью аргументации оппонентов: «лжеправославные лжепатриоты», «представители одной и той же зловредной тенденции явно подрывают ее, вступая между собою в непримиримое противоречие» (Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 509). Р., завершая со своей стороны полемику, выступил со статьей «Что против принципа творческой свободы нашли возразить защитники свободы хаотической?» (РВ. 1894. № 7), где подверг критике позиции С. и Тихомирова как представителей «хаотического» понимания свободы. Большая часть статьи посвящена Тихомирову, в отношении позиции Соловьёва демонстрируется тот же подход, что и прежде, но без прежних полемических выпадов. Впоследствии Р. неизменно признавал правоту занятой им в споре с С. позиции и основательность своей главной мысли: «...прав старый мой вопрос Соловьёву (“О свободе и вере”): “Да зачем вам свобода?” Свобода нужна содержанию (чтобы ему развиваться), но какая же и зачем свобода бессодержательному? А ведь русское общество бессодержательно» (У, 168). Свообразным продолжением полемики о «свободе и вере» стал полемический отклик Р. на статью С. «Судьба Пушкина» (Вестник Европы. 1897. № 9) — «Христианство пассив-

но или активно?» (НВ. 1897. 28 окт.). Здесь Р. вновь поднимал вопрос об «экскоммуникативности» христианства (т.е. о «религиозной нетерпимости» по отношению к чужеродным себе принципам и явлениям). Однако позиция Р. основательно меняется: у него появляются первые сомнения в «действенности» самого христианства. С этой точки зрения оспариваются доводы христианской и нравственной философии С., примененные им к оценке судьбы Пушкина (страстность и «греховность» натуры Пушкина, противоречие божественного дара поэта житейской мелочности *чувств* и религиозных поступков Пушкина-человека как источник его трагической судьбы и смерти). С., по Р., «существенно неправильно понял» «судьбу Пушкина», «осудив поэта за активность»; он неправильно истолковал факты биографии поэта, ошибся в их «психологическом анализе»; в соловьевской позиции Р. видится «сальверизм» по отношению к Пушкину-«Моцарту»; С. «скандирует» «над *могилой* поэта» принципы своей сомнительной нравственной философии, «и, успокоенный, предлагает и нам успокоиться» (РФК, 151–153, 143). Позиция С. — следствие «неправильно» понятого христианства, он «развивает, как фундамент своего воззрения, идею пассивного христианства» (РФК, 143). Эта аскетическая идея давно и устойчиво закрепилась в церковно-христианской жизни и традициях «богомыслия», однако она не соответствует всей полноте «богомыслия» Вселенских соборов, к тому же крайне пагубна в плане практической жизни, в том числе для христианского общества: «“Успокаивая” нас, она наконец оледеняет нас <...> есть все в *добродетели*, но все — номинально <...> источник этого <...> именно в этом без-нервном понимании христианства» (РФК, 144–145). С. отвечать Р. не стал, но спустя два года парировал этот выпад в свой адрес, равно как и подобные, исходившие из «декадентского» лагеря («Пушкин» Д.С. Мережковского), выступив со статьей «Особое чествование Пушкина» (Вестник Европы. 1899. № 7). Эта статья полемически заострена против специального пушкинского номера «Мира Искусства» (1899. № 13/14), включавшего в себя статьи Р. «Заметка о Пушкине», Мережковского «Праздник Пушкина», Н.М. Минского «Заветы Пушкина» и Ф. Сологуба «К всероссийскому торжеству». Отказываясь принять участие в декадентском «чествовании Пушкина» и мотивируя свой отказ от соответствующего предложения редакции «Мира Искусства», С. изобличает «декадентский» взгляд на Пушкина как «оргиаста» и вновь подтверждает свою концепцию пушкинского творчества, только теперь рассматривая это творчество не с моральной, а с религиозно-эстетической позиции. Большая часть статьи С. посвящена «Заметке о Пушкине» Р. Традиционно для себя поиронизировав над логическими и стилистическими несообразностями и фактическими неточностями, характерными для Р., С. указал, что «вдохновляющая *сила*» мировоззрения и *творчества* Р. идет «откуда-то с низу», и «он называет это оргиазмом, или пифизмом, и считает чем-то ужасно великолепным», применительно же к Пушкину отметил, что «г. Розанов хотя мало смыслит в *красоте*, поэзии и Пушкине, но отлично чувствует дельфийскую расщелину, и дыру, с серными парами; поэтому он по инстинкту отмахивается от Пушкина»: «Не то, чтобы и у Пушкина не было “пляшущих санда-

лий”, — на иной взгляд этого добра здесь даже слишком много, — но чувствует г. Розанов — и я рад отдать должное верности его чутья в этом случае, — чувствует он, что Ветилуя-то в этой поэзии перевешивает и что это образ настоящей, неподдельной, не дельфийской Ветилуи!» (Вестник Европы. 1899. № 7. С. 438–439). Контраргументация литературных сотрудников «Мира Искусства», задетых соловьевскими оценками, выстроилась следующим образом. С полемической статьей «Серьезный разговор с нитчаанцами (Ответ Вл. Соловьёву)» выступил Д.В. Философов (МИ. 1899. № 16/17), обличив принятую С. манеру критических придинок к частностям; под активную защиту была взята литературная репутация Р. и его право на свободное выражение своих мыслей. С откликом на статью Философова выступил Р. («Открытое письмо Д.В. Философову» // МИ. 1899. № 20). Демонстративно отказавшись тратить время на полемику с С., он выстроил свою «речь» к Философову в форме скрытой полемики с религиозно-эстетическими воззрениями С., размышляя о философском, психологическом и мистическом смысле «оргиаста», о недостатке его жизнотворящей энергии в современной *цивилизации*, о тех же «активном» и «пассивном» воззрениях на жизнь; соловьевскую же «Ветилуя» («дом Божий») целиком интгрировал в сферу *пола*, оценивая ее не как абстрактно-духовную субстанцию, а как феномен чистоты, *целомудрия* пола. «Пушкинская» тема, полемически заостренная против концепции «Судьбы Пушкина» С., была продолжена Р. на страницах «Мира Искусства» и далее («Еще о смерти Пушкина» // МИ. 1900. № 7/8). Расценивая Р. конца 1890-х как «декадента» и «оргиаста», С. не усматривал в его мировоззрении никаких ценных тенденций для развития русской мысли. Апокалипсические пророчества С. шли вразрез с религиозными представлениями Р. о характере и задачах современной эпохи. Скептическую иронию вызвало у Р. предсмертное *чтение* С. об «антихристе» и «конце всемирной истории». Р. экстравагантно ответил на соловьевскую мистику и апокалиптику казусом «падения со стула» во время чтения С. Возражая на редакционную заметку «Нового Времени» (1900. 28 февр.), где этот инцидент был объяснен «глубоким впечатлением» от «фантазии» С., Р. в «Письме в редакцию» «Нового Времени» за подписью «Мнимо упавший со стула» объяснял дело более прозаичным образом: «скукой» и «сонливостью», которые вызвала у него лекция С., что роковым образом сопряглось с «крайним старьем в меблировке зала городской думы»; в самой же лекции Р. усмотрел «отсутствие всего фантастического, мистического и просто занимательного» (НВ. 1900. 29 февр.). В более серьезном ключе тема была продолжена Р. в «Мире Искусства» («К лекции г. Вл. Соловьёва» // МИ. 1900. № 9/10). По Р., антихрист явится как нечто принципиально противоположное Христу, а не как «подражатель» Ему (утверждение С.). В антихристе, «антихристовой» сущности, сосредоточены противоположные Христу и христианству начала жизни, отрицающие Христово царство «не от мира сего»; Р. становится на сторону такого своего «антихриста», утверждая в нем воплощение природно-биологических, и глубоко мистических («ночных») начал, характерных для автономной от Христа, но притом религиозной жизни. «Три разговора о *войне*, прогрессе и конце всемирной истории»

(1899—1900) С., куда и была включена «Краткая повесть об антихристе», и далее вызывали издевательские нарекания Р., не воспринимавшего всерьез мистического заветания своего литературного противника: «И ведь все понимают, что в условиях перепечатки в газете предисловия к книге — это только реклама. “Вот я умираю... Почти умер... Но я написал самую важную книгу — продается у Вольфа в Гостином дворе. Там о буддистах, Толстом и Антихристе. Писана эта реклама в Светлое Воскресение 1900 года. Владимир Соловьёв” Так закатывается солнце нашей философии» («Что приснилось философу» // НВ. 1900. 16 мая).

Изменение отношения Р. к С. в позитивную сторону было связано с наступившей смертью философа, сильно поразившей Р. и заставившей его раскаяться в своих нападках. Такая позиция обнаруживается в откликах Р. на кончину С. («Памяти Вл. Соловьёва» // МИ. 1900. № 15—16; «Еще о Вл. Серг. Соловьёве» // НВ. 1900. 20 авг.). Теперь С. предстает как «самый яркий, за истекшую четверть века, светоч нашей философской и философско-религиозной мысли» (ОПП, 64), и хотя позиция Р. вновь не лишена критических моментов, они предельно сглажены, а мировоззренческие «увлечения» и «заблуждения» С. объясняются обстоятельством его жизни, непониманием современников, слабым «чувством действительности», особенностями личности, которой Р. отдает предпочтение перед творчеством С. В статье «На панихиде по Вл. С. Соловьёву» (НВ. 1901. 1 авг.), посвященной годовщине смерти философа, Р. сосредоточивается на своем психологическом восприятии личности С., пытается представить *читателям* его «духовный и даже физический лик», выходя через это на идейные обобщения относительно характера его литературно-философской и общественной деятельности: «Он был какой-то священник без посвящения, точно несший обязанности, и именно литургические обязанности, на себе <...> Он был только чрезвычайно даровитый и разносторонний “шестидесятник”, так сказать, король того времени, но незнатный среди ваялов и семерок. Духовная структура знаменитой реформационной эпохи была в значительной степени и у Соловьёва» (ОЦС, 132—134). Публикуя в «Вопросах Жизни» письма и «записочки» С. к нему, Р. приоткрывает личную сторону своих взаимоотношений с С. и указывает на некоторые факты их знакомства: «Теперь, когда я вынул тоненькую пачку телеграмм и писем Вл. С. С-ва, и перечел их — слезы наполнили мои глаза; и — безмерное сожаление. <...> Чем я воспользовался от Соловьёва, его знаний, души? Ничем. Просто — прошел мимо, совершенно тупо <...> никогда не заговорил “по душам”, хотя так много думал о нем до встречи, после встречи и после смерти. Думал о нем, когда не видел; а когда видел, совершенно ничего не думал, и просто ходил мимо <...> Первое наше знакомство было заочное. В 1890 или 91-м году, когда я был учителем в Ельце, он прислал мне, заказным письмом, рецензию на только что вышедшую из печати брошюру мою: “Место христианства в истории” <...> К сожалению, за неответом моим, по незнанию его адреса, — знакомство наше не завязалось в том же 1890 году. От скольких увлечений, ошибок он мог бы меня удержать; как мог бы расширить мой политический, да и религиозный горизонт! <...> Познакомился я с ним лично

только в 1895 году — после жестокой и грубой полемики, какую вели мы в 1894 году. О полемике мы никогда не вспоминали — просто как о том, что прошло <...> Он был публицист, искренно и горячо любивший Россию (я воображал, что он — враг ее); притом работавший для нее с таким широким обхватом мысли <...> По крайней мере я все время чувствовал <...> постоянную его ласку к себе. Сношения у нас завязались по поводу желания моего напечатать письма К. Н. Леонтьева ко мне» («Из старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьёва» // Вопросы Жизни. 1905. № 10—11; ЛВИ, 462, 465, 467). Самым значительным из писем С. к Р. стало письмо от 28 ноября 1892, где С. говорит об «исповедуемой» им «религии Св. Духа»: «Моя действительная точка зрения по этому предмету осталась вам неизвестною <...> Я так же далек от ограниченности латинской, как и от ограниченности византийской, или аугсбургской, или женевской. Исповедуемая мною религия Св. Духа шире и вместе с тем содержательнее всех отдельных религий, она не есть ни сумма, ни экстракт из них, — как целый человек не есть ни сумма, ни экстракт своих отдельных органов» (ЛВИ, 469). Это впервые опубликованное письмо С. сразу же было воспринято в религиозной среде начала XX в. как подтверждение мировоззренческой общности и преемственности в религиозно-философских исканиях С., в частности с идеологией «нового религиозного сознания». Д. С. Мережковский, в тот период единомышленник Р. в центральных вопросах «новой религии» и также проповедник «религии Св. Духа», отмечал: «Недаром Вл. Соловьёв не кому другому, как именно Розанову, открыл свою самую святую и несказанную тайну о “религии Св. Духа”; и недаром Розанов, хотя сам не понял этих слов, но запомнил и передал их нам, как самое глубокое и загадочное в своем великом противнике» («Грядущий Хам». М., 2004. С. 203). Р., как свидетельствуют его религиозно-философские работы тех лет, в гораздо большей степени понял и приложил к своей творческой практике мысль С., нежели это казалось Мережковскому. Само резкое изменение в 1900-х отношения к С. в позитивную сторону было у Р. обусловлено не только эмоционально-психологическими переживаниями, но радикальным поворотом мировоззрения в плоскость «нового религиозного сознания». В 1900-х Р. по многим вопросам становится на сходные с соловьёвскими позиции: выступает против религиозного «обскурантизма», за обновление основ церковной жизни и наличной богословской мысли русской духовной школы, расходясь с прежним своим взглядом. Он борется (в рамках петербургских Религиозно-философских собраний и в публицистике) за свободу совести и равноправие вероисповеданий, стоит за возможность дальнейшего догматического развития и даже созыва нового Вселенского собора с широким участием «мирян». Определенные симпатии испытывает Р. к более «действенному», нежели православие, католицизму, и к более «свободному» протестантизму; не чужд он в ряде случаев и просоловьёвским «объединительным», экуменическим тенденциям. Переосмысливается прежнее отношение к славянофильству; в критике славянофилов и их учения Р. использует аргументы и логику С. Статьи начала века, посвященные С., носят у Р. комплиментарный в отношении бывшего противника характер, содержат высокую оценку его личнос-

ти, богословской и теоретической мысли, подчеркивают значение идей С. для русского философско-общественного развития. В статье «Об одной особенной заслуге Вл.С. Соловьёва» (НП. 1904. № 9) таковой признается осуществленная им «реформация» в сфере русского церковно-богословского сознания; С. первый заговорил о религиозных «вещах» и «предметах» веры (а не богословских «мнениях» о них) и тем самым подготовил почву для религиозного движения современности. В этом отношении С. противопоставляется А.С. Хомякову и принципам его богословия («Памяти А.С. Хомякова» // НП. 1904. № 6; ОЦС). Контрапункт С. видится в том, что С. «покачнул status quo наше, преодолел квинтессенциальную школу Хомякова <...> и вообще старых славянофилов» («Размолвка между Достоевским и Соловьёвым» // НВ. 1902. 11 окт.; ЛВИ, 443–444). Даже перед Достоевским в известных отношениях теперь отдается предпочтение С., хотя С. на фоне Достоевского выступает «как судебный пристав с исполнительным листом» (там же; см. также «Вл. Соловьёв и Достоевский» // НВ. 1902. 20 сент.). Понимание и известное одобрение находят у Р. «католические» симпатии и *труды* С., его «теократические» устремления, и даже обнаруженные в печати факты о «неправоверию» С., его «двойном» причащении у католического и православного священников и переходе в «униатство» получают благоприятное для покойного объяснение («Католицизм и Россия (Владимир Соловьёв. «Россия и вселенская церковь»)» // РС. 1911. 21 мая; «Религиозный “эklektизм” и “синкретизм”» (Из воспоминаний о Влад. С. Соловьёве) // РС. 1911. 8 июля; ТПРН). Неизменно высокую оценку у Р. получали стихотворения С., которые предпочитались даже богословскому и теоретико-философскому наследию мыслителя; Р. находил в стихах С. эмоционально-психологические созвучия своим переживаниям, прежде всего религиозным; в стихах, по его мнению, в наибольшей степени отразилась душа С. и его особое мистическое восприятие жизни. Этой части творческого наследия С. посвящена статья Р. «На границах поэзии и философии. Стихотворения Владимира Соловьёва» (НВ. 1900. 9 июня; ОПП). О поэзии С. отзывается Р. и в других своих публикациях, которые носят характер воспоминаний о С. Это единственное устойчивое и неколебимое мнение в постоянно переосмысливавшейся системе взглядов Р. на С. Рецензируя в 1916 шестое издание «Стихотворений» С., Р. отмечал: «Конечно, Соловьёв есть признанный поэт России, и поэтическая его долговечность переживет и философскую, и богословскую. И в философии, и в богословии он, пожалуй, имеет местное, русское значение; и именно — значение возбудителя, значение бродильного начала» (ЛВИ, 624–625). Вместе с тем критические ноты в адрес С. целиком не исчезают у Р. в 1900-х. Он вспоминает о *характеристике*, данной ему М.С. Соловьёвым, братом мыслителя (и подхваченной в церковных кругах), в связи с антихристианской и «половой» пропагандой («Розанов — антихрист»), возводя это «убеждение» к самому С.: «Невозможно, что это шло и от Вл.С. Соловьёва, который написав столько томов о “богочеловечестве” и вообще всю свою жизнь занимавшийся только богословием, с его ингредиентами, кажется ни одной страницы не написал о семье, о мужьях, о женах, о детях: отражение

довольно верное общего к семье богословского отношения» (НП. 1904. № 5. С. 226). В «*Людах лунного света*» и некоторых других текстах проводится мысль о С. как о человеке именно такого «лунного» качества. В послесловии к публикации писем К.Н. Леонтьева (РВ. 1903. № 4–6) Р. признает в Леонтьеве и С. «пророков» и провидцев, но ограничивает их значение рамками предшествующей эпохи — «ледникового периода»; новая религиозная эпоха, с которой Р. отождествляет себя, движется уже иными идеями и силами (ЛИ, 390–394). Р. склонен был преуменьшать значение С. в плане генезиса идей «нового религиозного сознания», расходясь в этом с большинством представителей русской идеалистической философии: «Ни Владимиру Соловьёву, ни кн. Сергею Трубецкому, несмотря на их, может быть, и более крупные таланты, чем у Мережковского или у Розанова, — однако не было известно ничего о живой и мертвой воде, и они плыли еще исключительно в океане мертвой воды. Долго это объяснять, — кто интересуется, пусть читает вообще все труды гг. Мережковского и Розанова, сравнивая их по содержанию и тону с трудами Владимира Соловьёва» (ОПП, 271). В 1910-х Р. идейно расходится с былыми единомышленниками по «новому религиозному сознанию» на почве «религиозной общечеловечности»; отношение к С. вновь существенно меняется в негативную сторону. В плане литературно-общественной борьбы Р. в значительной степени возвращается к идеям и принципам полемики с С. 1894 («Старый поновленный спор» // НВ. 1914. 9 февр.; НФП), а сам С. в сознании Р. опять обретает черты «ненавистника своей родины». С. софистически разделил «национальность» и «национализм», тогда как, по Р., между ними нет никакой разницы: «Национализм есть заостренная национальность, заостренная для битв и борьбы», и в этом смысле «философия Соловьёва» предстает как «не то младенческая, не то шулерская» (ТПРН, 282). Роль С. в современной жизни России Р. определяет в статье «Отойди, сатана» (НВ. 1911. 14 окт.): «Уже Соловьёв начал отречением от России; ломался, истеричничал, — но, раз ступив на эту толкую почву, не мог поправить своей “печальной судьбы” Он отрекся нравственно и от Пушкина (в “Судьбе Пушкина”) и гнул дальше и дальше, до унылой смерти... Но если бы он посмотрел на тех летучих мышей, которые теперь цепляются когтями за его саван... Была литература... поэзия была... была философия... И вдруг выглянул полицейский Кулябко: “Это — все мои друзья” И от “интимной близости” с Кулябкой некуда деться Мережковскому, Гиппиус, Соловьёвой и Философовой. Одна душенька и одно исповеданьице» (ТПРН, 283). Так, образ начальника Киевского охранного отделения Н.Н. Кулябко, близкого знакомого Д. Богрова, убийцы премьер-министра П.А. Столыпина, стал определяющим в расстановке сил русской либеральной *интеллигенции*, целявшейся за «саван» С. «Антисоловьёвская» тема наиболее заметно развита в «Литературных изгнанниках» и ряде фрагментов эссеистики Р., начиная с «*Уединенного*». С. не только «совершает предательство» «в отношении к России» (ЛИ, 15), он вообще «был отвратителен нравственно», в нем не было «нашего русского добра», «очень мало в нем было человеческого», но «глубоко демоническое, именно преисподнее». С. уподобляется антихристу, он психологически готов был «все человечест-

и г. Соловьёва» (РО РНБ. Ф. 523. Ед. хр. 859). В «*Апокалипсисе нашего времени*» Р. отметил, что «М.П. Соловьёв всю жизнь рисовал сюжеты миньятюры “на евангельские темы”» (АНВ, 340), хотя был юрист. О консервативных установках деятельности С. на должности главноуправляющего по делам печати Р. упоминал в «*Онавших листьях*»: «Из цензоров был литературен один — Мих.П. Соловьёв. Но на него заорали *Шедрины*: “Он нас не пропускает. Он консерватор”» (У, 209). В 1896 Р. писал Рачинскому: «Какой чудный человек М.П. Соловьёв: вот спасибо П<обедоносцу>ву, что его выдвинул» (ПР. Ед. хр. 89. № 3). Отношения Р. и С. были дружескими. В письме Рачинскому от 12 декабря 1896 Р. возмущался лицемерием *В.А. Грингмута*, который, слывя решительным консерватором, в приватной беседе с *В.С. Соловьёвым*, по словам последнего, «ужасно ругал Победоносцева и смеялся над Мих.Петр. и его мерами» (ПР. Ед. хр. 90. № 81). Р. характеризовал С.: «Вообще, он был энтузиаст-идеалист, младенчески неопытный в текущей жизни. Иллюстрируя Данте, он точно жил в эпоху Данте. Победоносцеву и было нужно это невинное дитя, которое он мог бы начинать своими инспирациями <...> Как человек он был кристально чист душой, а как главноуправляющий по делам печати и вместе отличный юрист, — он в первые же месяцы <...> приступил к составлению обширного доклада на Высочайшее имя, с заключением, что или закон Российской империи должен исполняться, и тогда *Толстой* должен быть предан суду, — или <...> Но и далее тот же Соловьёв впервые ввел знаменитое “назначение редакторов” в газеты и через это буквально терроризировал печать. Его гонению особенно подверглась гайдебуровская “Неделя”, где несколько сотрудников распространяли толстовские идеи <...> Подобного давления еще никогда не было на нашу печать, и главное, столь бесцеремонного, произвольного, прямого, в котором так и слышалась детская рука...» (ОНД, 258–259). Р. передает недовольство Рачинского: «Надеялись, что Соловьёв упорядочит печать... Между тем (он назвал какой-то педагогический журнал), что же это такое пишут? *Вещи* возмутительные для *церкви...*» (ОНД, 259). На пост издателя «*Московских Ведомостей*» С. рекомендовал, по указанию Победоносцева, консерватора *В.А. Грингмута*, и Р. писал о нем по этому поводу: «Наивный Соловьёв, сам совершенно незначительный писатель (не имел к письму дара), совершенно искренно увлекался необыкновенным талантом Грингмута» (ОНД, 277–278). В сентябре 1897, когда Р. уже выходил в печать с темой *пола*, он называет С. в письме к Рачинскому «остроумным (и милым)» (ПР. Ед. хр. 95. № 17). Первое время С., видимо, еще соглашался участвовать в обсуждении с Р. захлестнувших того новых и «рискованных» тем: «Отца вовсе нет, и в сына могли перейти единственно черты матери-девы» (разъяснение мне, на мой вопрос “почему”, М.П. Соловьёва, великого знатока церковной живописи, о “девообразности” всех изображений Спасителя» (ВТРЛ, 349). В начале 1898 Р. сообщал о своем визите к С. вместе с *В.С. Соловьёвым*, в попытке (безуспешной) предотвратить закрытие не самой радикальной газеты «Русь»: «С *Вл. Сол.* я был у *Мих.Петр.*, по поводу дела с “Русью”, которую *Мих.Петр.* не выпускает; кстати, он назвал меня, в одном *обществе*, “другом своим” — и это ужасно меня об-

радовало, почти утешило: ибо я его (по картинкам) считая великим человеком» (ПР. Ед. хр. 95. № 81). В статье «Из старых писем. Письма *Влад.Серг. Соловьёва*» (Вопросы жизни. 1905. № 10–11; полностью: ЗР. 1907. № 2–3) Р. очертил *портрет* С.: «Сухой, высокий, строгий, юрисконсульт при канцелярии военного министерства, всю жизнь свою изучавший Данте и итальянское искусство, Соловьёв вовсе не был “службист”, не был чиновник, не мог быть, а может быть, и не мог бы быть государственным человеком. Во всяком случае, на литературу он смотрел “с высоты Данте и итальянцев” и почти ничего не уважал из “текущего”, в то же время безмерно любя красоту слова, красоту вообще, искусство вообще. Так как пресса, т.е. в особенности газетный мир, пожалуй, является противоположным полюсом “спокойного искусства”, — то он ничего в ней не ценил и в высшей степени был склонен трогать ее и в идейном и в людском ее составе, как *Сципион Африканский* какие-нибудь полчища кельтиберов или нумбийцев. Он видел в ней только политическое значение, вернее, возможность политического значения и к этому последнему относился с крайнею враждою, будучи защитником сильной государственности приблизительно “по примеру *Сципиона Африканского*” Вообще ближе *Сципиона Африканского*, новее Данте — он ничего не понимал и был сущий младенец, сердитый на вид и кротчайший в душе, — в отношении всех его окружавших явлений. Помню, еще служа в военном министерстве, он меня чрезвычайно сухо принял, когда я в одно из воскресений пришел смотреть его знаменитые миниатюры (2 огромных тома рисунков гуашью) на Данте и на “Гимны Богородицы” — *Петрарки*. Но уже при следующем свидании мы говорили, как друзья. Редко кого и в то время, и в последующее, до самой его смерти, я так любил и уважал. Образ его, сухой, высокий, с жесткой шетинистой бородою, коротко подстриженною, с коротко остриженными волосами на голове, в бедном пиджаке, среди квартиры-музея, где всякая вещь, всякая подробность была кусочком, или напоминанием, или воспроизведением древности и искусства, — навсегда останется в моей душе каким-то “алтарем”, куда я подходил с наслаждением, страхом (строгий хозяин) и веселостью. В беседе с ним всё дышало культурою, образованием; сведения его по истории, по литературе были необозримы. Всю жизнь провел на этом!!» (ЛВИ, 478). В то же время С. не был глубоким консерватором: «Он был несравненно радикальнее и либеральнее меня, — сказав мне новое насмешливое, напр., об *Александрe I* (“притворяющийся гуманист, который заставлял перед собой стоять в солдатском фронте даже родных братьев”) и о *Шедрине* (“Ну, этот бывало... Вот новая книжка “Отечественных Записок” — и смотришь, целый угол какой-нибудь святыни-гадости старого уклада нашей жизни отвалился, как его и не бывало”) <...> Замечательно, что он совершенно не любил и не ценил *К.Н. Леонтьева*, византийца и старовера: Соловьёв именно стоял на почве *Сципиона Африканского* и Данте, т.е. Европы и просвещения, презирая, напр., все специально-русские суеверия и не чувствуя ни интереса, ни любопытства, напр., к нашему сектантству. Странная, обаятельная (для меня), жестокая и беспощадная “вообще для людей” натура. Беспощадность его вытекала из со-

вершенного презрения “к нынешним”» (ЛВИ, 478–479). Р. описывает последствия «столкновения этого жестокого, неуступчивого мечтателя, может быть, фантазера, “государственника” и эстета с миром суеты, грязи, *страстей*, самолюбия и в глубокой почве своей с миром страшной *силы* и страшного правосознания <...> Из “шагов” этого государственного мужа я отмечу следующие: 1) как мне передал, всего недавно, один его друг, он при упоминании собеседником слова “жиды” поправлял неизменно: “Не говорите так — жидишки”; 2) в то же время, разрешив г. *Проплеру* издавать второе дешевое издание “*Биржевых Ведомостей*”, создал, можно сказать, либерально-еврейский “*Свет*” (популярная газета Комарова); 3) и всё это, продолжая свято хранить образ великой русской государственности, византийских колоколов и культа Девы Марии. Каша!.. Вот такую “кашу” месил он и во всем» (ЛВИ, 479). «Этому-то Михаилу Петровичу пришла мысль или, точнее, настойчивое желание, совершенно бесцеремонно им и проведенное, — выбросить из литературы гг. *Меньшикова*, *Дорошевича* и (в менее настойчивой форме) *Ник. Энгельгардта*» (там же). Еженедельник «*Русь*» *В.П. Гайдебурова* подвергался притеснениям за то, что там печатались Меньшиков и Энгельгардт. Преследовал С. и Дорошевича: «Главноуправляющий по делам печати <...> решился “выбросить из литературы” г. Дорошевича не по определенной вине его, не потому, чтобы считал его вредным, а просто потому, что он... ему не нравился, художественно не нравился, как *читателю*» (ЛВИ, 480). «Еще более, чем г. Дорошевича, возненавидел г. Меньшикова и решил его “изъять из литературы” всеми способами и до последней строки и окончательного издыхания» (ЛВИ, 481). Р. вспоминал: «Тут я должен вписать черную страницу в собственный формуляр: каким образом я, будучи другом (почти) Михаилу Петровичу, любя и уважая его, кажется, имея на него по крайней мере идейное, по крайней мере дружелюбное, “свое домашнее” влияние, не только не рассорился с ним или “крупно не поговорил” по поводу этих явно бесчеловечных и граждански-бессовестных деяний и намерений, но и ничего при зрелище их не почувствовал!.. Вот это проклятое русское равнодушие, в котором я так виновен, — в сущности есть настоящий родник всех “трупов” в нашей жизни, злодейств и *преступлений*» (ЛВИ, 481). «Что он не имеет права так поступать — это я осознавал и тогда. Но он был кристально чист, и я его искренно любил и уважал. И просто с ним “пил чай”, не возмущаясь, не негодуя. Все мы — слишком частные люди, до бедствия — частные» (ЛВИ, 482). Однако после увлечения Р. *темой пола* отношение к нему С. постепенно изменилось. В августе 1898 Р. сообщал Рачинскому, что получил «очень укоряющее письмо от М.П. Соловьёва» (ПР. Ед. хр. 100. № 99). С. упрекал Р. после напечатания статьи «*Семья как религия*»: «Под гнетом духа любострастия пишете Вы последние статьи Ваши» (РГБ. Ф. 249. М. 4208. Л. 15). Р., «находясь в унынии», как он сообщал Рачинскому (ПР. Ед. хр. 100. № 99), послал письмо С. священнику из Старой Руссы, прот. *А.П. Устынскому*, после чего у них завязалась активная переписка на темы религиозного оправдания семьи и пола. 20 ноября 1899, в связи с закрытием газеты «*Русский Труд*», С. писал Рачинскому о *Шарапове*: «К нему пристроился кли-

куша Розанов, помешавшийся на эротомании Кифа Мокиевич» (ПР. Ед. хр. 111. № 31). Р. привел слова упрека из письма к нему С. (в статье Р. они даны за подписью М. С-вь) (1898): «Под гнетом духа любодоеяния написаны Ваши последние статьи» (ВМНН, 133). Напечатанный переписку в «*Русском Труде*» Шарапов разделял взгляд С.: «Верно, верно, истинная правда!» (там же). Мнение С., как пишет Р., чрезвычайно огорчило его: «*Голос* был не авторитетен только (по учености), но и дорог по *интимности* личного ко мне отношения. Не заблуждаюсь ли? Не гублю ли душу свою бессмертную» (ВМНН, 134). «Смутившись духом», Р. послал письмо прот. А.П. Устынскому, который ответил: «Следовало бы сказать совершенно наоборот: “Не под гнетом духа любодоеяния, а под гнетом духа самого чистого, святого *целомудрия*” <...> Письмо к вам М.П. С-ва не выдерживает даже и слабого прикосновения критики» (ВМНН, 136). Еще резче отозвался о С. публицист *В.К. Петерсен*: «Такие архикретины, ведающие русским мышлением и русской *совестью* и имеющие наглость собственного невежества, как этот ужасный М. С-в, могут каждого заставить задуматься. О земля невежественная, и земля владычествующих невежд!» (ВМНН, 182). Дружеские отношения С. с Р. разладились. 23 марта 1900 С. писал Рачинскому: «Ни Розанова, ни Вл. Соловьёва не читаю. Монголов ни чуточки не боюсь, а в бесконечность *творчества* Розанова, читающего или дребедень или свои собственные писания — что одно и то же — не верю» (ПР. Ед. хр. 113. № 36а). Р. отмечал позже, что консерваторы решительно отвергли его статьи на темы связи религии и пола, и он был тогда «очень раздражен “против всех их” (Рачинский, Победоносцев, М.П. Соловьёв)» (ПВ, 305). В статье «М.П. Соловьёв и К.П. Победоносцев о *бюрократии*» (*Новое Слово*. 1910. № 1) Р. приводит рассуждения С. о «самодержавии чиновника» как о вечном принципе: «Вы не знаете... Чиновничество гораздо сильнее даже державности; чиновничество переживет самую державу русскую <...> Держава... Что такое она? Риза, красота на чиновничестве <...> И, все-таки “чиновник вечен”» (ЗРП, 11–12). Р. комментирует: «А такой был тихий этот Соловьёв, созерцатель и кабинетный человек» (ЗРП, 11). Говоря о богатстве и силе «*шестидесятников*», С. заявлял: «С появлением каждой новой вещи Щедрина валился целый угол старой жизни» (там же). Р. отметил: «Когда он произнес: “Нужно показывать *царя* непременно в ризе”; он улыбнулся тою улыбкою, в которой для меня мелькнул острый глазок Щедрина» (ЗРП, 12). *Э.Ф. Голлербах* писал в своем очерке о Р.: «Очень определительным для Розанова его беседа с М.П. Соловьёвым (тогдашним главноуправляющим по делам печати)». Далее следовала длинная *цитата* из статьи «Из припоминаний и *мыслей* об А.С. Суворине»: «Однажды весной, он гулял со мной в саду. Кусты смородины расцветали, — и взяв *цветок* в руки, Михаил Петрович и любяще, и иронически проговорил: “Вот, В.В., — вы и тут (в расцветающем цветке) увидите религию *фаллоса*” Я был поражен. Но уклончиво улыбнулся и ничего не ответил. Это было конечно — так. В Египетских храмах, в нижнем пояске их, так и изображалось: цветок в бутоне, бутон — цветок... Это — суть всего; как крест есть *символ* и суть *христианства*

<...> С другой стороны, раз желая и для себя решить вопрос об отношении христианства “ко всему этому”, я спросил Михаила Петровича (чрезвычайно начитанного): — Христианство и пантеизм, — как вы думаете Михаил Петрович?.. — Полная противоположность, — ответил он. Если “полная противоположность”, то, значит, эти две *вещи*, два духа, две *веры* взаимно и одна для другой разрушительны. Отсюда совершенно очевидно, что Соловьёв вполне понимал, “к чему дело клонится”, но не делал мне ни одной цензурной придирки» (ПВ, 314). То, что Голлербах в своем очерке о Р. выделил именно разговор с С., «поразило» и «безумно удивило» Р.: «Ведь “о чем я не писал” О всем писал <...> Вы же взяли это как-то махровисто, рыхло, прямо указав как на главное <...> Между тем и до сих пор я живу только этим» (ВНС, 353). Позже он вновь возвращается к этой теме: «Самое интересное и для меня единственно ценное: о разговоре с Мих.П. Сол.-вым. Как Вы заметили? Тысячи бы пропустили, все бы пропустили мимо» (ВНС, 370). И далее еще раз: «Очень важно еще о М.П. Соловьёве и разговоре о “fall.” и о “разрушительности моих идей для христианства” Метался, поистине “метался” об этом я еще в Контроле” (ВНС 372). В ОР РГБ (М. 4208. Ед. хр. 1) хранятся письма С. к Р., которым Р. предпослал характеристику своего корреспондента: «Прекраснейший человек, — правдивый, суровый, редко-добрый. Очень наивен единственно от того, что <...> всегда *лицо-solo*. Он, напр., мог глубоко презирать (не ненавидеть, а презирать) *Bumme* и “почитать” Грингмута. Почему-то, к удивлению, и не любил, и не ценил К. Леонтьева. Чрезвычайно любил, цтил его. Это один из самых чистых людей, встреченных мною за всю жизнь <...> Историю с “Биржевкой” я знаю, точнее много лет спустя догадался о ней. Несчастье, *gore*. Но “мой милый Мих.Петр. все таки чист”, и — чист, чист, чист. Все знаю, о всем болею: но лучше мне и нам всем, окаянным гореть в *Аду*, чем ему. Не умею доказать этого, но это так <...> О нем плакали на *похоронах* мелкие людишки» (ЛЖ. 2001. № 13–14. Ч. 1. С. 105–106). В.А. Фатеев

СОЛОВЬЁВ Николай Васильевич [11(23).2.1877, Петербург — 14(27).8.1915, Петроград] — библиофил, книготорговец, редактор журнала «Русский Библиофил». В статье «“Старые Годы” и “Русский Библиофил”» (К., 1916. 25 марта, 2 апр.) Р. дал литературный *портрет* С.: «Сын богатейшего в Петрограде торговца гастрономическими товарами, имеющего известные лавки на углу Невского и Литейного проспектов, он предался с бесконечным энтузиазмом тонкой области *истории* и *литературы*, — именно — библиофильству. Но предался с таким вкусом, с таким пониманием, вместе с тем с такою широтою и практичностью, что эту всегда несколько сухую область образовательных интересов возвел в роскошное явление, привлекающее внимание, вообще, историка, а не только одного библиофила» (ВЧВ, 148). В 1901 С. открыл собственный «Антикварный магазин» на Литейном проспекте. Начало же его деятельности на издательском поприще относится к 1902. В этом году он стал издавать журнал «Антиквар», выведя русскую библиофильскую периодику на международный уровень. «С 1-го номера «Антиквара» Н.В. Соловьёв начал печатать материалы для “Словаря русских библиофилов”;

это — сведения о частных, о специальных *библиотеках*, как в отношении особенно интересной стороны их, древности, так и в отношении важных областей, на которые устремлено внимание собирателя: истории, положим, — Туркестана, — архитектуры, *искусства*, морского дела, истории географических открытий». С. показал *обществу*, что частные библиотеки в *России* обладают «сокровищами, каких нет ни в Императорской Публичной библиотеке, ни в Румянцевском музее». Но через два года журнал закрылся, просуществовав это время в качестве практического путевода по покупке и продаже старых *книг*. После этого С. «сближается с просвещенным кружком людей, издающих “Старые Годы”, и помещает сам в этом журнале ряд ценных работ: “Русская книжная иллюстрация XVIII-го века”, “Иллюстрированные издания о *России* начала XIX-го века”, “Иностранцы о *России* в XVII-м веке”, “Библиография усадеб” (1910 года), “Валериан Лангер” Особенно важен предпоследний *труд*. Н.В. Соловьёв был один из первых и немногих *лиц*, которые стали догадываться, что настоящим изводом русской литературы XIX века, в ее великом содержании и великой *красоте*, служит старая русская помещичья усадьба, и что изучение этой литературы нельзя и начинать, не осмотрев и не изучив реально, по крайней мере, остатки прежнего усадебного “жизья-бытья”. Р. дал в статье также историю основания С. библиофильского журнала: «С 1911 года он начинает главное свое детище — “Русский библиофил. Le bibliophile russe”, придав ему именно тот вид чего-то международного, с одной стороны, и чего-то вообще исторического — с другой стороны, с каковым характером единственно может у нас *библиография* получить значение и успех. Журналу этому он придал все возможное великолепие, не щадя средств на издание ценного материала. Во всяком случае этот журнал есть самое роскошное из всего, что у нас появлялось до сих пор в этом отделе любительства и *науки*, — и книжки его, вместе с книжками “Старых Годов”, останутся на веки вечные украшением всякой библиотеки, куда попадут». «Русский Библиофил» С., по мнению Р., может служить прекрасным опровержением шедринской *мифологии* о «Колупаевых и Разуваевых», будто бы «разувающих Россию и “колупающих” в отличие от просвещенных представителей британской и германской коммерции, которые укрывают свое отечество и благоговят своему отечеству» (там же). Р. высоко оценил составленные С. тематические номера «Библиофила», посвященные *А.С. Пушкину* и *В.А. Жуковскому*, а также публикацию в ряде номеров «Записок князя И.М. Долгорукова». «Н.В. Соловьёв вспыхнул высоким пламенем с первых же дней германской *войны*. Он встал во главе лазаретов... Разрушение Реймса и Лувена страшно потрясло его... Переутомление и простуда унесла его, совсем еще молодым, в *могилу*. Супруга его решила продолжать издание в память горячо-любимого мужа; редакция его поручена одному из ближайших друзей покойного, *В.А. Верещагину*, — автору многочисленных трудов по истории и археологии XIX и XVIII веков». За статью «“Старые Годы” и “Русский Библиофил”» Р. получил благодарственное *письмо*, написанное 15 января 1916 вдовой издателя В.Л. Соловьёвой (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4212. Ед. хр. 46).

А.В. Ломоносов

СОЛОВЬЁВ Сергей Михайлович [5(17).5.1820, Москва — 4(16).10.1879, там же] — историк, член Петербургской академии наук (1872). Первый год в *Московском университете* Р. слушал лекции С., «коренного “русак”», как он назвал его позднее (ЛВИ, 471). В статье «Еще — памяти русского историка (О С.М. Соловьёве)» (НВ. 1916. 27 мая) Р. вспоминал об его лекциях: «Соловьёв был весь спокойствие: это была его господствующая черта. Он садился на кафедру, к которой были вплотную придвинуты эти ужасные парты, — закрывал глаза (всегда и постоянно, на все время лекции, лишь иногда открывая их) и клал большую, белую, высоко аристократического сложения руку на “бордюрик” кафедры, так что мы все *время* видели эту руку и эту седую, красивую голову» (ВЧВ, 218). Сравнивая С. с В.О. Ключевским, лекции которого Р. слушал после смерти С., он писал, что С. «не был хозяином» русской истории: «В 29 томах “Истории России” он будто распоряжается ею, почти как господин или как арендатор, арендовавший плохо устроенное имение, которому *умом* своим, ученостью и крепким, стойким характером придает лучший вид, *разум* и осмысленность <...> А без этого, как без позора и греха, опять где правда истории, правда в *тоне*? В 29 томах мы имеем беспримерно ученого и беспримерно работоспособного *русского человека*, но который лично и врожденно не имел множества таких русских “жилок”, без которых просто невозможно усвоить всю полноту русской действительности. Несмотря на огромное протяжение почти трех десятков томов, она не полна. И не полна в существенных частях. В ней нет тех “ветров буйных”, которые гуливали по Руси, и той “землицы” в которую по пояс увяз Святогор-богатырь. Нужно ли договорить, что Соловьёву совсем непонятна была личность св. *Сергия Радонежского*. Во всяком случае, он построил и изъяснял тело России. Души ее он не коснулся» (ЛВИ, 568–569). Противопоставляя Ключевскому, который объяснил, почему Руси было невозможно принять *католичество*, Р. писал: «Читая Соловьёва или *Карамзина*, никак нельзя понять, отчего же, например, Россия, “в интересах единства христианства, не приняла католичества”? “Не приняла его и в интересах освобождения от татарского ига”? Католики бы помогли. Для могучих держав Запада ничего не стоило бы сбросить с нас монгольское иго. Повторяем, в “гладкой”, “нешороховатой” истории и Соловьёва, и Карамзина этого не видно <...> Католичество грубо и жестоко для православной души, насильственно для самого славянского тела, выпеченного из пшеницы, а не скованного из железа. А мал ли этот факт, что русские остались вне католичества? Соловьёв мог превосходно распутать дипломатические отношения с западными дворами при Елизавете или *Екатерине*, но вот этого огромного факта церковной особеннности Руси он не только не понимал сам, но только не объяснял слушателям, но даже его и не замечал вовсе иначе как случай, без всякой внутренней необходимости» (ЛВИ, 571–572). В другой статье, посвященной В.О. Ключевскому, Р. дал еще более скептическую характеристику С.: «У Соловьёва в последние годы его преподавания на лекциях бывало мало слушателей. Положив красивую, белую, большую руку на переднюю каемку кафедры, так что кисть ее вся была перед глазами *студентов*, и закрыв глаза, белый, седой

старец с обыкновенным русским лицом говорил докторальным, повелительным тоном, обыкновенные *истины*, долженствующие разъяснить ход русской истории. Как в лице его все было обыкновенно, так в речи его все было обыкновенно. Не было своеобразно поставленного уголка, из которого вдруг брызнул бы свет на лица, на события. Да и “событий” не было; были схемы. Он “разъяснял” историю, предполагая факты ее известными. Он ничего не рассказывал; лиц никаких не очерчивал. Но не было вполне ясно, почему “разъяснения” его относились именно к русской истории, так как казалось, они в



С.М. Соловьёв

равном мере могли быть приложены к истории архаической Греции, феодальной *Германии* или к первобытно-строю инородцев *Волги*. Индивидуальности истории не выступало, нашей русской истории, — как не было индивидуального русского лица и у лектора. Но сам Соловьёв, всегда в черном сюртуке, никогда в “служебном” мундире, — был удовлетворен своим *чтением*, которое не было хуже чтения Ранке в берлинском университете» (СМР, 405–406). Когда в 1915 сын С. *Всеволод Соловьёв* выпустил его «Записки», на которые *П.Б. Струве* откликнулся рецензией, Р. написал статью «П.Б. Струве о “Записках” С.М. Соловьёва и о времени *Александра III*» (НВ. 1915. 15 нояб.), в которой утверждал: «Струве написал о нем очень хорошо. “Соловьёв, — говорит он, — одно из самых замечательных явлений русской культуры XIX века — так мне всегда казалось. Явление замечательное прежде всего тем, что Соловьёв непосредственно и в высшей степени выразительно опроверг ходячее мнение о славянской непроизводительности и якобы

присущем русским отсутствию выдержки и трудолюбия» (НФП, 551). В статье Струве Р. видит «бережливое отношение к “сумме русской действительности”, которую мы называем в прошлом “русскою историею” и называем сейчас Россиею, “какую нам дал Бог” (слова Пушкина)» (НФП, 552).

А. Н.

СОЛОВЬЁВ Сергей Михайлович (младший) [13(25). 10.1885, Москва — 2.3.1942, Казань] — поэт, внук историка С. М. Соловьёва. В 1905 Р. в связи с выступлением С. в «Вопросах жизни» в дискуссии о понимании «святой плоти» весьма мягко ответил на упрек, помещенный в письме-статье С. о любви и поле, что «покрывала Изиды не надо открывать». Перед разъяснением Р. назвал С. «молодой и прекрасной (если не обманет) надеждой «нашей литературы» (ЛВИ, 489). В статье «Владимир Соловьёв. Стихотворения» (*Голос Руси*, 1916. 25 апр.) Р. подчеркнул, что «Сергей Соловьёв, хотя находится в большом богословском споре с знаменитым дядею, тем не менее в общем является наиболее полным и наиболее правоспособным преемником, толкователем, возражателем и проч. Владимира Соловьёва, а через это — и наилучшим и самым естественным его издателем» (ЛВИ, 622). Р. назвал С. поэтом «очень выразительным», рвущимся «в философские и в богословские выси» (Там же, 623). Сравнивая племянника с В. С. Соловьёвым, Р. отмечал: «Сергей есть прямо русский человек и просто русский человек» (там же). Р. положительно отозвался о статье С. «Идея Церкви в поэзии Владимира Соловьёва» (БВ. 1915. № 1—2). Ему импонировало, что «человек светского образования и выдающийся поэт, — к тому же совершенно счастливый семьянин, Сергей Соловьёв порывается всеми силами принять священнический сан и стать рядовым иереем» (ЛВИ, 623) Р. был возмущен, что подобные намерения встречены были очень осторожно главой Синода (А. Д. Самарин) (в 1916 С. был посвящен в сан священника). В статье «Литературный род Соловьёвых» (НВ. 1911. 14 апр.) Р. дал общую характеристику С. как поэта: «Сперва он был под сильным увлечением восторженно-аскетическою и восторженно-мистическою лирикою и философию своего дяди; но позднее стал отходить от нее в сторону более естественного порядка вещей. В минувшем году он издал большую книгу стихотворений под горящим заглавием: “Апрель”, которую недурно в апреле месяца перечитывать России и русским» (ТПРН, 85; далее Р. цитирует эти стихи). Негативные суждения С. о позиции Р. по вопросам брака и пола звучат в переписке с А. Блоком и А. Белым в 1900-е. В 1920-е в воспоминаниях он сформулировал свою позицию: «Мы были настроены крайне ортодоксально и враждебно к новому религиозному движению, которое возглавлялось тогда Розановым и Мережковским» (Воспоминания об Александре Блоке: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 115). 1 сентября 1903 С. писал Блоку: «Сейчас я прочел статью Минского “о двух путях добра”, напечатанную в “Северных Цветах”, и во многом с Минским согласен. Розанова он разбивает совершенно и вполне справедливо говорит, что идеал целомудрия требуется не современной церковью, а современной интеллигенцией в лице лучших ее представителей. А Розанов, кроме всего, пошляк и невежа, когда, например, сожа-

леет, что в чине венчания не говорится о звездах, цветах и поцелуях. Согласно рецепту “цинического мистика” великий обряд венчания, весь проникнутый прозрением мистического смысла брака <...> следует заменить символами Мирры Лохвицкой, или кого-нибудь из компании» (ЛН. Т. 92. Кн. 1. С. 339). По этому же поводу С. писал 20 сентября 1903 А. Белому: «Ярость к Розанову все возрастает. Впрочем, в “Новом Времени” появилась недавно весьма недурная его статья о Тургеневе. В “Новом Времени” он, видимо, подтягивается и не дает простору аскарическим кликушеством, зато не так яростен и силен <...> Мне начинает казаться, впрочем, что успех его в значительной степени есть недоразумение <...> грязные, псевдофилософские размышления <...> Алексей Сергеевич Петровский со мной не согласен и находит в Розанове “белость”» (ОР РГБ. Ф. 25. К. 26. Ед. хр. 3. Л. 18 об—19 об.). В 1905 С. пережил искушение идеей «святой плоти», проповедовал «религию святого сладострастия», но Р. ему по-прежнему «враг заклятый» (ЛН. Т. 92. Кн. 1. С. 394). В 1916—1917 С. написал труд «Опыт апологии христианства» (против Гёте, Ницше, Розанова, Мережковского, Брюсова, Ф. Зелинского, Вяч. Иванова, Р. Штейнера), оставшийся не опубликованным. Целый раздел посвящен анализу антихристианских основ работ Р., который, по С., верит в «святую реакцию»; его соединяет с Мережковским «общая вражда к аскетизму и стремление построить антиаскетическое христианство» (ОР РГБ. Ф. 696. К. 2. Ед. хр. 14. Л. 1 об.). С. писал: «Розанов в своих первых книгах <...> еще не противник христианства», «он отделял “историческое”, аскетическое христианство от христианства природного, близкого к религиям Вавилона и Египта, и духу Возрождения» (Там же). В полемике с Мережковским С. уточняет, что «Розанов не противопоставлял арийства семитству; он противопоставлял дохристианский, иудейский, эллинский и египетский мир — миру христианскому» (Там же. Л. 20) С. не принимал одной из главных идей Р.: «Голос пола — голос Божий» (Там же. Л. 59) С. с точки зрения «святоотеческой аскетики», по которой гордость и сладострастие одинаково отчуждают человека от Бога, рассмотрел позицию Р., высказанную в его статьях о Достоевском, где «половое, смиренное» противопоставляется «головному, гордому» (Там же. Л. 107) Указывая на это отступление Р. от учения Святых Отцов, С. считает, что Р. «не считал себя христианином, когда писал о Достоевском». (Там же. Л. 107 об.). Завершил свой труд С. выводом, что не «получим сладострастием» Р. можно спастись от соблазна гордости, так как розановское смирение «есть уже гниение души», «от него исходит запах тления» (Там же. Л. 108 об.). Еще один аспект высказываний С. о Р. связан с работой первого над наследием В. С. Соловьёва. В докладе «Идея церкви в поэзии Вл. Соловьёва» (БВ. 1915. № 1—2), в биографической статье, предвалявшей сборник стихов поэта-философа в монографии «Владимир Соловьёв: Жизнь и творческая эволюция» (1923; опубл. Брюссель. 1977; М., 1997). С. стремился отразить истоки и характер полемики между Р. и В. С. Соловьёвым: «Розанов явился противником В. Соловьёва в двух логически связанных между собой периодах своей деятельности. Сначала В. Соловьёв сталкивается с Р. как одним из национальных эпигонов славянофильства. Затем Розанов является

одним из первых на Руси “оргиастов”, “дионисийцев” (Вяч. Иванов, специалист по дионисизму, тогда еще почти не выступал). Начав полемику с Розановым на почве национализма (“Порфирий Головлев о *свободе и вере*”) В. Соловьёв продолжает ее на почве “оргиазма” (Соловьёв Вл. Стихотворения. М., 1915. С. 43). С. подчеркивал, что, несмотря на остроту отдельных высказываний, сохранялся неизменно дружелюбный и уважительный характер личного отношения В.С. Соловьёва к Р. Подобного он не мог сказать о Р. С. вспоминал, что во время публичного чтения автором «Трех разговоров» «Розанов демонстративно свалился со стула» (Там же, 369). «После смерти Соловьёва Розанов не уставал ему мстить, всячески принижая его значение и умаляя его личность. Он усматривал в Соловьёве черты “антихриста”, говорил, что лучшее в нем была та “грусть”, которую он скрывал, неся перед собой свою гордость. За несколько месяцев до своей смерти Розанов говорил мне: “Зачем мы ссорились с Вл. Соловьёвым? Ведь оба мы были пророки”» (Там же, 299). Можно предположить, что Р. и С. встречались и беседовали уже в 1905–1907, когда публиковались в одних и тех же журналах («Вопросы жизни», «Золотое Руно», «Весы»). В середине десятых годов оба поддерживали дружеские отношения с П.А. Флоренским и М.В. Нестеровым. В последние перед смертью Р. годы они оба жили в Сергиевом Посаде (с 1916 С. учился в Московской духовной академии) и встречались (Там же, 299).

В.Л. Скрипкина

СОЛОВЬЁВ Тимофей Петрович (1861–1911) — философ, чиновник, товарищ Р. 1890-х по славянофильскому кружку, сформированному Т.И. Филипповым в Государственном контроле. В письме к Р. от 25 апреля 1911 из Самары, *времени*, когда С. служил старшим контролером Ташкентской железной дороги в Оренбурге, он вспоминает о годах тесного общения с Р. в 1890-х и беседах на философские темы, когда Р. называл С. «толстым философом» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3823. Ед. хр. 13). «Увы, — сетовал С., — я оказался действительно “толстым”: не только физически еще более потолстел, но, кажется, и нравственно стал как будто еще более “толстым”, хотя никогда не был “толстовцем”, т.е. “набитым” чужой моралью, притом искаженной исканием того, что под рукой» (там же). Жесткая критика литературных работ С. со стороны С.Ф. Шарапова оказала решающее воздействие на его отказ от литературной карьеры: «Сергей Федорович Шарапов так сконфузил меня, что я бросил навсегда роль “мыслителя”, чтобы сделаться хотя бы “порядочным” чиновником (каковым, однако, Вам сделаться, кажется, не удалось). Но после “услуг” милейшего Сергея Федоровича и это для меня оказалось не так легко. Если я и обращаюсь сейчас к “собрату по философии” после “кратковременной” разлуки, то только вследствие просьбы хорошего бывшего своего сослуживца Столярова-Суханова, которому очень хочется Вашего отзыва на его сочинение о чиновниках. Конечно, я рискую многим. Что возобновил сношение с “литератором”, но воображаю, что будет с бедным Столяровым. Увлёкся я было идеей доказать все Кантовское величие Вашего труда “О понимании”, но к тому времени я уже был сбит с позиции “услугами” (Однако свою работу я

все-таки хочу докончить). Не скажу, чтобы моя полная материальная необеспеченность была результатом гонения на чиновника-философа, чиновника-литератора, чиновника-идеалиста, чиновника-труженика, чиновника-патриота в особенности, наконец, просто чиновника-человека, но думаю лишь, что гонение было, пожалуй, справедливо, если принять во внимание, что я “толст” и душой, тогда как с “взрослыми” людьми нужно быть “тонким” дипломатом, а этой способности “Судьба” лишила Вашего “толстого философа” Если не в труд и не в возгордние будет Вам уведомление меня (для сообщения Столярову) о судьбе сочинения относительно чиновников, то сообщите; заодно черкните о Сергее Федоровиче Шарапове» (там же). Вспоминая время активного общения с философами из окружения поздних славянофилов в Петербурге середины 1890-х, Р. писал: «Из всех вообще здесь философов мне был мил Тимофей Соловьёв — с прочими — случайные и “бессердечные” встречи» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 83). Письмо С. в архиве писателя предваряет розановская характеристика старого товарища: «Тимофей Соловьёв. “Теория волевых представлений” Прелестный. Спился от “непризнанности”» (Там же, 84).

А.В. Ломоносов

СОЛОГУБ Федор [наст. фам. Тетерников Федор Кузьмич; 17.2 (1.3).1863, Петербург — 5.12.1927, Ленинград] — поэт, прозаик, драматург, переводчик. В судьбах Р. и С. было много общего: оба учительствовали в провинции, почти одновременно приехали в Петербург, оба выбрали литературный путь, печатались в одних и тех же литературных журналах, имели немало общих знакомых. На протяжении четверти века с лишним они не утрачивали интерес друг к другу, крайне редко совпадая во взглядах. Один из таких редких случаев связан с усилиями Р., направленными на изменение законодательства, ущемлявшего права внебрачных детей. В письме к Розанову от 10 августа 1902 г. С. выражал поддержку новому закону. Он, как инспектор, не раз сталкивался с проблемой оформления документов при зачислении в училище внебрачных детей. С. писал: «И первые же шаги их в училище бывали довольно мучительны и для меня, и для них. Надо было заносить их в списки под фамилией по имени крестного отца, а многие из них привыкли чувствовать себя детьми своих родителей, своей матери по крайней мере, и непризнание за ними материнской фамилии их поражало чрезвычайно и больно». С. указывал далее, что на ту же фамилию, которая «соответствовала требованиям закона», оформлялся и аттестат, в случае, если имело место расхождение между фактической и «законной» фамилией, становившийся «сомнительным и не дающим никаких прав». «Теперь это мучительное неудобство устраняется, одна из бесчисленных жестокостей жизни смягчена», — констатировал автор письма. Он поздравлял Р. с успехом и желал «много новых, столь же прекрасных побед» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 724. Л. 227–228). Повышенное внимание друг к другу оборачивалось порой открытым соперничеством Р. и С. А. Белый вспоминал, как убегал на «воскресенья» Р. «от скучных, холодных воскресников Ф. Сологуба, который весьма обижался на это» (ПРО, 1, 188). Отношения Р. и С. иногда омрачались недоразумениями и обидами. Так,

обращаясь к С. с просьбой дать одно из стихотворений в «Торгово-Промышленную Газету», Р. заметил: «NB. Но только хорошенькое — ибо не все и не <...> каждое у Вас таковы» (РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 586. Л. 3). С. счел *тон* розановского предложения оскорбительным. В ответном письме от 6 мая 1899 он не скрывал своей обиды: «Скажу Вам откровенно, что я не пришел в восторг от переданного мне Вами великодушного согласия Торгово-Промышленной Газеты (органа, конечно, весьма почтенного, но мне совершенно не известно) дать приют в своих приложениях даже и моему одному стихотворению, если оно окажется хорошеньким. Так как, по Вашему справедливому замечанию, не все и не каждое из моих стихотворений таковы (что в переводе на простой язык означает, что многие мои стихотвор. плохи), то я и не стану обременять почтенную редакцию присылкою моих стихов. Я лишен литературного *тщеславия*, посылал мои стихи во многие редакции и не обижался, если их не печатали; так же я отнесся бы и к тому, если бы мои стихи были отвергнуты Торг. Пром. Газетою, — это дело вольное. Но я не разделяю того мнения, что и к писателю можно обращаться, точно к торговцу, добросовестность которого заподозрена, с предостроительным требованием непременно добротного товара, в таком приблизительно роде: “Мы, мол, у тебя, пожалуй, что-нибудь так и быть, купим, — только смотри, мошенник, не сплутуй по-вчерашнему, не подсунь и нам такой же дряни, какую ты подсунул нашему соседу” Такой оборот *мысли*, по моему мнению, лучше было бы оставить исключительно для торгово-промышленных сношений, да и там в низах. Таков мой неотесанный ответ на Ваше хорошенькое письмо, — а, впрочем, остаюсь уважающий Вас Федор Тетерников» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 724. Л. 225–226). Р. откликнулся на это письмо известными пушкинскими строками — вопросом Татьяны, обращенным к Онегину: «Как с Вашим сердцем и умом / Быть чувства мелкого рабом». И подписался: «В. Розанов» (РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 586. Л. 5). Об одном из недоразумений между Р. и С. вспоминал П.П. Перцов: «Помню, как однажды рассеянный Розанов хотел было сесть на стул, уже занятый Сологубом, так как ему показалось, что стул пуст. “Вдруг, — рассказывал он потом, — возле меня точно всплеснулась большая рыба”, — это был запростествовавший Сологуб. Он был действительно похож на рыбу — как своим вечным *молчанием*, так желтовато-белесой внешностью и холодно-белыми рыбьими глазами» («Литературные воспоминания: 1890–1902 гг.» М.; 2002. С. 181). О другом курьезе рассказывала З. Гиппиус. Однажды «в столовой “Мира Искусства”, за чаем» Р. «привязался к Сологубу: “Что это, голубчик, что это вы сидите так, ни словечка ни с кем? Что это за *декадентство*. Смотрю на вас — и, право, нахожу, что вы не человек, а кирпич в сюртуке!” Случилось, что в это время все молчали. Сологуб тоже помолчал, затем произнес, монотонно, холодно и явственно: “А я нахожу, что вы грубы” Розанов осекся» («Живые лица». М., 2002. С. 104). Гиппиус вспоминала также, как раздражали Р. стихи С. «Водой спокойной отражены...» (Пламенный круг. Цикл VI. Волхования): «Он от них в ярость приходил». Не понимая смысл отдельных образов и стихотворения в целом, Р. сердился. «Однако самого Сологуба

спросить никогда не решался, — замечала мемуаристка. — Со всеми интимничающий Розанов знал, что к Сологубу не очень подьдешь: “Кирпич в сюртуке!”» (Там же, 148). Р. выступал в роли рецензента сологубовских произведений. Он был одним из немногих, кто дал высокую оценку роману «Тяжелые сны» (1896). Критик отнес роман к разряду «даровитых книг», трудных для «понимания и вкуса»: «Г. Сологуб принадлежит, конечно, к тяжелым писателям: его *психология*, его манера письма, занимающие его идеи, всё — как низко ползущие, сырые, свинцовые, темные облака. Ничей взгляд они не порадуют, ничьей души не облегчат. Да автор и не стремится к этому. Он пишет про себя и для себя, как бы говоря в сторону *читателя*: “заинтересуешься мной — читай; присаживайся тогда ко мне — я расскажу тебе много интересного; нового, мучительного. А нет, — ступай мимо, мне и одному не скучно с моими мыслями и фантазиями”» (Розанов В.В. [Рецензия] Тяжелые сны. Роман Федора Сологуба. 2-е изд. СПб., 1906 // ОР РГБ. Ф. 386. К. 58. Ед. хр. 28. Л. 3). Заметив, что проза С. — «это сплошь “тяжелые сны”», рецензент указывал на «презрение» автора к сюжету, на слабый интерес его к «житейскому положению выведенных фигур»: «Говорит ли он о любви двух существ: он и не интересуется, как и чем она кончится. Поженятся ли негероические его “герои”, или умрут, или сойдут с ума — автору почти все равно. Он едва помнит, нужно ли им умереть или пожениться» (Там же. Л. 4). Р. особо подчеркивал: «Там, где он касается редких случаев психологии и жизни, именуемых неопытно юностью и недоучившимися своей науке профессорами “извращенностью”, там письмо его приобретает такую силу и глубину, что страницы его романа хочется назвать, в данном направлении и с данным содержанием, первенствующими в нашей *литературе*» (Там же). Р. обращал внимание на «тяжелый, как сон, язык романа, стирающий «грань между действительностью и видением», внушающий читателю мысль о том, что «здесь кончилась литература и началось какое-то подлинное колдовство» (там же). Читатель, по мнению Р., чувствует: то, о чем говорится в произведении («нестественное отношение полов, вражда и борьба родных кровей»), «не может иначе выразиться, как в этих полужелто-красных, полуреальностях» (там же). Переживания матери написаны, по мнению критика, «с силой Достоевского». «Сила изобразительности» у автора такова, что эти страницы воспринимаются как реальный документ: «И насколько это убедительнее всех статей, всех кодексов по семейному праву, встречающих родственные браки; насколько это объясняет инстинкт всемирного отвращения и страха, переходящего в ужас (Эдип), в отношении подобных сближений» (Там же. Л. 7). Роман С. «Мелкий бес» Р. не принял, увидев в нем декадентское произведение, получившее неоправданно высокую признание критики. В статье «Бедные провинциалы...» (НВ. 1910. 11 июня) он доказывал несоответствие реальной провинции ее отражению в публицистике и литературе. Р. опровергал расхожее мнение, согласно которому, столичные и университетские города являются центрами культуры и образования; в то время как провинция пребывает во мраке и грязи, внушая людям отвращение и ужас. Это ложное представление формировалось в том числе и литературной критикой, приме-

ром чему, как полагал Р., могли бы служить ее отклики на роман С. «Мелкий бес». Читатели «приняли его за отражение современной провинции» (ОПП, 443). Р. же настаивал на том, что С. «есть субъективнейший писатель, — иллюзионист», «мечтатель, и притом один из самых фантастических на Руси»; ««изображать действительность» ему и в голову не приходило», «это “не его дело”, “не его тема”, не “его интерес...”» (ОПП, 444). Все, что критики нашли в его романе «характерным» для русского захолустья, «присуще Сандвичевым островам не менее, чем “бедной русской провинции”; вернее же оно вовсе никому и ничему не присуще, кроме странного соллогубовского воображения...» (ОПП, 447). Восприятие провинции в «Мелком бесе», считал Р., «никого и ничего не “характеризует” кроме опять же психики автора и его биографической судьбы» (ОПП, 447). Р. утверждал, что С. провинции не знал, но «среди таких похвал» «начал писать “Навыи чары”, в которых уже решительно никто ничего не понимает, а “действие” происходит и не на Сандвичах, и не в Пензе, а ...под землей, на кладбище, сколько можно понять» (ОПП, 448). Р. упоминал С. в ряду других писателей. Он называл его среди тех, кто, по его мнению, заметно «полевел»: «“Охранка”, я думаю, с большим удовольствием смотрит на газетные сочинительства *Философова* и *Мережковского*. За что прежде “поденные деньги” приходилось платить, то теперь писатели делают “из чести” На ласковой флейте (читай “Старый дом” *Ф.К. Соллогуба*, разительную у него *вещь*) эти когда-то серьезные писатели заманивают теперь *гимназистов* и *студентов* идти “влево” и “влево”, — “рвать динамитом бесчувственный камень”» (СХР, 120). В статье «Магическая страница у *Гоголя*» (1909), касаясь темы кровосмешения, Р. подчеркивал «необыкновенность», «чудодейственность» автора «Страшной мести», которому удалось выразить «самую сущность» «неестественного смешивания кровей». Ему он противопоставлял «обыкновенных» писателей, к числу таковых относил С., автора пьесы «Любови»: «Так, между прочим, пишет в одной пьесе и глубокомысленный *Ф. Соллогуб*: “Отец сказал то-то, дочь ответила так-то”, и затем занавес и многоточие. Да, собственно, что же иначе и написать обыкновенному человеку? Даже мудрому, но обыкновенному?» (ОПП, 415). К темам и образам С. писатель обращался в «*Уединенном*», «*Опавших листьях*», «*Последних листьях*», «*Сахарне*», «*Мимолетном*»: «С основания мира было две философии: философия человека, которому почему-либо хочется кого-то выпороть; и философия выпоротого человека. Наша русская вся — философия выпоротого человека. Но от Манфреда до *Ницше* западная страдает соллогубовским зудом: “Кого бы мне посечь?”» (У, 49). «Со времени “Уед.” окончательное утвердилась мысль, что я — *Передонов*, или — *Смердяков*. *Мегси*» (У, 165). «Очень ошибаетесь, *Елизавета Кускова*, думая, что меня читают “*Передонов* со *Смердяковым* и больше никто” Кто-то раскупает 2400 экз. книжечек, а “денежка счет любит” — и это не даром». Далее, говоря о себе в третьем лице, автор уверял *Кускову* в том, что, когда ее «все оставят», он, «*Передонов-Розанов*», обязательно пошлет к ней, «*гаснущей женщине*», свою пылкую дочь со словами «последнего <...> вечернего участия» (СХР, 171–172). «“Сволочь” “Подлец” “Хам” “Лжец” “Передонов”

Позвольте. Это слова. Почему я на них обижаюсь. Да ни чуточки» (КНУ, 204–205). «Начиная с *Гарриса*, который в “Утре России” через 2–3 дня, как вышла книга (“Уед.”) — торопливо вылез: “Какой это *Передонов*; о, если бы не *Передонов*, ведь у него есть *талант*” и т.д., от “Уед.” и “Оп. л.” одно впечатление: “Голый *Розанов*”, “У-у-у”, “*Цинизм*, грязь”» (ПЛ, 40). *Э.Ф. Голлербах* вспоминал: «Еще летом 1915 года *В.В. Розанов* написал обо мне *Сологубу* и *Чеботаревской* (помню начало этого письма: “Дорогой Федор Кузьмич и знаменитая *Анастасия*, — вот мой друг, хотя зовут его *Эрих*, но он русский из русских” и так далее; в заключение сообщалось: “Он — наш”). Посылка этого письма совпала с отъездом *Сологуба* в *Кострому*, и мне не довелось тогда встретиться с ним» («Встречи и впечатления». СПб., 1998. С. 149). Их встреча состоялась восемь лет спустя, осенью 1923. С. признавался *Голлербаху*: «*Розановское* письмо сыграло свою роль, его я считаю началом нашего знакомства» (Там же, 150). *Голлербах* вспоминал о «запойных» беседах с С., о странных, причудливых перебегах от *Гёте* к *Розанову*: «Мы много говорили о *Розанове* и о всяких делах литературных» (там же).

Т.Н. Фоминых

СОМОВ Константин Андреевич [18(30).11.1869, Петербург — 6.5.1939, Париж] — живописец и график, один из участников движения «*Мир Искусства*». Неоднократно бывал у Р. на «*воскресеньях*». О теплых отношениях Р. и С. свидетельствует сохранившееся письмо художника, содержавшее предложение показать Р. японские гравюры, которые писатель стремился увидеть. Художник также предлагал познакомить Р. со своими работами (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4216. Ед. хр. 15). К письму живописца Р. приложил его характеристику: «*Сомов* Констант. художник — кажется, гениальный» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 118). Р. оставил отзыв о картине С. в статье «На выставке “*Мира Искусства*”» (МИ. 1903. Т. 9. Хроника. № 6). Он дал описание работы С. в сравнении с картиной *Н. Рёриха*: «Совершенный контраст со всем вышеназванным составляет “Вечер” *К. Сомова*. Там природа поглотила человека, здесь человек поглотил природу. Сцена взята из конца XVIII и никак не позже начала XIX века; время — *Де-Лиля* или *Руссо*, время уроков *Лагарпа* царственному наследнику *Екатерины* и *Павла*, и — милого выезда за границу “Русского путешественника” Эпоха, представляющаяся нам наивной, с некрепкими мускулами, без чудовищных фабричных труб, без машин, без паровозов, тихоходящая, ползучая (сравнительно с нашею), — а как она может овладеть природою, обольстить природу, почти сделав ее продолжением своего костюма! Арка из зелени, с висящим виноградом, дает впечатление и триумфа и любви; как к ней идут изящные дамы и изысканный кавалер, среди этой зелени!» (СХ, 216). С 1923 С. жил за границей.

А.В. Ломоносов

СОПОЦЬКО-СЫРОКОМЛЯ Михаил Аркадьевич — литератор, студент Медицинской академии, редактор журналов «Студент-медик», «Студент-христианин» и др., сотрудник «Миссионерского обозрения», участник *Религиозно-философских собраний*, автор писем к Р. (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4212. Ед. хр. 47). В книге «В темных ре-

лигиозных лучах» Р. использовал публикацию С. материалов «жития» одного из Отцов Церкви, ранее воспроизведенную писателем в публикации писем к себе С.А. Рачинского (РВ. 1902. № 10, 11; 1903. № 1), для подтверждения своих идей об отношении христианского духовенства к браку и полу. В преамбуле к повествованию Р. заметил, что публикатор источника «известный в Петербурге странничек, г. Михаил Сопозко, — принятый во всех благочестивых домах, а ныне удалившийся в Иерусалим и оттуда присылающий на родину нравственно-поучительные листки <...> предостерегая благочестивых мирян от “козней дьявола”, под которыми разумеется, конечно, “женщина”, — передает, что против них не могли устоять даже и “святые угодники”» (ВТРЛ, 181). С. выступал на 20-м заседании РФС при обсуждении темы «О христианском догмате» в поддержку идеи Д.С. Мережковского, что «иногда Слово Божие в устах людей звучит не как золото, а как олово» (ЗПРФС, 445). Студент отстаивал при этом позицию, что далеко не все «священники окаянны; мы знаем пример — Иоанн Кронштадтский. Нет ни одного человека, даже нигилиста, который бы не относился к нему с уважением» (там же, 446.). В письме к Р. от 15 ноября 1901 С. откликнулся на статью Р. о В.С. Соловьёве цитатой из книги Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе» с призывом к борьбе со страстями (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4212. Ед. хр. 47. Л. 2). В письме от 17 ноября 1908 С. в резкой форме запрашивал писателя, почему ему не присылают повесток на заседания Религиозно-философского общества: «Я уверен, что вам, господа философы, нужен известный подбор публики, а я — элемент нежелательный, как апологет православия, а не мережковщины, толстовщины или розановщины. Вы знаете, что я не пойду на компромиссы с вольнодумством и духовным самочинием; что я — человек sui generis <особый>, независимый столько же от корифеев антихристосова направления, сколько и от путовождей синедриона (“отцов архимандритов” вроде Михаила Семенова ныне раскольника). И Вы меня устраняете, боясь, моего голоса, руководимого духом искренней веры» (Л. 3 об. — 4). С. требовал от Р. обязательного ответа на письмо в печати или лично, в противном случае корреспондент грозил опубликовать текст письма в одном из своих журналов. Приводя фамилию корреспондента в пометах к его письмам, Р. давал корреспонденту неллицеприятные характеристики: «Сопозко Мих. Проходимец-студент в виде “страничка” Старался всех обратить на себя внимание грубостью и независимостью; но зависим б. от своего самолюбия и карьеризма. Отвратителен». На визитной карточке С., направленной для председателя РФО с претензией, что ему не присылают повесток о предстоящих заседаниях: «Вот сукин-то сын. А ведь ходит почти в лаптях» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 109).

А.В. Ломоносов

СОСНИЦКИЙ Юлий Осипович — управляющий книжным магазином и складом «Нового Времени». В 1913 Р. подарил ему первый короб «Опавших листьев» с надписью, отметив исключительную важность для автора этого сочинения: «Дорогому Юлию Осиповичу Сосницкому мое сердце. В. Розанов» (ГЛМ). Близкие отношения с С. продолжались у Р. и позднее. В 1918 Р. обра-

тился к нему с требованием уничтожить книги и брошюры, напечатанные в связи с процессом Бейлиса. «Тем не менее означенное распоряжение мое во исполнение приведено не было, — пишет Р. в “Апокалипсисе нашего времени” — В объяснение же мотива своего Ю.О. Сосницкий заявил сыну моему Василию, что “у папы Вашего может перемениться взгляд, и он может пожелать о состоявшемся распоряжении, — во избежание чего книги лучше не истреблять, так как их на несколько тысяч рублей”» (АНВ, 185).

А.Н.

СПАСОВСКИЙ Михаил Михайлович [26.3(7.4).1890, Петербург — 4.7.1971, Австралия] — писатель, публицист, биограф и почитатель таланта Р., редактор журнала «Вешние Воды», в котором Р. вел постоянную рубрику «Из жизни, исканий и наблюдений студенчества» и



М.М. Спасовский

публиковался в 1914–1918. Журнал С. возглавлял совместно с женой Анной Васильевной Спасовской (1895–1915), издательницей «Вешних Вод». В феврале 1926 выехал из СССР в Персию, затем жил в Китае и США. С. познакомился с Р. осенью 1913, будучи студентом Петербургского университета. Посредником в переговорах редактора и писателя выступил музыкант и дирижер В.В. Андреев. Спустя четыре месяца после знакомства Р. дал первый литературный материал для собственной рубрики в журнале С. В литературных заметках редактора «Вешних Вод» С. регулярно представлял читателям

новые книги Р. В парижском журнале «Двуглавый Орел» за 1929 С. опубликовал статьи «О мертвых душах российских времен Государственной Думы (В.В. Розанов)» (№ 7) и «В.В. Розанов о Церкви» (№ 8). В журнале «Возрождение» (Париж. 1960. № 12) С. написал очерк о Р., в котором представил писателя как философа, мистика и провидца, а затем очерк «В.В. Розанов. Из личных воспоминаний» («Православный Путь». Джорданвилль; Нью-Йорк, 1965). В 1939 в Берлине С. выпустил в «Русском Национальном Издательстве» свою книгу «В.В. Розанов в последние годы своей жизни: Среди неопубликованных писем и рукописей». Парижская газета «Возрождение» 26 мая 1939 обратила внимание на «интереснейшую книгу воспоминаний» С. З. Гиппиус написала отрицательный отзыв на книгу С. (Современные Записки. Париж, 1939. № 69; то же в книге: Гиппиус З.Н. Арифметика любви. Неизвестная проза 1931–1939 годов. СПб., 2003). Ю. Мандельштам в «Возрождении» 9 июня 1939 дал благожелательную рецензию «Неизданные письма и статьи Розанова». В начале 1949-х С. выступал с лекциями о Р. Второе издание книги, исправленное и значительно дополненное, увидело свет благодаря «Всеславянскому издательству» в Нью-Йорке в 1968 (перездана в сборнике: «Настоящая магия слова»: В.В. Розанов в литературе русского зарубежья. СПб., 2007). В заключительных строках предисловия ко второму изданию С. заявил, что Р. «вполне самоцветный и вполне русский, пусть мятущийся, но по своему глубоко религиозный мыслитель», а сама книга посвящена «последним вспыхам его литературно-политической интуиции, где провиденциальное осознание сегодняшнего дня достигло у Розанова глубин прозрения завтрашнего дня в его исторической перспективе» (с. 13). С. отмечал многогранный талант Р., определяя его как фельетониста и газетного обозревателя, публициста и литературного критика, философа и богослова, исследователя древних вер и культов, создателя нового стиля и новой формы в литературе, предвосхитивших сочинения М. Пруста и Дж. Джойса (с. 15). С. стремился доказать, что Р. «писал не как политик, — политиком Розанов никогда не был, всегда оставаясь просто русским человеком, — а именно как философ, милостью Божией одаренный способностью смотреть поверх внешних форм и видеть сердцевину того или иного феномена» (с. 132). Биограф привел в своей книге одно из примечаний Р. к письму В. Мордвиновой, с рассуждением о церкви. С. опубликовал также рукописи нескольких статей Р.: «Распавшиеся Чичиковы», «С печальным праздником» и одну статью без заглавия («Что ценно в юности?..»). В них Р. представлен как провидец неизбежной «расправы над Россией» (с. 71). С. напечатал несколько писем и фрагментов из писем Р. 1917–1918, отправленных писателем из *Сергиева Посада*. Публикатор стремился документально рассказать, «до каких низин нужды и голода дошел Розанов с первых же дней Октября и каким тяжелым душевным впечатлением эти дни легли на его мысли и чувства» (с. 55). В пятую главу книги воспоминаний С. включена не публиковавшаяся ранее монография Р. «Об античных монетах: Как и почему пришло на ум собирать древние монеты», переданная писателем в конце февраля 1916 в распоряжение журнала «Вешние Воды». «Наша русская вина в том, — подчеркнул С. в

заключение книги, — что мы очень медленно раскрываем Розанова, не ищем его и подхода к нему, — чтобы ближе, лучше и внимательнее разглядеть его и через него ярче и тверже осветить русский путь» (с. 170). Письма С. к Р. за 1914–1918 хранятся в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 647).
А.В. Ломоносов

СПЕНСЕР (Spencer) Герберт (27.4.1820, Дерби — 6.12.1903, Байтон) — английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма. Р. вспоминает, что в годы его юности «Систему синтетической философии» С. «все читали и зачитывались» (ЛИ, 118). Р. отрицает С. за позитивизм: «Спенсер, Бокль и т.п. болваны не потому не нужны, что они ошибались (м.б., и нет), а потому что они — амфибии, земноводные, с холодной кровью в себе. “А я хоть и мышка, но у меня горячая кровь”. Дитюшка я рожу горячекровную, самку я люблю горячекровную. Вот это и кладет разницу на “поганое” и “чистое” Позитивизм — поган, атеизм — поган, революция — погана, социализм — поган, п.ч. хотя он может быть и “мудр”, и “абсолютно верен”, как “абсолютно верна задачам своего устройства ящерица”, но она — амфибия, липкое, холодное существо, которое “гадко взять в руки” Эти-то амфибии окружили несчастное человечество и, высовывая двоящиеся языки, быстро проносят всякие “хорошие слова” и заманивают его “к себе”, — обещаниями. И позитивизм “обещает”, и атеизм “обещает”, и революция “обещает”, и социализм “обещает” Все “обещают”: приди “к нам”, прими “нас» (КНУ, 213). Р. говорит о бесплодности и безрадостности позитивизма С.: «Бокль, Дрепер, Спенсер открывают уму или вводят ум в какое-то необозримое серенькое понимание, серенькое мышление, серенькое устремление воли и сердца, которое потому именно и трудно победить, что это просто “образование” “образованных людей”, в котором не торчит никакой гениально-выдающейся или гениально-уродливой мысли, которую можно было бы или победить, или ею восхититься. Прочел, устал и заснул» (КНУ, 12). Р. пишет о «грязи безбожия» С. (АНВ, 318), о бесперспективности социализма «по Спенсеру и Марксу»: «Социализм — всемирная удушенность. Социализм — комната удушенника. А Маркс со Спенсером — Люциферы удушенности. И оттого одинокачественно, что забыли *Egnet* и Вифлеем. Забыли утречко, застили молитву» (ПЛ, 219).

А.Н.

СПЕРАНСКИЙ Михаил Михайлович [1(12).1772, село Черкутино, Владимирский уезд, Владимирская губ. — 11(23).1839, Петербург] — государственный деятель, руководил кодификацией Основных государственных законов Российской империи. Р. отмечал, что «Сперанский и Аракчеев попеременно несли “на рамена своих” Россию» (ОПП, 117). «Сперанский своими учреждениями подсек порыв Петра и вообще угасил наше политическое творчество» (ОЦС, 149). В статье «Как произошел тип Акакия Акакиевича» (РВ. 1894. № 3) Р. проводит аналогию между гоголевским героем и «гением Сперанского, который, как исполинский костяк, без мускулов и без нервов, налег на живую Россию с начала века и до сих пор всё в ней давит собою» (ЛВИ, 144). Через два года Р. развивает эти мысли о С.: «Мы снова возвраща-

емя к этому *человеку* удивительных *талантов*, удивительной *судьбы*, но совершенно не определенного нашими историками значения. Характерно самое происхождение его, из духовенства и семинарии, т.е. из сословия и *школы*, которые, дав длинную вереницу методистов-тружеников, не дали России ни одного поэта, ни одного музыканта, ни одного живописца. Не столько в составе своих убеждений, сколько в свойствах своего темперамента, Сперанский лишен был совершенно этической и эстетической идеи; и вместе, в самом характере он лишен был той глубины и непоколебимости, какой мы удивляемся, напр., в митрополите *Филарете*. Все существо его было в высшей степени риторическое; недаром единственный его литературный *труд* есть книжка “О правилах высшего красноречия” (изд. в СПб. в 1846); склад *ума* трезво логический, исключительно формальный; тусклое воображение; погасшие или, вернее, не заложенные в натуре *страсти*... Характерно, что он был женат не на русской, а на немке — сочетание брачующихся, редкое в России. При всех этих личных данных, он всего менее мог стать Цезарем или Периклом нашего государственного строя. Совершенно напротив: осыпьте всеми внешними дарами, всем внешним величием, блеском и знаменитостью, наконец, — *дружбой* монарха, но оставьте в *тайне души*, где-то глубоко запрятанным, бедное, робкое сердце Акакия Акакиевича и узкую, скудную мысль Молчалина — и вы будете иметь исторического Сперанского. Все это отразилось на его *труде*. Он создал для внутреннего употребления России какую-то политическую “хрию”, по-видимому, неопровержимую, но в высшей степени бесполезную, а главное — погашающую всякий порыв и творчество, погашающую тем вернее, что это творчество, видя перед собой эту удобную форму, невольно входит в нее и неизменно в ней погибает. С сего *времени*, по преимуществу, Россия обставилась департаментами и канцеляриями — не как необходимою записною книжкой, куда живой деятель вносит свои предположения, решения, расчеты, — но именно как самим деятелем, решителем, творцом <...> Россия закрылась канцелярскими формами и стала в них непроницаема для *истины*, неуязвима для суждения, беспомощна в работе» (ВЕ, 343–344). На выставке русских исторических *портретов* в Таврическом дворце в 1905 Р. обратил внимание на юного С. «Это вовсе не портрет утомленного годами и переломами в *жизни* государственного *человека*, это — портрет его от 1806 или даже 1802 г. *Губы* выражают безмерное высокомерие, упорное презрение ко всему окружающему, ко всей этой “старографской и старокняжеской рухляди”, которая так ярко представлена на портретах елизаветинской и екатерининской эпохи и которую вот-вот он начнет ломать; а глаза его, эти маленькие, свиные, до таинственности закрытые сверху и снизу сближенными веками глаза — что-то изумительное, таинственное!! Кто бы на портрет ни взглянул, пусть иностранец, пусть “до возвышения Сперанского”, не мог бы не остановиться пораженный: “это что-то необыкновенное”, “это какой-то необыкновенным человек”, “это феномен”» (КНУ, 44–45).

А.Н.

СПИНОЗА (Spinoza) Барух (Бенедикт) (24.11.1632, Амстердам — 21.2.1677, Гаага) — нидерландский фило-

соф. Р. часто обращается к имени и *творчеству* С., отмечая его как наиболее значительную фигуру в *истории философии* Нового *времени*. Уже в ранней работе «*О понимании*» Р. причислит С. к первым *умам* всего человечества. «Декарт, Спиноза и *Кант* — в новое время по могуществу и точности мышления никогда не имели себе равных. Это вершины психического развития, выше которых никогда не поднимался *человек*» (ОП, 384–385). Наряду с *Сократом* он называет С. всемирным мудрецом, ибо «вообще немного рождается в стране и городе, в году и десятилетии, Василиев Блаженных, Спиноз, Маллебраншей» (ВТРЛ, 276). Р. отмечает, что философия С. представляла собой одну из систем идеализма, которая всегда притягивала к себе людей. «Между самыми системами идеализма одни предпочитались другим — не по истинности, но по стройности, по гармонии в построении, по *красоте*. Так, *Платон* и Спиноза всегда неудержимо влекли к себе человеческую *душу*, хотя на *Аристотеля* и Бэкона можно было надежнее положиться» (ОП, 472–473). Привлекательность философских систем, подобных системам Спинозы, зависела также, по мнению Р., от «духа писателя» которому непреодолимо покоряется *читатель*. С. принадлежал к той категории философов, которые «бессознательно для самих себя мыслили под сильным давлением настроения и невольно покоряли *мысль* свою *чувству*, предпочитая одни *истины* другим» (ОП, 404). Р. было философски близко пантеистическое мироощущение С., что, несомненно, сближало его с голландским мыслителем. Однако *пантеизм* Р. был далек от рациональных схем С. Французский философ Ж.Б. Северак писал в статье «*Антихристианство г. Розанова*» (Вестник *Знания*. 1908. № 6): «Было бы большой ошибкой искать сходства между мирозерцанием г. Розанова и системой Спинозы, который видит во вселенной развитие атрибутов *Бога*, а в телах модусы этих атрибутов; взгляды г. Розанова чрезвычайно далеки от робкого и методичного *рационализма* Спинозы. Но если признать, что для него *природа* во всех своих проявлениях как бы проникнута божественным дыханием, что только приобщившись к ее *тайнам*, можно найти путь, ведущий к Богу, и, трепеща перед ее красотами, высказывать свою *любовь* к Богу, то в таком случае здесь может идти речь о пантеизме» (PRO, 2, 481). Факт изгнания С. из религиозной общины был осмыслен Р. как воплощение идей Домостроя, свойственных еврейскому кагалу. «Естественное качество кагала — не давать отделяться от себя, вражда к тому, кто отделился (судьба Спинозы в Амстердаме и “херема” над ним)... Херем и был совершенно справедлив, потому что “община” важнее личности, пусть даже эта личность будет Сократ или Спиноза <...> Итак, “бедный человек” возлюбил свое “гетто”, в нем греется, им защищается, и, ей-ей, это выше Сократа и Спинозы. Потому что это священнее Сократа Спинозы» (У, 437–438). Позднее Р. сформулировал свою мысль четче: «Спиноза изменил своему черному и бедному гетто» (КНУ, 593). Не оставляла равнодушным Р. *тема* еврейского происхождения С.: «Почти не встречается *еврея*, который не обладал бы каким-нибудь *талантом*; но не ищите среди них *гения*. Ведь Спиноза, которым они все хвалятся, был подражателем Декарта. А гений неподражаем и не подражает» (У, 112). Вместе с тем Р. писал: «Евреи первая нация в

мире. Евреи выдвинули Спинозу» (СХР, 179). Р. противопоставлял себя другим людям, в том числе и философам: «Ибо жизнь моя есть день мой, и он именно мой день, а не Сократа или Спинозы» (У, 55).

И. С. Шилкина

СПИРИДОНОВ Михаил (наст. фам. Саяпин Михаил Спиридонович) — прозаик и драматург 1910-х, сотрудник газет «Каспий» (Баку), сектант из кавказской секты «общих» (идейно близких молоканам), основанной его дедом И.А. Саяпиным, почитатель работ Р. на темы о русском сектантстве. Первое письмо С. к Р. от 8 января 1910 было вызвано впечатлением С. от статьи Р. «Нужда веры и форм ее» (НВ. 1910. 3 и 4 янв.; ЗРП) (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 53). В нем С. признавался, что «перечитал почти всего» Р. (Там же. Л. 1). Для более подробного знакомства с проблемой сектантства С. предложил прочитать свою драму «Сектанты», рукопись которой он переправил Н.Ю. Жуковской. В 1913 С. дал рецензию на книгу Р. «Темный Лик» («Черная немочь» // Каспий. 1913. 17 марта). В 1916 в газете «Колокол» Р. поместил серию очерков, разбиравших письма С. о проблемах русского сектантства: «В мире нашего сектантства» (8 июля); «О кавказских сектах» (20 июля.); «Из мира кавказского сектантства» (29 июля.); «О кавказских сектантах» (5 авг.; ВЧВ). Р. высоко оценил факт писательства бывшего сектанта, подробно рассмотрел отношения С. с сектами «общих», духоборов и толстовцев, цитировал фрагменты из его писем с критическими оценками сектантского движения.

А. В. Ломоносов

СТАНИСЛАВСКИЙ Константин Сергеевич [наст. фам. Алексеев, 5(17).1.1863, Москва — 7.8.1938, там же] — актер, режиссер, теоретик театра, один из основателей Московского художественного театра (МХТ). Впервые Р. упоминает о С. в статье «Сицилианцы в Петербурге» (ЖТЛХО. 1908/9. Вторая половина сезона. № 3/4). Сравнивая сицилианский, японский и русский (МХТ) театры, Р. приходит к мысли, что в последнем нет «лирики и страсти», которые полностью подменены бытом (СХ, 281). По его мнению, «собственно вдохновлен в театре один г. Станиславский, но это режиссерское вдохновение, чем оно выше и гениальнее, — тем властительнее связывает самую возможность вдохновения у исполнителей, т.е. у актеров, — у всей массы их. Театр не “живет”, а именно — “представляет» (СХ, 280). Потому среди «сплошного прекрасного» МХТ «не проходит изумительных штрихов, которые восхищали бы душу особенным непереносимым восхищением» (СХ, 281). С. «сделал величайшую подделку таланта, которая почти заставила забыть о недостатке его, — забыть, что в природной даровитости актера — все дело сцены. Он подкрасил нашу печальную действительность» (СХ, 282). В ОР РГБ сохранилось письмо С. к Р., которое свидетельствует, что они были знакомы, а также сопровождающая это письмо запись самого Р.: «Станиславский — красавец — актер (“Худ. т.”)» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 97). Р. впервые встретился со С. «в натуре» (не на сцене и в роли) (РС. 1910. 8 мая; ЗРП, 169) на спектакле Айседоры Дункан в Суворинском (Малом) театре во время ее гастролей 1909 в Петербурге: «Во 2-м ряду кре-

сел я увидел красивую фигуру г. Станиславского <...> это человек мысли и высокой вкусовой оценки» (СХ, 288). Затем он встретился со С. в 1910 на приеме у Н.В. Остен-Дризен в связи с гастролями МХТ в Петербурге. Его впечатления нашли отражение в статье «В театральном мире». Он отправился на уже названную встречу С. и Немировича-Данченко: «Нужно богов посмотреть вблизи» (ЗРП, 168). Несмотря на то что «“боги” опоздали» (ЗРП, 169), Р., увидев С. — «белая голова, на высоком стройном корпусе». Р. отмечает в С. «что-то особенное», которое в качестве итоговых наблюдений получает более явственные очертания: «Вот каков должен бы быть настоящий барин» (там же) или король, которому «нужен трон» (ЗРП, 171). Внешность С. привлекает внимание Р., который отмечает его особую мужскую красоту, без «смазливенького и красивенького»: «У Станиславского крепкое, очень видное лицо, немного неправильных, не изящных линий <...> Украшением головы служат собственные белые волосы, немного взерошенные и короткие, небрежно поднятые “пятерней”, что ли, но едва ли гребенкою <...> И, между тем, под волосами лицо еще совершенно свежее, почти молодое; чуть-чуть красноватое; необыкновенно жизненное и ласковое. Все это — на высоком росте, на высоком без излишества (не “дылда”» (ЗРП, 170). Р. указывает на свойственную С. органику: «Ни тени позы, деланности, эффекта» (ЗРП, 171). Завершением «замечательной физики» С. является «совершенно детская» улыбка: «Это — поразительно <...> Вся вообще улыбка, видная улыбка Станиславского содержит что-то очень доброе, приветливое в себе, дружелюбно расположенное к спорщику; это что-то в высшей степени и деликатное и нежное, — на лице столь типично-мужском. Но когда он очень увлечен и говорит уже долго, — он улыбается в третий раз, и вы с изумлением замечаете что-то наивное и детское или страшно-страшно молодое, отроческое в линии, появившейся в губах <...> Его речь, художественная и поэтическая, наконец, умная, — носила последний чекан еще и этой прелести — беззаботности! “Счастливого человека!” — подумал я» (там же). И как итоговый вывод: «Станиславский — удачный мастер великого театрального ремесла» (там же), а театр, одним из создателей которого был С., «с гордым правом» назван «Художественным» Ибо искусство, ведь, и всегда — только правда, без “прикрас» (ЗРП, 174). Последняя запись Р. о С. в 1918: «Станиславский был так красив, что и я загляделся. Он был естественный король во всяком царстве, и всех колоретских тронов на него не хватило бы» (АНВ, 60).

И. А. Едощина

СТАРОДУМ Николай Яковлевич [наст. фам. Стечкин; 21.8(3.9).1854, станция Суходол, Алексинский уезд, Тульская губ. — 31.5(13.6).1906, Петербург] — критик, редактор газет «Народ» и «Свет», редактор-издатель журнала «Воздухоплаватель», заведующий отделом библиографии и литературной критики журнала «Русский Вестник». С. с интересом следил за Р., регулярно упоминал его имя в своей постоянной рубрике «Журнальное обозрение» в «Русском Вестнике». Сотрудничество Р. в журнале «Новый Путь» и публикация работы «Юдаизм» вызвали резкую критику С. «До сих пор мы признавали в В.В. Розанове своеобразии крупного дарова-

ния, в смысле своеобразного мышления и умения проникать в такие стороны мудренейших проявлений духа, которые для многих остаются закрытою завесою, для многих, даже острых умом и опытных в анализе мыслителей. Мы находили, что В.В. Розанов возбуждает в читателе ряд мыслей, иногда раздражает читателя противоположностью своих заключений со всем тем, что читателем давно было принято за аксиому, иногда радуется его неожиданностью открытия областей, о самом существовании которых читатель, за недосугом или за нежеланием вдуматься, забыл совершенно, или не знал вовсе. В.В. Розанов решался говорить о таких вопросах, которых не принято вовсе затрагивать из-за ложного или справедливого стыда. Взявшись за такой вопрос, он добирался до его сути, на все лады его осматривал и расценивал, проникал в такие уголки его, что непривычному читателю становилось не то жутко, не то странно, а подчас и немного смешно... По вопросу о браке В.В. Розанов создал целую литературу. У него совершенно своеобразный взгляд на этот важный вопрос, — взгляд, расходящийся с общепринятым, и взгляд далеко не православный» (РВ. 1903. № 11. С. 338–339). «“Новый Путь” отвел В.В. Розанову особое место. На заглавном отделе А.В. Розанов написал: “В своем углу” и хозяйничает там вполне самостоятельно. Тут он и договорился до абсурда. С июля месяца “В своем углу” помещается длинная, сложная и мудреная статья “Юдаизм” Она заслуживает внимания, так как дальше идти некуда» (Там же, 339). Расценив, что взгляды Р. «склоняются к апофеозе еврейства как законоучения» (там же), С. восклицает: «В.В. Розанов чистейший по происхождению и воспитанию русский человек. И вдруг... И больно, и обидно за талант, истрачиваемый на доказательства недоказуемого, на защиту дела, проигранного перед судом истории и, главное, перед судом Божиим, девятнадцать веков назад на Голгофе» (Там же, 357). Обсуждение Р. обрядов обрезания и миквы в иудаизме вызывает у С. предположение, что автору «Юдаизма» «не дают спать срамные лавры маркиза де Сад» (Там же, 365). Критик ставит Р. в один ряд с такими «работниками» «отвратительного, циничного и безнравственного движения в области мысли», как Л. Толстой, стремящийся «рушить все наше церковное здание», и М. Горький, возводящий «безнравственность, распущенность, пороки, преступления на степень естественных свойств человека» (Там же, 337). «На первых шагах своей литературной деятельности В.В. Розанов выказал себя человеком крайне консервативных убеждений. Потом с ним очевидно произошли эволюции», — возмущается С. (РВ. 1904. № 8. С. 857). «Статья г. Розанова рисует его как духовного проходимца и отщепенца от веры Христовой. Она есть оскорбление общественной нравственности, пощечина здравому смыслу, скверное и постыдное богоугодство, высшая мера низменнейшего и грязнейшего разврата, по крайней мере умственного, а быть может, и материального. Это проповедь новой секты, поход на православие и на святые таинства» (РВ. 1904. № 1. С. 370). Р. упоминает С. в «Уединенном»: «Удивительно противна мне моя фамилия <...> Хуже моей фамилии только “Каблуков”: это уже совсем позорно. Или “Стечкин” (критик “Русск. Вестн.”, подписывавшийся “Стародумов”): это уж совсем срам» (У, 33).

Т.В. Воронцова

СТАСОВ Владимир Васильевич [2(14).1.1824, Петербург — 10(23).10.1906, там же] — художественный и музыкальный критик, историк искусства. Р. ценил С. как деятеля русской культуры: «Имя г. В. Стасова будет вспоминаться долго после того, как будут забыты имена его литературных противников; не будет припоминаться какая-нибудь его мысль, его взгляд на этот или иной вопрос, вообще — его “умственное наследие”; все это будет забыто, пренебрежено, как уже почти даже теперь, — писал Р. в 1899 в книге “Религия и культура” — Но его фигура, его зычный голос, его постоянная воспаленность тем или иным вопросом — все это гораздо замечательнее его “мыслей”, все это стало уже теперь как-то монументально, памятно, незабываемо, даже национально. Что именно сказал г. Стасов о живописи? о музыке и музыкантах? о Даргомыжском и Репине? — на что нам знать это: наверное, он сказал что-нибудь несообразное с действительностью <...> Стасов — это первобытная, некультивированная Русь; Русь еще былин, еще до Владимира, до всякого просвещения: обильная, обширная, но “неустроенная”; “порядка нет”, но ширь во все стороны необъятная. Мы говорим о внутреннем логическом порядке, о художественном устроившем вкусе, которого так явно недостает нашему писателю и без которого его обширные знания, ученость, начитанность, даже любовь и старательность, только — “Обширный храм без божества”» (РФК, 98). Р. отмечает далее, что сестра С., биографию которой он написал после ее смерти, участвовала в женском движении 1860-х и «даже отчасти им руководила» (там же). Р. писал в некрологе С.: «Самая важная часть его деятельности заключалась в критических статьях об искусстве, особенно о И. Репине, В.В. Верещагине, М. Антокольском, В. Перове, И. Крамском и о всех почти выдающихся русских музыкантах: Глинке, Кюи, Даргомыжском, Серове, Мусоргском, Бородине и др. В литературе он всегда являлся пылким проводником начинающихся новых движений в искусстве. Так, его имя нераздельно слито с “передвижниками”, когда-то порвавшими связь с академией и выступившими смело на новый путь народного реализма <...> Он поднимал общественное внимание в сторону начинающего дарования, начинающегося нового течения в искусстве, являлся горячим популяризатором, неутомимым полемистом, и хотя все его работы в этом отношении не всегда отличались тонкостью и вкусом, но они всегда достигали своей цели: обращали внимание на новое явление» (ОНД, 71–72).

А.Н.

СТАСЮЛЕВИЧ Михаил Матвеевич [28.8(9.9).1826, Петербург — 23.1(5.2).1911, там же] — историк, публицист, издатель-редактор журнала «Вестник Европы» в 1866–1909. Р. называл его одним из «клевветников» около трона (СХР, 262) и определял его сущность: «Богатое приданое принесла юдаизму мадам Утина, выйдя за русского беднягу — профессора Стасюлевича. “Вот тебе и типография, и журнал” Русские все кинулись, конечно, читать европейский журнал. Ведь русские вообще европейцы. В “Архиве Стасюлевича” печатают письма к нему Салтыкова, Тургенева и проч. Но особенно там интересны только записочки банкиров Утина и Гинцбурга. Бедный Стасюлевич. То-то грустная, хмурая поза

за всю жизнь» (М, 108). Тесть С. еврейский банкир И.О. Утин, по словам самого С., «запретил мне писать что-нибудь сочувственное о *христианстве*, о *церкви* и — как он выразился — “так называемом вашем отечестве”» (М, 18). «Как Стасюлевич смотрел “в глазки” тестю — Утину (*еврей*, директор-распорядитель СПб. учетного банка) и уже совсем не тестю барону Гинцбургу. “Мы знаем, с кем завтракаем” и неблагодарности не оказываем» (КНУ, 382). *Социализм* представлялся С. «важным европейским явлением, которым косвенно должен заниматься его журнал» (М, 192). Журналу «Вестник Европы» Р. посвятил статью «43 года “корректности”» (НВ. 1908. 5 окт.; ОНД), а позднее писал: «Я — конечно проглядывая только, а не читая вполне гнусный журнал — нигде и ни одного раза не прочел в уважительном духе и в уважительном тоне сказанные слова о *России*, о *русских* (если то были не оппозиционеры), о *правительстве* русском, о *министрах* русских... Ни о ком, ни о ком... Только и было за 43 года “живые и симпатичные люди” в *России* — жида да революционеры, родственники Утины да эмигранты *Кратоткин* и *Лавров*. Кроме этих нескольких людей, вся *Россия* им была противна...» (М, 221). Облик С. раскрывается в «*Мимолетном*»: «Стасюлевич за 43 года “корректного” издания “Вестн. Европы”, находя порицаемым всё в отечестве, не сказал ни одного порицания банкирам. П.ч. Гинцбург-то был банкир, а он у него завтракал. Между тем, кто скажет, — нет, сильнее: кому Стасюлевич оставил хотя бы малейшую возможность сказать о нем при жизни и после *смерти* что-нибудь дурное. Корректнейший *человек*: а суть корректности — нельзя придирать, обвинять и порицать, не впадая в голую и, следовательно, безвредную клевету. И я ведь говорю, в сущности, о неуволимостях... Кто же может вмешаться в то, у кого Стасюлевич завтракает и к кому он не позван завтракать» (КНУ, 530). Христос и церковь «никогда не упоминались в журнале Стасюлевича» (КНУ, 271). Более того, Р. замечает: «Конечно, “все человеку простить можно” (либерал-гуманисты); — кроме *молитвы*. Вот этого уж простить нельзя. Нельзя простить *религии*. И я никогда не слышал ни одного либерала, который бы просил человеку то, что “он помолился” Тут он неопишум — и в последней ярости. (Стасюлевич и *Пытин*)» (СХР, 163). После *смерти* С. в статье «Лучшая книга по средневековой *истории* (К воспоминаниям о М.М. Стасюлевиче)» (НВ. 1911. 30 янв.; ТПРН) Р. высоко отозвался о трехтомном исследовании С. «*История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых*» (СПб., 1863–1865), которую он читал еще в университетские годы. В письме к С. 9 декабря 1897, вспоминая эту «дивную» книгу, Р. предлагал к публикации свою статью «Комментарии к письму к одной *женщине*», где рассматриваются вопросы *пола* и *брака*, «sexual’ное в нашей *литературе*» у *Достоевского*, *Гоголя*, *Толстого* и *Лермонтова* (РГАЛИ. Ф. 1167. Оп. 2. Ед. хр. 12. Л. 2). В конце письма Р. заранее полагает, что сотрудники журнала «Вестник Европы» почувствуют «несовместимым для себя работать “с окаянным”» (там же. Л. 5). Действительно, статья не была напечатана. А.Н.

СТАХОВИЧ Александр Александрович [3(15).4.1857, Надеждин, Рязанская губ. — 5(18).4.1915, Пильна, Елец-

кий уезд, Орловская губ.] — общественный и политический деятель, елецкий уездный предводитель дворянства, депутат 2-й *Государственной думы*. Сотрудничал в *газетах* «*Русское Слово*», «*Русские Ведомости*», в журнале «*Русская Мысль*». Из письма С. к Р. от 11 марта 1912 следует, что С. был уже более 12 лет знаком с Р. С. просил Р. в письме дать отклик на статью *Н.А. Бердяева* «*Национализм и антисемитизм перед судом христианской совести*» (РМ. 1912. № 2). «Трактуемый в высшей степени важный для переживаемого нами *времени* вопрос он (Бердяев) освещает, на мой взгляд, оч. ярко и талантливо. Мне представляется в высокой степени важным всесторонне осветить серьезной и объективной критикою *мысли*, изложенные Бердяевым. Имею основания предполагать, что и с “правой” и с “левой” стороны нашей *интеллигенции* статья эта будет замолчана. Громаднейшему большинству “левой” интеллигенции — материалистической с позитивным мировоззрением оч. не понравится чисто христианская, религиозная почва, на которой стоит автор. “Правые” же — “националисты” новой формации займутся суровой критикой Бердяева и именно на той же для них столь важной религиозной почве. Расходясь с Вами в политических взглядах, я всегда был убежденным почитателем вашего *таланта* и глубины, с которою Вы трактуете поднимаемые Вами вопросы; также и смелости и искренности вашей. Потому я и решился обратиться к Вам и обратить Ваше внимание на эту статью. Уверен, что она Вас заинтересует и что Вы откликнитесь на нее серьезной, объективной критикою. Если на страницах “*Нов. Времени*” Вам это было бы неудобно, в Вашем распоряжении ведь также и “*Русское Слово*” В наш материалистический, безрелигиозный век так важно иметь смелость трактовать вопросы с религиозной точки зрения, как это делаете Вы и Бердяев» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 31. Л. 2). Р. на запрос либерального думца не откликнулся.

А.В. Ломоносов

СТАХОВИЧ Михаил Александрович [8(20).1.1861 — 10.9.1923, Париж] — общественный деятель, юрист, уездный предводитель в *Ельце* (1892–1895), губернский предводитель в Орле (1895–1907), депутат 1-й и 2-й *Государственных дум*. За рубежом с 1917. Первое упоминание о С. встречается у Р. в *письмах* к *Н.Н. Страхову*. Р. просил Страхова достать ему «*Крейцерову сонату*» *Л.Н. Толстого*: «со Стаховичем я не знаком и прошу Вас прислать мне “Сонату” хоть из Спб.» (ЛИ, 240). В письме от 24 июля 1890 Страхов отвечал Р.: «Что касается до Стаховича, то Л.Н. сказал мне, что Вы можете захватить его в “Присутствии” города Ельца и можете обратиться к нему (кажется Михаилу Александровичу) от имени Л.Н. Толстого с просьбой достать “Крейцерову сонату”» (ЛИ, 62). Невозможность получить произведение Толстого у С. в Ельце, где Р. жил в то *время*, писатель объяснял следующими обстоятельствами: «Стахович — здесь очень важный барин, кажется, самый богатый в уезде помещик, и мне стеснительно к нему обратиться. “Вот еще привязывается”, — подумает он. Я лучше подожду, а Вы уж удружите мне, пришлите из Спб., хоть и не торопясь» (ЛИ, 243). В следующем письме Страхов сообщал, что «виделся с Мих.Александр. Стаховичем, и он обещал <...> послать Вам “Крейцерову сонату”»

Он очень милый и скромный человек, с большой начитанностью» (ЛИ, 67). Р. дал высокую оценку выступлениям С. в 1-й Думе, подчеркнув стратегическую важность его политических заявлений в острый момент, когда «консервативные, охранительные начала», «начала национальные и государственные впервые стали у нас в трагическое, гонимое, преследуемое положение» (РГО, 101). В этой ситуации С. удалось, по мнению Р., «указать и вразумительно объяснить, какую “бедею” явился бестолковый погром для правящих наших сфер в теперешних обстоятельствах перед лицом Думы и свободной печати, какое это событие создало для них и нравственные, но более всего чисто правительственные затруднения» (Там же, 100). Литературный портрет С. дан Р. в статье «Несколько воспоминаний из недавнего прошлого» (РС. 1906. 16 июля), в которой либеральный политик был представлен «длиннобородым Стаховичем, угловатым à la медведь, хорошим рослым барином <...> Бороду эту Стахович отпустил недавно, может быть, после поездки на Восток, в армию и вообще после некоторых “государственных” хлопот. Он вообще весь сильно “погосударственел”, — после того как долго был “крайним левым” или “очень левым” в нашей публицистике и общественной жизни <...> Теперь в Думе Стахович <...> охрана, “охранное отделение”, без полицейских обязанностей» (РГО, 108). В 1907 Р., отмечая динамичное состояние думской аудитории и небрежение депутатов к мнению своих коллег, заметил: «В нынешнем году Стаховича я вижу вечно то выходящим из зала, то входящего в него, и вообще он мало слушает других» (РГО, 342).

А.В. Ломоносов

СТЕПАНОВ Николай Михайлович (1820–1890) — учитель математики в Симбирской губернской гимназии, когда в ней учился Р., причислявший С. к представителям «тьмы». «Степанов (математика) ловил нас следующим образом. У него была голова толстая и красная, как шар голландского сыра, — и он клал ее в ладонь, поставив локоть на стол (учительский). Нам (ученикам) было незаметно, что он оставлял щелочку между пальцами, — и следил через нее “в боку”, в то же время обратясь лицом к “классной доске”, где ученик отвечал ему его ерунду (алгебру). Тогда “в боку”, — видя, что “благорасстворение воздуха”, — ученик Умов или кто, отрывая бумажки, сжимал их и образовывался комочек с закоулочками и щелочками. И спускал на пол. Таким образом, на полу у его ног образовалась отличная “наша Свяга” (местная речка) и в ней эти рыбки. Когда все готово, он взглядывал на Степанова. Тот сидит массой и смотрит презрительно на длинноногого Пахомова, который стоит у доски и молчит, не зная, что говорить и писать. Тогда Умов, видя, что “прекрасный воздух” продолжается, прикреплял к ниточке согнутую булавку и, опустив “в воду”, начинал ловить рыбу. Т.е. зацепит бумажку и вытащит кверху. Тишина. Рай. И счастье. Я издали смотрю и сочувствую. Приспосабливаю у себя подобное, хотя предпочитал “музыку на перьях” Тсс... Тсс... Хорошо. Хорошо. Вдруг гром, яростный, визжащий. Дело в том, что Степанов-то неподвижен и не вынул голову из проклятой ладони. Тем неожиданнее он поражает нас: — Умов, бойван (“л” не выговаривал): Пошой в

угой! Пошой в угой, бойван! — Умов вскочил. Дрожит. Улочка выпала из рук. — Ты там, бойван, ибу удишь! Ибу удишь (р не выговаривал)... — Ёжей (рожей) к стене, ёжей к стене <...> Но этот проклятый Степанов умел так делать, что и весь класс чувствовал себя подавленным, раздавленным — “проклятым” и подверженным смерти” <...> А в Степанове мы имели точно “Бога, наказавшего нас” Он был зол и красен» (У, 378–379).

И.Ф. Макеева

СТЕЧКИН Н.Я. — см. Стародум Н.Я.

СТОЛПНЕР Борис Григорьевич (январь 1871 — 28.8.1967, Ленинград) — философ, переводчик. Знакомство его с Р. относится к периоду их совместного участия в *Религиозно-философском обществе*. В 1913 Р. вспоминал о первой встрече со С.: «Несмотря на его вечную неумыванность и ужасную грязь под ногтями, это был один из самых красивых (духовно, биографически) людей, каких я встретил за всю жизнь. И таким он вырисовывался в уме моем с первой минуты, как я увидел его, в ½ обыкновенного человеческого роста (чрезвычайно, неестественно маленький) идущим тихо к кафедре (в *Рел.-фил. собр.*). Сидевший около меня *Бердяев* сказал: “Ст-ь, социал-демократ” Я ничего особенного не ждал. Но он заговорил. Все и всегда, что он говорил, было так лично — умно (не из книги), говорило о такой долгой мысли у себя дома, о такой длинной духовной биографии... И я его полюбил» (СХР, 248; говоря о Религиозно-философских собраниях Р., по-видимому, имел в виду РФО). Впоследствии С. стал постоянным посетителем «воскресений» Р. — о философе Столпнере, для которого специально ставился графин водки», вспоминала в связи с «воскресеньями» дочь Р. Татьяна (PRO, 1, 53). Сам Р. писал о визитах С. того периода: «Это был самый дорогой у меня гость в комнате. Удивительное в нем — глубокая аристократичность крови, аристократичность манер (да! да!), аристократичность всего духа. Мы прощивали ночи, и он мне выдал кое-какие крупички великих и трогательных еврейских тайн» (письмо М.О. Гершензону от января 1913. — *Новый мир*. 1991. № 3. С. 236). В заметке без названия (НВ. 1908. 18 дек.) Р. сочувственно пересказывал направленное против поэтов-символистов и литераторов круга Мережковских выступления С. на заседании РФО 16 декабря (ОНД, 408). О чаяниях, которые Р. в это время связывал с фигурой С., свидетельствует его позднейшее письмо к Гершензону: «Оттого я и полюбил Столпнера, что он мне показался “выходом” Бедный, почти нищий, он какой-то *Белинский* без слов, без милых “Литературных мечтаний” Он вполне еврей и только еврей. Он не примазывается к русской образованности, он “помнит отца и писать”: иногда я его мысленно сравнивал с “отцами *Талмуда*”, великими Гаонами <...> В знакомство мое с ним мы никогда о политике не разговаривали (неинтересно было), но теперь я думаю, что он погубил свою возможную роль на Руси, прекрасную и трогательную и поучительную роль Сковороды, — записавшись в социал-демократию, после чего перестал быть виден как именно еврей и как свое “я” Т.к. он моложе меня, то я вижу, естественно, дальше горизонты: “еврейский вопрос в России” разрешился Столпнером, ибо он был нужен и

полезен и благ всякому русскому и целой России тем, что нес ей себя и знал и научал общим и спасительным тайнам, спасительным для всякого “я”, которые конечно содержатся у древнего народа, видевшего построение пирамид» (письмо Гершензону от января 1913. — Новый мир. 1991. № 3. С. 236). В начале 1909 в отношении Р. и С. (очевидно, по инициативе последнего) наступило охлаждение, постепенно перешедшее в разрыв. «Мне печально, что меня разлюбил Столпнер (такой исключительный человек). По глупостям, — как всегда у русских», — писал Р. Гершензону в начале мая 1909 (Там же, 220). Р. упоминает С., «с коим я перестал кланяться: он большой еврейский патриот», в письме Гершензону, написанном около 26 декабря 1912 (Там же, 232). Позднее, однако, Р. называл инициатором ссоры себя и объяснял ее идеологическими мотивами, в частности русофобией С. («По молитвослову в Вильне он выучился по-русски, зачитывался Некрасовым, Белинским, и общечеловеческим сочувствием и не мурмольным сочувствием полюбил русских крестьян и русскую книгу, русский журнал» (Там же, 236), и его враждебным отношением к близким Р. писателям и мыслителям — Н.Н. Страхову (см.: СХР, 248) и особенно Ф.М. Достоевскому: «Ссора наша и расхождения начались из-за того, что он решительно ненавидел Достоевского, — писал Р. о С., — ненавидел такую ненавистью, как я ни у кого не встречал, “за его двуличное отношение к еврейскому вопросу” <...> Я почувствовал, что Столпнер не любит русского народа» (Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 652). «Я у него почувствовал ненависть и муку к Достоевскому» (М, 172; здесь же разнервное изложение разногласий Р. и С. в отношении к Достоевскому), а также: «А Столпнер просто “с мелкой душонкой”, — и не охватил громадного объема Д-го» (М, 217). В статье Р. «На лекции о Достоевском» (НВ. 1909. 4 июля; ЛВИ) дан критический разбор взглядов С. на писателя. В письме от 8 марта 1912 Гершензон сообщал Р.: «Встретился я у Вяч. Ив. со Столпнером; я его тут в первый раз увидел, и долго говорил с ним о Вас, и осуждал его, что он отстранился ради “морали”. Мог бы, кажется, стать выше морали» (Новый мир. 1991. № 3. С. 231). Р. включил в первый короб «Опавших листьев» (с пометой: «Получив письмо от Г-на, что Сто-р перестал у меня бывать за мою “имморальность”, — в идеях? в писаниях?») следующую запись: «Да не воображайте, что вы “нравственнее” меня. Вы и не нравственны, и не безнравственны. Вы просто сделанные вещи. Магазин сделанных вещей. Вот я возьму палку и разобью эти вещи» (У, 115, 114). Разочарование Р. в С. привело к тому, что последний стал одним из основных отрицательных персонажей розановских записей 1913–1916: «Да что такое Ст...ъ, этот эстетический Ст-ъ, с его умом и диалектикой? В конце концов мелкий фактор еврейских успехов в *обществе*, в *литературе*, в *шуме “сегодня”* Как я любил его и как долго. И какой обман...» (СХР, 248). Среди прочего, Р. отмечал «ненависть» С. к Христу и *христианству*: «Как зачавкали *губами* и “идеалист” Борух, и “такая милая” Ревекка Ю-на <Эфрос>, “друг нашего дома”, когда прочли “*Темн. Лик*” Тут я сказал в себе: “Назад! Страшись!” (мое отношение к евреям). Они думали, что я не вижу: но я хоть и “сплю вечно”, а подглядывал. Ст-ъ (Борух), соскакивая с санок, так оживленно, весело, счастливо

воскликнул, как бы передавая мне тайную мысль и заражая собою: “Ну а все-таки — он лжец” Я даже испугался. <...> Действительно, есть какая-то ненависть между Ним и еврейством. И когда думаешь об этом — становится страшно. И понимаешь ноуменальное, а не феноменальное: “Расни Его”» (У, 106); «Еще печально, что он чуть-чуть и незаметно ненавидит Христа и христианство (я б. испуган, но это — очень незаметно)» (замечание Р. о С. в письме Гершензону от января 1913. — Новый мир. 1991. № 3. С. 237), а также: «Ст-ру я послал “разговленье” к *Пасхе* (с такою *любовью*, он — аскет). Он ни до чего не дотронулся (“трефное”) (мне сказал). А социал-демократ, распропагандировал Розановых и “так любит Белинского и Некрасова” и “самого Христа”. Но, — как и основательно, им после “родного Акибы” дела нет ни до каких наций, не говоря уже о маленьких Некрасове и Белинском» (М, 111–112). Характеризуя особую роль «революционного фарисея» (КНУ, 330) С. в обозе еврейства, Р. писал: «Аскетический Столпнер, питающийся почти одним хлебом, не нуждающийся в большем. Потому что у него есть *мечта*, а мечта вкуснее хлеба. Эта мечта: “Все будет наше” “А они все — подохнут” <...> Еврей “с обозом” посылает Столпнера вперед, и Столпнер, понимающий роль свою в племени, поспешает вперед и открывает курс лекций. Все восхищены умом этого аскетического *Спинозы XIX века*, — и в тени речей его, делая вид, что “они не знакомы”, разбирает свой обоз, открывает лавочку, ставит банк и начинает свои “золотые речи” и “золотое посредничество”» (КНУ, 251). В этот период Р. видел в С. врага, пытавшегося его погубить («Так он подкрадывался ко мне, этот Столпнер. И лишь через два года я разобрал паутину». — КНУ, 475), и пересматривал историю своих с ним отношений: «*Мережковский* я не любил, ничего не понимая в его идеях и не интересуясь *лицом*. Столпнера — как нерусского. Они мне всё говорили. Я им ничего не говорил. Не интересовался говорить. Но и не говорил (никогда): “Люблю” Просто, чай пил с ними» (ПЛ, 59). Однако в январском 1913 письме к Гершензону Р. замечает: «Вообще разрыв со Столпнером у меня чрезвычайно болит в *душе*, я его не только уважал, но полюбил в его гордости и тайной *ласке* (ко мне, — было)» (Новый мир. 1991. № 3. С. 236). В 1916 Р. писал о Гершензоне: «В конце концов я боюсь его. Боюсь для России. Как и “русских патриотов”, Столпнера и Гарта» (там же, 219).

М.Ю. Эдельштейн

СТОЛЫПИН Александр Аркадьевич [1863 — 23.11.1925, Белград] — журналист, постоянный сотрудник «*Нового Времени*» с 1904, брат премьер-министра П.А. Столыпина. Эмигрировал в 1920. Р. нередко вспоминал своего друга С. В «*Уединенном*» он рассказал, как в редакцию пришел С. и сказал, что «Государь подписал манифест» 17 октября 1905. «Тут я, — продолжает Р., — вдруг сделавшись торжественно настроен, с чем-то “величественным в *душе*” (прямо чувствовал теплоту, в груди) и сказал эти слова, которые ведь были “в сердцевину” события» (У, 53). «— Господа! Мы должны радоваться не тому, что манифест дан: но что он не мог не быть дан, что мы его взяли!» (там же). В статье «Об амнистии» (НВ. 1906. 10 мая) Р. вспоминал: «Мой “добрый друг”

г. А. С-н в самом начале революционного движения перedal возмутительный случай о том, как социалисты, заколов корову перед сельской церковью, взяли от нее крови и “помазали иконы в храме”, и о том, как возмущенные мужики, связавши их, “отрубили им всем головы перед этой самой церковью” Г-н <...> друг Соловьёва и такой же прекрасный “вообще христианин”, рассказал фазу события прямо с аппетитом (он очень негодовал на кощунство). Статью его я хорошо помню: ее хоть перепечатать для убедительности, для решения важного вопроса» (КНУ, 129), т.е. о смертной казни. С.П. Кабуков в дневнике записал 22 февраля 1909 слова Р. о П.А. Столыпине: «Его брат, А.А. Столыпин говорил мне, что П.А. давно хотел отменить усиленные охраны, военно-полевые суды и казни, но Николай II не позволяет этого. Он мстит России за перенесенные унижения во время Русско-японской войны и за октябрьские дни 1905 года» (PRO, 1, 200). В рецензии на «Уединенное» С. говорил о Р.: «Он пережил мучительный перелом: боится смерти для себя и для близкого человека, мечется к Богу и к религии, хочет задержаться в жизни еще чуточку, чтобы искупить всю долготу жизни, которую осуждает в муках какого-то предсмертного ужаса <...> Розанов в том отношении удивительный человек, что у него нет ни одной чужой, заимствованной мысли. Он, как из рога изобилия, высыпает перед вами на стол каждый ворох мыслей, среди них есть корявые, нелепые, глубокие и странные мысли, но каждая носит печать его собственного изделия. Вам разбираться... (НВ. 1912. 16 мая). В «Заметке», напечатанной в «Новом Времени» 25 мая 1911, С. отмечал: «В своих «Людях лунного света» В.В. Розанов дает довольно исчерпывающую монографию вопросам пола, его странностям и извращениям». В некрологе, появившемся в белградском «Новом Времени» 25 ноября 1925, К. Шумлевич писал: «Александр Аркадьевич был литератором по призванию. Всю жизнь он занимался журналистикой, и это было его любимым делом <...> Его статьи, которые он неизменно, с присущей ему скромностью, называл “Заметки”, были написаны прекрасным, чистым, можно даже сказать, старомодным языком».

А.Н.

СТОЛЫПИН Петр Аркадьевич [2(14).4.1862, Дрезден — 5(17).9.1911, Киев] — в 1906–1911 министр внутренних дел и председатель Совета министров Российской империи. Р. выводил лучшие политические качества С. из удачной системы воспитания будущего премьера. «Сын корпусного командира, землевладелец, питомец Московского университета, губернатор, — он принял в себя все эти крупные бытовые течения, все эти “слагаемые величины” русской “суммы”, без преобладания которой-нибудь», они и смогли в итоге произвести «русского гражданина, отнюдь не бюрократа и не сановника» («Историческая роль Столыпина» // НВ. 1911. 8 окт.; ТПРН, 276). «Еще мальчиком он до такой степени закалил себя в терпении и стойкости, в исполнении того, что нужно, что есть долг, каковы бы ни были его личные обстоятельства, что это сделалось его второю натурой» (ВНС, 140). Сдержанность, терпение и политическая стабильность выдвигались публицистом в качестве политических ориентиров. Учитывая политические

симпатии А.С. Суворина, Р. в 1907–1912 поддерживал в «Новом Времени» простолыпинскую политику централизма, отстаивавшего высокий христианский подвиг, чистую, спокойную и порядочную жизнь. В ходе полемики с кадетским органом печати газетой «Речь», предложившей «Новому Времени» сформулировать свое политическое кредо, Р., присоединяясь к задачам кабинета С., от лица редакции заявил, что «политика России in concreto <в целом>, правительства русского, государства русского — только одна, теперь и на ближайшие годы: укрепление и развитие конституции <...> закон перевести в обычай» (РГО, 140). На страницах «Нового Времени» Р. выступал в поддержку национальной политики, проводимой С.: в поддержку империи в форме централизованного унитарного государства, проводящего гибкий курс по ассимиляции национальных окраин, в итоге которой каждый окраинный житель России стал бы убежденным русским гражданином. Успешное для пре-



П.А. Столыпин

мьера заседание Государственной думы 6 марта 1907 Р. объявил «победным днем» С. (РГО, 329). Р. дал высокую оценку государственному уму С. и избранному им курсу на тесное сотрудничество с парламентом: «Это есть настоящий путь, чтобы правительство уступало народному представительству даже и в случае несогласия с ним, как воля воле, как сила силе» (РГО, 336). Р. был уверен, что С. «любил народное представительство, потому что в его инстинкте была потребность общаться с массой, гово-

речь с массой, убеждать ее, выслушивать отпор от нее. И чем масса бывала больше, тем сильнее он разгорался и точно становился счастливее» (НВ. 1911. 11 сент.; ТПРН, 229). В статье либерального «Русского Слова» писатель дал литературный *портрет* премьера: «Столыпин — большой, мягкий (в мускулатуре), грубый и неуклюжий барин. Ничего шегольского, “с иголки”; ничего обточенного и завершенного. Большая голова при очень большом теле. Лоб очень большой, но с гладкими очертаниями, без этих таинственных “извилины” линий лба и головы, обещающих и манящих. Все просто, определено и несложно. “Я весь тут, как сижу, так и есть. В кармане ничего: ни *революции*, ни контр*революции*. Я этого не понимаю. Я — просто министр, и останусь министром. А вы можете думать об этом как угодно. Мне все равно” Отсутствие не только гениальности, но и простой талантливости *человека* и администратора кидалось в нем в глаза и, я думаю, не скрыто и от него самого. “Я знаю, что не талантлив, и не ишу этого. Надо бы больше, но нет. Но я человек, министр, и не уйду со своего кресла, как бы вы его ни ломали, и, кроме того, ударю каждого, кто будет это кресло ломать. А? Что?” Тут есть немножко Пьера Безухова и Анатоля Курагина, как эти бессмертные типы даны в “*Воине и мире*” Толстого. Сидит Столыпин ужасно неуклюже. Ворочает ногами. Спина — мешком. Не паркетный человек, но в нем много поля, леса, барской усадьбы, хорошего конского завода. Все это надыхало в него свою землистую *природу* и дышит из него»; «г-н Столыпин говорит, точно вбивает булыжник в мостовую. “Стук-стук-стук” И самая фигура его напоминает тяжелую чугунную трамбовку. Речь его не имеет никакой отделки. Видно, что говорит не оратор; видно, что он не привык говорить; так сказать, материал слов, вещественность словесности, представляет для него затруднение. Ни он к ней не приспособился, ни она к нему не приделана. Получается впечатление, как бы большой и сильный сом плавает в варенье: окружающая стихия, опора движений, составляет в то же *время* затруднения для движения» (РГО, 330, 336). Оценка главы правительственного кабинета, заявленная Р. со страниц либерального *издания*, вполне сочеталась с политической линией, проводимой им и в «Новом Времени»: «Крупно, тяжело ступая, не торопясь, без нервничанья, он шел и шел вперед, как саратовский земледелец, — и с несомненными чертами старопамятного служилого московского человека, с этою же упорною и не рассеянною преданностью России, одной России, до ран и изуродования и самой *смерти*. Вот эту крепость его пафоса в нем все оценили <...> Он весь был монолитный, громоздкий; русские черноземы надыхали в него много своего воздуха. Он выступил в высшей степени в свое время и в высшей степени соответственно своей натуре: искусственность парламентаризма в применении к русскому *быту* и характеру русских как-то ступедалась при личных чертах его ума, *души* и самого образа» (НВ. 1911. 8 окт.; ТПРН, 275, 277). С. был, по мнению Р., единственной личностью, которой удалось преодолеть искусственность парламентаризма в применении к русскому быту и характеру. Журналист считал, что глава кабинета без резонерства и каких-либо теорий самой натурой своей сумел придать Думе черты национального органа

власти и, в какой-то степени, «обрусить» парламент. Р. солидаризировался с курсом кабинета С. и в решении аграрного вопроса. Писатель процитировал ставшие хрестоматийными слова премьера, что «вопрос этот можно не “разрешить”, а “разрешать” Все должно идти в *процесс*, в работу; все должно идти в форме системы законоположений и мероприятий, постепенных, последовательных» (РГО, 409). Учитывая ключевое значение аграрного вопроса для столыпинского кабинета, Р. отстаивал позицию премьера в борьбе с левыми и кадетами, предлагавшими принудительную конфискацию помещичьих земель. Полемизируя с кадетским критиком *Н.Н. Кутлером* по поводу аграрной программы правительства, изложенной С. во 2-й Думе, Р. поддержал позицию премьера. Писатель подчеркивал, что во избежание диктаторского давления со стороны экстремистских групп крестьянства, необходимо четко провозгласить «“пределы возможного”, до которых правительство может отступить <...> только целость, величие и устойчивость России выше нужды “многочисленнейшего класса” населения» (РГО, 408). «Легче и рассудительнее десять раз распустить Думу, чем пойти на такое дело», — утверждал журналист 20 мая, как бы заранее предвидя последствия обсуждения аграрного вопроса. Эта повальная конфискация имуществ есть такое “землетрясение” всего социального строя, перед которым даже коренной государственный переворот показался бы делом сравнительно малым» (РГО, 424). Перед открытием 3-й Думы Р. отмечал положительное значение деятельности С. в деле развития демократических институтов власти в России, новое качество в работе представительства: в силе и *красоте* узора взаимно скрещенных речей, во впечатлениях от живых физиономий депутатов и министров, и конечно же в итоге парламентской борьбы, в нравственных оттенках этого итога. Майские выступления 1908 С. в Государственной думе Р. назвал «уроками национального самосознания», озаглавив свою статью «Уроки государственного самосознания» (НВ. 1908. 7 мая; ВНС, 167). Писатель отмечал, что «глава кабинета, выступая перед Думою, до некоторой степени вводит ее членов, до Думы бывших просто членами *общества*, в это государственное созерцание, государственное самосознание. И нельзя не пожелать, чтобы подобные выступления делались чаще» (ВНС, 168). Высоко оценил Р. работу С. с парламентом, в частности, по итогам заседаний Думы 23 и 24 мая 1908, на которых премьер-министр поддержал критику парламентариев в адрес Морского министерства. Эти дни Р. назвал «первыми конституционными днями» (ВНС, 135). Сам факт того, что правительство уступило обществу, Р. считал важнейшей вехой в развитии русского парламента. С призывом о поддержке столыпинского курса, характерным для «Нового Времени», Р. обращался и со страниц либерального «Русского Слова»: «П.А. Столыпин получает свое историческое значение не от каких-нибудь умственных преимуществ, а исключительно от преимуществ своего характера <...> Столыпин не обнаружил никаких великих государственных способностей; да это и не нужно, не “ко времени” В наше смутное и мутное время гораздо важнее ясность характера <...> он фигурою своею и всеми своими действиями уясняет эпоху. Отсутствие больших государственных способностей требуется са-

мым нашим временем, основная задача которого лежит в смешении государственности и общественности» (ВНС, 139–140). Р. призывал взять за образец работы в Думе новый столыпинский *стиль* сотрудничества: политику взаимных уступок, как гаранта слаженной работы правительства и общественности. Когда возникали слухи о возможности смены главы кабинета министров, Р. тут же выступал в защиту премьера, как это было 17 апреля 1909 в новременской передовице «Ввиду слухов», когда писатель выступил против смещения С. в пользу другого лица. Р. дал высокую оценку работе С. в правительстве, отметив признание со стороны всех партий, что именно благодаря его политическому курсу «смутное время» революционных потрясений перешло в «государственное существование» (СМР, 138). Р. отмечал в С. редкие политические качества, необходимые для конкретного исторического момента, переживаемого Россией: твердость, спокойствие, ясность политических целей и задач, прямоту и честность, независимость от каких-либо партий, предпочтение государственных интересов узкопартийным. Именно эти условия создали «психологическую устойчивость и душевное спокойствие массе русского народа, прямо или косвенно участвующего в политике» (там же). Среди недостатков премьера Р. выделял его слабую инициативность, отметив, что «он лишен первородного греха сильных правителей — стремления к подавлению чужой личности» (СМР, 139). В то же время писатель подчеркивал, что премьер не мешает другим «быть творцами» и «при нем действительно осуществлена свобода и независимость, открытость и ясность коллегиальной системы управления» (там же). В 1909 Р. в беседе с С.П. Каблуковым характеризовал С. как «добродушного, простого и неглупого русского дворянина, помещика, серьезного, с большой силой воли и совсем не жестокого» (PRO, 1, 200). Собеседник «напомнил ему о “столыпинском галстуке” Вот ответ Розанова: “Его брат, А.А. С<толыпин> говорил буквально мне, что П.А. давно хотел отменить усиленные охраны, военно-полевые суды и казни, но Николай II не позволяет этого”» (там же). После покушения на С. в Киеве в 1911 Р. был командирован туда от газеты «Новое Время». Писатель отправил в газету серию репортажей, в которых описал свои впечатления от отпевания премьер-министра и процесс консолидации сил политического центразма над гробом убитого премьера. Р. в собор Лавры «вошел почти вслед за митрополитом Флавианом, и в 8 час. 5 мин. вечера возложил венок на гроб убиенного. Надпись на венке: “Петру Аркадьевичу Столыпину от “Нового Времени”». Помолясь за усопшего, поцеловал у него руку, простреленную пулею. Рука страшно распухла, сине-багровая. Лицо прекрасно и вполне спокойно, без всякого следа *страдания*. Бровь — полная мысли. Сложение *рта* — полное власти. Впервые видя П.А., удивился красоте» («К кончине П.А. Столыпина» // НВ. 1911. 9 сент.; ТПРН, 228). Р. считал, что образ С. неразрывно слился «с идеею “закона”», а «своим благородным, воистину дворянским характером, своею громадною трудоспособностью — он привлек *сердца* и умы всех и сделался “надёжною России”» («К кончине премьер-министра» // НВ. 1911. 6 сент.; ТПРН, 223). По возвращении в Петербурге Р. написал серию статей о политической деятельности С. Премьер-министр был

представлен в них выдающимся государственным деятелем, горячо и преданно служившим России. Трагическая кончина С. во многом повлияла на радикализацию политической позиции Р. в национальном вопросе. Причиной гибели С. писатель считал именно то, что премьер-министр «крупными буквами начертал на своем знамени слова: “национальная политика” И принял мучение за это знамя» («Террор против русского национализма» // НВ. 1911. 4 сент.; ТПРН, 219). В убийстве лидера политических реформ Р. увидел «вызов русскому народу», «пощечину тысяче русских городов» и «заушение молодому русскому парламентаризму», приговор «полувековых смертельных врагов России» «социал-демократии и еврейства» (ТПРН, 222–223). «Вся Русь почувствовала, что это ее ударили» (ТПРН, 274). Р. неоднократно заявлял, что именно гибель премьер-министра сыграла ключевую роль в изменении его отношения к еврейскому вопросу. «Я настроен против евреев, — делился публицист своими переживаниями с М.О. Гершензоном, — (убили — все равно Стол<ып>ина или нет, — но почувствовали себя вправе убивать “здорово живешь” русских); «после † Столыпина у меня как-то все оборвалось к ним (посмел ли бы русский убить Ротшильда и вообще “великого из ихних”). Это — прости — нахальство натиска, это “по щеке” всем русским — убило во мне все к ним, всякое сочувствие, жалость» (Новый мир. 1991. № 3. С. 227, 232.). Премьеру удалось, по мнению Р., вылушить существо революции и показать всей России, что «она сводится к убийству и грабежу». «Великая заслуга Столыпина состояла в том, что он боролся с революцией как государственный человек, а не как глава полиции. Он понял, что космополитизм наш и родил революцию; и, чтобы вырвать из-под ног ее почву, надо призвать к возрождению русское народное чувство, русское государственное чувство, говоря обобщенно — русский национализм» (ТПРН, 224). В статье «Историческая роль Столыпина» Р. дал портрет С.-политика, на котором «не лежало ни одного грязного пятна: вещь страшно редкая и трудная для политического человека» (ТПРН, 274). С. самим существованием своим на посту премьера, «просто русского человека и просто нравственного человека», удалось разрушить укоренившийся в русском обществе миф, «что в России нет и не может быть честного правительства». Газеты «Речь», «Утро России» и «Русские Ведомости» именно С. объявляли виновником «всех стихийных и всех социальных бедствий» и регулярно приучали читателей к мысли, что «“русское правительство”, и более всех глава его Столыпин, совершали постоянно какие-то особенные злодеяния в России» («Преступная атмосфера» // НВ. 1911. 8 сент.; ТПРН, 227). Над гробом С. писатель вспоминал, что был направлен пять лет назад от газеты на место очередного и самого кровавого из всех покушений на С., когда в результате подрыва бомбы, заложенной в фундаменте его дачи на Аптекарском острове, 12 августа 1906 было убито 22 и ранено 30 человек, в том числе дочь и малолетний сын министра. Р. пропустили в тускло освещенный погреб, где он «увидел колена с вырванной чашечкой... И как взглянул, все полчас, отведенные на осмотр, простоял перед ней» («Перед гробом Столыпина» // НВ. 1911. 1 окт.; ТПРН, 270).

СТОРОЖЕНКО Николай Ильич [10(22).5.1836, село Ржавец, Херсонская губ. — 12(25).1.1906, Москва] — литературовед. В 1878–1882 Р. слушал его лекции в *Московском университете* по всеобщей литературе. «Лекции его были систематическою, обдуманною, подготовленною импровизациею, — но именно импровизациею, со



Н.И. Стороженко

всеми преимуществами последней, со всем вдохновением последней. Поминутно, при литературных характеристиках, при характеристиках целых политических эпох, отразившихся на литературе или получивших себе толчок в литературе, у него соскальзывали, может быть незаметно и для самого него, но заметно для слушателя, блестящие остроумия, юмора, психологических освещений. Это сообщало необыкновенную живость и теплоту его чтениям. И так как на кафедре сидела все та же задумчивая фигура настоящего ученого, без единой улыбки, которой я у него не видал ни разу, — то эти человеческие и жизненные черты, разбросанные в его лекциях, получали удвоенную цену, удвоенное влияние на слушателя (ОНД, 11). В некрологе «Памяти Н.И. Стороженко» (НВ. 1906. 18 янв.) Р. писал: «Едва ли есть сколько-нибудь значительный городок в России, с гимназиею или прогимназиею, где не было бы хотя одного человека, знавшего лично покойного профессора, так как и историки, и классики, а не одни только словесники слушали его интересные курсы <...> Что касается Москвы, то все сколько-нибудь образованное в ней знало этого ученого, писателя и человека общества» (ОНД, 11). Когда в 1902 вышел юбилейный сборник статей в честь С. «Под знаменем науки», Р. вспоминал: «Кто имел удовольствие и счастье слушать Н.И. Стороженко, тот знает, что, посвящая годовые курсы лекций обзору обширных циклов европейского литературного развития, он не только являлся знатоком подробностей, но и кроме того с таким мастерством вводил слушателей в дух каждой эпохи, что как бы делал их современниками то Поджо и Филельфо, итальянских гуманистов, то кружка друзей молодого Гёте, то французских энциклопедистов» (НВип. 1902. 6 нояб.).

А.Н.

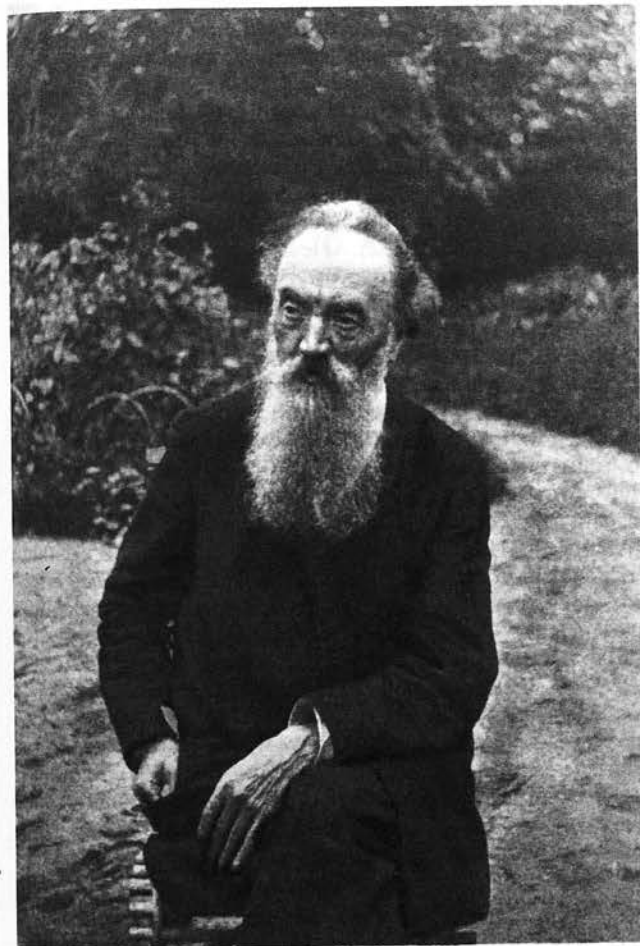
СТОЮНИНА Мария Николаевна (урожд. Тихменева; 1846–1940) — основательница и начальница частной женской гимназии в Петербурге. Жена Р. выбрала для

обучения дочерей гимназию С., расположенную поблизости на Кабинетской улице, 20. В статье «Вести из учебного мира» (НВ. 1906. 3 дек.) Р. дает положительную оценку гимназии: «Как все оживилось, когда в женской гимназии уважаемой М.Н. Стоюниной, которая так преданно отдалась задачам воспитания и так великолепно разрабатывает организационную сторону большого учебного заведения, решено было, неделю тому назад, по крайней мере иногда сливать в одно собрание и педагогов и родителей <...> Кстати, при той же гимназии г-жи Стоюниной открыты вечерние лекционные курсы для всякого рода служащих людей, которые хотят поновить свои научные сведения или пополнить приобретенное в средней школе, а не могут сделать этого днем, когда они на работе, на службе» (РГО, 206–207). Статья Р. о гимназии С. под названием «Бедные наши дети» (НВ. 1912. 27 июня) вызвали возмущение философа Н.О. Лосского (женатого на дочери С.), поведавшего о том в своих воспоминаниях. Р. выступил против современной системы школьного образования, цель которого — «задавить все “свое” и вложить все “чужое” И убить все “живое”; и надавить всего “мертвого” <...> Что же они учат? Слова!!! Их учат словам <...> Мы отдали гимназии живого мальчика, живую девочку, думая, что они продолжат и разовьют их жизнь, их бытие, их “целое” Но гимназия приставила к их тонким шейкам ученые пальцы. Что-то манипулировала около шеи: и выбрасывает “родителям на утешение, а церкви и отечеству на пользу” через восемь лет посиневший и распухший труп с запёханными внутри его страницами из универсальной энциклопедии» (ПВ, 137, 138, 141). В Сахарне, где Р. отдыхал летом 1913 с женой и дочерью Варей, он наблюдал сцену «еврейской солидарности»: «Бросились все сразу на нас, и полетели в нас комья земли: ученицы Стоюниной, проезжавшие через местечко, кинулись на русских подруг своих. Герд — инспектор — стоял испуганный и побледневший и ничего не сказал» (СХР, 171). Ученицы гимназии С. третируют дочерей Р. особенно во время и после процесса над Бейлисом. Прощаясь со С. в предсмертном письме от 20 января 1919, Р. дал характеристику С.: «Мария Николаевна великая, героическая женщина. Больше не в силах ничего писать» (Литературная учеба. 1990. № 1. С. 87).

А.Н.

СТРАХОВ Николай Николаевич [16(28).10.1828, Белгород, Курская губ. — 24.1(5.2).1896, Петербург] — философ, критик, публицист, старший друг Р. С книгой С. «Борьба с Западом в нашей литературе» Р. познакомился на 3-м курсе университета (ЛИ, 145). После прочтения книги С. «Об основных понятиях психологии и физиологии» (1886) Р. намеревался поехать в Петербург, чтобы познакомиться с автором (ЛИ, 146). Их знакомство произошло заочно: 22 января 1888: Р. послал С. письмо «как человеку, с которым я сошелся мыслью и чувством и который мне дороже, чем физически близкие люди» (там же). Интенсивная переписка Р. и С. продолжалась до переезда Р. в Петербург, где у них установились дружеские отношения. Письма С. (всего 94) Р. опубликовал с собственными комментариями в книге «Литературные изгнанники» (СПб., 1913). Письма Р. к С. (всего 101) включены в книгу Р. «Литературные из-

гнанники. Н.Н. Страхов. *К.Н. Леонтьев*» (М., 2001). Личное знакомство состоялось во время рождественских гимназических каникул в январе 1889, когда Р. специально из *Ельца* приехал в Петербург к С. (Торговая ул., д. 2). С. написал рецензии на книги Р. «*О понимании*» (ЖМНП. 1889. № 9), «*Место христианства в истории*



Н.Н. Страхов

(НВ. 1890. 14 марта), «*Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского*» (НВ. 1894. 25 нояб.). Р. часто писал о С., стараясь привлечь внимание читателей к его личности и идеям. Первая статья Р. о С. — «О борьбе с Западом, в связи с литературной деятельностью одного из славянофилов» // ВФП. 1890. № 4; ЛВИ — под назв. «Литературная личность Н.Н. Страхова»). В некрологе — «Н.Н. Страхов († 24 января 1896 г.)» // РО. 1896. № 9; ЛВИ) — Р. еще раз дал развернутую, основанную на личных воспоминаниях, характеристику своего друга. С. посвящены также статьи и рецензии Р.: «Смена мировоззрений» (Н. Страхов. *Философские очерки*) // РО. 1895. № 7; «Завтра, 24 января, исполнится год со дня кончины Ник.Ник. Страхова...» // Свет. 1897. 24 янв.; «Идея рационального естествознания» // РВ. 1892. № 8; «Рассеянное недоразумение» // НВ. 1894. 9 нояб.; «К литературной деятельности Н.Н. Страхова» // НВ. 1902. 22 авг.; «Идейные споры Л.Н. Толстого

и Н.Н. Страхова» // НВ. 1913. 24 и 28 нояб., 4 дек.; НФП; «Наброски» // НВ. 1914. 21 июня; НФП. Заочное сближение произошло уже с первого письма — Р. выразил единомыслие со С. и сочувствие его тяжелой литературной и жизненной судьбе. Причину жизненных неудач С. он видел в засилье шестидесятиничества: «Итак, то, что этот тип людей от 60-х годов и до последнего времени царил у нас — это есть единственная причина равнодушия к вам, и вы должны смотреть на это как на временное, как на преходящее» (ЛИ, 145). Р. особенно ценил нравственное начало в С.: «Добрый и благородный Страхов» (ЛИ, 51). «Ваша нравственная личность стала несказанно дорога для меня» (ЛИ, 145). «Вы по кротости, беззлобности младенческому, незасраденности души — дитя Божие» (ЛИ, 315). Выделял Р. и бескорыстную деятельность С. по изданию трудов близких ему мыслителей: «Ваше отношение к нему <Ап.А. Григорьеву> и Данилевскому, то, что Вы всегда выдвигаете их вперед себя — есть одна из самых светлых и благородных черт Вашей деятельности» (ЛИ, 187). Главным качеством С. он считал доброту: «Прекрасный этот отзыв добрейшего Страхова» (ЛИ, 55). После первой посвященной ему статьи С. отметил в письме к Р.: «Вот вы меня хвалите не за достоинства мысли и содержания, а за нравственные черты» (ЛИ, 10). В сентябре 1897 Р. писал С.А. Рачинскому: «Благочестивых людей, праведных — я видал; что же буду я искать примеров: разве не благочестива была вся жизнь и вся фигура покойного Страхова» (ПР. 1897. Сент.-окт. Ед. хр. 95. № 17). Р. считал С. видным ученым: «Один Страхов, с научностью испытанного мыслителя и натуралиста, различил подлинную сущность дела» (ВДЯ, 162). Труды С. по физиологии Р. оценил очень высоко: «Это и есть истинная наука, как я ее разумею» (ЛИ, 183). Р. отмечал, что научная деятельность С. опиралась на огромные знания: «Читал “как по-русски” на 5-ти языках и как специалист и виртуоз знал биологию, математику и механику, знал философию и был утонченным критиком» (У, 290). Но особый акцент Р. делал на исключительность ума С.: «Страхов был редкой точности ума человек» (ВДЯ, 157); «культурный ум» (ЛИ, 9), «человек точного ума <...> первоклассный мыслитель» (ЛИ, 52). «Чрезвычайная вдумчивость составляет, кажется, главную особенность в умственных дарованиях г. Страхова и она же сообщает главную прелесть его сочинениям» (ЛВИ, 209). «Тайна Страхова вся — в мудрой жизни и мудрости созерцания» (ЛИ, 1913, XI). «Тонкая черта Страхова состояла в том, что он был именно не “профессор логики и психологии”, а мудрец» (КНУ, 252). «Он именно был благомудром, и сколь многим пылким тупицам в Петербурге он казался “недостаточно даровитым”» (ЛИ, 136). С., как отметил Р., был чрезвычайно наблюдателен: «Страхов мне давно сказал поразившее меня наблюдательностью замечание: “В вас есть а-priori’ные негодования и восторженности: и довольно безразлично и для вас случайно — что под них попадет” <...> “И тогда, — договорил Страхов, — вы обливаете любовью или презрением предмет”» (КНУ, 463). Р. комментирует: «Это — глубочайшее замечание, какое мне в голову не приходило (“менее умен”) и которое формулирует основную мою стихию» (там же). В 1888 Р. писал С. о значении его деятельности: «Много Вы заронили добрых семян своей деятельностью» (ЛИ, 157). Р. под-

черкивал скрытые достоинства не нашедших широкого отклика философских сочинений С.: «Процесс писания у Страхова был вообще труден; но, беря его книги, читатель мог знать наперед, что он берет что-то “оконченное”, “без ошибок” и “без вредностей” Удивительно, что такой-то писатель, такой-то философ у нас вовсе безвестен: тогда как чем же, чем только русские не увлекались, не зачитывались!» (ЛИ, 58). «Хотя Страхов постоянно наукообразен и философичен, всегда “правилен” и “последователен”, наконец, хотя он повсюду цитирует других, говорит свою мысль чужими словами, но у него постоянно есть пульс в этих построениях и даже в чужих словах» (ЛИ, 70). Главный предмет интересов С., считает Р., — «граница между материальным и духовным» (ЛВИ, 215). Р. высоко ценил С. и как литературного критика: «У него не было никакой энергии, но его критика, несчастливая и неудачная критика, вовсе никому в свое время не нужная, вытекала однако же из необыкновенной утонченности ума, воспитанности сердца, изящества всей природы и необозримой начитанности» («К литературной деятельности Н.Н. Страхова» // НВ. 1902. 22 авг.). «Всякий, кто будет изучать *Пушкина*, непременно прочтет и “Заметки о Пушкине и других поэтах” Страхова; кто возьмется за *Тургенева* и Толстого — перечтет и первый том его “Критических статей”» (там же). «В явлениях литературы его более всего интересуют произведения, в которых среди мимолетного и бегущего уловлены вечные черты человеческого существа и вечные основы, по которым движется жизнь народов» (ЛВИ, 212). Р. отмечал С. как «самого компетентного критика» «художественных созданий» Л.Н. Толстого (НФП, 332), считал его «тонким, настойчивым и успешным истолкователем» (ЛВИ, 239) А.А. Григорьева, самоотверженным защитником от нападков своего друга Н.Я. Данилевского. Р. привлекало в С. и то, что он был близко знаком с живым классиком Л.Н. Толстым и регулярно бывал в Ясной Поляне. В 1890 Р. захотел получить через С. фотографию Толстого с дарственной надписью. С. сообщал из Ясной Поляны: «Началось с того, что я сообщил Л.Н., что есть на свете Василий Васильевич Розанов, причем невольно вспомнил Добчинского» (ЛИ, 60–61). В 1891 С. писал Р.: «Не раз я удивлялся тому, что и Вы, и *Говоруха-Отрок*, и другие пишущие не питают того удивления и расположения к Л.Н. Толстому, как чувствую я. Что за причина? Казалось бы явление до того блистательное и глубокое, что люди умные и чуткие должны очень заинтересоваться» (ЛИ, 79). Отмечая проявившиеся позже нигилистические тенденции во взглядах Толстого, Р. объяснял неизменную привязанность к нему С.: «Тут очень важно личное впечатление, которое могло быть чарующе и которого нам всем недоставало, тогда как Страхов ежегодно летом гасивал у Толстого. Однако история нас оправдала и не оправдала Страхова» (ЛИ, 79). С., как подчеркивает Р., признавал недостатки писателя и не был его идейным последователем: «В Толстом он видел “страшно ценное для (позитивной дотоле) жизни России явление”, а не то чтобы сам как слушающий и ученик примыкал к Толстому. Последнего не было. Раз, поведя рукой, он сказал безнадежно: “Все последователи Л. Н-ча почему-то тупые люди”. В другой раз он остановил меня: “Вы так резко (устно) нападаете на Толстого, — и это мне печально.

Поверьте, я сам вижу темные в нем стороны, но...” и т.д.» (ЛИ, 128). После публикации переписки С. с Толстым Р. утверждал: «Переписка эта, не имеющая значения для Толстого или значение — только отрицательное и несколько уничижительное, дает зато несравненный “портрет” Страхова, гораздо полнейший и лучший, чем какой дают его напечатанные сочинения. Страхов еще получит себе со временем историю. И переписка его с Толстым будет первым и главным камнем в этой истории» (НФП, 334). По мнению Р., надежды С., что *талант* Толстого совершит поворот в душевном строе нашего общества «от нигилизма к положительному созиданию», не сбылись: «Страхов обманулся — и жестоко. Толстой сам вышел в великие “говоруньи” <...> в теоретики-отрицатели, пойдя по старому нигилистическому руслу» (НФП, 332). «Несмотря на глубокую и трогательную любовь к Толстому, Страхов в длинной переписке не поддался ни на волос в сторону его отрицаний, и, напротив, сколько можно было сделал все усилия, чтобы показать в истинном свете великие сокровища мысли и *искусства*, на которые тот поднялся...» (НФП, 333). Еще одним привлекшим Р. к С. фактором было его многолетнее сотрудничество с *Ф.М. Достоевским* — любимым писателем Р.: «Рад буду (заинтересован) видеть Вас, буду в Вас заинтересован еще видеть человека, который близко знал Достоевского, так сказать, осязал его руками» (ЛИ, 180–181). В одном из писем Р. заявил: «После Достоевского Вы навсегда будете наиболее близки, дороги моей душе» (ЛИ, 161). При этом Р. выражал сходные со С. идеи о «болезненности Достоевского» (ЛИ, 23, 189) и «вере в Бога с надрывом» (ЛИ, 72–73, 189). Р. неизменно поддерживал С. в его спорах с *В.С. Соловьёвым*, считая, что полемика со стороны Соловьёва — «чудовищна по низкому, неблагородному, самонадеянно-высокомерному тону» (М, 223). Р. писал: «Страхов был не *гений*. Но он вот как “комендант Белогорской крепости” (“Капитанская дочка”) тоже стоял верно и честно на страже той науки, философии, литературы, какую знал и какая была» (ЛИ, 110). Р. сопоставлял С. и его оппонента как писателей: «По-видимому, есть два вида писательства: 1) полет, 2) постройка. В *корне* их лежат вечные начала человеческого духа — пророчествовать, философствовать. Надежны книги и вообще писания только вторых, а первые лишь увлекают и творят жизнь. Страхов принадлежал к строителям, как обратно напр. Влад. Соловьёв — к полетчикам» (ЛИ, 58). Р. передает сделанное *Э.Л. Радловым* сопоставление С. с Соловьёвым: «Мы шли от Страхова вместе, и заговорили что-то о нем. Так как в это время “весь мир говорил о Соловьёве”, то я спросил его, что он думает о их полемике и вообще о них обоих. “Какое же может быть сомнение, — Страхов, конечно, гораздо умнее Соловьёва” Я был поражен, и по молодости, и по огромной репутации Соловьёва, и что-то сказал. Отвечая на это “что-то”, он добавил: “Но у Страхова, конечно, нет и малой доли того великолепного *творчества*, какое есть у Соловьёва”» (ЛИ, 13). Итог идейного спора Р. подвел так: «Почти не нужно договаривать, что в споре шум победы был на стороне Соловьёва, а истина победы была на стороне Страхова. Но Страхов писал в “Русском Вестнике”, которого никто не читал, а Соловьёв — в “Вестнике Европы”, который был у каждого профессора

и у каждого чиновника на столе» (ЛИ, 14). В январе 1896 Р., по просьбе Соловьёва, устроил ему примирительную встречу со смертельно больным С.: «В пятницу на той неделе, т.е. 5-го января, по убедительной просьбе Соловьёва Вл., я упросил Страхова помириться с ним: Соловьёв приехал прямо из Царского Села, в 10 ч. вечера ко мне, и Страхов тут же приехал. Соловьёв вошел к нему и протянул руку — поцеловал его в голову; 2 часа прощали они, мирно разговаривая. — Страхов ужасно не уважает Соловьёва: “Нет ни настоящих мыслей у этого человека, ни настоящих чувств”, — сказал он; и “только для вас я это делаю и без всякого ожидания какого-нибудь толка”, — сказал он мне, когда, получив в четверг телеграмму от Соловьёва, я пошел приглашать его. Он убежден, что Соловьёв — весь фальшивый» (ПР. 1896. Янв.-февр. Ед. хр. 85. № 20). Р. относил С., вместе с С.А. Рачинским и К.Н. Леонтьевым, к «особой группе писателей» консервативно-славянофильской направленности, подчеркивая, однако, что их консерватизм совершенно не похож на консерватизм «практических двигателей политики», как у М.Н. Каткова, с которым они «не имели решительно никакой связи». «Консерваторами» же считались «только оттого, что они не разделяли многих иллюзий своего времени, которые и в самом деле потом оказались поспешными» («Особая группа писателей» // НВ. 1902. 28 июня). Р. относил С. не к консерваторам, а к славянофилам, в широком смысле литературно-философского движения патриотической направленности, к которому примыкал и сам. Р. отмечал, что в это мрачное время «Страхов был, собственно, единственным представителем славянофильства» (ЛИ, 126) и сохранял верность славянофильским заветам: «Страхов был верный страж старого славянофильства» (ЛВИ, 613). Недаром С. с интересом описывал Л.Н. Толстому открытую им на Петербургской стороне после приезда Р. «колонию славянофилов» (Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. 1870—1894. СПб., 1914. С. 443). Р. писал, что С., «изголодавшийся по личному славянофильству, по отсутствию живых славянофилов <...> очень обрадовался, встретя через меня этот кружок» (ЛИ, 125). Среди книг, по которым Р. советовал читателям «штудировать» во время Первой мировой войны «завтрашнее “будущее”» (ПЛ, 280), — «Борьба с Западом» С. Вместе с тем Р. отмечал, что название книги «невольное должно удивлять каждого, кто хорошо освоился с его умственным миром» (ЛВИ, 217): «нисколько он не борется с Западом, а любит этот “Запад” бесконечно» («К литературной деятельности Н.Н. Страхова» // НВ. 1902. 22 авг.). Однако, по мнению Р., «именно глубокое вникание в духовную жизнь Европы, долгое и постоянное вращение в сфере ее идей и интересов произвело в конце концов и его собственное отчуждение от нее» (ЛВИ, 217). Р. много размышлял об отношении С. к религии и пришел к выводу: «Религиозное составляет ни разу не названный центр постоянного тяготения его мысли» (ЛВИ, 214). Комментируя их спор о свободе и вере, Р. отмечал: «Нельзя передать той красоты душевной, того порыва и чистосердечия, с каким он указывал, что никогда и ни для какого случая Спаситель не указывал насилия; что весь дух Евангелия есть дух убеждения, и никогда — принуждения» (ЛВИ, 360). С. заявлял о невозможности насилия в вере: «“Да если я не могу ве-

рить, чистосердечно, искренно...” В смущении я ничего не говорил.... “Так рожном меня?” — и он сделал жест» (там же). Р. с сожалением писал Рачинскому о недостатке у С. веры: «Страхов тонок и умен, но ужасно расшатан (у него много горечи по поводу этого, но это мне только он дал подсмотреть, при других имеет вид твердый и спокойный), и это хуже, чем не очень подсматривающая вера, и даже дальше, я думаю, от истины объективной» (ПР. 1895. Июль-Авг. Ед. хр. 82. № 56). Р. возмущался наличием в доме С. статуи Будды, говорившей Р. о религиозной «всеядности» С. (ЛИ, 117). Р. увещевал заболевшего С. причаститься «по обряду нашей Церкви» (ЛИ, 315), хотя считал, что «при этом тусклом созерцании Божества <...> весь его прижизненный труд можно назвать “служением”», и отмечал, что «беседа его всегда очищала и просветляла» (ЛВИ, 358). В 1895 Р. писал ему: «Удивляюсь я истинно и глубоко, Николай Николаевич, как вы — человек не очень твердый в вере и вообще libre penseur <вольнодумец> — находите в душе Вашей истинно христианские, самые чистые и праведные слова (“Господь дал — Господь и взял”) <...> Я как будто тверже Вас в вере — но у меня столько малодушия и животного страха перед болезнью, перед смертью себя или особенно близких себе» (ЛИ, 313). С. был, по мнению Р., «вечный педагог» (ЛИ, 67), «великолепный методист, методолог» (ЛИ, 28), «гувернер» (КНУ, 252). «Вообще при некоторых недостатках (именно — творчества) в Страхове было что-то “от Сократа”, от его великого метода “всё растолковывать юношам”» (ЛИ, 58). «Страхов вечно болел о читателе, о путнике в уме его и о притуплении в русских читателях нравственных и всяческих вкусов; он был “мамкой”, “дядькой”: и это несколько даже отразилось в общем старообразном его положении в литературе. Это же было и одной из причин его неуспеха. “Ах, этот старик вечно учит!...”» (ЛИ, 67). Р. называл С. своим «учителем» (СХР, 133). Уже в 1889, через год после начала переписки, Р. считал свои отношения с С. дружескими: «Удивительно вообще наша связь с Вами, возникшая исключительно из чтения книг и ставшая такою прочною, продолжительною, полною интимности» (ЛИ, 227). Очень скоро С. понял, что Р. постоянно нуждался в опеке: «К Вам нужно бы приставить литературную няньку, которая за Вами бы ходила, выправляла бы ваши статьи, держала бы корректуру, издавала бы отдельно и вела бы переговоры с журналами; некоторое время я исполнял должность этой няньки, но я думал, что воспитание кончено. А вот Вы на своих ногах как нетвердо ходите!» (ЛИ, 105—106). С. терпеливо выполнял работу по устройству рукописей Р. в журналы, предварительно внося нужную правку, иногда читал за него корректуры, защищал от недоброжелателей. Он настойчиво проталкивал в «Журнал Министерства Народного Просвещения» очередную часть перевода «Метафизики» Аристотеля, выполненного Р. и П.Д. Первовым; журнал принял перевод лишь, «очевидно, из любезности к Страхову как к члену Ученого Комитета министерства», «все оттягивая и затягивая печатание» (ЛИ, 54). Во время работы Р. в гимназии С. предпринял много усилий, чтобы найти ему более подходящее место службы. В 1894 С., сам не имея лишних средств, помог Р. издать книгу «Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского», «взяв на себя

расходы» (ЛВИ, 370; ЗРП, 435). Рекомендую *Гроту* работу Р. «Заметки о русской философии» для издания в журнале «*Вопросы Философии и Психологии*» 18 декабря 1889, С. писал: «Статья, как вы увидите, прекрасно написана, с горячею любовью к философии и с очень порядочным ее пониманием <...> Во всяком случае, как писатель, мой Розанов действует лучше Ваших сотрудников» (Н.Я. Грот в очерках, воспоминаниях и письмах товарищей, учеников, друзей и почитателей. СПб., 1911. С. 238). Без поддержки С. не слишком бы жаловали Р. и в консервативном «Русском Вестнике»: «После смерти Страхова разыгрался страшный скандал у *Берга*: “Этот Страхов, эти протезы Страхова Розанов etc.”, — говорил он моему приятелю *Шперку*. Дело в том, что однажды Страхов написал *Вишнякову* по поводу моей статьи, не принимаемой Бергом, что “ведь “Русск. Вестн.” — скучнейший журнал, — и если что его несколько оживляет, то это статьи Розанова” Этого вмешательства Страхова и отзыва о “Русск. Вестн.” Берг не может ему забыть» (ПР. 1896. Янв.—февр. Ед. хр. 86. № 63). С. не только выполнял роль «литературной няньки» при Р., но и терпеливо наставлял, «воспитывал» его: «Вам свойственная болезненная впечатлительность — неизбежный спутник всякой возбужденной мысли, всякого *писательства* <...> Я бы строжайше предписал Вам правильный образ жизни. Вы не владеете собою в занятиях. Так вот вам задача: выучитесь владеть; попробуйте и увидите, что это не трудно» (ЛИ, 19–20). «Но зачем же торопливость? Вы ведь молоды, вы успеете сделать. Зачем Вам разбрасываться и истощать *силы* на порывистое писание и чтение. Если бы было в моей *власти*, я бы предписал Вам, во-первых, — регулярный образ жизни, а во-вторых, — чтение хорошей немецкой философской книги» (ЛИ, 8). «Когда я прочитал о Вашем способе чтения книг, я его очень не одобрил» (ЛИ, 10). С. часто критиковал Р. за неумение управлять своим «чудесным талантом» (ЛИ, 104). Р., однако, больше полагался на народное: «*Бог* устроит все к лучшему» (там же). Не был согласен Р. и с увещаниями С., что он не имеет успеха из-за нестройности изложения: «Ну вот у Страхова всё “стройно и законченно”, имеет “ясную *тему* и определенный конец”, — но ничего не вышло» (ЛИ, 105). Р. в некоторых *вещах* бывал и практичнее С.: он рекомендовал С. для увеличения спроса составить указатель к сочинениям: «Да, мой дорогой, но как же вы осуетились: все еще думаете о новых работах: Вам предлежит главная: составить указатель имен и предметов к Вашим изданным сборникам статей: это удешевит их цену и долговечность» (ЛИ, 313). Р. считал С. выдающимся педагогом-мыслителем и возмущался тем, что его талантам не нашлось достойного применения: «Настоящая роль Страхова, этого великолепного методиста, методолога, есть и была организация наукознания в университетах и духовных академиях; он был врожденным “Председателем Ученого Комитета”» (ЛИ, 28). Но вместо этого — «Глупая, тупая, бесплодная работа по прочтыванию представляемых в Учебный комитет Министерства народного *просвещения* учебников и по составлению о них докладов» (там же). Р. стремился поощрять С. к деятельности в нужном направлении, к которому тот был призван: «Всегда в письмах я и старался подтолкнуть Страхова к писанию об элементарных и вместе основных

понятиях, словах, определениях, категориях философии и вместе космогонии. Здесь он был первым, всегда оставался первым» (ЛИ, 58). Бесконечно благодарный Р. за огромную помощь С. назвал его своим «крестным отцом (в литературе)» (ЛИ 1913, X). Он писал: «Поистине, Бог наградил меня как учителем Страховым; и *дружба* с ним, отношения к нему всегда составляли какую-то твердую стену, о которую я чувствовал — что всегда могу на нее опереться или, вернее, к ней прислониться. И она не уронит и согреть» (ЛИ, 51). Хотя положительные высказывания о С. явно преобладают в сочинениях Р., он не закрывает глаза и на недостатки своего друга-наставника. При всем уважении к С., из-за различия творческих подходов и темпераментов Р. написал в предисловии к книге «*Природа и история*» слова о своем наставнике: «Вот старый седой дуб, *корни* которого, ноги которого так хочется омывать; но, омыв, бежать в безвестную даль» (ПИ, II). В 1888 Р. прямо заявил С.: «Всё более и более открываю я в Вас желчные стороны, ранее ответа Вл. Соловьёву мне вовсе неизвестные. Всё, написанное о *Некрасове*, написано с тайной мстостью...» (ЛИ, 188). Размышляя о причинах отсутствия у С. литературного успеха, Р. писал ему: «Сколько людей с неизмеримо меньшим дарованием, не говоря уже о честности и серьезности Вашего отношения к своей деятельности, — имеют успех и распространение большее, чем Вы. Не мешает ли этому слишком большая Ваша осторожность, отсутствие порыва, желания перевернуть все вверх дном и поставить на своем, что Вы считаете истиною? В Вас слишком много рефлексии и слаба воля. Вы все думаете, размышляете, но не стремитесь, не порываетесь <...> Другого условия для успеха, кроме страстного порыва, у Вас тоже нет: я говорю о *наивности*» (ЛИ, 229). Р. признается, что в своей публикации писем Леонтьева (РВ. 1903. № 4–6) «не выпустил ни одного из жестких слов Л-ва о Страхове» (ЛИ, 343). Он и сам согласился с этой негативной характеристикой: «Но, как верно здесь пишет Л-в, Страхов был “тягуч, неясен и уклончив”» (ЛИ, 343). Не случайно именно в письме к Леонтьеву Р. содержится самый отрицательный отзыв Р. о С.: «Ради Бога, напишите о Страхове как можно больше: он очень характерен, очень любопытен <...> Но, знаете, темную сторону в складе его характера, его сердца я давно прозреваю: он очень холоден, сух, эгоистичен; он завистлив ко всякому дарованию и почти ненавидит его, когда оно имеет успех; он как-то одновременно и верен (наблюдателен), и мелочен в своих суждениях; как-то дробен весь, хотя всегда привлекателен (в письмах и сочинениях); он, не надеясь покорить себе читателей, как-то искусственно сколачивает себе *славу*: то там, то здесь искусственными мерами силится возбудить к себе внимание. Так что письмо Ваше вдруг возбудило во мне все эти дремавшие подозрения. Я его видел в течение 1½ недели на *Рождестве* года два назад и ежедневно с ним беседовал: у него характерный, неприятный, деланный *голос*, при величайшем благообразии наружности: не верное ли отражение его духовной сути?» (ЛИ, 398–399). Р. приписал простой зависти С. категорическое неприятие им Леонтьева, но даже сам Леонтьев, испытывавший взаимную неприязнь к С., отверг утверждение Р. о зависти С.: «Но и в нем зависти собственно ничуть не подозреваю» (ЛИ, 343).

В статье «Леонтьев об Аполлоне Григорьеве» (НВ. 1915. 9 дек.) Р. сопоставил двух близких ему, но столь непохожих мыслителей: «Страхов был славянофилом с *добродетелью*, а Леонтьев был славянофилом без добродетели. Первый был смиренно-мудрый и спокойный, благопопечительствующий о роде людском, даже и “о врагах своих”; второй был горячий, страстный и хотел бы ввергнуть в борьбу и распрю» (ЛВИ, 610). Хотя С. привлекал Р. *благородством* и умом, Леонтьев был явно ближе ему по темпераменту («А мы роднимся только на страхах» (ЛИ, 320). Р. был горяч, порывист, хаотичен, С. — рассудителен, последователен. Их отличало разное отношение к *рационализму*. С. упрекал Р.: «Не нужно читателю знать, что Вы так мало цените *разум*» (ЛИ, 102). Хотя сам Р. обосновывал неприятие С. Европы «неудовлетворенностью рационализмом» (ЛВИ, 228), «слишком глаубойки теоретизм душевного склада» (ЛВИ, 227), сама его доказательная манера письма заставили Р. подчеркнуть рационалистический тип его творческой личности: «Человек, так напряженно живущий мыслью, не мог не стать рационалистом» (ЛВИ, 216). При всем уважении к редкой эрудиции С. и его огромной *библиотеке*, Р. была чужда аскетическая отрешенность С. от внешнего *мира*, жизнь среди книг: «Был один огромный недостаток в его квартире: недостаток ясного, белого, дневного света; войдя, я почувствовал, что это — огромный гроб, полный книжных сокровищ» (ЛВИ, 368). Сам тяготел к иррационализму, к *мистицизму*, Р. подчеркивал собственное неприятие рационалистической стороны воззрений С. «Страхов так и не объяснил, почему же “мы враждем против рационализма” Изложив его мысли, “рационально изыясняющие природу” (в статье “Идея рационального естествознания”) я тоже почувствовал в уме и душе что-то неприятное, тяжелое и тоскливое. Действительно — “враждем с рационализмом”, и именно и особенно разумом. Отчего? Что за загадка? Умерщвляется всякая поэзия в *природе*, всякий в ней каприз и прихоть, всякое “отступление от нормы” и гений, “*преступление* и наказание” (а они в природе есть) <...> Природа становится глубоко рациональной, но и глубоко отвратительной <...> Природа — не дышит. Это — труп ее, а не она. А кто же захочет долго быть “в мертвецкой” и даже там “закурить папироску” В “лесу из Страхова” папки не закуришь. А закуриваем. Т.е. природа вовсе не “из Страхова” и вовсе не “рациональна”» (СХР, 29). Неброский характер дарования С. позволил Р. назвать его «*Баратынским* нашей философии» (ЛВИ, 372). Р. верил, что и у С. найдется свой, образованный и вдумчивый читатель: «И читать его будут... немногие, но всегда. Положение Боратынского и А.А. Голенищева-Кутузова — вот его судьба “среди читателей” И их чтут, ценят, понимают. Но образованность вообще редка и трудна. *Школ* много, учатся в них все: но истинно слово нашего Спасителя, что “много званых, но мало избранных” Вот все-таки “ключ ключей” к Страхову. В его избранничестве, в том, что он предызбран. И что крут “избрания” вообще невелик» (КНУ, 252). С. для Р. — целая эпоха. Прошлое для него — это «в дни Страхова» (КНУ, 248). Р. соотносится со С. как с нравственным ориентиром и признает *справедливость* его упреков, что писал в двух газетах разных направлений: «Но мог ли бы Страхов написать хоть 10 строчек в “Вестн. Евр.”? И этим решает-

ся — всё. “Конечно, нет!” А он был мне учитель, и этому учителю я изменил» (СХР, 133). «Просто мне не больно писать (как было бы Страхову) и в “Русс. Слове» (СХР, 134). С. служит для Р. образцом неподкупности: «Где же спасение?» — спрашивает Р. в связи с коррупцией во время *войны* — и находит такой ответ: «*Царь* и патриотизм. Страхова не подкупишь» (М, 276). Но жизненные ориентиры Р. после утраты опоры в лице С. стали быстро меняться, хотя после первого посещения с Перцовым декадентов он еще заявлял: «Разве Страхов пошел бы к ним больше одного раза?» (Перцов П.П. Литературные воспоминания. 1890—1902. М., 2002. С. 223). Р. высоко оценивал личность и деятельность С.: «По всемирному, можно сказать, разнообразию областей, его занимающих, и по великой самостоятельности и крепости суждения Страхов составляет гордость нашей литературы, нашего русского ума» («К литературной деятельности Н.Н. Страхова» // НВ 1902. 22 авг.). И ему было больно, что С. и другие глубокие, идейно близкие ему писатели были «литературными изгнанниками». Р. связывал приход социальной катастрофы с недостатком внимания к С. и ему подобным мыслителям: «...были шептуны, Юркевич, Страхов, — голоса которых даже не слышали в существенных журналах. И от этого произошла всероссийская беда» (М, 42). Р. писал о С.: «Россия не воспользовалась его мыслями и не взяла его мыслей. Для России он есть *молчание*. Между тем он есть первоклассный мыслитель, а в жизни и во всех человеческих отношениях — безукоризненная душа» (ЛИ, 52). Полное отсутствие успеха у С. и писателей его круга для Р. мучительно: «“Судьба Страхова в литературе”, “судьба Ал. Григорьева в литературе”, судьба зоологических идей Н.Я. Данилевского в русских зоологических и биологических представлениях — это от 1891 до 1916 года намучило меня гораздо более, чем “моя судьба”, которую, кстати, я отнюдь не считаю несчастною» (СХР, 8). «Всегда передо мною гипсовая *маска* покойного нашего философа и критика Н.Н. Страхова, — снятая с него в гробу. И когда я вглядываюсь на это лицо человека, прошедшего в жизни нашей какой-то тенью, а не реальностью, — только от того одного, что он не шумел, не кричал, не агитировал, не обличал, а сидел тихо и тихо писал книги, — и у меня душа мутится <...> Да и сколько таких» (У, 210). «Что же я всё печалюсь? Отчего у меня такое *горе* на душе, с университета. “Раз Страхова не читают — мир глуп” И я не нахожу себе места» (ПЛ, 43). «Как задавили эти негодяи Страхова, Данилевского, Рачинского... задавили всё скромное и тихое на Руси, всё вдумчивое на Руси. “Пришествие Гиксосов”» (СХР, 18). Р. сопоставлял собственное положение в литературе с неудачной судьбой С.: «Неужели эта тусклая и бессильная борьба с *кабаком*, как у Страхова, есть судьба и моя?» (КНУ, 415). Несмотря на активное противодействие идейных противников, он верил, что его творческая биография сложится более удачно: «Вы мне куете судьбу, как Страхову (“не читают”), но страховской судьбы из меня не будет. Я хитрее его, и я талантливее его. Он камень, я звезда. Он, м.б., благородный камень, а я подлая звезда» (СХР, 240). Р. рад тому, что благодаря популярности собственных сочинений он содействует и памяти С.: «И скажу я *молитву* нашей Богородице, и скажу молитву древним богам, — ибо фило-

софия православна и язычна, — за то, что Бог некогда привел в его комнату меня, я рассмотрел “кое-что” в нем и как в “Литерат. изгнанниках”, так и здесь твердым гвоздем прибил его имя и *честь* (в истории)» (КНУ, 253). Р. искал объяснений отсутствия литературного успеха у С.: «Страхов признан недостижимым идеалом спокойствия, уравновешенности, невозмутимости, — и, мне кажется, этот излишек спокойствия послужил главным препятствием занять ему выдающееся литературное и общественное положение» («Суд и человек» // НВ. 1900. 11 июня). В статье «Идея рационального естествознания» Р. делает наблюдение о «завесе» между С. и его читателем: «У г. Страхова есть манера, одновременно и привлекающая к нему читателя, и раздражающая его — не договаривать своих мыслей до конца <...> У г. Страхова есть, по-видимому, некоторое недоверие к своим читателям, — и, желая влиять на них, говоря всё, что могло бы наилучше образовать их ум и сердце, он не говорит еще самого интересного, что они могли узнать от него» (ЛИ. 1913, 104–105). Существенным недостатком С. как писателя Р. считал отсутствие у него индивидуального *стиля*: «У него не было, напр., *стиля* <...> *Стиль* и есть энергизм души, тот таран, которым писатель режет воду, а при столкновении топят неприятельский корабль <...> Вот этого режущего волны и топящего корабля тарана не было у Страхова, да и у всех “правых” тех лет» («К литературной деятельности Н.Н. Страхова» // НВ. 1902. 22 авг.). Но главной причиной отсутствия читателей у С. было, по мнению Р., то, что он не пришел ко времени: «Вы просто не вовремя родились; вы по рождению человек 60-х годов, а по духу 80–90–100-х» (ЛИ, 145). Р. упоминает слова С., сказанные им о себе и времени торжества «шестидесятничества»: «Когда меня не будет, скажите обо мне: он был один трезвый среди пьяных» (ЛИ, 309). Помимо неприятия либерально настроенным *обществом* консервативных тенденций С., он, как считал Р., слишком превосходил современников по уровню развития и глубине мысли: «Страхов просто жил в слишком высоком этаже, и его не могли еще читать и понимать. Уровень русского образованного общества есть уровень уездного училища, а несколько не университетский» (КНУ, 474). В 1914 Р. сокрушается: «Болит душа, болит о Страхове. Я чувствую, что он не только не читался, но и не будет читаться. (*Высотский* сегодня сказал). Любовь и высокое уважение к нему Вл. Никольского, моя, Перцова (не считая личных людей, мне не знакомых) — все-таки ничто. Что это? Почему? “Холодно и слишком разумно, доказательно писал”, — сказал сегодня *Высотский*. Я понимаю и всегда догадывался, что в этом лежит смертная часть Страхова. Я сказал *Высотскому*: “Страхов писал в 80-х и 90-х годах, даже в 70-е годы XIX века, когда всё было “разумное”, когда читали только “разумные книги” и верили только “доказательству” Он был далеко не из людей этого “исключительно разумного направления”, но, чтобы противодействовать эпохе своей сумбурной и порочной, чтобы иметь какой-нибудь успех в борьбе, должен был вооружиться “всем знанием” и “всей логикой” Но как бывает всегда, он не победил “своего времени”, идеи которого текли вовсе не из “доказанности” и “научности”, а вовсе из других и частью противоположных источников; а вместе с тем этим одеянием “на-

учности” прогнал от себя читателей уже и следующей, вовсе не научной, эпохи. Таким образом, вышло, что он не читался и не читается сразу в двух смежных поколениях. Возлагать надежду на третье поколение, на внуков? Может быть» (КНУ, 251–252). Оставалось надеяться на *будущее*: «В конце XX века во всяком случае будет видно, что он на два поколения опередил свое время, что над ним не имели никакой власти господствующие идеи своего века и что за 50 лет жизни и писания он не сказал ни одной *лжи* (это уже стыдно предположить), но и не сказал даже грубой, явной ошибки. Вообще степень его честности действительно изумительна. Затем ведь у него можно набрать небольшой томик превосходных *pensées et maximes* <мысли и максимы>... И вообще он мог бы быть этическим руководителем общества» (КНУ, 252). Р. мысленно равнял на своего учителя в литературе до последних лет: «Скажу только доброму учителю в *могилу*: “Старался, Ник. Ник., — и паче всего старался за идеализм в философии и за доблестную в России веру». (СХР, 35). И Р. верил, что со временем творческое наследие С. будет выведено из забвения, что “История литературы” и “История русской философии” поставит его на свое место — это несомненно, потому что в конце концов она всё оценивает “по истине” <...> В конце XX века для него найдется свой *Эрн*, как он нашелся для Сковороды» (КНУ, 252). «Когда все перегорит и всё уляжется — подыметя в нашем обществе и литературе это Ваше настроение — всегда спокойное и чистое, полное любознательности и религиозности, уважения к человеку, серьезное и доброе» (ЛИ, 186). Уже после *революции* Р. написал заметку о С. под названием «К *портрету* Страхова»: «...праведный писатель... святой писатель... *монастырь*-писатель... Как ты прекрасен в своей старомодности <...> Огромная тень Пушкина пала на тебя, и ты вечно нежись в ее прохладе. И знаешь ли, как забудут юного Пушкина, никогда не исчезнет, никогда и твое благородство» (АНВ, 266–267).

В.А. Фатеев

СТРУВЕ Петр Бернгардович [26.1.(7.2)1870, Пермь — 22.2.1944, Париж] — публицист, философ, политический деятель. С., отмечал, что его статья «Романтика против казенщины» (о книге Р. «*Сумерки просвещения*», напечатанная в журнале «Начало». 1899. № 3), «была в прогрессивной *печати* первым указанием на политическое и литературное значение писаний В.В. Розанова» (PRO, 1, 378). Обнаружив в книге Р. «*Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского*» «либерализм и даже, точнее, индивидуализм, возведенный на степень *мистицизма и религии*» (Там же, 367), С. еще в 1899 предсказал Р. будущее фатальное *одиночество* среди партий и политиков: «Он навсегда останется “диким” Он слишком мистик, слишком целостен и потому слишком индивидуален, чтобы принять какую-нибудь программу» (Там же, 365). В *творчестве* Р., по мнению С., романтика *славянофильства* победила казенщину, поэтому он перестал быть консерватором, признав, что Р.-мыслитель, как никто другой «омахровил», облаговонил *цветок* (т.е. консервативный идеал), “бережно отстранив из него все грубое» (Там же, 366–367). В статье «Ликвидированное дело» (НВ. 1909. 11 февр.) Р. присоединился к С., доказывавшему на страницах «*Московского Ежене-*

дельника» (1909. № 5) в статье об *Азефе* «Неестественный режим», что с психологической неизбежностью из *террора* рождается *провокация*. Р. высоко оценил независимую позицию журналиста, припомнив, что С. «когда-то издатель штутгартского “Освобождения”, бывший депутат *Г. Думы* и член конституционно-демократической партии, а теперь — подавший в отставку от всех партий и всякого членства свободный журналист» (СМР, 52). Спустя год Р. в статье «Загадки русской провокации» (*Новое Слово*. 1910. № 3) уже иронично расценивал трактовку С. и всей плеядой российских интеллигентов-журналистов невозможности существования такого духовного ничтожества, как *Азеф*, в среде пламенных революционеров. Недоумение С. о том, «как целому кругу образованных людей и писателей не могло прийти на ум заподозрить присутствие среди них провокатора, потому что этот залезший к ним провокатор “был феноменально глуп”», Р. разрешил простым ответом: «Самая глупость служила ему превосходным покровом, и она “провела” таких умников, как Струве» (ЗРП, 82). Поводом для нападок на Р. послужил выход из печати в 1910 сборника Р. «*Когда начальство ушло...*», составленного из политических статей периода увлеченности автора событиями *Первой русской революции*. Одним из зачинателей публичной травли Р. в либеральной печати стал С., чьи собственные политические убеждения эволюционировали слева направо, от марксизма к правому либерализму. В декабрьском номере за 1910 «*Русской Мысли*» редактор журнала С. объявил в статье «Большой писатель с органическим пороком», что Р. — это «писатель, совершенно лишенный признаков нравственной личности, морального единства и его выражения, *стыда*»; «в политике же, в культуре, в религии Розанов — нигилист» (ПРО, 1, 386, 384). Безнравственность была объявлена С. неотъемлемой чертой Р. «Органическая безнравственность Розанова как писателя обнаруживается в одной любопытной психологической черте, — писал С., — <...> этот наблюдатель мельчайших черт реальности абсолютно беззаботен относительно фактов» (ПРО, 1, 385). Обвинения С. вызвали у Р. воспоминания о политической ориентации самого С.: «К чему Струве принимает позу патетического защитника *революции*? Он, участник «*Вех*»? В свое время подыгрывавший к *Витте* <...> всегда, в сущности, бродивший между кадетами и октябристами и — бывший *volens-polens* бесплатным официозом? Ибо быть официозом есть натура всякого немца. Неужели не понимает Струве, что в самых даже реакционных своих статьях я все же гораздо радикальнее, потому что мечтательнее и, следовательно, построю идеал гораздо дальше от эмпирической действительности, нежели он, тихий и кроткий штутгартский филистер» (ЗРП, 420). Определяя Р. талантливым «художественной натурой», С. при этом призывал российскую печать не давать ему места на своих страницах и вообще не «пускать его в “прогрессивную” печать» (ПРО, 1, 386), так как «натура» эта якобы безнравственна. Р. возражал, что «*талант*» и есть преобразование в слово нравственных сил *души* <...> нравственных оттенков души, нравственных токов души, до полной точности светописи, до полного автоматизма, до абсолютного совпадения» («Литературный террор» // НВ. 1911. 12 янв.; ТПРН, 20). Отвечая редактору «Русской Мысли», Р. заявил в статье «Литературные и поли-

тические афоризмы (Ответ *К.И. Чуковскому* и П.Б. Струве)» (НВ. 1910. 9 дек.) о своих принципах: «В каждом издании я вилен не весь: но в каждом издании видна моя *истина*, истинно существующее во мне!» (ЗРП, 422). В январском номере «Русской Мысли» за 1911 С. в заметке «Жестокая поговорка и извращенная психология» дистанцировался от оценки писателя *А.В. Пешехоновым*, который «ничего исключительного в “бесстыдстве” Розанова не видит» и который «относительно целого разряда *лиц* заранее “предполагает”, что они тот колодец, из которого нельзя пить, потому что в него “опять плюнуть придется”» (Струве П.Б. *Patriotica: Политика, культура, религия, социализм*. М., 1997. С. 284). С. еще раз отметил, что для него Р. «не ординарный “нововременец”», а «“один из первых русских писателей”, человек, награжденный большим писательским дарованием и чисто художественным прозрением <...> И потому его бесстыдство есть большое *горе русской литературы*» (Там же). Признавая, что «Пешехонов трижды фактически прав», С. с позиций моральной максимы заявлял, что «ни одного человека, самого дурного, самого грешного, нельзя раз навсегда превратить в плевательницу» (Там же, 284–285). Ответ писателя под названием «Убогонькие в истории» не был опубликован при *жизни* Р. по воли самого автора статьи. Р. сравнил своих критиков во главе со С. с образом немощного уродства, стремящегося в *церковь*: «Немощный, без *радости*, таланта и света. Никогда, никогда он с этою радостью здорового *мира* не сольется. И болит он весь, как больной зуб. Болит грехом *ума* своего, души своей. И, подойдя к радости мира, стряхивает с кистей рук свою немощ на чужую радость, шепча: “Прими болезнь мою! Прими *печаль* мою”» (ТПРН, 353). В январе 1911 Р. еще раз откликнулся на выступления С. в статье «Литературный террор», заявив о готовности доказать на *суде чести* литераторов, что все нападки С. на него «внутренно-лживы, и об этом он сам знает; что они глубочайше фальшивы; что из нас двух, уж конечно, он “двурушник”, работающий для торгово-промышленной партии в *Москве* (об этом писалось в *газетах*) и одновременно с этим пуская у себя в журнале, как редактор, социал-демократические статейки <...> притворно все его негодование на одновременную работу в изданиях противоположных политических убеждений, можно видеть из того, что он сам меня приглашал к этому, все шло через его руки и у него на глазах, и пять лет назад, и год назад!» (ТПРН, 19). Несколько лет спустя, продолжая полемику на страницах «*Онавших листьев*» со С. и Пешехоновым, Р. размышлял о причинах политических нападок на себя. Именно в это время на него обрушилась тяжелая болезнь жены, в это время отошел от газетных дел его покровитель *А.С. Суворин* и был убит *П.А. Столыпин* — политический ориентир «*Нового Времени*». «Б<ог> хотел мне показать всю мелочность *литературы* <...> все ее жестокое существо, все ее формальное и внешнее существо. “Люди умирают”, “люди задыхаются в *горе*” — а “литературушка все долдонит свое”, — все “проводит очередную задачу общественности” <...> Вообще в эти минуты <...> мне особенно глубоко дано было узреть соотношение между острой сутью *христианства* (*печаль* о гробе, страх перед гробом, тоска о вечной разлуке) и между острой сутью “современности”, литературы, политики, “суеты” (как я

определял всегда себе, но в эти минуты особенно это мне открылось). Глаза мои испуганно и тоскливо открылись на церковь, на суть христианства <...> мне замелькали бесенята в этой полемике, столь грубой и безжалостной» (КНУ, 448–449). К середине 1910-х *тон* статей Р. о С. меняется, преобладают уже положительные оценки. Это произошло после заявления С., члена Совета *Религиозно-философского общества*, о невозможности обсуждения в РФО вопроса об осуждении Р. В заметке «П.Б. Струве о “Записках” С.М. Соловьёва и о времени Александра III» (НВ. 1915. 15 нояб.) Р. назвал статью своего недавнего оппонента «интересной, полной достоинства». Особой похвалы С. был удостоен за то, что показал, как «Соловьёв непосредственно и в высшей степени выразительно опроверг ходячее мнение о славянской непроницаемости, и якобы присущем русским отсутствию выдержки и трудолюбия» (НФП, 551). Р. подчеркнул, что у С. «во многих статьях последних трех лет видно бережливое отношение к сумме русской действительности». В статье «П.Б. Струве о М.М. Ковалевском и г. Изгоев о г-не Пешехонове» (К. 1916. 16 июня) Р. высоко оценил литературный *портрет* покойного профессора, данный С.: «Струве ясно говорит, что он не был ни “ученым”, ни “писателем”» (ВЧВ, 250), видя призвание Ковалевского в его подвижности, оживленности, неустанности. В статье «Струве о духовном сословии и духовной школе» (К. 1916. 8 янв.) Р. дал положительный отзыв о рецензии С. на книгу «У Троицы — в Академии» (РМ. 1915. № 12), составленной к юбилею Московской духовной академии ее выпускниками. В этой статье, как и в ряде последующих («Князь Е.Н. Трубецкой и Д.Д. Муретов» // К. 1916. 12 авг.; ВЧВ), Р. дает картину духовной эволюции экс-марксиста к умеренному *национализму*. «Это он в 90-х годах прошлого века принес нам на Русь “марксизм”, не как одно из многих литературных и общественных течений <...> а как движение исключительное, как “завтрашний день” России и всего мира, с замашками диктаторскими, с замашками на подавление всякого иного образа мыслей, всякого себе противодействия <...> Теперь все это — покинутые Струве знамена. Но нельзя “без последствий” носить никакое знамя: на руке остается на всю жизнь отгиск, отпечатление его... Душа Струве изъедена экономическими и политическими интересами, волнениями, методами; и, в особенности, все скольконибудь мистическое, религиозное — чуждо ему, как “заправскому” медику чужды стихи, музыка и подобное. Но у человека есть душа и есть судьба, — и часто душа с судьбою не сходятся. Сложная и в высшей степени интересная судьба Струве все более и более склоняет его в сторону, в которую он никогда не хотел бы ходить, в которой он никогда не думал бы. Дело в том, что среди всяческой трухи экономических и политических воззрений в душу его залетело одно ангельское существо: *любовь* к России <...> Россия в ее громадной конкретности всегда господствовала в нем над его личной судьбою, над его частными взглядами и убеждениями, над его, скажу по-своему, ошибками» (ВЧВ, 40). В эмиграции С. с 1920. В 1926, проживая в Париже, С. вступился за А.В. Карташёва, обвиненного во французской газете «*Rotana*» (1926. Февр. № 2) в том, что именно он «явился главным виновником исключения из петроградского

Философского кружка Василия Розанова, “великого христианского философа, ученика Достоевского, и продолжателем его разоблачений об еврейской опасности” Карташёв сделал это для того, чтобы “отблагодарить своих тайных господ” Ибо этот “сын народа” всегда был поддерживаем франкмасонами и лишь благодаря поддержке лож он мог сделаться председателем Философского кружка в Петрограде, оставаясь пламенным революционером” («Оголтелая нескладница как поживка на большевистской удочке» // Возрождение (Париж). 1926. 23 февр.; цит. по: Струве П.Б. Дневник Политика (1925–1935). М.; Париж, 2004. С. 101). В той же статье С. отмечал: «Покойный В.В. Розанов в общем не только не был “антисемитом”, а, наоборот, имел скорее патологическое, как все у этого единственно одаренного и единственно извращенного человека, влечение к еврейским началам и к еврейству, как они ему представлялись. Об этом в свое время, при жизни Розанова, интересно писалось в “Русской Мысли” (там же, 103). Письмо С. к Р. 1910 хранится в РГАЛИ (Ф. 419. Оп 1. Ед. хр. 651).

А.В. Ломоносов

СТУКАЧЁВА Варвара Ивановна [25.5(6.6).1886, Нарышкино, Орловская губ. — 1917?] — слушательница Высших женских курсов в *Москве*, одна из приятельниц Р. Между Р. и С. шла переписка в 1911–1912 и в 1913–1915 (РГАЛИ. Ф. 419. Оп 1. Ед. хр. 652). *Письма* Р. нам неизвестны. Знакомство Р. с С. состоялось по ее инициативе. Она обратилась к Р. с просьбой опубликовать в «*Новом Времени*» Воззвание *курсисток* в *Москве* по поводу *смерти В.Ф. Комиссаржевской*: «Если только и Вы любите Веру Федоровну, может быть, Вы напишете несколько светлых слов, заметку о нашем деле в связи с памятью В.Ф. Комиссаржевской. Это много бы значило, т.к. Вас любят и старики, и *молодежь* — ждут в газете Ваших статей. Василий Васильевич, хочется мне еще, да... да, стыдно сказать, потому что это для себя — Вашего автографа на *Легенде о Великом Инквизиторе*, на которой я послала вместе с письмом перевод-бланк. Напишите хоть так: «неизвестная девица пристала и просит мой автограф — ну вот: В. Розанов» — <...> я шучу, мне совсем не так хочется. Василий Васильевич, с Вами так говорится, как будто давным-давно знакомый и будто нет разницы в летах, образовании; это так потому, что пишете Вы удивительно искренне и пока прочитаетесь вас, то и подружисься с Вами» (письмо от 6 февраля 1911. Орел, ул. Карачевская, 58 — РГАЛИ. Л. 2–3). Р. прислал С. свою *книгу* с автографом, завязалась переписка. Через восемь дней 14 февраля 1910 в газете «*Русское Слово*» появилась статья Р. «Памяти В.Ф. Комиссаржевской» (СХ). В письме от 13 марта 1911 С. благодарила Р. «за надписи на его книгах, за доброту»; себя относил к тем *женщинам*, которые вдохновляют художников, писателей: «мы — жрицы зажигающих; вот мне 25 лет и никому я не пригодилась с “душой чистки” (как вы сказали), а теперь душа моя уже умерла, Вы нашли, усмотрели во мне “душу” и еще “чистоту” — спасибо Вам — как дойду в самый раз до этого места в вашем письме — горько плачу, т.к. умерла у меня душа боже» (Л. 6). С. ходит в *церковь*, молится там за Р. и его будущую жену, пишет Р. длинные письма, радуется то-

му, что нашла друга в лице Р.: «С моим отцом я не могу так говорить, как буду с Вами, но, вероятно, и Ваша дочь с родным отцом не может говорить <...> от людей я ушла не потому, что об них ушибаешься больно <...> но я ушла от *лжи*, к иным ушам и сердцу — хоть колокол электрический проведи — не услышат, глухими остаются, а другие <...> кто бы ни постучался, услышат и отзовутся. Я чувствовала, что таким Вы должны бы быть, и я не ошиблась <...> Друг у меня есть: мне так самой хотелось вам сказать; когда Вы сказали, что жена Ваша елецкая <...> Верно, из *Ельца* все “хорошие” люди бывают» (письмо от 25 марта 1911, Орел. — Л. 8.) С. описывает свою *жизнь*, рассказывает о матери, отце, близких. В 1905, когда С. была на 2-м курсе, начались забастовки, она уехала в Париж «учить французский язык», слушала лекции в Сорбонне; пробыла там около пяти месяцев. Но настоящей причиной ее поездки в Париж, как она пишет, было неугасимое воспоминание о первой неудавшейся *любви* в 18 лет к некому художнику Л., который ушел от нее, сказав на прощание: «Не могу терпеть, пойду к проститутке» и с тех пор она «сошла с *ума*, конечно, не от любви к нему, но от *одиночества* без него» (11 сентября 1911. Орел, Нарышкино. — Л. 26). Париж не помог С. погасить тоску, одиночество, и она заболела. Когда она вернулась домой, ее положили в больницу, где она пробыла 1 год и 2 месяца. «Впрочем, сама не хотела уходить оттуда: лучшее что было у меня в жизни — это больничное *время*, т.к. были там люди, около людей и сам себя как-то *человеком* чувствуешь» (25 марта 1911. — Л.10). С тех пор С. говорит и пишет только о своем одиночестве, нежелании видеть людей: «Я хожу только в один “*Дом*”, мой родной, любимый: психиатрическую клинику» (Москва, 26 апреля 1911. — Л.16). В письме от 30 июня 1912 она жаловалась Р.: «Предупреждаю Вас о том, что я не согласна на напечатание, хотя бы отрывков моих писем. Я шла к Вам, как до вас к другим писателям и художникам, шла благоговейно, трепещущая, с тайной надеждой около них понять себя, понять, как дальше жить, чтоб не угасит дух среди противоречий и *пошлости* жизни» (л. 46). 18 декабря 1912 С. писала: «*Достоевский* умер — писать мне некому, а Розанов не признает во мне человеческого достоинства. В “Дневник” пишется ежесекундно, завела такие маленькие книжки, но хочется по-живому сказать. Вот» (л. 64). 25 мая 1914 она посетила *семью* Р., видела его *детей*. Жена лежала больная, и С. «вошла на цыпочках, взглянула на изголовье больной женщины, завязанной платком» (КНУ, 364). В выписке из записной книжки, переданной на другой день Р. в меблированных комнатах Мухина, С. описывает впечатления от детей Р. о Татьяне: «В глазах коричневых невольная (для нее, а не для посторонних) тоска, тоска этой юной души по зарывшейся, но еще, может быть, неотвеченной любви. Это красивое очертание щек (линии их, овал), когда девушка в тоске по любви, и эти юные красные уста, слегка опущенные углы их и как бы неудовлетворенные. Но уже сквозит во всем и упорство, и крепкое пожатие тонких пальцев указывает на характер. Раза 2 я поймала ее испытующий взгляд на мне: “Откуда ты? И что общего у тебя с отцом? И что тебе надо?”» (КНУ, 362). О падчерице Александре: «Косы удивительные: пепельные и жгутом в косу вокруг головы и даже к лицу подвиты.

Запрыщавила немножко, но это от отсутствия *мужчины*, т.е. половой жизни; нет “обмена соков”, как говорит “писатель Розанов” Это пройдет сейчас же под поцелуями любви. Умна. Говорит, что пишет в “Р. Мысли”» (КНУ, 363). О гимназисте Васе: «Вихрастый, верно, какой был папаша в таком возрасте. Сидел и пыжился. Глаза чуть не выскочили, от жару “горели”; *зубы* горят, а сам мальчишка на меня все смотрел, с первого момента, как только я вошла, — верно, отец чего-нибудь набрехал... “меткого”, как он сказал бы, а я скажу: лишнего. Я сделала вид, что “не замечаю”, что он всю меня ест (по-детски и неопытности), но когда на него посмотришь, хоть случайно, то он вспыхивает и глаза “в землю”» (там же). Записи С. свидетельствуют о ее отношениях с Р. и показывают угол ее зрения на его детей. Она заключает: «В семье он прелестен, и даже сравнить его нельзя с книгами (в дурных и ненужных местах)» (КНУ, 363). 29 мая 1914 (Нарышкино Орловской губ.) С. писала Р.: «Как жаль, что я не понравилась Вашим детям, а я мечтала, что в Нарышкино они приедут ко мне, жаль, что Варвара Дмитриевна меня не видела — она бы путем меня обнюхала бы и почувствовала бы, ее слово было бы верно и ценно для меня. Как ее здоровье?» (Л.72). С. просит Р. о встрече в связи с его последним письмом к ней и неверной *характеристикой* поляка Л., предмета ее первой любви в 18 лет. «Вы, — обращается она к Р., — сначала обвинили меня совершенно напрасно в моем влюблении в Вас, в моем к Вам любовном приставании, а потом отказ от этого Вашего мнения. Может быть, я говорю, Вы откажетесь и от характеристики Л., познакомясь с ним лично, и, может быть, он очарует Вас (поляки ведь очень вкрадчивы, “прикидываются”)» (Л. 69–70). 11 августа, 1914 (Нарышкино Орловской губ.): «Я недавно читала мемуары одной женщины, которые объяснили мне и оправдали Ваше бегство в землю Половецкую от одной женщины, не Дьяконовой ли? На днях была в Орле, в доме и с полатей кочергой выудила “кипу” Опиет стала читать и нахожу, что очень интересная переписка, Василий Васильевич, как Вы думаете? Если издать роман в письмах? Ну, положим, это не Достоевский, но зато живой, правда, а сколько *красоты!* А сколько любви! Где она теперь?» (Л. 78). 26 февраля 1916 С. пишет: «Неужели Вы не понимаете, Василий Васильевич, Вы пишете мне в Москву и просите моих старых писем, а они все в провинции, в Орле. Ведь там старей одна мать, которая не знает, что и куда я прячу, т.е. все относящееся к подобной переписке. Ведь если бы она им попала, то уж, конечно, ее бы сожгли. Так что погодите: без меня ничего нельзя оттуда получить. Я же больна серьезно и должна, верно, поехать в Финляндию или Крым лечить несчастные мои больные легкие. Вообще, уже 3 года после смерти моего дорогого бедного отца я почти не <бываю> дома» <...> А потом, Василий Васильевич, хочу я перед смертью издать книгой “Письма ко мне и мои письма”» (Л. 88). Весной 1916 происходит разрыв между С. и Р. Они обменялись резкими письмами, упрекая друг друга в непонимании. С. всю свою короткую жизнь укрощала в себе физиологическое начало. С 18 лет ее занимало “все это”, т.е. половой вопрос; «молила врачей загипнотизировать» ее (Л. 60); называла себя «Варварой Великомученицей». В Дневнике, обращаясь к Р., писала: «Вы на 30 лет меня

больше, как отец мой мне, а вот хочется мне Вам, “лук печеный”, сказать так много ласкового, хорошего, просто человеческого без мысли о поле, а он, проклятый, и позволит притаившись, а потом как выпрыгнет как дикий зверь из засады» (Л. 36). Р. относился к С. внимательно и с большим уважением, но затем «душевное неблагополучие» в С. воспринял как недоверие и враждебность по отношению к себе. Отец С. как-то спросил ее: зачем она пишет письма Р. Она ответила: «Я люблю его» (Л. 35).

Л.Л. Черниченко

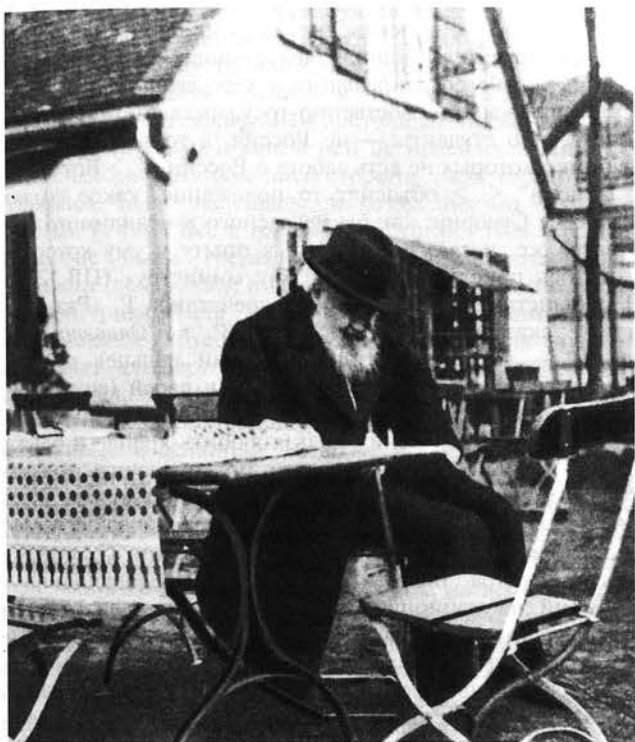
СУВОРИН Алексей Алексеевич (домашнее прозвище Леля; 1862 — 17.12.1937, Париж) — средний сын А.С. Суворина от первого брака с Анной Ивановной Барановой (1840—1873), журналист, пропагандист идей кооперации, лечебного голодания, йоги. Окончил историко-филологический факультет *Московского университета*. Приступил к работе в газете отца под псевдонимом Алексей Порошин. Дофин, как прозвали его коллеги, высоко ценил талант Р. После статьи Р. «Из-за чего сыр-бор разгорелся» на тему о старокатоличестве (вошла в книгу Р. «Около церковных стен»), снятой с полосы в «Новом Времени» лично Сувориным-отцом, С. в 1903 ушел из газеты и основал собственную газету «Русь» (1903—1908). Издавал газету «Молва» (1906), юмористический журнал «Серый Волк» (1907—1908), газету «Новь» (1914), «Маленькую Газету» (1914—1917). Публикаторы «Дневника» А.С. Суворина Д. Рейфильд и О. Макарова утверждают: «Алексей, несомненно, был психически нездоров, впав в увлечение дуальными кодексами и диетическим питанием» («Дневник». М., 1999. С. XXIII), чему противоречит содержание его писем к Р. (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3822. Ед. хр. 7), показывающее вдумчивого и серьезного редактора. В первоначальной верстке книги «Письма А.С. Суворина к В.В. Розанову» письмо Суворина от 14 сентября 1899 начиналось словами: «Вы совершенно правильно оцениваете характер Лели, моего сына. Эта разница наших темпераментов ссорит нас до страшной боли. Чувствуя, что я давно “на покое”, я, естественно, желал такого же преемника, как я, который вел бы газету “экспансивно, с художественными эпизодами”, как Вы хорошо выражаетесь. И этого я в нем не видел, и это меня злило, и мы ссорились. Я долго не мог понять, что мы разные личности, что нельзя требовать того, к чему человек неспособен. Но я в нем ценил прямо высокую честность и упорный труд, который он удваивал ненужно. Я никогда так не работал над чужим текстом, как он» (ПВ, 388). Эти строки были вычеркнуты, а на полях верстки Р. написал: «Ал.Ал. Суворин, когда я засыпал после обеда, очевидно, прочел в типографии, пришел и попросил-потребовал права зачеркнуть это место. Его, конечно, надо восстановить. В. Роз.» (ПВ, 388).

С.В. Шумихин

СУВОРИН Алексей Сергеевич [11(23).9.1834, село Коршево, Бобровский уезд, Воронежская губ. — 11(24).8.1912, Петербург] — редактор-издатель газеты «Новое Время», просветитель. Р. отмечал проявление выдающихся способностей С. уже в ранних литературных опытах будущего издателя: «Никогда нельзя забывать, что первым его, еще ученическим, на школьной скамье,

трудом был “Словарь замечательных людей русских”, а учителем уездного училища он пишет: “Ермак Тимофеевич, завоеватель Сибири” Темы и книги эти — не “Незнакомца”, <псевдоним С.>; это темы и книги — издателя “Всей России” и “Нового Времени»» (ПВ, 287). Первая попытка сотрудничества Р. с суворинской газетой в 1893 окончилась для провинциального литератора Р. неудачей. Обширную религиозно-философскую статью «Свобода и вера» (против В.С. Соловьёва), которую он предложил «Новому Времени», С. нашел совершенно «не газетной», но сделал при этом Р. ясное предложение писать для его газеты. Р., по собственному признанию, «не умел в то время писать “Заметок”, все выходили “трактаты»» (ПВ, 291). В 1902 С. в своих «Маленьких письмах» заметил: «У нас было только два философа, Скворода и Вл. Соловьёв. Мне думается, что зрел еще Розанов» («В ожидании века XX». М., 2005. С. 92б). Первая розановская статья в суворинской газете была опубликована с подачи Н.Н. Страхова: «Рассеянное недоразумение» (НВ. 1894. 9 нояб.) — рецензия на полемическое выступление Страхова «Взгляды Рюккерта и Н.Я. Данилевского» (РВ. 1894. № 10). Далеко не все материалы Р. встречали одобрение в «Новом Времени». В декабре 1896 С. заказал Р. статью «об университетских беспорядках», но из-за недовольства И.Л. Горемыкина статья не вышла в свет (Дневник Алексея Сергеевича Суворина. London; М., 1999. С. 271). Переговоры с Р. о постоянном сотрудничестве с С. велись с марта 1899, но постоянным сотрудником газеты Р. стал со 2 апреля того же года, оставив, наконец, тяготившую его службу в *Государственном контроле*. С. «отогревший», по замечанию Д.А. Лутохина, «и Розанова, изнывавшего <...> в бедности и не на любимом деле, как в свое время пригнул Чехова», очень своевременно приобрел нового сотрудника для своей газеты, поскольку Р. к тому времени находился в состоянии крайнего нервно-психического истощения (ПРО, 1, 194). Предложение о сотрудничестве в «Новом Времени» спасло его не только как литератора, но и как личность. На обороте фотографии С. последних месяцев жизни Р. оставил памятную запись для своих детей о покойном покровителе: «Алексей Сергеевич Суворин во Франкфурте-на-Майне. Без Суворина, дети, Вам папа с мамой не могли бы дать образования. Нужда б. беспроходная» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 82). Р. на себе постоянно чувствовал добрую заботу своего шефа. Он был потрясен, встретив столь широкий прием в лице С., который тут же своего нового сотрудника «отправил отдыхать в Италию, дав (подарив) 1000 руб.», как вспоминал Р. позднее: «Я еще ничего у него не наработал и не заработал. А когда я зашел “наверх” поблагодарить и в конце “болтовни” стал говорить благодарность — он не понял, о чем я говорю (т.е. забыл свое назначение и доброту)» (М, 8). С. предложил Р. ежемесячный оклад в 300 рублей, а кроме того, построчную оплату за все написанные статьи. Известность пришла к Р., когда он стал постоянным фельетонистом «Нового Времени». Здесь он нашел то, чего никто из издателей не мог дать ему — свободу писать о чем ему нравится: «О Египте, о “звездном”, обо всем, о чем и заикнуться было нельзя» у других (ПРО, 1, 244). Свобода Р. писать на волнующие его вопросы нередко приводила к столкновениям С. с цензурой, как это было в середине июля 1900 по поводу

фельетона Р. о генерале А.А. Кирееве и старокатоликах «Из-за чего сыр-бор загорелся» (ОЦС). Многолетнее сотрудничество в газете у С. наложило свой отпечаток на сознание Р., предопределив его позицию в отношении политизированного общества. Н.К. Михайловский впервые употребил образ «флюгера» по адресу политической позиции С., казавшейся ему шаткой и конъюнктурной. 14 сентября 1899 С. писал Р.: «Меня упрекали в том, что я будто бы флюгер. Я совсем не флюгер. Но, будучи человеком, не получившим солидного и серьезного образования, принужденный постоянно учиться, постоянно



А.С. Суворин. Фото из книги: «Письма А.С. Суворина к В.В. Розанову». 1913

читать и на лету схватывать знания, я давал свободу мнениям и заботился главным образом о литературной форме <...> Часто мнения, которым я давал место, мне совсем не нравились, но мне нравилась форма, остроумие, живая струя» (ПВ, 295–296). «Флюгер ведь тоже диалектичен, тогда как бревно, лежащее на земле, есть образец «честного уклонения от виляния» <...> Образец величайшего диалектического писателя у нас — и, может быть, во всей всемирной литературе — есть Ф.М. Достоевский», — развивал Р. в 1909 спор С. с политическими оппонентами (ЛВИ, 539). Спусти шесть лет писатель вновь вернулся к этой мысли: «Говорят (Гейне) — флюгер лжет: «Куда дует ветер» — значит лжет? А м.б., во всей вселенной именно один-то единственный флюгер и показывает правду и обнаруживает божественный порядок вещей» (М, 288–289). Политические убеждения С. эволюционировали от либерализма шестидесятников в направлении национализма. Р. настаивал, что в мировоззрении «никакого «перелома» не было в Суворине, он был все тем же и все таким же. «Но он неизмеримо про-

тив «Незнакомца» улучшился, — улучшился против его односторонности, против его капризов молодости <...> «игры таланта» и прочих ярких, но малоценных (нравственно) вещей» (ПВ, 284). С. настаивал на том, что программа консерваторов обязательно должна «быть более подвижной, чем программа другой партии, и этим сгладить свою долю антипатичности в обществе» (НВ. 1879. 9 дек.). По адресу Р. либеральные журналисты высказывали претензии того же порядка, что и в отношении С. — в политической непоследовательности. «Так называемые «колебания газеты» (мнимые) лишь отчасти и слабо выразили душу Суворина, всю сотканную из «муара» <...> — вспоминал Р. в 1913. — Он казался весь податливым. В сущности — он был совершенно неподатлив. Говорил одно и другое. И — думал одно <...> В его «переменах» (кажущихся) был как бы закон этих перемен, все их объединявший и вводящий в одну формулу <...> всегда выводил одно: «Он хочет, чтобы ты не говорил ничего, кроме того, что у тебя на душе» <...> В слог он подмечал неправду: и не хотел никакой» (ПВ, 269). «Безграничную впечатлительность» С. Р. пытался объяснить на примере частых бесед с хозяином газеты: «Говоря с ним о семье, о разводе, об оценке русских, о будущем России, — сплошь и рядом я слышал в конце беседы (т.е. часа через 1½ разговора на скором ходу) — совсем другие тоны, другие слова, другие симпатии и антипатии, чем в начале разговора. На него произвели впечатление новые примеры, новые факты, новые рассказы, какие вы привели (никогда — рассуждения, «сображения»), и он горел совсем новыми чувствами. Нужно иметь какую-то невероятную пошлость души, воистину быть «Иудушкой из Щедрина», — чтобы эту колоссальную впечатлительность и нетерпеливую правду в «сейчас» — наименовать «флюгерством»» (ПВ, 295). Переход С. от идей шестидесятничества на позиции национализма Р. объяснял ростом таланта своего патрона, умудренностью, приходящей с годами: «Этот «второй Суворин», выросший из «первого Суворина», залил его всеобъемлемостью, многообразием, умом, но главное — он залил его благородством вот этого не мальчишеского, а отцовского, не бунтующего, а служебного отношения к вещам, к лицам, ко всему. «Жить — значит служить», и Бог — служит миру, а все люди — служат друг другу, и мы — служим России, а Россия — служит всем» (ПВ, 284–285). Р. назвал С. в посмертном очерке «государственным человеком» и «телохранителем России» (ПВ, 286, 285). С. был убежденным сторонником сильной централизованной власти, сохраняющей исторические традиции, ведущей проблемой развития страны считал модернизацию российской экономики. Р. во многом симпатизировал суворинскому исконно-народному «хлебному чувству роста»: «Больше! Больше ребят, больше хлеба! Больше всего: еды, довольства, движения, человеческих голов, земли, богатства, всего решительно!» (ПВ, 265). Чувство «роста России», ощущение хозяина в деле, идеалы «хлебного прогресса» Р. считал определяющими в мировоззрении С. (ПВ, 265, 266). С. отличала преданность традиционным ценностям русского народа. Присоединяясь к С. в неприятии западнического прогрессизма, Р. отстаивал деловой подход к идее прогресса: «в подробностях, в частности, в поименности, — а не в общих фразах, ни к чему не относящихся» (ПВ,

266). Р. уверял современников, что С. не терпел в газете «ничего — специального, ничего — частного, ничего личного, ничего — особенного и партийного; все — для всей России, для “Целой России»» (ПВ, 281). О большой симпатии к себе владельца издания Р. признавался и М. Горькому: «Там меня связывает только сам Суворин <...> старик меня любит» (МЛ, 514). Д.А. Лутохин также указывал, что в редакции «Нового Времени» «понимал и любил его один старик Суворин» (PRO, 1, 194). А.А. Измайлову сразу бросилось в глаза, что и Р. и С. были очень схожи в поворотах своих *судеб*, «очень русские, путанные, впечатлительно-непостоянные <...> заглядывающие куда-то много дальше за формы нынешней политики» (PRO, 2, 93–94). Оба происходили из беднейшего дворянства, оба начинали свой путь в далекой провинциальной глуши с учительства, с географии и *истории*, оба прибыли покорять столицу оружием литературного таланта. Даже семейные перипетии были сходны: постоянная нужда отца растущего семейства при столичной дороговизне, трагический финал первого *брака* (скандальное убийство жены С. любовником), а кроме того взаимный интерес к *теме* психологии *полов*, отраженный в суворинской драматургии и в романе “В конце века. *Любовь*” (1893). Р. отмечал, что С. и «в суждения свои он влагал иногда нечто физиологическое» (ПВ, 264). В книгах Р. «*Мимолетное*» и «*Последние листья*» сохранились свидетельства о неоднократных беседах С. и Р. на темы половой *психологии*. Отношение друзей Р. из лагеря писателей-декадентов к его сотрудничеству в осуждаемой интеллигентами газете кратко выразила З.Н. Гиппиус: «Розанову его “суворинство” инстинктивно прощалось: очень уж было ясно, что он не “ихний” (ничей)» (PRO, 1, 149). С. была близка и понятна розановская критика российской *бюрократии*. «Вообще нашу бюрократию, с ее вековым космополитическим духом, с ее черствым формальным *либерализмом*, — бюрократию, глухую ко всему русскому, ко всякой чести и славе России, даже к пользе и *счастью* России, он <С.> хорошо знал и никогда не переоценивал» (ПВ, 266). Сопоставляя суворинскую деловую активность с показным патриотизмом *чиновников*, Р. писал: «У него есть то, чего не хватает слишком многим “правительственным лицам”: великое *чувство* России, чувство Матери <...> которую нельзя судить» (ПВ, 274). Писатель утверждал жизненный принцип С.: «Мы все относительно сравнительно с Россией, наше дело — служить ей, а не господствовать над нею <...> самое *право* наше учить Россию очень ограничено, и мы должны очень осторожно пользоваться этим правом» (ПВ, 261). После *смерти* М.Н. Каткова (1887) никто из журналистов России не мог похвастать столь значительным *влиянием* на ведущих политиков страны. Принципиальные различия и элементы сходства в деятельности двух издателей Р. исследовал в статье «Суворин и Катков» (К. 1916. 10, 15 марта; ВЧВ). Р. подчеркивал, что каждый звук суворинской газеты «слышен всей России и значительной части *Европы*, — понятно, что такое чувство своей *власти* в разговоре с министрами — было огромно» (ПВ, 276). С. сам посвящал Р. в отдельные детали политической кухни издания, показывая всероссийскую значимость их совместной работы, а заодно и непринужденно направляя перо своего подопечного в нужном направлении. «Журналист

выше министра. Министр ничего не читает, смотрит свысока и т.д.», — был убежден сам С. и настаивал в таком же духе своих подопечных («Дневник», 486). Р. вспоминал, как «приблизительно в 1900, или около этого» С. давал ему «читать свой отзыв, напечатанный в единственном экземпляре <...> в ответ ли на просьбу *Vumme* или скорее — Плеве <...> Дело касалось всех сторон государственного управления и <...> по всем рубрикам Суворин сказал свое: — “Нет *творчества*” Критика существующего была сурова. Через его “Записку” (страниц 30–40 небольшого книжного формата) была проведена мысль, что общество не может не волноваться, и даже разные “инциденты” не могут не происходить, пока вся правительственная деятельность заключается в одной борьбе со *студентами* и *курсистками*, т.е. в отсутствии всякой собственно-государственной деятельности; ибо студенты — не Россия, а только студенты, забота о которых не есть забота о России <...> Вот такие “записки” <...> объяснят то положение, какое создал сам себе Суворин: как бы негласного и невидимого министра же, к *голосу* которого, к опыту и уму которого хотелось прислушаться каждому министру» (ПВ, 273). Гражданственность С. глубоко впечатлила Р. «Раз он в газете сказал мне, — вспоминал Р. в “*Онаших листах*”, — вскипев и стукнув углами пальцев о стол: “Я люблю свою газету больше семьи своей (еще вскипев:), больше своей жены...” Так как ни денег, ни общественного положения нельзя любить крепче и ближе жены и детей, — то слова эти могли значить только: “Совместная с Россией работа газеты мне дороже и семьи и жены”» (У, 120). В марте 1907 политические взгляды Р. эволюционировали близко к позиции С., с переносом центра тяжести при разборе революционных событий на национальный вопрос. Писатель отмечал определенное сходство С. с собой и любил вспоминать о частых ночных беседах в его кабинете. О чем велись беседы, свидетельствует переписка С. с Р. и воспоминания писателя об их встречах и разговорах. Припоминая одну из таких встреч в юбилейный вечер 25-летия «Нового Времени», проигнорированный либеральными коллегами С. по журналистскому цеху, Р. записал: «Увидел его в ночи бродящим в халате по коридору, где уставлены в шкафах “комплекты” (Нов. Вр.) и старые журналы, начиная от “Современника” Помню, он так весело рассмеялся, встретив меня в одном из “переходов” этих нескончаемых редакционных складов. У него была эта улыбка, совершенно молодая, юная, свежая и невинная. Я ее знал и любил. Мы всегда с ним болтали “черт знает о чем”, без всякой цели и направления. Кое-что в нем и во мне было схоже (этого ему и на ум не приходило): и вот я думаю, это “инженерное трудолюбие”, и “я люблю мой сад” У него — “сад” *театр*, актрисы, шум; у меня — “античные монеты” Он раз заехал ко мне в автомобиле (наконец-то ему купили), и я навязал ему: “покатайте моих детей” Дети — в 1-й раз в автомобиле. Они не знали, не понимали, что такое “редактор” Кажется, и Шура была. Он так весело катал. Болтали, — помню о *Куприне*, которого он признавал и уважал (и Горького, вопреки *Бунину*, он признавал: у него было только непреходящее презрение к *Леон. Андрееву*). Да... *юбилей*. Мне кажется, бродя вниз ночью, он обдумывал свой “Поход солдата”, свои “Труды и дни”, которые по-

истине огромны. И вот когда *Горнфельд*, *Пропер* и Айзман к нему “не пришли” и не привели за руку должника ему 60 000 руб. (авансы невыплаченные), то он просто этого не заметил, как богатый человек не замечает должника своего. Тогда как должник воображает, что он “снует, ловит его и хочет усадить в темницу за долг” Работа Суворина до такой степени громадна и превосходит работу “Горнфельда и *Амфитеатрова*”, превосходит работу не какой-нибудь газеты и журнала, но (в моем представлении) была громаднее всей жизни и суеты этих эфимерид, то бездарных, ту злых, то пошлых и грязных, — что Суворин, “празднуя свою печать”, как бы праздновал “вообще печать” Он ее любил, уважал, — уважал именно, суету, движение... Милый, чудный старик. Нужно сказать — издали и “не войдя сам в газету”, я не имел ни о ней, ни о нем настоящего представления, и кое-что (в *тоне*) и мне в ней не нравилось. Но “все разяснялось с отличнейшей стороны”, как только приближался. Было маленькое легкомыслие, но не хвастовство. И т.д. “Все с *грехом*”: но “грехи” Нов. Вр. никогда не были грехами *тщеславия*, пустозвонства, жадности (денежной), подхалимства. Странно, что такая “литературная газета” на самом деле была очень далеко от гноящейся “литературности” и представляла “пунцовый халат Ал. Серг.”, в котором тонул смеющийся... ту смеющийся, то задумчивый... старик. Все его *портреты* (и молодые), для меня совершенно несносные, какие-то фальшивые и деланные, — вовсе не передают живого С-на, полного жизни, напряжения, ясности и доброты. Чего стоит один Прокофьев. Чего стоит один *Гей*. И всегда милый *Буренин*. И ученый Эльпе. И раздраженный *Иванов*. Или джентльмен (†) *Росоловский*. Было веяние какой-то доброты и благородства на всех. Во всех было что-то барственное, тоном старого русского барства, распушенного и, конечно, свинского (необходимейшая для мягкости черта). Не забудем, что “в навозе” (в коровьем хлеве) наш Спаситель родился. Суворин это отлично знал, отлично понимал и понимал, что “навоз” вычистить не только нельзя, но и бесполезно. В нем было великое христианское “пусть”, но он далеко не пьяно плыл в этом “пусть”, но все направлял “к пользам России, и общества, и народа» (М, 78–79). Из этих бесед Р. вынес интересные сведения о *Пушкине*, который был для С. «*Солнцем литературы*», о суворинском «любимце» *У. Шекспире*, о *И.С. Тургеневе*, М.Е. Салтыков-Щедрине, А.П. Чехове и *Л.Н. Толстом*, с которыми С. был хорошо знаком. Р. поражала сверхъестественная работоспособность С. Издатель так навсегда и запомнился ему «в единственной позе: спина колесом и он внимательно ушел “в стол” (письменный, перед стеной и окном), читает или (несколько реже) пишет» (ПВ, 260). «“Быть хозяином”, дышать “как хозяин” — это суть Суворина» (ПВ, 266). Владелец газеты пытался обратить внимание Р. на острые политические проблемы в России, склонить его к поддержке реформистского курса *правительства*. «Прошлое нас учило, — утверждал С. в письме Р., — что все эти волнения значительно нам мешали. Польское восстание 63-го года прямо-таки остановило реформы, а затем выстрел в *царя* и целый ряд действий революционных» (ПВ, 310). Когда Р. в 1903 просил разрешить ему параллельное сотрудничество в газете Н.Н. Перцова «*Слово*», С. отказал ему, объяснив,

что не может допустить параллельного сотрудничества, именно «тогда, когда “Новое Время” нуждается в *публицистике*» (ПВ, 308). «Вопросы государственные вызывают яростную полемику, и публика с интересом это читает», — наставлял владелец газеты своих журналистов (Телохранитель России. А.С. Суворин в воспоминаниях современников. Воронеж, 2001. С. 194). В 1914 Р. вступился за честь покойного С. после нападок в печати на него *Д.С. Мережковского*, назвавшего издателя «подлецом» (ЛВИ, 600). Р. сетовал на то, что «А.С. Суворин не сошелся (или не вполне сошелся) с *Сытиным* (И.Д.), который есть гениальный русский самородок. Кое-что другое, но в том же масштабе, *гений* и размах, как старик Суворин. Вдвоем они могли бы монополизировать печать, — к пользе и *силе* России» (СХР, 234–235). Одно из последних свиданий Р. с С. описано в «Опавших листьях»: «С 4-мя миллионными состояниями, он сидел с разрезанным горлом в глубоком кресле. Это было так: я вошел, опросил Василья, “можно ли?” — и, получив кивок, прошел в кабинет. Нет. Подошел к столу письменному. Нет. Пересмотрел 2–3 книги, мелькнул по бумагам глазом и, повернувшись назад, медленно стал выходить... На меня поднялись глаза: в боку от пылающего камина терялось среди ширм кресло, и на нем сидел он, так незаметный... Если бы он сказал слово, мысль, желание, — завтра это было бы услышано всею Россией. И на слово все оглянулись бы, приняли во внимание. Но он три года не произносит уже никаких слов. 78 лет. Я поцеловал в голову, эту седую, милую (мне милую) голову... В глазе, в движении головы — то доброе и ласковое, то талантливое (странно!), что я видел в нем 12 лет. В нем были (вероятно) недостатки: но в нем не было неталантливости ни в чем; даже в повороте шеи. Весь он был молод и всегда молод; и теперь, умирая, он был так же молод и естествен, как всегда. Пододвинув бланк-нот, он написал каракулями: “Я ведь только балуюсь, лечась. А я знаю, что скоро умру” И мы все умрем. А пока “не пережужут горла” — произносим слова; пишем, “стараясь” Он был совершенно спокоен. *Болей* нет. Если бы были боли — кричал бы. О, тогда был бы другой вид. Но он умирает без боли, и вид его совершенно спокойный. Взяв опять блокнот, он написал: “Толстой на моем месте все бы писал, а я не могу” <...> Он любил крепкую русскую брань: но — в ласковые минуты, и произносил ее с обворожительной, детской улыбкой. “Национальное сокровище” (У, 119). На кончину своего литературного покровителя Р. откликнулся статьями «А.С. Суворин» (НВ. 1912. 12 авг.; ПВ), «Памяти А.С. Суворина (Нечто личное)» (НВ. 1912. 14 авг.; вошло в 1-й Короб «Опавших листьев») и «Из припоминаний и мыслей об А.С. Суворине» (НВип. 1912. 18 авг.; ПВ). В память о своих добрых отношениях с ним Р. первый из русских литераторов выпустил книгу о С. «*Письма А.С. Суворина к В.В. Розанову*» (1913; ПВ), предварив ее обширным вступлением «Из припоминаний и мыслей об А.С. Суворине», в котором дал портрет великого издателя и просветителя России. Письма Р. к С. впервые полностью напечатаны в томе «Признаки времени» Собрания сочинений Р. (М., 2006). Письма С. к Р. за 1893–1912 хранятся в ОР РГБ (Ф. 249. М. 3822. Ед. хр. 1–6), письма Р. к С. — в РГАЛИ. (Ф. 459. Оп. 1. Ед. хр. 3627).

А.В. Ломоносов

СУВОРИН Борис Алексеевич [12(24).12.1879, Петербург — 18.1.1940, Белград] — младший сын *А.С. Суворина* от второго брака с Анной Ивановной Орфановой (1858—1936), журналист, мемуарист, беллетрист. В воспоминаниях характеризовал свою деятельность: «Я был главным редактором *“Нового Времени”* и двух самых распространенных вечерних газет Петрограда и Москвы — *“Вечернего Времени”* и *“Времени”* <...> Товарищество наше, в котором я был одним из крупных пайщиков и деятельных членов совета, имело в Петрограде две газеты, три дома, два магазина, две конторы (обе на Невском), красочную фабрику, типографию и крупнейшее издательское дело. Я сам отдельно занимался издательством и имел два журнала: один англо-русский *“The Russko-Britanskoie Vremia”* — промышленный журнал, и спортивный *“Конский спорт”* Мы же были русскими Battin, издавая *“Весь Петербург”* и *“Всю Москву”*» («За родиной. Историческая эпоха Добровольческой армии. 1917—1918 гг.». Париж, 1922. С. 239). Р. писал о нем: «Чарующий, но теперь совсем спился. В редакционном столе “с бумагами” и “делом” я увидел (“Веч. Вр.”) бутылку. — Боря, что это? — Коньяк. Укоризненно смотрю. Он: — Без этого нельзя быть редактором (серьезно, — у него всегда серьезно)» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 82). В 1917—1918 в Добровольческой армии продолжал издательскую деятельность, издавал сразу три газеты. «Да, мы умели издавать газеты и во дворцах в Петрограде, на чердаках в Новочеркасске и в Ростове, и в подвале в Новороссийске. И везде ненавидела нас и меня, по наследству, еврейская печать», — писал он впоследствии» (За родиной, 247—248). В 1920 эмигрировал.

С.В. Шумихин

СУВОРИН Михаил Алексеевич [18(30).12.1860, Воронеж—17.8.1931, Белград] — старший сын *А.С. Суворина* от первого брака с Анной Ивановной Барановой (1840—1873), драматург, прозаик, журналист. С 1903 — фактически главный редактор *«Нового Времени»*. Бывший секретарь редакции «Нового Времени» дал ему характеристику: «Отделяясь от серьезных сотрудников шутками или добродушно насмешливым тоном, которым скрывал свое ничтожество ума и знания, Михаил Суворин главное время посвящал среде репортеров, актрис и разных лиц, связанных с театрално-ресторанным миром. Тут он был дома, и мало-помалу этот мир стал проникать и в редакцию газеты, невидимо, но явно развращая людей и дело» (Снегсарев Н. Мираж «Нового Времени». Почти роман. СПб., 1914. С. 68). Характеристика у Р. противоположна: «В сущности, и умен, и талантлив, и из тех умов, которые ни малейше не нуждаются в одобрении. Безгранично добр. В его личный ящик (“почтовый ящик”) пускали всякие просьбы, и он все удовлетворял никогда не виденными людям. В “таровитости”, простоте и “милом” его что-то феноменальное» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 82). По поводу выхода книги *«Письма А.С. Суворина к В.В. Розанову»* С. писал Р.: «Я решительно против Ваших вторжений в нашу частную жизнь и в Вашем освещении. *Буренин, Гей*, брат Борис того же мнения, что появление подобной книги — личное оскорбление» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3822. Ед. хр. 8). В эмиграции в Белграде С. воссоздал газету «Новое Время» (1920—1930). В ней участвовали некоторые из со-

трудников петербургского «Нового Времени», рубрику «Блокнот», подписываясь «Серапионовы братья», вели *А., Б. и М. Суворины* (см.: Из истории белградского «Но-



М.А. Суворин

вого Времени». Письма М.А. Суворину 1921—1930 гг. / Публ. С. Шумихина // Новое литературное обозрение. 1995. № 15).

С.В. Шумихин

СУВОРОВ Александр Васильевич [13(24).11.1729 или 1730, Москва — 6(18).5.1800, Петербург], граф Рымникский (1789), князь Итальянский (1799) — полководец, генералиссимус (1799). Имя С. было для современников Р. символом воинской доблести, олицетворением «подвига» (ЛИ, 33). Школьный товарищ Р. *Костя Кудрявцев* пишет Р.: «Я горячо желаю войны с Турцией, боюсь только... ты, чай, подумал: “Ну, и он эскадронов боится!” Нет. Я боюсь того, — найдется ли у нас новые Румянцевы и Суворовы, знатно колотившие турок» (У, 259). Хвастовству революционеров Р. противопоставляет героизм «полков», «которые сражались при Суворове» (ЛВИ, 599). Р. отмечает полководческий талант С.: «Все были львы с Суворовым, но как вы спросите львиного у *человеков*, когда их ведет человек, неуверенный в победе» (СХ, 65). О счастливым признании заслуг С. еще при жизни Р. замечает иронически в связи с портретом церковного иерарха митрополита Платона: «Эта грудь до того уставлена орденами и перепутана вся лентами, как мы ведаем только на портретах “генералиссимуса” Суворова» (ВНС, 62). Р. развернул свои взгляды на образ полководца в статье «О Суворове» (НВ. 1900. 8 мая), приуроченной к столетию со дня его кончины. Обилие «исторических заметок, биографических дополнений и военно-технических комментариев» в юбилейную неде-

лю позволяет Р. сопоставить С. с *Пушкиным*, именем которого *Россия* «светилась» в предыдущий год: «Пушкин так же был совершенен в слове, как Суворов в деле; первый есть венец общественного развития, общественного духа и движения; второй есть венец движения государственного и крепости государственной». Р. отмечает, что вся Россия единокровна в признании С.: «В русских воспоминаниях о Суворове замечательно всякое отсутствие борьбы против его величия <...> Для поэтов он так же священен, как для военных; и в 60-е годы, в кружках и литературе “нигилистов”; даже, вероятно, в литературе эмигрантов, нет решительно никакой злобы и насмешки около его имени. “Не спеваясь” — все поют ему хвалу. Касаясь имени Суворова, перо *Герцена* или *Огарева* ведет себя так же благопочтительно, как перо генерала *Петрушевского*, автора *книги* “Генералиссимус Суворов”». Р. приходит к выводу, что «Суворов есть самая бесспорная, неоспоримая личность русской истории»: «Суворов есть исторически необходимое, исторически неперемное у нас *лицо*. Два века непрерывно воюя и расширяясь в войнах, Россия не могла не завершиться в этой линии каким-нибудь необыкновенным явлением, феноменом». Р. так объясняет всеобщее восхищение С.: «Общепризнанность, обихвалимость Суворова вытекает из чрезвычайной его гармоничности, мерности, всесторонности его человеческого развития. Ведь при дворе он никогда не был царедворцем; близкий к императорам, он был свободен в движениях, как император. Его прекрасная верность к государям, — типическая русская черта, — чарующе соединена с совершенною свободою русского человека. Такой меры, мерности характера мы не встречаем еще ни в ком». При всех своих странностях и недостатках С. являет собой, по мнению Р., идеал прекрасного, гармоничного русского человека: «Вообще от великого до ничтожного ничто не было чуждо Суворову и в прекрасном гармоническом сплетении, без выпуклостей в какой-нибудь точке миллионы черт сливаются в самый конкретный живой образ нашей истории, полный жизненного трепетания и эстетической привлекательности. Суворов по всем линиям прекрасен, и он прекрасен особенно характерною типично русскою красотою. Суворов, в чисто эстетическом смысле, дал образ прекрасного русского человека, в котором нет упрека <...> Немного более суровости в Суворове, и он стал бы переходить в жестокого; уменьшить этой суровости — и он стал бы переходить в “бабу” Уравновешенность Суворова — удивительна. Отнимите у него ум, изобретательность, и он станет “солдафоном”, увеличьте изобретательность — и он станет теоретиком. Его образ нельзя подвинуть ни туда, ни сюда, не уменьшив. И это образует гармонического человека». Р. стремится дать психологический анализ образа С., объяснить присущие полководцу черты *юродивости*: «Психолог не может не остановиться на так называемых “чуждачествах” Суворова. Их разное объясняли: это принужденность шутиливой манеры, под защитою которой он мог единственно говорить в то время и те времена, правду. Это объяснение неправильно, и, мы думаем, “шутка” росла из Суворова естественно и неодолимо, как волосы». Шутка и “шутовство” были складкою, манерою, излишним наростом в действиях человека сверх нормы, потому что норма не уменьшала в себе запаса и напора его

духовной его энергии. Это — безобразие пены, льющейся через край бокала. В миг совершенного напряжения Суворов не шутил. Перед боем в штурме, на вершине Альп — он это трагический герой, которому позавидует всякий. Но вот он спустился с Альп; штурм кончен, война выиграна: а дух его, великий его дух всё тот же, и он конвульсивно дергает его тело, ломает походку, разрешается шутками, остротами, дерзостями. Каждое “озорство” Суворова включительно до подражания петуху, рождалось из того, что сейчас ему нужно было сделать 15 дел, а перед ним как возможные лежали два; тогда недостающие тринадцать дел, тринадцать энергий, выражались “ку-ку-ре-ку” или как иначе, он никогда не придумывал, всегда повиновался влекущему его духу». Р. отмечает, что С. «вышел из *Италии*, когда туда шел *Наполеон*» — по его мнению, во избежание принижения какого-то из двух великих полководцев «Провидение развело своих избранных». В 1902 Р. посвятил статью установке памятника на родине полководца («К спору о памятнике Суворову» // НВ. 1902. 16 янв.). Р. неоднократно обращался к образу полководца в статьях на разные темы, акцентируя яркие особенности индивидуальности С., который «при всем своем государственном и историческом величии, справляя семик <...> играл в хороводы не только с *девушками*, но и с солдатами, играл в горелки, бегая, словно юноша» (ВДЯ, 211), пел на клиросе «за дьячка» (КНУ, 496). Р. связывает полководческий талант С., как и всякие выдающиеся способности, с особым, уединенным формированием личности: «Без монастыря в душе невозможна никакая сила. Это и для полководца (Суворов, *деревня*, история *воспитания*) верно, и для поэта. Не говоря о мыслителе» (ПЛ, 145). Рассуждая о некрасивости именитых философов, Р. ставит в этот ряд «людей особого значения или исключительных талантов» и С.: «Как известно, Суворов был до такой степени некрасив, что не входил в комнаты, где ожидал увидеть *зеркало*» (ЛВИ, 520). «Нестандартный» образ всенародного любимца С., по мнению Р., — пример для подражания в государственной сфере. Живым, «иррациональным» деятелям типа С. он противопоставляет *М.М. Сперанского*, чтобы подчеркнуть расщепленно-канцелярский характер его законодательной деятельности: «Яснее станет значение Сперанского, если мы рядом с ним поставим людей, к которым невольная как-то привязывается *любовь* народная и историческая слава. Около его рассудительной фигуры и слыша его убедительную речь, Суворов был бы смешон, Орлов стыдливо спрятал бы свои кулаки, Потемкин — свой “греческий проект” <...> Но вот они сделали историю, а он только говорил и писал и научил нас только говорить и писать. Они неправильные, иррациональные; они то смешные, то буйные, всегда страстные, знали *тайну* духовного “пива” Они были немножко поэтически опьянены и от богатства духа своего напояли окружающую жизнь <...> “Удача, опять удача, тысяча удач — да дайте же сколько-нибудь и уму”, — говорил Суворов обиженно, но люди справедливо не давали ничего уму и всё — удаче: удача — бог истории, бог совершенных, исполненных дел, в противоположность бездарному уроду — неудаче, этому бесу, преследующему всех ограниченных “умников”» (РФК, 58–59). Храбрых, хотя и не слишком образованных суворовских солдат Р. проти-

вопоставляет современным «умникам»: «Но русский всегда идет на “ура”, при Суворове и *Крапоткине*. И как при Суворове «не сообразывался букве “h”», так и при Крапоткине никак не может доучить букву h. С “буквой” — *Венгеров* и *Изгоев*» (КНУ, 234). При этом Р. считает критическую яркость «Недоросля» и «Бригадира» *Д.И. Фонвизина* «предвзятой», тенденциозной: «“Недоросли” глубокой провинциальной России несли ранец в итальянском походе Суворова, с ним усмиряли *Польшу*, а “бригадиры” командовали в этих войсках. Каковы они были? Верить ли Суворову или Фонвизину?» (У, 226). Р. упрекал славянофилов за то, что из-за немецкого обличья «официального *правительства*» они не признали его деятельность во славу Отечества: «Они не имели *веры*... в того Суворова, который звался “фельдцейхместером”, носил прусский мундир по уставу, — и пел за дьячка на клиросе, о чем не сообщал, конечно, Принцу Саксонскому, своему другу» (ПЛ, 299). Р. знаком с живыми, народными изречениями С. и охотно пользуется ими: «Всё это, говоря *языком* Суворова, “помилуй Бог, как хорошо»» (ОПП, 626). Во время *Первой мировой войны* Р. трезво, без идеализации подходит к воинскому наследию С. и отмечает, что его методы ведения рукопашного боя отошли в прошлое: «Все победы Суворова не принесли столько пользы России, сколько ей принесли вреда ссылки “на пример Суворова”. Мы перестали вооружаться, учиться, — но самое главное: вооружаться, — всё твердя и тараторя, что “пуля дура, штык молодец”, и веря в “быстроту, глазомер и натиск” В пору огнестрельного оружия мы (“штык — молодец”), в сущности, вернулись к эпохе холодного оружия: колоть и рубить. Мы потеряли военное *искусство*» (ПЛ, 78). Р. относит исторические победы России на долю *гения* С. и «случай»: «Не “русские” перешли через Альпы; а их перешел — перелетел ангел Суворова. Он — гений и случай» (ПЛ, 119).

В.А. Фатеев

СУРГУЧЁВ Илья Дмитриевич [15(27).2.1881, Ставрополь — 19.11.1956, Божон, Париж] — прозаик, драматург. С 1920 в эмиграции. В *письме* к Р. он сообщал: «Я написал роман: “Губернатор” <1912>. О нем очень много писали, но ни один черт не заметил того, той *мысли*, ради которой я его написал. Прочтите его Вы. Я отчеркнул карандашом то, о чем бы мне хотелось, чтобы Вы подумали и потом сказали мне. Читаю Вашу книжку “*Уединенное*”, и потому вот захотелось написать Вам» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. № 52). Ответ Р. неизвестен.

Т.Н. Фоминых

СУРИКОВ Василий Иванович [12(24).1.1848, Красноярск — 6(19).3.1916, Петербург] — художник. Р. посвятил классике русской *живописи* статью «К кончине художника В.И. Сурикова» (НВ. 1916. 8 марта). По мнению Р., С. «сам себя увековечил, увековечив яркое и сочное в русской *истории*, в русской *душе*... “Суворов на С.-Готтарде”, “Меньшиков в Березове”, “Боярыня Морозова”, “Утро стрелецкой казни при *Петре Великом*”, “Ермак” — кто не помнит всего этого? А это — ступени русской истории, поистине уступы гигантской пирамиды русской истории. Какая кисть, краски, экспрессия фигур и лиц! Какое могущество воображения и изображе-

ния» (ВЧВ, 114). По мнению Р., *Репин* является продолжателем суриковского направления в живописи: «“Суриков” — и из него лезет уже “Репин”, как дальнейшее выявление того же...» (там же). Р. подчеркивает «материальный» характер искусства С., близость его к *природе*, и проводит связь между *творчеством* С. и реалистической *эстетикой* эпохи: «Всё — сок, *сила*. Нет идеала. “Идеал — это натура” Вот канон тогдашней живописи, этой живописи <...> В истории живописи прошло, в эти шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы нашего русского XIX века, какое-то необычайной тонкости и сладости касательство к материи... Какой-то “любвиный *сон*” с материей, матерью всего живущего. Да, “Мать”, но не “Отец”: Отец, творец всего сущего — дух. Его совсем забыли в те годы. И хорошо, что забыли. Не надо. Помешало бы делу, помешало бы миссии тех лет. Но “Мать” сущего, вот эту тоже очень таинственную “материю” русская кисть взяла и выразила, так, что поистине “не остается ничего желать»» (ВЧВ, 114–115). Р. выдвигает идею создания *памятника* С. и даже предлагает собственный «проект»: «Кстати, мы имеем монументы музыкантам, писателям, очень много имеем, а вот живописцам — ни одного. Почему? Даже нельзя объяснить... “Не пришло в голову”. Ах, русская заспанная и не очень причисленная голова вообще лениво думает. И вот именно по поводу Сурикова приходит — *мысль* о монументе. И так просто, дешево, хоть не в крупном виде: бюст, и под ним на плоскостях подставки-подножия бронзовые воспроизведение — увековечение его дорогих всей Руси картин» (ВЧВ, 115).

В.А. Фатеев

СУСАНИН Иван Осипович (село Деревеньки, Костромской уезд — зима 1613, дер. Исупово, Костромской уезд) — крестьянин и управляющий села Домнино Костромского уезда, вотчинной земли инокини Марфы, матери Михаила Федоровича, будущего первого *царя* из династии Романовых, которого ценой собственной жизни С. спас от поляков. В 1851 в *Костроме* на главной городской площади был поставлен *памятник* С. работы петербургского скульптора В.И. Демут-Малиновского (в 1918 разрушен). Р., как жителю Костромы, этот памятник был хорошо известен: «Славянофилом я был только в некоторые поры жизни. Во-первых, я был им в *детстве* (младенчестве): памятник Сусанину в Костроме, пение песенки окружающими (Рылеева): Куда ты завел нас, не видно ни зги... вскричали враги» (КНУ, 503). В «*Опавших листьях*» Р. возвращается к костромским воспоминаниям: «Я учился в *Костромской гимназии*, и в I-м классе мы учили: “Я человек, хотя и маленький, но у меня 32 зуба и 24 ребра” Потом — позвонки. Только доучившись до VI класса, я бы узнал, что “был Сусанин”, какие-то стихи о котором мы (дома и на улице) распевали еще до поступления в гимназию: ...не видно ни зги! ...вскричали враги. И сердце замирало от восторга о Сусанине, умирающем среди поляков. Но до VI класса (т.е. в Костроме) я не доучился. И очень многие *гимназисты* до VI-го класса не доходят: все они знают, что у человека “32 позвонка”, и не знают, как Сусанин спас царскую *семью*» (У, 265, 266). Как отмечал Р., тот, кто оканчивал гимназию, а потом становился писателем, словно забывал целые страницы отечественной

истории: «В “Былом” о чумных крысах рассказано “20 томов”, сколько не было о всей борьбе России с Наполеоном, сколько, конечно, нет о “всех элеваторах” на Руси, ни о Сусанине, ни о всех Иоаннах, которые строили Русь и освободили ее от татар» (У, 368). Со временем С. становится для Р. неким образом, следы которого невозможно обнаружить в современной ему действительности: «Но стан “истинно русских” людей не принес ни одной жертвы за идею. Я говорю — “за идею”, а не “на должности”, ибо если на известной службе погибает человек, то ведь до гибели он получал жалованье, имел положение, ему обещана пенсия, и совершенно неясно, для чего или за что он погиб. Но “так”, без жалования и без службы, кто же “умер за царя” из этих Сусаниных? Титул “Сусанина” они берут себе. Труды Сусанина еще не взял никто» (РГО, 221); «Поди-ка “постарайся” писать, как Пушкин, чувствовать, как Карамзин, и совершить подвиг, как Сусанин. Кости обломаешь, да и ничего не выйдет — ибо для этого надо родиться Пушкиным, Карамзиным и Сусаниным» (М, 106). Потому Р. с иронией (но и болью) относится к революционным преобразователям русской жизни: «Да. Эти дураки Сусанины, эти мужики Сусанины прошли. Взгляни спастись отечество бакенбарды, Фигнер и Карпович» (М, 136). Самому же Р. видится С. в каждом мужике, оказавшемся в трудной ситуации. С Бисмарком «случился раз анекдот: он заблудился на медвежьей охоте. Поднялась пурга, дорога была потеряна, и Бисмарк очутился в положении поляков с Сусаниным. Лес, болото, снег, никуда дороги. Он считал себя погибшим. — Ничего! — обернулся мужик с облучка. Он был один, с этим мужиком. Без русской речи, кроме каких-нибудь слов. Мужичок все обертывался и утешал железного барина: — Ничего, выберемся! “Выберемся” он уже не понимал. А только запомнил это “ничего”, много раз повторявшееся. И когда стал канцлером, то в затруднительных случаях любил повторять на непонятном языке: “Ничего. Nitschevo”» (СХ, 349).

И.А. Едошина

СУСЛОВ Владимир Васильевич (1859, Москва — 1922) — археолог, академик архитектуры с 1886, исследователь древнерусского зодчества. В архиве Р. к письму С. приложены розановские характеристики искусствоведа: «Суслов Влад. Вас., знаменитый ученый по архитектуре»; «Владимир Васильевич Суслов. Ученый архитектор. Ему 55—56, жене — она говорит 35, на вид 26—27, во время беременности — 22. Слова ее другу З.Ив. Барсуковой: “Я никогда так здоровой себя не чувствую, как беременной” Дети — каждый год. “Следующего” обещала кормить при мне, и я тороплю ее беременность. Зин.Ив. сказала: “Что же Вы не пошли: она ждала Вас и хотела при Вас кормить” Когда я ей сказал, она улыбкунула. Детей своих любит и нянчит до одурения. Муж более чем на голову ниже ее, и теперь — очень некрасив. Остроумен, умен, любит ухаживать (за Слатиной), и она ревнует и злится. Чудно читает стихи из Байрона. Из-за брака она разошлась с родителями, и “они так обидно смотрят на Влад. Вас., что я стараюсь не ездить к ним” Вдобавок, к удивлению, она хотя не глупа, но и не очень умна. Отец ее Саратовский предводитель дворянства. И так ходит около него: “Влад. Вас.”, “Влад. Вас.”,

“мой Вл.В.” Она хороша собой. Почти хороша. Только когда ревнует и злится — не хороша. Она — богата, он почти беден. Из-за чего она вышла?!» (Записки отдела рукописей. РГБ. М., 2004. Вып. 52. С. 496). В письме от 6 апреля 1916 из Гагр С. обратился к писателю и его семье с пасхальным поздравлением (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4216. Ед. хр. 16. Л. 1).

А.В. Ломоносов

СУСЛОВА Аполлинария Прокофьевна [5(17).1.1839, Панино, Горбатовский уезд, Нижегородская губ. — 1918, Севастополь] — первая жена Р., который изначально именовал ее «Полинькой», «Полей»: «Я не спал ночь. Все ворочался. Поля сказала: “Что ты не спишь” — “Ничего”, — отвечал я. Сделал вид, что засыпаю. Она заснула» (М, 116). А позднее только — «Суслихой». Они познакомились летом 1876 в Нижнем Новгороде, когда Р. был учащимся последнего (8-го) класса гимназии: «С Суслихой я 1-й раз встретился в доме моей ученицы Ал.Мих. Щегловой (мне 17, Щегловой 20—23, Сусл. 37): вся в черном, без воротничков и рукавчиков (траур по брате), со “следами былой” (замечательной) красоты — она была “русская легитимистка” <...> Я же был социалистичко... И... потянулся, весь потянулся к “осколку разбитой фарфоровой вазы” среди мешанства учителей (брат учитель) и вообще “нашего быта” Острым



А.П. Суслова

взглядом “опытной кокетки” она поняла, что “ушибла” меня, — говорила холодно, спокойно <...> Говоря проще, Суслиха действительно была великолепна, и я знаю, что люди <...> были “совершенно покорены”, пленены. Еще такой русской — я не видал. Она была по *стилю души* совершенно нерусская <...> раскольница <...> или еще лучше — “хлыстовская богородица” Умна она была средне; не выдающееся; но все заливал стиль» (Москва. 1992. № 1. С. 113). В университетские годы Р. приезжал к С. из *Москвы* в Нижний Новгород на свидания, описав свои тогдашние *чувства* в очерке «Иван Ляпунов» (НВ. 1900. 16 июля). «В конце концов *любовь* эта кончилась бесконечным несчастьем <...> Но вот этот час в ней был психозарен. О, любовь — это прежде всего необъятная *психология*, истинная *метафизика*, и я верю, что кто не испытал любви и даже не пережил несколько типов любви, — не познал какой-то метафизической *тайны мира* <...> Мы упали друг другу в объятия. И все-таки нельзя было говорить. Говорить можно было только незначущее: “Как вы доехали”, “что за неожиданный визит”, “здоровы ли родные и нет ли чего особенного” — “Нет. Слава *Богу*” Среди громких слов “слава Богу” мы шепотом назначили через час свидание, и, просидев церемонно ¼ часа, я вышел. Как и всегда в подобных случаях, город светился для меня светом. О, тысяча раз справедливо, что есть два *солнца*, над нами и в нас, и что ничего, ничего не сделает солнце над нами, когда его лучи не встретятся с солнечными лучами из нас. Я несу в себе солнце, и это солнце есть удовлетворенная *любовь*» (ОСЖС, 650–651). Как писал Р., «мы с нею “сошлись” тоже до *брака*. Обнимались, целовались, — она меня впускала в окно (1-й этаж) летом и раз шептала: — Обними меня без тряпок. Т.е. тело, под платьем...» (Москва. 1992. № 1. С. 114). 12 ноября 1880 Р. обвенчался с сорокалетней С., которая, как открылось Р. позднее, «обнималась, собственно дотрагиваясь до себя — она безумно любила. Совокупляться — почти не любила, *семя* — презирала (“грязь твоя”), *детей* что не имела — была рада» (там же). В свидетельстве о браке с С. под № 494 записано: «Означенный в сем свидетельстве *студент* Василий Васильевич Розанов, 1880 года Ноября 12 дня, в полковой *церкви*, повенчан, с домашнею учительницею дочерью купца Владимирской Губернии Горбатовского уезда, девицею Аполлинариею Прокофьевною Суисловою, оба первым браком; в чем с приложением казенной церковной печати, удостоверяю. Москва 1880 года Ноября 12 дня. Священник 4-го Гренадерского Несвижского полка Сергей Беольвский» (ГАБО. Ф. 304. Д. 46. Л. 15). Как писал *С.Н. Дурьин* со слов самого Р., он «женился на Сусловой потому, что она была любовницей *Достоевского*. Это был брак от “психологии”, брак по Достоевскому, — но совсем не по Розанову» (PRO, 1, 238). Закончив *университет*, Р. с женой уезжает в *Брянск*, где поступает на должность учителя в гимназии. Атмосферу его семейной *жизни* со слов Р. передает *З.Н. Гиппиус*: «Знаете, у меня от того *времени* одно осталось. После обеда я отдыхал всегда, а потом встану — и непременно *лицо* водой сполоснуть, умываюсь. И так осталось — умываюсь, и вода холодная со слезами теплыми на лице, вместе их чувствую. Всегда так помнится. — Так почему же вы не бросили ее, Василий Васильевич? — Ну-ну, как же бросить? Я не бросал

ее. Всегда чувство благодарности... Ведь я был мальчишка... Рассказывал о неистовстве ее ревности. Подстерегала его на улице. И когда, раз, он случайно вышел вместе с какой-то учительницей, тут же, как бешеная, дала ей пощечину» (PRO, 1, 156). В другом месте Р. уточняет: «Хотя жизнь моя была мучительна, для соседей и знакомых — позорна, но таков *мистицизм* брака, — что я был беззлостно привязан к жене, вечно боясь, что в своих возлаломных выходах она что-нибудь над собой сделает, напр., покусится на жизнь, чем (теперь понимаю) она и пугала меня» (ОСЖС, 694). Будучи с Р. в Брянске, С. влюбилась в студента *С. Гольдовского*, в котором не нашла отклика своим чувствам и мстила ему, используя самые неприглядные способы: «Она довела его до тюрьмы, и вообще тут специальное бешенство неудачной любви (только этим и могу объяснить) и требовала от меня писания ему отвратительнейших *писем* (храню целый *архив*). Ничего не постигая, не имея причин вражды, я раззнакомился с ним (в угоду ей), но отказался писать письма <...> для свободы действий она переехала в Орел <...> Условием возвращения из Орла было, чтобы я не виделся, не знался, не здоровался с Гольдовским, — и я решился твердо все исполнить... Одна маленькая *вещь* замешалась... не продано ли их этих 15 экз. <“О понимании”>, и, будучи в Москве, я вызвал на час Гольд<овского> справиться о *книге*... Сусллова моментально узнала, что я видел Гольдовского, и в ряде бешеных *писем* потребовала пересылки себе вещей своих; тщетно я плакал... напрасны были личные обещания...» (Москва. 1992. № 1. С. 114–115). С. навсегда покинула Р. в августе 1886: «Мирно она села (в Брянске) в поезд, я ее усадил; и из *Москвы* получил письмо, что больше ее не увижу <...> Была же она *женщина* не очень пронизательного *ума*, но гордого, безудержного, фанатического и на который слово убеждения действовало, как вода на керосин; единственный способ был — никогда и ни в чем ей не возражать <...> Но в характере этом была какая-то гениальность (именно темперамента), что и заставляло меня, напр<имер>, несмотря на все мучение, слепо и робко ее любить. Но я был до того несчастен, что часто желал умереть, “только бы она жила и не хворала”. А она была постоянно здорова, сильна и неутомима» (ОСЖС, 695–696). Для понимания своеобразия личности С. важным является признание Р.: «У меня была какая-то мистическая к ней привязанность: она была истинно благородна по участливости к бедным, ко всему бесприютному; один я знал истинную цену в ней скрываемых даров души, погубленных даров, и всю глубину ее несчастья — и вопреки всем видимостям, всем преступлениям — не мог отлипнуть от нее. Она очень точно это знала, и знала, что вернется ко мне, когда захочет... Самое тщеславие ее, такого “цвета бордо” вытекало из несчастья ее, *одиночества* ее, сознания — что она никому в сущности на земле не нужна...» (Москва. 1992. № 1. С. 115). Расставшись с Р., С. вернулась жить в Нижний Новгород, где о ней *З.Н. Гиппиус*, оказавшись в этом городе, пишет: «Вижу большую фотографию: сидит на стуле, по старинному прямо, в очень пышном платье, оборками кругом раскинутом, седая, совсем белая, толстая старуха. В плоеном чепчике, *губы* сжатые, злыми глазами смотрит на нас. — А это кто? — спрашиваю. — А это наша знакомая. Жена одного писателя петербург-

ского. Ее фамилия Розанова <...> Ее сейчас в нашем городе нет. Она в Крыму давно. А домик ее наискосок от нашего <...> — А фотография ее... давно снята? Она такая старая? — Да, она уже совсем старая <...> Она очень злая. Такая злая, прямо ужас. Ни с кем не может жить, с мужем давно не живет. Взяла себе, наконец, воспитанницу. Ну, хорошо. Так можете себе представить, воспитанница утопилась. Страшный характер» (PRO, 1, 155). С. около 1900 уехала в Крым, получив предварительно (в 1897) отдельный от мужа вид на жительство, в согласии на получение которого Р. в 1890 ей отказал. Новое решение Р. аргументировал следующим образом: «Имея детей от другой женщины и считая свою прежнюю брачную жизнь окончательно разрушенной <...> выдал согласие на дачу ей такового вида» (Минувшее. 1992. Вып. 9. С. 271). Все попытки Р. оформить с первой женой *развод* получали с ее стороны решительный отказ. До конца своих дней по документам С. оставалась женой Р. Она умерла несколько раньше Р., но он об этом уже не узнал. Ее письма к Р. хранятся в РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 311 и 654.

И.А. Едошина

СУХА́НОВ Николай Николаевич [наст. фам. Гиммер; 27.11(9.12).1882, Москва — 29.6.1940, Омск] — публицист, экономист, с 1903 эсер. В 1911–1915 редактировал журнал «Современник». В статье «Рабочее движение и В. Розанов» С. писал, что «Василий Розанов, право, отстоит от рабочего движения не дальше, чем отстоит хотя бы дарвинизм от опереток Оффенбаха» (Современник. 1914. № 3. С. 73). Говоря о мотивах совета *Религиозно-философского общества*, предложившего исключить Р. из РФО, С. замечает: «Они говорили примерно так. Никогда не стали бы мы навязывать Обществу несвойственное ему дело, не стали бы мы говорить о репрессиях и судах, если бы Розанов был рядовым «соревнователем» у нас и не был звездой первой величины на нашем политическом горизонте. Но Розанов не только огромный талант: Розанов — это злой *гений России*, Розанов — *сила*, Розанов — великое общественное бедствие. Что *Меньшиков* или *Столыпин*! Никому не воспеть так ни маленьких гадостей, ни больших зверств. Нет равного ему вдохновителя насилий и людоедства. Открывая поход против Розанова, мы боремся с источником великого зла и с огромным отрицательным фактором нашей общественно-политической жизни» (Там же, 74–75). Возражая, что интеллигенты РФО увидели в «смехотворно-людоедском вздоре» Р. «важный источник зла», С. заключает: «Если взять нашу общественность, если постараться учесть в ней удельный вес одного Розанова и всего общества его «соревнователей», то перевес, конечно, окажется на стороне Розанова. Удивительно ли, что ничто сильнее «*Нового Времени*» не потрясает атмосферы «мохового болота»? Удивительно ли, что Розанов производит панику среди его обитателей, что он, как Юпитер, отнимает у них логику и здравый смысл и, заставляя их беспомощно барахтаться во всенародной борьбе с собою, оставляет на их долю единственный членораздельный вопль: сильнее зверя нет!» (Там же, 77). А.Н.

СЫТИН Иван Дмитриевич [24.1(5.2).1851, село Гнездиново, Солигаличский уезд, Костромская губ. — 23.11.1934, Москва] — издатель и книготорговец. С. издавал газету «Русское Слово» (1897–1917), в которой в 1905–1911 печатался Р. (через представителя газеты А.В. Руманова) под псевдонимами В. Елецкий, В. Варварин. Р. считал, что С. — «гениальный русский самородок», и сожалел, что он не сошелся с А.С. Сувориным:



И.Д. Сытин

«Вдвоем они могли бы монополизировать *печать*, — к пользе и силе *России*. Теперь “Рус. Слово” и главное — сытинское книгоиздательство — полурусское и поверхностное, в сущности — преуспевающий трактир. Могло бы быть иначе. Тут я кое-что должен был сказать Суворину. Но вот догадываюсь только теперь. Тогда социалистики совсем отлетели бы в сторону, а теперь они имеют прибежище у Сытина» (СХР, 234–235). В последнем письме к С. в декабре 1917 Р. писал: «Иван Дмитриевич! Дорогой, близкий моей душе *Русский человек*, *Русская душа* и гигант Печатного Дела! Как же это мы просмотрели всю Россию, прогуляли всю Россию, прозевали всю Россию, и развалили свою Россию, делая точь-в-точь с нею то же самое, что с нею сделала поляки, когда-то в Смутное время, в 1613 год! Надо было Сытину держать в мочуем русском охвате *Дорошевичей*, *Петровых*, *Немировичей-Данченко*, *Тэффи*, а напротив, он дал себя держать этим людям праздного, хотя иногда и гениального слова, — хотя гениальное-то, и то лишь по громкости и яркости, слово, по выразительности, было у одного только Власа <Дорошевича>. Но мы все ввали и все ввали. И мы, как и вся печать русская, только и делали одно: провозили 30 лет *Ленина* в *Петербург*. Не хочу укорять, упрекать, хочу плакать. Плакать над разоренной Россией. И все эти милые старые сотрудники “Русского Слова” — опять хочется их обнять, но поновому и другим обниманием <...> Эх, да и о всех я знаю сотрудника “Р. Сл.”, что были это *таланты* и что попали Вы в их обладание не без причины» (РГАЛИ. Ф. 249. Оп. 1. Ед. хр. 312).

А.Н.

T

ТАРЕЕВ Михаил Михайлович [7(19).11.1867 — между 20.5 и 4.6.1934, Москва] — философ, богослов. Т. положительно отозвался о книге Р. «*В мире неясного нерешенного*»: «Нельзя не упомянуть с глубочайшей благодарностью о литературной деятельности нашего В.В. Розанова на пользу этики зачатия» («*Религия и нравственность*» // БВ. 1904 № 11. С. 403). Р. процитировал этот положительный отзыв Т. в книге «*Около церковных стен*», полемизируя с консервативным критиком Н.М. Соколовым. Р. добавил: «Г-н Соколов может выругать и проф. Тареева. Между тем он (т.е. Тареев, а не Соколов) понял ту простую мысль, которую не понимают почти все читатели книги “В мире неясного”: что я существенно сгущаю и продолжаю мысль церкви, как она выразилась в III–IV вв. по Р.Х.» (ОЦС, 430). В 1904–1905 Т. опубликовал работу «Дух и плоть», в которой стремился с церковных позиций решить вопросы, волновавшие Р. Переключаясь с Р., он отмечает, что «радость плотской любви сама по себе не только не безнравственна, но она-то и составляет естественный фундамент нравственности» (БВ. 1905. № 1. С. 22). Т. писал также: «Когда Розанов утверждает, что пол имеет ценность сам в себе, что брак имеет достоинство самостоятельное, что все эти законы, с этим тоже нельзя не согласиться. Раскрытие и поляризация этих мыслей составляет неоценимую заслугу Розанова и Мережковского» (БВ. 1905. № 2. С. 237). Сопоставляя Р. и Мережковского, Т. вопрошает: «Совпадают ли их идеалы?» и дает ответ: «В действительности у них нет ничего общего, кроме ненависти к христианству, — в положительных идеалах у них нет ничего общего <...> У Розанова — иудейство; у Мережковского — хлыстовство» (Там же, 249, 250). В том же году Т. опубликовал положительную рецензию на первый том книги Р. «Около церковных стен», оценив книгу как «радостную и созидательную», а ее тон — как умеренно-созидательный, а не радикально-разрушительный» (БВ. 1905. № 11. С. 543). Т. отметил «и талантливость автора, и душевность его пера» (Там же, 547). После выхода в свет второго тома книги «Около церковных стен» Т. опубликовал статью «Христианство и религия В.В. Розанова» (БВ. 1907. № 12; Тареев М.М. Основы христианства. Сергиев Посад. 1908. Т. 4, под названием «В.В. Розанов»). В ней он писал: «В.В. Розанов столь же свободный христианин, как и свободный язычник. И вот это срединное между христианством и язычеством, языческое или общечеловеческое в христианстве — это более всего понятно ему» (PRO,

2, 54). Далее, однако, Т. раскрывает воззрения Р. как антихристианские: «Розанов принципиально враждебен христианству, — и враждебен не только историческому христианству, но и всякому идеально-небесному порыву; он хочет, чтобы единственной основой религии и этики была физиология» (Там же, 57). Т. заявляет: «Этим не ослабляется интерес наш к Розанову, — от этого он только возрастает» и подчеркивает, что в книге «Около церковных стен» антихристианская «стихия Розанова едва-едва выступает, как бы намеренно прикрыта, спрятана» (там же). В связи со статьей Р. о В. Аскоченском и архим. Феодоре Бухарева Т. останавливается на чуждом ему «подлинном пути символического аскетизма» (PRO, 2, 61) А.М. Бухарева и отстаивает свои взгляды, которые вдова Бухарева в письме к Р. назвала «спиритуализмом» (ОЦС, 257). В примечании к ее письму Р. вступал в спор с Т.: «Проф. Тареев — одно из светил нашей богословской или, точнее, религиозно-философской литературы. Он не “спиритуалист” по трафарету <...> Но в данном пункте старушка-вдова покойного Бухарева, мне думается, права <...> Спиритуалист Тареев говорит, что в воскресении Христа было только воскресение его души, а телесного воскресения не было вовсе <...> Он возвышает дух на счет тела» (ОЦС, 258). Т. отверг критику в свой адрес, заметив, что Р. «наставительно» поучает его, «припомнив годы своего учительства в гимназии». Заявив, что никогда воскресение Христа он не отрицал, Т. добавил: «Не в этом дело. В том дело, что Бухарева жалуется на меня (убежденнейшего христианина) Розанову (убежденнейшему язычнику) по вопросу о Боговоплощении, — и они как будто понимают друг друга» (PRO, 2, 60). Однако при всем «спиритуализме» Т. в своем отрицании аскетизма близок к Р. Он утверждает автономность семейной, общественной и государственной жизни по отношению к религии: «Применение евангелия непосредственно к формам мирской жизни — к устройству семьи и государства — неизбежно должно дать плачевные результаты: семья, устроенная только по евангелию (разумеется, мнимо), будет неизбежно хуже языческой, и государство (мнимо) устроенное только по евангелию, порождает деспотизм со всеми его культурными последствиями» (PRO, 2, 65). Р. искал в теории автономности Т. поддержку своей борьбы с аскетизмом. В созданной в этот период книге «В темных религиозных лучах» Р. пишет в примечании об автономности сферы пола, которая, по его мнению, — «биологическая, а не “моральная”, и не анти-“моральная”, а просто своя,

“другая”»: «Единственный из богословов, ясно это понявший и последовательно и пламенно выразивший, — М.М. Тареев» (ВТРЛ, 267). В 1908, выступая против тенденции «ввести *Евангелие* в центр наличной политической борьбы», Р. указывает на «замечательный труд» Т. <«Истина и символы в области духа». Сергиев Посад, 1905>: «Не могу обратить внимание всей этой молодой и энергичной партии на замечательный труд проф. Моск. дух. академии М.М. Тареева, года три назад появившийся, в котором все их *темы* разбираются чрезвычайно обстоятельно и выносятся им отрицательный приговор» (ОНД, 218–219). В статье «Новый труд проф. Тареева» (РС. 1908. 8 февр.) Р. отозвался о «четырёхтомном исследовании» Т. «Основы христианства» как о «замечательной книге» (ОНД, 293). Говоря о воззрениях богослова, Р. отметил: «Я излагаю точку зрения Тареева, совершенно, впрочем, присоединяясь к ней» (ОНД, 291). О взгляде Т., совпадающем с мнением протестантского теолога А. Гарнака, что сущность православного благочестия составляет обрядность, Р. пишет: «Православие — обрядоверие и обрядолюбие. Хорошо это или худо, много или мало, но это так. И составляет простое научное достоинство эта точность диагноза и формулы» (ОНД, 289). Далее Р. завершает эту тему: «Не нужно договаривать (хотя проф. Тареев и не ставит того выпукло), что и от обрядоверия, и обрядолюбия ничего не остается» (ОНД, 291). Р. подчеркивает «глубоко индивидуалистический» (ОНД, 290) характер учения Т., хотя открыто и не говорит о его протестантских тенденциях. Т., как подчеркивает Р., выводит бытовую жизнь, в том числе и брак, из сферы воздействия Христа: «Бог и человек, Христос и человек, но совершенно нелепо говорить: “Христос и общество”, “Христос и государство” <...> “Христианский брак”, “христианская семья” — все это *contradictio in adjecto* <противоречие в определении>, все это ни да, ни нет для Христа» (ОНД, 291). «Ну а как же с миром? С политикой, с искусством, семьей? Тареев не видит “царства зла” во всех этих вещах, не видит для них, так сказать, необходимости “искупления”, говоря церковными понятиями. Все эти вещи хороши не по отношению ко Христу и не под условием связанности со Христом, а когда “довлеют сами себе” Для него природа, космос разделяются (без противоречия и без “взаимного требования”) на царство Духа, для которого единственно пришел Христос и на это царство единственно воздействовал, и на царство или, точнее, целую иерархию царств естественных, натуральных вещей, естественных отношений и явлений, куда относятся биология и физиология (семья, брак), общество, экономика, политика и проч. <...> попытки насильственного слияния, подчинения и пр. только портят прекрасную природу этих вещей, врожденно разделенных и врожденно независимых» (ОНД, 293). Р. заключает: «Монашество с этой точки зрения абсолютно отвергается, или, точнее, не ставится ни в “да”, ни в “нет”» (ОНД, 291). В критической рецензии на идейно чуждую ему книгу С.М. Зарина «Аскетизм по православному учению» Т. с иронией упоминал отзыв Р. (не называя его имени), в котором молодой петербургский диссертант был назван «вторым Болотовым» (БВ. 1908. № 5. С. 141). В статье «Новая книга о христианстве» (НВ. 1909. 3 янв.) Р. снова привлекал внимание читателей к исследованию Т.: «В этом году

появился и за год не получил себе никакой и нигде оценки громадный четырехтомный труд проф. Московской духовной академии Мих.М. Тареева: “Основы христианства” Как уже видно из самого заглавия, это — философия исповедуемой европейским человечеством веры; и не нужно говорить, до какой степени интересна и увлекательна книга, написанная на эту тему первоклассным мыслителем, вооруженным всеми средствами новейшей учености, всем богатством собственно богословского истолкования, но который под арсеналом своих орудий не похоронил живой души» (СМР, 10). Р. подчеркивал, что «мы имеем перед собою не просто ученое исследование, хотя оно таково по виду, — а личное исповедание, личный рассказ, лично рассуждение, тянущееся на тысячу страниц» (СМР, 12). Р. провел аналогию между трудом Т. и сочинениями Гарнака: «В труде г. Тареева русское общество получает то, что Гарнак дал немецкому обществу в известных своих лекциях и книге “О сущности христианства” Сближение это всего лучше выражает существо данной книги» (там же). «Тареев почти соглашается с Гарнаком, определившим православие как язычество с христианско терминологией, в силу обильного развития культа <...> Но профессор Тареев, не опровергая, ограничивает это суждение. “Гарнак, — говорит он, — упустил из виду человека Божия в русской земле, в русской вере, — а в этом-то Божием человеке и лежит ключ разумения русской народной веры”» (СМР, 15–16). Т., дабы обезопасить себя от выводов Р., на основании которых критик Давыдов (К. 1909. 8 янв.) утверждал, как пишет Т., «что я ради языческой жизни отвергаю евангелие и Бога» (БВ. 1909. № 1. С. 170), отказывается признать объективность этого «восторженного» отзыва Р.: «Слишком известно, что В.В. Розанов — талантливый светский писатель, это — самый талантливый и значительный из современных русских писателей-мыслителей. Также слишком известно, что В.В. Розанов — человек со своей идеей, о чем бы и о ком бы он ни писал, он всё осветит со своей точки зрения» (там же). В розановской статье «Еще о стиле вещей» (НВ. 1909. 6 дек.) упоминался «проф. М. Тареев, первенствующий в философии религии в наше время» (СМР, 396). В 1908–1909, после ревизии Московской духовной академии, взгляды Т. подверглись официальной критике. В опубликованном Т. в 1917 заключении ревизионной комиссии утверждалось, что на идеи Т. оказали влияние Р. и Мережковский: «В своем богословствовании он незаметно сблизился с современными богословско-философскими течениями, которые уклоняются от евангельски-церковного христианства и пытаются создать какое-то философское нео-христианство. Мережковский и Розанов своей теорией культа плоти произвели на Тареева весьма заметное впечатление, и он сделал попытку выяснить поставленную им проблему отношения духа и плоти с исключительно евангельской точки зрения» (БВ. 1917. № 6–7. С. 112–113). Т. был вынужден в 1909 написать отчет о своих воззрениях (также опубликованный им в 1917, после *Февральской революции*). Оправдываясь, Т. заявлял о рецензии Р. от 3 января 1909 на его труд «Основы христианства», что автор «в целях пропаганды своих идей» искажает его мысли: «Здесь правда перемешана с неправдой так, что трудно разобратсья. Розанов моими словами выражает

совершенно не мои мысли» (БВ. 1917. № 10–12. С. 406). Изложив далее свои взгляды на христианство и семью, Т. заявляет: «Это ли не полная противоположность тому, что пишет обо мне г. Розанов?» (Там же, 408). В 1910 Р. выступил в защиту опального Т. в статье «Сладкое и горькое на Руси. К истории проф. М.М. Тареева» (РС. 1910. 23 июня, 27 и 28 июля), где утверждал: «Тареев — глубочайший из христиан нашего времени» (ЗРП, 277). Написанная Т. после выхода в свет книг «Темный Лик» и «Люди лунного света» рецензия «в академическом органе „Богосл. Вестник“ не была пропущена к печати», как отмечал Р. (НВ. 1912. 1 янв.; ПВ, 10). Рецензия Т. появилась в 1911 в «Историческом Вестнике» под псевдонимом Б. В-ский. В ней Т. утверждал: «Христианство для г. Розанова есть религия смерти» (1911. № 11. С. 783). Отвергнув нападки Р. на христианство, Т., однако, разделил его отрицательное отношение к аскетизму: «Г. Розанов хочет объяснить своей теорией все христианство, но его теория обнимает лишь аскетизм <...> Христианство есть религия любви, аскетизм есть религия ненависти к жизни» (там же, 784). Т. считает теорию Р. «ценным приобретением науки» как «теорию аскетического мистицизма» (там же, 786). Он развивает розановскую критику монашеского аскетизма собственными аргументами: «Мы знаем эту культуру с ее культом „божественной“ дружбы, духовно-содомитского союза, с вечным копанием в душе, с бесплодным самоуглублением, с откровением помыслов, старчеством и проч.» (Там же, 786). Считая Т. одним из образованнейших ученых-богословов, Р. полагал, что именно он был бы способен наряду с Н.Н. Глубоковским «проверить с источниками в руках» наличие «чужих идей» в трудах Соловьёва, обвинившего в плагиате не имевшего «дара компиляции» Н.Я. Данилевского (ЛИ, 127). Однако около 1910 произошло разочарование Р. в Т. Он согласился с мнением проф. Глубоковского, писавшего ему о Т. как о честолюбивом и тщеславном человеке: «О Тарееве, кажется, — это так, что Вы пишете. Это то же, что Г.С. Петров, я слишком поздно рассмотрел, задыхается без славы, без молвы о себе» (ОР РНБ. Ф. 194. Ед. хр. 757. Л. 39).

В.А. Фатеев

ТЕРНАВЦЕВ Валентин Александрович (1866–1940, Серпухов, Московская обл.) — богослов. Дочь Р. Татьяна называла его «близким другом отца» (PRO, 1, 66). Т. был крестным отцом другой дочери Р. — Надежды, которая вспоминала впоследствии: «С Тернавцевыми у отца с матерью был „вечный роман“ — то ссорились, расходились, то вновь мирились. И всегда, в случае маминога заболевания, папа писал испуганные записки Марье Адамовне (жене Валентина Александровича) — „Варя больна — приходите“ И снова была дружба» (НР, 59–60). Дети Р. дружили с детьми Т. В 1900 Т. вместе с Р. и В.Д. Бутягиной совершил поездку по Италии. В 1902 Т. по просьбе Р. ездил к А.П. Сусловой в Севастополь, надеясь уговорить ее дать мужу развод (см. воспоминания З.Н. Гиппиус и С.Н. Дурьлина — PRO, 1, 155–156; 241–242). Служа в Синоде, Т. играл роль своего рода посредника между церковными властями и участниками Религиозно-философских собраний. Вместе с Р. входил в число членов-учредителей и в Совет РФС. В первые го-

ды XX в. — один из постоянных розановских собеседников и оппонентов. А.Н. Бенуа упоминал Т. в числе тех людей из круга РФС и «Мира Искусства», которые «охотно вступали с ним в спор» (PRO, 1, 140). Содержание одного из таких споров о незаконнорожденных де-



В.А. Тернавцев

тях и детоубийстве Р. пересказал в докладе «Христос как Судия мира» (ВТРЛ, 75). Р. выступил на втором заседании РФС, посвященном обсуждению доклада Т. «Русская церковь перед великою задачею» (варианты текста выступления Р. см: ОЦС, 470–477; ВТРЛ, 30–35). Характеризуя впоследствии место Т. в ряду других инициаторов РФС, Р. писал: «В.А. Тернавцев, — ныне управляющий Синодальной типографией, — дружественно примыкал к ним, почти сливался с ними, но, в сущности — не сливался, а лишь обширно хлебал из того же, однако внутренне чужого, корыта <...> Тернавцев „не принадлежал к их корыту“, потому что Россия для него массивно существовала, огромно существовала. С добром или злом своим, все равно; Россия для него была и перед ним стояла как огромная сила, „которую не поворотить“, с которою „надо считаться“, которую никак нельзя „обойти“ Те были — воздушные; он — стоял на земле» («О типах религиозной мысли в России» // К. 1916. 19 авг.; ВЧВ, 339). В письме к митрополиту Антонию (Вадковскому) Р. характеризовал Т.: «Мой друг Тернавцев, богослов здешней Академии, человек высоких талантов и, можно сказать, апостольской веры (только не очень связного ума)» (PRO, 1, 462). Позднее Т. — постоянный участник розановских «воскресений», член Религиозно-философского общества. Сочувственный пересказ доклада Т. о народном благочестии, прочитанного на закрытом заседании РФО 26 ноября 1908, состав-

вил основное содержание неподписанной им заметки Р., помещенной в «Новом Времени» 28 ноября (ОНД, 407). В отчете о докладе «несравненного брюнета» Т. «Империя и христианство», заслушанного в РФО 10 марта 1909, Р. писал: «Говорит он несравненно лучше, чем пишет; вся его сила — в экспромте» («На чтении гг. Бердяева и Тернавцева» // НВ. 1909. 12 марта). В той же статье Р., отметив «детскость вида <...> этого на редкость умного и даровитого человека» и сравнив его с ребенком, которого «постоянно кормят кашей и он всегда улыбается», давал Т. *характеристику*: «В Мазарини веры все сладко, гладко, кругло, обещающе, — и даже сам Страшный Суд, который он любит вспоминать, есть какое-то счастливое обстоятельство в его биографическом благополучном шествии» (СМР, 95). Во втором коробе «Опавших листьев» Р. называл Т. «благороднейшим мечтателем, а la Гамлет» (У, 278), а в уже цитированной статье «О типах религиозной мысли в России» писал: «Это вполне гениальный человек, — гениальных мыслей и гениальных слов, — но “не для журнала” Какого-то нет таинственного дара “положить на бумагу все”. А “апокалиптики”, “вещего” и прочее и прочее — сколько угодно. И таинственный взгляд, и лукавая улыбка». Сохранилась приписка Р. на адресованных ему письмах Т.: «Вполне гениальный чел., но “лукавый раб Господа»» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 99). В дневнике 1910 А. Ельчанинов привел высказывание Т. о Р.: «Хитрый сумасшедший; половой идиот (объяснение: у него, как у идиотов, сфера животная и духовная не связаны, разделены); всех обманывает: церковь, Суворина, жену, Сытина, читателей» (Вестник РХД. 1984. № 142. С. 67).

М.Ю. Эдельштейн

ТИГРАНОВ Фаддей Яковлевич — юрист, музыковед, автор книги «Кольцо Нибелунга: Критический очерк» (СПб., 1910), сотрудник журнала «Вешние Воды», деятель Религиозно-философского общества, друг Р., «теоретик и философ» (ПЛ, 33). В письме Б.А. Грифцову от 5 апреля 1912 Р. характеризовал своего юного друга: «Тигранов — совсем мальчик, лет 23–26, и нет 30. ½ перс, ½ русский; матовое, смуглое лицо. Весь “полон респектов”, но на самом деле железно тверд в себе, спокоен. Не ищет казаться умным (почти главный признак ума). Жестоко отрицает национализм — персидский, русский, всякий. Все мелочи? Но у меня на исключительный ум есть какой-то “глаз”, и я помню, что когда он у меня был, не только я его не “вел в поводу”, а скорее он меня, без усилия, “вел в поводу”: а — мальчик. Что-то достойное, серьезное и смеющееся. Черт знает. Неуловимый талант: так мне показалось. Это <было> вскоре после удара жены, и я еле-еле смотрел на него и слушал» (Розанов В.В. Письма к Б.А. Грифцову // Наше наследие. 1989. № 6. С. 61). Знакомство состоялось по инициативе Т. Сохранились письма Т. к Р. 1910–1917 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4200. Ед. хр. 2; РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 657). В письме от 9 декабря 1910 Т. упрекал писателя за бессмысленность расточения жизненных сил на затянувшуюся газетную полемику с П.Б. Струве и К.И. Чуковским. «Как чудесна была первая Ваша статья из последних трех (к Чук. и Струве)! Как прекрасна была вторая — но уже чуда в ней не чуялось. И как грустно читать третью... — Неужели ж это не чувствуется, — спрашиваете

Вы, — о том, что сила Ваша в любви. Кого Вы спрашиваете? Нас?! Мы не заслужили этого. Струве и Чуковского?! “Никогда этого (огня и льда...) не узнают они” Неужели Вы ждете ответа, — ждете, что они оживут? Они дохнут “мертвым духом”, как Святогор из гроба» (Там же. Л. 5). Первое свидание состоялось в воскресенье 12 декабря 1911 благодаря приглашению писателем к себе молодого критика в письме от 11 декабря. В «Уединенном» Р. упоминает о Т., говоря о людях, которых писатель считал «даровитее, оригинальнее, самобытнее себя»: «Мне почувствовалось что-то очень сильное и самостоятельное в Тигранове (книжка о Вагнере). Но мы виделись только раз, и притом я был в тревоге и не мог внимательно ни смотреть на него, ни слушать его. Об этом скажу, что, “может быть, даровитее меня”» (У, 71). В дальнейшем литераторы виделись регулярно, до 1915 в основном Т. посещал Р. В письме (б.д.) Т. выражал восхищение розановским 2-м коробом «Опавших листьев». «Душа Ваша плачущая; кто смеет мечтать осушить Ваши слезы? Близким позволено утереть их; а кто в сердце носит Вашу печаль как свою, может пожелать Вам только сладких слез, мягкой скорби. Мир — не воплощение отчаяния: нельзя думать это и не умереть. Кому кажется, что он это думает, тот пусть вспомнит, что ведь он жив. Разбит чудотворный образок? Но Он так и смотрит на входящего в комнату. Да, на входящего в Вашу книгу! Можно ли ожесточиться на Вашу “Катюшу или Марфушу”, когда через нее теперь больше людей входит и видит Его?! И так все “зло” мира: оно маленькое. “Думает о любовнике, о съеденном пироге”: и никакого Лика ему не развить. Пусть думают так те, у кого “нет вдоха”: “вдох же — неугасающая жизнь. К вздоху Бог придет”» (ОР РГБ. Л. 10–11). Р. подчеркнул, поразившую его мысль Т. о том, что «Всякая вещь существует постольку, поскольку ее кто-нибудь любит. И “вещи, которой совершенно никто не любит”, — ее и “нет” Поразительно, универсальный закон» (ПЛ, 33). «Разбиваются только видимости, личности вещей; травка вянет, а зерно дает плод, — писал он в 1915 Р. — Нельзя любить личины; нельзя любить съеденный глупой бабою пирог. Пустоцветную травку. Не потому, чтобы они были “дурны”: а потому что их нет, вот начисто — нет. И политики никакой нет, и не было никогда Михайловского, Герцена. Одно “навождение” Но и Гоголь, и тот, кого Вы именуете «Поб.» <Победоносцев>; Писарев, Щедрин, — это мы сами их выдумали. Пока кормим их своею плотью, поим кровью как Одиссей — выходцев из Аида, — до той поры и маячим, и “говорят”: а все не живые. Вот эту травку (“явления”) любить наряду с зерном (“ноумены”) — не низиллизм ли? Гневайтесь, но только на мысль, а не за мысль (на горящего!)» (ОР РГБ. Там же. Л. 11). В «Мимолетном» и «Последних листьях» Р. указывает на частые встречи с Т. (13 окт. 1914; 1915; 2 февр., 14 и 20 апр., 6 и 8 мая 1916). Визиты наносились с женами и детьми. Частые визиты армянского семейства запомнились и дочери Р. Татьяне, которая вспоминала, как в 1915 стала регулярно навещать их «молодая чета Тиграновых» (ПРО, 1, 72) Литераторы беседовали о творчестве Гоголя, Л.Н. Толстого, проблемах пола (ПЛ, 121), обсуждали «разные философские и исторические материи» (КНУ, 568). Р. указывал на определенное воздействие на себя бесед с Т.: «Тигранов говорил тихо и вдумчиво.

И когда он говорил это (ему всего 30 лет), мне как-то осозналось, до чего “в те годы”, в “свое время” Толстой в самом деле превосходил всю *Россию* не “головой”, а несколькими головами, многими головами» (ПЛ, 134). На листе фотоальбома с изображением Т. и его супруги Р. выразил симпатию к семейству своего друга: «Ах, старый козел <Р.> был к ней равнодушен. Я долго, года 2–5, не отдавал ему визита, думая: — “Ну, что мальчик” Но запасливо спрашивал: “Вы женаты?” — “Да” “Ну, — что, думаю, — черная армянка, как все они. Раз он мне сказал однако (в 1915 г.): “Если Вы и теперь не придете ко мне, я у Вас последний раз” Я пошел. И вижу, тихо ходит по комнатам, в бедном платье, тусклая, не яркая, рыженькая женщина. — “Она не русская?” — спросил я. “Нет, из Александрополя. В *деревнях* армянских, особенно глухих горных ущельях, и куда не проникали другие народы, армяне — рыжие” Дивом я дивился. Стали бывать у нас. И мамочке обоим понравились. (“Я и Тиграна люблю, но ее — больше”). А Таня: “Она — на редкость милая” Она молчаливая, тихая, немного грустная. А главное — необыкновенно изящная. И вот он играет своего Вагнера, Бетховена. Он чудно играет. Она между *детьми* нашими сидит на кушетке. У нее был гребень с серебряными камушками. Волоски на лбу тихо завиваются. И я скольжу по ней взглядом и невольно люблюсь. Я думаю, это можно и в 60 лет. У них друг — “Леон Каспарыч”, написал книгу “Этюды” Сам “Котик” (он — так его зовет Нина Александровна) — написал громадную книгу историко-философского содержания. У них дочка Нюрка 5 лет, “невеста моего Василья”» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 102). Публикация философских афоризмов Т. в журнале «Вешние Воды» подтверждает близость с Р. в области мировоззренческих интересов (См.: Тигранов Ф. Афоризмы о женщинах // ВВ. 1917. Т. 19; О молодости // ВВ. 1917. Т. 20–21; Об *искусстве* // ВВ. 1917. Т. 22–24; О *природе* вещей // ВВ. 1917. Т. 23–24. Кн. 5–6. С. 59).

А.В. Ломоносов

ТИМИРЯЗЕВ Климент Аркадьевич [22.5(3.6).1843, Петербург — 28.4.1920, Москва] — профессор *Московского университета*, биолог-дарвинист. В 1887–1889 вел полемику с *Н.Н. Страховым* о дарвинизме. Поводом к полемике послужила изданная Страховым *книга Н.Я. Данилевского* «Дарвинизм. Критическое исследование» (СПб., 1885–1889. Т. 1–2) и статья Страхова, посвященная этому сочинению «Полное опровержение дарвинизма» (РВ. 1887. № 1, 2). В том же году Т. прочел в Политехническом музее публичную лекцию, которую, несколько изменив, опубликовал под названием «Опровергнут ли дарвинизм?» (РМ. 1887. № 5). Через полтора года, когда Страхов защищал от *Вл. Соловьёва* идейное наследие Данилевского, Т. напечатал обширную статью «Бессильная злоба антидарвиниста» (РМ. 1889. № 5–7). К начавшейся дискуссии Страхов привлек Р., тогда еще малоизвестного, который опубликовал критическую, по отношению к доводам Т., статью «Вопрос о происхождении организмов» (РВ. 1889. № 5). «Будучи (по задаче своей) теорией происхождения органических форм, — писал Р. о дарвиновской теории, — она в действительности говорит об их сохранении» (Там же, 313) Т. для Р. безусловно крупный ученый, «волшебство», «которое

содержалось в *науке* и составляло также *душу* в ней от Пифагора до Ньютона и *Паскаля*, до *Ломоносова*, К. Тимирязева и Н. Данилевского» (ПЛ, 64), «И целый день читал К. Тимирязева (о земледелии, «Речи и статьи», «*Жизнь растений*»). Какое освежение <...> В нем есть осколочек Ломоносова, как во всех лучших русских ученых» (СХР, 107). В то же время Т. гонитель Данилевского и Страхова, участник кампании, к которой «имел малодушие примкнуть и Влад. Соловьёв, не говоря уже об университетских тупицах вроде А.С. Фаминцына и К. Тимирязева» (ЛИ. 1913, 12), и, по мнению Р., «через 20 лет после тогдашних “побед” своих (в журналах и публичных лекциях) он все-таки видит, что “храмина дарвинизма” вся рассыпалась» (ЛИ, 42). Т. устраивает «кладбищенские гербарии», он позитивист, а «*Огня* не будет в *позитивизме*. В “позитивном царстве” врагов Отечества будут замораживать в каком-нибудь административном погребке, устроенном “по всем правилам науки” <...> какой-нибудь гадкой химической солью, быстрым испарением и прочее. По Столетову и по К. Тимирязеву» (КНУ, 214). Т. и ему подобные тем более опасны, что их «нельзя достать» и вытащить из самого «сердца *России*», ибо их оберегают “священные стены научного знания” ...как какие-то храмы-обсерватории Вавилона и древних Фив, — с Тимирязевым и *Милюковым*, один в смокинге и другой в сюртуке, но в париках седых “верховных жрецов” и “с жезлами» (У, 358). В целом, оценка Р. деятельности и личности Т. отрицательна, что естественно, учитывая общее неприятие Р. позитивизма и левых политических взглядов.

А.В. Ефремов

ТИТОВ Григорий Иванович [1841–1919] — церковный писатель, протоиерей, служил при Дворе великого князя Михаила Николаевича. В *письмах* к Р. от января 1902 оспаривал розановское понимание сущности священства (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4212. Ед. хр. 49. № 5. Л. 1–4). В первом письме от 4 января 1902 Т. отметил отрицание Р. «Богоучрежденности новозаветного священства» (там же. Л. 3.), а также адресовал писателя к тексту своего трактата «*История священства и левитства ветхозаветной церкви*» (Тифлис, 1878) и к полемике по этому вопросу. По уяснению вопроса о происхождении новозаветной иерархии Т. рекомендовал Р. познакомиться с другим своим произведением: «Уроки по Православному христианскому катехизису. Православные католические Восточные церкви» (Тифлис., 1876–1879. Вып. 1–5). Причиной своего нового письменного обращения к писателю 6 января 1902 Т. обозначил желание «выяснить, или точнее, подчеркнуть свое основное разумение священства» (Там же. Л. 1). Р. продолжил переписывался с Т., о чем свидетельствует высокая оценка *священником* писем писателя: «Строки Вашего последнего письма очень содержательны. Весьма хороши Ваши строки и в нынешнем № (6 янв.) “*Нового Времени*”, то есть в статье «Где было хорошо на Новый год?» (НВ. 1902. 5–6 янв.), рассказывавшей о встрече новогоднего праздника в бедном храме для больных на Выборгской стороне. К письмам священника Р. приложил свои *характеристики* корреспондента: «Титов Георгий священник (книга об иерархии ветхозаветной)»; «Титов Гр., —

кажется придворный священник. Разумен» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 110).

А.В. Ломоносов

ТИХОМИРОВ Лев Александрович [19(31).1.1852, г. Геленджик, Черноморская губ. — 16.10.1923, Сергиев, Московская губ.] — публицист, общественный деятель, один из лидеров революционной организации «Народная воля», после 1888 идеолог русского монархизма, редактор-издатель газеты «Московские Ведомости» (1902–1913). В 1890-х Р. и Т. находились в одном (консервативном) литературно-политическом лагере, часто публиковались в одних и тех же изданиях («Русское Обозрение», «Московские Ведомости»), вели переписку, встречались лично. Первоначально Р. одобрительно воспринимал публицистику Т. В письме А.А. Александрову 1892 (не ранее сентября) Р. оценивает его статью «Духовенство и общество в современном религиозном движении»: «Если б Л. Тихомиров написал еще такую же чудную статью <...> вот статья отрезвляющая, бесподобная по меткости определений, по верности указываемых путей» (РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 15. Л. 13). Положительными были и первые личные впечатления. Но в дальнейшем ни идейной, ни человеческой близости между двумя мыслителями не сложилось. 5 ноября 1893 Т. в дневнике делает запись о визите к нему Р., отмечая, что предпринимаются попытки «изгнать <А.А.> Александрова» из «Русского Обозрения» и «посадить на его место Розанова. Роль Розанова довольно некрасива» (Тихомиров Л.А. Воспоминания. М., 2003. С. 485). В 1894 между ними развернулся принципиальный спор о «свободе и вере» по поводу одноименной статьи Р. (одновременно в дискуссии принимал участие и Вл.С. Соловьёв). В статье «Существует ли свобода?» Т. утверждает, что Р. «совершенно упраздняет в мире свободу», называет его «своеобразным дарвинистом», упраздняющим «понятие о человеческой личности, как существе, отличным от механической и органической природы», подчеркивает родство его взглядов с позитивистски-материалистическим мировоззрением: «Он только делает “реакционные” выводы из того же строя понятий, который для других служит основой “либеральных” выводов <...> Г. Розанов только откровенно уничтожает слова, которые в “передовых” программах сохраняются по недоразумению или для обмана. А затем — как он собирается вогнать личность в одну тюрьму, так “передовые” стараются вогнать ее в другую» (РО. 1894. № 1. С. 899, 900, 904, 906, 910). Р. в статье «Что против принципа творческой свободы нашлись возразить защитники свободы хаотической?» дал характеристику особенностям мышления и литературного стиля Т.: «Чрезвычайная отчетливость выражения составляет главное достоинство г. Л. Тихомирова, и отсутствие дряхлых мыслей какою-нибудь сложного созерцания — его недостаток как писателя. <...> Высокая отчетливость мысли г. Л. Тихомирова, быть может, и зависит от того, что в нем нет и ему не понятно все сколько-нибудь мистическое и священное в человеке; что простота механических воззрений одна ему известна; что значит живой росток в человеке и каковы его законы — это для него темная могила <...> Начало жизни в высшей степени чуждо и непонятно ему, и этот недостаток душевного проникновения даже

отражается на достоинствах и недостатках его языка, столь прозрачного и как-то точно стучащего словами, — точно между ними недостает чего-то эфирного, живого, что как сон, по трубочкам растений бежало бы, струилось в них всех и их одушевляло бы и связывало» (РВ. 1894. № 7. С. 207, 211, 221). Признавая Т. более серьезным оппонентом, чем Соловьёв (у Т. «в трех строчках <...> более выражено мысли, чем сколько на 13 страни-



Л.А. Тихомиров

цах сумел высказать ее г. Вл. Соловьёв»), Р. тем не менее полагал, что он, «так мало поняв предмет, к которому относится моя статья <...> не понял и ее внутреннего смысла, и оснований» (Там же, 210, 209). Т. продолжил полемику в статье «В чем ошибка г. Розанова?», где доказывал, что в мышлении Р. происходит борьба «двух диаметрально противоположных миросозерцаний <...> Одно из них подходит к пониманию мира, к проверке рассудочно наблюдаемых “законов”, руководясь высшими истинами положительного откровения и духовного опыта святых. Другое — к самым вопросам веры, к оценке духовного опыта подходит с точки зрения тех полустин, которые дает рассудочное наблюдение мира. Г. Розанов, по личной вере, очевидно человек первого миросозерцания, по привычкам мысли — второго. Вот, по мне, причина, портящая результаты его большой способности к наблюдению и мышлению. И никто более меня не сожалеет об этой двойственности, потому что я не могу не симпатизировать г. Розанову как христианину, не могу не ценить и его способности наблюдения явлений, которая местами так сильно, так удачно пробивается сквозь препятствия, создаваемые для нее двойственностью миросозерцания г. Розанова» (РО. 1894. № 9. С. 410–411). По мнению Т., Р. «никак не может понять веры как действительной связи человека с Божеством, а понимает ее только как наше субъективное состояние», поэтому его мысль «не есть мысль христианская», более того, Т. называет «такие взгляды языческими» (Там же, 403, 406, 407). В следующем году Р. отрецензировал брошюру Т. «Борьба века» (М., 1895)

(«Где истинный источник “Борьбы века”» // РВ. 1895. № 8), продолжив там критику оппонента за его узкорационалистическое понимание человеческой природы и исторического процесса, между тем как сущность последнего «в невысказанных словах, в том, что вовсе не входит ни в какие социальные “программы”» (РФК, 123). В переписке Р. и Т. 1890-х преобладали бытовые темы, прежде всего проблема задержки выплаты *гонораров* А.А. Александровым за статьи Р. в «Русском Обозрении», но иногда обсуждались и мировоззренческие вопросы. В письме к Т. (1895, без точной даты) Р. формулировал причины своего грядущего разрыва с консервативным лагерем: «Консервативные идеи запакошены, и кто им хочет служить — должен их реабилитировать <...> свободный, не связанный, не обязательный *консерватизм* есть последняя почти карта, которая ему остается почти в проигранной исторической игре <...> Вот почему, думается, мы должны сражаться совершенно в разброде, в одиночку; даже замешиваясь в ряды противников; и образовать за невозможностью стоять “стенкой” — так сказать, бродячие консервативные идеи, блуждающие мысли, — которые теперь или позже, в том или ином человеке зароят *семя* консервативного созерцания <...> *Грингмута* для меня не существует <...> Но Ваше мнение мне дорого <...> Просто консерватизм (не в идеях, а в людях) опостылел мне; переболела моя *душа* от них, возненавидел я их за <...> их способности служить консерватизму» (цит. по: Тихомиров Л.А. Христианство и политика. М., 1999. С. 613–614). Т., в свою очередь, не одобрял намерения Р. выступить с критикой В.А. Грингмута в либеральном «Северном Вестнике» и в письме от 26 марта 1896 призывал его «по крайней мере, не мешать тем, кто все-таки хотя бы и не по-вашему борется с теми же врагами» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3873. 2. Л. 3). В письме от 13 августа 1896 Т. советовал Р. бросить журналистику («петербургская пресса не по Вас: она чересчур бульварно нигилистична») и «возвратиться в педагогию — да еще где-нибудь в *Москве* или хотя бы Подмосковных губерниях, где Вы, вероятно, отдохнули бы душой среди более родного Вам русского населения» (Там же. Л. 6 об. — 7). В конце 1890-х переписка обрывается, видимо, и личные отношения тоже, но время от времени они упоминают имена друг друга в своей публицистике, письмах, дневниках. Т. записал в дневнике 25 июня 1899: «Розанов Василий Васильевич, в сущности, скотина, хотя у него есть искорки искренности, но он <нрзб.> во всякой дряни» (ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Д. 7. Л. 30 об.). Р. в статье «О поместных соборах в *России*» (НВ. 1903. 27 нояб.) сочувственно разбирает статью Т. о поместных соборах (ОЦС, 197–198). Т. в работе 1904 «О смысле *войны*» называет «господ Розанова с Ке» в качестве символа морального разложения современной России (Тихомиров Л.А. Христианство и политика, 203). В письме *Г.А. Лопатину* (не ранее 1909, не позднее 1911) Р. вспоминал: «Знал Л. Тихомирова. Был “царь революции” Мысль его в характере не изменилась: тот же резонер, рационалист, без фанатизма и лишь с “последовательностью” Но, Боже: какой же это “средний человек”, и не более. Просто это “директор департамента”, без *гения*, без “*Гоголя*” в себе — по глубине, без “*Пушкина*” — по очаровательности и округлости» (СОЧ, 520). В 1910 Р. направил Т. письмо (не сохрани-

лось) с предложением опубликовать в «Московских Ведомостях» письма *К.Н. Леонтьева*, на что Т. в письме от 15 апреля 1910 ответил отказом (в газете «для исторического материала совсем нет места»), не преминув уколоть Р. за увлечение революцией 1905 и проблемой *пола* в связи с упоминанием дорогих для них обоих имен Леонтьева и *Ю.Н. Говорухи-Отрока*: «Но только как это Вы их вспоминаете? Ведь Вы так далеко от них ушли. А мне действительно жаль их. Без малого ни за что пропали. Земля, господине, такая: не вмещает здорового *таланта*, тянет ее к революции да клубничке, да смеси революции с клубничкой» (Тихомиров Л.А. *Христианство и политика*, 602). Можно предположить, что ответной реакцией на это письмо стало следующее упоминание Т. в статье Р. «Константин Леонтьев и его “почитатели”» (*Новое Слово*, 1910. № 7): «Грингмут и теперь Л.А. Тихомиров, в обладании которых находилась типография “Московских Ведомостей”, одним мановением руки могли бы дать *обществу* издание сочинений Леонтьева, от “крох” которого оба идейно питались и питаются. Но “крохи” они подбирали, а “мановения” не дали...» (ЛВИ, 557). В другой статье Р. о Леонтьеве «Неоценимый ум» (НВ. 1911. 21 июня) Т. охарактеризован более благоприятно как человек с «бурной душой и *судьбой*» и поставлен в один ряд с самыми авторитетными именами русской *культуры*, размышлявшими о феномене Леонтьева (ОПП, 516). В «*Мимолетном*» Т. определен как «тусклый редактор “Московск. Ведом.” и автор каких-то статей, брошюр и книжек, которые нужны безграмотному, а грамотному не нужны» (М, 179–180).

С.М. Сергеев

ТИХОНРАВОВ Николай Саввич [3(15).2.1832, дер. Шеметово, Мещовский уезд, Калужская губ. — 27.11(9.12).1893, Москва] — профессор *истории русской литературы Московского университета* (1859–1889), ректор (1877–1883). В студенческие годы Р. слушал лекции Т. и впоследствии тепло отзывался о нем: «В дали моей юности какие это три столпа: *Буслаев, Ключевский, Тихонравов*. Самый рост их и вся фигура как-то достопримечательны и высокостойны. Теперь я таких людей (фигурою) не вижу. Обыкновенные» (СХР, 261). «Отличных слушателей, т.е. систематически следивших за смыслом курса, было из каждой сотни студентов человек десять. Правда, таких профессоров, как Тихонравов, Ключевский, Буслаев, слушал полный комплект. Их слушать было то же, что читать *Тургенева*: уверен — так же образовательно, воспитательно» (ВНС, 232). «Умственной силой своего университета» называл Р. профессора Т.: «Буслаев, Тихонравов, Бредихин, Чебышев строили свою науку, и этим самым они строили культуру русскую, цивилизацию русскую, которая идет, конечно, вне путей мальчишек» (КНУ, 550). Благочестие Т. ставило его в особый ряд деятелей отечественной науки: «Русская церковь представляет замечательное явление. Лютеранство и католичество во многих отношениях замечательнее его, но есть отношения в которых оно замечательнее их. Обратим внимание, что умы спокойные, как Буслаев, Тихонравов, Ключевский, как *С.М. Соловьёв*, — не искали ничего в ней поправить, и были совершенно ею удовлетворены. Вместе с тем это были люди верующие, религиозные, люди благочестивой жизни в самом лучшем смысле, —

в спокойно-русском. Они о религии специально ничего не думали, а всю жизнь трудились, благородствовали, созидали. Религия была каким-то боковым фундаментом, который поддерживал всю эту гору благородного труда. Нет сомнения, что, будь они “безверные”, — они не были бы ни так благородны, ни так деятельны. Религиозный скептицизм они встретили бы с величайшим презрением» (У, 67). «Святые имена Буслаева и Тихонравова я чту. Но это не шаблон профессора, а “свое я”» (У, 185). «Сейчас, за давностью времени, я не помню, кому и какая именно “трагедокомедия” принадлежала



Н.С. Тихонравов

Стефану Яворскому или Феофану Прокоповичу: но которое-то из этих лиц, митрополит или архиепископ, написало эту “трагедокомедию”, так как хорошо помню, что когда в диссертации, писанной незабвенному Ник. Саввичу Тихонравову, на тему “Стефан Яворский и Феофан Прокопович”, — я, прочтя все церковные труды обоих иерархов, пренебрег прочесть единственную эту “трагедокомедию”, не считая ее важным материалом, — то профессор мне сбавил балл за нее и тут же подал собственное исследование об этой “трагедокомедии”, т.е. “трагикомедии”, сценическом представлении, конечно, — из священной истории!» (СХ, 271). В статье «Споры около имени Белинского» (НВ. 1914. 27 июня) Р. пишет: «Дам маленький факт, который, может быть, будет интересен обеим спорящим сторонам: в мою пору лекции по истории русской литературы в Московском университете читали Ф.И. Буслаев и Н.С. Тихонравов, — два ума европейского чекана, европейского закала. Едва ли нужно говорить, что эти два ума если не вполне, то в значительной степени создали науку истории русской литературы. Т.е. не кое-какие “мнения” и не кое-какие

“компиляции” в этой области, всегда наполнявшие и всегда волновавшие нашу журналистику, — а они бросили из ума своего, знакомого с историческим освещением всех литератур Запаदा, огромный свет на происхождение и на историю русской словесности, устной, письменной, древней и новой. И вот, ни у Буслаева, ни у Тихонравова я никогда не слышал даже упоминания имени Белинского. Не удивительно ли? Факт. Его могут засвидетельствовать все, слушавшие одновременно со мною лекции в Московском университете. Причем ни у Тихонравова, ни у Буслаева никакой не было враждебности или даже неприязненности к Белинскому. Они его не упоминали, потому что в этом не было никакой необходимости, никакой нужды! “В ходе преподавания” им “не приходилось” его упомянуть, потому что все его взгляды и теории были “не нужны” для объяснения истории и вообще фактов истории русской литературы!» (ОПП, 585–586).

А.Н. Стрижёв

ТИШКОВ Василий Петрович — пензенский врач, друг поэта А.Н. Плещеева, отбывал ссылку за участие в кружке Петрашевского. В архиве Р. сохранилась рукописная заметка Т., адресованная редакции «Нового Времени» от 13 декабря 1910: «Возражение г-ну Розанову о покойном Плещееве» с просьбой о публикации материала в газете без гонорара (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4213. Ед. хр. 14). В фельетоне «Литературные и политические афоризмы» (НВ. 1910. 9 дек.; ЗРП, 421) Р. отнес поэта к «сочувственникам» террористам-первомартовцам, погубившим Александра II. «2-го марта, — сообщил в своей заметке Т., — меня навестил А.Н. и сообщил ужасную новость. Рассказывая мне о событии, он не мог удержать слез, причем употребил выражение “безумная жестокость”» (Там же. Л. 2 об). К рукописи Т. приложен розановский отклик на выступление врача в защиту друга-поэта: «Тишков В.П. Не сомневаюсь, что я ошибся, но столь же несомненно, что Плещееву и всем нужно было тверже говорить с молодежью — и 1-го марта бы не было. Несомненно, что первомартовцы чувствовали себя “уполномоченными” от общества, и без этого “полномочия” ничего бы не посмели. Но общество было воистину дерьмо» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 111).

А.В. Ломоносов

ТОЛСТАЯ Софья Андреевна [урожд. Берс; 22.8(3.9). 1844, Покровское-Стрешнево, Московский уезд, Московская губ. — 4.11.1919, Ясная Поляна], графиня — жена Л.Н. Толстого (с 1862). В статье «Оптина Пустынь» (НВ. 1903. 21, 23 янв.; ОЦС) Р. говорит о Т., рассказывая о визите Л.Н. Толстого и его семьи в Оптину Пустынь. В статье «Об отлучении гр. Л. Толстого от церкви» (НП. 1903. № 2; ОЦС) Р. упоминает письмо Т. митрополиту Антонию (Вадковскому). В заметке «Случаи любви» (НВ. 1903. 9 февр.; ВДЯ) Р. отзывается одобрительно о ее «Письме в редакцию» (НВ. 1903. 7 февр.) против Л. Андреева. Р. поддерживает ее выступление против «вопиющего в наши дни загрязнения литературы» (ВДЯ, 242) и пишет статью «О письме гр. С.А. Толстой» (НВ. 1903. 11 февр.). 6 марта 1903 Р. и его жена посетили Ясную Поляну и познакомились с писателем и Т. Впечатления от этой поездки отражены в статьях «Л.Н. Толстой» (НВ.

1908. 28 авг.) и «Поездка в Ясную Поляну» (РС. 1908. 11 окт.). Р. называет Т. сильной, красивой, умной и сравнивает ее с «бурей». Однако если в первой статье этому сравнению дается объяснение: «“Буря” была внутри ее, как источник скрытых, не выраженных движений, как родник возможностей» (ОПП, 305), то вторая статья относит это сравнение к внешности Т.: «Платье шумит. Голос твердый, уверенный» (ОПП, 319). Т. рассказала Р. о своих детях, после этого «она сделалась еще привлекательнее в моих глазах; русская, она мне показалась как бы римлянкой, патрицианкой» (ОПП, 305). Вторая статья подытоживает рассказ о детях лаконичной фразой: «Это хорошо и классично» (ОПП, 319). В первой статье Р. подчеркивает «твердость и непоколебимость» Т., отсутствие у нее всяких сомнений по поводу смысла и целесообразности бытия. «Вся — земная», «римлянка II—I века до Р.Х.», т.е. языческого периода в истории Римской империи, — такие *характеристики* Р. дает Т. Всем своим видом, «всею фигурой» Т. как бы «обвиняет» весь свет (ОПП, 305). Во второй статье Р. развивает эту мысль: «Мне все казалось, что ей все хочет повиноваться или не может не повиноваться; она же и не может и не хочет ничему повиноваться» (ОПП, 319). Р. называет ум Т. практическим и подчеркивает, что она полностью соответствует роли жены писателя: «“Жена великого писателя с головы до ног”, как Лир был “королем с головы до ног”» (ОПП, 319). Фрагмент в книге «Сахарна» посвящен семейной истории Льва Толстого. Р. полемизирует с нравственными итогами романа «Анна Каренина», утверждая, что таинство венчания не избавило Толстого от краха его семейной жизни. Смерть писателя на станции Астапово и «рельсы» Анны Карениной — по своей сути одно и то же. Эпиграф романа с тем же правом можно применить и к жизни Толстого: «И брезжится мне, что “Аз-то воздам” стояло позади его головы, а он не заметил» (СХР, 65).

А.А. Голубкова

ТОЛСТОЙ Алексей Константинович [24.8(5.9).1817, Петербург — 28.9(10.10).1875, Красный Рог, Мглинский уезд, Черниговская губ.], граф — писатель. Р. обращается к *тайне рождения* Т. и пишет: «Известный писатель П.П. П^{ер}цов обратил мое внимание, что, судя по автобиографии, написанной гр. А.К. Толстым, автором “Иоанна Дамаскина” и “Князя Серебряного”, он произошел от супружеских отношений брата и сестры (“мой дядя по матери”, — в автобиографии). Перечтя, я увидел, что это правдоподобно: поэт нигде не упоминает даже имени своего “фамильного” отца, как бы он не был его натуральным отцом. В длинном теплом сыновнем рассказе везде фигурирует мать и “дядя по матери”, причем к обоим видна горячая его нежность. Оба безраздельно его воспитывали, а “дядя по матери” оставил ему потом все состояние. Нельзя усомниться, если это было так, в глубоко счастливом натуральном супружестве, которое мы должны рассматривать, как священную тайну с древнейшим *корнем* под собой. Это, может быть, отразилось в замечательно религиозном характере сына, и притом редкого изящества, что отмечено во всей *России*» (ОПП, 398–399). Р. часто цитировал стихотворения и поэмы Т. («Грешница», «Иоанн Дамаскин»). Говоря о посещении Т. *Отпиной Пустыни*, Р. писал: «А.К. Толс-

той, останавливаясь в Козельске, часто приходил в *монастырь* пешком. Для любителя природы и охотника три версты расстояния, конечно, не представляли собою серьезного расстояния. Кто знает, может быть, отсюда он взял некоторые картины для своего “Иоанна Дамаскина”: “Благословляю вас леса, Благословляю, горы, доли...” Как мог взять отсюда же и прелестные *тоны* для изображения монашеской жизни, монашеской “уставности” в этом его прелестном стихотворении» (ОЦС, 294). Отношение к поэзии Т. в семье Р. проступает в эпизоде, рассказанном писателем в записи «Мимолетно-го» 16 июня 1915. Он зашел в комнату к дочери Надежде (14 лет). «Ба! Алексей Толстой — дай же мне, мне надо цитировать “Василия Шибанова” — “Я, папа, знаю его наизусть и сказала бы тебе. Отчего ты не спросил”» (М, 189). А.Н.

ТОЛСТОЙ Дмитрий Андреевич [1(13).3.1823, Москва — 25.4(7.5).1889, Петербург], граф — обер-прокурор Синода (1865–1880), министр народного просвещения (1866–1880), министр внутренних дел с 1882; провел гимназическую реформу 1871, введившую классическое образование (латинский и греческий языки). О целях реформы гимназии Р. писал: «Граф Д.А. Толстой, отнюдь не классик по личному своему образованию, употребил классические языки как орудие идейного выхолащивания русской школы, а через нее и русского общества. Ему нужно было вовсе не возрождение классической древности, не ознакомление с нею, а нужно было занять ум русского юноши на все свободные часы суток какою-нибудь зубрячкой, которая ничего общего не имела бы с действительностью, с *Россиею* и русским, а также и ничего общего с последовательным и углубленным мышлением о чем бы то ни было текущем, действительным или просто занимательным» (ВДЯ, 221–222). Вместе с тем Р. говорит о неоднозначности личности Т.: «Несмотря на крайне печальную и до известной степени постыдную память, какую история школьного дела в России связана с именем гр. Д.А. Толстого, нельзя тем не менее не признавать, что это был последний настоящий министр просвещения в России. После него на этом посту появлялись какие-то случайные люди, которых иногда хочется назвать авантюристами. В личности гр. Д.А. Толстого нужно уметь разобраться. Печальные последствия, вытекавшие из его деятельности, имели источником своим то, что это был только администратор, и превосходный администратор, но отнюдь не педагог. Он не только не был талантливым педагогом, но не имел о педагогическом деле никакого живого представления. Не имел даже живого представления об учениках и учителях, не любя подвижности и личного общения, будучи человеком замкнутым, кабинетным. Все свои *вдохновения* в направлении классической системы он получил от московских классиков публицистов, Каткова и Леонтьева, но сам он, как известно, не знал греческого языка и, став министром, начал брать уроки греческой этимологии у известного проф. Коссовича <...>. Будучи так мало компетентен в вводимой им классической системе, он доверил подробности ее введения и организацию учебных занятий одному из зауряднейших петербургских чиновников, но человеку непреклонной воли, А.И. Георгиевскому, бесцветному профессору всеобщей

истории одного из южнорусских университетов» (ВНС, 82). В очерках «Русский Нил», говоря о Саратове, Р. вспоминал: «Это — родина Чернышевского, Пыпина и вообще “движения шестидесятых годов...” Граф Д.А. Толстой, в бытность министром народного просвещения, был так раздражен упорством “нигилистической” традиции, упорно сохраняемой саратовскою семинарией, что сделал распоряжение исключительное и потому, в сущности, незаконное “в административном порядке”: из одной только этой семинарии не допускать приема ни в какие высшие учебные заведения России! Почему он думал, что саратовские семинаристы меньше принесут вреда как *нигилисты* в положении священников, нежели в положении врачей и инженеров, — это Аллах ведает. Оглядываясь на “докритическую” эпоху нашей истории, тогда думаешь, что управляющий люд в ней состоял сплошь из каких-то седовласых младенцев, даже и в тех случаях, когда они становились великими государственными мужами» (ОНД, 195–196). Отмечая, что «по почину гр. Д.А. Толстого» в гимназиях тех лет творились «безобразия и ужасы» (ВНС, 78), Р. заключает, что «школьный *атеизм* у нас насажден не столько “отрицателями”, сколько Д.А. Толстым, и любовно взлелеян *Деляновым* (в смысле собирательном, конечно)» (СВР, 102). Еще в 1892 Р. писал *Н.Н. Страхову*: «Дм.Ан. Толстой и Катков — отличные мечтатели, а какую козью спину вделали в русское туловище своим классицизмом — умопомрачение» (ЛИ, 288). После *первой русской революции* Р. подвел итог деятельности Т. и других консерваторов: «Недалекость политических горизонтов Каткова, гр. Дм. Толстого и *Победоносцева* ярко определилась в той слепой *ненависти*, с какою они отнеслись к мысли о конституции. Не будь тогда советов этих мудрецов, Россия не переживала бы теперешних ужасов, несчастий, настроений и безобразий» (РГО, 378).

А.Н.

ТОЛСТОЙ Лев Николаевич [28.8(9.9).1828, Ясная Поляна, Крапивенский уезд, Тульская губ. — 7(20).11.1910, ст. Астапово Рязано-Уральской ж.д., Раненбургский уезд, Рязанская губ.], граф — писатель. *Жизнь и творчество* Т. постоянно находились в поле зрения Р., который говорил о «всеобъемлемости Толстого» («Двухсотлетняя годовщина Полтавского боя» // НВ. 1909. 27 июня; СМР, 214). «Огромные полосы в сотворении “*Войны и мира*” имеют в себе пушкинскую ткань. Хотя и *Тургенева*, и Толстой, уже по *силе* и самостоятельности своей, сами суть *школа*, суть *солнца-человеки*, а не спутники-планеты другого солнца» (ОПП, 121). «Как писатель, он ниже *Пушкина*, *Лермонтова*, *Гоголя*. Но как человек и благородный человек, он выше их всех... Он даже не очень, пожалуй, умный человек: но никто не напряжен у нас был так в сторону благородных, великих идеалов. В этом его первенство над всей *литературой*» (У, 152). Р. обратился к творчеству Т. еще в 1892, разбирая в статье «Эстетическое понимание *истории*» (РВ. 1892. № 1) работу *К.Н. Леонтьева* «Анализ, *стиль* и *веяние*». «Почти невозможно не согласиться с его взглядом на Толстого, как на последнего и высшего выразителя своеобразного *цикла* нашей литературы, после которого ей предстоит или повторяться и падать в пределах того же внешнего *стиля* и внутреннего настроения, или вы-

ходить на новые пути художественного творчества, искать сил к иным духовным созерцаниям, чем какие господствовали последние сорок лет, и находить иные приемы, чтобы их выразить» (ОПП, 6). В 1911 Р. опубликовал рецензию «Неоценимый *ум*» (НВ. 1911. 21 июня) на *книгу* К. Леонтьева «О романах гр. Л.Н. Толстого», где развиваются идеи статьи 1892. В первой статье о Т. — «По поводу одной тревоги гр. Л.Н. Толстого» (РВ. 1895. № 8) — Р. упрекал его в страхе *смерти*: «*Страх* смерти в Толстом постоянен; правильнее — постоянен в нем ужас перед тем сумраком, который ожидает нас после того, что мы зовем *смертью*» (ЛВИ, 385). *Тон* статьи вызвал резкие выступления против Р., который в заметках «Необходимое разъяснение» (РВ. 1895. № 10) и «*Письмо* в редакцию (По поводу “Необходимого разъяснения”))» указал на продуманность своих претензий и формы, в которой они были высказаны. «Тревога о смерти, которая так смущает Толстого, если бы он пристальнее всмотрелся в то, чему, собственно, предстоит в нас умереть, направилась бы в нем не на физический акт умирания, но на психологический процесс *греха*» (ЛВИ, 400). Но уже в следующей статье, посвященной Т., «Еще о гр. Л.Н. Толстом и его учении о непротивлении злу» (РО. 1896. № 10), Р. обратился к исследованию мировоззренческих особенностей «великого моралиста». «Толстой хотел бы энергировать человека, вынуть из него все страстные эмоции. Он именно хочет погасить в нас искру, которую затеплил Спаситель <...> Проповедь Толстого не имеет и так же не будет иметь действия, как попытка г. *Вл. Соловьёва* способствовать соединению *церквей*» (ОПП, 18). В написанной к юбилею статье «Гр. Л.Н. Толстой» (НВ. 1898. 22 сент.) Р., отметив, что *портреты* Т. наводят на *мысль*: «Именно такого прекрасного русского *лица* еще не рождала *русская литература*», заявляет о своем желании говорить о Т. «не как о художнике, но как именно о уме, о теоретике, о умственной силе» (ОПП, 27, 28). «Интерес (для *читателя*) и авторитет Толстого основывается на том, что среди всех теперь живущих или высказавшихся людей он видит наибольшее число предметов и с наибольшего числа точек зрения» (ОПП, 34). В «*Легенде о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского*» Р. провел сопоставление Т. и Достоевского. Т. — «художник жизни в ее завершившихся формах, который приобрели твердость; духовный мир человека в пределах этих форм исчерпан им с недостижимым совершенством <...> Но два великие момента в исторически развивающейся жизни, зарождения и разложения, не тронуты им; моменты эти несомненно носят в себе нечто болезненное, часто заключают в себе неправильное и иногда преступное. От всего этого он как-то непреодолимо отвращается. Напротив, Достоевский к этому непреодолимо влечется: он восполняет гр. Толстого; в противоположность ему, он аналитик неустановившегося в человеческой жизни и в человеческом духе» (ЛВИ, 34). В статье «Толстой и Достоевский об *искусстве*» (НВ. 1906. 21, 28 нояб., 6 дек.) Р. вновь пробует Т. на прочность в сопоставлении с Достоевским. Т. «отрицает искусство не натурою, а выдумкою» (ОПП, 206). «Толстой почему-то не хочет признать, что искусство и даже вычурнейшее искусство, предмет его отвращения, есть та же “*матушка натура*”, как и всё прочее» (ОПП, 207). «Толстой — гениален, и проживет

без “*наук, истории и религии*” Зачем ему всё это, если всё это из него самого растёт?» (ОПП, 211). У Достоевского, напротив, «постоянное стремление <...> вникать в усложнения всякого рода, будут ли то усложнения мысли или усложнения жизни, а не бежать от усложнений, бежать к тому “простому” (любимое понятие Толстого, любимейшие им явления жизни), которое нередко есть просто элементарное, — есть только легкое, нетрудное» (ОПП, 214). «Толстой бранил науку за то, что она слишком хитра, а Достоевский смеялся над тем, что она слишком уж “не хитра”» (там же). В результате сравнения Р. приходит к выводу: «Скромностью своею, и тем, что он стал к *культуре* в подчиненное, любующееся и любящее отношение — Достоевский несравненно образовательнее и воспитательнее Толстого <...> Редкие “пики” (вершины) творчества у Достоевского <...> достигают в тоне своем такого могущества, *красоты*, сияния, такого проникновения в мировую “суть вещей” и такого *вдохновения*, увлечения, *веры*, каких у Толстого вовсе не встречается. Толстой являет нам как бы горную страну, — ну, Швейцарию: все — гористо, везде — великолепно. Всё подымаешься (я говорю о читателе), везде оживлен. Предгорья переходят в горы, вечно подымаешься — но нигде не уходишь в облака, еще менее — за облака. Не “заоблачный писатель”, нет. У Достоевского после “скверности, дряни, из *души* воротит” <...> наступают неожиданно такие “пики” заоблачности, *мечты*, воображения, обширнейших мировых концепций, какие даже не брезжились Толстому» (ОПП, 221). Позднее, в статье «На книжном и литературном рынке» (НВ. 1908. 23 июля) Р. писал: «Все, все, напр., и Достоевский с Толстым, всё время ищут и кружатся около этой же *темы*: как найти (Достоевский) или выработать и создать (Толстой) человека совершенной *правды* и человека очень высокой мысли, как двух очевидных выразителей нового мирозерцания» (ОПП, 291). 55-летию литературной деятельности Т. Р. посвятил цикл «На закате дней» (РС. 1907. 12 сент., 5 окт., 30 окт.). «Главная сила литературного *таланта* гр. Толстого лежит в художественно-архитектурном даре его и в даре проникать в душу — видеть в ней, читать в ней <...> Тихое, спокойное, воспоминательное отношение к жизни, без торопливости и нервности, при вечных, однако, поисках ума и горении сердца, — что отнюдь не то же, что нервность, — и создало в Толстом необыкновенное соединение эпика и лирика, связь талантов повествовательного и патетического, решительно не встречающаяся ни у кого еще» (ОПП, 231, 233). В связи с 80-летием писателя Р. публикует несколько статей «80-летие рождения гр. Л.Н. Толстого» (НВ. 1908. 28 авг.), «Л.Н. Толстой» (там же), «Толстой между великими мира» (РС. 1908. 28 авг.), «Великий мир сердца» (РС. 1908. 9 окт.), «Поездка в Ясную Поляну» (О Толстом. М., 1909). Главные их тезисы: «От узкого национального значения Толстой больше других возвел русскую литературу к всемирному интересу и значительности <...> Толстой ввел русский дух в оборот всемирной *культуры*, во все коловращения ее» (ОПП, 299). «Главное, что дано Толстому, — это хороший глаз. Хороший глаз, дополнивший богатую душу». «Жизнь Толстого по его вечному усилию к лучшему, притом усилию не трафаретному, не постному, не мертвому, а состоящему из живых эмоций волнуемого,

взволнованного человека, явилась зрелищем столь же привлекательным и поучительным, как и литературные произведения Толстого. Он потому привлек взоры всего света, что он так же интересен как человек, как и всё написанное им» (ОПП, 302, 304). Т. обнаружил «способ воззрения» русского народа «на *природу*, на жизнь, на человека». «Толстой ведь никогда не был “толстовцем” и, в сущности, почти враждебен им, как личность, как “своя биография” “Толстовство” неизмеримо ниже Толстого и воплотило только скучную и до известной степени несчастную сторону его личности: доктринерство» (ОПП, 309). Несмотря на все сложные взаимоотношения с институтом Церкви, «в Толстом была бездна народного *чувства*, народного духа, и от “народной веры” он не отделялся никогда» (ОПП, 318). Часть статей «Л.Н. Толстой» и «Поездка в Ясную Поляну» посвящены единственной встрече Р. с Т. 6 марта 1903 (о переписке Р. с Т. см.: МЛ, 548–549; «виделся одни сутки» — ПЛ, 54). Р. вспоминал: «Он мне с *печалью* и недоумением сказал, сказал с враждою: “Как унижается человек в любовных *ласках*, какие он совершает унижительные для величия своего поступки” Кажется, протест гордости и есть настоящий родник духоворческих идей Толстого, выраженных в “Крейцеровой сонате” <...> Я Толстому тоже сказал, что “все сии кажущиеся грязными *вещи*, какие бы он ни держал в уме, — суть вещи превосходные”; и что это “просто покров Изиды, под которым до *времени* природа скрывает важные вещи, дабы мы их не трогали и не беспокоили любопытством; а пришла минута, стало “нужно”, и они вдруг нам кажутся не гадкими, а приятными, и то самое, что мы прежде назвать не смели, — мы теперь ласкаем всяческими ласками” <...> Какие пустяки затруднили Толстого!» («Полемические заметки» // НВ. 1909. 4 ноябр.; СМР, 358). В статье «Вопросы *семьи* и воспитания» (Церковная Газета. Харьков. 1906. 7, 14, 21 мая) Р. рассказывает о своей встрече с Т. и о своей попытке «обратить могущество его нравственного авторитета, могущество безукоризненной личной жизни на улучшение единственного способа остановить застарелый и не поддающийся никаким усилиям ужас и грех убийства *детей* своими матерями-*девушками* и матерями-вдовами» (ОНД, 52). Р. хотел просить «классического семьянина» Т. показать «в лице детей своих и судьбы их, лучшего, менее формального — более любящего, устройства *брака*» (там же). Т. «вполне выразил, что ни в каких случаях и никогда этого *стыда* не должно происходить» (ОНД, 55). Т., в свою очередь, высказался за то, чтобы «физическое право друг на друга» у супругов не связывалось бы с обрядом венчания, а происходило после него только «в минуты особенного прилива дружбы и *нежности*», по Р., «превосходная мысль», которая «тянет к поэтизации брака» (ОНД, 53). В «*Уединенном*» Р. записал: «Когда я говорил с ним, между прочим, о семье и браке, о *поле* — я увидел, что во всем этом он путается, как переписывающий с прописей гимназист между “и” и “і” и “й”; и, в сущности, ничего в этом не понимает, кроме того, что “надо удерживаться” Он даже не умел эту ниточку — “удерживайся” — развернуть в прыдочки льна, из которых она скручена. Ни — анализа, ни — способности комбинировать» (У, 72). Цикл статей Р. о Т. — «Кончина Л.Н. Толстого» (НВ. 1910. 8 нояб.), «Толстой

в литературе» (НВ. 1910. 9 нояб.), «Забытое возле Толстого...» (НВ. 1910. 19 дек.) — вызван смертью писателя. Здесь Р. итожит свои положительные оценки Т. «Россия утратила в нем высочайшую моральную ценность» (ОПП, 466). «Толстой — положительный писатель. Он — творец положительных идеалов в жизни» (ОПП, 468). Возникает тезис о Т. как высшей фазе развития литературы: «всемирный интерес и всемирная значительность тем» (ОПП, 472). Известно письмо Р. к Т., возможно, неотправленное (датовка — около июля — августа 1898), где он задается вопросом: «Как возможна стала в христианском мире *проституция*?» и отвечает на него: «Логика уничижительного воззрения на свой пол, которая действуя 1½ тысячи лет “искрестила” нашу цивилизацию домами терпимости» (МЛ, 506–507). Последнее письмо Р. к Т. (почтовый штемпель — 11 марта 1903) написано после встречи с писателем. В нем поднята богореческая идея, воплощенная Р. позднее в книге «Темный Лик» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 201–208). Ответ Т. на это письмо неизвестен. Не раз писал Р. об особенностях мирозерцания Т. «Три великих мистика нашей литературы — Гоголь, Толстой и Достоевский, запывавшие столь новой любовью к человеку, “незримыми” и ясно “зримыми” о нем слезами, — заплыла именно к нему “во плоти”, и первые и единственные изобразили и поняли его, “обоняя как бы ландыш”, среди всяческих смрадов и запахов, в окружении мяса, в земной их тяжести. И это суть единственные оригинально и до глубины религиозные у нас писатели» (НВ. 1897. 31 дек.; РФК, 175). Но «Толстой не был вовсе религиозным лицом, религиозною душою, — как и Гоголь. И боих страх перед религией — страх перед темным, неведомым, чужим» (У, 169). «Три русские души — Гоголя, Достоевского и Толстого — впервые сообщали и вообще русскому духу интерес всемирности, какой до этих людей наша история и наша естественность не имели» (ОНД, 28). «Мы все несколько счастливее от того, что мы — современники Толстого <...> Он дал лишнее содержание жизни каждого из нас: как это много значит, как трудно!» («Красота молчания» // НВ. 1908. 3 апр.; ОНД, 297). Но были у Р. и иные высказывания о Т. В «Опавших листьях» Р. задается вопросом, почему он особенно не любит Т. (называет его имя, вместе с именами В.С. Соловьёва и С.А. Рачинского). «Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю самой души <...> Я мог ими всеми тремя любоваться (и любовался), ценить их деятельность (и ценил), но никогда их почему-то не мог любить, не только много, но и ни капельки <...> Толстой ставит то “3”, то “1” Гоголю: приятное самообольщение. Все три вот и были самообольщены: и от этого не хотелось их ни любить, ни с ними “водиться” (зняться)» (У, 93–94). «Толстой был гениален, но не умен. А при всякой гениальности ум всё-таки “не мешает”» (У, 96). «Чего хотел, тем и захлебнулся. Когда наша простая Русь полюбила его простою и светлою любовью за “Войну и мир”, — он сказал: “Мало. Хочу быть Буддой и Шопенгауэром” Но вместо “Будды и Шопенгауэра” получилось только 42 карточки <...> Нет, дьявол умеет смеяться над тем, кто ему (*славе*) продает свою душу»; «Религия Толстого не есть ли “туда и сюда” тульского барина, которому хорошо жилось, которого много славил, — и который ни о чем истинно не болел.

Истинно, страстно и лично. В холодности Толстого — его смертная часть» (У, 122, 130). В статье «Из воспоминаний и мыслей о К.П. Победоносцеве» (НВ. 1907. 26 марта) Р. высказал предположение, что настоящая причина «нервного и озлобленного расхождения» Т. с церковью «кроется в чем-нибудь очень интимном и частном, в какой-нибудь такой незаметной, но существенной черточке биографии великого писателя, которой он никогда и никому не рассказал» (ОНД, 92). В рецензии на труд М.М. Тареева «Основы христианства» (Сергиев Посад, 1908. Т. 1) он пишет: «Здесь нам пришлось прочитать лучшее, что мы вообще читали о толстовстве и о самой личности Толстого. “Его проповедь, — говорит Тареев, — прозвучала могучим, но пустым звуком. Усилия сделаться христианином выразились в заповедях и поступках, которых нельзя не назвать юмористическими <...> Как личность и писатель, он совершенно лишен пророческого, горячего дара, дара зажигать сердца: в религии он вечный резонер и вечный судья <...> Если уже Толстой, при его понимании христианства, при его восторге к христианской любви, не отказался нисколько от всех элементов языческой жизни, от богатства, от семьи, от положения знаменитого писателя и связанной с этим славы, и всем этим пользуется, как люди пользовались этим и до христианства, — то не является ли его проповедь просто одним лишь художественным украшением счастливой и спокойной жизни, как и у прочих людей, у осуждаемых им людей, христианство служит только прикрасою реальной жизни, т.е. языческой жизни? И что не удалось ему, — кому может удалиться?» (СМР, 11). В материалах к «Сахарне» есть помета: «Какое страшное, какое полное непонимание Толстым *Евангелия* (и *Библии*)» (СХР, 268), а в книге «Мимолетное. 1915 год» Р. записывает слова «старца Гриши» (*Распутина*), что Т., восставшая против *Синода*, против *духовенства* «не против них говорил, а против слов, которые у них (у духовенства). А слова эти от Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. И тут он сам и его сочинения — маленькие» (М, 56). Однако после определения Синода о Т. от 20–22 февраля 1901 Р. выступал публично на *Религиозно-философском собрании*, а затем со статьей «Об отлучении гр. Л. Толстого от церкви». «Акт Синода относительно Толстого я считаю невозможным теоретически, а потому и в действительности как бы не состоявшимся вовсе <...> Нельзя алгебру опровергать стихами Пушкина, а стихи Пушкина нельзя критиковать алгебраически <...> Синод не есть религиозное учреждение, почти не есть, очень мало есть. И не имеет ни традиций, ни форм, никаких способов религиозно судить <...> Это — мирское дело, только совершенное не мирянами <...> Отлучение было а-эклесиастично, внецерковно» (ОЦС, 478–479; ср. ВТРЛ, 36–37). Этой проблеме Р. посвятил также брошюру «Л.Н. Толстой и Русская Церковь» (ТПРН), предназначенную для западноевропейских читателей. В 1908 Р. выступил против призывов Священного Синода воздержаться от чествований Т. При литературных чествованиях, к каковым относится и юбилей Толстого, принимаются во внимание исключительно литературные *труды* <...> Религия нисколько не оскорбляется воздаянием удивления и восхищения к художественным созданиям» («Непостижимое вмешательство» // НВ. 1908. 9 авг.; ОНД, 344). «Духовенство осу-

дило не пресловутые “заблуждения” Толстого, — мало ли их было и остается на свете, оно осудило успех его, и на том самом поприще, на котором само трудится” («Грех» // НВ. 1908. 24 сент.; ОНД, 353). В статье «О главном сомнении гр. Л.Н. Толстого» (Миссионерское Обозрение. 1909. № 7/8) Р. критикует Т. за отрицание «гаинств» (ОЦС, 129). По Р., «недоверие и неуважение к человеку, предрасположение не уважать его (Гоголевская черточка)» было у Толстого вечно, с юности. «“У меня героев нет” — “Врешь, братец — он есть: это твое разросшееся, преувеличенное Я”» (М, 143). Вместе с тем Р. отмечал: «Весь пафос» Т. «всё в нем идеальное как бы лежит подножием и поет славу русскому мужику в тулупе и в валенках». После встречи с писателем Р. записал суждение Т.: он знает, что «вся душа *русского человека* сделана ему его Церковью» (ОЦС, 370). «Л. Толстой не потому не мог бы подчиниться папе, что он — другой веры, иной Церкви, иного племени; но оттого, что свободное образование Толстого выше, чище, искреннее и основательнее, чем ныне уже искусственное и условное образование папы <...> Толстой учится разному 1) у русского мужика, 2) у Шопенгауэра, 3) у Будды, 4) у Мопассана. Всё это — естественное и живое дерево, и Мопассан, и Шопенгауэр, и русский мужик» (Полярная звезда. 1906. 3 февр.; ВТРЛ, 23). «Замечательно, что наше духовенство, именно начиная с “Крейцеровой сонаты”, стало усиленно и яростно нападать на Толстого, который предположил, что церковь лишь “допускает” *“преступление сообща двух”*. Зародыш этого ошибочного и коренного его воззрения есть уже в “Анне Карениной”» (РФК, 166). О толстовских воззрениях Р. писал: «Толстой дал нам тезис — искусство; это, конечно, *язычество*, проникнутое ощущением, что всё в мире “не только хорошо, но и прелестно” В этом охвате свет “прелести” брошен даже на ограниченное (Николай Ростов), глупое (Курагины) и порочное (Долохов, Анна Каренина). Но затем с такою же силою, или по крайней мере так же продолжительно, Толстой начал построять антитезис — это его евангелизм: “Ничего не надо, всё плохо, всё порочно, и все очень глупы, даже Шекспир и я” (бывший). Есть что-то роковое и даже антихристианское <...> в том, что Толстой, в одной личности своей сочетав языкчество (молодость и средний возраст) и христианство (старость), показал первое прелестным, занимательным, мудрым, всепрощающим, всеблагословляющим, ароматичным, звездным; а второе показал нам злым, черным, ничего не понимающим и совершенно бесплодным. Как это у такого “мудреца” вышло — непонятно: но итог целой его жизни именно таков. “Война и мир”, “Казак”, “Севастополь”, “Детство и отрочество”, “Анна Каренина” — это великое русское языкчество». И далее: «Вот результат всей литературной деятельности Толстого, всей его личности, всего жизненного труда: он так же твердо, каменно, в неопровержимых иллюстрациях доказал *истину* языкчества, как доказал скуку и смертность христианства» («Как люди русеют» // НВ. 1909. 18 дек.; СМР, 410–411). В статье «Толстовство и жизнь» (НВ. 1909. 20, 23 дек.) Р. предложил рассматривать толстовство «как догму» и «как “веяние”» (СМР, 412). *Общество*, «познав, гипноз художника-Толстого, не заметило всей скудости идей Толстого-философа» (СМР, 416–417). В итоге «тол-

стовство вдруг село на мель как одна из затей людей, которые вообще не принуждены работать, которые живут “так” или на “наследственное” (*Чертков*) или же имеют такой колоссальный талант, который, как дерево с золотыми яблоками, каждую осень кладет в мошну, и даже “про запас” богатство... Ведь и Будда был тоже царский сын. И весь путь этот или “царский”, или “богачей” Обыкновенным людям он — зарез» (СМР, 418). Р. назвал «мертвыми» «рассуждения Толстого “о пользе материнства” (наряду с вегетарианством?)» («Тревожный и неразобранный вопрос» // 1909. 8 июля; СМР, 222). Т. своей «гнусной “Крейцеровой сонатой”» (СХР, 200) расшевелил весь половой вопрос. Размышляя об отличиях между *девушкой* и *женицей*, Р. приводит как пример замеченное Т.: «Китти, девушка, “в своем роде прелестная”, — отшвыривается как кораблем шепка — Анною; и жених прерывает чувствовать свою весту в свете Анны. Ибо — совокупляется <...> Девушка водяниста. Замужняя масляниста» (М, 124–125). Т. «бесценно дорог суммою своих писаний, где он дал *быт* семьи, *психологию* семьи и, в частности, где он никогда не обегал, как шекотливости, тем *рождения* и беременности, кроме *зачатия*, которое он почему-то отделяет от рождения» (ВДЯ, 85). «Крейцеровой сонате» Р. посвятил статью «Семья как религия» (СПб. Ведомости. 1898. 8, 23 нояб.). «Плач “Крейцеровой сонаты” — о том, что мы имеем имя семьи, звук семьи, фикцию семьи: но у нас нет вещи семьи, и даже непонятно (недоумение “Сонаты”), как и в цикле каких идей она могла бы установиться. Ее картины суть картины *разврата* после венчания, причем муж для себя продолжает его, но на путь *порока* увлекает с собой теперь и девушку. Заслуга и новизна “Сонаты” и лежит в этом, что она поставила углом вопрос о реализме брака и спрашивает, а частью и отвергает (недоумения Толстого) возможность целомудренной реализации его» (ВМНН, 74). В связи с «Крейцеровой сонатой» Р. пишет: «Теперь я скажу *тайну*, о которой догадываюсь: каким мы представляем половой акт — таков он и будет! И потерять уважение к половому акту — значит вместе разрушить его истинное совершенное <...> Вся его психология должна быть новою, детски простой, исполненной благодарения, нежности к супругу (супруге) в особенности после него (чего не понято в “Крейцеровой сонате” и “Анне Карениной”): никакой психологии “сыт и отвалился”, как подло принято у нас <...> Горечь, унижение, стыд в нем (идеи Л. Толстого), вероятно, гангреноно разъедают его; думаю, что гангреноно заражает, разрушает и душу рождаемых детей» (ВМНН, 159). «Толстой удивляет. Достоевский трогает» (У, 285). «В *Мюнхене* <...> мне приводилось слышать от шведов: — Мы же знаем русскую жизнь, потому что мы читали Толстого. И ваши *деревни*, и ваши мужики, и ваша религия — не чужие нам» (СХ, 357). Р. посвятил посмертной публикации толстовского «Живого трупа» статью: «Неизданная пьеса Толстого...» (РС. 1911. 26 апр.): «Пьеса эта гораздо лучше “Власти тьмы” и “Плодов просвещения”» (СХ, 367). В статье «Апокалиптика русской литературы» Р. отмечал: «В пору писания Толстым “Анны Карениной”, Толстой оказался не только “великим писателем земли русской”, но и прескучным “толстовцем”, маленьким нравоучителем “в чертковском духе” на темы евангельского морализма <...>

На чем они разошлись? Теперь это ясно: один евангелик, “в чертковском духе”, — скучный, томительный сектант, с узеньким кругозором, ничего решительно не представлявших и вот разразившихся в 1914–1918 годах событий не предвидевший. Другой был апокалиптик, с страшным, с пугающим горизонтом зрения, который все эти события, и с внешней их стороны, и с внутренней, предсказал или точнее воспредчувствовал с поразительной ясностью, тревогою, страхом, но — и с надеждами...» (АНВ, 157–158). Определяя место Т. в русской литературе, Р. считал, что «вся наша “великолепная” литература в сущности ужасно недостаточна и не глубока» (У, 36). «Великое исключение, представляет собой Толстой, который отнесся с уважением к семье, к трудящемуся человеку, к отцам... Это — впервые и единственно в русской литературе, без подражаний и продолжений. От этого он не кончил и “Декабристов”, собственно по великой пустоте сюжета. Все декабристы суть те же “социал-женихи”, предшественники проститутки и студента, рассуждающих о небе и земле. Хотя и с аксельбантами и графы. Это не трудовая Русь: и Толстой бросил сюжет. Тут его серьезное и благородное. То, что он не кончил “Декабристов” — столь же существенно и благородно, так же оригинально и величественно, как и то, что он изваял и кончил “Войну и мир” и “Каренину»» (У, 37). «Он опоэтизировал прозу и прозаическое; а поэтическое, картинное, героическое, точно переработав на реактивах души своей, разложил в прозу, плоскость, выдуманность, мишурность» («Одно воспоминание о Л.Н. Толстом» // РС. 1908. 11 окт.; ОНД, 377). Р. считает, что «художественное творчество» Т., «его Левин, его Ростовы и Болконские» «единственное исключение» в русской литературе, где «опоэтизирован» «здоровый и нормальный человек», но при этом «ведь здесь он не сочинял, не срисовывал, тут он подчинил литературу зрелищу, действительности, а не поставил литературу ментором над жизнью. Тогда как вообще литература получает и подчиняет...» (СМР, 104). «Зоркий глаз Толстого именно в солдате увидел, назвал и обрисовал идеального русского человека, самое нравственное проявление русских способностей. Это — его Платон Каратаев и скромные фигуры севастопольских рассказов» («Двухсотлетняя годовщина Полтавского боя» // НВ. 1909. 27 июня; СМР, 215). «Толстой не только больше жил и больше видел, чем Гончаров и Тургенев, но он и более пылкий, менее доверчивый, зорче наблюдающий человек» (КНУ, 17). «Дети мои так и заливаются Толстым <...> Вот “жизнь Толстого” в наших сердцах. Она — вечная жизнь. Толстой вошел в вечную жизнь. Это поистине прекрасная и поистине благородная литературная судьба <...> Толстой всегда жил для истины, как ее понимал. М.б., ее плохо понимал, даже глупо и даже, наконец, греховно. Не в этом дело, а в том, что он писал для истины» (КНУ, 501–502).

С. Ф. Дмитренко

ТРЕГУБОВ М. (псевдоним «Под забралом») — чиновник Управления государственным имуществом в Новгороде. Открыткой от 9 января 1914 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 68. Л. 1) Т. извещал Р. о своем желании посетить его в *Петербурге* и обсудить готовящийся писателем к печати сборник статей по материалам дела *Бей-*

лиса. В письме от 31 января 1914 Т. выражал моральную поддержку писателю после его изгнания из *Религиозно-философского общества*. Из письма следует, что Р. в своем письменном ответе Т. обсуждал с ним планы публикации этих материалов, назвав их «бомбой» (Там же. Л. 3). Предполагалась публикация статьи с «личными переживаниями» Т., «так как, благодаря газетным статьям», он «предвзято настроен был к процессу (Бейлиса) и к личному составу суда, как по чужой указке», он «готов был видеть провокацию там, где ее не было, и как, наконец» «постепенно развертывалась картина действительности и совершенно неожиданно во всей яркости воскресла почти забытая <...> картина» (Там же. Л. 4). Т. просил поместить все материалы в одном издании, для усиления впечатления. Т. признавался, что для него «неожиданным оказалось, что в разговоре» с Р. он «нашел очень много точек соприкосновения»; оказалось, что совпали «взгляды на Гоголя, на литературу, на религию, еврейство, на патриотизм» (Там же. Л. 6). К письмам Т. приложена розановская характеристика корреспондента: «Трегубов. (“Пока под забралом” в “Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови”). Убой скота у евреев — свидетель» (Записки отдела рукописей РГБ. М., 2004. Вып. 52. С. 469). Р. использовал рукопись Т. «Что мне случилось увидеть...», напечатав ее в приложении к своей книге «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» (СХР, 394–409), за подписью «Под забралом». Текст Т. был снабжен розановскими комментариями.

А. В. Ломоносов

ТРОИЦКИЙ Дмитрий Степанович (ок. 1836–1873/74, Нижний Новгород) — брат А. С. Розановой, жены старшего брата писателя Н. В. Розанова, врач. В статье «Психика и быт студенчества» (НП. 1904. № 1. С. 211) Р. рассказывает историю смерти Т. от алкоголизма, не называя его имени: «Самый страшный пример алкоголизма, мне известного, была смерть 37-летнего доктора: в белой горячке (от запоя), он выскочил, хоть и из первого этажа, в окно, оборвались у него легкие (или в легких, в сердце что-то), и, истекая кровью, он умер в два дня. Это был редкого ума и образования доктор; достаточно сказать, что, будучи врачом, он занимался, любил и изучал Локка и Маколея, прочитывая со вниманием том за томом; был бесребреник и лечил в оклице каких-то сапожников и портных (а был хороший, искусный врач). Но как он приобрел свой ужасный порок? А вот как: окончив в 16 лет (50-е годы) гимназию, он был как “красная девушка” и не знал самого вкуса вина. Это возмутило его буршей-товарищей, студентов Казанского университета, и они на первой же попойке насильно налили ему первую рюмку водки в горло <...> И погиб (зная, что гибнет, но не имел сил справиться с пороком) — чудеснейший, нежнейший человек, какого я знал» (СВР, 684). Р. вернулся к этой истории в «Опавших листьях», вспоминая: «Это случилось в 4-м классе гимназии: умер Дмитрий Степанович Троицкий, нижегородский врач “для сапожников” (лечил одну бедноту), образованный человек, и странным образом — мой друг, говоривший со мною о Локке, Маколее, английской революции и проч., и вместе страдавший (форменная болезнь) запоем. Умер и похоронили. Он был братом жены моего бра-

та Коли. Как хоронили, как несли, — ничего не помню. Но вот я стою в моей полутемной комнате, переделанной из кухни. Тут печальная и сестра покойного, тоже очень любившая брата, и мой брат, очень его уважавший. В минуту, как я остался один, я опять — от мысли о своем теперь *одиночестве* — разразился такими рыданиями, длившимися едва ли менее ½ часа, от которых ни я и никто не мог меня остановить. Это было что-то судорожное, и проникнутое такой горечью и отчаянием, как я не помню, — состояние души было до такой степени страшное, черное, — точно вот имело цвет в самом деле, — как не умею выразить. Ни его мать, ни сестра — ничего подобного не плакали. Это были мистические слезы — иначе не умею выразить; думаю, это определение совершенно верно. Состояние было до того тяжелое, что еще бы утяжелить — и уже нельзя жить, “состав” не выдержит» (У, 303).

А.Н.

ТРОИЦКИЙ Матвей Михайлович [1(13).8.1835, село Спас-Прогнань, Боровский уезд, Калужская губ. — 22.3(3.4).1899, Москва] — психолог, философ. С 1875 — профессор *Московского университета*, один из инициаторов создания журнала *«Вопросы Философии и Психологии»*. В «Автобиографии» Р. писал, что ему «особенно нравились» лекции Т. по истории философии (ОСЖС, 689). «Перейдя со 2-го курса на 3-й, я написал на каникулах небольшое исследование: “Об основаниях теории поведения”, содержащее разбор и опровержение мнений, излагаемых обычно Троицким, и подал ему его; не поняв моего желания или уклоняясь от обсуждения, он представил его в факультет, и, как я узнал от него на экзамене уже в следующий год, мне присуждена была за него премия <Н.В.> Исакова» (ОСЖС, 691). В *«Мимолетном»* Р. вспоминает, что на выпускном экзамене Т. похвалил его курсовую работу, однако «закончил лютым: “Но стремление к оригинальности — влечет за собою то, что человек начинает оригинальничать (т.е. я). Я не спал ночь <...> Сидя на окне (и сперва в кровати), я весь кипел. — “За что меня оскорбил Троицкий? Я б. только любознательный (хламида, греки): и в Афинах меня бы поддержал Сократ, наставник... — Почему же в Москве: — нет? <...> И “О понимании”, мысль коего, план коего сверкнул уже на Воробьевых <лето 1880>, — за набивкой табаку, — начал осуществляться» (М, 116). В *«Литературных изгнанниках»* Р. отмечает, что Т., которого он называет «нигилистом» (ЛИ, 28), «вообще всякую философию считал “глупостью” (кроме позитивистов)» (ЛИ, 16). *Н.Н. Страхов* писал Р. 9 ноября 1888: «Знаю я эту странную манеру Троицкого выдавать свое направление за общепринятое, господствующее, не подавать и виду, что оно вообще считается ересью, а в ходу совсем другие учения» (ЛИ, 17). На это Р. замечает: «Именно “приверженец-то английского позитивизма” Троицкий, как ранее его “позитивисты” вроде *Лаврова*, *Чернышевского*, *Писарева*, были сплошною “Кифомокиевщиною” <...> Еще поразительнее, что эта мальчишеская дурь философски-неспособных господ преподавалась по крайней мере с кафедры в “приказующем” мундире чиновника Министерства народного просвещения (незабываемое впечатление, как “позитивист” Троицкий явился в расшитом золотом полном мундире “де-

кана факультета”, когда другие профессора были только в синих фраках, по какому-то торжественному случаю или торжественному приему гостей в *университете*) <...> Еще курьезнее и даже совершенно странно, что в то время как неспособный к философии Троицкий “распространялся” с министерской кафедры, само министерство поручило способнейшему Страхову до утомления, до тошноты разбирать учебники по естественной истории для реальных училищ» (ЛИ, 17–18). В августе 1889 Р. писал Страхову: «Я всегда считал недостойною низостью со стороны Троицкого, что в своем учебнике логики он не упоминает чуть ли не единственной в нашей литературе логической монографии Каринского (классифик. выводов), помещая различных лесевичей. Это неблагоприятно. Вообще Троицкий узок, как селедка, хотя толст, как баран. Я не люблю его и не уважаю (кроме преданности англ. фил. — это все же убеждение)» (ЛИ, 212). Имя Т. оставалось для Р. символом казенной университетской рутинности. Таким предстает он в рассказанной Р. истории с публикацией перевода *“Метафизики” Аристотеля* (ЛИ, 54). Отмечая смену тенденций в современной философии, Р. в рецензии на «Апофеоз беспочвенности» *Л. Шестова* «Новые вкусы в философии» (НВ, 1905. 17 сент.) ставит рядом имена двух философских «генералов»: «А открытие радия и радиоактивности? И тот же *Нитше* в философии? или у нас философ и поэт *Соловьёв*, которого не поставить же наряду с *Владиславлевым* и *Троицким*?» (ВДЯ, 342).

А.П. Козырев

ТРОИЦКИЙ Лев (Лейба) Давидович [наст. фам. Бронштейн; 26.10(7.11).1879, Яновка, Елизаветградский уезд, Херсонская губ. — 20.8.1940, пригород Мехико, Мексика] — один из руководителей большевиков. Р. впервые упоминает о нем, говоря о лекции *Н.А. Бердяева* в Париже («В нашей смуте» // НВ. 1908. 22 авг.; ВНС, 253). *С.Н. Дурьлин* вспоминал, что осенью 1918, придя с ним в Московский совет, Р. громко говорил: «Покажите мне главу большевиков — *Ленина* или Троцкого. Ужасно интересуюсь. Я — монархист Розанов» (Голлербах, 89). Т. был знаком с сочинениями Р., и после его смерти в «Петроградской правде» 21 сентября 1922 появилась статья Т. «Мистицизм и канонизация Розанова», которая означала запрет на издания и изучение наследия Р. Статья была направлена против «повальной нынешней канонизации Розанова: “гениальный” философ, и провидец, и поэт, и мимоходом рыцарь духа. А между тем Розанов был заведомой дрянью, трусом, приживальщиком, подлипалой <...> Когда говорят о “гениальности” Розанова, выдвигают главным образом его откровения в области пола. Но попробовал бы кто-нибудь из почитателей свести воедино и систематизировать то, что сказано Розановым на его приспособленном для недомолвок и двусмысленностей языке о влиянии пола на поэзию, религию, государственность, — получилось бы нечто весьма скудное и нимало не новое» (Троицкий Л. Литература и революция. М., 1991. С. 46). О современных читателях Р. в статье Т. говорится: «Теперь, когда старые перегородки внутри “образованного” общества потеряли всякое значение, равно как и стыдливость, фигура Розанова принимает в их глазах титанические размеры. И они объединяются ныне в культе Розанова: тут и тео-

ретики футуризма (Шкловский, Ховин), и мечтатели-антропософы, и немечтательный Иосиф Гессен, и бывшие правые, и бывшие левые!» (Там же, 47–48).

А.Н.

ТРУБЕЦКОЙ Евгений Николаевич [23.9(5.10).1863, Москва — 23.1.1920, Новороссийск] — религиозный философ, правовед и общественный деятель. Р. считал, что Т. — «полуученик, полупоследователь» *Вл. Соловьёва*. В заметке «На лекции кн. Е.Н. Трубецкого» (НВ. 1914. 14 дек.) он протестует против его призыва к еще большей терпимости русских: «В тайне вещей кн. Е.Н. Трубецкой есть худое, недоброе дитя матери, дитя России. Отсюда он вечно порицает, зачем она “велика”, зачем она “держит под собою народы” Да “держит” — как курица цыплят, иначе они перекуются или их исхитит ястреб. Народ русский, от деревни и, право же, до дворцов, — до того тихий, безгневный, до того во всем уступчивый, — уступчивый немцам, уступчивый финляндцам, уступчивый полякам, уступчивый евреям, что *временами* это переходит в какую-то обиду и оскорбление коренному русскому населению, терпеливому и никогда не ропщущему. Вот. Докажите это универсальное лицо у населяющих Россию народностей, — и тогда они пусть занимают место России. Но история есть уже совершившаяся история, — и доказать этого нельзя. Русские были полны самоотречения в первый час своей истории» (НФП, 400). Поучающий тон писаний Т., видение истории отечества лишь в пределах его схемы, противоречило взглядам и *стилю* Р.: «Князь Евг. Трубецкой поражает меня какой-то безнадёжной старостью, преждевременным угасанием всех сил, и должно быть, от этого происходит то, что он кажется таким неталантливым», — писал Р. в статье «Наши публицисты» (НВ. 1908. 3 авг.): «Каждую неделю по хорошему поучению... Если бы Россия читала их внимательнее, она наверно поумнела бы за одну, за две зимы. Но она не умеет, потому что не хочет читать “Московского Еженедельника” кн. Е.Н. Трубецкого и, может быть, даже не очень знает о его существовании. Тоненькая книжка-тетрадоchка в обложке небесного цвета, напоминающая по виду “Дневник институтки”, представляет собою, таким образом, уединенный стул, на котором сидит и важно вещает свои “спасительные речи” московский профессор, но его никто не слушает... Бедный профессор, несчастная Россия!» (ОНД, 336). Р. с сарказмом отзывается об издателе «Еженедельника»: «Никогда мне не приходилось читать статей такого глубокого нравственного самодовольства, как в “Еженедельнике” кн. Трубецкого, подписанных его именем, — неизменно на первом месте и никогда не больше 5–6, а то и в 3–4 странички. Пишет он — как червонцем дарит, и, без сомнения, считает заслугу свою перед отечеством — чрезвычайной. Между тем все его статьи сводятся буквально к схеме, которую я привел: “Ну, вот, зачем же они так повернулись вправо?! Эй, вы: куда же все загнулись, когда я вам говорил, что нужно смотреть немного сюда (указывая на свой нос). И — ничего еще! Никакой другой политики! Ни программы, ничего! “Мой нос” — и могила” Профессор не волнуется. Смотрите, какой ровный тон. Вы думаете, он взволнован левыми убийствами или правыми казнями? Нисколько, он негодует на них лишь пос-

только, поскольку это оскорбляет его, профессора, оскорбляет тем, что не послушали его слов, “которые он говорил еще в прошлом году” И только» (ОНД, 337–338). На публикацию статьи двух польских журналистов, Мариана Здзеховского и Людвига Страшевича, в «Московском Еженедельнике» (1907. № 37–39), «обличающей русскую узость и русскую черствость», Р. написал отклик «Привислинские публицисты у московского “князя” в гостях» (НВ. 1907. 9 окт.). В ней сказано: «Князь Евг. Трубецкой в только что вышедшей книжке своего “Еженедельника” имел бестактность поместить “Первый шаг” проф. Мариана Здзеховского. У поляков нет незначительных людей. “Знаменитый” Здзеховский пригласил в “Еженедельник” “знаменитого” Людвига Страшевича, и оба наговорили о русско-польских отношениях что-то такое, что показалось московскому князю-публицисту весьма умным, а нам представляется совершенно глупым <...> Ну, уже именно, откуда же бедным русским и узнавать о “смысле своей духовной истории”, как не с берегов Вислы. Как это недостойно, что московская ворона, проглотив кусочек сахара, поднесенный ей паном Здзеховским, напечатала в *Москве*, возле Кремля и его святынй, возле *памятника Минину* и *Пожарскому*, всю эту накупив скверных чувств с Вислы» (ОНД, 235–236). В статье «Кн. Е.Н. Трубецкой и его “Развенчание национализма”» (НВ. 1916. 6 мая) Р. резко критикует Т. за его космополитизм: «Опять кн. Е.Н. Трубецкой выступает против “звериного национализма в России”, и на защиту того европеизма, который, не ссылаясь ни на какие книжки, выкальывает глаза, вырезывает языки и обрезывает уши защитникам “звериной нации”, русским солдатам... Ах, ведь тоска у князя одна: что там “солдат”, и его уши или язык; нужно бы выколоть глаза у самой России, чтобы она не смела видеть, не смела слышать, особенно, чтобы она не смела “лопотать на скверном русском языке” что-нибудь в защиту своего безграмотства и темноты... Ах, князь, князь... Хороший потомок, должно быть, хороших предков. Философ, профессор, ученик Влад. Соловьёва... Странная тоска по обрезанному языку своей родины» (ВЧВ, 196). Т. ненавистно само понятие «русский патриот»: «Ведь у нас самое слово “патриотизм” и “патриот” печатается и произносится в презрительно-безграмотном виде. Ибо подразумевается, “кто же из грамотных русских людей, поучившихся в гимназии и *университете*, может принадлежать к патриотам”» (ВЧВ, 197). Полемика с Т. посвящены также статьи Р.: «Князь Е.Н. Трубецкой и Д.Д. Муретов» (К. 1916. 12 авг.; ВЧВ) и «Есть ли “всеобщие и безусловные принципы нравственности”?» (К полемика князя Е.Н. Трубецкого с Д.Д. Муретовым)» (К. 1916. 20 авг.; ВЧВ).

А.Н. Стрижёв

ТРУБЕЦКОЙ Паоло (Павел Петрович) (15.2.1866, Инта, близ Новары, Италия — 12.2.1938, там же) — скульптор-импрессионист; после 1906 жил за рубежом. О *памятниках* работы Т. — *Александру III, Данте*, бюсте кн. *В.П. Меццерского* Р. писал в статье «Успехи нашей *скульптуры*» (МИ. 1901. № 2/3). В статье «Памятник императору Александру III (РС. 1909. 6 июня) Р. рассказал о своем впечатлении от знакомства с рисунком памятника царю-миротворцу работы Т. «Это было в квартире

редакции «*Мира Искусств*» С.П. Дягилева, сколько помнится, в 1901 или 1902 году» (СХ, 320). Рассматривая рисунок, Р. заметил, что это «наша Русь, от 1881 по 1894 года, — чаяния, неуклюжие идеалы, “тпрр-у”, “стой” политики и публицистики, в которой и я так старался, бывало... Да и все мы, сколько нас!! Боже, до чего это верно! До чего это точно!» (СХ, 321). Т. «чужак, оригинал и невежда. Он — флорентинец; но вот вы видели Рим, поехав из *Петербурга*, а он, всю жизнь прожив во Флоренции, не видел Рима, и просто потому, что *лень*, и еще потому, что неинтересно. Едва можно поверить...» (там же). Лучшим русским скульптором «за последние годы» назвал Р. его в заметке «К открытию памятника государю Александру III» (НВ. 1909. 23 мая). «Трубецкой ничего не читает, — верно. Ничего даже не знает, — опять верно. Но тогда, значит, он и без чтения, и без знания уловляет, однако суть вещей, как *собака* “верхним чутьем” знает о пролетевшей по воздуху *птице*... Трубецкой <...> не вслушивается в то, что про события говорят; но это пока только “деревья”, ежедневное, еженедельное, ежемесячное, что от него не закрывает “леса” Не вслушиваясь, не всматриваясь в подробности, он по виду русских людей <...> вот как *собака* “верхним чутьем”, — знает ту страну, то *государство*, тот исторический возраст государства, то *счастье* или несчастье, надежды и безнадежность, которые могли родить и рожают и вот выслали за границу этих русских людей, которых он все-таки видал же! Я откажусь от своей мысли, что он здесь выразил *Россию*, если вы мне объясните обрубленный, “отъеденный” или вырванный хвост у его клячи... Ведь это монумент! Боже, кто же не знает, что монументы сплошь бываюто великолепные, что “строить памятник” и “строить великолепие” — это синонимы? <...> Все же хоть уголок Руси видел Трубецкой... По фигурам людей, по русским людям, он — полуйтальянец, флорентинец, ваявший Данте, видевший флорентийское небо, — учуял, из какой измятой, из какой суровой, из какой опасной и лукавой страны вышли эти люди, эти недождающие задавленные эстеты, эти поэты с грустными стихами, на все способные, ничего не имеющие... Я не знаю — что и как: но в памятнике он изумительно выразил все, что есть... И монумент Фальконета для меня — опера, феерия невиданной действительности, а памятник Трубецкого — это такое родное, “мое”, “наше”, “всероссийское”, что хочется... плакать и смеяться, как я смею и внутренне плачу, глядя на этот памятник!» (СХ, 322). Высокую оценку Р. получили и другие скульптурные работы Т. «Памятник его Данте — великолепен <...> Как Данте одинок, — не только в духе своем одинок, но и во *времени* своем был одинок, угрюм, ото всех ушел вдаль, — так в памятнике ему Трубецкой со страшной силой, с изумительной способностью выразил эту одиночность, — уходящую ввысь. Боже, как это хорошо, до чего точно! В Трубецком точно задышало то *вдохновение*, которое выдохнуло из себя готику: ведь его памятник Данте, не имеющий ни одной иглы, ни одного острого угла, т.е., казалось бы, расходящийся с основным законом и методом готики, — тем не менее готичен! имеет готическую же *душу*!! Это выражено через боковое сдавливание и, пропорционально, через высоту поста-мента. Смотришь, — и чаруешься, чувствуя, что в этом суть и готики» (СХ, 323). Парадоксальность личности Т.

выражена Р. словами: «Я его видел: редко оригинальный человек, гениальный, невежественный», «я нахожу его страшно даровитым человеком» (СХ, 320–321). На статью Р. в «*Русском Слове*» о памятнике работы Т. откликнулся Д.С. Мережковский критической статьей «*Свинья Матушка*» (*Речь*. 1909. 1 нояб.), на что Р. отозвался в своих «*Полемических заметках*» (НВ. 1909. 4 нояб.; СМР). А.Н. Стрижёв

ТРУБЕЦКОЙ Сергей Николаевич [23.7(4.8).1862, Ахтырка, Московская губ. — 29.9(12.10).1905, Петербург] — русский религиозный философ, последователь и друг Вл. Соловьёва. Р. отзывался о Т. как о талантливом профессоре и как о мыслителе: «*Религиозно-философские собрания* делают дело большое: они поворачивают всё религиозное сознание от мертвой воды к живой, определенно зная, что она есть, определенно зная, где она <...> Нельзя было раньше этого начать, ибо, напр., ни Владимиру Соловьёву, ни кн. *Сергею Трубецкому*, несмотря на их, может быть, и более крупные таланты, чем у *Мережковского* или у Розанова, — однако не было известно ничего о живой и мертвой воде, и они плыли еще в океане исключительно мертвой воды» (ОПП, 271). В свое время Т. критиковал Р. в статье «*Чувствительный и хладнокровный*» (РМ. 1896. № 9; ПРО, 2) за *консерватизм*. А.Н. Стрижёв

ТУРАЕВ Борис Александрович [24.7(5.8).1868, Новорудок, Минская губ. — 10(23).7.1920, Петроград] — историк и филолог, профессор египтологии Петербургского университета. Знакомство Р. с трудами Т. произошло не ранее 1904, когда писатель привел в «*Новом Пути*» цитату из статьи востоковеда об абиссинской церкви в «*Православной богословской энциклопедии*» (ОЦС, 434). В 1906 Р. назвал Т. «великим знатоком *Древнего Египта*» наравне с хранителем египетского отделения Эрмитажа В.С. Голенищевым. О книге Т. «*Бог Тот*: Опыт исследования в области истории древнеегипетской культуры» (Лейпциг, 1898) Р. упоминал неоднократно: в рецензии «Д.А. Сперанский. Из литературы Древнего Египта» (НВ. 1906. 29 марта): «Автор книги “Бог Тот” (бог знания, бог науки), единственной цельной и самостоятельной монографии, написанной по памятникам, интересной египетской истории» (ОНД, 33); в приложенной характеристике к письмам египтолога (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Л. 1). В письме от 10 марта 1913 Т. благодарил Р. за присланную книгу «*Семейный вопрос в России*». Ученый признавался, что его порадовала любовь Р. к древним египтянам. Т. обещал упомянуть о книге Р. при переиздании собственного лекционного курса. Профессор рекомендовал Р. ознакомиться с работой своего ученика о «плаче Исиды и Нефтиды», в котором «наиболее ярко выражена супружеская любовь» древних египтян (Там же. Л. 2). В том же письме Т. приглашал писателя к себе «побеседовать об Египте и о нашем поруганном Сионе — церкви православной», а заодно и ознакомиться с его коллекцией египетских древностей (Там же. Л. 3). Второе письмо Т. подтверждало желание профессора видеть Р. у себя для личного знакомства (Там же. Л. 4). Об отношении к Т. писатель высказался в статье «*Женщина-пылесос* и ее лекции в зале Тенишевского училища» (НВ. 1913. 8 дек.), посвященной пуб-

личным лекциям по египтологии его и *Н.Б. Нордман-Северовой*. Писатель высоко оценивал просветительскую работу ученого. «Три слушателя у него в аудитории Петербургского университета, два немца и один русский, — как мне привелось услышать от “третьего” из этих слушателей. Он читает о древнем Египте, изящнейшей стране в истории *цивилизации*. И никого слушателей, учеников! <...> Бедный *Петербург!* О, не Тураев — бедный. Он богат со своим энтузиазмом, со своей ученостью — богат тем *счастьем* внутренним, которое дается *сознанием*: “Я кое-что сделал для отечества” Он многое сделал. Он зачернил ту черную грязную дыру, которая именуется: “полное неведение русских о Древнем Востоке”» (там же). В рецензии на новые книги по египтологии «Пробуждающийся интерес к древнему Египту» (НВ. 1916. 3 нояб.) Р. отметил, что книга «История Древнего Востока» (СПб., 1911–1912. Ч. 1–2) — «первая оригинальная русская “История Египта” — нашего тещи иероглифов и любителя коптов (прямые потомки древних египтян), профессора здешнего университета Б.А. Тураева» (ВЕ, 308). В последние годы *жизни* Р. упоминал имя Т. в качестве *символа* позитивистского подхода к сакральной мистике египтян. «Тураев <...> это совсем “одно”, и самый Египет, тот подлинный древний Египет — это совершенно, совершенно другое. И “египтология” и “Египет” просто даже не знакомы друг с другом» (ВЕ, 321). Р. восставал против сциентистского расщепления художественного наследия египтян: «Но каково *чувство* европейцев, взглянувших на это разительное *солнце*? А вот оно (у Тураева). Они решительно ничего не чувствуют, как и перед внушающим трепет и замирание души “почитанием животных у египтян”» (Там же, 156). Р. не нравилось у египтологов, что «от их трудов “не пахнет *коровой*”» (Там же, 321). По Р., ученый не понимает «чистой *радости* бабушки», обретшей выстрадавшего в материнских муках внука, «Тураев этого не понимает. Не может понять. У него жена ученая, и им *детей* не нужно. Но *миру*-то каково же с Тураевым? Миру и Египту?» (ПЛ, 249). В последней книге Р. вспоминал, как однажды поинтересовался у Т. о самом сокровенном — идее воскресения у египтян: «Что за *вера*: “Всякий умерший становится *Озирисом*” <...> Я спросил Тураева: он пожал плечами (“не понимаю”). И они все не понимают, они египтологи и ассириологи» (АНВ, 241). О Т. см. письмо Р. к П. Флоренскому 25 ноября 1916 (АФ).

А.В. Ломоносов

ТУРГЕНЕВ Иван Сергеевич [28.10(9.11).1818, Орел — 22.8(3.9).1883, Буживаль, близ Парижа] — писатель. Р. относит Т. наряду с *Н.М. Карамзиным* к «фигурам, необыкновенно красиво сложившимся» (ЛВИ, 300), а вместе с *Л.Н. Толстым*, к «высшим живописцам» (СВР, 8). «Хотя и Тургенев, и Толстой уже по *силе* и самостоятельности своей, сами суть *школа*, суть *солнца-человеки*, а не спутники-планеты другого солнца» (ОПП, 121). Вместе с тем Т. — «великий литератор, неизмеримо прекраснейший *Белинского*, но — не великий человек, даже вовсе не новый человек. Обыкновенный человек и великий литератор» (РС. 1911. 28 мая; ОПП, 513–514). Р. видел Т. на публичном заседании «Общества любителей российской словесности» 18 февраля 1879. Личность Т. непроста: «*Тайна* заключается в том, что были Виардо и

Тургенев, и Тургенев — гениальный, а Виардо — так себе: но Тургенев чувствовал (его собственные слова, *страстью* сказанные в *письме* к кому-то), что он “только туфля, в которую одевает свою ногу Виардо”, и затем бросает и просто забывает о ней» (ВЕ, 263). «Суть современного писателя — что он не чувствует себя вовсе в *истории*, а в “нашем *времени*” только, и с этим “своим *временем*” услужливо связан, для него старается, перед ним оправдывается и извиняется (“извинения” Тургенева)» (М, 92). Говоря о *портретах* писателей в «полных собраниях сочинений», Р. отмечает: «В Тургеневе, за писателем, вы так и чувствуете помещика, любителя пострелять куликов, или вечером у камина, после охоты — что-нибудь рассказать» (ОПП, 27). Т. «был писателем *чистой крови*, художником, идейником. В нем было мало житейского, нашего, обыкновенного; мало — толпы, будничного. Он был “героем”» (РС. 1909. 5 марта; СМР, 88), гонялся «за популярностью» (СВР, 182). Суждения Р. о Т. подразделяются на две части: о его художественном наследии и об общественном значении Т. и его *творчества*. Отмечает Р. значение Т. и как литературного критика. Его «Гамлет и Дон-Кихот» — «прекраснейшей критический этюд» («Гамлет в роли администратора» // КНУ. 70). «Рассуждения Тургенева “Гамлет и Дон-Кихот” до сих пор остается лучшею критическою статьей во всей *русской литературе*» (ОПП, 504). Т. для Р. представляет ранний этап деградирующей русской литературы: «Якубзоны и Азовы стали на место *Щедрина* и *Успенского*, как те стали на место Тургенева и *Гоголя*. Со ступеньки на ступеньку идем мы в гнилой погреб...» (РГО, 134). Эта эволюция *литературы*, по Р., происходит под влиянием критики: «60-е годы, с “Современником” и *Добролюбовым*, которые “приколотили” Тургенева, заставив его издавать жалобные, грустящие песни...» (КНУ, 1908). «Добролюбов, садящийся на кресло Тургенева; точнее, — распоряжающийся выбросить кресло Тургенева, “от бабушки”, с узорчатой старинной резбой XVIII века, и становящийся на месте его американский гладкий табурет. “Так удобнее, мне и человечеству” Кто не помнит, сколько *боли* и более принесла эта литература 60-х годов...» (КНУ, 109). И далее: «Литературное влияние что-нибудь значит! Кто против Тургенева? Никто» (КНУ, 114), но «Тургенев побежал за мальчишками» (М, 115). Отсюда, по *мысли* Р., неприязнь *Н.Н. Стрехова* к Т.: он «ради интереса к текущему и временному в человеке пренебрегал этим вечным в нем» (ЛВИ, 212). Р. отмечает «точность наблюдений» у Т. (ОПП, 246), но «Записки охотника», по его мнению, «суть эскизы» (ОПП, 231). В отличие от Толстого, способ *Островского*, *Гончарова*, Тургенева — «наблюдательный, наружный» (ОПП, 298). «У Тургенева нигде нет религиозного, христианского глубокомыслия, нигде нет отсылки церковноисторического жидкостельства» (ОПП, 229). «Характерные Тургенева ответили на вопросы своей минуты, были поняты в свое время, и теперь за ними осталась привлекательность исключительно художественная. Мы их любим, как живые образы, но нам уже нечего в них разгадывать» (ЛВИ, 28). «Вот суетный и слабый Тургенев, столь даровитый, так много думавший, вводит нас в чарующий *мир* своего слова, роняет мысли, так запоминающиеся, и выводит ряд образов, несколько бледных и, однако, всегда привлекательных» (ЛВИ, 26–27). Т. внес

свой вклад в литературу: он создатель «диад» (сцепление двух): Хорь и Калиныч, Чертопханов и Недопюскин, «отчасти Лежнев и Рудин (вода и *огонь*), кажется, еще несколько, много» (ВТРЛ, 279). «Мужик не уважает барской о себе *литературы*», «тургеневской литературы» (КНУ, 477). Мужик в Т. «ничего серьезного не видит и смотрит, что он в “Хоре и Калиныче” подает ему две копейки, как даже не нищему при дороге, а как медведю у татарина, который перед ним “поломался”, а Тургенев это “срисовал” Его просто коробит подобная литература о себе» (там же). Р. сравнивает *Н.С. Лескова* с Т.: «И сколько тут русской *жизни* и русской сути сравнительно с “орхидеями” Тургенева... Орхидеи поблекнут. А наша черемуха будет вечно пахуча» (М, 145). «Значит, не только есть *страдание* и нас постигает *смерть*: есть, значит, *правда* смерти и страдания, т.е. *красота* умирания, красота болезни. Тургенев в “Живых мошах”, пожалуй, уловил эту правду» (ЛВИ, 311). «Дворянское гнездо» Р. называет среди «лучших образцов нашего семейного романа» (ЛВИ, 243). В «*Семейном вопросе в России*» (материалы к третьему тому) Р. привел историю Лаврецкого и его жены как пример глубины внутрисемейных противоречий (СВР, 757; ср. ОНД, 239). «Земная любовь — вечно расстраивается; из земных дел ничего не выходит (“Дым”, “Новь”); самый опозитизированный тип — Лиза Калитина с бессмертным ее выражением о жизни как предуготовлении в смерть. По этому мало замеченному в нем характеру он есть типично христианский и именно русско-христианский писатель» (ЛВИ, 312). «Если бы Кирсанов, заметив ухаживанья Базарова за “Любочкой” (дворовая девушка), указал ему, как следовало, “на дверь”, — всех разговоров “отцов и детей” не было бы. Глупых и совершенно недостойных разговоров, где вдруг Ной оказался хамом перед своим Хамом и пошел на четвереньках под стол. “Отцы” вдруг испугались своего нелиберализма, своей отсталости <...> Тургенев вывел уж слишком мелкую траву в поле <...> собственно роман Тургенева — один из тех литературных софизмов, которых так много рассеяно и мелькает во всемирной литературе. Из него ничего нельзя вывести, и он ничего не доказывает. Доказывает, что слабый около сильного кажется слюнявым и глупый около умного кажется ротозеем. *Истина*, ради иллюстрации которой не стоило усиливаться до романа» (КНУ, 549–550). «Базаров жесток, прочие — окончательно невыносимы» (КНУ, 17). «Новь» Р. оценил как «произведение бесильное и неясное»: «Радикалы были там ни пава, ни ворона» (КНУ, 17). Однако Р. отдавал должное и этому роману: «Помните ли вы ужасное стихотворение, которым заканчивается “Новь” Тургенева, где этот старец, вечно пытавшийся надеяться, сказал последнее *resumé* своих наблюдений и размышлений о русском народе. Невозможно заснуть, прочитав его на ночь» (КНУ, 83). Предостерегая от боязни западного *влияния* на русскую политическую жизнь, Р. обращается к авторитету Т.: «Тургенев, западник, сказал: “Русского хоть в семи водах мой, — от него русской его сути не отмоешь” На этом-то основании он и советовал нам безбоязненно окунаться в “немецкое море”, т.е. немецкую *культуру*» («Русские втягиваются в политическую жизнь» // РГО, 40; ср. ОНД, 324). При этом Р. признавал, что «страшная пассивность русской истории передалась у нас и во вку-

сы. Русские великие писатели стали певцами великой покорности. Тургенев в этом не разошелся с Толстым» (КНУ, 51). С другой стороны, «эта так называемая “русская *цивилизация*” совсем мальчишеская, и созреть ей мешает “изящная словесность” Тургенева и *Гончарова*» (М, 102). «Ведь, в сущности, все, и Тургенев, и Гончаров, даже *Пушкин* — писали “немецкого человека” или “вообще человека”, а русского (“с походочкой” и мерзавца, но и ангела) — написал впервые *Достоевский*» (М, 303). Однако в статье «О *памятнике* И.С. Тургеневу» (НВ. 1908. 27 авг.) Р. утверждал, что «русские *женщины*» должны поставить писателю памятник. Т. «был не по наружности, а по существу, средневековым рыцарем в его прекраснейшем идеале — в возвышенном поклонении женщине». Он, «по крупинкам собирая идеальное в женщине, дал в совокупности своих созданий великий образ русской *девушки* и женщины» (ОПП, 294). А в жизни Т. «заставил женщин думать о крупных *вещах*, думать о крупных заботах», они «были выведены из инертности рукою Тургенева» (ОПП, 295). В статье «Между *Азефом* и “*Вехами*”» (НВ. 1909. 20 авг.) именно с опорой на Т. высказана *мысль*, что слияние революционности с провокаторством «не могло бы завязаться, не могло бы осуществиться около людей не только типа, как Станкевич, или *Грановский*, или как Тургенев, — но и около кого-нибудь из людей типа любимых тургеневских героев и героинь. Это замечательно, на это нужно обратить всё внимание. То, что “обрубило голову *революции*” <провокачество>, сделало вдруг ее всю бесильно, немощно, привело “к неудаче все ее дела”, — никоим путем не могло бы приблизиться и коснуться не только прекрасных седин Тургенева, но и волос неопытной, застенчивой Лизы Калитиной. Лиза сказала бы: “Нет” Тургенев сказал бы “нет”» (СМР, 264). В статье «Из *судеб* русской литературы и общественности» (НВ. 1914. 2 мая; НФП) Р. анализировал и высоко оценил книгу И.И. Иванова о Т., вышедшую в 1914 в Нежине (первое издание: СПб., 1896). Письма Т. к графине Е.Е. Ламберт Р. рассматривает в статье «Отцы-воспитатели русского *общества*» (НВ. 1915. 4 и 31 июля; НФП).

С.Ф. Дмитриенко

ТЫРКОВА Ариадна Владимировна [в замуж. Тыркова-Вильямс; 14(26).11.1869, имение Вергежи, Новгородская губ. — 12.1.1962, Вашингтон] — писательница, журналистка (*псевдоним* А. Вергежский), член ЦК партии (кадетов), в 1919 покинула *Россию*. Р. был знаком с Т., о чем свидетельствует его *письмо* Г.А. Лопатину (не позднее 1909), где он замечает: «Видел я за приятельскими ужинами (у Вергежской-Тырковой) кадетов, говорил наедине с Жилкиным: отчего же вслух с кафедры *Думы* они не говорят того простого, ясного и умного, что говорят тут, “в компании”» (СОЧ, 519). Р. общался с ближайшим окружением Т.: «Об этом *Изгоеве* говорил *Столлнер*: “Он никогда при разговоре не смотрит в глаза вам” Это я заметил тоже, раз видел его у Вергежской. Всегда потупит глаза» (СХР, 229). Р. относит Т. в ряд «революционеришек»: «Страшная сторона революционеришек заключается в том, что ими никто не занят, а они думают, что ими занят весь свет. Ими “занят” только известный департамент и праздное *общество* болтачей и журналистов. *Чиновник* не занят, мужик не

занят, поп не занят. Но “заняты” *Бурцев, Крапоткин* и *Вергежская*. Да, они в германском *парламенте* “сделали заявление” Да, “Либкнехт произнес речь” Да, “Розу Люксембург арестовали на таможе” <...> “И на сем основании они переверстывают весь мир и объявили войну правительству” Да. Еще *Мережковский* ими занят. Сегодня статья о *Горьком*. Горький, Мережковский, Роза Люксембург, Либкнехт и Вергежская. Это малое стадо — кому оно нужно и кто им занят, кроме их самих. Это не только пустоцвет, но это пустоцвет из пустоцветов» (ПЛ, 230–231). Однако Р. воспринимает Т. не только в качестве общественной деятельницы, но и как писательницу. «В середине заседания (19 июля, Г. Дума) я протаялся в “ложу журналистов”, — но наверху, где не было корреспондентов и репортеров, а — писатели. Там была и Вергежская. Я стоял сзади» (М, 246). Он был знаком с творчеством Т.: «Что же важнее, ее восторг реальный или — то, как А.В. Тыркова начинает свою повесть рассказом об обыске у студента, — и потом, конечно, “повели” и “что он думал”» (СХР, 34). В воспоминаниях «На путях к свободе» (Нью-Йорк, 1952) Т. дважды упоминает имя Р. В первый раз в связи с рассуждениями сугубо журналистского свойства: «В “Новом Времени”, при всей несправильности направления, была газетная яркость, живость, была информация, чувствовался пульс жизни, были талантливые сотрудники — *Меньшиков*, *Розанов*, *Чехов*, сам *Суворин*. Руководители “Речи” талантов не искали, ими не интересовались, не понимали, зачем они нужны в газете» (Тыркова-Вильямс А. Воспоминания. М., 1998. С. 504). Р. оказывается участником одного разговора мировоззренческого характера: «После одной из своих школьных экскурсий *Ивлев*, все за тем же длинным столом в вергежской столовой, с увлечением рассказывал о новгородском кремле, о красотах тысячелетнего Софийского собора, о фресках Нередицы: “Мы обязаны гордиться ими, их наследием, не забывать прошлого, беречь его” Простые истины, но большинство интеллигенции их забыло, от них отвернулось <...> На тех верхах петербургской интеллигенции, которые я знала, мне редко приходилось слышать горделивые речи о прошлом России. К русской истории было принято относиться сурово, пренебрежительно, насмешливо. Как-то раз собрались у нас гости. Был и *Ф.И. Родичев*. Не помню, по какому поводу он разразился речью о том, что у России вовсе не было истории <...> “Взгляните на земли бывшей новгородской республики. Посмотрите на берега Волхова. Тысячу лет, если не больше, владеем мы ими. Это места старейших русских расселений, а живут, как жили во времена Гостомысла. Все застыло. Лучше не говорить про русскую историю. Ее просто нет” С бедным *Розановым*, который, пощипывая рыжую бородку, стоял тут же, чуть не сделался удар. Но он не мог ни перекричать, ни переспорить *Родичева*. И другие гости поддерживали эту чаадаевскую точку зрения на прошлое России. А вот у *Ивлева*, исконного новгородского крестьянина с этих берегов Волхова, воображение рванулось к прошлому, и это придало ему силы еще более рьяно работать на пользу родного новгородского края» (Там же, 517–518).

И.А. Едошина

ТЭН (Taine) *Ипполит Адольф* (21.4.1828, Вуазье, Арденны — 5.3.1893, Париж) — французский историк,

философ. Р. рецензировал перевод двух томов его «Путешествия по Италии» (1866), выполненный *П.П. Перцовым* (М., 1913 и 1916). В статье о первом томе Р. писал: «Путешествие по Италии» — лучший труд Тэна, и совершенно поразительно, что он 60 лет оставался непере- веденным на русский язык, на который какой только дребедени не переводили!.. <...> Будущий автор книг “Старый порядок и революция”, “Об уме и познании” и “Об искусстве”, — он посетил Италию в 60-х годах прошлого века, именно на рубеже эпох, когда она еще не стала меркантильной и парламентской, хотя и готовилась и усиливалась к этому, — и когда, следовательно, еще не сбежали с нее древние великолепные краски и Возрождения, и папства, и могучего Рима консулов и императоров. Это был момент наилучший для срисовывания; и рисовальщик вошел в Италию и объехал Италию в наилучшую свою пору; когда ум его не был еще утомлен великими темами, которым он отдался потом, когда глаз зрителя был молод и все чувства восприимчивы <...> Он был эмпирик, но не жестокий эмпирик. Изучения Италии и размышлений хотя бы об итальянской живописи невозможно кончить там, где их кончает Тэн; но для начала и даже для фундамента дальнейшей изучения — нет лучшей книги, чем его» (СХ, 386–387). В статье о втором томе «Путешествия по Италии» (НВип. 1916. 6 февр.) Р. продолжает восхищаться книгой Т.: «С трудом отрываешься от страниц Тэна: форма частных писем, дающих “отчет во впечатлениях” другу ученого путешественника, захватывает и читателя, приобщает его к друзьям Тэна, — и по страницам книги пробегаешь как бы по почтовым листочкам, написанным тебе и специально для тебя. Это родит интимность между читателем и автором, и в высшей степени согревает самое чтение. Оно легко: а между тем предметы чтения, самые темы писем — бесчисленны, важны, непрерывно волнуют ум и обогащают сведениями. “Выучиваешься” без труда, “образовываешься” без отягощения. Ум или, точнее, душа Тэна не совсем адекватна предмету. Ленивая, роскошная и несколько развратная Италия, — развращенная уже нескончаемым историческим опытом, — стоя перед зеркалом этого ума в высшей степени упорядоченного, корректного, строгого, вооруженного всеми знаниями конца второй половины XIX века (“Письма” от 1864 года) естественно не “надышала” в книгу некоторых своих знойных секретов <...> Лучшие, по крайней мере, с наибольшим интересом читаемые, страницы книги те, где он говорит о стране и ее “ландшафте”, связывая это с историей городов и отдельных “мест” Италии; где он говорит о населении, его праздности и труде “сейчас»» (ВЧВ, 77–78). Особое внимание Р. привлекла критика Т. идей и дел Великой Французской революции. Р. писал: «Тэн безумен со своей рассудочностью. Он, эмпирик, как не эмпирик был здесь, в своих рассуждениях о революции, которая вообще не “рассуждаема”, и это в ней — не побочное, а суть» (ОПП, 574). Когда вышла книга *В.И. Герье* «Французская революция 1789–1795 гг. в освещении Ипполита Тэна» (СПб., 1911), Р. начал писать статью о своем университетском учителе «Проф. В.И. Герье и его труд о Французской революции» (РГБ. Ф. 249. К. 6. Ед. хр. 3), оставшуюся неоконченной (см. ТПРН).

А.Н.

ТЭФФИ Надежда Александровна [псевдоним; урожд. Лохвицкая, в замуж. Бучинская; 27.4(9.5).1872, Петербург — 6.10.1952, Париж] — прозаик, поэтесса, драматург. С 1919 в эмиграции. С Р. знакома с начала 1900-х. О двух встречах с ним Т. повествует в рассказе «Колдун: Из воспоминаний о Распутине» (Сегодня. Рига, 1924. 10, 13, 14 авг.). Уступив настойчивым просьбам Р. и А.А. Измайлова, Т. поехала с ними в дом одного из петербургских издателей, где часто бывал Г.Е. Распутин. Р. просил Т. одеться «пошикарнее», чтобы старец принял ее за «барыньку» и «разговорился». «Непреренно затроньте эротические темы, — настаивал Р. — Тут он будет интересен, тут надо его послушать. Это может выйти любопытнейший разговор». «Розанов вообще с каждым человеком эротические темы считал за любопытнейшие, — поясняла Т., — поэтому я вполне поняла его особый острый интерес к такому разговору с Распутиным». Р. шепотом «подсказывал» Т. темы для разговора: о фрейлине А.А. Вырубовой, о хлыстовских радениях. Писатели были уверены, что Распутин не знает об их профессии. Но в беседе с Т. старец назвал Р. — «этот, что в “Новом Времени” пишет», показал свою осведомленность и о занятиях своей собеседницы — «говорили, будто ты из “Русского Слова”». Об одной из этих встреч Р. упоминает в книге «Мимолетное. 1915 год» (записи от 15 и 17 апреля): «...поразительного ума и спокойствия слово старца Гриши, — в литературной компании, в квартире без хозяина, среди человек 10–12 гостей» (М, 56). В статье Т. «После юбилея (отрывки впечатлений и разговоров)» (Новое Русское Слово. Нью-Йорк. 1952. 16 марта), посвященной 100-летию со дня смерти Н.В. Гоголя, Т. писала: «Мы только что прочитали прекрасные, толковые и очень умные статьи о нем, в которых часто цитировался Розанов, определивший Гоголя как гениального писателя, но глупого человека. Такого же мнения был о нем и Лев Толстой. Кстати, Розанов заодно подвел под ту же рубрику и Льва Толстого — гениален, но не умен. Я думаю, что сапожник, учивший Толстого тачать сапоги, пожалуй, подписался бы под этим мнением. “Анна Каренина” — одно, а вот выстрочить рант крепкой драгвой, на это нужно иметь другую голову» (Звезда. 1998. № 3. С. 178). Т. писала М.А. Алданову 28 декабря 1951: «Вчера был у меня П.А. Берлин. Заговорили о Гоголе, и я изложила свою ересь. Он широко раскрыл глаза и сказал: “Как странно! Это же говорил и Розанов, а ведь он исключительного ума был человек”» (Там же, 177).

Е.М. Трубилова

ТЮТЧЕВ Федор Иванович [23.11(5.12).1803, усадьба Овстуг, Брянский уезд, Орловская губ. — 15(27).7.1873, Царское Село, Петербургская губ.] — поэт. Одно из наиболее ранних упоминаний Р. о Т. содержится в его письме к Н.Н. Страхову от 20 сентября 1891, где Р. спрашивает: «Какое это было у Вас издание “Стихотворений” Тютчева — Вы из него читали стихи в СПб.? Есть еще ужасно скверное, сделанное Тургеневым, но Вы, очевидно, не его читали. Я с Тютчевым вовсе не знаком, и, будучи в Москве, — все время думал и не придумал, какое это было издание, чье» (ЛИ, 277). В своем комментарии к письму Н.Н. Страхова от 23 июля 1895 Р. обращается к Т., когда рассуждает о «сглазенье» и о том,

что «никогда вслух не надо говорить о хорошем состоянии своего здоровья. Демоны — “глухонемые”, как и назвал их Тютчев. Они оглушены Богом, пораженные Им в борьбе. И слышат только громко, вслух произносимое» (ЛИ, 139). В статье «Гр. Л.Н. Толстой» (НВ. 1898. 22 сент.) Р. писал: «Много есть прекрасных лиц в русской литературе, увитых и повитых задумчивостью. Лица Тютчева, Тургенева, Островского не только выразительны и полны мыслью, но они как бы договаривают недоговоренное в “полном собрании сочинений” Сама поза, напр. Тютчева, со сложенными на груди руками, как бы сообщает ему вид уставшего и задумавшегося после разговора человека» (ОПП, 27). Размышляя о русской философии в статье «Германская наука и русские ученые кафедры» (К. 1916. 10 дек.), Р. утверждал: «Смотря на дело совершенно трезво и просто, мы можем сказать, что более философской литературы, нежели русская, не имеет ни один европейский народ. Тут прямо — трепет мысли и философии» (ВЧВ, 436). И в доказательство этого, по мнению Р., «достаточно назвать три имени, Тютчева, Достоевского и Толстого» (ВЧВ, 435–436). Хотя с профессорской кафедры российских университетов, с грустью констатирует Р., он «никогда не слышал произнесенным, упомянутым имя Тютчева или Достоевского. Но пусть они поэты и художники, и “какое же дело до них науке” Но вот уже область мысли — славянофильство. Странно было бы сказать, что И.В. Киреевский и А.С. Хомяков не имеют “ровно никакой связи с философией”» (ВЧВ, 437). В статье «Историко-литературный род Киреевского» (НВ. 1912. 9 окт.) Р. приводил письмо П.В. Киреевского (от 1821) из Германии к брату Ивану, «шеллингианцу» в то время, о своей беседе с Шеллингом, который «расспрашивал о состоянии нашей литературы, — говорил, что он слышал, будто она делает большие успехи <...> говорил, что очень много слышал о нашем Жуковском и что, по всем слухам, это должен быть человек отличный. Очень хвалил Тютчева» (ПВ, 213). Далее в статье Р. сообщает, что П. Киреевский, живя в Германии, «полол Россию» и «свой первый день Рождества и Новый год (1830)... встречает в семье Тютчевых», а русский Новый год — дома, «растянувшись с трубкой на диване и перелетев мыслями в Москву». В статье «Алексей Степанович Хомяков: К 50-летию со дня кончины его (23 сентября 1860 г. — 23 сентября 1910 г.)» (РС. 1910. 23 сент.) Р. назвал братьев Киреевских «праведниками», «святыми» русской земли и утверждал, что «идеи славянофилов подвергались и плутовской эксплуатации; с ними хищничали, больше — с ними грабили, убивали (жесткие черты политики). Но они же, славянофильские идеи, бросили в пыль идеальной борьбы, идеальной жизни — других. Тут чередовались многие: Игнатьев один, Игнатьев другой, Аксаков, Победоносцев, Рачинский, но и Тютчев, И.С. Аксаков, Страхов и Данилевский» (ОПП, 466). В своих работах Р. цитировал тютчевские строки, используя их для обоснования мысли, эффектного завершения темы. Статью «Амфитеатров и Ропшин-Савенков» (1912; эту фамилию Р. писал через «е») он заключал: «Я же и говорю, что Русь есть Русь, о которой сказал Тютчев: “Умом Россию не понять, / Аршином общим не измерить, / У ней особенная статья, / В Россию можно только верить” Так и воюешь с “революционерами” из благонамеренных из-

даний: а любишь их, любишь, — невольно и очень любишь, как просто хорошую, красивую “русскую статью”» (ОПП, 569). В своей последней книге *«Апокалипсис нашего времени»* Р. среди строк своих любимых поэтов: *Пушкина, Лермонтова, Некрасова* — привел и строки из стихотворения Т. «Эти бедные селенья...» (1855), которое наиболее часто цитировал Ф.М. Достоевский как особенно для него важное. В *«Мимолетном»* Р. записал: «Есть северная глубина, особенная, не из солнца. Глубина из того, что нет солнца... Тут и *нигилизм*, — этот страшный *нигилизм*. И тихие селенья Тютчева: “Эти бедные селенья / Эту тусклую природу...” И пейзаж *Левитана*, и смешной “Василий Блаженный”» (КНУ, 485). В статье «Русь и *Гоголь*» (1909) Р. утверждал, что «золотым веком русской литературы были все-таки Пушкин и Гоголь. Были и останутся они одни <...> Они “над бедными селеньями Руси”, о которых говорит Тютчев, как бы простерли защищающее крыло Ангела <...> И пока в мире звучит пушкинское слово, звучит гоголевское слово, — никто, кроме вандала, глухого, немого и слепого, не занесет над “этими бедными селеньями” меча...»

(ОПП, 354). В «Мимолетном» Р. отрицательно отнесся к статье *Д.С. Мережковского* «Некрасов» (РС. 1913. 9 авг.), вошедшей в его книгу «Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев» (Пг., 1915): «и все его “валянья” с Тютчевым и с “тайной Некрасова” <...> В *тоне* Мережковского всегда была эта дребезжащая струна где-то треснувшей скрипки» (КНУ, 222). В книге «Мимолетное» Р. не раз продолжил *тему*: «Некрасов и Тютчев вытаскиваются единственно потому, что Дим. Сер-чу нужно писать еще томы и томы, писать всю жизнь, — но не потому, чтобы Мережковский заболел о них или Россия заболела о них» (М, 78). «Кто любил Англию — называется Питтом, а кто любит Россию — <...> черносотенниками, зубрами. Правда, к ним причисляются Пушкин, *Одоевский*, Тютчев. Но Тютчеву уже “срезал голову” Мережковский» (М, 278). Р. написал рецензию на книгу *Д.С. Дарского* «Чудесные вымыслы. О космическом сознании в лирике Тютчева» (М., 1913), озаглавив ее «Но в новых ли днях критики?» (НВ. 1916. 3 февр.; ОПП).

Т.Г. Петрова

У

УАЙЛЬД (Уайлд, Wilde) Оскар Фингал О'Флаэрти Уилс (16.10.1854, Дублин — 30.11.1900, Париж) — английский писатель и критик. В петербургском издательстве «Сириус» в 1908 вышел перевод *К. Бальмонта* и Е. Андреевой драмы У «Саломея» (1893), написанной по-французски. *Театр В.Ф. Комиссаржевской* стал готовить постановку пьесы (под названием «Царевна»), однако 25 октября 1908 в «*Биржевых Ведомостях*» появилось сообщение, что накануне вечером директор императорских театров В.А. Теляковский отдал приказ о запрещении этого спектакля в Михайловском театре и театре Комиссаржевской. 12 ноября 1908 в «*Русском Слове*» появилась статья Р. (под псевдонимом В. Варварин) «*Религия* и зрелища (По поводу снятия со сцены “Саломеи” Уайльда)», протестующая против самоуправства *властей*. «Буквально среди представления поднялся господин из партера и закричал: “Спусти занавес!” И занавес спустили. Почему? Да потому, что все это — в *России*. А Россия — территория неожиданностей и беспричинного. В *Берлине* актеры продолжали бы играть, публика не допустила бы и *мысли*, что ту, чту нравится всем, может быть остановлено по желанию одного, и самому дебоширу разъярили бы в участке, что он живет в столице цивилизованного *государства* и здесь не подобает вести себя как самоеду в приполярных льдах» (СХ, 270). Р. отмечает, что языческая часть составляет сюжет пьесы и продолжает: «Отрицательно и жестоко эти языческие *лица* связаны с Иоанном Крестителем, пострадавшим от них и через них. Самое большее, о чем мог просить возмущившийся зритель, — это о том, чтобы на сцене “театра” не было выведено это священное лицо; и, по положению его в пьесе Уайльда, это, конечно, было вполне возможно <...> *Вера* тиха, вдумчива; вера не бесчинствует и никого не оскорбляет. Но, кажется, всего менее приходится говорить о “вере” во всем этом русском происшествии... Удивительнее всего в нем, что, когда “возмущенный в *душе*” господин побежал жаловаться, у выслушавших его также не пробудилось никакой мысли о том, что театр и существо театра нисколько не противоречат существованию священной *истории*, так как театр даже и возник для представления в лицах и наглядно именно священных историй, “*мистерий*” <...> Во всем этом шумном эпизоде с запрещением “Саломеи” можно только пожалеть о том, до чего у нас вообще скудно развито образование и размышление, — и от этого именно события на Руси происходят с такою неожиданностью и случайностью. Один закричал, другой испугался;

и крик этот — вздор, и испуг этот — вздор, но два эти вздора, помноженные друг на друга, уже родят событие» (СХ, 274–275).

А.Н.

УЙТМЕН (Whitman) Уолт (31.5.1819, Уэст-Хилс, Хантингтон, шт. Нью-Йорк — 26.3.1892, Камден, шт. Нью-Джерси) — американский поэт. Р. узнал об У из книги *К. Чуковского* «*Поэзия грядущей демократии*». Уот Уитмен» (М., 1915), вышедшей с предисловием *И.Е. Репина*: «К.И. Чуковский усиленно впихивает в *русскую литературу* Уот Уитмена, американца, автора книги “Листья травы”» (НВ. 1915. 10 авг.; НФП, 515). В продолжение статьи о книге Чуковского Р. написал «Еще о “демократии” Уитмена и Чуковского» (НВ. 1915. 13 авг.), где выступил с резкой критикой представления о демократии обоих писателей. Р. воспринял У как «мистического хулигана» (НФП, 521) и считал, что «Чуковский страшно, безумно обманут, — можно сказать, гениально обманут гениальным самообманщиком. Т.е. Уитмен чистосердечно и внутри себя обманул себя самом, приняв какой-то универсализм проституционности за универсализм демократии и это-то проституционное, совершенно холодное — формальное всеосознание приняв за *пантеизм*, за всебожие, за человеколюбие!!!» (НФП, 518). Р. увидел в У. утверждение коллективизма, единение «как равных» и проститутки, и сифилитика, отрицание индивидуальной неповторимости *человека*. «В Уитмене это все достигло своего предела и завершения, и вот отчего “почти все современные французские поэты находятся под обаянием Уитмена”, а в *Европе*, в других странах, прямо открылась “пропаганда Уитмена” Так понятно: ибо этот колосс безобразия завершает, заканчивает безобразное явление... Явление мирового о-бездушивания, о-безличия, но с дифирамбами, с колокольцами, с бубенчиками и полным *счастьем*...» (НФП, 521).

А.Н.

УМА́НОВ-КАПЛУНОВСКИЙ Владимир Васильевич (1865–1939) — поэт, прозаик. *С.П. Каблуков* в «Дневнике» упоминает о встрече Р. 19 августа 1909 с У.-К. в гостях у *И.Е. Репина* в Куоккале. Среди гостей был поэт В.В. Каплуновский, который, как отметил Каблуков, «опять явился со своим альбомом автографов, куда заставил вписать изречения и В.В. Розанова и приехавшего после всех *Ильи Яковл. Гинцбурга*» (PRO, 1, 215). Р. за-

писал афоризм: «Сильная личность — вот моя независимость» (Раскатов Н. Альбом автографов В. Уманова-Каплуновского // Известия книжных магазинов по литературе, науке и библиографии. Т-во М.О. Вольф. 1910. № 7. С. 187). В той же заметке об альбоме У.-К. упоминается также «рисунок Ильи Гинцбурга, представляющий В.В. Розанова, позирующего И.Е. Репину в «Пенатах»» (там же).

В.А. Фатеев

УСПЕНСКИЙ Василий Васильевич [14(26).8.1876, Нижний Новгород — 17.8.1930, Ленинград] — профессор Петербургской духовной академии (1900–1905), член-учредитель *Религиозно-философских собраний*, сотрудник «Нового Пути» (под псевдонимом В. Бартев), завсегдатай «воскресений» у Р. Подводя итог длительных прений по докладу иеромонаха *Михаила* (Семёнова) «О браке (психология таинства)», У. на 16-м заседании РФС отметил особую роль позиции Р. в состоявшейся дискуссии. Р. примкнул к основному тезису доклада, утверждавшему деторождение в качестве единственной цели и оправдания брака. «Но ему казалось, — отметил У., — что доклад не выражает учения церкви. О. Михаил вместо психологического анализа таинства брака дал психологию любовничества. В скорбном недоумении г. Розанов обращается к церкви за разъяснением противоречий, путающих церковное учение и калечащих жизнь. Он подмечает в церковном учении некоторую двойственность. По-видимому, в ней хранится уважение к браку, так как брак — одно из семи таинств» (ЗПРФС, 349). Но реальное содержание брака: ««завитый в звездах» «мировой факт влюбленности», муж и жена, супружество, любовь, дети, — все это в церковное учение о браке не входит. Брака в самой вещи в церкви нет. Напротив, в ней есть скрытая борьба против рождения, она судорожно цепляется за пустое, бессодержательное *девство*» (ЗПРФС, 350). По мнению У., «ближайшим результатом докладов г. Розанова явилось то, что различные мнения о браке и девстве сгруппировались и определились точнее», разделив РФС на сторонников идеи Р. (*А.И. Доливо-Добровольский*, В.С. Миролубов, Б.В. Добрышин и Владимир В. Успенский) и противников (*Д.С. Мережковского*, В.В. Бородаевского, Н. Минского, С.А. Соллертинского) (там же). На 21-м заседании В.П. Протейкинским было отмечено, что при обсуждении доклада Р. «Об основаниях церковной юрисдикции, или о Христе — Судии мира» против большинства участников собрания, несогласных с позицией Р., «в противовес обвинителям выступил лишь один г<осподин> В. Успенский» (ЗПРФС, 488). Сохранилось ответное письмо У. к Р. от 12 января 1904, в котором богослов отвечал на просьбу Р. о высылке его брошюры *А. Тьрко-вой-Вильямс*: «Я ей послал свою брошюру еще до получения Вашего письма <...> Вам, если еще нужен отклик, могу принести» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 44. Л. 2).

А.В. Ломоносов

УСПЕНСКИЙ Глеб Иванович [13(25).10.1843, Тула — 24.3 (6.4).1902, Петербург] — писатель. «Гл. Успенский имеет, может быть, очень тесный, но зато фанатический культ к себе», — писал Р. («На границах поэзии

и философии» // НВ. 1900. 9 июня; ОПП, 49) и впоследствии, высказываясь об У., всегда учитывал это положение. «Народнейший из писателей», У «отделял и противопоставлял в чаяньях народных звероподобного Ивана от праведного и кроткого Глеба, который сам страдает, но никого другого страдать не заставляет» (М, 341). Р имел в виду статью *Д.С. Мережковского* об У — «Иваныч и Глеб» в его книге «Большая Россия» (1910). В заметке «О работах Л.В. Шервуда» Р. в связи с эскизом надгробного памятника У изложил свое восприятие личности и творчества У «Эта статуя точно — его сочинения, иллюстрированные портретом и биографией сочинителя» (СХ, 229). «Ремесленники, чиновники, неудачники, алкоголики — вот бремя этого человека, которое он признает для себя золотую ношею, и самого себя ощутил точно священником в несении этого бремени. Возьмите структуру Акакия Акакиевича и вложите в нее сознание миссии Шекспира — и вы получите в этой смеси много материала для черт автора «Нравов Растеряевой улицы» (там же). Вопрос, относящийся к У.: «Был ли в Европе хоть один писатель такого типа и душевного склада?» (РГО, 106), имел для Р. принципиальное значение. Хотя и «прилежный к графине» (КНУ, 477), У наряду с *М.Е. Салтыковым* и *Н.К. Михайловским* отмечен Р. как человек высокой гражданской нравственности: «В году народного голода» цензура не могла бы заставить их молчать о голоде (ВНС, 129). «Есть люди, с которыми теоретически я во всяком случае «не согласен» Гл. Успенский. Но о его боли я не только «по поводу» (прочтешь где-нибудь) неделями думал, но и постоянно думал, его боль была «моей знакомой», «сидела у меня в дому»» (КНУ, 213). В «Мимолетном» Р. противопоставляет У. ученого-археолога и государственного деятеля С.Г. Строганова (1794–1882): «Строгановы были из тех, которые делали Россию, а Михайловский, Успенский и Скабичевский России не делали. Но они писали книги: и вышло, что «книги в России» перестали «говорить о России» Они говорили о Дарвине, обезьянах и классовый борьбе. О происхождении видов и о двух жидках из Берлина. Так мало-помалу произошло, что русские книги стали заниматься обезьянами и Берлином. При забвении России. Когда это совершилось, мы подумали, что «цивилизация уже введена в Россию» И что устроена она не царями, а Скабичевским, Михайловским и Успенским» (КНУ, 592). В «Уединенном» Р. признается, что титульную книгу У «Нравы Растеряевой улицы» — «не читал, знаю лишь заглавие» (У, 36), но приводит ее как пример русской литературы, которая «в сущности ужасно недостаточна и не глубока» (там же). «Нравы Растеряевой улицы» «никому решительно не нужны, кроме попивающих чаёк читателей Гл. Успенского и полицейского пристава, который за этими «нравами» следит «недреманым оком»» (там же). Р. ценил художественную пронизательность У. как мастера бытописания. В статье «Органическая работа над народным оздоровлением» (НВ. 1907. 18, 19, 28 дек.), размышляя о пагубности того, что «выпивка стала беззакусочной», Р. отмечает: «Это какой-то химико-физический способ опьянения. Ни Гоголю, ни Глебу Успенскому около такого зрелища делать нечего. Плюнули бы и отвернулись. Гадко. Машинно. Буквально — бесчеловечно <...> Старый кабак засасывал; он засасывал именно богатством

быта, нравов около него. Вот всем тем, что изображали Гоголь и Успенский. Кабак был преступен, но для темной несчастной массы он был очаровательно-преступен» (ОНД, 270, 271). Р. говорит о народности У «Гораздо больше выражает Россию всякий сапожник из рассказов Глеба Успенского или всякий натуральный сапожник, чем эти, с позволения сказать, “профессора” из русских университетов (ВНС, 222–223). Несколько раз обращался Р. к очерку У «Выпрямила»: «Глеб Успенский, грубоватый, простой человек, записал, однако, о греческой статуе: “Она выпрямляет каждого, кто на нее долго смотрит” Возвращает к норме, к естественности, к Эдему, к Богу. “Стало легче, и я выпрямился”, — говорит бедный человек, европейский человек XIX века, взглянув на греческий мрамор» (ОПП, 350; ср. 543). В «Апокалипсисе нашего времени» Р., размышляя о религии, отмечает: «Мы поклонились религии несчастья. Дивно ли, что мы так несчастны. Как это он хорошо сказал: “Выпрямила” (Глеб Успенский о Венере Милосской). Но он угадал душу всего язычества: оно — всё “выпрямляет”» (АНВ, 237). Основываясь на идеях, высказанных Достоевским в письмах, Р. определял для произведений У скромное место: «Героичность и эстетизм у Гюго и Державина — это так же искренно, натурально, задушевно, правдиво, как у Гл. Успенского его “Нравы Растеряевой улицы” И в последних на ниточку нет больше “правды и естественности”, чем у Гюго в монологах его трагедий. Хотя мы, которые приблизительно движемся в пределах “Растеряевой улицы”, и не в силах почти относиться иначе к этим монологам, как к крайней вычурности, ходульности и “лжи”» (ОПП, 218). Прочтя у Мережковского в «Большой России» цитату из У.: «Нет ни малейшего сомнения, что девицы, подносящие Достоевскому венок, подносили его не в благодарность за совет посвящать свою жизнь уходу за старыми хрычами, насильно навязанными в мужья... Очевидно, что тут кто-нибудь ошибся» (КНУ, 519), Р. заключает: «“Обыкновенные люди”: которых стошнило бы от скотских суждений Глеба Успенского. Как он мог его высказать? Как он не оглянулся на себя и не заметил, что ведь что же пьяненький и уже старенький он представлял собою как *мужчина*: и, однако, жене его было счастливо ухаживать за ним, хоть и за пьяненьким, и беречь *детей*, от него рожденных. Боже мой. Боже мой: до чего договорилась *литература*» (КНУ, 520). Творчество У. было для Р. определенным этапом в процессе деградации литературы: «Попали в *печат*ь, имеют вид литераторов. Якубзоны и Азовы стали на место Щедрина и Успенского, как те стали на место *Тургенева* и Гоголя. Со ступеньки на ступеньку идем мы в гнилой погреб...» (РГО, 134). Отношение У. с народниками Р. рассмотрел в статье «Еще погребенный “социологами” (Из мартиролога русской *революции*)» (НВ. 1914. 2, 16, 21, 25 марта; 4 апр.; НФП).

С. Ф. Дмитренко

УСТЬИНСКИЙ Александр Петрович (1854 – 1922) — священник, публицист, близкий друг и консультант Р. по богословским аспектам *семьи* и *брака*. Годы жизни указаны на основе примечания С.А. Цветкова к письмам Р. к У. (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 315. Л. 1–6). Р. считал У своим земляком, т.е. родом из Костромской

губернии (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4209. Ед. хр. 1). Окончил он Новгородскую духовную семинарию (1878) и Петербургскую духовную академию (1882) вместе с А.П. Альбовым и А.А. Дёровым. С конца 1880-х служил в г. Старая Русса Новгородской губ. В мае 1900 переведен в Новгород (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4209. Ед. хр. 3. Л. 27), где был протоиереем Дмитровской церкви, затем настоятелем Десятинного женского монастыря. В 1901–1903 участвовал в прениях на 8-м или 9-м заседании за *свободу совести*. Обширнейшая (по-видимому, одна из самых



А.П. Устьинский

больших) переписка У. с Р. (1898–1919) хранится в ОР РГБ (ф. 249) и РГАЛИ (ф. 419). Она насчитывает 100 писем Р. к У. и 208. — У. к Р. и по годам распределяется следующим образом: 1898 — 9 писем Р. к У. и 7 писем У. к Р., 1899 — 13 и 23 письма, 1900 — 15 и 27 писем, 1901 — 10 и 18 писем, 1902 — 9 и 21 письмо, 1903 — 6 и 16 писем, 1904 — 9 и 17 писем, 1905 — 8 и 10 писем, 1906 — 4 и 10 писем, 1907 — 3 и 6 писем, 1908 — письма Р. неизвестны, писем У. — 7, 1909 — писем Р. неизвестно, писем У. — 3, 1910 — письма Р. неизвестны, письмо У. — 1, 1911 — 6 и 14 писем, 1912 — 1 и 7 писем, 1913 — письма Р. неизвестны, писем У. — 4, 1914 — 1 и 4 письма, 1915 — письма неизвестны, 1916 — 1 и 4 письма, 1917 — 2 и 3 письма, 1918 — 3 и 5 писем, включая денежный перевод, 1919 — последнее письмо У. к Р. 4/27 января. Многие письма У. к Р. подготовлены Р. для публикации. Значительная их часть опубликована в *книгах* Р., но оригиналы их не сохранились. Часто письма Р. к У. — это заметки будущих или развитие прежних статей. Имя У. упоминается в большинстве статей и книг

Р., посвященных его ключевой теме — семье, браку, *полу*. У., постоянно поддерживая Р., тактично поправлял его и не одобрял крайности Р. Темы, затрагиваемые в общении Р и У., посвященные первоначально вопросам пола, семьи и брака, постепенно стали касаться и проблем церковных, литературных, государственных и политических, а также личных, семейных и служебных. Так, в январе 1905 Р. описывает последствия 9 января в Петербурге (РГАЛИ. Ф. 415. Ед. хр. 315. Л. 153), 8 августа 1917 У сообщает по просьбе Р. о положении (очень нелегком) с квартирами и продуктами в Новгороде и Старой Руссе (РГАЛИ. Ф. 415. Ед. хр. 673. Л. 23–24). Хотя переписка Р. с У началась в первые месяцы 1898, У., судя по первым письмам, обратил внимание на брошюру Р. «Место христианства в истории». Прочитав фельетон Р. «Смысл аскетизма» (НВ. 1897. 31 дек.) (и критику М.Н. Сменцовского на него в «Церковных Ведомостях» 7 января 1898), У пишет письмо в контору «Нового Времени», а 24 февраля получает ответ Р. (РГАЛИ. Ф. 415. Ед. хр. 315. Л. 1–4), затрагивающий проблемы брачной жизни. В первых своих письмах, которые до нас в оригинале не дошли, У сообщает Р. о А.М. Бухареве, и Р. проявляет интерес к судьбе и взглядам этого церковного мыслителя. В следующем письме, полученном У 8 мая 1898, Р. посылает У «не совсем, кажется, удачную статейку о браке из “Биржевых Ведомостей”, май с.г.» и сообщает некоторые подробности о своей службе: «Служу я чиновником особых поручений при Государственном контролере, откомандированным в департамент железнодорожной отчетности <...> и получаю 150 рублей. В силу нерасположения ко мне Государственного Контролера, Филиппова (по-видимому, он желал и надеялся, что я стану поддерживать его церковные тенденции и вообще разные литературные махинации), положение мое в Контроле весьма шатко и неудобно» (РГАЛИ. Ф. 415. Ед. хр. 315. Л. 7). До 28 октября — даты первого известного письма У к Р. (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4209. Ед. хр. 1. Л. 1) — Р. написал к У еще два письма. Р. пересылает У. статьи свои и других авторов, предлагает У напечатать его письма по вопросам семьи и брака, с примерами из современного быта и из Священного Писания. С согласия У это и было сделано с комментариями Р. в последних номерах «Русского Труд» за 1898 (№ 50–51). У. постоянно высказывает свои суждения о статьях Р., 7 ноября рекомендует «по поднятому вопросу говорить почаше и погромче», еще добавляет о молчании синодалов, приводит высказывание любимого им В.С. Соловьёва и обещает коснуться мнения Соловьёва о разводе. 13 ноября У предлагает Р. издать его статьи на эту тему отдельной книжкой, что и было осуществлено (сборник «Религия и культура»). У посылает Р. (24 декабря) заметку о Вл. Соловьёве, своем «кумире», которую редактор «Гражданина» В.П. Мещерский, по словам Р., печатать отказался, сказав: «Не хочу я прославлять Соловьёва» (РГАЛИ. Ф. 419. Ед. хр. 315. Л. 51). Увеличивается число публикуемых Р. писем У. в разных изданиях (под псевдонимом А. У-ский или Русский священник), вместе они отбиваются от многочисленных критиков. Летом 1901 У. принимает участие в беседах на религиозно-общественные темы у Р. в Териоках (В.М. Скворцов, М.А. Новосёлов, В.А. Тернавцев, Альбов), которые стали, в известной мере, предтечей РФС, открывшихся 29 но-

ября. В вышедшей в том же 1901 книге Р. «В мире неясного и нерешенного» помещены и письма У., в том числе — его разбор одного из Псалмов Давида, который Р. в 1903 в «Семейном вопросе в России» называет «гениальным в подробностях» (СВР, 420). В 1902 У., будучи в Петербурге, разрешил Р. печатать свои письма по вопросам семьи и брака в журнале «Новый Путь». Они вышли в февральской книжке журнала за 1903. У опровергал в них мнение М.О. Меньшикова, высказанное в дискуссии о язычестве и христианстве. В письме к Р. еще в августе 1902 У писал: «Тысячу раз спасибо, что сделали внушение (об отрицании эллинизма) Меньшикову. Этот господин и вообще о христианстве имеет самое искаженное и грубое представление, а в частности по вопросу о половом общении держится мнения Вл. Соловьёва. Все эти господа <...> с протоиереем Дёрновым во главе под выпелом православия преподносят читателям чистейшее манихейство <...> Плоть и функции фаллоса не есть свинство, как изволит мыслить г. Меньшиков, а есть нечто святое и божественное» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4209. Ед. хр. 5. Л. 47). Меньшиков весной 1903 в серии резких статей против РФС и «Нового Пути» обрушился и на У и в фельетоне «Тоже стиль модерн» (НВ. 1903. 23 марта) раскрыл его псевдоним. История получила огласку. Мещерский в своем «Дневнике» представил скромнейшего священника чуть ли не как проповедника *разврата* (Гражданин. 1903. № 25. 27 марта). 26 марта У пишет к Р.: «Уже по поводу моих писем в февральской книжке “Нового Пути” меня призывал к себе преосвященный Гурий <архиепископ Новгородский и Старорусский> и делал мне <...> внушение <...> Услужливый фельетон Меньшикова произвел бурю. Вышние петербургские духовные сферы возмущены <...> Прошу Вас, дорогой мой, не печатайте больше моих писем» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4209. Ед. хр. 6. Л. 7). В связи с разразившимся скандалом Р. шлет У в апреле одно за одним пять писем. Сначала Р., пользуясь знакомством с епископом Антонином, викарием С.-Петербургским, попытался погасить скандал на первой его фазе. По словам Антонина, в передаче Р. митрополит С.-Петербургский Антоний сказал: «Я не нахожу ничего неправильного в мыслях Устьинского. То, что он говорил, и мы все думаем. В нашем народе <...> принято всякую крошку хлеба принимать с благоговением, перекрестившись <...> Священник Устьинский этот благочестивый взгляд распространяет и на половой акт, что без сомнения есть в хороших частях народа и что совершенно правильно» (РГАЛИ. Ф. 419. Ед. хр. 315. Л. 1–3). В письме, полученном У. 3 апреля 1903, Р. описывает свою встречу с митрополитом, который просил успокоить У и одновременно рекомендовал У воздержаться от публикаций. Здесь же он говорит о том, как Д.С. Мережковский «удивительно любит» У., как он ходил в Лавру просить за него и провалился в подвал, изрезавшись при этом стеклом. 4 апреля 1903 У. получает от Р. послание (РГАЛИ. Ф. 419. Ед. хр. 315. Л. 8–11), начинающееся словами: «Стряслась беда!» Здесь он описывает, как Мещерский послал великому князю Сергею Александровичу свой «Дневник» «с жестокими о Вас словами». Великий князь, в свою очередь, дал фельетон Меньшикова царю, тот ему поверил и приказал «наказатъ этого священника и расправиться <...> с этим журналом» («Новый Путь»). На

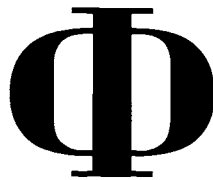
следующий день Р. сообщает: «Был сегодня у Антонина и несколько утешился <...> Перечел Ваше объяснение Гурию: удивительно по сжатости, достоинству и убежденности». Перед 20 апреля Р. продолжает информировать У.: «Митрополит сказал: Гурий дал отзыв как об одном из лучших своих священников <...> И *Победоносцев* говорит: Да и сам я вижу, что священник хороший, да наверху смутились» (РГАЛИ. Ф. 419. Ед. хр. 315. Л. 12 и далее). С.А. Цветков полагал, что после вмешательства царя над У. был назначен духовный суд и У. был сослан на два месяца в загородный Хутынский монастырь (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 315. Л. 16). Однако переписка не подтверждает этого. 14 июня У. сообщает Р., что «дело кончилось благополучно, без всяких дурных последствий для меня» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4209. Ед. хр. 6. Л. 23). Не перестал У. и публиковаться; в письме его к Р. от 25 октября 1903 читаем: «Писание <...> разместите как и раньше с сокращенной фамилией <...> Я посылаю Вам вторую часть своей статьи в № 8 “Гражданина” с поправками» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4209. Ед. хр. 6. Л. 31). В книгах Р. «Семейный вопрос в России», «В мире неясного и нерешенного» и «*Около церковных стен*» У. упоминается и цитируется многократно. В первой из них воспроизводится брошюра прот. А. Дёрова «Брак или разврат?» с нападками в адрес Р. и У. В развернутых комментариях Р. защищает взгляды У. В последней книге Р. говорит, что «о. Ал. Устьинский пишет тверже и яснее, чем я» и что «по статье “Брак и христианство” и вообще по книге “В мире неясного” мы уже сплелись, духовно и литературно, с ним в одно». У. фигурирует и в книгах «*В темных религиозных лучах*» и «*Уединенном*». Упоминается как А.П. У-ский, собирающийся идти к митрополиту, «с бороденочкой, с нежным девичьим лицом», весь «наш», «русский поп». «Как я люблю его, и непрерывно люблю, этого мудрейшего священника наших дней, — со словом твердым, железным, с мыслью прямою и ясной. Вот бы кому писать “катехизис” <...> Я благодарю Бога, что он послал мне дружбу с ним» (У, 27). Р. делает в «Уединенном» важное признание, что именно благодаря таким священникам, как У., он вернулся в конце 1911 к православной Церкви. О тонкости душевной У. говорится и в «*Опавших листьях*», «*Смертном*», «*Мимолетном*». В тяжелой морально-психологической обстановке, в которой оказался Р. в 1911–1914, У. поддерживал своего друга, помогая ему советом и делом. 26 октября 1913 он пишет Р.: «Посылаю Вам с сыном своим Витом книгу “Великое в малом” <С. Нилуса>, в том предположении, что, вероятно, что она не доходила до Ваших рук, а между тем вторая часть ее вполне достойна внимания всякого русского православного человека, а тем более — писателя... Пожалуйте, просмотрите “Протоколы собраний Сионских мудрецов” Читал Ваше, перепечатанное из “Нового Времени” в “*Колоколе*” письмо по делу *Бейлиса*. Читал и опровержение на него в “*Речи*” Я всецело разделяю Вашу точку зрения» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 673. Л. 9–12). Готовя письма У. к сдаче в Румянцевский музей, Р. написал: «Вот мой милый, вот мой дорогой священник — больше ничего не умею сказать. Люблю, чту, брат мой, наставник мой. Мочу, чтобы письма и *портрет* его были изданы после моего †. Кто-нибудь, любящий меня, сделает. Он весь был — Русский. Твердый. Ясный.

Скромный» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 106). В «*Последних листьях*» Р. делает (15 августа 1916) еще одну запись о «добром и благом священнике А.П. Устьинском» и о себе: «Более и более мне кажется, что я веду не к разрушению христианства, а к восполнению христианства. А.П. Устьинский, чистейший семьянин и строго православный священник, так именно и понимал мое учение» (ПЛ, 218). Когда в 1917 в Москве открылся Поместный собор Русской православной церкви, У., всю жизнь переживающий за состояние церкви, послал на него свою программу церковных реформ. Впервые он выдвинул подобный проект в письме к Р. от 12 августа 1902, назвав его «Мои тезисы» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4209. Ед. хр. 5. Л. 45–46) и обсуждал их позже с Р. Там он высказывал мысли, близкие обновленцам, тем не менее не имеется фактов о его присоединении к «живоцерковникам». У. поддерживал Р. и материально. Сам находясь в чрезвычайно стесненном положении, он шлет в *Сергиев Посад* небольшие суммы. 13 апреля 1918 У. получает письмо от Р. с благодарностью за присланные 40 рублей: «Но от Вас и я возьму <...> А вы знаете, я Вас угадал еще во время нашего общего сотрудничества в “Русском Труде” у *Шарапова*: я тогда также бедствовал <...> Жена ходила в короткой меховой кофте зимою <...> Завидовал лошадиному счастью, лошадиному корму <...> И вот, от Вас, милого, письмо, такое четкое, как и сейчас на бланке с 40 р. Подумал сперва: протоиерей Устьинский, верно — ругань. Читаю: другой язык, другие мысли, другие воззрения. И вот — сдружились. Тому уже 20 лет: 1898–1918 <...> И у меня часто мелькало: что же делать, что же делать? Убегу в Старую Руссу, к священнику Устьинскому, с женою и большою Наденькою <...> Да, угадал. Я что-то почувствовал в Вас такое, что и Вы в сущности как древний еврейский пророк — готовы жить хоть в дупле дерева, и чтобы “птицы приносили Вам пищу” И в сущности, это-то и сблизило нас с Вами и сроднило. Мы оба с Вами пророческого рода, в жизни, в быте — странные люди, почти — декаденты, почти — футуристы (“люди будущего”), не пригодные, не “улаженные” и “невозможные” в текущей действительности: но с постоянною, не прерывающейся ни на одну минуту мыслью о Боге Спасе нашем» (РГАЛИ. Ф. 419. Ед. хр. 315. Л. 19–21). До 10 мая 1918 Р. пишет к У., благодарит за присланные деньги, но просит, если будет возможность, прислать продукты, а не деньги. Вспоминает дочку У., сына Вита, матушку. У. отвечает 12(25) мая: «Из ответа Вашего видно, что Вы очень бедствуете. Но и в Новгороде положение не лучше. Каких-либо вещественных приношений священникам не бывает <...> Решительно все, всякую мелочь, всякий пустяк приходится покупать на деньги <...> Уже не голод, а прямо голодная смерть грозит новгородцам. В окрестных деревнях тоже голод, грабежи и разбои <...> Господь немилосердно карает Русский народ за забвение им своего назначения, своего призвания». 11 июня 1918 из Москвы отправлено предпоследнее письмо — почтовая открытка — Р. к У., где он благодарит У. за пространное письмо и просит от имени семьи его «заступнических молитв». Описывая свою теперешнюю жизнь, Р. говорит, что «случалось попросить у прохожего папиросу, чтобы затянуться». 15 июля из Сергиева Посада он отправляет последнее нам известное письмо (почтовую открытку) «милому и

дорогому, ненаглядному старому другу» в Новгород, сообщая, что номера «Апокалипсиса» 6 и 7 спрятаны, а письма он «истребляет». «Я пережил нечто ужасное с октября и по сейчас. Но боюсь сглазить. Люблю» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 315. Л. 196). У отвечает 13 августа: «Давно уже получил от Вас открыточку, но “Апокалипсиса” № 6–7 еще не получал <...> Посылаю Вам, от имени детей, 40 руб. на поддержку издания или на хозяйственные нужды. Очень рад, что о. Павел Флоренский задумал написать биографию Бухарева. В его опытных руках это дело выйдет прекрасно» (РГАЛИ. Ф. 419. Ед. хр. 673. Л. 29 об). В декабре дочь Р. прислала «искреннюю благодарность» (датирована 20 декабря

1918) от имени отца (РГАЛИ. Ф. 419. Ед. хр. 315. Л. 197). 7 января 1919 в письме «Друзьям» Р. вспоминает далекого новгородского друга: «Устьинскому милому кланяюсь в ноги и целую руку». 14/27 января У в очередной раз посылает Р. небольшую помощь и пишет на бланке несколько слов, ставших последними в их переписке: «Дорогой Василий Васильевич! Посылаю Вам на лечение 70 руб. Желаю Вам терпения в Вашей тяжелой болезни. Призываю на Вас милость и благословение Божие. Надеюсь услышать весть о Вашем полном выздоровлении. Любящий прот. А. Устьинский» (РГАЛИ. Ф. 419. Ед. хр. 673. Л. 34).

М.С. Дроздов



ФАЛЭС (Φαλῆς) (ок. 625 — ок. 547 до н.э.) — первый древнегреческий философ и ученый. Имя Ф. появляется у Р. в ранней работе «*О понимании*». Один из тезисов Р. сводился к мысли о том, что науку образуют не знания, а понимание. К науке могут иметь отношение лишь те знания, «которые имеют целью образовать понимание и ведут к нему» (ОП, 26). Поэтому именно с Фалеса, по мнению Р., начинается наука у греков: «Греки многое знали до Фалеса, но только с Фалеса начинается у них наука; потому что хотя он и не приобрел никакого важного знания с точным значением, однако в нем в первом пробудилось стремление к пониманию, т.е. к объяснению того, что знал ранее и он, и другие» (там же). Р. вспоминает Ф. в связи со своими рассуждениями в «*Мимолетном*» о нелюбви к скупому порядку: «Я не люблю скупости, воздержанности сухой земли». Чтобы яснее выразить свое отношение к затронутой теме, он продолжает: «Я люблю — влажное. Болотце люблю. Росу утреннюю и вечернюю. Слезы люблю. “Сухого гнева” ненавижу. Значит моя “стихия” (греки) из воды... Бог вначале создал воду (Фалес)» (М, 50). Оценивая заслуги *Вл.С. Соловьёва* в области философии, Р. использует имя Ф. как исток, с которого, собственно, и начинается история философии. «Русский “философ” никогда не брался за исследование самого предмета, самой темы, бывшей интересною уже начиная с Фалеса; но с Фалеса и до наших дней он знал все мнения, высказанные об этой теме» (ОЦС, 433). В этом же контексте Р. вспоминает Ф., описывая религиозную картину *России*: «Народ наш и общество или волновались около “аллилуйя”, или не верили вовсе ни во что. Как и в философии до Соловьёва русский или знает мнения от Фалеса до *Канта*, или просто поступает не на тот факультет, идет в медицину или адвокаты и уже тогда равно считает вздором и Фалеса и *Канта*» (ОЦС, 435).

И.С. Шилкина

ФАЛЬКОВСКИЙ Федор Николаевич (1874–1942) — провинциальный беллетрист и драматург. Письма Ф. к Р. относятся к 1899, времени совместного сотрудничества в литературном приложении к «*Торгово-Промышленной Газете*» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 40). На приглашение Р. принять участие в «*Торгово-Промышленной Газете*» Ф. отвечал 31 января 1899, что «был бы рад работать и учиться под <...> “началом” Р., поскольку давно принадлежит “к почитателям” его пера» (Там же. Л. 6). Он обещал выслать Р. свою книгу, удостоившуюся

положительного отзыва в «*Новом Времени*». Следующее письмо сопровождало рассказ Ф. из деревенского быта для публикации в газете. Беллетрист просил Р. похлопотать о нем, отметив, что с некоторого времени в газете для него «стены сдвигаются» (Там же. Л. 3). Ф. делился планами на дальнейшее обустройство в сельской местности и передавал приветы семейству Р., что указывает на их личное знакомство. 28 февраля 1899 Ф. извещал Р. о невозможности выполнить его просьбу: достать билеты на интересующую его пьесу. Там же Ф. обещал передать Р. заказанную статью о *В. Васнецове*, рассказ *С. Сафонова* (Печерина) и другие материалы. Из письма следует, что Ф. предлагал содействовать привлечению в «*Торгово-Промышленную Газету*» также *Баранцевича*, *Мамина-Сибиряка* и др. Следующее письмо содержало пояснения Ф. к приложенному для газетной публикации рассказу «*На Иматру*», а также уведомляло о его возможном визите к Р. в ближайшее воскресенье. К письмам Ф. дана розановская характеристика беллетриста: «*Фальковский беллетрист и пьесы. Женатый на богатой еврейке (раньше бедняк)*» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 95). Тема национальности Ф. была затронута Р. в первом же письме. По этому поводу Ф. дал разъяснение: «Вы угадали: я родился не в русской семье, но меня с детских лет воспитывал *И.А. Кашкаров*, хорошо известный в медицинском мире профессор; этого человека я боготворил, а в этом человеке была вся Русь... Немудрено, что я хорошо знаю дорогой мне народ. А ведь чем больше знаешь, тем больше любишь» (РГБ. Л. 6).

А.В. Ломоносов

ФЕДИНА Владимир Степанович [наст. фам. Ильешенко; 15(27).1887, имение Афанасьевка, Екатеринославская губ. — 21.11.1970, Нью-Йорк] — историк литературы, поэт. Автор писем к Р. 1915 и 1916 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4312. Ед. хр. 16). Ф. интересовался у Р. отношением к религиям Индии и был приглашен в гости к писателю для обсуждения волнующих его тем. На приглашение обещал с удовольствием зайти к Р. «по соседству» (Там же. Л. 2). Рецензия Р. на статью *Д.С. Дарского* «*О Фете*» (РМ. 1915. № 8) «Новое исследование о Фете» (НВ. 1915. 24 сент.; ОПП) была с одобрением воспринята Ф., и он прислал Р. свою книгу «*А.А. Фет (Шеншин)*. Материалы к характеристике» (Пг., 1915). Р. откликнулся на нее библиографической заметкой «*А.А. Фет (Шеншин)*. Материалы к характеристике *В.С. Федина*» (НВ. 1916. 28 сент.), в которой отмечает, что читающее

русское общество до Тютчева или Фета, — и особенно до Фета, — еще не дозрело» (ВЧВ, 379). «Федина с безмерною любовью прикасается к Фету, его цветистым камням, к его личности. В книге дано подробнейшее изложение всех данных о странной и запутанной биографии Фета, особенно о его *рождении*. Эти данные она <!> подвергает внимательнейшему разбору» (ВЧВ, 380). Большевицкий переворот застал его в США.

А.В. Ломоносов

ФЁДОРОВ Николай Федорович [крещен 26.5.1829, село Ключи, Елатомский уезд, Тамбовская губ. — 15(28).12.1903, Москва] — религиозный философ, в 1874–1898 — библиотекарь Московского публичного и Румянцевского музеев. В круг чтения Ф. в 1890-х — начале 1900-х входили основные издания, в которых печатался Р.: «Русский Вестник», «Русское Обозрение», «Новое Время», «Новый Путь». В работе «Религиозно-этический календарь», посвященной истолкованию церковного годового календаря в духе учения «всеобщего дела», Ф. откликнулся на статью Р. «Эллинизм» (НВ. 1901. 11 июля). Он согласен с критикой Р. в адрес классической гимназии, которая «непренемно сухая, формальная, черствая» (ВДЯ, 176), оторвана от национальной почвы, не способна образовать *душу* ребенка, и предлагает заменить уничтожаемый классицизм «историею, естествоведением и законоведением» (Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 3. С. 432). Школа, подчеркивает мыслитель, должна воспитывать в детях «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» и в то же время пестовать в них всечеловечность, планетарное сознание, чувство ответственности за бытие. Однако Ф. выступает против основоположного тезиса статьи Р.: эллинизм и христианство — религии-антиподы, одушевляющие два разных, а то и противоположных духовно-культурных мира («Эллинизм есть поклонение плоти, христианство — духу») (ВДЯ, 172), а значит, классическое образование в рамках христианской цивилизации не более чем профанация, ибо истинное возрождение эллинизма возможно лишь на почве отречения от христианства. «Но разве Василий Великий и Григорий Богослов, учась в Афинских школах, меньше понимали Эллинизм, чем В. Розанов, а не отрекались от христианства» (Фёдоров Н.Ф. Указ. соч. С. 431), — спрашивает Ф. и указывает на поверхностность представления об оптимизме эллинского мироощущения: «Древний грек вовсе не был таким жизнерадостным, как великий псевдоязычник Гёте, к авторитету которого апеллирует Р. (там же). В античном мире мы встречаем не только бьющую через край полноту бытия, но и тоску смертности, жажду воскресения, искание истинного Бога. Что же касается христианства, то оно вовсе не есть односторонний спиритуализм, попирающий материю, подобно буддизму, но религия, утверждающая преображенную, бессмертную материальность. Христианство не отрицает эллинизма, а синтетически вбирает его в себя, уточняя и углубляя родившееся в нем мирознание. Эллинизм, обожествляющий плоть какова она есть (ее юность хрупка и недолговечна, отступает перед болезнью, страданием, смертью), представляет собой как бы «ветхий завет для Христианства» (там же), где плоть одухотворяется, получает обетование обожения и жизни бесконечной. Весной

1903 Н.П. Петерсон, ученик Ф., направил в редакцию журнала «Новый Путь» оттиски своей статьи о М. Горьком, две трети которой занимали обширные выписки из работ Ф., и прежде всего из второй части «Вопроса о братстве, или родстве...», где излагалось учение о Троице как образце для человеческого общежития: сыны и дочери человеческие в своей любви к отцам должны были уподобляться любви Сына Божия и Духа Святого к Богу Отцу. В ответ редактор-издатель «Нового Пути» П.П. Перцов предложил Петерсону частично поместить присланную статью, подчеркивая, что некоторые из ее положений «поразительно совпадают с идеями Розанова, Мережковск<ого>... — ближайших сотрудников журнала и главнейших выразителей современного религиозно-философского движения в России» (Цит. по: Фёдоров Н.Ф. Собр. соч. М., 1999. Т. 4. С. 480). В письме В.А. Кожевникову от 1 июля 1903 Ф. не признал этого совпадения, подчеркивая отличие своего подхода к проблеме пола от «розановского сексуализма»: в учении всеобщего дела содержится требование «положительного целомудрия», преодоления слепого «полового рождения», ведущего к неизбежному вытеснению родителей, обращения эротической энергии в силу космизирующую и воскресительную. «В понятии о дочери, подчеркивал Ф., — заключается исключительно долг к родителям, отрицающий вполне все половое» (Там же, 482). 19 февраля 1906 Петерсон отправляет Р. несколько листов из печатающегося в это время в г. Верном I тома «Философии общего дела» (судя по содержанию письма, это был как раз тот фрагмент второй части «Вопроса о братстве...», где речь шла о долге «дочерей человеческих»), а также публикацию письма Ф.М. Достоевского Петерсону от 24 марта 1878, в котором писатель выражал свой интерес к идеям Ф. (Дон. 1897. 20 июля). В сопроводительном письме Петерсон спорит с розановским пониманием христианства как нетворческой, пассивной религии, отрывающей верующих от мира и жизни, и противопоставляет ему активное христианство Ф., которое требует соучастия объединенного человечества в осуществлении главных обетований Христовой веры — всеобщего воскресения и Царствия Божия (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 569). В 1907 он отправляет Р. первый том «Философии общего дела», а в 1913 встречается с Р. в Петербурге. В том же 1913 соредактор и издатель сочинений Ф. В.А. Кожевников по просьбе П.А. Флоренского посылает Р. и его падчерице А.М. Бутягиной, заинтересовавшейся идеями Ф., второй том «Философии общего дела» и свою книгу о Ф. В ответ он получает книгу «Литературные изгнанники» с надписью, в которой Р. изъявляет «глубокую благодарность именно за ознакомление его с Фёдоровым» (В.А. Кожевников — Н.П. Петерсону, 10 октября 1913 // ОР РГБ. Ф. 657. К. 6. Ед. хр. 43). В 1913 А.М. Бутягина публикует под псевдонимом Крестовский статью «Один из обоюдных героев мысли», посвященную философу всеобщего дела (НВ. 1913. 24 апр.). Сам Р. не откликнулся на настойчивые просьбы Петерсона написать о Ф. отдельную статью. Однако несколько раз упоминал его имя в печати. Так, в книге «Мимолетное. 1914 год» он противопоставляет идеализму Белинского, который «не был достаточно глубоко и надежен», последовательный идеализм славянофилов и Ф.: ни один из них «никогда бы <...> не сбли-

зился “в целях своей жизни” ни с охранкою, ни с банкиром» (КНУ, 556). А в статье «Туркестанские произрастания» (НВ. 1915. 29 нояб.), размышляя о духовном значении провинции в *судьбах русской культуры*, указывает на то, что даже начало знакомства современников с «творениями московского философа Фёдорова» (НФП, 555), имя которого ныне уже значительно распространено и «утверждено», было положено на окраине государства, в г. Верном. Р. свое отношение к учению Ф. высказал в несохранившемся письме Петерсону от середины июня 1914, о содержании которого можно отчасти судить по ответному письму Петерсона от 22 июня 1914: «Приношу Вам мою глубокую благодарность <...> за любезности, которые Вы старались сказать мне в Вашем письме. Вы говорите, что я иду, высоко подняв голову. Напрасно, — я слишком удручен тем, что никто не слушает меня, что я лишен возможности даже высказаться <...> Вы пишете, что в идее Фёдорова Вам все представляется слишком машинным, внешним. Но для Фёдорова ничего не было противнее машинного, лабораторного, фабричного, ничего не было противнее “гомункулюса” И если Вам представляется идея Фёдорова машинной, то только потому, что Вы не ознакомились с нею. Вы говорите, что метод слишком застарел в безбожии; — однако только идея Фёдорова меня, — безбожника и революционера, — обратила к Богу, освежила мое сердце» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 569). Несмотря на внутреннюю дистанцию, присутствовавшую в отношении Р. к учению всеобщего дела, в некоторых его статьях 1900-х — 1910-х возникают переключки с идеями Ф. Особенно это касается статей, почти ежегодно писавшихся Р. для пасхальных номеров «Нового Времени». В них Р. называет идею Воскресения сердцевиной проповеди Спасителя, подчеркивает, что историческое христианство исказило смысл благой вести, обоготворило смерть, гроб, поставило Великий Пятток выше *Пасхи* (позднее на этот смертобожнический уклон в христианстве будут указывать последователи идей Фёдорова философы А.К. Горский и Н.А. Сетницкий). «Упразднение из цивилизации момента и идеи “Воскресения”» (СМР, 117) — прямая причина того, что христианство безнадежно проигрывает в истории. Р. призывает раскрыть пасхальный, житнетворческий смысл христианства, понять его как религию *радости*, «вернуть все христианство от пятницы к воскресенью»: «Пусть этот пасхальный клик <...> разольют на весь год, на всю *церковь*, весь строй ее, на ее уставы, на ее напевы, *живопись, иконы*, всё, всё» (ОНД, 104). Подобно Ф., убежденному стороннику апокатастасиса, Р. последовательно отрицает идею *ада*: «Каким образом из уст кроткого Иисуса вышли впервые слова об огненном наказании, о муке вечной, об аде. Конечно, если это пустое слово — то не страшно: а если подлинная *истина* будущей жизни, то от страха теперь же можно поседеть» (СМР, 379). И так же, как Ф. видит в кострах инквизиции, «тюрьмах кесаря, казнях королей» (там же) своего рода проекцию адского пламени в земное бытие *человека*, обнажающую жесткий, немилосердный настрой «христианских» сердец. Однако если Ф., указывая на изъяны исторического христианства, рассматривал их именно как изъяны, уклонения от «царского пути» соработничества человека Богу в деле спасения мира, то

Р. больше склонялся к тому, чтобы объявить мироотрицающий уклон в христианстве его подлинной сущностью. В конечном итоге это привело философа в «*Апокалипсисе нашего времени*» к резкой критике христианства и апологии ветхозаветного иудейства и *язычества* как религий света и жизни. Активно-христианский поворот в истолковании Нового Завета, предложенный Ф., был чужд Р., что объяснялось его несогласием с той религиозно-философской трактовкой проблемы пола, которая была представлена в «Философии общего дела». Для Ф. половое рождение — определяющая черта падшего природного порядка существования, стоящего на вытеснении и смерти, для Р. — основа основ бытия, универсальный источник жизни. Это принципиальное расхождение Ф. и Р. почувствовал *Н.А. Бердяев*, отметив его в работе «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики» (Париж, 1931) и в дважды прочитанной в Религиозно-философской академии в Париже лекции «В. Розанов и религия пола. Н. Фёдоров и религия воскресения» (14 марта 1930 и 19 марта 1935). Р., подчеркивал Бердяев, стремится победить смерть рождением, «спасается от ужаса смерти в стихии пола, в ее жизненной напряженности. Но падший пол и есть источник смерти в мире, и не ему дано победить смерть» («О назначении человека». М., 1993. С. 224). Ф. в отличие от Р. видит окончательную победу над смертью «не в рождении новой жизни» (там же), а в воскресении, изымающем жало смерти из самой плоти мира, устанавливающим закон бессмертной, неветшающей жизни во всем бытии.

А.Г. Гачева

ФЕОФАН [Быстров Василий Дмитриевич; 31.12.1873 (12.1.1874), Подмошье, Новгородская губ. — 19.2.1940, Лимёй, департамент Дордонь, Франция] — архиепископ Полтавский, ректор Петербургской духовной академии (1909—1910), епископ Петербургский и Ладужский (с 1908), епископ Ямбургский (1909—1910), архиепископ Полтавский и Переяславский (1913), духовник царской семьи после 1905. В 1905 познакомил *Г. Распутина* с представителями императорской семьи, но осенью 1911 выступил против Распутина и был переведен в Крым, а в 1912 — в Астрахань. В 1920 эмигрировал. Ф. являлся для Р. одним из высших воплощений церковного *аскетизма* среди современников. Защищая семью, *детей, пол*, Р. не раз заочно полемизировал с Ф., «фанатическим приверженцем *монашества*» (РГО, 374). Р. вспоминал в связи с Ф. о неприемлемом для него толковании таинства *брака* как «скверны» и сетовал, что «у Феофана петербургского», как и в святоотеческих писаниях, нет ничего о семье: «Дитяти стало не видно» (РГО, 371). Р. фантазирует: «И вдруг дитя, розовенькое, трехлетнее, вошло в инспекторскую квартиру Феофана и, протягивая ручонки, сказало бы: “Папа! Разве забыл? Христос учил обо мне, о нас, о царстве небесном. Пойдем туда, к Нему, в Его царство” Феофан принял бы это за “наваждение” За что-то “нечистое”, “от лукавого” Он смог бы только ответить: “Сгинь, нечистый!”» (там же). В докладе «О христианском аскетизме», прочитанном в *Религиозно-философском обществе* 12 марта 1908, Р. говорил: «Почему молитвотворец Давид не есть аскет и “христианский святой”, а Феофаны — большой и малый, Тамбовский <Феофан Затворник> и Петербургский, — суть

“аскеты” и “почти святые”, по приговору потомства и современников. Говоря о Феофане малом, я разумею замечательную личность современного нам инспектора Петербургской духовной академии; личность сильную и высокую, но, с моей точки зрения, религиозно-отрицательную <...> Об обоих я могу сказать ту, что так часто говорили отцы-пустынники о соблазнявших их образах. Именно, они жаловались, что к ним иногда являлся “ангел” соблазнял их “на худое”, как они говорили. По этому соблазну они в самом ангеле открывали присутствие “демона” <...> Вот таким принятием демоническим началом Космоса “светлого вида” — для введения в соблазн человечества — я и считаю весь вообще аскетизм» (ОНД, 310). В статье, посвященной защите *С.М. Зариным* в 1907 диссертации об аскетизме, Р. дает *портрет* его оппонента Ф.: «Знал я и Феофана или, точнее, чуть-чуть знал, видал. Монах. Инспектор духовной академии. Очень молодой, с прекрасным, привлекательным *лицом*, гораздо красивее Зорина <так писал Р.>. Раза два он появился на религиозно-философских собраниях <...> Во всей громадной массе слушателей и диспутантов нельзя было сейчас же не заметить этого монаха, с прозрачным, небесным (не шучу и не преувеличиваю) *лицом*, который ни разу не поднял глаз на публику и не произнес в оба вечера ни слова. Заметно было только, когда он входил и выходил из собрания, до чего он женственно-неловок и застенчив, я бы сказал — институтски и застенчив, и неловок. Больше он не появлялся. А я потом узнал, что он страшно редко покидает “затвор” свой, в который обратил свою квартиру, что он поставлен инспектором не по надежде на его управление или руководство *студентами*, но “для примера” им: чтобы был в академии светоч, свеча и мерило того, “что ожидается от *человека* духовного звания”, и чтобы они если и не сообразовались с ним, то тогда все-таки оглядывались на него <...> Самое имя “Феофана” при постриге в монашество он принял вслед и по почитанию знаменитейшего из аскетических писателей наших XIX века, епископа Феофана тамбовского, получившего в *литературе* и вообще среди духовенства имя “затворника”» (РГО, 367–368). Диспут с участием Ф. проходил необычно: «Говорили тихо, арх. Феофан до того тихо, что с обычных мест публики (т.е. очень близко к официальным столам, за которыми сидели профессора и оппоненты) ничего не было слышно, и совершилось небывалое явление: вся публика, покинув места свои, окружила вплотную кресло Феофана, став между ним и диспутантом (он на высокой кафедре) и выслушала, стоя, в плотном кольце, подставляя ладони к ушам, весь очень долгий спор» (РГО, 369–370). Р. вспоминал в *письме* к Э.Ф. Голлербаху: «Но сперва о слове Феофана, “праведного” (действительно праведного), инспектора Духовной академии в Спб. Сижу я, еще кто-то, писатели, у архимандрита (и цензора “Нов. Пути”) *Антонина*. Входит — Феофан и, ¼ часа повозившись, — ушел. Кажется, не он вошел, а “мы вошли” Когда Антонин спросил его: “Отчего Вы ушли скоро”, он ответил: “Оттого, что Розанов вошел, а он — Дьявол”» (ВНС, 373–374). Р. находил в этом заявлении Ф. подтверждение своей особой проницательности в вопросах мистики пола и противопоставлял аскета Ф. «Апису»-Распутину: «Конь ослу не товарищ. Гриша — конь, а Феофан — осел» (М, 61). Р. и

Ф. были знакомы и встречались. *С.П. Каблуков* упоминает о намерении Р. послать свою статью «Афродита и Гермес» (Весы. 1909. № 5), в которой шла речь о значении тетраграммы имени Божия, Ф. как «специалисту этого вопроса» (PRO, 1, 205). Одна из личных встреч Р. и Ф. состоялась в саду духовной академии: «Владыка Архиепископ как-то вспоминал и об одном молчаливом диспуте с известным философом-публицистом Василием Васильевичем Розановым. Когда тот посетил Владыку, тот собирался погулять на свежем воздухе в саду Академии. Владыка любил гулять в этом саду, когда его ум и сердце были заняты лишь *молитвой* Иисусовой. Поскольку гость был знаком ему и прежде, он пригласил его тоже погулять на воздухе в редкий для столицы погожий день. Философ совершенно неожиданно начал очень возбужденно и громко обличать *монашество*. Владыка в ответ молчал, не отвлекаясь от молитвы. Тогда Розанов продолжил свои обличения. Потом, немного подождав и не услышав возражения, призадумался. Прошлись еще немного. Спорщик продолжал, но уже медленней и тише, заглядывая в глаза Владыки, но так и не разгадав, какое впечатление производят его пассажи, так как Пресвященный молился, опустив глаза долу. Далее Розанов стал терять нить своих размышлений, повторяться. Владыка Феофан по-прежнему молился молча. Наконец гость остановился, посмотрел долгим взглядом на Владыку и тихо-тихо, как бы самому себе, неожиданно сказал: “А может быть, Вы и правы” Умный человек, он сам почувствовал слабость своих аргументов» (Бэттс Р., Марченко В. Духовник царской семьи. Святитель Феофан Полтавский. Новый Затворник (1873–1940). М., 1996. С. 43–44). Р., тяготевший к «священному безмолвию», почувствовал неожиданные неисчерпаемые стилистические возможности феномена *молчания*, когда отсутствие Слова как такового является в стилистическом и семантическом плане более значимым, чем его наличие.

А.Л. Налепин

ФЕТ Афанасий Афанасьевич [фам. матери Фёт; фам. приемного отца Шеншён; 23.11(5.12).1820, село Новосёлки, Мценский уезд, Орловская губ. — 21.11(3.12).1892, Москва] — поэт, переводчик, публицист. Р. относит Ф. к числу тех поэтов и писателей, которых он безусловно принимает в *литературе* (М, 295). В статье «О благодущии *Некрасова*» (МИ. 1903. № 2) Р., говоря о «музе мести и печали» этого поэта, сопоставляет его поэзию с лирикой Ф., *А.Н. Майкова*, *Я.П. Полонского* и приходит к выводу, что только Н.А. Некрасов «выразил вечную сущность поэта»: «На всё, поэт / Родишь ты отклик...». И именно этого «эха», по мнению Р., в отличие от Некрасова, не было у Ф. и двух других сравниваемых поэтов (ОПП, 131). В статье «Среди иноязычных (*Д.С. Мережковский*)» (МИ. 1903. № 7/8) Р. цитирует стихи Ф. «Шепот, робкое дыханье, / Трели соловья...» (ОПП, 160). В статье «*Л.Н. Толстой*» (НВ. 1908. 28 авг.) Р. отметил «хороший глаз, дополнивший богатую *душу*» у *Толстого*. У Ф. «хорошо была развита обонятельная и вкусовая сторона», «наименее думающая сторона, из которой наименьше можно чему-нибудь выучиться. Напротив, глаз нас вечно учит». «Художество Толстого, — продолжает Р., — в большей доле объясняется чудным глазом, каким он одарен был от *природы*» (ОПП, 302).

Положительной рецензией «Новое исследование о Фете» (НВ. 1915. 24 сент.) Р. откликнулся на статью Д.С. Дарского «О Фете» (РМ. 1915. № 8). Назвав статью «замечательной», Р. пишет о том, что исследователь разъясняет поэта как странный и почти необъяснимый для биографов «сплав двух натур, поэтической и практической, казалось бы, не только не имеющих между собою ничего общего, но и безусловно исключаящих одна другую» (ОПП, 614). Полагая поэзию Ф. «несравненной», Р. вспомнил неприятие Ф. Н.Н. Страховым, который считал, что лирика поэта «нисколько не связана с его обыденною жизнью» и «заурядной личностью» (ОПП, 615). «Фет был не “вообще поэтом”, с этою “горькой судьбой всякого поэта” — двоиться между пустой и содержательной жизнью. У него была двойственность рождения, двойная в нем физиология, которая и сотворила этот феномен, исключительно личный и особенный» (там же), — утверждает Р. и цитирует Дарского: «Одна половина Фета — это самый нежный, самый крылатый, недоступный даже легчайшему прикосновению житейского, ангелоподобный поэт <...> Другая половина — это великий знаток практической жизни, полковой адъютант и гвардейский штабс-ротмистр, прижимистый помещик средней руки и заядлый хозяин. Можно подумать, что сама судьба решила окончательно развести эти <...> половины, наделив одну именем Фета и присвоив другой фамилию Шеншина» (там же). Р. принимает положение Дарского — «противоречия натуры» Фета связаны с тайной его рождения, с внутренней борьбой в нем «двух натур, отцовской и материнской»: «У Фета была мать еврейка и отец русский»; он — «сильный и властный человек», она — «измученная и несчастная», и они «так целиком оба и перешли в сына» (ОПП, 616). Поэтому Ф. и Шеншин «сблизились, но не совпали в одном лице», всю жизнь пройдя рядом (там же). Р. цитирует стихотворение Ф. «Музе» («Надолго ли опять мой угол посетила...») и резюмирует: «Действительно “серафическая” поэзия. Для своего времени она прошла глухо, почти безвестно. Конечно, и при жизни Фета все люди настоящего чтения понимали цену его поэзии; но много ли было и вообще много ли есть людей настоящего читанья?.. Была и остается их горсть» (ОПП, 617). Отличительной особенностью поэзии Ф. называет Р. ее «музыкальность» и приводит слова П.И. Чайковского о том, что это — не просто поэт, а «поэт-музыкант, как бы избегающий таких тем, который легко поддается выражению словом». От этого его часто не понимают, особенно люди «немузыкальные» (там же). «Тайна музыкальности души Фета» порождает немалые его муки со словом: «Он все старался выразить невыразимое; определенные, отчетливые темы и сюжеты были для него чужды <...> Г-н Д. Дарский очень тонко улавливает, что этот музыкальный и несколько безумный гений находил себе в высшей степени уравновешение в его ежедневной практичности, в деловых, суровых заботах о земле, о нужде, о службе» (ОПП, 617). Поэтому его друзья — Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, В.П. Боткин, как и он, инстинктивно видели здесь «якорь спасения и сохранения» для личности, именно для поэта, утверждает Р. (там же). В статье «Не в новых ли днях критики?» (НВ. 1916. 3 февр.), обращаясь к книге Д. Дарского «Чудесные вымыслы. О космическом

сознании в лирике Тютчева» (М., 1913), Р. приводит отзывы Ф. о Ф.И. Тютчеве — «один из величайших лириков», «существовавших на земле» (ОПП, 626), — и выписывает из работы Дарского выдержку из Ф., где поэт сравнивает книгу стихов Тютчева с впечатлением от ночного неба над Колизеем, которое он однажды пережил. В этой статье Р., полемизируя с критиками 1860-х, восклицал: «Ну что о Тютчеве скажет Добролюбов? О Фете, о Майкове, о Полонском? <...> Бессилен был сказать что-нибудь, заслуживающее напечатания. Вот в чем горе...» (ОПП, 627). В статье «Между Азефом и “Вехами”» (НВ. 1909. 20 авг.) Р. свидетельствовал, что люди его поколения «зачитывались Тютчевым. Строки Фета, Тютчева, Апухтина ложились на душу все новым налетом. Сколько налетов! Да и под ними сколько своей ползучей, неторопливой думы» (СМР, 266). Литературные критики, по мысли Р., «вытыкали» «духовные глаза» у читателей: «Вся сорокалетняя борьба против “стишков”, “метафизики” и “мистики”, — все затаптывание поэзии Полонского, Майкова, Тютчева, Фета, — весь Скабичевский со своей курьезною “Историєю литературы”, по преимуществу новой, — ничего другого и не делали, как подготавливали и подготавливали великое шествие Азефа. “Приди и царствуй” и погубляй» (СМР, 267). Продолжая разговор о социологической критике в статье «Г-н Н.Я. Абрамович об “Улице современной литературы”» (К. 1916. 12 февр.), Р. писал: «Повторения подобного фазиса “критики” едва ли можно ожидать в будущем; вместо “погребения” Пушкина, Тютчева, Фета получались вящее их прославление — прославление, увенчание, возвеличение. И между тем позади лежит горький опыт: чего стоит вообще для духа нации и наций грубейшее торжество материалистических, позитивных учений, связывающихся всегда с сухим и жестким политическим радикализмом» (ОПП, 635). Р. ставит поэзию, и в частности Ф., выше прозы, служащей только делу «истины». В статье о новой книге В.С. Федины «А.А. Фет (Шеншин). Материалы к характеристике» (НВ. 1916. 28 сент.) он утверждает: «Можно и в 1916 году сказать, что читающее русское общество до Тютчева или Фета, — и особенно до Фета, — еще не дозрело. Как же, мы по стихам учимся прозе, и если в стихотворении не вложено полезной прозы, “чему бы нам выучиться как по учебнику”, мы и не будем читать такого стихотворения. Посему нам до сих пор нравились больше всего прозаические поэты, которые нам говорят попросту “истину” <...> А поэзия “без удержа”? Не пришло еще время. Но Соловьёв хорошо сказал: в самом деле, с Толстым, Достоевским, Гончаровым и Тургеневым русская проза только выровнялась с поэзией, не превзошла ее. Русская поэзия — вечная грань мира. Мир обеднеет, солнце несколько потухнет, если бы “взять да и зачеркнуть русскую поэзию”» (ВЧВ, 379–380).

Т.Г. Петрова

ФИГНЕР Вера Николаевна [25.6(7.7).1852, дер. Христофоровка, Тегушинский уезд, Казанская губ. — 15.6.1942, Москва] — народница-террористка, поэтесса. Р. называл ее «революционной “богородицей”» (У, 114), «пророчицей» (СХР, 192), «великой Верой» (М, 28), которая вместе с С.Л. Перовской стала «стрелять в Государя страны, потому что они “прочитали все о типах” и как

на последних героях остановились на двух жидях из Берлина» (М, 137). За свою преступную деятельность Ф. отбывала 20-летнее заключение в Шлиссельбургской крепости, после чего на 10 лет (1906–1915) эмигрировала. Когда в Шлиссельбург был заключен эсер-террорист П.В. Карпович, убивший министра народного просвещения Н.П. Боголепова, «ничтоже сумняся», не спросив себя, нет ли у него *детей*, жены. «В Шлиссельбург он явился такой радостный и нас всех оживил», — пишет в воспоминаниях Фигнер. Но если бы этой Фигнер тамошняя стража «откровенно и физиологически радостно» сказала, что вы теперь, барышня, как *человек* — уже кончены, но остаетесь еще как *женщина*, а наши солдаты в этом нуждаются, ну и т.д., со всеми последствиями, — то, во-первых, чту сказала бы об этом вся *печать*, радовавшаяся выстрелу Карповича? во-вторых, как бы почувствовала себя в революционной роли Фигнер, да и вообще продолжали ли бы революционеры быть так храбры, как теперь, встретя такую «откровенность» в ответ на «откровенность» Едва ли. И победа революционеров, или их 50-летний успех, основывается на том, что они — бесчеловечны, а «старый строй», которого — «мерзавца» они истребляют, помнит «крест на себе» и не решается совлечь с себя образ *человеческий*» (У, 359). Ф. была далека от интересов и жизни *России*. «Вера Фигнер «не выходила замуж в России», у нее не было «люббого мужа» <...> Ни *Вера Засулич*, ни Софья Перовская — они все не имели «люббых мужей» и не растили деток на Руси. Что им была Россия? Чужая. И в чужой России они задумали Россию» (КНУ, 472). Прослеживая линию предательства России от Ф. до *Азефа* (СХР, 222), Р. в статье «Не нужно давать амнистию эмигрантам» (НВ. 1913. № 3) писал: «Они захотели, эти «деточки», — «могилки на родной стороне» Нет у них «родной стороны» Родная сторона их — «заграница»» (ЛВИ, 597).

А.Н.

ФИЛАРЕТ [Дроздов Василий Михайлович; 26.12.1783 (6.1.1784), Коломна — 19.11(1.12).1867, Москва] — митрополит Московский (с 1825), богослов, проповедник, церковный и общественный деятель. Имя Ф. одно из наиболее часто упоминаемых имен русских архиереев у Р., который высоко оценивал личность московского первосвященника. «Ум Филарета был до того светозарен, что уже в конце царствования *Александра I* производил какое-то всеобщее вокруг себя обаяние» (ОЦС, 34). К тому же «Филарет был высокогосударственный ум» (ОЦС, 149). «В эпоху, ближайшую к нам, выделяются <...> митрополит Московский Филарет и император *Николай I*. Первый — умом, а второй — характером, и, наконец, оба духом своего управления дали нечто завершительное. Они хотели быть образцом и примером, которому могли бы следовать приемники их положения» (ОНД, 115). «Филарет московский все *время* стоял в самом центре государственного и церковного движения, и отчасти он был двигателем событий» (ЛВИ, 532), он же, по мнению Р., находится в ряду величайших имен национальной культуры: «*Пушкин, Жуковский, Лермонтов, Гоголь, Филарет* — какое осияние Царства» (АНВ, 6). Р. приводит ответ Ф. на стихотворение Пушкина «Дар напрасный, дар случайный, / *Жизнь*, зачем ты мне дана?»: «Филарет ответил, из *души*, из глубины своей ду-

ши, не размышляя и сейчас же ответил: «Не напрасно, не случайно / *Жизнь* от *Бога* нам дана...»» (ВЕ, 15). В добавлении к «высокогосударственному», «светозарному» уму величие Ф., по мнению Р., еще и «в *гении* такта», ибо он «есть член, узел, звено или, пожалуй, глава священных церемоний, и церемонных священных жестов, и церемонных слов» (ОЦС, 34). Ф. вместе с *Иоанном Кронштадтским* «является высшею точкою нашего церковно-религиозного развития, и оба стоят около третьего великого старца, *Серафима Саровского*» (ЛВИ, 532), а в свою очередь, «рядом с попом может стоять



Филарет (Дроздов)

сейчас же митрополит Филарет, да и сам св. Серафим Саровский» (СХР, 18). Среди современных ему архиереев, по утверждению Р., «не только таких фигур, как митрополит Филарет московский, стало не видно и даже как-то их нельзя себе представить на теперешнем фоне *церкви*» (ВНС, 44). После *Первой русской революции* Р. отмечает, что из тогдашних архиереев «ни Гермогена эпохи 1613 года, ни Филиппа Московского или *Сергия Радонежского*, ни даже митрополита Филарета шестидесятих годов XIX века не вышло...» (ВНС, 45). Вместе с тем Р. считал, что Ф., «охранительнейший из охранительных умов» (ОЦС, 269), «со своим самонадеянным гордым умом» (СМР, 150) «был сухой и властолюбивый» (КНУ, 353) и «царствовал у нас в духовной *литературе* жестокий, подавляющий режим митрополита Филарета» (ВМНН, 122). «Отдавая предпочтение и даже преклоняясь перед мистическим умом Филарета», Р. сетовал:

«Поразительной тонкости языка и мысли, отточенные проповеди московского святителя как-то вовсе не касаются эмпиризма действительности» (ОЦС, 20). Поэтому «вся Европа этих Шлейермахеров читает, по ним учится. Тогда как наших Филаретов и Платонов решительно невозможно, и не хочется, и не поучительно читать кроме как специалистам» (СХ, 157). Иногда Р. противопоставляет Ф. как иерарха «простому» духовенству в лице Иоанна Кронштадтского и Амвросия Оптинского, ибо он, «за исключением одиноких минут в келье, есть бесконечная безличность, есть “общее место” святости, “сан” церкви» (ОЦС, 39). В эпоху освобождения крестьян «Филарет с текстами в руках доказывал, что рабское состояние есть естественное состояние некоторых классов населения и что его одобряли сами апостолы» (ВНС, 37). И в то же время Р. утверждает: «Невозможно было бы сказать о Филарете московском, что у него занятия делами епархии и вообще делами Российской церкви (как члена Синода) совершенно подавили подвиг монашества и память христианина» (ОЦС, 350). Р. в 1917 писал о значении знаменитого архипастыря: «Филарет Святитель Московский был последний (не единственный ли?) великий иерарх Церкви Русской» (АНВ, 5). Одной из причин русской Смуты, по мнению Р., является разрыв между церковью и государством. Говоря о Николае I и Ф., он заметил: «Как было великому Государю, и столь консервативному, не сделать себе ближайшим советником величайший и тоже консервативный ум первого церковного светила за всю судьбу Русской Церкви?» (АНВ, 6). Но, считал Р. еще в 1907, «вообще “дело” и “дух” этих двух замечательных личностей русской истории можно в настоящее время считать рухнувшими» (ОНД, 115–116).

А.В. Ефремов

ФИЛЕВИЧ Иван Порфирьевич [20.8(1.9).1856, Люблинская губ. — 7(20).1.1913, Петербург] — профессор историко-филологического факультета Варшавского университета, сотрудничал вместе с Р. в «Русском Вестнике» (1889), «Русском Обозрении» (1894–1897) и в «Новом Времени». В письме к Р. на бланке «Нового Времени» он дает оценку восприятия в Польше цикла розановских статей по польскому вопросу «Белоруссия, Литва и Польша в окраинном вопросе России» (НВ. 1909. 18, 22, 27 сент., 4 окт.; СМР): «Ваши статьи произвели в польской прессе страшное впечатление, — делился профессор с Р. политическими новостями из Варшавы. — Главный орган нар. демократов <нерзб.> передал подробно содержание и в заключение задался вопросом: “кто автор” Подписано “Москвич”, но, судя по частым упоминаниям о женитбе на русских <нерзб.>, можно предполагать, что и автор принадлежит к числу тех же “гениев” — “бывших поляков”, ставших именитыми <...> общечеловеками» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 45. Л. 2).

А.В. Ломоносов

ФИЛЕВСКИЙ Иоанн Иоаннович (1865–?) — священник, богослов, профессор Харьковского университета, сотрудник «Миссионерского Обозрения», участник Религиозно-философских собраний. На 15-м заседании РФС в ходе прений по вопросу о браке и обсуждения

записки Р. «О некоторых подробностях церковного воззрения на брак» выступил с критикой в адрес позиции писателя. «Этот русский мыслитель, — заявил Ф., — ставит вопрос о браке коренным образом и ищет его разрешения в метафизике. Его сочинения представляют такое новое явление нашего русского самосознания, подобного которому не было в Западной Европе. Так как это необычайный логический ум, то мне, любящему и уважающему его, кажется, что он в сердце мое пускает стрелы молниеносных слов <...> По моему мнению, вот как нужно ставить вопрос; он сводится к тому — христианство или язычество? теизм или пантеизм? Девство и брак (как таинство) в одной линии с теизмом, другая линия — супружество и безбрачие — ведет нас к пантеизму» (ЗПРФС, 289). Священник предлагал договориться о дефинициях обсуждаемого вопроса, что можно считать супружеством, девством, безбрачием и браком. Задачу Р. он видел в том, чтобы «разобраться в метафизике этих понятий. Он ищет метафизику брака в кругу какого-то метафизического антропоморфизма; он старается облечь жизнь Божества в формы пантеизма, в форму телесного какого-то бытия, притом на новый лад. Я различаю брак от супружества. Супружество есть плотское сочетание <...> Но брак освящает супружество и живет не по человеческой похоти, а по воли духовной <...> Не формальный только брак дает церковь, она в него вливает девство, девственную струю целомудрия. Если принять, что брак есть обновление природы человека, тогда не может быть не благословенного брака; может быть супружеством неблагословенно, но брак не может быть неблагословенным» (ЗПРФС, 289–290). В статье «Из писем друзей и недругов» (НП. 1903. № 2) Р. опубликовал письмо Ф. со своей характеристикой. На богословские выступления Р. священник реагировал своими выступлениями в открытом письме в редакцию «Нового Времени» (НП. 1903. № 4). Р. также дал обстоятельный комментарий к публикации писем Ф. в журнале «Новый Путь», поместив три письма со своим предисловием в персональной рубрике «В своем углу»: «Из переписки свящ. И. Филевского» (НП. 1903. № 4. С. 123). Ф. в пылу полемики сравнивал Р. с В.Г. Белинским: «Неистовый Виссарион, второе его издание» и называл «любословом». Ф. призвал писателя отыскать необходимую «меру слов и убеждений»: «Говорите, но не всегда вопреки, и не обо всем, не всякому и не везде» (там же). Сохранились письма Ф. к Р. 1901–1914 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4210. Ед. хр. 1–13). В письме от 5 ноября 1901 Ф. выражал сердечную благодарность Р. за его печатные статьи в «Русском Труде» «о самой жизни <...> текущей, ревушей, стонущей» (Там же. Л. 2). В следующем письме Ф. подчеркнул свое отрицательное отношение, в отличие от Р., к журналу «Вера и Разум» («нет ни веры, ни разума». — Л. 3). Р. опубликовал письмо Ф. от 24 октября 1901 под названием «Из переписки с N.N.» со своими обширными комментариями (НП. 1903. № 6). Ф. подчеркнул свою заинтересованность в продолжении дискуссии с Р.: «На каждое письмо отвечаю, если это письмо касается и вопросов духа. А Ваши письма в этом отношении требуют не одного письма, а многих, весьма многих, даже “целого тома”» (Там же, 172). Р. рассматривал выступление Ф. как единое направление церковной мысли: «Замечательна эта тенденция все перетолко-

вать “духовно” Не возлюби земли, земного — и это даже те, кто как от. И. Филевский, по-видимому, любят и защищают землю» (там же, 176). Когда Ф. отметил, что отдельные литераторы «даже *религию* хотят свести на степень особого источника эгоистических удовольствий», Р. выделил глубокое непонимание Ф., наряду с другими духовными лицами, умственных течений светской жизни (Там же, 173–174). Р. отмечал, что наряду с тенденцией «просветить, просветлить удовольствия <...> высший идеал всегда остается — *религия*. Явилась, таким образом, 3-я идея: каким образом неуничтожимую часть существа человеческого и жизни, прежде только давимую, теснимую религиею, сжимаемую до нуля, соединить с религиею и когда это произошло бы, удалось — уже не опасаться какого угодно расширения просветленных радостей» (Там же, 175). Ф. поставил в письме ряд вопросов: «В чем Вы находите недостатки милосердия и любви в христианстве? Зачем эти сомнения и неуверенность? Нужно установить, от имени ли Христа “изгоняете бесов”, т.е. пишете, учите, говорите об истине, “свободе совести” (ваша статья в “Н. Вр.”) и пр...» (Там же, 177–178). Стилистике письма Ф. писатель противопоставил накал диспута в полемике с профессором *Н.А. Заозерским*: «Ох, “где? где?” Читать письма И. Филевского, то, конечно — “нигде” Малиновый сироп <...> Тем N.N. и раздражал меня в письмах, что никакого-то, никакого у него внимания к фактам не было; просто — отречение, даже взглянуть на них. И — услаждение музыкой своих слов. За эту музыку он считал себя добрым, благим, христианином, а мое равнодушие к ней считал признаком ожесточенного сердца» (там же, 177, 181). С этим письмом Ф. отослал Р. икону св. Юлиана, интересовался временем выхода новых статей о Лондонской и Дрезденской картинных галереях и просил развивать и дальше тему демонизма у *М.Ю. Лермонтова*. Икону писатель так и не получил. На книгу Р. «Около церковных стен» Ф. отозвался рецензией в «Церковной Газете» (1906. 5 марта). Критический отзыв дал Ф. на книгу «Люди лунного света»: «О борьбе с порнографией» (Церковный Вестник. 1912. 26 апр.). К письмам священника Р. приложил его характеристику: «Филевский — священ. и профессор, — приятен, мил, добр, — благороден в благоприятных обстоятельствах; робок и слаб — в суровых. Автор книги “О Церковном предании”» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1 С. 107). Речь идет о книге: Филевский И.И. Учение православной церкви о священном предании. Антологическое исследование (Харьков, 1902). В декабре 1911 Р. указал Ф. в ряду представителей духовенства, отвергавших его идеи, но «враждующим с ними в печати и устно», относившихся к самому писателю «не только добру <...> но и любяще» (У, 79).

А.В. Ломоносов

ФИЛИППОВ Алексей Фролович (1870-е — после 1917) — издатель, публицист, редактор журнала «Русское Обозрение» в 1898–1901. Происходивший из крестьян и работавший некоторое время секретарем «Русского Обозрения», Ф. был знаком с основными сотрудниками журнала, в том числе и с Р. Получив в 1898 «случайное наследство» 30 000 (ПР. Ед. хр. 100. № 85 а), Ф. стал хлопотать о собственном издании в славянофильском духе. Разрешение на приобретение разорившегося в 1898

журнала «Русское Обозрение» было ему дано; он намечал большие планы, намереваясь, заменив *А.А. Александрова*, сохранить направленность журнала и привлечь к числу сотрудников, в частности Р., а также *П.П. Перцова* и *Д.С. Мережковского* для работы в особом «независимом церковном отделе журнала» (Русская литература. 1991. № 3. С. 139). Мережковский, узнав от Перцова о журнале, просил его: «Устройте так, чтобы я все-таки был постоянным сотрудником в Р.О. вместе с Вами и с Розановым, — но только вот еще что, — пощупайте-ка хорошенько, что это за Филиппов. А ну как реакционная шельма вроде *Грингмута* и *Мещерского*. Черт их всех знает. Ведь иногда то, что у нас в России называется “славянофильством” и куда Розанова приглашают, смердит, что нос зажмешь» (Там же, 138). 17 октября 1898 Ф. писал *С.А. Рачинскому* о встрече с Р.: «Был у Розанова, слушал его теории — бредни о любви и половых отношениях. Как всегда много оригинального, субъективного, мало вечного и духовного» (ПР. Ед. хр. 102. № 35. Л. 90 об). В апреле 1899 Ф. посылал Рачинскому (частями) свой первый труд под названием «Сказание о том, как и чем строилась Русь» и просил по прочтении отправить рукопись Р., который, получив ее от Рачинского, выразил недоумение. Ф. объяснял затем Рачинскому: «Розанов получил “Сказание”, но только для передачи мне, а не потому, что я считаю его практичным. Он к тому же занят и вдобавок ленив — своеобразно: — натура воспринимающая, много чувствующая и размышляющая, но недеятельная. Рассаживать редкостные психопатические бобы — не значит дело делать! Победоносцев сух, стилем скучен, содержанием окаменел, но куда же сравнивать его с Розановым!» (ПР. Ед. хр. 106. № 22а). Отличавшийся, по его собственным словам, «излишней словоохотливостью» (ПР. Ед. хр. 102. № 42. Л. 103), Ф. сделал далее длинное отступление, рассказав о своем воспитателе-немце, при похоронах которого, когда гроб несли мимо кафешантана, «попилились игриво-зазывающие, пошлые звуки вальса». Затем Ф. продолжил характеристику Р.: «Представьте, когда я читаю Розанова, а главное, когда я вижу его, слушаю — невольно вдруг в голове начинает виться мотив вальса из кафешантана на фоне строгого “идеже праведнии упокоятся” <...> И я верю, что если он будет идти в том направлении, какого он держится теперь, он дойдет до забвения при жизни — а он мог бы стяжать себе славу и оказать громадное влияние на умы — и поприение его имени со стороны тех, кто должен был бы ему сочувствовать, тех, кому он принадлежит по духу. Победоносцевы — это дело, и вот они еще кое-что творят и на них еще надежда! Розановы — какое множество их теперь — с их любовными взглядами, задрапированными церковностью, или церковностью, сопровождаемой чувственным экстазом, — это мелодия русского кафешантана — прессы при похоронах русской государственности» (ПР. Ед. хр. 106. № 22а). 25 декабря 1899 Ф. писал П.П. Перцову о своем будущем журнале: «Предполагаю его видеть не таким, каким оно было у Александрова, тупицы высокого калибра, хотя и умевшим придать журналу своеобразную физиономию <...> Но это не значит, что изменится “направление”, — т.е. ни на минуту никто в моем журнале сотрудничая и его читатель не почувствует себя враждебно настроенным чему-либо русскому

<...> Я люблю Русь, чту всё русское и не могу, потому что не желаю, признавать ничто выше нас» (Русская литература. 1991. № 3. С. 138–139). Однако уже 2 января 1900 Мережковский делился своими впечатлениями с Перцовым: «Филиппова Вы мне чудесно описали, и действительно, на него надежды мало: помесь Рудина с Хлестаковым» (там же). Широко декларированное намерение Ф. споспешествовать развитию русского патриотизма закончилось «пуфом»: не выпустив до 1901 ни одного номера «Русского Обозрения», Ф. в 1900 прикупил еще на аукционе «за странную сумму — семь рублей» и второй консервативный журнал — тоже разорившийся «Русский Вестник». Р. потешался над сомнительной издательской затеей Ф. в фельетоне «Судьбы нашего журнального консерватизма» (НВ. 1900. 30 июня), сравнив Ф. с приобретателем «мертвых душ» Чичиковым или вытащившим сетями мертвеца рыбаком из «простонародной сказки» Пушкина «Утопленник»: «По крайней мере отсутствие объявлений о выходе в свет год назад им купленного “Русского Обозрения” говорит скорее за роль рыбака, чем Чичикова. Но тогда зачем он купил или неужели он никак не мог отделаться от “Русского Вестника”? Или он хочет, скупив и не издавая журналы, уподобиться толстому турку, с огромным чубуком, какие иногда изображаются на дверях табачных лавочек, и подобно этому человеку сесть недвижно и без всякой торговли перед новою лавкою с вывеской: “Здесь лежит все умершие журналы” или: “Оптовый склад всего умершего консерватизма” Что, в самом деле, за шутка над литературой, консерватизмом и наконец над собой? Непонятно. Если он *человек* идеи, зачем ему два журнала и оба консервативные? Или он так много думает писать? Или ожидает так много подписчиков и сотрудников? Или он, как скупщик товара, не видит отличия журнала от кошачьей шкурки и уверен, что чем больше, тем лучше? А самое главное, почему же, имея средства для покупки второго журнала, он не издал ни одной книжки первой?» Как и ожидалось, разразившаяся Ф. издательская «эпопея» закончилась провалом: после выпуска первого же номера «Русского Обозрения» в 1901 издание прекратилось, ибо Ф. разорился так же внезапно, как и разбогател.

В.А. Фатеев

ФИЛИППОВ Тертий Иванович [24.12.1825(6.1.1826), Ржев, Тверская губ. — 30.11(12.12).1899, Петербург] — государственный контролер (с 1889), публицист. Ф. проявил интерес к Р. после появления в «Русском Вестнике» первой части его статьи о К.Н. Леонтьеве (РВ. 1892. № 1) и выслал ему через А.А. Александрова свою книгу «Современные церковные вопросы» (СПб., 1882). 17 марта 1892 С.А. Рачинский сообщил Р., что Ф. «сильно заинтересован» его «литературною деятельностью»: «Он хотел бы перетащить вас в Петербург, дать вам более или менее фиктивную, но хорошо оплачиваемую должность в своем ведомстве, и притом сделать из вас своего литературного сотрудника по вопросам церковно-государственным. Мне поручено насчет этого плана зондировать почву, т.е. вас» (РВ. 1902. № 10. С. 609). Рачинский, давно знавший Ф., однако, добавил: «Скажу вам прямо, что этого благополучия я для вас не желаю. Тертий Иванович действует путями не всегда прямыми. Самолюбия

он безмерного. Самостоятельной мысли в подчиненных он не терпит» (там же). В оригинале фраза звучит еще более резко: «Тертий Иванович действует путями кривыми и темными. А его тайный орган — “Гражданин”» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4205. Ед. хр. 1). 19 марта 1892 Р. отправил Ф. письмо, в котором благодарил за книгу, «почти уже прочитанную», и выразил «искреннее и глубокое уважение» к мыслям Ф. (РГИА. Ф. 728. Оп. 1. Ед. хр. 50). Р. упомянул и о своей переписке с К.Н. Леонтьевым, посетовав, что не успел с ним встретиться. Р. сообщил также, что Леонтьев «с величайшей горячностью говорил о “многолетней и неусыпной заботливости”» о нем Ф. О своих религиозных взглядах Р. написал: «Не буду неискренен и скажу прямо, что той верности собственного душевного строя исторически установившейся церкви, какой желал был я очень, у меня еще нет, она не достигнута. Через *воспитание*, в течение долгих годов учения — мы отходим от церкви; и когда в зрелом возрасте пытаешься возвратиться к ней — путь слишком длинен, чтобы его пройти; однако довести до желанной цели я не теряю надежды, ибо “стучащим отверзнется” Пока же на этом длинном возвратном пути, сколько есть во мне сил и умения, стараюсь будить и во всем нашем обществе, столь совершенно атеистическом, это течение к закрытой для него двери, сколько Бог даст мне выполнить — это будет видно в будущем» (там же). Р. поблагодарил также Ф. за одобрение в письме его трудов. 24 июля 1892 Рачинский писал: «Недавно был я во Ржеве и видел там Т.И. Филиппова. На днях он будет в Татеве, и очень жалеет, что вы не в Белом, и я поэтому не могу вас познакомиться» (РВ. 1902. № 10. С. 610). 20 августа Рачинский сообщал Р.: «Вчера уехал от нас Т.И. Филиппов. Он очень просит вас приехать к нему во Ржев — познакомиться. Выезжает он из Ржева 27-го августа. Для того чтобы оставить за вами свободу ехать или не ехать, по вашему желанию, я выразил сомнение в том, находите ли вы в Белом, но написать вам обещал. Полагаю, что знакомство с Т.И. может быть вам приятным и полезным, под условием, чтобы он не вовлек вас в писание, под своим внушением, о вопросах церковно-политических» (Там же, 611). Р. от встречи с Ф. уклонился, тем более что сам Рачинский попытался тогда через К.П. Победоносцева найти для Р. место в его ведомстве. При публикации писем Рачинского Р. изложил ситуацию в примечаниях: «Т.И. Филиппов прислал мне в Белый письмо, с выражением внимания к моим статьям, и прислал свою книгу “Современные церковные вопросы” Книгу эту, в той части ее, которая касается не греческой церкви (2-я половина), а нашего русского старобрядчества, я считаю и до сих пор превосходною и правильною, хотя, пожалуй, слишком детальною. Превосходная эта книга внушила мне самые светлые воззрения на Т.И. Филиппова как радикального, чисто русского человека, москвича и трудолюбца. Признаюсь, я не очень поверил не только проницательности, но и чистосердечию Рачинского: мне казалось тут что-то неясное и ненужное, какой-то сор личных отношений, простирающий власть на высоты мысли» (РВ. 1902. № 10. С. 609). В 1893, когда стало ясно, что перспективы перехода в ведомство Победоносцева туманны, Р. принял решение обратиться к Ф., и тот вскоре прислал ему предложение о переводе в его ведомство в Петербург. С 15 марта 1893

Р. был зачислен в штат *Государственного контроля*. Однако встреча с Ф. оказалась разочаровывающей: «При встрече с Т.И.Ф. произошла у нас какая-то магия. Он быстро вышел из кабинета при докладе обо мне дежурного курьера и еще ничего не сказал, как массивная его фигура и *лицо* наклонились надо мной и трижды косну-



Т.И. Филиппов

лись щекою ли, *губами* ли, моей щеки и губ. Вероятно, я от этого растерялся, и он сказал: “Еще пятидесятницы не было, — а я с вами христосуюсь” Затем произошло что-то безмолвное, какое-то безмолвное понимание друг друга. Только *Аф.В. Васильев*, мой начальник и генерал-контролер департамента железнодорожной отчетности, говорил мне раза два: “Т. Ив. недоволен вашими статьями”» (РВ. 1902. № 10. С. 609). В 1913 Р. еще раз изложил *историю* этой роковой встречи с Ф.: «История с Филипповым разыгралась так: он передал мне через Аф.В. Васильева, что “жаждет” меня (только что приехавшего в Петербург) увидеть; можно бы и “так” пойти, — но я пошел в приемный день (среда), и когда форменный фрак (контрольный <...>) был готов. Бывают люди антипатичные видом, — и подозреваю, что я был таков на тот час <...> Как вдруг высокая дверь отворилась — и ко мне медленно и маленькими, усталыми шажками стал подходить *человек* невероятно большого объема. Подняв глаза, я уже знал, что это Филиппов. Вид его был благ, мягок, добр; и седые волосы по-русски были расчесаны на две стороны, — пробором по середине, по-крестьянски. Я всё смотрел. Когда, подойдя ко мне и ничего не сказав, он нагнулся и, трижды поцеловав, сказал: “Еще отдания *Пасхи* не было” (т.е. “христосуются”). Я ничего не сказал. Он вздохнул. И что-то сказал. Что — я не помню. В “сию неизъяснимую минуту” и возникла та антипатия между нами, отчета в кото-

рой я никогда не мог себе отдать, но которая заключалась в “терпеть не могу” с обеих сторон <...> И с тех пор началось мое *закапывание*» (ЛИ, 132–133). Нелицеприятное мнение Рачинского о Ф. подтвердилось очень скоро, и Р. позже признал свою ошибку: «Эти грозные предсказания более чем сбылись» (РВ. 1902. № 10. С. 609). «*Закапывание*» Р заключалось в низком жалованье, которого не хватало на *жизнь*. Р. пожаловался на свое бедственное положение Рачинскому, и тот попросил Ф. обратить внимание на нуждающегося Р. Более того, надеясь на помощь мецената, Рачинский сообщил Ф. и о желании Р. издать сборник своих статей. На это Ф. ответил в июле 1893: «За Розанова прошу Вас не беспокоиться. Я прочел ему Ваше письмо, дополнив его моими настоятельными советами, и без труда достиг того, что от мысли об издании его произведений он отказался. Трудности новизната им уже побеждены, и контроль как служба начинает ему нравиться; а так как его прямое начальство нашло возможным к моим 1200 р. прибавить некоторую сумму из своих средств, то и в вещественном отношении он успокоен. Государственная служба вообще, а контрольная особенно, будет ему полезна и в общем человеческом развитии. Она сообщит точность его суждениям и выражению мыслей, в чем он более всего нуждается. Кроме того, она поможет ему раскрыть глаза на явления действительного *мира* и, в частности, на положение нашего *государства* и самого народа. Она же заставит его и даст ему возможность сократить размеры собственно писательского труда к несомненному улучшению его качества» (ПР. Ед. хр. 71. № 39). С Р. же Ф. провел строгую «воспитательную» беседу: «Должно быть, недели 3 назад призывает меня к себе экстренно Т.И. и говорит, что Вы ему обо мне писали, т.е. о моей нужде и пр.; также о замысле моем печатать сборник своих статей; ничего впредь ему обо мне не пишите: он принял и говорил со мной прямо недоброжелательно, не советовал (= повелел) что-либо печатать (“у Вас довольно известности” — как будто в ней дело — провались она совсем) etc., долго писать; уходя, я ему сказал, что писать так, как теперь (т.е. много), не знаю, долго ли хватит сил, а жить с *семьей* решительно нет средств — он сказал: “Я отдал Вам последнее” — вообще декларация тягостная была» (Там же. № 64). Р., не получив еще к тому *времени* прибавки к жалованью, посчитал письмо Ф. к Рачинскому обманом. Хотя вскоре прибавка была получена, *радость* от нее омрачила *смерть* дочери Надежды. Ф. задумал устроить Р. соредктором «*Русского Обозрения*», дабы усилить свое влияние на журнал и «прощупывал» с этой целью Р.: «Т.Ив. видел еще раз — позвал, встретясь на улице, к себе за обедню, и после обедни — *petit causerie* <короткая беседа>; говорит, подумайте, как вам лучше окончательно устроить, при Контроле, или, быть может, у вас в виду какая-нибудь редакторская деятельность; я не очень ясно его понял» (ПР. Ед. хр. 70. № 18). В октябре 1893 Р. по заданию Ф. ездил в *Москву* для встречи с сотрудниками «*Русского Обозрения*» и потом жаловался Рачинскому на неприятные впечатления от визита. Объявляя холодный прием москвичей, Рачинский 24 февраля 1894 сообщал Р., что «Редакцию “*Русского Обозрения*” встревожило желание Т.И. Филиппова видеть вас соредктором *Александрова*, ибо в этой комбинации ей

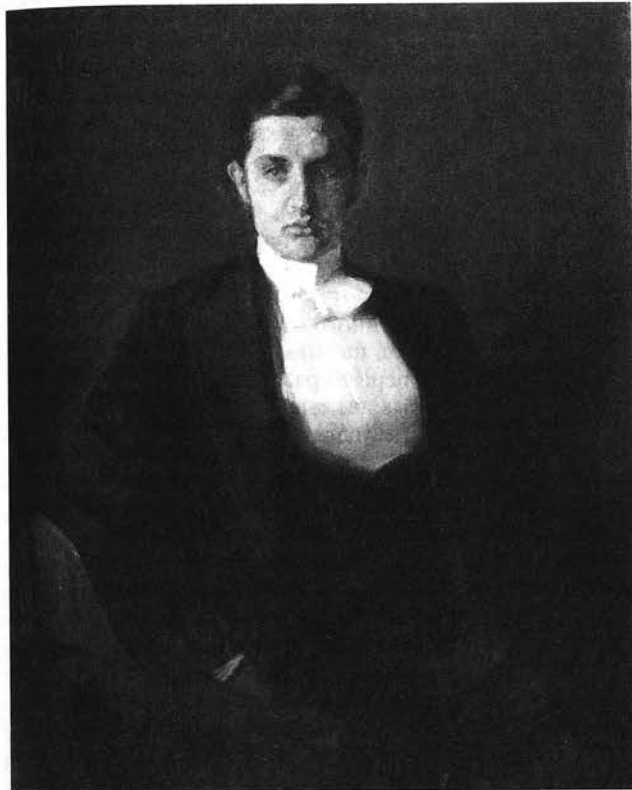
чуялось посягательство на независимость журнала» (РВ. 1902. № 10. С. 615). Замысел Ф. не получил воплощения, и Р. продолжил тяготившую его службу под крылом Ф. В начале июня 1895 Р. сделал грустный вывод: «Печальная страница в моей жизни — эта служба у Филиппова. По мелочности интересов — он достоин бы занимать пост управляющего Контрольной палатой, по аппетитам — он тот же Кривошеин, и не превосходит в тонкости и сложности интриг. Бедный Кривошеин, с которым он ел, пил, кажется, вместе покупал или продавал имения — и утопил его, чтобы укрепиться при новом Государе, заявить строгую свою честность. А затем — *far niente*» <безделье> (ПР. Ед. хр. 81. № 49). В следующем письме, встретившись с Победоносцевым, Р. сопоставляет его с Ф.: «Какое может быть сравнение с “патриархом” с Мойки; ведь у того, кроме хорошего слога, да министерски выпяченной груди, когда он говорит с купцами — ничего нет. — Это в полном смысле слова Хлестаков, попавший по недоразумению в Контролеры и врущий, что “сорок тысяч курьеров будут звать его...” на патриаршество» (Там же. № 50). Далее Р. пишет, что Ф. поручил ему направить меценату *Д.И. Морозову* просьбу выслать деньги на поездку к Святым Местам (не называя имени Ф.), хотя, как подчеркнул Р., Ф. уже получил от министра финансов *Vutme* 12 000. В июле того же года Р. сообщил Рачинскому мнение о Ф. *Н.Н. Страхова* и *А.Н. Майкова*: «О Филиппове он <Страхов> давно как-то сказал: “Отвратительнейший человек”, а когда я при Ап<оллоне> Майкове, смеясь, рассказывал о его лицемерии религиозном, Майков сказал: “Догадался-таки вы” В СПб. о Фил<иппове>, кажется, нет 2-х мнений» (ПР. Ед. хр. 82. № 56). Незадолго до завершения службы в Государственном контроле Р. писал прот. *А.П. Устьинскому*: «В силу нерасположения ко мне Государственного Контролера (по-видимому, он желал и надеялся, что я стану поддерживать его церковные тенденции и вообще разные литературные махинации), положение мое в Контроле весьма шатко и неудобно. Ум у Филиппова светлый, но это — темный человек, и у него нет шага без расчета, как и нет слова — от сердца» (РО РГБ. Ф. 249. Ед. хр. 4229). *С.П. Каблуков* записал в «Дневнике» после разговора с Р. в 1909: «Тема: пошлость русского чиновничества в верхних слоях его. Как образцы этой пошлости Т.И. Филиппов, бравший *взятки* “и яйцом и курицей, и чем угодно”» (ПРО, 1, 220). Неприятен был Р. и очевидный *либерализм* в воззрениях Ф.: «Я прямо остолбенел от удивления, когда, приехав в Петербург, вдруг увидел, что “и Третий Иванович в оппозиции”, а его любимчик <А.В. Васильев>, имевший 2000 “аренды” (неотъемлемая по смерти награда ежегодная по распоряжению Государя), выражается весьма и весьма сочувственно о взрывчатых корбочках: тут у меня ум закружился, тут встал дым и пламя в душу. “Ах, так вот где оппозиция: с орденом Александра Невского и Белого орла, с тысячами в кармане, с семгой целыми рыбами за столом”» (У, 290). Сам Р. назвал Ф. «чванливо-ненавидяще-надутым» (У, 178), а *А.А. Измайлов* в одной из статей о Р. — «елейно-лампадным» (ПРО, 2, 92). Несмотря на все невзгоды, омрачившие первые годы его пребывания в Петербурге, Р. не сохранил к Ф. крайней неприязни: «Даже лица, причинившие мне неисчерпаемое страдание и унижение, — Афонька и Третий, — не

возбуждают во мне собственно злобы, а только смешное и “не желаю смотреть” Но никогда “не играла мысль” об их страдании» (У, 237).

В.А. Фатеев

ФИЛОСОФОВ Дмитрий Владимирович [26.3(7.4). 1872, Петербург — 5.8.1940, курорт Отвоцк под Краковом, Польша] — критик, публицист, общественный деятель. Р. познакомился с Ф. после сближения с кружком «*Мира Искусства*». В письме от 15 ноября 1898 Ф. признавался Р.: «Давно стремлюсь лично с Вами познакомиться и привлечь Вас в качестве сотрудника в журнал “Мир Искусства”, а также и в новый задуманный мною совместно с *Дм. Сер. Мережковским* и *П.П. Перцовым* литературный журнал <“Новый Путь”>» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3871. Ед. хр. 3. Л. 1). Именно Ф., определявший литературную политику журнала, пригласил Д.С. Мережковского, Р. и других писателей сотрудничать в «Мире Искусства». Неоднократно Ф. инициировал отдельные статьи Р. в «Мире Искусства». Так это было со статьей Р. «Занимательный вечер» (МИ. 1901. № 1; СХ) о сиаемских танцовщицах, на представление которых Ф. выслал писателю билет 31 октября 1900, «чтобы следить за их жестами» (ОР РГБ. Ед. хр. 5. Л. 3). Несмотря на явные симпатии Ф. к творчеству Р., ему далеко не всегда удавалось отстоять сочинения писателя перед редакцией и цензорами. 4 марта 1903 Ф. упрекал Р., что основные цензурные проблемы журнала возникли именно по его вине: «Не только по содержанию Вашей интереснейшие “вопросы” не подходят, но главное, они совершенно нецензурны. За последнее время и нас стали гнать. Наш цензор получил выговор, что он “распустил” Мир Иск.» (ОР РГБ. Ед. хр. 4. Л. 15). В статье Р. о *В.А. Серове* среди «мирискусников» упоминается «расхаживающий “многозначительный” Философов» (НВ. 1914. 31 янв.; НФП, 238). Ф. нередко бывал на «воскресеньях» у Р. на Шпалерной. *Д.А. Лутохин* вспоминал о поведении Ф. на этих «воскресеньях»: «Философов же вовсе не походил на своих вечных спутников <Мережковского и *Гунтуиса*>: годился бы в производителя, здоровяк, отменного сложения, полнокровный. Преисполненный самомнения, не говорил, а изрекал самодовольно — и заносчиво задира л собеседника. Даже манера говорить Мережковского, постоянно визгливо вешавшего всякие свои великие откровения, менее шокировала» (ОР РНБ. Ф. 445. Ед. хр. 6). Р. опубликовал «Открытое письмо к Д.В. Философову» (МИ. 1899. № 20) — одно из своих программных сочинений периода отхода от *консерватизма* и увлечения мистикой одушевленной природы: «Для меня природа одушевлена Богом, а Бог... жив, жизнен. Он — мой Господь!» (Там же, 61). Ф. выступил от лица редакции в защиту авторов пушкинского номера «Мира Искусства», в том числе и Р., когда журнал подвергся осмеянию *Вл. Соловьёвым* («Серьезный разговор с нитчеанцами (ответ *Вл. Соловьёву*)» // МИ. 1900. № 16–17. Худ. хроника) и упрекал автора фельетона, что, «нападая на Розанова, г. Соловьёв не всегда сохраняет должное спокойствие нелицеприятного судьи <...> Соловьёв предпочел выслушивать г. Розанова вместо того, чтобы вступить с ним в серьезный разговор» (Там же, 26). Ф. высоко оценил «трогательную и умильную книжку» Р. «В мире неясного и

нерешенного» (МИ. 1901. № 5): «С необыкновенным смирением и терпением этот замечательный русский писатель возражает на мнения своих оппонентов, стоящих по своему дарованию, конечно, в тысячу раз ниже его и только тогда, когда грубость и непонимание доходят у противника до высших пределов, Розанов скромно замечает: “будущность рассудит, кто прав”» (там же,



Д.В. Философов. Портрет работы Л.С. Бакста. 1897

285). По мнению Ф., значение книги Р., в которой он стремится обратить внимание читателей «на таинственные, мистические основы бытия» (Там же, 286) выходит за пределы только литературы: «Книга Розанова — явление глубоко культурное, и как таковая выходит за пределы литературной критики. Это — святое дело искреннего, бескорыстного собирания камней для фундамента будущей культуры» (Там же, 285). Ф. ревновал Р. к сотрудничеству в «Новом Времени» под началом А.С. Суворина. 2 июля 1900 Ф. пытался уверить писателя, что безусловная вина «Суворинской газеты» в том, что Р. «как писатель утомлен» (ОР РГБ. Л. 23): «Когда Вы писали кровью и сердцем — от Вас отвергивались, Вас не читали и стали принимать за сумасшедшего. Теперь Вы стали писать “легко” и Вас читают, а старик директор “кафе-шантана” сих по плечу одобрительно хлопывает <...> Вам надо раз навсегда твердо усвоить, что Нов. Вр. — для Вас абсолютно чуждо <...> что столь большая зависимость от Нов. Вр. — для Вас утомительно» (Там же. Л. 24). «Читаем все, что Вы пишете, подписанные и неподписанные, — писал Ф. от имени Мережковских Р. 15 апреля 1907 из Парижа. — А “фетиш-то” <монархия> видно не особенно еще ослабел. Все еще держится,

отчасти благодаря передовицам “Нов. Времени”, из которых некоторые очень талантливо, и по стилю напоминают писания одного нашего знакомого» (ОР РГБ. Ед. хр. 5. Л. 16–17). В сентябре того же года Ф. подтвердил свой намек, что узнает «в передовых» <...> статьях <“Нового времени”>, написанных ничуть не менее талантливо, чем фельетоны Розанова», стиль своего адресата (Там же. Л. 18). Но нередко Ф. просил Р. о практическом содействии своим планам со страниц столь презираемой им газеты. Он уговаривал писателя поместить в суворинском издании свою заметку в защиту дягилевского направления в балете 17 февраля 1903: «Я не люблю “Нового Времени”, но все-таки считаю, что это самая приличная и серьезная газета, а потому прежде всего обращаюсь сюда» (ОР РГБ. Ед. хр. 4. Л. 14). Вспоминая об истории создания *Религиозно-философских собраний* в 1901, Р. отмечает и поддержку этой инициативы Ф., хотя и характерно, что тот запомнился ему прежде всего внешними чертами: «Сейчас же поддержал Философов, — тогда ходивший в прелестном пиджаке и так прелестно себя державший» (КНУ, 497). Р. вспоминает размышление Ф. после визита «неохристиан» к митрополиту Антонию в Лавру перед открытием собраний: «Когда после беседы мы вышли на свежий воздух, то Д.В. Философов, обертываясь к Д.С. Мережковскому и мне, сказал своим неуверенным голосом и тихо смеясь: — “Как это странно: вот мы все пришли туда, как защитники плоти, и говорили смело за плоть, за радости мира, за сытную и, во всяком случае, нормальную, без самоумерщвления жизнь” Смех его увеличился, и он продолжал: — “И думал я, сидя среди их: да какие же мы защитники плоти, — в нас и весу-то чуть не несколько фунтов, худые, бледные, малорослые. Вы, Вас.Вас., Вы, Дмитрий Сергеевич? Взглянуть не на что. И они с нами спорили и говорили, что постыдно служить плоти: между тем не было между ними менее пяти пудов весу в человеке, и щеки красные, лоснящиеся, губы сочные” И он смеялся. А мы все недоумевали» (ВТРЛ, 157). Ф., как и Р., был одним из постоянных участников журнала «Новый Путь», а летом 1903 стал его редактором. В годы становления «триединства» Мережковских и Ф. их отношения с Р. стали менее близкими, но оставались вполне дружескими. «Когда я читаю Вас, то при первом прочтении мне все равно, что Вы пишете. Я ем вкусное фрикассе, наслаждаюсь его вкусом и затем уже только начинаю соображать, из чего оно сделано, — признавалась Ф. 4 марта 1903 в своей симпатии к литературному творчеству Р. — Я думаю на том основано то, что у Вас много читателей, любящих Вас, но чуждых вам. Вы так художественны, что к вам можно подойти и с чисто художественной точки зрения, даже будучи не согласен с Вами. С Мережковским этого не проделаешь. Кому его идеи претят, тот ни за что его не одолеет...» (ОР РГБ. Ед. хр. 4. Л. 15). Ф. пытался приобщить Р. к идеям своего интеллектуального кумира Ф. Ницше. Он преподнес Р. книгу Л. Шестова «Добро в учении Толстого и Ф. Нитче» (СПб., 1900). «Мне очень хочется, чтобы Вы ознакомились с Нитче», — объяснял Ф. свой подарок в прилагаемом письме, признаваясь тут же, — Ваше заявление, что Вы начали было читать Нитче, но он Вам показался скучным, меня очень обидело, не за Нитче конечно, а за Вас. Писатель Розанов не смеет так говорить, не умаляя

себя!» (Там же. Л. 25). Увлечение Ф. Мережковскими и политическими событиями *Первой русской революции* вели к постепенному охлаждению отношений с Р. Отвечая на вполне обоснованные недоумения в письмах Р. о причинах удаления от него круга мирискусников, Ф. писал ему 15 апреля 1905: «Мы были ядро, были движение, или как говорят — “современное течение” Нам удалось предугадать ближайшее *будущее*, и увидеть то, чего еще не замечали. Но постепенно мы стали растворяться в массе, нас поняли, оценили и, в конце концов, мы оказались как-то ненужными. Вы же фигура исключительная, как-то вне времени и пространства, и как всякий “царь” Вы иногда бываете тираном, т.е. не Вы, а Ваш багаж, который не всегда под силу носильщикам, к числу коих принадлежал и я <...> я все-таки мучительно почувствовал, что Вы стали поперек дороги, может быть и скромным, но сознательным, законным, желаниям носильщиков. Это я говорю относительно политики. Вам все равно, какие *правительства*, конституции и т.д., но носильщикам не все равно. И когда я увидал, что такая *сила* как Вы, равнодушно относитесь к политике, я огорчился. Конечно, это касается одного меня. Вообще у Вас ошибка, что Вы представляете себе “Мир Иск.” чем-то единым и цельным. Он оттого и исчез отчасти с Вашего горизонта, потому что он распался или вернее растворился в жизни. Второе, что я хочу сказать Вам, это то, что Вы как царь языческий, или израильский, опасны мне еще и в моих религиозных чаяниях <...> И для *религии* и для политики — Вы мне опасны. Но из этого конечно не следует, что я Вас забыл, или искусственно удаляюсь. Тут Вы не правы ко мне. “Мир Иск<уства>” (кроме меня) действительно отошел от Вас и это понятно. У него точка зрения эстетическая. Он Вами наслаждался, понял Вас, и пошел дальше искать новых ощущений <...> Я ни минуты не относился к Вам равнодушно. Наоборот, как влюбленный, я переходил от обожания к *ненависти*, от доверия к ревности. Но никогда Вы не сходили с моей дороги. И думается, что в Вас я буду всегда. Вы слишком мой, как *Достоевский*, Толстой» (Там же. Ед. хр. 5. Л. 5–7). Ф. и Мережковские не оставляли попыток вовлечь Р. в политическую *публицистику* с позиций религиозного *радикализма*, отстаиваемых ими. 12 августа 1906 из Парижа Ф. предложил Р. принять участие в бесцензурном французском сборнике на тему «“*Православие* и самодержавие” (Вроде “*ослабнувшего фетиша*”!)» (Там же. Л. 12). В рамках нарастающих оппозиционных настроений компании Мережковских Ф. был уверен, что Р. тоже их поддержит: «Реакция и политика до такой степени опустошили русскую культуру, литература и культура в таком загоне, что наш сборник, нам кажется появится кстаи, и даст возможность говорить что думаешь, не боясь *цензуры* справа и слева» (Там же. Л. 12–13). 15 апреля 1907 Ф. послал Р. книгу французского социалиста Ж.Б. Северака о хлыстах, объяснив Р. выгоду сотрудничества с левым публицистом, если «приспособить Северака к *переводу* русских *вещей*, для помещения их во французских журналах. Он мог бы написать (при нашей помощи) статейку о Вас, и кое-что перевести затем. Он один из редких французов, который находится в круге вопросов, нас всех интересующих» (Там же. Л. 16). Судя по дальнейшим письмам, отношения между литераторами продолжали осложняться.

23 сентября 1907 Ф. осудил фельетон Р. «Непростительные пропуски» (НВ. 1907. 14 авг.; ОНД), назвав его в открытом письме «в высшей мере лицемерным и грубым» (ОР РГБ... Л. 18). В следующем письме Ф. оправдывался за нелестные отзывы в адрес Р.: «Дм.Серг. передавал мне о Вашем возмущении мною. Мне очень обидно, что совершенно идейное разногласие произвело на Вас впечатление какой-то личной вражды. Я убежден, что Вы просто погорячились, и убедитесь, что если я идейно не согласен с Вами, то из этого не следует, чтобы я лично враждовал против Вас» (Там же. Л. 19). В написанной после двухлетнего пребывания в Париже статье «Религиозно-философские собрания» (*Слово*. 1908. 20 окт.) Ф. подчеркивал, в соответствии с неуклонно проводимой теперь им и Мережковскими концепцией «религиозной общественности», что направление *Религиозно-философского общества* изменилось: «Религиозно-философскому обществу нужно забыть свои распри с *церковью*» — «собрания должны взять на себя задачу общественного служения *интеллигенции*. Диалог с *духовенством*, по мнению Ф., завершен: «Розанов может в тысячу первый раз нападать на духовенство. В.А. Тернавцев может в две тысячи второй раз ему возражать — церковь их не услышит». В 1909 Р. выходит из Совета РФО, так как его не устраивает «измена прежним, добрым и нужным для *России* целям», и отмечает, что инициатива перемены целей «исключительно принадлежит Д.С. Мережковскому, Д.В. Философову и З.Н. Гиппиус, вовсе не участвовавшим в собраниях 1907–1908 гг.» (СМР, 30). В статье «В религиозно-философском обществе» Р. передает впечатление от услышанных им речей, в том числе и Ф.: «Скучно, нудно, тускло, с потугами на философию, с потугами на научность <...> Докладчик Философов, по-видимому не чувствующий себя совершенно свободно, старался быть корректным, учтивым, тихим, — и от этого *чтение* его вышло особенно серо. Он был похож на Маргариту за прялкой, которая прядет и прядет <...> Философова я оттого сравнил с Маргаритою, что, прядя нитку, он всё поглядывал на кого-то, и кончил сладким: “Вы (марксисты и эс-деки) не друзья наши, но я верю, что вы будете друзьями”» (СМР, 38). В статье, посвященной памяти А.П. Философовой (РС. 1909. 17 февр.), Р. упоминает и ее сына, тогда «декадента и эстета», а в примечании пишет: «Теперь — писатель на религиозные и философские темы. Только что вышла из *печати* его интересная книга: “Слова и жизнь” Он не обещает быть огромным писателем, но он уже теперь — значительный писатель» (СМР, 61). Статья «Анна Павловна Философова» вызвала бурную реакцию Ф. Он направил 19 февраля 1909 письмо в редакцию «*Русского Слова*», обвиняя газету и Р. в нарушении пределов вторжения в частную жизнь. Направляя текст письма Р., редактор оставил помету на обороте: «Грозил письмом в Пет<ербургскую> газ<ету>... Самое лучшее сговориться с ним» (ОР РГБ. Ед. хр. 6. Л. 1). В книге Ф. «Слова и жизнь» (СПб., 1909) содержалась рецензия на двухтомник Р. «*Около церковных стен*». В ней Ф. назвал Р. антихристианским мыслителем, скрывающим свои истинные воззрения «из лжетактических соображений»: «Из всех антихристианских писателей он самый серьезный и самый глубокий» (Философов Д.В. Загадки русской культуры. М., 2004).

С. 151). Ф. особо подчеркнул достоинства причудливого, ярко индивидуального стиля мыслителя: «Как бы ни относиться к идеям Розанова, нельзя не поддаться обаянию его стиля. Тут Розанов истинный творец новых ценностей <...> После *Пушкина*, *Тургенева*, *Достоевского*, когда, казалось, русский язык достиг предела своей яркости и богатства, Розанов нашел новые его *красоты*, сделал его совсем иным, — и притом без всякого усилия, без всякой заботы о “стиле”» (Там же, 142). Р., прочитав статью Ф., хотя и с большим запозданием, нашел в ней «много верного» (У, 81). Разногласия Р. и Ф. по вопросу РФО еще не привели их в первой половине 1909 к полной вражде. В статье «Дурной глаз» (Наша страна. 1909. 22 марта) Ф. рассматривает Р. как автора оригинальной концепции творчества *Гоголя* как писателя «без души», которую он во многом разделяет. Их политические разногласия усиливаются в 1910, приводя к полемике по самым разным вопросам, от противоположного толкования ухода Л.Н. Толстого из Ясной Поляны (Философов Д. Мелкие душонки // Речь. 1910. 7 нояб.) до «стиля» *духовенства* (Философов Д. Стильная мебель // Речь. 1911. 2 июля). 15 декабря 1910, отвечая на записку Р. с отзывом на юбилейную статью Ф. «*П.Д. Боборыкин* (1860–1910)» (РМ. 1910. № 12), он отправил Р. обширное письмо, объясняющее свое отношение к нему. Ф. заявлял, что «обеими руками» подписывается под статьей *П.Б. Струве* «Большой писатель с органическим пороком» (РМ. 1910. № 11) и что в свое время «хотел тоже выступить против» Р. «в печати, но разные соображения психологического характера» его «останавливали <...> Или буду чрезмерно груб, а потому и жесток, или слишком нежен» (ОР РГБ. Л. 9). Оценивая полемику Р. со Струве и выпады против революционеров, Ф. подчеркивал, что статьи Р. на эти темы «страшно нецеломудренны, производят невероятно циничное впечатление» (там же). Ф. утверждал, что лидеры кадетов («политики чистой воды») не обратили на розановские статьи «никакого внимания». Революционеры же, по справедливому замечанию Ф., его просто «не читают» (там же). В ответе Р. на обвинения Струве Ф. увидел лишь одну линию защиты: «Ваш ответ можно резюмировать в двух словах: я декадент. Да, Вас. Вас., Вы оказались типичным декадентом. *Декадентство* Вы берете не как данное, которое должно быть преодолено, а как все оправдывающее мирозерцание. Ведь основа декадентства — субъективизм. Настроение меняющееся ежедневно, вечное прислушивание к собственным ощущениям. Разговоры не о предметах, а о впечатлениях. Декадент может быть сегодня анархистом, завтра черносотенником, послезавтра с.д.-ом. Всех и ничей” Но перенесем это в область *пола* <...> В браке Ваше декадентство подавлено, и Вы как бы в отместку за “брачные” страдания — разнуздываетесь вовсю в общественности, становитесь там подлинным декадентом» (Там же. Л. 10). Ф. долго и подробно выговаривал своему бывшему кумиру причину своего отторжения его политических заявлений. Основной мотив обвинений сводился к тому, что Р. «не побоялся <...> оскорбить великие страдания революционеров» (Там же. Л. 12). В связи со статьей Р. «Стиль в вещах» (НВ. 1911. 27 июня; ТПРН) Ф. упрекает Р., что он мечтает о Церкви в стиле XVI в., но «стиль искусственно не создается» и «относиться к духо-

венству как к мебели по меньшей мере неприлично». В статье «“Магнитские” и Философов» (НВ. 1911. 5 сент.) Р. выступил против либеральной тенденциозности Ф.: «Д.В. Философов на самом деле гораздо умнее своих писаний, т.е. остроумнее и проницательнее... И он постоянно несильно хитрит в них, как “хитрил” сорок лет покойный *Н.К. Михайловский*. В возражениях мне насчет состояния *наук* в России он соглашается, что это состояние невысоко, но... винит в этом, даже странно выговорить, *Магнитского*, который умер пятьдесят лет назад!! *Магнитского* и еще *Уварова*, *Делянова*, *Боголепова*» (ТПРН, 219). Ф., по мнению Р., всё пишет «свои инсинуации на “несимпатичных” покойников: ибо уже таков *шаблон* журнального и газетного “катехизиса” (там же). Р. сравнивает Ф. с другим публицистом, *Н.К. Михайловским*: «Я упомянул о Михайловском, приводя его имя в связи с Философовым: оба — приседают до публики, до “зауряд”-читателя, а не говорят полным голосом ту очевидную истину, которую по степени своего *ума* не могут не видеть. Оба представляются наивнее и (да будет прощено слово) глупее, чем они есть в самом деле» (ТПРН, 220). Покушение на *П.А. Столыпина* привело к обострению полемики Р. с кружком *Мережковского* и с Ф. в том числе. В статье «*Террор* против русского *национализма*» (НВ. 1911. 4 сент.; ТПРН) Р. утверждал, что идет притеснение не инородцев, а русского народа. После того как в «*Речи*» было напечатано открытое письмо в редакцию с протестом против национализма и призывом к христианскому прощению (Речь. 1911. 9 окт.), среди подписавших которое был и Ф., Р. в статье «*Отойди, сатана*» (НВ. 1911. 14 окт.) заявил о своих бывших друзьях по поводу убийства *Столыпина*: Почему же они молчали, «пока литературу подготавливалось убийство <...> почему тогда молчали о “христианской любви?...”» (ТПРН, 282). С той же непримиримостью по отношению к космополитической интеллигенции Р. высказывался в статьях «Оправдание надежд наших геростратов» (НВ. 1911. 14 окт.; ТПРН) и «Космополитизм и национализм» (НВ. 1911. 22 окт.; ТПРН), где он выступил апологетом «национальной идеи». В ответной статье «В чем яд национализма» (Речь. 1911. 23 окт.) Ф. утверждал, что «национальной культуре вредят не инородцы, а национализм» и упрекнул Р. в том, что он «погубил *талант*, унизил самого себя, дошел до прямого изуверства». Далее Ф. заявил: «Откровенно скажу, что если бы я был инородцем, я бы возненавидел Россию». Р. в статье «Как торжествует “русский национализм”» (НВ. 1911. 25 окт.) сообщал в связи с утверждением Ф., будто «косточки инородцев трещат», что в Судебной палате, разбиравшей вопрос о его книге «*Русская церковь*», он не увидел «ни одного русского лица» (ТПРН, 290). После этой резкой полемики, в конце 1911, «Русское Слово», по требованию *Мережковского* и Ф., просило Р. воздержаться от присылки туда своих статей. Р. писал по этому поводу: «М. и Ф. пошли в “Рус. Сл.” и потребовали: “Мы или он (Варварин) участвуем в газете”, т.е. потребовали моего исключения» (У, 147). В 1911 *С.П. Каблуков* писал в «Дневнике», что он предложил Ф., возглавлявшему тогда Совет РФО, обсудить вопрос об исключении Р. из Общества «после его недостойных выражений о первом русском философе *Влад.Серг. Соловьёве*» (ОР РНБ. Ф. 322. Ед. хр. 17), однако его предло-

жение не нашло поддержки. Споры Р. и Ф. обрели предельную остроту после начала процесса над *Бейлисом*. В статье «Тайнопись Розанова» (Речь. 1911. 13 дек.) Ф. опровергал утверждения Р., сделанные в статье «Иудейская тайнопись» (НВ. 1911. 11 и 12 дек.; СХР), будто в религиозных текстах иудеев имеются *тайны*. С этого времени полемика Р. и Ф. о политических проблемах стала неотделимой от национального вопроса. В 1912 Р. в фельетоне «Д.Ф. Философов с “неугасимой лампадой”» (НВ. 1912. 8 февр.) писал о крайнем беззвучии названия новой книги Ф.: «Назвать святым и тихим именем изделие печатного станка, где пахнет смазочным салом машин, краскою и заработною платою, — назвать так книгу суетного и суетливого характера, на темы “вот сейчас”, по поводам “сегодня” и “завтра”, и где, может быть, есть ум и талант, начитанность и образованность, но во всяком случае по представлению самого автора нет ничего “вечного” и “неугасимого” <...> Книга могла бы быть названа “Взрывающийся фугас”, “Керосиновая лампа” и всего вернее, “Шумящий на улице мотор” Но “Неугасимая лампада” — дико: и, главное, в *мыслях* самого автора — совершенно ничему не отвечает» (ПВ, 40–41). Р. переходит и к самому автору: «Философов всегда умен, но никогда не очень умен; везде талантлив, но в меру. Суетлив, но не горяч <...> Философов горячо обо всем спорит, вернее, он обо всем спорит громко: но приложите ладонь к его щеке: она — не горит. Вероятно, никто не видал Философова “вдруг вспыхнувшим” Он имеет в себе температуру постоянную, ровную, которая и сделала возможным для него постоянный, ровный труд, постоянную деятельность» (Там же, 41). В статье Р. «Государственны ли русские (Ответ г. Философому)» (НВ. 1912. 5 сент.) Р., вопреки мнению Ф., отмечал у русских «величайшую способность государственного созидания» (ПВ, 194). В декабре 1912 Ф. выступил в РФО с рефератом о Р. (см.: У, 364). Суть многолетнего идейного спора о России Р. передал в «*Мимолетном*»: «“Но всё же вы видите, что России всё не удается” — “Вот поэтому-то я особенно с нею, и говорю: Ты Великая и Славная. “Но ведь это не эмпирика, а свыше. Ее оставил Б...” — Теперь-то я особенно ее и люблю. “Значит, вы идете против Христа...” — Убирайтесь к черту. — “Значит, вы постановляете национализм, во-первых, выше Владимира Соловьёва и, во-вторых, выше *христианства*...” — *Городовой*, уберите этих нахалов. Они мешают мне спать (спор с *Кондурушкиным* и Философовым)» (КНУ, 212). Ф. выступил в «Речи» с открытым письмом, где признал за *Ивановым-Разумником*, выступившим с резкой критикой РФО (Иванов-Разумник. Клопные шкурки // Заветы. 1912. № 3), «святое право» иметь отрицательное мнение о РФО. Ф. заявил о готовности выслушать в обществе его доклад, который «был бы охотно принят», а критические выступления Р., вылившего «целый ушат помоев», назвал «неприличными» (Речь. 1913. 6 мая). Р. послал статью-письмо Ф. о *Павлу Флоренскому*, однако тот отказался отвечать на нее, и Р. не без одобрения сообщает о жесте Флоренского, вернувшего ему статью Ф. из «Речи» о Р. со словами: «Такой газеты я никогда не видал и не знаю и, конечно, не буду возражать» (СХР, 243). Позже в том же году сам Р. писал: «Ниоткуда с таким удовольствием не получаю *гонимар*, как из священной редакции “*Бог. Вестн*” Сегод-

ня за статью о Философове получил 11 р. 10 к.» (СХР, 220). Речь идет о статье «Люди без лица в себе» (БВ. 1913. № 11), в которой Р., среди прочего, писал: «Философов уже давно не есть Философов. Философов из руководителей “Мира Искусства” попал в сотрудники, притом второстепенные, еврейской газеты “Речь” и, и...» (НФП, 157). Ф., заявляющий о «величайшем уважении» к «Заветам» после «злобных слов», сказанных Ивановым Разумником в журнале об РФО, по мнению Р., — «без лица» (там же). Р. не устал иронизировать по поводу коленопреклоненного положения Ф. и Мережковского «среди *Рубакиных* и Ивановых-Разумников и прочей соц.-демократич. компании»: «Они-то их целуют в плечико, а те всё им “накладывают” Вот уж поистине “смирись, гордый человек” Смирился» (СХР, 60). Р. отмечает униительный для Ф., грубый, повелительный тон нигилистических высказываний радикального критика о его статье: «Иванов-Разумник в окрике на Философова: “Все *религии* прошли”, “христианство кончилось”» (СХР, 266) и недоумевает: «Почему у Мережковского и Философова этот извиняющийся тон перед *Богучарским*, Иван.-Разумн. и, должно быть, перед Парижем (эмигр.)? В чем они виноваты? Всё трусы возле этих. Точно они замались (в 1903 г.) около Христа и христианства и теперь очищаются через Богучарского» (СХР, 201–202). «Иванов-Разумник назвал их “мошениками”, блудсловами и лицемерами, а ими основанные и любимые религиозно-философские собрания “плутовским клубом” болтунов и обманщиков. Что же сделал Философов? Он ему отвечал в “Речи”, назвал почительно его по имени и отчеству и предложил... прочесть реферат в собраниях, говоря, что они “почтут за *честь*” выслушать?!?!.. Что же это такое? <...> Узник. Пленник. Раб. Которого продают на базаре. Сии рабы — все, от Тургенева до Философова, между Тургеневым и Философовым» (М, 115). В фельетоне «Ни совести, ни чести» (Речь. 1913. 17 окт.) Ф. иронически назвал Р., обвиняющего всё еврейство, «новременской *совестью*». В статье «Новременская бурда» (Речь. 1913. 14 окт.) Ф. писал о Р. как о типичном «новременце», который изо дня в день упражняется на темы еврейства и отличается от других только тем, что облек эти темы в «новременские “религиозные” *одежды*». 19 декабря 1913 на заседании РФО Ф. как председатель Совета активно поддерживал предложение об исключении Р. из Общества, однако исключение не состоялось из-за отсутствия кворума. На следующем заседании, 26 января, выступая с основным докладом, объясняющим решение Совета, Ф. утверждал, что предложение об исключении Р. — не суд над личностью и не проявление нетерпимости. Однако, упомянув «о совершенно неприличных и нетерпимых среди уважающих себя людей выступлениях Розанова в *печати*» (PRO, 2, 187), настаивал на необходимости для членов РФО сделать выбор между Р. и Советом, так как «дальнейшая терпимость по отношению к Розанову была бы именно *цинизмом*, который нарушает меру допустимой терпимости <...> Пусть исход сегодняшнего голосования будет не в нашу пользу <...> Мы тогда будем бороться с тем обществом, которое открыто признало Розанова своей “душой”» (Там же, 191). После того как резолюция об «исключении» не прошла, была выдвинута другая, об «осуждении приемом обще-

ственной борьбы, с которым прибегает Розанов», и Ф. заявил от имени Совета: «Мы присоединяемся к мнению шести уважаемых членов Общества <...> Если говорить откровенно, сегодня судили не только Розанова, сегодня четыре часа судили нас, и, следовательно от нас зависит, что мы предложим на обсуждение Общества, тем более, что вопрос стоит так: если резолюция не встретит большинства, мы слагаем с себя обязанности» (Там же, 212). Р. ставил под сомнение искренность демократических взглядов Ф., аристократа по происхождению и декадента-эстета по натуре: «Если Философам случится пройти по мокрому тротуару без калош, то он будет неделю кашлять: я не понимаю, какой же он друг рабочих? Этак Антихрист назовет себя “другом Христа”, иудей — христианина, папа — Антихриста, а Прудон — Ротшильда <...> Но мир ничего, впрочем, не потеряет, ибо все они, от Философова до папы, именно только “назовут” себя, а дело останется, как есть: папа — враг Антихриста, а антихрист — его враг, и Философов — враг плебса, а плебс — враг Философова» (У, 112). Р. пишет об эстетизме Ф.: «Зонт у меня Философова, перламутровый ножик (перочинный, прелестный) от Суходрева, теперь палка от Тычинкина. Она грязная (он). — Тем лучше. Это в моем стиле. У Фил. зонт был с дырочкой. Но такая прелестная палка, черная с рубчиками, не вертлявая (полная в теле) и необыкновенно легкая. Эти декаденты умели выбирать необыкновенно изящные вещи. Простые и стильные» (У, 316). Приведя примеры своей «верноподданности», Р. отмечает: «Посему, когда Философов и Мережковский упрекают меня, что я не имею настоящих демократических чувств, я спокоен. “Демократом” можно быть только из автомобиля (у них теперь свой автомобиль), но кто знает настоящую черноту “народного положения”, тот уже не помышляет о партиях, а “быть бы живу” и не столкнули бы с того положения, в котором нахожусь» (ПЛ, 75). В эти годы Ф. стал для Р. одним из олицетворений опасности «загнивания» мира, спасение от которой — в святости, в Церкви: «Боже, пошли святого человека. Без него мир зачервится. Без него он останется с Философовым» (КНУ, 389). Но Р. мог и похвалить Ф., если тот, по его мнению, того заслуживал, как за статью «Порочный Достоевский» (РС. 1913. 11 окт.), посвященную известному письму Н.Н. Страхова к Л.Н. Толстому: «Прекрасная статья Фил-ва о Достоевском (письмо о нем Страхова)» (СХР, 191). Р. положительно оценил статью, несмотря на то, что Ф. оспорил в ней его мнение о Страхове: «Что бы там ни говорил В.В. Розанов (см. его новую книгу “Литературные изгнанники”), Н.Н. Страхов был человек маленький. А главное серый. Чиновник до мозга костей». Тем не менее Р. отметил ум, эрудицию и трудолюбие Ф.: «Философова порицают... Но, во-первых, Филос. умен, и это уже “кое-что” в нашей неумной литературе. Во-вторых, он непрерывно и много читает, да и б. образован уже раньше “начитыванья” И это тоже “кое-что” теперь... Правда, Б. не дал ему силы, яркости, выразительности. Собственно “стиля” Но это — Боже. “Сам” Философов сделал все, что мог, и в вечер жизни скажет Богу: “Я постоянно трудился, Боже: неужели хозяин может не дать награды тому, кто всегда шел за плугом и бросал зерна, какие у него были за пазухой» (СХР, 191). Вывод Р.: «Фил. сохранит себя, если

будет всегда поглядывать на компас с меткою: “Путь Григория Петрова. Расторопность, слава и деньги” И сворачивать туда или сюда, а не “на этот путь”» (Там же). Даже и окончательно разойдясь с Мережковскими и Ф., Р. не относил их к «корректным» людям, т.е. людям «без вздоха», без души (У, 364). Р. сравнивал Ф. с его матерью, известной либеральной общественной деятельницей, и утверждал, что в отличие от нее «он если войдет в историю, то — недоумением или кляксой» (СХР, 194). В книге «Мимолетное. 1914 год» Р. дал итоговую характеристику Ф., опять после размышления о его матери: «Что же вышло с сыном? Пока он был около Дягилева (кузены), он был “сам” и “на своем месте” Рожденный “в праздности и лени”, и всегда, “Как денди лондонский одет”, он, естественно, стал эстетом, почитал Оскар-Уайльда и готов был носить “большой подсолнечник” <...> Мережковские сделали величайшие усилия и неотступно делали их года три, чтобы привлечь Фил-ва на свою сторону. Тут и “Зинины чары”, мне всегда оставшиеся непонятными. И победили. Философов перешел на их квартиру, — прямо переселился в их квартиру, порвав с Дягилевым <...> Тут — и Философов. Но что было делать ему, когда у него не было ни Апокалипсиса, ни революции. Слова и мысли — все Мережковского, одного Мережковского. З-нка придавала ум и остроту <...> Но при чем тут Философов? Горестное и глупое положение. Писатель без слов, без мыслей, без чего-либо “своего” Всё — Мережковского и “Зинны” Ему оставалось вдохновляться парами мамы: но едва облетела ее грация, ее врожденное и старое дворянство (она — урожденная Дягилева), как выступил глупый и злой пенё 60-х годов. Положение Фил-ва глупое и странное, и я не понимаю, как Мер. и Зина, глубоко и искренне любя его, не пожалеют его и не обдумают его положения <...> Его настоящее место было именно около Дягилева, и до могилы — около Дягилева <...> Философов вообще мог быть прелестен, и я часто видал таким: спокойным, изящным и слегка добрым... Он погубил себя. Погубил, погубил — чувствую. Неужели этого не чувствуют Мер. и З.?» (КНУ, 387–388). Р. обвиняет «демократа» Ф. в фарисействе: «Общественным деятелем» Философов выразил бы себя (теперь или особенно ранее), если бы отказался от пенсии по службе отца в чине военного генерал-прокурора, действительного тайного советника. Прилично ли быть одновременно социалистом, в такой мере, как он, ненавидеть правительство и получать от него — все-таки от него! — пенсию. Вот за такую его “общественность” я бы его похвалил, и вся Россия его похвалила. Но он этого не делает. А слова его? Кому они нужны» (КНУ, 406). Р. не без иронии относится к участию Ф. в «освободительном» движении: «Я думаю, когда-нибудь и Философов “преодолеет себя” (“нужно преодолеть человека”, Ницше) и наденет кумачовую рубаху» (КНУ, 478). Р. рассматривает отход Ф. от былых взглядов и с социальной точки зрения: «Когда я думаю, что мои дети действительно не получили бы без Суворина образования, и до сих пор в страхе и отвращении сжимается мое сердце. Что значит “самому быть образованным” и видеть бы каждый день, что дети сидят дома, потому что не на что их послать в училище (внести плату за обучение). И в то же время тупые толстые дети банкиров из

жидов имели бы “к услуге своей” все лучшие педагогические силы *Петербурга*. Вот где познается социальный вопрос и чего Философов и Мережковский (“папашина пенсия и капиталец”) никогда не поймут. Дураки. Дураки и проклятые. И тоже залезли в “русский идеализм” “П.ч. мы с Богучарским” О, всемирная *пошлость*» (СХР, 203–204). Р. считал, что в основе «измены» Мережковским и Ф. прежним идеалам лежали отнюдь не идейные, а материальные соображения. *Максиму Горькому* Р. писал в 1912: «Да вы поглядите, как Философов (сын тайного советника и главного военного прокурора) и Мережковский (его отец был придворным) перекинулись в социалистов, зная, что только тут успех, и, что не будучи социалистом, русский писатель подохнет с голоду, если он не в “Нов. Вр.”» (МЛ, 521). Путь в «Новое Время» для Ф. был закрыт: Суворин не любил Ф. «за его “мужелюбивые” наклонности» (МЛ, 521). В статье «Наша кошерная печать», а затем и в «Сахарне» Р. обвинял Ф. и ряд других литераторов, что они «берут “за местишко” при хорошо финансируемой газете» (СХР, 324). «Гессен, не вынимая другой руки из кармана, берет “ихнее”, — и выдает ордер на кассу своей газеты <...> Мережковский с Философовым садятся в автомобиль и увозят домой свои “по 15 копеек”» (СХР, 238). По мнению Р., творчество Ф. и Мережковского после поворота «влево», к радикальному еврейству, утратило глубину: «...да, евреи вообще не имеют углубления в вещи, — нашего арийского; они — скользкие. Ни — ботаники, ни — зоологи (у них в истории). Вот отчего Мережк. и Философов, соединяясь с евреями и почти что с адвокатами, потеряли глубину и интерес. Они тоже стали поверхностны, трясут кулаками, повергают “гоев” в прах и никакого из всего этого толку. Шум есть, мысли нет. Вот отчего Фил. и Мер. обмелели» (СХР, 213). Р. воспринимает Ф. как невольного пособника революционной деятельности евреев: «И когда революция начнет вообще одолевать (надеемся, однако, что этого никогда не будет, несмотря на помощь Философова), то евреи сбросят маску “сочувствия русскому народу”, какую пока носят» (СХР, 249). В статье «Обескровленные» журналисты» Р. высмеял христианские мотивы статей Ф. в «Речи» (СХР, 328). При этом Р. находил у Ф. некоторое положительное отличие от Мережковского: «Конечно, тайный иудей сказался в Мер. Как легко он выговорил (Рел.-фил. собр., Бейлис): “Россия лежит у себя самой в дому трупом” Этого не сказали все-таки ни Философов, ни Анна Павловна» (СХР, 227). В статье «Мимоходом» (Речь. 1916. 20 февр.) Ф. отмечал «странное сплетение имен» и оспаривал правомерность сопоставления «инородческих сочинений» в статье Р. «Гершензон и Левитан» (Русский Библиофил. 1916. № 1). Указав, что Р. неточно цитирует *Тютчева*, Ф. признал, что Р. — талант, но у него есть «друг Ветлугин» (намек на писания Р. под псевдонимом), который высказывается в «Колоколе» в более нетерпимом тоне: если в «Русском Библиофиле» он похвалил Гершензона, то в «Колоколе» (24 февр.) «Ветлугин» написал, что «еврей Гершензон пишет о славянофиле *Киреевском*». Р. в «Письме в редакцию» (НВ. 1916. 24 февр.) отвечал: «Мой критик (Д.В. Философов) всегда пишет слегка и мимоходом и цитирует всегда верно. Но эти верные цитации не украшают его безжизненных статей» (ВЧВ, 99). Р. упрекнул Ф. в бесконечном повто-

рении банальностей, иронизируя над его «умной» фамилией: «Что же явил собою Д.В. Философов? Он хотел нам показать зрелище двух повешенных и одного палача, но на самом деле повторил собою сказку “О неумном сыне счастливой матери”, который век пишет, пишет там и здесь, и везде его печатают, на хорошей и на плохой бумаге, не замечая совершенно, что ему нечего в жизни сказать, и он повторяет только давно сказанное и всем известное. Я надену свою шапку, извинюсь перед прохожими, но как поправится Философов в том действительном преступлении, что он кажется “быть писателем”, не будучи нисколько писателем, и расхаживает под именем “умного” (роковая фамилия!), будучи только счастливо рожденным» (там же). С большевистским переворотом вражда в отношениях Р. и Ф. ушла в прошлое. В одной из статей 1918 о разрушениях *революции* Ф. сослался на брошюру, которую издал «наш консерватор В.В. Розанов» (Скифы // Наш век. 1918. 31 [18] марта). Перед кончиной Р. был настроен в духе христианского примирения и в декабре 1918 продиктовал письмо Мережковским и Ф., в котором писал: «Обнимаю вас всех крепко и целую вместе с *Россией* дорогой, милой. Мы все стоим у порога и вот бы лететь, и крылья есть, но воздуха под крыльями не оказывается» (Литературная учеба. 1990. № 1. С. 84).

В.А. Фатеев, А.В. Ломоносов

ФИЛОСОФОВА Анна Павловна [урожд. Дягилева; 5(17).8.1837, Петербург — 17(30).3.1912, там же] — общественный деятель в сфере *женского образования* и здравоохранения, участница организации Высших женских курсов, мать *Д.В. Философова*, тетья *С.П. Дягилева*. Первое упоминание имени Р. встречается у Ф. в ходе полемики с сыном по вопросу об отношении к идейному наследию 1860-х. Прочитав статью Р. «Почему мы отказываемся от “наследства 60–70-х годов”?» (МВ. 1891. 7 июля), Ф. 9 августа 1899 обратилась по этому поводу с *письмом* к сыну, который находился в то время под сильным влиянием идей Р.: «Слишком долго оппонировать на всю статью, скажу только, что наши принципы были чисты уже потому, что мы отдавали нашу жизнь и имущество народу, и лозунгом нашей деятельности было: “люби ближнего своего как самого себя” Ежели этот лозунг теперь устарел, то все-таки он в себе носит бесспорное начало, хотя Розанов называет нашу деятельность “преступною” <...> Вы оплевали и оплевываете дорогого для нас покойника. В вас нет любви, и это ваше несчастье... Это впечатление я вынесла из статьи Розанова, которую и посылаю тебе обратно с моими заметками. В этой статье очень отражается весь ваш “credo”, вот почему я на ней останавливаюсь» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3871. Ед. хр. 12. Л. 1). Судя по сохранившимся письмам Ф. к Р. 1901–1911 их дальнейшие отношения стали вполне дружелюбными (Там же. Ед. хр. 9. Л. 1–37). В письме от 12 декабря 1901 Ф. делилась с Р. впечатлениями от прочтения его «*Легенды о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского*». Книгу она оценила как «дивную вещь», но которая совершенно «изолирована от романа» (Там же. Л. 2). Ф. была далека от богословских проблем современной *интеллигенции*, в чем открыто призналась Р.: «Инквизитор, для меня, символ дьявола, и я никакой разницы не вижу между ним и

Г-ми *Скворцовыми* и теми пастырями, о которых вы на днях упоминали, помните? Они ездят в каретах, живут во дворцах и носят бриллианты. — Вот почему я и не сочувствую вашему новоиспеченному *обществу* во главе с Г.г. Мережковскими и *tutti quanti* <ему подобные> и очень сокрушаюсь, что мой дорогой Дима на такой ложной дороге! — Про *Мережковского* все говорят и думают, что он себе выделяет “камерюнкерство”, я же говорю, что он будет “*Гоголем*” и сойдет с *ума*. Выработывают из интеллигенции, т.е. нашей “соли земли” будущих безумцев» (там же). Интересы сына и личное общение с Р. и его *семьей* расположили Ф. к писателю и вызвали дружеские отношения с обеих сторон. В январе 1902 прения на *Религиозно-философских собраниях* ее еще шокировали и вызывали тревогу за здоровье Д.В. Философова: «Благодарю вас за ваше расположение к моему дорогому Диме, мы все должны ему желать на Н<овый> год прежде всего здоровья. Представьте, он вчера не мог высидеть в гостях у вас в философском обществе! Приехал и лег» (Там же. Л. 4). В феврале она уже признавалась, что форма, в которую в итоге вылились РФС, ей «крайне симпатична; и желательно было бы помочь этому движению. Я могла бы с моими малыми силами помочь вам и вот в каком виде. Вы многих не знаете, котор. сочувствуют этому движению, а между тем необходимо их спланивание и я предлагаю вам быть, так сказать, связующим цементом между вами» (Там же. Л. 12–13). В письме от 28 декабря 1902 она уже запросто приглашала новых знакомых в свой *дом*: «Я слышала, что вы с Варварой Дмитриевной собирались ко мне. Я этому очень тронута и прошу вас приехать ко мне запросто вечером, мне хочется представить вам <...> дочерей, и ввести вас в мою семью» (Там же. Л. 16). С 1903 Ф. вела переписку и с женой Р. — *В.Д. Бутягиной* (Там же. Ед. хр. 11). Переменился и *тон* Ф. в отношении литературных работ писателя. Она с одобрением отнеслась к его статье «Женский сельскохозяйственный институт» (НВ. 1903. 26 февр.), в письме от 26 февраля 1902 одобрила фельетон Р. «О письме гр. *С.А. Толстой*» (НВ. 1903. 11 февр.) как «хороший и здоровый»: в нем была поддержана критика графиней *творчества Л. Андреева*. Общественная деятельность РФС и тема *пола*, горячо обсуждавшиеся на них Р. и Мережковским, вызвали интерес и Ф., которая взялась в письме отстаивать позицию Р. против Мережковского. «Никогда; никогда вы не сольете “шопот и робкое дыхание”, где “нет восторга и *вдохновения*” (а у Христа их нет). Христа и Диониса нельзя слить, но они оба прекрасны, и без них жизнь не в жизнь. И вот весь вопрос в том, чтобы не их слить (пусть они каждый сам по себе), но слить вместе их учения и обаяние. Отбросив *аскетизм у Христианства*, и примесь Ваха у Диониса, получится новая *религия*, и выйдет дивное благоухание, — да мы и идем к этому. Христос пришел на землю не от *мира* сего, и как светлый луч, который и просветил нас; но был и другой луч, согревающий нас, он-то и нашептывал нам “робкое дыхание” Для блаженства эти два луча необходимы, и мы должны их воспринять <...> Всякий любовный акт, совершающийся по-звериному, т.е. “без шопота, и робкого дыхания”, я считаю мерзостью. В времени Христианства, надо полагать, что так он понимался и совершался, т.е. по-звериному, тем более что *женщина* была тогда только сам-

кою. Тогда необходима была проповедь Христа, он нас спас от звероподобия, он влил в наши *души* божество, которое одухотворилось в “шопоте и робком дыхании”» (Там же. Л. 24–25). 9 апреля 1907 она увлеченно высказывала Р. свое сочувствие после нападок в РФО на его доклад: «Я чувствовала вместе с вами эту муку, когда читался ваш доклад. Я представила себе все ваши переживания до этого, и вот почему ваш доклад мне дорог. Это чрезвычайно умильный вопль чистой души <...> Мы переписали ваш доклад и сегодня, с глубоким уважением, и умилением его перечитали, и говорим вам наше сердечное спасибо за него» (Там же. Л. 30). В декабре 1908 Ф. инициировала статьи Р. о работе первого Всероссийского женского съезда «К открытию всероссийского женского съезда» (НВ. 1908. 11 дек.) и «Первый всероссийский женский съезд» (РС. 1908. 17 дек.; ВНС). «Посылаю вам программу “Всероссийского женского съезда”, мне она представляется интересною; все *газеты* откликнулись на наш призыв, и всех заинтересовал наш съезд, исключение составили вы, и ваша газета <...> В съезде будут проводить такие задачи *будущего*, — относящиеся к материнству и к *детям*, а вы всегда интересовались этими вопросами, и много внесли *правды* к уразумению этих важнейших запутанных вопросов, почему все вы теперь их игнорируете? Меня это очень огорчает. В 1909 писатель посвятил Ф. очерк «Анна Павловна Философова» (РС. 1909. 17 февр.), поведав всю *историю* своего сложного пути в зал заседаний женского съезда, уточнив, что до знакомства с Ф. он «был враг или пересмешник “женского движения”» (СМР, 61). Р. рассказал, как серьезно готовилась Ф. к своему выступлению на съезде. «Умная деятельница с 60-х годов, женщина 68 лет от роду, собирает “капельки *сил*”, “гаснущие искорки” жизни в себе, чтобы на один час вечера стать перед многочисленною толпою еще женщиною, полною бодрости, и громким, отчетливым, слышным на огромный зал *голосом* сказать несколько “вводных”, “открывающих” съезд слов <...> И все услышали этот привет и *ласку*, не переспрашивая, “что сказано”, “как сказано”» (СМР, 57–58). Р. признавался в сильном впечатлении, произведенном на него *портретом* молодой Ф. («Дама в голубом»), стоявшем в кабинете ее сына. «“Дама в голубом” была так красива... Плечи еще узкие, совсем детские, *лицо* немножко удлинненное, глубоко нежное, а в очерке *губ* уже то сложение, какое я знал в “Анне Павловне Философовой” Бывая у нее, я любил заходить в эту комнату сына и еще, и еще любовался портретом» (СМР, 61–62). Суть Анны Павловны писатель видел в ее общественном призвании, в том, что «граница между нею и другими, между ее “моим” и чужим “мое” почти никогда не чувствуется около нее», она «не понимает этой границы». «Я никогда не видал такой “социальной женщины”, без усилий, без рефлексии, “само собой”: и, между тем, это была типичная женщина тургеневской *живописи*, тех тенистых парков, тех хороших садов, где-нибудь около Тулы или Орла <...> Богатые условия, хорошие средства, бесконечная любовь и *нежность* мужа (она мне говорила об этом), — все подняло и вынесло эту “тургеневку”, не дало в ней ничему хрустнуть, ничему надломиться, ничему даже измяться. Но она “отдала сердце всему мятущемуся, волнующемуся” того времени, отдавала его беззаветно, не-

обдуманно: и “что же ей было делать, что ее так любили” и вынесли из водоворота событий, даже не дав запачкаться ее голубому платью <...> в ней не осталось и нет ничего горького, ничего желчного, ни малейшего разочарования в жизни, ни малейшей усталости от жизни. Она вся — готовность, но не уторможенная готовность, а спокойная, ожидающая <...> Ведь *горя* так много, и Анна Павловна знает это демократическим *знанием*. Но удовлетворение соучастия этому *горю*, — а она полна им, — до того перевешивает внутренним *чувством* внешнее впечатление горя, что “небо все-таки остается голубым”, хоть под ним и ужасы» (Там же, 63–64). 17 апреля 1911 сородичи Ф. праздновали юбилей ее социального служения. Литературный портрет Р. общественницы 60-х настолько запомнился, что друзья поднесли ей корзину с *цветами*, украшенную голубыми лентами с хвалебными гимнами. «Мои друзья просили меня в особенности обратить внимание на голубые ленты, я все не могла догадаться в чем суть, — и тогда они мне напомнили фельетон о “голубой даме”, помните же вы его, Василий Васильевич? — Меня это очень тронуло, да и вас, я думаю, это трогает» (ОР РГБ. Л. 36–37). В заметке «Анна Павловна Философова (К 50-летию ее общественной деятельности)» (НВ. 1911. 18 апр.) Р. вновь подчеркивал, «что она каким-то чудом или “игрою *природы*” сохранила в себе душу своих 22–27 лет, — эту бесконечно живую душу <...> Она вся — в современном <...> С Анной Павловной — все молодеют. Вот ее сущность; вот ее дело жизни и историческое призвание» (ТПРН, 88–89). Спустя год Р. уже писал *некролог* «Памяти Анны Павловны Философовой» (НВ. 1912. 24 марта), особо подчеркнув *влияние* на него конкретной личности в сфере отношения к тому или иному общественному явлению: «Я всегда был или равнодушен, или враждебен “женскому освободительному движению 60-х и последующих годов” <...> Пока не встретил Анну Павловну, эту не “рассуждающую” или слабо рассуждающую простушку, без длинных речей и монологов, всю состоящую из коротеньких восклицаний, тихого, милого *смеха*, рукопожатий, грациозного рассказа о чем-нибудь, всеоживляющих воспоминаний из далекого прошлого, *чтения* (со слезами) некрасовского “Рыцарь на час”, и т.п. и т.п. <...> кончилось тем, что полюбил всё “женское движение”» (ПВ, 69–70). Причина перемены отношения заключалась в том, что сама Анна Павловна, находясь в среде грубых прагматиков-революционеров 1860-х, совершенно не утратила ни капли «векового и истинного идеала женщины», «ничего грубого не приняла в себя, ничем жестким или жестоким не заразилась, не взяла оттуда в себя ни одного пошлого штриха. Ее *наивность*, которая была совершенно бессмертна, сыграла колоссальную положительную роль. Просто, она ничего злого не увидела, не поняла» (там же). *К. И. Чуковский* в критической статье подчеркивал, что, давая портрет, Р. намеренно избегал останавливаться подробно на «ее идеях и идеалах», поскольку они всегда для Р. только «деталь, второстепенность» (PRO, 2, 131). К письмам Ф. приложена розановская *характеристика*: «Анна Павловна Философова. Одна из прелестнейших женщин, какую я знал. Как был князь “Всеволод III Большое Гнездо”, — так ее можно было назвать Анною Большое Гнездо, — или Анною Многодетною, и

это было не из последних причин ее привлекательности. И между тем нельзя понять, как же она могла родить: т.е. носить *живот*, кричать и наконец проделать весь сложный процесс родов, пуповины, детского места и кормления. Мне кажется “с пуповиной” ходил ее муж, она же могла только любить, совокупляться (без порицания) и затем сейчас же танцевать. Она была рождена любить и быть любимой, ласкать и быть ласкаемой, нежить и быть нежимой, уважать и быть уважаемой. Я ее горячо любил; уважал, но и определенно любил как женщину. Ее нельзя было не любить, и, неоспоримо, ее все знавшие когда-либо любили. В этом отношении она есть изящнейший образец русского дворянства, русского помещичьего *быта*, русской *культуры*. Ее, с усадьбой, с милой скромной гостиной, еще не бедной, но почти уже бедной, можно было бы поместить в “Старых годах”, — и там, собственно, ее место. Она, несомненно, украсила *революцию*. На юбилее Высших Жен. Курсов я был поражен, когда около нее сели эти бабищи с басистыми голосами, и которым недоставало только “люльки” в зубах, чтобы походить на Тараса Бульбу. Конечно, со всеми ими она не имела ничего общего, хотя вся жизнь провела именно с ними. Какое-то тихое недоразумение. Но они ею украсились, а она от них нисколько не загрязнилась. Она горячо любила *Александра II* (говорила, *тон* слов), всю Александровскую эпоху; не могла без слез читать лучшего поэта той эпохи, *Некрасова*. С невыразимым волнением мы слушали с Варей как она читала, прерываясь в слезах “Рыцарь на часах” Она была вся благородна и вся изящна. Я знал ее только уже бабушкой: и если она была так прелестна за 60 лет, можно вообразить, какова она была в юности и в цветущие годы *брака*. Мир ее памяти, — благородный мир ее благородной памяти» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 87). В 1914 Р. даже указывал, что готов примириться с женщиной в революции, если она сохраняет доброе сердце, «прелестный нежный тон», «дар любви», «дар памяти», подобно Ф. и *Е.Д. Кусковой* (КНУ, 466). К памяти знаменитой общественницы Р. обратился вновь в библиографической заметке, представляя книжное издание ее памяти, выпущенное ее сыном: «Сборник памяти Анны Павловны Философовой» в двух томах (НВ. 1915. 13 сент.). Писатель отметил, что Ф. «прошла мимо “музы мести и печали” <...> вечно спешила вперед, торопилась и торопила. И этим “завтра” в душе своей как бы затаптывала и гасила “вчера”, т.е. как бы заострялась против истории в смысле “почитания предков”» (НФП, 524).

А.В. Ломоносов

ФИХТЕ (Fichte) Иоганн Готтлиб (19.5.1762, Рамменау, Верхняя Лужица — 27.1.1814, Берлин) — немецкий философ. В связи со столетием смерти Ф. в «*Новом Времени*» 7 июня 1914 Р. опубликовал статью «Столетний юбилей И.Г. Фихте». Эта статья явилась реакцией на только что вышедшую книжку московского философского журнала «*Вопросы Философии и Психологии*», которая «дает полное, закругленное и, конечно, вполне компетентное понятие о великом германском мыслителе» (НФП, 320). Р. называет Ф. «одним из трех светочей так называемого “германского философского идеализма” (Фихте, Шеллинг, Гегель)». Р. видит роль Ф. вместе с названными фи-

лософами в критике кантовских «*ноуменов*». «Если *Германия* на весь XIX век стала впереди всех европейских народов в деле *науки*, — то это именно благодаря колоссальной критике *Канта*, произведенной над человеческим *умом*, и благодаря усилиям трех названных *гениев* преодолеть эту несколько печальную по выводам критику <...> Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель дали Германии более, чем сколько ей дал политический и военный генерал *Бисмарк* и Мольтке...» (там же).

И.С. Шилкина

ФЛОРЕНСКИЙ Павел Александрович [9(22).1.1882, Евлах, Арешский уезд, Елизаветпольская губ. — расстрелян 8.12.1937, Ленинград] — религиозный мыслитель, ученый. Отец — Александр Иванович Ф. (1850—1908) — инженер-путеец, происходил из костромского *духовенства*. Ф. писал об общих костромских *корнях* себя и Р.: «Вот, дорогой Василий Васильевич, наше сход-



П.А. Флоренский

ство, глубочайшее, и наше расхождение, тоже глубочайшее. Наше сходство: это острая, до боли, любовь к конкретному, к сочному и, скажу определенно, к корню, — к корню личности, истории, бытия, знания. Думается, что эта любовь — костромская, ибо нет во всей *России*, а м.б. и на земном шаре, никого более коренного по вкусам, по укладу, по организации души, чем костромичи, особенно заволжского района. И отсюда — органическая же нелюбовь ко всему, что безкоренно, что корни подбедает, что хочет расти не на корне, а “само по себе” Но тут-то и расхождение. Чувствуя себя в литературе, “как дома”, Вы говорите всё, что блеснет в

душе; а я не хочу чувствовать себя дома нигде кроме родной, темной колыбели-могилы в родимой земле, и свою боль и свою радость, в наибольших их точках, скажу лишь Матери-земле. Мне думается, что это тяготение к лону — тоже костромское: костромичи скрытны, и души своей не показывают. Вы говорите *правду*; однако не всякую правду должно говорить. Убеждение противное — это и есть то “чернышевско-писаревское” убеждение, которое под титулом “гласность” разрушает всё коренное, всё дорогое, всё мирное, которое всякую неправду, местную и случайную, спешит “возвести в перл создания” и сквозь волчьи слезы хихикает над загрязнением *мира*, ставшего теперь уже международной *пошлостью*. Все твердят о Хамстве, однако не замечая, что хамство — не в личном *грехе*, каков бы он ни был, а в бесстыдном обнажении наготы отца» (письмо от 26 октября 1915 // АФ). Ф. считал, что им с Р. нужно осознать свою принадлежность к Костромскому краю — «фаллическому»: «Кострома — блудливая сторона», из церковных — церковная, из монархических — монархическая (письмо от 28 октября 1910 // АФ). В 1900—1904 Ф. учился на физико-математическом факультете *Московского университета*. 9 сентября 1903 он написал первое письмо Р., в котором уже явно определено его отношение к Р.: «По некоторым причинам я мог ознакомиться с немногими из Ваших произведений; но достаточно было прочесть хотя бы одну заметку, чтобы, не входя в оценку Ваших дарований, сказать: “Вот человек единственный и, вероятно, непонимаемый; вот настоящий гений, гений от рождения, но совсем неполированный и, по-видимому, над собой не работающий, человек, который творит новое, подготовляет скачок во всем мирозерцании и сам того не подозревает, творит так же стихийно, как течет река”» (АФ). Р. ответил 20 сентября письмом, в котором благодарил Ф. К 1903 относится еще одно письмо Ф., после которого переписка обрывается на пять лет. В 1904—1908 Ф. учился в Московской духовной академии (МДА), курс которой окончил, защитив кандидатское сочинение «О религиозной истине» (опубликовано в сб.: Вопросы религии. М., 1908. Вып. 2 под названием «Столп и утверждение Истины»). Во второй половине 1908 Ф. послал Р. книгу «Столп и утверждение Истины (Письма к Другу)» (отд. оттиск из сборника). Первое письмо Р. (после перерыва) от 12 ноября 1908 содержит благодарность за книгу. Далее начинается регулярная переписка. Встретились Р. и Ф. в 1909, когда Р. посетил Ф. в *Сергиевом Посаде* после празднования юбилея *Н.В. Гоголя* в *Москве*. Р. вспоминал: «В простой, почти крестьянской избе-келье я беседовал у Троице-Сергия, после гоголевских торжеств, со смиренным и высоко ученым преподавателем духовной академии, Павлом Флоренским, сушим иноком по внутреннему призванию; и ночь, в беседе с ним проведенная при взаимном понимании с полуслова, думаю, не есть ли “собор”, по слову Спасителя: “Где два и три соберутся в любви и мире. Я посреди их”» («И не пойду...» // НВ. 1909. 18 июня; СМР, 196). Вторая встреча произошла в *Петербурге* в начале декабря 1911, когда Ф. уже был священником. 12 декабря 1911 С.Н. Булгаков писал А.С. Глинке-Волжскому: «Павел Флоренский был недавно, вызываясь (конфиденциально!) свояченицей Розанова для его ободрения ввиду острого маразма, в кото-

рый он впал, дойдя, очевидно, до крайней точки по линии *пола*. Я не видел его, воротившись, но знаю, что Розанов ему каялся, собирается ехать говеть к Троице и пишет статьи в “*Новом Времени*” за *церковь*. Не знаю, чего всё это стоит» (Взыскующие града. М., 1997. С. 420). Посещение Ф. в декабре 1912 вспоминает Т.В. Розанова: «Вспоминаются наши проводы *Айседоры Дункан* на вокзале, когда она покидала Россию. Отец, я, Аля и Павел Александрович Флоренский поехали ее провожать. Отец хотел своему другу показать ее одухотворенное лицо» (ТР, 63). Ф. остался преподавать в МДА историю *философии*. 25 августа 1910 Ф. вступил в брак с Анной Михайловной (урожд. Гиацинтовой, 1889–1973). Историю своего брака Ф. описал в письме к Р. от 20 сентября 1910. 23 апреля 1911 Ф. был рукоположен ректором МДА епископом Волоколамским Феодором (Поздеевским) в сан диакона, а на следующий день в сан священника. С сентября 1912 Ф. служил в Сергиево-Посадской церкви убежища (приюта) Красного Креста. С 28 сентября 1912 по 3 мая 1917 Ф. был редактором «*Богословского Вестника*». 17 ноября 1912 он писал Р.: «Вы когда-то выражали желание поместить что-нибудь в “Б. В.” “для реабилитации”». Здесь же Ф. предложил Р. прислать для журнала это «что-нибудь» (письмо от 17 ноября 1912 // АФ). Р. откликнулся на этот призыв и опубликовал в журнале несколько статей. Особый резонанс произвели статьи Р. «Не нужно давать амнистию эмигрантам» (БВ. 1913. № 3; ЛВИ) и «Люди без лица в себе» (БВ. 1913. № 11; НФП). 9 июня 1912 Ф. предложил Р. помощь в *чтении* корректур. Предложение было принято. Ф. использовал свои письма к Р. как части своих сочинений. В основе вступления, названного «На Маковце (из частного письма)», к книге «У водоразделов *мысли*» лежит письмо Ф. к Р. от 20 мая — 4 июня 1913 (Флоренский П. Соч.: В 4 т. М., 1999. Т. 3). Около М.А. Новосёлова сложился круг лиц, который в 1907 был зарегистрирован как Кружок ищущих христианского *просвещения*. Членами Кружка были Ф.Д. Самарин, В.А. Кожевников, И.И. Фудель, Ф., С.Н. Булгаков, В.Ф. Эрн, Л.А. Тихомиров, Ф.К. Андреев, А.С. Глинка-Волжский, А.В. Ельчанинов, С.Н. Дурьлин, Н.С. Арсеньев, С.А. Цветков и др. Со многими из них у Р. сложились дружественные или уважительные отношения. Р. писал Ф.: «А Вы — прекрасный человек, да и Вы все прекрасны. Новосёлов — вполне прекрасный человек, и без Вас жить на Руси-то хоть утопиться» (письмо от 15 декабря 1912 // АФ). Ф. в письмах к Р. превозносил московскую «церковную дружбу» (письмо от 7 июня 1913). Р. писал об особой роли Ф. не только в Кружке, но и во всем «московском молодом *славянофильстве*»: «Это Паскаль нашего времени. Паскаль нашей России, который есть, в сущности, вождь всего московского молодого славянофильства под воздействием которого находится множество умов и сердец в Москве и Посаде, да и в Петербурге» (Спасовский, 62). 19 мая 1914 Ф. защитил магистерскую диссертацию «О Духовной Истине. Опыт православной теодицеи» (М., 1913. Вып. 1–2). Эта диссертация в переработанном и дополненном виде вышла в свет в следующем году под названием «Столп и утверждение Истины» (М., 1914). Р. опубликовал рецензию на эту книгу («Густая книга» // НВ. 1914. 12 и 22 февр.). Он отметил славянофильский дух книги: «Это — “столп” вообще русский,

чего-то русского. Имея предметом своим *церковь*, *православие*, — она утверждает в то же время славянофильство, бредет в путях этих идеалистов 40-х годов, которые также полагали, что “говорить и думать о России” — значит прежде всего говорить и думать о православии, как особой стихии “восточного греко-славяно-русского” мирозерцания» (ОПП, 576). Позднее Р. писал Ф.: «В высшей степени всё “слава *Богу*”, П.А., что “Столп” так разошелся. Ведь это такой успех — первый у славянофилов. Все “ташилось”, а не шло; все “в глотку публике как подавившемуся. Вот *судьба* “православия, самодержавия и народности” И я даже не думаю, чтобы кн. *Трубецкой* и *Бердяев* и Роз-в помогли. Нет, “само собой”, и п.ч. Вас знали и ожидали. Так я думаю. Это страшно важно» (письмо от 27 июня 1914 // АФ). 1 июня 1915 Р. записал: «Книга Флоренского (“Столп и утверждение истины”)» в каждой строке сладка. Но у нее есть 1 недостаток: она написана человеком 30 лет, и является подозрение: откуда и как он набрал столько сладости в свою душу, — сладких мыслей, сладких *чувств* — и далее как вывод, опять же “подозрительный”: суть ли это выпот его души или украшение ее? Является подозрение, что книга есть великий *стиль* великого стилиста. А не жизнь и дело, т.е. настоящая серьезность. Не знаю. Колеблюсь <...> Но если и есть “стиль”, то это со временем испарится. Его слабая сторона — “гордыня церковная”, его лучшая сторона — простота и смирение (“костромское уездное начало”). Он глубоко любит Россию и русских» (М, 148). Розановское «*Уединенное*» Ф. оценивал как новый вид литературы. По поводу «*Опавших листьев*» (короба первого) Ф. в переписке высказал несколько критических замечаний: это — «не бег, а прогулка», здесь нет действия, отдельные заметки можно переставлять» (письмо от 8 февраля 1913 // АФ). Второй короб «*Опавших листьев*» был встречен Ф. со «смущением»: «Смущающее впечатление и от “Опавших листьев” Несмотря на множество страниц острых и бездонных, книга, прочитанная мною в один присест, оставила впечатление неблагоприятное. Самое главное — это что Вы нарушили тот новый род “уединенной” литературы, который сами же создали. Афоризмы по нескольку страниц — уже не афоризмы, а рассуждения. А если так, то *читатель* уже не относится к ним бережно, как к малому ребенку, и не вслушивается в их лепет, а требует основных свойств рассуждения. Сами выступив из области “уединенного”, Вы естественно подлежите тем требованиям, которые предъявляются ко всему внешнему, неуединенному. Затем, в строках “Опавш. листьев” нет (во мног. местах) непосредственности и гениальной бездоказательности прежних томов: чувствуется какая-то нарочитость и, в соединении с манерою уединенного, она производит впечатление деланной непосредственности. Это — о форме. В содержании невыносимо постоянное Ваше “вожжание” с разным литературным хамством. Вы ругаете их, но тем не менее заняты ими на сотнях страниц. Право же, благородный *дом*, где целый день ругают прислугу и ее невоспитанность, сам делается подозрительным в смысле своей воспитанности. Что уж Вас так беспокоит, — спрашиваю я, — успех *Чернышевского* и проч., давно умерших. Отвечет “яко трагедии его”, их всех, отцвели уже. Народилось новое хам-

ство, и тоже пройдет» (письмо от 29 августа 1915 // АФ). Защищая свое «есмы» от Ф., А.С. Глинки-Волжского, В.А. Кожевникова, Р. записал 22 июля 1916: «Я допускаю, что я худ: но “есмы то”, что я “есмы”, — моя защита. Ограда. Ограничение. Вот отчего, друзья мои, я не могу не издавать далее “Оп. Л.”» (ПЛ, 181). Т.В. Розанова вспоминала, что Р. осенью 1917 ездил в Москву слушать лекции Ф. в *Религиозно-философском обществе* памяти *Вл. Соловьёва*. Однако в это время Ф. лекций в Москве не читал. По всей видимости, Р. слушал лекции Ф. из цикла «*Философия культа*» (май–июнь 1918) (Флоренский П. *Философия культа*. М., 2004). После *революции* Ф. работал в Комиссии по охране *памятников искусства* и старины *Троице-Сергиевой Лавры*, преподавал во ВХУТЕМАСе, работал во Всесоюзном электротехническом институте и др. учреждениях. Летом 1928 он был выслан в *Нижний Новгород*, но вскоре вернулся и возобновил работу. В 1933 Ф. был арестован, послан на Соловки, 8 декабря 1937 расстрелян на Левашовой пустыни под Ленинградом.

Одно из первых писем Ф. к Р. от 6 апреля 1909 начинается с самохарактеристики: «Позвольте мне начать это письмо с некоторой *характеристики* себя самого. Кажется, таким образом легче всего устроятся наши взаимные недоразумения. Итак, я — человек прежде всего простой, в отношениях к людям, — простой, мужиковатый. А затем, в области теории я — сложный, нефилософский ум, если разумеешь под философичностью любовь к единству. Я — не любитель единства; мой вкус — к психическим оборотам, к ответвлениям мысли, к симфонии понятий и образов. Одно вытекает из другого. Подходя просто к *вещам* и людям, я тем самым воспринимаю то, чего не воспринимает ум схематический. И, наоборот, зная многое и, часто несводимое к единству об одном, я заранее примиряюсь со всем, — быть может даже *zu viel* <чересчур> примиряюсь со всем и со всеми. Грешников же люблю по преимуществу, б.м. потому, что чувствую себя в своей среде, когда бываю с ними. И еще потому, что они часто бывают смиренны» (АФ). Р. дал свою самохарактеристику в письме от 23 марта 1909: «Не судите меня очень за любопытство... Конечно, я все заботливо пишу насчет своих “признаний”, что погрузился в такую-то и такую-то “нечистоту” Правда, я слаб в любопытстве, как *баба* (с гимназических лет) и кроме того я странно безволен. Воли у меня нет никакой, и как-то, объясняя себя другому, я сказал: “Меня всякий ничтожный человек может взять за руку, за *нос*, и вести куда он пожелает. У меня никакой *силы* сопротивления нет” Я думаю, во мне есть только одна черта настоящая и хорошая: беззлобность. Ни на кого не умею, не могу сердиться. Литературный “гнев” есть пафос чернильницы: в душе — никакого гнева. Тут некоторую долю исключения составляет “духовенство”, “церковь” etc.: тут — под давлением лет размышления — я вхожу в пафос, но это чисто идейный или произошло от идей... Вражды к лицам все же нет» (АФ). Своеобразная ревность к Церкви звучит в словах Р.: «Все уже в позолоте и все прекрасное Ваше — скорее великолепно, пышно, разукрашено, “звонит” и “пост”, но не проводит молча по щеке со словом: потерпи, друг — все разъяснится где-нибудь. Мне как-то больно была Ваша приездка сюда в Петербург для меня: я по-

чувствовал, что это было сделано в отношении Церкви, а не меня собственно, что Вы доделывали круг церковной службы своей, делали “шаг Флоренского”, а не “шаг к Розанову” И это — невольно. И это — везде. Это уже история и факт. Этого переделать невозможно. Милосердие — пропало. Нет — и на “нет” и *суда* нет. “Живем в таком веке и под таким небом»» (письмо Р. к Ф. от 15 декабря 1912 // АФ). Р. уверен в неизменной доброжелательности Ф. и всего круга московских друзей: «Я знаю, что Вы на меня не сердитесь, не ненавидите никогда — но хмуритесь, бываете мною недовольны, но по деликатности молчите» (письмо от 24 декабря 1912 // АФ). Самохарактеристику продолжил Ф.: «Но как бы я ни говорил, основная *тема* остается одна и та же. Это, именно, *антиномия* бесконечности и конечности. Вот почему *догмат*, как соединяющий ту и другую в “умной” схеме, и таинство, соединяющее ту и другую в действительном символе, для меня являются главными, чтобы не сказать “единственными”, предметами размышлений. Как соединяется несоединимое? И опять, откуда бы я ни исходил (а исхожу я из тысячи уголков мировоззрения) — я наталкиваюсь на *Одного* и *Того же*, на *Соединившего Конечность и Бесконечность*» (письмо от 16 мая 1909 // АФ). Ф. отмечал трепетную человечность Р.: «Вы — *запах* человечества и, притом, не просто запах, а какой-нибудь *triple-extracte* <тройная вытяжка>» (письмо от 17–20 октября 1909 // АФ). Ф. оценил Р. как основателя нового направления в религиоведении: «По поводу присланных Вами книг я думал несколько раз о Вас, что ведь Вы основали новое направление изучения религии, а сказать точнее — едва ли не единственно-законное и во всяком случае лежащее в основе всех прочих направлений. Кажется ясно и просто: чтобы изучать что-нибудь, надо представлять себе то, что изучаешь, а не начинать с того, чтобы изучать термины, которым ничего в сознании не соответствует. Но эта простая мысль, в сущности, открыта Вами и доселе только на 1/100 вошла в общественное сознание и совсем не вошла в *Университеты* и Академии. Школьное изучение заключается в том, что сперва создается ряд терминов, которым дается строгое определение, а затем под эти термины подгоняется явление. В Академиях же даже план сочинения и мельчайшие подробности его сочиняются до малейшего прикосновения к изучаемому материалу. Говорю это, зная точно, что так именно пишется у нас все сочинения, не исключая и докторских диссертаций» (письмо от 1 февраля 1914 // АФ). Сам Р. неоднократно отмечал свое безволие. Ф. однажды ответил на это: «Нет, вы ошибаетесь, я очень присматривался к гениальным людям, по биографии и проч., вообще к людям, исключительно одаренным, и нашел, что чем одареннее они, тем слабее их воля над собою... Так что это вовсе не *порок* ваш, а — совсем другое» (письмо от 15–20 января 1911 // АФ). Ф. отмечал женственность Р., в силу чего для него *семья* и *дети* высшая ценность; для *мужчины* высшая ценность — дело. Ф. в письме от 9 мая 1913 так обозначил различие его и Р.: «Но, в устремлении своем Розанов и Фл., кажется, смотрят в противоположные стороны, снова встречаясь взорами в бесконечности. Это яснее всего из их стиля. Розанов хочет “субъективизировать” литературу, сделать ее насквозь интимной. “Писать так, как говорят” — до последнего

предела, “разрыхлить душу читателя” Фл. же, наоборот, хочет сделать писания совершенно объективными, писать “совсем не так, как говорят” Для Розанова разговор и книга — одно, для Фл. — совсем разное, по *природе* разное. Розанову хочется опростить церковь, ввести *жизнь* в церковь; а Фл. мечтается иератический строй и священная символика, внушающая трепет, но не постижимая непосвященным. Поэтому ему хочется стиля монументализма, а Розанову — т. сказ. эфемерного, но моментального. *Язык* Розанова — как еле ласкающиеся дохновения теплого ветерка, как пахнувший откуда-то запах, овевающий, но бесформенный. А Фл. думает о языке, который бы как удары молота по резцу высекал священные глифы в подземных пещерах. Розанов (в истории) никогда не был жрецом; а Фл. никогда не был чем-либо, кроме жреца» (АФ). Позже Ф. добавил: «Я не реалист, я эллин, египтянин, пуниец, кто хотите, но не нашего времени сын, и признаю речи лишь священные, скрывающие убожество мира, а не размазывающие кал человечества по лицу Земли» (письмо от 8 февраля 1913 // АФ). Р. превозносил Ф.: «Он “ростом” не менее Паскаля и бл. Августина: а ему всего 35 лет. Он — необыкновенное явление русской истории, “счастье родины моей”, и хотя в ½ армянин — так беззаветно любит Россию, так беззаветно предан ей» (ВНС, 360). Среди людей даровитее себя он называл Ф., которого причислял к «самым значительным, самым благородным людям в России» (письмо Р. к Ф. от 19 июня 1915 // АФ). Р. отмечал укорененность Ф. в земле: «Вся натура его — ползучая. Он ползет, как корни дерева в земле» (У, 121). Однако Р. предостерегал Ф.: «Главное — что у В. церковь совсем не та, что в “Ист. хр. ц-ви” и проч. Это — Луг *Ныне* Растущий и вечный. Но я страшусь, что Вы уже начали отходить от Луга и протягиваетесь к “консистерским бумагам” Бойтесь сего зелья» (письмо от 14 апреля 1913 // АФ). Р. писал о Ф.: «Вы — художник, эстет. Острым всемирно глазком Вы замечаете “прекрасное во всем мире” И в силу частью отсутствия анекдота, отчасти обилия золота неодолимо плетете изящные кружева в себе и внутренний мир свой наполняете золотыми идолами, которые суть изящны, но не суть живы. В частности и конкретно это именуется “стилизацией” Что в ней “мухи” погибли — не жалко, но когда угрожает в ней запутаться гений — “рвешь на себе волосы” Это самое страшная *вещь*, ибо тогда весь внутренний мир полу-истинен, — золотой, а — “нет его” Страшное — “ничего нет” Уверен, что ¼ В. *страдания* происходит отсюда: — правильно, что Вы поступили в священники. “Бог привел” Будьте “у Христа за пазухой”» (письмо от 18 июля 1916 // АФ). Р. признавался Ф.: «Вот что, батюшка: вы “сухи” чуть-чуть и я вас чуть-чуть боюсь (от того, что вы “не в болоте” и не “свинья”, а я только “в болоте” никого не боюсь, на суше всех боюсь): оттого не посылал “Оп. л.” и еще журнала, где печатаю письма той курсистки. “Осудит”, скажет: “*Мелочь*” Ну, вот. Теперь велю прислать журнал “*Вешние Воды*” (дурацкий) и вы прочтете письма В. *М<ордвину>вой* (мой друг). Кое-что потому и мыслям там есть “от вечности” И знаете, странно — у нее ум, как у Павла Флоренского: а ей 19 л. такая же всеохватываемость, *нежность* и глубина» (письмо от 26 августа 1915 // АФ). Искал Р. и свое сходство с Ф.: «Знаете, что у нас общее

в устройстве души; любопытство к факту, приращение надлежащего значения факту, и молчаливое вдаль выстраивание факта. Наша с Вами наблюдательность и особый тон наблюдения, не характеризующийся (у *Толстого*), любовно-умеренный к факту, без “О!!” и “Увы!” — спокойный, “с неба!” самая удивительная и дорогая в нас черта. Мы ни с чем <...> не полемизируем и все “аки боги” (простите нескромность) приемлем. В нас в сущности ни к чему нет вражды, и вместе отнюдь нет “объективности” и равнодушия. Мы все держим “за рубахой”, но ничему не отдаем сердца, оставаясь “сами” Мне кажется, я остаюсь объективным, оценивая эту черту <...> самую ценную, самую важную» (письмо от 14 марта 1914 // АФ). Отмечал Р. и расхождения: «В 1 расходимся: Вы = кристалл, “1”, монада; я — расплывчатый <...> но параллельно же растягиваю на весь мир и “езде меня хватает”» (письмо от 17 января 1916 // АФ). Поначалу Р. жаловался на церковный «кнут» Ф., а позже осуждал его за недостаток твердости: «Я Вас осуждал внутри себя за недостаток твердости с друзьями и горячего им *суда*. Но горячий суд и уменье его — “*талант* от Бога” и его явно в Вас нет. Тогда лучше не судить. Что Вы правильно избрали» (письмо от 30 апреля 1916 // АФ). В 1917 Ф. писал о себе как о продолжателе дела Р.: «Стоя несколько в стороне от Вас и не имея личного соприкосновения последнее время, я более объективно думал про Вас и пришел к тому выводу, что Вы сделали великое дело м.б. величайшее дело многих веков. Я около Вас и с Вами, м.б. потому понимаю Вас. Но сейчас всё же невозможно оценить значение и величину всего, сделанного Вами. Может быть, сто лет должно пройти, чтобы утихли мелкие страсти около Вас и из-за Вас и Вы выступили из этого тумана великим открывателем важнейшего начала мира и *культуры*. Но, зная всё это, я не могу не видеть, что мы с Вами находимся под перекрещивающимися и со всех углов бороздящими воздух злбными и ненавидящими взорами скопцов, как пауки ждущих пожрать нас и ненавидящих всем нутром своим. Всё острее чувствую это, и знаю, что пока весь дух нашей культуры не переменится, это будет так. Но я с Вами, не в том смысле, что смею себя равнять Вам, а говорю про единомыслие, единочувствие, единовосприятие мира. Вы свершили уже главное своей жизни; я, если Богу будет угодно, только начинаю. Но я чувствую, что то главное, о чем говорили Вы, как-то развернется впоследствии и у меня, и в каком-то смысле я продолжу Ваше дело — углубления мирочувствия» (письмо от марта-апреля 1917 // АФ). В последнем своем письме Ф. говорил о полном единстве разных правд Р. и Ф. в Бесконечности: «Хотелось бы сказать Вам, дорогой, что-нибудь утешительное, такое унеживающее, чтобы Вы забыли на время все горести, и обиды, и беды, и глупости — свои и чужие. Но оставим их. Писал я Вам многократно... А всё-таки люблю Вас, таким как Вы созданы Богом. Из этого можете догадываться, что писал не восхваления и не одобрения. А всё-таки, вот пересматривал “Уединенное”, “Опавшие листья”, корректуру нового сборника — от Ф.К. Андреева — и снова открыл для себя Вас, Вашу исключительную одаренность и, в сущности, в какой-то последней, Страшного суда, сущности — Вашу детскую невинность... И снова в мире с Вами и обнимаю Вас. Кто

знает, увидимся ли мы. Так унесите с собою, что и я, когда говорил Вам неприемлемое Вами, — не зря, не в воздух говорил, а что-то имел с собой. Ваша правда и моя правда на земле не пересекаются в одной точке; но в Бесконечности они всё же одно, хотя мы того не можем понять. А пойдем когда-нибудь...» (письмо от 9 августа 1917 // АФ). Уже с Соловков Ф. писал дочери Ольге: «Под гениальностью, в отличие от талантливости, я разумею способность видеть мир по-новому и воплощать свои совершенно новые аспекты мира. Талантливость же есть способность работать по открытым гением аспектам и применять их. В жизни я встретил 3 человека, за которыми признал гениальность: Розанов, *Белый*, *Вич. Иванов* <...> Но Андрей Белый был совсем не талантлив, Розанов — мало талантлив, а В. Иванов обладал при гениальности меньшей, большею талантливостью» (письмо от 30 сентября 1935 // Флоренский П. Соч.: В 4 т. М., 1998. Т. 4. С. 305).

Отношения Р. и Ф. временами выступали как дружба-вражда. К 20 ноября 1908 относится письмо Р., исключительное по резкости нападков на *христианство*. 21 декабря 1908 Ф. пишет ответное обширное письмо, в котором он принимает вызов Р.: «Не стану скрывать от Вас, что у Вас я учился и учусь весьма многому. Но не скрою и того, что, несмотря на все мое глубокое уважение к Вам, несмотря на мою личную любовь к Вам, Вы — враг мне, и я — Вам. Посчитаться с Вами — необходимо <...> Вы хотите отдать себя Христу по-жидовски, на условиях (“Если Вы мне это разъясните, как Кантор $\sqrt{2}$, то я признаю Христа Сыном Божиим. А без этого и т.д.”). А я этого не признаю и не хочу признавать, так и знайте. Если Вы просто отрицаете Христа, то м.б. Сам Он придет к Вам на помощь. Но если Вы не знаете ни беззаветного отречения, ни беззаветной любви, то Вы “прогорькли” и не увидите спасения. Если Христос Сын Божий, то Вы не смеете торговаться с Ним, должны признать при всяких условиях, должны без доказательств перескочить чрез “урнингов”, столь Вас смущающих, отказаться от своего недоброжелательства к “бессеменности”» (АФ). Ф. называл Р. «другом-врагом» (письмо от 15–20 января 1911 // АФ). Однако все эти споры не мешали их дружбе. Ф. писал: «Кажется, что, несмотря на все наши “ссоры”, Вы ближе всех моих друзей ко мне...» (письмо от 9 сентября 1912 // АФ). Р. неоднократно жаловался на *молчание* друзей (Новосёлова, Ф., Цветкова, Булгакова) по поводу мучавших его вопросов о браке, семье, поле (У, 328). Особо подчеркивал Р. молчание Ф.: «Фл. мог бы и смел бы сказать: но он более и более уходит в сухую, высокомерную, жесткую церковность» (У, 329). Ф. ни слова не сказал «в защиту беременного живота» (СХР, 136). Р. обвинял Ф. в своих религиозных недоумениях (У, 313) и мечтал издать письма Ф. к нему: «До чего вообще следовало бы и полезно было бы издать переписку нашу, т.е. письма Ваши в “Лит. изгнан.”» (письмо от 14 марта 1914 // АФ). Ф. высказался по вопросу о браке в письме от 9 июня 1909: «Вы говорите, чтобы я высказался за брачную *свободу*. Да я ее никогда и не отрицал. Брак-тайнство не подлежит *разводу*, и от этого я не отказываюсь. Но по моему гражданский *брак* не только должен быть в *государстве* допущен, но и церковной жизни не вредит. Пусть поживут супруги в гражданском браке, ну, хотя

бы, с благословения священника и с его ведома, друг с другом, привыкнут друг к другу, обживутся, узнают друг друга, и тогда, по прошествии большого искуса можно их венчать. Скажу прямо, дорогой Василий Васильевич! Для меня слишком громки слова Апостола: “Руки скоро не возлагай ни на кого”, чтобы я их мог не распространять и на другие области. С тайнствами, с благодатными обрядами шутить и легкомысленничать нечего» (АФ). С полной определенностью Ф. высказался и относительно развода: «Можно развестись, но нельзя развести. И, говоря откровенно, между нами, я не понимаю и не очень-то принимаю разводов, хотя конечно *правительство* должно дать возможность легкого развода и полноправия обоих супругов. Одним словом, примыкая к Вам в защите юридического допущения сожитий внецерковных, я самым решит. образом иду против Вас (?) в требовании признания Церковью неразрывности брака церковного. Церковь может сказать супругам: если Вам жить невтерпеж — расходитесь и делайте что хотите, и я м.б. прошу Вас. Но не могу я сказать, что Вы — не единая плоть, если Вы единая плоть. Да, м.б. это для Вас и для меня очень печально, но что же делать. Не могу же я лгать» (письмо от 17 (?) ноября 1912 // АФ). Ф. поддерживал взгляды Р. по поводу незаконнорожденных. «Но “незаконнорожденные” и весь цикл связанных с ним вопросов у Вас обработан так “человечно” (любимое слово отца) и с таким моральным пафосом, что живой человек не может не принять Ваших требований. Это уже не аргументы, не тезисы, а просто факты, непреодолимо врезающиеся в мироощущение. Что выйдет от принятия их сказать нельзя заранее. Но Ваша книга (“Сем. вопр.”), — по упорству и подъему нравственных переживаний, — эпоха и *памятник* Вам, какого не создавал себе ни один писатель и моралист России. С литературной, с философской, с художественной точки зрения можно бесконечно жалеть, что Вы тратите свои силы, свое время, свой подъем на разбор такой гнили, такой бездарности и беспринципности, как принципиальные писания большинства Ваших оппонентов. Но для России, для Церкви Вы сделали то, чего никто не делал за много последних столетий» (письмо от 15–20 января 1911 // АФ). Р. в письме от 20 ноября 1908 просил Ф. разрешить вопрос о том, как лучшие христиане мирятся с детоубийством, к которому подталкивают существующие законы, одобряемые церковью. Без разрешения этого вопроса Р. не принимал христианства: «Без этого для меня все, не только АФ. Великий, но и Ап. Павел и Сам — просто содомиты ($\sqrt{2}$ пола) и больше ничего: и я ко всему христианству, ко всей церкви просто не имею даже любопытства. “Черт с ними и с ним” — вот и все» (АФ). С позиции «детоубийства» книга Ф. представлялась Р. «белибердой»: «Но с этой точки зрения Вы видите, какая белиберда есть все Ваши старания и, извините, — Ваша книга» (АФ). В письме от 21 декабря 1908 Ф. отвечал: «Я вовсе не отрицаю детоубийства в среде христиан. Готов даже признать его более напряженным, нежели оно считается возможным. Не отрицаю детоубийства ни метафорического (нерождения детей, — хотя тогда “детоубийцею” оказывается всякий, кто только не совокупляется всякий раз, когда на это есть чисто физическая возможность), ни буквального. Но я признаю детоубийство в христианстве, как раз с

тем же внутренним отрицанием его, как и содомию. Детоубийство есть явление универсальное, узаконенное религиею, моралью и философией, не говоря уже о праве всей древности, и у человека, сколько-нибудь знакомого с древнею жизнью, да и вообще с внехристианской жизнью — волос становится дыбом на голове при воспоминании об ужасах детоубийства, которое как эпидемия царило над миром» (АФ). Далее Ф. привел ряд убийственных примеров из жизни Древнего Рима и утверждал, что лишь христианство защищает еще нерожденных младенцев. В ответном письме от 30 декабря 1908 Р. сравнивал отношение к деторождению у евреев и русских. Евреи рады любому деторождению, русские же выдвигают множество запретов, которые подталкивают к детоубийству. Это — «христианское идейное самоубийство», в котором Р. обвинил и Ф.: «И, друг мой милый, но бессознательный в этом пункте — сами Вы теми “прелестными” страницами письма, где пишете о высоте “надполовой”, “сверхполовой” (это-то и есть содомский спиритуализм) жизни — положили листочек на ту чашу весов, где надписано: “убей дитя”» (АФ). Отношение к Христу и Церкви вытекало у Р. из отношения Церкви к семье (в собственном его понимании) и из отношения Церкви к собственной его семье. Р. определил главный мотив своей, тогда уже «былой», вражды к Церкви: «Знаете главный мотив и, слава Богу, былой вражды к Церкви: что она обидела Варю, и как всё это было в тайне — но онтологически обидела. Варя же никого в жизни не обижала...» (письмо от 25 декабря 1912 // АФ). Однако и после этого письма «вражда к Церкви» не стала «былой». В 1913 в «Сахарне» Р. писал: «...если духовенство настаивает и будет продолжать настаивать, что оно, пока есть, — не отречется от сущего им исповедуемого учения о браке, т.е. что единственной его санкцией, “освещением, оправданием и фундаментом признания” самую церковь, государством и людьми, — является повенчанность в церкви священником, — а прочие все деторождения есть блуд и церковь не перестанет так именовать их, то со своей стороны, что бы я ни писал и ни говорил в минуты душевной слабости и проч., и проч., я остаюсь, умираю, дышу, кровообращаюсь и проч., и проч. совершенно — вне церкви <...> И пусть мои друзья Цв. и Фл. и не полагаются на то “мяконькое”, что я скажу в минуту моей слабости, напр. умирая, ибо моя мысль — это последняя» (СХР, 250–251). Р. писал, что не любит *Евангелия* за нелюбовь, враждебность к человеку (письмо от 7–13 апреля 1909 // АФ). Р. обвинял христианство в бесплодности, в гнушении деторождением. Ф. отвечал на эти обвинения в письме от 21 декабря 1908: «Да, христианство бесплодно, но не в том смысле, что оно + семя заменяет — семенем, а в том, что оно подымается над семенем, открывает в человеке такую точку, до которой уже не достигает семенность» (АФ). На выпады Р. против Христа Ф. отвечал: «Скажу Вам прямо. Ваше противление Христу (которого Вы понимаете, конечно, лучше нежели я, вследствие чего Ваше отрицание не есть отрицание каких-нибудь социал-демократов, а гораздо злокачественнее) вселяет в Вас бес. Вы притягиваетесь к христианству, вожделеете его, но притягиваетесь содомически. Свой содомизм в отношении к святыням Вы проектируете на эти святыни. А между тем стоит Вам

отказаться от самоутверждения, сказать Христу без всяких условий, смиренно: “Господь мой и Бог мой!” как иллюзия исчезнет мгновенно. Вот Вам и объяснение √2» (письмо от 21 декабря 1908 // АФ). Р. ответил весьма резко: «Вы — от Дявола, а не от Бога: и всё ваше царство — Сатанинское» (письмо от 30 декабря 1908 // АФ). Позже Р. определил дилемму: «И чему-то умереть: христианству или семье, и даже больше: Ветхому или Новому Завету» (письмо от 15 июня 1909 // АФ). Ф. присоединялся к протесту Р. против зла, страданий и смерти, однако призывал идти путем смирения и молитвы: «Ваши чувства (как чувства) я понимаю, пожалуй приемлю. Но, Боже, как это все не по адресу. Суть, “зародышевое пятнышко” Вашей книги — Иововский вопль против зла, страданий и смерти. Кто не закричит вместе с Вами, — не закричал бы, если бы был Ваш дар вопить так красиво. Но есть и сладость покорности, и тогда вопли представляются злым упрямством капризного ребенка: “Хочу, — и буду!!!” Лично я, впрочем, большею частью тоже протестую, в глубине души. Но научившись смиряться в особые моменты, в моменты молитвы, я, “заодно”, и вообще стараюсь делать *bonne mine aux mauvaises choses* <хорошее выражение лица при плохих делах>» (письмо от 9, 13 января 1911 // АФ). В 1912 Р. называл Ф. среди тех, кто повлиял на его поворот «вправо» и на примирение с христианством: «Кроме “друга” и ее вечной молитвы (главное), поворот “вправо” много был вызван *Н.Р. Щербовой*», Фл. и Цв<етковым> — “Эти сами всё отдали” И я с хр-вом нравственно примирился» (У, 178–179). Вперемешку с поношениями христианства писал Р. и совсем другое, зачастую — противоположное: «Христианство и Христос впервые открыли миру эти *тоны*, это нагибание человека к человеку, а в основе Бога к человеку» (письмо от 28 апреля 1910 // АФ). Р. ощущал себя христианином и пытался объяснить свои выпады против христианства: «Как хотелось бы мне прямо посмотреть на Христа... Ведь по устройению души я — “кроткий христианин”, без прикрас, без ломанья, “по-настоящему” Только христиан и люблю, с ними говорю, общуюсь, беседую; “язычники” мне совершенно чужды; и “нищенка” мне дорога, а на Аполлона Бельведерского я смотрел в *Ватикане* и думал: “Как скучно... и холодно и мне вовсе не нужно” Но неужели же аберрация всё, что “узелок к узелку” у меня связалось о Нем за 10 лет, связалось “само собою” Ах, если бы мне говорить в корень всего, — доброту и простоту Его... Ведь мой пафос отрицания — моральный. “Не хочу злого, ненавидящего”» (письмо от 3 июня 1910 // АФ). Определенно сошлись Р. и Ф. на любви к Церкви. Ф. писал: «Вы любите Церковь и, притом, кровною любовью. Да неужели же я стал бы откровенничать с человеком, враждебным Церкви? Но Вы любите и любите. Б.м. Ваше дело, — жестокое и в существе, в глубине несправедливое дело, — имеет свое церковное же значение, потому что есть что-то “не так” в церковной жизни, — не внешне “не так” (“контора”), а глубже того “не так” Что это — разве я знаю» (письмо от 9 октября 1910 // АФ). Да и Р., обиженный на Церковь за семью, любил ее именно за «семейный колорит»: «Ведь какая странность в моей биографии: я 8 лет “гоню церковь”, “как Домициан” (сочинения); и в эти самые 8 лет в сущности только “церковный дух” и любил: все их “масле-

но”, свечечки, слова “богоумильные”, все, все, самый колорит» (письмо Р. к Ф. от ноября 1910 // АФ). 2 июля 1913 Р. писал: «Думаете ли Вы иногда о нашей дружбе. Недавно ночью я очень долго думал. Мою жизнь и душу она и украсила и утешила. Тут что-то “Бог дал мне на старость” Вообще у меня странное чувство, что “Б. дает мне”, “утешает”, почти всегда (кроме болезни Мамы) благ ко мне (и ужасный м.б. грех) — “все мне прощает” Но последнее клянусь не по хвастовству и не по потворству — особенно настойчиво чувствую. Вообще я знаю, что Вы “с Богом” (...и прочее, после посвящения в диаконы — о грязи — замечательно и м.б. провиденциально), но и я тоже (не хвастовство) “с Богом” Это особый мир и свет в душе» (АФ). У Р. был особый культ *фалла* и вульвы. Этот культ был преимущественно головной: «И вообще ниже пояса я не fall’ичен, не vulv’ист даже: но выше пояса я и fall’ист и vulv’ичен — и это для меня поистине есть фетиш. Мне кажется у меня мозг fall’ообразен и особенно vulv’ообразен, — правая ½ его — fallus, левая — vulva: а их соотношение напоминает мне душу, особенно во время писания, да и всегда, в свободную минуту. Но как я “писатель” — то ниже пояса все довольно бездельно и даже равнодушно» (письмо от 9 июня 1909 // АФ). К содомическим опытам (S) Р. подталкивала «голова», реализация же их отталкивала: «Сделал “s” — с отвращением. И, верно, никогда не повторю. “Ну их к черту” Все так грубо и — скучно. Вот отчего я делал опыты: меня в воображении манит» (письмо от 9 июня 1909 // АФ). Ф. связывал фаллизм Р. с его бабьим характером и делал вывод: «Фаллос есть источник Вашего пафоса и Вашей глубины» (письмо от 25 апреля 1909 // АФ). Ф. писал ему 21 декабря 1908: «Неужели Вы никогда не задыхались от созерцания этой мировой сексуальности? Я не хую ее. Но если нет ни одного места, не облитого семенем, то ведь задохнуться можно. Христос, — Господь и Бог, — дает забыть о “Ваших” категориях мировосприятия, позволяя видеть мир не в свете +2 или -2, а sub specie aeternitatis et sanctitatis <с точки зрения вечности и благочестия>. Во Христе получаем сладость ангельского бытия <...> Смотрите, Василий Васильевич, как бы Вам не было в аду такого наказания: посадят Вас в комнату, где со всех сторон будут торчать фаллы, где только и будет действительности, что под углом зрения пола. И восплачите Вы ко Христу, которого оскорбляете. Замучаетесь, стошнит Вас. Будете протирать руки, чтобы идти на какие угодно муки, лишь бы не видеть всего под углом зрения пола, и тщетно будет Ваше отчаяние: “Где сокровище Ваше, там и сердце Ваше будет”» (АФ). Ф. дополнил ряд Р. — фалл, семя, рождение, жизнь, тело — рядом — жертва, кровь, смерть, душа. Эти ряды сходятся в «святой плоти». 26 апреля 1909 Ф. писал Р.: «Переживание мистической стороны рождения концентрируется в фаллос’е. Переживание мист. стороны смерти концентрируется в жертве. Всякая жертва есть *victimia vicaria*, жертва заместительная. Всякий фаллос (греч.) есть фаллос (греч.) *vicarius*, фаллос заместительный. Но замещение идет далее. Семя — вот сущность фаллоса; кровь — вот сущность жертвы. В семени — жизнь, в крови — душа. Семя — сома (греч.), тело (но не как материя, а как форма); кровь — психе (греч.). Кроме семени и крови все на свете скучно и все предназначено только для обслуживания

того и другой. Рождаемся, чтобы умереть. Умираем, чтобы (б.м.) родиться. То, что между рождением и смертью, то, что между семенем и кровью — это изолирующая прокладка, мешающая соединению +электричества с -электричеством. Но ни рождение, ни смерть не удовлетворены, ибо они — друг для друга, а не в себе и для себя. Они только тогда могут быть достаточными, когда одно есть другое, а другое — первое. Только в вечном единстве рождения и смерти, семени и крови, может быть высшее, ценное. Семя — плоть, кровь — святость. Семя — кровь — святая плоть. Рождение—смерть — вечность и полнота» (АФ). В 1908 у Р. окончательно созрело убеждение «в тождестве содомизма и христианства» (письмо Р. к Ф. от 30 декабря 1908 // АФ). Ф. в письме от 21 декабря 1908 заметил: «Не Вы ли жалуетесь чуть не каждодневно на стесненность половой жизни? Не Вы ли высказываетесь, что чем больше — тем лучше; что должно соединяться где угодно; когда угодно, с кем угодно? Не Вы ли чуть ни прямо призывали к кровосмешению и даже к скотоложеству? Поверьте, что я говорю вовсе не для осуждения. Я только спрашиваю, какое основание и какое право имеете Вы хулить содомизм (действительный или мнимый — увидим далее). Вы говорите тоном тяжкого осуждения: “христианство — содомично” А должны были бы радоваться: “Вот, мол, новый тип (помимо, напр., скотоложества) полового общения, новая разновидность мистики плоти” Право же, я не верю искренности Вашего возмущения, подозреваю за ним совсем иную действующую причину, — нерасположение ко Христу, — лично к Нему, а затем и ко всему, что с Ним связано. Не потому Вы отталкиваетесь от христианства, что считаете его содомичным, а потому осуждаете содомизм, что подозреваете его в христианстве, христианство же не любите. Христианство же не любите, ибо оно требует самоотвержения, а Вы хуже *огня* боитесь всякой трагедии, всякого движения. Вы живете только настоящим. Вы хотите мыслить мир статически, перенося на него атрибут Вечности. Вы хотите боготворить мир. Христианство не дает Вам сделать этого, — вот Вы раздражены на христианство и затем — на содомизм. Я глубоко убежден, что будь Вы убеждены в том Богохульстве, которое Вы написали мне о Господе, Вы несколько не отталкивались бы от Христа, и от ап. Павла, и от Афанасия В. Но Вы сами себе не верите <...> Поскольку есть христианство, постольку нет содомии (православное общество: крестьянство, духовенство, купечество). Напротив, когда выступают наружу антихристианские воззрения, тогда расцветает и содомия (Возрождение, наша эпоха). Сodomия есть явно внехристианское начало, врывающееся в ограду церковную. Из содомии Вы выводите детоубийство и считаете последнее собственно христианским явлением. Но ведь это — абсурд, Василий Васильевич! Поверьте, я не понимаю, как можно говорить подобные нелепости. Неужели Вы в самом деле так увлекаетесь собственными схемами, что совершенно перестаете видеть исторические данные?» (АФ). В письме от 6 апреля 1909 Ф. ответил: «Уж если Вы про Христа мне пишете нивесть что, то право же S <сodomия> является лишь наивностью <...> “S” ли или не “S” — это всё равно; ничто не насытит сердца, кроме Него» (АФ).

Еврейская тема интенсивно обжудалась в письмах Р. и Ф. во времена «дела *Бейлиса*». Ф. дал высокую оцен-

ку книге Р. «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови»: «Мне думается, что эта книга сыграет значительную роль в истории ритуальных процессов. Но несомненно, что на нее накинется не только левые, но и правые. Хорошо то в этой книге, что нет в ней улюлюкания и ругани: всё серьезно и мрачно — в стиле красно-черном. Но для еврея это-то и худо. Я спросил нашего крещеного еврея Сергея Федоровича Паперну, как относятся евреи к такому отношению, как у В.В. Розанова и у меня, т.е. с признанием религиозной глубины. Он отвечал: “Разумеется, таких как Вы они считают главными врагами. *Пуришкевич* нападает бессознательно, а Вы подкапываетесь под еврейство сознательно” И что-то еще сказал, что этого они не простят или что-то в таком роде» (письмо от 1 февраля 1914 // АФ). Р. включил в книгу статью Ф. «Проф. Д.А. Хвольсон о ритуальных убийствах» и его же письмо «Иудеи и судьба христиан», подписанные греческой буквой омега, а также «Письмо с Кавказа», вошедшее в статью Р. «Нужно перенести всё дело в другую плоскость (К делу *Ющинского*)». И Р., и Ф. пытались писать о еврействе серьезно и с «религиозной глубиной». В «Деле Бейлиса» они занимали сходные позиции. Они осудили ритуальное убийство Андриуси Ющинского, свидетельствующее о живости *веры* у евреев: «Пока есть в мире еще ритуальные убийства — мир не совсем умер, не совсем опозитивел» (письмо Ф. к Р. от 28 сентября 1913 // АФ). Ф. видел в Израиле «стержень мировой истории», а в христианах — избиваемых египтян, для которых единственная радость в смиренной покорности: «Ни славянские ручьи не сольются в русском море, ни оно не иссякнет, но все будет наводнено серою жидкою лавиною адвокатуры, которая, между прочим, зальет и *Талмуд* и ритуальные убийства. И, в конце концов, — вопрос в одном: верим ли мы Библии или нет. Верим ап. Павлу или нет. Израилю даны обетования — это факт. И ап. Павел подтверждает: “Весь Израиль спасется” Не “духовный” Израиль, как утешают себя духовные семинарии, увы не духовный. Ап. Павел ясно говорит о “сродниках плоти” и подтверждает неотменность всех прежних обетований об избранничестве. Мы — только “так”, между прочим. Израиль же стержень мировой истории. Такова Высшая Воля. Если смиримся — в душе радость последней покорности. Если будем упорствовать — отвержемся того самого христианства, ради которого спорим с Израилем, т.е. опять подпадем под пяту Израиля. Обетования Божии нетленны. Это мы в черте оседлости Божественных предназначений, — мы, а не они. Это мы египтяне, обворовываемые и избиваемые и мучимые; это мы — те, у которых “голова младенцев” “разбить о камень” есть блаженство, и это против себя мы поем в церквах ангельскими голосами “на реках Вавилонских” Нам — одно утешение» (письмо от 26–27 ноября 1913 // АФ). И Ф., и Р. в евреех различали евреев Талмуда и евреев интеллигентов. К первым они относились с трепетом перед богоизбранным народом, вторых, отступивших от веры отцов, презирали. В еврейской религии Р. видел заботу о чистоте «родников деторождения» (СХР, 86). Ф. тоже видел существо еврейства в «стихии родительства»: «Что такое еврейство? — В существе своем это род. Как Вы выяснили, существеннейшая деятельность еврейства — это рождение. Израиль

мне не представляется иначе, как безликой и безличной стихией родительства, — чудешем с миллионами рук и ног и глаз, и *носов* и обрезанных гениталий и *грудей*, которое копошится, липнет, ползет, захватывает все, что попадается. “В соседстве Содома” оно потому, что в силу безличности, нерасчлененности и физиологического единства этого существа оно живет стихийно-единою жизнью. В еврействе нет влюбленности, а есть липкость. Ничего твердого, ничего мужественного, ничего стоящего — а все мягкое, женственное, ползущее. *Бабы* мужского и женского рода, и чувства все бабы и к *бабам*» (письмо от 12 декабря 1913 // АФ). Р. тоже писал о женоподобии евреев. Стремительное размножение евреев вызывало у Ф. *страх*: «Но что, что с ними делать?! Они размножаются быстрее нас, — это простая арифметика. И что ни делай с ними, настанет момент, когда их станет больше, чем нас. Это, повторю, простая арифметика, и против этого есть только одно средство — оскопление всех евреев, — т.е. средство такое, применить которое можно только при нашем отречении от христианства» (письмо от 26–28 октября 1913 // АФ). Именно страх подталкивал к мысли о крайнем средстве — «оскоплении», однако, для христиан неприемлемом. Ф. писал Р. не столько о своем страхе перед евреями, сколько о своем от них отталкивании и душой и телом, вследствие «атрофии порядочности» у них (письмо от 28–29 ноября 1911 // АФ). Страх рисовал перед мысленным взором Р. решение еврейского вопроса: «Я пугливый человек, а испуг лишает сил. Я очень боюсь жидов. Они все захватывают и нас душат. Все, над чем я смеялся у *Суворина* (“Я боюсь евреев”), — я вижу теперь — правда, и мой смех был молод. Ничего так не жажду как разгрома: “Вон, вон! Вон! Убирайтесь, куда знаете” Никакого другого решения вопроса не может быть. “Дело Бейлиса” все показало: в 9 лет они съели *печать*, поработили ее до самой унижительной формы подчинения. Конечно больше всего улыбочками, ласковостью, лестью. “Вы, господин полковник” (Ягелен хоружему). Это врожденно-содомическая нация, вся целиком, она все лесбиянки и мужчины все содомиты, от этого они так липнут к нам, непременно в нас влюбляются и почти подставляют нам ж. Для *совокупления*, т.е. духовно. “Без мыла влезает», как острят *циновники* о подделывающихся к начальству» (письмо от 7 декабря 1913 // АФ). Р. неоднократно указывал на связь евреев с содомизмом. Ф. отталкивали крайности как крайне левых, так и крайне правых: «Пересматривал дня три, и чуть не проклял себя от тоски, скуки, тошноты. Революционной литературы я никогда не читал. А тут прямо утонул в море злобы, раздражения, мести, интриг, самовосхвалений, плутней... На душе стало так гадко, что я до сих пор, — прошла уже неделя — не могу наладить свою душу. Но и правые хороши. Прислали мне сегодня “Вешние Воды” Таких богохульств и кощунств, как там, особенно в конце, я в жизнь не читал и не слышал. Если борьба с евреями должна вестись таким путем, то пусть уж лучше евреи. Что это? Беснование? Под видом борьбы с евреями ухитряются высказать такое, на что и евреи не дерзнули бы. Евреи, революционеры, суета, злоба — как это всё тоскливо. Почему никто не хочет заняться *Метафизикой Аристотеля*, говоря фигурально...» (письмо от 20–21 ноября 1916 // АФ). Ф. сомневался, хулит он евреев или

хвалит: «Посылаю нечто о еврейск. магии, и в самой глубине души не знаю, что я, хочу ли их похвалить, или похулить и что я делаю — хвалю или хулю. Одно только. С рит. убийствами помириться легко, но с наглостью, с криками (еще с *Egiptha*), с *ложью*, с заpirationством... нет, не могу. Вероятно и это нужно для Высшей Правды; но нам, с нашей правдой мелкой, б.м., правдой “эстетизма” и “порядочности” вместить это трудно. Но вероятно, при большей молитвенности, можно» (письмо от 16 октября 1913 // АФ). То же можно сказать о колебаниях Р. между филосемитизмом и антисемитизмом. После 1917 отношение Р. к евреям достигает крайнего филосемитизма. Он вспоминал свое первое свидание с Ф. после переезда в Сергиев Посад: «Я выразил ему, что взгляд мой на евреев совершенно меняется, что я в нем по-прежнему вижу любимое дитя Божие, любимое и религиозно, любимое и в истории, и что поэтому малейшая обида, этому народу причиненная, и даже малейшая в отношении его подозрительность, не проходит без наказания ни в веке сем, биографически, ни в жизни будущей, за гробом <...> Но я убедился, что жив Бог Израилев, — жив и наказует, и убоится. Содрогающая судьба *М.О. Меньшикова* — одно из знамений уже последних дней» (АНВ, 185). Р. давно мечтал жить рядом с Ф.: «Нам бы в сущности жить вместе: отличный был бы симбиоз двух благочестивых семей» (письмо от 2 июля 1913 // АФ). Решение о переезде семьи Р. было неожиданным для Ф., ибо 9 августа 1917 Ф. писал: «Кто знает, увидимся ли мы». И лишь получив письмо Р. с решением переезжать, Ф. стал давать деловые советы. В письме от 13 августа (послано вместе с письмом от 9 августа) Ф. описывал ситуацию в Сергиевом Посаде: «Относительно провизии неважно, но лучше чем в *Москве*, и значит, гораздо лучше, чем в Петрограде. Пока что хлеб белый и черный дается, и сейчас — хороший. Говорят, муки ни в *Москве* ни у нас далее не будет, но ждут подвоза. Молоко, м.б. получите, овощи дорогие, но есть, мясо по карточкам, дорогое довольно, есть, неважно. Дом *Беляева* удобен тем, что там вся обстановка, кровати, даже посуда и утварь. Подушки Вам хотят дать *Александровы*. Если приезжаете, то приезжайте скорее, временно предлагают устроиться у них *Александровы*. Привозите свой *архив*, монеты, вообще всё ценное, ибо я сильно опасаясь, что в Петроград уже более Вам не попасть. Главное — привозите бумаги, все по возможности. М.б. здесь, когда цены неск. спадут, займетесь издательством. Очень прошу, привезите мне мои письма, я боюсь, что они попадут в чужие руки, а это тяжело было бы» (письмо от 13 августа 1917 // АФ). От славянофилов Р. уходит в Египет, говорит о переходе в еврейство: «По всему вероятно я перейду в еврейство (помещает только *лень*) (но став евреем, — я уже обязан не лениться: нация вечной эрекции). Но из всего хода моих мыслей, с 1898 г. и несколько ранее, — это должно было последовать: в сущности, я вовсе не христианин и никогда им не был. Два человека, не знавшие друг друга, сказали мне: “На вас крещение будто не подействовало” Да. Вовсе. Сказали это *Рцы*, около 1906 г., и *Флоренский* — в 1918 — оба с большой задумчивостью и удивлением. Собственно я бывал настолько христианином, насколько с ним совпадает и еврейство, насколько само христианство вышло “от корня *Иуды*”» (АНВ, 140).

Ф. в письме к *М.И. Лутохину* от 5–6 сентября 1918 описал настроение Р. и характер споров с ним: «Существо его — Богоборческое: он не приемлет ни страданий, ни греха, ни лишений, ни смерти, ему не надо искупления, не надо и воскрешения, ибо тайная его мысль — вечно жить, и иначе он не воспринимает мира <...> Спорить тут бесполезно, ибо В.В. не умеет слушать, не умеет и спорить, но по-женски твердит свое, а если его прижать к стене, то негодует и злится, но конечно не сдается. Если бы действовать на него не логически, а психологически, то он (и это не было бы корыстно, расчетливо, а произошло бы само собою) стал бы говорить иное, хотя не по существу, а — по адресу. Например, если бы его приютил какой-либо *монастырь*, давал бы ему вволю махорки, сливок, сахару и пр., и пр., и, главное, щедро топил бы печи, то, я уверяю, В.В. с детской наивностью стал бы восхвалять не этот монастырь, а по свойственной ему необузданности обобщений, чисто детских индукций *ab exemplo ad omnia* <от частного к общему> — все монастыри вообще, их доброту, их человечность, христианский *аскетизм* и т.д. И воистину, он воспел бы христианству гимн, какого не слыхивали по проникновенности лирики <...> Но вот, приехал В.В. в Посад. Его монастырь даже не заметил, — конечно! — в Посаде выпали на долю В.В. все те бедствия, которые в гораздо большей степени в это же время выпали бы в СПб., в *Москве* и всюду. Наголодавшись и наголодавшись, не умея распорядиться ни деньгами, ни провизией, ни временем, этот зверек-хорек, что ли, или куничка, или ласка, душачая кур, но мнящая себя львом или тигром, все свои бедствия отнес к вине Лавры, Церкви, христианства и т.д., включительно до *И<исуса> Х<риста>*» (PRO, 2, 316–317). Антихристианские выпады Р. возмутили многих друзей Ф., некоторых возмутило даже общение Ф. с Р. *М.А. Новоселов* писал *М.И. Фудель* 11 июля 1918: «Скажите о Павлу, что, если будет продолжать общение с “антихристом” *Розановым*, мне придется отказаться от дружеского общения с ним (о Павлом)» (Переписка свящ. *П.А. Флоренского* и *М.А. Новоселова*. Томск, 1998. С. 178). Ф. общение продолжал. После апоплексического удара 24 ноября 1918 Р. постоянно мерз и повторял: «Холодно!». Ф. писал *М.В. Нестерову* 1 июня 1920: «Он “тонул в бесконечно холодной воде *Стикса*”, тосковал “хотя бы одной сухой нитки от Бога”, между тем как стигийские воды проникали всё его существо. “Вот каким страшным крещением сподобил меня Бог креститься под конец жизни”, — сказал он мне при посещении его» (АФ). В декабре 1918 — январе 1919 Р. был продиктован ряд писем друзьям и бывшим недругам, полных покаяния и примирения. Здесь он благодарил Ф. «за изящество, мужество и поучение» (Литературная учеба. 1990. № 1. С. 85). В письме «К литературному» от того же дня Р. просил: «*Флоренского*, *Мокрицкого* и *Фуделя* и потом графов *Олсуфьевых* прошу позаботиться о моей семье и также *Дурылина*, и всех, кто меня хорошо помнит» (Там же, 86). Ф. вспоминал: «Мне он продиктовал нечто в египетском духе на тему о переходе в вечность и об обожествлении усопшего: “Я — *Озирис* и т.д.” <...> Но наряду с делами почти безумными с ним происходил и благотворный духовный процесс: В. В.ч постигал то, что было ему непонятно всю жизнь <...> У него началось странное видение: “всё зачеркнуто

крестом” Я: “У вас двоится в глазах, В.В.?” — “Да, физически двоится, а духовно всё утверждается, на всем крест. Это очень странно, очень интересно” <...> Твердил много раз, что он ни от чего не отрекается, что разное есть величайшая тайна жизни; но принял, как-то, и Христа. Были у него какие-то странные видения. Когда увиделся с ним в последний раз, за несколько часов до смерти, то В.В. встретил меня смутно — уже прошептантыми словами: “Как я был глуп, как я не понимал Христа” За последнее слово не ручаюсь, но судя по всем другим разговорам, оно было сказано именно так. То, что он говорил затем, я уже не мог разобрать. Это были его последние слова» (письмо Ф. к Нестерову от 1 июня 1920 // АФ). Панихиду в доме отслужил Ф. Позднее С.Н. Дурьлин вспоминал: «Когда Вы шли с первой панихиды от В.В., Вы сказали Ю. А-чу <Олсуфьеву> на его замечание, что “В.В. светлый и чистый” — “Он — как минерал” Это меня поразило: как могли Вы так сказать про усопшего, которому только что кадили! Кадили “минералу”! И я пошел скорее. Мне Вы были неприятны. Простите меня за это. Я знаю, что “минерал” — это не суд над В.В.-чем, не приговор, а просто — дума Ваша, что есть и такая смерть» (письмо Дурьлина к Ф. от конца января 1919 // АФ). Отпевали Р. в церкви Михаила Архангела рядом с домом три иерея: архимандрит Иларион (Троицкий), Ф. и о. Сергей Соловьёв священник Успенской церкви в Клементьеве. Погребение Р. описал Ф.: «Погребение его было скромное-пре-скромное, но очень благообразное и красивое. Собрались только самые близкие друзья, бывшие в Посаде. И гроб — Вы знаете как трудно добыть гроб — попался ему изысканный: выкрашенный фиолетово-коричневой краской, вроде иконной чернели, как бывает иногда очень дорогой шоколад, с фиолетиной, и слегка украшенный — крестиком из серебряного галуна. Повезли мы В. В-ча на розвальнях, по снегу, в ликующий солнечный день к Черниговской и похоронили бок о бок с К.Н. Леонтьевым, его наставником и другом. Всё было мирно и благолепно, без мишуры, фальшивых слов, поддружески сосредоточено. Однако это был лишь просвет. А потом и пошло и пошло. Словно все бесы сплотились, чтобы отомстить за то, что В. В-ч ускользнул от них. — Для могильного креста я предложил надпись из Апокалипсиса, на котором В. В-ч последнее время <нрзб.> и на котором мирился со всем ходом мировой истории: “Праведны и истинны все пути Твои, Господи” Представьте себе наш ужас, когда наш крест, поставленный на могиле непосредственно гробовщиком, мы увидели с надписью: “Праведны и немилостивы все пути Твои, Господи”» (письмо к Нестерову // АФ). Надежды на публикацию сочинений Р. в издательстве «Путь» оказались тщетными из-за противодействия кн. Е.Н. Трубецкого: «Надежды на “Путь”, которому, конечно, всего естественнее было бы издавать Розанова, я почти не имею, больше всего ввиду предрассудков князя» (письмо Булгакова к Ф. от 21 февраля (6 марта) 1918 // Переписка свящ. П.А. Флоренского со свящ. С.Н. Булгаковым. Томск, 2001. С. 151). После смерти Р. семья заключила договор о печатании его сочинений с «Издательством З.И. Гржебина»: «Сейчас выяснилось, что договор с Гржебиным окончательно заключается Розановыми. Мое убеждение — договор написан чрезвычайно

для семьи Розановых благоприятно и его можно и должно подписывать с радостью» (письмо Г.А. Лемана к Ф. от 3(16) апреля 1919 // АФ). Подготовкой этого Собрания сочинений начал заниматься Ф. 18 апреля 1919 он заключил договор с Гржебиным о «редактировании сочинений покойного Василия Васильевича Розанова, как уже напечатанных, так и оставшихся в рукописи, которые будут издаваться Гржебиным, на основании договора Гржебина с наследницами Розанова, Варварой Дмитриевной Бутягиной, Татьяной Васильевной и Надеждой Васильевной Розановыми» (АФ). В марте 1929 Ф. писал М.Л. Цитрону в Париж: «Я потратил тогда много труда, чтобы разобраться в хаотическом наследии В.В. Розанова и постараться из фрагментов создать за него книги, которых он фактически не осуществил, так как композиция книги всегда производилась им в процессе печатания. В этом отношении я добровольно выполнил свои обязанности и даже более чем предполагал первоначально. Однако, пока шло время этой работы, З.И. Гржебин уехал за границу и исчез из моего поля зрения, несмотря на все усилия, я не мог узнать, как снести с З.И.» (Палиевский П.В. Розанов и Флоренский // Литературная учеба. 1989. № 1. С. 111). Это издание не было осуществлено. Булгаков вел переговоры с издателем Г.А. Леманом и С.И. Сахаровым о печатании сочинений Р. В 1921 Г.А. Леман собирался издать Полное собрание сочинений Р. и книгу о нем, а также устроить публичное заседание, посвященное его памяти, о чем Леман известил Ф. 26 августа 1921 Ф. писал Леману: «А, между тем, именно в Ваших планах, т.е. относительно Полного собрания сочинений и относительно Жизни и Трудов Розанова, полагаю я практически и для памяти В.В. важное, то, что ему было приятно и дорого» (АФ). При этом Ф. высказал несколько замечаний: 1) Права на издание Собр. соч. проданы Гржебину. 2) «Жизнь и Труды Розанова будут не в 12-ти томах, а в 120-ти». 3) Живы люди, упоминаемые в письмах Розанова. Ф. писал: «Мне думается, что невозможно было бы опубликовать письма В.В. ко мне, не возбуждая о нем толков и даже бури, да и свои письма к нему видеть в печати, по крайней мере при жизни, не хотелось бы». 4) Печатать полностью Розанова нельзя, но нельзя его и причислять (АФ). Леман пытался издать отдельные книги Р.: продолжение «Опавших листьев», переписки Р. с К.Н. Леонтьевым, П.П. Перцовым и Ф. И эти планы не осуществились. Сообщение о том, что Ф. готовит к изданию сочинения Р., появилось в печати (Розановский кружок. Заметка // Вестник литературы. 1921. № 9(33). С. 13–14). Ф. готовил к печати книгу Р. «Во дворе язычников» и написал к ней предисловие (см.: Контекст. 1992. М., 1993; ВДЯ). В предисловии «От редакции», помеченном 16 февраля (ок. 1922) Ф. констатировал: «В религии — Розанова занимало собственно не трансцендентное само по себе, а его испарения, он предпочитал тереться “около стен церковных” <...> Розанов представлял себе древнюю религию как полное цветение пола и построил свой “двор язычников” — телицу всяческих побегов от “древа жизни”» (ВДЯ, 407). О подготовке этого издания было объявлено в печати: «Издательство “Поморье” готовит сочинения В.В. Розанова в 3-х книгах “Во дворе язычников”» (Объявление на обложке книги: В. Княжнин. Александр Александрович Блок. Пб., 1922). Владельцем

издательства «Поморье» был М.П. Мурашёв. Издательство напечатало книгу Ф. «Мнимости в геометрии» (М., 1922). Ф. предложил Мурашёву напечатать книгу Р. февраля (21 января) 1926 Ф. обращался к М.П. Мурашёву: «Многоуважаемый Михаил Павлович, направляю к Вам, согласно просьбе дочерей В.В. Розанова, а также и по своему убеждению, И.С. Ефимова с просьбою вручить ему рукопись В.В. Розанова “Во дворе язычников” Если в дальнейшем Вы сумеете найти цензурную и техническую возможности к напечатанию этой книги, то, согласно уговору моему с наследницами В.В. Розанова, право печатания книги будет предоставлено в первую очередь. В настоящее же время считаю необходимым собрать все рукописи Розанова в одном месте, отчасти как меру сохранности, отчасти и, главное, чтобы вновь поработать над собранием его сочинений и еще раз пройти возможности уже отобранные. В частности, надеюсь, что сумею улучшить “Во дворе язычников” Ваш покорный слуга П. Флоренский» (АФ). Хотя надежда на печатание «Во дворе язычников» была слабой, Ф. все-таки намеревался «улучшить» эту книгу и, даже, «вновь поработать» над собранием сочинений Р. Но видна и главная цель — собрать воедино все рукописи Р. Сохранился ответ Ф. на письмо М.Л. Цитрона от марта 1929 с предложением напечатать за рубежом собрание сочинений Р. Только что вернувшийся из высылки Ф. писал: «От своего согласия в редакторстве я не отказываюсь принципиально, но сочту себя вправе на деле содействовать Вашему изданию лишь с того момента, когда увижу, что такое издание не стоит в противоречии с общим курсом советской политики» (Литературная учеба. 1989. № 1. С. 111). И это издание не осуществилось.

Игумен Андроник (Трубачёв), С.М. Половинкин

ФОНВИЗИН Денис Иванович [3(14).4.1744 или 1745, Москва — 1(12).1792, Петербург] — писатель. Общее представление о Ф. и его роли в литературном процессе Р. изложил в «*Опавших листьях*»: «Фонвизин пытался быть западником в “Недоросле” и славянофилом в “Бригадире” Но не вышло ни того, ни другого. Побывав в Париже и “само собою русский дворянин”, — он не был очень образован. Дитя екатерининских времен, еще очень грубых. Без утончения. Комедии его, конечно, остроумны и, для своего времени, гениальны. *Погодин* верно сказал, что “Недоросля” надо целиком перепечатывать в курсы русской истории XVIII века. Без “Недоросля” она непонятна, некрасочна. Безымянна. Но в глубине вещей весь вообще Фонвизин поверхностен, груб, и, в сущности, не понимает ни того, что любит, ни того, что отрицает. *Влияние* его было разительно, прекрасно для современников, и губительно потом. Поверхностные умы схватились за его формулы, славянофилы за “Вральмана”, западники и очень скоро нигилисты за “Часослов”, и под сим благовидным предлогом русская *лень* не хотела западных наук и пересмеяла свою церковь (богослужение, молитвы). От “— ну, почитаем из Часослова, Митрофанушка!” (Кутейкин) и идет дикое “жезаны” и “жеможаху” *Щедрина*, и все лакейское оголтение русского духа» (У, 359; «жезаны» и «жеможаху» — словосочетания из церковных служб «Символ православной веры» и «Тропарь Преображения»). *Сатира* Ф., считает Р., породила у нынешних читателей неверное

представление о XVIII в.: «Сатиры двух заезжих к нам иностранцев Кантемира и фон-Визина <...> бросили совершенно неверный свет на наш XVIII век. Эти сатиры, одни изучаемые в школах, поселили в наших несчастно-воспитываемых юношах самоуверенное представление, будто XVIII век был веком непроходимой общественной грубости, глупости и *пошлости*, нравов темных и диких; будто это был век “недорослей” и Вральманов, Кутейкиных и Скотининых... И будто бы пушкинская эпоха родилась из ничего, без залогов, без предшественников... Это поистине дикое, а главное — вредное, антивоспитательное представление» (СХ, 405). Р. предлагает свое толкование причин возникновения сатирического отношения Ф. к русскому быту. «Не надо забывать, что Фонвизин бывал “при дворе”, — видал лично императрицу, — и “просветителей” около нее, — может быть, лично с нею разговаривал. Это чрезвычайная высокопоставленность. Он был тем, что теперь Арс.Арк. Кутузов или гр. А.К. Толстой. Изобразительный талант (*гений?*) его несомненен: но высокое положение не толкнуло ли его посмотреть слишком свысока на окружающую его поместье дворянскую мелкоту, дворянскую обывательщину, и даже губернскую вообще *жизнь*, быт и нравы. Поэтому яркость его “Недоросля” и “Бригадира”, говоря о живописи автора, не является ли пристрастной и неверной в *тоне*, в освещении, в *понимании?* “Недоросли” глубокой провинциальной России несли ранец в итальянском походе *Суворова*, с ним усмиряли *Польшу*; а “бригадиры” командовали в этих войсках. Как-то они были? Верить ли Суворову или Фонвизину?» (У, 225–226). Вместе с тем «XVIII век — это все “помощь правительству”: сатиры, оды, — всё; Фонвизин, Кантемир, Сумароков, *Ломоносов* — всё и все» (У, 36). *Державин* и Ф. «были именно сотрудники царям и украшением царства» (КНУ, 434). Но если Державин был «обращен назад, к “дням славнейшим”», то «Фон-Визин и Новиков обращены вперед, к дням сомнительным или угрожающим» (КНУ, 518). Р. полагал, что «*Гоголь* — первый, который воспитал в русских *ненависть* к России...» (СХР, 135). Р. противопоставляет Гоголя и Ф., который «вовсе этой ненависти не воспитывает, он говорит о недостатках у русских, а не о самих русских» (там же). Рассматривая место Ф. в *русской литературе*, Р. говорит, что «исторически “Горе от ума” продолжает “Недоросль” Фонвизина; только здесь “недорослем” названо и показано все русское общество, как оно сложилось к двадцатым годам этого столетия, как оно массою осело, а не выделилось порознь высокими даровитыми лицами» (ЛВИ, 325). Р. ставит Ф. в число лучших комедиографов всемирной литературы, от *Грибоедова* до *Мольера* и *Шекспира* (ЛВИ, 544). Он сожалеет, что современники не оценили по заслугам вклад Ф. в русскую культуру его времени; в «*Мимолетном*» он писал: «Много лет я удивлялся, отчего Фонвизину, о “Недоросле” которого *Погодин* записал в своем “Дневнике”, что его следует целиком перепечатывать в истории России 2-й половины XVIII века, — не дали ордена Андрея Первозванного. “Недоросль” — такой же факт, как управление, как присоединение Крыма, усмирение Польши <...> справа с *Пугачевым*. Не менее трудно и требовало не меньшего таланта. Да. Не понимает это кто дает ордена. Таланта было много в “Недоросле”, а добродетели никакой.

В “Недоросле” не было “рано встал”, “потрудились”, “поздно лег” Царь награждает не таланты, а серый скромный *труд* на пользу ближнего» (М, 7).

А.Н.

ФОРЕЛЬ (Forel) Огюст Анри (1.9.1848, Ла-Грасьёз, кантон Во, Швейцария — 27.7.1931, Иворн, там же) — швейцарский невропатолог, психиатр. Р. обращался к книге Ф. «Половой вопрос» (1905; рус. пер. СПб., 1906) и писал: «Автор сделал к русскому переводу его книги специальное предисловие, где говорит, что страны завершеннейшей культуры, как германо-романский мир, уже мало подадут надежд на исправление коренных своих понятий, хотя бы и очевидно ложных, и что, напротив, молодые культуры, как русская, дают более надежд на прививку свежих реформирующих идей. К этому он прибавляет, что, может быть, нигде в такой степени, как в России, книга о половом вопросе не может возбудить к себе внимание, ибо почва здесь подготовлена некоторыми страстно поставленными тезисами, и притом поставленными народно, в быту, или в литературных произведениях, получивших огромное распространение и признание. Такова знаменитая секта скопчества и учение гр. Л.Н. Толстого, выраженное в “Крейцеровой сонате” и особенно в “послесловии” к ней. “Но и помимо этих крайностей, — говорит он, — мы замечаем в России целую лестницу более или менее аскетических и мистических оттенков, восторженных и даже экзотических воззрений, идущих вразрез с природою» (ВДЯ, 401). Ф., отмечает Р., вовсе не религиозный человек. Поэтому он «выпустил из своей книги целую треть темы, треть самую интересную: ведь именно на отношении к полу разошлись язычество и христианство! <...> Но в остающихся двух третях темы г. Форель превосходно разработал половой вопрос, превосходно и с медико-биологической стороны, и с государственно-социальной. Взгляд его свеж и местами нов, и на каждой странице вы чувствуете, что этот добрый медик склонился над человеком, чтобы везде помогать ему, помогать и разъяснять, и очень мало морализировать, укорять и вообще произносить ненужные слова, “стяжая славу себе и черня всех” <...> Доктор Форель совершенно отделяет феномены пола от феноменов нравственности, этики. Он говорит, что причина почти постоянного смешивания этих двух слабостей кроется в неправильности разговорной речи. Обычно “физическому” противопоставляют “духовное” и соединяя последнее с “нравственным”, а пол относя к физической стороне жизни — порицают половую деятельность, как “не духовную”. Добавим, что еще чаще в основе отрицательных на нее взглядов лежит то, что она “свойственна всем животным”, есть “животные функции” в человеке, который разумом и культурой и вообще другими “благороднейшими” проявлениями уже поднялся над животными, вышел из “животного состояния” Вл. Соловьёв и А.А. Киреев оба писали в этом смысле, с этою мотивировкою. Но, спрашивается, унижительно ли для нас “животное дыхание”, кровообращение и пищеварение, “как у животных”? Животные суть части космоса — и всё космологическое им присуще, как и человеку. Наконец, противоположение “духовного” — “физическому”: прежде всего, влюбление и страсть не недуховны; а затем и самое сближение по-

лов, передавая дитяти столько же тело, как и душу, с наследственными качествами физическими и духовными родителей — явно не есть акт физический, но духовный и физический» (ВДЯ, 403–405). В книге «В темных религиозных лучах» Р. приводит результаты опроса, проведенного Ф. среди почти четырех тысяч мужчин, из которого явствует, что «3,9% чувствовали совместное или периодически меняющееся влечение к обоим полам и 1,5% — к слиянию со своим полом. Эта последняя категория получила в науке название “урнингов” <...> Очевидно, объяснение этого явления лежит в недостающей полной теории пола, которая наравне с этой аномалией объяснила бы и прочие. Но совершенно очевидно, что для выработки, или, лучше сказать, для открытия этой теории, этого объяснения, изучение урнингов и особенно исповедания их представляло страшно важный материал» (ВТРЛ, 329–330). Р. неоднократно обращался к проблемам гомосексуализма и в дальнейшем.

А.Н.

ФОРШ Ольга Дмитриевна [урожд. Комарова; 16(28).5.1873, крепость Гуниб, Дагестан — 17.7.1961, Ленинград] — писательница. К письмам Ф. 1910–1913 (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 81) приложена характеристика писательницы: «Ольга Форш. Очень талантлива и очень симпатична в Цар. Селе» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 98). В письме от 26 февраля 1910 писательница выражала радость по поводу полученного письма Р. с похвалой за ее ранний рассказ «За жар-птицей» (1908). В письме затрагивались религиозные вопросы. «Про Вас когда думаю, то все очевидно утверждаюсь, что Вам придется-таки оставить в конце концов скамеечку за воротами <...> и Вам и “Захару” Божьему смириться в своей фантастике. Да, и принять Барина в сердце свое не так как Вам хочется, а как Он Есть. Вы Его капризно хотите только во времени, а Он батюшка — вне времени — что много много неуютнее» (Там же. Л. 2–3). В том же письме Ф. обращалась к писателю с просьбой: «Напишите скорее “магическое” Очень уж весело и хорошо Вас читать!» (Там же. Л. 3). 11 марта 1913 Ф. благодарил Р. за присланное «Уединенное» и просила о посредничестве для знакомства с семейством Альбовых, поскольку со священником И.Ф. Альбовым у нее вышел «метафизический» спор в гостях у К.К. Арсеньева (Там же. Л. 4). В письме от 8 мая 1913 Ф. благодарил Р. за подаренную книгу и передавала писателю привет от своей дочери Тамары, которую Р. провожал на первый бал. В романе «Ворон» (Л., 1934) Ф. создает образ Р. «Он молча ткнул мягкую бескостную руку, вроде как старую калошу. Сестра не пригласил, стоял сам, перебирая мелко ногами, топчась на месте у огромного кожаного дивана <...> Смотрел он вбок, совсем как изображен на своем известном, очень похожем портрете. У него были темные печальные, во внезапном взгляде очень зоркие глаза. Умнейший лоб, рыжинка волос, усмешечка. В лице непрестанная игра — и гаерское лукавство и печаль. Странно отметилось, когда начал он свою невероятную речь: лицо его говорило совсем не то, что язык. В этом несоответствии был завораживающий интерес, и хотелось найти разгадку. Фигуренка была у него тщедушная, какой-то грим старинного подъячего. Может быть, и не поношенный был на нем костюм, зарабатывал ведь он

хорошо — с чего бы ему приbedнаться, но, по впечатлению, костюм был обвисший и брючки внизу бахромящие <...> Усмешечка играла под редкими усами <...> Жест был у него неприятный, поспешный, вдруг перешедший в слабое многократное подталкивание. Это он приглашал наконец Тихона сесть. Притолкнув его к дивану, шепетнул: — А вам как, ничего на этом диванчике будет сидеть? Тут ведь обыкновенно сам... сам *Меньшиков* сиживает. — И буравчики засверкали, залюбопытители глазки: вобрать самое свежее, первое, нечаянное. Этаким вкусом обнаружил к мелочному насилию» (с. 956–958).

А.В. Ломоносов

ФОФАНОВ Константин Михайлович [18(30).5.1862, Петербург — 17(30).5.1911, там же] — поэт. Р. посвятил Ф. мемуарный очерк «Из житейских встреч. К.М. Фофанов» (*Новое Слово*. 1911. № 11), в котором восстанавливает эпизоды, создающие выразительный *портрет* незаурядной личности: «Сохранить живой портрет Фофанова и нужно, и хочется»: Р. создает портрет чудака, *человека* не от мира сего, появление которого «вызывало смутнение», а передвижение по городу было похоже на «туманное, бесконечное странствие» (ОПП, 546). «Земного ему не нужно было, ничего ему не нужно было. Он едва сознавал, где и как и с кем жил» (ОПП, 551). «Знаете ли, что, схоронив Фофанова, мы схоронили ангела?» — Р. поясняет эту *мысль* и пишет о «невинности, безгрешности» Ф.: «Он так и не узнал, что люди обманывают, лгут, злятся, хитрят, завистничают» (ОПП, 546, 547). Еще раньше Р. писал: «Фофанов — дитя *мира*. Вся его прелесть — в природности, этом редком, почти всеми теперь утерянном качестве» (НВ. 1901. 14 февр.). Р. пишет о странном поведении Ф. как о проявлении этой «безгрешности». В семейных отношениях (столь важной для Р. сфере *жизни*) он подчеркивает особую деликатность Ф., заботу супругов друг о друге. Р. вспоминает о жене Ф. (*Л.К. Фофановой*), «задумчивой и прелестной», «институтке, влюбленной в девичестве в его поэзию» (ОПП, 549), о ее терпеливой верности и заботе. Он заранее опровергает возможные ошибки биографов, связанные с излишней доверчивостью к несправедливым словам импульсивного Ф. о жене, все-таки оставившей его, ибо, по словам Р., «ни у кого бы не хватило терпения и 3–4 года прожить в таких условиях» (ОПП, 550). Отличительная черта Ф., каким его изображает Р., — благоговейное отношение к жизни и к людям, иногда проявлявшееся в экспансивных поступках: он постоянно кланяется человеку, о котором, может быть, один раз в жизни слышал, что это «удивительная *душа*», целует землю у *дома*, где квартировал *Белинский*. С болезненными записями Ф. связывает Р. все эти качества его натуры и особенности поэтического *таланта*. «Вино помогает воображению; в вине человек как-то “видит сны”» Вся поэзия Фофанова есть “видение сна”: и алкоголь ему нужен был для самой поэзии <...> Стихи его, местами достигающие пушкинской *красоты*, стихи, которые никогда не умрут, пока жив русский *язык* и живет русская восприимчивость к родному слову, — все, однако, суть продукт воображения о *природе*, а не ощущения природы, воображения о жизни и человеческих отношениях, а не отчетливого их переживания <...> Реальное

просто для него отсутствовало... А “сны”, его золотые сны — были действительностью» (ОПП, 552).

Л.В. Суматохина

ФОФАНОВА Лидия Константиновна (урожд. Тупылева) — жена поэта *К.М. Фофанова*. Сохранилась *помета* Р. на ее *письме* от 18 декабря 1901 к *В.Д. Бутягиной* с вежливым отказом на приглашение в гости к Р.: «Фофанова Константина» жена (прекрасная)» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед хр. 38. Л. 1). В письме к *А.А. Измайлову* Р. дал *характеристику* всей *жизни* поэта: «Фофанов» собственно не “ангел в виде демона”, а в сущности Ангел, брошенный фатальной рукой в навоз. Ужасная жизнь» (РО ИРЛИ. Ф. 115. п-о 18).

А.В. Ломоносов

ФОХТ (Vogt) Карл (5.7.1817, Гисен, Великое герцогство Гессен, Германский союз — 5.5.1895, Женева) — немецкий естествоиспытатель и философ. Ф. для Р. — это философ, давший «знаменитую формулу: “Мысль течет из мозга, как желчь из печени и мочевины из почек”» (ВДЯ, 220; ЛВИ, 309; ПЛ, 316). В *Симбирской гимназии* под руководством репетитора *Н.А. Николаева* Р. читал, а затем конспектировал «Физиологические письма» Ф. (ОНД, 175). Говоря позднее о ложных кумирах, Р. записал в «*Мимолетном*»: «О добрый и толстый Карл, сколько людей искровянится, прежде чем повалят в овраг твое тупое грузное изображение, до того уверенное в себе...» (КНУ, 297). Так писал Р. о «толстобрюхом Карле Фохте» (ПЛ, 316), вспоминая увлечения своей молодости. И противопоставляет вульгарному материализму Ф. и К° стихи *Ф.И. Тютчева*: «Тютчев в 60-е годы, в эпоху всеобщего *нигилизма*, ища опор против триумфов *Бюхнера*, *Молишотта*, Фохта, *Бокля*, *Спенсера*, *Дарвина*, *Геккеля*, недоуменно и тоскливо спросил: “Не то, что мните вы, *природа* — / Не слепок, не бездушный лик: / В ней есть *душа*, в ней есть *свобода*, / В ней есть *любовь*, в ней есть *язык*» (СВР, 316).

А.Н.

ФРАНК Семен Людвигович [16(28).1.1877, Москва — 10.12.1950, Лондон] — философ, критик. В 1922 выслан из России. Личное знакомство Ф. и Р. могло состояться во время кратковременного соучастия в еженедельнике «Полярная Звезда» (декабрь 1905 — март 1906), редактировавшемся Ф. и *П.Б. Струве*, где в № 8 от 3 февраля 1906 появилась статья Р. «Русская церковь». Статья была на традиционную розановскую *тему* о закатном состоянии *христианства*, так и не ответившего на главные религиозные запросы *человека*. На сборник «Вопросы идеализма» (М., 1902), в котором участвовал Ф., Р. написал рецензию «Московские идеалисты» (НВ. 1903. 11 дек.). Единственным общим центром для Ф. и Р. был *Религиозно-философское общество*, в котором они оба были одними из организаторов, членами Совета, но находились на противоположных идейных полюсах. Ф. стал регулярно посещать заседания общества только с осени 1908, а Р. вышел из Совета уже в январе 1909, окончательно разойдясь с группой *Д.С. Мережковского*: «Общество, имевшее задачи в *России*, превратилось в частный, своего рода семейный кружок: без всякого общественного значения» (СМР, 30). «В зале *Религиозно-философских*

собраний нет религии, потому что нет религиозного тона души, и нет религиозного тона в слове» (СМР, 41). Ф., как и Струве, был совершенно солидарен с Р. в том, что группа Мережковского пытается пустить РФО на путь подчинения религии сиюминутным политическим и социальным задачам современной России, он не мог согласиться с тем, что религиозные ценности возможно вместили в рамки земных представлений и земных идеалов, тем не менее в культурную работу по «перевоспитанию» русской интеллигенции Ф. продолжал верить. «У нас в Петербурге с приездом Мережковского и его компании, теперь на очереди попытка создать “новую” религиозность с старым, традиционным рационализмом, утопизмом, стадностью и прочими ходячими добродетелями интеллигента <...> Мережковский думает, что стоит только вместо Маркса поставить Христа, и вместо социализма — царство Божие, чтобы реформа интеллигентского мирозерцания и духовного типа была готова, и это ему, конечно, может даже удасться. Но нам, в противовес этому, чрезвычайно важно подчеркнуть необходимость внутреннего, культурно-нравственного и религиозного перевоспитания интеллигенции» (письмо Ф. к М.О. Гершензону 16 ноября 1908 // ОР РГБ. Ф. 746. К. 42. Ед. хр. 60. Л. 8–9). Ф. и Р. объединила многолетняя дружба и переписка с М.О. Гершензоном. Статьи Ф. и Р. появлялись в «Критическом обозрении», которое с 1907 издавали Гершензон, Б.А. Кистяковский и П.П. Гензел. В 5-м выпуске (сентябрь 1909) появились статья Р. «А.Л. Вольнский и Ф.М. Достоевский» и статья Ф. «Штирнер и Ницше в русской жизни». Возможно, именно об этой статье Р. писал Гершензону: «“Новое Время” при всех усилиях — отказалось печатать, говоря: “Никому не интересно”, но Вы переступите через “неинтересность” и сделайте мне эту личную дружбу — поместите в “Критическом обозрении” (конечно бесплатно)» (Переписка Р. с М.О. Гершензоном // Новый мир. 1991. № 3. С. 226). По несколько статей дали они оба и в «Московский Еженедельник», который выходил с 1906 по 1910 под ред. Е.Н. Трубецкого как орган партии мирного обновления. Однако статьи Р. «Отчего левые побеждают центр и правых» и «Ослабнувший фетиш» так и не появились в «Русской Мысли» и вошли в сборник «Когда начальство ушло...». Ф. был долгое время редактором «Русской Мысли», он стремился привлечь в нее лучшие литературные силы, в его переписке работа с авторами занимает большое место, но Р. так и не стал участником журнала. Р. ни разу не упомянул Ф. в связи с «Вехами», с которыми был во многом солидарен. Одновременно с веховцами он увидел движение общества вправо, подъем национального чувства, и то, что «авторы, еще недавно составлявшие за границей полуреволюционные “Освобождения”, теперь предлагают заняться программой “Великой России”» (ВНС, 91). Но создателям «Освобождения» Р. ничего не простил: «Ни “своей коровенки” и “своего молочка”, — именно своего, — не знал Франк. Конечно, он задумал “партию народной свободы” <...> Что им была Россия? Чужая. И в чужой России они задумали Россию. Как те, Франк и Струве, задумали преобразовать ее “конституционно-демократически”» (КНУ, 472). Откликом Р. на творчество Ф. является его статья 1910 «Из литературных впечатлений. В религиозно-философском обществе» о докладе

Ф. о прагматизме в РФО в 1910 (ЗРП). В основу доклада была положена статья Ф. «Прагматизм как философское учение» (РМ. 1910. № 5); в РФО произошел «спор о прагматизме», материалы были опубликованы в № 5 «Русской Мысли». Если для Ф. и других участников спора прагматизм тогда был ценен прежде всего своей критикой неокантианства, иррационализмом, наличием учения об эмоциональной интуиции, то Р. обнаружил в философии религии В. Джеймса свою заветную мысль — центр религиозной жизни есть забота человека о своей личной участи («Когда я думаю о Боге, мне уютно»). Сходство собственных мыслей с идеями Джеймса не могло не поразить Р. Так же, как и Р., Джеймс считал Бога не всемогущим, но соратником человека. Р. писал: «Есть в мире какое-то недоразумение, которое, может быть, неясно и самому Богу. В сотворении его “что-то такое произошло”, что было неожиданно и для Бога <...> Что такое произошло — этого от начала мира никто не знает, и этого не знает и не понимает Сам Бог. Борьбаться или победить это — тоже бессилён <...> И перед этим “иначе” покорен и Бог. Как тоскующий отец, который смотрит на малютку с “иначе”, и хочет поправить, и не может поправить. И любит “уже всё вместе”» (АНВ, 17). В период кампании, начатой руководством РФО по исключению Р. из общества, Ф. находился в Германии, где писал магистерскую диссертацию «Предмет знания». Он, как всегда, был против смешения религии и политики и выступил против такого решения. Он, Н.А. Бердяев, Струве и А.Н. Чеботаревская написали письма, протестующие против такого решения. Ф. считал: «Исключение из членов нейтрального в политическом и религиозном отношении Общества не есть целесообразная и надлежащая форма борьбы с тем злом, которое представляет литературная деятельность Розанова последнего периода» (Струве П.Б. Избранные сочинения. М., 1999. С. 453). Ф.-человек появляется у Р. в качестве типичного представителя «жидовства», врага и разрушителя России: «И теперь в каждой редакции сидит свой Франк, есть своя Любовь Гуревич» (М, 82). Ф. не был «любимым евреем» Р., как Гершензон, и не бывал у него в доме, как Б. Столпнер. В феврале 1918 отчаявшийся, изголодавшийся Р. просил у Струве дать ему возможность печататься; в приписке он добавил: «Вот, что, пожалуйста, поручите Франку ответить мне. Он когда-то хорошо ко мне относился, и я верю — он продолжает любить меня. О, я верю теперь только в жидов и немцев: спасут Россию, спасут и спасут. Сама Россия — испрохвостилась» (ОСЖС, 682). Р. не знал, что Ф. уже в сентябре 1917 отправился в Саратов на должность декана университета, и ответить никак не мог. Ф., как и Р., настороженно относился к творчеству М. Арцыбашева и Л. Андреева, к шумихе о проблеме пола, но творчество Р. он оценивал высоко. В библиографической заметке о книге популярной тогда шведской пропагандистки «свободного воспитания» Эллен Кей «Мать и дитя» он писал, что ее критика современных условий материнства ни в какое сравнение не идет с работами Р. о внебрачных детях и о материнстве (Слово. 1908. 1 окт.). Поздний Ф. в работах о русской философии уделил место и Р. среди религиозных антропологов, последователей идеи Богочеловечества. В 1925 он писал: «У замечательного и оригинального писателя Розанова та-

кое движение мысли приводит к острой критике христианства и оправданию земной человеческой жизни в духе Ветхого Завета, а частью — в мистико-эротическом духе» (Сущность и ведущие мотивы русской философии // Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 159). В своей книге о русской философии Ф. восхищался Р.: «В качестве писателя он обладает неподражаемым даром совершенно безыскусственного произвольного замечательного выражения мыслей. Слово есть у него не искусственное орудие выражения отвлеченного содержания мысли, а как бы живое, адекватное воплощение конкретного душевного процесса мышления во всей его непосредственности. В своих писаниях он поэтому с предельной откровенностью обнажает все интимное существо своей личности. К нему применимы слова Паскаля: “Ожидаешь встретить автора и находишь человека” Религия Розанова есть страстное, полуязыческое, полуветхозаветное благословение земной плотской жизни с ее чувственными радостями, в особенности утверждение глубокого положительного религиозного смысла половой и семейной жизни, и потому резкое отвержение аскетической мироотрицающей тенденции христианства, в особенности, православия (западное христианство он знал плохо). Но его своеобразие — в отличие от распространенного западного типа подобной тенденции — состояло в том, что он одновременно был произвольно глубоко укоренен в русской православной церкви, ощущал ее красоту и религиозную значительность и влекся к светящемуся в ней образу Христа. Поэтому его религиозное творчество носит характер внутреннего бorerения с самим собой. И при всей дерзости своих ересей, он перед смертью благочестиво исповедался и причастился» («Из истории русской философской мысли конца XIX и начала XX века. Антология». Лондон, 1965. С. 113–114). Ф. и Р. объединяет решение гносеологической проблемы в опоре на принцип тождества мышления и бытия и идея цельного, живого знания. В формировании этой идеи у Р. решающую роль сыграли славянофилы, Достоевский. Франк же выработал эту идею, опираясь на Спинозу, Фихте, позднее на Вл. Соловьёва. Понятие бытия обоими философами переосмысливается в духе своеобразной «философии жизни» как *энтелехии*, «бытия-возможности». Р. на протяжении всего своего творчества использовал образ растущего, чреватого будущим «зерна», «семени». Вещи растут из невидимых форм, повсюду разлита *потенциальность*, разбросаны семена вещей. Ф. в поисках адекватного способа выражения для своей онтологической концепции также стремится отличить абсолютное в его жизненности от всего неподвижного, пассивного, фиксированного. Инструментом такого отличия служит у Ф. термин «реальность»: «Мы предпочитаем слово “реальность” слову “бытие”, ибо под бытием обычно принято разуметь нечто, противопоставляемое “становлению”, как готовое и в этом смысле неподвижное и фиксированное» (Франк С.Л. Реальность и человек: *Метафизика* человеческого бытия. Париж, 1956. С. 150–151). Общей у Ф. и Р. является идущая от Августина идея, что Бог открывается в глубочайшей интимности души, лично человеку, стоящему перед Богом с абсолютно раскрытой душой, корни которой теряются в Боге. Ф. сформулировал это учение в «Душе человека» (М.,

1917) и развивал и совершенствовал и дальше. «Бог всегда при мне и со мной, он всегда меня видит и всегда меня слышит» («Непостижимое» // Франк С. Соч. М., 1990. С. 469). «Мой Бог» — бесконечная моя *интимность*, бесконечная моя индивидуальность. Интимность похожа на воронку, или даже две воронки. От моего “общественного я” идет воронка, суживающаяся до точки. Через эту точку-просвет идет только один луч: от Бога. За этой точкой — другая воронка, уже не суживающаяся, а расширяющаяся в бесконечность: это Бог. “Там — Бог” Так что Бог 1) и моя интимность 2) и моя бесконечность, в коей самый мир — часть» (У, 48).

Т.Н. Резвых

ФРИБЕС Ольга Александровна (псевдоним И.А. Данилов; 1858–1933) — писательница, сотрудник «Русского Вестника» и «Гражданина». В 1894 в «Русском Вестнике» была опубликована повесть Ф. «В тихой пристани», вызвавшая интерес Н.Н. Страхова, Я.П. Полонского и Р., а в



О.А. Фрибес

1896 — роман «По новому пути». 6 сентября 1896 в «Новом Времени» появилась восторженная статья Ф.Э. Шнерка «Женская беллетристика — один их последних романов» за подписью «Ор», посвященная роману Ф. Некоторые, в том числе и сама Ф., предположили, что автором статьи был Р. (см. об этом «Автобиографию» Ф.: РГАЛИ. Ф. 2168. Оп. 1. Ед. хр. 67. Л. 3 об). «Недоразумение по поводу того, кто посылал фельетон, повело к дружескому сближению с В.В. Розановым и его семьей» (Там же. Л. 3 об. — 4). При содействии Р. в 1899 повести и рассказы Ф. были изданы отдельной книгой (Данилов И.А. В тихой пристани. В морозную ночь. Поездка на богомолье. СПб., 1899). Р. опубликовал рецензию на нее в приложении к «Новому Времени» (1899. 10 марта); другая рецензия на эту же книгу напечатана Р. в книге «Религия и культура» (СПб., 1899). Р. упоминает Ф. как крестную мать своего сына, Василия, в «Ду-

ховном завещании» (ОСЖС, 704). В коробе втором «*Опавших листьев*» Р., рассуждая о раздражавшей В.Д. Бутягину манере целовать дамам ручки («Что ты все облизываешься около дам»), говорит о «школе» Ф. (У, 298), а в «*Мимолетном*» в записи от 10 августа 1914 приводит восхитившие его слова М.О. Меньшикова: «Ольга Александровна и Лидия Ивановна (Фрибес и Микулич) суть верующие, религиозные женщины и вместе очень образованные. У них это совмещается, они имеют силу верить, молиться...» (КНУ, 480). Меньшикова с Ф. познакомил сам Р. в доме у Полонского: «Она зашла при мне к старому поэту вместе с В.В. Розановым и удивила меня с первых же слов. Ей понадобились зачем-то творения Оригена...» (Меньшиков М. *Письма к ближним* // НВ. 1912. 15 апр.). В 1900-х из-за конфликта Р. с Меньшиковым в отношении Р. и Ф., занявшей сторону Меньшикова, произошло охлаждение. З.Н. Гиппиус писала П.П. Перцову 6 апреля 1903: «Розанов сорвал у себя со стены портрет Фрибес и разорвал его, топча ногами, в мелкие клочки. Ходил, аки рыкающий лев, по квартире, ища на стенах знакомых Меньшикова» (Русская литература. 1992. № 1. С. 136). Тем не менее их общение продолжалось до самой смерти Р. В 1918 Р. передал Ф. через Меньшикова выпуск «*Апокалипсиса нашего времени*». Меньшиков в письме к Ф. от 10 января 1918 писал: «Посылаю Вам бандероль В.В. Розанова. Такую же посылку и с той же дружеской надписью получил и я от него. Вероятно, он не знает, где Вы, и не может допустить мысли, чтобы Вы — одинокая и свободная — могли добровольно остаться в пасти львиной и печи огненной» (Российский архив. М., 1993. Вып. 4. С. 257). В РГАЛИ хранится переписка Ф. с Р. (письма Р. к Ф. — Ф. 2168. Оп. 1. Ед. хр. 35; письма Ф. к Р. — Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 682, 683). Т.В. Воронцова

ФРИДБЕРГ Дмитрий Наумович (1883—?) — поэт-символист, выпускник историко-филологического факультета Петербургского университета, журналист. Вместе с Р. сотрудничал в 1904 в «*Новом Пути*». А.М. Ремизов упомянул Ф. в числе лиц, среди которых он распространял через контору журнала «*Вопросы Жизни*» книгу Р. «*О понимании*»: «Дмитрий Наумович Фридберг, его стихи напечатаны в “Новом Пути”, 1904, говорили о нем “всё знает”, а скромный, не вылезал. В 1905 был выслан из Петербурга и пропал» (Алексей Ремизов: Исследования и материалы. СПб., 1994. С. 225). Автор письма к Р. (б.д.), содержащего просьбу о встрече (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 83. Л. 2). К письму Ф. приложена розановская характеристика: «Фридберг, студент-христианин, санитар в Манчжурии, потом революционер» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 98).

А.В. Ломоносов

ФРИДЕ Александр Васильевич — москвич, штабс-капитан, слушатель Александровской военно-юридической академии. В письме от 24 декабря 1911 поздравлял Р. с наступающими новогодними праздниками (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 82. Л. 2–3). В письме от 16 февраля 1912 Ф. выражал моральную поддержку Р. в связи с обрушившейся на него травлей после скандального вызова писателя на дуэль журналистом И.И. Кольшико. «Как не стыдно посылать “посредников” с вызовом на дуэль

старика, человеку 65 лет, зная, что тот вызова не примет. Мало того. Как не стыдно заставлять человека, литературное имя которого не чета имени подписывающегося “Баяном” и “Рославлевым”, под угрозой дуэли (вернее насилия т.к. он ее не примет) заставлять писать и трижды переписывать извинительное письмо. Дуэль <...> была бы позором ее устроившим и допустившим» (там же. Л. 6–7). Подтверждая свою солидарность с Р. во время скандального вызова, Ф. в следующем письме вновь обратился к писателю с ободряющими словами: «Не только среди Ваших почитателей и читателей, но и в печати поведение “Баяна” и пр. найдет и находит (приложенная вырезка) справедливую оценку» (Там же. Л. 4).

А.В. Ломоносов

ФРУГ Семен Григорьевич [1860, Бобровый Кут, Александровский уезд, Херсонская губ. — 7(21).9.1916, Петроград] — поэт, переводчик с древнееврейского языка, автор стихов на библейские темы. Возвратившись в Петербург после летнего отдыха в Луге, Р. писал Ф. 22 августа 1910: «Только что приехал в СПб. Спешу поблагодарить Вас, С(оломон?) Г(аврилович?) за “Агаду”, приобрести которую всегда хотелось мне. Но, вообразите: вещь это то самое или в том роде, что у Переферковича мелкий шрифт в Талмуде. Там я этот мелкий шрифт с бесконечным интересом читал: крупный (“Галахи”) — скучен, а мелкий — поэтичен и прелестен. Но как “бриллиант среди пустыни”, лучше горит, чем сияет ряд 100 бриллиантов на рукаве красавицы, так и у Переферковича это мне больше понравилось, чем у Вас. Именно у Вас — “самом”, точно “нарочно”, а там сама жизнь рассыпала или “просыпала на ходу” жемчужины. Но спасибо, и не откажитесь прислать 2-ю часть» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 319. Л. 1). Н.А. Переферкович (1871–1940) — переводчик и комментатор Талмуда. Галаха — свод законодательных норм, Агада — кодекс этических норм в Талмуде. Л.Л. Черниченко

ФУДЕЛЬ Иосиф Иванович [25.12.1863 (6.1.1864) — 2(15).10.1918, Москва] — протоиерей, церковный публицист. Окончил юридический факультет Московского университета, после чего служил в Московском окружном суде. В 1887 познакомился с К.Н. Леонтьевым, под влиянием которого перешел в православие. С благословения о. Амвросия Оптинского Ф. бросил службу и в 1889 был рукоположен в священники. В 1892–1907 — священник Бутырской тюрьмы. Ф. — член Кружка ищущих христианского просвещения, которому симпатизировал Р. После смерти Леонтьева Ф. вместе с А.А. Александровым занимался приведением в порядок архива мыслителя и подготовкой к изданию его сочинений. Ф. в Москве, а Р. в Петербурге собирали средства на памятник Леонтьеву. Ф. через Р. переслал В.С. Соловьёву материалы о Леонтьеве для статьи о нем в Энциклопедическом словаре Брокгауза — Ефрона. Р. предостерегал: «Редакция словаря — ужасно нетерпима, и пожалуйста, дорогой Иосиф Иванович, ни гу-гу о том, что Вы знаете, кто пишет статью, что об ней предположено, ибо то, что о Словаре мне рассказывал Соловьёв, — показывает, что и его могут не пустить туда со статьей о Леонтьеве, раз узнают, что он сносится “с такими извергами, как Розанов, Фудель”, и вообще наш кружок» (СОЧ, 517).

В 1912–1913 вышло 9 из намеченных 12 томов «Собрания сочинений» К.Н. Леонтьева. Р. писал Ф.: «Очень просил бы для себя 2 экз. издательских его сочинений, — (для Костромской библиотеки, которую мы с одним землячком думаем там основать)» (СОЧ, 518). «Землячок» — это свящ. Павел Флоренский. Заметку «Литературная новинка» (НВ. 1912. 20 февр.; ПВ) Р. посвятил напечатанному Ф. письму к нему К.Н. Леонтьева под заглавием «К. Леонтьев о Владимире Соловьёве и эстетике жизни». Р. дал характеристику Ф.: «Фудель — очень умный, сурово-умный человек, но без блеска, без аромата, без гениальности. Он воспроизвел Леонтьева в себе, как деревянная доска — гравюру с живого дерева (=Леонтьева). Именно на Фуделе, может быть, лучше всего можно проследить: “Ну, что же вышло бы с идеями Леонтьева вне Леонтьева? Вне его личной доброты и таинственно с монашеством сопряженного эллинского эстетизма?” Фудель в самом христианстве понимает только суровость, черствость, дисциплину» (ЛИ, 330–331). Нелюбовь была взаимной, сын С.И. Фудель вспоминал, что Ф. «не любил его как писателя <...> когда Розанов летом 1917 года приезжал в Москву и был у нас, он за чайным столом сказал со свойственной ему непосредственностью: “А вы, отец Иосиф, литературный пустоцвет” Отец мне рассказал это и с добродушной улыбкой добавил: “Он, конечно, совершенно прав” Отец понимал, что его дело было в другом: в живом общении с людьми для христианского на них воздействия и человеческой им помощи» (Фудель С.И. Собр. соч.: В 3 т. М., 2001. Т. 1. С. 37). В какой-то мере с этим соглашался и Р.: «Кажется, писал я Вам и еще раз повторяю, что Вы пишете очень хорошо — Ваши статьи всегда сообщают живейший интерес книжкам “Русс<кого> Обзор<ения>” — конечно — практика жизни есть более святое и нужное дело, чем литература» (СОЧ, 518).

С.М. Половинкин

ФУДЕЛЬ Сергей Иосифович [1(13).1.1900, Москва — 7.3.1977, г. Покров, Владимирская обл.] — церковный

писатель, сын И.И. Фуделя. Был близок Р. после переезда Р. в Сергиев Посад. Ф. увлекался его сочинениями: «Я помню, что когда (в 17 лет) я увлекся Розановым, как отец мой твердо остановил меня и сказал: “Пойми, это всего только и есть опавшие листья”» (Фудель С.И. Собр. соч.: В 3 т. М., 2001. Т. 1. С. 508). Ф. назвал одно из своих сочинений «У стен Церкви», аналогично названию книги Р. «Около церковных стен». Ф. дал портрет Р. во время проводов того на Ярославском вокзале в Сергиев Посад: «Он был тогда такой самый простой старичок (с хитрецой), вернувшийся по мудрому страху к “вере отцов”» (Там же, 69). Ф. принадлежит и более поздняя характеристика Р.: «Розанов был маленький старичок с зорким взглядом, весь в облаках табачного дыма и какого-то особого “самозатвора” в этих облаках, за которыми целая эпоха русской интеллигенции. В этой эпохе — и настоящий ум, и пустая болтовня, и искренность в людях, и занятость только собой, и отрицание атеистического тупика, и нежелание настоящего подвига веры — в общем, “середка на половину” маловерия и “вы, конечно, правы (“насквозь прокурена душа”), но оставьте меня в покое с моими гениальными мыслями”» (Там же, 153). В письме «Друзьям» от 7 января 1919 Р. рассказал о круге своих молодых друзей: «Дурылина милого люблю, уважаю и почитаю, и точно так же Фуделя, Чернова <по-видимому, художника Н.С. Чернышова. 1898–1942>» (ОСЖС, 683). В письме «Литераторам» от 17 января 1919 Р. просил Ф. среди ряда других лиц позаботиться о своей семье (там же, 684). В 1922 Ф. был арестован. Впоследствии неоднократно арестовывался и высылался. В работе «Начало познания Церкви» Ф. упоминает о споре у Бердяева «на тему, почему православные так улыбочиво снисходительны к Розанову и так воинственно строги к Соловьёву? Кажется, кто-то сказал, что у Розанова никогда не было “воли к ереси”, что он был просто “грешник”, а в Соловьёве явно ощущим богословский рационализм» (Собр. соч.: В 3 т. М., 2005. Т. 3. С. 338).

С.М. Половинкин

Х

ХАЙКОВСКИЙ Иван Михайлович — харьковский педагог и литератор. В письме к Р. от 26 января 1899 просил внести изменения в свою статью «Учебно-воспитательная организация деревенской школы», которая предназначалась для литературного приложения «*Торгово-Промышленной Газеты*». Р. исполнял в это время обязанности заместителя редактора издания. В письме также оговаривались условия получения *гонорара* и авторских экземпляров публикации. «Меня смущает, — писал Х., — что я получил из редакции двадцать пять рублей (25 р. с.) и ничего не представил; вот почему я готовлю статейку и еще одну уже имею; эти статьи позвольте мне прислать через редакцию Торгово-промышленной газеты на Ваше имя» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 39. Л. 2). К письму корреспондента Р. приложил запись о сообщенном ему случае взятости его бывшего начальника, графа П. Капниста: «Хайковский (педагог), его подробный рассказ о гр. П. Капнисте (попечитель) как процентщица за его Хайковского поручительством (частное реальн. училище в Москве) давала суммы К-ту» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 94).

А.В. Ломоносов

ХЕРСОНСКИЙ Иоанн Капитонович [14(26).11.1843, Кинешма, Костромская губ. — 4 (17). 1912, Петербург] — священник петербургской Введенской церкви, в которой им были крещены дети Р. Варвара и Василий. В связи с этим упомянут в «Духовном завещании»: «Дочь, Варвара, родившаяся 1-го января 1898-го года, крещена 25 января священником Иоанном Херсонским при С.-Петербургской Введенской, что на Петербургской стороне, церкви; восприемники при св. купели были лейтенант Александр Викторович Шталь и жена статского советника Мария Петровна Гесс. По имени крестного отца и как «незаконнорожденной» полное имя, отчество и фамилия ее Варвара Александровна Александрова. Сын Василий, родившийся 27-го января 1899 года; крещен священником Иоанном Херсонским при С.-Петербургской Введенской, что на Петербургской стороне, церкви, при восприемниках от св. купели лейтенанте Александре Викторовиче Шталь и дочери дворянина-чиновника Ольге Александровне Фрибес. По имени крестного отца и как «незаконнорожденного» полное имя, отчество и фамилия его Василий Александрович Александров» (ОСЖС, 704).

П.П. Резепин

ХОВИН Виктор Романович (1891, Кагул, Бессарабская губ. — после 7.3.1944, Освенцим, близ Кракова, Польша) — журналист, критик, издатель. Закончил Петроградский университет (1916). В 1913 Х. основал в Петербурге издательство «Очарованный странник», выпускавшее одноименные альманахи. В № 3 «Очарованного странника» (1914) была опубликована заметка Д. Крючкова «Истина или словесность?», в которой выражено осуждение «суда» над Р., на заседании *Религиозно-философского общества* 26 января 1914. В 1916 Х. выпустил в издательстве «Очарованный странник» свою брошюру «Не угодно ли-с?! Силуэт В.В. Розанова». В ней Х. отмечает, что Р., этот, казалось бы, «злойный ведун, злорадный подхихикиватель, не только целомудренен, он болен *целомудрием*, не тем ходульным, узколобым целомудрием «*пророков* и *учителей*», выдавших самим себе билет на *вечность*, — не ханжеством целомудрия, а целомудрием болящей, судорожно напряженной творческой мысли: «Вот какой я!» И когда выдали Розанову аттестат на звание Российский *Ницше*, или как другие олицетворили в нем демонизм новейшей формации, недаром стал отмахиваться. И действительно, Розанов — Ницше?! Розанов — демонист?! Он-то, обитатель неевского подполья, несуразный Дон-Кихот в пиджачишке не первой свежести, рыцарь, — с голыми руками и копьем своего надорванного, болящего *голоса*, рыцарь прекрасной дамы правдивости во что бы то ни стало и какой бы там ни было <...> Именно он <...> Василий Васильевич Розанов, — провидец. И никто иной, никакой глашатай и проповедник, не мог бы быть этим провидцем, потому что и *мир* новый, о котором идет речь, — исключительная розановщина, поскольку последняя — величайший индивидуализм и напряженнейший интимизм» (PRO, 2, 289, 297). В 1918, когда Р. уже переехал из Петрограда в *Сергиев Посад*, состоялось знакомство Р. и Х. Сохранилась их переписка этого времени (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 321 и 688). Р., получивший от Х. материалы «Очарованного странника», писал о Б. Гусмане, авторе этюда «*Онавшие листья*» в № 10 этого альманаха: «Передайте, пожалуйста, поклон тому молоденькому *еврею*, который написал в «Очарованном страннике» такую прелестную задумчивую статью (Гамсун? Похоже.) и которая меня до нельзя тронула заключительными строками «Мы хотим знать не о том, что он (Р.) пишет о мире, а то, что он пишет о себе, потому что от этого только болит *душа читателя*» Конечно, это и есть мотив, что мне «пришло на ум напи-

сать, вернее — издать, напечатать “Уед.” и “Оп. л.” И что он так попал, такой умный, такой благородный, в авторское сердце, в самое его дыхание и задыхание — это не могло не покорить и автора — читателю. Личное впечатление — молчаливое, тихое, застенчивое — так опять же привлекло меня» (РГАЛИ. Л. 15). В другом письме Р. пишет Х. о его брошюре: «Вы знаете ли, что, получив В<ашу> книжку “Не угодно ли-с”, я прочел первые 3 страницы, но мне так не понравилось заглавие, и какой-то выпячивающийся тон статьи, что я не стал читать дальше. Вчера же, перетаскивая библиотеку — наткнулся, и усталый, на ночь, думаю: а что он написал дальше? Полный анализ души моей, полная апология ея. Изумительно. Прекрасно. Удивительно. Трогательно донельзя. Спасибо, дорогой, милый, неоцененный. Какая страсть при сравнении с Дост. “Человек из подполья”. Я почти плакал, читая последние 3 стр. <...> Но — не уверен, что обо мне. Между тем я всегда чувствовал себя так к миру. Я как-то смотрел на него со слезами, со слезами столько же любви, как и ненавистью <...> И о молитве — Господу, неужели это обо мне? Но как все указано. Статья универсальна и проникновенна, хватает и колечки и розы» (там же. Л. 11). В издававшемся Х. с 1918 журнале «Книжный угол» Р. с № 3 становится постоянным автором. О Х. этого периода упоминает З.Н. Гиппиус в воспоминаниях о Розанове. «О Розанове <...> что Розанов не расстрелян <...> мы узнали <...> от друга и поклонника Розанова, молодого писателя Х., к нам пришедшего. Этот Х. умудрялся в то время держать еще фуксом книжную лавочку, продавал старые брошюрки, даже новенькие безбидные выпускал, вроде сборников, где печатал и последний розановский “Апокалипсис”. Х., оказывается, давно уже пытался делать что-нибудь для Розанова» (PRO, 1, 181). В № 6 «Книжного угла» (1919) Х. поместил некролог Р., где отмечал: «И какой бы это ересью не показалось, но Розанов, он один из современников, был единственной совестью нашей, совестью современности» (PRO, 2, 286). В 1921 Х. вместе с А. Белым, А. Вольнским, Э. Гоппербахом и др. создали в Петрограде Розановский кружок. В 1921 Х. выпустил сборник своих статей «На одну тему», куда включил некролог Розанова, статью «Не угодно ли-с?!» и новую работу — «В.В. Розанов и Владимир Маяковский», где провел параллели между внутренним миром этих писателей. В 1924 Х. эмигрировал в Ригу. В статье «О своем пути» (Своими путями. Прага, 1924. № 5) Х. вновь обратился к параллелям своего восприятия Маяковского и Р. В 1926 уже в Париже Х. открыл книжный магазин и издательство «Очарованный странник». Под маркой этого издательства Х. в 1928 выпустил «Уединенное» Р. со своим предисловием «Предсмертный Розанов». «Смерть Розанова исполнена значимости, — отмечает здесь Х., — ибо унесено им с собою продолжение начатой фразы: “розановщина”, — его душевная стихия, вот эта “музыка души” его, которой так значителен Розанов, осталась не завершенной <...> Так и революция и большевизм нашли какое-то свое, и отнюдь не неожиданное место в ряду его старых и не раз изложенных им мыслей <...> Розанов, переживая личную трагедию нищеты, голода и одиночества, осталась верен своей душевной мелодии; нашел он где-то в глуби себя эту актуальность мысли, эту напряженность чувства, эти звуки,

поражающие своей чистотой, своей розановской музыкальностью, своим подлинным лиризмом, своей отрешенностью от “злобы дня” Его творческая работа не только не была нарушена, а наоборот получила новые импульсы <...> Меньше всего Розанов призван был “разрешать последние вопросы” Больше, чем кто бы то ни было другой, чувствовал он антиномичность жизни и человеческого сознания и, быть может, как никто умел вибрировать на эту антиномичность <...> Умер он, как добрый христианин. Умер успокоенный, в тихом мерцании лампад, умер под благовест золотом расцвеченной Сергиевой Лавры <...> Сама жизнь поднялась на защиту Розанова и розановщины и зло надсмееялась над былыми хулителями его <...> Подлинно: “все пройдет, а вот это останется...” (С. VII—XI).

В.Н. Дядичев

ХОМЯКОВ Алексей Степанович [1(13).5.1804, Москва — 23.9(5.10).1860, село Ивановское, Липецкий уезд, Орловская губ.] — религиозный мыслитель, поэт, публицист, один из основоположников славянофильства. По мнению Р., среди славянофилов Х. навсегда «был и останется самую высокую вершину» (ОПП, 457). В то же время Х. вписывается Р. в историко-культурный процесс развития славянофильских идей: «Высказанное впервые И. Киреевским, развитое и углубленное Хомяковым, возведенное в систему Н.Я. Данилевским, учение это продолжает развиваться и до сих пор» (ЛВИ, 179). В творческом наследии мыслителя Р. выделяет несколько значимых, с его точки зрения, для понимания русской культуры тезисов: славянофилы во главе с Х. «положили остов “русского мировоззрения”, которое не опрокинуто до сих пор» (ОПП, 465); дали «идеал, к которому они зовут» и который «есть действительный идеал» (ОПП, 457). Главную заслугу писателя Р. видит в том, что им наиболее отчетливо сформулирована фундаментальная основа отечественной мысли: «В натуре русских лежит что-то, что делает русских первым настоящим христианским народом. Русские — христиане. Вот, в сущности, главное его открытие» (ОПП, 460). Наследие Х. впервые привлекло внимание Р., по его признанию, в годы учения в Московском университете: «Шел конец моего студенчества и начало учительства <...> Сам я был в то время совершенно погружен в раскольничьи рассказы Андрея Печерского, в Хомякова, в Алексея Михайловича и Московский Кремль. Ничего, кроме России и ее дедины, для меня не существовало. Любил ходить я в церковь, особенно ко всеобщей. Церковное пение в полумраке, при ярком сверкании издали, перед алтарем свеч, всегда меня трогало» (СВР, 617–618). В эти же годы Р. становится обладателем стипендии имени Х. Но уже в студенческие годы в отношении Р. к Х. обозначилось некоторое противоречие. Как указывает сам Р., «я стал в университете любителем истории, археологии, всего “прежнего”; сделался консерватором. Уже Хомяков для меня казался “отвратительным по новизне” и вечному “недовольству тем, что есть”» (ОПП, 252). Однако затем Р. не только утрачивает интерес к наследию Х., но и подвергает его довольно острой критике, о чем, в частности, свидетельствует переписка Р. с И.Ф. Романовым (Рцы) (Новый Журнал. Нью-Йорк, 1985. № 159, 160). Критическое отношение к Х. у Р.

рождается под впечатлением петербургского кружка славянофильского толка, возглавляемого *Т.И. Филипповым*, с которым в конце 1890-х он порывает всякие отношения. В 1889 в письме к издателю одного из своих ранних сборников «Литературные очерки» *П.П. Перцову* Р. объяснит причины критического отношения к славянофилам и Х.: «Тут я лягал лично мне известных и переутомивших меня уже совсем “ослов” *Кольку Аксакова*, *Афоньку Васильева*: если бы Вы знали, какое это бескровье, именно папье-маше: все — конституционалисты + ходят в поддевках + лижут ж-пу у Тертия. Это архилакеи, они же (будто бы) архиправославные, и напр. карточки и бюсты Хомякова — у них на столах и в углу вместо образов. Нет, они меня <измучили>» (СОЧ, 506). В 1891 Р. публикует статью «Старое и новое», название которой явно отсылает к хрестоматийной работе Х. О старом и новом» (1861). В этой статье Р. дает высокую оценку Х., усматривая в нем представителя «немногих избранных умов» (ЛВИ, 179), что способствует постоянному интересу к его личности со стороны Р. Так, в предисловии (1894) к первому тому полного собрания сочинений *Ф.М. Достоевского* Р. указывает на близость писателя к славянофилам и Х.: «Миросозерцание народное, как общая, почва, на которой может единственно правильно возрастать всякое индивидуальное развитие; Россия, исторически возникшая — как фундамент и ряд звеньев, на который налагая дальнейшие звенья мы только и можем правильно трудиться — вот вкратце формула тех взглядов, которые проводил Достоевский в своей публицистической деятельности и на которых он сошелся с рядом писателей, образующих единственную у нас школу оригинальной мысли (И. Киреевский, Хомяков, *Константин и Иван Аксаковы*, *Ю. Самарин*, *Ап. Григорьев*, *Н. Данилевский*, *К. Леонтьев*, *Н. Страхов* и др.): эта так называемая школа славянофилов — название очень узкое и едва ли точно выражающее смысл школы» (ЛВИ, 282–283). В статье «Поздние фазы славянофильства» (НВ, 1895. 14 февр.) Р. сначала отмечает Х. среди тех, кто заложил «неразрушимое ядро сначала славянофильской доктрины» (ЛВИ, 246), а затем обращается к его богословским сочинениям. В этих работах Х. «выяснил впервые особенности восточного церковного сложения сравнительно с западными». Изложив содержание статей Х., увидев в них «все глубокомысленное и прекрасное течение хомяковских воззрений», он соглашается с выводом мыслителя, что «протестанство было лишь продолжением этого же отношения к церкви, но только уже против *Рима* направленное, внутри церкви западной совершившееся». Этот вывод, по мысли Р., нашел полное развитие в современной Р. жизни: «Грех, не прощенный *Востоку* Римом, был взыскан с *Рима Лютером*, *Цвингли*, *Кальвином*, и гораздо позднее, уже на наших почти глазах, эти отпадения все продолжают: протестантизм кажется слишком обильным верою для «свободных мыслителей»; является тюрингенская школа богословов, сбрасывающих с себя христианство как неправильно понятый миф, является материализм, сбрасывающий с себя всякую религию, наконец, все духовное» (ЛВИ, 249). Р. вновь обращается к богословским сочинениям Х. в 1898 в статье «О писателях и писательстве (Заметки и наброски)». Вначале он отметил, что внимание его к этим работам Х. привлек

некий человек, «друг и недруг», который высоко оценивал их. Однако через три года богословские работы Х. вызывают разочарование, но не критику: «Я читал Хомякова с мыслью: “Вот — третья Америка” Увы. Просто я ничего не чувствовал. Перелистываю за страницей страницу, с ожиданием: “Ну, где же Америка?” Не могу здесь ни критиковать, ни разбираться, но констатирую просто факт абсолютной холодности. Все — прекрасно, все — шоколад, вкусно, но не хлеб, но не вода жаждущему! Именно получается впечатление ненужности. И я остался холоден» (ЛВИ, 344). Общая высокая оценка деятельности Х. не изменилась, хотя и несколько сузилась до «домашнего дела», «нашего сознания о себе», не получив «общечеловеческого интереса», как пишет Р. в статье 1899 «К.Н. Леонтьев» (ЛВИ, 255). В начале 1900 в связи с сорокалетием со дня смерти «основателя славянофильства» в статье «Слово Божие в нашем учении» Р. замечает, что современная жизнь в России не свидетельствует о справедливости наблюдений Х., «что западная цивилизация “гибнет от личного начала”, от “развития в ней центробежных сил”, а что Россия полна силами центростремительными и русская душа — по природе своей, так сказать, “соборная душа”, выражает собой начало соборности, слияния с другими душами. Но вот на Западе прежде были и сейчас есть ферейны, а у нас?.. Все сидим по своим углам <...> Как русская жизнь мертва на всем необозримом провинциальном протяжении... Точно мертвецы, которые ждут из *Петербурга* указа: “Начните жить”» (ОЦС, 84). Но уже через три месяца он вновь обращается к имени Х. в связи с размышлениями об истоках *нигилизма*, усматривая его начало в молодом возрасте, когда один (славянофилам и Х. в том числе) «попалась летопись», а другим «зоологические Четьи-Минеи Брэма. И оба кинулись в разные стороны, но уже на всю жизнь» (ВДЯ, 113). В статье того же года «На границах поэзии и философии», посвященной стихотворениям *Вл. Соловьёва*, Р. замечает: «Преобладающий интерес к богословствованию сближает его с Хомяковым, но Хомяков весь — в служении России, между тем как до очевидности ясно, что у г. *Вл. Соловьёва* Россия ни в одной области его занятий не занимала первенствующего места, не была prima donna, но всюду становилась на второе, подчиненное и служебное место» (ОПП, 48). Несмотря на явное сочувствие к Х. в его служении России, Р. в статье «Интересные книги, интересное время и интересные вопросы» (1900), обращаясь к вышедшим томам из собрания сочинений Х., указывает на главный недостаток в работах мыслителя — неумение или нерешительность в определении своей позиции и на этом основании сближает его с митрополитом *Филаретом* (ОЦС, 33). Эта неопределенность в представлении Р. тесно связана с догматизмом, которому не чужд, по его мнению, и Х. Потом, вновь вернувшись к *Вл. Соловьёву* в статье «Размолвка между Достоевским и Соловьёвым» (1902), Р. почти повторяет свою давнюю мысль о «спящей России»: «Но одно важное последствие вытекло из трудов Соловьёва: он покachнул status quo наше, преодолел квиетическую школу Хомякова. Само духовенство наше он привел к размышлению, самоанализу, к потере самоуверенности и покоя. Он открыл, — и это есть важная заслуга его, — серьезные нравственные мотивы для вечного нравственно-

го обновления церкви. Школу Хомякова и вообще старых славянофилов можно считать разбитой и уничтоженной Соловьёвым, по той очень простой причине, что он указал на ту истину Запада, что он 1) думал, 2) страдал, 3) искал, а Восток просто 4) спал. Но этот сон никак нельзя назвать догматическим совершенством» (ЛВИ, 443–444). Отсутствие «живой» церковной жизни, по Р., превращает Х. в теоретика церкви (ОЦС, 185). Критические замечания в адрес Х. достигают своего апогея в 1904. В этом году в связи со столетием со дня рождения Х. появляется первая статья Р., полностью посвященная его творчеству, — «Памяти А.С. Хомякова (1 мая 1804 — 1 мая 1904 г.)». Отдав должное значимости Х. в общественных кругах, пусть и немногочисленных, Р. утверждает, что «в А.С. Хомякове была большая историческая нужда, но только нужда своего времени, тех 40-х и 50-х годов XIX века», он «не вошел живую частицу души в живую русскую жизнь», «идеи его не представляют высокого и цельного здания» (ОЦС, 419). Тем не менее «отзвук <...> “запах” его мысли распространился почти на всех», поскольку ему удалось повернуть «русское сознание в сторону народности, земли, в сторону большего внимания к своей истории и нашей Церкви» (ОЦС, 420). Но Х., считал Р. «был слишком индивидуалист». Потому в нем не было любви к другим, а «гордая и высокомерная натура Хомякова “вечно плакала о том, чего не имела”: о смиренномудрии, простоте, гармонии с ближним». На этом фоне русские не могли научиться у Х. простоте, смирению и любви, которые они в большей степени находили у Некрасова, Белинского, Грановского (ОЦС, 420). Р. не обнаруживает проповедимой мыслителем любви, в частности, в его отношении к западным течениям в христианстве. В качестве иллюстрации своих размышлений Р. избирает Лютера, о котором пишет Х., и приходит к выводу: «Хомяков подходит к нему с <...> какими-то вопросами киевского семинара, с какой-то схоластической тетрадкой “вопросов” и “ответов”, спрашивает его по “вопросам” и, не слыша от него “ответов”, значащихся в киевской тетрадке, творит над ним суд» (ОЦС, 422). По мнению Р., Х. не заметил главного в западном христианстве: «Религия очеловечилась» (ОЦС, 424). Х. потому не заметил этого, что «без любви отнесся к католикам, он не понял великой драмы Рима» (ОЦС, 424). В ответ на критические замечания в связи с его юбилейной статьей о Х. он пишет статью «Еще о славянофилах и о г. Ник. Соколове», где в доказательство правоты своих мыслей приводит слова Грановского о славянофилах: «Эти люди противны мне, как гробы. От них пахнет мертвечиной» (ОЦС, 430). А затем добавляет: «Письмо это не могло не запечатлеться и в моей душе. И когда пришла минута сказать о Хомякове свое слово, я сказал: “В них не было любви, они никого, кроме своей партии и своих предубеждений, не любили”» (ОЦС, 430). В статье «Поминки по славянофильству и славянофилам» того же юбилейного для Х. года Р. продолжает критические замечания в адрес мыслителя. Он напоминает, что Х., нашедший «верно действующее» средство от холеры, умер именно от этого заболевания, усматривая в его смерти особого рода символ: «Перед проверкой делом большинство его возвышенных и благородных теорий: исторических, общественных, не говоря уже о научных, оказывается не ре-

альнее и не целебнее, чем знаменитое средство от холеры. Едва умер сам изобретатель его, никто более не проверял и не занимался научной ценностью снадобья. Все просто его забыли» (ЛВИ, 448). По мнению Р., в работах Х., как в славянофильстве в целом, «лежит столько сахара, что порицаемый (или порицаемые вещи) никогда не закричит от боли» (ЛВИ, 449), что наглядно проявляется в стихотворении Х. «Россия»: «От “перечня” Хомякова никому больно не стало. Пропись без имен, без адресов и примет. Бранись сколько хочешь» (ЛВИ, 450). Определение же Х. православия как религии кротости, смирения и мира свидетельствуют не об отличии православия от католицизма и протестантизма, а об угнетенном состоянии народностей. Задаваясь вопросом, в чем основная ошибка славянофильства и Х., Р. пишет: «Они навевают мечты какого-то золотого века, когда вокруг нет никакого золотого века, проповедают какой-то пастушеский быт среди фабричного производства и удушливой канцелярии», «они судят о виновном состоянии как бы невинном, о состоянии падшего человечества под условием как бы не падшего, безгрешного» (ЛВИ, 454). В юбилейный для Х. год только в одной статье — «Об одной особенной заслуге Вл.С. Соловьёва» Р. отозвался о Х. более положительно: «Острый, волнующийся, вечно досадающий ум Вл. Соловьёва оказал и на этой почве огромные заслуги нашему обществу, нашей России. Споривший с Хомяковым, он в существенном продолжал его. И он, как Хомяков, но с несравненно большим влиянием и успехом, начал выводить русскую мысль к подлинным темам религии» (ОЦС, 436). Критические замечания в адрес Х. со стороны Р., содержание которых фактически остается неизменным, встречаются постоянно в работах 1906 («Из-за чего сырбор загорелся?», «Из католического мира»); 1907 («Религиозно-философское собрание в Петербурге»); 1908 («Пестрые темы»). Однако еще в 1905 в статье «Женщины и предвзятость» Р., рассуждая о бесправном положении женщины в русском обществе, когда это общество более всего нуждается в женском творчестве, приводит эпизод из жизни семьи Х.: «Вспомним мать Хомякова, потрясенную при известии, как ее супруг и отец нашего богослова проиграл в карты миллион рублей. Она не оставила ни мужа, ни детей — и сохранила всё еще большее состояние последним». По Р., мать Х. обретает черты подлинной русской героини, смысл жизни которой сосредоточен в пределах семьи. Позднее Р. указал и на другую причину, возможно, повлиявшую на его взгляды относительно Х.: «Меня посетил, лет 6 назад, оканчивающий курс военного учебного заведения (по артиллерии) юноша — с целью “поговорить о религиозных вопросах” и спросить о Хомякове и вообще о славянофилах» (ВТРЛ, 395). В 1908 в статье «Еще о терпимости в печати и политике» Р. заявляет: «Если бы своевременно статьи Аксаковых, Хомякова, Данилевского, Кон. Леонтьева, Страхова, Рачинского читались с тем вниманием, с тем распространением или просто спокойствием, с каким читались статьи Михайловского, Лесевича, Добролюбова, Писарева и всех больших и малых русских “социологов”, — судьба русского общества была бы совсем другая» (ВНС, 34). Именно в этом контексте рождается иное отношение к наследию Х., которое в основных своих чертах представлено в статье 1910 «Алексей Степа-

нович Хомяков. К 50-летию со дня кончины его (23 сентября 1860 г. — 23 сентября 1910 г.). Р. возвращается к своим утверждениям студенческой поры. Х. вновь определяется как *гений*, но уже с иным уточнением: гений мысли, что, с точки зрения Р., непривычно тяжело для русского сознания, но вписывает русского философа в европейский контекст. *Шопенгауэром* и *Ницше* образованное общество в России зачитывается и восторгается, а Х. по-прежнему имеет аудиторию не слишком большую. Причину отсутствия широкой популярности Р. усматривает в том, что «Хомяков <...> гениально объяснял просто русскую жизнь, — ту обыкновенную жизнь, разлитую вокруг нас, которая самую привычностью и обыкновенностью “претила”, по крайней мере, грубой части толпы <...> Вот почему Хомяков был, есть и, по всему вероятно, навсегда останется *пиццо* и другом только избранных умов, тех русских умов, для которых Россия всего интереснее» (ОПП, 457). Русский быт — это всегда быт сообща, вместе, дружно, потому на миру и смерть красна, потому мир судит и мир прощает. Общинный строй есть результат любви и согласия, лада. По Х., как пишет Р., «община есть религиозное и нравственное братство» (ОПП, 463). Р. указывает на специфическое понимание Х. отношений народа и *власти*, которая народом добровольно отдается как нечто самому ему не присущее, чуждое, поскольку изначально шла от чужаков — варягов. Главной заслугой Х., замечает Р., является актуализация религиозного начала как *сущностной характеристики* русской мысли, нашедшей свое выражение в понятии «христианская любовь»: «У Хомякова же видна безмерная любовь, безмерный восторг к русскому *чувству Бога*, к русскому чувству веры» (ОПП, 461). Любовь эта особого рода, точнее всего смысл чувства передают слова «*нежность* и *теплота*»: «он подметил в “русском православии”, — и притом в нем одном в *Европе*, — бездну этой “нежности” и чисто жизненной, житейской, пожалуй, бытовой “теплоты”, которую, отождествив с христианскою любовью, бросил ее будущим векам, как завет и идеал, как зов и требование, как высший критерий, вообще, нормального и лучшего в человеческих отношениях, в человеческом чувстве природы, в человеческом чувстве жизни» (ОПП, 463). В статье «Нужда веры и форм ее» (1910) Р. указывает главную, с его точки зрения, причину утраты живого религиозного чувства: «Самая главная вина православия заключается в том, против чего боролись даже такие экстраправославные, как Хомяков, Владимир Соловьёв и другие, — в его противоестественном союзе с *государством*» (ЗРП, 17). В работах Р. 1912–1914 уточняются некоторые характеристики Х., но всегда в контексте восприятия славянофильства в целом. Не отказывая Х. и славянофилам в «замечательной красоте души и глубине мысли», он вновь указывает на их бездеятельность. Р. с горечью отмечает, что произведения Х. и славянофилов почти не издавались при жизни, «а изданные много лет спустя после смерти — “лежат”» (СХР, 252). Со стороны литературной и государственной Х. подвергался, по мнению Р., унижению. В «*Мимолетном*» Р. пишет: «Белинский в письмах: <...> “Хомяков — человек без *царя* в голове; если он к тому же проповедует — он шут, паля, кощунствующий над священнодействием религиозного обряда. Плюю в *лицо* всем Хомяковым и будь про-

клят, кто меня за это осудит”» (КНУ, 510). Р. подмечает, что государственным *чиновникам* некогда разбирается, «из-за чего ссорился Белинский с Хомяковым и К. Аксаковым. “В виде курьеза” даже примут под свое покровительство Белинского, посмотрев сверх очков на заглавие его статьи: “Бородинская годовщина” — “Одобрю. Патриот. Вы, значит, пишете о генералах 12-го года” И “врагов” его, К. Аксакова и Хомякова, как, “вероятно, революционеров”, запрет в кутузку. “Что-о-о?! Вы позволяете себе богословствовать!!! — кричит “енарал” на Хомякова. — Кто вам позволил??? То — дело митрополита *Филарета*, а не какого-то помещика, сына проигравшегося в карты отца»» (КНУ, 413). Весь этот сложный узел разных «пониманий» наследия Х. и славянофилов, находит разражение в работе Р. «*П.А. Флоренский об А.С. Хомякове*» (К. 1916. 14 и 22 окт.). Р. укоряет Флоренского, что он неоправданно преувеличивает значимость славянофильства и Х.: «На самом деле, и “творения” Хомякова, и труд Завитневича, и острая статья о нем Флоренского — “не по зубам” обществу, и просто смешно читать, когда критик говорит Завитневичу, что его “два тома скучно читать”, потому что они “только излагают самого Хомякова”, а не дают “критики на Хомякова” Кому скучно читать? Флоренскому скучно читать, потому что они не дают ничего нового, а обществу скучно и тяжело читать, потому что это все сплошь для него новое, никогда не слыханное, никем не виданное» (ВЧВ, 406). «Шло царствование императора *Николая Павловича* и начало “эпохи великих реформ”, когда в Церкви царил авторитет митрополита Филарета, а в делах правления “благовествовал” шеф жандармов Бенкендорф; в литературе же шла линия торжества преемственно *Герцена*, Белинского, Добролюбова и *Чернышевского*. При таком положении поднимать стяг внимания к Церкви, зова в Церковь — было невероятно трудно. И то, что сделал, однако, Хомяков при этих условиях, было поистине “горюю” (там же). Чтобы быть услышанным, Х., по Р., через “протестантский привкус”, все-таки “рациональный” и “гуманитарный” и потому хоть как-нибудь влезавший в голову современников Белинского, Герцена и Грановского», пытается связать жизнь русского светского общества с Церковью (ВЧВ, 408). Но мыслителя постигла неудача: никто не захотел пить из этого источника. Р. принимает обвинения Флоренского по поводу протестантских оттенков в размышлениях Х. Полностью разделяя критические замечания Флоренского относительно понимания Х. смысла самодержавия, Р. все же надеется, что «Хомяков, сам прослушав это возражение себе, изменил бы вовсе свою аргументацию «самодержавия» и, без сомнения, принял бы ту народную, какую <...> раздельными словами и очень отчетливо изложил Флоренский» (ВЧВ, 410). Такого рода надежда базируется на общем (для Р. и Х.) понимании Церкви и ее места в жизни человеческого общества. В статье «Важные труды о Хомякове» (НВ. 1916. 12 окт.) Р. высказал общие наблюдения о церкви. Одно из них касается церкви как «организма любви»: «Вообще это определение Хомякова до того недостаточное, что внушает улыбку. “Тогда зачем собственно Христос и сама, наконец, церковь? С любовью мы сами устроимся. Источим реки из себя — и получится без церкви и без богословских споров что-то лучшее церк-

ви” Таково возражение против “организма любви”, в смысле “зерна церковного”, что кажется — тут нечего и возражать Хомякову. — Так 15 лет назад и я думал об этом определении Хомякова. Затем жил. Толкался на свете, 15 лет — немало: и оглядываясь думаешь: “Много я видел мудрого, много ученого, и вообще разных хороших вещей. Но ничего не видал лучше доброго человека”. А ведь это формула Хомякова, вставленная *зерном* в церковь. “Любовь” ужасно проста и не интересна. Как вода: не чай, не ром, а просто вода. “Какая скучища” А вот без этой “скуки” никак не проживешь. Без этой “скуки” *мир* превратился бы в *ад* и люди бы задохлись. Какой вывод? Да что опровергнуть Хомякова логически во многих случаях очень легко: но что-то есть в его словах “от чистого сердца”, — за что поваливший его противник наклонится и поцелует его» (ВЧВ, 401). В 1918 в работе «С вершины тысячелетней пирамиды (Размышление о ходе *русской литературы*)» Р. в последний раз обратится к Х., чье имя он вписывает в «растоптанный алтарь» «праведников земли русской» (ОПП, 670–671).

И.А. Едошина

ХОХЛОВА **Лидия Дометьевна** [в замуж. Баранова, Иванова; 24.5(5.6).1900, Петербург — 2.4.1991, там же] — близкая подруга с гимназических *времен* дочери Р. — *Надежды Розановой*, которая с 1920-х жила в семье Х. на улице Пестеля в Ленинграде. Как и Н.В. Розанова, Х. занималась *живописью*, в частности художественной мультипликацией. Долгие годы хранила у себя *архив* Н.В. Розановой, по воспоминаниям которой в 1919 она встретила Х. в *Москве* по дороге на службу. Узнав о болезни Р., «она тут же отдала ей свой завтрак, состоящий

из белого хлеба с маслом. Отец был тронут до глубины *души* этим порывом сострадания и тут же написал ей записочку, хотя рука едва ему повиновалась уже» (Записки Отдела рукописей РГБ. М., 2000. С. 64). Это был последний прижизненный автограф Р.: «Милая, дорогая Лидочка! С каким невыразимым счастьем я скушал сейчас последний кусочек чудного, белого с маслом хлебца, присланный Вами из Москвы в декабре и спасибо Вашей милой сестрице. И хочу, чтобы где будет сказано о Розанове последних дней, не было забыто и об этом кусочке масла. Спасибо, милая! И родителям вашим спасибо. Спасибо. Благодарный Вам <благородный весь дом>. В. Розанов. Эту записку сохраните» (Литературная учеба. 1990. № 1. С. 85; Записки Отдела *рукописей* РГБ. С. 64). Существует бумажный «Троицкий образок» с изображением иконы Богородицы «Неувядаемый цвет», подаренный Н.В. Розановой Х. с надписью: «Моей дорогой Лидочке на память о прошлом и настоящем, светлом и темном. Надя. 27-ого дек., 1917 г. *Сергиев Посад. Лавра*» (архив автора).

А.Л. Налепин

ХРУЩЁВ **Иван Петрович** [9(21).8.1840, село Красное, Юрьевецкий уезд, Костромская губ. — 25.8(7.9).1904, Москва] — историк, журналист, издатель, педагог. Свои впечатления о встрече с ним Р. оставил во втором коробе «*Опавших листьев*»: «Как Ерусланова мертвая голова, Хрущёв разевал губы и шлепал в воздух: — Педагогические методы, педагогические методы. Мне тогда хотелось ему всунуть кол в рот (Харьковский попечитель у *Берга* в 1894–5 гг.). (10 декабря 1912 г., — читая статью *Цветкова о школах*)» (У, 360).

П.П. Резепин

Ц

ЦВЕТАЕВ Дмитрий Владимирович (1852, Владимирская губ. — 1920) — историк, профессор Варшавского университета, сотрудник «Журнала Министерства Народного Просвещения», «Русского Вестника», «Русского Обозрения», «Исторического Вестника» и «Московских Ведомостей», брат *И.В. Цветаева*. Специализируясь на изучении «немецкого вопроса» в России и исследуя деятельность инородцев — протестантов и католиков, Ц. в первом же письме к Р. от 24 сентября 1896 высказал свое сочувствие его «энергичной научно-литературной деятельности в укреплении в образованных русских людях просвещенного народного самосознания» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3829. Ед. хр. 1. Л. 1) и прислал вместе с письмом свои исследовательские работы: «Обрусение иноземцев протестантов в Московском государстве» (М., 1886); «Положение западного иноверия в Московском государстве» (МВ. 1886. № 273, 274; вступительная речь, читанная в *Московском университете*). Со вторым письмом от 10 октября 1896 Ц. отправил писателю свою докторскую диссертацию «Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований» (М., 1890), «К истории изучения вопроса об иностранцах в России» (Варшава, 1891), «Памятники к истории протестантства в России» (М., 1888), «Историю сооружения первого костела в Москве» (М., 1886). Ц. передал основной мотив своих исследований: «Мне желалось бы тут представить “немецкий вопрос” в возможной широте и цельности, с его действительными и отрицательными сторонами, а вместе с тем дать и соответственную критику Петровскому делу, выполненному при пособии чуждых деятелей реформ», «коренного разрыва нет между эпохами, работа Петра была подготовлена» (ОР РГБ. Л. 2, 3). Р., сославшись на *Ф.Н. Берга*, интересовался у Ц. полемикой *Иоанна Грозного*. Отвечая на вопрос, Ц. адресовал писателю к своей диссертации, где была изложена полемика Грозного с польским проповедником Рокитой. В письме от 2 ноября 1896 Ц. благодарил Р. за присланные книжные издания его произведений. «Инквизитора <“*Легенду о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского*”> перечитываю с женой», — делился профессор своим увлечением розановским сочинением (Там же. Л. 4). Историк послал Р. свою работу «Баллады Шиллера. Опыт объяснения их» (Филологические записки. 1881—1882). «Брату Ив. Влад. сообщил о Вашей доброй памяти о нем, — делился Ц. новостями из жизни *И.В. Цветаева*. — Теперь он весь поглощен созданием своего детища — Моск.

Музея изящных искусств. Самозабвение в труде понадорвало, к сожалению, его физич. силы. От удара он летом поправился, требовался бы ему отдых, но заграничной командировки он брать не хочет, как я ни убеждал его побережь себя. Да хранит судьба его силы» (там же). В последнем известном письме от 29 октября 1910 Ц. извинялся за невозможность скорого свидания с Р., поскольку текущие дела не оставляли для этого времени.

А.В. Ломоносов

ЦВЕТАЕВ Иван Владимирович [4(16).5.1847, село Дроздово, Шуйский уезд, Владимирская губ. — 30.8(12.9).1913, Москва] — филолог, искусствовед, академик Академии художеств, директор Румянцевского музея в Москве (1900—1910). Ц. для Р. прежде всего — основатель и первый директор (с 1911) Московского музея изящных искусств им. *Александра III* (ныне Музей изобразительных искусств им. *А.С. Пушкина*). Р. и Ц. связывала многолетняя дружба, между ними велась переписка. В некрологе «Памяти Ив. Влад. Цветаева» Р. вспоминает, что Ц. был «малоречивый, с тягучим медленным словом, к тому же не всегда внятнм, сильно сутуловатый» (СХ, 413). Он «олицетворял собою русскую пассивность, русскую медленность, русскую неподвижность. Он вечно “тащился” и никогда не “шел” (там же). Впечатление, которое Ц. производил на Р., — «беспримечательная тусклость, серость и неясность» (там же). Р. сравнивал Ц. с особым греческим тайником-шкафом в виде Фавна, уродливым на вид, но таящим в себе вероятные сокровища. Однако, несмотря на «одутловатое с небольшой русой бородкой лицо, на всю фигуру его “мешечком”» (там же), Ц., говоря словами *Платона*, «наполнен драгоценными камнями, золотыми изящными предметами и всяким блеском и красотой» (там же). Р. постоянно подчеркивает мнимое и истинное в облике Ц.: «Безвидный неповоротливый профессор *Московского университета*, который совершенно обратно своей наружности являл внутри себя неутомимую деятельность, несокрушимую энергию и настойчивость, необозримые знания самого трудного и утонченного характера» (там же). Р. уподоблял Ц. надписи на камне, говорил о нем как о «великом украшении университета и города» (там же). По мнению Р., жизнь каждого ученого рассказывается трудами его. Р. считал Ц. великим ученым, «редким ученым», поэтому «говорить “о Цветаеве” — значит говорить о волюминозных изданиях его, гораздо более из-

вестных и раскупаемых в *Германии, Франции и Англии*, нежели в *России*, где “музы” все еще зябнут» (там же). Высоко оценивал Р. детище Ц. — Музей изящных искусств: «Музей этот, необыкновенно густо посещаемый <...> собирается стать таким же любимцем Москвы и России, как Третьяковская галерея. И даже проезжие через Москву <...> осматривают: 1) царь-колокол, 2) царь-пушку, 3) Храм Спасителя, 4) Третьяковскую галерею, 5) Музей изящных искусств... (там же, 417). Сам Ц. очень уважал Р., об этом можно судить из его *писем* к Р. (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3829. № 2. Ед. хр. 1—6). В некрологе три письма Ц. к Р. цитируются почти полностью. Как следует из переписки, отношения между Р. и Ц. сложились благодаря брату Ц. — *Д.В. Цветаеву*: «От брата моего Дмитрия <...> я слышал, что вы меня помните и поминаете добрым словом» (СХ, 414). Ц. в письмах к Р. пишет не только о своих успехах, но и неудачах, сомнениях, горестях. Он рассказывает об открытии Музея изящных искусств, о его богатых коллекциях, особенно скульптурных. В письмах к Р. он вспоминает об омрачившей конец его *жизни истории* с одним сослуживцем по *университету*, а потом большим *чиновником* в *Петербурге* (имеется в виду *А.Н. Шварц*), который много лет преследовал Ц. за то, что в директорство Ц. из Румянцевского музея было похищено несколько гравюр. Ц. в своих

письмах к Р. также делился с ним планами на *будущее*, а получение писем от Р. называл «*радостью*» (СХ, 415). Р. считал, что Ц. сыграл важную роль в *просвещении* России и его имя «никогда не будет забыто» (СХ, 418).

М.Б. Раренко

ЦВЕТАЕВА Анастасия Ивановна [27(14).9.1894, Москва — 5.9.1993, там же] — дочь *И.В. Цветаева*, младшая сестра *М.И. Цветаевой*, писательница. Провела 10 лет в лагере на Дальнем Востоке (1937—1947) и семь лет в ссылке. По воспоминаниям В. Ионаса, из русской религиозной *философии* XX в. Ц. особенно выделяла Р.: «К именам *Бердяева* и *Розанова* она относилась с большим уважением, особенно к *Розанову*, с которым была знакома лично» (Ионас В. А. Цветаева. Встречи. Переписка // Грани. 2001. № 199. С. 117). Считая Р. духовно-родственной личностью, Ц. называла его в числе «душевно-близких» людей (Из письма Л.В. Успенскому // Цветаева А. О слове, стихах и поэтах. М., 2000). В письме к Д.С. Лихачеву от 8 ноября 1990 Ц. признавалась, что «дружила» с Р. «в мои 19—24 года» (ВРХД. 2004. № 2. С. 186). Об этом свидетельствовал и друг Ц., поэт-импровизатор Б.М. Зубакин: «Анастасия Ивановна была близким другом В. Розанова — последние годы его *жизни*» (Цит. по: Николюкин А.Н. Розанов. М., 2001. С. 308; *Архив А.М. Горького*. КГ-п. 85—5—1). В розановском творчестве Ц. ценила прежде всего «*Уединенное*» и «*Опавшие листья*» (Из письма Л.В. Успенскому // Цветаева А. О слове, стихах и поэтах. М., 2000). В «Уединенном», прочитанном Ц. в Феодосии, ее поразила духовное родство с Р.: «Кто дал мне эту удивительную книгу? В моих руках — дневник старика — “Уединенное” Читаю, точно свое. Так знакомо!..» (Цветаева А.И. Воспоминания. М., 1995. С. 549). *Радостью* открытия «неведомого от века родного человека» Ц. поделилась со старшей сестрой Мариной (там же). «Потрясенная» «Уединенным», Ц. написала автору письмо, с которого началась их переписка. Первое письмо от 27—28 февраля 1914 Ц., скрывая свое известное происхождение, подписала фамилией по мужу (А.И. Трухачёва). В этом письме она цитировала записи «Уединенного», в котором ей оказалось особенно близко розановское предпочтение созерцательной жизни личности перед жизнью общественной: «Невозможно прочесть “Уединенное” — и спрятать в шкаф. Я потрясена этой Вашей книгой. Вы занимаетесь общественной деятельностью, о ней говорят. Но здесь ее нет; Вы сидите у окна, и смотрите на закат вечера, и слушаете вечерний звон. Вот это-то мне в Вас нужно: больше ничего. Звук вентилятора в коридоре, папирота на *похоронах*, и то, что “можно убить от негодования, а можно... и бесконечно задуматься...” У общественных деятелей общественная жизнь — выше частной. Но вот есть деятель, который сидит у окна и слушает вечерний звон. В нем-то и есть весь смысл. “Просто сидеть на стуле и смотреть вдаль”» (Цит. по: Николюкин А.Н. Розанов. С. 307). «Уединенное» стало для Ц. «родной» книгой, в которой она не чувствовала никакой возрастной разницы, потому что Р. пишет «о том, что вне возраста» (Цветаева А.И. Воспоминания. С. 550): «Я чувствую в 19 лет так же глубоко, как Вы чувствуете — в 60. Вот весь смысл моего письма <...> Меня трогает не то, как Вы пишете, я читаю слова, ко-



И.В. Цветаев

торые Вы говорите: народам, никому, всем, себе. На них я отвечаю. Я узнаю, что человек на 40 лет старше меня, слушая шум вентилятора, чувствует *смерть*. Глядит вдаль и знает, что это — общее *религии*. Пишет, что ненавидит все, что разделяет людей» (Цит. по: Николюкин А.Н. Розанов. С. 307–308). Спустя десятилетия вспоминая о прочтении «Уединенного», Ц. в «Воспоминаниях» цитирует другие поразившие ее *мысли* Р.: о непредсказуемости, текучести мыслей (У, 23), о «вечной и невольной *музыке в душе*» как «секрете *писательства*» (У, 28), о нежелании Р. «известности» (У, 69) (Цветаева А.И. Воспоминания. С. 549). После «Уединенного» Ц. прочла первый короб «Опавших листьев», о чем упоминает М.И. Цветаева в письме к Р. от 8 апреля 1914: «“Опавшие листья” купили обе. Как хорошо, что фотографии! И карточки свои пришлел» (Цветаева М.И. Собр. соч.: В 7 т. М., 1995. Т. 6. С. 126). Позже Ц. признавалась, что «Уединенное» «концентрированное» «Опавших листьев» (Цветаева А.И. Воспоминания. С. 703.). Сразу же откликнувшись на письмо незнакомой девушки из Феодосии, Р. благодарил Ц. за проникновенное понимание «Уединенного», признал ее духовно-родной личностью и пожелал семейного *счастья*: «Спасибо, милая и добрая Настя, за письмо, которое не могло не взволновать меня как человека, как писателя. Я решил “загасить свечку” *литературы*, и поговорить “в темноте ночи” просто как человек. И ты, милая и умная 19-ти лет, все поняла. Спасибо тебе, родная, и дай *Бог* тебе счастья. Не будь капризушкой и “гордецей” и выслушай простую истину 60-летнего: счастье *девушки* — все в замужестве» (Архив А.М. Горького. 54336. ПТЛ 14–13–2). К словам Р. о замужестве Ц. сделала пометку на письме о том, что к этому *времени* она «была уже разведена» (там же). М.И. Цветаева в письме к Р. от 7 марта 1914 писала о его «словах Асе о замужестве» (Цветаева М.И. Собр. соч. Т. 6. С. 120). Вслед первому письму Р. послал второе, в котором продолжал удивляться ее, несмотря на юный возраст, глубокому пониманию «Уединенного», непонятого критиками: «Как хорошо все, что вы пишете, какой глубокий *тон*. А ведь “Тон”, — как — музыка. То, “чего сказать не могу и не умею” и что “главное” <...> Вы — до самой глубины поняли все в Уед., как я хотел бы себя сказать — как себя чувствую и понимаю. Удивительно: а ведь сколько о нем писали: “циник”, “Розанов — циник” <...>, “Смердяков” <...> девушка в 19 л. все поняла» (Архив А.М. Горького. 54261. ПТЛ 14–13–3). Позже Ц. так вспоминала ответное письмо Р.: «“Настя, — писал он, сделав мне чужое уменьшительное из “Анастасии Ивановны Трухачевой”, — как ты? Что ты пережила? Откуда такой глубокий тон в 19 лет?..” И взволнованные текли с его пера повелительно в слова — чернила, рождая каракули откровенья и *дружбы*, удивления и интереса, беспорядочного рассказа о себе и всплывши вопросов — мое безмерное, без названья, счастье в ответ» (Цветаева А.И. Воспоминания. С. 550). Из мыслей Ц., которые Р. называл «психологически верными», ему оказалась близка мысль «о сходстве *старости* и юности»: «Моя всегдашняя мысль: В 35 л. — вовсе не интересно <...> С юности я любил говорить со стариками, со старухами. Интереснейший тип <...> И в свои 35 лет я играл с *детьми*, уважал *гимназистов* и гимназисток, и почему-то никогда не уважал профессоров,

журналистов и общественных деятелей» (Архив А.М. Горького. 54261. ПТЛ 14–13–3). Чувствуя в жизни Ц. «страшное и м.б. тайное несчастье», Р. наставлял ее в христианском духе: «Тогда, голубушка, терпите, несите крест» (там же). Узнав о замужестве Ц., Р. удивился этому: «Вы *женщина*, а не девушка? <...> А я Вас принял за “кончившую курс гимназистку”» (там же). По возрасту девятнадцатилетняя Ц. была почти ровесницей дочерям Р., поэтому желая ей семейного счастья, он делился с ней заботой о будущем замужестве своих дочерей (там же). Ответное письмо Р. вызвало в Ц. взлет творческого вдохновения: «Я счастлива, как только может человек на земле быть счастлив. И другого счастья — не надо! Не хочу *любви*! Спаянности с одним, терема! Ни с кем! Со всеми! Вдохновенные дружбы, переключка *чувств*, мыслей... *Свобода!* И писать и писать...» (Цветаева А.И. Воспоминания. С. 551). М.И. Цветаева в письме к Р. от 7 марта 1914 назвала ответное письмо Р. к Ц. «чудным, настоящим — “как надо!”» (Цветаева М.И. Собр. соч. Т. 6. С. 119). После того как М.И. Цветаева в письме от 7 марта 1914 открыла Р., что они — дочери *И.В. Цветаева* (там же, 121), он «радостно сообщил, что он вправе считать себя учеником папы, что слышал курс его лекций и никогда не забудет его ни как профессора, ни как человека», и это «еще более сроднило» их: «Он обещал мне прислать свои книги и ждал нашей встречи — я обещала, что осенью, перед задуманным отъездом в Париж, приеду в *Петербург*. Он писал о своей усталости, старости, загруженности литературным *трудом*, о том, что везет воз большой *семьи*, дивясь раннему опыту жизни во мне, но не сомневался во мне, верил и, находя между нами много соответствий, считал меня родным человеком» (Цветаева А.И. Воспоминания. С. 551). Позже Ц. вспоминала, что «возмутилась» одним из писем Р. к ней: «И смердяковщина была в нем» (Виктор (Мамонтов), архим. *Языком сердца* // ВРХД. 2004. № 2. С. 212). Личное их знакомство состоялось в 1914 в Петрограде, когда она приехала к Р.: «Молниеносное, вне воли — глаза в душу — наблюдение: выше, чем думалось, среднего роста, ждала меньше, суше. Лоб — вроде папиного. Голова полуголая, как у папы. Те же узенькие золотые очки на старых глазах... Но глаза?! Нет, глаза совсем не похожи. Слаще, но вместо папиного спокойного, почти радостного благожелательства — и у папы шире глядят — уже, острее и хитрее, что ли?? И в этой неизбежной ему “хитрости” — тоска, и уже побарывают смущение, и уже источают *ласку* — какие путаные, какие исстрадавшиеся глаза!» (Цветаева А.И. Воспоминания. С. 584). Ультраромантической Ц. атмосфера розановского *дома* показалась мешанской: «О, как, как ненавижу мешанство “семейного счастья”, как хочется прочь, с ним, из дома, в туман...» (Там же, 585). Но на следующий день Ц. признала это обвинение несправедливым и дешевым жестом: «За что? За любовь, в ней живущую? За заботу всех обо всех и о нем? За прокаленную преданность жены его, матери его детей?» (Там же, 588–589). Вторая петроградская встреча Ц. с Р., их длительная беседа произошла вечером, в редакции «*Нового Времени*»: «Он слушает мой рассказ о моей будущей книге, я ее переписую, пришлю, и он не прерывает поток моего утверждающегося отчаяния, что нет *Бога*, мое полное отрицание веры. Все знакомо ему. Понятно.

И корни видны. Он не ополчается на мой протест против его веры, не спорит. Он берет мои руки и смотрит в глаза, и его усталый, живучий, старый и молодой, дряблый и закипающий *голос* говорит мне о том, какие еще перемены меня ждут...» (там же, 589). Третья встреча Ц. с Р. состоялась снова вечером, в редакции, где Ц. рассказала «вкратце Маринину и свою жизнь»: «Он попробовал меня убедить, что счастье женщины — в семье, в любимом мужчине... Не захотела слушать! Я, может быть, мало женщина? Хватит мне, не хочу! — Ты прочти мое “Люди лунного света” — понравится. — И еще мне: — Нет, ты — не бархат, ты — шелк. Шелестящий шелк. В тебе есть тончайшая сталь — твой лунный свет!» (Там же, 589–590). Размышляя о своем предпочтении «мира нечеловеков», М.И. Цветаева вспоминала розановские слова, сказанные Ц.: «Это как Розанов, однажды Асе: — Ты же понимаешь, что кроме Людей Лунного света — нет никого (нет ничего стоящего)» (Цветаева М., Пастернак Б. Души начинают видеть. Письма 1922–1936 гг. М., 2004. С. 560). После длительного разговора Р. показал Ц. дом Ф.М. Достоевского в Кузнецком переулке, при этом Р. напомнил Ц. живого Достоевского: «А он похож — чем-то — на Федора Михайловича <...> Бредовая уверенность: я иду с Достоевским!» (Цветаева А.И. Воспоминания. С. 589–590). К этому же времени относится полемика Ц. с Р. по еврейскому вопросу — ответ Ц. на «изуверско-вдохновенно-обличительную тираду» Р. привела М.И. Цветаева: «— Василий Васильевич! На свете есть только один такой еврей. (Розанов, бровями) — ? — Это — Вы» (Собр. соч. Т. 5. С. 119). Встреча с Р. стала для Ц. поворотным событием в ее духовной жизни, в ее движении к Богу. Прочитав первую книгу Ц. «о небытии Божьем» («Королевские размышления». М., 1915), в которой она «пыталась воспринять Бога разумом, а не сердцем», Р. прислал ей «свой старческий дневник “Уединенное”» с надписью: «Да, ты кончишь в монастыре... Я знаю теперь это совершенно определенно — по тому пылу, с каким ты отвергаешь Бога...» (Гильманов Е. Три звонка // Архив А.И. Цветаевой). Эти розановские слова о ее духовном пути Ц. оценила позже как пророческие (Цветаева А. Кристаллы чувств и размышлений. М., 2000). Ц. признавала, что свою книгу «Дым, дым и дым» (М., 1916) написала «под влиянием» Р. (Смирнов М.О. Последний луч Серебряного века (о стихах, писателях и другом...) // Архив А.И. Цветаевой). Эпиграфом к ней Ц. взяла запись из второго коробка «Опавших листьев» — «Холодок на сердце. Знаете ли вы его? (в печали)» (У, 310). Позже, в письме Д.С. Лихачеву от 12 ноября 1990, она понимала этот «холодок» в христианском духе как грех: «Не думая тогда о том, что за этот наш “холодок” столпник становится на столп, и молчит молчалник. За праздность слов!» (ВРХД. 2004. № 2. С. 188). Л. Андреев на цветаяевские высказывания о нем в «Королевских размышлениях» и «Дыме, дыме и дыме» «ответил в печати уничтожающей рецензией о “розановщине, облеченной в кимоно”» (Цветаева А.И. Воспоминания. С. 703). Эту рецензию Р., «смеясь», прислал Ц. в 1916 с припиской: «Не огорчайся. Но такова наша литература» (там же). О новой поездке к Р. напомнила Ц. сестра Марина: «— Ты поедешь к Розанову? Я понимаю, когда откормишь Алешу. Поезжай непременно...» (Там же, 609). И спустя «два с половиной года»

с первой поездки Ц. едет в 1917 к Р. в Петроград второй раз, так как «выбрала» его в крестные отцы сына Алеши (1916–1917): «Встречаемся как родные. В его кабинете беседа нескончаема. Его умиленное лицо, старческая гордость, что к нему, шестидесятидвухлетнему, приехала я, двенадцати трех лет! *Революция, война*, его старость и юность моя — все смешалось <...> Бродили, говорили о всех переменах в стране. Тогда возлагали большие надежды на Временное правительство — может быть, накормят страну?» (Там же, 610, 611). По воспоминаниям Ц., Р. ощущал себя с ней вновь молодым, она стала «весной в его старости» (Там же, 589, 610). Ц. чувствовала себя «товарищем и спутником» Р. (Там же, 610). Они сфотографировались «на память» (там же). Р. хотел подарить Ц. («для твоего ума») свою первую философскую книгу «О понимании», но ему не удалось найти ее у букинистов (Там же, 611). Р. заботливо проводил Ц. на вокзал, «трогательно, как отец, поручает меня кондуктору, поясняя, что “не от мира сего” и чтобы меня никто не обидел» (Там же). Во время этих встреч, «в 1914–1917 годах» Р. «очень советовал, хвалил» Ц. книгу «Из дневника Амиеля» (Пер. с фр. М.Л. Толстой. Предисл. Л.Н. Толстого. Изд. 2-е. М.: Посредник, 1908), которую попала ей только в 1974 и произвела на нее сильное впечатление: «И сроднясь с Амиэлем, простилась с ним <...> Я хочу дать перепечатать ее, хранить машинопись <...> буду снова жить на его стр<ани>цах — и он оживать со мной» (Васильев Г.К., Никитина Г.Я. Стихотворение А. Цветаевой «80 лет»: Текстологический анализ // Филологический дискурс. Тюмень, 2004. Вып. 4. С. 166). В третьем, ставшем последним письме к Ц., полученном ею летом 1917 (Смирнов М.О. Последний луч Серебряного века // Архив А.И. Цветаевой), Р. делился с ней тяжелым положением, в котором он оказался: «Друг дорогой! Да — тяжело. Моего — ничего не печатают, а след. и денег “нема” Что делать — не понимаю. “Вы — не политик, а потому и пишите без души и понимания”, говорят редакторы. Это — так, но ведь могу же я столько ненавидеть? “Это — не к моменту” говорят. Конечно, “не к моменту” И я не знаю, что делать <...> “петь” и “платить за квартиру”» (Архив А.М. Горького. 54260. ПТЛ 14–13–1). В письме Р. соотносил революцию с образом Федьки Каторжника из «Бесов» Достоевского (там же). В это время Р. читал книгу Ц. «Дым, дым и дым»: «Часто думаю о тебе. Прочел ½ “Дымков” сплошь» (там же). На последнем розановском письме рукой Ц. сделана пометка «материал для романа». Это была книга Ц., написанная о Р. в 1914–1917 и ставшая итогом их переписки и личных встреч. Ц. вспоминала, что она написала ее «уже в 1914 году», «когда общалась с ним» (Смирнов М.О. Последний луч Серебряного века // Архив А.И. Цветаевой). По словам Ц., эта книга давала «его живым со всеми его сложностями, как и следующая моя книга о Горьком»: «Он шел как по экрану. Восхитившись ею, он сказал: “Сколько вздору обо мне писали: Розанов — циник, Розанов — то, другое <...>, а ты в 19 лет подошла и все поняла. Этой книгой ты утрешь нос всем непонявшим» (Изрукописи «Воспоминаний» // Архив А.И. Цветаевой); Ц. «читала свою книгу Розанову и он говорил: “Я себя в ней вижу, как в зеркале, как ты могла так меня понять?!”» (Смирнов М.О. Последний луч Серебряного

века // Архив А.И. Цветаевой). Но летом 1917, после смерти второго мужа М.А. Минца и сына Алеши в порыве отчаяния Ц. уничтожила дневники за пять лет и многое другое, в том числе и книгу о Р. По воспоминаниям Б.М. Зубакина, Ц. с Р. «вместе написали книгу, но А.И. сожгла ее в порыве отчаяния» (Цит. по: Николовкин А.Н. Розанов. С. 308; Архив А.М. Горького. КГ-п. 29–6–9). По словам М.О. Смирнова, эту книгу Ц. «уничтожила еще при жизни своего второго сына Алеши Минца: «О мотивах уничтожения книги говорила глухо: “Вызов судьбе” (?)» (Смирнов М.О. Последний луч Серебряного века // Архив А.И. Цветаевой). Спустя десятилетия Ц. сожалела об этом: «продолжала с оттенком горечи: — Эта книга была бы известна. Ее не удалось сразу сжечь на спиртовке и я решила ее утопить...» (там же). В 1927 в письме к М. Горькому Ц. признавалась, что, любя Р. за *тишь* и «за тонкость и глубину мысли», она не терпит его за «одержимость *полом*, за дикости о евреях»: «Стыдила его за безобразную книжку о деле *Бейлиса*» (Цветаева А.И. Воспоминания. С. 691–692); «Я так люблю его, кроме <...> антисемитизма и теории пола» (Смирнов М.О. Последний луч Серебряного века // Архив А.И. Цветаевой). В период увлечения личностью и творчеством Горького у Ц. произошла некоторая переоценка Р.: «Жалею его за — да как раз за то, чего в нем не хватало. Вас! Широты и покоя, тревоги (Вашей широты, Вашей тревоги). Он не писал так о *луне*, как Вы — а о ней надо было писать именно так, — хоть раз написать всю ее бытность над землей — правду о бедности и *холоде* ее — в бешенство дифирамбов <...> Розанов пугался в отношении к евреям, а я их таинственно и с тоской за судьбу их, сплошным восхищением люблю. Он не так любил людей — мощно и грустно, как Вы, он гениально занимался порой пустяками, и хоть не хочу его предать, но, ведь, я столько спорила с ним: была неверующей, он меня раздражал верой. Теперь было бы обратное, — раздражал бы — сомненьями. И было мне с ним, с его истерической широтой — чуть-чуть узко, точно не на тех веслах шла лодка. Розанов — зол» (Там же, 692). Прочитав очерк М. Горького «*Лев Толстой*», Ц. отметила, что Л.Н. Толстой «чем-то роднится» с Р.: «Точно сквозь вас всех протянута нить — *гений*, что ли?» (Там же, 704). Возможно, это связано с горьковскими воспоминаниями в этом очерке о том, что Толстой говорил «очень языческие вещи, совпадая кое в чем с В.В. Розановым» (Горький М. Лев Толстой // Горький М. Очерки и воспоминания. М., 1983. С. 54). Ц. полемизировала с розановским восприятием в статье «Памяти Ив.Влад. Цветаева» (1913), ее отца, который для Р. «олицетворял собою русскую пассивность, русскую медленность, русскую неподвижность» (СХ, 413): «Тут Вас<илий> Вас<ильевич> для красного словца приврал. Папа был бодрый, ходил быстро, никогда не тащился. За 8 л<ет> до смерти, 59 лет, обгонял нас в беге. Смерть мамы (1906 г.) и подлог *Шварца* сделали его стариком. † 67 лет от гр<удной> жабы в 1913 г. За два дня до смерти звал меня с мал<еньким> сыном Андреем (его крестником) в *Италию*, где хотел писать “мой последн<ий> труд об архитектуре др<евне>-римских храмов” (М. Цветаева. Каталог юбилейной выставки / Автор-сост. Л. Мнухин. М., 1992. С. 142–143). Отзвук этой полемики звучит и в воспоминаниях, записанных

М.О. Смирновым: «Анастасия Ивановна считает, что свою наружность Розанов списал с ее отца — Ивана Владимировича Цветаева: “Как если бы он стоял перед *зеркалом* — нечеткая речь, мешковатый... И ничего папа не был мешковатым (в голосе сквозит обида) — когда бегали наперегонки в *Германии*, он в 56 лет обгонял Марину!»» (Смирнов М.О. Последний луч Серебряного века // Архив А.И. Цветаевой). К 1960–1970 относится важнейшее высказывание Ц. о Р.: «Розанов — покаянный тип. Умный, чувствует слово <...> Какая-то мыслительная машина» (Виктор (Мамонтов), архим. Языком сердца // ВРХД. 2004. № 2. С. 212). Мысль о розановском покаянии близка восприятию «Опавших листьев» Г.П. Федотовым: «Как поднимется рука судить того, кто сам так беспощадно казнит себя? Кто стоит перед Богом и перед миром с содранной им *кожей*, чтобы больше было жить?» (ПРО, 2, 393). Одно из последних цветавских упоминаний Р. — в письме к Д.С. Лихачеву от 8 ноября 1990: Ц. сообщает, что ей прочтут (из-за плохого зрения) «книгу В.В. Розанова (недавнюю)» (ВРХД. 2004. № 2. С. 186). Возможно, имелась в виду книга: Розанов В.В. Мысли о литературе. М., 1989. Ц. вспоминала «о несчастной судьбе» детей Р.: «Большеголовый, как отец, Вася — умер совсем молодым; одна дочь покончила с собой; другая умерла на крыше поезда; еще одна дочь прожила до глубокой старости и я с ней встречаюсь...» (Смирнов М.О. Последний луч Серебряного века // Архив А.И. Цветаевой). Речь идет о жившей в Загорске *Т.В. Розановой*, которую Ц. встречала у *С.А. Цветкова* (там же). Глубокое переживание Ц. «Уединенного», переписка и встречи с Р. отразились в ее художественном творчестве: произведения Ц. тяготеют к форме *эссе*. Ц. близка *любовь* Р. к *документальности*, к письмам. Особенно явно подражание «опавшим листьям» Р. проступают в прозе Ц. «Что попало» (1993) и «Старческий дневник» (1992–1993).

А.А. Медведев

ЦВЕТАЕВА Марина Ивановна [26.9(8.10).1892, Москва — 31.8.1941, Елабуга, Татарская АССР] — поэт. Переписку с Р. начала ее сестра *Анастасия Цветаева*. Ц. написала *письмо* Р. 7 марта 1914 после того, как прочла его *книгу «Уединенное»*, которая произвела на нее огромное впечатление: «Я ничего не читала из Ваших книг, кроме “Уединенного”, но смело скажу, что Вы — гениальны. Вы все понимаете и все поймете, и так радостно Вам это говорить, идти к Вам навстречу, быть щедрой, ничего не объяснять, не скрывать, не бояться» (Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. М., 1995. Т. 6. С. 119). В письме Ц. признается Р. в *любви*: «Ах, как я Вас люблю и как дрожу от восторга, думая о нашей первой встрече в *жизни* — может быть неловкой, может быть нелепой, но настоящей. Какое *счастье*, что Вы не родились 20-тью годами раньше, а я — не 20-тью позже» (там же). В Р. чувствует Ц. родную *душу*: «О чем Вам писать. Хочется все сказать сразу» (там же), «Обращаюсь к Вам, как к папе» (Там же, 128). У Ц. и Р. оказался общий интерес — Мария Башкирцева. Р. дал ее *характеристику* в «Уединенном», а Ц. в юности увлеклась Башкирцевой, хотела написать о ней книгу стихов. Ц. поражена восприятием Р.: «...вы сказали о Марии Башкирцевой то, чего не сказал никто» (Там же, 119).

Тон писем Ц. к Р. — откровенный, она много рассказывает Р. о своей семье — муже, дочери, сестре, отце, матери. В письме от 18 апреля 1914 Ц. обращается к Р. с просьбой помочь ее мужу избежать воинской повинности, ссылаясь на то, что «директор здешней гимназии на Вас молится» (Там же, 127). «Так слушайте: тотчас же по получении моего письма пошлите ему <директору гимназии> 1) “Опавшие листья” с милой надписью, 2) письмо, в котором Вы напишите о Серезиных экзаменах, о Вашем знакомстве с папой и — если хотите — о нас. Письмо должно быть ласковым, милым, “тронутом” его любовью к Вашим книгам, — ни за что не официальным. Напишите о Серезиной болезни (у директора уже есть свидетельства из нескольких санаторий), о его желании поступить в университет, вообще — расхвалите» (там же). Ц. продолжает: «Судьба Серезиных экзаменов — его жизни — моей жизни — почти в Ваших руках» (там же). Ц. высоко ценила Р. как писателя. В дневниковых записях зимой 1919–1920 она пишет: «Есть ли сейчас в России — Розанов умер — настоящий созерцатель и наблюдатель, который мог бы написать настоящую книгу о голоде: человек, который хочет есть — человек, который хочет курить — человек, которому холодно — о человеке, у которого есть и который не дает, о человеке, у которого нет и который дает, о прежних щедрых — скарредных, о прежних скупых — щедрых, и, наконец, обо мне: поэте и женщине, одной, одной, одной — как дуб — как волк — как Бог — среди всяческих чум Москвы 19-го года» (Т. 4, 541). Первая запись о Р. в записных книжках Ц. датируется 12 февраля 1914, еще до ее первого письма к Р.: «Последние вечера мы с Асей думаем о Розанове. Ах, он умрет и никогда не узнает, к<a>к мы безумно его понимали и трогательно искали на Итальянской, в Феодосии, зная, что он в Москве! Милый Розанов! Милый, чудный старик, сказавший, что ему 56 лет и что всё уже поздно. Но я знаю, к<a>к безнадежны письма к таким, к<a>к он, и, не могу вынести тоски в ожидании письма, к<отор>ое — я знаю! — не придет. Ах, это такая боль! Все равно что писать Марии Башкирцевой или Беттине» («Неизданное. Записные книжки». Т. 1: 1913–1919, М., 2000. С. 34–35). В своих записных книжках Ц. пишет: «У Розанова есть книга: Люди Лунного Света. Только он берет ее как пол, а я беру ее как дух. — Она идет под знаком Дианы» (Там же, С. 190); «Розанов в своих “Людах лунного света” поверхностен и глубок. Следовало бы написать во второй раз его “Люди лунного света”» (Там же, 438). Ц. в марте 1914 послала Р. книжку своих стихов: «Посылаю Вам книжку моих любимых стихов из двух первых моих книг» (Т. 5, 678). Ц. интересуется всем, что связано с Р. и его творчеством. В письме к П.П. Сувчинскому от 2 июня 1926 она сообщает, что «прочла письмо Ремизова к Розанову, которое, не сомневаюсь, прочел и Розанов. Порукой — конец» (статья Ремизова «Воистину» была написана к 70-й годовщине со дня рождения Р. в форме письма к нему) (Т. 6, 320). Ц. внимательно следила за выходящими трудами Р. В письме к А.А. Тесковой от 18 декабря 1926 она пишет, что во втором номере парижского журнала «Версты» «есть огромная ценность: Апокалипсис Розанова» (Т. 6, 353).

М.Б. Раренко

ЦВЕТКОВ Сергей Алексеевич [20.2(3.3).1888, Тифлис — 29.8.1964, Москва] — литературовед, публицист. Окончил Петербургский университет. Жена — Зоя Михайловна Цветкова (1901–1981). Ц. — друг и библиограф Р., с которым в 1906 его познакомил С.Н. Булгаков. Сохранилась запись Булгакова на визитке: «Дорогой Василий Васильевич, рекомендую Вам своего приятеля Сергея Алексеевича Цветкова, Вашего читателя и почитателя. Надеюсь, что знакомство с ним не будет для Вас неприятно. Ваш С. Булгаков» (ВРХД, 1979. № 130. С. 170). В коробе втором «Опавших листьев» Р записал: «В 57 лет Бог благословил меня дружбой Цв.» (У, 310). Начало дружбы относится к первой половине 1912. Портрет Ц. начала знакомства нарисовала Н.В. Розанова:



С.А. Цветков

«Он оказался еще совсем молодым человеком, высокого роста, сдержанным, несколько европейского вида. Из-за небольшой асимметрии лицо его казалось несколько сердитым, но всё же очень приятным» (НР, 97). Другой портрет принадлежит Т.В. Розановой: «Он был высокого роста, лицо серовато-болезненного цвета (начало туберкулеза), асимметрично благодаря несколько раскосо поставленным глазам не одинакового цвета с зеленовато-голубым оттенком. Рот довольно узкий и большой, говорил медленно, но очень выразительно, а лицо было доброе и живое, любил передавать мимику лица общих знакомых» (Т.В. Розанова о С.А. Цветкове // ЛЖ. 2000. №13/14. Ч. 2. С. 247). К июню–июлю 1912 относятся первые восторженные отзывы Р. о Ц. в письмах к П. Флоренскому: «Цветков — удивительный человек. То, что рассказывал он мне из наблюдений и мыслей о животных, о духовенстве, о страданиях — ново и поразитель-

но. Сблизьтесь с ним. Кстати, он и чрезвыч. Вас любит, воспринимает, ценит. Затем в нем какие-то «века всего русского», в душе его, в повадке его, и я искренно его полюбил <...> Цветков весь чист и благороден. Вот бы отдал за него «с руками-ногами» дочь свою: а при полигамии — всех бы дочерей ему отдал. Он мне внушил бесконечное нравственное доверие. Я его истинно и глубоко уважаю: между тем это — типично тот, кого профессора считают «идиотами» Вот бы Вашей сестре (вдове) выйти за него <...> Полюбите Цветкова. Когда я вот вижу таких — у меня возрождается еще вера в Русь» (письмо Р. к Флоренскому от 8 июля 1912 // АФ). Р. ценит его и позднее: «В Цвет<кове> меня удивляет разнообразие образования и особенно влечений: и зоология, и антики, и музыка. И привлекает его любовь к церкви. Моя мечта, чтобы он заменил меня в Н<овом> Вр<емени>. Т.е. в той газете хранил славянофильство и идеализм» (письмо Р. к Флоренскому от 15 декабря 1912 // АФ). Р. радовало в Ц. стремление видеть светлые стороны России: «Его мысль побродить по Руси, постранствовать и записать все случаи, “где открывается величие и красота души”, статья *Далем добродетели* — не удивительная ли это мысль, вчуже источающая слезы» (ПЛ, 150). Флоренский предостерегал Р. в его чрезмерных похвалах Ц.: «С.А. Цветков любилец всех нас московских. Но именно потому мы и опасаемся, как бы Вы не испортили его похвалами. Раз Вы взяли за него, то должны не только покровительствовать, но и воспитывать, ибо он еще молод, и главное сдерживать его от самоуверенности. “Новое Время”, как и всякая газета, неизбежно вызывает хлесткий тон, а главная слабость С.А. Цветкова именно в том, что этот тон может в нем развиться довольно легко. Если он духовно захиреет — будет очень грустно. В “знаменитости” же попасть ему, к сожалению, слишком легко сейчас, и тогда ему предстоит гибель <...> Поэтому, любя Цветкова, Вам следует хотя бы иногда бить его» (письмо Флоренского к Р. от 7 декабря 1912 // АФ). Охлаждал пыл Р. в отношении Ц. и С.Н. Булгаков: «Цветкова я очень люблю, но, думается, что Вы преувеличиваете его литературную, так сказать, глубину, хотя письма его хороши. Он одарен каким-то безошибочным инстинктом (я его раз Алешей Карамзовым назвал!), однако инстинкт есть необходимая, но темная, подсознательная основа таланта. В одних отношениях он совсем взрослый и понимает все, а в других всё-таки желторотый мальчик, эта двойственность в нем поражает. Я считаю, что его надо беречь и, между прочим, от похвал и, пожалуй, до времени от литературы, а особенно от газеты, в этом я с Вами не схожусь и даже просто боюсь, как бы при преждевременном вычерпывании дно не обнажилось раньше, чем думали. Пусть зреет в тишине! И, все-таки, смотря на этих юных, которые уже нашли свой путь и суть уже люди с “обрезанным сердцем”, посвященным Богу и когда вспоминаешь всю муть и неясность своей собственной души в этот возраст, то становится и завидно, и радостно» (Взыскующие града. М., 1997. С. 422–423). Ц. собирался стать священником: «Он, кажется, окончательно решил принимать свящ. сан и хочет уехать на Кавказ» (письмо Флоренского к Р. конца сентября — начала октября 1913 // АФ). Р. считал, что под влиянием «друга» (жены), Н.Р. Щербовой, о. Павла Флоренского и

Цветкова, у него произошел «поворот “вправо”», и он «с хр<истианст>вом нравственно примирился» (У, 178–179). В «Мимолетном» Р. привел отзыв Ц. об «Уединенном»: «Цветков сказал раз: — У теперешних писателей вообще нет никакого “уединенного” в душе, в жизни; ничего “своего” и “внутреннего” Они все — наружные, внешние. И пишут статьи в журналах и газетах, потому что это вообще “делается” и отчего же и им не “делать” Потому и посмотрели на ваше “Уед.” как на что-то вовсе дикое, непонятное, ненужное. “Но они — не все. Напротив, ваше “Уед.” сразу понятно множеству людей. Людей, а не писателей” Я думаю, это — так» (КНУ, 211). Р. при участии Ц. разработал план своего 50-томного собрания сочинений, где среди томов, посвященных «литературным изгнанникам», значится имя Ц. Он составил обширную рукописную библиографию Р. (хранится в ОР РГБ. Ф. 249. Оп. 2. К. 11–12), составил «Список газет и журналов, в которых печатался В.В. Розанов» (ЛЖ. 2000, № 13/14. Ч. 2. С. 245–246). 20 июля 1912 Булгаков писал В.Ф. Эрну: «Из новых ценных сотрудников “Пути” назову С.А. Цветкова, которого я очень люблю и ценю <...> Он очень полезен для издательства, — его ампула — литературные раскопки. Он у нас заведует изданием “Русских ночей” Одоевского» (Взыскующие града. С. 475). Издание осуществилось: Кн. В.Ф. Одоевский. Русские ночи / Под ред. С.А. Цветкова. М.: “Путь”, 1913. Это издание вызвало одобрителный отзыв Р.: «Чаадаев и кн. Одоевский» (НВ. 1913. 10 апр.; НФП). О. Павел Флоренский намечал и Р., и Ц. в сотрудники «Богословского Вестника». По всей видимости, по рекомендации Р., Ц. под псевдонимом С. Иволгин выступал в защиту имяславия: «Об афонском волнении и догматических спорах» // НВ. 1913. 11 апр.; «Наша дипломатия и Афон» // НВ. 10 мая). Однако писал Ц. мало и неохотно. Это возмущало Р.: «Цветков — быстро-писатель (так и сыплется), но ничего не хочет писать, впал в “демона” лени, небрежности и высокомерия к газете. Прямо свинья. А как мог бы помочь в борьбе с чертями» (письмо Р. к Флоренскому от 2 июля 1913 // АФ). Не менее резок был и Флоренский: «Чем больше понукают к работе подобных лентяев, тем более и упорнее лежат они на боку, ибо начинают в своем лежании видеть чуть ли не миссию свою существования на земле» (письмо Флоренского к Р. от 21 апреля 1916 // АФ). В 1938 Ц. готовил часть архива Р. для сдачи в Литературный музей.

С.М. Половинкин

ЦЕЙХЕНШТЕЙН Семен Ильич — уроженец Польши, еврей, в середине XIX в. перешел из иудаизма в православие и переехал в Астрахань. В 1870-х по благословению Феогноста (Лебедева) и Хрисанфа (Ретивцева), епископов Астраханских и Енотаевских, написал «Автобиографию православного еврея» и приложение к ней: «Букет, или Перевод талмудических рассказов, анекдотов и легенд; таковых же и других еврейских авторитетных книг». Р. считал «Автобиографию православного еврея» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 810) книгой, «исполненной ума и наблюдательности», но полагал, что автор ее — «глубоко несчастный, запутавшийся душою человек, не понявший обоих морей, в которых он плыл в разные половины своей жизни» (НП. 1903. № 8. С. 140–

141). Р. писал об этой книге Ц. еще в статье «Замечательная еврейская песнь» (Исторический Вестник. 1901. № 2). Рукопись Ц. он активно использовал при работе над «Юдаизмом» и планировал издать ее со своими замечаниями в 50-ом томе собрания своих сочинений.

М.Ю. Эдельштейн

ЦЕРЕТЕЛИ Ираклий Георгиевич [20.11.(2.12)1881, Кутаис 21.5.1959, Нью-Йорк] — общественно-политический деятель, социал-демократ, депутат 2-й Государственной думы, министр почт и телеграфов Временного правительства. В эмиграции после 1921. Р. отмечал выдающиеся ораторские способности Ц., выделяя их как одно из непрременных условий успешной парламентской работы. Неординарность и высокая культура этого депутата «левого» блока, чей «текст речи, и есть дух речи <...> прекрасный, гордый, благородный, без уступочки назад, без уступочки в сторону», ставились Р. в образец остальному депутатскому корпусу и прежде всего фракции правых (РГО, 331). Описывая историческое заседание Думы 6 марта 1907, Р. назвал его «победным днем Церетели и Столыпина» (РГО, 329). В статье «Живые штрихи» (РС. 1907. 9, 11 марта, 3 апр.) Р. представил литературный портрет и «нерв речи» Ц. в Думе: «Неокончивший студент Московского университета, депутат от Кутаиса. Совсем молодой, но без излишества. Молод для жизни и очень стар для студенчества. Лицо красивое, но тоже без излишества. Небольшого роста, плотный, сжатый. Мускулы твердые, ожирения — никакого. Голос, как и у Столыпина, — на всю же залу, но без “мешочков”, неясностей и неуклюжестей премьеры. Гладко, чеканно, невозмутимо спокойно (главная прелесть его речи), прекрасным русским языком, почти без акцента (гимназия и университет русские) он сказал, изложил, мотивировал и доказал, что... всего этого, о чем говорил премьер-министр, России не нужно, и что Россия готовится и будет готовиться совсем к другому, и

когда она приготовится к этому другому и сделает свое полезное дело, единственное нужное дело, тогда все декорации переменятся и не будет никакой нужды объясняться с этим декоративным министерством, сидеть в этом довольно декоративном парламенте и пользоваться благодеяниями совершенно декоративной конституции <...> Церетели, — и здесь была самая красивая его минута, — воспринял с таким спокойствием, не преувеличенным и не уменьшенным, крики и, моментами, вопль “правой” стороны, что было удивительно смотреть. Сколько нужно было уйти в “свои речи”, речи и ход мыслей “своего кружка”, “партии”, вот этого “социал-демократа”, чтобы выработалось это броневое равнодушие ко всему, что бы ни говорили “другие”» (РГО, 331, 332). Р. привел отношение А.С. Суворина к депутату Ц. в качестве примера совпадения со своими взглядами на многосторонний подход к политической проблематике: «Редактор думает совершенно как и я, а я думаю совершенно как и редакция, что “левые” бывают часто дураками — но это одно, и что в них есть правда и основательность — и это другое, и также должно быть отмечено. Суворин, когда арестовали социал-демократов 2-й Думы, не “подпевал правительству”, а сказал <...> похвальное слово их вождю Церетели: сказал, что как он произнес с кафедры лучшее слово при открытии Думы (2-й), так теперь он пропел лебединую песню ей и один сказал мужественно и правдиво то, около чего другие вилияли и ввали. Церетели же говорил: “Да, мы пытались возмутить народ против правительства <...> и нам нечего скрывать этого, потому что это наша гордость и девиз” <...> Действительно, Церетели <...> давал удивительно благородное впечатление и как живое лицо (в Думе) и как оратор» (ПВ, 283). Дифирамбы Ц. и левым депутатам имели для Р. лишь косвенное отношение к политике думских фракций. Для публициста важен был прежде всего момент эстетический.

А.В. Ломоносов

Ч

ЧААДАЕВ Петр Яковлевич [27.5(7.6).1794, Москва — 14(26).4.1856, там же] — мыслитель, публицист. В сентябре 1895 Р. сообщал *Н.Н. Страхову*: «*Алексей Веселовский* написал симпатичную, но недалекую статью “*Гоголь и Чаадаев*” в сент. “*Вести. Евр.*”, и я в Контроле же, даже не дочитав статьи, написал ему “*Открытое письмо*” по поводу “многострадального Чаадаева”, как он выразился» (ЛИ, 311). В этом письме Р. отозвался о Ч.: «Слава мелась по следам, домелась до нашего времени и выразилась в робко-почтительных, жалостливо-прискорбных строках вашей статьи» (РО. 1895. № 12. С. 905). Еще в 1888 Р. делился своими впечатлениями со Страховым: «Чаадаев прочел Жозефа де Местра, был чрезвычайно поражен им и сильно, с сильным чувством и, как я думаю, с живою болью за свое отечество написал свои “Письма”; конечно, потом наступило и у Чаадаева фанфаронство, тщеславие (читали ли Вы все разные мелочные воспоминания о нем), но в момент писания он был глубок и силен, и потому его письма хороши, не вызывают никакого раздражения на автора, вообще есть нечто достойное уважения, хорошее» (ЛИ, 167–168). В статье «Чаадаев и кн. *Одоевский*» (НВ. 1913. 10 апр.) Р. дал портрет Ч.: «Лоб умеренный, — и вся масса головы как бы сплывает в лицо, в массив щек и подбородка, которые будто говорят: “Вот — я первый у русских получил лицо: доселе были морды, по которым били (разумелось — “правительство”). Но я получил лицо, которого никто не посмеет ударить» (НФП, 55). Особое внимание обращает Р. на французский язык главного философского сочинения Ч.: «И говорит он по-французски, как по-французски написал свой главный труд — знаменитые “Философические письма”, напечатанные Надеждиным в “Телескопе”: как бы русская речь была ему не совсем послушна и, может быть, несколько брезглива...» (там же). Говоря о преследованиях Ч., объявленного сумасшедшим, Р. заключает: «Русские и тогда отличались великой сострадательностью: сострадая страждущему Чаадаеву, они в вознаграждение нарекли его *гением*, “угнетенным гением”, и имя его и достоинство его пронесли до наших дней, до *Гершензона*, который издает его труды, письма и записочки очень кстати, потому что “Философических писем” его, по правде сказать, никто не читает и не читал, а так, вообще, знают, что он “гений” и “претерпел”» (НФП, 55–56).

А.Н.

ЧАЛЕНКО Иван Яковлевич — профессор Одесской духовной семинарии. С первым письмом 1913 Ч. препро-

водил Р. свою объемную книгу (более 1800 страниц), ставшую основой его диссертации «Независимость христианского учения о нравственности от этики античных философов. В связи с религиозно-метафизическими основаниями христианского учения, с одной стороны, и учения греческих и римских философов — с другой» (Полтава, 1912. Ч. 1; переиздана: СПб., 1913). В письме от 18 марта 1913 Ч. благодарил Р. за «сочувственно-бодрящую» рецензию на это издание в «*Новом Времени*» от 9 марта 1913. В своей рецензии Р. писал о значении провинциальных библиотек и подвижнической научной деятельности Ч., «живущего в провинциальной глуши» (НФП, 40). «Вы коснулись той именно стороны в моей работе, — отмечал богослов в письме Р., — которая особенно дорога мне, по своему моральному значению, но заговорить о которой едва ли найдет достаточный повод критик-специалист: я имею в виду те, действительно, в высшей степени тяжелые условия, в каких приходится мне работать, живя вдали от культурных центров, и о каких жителю университетского города в большинстве случаев, как мне кажется, трудно составить себе более или менее конкретное представление <...> Очень польщен тем обстоятельством, что моя работа дала Вам повод провести в своей статье столь ценную, по своему широкому общественному значению, мысль о культурной необходимости провинциальных библиотек серьезного содержания» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 46. Л. 4).

А.В. Ломоносов

ЧЕБОТАРЁВСКАЯ Анастасия Николаевна [26.12.1876 (7.1.1877), Курск, — 23. 9. 1921, Петроград] — критик, прозаик, драматург, переводчица. С 1908 жена *Ф. Сологуба*, автор статей о нем. Посланное ею приглашение на литературно-музыкальный вечер, посвященный произведениям Сологуба, дало Р. повод выразить свое отношение к такого рода затеям. В статье «Новые события в литературе» (НВ. 1911. 5 марта) он утверждал, что «нельзя и вообразить, чтобы друзья *Белинского*, или просто писатели того прекрасного и благородного времени, задумали подобное осквернение и *Белинского* и литературы <...> Но то было 60 лет назад! Времена переменились. Страшно изменилось существо писателя». Р. подчеркивал, что вел речь не столько о Сологубе (его он считал подавшимся «какому-то завертешемуся около него вихрю»), сколько «о коллективном “лице” всех устроителей» (ОПП, 495–497). После этого Ч. обратилась к Р. от лица устроителей вечера. В письме к нему,

отметив благотворительный характер мероприятия, она спрашивала: «Но почему вообще Вас так возмутила идея вечера? Почему *Скрябин*, Гречанинов (беру на удачу из объявлений) — живые композиторы могут устраивать вечера своих произведений — художники выставки — и с объяснениями, а живые поэты — нет?». Ч. подчеркивала, что «личное <...> участие Ф<едора> К<узьмича> выразилось в том, что он дал нам — т.е. компании устроителей — свои *вещи*, да пришел по моей усиленной просьбе на вечер, чтобы поблагодарить участвовавших». Она обвиняла Р. в незнании Сологуба, в непонимании того, что ее супруг абсолютно не способен к саморекламиранию. «Повторяю — очень было больно читать Ваши жесткие и незаслуженные слова, тем более, что всегда с удовольствием ишу и читаю Ваши — обычно столь чуткие и независимые статьи», — писала она в заключение (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 724. Л. 230–231). Р. удалось успокоить Ч., о чем свидетельствует ее письмо к нему от 14 апреля 1911: «Рада была письму Вашему — значит, не так уж огорчила Вас моя повестка... Вы пишете, что жена должна помогать мужу — это и есть моя первая теперь забота — за которою и свои дела, и своя работа отошли в сторону... Всем своим существом готова я заслонить крохотного, безответного, беззаветно преданного своему делу и *творчеству* Ф<едора> К<узьмича> от наглых и злых людей, не понимающих его и обливающих грязью все его — самые чистые и заветные замыслы». Ч. замечала далее, что каждый день читает возмущающие ее своей злостью и *пошлостью* «вырезки» газетные», посвященные Сологубу: «А кто поможет, кто поддержит и защитит в этой свистопляске? Ведь благожелатели, но... — больше тайные и тихие, скромные, рассеянные где-то, далеко». Она сообщала о своем решении «собрать статьи — значительного (что отнюдь не означает хвалебного — таковых, увы! нет) характера» и издать их отдельной книжкой: «Пусть, кто хочет ознакомиться — не с одной бранью, читает — вольному воля. А Вы, верно, опять меня обругаете — опять рекламой сочтете?». Несмотря на опасения в очередной раз навлечь на себя критику со стороны Р., она приглашала его принять участие в этом *издании*: «Может, у Вас — также какая статейка была когда-нибудь?» (Там же. Л. 232). Среди участников сборника «О Федоре Сологубе. Критика. Статьи и заметки» (СПб., 1911) Р. не было. По поводу касавшихся Сологуба газетно-журнальных вырезок он высказался в письме к Ч. от 17 апреля 1911. Р. упрекал Ч. в том, что она допускает в свою квартиру, «вероятно, красивую», «такую неэстетическую дрянь, как “газетные вырезки”»: «У меня есть *нумизматика*, и на меня они не действуют. У Ф<едора> К<узьмича> нет такого “отвлекающего” занятия, и Вы его раздражаете и, м.б., измучиваете этой дрянью. Женино дело — не допускать их в *дом*» (РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 5. Ед. хр. 234. Л. 1). Ч. стремилась поддерживать с Р. дружеские отношения (звала в гости по вторникам и воскресеньям, приглашала на публичные выступления Сологуба, дарила *книжки*): «Глубокоуважаемый Василий Васильевич! Посылаю вам билет на завтра на лекцию <“Россия в мечтах и ожиданиях”, 29 октября 1915> Ф.К. в Петровском училище. Послала Вам обе мои вышедшие книжки (“Россия в родных песнях” — назвала по Вашему доброму совету — и другую “Война в русской поэ-

зии”) <...> Приходили бы завтра на лекцию — я много в ней помогла Ф.К.» (Там же. Л. 245). Отправляя Р. книгу «*Любовь* в письмах выдающихся людей XVIII и XIX века» (М., 1913), Ч. писала: «Эту книгу я — часто и много о любви думающая, стараясь умом разрешить неразрешимые ее проблемы — собрала с любовью и желанием устремить на предмет этот, — на мой взгляд, забвенный в эпоху “автомобилей и аэропланов” более пристальное и душевное внимание... Зная Вас за извечного и искреннего — более искреннего, чем все Ваши противники, взятые вместе, поклонника (еще вернее — любовника) Любви, — Вам первому посылаю эту книгу, еще трепетную от неостывших *поцелуев* — увы! — уже остывших уст...» (Там же. Л. 234–235). Отвечая Ч., Р. советовал ей не обращать внимание на недоброжелателей,



А.Н. Чеботаревская

не реагировать на брань критики: «Вообще: спокойно в себя работайте, пишете, мечтайте — и — никакого внимания к “вокруг”, не по гордости, а по великому — так (беспричинно)». Р. замечал также, что Ч. угадала, назвав его «любовником любви». Он подчеркивал, что *чувство* любви чит и любит (РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 5. Ед. хр. 234. Л. 9, 9 об). Ч. посвящала Р. в свои творческие планы. Она писала ему о намерении издавать журнал «Дневники писателей», по ее собственному признанию, «чтобы вздохнуть где-нибудь от газетной и иных упряжек» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 724. Л. 238). Отправляя Р. первый номер своего «бесшорного» журнальчика, она просила: «Скажите Ваше мнение — хотя бы отрицательное. Одно могу сказать — что хотелось писать без шор <...> и чистым, русским языком <...> Пока, конечно, много промахов, но надеемся наладиться» (Там же. Л. 240–241). Желая проанонсировать организованный ею благотворительный вечер *М. Метерлинка*, она обратилась к Р. с просьбой дать «сегодня же в “Новое Время” заметочку — 2 слова»: «Почтите своим словом — это Вас потревожит на 5 минут, дорогой Василий Васильевич!» (РГАЛИ. Ед. хр. 697. Л. 3). Ч. не скрывала своего желания «повидать Розанова», «ответи *душу*» в разговорах с ним: «Читала на днях Вашу статью в “Новом Времени” <13 сент. 1916> о *Пушкине* по поводу книги Ще-

голева — страшно мне она понравилась и захотелось перекинуться словечком <...> Хотелось бы с Вами поболтать» (Там же. Л. 2). Рассчитывая на понимание, Ч. делилась с Р. своими соображениями относительно «ближайшего окружения» «Мы с Ф.К. часто себя чувствуем словно живем не среди “цвета” общества, а в пустыне, населенной волками — притворяться не умеем и не хотим... *Мережковский* стал особенно антипатичен — не п.ч. писал письмо *Суворину* (всякий может писать), а тогда, когда стал его — мертвого поносить. Это словами трудно выразить, а почувствовать надо сердцем всю гадость этого» (РГАЛИ. Ед. хр. 724. Л. 239). Обвиняя Мережковского в отсутствии патриотизма (в сочувствии немцам), Ч. утверждала, что мировая война открыла его подлинное лицо. Подводя итог сказанному, она замечала: «Какая мерзь и грязь в “прогрессивной литературе»» (Там же. Л. 243–244). Ч. доверяла Р. и свои сокровенные мысли. Так, в одном из писем, рассуждая о подвиге самопожертвования («это “подвиг” — отдать себя ради другого»), она, упомянув о переживаниях, вызванных клеветой Мережковского и *Карташёва* на Сологуба, вспоминала и о том, как те же люди травили самого Р., изгоняя его из *Религиозно-философского общества*: «Во время “религиозно-философской травли” Вас — я больше всего думала о Вашей жене — хотела ей даже писать, но не знала, как отнесется к этому. Ведь люди не понимают, что союз внешний есть чаще всего и внутренний — только идейное сочувствие повлекло меня к Ф.К. сначала — а потом уже и все другое» (Там же. Л. 236–237). Семейный союз Ч. и Сологуба вызывал неизменное одобрение Р. Их брак органически вписывался в его представления о «жизненной энергии пола». В «*Опавших листьях*» он вспоминал о своей встрече «с поэтом Сологубом» и женой его, которые оба неизвестно раздобыли и покрасивели, говорю: — Вы прежде ходили вверх ногами (декаденты обои), а теперь пошли “по пути Розанова” По какому “пути”? — По самому обыкновенному. И скоро обои обратитесь в Петра Петровича Петуха. Какой он прежде был весь темный в лице, да и вы — худенькая и изломанная. Теперь же у него лицо ясное, светлое, а у вас бюст вот как вырос. Они оба сидели, немножко грузные. “Совсем обыкновенные” Оба смеялись, и им обоим было весело <...> Это было поистине чудесно, и чудо сделал “обыкновенный путь”» (У, 151). Вместе с тем Р. не мог отказать себе в удовольствии «поинтимничать» с Ч., в присущей ему манере «поблудить языком». В одном из писем, адресованных ей, он спрашивал: «А знаете ли, что я в “Опавших листьях” описал Ваш хороший (и д.б. вкусный) бюст? Не показывайте Федору <у> Кузьму <ичу>, а то черт его дери “по морде даст”, что в мои года не хорошо» (РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 5. Ед. хр. 234. Л. 6). В письме-отклике на книгу «Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX века» он писал: «Смотря на Ваш смеющийся рот и острые глазки (“Да еще при таком бюсте”), я подумал: “Она — умная”». Р. просил верить его словам и, говоря о себе в третьем лице, подчеркивал, что их «сказал опытный и старый человек, знающий лица и вещи» (Там же. Л. 9, 9 об.). В собрании писем Сологуба и Ч. к Р. в РГАЛИ имеется характеристика, данная Р.: «Федор Сологуб и жена его Анастасия Чеботаревская. Молодцы. Любят друг друга... она — не-

далекая, не умная, но чрезвычайно милая, часто смеется сквозь... зубы и укутывает “своего Федора Кузьмича”» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 724. Л. 222).

Т.Н. Фоминых

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Николай Гаврилович [12(24).7. 1828, Саратов — 17(29).10.1889, Саратов] — публицист, прозаик. Р. назвал Ч. «знаменитым публицистом» (СХ, 141), тем определив положение автора «Что делать?» среди русских литераторов. В «*Мимолетном*. 1914 год» Р. считает, что «настоящим “самодержцем” в России был Чернышевский, с его безграничным влиянием никто и “пикнуть” не смел» (КНУ, 339), хотя вся его «новая религия» была «коротка и заключалась действительно в том, почти только, чтобы не спать со своей женой и колотить родителей» (КНУ, 338), а сам ее создатель «в сущности — он был гимназист. До ссылки, в ссылке и после ссылки» (КНУ, 338). Ч. — «своевольничавший мальчишка в семье» (КНУ, 477). В статье «Юбилейное издание *Добролюбова*» (НВ. 1911. 26 нояб.) Р. замечает: «Чернышевский — всю жизнь точно 29 лет» (ОПП, 557). В «*Опавших листьях*» Р. утверждает: «Отвратительная гнойная муха — не на рогах, а на спине быка, везущего тяжелый воз, — вот наша публицистика, и *Чернышевский*, и *Благосветлов*: кусающие спину быку» (У, 287). В «*Уединенном*» Р. считает: «Конечно, не использовать такую кипучую энергию, как у Чернышевского для государственного строительства — было преступлением, граничащим со злодеянием <...> зарыт был где-то в снегах Вилуйска <...> Такие лица рождаются веками, и бросить его в снег и глушь, в ели и болото... это... это... черт знает что такое <...> Но и он же: не сумел “сжать в кулак” своего нигилизма и семинарщины. Для народа. Для бескоровных, безлошадных мужиков» (У, 31–32). В «*Сахарне*» же Р. писал: «В “Уедин.” — о Чернышевском, м.б., верное, а, м.б., и неверное» (СХР, 34). Ч., «когда подымал ослиный гам и хохот около философских лекций проф. Юркевича» (СМР, 267), создавал «революционно-Плюшкина, т.е. «узенскую, маленькую, душную идейку» («*Между Азефом и “Вехами”*» // НВ. 1909 20 авг.; СМР, 269). В статье «К 50-летию кончины *Ан.А. Григорьева*» (НВ. 1916. 15 сент.) Р. добавляет: «Для Чернышевского “вне Чернышевского” не было России» (ОПП, 601). Он относил Ч. к наследникам *В.Г. Белинского*, от которого «пошла целая группа писателей, надолго получившая преобладание над всеми остальными течениями нашей литературы» (РФК, 87). Их определяющая черта: «Все один и тот же порыв отвергнуть, растоптать, унижить чужую любовь, чужое уважение и, наконец, самую действительность, — не по основаниям каким-нибудь и даже вообще не после какой-нибудь проверки, но потому только, что все это растет не из тех “французских повестей”, которые им были и остаются дороги более, нежели людские поколения, их живая кровь, всякая реальная действительность» (РФК, 87). «Напрасно Чернышевский думал так “испугать новизною” и напрасно его испугалось тогдашнее время: и тогда, и после, и, в сущности, всегда действительность далеко перешагивала все утопии» (КНУ, 489). Ограниченность его в том, что он «с помощью романа объясняет социальную гармонию и разрешает все вопросы России как сущие для него пустяки» (КНУ, 550). Р. писал о Ч.: «...не нашлось,

кто зычным Ломоносовским языком сказал бы ему “все-российское” дурак» (М, 41). И далее: «Без Чернышевского и культа его на 20 лет, конечно, не было бы потрясения 1 марта» (М, 42). Р. считает, что Ч., развивавший в «Что делать?» «теорию о глупости ревнования своих жен: на самом же деле, конечно, теорию о полном наслаждении мужа при “дружбах” его жены, причем муж тайне, в воображении, уже наслаждается красотой и всеми формами жениного “друга” Значение Чернышевского в нашей культуре, конечно, огромно. Он был $\frac{1}{2}$ — урнинг, $\frac{1}{4}$ — урнинг, $\frac{1}{10}$ — урнинг» (ВТРЛ 333–334). В «Сахарне» читаем: «Вопрос Чернышевского, действительно, опрокидывал “жен” и становил на их место “женщин”, а “брак” и “семья” заменялись “гостеприимной проституцией»» (СХР, 112); в «Мимолетном» он отмечает, что «основная идея “Что делать?” — неразличение «чубука (трубки) от жены»: «Не обижает же вас, если кто покурит из вашей трубки: Почему же сердиться, если кто-нибудь совокупится с вашей женой» (М, 94). Об авторе «Отцов и детей» Р. писал: «Этот пухлый господин сделал столько же зла, сколько и тощий Чернышевский. Оба били в одну точку, разрушая Россию. Но в то время как “Что делать?” Чернышевского пролетело молнией над Россией, многих опалив и ничего, в сущности, не разрушив, “Отцы и дети” Тургенева перешли в какую-то чахотку русской семьи, разрушив последнюю связь, последнее милое на Руси» (АНВ, 348). В статье «Автопортрет Вл. С. Соловьёва» (РС. 1908. 28 окт.) Р. коснулся проблемы правомочности осуждения Ч. и, опираясь на материалы журнала «Былое», встал на сторону тех, кто признал обоснованность предъявленных Ч. обвинений (ОНД, 386). «Литературное влияние что-нибудь значит! Кто против Тургенева?» (КНУ, 114). В «Последних листьях» Р. высказал убеждение, что «появление Писарева и Чернышевского невозможно было в эпоху Пушкина, когда литература трепетала интересом к России» (ПЛ, 168), и сравнил Ч. с Ноздрёвым (ПЛ, 25). В «Мимолетном» Р. отмечал: «Ноздрёв-Чернышевский (Ноздрёв ведь был неустанно деятелен, непосидчив, стремителен и — все порицал» (КНУ, 457) и причислил к «поганцам» (ПЛ, 315), назвал его “прохвостом” (ПЛ, 40), высказал убеждение, что другом крестьянина «были не Чернышевский с Добролюбовым, а Александр II, и даже Николай I, Алекс. I и Алекс. III» (ПЛ, 141). Идеям романа «Что делать?», связанным с семьей, Р. посвятил статью «Когда-то знаменитый роман» (НВ, 1905. 8 июня). Ее главный вывод: «Инстинкты человеческие текут вовсе не из убеждений, не из теорий» (ОПП, 185), и поэтому попытки Ч. предложить реформирование сложившихся на этой основе взаимоотношения между мужчиной и женщиной были тщетны: «Натура моя и моей подруги” есть такая же часть, дробь, не имеющая вовсе возраста до “объема всего человечества”, как он это проектировал в своих алюминиевых дворцах» (ОПП, 191). В статье «Один из певцов вечной “весны”» (НВ. 1909. 6 авг.) Р. писал «Мысль, что измена мужа не препятствует счастью и любви жены — совершенно нова для Русских. Чернышевский как фантазию пытался это утвердить в “Что делать”, — но возмутил одних и рассмешил других. Никто этому не поверил серьезно» (ОПП, 372).

С. Ф. Дмитренко

ЧЕРТКОВ Владимир Григорьевич [22.10(3.11).1854, Петербург — 9.11.1936, Москва] — издатель, друг и единомышленник Л. Н. Толстого с 1883. Отношения Ч. с Толстым Р. сравнивал с ролью о. Матвея Ржевского при Н. В. Гоголе. «Печальная и страшная история. Бог с нею. Так около гения наших дней в подобной же роли Мефистофеля стоит упорный узколобий его “друг” из Лондона, который, издавая за границей его морально-религиозные творения, в своем роде продолжение “Выбранных мест из переписки с друзьями”, фанатично убеждает его, что около этого “соленого огурца” ничто и “вечность”, и Шекспир, и “Анна Каренина” (ОНД, 199). Связанность Ч. с Толстым представлена в статье Р. «Как люди русеют» (1909. 18 дек.): «Чертков, как известно, во всем “согласился” с Толстым: и собственная личность его почти беспримерно бездарна; обратно, и Толстой “согласился” с восхищенным им Чертковым. И в результате получилась такая лужа скучиши, тоски, неинтересного, как нет, кажется, еще другого такого места в нашей литературе. Точно два фарисея обнялись и крепко поцеловались. Сладко, а не вкусно, любви много, а таланта нет; патока и молоко так и разливаются: но очень немногие имеют силу их отведать» (СМР, 410). В канун смерти Толстого Р. писал в статье «Где же “покой” Толстому?» (НВ. 1910, 6 нояб.): «Яд Черткова, venenum Chertkowi, понизив t° Толстого до опасных 35 град., задержал живой “птичий” пульс его и вообще превратил или усиливался все время превратить льва в “земноводное” Россия не скажет ему “спасибо” и в свое время произнесет над ним жестокий суд» (ЗРП, 393). Р. вспомнил «дивный “Дневник” Е. А. Дьяконовой, которая поехала к Ч. почти «на поклонение»: «Она не имела мотивов ни лгать, ни преувеличивать. Помнится ее пометка: “Все говорили (у Черткова в гостях) о мужиках, о земле и труде земледельческом: но из разговаривавших никто не сумел бы отличить колоса ржи от колоса пшеницы”» (ЗРП, 164). «Друг великого человека» — так назвала Дьяконова Ч., и под этим ироническим названием Р. напечатал 5 июня 1911 в «Новом Времени» статью о Ч. и Дьяконовой, основанную на записях ее «Дневника». Свою статью Р. завершает словами: «“Толстовство” или, вернее, “чертковство” не ложно, — о, нет! Оно — мертвенно, и в этом все дело. Оно все “сделано” на верстаке человеческой мысли, человеческого измышления: и на нем не растет ни одной зеленой травки <...> Чертков беспримерно убогий человек, именно — убогонский. Он оттого и ненавидит “натуру”, заменяя ее везде “рассуждениями”, что “натура” всегда гениальна, везде сильна, везде “своя” и “сама”: и это все прямо ненавистно убогонькому деспоту <...> Боже, каким образом Толстой мог подчиниться такому... Старость, старческое изнеможение — только этим и можно объяснить» (ТПРН, 119). А. Н.

ЧЕХОВ Антон Павлович [17(29).1.1860, Таганрог — 2(15).7.1904, Баденвейлер, Шварцвальд, Германия] — писатель. По словам Р., он Ч. «не знал лично» (ОПП, 176). Помимо отдельных высказываний, Р. посвятил писателю пять эссе, участвовал в двух московских сборниках, посвященных 50-летию юбилею со дня рождения Ч. («Наш “Антоша Чехонте”» // Чеховский юбилейный сборник. М., 1910; «А. П. Чехов» // Юбилейный Чехов-

ский сборник. М., 1910). Статью Р. «До Чехова и после Чехова» Ф.И. Благов 22 сентября 1909 отказался печатать в «Русском Слове» (в архиве Р. статья не обнаружена). По мнению А.А. Измайлова, «настоящая известность пришла к Розанову <...> совершенно так же, как она пришла к Чехову, питомцу “Осколков” и “Пб. газеты”, — только тогда, когда он появился, как постоянный фельетонист, в “Новом Времени” Только здесь, — и, м<ожет> б<ыть>, не без подсказки Суворина, — Розанов нашел форму, какой ему недоставало, — форму сжатого фельетона, маленькой статьи, освобожденной от громоздкой артиллерии мысли первых работ» (PRO, 2, 93). Ключевой личностью в судьбе обоих стал А.С. Суворин — и эту связь заметили уже современники. «Как некогда Чехову — он протянул руку помощи Розанову, не забываясь, насколько Розанов “новременец”», — отметил З.Н. Гиппиус (PRO, 1, 148–149); Д.А. Лутохин вспоминал: «Понимал и любил его один старик Суворин, так же отогревший и Розанова, изнывавшего в провинции в бедности и не на любимом деле, как в свое время пригрел Чехова» (PRO, 1, 194). Первое скрытое упоминание Ч. о Р. находим в «Записях на отдельных листах», представляющих собой подготовительные материалы к «Рассказу неизвестного человека» (1893). Ч. противопоставляет шумихе «интеллигентских кружков» скрытое «кипение жизни» в народе: «Великие события застанут нас врасплох, как спящих дев, и вы увидите, что купец Сидоров и какой-нибудь учитель уездного училища из Ельца, видящие и знающие больше, чем мы, отбросят нас на самый задний план, потому что сделают больше, чем все мы вместе взятые» (Чехов А.П. ПССП: В 30 т. Соч. в 18 т. М., 1987. Т. 17. С. 195). Возможно, Ч. мог знать брошюру Р. «Место христианства в истории», в подзаголовке которой сказано, что это речь, прочитанная в Елецкой гимназии 1 октября 1888. О философском труде Р. «О понимании» Ч. мог узнать из рецензий на эту книгу В. Буренина (НВ. 1888. 20 мая) и Н. Страхова (ЖМНП. 1889. № 9). Позиция Ч. близка восприятию этого труда А.Н. Майковым, который выразил пожелание сказать министру народного просвещения И.Д. Делянову, «что у него профессора философии учат географии елецких юношей, а в университете читают философию учителя географии из уездных училищ» (Л.А. Кусков — В.В. Розанову. 1888. 26 февр. // Москва. 1992. № 1. С. 112). Первое прямое упоминание Ч. о Р. в письме к А.С. Суворину 20 мая 1897 носит негативную оценку. Характеризуя нового сотрудника «Нового Времени» Н.А. Энгельгардта, Ч. пишет: «Принадлежит он к той же категории, что и Розанов, — так сказать, по тембру дарования. У этой категории нет определенного мирозерцания, есть лишь громадное, расплывшееся донельзя самолюбие и есть ненавистничество болезненное, скрываемое глубоко под спудом души, похожее на тяжелую могильную плиту, покрытую мохом» (Чехов А.П. ПССП: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1978. Т. 6. С. 360). Первое «отношение» Р. к Ч. — в письме Р. к П.П. Перцову (1896. Дек.), в котором он противопоставляет христианское представление о своей «литературе» как «вечном плаче» «о рае потерянном, гнев на юдоль холодную и бесприютную, на “внешнее место”, куда мы изгнаны»: «Я не люблю Мережковского, Чехова (откуда о нем Вы узнали мое отношение? я ничего не писал?), Ницше: они

воспели это “внешнее место”, они едят в нем колбасу и зернистую икру в январе месяце, и думают, что это все, что нужно человеку...» (СОЧ, 492). В 1899 Р. случайно увидел на столе служащего «Нового Времени» К.С. Тычинкина письмо Ч. к нему и попросил прочесть письмо, о чем он написал Ч.: «Простота тона Вашего письма-записочки так удивила меня, что я сгоряча сказал Кон. Сем. о моем нетерпеливом желании насчет монет» (МЛ, 508). Будучи нумизматом, Р. через Тычинкина просил Ч. приобрести для него в Ялте древнегреческие монеты. Почувствовав неловкость просьбы «через третье лицо», Р. в марте 1899 пишет Ч. объяснительное письмо. При этом он как редактор литературных приложений «Торгово-Промышленной Газеты» обращается к Ч. и «с более важною просьбою» дать что-нибудь для печати: «Ваше произведение было бы нам крайне дорого» (МЛ, 508). В письме Р. выражает «глубокую скорбь» о болезни Ч. и чисто человеческую заботу о его здоровье: «Горячо, горячо желаю Вам сил, не как уже писателю, но “как брату моему” в обще-“человеческих немошах”» (МЛ, 508). В ответном письме от 30 марта 1899 Ч. обещает исполнить просьбу Р. насчет монет: «То, что нужно, исполню с большим удовольствием, только напишите поподробнее, какие монеты Вам нужны» (Чехов А.П. ПССП: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1980. Т. 8. С. 140). На вторую просьбу Ч. отвечает, что сейчас прислать ничего не может: «Начну опять писать и тогда, буде что напишется, сообщу Вам» (там же). В письме Ч. упоминает о М. Горьком, с которым они часто говорят о Р., в частности, о его фельетоне «насчет плотской любви и брака» (там же). Ч. имел в виду статью Р. «Кроткий демонизм» (НВ. 1897. 19 нояб.), вошедшую позже в сборник Р. «Религия и культура». В этой статье Р. полемизировал с М.О. Меньшиковым («О суевериях и правде любви» // Книжки Неделю. 1897. № 9–11), который проводил, по его мнению, нигилистическую тенденцию «Крейцеровой сонаты» Л.Н. Толстого, воспринимая плотскую любовь как грех. Р. же выступал за единство любви, считая, что деление любви на «земную» (плотскую) и «небесную» (духовную) порочно на «корне, и предлагал новую точку зрения на плотскую любовь «как радостный долг и вместе невыразимое счастье бытия, исполненное таинственного содержания и религиозной высоты» (РФК, 159). В реабилитации плоти в своем эссе Р. основывался на Ветхом Завете (на «Книге Руфь», за которую он «отдал бы всю нашу литературу») (ЛИ, 187). Называя статью Р. «превосходной», Ч. особо отметил «чрезвычайную поэтичность и выразительность» этих ветхозаветных ссылок (Чехов А.П. ПССП: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1980. Т. 8. С. 140–141, 463). В ответ на чеховское письмо Р. 8 мая 1899 посылает Ч. «на добрую память от автора» свою новую книгу «Литературные очерки» с дарственной надписью: «Спасибо Вам за милое и прекрасное письмо, дай Бог здоровья и поправления. Простите, что не ответил: тысяча причин, из коих недостаток времени сосредоточиться такой, как бы не было чернил в чернильнице, т.е. столь же непереступаемый» (Там же, 463). При этом Р. упоминает и М. Горького: «Хотел бы Вашему приятелю послать “Религию культуры”, где объяснена моя точка зрения на пол, да ни одного экземпляра не осталось. Подавай Бог ему успеха, да надо держать себя в руках. Это величайшая тайна жить, работать и успе-

вать» (там же). Спустя 17 лет, делая копию с письма Ч., Р. сожалеет о том, что их возможная дружба не состоялась по его вине — по роковому, неизбежному отталкиванию от «значительного» («не любил сближаться с значительными» — как это было с ним в случае с *К.Н. Леонтьевым* и с *Л.Н. Толстым*): «Он ясно (в письме) звал меня, подзывал. На письмо, очень милое, я не ответил. Даже свинство» (ПЛ, 53). Р. объясняет это отталкивание также тем, что из произведений Ч. читал в то время только «*Дуэль*» (1891), а таких вещей, как «*Бабь*» (1891), «*Душечка*» (1899), не знал. В «*Дуэли*» же на Р. произвели отвратительное впечатление «фанфарон», «резонер пошлейший», «умственный хвостун» фон Корен и отвратительная *пошлость* «купающейся перед проезжавшими на лодке *мужчинами*» Надежды Федоровны (ПЛ, 53). В 1899 Р. впервые пишет о Ч. в статье «*Культура и деревня*», воспринимая его *творчество* как «городские писания на народные *темы*» (ТПГ 1899. 18 июля). Р. пытается оправдать мрачность чеховской деревни, контрастирующую со светлыми «деревенскими изображениями» *И.С. Тургенева* и *Л.Н. Толстого*: «Антон Чехов написал “мужиков”; мрачно изобразил их: но пошлите его в деревню, и ни одного дня он не отнесется к ним с тою сухостью и деревянностью практического воздействия, какие должны были бы вытекать из его мрачной живописи. Т.е. самая живопись эта есть “именно расплывшееся в душе автора городское (чернильное) пятно, городская скорбь и печаль”; но — как и все русское — он так любит деревню и мужика, что эту скорбь и печаль понес в деревню, перенес на мужика» (ВДЯ, 53). В статье 1906 Р. воспринимает повесть Ч. «*Мужики*» наряду с произведениями *Н.В. Гоголя*, *М.Е. Щедрина*, *А.Н. Островского*, *А.С. Грибоедова* как «перекос» Руси, со всеми «ее потрохами» в *русской литературе*: «Антон Чехов написал “Мужиков” и даже “возлюбленного мужика” нашел, а найдя, и написал — “зверем”» (ОНД, 9). «Мужикам» Ч., «Власти тьмы» *Л.Н. Толстого* Р. противопоставил «*Талмуд*» как «сплошную заботу об *евреях* их великих древних учителей» (ОЦС, 141). В 1900 Р. констатирует, что «счастливый период нашей литературы» X–XIX вв. завершается творчеством Ч.: «Литература в смысле умственно-художественного *прогресса*, в смысле индивидуального созидания» «кончается художественными бытовыми миниатюрами Чехова» (*Думы и впечатления* // НВ. 1900. 2 апр.). В 1901, прочитав статью Р. *Религиозно-философские собрания* (НВ. 1901. 9 дек.), в которой был назван и В.С. Мирянов, Ч. пишет ему письмо, в котором личность Р. оценивается в свете разрыва отношений Ч. с «Новым Временем» и А.С. Сувориным и принципиально отрицательным отношением Ч. к публичному обсуждению религиозных проблем: «Читал в “Новом Времени” статью *городового* Розанова, из которой между прочим узнал о Вашей новой деятельности. Если бы Вы знали, голубчик мой, как я был огорчен! <...> Что у Вас, у хорошего, прямого человека, что у Вас общего с Розановым, с превыспренно хитрейшим *Сергием*, наконец с сытейшим Мережковским?» (Чехов А.П. Письма. Т. 10. С. 141–142, 414). Это отношение Ч. проявилось и в восприятии изданий «новых людей». О первом номере журнала «*Новый Путь*» писатель отозвался следующим образом: «Я полагал раньше, что религиозно-философское общество серьезнее и глубже» (письмо

А.С. Суворину. 14 янв. 1903 // Чехов А.П. Письма: В Т. 11. С. 125). Журнал «*Мир Искусства*», в котором печатался Р., произвел на Ч. «тоже совсем наивное впечатление»: «точно сердитые *гимназисты* пишут» (письмо О.Л. Книппер-Чеховой. 1 и 2 февр. 1903 // Чехов А.П. Письма: Т. 11. С. 139, 450). В 1902 в письме В.С. Мирянову Ч. советует прочесть фельетон Р. о *Н.А. Некрасове* («25-летие кончины Некрасова» // НВ. 1902. 24 дек.), которому он дает высокую оценку: «Давно, давно уже не читал ничего подобного, ничего такого талантливого, широкого и благодушного, и умного» (Чехов А.П. Письма: Т. 11. С. 108). Ч. оказалась близка розановская оценка эпохи шестидесятых годов как «творческих, зачинающих», «Петровских по свежести» дней (ОПП, 112) и того места, которое в ней занимает Некрасов: «*Голос страны*» (ОПП, 109). Близость розановского восприятия Некрасова позиции Ч. проявилась в ответе последнего на анкету «Отжил ли Некрасов?» (14–22 декабря 1902): «Я очень люблю Некрасова, уважаю его, ставлю высоко, и если говорить об ошибках, то почему-то ни одному русскому поэту я так охотно не прощаю ошибок, как ему. Долго ли он еще будет жить, решить не берусь, но думаю, что долго, на наш век хватит; во всяком случае, о том, что он уже отжил или устарел, не может быть и речи» (Чехов А.П. Соч.: В 18 т. М., 1987. Т. 16. С. 273). 17 января 1904 Ч. получил поздравительную телеграмму от «мирискусников», среди которых стояло и имя Р. В письме от 3 июня 1904 Суворин упрекает Р. за то, что он как литературный критик не прочитал сборник «*Знание*», где напечатан «*Вишневый сад*» (ПВ, 317). Вняв настойчивости редактора, за полмесяца до *смерти* Ч. Р. написал рецензию на «*Вишневый сад*», — свое первое эссе, посвященное Ч. («Литературные новинки» // НВ. 1904. 16 июня). Последняя пьеса Ч. дает Р. повод для историко-культурных размышлений о судьбе *России*, которые по-новому освещают и чеховское произведение. По Р., европейская *цивилизация* («*быт*, жизнь, экономика») возникла в результате «колоссального реформационного движения», которое и дало ей смысловые, ценностные основания. Такие христианские основания в меньшей степени присутствуют в русской истории и культуре, так как в ней было мало исторических катаклизмов и религиозных движений, что обусловило бессилие русской культуры. Русская литература — «гнев на вялый цвет *кожи*, когда вопрос не в ней, а в нервах» (ОПП, 169). Р. почувствовал в чеховских героях отсутствие цели, смысла, стержня, внутреннего ядра, и отсюда — разрушение всей жизни: «Для чего любовь, мысли, быт, нравы, деньги, — всем этим людям?» (ОПП, 166). Р. ставит Ч. в ряд «глубокой лирики от скуки, ничегонеделания и тоски (*Лермонтов*, Гоголь, Тургенев) и *сатиры*, раздражения (начиная с Гоголя)» (ОПП, 169). Р. делает вывод о «*Вишневом саде*» как «прекрасной, но бессильной живописи»: «Грустное произведение; но сколько уже их есть в русской литературе, безмерной яркости, силы и *красоты*. Ударяли они (начиная от “*Горя*” Грибоедовского) по русской впечатлительности: и рванется русская душа от *стыда* за себя (вечный мотив), но рвануться ей некуда, *солнца нет*» (ОПП, 169). В эссе на смерть Ч. «*Писатель-художник и партия*» (НВ. 1904. 21 июля) Р. ставит Ч. «сейчас за Толстым» (ОПП, 175).

Потеря Ч. ощущается особенно остро на фоне отсутствия в культуре крупных талантов: «В этом безвременье, на этом безлюдье — целой эпохи, всей цивилизации — Чехов стоял вовсе не гигантскою фигурою, как о нем посмертно “записали”, без такта, перья, но благородным, вдумчивым, талантливим лицом» (ОПП, 176). По сравнению с титаническим творчеством Гоголя, Толстого, Достоевского, Ч. — талант второго порядка, но который «умом и тонкостью натуры стоял выше своего, в сущности очень грубого, времени» (ОПП, 176). После прочтения воспоминаний В. Дорошевича о Ч. (РС. 1904. 3 июля) Р. ставит проблему взаимоотношений Ч. и политики. Тенденциозность, политизированность русской журналистики в отношении к литературе, проявившиеся в обидном для Ч. обвинении А.М. Скабичевского, Н.К. Михайловского в безыделиности, беспринципности, ставит Ч.-«мыслителя», «лирика» перед дилеммой: «Или пой свои песни свободно — но их никто не услышит; или ты будешь услышан: но пой песни по нашим нотам» (ОПП, 180). Именно этим, вслед за Дорошевичем, Р. объясняет поездку Ч. на Сахалин: «Чехов, конечно, не без причины начал через несколько месяцев печатать свой Сахалин в том самом журнале, где, всего за несколько месяцев, о нем писалась критика, которой он “не мог забыть 20 лет”» (ОПП, 180). На фоне либеральной традиции в русской литературе, оппозиционного стереотипа о русском писателе Ч. резко отличается своей независимостью: «И когда он просто есть русский писатель, даже без всего “правого” в себе, — на него накидываются как на чему-то изменника. Чему и почему? Это даже не столько трагично, только водевильно. Этот водевиль был разыгран с Чеховым. Но не удалось» (СХР, 243). В эссе, посвященном 55-летию литературной деятельности Л. Толстого «На закате дней» (1907), Р. ставит имя «нашего Чехова» в один ряд с Гюго, Диккенсом, Теккереем, В. Скоттом, «нашим Гончаровым и Тургеневым», которые, будучи в зависимости от цивилизации, лишь отразили ее. В этом же эссе Р. анализирует неудавшуюся Ч. попытку написать «большой роман», «переступить формы очерка, эскиза»: «Он говаривал, что настоящий художник слова, которому жить и жить в будущем, начинается только с романа, как большого цельного произведения, где представлена была бы жизнь человека, а не день этой жизни, представлена была бы фаза общественного развития, выволилась бы толпа, сословие, а не рассказывался, — пусть и мастерски, — случай из жизни чиновника, купца, помещика» (ОПП, 231). Р. спорит с Ч., приводя в пример «Записки охотника» И.С. Тургенева, все произведения самого Ч., В.М. Гаршина, которые «не будут выведены из пантеона русской словесности только за свою краткость»: «Таким образом, суждение Чехова не было правильно. Но он верил в него; мучился, что не может написать романа; и... не написал. Отчего? <...> великий дар большой концепции, вот на несколько сот страниц, на несколько томов, — вообще пропал в наше время; страшимся сказать: умер, как вымерли допотопные формы ихтиозавров и плезиозавров» (ОПП, 231). По воспоминаниям А.М. Ремизова, Р. «с сокрушением» говорил, что не может написать рассказов, «как у Горького или у Чехова — у аккуратнейшего “без сучка и задоринки” Чехова, которым упиваются сейчас англичане, а это что-

нибудь да значит!» (PRO, 2, 354). При этом Ремизов противопоставляет розановское «вяканье» и «юродство» литературному стилю Ч.: «Розанов — форму чеховского рассказа? — да никак не уложишь, и не надо. Их синтаксис — “письменный”, “грамматический”, а Ваш и Аввакума — “живой”, “изустный”, “мимический”» (PRO, 2, 354–355). В 1908, размышляя о значимости университета не только как «царства наук», но и как «традиционного быта», Р. упоминает Ч. наряду с Толстым, Пироговым, Гаршиным: «Ведь в университете были и Чехов, и Гаршин. Едва ли очень были прилежны. Они были в университете не так давно, уже “в наше печальное время”» (ВНС, 237). В эссе «Вопросы русского труда (Опыт ответа преосвященному Никону)» (НВ. 1909. 26–27 марта) Р. рассматривает «Вишневый сад» Ч. в духе «Протестантской этики и духа капитализма» (1905) М. Вебера: протестантизм выработал культ труда, а католичество и православие — «“разваливающийся” быт, поэтическое ничегонеделание, моральную безответственность, жизнь порочную и молитвенную...» (СМР, 102). В «Вишневом саду», особенно в образе Пети Трофимова, Р. видит проявление этой историко-культурной «органической связи» православия с феноменом русской лени: «Помните студента, шесть лет сидящего в университете и, по-видимому, не собирающегося кончать курса <...> он до того ленив и ни к чему не способен, что даже не может найти своих резиновых калош, и ему их отыскивает и бросает в прихожую барышня. Да в “Вишневом саду” и все валяются на бок: тут уже не 8 на десять ленивцев, а все десять — ленивы, стары, убоги и никому не нужны. Но и весь “Вишневый сад” поэтичен; а этот студент — прямо мил. Почему? Что это? Какая-то начинающаяся Корея, “страна утренней тишины и спокойствия”? Или вторая Испания, до вторжения в нее французов и англичан: страна красивых, нищих и поэтических бродяг?..» (там же). В эссе «А.П. Чехов» (1910) Р. затрагивает семейную проблематику в творчестве Ч., которая волновала Р. как исследователя вопроса: Рассказ «Бабы» «должен быть введен целиком в “Историю русской семьи”, в “Историю русского быта”, “В историю русской женщины”» (ОПП, 478). Анализируя рассказы «Бабы» и «Мужики», Р. в русле своей философии раскрывает основные установки сознания современной «евангельской» цивилизации, которые приводят к семейной трагедии. Ч., по Р., разрушил народнические иллюзии интеллигенции: «Мужики» повторяли «Власть тьмы» Толстого, «но у Толстого это было сказано как бы для “христианского примера”, а у Чехова без “примера” сказано, а так, просто, что вот “есть”» (ОПП, 480). Р. невольно соотносит рассказы «Бабы», «Мужики» с Книгой Иова как библейской традицией литературы страдания, трагедии. Со слов человека, «горячо любившего» его, Р. раскрывает Ч. как личность, которую интересует «смерть человека, индивидуума <...> цивилизации, общества, фазиса культуры и истории» (ОПП, 477). В итоге Р. называет Ч. «любимым писателем нашего безволия, нашего безгероизма, нашей обыденщины, нашего “средненького”» (ОПП, 482). В эссе «Наш “Антоша Чехонте”» (1910) фигура Ч. на фоне «ассирийских богов» русской классики представляется Р. «такою незначительною, обыкновенною»: «слишком “наш брат”, то же, что “мы, грешные”, — слабые, небольшие и вместе не-

дурные люди» (ЛВИ, 550). Эту особенность Р. наблюдает и в характерно-русской судьбе Ч.: «Вместо “медицины” у него вышла “литература” Как “обыкновенно у русских”...» (ЛВИ, 551). Поэтому именно Ч., по Р., выразил собирательный тип России («В Чехове Россия полюбила себя») не только в произведениях («Чехов довел до виртуозности, до *гения* обыкновенное изображение обыкновенной жизни. “Без героя” — так можно озаглавить все его сочинения и про себя добавить, не без грусти: “без героизма”» (ЛВИ, 552), но и во всей своей личности: «Тонкою иглою начертан образ тихого, изящного человека <...> от “всех” отличающийся чрезвычайным благородством рисунка, всех линий» (ЛВИ, 553). Этот феномен Ч. свидетельствует о его историческом месте в русской литературе, о том, что «мы подошли к краю, за которым начался “перевал к другому” Чехов довел нас как раз до взрыва, — поднятия большой волны» (ЛВИ, 552). «Грустная дума» и полужизненный тон Ч. внушает Р. мысль о жизни, о необходимости продолжить жизненное *Достоевского*: «“Есмь” — самое главное; “есмь” — первое. Рождаемся мы не все для варенья и яблок, но, между прочим, и для кислого существования <...> “Быть человеком” важнее, чем быть “сытым человеком” и даже “нравственным человеком”, “добрым человеком”» (ЛВИ, 554). Р. противопоставил творчество Ч. живописи *М.В. Нестерова*: «Как личное свое “я” было мало в Чехове и обессилено тем, что человеку вообще “не для чего жить”, он не знает, для чего “живет на белом свете”, и, в сущности, сочиняет рассказ, “потому что есть такой талант”, — так Нестеров “вопиет и глаголет картинами”, ибо он, в сущности, есть огромный исторический человек» (НФП, 193). После 1914 розановское понимание Ч. резко меняется: «Чехов? — ничего особенного. У меня он вот где сидит — (показал на шею). — Что Чехов? глядел на жизнь, что видел, то и записал. Очень милый писатель, понравился, стали читать. Но он холодный, и ничего особенного. Успех его понимаю, только не одобряю» (*Голлербах*, 83). Р. знал о «совершенно исключительно» «нежной любви» Суворина к Ч.: «Его любовь к Чехову как личности — и только; больше — к личности, чем к литератору, хотя он очень любил его и как литератора. Помню его встречавшим гроб Чехова в *Петербурге* <...> Чехова, в литературном мире давнем и новом, он больше всех любил» (ПВ, 263). В это время Р. оценивает Ч. в свете взаимоотношений последнего с Сувориным: «Суть и разгадка взаимных их отношений в том, что Чехов был значительно спиритуалистичнее Суворина, развитее, образованнее его (не был в универс., т.е. Суворин) и вообще имел голову “более открытую всем ветрам”, нежели Суворин, и до известной степени проникнутую большим количеством мыслей, большим числом точек зрения, чем как это было у Суворина. Проще, сжатее — был умнее Суворина. Но тут начинается страшно: Он был хитрее Суворина. И хуже его сердцем. Гораздо» (М, 135). Р. объясняет факт нежелания Ч. видиться с Сувориным влиянием, давлением на него либеральных друзей — В.А. Гольцева и *В.Г. Короленко* и видит в этом предательство: «Это предательство человека, столь его любившего (т.е. Суворин — Чехова), ужасно». Этот факт и определяет розановскую оценку: «Чехов же, — не имея отнюдь его гения и размаха (практического, в делах), — был его тоньше, обдуманнее и, увы, ловчее...» (М, 135, 134). *Чтение* в 1915

«Рассказа неизвестного человека» (1893) Ч. вызывает у Р. мысли о том, что русская литература (С.М. Степняк-Кравчинский, Н.Н. Брешко-Брешковский) участвует в одурманивании *молодежи* «фимиамом *революции*», с целью использовать молодежь в террористических актах: «после предварительного воспитания <...> нашпиговывает <...> такую специфическую ненавистью “к *правительству*”, что он (она) готов на рожон лезть» (М, 194–195). По Р., Ч. тоже «пошло лыстит “конспирации”» (М, 195). В записи 1916 Р. размышляет о преобладании в русской литературе либерального направления «левой партии» над славянофильским: «Если бы Короленко был патриотом, — осмелился бы и Чехов назвать себя “*русским человеком*” С Чеховым и Короленко, наша партия решительно бы подняла голову. “Мы, русские, тоже не сопляки» (ПЛ, 124). Последнее эссе Р. о Ч. «Письма А.П. Чехова» (К. 1916. 19 мая) представляет собой отзыв на книгу «Письма А.П. Чехова» (Под ред. М.П. Чеховой. М., 1916. Т. 6). Для Р. эти письма важны как самое объективное «разъяснение личности усопшего любимца русского общества» (ВЧВ, 207). Р. пытается разгадать феномен Ч. и понимает его «огромную и исключительную популярность» как популярность писателя, выражающую взгляды интеллигентского общества. Свообразие Ч. раскрывается через сопоставление с Тургеневым, Гончаровым, *Лисемским*, со слишком гениальными Достоевским и Толстым («не как все», читатель чувствует их вне «себя», не с «собой»), со слишком партийными и политическими Короленко и Горьким: «Только Чехов, именно Чехов один, был “со всеми” и “как все”, но — в идеализированной форме. <...> “Человек своей эпохи”...» (ВЧВ, 208). Ч. представляет собой новый тип писателя без «огромной программы»: «чеховское лицо <...> кажется именно читательским лицом, а не писательским лицом <...> слушающим, а даже не говорящим; слушающим — “что говорят все”, и слушатель этот — умный, наблюдательный, но немного безвольный и даже немного равнодушный <...> слишком приватный человек или слишком бессильный, — может быть, отчасти и ленивый, отчасти и индифферентный, — и от этого не очень вникает в тему, с мыслью: “Э, все темы — пройдут, а люди все-таки останутся”» (ВЧВ, 208–209). Одну из причин популярности писателя Р. видел в отсутствии у него всего «метафизического, мистического и религиозного». Письма писателя — лишь «литературная корреспонденция», в которой нет философских, религиозных и исторических тем — «проклятых вопросов», «неразрешимых вопросов». Еще одна причина популярности Ч. — «идеализм», интеллигентское «устремление “вдаль” и “куда-то”» (ВЧВ, 208). «На всех письмах его лежит отсвет необязательной мечты; мечты, из которой, правда, ничего не выходит, но которая все-таки есть мечта» (ВЧВ, 210). В итоге Р. делает вывод о литературности чеховских писем: «Красота бессилия — вот что нам дал Чехов, что он, в сущности, всю жизнь рисовал. Красота без стрелы, без *боли*, медленно потухающая <...> Чехов рисует в сущности везде “мертвую Русь”, которая под дуновением его живительного таланта еще вспыхивает <...> Но русский человек, русский пейзаж, русская судьба — ему всегда милы. Хочется сказать упрек: Чехов успокаивает человека на малом» (ВЧВ, 211).

ЧЕШИХИН-ВЕТРИНСКИЙ Василий Евграфович [наст. фам. Чешихин; 20.12.1866 (1.1.1867), Рига — 24.10.1923, Москва] — литературовед, публицист; автор статьи «“Свой Бог” Розанова: (Страница из его автобиографии)», опубликованной в альманахе “Утренники” (ред. Д.А. Лутухин. Пб., 1922. Кн. 1). В статье Ч.-В. вспоминал, что его единственная встреча с Р. состоялась в 1909 на квартире М.О. Гершензона во время празднеств по случаю открытия памятника Н.В. Гоголю. В эти годы Ч.-В. работал над словарем писателей-нижегородцев и попросил Р. прислать ему автобиографию, что писатель и сделал (см. ОЖС, 707–712) через того же Гершензона (см. письмо Р. к Гершензону 10 сентября 1909 // Новый мир. 1991. № 3. С. 225). Публикуя эту автобиографию Р. (помеченную 22 июля 1909) в альманахе, Ч.-В. предварил ее своим впечатлением: «Она не велика, содержит кое-какие известные внешние данные, но содержит любопытнейшую исповедь В.В. о своем отношении к Божеству <...> Несколько раз домогались у меня огласить ее, и покойный С.А. Венгеров и еще кое-кто. Но мне казалось какой-то профанацией опубликовать страничку, казавшуюся настоящей исповедью сердца, при жизни самого В.В., хотя он и написал ее для словаря, как бы для публикации» (с. 77).

О.В. Быстрова

ЧУКОВСКИЙ Корней Иванович [наст. фам. и имя Корнейчуков Николай Васильевич; отец Левенсон Николай Эммануилович; 19(31).3.1882, Петербург — 28.10.1969, Кунцево, Москва] — детский писатель, критик, литературовед. Ч. познакомился с Р. зимой 1906. Тогда же в дневнике Ч. встречается первая характеристика Р.: «Он “мечтатель”, “визионер”, самодум, “человек из подполья” Недаром у него были статьи “В своем углу” Вся сила Р-ва в том, что он никого и ничего не умеет слушать, никого и ничего не умеет понять. Ему объясняли, он не слушал и выдумывал свое <...> Отсюда та странная (вечная и Розанова) смесь хлестаковской поверхности с глубинами Достоевского — не будь у Розанова Хлестакова, не было бы и Достоевского» («Дневник 1901–1929». М., 1991. С. 28). В «Открытом письме В.В. Розанову» (Речь. 1910. 24 окт.), опираясь на книгу Р. «Когда начальство ушло...», Ч. задает риторические вопросы, как же на самом деле относится Р. к революции, самодержавию, и сам же отвечает в конце письма: «Вам все — “все равно”: быть ли со Христом или против Христа, любить ли Его или ненавидеть — не здесь Ваша святыня, не здесь молитва. Святыня Ваша — “чресла”: ей Вы не изменяли никогда, а на все остальное “наплевать»» (Собр. соч.: В 15 т. М., 2003. Т. 7. С. 178). Р. ответил Ч. на его «Открытое письмо» в статье «Литературные и политические афоризмы» (НВ. 1910. 25, 28 нояб. и 9 дек.): «Чуковский и Струве пишут о моем “холоде” и “цинизме”, равнодушный “ко всякой истине”...» (ЗРП, 423). В том же 1910 Р. написал другую статью о Ч. — «Единое стадо» и неугомонный волк» (НВ. 18 июня): «Чуковский (как мы видели все это на лекциях) страшно молод; юноша, даже без бороды, чуть-чуть с усиками... И, как все юноши, страшно самоуверен, дерзко самоуверен <...> И он полетел каким-то камнем и стал бить старые горшки... не взвесив, сколько стоило труда установить их и даже еще раньше — сотворить эти глиняные горшки...» (ЗРП, 215). «Он как будто тешится в ли-

тературе, тешится с огромным чувством “сегодня” и “разбивает горшки” с чисто детской радостью. Но это — глубоко антикультурная, антисозидательная работа» (ЗРП, 216). Р. посвятил Ч. статью “Богатый и убогий” (НВ. 1911. 22 марта): «Пишет превосходно, а впечатления нет. Уж много лет пишет, а никак не скажешь: “Вот какую мысль проводит этот писатель”» (ТПРН, 53). В ответ Ч. выступил с критической репликой «О мелочах» (Речь. 1911. 27 апр.; Собр. соч. Т. 7). Р. написал две рецензии (10 и 13 авг. 1915) на книгу Ч. об Уитмене. В статье «Еще о демократии, Уитмена и Чуковского» (НВ. 1915. 13 авг.) Р. утверждает, что Ч. не убедил его, будто Уитмен действительно великий поэт: он любит все без разбора, ему все одинаково важно, а значит, по-настоящему ему никто не дорог. В дневнике Ч. за 28 апреля 1919 встречаем запись: «Прихожу к заключению, что всякий большой писатель — отчасти графоман <...> Розанов говорил мне: когда я не ем и не сплю, я пишу» («Дневник 1901–1929», 111). В библиографическом справочнике И. Владиславлева «Русские писатели» (Л., 1924) в конце списка книг Ч. находим запись: «В.В. Розанов (печ.)» (с. 303). Нам неизвестна судьба этой рукописи. В ноябре 1932 Ч. уже убеждал Э. Голлербаха бросить заниматься Р.: «Забудьте Вы о Роз., погубит Вас этот несчастный реакционер» (Голлербах Э. Встречи и впечатления. СПб., 1998. С. 222). Но в конце жизни Ч. снова вспомнил о Р. В кремлевской больнице за полтора года до смерти Ч. возвращается мысль к своему знакомству с Р.: «В кабинете у него висел барельеф — гипсовый портрет Ник.Ник. Стрехова. На столе был портрет Николая Яковлевича Данилевского». «Страшно хотел, чтобы Репин написал его портрет. Репин наотрез отказался: “лицо у него красное. Он весь похож на ” Узнав что Репин не напишет его портрета, Розанов в «Новом Времени» и в «Опавших листьях» стал нападать на него, на Наталию Борисовну <Нордман> и выругал мой портрет работы Репина. Но все это просто душно; при первой же встрече он сказал: “Вот какую я выкинул подлую штуку”». Там же характеристика В.Д. Розановой: «Как В.В. Розанов любил свою Варвару! Здесь была его святыня — эта женщина с неприятным хриплым голосом, со злыми глазами, деспотка. Ее слово было для него — закон Меня она терпеть не могла. Не выносила, насколько я помню, и Бердяева. “Фальшивые люди! — говорила она”» («Дневник 1930–1969», М., 1994. С. 404). В статье «Обидчик и обиженные» (НВ. 1909. 3 окт.; СМР) Р. дает портрет Ч. как настоящего литературного диктатора: «Литераторы стали очень бояться Чуковского. “До кого-то теперь дойдет очередь?” Все ежась и избегают быть “замеченными” умным, зорким критиком: “Пронеси мимо” Но Чуковский зорко высматривает ежащихся». «Глаз его вооружен какой-то сильной лупой, и через нее он замечает смешные качества в писателях, раньше безупречных» (СМР, 312). Но уже в 1913 в «Сахарне» Р. отмечает: «Удивительно, Чуковский почти исчез. Почему? Нет мыслей, нет пафоса. Как известно, он не чистой крови. И, должно быть, родители его были в ссоре. Потому насколько он “в отца” — не любит мать, а насколько “в мать” — не любит отца. Чем же тут любить Россию, человека и человечество. И он замолк. Т.к. фальшивых слов не допускает ставить вкус» (СХР, 163–164). Тем не менее во втором коробе «Опавших листьев» находим вы-

сокую оценку Ч. как критика: «Ч. был единственным, кто угадал (точнее — сумел назвать) “состав костей” во мне, натуру, кровь, темперамент. Некоторые из его определенных — поразительны» (У, 303). Р. здесь имеет в виду вышеупомянутое «Открытое письмо В.В. Розанову», в ответ на которое Р. писал: «Я мог бы уличить вечного юду Чуковского, который по смерти Толстого писал мне: “Противно мне все, что делается около гроба Толстого, брожу по лесу и реву: хотел бы видеть вас и только одного вас”, а теперь, 1 января <1911>, напечатал (в предположении “окончательной победы” социал-демократии), что “Азеф”, и одной рукой *душу* то самое, что другою глазу по голове”, что я “отец идейного хулиганства в России...” Все это я мог бы разоблачить... Но, господа, какая скука таскаться по судам!» (ТПРН, 19–20).

С.Б. Джимбинов

ЧУЛКОВ **Георгий Иванович** [20.1(1.2).1879, Москва — 1.1.1939, Москва] — писатель, критик, историк литературы. В 1904 — секретарь журнала «Новый Путь». В журнале «Вопросы Жизни» Ч. занимался подготовкой к печати писем Вл. Соловьёва к Р. В письме к Р. от 4 сентября 1905 он сообщал: «Моя сестра передала Вам пакет с письмами Соловьёва и с копиями их. Подлинники Вы, вероятно, пожелаете оставить у себя: в таком случае присоедините Ваши примечания к тексту, переписанному на машине, проверив его. Как быть с отсутствием знаков препинания у Соловьёва? В гранках еще раз пришлю Вам письма Соловьёва и примечания Ваши для корректуры» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 76. Л. 2). Спустя почти четверть века в письме от 3 января 1929, адресованном историку литературы Д.Е. Максимову, Ч. объяснил уход Р. из «Вопросов Жизни»: «Могу сказать только, что новая редакция боялась его как сотрудника “Нового Времени”, хотя и очень ценила его дарование. Ничего личного не было. К сожалению, Розанов приписал мне свое изгнание из редакции» (РО РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 44. Л. 3). Р. откликнулся на роман Ч. «Сатана» (1914) рецензией «Двое Безпятых, критик и беллетрист» (НВ. 1914. 18 июня). Объектом резких выпадов рецензента стал не только новый роман Ч., но и отзыв о нем профессора Варшавского университета И. Игнатова, опубликованный в газете «Русские Ведомости» (РВ. 7 июля 1914.). Р. писал, что Ч. создал произведение «отчасти в параллель и отчасти в противоположение “Бесам” Достоевского». Как и «Бесы», «Сатана» — «роман из жизни тоже революционного движения, но консервативно-революционного, “черносотенного”» (НФП, 326). По мнению Р., Ч. взялся за тему, знания которой был лишен: «Георгия Чулкова мы все знаем. Когда-то секретарь “Нового Пути”, и тогда он был декадентом с Мережковскими, “искал Бога” и не находил, а может быть, — “нашел” Его. У них “нашел” похоже на “не нашел”, а “не нашел” похоже на “нашел” В редакциях все похоже на все. Теперь, что же он пишет о революции? Революцию он видал в Петербурге. Как раз был именно в Петербурге в те дни. Но контрреволюцию, — откуда он узнал ее? Вот это-то и непонятно» (НФП, 330). Рецензент негодовал по поводу того, что беллетрист «нашел сто процентов мошенников у людей, которые выступили на борьбу “с красною революциею”» (НФП, 329), что в «Сатане» из людей порочных и корыстных

состоял весь правый фланг революционного движения. Р. был убежден в том, что Ч. пошел на поводу у «улицы», транслировал лишь то, что «улица несет» (там же), повторяя вслед за нею «общераспространенные понятия» — расхожие представления — о русских патриотах. Р. считал, что Ч. лишь переделал «в целый роман» «наивные и однообразные корреспонденции» о деятельности Почаевской лавры и архимандрита Виталия, опубликованные в 1906 в тех же «Русских Ведомостях». Р. полагал, что Ч. и ему подобных писателей радикально-политического направления нельзя было уличить в плагиате, ибо они крали откровенно: «Как можно сказать “украл”, когда он “прямо взял”». (НФП, 327). Так, Ч., не таясь, написал «под Достоевского, в его манере, с его заглавием, даже с его братьями». Рецензент уподоблял Ч. Хлестакову, который, как известно, писал «в манере Пушкина, и кроме того, сочинил “Юрия Милославского”» (НФП, 331). Воспользовавшись замечанием И. Игнатова о том, что Ч. «даже действующих лиц расслоил в “братьев”, имитируя “Братьев Карамазовых”», Р. назвал «братьями Безпятых» петербургского писателя Ч. и его варшавского критика Игнатова. В них он увидел мошенников, которые, не считаясь с законами эстетики и правилами «высокого несения ученой службы на окраине России» (там же), по единственной «базарной» причине стремятся угодить толпе, очерняя тех, кто хранит верность России. Ч. сделал Р. прототипом одного из героев романа «Метель» (1917), Филиппа Ефимовича Сусликова, человека «с ужимками обезьяны». В его портрете утрированы характерные приметы внешнего облика Р. («рыжие вихры», «такая же красная растительность», «кустиком» торчавшая на подбородке и над верхней губой). Заметно шаржирован в герое Ч. интерес Р. к проблемам пола. У Сусликова этот интерес выражался в чрезмерной сексуальной активности и внимании к сексуальным аномалиям. Питая повышенную склонность к рассуждениям на темы пола, Сусликов прельщался разного рода отклонениями от нормы. Сусликовская философия любви сводилась, во-первых, к неприятию христианства, во-вторых, к культуре «спаленки»: в ней он находил «вечность и бесконечность, и самое бессмертие» (Чулков Г.И. Валтасарово царство. М., 1998. С. 93). В книге «Годы странствий» (М., 1930), вспоминая о Р., Ч. не скрывал своей антипатии к нему: «Центром внимания в доме Мережковских нередко был В.В. Розанов, впоследствии ими изгнанный из Религиозно-философского общества за политические убеждения и юдофобство. А в то время Мережковский, провозгласивший Розанова гением, увивался вокруг него, восхищаясь каждым его парадоксом. Я помню, в тот вечер, когда я в первый раз увидел у Мережковских Розанова, этот лукавый мистик порастил меня своею откровенностью. В ответ на вопрос Мережковского: “Кто же, по-вашему, был Христос?” — Розанов, трясая коленкой и пуская слюну, просюсюкал: “Что же, сами догадайтесь! От него ведь пошли все скорби и печали. Значит, дух тьмы...”» (Чулков Г.И. Годы странствий. М., 1999. С. 148). Т.В. Розанова вспоминала: «До революции Чулковы жили в Царском Селе, они редко и очень официально бывали у нас по воскресным вечерам в Петербурге. Отец их не очень любил, так как расходился с Чулковым во взглядах» (ТР, 150).

Т.Н. Фоминых



ШАВЕЛЬСКИЙ **Георгий Иванович** (6(18).1.1871, Витебская губ. — 1951, София, Болгария) — *священник* Суворовской Кончанской церкви при Николаевской Академии генштаба (с 1902), в 1904 главный полевой священник 1-й Маньчжурской армии, с 25 апреля 1911, по благословию умирающего *Е.П. Аквилонова* и назначению *Синодом*, протопресвитер Русской армии и флота, в 1918–1920 протопресвитер Добровольческой армии. Эмигрировал в 1920. 27 марта 1909 направил *Р. письмо* с обсуждением его статьи «Вопросы русского труда (Опыт ответа преосвященному *Никону*)» (НВ. 27 марта 1909). Основным в розановской публикации был призыв к благословию роста изобилия в мирской жизни, а также утверждение, что «труд вовсе не православная стихия» (СМР, 105). Ш. возражал в письме, что журналист «недостатки отдельных лиц сваливает на идею, которой эти лица служат» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4212. Ед. хр. 50. Л. 2). «Очевидно, Вы никогда не бываете в церкви, — утверждал Ш., — если никогда не слышали проповеди о труде. Я 14 лет священствую и беспрестанно сначала в деревне звал, а теперь в столице зову своих слушателей к неустанному, заповеданному Господом труду» (Там же. Л. 2–3). К письму Ш. приложил несколько своих статей, помещенных в «Сельском Вестнике», в котором он сотрудничал с сентября 1908. Патриотическому служению протопресвитера русской армии и флота *Р.* посвятил статью «Русский священник на войне» (НВ. 1913. 22 янв.; НФП) о книге: Шавельский Г.И. Служение священника на войне. (Из наблюдений участника русско-японской войны).

А.В. Ломоносов

ШАГИНЯН **Мариэтта Сергеевна** [21.3(24).1888, Москва — 20.3.1982, там же] — поэтесса, прозаик, литературовед, мемуарист. В 1913 появился второй ее сборник стихов — «Orientalia», на который *Р.* откликнулся рецензией в газете «Новое Время» от 24 марта 1913: «В русскую литературу влилась и вливается пока еще тоненькая струйка армянского ума и сердца, которую нельзя не приветствовать особенно потому, что она умиряет и сглаживает рознь, какую вводит политика», — так начинается рецензия. «Стихи очень хороши, очень изящны, очень литературны. И видно, что черная головка юной армянки прилежно и не без таланта склонялась над “арифметиками”, “законами божими” и прочими премудростями где-нибудь в Нахичеванской или Таганрогской женской гимназии и, вероятно, в Москве

на “женских курсах *Герье*” “Всё наши знакомые палестины”» (НФП, 48, 49). В действительности Ш. училась в московской гимназии Л. Ржевской, а затем на курсах В. Герье и в Университете Шанявского. В заключение *Р.* цитирует самое известное стихотворение сборника — «Кто б ты ни был — заходи, прохожий» и заканчивает словами: «Что это за канальственный “чебрец” растет на Кавказе, от которого не только девы, но и стихи их становятся так душисты, что не в марте бы месяце их читать» (НФП, 51). Через полтора года в газете «Кавказское Слово» (Тифлис. 1915. 20 нояб.) появилась статья Ш. «В.В. Розанов». В ней Ш. разбирает философскую книгу *Р.* «О понимании», отмечая новое, что внес в философию *Р.* «Розанов, помимо гениальности, ни для кого не сомнительной, представляет собою огромную проблему для русской философской мысли <...> Гениальный аналитик и несравненный художник деталей, Розанов умел доказать все, за что бы ни брался. Лучшие его писания — о проблеме пола — тоже двулики; тут и ветхозаветный юдаизм с анафемой аскетизма, страницы о христианской культуре». Совсем иной портрет *Р.* дает Ш. много лет спустя в своей мемуарной книге «Человек и время» (М., 1980. С. 364–365): «Когда Лиина <сестра Ш.> в первую же зиму (конец 1909 года) приехала ко мне на Рождество, Гиппиус взяла нас обеих на какое-то важное собрание <...> Зина крепко держала нас за руки <...>. А потом вдруг заторопилась и стала тащить за собой, говоря кому-то через плечо, чтобы он “отстал и не приставал” Небольшой, похожий на гриб поганку, с губами, вытянутыми вперед червячком, с какими-то влажными, плавающими в темных дряблых веках умилными глазками, человек догонял нас и просил “познакомить с барышнями, не жадничать, Зинаида Николаевна, обязательно познакомить, как они попали сюда?” Он потряс мне и Лине руки, позвал к себе в гости, пока Зина круто не повернула в сторону от него, сказав как-то насмешливо: “Ну довольно, довольно” Неприятный человек, запомнившийся мне навсегда в каком-то влажном, слезливо-чувственном, прилипчивом виде, со свинчящими глазками, был Василий Васильевич Розанов, активнейший нововременец (сотрудник черносотенного “Нового Времени”), называемый почему-то в наших советских энциклопедиях “философом” Как ни велика наша потребность сохранить все ценное из русского прошлого, чтобы ничто не было сброшено зря в мусорную корзину, нельзя при таком коллекционировании “мыслителей” прошлого забывать учение *Ленина* о двух культурах». Да-

лее Ш. пишет: «Нам же в ту пору Розанов не казался “философом” Он был для нас политически и нравственно испачканным человеком, а писания его, при всей их оригинальности, но при постоянном уходе в чувственную мистику, в нездоровую религиозность, пахнущую чем-то непристойным, читать было тягостно. Было как-то обидно видеть, что попадавшиеся иногда его умные, подчас глубокие и верные оценки, точный критический вкус, правильные мысли, утопали, словно золотые монетки в грязи, в их нездоровой и нравственно неопрятной подаче. Чтобы их достать из грязи, надо было испачкать пальцы».

С.Б. Джимбинов

ШАЛЯПИН Федор Иванович [1(13).2.1873, Казань — 12.4.1938, Париж] — певец (высокий бас). С 1922 жил и работал за рубежом. В статье «На концерте Шаляпина» (НВ. 1913. 28 апр.) Р. вспоминал, что впервые услышал Ш. «в “Фаусте” (Мефистофель) лет восемь назад; а в завидной роли *Грозного*, — в чем так безумно хотелось посмотреть его, — так и не привелось увидеть» (СХ, 410). Посетив летом 1910 вагнеровскую оперу, Р. сравнил игру Вейдт, Задора, Куна, Гунтер-Брауна «с игрою Шаляпина» как с неким эталоном: «Я не понимал, почему это ниже. Думал и думаю, что это — равное мастерство» (ЗРП, 253). В первом коробе «*Опавших листьев*» Р. упоминает Ш., размышляя о тщеславном лакействе революционеров, социалистов: «К Шаляпину лезут даже за небольшие рубли, которые он выдает кружкам в виде “сбора с первого спектакля” (в своих турне: я слышал это от социал-демократа, все в этой партии знающего, и очень удивился)» (У, 108). 26 апреля 1913 Р. побывал на концерте «бога пения» (СХ, 410) в зале Дворянского собрания с участием пианиста Ф.Ф. Кенемана и Петербургского вокального квартета. В программе этого вечера значились: «Пророк» Н.А. Римского-Корсакова, «Менестрель» А.С. Аренского, «Узник», «Перед воеводой» А.Г. Рубинштейна, «Песня о блохе», «Семинарист», «Забытый» М.П. Мусоргского, «Старый капрал» Даргомыжского, «Ночной смотр» Глинки, «Былина об Илье Муромце», «Былина об Иване Васильевиче Грозном» С.М. Ляпунова, русские народные песни «Было у тещеньки семеро зятьев», «Вниз по матушке, по Волге» (Летопись жизни и творчества Ф.И. Шаляпина: В 2 кн. Л., 1989. Кн. 2. С. 61). Очарование «царственного пения» Ш., по Р., заключается в особой манере его пения, обращенного не «в рот публике», «для этого зала», а «где-то и как-то»: «его пение было каким-то шумом древесной листвы и ветра вверху <...> и звуки его не в зале неслись, а вверху носились и спускались в зал, которому таким образом “удалось услышать его пение” чуть не “случайно” <...> У него “верхнее пение”, которое спускается “вниз”» (СХ, 411). Р. отмечает «чрезвычайно благородный» тон голоса Ш., «слияние необыкновенной силы с грацией тона, почти слияние баса с тенором в странной индивидуальности» (там же). Р. отметил «дурной выбор» Ш. репертуара на этом концерте: «Только кое-что было хорошо: “Вниз по матушке по Волге”, да былина об Илье Муромце, да одна разбойничья песня...» (СХ, 412). Тем не менее «задушевность русского пения брала свое» (там же). Характерная черта внешности Ш., «что-то личное,

особенное и в чем “суть” — «хохолок над лбом» становится для Р. *символом* Ш.: «Глубоко природный, врожденный» «каприз, произвол» (СХ, 410); «*гений* беспорядочности, растрепанности <...> “Кок” его — талант его. Гордость, самоуверенность; “ни с кем не советуюсь” и “так хочу” <...> нужно беречься скрытой в нем лукавой силы и неверной судьбы...» (СХ, 412). Ш. для Р. не культурное, а природное явление: «“Гром с неба” или “зорька на горизонте”; <...> Прекрасный “бог” Руси, — “бог” и эллинский и былинный, — весь стройный, высокий, весь какой-то глубоко природный, не сделанный, а выросший — улыбался, был счастлив...» (там же). Ш., по Р., — феномен глубоко национальный: «Точно вышел из темного волжского леса, надел не идущий к нему фрак... но забыл о фраке, о нас, — и, положив щеку в широкую русскую ладонь, запел... И точно все волжские леса, зеленые и ласковые, запели с ним и в нем» (СХ, 413). Следующая встреча Р. с *искусством* Ш. состоялась 28 февраля 1914: Р. слушал певца в Народном доме в роли Дон Кихота в одноименной опере Ж. Массне. Р. попал на оперу благодаря В.В. Андрееву, который писал ему 27 февраля 1914: «Достал у Федора Ивановича билет для Вас на завтра, на пятницу — прилагаю. Как я рад, что Вы его увидите!..» (РГАЛИ. Ф. 249. М. 4216. № 4). В эссе, посвященном этому представлению, Р. акцентирует внимание не столько на актерском и вокальном искусстве Ш., сколько на созданный им образ Дон Кихота как «превосходный образ рыцаря, простого, чистого, немного безумного, ни на одну минуту не смешного; и в каждую минуту и во всяком движении только трогательного!» («“Дон Кихот” в Народном доме» // НВ. 1914. 4 марта). Для Р. Дон Кихот — последний символ культуры, ее заката и наступления цивилизации. Выступив в роли Дон Кихота, Ш. «очень хорошо сделал не только в художественном смысле, но и в педагогическом, воспитательном смысле»: дал «великолепное зрелище благородного и героического», «забытое рыцарство» (там же). В начале 1919 по просьбе М. Горького Ш. оказал голодающему в *Сергиевом Посаде* Р. материальную помощь. Полученные от Ш. деньги Горький передал Р. через В.Ф. Ходасевича, который вспоминал слова дочери Р. об этой помощи: «На это мы (т.е. семья из четырех душ) проживет месяца три—четыре» (Ходасевич В.Ф. Собр. соч.: В 4 т. М., 1996. Т. 2. С. 132). За материальную помощь зимой 1919 Горького благодарил Н.В. Розанов: «Ваша помощь была огромной поддержкой в эти дни» (Записки отдела рукописей. РГБ. М., 2000. Вып. 51. С. 65). В письме от марта 1919 Горький, благодаря Ш. за высланные для Р. деньги, сообщил ему о том, что Р. уже умер: «Спасибо за деньги, но В.В. Розанов умер еще 10 февраля. Я беру 2000 р. для семьи убитого в Казани инженера Буткевича, а остальное возвращаю тебе, распорядись ими сам» (Ф.И. Шаляпин: В 3 кн. М., 1976. Т. 1. С. 354).

А.А. Медведев

ШАМОНИН Владимир Александрович (1882, Орел — 1967) — петербургский священнослужитель, поэт, с 1914 настоятель Храма в память 300-летия Царствования Дома Романовых в *Петербурге*. Письмо Ш. к Р. от 21 октября 1910 с обращением к писателю как к «авторитетному, сердечному и церковному человеку» сопровождало лири-

ческие опыты священнослужителя: «Воспоминания», «Разговор», «Моя любовь», «Волны и камни», «Ручей», «Не бросай укор», «Пасха», «Мальчик и голубок», «Беседа». Ш. просил Р. написать ответ, находит ли он достойной читательского внимания его поэзию: «Если Вы одобрите мои литературные опыты, я издам их» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 34). Вскоре увидела свет первая книга стихов В. Шамонова — поэтический сборник «Песни сердца» (СПб., 1911. Вып. 1).

А.В. Ломоносов

ШАПОШНИКОВ Гавриил Гаврилович [26.3(7.4). 1840, Саратов — 1917] — преподаватель русской словесности *Нижегородской губернской мужской гимназии* в 1864, классный наставник Р. в VIII классе гимназии (1877–1878). С 1865 Ш. заведовал фундаментальной библиотекой мужской гимназии, формировал библиотечные фонды. В гимназии Ш. был лидером группы преподавателей-последователей *Н.А. Добролюбова*, *Н.Г. Чернышевского*, просветителя К.Д. Ушинского. Доброе отношение Ш. к ученикам отмечали и учителя, и дети.

Э.М. Фильченкова

ШАРАПОВ Сергей Федорович [1855, село Сосенки, Вяземский уезд, Смоленская губ. — 26.7(7.8).1911, Москва] — писатель, публицист славянофильского направления, издатель газет «Русское Дело» в Москве (1886–1890, 1905–1907, 1909–1910) и «Русский Труд» в Петербурге (1896–1899). Р. познакомился с Ш. как одним из членов кружка петербургских славянофилов вскоре после переезда в Петербург в марте 1893. Их отношения, несмотря на постоянные споры, размолвки и столкновения мнений, особенно по вопросам брака и пола, были вполне дружественными. К концу жизни Р. отмечал, что к нему «быстро привязываются» за интимность самые разные люди: «Что общего между Шараповым и Мережковским: а оба любили» (ПЛ, 59). Сближение Р. и Ш. произошло в 1897, когда началось сотрудничество Р. в газете Ш. «Русский Труд», в которой Ш. на некоторое время объединил вокруг себя родственных по духу петербургских писателей. Ш., несмотря на очевидные расхождения с Р., высоко ценил его одаренность. Р. признавал Ш., деятельным, веселым человеком, не без таланта, хотя и лишенным цельности и глубины. При всех размолвках и даже ссорах Р. всегда сохранял с ним приятельские отношения. 18 сентября 1898 Ш. напечатал заметку «Поражение национального мозга», где причудливо смешивая (похвалы и осуждения, высказывал тезис о «безумии национальной мысли на примере вызывающих недоумение последних писаний трех «гениальных» писателей — публицистики — Л.Н. Толстого, стихотворений В.С. Соловьёва о чертах и половых теорий Р. Не разделяя розановского интереса к теме пола и видя в последних сочинениях упадок таланта писателя по сравнению с книгой «О понимании», Ш. противопоставил «тронутым безумием» статьям Р. его первую книгу: «Кто у нас еще из гениальных писателей? Я смело называю Розанова, Василия Васильевича Розанова, не автора очень умных и талантливых фельетонов в «Новом Времени» и статей, разбросанных по разным журналам, а автора огромной книги «О понимании» <...> Эту книгу я читал шесть месяцев с карандашом

в руках, увлекаясь изумительной логикой, чудным ходом мысли, великолепными лирическими отступлениями <...> Книга — увы! появилась в нашем обществе, в обществе дикарей и обезьян, среди культуры, живущей только ярлычками и казенными дипломами. К кому я ни обращался, я ни у кого не мог найти никакого отзыва о книге, а мне, как профану в истории философии, очень хотелось узнать: свое ли это у Розанова, или чужие отголоски и если последние, то чьи и откуда? Никто мне этого не мог указать, никто Розановской книги не читал <...> На каждой странице книги вы имеете перед собою ум с полетом страшной силы, с мыслительным аппаратом первого класса» (РТ. 1898. № 38. С. 16). Во избежание упреков в преувеличенных похвалах Ш. подкрепил собственное мнение ссылкой на письмо читателя, сообщавшего о восторженном устном отзыве *Н.Н. Страхова*, изумленного «глубочайшей философией» трактата «О понимании» (РТ. 1898. № 41. С. 16–17). При всем несходстве позиций Р. и редактора «Русского Труд» это периодическое издание Ш. сыграло важнейшую роль как в становлении воззрений «нового» Р., так и в доведении их до читателей. Ш. заметил уже в ноябре 1898: «Розанов проповедует новую религию — религию семьи» (РТ. 1898. № 48. С. 24). Значительная часть материалов, публиковавшихся в газете «Русский Труд», была связана с Р. Именно там опубликована программная работа Р. «Брак и христианство» (1898. № 47–52, с полемическими комментариями Ш.); там же печатались многочисленные полемические материалы по вопросам христианского брака, семьи и пола, позже частично включенные Р. в его книгу «В мире неясного и нерешенного». 16 октября 1899 Ш. поместил в «Русском Труд» (№ 42) статью о Р. с портретом на обложке: «Давно собирался я напечатать портрет В.В. Розанова, которого сердечно люблю и которого так часто приходится бранить (до готовности иной раз просто поколотить, до того бывает он нестерпим в своих крайностях и беспорядочности мышления и писания), но всё откладывалось, пока не прочел о нем статью г. Протопопова в «Русской Мысли»» (PRO, 1, 322). Ш., сам не соглашаясь с изысканиями Р. на тему связи религии и пола, утверждает тем не менее, что автор направленной против Р. статьи М.А. Протопопов (PM. 1899. № 8) «недостойн серьезно даже развязать ремень у сапога его» (PRO, 1, 322). Защищая Р. от нападок Протопопова, Ш. не собирался и впредь быть снисходительным в своей газете к тем сторонам воззрений Р., которые его не устраивали: «Это ничуть не помешает через самое короткое время и, может быть, даже, начиная с № 43-го, подвергнуть В.В. Розанова истинному телесному наказанию (без повреждения мягких частей) руками другого моего почтенного друга *Н.П. Аксакова*, которое будет гораздо хуже издевательства г. Протопопова над совершенно нелепой и невозможной «часовенькой» (там же). Упомянув «замечательную» книгу г. Розанова «О понимании», Ш. остановился на роли статей Р., раскрывших «безобразие нашей псевдоклассической школы»: «Удар был так неожидан и силен, что всё общество вздрогнуло, как от электрической искры. Правда воссияла, школу, или, вернее, систему спасти оказалось невозможным <...> Неужели же это не великая, же бессмертная заслуга перед русским обществом?» (Там же, 323–324). Ш. придавал книге «Сумерки просвещения» ис-

ключительное значение: «Уже одна эта вещь заслуживает не только благодарности гг. россиян, но, без всякого преувеличения — *памятника*» (Там же, 323). Хвала Р., Ш. в то же время не переставал указывать на те стороны его сочинений, с которыми был не согласен: «Неужели за это не простится Розанову его прежнее бусловие и пустословие до его трогательного союза с кн. *Мещерским* в области розги, до его диких рыканий в “*Русском Слове*” на “тверских либералов”, до его теорий брака: назовем их хотя только странными» (Там же, 324). В том же номере Ш. опубликовал «Автобиографию Розанова», из-



С.Ф. Шарапов

ложенную в виде его письма к Я.Н. Колубовскому (РТ. 1898. № 42; ОСЖС). К.П. Победоносцев осудил в письме к С.А. Рачинскому «бесшабашного» Ш. за это «прославление» Р. (ПР. Ед. хр. 110. № 67). В 1899 Ш. уже отказывался печатать статьи Р. о браке, жалея о том, что делал это годом раньше, но охотно публиковал полемику с ними (Шарапов С.Ф. Несколько слов моим оппонентам по вопросу о браке // РТ. 1899. № 34). Р. не слишком высоко оценивал публиковавшиеся в «Русском Труде» выступления против его идей, хотя полемика, собранная им позже в книге «*В мире неясного и нерешенного*», помогла ему более разносторонне осветить тему. Р. рассматривал критику его теории пола Ш. как пример восприятия деликатной темы сугубо светским, лишенным «метафизического» чутья человеком: «Светские слишком “по-светски” всё чувствуют, всё понимают: читайте в этой книге “полемику” Шарапова, — и вы увидите, что в светском человеке, в противоположность

духовному лицу, тема возбуждает одно бессмысленное гоготанье. С Шараповым, экономистом, публицистом — невозможно говорить о “метафизическом *корне*” *язычества*» (ВМНН, 14). Тем не менее книга Р. «В мире неясного и нерешенного» возникла не без содействия Ш. Найдя единомышленника в вопросе брака и пола в священнике А.П. Устьинском, Р. опубликовал в газете «Русский Труд» письма к себе этого ревностного сторонника святости семьи с пространными собственными комментариями и *пометами* редактора-издателя. Р. сохранил все комментарии Ш. без перемен и в книге «В мире неясного и нерешенного», считая их «крайне ценными в смысле “полемических материалов”» (ВМНН, 107). Ш. был решительно против «еретических» идей Р.: «Вы говорите, что Ваша цель — оцеломудрить человечество, но что современное церковное христианство этого не понимает и, поклоняясь *аскетизму*, отрицает “плоть”, считает “животным” состоянием тот момент, который вы, по-видимому, готовы считать наиболее божественным. Вы даже в эту ересь целого протоиерея соблазнили» (ВМНН, 133). Во включенном в книгу «Открытом письме к редактору “Русского Труды” прот. А.П. Устьинский опровергал упреки в «еретичестве», заявив, что длинное примечание Ш. к статье Р. «есть ни более, ни менее, как извращение христианства, неосновательная клевета на *Церковь*, отдаленные, но живучие отпрыски и отголоски гностицизма и манихейства» (ВМНН, 149). Ш. сетовал потом: «Я очень досаую на себя, что решился печатать ваши статьи, почтеннейший Василий Васильевич! Каюсь, перед скачей в набор не дочитал до конца, да и ведь и почерк Ваш отчаянный! Когда мы подали корректуру № 50—51 и я прочел, как сладко разглагольствуете вы о “противоестественном”, я взял перо и начал вымарывать, смягчать и накладывать фиговые листья. И все-таки “духа любодейного” выкурить не мог» (ВМНН, 133). В книге «*Семейный вопрос в России*» Р. приводит отзыв одного из читателей на полемику по вопросу брака: «Какими жалкими оказались ваши полемисты, а в особенности — “Мирянин”, Шарапов и Аксаков» (СВР, 164). Позже сам Р. писал Э.Ф. Голлербаху: «Шарапов, грубый и глуповатый человек, говорит раз *Рцы* (И.Ф. Романов) (это я узнал в передаче Романова): “Страшный Роз-ов человек: он как будто ничего не читал, ничего не знает — а всё узнал из вульвы и *фалла* и отсюда вывел всю свою философию”» (ВНС, 353). Не соглашаясь с розановскими идеями, Ш. тем не менее сознательно допустил полемику с ними для выявления *истины*. К.П. Победоносцев, однако, крайне резко отзывался не только об идеях Р., но и о самом Ш. за то, что тот «прославляет» Р. «как великого мыслителя и писателя» (ПР. Ед. хр. 110. № 67). «Русский Труд» был вскоре прекращен за критику финансовой политики *Витте* по его требованию, и, извещая об этом С.А. Рачинского 11 ноября 1899, Победоносцев добавил: «Шарапов по-видимому — человек ненормальный. Что за дребедень проповедовал у него Розанов» (ПР. Ед. хр. 111. № 15). Несмотря на все разногласия с Р., Ш. издал после закрытия «Русского Труды» состоявшуюся в его газете полемику о браке отдельной книгой (Сущность брака / Сост. С.Ф. Шарапов. Обмен мыслей между Н.П. Аксаковым, Мирянином, В. Розановым, Рцы протоиереем А. У-ским и С. Шараповым, с прило-

жением статьи свящ. М.И. Спасского. М., 1901). Ш. продолжал спорить с Р. и позже. В книге «Семейный вопрос в России» Р. приводит *цитату* из письма безымянного корреспондента: «А г. Шарапов в свои “Сугробах” прямо-таки причислил вас к поощрителям распутства» (СВР, 496). Речь идет о помещенной Ш. в очередном выпуске своих сочинений статьи «Жмеринские львы и буйствующий В.В. Розанов. Поход против него протоиерея Дёрнова и генерала Киреева» (Сугробы. 1901. Вып. 4. [Т. 11]). В этой статье Ш. действительно осуждает взгляды Р. на семью и пол как «проповедь полной *свободы* половых отношений» и называет эту проповедь «чудовищной» (Там же, 18). Однако в его сопоставлении мыслителя, противопоставившего себя общественному мнению, с «буйствующим» львом, сбжавшим в Жмеринке из зоопарка, звучит и признание смелости писателя, раскрывшего неблагополучие в сфере семьи: «Теория г. Розанова соблазнительна и нелепа, но в его обличениях страшной общественной болезни всё правда» (Там же, 21). Ш., называя Р. своим «уважаемым другом», проследживает его творческий путь и отмечает «свежесть, яркость, силу», присущие таланту писателя (Там же, 16). Ш. снова подчеркивает самобытность писателя в книге «О понимании»: «Стройное учение, гигантскую философскую систему Р. выткал, как паук, из самого себя, словно у него не было вовсе никаких предшественников» (Там же, 15). В заметке «Шалун нашей прессы» Р. в полушутливом *тоне* жаловался, что подвергся в «Сугробах» гонению «со стороны этого безусловно честного человека», и далее рассказывал о том, как Ш., взяв у него пачку писем некоего Г.П. Елизарова, так и не напечатал, но и не вернул их (НП. 1903. № 3). В 1905 Р. намеревался опубликовать «письмо в ответ Шарапову» (ПВ, 325), однако А.С. Суворин, назвав письмо «искренней и хорошей исповедью», печатать его отказался. В 1910 Ш. вновь вступил с Р. в полемику. Перепечатав в очередном томе своих сочинений статью Р. «Об одном великом недоумении» (НВ, 1910. 8 янв.), в которой писатель упрекает русское общество в том, что у нас трудно найти «любящее слово о государственности» (ЗРП, 21), Ш. ответил на его «филиппику» критикой *государства*, которое «давно стало паразитом» («В.В. Розанов о государственности» // Свидетель. 1910. № 33. Март. С. 36). В *некрологе* «Еще два слова о Шарапове» (НВ. 1911. 1 мая) Р. писал: «Сергей Федорович Шарапов был до редкости скромным человеком. Да, этот шумный красивый, большеротый человек, с мягкими руками, с мягкими щеками, с жгучим взглядом смеющихся добрых глаз, с непрерывной улыбкой губ — весь в речах, вечно что-то предпринимающий, во что-нибудь веривший, в чем-нибудь убеждавший вас — с сотнею мелких талантов, так и лившихся с него оживлением и возбуждением, был бы, пожалуй, неприятен, неприятен определенной группе людей, напр. созерцательных, если бы задумчивый взгляд не подмечал под всем этим шумом скромной души, нисколько не занятой своим “я”, а занятой действительно теми темами, о которых он шумел, в которые действительно верил, и которые, увы, часто были совершенно не основательны. Он имел мало “критики” в себе» (ТПРН, 145). В «Уединенном» Р. так охарактеризовал Ш.: «Он был не умен и не образован, точнее — не развит: но изумительно талантлив. “Взял” он что от Витте,

или не взял — я не знаю. Но он, безусловно, был честный человек: ибо с $1/10$ его таланта люди кончали “тайными советниками” и успокаивались на рентах и пенсиях. Он же умер если не нищим, то бедняком. Но и не по этому одному он безусловно честен: было что-то в нем неуловимое, в силу чего, даже взяв его за руку с вытасненным у меня носовым платком, я пожал бы ему руку и сказал бы: “Сережа, это что-то случайное: ведь я знал и знаю сейчас, что ты один из честнейших людей в России” И он расплакался бы слезами ангела, которым вот никогда не заплачет “честный” *Кутлер*, сидящий на 6-тысячной пенсии» (У, 69). В «Сахарне» Р. описал семейную историю Ш.: «У Ш. была *женщина*, долгие годы с ним жившая (гражданским браком, церковный был невозможен). Она беззаветно его любила, ценила выше небес, считала ученым и все “ставила *Хомякова* вверх ногами на полки” (шутка Рцы), — т.е. не понимая в *литературе* и *славянофильстве*. Потом Ш. с нею дурно поступил: оставил для “блестящей женитьбы”, за что был жестоко наказан *Богом* (жена его не любила, издевалась над ним, и на каждом шагу изменяла, — не скрывая даже). Но это в сторону. *Раз Давид Иванович* <Морозов> поехал в его бедную квартиру, и так как Ш., вероятно, был ему должен и “еще просил на издания”, а кстати и делал разные глупости и фантазии, то Давид Иванович и пошумел на него, т.е. вероятно, зычно изрек несколько односложных порицательных или наставительных слов, может быть, нечто вроде “дурак, братец мой”, на что, конечно, имел право. Вдруг из-за ширм выбегает “вся в нервах” эта его, положим, Наталья Ивановна и набрасывается на Морозова: “ — Как вы смеете С. Ф-чу говорить такие слова и таким тоном! Вы необразованный купец, и нам ваши миллионы не нужны. — И пошла и пошла. Отпустила. Все уже кончилось. Эту верную “любовницу” я никогда не знал. Ш. был уже блестяще женат. Но из тех немногих встреч, какие я имел с Дав.Ив., всегда он, бывало, вспомнит эту Наталью Ивановну и эту ее горячую защиту мужа, и как она “как курица бросилась на меня” И всегда говорил вслух Ш., что Бог его накажет, что он ее оставил» (СХР, 177–178). О неверной жене Ш., Зинаиде Федоровне, — см.: Литературная учеба. 1989. № 2. С. 119. Р. предпослал им *характеристику* Ш. (Л. 93). Портрет Ш. воспроизведен в книге «Уединенное» под ред. В.Г. Сукача (М., 2002. С. 399). Письма Р. к Ш. и Ш. к Р. (1900) хранятся в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 322, 700). 33 письма Р. к Ш. за 1893–1903 хранятся в Государственном архиве Смоленской области (Ф. 12. Оп. 1. Ед. хр. 396).

В.А. Фатеев

ШАХОВСКОЙ Николай Владимирович [1865 – 12(25).8.1906, Петербург], князь — главноуправляющий по делам *печати* в 1901–1906, экономист-аграрник, автор биографических исследований о *Н.П. Гилярове-Платонове*, составитель и издатель его сочинений; в середине 1890-х, одновременно с Р., печатался на страницах «Русского Обозрения» под *псевдонимом* Н.В.Ш. Р. использовал *цитату* из книги Ш. «Памяти Никиты Петровича Гилярова-Платонова» (Ревель, 1893) о том, что «сочетание *полов* под разными видами и наименованиями происходит по всему мирозданию» (ВДЯ, 45), в своем очерке «О древнеегипетской красоте» (МИ. 1899. № 16–17. Ху-

дожественная хроника. С. 31–32). В письме к Р. от 4 апреля 1899 выражал благодарность за присланную ему в дар книгу писателя с автографом, в котором Р. укорял Ш. за задержку присылки собственных обещанных сочинений. «Исправляю мою забывчивость. — писал Ш. — Прошу принять во внимание, что “Сельскохозяйственные отхожие промыслы” на днях увенчана Московским университетом премией имени Юрия Федоровича Самарина. Для Вас же интересна и приятна будет брошюрка о Гилярове-Платонове. Первый том Сборник его сочинений, для коего биография Гилярова мною написана, уже отпечатан и притом весьма изящно. Я настаиваю на рассылке его по редакциям важнейших органов печати, а Константин Петрович <Победоносцев> упирается, душою однако его к сему склоняется. Не могу не удержаться к Вам зайти. Не пожалуйте ли Вы какнибудь ко мне побеседовать о многом. Я нашел квартиру — на Знаменской д. № 7, кв. № 1, куда Вас и приглашаю. Хотите ездить к 6 часам, или вечером. Дайте только знать день» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3875. Ед. хр. 35. Л. 2–3). К письму Ш. приложена розановская характеристика публициста: «Кн. Н. Шаховской. цензор, биограф Гилярова-Платонова. † при даче Столыпина» (ЛЖ. 2000. № 3/14. Ч. 1. С. 5). Творчество Ш. писатель касался в библиографической заметке «Гиляров-Платонов Н.П. Сборник сочинений: В 2 М., 1899. Т. 1.» (НВип. 1899. 9 июня). Говоря о ревельском издании книги Ш. «Памяти Н.П. Гилярова-Платонова», Р. назвал ее автора «новым именем в русской литературе», а его работы 1896–1897 в «Русском Обозрении» «чрезвычайно интересными очерками» (там же).

А.В. Ломоносов

ШВАРЦ Александр Николаевич [4(16).1.1848, Тула — 5(17).1.1915, Петроград] — филолог-классик, член Государственного совета, министр народного просвещения с 1908 по сентябрь 1910. Критического отношение Р. к работе министерства во главе со Ш. видно в статье «К началу учебных занятий» (НВ. 1909. 3 сент.): «В нынешнем наступившем учебном году, если бы министерство А.Н. Шварца стало только точь-в-точь повторять тот дух, ту систему, те мероприятия, к каким оно вынуждалось положением вещей в предыдущие годы, то оно произвело бы впечатление натириания мозоли <...> Материальное положение учителей не исчерпывает “скорбного листа” этого забитого и обездоленного класса русских чиновников» (СМР, 282). Плачевное положение дел в системе образования Р. считает результатом работы министерства Ш. и подвергает его критике: «Министерство А.Н. Шварца, очевидно сознав наконец главную задачу самого существования своего, решило вести поднятие педагогического уровня учителей по всем направлениям. Задачу подготовки оно даже выдвинуло вперед сравнительно с легкой задачей облегчения материального их положения. Не хотелось бы думать, что это исходит из мысли, что-де пусть сперва явятся достойнейшие, а затем пусть они будут и награждены. Учителя так долго терпели, министерство находится перед ними в таком большом нравственном долгу, что улучшение их положения можно и следует сделать и не ожидая повышения качеств, правда, не очень высоких, а доверяя, что эти качества подымутся, как только даны будут надлежа-

щие условия и самая возможность теоретического подготвления к преподаванию» («Учительский вопрос в министерстве просвещения» // НВ. 1909. 16 янв.; СМР, 28–29). В статье «Памяти Ив. Влад. Цветаева» (НВ. 1913. 13 сент.) Р. обращается к личности Ш. в связи с инцидентом, который произошел между Ш. и Цветаевым. Из Румянцевского музея в то время, когда его директором был Цветаев, пропали некоторые гравюры. Ш. обвинил в этом Цветаева. Хотя невиновность Цветаева была доказана, он до конца жизни не мог оправдаться от такого удара судьбы. Р. в некрологе критикует Ш. за то, что он преследовал Цветаева (а в конечном счете добился его снятия с должности директора музея). Ссылаясь на статьи, появившиеся в печати, Р. вступает с авторами статей в дискуссию. В статье «Из дел нашей школы» (Новое Слово. 1910, № 8) Р. цитирует кн. В.Г. Мещерского: «Когда назначили Шварца, все обрадовались. “Слава Богу, — говорили все, — наконец-то нашли живого педагога” И действительно, было с чего возлагать на него надежды. Ему ли было, с его опытом, не знать и не любить юношество, ему ли было не знать школы: он был ведь и директором гимназии, и ректором университета, был попечителем округа, — и на последней должности не раз был» (ЗРП, 278). Р. отмечает, что «ректором университета он не был: это — выборная должность, а на выборной должности г. Шварц ни на одной не был. Он двигался единственно “по назначению”, — от директора гимназии до министра» (там же). Р. задается вопросом: «Чем же объяснить такую роковую метаморфозу человека, когда он стал министром? Увы, все тем же: злыми духами, пребывающими в министерстве народного просвещения...» (ЗПР, 279). Р., будучи в свое время студентом у Ш., вспоминает: «Уныло проходил в аудитории А.Н. Шварц, и за ним следовало 5–6 студентов, “издателей лекций”, которые уже приняли на себя работу всех слушать и все слушать; записывать, литографировать и продавать...» (ЗРП, 282). Ш. не пользовался популярностью среди студентов: «Но никто решительно из студентов этого “любимого профессора” не слушал» (там же). Р. непопулярность Ш. объясняет манерой последнего читать лекции: «На первую лекцию собралось много, весь курс <...> Голосом, почему-то напоминающим ненамышленную мочалку, т.е. сухим, дерущим уши и не дающим ничего ласкового душе слушателя <...> Трет сухая немецкая мочалка наши голые спины, с волей довольно нетерпеливой» (ЗПР, 283). Р. вспоминает случай со Ш. «Но произошел единственный и исключительный случай за все четыре года, с 1878 по 1882 (и по всем курсам, по всем наукам): сбежали с лекций даже издатели!!!» (ЗРП, 283). Р. объясняет этот факт «такой нестерпимой скукой и, наконец, поразительной бессодержательностью лекций, их безыдейностью, что даже связанные обязательством перед товарищами, да и гонимые нуждою <...> они разбежались» (ЗРП, 283–284) и заключает: «Ни мы его не любили, ни он не имел причины “любить” нас» (там же). Р. полагает, что Ш. не состоялся и как министр, поскольку его деятельность на посту министра народного просвещения не имела никаких результатов: «Да, суть “увеличения уроков французского языка” (нужно же такое выдумать), к чему свел творческую деятельность министра народного образования А.Н. Шварц, — заключается, вообще, в полной бе-

зидейности его...» (там же). Р. считает закономерным то, что Ш. не добился на посту министра никаких результатов, поскольку Ш. — «министр, у которого никакой решительно педагогической идеи в голове нет, — который есть только хороший юрист, или хороший генерал, или хороший латинист, — “собирает комиссию”, и все на нее возлагает» (ЗПР, 330), «министр, который вообще ничего в этом не понимает, никакого своего взгляда на дело не имеет», «ничьей души он не радуется, и ровно никто ничего от него не ожидает» (там же). Р. видит причины неудачи Ш. не только в его происхождении, бездеятельности, но и в его образовании: «Шварц, допускаю, — даже великий человек <...>. Он латинист, т.е. язычник, и никогда не помнил Библии. Он думал “спасти Россию” строгими латинскими склонениями, а что значит “лицо человеческое”, — не принял во внимание. И от этого не только не достиг, но, в конце концов, от этого же и вышел в отставку» (ЗРП, 357). О Ш. как о личности Р. пишет: «Шварц совершенно неинтересен. Интересна Россия и вот “лицо” в ней... Шварц — только иллюстрация, и сам невольно, и плачевно, и, наконец, пассивно дал пример того, что такое “лицо” в судьбах России, ее духовных и физических дел, ее успехов и возможного бы успеха...» (ЗРП, 358).

М.Б. Раренко

ШЕВЫРЁВ Иван Яковлевич — профессор, заведующий энтомологической лабораторией Лесного департамента в *Петербурге*. В письме к Р. от 29 октября 1912 Ш. выражал благодарность за его письмо, содержавшее впечатления от прочтения его книги «Паразиты и сверхпаразиты из мира насекомых. Способы исследования. Паразиты озимой ночницы» (СПб., 1912. Вып. 1), и сожаления по поводу отказа «*Нового Времени*» рецензировать эту работу из-за узкоспециальной ее направленности книги (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4215. Ед. хр. 18). К письму Ш. приложена розановская помета, передающая впечатление от научного труда профессора Лесного института: «Шевырев Ив. (лично не знаю) — удивительная книга по энтомологии, с “совершенными новостями” по яйцекладению “наездников” в гусениц бабочек. Страшно читать. Я испугался» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 114).

А.В. Ломоносов

ШЕКСПИР (Shakespeare) Уильям (23.4.1564, Стратфорд-он-Эйвон, графство Уорикшир — 23.4.1616, там же) — английский драматург и поэт. Р. писал, что Ш. был «великий сердцевед, поэт и живописатель нравов» (ОПП, 449). Студентом Р. смотрел шекспировскую «Зимнюю сказку» и много лет спустя оставил воспоминание: «Не могу не поделиться с читателями, что единственный случай, когда я не то что заплакал в театре, но у меня навернулись слезы и “защипало в носу” из переполненного сердца, — это было на представлении в московском Малом театре “Зимней сказки” Шекспира, — именно в том заключительном моменте, где Гермiona оказывается жива, — где, показанная дочери в виде статуи, она вдруг начинает двигаться и обнаруживает себя живою. Я не прочитал пьесы перед тем, как пойти в театр, и, следя за действиями на сцене, думал, что она давно погибла. Не понимаю, отчего не дают эту пьесу теперь: на всем ее протяжении разбросано столько

благородных, трогательных картин и диалогов!.. До сих пор в моих ушах звучит голос слабоумного: “Вот, послушайте: я видел в лесу, как медведь драл человека. Этот человек кричал: Помогите мне, я — дворянин!!” В мертвых устах непонимающего слабоумного это так поразительно: ничего более демократического или, точнее, — всемирно-человеческого, каковы ужас, *страх*, *боль*, несчастье, что заливают собою и мнет под собою титулы, чины, классы, социальные перегородки, — я не читал ни в нашей, ни в других *литературах*! А я читал и *Руссо*, и *Вольтера*. У Шекспира это так благородно...» (СХ, 285). В письме к Н.Н. Страхову Р. писал о «чудесной, мною никогда не испытанной поэзии — в “Зимней сказке” Шекспира на сцене Моск. Малого театра» (ЛИ, 181). При этом его особенно возмущает, что «какой-то идиот в “*Нов. Вр.*” назвал пьесу устарелой ветошью, грушкой, на которую сам Шекспир, “конечно”, не мог смотреть серьезно. И после “Зимней сказки” — какая гадость показали все наши произведения, какие я смотрел на театре, какая *пошлость* и мерзость и то, о чем они написаны, и то, как написаны» (там же). Рассуждая о «пользе» и «искусстве», Р. замечает: «Нужны ли миру Ромео и Юлия? Для “производства потомства” — не нужны, но для *красоты* мира — в высшей степени необходимы!» (ОПП, 572). Герои Ш., полагал Р., превосходят *будущее*. «В Гамлете, за два столетия ранее, Шекспир предсказал то, что должно было совершиться и действительно совершилось в человеческой *душе*, — и предсказал это в веке непосредственной *жизни*, так совершенно чуждой рефлексии и внутреннего разлада» (ОП, 463). Критика Л.Н. Толстым пьес Ш. вызвала удивление Р. как «причуда *гения*»: «Толстой упрекает Шекспира за “напыщенный язык его королей” Что делать, — “так жили, чувствовали и писали” Первое действие “Короля Лира” он... рассказывает своими словами, передает в “*resumé*”!.. Точно протокол в следствии! Конечно, что же осталось от трагедии, от *искусства*? Так мало, что и назвать нечем. В искусстве важно не то, о чем рассказывается: это только кирпич для здания; искусство начинается с того, как рассказывается» (ОПП, 208). Толстой приложил к Ш. мерки *современной литературы* и современного литературного *сознания* и потому не мог оценить по достоинству наследие великого англичанина: «Толстой никогда не переживая хроники-трагедии Шекспира этим своим личным *чувством*, не мерил его мерою своего параллельного ощущения. Несчастье и слабость его критики шекспировского *творчества* проистекает из того, что он смотрел на него не как на факт бывалой и бывающей *психологии* “вот у меня”, “вот у него”, а только как на *книгу*, — притом не свою, не русскую, а какую-то “из аглицкой литературы XVI века» (ОПП, 213). Во многих статьях Р. приводит отрывки из пьес «Король Лир», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Антоний и Клеопатра», «Венецианский купец», использует ставшими крылатыми шекспировские выражения: «сорок тысяч братьев» (ВТРЛ, 423; СВР, 193), «слова, слова, слова» (ИЗИН, 4), «И ты, Брут!» (ОНД, 431).

А.Н.

ШЕЛГУНОВ Николай Васильевич [22.11(4.12).1824, Петербург — 12(24).4.1891, там же] — публицист, критик. «Шумный Шелгунов» (ЛИ, 70) числился у Р. среди

«главных “наших нигилистов” вроде *Чернышевского*, *Писарева*, <В.> *Зайцева* <...> косные люди, неспособные поворотиться по-своему, люди не оригинальные, шаблонные, “как все”, без звездочки во лбу, тусклые и неинтересные» (ЛИ, 68). *Н.Н. Страхову* 18 мая 1891 Р. пишет, что новых книг Ш. и *А.И. Скабичевского* не видал. «Неужели там может быть что-нибудь интересное, и тогда — зачем их читать. Они мне ужасно антипатичны и по уму, и по всему складу их духа; какие-то неумные точно» (ЛИ, 259). Позднее Р. продолжал ту же мысль: «Покойный Шелгунов или г. Скабичевский, может быть, добрые люди и очень усердные писатели; но к идейному содержанию нашего общества, насколько оно уже высказано, и гораздо лучше, другими людьми, они не прибавили ничего. Итак, их можно оставлять, как высказывающих, быть может, верные мысли, в покое; но что же в их мнениях излагать?» (ЛВИ, 180). Ш., *Добролюбова* и *Писарева* Р. называет «величайшими хлопунями около “женского вопроса”». Добролюбов, в незабываемых до сих пор разборах, освещает и возводит к апофеозу образы Катерины (“Гроза”) и Елены (“Накануне”); Писарев пишет «О женских типах в романах *Гончарова*, *Тургенева* и *Писемского*»; еще гораздо более хлопочет Шелгунов. Женственное неудержимо влечет их <...> Но это женственное они понимают под углом той аномалии, которой были носителями. Они всегда дальше были от того, чтобы почувствовать себя в отношении к женщине покровителем, властелином, вообще мужем: скорее всего они сами становились в отношении к ним “товарками”, в положение подчиненности и с восхищением смотрели на мужественные дела подруг. Вот история возникновения нового и странного идеала женщины» (РФК, 106–107). Говоря о *шестидесятниках*, отвергавших «чистую поэзию», Р. утверждал: «Повторение подобного фазиса “критики” едва ли можно ожидать в будущем, вместо “погребения” *Пушкина*, *Тютчева*, *Фета* получилось вящее их прославление — прославление, увенчание, возвеличение. И между тем поэзии лежит горький опыт: чего стоит вообще для духа нации и наций грубейшее торжество материалистических, позитивных учений, связывающихся всегда с сухим и жестким политическим радикализмом. Была оспа. Мы ее выжили. Второй оспы не будет. И именно от этой болезни, в общем-то смертельной, мы не умрем. Вот где добрая сторона Шелгуновых, Скабичевских, Писаревых и всего натиска 60-х годов... Подобное им — не страшно уже у будущем» (ОПП, 635).

А.Н.

ШЕЛЛИНГ (Schelling) Фридрих Вильгельм Йозеф (27.1.1775, Леонберг, Вюртемберг — 20.8.1854, Рагац, Швейцария) — немецкий философ. Впервые имя Ш. появляется у Р. в работе «*О понимании*». Р. относил Ш. к числу философов, которые «бессознательно для самих себя мыслили под сильным давлением настроения и невольно покоряли мысль свою чувству, предпочитая одни истины другим» (ОП, 404). Для Р. имя Ш. — олицетворение личности, некогда прославившей *Германию*. А современную Германию представляют, по словам Р., *Бюхнер*, *Молешотт* и *Фохт*. «На самом деле они-то, а вовсе не идеалисты, как Шеллинг и *Гёте*, господствуют и давно господствуют в Германии» (ПЛ, 312). *Н.Н. Стра-*

хов в письмах к Р. указывал на последователей Ш. К их числу он относил *М.А. Бакунина*. «Философ он вполне, но он прямо питомец Шеллинга и *Гегеля* — тут нет существенной разницы, да и нет того школьного подчинения, которое обыкновенно соединяется с понятием приверженца известной системы. *Философия* немецкого идеализма вообще чужда догматичности, дает свободу и вполне развязывает ум. Со временем будет же когда-нибудь это понятие» (ЛИ, 14) В письме Страхова к Р. указывается на влияние Ш. и на *К.Н. Леонтьева*. «Об *К.Н. Леонтьеве* замечу, что его мысль (упрощение и смешение разнородного есть разложение, а усложнение и выделение особенного есть развитие) есть нечто иное, как приложение органических категорий, которые сознательно употреблять стал Шеллинг, der grosse Philosoph (как стоит на памятнике в *Мюнхене*)» (ЛИ, 90). Однако Р. отозвался на письмо Страхова весьма критически: «Страхов так и не объяснил, почему же “мы враждуем против рационализма” <...> Вероятно, он свою идею взял “из немцев” и даже только изложил. Или “сколотил” из разных мест их объяснений, из Шеллинга, Окена или откуда-нибудь из маленьких. Эта “немецкая природа” действительно не дышит» (СХР, 29). Р. высказал свое отношение к подобному идеализму. «От *Жуковского* до Шеллинга именно “идеализм”-то и “утонченность” стали какою-то неприступною и красивую внешностью, за которою пряталось и где маринилось все в жизни ложное, риторическое, фальшивое, с тем вместе бездушное и иногда безжалостное, жестокое» (ОНД, 171). 16 марта 1905 Р. напечатал в приложении к «*Новому Времени*» рецензию на седьмой том «Истории новой философии» Куно Фишера, посвященный Ш.

И.С. Шилкина

ШЕРВУД Леонид Владимирович [16(28).4.1871, Москва — 23.8.1954, Ленинград] — скульптор, выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества и Петербургской академии художеств, друг Р., автор скульптурного портрета *А.С. Суворина*. Писатель познакомился со скульптором при посредничестве *Е.И. Апостолопуло* на заседании *Религиозно-философского общества*. Искусству Ш. посвящена статья Р. «О работах г. Шервуда» (НВ. 1905. 8 марта), переизданная позднее в книге «*Среди художников*». Произведения Ш. были описаны Р. в связи с выставкой «Нового общества художников», устроенной в Академии наук. На первое место по художественной технике среди экспонированных творений Р. поставил эскиз памятника графу П.П. Шувалову. Р. ценил работы Ш. «по чувству глубокого в нем реализма, по отброшенности всяких шаблонов, непременно связываемых с идеей монумента, — всякого условного трюпа “классичности” <...> Скульптор забывает себя, когда работает, и думает только о воплощаемом лице, проникая в его суть. Мне кажется, это и есть главное не в идеальном и фантастическом, а в реальном искусстве» (СХ, 228). Эту голову *Петра Великого*, которая, по мнению Р., «великолепна» и в ней «все чудно схвачено», он описал несколькими штрихами, чтобы «сберечь строки» для описания эскиза памятника-надгробия *Г.И. Успенскому* на Волковом кладбище в *Петербурге*. «Перещись рукой, смотря в сторону и даль, безвольный, добрый, без инициативы, с “вопросом” в лице, который

хочет и не умеет перейти в негодование и застывает как недоумение <...> Форма человека, “статуя” человека, — разбита и лежит осколками у подножия духа <...> Так, смотря на памятник его, точно бредешь по страницам его сочинений <...> И думаешь, встав наконец со стула перед эскизом: “Да, эта статуя точно — его сочинения, иллюстрированные портретом и биографией сочинителя”» (СХ, 229). Ш. подарил Р. слепок с бюста А.С. Пушкина, оригинал которого хранится в музее Пушкинского Дома. При переезде семьи писателя в 1917 в *Сергиев Посад* подарок художника был утерян.

А.В. Ломоносов

ШЕСТАКОВ Дмитрий Петрович [29.10(10.11).1869, Казань — 17.6.1937, там же] — поэт, переводчик древнегреческих авторов, исследователь античной литературы и греческого фольклора. В 1899—1903 неоднократно выступал с рецензиями на книги Р. Первая из них — на сборники «*Сумерки просвещения*» и «*Религия и культура*» (ТПГ. 1899. 16 мая). В отзыве на «*Литературные очерки*» (ТПГ. 1899. 6 июня; НВип. 1900. 5 янв.) Ш. писал: «В.В. Розанов не принадлежит к числу писателей, сразу захватывающих читателя. Слог его может сперва показаться нервным и запутанным, мысль временами темна и недостаточно проявляется. Происходит такое впечатление, как нам кажется, от того, что это прежде всего писатель необыкновенно искренний. Мысль у него ложится на бумагу вполне непосредственно, по мере назревания, литературной отделки он не ищет <...> Но вот мы читаем его статью, — и вдруг, точно неожиданно для самого писателя, на упругом стебле без устали работающей мысли распускается и вспыхивает цветок истинно художественного выражения. И в этих вспышках талантливости и пронизательности явления жизни предстают перед нами в точных, выпуклых и отчетливо запоминающихся формулах». О розановском «высоком даровании» говорил Ш. и в рецензии на сборник «*Природа и история*» (МИ. 1900. № 23/24. Отд. II). Возражая критикам Р., он писал: «В.В. Розанов очень одинок, одинок одиночеством большой литературной силы, которая растет и развивается по собственным законам. Резко оригинальная мысль выражается у него резкой оригинальностью слова, которая, — если ловить одни слова, — может и смутить, и огорчить, и оттолкнуть от писателя. Нет ничего легче, как, выхватывая такие ярко и странно звучащие словечки, осмеять Розанова, и этим “правом” критики — широко пользовались и пользуются судьи “с пристрастием”; те, однако, читатели, для которых открылось то тайное и творческое, что есть в Розанове, никогда не отступят от него: они знают своего писателя и верят ему» (с. 233). По прочтении статьи Р. «*Семья как религия*» (СПб. Ведомости. 1898. 8, 23 нояб.) Ш. посвятил автору стихотворение «Сфинкс», впоследствии включенное Р. в раздел «Полемические материалы» книги «*В мире неясного и нерешенного*» (ВМНН, 82). В рецензии на нее (МИ. 1901. № 5. Отд. II.) Ш. солидаризовался с авторской критикой «аскетов без пострига», «светских Афонцев <...> которых так много расплодилось у нас в последнее время» (с. 284), и выделял в качестве главной заслуги Р. «указания, что не все в общепринятых воззрениях на брак и брачные отношения — подлинное христианство, и много тут только мо-

нашеского, Византийского, сухо-аскетического» (с. 285). Заметка Ш. «*Мертвые языки*» (МИ. 1903. № 9) — развернутая полемическая реплика на фразу Р. о «мертвом церковнославянском языке» из работы «Среди иноязычных» (МИ. 1903. № 7/8; ОПП). Ш. ставил под сомнение само розановское определение «мертвого языка», предлагая свое: «Что такое живой язык и что такое мертвый? Живой язык это язык повседневно растущей и развивающейся народной речи, язык, повторяющийся в своей истории все судьбы говорящего на нем народа, дышащий одним с ним дыханием. Но стоит языку оторваться от народа, хотя бы художественно возвыситься над ним, и, строго говоря, язык перестанет быть живым. Язык книги уже не язык живого слова или песни, хотя бы ту книгу написал Пушкин, Тургенев <...> Итак, мертв язык каждой книги. Мертв и церковнославянский, но это не значит, что он и бессилен действовать» (с. 134—135). Подтоживая спор, Ш. заключал: «Розанов большой художник; но он, сверх того, реформатор, а реформаторы всегда односторонни и нетерпимы. Оттого он ополчается и на эту, так, казалось бы, понятную ему тему: на старую книгу, в странном, таком “несовременном” кожаном окладе, за которым скрываются такие старые “мертвые” слова. Скрываются, и живут, и дышат» (с. 136). Р. дважды откликнулся рецензиями на выход книг Ш. Он высоко оценил «*Стихотворения*» Ш., выпущенные тогдашним издателем розановских сочинений П.П. Перцовым (НВип. 1899. 15 дек.): «В лице г. Шестакова наша поэзия приобретает не пышное, но твердое и очень чистое обещание <...> Можно поручиться о г. Шестакове, что он никогда не ползет в кривое и безобразное, в сучок и корень, — к чему есть такое тяготение у поэтов наших дней, а всегда останется пышным или незаметным, ароматным или без запаха, но непременно и только цветком». Характеризуя манеру Ш., рецензент писал: «У поэта совершенно отсутствуют мажорные тона; но и минорные у него нигде не приобретают резкого, колющего, ноющего тона, оставаясь на степени легкой грусти, почти всегда разрешающейся в поэтическое видение». В переводах Ш., также вошедших в сборник, Р. отмечал «ту симпатичную черту, что они избраны собственно для выражения какого-нибудь русского настроения, настроения русской души. Это — не переводы ученого человека или холодного эстетика, а несколько ленивого поэта, которому иногда не хочется выдумывать свои формы и он пользуется чужою, но всегда для выражения своего чувства». Р. положительно отзывался и о монографии Ш. «*Исследования в области греческих народных сказаний о святых*» (НВ. 1910. 29 дек.): «Книга вращается в памятниках раннего христианства и в последних памятниках язычества. Читая ее, — как бродишь по смешанному лесу, из разных дерев, из разных пород, с разными травами» (ЗРП, 446). Р. отмечал своеобразие позиции Ш., который «долго и занимательно водит читателя по прелестной области христианского мифотворчества, где замирала одна религия и зарождалась другая, где колыбель и гроб так удивительно соединились»: «Автор живо чувствует оба мира, он и классик (по кафедре в университете), и теплый церковник, “как вы да я”» (ЗРП, 447). К недостаткам издания Р. отнес «неуклюжий университетский язык» монографии Ш. (там же). Отчасти дополняет рецензию сочувственное описание эпизода

докторского диспута Ш. в статье Р. «Вековая бездейственность русской профессуры» (НВ. 1911. 27 авг.): «Этой весной я был на диспуте профессора Варшавского университета, г. Шестакова. Диссертация была посвящена преданиям и сказаниям, возникшим на пограничной линии соприкосновения умиравшего или истреблявшегося языческого — с христианским миром, который недавно зародился. Оказывается, есть “знаменитая книга” на эту тему германского ученого (имя забыл). Вдруг диспутанты, и в том числе (если правильно помню) “светило”, проф. Зелинский, выразили полунудовольствие, полуизумление, что в таких-то частностях и новых задачах своей работы проф. Шестаков вышел из рамок этой “знаменитой книги” Я не могу забыть и лукавой и удивленной улыбки молодого ученого, с какою он ответил петербургским профессорам: “У (такого-то) ученого этого нет: но ведь мог же я и сам поставить себе такую-то (правильную в научном смысле, и этого диспутанты не отрицали) цель”» (ТПРН, 210). На письмах Ш. к Р. сохранилась розановская приписка: «Профессор-классик в Казани и Варшаве и опять в Казани <...> Видел 1 раз. Прелестный <...> Ему ничего не недостает. Это удивительно. Он вполне счастлив. Знаний — гора, и он чисто и благородно к ним относится. Безмерно любит жену. И он и жена страшно некрасивы. Ежегодно рождаются дети, и оба супруга их обожают. Друг Перцова <...> Странно, что я Ш-ва люблю почти как Вар. Удивительно не грязная душа. Как пронизательна его рецензия на *Соловьёва* (Т. пр.) «Теория волевых представлений»: ведь он очень и очень способен не к общим путям и не к общим мыслям» (ЛЖ. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 107). Р. на подаренной в 1903 своей книге «*Семейный вопрос в России*» сделал надпись: «Глубокоуважаемому и любимому Димитрию Петровичу Шестакову любителю и любимцу Муз с предложением начать для “Нового Пути” перевод “О Изиде и Осирисе”» Плутарха (конечно, экземпляр полного Плутарха есть в университетской библиотеке)» (ГЛМ).

М.Ю. Эдельштейн

ШЕСТОВ Лев [наст. фам. и имя Шварцман Лев Исаакович (Иегуда Лейба); 31.1.(12.2).1866, Киев — 20.11.1938, Париж] — философ и литературовед. Уже первыми своими книгами «Добро в учении Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь)» (1900), «Достоевский и Ницше (Философия трагедии)» (1902) Ш. обратил на себя внимание Р. Но особенно он выделяет вышедшую в 1905 книгу Ш. «Апофеоз беспочвенности (Опыт адогматического мышления)», посвятив ей статью «Новые вкусы в философии» (НВ. 1905. 17 сент.). Работа заинтересовала Р. тем, что в ней Ш. удалось уйти от безжизненной схоластической формы традиционных философских сочинений: «Ей-ей, философы и философия только ходят бледным призраком около реальной жизни; они не только сами сухошавы: около них похудела и действительность» (ВДЯ, 337). Ш., напротив, сумел проникнуть в глубины, не доступные многим профессиональным философам, стремящимся ко всякого рода системам: «Г-н Шестов написал 285 страниц, посвященных литературе, морали, метафизике, истории, — страниц прекрасных и вдохновенных. Связаны ли они каким-нибудь единством? Конечно да! упорным,

фанатичным отрицанием системы, свободною отдачею ума своего, вкуса, сердца, веры власти живых фактов жизни и литературы. Но что же мы видим? Потеряв “систему” — книга его выиграла в истине и точности: качества научные и, надеюсь, философские. С “системою” он был просто компилятором: и, посвящая труды свои Толстому, Ницше, Достоевскому, — был рабом этих гигантов, что в конце концов ему наскучило» (ВДЯ, 340). «Своею книгою г. Шестов не создал новую мысль, а дал название — если и не точное, то яркое — явление, не только давно назревшему, но почти и созревшему и давно получившему власть, обаяние и признание. Вместо “системы мысли” или “ряда систем мысли” будущий историк философии будет иметь дело с “системою человека” или “рядом систем человека”, т.е. будет изучать, рассматривать и объяснять ряд очень высоких и законченных человеческих личностей, громадно влиявших на свое время, но которые говорили стихами или прозою, романом или рассуждением — это совершенно безразлично» (ВДЯ, 341). Р. усматривает в Ш. подлинного поборника истины: «Г Шестов, написав более сотни “отрывков”, из которых за каждый порознь, т.е. за истину каждого, он сцепит зубы и когтями с критиком и читателем, конечно, не есть человек, который потерял и отверг “почву под ногами” или возненавидел все и всякие “догматы”, а есть фанатичнейший искатель своей “Дульцинеи”, но только она у него раздробилась, как и у рыцаря Ла-Манха, на множество образов, которые при ближайшем рассмотрении оказываются простыми трактирными служанками. Чувствую, что у Шестова зеленеют глаза и он готов схватить меня за горло: “это подлинная Дульцинея...”» (ВДЯ, 341). Р., считая Ш. «писателем выдающегося успеха», «сильным» литературным критиком, находил в его творчестве и недостатки: «Только что привелось мне прочесть одновременно вдумчивую статью “собрата по перу” г. Измайлова о Достоевском (в “Русск. Слове”) и такую же статью, посвященную 25-летней памяти его, — г. Шестова (№ 7 “Полярной Звезды”). И последняя статья резко обожгла душу тоном своего отношения к Достоевскому — как личности, как нравственному характеру. “Жена его (Д-го) в последние годы жизни писателя прикапывала деньжонку”; “обеспеченный Достоевский в политике, проводимой в “Дневнике писателя”, выступил на идейную защиту и обоснование грубейших националистических appetitov, зарождавшихся во дворцах и проводимых на практике нашею бездушною бюрократиею. Так, он советовал не только взять Константинополь, но и, выселив татар из Крыма, — заселить его русскими” и т.д. Так пишет г. Шестов, которого наряду с упомянутыми г. Измайловым критиками Достоевского, Мережковским, Розановым, Волынским, можно поставить также в ряд виднейших исследователей творчества нашего великого писателя, и мало сказать — “исследователя”: Шестов сам едва ли не находится под обаянием Достоевского в среднем периоде его деятельности, особенно его сумрачных “Записок из подполья” Но именно в юбилейный день он как-то капризно сбросил это обаяние, кажется, на минуту и ad hoc <к этому>, и сказал слова, которым бы лучше остаться несказанными. Когда мы читали его статью в “Полярной Звезде”, мы не видели привычного,

вдумчивого, страдающего Шестова, к какому привыкли и которого полюбили в “Апофеозе беспочвенности” и “Нищие и Достоевский”, и перед нами точно говорил сухой и ничего не чувствующий человек юридического и формального склада души и мышления (ОНД, 25). Р. полагает, что Ш. «несколько страдает» самоанализом, излишне «занят собой». С течением времени критика в адрес Ш. нарастала. В записках 1914 Р. упрекает Ш. в том, что последний относится к феномену трагического не этически или онтологически, а скорее эстетически, отстраненно, как холодный исследователь: «Мне хочется, для “обучения грамоте”, показать писателям, во что обходится обывателю демонизм. И так как урок был бы неполон без демонического языка, то я позволю себе говорить смело, “как Заратустра” Оставляя маниловщину и наши кисельные берега. Вот Димитрий Сергеевич Мережковский насквозь пропитан ненавистью к пошлости, а южный русский писатель Шестов — “к мешанству и быту” и поклоняется “трагедии” Хорошо. Прекрасно. Понимаем. И предлагаем испытать. “Язык Заратустры” не церемонится, и я прямо скажу, что Шестов страдает началом чахотки и он имеет семейный уют, — кажется негласный или не очень оглашенный. Не церемоньтесь, г.г. трагики, и позвольте спросить, как бы заговорил и почувствовал Шестов, если бы врач ему сказал: “Кажется, переходит в скоротечную”, — и тут как раз случилось бы две трагедии: капнуло бы серной кислотой в гнездышко, “замутилась любовь с той стороны” или с этой вдруг нахлынули бы “вешние воды” и в сердце очутились не одна, а две любви. А, Лев Шестов? Вы бы сказали: “Какие гадости” Вы бы “трагедию” назвали непременно “гадостью”, и вам нравится “трагедия” только в чужом доме, а у себя под боком вы вскочили бы с кровати, начали бегать из угла в угол и зажали бы голову. А-а-а-а! Больно! Больно! Больно! Что делать???. То и “делать”: демонов не звать, а Богу молиться» (КНУ, 436–437). С 1920 Ш. в эмиграции. 26 января 1930 выступил в Париже на литературном вечере журнала «Числа», посвященном Р., с воспоминаниями о нем. В этом же году в журнале «Путь» (№ 22) он опубликовал статью, в которой поднял вопрос об антихристианстве Р.: «Но, странным образом, Розанов, всегда так безудержно и страстно нападавший на христианство, сказал как-то про себя словами Федора Карамазова: “Хоть я и поросенок, но Бог меня любит” Как это ни грубо и ни цинично — Розанова в своих писаниях доходил до крайней грубости и циничности, и именно тогда, когда он бывал так груб и циничен, он более всего выявлял себя — как это ни грубо и ни цинично, в этих словах большая правда о Розанове. Правда, что он был “поросенком”, но также правда, что Бог его любил. И еще, хоть он этого не сказал, в них скрыта другая правда: Розанов Бога любил, любил всем сердцем и всей душой так, как того требует первая заповедь. И, если не все меня обманывает, в этом разгадка его вражды к христианству. Он мог бы повторить тоже слова другого героя из “Братьев Карамазовых”, Мити, обращенные к младшему брату: “Бога, Алеша, жалко” Я думаю, что для всякого, кто внимательно читал произведения Розанова, ясно: он нападал на христианство потому, что хоть он был и поросенок, но чувствовал, что Бог его любил, чувствовал, что он Бога любит больше всего на свете и что ему “Бога жалко”, жалко Бога, которого убивало христи-

анство» (PRO, 2, 380–381). Ш. сравнивает Р. с Гегелем и Достоевским: если Гегель «забыв подлинное христианство», довольствовался поисками «естественной связи явлений», то Достоевский, видя фальшь исторического христианства, стремился пробиться сквозь него к «живому» Богу. Р., согласно Ш., остановился где-то посередине между позицией Гегеля и Достоевского: «Естественная связь явлений” была для Розанова пределом, за который никогда не перелетала его мысль, той стеной, которую, по его глубокому убеждению, не дано пробить никакой человеческой силе. И в этом отношении он был правоверным гегелевцем, как и все мы, те, которые изучали Гегеля, и те, которые ни читали ни одной строчки его книг. Но в то время, как Гегель пред этой стеной преклонился и принял ее не только как неизбежное, но как нечто высшее и желанное, несущее последнее, окончательное успокоение человеку и потому вполне заменяющее абсолютную религию, или, как он говорил, выражающее собой духовный смысл христианства, Розанов такого христианства никогда не принимал, принять не мог и не хотел. Если в мире нет Того, про которого написано: “Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых”, то Библия есть одна сплошная выдумка и ложь, и христианство не абсолютная религия, а отвратительное наваждение, от которого чем скорее проснешься, тем лучше. Надо выбирать: либо забыть христианство, либо осмелиться бороться с “гегелевской стеной”, “естественной связью явлений” Розанов не мог решиться окончательно на первое, но никогда тоже не имел достаточно дерзновения, чтобы начать, по примеру Достоевского, открытую и явно безнадежную борьбу с теми “началами”, которые обнажились пред человечеством как результат тысячелетней борьбы его самой напряженной мысли» (Там же, 384–385).

В. Н. Жуков

ШИЛЕЙКО Владимир Казимирович [Вольдемар Мария Георг; 14(26).2.1891, Петербург — 5.10.1930, Москва] — ученый-востоковед, поэт, переводчик. Выпускник факультета восточных языков Петербургского университета. Знакомство Р. с Ш. относится к концу 1916, когда Н. П. Лихачёв, заинтересовавшись статьями Р. о Египте, опубликованными в ноябре 1916 в «Новом Времени», пригласил его посмотреть собранную им коллекцию клинописных текстов. В разговоре о «сущности и значении пола в человеке, у животных, в космогонии», Лихачёв показал Р. «интереснейшее исследование, написанное его другом и учеником, начинающим ученым В. К. Шилейко: “Вотивные (посвятительные) надписи Шумерских правителей. Клинописные тексты памятников южной Месопотамии собрания Н. П. Лихачёва. С приложением семи фототипических таблиц. Петроград. 1915”» (ВЕ, 114). Художественные прозрения Р., работавшего над циклом статей, составивших книгу «Возрождающийся Египет», совпали с некоторыми гипотезами Ш. и вызвали его интерес к молодому ученому. Этот интерес оказался взаимным. Е. А. Грекова, жена известного хирурга И. И. Грекова вспоминала о Ш.: «Однажды этот молодой ассиролог встретился у нас с Васильем Васильевичем Розановым, писавшем тогда об Египте. Розанов очень обрадовался этой встрече. Оказывается, он давно мечтал о ней. Разговор этих двух людей

был настолько учен, что некоторые из присутствовавших потихоньку удалились в другую комнату, утомленные этой премудрой беседой. Когда Розанов ушел, Шилейко сказал: “Василий Васильевич по обыкновению своеобразно интересен, в высшей степени оригинален, но ничего не знает о Египте”» (Шилейко В. Пометки на полях. СПб., 1999. С. 46). Сохранилась дарственная надпись Р. на его книге «*Апокалипсис нашего времени*»: «Удивительному Шилейке с памятью о музыке из Ишуа. В. Розанов» (коллекция В.Г. Сукача).

С.А. Коваленко

ШИЛЛЕР (Schiller) Иоганн Фридрих (10.11.1759, Марбах, Вюртемберг — 9.5.1805, Веймар) — немецкий поэт, драматург, теоретик искусства. Р. называет Ш. «великим поэтом» (ОПП, 181), «гением» (КНУ, 75), наряду с Байроном, Гёте, Толстым причисляет его к «всемирно признанным, всемирно влиятельным, всемирно значащим» писателям (ОПП, 227), «великанам слова» (ОПП, 229), ощущает «чарующее благородство» Ш. (ВДЯ, 104), называет «пафос Шиллера» одной из «необходимых частей существования и целостности мира» (ОПП, 493), одной из определяющих характеристик эпохи Просвещения (ЛВИ, 242; ОПП, 574), отмечает влияние на него Ж.Ж. Руссо, без которого его «также нельзя объяснить и понять» (СХ, 143). Ш. вместе с Гёте Р. полагает олицетворением всей Германии прошлого (в противовес нынешней — периода *Первой мировой войны*) (ПЛ, 266; ПЛ, 325; СХ, 270), ее культуры, эстетики и морали (ЛВИ, 575), языка (ПЛ, 278). Р. считает, что Гёте и Ш. составляют «славу века» в противоположность современным им полководцам (У, 282), констатирует читаемость (и почитаемость) Ш. в культурных кругах России и Германии (СХР, 264; ПЛ, 325; ВНС, 124). Ш. у Р. воплощает собой идеал «певца свободы» (КНУ, 367; ЛВИ, 544). В статье «Толстой и Достоевский об искусстве» Р. приводит письмо Достоевского к брату Михаилу от 1 января 1840, свидетельствующее об огромном значении творчества Ш., самой его фигуры для становления русского писателя. Увлечение Достоевского Ш. пришлось на период горячей дружбы со студентом И.Н. Шидловским: «Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера. Ошибаешься, брат. Я вы зубрил Шиллера, говорил им, бредил им, и я думаю, что ничего более к стати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. Читая с Шидловским Шиллера, я поверял над ним и благородного, пламенного Дон-Карлоса, и маркиза Поу, и Мортимера. Эта дружба так много принесла мне и горя и наслаждения! Теперь я вечно буду молчать об этом; имя же Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний. Они горьки, брат, вот почему я ничего не говорил с тобою о Шиллере, о впечатлениях, им произведенных: мне больно, когда я услышу хоть имя Шиллера» (ОПП, 216). Комментируя процитированные строки, Р. подчеркивает, сколь сильным оказалось влияние творчества Ш. на всех троих литературно одаренных юношей — Достоевского, его брата Михаила и Шидловского: «Нужно заметить, что и брат Михаил, и Шидловский, оба писали стихи. Все трое пережили “шиллеровскую эпоху” бреда, угара, вос-

торгов, надежд: но Достоевский в Шидловском получил нечто осязаемое, по которому “шиллеровщина” сделалась для него не отвлеченным воспоминанием, не “книгою”, когда-то прочитанною, а живой жизнью, пережитою до боли при одной мысли о ней» (ОПП, 216–217). В статье «О происхождении некоторых типов Достоевского (*Литература в переплетении с жизнью*)» Р., противопоставляя «совершенное спокойствие» Толстого и «взволнованность» Достоевского, прибегает к сравнению названных русских писателей с Гёте и Ш. соответственно: «Тут Толстой был Гёте, величавый и равнодушный; а Достоевский затрепетал всем трепетом земли и в тоне повторил Шиллера, *Белинского* и Бёрне... Но неизмеримо шире, сложнее» (ЛВИ, 582). Р. отмечает, что Достоевский считает Ш. «христианским поэтом» (ОПП, 218). Развивая свои воззрения на вопросы семьи и пола, усматривая истоки кризиса христианской семьи в искаженном отношении к рождению как таковому, и следовательно, к младенцу и ребенку, — в отличие от традиции, например, иудейской, — Р. в статье «Из седой древности» (впервые в «*Религия и культура*» под названием «Нечто из седой древности») приводит пример из трагедии Ш. «Разбойники», показывающий, что уже Ш. видит корни неуважения детей к родителям, тесно связанного с едва ли не безразличным отношением последних к рождению как таковому, в «низинах» пола. «См. “Разбойники” Шиллера и там характерное, не для одних “разбойников” рассуждение Франца Моора: “Что такое отец? что такое — я? Для него это был скотский момент, после пьянства” Не буквально, но мысль — именно эта, и, слышав пьесу, слуша я именно эти слова, я был чрезвычайно поражен, как-то дико поражен, еще юношею-гимназистом: и, признаюсь, — тогда же ужаснулся и отверг такое представление. Замечательно, что Франц Моор и запирает отца в башню голода, т.е. великое сыновнее неуважение к родителям не отделимо от “низин” представления пола, как израильское “чи отца и мать” — есть только приложение и дальнейшее развитие “курений”, “фимиама” и “лампал” около половых выявлений» (ВМНН, 373; ВЕ, 40). Позднее, в примечаниях к «“Посланиям” Кондратия Селиванова в работе «*Апокалипсическая секта (Хлысты и скопцы)*», комментируя призыв «Подите мои верные, мои избранные со всех четырех сторонущек; идите на звон и на жалостный глас мой трубный; выходите из темного лесу, от лютых зверей и от ядовитых змей; бегите от своих отцов и матерей, от жен и от детей», Р. пишет: «Вот оно! — полный разрыв рода, раздробление человечества. Есть индивидуумы, лица, мой дух, твой дух, и ничего — еще. “Единство человеческого рода” рассекается, — то “единство”, о котором говорят Библия и Катрфаж. Есть “случайный Шиллер” — запевший чудные стихи, Бог весть откуда их запевший, и ни матушка и ни батюшка которого не интересны, и их просто — нет, метафизически — нет» (ВЕ, 413). Тут видится переключка с приведенным выше замечанием по поводу «Разбойников». Именно показанное Ш. в этой пьесе неуважение к отцу, обусловленное «низинами пола, представляется Р. определяющим в формировании и развитии европейского индивидуализма и родовой разобщенности. Ссылка на Ш., давшего к тому же «поэтическую иллюстрацию “высокого идеала христианского брака”» (СВР, 741), неоднократно всплы-

вает у Р. в форме цитат, упоминаний отдельных произведений или персонажей, когда в фокусе внимания писателя оказываются вопросы материнства, пола, «семян и крови». Часто — в еврейской традиции в противовес христианской. В этом контексте Р. цитирует стихотворение «К радости» Ш. в переводах В.Г. Бенедиктова («Гимн к радости», СВР, 266) и Ф.И. Тютчева — четырежды («Ода к радости», РФК, 162; СХ, 70; ВДЯ, 262; ОЦС, 87), в последнем случае — призывая к сближению *человека с природой*. В работе «Итальянские впечатления», где увиденный Р. кумир Дианы Эфесской сопоставляется с образом кормящей матери-земли, нарисованным Ш. в стихотворении «К радости», Р. снова цитирует перевод Тютчева: Диана Эфесская — это не полет души, а философия. Руки и лицо одни только обнаженные, из черного мрамора. Это черная “мать-сыра-земля”, которая на земле рождает из себя все. Вспомнив стих Шиллера: “Из груди благой природы / все, что дышит, — радость пьет”, я понял мысленную тропу, по которой философы-греки добрались до такого изображения; черная “мать-сыра-земля” имеет три ряда сосцов, может быть, в позднейших игривых изображениях замененных одним символическим “рогом изобилия”, откуда сыплются цветы и плоды. Стих Шиллера и изображение греков человекообразнее изображают эту истину, что богатство земли — из земли же» (СХ, 70). «Гимн к радости» в переводе Бенедиктова цитируется еще дважды — в книге «В темных религиозных лучах» (ВТРЛ, 112) и в «Апокалипсисе нашего времени» (АНВ, 25). Вновь обращаясь к сущности материнства (в лице Цереры) в статье «Дары Цереры», Р. приводит отрывок из баллады Ш. «Элевзинский праздник» в переводе В.А. Жуковской (ВДЯ, 261). Строки из этого стихотворения, в очень похожем контексте упомянутого и в «Полемических заметках» (СМР, 360), становятся эпиграфом к «Иродовой легенде» (ВМНН, 40). В статье «Между Азефом и “Вехами”» конструктивно критикуя радикализм и признавая его «непрерывным, совершенно нужным элементом движения» (СМР, 269), Р. приводит строку — «Будь, человек, благороден», — которую ошибочно приписывает Ш., в то время как на самом деле она взята из стихотворения Гёте «Божественное», переведенного на русский язык А. Струговщиковым (СМР, 437). Рассуждая в статье «Нечто из тумана “Образов” и “Подобий” Судебное недоразумение в Берлине» о «дружбе-влюбленности» между представителями одного пола, Р. ссылается на источники в прошлом: от Библии, Гомера и Фукидида до Ш.: «Шиллер посвятил этой греческой “дружбе” одно из трогательных своих стихотворений. Как в случае Гармония и Аристоклитона, равно Патрокла и Ахилла, так и в стихотворении Шиллера передается о факте, где один “друг” готовится спасти другого ценою собственной жизни, но другой не дает этого, и оба они борются в готовности умереть друг за друга. Едва ли это “патологично” и, в частности, “нравственно-патологично” Вообще мы тут имеем дело с “аномалией”, “чудом”, “с исключением из законов природы”, “из порядка вечнотекущей природы”: но ведь тогда и радий и Лурд или феномены гальванизма среди всюду и ровно различного притяжения тоже нужно бы назвать “патологией физики” или “уголовщиной народного быта” (Лурд). Платон, очевидно описывая свое чувство, говорит:

“О, если бы был город, где все граждане были бы связаны между собою такою любовью: он был бы непобедим, ибо тогда каждый гражданин был бы готов умереть за всех” Это именно то, о чем говорят Шиллер, Фукидид и Гомер» (СМР, 72), — здесь зашифрована ссылка на стихотворение Ш. «Порука», известное, вероятно, Р. по 3-томному Полному собранию сочинений Ш. под редакцией В.Н. Гербеля. Что касается персонажей Ш., «изломанных», как у Достоевского (ЛИ, 387), переживающих «яркие, грешные и страшные истории» (ВЕ, 445), Р. неоднократно обращается к Жанне д’Арк из «Орлеанской девы», рассматривая этот персонаж, с одной стороны, как один из самых известных у Ш., олицетворяющий в читательском восприятии все его творчество (ПЛ, 315; СХР, 264), с другой — как условный прототип «новой женщины» в России: «В самом деле, это типичная “Иоанна из Шиллера”, — но только совсем в обратную сторону: ушедшая не в мечту, а в действительность, но со всем пылом мечты, и — не в воинство, а в рабочие толпы» (КНУ, 182). Другим излюбленным персонажем Ш. для Р. становится маркиз Поза из «Дон Карлоса». Друг юности, наставник и вдохновитель Карлоса в сцене свидания с Филиппом маркиз Поза с большим мужеством излагает свои взгляды перед королем, осуждает произвол и тиранию, призывает монарха, которому все равно не под силу повернуть вспять колесо истории и приостановить «всеобщую весну, великое омоложение мира», самому встать во главе прогресса. Маркиз Поза (наряду с самим Ш.) нередко выступает у Р. олицетворением светлых тенденций Просвещения (ОПП, 216, 574; СХР, 195).

Е.В. Соколова

ШИШКИНА — см. Розанова Н.И.

ШМИДТ Анна Николаевна [30.7.(11.8).1851, Нижний Новгород — 7(20).1905, там же] — журналистика, печатавшаяся в 1890–1900-х в «Нижегородском Листке», автор религиозно-мистических сочинений. Посмертно издана ее книга «Из рукописей А.Н. Шмидт. О будущности. Третий завет. Из дневника. Письма и проч. С письмами к ней Вл. Соловьёв» (М., 1916), о которой Р. написал статью «А.Н. Шмидт и ее религиозные переживания и идеи» (К. 1916. 27 мая, 3 июня). Р. пишет, что «анонимные издатели ее записок, между которыми можно предполагать М.А. Новосёлова, редактора издающейся в Москве “Религиозно-философской библиотеки”, г. Владимира Эрна, первого теперь у нас знатока итальянской философии, В.А. Тернавцева, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова — т.е. решительно лучшие у нас имена в философии» (ВЧВ, 222), отмечали в предисловии, что под влиянием Вл. Соловьёва усилилось влечение Ш. к католицизму: «Конечно, вера А.Н. Шмидт во Владимира Соловьёва как одно из воплощений Христа на земле в связи с ее собственным самосознанием — есть наиболее страстная, непонятная и соблазнительная черта во всем ее духовном облике. И без того загадочном <...> Биографически во всяком случае заслуживает внимания, что после знакомства с Влад. Соловьёвым, за которым скоро последовала и его смерть, ее собственное творчество заметно оскудевает, почти иссякает, а взамен появляются переводы и конспекты философских книг Соло-

вёва. О том, как сам Соловьёв относится к ее признаниям, пока можно судить лишь по его письмам к ней. Несомненно, что встреча с А.Н. Шмидт есть одно из важных, хотя и сокровенных событий его биографии» (ВЧВ, 221). Рукописи Ш. о Третьем завете были написаны в 1886 и находились в руках лиц, связанных позднее с журналом «Новый Путь», где под псевдонимами печаталась Ш. Д.С. Мережковский мог узнать об идее Третьего завета, о котором говорил в 1903, не только от лиц, знакомых с рукописями Ш., но и от нее самой, когда ездил в Москву. «Может ли быть сомнение, — заключает Р., — где мы имеем оригинал и где имеем повторение или, за неказанием источника, — плагиат» (ВЧВ, 219). Р. высоко ценит книгу Ш.: «В сочинениях А.Н. Шмидт мы имеем один из наиболее примечательных памятников мистической письменности, по меньшей мере не уступающих произведением таких корифеев мистики, как Дм. Пордедж, Як. Бёме, Тереза, канонизированная в католичестве, Сен-Мартен, Сведенборг и т.п.» (ВЧВ, 223).
А.Н.

ШОПЕНГАУЭР (Schopenhauer) Артур (22.2.1788, Данциг — 21.9.1860, Франкфурт-на-Майне) — немецкий философ. Р. упоминает Ш. в ранней работе «О понимании», относя его к числу философов, которые «бессознательно для самих себя мыслили под сильным давлением настроения и невольно покоряли мысль свою чувству, предпочитая одни истины другим» (ОП, 404). Позднее Р. назовет философию Ш. «моральной лирикой» (ОНД, 410). Р. пишет в «Уединенном» о своем знакомстве с философией Ш. (имея в виду его главный труд «Мир как воля и представление») весьма иронично: «Из Шопенгауэра (пер. Страхова) я прочел тоже только первую половину первой страницы (заплатив 3 руб.): но на ней-то первую строкою и стоит это: “Мир есть мое представление” — Вот это хорошо, — подумал я по-обломовски. — “Представим”, что дальше читать очень трудно и вообще для меня, собственно, не нужно» (У, 81). Р. вспоминает о Ш. в связи с рассуждениями о своей лености к чтению. «Дойти до книги и раскрыть ее и справиться — для меня труднее, чем написать целую статью <...> И я утешался в этом признанном положении, на которое все дали свое согласие: что ведь вообще “мир есть мое представление <...> Не будь Шопенгауэра, мне, может, было бы стыдно: а как есть Шопенгауэр, то мне “слава Богу” (там же). Об оценке философии Ш. было известно Р., в частности, от Н.Н. Страхова, который был не переводчиком Ш., а автором предисловия к русскому изданию. Р. называл Ш. «мизантропическим и неженатым» поэтом в философии (ОНД, 302), который изнывал от зависти, что «Гегель имеет слушателей, когда у него их нет» (СХ, 161). Отношение Р. к германской философии, в целом, было критичным и скептическим. «Дух германской расы, наоборот, повсюду и всегда, что бы его ни занимало, устремляется к частному, особенному, индивидуальному <...> Собственное я было признано высшими выразителями этой расы за источник норм, граней и связей, какие мы наблюдаем в природе <...> “Разум диктует свои законы природе”, “мир есть мое представление”, он есть “развитие идеи, мною созданной”, все эти слова, с удивлением выслушанные и повторенные Европою, так глубоко predeterminedены особым психичес-

ким складом германской расы, что, думая о них и длинном ряде доводов, на которой они, по-видимому, беспристрастно опираются, мы, наконец, совсем теряем границу между предметным познанием и субъективной иллюзией» (ЛВИ, 106–107). Философия Ш. была модной в эпоху Р. «Тогда все были увлечены Шопенгауэром <...> и “мотивы из Шопенгауэра” звучали почти в каждой журнальной и газетной статье» (ЛИ, 10). К тому же Р. замечает, что «русские имеют свойство отдаваться беззаветно чужим влияниям» (СХ, 354). «Люди сердцем переживали Шопенгауэра и Ницше — в тридцать лет одного и в сорок другого, и, чтобы перейти от Шопенгауэра к Ницше, сколько надо было продумать, да и прямо переволноваться» (СМР, 266). Однако, рассуждает Р. глубина проникновения в другое не должна погашать собственное “я” «Я уважаю Шопенгауэра» (положим). “Я люблю Ш.” Что же из этого следует? Разве я не “Василий Васильевич Розанов” или “дядя Вася”, как меня часто зовут чужие? Любовь и уважение Ш. не кассирует во мне ни грибов (сбирать), ни сна, ни “покурить” Иное дело, если я под влиянием Ш. загрушу (пессимизм), тогда я кассируюсь в “я”, и это уже легкомыслие: ибо каждой “я” растет из обстоятельство своей жизни, из родителей (зачатие), встреч, дружб, вражды, разочарований, но никак не растет и в правильном случае не должно расти из разговора или из прочитанной книги» (КНУ, 512). Поэтому, вспоминая о Л.Н. Толстом, Р. напишет, что великий мудрец учился гораздо более у крестьянства, «нежели у всех Шопенгауэров и Будд» (ОНД, 377). Философия Ш. для Р. мрачна и пессимистична. «Был Шопенгауэр: и “пессимизм” стал фразою» (У, 124). Р. цитирует Ш.: «Человек есть существо болящее» (КНУ, 521). Пессимизм Ш. противоречил духовным устремлениям Р. «Человечество упадет, но не умрет. Опять встанет, побредет. Ему дана вечная сила. Много говорила всяческих дурных слов о человеке новейшая пессимистическая литература, от Байрона до Шопенгауэра» (ОНД, 280). Поэтому Р. высказывает свое отношение к Ш. весьма специфически: «Читая о том, сколько чувств и какие развиты у муравьев и мух, почерпашь больше, чем из “великолепной” страницы мрачного Шопенгауэра» (ОНД, 41). Вместе с тем Р. интересен Ш., и он не принимает заявления о психической патологии многих философов, в том числе и Ш.: «Есть в природе исключения, исключительность. От теплоты все тела расширяются, но резина сжимается. Зачем природе и Богу нужны такие исключения — никому не понятно. Может быть, для того, чтобы не было все — сплошным, ровным, арифметичным и немного туповатым, как и вообще всякое “сплошь” <...> К приведенным именам прибавим Шопенгауэра, Шекспира и одного знаменитого русского музыканта. Если всех их запрятывать в сумасшедшие дома, то, право же, на белом свете стало бы так скудно и бесталанно, что хоть повеситься» (СМР, 73).

И.С. Шилкина

ШПЕРК Федор (Фридрих) Эдуардович [10(22).4.1872. Петербург — 7(19).10.1897, санаторий Халила, Финляндия] — публицист, критик, философ, поэт. Знакомство, сначала заочное, Р. и Ш. началось в марте 1890, когда Ш., студент Петербургского университета, прочел работу Р. «Место христианства в истории» и написал ее

автору восторженное *письмо* (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 709). Р. познакомил Ш. с литературными критиками *Н.Н. Страховым*, *В.П. Бурениным* и редактором газеты «*Новое Время*» *А.С. Сувориным*, с которым Ш. сотрудничал на протяжении пяти лет. Ш. часто обращался за помощью к Р., прося о протекции в издательских кругах. Позднее отношения Р. и Ш. перешли в дружбу, *В.Д. Розанова* была крестной матерью одного из сыновей Ш. С 1892 по 1897 Ш. опубликовал в газетах «*Новое Время*» и «*Гражданин*» несколько работ о творчестве Р.: «*В.В. Розанов. Опыт характеристики*» (Г 1893. 13 нояб.); рецензия на книгу Р. «*Красота в природе и ее смысл*» (НВ. 1897. 8 янв.); статья под рубрикой «*Современные заметки*» (НВ. 1896. 21 нояб.) — размышления по поводу главы из «*Сумерек просвещения*». После выхода в свет публикаций Р. о *Гоголе* («Несколько слов о Гоголе» и «Как произошел тип Акакия Акакиевича». — ЛВИ), Ш. откликнулся статьей «*О характере (к вопросу о творческой психике) гоголевского творчества*» (Г 1894. 3—17 апр.). Ш. был автором работ, содержащих оценки творчества Р. (рецензия на «*Философский Ежегодник*» *Я. Колубовского*. — НВ. 1896. 25 дек.). Р. рекомендовал Ш. издателям и литераторам, написал благоприятную заметку о Ш. «*Две философии (Критическая заметка)*» (НВ. 1897. 12 окт.), был автором *некрологов* на Ш., помещенных в «*Русском Обзрении*» (1897. № 11), «*Новом Времени*» (1897. 13 окт.; ЛВИ). Имя Ш. неоднократно встречается в *книгах* Р. «*Уединенное*» и «*Опавшие листья*». Подчеркивая психологизм розановских сочинений, Ш. понимал его как истолкование настроений, пережитых человечеством. Познание *человеческой природы*, по мнению Ш., было для Р. сердцевиной всего творчества, позволяя сводить к единой основе изучение различных эпох и культур. Подобная основа мышления была близка Ш. тем, что именно в ней он видел «жизненность» философии. На этом же основании Ш. делил всю современную ему философию на «философов-профессионалов» и «философов-самородков», среди которых «первые имеют литературный успех, вторым принадлежит жизненное значение» (Шперк Ф.Э. Литературная критика / Сост. Т.В. Савина. Новосибирск, 2001. С. 28). «Отвлеченные теоретизирования» *Вл. Соловьёва* Ш. относил к первым, Р. с его «философией истории» — ко вторым. Ш. настаивал на практической пользе как философии, так и всего литературного творчества, которое рассматривал как «дело христианской любви». Он находил у Р. подтверждение своей мысли о том, что именно *литература* есть «деятельно просвещающая сила в нашей стране». Выдвинутая Ш. в литературно-критических статьях теория «христианского стиля» *русской литературы*, трактованная художественное творчество с позиции «как художник выражает и понимает Божеское», встретила сочувственное отношение со стороны Р. Философия Ш. была близка Р. своим мистицизмом и религиозностью. В статье «*Две философии*» Р. относит работы Ш. к «неофициальной ветви» русской философии. Упрекая Ш. в отсутствии у него традиционных навыков письменного изложения, Р. тем не менее видел в его работах «книгу, как живое и целое явление, несущее на себе печать лица» (там же, 124), т.е. частное и глубоко-личное осмысление отношений личности с космосом. В работах Ш., вслед за Р., идея *пола* также получает метафизичес-

кое истолкование, однако если для Р. интересно прежде всего взаимодействие духа и плоти, дающее «все живое», то Ш. сосредоточивается в основном на моменте духовного преодоления полового различия. Для Р. итог взаимодействия духа и плоти — «рождение младенца с душой», в чем и состоит цельность бытия; для Ш. любящие и уважающие друг друга *мужчина* и *женщина* способны к соединению, но не по чувственным или эротическим мотивам, а чтобы стать частью некоего совершенного целого — *церкви*, и, таким образом, достигнуть полноты и цельности человеческой природы в едином мировом восхождении к *Богу*. Увлечение Р. идеей пола привело его к конфликту с *христианством*, в то время как Ш. пришел к апологетике христианства. Высказывания Р. содержат высокую оценку Ш. как критика и мыслителя: «гениальный Шперк (ЛИ, 20), «мальчишка-гений» (ПЛ, 54), «проницателен» (У, 57), «славянофил-декадент» (КНУ, 503). Однако многие современники с сомнением относились к такому «восхвалению» Ш. (*Перцов П.П.* Литературные воспоминания. М., 2002. С. 161, 261; *Голлербах*, 23, 33). Скандальные рецензии Ш. на книги *Вл. Соловьёва*, *А. Волынского*, *С. Надсона* принесли ему репутацию «наглого» и «самоуверенного» критика. Философия Ш. считалась «перепевом кое-каких мотивов классической философии» (*Голлербах*, 23). В переписке Р. не был так щедр на комплименты, как на страницах «*Уединенного*». В литературных конфликтах он нередко выступал против Ш. (по свидетельству *Волынского* и *Голлербаха*, в полемике по поводу рецензии Ш. на книгу *Вл. Соловьёва* «*Оправдание добра*). Ш. по многим вопросам не соглашался с Р., спорил с ним как устно, так и в печати. Однако на страницах «*Опавших листьев*» и «*Уединенного*» появляется «гениальный Шперк», которого Р. ставит «самобытнее себя» (У, 71) и выше многих других более известных современных ему мыслителей. При жизни Ш. в своих оценках Р. не поднялся выше доброжелательной рецензии. Спустя полтора десятилетия после смерти своего младшего друга Р. творит «миф о Шперке». Имя Ш. появляясь на страницах «*Уединенного*», «*Опавших листьев*», «*Сахарный*», «*Мимолетного*», «*Последних листьев*», в комментариях Р. к переписке с *Н.Н. Страховым* («*Литературные изгнанники*). Ш. постоянно связывается Р. с образом литератора-«разночинца» 1890-х, с темой «литературного изгнания» (один из томов этой серии Р. хотел посвятить переписке с Ш.) и темой смерти и бессмертия. Сочетая реальные факты и свое субъективное их восприятие, Р. воссоздает фигуру Ш., делая упор на тех чертах и качествах, которые были близки ему самому: философский склад личности, постоянная рефлексия даже в бытовых мелочах, непрерывный поиск новых путей самовыражения, неприятие «шаблона», идеал семьи и брака. Р. создал образ единомышленника, система «я и «наши»» (У, 349) и место Ш. в ней была для Р. важнее, чем подробности литературной полемики прошлых лет. Ранняя смерть Ш. и его быстрое забвение стали составляющими мотивами темы бессмертия, постоянно звучащей у Р.: «Сказать, что Шперка теперь совсем нет на свете — невозможно <...> И не то чтобы «душа Шперка — бессмертна»: а его бородачка рыжая не могла умереть <...> Все бессмертно, Вечно и живо. До дырочки на сапоге <...> Это лучше «бессмертия души», которое сухо

и отвлеченно» (У, 93). Р. высоко ценил Ш. как мыслителя. В «Мимолетном» он рассказывает: «Шперк мне как-то сказал: — Что вы думаете, — *Достоевский* если и прочитан, то только ради занимательности фабулы романов, как читаются *Золя* и *Мопассан* и *Боборыкин*. Но мысли Достоевского и вообще Достоевский, с нашей точки зрения, вовсе неизвестен русскому обществу. Это слишком трудно и сложно и рано русскому обществу. / В самом деле!.. Я слушал Шперка как какое-то открытие» (КНУ, 475).

Т.В. Савина

ШТАЛЬ Александр Викторович (1865—?) — лейтенант русского флота, исследователь побережья Дальнего Востока, крестный отец дочерей Р. Веры (р. 26 июня 1896) и Варвары (р. 1 января 1898). В письме к Р. от августа 1893 Ш. признавался в увлечении статьями Р. из «Русского Вестника»: «В Петербурге, в тропиках, в Беринговом море, в домашнем кругу и отрезанный от всего мира, я находил отраду, наслаждение и поучение в чтении статей Ваших. Много, что лежало смутно в душе, не было оформлено в сознании, неразрешимые противоречия и невольные симпатии, все получило смысл, осветилось, приняло более определенную форму <...> По речам и смыслам Вашим, исполненным религиозно-по чувства, глубоко человечности и истинного патриотизма я создал себе образ наставника, к которому прикованы мои симпатии» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 71. Л. 1, 2).

А.В. Ломоносов

ШТЕЙНБЕРГ Арон Захарович (1891—1972) — литератор и философ, публиковавший статьи по вопросам эстетики на страницах журналов «Русская Мысль» и «Логос». С 1907 до 1918 с перерывами учился в Гейдельберге. В воспоминаниях «Друзья моих ранних лет (1911—1928)» (Париж, 1991) описал историю своего знакомства с Р., состоявшегося осенью 1913: после появления статей Р., связанных с делом *Бейлиса*, Ш. позвонил Р. и был приглашен на одно из его «воскресений», где «решил высказать Розанову», что теперь вполне понимает, и «почему он считает нужным в важном, пользуясь процессом о ритуальном убийстве, как-то предупредить русский народ, чтобы остерегались евреев» («Друзья моих ранних лет», 167). Среди присутствовавших у Р. в тот день Ш. назвал публициста *А.А. Бурнакина*, писателя *С. Эфрона* (Литвина) и артиста *Ю.М. Юрьева*. Ш. описывал, что его критику позиции Р. поддерживала его дочь (ошибочно называя ее вместо Александры — Катей). Мемуары Ш. писались в 1970-е, и по прошествии лет он вспоминал об атмосфере семьи Р. с большой теплотой: «Во всем тоне и поведении Розанова было столько ко мне расположения и доверия, неожиданного в этой обстановке, что у меня возникло двойственное чувство к нему. Вместо того, чтобы обличать черносотенца, который клеветает на еврейский народ, восстанавливает русское население, и главным образом духовное сословие, против евреев, я как бы вошел в семью Василия Васильевича, как-то сроднился с ним» (Там же, 168—169). Р. познакомил Ш. с письмом от имени неизвестных евреев, содержащим угрозы расправы с Р. и его семьей за статьи о деле *Бейлиса*, но Ш. это письмо показалось фальшивкой. По воспоминаниям Ш., посе-

щение им Р. состоялось накануне публикации статьи Р. На их улице праздник» (имеется в виду статья Р. В «вечер Бейлиса» — НВ. 1913. 1 нояб.; СХР). Ш. писал также обстоятельства исключения Р. из *Религиозно-философского общества*, на заседании которого Ш. также присутствовал (фактическая сторона его воспоминаний содержит ошибки): «Зал вмещал несколько сотен человек, и потому я не видел Розанова, но мне говорили, что он где-то в зале. По неопытности, *наивности* или простодушию я не мог тогда найти оправдания решению исключить Розанова. Это же комедия — какое же это христианское дело? Впоследствии я узнал, что и *Блок* тоже протестовал против исключения Розанова, как и многие другие» (Там же, 174). Недостоврным является факт присутствия Р. на собрании. Ш. описывает, что позднее он натолкнулся на статью Р. о себе: «Это был довольно большой фельетон, в половину страницы «Нового времени», озаглавленный «Тогда все лгали» (Я, может быть, не совсем точно помню его название). Он был написан через несколько месяцев после окончания процесса, когда я был уже за границей. Василий Васильевич подводил итоги сенсационного процесса Бейлиса в Киеве. Он подчеркивал, что все одинаково лгали тогда: те, кто верил в ритуал и поддерживал обвинение, и те, которые отрицали вину Бейлиса, за исключением двух человек. Один из них, профессор Бартольд, очень известный специалист по исламу (*переводы* его работ сделаны на несколько языков, главным образом — на французский), искренно верил в ритуал и вину Бейлиса, без всяких побочных мотивов. Другой — молодой сотрудник «Русской мысли» — А.З. Штейнберг, который так же искренне был убежден в том, что это — невозможно! Василий Васильевич в этой статье открыто признавался, что выступал в пользу обвинения Бейлиса из политических соображений, чтобы попытаться предотвратить еврейское засилье — «еврейское иго» Русские освободились от татарского ига, а теперь наступает еврейское иго» (Там же, 176—177). Речь идет о статье Р. «Интересное знакомство...» (НВ. 1914. 4 мая), в которой приводится письмо члена Императорского археологического института Э.Л. Беренса «Памяти Андрюши Ющинского», опубликованное Р. ранее в приложении к книге «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови». Р, однако, не называет прямо фамилии Ш.: «Евреи-то прочитали уже три месяца назад в моей книге это письмо... И пали ниц, с немой «Не видим» Письмо ученого историка-еврея, с патетическим, с восторженным признанием ритуальных убийств, а по существу — жертвоприношений, как я и говорил печатно все время процесса Бейлиса, — это письмо не было процитировано и названо ни в одной газете, ни одним евреем-журналистом, хотя они исписали стопы бумаги, жалуясь на «кровавый навет» Полное молчание, — в надежде, что «мы не увидим» и «никто не увидит» Но вот завтра увидят и послезавтра — и через неделю — весь свет <...> И те евреи, между ними «ааронид» — (т.е. происходящий от потомства Аарона), г. Гарт, автор русской патриотической книги «Отчего зашаталась Россия?» и еще тот молоденький еврей, сотрудник «Русской Мысли», фамилию коего я забыл, — которые все посещали меня во время процесса Бейлиса, стараясь «разуверить» (НФП, 312). Через несколько дней в статье «По поводу

письма Э.Л. Беренса» (НВ. 1914. 9 мая) Р. пояснял: «В *“Речи”* г. Левин уже назвал г. Беренса евреем-ренегатом, каких было много», и, следовательно, еврейство г. Беренса все равно не прошибло бы, как я ожидал, стену упорного запираательства, в которую заперлись евреи» (НФП, 313).

Е.В. Иванова

ШТЕЙНГАУЭР Яков Михайлович (1829 – 1905, Симбирск) — преподаватель немецкого языка в Симбирской губернской гимназии. Р. с симпатией вспоминал Ш., несмотря на курьезы на его уроках: «Штейнгауэр крепко схватил меня за руку. Испуганно я смотрел на него, и пот проступил во всем теле. Он был бритый, с прекрасным лбом. — Что вы делаете? — Что? — спросил я виновно и не понимая. — Пойдемте. И вытаскил меня в учительскую. — Видели вы такого артиста, — негодуя, смеясь и удивляясь обратился он к товарищам учителям. Там же был и инспектор *Ауновский*. — Он запел песню у меня на уроке. Тут я понял. В самом деле, опустив голову и, должно быть, с каплей под носом, я сперва тихо, “под нос”, а потом громче и наконец на весь класс запел: Вдоль да по речке, / Вдоль да по Казанке / Сизый селезень плывет. Ту, что — наряду с двумя-тремя — я любил попевать дома. Я вовсе забыл, что — в школе, что — учитель и что я сам — гимназист. “Природа” воскресла во мне... Я, подавленный, стоял тогда в учительской <...> (Во 2-м классе Симбирской гимназии» (У, 378).

И.Ф. Макеева

ШУБИНСКИЙ Сергей Николаевич [2(14).6.1834, Москва — 28.5(10.6).1913, Петербург] — журналист, историк, генерал-майор (1887). Основатель и редактор «Исторического Вестника» (1880–1913). Впервые Р. обратился к Ш. в 1896, предложив для публикации в «Историческом Вестнике» рукопись своей статьи «Кто был победителем 8 марта 1881 года», первоначально предполагавшуюся для «Русского Обозрения» (РО РНБ. Ф. 874. Оп. 1. Ед. хр. 66. Л. 819). Но там набор статьи без ведома Р. был послан редактором *А.А. Александровым* на просмотр *К.П. Победоносцеву*, и в публикации было отказано. Набранный текст возвратили Р. На страницах

журнала Ш. статья также не увидела света. В 1900 Р. обратился к Ш. с просьбой о публикации его статьи «об одной еврейской черте ритуального быта» под названием «Замечательная еврейская песнь» (Там же. Ед. хр. 82. Л. 852). Ш. отвечал, что «напечатать “Замечательную еврейскую песнь” в Ист. Вестн. можно не ранее октября или ноября», предложив для этого, «ради популяризации опростить некоторые слова» (Там же. Л. 854). Р. в ответном письме просил дать ему корректуру его статьи, указав «на ее полях, что следовало бы поправить и в каком направлении» (Там же). В следующем письме Р. сообщал, что получил от *В.М. Скворцова* уведомление о цензурном разрешении к публикации обсуждаемой розановской статьи, которая и была напечатана Ш. (Исторический Вестник. 1901. № 2. С. 706–728). В письме 1901 Р. просил Ш. отыскать для него ссылку на статью, в которой сообщалось о факте установления при *Александр II* щадящего режима для беременных крепостных крестьянок (Там же. Ед. хр. 86. Л. 918–919). С письмом 1903 Р. направил Ш. записки «Из еврейского гетто» для рассмотрения вопроса об их возможной публикации (Там же. Ед. хр. 94. Л. 912). С письмом 1904 Р. направил Ш. документ, переданный писателю *А.И. Сувориной* от епископа *Сергия* из Ковно. Для «*Нового Времени*» он не годился по профилю издания (Там же. Ед. хр. 98. Л. 733). В письме 1905 Р. просил Ш. передать ему для прочтения интимные «Записки» *А.Г. Ковнера*, для чего приложил письмо автора записок к Ш.: «Будьте добры, не откажите передать Василию Васильевичу Розанову находящиеся в портфеле редакции “Исторического Вестника” мои “Записки”» (Там же. Ед. хр. 102. Л. 772). На пятое издание «Исторических очерков и рассказов» Ш. писатель откликнулся рецензией в «Новом Времени» (1908. 1 апр.), отметив, что «все рассказы написаны очень живо и популярно и затрагивают темы, представляющие общий интерес <...> внутренний быт русского двора и общества XVIII и начала XIX столетий. Читатель знакомится с домашней жизнью *Петра Великого*, императрицы *Анны Ивановны*, *Екатерины II*, русских вельмож, помещиков, чудаков, авантюристов, самодуров и других типичных деятелей своего времени» (ОНД, 295).

А.В. Ломоносов

Щ

ЩЕГЛОВ (Леонтьев) Иван Леонтьевич [6(18).1.1856, Петербург — начало июня 1911, там же] — писатель. В статье «Кое-что новое о Пушкине» (НВ. 1900. 21 июля) Р. вспоминал о встрече в 1899 с Щ., который высказал «прекрасные биографические соображения» в «Литературных приложениях» к «Торгово-Промышленной Газете» относительно источников пушкинского творчества. Этюд Щ. «Нескромные догадки» в этой газете посвящен «Каменному гостю» и «Моцарту и Сальери» Пушкина. «Справедливо говорит г. Щеглов, что под самыми жизненными созданиями поэтов, как бы они ни были отвлечены в окончательной отделке, лежат жизненные впечатления, личные думы и иногда личная судьба их творцов <...> Догадки г. Щеглова так интересны и многозначительны, что хочется, чтобы он приложил дальнейшее усердие к их разработке. Они очень правдоподобны, и мы должны быть благодарны автору уже за то, что он наводит мысль исследователя, открывает дверь исследованиям» (ОПП, 60, 64). Р. приводит рассказы Щ. о К.М. Фофанове (ОПП, 551). На основании рассказа Щ. делается также заключение о характере отношений Тургенева и Виардо, которые Р. уподобляет рассказанному Щ. Однажды Щ. «рассказал мне, — пишет Р. в статье «Загадочная любовь» (РС. 1911. 8 сент.), — что ему привелось в своих и военных, и литературных странствиях встретить одну супружескую чету, что-то из мещан или небольших купцов, где «муж до того безумно любил свою жену, так благоговейно и свято ее чтит, и именно за красоту и пластику <...> что никогда с нею не сообщался и даже помыслить об этом не смеет. Жена тоже любила его, но спокойнее: она была счастлива или, лучше, довольна этим восхищением к себе, довольствовалась им, была сыта, — и дальнейшего не требовала» (ОПП, 539). Таковы же были, считает Р., и отношения Тургенева с Виардо. К 25-летию литературной деятельности писателя Р. в статье «И.Л. Леонтьев (Щеглов)» (НВ. 1902. 12 нояб.) писал, что Щ. «принадлежит до тридцати оригинальных пьес <...> Из них выдающимся успехом пользуется пьеса «В горах Кавказа». В статье «Новая книга о Гоголе» (НВ. 1909. 24 апр.; СМР) Р. отметил анализ гоголевского юмора в книге Щ. «Подвижник слова. Новые материалы о Н.В. Гоголе» (1909). Рецензируя сборник Щ. «Рассказы» (СПб., 1910), Р. писал: «На всех рассказах есть налет мысли и грусти, — и вместе

все они «рассказаны» если не «сквозь смех», то сквозь легкую улыбку человека, имеющего вкус к шутке и понимающего ее жизненное значение. Рассказы — просты, ясны. Щеглов — из прежних писателей, которых гнетет декадентская «запутанность» и которые удержали ясность и простоту, — завещание еще античного мира, — как высшее мерило красоты, ума и порядочности» (НВ. 1910. 1 мая; ЗРП, 164). Переписка Р. и Щ за 1898—1911 хранится в РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 279, 516.

А.Н.

ЩЕДРИН Н. — см. *Салтыков-Щедрин М.Е.*

ЩЕРБОВ Иван Павлович [29.5(10.6).1875, село Кресты, Велижский уезд, Витебская губ. — 31.3.1925, Ленинград] — церковный деятель, преподавал нравственное богословие в Петербургской духовной академии. Розановы и Щербовы дружили семьями. Р. писал в «Сахарне»: «Что такое была жизнь г-д Щербовых — как не другой такой высочайше идейный, хотя немного и сонливый (он) дом, полный прелести и художества?» (СХР, 100). Р. считал Щ. «врожденным священником» (У, 99). Р. и Щ. — участники *Религиозно-философских собраний* 1901—1903. Щ. был близок Кружку ищущих христианского просвещения в Москве, которому симпатизировал Р. После революции Щ. участвовал в создании духовных школ в Петрограде.

С.М. Половинкин

ЩЕРБОВА Надежда Романовна [урожд. Миллер, ок. 1870 — 10(23).5.1911, Петербург] — жена И.П. Щербова, сотрудничала в журнале «Русский Паломник», участница «Религиозно-философской библиотеки» М.А. Новосёлова. Р. писал: «Надежда Романовна вся была прекрасна. Вполне прекрасна. В ней было что-то трансцендентное» (У, 233). И еще: «Какая она вся была милая. Она знала мое «направление» (отрицательное) и никогда меня не осудила» (У, 142). Р. приписывал ей (а также П. Флоренскому и С. Цветкову) причину своего поворота вправо. В некрологе Щ. («Невидимые хранители церкви Памяти Н.Р. Щербовой» // НВ. 1911. 17 мая) Р. резюмировал ее мысли: «Религиозный человек — вот с чего и начинается человек» (ТПРН, 101).

С.М. Половинкин

Э

ЭЛЬ-ЭС — см. *Соловьёв Л.З.*

ЭНГЕЛЬГАРДТ Николай Александрович [3(15).2.1867, Петербург — 1942, Ленинград] — писатель, журналист, поэт, критик, коллега Р. по работе в «*Новом Времени*», переводчик. В «*Новом Времени*» он вел газетные циклы статей и заметок: «Из дневника», «Петербургские настроения», «*Письма о деревне*», «*Письма о марксизме*», «*Мысли к стати*» (о национальном вопросе). Р. рецензировал первый том его «*Истории русской литературы XIX столетия*» (СПб., 1902) (НВ. 1902. 6 февр.), а в «*Письме в редакцию*» (НВ. 1902. 2 июня) выступил с уточнением критики в книге В. Добролюбова. Р. дискутировал с Э. в статье «Шестидесятые годы и “утилитарная критика” Маленькое возражение Н.А. Энгельгардту на его проект “переоценки ценностей” литературы» (НП. 1903. № 2). Брат *Н.А. Добролюбова*, В.А. Добролюбов, отмечал сходство позиций Р. и Э. в освещении их взглядов на семинаристов и критиков-радикалов 1860-х: «Все они вместе <...> кричат всей публике: отрекись от Н.А. Добролюбова, *Н.Г. Чернышевского*, традиций шестидесяти годов <...> и для этого лгут, клеветуют, пишут бессмыслицы» (Добролюбов В.А. Ложь гг. Николая Энгельгардта и Розанова о Н.А. Добролюбове, Н.Г. Чернышевском и *духовенстве*. СПб., 1902. С. 99). Р. дискутировал с Э. и на страницах «*Нового Времени*» в статье «*Испорченный человек*» (НВ. 1914. 15 сент.); вошла в книгу «*Война 1914 года и русское возрождение*», настаивая на осуждении бесчеловечных зверств германских войск во время военных операций в годы *Первой мировой войны*. В февральских письмах 1908 Э. к Р. обсуждался вопрос посещения Э. В письме от 2 февраля Э. в ответ на просьбу Р. приглашал его к себе в гости. В следующем — уточнил день визита (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 72. Л. 2–3). Э. оставил *воспоминания* о Р.: «Василий Васильевич Розанов был, конечно, писатель и мыслитель, близкий к гениальности. Он происходил из старой духовной фамилии. Как-то у Сопкива я насчитал до пятнадцати писателей Розановых XVIII и начала XIX века. Я даже составил списочек этих неизвестных миру Розановых и как-то его показал ему. “Ну, это какие-нибудь составители семинарских учебников!” — с демократическим пренебрежением сказал Василий Васильевич. Можно сказать, что он насквозь был проникнут *Достоевским*, и это отразилось и в *стиле* его, и в манере мыслить. Он был женат на вдове Достоевского и считал *счастьем* любить хотя и старую женщину, но ко-

торую любил созвучный его *душе* и конгениальный великий писатель <...> В «*Русском Вестнике*», редакции *Ф.Н. Берга*, появился ряд замечательных статей и между ними “О великом инквизиторе Достоевского” <...> Переехав в *Петербург* со второй своей женой, по имени Варвара, он терпел нужду, забываясь над египетскими древностями в Публичной Библиотеке; пришел к *Вл.С. Соловьёву* и дал ему статью для “*Вестника Европы*”, говорившую о таких безднах извращения, что и показать ее *М.М. Стасюлевичу* с его буржуазной “прюдери” было невозможно. Пробовал примкнуть к “Неделе” Но и тут статья его оказалась неприемлемой. Так, прибоем волн житейского волнуемого моря, и прибило его к нововременскому берегу. В редакции сошелся он со старым *Геом* и сидел около него, строча и зимой, и летом на всякие *темы* заметки, передовые и фельетоны. И тем питал жену свою Варвару и трех подраставших девочек <...> В “*Новом Времени*”, однако, появлялись не лучшие его статьи и фельетоны, хотя все, что он писал, шло с пометкой редактора отдела Гея “плотный корпус” в набор и в оттисках поступало к автору. За ряд лет сотрудничества В.В. в “*Новом Времени*” так скопились у него целые вороха набранных, но не напечатанных статей, которые потом и составили целые томы, изданные *Пирожковым*. Сотрудничество в “*Новом Пути*” сблизило его с модернистами и вывело на путь широкого признания. Оригинальная, глубокая мысль этого “русского *Ницше*” по афористической преимущественно форме изложения, а не по содержанию, яркий, плодovitый *талант* не могли не победить. Когда он уже в 1916 году мне вдруг прислал все свои сочинения, это была гора томов в тридцать. Розанов ждет своего биографа и исследователя. Мне говорили, что сочинения Розанова переведены за границей. Вот и спросите теперь, что бы делал Розанов и куда бы пристроился без “*Нового Времени*”, когда так называемая правая, консервативная *печать* представляла каменное поле, на котором процветали лишь такие осо- ты и мордвотики, как московский *Грингут* и петербургский кн. *Вл.П. Мещерский*. А Розанов, томимый желанием высказаться, не имея в наших зачерствелых к концу века, выцветших и вылинявших либеральных органах где голову преклонить, в отъездах даже и такого публициста, как *Н.К. Михайловский*, ничего не слыша, кроме названия “юродивый”, — Розанов помещал статьи в “*Гражданство*” Его за это обвиняли в “неряшливости” и “небрезливости” <...> Счастлив поэт-художник. Поле его было широко. Но *горе* публицисту,

горе мыслителю, который так оригинален, так на других не похож, так мощен и глубок, так широк и сложен, что никак не может подойти под общепринятые мерки и шаблоны господствующих “направлений” (Николай Энгельгардт из Батишева. Эпизоды моей жизни (Воспоминания) // Минувшее. СПб., 1998. Т. 24. С. 32–33).

А.В. Ломоносов

ЭРН Владимир Францевич [5(17).08.1882, Тифлис — 29.4(12.5).1917, Москва] — философ и публицист, один из организаторов «Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьёва» (Москва, 1905–1918) и книгоиздательства «Путь» (1910–1918), приват-доцент Московского университета (с 1910). Его отцом был Г.А. Арефьев, а свою фамилию Э. получил от усыновившего его статского советника Ф.К. Эрна. Р. познакомился с Э. в Петербурге, в январе 1905. Воодушевленный идеей «буквального исполнения евангельских заветов Спасителя», Э. вместе с В.П. Свенцицким приезжает в Петербург, чтобы убедить столичных иереев и литераторов выступить с протестом против позиции Синода, который в послании от 14 января 1905 фактически оправдывал расправу с рабочими на Дворцовой площади. Эта инициатива москвичей привела к созданию революционной организации «Христианского братства борьбы» (1905–1908). В статье «Религиозные голоса в нашей смуте» (Маленькая Газета. 1906, 18 янв.) Р. вспоминал: «Как и многие другие, я был очарован их словом, энтузиазмом, верой <...> будто все можно исполнить “по букве и до конца”, “как сказал Христос”. Они, пояснял он далее, «подействовали талантом, но не подействовали убеждением: и я только улынулся на их разные “призывы”» (ОНД, 42). Скептицизм Р. объяснялся не только неверием в возможность воздействия на бюрократический Синод (его отзыв о Синоде известен по воспоминаниям А. Белого: «Навозная куча была и осталась: раскатывать — вонь поднимать» («Начало века». М., 1990. С. 495), но и его принципиальной позицией в отношении христианства, согласно которой «мир не умещается во Христа» (ОНД, 44). В публикациях, написанных в связи с выступлениями Э. в либеральных церковно-общественных журналах («Век», «Церковное Обновление», «Живая Жизнь»), Р. отстаивал полноту и самоценность проявлений жизни. В заметке «Вечная тема» (НВ. 1908. 4 янв.) Р. высоко оценил рассуждения Э. о смерти, об умирании — в статье «Социализм и проблема свободы» (Живая Жизнь. 1908. № 2): «Это так хорошо и значительно-мучительно, что ничего более веского, грустного, религиозно-мучительного я не читал после “Смерти Ивана Ильича” Толстого» (ВДЯ, 359). Однако, следуя принципу «земля для меня все», Р. зовет «друга-автора» осознать «радость жизни» и проникнуться ею: «Итак, работа здесь — вот и всё! И никакого беспокойства, ни страха за “там” Если здесь хорошо (исправно), то и “там” хорошо; а если “там” ничего, то это тоже ничего. Пожили. Любили. Трудились. Осмысливали, многое осмыслили. Как это хорошо было, счастливо, радостно» (ВДЯ, 361). Идею самоценности жизни и в этом смысле ее божественности Р. проводит в заметке «О таинствах» (Век. 1907. 6 мая. № 17), написанной по поводу выступления Э. «Таинства и возрождение Церкви» (Церковное Обновление. 1907. 4 марта. № 9). Здесь

Э. вступает в полемику об исторической церкви. Он утверждает, что только таинства позволяют видеть в ней преемницу «святой, соборной и апостольской церкви» первых лет христианства. В таком случае все разговоры петербургских богоискателей о противоположности исторической и подлинной церкви должны быть отвергнуты. Р. восхищаясь «прекрасной, полной последовательности и тревог» статьей Э., тем не менее находит, что в реальной жизни таинства воспринимаются формально. Р. предлагает свое толкование вопроса: «Иногда мне кажется, что при добром устройении сердца как будто вся жизнь, самая жизнь есть уже “таинство” “благодать”



В.Ф. Эрн

<...> А ведь Бого-присутствием, Бого-участием определяется и существо “таинства”» (ОНД, 109). К 1910 Э. отошел от активной церковно-политической деятельности и посвятил себя научной работе. Он исследует генезис и основы восточно-христианского мировоззрения (по терминологии Э. — «логизма») и историю платонизма в итальянской философии XIX в. (А. Розмини и В. Джоберти). Помимо этого, он участвует в разработке религиозно-метафизической и неославянофильской стратегии РФО памяти Вл. Соловьёва и книгоиздательства «Путь». Р. сочувственно встретил оформление нового идейного течения. В статье «Новые работы по философии» (НВ. 1912. 21 июня) Р. отметил, что «превосходен по теплоте труд Эрна о Григории Саввиче Сковороде» (ПВ, 129). Он говорит о «втором возрождении славянофильства, наступающим в наши дни» и связывает его с деятельностью «молодых русских умов» — Э., С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского и др. Особенный интерес к этому направлению русской мысли Р. проявил в годы Первой мировой войны, связав его с работой кружка М.А. Новосёлова и издательства «Путь». В 1916 среди

авторов «Пути» Р увидел «левое» (Е.Н. Трубецкой, Н.А. Бердяев) и «правое» «подразделения», заявив о своих симпатиях к «более крупному правому течению, которое выражают собою главным образом П.А. Флоренский, В.Ф. Эрн и С.Н. Булгаков». Он назвал это «подразделение» «молодым славянофильством», «самым крупным умственным течением в Москве, вне каких бы то ни было сомнений» (К. 1916. 19 авг.; ВЧВ, 341). В написанных Р статьях в защиту молодого славянофильства («Бердяев о молодом московском славянофильстве» // НВ. 1916. 17 авг.; «Молодые московские славянофилы перед судом Н.А. Бердяева» // К. 1916. 26 авг.; «Еще о московских славянофилах» // МВ. 1916. 22 сент.; все ВЧВ) постоянно упоминается имя Э. Несколько раз Р отмечал заслуги Э. в исследовании итальянской философии («А.Н. Шмидт и ее религиозные переживания и идеи» // К. 1916. 27 мая; ВЧВ, 222). Первые месяцы войны 1914 обнаружили близость патриотических позиций Э. и Р. В январе 1915 Н.А. Бердяев выступил с критикой книги Р. «*Война 1914 и русское возрождение*». В статье «*О вечно-бабьем в русской душе*» (Биржевые Ведомости. 1915. 14–15 янв.) он, в частности, утверждал, что так же, как и Р., Э. и другие «националистические идеологи» (имелись в виду С.Н. Булгаков и Вяч. Иванов) «отдаются соблазну пассивности, покорности, рабству у национальной стихии, женственной религиозности». Э. был вынужден написать статью «Налет Валькирий» (Там же, 1915. 30 янв.), в которой утверждал обоснованность своей православной, славянофильской позиции, которая не имеет ничего общего с выдуманной Бердяевым «соблазном». При этом Э. не раз подчеркивает талантливость и даже «гениальность Р.-писателя», хотя и не соглашается с его утверждением о «бабьем» в русской душе. Э.Ф. Голлербах вспоминал, что Р. «очень любил он Флоренского, Эрна, Булгакова» (ПРО, 1, 230). Вскоре после смерти молодого мыслителя Р. публикует статью «Памяти Владимира Францевича Эрна» (НВ. 1917. 7 мая.). В ней характер и творчество Э. — «немца по роду и племени» (ВЧВ, 508) — представлены примером духовной и культурной победы русских над немцами подобно тому, как таким же примером стали В. Даль, К. Зедергольм, П. Струве, Э. Радлов.

А.А. Ермичёв

ЭРНСТ (Ernst) Отто (наст. фам. и имя Шмидт Отто Эрнст; 7.10.1862, Оттензен, земля Гольштейн, Германский Союз — 5.3.1926, Гамбург) — немецкий драматург и прозаик. Пьеса Э. «Воспитатель Флакман» (1901, перевод Е. Кашперовой), поставленная 15 октября 1901 в Театре Литературно-художественного общества под названием «Педагоги», привлекла внимание Р. своей тематикой — «из немецкой школьной жизни» В статье ««Педагоги» Отто Эрнста» Р. отмечает: «В нашей собственной литературе Фонвизин есть последний и первый автор, который вывел учителей на подмостки театра» (НВ. 1901. 17 окт.). Присутствовавший на спектакле Р. пишет, что пьеса Э. понравилась зрителям. «Местами игра прерывалась дружным смехом или громкими аплодисментами зрителей, относившимися к содержанию пьесы. Например, когда на удивление режисора, что тридцать лет начальником школы состоит лицо, получившее звание учителя по подложному паспорту, моло-

дой и даровитый учитель Флемминг замечает насмешливо: — Там, где управляет делом чиновник, — все возможно!» О самой пьесе Р. замечает, что она «написана в две краски, черную и белую. В начале пьесы все герои черны. Но входят белые и побеждают черных. Черные краски так густо положены, как в нашей литературе положил их один Помяловский. Это достигает хороших публицистических целей: “Нужно реформу, конечно нужно!” — волнуются зрители».

А.Н.

ЭРТЕЛЬ Александр Иванович [7(19).7.1855, дер. Ксизово, Задонский уезд, Воронежская губ. — 7(20).2.1908, Москва] — писатель. Имя Э. возникает в статье Р. «Как люди русеют» (НВ. 1909. 18 дек.) в связи с подготовленным М.О. Гершензоном посмертным изданием «Писем» (М., 1909) Э., куда вошли его письма В.Г. Короленко Л.Н. Толстому, А.П. Чехову и «огромное большинство писем — к Черткову, известному другу Толстого» (СМР, 410). Ограничившись биографическими сведениями (Э. был третьим потомком берлинского бюргера, забранного в армию Наполеона и попавшего в плен под Смоленском), Р. дает характеристику Э. в статье «Толстовство и жизнь» (НВ. 1909. 20 и 23 дек.): «Эртель, случайно попавший в молодости в радикальные кружки журналистики, отсидевший, за дачу революционерам адреса своего для переписки, в Петропавловской крепости, был чужд если не каких-либо религиозных чувств, то каких бы то ни было религиозных понятий. И знакомство с поздними сочинениями Толстого и с Чертковым пахнуло на него волною неизведанного, и привлекательного, и интересного. Это отразилось в литературной его деятельности. Сейчас же резко и грубо напали на него Скабичевский, Протопопов и Михайловский» (СМР, 413). «Прелесть мысли Эртеля» (СМР, 416) Р. видит в его «уклончивости “заклучений”», в способности мыслить неоднозначно, недогоматично, что было присуще и самому Р. Разговор об Э. продолжен в статье Р. «Нужда веры и формы» (НВ. 1910. 3 и 4 янв.), где он назван: «Почти русский нигилист, по крайней мере — вначале нигилист» (ЗРП, 15–16). В статье «Заветы быта и труда» (НВ. 1910. 28 янв.) Р. в четвертый раз обращается к письмам Э. «Многие письма Эртеля, — начинает статью Р., — всю жизнь прожившего в реальной возне с народом, а с другой стороны находившегося в постоянном идейном общении с левыми кругами интеллигенции, дышат такой правдой, болью, признаниями, что было бы печально оставить без ознакомления с ними всю читающую Россию. Тут нечто такое, от знакомства с чем растешь» (ЗРП, 40). Р. привлекли слова Э. в одном из писем: «В русской истории идей и фантазий ужасно много, “навыков” же никаких, если не считать павыков к беспорядку во всех сферах жизни» (ЗРП, 42). Р. задается вопросом, о каких же навыках говорит Э. и рассуждает: «Святых много на Руси, — как ни в какой стране; но, будучи золотыми частицами, они тонут в массе хаоса, безобразия». И “святые” русские учат как “жить”, а все-таки не как работать. У русских нет золотых “навыков” работать и золотых навыков “относиться” к среде, к условиям и к людям <...> Музыка труда не началось в России. Мы жили, точнее, — были: и создали удивительный идеал быта, этой “были” своей, “былого” своего.

Он удивителен, этот наш быт, у помещиков, у хороших крестьян, у многих в *духовенстве*. Пушкин, Тургенев, Толстой, Гончаров увековечили это святое “жили-были” русской земли... Но *русский человек* в трудах, в обязанностях, в долге, в службе?.. Петр, один Петр дал этому пример: но умер — и оставил пустое поле за собою. Опять после него пошло “жили-были”...» (ЗРП, 42–43). В конце 1909 в статье «О письмах писателей» Р отмечает: «Истекают последние дни 1909 года. И я тороплюсь сказать *читателям* несколько слов о самой поучительной и привлекательной *книге*, какую прочел за этот год. Это — письма Эртели» (ОПП, 430).

А.Н.

ЭФРОН Шеель Хаймович; Савелий Константинович [псевдоним Литвин; 1849, Вильна (?) — 5.7.1926, монастырь Петкович близ Шабаца, Сербия] — прозаик, драматург. Знакомство его с Р. относится к осени 1896, когда Э., в тот период секретарь редакции *газеты «Свет»*, предложил Р. писать для нее статьи. Р. предложение принял и с октября 1896 по март 1897 сотрудничал в газете. 1897–1900 — время наиболее тесного общения Р. и Э., когда Р. для Э. был «в области мысли <...> Богом» (письмо от 11 марта 1912. РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 725). По выходе сборника рассказов и повестей Э. «Замужество Ревекки» (СПб., 1898) Р. откликнулся на него сочувственной рецензией, отметив, что автор «весьма серьезен в отношении как к еврейству, так и к России, “русскому”, и это составляет высокую цену его рассказов» (НВип. 1898. 25 нояб.). Заглавную повесть из этого сборника Р. охарактеризовал как «прекрасный этнографический очерк» (НП. 1903. № 8. С. 142); на сведениях, почерпнутых из него, во многом построен раздел о *микве* в труде Р. «*Юдаизм*», в котором Э. критиковал противопоставление *христианства* и *иудаизма*. Ссылки на сочинения Э. и на беседы с ним неоднократно встречаются в работах Р. на еврейскую тему (СХР, 237; ПЛ, 94; АНВ, 97, 319). Во время «дела Бейлиса» Э. выступил с заявлением, отвергающим существование у *евреев* ритуальных убийств. В ответ Р. опубликовал «Открытое письмо С.К. Эфрону (Литвину)» (НВ. 1913. 3 окт.; СХР), в котором настаивал, что *Ющинский* был убит евреями в ритуальных целях. Тогда же Э. «с безмолвным упреком» (АНВ, 192) подарил Р. еврейский молитвенник. В «*Апокалипсисе нашего времени*» Р. писал: «Добрый и благородный С.К. Эфрон («Литвин» псевдоним), так напрасно захаянный и затоптанный — литературно — евреями: ибо он есть одно из прекраснейших и чистейших еврейских сердец, — дитя еврейства, Вениамин еврейства. Он мне подарил, между прочим, еврейский молитвенник, который держал же у себя и, вероятно, не переставал, и переходя в христианство, по нему молиться. Эфрон хотя христианин и хотя славянофил, — питомец *Н.П. Гилярова-Платонова*, но соединяет это вполне с еврейством» (АНВ, 97). Письма Э. к Р. хранятся в РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 242, 725. Комментируя адресованные ему письма Э., Р. дал характеристику своего корреспондента: «Милый, прелестный, ненаглядный “Савушка”» и в то же время

«очень недалекий (редкость среди евреев) и ужасный хвастун» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 725. Л. 106).

М.Ю. Эдельштейн

ЭФРОС Абрам Маркович [25.4(7.5).1888, Москва — 19.11.1954, там же] — критик и поэт-переводчик. В 1909 опубликовал перевод с древнееврейского «*Песни песней Соломона*» (СПб.; 2-е изд. — 1910) со своими примечаниями. Предисловие к *книге* написал Р (в 1912 эта статья — «О “Песне песней”» — была издана в составе брошюры Р. «*Библейская поэзия*»). Он высоко оценил переводческую и комментаторскую работу Э., хотя и полемизировал с ним. В статье «Магическая страница у Гоголя» (Весы. 1909. № 8, 9) Р. называет перевод Э. «первым настоящим, научным переводом» и отмечает в нем «весьма важное музыкальное разделение на строки — слов отдельных предложений» (ОПП, 387). После кончины Р. его дочь Н.В. Розанова называла Э. (наряду с *Гершензоном*) в числе распространителей слуха о том, что Р. перед *смертью* после причастия поклонился статуе *Озириса* (См.: *Голлербах Э.Ф.* Последние дни Розанова (к 4-й годовщине смерти) // PRO, 2, 313).

М.Ю. Эдельштейн

ЭФРОС Ревекка Юльевна — знакомая Р. Их встреча относится, по-видимому, к 1911 (упоминание в «*Уединенном*» о том, что Э. («Ревекка NN»), стала бывать в *доме* Розановых). Одна из бесед Р. с Э. — «очень развитой московской курсисткой, лет 26», — стала поводом для развернутого размышления Р. о тайне *миквы* (У, 39–42). В дальнейшем Э. фигурирует в текстах Р. как своего рода метонимическое обозначение еврейства («О русское юношество, русское юношество! Какая правда к тебе ни приходила, и ты от всякой отвернулось (Пушк.). Ну, беги, беги стрючком, беги за Грузенбергом, Лассалем и Ревекочкой Э... Беги, пока новый *Азеф* не пошлет тебя на нововыстроганную виселицу» (СХР, 169–170) и как выразитель его интимной сути (У, 106). В конце 1911 Э. написала Р. негодующее *письмо* по поводу его статьи «Иудейская тайнопись» (НВ. 1911. 11 дек.; СХР) и вернула ему его книги (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 725. Л. 102 об.). К этому письму Р. сделал приписку: «Ну, Господь с тобой, возмущенная душа. Конечно, ты хорошая *девушка*. Я думаю — лучше Столпнера и уж гораздо лучше *Гершензона*». В *архиве* Р. сохранилась также его запись об Э.: «Ревека Юльевна Эфрос. “Миква” в “Уедин.” вызвана разговором с нею. Бог с нею — в конце она возненавидела меня. Прошла какая-то тусклая тень (разговор Шуры с Вальман), что она как будто любит меня, или “что-то вроде этого” Вальман остановила Шуру, и слова Шуры, почти об этом говорившие, прервались» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 725. Л. 100–100 об.). Осенью 1918, задумав передать московской еврейской общине авторские права на все свои сочинения, «касающиеся до *евреев*», Р. называет Э. среди тех *лиц*, которых он просит быть «свидетелями, исполнителями и поручителями при всем этом деле» (АНВ, 185).

М.Ю. Эдельштейн

Ю

ЮМ (Hume) Дэйвид (7.5.1711, Эдинбург, Шотландия — 25.8.1776, там же) — английский философ, психолог, историк. Р. обращается к Ю. в ранней философской работе «*О понимании*» в связи с учением о методах познания, к числу которых он относит «учение о способах познавать и доказывать причины» По Ю., как его цитирует Р «Причина явления есть неизменное предыдущее явления, следствие явления есть неизменно последующее за явлением» (ОП, 111). Р видит несовершенство этого определения прежде всего в его атрибутивности, неспособности выразить сущность определяемого явления. «Попытки определить причинность (они имеют целую *историю*) все несовершенны, неполны и неправильны», — заключает Р. (там же). Подобные определения были опровергнуты самой историей их постепенного совершенствования, ибо есть явления причинности, замечает философ, не подходящие под данное сделанное определение. «Так, <Т.> Рид, критикуя определение причинности, сделанное Юмом, указал на постоянное преемство *дня и ночи*, которое, однако, не есть причинное преемство» (ОП, 114).

И.С. Шилкина

ЮРГЕНСОН Эрнест Петрович — библиофил, кол-лекционер автографов русских писателей, фотограф. Переписывался с Р. в 1912–1914. Первоначально, обратился к писателю с несколькими *письмами*, в которых рассказал о своей коллекции автографов русских писателей и просил Р. пополнить его собрание собственными автографами и письмами литераторов (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4216. Ед. хр. 5. Л. 4–7, 24–25). В качестве рекомендации Ю. сослался на общее знакомство с оперной актрисой: «Может быть слышали обо мне от *Зембрих*» (Там же. Л. 5). С дальнейшими письмами Ю. посылал Р. фотографии собственного изготовления с изображениями М. Зембрих (несколько десятков), которую коллекционер сопровождал в ряде ее зарубежных турне, а также подарил писателю гравюру академика живописи В.А. Боброва с рисунка Ф. Ленбаха, изображавшего все ту же оперную актрису. В собственной коллекции Ю. завел специальную папку «*Рукописи В.В. Розанова*», которую писатель пополнял, направляя коллекционеру различные автографы. Известны отдельные автографы, написанные Р. специально для Ю.: «*Слава — змея: да не коснется никогда ее укуса. В. Розанов. 18 марта 1912. СПб.*» (ОР РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 3686. Л. 8); «*Люди — как погасающие свечи — одни дымят,*

и только немногие горят чисто и без дыма. В. Розанов. 18 октября 1912» (Там же. Л. 9); «*Правда — выше солнца, выше неба, выше Бога: ибо если бы сам Бог не с правды начинался — он не бог, и небо — трясина, и солнце — медная посуда. В. Розанов. Поклон, при случае, прелестной М. Зембрих. Ее пение — одно из лучших, самых высоких наслаждений в жизни моей жены и моей. В. Розанов»* (Л. 5). В одном из писем Р. предлагал Ю. прислать оригиналы фрагментов книг «*Уединенное*» и «*Опавшие листья*» (Там же. Л. 5).

А.В. Ломоносов

ЮШКЕВИЧ Семен Соломонович [25.11(7.12).1869, Одесса — 12.2.1927, Париж] — прозаик, драматург. В эмиграции с 1920. Об очерке Ю. «*Евреи*» во второй книге «Сборник товарищества “*Знание*” за 1903 год» (СПб., 1904) Р. писал: «Мы порадовались самой этой теме. Не нужно, чтобы окраины наши и вообще другие народности проходились молча *русскою литературою*: это-де задача их местных *литератур*, литератур на других языках. Нет, это не так. Уже раз они вошли в *Россию*, как в “*родину*”, то пусть найдут себе пусть даже и не горячее, но все же “*родное место*”, и прежде всего, конечно, в литературе» (ОПП, 170). Вспоминая свою службу в *Брянске*, Р. в той же статье «Литературные новинки» (1904. 16 июня) об очерке Ю. «Евреи» писал об отношении к евреям: «Я думаю, между русскими и евреями нет пропасти. В городе Б., где я преподавал в прогимназии, я наблюдал, до чего русские *дети* ни малейше не смотрели враждебно или отчужденно на евреев, и обратно. Общий *смех*, общие шалости, всегда полное участие в *играх*. Зная литературную, вообще “*цивилизованную*” на этой почве вражду, я был поражен этим племенным, этнографическим *миром*; и хорошо его запомнил» (ОПП, 175). О повести Ю. «В городе» (1908) Р. высказался в «*Мимолетном*»: «При чтении “Городка” Юшкевича меня поразила его формула об еврейских проститутках, во множестве выбегающих из-под родительских кровов на окраинах и предместьях — на бульвары центра, где горят *огни*, и приносивших с гордостью домой рубли. Юшкевич сказал о них: “Зима не выгонит — весна выманит; весна не выгонит — зима выгонит” И в этом тоне Юшкевича для меня прозвучало что-то не жалующееся ни на зиму, ни на весну» (КНУ, 277). Р. обращает особое внимание на тему *проституции* евреек у Ю.: «О целом ряде писателей, — о *Куприне*, особенно о Юшкевиче, — мы можем думать, что “это” им нравится. Что не цело-

мудрие им нравится, а именно нравится нецеломудрие. Как? Почему? Не рассуждаем, а видим. Юшкевич не щадит своего самолюбия и самолюбия своего племени (евреи) и все настаивает, что “девы Саронские” этим занимаются в Бердичеве, Шклове и по всем местечкам Западного края. Описывает. И не знает утомления в картинах» (КНУ, 523).

А.Н.

ЮЩИНСКИЙ Андрей [убит 12(23).3.1911, Киев]. В книгах “Сахарна” и “Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови” Р. писал о ритуальном убийстве евреями 13-летнего мальчика Ю., которое стало причиной судебного процесса над *М. Бейлисом*. «Процесс об убийении Андрюши Юшинского сбит с пути почти в той же мере, как было сбито с пути первоначальное исследование. Он попал в сферу мысли и чувства людей нерелигиозных, выразителей “культуры XIX–XX веков”, для которых “ритуальное убийство” немислимо, недопустимо, невероятно — и следовательно, его не было» (СХР, 309). Во время процесса над Бейлисом Р. писал 20 ок-

тября 1913: «...о, как хотел бы я, взяв на руки тельце Андрюши, пронести его по всем городам *России*, по селам, *деревням*, говоря: — рыдайте, рыдайте, рыдайте» (СХР, 197). 28 октября 1913 Р записывает: «День оправдания Бейлиса. И “мне в нос” (были ссоры) в собственном *дому* “учащаяся *молодежь*” поспешила в кинематограф. Есть “подруги” из евреек. Я понимаю “кинематограф на *радостях*” Но неужели у *девушек* никакого воспоминания о Юшинском? Тут-то освещается все явление за 50 лет: и “Цюрих” <центр революционной эмиграции>, и наши там девицы. Все это уже тогда не русское движение...» (СХР, 201). Даже ни один митрополит не отслужил панихиды по Ю.: «Знаю и понятно, — “боялись смущения” И отошли от замученного христианского мальчика» (СХР, 202). И как итог звучат слова Р в статье «Недоконченность суда около дела Юшинского» (НВ. 1913. 10 нояб.): «Чтобы злодеяние, подобное совершенному над Юшинским, осталось неразысканным и ненаказанным, это мутит сердце простого *русского человека*» (СХР, 335).

А.Н.

Я

ЯБЛОНОВСКИЙ (Снадзский) Александр Александрович [3(15).11.1870, Елизаветградский уезд, Херсонская губ. — 3.7.1934, Париж] — прозаик, критик, публицист. В эмиграции с 1919. 12 мая 1913 Я. опубликовал в газете «Русь» статью «Голые люди», посвященную «Опавшим листьям». 10 июня 1913 в связи с этой публикацией Р. сделал запись: «Отчего так сердятся на “Оп. л.”? Еще больше, чем на “Уед.” Не понимаю. Не понимаю своего литературного position» (СХР, 69). Заявление Я. о «мерзости» предложения разрешить браки для учащихся гимназий вызвало жесткую реакцию Р.: «Александр Яблоновский считает себя либеральным и просвещенным писателем, между тем в черепе его может только вариться каша, — причем без масла <...> Но разве Ал. Яблоновский не слышал, что из VI и VII класса гимназистки “уходят”, п.ч. им “сделано предложение” и родители их нашли необходимым и своевременным не отказывать подходящему жениху? Зачем же им выходить из гимназии, когда они могли бы кончить курс и в случае вдовства — кормить *трудом*, должностью, службой *детей*?!» (СХР, 87). В коробе втором «Опавших листьев» Р. упоминает Я. среди демократически настроенных журналистов, всегда готовых поднять шум и этим «затушевать» любую серьезную проблему: «Яблоновский “запишет”, Баян “посыплет главу пеплом”, “Русское Слово” будет занимать 100 000 подписчиков новыми столбцами а la “Гурко-Лидваль” <...> Без этого отвлечения в сторону *правительству* нельзя ничего делать. Разве можно делать дело среди шума?» (У, 224). Ту же мысль Р. проводит и в «Сахарне»: «Яблоновский подражает *Амфитеатрову*, Амфитеатров поддерживает Яблоновского, за обоими бежит *Оль д’Ор*, и все три поют хвалу *Горнфельду*, потому что Горнфельд (в “*Русск. Богатстве*”) отмечает “их произведения”: но почему это “*литература*”? Это “что-то”, а не литература. Все на всех похоже, все говорят то же: и неужели не объемлет *страх*, что *читатель* просто перестанет читать?! Перестанет читать все... Переход к “*Нат Пинкертону*” как-то удивительно вырисовывается. Пятьдесят лет гасили вкус. Пятьдесят лет гасили ум. И когда безголовое чудовище “вообще ничего не хочет”, когда перекормленный конфетами желудок не приемлет никакого хлеба и только просит: “Дай пососать сладенького”, — все говорят, жалуются, плачут: “Какой мрак” Но вы же его ткали на станке своей приятной, ходкой, всем удобной, всеми одобряемой литературы; и дотыкают последние нитки “наши талантливейшие фельетонисты”, от Амфитеатрова до *Оль д’Ора*» (СХР, 120).

«По прочтении статьи Яблоновского о домах терпимости и объявлениях в “*Нов. Вр.*” Р. записывает: «Чего вообще стоит эта *печать*, подхлестнутая иудеями и получающая от них деньги за ругань» (СХР, 127). Хотя Я. происходил из богатой помещичьей семьи с польскими *корнями*, Р. часто упоминал его имя в связи с проблемой еврейства. «“Р-в крестник *Победоносцева*”, — пишет Яблоновский. Да уж никак не “крестник Яблоновского” А очень хотелось бы Яблоновскому иметь крестником Розанова. “Розанов либерал, как и я” Просто, как апельсин скушал бы. Теперь может только говорить: “Мой крестник *Оль д’Ор*” Оба сидим в баре и через соломинку тянем 8-рублевое шампанское... Потому что мы, *Ицка* и *Шмуль*, замечательные русские писатели. Просвещаем страну, насаждаем *свободу*, читаем *Герцена* и отдыхаем в баре» (СХР, 92).

Т.В. Воронцова

ЯКОВЛЕВ Алексей Иванович [18(30).12.1878, Симбирск — 30.7.1951, Москва] — приват-доцент *Московского университета* по кафедре русской истории. В письме к Р. от 1 января 1912 уведомлял писателя об открытии Весной Музея изящных искусств в *Москве*, созданного при активном участии их общего учителя *И.В. Цветаева*. Основным же мотивом обращения был следующий: «Полагаю, что было бы своевременно огласить около *времени* открытия нового музея всю историю беспристрастного гонения на одного из замечательнейших людей нашего времени [*И.В. Цветаева*] на основании документальных данных», для чего Я. был готов предоставить в распоряжение Р. имеющиеся у него материалы, свидетельствующие о гонении министра народного просвещения *А.Н. Шварца* на Цветаева, которые он собрал, еще работая помощником библиотекаря Румянцевского музея (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 74. Л. 1–2). На открытие музея Р. откликнулся статьей «Музей изящных искусств имени *Александра III* в *Москве*» (НВ. 1912. 14 апр.; ПВ).

А.В. Ломоносов

ЯКУБОВИЧ Петр Филиппович [псевдоним — Л. Мельшин; 22.10(3.11).1860, село Исаево, Новгородская губ. — 17(30).3.1911, Петербург] — народник, поэт, прозаик, журналист. Р. считал Я. «исключением» в *революции*, где главное — «самолубие и злоба» (У, 244). Р. говорил, что *В. Богучарский* и Я. — это «последние соловьи, последние порядочные люди в революции. Еще

немного, 10–15 лет, и “обширное поле” ее будет покрыто сплошь червяками и гадами» (М, 235). После смерти Я. в статье «Недоумения и недоумения... (НВ. 1911. 2 июля) Р. писал о двух статьях в “Русском Богатстве”, посвященных памяти Я.: «Напечатанный портрет Мельшина-Якубовича так замечательно прекрасен, а жизнь (по изложениям) оказалась так трогательна и (мне кажется) полна запутанностей, что тут можно написать целую поэму... Я верю, что *лицо человека* “что-нибудь значит”, что *Бог* не без причины и “указания” дает человеку наружность, фигуру, строение лба, глаз <...> Я вижу человека такой необыкновенной душевной организации, такой полной душевной чистоты, такой, правильно и прекрасно прожитой жизни, как это редко приходится встретить в жизни и тут можно увидеть в “портретных галереях истории” Не скрою: с чувством *национализма* я подумал: “Э, если у русских есть такие лица, русским еще долго жить. Не зачатит нас чад” Мужество, открытость, героизм... Ничего нахального, бесовственного, хвастающегося (обыкновенные черты радикалов)... Ничего из тех мелких лиц, какие с ужасом я увидел на скамье подсудимых, когда судили рабочих депутатов <...> В Мельшине была явно аристократическая порода: и я не могу отделаться от мысли, что это аристократ забрел в толпу “так себе людей” и почти задохся в ней... Отсюда его усталость, эта ужасная усталость, которую указывает один из “воспоминателей”, г. Муйжель» (ТПРН, 147–148). Р. ценил поэтическое наследие Я. «Он был поэт. С *Верою Фигнер* — единственные поэты *радикализма*. Судя по надписи на стене одного из сибирских этапов, — горячо любил *Россию*; не отвлеченно любил, а как родину... Этих двух черт достаточно, чтобы догадаться, что за “принадлежностью к партии” в нем было и еще “кое-что”, чего никак не могли рассмотреть Муйжели, *Мякотины*, может быть, не сумел рассмотреть и *Михайловский*, и оно осталось глубоко затаянным и отразилось только в нежном, благородном лице» (Там же, 148).

А.Н.

ЯСИНСКИЙ Иероним Иеронимович [18(30).4.1850, Харьков — 31.12.1931, Ленинград] — писатель, журналист, редактор «*Биржевых ведомостей*», «Ежемесячных “Сочинений”» и «*Нового Слова*». Отношение Р. к Я. было выражено в юбилейной статье «К 40-летию литературной деятельности И.И. Ясинского» (НВ. 1911. 6 янв.): «Поляк по отцу и малороссиянин по матери, — дочери полковника Белинского, отличившегося в Бородинской битве <...> Везде умный и начитанный, всегда наблюдательный, он во многих своих повестях, особенно в ранних, обнаружил и крупный беллетристический дар <...> художественно-беллетристическое *творчество* было стеснено и скомкано непрерывной и неустанной работой его как журналиста и публициста. Он слишком многому и разнообразному тяготел, чтобы дать сильное произведение в одном каком-нибудь роде <...> Начав свое

писательство в кругах резко позитивного исправления, в половине 80-х годов прошлого века он разошелся с этим направлением и выдержал обычный “шторм слева” за независимость своих взглядов: но удержался и удерживается до сих пор в идеалистическом и эстетическом течении нашей *литературы*. С этого времени он печатался в “*Русск. Вестнике*”, “*Русск. Обозрении*”, “Наблюдателе”; немногие его очерки были помещены и в “*Нов. Времени*” Ясинский издавал и собственные журналы — “Ежемесячные сочинения” и затем “Беседу” Из беллетристических его произведений до сих пор читаются с удовольствием “Киевские рассказы”, “Бунт Ивана Ивановича”, “Трагики” “Старый друг”, “Петербургские туманы”, “Ординарный профессор” Затем выдержала пять изданий его прекрасная по общепольности книга “Этика обыденной жизни” Это — рассуждения обывателя и философа о том, как вообще грубо и плоско проходит наша обыденная жизнь и как мы могли бы ее наполнить вкусом и изящностью, немного подумавши над бытовыми “мелочами”, из которых, однако, слагаются $\frac{9}{10}$ жизни каждого из нас» (ТПРН, 17–18). В письме от 14 марта 1900 Я. выразил благодарность Р. за добрые слова в свой адрес. 9 апреля 1900 Я. сообщил в письме Р. об отказе в публикации его статьи общественно-политического характера, которую он назвал «замечательной» и «оригинальной», в «Ежемесячных “Сочинениях”», сославшись на то, что программа его журнала «не позволяет» поместить указанную работу (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3876. Ед. хр. 75. Л. 3). «И счастлив, что не могу напечатать ее, — пояснял Я. свой отказ, — потому что журнал мой должен держаться на литературных высотах, и стоило бы только сделать исключение для Вас, как он обратился бы постепенно в общественно-политический орган, а этот дух мне надоел и в газете» (там же). Редактор предложил написать для журнала статью литературно-философского содержания и за «полной подписью». В письме от 19 сентября 1909 Я. приглашал Р. к сотрудничеству в журнале «Новое Слово» (номер которого он приложил к письму), не ограничиваясь в разнообразии избираемых *тем* (Там же. Л. 5). Р. положительно откликнулся на предложение, передав в журнал Я. ряд статей общественно-политического содержания. В письме от 27 ноября 1909 Я. благодарил Р за присланную *рукопись* статьи «Надгробное слово Гапону» (НС. 1909. № 12. С. 6–10; СМР), пообещав ее напечатать (Там же. Л. 4). Р. положительно рецензировал «Ежемесячные “Сочинения”» (Г 1900. 18 июня), и книги: «Нежелательные дети. Роман. СПб., 1897» (НВип. 1898. 7 янв.). «Независимый. Как нам жить. Этика обыденной жизни. 2-е изд. СПб., 1898» (НВип. 1898. 30 сент.). Последняя рецензия переиздана в кн.: Розанов В.В. *Около церковных стен*. СПб. 1906. Т. 1; М., 1995. С. 154–155. Я. в книге «Роман моей жизни» (М.; Л., 1926. С. 308) подтверждает слова Р. (У, 163) о том, что «*Русское Богатство*» получало деньги за статьи против *Русско-японской войны*.

А.В. Ломоносов

II

ТЕМЫ, КНИГИ,
ПЕРИОДИКА

